



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

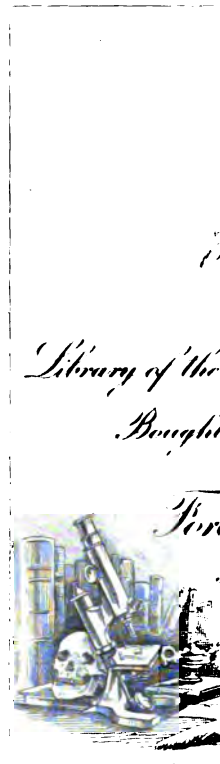
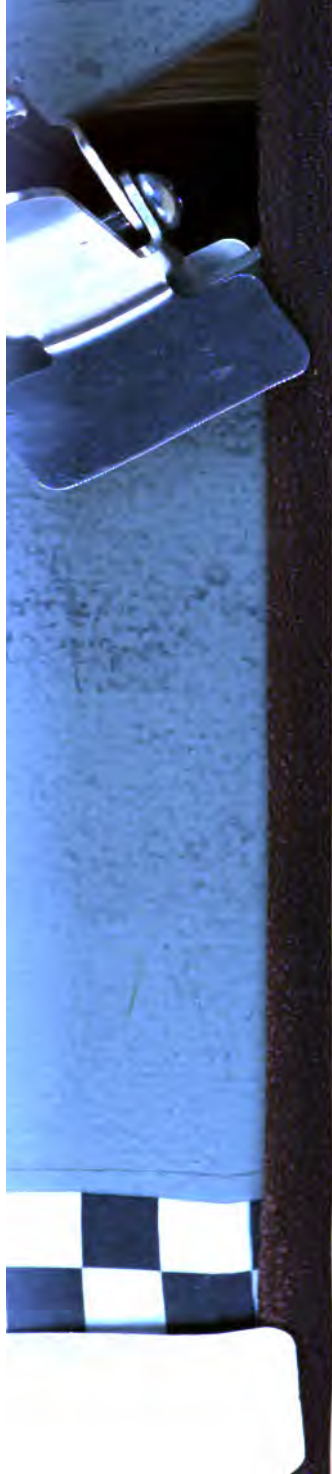
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



891,78
B43
1888
v. 1, 2, + 3.

University of Michigan
to the income
the
Hesser
quest

E. F. FARRER

СОЧИНЕНІЯ
В. БѢЛИНСКАГО.

Belinskii, Vissarion, Grigor'evich.
Sochinenia

СОЧИНЕНІЯ

И. Вислинскій

В. БѢЛИНСКАГО

part one
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Издание шестое.
6th ed.

~~~~~  
**ЦѢНА 1 р. 25 к.**  
~~~~~

МОСКВА.

Типографія А. И. Мамонтова и К^о, Леонтьевскій пер., 1

1888.



290х. 8. 12. 17

1834

М О Л В А *).

*) «Молва» выходила въ этомъ году при «Телескопѣ» въ одно
съ нимъ «орматѣ.

Digitized by Google

185085



I.

КРИТИКА.



ЛИТЕРАТУРНЫЯ МЕЧТАВІЯ *).

(ЭЛЕГІЯ ВЪ ПРОЗѢ).

Я приведу о тебѣ поразкажу такую,
Что хуже всякой лжи. Вотъ, братъ, рекомендую:
Какъ этакихъ людей учтивѣ зовутъ?...

Горь отъ ума.

Есть ли у васъ хорошія книги? — Нѣтъ, но у насъ есть великіе писатели.—Такъ, по крайней мѣрѣ, у васъ есть Словесность? — Напротивъ, у насъ есть только книжная торговля.

Баронъ Брамбеусъ.

Помните ли вы то блаженное время, когда въ нашей литературѣ пробудилось было какое-то дыханіе жизни, когда появлялся талантъ за талантомъ, поэма за поэмою, романъ за романомъ, журналъ за журналомъ, альманахъ за альманахомъ; то прекрасное время, когда мы такъ гордились настоящимъ, такъ лелѣли себя будущимъ, и, гордые нашею дѣйствительностію, а еще болѣе сладостными надеждами, твердо были увѣрены, что имѣемъ своихъ Байроновъ, Шекспировъ, Шиллеровъ, Вальтеръ-Скоттовъ? Увы! гдѣ ты, о bon vieux temps, гдѣ вы мечты отрадныя, гдѣ ты надежда-обольститель! какъ все переѣнилось въ столь короткое

*) Статья эта первая изъ известныхъ, за исключеніемъ довольно плохаго стихотворенія въ «Листкѣ» 27 мая 1831 года.—Начало этой статьи, которою Бѣлинскій серьезно выступилъ на литературное поприще, появилось 21 сентября 1834 года.

время! Какое
слѣ столь силь
ходульки наши
меленныя подмос
средственность,
чезли и тѣ нем
такъ обольщали
Крезами, а прос
каждому изъ на
ныя слова поэта

Да—прежде и
Пушкинъ, поэтъ
сильныхъ и мощи
вѣяніе жизни ру
котораго такъ лю
звукамъ котораго
отзывалась съ та
и Годунова — и Л
выхъ, безжизненн
вещъ страданій Че
краснымъ читател
чески передававши
и Козловъ—автор
ныхъ и короткихъ,
нія», и о коихъ то
обстоятъ благополу
вѣ»!... какая разн
мы прибрать здѣсь
горестныхъ контраст
мартинъ:

Les dieux éta

.

Какіе же новые боги заступили вакантныя мѣста старыхъ? Увы, они смѣнили ихъ, не замѣнявъ! Прежде наши аристархи, заносившіеся юными надеждами, всѣхъ обольщавшими въ то время, восклицали въ чаду дѣтскаго, протодушнаго упоенія: «Пушкинъ — сѣверный Байронъ, представитель современнаго человѣчества!» Нынѣ, на нашихъ литературныхъ рынкахъ, наши неутомимые герольды вопіють громко: «Кукольникъ, великій Кукольникъ, Кукольникъ—Байронъ, Кукольникъ отважный соперникъ Шекспира! на колѣна передъ Кукольникомъ» *). Теперь Баратынскихъ, Подолинскихъ, Языковыхъ, Туманскихъ, Ознобишиныхъ смѣнили гг. Тимофеевы, Ершovy; на поприщѣ ихъ замолкнувшей славы величаются гг. Брамбеусы, Булгарины, Гречи, Калашниковы, по пословицѣ, на безлюдь и Гома дворянинъ. Первые или подчуютъ насъ изрѣдка старыми погудками на старыи же лады, или хранятъ скромное молчаніе; послѣдніе развѣиваются комплиментами, называютъ другъ друга геніями и кричатъ во всеуслышаніе, чтобы поскорѣ раскупали ихъ книги. Мы всегда были слишкомъ неумѣренны въ раздачѣ лавровыхъ вѣнковъ генію, въ похвалахъ корифеямъ нашей поэзіи: это нашъ давнишній порокъ; по крайней мѣрѣ, прежде причиною этого было невинное обольщеніе, происходившее изъ благороднаго источника—любви къ родному; нынѣ же рѣшительно все основано на корыстныхъ расчетахъ; сверхъ того, прежде еще и было чѣмъ похвастаться; нынѣ же... Отнюдь не думая обижать прекрасный талантъ г-на Кукульника, мы все-таки не запинаясь можемъ сказать утвердительно, что между Пушкинымъ и имъ, г-номъ Кукольникомъ, пространство неизмѣримое, что ему, г-ну Кукольнику, до Пушкина

Какъ до звѣзды небесной далеко!

*) «Библиотека для чтенія» и «Инвадидныя Прибавленія къ Литературѣ».

Да — Крыло
скина и «Черна
Лажечникова и
г-на Булгарина
и повѣсти, съ
все это означае
шей литературѣ
тературы?...

Да—у насъ н
«Вотъ прекрас
совѣ, въ отвѣтъ
намы, неусыпно
пейскаго просвѣи
ніальными отрыв
фантазій, а наш
тысячами книгъ р
спиры, Гёте, Вал
закъ, Корнели, М
Ломоносова, Хера
Дмитріева, Карам
Пушкина, Бараты
слажете?»

А вотъ что, мил
быть барономъ, но
которой я упорно д
на то, что нашъ С
трагедіяхъ господи
притчахъ господина
прославленія на ли

Гомеромъ и Виргиліемъ, и подъ щитомъ Владиміра и Іоанна по добру и здорову пробрался во храмъ безсмертія *); что нашъ Пушкинъ въ самое короткое время успѣлъ встать на ряду съ Байрономъ и сдѣлаться представителемъ человѣчества; несмотря на то, что нашъ неистощимый Ѳаддей Венедиктовичъ Булгаринъ, истинный бичъ и гонитель злыхъ пороковъ, уже десять лѣтъ доказываетъ въ своихъ сочиненіяхъ, что негодится плутовать и мошенничать человѣку сошме il faut, что пьянство и воровство суть грѣхи непростительные, и который своими право-описательными и нравственно-сатирическими (не правильнѣ ли полицейскими) романами и народно-юмористическими статейками на цѣлыя столѣтія двинулъ впередъ наше гостепріимное отечество по части нравосправленія; несмотря на то, что нашъ юный левъ повзін, нашъ могущественный Кукольникъ съ перваго прыжка догналъ всеобъемлющаго исполина Гёте, и только со втораго поотсталъ немного отъ Брюковскаго; несмотря на то, что нашъ достопочтенный Николай Ивановичъ Гречъ (вкупѣ и въ любѣ съ Ѳаддеемъ Венедиктовичемъ) разанатомировалъ, разнялъ по суставамъ нашъ языкъ и представилъ его законы въ своей тройственной грамматикѣ — этой истинной скиннѣ завѣта, куда кромѣ его, Николая Ивановича Греча, и друга его, Ѳаддея Венедиктовича, еще доселѣ не ступала нога ни одного профана; тотъ Николай Ивановичъ Гречъ, который во всю жизнь свою не дѣлалъ грамматическихъ ошибокъ и только въ своемъ дивномъ поэтическомъ созданіи — «Черная Женищина» — еще въ первый разъ, по уликѣ чувствительнаго князя Шаликова, поссорился съ грамматикою, видно увлекшись слишкомъ разыгравшеюся фантазією; несмотря на то, что нашъ г. Калашниковъ затянулъ за поясъ Купера въ роскошныхъ описаніяхъ безбрежныхъ пустынь русской Америки — Сибири,

*) То есть во Всеобщую Исторію г-на Кайданова.

и въ изображеніи ея дикихъ красоть; несмотря на то, что нашъ гениальный Баронъ Брамбеусъ своею толстою фантастическою книгою на смерть прищеппнулъ Шамполиона и Кювье, двухъ величайшихъ шарлатановъ и надувателей, которыхъ невѣжественная Европа имѣла глупость почитать доселѣ великими учеными, а въ ѣдкомъ остроуміи смялъ подъ ноги Вольтера, перваго въ мірѣ остроумца и балагура; несмотря, говорю я, на убѣдительное и краснорѣчивое опроверженіе нелѣпой мысли, будто у насъ нѣтъ литературы, опроверженіе такъ умно и сильно провозглашенное въ «Библіотекѣ для Чтенія» глубокомысленнымъ азіатскимъ критикомъ Тютюнджи-Оглу;—несмотря на все на это, повторяю: у насъ нѣтъ литературы!... Уфъ! усталъ! Дайте перевести духъ — совсѣмъ задохнулся!... Право, отъ такого длиннаго періода поперхнется въ горлѣ даже и у Барона Брамбеуса, который и самъ мастакъ на великіе періоды...

Что такое литература?

Одни говорятъ, что подъ литературою какаго-либо народа должно разумѣть весь кругъ его умственной дѣятельности, проявившейся въ письменности. Вслѣдствіе сего нашу, напримѣръ, литературу составляютъ: Исторія Карамзина и Исторія гг. Эмина и С. Н. Глинки, историческія розысканія Шлецера, Эверса, Каченовскаго и статья г. Сенковского объ Исландскихъ Сагахъ, Физики Велланскаго и Павлова и «Разрушеніе Коперниковой Системы» съ брошюркою о клопахъ и тараканахъ; Борисъ Годуновъ Пушкина и нѣкоторыя сцены изъ историческихъ драмъ со штами и анисовкою, оды Державина и Александрюда г. Свѣчина и пр. Если такъ, то у насъ есть литература, и литература, богатая громкими именами и не менѣе того громкими сочиненіями.

Другіе подъ словомъ литература понимаютъ собраніе извѣстнаго числа изящныхъ произведеній, т. е., какъ говорятъ Французы, *chef-d'oeuvres de littérature*. И въ этомъ смыслѣ у насъ есть литература, ибо мы можемъ похвалиться

большимъ или меньшимъ числомъ сочиненій Ломоносова, Державина, Хемницера, Крылова, Грибоѣдова, Батюшкова, Жуковского, Пушкина, Озерова, Загоскина, Лажечникова, Марлинскаго, кн. Одоевскаго, и еще нѣкоторыхъ другихъ. Но есть ли хотя одинъ языкъ на свѣтѣ, на коемъ бы не было сколькихъ-нибудь образцовыхъ художественныхъ произведеній, хотя народныхъ пѣсень? Удивительно ли, что въ Россіи, которая обширностью своею превосходитъ всю Европу, а народонаселеніемъ каждое европейское государство, отдѣльно взятое, удивительно ли, что въ этой новой Римской Имперіи явилось людей съ талантами болѣе, нежели, напримѣръ, въ какой-нибудь Сербіи, Швеціи, Даніи и другихъ крохотныхъ земляхъ? Все это въ порядкѣ вещей, и изъ всего этого еще отнюдь не слѣдуетъ, чтобы у насъ была литература.

Но есть еще третье мнѣніе, непохожее ни на одно изъ обоихъ предъидущихъ, мнѣніе, вслѣдствіе котораго литературою называется собраніе такого рода художественно-словесныхъ произведеній, которыя суть плодъ свободнаго вдохновенія и дружныхъ (хотя и неусловленныхъ) усилій людей, созданныхъ для искусства, дышащихъ для одного его и уничтожающихся въ него, вполне выражающихъ и воспроизводящихъ въ своихъ изящныхъ созданіяхъ духъ того народа, среди котораго они рождены и воспитаны, жизнь котораго они живутъ и духомъ котораго дышать, выражающихъ въ своихъ творческихъ произведеніяхъ его внутреннюю жизнь до сокровеннѣйшихъ глубинъ и біеній. Въ исторіи такой литературы нѣтъ и не можетъ быть скачковъ; напротивъ, въ ней все послѣдовательно, все естественно, нѣтъ никакихъ насильственныхъ или принужденныхъ переломовъ, происшедшихъ отъ какого-нибудь чуждаго вліянія. Такая литература не можетъ въ одно и то же время быть и французскою и нѣмецкою и англійскою и италіянскою. Это мысль не новая: она давно была высказана тысячу

разъ. Казалось бы, не для чего и повторять ее. Но, увы! какъ много есть пошлыхъ истинъ, которыя у насъ должно твердить и повторять каждый день во всеуслышаніе! У насъ, у которыхъ такъ зыбки, такъ шатки литературныя мнѣнія, такъ темны и загадочны литературные вопросы; у насъ, у которыхъ одинъ недоволенъ второю частию Фауста, а другой въ восторгѣ отъ Черной Женщины, одинъ бранитъ кровавые ужасы Лувреція Борджіа, а тысячи услаждаютъ себя романами гг. Булгарина и Орлова; у насъ, у которыхъ публика есть настоящее изображеніе людей послѣ вавилонскаго столпотворенія, гдѣ

Одинъ кричитъ арбуза,
А тотъ соленыхъ огурцевъ;

наконецъ, у насъ, у которыхъ такъ дешево продаются и покупаются лавровые вѣнцы генія, у которыхъ всякая смышленность, вспомошествоваемая дерзостію и безстыдствомъ, пріобрѣтаетъ себѣ громкую извѣстность, нагло ругаясь надъ всѣмъ святымъ и великимъ человѣчества подъ какою-нибудь баронскою маскою; у насъ, у которыхъ купчая крѣпость на цѣлую литературу и всѣхъ ея геніевъ доставляетъ тысячи подписчиковъ на иной торговый журналъ; у насъ, у которыхъ нелѣпны бредни, воскрешающія собою позабытую ученость Тредьяковскихъ и Эминныхъ, громогласно объявляются всемірными статьями, долженствующими произвести рѣшительный переворотъ въ русской исторіи?... Нѣтъ: пиши, говори, кричи всякій, у кого есть хоть скольконибудь безкорыстной любви къ отечеству, къ добру и истинѣ; не говорю познаній, ибо многіе печальные опыты доказали намъ, что, въ дѣлѣ истины, познанія и глубокая ученость совсѣмъ не одно и то же съ безпристрастіемъ и справедливостію...

И такъ оправдываетъ ли наша словесность послѣднее опредѣленіе литературы, приведенное мною? Чтобы рѣшить

я чего и повторять ее. Но, увы! истинъ, которыя у насъ должно быть въ всеуслышаніе! У насъ, такъ шатли литературныя мнѣнія, литературныя вопросы; у насъ, у насъ вторую частію Фауста, а другой Женщины, одни бранятъ кроваваго, а тысячи услаждаютъ себя и Орлова; у насъ, у которыхъ изображение людей послѣ вавилон-

ить арбуза,
енныхъ огурцевъ;

рыхъ такъ дешево продаются и генія, у которыхъ всякая смысль дерзостію и безстыдствомъ, извѣстность, нагло ругаясь надъ челоуѣчества подъ какою-ни-насъ, у которыхъ купчая крѣ-и всѣхъ ея геніевъ доставляетъ иной торговый журналъ; у насъ, и, воскрешающія собою позабы-тъ и Эминыхъ, громогласно объ-чьями, долженствующими прозв-отъ въ русской исторіи?... Нѣтъ: и, у кого есть хоть сколько ни-тъ отечеству, къ добру и истинѣ; ноте печальные опыты доказали, познанія и глубокая ученость съ безпристрастіемъ и справед-

и наша словесность послѣднее введенное мною? Чтобы рѣшить

этотъ вопросъ, бросимъ бѣглый взглядъ на ходъ нашей литературы отъ Ломоносова, перваго ея генія, до г-на Кукольника, послѣдняго ея генія.

La verité! la verité! rien plus que la verité!

— «Какъ, что такое? Неужели обзорѣніе?» спрашиваютъ меня испуганные читатели.

Да, милостивые государи, оно хоть и не совсѣмъ обзорѣніе, а похоже на то. Итакъ—silence!—Но что я вижу? Вы морщитесь, пожимаете плечами, вы хорошо кричите мнѣ: «Нѣтъ, братъ, стара шутка—не надуешь... мы еще не забыли и прежнихъ обзорѣній, отъ которыхъ намъ жутко приходилось! Мы, пожалуй, напередъ прочтемъ тебѣ навзустъ все то, о чемъ ты намъ будешь проповѣдывать. Все это мы и сами знаемъ не хуже тебя. Вѣдь нынѣ не то, что прежде; тогда хорошо было вашей братии, неприваннымъ обзорѣвателямъ, морочить насъ, бѣдныхъ читателей, а теперь всякій обзавелся своимъ умишкомъ, и въ состояніи толковать вкось и вкривъ о томъ и о семъ»...

Что мнѣ отвѣчать вамъ на это неизбежное привѣтствіе?... Право, ума не приложу... Однакожъ... прочтите, хоть такъ, отъ скуки—вѣдь нынѣ, знаете, нечего читать, такъ оно и кстати... Можетъ быть—(вѣдь чѣмъ чортъ не шутить!)—можетъ быть, вы найдете въ моемъ краткомъ—(слышите-ли, краткомъ!)—обзорѣ, если не слишкомъ хитрыя вещи, то и не слишкомъ нелѣпыя, если не слишкомъ новыя, то и не слишкомъ истертыя... Притомъ же, вѣдь чего нибудь да стоятъ правда, безпристрастіе, благонамѣренность... Что, не вѣрите?—Отворачиваетесь отъ меня, качаете головой, машете руками, затыкаете уши?... Ну, Богъ съ вами: божиться не стану, хотите читайте, хотите нѣтъ;

вѣдь и те сказать, вольному воля!... А впрочемъ, что же я расторгвался съ вами? Нѣтъ — прошу не погнѣваться: рады или не рады, а прочесть должны; зачѣмъ же грамотѣ учились? И такъ, благословясь, къ дѣлу!

Вы, почтенные читатели, можетъ-быть ожидаете, что я, по похвальному обычаю нашихъ многоученныхъ и досужихъ аристарховъ, начну мое обзорѣніе съ начала всѣхъ началъ — съ яиць Леды — дабы показать вамъ, какое вліяніе имѣли на русскую литературу созданіе міра, грѣхопаденіе перваго человѣка, потомъ Греція, Римъ, великое переселеніе народовъ, Аттила, рыцарство, крестовые походы, изобрѣтеніе компаса, пороха, книгопечатанія, открытіе Америки, реформація, тридцатилѣтняя война и пр. и пр.? Вы, можетъ-быть, уже и не на шутку струхнули, ожидая, что я, безъ всякой вѣжливости, схвачу васъ за воротъ, потащу на парходъ Джонъ-Буль, и на немъ, какъ на волшебномъ коврь-самолетѣ, полечу прямо въ Индію, въ эту дивную родину человѣчества, въ эту чудную страну Гиммалаевъ, слоновъ, тигровъ, львовъ, удавовъ, обезьянъ, золота, камнейевъ и холеры; вы, можетъ-быть, думаете, что я изложу вамъ содержаніе Рамайяны и Махабгараты, разберу неподражаемыя красоты Саконталы, обнаружу передъ вами все богатство этой многосложной и роскошной мифологіи жрецовъ Магадевы и Шивы и распространюсь кстати о поразительномъ сходствѣ санскритскаго языка съ славянскимъ? Нѣтъ, милостивые государи, не обманывайте себя столь лестною надеждою: она не сбудется, и, кажется, на вашу же радость; ибо — признаюсь вамъ откровенно — священныя письмена Ведъ для меня сущая тарабарская грамота, а поэмъ и драмъ индійскихъ я не видывалъ даже и въ переводахъ. Не ожидайте также, чтобы съ береговъ священнаго Гангеса я повелъ васъ на цвѣтушіе берега Тигра и Евфрата, гдѣ младенецъ-человѣкъ разбилъ идоловъ и поклонился огню; не ждите, чтобы дерзкою рукою сталъ я срывать дѣв-

ственный покровъ съ таинствъ древнихъ Магомъ или жрецовъ Озириса и Изиды на берегахъ многоводнаго Нила; не думайте, чтобы я завелъ васъ мимоходомъ въ пустыни арабскія, чтобы на песчаномъ океанѣ, у журчащаго источника, подъ сѣнію широколиственной пальмы, объяснить вамъ седьмъ славныхъ Моаллакать. Правда, дорога въ эти страны мнѣ извѣстна не меньше всѣхъ нашихъ обозрѣвателей; но боюсь пускаться съ вами въ такую даль: жалко васъ—не равно устанете, или собьетесь съ пути. Не болѣе того услышите отъ меня о Греціи и ея изящной и богатой литературѣ; равнымъ образомъ пройду роковымъ молчаніемъ и вѣчный Римъ. Нѣтъ — не бойтесь! Не хочу — подражая нашимъ прошедшимъ, настоящимъ, а можетъ статься, и будущимъ обозрѣвателямъ, которые всегда начинаютъ на одинъ ладъ, съ ялицъ Леды, и оканчиваютъ ровно ничѣмъ, которые, наскучивъ своимъ долговременнымъ и скромнымъ молчаніемъ, принатуживъ свои умственные способности, однимъ разомъ высыпаютъ изъ своихъ головъ весь неистощимый запасъ своихъ огромныхъ и разнообразныхъ свѣдѣній и умѣщаютъ его на нѣсколькихъ страничкахъ пріятельскаго журнала или альманаха,—не хочу ворошить костями Гомеровъ и Виргиліевъ, Демосееновъ и Цицероновъ; и безъ меня довольно достается имъ, бѣдняжкамъ. Не только не стану наводить справокъ, съ какихъ родовъ начали писать или пѣть первобытные поэты, съ гимновъ или молитвъ; но даже не разыграю вамъ никакой прелюдіи о литературѣ среднихъ и новыхъ вѣковъ, а начну прямо съ русской. Это мало: не буду толковать даже и о блаженной памяти классицизмѣ и романтизмѣ: вѣчная имъ память!

Ну, рѣшите сами, любезные читатели! не чуждакъ ли я, да и только? Какъ, принять на себя важную должность обозрѣвателя и не воспользоваться такимъ прекраснымъ случаемъ выказать свою глубокую ученость, взятую на прокатъ изъ русскихъ журналовъ, выказать множество свѣтлыхъ,

рѣзкихъ, хотя уже и давн
горькая рѣдка, надоѣвшихъ
стуру, весь этотъ винегретъ
зукрасить его каламбурами и
слогомъ, хотя бы напережор
лостивые государи, вы удивл
рилъ вамъ: прочтите, авось и
хорошенько, а между тѣмъ
къ крайнему вашему огорчен
почему, о томъ читайте ниже

Во-первыхъ: потому, что н
отъ которой и самъ довольно

Во-вторыхъ: потому, что н
говорить свысока о томъ, чег
то очень сбивчиво и неопредѣл

Въ третьихъ: потому, что в
мѣстѣ, но къ русской литерат
нія, ни мало не относится: на
раздо проще.

Въ четвертыхъ: потому, что
правило бывшаго нашего крити
кодина Аристарховича Надоуми
черезъ лужу на челнокѣ, раскла
скую карту. Воля ваша, а я г
койникъ говорилъ правду. Было
уши отъ его невѣжливыхъ вых
геніевъ, а теперь всѣ жалѣють,
нутъ хорошенько нынѣшнихъ: н
свѣтъ! Впрочемъ, я это сказалъ
къ началу.

Французы называютъ литерату
это опредѣленіе не ново: оно давно
ведливо ли оно? Это другой воп
общество должно разумѣть избраніе

шихъ людей, или, короче сказать, большой свѣтъ, beau monde, тогда это опредѣленіе будетъ имѣть свое значеніе, свой смыслъ, и смыслъ глубокий, но только у однихъ Французовъ. Каждый народъ, сообразно съ своимъ характеромъ, происходящимъ отъ мѣстности, отъ единства или разнообразія элементовъ, изъ коихъ образовалась его жизнь, и историческихъ обстоятельствъ, при коихъ она развилась, играетъ въ великомъ семействѣ человѣческаго рода, свою особенную, назначенную ему провидѣніемъ роль, и вноситъ въ общую сокровищницу его успѣховъ на поприще самосовершенствованія свою долю, свой вкладъ; другими словами: каждый народъ выражаетъ собою одну какую-нибудь сторону жизни человѣчества. Такимъ образомъ, Нѣмцы завладѣли безпредѣльною областью умозрѣнія и анализа, Англичане отличаются практическою дѣятельностью, Италіяны художественнымъ направленіемъ. Нѣмецъ все подводитъ подъ общій взглядъ, все выводитъ изъ одного начала; Англичанинъ переплываетъ моря, прокладываетъ дороги, проводитъ каналы, торгуетъ со всѣмъ свѣтомъ, заводитъ колоніи и во всемъ опирается на опытъ, на расчетъ; жизнь Италіянца прежнихъ временъ была любовь и творчество, творчество и любовь. Направленіе Французовъ есть жизнь, жизнь практическая, кипучая, беспокойная, вѣчно движущаяся. Нѣмецъ творитъ мысль, отрываетъ новую истину; Французъ ею пользуется, проживаетъ, издерживаетъ ее, такъ сказать. Нѣмцы обогащаютъ человѣчество идеями, Англичане изобрѣтеніями, служащими къ удобствамъ жизни; Французы даютъ намъ законы моды, предписываютъ правила обхожденія, вѣжливости, хорошаго тона. Словомъ: жизнь Француза есть жизнь общественная, паркетная; паркетъ есть его поприще, на которомъ онъ блистаетъ блескомъ своего ума, познаній, талантовъ, остроумія, образованности. Для Французовъ балъ, собраніе — то же, что для Грековъ была площадь или игры Олимпійскія: это битва, турниръ,

гдѣ, вѣсто оружія, сражаются умомъ, острою, образованностію, просвѣщеніемъ, гдѣ честолюбіе отражается честолюбіемъ, гдѣ много ломается копій, много выигрывается и проигрывается побѣдъ. Вотъ отчего ни одинъ народъ не можетъ сравняться съ Французами въ этой обходительности, въ этой изящной ловкости и любезности, для выраженія которыхъ словами, опять таки, способенъ только одинъ французскій языкъ; вотъ отчего всѣ усилія европейскихъ народовъ сравняться въ семъ отношеніи съ Французами всегда оставались тщетными; вотъ отчего всѣ другія общества всегда были, суть и будутъ смѣшными карикатурами, жалкими пародіями, злыми эпитафиями на французское общество; вотъ почему, говорю я, это опредѣленіе словесности, вслѣдствіе котораго она должна быть выраженіемъ общества, такъ глубоко и вѣрно у Французовъ. Ихъ литература всегда была вѣрнымъ отраженіемъ, зеркаломъ общества, всегда шла съ нимъ рука объ руку, забывая о массѣ народа, ибо ихъ общество есть высочайшее проявленіе ихъ народнаго духа, ихъ народной жизни. Для писателей французскихъ общество есть школа, въ которой они учатся языку, заимствуютъ образъ мыслей и которое они изображаютъ въ своихъ твореніяхъ. Совсѣмъ не такъ у другихъ народовъ. Въ Германіи, напримѣръ, не тотъ ученъ, кто богатъ или вхожъ въ лучшіе дома и блистательнѣйшія общества; напротивъ, геній Германіи любитъ чердаки бѣдняковъ, скромные углы студентовъ, убогія жилища пасторовъ. Тамъ все пишетъ или читаетъ, тамъ публика считается милліонами, а писатели тысячами; словомъ: тамъ литература есть выраженіе не общества, но народа. Такимъ же образомъ, хотя и не вслѣдствіе такихъ же причинъ, литературы и другихъ народовъ не суть выраженіе общества, но выраженіе духа народнаго; ибо нѣтъ ни одного народа, жизнь котораго преимущественно проявлялась бы въ обществѣ, и можно сказать утвердительно, что Франція составляетъ въ

семь случаев единственное исключение. И такъ литература непременно должна быть выраженіемъ—символомъ внутренней жизни народа. Впрочемъ, это совѣтъ не есть ея опредѣленіе, но одно изъ необходимѣйшихъ ея принадлежностей и условій. Прежде, нежели я буду говорить о Россіи въ семь отношеній, считаю необходимымъ изложить здѣсь мои понятія объ искусствѣ вообще. Я хочу, чтобы читатели видѣли, съ какой точки зрѣнія смотрю я на предметъ, о которомъ вызвался судить, и вслѣдствіе какихъ причинъ я понимаю то или другое такъ, а не этакъ.

Весь безпредѣльный, прекрасный Божій міръ есть не что иное, какъ дыханіе единой, вѣчной идеи (мысли единого, вѣчнаго Бога), проявляющейся въ безчисленныхъ формахъ, какъ великое зрѣлище абсолютнаго единства въ безконечномъ разнообразіи. Только пламенное чувство смертнаго можетъ постигать, въ свои свѣтлыя мгновенія, какъ велико тѣло этой души вселенной, сердце котораго составляютъ громады солнца, жилы — пути млечные, а кровь — чистый эфиръ. Для этой идеи нѣтъ покоя: она живетъ безпрестанно, то есть безпрестанно творить, чтобы разрушать и разрушается, чтобы творить. Она воплощается въ блестящее солнце, въ великолѣпную планету, въ блудящую комету; она живетъ и дышитъ — и въ бурныхъ приливахъ и отливахъ морей, и въ свирѣломъ ураганѣ пустынь, и въ шестѣ листьевъ, и въ журчаньи ручья, и въ рыканіи льва, и въ слезѣ младенца, и въ улыбкѣ красоты, и въ волѣ человека, и въ стройныхъ созданіяхъ генія... Кружится колесо времени съ быстротою непостижимой, въ безбрежныхъ равнинахъ неба потухаютъ свѣтила, какъ истощившіеся волканы, и зажигаются новыя; на землѣ проходятъ роды и поколѣнія и замѣняются новыми, смерть истребляетъ жизнь, жизнь уничтожаетъ смерть; силы природы борются, враждуютъ и умиротворяются силами посредствующими, и гармонія царствуетъ въ этомъ вѣчномъ броженіи,

въ этой борьбѣ началъ и веществъ. Тагъ — идея живетъ: мы ясно видимъ это нашими слабыми глазами. Она мудра, ибо все предвидитъ, все держитъ въ равновѣсїи; за наводненіемъ и за лавою ниспосылаетъ плодородіе, за опустошительною грозою чистоту и свѣжесть воздуха, въ пустыняхъ песчаной Аравїи и Африки поселила верблюда и страуса, въ пустыняхъ ледянаго Сѣвера поселила оленя. Вотъ ея мудрость, вотъ ея жизнь физическая: гдѣ же ея любовь? Богъ создалъ человѣка и далъ ему умъ и чувство, да постигаетъ сїю идею своимъ умомъ и знаніемъ, да приобщается къ ея жизни въ живомъ и горячемъ сочувствїи, да раздѣляетъ ея жизнь въ чувствѣ безконечной жнздущей любви! И такъ она не только мудра, но и любяща! Гордись, гордись человѣкъ своимъ высокимъ назначеніемъ; но не забывай, что божественная идея, тебя родившая, справедлива и правосудна, что она дала тебѣ умъ и волю, которые ставятъ тебя выше всего творенїя, что она въ тебѣ живетъ, а жизнь есть дѣйствованіе, а дѣйствованіе есть борьба; не забывай, что твое безконечное, высочайшее блаженство состоитъ въ уничтоженїи твоего я въ чувствѣ любви. И такъ вотъ тебѣ двѣ дороги, два неизбежные пути: отрекись отъ себя, подави свой эгоизмъ, попри ногами твое своекорыстное я, дыши для счастья другихъ, жертвуй всѣмъ для блага ближняго, родины, для пользы человѣчества, люби истину и благо не для награды, но для истины и блага, и тяжкимъ крестомъ выстрадай твое соединеніе съ Богомъ, твое безсмертіе, которое должно стоять въ уничтоженїи твоего я, въ чувствѣ безпредѣльнаго блаженства!... Что? Ты не рѣшаешься? Этотъ подвигъ тебя страшитъ, кажется тебѣ не по силамъ?... Ну, такъ вотъ тебѣ другой путь, онъ шире, спокойнѣе, легче: люби самого себя больше всего на свѣтѣ; плачь, дѣлай добро лишь изъ выгоды, не бойся зла, когда оно приноситъ тебѣ пользу. Помни это правило: съ нимъ тебѣ вездѣ будетъ тепло! Если ты рожденъ сильнымъ

земли, гни твой хребетъ, ползи змѣею между тиграми, бросайся тигромъ между овцами, губи, угнетай, пей кровь и слезы, чело обремени лавровыми вѣнцами, рамена согни подъ грузомъ незаслуженныхъ почестей и титлъ. Весела и блестяща будетъ жизнь твоя; ты не узнаешь, что такое холодъ или голодъ, что такое угнетеніе или оскорбленіе, все будетъ трепетать тебя, вездѣ покорность и услужливость, отвсюду лесть и хваленія, и поэтъ напишетъ тебѣ посланіе и оду, гдѣ сравнитъ тебя съ полубогами, и журналистъ прокричитъ во всеуслышаніе, что ты покровитель слабыхъ и сирыхъ, столпъ и опора отечества, правая рука государя! Какая тебѣ нужда, что въ душѣ твоей каждую минуту будетъ разыгрываться ужасная, кровавая драма, что ты будешь въ безпрестанномъ раздорѣ съ самимъ собою, что въ душѣ твоей будетъ слишкомъ жарко, а въ сердцѣ слишкомъ холодно, что вопли угнетенныхъ тобою будутъ преслѣдовать тебя и на свѣтломъ пиру и на мягкомъ ложѣ сна, что тѣни пугубленныхъ тобою окружатъ твой болѣзненный одръ, составятъ около него адскую пляску и съ яростнымъ хохотомъ будутъ веселиться твоими послѣдними, предсмертными страданіями, что передъ твоими взорами откроется ужасная картина нравственнаго уничтоженія за гробомъ, мукъ вѣчныхъ!... Э, любезный мой, ты правъ: жизнь сонъ, и не увидишь, какъ пройдетъ! За то весело поживешь, сладко поѣшь, мягко поспишь, повластвуешь надъ своими ближними, а вѣдь это чего-нибудь да стоить!— Если же, при твоёмъ рожденіи, природа возложила на твое чело печать генія, дала тебѣ вѣщія уста пророка и сладкій голосъ поэта, если міродержавныя судьбы обрекли тебя быть двигателемъ человѣчества, апостоломъ истины и знанія, вотъ опять передъ тобою два неизбѣжные пути. Сочувствуй природѣ, люби и изучай ее, твори безкорыстно, трудись безвозмездно, отверзай души ближнихъ для впечатлѣній благаго и истиннаго, изобличай пороки и невѣ-

жество, терпи гоненія злыхъ, ѣшь хлѣбъ, смоченный слезами, и не своди задумчиваго взора съ прекраснаго, роднаго тебѣ неба. Трудно? тяжело?... Ну такъ торгуй твоимъ божественнымъ даромъ, положи цѣну на каждое вѣщее слово, которое ниспосылаетъ тебѣ Богъ въ святія минуты вдохновенія: покупщики найдутся, будутъ платить тебѣ щедро, а ты лишь умѣй кадить кадиломъ лести, умѣй склонять во прахъ твое вѣнчанное чело, забудь о славѣ, о безсмертіи, о потомствѣ, довольствуйся тѣмъ, если услужливая рука торговца-журналиста провозгласитъ о тебѣ, что ты великій поэтъ, гений, Байронъ, Гёте!...

Вотъ нравственная жизнь вѣчной идеи. Проявленіе ея— борьба между добромъ и зломъ, любовью и эгоизмомъ, какъ въ жизни физической противоборство силы сжимающей и расширяющей. Безъ борьбы нѣтъ заслуги, безъ заслуги нѣтъ награды, а безъ дѣйствованія нѣтъ жизни! Что представляютъ собою индивидуумы, то же представляетъ чело-вѣчество: оно борется ежеминутно и ежеминутно улучшается. Потоки варваровъ, нахлынувшихъ изъ Азіи въ Европу, вмѣсто того чтобы подавить жизнь, воскресили ее, обновили дряхлѣющій міръ; изъ гнилаго трупа Римской Имперіи возникли мощные народы, сдѣлавшіеся сосудомъ благодати... Что означаютъ походы Александровъ, беспокойная дѣятельность Цезарей, Карловъ? Движеніе вѣчной идеи, которой жизнь состоитъ въ непрерывной дѣятельности...

Какое же назначеніе и какая цѣль искусства?... Изображать, воспроизводить въ словѣ, звукѣ, въ чертахъ и краскахъ идею всеобщей жизни природы: вотъ единая и вѣчная тема искусства! Поэтическое одушевленіе есть отблескъ творящей силы природы. Посему поэтъ болѣе, нежели кто-либо другой, долженъ изучать природу физическую и духовную, любить ее и сочувствовать ей; болѣе, нежели кто-либо другой, долженъ быть чистъ и дѣвственъ душою, ибо въ ея святилище можно входить только съ ногами обнаженными,

шь хлѣбъ, смоченный слезами
взора съ прекраснаго, роднаго
.. Ну такъ торгуй твоими
вну на каждое вѣщее слово,
въ святыхъ минуты вдох-
нуть платить тебѣ щедро,
омъ лести, умѣй склонять
абудь о славѣ, о безсмер-
тѣ, если услужливая
наситъ о тебѣ, что ты ве-
....

ой идеѣ. Проявленіе ея—
любовію и эгоизмомъ, какъ
твои силы сжимательной и
тѣ заслуги, безъ заслуги
я нѣтъ жизни! Чтѣ пред-
о же представляетъ чело-
но и ежеминутно улуч-
ывшихъ изъ Азіи въ
тѣ жизнь, воскресили ее,
млаго трупа Римской Им-
лавшіеся сосудомъ благо-
лександровъ, безпокойная
Движеніе вѣчной идеѣ,
рывной дѣятельности...

ль искусства?... Изобра-
вукѣ, въ чертахъ и кра-
цы: вотъ единая и вѣчная
леніе есть отблескъ тво-
болѣе, нежели кто-либо
физическую и духовную,
е, нежели кто-либо дру-
венъ душою, ибо въ ея
съ ногами обнаженными,

съ руками омовенными, съ умомъ мужа и сердцемъ мла-
денца; ибо только сіи наследуютъ царствіе небесное, ибо
только въ гармоніи ума и чувства заключается высочайшее
совершенство человѣка!... Чѣмъ выше гений поэта, тѣмъ
глубже и обширнѣе обнимаетъ онъ природу и тѣмъ съ
большимъ успѣхомъ представляетъ намъ ее въ ея высшей
связи и жизни. Если Байронъ взвѣсилъ ужасъ и страданье,
если онъ постигъ и выразилъ только муки сердца, адъ
души, это значить, что онъ постигъ только одну сторону
бытія вселенной, что онъ вырвалъ и показалъ намъ только
одну страницу онаго. Шиллеръ передалъ намъ тайны неба,
показалъ одно прекрасное жизни, такъ какъ онъ понималъ
его самъ, пропѣлъ намъ только свои заветныя думы и меч-
танія; злое жизни у него или невѣрно или искажено пре-
увеличеніемъ; Шиллеръ въ семъ отношеніи равенъ Бай-
рону. Но Шекспиръ, божественный, великій, недости-
жимый Шекспиръ постигъ и адъ и землю и небо: царь
природы, онъ взялъ равную дань и съ добра и съ зла; и
подсмотрѣлъ въ своемъ вдохновенномъ изсѣдѣніи бѣненіе
пульса вселенной! Каждая его драма есть міръ въ мини-
атюрѣ; у него пѣтъ, какъ у Шиллера, любимыхъ идей, лю-
бимыхъ героевъ. Посмотрите, какъ безчеловѣчно смѣется
онъ надъ этимъ бѣднымъ Гамлетомъ, съ замысломъ ги-
ганта и волею ребенка, который на каждомъ шагу падаетъ
подъ тяжестью подвига, предпринятаго не по силамъ!... Спро-
сите у Шекспира, спросите у этого царя чародѣевъ: для
чего онъ сдѣлалъ изъ Лира слабого, полуумнаго стари-
чишку, а не идеальнаго отца, какъ Дюсисъ или Гиб-
дичъ; для чего онъ представилъ въ Макбетѣ человѣка, сдѣлав-
шагося злодѣемъ по слабости характера, а не по влеченію
ко злу, а въ леди Макбетъ злодѣйку по чувству; для чего
онъ сдѣлалъ изъ Корделии нѣжную любящую дочь, съ мяг-
кимъ женскимъ сердцемъ, а на ея сестеръ наслалъ фури
зависти, честолюбія и неблагодарности? Онъ сказалъ бы

вамъ въ отвѣтъ, что такъ бываетъ въ мірѣ, что иначе быть не можетъ! — Да! это безпристрастіе, эта холодность поэта, который какъ будто говорить вамъ: такъ было, а впрочемъ мнѣ какое дѣло! есть высочайшій зенитъ художественнаго совершенства, есть истинное творчество, есть удѣлъ не многихъ избранныхъ, о коихъ говорятъ:

Съ природой одною онъ живнью дышалъ:
Ручья разумѣлъ лепетанье,
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,
И чувствовалъ травъ прозябанье,
Была ему звѣздная книга ясна,
И съ нимъ говорила волна.

Въ самомъ дѣлѣ, развѣ вы можете назвать то или другое явленіе прекраснымъ, а это безобразнымъ безъ отношеній?... Развѣ не одинъ и тотъ же духъ Божій создалъ кроткаго агнца и кровожаднаго тигра, статную лошадь и безобразнаго кита, красавицу-Черкешенку и урода Негра? Развѣ онъ больше любитъ голубя, чѣмъ ястреба, соловья, чѣмъ лягушку, газель, чѣмъ удава? Для чего же поэтъ долженъ изображать вамъ одно прекрасное, одно умиляющее душу и сердце? Если Ганъ Исландецъ можетъ существовать въ природѣ, то я, право, не понимаю, чѣмъ онъ хуже какого-нибудь Карла Моора, или даже маркиза Позы? Я люблю Карла Моора, какъ человѣка, обожаю Позу, какъ героя, и ненавижу Гана Исландца, какъ чудовище; но какъ созданія фантазіи, какъ частныя явленія общей жизни, они для меня всѣ равно прекрасны. Если поэтъ изображаетъ вамъ, подобно какому-нибудь Сю, одно ужасное, одно злое природы, это доказываетъ, что кругозоръ его ума тѣсенъ, что его творческій геній ограниченъ, а ничуть не обнаруживаетъ въ немъ дурнаго, безнравственнаго человѣка. Вотъ, когда онъ своими сочиненіями старается заставить васъ смотрѣть на жизнь съ его точки зрѣнія, въ такомъ случаѣ онъ уже и не поэтъ, а мыслитель, и мыслитель дурной, злонамѣ-

иваетъ въ мірѣ, что иначе
эпристрастіе, эта холодность
оворить вамъ: такъ было, а
гь высочайшій зенитъ худо-
ь истинное творчество, есть
о коихъ говорить:

живнью дышалъ:
лепетанье,
истовъ понималъ,
авъ прозябанье,
а ясна,
ина.

жете назвать то или другое
разнымъ безъ отношеній?...
хъ Божій создалъ кроткаго
гатуую лошадь и безобраз-
гу и уroda Негра? Развѣ
гъ ястреба, соловья, чѣмъ
ия чего же поэтъ долженъ
ь, одно умиляющее душу и
етъ существовать въ при-
чѣмъ онъ хуже какого-ни-
иза Поэты? Я люблю Карла
озу, какъ героя, и нена-
це; но какъ созданія фан-
і жизни, они для меня всѣ
ображаетъ вамъ, подобно
одно злое природы, это
ма тѣсенъ, что его твор-
ь не обнаруживаетъ въ
ловѣка. Вотъ, когда онъ
тавить васъ смотрѣть на
такомъ случаѣ онъ уже
читель дурной, злонамѣ-

ренный, достойный проклятія, ибо поэзія не имѣетъ цѣли
внѣ себя. Долоѣ поэтъ слѣдуетъ безотчетно мгновенной
вспышкѣ своего воображенія, дотолѣ онъ нравственъ, до-
толѣ онъ и поэтъ; но какъ скоро онъ предположилъ себѣ
цѣль, задалъ тему, онъ уже философъ, мыслитель, мора-
листъ, онъ теряетъ надо мной свою чародѣйскую власть,
разрушаетъ очарованіе и заставляетъ меня сожалѣть о себѣ,
если, при истинномъ талантѣ, имѣетъ похвальную цѣль, и
презирать себя, если силится опутать мою душу тенетами
вредныхъ мыслей. Вамъ нравится ода «Богъ» Державина?
Но этотъ же Державинъ написалъ «Мельника». Вы осуж-
даете Пушкина за многія вольности въ «Русланъ и Люд-
милъ»? Но этотъ же Пушкинъ создалъ вамъ «Бориса Го-
дунова». Отчего же такіа противорѣчія въ ихъ художе-
ственномъ направленіи? Оттого, что они хорошо помнятъ
правило:

Теперь гонись за жизнью дивной,
И каждый мигъ въ ней воскрешай,
На каждый звукъ ея отзывный
Отзывной пѣсью отзывай!

Да — искусство есть выраженіе великой идеи вселенной въ
ея безконечно-разнообразныхъ явленіяхъ! Прекрасно было
гдѣ-то сказано, что повѣсть есть краткій эпизодъ изъ без-
конечной поэмы судебъ человѣческихъ! Подъ это опредѣ-
леніе повѣсти подходятъ всѣ роды художественныхъ соз-
даній. Все искусство поэта должно состоять въ томъ, чтобы
поставить читателя на такую точку зрѣнія, съ которой бы
ему видна была вся природа въ сокращеніи, въ миниатюрѣ,
какъ земной шаръ на ландкартѣ, чтобы дать ему почув-
ствовать вѣяніе, дыханіе этой жизни, которая одушевляетъ
вселенную, сообщить его душѣ этотъ огонь, который согрѣ-
ваетъ ее. Наслажденіе же изящнымъ должно состоять въ
минутномъ забвеніи нашего я, въ живомъ сочувствіи съ
общей жизнію природы; и поэтъ всегда достигнетъ этой

прекрасной цѣли, если его произведеніе есть плодъ возвышеннаго ума и горячаго чувства, если оно свободно и безотчетно вылилось изъ его души...

Ахъ! если рождены мы все перенимать,
Хоть у Китайцевъ бы намъ нѣсколько занять
Премудраго у нихъ незнанья иноземцевъ!
Воскреснемъ ли когда отъ чужезастья модъ,
Чтобъ умный, добрый нашъ народъ
Хотя по языку насъ не считалъ за Намцевъ!

Горю отъ ума.

И такъ теперь должно рѣшить слѣдующій вопросъ: что такое наша литература: выраженіе общества, или выраженіе духа народа? Рѣшеніе этого вопроса будетъ исторіею нашей литературы и вмѣстѣ исторіею постепеннаго хода нашего общества со временъ Петра Великаго. Вѣрный моему слову, я не буду говорить, съ чего начинались литературы всѣхъ народовъ и какъ онѣ развивались, ибо это должно быть общимъ мѣстомъ для всякаго читающаго человѣка.

Каждый народъ, вслѣдствіе непреложнаго закона providѣнія, долженъ выражать своею жизнію одну какую-нибудь сторону жизни цѣлаго человѣчества; въ противномъ случаѣ, этотъ народъ не живетъ, а только прозябаетъ, и его существованіе ни къ чему не служитъ. Односторонность вредна для всякаго человѣка въ частности, вредна для всего человѣчества. Когда весь міръ сдѣлался Римомъ, когда всѣ народы начали мыслить и чувствовать по-Римски, тогда прервался ходъ человѣческаго ума, ибо для него уже не стало болѣе цѣли, ибо ему казалось, что онъ уже дошелъ до геркулесовскихъ столбовъ своего поприща. Утомленный властелинъ міра опочилъ на своихъ лаврахъ; жизнь его

кончилась, ибо кончилась его дѣятельность, стремленіе къ которой появлялось у него только въ однихъ безпутныхъ оргіяхъ. Онъ сдѣлалъ ужасную ошибку, думая, что вѣтъ Рима, наслѣдовавшаго, по праву завоеванія, сокровища греческаго образованія, вѣтъ міра, вѣтъ свѣта, вѣтъ просвѣщенія! Бѣдственное заблужденіе! Оно было одною изъ важнѣйшихъ причинъ нравственной смерти сего великаго колосса. Для обновленія человѣчества надобно было, чтобы этотъ хаосъ смерти и тлѣнія огласился благодатнымъ словомъ Сына человѣческаго: *«Приидите ко мнѣ вси труждающіеся и обремененніи, и азъ упокою вы!»* Надобно было, чтобы толпы варваровъ разрушили это колоссальное могущество, размежевали его своимъ мечемъ на множество могуществъ, приняли Слово и пошли каждый своимъ особеннымъ путемъ къ единой цѣли.

Да—только идя по разнымъ дорогамъ, человѣчество можетъ достигнуть своей единой цѣли; только живя самобытною жизнію, можетъ каждый народъ принести свою долю въ общую сокровищницу. Въ чемъ же состоятъ эта самобытность каждого народа? Въ особенномъ, одному ему принадлежащемъ образѣ мыслей и взглядѣ на предметы; въ религіи, языкѣ, и болѣе всего въ обычаяхъ. Всѣ эти обстоятельства чрезвычайно важны, тѣсно соединены между собою и условливаютъ другъ друга, и всѣ проистекаютъ изъ одного общаго источника — причины всѣхъ причинъ — климата и мѣстности. Между этими отличіями каждого народа обычаи играютъ едва ли не самую важную роль, составляютъ едва ли не самую характеристическую черту оныхъ. Невозможно представить себѣ народа безъ религіозныхъ понятій, облеченныхъ въ формы богослуженія; невозможно представить себѣ народа, не имѣющаго одного, общаго для всѣхъ сословіи языка; но еще менѣе возможно представить себѣ народъ, не имѣющій особенныхъ, одному ему свойственныхъ обычаевъ. Эти обычаи состоятъ въ

образъ одежды, прототипъ которой находится въ климатъ страны, въ формахъ домашней и общественной жизни, причина коихъ скрывается въ вѣрованіяхъ, повѣрьяхъ и понятіяхъ народа, въ формахъ обращенія между недѣлимыми государства, отѣнки которыхъ происходятъ отъ гражданскихъ постановленій и различія сословій. Всѣ эти обычаи укрѣпляются давностію, освящаются временемъ и переходятъ изъ рода въ родъ, отъ поколѣнія къ поколѣнію, какъ наслѣдіе потомковъ отъ предковъ. Они составляютъ физиономію народа, и безъ нихъ народъ есть образъ безъ лица, мечта небывалая и несбыточная. Чѣмъ младенченственнѣе народъ, тѣмъ рѣзче и цвѣтнѣе его обычаи, тѣмъ большую полагаетъ онъ въ нихъ важность; время и просвѣщеніе подводятъ ихъ подъ общій уровень; но они могутъ измѣняться не иначе, какъ тихо, незамѣтно, и притомъ одинъ по одному. Надобно, чтобы самъ народъ добровольно отказывался отъ нѣкоторыхъ изъ нихъ и принималъ новые; но и тутъ своя борьба, свои битвы на смерть, свои старовѣры и раскольники, классики и романтики. Народъ крѣпко дорожитъ обычаями, какъ своимъ священнѣйшимъ достояніемъ, и посягательство на внезапную и рѣшительную реформу оныхъ безъ своего согласія почитаетъ посягательствомъ на свое бытіе. Посмотрите на Китай: тамъ масса народа исповѣдуетъ нѣсколько различныхъ вѣръ; высшее сословіе, мандарины, не знаютъ никакой, и только изъ приличія исполняютъ религіозные обряды; но какое у нихъ единство и общность обычаевъ, какая самостоятельность, особность и характерность! какъ упорно они ихъ держатся! Да, обычаи — дѣло святое, неприкосновенное и неподлежащее никакой власти, кромѣ силы обстоятельствъ и успѣховъ въ просвѣщеніи! Человѣкъ самый развратный, закоренѣлый въ порокахъ, смѣющийся надъ всѣмъ святымъ, покоряется обычаямъ, даже внутренно смѣясь надъ ними. Разрушьте ихъ внезапно, не замѣнивъ тотчасъ же новыми, и вы разрушите всѣ опо-

ры, разорвете всѣ связи общества, словомъ, уничтожите народъ. По чему это такъ? По тому же самому, по чему рыба привольно въ водѣ, птица въ воздухѣ, звѣрю на землѣ, гадина въ болотѣ. Народъ, насильственно введенный въ чуждую ему сферу, похожъ на связаннаго чело-вѣка, котораго бичемъ понуждаютъ къ бѣгу. Всякій на-родъ можетъ перенимать у другаго, но онъ необходимо на-лагаетъ печать собственнаго генія на эти займы, которые у него принимаютъ характеръ подражаній. Въ этомъ-то стремленіи къ самостоятельности и оригинальности, прояв-ляющемся въ любви къ роднымъ обычаямъ, заключается причина взаимной ненависти у народовъ младенчеству-щихъ. Вслѣдствіе сей-то причины Русскій называлъ бывало Нѣмца нехристью, а Турокъ еще и теперь почитаетъ пога-нымъ всякаго Франка и не хочетъ ѣсть съ нимъ изъ одного блюда: религія въ семъ случаѣ играетъ не исключительно главную роль.

На востокѣ Европы, на рубежѣ двухъ частей міра, про-видѣніе поселило народъ, рѣзко отличающійся отъ своихъ западныхъ сосѣдей. Его колыбелью былъ свѣтлый Югъ; мечъ Азіатца-Русса далъ ему имя; издыхающая Византія завѣщала ему благодатное Слово спасенія; оковы Татарина связали крѣпкими узами его разъединенныя части, рука Хановъ спаяла ихъ его же кровію; Іоаннъ III научилъ его бояться, любить и слушаться своего царя, заставилъ его смотрѣть на царя, какъ на провидѣніе, какъ на верховную судьбу, карающую и милующую по единой своей волѣ и признающую надъ собою единую Божію волю. И этотъ на-родъ сталъ хладенъ и спокоенъ, какъ снѣга его родины, когда мирно жилъ въ своей хижинѣ; быстръ и грозенъ, какъ небесный громъ его краткаго, но палящаго лѣта, когда рука царя показывала ему врага; удалъ и разгуленъ, какъ вьюги и непогоды его зимы, когда пировалъ на своей волѣ; неповоротливъ и лѣнивъ, какъ медвѣдь его непроходимыхъ

дебрей, когда у него было много смѣлнѣе и лукавѣе, какъ копъ когда нужда учила его ѣсть кала церкви Божію, за вѣру праотцевъ батюшкѣ царю православно была: «мы всѣ Божіе да царева жія и воля царева, слились въ е хранилъ онъ простые и грубые чистаго сердца почиталъ инозем наводженіемъ. Но этимъ и огра жизни, ибо умъ его былъ погру никогда не выступалъ изъ своихъ онъ не преклонялъ колѣнъ передъ дая и дикая сила требовала отъ а не сладкой взаимности; ибо бы ибо только буйныя игры и удачъ быть; ибо только одна война хладной, желѣзной души, ибо тѣ дольѣ битвѣ она бушевала и весе. Это была жизнь самобытная и ханная и изолированная. Въ то время пучая жизнь старѣйшихъ представлялась впередъ съ пестротой нимъ колесомъ не зацѣплялись за этому народу надобно было приобщенію человечества, составить часть вечнаго рода. И вотъ у этого на и великій, кроткій безъ слабости, онъ первый замѣтилъ, что нѣмечто у нихъ есть много такого, ч подданнымъ, есть много такого, къ чему не годится. И вотъ онъ и мецкихъ и прикармливать ихъ своимъ своимъ людямъ перенимать

домештва. Онъ построилъ ботикъ и хотѣлъ пуститься въ море, доселѣ для его народа страшное и невѣдомое; онъ приказалъ заморскимъ комедіантамъ тѣшить свое царское величество, крѣпко на крѣпко заказавъ между тѣмъ православному русскому человѣку, подъ опасеніемъ лишенія носа, нюхать табакъ, траву поганую и проклятую. Можно сказать, что въ его время Русь впервые почувала у себя заморскій духъ, котораго дотолѣ было видно не видать, слыхомъ не слыхать. И вотъ умеръ этотъ добрый царь, а на престолъ взошелъ юный сынъ его, который, подобно богатырямъ Владимировыхъ временъ, еще въ дѣтствѣ бросалъ за облака стопудовыя палицы, гнулъ ихъ руками, ломалъ ихъ о колъни. Это была олицетворенная мощь, олицетворенный идеалъ русскаго народа въ дѣятельныя мгновенія его жизни; это былъ одинъ изъ тѣхъ исполиновъ, которые поднимали на рамена свои шаръ земной. Для его желѣзной воли, не знавшей препонъ, была только одна цѣль — благо народа. Задумалъ онъ думу крѣпкую, а задумать для него значило — исполнить. Увидѣлъ чудеса и дива заморскія, и захотѣлъ пересадить ихъ на родную почву, не думая о томъ, что эта почва была слишкомъ еще жестка для иноземныхъ растений, что не по нимъ была и зима русская; увидѣлъ онъ вѣковые плоды просвѣщенія, и захотѣлъ въ одну минуту присвоить ихъ своему народу.

Подумано — сказано, сказано — сдѣлано: Русскій не любитъ ждать. Ну — русскій человѣкъ, снаряжайся «по царскому наказу, боярскому приказу, по нѣмецкому маниру»... Прочь достопочтенныя овладистыя бороды! прости и ты, простая и благородная стрижка волосъ въ кружало, ты, которая такъ хорошо шла къ этимъ почтеннымъ бородамъ! Тебя замѣнили огромные парики, осыпанные мукрю! Простите долгополые охабни нашихъ бояръ, выложенные, обшитые серебромъ и золотомъ! Васъ замѣнили кафтаны и камзолы со штанами и ботфортами! Прости и ты, прекрас-

ный поэтический сарафанъ нашихъ боярынь и боярышень, и ты, кисейная рубашка съ пышными рукавами, и ты, высокий, унизанный жемчугомъ повойникъ—простой чародѣйскій нарядъ, который такъ хорошо шелъ къ высокимъ грудямъ и яркому румянцу нашихъ бѣлолицыхъ и голубоокихъ красавицъ! Тебя замѣнили робы съ фижками, роброндами и длинными, предлинными хвостами! Бѣлила и румяна, потѣситесь немножко, дайте мѣсто чернымъ мушкамъ! Простите и вы, заунывные русскія пѣсни, и ты, благородная и граціозная пляска: не ворковать ужъ нашимъ красавицамъ—голубкамъ, не заливаться соловьемъ, не плавать по полу павами! Нѣтъ! Пошли аріи и романсы съ выводомъ верхнихъ нотокъ:

... Богъ мой!

Приди въ чертогъ ко мнѣ златой!

пошла живописная лодка въ минуэтахъ, сладострастное круженіе въ вальсахъ...

И все завертѣлось, все закружилось, все помчалось стремглавъ. Казалось, что Русь въ тридцать лѣтъ хотѣла вознаградить себя за цѣлыя столѣтія неподвижности. Будто по манію волшебнаго жезла, маленкій ботикъ царя Алексѣя превратился въ грозный флотъ императора Петра, непокорныя дружины стрѣльцовъ—въ стройные полки. На стѣнахъ Азова была брошена перчатка Портѣ: горе тебѣ, луна двурогая! На поляхъ Лѣснаго и берегахъ Ворсклы былъ жестоко отомщенъ позоръ нарыской битвы: спасибо Меншикову, спасибо Данилычу! Каналы и дороги начали прорѣзывать дѣвственную почву земли русской: зашевелилась торговля; застучали молоты, захлопали станы; зашевелилась промышленность!

Да—много было сдѣлано великаго, полезнаго и славнаго! Петръ былъ совершенно правъ; ему некогда было ждать. Онъ зналъ, что ему не два вѣка жить, и потому спѣшилъ

жить, а жить для него значило творить. Но народъ смотрѣлъ иначе. Долго онъ спалъ, и вдругъ могучая рука прервала его богатѣйшій сонъ: съ трудомъ раскрылъ онъ свои отяжелѣвшія вѣжды и съ удивленіемъ увидѣлъ, что къ нему ворвались чужеземные обычаи, какъ незваные гости, не снявши сапогъ, не помолясь святымъ иконамъ, не поклонившись хозяину; что они вцѣпились ему въ бороду, которая была для него дороже головы, и вырвали ее; сорвали съ него величественную одежду и надѣли шутовскую, исказили и испестрили его дѣвственный языкъ, и нагло наругались надъ святыми обычаями его праотцевъ, надъ его задушевными вѣрованіями и привычками; увидѣлъ — и ужаснулся... Неловко, непривычно и неподручно было русскому человѣку ходить, залажа руки въ карманы: онъ спотыкался, подходя къ ручкамъ дамъ, падалъ, стараясь хорошенько расшаркнуться. Занявъ формы европеизма, онъ сдѣлался только пародіею Европейца. Просвѣщеніе, подобно заветному слову искупленія, должно приниматься съ благодарною постепенностью, по сердечному убѣжденію, безъ оскорбленія святыхъ праотеческихъ нравовъ: таковъ законъ провидѣнія!... Повѣрьте, что русскій народъ никогда не былъ заклятымъ врагомъ просвѣщенія, онъ всегда готовъ былъ учиться; только ему нужно было начать свое ученіе съ азбуки, а не съ философій, съ училища, а не съ академій. Борода не мѣшала считать звѣзды: это извѣстно въ Курскѣ!

Какое же слѣдствіе вышло изъ всего этого? Масса народа упорно осталась тѣмъ, чѣмъ и была; но общество пошло по пути, на который ринула его мощная рука генія. Что-жъ это за общество! Я не хочу вамъ много говорить объ немъ: прочтите Недоросля, Горе отъ ума, Евгенія Онегина, Дворянскіе Выборы и новый романъ Лажечникова, когда онъ выйдетъ; прочтите, и вы узнаете его сами лучше меня...

Такъ, по крайней мѣрѣ, давайте-же памъ ваше обозрѣніе русской литературы, которое вы сулите въ каждомъ ну-

меръ «Молвы», и котораго мы еще по сію пору не видали! Судя по такимъ огромнымъ приступамъ, мы страхъ боимся, чтобы оно не было длиннѣе и скучнѣе «Фантастическаго Путешествія» Барона Брамбеуса.

Я и самъ не знаю, любезные читатели, какъ оно будетъ длинно. Можетъ быть, изъ него выйдетъ и преуморительный уродецъ: избушка на курьихъ ножкахъ, царь съ ноготокъ, борода съ локотокъ, а голова съ нивной котель. Что дѣлать: не я первый, не я послѣдній; у насъ это такъ въ модѣ. Впрочемъ, если мои приступы не отбили у васъ охоты увидѣть заключеніе, если вы имѣете столько терпѣнія читать, сколько я писать, то увидите начало, а можетъ-быть, и конецъ моего обозрѣнія.

Впередъ, впередъ, моя исторья!

Пушкинъ.

И такъ народъ или, лучше сказать, масса народа и общество пошли у насъ врозь. Первый остался при своей прежней грубой и полудикой жизни и при своихъ заунывныхъ пѣсняхъ, въ коихъ изливалась его душа въ горѣ и въ радости; второе же видимо измѣнялось, если не улучшалось, забыло все русское, забыло даже *Русскій языкъ*, забыло поэтическія преданія и вымыслы своей родины, эти прекрасныя пѣсни, полныя глубокой грусти, сладкой тоски и разгулья молодецкаго, и создало себѣ литературу, которая была вѣрнымъ его зеркаломъ. Надобно замѣтить, что какъ масса народа, такъ и общество подраздѣлились, особенно послѣднее, на множество видовъ, на множество степеней. Первая показала нѣкоторые признаки жизни и движенія въ сословіяхъ, находившихся въ непосредственныхъ

снoшеніяхъ съ обществомъ, въ сословіяхъ людей город-
скихъ, ремесленниковъ, мелкихъ торговцевъ и промышлен-
никовъ. Нужда и соперничество иноземцевъ, поселившихся
въ Россіи, сдѣлали ихъ дѣятельными и оборотливыми, когда
дѣло шло о выгодѣ; заставили ихъ покинуть старинную
лѣнь и запечную недвижимость, и пробудили стремленіе къ
улучшеніямъ и нововведеніямъ, дотолѣ для нихъ столь не-
навистнымъ; ихъ фанатическая ненависть къ Нѣмецкимъ
людямъ ослабѣвала со дня на день, и, наконецъ, теперь
совсѣмъ исчезла; они кое-какъ понаучились даже грамотѣ,
и крѣпче прежняго уцѣпились обѣими руками за мудрое
правило, завѣщанное имъ отъ праотцевъ: ученіе свѣтъ, а
неученіе тѣма. Это общаетъ много хорошаго въ будущемъ,
тѣмъ болѣе, что сіи сословія ни на волосъ не утратили
своей народной фizioноміи. Что касается до нижняго слоя
общества, т. е. *средняго состоянія*, оно раздѣлилось въ
свою очередь на множество родовъ и видовъ, между коими
по своему большинству занимаютъ самое видное мѣсто
такъ называемые разночинцы. Это сословіе наиболѣе обра-
нуло надежды Петра Великаго: грамотѣ оно всегда учи-
лось на желѣзные гроши, свою русскую смысленность и
снѣтливость обратило на предосудительное ремесло толко-
вать указы; выучившись кланяться и подходить къ ручкѣ
дамъ, не разучилось своими благородными руками испол-
нять неблагородныя экзекуціи. Высшее же сословіе обще-
ства изъ всѣхъ силъ ударило въ подраженіе или, лучше
сказать, передразниваніе иностранцевъ...

Но не о томъ дѣло. Говорятъ, что Музы любятъ тишину
и боятся грома оружія: мысль совершенно ложная! Однако
какъ бы то ни было, а царствованіе Петра оглашалось
однѣими проповѣдями, которыя остались только въ памяти
ученыхъ, а не народа; ибо это пестрое мозаическое кра-
снорѣчіе или, скорѣе, разнорѣчіе, было не чтѣ иное, какъ
дурной прививокъ отъ гнилаго дерева католическаго схо-

ластичизма западнаго духовенства, а не живой убѣдительный голосъ святыхъ истинъ религіи. Оно у насъ еще не было разсмотрѣно и оцѣнено настоящимъ образомъ. Если вѣрить возгласамъ нашихъ литературныхъ учителей, то въ духовномъ краснорѣчіи мы едва ли не превосходимъ всѣхъ европейскихъ народовъ. Не берусь рѣшать этого вопроса, ибо говорю о немъ мимоходомъ, а ргороз, какъ о дѣлѣ, не прямо относящемся къ предмету моего обзора, да и сверхъ того я мало знакомъ съ памятниками нашего духовнаго краснорѣчія, которое, конечно, не безъ удачныхъ опытовъ.

Не стану также распространяться о Кантемирѣ, скажу только, что я очень сомнѣваюсь въ его поэтическомъ призваніи. Мнѣ кажется, что его прославленные сатиры были скорѣе плодомъ ума и холодной наблюдательности, чѣмъ живаго и горячаго чувства. И диво ли, что онъ началъ съ сатиръ — плода осенняго, а не съ одъ — плода весенняго? Онъ былъ иностранецъ, слѣдовательно не могъ сочувствовать народу и раздѣлять его надеждъ и опасеній; ему было спола - горя смѣяться. Что онъ былъ не поэтъ, этому доказательствомъ служить то, что онъ забытъ. Старинный слогъ! — пустое! Шекспира сами Англичане читаютъ съ комментаріями.

Тредьяковскій не имѣлъ ни ума, ни чувства, ни таланта. Этотъ человекъ былъ рожденъ для плуга или для топора; но судьба, какъ бы въ насмѣшку, нарядила его во фракъ: удивительно-ли, что онъ былъ такъ смѣшонъ и уродливъ?

Да—первыя попытки были слишкомъ слабы и неудачны. Но вдругъ, по прекрасному выраженію одного нашего соотечественника, на берегахъ Ледовитаго моря, подобно сѣверному сіянію, блеснулъ Ломоносовъ. Ослѣпительно и прекрасно было это явленіе! Оно доказало собой, что человекъ есть человекъ во всякомъ состояніи и во всякомъ климатѣ, что геній умѣетъ торжествовать надъ всѣми препятствіями, какія ни противопоставляетъ ему враждебная судьба, что, наконецъ,

Русскій способенъ ко всему великому и прекрасному не менѣ всякаго Европейца; но вмѣстѣ съ тѣмъ, говорю, это утѣшительное явленіе подтвердило, къ нашему несчастію, и ту неопровержимую истину, что ученикъ никогда не превзойдетъ учителя, если видитъ въ немъ образецъ, а не соперника, что гений народа всегда робокъ и связанъ, когда дѣйствуетъ не своеобразно, не самостоятельно, что его произведенія, въ такомъ случаѣ, всегда будутъ походить на поддѣльные цвѣты: ярки, красивы, роскошны, но не душисты, не ароматны, безжизненны. Съ Ломоносова начинается наша литература; онъ былъ ея отцемъ и пѣстуномъ; онъ былъ ея Петромъ Великимъ. Нужно ли говорить, что это былъ человекъ великій и ознаменованный печатію гения? Все эта истина несомнѣнная. Нужно ли доказывать, что онъ далъ направленіе, хотя и временное, нашему языку и нашей литературѣ? Это еще несомнѣннѣе. Но какое направленіе? Это другой вопросъ. Я не скажу ничего новаго о семъ предметѣ, и только, можетъ быть, повторю болѣе или менѣе извѣстныя мысли.

Но прежде всего почитаю нужнымъ сдѣлать слѣдующее замѣчаніе. У насъ, какъ я уже и говорилъ, еще и по сію пору царствуетъ въ литературѣ какое-то жалкое, дѣтское благоговѣніе къ авторамъ; мы и въ литературѣ высоко чтимъ табель о рангахъ и боимся говорить въ слухъ правду о высокихъ персонахъ. Говоря о знаменитомъ писателѣ, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласами и надутыми похвалами; сказать о немъ рѣзкую правду, у насъ святотатство. И добро бы еще это было вслѣдствіе убѣжденія! Нѣтъ, это просто изъ недѣльнаго и вреднаго приличія, или изъ боязни прослыть выскочкою, романтикомъ. Посмотрите, какъ поступаютъ въ семъ случаѣ иностранцы: у нихъ каждому писателю воздается по дѣламъ его; они не довольствуются сказать, что въ драмахъ г. NN есть много прекрасныхъ мѣстъ, хотя есть стипши негладкіе и нѣкоторые погрѣш-

ности, что оды г. NN превосходны, но элегии слабы. Нѣтъ, у нихъ разсматривается весь кругъ дѣятельности того или другаго писателя, опредѣляется степень его вліянія на современниковъ и потомство, разбирается духъ его твореній вообще, а не частныя красоты или недостатки, берутся въ соображеніе обстоятельства его жизни, дабы узнать, могъ ли онъ сдѣлать больше того, что сдѣлалъ, и объяснить, почему онъ дѣлалъ такъ, а не этакъ; и уже, по соображеніи всего этого, рѣшаютъ, какое мѣсто онъ долженъ занимать въ литературѣ, и какою славой долженъ пользоваться. Читателямъ «Телескопа» должны быть знакомы многія подобныя критическія біографіи знаменитыхъ писателей. Гдѣ же онъ у насъ? Увы!... Сколько разъ, напримѣръ, слышали мы, что «Вечернее» и «Утреннее Размышленіе о Величествѣ Божіемъ» Ломоносова прекрасны, что строфы его одъ звучны и величественны, что періоды его прозы полны, круглы и живописны; но опредѣлена ли мѣра его заслугъ, показаны ли вмѣстѣ съ свѣтлыми его сторонами и темныя пятна? Нѣтъ—какъ можно! грѣшно, дерзко, неблагодарно!... Гдѣ же критика, имѣющая предметомъ образованіе вкуса, гдѣ истина, долженствующая быть дороже всѣхъ на свѣтѣ авторитетовъ?...

Много свѣдѣній, опытности, труда и времени нужно для достойной оцѣнки такого человѣка, каковъ былъ Ломоносовъ. Недостатокъ времени и мѣста, а можетъ быть и силъ, не позволяютъ входить мнѣ въ слишкомъ подробныя изслѣдованія: ограничусь однимъ общимъ взглядомъ. Ломоносовъ—это Петръ нашей литературы: вотъ, кажется мнѣ, самый вѣрный взглядъ на него. Въ самомъ дѣлѣ, не замѣчаете ли вы поразительнаго сходства въ образѣ дѣйствованія сихъ великихъ людей, равно какъ и въ слѣдствіяхъ сего образа дѣйствованія? На берегахъ Сѣвернаго океана, въ царствѣ зимы и смерти, родился у бѣднаго рыбака сынъ. Ребенка мучить какой-то невѣдомый демонъ, не даетъ ему

покою ни днемъ ни ночью, шепчетъ ему на ухо какія-то дивныя рѣчи, отъ которыхъ сильнѣе трепещетъ его сердце, жарче кипитъ его кровь; на что ни взглянетъ этотъ ребенокъ, ему хочется знать: откуда это, почему и какъ; безконечные вопросы давятъ и тяготятъ его юную душу — и нѣтъ отвѣтовъ! Онъ выучивается кое-какъ грамотѣ, тайныя внушенія его докучнаго демона раздаются въ его душѣ, какъ обольстительные звуки Вадимова колокольчика, и манить его въ туманную даль... И вотъ онъ оставляетъ отца своего и бѣжитъ въ Москву бѣлокаменную. Бѣги, бѣги юноша! Тамъ узнаешь ты все, тамъ утолишь въ источникѣ знанія свою мучительную жажду! Но, увы! надежда обманула тебя: жажда твоя еще сильнѣе — ты только пуще раздражилъ ее. Дальше, дальше, смѣлый юноша! Туда, въ ученую Германію, тамъ сады райскіе, а въ тѣхъ садахъ древо жизни, древо познанія, древо добра и зла... Сладки плоды его — слѣпши вкусить ихъ... И онъ бѣжитъ, онъ вступаетъ въ очаровательные сады, и видитъ искусительное древо, и жадно пожираетъ плоды его. Сколько чудесъ, сколько очарованій! Какъ жалѣетъ онъ, что не можетъ разомъ всего захватить съ собою и перенести въ драгое отечество, въ святую родину!... Однакожъ... нельзя ли какъ попытаться?... Вѣдь онъ Русскій, стало быть ему все подъ силу, все возможно; вѣдь его ожидаетъ Шуваловъ: стало быть ему нечего страшиться предрасудковъ, враговъ и завистниковъ!... И вотъ Русь оглашается одами, смотритъ на трагедіи, восхищается эпопеею, смѣется надъ побасенками, слушаетъ Цицерона и Демосфена, и важно разсуждаетъ объ электричествѣ и громовыхъ отводахъ: чего же медлить? Не правда ли, что и самъ Петръ воскликнулъ бы съ удовольствіемъ: это по нашему! Но и съ Ломоносовымъ сбилось то же, что съ Петромъ. Прельщенный блескомъ иноземнаго просвѣщенія, онъ закрылъ глаза для роднаго. Правда, онъ выучилъ въ дѣтствѣ наизусть варварскія вирши Симеона

Полоцкого, но оставилъ безъ вниманія народныя пѣсни и сказки. Онъ какъ будто и не слыжалъ объ нихъ. Замѣчаете ли вы въ его сочиненіяхъ хотя слабыя слѣды вліянія дѣтописей и вообще народныхъ преданій земли Русской? Нѣтъ—ничего этого не бывало. Говорятъ, что онъ глубоко постигъ свойства языка русскаго! Не спору — его грамматика дивное, великое дѣло. Но для чего же онъ паялилъ и корчилъ русскій языкъ на образецъ латинскаго и нѣмецкаго? Почему каждый періодъ его рѣчей набитъ безъ всякой нужды такимъ множествомъ вставочныхъ предложеній и заостренъ на концѣ глаголомъ? Развѣ этого требовалъ геній языка русскаго, разгаданный симъ великимъ человекомъ? Создать языкъ невозможно, ибо его творить народъ; филологи только открываютъ его законы и приводятъ ихъ въ систему, а писатели только творятъ на немъ сообразно съ сими законами. И въ семъ послѣднемъ случаѣ нельзя довольно надивиться генію Ломоносова: у него есть строфы и цѣлыя стихотворенія, которые по чистотѣ и правильности языка весьма приближаются къ нынѣшнему времени. Слѣдовательно, его погубила слѣпая подражательность; слѣдовательно, она одна виною, что его никто не читаетъ, что онъ не признанъ и забытъ народомъ, и что о немъ помнятъ одни записные литераторы.

Нѣкоторые говорятъ, что онъ былъ великій ученый и великій ораторъ, но совсѣмъ не поэтъ: напротивъ, онъ былъ больше поэтъ, чѣмъ ораторъ; скажу больше: онъ былъ великій поэтъ и плохой ораторъ. Ибо что такое его похвальныя слова? Наборъ громкихъ словъ и общихъ мѣстъ, частію взятыхъ на прокатъ изъ древнихъ витій, частію принадлежащихъ ему, плоды заказной работы, гдѣ одна только шумиха и возгласы, а отнюдь не выраженіе горячаго, живаго и неподдѣльнаго чувства, которое одно бываетъ источникомъ истиннаго краснорѣчія. Нѣкоторые мѣста, прекрасныя по слогу, ничего не доказываютъ: дѣло

въ томъ, каково цѣлое. И удивительно ли, что такъ случилось: мы и теперь очень мало нуждаемся въ краснорѣчїи, а тѣмъ меньше тогда нуждались въ немъ; следовательно, оно родилось безъ всякой нужды, изъ одной подражательности, и потому не могло быть удачнымъ. Но стихотворенія Ломоносова носятъ на себѣ отпечатокъ гения. Правда, у него и въ нихъ умъ преобладаетъ надъ чувствомъ, но это происходило не отъ чего инаго, какъ отъ того, что жажда къ знанію поглощала все существо его, была его господствующею страстью. Онъ всегда держалъ свою энергическую фантазію въ крѣпкой уздѣ холоднаго ума и не давалъ ей слишкомъ разыгрываться. Вольтеръ сказалъ, помнится о Корнельѣ, что онъ въ сочиненіи своихъ трагедій похожъ на великаго Конде, который хладнокровно обдумывалъ планы сраженій и горячо сражался: вотъ Ломоносовъ! Отъ этого-то его стихотворенія имѣютъ характеръ ораторскій, отъ этого-то сквозь призму ихъ радужныхъ цвѣтовъ часто видѣнъ сухой остовъ силлогизма. Это происходило отъ системы, а отнюдь не отъ недостатка поэтического гения. Система и рабская подражательность заставили его написать прозаическое «Письмо о Пользѣ Стекла», двѣ холодныя и надутыя трагедїи, и, наконецъ, эту неуклюжую «Петріаду», которая была самымъ жалкимъ заблужденіемъ его мощнаго гения. Онъ былъ рожденъ лирикомъ, и звуки его лиры, тамъ, гдѣ онъ не стѣснялъ себя системой, были стройны, высоки и величественны...

Что сказать о его соперникѣ, Сумароковѣ? Онъ писалъ во всѣхъ родахъ, въ стихахъ и прозѣ, и думалъ быть русскимъ Вольтеромъ. Но при рабской подражательности Ломоносова, онъ не имѣлъ ни искры его таланта. Вся его художническая дѣятельность была не что иное, какъ жалкая и смѣшная натяжка. Онъ не только не былъ поэтомъ, но даже не имѣлъ никакой идеи, никакого понятія объ искусствѣ, и всего лучше опровергъ собой странную мысль

Бюффона, что будто гений ес
пем. А между тѣмъ этотъ
кою народностію! Наши сло
годарить его за то, что онъ
Почему-же они отказывают
скому за то, что онъ былъ
во, одно отъ другаго не дал
комъ нападать на Сумароко
ступъ: онъ обманывался въ
лись въ немъ его современн
слѣдовательно это извинитель
не художникъ. Вотъ другое д
и жалко видѣть, какъ иные
хихъ драмахъ пророчествоват
пришествіи въ міръ...

Была по
Въ немъ
Тѣ дни,
И былъ
Ры
Ор
Во
Де
И
Мо

Воцарилась Екатерина втора
ступила эра новой, лучшей ж
эпопея, эпопея гигантская и
ственная и смѣлая по создан
плану, блестящая и великолѣ

достойная Гомера или Тасса! Ея царствованіе — это драма, драма многосложная и запутанная по завязкѣ, живая и быстрая по ходу дѣйствія, пестрая и яркая по разнообразію характеровъ, греческая трагедія по царственному величію и исполинской силѣ героевъ, созданіе Шекспира по оригинальности и самоцвѣтности персонажей, по разнообразности картинъ и ихъ калейдоскопической подвижности, наконецъ, драма, зрѣлище которой исторгнетъ у насъ невольно крики восторга и радости! Съ удивленіемъ и даже съ какою-то недовѣрчивостію смотримъ мы на это время, которое такъ близко къ намъ, что еще живы нѣкоторые изъ его представителей; которое такъ далеко отъ насъ, что мы не можемъ видѣть его ясно, безъ помощи теле-скопа исторіи; которое такъ чудно и дивно въ лѣтоисчислахъ міра, что мы готовы почестъ его какимъ-то баснословнымъ вѣкомъ. Тогда въ первый еще разъ послѣ царя Алексія проявился духъ Русскій во всей своей богатырской силѣ, во всемъ своемъ удаломъ разгулѣ, и, какъ говорится, пошелъ писать. Тогда-то народъ Русскій, наконецъ освоившійся кое-какъ съ тѣсными и несвойственными ему формами новой жизни, притерпѣвшійся къ нимъ и почти помирившійся съ ними, какъ бы покорясь приговору судьбы неизбежной и непреоборимой—волѣ Петра, въ первый разъ вздохнулъ свободно, улыбнулся весело, взглянулъ гордо — ибо его уже не гнали къ великой цѣли, а вели съ его спросу и согласія, ибо умолкло грозное «слово и дѣло», и вмѣсто него раздается съ трона голосъ, говорившій: «лучше прощу десять виновныхъ, нежели накажу одного невиннаго; мы думаемъ, и за славу себѣ вмѣняемъ сказать, что мы живемъ для нашего народа; сохрани Боже, чтобы какой нибудь народъ былъ счастливѣе русскаго»; ибо съ Уставомъ о Рангахъ и Дворянской Грамотою соединилась неприкосновенность правъ благородства; ибо, наконецъ, слухъ Руси лхѣтся безпрестанными громами побѣдъ и завое-

ваній. Тогда-то проснулись школы, издаются всѣ необходимыя книги, переводятся въ скихъ языковъ; разыграются монархія въ своемъ о и сливаются съ Русью!...

Знаете ли вы, въ чемъ теръ вѣка Екатерины II, этого момента жизни русска народности. Да — въ народно прежнему поддѣлываться на зло самой себѣ, оставая важныхъ радушныхъ бояръ всемірныя гостиницы, куда и, не кланяясь хлѣбосольно дубовые, за скатерти браны медовыя; этихъ величавыхъ любили жить на распашку, царскія палаты русскихъ штатъ царедворцевъ, поклон сожигали фейерверки изъ обумѣли попить и повесскому обычаю, отъ всей русать за свою Матушку и мечта что эта была жизнь самое? Вспомните этого Суворно которого война знала; Пона пиряхъ и, между шутокъ, этого Безбородко, который, Матушкѣ на бѣлыхъ листахъ его сочиненія; этого Держачаинныхъ своихъ подражан оставался Державиннымъ, и слова поэта, сколько похо

роскошное лѣто Италіи; не скажете ли вы, что каждаго изъ нихъ природа отлила въ особенную форму и, отливши, разбила въ дребезги эту форму?... А можно ли быть оригинальнымъ и самостоятельнымъ, не будучи народнымъ?... Отчего же это было такъ? Оттого, повторяю, что уму русскому былъ данъ просторъ, оттого, что геній русскій началъ ходить съ развязанными руками, оттого, что великая жена умѣла сродниться съ духомъ своего народа, что она высоко уважала народное достоинство, дорожила всѣмъ русскимъ до того, что сама писала разныя сочиненія на русскомъ языкѣ, дирижировала журналомъ, и за презрѣніе къ родному языку казнила подданныхъ ужасною казнію — Телемахидію!... Да — чудно, дивно было это время, но еще чуднѣе и дивнѣе было это общество! Какая смѣсь, пестрота, разнообразіе! Сколько элементовъ разнородныхъ, но связанныхъ, но одушевленныхъ единымъ духомъ! Безбожіе и изуверство, грубость и утонченность, матеріализмъ и набожность, страсть къ новизнѣ и упорный фанатизмъ къ старинѣ, пиры и побѣды, роскошь и довольство, забавы и геркулесовскіе подвиги, великіе умы, великіе характеры всѣхъ цвѣтовъ и образовъ и, между ними, Недоросли, Простаковы, Тарасы Скотинины и Бригадиры; дворянство, удивляющее французскій дворъ своею свѣтскою образованностію, и дворянство, выходившее съ холопами на разбой!...

И это общество отразилось въ литературѣ; два поэта, впрочемъ, весьма неравные геніемъ, преимущественно были выраженіемъ онаго: громозвучныя пѣсни Державина были символомъ могущества, славы и счастія Руси; ѣдкия и остроумныя карикатуры Фонъ-Визина были органомъ понятій и образа мыслей образованнѣйшаго класса людей тогдашняго времени.

Державинъ—какое имя!... Да—онъ былъ правъ: только Навинъ могло быть ему подъ риему! Какъ идетъ къ нему этотъ полу - русскій и полу - татарскій нарядъ, въ которомъ

изображаютъ его на портретахъ: дайте ему въ руки лелеинный скипетръ Оберона, придайте къ этой собольей шубѣ и бобровой шапкѣ длинную сѣдую бороду: и вотъ вамъ русскій чародѣй, отъ дыханія котораго таютъ снѣга и ледяныя покровы рѣкъ, и разцвѣтаютъ розы, чудными словамъ котораго повинуются послушная природа и принимаетъ всѣ виды и образы, какихъ ни пожелаетъ онъ! Дивное явленіе! Бѣдный дворянинъ, почти безграмотный, дитя по своимъ понятіямъ; неразгаданная загадка для самого себя; откуда получилъ онъ этотъ вѣщій пророческій глаголъ, потрясающій сердца и восторгающій души, этотъ глубокій и обширный взглядъ, обхватывающій природу во всей ея безконечности, какъ обхватываетъ молодой орелъ мощными когтями трепещущую добычу? Или и въ самомъ дѣлѣ онъ повстрѣчалъ на перепутьи какого-нибудь «шестикрылаго херувима»? Или и въ самомъ дѣлѣ «огненное чувство» ставитъ въ инныя минуты смертнаго, безъ всякихъ со стороны его усилій, наравнѣ съ природою, и, послушная, она открываетъ ему свои таинственныя нѣдра, даетъ ему подсмотрѣть бѣненіе своего сердца и почерпнуть въ лонѣ источника жизни эту живую воду, которая влагаетъ дыханіе жизни и въ металлъ и въ мраморъ? Или и въ самомъ дѣлѣ огненное чувство даетъ смертному всезрящія очи и уничтожаетъ его въ природѣ, а природу уничтожаетъ въ немъ, и, ея всемогущій властелинъ, онъ повѣлѣваетъ ея самовластво, и, вмѣстѣ съ нею, раскидывается, по своей волѣ, подобно Протею, на тысячи прекрасныхъ явленій, воплощается въ тысячи волшебныхъ образовъ, и тѣ образы называетъ потомъ своими созданіями? Державинъ — это полное выраженіе, живая лѣтопись, торжественный гимнъ, пламенный диониромбъ вѣка Екатерины, съ его лирическимъ одушевленіемъ, съ его гордостію настоящимъ и надеждами на будущее, его просвѣщеніемъ и невѣжествомъ, его эпикуреизмомъ и жаждою великихъ дѣлъ, его

пиршественною праздностію и неистощимою практическою дѣятельностью! Не ищите въ звукахъ его пѣсенъ, то смѣлыхъ и торжественныхъ, какъ громъ побѣды, то веселыхъ и шутивыхъ, какъ застольный говоръ нашихъ прадѣдовъ, то нѣжныхъ и сладостныхъ, какъ голосъ русскихъ дѣвъ,—не ищите въ нихъ тонкаго анализа челоуѣка со всѣми изгибами его души и сердца, какъ у Шекспира, или сладкой тоски по небу и возвышенныхъ мечтаній о святомъ и великомъ жизни, какъ у Шиллера, или бѣшеныхъ воплей души пресыщенной и все еще несытой, какъ у Байрона: нѣтъ — намъ тогда некогда было анатомировать природу челоуѣческую, некогда было углубляться въ тайны неба и жизни, ибо мы тогда были оглушены громомъ побѣды, ослѣплены блескомъ славы, заняты новыми постановленіями и преобразованіями; ибо тогда намъ еще некогда было пресытиться жизнію, мы еще только начинали жить и потому любили жизнь; итакъ, не ищите ничего этого у Державина! Пойщите лучше у него поэтической вѣсти о томъ, какъ велика была несравненная, «богоподобная Фелица киргизъ-кайсацкія орды», какъ этотъ «ангелъ во плоти» разливалъ и сѣялъ повсюду жизнь и счастье, и, подобно Богу, творилъ все изъ ничего; какъ были мудры ея слуги вѣрные, ея совѣтники усердные; какъ герой полуночи, «чудо - богатырь», бросалъ за облака башни, какъ бѣжала тѣна отъ его чела и пыль отъ его молодецкаго посвисту, какъ подъ его ногами трещали горы и кипѣли бездны, какъ передъ нимъ падали города и рушились царства, какъ онъ, при громахъ и молніяхъ, при ужасной борьбѣ разъяренныхъ стихій сокрушилъ твердыни Измаила, или перешелъ чрезъ пропасти Сентъ-Готара; какъ жили и были вельможи русскіе съ своимъ неистощимымъ хлѣбомъ-солью, съ своимъ русскимъ сибаритствомъ и русскимъ умомъ; какъ русскія дѣвы своими пламенными взорами и соболиными бровями разятъ души львовъ и сердца орловъ, какъ бле-

стять ихъ бѣлыя чела златыми
нѣжныя груди подъ драгими
голубыя жилки переливается р
любовь врѣзала огневныя ямки!

Невозможно исчислить неисч
Державина. Онъ разнообразны,
всѣ отличаются однимъ общимъ
воображеніе преобладаетъ надъ
ляется въ преувеличенныхъ, ги
Онъ не взволнуетъ вашей груди
выдавить слезы изъ вашихъ гла
схватываетъ васъ внезапно и
своихъ могучихъ строфъ, мчитъ
давая вамъ опомниться, поситъ
нашъ неба; земля исчезаетъ у в
мается отъ какого - то пріятнаго
страхомъ, и вы видите себя какъ
урагана въ ненамѣримый океанъ;
въ бездны, то выбрасываетъ къ
радно и привольно въ этой безб
величественна его пѣснь Богу! И
онъ вѣщнее благолѣпіе природы,
велъ его въ своемъ дивномъ соз
прославилъ въ немъ одну мудрост
только намекнулъ о любви Божіе
воззвала къ человѣкамъ: «пріидите
и обремененніи, и азъ упокою вы
съ позорнаго креста мученія взы
пусти имъ: не вѣдятъ бо, что тво
его за это: тогда было не то врем
осьмнадцатый вѣкъ. Притомъ же не
жавина былъ умъ русскій, положи
цизма и таинственности, что его
была природа вѣшняя, а господет

лентами, какъ дышать ихъ
емчугами, какъ сквозь ихъ
ювая кровь, а на ланитахъ

слимыхъ красотъ созданий
какъ русская природа, но
полоритомъ; во всѣхъ нихъ
чувствомъ и все представ-
верболическихъ разитрахъ.
сильнымъ чувствомъ, не
но, какъ орелъ добычу,
ожиданно, и, на крылахъ
прямо къ солнцу, и, не
о безпредѣльнымъ равни-
ь изъ виду, сердце сжи-
зумленія, смѣшаннаго со
бы ринутыми порывомъ
волна то увлекаетъ васъ
ебу, и душѣ вашей от-
енности. Какъ громка и
тъ глубоко подсмотрѣлъ
какъ вѣрно воспрониз-
ніи! И однакожъ, онъ
и могущество Божіе и
о той любви, которая
о той любви, которая
а къ отцу: «Отче, от-
ь!» Но не осуждайте
то нынѣ, тогда былъ
будьте, что умъ Дер-
ьный, чуждый мисти-
хіею и торжествомъ
щимъ чувствомъ па-

тріотизмъ, что въ семь случаевъ онъ былъ только вѣренъ
своему безсознательному направленію, и слѣдовательно былъ
истиненъ. Какъ страшна его ода на смерть Мещерскаго:
кровь стынеть въ жилахъ, волосы, по выраженію Шекспира,
встаютъ на головѣ встревоженной ратью, когда въ ушахъ
вашихъ раздается вѣщій бой «глагола временъ»; когда въ
глазахъ мерещится ужасный остовъ смерти съ восою въ
рукахъ! Какою энергическою и дикою красотою дышитъ его
«Водопадъ»: это пѣснь угрюмага сѣвера, пропѣтая сребро-
власымъ скальдомъ въ глубинѣ священнаго лѣса, среди
мрачной ночи, у пылающаго дуба, зажженнаго молніею, при
оглушающемъ ревѣ водопада! Его посланія и сатиры пред-
ставляютъ совсѣмъ другой міръ, не менѣе прекрасный и
очаровательный. Въ нихъ видна практическая философія ума
русскаго; посему главное, отличительное ихъ свойство есть
народность, народность, состоящая не въ подборѣ мужицкихъ
словъ или насильственной поддѣлкѣ подъ ладъ пѣсенъ и
сказокъ, но въ сгибѣ ума русскаго, въ русскомъ образѣ
взгляда на вещи. Въ семь отношеніи Державинъ народенъ
въ высочайшей степени. Какъ смѣшны тѣ, которые вели-
чаютъ его русскимъ Пиндаромъ, Горациемъ, Анакреономъ;
ибо самая эта тройственность показываетъ, что онъ былъ
ни то, ни другое, ни третье, но все это вмѣстѣ взятое, и
слѣдовательно выше всего этого, отдѣльно взятаго! Не такъ
же ли нелѣпо было бы назвать Пиндара или Анакреона гра-
ческимъ или Горация латинскимъ Державиннымъ, ибо если
онъ самъ не былъ ни для кого образцомъ, то и для себя
не имѣлъ никакого образцомъ? Вообще надобно замѣтить,
что его невѣжество было причиною его народности, которой,
впрочемъ, онъ не зналъ цѣны; оно спасло его отъ подра-
жательности, и онъ былъ оригиналенъ и народенъ, самъ не
зная того. Обладай онъ всеобъемлющею ученостію Ломоно-
сова—и тогда прости поэтъ! Ибо, чего добраго!? онъ пус-
тился бы, пожалуй, въ трагедіи и, всего вѣрнѣе, въ эпо-

пею: его неудачные опыты въ драмѣ доказываютъ справедливость такого предположенія. Но судьба спасла его — и мы имѣемъ въ Державинѣ великаго, гениальнаго русскаго поэта, который былъ вѣрнымъ эхомъ жизни русскаго народа, вѣрнымъ отголоскомъ вѣка Екатерины II.

Фонъ-Визинъ былъ человекъ съ необыкновеннымъ умомъ и дарованіемъ: но былъ ли онъ рожденъ комикомъ — на это трудно отвѣчать утвердительно. Въ самомъ дѣлѣ, видите ли вы въ его драматическихъ созданіяхъ присутствіе идеи вѣчной жизни? Вѣдь смѣшной анекдотъ, переложенный на разговоры, гдѣ участвуетъ извѣстное число скотовъ — еще не комедія. Предметъ комедіи не есть исправленіе нравовъ или осмѣяніе какихъ-нибудь пороковъ общества; нѣтъ: комедія должна живописать несообразность жизни съ цѣлью, должна быть плодомъ горькаго негодованія, возбуждаемаго униженіемъ человѣческаго достоинства, должна быть сарказмомъ, а не эпиграммою, судорожнымъ хохотомъ, а не веселою усмѣшкою, должна быть писана желчью, а не разведенною солью, словомъ, должна обнимать жизнь въ ея высшемъ значеніи, то-есть, въ ея вѣчной борьбѣ между добромъ и зломъ, любовью и эгоизмомъ. Такъ ли у Фонъ-Визина? Его дураки очень смѣшны и отвратительны, но это потому, что они не созданіе фантазіи, а слишкомъ вѣрные списки съ натуры; его умные суть не иное что, какъ выпускныя куклы, говорящія заученныя правила благонравія; и все это потому, что авторъ хотѣлъ учить и исправлять. Этотъ человекъ былъ очень смѣшливъ отъ природы: онъ чуть не задохнулся отъ смѣху, слыша въ театрѣ звуки польскаго языка; онъ былъ во Франціи и Германіи, и нашелъ въ нихъ одно смѣшное: вотъ вамъ и комизмъ его. Да — его комедіи суть не большѣ, какъ плодъ добродушной веселости, надъ всѣмъ издѣвавшейся, плодъ остроумія, но не созданія фантазіи и горячаго чувства. Онъ явился въ пору, и потому имѣли необыкновенный успѣхъ; были выраженіемъ господ-

ствующаго образа мыслей образованныхъ людей, и потому нравились. Впрочемъ, не будучи художественными созданіями въ полномъ смыслѣ этого слова, онѣ все-таки несравненно выше всего, что ни написано у насъ по сію пору въ семь родѣ, кромѣ «Горе отъ ума», о которомъ рѣчь впереди. Одно уже это доказываетъ дарованіе сего писателя. Прочія его сочиненія имѣютъ цѣну еще, можетъ быть, большую, но и въ нихъ онъ является умнымъ наблюдателемъ и остроумнымъ писателемъ, а не художникомъ. Насмѣшка и шутливость составляютъ ихъ отличительный характеръ. Кромѣ неподдѣльнаго дарованія, они замѣчательны еще и по слогу, который очень близко подходитъ къ Карамзинскому; особенно же драгоцѣнны они тѣмъ, что заключаютъ въ себѣ многія рѣзкія черты духа того любопытнаго времени.

Какъ забыть о Богдановичѣ? Какою славою пользовался онъ при жизни, какъ восхищались имъ современники, и какъ еще восхищаются имъ и теперь нѣкоторые читатели? Какая причина этого успѣха? Представьте себѣ, что вы оглушены громомъ, трескотнею пышныхъ словъ и фразъ, что всѣ окружающіе васъ говорятъ монологами о самыхъ обыкновенныхъ предметахъ, и вы вдругъ встрѣчаете человѣка съ простою и умною рѣчью: не правда-ли, что вы бы очень восхитились этимъ человѣкомъ? Подражатели Ломоносова, Державина и Хераскова оглушили всѣхъ громкимъ одопѣніемъ; уже начали думать, что русскій языкъ неспособенъ къ такъ называемой легкой поэзіи, которая такъ цвѣла у Французовъ, и вотъ въ это-то время является человѣкъ съ сказкою, написанною языкомъ простымъ, естественнымъ и шутливымъ, слогомъ, по тогдашнему времени, удивительно легкимъ и плавнымъ: всѣ были изумлены и обрадованы. Вотъ причина необыкновеннаго успѣха «Душеньки», которая, впрочемъ, не безъ достоинствъ, не безъ таланта. Скромный Хемницеръ былъ не понятъ современниками: имъ по справедливости гордятся теперь потомство и ставить

его наравнѣ съ Дмитріевымъ. Херасковъ былъ человѣкъ добрый, умный, благонамѣренный и, по своему времени, отличный версификаторъ, но рѣшительно не поэтъ. Его дюжинныя: «Россіяда» и «Владиміръ» долго составляли предметъ удивленія для современниковъ и потомковъ, которые величали его русскимъ Гомеромъ и Виргиліемъ, и проводили во храмъ безсмертія подъ щитомъ его длинныхъ и скучныхъ поэмъ; предъ нимъ благоговѣлъ самъ Державинъ; но, увы! ни что не спасло его отъ всепоглощающихъ волнъ Леты! Петровъ недостатокъ истиннаго чувства замѣнялъ напыщенностью и совершенно доконалъ себя своимъ варварскимъ языкомъ. Княжнинъ былъ трудолюбивый писатель и, въ отношеніи къ языку и формѣ, не безъ таланта, который особенно замѣтенъ въ комедіяхъ. Хотя онъ цѣликомъ бралъ изъ французскихъ писателей, но ему и то уже дѣлаетъ большую честь, что онъ умѣлъ изъ этихъ похищеній составлять нѣчто цѣлое, и далеко превзошелъ свое его родича Сумарокова. Костровъ и Бобровъ были въ свое время хорошіе версификаторы.

Вотъ всѣ геніи Екатерины Великой; всѣ они пользовались громкой славой, и всѣ, за исключеніемъ Державина, Фонъ-Визина и Хемницера, забыты. Но всѣ они замѣчательны, какъ первые дѣйствователи на поприщѣ русской словесности; судя по времени и средствамъ, ихъ успѣхи были важны, и преимущественно происходили отъ вниманія и одобренія монархини, которая всюду искала талантовъ и всюду умѣла находить ихъ. Но между ними только одинъ Державинъ былъ такимъ поэтомъ, имя котораго мы съ гордостью можемъ поставить подлѣ великихъ именъ поэтовъ всѣхъ вѣковъ и народовъ, ибо онъ одинъ былъ свободнымъ и торжественнымъ выраженіемъ своего великаго народа и своего дивнаго времени.

Amicus Plato, sed magis amica veritas.

Первые дѣйствователи на поприщѣ литературы никогда не забываются; ибо, талантливые или бездарные, они въ обоихъ случаяхъ лица историческія. Не въ одной исторіи французской литературы имена Ронсаровъ, Гарнье и Гарди всегда предшествуютъ именамъ Корнелей и Расиновъ. Счастливые люди! какъ дешево достается имъ безсмертіе! Въ предшествовавшей статьѣ моей я впалъ въ непростительную ошибку, ибо, говоря о поэтахъ и писателяхъ вѣка Екатерины II, забылъ о нѣкоторыхъ изъ нихъ. Посему теперь считаю непремѣннымъ долгомъ исправить мою ошибку, и упомянуть о Поповскомъ, порядочномъ стихотворцѣ и прозаикѣ своего времени; — Майновъ, который своими созданіями, относившимися во времена нынѣ во всѣхъ пѣтикахъ къ какому-то роду комическихъ поэмъ, не мало способствовалъ къ распространенію въ Россіи дурнаго вкуса, и поставилъ знаменитаго нашего драматурга, кн. Шаховскаго, написать довольно невысокое стихотвореніе подъ названіемъ: «Расхищенные Шубы»; — Аблесимовъ, который какъ будто ненарочно, или по ошибкѣ, между многими плохими драмами, написалъ прекрасный народный водевиль: «Мельникъ», произведеніе, столь любимое нашими добрыми дѣдами и еще и теперь не потерявшее своего достоинства; — Рубанъ, которому, по милости и добротѣ нашихъ литературныхъ судей былыхъ временъ, безсмертіе досталось за самую дешевую цѣну; — Нелединскомъ, въ пѣсняхъ котораго сивозъ румяны сантиментальности проглядывало иногда чувство и блестящій талантъ; — Ефимьевъ и Плавильщиковъ, нѣкогда почитавшихся хорошими драматургами, но теперь, увы! совершенно забытыхъ, несмотря на то, что и самъ почтенный Николай Ивановичъ Гречъ не отказывалъ имъ въ нѣкоторыхъ будто-

бы достоинствахъ. Кромѣ сего, царствованіе Екатерины II было ознаменовано такимъ дивнымъ и рѣдкимъ у насъ явленіемъ, котораго, кажется, еще долго не дожидаться намъ грѣшнымъ. Кому не извѣстно, хотя по наслышкѣ, имя Новикова? Какъ жаль, что мы такъ мало имѣемъ свѣдѣній объ этомъ необыкновенномъ и, смѣю сказать, великомъ человѣкѣ! У насъ всегда такъ: кричать безъ умолку о какомъ-нибудь Сумароковѣ, бездарномъ писателѣ, и забываютъ о благодѣтельныхъ подвигахъ человѣка, котораго вся жизнь, вся дѣятельность была направлена къ общей пользѣ!...

Вѣкъ Александра Благословеннаго, какъ и вѣкъ Екатерины Великой, принадлежитъ къ свѣтлымъ мгновеніямъ жизни русскаго народа, и, въ нѣкоторомъ отношеніи, былъ его продолженіемъ. Это была жизнь безпечная и веселая, гордая настоящимъ, полная надеждъ на будущее. Мудрыя узаконенія и нововведенія Екатерины укоренились и, такъ сказать, окрѣпли; новыя благодѣтельныя учрежденія царя юнаго и кроткаго упрочивали благосостояніе Руси и быстро двигали ее впередъ на поприщѣ преуспѣнія. Въ самомъ дѣлѣ, сколько было сдѣлано для просвѣщенія! Сколько основано университетовъ, лицеевъ, гимназій, уѣздныхъ и приходскихъ училищъ! И образованіе начало разливаться по всѣмъ классамъ народа, ибо оно сдѣлалось болѣе или менѣе доступнымъ для всѣхъ классовъ народа. Покровительство просвѣщеннаго и образованнаго монарха, достойнаго внука Екатерины, отыскивало повсюду людей съ талантами и давало имъ дорогу и средства дѣйствовать на избранномъ ими поприщѣ. Въ это время еще впервые появилась мысль о необходимости имѣть свою литературу. Въ царствованіе Екатерины литература существовала только при дворѣ; ею занимались потому, что государыня занималась ею. Плохо пришлось бы Державину, еслибы ей не поправились его «Посланіе къ Фелицѣ» и «Вельможа»; плохо бы пришлось Фонъ-Визину, еслибы она не смѣялась до слезъ надъ его

«Бригадиромъ» и «Недорослемъ»; мало бы оказывалось уваженія къ пѣвцу «Бога» и «Водопада», еслибы онъ не былъ дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ и разныхъ орденовъ кавалеромъ. При Александрѣ всѣ начали заниматься литературою, и титулъ сталъ отдѣляться отъ таланта. Явилось явленіе новое и доселѣ неслыханное: писатели сдѣлались двигателями, руководителями и образователями общества; явились попытки создать языкъ и литературу. Но увы! не было прочности и основательности въ этихъ попыткахъ; ибо попытка всегда предполагаетъ расчетъ, а расчетъ предполагаетъ волю, а воля часто идетъ наперекоръ обстоятельствамъ и разногласитъ съ законами здраваго смысла. Много было талантовъ и ни одного гения, и всѣ литературныя явленія рождались не вслѣдствіе необходимости, произвольно и бессознательно, не вытекали изъ событій и духа народнаго. Не спрашивали: что и какъ намъ должно было дѣлать? Говорили: дѣлайте такъ, какъ дѣлаютъ иностранцы, и вы будете хорошо дѣлать. Удивительно ли послѣ того, что, несмотря на всѣ усилія создать языкъ и литературу, у насъ не только тогда не было ни того, ни другаго, но даже нѣтъ и теперь! Удивительно ли, что при самомъ началѣ литературнаго движенія у насъ было такъ много литературныхъ школъ и не было ни одной истинной и основательной; что всѣ онѣ рождались, какъ грибы послѣ дождя, и исчезали, подобно мыльнымъ пузырямъ, и что мы, еще не имѣя никакой литературы, въ полномъ смыслѣ сего слова, уже успѣли быть и классиками и романтиками, и Греками и Римлянами, и Французами и Итальянцами, и Нѣмцами и Англичанами?...

Два писателя встрѣтили въѣкъ Александра и справедливо почитались лучшимъ украшеніемъ начала онаго: Карамзинъ и Дмитріевъ. Карамзинъ — вотъ актеръ нашей литературы, который еще при первомъ своемъ дебютѣ, при первомъ своемъ появленіи на сцену, былъ встрѣченъ и громкими

рукопшесканьями и грохкимъ свистомъ! Вотъ имя, за которое было дано столько кровавыхъ битвъ, произошло столько отчаянныхъ схватокъ, переломлено столько копій! И давно ли еще умоляли эти бранные воины, этотъ звукъ оружія, давно ли враждующія партіи вложили мечи въ ножны и теперь смятся объяснить себѣ, изъ чего онѣ воевали? Кто изъ читающихъ строки сіи не былъ свидѣтелемъ этихъ литературныхъ побойщъ, не слышалъ этого оглушающаго рева похвалъ преувеличенныхъ и бессмысленныхъ, этихъ порицаній, частію справедливыхъ, частію нелѣпыхъ? И теперь, на могилѣ незабвеннаго мужа, развѣ уже рѣшена побѣда, развѣ восторжествовала та или другая сторона? Увы! еще нѣтъ! Съ одной стороны насъ, «какъ вѣрныхъ сыновъ отчизны», призываютъ «молиться на могилѣ Карамзина» и «шептать его святое имя»; а съ другой—слушаютъ это воззваніе съ недоувѣрчивой и насмѣшливой улыбкой. Любопытное зрѣлище! Борьба двухъ поколѣній, не понимающихъ одно другаго! И въ самомъ дѣлѣ, не смѣшно ли думать, что побѣда останется на сторонѣ гг. Иванчиныхъ-Писаревыхъ, Сомовыхъ и т. п.? Еще нелѣпѣе воображать, что ее упрочить за собою г. Арцыбашевъ съ братією.

Карамзинъ... *mais je reviens toujours à mes moutons...* Знаете ли, чтò наиболѣе вредило, вредить и, какъ кажется, еще долго будетъ вредить распространенію на Руси основательныхъ понятій о литературѣ и усовершенствованій вкуса? Литературное идолопоклонство! Дѣти, мы еще все молилися и поклоняемся многочисленнымъ богамъ нашего многолюднаго Олимпа, и ни мало не заботимся о томъ, чтобы справляться почаще съ метриками, дабы узнать, точно ли небеснаго происхожденія предметы нашего обожанія. Чтò дѣлать! Слепой фанатизмъ всегда бываетъ удѣломъ младенцествующихъ обществъ. Помните ли вы, чего стоили Мерзлякову его критическіе отзывы о Херасковѣ? Помните ли, какъ приписали Каченовскому его замѣчанія на «Исто-

рію Государства Россійскаго», эти замѣчанія старца, въ коихъ было высказано почти все, что говорили потомъ объ исторіи Карамзина юноши? Да—много, слишкомъ много нужно у насъ безкорыстной любви къ истинѣ и силы характера, чтобы посягнуть даже на какой-нибудь авторитетикъ, не только что авторитетъ: развѣ пріятно вамъ будетъ, когда васъ во всеуслышаніе ославятъ ненавистникомъ отечества, завистникомъ таланта, бездушнымъ воиномъ, «желтякомъ»? И кто же? Люди, почти безграмотные, невѣжды, ожесточенные противъ успѣховъ ума, упрямо держащіеся за свою раковинную скорлупку, когда все вокругъ нихъ идетъ, бѣжитъ, летитъ! И не правы ли они въ семь случаевъ? Чего остается ожидать для себя, наприм., г. Иванчину-Писареву, г. Воейкову или кн. Шаликову, когда они слышатъ, что Карамзинъ не художникъ, не гений и другія подобныя безбожныя мнѣнія?—они, которые пытались крохами, падавшими съ трапезы этого человѣка, и на нихъ основывали зданіе своего безсмертія? Является г. Арцыбышевъ съ критическими статьями, въ коихъ доказываетъ, что Карамзинъ часто и притомъ безъ всякой нужды отступалъ отъ лѣтописей, служившихъ ему источниками, часто по своей волѣ или прихоти искажалъ ихъ смыслъ; и что же?—Вы думаете, поклонники Карамзина тотчасъ принялись за сличку и изобличили г. Арцыбышева въ клеветѣ? Ничего не бывало. Странные люди! Къ чему вамъ толковать о зависти и злонравіи, о каменщикахъ и скульпторахъ, къ чему вамъ бросаться на пустыя ничтожныя фразы въ сноскахъ, сражаться съ тѣнью и шумѣть изъ ничего? Пусть г. Арцыбышевъ и завидуетъ славѣ Карамзина: повѣрьте, ему не убить этимъ Карамзина, если онъ пользуется заслуженною славой; пусть онъ съ важностію доказываетъ, что слогъ Карамзина «неподобозвученъ» — Богъ съ нимъ, это только смѣшно, а ничуть не досадно. Не лучше ли вамъ взять въ руки лѣтописи и доказать, что или г. Арцыбышевъ клевет-

щеть, или промахи историка незначительны и ничтожны; а не то совѣмъ ничего не говорить? Но, бѣдные, вамъ не подѣ силу этотъ трудъ; вы и въ глаза не видывали лѣтописей, вы плохо знаете исторію:

Такъ изъ чего же вы бѣснуетесь столько?

Однакоже, что ни говори, а такихъ людей, къ несчастію, много,

И вотъ общественное мнѣніе!

И вотъ на чемъ вертится свѣтъ!

Карамзинъ отиѣтилъ своимъ именемъ эпоху въ нашей словесности; его вліяніе на современниковъ было такъ велико и сильно, что цѣлый періодъ нашей литературы отъ девяностыхъ до двадцатыхъ годовъ по справедливости называется періодомъ Карамзинскимъ. Одно уже это достаточно доказываетъ, что Карамзинъ, по своему образованію, цѣлою головою превышалъ своихъ современниковъ. За нимъ еще и по сію пору, хотя нетвердо и неопредѣленно, кромя имени историка, остаются имена писателя, поэта, художника, стихотворца. Разсмотримъ его права на эти титулы. Для Карамзина еще не наступило потомство. Кто изъ насъ не утѣшался въ дѣтствѣ его повѣстями, не мечталъ и не плакалъ съ его сочиненіями? А вѣдь воспоминанія дѣтства такъ сладостны, такъ обольстительны: можно ли тутъ быть безпристрастнымъ? Однакожъ попытаемся.

Представьте себѣ общество разнохарактерное, разнородное, можно сказать, разноплеменное; одна часть его читала, говорила, мыслила и молилась Богу на французскомъ языкѣ, другая знала наизусть Державина и ставила его наравнѣ не только съ Ломоносовымъ, но и съ Петровымъ, Сумароковымъ и Херасковымъ; первая очень плохо знала русскій языкъ, вторая была приучена къ напыщенному, схоластическому языку автора «Россіады» и «Кадма и Гармоніи»; общій же характеръ обоихъ состоялъ изъ полудикости и полубразованности;—словомъ, общество съ охотою къ чте-

нiю, но безъ всякихъ свѣтлыхъ идей объ литературѣ. И вотъ является юноша, душа котораго была отверста для всего благаго и прекраснаго, но который, при счастливыхъ дарованiяхъ и большомъ умѣ, былъ обдѣленъ просвѣщенiемъ и ученою образованностию, какъ увидимъ ниже. Не ставши наравнѣ съ своимъ вѣкомъ, онъ былъ несравненно выше своего общества. Этотъ юноша смотрѣлъ на жизнь, какъ на подвигъ, и, полный силъ юности, алкалъ славы авторства, алкалъ чести быть споспѣшествователемъ успѣховъ отечества на пути къ просвѣщенiю, и вся его жизнь была этимъ святымъ и прекраснымъ подвижничествомъ. Не правда ли, что Карамзинъ былъ человекъ необыкновенный, что онъ достоинъ высокаго уваженiя, если не благоговѣнiя? Но не забывайте, что не должно смѣшивать человека съ писателемъ и художникомъ. Будь сказано, впрочемъ, безъ всякаго примѣненiя къ Карамзину, такъ, чего добраго, и Роменъ попадетъ во святые. Намѣренiе и исполненiе двѣ вещи различныя. Теперь посмотримъ, какъ выполнилъ Карамзинъ свою высокую миссiю.

Онъ видѣлъ, какъ мало было у насъ сдѣлано, какъ дурно понимали его собратiя по ремеслу, что должно было дѣлать; видѣлъ, что высшее сословiе имѣло причину презирать роднымъ языкомъ, ибо языкъ письменный былъ въ раздорѣ съ языкомъ разговорнымъ. Тогда былъ вѣкъ фразеологiи, гнались за словами, и мысли подбирали къ словамъ только для смысла. Карамзинъ былъ одаренъ отъ природы вѣрнымъ музыкальнымъ ухомъ для языка и способностью объясняться плавно и красно, слѣдовательно ему не трудно было преобразовать языкъ. Говорятъ, что онъ сдѣлалъ нашъ языкъ сколкою съ французскаго, какъ Ломоносовъ сдѣлалъ его сколкою съ латинскаго: это справедливо только отчасти. Вѣроятно, Карамзинъ старался писать, какъ говорится. Погрѣшность его въ семъ случаѣ та, что онъ презрѣлъ идиомами русскаго языка, не при-

слушивался къ языку простолюдиновъ и не изучалъ вообще родныхъ источниковъ. Но онъ исправилъ эту ошибку въ своей исторіи. Карамзинъ предположилъ себѣ цѣлю—пріучить, пріохотить русскую публику къ чтенію. Спрашиваю васъ: можетъ ли призваніе художника согласиться съ какою-нибудь заранѣе предположенною цѣлю, какъ бы ни была прекрасна эта цѣль? Этого мало: можетъ ли художникъ унизиться, нагнуться, такъ сказать, къ публикѣ, которая была бы ему по колѣна, и потому не могла бы его понимать! Положимъ, что и можетъ; тогда другой вопросъ: можетъ ли онъ въ такомъ случаѣ остаться художникомъ въ своихъ созданіяхъ? Безъ всякаго сомнѣнія, нѣтъ. Кто объясняется съ ребенкомъ, тотъ самъ дѣлается на это время ребенкомъ. Карамзинъ писалъ для дѣтей и писалъ по-дѣтски: удивительно ли, что эти дѣти, сдѣлавшись взрослыми, забыли его и, въ свою очередь, передали его сочиненія своимъ дѣтямъ? Это въ порядкѣ вещей: дитя съ довѣрчивостію и съ горячею вѣрою слушало рассказы своей старой няни, водившей его на помочахъ, о мертвецахъ и привидѣніяхъ, а выросши, смѣется надъ ея разсказами. Вамъ порученъ ребенокъ: помните же, что этотъ ребенокъ будетъ отрокомъ, потомъ юношей, а тамъ и мужемъ, и потому слѣдите за развитіемъ его дарованій и, сообразно съ нимъ, переиждивайте методу вашего ученія, будьте всегда выше его. иначе вамъ худо будетъ: этотъ ребенокъ станетъ въ глаза смѣяться надъ вами. Уча его, еще больше учитесь сами, а не то онъ перегонитъ васъ: дѣти растутъ быстро. Теперь скажите, по совѣсти, *sine ira et studio*, какъ говорятъ наши записные ученые: кто виноватъ, что какъ прежде плакали надъ «Бѣдною Лизою», такъ нынѣ смѣются надъ нею? Воля ваша, гг. поклонники Карамзина, а я скорѣе соглашусь читать повѣсти Барона Брамбеуса, чѣмъ «Бѣдную Лизу» или «Наталью Боярскую Дочь»! Другія времена, другіе нравы! Повѣсти Карамзина пріучили публику къ чтенію,

многіе выучились по нимъ читать; будемъ же благодарны ихъ автору, но оставимъ ихъ въ покоѣ; даже вырвемъ ихъ изъ рукъ нашихъ дѣтей, ибо они надѣлаютъ имъ много вреда: растлятъ ихъ чувство—приторною чувствительностію.

Кромѣ сего, сочиненія Карамзина теряютъ въ наше время много достоинства еще и оттого, что онъ рѣдко былъ въ нихъ искрененъ и естественъ. Въкъ фразеологіи для насъ проходить; по нашимъ понятіямъ, фраза должна прибираться для выраженія мысли или чувства; прежде мысль и чувство пріискивались для звонкой фразы. Знаю, что мы еще и теперь не безгрѣшны въ этомъ отношеніи; но крайней мѣрѣ, теперь, если легко выставить мишуру за золото, ходуля ума и потуги чувства за игру ума и пламень чувства, то не надолго, и чѣмъ живѣе оболъщенье, тѣмъ бываетъ истиннѣе разочарованіе, чѣмъ больше благоговѣнія къ ложному божеству, тѣмъ жесточайшее поношеніе наказываетъ самозванца. Вообще нынѣ какъ-то стали откровеннѣе; всякій истинно образованный человѣкъ скорѣе сознается, что онъ не понимаетъ той или другой красоты автора, но не станетъ обнаруживать насильственного восхищенія. Посему нынѣ едва ли найдется такой добренькій простачекъ, который бы повѣрилъ, что обильные потоки слезъ Карамзина изливались отъ души и сердца, а не были любимымъ кокетствомъ его таланта, привычными ходульками его авторства. Подобная ложность и натянутость чувства тѣмъ жалостнѣе, когда авторъ человѣкъ съ дарованіемъ. Никто не подумаетъ осуждать за подобный недостатокъ, напримѣръ, чувствительнаго кн. Шаликова, потому что никто не подумаетъ читать его чувствительныхъ твореній. И такъ здѣсь авторитетъ не только не оправданіе, но еще двойная вина. Въ самомъ дѣлѣ, не странно ли видѣть взрослого человѣка, хотя бы этотъ человѣкъ былъ самъ Карамзинъ,—не странно ли видѣть взрослого человѣка, который проливаетъ обильные источники слезъ и при взглядѣ на кривой глазъ «Ве-

ликаго Мужа Грамматики», и при видѣ необозримыхъ песковъ, окружающихъ Бале, и надъ травками и надъ муравками, и надъ букашками и таракашками?... Вѣдь и то сказать:

Не все намъ рѣки слезныя
Лить о бѣдствіяхъ существенныхъ!

Эта слезливость, или, лучше сказать, плаксивость, нерѣдко портитъ лучшія страницы его исторіи. Скажутъ: тогда былъ такой вѣкъ. Неправда: характеръ осьмнадцатаго столѣтія отнюдь не состоитъ въ одной плаксивости; притомъ же здравый смыслъ старше всѣхъ столѣтій, а онъ запрещаетъ плакать, когда хочется смѣяться, и смѣяться, когда хочется плакать. Это просто было дѣтство смѣшное и жалкое, манія странная и неизъяснимая.

Теперь другой вопросъ: столько ли онъ сдѣлалъ, сколько могъ, или меньше? Отвѣчаю утвердительно: *меньше*. Онъ отправился путешествовать: какой прекрасный случай представилъ ему развернуть передъ глазами своихъ соотечественниковъ великую и оболстительную картину вѣковыхъ плодовъ просвѣщенія, успѣховъ цивилизаціи и общественнаго образованія благородныхъ представителей человѣческаго рода!... Ему такъ легко было это сдѣлать! Его перо было такъ краснорѣчиво! Его кредитъ у современниковъ былъ такъ великъ! И что-же онъ сдѣлалъ вмѣсто всего этого? Чѣмъ наполнены его «Письма Русскаго Путешественника»? Мы узнаемъ изъ нихъ, по большей части, гдѣ онъ обѣдалъ, гдѣ ужиналъ, какое кушанье подавали ему, и сколько взялъ съ него трактирщикъ; узнаемъ, какъ г. Б*** волочился за г-жею N, и какъ бѣлка опарапала ему носъ; какъ восходило солнце надъ какою-нибудь швейцарскою деревушкою, изъ которой шла пастушка съ букетомъ розъ на груди и гнала передъ собою корову... Стоило ли изъ этого ѣздить такъ далеко?... Сравните въ семъ отношеніи «Письма Русскаго Путешественника» съ «Письмами къ Вельможѣ» Фонъ-

Визина, письмами написанными прежде: какая разница! Карамзинъ видѣлся со многими знаменитыми людьми Германіи, и что же онъ узналъ изъ разговоровъ съ ними? То, что всѣ они люди добрые, наслаждающіеся спокойствіемъ совѣсти и ясностію духа. И какъ скромны, какъ обыкновенны его разговоры съ ними! Во Франціи онъ былъ счастливѣе въ семь случаевъ, по извѣстной причинѣ: вспомните свиданіе русскаго Синеа съ французскимъ Платономъ. Отчего же это произошло? Оттого, что онъ не приготовился надлежащимъ образомъ къ путешествію, что не былъ ученъ основательно. Но, не смотря на это, ничтожность его «Писемъ Русскаго Путешественника» происходитъ больше отъ его личнаго характера, чѣмъ отъ недостатка въ свѣдѣніяхъ. Онъ не совсѣмъ хорошо зналъ нужды Россіи въ умственномъ отношеніи. О стихахъ его нечего много говорить: это тѣ же фразы, только съ приемами. Въ нихъ Карамзинъ, какъ и вездѣ, является преобразователемъ языка, а отнюдь не поэтомъ.

Вотъ недостатки сочиненій Карамзина, вотъ причина, что онъ такъ былъ скоро забытъ, что онъ едва не пережилъ своей славы. Справедливость требуетъ замѣтить, что его сочиненія тамъ, гдѣ онъ не увлекается сентиментальностію и говорить отъ души, дышать какою-то сердечною теплотою; это особенно замѣтно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ говоритъ о Россіи. Да, онъ любилъ добро, любилъ отечество, служилъ ему, сколько могъ; имя его бессмертно, но сочиненія его, исключая «Исторію», умерли, и не воскреснутъ имъ, несмотря на всѣ возгласы людей, подобныхъ гг. Иванчичу-Писареву и Оресту Сомову!...

«Исторія Государства Россійскаго» есть важнѣйшій подвигъ Карамзина; онъ отразился въ ней весь, со всѣми своими недостатками и достоинствами. Не берусь судить о семъ произведеніи ученымъ образомъ, ибо, признаюсь откровенно, этотъ трудъ былъ бы далеко не подъ силу мнѣ.

Мое мнѣніе (весьма не новое) бы
а не знатока. Сообразивъ все, что
матической исторіи до Карамзина
труда подвигомъ исполнившимъ,
состоить въ его взглядъ на вещи
и всегда, по крайней мѣрѣ, не
шумихъ и неуѣдомъ жала
поучать тамъ, гдѣ сами факти
страстіи къ героямъ повѣствов
цу автора, но не его уму. Гла
въ занимательности рассказа
тій, нерѣдко въ художественн
болѣе всего въ слогъ, въ ко
торжествуетъ здѣсь. Въ сем
и по сію пору не написано
ріи Г. Р.» слогъ Карамзина
ществу; ему можно поставит
«Бориса Годунова» Пушки
его мелкихъ сочиненій; иб
ныхъ источниковъ, упита
никовъ; здѣсь его слогъ
рехъ томовъ, гдѣ по бол
миха, но гдѣ все-таки язы
характеръ важности, ве
ходить въ истинное и
одно:о нашего критика,
воздвигнуть такой пал
свою косу. Повторяю:
ненія его, исключая
воскреснуть!

Почти въ одно вре
тературное попріще
нѣкоторомъ отношен
ва, и его сочинені

е) будетъ мнѣніемъ любителя, а не, что было сдѣлано для системы Карамзина, нельзя не признать его истиннымъ. Главный недостатокъ онаго въ вещахъ и событіяхъ, часто дѣтскомъ, не мужескомъ; въ ораторской речевѣ желаніи быть наставительнымъ, акты говорятъ за себя; въ привѣщаніяхъ, дѣлающимъ честь сердцу. Главное достоинство его состоитъ въ искусномъ изложеніи событій, въ обрисовкѣ характеровъ, а въ которомъ Карамзинъ рѣшительно превосходитъ послѣднихъ отношеніи у насъ къ еще ничего подобнаго. Въ «Исторіи» есть слогъ русскій по преимуществу, только въ стихахъ, въ прозѣ. Это совсѣмъ не то, что слогъ французскій, здѣсь авторъ черпалъ изъ роднаго языка, духомъ историческихъ памятниковъ, за исключеніемъ первыхъ четырехъ главъ, одна риторическая шутовщина, удивительно обработанъ, нищета, нищавости и энергіи, и часто переизбытокъ. Словомъ, по выраженію въ «Исторіи Г. Р.» языку нашему, это истинный, о который время изломаетъ, а Карамзина безсмертно, но сочиненіе «Исторіи», уже умерло и никогда не

вый заговорилъ истиннымъ языкомъ. Впрочемъ, онъ не былъ смысломъ сего слова: онъ не зналъ представленіе Шекспировой или безъ всякихъ познаній, безъ въ природнымъ умомъ и способностями изыскаго: онъ, не зная исторіи дѣло, не понявши историческихъ человеческія лица; но когда онъ Озерова, то рѣшительно ниче быть, это общій недостатокъ трагедіи. Но Озеровъ имѣетъ происходили отъ его личнаго нѣжною, но не глубокою, раческою, онъ былъ неспособностей. Вотъ отчего его и вотъ отчего его злодѣи не цетворенія общихъ родовыхъ изъ Фингала сдѣлалъ аркады объясняться съ Момною какому-нибудь Эрасту Челвоннику Одина. Лучшая «Эдипъ», а худшая «Димиторская рѣчь, переложене не станетъ отрицать поэтствъ съ тѣмъ и едва ли болѣе восхищаться имъ.

Появленіе Жуковского чины. Онъ былъ Колумба на нѣмецкую и англійствованія оно даже и не вершенно преобразовал шагнулъ далѣе Карам

*) Я разумѣю здѣсь ме.

языкомъ французской Мельпо-
былъ драматикомъ въ полномъ
э зналъ человека. Приведите на
или Шиллеровой драмы зрителя
въ всякаго образованія, но съ
обстоятѣльностью принимать впечатлѣнія
сторій, хорошо пойметъ, въ чемъ
эскихъ лицъ, прекрасно пойметъ
онъ будетъ смотрѣть на трагедію
ничего не уразумѣетъ. Можетъ
къ такъ называемой классической
и другіе недостатки, которые
аго характера. Одаренный душою
, раздражительною, но не энерги-
особенъ къ живописи сильныхъ
о женщины интересіе мужинъ;
ни больше, ни меньше, какъ оли-
выхъ пороковъ; вотъ отчего онъ
кадскаго пастушка и заставилъ его
о мадригалами, скорѣе приличными
Чертополохову, чѣмъ грозному по-
я его пьеса, безъ сомнѣнія, есть
имитрій Донской», эта надутая ора-
нная въ разговоры. Теперь никто
этического таланта Озерова, но вмѣ-
ли кто станетъ читать его, а тѣмъ

о изумило Россію, и не безъ при-
бомъ нашего отечества: указавъ ему
йскую литературы, которыхъ суще-
не подозрѣвало. Кроме сего, онъ со-
лъ стихотворный языкъ, а въ прозѣ
зна *): вотъ главные его заслуги.

кія сочиненія Карамзина.

Собственныхъ его сочиненій не много; труды его — или пе-
реводы, или передѣлки, или подраженія иностраннымъ.
Языкъ сильный, энергическій, хотя и не всегда согласный
съ чувствомъ, односторонняя мечтательность, бывшая, какъ
говорятъ, слѣдствіемъ обстоятельствъ его жизни—вотъ ха-
рактеристика сочиненій Жуковского. Ошибаются тѣ, ко-
торые почитаютъ его подражателемъ Нѣмцевъ и Англичанъ:
онъ не сталъ бы иначе писать и тогда, когда бъ былъ не-
знакомъ съ ними, еслибъ только захотѣлъ быть вѣрнымъ
самому себѣ. Онъ не былъ сыномъ XIX вѣка, но былъ,
такъ сказать, прозелитомъ; присовокупите къ сему еще то,
что его творенія, можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ просте-
кали изъ обстоятельствъ его жизни, и вы поймете, отчего у
него часто подъ самыми роскошными формами скрываются
какъ будто Карамзинскія идеи (напр. «Мой другъ, храни-
тель, ангелъ мой!» и т. п.), отчего въ самыхъ лучшихъ
его созданіяхъ (какъ, напр., въ «Пѣвцѣ въ станѣ русскихъ
воиновъ») встрѣчаются мѣста совершенно риторическія.
Онъ былъ заключенъ въ себѣ, и вотъ причина его одно-
сторонности, которая въ немъ есть оригинальность въ вы-
сочайшей степени. По множеству своихъ переводовъ, Жу-
ковский относится къ нашей литературѣ, какъ Фоссъ или
Авг. Шлегель къ нѣмецкой литературѣ. Знатоки утвер-
ждаютъ, что онъ не переводилъ, а усваивалъ русской сло-
весности созданія Шиллеровъ, Байроновъ и проч.; въ этомъ,
кажется, нѣтъ причины сомнѣваться. Словомъ, Жуковский
есть поэтъ съ необыкновеннымъ энергическимъ талантомъ,
поэтъ, оказавшій русской литературѣ неоцѣненные услуги,
поэтъ, который никогда не забудется, котораго никогда не
перестанутъ читать; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и не такой поэтъ,
котораго бы можно было назвать поэтомъ собственно рус-
скимъ, или котораго можно бы было провозгласить на евро-
пейскомъ турнирѣ, гдѣ соперничаютъ народными славами.

Многое изъ сказаннаго о Жуковскомъ можно сказать и о Батюшковѣ. Сей послѣдній рѣшительно стоялъ на рубежѣ двухъ вѣковъ; поочередно плѣнялся и гнушался прошедшимъ, не призналъ и не былъ признанъ наступившимъ. Это былъ человѣкъ не гениальный, но съ большимъ талантомъ. Какъ жаль, что онъ не зналъ нѣмецкой литературы: ему немногаго доставало для совершеннаго литературнаго образованія. Прочтите его статью «о морали, основанной на религіи», и вы поймете эту тоску души и ея порывы къ безконечному послѣ упоенія сладострастіемъ, которыми дышатъ его гармоническія созданія. Онъ писалъ «О жизни и впечатлѣніяхъ поэта», гдѣ, между дѣтскими мыслями, проискриваются мысли какъ будто нашего времени; и тогда же писалъ о какой-то «Легкой Поэзіи», какъ будто бы была поэзія тяжелая. Не правда ли, что онъ не принадлежалъ вполнѣ ни тому, ни другому вѣку?... Батюшковъ, вмѣстѣ съ Жуковскимъ, былъ преобразователемъ стихотворнаго языка, т. е. писалъ чистымъ, гармоническимъ языкомъ; проза его тоже лучше прозы мелкихъ сочиненій Карамзина. По таланту Батюшковъ принадлежитъ къ нашимъ второкласснымъ писателямъ и, по моему мнѣнію, ниже Жуковскаго; о равенствѣ же его съ Пушкинымъ смѣшно и думать. Тріумвирату, составленному нашими словесниками изъ Жуковскаго, Батюшкова и Пушкина, могли вѣрить только въ двадцатыхъ годахъ.

Мнѣ остается теперь упомянуть еще о Мерзляковѣ, и я окончу весь карамзинскій періодъ нашей словесности, окончу перечень всѣхъ его знаменитостей, всей его аристократіи: останутся плебей, о которыхъ нечего и говорить много, развѣ только для доказательства зыбкости нашихъ прославленныхъ авторитетовъ. Мерзляковъ былъ человѣкъ съ необыкновеннымъ поэтическимъ дарованіемъ и представляетъ собою одну изъ умиленнѣйшихъ жертвъ духа времени. Онъ преподавалъ теорію изящнаго, и между тѣмъ

можно сказать и о
стоялъ на рубежѣ
нушался прошед-
тъ наступившимъ.

большимъ талан-
цкой литературы:
ннаго литератур-
го морали, осно-
оску души и ея
сладогострастїемъ,
нія. Онъ писалъ
между дѣтскими

нашего вре-
Познїи, какъ
и что онъ не
ли,
вѣку?.. Батюш-
авоватъ сти-
яснымъ
гармонїей
нихъ с... на-
ежить и...
у мнѣнїю, ...
кинымъ смѣл-
нашими слов-
ушкїна, когда

эриляковъ, и я
исности, окон-
эго аристокра-
говорить мно-
кости нашихъ
былъ человекъ
и представ-
жертвъ духа
и между тѣмъ

эта теорїя оставалась для него неразгаданною загадкою во
все продолженіе его жизни; онъ считался у насъ оракуломъ
критики, и не зналъ, на чемъ основывается критика; наконецъ,
онъ во всю жизнь свою заблуждался насчетъ своего таланта,
ибо, написавши нѣсколько безсмертныхъ пѣсень, въ то же
время написалъ множество одъ, въ коихъ кое-гдѣ блистаютъ
искры могучаго таланта, котораго не могла убить схоласти-
ка, и въ коихъ все остальное голая риторика. Несмотря
на то, повторяю, это былъ талантъ мощный, энергическій:
какое глубокое чувство, какая неизмѣримая тоска въ его
пѣсняхъ! какъ живо сочувствовалъ онъ въ нихъ русскому
народу и какъ вѣрно выразилъ въ нихъ поэтическихъ зву-
кахъ лирическую сторону его жизни! Это не нѣсеніи Дель-
вига, это не поддѣлки подъ народный тактъ — нѣтъ: это
живое, естественное изліяніе чувства, гдѣ все безыскусствен-
но и естественно! Не правда-ли, что, по прочтеніи, или по
выслушаніи любой изъ его пѣсень, вы невольно готовы
воскликнуть:

Ахъ! та пѣснь была завѣтная:

Рвала бѣлу грудь тоской,

А все слушать бы хотѣлось,

Не расстался бы взвѣтъ съ ней!

И этотъ человекъ, который былъ знакомъ съ нѣмецкимъ
языкомъ и литературою, этотъ человекъ, съ душою по-
этическою, съ чувствомъ глубокимъ—писалъ торжественныя
оды, перевелъ Тасса, говорилъ съ каедръ, что «только
чудотворный геній Нѣшцевъ любить выставлять на сценѣ
висѣляцы», находилъ геній въ Сумароковѣ и былъ увле-
ченъ, очарованъ поддѣльною и нарумяненнымъ поэзіею Фран-
цузовъ, въ то время, какъ читалъ Гёте и Шиллера!... Онъ
рожденъ былъ практикомъ поэзіи, а судьба сдѣлала его
теоретикомъ; пламенное чувство влекло его въ пѣснѣмъ, а
система заставила писать оды и переводить Тасса!...

Теперь вотъ прочіе замѣчательные по таланту или по авторитету литераторы нарамзинскаго періода.

Капнистъ принадлежитъ къ тремъ царствованіямъ. Нѣкогда онъ слылъ за поэта съ необыкновенныхъ дарованіемъ. Г. Плетневъ даже утверждалъ гдѣ-то и когда-то, что у Капниста есть что-то такое, чего будто бы недостаетъ Ламартину! *le bon vieux temps!* Теперь Капнистъ совершенно забытъ, вѣроятно, потому, что плакалъ въ своихъ стихахъ по правиламъ «порядочной хриі», а болѣе всего потому, что едва замѣтныя блестящія таланта еще не могутъ спасти писателя отъ всепоглощающихъ волнъ Леты. Онъ надѣлалъ много шуму своею «Ябедою»; но эта прославленная «Ябеда» ни больше, ни меньше, какъ фарсъ, написанный языкомъ варварскимъ даже и по своему времени.

Гнѣдичъ и Милоновъ были истинные поэты; если ихъ теперь мало почитаютъ, то это потому, что они слишкомъ рано родились.

Г. Воейковъ (Александръ Ѳедоровичъ, какъ значится въ литературномъ адресъ-календарѣ г. Греча, извѣстномъ подъ именемъ «Исторіи Русской Литературы») игралъ нѣкогда въ нашей словесности роль *знаменитаго*. Онъ перевелъ Делиля (котораго почиталъ не только поэтъ, но и большимъ поэтъ); онъ самъ собирался написать дидактическую поэму (въ то время всѣ вѣрили безусловно возможности дидактической поэзіи); онъ переводилъ (какъ умѣлъ) древнихъ; потомъ занялся изданіемъ разныхъ журналовъ, въ конхъ съ неутомимою ревностію выводилъ на свѣжую воду знаменитыхъ друзей гг. Греча и Булгарина (нечего сказать — высокая миссія!); теперь, на старости лѣтъ, поочередно или, лучше сказать, понумерно, бранить Барона Брамбеуса и предлоняетъ передъ нимъ колѣна, а пуще всего восхваляетъ Александра Филипповича Смирдина за то, что онъ дорого платитъ авторамъ; перепечатываетъ въ своемъ журналѣ старые стихи и статьи изъ «Молвы» за

1831 годъ. Чтò же дѣлать! Отъ великаго до смѣшнаго только шагъ, сказалъ Наполеонъ!...

Князь Вяземскій, русскій Карлъ Нодде, писалъ стихами и прозою про все и обо всемъ. Его критическія статьи (т. е. предисловія къ разнымъ изданіямъ) были необыкновеннымъ явленіемъ въ свое время. Между его безчисленными стихотвореніями, многія отличаются блескомъ остроумія неподдѣльнаго и оригинальнаго, иные даже чувствомъ; многія и натянуты, какъ, напр., «Какъ бы не такъ!» и пр. Но, вообще сказать, князь Вяземскій принадлежитъ къ числу замѣчательныхъ нашихъ поэтовъ и литераторовъ.

Было время!...

Народная поговорка.

Въ прошедшей статьѣ я обозрѣлъ карамзинскій періодъ нашей словесности, періодъ, продолжавшійся цѣлую четверть столѣтія. Цѣлый періодъ словесности, цѣлая четверть вѣка ознаменованы вліяніемъ одного таланта, одного человѣка, а вѣдь четверть вѣка много, слишкомъ много значитъ для такой литературы, которая не дожидая еще пяти лѣтъ до своего втораго столѣтія *).

*) Литература наша, безъ всякаго сомнѣнія, началась въ 1739 году, когда Ломоносовъ прислалъ изъ-за границы свою первую оду на взятіе Хотина. Нужно-ли повторить, что не съ Кантѣмира и не съ Тредьяковскаго, а тѣмъ болѣе не съ Семеона Полоцкаго, началась наша литература? Нужно ли доказывать, что «Слово о Полку Игоревомъ», «Сказаніе о Донскомъ Побойцѣ», краснорѣчивое «Посланіе Вассіана къ Іоанну III» и другіе историческіе памятники, народныя пѣсни и схоластическое духовное краснорѣчіе имѣютъ точно такое же отношеніе къ нашей словесности, какъ и памятники допотопной литературы, если бы они были открыты, къ санскрит-

и прочнаго этотъ періодъ? Гдѣ теперь гении, которыми онъ бывало такъ красовался и величался? Изъ всѣхъ нихъ одинъ только великъ и безсмертенъ безъ всякихъ отношеній, и этотъ одинъ не заплатилъ дани Барамзину, который бралъ свою обычную дань даже и съ такихъ людей, кои были выше его и по таланту и по образованію: говорю о Крыловѣ. Повторяю: что сдѣлано въ этотъ періодъ для безсмертія? Одинъ познакомилъ насъ вѣскольно, и при томъ одностороннимъ образомъ, съ нѣмецкою и англійскою литературой, другой съ французскимъ театромъ, третій съ французскою критикою XVIII столѣтія, четвертый... Но гдѣ же литература? Не ищите ея: напрасенъ будетъ вашъ трудъ; пересаженные цвѣты недолговѣчны: это истина неоспоримая. Я сказалъ, что въ началѣ этого періода впервые родилась у насъ мысль о литературѣ: вслѣдствіе того появились у насъ и журналы. Но что такое были эти журналы? Невинное препровожденіе времени, дѣло отъ бездѣлья, а иногда и средство нажить денежку. Ни одинъ изъ нихъ не слѣдилъ за ходомъ просвѣщенія, ни одинъ не передавалъ своимъ соотечественникамъ успѣховъ человѣчества на поприщѣ самосовершенствованія. Помню, что въ какомъ-то чувствительномъ журналѣ, кажется въ 1813 году, было напечатано, что въ Англіи явился новый поэтъ, Биронъ, который пишетъ въ какомъ-то романическомъ родѣ и особенно прославился своею поэмою «Шильдъ Гарольдъ»: вотъ вамъ и все тутъ. Конечно, тогда не только въ Россіи, но отчасти и въ Европѣ смотрѣли на литературу не сквозь чистое стекло разума, а сквозь тусклый пузырь французскаго классицизма; но движеніе тамъ уже было начато, и сами Французы, умиротворенные реставраціей, много помнѣли противъ прежняго и даже совершенно переродились.

ской, греческой или латинской литературѣ? Такія истины надобно доказывать только гг. Гречу и Пласину, съ коими я не намѣренъ вступать въ ученые составанія.

Между тѣмъ наши литературные наблюдатели дремали, и только тогда проснулись, когда непріятель ворвался въ ихъ дома и началъ въ нихъ своевольно хозяйничать; только тогда завопили они гласомъ великимъ: караулъ! рѣжутъ! разбой! романтизмъ!...

За карамзинскимъ періодомъ нашей словесности послѣдовалъ періодъ пушкинскій, продолжавшійся почти ровно десять лѣтъ. Говорю пушкинскій, ибо кто не согласится, что Пушкинъ былъ главою этого десятилѣтія, что все тогда шло отъ него и къ нему? Впрочемъ, я не то здѣсь думаю, чтобы Пушкинъ былъ для своего времени совершенно то же, что Карамзинъ для своего. Одно ужъ то, что его дѣятельность была бессознательною дѣятельностію художника, а не практическою и преднамѣренною дѣятельностію писателя, полагаетъ большую разницу между нимъ и Карамзинымъ. Пушкинъ владычествовалъ единственно силою своего таланта и тѣмъ, что онъ былъ сыномъ своего вѣка; владычество же Карамзина въ послѣднее время основывалось на слѣпомъ уваженіи къ его авторитету. Пушкинъ не говорилъ, что поэзія есть то или то, а наука есть это или это; нѣтъ: онъ своими созданіями далъ мѣрило для первой и до нѣкоторой степени показалъ современное значеніе другой. Въ то время, то есть въ двадцатыхъ годахъ (1817—1824), у насъ глухо отдалось эхо умственного переворота, совершившагося въ Европѣ; тогда, хотя еще робко и неопредѣленно, начали поговаривать, что будто бы пьяный дикарь Шекспиръ неизмѣримо выше накрахмаленнаго Расина, что Шлегель будто бы знаетъ объ искусствѣ побольше Лагарпа, что нѣмецкая литература не только не ниже французской, но даже несравненно выше; что почтенные гг. Буало, Баттѣ, Лагарпъ и Мармонтель безбожно оклеветали искусство, ибо сами мало смыслили въ немъ толку. Конечно, теперь въ этомъ никто не сомнѣвается, и доказывать подобныя истины значило бы на-

влекъ на себя всеобщее посмѣяніе; но тогда, право, было не до смѣху: ибо тогда даже и въ Европѣ за подобныя безбожныя мысли угрожало инквизиторское аутодафе; на что же рѣшались въ Россіи люди, которые дерзали утверждать, что Сумароковъ не поэтъ, что Херасковъ тяжело-вать, и пр.? Изъ сего ясно, что чрезвычайное влияние Пушкина происходило оттого, что, въ отношеніи къ Россіи, онъ былъ сыномъ своего времени въ полномъ смыслѣ сего слова, что онъ шелъ наравнѣ съ своимъ отечествомъ, былъ представителемъ развитія его умственной жизни: слѣдовательно его владычество было законное. Кирамзинъ, напротивъ, какъ мы видѣли выше, въ девятнадцатомъ вѣкѣ былъ сыномъ осьмнадцатаго, и даже, въ нѣкоторомъ смыслѣ, не вполне его выразилъ, ибо, по своимъ идеямъ, не возвысился даже и до него, слѣдовательно его влияние было законно только развѣ до появленія Жуковского и Батюшкова, начиная съ коихъ его могущественное влияние только задерживало успѣхи нашей словесности. Появленіе Пушкина было зрѣлищемъ умиленнымъ; поэтъ-юноша, благословенный помазаннымъ старцемъ Державинымъ, стоявшимъ на краю гроба и готовившимся склонить въ него свою лавровѣнчанную главу; поэтъ-мужъ, подающій ему руку чрезъ неизмѣримую пропасть цѣлаго столѣтія, раздѣлявшаго, въ нравственномъ смыслѣ, два поколѣнія; наконецъ, ставшій подлѣ него, и вмѣстѣ съ нимъ образующій двойственное лучезарное созвѣздіе на пустынномъ небосклонѣ нашей литературы!...

Классицизмъ и романтизмъ—вотъ два слова, коими огласился пушкинскій періодъ нашей словесности; вотъ два слова, на кои были написаны книги, разсужденія, журнальныя статьи и даже стихотворенія, съ коими мы засыпали и просыпались, за кои дрались на смерть, о коихъ спорили до слезъ, и въ классахъ и въ гостинныхъ, и на площадяхъ и на улицахъ! Теперь эти два слова сдѣлались какъ-то

пошлыми и смѣшными; какъ-то странно и дико встрѣтить ихъ въ печатной книгѣ или услышать въ разговорѣ. А давно ли кончилось это «тогда» и началось это «теперь»? Какъ же послѣ сего не скажешь, что все летитъ впередъ на крыльяхъ вѣтра? Только развѣ въ какомъ-нибудь «Дагестанѣ» можно еще съ важностью разсуждать объ этихъ почившихъ страдальцахъ — классицизмѣ и романтизмѣ, и выдавать намъ за новость, что Расинъ немножко приторенъ, что энциклопедисты немножко ввали, что Шекспиръ, Гёте и Шиллеръ велики, а Шлегель говорилъ правду, и пр. И это нисколько не удивительно: вѣдь Дагестанъ въ Азіи!...

Въ Европѣ классицизмъ былъ литературнымъ католицизмомъ. Въ папы онаго былъ выбранъ, безъ его вѣдома и согласія, покойникъ Аристотель, какинъ-то непризнаннымъ конклавомъ; инквизиціе этого католицизма была французская критика; великими инквизиторами: Буало, Баттѣ и Лагарпъ съ братією; предметами обожанія: Корнель, Расинъ, Вольтеръ и другіе. Волею или неволею, гг. инквизиторы завербовали въ свой календарь и древнихъ, а въ числѣ ихъ и вѣчнаго старца Гомера (вмѣстѣ съ Виргиліемъ), Тасса, Аріоста, Мильтона, кои (за исключеніемъ, можетъ-быть, вставочнаго) не виноваты въ классицизмѣ ни душою, ни тѣломъ, ибо были естественны въ своихъ твореніяхъ. Такъ дѣла шли до XVIII столѣтія. Наконецъ все перевернулось: бѣлое стало чернымъ, а черное бѣлымъ. Лицемерный, развратный, приторный осьмнадцатый вѣкъ испустилъ свое послѣднее дыханіе, и съ девятнадцатымъ столѣтіемъ умъ и вкусъ возродились для новой, лучшей жизни. Подобно страшному метеору, въ началѣ его, возникъ сынъ судьбы, облеченный всею ея ужасающею мощію или, лучше сказать, сама судьба явилась въ образѣ Наполеона, того Наполеона, который сдѣлался «властителемъ нашихъ думъ», говоря о которомъ и самая посредственность возвышалась до поэзіи. Вѣкъ принялъ гигантскіе размѣры и облекся въ

исполненное величіе; Франція устыдилась самой себя, и съ ругательнымъ смѣхомъ начала упазывать пальцемъ на жалкія развалины минувшаго времени, которыя, какъ бы не замѣчая великихъ переворотовъ, совершавшихся передъ ихъ глазами, даже при роковомъ переходѣ черезъ Березину, взмоштившись на сукъ дерева, окостенѣлою рукою завивали свои булки и посыпали ихъ завѣтною пудрою, тогда какъ вокругъ нихъ бушевала зимняя вьюга истиннаго сѣвера, и люди падали тысячами, оцѣпененные страхомъ и холодомъ. И такъ Французы, слишкомъ пораженные этими великими событіями, сдѣлались постепеннѣе и посолоннѣе, перестали прыгать на одной ногѣ; это было первымъ шагомъ къ ихъ обращенію къ истинѣ. Потомъ они узнали, что у ихъ сосѣдей, у неповоротливыхъ Нѣмцевъ, коихъ они всегда выставляли за образецъ эстетическаго безвкусія, есть литература, литература достойная глубокаго и основательнаго изученія, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, узнали, что ихъ препрославленные поэты и философы со всѣмъ не поставили Геркулесовскихъ столбовъ генію человѣческому. Всѣмъ извѣстно, какъ все это сдѣлалось, и потому не хочу распространяться о томъ, что Шатобріанъ былъ крестнымъ отцомъ, а г-жа Сталь повивальною бабкою юнаго романтизма во Франціи. Скажу только, что этотъ романтизмъ былъ не иное что, какъ возвращеніе къ естественности, а слѣдственно, самобытности и народности въ искусствѣ, предпочтеніе, оказанное идеѣ надъ формою, и сверженіе чуждыхъ и тѣсныхъ формъ древности, которыя къ произведеніямъ новѣйшаго искусства шли точно такъ же, какъ идетъ къ напудренному парикю, шитому камзолу и выбритой бородѣ, греческій хитонъ или римская тога. Отсюда слѣдуетъ, что этотъ, такъ называемый романтизмъ, былъ очень старая новостъ, а отнюдь не чадо XIX вѣка; былъ, такъ сказать, народностью новаго христіанскаго міра Европы. Германія была искони вѣковъ романтическою стра-

ною по преимуществу, какъ по феодальнымъ формамъ своего правленія, такъ и по идеальному направленію своей умственной дѣятельности. Реформація убила въ ней католицизмъ, а вмѣстѣ съ нимъ и классицизмъ. Эта же самая реформація, хотя нѣсколько въ другомъ въ видѣ, развязала руки и Англіи: Шекспиръ былъ романтикъ. Очевидно, что романтизмъ былъ новостію только для одной Франціи и еще для тѣхъ государствъ, гдѣ совсѣмъ не было литературы, т. е. Швеціи, Даніи и т. п. И Франція бросилась на эту старую новинку со всею своею живостію и увлекла за собою безлитературныя государства. Юная словесность есть не иное что, какъ реакція старой; и какъ во Франціи общественная жизнь и литература идутъ объ руку, то и ни мало не удивительно, что нынѣшняя ихъ литература отличается излишествомъ: реакціи никогда не бываютъ умеренны. Теперь во Франціи изъ одной моды всякій хочетъ быть глубокимъ и энергическимъ подобно какому-нибудь Феррагусу, такъ какъ прежде всякій изъ моды же хотѣлъ быть вѣтраннымъ, безпечнымъ, легковѣрнымъ и ничтожнымъ.

И однакожъ, странное дѣло! никогда не проявлялось въ Европѣ такого дружнаго и сильнаго стремленія сбросить съ себя оковы классицизма, схоластицизма, педантизма или глупицизма (это все одно и то же). Байронъ, другой «властитель нашихъ думъ», и Вальтеръ-Скоттъ раздавили своими твореніями школу Попа и Блера, и возвратили Англіи романтизмъ. Во Франціи явился Викторъ Гюго съ толпою другихъ мощныхъ талантовъ, въ Польшѣ Мицкевичъ, въ Италіи Манцони, въ Даніи Эленшлегеръ, въ Швеціи Тегнеръ. Неужели только Россіи суждено было остаться безъ своего литературнаго Лютера?

Во Европѣ классицизмъ былъ не что иное, какъ литературный католицизмъ: что же такое былъ онъ въ Россіи? Не трудно отвѣчать на этотъ вопросъ: въ Россіи классицизмъ былъ ни больше, ни меньше какъ слабый отголо-

согъ европейскаго эха, для объясненія коего совсѣмъ не нужно ѣздить въ Индію на пароходѣ «Джонъ-Булъ». Пушкинъ не натягивался, былъ всегда истиненъ и искрененъ въ своихъ чувствахъ, творилъ для своихъ идей свои формы: вотъ его романтизмъ. Въ этомъ отношеніи и Державинъ былъ почти такой же романтикъ, какъ и Пушкинъ; причина этому, повторяю, скрывается въ его невѣжествѣ. Будь этотъ человѣкъ ученъ—и у насъ было бы два Хераскова, коихъ было бы трудно отличить другъ отъ друга.

И такъ третіе десятилѣтіе XIX вѣка было ознаменовано влияніемъ Пушкина. Чтò могу сказать я новаго объ этомъ человѣкѣ? Признаюсь, еще въ первый разъ поставилъ я себя въ затруднительное положеніе, взявшись судить о русской литературѣ; еще въ первый разъ я жалѣю о томъ, что природа не дала мнѣ поэтическаго таланта, ибо въ природѣ есть такіе предметы, о коихъ грѣшно говорить смиренною прозою!

Какъ медленно и нерѣшительно шелъ или, лучше сказать, хромалъ карамзинскій періодъ, такъ быстро и скоро шелъ періодъ пушкинскій. Можно сказать утвердительно, что только въ прошлое десятилѣтіе проявилась въ нашей литературѣ жизнь, и какая жизнь! — тревожная, кипучая, дѣятельная! Жизнь есть дѣйствованіе, дѣйствованіе есть борьба, а тогда боролись и дрались не на животъ, а на смерть. У насъ нападаютъ иногда на полемику, въ особенности журнальную. Это очень естественно. Люди, хладнокровные къ умственной жизни, могутъ ли понять, какъ можно предпочитать истину приличіямъ и изъ любви къ ней навлекать на себя ненависть и гоненіе? О! имъ никогда не постичь, чтò за блаженство, чтò за сладострастіе души, сказать какому-нибудь генію въ отставкѣ безъ мундира, что онъ смѣшонъ и жалокъ своими дѣтскими претензіями на великость, растолковать ему, что онъ не себѣ, а крикуну журналисту обязанъ своею литературною значитель-

ностию; сказать какому-нибудь ветерану, что онъ пользуется своимъ авторитетомъ на кредитъ, по старымъ воспоминаніямъ или по старой привычкѣ; доказать какому-нибудь литературному учителю, что онъ близорукъ, что онъ отсталъ отъ вѣка и что ему надо переучиваться съ азбуки; сказать какому-нибудь выходцу Богъ вѣсть откуда, какому-нибудь пройдохѣ и Видону, какому-нибудь литературному торгашу, что онъ оскорбляетъ собою и эту словесность, которою занимается, и этихъ добрыхъ людей, кредитомъ коихъ пользуется, что онъ нарушаетъ и надъ святостію истины и надъ святостію знанія, заклеить его имя позоромъ отверженія, сорвать съ него маску, хотя бы она была и баронская, и показать его свѣту во всей его наготѣ!... Говорю вамъ, во всемъ этомъ есть блаженство неизъяснимое, сладострастіе безграничное! Конечно, въ литературныхъ спибкахъ иногда нарушаются законы приличія и общежительности, но умный и образованный читатель пропуститъ безъ вниманія пошлые намеки о желтыхахъ, объ утиныхъ носахъ, семинаристахъ, гарбѣ, полугарбѣ, кушцахъ и аршинникахъ; онъ всегда съумѣетъ отличить истину отъ лжи, человека отъ слабости, талантъ отъ заблужденія; читатели же невѣжды не сдѣлаются отъ того ни глупѣе, ни умнѣе. Будь все тихо и чинно, будь вездѣ комплименты и вѣжливости, — тогда какой просторъ для безсовѣстности, шарлатанства, невѣжества: некому обличить, некому изречь грозное слово правды!...

И такъ періодъ пушкинскій былъ ознаменованъ движеніемъ жизни въ высочайшей степени. Въ это десятилѣтіе мы перечувствовали, перемыслили и пережили всю умственную жизнь Европы, эхо которой отдалось къ намъ черезъ Балтійское море. Мы обо всемъ пересудили, обо всемъ переспорили, все усвоили себѣ, ничего не взростивши, не взлѣявши, не создавши сами. За насъ трудились другіе, а мы только брали готовое и пользовались имъ: въ этомъ-то и заключается тайна неимоверной быстроты нашихъ успѣ-

ховъ и причина ихъ неимоверной непрочности. Этимъ же, кажется мнѣ, можно объяснить и то, что отъ этого десятилѣтія, столь живаго и дѣятельнаго, столь обильнаго талантами и гениями, уцѣлѣлъ едва одинъ Пушкинъ, и, осиротѣлый, теперь съ грустію видитъ, какъ имена, вмѣстѣ съ нимъ взшедшія на горизонтъ нашей словесности, исчезаютъ одно за другимъ въ пучинѣ забвенія, какъ исчезаетъ въ воздухѣ недосказанное слово... Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ же теперь эти юныя надежды, которыми мы такъ гордились? Гдѣ эти имена, о коихъ бывало только и слышно? Почему они всѣ такъ внезапно смолкнули? Воля ваша, а мнѣ сдается, что тутъ что-нибудь да есть! Или, въ самомъ дѣлѣ, время есть самый строгій, самый правдивый Аристархъ?... Увы!... Развѣ талантъ Озерова или Батюшкова былъ ниже таланта, напримѣръ, г. Баратынскаго и г. Подолнскаго? Явись Капнистъ, В. и А. Измайловы, В. Пушкинъ, явись эти люди вмѣстѣ съ Пушкинымъ во цвѣтъ юности, и они, право, не были бы смѣшны и при тѣхъ скудныхъ дарованіяхъ, которыми наградила ихъ природа. Отчего же такъ? Оттого, что подобные таланты могутъ быть и не быть, смотря по обстоятельствамъ.

Подобно Карамзину, Пушкинъ былъ встрѣченъ громкими рукоплесканіями и свистомъ, которые только недавно перестали его преслѣдовать. Ни одинъ поэтъ на Русь не пользовался такою народностію, такою славой при жизни, и ни одинъ не былъ такъ жестоко оскорбляемъ. И гѣмъ же! — людьми, которые сперва пресмыкались предъ нимъ во прахѣ, а потомъ кричали *châte complète!* — людьми, которые велегласно объявляли о себѣ, что у нихъ въ мизинцахъ больше ума, чѣмъ въ головахъ всѣхъ нашихъ литераторовъ! Дивные мизинчики, любопытно бы взглянуть на нихъ. Но не о томъ дѣло. Вспомните состояніе нашей литературы до двадцатыхъ годовъ. Жуковскій уже совершилъ тогда большую часть своего поприща; Батюшковъ умолялъ навсегда;

Державинимъ восхищались вмѣстѣ съ Сушароковымъ и Херасковымъ по лекціямъ Мерзлякова. Не было жизни, не было ничего новаго; все тащилось по старой колесѣ; вдругъ появились «Русланъ и Людмила», созданіе, рѣшительно не имѣвшее себѣ образца ни по гармоніи стиха, ни по формѣ, ни по содержанію. Люди безъ претензій на ученость, люди, вѣрившіе своему чувству, а не пѣстикамъ, или сколько-нибудь знакомые съ современною Европою, были очарованы этимъ явленіемъ. Литературные судіи, державшіе въ рукахъ жезлъ критики, съ важностію развернули «Лицей» (въ переводѣ г. Мартынова «Лицей») Лагарпа и «Словарь Древнія и Новыя Поэзіи» г. Остолопова и, увидя, что новое произведеніе не подходило ни подъ одну изъ извѣстныхъ категорій, и что на греческомъ и латинскомъ языкѣ не было образца оному, торжественно объявили, что оно было незаконное чадъ поэзіи, непростительное заблужденіе таланта. Не всѣ, конечно, тому повѣрили. Вотъ и пошла потѣха. Классицизмъ и романтизмъ вцѣпились другъ другу въ волосы. Но оставимъ ихъ въ покоѣ, и поговоримъ о Пушкинѣ.

Пушкинъ былъ совершеннымъ выраженіемъ своего времени. Одаренный высокимъ поэтическимъ чувствомъ и удивительною способностію принимать и отражать всѣ возможные ощущенія, онъ перепробовалъ всѣ тоны, всѣ лады, всѣ аккорды своего вѣка; онъ заплатилъ дань всѣмъ великимъ современнымъ событіямъ, явленіямъ и мыслямъ, всему, что только могла чувствовать тогда Россія, переставшая вѣрить въ несомнѣнность «вѣковыхъ правилъ, самую мудростію извлеченныхъ изъ писаній великихъ гениевъ», и съ удивленіемъ узнавая о другихъ правилахъ, о другихъ мірахъ мыслей и понятій, и новыхъ, неизвѣстныхъ ей догмѣхъ, взглядахъ на давно извѣстныя ей дѣла и событія. Несправедливо говорятъ, будто онъ подражалъ Шенье, Байрону и другимъ: Байронъ владелъ имъ не какъ образецъ,

но какъ явленіе, какъ властитель думъ вѣка, а я сказалъ, что Пушкинъ заплатилъ свою дань каждому великому явленію. Да, Пушкинъ былъ выраженіемъ современнаго ему міра, представителемъ современнаго ему человѣчества,—но міра русскаго, но человѣчества русскаго. Что дѣлать! Мы всѣ гени-самоучки; мы все знаемъ, ничему не учившись, все приобрѣли, не проливши ни капли крови, а веселясь и играя; словомъ:

Мы всѣ учились понемногу
Чему-нибудь и какъ-нибудь.

Пушкинъ отъ шумныхъ оргій разгульной юности переходилъ къ суровому труду,

Чтобы въ посвященіи стать съ вкусомъ наравнѣ;

отъ труда опять къ молодымъ пирамъ, сладкому бездѣлю и легкокрылому похитѣлю. Ему не доставало только нѣмецко-художественнаго воспитанія. Баловень природы, онъ, шая и играя, похищалъ у ней плѣнительные образы и формы, и, снисходительная къ своему любимцу, она роскошно отдѣляла его тѣми цвѣтами и звуками, за которые другіе жертвуютъ ей наслажденіями юности, которые покупаютъ у ней цѣною отреченія отъ жизни... Какъ чародѣй, онъ въ одно и то же время исторгалъ у насъ и смѣхъ и слезы. игралъ по волѣ нашими чувствами... Онъ плѣлъ, и какъ изумлена была Русь звуками его цѣсенъ: и не диво, она еще никогда не слыхала подобныхъ; какъ жадно прислушивалась она къ нимъ: и не диво, въ нихъ трепетали всѣ первы ея жизни! Я помню это время, счастливое время, когда въ глуши провинціи, въ глуши уѣзднаго городка, въ лѣтніе дни, изъ растворенныхъ оконъ, носились по воздуху эти звуки, «подобные шуму волнъ» или «журчанію ручья»...

Невозможно обозрѣть всѣхъ его созданій и опредѣлить характеръ cadaго: это значило бы перечестъ и описать

всѣ деревья и цвѣты Армидина сада. У Пушкина мало, очень мало мелкихъ стихотвореній; у него по большей части все поэмы: его поэтическія тризны надъ урнами великихъ, то-есть его «Андрей Шенье», его могучая бесѣда съ моремъ, его вѣщая дума о Наполеонѣ — поэмы. Но самые драгоценные алмазы его поэтическаго вѣнка, безъ сомнѣнія, суть «Евгеній Онѣгинъ» и «Борисъ Годуновъ». Я никогда не кончилъ бы, еслибы началъ говорить о сихъ произведеніяхъ.

Пушкинъ царствовалъ десять лѣтъ: «Борисъ Годуновъ» былъ послѣднимъ великимъ его подвигомъ; въ третьей части полного собранія его стихотвореній замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаемъ Пушкина; онъ умеръ или можетъ-быть только обмеръ на время. Можетъ быть, его уже нѣтъ, а можетъ-быть онъ и воскреснетъ; этотъ вопросъ, это Гамлетовское «быть или не быть» скрывается во мглѣ будущаго. По крайней мѣрѣ, судя по его сказкамъ, по его poemѣ «Анжело» и по другимъ произведеніямъ, обрѣтающимся въ «Новосельѣ» и «Библіотекѣ для Чтенія», мы должны оплакивать горькую, невозвратную потерю. Гдѣ теперь эти звуки, въ коихъ слышалось, бывало, то удалое разгулье, то сердечная тоска, гдѣ эти вспышки пламеннаго и глубокаго чувства, потрясавшаго сердца, сжимавшаго и волновавшаго груди, эти вспышки остроумія тонкаго и язвительнаго, этой прощія, вмѣстѣ злой и тоскливой, которыя поражали умъ своею игрой; гдѣ теперь эти картины жизни и природы, передъ которыми была блѣдна жизнь и природа?... Увы! вмѣсто ихъ мы читаемъ теперь стихи съ правильною цензурою, съ богатыми и полубогатыми приемами, съ поэтическими вольностями, о коихъ такъ пространно, такъ удовлетворительно и такъ глубокомысленно разсуждали архимандритъ Аполлосъ и г. Остолоповъ!... Странная вещь, непонятная вещь! Неужели Пушкина, котораго не могли убить ни изступленные похвалы энтузіастовъ, ни хвалебные гимны торгашей, ни

сильныя, нерѣдко справедливыя нападки и порицанія его антагонистовъ, неужели, говорю я, этого Пушкина убило «Новоселье» г. Смирдина? И однакожь не будетъ слишкомъ поспѣшны и опрометчивы въ нашихъ заключеніяхъ; предоставимъ времени рѣшить этотъ запутанный вопросъ. О Пушкинѣ судить не легко. Вы вѣрно читали его «Элегію» въ октябрьской книжкѣ «Библіотеки для Чтенія»? Вы вѣрно были потрясены глубокимъ чувствомъ, которымъ дышитъ это созданіе? Упомянутая «Элегія», кромѣ утѣшительныхъ надеждъ, подаваемыхъ ею о Пушкинѣ, еще замѣчательна и въ томъ отношеніи, что заключаетъ въ себѣ самую вѣрную характеристику Пушкина, какъ художника:

Порой опять гармоніей упьюсь,
Надъ вымысломъ слезами обольюсь.

Да, я свято вѣрю, что онъ вполне раздѣлялъ безотрадную муку отверженной любви черноокой Черкешенки, или своей плѣнительной Татьяны, этого лучшаго и любимѣйшаго идеала его фантазіи; что онъ, вмѣстѣ съ своимъ мрачнымъ Гиреемъ, томился этою тоскою души, пресыщенной наслажденіями и все еще не вѣдавшей наслажденія; что онъ горѣлъ неистовымъ огнемъ ревности, вмѣстѣ съ Зарею и Алеко, и упивался дикою любовію Земфиры; что онъ спорбѣлъ и радовался за свои идеалы, что журчаніе его стиховъ согласовалось съ его рыданіями и смѣхомъ... Пусть скажутъ, что это пристрастіе, идолопоклонство, дѣтство, глушость, но я лучше хочу вѣрить тому, что Пушкинъ мистифируетъ «Библіотеку для Чтенія», чѣмъ тому, что его талантъ погасъ. Я вѣрю, думаю, и мнѣ отрадно вѣрить и думать, что Пушкинъ подаритъ насъ новыми созданіями, которыя будутъ выше прежнихъ...

Вмѣстѣ съ Пушкинымъ появилось множество талантовъ, теперь большею частію забытыхъ, или готовящихся быть забытыми, но нѣкогда имѣвшихъ алтари и поклонниковъ: теперь нѣтъ нихъ

Иныхъ ужъ нѣтъ, а тѣ далече,
Какъ Сади нѣкогда сказалъ.

Г. Баратынскаго ставили на одну доску съ Пушкинымъ; ихъ имена всегда были неразлучны, даже однажды два сочиненія сихъ поэтовъ явились въ одной книжкѣ, подъ однимъ переплетомъ. Говоря о Пушкинѣ, я забылъ замѣтить, что только нынѣ его начинаютъ цѣнить по достоинству, ибо уже реакція кончилась, партіи похолодѣли. И такъ теперь даже и въ шутку никто не поставитъ имени г. Баратынскаго подлѣ имени Пушкина. Это значило бы жестоко издѣваться надъ первымъ и не звать цѣны второму. Поэтическое дарованіе г. Баратынскаго не подвержено ни малѣйшему сомнѣнію. Правда, онъ написалъ плохую поэму «Пиры», плохую поэму «Эдда» (Бѣдную Лизу въ стихахъ), плохую поэму «Наложницу», но вмѣстѣ написалъ и нѣсколько прекрасныхъ элегій, дышащихъ неподдѣльнымъ чувствомъ, изъ коихъ «На смерть Гёте» можетъ назваться образцовой, — нѣсколько посланій, отличающихся остроуміемъ. Прежде его возвышали не по заслугамъ; теперь, кажется, унижаютъ неосновательно. Замѣчу еще, что г. Баратынскій обнаруживалъ во времена оны претензіи на критическій талантъ; теперь, я думаю, онъ и самъ разувѣрился въ немъ.

Козловъ принадлежитъ къ замѣчательнѣйшимъ талантамъ пушкинскаго періода. По формѣ своихъ сочиненій онъ всегда былъ подражателемъ Пушкина, по господствующему же чувству оныхъ, кажется, находился подъ вліяніемъ Жуковскаго. Всѣмъ извѣстно, что несчастіе пробудило поэтический талантъ Козлова: посему какое-то грустное чувство, покорность волѣ провидѣнія и упованіе на издѣлованіе за гробомъ составляютъ отличительный характеръ его созданій. Его «Чернецъ», надъ коимъ было пролито столько слезъ прекрасными читательницами и который былъ скопомъ съ Байронова «Джаура», особенно отличается этимъ односто-

роннымъ характеромъ; послѣдовавшія за нимъ поэмы были постепенно слабѣе. Мелкія сочиненія Козлова отличаются неподдѣльнымъ чувствомъ, роскошною живописностью картинъ, звучнымъ и гармоническимъ языкомъ. Какъ жаль, что онъ писалъ баллады! Баллада безъ народности есть родъ ложный и не можетъ возбуждать участія. Притомъ же онъ силился создать какую-то славянскую балладу. Славяне жили давно и мало извѣстны намъ; такъ для чего же выводить на сцену онѣмеченныхъ Всемиль и Остановъ? Козловъ много повредилъ своей художнической знаменитости еще и тѣмъ, что иногда писалъ какъ будто отъ скуки: это въ особенности можно сказать о его нынѣшнихъ произведеніяхъ.

Языковъ и Давыдовъ (Д. В.) имѣютъ много общаго. Оба они—замѣчательныя явленія въ нашей литературѣ. Одинъ—поэтъ-студентъ, безпечный и кипящій избыткомъ юнаго чувства, вослѣдуетъ потѣхи юности, пирующей на праздникъ жизни, пурпуровыя уста, черныя очи, лилейныя перси и дивныя брови красавицъ, огненные ночи и незабвенные края,

Гдѣ пролетѣла шумно, шумно,
Лихая молодость его.

Другой — поэтъ-воинъ, со всею военною откровенностію, со всѣмъ жаромъ неохлажденнаго годами и трудами чувства, въ удалыхъ стихахъ рассказываетъ намъ о проказахъ молодости, объ ухорскихъ забавахъ, о лихихъ наѣздахъ, о гусарскихъ пирушкахъ, о своей любви къ какой-то гордой красавицѣ. Какъ тотъ, такъ и другой нерѣдко срываютъ съ своихъ лиръ звуки сильные, громкіе и торжественные; нерѣдко трогаютъ выраженіемъ чувства живаго и пламеннаго. Ихъ односторонность въ нихъ есть оригинальность, безъ которой нѣтъ истиннаго таланта.

Подолинскій подалъ о себѣ самыя лестныя надежды, и къ несчастію не выполнялъ ихъ. Онъ владѣлъ поэтическимъ

языкомъ и не былъ лишенъ поэтическаго чувства. Мнѣ кажется, что причина его неуспѣха заключается въ томъ, что онъ не созналъ своего назначенія и шелъ не по своей дорогѣ.

Θ. Н. Глинка... но что я скажу объ немъ? Вы знаете, какъ благоуханны цвѣты его поэзіи, какъ нравственно и свято его художественное направленіе: это хоть кого такъ обезоружить. Но вполне сознавая его поэтическое дарованіе, нельзя въ то же время не сознаться, что оно ужъ чересчуръ односторонне; нравственность нравственностію, а вѣдь одно и то же прискучить. Θ. Н. Глинка писалъ много, и потому, между многими прекрасными пьесками, у него чрезвычайно много пьесъ рѣшительно посредственныхъ. Причиною этого, кажется, то, что онъ смотритъ на творчество, какъ на занятіе, какъ на невинное препровожденіе времени, а не какъ на призваніе свыше, и вообще какъ-то низменно смотритъ на многіе предметы. Лучшими своими стихами онъ обязанъ религіознымъ вдохновеніямъ. Его поэма «Карелія» заключаетъ въ себѣ много красотъ, можетъ-быть еще больше недостатковъ.

Дельвигъ... Но Дельвигу Языковъ написалъ прелестную поэтическую панихиду, но Дельвига Пушкинъ почитаетъ человекомъ съ необыкновеннымъ дарованіемъ: куда же мнѣ спорить съ такими авторитетами? Дельвига почитали нѣкогда огречившимся Нѣмцемъ: правда ли это? *De mortuis aut bene, aut nihil*, и потому я не хочу обнаруживать моего собственнаго мнѣнія о семъ поэтѣ. Вотъ что нѣкогда было напечатано въ «Московскомъ Вѣстникѣ» о его стихотвореніяхъ: «ихъ можно прочесть съ легкимъ удовольствіемъ, но не болѣе». Такихъ поэтовъ много было въ прошлое десятилѣтіе.

Берегъ! Берегъ!...

Истертое выраженіе.

Пушкинскій періодъ отличается необыкновеннымъ множествомъ стихотворцевъ-поэтовъ: это рѣшительно періодъ стихотворства, превратившагося въ совершенную манію. Не говоря уже о стихотворцахъ бездарныхъ, авторахъ «киргизскихъ», «московскихъ» и другихъ «плѣнниковъ», авторахъ «бѣльскихъ» и другихъ «Евгеніевъ», подъ разными именами, сколько людей, если не съ талантомъ, то съ удивительною способностію, если не къ поэзіи, то къ стихотворству! Стихами и отрывками изъ поэмъ было наводнено многочисленное поколѣніе журналовъ и альманаховъ; опытами въ стихахъ, собраніями стиховъ и поэмами, были наводнены книжныя лавки. И во всемъ этомъ былъ виноватъ одинъ Пушкинъ: вотъ едва ли не единственный, хотя и неумышленный грѣхъ его въ отношеніи къ русской литературѣ! И такъ о бездарныхъ писакахъ много говорить нечего; бранить ихъ тоже нечего: мстительная Лета давно уже наказала ихъ. Поговорю лучше о людяхъ, отличившихся нѣкоторою степенью таланта, или по крайней мѣрѣ способности. Отчего они такъ скоро утратили свою знаменитость? Или они выписались? Ничуть не бывало! Многие изъ нихъ и теперь пишутъ еще или по крайней мѣрѣ и теперь еще могутъ писать такъ же хорошо, какъ и прежде; но, увы! уже не могутъ возбуждать своими сочиненіями бывалаго энтузіазма въ читателяхъ. Отчего же? Оттого, повторяю, что они могли быть и не быть, что пылкость юности принимали за тревогу вдохновенія, способность принимать впечатлѣнія изящнаго, за способность поражать другихъ впечатлѣніями изящнаго, способность «описывать всякую данную матерію съ нѣкоторымъ подражательнымъ

вымысломъ *) гармоническими стихами за способность воспроизводить въ словѣ явленія всеобщей жизни природы. Они заняли у Пушкина этотъ стихъ гармоническій и звучный, отчасти и эту поэтическую прелесть выраженія, которыя составляютъ только внѣшнюю сторону его созданій; но не заняли у него этого чувства глубокаго и страдательнаго, которымъ они дышатъ, и которое одно есть источникъ жизни художественныхъ произведеній. Посему-то они какъ будто скользятъ по явленіямъ природы и жизни, какъ скользить по предметамъ блѣдный лучъ зимняго солнца, а не проникаютъ въ нихъ всю жизнь свою; посему-то они какъ будто только описываютъ предметы, или рассуждаютъ о нихъ, а не чувствуютъ ихъ. И потому-то вы прочтете ихъ стихи, иногда и съ удовольствіемъ, если не съ наслажденіемъ; но они никогда не оставятъ въ душѣ вашей рѣзкаго впечатлѣнія, никогда не заронятся въ вашу память. Присовокупите къ этому еще односторонность ихъ направленія и однообразіе ихъ заветныхъ мечтаній и думъ, и вотъ вамъ причина, отчего нимало не шевелятъ вашего сердца эти стихи, нѣкогда столь плѣнявшіе васъ. Нынѣ не то время, что прежде: нынѣ только стихами, ознаменованными печатію высокаго таланта, если не генія, можно заставить читать себя. Нынѣ требуютъ стиховъ выстрадаанныхъ, стиховъ, въ коихъ слышались бы вопли души, исторгаемые неземными муками; словомъ, нынѣ

Плачь неестественный досаденъ,
Смѣшно жеманное вытье...

Одинъ изъ молодыхъ замѣчательнѣйшихъ литераторовъ нашихъ, г. Шевыревъ, съ раннихъ лѣтъ своей жизни предавшійся наукѣ и искусству, съ раннихъ лѣтъ выступившій на благородное поприще дѣйствованія въ пользу общую, слишкомъ хорошо понималъ и почувствовалъ этотъ недоста-

*) См. „Поэтическія Правила“ Апполоса.

токъ, столь общій почти всѣмъ его сверстникамъ и товарищамъ по ремеслу. Одаренный поэтическимъ талантомъ, что особенно доказываютъ его переводы изъ Шиллера, изъ коихъ многіе самъ Жуковский не постыдился бы назвать своими; обогащенный познаніями, коротко знакомый со всеобщей исторіею литературъ, что доказывается многими его критическими трудами и, особенно, отлично исполняемою имъ должностію профессора при Московскомъ университетѣ, — онъ, какъ видно изъ его оригинальныхъ произведеній, рѣшился произвести реакцію всеобщему направленію литературы тогдашняго времени. Въ основаніи каждаго его стихотворенія лежитъ мысль глубокая и поэтическая, видны претензіи на Шиллеровскую обширность взгляда и глубину чувства, и, надо сказать правду, его стихъ всегда отличался энергическою краткостію, крѣпостію и выразительностію. Но цѣль вредить поэзіи; притомъ же назначивъ себѣ такую высокую цѣль, надо обладать и великими средствами, чтобы ее достойно выполнить. Посему большая часть оригинальныхъ произведеній г. Шевырева, за исключеніемъ весьма не многихъ, обнаруживающихъ неподдѣльное чувство, при всѣхъ ихъ достоинствахъ, часто обнаруживаютъ болѣе усилія ума, чѣмъ изліяніе горячаго вдохновенія. Одинъ только Веневитиновъ могъ согласить мысль съ чувствомъ, идею съ формою, ибо, изъ всѣхъ молодыхъ поэтовъ пушкинскаго періода, онъ одинъ обнималъ природу не холоднымъ умомъ, а пламеннымъ сочувствіемъ, и силою любви могъ проникать въ ея святилище, могъ

Въ ея таинственную грудь,
Какъ въ сердце друга, заглянуть,

и потомъ передавать въ своихъ созданіяхъ высокія тайны, подсмотрѣнныя имъ на этомъ недоступномъ алтарѣ. Веневитиновъ есть единственный у насъ поэтъ, который даже современниками былъ понятъ и оцѣненъ по достоинству.

Это была прекрасная утренняя заря, предрекавшая прекрасный день: въ этомъ согласились всѣ партіи. Долгъ справедливости заставляетъ меня упомянуть еще о Полежаевѣ, талантѣ, правда, одностороннемъ, но тѣмъ не менѣе и замѣчательномъ. Кому не извѣстно, что этотъ человекъ есть жалкая жертва заблужденій своей юности, несчастная жертва духа того времени, когда талантливая молодежь на почтовыхъ мчалась по дорогѣ жизни, стремилась упиваться жизнью, а не изучать ее, смотрѣла на жизнь, какъ на буйную оргію, а не какъ на тяжкій подвигъ? Не читайте его переводовъ (исключая Ламартиновой пьесы: *l'Homme à Lord Byron*), которые какъ-то нейдутъ въ душу; не читайте его шуточныхъ стихотвореній, которыя отзываются слишкомъ трагичнымъ разгуломъ; не читайте его заказныхъ стиховъ, но прочтите тѣ изъ его произведеній, которыя имѣютъ большее или меньшее отношеніе къ его жизни; прочтите «Думу на берегу моря», его «Вечернюю Зарю», его «Провидѣніе» — и вы узнаете въ Полежаевѣ талантъ, увидите чувство!...

Теперь мнѣ остается сказать объ одномъ поэтѣ, не похожемъ ни на одного изъ всѣхъ упомянутыхъ мною, поэтѣ оригинальномъ и самобытномъ, не признавшемъ надъ собою вліянія Пушкина, и едва ли не равномъ ему: говорю о Грибоедовѣ. Этотъ человекъ слишкомъ много надеждъ унесъ съ собою въ гробъ. Онъ былъ назначенъ быть творцемъ русской комедіи, творцемъ русскаго театра.

Театра!... Любите ли вы театръ такъ, какъ я люблю его, то-есть всѣми силами души вашей, со всѣмъ энтузіазмомъ, со всѣмъ изступленіемъ, къ которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлѣній изящнаго? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свѣтѣ, кромѣ блага и истины? И въ самомъ дѣлѣ, не сосредоточиваются ли въ немъ всѣ чары, всѣ обаянія, всѣ обольщенія изящныхъ искусствъ? Не есть

ли онъ исключительно самовластный властелинъ нашихъ чувствъ, готовый во всякое время и при всякихъ обстоятельствахъ возбуждать и волновать ихъ, какъ воздымаетъ ураганъ песчанья метели въ безбрежныхъ степяхъ Аравіи?... Какое изъ всѣхъ искусствъ владѣетъ такими могущественными средствами поражать душу впечатлѣніями и играть ею самовластно... Лиризмъ, эпопея, драма — отдаете ли вы чему-нибудь изъ нихъ рѣшительное предпочтеніе, или все это любите одинаково? Трудный выборъ, не правда ли? Въдъ въ мощныхъ строфахъ богатыря Державина и въ разнообразныхъ напѣвахъ протѣя Пушкина предображается та же самая природа, что и въ поэмахъ Байрона или романахъ Вальтеръ-Скотта, а въ сихъ послѣднихъ та же самая, что и въ драмахъ Шекспира и Шиллера? И однакоже я люблю драму предпочтительно, и, кажется, это общій вкусъ. Лиризмъ выражаетъ природу неопредѣленно и, такъ сказать, музыкально; его предметъ — вся природа во всей ея безконечности; предметъ же драмы есть исключительно человѣкъ и его жизнь, въ которой проявляется высшая, духовная сторона всеобщей жизни вселенной. Между искусствами драма есть то же, что исторія между науками. Человѣкъ всегда былъ и будетъ самымъ любопытнѣйшимъ явленіемъ для человѣка, а драма представляетъ этого человѣка въ его вѣчной борьбѣ съ своимъ я и съ своимъ назначеніемъ, въ его вѣчной дѣятельности, источникъ которой есть стремленіе къ какому-то темному идеалу блаженства, рѣдко имъ постигаемаго и еще рѣже достигаемаго. Сама эпопея отъ драмы занимаетъ свое достоинство: романъ безъ драматизма вялъ и скученъ. Въ нѣкоторомъ смыслѣ эпопея есть только особенная форма драмы. И такъ положимъ, что драма есть, если не лучший, то ближайшій къ намъ родъ поэзіи. Что же такое театръ, гдѣ эта могущественная драма облекается съ головы до ногъ въ новое могущество, гдѣ она вступаетъ въ союзъ со всѣми искусствами, призываетъ ихъ на свою

помощь и беретъ у нихъ всѣ средства, всѣ оружія, изъ конихъ каждое, отдѣльно взятое, слышимоъ сильно для того, чтобы вырвать васъ изъ тѣснаго міра суетъ и ринуть въ безбрежный міръ высокаго и прекраснаго? Что же такое, спрашиваю васъ, этотъ театръ?... О, это истинный храмъ искусства, при входѣ въ который вы мгновенно отдѣляетесь отъ земли, освобождаетесь отъ житейскихъ отношеній! Эти звуки настраиваемыхъ въ оркестрѣ инструментовъ томятъ вашу душу ожиданіемъ чего-то чудеснаго, сжимаютъ ваше сердце предчувствіемъ какого-то неизъяснимо-сладостнаго блаженства; этотъ народъ, наполняющій огромный амфитеатръ, раздѣляетъ ваше нетерпѣливое ожиданіе, вы сливаетесь съ нимъ въ одною чувствъ; этотъ роскошный и великолѣпный занавѣсъ, это море огней намекаетъ вамъ о чудесахъ и дивахъ, разсѣянныхъ по прекрасному Божію творенію и сосредоточенныхъ на тѣсномъ пространствѣ сцены! И вотъ грянулъ оркестръ — и душа ваша предощущаетъ въ его звукахъ тѣ впечатлѣнія, которыя готовятся поразить ее; и вотъ поднялся занавѣсъ — и передъ вами разливается безконечный міръ страстей и судьбъ человѣческихъ! Вотъ умоляющіе вопли кроткой и любящей Дездемоны мѣшаются съ бѣшенными воплями ревниваго Отелло; вотъ, среди глубокой полночи появляется леди Макбетъ, съ обнаженною грудью, съ растрепанными волосами, и тщетно старается стереть съ своей руки кровавыя пятна, которыя мерещатся ей въ мукахъ истинной совѣсти; вотъ выходитъ бѣдный Гамлетъ съ его завѣтнымъ вопросомъ: «быть или не быть»; вотъ проходятъ передъ вами и божественный мечтатель Поза и два райскіе цвѣтка — Максъ и Текла, съ ихъ небесною любовью, словомъ, весь роскошный и безграничный міръ, созданный плодотворною фантазіею Шекспировъ, Шиллеровъ, Гёте, Вернеровъ... Вы здѣсь живете не своею жизнію, страдаете не своими скорбями, радуетесь не своимъ блаженствомъ,

трепещете не за свою опасность; здѣсь ваше холодное я исчезаетъ въ пламенномъ эфирѣ любви. Если васъ мучить тягостная мысль о трудномъ подвигѣ вашей жизни и слабости вашихъ силъ, вы здѣсь забудете ее; если душа ваша алкала когда-нибудь любви и упоенія, если въ вашемъ воображеніи мелькалъ когда-нибудь подобно легкому видѣнію ночи, какой-то пѣлнтельный образъ, давно вами забытый, какъ мечта несбыточная — здѣсь эта жажда вспыхнетъ въ васъ съ новою, неукротимою силою, здѣсь этотъ образъ снова явится вамъ, и вы увидите его очи, устремленныя на васъ съ тоскою и любовію; упьетесь его обаятельнымъ дыханіемъ, содрогнетесь отъ огненнаго прикосновенія его руки... Но возможно ли описать всѣ очарованія театра, всю его магическую силу надъ душею человѣческою?... О, какъ было бы хорошо, если бы у насъ былъ свой, народный, русскій театр!... Въ самомъ дѣлѣ, видѣть на сценѣ всю Русь, съ ея добромъ и зломъ, съ ея высокими и смѣшными, слышать говорящими ея доблестныхъ героевъ, вызванныхъ изъ гроба могуществомъ фантазіи, видѣть бѣненіе пульса ея могучей жизни... О, ступайте, ступайте въ театръ, живите и умрите въ немъ, если можете!...

Но, увы! все это поэзія, а не проза, мечты, а не существенность! Тамъ, то-есть въ томъ большемъ домѣ, который называютъ русскимъ театромъ, тамъ, говорю я, вы увидите пародіи на Шекспира или Шиллера, пародіи смѣшныя и безобразныя; тамъ выдаютъ вамъ за трагедію корчи воображенія; тамъ васъ подчуютъ жизни, вывороченною на изнанку; словомъ, тамъ

...Мельпомены бурной
Протяжно раздается вой,
Тамъ машетъ мантией мишурной
Она предъ хладною толпой!

Говорю вамъ, не ходите туда; это очень скучная забава!... Но не будемъ слишкомъ строги къ театру: не его вина,

что онъ такъ шохъ. Гдѣ у насъ драматическая литература, гдѣ драматическіе таланты? Гдѣ наши трагикъ, наши комикъ? Ихъ много, очень много; ихъ имена всѣмъ извѣстны, и потому не хочу перебирать ихъ, ибо мои похвалы ничего не прибавятъ къ той громкой славѣ, которою они по справедливости пользуются. И такъ обращаюсь къ Грибоѣдову.

Грибоѣдова комедія или драма (я не совсѣмъ хорошо понимаю различіе между этими двумя словами; значенія же слова трагедія совсѣмъ не понимаю) давно ходила въ рукописи. О Грибоѣдовѣ, какъ и о всѣхъ примѣчательныхъ людяхъ, было много толковъ и споровъ; ему завидовали нѣкоторые наши геніи, въ то же время удивлявшіеся «Ябедѣ» Капниста; ему не хотѣли отдавать справедливости тѣ люди, кои удивлялись гг. АВ. СД. ЕФ. и пр. Но публика разсудила иначе: еще до печати и представленія рукописная комедія Грибоѣдова разлилась по Россіи бурнымъ потокомъ.

Комедія, по моему мнѣнію, есть такая же драма, какъ и то, что обыкновенно называется трагедіей; ея предметъ есть представленіе жизни въ противорѣчій съ идеей жизни; ея элементъ есть не то невинное остроуміе, которое добродушно издѣвается надъ всѣмъ изъ одного желанія позубоскалить; нѣтъ, ея элементъ есть этотъ желчный юморъ, это грозное негодованіе, которое не улыбается шутивно, а хохочетъ яростно, которое преслѣдуетъ ничтожество и эгоизмъ не эпиграммами, а сарказмами.

Комедія Грибоѣдова есть истинная *divina comedia*! Это совсѣмъ не смѣшной анекдотецъ, переложенный на разговоры, не такая комедія, гдѣ дѣйствующія лица нарицаются Добряковыми, Плутуватыными, Обираловыми и пр.; ея персонажи давно были вамъ извѣстны въ натурѣ, вы видѣли, знали ихъ еще до прочтенія «Горя отъ ума», и однакожь вы удивляетесь имъ, какъ явленіямъ совершенно новымъ для васъ: вотъ высочайшая истина поэтическаго вымысла! Лица, созданныя Грибоѣдовымъ, не выдуманы, а сняты съ

натуры во весь ростъ, почерпнуты со дна дѣйствительной жизни; у нихъ не написано на лбахъ ихъ добродѣтелей и пороковъ, но они залеймены печатію своего ничтожества, залеймены мстительною рукою палача-художника. Каждый стихъ Грибоѣдова есть сарказмъ, вырвавшійся изъ души художника въ пылу негодованія; его слогъ есть раг excellence разговорный. Недавно одинъ изъ нашихъ примѣчательнѣйшихъ писателей, слишкомъ хорошо знающій общество, замѣтилъ, что только одинъ Грибоѣдовъ умѣлъ переложить на стихи разговоръ нашего общества; безъ всякаго сомнѣнія, это ни стоило ему ни малѣйшаго труда, но, тѣмъ не менѣе, это все-таки великая заслуга съ его стороны, ибо разговорный языкъ нашихъ комиковъ... Но я уже обѣщался не говорить о нашихъ комикахъ... Конечно, это произведеніе не безъ недостатковъ въ отношеніи къ своей цѣлости, но оно было первымъ опытомъ таланта Грибоѣдова, первою русскою комедіей; да и сверхъ того, каковы бы ни были эти недостатки, они не помѣшаютъ ему быть образцовымъ, гениальнымъ произведеніемъ и не въ русской литературѣ, которая въ Грибоѣдовѣ лишилась Шекспира комедіи...

Довольно о поэтахъ-стихотворцахъ, поговоримъ о поэтахъ-прозаикахъ. Знаете ли, чье имя стоитъ между ними первымъ въ пушкинскомъ періодѣ словесности? Имя г. Булгарина, милостивые государи. Это и не удивительно. Г. Булгаринъ былъ начинщикомъ, а начинщики, какъ я уже имѣлъ честь докладывать вамъ, всегда безсмертны, и потому беру смѣлость увѣрить васъ, что имя г. Булгарина такъ же безсмертно въ области русскаго романа, какъ имя московскаго жителя Матвѣя Комарова *). Имя петербургскаго Вальтеръ-Скотта, Фаддея Венедиктовича Булгарина, вмѣстѣ съ име-

*) Автора «Полиціона», «Англійскаго Малорда» и другихъ подобныхъ знаменитыхъ произведеній.

немъ московскаго Вальтеръ-Скотта, Александра Анфимовича Орлова, всегда будетъ составлять лучезарное созвѣздіе на горизонтѣ нашей литературы. Остроумный Косичкинъ уже оцѣнилъ, какъ слѣдуетъ, обоихъ сихъ знаменитыхъ писателей, показавъ намъ сравнительно ихъ достоинства, и потому, не желая повторять Косичкина, я выскажу о г. Булгаринѣ мнѣніе, теперь для всѣхъ общее, но еще нигдѣ не высказанное печатно. Неужели и въ самомъ дѣлѣ г. Булгаринъ совершенно равенъ г. Орлову? Говорю утвердительно, что нѣтъ; ибо, какъ писатель вообще, онъ несравненно выше его, но какъ художникъ собственно, онъ немного пониже его. Хотите ли знать, въ чемъ состоитъ главная разница между сими свѣтилами нашей словесности? Одинъ изъ нихъ много видѣлъ, много слышалъ, много читалъ, былъ и бываетъ вездѣ; другой, бѣдный, не только не былъ въ Испаніи, но даже и не выѣзжалъ за русскую границу; при знаніи латинскаго языка (знаніи, впрочемъ, не доказанномъ никакимъ изданіемъ Горація, ни съ своими, ни съ чужими примѣчаніями), не совсѣмъ твердо владѣетъ и своимъ отечественнымъ, да и не мудрено: онъ не имѣлъ случая «прислушиваться къ языку хорошей компаніи». И такъ все дѣло въ томъ, что сочиненія одного выглажены и вылощены, какъ полъ гостиной, а сочиненія другого отзываются толкучимъ рынкомъ. Впрочемъ, — удивительное дѣло!—несмотря на то, что оба они писали для разныхъ классовъ читателей, они нашли въ одномъ и томъ же классѣ свою публику. И надо думать, что эта публика будетъ благосклоннѣе къ Александру Анфимовичу, ибо онъ больше поэтъ, тогда какъ Ѳаддей Венедиктовичъ болѣе философъ, а поэзія доступнѣе философіи для всѣхъ классовъ.

Почти вмѣстѣ съ Пушкинымъ вышелъ на литературное поприще и г. Марлинскій. Это одинъ изъ самыхъ примѣчательнѣйшихъ нашихъ литераторовъ. Онъ теперь безусловно пользуется самымъ огромнымъ авторитетомъ: теперь

передъ нимъ все на колѣнахъ; если еще не всё въ одинъ голосъ называютъ его русскимъ Бальзакомъ, то потому только, что бояться унижить его этииъ и ожидаютъ, чтобы Французы назвали Бальзака французскимъ Марлинскимъ. Въ ожиданіи, пока совершится это чудо, мы похладнокровнѣе рассмотримъ его права на такой громаднй авторитетъ. Конечно, страшно выходить на бой съ общественнымъ мнѣніемъ и возставать явно противъ его идоловъ; но я рѣшаюсь на это не столько по смѣлости, сколько по безкорыстной любви къ истинѣ. Впрочемъ, меня ободряетъ въ семь случаевъ и то, что это страшное общественное мнѣніе начинаетъ мало-по-малу приходить въ память отъ оглушительнаго удара, произведеннаго на него полнымъ изданіемъ «Русскихъ Повѣстей и Разсказовъ» г. Марлинскаго; начинаютъ ходить темные толки о какихъ-то натяжкахъ, о скучномъ однообразіи, и тому подобномъ. И такъ я рѣшаюсь быть органомъ новаго общественнаго мнѣнія. Знаю, что это новое мнѣніе найдетъ еще слишкомъ много противниковъ, но какъ бы то ни было, а истина дороже всѣхъ на свѣтѣ авторитетовъ.

На безлюдьи истинныхъ талантовъ въ нашей литературѣ, талантъ г. Марлинскаго, конечно, явленіе очень примѣчательное. Онъ одаренъ остроуміемъ неподдѣльнымъ, владеетъ способностію разсказа, нерѣдко живаго и увлекательнаго, умѣетъ иногда снимать съ природы картинки-загляднѣе. Но вѣстѣ съ этимъ нельзя не сознаться, что его талантъ чрезвычайно одностороненъ, что его претензіи на пламень чувства весьма подозрительны, что въ его созданіяхъ нѣтъ никакой глубины, никакой философіи, никакого драматизма; что, вслѣдствіе этого, всѣ герои его повѣстей сбиты на одну колодку и отличаются другъ отъ друга только именами; что онъ повторяетъ себя въ каждомъ новомъ произведеніи, что у него болѣе фразъ, чѣмъ мыслей, болѣе риторическихъ возгласовъ, чѣмъ выраженій чувства. У насъ мало писателей, которые бы писали столько, какъ г. Мар-

линскій, но это обиліе происходит не отъ огромности дарованія, не отъ избытка творческой дѣятельности, а отъ навыка, отъ привычки писать. Если вы имѣете хотя нѣсколько дарованія, если образовали себя чтеніемъ, если записались извѣстнымъ числомъ идей и сообщали имъ нѣкоторый отпечатокъ своего характера, своей личности, то берите перо и смѣло пишите съ утра до ночи. Вы дойдете наконецъ до искусства, во всякую пору, во всякомъ расположеніи духа, писать о чемъ вамъ угодно; если у васъ придумано нѣсколько пышныхъ монологовъ, то вамъ не трудно будетъ придѣлать къ нимъ романъ, драму, повѣсть; только позаботьтесь о формѣ и слогѣ: они должны быть оригинальные.

Вещи всего лучше познаются сравненіемъ. Если два писателя пишутъ въ одномъ родѣ и имѣютъ между собою какое-нибудь сходство, то ихъ не иначе можно оцѣнить въ отношеніи другъ къ другу, какъ выставивъ параллельныя мѣста: это самый лучший пробный камень. Посмотрите на Бальзака: какъ много написалъ этотъ человѣкъ и, несмотря на то, есть ли въ его повѣстяхъ хотя одинъ характеръ, хотя одно лице, которое бы сколько-нибудь походило на другое? О, какое непостижимое искусство обрисовывать характеры со всѣми оттѣнками ихъ индивидуальности! Не преслѣдовалъ ли васъ этотъ грозный и холодный обликъ Феррагуса, не мерещился ли онъ вамъ и во снѣ и на-яву, не бродилъ ли за вами неотступною тѣнью? О, вы узнали бы его между тысячами; и между тѣмъ въ повѣсти Бальзака онъ стоитъ въ тѣни, обрисованъ слегка, мимоходомъ, и за-становленъ лицами, на коихъ сосредоточивается главный интересъ поэмы. Отчего же это лице возбуждаетъ въ читателѣ столько участія и такъ глубоко врѣзывается въ его воображеніе? Оттого, что Бальзакъ не выдумалъ, а создалъ его, оттого, что онъ мерещился ему прежде, нежели была написана первая строка повѣсти, что онъ мучилъ худож-

ника до тѣхъ поръ, пока онъ не извелъ его изъ міра души своей въ явленіе, для всѣхъ доступное. Вотъ мы видимъ теперь на сценѣ и «Другаго изъ Тринадцати»: Феррагусъ и Монриво видимо одного покроя, люди съ душою глубокою, какъ морское дно, съ силою воли непреодолимою, какъ воля судьбы; и однакожъ, спрашиваю васъ, похожи ли они хотя сколько-нибудь другъ на друга, есть ли между ними что-нибудь общее? Сколько женскихъ портретовъ вышло изъ подъ плодотворной кисти Бальзака, и между тѣмъ повторилъ ли онъ себя хотя въ одномъ изъ нихъ?... Таковы ли въ семъ отношеніи созданія г. Марлинскаго? Его Амаллатъ-Бекъ, его полковникъ В***, его герой «Страшнаго Гаданья», его капитанъ Правинъ, всѣ они родные братцы, которыхъ различить трудно самому ихъ родителю. Только развѣ первый изъ нихъ немного отличается отъ прочихъ своимъ азіатскимъ колоритомъ. Гдѣ же творчество? Притомъ, сколько натяжекъ! Можно сказать, что натяжка у г. Марлинскаго такой конекъ, съ котораго онъ рѣдко слѣзаетъ. Ни одно изъ дѣйствующихъ лицъ его повѣстей не скажетъ ни слова просто, но вѣчно съ ужимкой, вѣчно съ эпиграммою или съ каламбуромъ или съ подобіемъ, словомъ, у г. Марлинскаго каждая копѣйка ребромъ, каждое слово завиткомъ. Надо сказать правду: природа съ избыткомъ наградила его этимъ остроуміемъ, веселымъ и добродушнымъ, которое колетъ, но не язвитъ, щекочетъ, но не кусаетъ; но и здѣсь онъ часто пересаливаетъ. У него есть цѣлая огромная повѣсти, какъ напр. «Наѣзды», которыя суть не иное что, какъ огромныя натяжки. У него есть талантъ, но талантъ не огромный, талантъ, обезсиленный вѣчнымъ принужденіемъ, избившійся и растрясшійся о пни и колоды высканнаго остроумія.

Мнѣ кажется, что романъ не его дѣло, ибо у него нѣтъ никакого знанія человѣческаго сердца, никакого драматическаго такта. Для чего, напримѣръ, заставилъ онъ князя, для котораго всѣ радости земли и неба заключались въ

устрицахъ, для котораго вкусный столъ всегда былъ дороже жены и ея чести, для чего заставилъ онъ его проговорить патетическій монологъ осквернителю его брачнаго ложа, монологъ, который сдѣлалъ бы честь и самому Правину? Это просто натяжка, закулисная подставочка; автору хотѣлось быть нравственнымъ на манеръ г. Булгарина. Вообще онъ не мастеръ скрывать закулисныя машины, на коихъ вертится зданіе его повѣстей; онъ у него всегда на виду. Впрочемъ, въ его повѣстяхъ встрѣчаются иногда мѣста истинно прекрасныя, очерки истинно мастерскіе; таково, напримѣръ, описаніе русскаго простонароднаго Мефистофеля и вообще всѣ сцены деревенскаго быта въ «Страшномъ Гаданіи»; таковы многія картины, снятыя съ природы, исключая, впрочемъ, кавказскихъ очерковъ, которые натянуты до тошноты, до *pes plus ultra*. По мнѣ, лучшія его повѣсти суть «Испытаніе» и «Лейтенантъ Бѣлозоръ»; въ нихъ можно отъ души полюбоваться его талантомъ, ибо онъ въ нихъ въ своей тарелкѣ. Онъ смѣется надъ своимъ стихотворствомъ, но мнѣ переводъ его пѣсенъ горцевъ въ «Амаллатъ - Бекъ» кажется лучше всей повѣсти; въ нихъ такъ много чувства, такъ много оригинальности, что и Пушкинъ не постыдился бы назвать ихъ своими. Равнымъ образомъ и въ его «Андрѣѣ Переяславскомъ», особенно во второй главѣ, встрѣчаются мѣста истинно поэтическія, хотя цѣлое произведеніе слишкомъ отзывается дѣтствомъ. Всего страннѣе въ г. Марлинскомъ, что онъ съ удивительною скромностію недавно сознался въ такомъ грѣхѣ, въ которомъ онъ не виноватъ ни душою ни тѣломъ, — въ томъ, что будто онъ своими повѣстями открылъ двери для народности въ русскую литературу: вотъ что, такъ ужъ неправда! Эти повѣсти принадлежать къ числу самыхъ неудачныхъ его попытокъ, въ нихъ онъ народенъ не больше Карамзина, ибо его Русь жестоко отзывается его завѣтною, его любимую Ливонією. Время и мѣсто не позволяютъ мнѣ подкрѣпить выписками

изъ сочиненій г. Марлинскаго мое мнѣніе о его талантѣ; впрочемъ это очень легко сдѣлать.

О слогѣ его не говорю. Нынѣ слово «слогъ» начало терять прежнее свое обширное значеніе, ибо его перестаютъ уже отдѣлять отъ мысли. Словомъ, г. Марлинскій — писатель не безъ таланта, и былъ бы гораздо выше, еслибъ былъ естественнѣе и менѣе натягивался.

Пушкинскій періодъ былъ самымъ цвѣтущимъ временемъ нашей словесности. Его надобно-бъ было обозрѣть исторически и въ хронологическомъ порядкѣ; я не сдѣлалъ этого, потому что не то имѣлъ цѣлю. Можно сказать утвердительно, что тогда мы имѣли если не литературу, то, по крайней мѣрѣ, призракъ литературы; ибо тогда было въ ней движеніе, жизнь и даже какая-то постепенность въ развитіи. Сколько новыхъ явленій, сколько талантовъ, сколько попытокъ на то и другое! Мы было уже и въ самомъ дѣлѣ отъ души стали вѣрить, что имѣемъ литературу, имѣемъ своихъ Байроновъ, Шиллеровъ, Гёте, Вальтеръ - Скоттовъ, Томасовъ - Муровъ; мы были веселы и горды, какъ дѣти праздничными обновами. И кто же былъ нашимъ разочарователемъ, нашимъ Мефистофелемъ? Кто явился сильною, грозною реакціей и гораздо поохладилъ наши восторги? Помните ли вы Никодима Аристарховича Надоумку; помните ли, какъ, выступивъ на сцену на своихъ скудельныхъ ножкахъ, онъ разсѣялъ наши сладкія мечты своимъ добродушно - лукавымъ: хе! хе! хе! Помните ли, какъ мы всѣ уцѣпились за наши авторитеты и авторитетии, и руками и ногами отстаивали ихъ отъ нападеній грознаго аристарха? Не знаю, какъ вы, а я очень хорошо помню, какъ всѣ сердились на него; помню, какъ я самъ сердился на него. И что же? Ужъ сбылась большая часть его зловѣщихъ предсказаній, и теперь уже никто не сердится на покойника!... Да! Никодимъ Аристарховичъ былъ замѣчательное лице въ нашей литературѣ; сколько надѣлалъ онъ тревоги,

сколько произвелъ кровопролитныхъ войнъ, какъ храбро сражался, какъ жестоко поражалъ своихъ противниковъ, и этимъ слогомъ, иногда оригинальнымъ до тривиальности, но всегда рѣзкимъ и мѣткимъ, и этимъ твердымъ силлогизмомъ, и этою насмѣшкою, простодушною и убійственною вѣстѣ...

И гдѣ же твой, о витязь, прахъ?

Какою взять могилей?

Что скажу я о журналахъ тогдашняго времени? Неужели умолчу о нихъ? Они въ то время получили такую важность въ глазахъ публики, возбуждали къ себѣ такое живое участіе, играли такую важную роль!... Скажу, что почти всѣ они, волею и неволею, умышленно и неумышленно, способствовали къ распространенію у насъ новыхъ понятій и взглядовъ; мы по нимъ учились и по нимъ выучились. Всѣ они сдѣлали все, что могъ каждый по своимъ силамъ. Кто же больше? На это не могу отвѣчать утвердительно; ибо, по особеннымъ обстоятельствамъ, впрочемъ важнымъ только для одного меня, не могу говорить всего, что думаю. Я твердо помню благоразумное правило Монтаня, и многія истины крѣпко держу въ кулакѣ. Главное, я слишкомъ еще неопытенъ въ хамелеонистикѣ, и имѣю глупость дорожить своими мнѣніями, не какъ литератора и писателя (тѣмъ болѣе, что я покуда ни то, ни другое), а какъ мнѣніями честнаго и добросовѣстнаго человѣка, и мнѣ какъ-то совѣстно написать панегирикъ одному журналу, не отдавая справедливости другому... Что дѣлать, я еще по моимъ понятіямъ принадлежу къ Аркадіи!... И такъ ни слова о журналахъ! Теперь смотрю я на мой огромный столъ, на которомъ лежатъ эти покойники кучами и кипами, лежатъ на немъ какъ во гробѣ, примиренные другъ съ другомъ моею лѣнностію и безпорядкомъ моей комнаты, въ сѣмси, другъ на другѣ,—гляжу на нихъ съ грустною улыбкою и говорю:

И все то благо, все добро!

4

Еще одно, последнее сказанье,
И лѣтопись окончена моя!

Пушкѣнъ.

Тридцатый, холерный годъ былъ для нашей литературы истиннымъ чернымъ годомъ, истинно роковою эпохою, съ коей начался совершенно новый періодъ ея существованія, въ самомъ началѣ своемъ рѣзко отличившійся отъ предыдущаго. Но не было никакого перехода между этими двумя періодами; вмѣсто его былъ какой-то насильственный перерывъ. Подобные противоестественные скачки, по моему мнѣнію, всего лучше доказываютъ, что у насъ нѣтъ литературы, а слѣдовательно нѣтъ и исторіи литературы; ибо ни одно явленіе въ пей не было слѣдствіемъ другаго явленія, ни одно событіе не вытекало изъ другаго событія. Исторія нашей словесности есть ни больше, ни меньше, какъ исторія неудачныхъ попытокъ, посредствомъ слѣпаго подражанія иностраннымъ литературамъ, создать свою литературу. Но литературу не создаютъ; она создается такъ, какъ создаются, безъ воли и вѣдома народа, языкъ и обычаи. И такъ тридцатымъ годомъ кончился, или, лучше сказать, внезапно оборвался періодъ пушкинскій, такъ какъ кончился и самъ Пушкинъ, а вмѣстѣ съ нимъ и его вліяніе; съ тѣхъ поръ почти ни одного бывалаго звука не сорвалось съ его лиры. Его сотрудники, его товарищи по художественной дѣятельности допѣвали свои старыя пѣсенки, свои обычные мечты, но уже никто не слушалъ ихъ. Старинка пріѣхала и набила оскомину, а новаго отъ нихъ нечего было услышать, ибо они остались на той же самой чертѣ, на которой стали при первомъ своемъ появленіи, и не хотѣли сдвинуться съ ней. Журналы всѣ умерли, какъ будто бы отъ какого-нибудь апоплексическаго удара или дѣйствитель-

но отъ холеры - морбусъ. Причина этой внезапной смерти или этому мору заключалась въ томъ же, въ чемъ заключается причина того, что у насъ нѣтъ литературы. Они почти всѣ родились безъ всякой нужды, а такъ, отъ бездѣлья или отъ желанія пошумѣть, и потому не имѣли ни характера, ни самостоятельности, ни силы, ни вліянія на общество, и не оплаканные сошли въ безвременную могилу. Только для двухъ изъ нихъ можно сдѣлать исключеніе; только два изъ нихъ представляютъ любопытный, поучительный и богатый результатъ для наблюдателя. Одинъ—старецъ, водившій, бывало, на помочахъ наше юное общество, издавна пользовавшійся огромнымъ авторитетомъ и деспотически управлявшій литературными мнѣніями; другой—юноша съ пламенною душою, съ благороднымъ рвеніемъ къ общей пользѣ, со всѣми средствами достичь своей прекрасной цѣли, и между тѣмъ не достигшій ея. «Вѣстникъ Европы» пережилъ нѣсколько поколѣній, воспиталъ нѣсколько поколѣній, изъ коихъ последнее, взлелѣянное имъ, возстало съ ожесточеніемъ на него же; но онъ всегла оставался однимъ и тѣмъ же, не измѣнялся и бился до послѣднихъ силъ: это была борьба благородная и достойная всякаго уваженія, борьба не изъ личныхъ мелочныхъ выгодъ, но изъ мнѣній и вѣрованій, задушевныхъ и кровныхъ. Его убило время, а не противники; и потому его смерть была естественная, а не насильственная *)». «Мо-

*) Любопытная вещь: г. Каченовскій, который возстановилъ противъ себя пушкинское поколѣніе и сдѣлался предметомъ самыхъ жесточайшихъ его преслѣдованій и нападковъ, какъ литературный дѣятель и судья, въ слѣдующемъ поколѣніи нашелъ себѣ ревностныхъ послѣдователей и защитниковъ, какъ ученый, какъ исследователь отечественной исторіи. Впрочемъ это ничуть не удивительно: одинъ человѣкъ не можетъ выѣстать въ себѣ всего: всеобъемлимость ума и многосторонность таланта дается немногимъ избраннымъ. Поэтому у г. Гоголя читайте его прекрасныя сказки, а у г. Каченовскаго, его, или написанныя подъ его вліяніемъ и руко-

сковскій Вѣстникъ» имѣлъ большія достоинства, много ума, много таланта, много пылкости, но мало, чрезвычайно мало, смѣтливости и догадливости, и потому самъ былъ причиною своей преждевременной кончины. Въ эпоху жизни, въ эпоху борьбы столкновенія мыслей и мнѣній онъ вздумалъ наблюдать духъ какой-то умѣренности и отчужденія отъ рѣзкости въ сужденіяхъ и, полный дѣльными и учеными статьями, былъ тощъ рецензіями и полемикою, кои составляютъ жизнь журнала, былъ бѣденъ повѣстями, безъ коихъ нѣтъ успѣха русскому журналу, и, что всего ужаснѣе, не велъ подробной отчетливой лѣтописи модъ и не прилагалъ модныхъ картинокъ, безъ которыхъ плохая надежда на подписчиковъ русскому журналисту. Что-жъ дѣлать? Безъ маленкихъ и повидимому пустыхъ уступокъ, нельзя заключить выгоднаго мира. «Московскій Вѣстникъ» былъ лишенъ современности, и теперь его можно читать какъ хорошую книгу, никогда не теряющую своей цѣны, но журналомъ,

подтвердомъ, статьи о русской исторіи, и помните латинскую поговорку: *sumit siquid*, а болѣе всего мудрое правило нашего великаго баснописца:

Бѣда, коль пирога начнетъ печи сапожникъ,
А сапоги точать пирожникъ.

Я не ученый, и въ исторіи смыслю весьма не много; сужу не какъ знатокъ, но какъ любитель: но вѣдь не изъ любителей ли состоятъ и публики? Поэтому, всякое добросовѣстное мнѣніе любителя должно заслуживать нѣкоторое вниманіе, тѣмъ болѣе, если оно есть отголосокъ общаго, т. е. господствующаго мнѣнія. Теперь у насъ двѣ историческія школы: Шлецера и г. Каченовскаго. Одна опирается на давности, привычки, уваженія къ авторитету ея основателя; другая, сколько я понимаю, на здоровомъ смыслѣ и глубокой учености. Будучи совершенно невиненъ въ послѣдней, я имѣю нѣкоторые притязанія на первый, вслѣдствіе чего мнѣ кажется очень естественнымъ, что настоящее поколѣніе, чуждое воспоминаній старины и предубѣжденій авторитетовъ, горячо приняло историческія мнѣнія г. Каченовскаго. Впрочемъ, ученая литература не мое дѣло; я сказалъ это такъ, мимоходомъ, а пророч.

въ полномъ смыслѣ сего слова, онъ никогда не былъ. Журналисты, какъ и поэты, рождаются и бываютъ ими по призванію. Я не хотѣлъ говорить о журналахъ и какъ-то противъ своей воли увлекся; посему, говоря о покойникахъ, скажу слова два объ одномъ живомъ, не упоминая впрочемъ его имени, которое весьма не трудно угадать. Онъ уже существуетъ давно: былъ единичнымъ, двойственнымъ и наконецъ сдѣлался тройственнымъ, и всегда отличался отъ своей собратіи какого-то рода особенною безличностію. Въ то время, когда «Вѣстникъ Европы» отстаивалъ святую старину и до послѣдняго вздоха бился съ ненавистною новизною, въ то время, когда юное поколѣніе новыхъ журналовъ сражалось, въ свою очередь, не на животь, а на смерть, съ скучною, опостылѣвшею стариною, и съ благороднымъ самоотверженіемъ силилось водрузить хоругвь вѣка, — журналъ, о коемъ я говорю, составилъ себѣ новую эстетику, вслѣдствіе которой то твореніе было высоко и изящно, которое печаталось во множествѣ экземпляровъ и хорошо раскупалось, новую политику, вслѣдствіе коей писатель нынѣ былъ выше Байрона, а завтра претерпѣвалъ *chute complète*. Вслѣдствіе сей-то благоразумной политики нѣкоторые изъ нашихъ Вальтеръ-Скоттовъ писали повѣсти о Никандрахъ Свистушкиныхъ, авторахъ поэмъ: «Жиды и Воры» и пр. и пр. Словомъ, этотъ журналъ былъ единственнымъ и безпримѣрнымъ явленіемъ въ нашей литературѣ.

И такъ насталъ новый періодъ словесности. Кто же явился главою этого новаго, этого четвертаго періода нашей недорослой словесности? Кто, подобно Ломоносову, Карамзину и Пушкину, овладѣлъ общественнымъ вниманіемъ и мнѣніемъ, самодержавно правилъ послѣднимъ, положилъ печать своего генія на произведенія своего времени, сообщилъ ему жизнь и далъ направленіе современнымъ талантамъ? Кто, говорю я, явился солнцемъ этой новой мировой системы? Увы! никто, хотя и многіе претендовали на это

высокое титуло. Еще въ первый разъ литература явилась безъ верховной главы, и изъ огромной монархіи распалась на множество мелкихъ, независимыхъ одно отъ другаго государствъ, завистливыхъ и враждебныхъ одно другому. Головъ было много, но онѣ такъ же скоро падали, какъ скоро возвышались; словомъ, этотъ періодъ есть періодъ нашей литературной исторіи въ темную годину междуцарствія и самозванцевъ.

Какъ противоположенъ былъ пушкинскій періодъ карамзинскому, такъ настоящій періодъ противоположенъ пушкинскому. Дѣятельность и жизнь кончились; громы оружія затихли, и утомленные бойцы вложили мечи въ ножны на лаврахъ, каждый приписывая себѣ побѣду и ни одинъ не выигравъ ея въ полномъ смыслѣ сего слова. Правда, въ началѣ, особенно первыхъ двухъ лѣтъ, еще бились отчаянно, но это была уже не новая война, а окончаніе старой: это была тридцатилѣтняя война послѣ смерти Густава Адольфа и гибели Валленштейна. Теперь кончилась и эта кровопролитная война, но безъ вестфальскаго мира, безъ удовлетворительныхъ результатовъ для литературы. Періодъ пушкинскій отличался какою-то бѣшеною маніей къ стихотворству; періодъ новый, еще въ самомъ своемъ началѣ, оказалъ рѣшительную склонность къ прозѣ. Но увы! это было не шагъ впередъ, не обновленіе, а оскудѣніе, истощеніе творческой дѣятельности. Въ самомъ дѣлѣ, дошло до того, что теперь уже утвердительно говорятъ, будто въ наше время самые превосходные стихи не могутъ имѣть никакого успѣха. Недѣльное мнѣніе! Очевидно, что оно, какъ и всѣ, принадлежитъ не намъ, а есть вольное подраженіе мнѣніямъ нашихъ европейскихъ сосѣдей. У нихъ часто повторяли, что въ нашъ вѣкъ эпопея не можетъ существовать, а теперь, кажется, сбиваются на то, что въ наше время и драма кончилась. Подобныя мнѣнія весьма странны и неосновательны. Поэзія у всѣхъ народовъ и во всѣ вре-

мена была одно и то же въ своемъ существѣ: перемѣнялись только формы, сообразно съ духомъ, направлениемъ и успѣхомъ, какъ всего человѣчества вообще, такъ и каждаго народа въ частности. Раздѣленіе поэзій на роды не есть произвольное; причина и необходимость онаго скрываются въ самой сущности искусства. Родовъ поэзій только три и больше быть не можетъ. Всякое произведеніе, въ какомъ бы то ни было родѣ, хорошо во всё вѣка и въ каждую минуту, когда оно, по своему духу и формѣ, носитъ на себѣ печать своего времени и удовлетворяетъ всё его требованія. Гдѣ-то было сказано, что «Фаустъ» Гёте есть Иліада нашего времени: вотъ мнѣніе, съ которымъ нельзя не согласиться! И въ самомъ дѣлѣ, развѣ Вальтеръ-Скоттъ также не есть нашъ Гомеръ, въ смыслѣ эпика, если не выразителя полного духа времени? Такъ и у насъ теперь: явился новый Пушкинъ, но не Пушкинъ 1835, а Пушкинъ 1829 года, и Россія снова начала бы твердить стихи; но кто, кромѣ несчастныхъ читателей ех officio, даже подумаетъ и взглянуть на издѣлія новыхъ нашихъ стиходѣевъ — гг. Ершовыхъ, Струговщиковыхъ, Марковыхъ, Снегиревыхъ, и пр?...

Романтизмъ — вотъ первое слово, огласившее пушкинскій періодъ; народность — вотъ альфа и омега новаго періода. Какъ тогда всякій бумагомаратель изъ кожи лѣзъ, чтобы прослыть романтикомъ, такъ теперь всякій литературный шутъ претендуетъ на титулъ народнаго писателя. Народность — чудное словечко! Что передъ нимъ вашъ романтизмъ! Въ самомъ дѣлѣ, это стремленіе къ народности — весьма замѣчательное явленіе. Не говоря уже о нашихъ романистахъ и вообще новыхъ писателяхъ, взгляните, что дѣлаютъ заслуженные корифеи нашей словесности. Жуковскій, этотъ поэтъ, геній котораго всегда былъ прикованъ къ туманному Альбіону и фантастической Германіи, вдругъ забылъ своихъ паладиновъ, съ ногъ до головы закованныхъ въ

сталь, своихъ прекрасныхъ и вѣрныхъ принцессъ, своихъ колдуновъ и свои очарованные замки, и пустился писать русскія сказки... Нужно ли доказывать, что эти русскія сказки такъ же не въ ладу съ русскимъ духомъ, котораго въ нихъ слыхомъ не слыхать и видомъ не видать, какъ не въ ладу съ русскими сказками греческій или нѣмецкій гекзаметръ?... Но не будемъ слишкомъ строги къ этому заблужденію могущественнаго таланта, увлекавшаго духомъ времени; Жуковскій вполне совершилъ свое поприще и свой подвигъ, — мы больше не въ правѣ ничего ожидать отъ него. Вотъ другое дѣло Пушкинъ: странно видѣть, какъ этотъ необыкновенный человѣкъ, которому ничего не стоило быть народнымъ, когда онъ не старался быть народнымъ, теперь такъ мало народенъ, когда рѣшительно хочетъ быть народнымъ; странно видѣть, что онъ теперь выдаетъ намъ за нѣчто важное то, что прежде бросалъ мимоходомъ, какъ избытокъ или роскошь. Мнѣ кажется, что это стремленіе къ народности произошло оттого, что все живо почувствовали непрочность нашей подражательной литературы и захотѣли создать народную, какъ прежде силились создать подражательную. И такъ опять цѣль, опять усилія, опять старая погудка на новый ладъ? Но развѣ Крыловъ потому народенъ въ высочайшей степени, что старался быть народнымъ? Нѣтъ; онъ объ этомъ нисколько не думалъ; онъ былъ народенъ, потому что не могъ не быть народнымъ; былъ народенъ безсознательно, и едва ли зналъ цѣну этой народности, которую усвоилъ созданіямъ своимъ безъ всякаго труда и усилія. Но крайней мѣрѣ, его современники мало умѣли цѣнить въ немъ это достоинство: они часто упрекали его за «низкую природу» и ставили на одну съ нимъ доску прочихъ баснописцевъ, которые были несравненно ниже его. Слѣдовательно, наши литераторы, съ такою ревностію заботящіеся о народности, хлопчутъ по-пустому. И въ самомъ дѣлѣ, какое понятіе имѣютъ у насъ вообще

о народности? Всѣ, рѣшительно всѣ, смѣшиваютъ ее съ простонародностію и отчасти съ тривіальностію. Но это заблужденіе имѣетъ свою причину, свое основаніе, и на него отнюдь не должно нападать съ ожесточеніемъ. Слажу болѣе: въ отношеніи къ русской литературѣ нельзя иначе понимать народности. Что такое народность въ литературѣ? — отпечатокъ народной фizioноміи, типъ народнаго духа и народной жизни. Но имѣемъ ли мы свою народную фizioномію? — вотъ вопросъ, трудный для рѣшенія. Наша національная фizioномія всего больше сохранилась въ низшихъ слояхъ народа; посему наши писатели, разумѣется владѣющіе талантомъ, бываютъ народны, когда изображаютъ, въ романѣ, или драмѣ, нравы, обычаи, понятія и чувствованія черни. Но развѣ одна чернь составляетъ народъ? Ничуть не бывало. Какъ голова есть важнѣйшая часть человѣческаго тѣла, такъ среднее и высшее сословіе составляютъ народъ по преимуществу. Знаю, что человѣкъ во всякомъ состояніи есть человѣкъ, что простолюдинъ имѣетъ такіе же страсти, умъ и чувство, какъ и вельможа, и посему такъ же, какъ и онъ достоинъ поэтическаго анализа; но высшая жизнь народа преимущественно выражается въ его высшихъ слояхъ, или, вѣрнѣе всего, въ цѣлой идеѣ народа. Посему, избравъ предметомъ своихъ вдохновеній одну часть онаго, вы непременно впадете въ односторонность. Равнымъ образомъ, вы не избѣжите этой крайности и отмежевавъ для своей творческой дѣятельности нашу исторію до Петра Великаго. Высшіе же слои народа у насъ еще не получили опредѣленнаго образа и характера; ихъ жизнь мало представляетъ для поэзіи. Не правда ли, что прекрасная повѣсть Безгласнаго «Княжна Мими» немножко мелка и вяла? Помните ли вы ея эпиграфъ? — «Краски мои блѣдны, сказалъ живописецъ; что-жъ дѣлать? въ нашемъ городѣ нѣтъ лучшихъ!» — Вотъ вамъ самое лучшее оправданіе со стороны поэта, и вмѣстѣ самое лучшее доказательство,

что въ сей повѣсти онъ народенъ въ высочайшей степени. Такъ неужели наша народность въ литературѣ есть мечта? Почти такъ, хотя и несовсѣмъ. Какой главный элементъ нашихъ произведеній, отличающихся народностію? Очерки изъ древне-русской жизни (до Петра Великаго) или простонародной жизни, и отсюда неизбежныя поддѣлки подъ тонъ лѣтописей и народныхъ пѣсень, или подъ ладъ языка нашихъ простолюдиновъ. Но вѣдь въ этихъ лѣтописяхъ, въ этой жизни давно прошедшей, вѣтъ дыханіе общей человѣческой жизни, являющейся подъ одной изъ тысячи ея формъ; умѣйте же уловить его вашимъ умомъ и чувствомъ, и воспроизвести вашу фантазію въ своемъ художественномъ созданіи. Въ этомъ вся сила и важность. Но вамъ надо быть геніемъ, чтобы въ вашихъ твореніяхъ трепетала идея русской жизни: это путь самый скользкій. Мы такъ отдѣлены или, лучше сказать, оторваны эрою Петра Великаго отъ быта нашихъ праотцевъ, что вашему произведенію непременно должно предшествовать глубокое изученіе этого быта. И такъ соразмѣряйте ваши силы съ цѣлію и не слишкомъ самонадѣянно пишите: «Русскіе въ такомъ-то» или «въ такомъ-то году». Притомъ еще надо замѣтить и то, что русская жизнь до Петра Великаго была слишкомъ спокойна и одностороння или, лучше сказать, она проявлялась своимъ оригинальнымъ образомъ: вамъ легко будетъ оклеветать ее, придерживаясь Вальтеръ-Скотта. Писатель, который на любви оснуетъ планъ своего романа и цѣлію усилій героя поставить руку и сердце вѣрной красавицы, покажетъ ясно, что онъ не понимаетъ Руси. Я знаю, что наши бояре лазили чрезъ тыны къ своимъ прелестницамъ, но это было оскорбленіе и искаженіе величавой, чинной и степенной русской жизни, а не проявленіе оной; такихъ рыцарей ночи наказывали ревнивыя плетью и кольями, а не раздѣлывались съ ними на благородномъ поединкѣ; такіа красавицы почитались безпутными бабами, а не жертвами

страсти, достойными состраданія и участія. Наши дѣды занимались любовью съ законнаго дозволенія или мимоходомъ, изъ шалости, и не сердце клали къ ногамъ своихъ очаровательницъ, а показывали имъ заранѣе шелковую платку и неуклонно слѣдовали мудрому правилу: «люби жену какъ душу, а трясй ее какъ грушу», или «бей ее какъ шубу». Вообще сказать, мы еще и теперь любимъ не совсѣмъ по-рыцарски, а исключенія ничего не доказываютъ.

Что же касается до живаго и сходнаго съ натурою изображенія сценъ простонародной жизни, то не слишкомъ обольщайтесь ими. Мнѣ очень нравится въ «Рославлевѣ» сцена на постояломъ дворѣ, но это потому, что въ ней удачно обрисованъ характеръ одного изъ классовъ нашего народа, характеръ, проявляющійся въ рѣшительную минуту отечества; пословицы, поговорки и ломаный языкъ, сами по себѣ, не имѣютъ ничего занимательнаго. Изъ всего сказаннаго мною выходитъ, что наша народность покуда состоитъ въ вѣрности изображенія картинъ русской жизни, но не въ особенномъ духѣ и направленіи русской дѣятельности, которые бы проявлялись равно во всѣхъ твореніяхъ, независимо отъ предмета и содержанія оныхъ. Всѣмъ извѣстно, что французскіе классики офранцуживали въ своихъ трагедіяхъ греческихъ и римскихъ героевъ: вотъ истинная народность, всегда вѣрная самой себѣ и въ искаженіи творчества! Она состоитъ въ образѣ мыслей и чувствованій, свойственныхъ тому или другому народу. Я свято вѣрю въ гениальность Гёте, хотя, по незнакомію нѣмецкаго языка, чрезвычайно мало знакомъ съ нимъ, но, признаюсь, плохо вѣрю эллинизму его «Ифигеніи»: чѣмъ выше гений, тѣмъ болѣе онъ сынъ своего вѣка и гражданина своего міра, и подобныя попытки съ его стороны выразить совершенно чуждую ему народность всегда предполагаютъ поддѣлку болѣе или менѣе неудачную. И такъ, есть ли у насъ народность литературы въ этомъ смыслѣ? Нѣтъ, да покуда, при

всѣхъ благородныхъ желанійхъ просвѣщенныхъ патриотовъ, и быть не можетъ. Наше общество еще слишкомъ юно, еще не установилось, еще не освободилось отъ европейской опеки; его фizioномія еще не выяснилась и не выформировалась, «Кавказскаго Пльнника», «Бахчисарайскій Фонтанъ», «Цыганъ», могъ написать всякій европейскій поэтъ, но «Евгенія Онѣгина» и «Бориса Годунова» могъ написать только поэтъ русскій. Безотносительная народность доступна только для людей, свободныхъ отъ чуждыхъ, иноземныхъ влiяній, и вотъ почему народенъ Державинъ. И такъ наша народность состоитъ въ вѣрности изображенія картинъ русской жизни. Посмотримъ, какъ успѣли въ этомъ поэты нашего періода нашей словесности.

Начало этого народнаго направленія въ литературѣ было сдѣлано еще въ пушкинскомъ періодѣ; только тогда оно не такъ рѣзко высказалось. Зачинщикомъ былъ г. Булгаринъ. Но такъ какъ онъ не художникъ, въ чемъ теперь никто уже не сомнѣвается, кромѣ друзей его, то онъ принесъ своимъ романами пользу не литературѣ, а обществу, то есть, каждымъ изъ нихъ доказалъ какую-нибудь практическую житейскую истину, а именно:

I. «Иваномъ Выжигинымъ»: вредъ, причиняемый Россіи заморскими выходцами и пройдохами, предлагающими имъ свои продажныя услуги въ качествѣ гувернеровъ, управителей, а иногда и писателей;

II. «Дмитріемъ Самозванцемъ»: кто мастеръ изображать мелкихъ плутовъ и мошенниковъ, тотъ не берись за изображеніе крупныхъ злодѣевъ;

III. «Петромъ Выжигинымъ»: спустя лѣто, въ лѣсъ по малину не ходятъ; другими словами: куй желѣзо, пока горячо.

Повторяю: Оадей Венедиктовичъ не поэтъ, а философъ практическій, философъ жизни дѣйствительной. Поэтическая сторона его созданій проявляется только въ живомъ

и вѣрно изобразеніи мошенничествъ и плутней. Долгъ справедливости требуетъ замѣтить, что онъ необыкновеннымъ успѣхомъ своихъ романовъ, то есть ихъ необыкновенно удачнымъ сбытомъ, способствовалъ много къ оживленію нашей литературной дѣятельности и произвелъ безконечное поколѣніе романовъ. Ему же обязана руссiйская публика и появленіемъ на литературномъ поприщѣ Александра Анфимовича Орлова.

Народному направленію много способствовалъ г. Погодинъ. Въ 1826 году появилась его маленькая повѣсть «Ничій», а 1829 — «Черная Немочь». Обѣ онѣ замѣчательны по вѣрному изображенію русскихъ простонародныхъ нравовъ, по теплотѣ чувства, по мастерскому разсказу, а послѣдняя и по прекрасной, поэтической идѣе, лежащей въ основаніи. Еслибъ г. Погодинъ прогрессивно возвышался въ своихъ повѣстяхъ, то русская литература имѣла бы въ немъ такого писателя, которымъ по справедливости могла бы гордиться. Впрочемъ, не одному ему принадлежитъ честь начала народности въ повѣстяхъ: ее раздѣляли съ нимъ, въ болѣе или меньшей мѣрѣ, и другіе замѣчательные таланты.

«Юрій Милославскій» былъ первымъ хорошимъ русскимъ романомъ. Не имѣя художественной полноты и цѣлости, онъ отличается необыкновеннымъ искусствомъ въ изображеніи быта нашихъ предковъ, когда этотъ бытъ сходенъ съ нынѣшнимъ, и проникнутъ необыкновенною теплотою чувства. Присовокупите къ этому увлекательность разсказа, новостъ избраннаго поприща, на которомъ онъ не имѣлъ себѣ ни образца, ни предшественника, и вы поймете причину его необычайнаго успѣха. «Рославлевъ» отличается тѣми же красотою и тѣми же недостатками: отсутствіемъ полноты и цѣлости и живыми картинами простонароднаго быта.

«Киргизъ-Кайсакъ» г. Ушакова былъ явленіемъ удиви-

тельными и неожиданными: онъ отличался глубокимъ чувствомъ и другими достоинствами истинно-художественнаго произведенія, и между тѣмъ принадлежитъ автору «Кота Бурмоська» и длинныхъ и скучныхъ статей о театрѣ, о польской литературѣ, о томъ и о семъ, отличающихся беззубымъ остроуміемъ и забавными претензіями на критическій талантъ и ученость. Что же дѣлать? «Киргизъ-Байсакъ», въ семъ отношеніи, есть не единственное явленіе въ нашей литературѣ; развѣ Аблесимовъ не написалъ, можно сказать, ненарочно, «Мельника», а г. Воейковъ — «Дома сумасшедшихъ»?

Послѣдній періодъ былъ ознаменованъ появленіемъ двухъ новыхъ замѣчательныхъ талантовъ: гг. Вельмана и Лажечникова.

Г. Вельманъ пишетъ въ стихахъ и въ прозѣ, и въ обоихъ случаяхъ обнаруживаетъ въ себѣ истинный талантъ. Его поэмы: «Бѣглець» и «Муромскіе Лѣса», были анахронизмомъ и потому не имѣли успѣха. Впрочемъ, послѣдняя изъ нихъ, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, отличается яркими красотами, кто не знаетъ на память пѣсни разбойника: «Что отуманилась зоренька ясная»? «Странникъ, за исключеніемъ излишнихъ претензій, отличается остроуміемъ, которое составляетъ преобладающій элементъ таланта г. Вельмана. Впрочемъ онъ возвышается у него и до высшаго: «Искандеръ» есть одинъ изъ драгоцѣннѣйшихъ алмазовъ нашей литературы. Самое лучшее произведеніе г. Вельмана есть «Кощей Безсмертный»: изъ него видно, что онъ глубоко изучилъ старинную Русь въ лѣтописяхъ и сказкахъ, и, какъ поэтъ, понялъ ее своимъ чувствомъ. Это рядъ очаровательныхъ картинъ, на которыхъ нельзя довольно налюбоваться. Вообще, о г. Вельманѣ должно сказать, что онъ уже чересчуръ много и долго играетъ своимъ талантомъ, въ которомъ никто, кромѣ «Библіотеки для Чтенія», не сомнѣвается. Пора бы ему наигратъся, пора подарить

публику такимъ произведеніемъ, какого она вправѣ ожидать отъ него: у г. Вельтмана такъ много таланта, такъ много остроумія и чувства, такъ много оригинальности и самобытности!

Г. Лажечниковъ не изъ новыхъ писателей: онъ давно уже былъ извѣстенъ своими «Походными записками офицера». Это произведеніе доставило ему литературную извѣстность: но какъ оно было написано подъ карамзинскимъ вліяніемъ, то, несмотря на нѣкоторые свои достоинства, теперь забыто, да и самъ авторъ называетъ его грѣхомъ своей юности *). Но какъ бы то ни было, а г. Лажечниковъ пользовался по немъ славою литератора, и потому всѣ ожидали его «Новика». Г. Лажечниковъ не только не обманулъ сихъ надеждъ, но даже превзошелъ общее ожиданіе и по справедливости признанъ первымъ русскимъ романистомъ. Въ самомъ дѣлѣ, «Новикъ» есть произведеніе обыкновенное, ознаменованное печатью высокаго таланта. Г. Лажечниковъ обладаетъ всѣми средствами романиста: талантомъ, образованностію, пламеннымъ чувствомъ и опытомъ лѣтъ и жизни. Главный недостатокъ его «Новика» состоитъ въ томъ, что онъ былъ первымъ, въ своемъ родѣ, произведеніемъ автора: отсюда двойственность интереса, мѣстами излишняя говорливость, и слишкомъ замѣтная зависимость отъ вліянія иностранныхъ образцовъ. За то, какое смѣлое и обильное воображеніе, какая вѣрная живопись лицъ и характеровъ, какое разнообразіе картинъ, какая жизнь и движеніе въ рассказѣ! Эпоха, избранная авторомъ, есть самый романтический и драматическій эпизодъ нашей исторіи, и представляетъ самую богатую жатву для поэта. Но.

*) При семъ прошу у почтеннаго автора «Новика» извиненіи въ неумышленной вѣжѣ противъ него. Я очень хорошо зналъ, что прекрасная пѣсня «Сладко пѣлъ душа соловушка!» принадлежитъ ему, ибо имѣлъ честь узнать это отъ самого него; вся вина моя въ томъ, что я не совсѣмъ обстоятельно выразился.

отдавая полную справедливость поэтическому таланту г. Лажечникова, должно замѣтить, что онъ не вполне умѣлъ воспользоваться избранною имъ эпохою, что произошло, кажется, отъ его не совсѣмъ вѣрнаго на нее взгляда. Это особенно доказывается главнымъ лицомъ его романа, которое, по моему мнѣнію, есть самое худшее лицо во всемъ романѣ. Скажите, что въ немъ русскаго, или, по крайней мѣрѣ, индивидуальнаго? Это просто образъ безъ лица, и скорѣе человѣкъ нашего времени, чѣмъ XVII вѣка. Вообще въ «Новикѣ» много героевъ и нѣтъ ни одного главнаго. Виднѣе и занимательнѣе прочихъ Паткуль: онъ нарисованъ во весь ростъ и нарисованъ кистью мастерскою. Но самое интересное, самое любимѣйшее чело его фантазіи есть, кажется, Швейцарка Роза; это одно изъ такихъ созданій, которыми позавидовалъ бы и самъ Бальзакъ. Не имѣя ни времени, ни мѣста, я не войду въ полный разборъ «Новика», хотя и много могъ бы сказать о немъ! Заключаю: онъ обнаруживаетъ въ авторѣ высокій талантъ, удерживаетъ за нимъ почетное мѣсто перваго русскаго романиста; его недостатки происходятъ частію оттого, что, какъ мнѣ кажется, авторъ смотрѣлъ не совсѣмъ съ прямой точки на эпоху Петра Великаго, а главное оттого, что «Новикъ» былъ первымъ его произведеніемъ. Судя по отрывкамъ изъ его новаго романа, можно надѣяться, что онъ будетъ гораздо выше перваго и вполне оправдаетъ ту довѣренность, которую оказываетъ публика къ его таланту.

Теперь мнѣ остается сказать еще объ одномъ весьма примѣчательномъ лицѣ нашей литературы: это авторъ, подписывающійся *Безименнымъ* и г. в. й. Говорятъ, что это... Но какое намъ дѣло до имени автора, тѣмъ болѣе, когда онъ самъ не хочетъ выставить его на показъ? Такъ какъ онъ недавно самъ объявилъ о себѣ, что онъ ни А, ни В, ни С, то назову его хотя О. Этотъ О. пишетъ уже давно, но въ послѣднее время его художественная дѣятельность об-

наружилась въ бѣдѣ. Этотъ писатель еще не оцененъ у насъ по достоинству и требуетъ особеннаго разсмотрѣнія, которымъ заняться теперь не позволяютъ мнѣ ни мѣсто, ни время. Во всѣхъ его созданіяхъ видѣнъ талантъ могущественный и энергическій, чувство глубокое и страдательное, оригинальность совершенная, знаніе чело-вѣческаго сердца, знаніе общества, высокое образованіе и наблюдательный умъ. Я сказалъ: знаніе общества, прибавлю еще — въ особенности высшаго, и, сдается мнѣ, въ этомъ случаѣ онъ предатель... О, это страшный и мстительный художникъ! Какъ глубоко и вѣрно измѣрилъ онъ неизмѣримую пустоту и ничтожество того класса людей, который преслѣдуетъ съ такимъ ожесточеніемъ и такимъ неослабнымъ постоянствомъ! Онъ ругается ихъ ничтожествомъ; онъ клеймитъ ихъ печатію позора; онъ бичуетъ ихъ, какъ Немзида; онъ казнитъ ихъ за то, что они потеряли образъ и подобіе Божіе. за то, что промѣняли святыхъ сокровища души своей на позлощенную грязь, за то, что отреклись отъ Бога живаго и поклонились идолу суеты, за то, что умъ, чувства, совѣсть, честь замѣнили условными приличіями! Онъ... но что вамъ много говорить о немъ? Если вы поймете мое энтузіастическое къ нему удивленіе, то лучше поймете и оцените художника; въ противномъ же случаѣ, не хочу терять словъ понапрасну... Вѣдь вы вѣрно читали его «Балъ», его «Бригадира», его «Насмѣшку Мерваго», его «Какъ опасно дѣвушкамъ ходить по Невскому Проспекту»?...

Г. Гоголь, такъ мило прикинувшійся пасичниковъ, принадлежитъ къ числу необыкновенныхъ талантовъ. Кому не извѣстны его «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки»? Сколько въ нихъ остроумія, веселости, поэзіи и народности! Дай Богъ, чтобы онъ вполнѣ оправдалъ поданныя имъ о себѣ надежды!...

Говорить ли мнѣ о прочихъ нашихъ романистахъ и ска-

зочникахъ: гг. Масальскомъ, Калашниковъ, Гречъ, и др.? Всѣ они считаются у насъ почти геніями! и куда тягаться съ ними г. О., о которомъ я только что говорилъ выше! Благоговѣю, дивлюсь и умолкаю, ибо чувствую, что не въ силахъ достойно восхвалять ихъ.

И такъ я насчиталъ четыре періода нашей словесности: ломоносовскій, карамзинскій, пушкинскій и прозаическо-народный; остается упомянуть еще о пятомъ, который начался съ появленія на свѣтъ первой части «Новоселья» и который можно и должно назвать смирдинскимъ. Да, милостивые государи, я совѣмъ не шучу, и повторяю, что этотъ періодъ словесности непремѣнно должно назвать смирдинскимъ: ибо А. Ф. Смирдинъ является главою и распорядителемъ сего періода. Все отъ него и все къ нему: онъ одобряетъ и ободряетъ юные и дряхлые таланты очаровательнымъ звономъ ходячей монеты; онъ даетъ направленіе и указываетъ путь этимъ геніямъ и полу-геніямъ, не даетъ имъ лѣниться, словомъ, производитъ въ нашей литературѣ жизнь и дѣятельность. Вы помните, какъ почтеннѣйшій А. Ф. Смирдинъ, движимый чувствомъ общаго блага, со всею откровенностью благороднаго сердца, объявилъ, что наши журналисты потому не имѣли успѣха, что надѣялись на свои познанія, таланты и дѣятельность, а не на живой капиталъ, который есть душа литературы; вы помните, какъ онъ кликнулъ кличъ по нашимъ геніямъ, крякнулъ да денежкой брякнулъ, и объявилъ таксу на всѣ роды литературнаго производства; и какъ вербовались наши производители толпами въ его компанію; вы помните, какъ великодушно и усердно взялъ онъ на откупъ всю нашу словесность и всю литературную дѣятельность ея представителей! вспомошествоваемый геніями гг. Греча, Сенковского, Булгарина, Барона Брамбеуса и прочихъ членовъ знаменитой компаніи, онъ сосредоточилъ всю нашу литературу въ своемъ массивномъ журналѣ. И что же вышло изъ этого великаго патріотическо-торговаго пред-

пріятія? Есть люди, которые утверждают, что будто г. Смирдинъ убилъ нашу литературу, соблазнивъ барышами ея талантливыхъ представителей. Нужно ли доказывать, что это люди злонамѣренные и враждебные всякому безкорыстному предпріятію, имѣющему цѣлю оживленіе какой бы то ни было вѣтви народной промышленности? Я не принадлежу къ такимъ людямъ и отъ души радуюсь, напр., «Энциклопедическому Лексикону», хотя и знаю, что въ составленіи онаго участвуютъ гг. Гречъ, Булгаринъ и др., хотя и читалъ послужной списокъ Ломоносова, выдаваемый за біографію сего великаго мужа. Я имѣю удивительную способность видѣть во всемъ одну хорошую сторону, не замѣчая дурныхъ, и на что бы ни смотрѣлъ, всегда повторяю мой любимый стихъ:

И все то благо, все добро!

ибо я убѣжденъ сердечно и душевно, вѣрю свято и непоколебимо вопреки г. профессору Сенковскому, что родъ человѣческій, по волѣ бдящій надъ нимъ любви Божіей, идетъ къ своему совершенству, и что не остановить его на семь пути ни фанатизму, ни невѣжеству, ни злобѣ, ни Барону Брамбеусу; ибо таковыя остановители добра суть истинные его двигатели. Уничтожьте зло, вы уничтожите и добро, ибо безъ борьбы нѣтъ заслуги. И такъ я смотрю на «Библіотеку для Чтенія» совсѣмъ съ другой точки зрѣнія: она ни на волосъ не возвысила нашей литературы, но и не уронила ея ни на волосъ. Творить все изъ ничего можетъ одинъ только Богъ, а не «Библіотека для Чтенія»; оживать можно умирающаго, а не несуществующаго. Нельзя создать дѣлами таланта, и нельзя убить его имя. Гдѣ бы ни написали, въ какомъ бы журналѣ ни помѣщали своихъ издѣлій, и сколько бы ни получали за нихъ гг. Гречъ, Булгаринъ, Масальскій, Калашниковъ, Воейковъ, они всегда и вездѣ останутся тѣми же; но г. О. не измѣнить себѣ ни въ «Ново-

сельф», ни въ «Библіотекѣ для Чтенія». И такъ, по моему мнѣнію, «Библіотека для Чтенія» показала практически, а *posteriori*, и слѣдовательно несомнѣнно, что у насъ нѣтъ литературы: ибо, имѣя всѣ средства, она ни въ чемъ не успѣла. Это не ея вина, ибо

Какъ можно, чтобы мерзлый паръ
Среди зимы рождать пожаръ?

Горе тому художнику, который пишетъ изъ денегъ, а не изъ безотчетной потребности писать! Но когда онъ вывелъ изъ міра души своей этотъ безплотный идеаль, который томилъ и мучилъ его, когда вдоволь налюбовался и наслаждался своимъ твореніемъ, то почему не продать ему его?

Не продается сочиненье,
Но можно рукопись продать.

Другое дѣло картина: продавши ее, художникъ разстается съ своимъ созданіемъ, лишается любимого чада своей фантазіи; но словесное произведеніе, благодаря остроумному изобрѣтенію Гуттенберга, всегда при немъ: почему же дарами природы не вознаградить несправедливости фортуны? Развѣ не деньгами англійскіе и французскіе журналы достигли той высокой степени совершенства, на которой мы теперь видимъ ихъ? И такъ «Библіотека для Чтенія» виновата не въ томъ, что дорого платитъ россійскимъ авторамъ, а въ томъ, что надѣялась, разумѣется для благосостоянія собственнаго своего кармана, надѣлать талантовъ посредствомъ денегъ. Одна изъ главныхъ обязанностей русскаго журнала есть знакомить русскую публику съ европейскимъ просвѣщеніемъ. Какъ же знакомить съ нимъ насъ «Библіотека для Чтенія»? Она укорачиваетъ, обрубаетъ, вытягиваетъ и передѣлываетъ на свой манеръ переводимыя ею изъ иностранныхъ журналовъ статьи, и еще хвалится тѣмъ, что сообщаетъ имъ особеннаго рода, ей собственно принадлежащую, занимательность. Ей и на умъ не приходитъ, что

публика хочетъ знать, какъ думаютъ о томъ или другомъ въ Европѣ, а отнюдь не то, какъ думаетъ о томъ или другомъ «Библіотека для Чтенія». И потому переводныя статьи въ «Библіотекѣ для Чтенія» не имѣютъ никакой цѣны. Какія, напримѣръ, повѣсти переводить она? Издѣлія г-жъ Мидфордъ и другихъ, пишущихъ въ родѣ покойника Дюкре-дю-Мениля и Августа Лафонтена съ братіею. Теперь, какова ея критика? Вамъ вѣрно извѣстны ея отзывы о сочиненіяхъ гг. Булгарина, Греча, Калашникова, и гг. Хомякова, Вельтмана, Теплякова и др. При разборѣ «Черной Желѣзницы», критикъ «Библіотеки» изложилъ всю систему анатоміи, фізіологіи, электричества и магнетизма, о коихъ и помину нѣтъ въ упомянутомъ романѣ: признаюсь — чудесная критика!

Какіе же геніи смирдинскаго періода словесности? Это гг. Баронъ Брамбеусъ, Гречъ, Кукольникъ, Воейковъ, Калашниковъ, Масальскій, Ершовъ и ми. др. Чтò сказать о нихъ? Удивляюсь, благоговѣю — и безмолвствую! Замѣчу о первомъ только то, что послѣ извѣстной статьи въ «Телескопѣ»: «Здравый смыслъ и Баронъ Брамбеусъ», почтенный баронъ сначала пріумолкъ, а потомъ пустился въ нравственность на манеръ г. Булгарина, и изъ подражателя «Юной Словесности» учинился подражателемъ автора «Выжигныхъ». Баронъ Брамбеусъ есть мизантропъ, сирѣчь, человѣконенавистникъ: смѣсь Руссо съ Поль-де-Кокомъ и г. Булгаринымъ; онъ смѣется и издѣвается надъ всѣмъ, и гонить особенно просвѣщеніе. Человѣконенавистники бьютъ двухъ родовъ: одни ненавидятъ человѣчество, потому что слишкомъ любятъ его; другіе потому, что, чувствуя свое ничтожество, какъ бы въ отмщеніе за себя изливаютъ свою желчь на все, чтò сколько-нибудь выше ихъ... Безъ всякаго сомнѣнія, Баронъ Брамбеусъ принадлежитъ къ первому роду человѣконенавистниковъ.

Послѣдній, то-есть 1834, годъ былъ ознаменованъ только появленіемъ двухъ романовъ г. Вельтмана и «Димитріемъ Са-

мозванцемъ» г. Хомякова: все остальное не стоитъ и упоминенія. Г. Хомяковъ принадлежитъ къ числу замѣчательныхъ талантовъ пушкинскаго періода. Впрочемъ его драма есть замѣчательный шагъ впередъ для автора, а не для русской литературы. Отличаясь многими лирическими красотами высокаго достоинства, она очень мало имѣетъ драматизма.

И такъ, вотъ я разсказалъ вамъ всю исторію нашей литературы, перечелъ всѣ ея знаменитости, отъ Ломоносова, перваго ея генія, до г. Кукольника, послѣдняго ея генія. Я началъ мою статью съ того, что у насъ нѣтъ литературы: не знаю, убѣдило ли васъ въ этой истинѣ мое обозрѣніе; только знаю, что если нѣтъ, то въ томъ виновато мое неумѣнье, а отнюдь не то, чтобы доказываемое мною положеніе было ложно. Въ самомъ дѣлѣ, Державинъ, Пушкинъ, Крыловъ и Грибоѣдовъ — вотъ всѣ ея представители; другихъ куда нѣтъ и не ищите ихъ. Но могутъ ли составить цѣлую литературу четыре человека, являвшіеся не въ одно время? И притомъ, развѣ они были не случайными явленіями? Посмотрите на исторію иностранныхъ литературъ. Во Франціи вскорѣ послѣ Корнея явились Расинъ, Мольеръ, Лафонтенъ и многіе другіе; потомъ, въ эпоху Вольтера сколько было знаменитостей литературныхъ! Теперь: Гюго, Ламартинъ, Делавинъ, Барбье, Бальзакъ, Дюма, Жаненъ, Евгений-Сю, Жакобъ Библиофилъ, и столько другихъ. Въ Германіи: Лессингъ, Клопштокъ, Гердеръ, Шиллеръ, Гёте, были современниками. Въ Англіи, въ послѣднее время, Байронъ, Вальтеръ-Скоттъ, Томасъ-Муръ, Кольриджъ, Сутей, Вордсвортъ, и столько другихъ, явились почти въ одно время. Такъ ли у насъ? Увы!... «Библіотека для Чтенія» доказала великую и плачевную истину. Кромѣ двухъ или трехъ статей г. О., что мы прочли въ ней заслуживающаго

хотя какое-нибудь вниманіе? Ровно ничего. И такъ соединенные труды всѣхъ нашихъ литераторовъ не произвели ничего выше золотой посредственности! Гдѣ же, спрашиваю васъ, литература? У насъ было много талантовъ и талантиковъ, но мало, слишкомъ мало, художниковъ по призванію, то есть такихъ людей, для которыхъ писать и жить, жить и писать, одно и то же, которые уничтожаются внѣ искусства, которымъ ненужно протекцій, ненужно меценатовъ, или, лучше сказать, которые гибнутъ отъ меценатовъ, которыхъ не убиваютъ ни деньги, ни отличія, ни несправедливости, которые до послѣдняго вздоха остаются вѣрными своему святому призванію. У насъ была эпоха схоластицизма, была эпоха плаксивости, была эпоха стихотворства, эпоха романовъ и повѣстей, теперь наступила эпоха драмы; но еще не было эпохи искусства, эпохи литературы. Стихотворство наше кончилось; мода на романы видимо проходить; теперь терзаемъ драму. И все это безъ причины, все это изъ подражательности: когда же наступитъ у насъ истинная эпоха искусства?

Она наступитъ, будьте въ томъ увѣрены! Но для этого надо сперва, чтобы у насъ образовалось общество, въ которомъ бы выразилась физіономія могучаго русскаго народа; надобно, чтобы у насъ было просвѣщеніе, созданное нашими трудами, возвращенное на родной почвѣ. У насъ нѣтъ литературы: я повторяю это съ восторгомъ, съ наслажденіемъ, ибо въ сей истинѣ вижу залогъ нашихъ будущихъ успѣховъ. Присмотритесь хорошенько къ ходу нашего общества, и вы согласитесь, что я правъ. Посмотрите, какъ новое поколѣніе, разочаровавшись въ геніальности и безсмертіи нашихъ литературныхъ произведеній, вмѣсто того, чтобы выдавать въ свѣтъ недозрѣлыя творенія, съ жадностію предается изученію наукъ и черпаетъ живую воду просвѣщенія въ самомъ источникѣ. Вѣкъ ребячества проходить видимо. И дай Богъ, чтобы онъ прошелъ скорѣе! Но

еще болѣе, дай Богъ, чтобы поскорѣе все разувѣрились въ наше литературное богатство! Благородная нищета лучше мечтательнаго богатства! Придетъ время—просвѣщеніе разольется въ Россію широкимъ потокомъ, умственная фizioномія народа выяснится, и тогда наши художники и писатели будутъ на все свои произведенія налагать печать русскаго духа. Но теперь намъ нужно ученіе! ученіе! ученіе! Скажите, Бога ради, можетъ ли въ наше время обратить на себя вниманіе какой-нибудь недоучившійся мальчикъ, хотя бы онъ былъ надѣленъ отъ природы и умомъ и чувствомъ и талантомъ? Этотъ вѣчный старецъ Гомеръ, если онъ точно существовалъ на свѣтѣ, конечно, не учился ни въ Академіи, ни въ Портинѣ; но это потому, что тогда ихъ и не было; это потому, что тогда учились изъ великой книги природы и жизни; а Гомеръ, если вѣрить преданіямъ, ревностно изучалъ природу и жизнь, обошелъ почти весь извѣстный тогда свѣтъ, и сосредоточилъ въ лицѣ своемъ всю современную мудрость. Гёте, вотъ Гомеръ, вотъ прототипъ поэта нынѣшняго времени!

И такъ намъ нужна не литература, которая безъ всякихъ съ нашей стороны усилій явится въ свое время, а просвѣщеніе! И это просвѣщеніе не закоснѣтъ, благодаря неуспѣшнымъ попеченіямъ мудраго правительства. Русскій народъ смысленъ и понятливъ, усерденъ и горячъ ко всему хорошему и прекрасному, когда рука царя-отца указываетъ ему на цѣль, когда его державный голосъ призываетъ его къ ней! И намъ ли не достигнуть этой цѣли, когда правительство являетъ собою такой единственный, такой безпримѣрный образецъ попечительности о распространеніи просвѣщенія, когда оно издерживаетъ такіа громадныя суммы на содержаніе учебныхъ заведеній, ободраетъ блестящими наградами труды учащихся и учащихъ, открывая образованному уму и таланту путь къ достиженію всехъ отличій и выгодъ? Проходитъ ли хотя одинъ годъ безъ того, чтобы

со стороны неусыпнаго правительства не было совершено новыхъ подвиговъ во благо просвѣщенія, или новыхъ благодѣяній, новыхъ щедротъ въ пользу ученаго сословія? Одно учрежденіе сословія домашнихъ наставниковъ и учителей должно повлечь за собой неисчислимыя блага для Россіи, ибо избавляетъ ее отъ вредныхъ слѣдствій иноземнаго воспитанія. Да! у насъ скоро будетъ свое русское, народное просвѣщеніе; мы скоро докажемъ, что не имѣемъ нужды въ чуждой умственной опеѣ. Намъ легко это сдѣлать, когда знаменитые сановники, сподвижники царя на трудномъ поприщѣ народоправленія, являются посреди любознательнаго юношества въ центральномъ храмѣ русскаго просвѣщенія возвѣщать ему священную волю монарха, указывать путь къ просвѣщенію въ духѣ «православія, самодержавія и народности»...

Наше общество также близко къ своему окончательному образованію. Благородное дворянство наконецъ вполнѣ увѣрилось въ необходимости давать своимъ дѣтямъ образованіе прочное, основательное, въ духѣ вѣры, вѣрности и національности. Наши молодчики, наши денди, не имѣющіе никакихъ познаній, кромѣ навыка легко болтать всякой вздоръ по-французски, становятся смѣшными и жалкими анахронизмами. Съ другой стороны, не видите ли вы, какъ, въ свою очередь, быстро образуется купеческое сословіе и сближается въ семъ отношеніи съ высшимъ? О повѣрьте, не напрасно держались они такъ крѣпко за свои почтенныя, окладистыя бороды, за свои долгополые кафтаны и за обычаи праотцевъ! Въ нихъ наиболѣе сохранилась русская фizioномія, и, принявши просвѣщеніе, они не утратятъ ея, сдѣлаются типомъ народности. Равно взгляните, какое дѣятельное участіе начинаетъ принимать въ святомъ дѣлѣ отечественнаго просвѣщенія и наше духовенство... Да, въ настоящемъ времени зрѣютъ сѣмена для будущаго! И они взойдутъ и расцвѣтутъ, расцвѣтутъ пышно и великолѣпно,

по гласу чадолюбивыхъ монарховъ! И тогда будемъ мы имѣть свою литературу, явимся не подражателями, а соперниками Европейцевъ...

И вотъ я не только у берега, а уже на самомъ берегу, и стоя на немъ, съ гордостію и удовольствіемъ, озираю пройденное мною пространство. Нечего сказать, не близкій путь! За то ужъ какъ я усталъ, какъ утомился! Дѣло непривычное, а дорога трудная. Но, любезный читатель, прежде, нежели я совсѣмъ раскланяюсь съ вами, хочу сказать вамъ еще словечка два. Кто берется судить о другихъ, тотъ подвергаетъ и самого себя еще строжайшему суду. Въ тому же авторское самолюбіе щекотливѣе и мстительнѣе всѣхъ другихъ родовъ самолюбія. Начавъ писать эту статью, я имѣлъ въ предметѣ позубоскалить надъ современною нашею литературою, и самъ не знаю, какъ зашелъ въ такую даль. Началь за здравіе, а свелъ за упокой. Это нерѣдко случается въ дѣлахъ жизни. И такъ, признаюсь откровенно, не ищите въ моей «Элегіи въ прозѣ» строгаго логическаго порядка. Элегисты никогда не отличались большою правильностью мышленія. Я имѣлъ цѣлю высказать нѣсколько истинъ, частью уже сказанныхъ, частью мною самимъ замѣченныхъ; но не имѣлъ времени хорошенько обдумать и обработать свою статью; у меня есть любовь къ истинѣ и желаніе общаго блага, но, можетъ-быть, нѣтъ основательныхъ познаній. Чтò жъ дѣлать? Эти два качества рѣдко сходятся въ одномъ лицѣ. Впрочемъ, я не говорилъ ни слова о томъ, чтò было выше моего понятія, и повтому не коснулся до нашей ученой литературы. Думаю и вѣрю, что для споспѣшествованія успѣхамъ наукъ и словесности всякій можетъ смѣло и откровенно высказать свои мнѣнія, тѣмъ болѣе, если онѣ, справедливыя или ложныя, суть слѣдствіе его убѣжденія, а не какихъ-нибудь корыстныхъ видовъ. И такъ,

если найдете, что я ошибался, то выскажите печатно ваше мнѣніе и уличите меня въ ложномъ взглядѣ на вещи; я прошу этого, какъ доказательства вашей любви къ истинѣ, и уваженія лично ко мнѣ, какъ къ человѣку; но не сердитесь на меня, если думаете не такъ. За сими, любезный читатель, поздравляю васъ съ новымъ годомъ и съ новымъ счастьемъ... Простите!

Чембаръ.

1834, декабря 12 дня.

II

БИБЛІОГРАФІЯ.

НОЧЬ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. *Русская повесть
девятнадцатаго столѣтія (?!). Соч. Актера Импе-
раторскихъ Московскихъ Театровъ К. Баранова.
Москва, 1834.*

Еще новый романъ, и въ добавокъ романъ девятнадца-
таго столѣтія! Еще новый романистъ, новый рыцарь, вы-
ѣзжающій на литературное поприще съ бѣлымъ щитомъ.
Soyez bien venu, beau chevalier! Ну, какъ не скажешь съ
остроумнымъ Марлинскимъ, что «по сочинителей у насъ не
кличь кликать: стоить крикнуть да денежкой брякнуть»,
такъ налетитъ ихъ полторы тѣмы съ потемками»? Каковъ
же этотъ романъ, что приобрѣла въ немъ наша литература?
спросятъ насъ читатели, еще не успѣвшіе насладиться симъ
новымъ произведеніемъ. Не трудно отвѣчать на вопросъ:
двухъ словъ было бы слишкомъ достаточно для этого. Но
мы хотимъ сказать кое-что побольше, сколько потому, что
появленіе этого романа, прочитаннаго нами по обязанности,
пробудило въ насъ съ новою силою давно уснувшія мысли
и чувствованія. столько и потому, что мы часто слышимъ
жалобы читателей на бѣдность библіографическаго отдѣленія
въ «Молвѣ».

Сколько говорили уже, что въ литературномъ отношеніи
нашъ вѣкъ есть вѣкъ романа, ибо-де всѣ пишутъ романы
и всѣ читаютъ романы. Это однако, по зрѣломъ размыш-
леніи, оказывается справедливымъ только отчасти. Правда,

нынѣ гораздо больше пишется романовъ, чѣмъ прежде: но это отнюдь не мѣшаетъ процвѣтать драмѣ и даже лирѣ. Посмотрите, напримѣръ, на французскую литературу: Гюго — романъ, драма и лира; Дюма — романъ и драма; Делавинь — драма и лира; Альфредъ де-Виньи — романъ и лира; Ламартинъ и Барбье — лира, и пр. и пр. Отчего же у насъ, за исключеніемъ нашего Шекспира - Байрона - Кукольника, все романъ да романъ?

Что такое подражаніе? Геній создаетъ оригинально, самобытно, т.-е. воспроизводитъ явленія жизни въ образахъ новыхъ, никому недоступныхъ и никѣмъ не подозрѣваемыхъ: талантъ читаетъ его произведенія, упоится, проникается ими, живетъ въ нихъ; эти образы преслѣдуютъ его, не даютъ ему покоя, и вотъ онъ берется за перо, и вотъ его твореніе болѣе или менѣе дѣлается отголоскомъ творенія генія, носитъ на себѣ явные слѣды его вліянія, хотя и не лишено собственныхъ красотъ. Но въ семъ случаѣ талантъ не хотѣлъ и не думалъ подражать, онъ только заплатилъ невольную дань удивленія и восторга генію, онъ только былъ увлеченъ тяготѣніемъ его силы, какъ увлекается спутникъ тяготѣніемъ планетъ. Сколько твореній, прекрасныхъ и плохихъ, произвели на свѣтъ «Разбойники» Шиллера, между тѣмъ какъ самъ великій ихъ творецъ признавалъ надъ собою могущество другаго болѣе великаго творца! Сколько поэмъ родили поэмы Байрона! Подражатели такого рода по большей части бываютъ виѣстѣ и творцами, и, въ свою очередь, увлекаютъ за собою таланты, которые ниже ихъ. Но есть еще особеннаго рода подражатели. Эти берутъ за образецъ какое-нибудь сочиненіе, хорошее или дурное, напримѣръ, хоть какой-нибудь забытый романъ въ родѣ «Бѣднаго Егора», и, не сводя съ него глазъ, слѣдя за нимъ шагъ за шагомъ, слиятся слѣпить что-нибудь подобное. Прямые литературные горе-богатыри, безталанные, не понимающіе значенія великаго слова искусство! Ихъ по-

бужденіемъ иногда бываетъ несчастная манія къ авторству, дѣтское честолюбіе — въ такомъ случаѣ они только смѣшны и жалки; но чаще всего корысть — въ такомъ случаѣ они достойны презрѣнія, ибо унижаютъ искусство, унижаютъ достоинство человѣка. Не имѣя ни чувства, ни ума, ни познаній, ни образованности, ни воображенія, ни таланта, они доказываютъ въ своемъ романѣ, что должно любить ближняго, уповать на Бога и быть благочестивымъ, что воровство, пьянство, лихоимство, невѣжество не похвальны — это для нравственности; выводить, сколько возможно, въ смѣшномъ и преувеличенномъ видѣ сутигу-подъячаго, вора-управителя, пьяницу-квартильного, дурака-помѣщика — это для сатиры; намараютъ грязною мазилкой своей дубовой фантазіи нѣсколько лубочныхъ картинокъ мѣщанскаго, купческаго, дворянскаго быта — это для нравоописанія; ввернуть въ свое твореніе нѣсколько мужицкихъ словъ, лакейскихъ поговорокъ, мѣщанскихъ остротъ — это для народности... и вотъ вамъ нравственно-сатирическій и народный романъ девятнадцатаго вѣка!... Чего же вамъ больше? Вы говорите, что эти лица «образы безъ лицъ»? Не правда: ихъ характеры написаны у нихъ на лбу: Зарѣзины, Вороватины, Ножовы, Обдуваловы, Живодеровы, Скупаловы, Пьянюгины, Правдолюбины, Кривдины, Влюблинскіе, Добродѣевы, Свѣтинскіе, Бурлиловы — не правда ли, что все очень ясно?

Не говорите о Вальтеръ-Скоттѣ, Куперѣ и проч., не толкуйте о классицизмѣ и романтизмѣ, о восемнадцатомъ и девятнадцатомъ вѣкѣ: скажите, что «Иванъ Выжигинъ» раскупился, и вы будете знать, почему у насъ такъ много пишутъ романовъ.

Не смѣемъ утверждать, чтобы авторъ «Ночи на Рождество Христово» принадлежалъ къ числу подражателей послѣдняго рода: намъ пріятнѣе думать, что это человѣкъ просто обманывающійся насчетъ своего призванія. Это тѣмъ естественнѣе, что найдется еще много читателей, которые

поддержать его въ подобномъ заблужденіи. Въ такомъ случаѣ, намъ кажется страннымъ, какъ можно не понимать того, что творчество есть удѣлъ немногихъ избранныхъ, а не всякаго, кто только умѣетъ читать и писать; что тотъ еще не поэтъ, кто сдумаетъ слѣпить кое-какую сказку съ аллегорическими лицами, представляющими пороки и добродѣтели; какъ можно не знать, что во времена оны много безталанныхъ людей подлаживали подъ тонъ Державина и пѣли оды, въ которыхъ было пропасть трескотни и шуму, но ни капли поэзіи; что въ наше время едва ли найдется такой человекъ, который, совершенно не бывши поэтомъ, не могъ бы написать стишковъ, по гладкости и гармоніи языка не уступающихъ стихамъ Пушкина; не понимаемъ, какъ можно такъ смѣло и безбоязненно отдавать свое имя на позоръ, тѣмъ болѣе, если это имя есть имя честнаго артиста, честнаго чиновника, или честнаго гражданина; не понимаемъ, какъ можно... Но мы предоставляемъ самимъ читателямъ докончить наши нескромные вопросы...

ГРАММАТИКА ЯЗЫКА РУССКАГО. *Часть I. Позна-
ніе словъ. Сочиненіе Калайдовича (Ивана Ѳеодоро-
вича). Москва, 1834.*

— Слышали вы новость? говорятъ, Грамматика Калайдовича поступила въ печать и скоро выйдетъ въ свѣтъ? — «Въ самомъ дѣлѣ?» — Право! — «Знаете ли вы новость: вѣдь Грамматика Калайдовича уже вышла!» — Нѣтъ? — «Я сейчасъ видѣлъ ее своими глазами». — Ну что же, какова? — «Да еще не знаю, я только мелькомъ заглянулъ кой-куда». — Надобно думать, что очень хороша: отъ Калайдовича больше, чѣмъ отъ кого-нибудь другаго можно ожидать дѣльной грамматики; кому не извѣстны его глубокія и обширныя позна-

нія по этой части?—«Да, правда ваша, надо поскорѣе прочесть: вѣдь это любопытно».

Вотъ что, или почти вотъ что еще недавно слышно было въ Москвѣ со всѣхъ сторонъ. Судя по такимъ возгласамъ, можно подумать, что въ нашей ученой литературѣ воспо- слѣдовало событіе, долженствующее отмѣтить собою новую эру оной. Въ добрый часъ молвить, въ худой помолчать— дай Богъ не разочароваться. Но отчего же съ такимъ не- терпѣніемъ всѣ ожидали, всѣ надѣялись отъ него? — вотъ вопросъ, котораго рѣшеніе было бы очень любопытно. Или и въ самомъ дѣлѣ это давно обещанное сочиненіе г. Ка- лайдовича должно разсѣчь всѣ Гордіевы узлы нашей му- дреной грамматики; должно рѣшить всѣ темные вопросы на- шего упрямаго и еще не установившагося языка, должно, наконецъ, разсѣять всѣ недоумѣнія и сомнѣнія нашихъ за- писныхъ грамотѣвъ?... Гдѣ труды г. Калайдовича, которые могли бы подать такіа лестныя надежды и обезпечить ис- полненіе столь высокой миссіи, возложенной на него обще- ственнымъ мнѣніемъ?... Какіе его подвиги и заслуги на из- бранномъ имъ поприщѣ, которые бы оправдывали подобную довѣренность публики къ его силамъ?... Неужели его кри- тическіе разборы пріятельскихъ грамматикъ, разборы, прав- да, не безъ достоинства, но все таки и не Богъ знаетъ что такое?... Вотъ вопросы, которые вырвались у меня тот- часъ по прочтеніи сего новаго творенія и которые прежде сего не приходили мнѣ въ голову, ибо, признаюсь, я самъ принадлежалъ доселѣ къ числу людей, много, слишкомъ много ожидавшихъ отъ г. Калайдовича. Странное дѣло!...

Теперь мнѣ предстоитъ прекрасный случай распростра- ниться о средствахъ, коими въ нашей литературѣ приобрь- таются иногда самыя дорогіе авторитеты за самыя дешевыя заслуги. Хотите ли знать это? Не хотите ли сами соста- вить себѣ литературную извѣстность самымъ легкимъ спо- собомъ? Извольте, я со всею охотою поучу васъ. Вотъ видите

ли: если вы хотите прослыть, напимѣръ, за великаго писателя, подобно Барону Брамбеусу, то попросите кого-нибудь изъ вашихъ пріятелей написать письмо въ Лондонъ или Берлинъ о русской литературѣ и назвать васъ гениемъ первой величины; потомъ помѣстите это письмо въ журналъ, котораго вы издатель или редакторъ, или который вамъ съ руки: это пойдетъ какъ нельзя лучше, только не лѣнитесь писать какъ можно смѣлѣе, рѣзче, бойче и наглѣе. Если же вы хотите купить себѣ въ долгъ славу ученаго, напимѣръ великаго филолога и знатока отечественнаго слова, то всего лучше поступить вотъ какимъ образомъ: выходить грамматика г. NN, вы напишите на нее нѣсколько бѣглыхъ замѣчаній, скажите, что г. NN напрасно помѣстилъ средній родъ выше женскаго, ибо-де это означаетъ неуваженіе къ прекрасному полу; потомъ скажите въ заключеніи, что вамъ бы очень было пріятно, еслибы г. NN разобралъ вашу грамматику, которую вы составляете уже нѣсколько лѣтъ,— съ такимъ же безпристрастіемъ, съ какимъ вы разобрали грамматику его, г. NN. Поступайте точно такимъ же образомъ при выходѣ всѣхъ книгъ, относящихся къ сему предмету, и вашъ успѣхъ несомнителенъ. Люди странныя созданія: они всегда вѣрятъ тѣмъ, кои сами себя называютъ гениями, ибо подобную Бюффоновскую откровенность считаютъ благороднымъ сознаніемъ истиннаго таланта. Только, смотрите, не слишкомъ торопитесь изданіемъ вашей грамматики, если вы уже не шутя вздумаете написать ее; а всего лучше совсѣмъ не издавайте: въ такомъ случаѣ авторитетъ вашъ вѣрнѣе и надежнѣе... Но я заговорился... Извините. Въ самомъ дѣлѣ, къ чему распространяться о такомъ предметѣ, который, во первыхъ, не имѣетъ ни малѣйшаго отношенія къ г. Калайдовичу и его «Грамматикѣ», а во вторыхъ, можетъ показаться щекотливымъ для самолюбія многихъ нашихъ доморощенныхъ гениевъ, любящихъ дѣлать примѣненія? Скажу только, что на этотъ предметъ можно

бы написать прекурёзную и презанимательную журнальную статейку съ эпиграфомъ: «не родись ни уменъ, ни пригожъ — родись счастливъ».

Признаюсь, не безъ трепета приступаю къ разбору «Грамматикѣ» г. Калайдовича. Она еще до своего появленія и даже, можетъ быть, до своего рожденія, успѣла пріобрѣсти себѣ такую громкую славу; общій голосъ ставитъ ея автора въ числѣ литераторовъ ученыхъ, опытныхъ и коротко знающихъ свое дѣло, я же не больше, какъ безвѣстный юноша, еще ничѣмъ не пріобрѣтшій права голоса на литературномъ сеймѣ, еще не сочинившій ни одной афиши, не издавшій ни одной программы, не объявившій ни одной подписки и даже не обѣщавшій ни одною строчкою никакого творенія: очевидное неравенство! Прибавьте къ сему, что у насъ еще и по сію пору такъ сильно вліяніе авторитетовъ, еще такъ могущественно очарованіе именъ; что у насъ еще весьма не многіе осмѣливаются произнести свое сужденіе о стихотвореніи, журнальной статьѣ или книгѣ, не посмотрѣвши сперва на подпись, или не справившись въ «Сѣверной Пчелѣ» — этомъ литературномъ аукціонѣ — каково «сходитъ съ рукъ» то или другое сочиненіе, т. е. сколько экземпляровъ онаго разошлось въ продолженіе того или другаго времени; сообразите все это — и вы признаетесь, что тутъ хоть у кого такъ опустятся руки. Но какъ бы то ни было, а я рѣшаюсь на этотъ отчаянный подвигъ, и, прикрываясь мудрымъ правиломъ нашихъ предковъ: «страшенъ сонъ да милостивъ Богъ», приступаю къ дѣлу.

Учебныя книги бываютъ двухъ родовъ. Однѣ изъ нихъ пишутся для первоначальнаго обученія; главное ихъ достоинство должно состоять въ простомъ и ясномъ изложеніи предмета и искусномъ принаровленіи онаго къ дѣтскимъ понятіямъ. Другія же пишутся для людей взрослыхъ, мыслящихъ и, кромѣ ясности въ изложеніи, требуютъ новаго взгляда или на цѣлый предметъ, или хотя на нѣкоторыя

части онаго, или, по крайней мѣрѣ, представленія онаго въ его современномъ состояніи.

Къ которому изъ сихъ двухъ родовъ относится «Грамматика» г. Калайдовича.

По запутанности и сбивчивости ея изложенія, по отсутствію новыхъ взглядовъ, худо прикрытому мелочными нововведеніями въ терминологию, ни къ одному; по своей незначительности и неважности—къ первому; по претензіямъ же автора—ко второму.

Теперь у насъ четыре знаменитыя грамматики: Ломоносова, Россійской Академіи, г. Греча и г. Востокова. Ихъ достоинство, исключая, можетъ быть, второй, находится въ прямомъ содержаніи ко времени ихъ появленія. Безъ всякаго сомнѣнія, пятая грамматика, чтобъ заслужить вниманіе, должна быть лучше всѣхъ сихъ четырехъ, ибо авторъ оной, кромѣ своихъ собственныхъ открытій, можетъ воспользоваться открытіями своихъ предшественниковъ и смѣло взять у каждого изъ нихъ все лучшее. Такъ ли поступилъ г. Калайдовичъ? Посмотримъ. Сначала я брошу общій взглядъ на его сочиненіе, потомъ буду преслѣдовать его шагъ за шагомъ, сколько будетъ то возможно.

Всѣмъ и каждому извѣстно, что способъ изложенія всякой науки бываетъ аналитическій и синтетическій, и что, вслѣдствіе сего, всякая наука раздѣляется на общую и частную, на теорію и приложеніе. Грамматикъ (наука) можетъ быть столько, сколько языковъ и нарѣчій на земномъ шарѣ; но есть одна общая имъ всѣмъ грамматика, есть грамматика слова человѣческаго, грамматика всеобщая или философская. Грамматики языковъ суть грамматики частныя, относящіяся къ ней, какъ виды къ роду, и повѣряющіяся ей. Г. Калайдовичъ какъ будто даже и не слышалъ объ этомъ. Онъ не говоритъ ничего о происхожденіи человѣческаго слова, о его назначеніи, его раздѣленіи на языки, о сходствѣ и различіи языковъ, о причинахъ такого сходства

и различія и пр. и пр. Части рѣчи не выводятся у него изъ законовъ слова человѣческаго, или изъ законовъ русскаго языка; нѣтъ, онѣ у него какъ будто съ неба упадаютъ, и притомъ въ такомъ ужасномъ количествѣ, что страшно и подумать. Бѣдные ученики! трепещу за васъ! Это мало: онѣ даже не почелъ за нужное опредѣлить каждую часть рѣчи, показать необходимость и назначеніе ея существованія.

На чемъ основывается раздѣленіе слова на отдѣлы, называемые частями рѣчи?

Въ природѣ все или предметъ или его дѣйствіе; изъ этихъ двухъ понятій слагается смыслъ; изъ выраженія этихъ двухъ понятій слагается языкъ. Имя (названіе предмета) и глаголъ (названіе дѣйствія) — вотъ элементы человѣческаго слова вообще, вотъ стихіи каждаго языка въ особенности. Безъ имени и глагола не возможно выразить никакого понятія; безъ прочихъ частей рѣчи можно обойтись *).

*) Прилагательныя, т. е. дополнительные идеи предмета могутъ заключаться въ самомъ имени, или выражаться родительнымъ падежемъ другого имени, напримѣръ *l'homme d'esprit*, *l'appau d'or*, мужъ бои и совѣта. Нарѣчія, т. е. дополнительные идеи дѣйствія, могутъ заключаться въ самомъ глаголѣ, напримѣръ поиграть (т. е. немного играть). Этимъ свойствомъ особенно отличается арабскій языкъ, въ которомъ глаголы, чрезъ прибавленіе къ нимъ разныхъ частицъ, получаютъ знаменованіе глаголовъ съ нарѣчіями: очень хорошо дѣлать, скоро идти и пр. (См. Учен. Зап. И. М. У. 1834, № IV). О причастіяхъ и дѣепричастіяхъ въ семъ отношеніи нечего и говорить: безъ нихъ всего легче обойтись. Предлоги можно замѣнить окончаніями именъ и пр. Вотъ отчего греческій и всѣ новѣйшіе европейскіе языки имѣютъ особенную часть рѣчи, называемую членомъ, а латинскій и русскій языкъ не имѣютъ ея; вотъ отчего въ греческомъ языкѣ есть двойственное число, котораго, кромѣ еще славянскаго, нѣтъ ни въ одномъ языкѣ; вотъ почему по-арабски нельзя сказать: всѣ люди или великій человѣкъ, а вмѣсто этого говорится: цѣлость людей (*totalité des hommes*), цѣлость изъ людей (*totalité d'hommes*). (См. *principes de Grammaire Générale, mis à la portée des enfans*, par Sylvestre de Sacy).

Слѣдовательно имя и глаголъ суть части рѣчи элементарныя, первостепенныя.

Мѣстоименія, прилагательныя и нарѣчія, по ихъ важности, суть части рѣчи второстепенныя и какъ будто бы вспомогательныя. Мѣстоименіе замѣняетъ имя для избѣжанія повторенія одного и того же слова. Посему г. Калайдовичъ справедливо относитъ слова: *мой, твой, сей, этотъ* и пр. къ прилагательнымъ; но зачѣмъ же онъ не говоритъ, почему такъ дѣлаетъ? Прилагательное (слово) опредѣляетъ качество, обстоятельство и количество имени (добрый человекъ, деревянный столъ, третій день); а нарѣчіе — качество, обстоятельство и количество дѣйствія (онъ учится хорошо, я приду завтра, ты прочелъ дважды). Посему прилагательныя нарѣчія должны слѣдовать въ грамматикѣ за именемъ и глаголомъ. Прочія части рѣчи называются частіцами, что самое показываетъ ихъ относительную важность.

Спрашиваю: неужели всѣ эти вещи такъ ничтожны, что не стоить упоминовенія въ учебной книжкѣ? Знаю, что онѣ очень не новы, что онѣ извѣстны всякому сколько-нибудь образованному человеку; но сіе-то самое и доказываетъ ихъ важность. Г. Калайдовичъ ни мало не позаботился обо всемъ этомъ, и потому у него явилось двѣнадцать частей (или, по его, разрядовъ) рѣчи: имена, названія лицъ (?), прилагательныя, числительныя (?), слова бытія (??), глаголы, отглаголія (??), причастія, нарѣчія, дѣепричастія, предлоги, союзы и (тринадцатая прибавочная) восклицанія (!!). Не правда ли, что все это очень забавно?

Что такое разумѣеть онъ подъ «названіемъ лицъ»? Имена собственные? Да — какъ бы не такъ! Это — мѣстоименія! Помилуй Богъ, какъ мудрено! Но это еще не самая важная мудрость: увидимъ лучше. Назвавъ числительныя особенною частію рѣчи, авторъ смѣшалъ видъ съ родомъ; ибо кому не извѣстно, что числительныя суть только видъ прилага-

тельныхъ, какъ качественныя и обстоятельственныя? Но быть такъ, это все еще не суть важно; теперь не угодно ли вамъ знать, что за особенную часть рѣчи разумѣетъ авторъ подъ «словомъ бытія» или «бытословомъ»? Если вы не читали его грамматики, то не ломайте напрасно головы: въ тысячу лѣтъ не разгадать вамъ этой сфинксовой загадки. Это ни больше ни меньше, какъ существительный, средній, вспомогательный и неправильный глаголъ: быть. Не правда ли, что, слѣдуя этому прекрасному образцу, можно надѣлать тысячи частей рѣчи! Напримѣръ дѣлословъ (дѣлать, творить, производить и проч.). Чего добраго? развѣ г. Ольдекопъ не выдумалъ въ своемъ «Русско-Французскомъ словарѣ» глагола добротворить, прилагательнаго добропобѣднѣй и другихъ диковинокъ? Но всего курьезнѣе у г. Калайдовича отглаголія: здѣсь авторъ, какъ говорится, превзошелъ самого себя. Вы думаете, что тутъ дѣло идетъ о причастіяхъ или именахъ, оканчивающихся на *nis* и *ties*, происходящихъ отъ глаголовъ. О, нѣтъ, совсѣмъ не то! Это, изволите видѣть, неопредѣленное наклоненіе глаголовъ, оканчивающееся на *тъ*. Не вѣрите, справьтесь сами. Авторъ основывается въ семъ случаѣ на томъ, что это quasi-отглаголіе замѣняетъ иногда имя (онъ вѣрно хотѣлъ сказать: бываетъ иногда подлежащимъ рѣчи), напр. учиться полезно, гдѣ слово учиться замѣняетъ собою слово ученіе. Слѣдовательно, должно прощать врагамъ и должно, чтобы прощали врагамъ, будетъ замѣнять собою: должно прощеніе врагамъ? Слѣдовательно и прошедшее время глаголовъ будетъ отглаголіемъ, и составитъ собою особенную часть рѣчи? Сами Французы, у которыхъ нѣкоторые глаголы въ неопредѣленномъ наклоненіи бываютъ именами (*le pouvoir*, *le devoir*), несмотря на это, не почитаютъ неопредѣленнаго наклоненія отглаголіемъ; то же самое и Нѣмцы, у которыхъ каждый глаголъ въ неопредѣленномъ наклоненіи дѣлается именемъ, принимая предъ собою членъ. Вотъ до ка-

кихъ странностей доводятъ подобныя нововведенія, не основанныя на всеобщей грамматикѣ!

Изъ сего видно, какъ сбивчивы и темны понятія г. Калайдовича о всеобщей грамматикѣ, на какомъ выскомъ основаніи зиждется зданіе его «Грамматики языка русскаго», и чего должно ожидать отъ этого сочиненія, которое скорѣе можетъ называться произведеніемъ творческой фантазіи, или, по крайней мѣрѣ, не кстати разыгравшагося воображенія, чѣмъ плодомъ холоднаго ума и кропотливой учености!

«Грамматикѣ» г. Калайдовича, какъ водится, предшествуетъ азбука. Это отдѣленіе у него такъ же недостаточно, сбивчиво и странно, какъ и всѣ прочія.

«Звуки русскаго языка раздѣляются на тоны и полутоны, дыханія и полудыханія». Эти тоны и полутоны г. Калайдовича ни больше, ни меньше, какъ гласныя и полугласныя г. Греча; дыханія же и полудыханія, вѣроятно, принадлежать къ разряду «бытослововъ» и «отглаголій». Въ разсужденіи первыхъ, замѣчательно только то, что г. Калайдовичъ опровергалъ нѣкогда (помнится, въ «Московскомъ Вѣстникѣ») полугласныя г. Греча математическою аксіомою, что двѣ половины составляютъ одно цѣлое, и что, слѣдовательно, э и э, ъ и ъ, й и й, должны бы составить одну гласную букву, еслибы опредѣленіе г. Греча было справедливо. Теперь спрашивается: неужели г. Калайдовичъ думалъ, что его полутоны, дважды взятые, не могутъ также составлять гласной буквы? Однимъ словомъ, онъ гораздо бы лучше поступилъ, еслибы выписалъ цѣликомъ о буквахъ изъ «Грамматики» г. Греча, въ которой этотъ предметъ обработанъ вообще очень хорошо, и требуетъ весьма немногихъ и неважныхъ измѣненій. Почему не пользоваться трудами своихъ предшественниковъ? Вѣдь въ этомъ-то и заключается условіе успѣховъ каждаго знанія. Одинъ человѣкъ не можетъ всего сдѣлать,—«Граμμα-

тика есть наука и искусство говорить правильно». Новая новость! Говорить есть даръ природы; знаніе же—говорить правильно, а искусство — говорить красно. Вслѣдствіе такого прекраснаго опредѣленія «Грамматики», подмосковный крестьянинъ, который, вѣроятно, говорить гораздо правильнѣе многихъ чухомскихъ господъ, есть грамотѣй и ораторъ. Поздравляемъ!

«Грамматика раздѣляется на четыре части: познаніе словъ, составленіе рѣчи, произношеніе и правописаніе». Какъ все это ново и затѣйливо! Какъ далеко подвинуть впередъ русскую грамматику подобныя переищны въ терминологіи, и какія безчисленныя выгоды произойдутъ отъ нихъ для русскаго языка! Нечего сказать: г. Калайдовичъ не скупится на новыя термины. Но къ чему такая неумѣстная щедрость? Развѣ это главное? Правилье языка, а не новыхъ терминовъ нужно намъ! Не спорю, переищны въ терминологіи важны и полезны, но только въ такомъ случаѣ, когда ведутъ къ чему-нибудь. А развѣ словопроизведеніе и словосочиненіе, даже этимологія и синтаксисъ, термины, общіе для всѣхъ европейскихъ грамматикъ, не хорошо выражаютъ сущность дѣла? Развѣ не все равно, что возвратный, что обратный глаголъ? Право, подобными мелочами въ наше время трудно прикрыть отсутствіе существеннаго дѣла!

Словопроизведеніе авторъ раздѣляетъ на три главы: различіе словъ, измѣненіе словъ, производеніе словъ. Вслѣдствіе сего, склоненія именъ и прилагательныхъ, и спряженіе глаголовъ являются у него въ одной главѣ. Вотъ, можно сказать единственная новость автора, заслуживающая, по крайней мѣрѣ, опроверженія и наиболѣе обнаруживающая его претензіи на «самомыслительность». Но правильно ли такое изложеніе этимологіи? Словопроизводеніе и теорія частей рѣчи должны заключаться во введеніи, какъ предметы, подлежащіе всеобщей грамматикѣ, должны составлять аналитическую часть грамматики. Притомъ же изложеніе

каждой части рѣчи особенно гораздо удобнѣе для учащихся; система же г. Калайдовича не только не облегчаетъ изученія, но еще болѣе затрудняетъ его.

Частныя замѣчанія автора о именахъ и прилагательныхъ по большей части дѣльны; но все это можно найти, и притомъ гораздо обширнѣе и удовлетворительнѣе, не только у г. Востокова, но и у г. Греча.

Въ началѣ моей рецензіи я сказалъ, что буду преслѣдовать автора шагъ за шагомъ; теперь вижу, что это было бы и скучно и утомительно и бесполезно, какъ для меня, такъ и для читателей. Посему ограничусь нѣсколькими бѣглыми замѣчаніями, особенно на счетъ его нововведеній, и потомъ поговорю поподробнѣе о системѣ глаголовъ, этой запутаннѣйшей части русской грамматики, которую г. Калайдовичъ не только не уясняетъ, но еще болѣе затемняетъ.

Что за раздѣленіе степеней сравненія на степени равныя (равно мужественный и благоразумный; честь столько же дорога, какъ и жизнь — послѣ этого можетъ быть степень многая, сугубая, малая—много, сугубо, мало умный), степени высшія и низшія? Не понимаю. Почему также авторъ не замѣтилъ, что окончаніе на *айшій* и *ѣйшій* есть полное, а на *ае* *не* — усѣченное, какъ то доказано г. проф. Болдыревымъ?

Съ какою цѣлію имена раздѣляются на извѣстное число склоненій? Чтобы служить образцами, по которымъ бы можно было безошибочно употреблять въ разныхъ отношеніяхъ каждое слово, отдѣльно взятое. Не знаю, можетъ ли быть въ семъ случаѣ что-нибудь удовлетворительнѣе латинскихъ склоненій: ученику, твердо заучившему примѣры на каждое изъ нихъ, трудно ошибиться въ склоненіи даннаго ему слова. Вотъ самое лучшее доказательство вѣрности раздѣленія латинскихъ склоненій. Кажется, что наши грамматисты упустили изъ виду эту цѣль и думаютъ, что склоненіе можно дѣлить, какъ кому угодно. Г. Гречъ раздѣлилъ

имена по тремъ родамъ на три склоненія; отъ этого у него вода и дверь явилась въ одномъ склоненіи, и отъ этого у него надѣлана бездна исключеній, изъ коихъ многія по необходимости сдѣлались, противъ его воли, особенными склоненіями: и такъ, желая упростить систему склоненій, онъ только болѣе запуталъ оную. Гораздо удовлетворительнѣе раздѣленіе склоненій у г. Востокова, который раздѣляетъ имена на правильныя и неправильныя, а первыя на семь отдѣловъ; только у него не показано различія, по коему бы можно было безошибочно узнавать, къ какому отдѣлу принадлежитъ то или другое слово. У г. Калайдовича четыре склоненія. Къ первому онъ относитъ имена мужескаго рода, оканч. на *ъ*, *ь* и *й*, ко второму имена муж. и жен. рода, оканч. на *а* и *я*; къ третьему жен. рода на *ь*, а къ четвертому сред. рода на *о*, *е* и *ё*. Не понимаю, какъ можно было не отнести послѣднихъ именъ къ первому склоненію, ибо вся разница въ творительномъ падежѣ единственнаго и родительномъ множественнаго числа; къ тому же, эта разница существуетъ и въ его первомъ склоненіи. Гораздо бы лучше было сдѣлать особенное склоненіе изъ именъ, оканчивающихся на *мъ*. Правда, ихъ не много, но они всѣ склоняются одинаковымъ образомъ, что доказываетъ ихъ отдѣльность, а не исключительность.

Перехожу къ глаголу.

Вотъ самая запутаннѣйшая часть русской грамматики. Благодаря нашимъ досужнымъ грамотѣямъ, спряженія нашихъ глаголовъ походятъ доселѣ на темный лѣсъ, непроходимую чащу, гдѣ безпрестанно натыкаешься на пни и колоды. И неужели это оттого, что нѣтъ никакой возможности привести наши спряженія въ ясную систему, основанную на духѣ языка? Совсѣмъ нѣтъ; напротивъ, ничего не можетъ быть проще, яснѣе и удовлетворительнѣе теоріи русскихъ глаголовъ; вся бѣда отъ страннаго упрямства и неушѣстнаго чванства гг. грамматистовъ. Ибо, во первыхъ,

они хотятъ сочинять, выдумывать законы языка, а не открывать ихъ, не выводить изъ духа онаго; во вторыхъ, они не хотятъ пользоваться трудами своихъ предшественниковъ, какъ будто бы почитая это унижительною для своего авторскаго достоинства. Удивительно ли послѣ этого, что у насъ по сю пору нѣтъ грамматики, которую бы можно было принять за руководство при обученіи дѣтей? Для людей, занимающихся преподаваніемъ отечественнаго языка, всего болѣе ощутителенъ недостатокъ въ подобныхъ руководствахъ. Если они сами не имѣютъ столько ума и силы, чтобъ быть въ состояніи выбиться изъ старой колеи, пробитой жалкою посредственностію, то должны пробавляться извѣстными «грамматиками», не смотря на то, что однѣ изъ нихъ слишкомъ обширны, другія слишкомъ кратки, третьи слишкомъ мудрены, четвертыя слишкомъ нехитры: вотъ причина необыкновеннаго успѣха грамматики велемудраго Меморскаго (вѣчная ему память!); она кратка, она искони вѣковъ слыветъ классическою книгою, и, сверхъ того, снабжена вопросами, слѣдовательно избавляетъ горемыку педагога отъ излишнихъ хлопотъ. Если же преподаватель принадлежитъ къ числу людей мыслящихъ и понимаетъ важность и святость своей обязанности, то долженъ составлять записки и по нимъ учить своихъ учениковъ; ибо, спрашиваю, какъ онъ можетъ рѣшительно предпочесть ту или другую изъ извѣстныхъ грамматикъ? Кто не согласится, что «Грамматика» г. Греча не безъ достоинствъ, что въ ней есть много дѣльных замѣчаній, что ея авторъ умѣлъ иногда кстати пользоваться трудами и открытіями нашихъ филологовъ? Но кто, виѣсть съ этимъ не согласится, что эта «Грамматика» есть не иное что, какъ сборъ, или лучше свозъ матеріаловъ, книга полезная для составителя грамматики, но отнюдь не то, что должно разумѣть подъ наукою въ высшемъ значеніи сего слова? И притомъ, сколько странностей, сколько клеветъ на бѣдный русскій языкъ!...

«Грамматика» г. Востокова, безъ всякаго сомнѣнія, есть лучшая изъ всѣхъ донинѣ изданныхъ; она драгоценна по многимъ важнымъ открытіямъ и тонкимъ замѣчаніямъ касательно свойствъ и особенностей нашего языка; она обнаруживаетъ въ авторѣ человѣка, глубоко изучившаго свой предметъ, преслѣдовавшаго его съ неутомимою ревностію въ продолженіе многихъ лѣтъ своей жизни, посвященной безкорыстному служенію родному слову. Но онъ не обработалъ своего сочиненія ученымъ образомъ, то-есть не озарилъ его философією человѣческаго слова, и потому его «Грамматика» есть только богатый и драгоценный сборникъ матеріаловъ для составленія русской грамматики. Равнымъ образомъ она не можетъ быть принята безусловно за руководство при обученіи дѣтей *). Удовлетворить умъ ребенка еще можетъ быть труднѣе, чѣмъ умъ взрослого человѣка; ему мало сказать, сколько частей рѣчи и какъ они называются: объясните ему, что такое эти части рѣчи, для чего онѣ и почему ихъ столько, а не столько, — или обвиняйте самихъ себя въ его тупоуміи и непонятливости! Ему такъ же, какъ и взрослому, нужно сперва объяснить философію слова человѣческаго. и потомъ ужъ изъ ней вывести теорію слова отечественнаго: дѣло въ томъ, чтобы умѣть изложить эту философію понятнымъ для него образомъ. Нѣкоторые, оправдываясь слабостію дѣтскаго разсудка, представляютъ науки, назначаемыя для преподаванія дѣтямъ, въ ложномъ и искаженномъ видѣ. Такъ поступилъ г. Гречъ въ своей «Учебной Книгѣ Россійской Словесности», этою сборникѣ пошлыхъ

*) Грамматика всякаго языка, безъ философическихъ выводовъ и опредѣленій, можетъ годиться только для взрослыхъ и то въ такомъ только случаѣ, когда имѣетъ предметомъ привести въ систему особенности языка и не обнаруживаетъ претензій на новые взгляды въ построеніи науки вообще. Грамматики же, назначаемыя для обученія, не могутъ принести вполнѣ ожидаемой пользы, когда не основаны на всеобщей грамматикѣ, или, по крайней мѣрѣ, когда ученики не ознакомлены предварительно съ основаніями сей послѣдней.

и обветшалыхъ правилъ, взятыхъ изъ пресловутаго «Словаря Древнія и Новыя Поэзіи» г. Остолопова. Странные люди! да неужели ребенку потому только, что онъ ребенокъ, должно говорить, что дважды два пять, а не четыре? Посмотрите, какъ пишутся у иностранцевъ учебныя книги; и кѣмъ пишутся!—знаменитыми профессорами, великими учеными! Прочтите, наприимѣръ, *Principes de Grammaire générale, mis à la portée des enfants, par Silvestre de Sacy*: какія глубокія истины высказаны въ ней языкомъ самымъ простымъ, удобопонятнымъ! Дитя, пройдя эту книгу, положитъ самое твердое основаніе и изученію филологіи вообще и знанію роднаго языка въ частности *).

Г. Гречъ выдумалъ три спряженія (г. Гречъ очень любитъ тройственность!), и вотъ какимъ образомъ: глаголы перваго спряженія оканчиваются у него на *тъ* съ предъидущими гласными *а, я, ѣ*, а въ первомъ лицѣ на *ю* съ предъидущею гласною и раздѣляются на четыре отдѣла; второе на *тъ* съ предъидущими гласными *и* или *о*, также съ другими гласными, коимъ предшествуетъ буква согласная губная шипящая или измѣняемая, въ настоящемъ времени на *ю* съ предъидущею согласною, весьма рѣдко гласною, или по свойству предъидущей шипящей согласной, на *у*, и раздѣляется на семь отдѣловъ (не правда ли, что это удивительно какъ ясно и просто? бѣдные учителя! бѣдные ученики!); глаголы третьяго спряженія оканчиваются на *нутъ* и *ереть*, а въ первомъ лицѣ на *у* съ предъидущею поднебесною буквою, и раздѣляется на два отдѣла. И такъ, говоря собственно, у г. Греча тринадцать спряженій, уфъ!!... Нужно ли доказывать чудовищность подобнаго раздѣленія?

У г. Востокова два спряженія, кои различаются по второму лицу ед. ч. наст. вр. изъяс. наклоненія. Въ разсужденіи

*) Большая часть сего превосходнаго сочиненія знаменитаго ориенталиста и филолога уже переведена мною, и все оно, надѣюсь, скоро будетъ издано. (Переводъ этотъ не былъ конченъ).

сего, онъ ближе всѣхъ къ истинѣ. Какъ жаль, что онъ только въ половину принялъ ее!

У г. Калайдовича четыре спряженія. (Кому прикажете вѣрить?). Такъ какъ онъ неопредѣленное наклоненіе называетъ не формою глагола, а неизмѣняемымъ именемъ, то и различаетъ спряженія по первому лицу ед. ч. наст. вр. изъяв. наклоненія. Не стану терять времени на опроверженіе его раздѣленія; скажу просто, что оно такъ же мило, какъ его «бытословъ» и «отглаголія».

Но, несмотря на все сіе разногласіе въ системахъ русскихъ глаголовъ, между ними есть одна истинная и непреложная. Она не сочинена, а открыта, не выдумана, а почерпнута изъ духа русскаго языка, и потому проста, ясна и вполнѣ удовлетворительна. Читали ли вы статью г. профес. Болдырева о системѣ русскихъ глаголовъ, помѣщенную въ «Трудахъ Общества Любителей Россійской Словесности»? Присоедините къ ней раздѣленіе спряженій по Мелетію Смотрицкому, и вотъ вамъ эта система! Увѣрю васъ, что ларчикъ просто открывался!

Отчего происходитъ главная путаница въ спряженіи нашихъ глаголовъ? Во первыхъ, оттого, что у насъ для инаго глагола полагается три, для инаго пять, а для инаго семь и больше временъ, и что относятъ къ одному и тому же спряженію столь различные числомъ временъ глаголы;— во вторыхъ, отъ сбивчивости въ раздѣленіи спряженій. Слѣдовательно, чтобы привести въ порядокъ этотъ хаосъ, нужно дать для каждаго спряженія опредѣленное, равное число временъ, и сдѣлать такое раздѣленіе спряженій, которое бы не допускало исключеній. Не такъ-ли?

Что есть глаголъ? Слово выражающее бытіе, состояніе, дѣйствіе и страданіе предмета, содержащееся во времени, такъ какъ имя выражаетъ самый предметъ, содержащійся въ пространствѣ. Очевидно, что тотъ языкъ совершеннѣе и богаче, котораго глаголы способнѣе къ выраженію всѣхъ

оттѣнковъ дѣйствія, развивающагося во времени. Эти оттѣнки выражаются наклоненіями и временами. Въ латинскомъ языкѣ четыре, а во французскомъ пять наклоненій, у насъ только три. Но такъ какъ сослагательное того и другаго и условное послѣдняго у насъ совершенно выражаются чрезъ прибавленіе къ прошедшимъ временамъ частицъ, то въ семъ случаѣ нашъ языкъ ни чуть не бѣднѣе обоеихъ упомянутыхъ. Въ латинскомъ для всѣхъ наклоненій десять временъ, во французскомъ четырнадцать (восемь для *indicatif*, четыре для *subjonctif* и два для *conditionel*)—какое богатство! Сколько же ихъ у насъ? Ни больше, ни меньше трехъ: настоящее, прошедшее и будущее. Дѣло въ томъ, что для выраженія оттѣнковъ дѣйствія у насъ употребляются не времена; нѣтъ: для выраженія каждаго оттѣнка дѣйствія, у насъ есть особенный глаголъ, имѣющій свое неопредѣленное наклоненіе. По сему наши глаголы раздѣляются на виды, изъ коихъ важнѣйшіе суть:

1) Неокончательный, или коренной видъ глагола, показывающій дѣйствіе не вполне совершившееся и не совсѣмъ оконченное, напр. *говорить*, *дѣлать*.

2) Совершенный, показывающій дѣйствіе совсѣмъ окончено; онъ разнится отъ неокончательнаго: а. иногда перемѣною одной или двухъ буквъ на концѣ: прослав-ля-ть — прослав-и-ть, встав-ля-ть — встав-и-ть; б. иногда выпускомъ одной или двухъ буквъ: да-ва-ть — дать, пос-ы-лать — послать; в. но чаще всего предлогами: с-дѣлать, по-бранить.

3) Многократный выражаетъ дѣйствіе или давно бывшее, или много разъ совершавшееся; по большей части онъ оканчивается на *вать*, но иногда имѣетъ и обыкновенное окончаніе: дѣл-*ываютъ*, чит-*ываютъ*, слыш-*аютъ*, бир-*ятъ*, вид-*ятъ*.

4) Однократный противоположенъ многократному и выражаетъ дѣйствіе вполне совершившееся и притомъ однажды и скоро произведенное, почти всегда оканчивается на *нуть*: стук-*нуть*, плюн-*уть*.

Изъ сего видно, что наши грамматикѣ въ одинъ образчикъ спряженія упрятавали по нѣскольку глаголовъ, и оттого у нихъ такое множество временъ. Возьмемъ, для примѣра, глаголъ *толкать*: наст. *толкаю*, прошед. неоп. (imperfectum) *толкалъ*, пр. сов. (perfectum) *столкалъ*, пр. одн. *толкнулъ*, пр. сов. одн. *столкнулъ*, многокр. *талкивалъ*, многокр. сов. *сталкивалъ*, буд. *буду толкать*, буд. сов. *столкаю*, буд. одн. *толкну*, буд. сов. одн. *столкну*. Здѣсь одиннадцать временъ, т. е. здѣсь въ одномъ спряженіи заключено цѣлыхъ шесть глаголовъ: *толкать*, *столкать*, *толкнуть*, *талкивать*, *сталкивать*.

Я уже сказалъ, что *временъ* въ русскихъ глаголахъ должно быть только три. Глаголы видовъ неокончательнаго и многократнаго имѣютъ всѣ три времени; ихъ *будущее* составляется изъ *будущаю* времени вспомогательнаго глагола *быть* и неопредѣленнаго наклоненія спрягаемаго глагола. Глаголы же видовъ совершеннаго и однократнаго имѣютъ только два времени: *будущее* и *прошедшее*; ибо *настоящую* времени нѣтъ въ природѣ, когда дѣло идетъ о дѣйствиіи вполнѣ совершившемся; посему же самому у нихъ нѣтъ и настоящаго причастія, дѣйствительнаго и страдательнаго, и настоящаго дѣепричастія. Вотъ о числѣ временъ; теперь о числѣ спряженій.

Очевидно, что нѣтъ ничего легче, какъ приложить къ сей системѣ глаголовъ. раздѣленіе спряженій по второму лицу един. ч. наст. вр. изъясн. наклоненія. Прошедшее время у насъ просто, и, измѣняясь въ родахъ, не измѣняется въ лицахъ: слѣд. вся разница въ *настоящемъ* времени глаголовъ вида неокончательнаго и многократнаго, и *будущемъ* глаголовъ вида совершеннаго и однократнаго. Посему русскія спряженія можно безъ всякихъ исключеній раздѣлить на два: первое на *есть*, второе на *имѣ*.

Первое спр.

еишь,

етъ,

емъ,

ете,

утъ или ютъ.

Второе спр.

ишь,

итъ,

имъ,

ите,

атъ или ятъ.

Чтобы уяснить еще болѣе эту систему, вотъ вамъ первообразныя формы глаголовъ или то, что Французы называютъ *les temps primitifs*. Ихъ три:

I. Неопредѣленное наклоненіе, отъ коего

- а. чрезъ перемѣну *тъ* на *лъ, ла, ло, ли*, происходитъ прошедшее время глаголовъ всѣхъ залоговъ, кромѣ страдательнаго, и всѣхъ видовъ: *дѣла-тъ—дѣла-лъ, дѣли-тъ—дѣли-лъ.*
- б. чрезъ перемѣну *тъ* на *вший*, причастія прошедшаго времени глаголовъ всѣхъ видовъ и залоговъ, кромѣ страдательнаго: *говори-тъ, — говори-вший, стоя-тъ, — стоя-вший.*
- в. чрезъ перемѣну *тъ* на *вши*, и *съ*, дѣепричастіе прошедшаго времени: *дуну-тъ, дуну-вши, дуну-съ.*
- г. чрезъ перемѣну *тъ* на *нный*, страдательное причастіе прошедшаго времени: *посла-тъ — посла-нный*; въ глаголахъ, оканчивающихся на *ить*, буква *и* переходитъ въ *е*: *люб-и-тъ—люб-е-нный, стро-и-тъ—стро-е-нный.*

II. Первое лице ед. ч. наст. вр. изъяв. наклоненія, отъ коего

- д. чрезъ перемѣну буквы *ъ* на *ый* происходитъ страдательное причастіе настоящаго времени: *дѣлаем-ъ—дѣлаем-ый, дѣлим-ъ—дѣлим-ый.*

III. Третіе лице ед. ч. наст. вр. изъяв. наклоненія, отъ коего

- е. чрезъ перемѣну *тъ* на *щий* происходитъ причастіе настоящаго времени глаголовъ всѣхъ залоговъ,

кромѣ страдательнаго: читаю-*тъ* — читаю-*щій*, крася-*тъ* — крася-*щій*. Слѣд. наст. причастіе глаголовъ перваго спряженія оканчивается на *ущій* или *ющій*, а втораго на *ащій* или *ящій*.

И такъ подѣ эти правила не подходятъ только первое лице и дѣспричастіе наст. времени, да повелительное наклоненіе, въ разсужденіи котораго можно замѣтить только то, что оно сходно съ первымъ лицомъ наст. времени: если сіе оканчивается на *у* или *ю* съ предъидущею гласною, то повелительное наклоненіе оканчивается на *й* съ предъидущею гласною; если же первое лице предъ *у* или *ю* не имѣетъ гласной, то на *и* или *ѣ*. Впрочемъ, это можетъ затруднить только иностранца, а не Русскаго.

Все прочее такъ ясно, просто и удовлетворительно, что не оставляетъ желать ничего лучшаго. Эта система равно легка для Русскихъ и иностранцевъ. Для большаго же облегченія послѣднихъ надобно въ словаряхъ отмѣчать при глаголахъ второе лице наст. вр., видъ и первое лице.

Возвращаюсь къ «Грамматику» Калайдовича. Послушайте, какъ онъ раздѣляетъ формы глаголовъ:

1) «Будущее неопредѣленное время, т. е. не опредѣляющее ни начала, ни конца дѣйствія: *буду садить*». Положимъ такъ!

2) «Прошедшее несовершенное, которое означаетъ, что дѣйствіе должно было совершиться, но по какому-либо случаю прервалось и не совершилось. Оно дѣлается чрезъ приложеніе слова бытія *было*, превратившагося въ союзъ, къ прошедшему времени глаголовъ современнаго (?) неопредѣлительнаго вида, но чаще современнаго же опредѣлительнаго, напр. я *было попалъ* въ бѣду».

3) «Предварительныя времена дѣлаются чрезъ приложеніе слова бытія *бывало*: лишь только соловей *бывало* запоетъ». Часъ отъ часу не легче!... Предварительное время!

Passé antérieur! Не понимаю, какъ можно смѣшивать фразы и идиому языка съ формами глаголовъ?

4) «Уступительныя времена: *пусть я сказалъ, пусть шумитъ буря*». Еще милѣе.

5) «Желательное наклоненіе: *да научусь творить удобное тебѣ*».

6) «Подтвердительное желательное: *читайже, читайтеже*». Посему *lisez-donc* есть подтвердительное желательное наклоненіе?

7) «Смигчительное желательное *скажи-ка, пойдемъ-ка*». Чудеса, да и только!

8) «Предположительное наклоненіе: *я-бы сказалъ*».

Неужели все это стоить опроверженія? Неужели читатели еще не убѣдились, что г. Калайдовичъ силится прикрыть такими нововведеніями пустоту и ничтожность своей книжки? Что должно сказать объ этомъ?

Заключаю: «Грамматика языка русскаго» г. Калайдовича ровно ничего не прибавила къ нашей ученой литературѣ, ни на шагъ не подвинула впередъ теоріи отечественнаго языка, и не только не можетъ идти ни въ какое сравненіе съ «Грамматикою» г. Востокова, но даже гораздо ниже «Грамматики» г. Греча, и весьма недалеко ушла отъ тѣхъ грамматикъ, которыя мы считаемъ дюжинами.

ПОВѢСТИ БЕЗУМНАГО. Москва, 1834 г.

Какъ пріятно послѣ зимняго холода, появленіе весенняго солнца, роскошно изливающего свою плодородную и зиждительную силу, животворящаго огнемъ своихъ лучей все прекрасное Божіе созданіе! Не есть ли оно символъ вѣчнотворящей любви Предвѣчнаго? Какая кипучая жизнь заступаетъ мѣсто всеобщей смерти, когда цѣлое твореніе

проникается пламенемъ любви и мириады новыхъ существъ вызываются изъ праха!... Не сходенъ ли съ этимъ солнцемъ и геній? Не есть ли и онъ символъ творящей силы Всемогушаго? Не производитъ ли и онъ также сонмы новыхъ созданий, сонмы новыхъ творителей?... Но увы! какъ солнце, вмѣстѣ съ муравой и цвѣтами полей, вмѣстѣ съ златовидными мотыльками вызываетъ и тмы вѣмеровъ, тмы насѣкомыхъ и червей гадкихъ и отвратительныхъ, такъ и геній, виновникъ созданий красоты и разума, бываетъ вмѣстѣ неумышленнымъ виновникомъ чадъ безобразія и нелѣпости. Не «Иліада» ли произвела «Энеиду», «Освобожденный Іерусалимъ» и другія поэмы, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не она ли была виною явленія «Александрюды»? Почти такимъ же образомъ «Юная Словесность» произвела, общими силами всѣхъ своихъ представителей, Барона Брамбеуса, а одинъ изъ ея представителей, слишкомъ талантливый, если не рѣшительно гениальный, Александръ Дюма, произвелъ «Повѣсти Безумнаго»! Охъ, эта безпутная «Юная Словесность»! много творить она зла! По дѣломъ такъ бранить ее «Библіотека для Чтенія»!...

Наша литература, или, по крайней мѣрѣ, то, что называютъ нашею литературою, представляетъ самое плачевное зрѣлище.

Сколько молодыхъ людей, которые могли бы быть честными и добросовѣстными дѣйствителями для блага отечества на разныхъ ступеняхъ общественной жизни, предаются этой жалкой маніи авторства, которая дѣлаетъ ихъ предметомъ всеобщаго посмѣянія!... Вмѣсто того, чтобы обогащать свой умъ познаніями и тѣмъ готовиться къ занятію какого-нибудь, сообразнаго съ ихъ талантами и склонностію, мѣста въ обществѣ, устремлять свою дѣятельность, благородные порывы своего сердца, избытокъ своихъ юныхъ силъ на святой подвигъ жизни и въ исполненіи своего долга находить свою высочайшую награду, они стремятъ

бросаются на эту презрѣнную арену, на этотъ литературный базаръ, гдѣ толчется и суетится жалкая посредственность, мелочное честолюбіе, и тѣшится дѣтскими побрякушками. Для пустаго призрака мгновенной извѣстности, они безразсудно расточаютъ свои юношескія силы, истощаютъ свою дѣятельность, становятся неспособными ни къ чему дѣльному и полезному; что же изъ всего этого выходитъ? Завѣса спадаетъ съ глазъ, похмѣлье проходитъ, остается головная боль, сердце пусто, самолюбіе глубоко уязвлено и горько страждетъ... А потомъ? Потомъ, какъ водится, жалобы, проклятіе на жизнь, на судьбу, элегін о развалинахъ разрушеннаго счастья, объ обманутыхъ надеждахъ, объ исчезнувшихъ призракахъ и пр. Знаете ли что? Эти плаксивыя элегіи, надъ которыми у насъ столько смѣются, иногда заключаютъ въ себѣ глубокий смыслъ: сердце обливается кровью, когда подумаешь объ нихъ съ этой стороны! Да — горе тому отцу, который не высѣчетъ больно своего недоучившагося сына за его первые стихи, а всего пуще — за его первую повѣсть!...

Я хотѣлъ говорить о «Повѣстяхъ Безумнаго», а занесъ Богъ вѣсть о чемъ. Посему считаю нужнымъ сдѣлать замѣчаніе для людей, любящихъ примѣненія, что все сказанное мною они должны почитать чистою поэтическою фантазіею, не имѣющею никакого отношенія къ упомянутымъ повѣстямъ.

Что сказать объ этихъ «Повѣстяхъ»? Это ни больше, ни меньше, какъ до крайности неудачная поддѣлка подъ тонъ повѣстей Бальзака и Дюма. Г. Безумный преуморительнымъ образомъ корчить изъ себя особенно Дюма и пребезбожно обкрадываетъ его. Такъ, наприимѣръ, къ концу своей чудовищной повѣсти: «Кто бы могъ ожидать этого?» ни къ селу, ни къ городу придѣлалъ окончаніе разсказа Дюма: «Une Vengeance», уже давнымъ давно переведеннаго въ «Телескопъ». Подобно Дюма, онъ создалъ, или, лучше сказать,

сварганилъ себѣ апотеозъ прелюбодѣянiя и, взявшись за изображенiе нравовъ нашего высшаго общества, сдѣлалъ изъ него родъ чего-то такого, чего нельзя и назвать печатно; на рѣдкой страницѣ его не найдете вы картинъ разврата, картинъ сладострастiя, которыя такъ натянуты, что даже не возбуждаютъ ни обаянiя, ни омерзѣнiя; на нихъ можно смотрѣть, не боясь соблазна или тошноты. А слогъ? О! слогъ г. Безумнаго есть верхъ совершенства! Въ этомъ случаѣ, онъ только въ одномъ Баронѣ Брамбеусѣ имѣетъ достойнаго себя соперника. Не угодно ли полюбоваться, на примѣръ, слѣдующими образчиками. «Ей мнилось, что лица присутствующихъ сливались въ одно око упрека (это выраженiе напечатано у него курсивомъ: знать, хорошо!), что всѣ голоса ихъ, заключенные въ одинъ ужасающiй звукъ, оглашали ядовитымъ смѣхомъ отверженiя (ужасно!) своды залы (вотъ какъ!).» Или: «Время вѣчностью капало изъ столѣтiя въ столѣтiя (ай! ай!)... потъ крови, холодный какъ ледъ океана (??)» и пр. Или: «Всякая буква этого имени оглушающими созвучiями (??) громила (!) сердце страдальцы». Или: «Избѣгать палящаго терзанiя очей его». Или: «Пламень еще дѣвственныхъ желанiй, но уже заклѣвленныхъ своеволиемъ ничтожества и безчувственности»...

Но довольно: достаточно и сихъ выписокъ, сдѣланныхъ на удачу, чтобы убѣдить читателей, какого великаго писателя имѣемъ мы въ г. Безумномъ.

Странное дѣло, какъ можно обманываться на счетъ своего призванiя, не сознать своей бездарности въ наше время, когда законы и условiя творчества болѣе или менѣе извѣстны каждому, хотя по наслышкѣ, когда всѣ хорошо понимаютъ, что какъ ни громка фраза, но если она не вырвалась мгновенно изъ души вслѣдствiе глубокаго чувства, то она пошла и отвратительна, что всякiй образъ безличенъ, когда авторъ не жилъ въ немъ своею жизнiю, въ то время какъ творилъ его?... Какъ, наконецъ; можно такъ безсовѣстно обирать

великихъ писателей, и притомъ изъ сочиненій уже переведенныхъ, и, слѣдовательно, всѣмъ извѣстныхъ?... Неужели г. Безумный думаетъ, что онъ можетъ, подобно Шекспиру и Мольеру, брать свое, или, по крайней мѣрѣ, что почитаетъ своимъ, гдѣ ни завидить?

Чего добраго, вѣдь онъ г. Безумный, а безумнымъ законъ не писать!..

РЕГЕНТСТВО ВИРОНА. *Повѣсть. Соч. Масальскаго. Спб. 1834. 2 ч.*

ГРАФЪ ОВОЯНСКІЙ ИЛИ СМОЛЕНСКЪ ВЪ 1812 г.
Разсказъ Инвалида. Соч. И. Коткина. Спб. 1834. 3 ч.

ШИГОНЫ. *Русская повѣсть XVI стол. Съ точнымъ описаніемъ (?) житія-бытія Русскихъ бояръ, ихъ прибытія въ отчины, покорность (и?) женъ, пиръ (овъ?) вельможей и наконецъ (слава Богу!) Царская вечеринка (ой? и кѣ?). Мимоходомъ замѣчены (?) монахи того времени, ихъ поклонники; не забыты (благодаримъ покорно!) и истинно святые мужи, какъ-то старцы: Семіонъ Курбскій, Вассіанъ Патрикѣевъ и Максимъ Грекъ, въ достоверную эпоху вторичнаго брака Царя Василія Іоанновича. Выбрано изъ рукописей издательницею „Супругъ Владиміра“. Москва. 1834.*

Знаете ли, какая въ нашей литературѣ самая трудная и самая легкая вещь? Это писать рецензіи на художественныя произведенія нашихъ дюжинныхъ литературныхъ производителей. Трудная, потому что о каждомъ новомъ издѣліи такого рода надо говорить *idem per idem*, или по-русски: «про одни дрожжи твердить трожды»; легкая потому,

что можно бить ихъ гуртами съ одного маху, съ одного плеча. Наставьте въ заглавіи вашей библіографической статьи дюжину романовъ или драмъ, и, благословясь, натайте всѣхъ безъ разбору.

Многіе порицають съ негодованіемъ рѣзкость въ литературныхъ сужденіяхъ и почитаютъ ее уголовнымъ преступленіемъ противъ законовъ общежитія и вѣжливости. «Развѣ, говорятъ они, вы образумите этимъ какого-нибудь пустоголоваго риемача, или дюжиннаго романиста? Какая же польза отъ вашихъ бранчивыхъ выходокъ»? Но, милостивые государи, развѣ это не польза, если какой-нибудь степной помѣщикъ, прочтя мою рецензію, не купитъ глупой книги, въ ней освищенной, а напаченныя на нее деньги употребитъ на покупку какого-нибудь дѣльнаго сочиненія? Притомъ, если оцѣниваемая книга есть первое произведеніе юноши, обольщеннаго ложнымъ призракомъ славы или угорѣвшаго отъ пріятельскихъ похвалъ и высокаго мнѣнія о своихъ дарованіяхъ, то развѣ не можетъ случиться, что откровенный отзывъ откроетъ ему глаза и обратитъ его дѣятельность къ ученію или занятію какимъ-нибудь полезнымъ дѣломъ? На сильныя болѣзни нужны и сильныя лѣкарства. Щадить посредственность, бездарность, невѣжество или барышничество въ литературѣ, значитъ способствовать къ ихъ усиленію.

Вы скажете: но какое зло дѣлають эти невинныя чада бездѣлья или безталанности? О, большое! увѣряю васъ. Во-первыхъ; они выманивають деньги у добродушныхъ покупателей, и тѣмъ препятствуютъ расходу хорошихъ книгъ, которыя могли бы способствовать или къ распространенію въ обществѣ полезныхъ свѣдѣній или къ развитію чувства изящнаго; потомъ они портятъ вкусъ у людей, жадныхъ до чтенія, но лишенныхъ образованности; наконецъ, каждое изъ сихъ сочиненій рождаетъ нѣсколько другихъ; слѣдовательно, они причиняють зло положительное и зло боль-

шое, ибо препятствуютъ распространенію просвѣщенія. На западѣ Европы такого рода книжныя издѣлія не могутъ причинять большаго вреда: тамъ всякій классъ людей, не исключая ни земледѣльцевъ, ни поденщиковъ, можетъ найти для себя отличныя произведенія, слѣдовательно не имѣетъ нужды покупать безъ разбора всякую дрянь. Но у насъ другое дѣло; и потому просимъ покорно не погнѣваться.

Другіе говорятъ еще: «для чего вы только бранитесь, а не доказываете?» Но, милостивые государи, развѣ можно съ слѣпыми разсуждать о цвѣтахъ, съ глухими о музыкѣ? Развѣ можно говорить гг. Сиговымъ, Бузмичевымъ и подобнымъ имъ о законахъ творчества, объ условіяхъ искусства. Разбирать съ доказательствами можно книгу, въ которой при недостаткахъ есть и достоинства.

Вотъ скажу вамъ, напримѣръ, о г. Масальскомъ: онъ совсѣмъ не принадлежитъ къ числу пошлыхъ бумагомарателей и безграмотныхъ писакъ; онъ человекъ умный, образованный, знаетъ, какъ слышно, много языковъ и даже до того ученъ, что уличаетъ въ матеріализмъ, разбратъ и безбожія нѣмецкихъ философовъ XIX вѣка *), хотя и плохо разумѣетъ ихъ. Но все это не мѣшаетъ ему быть бездарнымъ писателемъ; ибо умъ, образованность, знанія и даже способность сильно чувствовать, совсѣмъ не одно и то же съ способностью творить. Прочтите любой его романъ: вы не найдете въ немъ ни одной грамматической погрѣшности, ни одного неуклюжаго выраженія, ни одной бессмыслицы—все гладко, умно и прилично. Но за то не найдете и ни одной оригинальной мысли, ни одного сильнаго чувства, ни одной занимательной картины: все такъ обыкновенно, старо, вяло, приторно. Сколько разъ твердили ему

*) Зри „Библіотеку для Чтенія“ томъ VII, стран. 173, въ отдѣленіи „Прозы“.

это въ журналахъ, и однакожъ онъ продолжаетъ пописывать, и, кажется, еще долго не перестанетъ. Что-жъ тутъ прикажете дѣлать? Говорить комплементы, вѣжливости, повторять общія мѣста? — предоставляемъ подвизаться другимъ на этомъ похвальномъ поприщѣ.

«Регентство Бирона!» Понимаете ли вы, что это за эпоха въ нашей исторіи и что можетъ изъ нея сдѣлать истинный талантъ? Что-жъ сдѣлалъ изъ нея г. Масальскій? Написалъ скучную, вялую сказку, въ которой не видно ни Бирона, ни тогдашней Россіи, ни тогдашнихъ людей; ибо его Биронъ, его люди — образы безъ лицъ; перемѣните ихъ имена и перенесите ихъ въ какую вамъ угодно эпоху — все будетъ хорошо и ладно.

Что сказать о «Графѣ Обоинскомъ»? Судя по эпиграфу, вы подумаете, что тутъ дѣло идетъ о знаменитой войнѣ 1812 года и герояхъ, увѣковѣчившихъ въ ней имена свои? Ничуть не бывало: это Дюкре-Дюменилевскій романъ съ Вальтеръ-Скоттовскими приправами. Въ немъ нѣтъ ни слога, ни мыслей, ни созданія, ни характеровъ, ни занимательности; словно гора съ плечъ сваливается у васъ, когда вы дочитываетесь до отраднаго слова: конецъ. Тутъ вамъ по неволѣ придутъ на память сіи остроумные стихи:

Всю проповѣдь отца Тарасія хоть кинь;
Одно понравилось мнѣ слово въ ней: аминь!

Жаль, очень жаль; ибо какъ ни плохо произведеніе г. Коншина, а все видно, что онъ могъ бы сдѣлать лучшее употребленіе изъ своихъ дарованій.

Хотите-ли вы знать, что такое «Шигоны», т. е. что въ нихъ обрѣтается? Прочтите заглавіе этого романа: въ немъ со всею подробностію, хотя и безъ грамматики, высказано все его содержаніе. Впрочемъ, это произведеніе, несмотря на ученическія погрѣшности противъ языка, все-таки лучше обоихъ вышеупомянутыхъ. Жаль только, что въ немъ нѣтъ

ни крошки XVI вѣка; ибо глупости вздорной и сумасшедшей бабы и дворскія сплетни еще не выражаютъ жизни русскаго народа въ царствованіе сына Іоанна III. Надобно также замѣтить, что авторъ въ иныхъ мѣстахъ, кажется, жестоко погрѣшаетъ противъ исторической истины, искажаетъ нравы и обычаи избранной имъ эпохи. Вообще должно сказать, что этотъ романъ былъ бы гораздо лучше, еслибы его заглавіе было поскромнѣе. Подобное шарлатанство и самохвальство не только не располагаетъ образованнаго читателя къ сочиненію, но рѣшительно предубѣждаетъ противъ него. Кто мало общается, отъ того не много и требуютъ. Но когда вы общаете много, а исполните мало, то пеняйте на самихъ себя, а не на публику и рецензента.

1835

ТЕЛЕСКОПЪ.

Соч. В. Бѣливанскаго. Ч. I.

11

I.

КРИТИКА.



О РУССКОЙ ПОВѢСТИ И ПОВѢСТЯХЪ ГОГОЛЯ.

(АРАБЕСКИ И МИРГОРОДЪ).

Русская литература, несмотря на свою незначительность, несмотря даже на сомнительность своего существованія, которое теперь многими признается за мечту, — русская литература испытала множество чуждыхъ и собственныхъ вліяній, отличилась множествомъ направленій. Такъ какъ это имѣетъ прямое отношеніе къ предмету моей статьи, то укажу, въ краткихъ очеркахъ, на главнѣйшія изъ этихъ вліяній и направленій. Литература наша началась вѣкомъ схоластицизма, потому что направленіе ея великаго основателя было не столько художественное, сколько ученое, которое отразилось и на его поэзіи, вслѣдствіе его ложныхъ понятій объ искусствѣ. Сильный авторитетъ его бездарныхъ послѣдователей, изъ коихъ главнѣйшими были Сумароковъ и Херасковъ, поддержалъ и продолжилъ это направленіе. Не имѣя ни искры генія Ломоносова, эти люди пользовались не меньшимъ, и еще чуть ли не большимъ, чѣмъ онъ, авторитетомъ и сообщили юной литературѣ характеръ тяжело-педантическій. Самъ Державинъ заплатилъ, къ несчастію, слишкомъ большую дань этому направленію, чрезъ что много повредилъ и своей самобытности и своему успѣху въ потомствѣ. Вслѣдствіе этого направленія литература

раздѣлялась на «оду» и «эпическую, инако героическую піему». Последняя, въ особенноти, почиталась торжественнѣйшимъ проявленіемъ поэтическаго генія, вѣнцемъ творческой дѣятельности, альфою и омегою всякой литературы, конечною цѣлію художественной дѣятельности каждаго народа и всего человѣчества *). «Петріяда» произвела достойныхъ себя чадъ—«Россіяду» и «Владиміра»; а эти, въ свою очередь, нѣсколькихъ длинныхъ Петровъ и наконецъ пресловутую «Александрюду»... Потомъ, только и слышно было, какъ наши лирики, «упиваясь одопѣиємъ», по выраженію одного изъ нихъ, въ своихъ громогласныхъ одахъ, взапуски заставляли «плясать рѣки и скакать холмы»... Это было главное, характеристическое направленіе; еще тогда же и послѣ были и другія, хотя и не столь сильныя: Крыловъ родилъ тѣмъ баснописцевъ, Озеровъ — трагиковъ, Жуковский — балладистовъ, Батюшковъ — элегистовъ. Словомъ, каждый замѣчательный талантъ заставлялъ плясать подъ свою дудку толпы бездарныхъ писателей. Еще вѣкъ тяжелаго схоластицизма не кончился, еще онъ былъ, какъ говорится, во всемъ своемъ разгарѣ, какъ Карамзинъ основалъ новую школу, далъ литературѣ новое направленіе, которое, вначалѣ, ограничило схоластицизмъ, а впоследствии совершенно убило его. Вотъ главная и величайшая заслуга этого направленія, которое было нужно и полезно, какъ реакція, и вредно, какъ направленіе ложное, которое, сдѣлавши свое дѣло, требовало, въ свою очередь, сильной реакціи. По причинѣ огромнаго и деспотическаго вліянія Карамзина и многосторонней его литературной дѣятельности, новое направленіе долго тяготѣло и надъ искусствомъ, и

*) Это смѣшное и жалкое направленіе до того было сильно и такъ долго продолжалось, что многіе литераторы, въ 1813 году, совѣтовали г. Иванчину-Писареву, написавшему довольно оразистую «Надпись на полѣ Бородинскомъ», написать—что бы вы думали?—эпическую поему!...

надъ наукой, и надъ ходомъ идей и общественнаго образованія. Характеръ этого направленія состоялъ въ сентиментальности, которая была одностороннимъ отраженіемъ характера европейской литературы XVIII вѣка. Въ то время, когда это сентиментальное направленіе было во всемъ цвѣтѣ своемъ, Жуковский ввелъ литературный мистицизмъ, который состоялъ въ мечтательности, соединенной съ ложнымъ фантастическимъ, но который, въ самомъ-то дѣлѣ, былъ не что иное, какъ нѣсколько возвышенный, улучшенный и подновленный сентиментализмъ, и хотя породилъ тѣмъ бездарныхъ подражателей, но былъ великимъ шагомъ впередъ *). Съ половины втораго десятилѣтія XIX вѣка совершенно кончилась эта однообразность въ направленіи творческой дѣятельности: литература разбѣжалась по разнымъ дорогамъ. Хотя огромное вліяніе Пушкина (который, скажемъ мимоходомъ, составляетъ, на пустынномъ небосклонѣ нашей литературы, вмѣстѣ съ Державинимъ и Грибоедовымъ, пока единственное поэтическое созвѣздіе, блестящее для вѣковъ) и этому періоду нашей словесности сообщило какой-то общій характеръ; но, во первыхъ, самъ Пушкинъ былъ слишкомъ разнообразенъ въ тонахъ и формахъ своихъ произведеній, потомъ, вліяніе старыхъ авторитетовъ еще не потеряло своей силы и, наконецъ, знакомство съ европейскими литературами показало новые роды и новый характеръ искусства. Вмѣстѣ съ поэмой пушкинскою, появились — романъ, повѣсть, драма, усилилась элегія и не были забыты — баллада, ода, басня, даже самая эпиграмма и идиллія.

Теперь совсѣмъ не то: теперь вся наша литература пре-

*) Говори о Жуковскомъ, я имѣю въ виду направленіе, произведенное имъ на литературу, а не оцѣню его литературныхъ заслугъ, разумно его баллады и малое число оригинальныхъ пьесъ, а не переводы вообще, которыми наша литература по справедливости гордится.

вратилась въ романъ и повѣсть. Ода, эпическая поэма, баллада, басня, даже такъ называемая или, лучше сказать, такъ называвшаяся, романтическая поэма, поэма пушкинская, бывало наводнявшая и потоплявшая нашу литературу — все это теперь не больше, какъ воспоминаніе о какомъ-то веселомъ, но давно минувшемъ времени. Романъ все убилъ, все поглотилъ, а повѣсть, пришедшая вмѣстѣ съ нимъ, изгладила даже и слѣды всего этого, и самъ романъ съ чтеніемъ посторонился и далъ ей дорогу впереди себя. Какія книги больше всего читаются и раскупаются? Романы и повѣсти. Какія книги доставляютъ литераторамъ и дома и деревни? Романы и повѣсти. Какія книги пишутъ всѣ наши литераторы, призванные и непризванные, начиная отъ самой высокой литературной аристократіи до неугомонныхъ рыцарей Толкуна и Смоленскаго рынка? Романы и повѣсти. Чудное дѣло! Но это еще не все. Въ какихъ книгахъ излагается и жизнь человѣческая, и правила нравственности, и философическія системы, и, словомъ, всѣ науки? Въ романахъ и повѣстяхъ.

Вслѣдствіе какихъ же причинъ произошло это явленіе? Кто, какой гений, какой могущественный талантъ произвелъ это новое направленіе?... На этотъ разъ нѣтъ виноватаго: причина въ духѣ времени, во всеобщемъ и, можно сказать, всемірномъ направленіи.

Правда, и здѣсь было вліяніе иностранныхъ литературъ, что очень естественно, ибо народъ, начинающій принимать участіе въ жизни образованной части человѣчества, не можетъ быть чуждымъ никакого общаго умственнаго движенія. По крайней мѣрѣ, это уже не было слѣдствіемъ успѣха или сильнаго авторитета одного какого-нибудь лица, но было слѣдствіемъ общей потребности. Правда, мы еще не забыли, хотя по имени, прадѣдушку нашихъ романовъ — «Ивана Выжигина»; но онъ былъ ихъ прадѣдушкою только по времени своего появленія, а не по внутреннему достоинству.

Не успѣхъ его заставилъ всѣхъ писать романы, но онъ доказалъ общую потребность. Надобно же было кому-нибудь начать. Притомъ же вопросъ состоялъ не въ томъ—будетъ ли имѣть успѣхъ на Руси романъ. Этотъ вопросъ былъ уже рѣшенъ, ибо тогда переводные романы Вальтеръ-Скотта уже начали разливаться по Россіи широкимъ потокомъ. Вопросъ состоялъ въ томъ, можетъ ли имѣть, на Руси, успѣхъ русскій романъ, написанный по-русски и почерпнутый изъ русской жизни. Г. Булгарину случилось прежде другихъ рѣшить этотъ вопросъ: вотъ и все.

Романъ и теперь еще въ силѣ и, можетъ-быть, надолго, или на всегда будетъ удерживать почетное мѣсто, полученное или, лучше сказать, завоеванное имъ между родами искусства; но повѣсть во всѣхъ литературахъ теперь есть исключительный предметъ вниманія и дѣятельности всего, что пишетъ и читаетъ, нашъ дневной насущный хлѣбъ, наша настольная книга, которую мы читаемъ, смыкая глаза ночью, читаемъ, открывая ихъ по утру. Есть еще третій родъ поэзіи, который долженъ бы, въ наше время, раздѣлять владычество съ романомъ и повѣстью: это драма, хотя ея успѣхи и заслонены успѣхомъ романа и повѣсти. Вслѣдствіе этого всеобщаго направленія, и въ нашей литературѣ господствующими родами поэзіи сдѣлались романъ и повѣсть, и сдѣлались, повторяю, не столько вслѣдствіе слѣпаго подражанія, или преобладанія какого-нибудь сильнаго дарованія, или, наконецъ, оболъщенія слишкомъ необыкновеннымъ успѣхомъ какого-нибудь творенія, сколько вслѣдствіе общей потребности и господствующаго духа времени.

Въ чемъ же заключается причина этой общей потребности, этого господствующаго духа времени, которые всѣ литературы подвели подъ форму романовъ и повѣстей?

Поэзія двумя, такъ сказать, способами объемлетъ и воспроизводитъ явленія жизни. Эти способы противоположны одинъ другому, хотя ведутъ къ одной цѣли. Поэтъ или пе-

ресоздаетъ жизнь по собственному идеалу, зависящему отъ образа его воззрѣнія на вещи, отъ его отношенія къ міру, къ вѣку и народу, въ которомъ онъ живетъ, или воспроизводитъ ее во всей ея наготѣ и истинѣ, оставаясь вѣренъ всѣмъ подробностямъ, краскамъ и оттѣнкамъ ея дѣйствительности. Поэтому, поэзію можно раздѣлить на два, такъ сказать, отдѣла—на идеальную и реальную. Объяснимся.

Поэзія всякаго народа, въ началѣ своемъ, бываетъ согласна съ жизнью, но въ раздорѣ съ дѣйствительностію, ибо у всякаго младенчествующаго народа, какъ и у младенчествующаго человѣка, жизнь всегда враждуетъ съ дѣйствительностію. Истина жизни недоступна ни для того, ни для другаго; ея высокая простота и естественность непонятна для его ума, неудовлетворительна для его чувства. То, что для народа возмужалаго, какъ и для человѣка возмужалаго, кажется торжествомъ бытія и высочайшею поэзію, для него было бы горькимъ, безотраднымъ разочарованіемъ, послѣ котораго уже не зачѣмъ и не для чего жить. Раз облаченная и обнаженная отъ своихъ ложныхъ красокъ, жизнь представилась бы ему сухою, скучною, вялою и бѣдною прозою, какъ будто бы истина и дѣйствительность несовмѣстны съ поэзію; какъ будто бы солнце менѣе великолѣпно и лучезарно, когда оно только простой и темный шаръ, а не торжественная колесница Феба; какъ будто бы лазурный куполъ неба менѣе прекрасенъ, когда онъ уже не звѣздный Олимпъ, жилище боговъ безсмертныхъ, а ограниченное нашимъ зрѣніемъ безпредѣльное пространство, вмѣщающее въ себѣ міриады міровъ; какъ будто бы, наконецъ, земля, жилище человѣка, менѣе дивна, когда она лежитъ не на раменахъ Атланта, а держится и движется въ воздушномъ океанѣ, не поддерживаемая ничьею рукою, повинующаяся одному простому закону тяготѣнія!... Такимъ то образомъ, первобытное человѣчество, въ лицѣ Грека, во всей полнотѣ кипящихъ силъ, во всемъ разгарѣ свѣжаго,

живаго чувства, и юнаго, цвѣтушаго воображенія, объясняло явленія физическаго міра вліяніемъ высшихъ, таинственныхъ силъ. Такимъ же образомъ объясняло оно и явленія нравственнаго міра, подчинивъ ихъ вліянію какой-то грозной и неотразимой силы, которую оно назвало Судьбою. Для Грека не было закоповъ природы, не было свободной воли человѣческой. И вотъ почему все входящее въ кругъ обыкновенной жизни, все объясняющееся простою причиною, почиталъ онъ недостойнымъ поэзіи, униженіемъ искусства, словомъ, низкою природою — выраженіе такъ глупо понятое, такъ нелѣпо принятое Французами XVIII столѣтія. Для него не существовало человѣка съ его свободною волею, его страстями, чувствами и мыслями, страданіями и радостями, желаніями и лишеніями, ибо онъ еще не созналъ своей индивидуальности, ибо его я исчезало въ я его народа, идея котораго трепещетъ и дышитъ въ его поэтическихъ созданіяхъ. Его лирическія пѣсни не носятъ на себѣ отпечатка возрѣнія на міръ, слѣдовъ стремленія допытаться его тайнъ, въ нихъ нѣтъ унылой думы, грустной мечтательности: это просто или торжественный гимнъ благодарности, или пламенный дионрамбъ радости, выраженіе бессознательной *жары*, ибо онъ смотрѣлъ на природу взоромъ любовника, а не мыслителя, любилъ ее, а не изслѣдовалъ, и вполнѣ былъ доволенъ и очарованъ ею. При взглядѣ на нее, не вопросы, а восторгъ тѣснился въ его душу, и онъ изливалъ этотъ восторгъ или въ благодарственный гимнъ, или бѣшеномъ дионрамбѣ, или торжественной одѣ. Это его лиризмъ; теперь посмотримъ на его эпопею и драму. Что ему жизнь и судьба какого-нибудь частнаго человѣка—этотъ романъ, такъ простой и такъ обыкновенный? Давайте ему царя, полубога, героя! Что ему картина частной жизни, съ ея заботами и хлопотами, съ ея высокими и смѣшными, съ ея горемъ и радостью, любовью и ненавистью—эта повѣсть, такъ мелочно-подробная,

такъ суетно-ничтожна? Разверните передъ нимъ картину борьбы народа съ народомъ, представьте ему зрѣлище боевъ и кровопролитій, въ которыхъ принимаютъ участіе сами небожители и которые оканчиваются по изволу и замыслу судьбы самовластной? Романъ и повѣсть для него пошлы— дайте ему поэму, поэму огромную, величественную, полную чудесъ, поэму, въ которой бы отражалась и видѣлась вся жизнь его, со всѣми оттѣнками, какъ отражается и видѣется въ чистомъ, спокойномъ зеркалѣ безбрежнаго океана лазоревое небо съ своими облаками, — дайте ему Илиаду... Но проходить вѣкъ чудесъ, волею и неволею народъ сближается съ дѣйствительною жизнью и, вмѣсто поэмы, требуетъ драмы. Но онъ и тутъ не измѣняетъ себѣ: онъ только отдалился отъ прошедшаго, но онъ не забылъ его, не охладѣлъ къ нему, не развылся съ нимъ. Онъ уже начинаетъ приглядываться къ жизни, но, недовольный ею, не ее хочетъ перенести въ поэзію, но поэзію хочетъ перенести въ нее. Оставляя настоящее, онъ въ прошедшемъ ищетъ элементовъ для своей драмы; и потому его драма не наша, не Шекспировская драма, представительница жизни дѣйствительной, борьбы страстей съ волею человека, — нѣтъ: это родъ таинственнаго, религіознаго обряда, мрачная мистерія, жрица и пророчица Судьбы, словомъ, это трагедія, трагедія высокая и благородная, въ царственномъ, героическомъ величіи, трагедія подъ маскою и на котурнѣ. Ея герой долженъ быть царь, полубогъ, герой, съ вѣнцемъ, вѣнкомъ или шлемомъ на головѣ, скипетромъ, мечемъ или щитомъ въ рукѣ, въ длинной, волнующейся мантии; ея содержаніемъ долженъ быть жребій цѣлаго поколѣнія царей, полубоговъ или героевъ, тѣсно связанный съ судьбой какого-нибудь народа или какого-нибудь великаго событія, ибо участь простолюдина и подробности частной жизни оскорбили бы ея царственное величіе, исказили бы ея религіозный характеръ, ибо народъ хотѣлъ видѣть на сценѣ себя, свою

жизнь, а не человека, не его жизнь. Для своей драмы, точно такъ же, какъ и для своей поэмы, выбираетъ онъ изъ жизни одно высокое, благородное, и выбрасываетъ все обыкновенное, повседневное, домашнее, ибо его жизнь на площади, на полѣ брани, во храмѣ, въ судилищѣ, и тамъ его поэзія, а не въ домашнемъ кругу; персонажи его трагедіи должны говорить языкомъ высокимъ, облагороженнымъ, поэтическомъ, ибо они цари, полубоги, герои; его хоръ долженъ выражаться языкомъ таинственнымъ, мрачнымъ и вмѣстѣ торжественнымъ, ибо онъ есть органъ, истолкователь воли ужаснаго Рока.

Таковъ бываетъ характеръ поэзіи первобытныхъ народовъ, такова была поэзія Грековъ.

Но младенчество не вѣчно для человека, не вѣчно для народа, не вѣчно для человечества; за нимъ слѣдуетъ юность, потомъ возмужалость, а тамъ и старость. Поэзія также имѣетъ свои возрасты, которые всегда параллельны возрастамъ народа. Вѣкъ поэзіи идеальной оканчивается младенческимъ и юношескимъ возрастомъ народа, и тогда искусство должно или переменить свой характеръ, или умереть. Съ искусствомъ человечества нашего, новѣйшаго, случилось, какъ увидимъ ниже, первое; съ искусствомъ человечества древняго случилось послѣднее, ибо народу, котораго поэзія, вначалѣ, была идеальная, вслѣдствіе его идеальной жизни, невозможно перейти къ поэзіи реальной. Упрямо, на зло природѣ, держится онъ прошедшаго и въ духѣ и въ формахъ, и, опытный мужъ, невозвратно утратившій вѣру въ чудесное, освоившійся съ опытомъ жизни, силится придать своимъ поэтическимъ созданіямъ колоритъ идеальный. Но такъ какъ у него поэзія не въ ладу съ жизнью, чего никогда не должно быть, то удивительно ли, что онъ становится на ходули за малостію роста, румянится за неимѣніемъ природнаго цвѣта юности, надувается за недостаткомъ голоса; что его чудесное переходитъ въ хо-

лодную аллегорію, героизмъ въ донкихотство? Такова была поэзія греческая, когда, кончивъ свой кругъ, блѣдною тѣнью промелькнула въ Александрію. Но чаще всего это случается съ народами, у которыхъ поэзія развилась не изъ жизни, а явилась вслѣдствіе подражательности: она всегда бываетъ пародією на свой образецъ; ея величіе, благородство и идеальность похожи на панца, въ мишурной порфирѣ и бумажной коронѣ, важно расхаживающаго надъ входомъ въ балаганъ. Такова была литература латинская и французская классическая (преимущественно драматическая). Мнимое благородство и возвышенность французскій классической трагедіи были не что иное, какъ мѣщанство во дворянствѣ, лакей во фракѣ барина, ворона въ павлиньихъ перьяхъ, обезьянское передразниванье Грековъ, ибо оцѣ не согласовалось съ жизнью. Но всего разительнѣе видно это въ поэмахъ. Илиада была создана народомъ, и въ ней отражалась жизнь Эллиновъ, она была для нихъ священной книгою, источникомъ религіи и нравственности—и эта Илиада безсмертна. Но скажите, Бога ради, что такое эти «Энеиды», эти «Освобожденные Іерусалимы», «Потерянные Раи», «Мессіады»? Не суть ли это заблужденія талантовъ, болѣе или менѣе могущественныхъ, попытки ума, болѣе или менѣе успѣвшія привести въ заблужденіе своихъ почитателей? Кто ихъ читаетъ, кто ими восхищается теперь? Не похожи ли они на старыхъ служивыхъ, которыми отдають почтеніе не за заслуги, не за подвиги, а за старость лѣтъ? Не принадлежать ли они къ числу тѣхъ предразсудковъ, созданныхъ воображеніемъ, которые народъ уважаетъ, когда имъ вѣрить, и которые онъ щадитъ, когда уже имъ не вѣрить, щадитъ или за ихъ древность, или по привычкѣ, или по лѣности и неимѣнію свободнаго времени, чтобы разомъ рассмотреть ихъ окончательно и расшибить въ прахъ?... Но это вопросъ посторонній: обращаюсь къ дѣлу..

Младенчество древняго міра кончилось; вѣра въ боговъ

и чудесное умерла; духъ героизма исчезъ; насталъ вѣтъ жизни дѣйствительной, и тщетно поэзія становилась на подмостки: въ ней уже не было этого высокаго простодушія, этого простаго, благороднаго, спокойнаго и гигантскаго величія, причина которыхъ заключалась прежде въ гармоніи искусства съ жизнью, въ поэтической истинѣ. Міръ преобразился крестомъ, а обновленное и одухотворенное чело-вѣчество пошло другою дорогою. Родилась идея чело-вѣка, существа индивидуальнаго, отдѣльнаго отъ народа, любопытнаго безъ отношенія, въ самомъ себѣ... Унылая пѣснь трубадура, въ которой изливалось горе любви, жалоба то-скающей поселянки или заключенной принцессы, пѣснь торжества и побѣды, повѣсть любви, мщенія, подвига че-сти — все это получило отзывъ... Поэма превратилась въ романъ. Правда, этотъ романъ былъ рыцарскій, мечтатель-ный, смѣсь бывалаго съ небывалымъ, возможнаго съ невоз-можнымъ, но уже и не поэма, и въ немъ зрѣли сѣмена настоящаго романа. Наконецъ, въ XVI вѣтѣ, совершилась окончательная реформа въ искусствѣ: Сервантесъ убилъ своимъ несравненнымъ «Донъ - Кихотомъ» ложно идеальное направленіе поэзіи, а Шекспиръ навсегда помирилъ и соче-талъ ее съ дѣйствительною жизнью. Своимъ безграничнымъ и мірообъемлющимъ взоромъ проникъ онъ въ недоступное святилище природы чело-вѣческой и истины жизни, подсмо-трѣлъ и уловилъ таинственныя біенія ихъ сокровеннаго пульса. Безсознательный поэтъ - мыслитель, онъ воспроиз-водилъ, въ своихъ гигантскихъ созданіяхъ, нравственную природу, сообразно съ ея вѣчными, незыблемыми законами, сообразно съ ея первоначальнымъ планомъ, какъ будто бы онъ самъ участвовалъ въ составленіи этихъ законовъ, въ начертаніи этого плана. Новый Протей, онъ умѣлъ вдыхать душу живу въ мертвую дѣйствительность; глубокій аналитъ, онъ умѣлъ, въ самыхъ, повидимому, ничтожныхъ обстоя-тельствахъ жизни и дѣйствіяхъ воли чело-вѣка, находить

включъ къ разрѣшенію высочайшихъ психологическихъ явленій его нравственной природы. Онъ никогда не прибѣгаетъ ни къ какимъ пружинамъ или подставкамъ въ ходѣ своихъ драмъ; ихъ содержаніе развивается у него свободно, естественно, изъ самой своей сущности, по непреложнымъ законамъ необходимости. Истина, высочайшая истина — вотъ отличительный характеръ его созданій. У него нѣтъ идеаловъ, въ общепринятомъ смыслѣ этого слова; его люди — настоящіе люди, какъ они есть, какъ должны быть. Каждая его драма есть символъ, отдѣльная часть міра, сосредоточенная фокусомъ фантазіи въ тѣсныхъ рамахъ художественнаго произведенія, и представленная какъ бы въ миниатюрѣ. У него нѣтъ симпатій, нѣтъ привычекъ, склонностей, нѣтъ любимыхъ мыслей, любимыхъ типовъ: онъ безстрастенъ, какъ

Думный дьякъ, въ приказахъ посѣдѣлый,
который

Спокойно зрѣть на лица подсудимыхъ,
Добру и злу внимая равнодушно.

Онъ былъ яркою зарею и торжественнымъ разсвѣтомъ эры новаго истиннаго искусства, и онъ нашелъ себѣ отзвукъ въ поэтахъ новѣйшаго времени, которые возвратили искусству его достоинство, униженное, поруганное французскими классиками. Еще въ концѣ XVIII вѣка, въ лицѣ Гёте и Шиллера—двухъ великихъ геніевъ, начавшихъ свое поприще изученіемъ Шекспира,—они пошли по его слѣдамъ. Въ началѣ XIX вѣка, явился новый великій геній, проникнутый его духомъ, который докончилъ соединеніе искусства съ жизнію, взявъ въ посредники исторію. Вальтеръ-Скоттъ въ этомъ отношеніи былъ вторымъ Шекспиромъ, былъ главою великой школы, которая теперь становится всеобщею и всемірною. И кто знаетъ? можетъ-быть, нѣкогда исторія сдѣлается художественнымъ произведеніемъ и смѣнитъ романъ, такъ какъ романъ смѣнилъ эпопею... Развѣ уже и

теперь не всѣ убѣждены, что Божіе твореніе выше всякаго человѣческаго, что оно есть самая дивная поэма, какую только можно вообразить, и что высочайшая поэзія состоитъ не въ томъ, чтобы украшать его, но въ томъ, чтобы воспроизводить его въ совершенной истинѣ и вѣрности?...

И такъ, вотъ другая сторона поэзіи, вотъ поэзія реальная, поэзія жизни, поэзія дѣйствительности, наконецъ истинная и настоящая поэзія нашего времени. Ея отличительный характеръ состоитъ въ вѣрности дѣйствительности; она не пересоздаетъ жизнь, но воспроизводитъ, воссоздаетъ ее, и, какъ выпуклое стекло, отражаетъ въ себѣ, подъ одною точкою зрѣнія, разнообразныя ея явленія, выбирая изъ нихъ тѣ, которыя нужны для составленія полной, оживленной и единой картины. Объемомъ и границами содержания этой картины должны опредѣляться великость и геніальность поэтического созданія. Чтобы докончить характеристику того, что я называю «реальною поэзіею», прибавлю, что вѣчный герой, неизмѣнный предметъ ея вдохновеній, есть человѣкъ, существо самостоятельное, свободно дѣйствующее, индивидуальное, символъ міра, конечное его проявленіе, любопытная загадка для самого себя, окончательный вопросъ собственнаго ума, послѣдняя загадка своего любознательнаго стремленія... Разгадкою этой загадки, отвѣтомъ на этотъ вопросъ, рѣшеніемъ этой задачи — должно быть полное сознаніе, которое есть тайна, цѣль и причина его бытія!...

Удивительно ли, послѣ этого, что въ наше время преимущественно развилось это реальное направленіе поэзіи, это тѣсное сочетаніе искусства съ жизнью? Удивительно ли, что отличительный характеръ новѣйшихъ произведеній вообще состоитъ въ беспощадной откровенности, что въ нихъ жизнь является какъ бы на позоръ, во всей наготѣ, во всемъ ея ужасающемъ безобразіи и во всей ея торжественной красотѣ; что въ нихъ какъ будто вскрываютъ ее анатомическимъ ножомъ? Мы требуемъ не идеала жизни, но самой жизни, какъ

она есть. Дурна ли, хороша ли, но мы не хотимъ ее украшать, ибо думаемъ, что въ поэтическомъ представленіи она равно прекрасна въ томъ и другомъ случаѣ, и потому именно, что истина, и что гдѣ истина, тамъ и поэзія.

И такъ въ наше время невозможна идеальная поэзія? Нѣтъ, именно въ наше-то время и возможна она, и нашему времени предоставлено развить ее, только не въ томъ смыслѣ, какъ у древнихъ. У нихъ, поэзія была идеальною, вслѣдствіе ихъ идеальной жизни; у насъ, она существуетъ вслѣдствіе духа нашего времени. Говоря о поэзіи реальной, я упоминалъ только объ эпопее и драмѣ и ничего не сказалъ о лиризмѣ. Чѣмъ отличается лиризмъ нашего времени отъ лиризма древнихъ? У нихъ, какъ я уже сказалъ, это было безотчетное изліяніе восторга, происходившаго отъ полноты и избытка внутренней жизни, пробуждавшагося при сознаніи своего бытія и возвращенія на внѣшній міръ, и выражавшагося въ молитвѣ и пѣснѣ. Для насъ, внѣшняя природа, безъ отношеній къ идеѣ всеобщей жизни, не имѣетъ никакого смысла, никакого значенія, мы не столько наслаждаемся ею, сколько стремимся постигнуть ее; для насъ, наша жизнь, сознаніе нашего бытія, есть болѣе задача, которую мы ищемъ рѣшить, нежели даръ, которымъ бы мы спѣшили пользоваться. Мы приглядѣлись къ ней, мы свыклись съ нимъ; для насъ жизнь уже не веселое пиршество, не празднественное ликованіе, но поприще труда, борьбы, лишеній и страданій. Отсюда истекаетъ эта тоска, эта грусть, эта задумчивость и, вмѣстѣ съ ними, эта мыслительность, которыми проникнутъ нашъ лиризмъ. Лирическій поэтъ нашего времени болѣе груститъ и жалуется, нежели восхищается и радуется, болѣе спрашиваетъ и изслѣдуетъ, нежели безотчетно восклицаетъ. Его пѣснь—жалоба, его ода—вопросъ. Если его пѣснь обращена на внѣшнюю природу, онъ не удивляется ей, не хвалитъ ее, а ищетъ въ ней допытаться тайны своего бытія, своего назначенія, своихъ страданій. Для всего этого, ему кажутся

тѣсны рамы древней оды, и онъ переноситъ свой лиризмъ въ эпопею и въ драму. Въ такомъ случаѣ, у него естественность, гармонія съ законами дѣйствительности—дѣло постороннее; въ такомъ случаѣ, онъ какъ бы заранее условливается, договаривается съ читателемъ, чтобы тотъ вѣрилъ ему на слово и искалъ въ его созданіи не жизни, а мысли. Мысль—вотъ предметъ его вдохновенія. Какъ въ оперѣ, для музыки пишутся слова и придумывается сюжетъ, такъ онъ создаетъ, по волѣ своей фантазіи, форму для своей мысли. Въ этомъ случаѣ, его поприще безгранично; ему открытъ весь дѣйствительный и воображаемый міръ, все роскошное царство вымысла, и прошедшее и настоящее, и исторія и басня и преданіе, и народное суевѣріе и вѣрованіе, земля и небо и адъ! Безъ всякаго сомнѣнія, и тутъ есть своя логика, своя поэтическая истина, свои законы возможности и необходимости, которымъ онъ остается вѣренъ, но только дѣло въ томъ, что онъ же самъ и творитъ себѣ эти условія. Эта новѣйшая идеальная поэзія ведетъ свое начало отъ древней, ибо у нея заняла она благородство, величіе и поэтичный, возвышенный языкъ, столь противоположный обыкновенному, разговорному, и уклончивость отъ всего мелочнаго и житейскаго. Чтобы не говорить много, скажу, что къ созданіямъ такого рода принадлежать, на примѣръ: «Фаустъ» Гёте, «Манфредъ» Байрона, «Дядя» Мицкевича, «Лалла-Рукъ» Томаса Мура, фантастическія видѣнія Жанъ-Поля, подражанія Гёте и Шиллера древнимъ («Ифигенія», «Мессинская Невѣста») и пр. Теперь думаю, что я довольно удовлетворительно объяснилъ различіе между тѣмъ, что я называю «идеальною» и «реальною» поэзіею.

Впрочемъ, есть точки соприкосновенія, въ которыхъ сходятся и сливаются эти два элемента поэзіи. Сюда должно отнести, во первыхъ, поэмы Байрона, Пушкина, Мицкевича, эти поэмы, въ которыхъ жизнь человѣческая представляется, сколько возможно, въ истинѣ, но только въ самыя торже-

ственнѣйшія свои проявленія, въ самыя лирическія свои минуты; потомъ, всѣ эти юныя, незрѣлыя, но кипящія избыткомъ силы, произведенія, которыхъ предметъ есть жизнь дѣйствительная, но въ которыхъ эта жизнь какъ бы пересоздается и преобразуется, или вслѣдствіе какой-нибудь любимой, задушевной мысли, или односторонняго, хотя и могучаго, таланта, или, наконецъ, отъ избытка пылкости, не дающей автору глубже и основательнѣе вникнуть въ жизнь и постичь ее такъ, какъ она есть, во всей ея истинѣ. Таковы «Разбойники» Шиллера—этотъ пламенный, дикій диониромбъ, подобно лавѣ исторгнувшійся изъ глубины юной, энергической души—гдѣ событіе, характеры и положенія, какъ будто придуманы для выраженія идей и чувствъ, такъ сильно волновавшихъ автора, что для нихъ были бы слишкомъ тѣсны формы лиризма. Нѣкоторые находятъ въ первыхъ драматическихъ произведеніяхъ Шиллера много фразъ; на примѣръ, говорятъ они, изъ всего огромнаго монолога К. Моора, когда онъ объявляетъ разбойникамъ о своемъ отцѣ, человѣкѣ, въ подобномъ положеніи, могъ бы сказать развѣ какихъ-нибудь два-три слова. По моему, такъ онъ не сказалъ бы ни слова, а развѣ только показалъ бы безмолвно рукою на своего отца, и однакожъ, у Шиллера, Мооръ говоритъ много, и однакожъ въ его словахъ нѣтъ и тѣни фразеологизма. Дѣло въ томъ, что здѣсь говоритъ не персонажъ, а авторъ; что въ цѣломъ этомъ созданіи нѣтъ истины жизни, но есть истина чувства; нѣтъ дѣйствительности, нѣтъ драмы, но есть бездна поэзіи; ложны положенія, неестественны ситуаціи, но вѣрно чувство, но глубока мысль; словомъ, дѣло въ томъ, что на «Разбойниковъ» Шиллера должно смотрѣть не какъ на драму, представительницу жизни, но какъ на лирическую поэму въ формѣ драмы, поэму огненную, кипучую. На монологъ Карла Моора должно смотрѣть не какъ на естественное, обыкновенное выраженіе чувствъ персонажа, находящагося въ извѣстномъ положеніи, но какъ на оду, которой смыслъ или предметъ есть

выраженіе негодованія противъ изверговъ-дѣтей, попирающихъ святость сыновняго долга. Вслѣдствіе такого взгляда, мнѣ кажется, должны исчезнуть всѣ фразы въ этомъ произведеніи Шиллера и уступить мѣсто истинной поэзіи.

Вообще можно сказать, что почти всѣ драмы Шиллера, больше или меньше, таковы (исключая «Марію Стюартъ» и «Вильгельма Теля»), ибо Шиллеръ былъ не столько великій драматургъ въ частности, сколько великій поэтъ вообще. Драма должна быть въ высочайшей степени спокойнымъ и безпристрастнымъ зеркаломъ дѣйствительности, а личность автора должна исчезать въ ней, ибо она есть по преимуществу поэзія реальная. Но Шиллеръ даже въ своемъ «Валленштейнѣ» выказывается, и только въ «Вильгельмѣ Телѣ» является истиннымъ драматикомъ. Но не обвиняйте его въ недостаткѣ генія или въ односторонности; есть умы, есть характеры, столь оригинальные и чудные, столь непохожіе на остальную часть людей, что кажутся чуждыми этому міру, и за то міръ кажется имъ чуждъ, и, недовольные имъ, они творятъ себѣ свой собственный міръ и живутъ только въ немъ: Шиллеръ былъ изъ числа такихъ людей. Покоряясь духу времени, онъ хотѣлъ быть реальнымъ въ своихъ созданіяхъ, но идеальность оставалась преобладающимъ характеромъ его поэзіи, вслѣдствіе влеченія его генія.

И такъ поэзію можно раздѣлить на идеальную и реальную. Трудно было бы рѣшить, которой изъ нихъ должно отдать преимущество. Можетъ-быть, каждая изъ нихъ равна другой, когда удовлетворяетъ условіямъ творчества, т. е. когда идеальная гармонируетъ съ чувствомъ, а реальная съ истинною представляемой ею жизнью. Но кажется, что послѣдняя, родившаяся вслѣдствіе духа нашего положительнаго времени, болѣе удовлетворяетъ его господствующей потребности. Впрочемъ, здѣсь много значить и индивидуальность вкуса. Но какъ бы то ни было, въ наше время, та и другая равно возможны, равно доступны и понятны всѣмъ; но со всѣмъ этимъ,

последняя есть по преимуществу поэзія нашего времени, болѣе понятная и доступная для всѣхъ и каждаго, болѣе согласная съ духомъ и потребностію нашего времени. Теперь «Мессинская Невѣста» и «Жанна д'Аркъ» Шиллера найдутъ сочувствіе и отзывъ; но задушевными, любимыми созданіями времени всегда останутся тѣ, въ коихъ жизнь и дѣйствительность отражаются вѣрно и истинно.

Не знаю, почему въ наше время драма не оазываетъ такихъ большихъ успѣховъ, какъ романъ и повѣсть. Ужъ не потому ли, что она непремѣнно требуетъ Гёте, Шиллеровъ, если не Шекспировъ, на произведенія которыхъ природа особенно скупа, или потому, что драматическіе таланты вообще особенно рѣдки? Не умѣю рѣшить этого вопроса. Можетъ быть, романъ удобнѣе для поэтического представленія жизни. И въ самомъ дѣлѣ, его объемъ, его рамы до безконечности неопредѣленны; онъ менѣе гордъ, менѣе прихотливъ, нежели драма, ибо, плѣняя не столько частями и отрывками, сколько цѣлымъ, допускаетъ въ себя и такія подробности, такія мелочи, которыя при всей своей кажущейся ничтожности, если на нихъ смотрѣть отдѣльно, имѣютъ глубокій смыслъ и бездну поэзіи въ связи съ цѣлымъ, въ общности сочиненія, тогда какъ тѣсныя рамки драмы, прямо или косвенно, больше или меньше, но всегда покоряющейся сценическимъ условіямъ, требуютъ особенной быстроты и живости въ ходѣ дѣйствія и не могутъ допускать въ себя большихъ подробностей, ибо драма, преимущественно предъ всѣми родами поэзіи, представляетъ жизнь человѣческую въ ея высшемъ и торжественнѣйшемъ проявленіи. И такъ форма и условія романа удобнѣе для поэтического представленія человека, разсматриваемаго въ отношеніи къ общественной жизни, и вотъ, мнѣ кажется, тайна его необыкновеннаго успѣха, его безусловнаго владычества.

Но повѣсть?—ея значеніе, тайна ея владычества, теперь деспотическаго, своенравнаго, не терпящаго соперничества?

Что такое и для чего эта повѣсть, безъ которой книжка журнала есть то же, что былъ бы человѣкъ въ обществѣ безъ сапогъ и галстука, эта повѣсть, которую теперь всѣ пишутъ и всѣ читаютъ, которая воцарилась и въ будуарѣ свѣтской женщины и на письменномъ столѣ записнаго ученаго, наконецъ, эта повѣсть, которая какъ будто вытѣснила самый романъ?... Когда-то и гдѣ-то было прекрасно сказано, что «повѣсть есть эпизодъ изъ безпредѣльной поэмы судебъ человѣческихъ». Это очень вѣрно; да, повѣсть—распавшійся на части, на тысячи частей, романъ; глава, вырванная изъ романа. Мы люди дѣловые, мы безпрестанно суетимся, хлопчешь, мы дорожимъ временемъ, намъ некогда читать большихъ и длинныхъ книгъ — словомъ, намъ нужна повѣсть. Жизнь наша современная слишкомъ разнообразна, многосложна, дробна: мы хотимъ, чтобы она отражалась въ поэзіи, какъ въ граненомъ, угловатомъ хрусталѣ, миллионы разъ повторенная во всѣхъ возможныхъ образахъ, и требуемъ повѣсти. Есть событія, есть случаи, которыхъ, такъ сказать, не хватило бы на драму, не стало бы на романъ, но которые глубоки, которые въ одномъ мгновеніи сосредоточиваютъ столько жизни, сколько не изжить ея и въ вѣка: повѣсть ловить ихъ и заключаетъ въ свои тѣсныя рамки. Ея форма можетъ вмѣстить въ себѣ все, что хотите—и легкій очеркъ нравовъ и колкую саркастическую насмѣшку надъ человѣкомъ и обществомъ, и глубокое таинство души, и жестокую игру страстей. Краткая и быстрая, легкая и глубокая вмѣстѣ, она перелетаетъ съ предмета на предметъ, дробить жизнь помелочи и вырываетъ листки изъ великой книги этой жизни. Соедините эти листки подъ одинъ переплетъ, и какая обширная книга, какой огромный романъ, какая многосложная поэма составила бы изъ нихъ! Что въ сравненіи съ нею ваша безконечная «Тысяча и одна ночь» или обильная эпизодами «Магабгарата» и «Рамаяна»? Какъ бы хорошо шло къ этой книгѣ заглавіе: Человѣкъ и Жизнь!...

Въ русской литературѣ повѣсть еще гостья, но гостья, которая, подобно ему, вытѣсняетъ давнишнихъ и настоящихъ хозяевъ изъ ихъ законнаго жилища. Я уже говорилъ, въ началѣ моей статьи, и теперь повторяю, что романъ и повѣсть суть единственные роды, которые появились въ нашей литературѣ не столько по духу подражательности, сколько вслѣдствіе потребности. Думаю, что предъидущее разсужденіе содержитъ въ себѣ довольно удовлетворительное объясненіе причины ея появленія и успѣховъ. Теперь бросимъ взглядъ на ея ходъ въ нашей литературѣ.

Повѣсть наша началась недавно, очень недавно, а именно съ двадцатыхъ годовъ текущаго столѣтія. До того же времени, она была чужеземнымъ растеніемъ, перевезеннымъ изъ за моря по прихоти и модѣ, и насильственно пересаженнымъ на родную почву. Можетъ-быть поэтому она и не принялась. Карамзинъ первый, впрочемъ съ помощію Макарова, призвалъ эту гостью, набѣленную, нарумяненную, какъ русская купчиха, плаксивую и слезливую, какъ избалованное дитя-недотрога, высокопарную и надутую, какъ классическая трагедія, скучно-поучительную и приторно-нравственную, какъ липцеватая богомолка, воспитанницу мадамъ Жанлисъ, крестницу добренькаго Флоріана. Къ такому роду повѣстей принадлежатъ всѣ повѣсти, писавшіяся до двадцатыхъ годовъ, да ихъ, къ счастью, и немного было написано: «Марина Роща» Жуковского, нѣсколько повѣстей покойнаго В. Измайлова и... право, не помню, какія еще.

Въ двадцатыхъ годахъ обнаружились первыя попытки создать истинную повѣсть. Это было время всеобщей литературной реформы, явившейся вслѣдствіе начинавшагося знакомства съ нѣмецкою, англійскою и новою французскою литературами и съ здравыми понятіями о законахъ творчества. Если повѣсть не оказала тогда настоящихъ успѣховъ, по крайней мѣрѣ, обратила на себя всеобщее вниманіе по своей новосте и небывалости. Чтобы не говорить много, скажу,

что г. Марлинскій былъ первымъ нашимъ повѣствователемъ, былъ творцемъ, или, лучше сказать, зачинщикомъ русской повѣсти.

Я уже имѣлъ случай высказать мое мнѣніе объ этомъ писателѣ, и такъ какъ потомъ, по собственномъ размышленіи и по соображеніи съ общимъ мнѣніемъ, не только не имѣлъ причинъ отказаться отъ него, но еще болѣе утвердился въ немъ, то теперь повторю уже сказанное мною прежде. Г. Марлинскій владѣетъ неотъемлемымъ и замѣтнымъ талантомъ, талантомъ разсказа, живаго, остроумнаго, занимательнаго; но онъ не измѣрилъ своихъ силъ, не созналъ своего направленія, и потому, доказавши, что имѣетъ талантъ, не сдѣлалъ почти ничего. Въ художественной дѣятельности есть своя добросовѣстность, и многіе авторы пришли бы въ большое замѣшательство, еслибы попросили ихъ разсказать исторію своихъ сочиненій, то есть: побужденія, вслѣдствіе которыхъ они написаны, обстоятельства, сопровождавшія ихъ появленіе на свѣтъ, а болѣе всего, душевное, психическое состояніе автора въ то время, когда онъ писалъ. Вдохновеніе есть страдательное, можно сказать, болѣзненное состояніе души, и его симптомы теперь хорошо всѣмъ извѣстны. Человѣкъ въ горячкѣ, безъ труда, безъ усилій и безъ вреда себѣ, поднимаетъ ужасныя тяжести: это называется у медиковъ энергіею или напряженнымъ состояніемъ жизненной дѣятельности. Человѣкъ здоровый можетъ возбудить въ себѣ насильственно, до нѣкоторой степени, эту энергію, да бѣда въ томъ, что она должна дорого обойтись ему. Вдохновеніе, въ этомъ смыслѣ, есть энергія души, возбужденная не волею человѣка, но какимъ-то независящимъ отъ него вліяніемъ, и поэтому оно непринужденно и свободно. Есть еще другаго рода вдохновеніе—вдохновеніе, усиленное волею, желаніемъ, цѣлію, расчетомъ, какъ будто приѣмомъ опія. Плоды этого вдохновенія иногда блестящи на видъ, но ихъ блескъ есть блескъ фольги, а не золота, блескъ, тускнѣющій отъ

времени. Правда, въ комъ нѣтъ таланта, тому нельзя приходить даже и въ напряженный восторгъ, ибо напрягать можно только что-нибудь существующее, положительное, хотя и слабое; напрягать или натягивать чувство, фантазію, словомъ, талантъ, можетъ только тотъ, кто хотя въ нѣкоторой степени владѣетъ всѣмъ этимъ, и г. Марлинскій точно владѣетъ всѣмъ этимъ въ нѣкоторой степени, и усиленіемъ возбуждаетъ все это до высшей степени. Между множествомъ натяжекъ, въ его сочиненіяхъ есть красоты истинныя, неподдѣльныя; но кому пріятно заниматься химическимъ анализомъ, вмѣсто того, чтобы наслаждаться поэтическимъ синтезомъ, и, сверхъ того, кто можетъ довѣрчиво любоваться и истинною красотой, если и найдетъ такую, когда замѣтитъ множество поддѣльныхъ?... Но это частности; что же касается до общности, цѣлости произведеній г. Марлинскаго, то объ нихъ еще менѣе можно сказать въ его пользу. Это не реальная поэзія — ибо въ нихъ нѣтъ истины жизни, нѣтъ дѣйствительности, такой, какъ она есть, ибо въ нихъ все придумано, все разсчитано по разсчетамъ вѣроятностей, какъ это бываетъ при дѣланіи или сочиненіи машинъ; ибо въ нихъ видны нитки, конми сметано ихъ дѣйствіе, видны блоки и веревки, конми приводится въ движеніе ходъ этого дѣйствія: словомъ — это внутренность театра, въ которомъ искусственное освѣщеніе борется съ дневнымъ свѣтомъ и побѣждается имъ. Это не идеальная поэзія — ибо въ нихъ нѣтъ глубокости мысли, пламени чувства, нѣтъ лиризма, а если и есть всего этого понемногу, то напряженное и преувеличенное насильственнымъ усиленіемъ, что доказывается даже самою чересчуръ цвѣтистою фразеологіею, которая никогда не бываетъ слѣдствіемъ глубокаго, страдательнаго и энергическаго чувства.

Г. Марлинскій началъ свое поприще съ повѣстей русскихъ, народныхъ, т. е. такихъ, содержаніе которыхъ беретъ изъ міра русской жизни. Какъ опытъ, какъ попытка, онѣ были

прекрасны, и въ свое время заслужили справедливое вниманіе; но, какъ произведенія не созданныя, а сдѣланныя, онѣ теперь утратили свою цѣну. Въ нихъ не было истины дѣйствительности, слѣдовательно, не было и истины русской жизни. Народность ихъ состояла въ русскихъ именахъ, въ избѣжаніи явнаго нарушенія вѣрности событій и обычаевъ и въ поддѣлкѣ подъ ладъ русской рѣчи, въ поговоркахъ и пословицахъ, но не болѣе. Русскіе персонажи повѣстей г. Марлинскаго говорятъ и дѣйствуютъ какъ нѣмецкіе рыцари; ихъ языкъ риторическій, въ родѣ монологовъ классической трагедіи; и посмотрите, съ этой стороны, на «Бориса Годунова» Пушкина—то ли это?... Но, несмотря на все это, повѣсти г. Марлинскаго, не прибавивши ничего къ суммѣ русской поэзіи, доставили много пользы русской литературѣ, были для нея большимъ шагомъ впередъ. Тогда въ нашей литературѣ было еще полное владычество XVIII вѣка, русскаго XVIII вѣка; тогда еще всѣ повѣсти и романы оканчивались счастливо; тогда нашу публику могли занять похождения какого-нибудь выходца изъ собачьей конуры, тысяча первой пародіи на Жилблаза, негодая, который съ-молоду подличалъ, обманывалъ, вдавался самъ въ обманъ, обольщалъ женщинъ и самъ былъ ихъ игрушкою, а потомъ изъ негодая дѣлался вдругъ порядочнымъ человѣкомъ, влюблялся по расчету, женился счастливо и богато, и, съ милліономъ въ карманѣ, принимался проповѣдывать пошлую мораль о блаженствѣ подъ соломенною кровлею, у свѣтлаго источника, подъ тѣнью развѣсистой березы. Въ повѣстяхъ г. Марлинскаго была новѣйшая европейская манера и характеръ; вездѣ былъ видѣнъ умъ, образованность, встрѣчались отдѣльные прекрасныя мысли, поразившія и своею новостію и своею истинною; прибавьте къ этому его слогъ, оригинальный и блестящій въ самыхъ натяжкахъ, въ самой фразеологіи — и вы не будете болѣе удивляться его чрезвычайному успѣху.

Почти въ то самое время, какъ русская публика перехо-

дила съ изумленіемъ отъ новости къ повости, часто принимала новость за достоинство, равно удивлялась и Пушкину и Марлинскому и Булгарину, въ то самое время начали появляться разные литературные опыты кн. Одоевскаго. Эти опыты состояли большею частію изъ аллегорій и всё отличались какимъ-то необщимъ выраженіемъ своего характера. Основной элементъ ихъ составлялъ дидактизмъ, а характеръ юморъ. Этотъ дидактизмъ проявлялся не въ сентенціяхъ, но былъ всегда какою-то *aggrégé-repêché*, идеею невидимомъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, осязаеюмою; этотъ юморъ состоялъ не въ веселомъ расположеніи, понуждающемъ человѣка добродушно и невинно подшучивать надъ всѣмъ, что ни попадется на глаза, но въ глубокомъ чувствѣ негодованія на человѣческое ничтожество во всѣхъ его видахъ, въ затаенномъ и сосредоточенномъ чувствѣ ненависти, источникомъ которой была любовь. Поэтому, аллегоріи князя Одоевскаго были исполнены жизни и поэзіи, несмотря на то, что самое слово аллегорія такъ противоположно слову поэзіи. Первою его повѣстью, помнится, былъ «Элладій»: жалѣю, что у меня теперь нѣтъ подъ рукою этой повѣсти, а по прошлымъ впечатлѣніямъ судить боюсь! Не знаю, произвела ли она тогда какое-нибудь вліяніе на нашу публику, не знаю даже, была ли она замѣчена ею; но знаю, что, въ свое время, эта повѣсть была дивнымъ явленіемъ, въ литературномъ смыслѣ: несмотря на всѣ недостатки, сопровождающіе всякое первое произведеніе, несмотря на растянутость по мѣстамъ, происходившую отъ юности таланта, неуемившаго сосредоточивать и сжимать свои порывы, въ ней была мысль и чувство, былъ характеръ и фізіономія; въ ней, въ первый разъ, блеснули идеи правдивости XIX вѣка, новаго гостя на Руси; въ первый разъ была сдѣлана нападка на XVIII вѣкъ, слишкомъ загостившійся на святой Руси и получившій въ ней свой собственный, еще безобразнѣйшій характеръ. Впослѣдствіи кн. Одоевскій, вслѣдствіе возмужалости и зрѣлости своего таланта, далъ другое направленіе своей худо-

жественной дѣятельности. Художникъ—эта дивная загадка—сдѣлался предметомъ его наблюденій и изученій, плоды которыхъ онъ представлялъ не въ теоретическихъ разсужденіяхъ, но въ живыхъ созданіяхъ фантазіи, ибо художникъ для него былъ столько же загадкою чувства, сколько и ума. Высшія мгновенія жизни художника, разительнѣйшія проявленія его существованія, дивная и горестная судьба, были имъ схвачены съ удивительною вѣрностію и выражены въ глубокихъ поэтическихъ символахъ. Потомъ, онъ оставилъ аллегорію и замѣнилъ ихъ чисто-поэтическими фантазіями, проникнутыми необыкновенною теплотою чувства, глубиною мысли и какою-то горькою и ѣдкою ироніею. Поэтому, не ищите въ его созданіяхъ поэтического представленія дѣйствительной жизни, не ищите въ его повѣстяхъ повѣсти, ибо повѣсть была для него не цѣлью, но, такъ сказать, средствомъ, не существенною формою, а удобною рамою. И не удивительно: въ наше время и самъ Ювеналь писалъ бы не сатиры, а повѣсти, ибо если есть идеи времени, то есть и формы времени. Но объ этомъ я говорилъ выше; дѣло въ томъ, что кн. Одоевскій поэтъ міра идеального, а не дѣйствительного. Но вотъ что странно: есть нѣсколько фактовъ, которые не позволяютъ такъ рѣшительно ограничить поприще его художественной дѣятельности. Есть, въ нашей литературѣ, какой-то г. Безгласный и какой-то дѣдушка Ириней, люди совсѣмъ не идеальные, люди слишкомъ глубоко проникнувшіе въ жизнь дѣйствительную и вѣрно воспроизводящіе ее въ своихъ поэтическихъ очеркахъ: вы вѣрно не забыли курьезной исторіи о томъ, какъ у почтеннаго городничаго города Ржева завелась въ головѣ жаба, и какъ уѣздный лѣкарь хотѣлъ ее вырѣзать, и не менѣе курьезной исторіи подъ названіемъ «Княжна Мими»—этихъ двухъ вѣрныхъ картинъ нашего разнокалибернаго общества? Знаете-ли что? мнѣ кажется, будто эти люди пишутъ подъ вліяніемъ кн. Одоевскаго, даже чуть-ли не подъ его диктовку: такъ

много у нихъ общаго съ нимъ и въ манерѣ и въ колоритѣ и во многомъ... Впрочемъ, это одно предположеніе, котораго прошу не принимать за утвержденіе; можетъ быть, я и ошибаюсь, подобно многимъ...

Слѣдую хронологическому порядку, я долженъ теперь говорить о повѣстяхъ г. Погодина. Ни одна изъ нихъ не была историческою, но всѣ были народными, или, лучше сказать, простонародными. Я говорю это не въ осужденіе ихъ автору и не въ шутку, а потому, что, въ самомъ дѣлѣ, міръ его повѣи есть міръ простонародный, міръ купцовъ, мѣщанъ, мелкопомѣстнаго дворянства и мужиковъ, которыхъ онъ, надо сказать правду, изображаетъ очень удачно, очень вѣрно. Ему такъ хорошо извѣстны ихъ образъ мыслей и чувствъ, ихъ домашняя и общественная жизнь, ихъ обычаи, нравы и отношенія, и онъ изображаетъ ихъ съ особенною любовію и съ особеннымъ успѣхомъ. Его «Нищій», такъ естественно, вѣрно и простодушно рассказывающій о своей любви и своихъ страданіяхъ, можетъ служить типомъ благородно-чувствующаго простолюдина. Въ «Черной Немочи» быть нашего средняго сословія, съ его полу-дикимъ, полу-человѣческимъ образованіемъ, со всѣми его оттѣнками и родиными пятнами, изображенъ кистью мастерскою. Этотъ купецъ, который такъ крѣпко держитъ въ ежовыхъ рукавицахъ и жену и сына, который, при миллионѣхъ, живетъ какъ мужикъ, который чванится своимъ богатствомъ, какъ глупый баринъ своимъ дворянствомъ, который, по прочтеніи реестра приданаго, говоритъ, что «Божьяго-то благословенія маловато», который, наконецъ, убиваетъ роднаго сына, изъ родительской любви, и боится, какъ дьявольскаго навожденія, всякой человѣческой мысли, всякаго человѣческаго чувства, чтобъ не погрѣшить противъ «чистѣйшей нравственности», которой держались столько столѣтій его отцы и праотцы; эта купчиха глупая и толстая, которая такъ боится кулака и плети своего дражайшаго сожителя, что не смѣетъ, безъ его спросу, выйти со двора,

не смѣетъ сказать передъ нимъ лишняго слова и даже затанцуетъ, въ его присутствіи, свою материнскую любовь къ сыну; эта попадаѣ, то бранящая батрака и распоряжающаяся на погребѣ, то, мучимая женскимъ любопытствомъ, подслушивающая, сквозь замочную щель, разговоръ своего мужа съ купчихою, то продирающая пальцемъ дырочку на кулькѣ, принесенномъ ей купчихою, чтобы узнать что въ немъ обрѣтается; эта сваха, Савишна, эта всемірная кумушка, сплетчица и сводчица, безъ которой русскій человѣкъ, бывало, не умѣлъ ни родиться, ни жениться, ни умереть, которая торгуется счастіемъ и судьбою людей точно такъ же, какъ лентами, запонками и шерстяными чулками, которая такъ мило увеселяетъ площадными экивоками честное компанство бородатыхъ миллионщиковъ; эта неvěста, «дѣвочка низенькая, но толстая, претолстая, съ одутловатыми щеками, набѣленная, наруганная, разсеребренная, раззолоченная, и всякими драгоценными каменьями изукрашенная»; наконецъ, это сватовство, эти споры о приданомъ, вся эта жизнь подлая, гадкая, грязная, дикая, нечеловѣческая, изображена въ ужающей вѣрности; прибавьте сюда этого попа, который выраженіе самыхъ священныхъ, самыхъ человѣческихъ чувствъ своихъ располагаетъ по правиламъ Бургіевой риторики и самую краснорѣчивую рѣчь свою прерываетъ выходкою противъ плута-лавочника, отпустившаго дурнаго масла на лампадку, который рукой сморзается и рукою утирается; потомъ этого юношу, аристократа по природѣ, плебея по судьбѣ, агнца между волками—и вотъ вамъ полная картина одной изъ главныхъ сторонъ русской жизни, съ ея положительнымъ и ея исключеніями. Самый языкъ этой повѣсти, равно какъ и «Нищаго», отличается отсутствіемъ тривіальности, обезображивающей прочія повѣсти этого писателя. И такъ «Черная Немочь» есть повѣсть совершенно народная и поэтически-нравоописательная — но здѣсь и конецъ ея достоинству. Главная цѣль автора была представить геніальнаго, отиѣ-

ченного перстомъ Провидѣнія, юношу въ борьбѣ съ подлою, животною жизнію, на которую осудила его судьба: эта цѣль не вполнѣ имъ достигнута. Замѣтно, что автора волновало какое-то чувство, что у него была какая-то любимая задушевная мысль, но и, вмѣстѣ съ тѣмъ, что у него не достало силы таланта воспроизвести ее; съ этой стороны, читатель остается неудовлетвореннымъ. Причина очевидна: талантъ г. Погодина есть талантъ правоописателя низшихъ слоевъ нашей общественности, и потому онъ занимателенъ, когда вѣренъ своему направленію, и тотчасъ падаетъ, когда берется не за свое дѣло. «Невѣста на Ярмаркѣ» есть какъ будто вторая часть «Черной Немочи», какъ будто вторая галлерея картинъ въ Теньеровомъ родѣ, картинъ, непрерывно восходящихъ, чрезъ всѣ степени низшей общественной жизни, и тотчасъ прерывающихся, когда дѣло доходить до жизни цивилизованной или возвышенной. Словомъ, «Нищій», «Черная Немочь» и «Невѣста на Ярмаркѣ», суть три произведенія г. Погодина, которыя, по моему мнѣнію, заслуживаютъ вниманія; о прочихъ умалчиваю.

Одно изъ главнѣйшихъ, изъ самыхъ видныхъ мѣстъ между нашими повѣствователями (которыхъ впрочемъ очень немного) занимаетъ г. Полевой. Отличительный характеръ его произведеній составляетъ удивительная многосторонность, такъ что трудно подвести ихъ подъ общій взглядъ, ибо каждая его повѣсть представляетъ совершенно отдѣльный міръ. Что есть общаго или сходнаго между «Симеономъ Кирдяпоу» и «Живописцемъ», между «Разказами Русскаго Солдата» и «Эммоу», между «Мѣшкомъ съ Золотомъ» и «Блаженствомъ Безумія»? Правда, этихъ повѣстей немного и онѣ не всѣ одинаковаго достоинства, но можно сказать утвердительно, что каждая изъ нихъ ознаменована печатію истиннаго таланта, а нѣкоторыя останутся навсегда украшеніемъ русской литературы. Въ «Симеонѣ Кирдяпѣ», этой живой картинѣ прошедшаго, начертанной могучей и широкою кистью, по-

эзія русской древней жизни еще въ первый разъ была постигнута во всей ея истинѣ, и въ этомъ созданіи историкъ-философъ слился съ поэтомъ. Прочія повѣсти всѣ отличаются теплотою чувства, прекрасною мыслию и вѣрностію дѣйствительности. Въ самомъ дѣлѣ, взгляните въ нихъ пристальнѣе, и вы увидите такія черты, схваченныя съ жизни, которыя вы часто можете встрѣтить въ жизни, но рѣдко въ сочиненіяхъ, увидите эту выдержанность и оригинальность характеровъ, эту вѣрность положеній, которыя основываются не на расчетахъ возможностей, но единственно на способности автора понимать всевозможныя положенія человѣческія, положенія, въ которыхъ онъ самъ, можетъ-быть, никогда не былъ и не могъ быть. Профаны, люди, не посвященные въ таинства искусства, часто говорятъ: «Да, это очень вѣрно, да и не могло быть иначе — авторъ такъ много страдалъ, слѣдовательно, писалъ по опыту, а не съ чужаго голоса». Мнѣніе нелѣпое! Если есть поэты, которые вѣрно и глубоко воспроизводили міръ собственныхъ, извѣданныхъ ими страстей и чувствъ, собственные страданія и радости—изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы поэтъ только тогда могъ пламенно и увлекательно писать о любви, когда былъ самъ влюбленъ, о счастьи, когда самъ находится въ благопріятныхъ обстоятельствахъ и пр. Напротивъ, это означаетъ скорѣе односторонность и ограниченность таланта, нежели его истинность. Отличительная черта, то, что составляетъ, что дѣлаетъ истиннаго поэта, состоитъ въ его страдательной и живой способности, всегда и безъ всякихъ отношеній къ своему образу мыслей, понимать всякое челоѣческое положеніе. И вотъ почему поэтъ такъ часто противорѣчитъ самому себѣ въ своихъ созданіяхъ, воспѣвая нынче прелести разгульной, эпикурейской жизни, завтра поетъ о живомъ трудѣ, о подвигѣ жизни, объ отреченіи отъ благъ земныхъ. Балзагъ носить на фракѣ золотыя пуговицы, трость съ золотымъ набалдашникомъ (послѣдняя степень прихотливой роскоши),

живетъ какъ принцъ какой-нибудь, и между тѣмъ, его картины бѣдности и нищеты леденятъ душу своею ужасающею вѣрностію. Гюго никогда не былъ осужденъ на смертную казнь, но какая ужасная, раздирающая истина въ его «Послѣднемъ днѣ Осужденнаго!» Конечно невозможно, чтобы обстоятельства жизни самого поэта не имѣли большаго или меньшаго вліянія на его произведенія; но это вліяніе имѣетъ свое ограниченіе, и бываетъ, по большей части, какъ бы исключеніемъ изъ общаго правила. Эта способность понимать явленія жизни очень не чужда г. Полевому. Сколько истины въ его «Живописцѣ» и «Эмиѣ!» Дѣтство художника, его безсознательное стремленіе къ искусству, его любовь къ пустой дѣвчонкѣ, его недовольство собственными произведеніями, его безмолвное страданіе при сужденіяхъ глупой, бессмысленной толпы о лучшемъ, задушевномъ его произведеніи, его отчаяніе, когда онъ увидѣлъ въ своемъ идеалѣ не больше какъ ребенка, который игралъ съ нимъ въ любовь; потомъ, этотъ старикъ-отецъ, всю жизнь недовольный сумасбродствомъ любимаго сына, проклинавшій, можетъ-быть, отъ чистаго сердца и его страсть къ живописи и самую живопись, и, наконецъ, передъ смертію, съ умиленіемъ смотрящій на его послѣднюю картину и рыдающій, не понимая ея; теперь, эта мечтательная мѣщанка, существо святое и чистое, но не имѣющее въ нашей русской жизни никакого смысла, никакого значенія, эта бѣдная дѣвушка, передъ которою подличаетъ богатая и знатная графиня, и которая, всею своею жизнью, возвращаетъ жизнь сумасшедшему, и потомъ требуетъ, въ свою очередь, всей его жизни, чтобы не умереть самой, и, вмѣсто всего этого, видитъ, съ его стороны, одно холодное уваженіе, а со стороны графини, худо скрытое чувство неблагодарности, тонъ покровительства, который, для души благородной, хуже самаго жестокаго гоненія — все это не придумано, не разочтено, а вылилось прямо изъ души. «Блаженство Безумія» отличается, мѣстами,

теплотою чувства, но и, вмѣстѣ съ тѣмъ, излишнимъ владѣтельствомъ мысли, какъ будто авторъ задалъ себѣ психологическую задачу и хотѣлъ рѣшить ее въ поэтической формѣ. Отъ этого въ ней, какъ будто чего-то недостаетъ; впрочемъ много отдѣльныхъ прекрасныхъ мѣстъ.

Теперь, въ «Святочныхъ Разсказахъ» и «Разсказахъ Русскаго Солдата», сколько того, что называется «народностію», изъ чего такъ хлопочутъ наши авторы, что имъ менѣе всего удастся, и что всего легче для истиннаго таланта! Это міръ совершенно отдѣльный, міръ полный страстей, горя и радостей, все человѣческихъ же, но только выражающихся въ другихъ формахъ, по своему. Тутъ нѣтъ ни одной поправки, ни одного плоскаго слова, ни одной вульгарной картины, и между тѣмъ такъ много поэзіи, и, мнѣ кажется, именно потому, что авторъ старался быть вѣрнымъ больше истинѣ, чѣмъ народности, искалъ больше человѣческаго, нежели русскаго и, вслѣдствіе этого, народное и русское само пришло къ нему.

Прежде, нежели перейду къ повѣстямъ г. Гоголя, главному предмету моей статьи, я долженъ остановиться еще на одномъ авторѣ повѣстей, недавно успѣвшемъ обратить на себя общее вниманіе—г. Павловъ, сколько потому, что его повѣсти суть явленіе пріятное, столько и потому, что о нихъ почти нигдѣ ничего не сказано. О рецензіи «Библіотеки для чтенія» умалчиваю; сказала ли о нихъ что-нибудь «Пчела», не знаю; «Молва» ограничилась почти простымъ библіографическимъ объявленіемъ, а изъ отзыва «Наблюдателя» видно только то, что повѣсти г. Павлова написаны какимъ-то небывалымъ у насъ хорошимъ языкомъ и что авторъ «открылъ новые ящики въ многосложномъ бюро человѣческаго сердца»—выраженіе, сбивающееся на гиперболу въ восточномъ вкусѣ.

Трудно судить о повѣстяхъ г. Павлова, трудно рѣшить, что онѣ такое: дума умнаго и чувствующаго человѣка, плодъ

мгновенной вспышки воображенія, произведеніе одной счастливой минуты, одной благопріятной эпохи въ жизни автора, порожденіе обстоятельствъ, результатъ одной мысли, глубоко запавшей въ душу — или созданія художника, произведенія безусловныя, безотносительныя, свободное изліаніе души, удѣлъ которой есть творчество?... Меня поймутъ, если я скажу, что эти повѣсти еще первый опытъ г. Павлова на мовомъ для него попрѣщѣ; а какъ часто въ нашей литературѣ, второй романъ, вторыя повѣсти, уничтожали славу перваго романа, первыхъ повѣстей!... Попрѣще г. Павлова еще только начато, но начато такъ хорошо, что не хочется вѣрять, чтобы оно кончилось дурно... Но предоставимъ времени рѣшить этотъ вопросъ, а теперь постараемся откровенно и безпристрастно высказать наше мнѣніе по тѣмъ немногимъ даннымъ, которыя уже имѣются.

Всѣ три повѣсти г. Павлова ознаменованы однимъ общимъ характеромъ, и только ихъ содержаніе придаетъ имъ чрезвычайное наружное несходство. Потому ли, что онѣ еще первый опытъ, носящій на себѣ всѣ недостатки перваго опыта, или по чему другому, но только мнѣ кажется, что онѣ не проникнуты слишкомъ глубокою истинною жизнью; въ нихъ есть эта вѣрность, которая заставляетъ говорить: «это точно списано съ натуры», но эта вѣрность видна не въ ихъ цѣломъ, а въ частяхъ и подробностяхъ, и есть слѣдствіе наблюдательности, пріобрѣтенной прилежнымъ и внимательнымъ изученіемъ описываемаго имъ міра. Въ «Ятаганѣ» есть черты, съ удивительною вѣрностію схваченныя: этотъ полковникъ, добрый, честный, но ограниченный по своему уму и чувству, который, принявъ намѣреніе жениться на княжнѣ, какъ бы нечаянно раздумывается о трудностяхъ военной службы, о счастіи брачной жизни, о томъ, какъ хорошъ домъ и садъ князя, и какъ бы пріятно было прогуливаться по этому саду подъ руку съ молодою женою и пр.; эта княжна, которая, сядя съ своимъ милымъ солдатомъ, на докладъ лакея о прі-

ѣздѣ полковника, отвѣчаетъ протяжнымъ «что?», которая такъ хорошо умѣетъ вести себя съ полковникомъ, не подавая ему никакой надежды и, въ то же время, не лишая его надежды—всѣ эти тонкія черты, эти рѣзкіе оттѣнки доказываютъ, что авторъ смотрѣлъ на жизнь проницательнымъ взоромъ, что онъ внимательно изучалъ ее, что много видѣлъ, много замѣтилъ и много уловилъ; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, эти же самые пассажи доказываютъ, что они плодъ больше наблюдательности, ума и высокой образованности, чѣмъ таланта, что они скорѣе списаны съ дѣйствительности, чѣмъ созданы фантазіею. Ибо, гдѣ же эта истина, эта вѣрность цѣлаго, столь замѣтная, столь поразительная въ подробностяхъ? Гдѣ же эти характеры, индивидуальныя и типическія, которые бы доказывали не одно знаніе общества, но и сердца человеческого?... Ихъ нѣтъ, или, справедливѣе, они только что очерчены, но не оттушеваны и потому лишены почти всякой личности. Я вполнѣ сострадаю несчастію корнета, но такъ, какъ бы я сострадалъ всякому человѣку, въ подобномъ положеніи, даже и такому, котораго бы я никогда не видалъ, никогда не знавалъ, но о которомъ слышалъ, что онъ человѣкъ добрый и благородно мыслящій. Скажите, имѣетъ ли этотъ корнетъ какой-нибудь характеръ, какую нибудь фізіономію? Скажите мнѣ, какой у него образъ мыслей, какія у него страсти, желанія, чувства, стремленія, словомъ, все, что составляетъ человѣка, что даетъ ему видѣть во весь ростъ. Всѣ его дѣйствія и слова самыя общія; по нимъ можно узнать натуру, но не человѣка, не индивидуума. Также безхарактерна княжна, ибо въ ней видна больше свѣтская дѣвушка съ тонкимъ, инстинктуальнымъ чувствомъ приличія, нежели существо любящее, любящее по своему, существо, которое бы можно было узнать изъ тысячи. Вообще «Ятаганъ» есть анекдотъ мастерски рассказанный и, въ художественномъ отношеніи, замѣчательный больше частностями, нежели цѣлостію; кажется, какъ будто авторъ услышалъ отъ кого-

нибудь анекдотическую исторію, сдѣлалъ изъ нея повѣсть, и, не зная лично ея дѣйствующихъ, не могъ вѣрно написать ихъ портретовъ. Но частности, но отдѣльныя мысли, отдѣльныя картины и описанія—превосходны, исполнены поэзіи; а многія черты, какъ я уже и замѣтилъ, схвачены съ удивительною и поразительною вѣрностію, а мѣстами вспыхиваетъ и чувство, особливо тамъ, гдѣ авторъ увлекается поэзіею самыхъ фактовъ. Вообще «Ятаганъ»—повѣсть съ большими достоинствами, большими красотами въ частяхъ; но его цѣлое обнаруживаетъ болѣе талантъ разсказа, нежели творчества. Если онъ многимъ нравится, особенно предъ прочими двумя повѣстями, то причина этого заключается въ поэзіи самаго содержанія, которое произвело бы всегда сильный эффектъ и въ простомъ изустномъ разсказѣ.

«Именины» больше отличаются художественнымъ достоинствомъ, чѣмъ «Ятаганъ». Въ этой повѣсти есть яркіе проблиски глубокаго чувства, рѣзкія черты характеровъ (особенно въ главномъ персонажѣ), есть много истины въ ситуаціяхъ. Этотъ музыкантъ-плебей, который говоритъ: «Понимаете ли вы удовольствіе отвѣчать грубо на вѣжливое слово; едва кивнуть головой, когда учтиво снимаютъ передъ вами шляпу, и развалиться въ креслахъ передъ чопорнымъ баричемъ, передъ чиннымъ богачемъ?» или: «Я уже умѣлъ довольно смѣло предстать предъ многочисленное собраніе гостиней. Когда я говорю: «довольно смѣло», это значитъ, что я уже ступалъ всею ногою, и ноги мои уже не путались, хотя еще не было въ нихъ этой красивой свободы, съ которою я теперь кладу ихъ одну на одну, подгибаю и стучу... Я могъ уже при многихъ перейти съ одного конца комнаты на другой, отвѣчать вслухъ; но все мнѣ было покойнѣе держаться около какого-нибудь угла; но все, желая пощеголять знаніемъ свѣтской вѣжливости, я, къ каждому слову, прибавлялъ еще: съ»; потомъ отчаяніе музыканта, который «лежалъ и взглядывалъ на Распятіе, стараясь вспомнить, что

оно значить» — во всемъ этомъ есть поэзія, есть истинное творчество.

«Аукціонъ» есть живописный очеркъ, набросанный рукою небрежною, но твердою и опытною. Здѣсь авторъ особенно свободите, волюте и какъ будто больше, нежели гдѣ-нибудь, въ своей сферѣ. Его «Именины» есть произведеніе прекрасное, но какъ будто случайное, какъ будто порывъ чувства; его «Ятаганъ» есть родъ очерковъ высшаго общества, въ которомъ авторъ хотѣлъ или думалъ найти поэзію; его «Аукціонъ» есть живой мимолетный эпизодъ изъ жизни этого общества, и онъ въ немъ нашелъ поэзію, ибо взглянулъ на него съ точки зрѣнія болѣе истинной. Здѣсь какъ-то болѣе къ лицу и этотъ рассказъ свѣтскій, щегольской и не много манерный при всей его наружной простотѣ; здѣсь болѣе кстати и этотъ періодъ обдѣланный, красивый и изящный, но въ то же время немного и изысканный въ самой его небрежности. Вообще, замѣчу здѣсь кстати, что слогъ не составляетъ такой важности, какую вообще ему приписываютъ: форма всегда прекрасна, когда согласна съ идеею. За примѣрами ходить не далеко: возьму два выраженія изъ послѣдняго сочиненія г. Павлова, помѣщенного въ «Наблюдателя» (№ 2): «Она — драгоцѣнный камень въ роскошной оправѣ фантастическаго наряда»; или: «звѣзды — брилліанты неба». Что въ нихъ хорошаго? первое есть натянутая пародія на выраженіе Шекспира объ Альбіонѣ, выраженіе, о которомъ, по крайней мѣрѣ, я узналъ не раньше, какъ съ первой лекціи г. Шевырева; второе просто не имѣетъ никакого смысла, а если и имѣетъ, то самый истертый. Что касается до правильности языка, до его плавности, чистоты, ясности и стройности, то эги качества, при большой зависимости отъ идеи, зависятъ и отъ навыка, упражненія, старанія, и ихъ точно можно причесть въ заслугу автору. Въ этомъ отношеніи, г. Павловъ принадлежитъ къ немногому числу нашихъ отличныхъ прозаиковъ. Заключаю: талантъ

г. Павлова подаетъ лестныя надежды, но его развитіе и степень силы теперь еще вопросъ, который рѣшатъ будущія его произведенія. И такъ Марлинскій, Одоевскій, Погодинъ, Полевой, Павловъ, Гоголь—здѣсь полный кругъ исторіи русской повѣсти. Да, полный, можетъ-быть, чересчуръ полный; но я говорилъ здѣсь о всѣхъ повѣстяхъ, въ какомъ-бы то ни было отношеніи примѣчательныхъ, а эта примѣчательность состоитъ не въ одной художественности, но и во времени появленія, и во вліяніи, хорошемъ или дурномъ, на литературу, и въ болѣе или меньшей степени таланта, и, наконецъ, въ самомъ характерѣ и направленіи. Поименованные мною авторы должны быть упомянуты въ исторіи русской повѣсти, по всѣмъ этимъ отношеніямъ, и суть истинные ея представители. О другихъ, которыхъ много, очень много, умалчиваю, ибо, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, они не касаются предмета моей статьи, и потому перехожу къ г. Гоголю. Имъ заключаю исторію русской повѣсти, имъ заключаю и мою статью, которая, противъ моей воли и ожиданія, сдѣлалась очень длинна.

Приступая къ разбору сочиненій г. Гоголя, я не безъ намѣренія распространился о поэзіи вообще, о повѣстяхъ, какъ о родѣ, и о повѣсти русской: если я только умѣлъ развить мою мысль, то читатели увидятъ, что всѣ эти предметы находятся въ существенной связи между собою. Мнѣ кажется, что, для надежащей оцѣнки всякаго замѣчательнаго автора, нужно опредѣлить характеръ его твореній и мѣсто, которое онъ долженъ занимать въ литературѣ. Первый можно объяснить не иначе, какъ теоріею искусства (разумѣется, сообразно съ понятіями судящаго); второе—сравненіемъ автора съ другими, писавшими или пишущими въ одномъ съ нимъ родѣ. Вы видѣли, что у насъ еще нѣтъ повѣсти, въ собственномъ смыслѣ этого слова. Г. Марлинскій замѣчателенъ, какъ первый, наметнувшій намъ о томъ, что такое повѣсть; для кн. Одоевскаго повѣсть есть только форма; два-три удач-

ныхъ опыта г. Погѣдина еще не составляютъ авторитета, сколько потому, что ихъ достоинство одностороннее, столько и потому, что онѣ были для своего автора дѣломъ постороннимъ, отдыхомъ отъ ученыхъ занятій.

И такъ остаются только г. Павловъ и г. Полевой; но г. Павловъ еще только началъ свое поприще, а какъ бы ни прекрасно было начало, по немъ нельзя произнести рѣшительнаго сужденія о писателѣ; слѣдовательно первенство поэта-повѣствователя остается за г. Полевымъ. Но въ его повѣстяхъ, или, справедливѣе, въ большей части его повѣстей, есть одинъ важный недостатокъ, о которомъ я съ нѣпріятіемъ умолчалъ въ своемъ мѣстѣ. Этотъ недостатокъ состоитъ въ томъ, что въ нихъ, какъ и въ его романахъ, при многихъ очевидныхъ признакахъ истиннаго творчества, истинной художественности, замѣтно и большое участіе ума, этого ума пытливаго, свѣтлаго и многосторонняго, который въ художнической дѣятельности ищетъ отдохновенія, и для котораго и самая фантазія есть какъ бы средство изучать природу и жизнь человѣка. Это, по большей части, синтетическія повѣрки аналитическихъ наблюденій надъ жизнью. Посмотримъ, нѣтъ ли между нашими такого поэта-повѣствователя, для котораго поэзія составляла бы цѣль жизни, а наука была бы ея отдохновеніемъ, для котораго повѣсть была бы родомъ, а не формою, родомъ столько же необходимымъ и безотносительнымъ, какъ повѣсть для Бальзака, пѣсня для Беранже, драма для Шекспира, который былъ бы только поэтъ, а не другое что-нибудь; поэтъ по призванію, поэтъ по невозможности не быть поэтомъ. Мнѣ кажется, что, подъ этими условіями, изъ современныхъ писателей *)), никого не можно назвать поэтомъ, съ большею увѣренностію и не мало не задумываясь, какъ г. Гоголя.

*) Я не включаю въ это число Пушкина, который уже свершилъ кругъ своей художнической дѣятельности.

Я уже сказалъ, что задача критики и истинная оцѣнка произведеній поэта непременно должны имѣть двѣ цѣли: опредѣлить характеръ разбираемыхъ сочиненій и указать мѣсто, на которое они даютъ право свѣду автору въ кругу представителей литературы. Отличительный характеръ повѣстей г. Гоголя составляютъ—простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевленіе, всегда побуждаемое глубокимъ чувствомъ грусти и унынія. Причина всѣхъ этихъ качествъ заключается въ одномъ источникѣ: г. Гоголь—поэтъ, поэтъ жизни дѣйствительной.

Знаете ли, какой вообще недостатокъ находится въ нашей критикѣ? Она не совсѣмъ хорошо принаровлена къ нашимъ потребностямъ. Критикъ и публика—это два лица бесѣдующія; надобно, чтобы они заранѣе условились, согласились въ значеніи предмета, избраннаго для ихъ бесѣды. Иначе, имъ трудно будетъ понять другъ друга. Вы разбираете сочиненіе, съ важностію говорите о законахъ творчества, прилагаете ихъ къ разбираемому сочиненію и, какъ дважды два—четыре, доказываете, что оно превосходно. И что-жь? публика восхищена вашею критикою и вполне соглашается съ вами, видя, что, въ самомъ дѣлѣ, пункты эстетическихъ законовъ подведены правильно и что въ сочиненіи все обстоятъ благополучно. Но вотъ что худо: часто случается, что она забываетъ о превознесенномъ сочиненіи еще прежде, чѣмъ забудетъ о вашей критикѣ. Отчего же такъ? Оттого, что разбираемое вами сочиненіе была хитрая галантерейная работа, а не изящное созданіе, что оно, можетъ-быть, имѣло эстетическую форму, но было лишено духа жизни эстетической. У насъ еще такъ зыбки понятія объ изящномъ и вкусъ еще въ такомъ младенществѣ, что наша критика по необходимости должна отступать, въ своихъ приѣмахъ, отъ европейской. Хотя нѣкоторые досужіе наши эстетики и говорятъ, что будто бы законы изящнаго опредѣлены у насъ съ математическою точностію; но я думаю иначе, ибо, съ одной

стороны, собственные издѣлія этихъ эстетиковъ, слишкомъ отличающіяся топорною работою, рѣзко противорѣчатъ законамъ изящнаго, опредѣленнымъ съ математическою точностію, а съ другой стороны, законы изящнаго никогда не могутъ отличаться математическою точностію, потому что они основываются на чувствѣ, и у кого нѣтъ пріемлемости изящнаго, для того всегда кажутся незаконными. И притомъ, изъ чего должны выводиться законы изящнаго, какъ не изъ изящныхъ созданій? А много ли у насъ ихъ, этихъ изящныхъ созданій? Нѣтъ, пусть каждый толкуетъ по своему объ условіяхъ творчества и подкрѣпляетъ ихъ фактами, это самый лучший способъ развивать теорію изящнаго. Цѣль русскаго критика должна состоять не столько въ томъ, чтобы расширить кругъ понятій человѣчества объ изящномъ, сколько въ томъ, чтобы распространять въ своемъ отечествѣ уже извѣстныя, осѣдлыя понятія объ этомъ предметѣ. Не бойтесь, не стыдитесь, что вы будете повторять зады и не скажете ничего новаго. Это новое не такъ легко и часто, какъ обыкновенно думаютъ: оно едва примѣтными атомами налипаетъ на глыбы стараго. Самое старое будетъ у васъ ново, если вы человѣкъ съ мнѣніемъ и глубоко убѣждены въ томъ, что говорите: ваша индивидуальность и вашъ способъ выраженія и самому вашему старому должны придать характеръ новости.

И такъ, по моему мнѣнію, первый и главный вопросъ, предстоящій для разрѣшенія критика, есть — точно ли это произведеніе изящно, точно ли этотъ авторъ поэтъ? Изъ рѣшенія этого вопроса сами собою вытекаютъ отвѣты о характерѣ и важности сочиненія.

Способность творчества есть великій даръ природы; актъ творчества, въ душѣ творящей, есть великое таинство: минута творчества есть минута великаго священнодѣйствія; творчество безцѣльно съ цѣлію, безсознательно съ сознаниемъ, свободно съ зависимоścią: вотъ основные его законы. Они будутъ очень ясны, когда выведутся изъ акта творчества.

Художникъ чувствуетъ потребность творить. Эта потребность приходитъ къ нему вдругъ, неожиданно, безъ спросу и совершенно независимо отъ его воли, ибо онъ не можетъ назначить ни дня, ни часа, ни минуты для своей творческой дѣятельности: вотъ свобода творчества, вотъ его независимость отъ лица творящаго! Потребность творить приводитъ за собою идею, которая залегаетъ въ душу художника, овладѣваетъ ею, тяготитъ ее. Эта идея можетъ быть одною изъ общихъ человѣческихъ идей, давно уже извѣстныхъ; но художникъ беретъ ее не по выбору, но невольно, беретъ ее не какъ предметъ ума созерцающаго, но воспринимаетъ ее въ себя своимъ чувствомъ, обладаемый трепетнымъ предчувствіемъ ея глубокаго, таинственнаго смысла. Это дѣйствіе прекрасно выражается непереводаемымъ французскимъ словомъ «conception». Художникъ чувствуетъ въ себѣ присутствіе воспринятой (conçue) имъ идеи, но, такъ сказать, не видитъ ея ясно и томится желаніемъ сдѣлать ее осязаемою для себя и другихъ: вотъ первый актъ творчества. Положимъ, что эта идея есть идея ревности, и будемъ слѣдить за ея развитіемъ въ душѣ поэта. Заботливо и томительно носить онъ ее въ сокровенномъ святилищѣ своего чувства, какъ носить мать младенца въ своей утробѣ; постепенно эта идея проясняется передъ его глазами, облекается въ живые образы, переходитъ въ идеалы, и ему, какъ бы въ туманѣ, видится пламенный Африканецъ Отелло, съ его челоу смуглымъ и изрытымъ морщинами, слышатся его дикіе вопли любви, ненависти, отчаянія и мщенія, видятся плѣнительныя черты проткой, любящей Дездемоны, слышатся ея тщетныя молебны и стоны, среди глухой полуночи. Эти образы, эти идеалы, въ свою очередь, вынашиваются, зрѣютъ, выясняются постепенно; наконецъ, поэтъ уже видитъ ихъ, говоритъ съ ними, знаетъ ихъ рѣчь, движенія, манеры, походку, черты лица, видитъ ихъ во весь ростъ, со всѣхъ сторонъ, видитъ обоими глазами и такъ ясно, какъ бы на

яву, на самомъ дѣлѣ, видѣть ихъ прежде, нежели его перо дало имъ формы, точно такъ же, какъ Рафаэль видѣлъ передъ собою небесный нерукотворенный образъ Мадонны прежде, нежели его кисть приковала этотъ образъ къ полотну, точно такъ же, какъ Моцартъ, Бетховенъ, Гайднъ слышали вызванные ими изъ души дивные звуки прежде, нежели ихъ перо прилоvalo эти звуки къ бумагѣ. Вотъ второй актъ творчества. Потомъ поэтъ даетъ своему созданію видимыя, доступныя для всѣхъ формы: это третій и послѣдній актъ творчества. Онъ не такъ важенъ, ибо есть слѣдствіе двухъ первыхъ.

И такъ главный, отличительный признакъ творчества состоитъ въ таинственномъ ясновидѣніи, въ поэтическомъ сомнамбулизмѣ. Еще созданіе художника есть тайна для всѣхъ, еще онъ не бралъ въ руки пера, а уже видѣть ихъ ясно, уже можете счесть складки ихъ платья, морщины ихъ чела, изображеннаго страстями и горемъ, а уже знаетъ ихъ лучше, чѣмъ вы знаете своего отца, брата, друга, свою мать, сестру, возлюбленную сердца; также онъ знаетъ и то, что они будутъ говорить и дѣлать, видѣть всю нить событій, которая обовѣсть ихъ и свяжетъ между собою. Гдѣ же онъ видѣлъ эти лица, гдѣ слышалъ объ этихъ событіяхъ и что такое его творчество? слѣдствіе долговременнаго и многосторонняго опыта, тонкой наблюдательности, глубокаго умѣнья схватывать сходства и обозначать ихъ рѣзкими чертами? Что же его идеалы? Неужели это различныя черты, разсѣянныя въ природѣ и собранныя въ одно для образованія извѣстныхъ типовъ, составленныхъ по жѣркѣ, заранѣе взятой, какъ думали и говорили добрые и почтенные эстетики былыхъ временъ?... О, ничего этого, ровно ничего!... Онъ нигдѣ не видѣлъ созданныхъ имъ лицъ, онъ не копировалъ дѣйствительности, или нѣтъ: онъ видѣлъ все это въ вѣщемъ, пророческомъ снѣ, въ свѣтлыя минуты поэтического откровенія, въ эти минуты, знакомыя одному таланту, видѣлъ ихъ все-

зрящими очами своего чувства. И вотъ почему созданные имъ характеры такъ вѣрны, ровны, выдержаны; вотъ почему завязка, развязка, узлы и ходъ его романа или драмы такъ естественны, правдоподобны, свободны; вотъ почему, прочтя его созданіе, вы какъ будто были въ какомъ-то мірѣ, прекрасномъ и гармоническомъ, какъ міръ Божій; вотъ почему вы такъ хорошо осваиваетесь съ нимъ, такъ глубоко понимаете его и такъ вѣрно удерживаете его въ своей памяти. Тутъ нѣтъ противорѣчій, нѣтъ поддѣлокъ и изысканности; ибо тутъ не было разсчета вѣроятностей, не было соображеній, не было старанія свести концы съ концами, ибо это произведеніе было не сдѣлано, не сочинено, а создано въ душѣ художника какъ бы напѣиомъ какой-то высшей, таинственной силы, въ немъ самомъ и внѣ его находившейся; ибо, въ этомъ отношеніи, онъ самъ былъ какъ бы почвою, воспринимавшею въ себя плодородное зерно, заброшенное рукою невѣдомою, прозябшее и разросшееся въ вѣтвистое, широколиственное дерево... Какого бы рода ни было такое произведеніе—идеальное, реальное—оно всегда истинно, истинно поэтически. «Буря» Шекспира есть произведеніе нелѣпое, есть странная прихоть своего творца; въ немъ дѣйствуютъ и люди и духи безплотные, въ немъ дѣйствуетъ Калибанъ, созданіе чудовищное, плодъ любви демона съ колдуньею; но и это сочиненіе истинно, истинно поэтически; ибо, читая его, вы всему вѣрите, все находите естественнымъ; ибо, прочтя его, никогда не забудете его, и передъ вашими взорами всегда будутъ носиться чудные образы Проспера, Миранды, Аріэля, образы воздушные, сотканные изъ ночныхъ тумановъ, облитые пурпуромъ зари, осеребренные лучемъ мѣсяца. Какого бы рода ни было такое созданіе, оно всегда совершенно и чуждо недостатковъ. Но отчего же и въ произведеніяхъ самыхъ гениальныхъ поэтовъ находятъ, при великихъ красотахъ, и великіе недостатки? Оттого, что такіа созданія или не выношены въ душѣ, не рождены, а выкинуты, какъ недоноски,

прежде времени, или оттого, что авторы, вслѣдствіе своихъ ложныхъ понятій объ искусствѣ, или вслѣдствіе цѣлей и расчетовъ какихъ-нибудь, хитрили и мудрили, или писали иногда въ холодныя, прозамчскія минуты, ибо поэтическіе идеи и идеалы—эти небесныя тайны—должны и высказываться въ свѣтлыя минуты откровенія, которыя называются минутами вдохновенія, художническаго восторга. Словомъ, недостатки всегда тамъ, гдѣ оканчивается творчество и начинается работа.

Теперь, кажется, легко объяснить, что такое безцѣльность съ цѣлю, бессознательность съ сознаниемъ. Когда поэтъ творить, то хочетъ выразить, въ поэтическомъ символѣ, какую-нибудь идею, слѣдовательно имѣетъ цѣль и дѣйствуетъ съ сознаниемъ. Но ни выборъ идеи, ни ея развитіе не зависятъ отъ его воли, управляемой умомъ, слѣдовательно его дѣйствіе безцѣльно и бессознательно.

Теперь, что такое свобода творчества отъ лица творящаго при зависимости отъ него?—Поэтъ есть рабъ своего предмета, ибо не властенъ ни въ его выборѣ, ни въ его развитіи, ибо не можетъ творить ни по приказу, ни по заказу, ни по собственной волѣ, если не чувствуетъ вдохновенія, которое рѣшительно не зависитъ отъ него: слѣдовательно творчество свободно и независимо отъ лица творящаго, которое здѣсь является столько же страдательнымъ, сколько и дѣйствующимъ. Но отчего же въ созданіи художника отражается и вѣкъ и народъ и собственная его индивидуальность? Отчего въ немъ отражается и жизнь и мнѣнія и степень образованности художника? Слѣдовательно творчество зависитъ отъ него, слѣдовательно онъ столько же и господинъ его, сколько и рабъ его? Да оно зависитъ отъ него, какъ зависитъ душа отъ организма, какъ зависитъ характеръ отъ темперамента. Это всего лучше можно объяснить сномъ. Сонъ есть нѣчто свободное, но, виѣсть съ тѣмъ, и зависящее отъ насъ. Меланхолику снятся сны страшные, фантастическіе;

флегматикъ и во снѣ спитъ или ѣсть; актеръ слышитъ рукоплесканія, воинный видитъ битвы, подъячій взятки и т. д. Такъ и художникъ выражается въ своихъ созданіяхъ. Герои Байрона—это типы гордости, съ нечеловѣческими страстями, желаніями и страданіями; созданія Гофмана—фантастическіе сны и т. д.

Очень не трудно ко всему этому приложить сочиненія г. Гоголя, какъ факты къ теоріи. Я подъ этимъ не разумѣю, чтобы этотъ поэтъ былъ равенъ Шекспиру, Байрону, Шиллеру и пр. Но здѣсь вопросъ не о степени, не о великости таланта, а о талантѣ: для генія и таланта одни законы, несмотря на все ихъ неравенство. Скажите, какое впечатлѣніе прежде всего производитъ на васъ каждая повѣсть г. Гоголя? Не заставляетъ ли она васъ говорить: «Какъ все это просто, обыкновенно, естественно и вѣрно, и, вмѣстѣ, какъ оригинально и ново!» Не удивляетесь ли вы и тому, почему вамъ самимъ не пришла въ голову та же самая идея, почему вы сами не могли выдумать этихъ же самыхъ лицъ, такъ обыкновенныхъ, такъ знакомыхъ вамъ, такъ часто видѣнныхъ вами, и окружить ихъ этими самыми обстоятельствами, такъ повседневными, такъ общими, такъ наскучившими вамъ въ жизни дѣйствительной и такъ занимательными, очаровательными въ повѣстическомъ представленіи? Вотъ первый признакъ истинно-художественнаго произведенія. Потомъ не знакомитесь ли вы съ каждымъ персонажемъ его повѣсти такъ коротко, какъ будто вы его давно знали, долго жили съ нимъ вмѣстѣ? Не дополняете ли вы, своимъ воображеніемъ, его портрета, и безъ того уже нарисованнаго авторомъ во весь ростъ? Не въ состояніи ли прибавить къ нему новыя черты, какъ будто забытыя авторомъ, не въ состояніи ли вы рассказать объ этомъ лицѣ нѣсколько анекдотовъ, какъ будто бы опущенныхъ авторомъ? Не вѣрите ли вы на слово, не готовы ли вы побожиться, что все рассказанное авторомъ есть сущая правда, безъ всякой примѣси вымысла? Какая этому

причина? Та, что эти созданія ознаменованы печатію истиннаго таланта, что они созданы по непреложнымъ законамъ творчества. Эта простота вымысла, эта нагота дѣйствія, эта скудость драматизма, самая эта мелочность и обыкновенность описываемыхъ авторомъ происшествій—суть вѣрные, необманчивые признаки творчества; это поэзія реальная, поэзія жизни дѣйствительной, жизни, коротко знакомой намъ. Я нисколько не удивляюсь, подобно нѣкоторымъ, что г. Гоголь мастеръ дѣлать все изъ ничего, что онъ умѣетъ заинтересовать читателя пустыми, ничтожными подробностями, ибо не вижу тутъ ровно никакого умѣнья: умѣнье предполагаетъ расчетъ и работу, а гдѣ расчетъ и работа, тамъ нѣтъ творчества, тамъ все ложно и невѣрно при самой тщательной и вѣрной копировкѣ съ дѣйствительности. И чѣмъ обыкновеннѣе, чѣмъ пошлѣе, такъ сказать, содержаніе повѣсти, слишкомъ заинтересовывающей вниманіе читателя, тѣмъ болѣшій талантъ со стороны автора обнаруживаетъ она. Когда посредственный талантъ берется рисовать сильныя страсти, глубокіе характеры, онъ можетъ стать на дыбы, натянуться, наговорить громкихъ монологовъ, наказать прекрасныхъ вещей, обмануть читателя блестящею отдѣлкою, красивыми формами, самымъ содержаніемъ, мастерскимъ разсказомъ, цвѣтистою фразеологіею—плодами своей начитанности, ума, образованности, опыта жизни. Но возмись онъ за изображеніе повседневныхъ картинъ жизни, жизни обыкновенной, прозаической—о повѣрьте, для него это будетъ истиннымъ камнемъ преткновенія, и его вялое, холодное и бездушное сочиненіе уморитъ васъ зѣвотою. Въ самомъ дѣлѣ, заставить насъ принять живѣйшее участіе въ ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ, насмѣшить насъ до слезъ глупостями, ничтожностію и юродствомъ этихъ живыхъ пасквилей на человѣчество—это удивительно; но заставить насъ потопать пожалѣть объ этихъ идіотахъ, пожалѣть отъ всей души, заставить насъ разстаться съ ними съ какимъ-то глубоко-

грустнымъ чувствомъ, заставить насъ воскликнуть вмѣстѣ съ собою: «Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!» вотъ, вотъ оно, то божественное искусство, которое называется творчествомъ; вотъ онъ, тотъ художническій талантъ, для котораго гдѣ жизнь, тамъ и поэзія! И возьмите почти всѣ повѣсти г. Гоголя: какой отличительный характеръ ихъ? что такое почти каждая изъ его повѣстей? Смѣшная комедія, которая начинается глупостями, продолжается глупостями, и оканчивается слезами, и которая, наконецъ, называется жизнью. И таковы всѣ его повѣсти: сначала смѣшно, потомъ грустно! И такова жизнь наша: сначала смѣшно, потомъ грустно! Сколько тутъ поэзіи, сколько философій, сколько истины!...

Въ каждомъ человѣкѣ должно различать двѣ стороны: общую, человѣческую, и частную, индивидуальную; всякій человѣкъ прежде всего человѣкъ, и потомъ уже Иванъ, Сидоръ и т. д. Точно также и въ художественныхъ созданіяхъ должно различать два характера: характеръ творчества, общій всемъ изящнымъ произведеніямъ, и характеръ колорита, со-общенный индивидуальностію автора. Я уже коснулся, въ общихъ чертахъ, перваго характера въ повѣстяхъ г. Гоголя; теперь разсмотрю его подробнѣе; потомъ буду говорить объ индивидуальномъ характерѣ его созданій, и, наконецъ, заключу мою статью бѣглымъ взглядомъ на тѣ изъ его повѣстей, о которыхъ можно будетъ сказать что-нибудь въ частности.

Я уже сказалъ, что отличительныя черты характера произведеній г. Гоголя суть простота вымысла, совершенная истина жизни, народность, оригинальность — все это черты общія; потомъ комическое одушевленіе, всегда побѣждаемое глубокимъ чувствомъ грусти и унынія — черта индивидуальная.

Простота вымысла, въ поэзіи реальной, есть одинъ изъ самыхъ вѣрныхъ признаковъ истинной поэзіи, истиннаго и притомъ зрѣлаго таланта. Возьмите любую драму Шекспира,

возьмите, наприѣръ, его «Тимона Аѳинскаго»: эта пьеса такъ проста, такъ немногосложна, такъ скучна путаницею происшествій, что, право, невозможно и разсказать ея содержанія. Люди обманули человѣка, который любилъ людей, наругались надъ его святыми чувствованіями, лишили его вѣры въ человѣческое достоинство, и этотъ человѣкъ возненавидѣлъ людей и проклялъ ихъ; вотъ вамъ и все тутъ, больше ничего нѣтъ. И что-жь? Составили ли вы себѣ, по моимъ словамъ, какое-нибудь понятіе объ этомъ великомъ созданіи великаго гениа? О, вѣрно, никакого! ибо эта идея слишкомъ обыкновенна, слишкомъ извѣстна всѣмъ, каждому, слишкомъ истерта и истреплена въ тысячахъ сочиненій, хорошихъ и дурныхъ, начиная отъ Софоклова Филоклетета, обманутаго Улиссомъ и проклинающаго человѣчество, до Тихона Михеевича, обманутаго вѣроломною женою и плутомъ-родственникомъ *). Но форма, въ которой выражена эта идея, и содержаніе пьесы и ея подробности? Последнія такъ мелочны, такъ пусты и пригомы такъ всякому извѣстны, что я наскучилъ бы вамъ смертельно, еслибы вздумалъ ихъ пересказывать. И однакожь, у Шекспира, эти подробности такъ занимательны, что вы не оторветесь отъ нихъ, и однакожь, у него, мелочность и пустота этихъ подробностей приготовляетъ ужасную катастрофу, отъ которой волосы встаютъ дыбомъ—сцену въ лѣсу, гдѣ Тимонъ въ бѣшеныхъ проклятіяхъ, въ горькихъ, язвительныхъ сарказмахъ, съ сосредоточенною спокойною яростію, разсчитывается съ человѣчествомъ. И потомъ, какъ выразить вамъ то чувство, которое возбуждаетъ въ душѣ извѣстіе о смерти добровольнаго отверженца отъ людей. И вся эта ужасная, хотя и безкровная, трагедія, ужасная даже въ своей простотѣ, въ своемъ спокойствіи, готовится глупою комедіею; отвратительною картиною, какъ люди обжираютъ человѣка, помогаютъ ему

*) «Піюша», повѣсть г. Ушакова, въ Б. д. Ч.

разориться и потомъ забываютъ о немъ, эти люди, которые

Дѣла стыдятся, мысли гонять,
Торгуютъ волею своей,
Главы предъ идолами клонять
И просить денегъ да цѣпей!

И вотъ вамъ жизнь, или, лучше сказать, прототипъ жизни, созданный величайшимъ изъ поэтовъ! Тутъ нѣтъ эффектовъ, нѣтъ сценъ, нѣтъ драматическихъ вычуръ, все просто и обыкновенно, какъ день мужика, который, въ будень, ѣстъ и пашетъ, спитъ и пашетъ, а въ праздники ѣстъ, пьетъ и напивается пьянъ. Но въ томъ-то и состоитъ задача реальной поэзіи, чтобы извлекать поэзію жизни изъ прозы жизни, и потрясать души вѣрнымъ изображеніемъ этой жизни. И какъ сильна и глубока поэзія г. Гоголя въ своей наружной простотѣ и мелкости! Возьмите его «Старосвѣтскихъ Помѣщиковъ»: что въ нихъ? Двѣ пародіи на человѣчество, въ продолженіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, пьютъ и ѣдятъ, ѣдятъ и пьютъ, а потомъ, какъ водятся изстари, умираютъ. Но отчего же это очарованіе? Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни, животной, уродливой, каррикатурной, и между тѣмъ принимаете такое участіе въ персонажахъ повѣсти, смѣтаетесь надъ ними, но безъ злости, и потомъ рыдаете съ Палемономъ о его Бавкидѣ, сострадаете его глубокой, неземной горести, и сердитесь на негодяя-наслѣдника, промотавшаго достояніе двухъ простаковъ. И потомъ, вы такъ живо представляете себѣ актеровъ этой глупой комедіи, такъ ясно видите всю ихъ жизнь, вы, который, можетъ-быть, никогда не бывалъ въ Малороссіи, никогда не видалъ такихъ картинъ и не слыхалъ о такой жизни! Отчего это? Оттого, что это очень просто и слѣдовательно очень вѣрно: оттого, что авторъ нашелъ поэзію и въ этой пошлой и недѣльной жизни, нашелъ человѣческое чувство, двигавшее и оживлявшее его героевъ: это чувство — привычка. Знаете ли вы, что

такое привычка, это странное чувство, о котором Пушкинъ сказалъ:

Привычка небомъ намъ дана
Замѣна счастія она?

Можете ли вы предположить возможность мужа, который рыдаетъ надъ гробомъ своей жены, съ которой сорокъ лѣтъ грызся, какъ кошка съ собакой? Понимаете ли вы, что можно грустить о дурной квартирѣ, въ которой вы жили много лѣтъ, къ которой вы привыкли, какъ душа къ тѣлу, и съ которою у васъ соединяются воспоминанія о простой однообразной жизни, о живомъ трудѣ и сладкомъ досугѣ и, можетъ-быть, о нѣсколькихъ сценахъ любви и наслажденія, и которую вы мѣняете на великолѣпныя палаты? Понимаете ли вы, что можно грустить о собакѣ, которая десять лѣтъ сидѣла на цѣпи и десять лѣтъ вертѣла хвостомъ, когда вы мимо ея проходили?... О, привычка великая психологическая задача, великое таинство души человѣческой. Холодному сыну земли, сыну заботъ и помысловъ житейскихъ замѣняетъ она чувства человѣческія, которыхъ лишила его природа или обстоятельства жизни. Для него она истинное блаженство, истинный даръ провидѣнія, единственный источникъ его радостей и (дивное дѣло!) радостей человѣческихъ! Но что она для человѣка въ полномъ смыслѣ этого слова? Не насмѣшка ли судьбы? И онъ платитъ ей свою дань, и онъ прилѣпляется къ пустымъ вещамъ и пустымъ людямъ, и горько страдаетъ, лишаясь ихъ! И что же еще? Г. Гоголь сравниваетъ ваше глубокое, человѣческое чувство, вашу высокую, пламенную страсть, съ чувствомъ привычки жалкаго получеловѣка, и говоритъ, что его чувство привычки сильнѣе, глубже и продолжительнѣе вашей страсти, и вы стоите передъ нимъ потупя глаза и не зная, что отвѣчать, какъ ученикъ, не знающій урока, передъ своимъ учителемъ!... Такъ вотъ гдѣ часто скрываются пружины лучшихъ нашихъ дѣйствій, прекраснѣй-

шихъ нашихъ чувствъ! О бѣдное человѣчество! жалкая жизнь! И однакожъ вамъ все-таки жалъ Афонасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны! вы плачете о нихъ, о нихъ, которые только пили и ѣли и потомъ умерли! О, г. Гоголь истинный чародѣй, и вы не можете представить, какъ я сердитъ на него за то, что онъ и меня чуть не заставилъ плакать о нихъ, которые только пили и ѣли и потомъ умерли!

Совершенная истина жизни въ повѣстяхъ Гоголя тѣсно соединяется съ простотою вымысла. Онъ не льститъ жизни, но и не клеветаетъ на нее; онъ радъ выставить наружу все, что есть въ ней прекраснаго, человѣческаго, и, въ то же время, не скрываетъ нисколько и ея безобразія. Въ томъ и другомъ случаѣ, онъ вѣренъ жизни до послѣдней степени. Она, у него, настоящій портретъ, въ которомъ все схвачено съ удивительнымъ сходствомъ, начиная отъ экспрессіи оригинала до веснушекъ лица его; начиная отъ гардероба Ивана Никифоровича до русскихъ мужиковъ, идущихъ по Невскому проспекту, въ сапогахъ, запачканныхъ известью; отъ колоссальной фізіономіи богатыря Бульбы, который не боялся ничего въ свѣтѣ, съ люлькою въ зубахъ и саблею въ рукахъ, до стоическаго философа Хомя, который не боялся ничего въ свѣтѣ, даже чертей и вѣдьмъ, когда у него люлька въ зубахъ и рюмка въ рукахъ.

«Прекрасный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Онъ очень любитъ дыни. Это его любимое кушанье. Какъ только отобѣдаетъ и выйдетъ въ одной рубашкѣ подъ навѣсъ, сейчасъ приказываетъ Гапкѣ принести двѣ дыни. И уже самъ разрѣжетъ, соберетъ сѣмена въ особую бумажку и начинаетъ кушать. Потомъ велитъ принести Гапкѣ чернилицу, и самъ, собственною рукою, сдѣлаетъ надпись надъ бумажкою съ сѣменами: «сія дыня съѣдена такого-то числа». Если при этомъ былъ какой-нибудь гость, то: «участвовалъ такой-то...» Иванъ Никифоровичъ чрезвычайно любитъ купаться, и когда сидеть по горло въ воду, велитъ поставить также въ воду столъ и самоваръ, и очень любитъ пить чай въ такой прохлада».

Скажите, Бога ради, можно ли язвительнѣе, злобнѣе и

вмѣстѣ съ тѣмъ добродушнѣе и любезнѣе наругаться надъ бѣднымъ человѣчествомъ?... И все оттого, что слишкомъ вѣрно! А вотъ посмотрите на жизнь Палемона и Бавкиды:

Нельзя было глядѣть безъ участія на ихъ взаимную любовь. Они никогда не говорили другъ другу ты, но всегда вы: вы, Аеонасій Ивановичъ, вы, Пульхерія Ивановна. — Это вы продавали стулъ, Аеонасій Ивановичъ? — Ничего, не сердитесь, Пульхерія Ивановна: это я... После этого Аеонасій Ивановичъ возвращался въ покои и говорилъ, приблизившись къ Пульхеріи Ивановнѣ: А что, Пульхерія Ивановна, можетъ-быть, пора закусить чего-нибудь? — Чего же бы теперь закусить, Аеонасій Ивановичъ? развѣ коржиковъ съ саломъ, или пирожковъ съ макомъ, или, можетъ-быть, рыжиковъ соленыхъ? — Пожалуй хоть и рыжиковъ или пирожковъ, отвѣчалъ Аеонасій Ивановичъ, и на столѣ вдругъ явилась скатерть съ пирогами и рыжиками. За часъ до обѣда, Аеонасій Ивановичъ закусывалъ снова, вынималъ старинную серебряную чарку воды, заѣдалъ грибами, разными сушеными рыбами и прочимъ. Обѣдать садились въ двѣнадцать часовъ. За обѣдомъ обыкновенно шелъ разговоръ о предметахъ самыхъ близкихъ къ обѣду. «Мнѣ кажется, будто эта каша, говаривалъ обыкновенно Аеонасій Ивановичъ, немного пригорѣла; вамъ этого не кажется, Пульхерія Ивановна?» — Нѣтъ, Аеонасій Ивановичъ: вы положите побольше масла, тогда она не будетъ пригорѣлою, или вотъ возьмите этого соуса съ грибами и подлейте къ ней. — «Пожалуй», говорилъ Аеонасій Ивановичъ и подставлялъ свою тарелку: «попробуемъ, какъ оно будетъ»... — Вотъ попробуйте, Аеонасій Ивановичъ, какой хорошій арбузъ. — «Да вы не вѣрите, Пульхерія Ивановна, что онъ красный» говорилъ Аеонасій Ивановичъ, принимая порядочный ломоть: «бываетъ, что и красный, да не хорошій».

Замѣчаете ли вы здѣсь всю тонкость Аеонасія Ивановича, который хочетъ разными околичностями отвести глаза своей сожительницы отъ своего ужаснаго аппетита, котораго онъ какъ будто самъ стыдится? Но посмотримъ на его дальнѣйшіе подвиги.

«Послѣ этого Аеонасій Ивановичъ сѣдалъ еще нѣсколько грушъ и отправлялся погулять по саду вмѣстѣ съ Пульхеріею Ивановной. Пришедши домой, Пульхерія Ивановна отправлялась по своимъ дѣламъ, а онъ садился подъ навѣсомъ... Немного погодя онъ посылалъ за Пульхеріей Ивановной и говорилъ: «Чего бы такого повѣсть мнѣ,

Пульхерія Ивановна?»—Чего же бы такого? говорила Пульхерія Ивановна;—развѣ я пойду скажу, чтобы вамъ принесли варениковъ съ ягодами, которыхъ приказала я нарочно для васъ оставить!—«И то добре»,—отвѣчалъ Аеонасій Ивановичъ... Или, можетъ-быть, вы съѣли бы киселику?—«И то хорошо», отвѣчалъ Аеонасій Ивановичъ. Послеъ чего все это немедленно было приносимо и, какъ водится, съѣдаемо. Передъ ужиномъ Аеонасій Ивановичъ еще кое-что закушивалъ. Въ половинѣ десятаго сѣдлись ужинать... Ночью иногда Аеонасій Ивановичъ, ходя по спальнѣ, стоналъ. Тогда Пульхерія Ивановна спрашивала: Чего вы стонете, Аеонасій Ивановичъ?—«Богъ его знаетъ, Пульхерія Ивановна, такъ какъ будто немного животъ болитъ», говорилъ Аеонасій Ивановичъ. Можетъ-быть, вы бы чего-нибудь съѣли, Аеонасій Ивановичъ?—«Не знаю, будетъ ли оно хорошо, Пульхерія Ивановна? впрочемъ, чего-же бы такого съѣсть?»—Кислаго молочка, или жиденькаго узвару съ сушеными грушами. —«Пожалуй, развѣ только попробовать», говорилъ Аеонасій Ивановичъ. Сонная дѣвка отправлялась рыться по шкапамъ, и Аеонасій Ивановичъ съѣдалъ тарелочку. Послеъ чего онъ обыкновенно говорилъ: «теперь такъ какъ будто съѣдалось легче».

Какъ вы думаете объ этомъ? По моему, такъ въ этомъ очеркѣ весь человѣкъ, вся жизнь его, съ ея прошедшимъ, настоящимъ и будущимъ! А супружеская любовь двухъ старцевъ, а насмѣшки Аеонасія Ивановича надъ своею сожигательницею, касательно внезапнаго пожара въ ихъ домѣ, или, что еще ужаснѣе, касательно его намѣренія идти на войну; страхъ доброй Пульхеріи Ивановны, ея возраженія, ея легкая досада, и, наконецъ, чувство самодовольствія, испытываемое Аеонасіемъ Ивановичемъ при мысли, что ему удалось подшутить надъ своею дрожайшею половиною! О, эти картины, эти черты—суть такіе драгоцѣнные перлы поэзіи, въ сравненіи съ которыми всѣ прекрасныя фразы нашихъ доморощенныхъ Балзаковъ настоящій горохъ!... И все это не придумано, не списано съ рассказовъ или съ дѣйствительности, но угадано чувствомъ въ минуту поэтическаго откровенія! Еслибы я вздумалъ выписывать всѣ мѣста, доказывающія, что г. Гоголь уловилъ идею описываемой жизни и вѣрно воспроизвелъ

ее, то мнѣ пришлось бы списать почти всѣ его повѣсти, отъ слова до слова.

Повѣсти г. Гоголя народны въ высочайшей степени; но я не хочу слишкомъ распространяться объ ихъ народности, ибо народность есть не достоинство, а необходимое условіе истинно-художественнаго произведенія, если подъ народностію должно разумѣть вѣрность изображенія нравовъ, обычаевъ и характера того или другаго народа, той или другой страны. Жизнь всякаго народа проявляется въ своихъ, ей одной свойственныхъ формахъ, слѣдовательно, если изображеніе жизни вѣрно, то и народно. Народность, чтобы отразиться въ поэтическомъ произведеніи, не требуетъ такого глубокаго изученія со стороны художника, какъ обыкновенно думаютъ. Поэту стоить только мимоходомъ взглянуть на ту или другую жизнь, и она уже усвоена имъ. Какъ Малороссу, г. Гоголю съ дѣтства знакома жизнь малороссійская, но народность его поэзій не ограничивается одною Малороссією. Въ его «Запискахъ Сумасшедшаго», въ его «Невскомъ Проспектѣ» нѣтъ ни одного Хохла, все Русскіе и, вдобавокъ, еще Нѣмцы; а каково изображены имъ эти Русскіе и эти Нѣмцы! Каковъ Шиллеръ и Гофманъ? Замѣчу здѣсь мимоходомъ, что, право, пора бы намъ перестать хлопотать о народности, такъ же какъ пора бы перестать писать, не имѣя таланта, ибо эта народность очень похожа на Тѣнь въ баснѣ Крылова; г. Гоголь о ней ни мало не думаетъ, и она сама напрашивается къ нему, тогда какъ многіе изъ всѣхъ силъ гоняются за нею и ловятъ—одну тривиальность.

Почти то же самое можно сказать и объ оригинальности: какъ и народность, она есть необходимое условіе истиннаго таланта. Два человѣка могутъ сойтись въ заказной работѣ, но никогда въ творествѣ, ибо если одно вдохновеніе не посѣщаетъ двухъ разъ одного человѣка, то еще менѣе одинаковое вдохновеніе можетъ посѣтить двухъ человѣкъ. Вотъ почему міръ творчества такъ неистощимъ и безграниченъ.

Поэтъ никогда не скажетъ: «О чемъ мнѣ писать? ужъ все переписано!» или:

О боги, для чего я поздно такъ родился?

Одинъ изъ самыхъ отличительныхъ признаковъ творческой оригинальности, или, лучше сказать, самаго творчества, состоитъ въ этомъ типизмѣ, если можно такъ выразиться, который есть гербовая печать автора. У истиннаго таланта каждое лице—типъ, и каждый типъ, для читателя, есть знакомый незнакомецъ. Не говорите: вотъ человѣкъ съ огромною душою, съ пылкими страстями, съ обширнымъ умомъ, но ограниченнымъ, разсудкомъ, который до такого бѣшенства любить свою жену, что готовъ удавить ее руками при малѣйшемъ подозрѣніи въ невѣрности—скажите проще и короче: вотъ Отелло! Не говорите: вотъ человѣкъ, который глубоко понимаетъ назначеніе человѣка и цѣль жизни, который стремится дѣлать добро, но, лишенный энергіи души, не можетъ сдѣлать ни одного добраго дѣла и страдаетъ отъ сознанія своего безсилія—скажите: вотъ Гамлетъ! Не говорите: вотъ чиновникъ, который подлъ по убѣжденію, зловреденъ благонамѣренно, преступенъ добросовѣстно—скажите: вотъ Фамусовъ! Не говорите: вотъ человѣкъ, который подличаетъ изъ выгодъ, подличаетъ безкорыстно, по одному влеченію души—скажите: вотъ Молчалинъ! Не говорите: вотъ человѣкъ, который во всю жизнь не вѣдалъ ни одной человѣческой мысли, ни одного человѣческаго чувства, который, во всю жизнь, не зналъ, что у человѣка есть страданія и горести, кромѣ холода, бессонницы, клоповъ, блохъ, голода и жажды, есть восторги и радости, кромѣ спокойнаго сна, сытнаго стола, цвѣточнаго чаю, что въ жизни человѣка бываютъ случаи поважнѣе съѣденной дыни, что у него есть занятія и обязанности, кромѣ ежедневнаго осмотра своихъ сундуковъ, амбаровъ и хлѣвовъ, есть честолюбіе выше увѣренности, что онъ первая персона въ какомъ-нибудь захолустѣ; о, не тратьте

такъ много фразъ, такъ много словъ—скажите просто: вотъ Иванъ Ивановичъ Перерепенко, или, вотъ Иванъ Никифоровичъ Довгочунъ! И повѣрьте, васъ скорѣе поймутъ всѣ. Въ самомъ дѣлѣ, Онѣгинъ, Ленскій, Татьяна, Зарѣцкій, Репетиловъ, Хлестова, Тугоуховскій, Платонъ Михайловичъ Горичъ, княжна Мими, Пульхерія Иванова, Аѳонасій Ивановичъ, Шиллеръ, Пискаревъ, Пироговъ: развѣ всѣ эти собственные имена теперь уже не нарицательныя? И, Боже мой! какъ много смысла заключаетъ въ себѣ каждое изъ нихъ! Это повѣсть, романъ, исторія, поэма, драма, многотомная книга, короче: цѣлый міръ въ одномъ, только въ одномъ словѣ! Что передъ каждымъ изъ этихъ словъ ваши заветныя «qu'il m'a dit, Moi, Ахъ, я Эдипъ»? И какой мастеръ г. Гоголь выдумывать такія слова! не хочу говорить о тѣхъ, о которыхъ и такъ уже много говорилъ, скажу только объ одномъ такомъ его словечкѣ, это—Пироговъ!... Святители! да это цѣлая каста, цѣлый народъ, цѣлая нація! О единственный, несравненный Пироговъ, типъ изъ типовъ, первообразъ изъ первообразовъ! Ты многообъемлюще, чѣмъ Шайлокъ, многозначительнѣе, чѣмъ Фаустъ! ты представитель просвѣщенія и образованности всѣхъ людей, которые «любятъ потолковать объ литературѣ, хвалятъ Булгарина, Пушкина и Греча, и говорятъ съ презрѣніемъ и остроумными колкостями объ А. А. Орловѣ». Да, господа, дивное словцо это—Пироговъ! Это символъ, мистическій мнѣ, это, наконецъ, кафтанъ, который такъ чудно сирокенъ, что придетъ по плечамъ тысячи человѣкъ! О, г. Гоголь большой мастеръ выдумывать такія слова, отпускать такія bons mots! А отчего онъ такой мастеръ на нихъ? Оттого, что оригиналенъ. А отчего оригиналенъ? Оттого, что поэтъ.

Но есть еще другая оригинальность, проистекающая изъ индивидуальности автора, слѣдствіе цвѣта очковъ, сквозь которыя смотритъ онъ на міръ. Такая оригинальность, у г. Гоголя, состоитъ, какъ я уже сказалъ выше, въ коми-

ческомъ одушевленіи, всегда побѣждаемомъ чувствомъ глубокой грусти. Въ этомъ отношеніи, русская поговорка: «началь за здравіе, а свель за упокой», можетъ быть девизомъ его повѣстей. Въ самомъ дѣлѣ, какое чувство остается у васъ, когда пересмотрите вы всѣ эти картины жизни, пустой, ничтожной, во всей ея наготѣ, во всемъ ея чудовищномъ безобразіи, когда досыта нахохочетесь, наругаетесь надъ нею? Я уже говорилъ о «Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ» — объ этой слезной комедіи во всемъ смыслѣ этого слова. Возьмите «Записки Сумасшедшаго», этотъ уродливый гротескъ, эту странную, прихотливую грезу художника, эту добродушную насмѣшку надъ жизнію и человѣкомъ, жалкою жизнію, жалкимъ человѣкомъ, эту каррикатуру, въ которой такая бездна поэзіи, такая бездна философіи, эту психическую исторію болѣзни, изложенную въ поэтической формѣ, удивительную по своей истинѣ и глубокости, достойную кисти Шекспира; вы еще смѣетесь надъ простакомъ, но уже вашъ смѣхъ растворенъ горечью: это смѣхъ надъ сумасшедшимъ, котораго бредъ и смѣшить и возбуждаетъ состраданіе. Я уже говорилъ также и о «Ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ» въ семъ отношеніи; прибавлю еще, что, съ этой стороны, эта повѣсть всего удивительнѣе. Въ «Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ» вы видите людей пустыхъ, ничтожныхъ и жалкихъ, но, по крайней мѣрѣ, добрыхъ и радушныхъ; ихъ взаимная любовь основана на одной привычкѣ: но вѣдь и привычка все же человѣческое чувство, но вѣдь всякая любовь, всякая привязанность, на чемъ бы она ни основывалась, достойна участія, слѣдовательно еще понятно, почему вы жалѣете объ этихъ старикахъ. Но Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ существа совершенно пустые, ничтожныя и притомъ нравственно гадкія и отвратительныя, ибо въ нихъ нѣтъ ничего человѣческаго; зачѣмъ же, спрашиваю я васъ, зачѣмъ вы такъ горько улыбаетесь, такъ грустно вздыхаете, когда доходите до траги-комической раз-

вязи? Вотъ она, эта тайна поэзіи! вотъ они, эти чары искусства! Вы видите жизнь, а кто видѣлъ жизнь, тотъ не можетъ не вздохнуть!...

Комизмъ или юморъ г. Гоголя имѣетъ свой, особенный характеръ: это юморъ чисто русскій, юморъ спокойный, простодушный, въ которомъ авторъ какъ бы прикидывается простачкомъ. Г. Гоголь съ важностію говорить о бекешѣ Ивана Ивановича, и иной простакъ не шутя подумаетъ, что авторъ и въ самомъ дѣлѣ въ отчаяніи оттого, что у него нѣтъ такой прекрасной бекешѣ. Да, г. Гоголь очень мило прикидывается; и хотя надо быть слишкомъ глупымъ, чтобы не понять его ироніи, но эта иронія чрезвычайно какъ идетъ къ нему. Впрочемъ, это только манера, а истинный-то юморъ г. Гоголя все-таки состоитъ въ вѣрномъ взглядѣ на жизнь, и прибавлю еще, ни мало не зависитъ отъ карикатурности представляемой имъ жизни. Онъ всегда одинаковъ, никогда не измѣняетъ себѣ, даже и въ такомъ случаѣ, когда увлекается поэзіею описываемаго имъ предмета. Безпристрастіе его идолъ. Доказательствомъ этого можетъ служить «Тарасъ Бульба», эта дивная эпопея, написанная кистію смѣлою и широкою, этотъ рѣзкій очеркъ героической жизни младенчества народа, эта огромная картина въ тѣсныхъ рамкахъ, достойная Гомера. Бульба герой, Бульба человѣкъ съ желѣзнымъ характеромъ, желѣзною волею; описывая подвиги его кровавой мести, авторъ возвышается до лиризма и, въ то же время, дѣлается драматикомъ въ высочайшей степени, и все это не мѣшаетъ ему по мѣстамъ смѣшнить васъ своимъ героемъ. Вы содрогаетесь Бульбы, хладнокровно лишающаго мать дѣтей, убивающаго собственною рукою роднаго сына, ужасаетесь его кровавыхъ тризнь надъ гробомъ дѣтей, и вы же смѣетесь надъ нимъ, дерущимся на кулачки съ своимъ сыномъ, пьющимъ горѣлку съ своими дѣтьми, радующимся, что въ этомъ ремеслѣ они не уступаютъ батюшкѣ, и изъ-являющимъ свое удовольствіе, что ихъ добре поролѣ въ бурѣ.

И причина этого комизма, этой каррикатурности изображений заключается не въ способности или направленіи автора находить во всемъ смѣшныя стороны, но въ вѣрности жизни. Если г. Гоголь часто и съ умысломъ подшучиваетъ надъ своими героями, то безъ злобы, безъ ненависти; онъ понимаетъ ихъ ничтожность, но не сердится на нее; онъ даже какъ будто любитъся ею, какъ любитъся взрослый человекъ на игры дѣтей, которыя для него смѣшны своею наивностію, но которыхъ онъ не имѣетъ желанія раздѣлить. Но, тѣмъ не менѣе, это все-таки юморъ, ибо не щадитъ ничтожества, не скрываетъ и не скрашиваетъ его безобразія, ибо, плѣняя изображеніемъ этого ничтожества, возбуждаетъ къ нему отвращеніе. Это юморъ спокойный и, можетъ-быть, тѣмъ скорѣе достигающій своей цѣли. И вотъ, замѣчу мимоходомъ, вотъ настоящая нравственность такого рода сочиненій. Здѣсь авторъ не позволяетъ себѣ никакихъ сентенцій, никакихъ наравоученій; онъ только рисуетъ вещи такъ, какъ онѣ есть, и ему дѣла нѣтъ до того, каковы онѣ, и онъ рисуетъ ихъ безъ всякой цѣли, изъ одного удовольствія рисовать. Послѣ «Горя отъ ума» я не знаю ничего, на русскомъ языкѣ, что бы отличалось такою чистѣйшею нравственностію и что бы могло имѣть сильнѣйшее и благотѣльнѣйшее вліяніе на нравы, какъ повѣсти г. Гоголя. О, передъ такою нравственностію я всегда готовъ падать на колѣна! Въ самомъ дѣлѣ, кто пойметъ Ивана Ивановича Перерепенко, тотъ вѣрно разсердится, если его назовутъ Иваномъ Ивановичемъ Перерепенкомъ.

Нравственность въ сочиненіи должна состоять въ совершенномъ отсутствіи притязаній со стороны автора на нравственную или безнравственную цѣль. Факты говорятъ громче словъ; вѣрное изображеніе нравственнаго безобразія могутъ существенно всѣхъ выводить противъ него. Однакожъ не забудьте, что такія изображенія только тогда вѣрны, когда безцѣльны, когда созданы, а создавать можетъ одно вдохновеніе, а вдохновеніе можетъ быть доступно одному таланту,

слѣдовательно только одинъ талантъ можетъ быть нравственнымъ въ своихъ произведеніяхъ!

И такъ юморъ г. Гоголя есть юморъ спокойный, спокойный въ самомъ своемъ негодованіи, добродушный въ самомъ своемъ лукавствѣ. Но въ творчествѣ есть еще другой юморъ—грозный и открытый; онъ кусаетъ до крови, впивается въ тѣло до костей, рубить со всего плеча, хлещетъ направо и налево своимъ бичемъ, свитымъ изъ шипящихъ змѣй, юморъ желчный, ядовитый, беспощадный. Хотите ли видѣть его? Я покажу вамъ его — смотрите: вотъ балъ, куда собралась толпа мишуриныхъ знаменитостей, ничтожнаго величія, чтобы убить время, своего всегдашняго врага, убійцу, толпа блѣдная, чудовищная, утратившая образъ и подобіе Божіе, позоръ людей и безсловесныхъ; вотъ балъ:

Между толпами бродятъ равныя лица, подъ веселый напѣвъ контраданса свиваются и развиваются тысячи интригъ и сѣтей; толпы подбострастныхъ аэролитовъ вертятся вокругъ однодневной кометы; предатель униженно кланяется своей жертвѣ; здѣсь послышалось незвучащее слово, привязанное къ глубокому долговѣстному плану; здѣсь улыбка презрѣнія скатилась съ великоколѣннаго лица и оледенила какой-то умоляющій взоръ; здѣсь тихо ползутъ темныя грѣхи и торжественная подлость гордо носить на себѣ печать отверженія...

Но вдругъ балъ приходитъ въ смущеніе, кричатъ:

Вода! вода! Въ другомъ концѣ бала играетъ еще музыка, тамъ еще танцуютъ, тамъ еще говорятъ о будущемъ, тамъ еще думаютъ о вчера сдѣланной подлости, о той, которую надо сдѣлать завтра, тамъ еще есть люди, которые ни о чемъ не думаютъ... Но вскорѣ достигла страшная вѣсть, музыка прервалась, все смѣшалось... Отчего же поблѣднѣли всѣ эти лица? Какъ, Им. гг., такъ есть на свѣтѣ яѣчто кромѣ вашихъ ежедневныхъ интригъ, происковъ, разчетовъ? Не правда! пустое! все пройдетъ! опять наступитъ завтрашній день! опять можно будетъ продолжать начатое! свергнуть своего противника, обмануть своего друга, доползти до новаго мѣста!... Но вы не слушаете, трепещете, холодный потъ обдаетъ васъ, вамъ страшно! И подлинно—вода все растетъ; вы открываете окошко, зовете о помощи, вамъ отвѣчаетъ свистъ бури, и бѣлесоватая волна, какъ разъяренныетигры, кидается въ свѣтлыя окна!—Да! въ самомъ дѣлѣ ужасно! еще минута—и взмокнуть эти роскош-

ныя, дымчатая одежды вашихъ женщинъ! еще минута—и честолюбивыя украшенія на груди вашей лишь прибавятъ къ вашей тяжести и привлекутъ на холодное дно. — Страшно! страшно! Гдѣ же всемогущія средства науки, смѣющейся надъ усиліями природы? Мм. гг., наука замерла подъ вашимъ дыханіемъ.—Гдѣ же сила молитвы, двигающей горы? Мм. гг., вы потеряли значеніе этого слова.—Что же остается вамъ? — Смерть! смерть! смерть ужасная! медленная! Но ободритесь, что такое смерть?—вы люди мудрые, благоразумные, какъ змѣи! неужели то, о чемъ посреди глубокихъ разсужденій вашихъ вы никогда и не помыслили, можетъ быть дѣломъ столь важнымъ? Призовите на помощь свою прозорливость, испытайте надъ смертью ваши обыкновенныя средства: испытайте, нельзя ли подкупить ее, оклеветать, не испугается ли она вашего холоднаго, грознаго взгляда...

Я не буду рѣшать, которому изъ этихъ двухъ видовъ юмора должно отдать преимущество. Вопросъ о подобномъ превосходствѣ былъ бы такъ же нелѣпъ, какъ вопросъ о превосходствѣ оды надъ элегіею, романа надъ драмою, ибо изящное всегда равно самому себѣ, въ какихъ бы видахъ не проявлялось. Есть вещи, столь гадкія, что стѣснитъ только показать ихъ въ собственномъ ихъ видѣ, или назвать ихъ собственнымъ ихъ именемъ, чтобы возбудить къ нимъ отвращеніе; но есть еще вещи, которыя, при всемъ своемъ существенномъ безобразіи, обманываютъ блескомъ наружности. Есть ничтожество грубое, низкое, нагое, неприкрытое, грязное, вонючее, въ лохмотьяхъ; есть еще ничтожество гордое, самодовольное, пышное, великолѣпное, приводящее въ сомнѣніе об истинномъ благѣ самую чистую, самую пылкую душу, ничтожество, ѣдущее въ каретѣ, покрытое золотомъ, умно говорящее, вѣжливо кланяющееся, такъ что вы уничтожены передъ нимъ, что вы готовы подумать, что оно - то есть истинное величіе, что оно-то знаетъ цѣль жизни и что вы-то обманываетесь, вы-то гоняетесь за призраками. Для того и другого рода ничтожества нуженъ свой, особенный бичъ, бичъ крѣпкій, ибо то и другое ничтожество покрыто тройною бронею. Для того и другого рода ничтожества нужна своя Немезида, ибо надобно же, чтобы люди иногда просыпались

отъ своего бессмысленнаго усыпленія и вспоминали о своемъ человѣческомъ достоинствѣ; ибо надобно же, чтобы громъ иногда раздавался надъ ихъ головами и напоминалъ имъ объ ихъ Творцѣ; ибо надобно же, чтобы за пиршественнымъ столомъ, посреди остатковъ безумной роскоши, среди утѣхъ бѣснующейся маслянницы, унылый и торжественный звукъ колокола возмущалъ внезапно ихъ безумное упоеніе и напоминалъ о храмѣ Божіемъ, куда всякій долженъ предстать съ раскаяніемъ въ сердцѣ, съ гимномъ на устахъ!...

Г. Гоголь сдѣлался извѣстнымъ своими «Вечерами на Хуторѣ». Это были поэтическіе очерки Малороссіи, очерки полныя жизни и очарованія. Все, что можетъ имѣть природа прекраснаго, сельская жизнь простолюдиновъ—обольстительнаго, все, что народъ можетъ имѣть оригинальнаго, типическаго, все это радужными цвѣтами блеститъ въ этихъ первыхъ поэтическихъ грезахъ г. Гоголя. Это была поэзія юная, свѣжая, благоуханная, роскошная, упоительная, какъ ночьлудъ любви... Читайте вы его «Майскую Ночь», читайте ее въ зимній вечеръ у пылающаго камелька, и вы забудете о зимѣ съ ея морозами и мятелями; вамъ будетъ чудиться эта свѣтлая, прозрачная ночь благословеннаго юга, полная чудесъ и тайнъ; вамъ будетъ чудиться эта юная, блѣдная красавица, жертва ненависти злой мачихи, это оставленное жилище съ однимъ раствореннымъ окномъ, это пустынное озеро, на тихихъ водахъ котораго играютъ лучи мѣсяца, на зеленыхъ берегахъ котораго пляшутъ вереницы безплотныхъ красавицъ... Это впечатлѣніе очень похоже на то, которое производитъ на воображеніе «Сонъ въ Лѣтнюю Ночь» Шекспира. «Ночь передъ Рождествомъ Христовымъ» есть цѣлая, полная картина домашней жизни народа, его маленькихъ радостей, его маленькихъ горестей, словомъ, тутъ вся поэзія его жизни. «Страшная мѣсть» составляетъ теперь pendantъ къ «Тарасу Бульбѣ», и объ эти огромныя картины показываютъ, до чего можетъ возвышаться талантъ г. Гоголя.

Но я никогда бы не кончилъ, еслибы сталъ разбирать «Вечера на Хуторѣ». «Арабески и Миргородъ» носятъ на себѣ всѣ признаки зрѣющаго таланта. Въ нихъ меньше этого упоенія, этого лирическаго разгула, но больше глубины и вѣрности въ изображеніи жизни. Сверхъ того, онъ здѣсь расширилъ свою сцену дѣйствія, и, не оставляя своей любимой, своей прекрасной, своей ненаглядной Малороссіи, пошелъ искать поэзіи въ правахъ средняго сословія въ Россіи. И, Боже мой, какую глубокую и могучую поэзію нашелъ онъ тутъ! Мы, Москвляне, и не подозревали ея!... «Невскій Проспектъ» есть созданіе столь же глубокое, сколько и очаровательное; это двѣ полярныя стороны одной и той же жизни, это высокое и смѣшное о-бокъ другъ другу. На одной сторонѣ этой картины, бѣдный художникъ, безпечный и простодушный какъ дитя, замѣчаетъ на Невскомъ Проспектѣ женщину-ангела, одно изъ тѣхъ дивныхъ созданій, которыя могло производить только его художническое воображеніе; онъ слѣдитъ за нею, онъ дрожитъ, онъ не смѣетъдохнуть, ибо онъ еще не знаетъ ее; но уже обожаетъ ее, а всякое обожаніе робко и трепетно; онъ замѣчаетъ ея благосклонную улыбку—и «кареты казались ему недвижны, мостъ растягивался и ломался на своей аркѣ, домъ стоялъ крышею внизъ, будка и аллебарда часового, вмѣстѣ съ золотыми словами и нарисованными ножницами, блестя, казалось, на самой рѣсницѣ его глазъ». Задыхаясь отъ упоенія и трепетнаго предчувствія блаженства, онъ входитъ за нею въ третій этажъ большаго дома, и что же представляется ему?... Она, все такъ же прекрасная, очаровательная, она смотритъ на него глупо, нагло, какъ бы говоря ему: «Ну что же ты?...» Онъ бросается вонъ. Я не хочу пересказывать его сна, этого дивнаго, драгоценнаго перла нашей поэзіи, втораго и единственнаго, послѣ сна Татьяны Пушкина: здѣсь г. Гоголь поэтъ въ высочайшей степени. Кто читаетъ эту повѣсть въ первый разъ, для того, въ этомъ дивномъ снѣ, дѣйстви-

тельность и поэзія, реальное и фантастическое, такъ тѣсно сливаются, что читатель изумляется, узнавши, что все это только сонъ. Представьте себѣ бѣднаго, оборваннаго, запачканнаго художника, потеряннаго въ толпѣ звѣздъ, крестовъ и всякаго рода совѣтниковъ: онъ толкается между ними, уничтожающими его своимъ блескомъ, онъ стремится къ ней, и они безпрестанно разлучаютъ его съ нею, они, эти кресты и звѣзды, которые смотрятъ на нее безъ всякаго упоенія, безъ всякаго трепета, какъ на свои золотыя табакерки... И какое пробужденіе послѣ этого сна! и какъ можно жить послѣ такого пробужденія? И онъ точно не живетъ въ дѣйствительности, онъ весь въ грезахъ... Наконецъ, въ его душѣ блеснулъ обманчивый, но радужный лучъ надежды: онъ рѣшается на самоотверженіе, онъ хочетъ принести ей въ жертву, какъ Молоху, даже честь свою... «А я только что теперь проснулась, меня привезли въ семь часовъ утра, я была совсѣмъ пьяна» — это говорить ему она, все такъ же прекрасная, очаровательная... Послѣ этого можно ли было жить даже и въ грезахъ?... И нѣтъ художника: онъ сошелъ въ темную могилу, никѣмъ не оплаканный, и міръ не зналъ, какая высокая и ужасная драма была разыграна въ этой грѣшной, страдальческой душѣ...

На другой сторонѣ этой картины, вы видите Пирогова и Шиллера; того Пирогова, о которомъ я уже говорилъ, того Шиллера, который хотѣлъ отрѣзать себѣ носъ, чтобы избавиться отъ излишнихъ расходовъ на табакъ; того Шиллера, который говоритъ съ гордостью, что онъ швабскій Нѣмецъ, а не русская свинья, и что у него есть король въ Германіи; того Шиллера, который «еще съ двадцатилѣтняго возраста, съ того времени, которое Русскій живетъ на фуфу, изиѣрилъ всю свою жизнь и положилъ себѣ, въ теченіе 10 лѣтъ, составить капиталъ изъ 50 тысячъ, и у котораго это было уже такъ вѣрно и неотразимо, какъ судьба, потому что скрѣпе чиновникъ позабудетъ заглянуть въ швейцарскую своего

начальника, нежели Нѣмецъ рѣшится переимѣнить свое слово»; наконецъ того Шиллера, который «положилъ цѣловать жену свою въ сутки не болѣе двухъ разъ, и чтобы какъ-нибудь не поцѣловать лишній разъ, никогда не клалъ перцу болѣе одной ложечки въ свой супъ». Чего вамъ еще? Тутъ весь человѣкъ, вся исторія его жизни!...

А Пироговъ?... О, объ немъ объ одномъ можно написать цѣлую книгу!... Вы помните его волокитство за глупою блондинкою, съ которою онъ составляетъ такую отличную пару, его ссору и отношенія съ Шиллеромъ; помните, какіе ужасные побои претерпѣлъ онъ отъ флегматическаго Отелло, помните, какимъ негодованіемъ, какою жаждою мести занিপѣло сердце поручика, и помните, какъ скоро прошла его досада отъ съѣденныхъ кондитерскихъ пирожковъ и прочтенія «Пчелы»?... Чудные пирожки! Чудная «Пчела»! Пискаревъ и Пироговъ—какой контрастъ! Оба они начали, въ одинъ день, въ одинъ часъ, преслѣдованія своихъ красавицъ, и какъ различны для обоихъ ихъ были слѣдствія этихъ преслѣдованій! О, какой смыслъ скрытъ въ этомъ контрастѣ! И какое дѣйствіе производитъ этотъ контрастъ! Пискаревъ и Пироговъ... одинъ въ могилѣ, другой доволенъ и счастливъ, даже послѣ неудачнаго волокитства и ужасныхъ побоевъ!... Да, господа, скучно на этомъ свѣтѣ!

«Портретъ» есть неудачная попытка г. Гоголя въ фантастическомъ родѣ. Здѣсь его талантъ падаетъ, но онъ и въ самомъ паденіи остается талантомъ. Первой части этой повѣсти невозможно читать безъ увлеченія; даже, въ самомъ дѣлѣ, есть что-то ужасное, роковое, фантастическое въ этомъ таинственномъ портретѣ, есть какая-то непобѣдимая прелесть, которая заставляетъ васъ насильно смотрѣть на него, хотя вамъ это и страшно. Прибавьте къ этому множество юмористическихъ картинъ и очерковъ во вкусѣ г. Гоголя; вспомните квартальнаго надзирателя, разсуждающаго о живописи, потомъ эту мать, которая привела къ Черткову свою дочь,

чтобы снять съ нея портретъ, и которая бранить балы и восхищается природою, — и вы не откажете въ достоинствѣ и этой повѣсти. Но вторая ея часть рѣшительно ничего не стоитъ; въ ней совсѣмъ не видно г. Гоголя. Это явная придѣлка, въ которой работалъ умъ, а фантазія не принимала никакого участія.

Вообще надо сказать, фантастическое какъ-то не совсѣмъ дается г. Гоголю, и мы вполне согласны съ мнѣніемъ г. Шевырева, который говоритъ, что «ужасное не можетъ быть подробно: призракъ тогда страшенъ, когда въ немъ есть какая-то неопредѣленность; если же вы въ призракѣ увидите разглядѣть синистую пирамиду, съ какими-то челюстями вмѣсто ногъ и языкомъ вверху, тутъ ужъ не будетъ ничего страшнаго, и ужасное переходитъ просто въ уродливое». Но за то картины малороссійскихъ нравовъ, описаніе бурсы (впрочемъ немного напоминающее бурсу Нарѣжнаго), портретъ бурсаковъ, и особенно этого философа Хомя, философа не по одному классу семинаріи, но философа по духу, по характеру, по взгляду на жизнь... О несравненный *Dominius* Хомя! какъ ты великъ въ своемъ стоицическомъ равнодушіи ко всему земному, кромѣ горѣлки! Ты натерпѣлся горя и страха, ты чуть не попался въ когти къ чертямъ, но ты все забываешь за широкою и глубокою ендовою, на днѣ которой схоронена твоя храбрость и твоя философія; ты, на вопросъ о видѣнныхъ тобою страстяхъ, машешь рукою и говоришь: «Много на свѣтѣ всякой дряни водится!» у тебя половина головы посѣдѣла въ одну почку, а ты оттопыриваешь тропача, да такъ, что добрые люди, смотря на тебя, плюютъ и восклицаютъ: «Вотъ это какъ долго танцуетъ человѣкъ!» Пусть судить всякій какъ хочетъ, а по мнѣ такъ философъ Хомя стоитъ философа Сковороды! Потомъ, помните ли вы невольное путешествіе философа Хомя, помните ли попойку въ шинѣ, этого Дороша, который, нагрузившись пѣнникомъ, вдругъ захотѣлъ узнать, непременно узнать, чему учатъ въ бурсѣ

(шуточное дѣло!), этого резонера, который божился, что «все должно оставить такъ какъ есть, что Богъ знаетъ, какъ нужно», и наконецъ, этого казака съ сѣдыми усами, который рыдалъ о томъ, что остался круглымъ сиротою... А эти поучительныя бесѣды на кухнѣ, гдѣ «обыкновенно говорилось обо всемъ: и о томъ, кто пошилъ себѣ новыя шаровары, и что находится внутри земли, и кто видѣлъ волка»? А сужденія этихъ умныхъ головъ о чудесахъ въ природѣ? а портретъ пана сотника?... и кто перечтетъ?... Нѣтъ, несмотря на неудачу въ фантастическомъ, эта повѣсть есть дивное созданіе. Но и фантастическое въ ней слабо только въ описаніи привидѣній, а чтенія Хомя въ церкви, возстаніе красавицы, явленіе Вія, безподобны.

Я еще мало говорилъ о «Тарасѣ Бульбѣ», и не буду слишкомъ распространяться о немъ, ибо, въ такомъ случаѣ, у меня вышла бы еще статья не менѣе самой повѣсти... «Тарасъ Бульба» есть отрывокъ, эпизодъ изъ великой эпопеи жизни цѣлаго народа. Если въ наше время возможна гомерическая эпопея, то вотъ вамъ ея высочайшій образецъ, идеалъ и прототипъ!... Если говорятъ, что въ «Иліадѣ» отражается вся жизнь греческая, въ ея героическій періодъ, то развѣ одни піатики и риторички прошлаго вѣка запретятъ сказать то же самое и о «Тарасѣ Бульбѣ» въ отношеніи къ Маллороссіи XVI вѣка?... И въ самомъ дѣлѣ, развѣ здѣсь не все казачество, съ его странною цивилизаціею, его удалою, разгульною жизнію, его безпечностію и лѣнью, неутомимостію и дѣятельностію, его буйными оргіями и кровавыми набѣгами?... Скажите мнѣ, чего нѣтъ въ картинѣ, чего недостаетъ къ ея полнотѣ? Не выхвачено ли все это со дна жизни, не бьется ли здѣсь огромный пульсъ всей этой жизни? Этотъ богатырь Бульба съ своими могучими сыновьями; эта толпа Запорожцевъ, дружно отдирающая на площади тропака; этотъ казакъ, лежащій въ лужѣ, для показанія своего презрѣнія къ дорогову платью, которое на немъ надѣто, и какъ бы

вызывающій на драку всякаго дерзкаго, кто бы осмѣлился дотронуться до него хоть пальцемъ; этотъ кошевой, поневолѣ говорящій краснорѣчивую, витѣватую рѣчь о необходимости войны съ бусурманами, потому что «многіе Запорожцы позадолжались въ шинки Жидамъ и своимъ братьямъ столько, что ни одинъ чортъ теперь и вѣры неиметь»; эта мать, которая является какъ бы мимоходомъ, чтобы живо оплакать дѣтей своихъ, какъ всегда являлась въ тотъ вѣкъ женщина и мать въ казачьей жизни... А Жида и Ляхи, а любовь Андрія и кровавая месть Бульбы, а казнь Остапа, его воззваніе къ отцу и «слышу» *) Бульбы и, наконецъ, героическая гибель стараго фанатика, который не чувствовалъ своихъ ужасныхъ мукъ, потому что чувствовалъ одну жажду мести къ враждебному народу?... И это не эпопея?... Да что же такое эпопея?... И какая кисть широкая, размашистая, рѣзкая, быстрая! какія краски яркія и ослѣпительныя... И какая поэзія энергическая, могучая, какъ эта Запорожская Сѣчь, «то гнѣздо, откуда вылетаютъ всѣ тѣ гордые и крѣпкіе, какъ львы, откуда разливается воля и казачество на всю Украину!...»

Что еще сказать вамъ? можетъ-быть, вы мало удовлетворены и тѣмъ, что я уже сказалъ: что дѣлать! Гораздо легче чувствовать и понимать прекрасное, нежели заставлять дру-

*) Впрочемъ я не ставлю въ слишкомъ большую заслугу г. Гоголю этого «слышу» и не думаю, подобно нѣкоторымъ, что еслибы г. Гоголь и не изобрѣлъ ничего другаго, кромѣ этого славнаго «слышу», то однимъ имъ могъ бы заставить молчать злонамѣренность критики; ибо, во первыхъ, злонамѣренность критики нельзя обесоружить изящными созданіями, чему примѣромъ можетъ служить этотъ же самый г. Гоголь, нѣкоторыми благонамѣренными критиками пожалованный въ Поль-де-Коки; потомъ, это славное «слышу» не имѣло бы никакого смысла, безъ отношенія къ цѣлой повѣсти и безъ связи съ нею, и наконецъ, теперь уже прошло то время, когда въ примѣръ высокаго представляли: *Qu'il tougût, Moi, Агъ я Эдинъ, я Россъ* и т. п.; зачѣмъ же обогащать педантовъ новымъ примѣромъ высокаго въ выраженіи?

гихъ чувствовать и понимать его! Если одни изъ читателей, прочтя мою статью, скажутъ: «это правда» или по крайней мѣрѣ: «во всемъ этомъ есть и правда»; если другіе, прочтя ее, захотятъ прочесть и разобранныя въ ней сочиненія—мой долгъ выполненъ, цѣль достигнута.

Но какой же общій результатъ выведу я изъ всего сказаннаго мною? Что такое г. Гоголь въ нашей литературѣ? Гдѣ его мѣсто въ ней? Чего должно ожидать намъ отъ него, отъ него, еще только начавшаго свое поприще, и какъ начавшаго! Не мое дѣло раздавать вѣнки безсмертія поэтамъ. осуждать на жизнь или смерть литературныя произведенія; если я сказалъ, что г. Гоголь поэтъ, я уже все сказалъ, я уже лишилъ себя права дѣлать ему судейскіе приговоры. Теперь у насъ слово «поэтъ» потеряло свое значеніе: его смѣшали съ словомъ «писатель». У насъ много писателей, нѣкоторые даже съ дарованіемъ, но нѣтъ поэтовъ. Поэтъ высокое и святое слово, въ немъ заключается не умирающая слава! Но дарованіе имѣетъ свои степени; Козловъ, Жуковский, Пушкинъ, Шиллеръ — эти люди поэты; но равны ли они? Развѣ не спорятъ еще и теперь, кто выше: Шиллеръ или Гёте? Развѣ общій голосъ не называлъ Шекспира царемъ поэтовъ, единственнымъ и несравненнымъ? И вотъ задача критики: опредѣлить степень, занимаемую художникомъ въ кругу своихъ собратьевъ. Но г. Гоголь еще только началъ свое поприще; слѣдовательно наше дѣло высказать свое мнѣніе о его дебютѣ и о надеждахъ въ будущемъ, которыя подаетъ этотъ дебютъ. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владѣетъ талантомъ необыкновеннымъ, сильнымъ и высокимъ. По крайней мѣрѣ, въ настоящее время, онъ является главою литературы, главою поэтовъ, онъ становится на мѣсто, оставленное Пушкинымъ. Предоставимъ времени рѣшить, чѣмъ и какъ кончится поприще г. Гоголя, а теперь будемъ желать, чтобы этотъ прекрасный талантъ долго сіялъ на небосклонѣ нашей литературы, чтобы его дѣятельность равнялась его силѣ.

Въ «Арабескахъ» помѣщены два отрывка изъ романа. Объ этихъ отрывкахъ нельзя судить какъ объ отдѣльномъ и цѣломъ созданіи; но о нихъ можно сказать, что они вполне могутъ служить залогомъ тѣхъ надеждъ, о которыхъ я говорилъ. Поэты бываютъ двухъ родовъ: одни только доступны поэзіи, и она у нихъ бываетъ болѣе способностію, чѣмъ даромъ или талантомъ, и много зависитъ отъ вѣншихъ обстоятельствъ жизни; у другихъ даръ поэзіи есть нѣчто положительное, нѣчто составляющее нераздѣльную часть ихъ бытія. Первые, иногда одинъ разъ въ цѣлую жизнь, выскажутъ какую-нибудь прекрасную поэтическую грезу, и, какъ будто обезсиленные тяжестью свершеннаго ими подвига, ослабѣваютъ и падаютъ въ послѣдующихъ своихъ произведеніяхъ; и вотъ отчего у нихъ первый опытъ по болѣе части бываетъ прекрасенъ, а послѣдующіе постепенно подрываютъ ихъ славу. Другіе съ каждымъ новымъ произведеніемъ возвышаются и крѣпнютъ; г. Гоголь принадлежитъ къ числу этихъ послѣднихъ поэтовъ: этого довольно!

Я забылъ еще объ одномъ достоинствѣ его произведеній: это лиризмъ, которымъ проникнуты его описанія такихъ предметовъ, которыми онъ увлекается. Описываетъ ли онъ бѣдную мать, это существо высокое и страждущее, это воплощеніе святаго чувства любви — сколько тоски, грусти и любви въ его описаніи! Описываетъ ли онъ юную красоту — сколько упоенія, восторга въ его описаніи! Описываетъ ли онъ красоту своей родной, своей возлюбленной Малороссіи — это сынъ, ласкающійся къ обожаемой матери! Помните ли вы его описаніе безбрежныхъ степей дѣпровскихъ? Какая широкая, размашистая кисть! какой разгулъ чувства! Какая роскошь и простота въ этомъ описаніи! Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хороши у г. Гоголя!...

Въ одномъ журналѣ было изъявлено странное желаніе, чтобы г. Гоголь попробовалъ своихъ силъ въ изображеніи высшихъ слоевъ общества: вотъ мысль, которая, въ наше

время, отзывается ужаснымъ анахронизмомъ! Какъ! неужели поэтъ можетъ сказать себѣ: дай опишу то или другое, дай попробую себя въ томъ или другомъ родѣ!... И притомъ, развѣ предметъ дѣлаетъ что-нибудь для достоинства сочиненія? Развѣ это не аксіома: гдѣ жизнь, тамъ и поэзія? Но мои «развѣ» никогда бы не кончились, еслибы я захотѣлъ высказать ихъ всѣ, безъ остатка. Нѣтъ, пусть г. Гоголь описываетъ то, что велитъ ему описывать его вдохновеніе, и пусть страшится описывать то, что велятъ ему описывать или его воля или гг. критики. Свобода художника состоитъ въ гармоніи его собственной воли съ какою-то внѣшнею, независящею отъ него волею, или, лучше сказать, его воля есть вдохновеніе!... *).

*) Я очень радъ, что заглавіе и содержаніе моей статьи избавляетъ меня отъ непріятной обязанности разбирать ученыя статьи г. Гоголя, помѣщенные въ «Арабескахъ». Я не понимаю, какъ можно такъ необдуманно компрометировать свое литературное имя. Неужели перевести или, лучше сказать, перефразировать и перепародировать нѣкоторые мѣста изъ исторіи Миллера, перемѣшать ихъ съ своими фразами, значить написать ученую статью?... Неужели дѣтскія мечтанія объ архитектурѣ—ученость?... Неужели сравненіе Шлегера, Миллера и Гердера, ни въ какомъ случаѣ не идущихъ въ сравненіе, тоже ученость?... Если подобные втюды ученость, то избави насъ Богъ отъ такой учености! Мы и безъ того богаты ею. Отдавая полную справедливость прекрасному таланту г. Гоголя, какъ поэта, мы, движимые чувствомъ той же самой справедливости, того же самого безпристрастія, желаемъ, чтобы кто-нибудь разобралъ подробности его ученыя статьи.

О СТИХОТВОРЕНІЯХЪ Г. БАРАТЫНСКАГО.

Часто думаю я о томъ, какое рѣзкое отличіе находится между поэзією первобытныхъ народовъ и поэзією новыхъ народовъ, которыхъ религія, цивилизація, просвѣщеніе и литература образовались подъ разными чуждыми вліяніями. Представьте себѣ народъ, у котораго еще нѣтъ ни идеи творчества, ни слова для выраженія этой идеи, а есть уже само творчество: кто открылъ ему эту тайну, кто навелъ его на эту мысль? Одна природа, и больше никто. Самое просвѣщеніе, въ этомъ случаѣ, дѣло совершенно постороннее, ибо оно только сообщаетъ поэзіи другой характеръ. И это очень естественно: чѣмъ бессознательнѣе творчество, тѣмъ оно глубже и истиннѣе. Поэтъ, который творилъ, не сознавая своего дѣйствія, не понимая, что онъ дѣлаетъ — онъ болѣе поэтъ, нежели тотъ, который, чувствуя вдохновеніе, говоритъ: «хочу писать».

Кто слагалъ наши народныя пѣсни? — люди, которые даже и не подозрѣвали, что есть поэзія, есть вдохновеніе, есть поэты, есть литература. Какъ слагали они свои пѣсни? — экспромтомъ, за пиршественною чашею, среди ликующаго круга, или, всего чаще, въ минуты тоски и унынія, когда душа просилась вонъ и хотѣла излиться или въ слезахъ или

въ звукахъ. Какъ смотрѣли эти гениальные люди на свои произведенія?—какъ на дѣло пустое, и можетъ быть, когда проходили обстоятельства, породившія ихъ пѣсню, когда стихали чувства и уступали полное владычество разсудку, они удивлялись, какъ пришла имъ въ голову странная мысль заниматься такимъ вздоромъ, и стыдились своей пѣсни, какъ стыдится протрезвившійся человѣкъ дурнаго или смѣшнаго поступка, сдѣланнаго имъ въ пьяномъ видѣ. Я часто мечталъ объ одномъ созданіи, идеалѣ котораго смутно носился въ душѣ моей, и который мнѣ очень хотѣлось увидѣть когда-нибудь осуществленнымъ: мнѣ хотѣлось прочесть романъ или драму, въ который бы содержаніе было взято изъ русской жизни до Петра Великаго, и въ которой была бы представлена борьба генія съ своими порывами, для него непонятными. Въ самомъ дѣлѣ, неужели въ этомъ народѣ, сознававшемъ себя нѣсколько столѣтій и занимавшемъ такое обширное пространство, не было своихъ Шекспировъ, Шиллеровъ?... И такъ представьте себѣ народъ, у котораго было поэтическое чувство, но котораго условія жизни были совершенно противоположны поэзіи жизни; котораго религія покровительствовала искусству и требовала отъ него служенія, но который въ религіи довольствовался однѣми формами, а искусство сдѣлать ремесломъ определеннымъ и положительнымъ, такъ что геній и посредственность были въ немъ подведены подъ уровень; народъ, который любилъ временемъ и спѣть пѣсню и поплясать въ присядку, но который, въ то же время, и пѣніе и пляску почиталъ бѣсовскою потѣхою, грѣхомъ тяжкимъ; народъ, который довольствовался скудною житейскою философіею, лѣниво наследованною имъ отъ праотцевъ и заключенною въ формы пословицъ и поговорокъ; народъ, который святое чувство любви почиталъ дьявольскимъ навожденіемъ, отчитывался отъ него молитвами, отпрыскивался нашептанною водою; народъ, который женщину—эту поэзію жизни, которою одною бываетъ жизнь красна, — женщину сдѣлалъ

своею рабынею, родомъ домашняго животнаго, немного выше коровы или лошади; наконецъ, народъ, который былъ чуждъ всякаго движенія впередъ, всякаго стремленія къ совершенствованію, былъ похожъ на обледѣвшую массу воды, по которой тщетно скользятъ блѣдные лучи зимняго солнца. Теперь, среди этого народа, представьте себѣ юношу-генія: каковъ контрастъ, какія подробности, сколько красота, какая драма, высокая и ужасная въ своей простотѣ и каррикатурности!... Этотъ юноша есть единственная опора, единственная надежда престарѣлой матери. Какой-нибудь добрый монахъ учитъ его грамотѣ, чтобъ онъ могъ со временемъ сдѣлаться писцомъ въ приказѣ, дьякомъ или земскимъ ярыжкою—это все одно и то же, ибо одинаково прибыльно, а русскій народъ смотрѣлъ всегда на судопроизводство какъ на средство жить; наши мужички и теперь еще не шутя говорятъ: «онъ на то и асистраторъ, чтобъ взятки брать». И такъ юношѣ приготовляется блестящая будущность; надо, чтобъ онъ умѣлъ воспользоваться ею. Но вотъ бѣда: юноша боленъ страннымъ недугомъ; ему снятся на яву дивные сны, слышатся чудные звуки, ему хочется и самъ онъ не знаетъ чего; онъ забываетъ свое дѣло, и, какъ одержимый бѣсомъ, то плачетъ, то хохочетъ, самъ не зная отчего. Мать плачетъ о немъ, какъ о потерянномъ, взбалмошномъ, помѣшанномъ; добрые люди, говоря о немъ, пожимаютъ плечами и набожно произносятъ: Господи, спаси насъ отъ лукаваго! Все это очень обыкновенно, но вотъ что не совсѣмъ обыкновенно: онъ самъ увѣренъ, что онъ одержимъ злымъ духомъ, постигнуть чернымъ недугомъ, что его мысли грѣшны, желанія и помыслы нечисты. Онъ молитъ Бога, чтобы онъ избавилъ его отъ злаго бѣса, который его мучитъ и преслѣдуетъ, чтобы онъ направилъ его на путь истинный; онъ плачетъ и рассказываетъ, и все остается такимъ же чуднымъ и непохожимъ на добрыхъ людей. Не правда-ли, что это прекрасный предметъ для драмы, не правда-ли, что такая драма, плодъ

генія, въ тысячу бы разъ лучше и яснѣе всѣхъ курсовъ и теорій эстетики объяснила дивную и великую тайну, которая здѣсь, на землѣ, называется поэтомъ, художникомъ?...

Исторія первобытной греческой поэзіи достойна глубочайшаго изученія. Сравните съ ней исторію первобытной индійской, арабской поэзіи — и сколько драгоценныхъ фактовъ получите вы для теоріи изящнаго! Въ самомъ дѣлѣ, поэтъ, который сочиняетъ, не зная, что такое поэзія, что такое поэтъ, не зная, чтобы когда-нибудь и кто-нибудь, подобно ему, сочинялъ, который сочиняетъ по непреодолимому побужденію, котораго не умѣетъ ни понять, ни назвать, не есть ли онъ поэтъ по преимуществу? И такіе поэты бывають только у народовъ младенчествующихъ, и ихъ имена или исчезаютъ для потомства, или передаются ему въ мифическихъ образахъ Гомеровъ, Оссиановъ. Созданія такихъ поэтовъ суть типическія, оригинальныя и вѣчныя. Они творять роды и формы искусства, ибо, по странной ошибкѣ человеческого ума, служатъ образцами для послѣдующихъ творцевъ. Они вполне принадлежать своему вѣку и народу, ибо творять свободно отъ всякаго посторонняго вліянія. Какое дѣло, если у Индійцевъ была драма прежде, чѣмъ Эсхилъ явился въ Греціи... Эсхилъ все-таки творецъ греческой трагедіи, этого рода, такъ отличнаго отъ новѣйшей драмы. Типъ эпическихъ рапсодъ, типъ Эсхилловской драмы, есть типъ истинный, естественный, законный, если можно такъ сказать, ибо онъ найденъ въ природѣ, а не выдуманъ. Можно ли усомниться въ призваніи первобытныхъ поэтовъ?...

Не такъ бываетъ у народовъ, у которыхъ поэзія является тогда, какъ имъ уже извѣстна идея поэзіи по опыту первобытныхъ народовъ. Не самобытны, не оригинальны, не законны роды и формы ихъ созданій. Если они и носятъ на себѣ признаки таланта, то похожи на зданіе, котораго планъ начертанъ однимъ художникомъ, а выполненъ другимъ, принадлежащимъ другому вѣку и другому народу; похожи на

пламенное произведеніе юноши - поэта, написанное на тему, потомъ переправленное и передѣланное варваромъ-педагогомъ. Такова Энеида и всѣ поэмы, существующія на свѣтѣ потому только, что существовала прежде нихъ Илиада, а не почему иному. У этихъ народовъ, обыкновенно, тотъ и поэтъ, кто началъ писать прежде другихъ, кто вышелъ на арену и громко закричалъ: смотрите, я поэтъ!

И вотъ причина деспотическаго владычества Ронсаровъ, Кантемировъ, Тредьяковскихъ, Сумароковыхъ. Но это владычество непродолжительно; оно оканчивается тотчасъ, какъ народъ начнетъ понимать истинное значеніе поэзіи. Тогда новое горе: тогда является множество другаго рода незаконныхъ поэтовъ. Это люди, больше или меньше доступные поэзіи, т. е. способны понимать ее; часто владѣющіе талантомъ формы, вмѣсто таланта творчества, т. е. умѣющіе дать изящную форму всякой мысли, даже пустой. Они обыкновенно угождаютъ, льстятъ своему времени, и посему пользуются успѣхомъ только въ свое время, тотчасъ забываемые, какъ наступитъ другое время и приведетъ съ собою другія идеи, другія потребности. Хотите ли знать имена такихъ поэтовъ? Это Дезульеръ, Флоріаны, Делили, Богдановичи, Капнисты, Гнѣдичи и проч. и проч.

Въ дѣлѣ литературы, у всякаго народа бываютъ свои эпохи очарованія и разочарованія. Сначала господствуетъ безотчетное удивленіе; все кажется прекраснымъ, великимъ, безсмертнымъ, авторитеты царствуютъ какъ олимпійскіе боги, и едва со-благоволѣютъ преклонять свой слухъ къ гимнамъ хваленій. И какой многочисленный Олимпъ! Еслибы онъ сошелъ на землю, то неостало бы ни мѣстъ, ни матеріаловъ для построенія ему приличныхъ храмовъ. Это эпоха веселая, какъ и всѣ эпохи очарованія, но глупая и недѣльная, какъ всѣ эпохи торжества посредственности, самозванства, безвкусія, униженія искусства, истины, здраваго смысла. Потомъ наступаетъ эпоха разочарованія и приводитъ за собою духъ реакціи,

критики, анализа. Знаменитости подвергаются строгому изслѣдованію; самозванство развѣнчивается; истинной заслугѣ отдается должная почеть; Олимпъ пустѣетъ, но его пустота почтенна, ибо если и немногія, за то яркія звѣзды сіяютъ на его вершинѣ. Есть люди, которые упорно остаются вѣрными своимъ прежнимъ богамъ, и, видя разбитыя капища, сокрушенныхъ идоловъ, съ воплемъ и слезами восклицаютъ: «выдѣбай, боже!» Какая причина этого страннаго упорства? Посредственность и мелочное самолюбіе. Эти люди остерегаются не за идоловъ своихъ, а за самихъ себя, ибо въ ниспроверженіи своихъ идоловъ видятъ ниспроверженіе своихъ понятій объ изящномъ, упадокъ своего кредита во вкусъ, чувствъ, умъ, познаніяхъ. Жалкая и между тѣмъ вредная братія! Чтобы любить истину, должно жертвовать ей своими задушевными мыслями, привычками, предубѣжденіями, а легко ли это? Изъ одного и того же источника часто выходятъ различные результаты. Одинъ такъ любитъ искусство, что посвящаетъ всю жизнь свою на служеніе ему въ качествѣ дѣйствителя, не думая о томъ, что у него нѣтъ таланта, и что онъ своею дѣятельностію оскорбляетъ святость и великость этого искусства, которому хочетъ служить; это любовь нечистая: къ ней примѣшано много эгоизма, мелочнаго самолюбія. Другой такъ любитъ искусство, что, начавши писать по увлеченію и пріобрѣсти лестные успѣхи, но видя, что его произведенія, которымъ рукоплещетъ толпа, далеко не соотвѣтствуютъ тому идеалу поэзіи, который онъ создалъ себѣ, останавливается въ началѣ поприща, успѣшно начатаго, съ стѣсненнымъ сердцемъ рветъ и попираетъ ногами свои вялые лавры и рѣшается никогда не оскорблять святости и великости искусства, которое обожаетъ. Вотъ это любовь къ искусству, любовь высокая, благородная! И можетъ-ли такой человѣкъ хладнокровно видѣть, какъ жалкая посредственность или низкая злонамѣренность профанируетъ святость и великость боготворимаго имъ искусства, профанируетъ

своимъ удивленіемъ къ блестящему ничтожеству, или своими кривыми толками объ изящномъ, или уродливыми созданіями-батардами искусства, выдаваемыми имъ за созданія творчества?... Можетъ ли онъ не подать голоса, остаться нѣмымъ, страшась преслѣдованій раздраженной посредственности, или боясь имени «ругателя»?

Въ нашей литературѣ теперь именно наступила эта эпоха анализа. Мы наконецъ хотимъ владѣть сокровищемъ не многимъ, но истиннымъ. А что то за сокровище, которое безпрестанно боишься потерять? Что тотъ за авторитетъ, который каждую минуту готовъ пасть? Что та за истина, которая боится изслѣдованія, темнѣетъ отъ взоровъ ума? Нѣтъ, пусть будетъ воздаваемо каждому должное, пусть заслуга пользуется уваженіемъ, а бездарность обличится и всякій займетъ свое мѣсто!

Неужели наши мелкіе расчеты, наше жалкое самолюбіе, наши ничтожныя отношенія дороже и важнѣ истины, общественнаго вкуса, общественной любви къ искусству, общественныхъ понятій объ изящномъ? Неужели мы всегда будемъ ѣздить верхомъ на палочкахъ? Неужели наша литература всегда будетъ представляться въ формѣ Ивана Ивановича Перерепенко, который, съѣвши дыню, завертывалъ въ бумажку зерна и своей рукой надписывалъ: «съѣдена тогда-то»?... Надо направлять общественный вкусъ и понятія объ изящномъ, распространять общественную склонность къ изящному. Мы уже теперь не ослѣпляемся знаменитостію рода, незаслуженными отличіями: зачѣмъ еще будемъ мы ослѣпляться знаменитостію литературныхъ именъ, незаслуженными авторитетами? Имя—ничего; важно дѣло.

Приступая къ оцѣнкѣ стихотвореній г. Баратынскаго, я не безъ намѣренія сдѣлалъ такое обширное вступленіе. У насъ еще такъ много людей, которые, зная, что «говорить правду — потерять дружбу», что хвалить гораздо выгоднѣе, чѣмъ хулить, почитаютъ говорящихъ правду людьми безпо-

койными и злонамѣренными, такъ же точно, какъ у насъ еще много людей, которые почитаютъ злонамѣренностію и безнравственностію возставать громко противъ взяточничества, ибо у насъ еще и теперь многіе думаютъ, что никто не имѣетъ права мѣшать другому наживаться, а, по ихъ мнѣнію, всякое средство къ наживѣ позволительно. Неужели и въ литературѣ должно находиться такое-же подъячество мнѣній?...

Я не буду слишкомъ распространяться въ разборѣ стихотвореній г. Баратынскаго; вопросъ не обширный и притомъ очень ясный.

Г. Баратынскій поэтъ ли? Если поэтъ — какое вліяніе имѣли на нашу литературу его сочиненія? какой новый элементъ внесли они въ нее? какой ихъ отличительный характеръ? наконецъ, какое мѣсто занимаютъ они въ нашей литературѣ?

Нѣсколько разъ перечитывалъ я стихотворенія г. Баратынскаго и вполнѣ убѣдился, что поэзія только изрѣдка и слабыми искорками блеститъ въ нихъ. Основной и главный элементъ ихъ составляетъ умъ, изрѣдка задумчиво разсуждающій о высокихъ человѣческихъ предметахъ, почти всегда слегка скользящій по нимъ, но всего чаще рассыпающійся каламбурами и блещущій остротами. Слѣдующее стихотвореніе, взятое на выдержку, всего лучше характеризуетъ свѣтскую, паркетную музу г. Баратынскаго.

Нѣтъ, обманула васъ молва,
По прежнему дышу я вами
И надо мной свои права
Вы не утратили съ годами.
Другимъ курилъ я енисіамъ,
Но васъ носилъ въ святыхъ сердца,
Молился новымъ образамъ,
Но съ безпокойствомъ старовѣрца.

Скажите, Бога ради, неужели это чувство, фантазія, а не игра ума?

И перечтите всѣ стихотворенія г. Баратынскаго: что вы увидите въ каждомъ изъ лучшихъ? Два-три поэтическіе стиха, вылившіеся изъ сердца; потомъ риторикѣ, потомъ нѣсколько прозаическихъ стиховъ; но вездѣ умъ, вездѣ литературную ловкость, умѣнье, навыкъ, щегольскую отдѣлку и больше ничего. Читая эти два тома, вы видите, что они написаны человѣкомъ, для котораго жизнь была не сномъ, который мыслилъ, чувствовалъ, котораго занимали и интересовали предметы человѣческаго уваженія, но не одно изъ нихъ не упадетъ вамъ въ душу, не взволнуетъ ее могучею мыслию, могучимъ чувствомъ, не истомитъ ее сладкою тоскою и не наполнитъ тревожнымъ упоеніемъ, отъ котораго занимается духъ и по тѣлу пробѣгаетъ электрическій холодъ. Я не хочу сравнивать, въ этомъ отношеніи, г. Баратынскаго съ Пушкинымъ; такое сравненіе было бы не добросовѣстно. Возьмемъ параллель пониже, возьмемъ г. Козлова и противопоставимъ его г. Баратынскому — то ли это? Г. Козловъ — поэтъ не гениальный, поэтъ обыкновенный, но вотъ что значить быть истиннымъ поэтомъ въ какой бы то ни было степени! Можете ли вы читать безъ упоенія его дивную, роскошную, таинственную, благоухающую и блестящую «Венеціанскую ночь» и многія другія мелкія стихотворенія; не пробуждаютъ ли всей вашей души многія мѣста изъ его «Чернеца» и не вызываютъ ли они всѣхъ вашихъ душевныхъ думъ, не откликаетесь ли вы на нихъ своимъ чувствомъ? Есть и у г. Баратынскаго нѣсколько замѣчательныхъ стихотвореній, какъ-то: «Элегія на смерть Гёте», «О счастьи съ младенчества тоскуя», «Дало двѣ доли Провидѣнье», «Когда печалью вдохновенный», «Бѣжить невѣрное здоровье», «Не искушай меня безъ нужды», «Притворной нѣжности не требуй отъ меня», «Черепъ», «Послѣдняя смерть»; но одни изъ нихъ хороши по мысли, но холодны, а всѣ вообще оставляютъ въ душѣ такое же слабое впечатлѣніе, какъ дуновеніе устъ на стеклѣ зеркала: оно легко и скоропреходяще. Въ наше время, холодное, про-

зачесное время, надо въ поэзіи огня да огня: иначе насъ трудно разогрѣть.

Въ числѣ необходимыхъ условій, составляющихъ истиннаго поэта, должна непремѣнно быть современность. Поэтъ больше, нежели кто-нибудь долженъ быть сыномъ своего времени. Скажите, Бога ради, можетъ ли поэтъ нашего времени написать два длинныхъ, вялыхъ, прозаическихъ посланія, каковы къ Богдановичу и Гнѣдичу, въ которыхъ самый механизмъ стиховъ скрипитъ, какъ тяжелыя ворота на веревкахъ, и въ которыхъ нѣтъ не только ни искры чувства, но даже и порядочной мысли? Можетъ ли поэтъ нашего времени написать, а если уже имѣлъ несчастіе написать, то помѣстить въ полномъ собраніи своихъ сочиненій, напри- мѣръ, вотъ такое стихотвореньице:

Не знаю, милая, не знаю!
Краса пѣвнтельна твоя:
Не знаю, я предпочитаю
Всѣмъ тѣмъ, которыхъ знаю я?

Чѣмъ это сентиментальное стихотвореніе лучше «Тріолета Лилетъ», написаннаго Карамзинымъ?

Вчера ненастливая ночь
Меня застала у Лилеты.
Остаться-ль мнѣ, идти-ли прочь,
Межъ нами долго шли совѣты... и т. д.?

И это поэзія?... И это хотятъ насъ заставить читать, насъ, которые знаютъ наизусть стихи Пушкина?... И говорятъ еще иные, что XVIII вѣкъ кончился!...

Она придетъ! къ ея устамъ
Прижмусь устами я моими;
Пріютъ укромный будетъ намъ
Подъ сими вязами густыми!
Волненьемъ страстнымъ я томимъ;
Но близъ любезной укротимъ
Желаній пылкихъ нетерпѣнне:
Мы ими счастію вредимъ,
И сокращаемъ наслажденье.

Не правда ли, что два послѣдніе стиха похожи на заключеніе хриіа?

Но зачѣмъ же вы выбираете такіа стихотворенія? можетъ-быть, спроситъ меня иной недовѣрчивый читатель. Зачѣмъ же помѣщены они? отвѣчаю я. Въ наше время поѣты должны быть осторожны и не представлять изъ себя Далайламу...

О поѣмахъ г. Баратынскаго я ничего не хочу говорить: ихъ давно никто не читаетъ. Нападать на нихъ было бы грѣшно, защищать—странно. Однако, замѣчу мимоходомъ, что въ «Пирахъ» блестятъ мѣстами искры остроумія и даже изрѣдка чувства, какъ, напримѣръ, въ этихъ стихахъ:

Кричали вы: смѣлѣ пей!
Развеселись, товарищъ мой,
Вдохнувъ, резвянно-послушный,
Я пилъ съ улыбкой равнодушной;
Свѣтлѣла мрачная мечта,
Толпой срывались печали,
И задрожавшія уста
«Богъ съ ней» невнятно лепетали.
И гдѣ измѣнища любовь?
Ахъ, въ ней и грусть очарованье!
Я испытать желалъ бы вновь
Ея знакомое страданье!
И гдѣ жъ вы, рѣзвые друзья,
Вы, къѣмъ жила душа моя?
Разлучены судьбою строгой:
И каждый съ ропотомъ вздохнулъ
И брату руку протянулъ
И вдаль побрелъ своей дорогой;
И каждый въ горести нѣмой,
Быть-можетъ, праздною мечтой
Теперь бывшее пролетаетъ,
Иль за трапезой чужой
Свои пиры воспоминаетъ!

Предоставляю читателю вывести результатъ изъ всего, что я сказалъ.

СТІХОТВОРЕНІЯ ВЛАДИМИРА БЕНЕДИКТОВА.

(Спб. 1835).

Обманчивѣй и сновъ надежды.
Что слава? Шепоть ли чтеца?
Гоненье-ль низкаго невѣжды?
Иль восхищеніе глупца?

Пушкинъ.

Что такое критика? оцѣнка художественнаго произведенія. При какихъ условіяхъ возможна эта оцѣнка, или, лучше сказать, на какихъ законахъ должна она основываться? На законахъ изящнаго, отвѣчаютъ записные ученые. Но гдѣ кодексъ этихъ законовъ? Кѣмъ онъ изданъ, кѣмъ утвержденъ и кѣмъ принятъ? Укажите мнѣ на этотъ сводъ законовъ изящнаго, на это уложеніе искусства, котораго начала были бы вѣчны и неизмѣнны, какъ начала творчества въ душѣ человѣческой; котораго параграфы подходили бы подъ всѣ возможные случаи и представляли бы собою стройную систему законодательства, обнимающаго собою весь безконечный и разнообразный міръ художественной дѣятельности во всѣхъ ея видахъ и измѣненіяхъ! Давно ли *«украшенное подражаніе природѣ»* было краеугольнымъ камнемъ эстетическаго уложенія? Давно ли эта формула равнялась въ своей глубокости, истинѣ и непреложности первому пункту магометанскаго ученія: *«Нѣтъ Бога кромѣ Бога—и Мухамедъ пророкъ Его?»* Давно ли три знаменитыя единства почитались фундаментомъ, безъ котораго поэма или драма была бы храминою, постро-

ению на песок? Давно ли Борнель, Расинъ, Мольеръ, Буало, Лафонтенъ, Вольтеръ, — давно ли эта вереница талантовъ почиталась лучезарнымъ соизвѣдіемъ поэтической славы, блистающимъ немерцающимъ свѣтомъ для вѣковъ? Давно ли Буало, Батте и Лагарпъ почитались верховными жрецами критики, непогрѣшительными законодателями изящнаго, вѣщими оракулами, изрекавшими непреложные приговоры?... А что теперь?... «*Украшенное подражаніе природѣ*» и знаменитое «*трисдинство*» причислены къ числу вѣковыхъ заблужденій человечества, неудачныхъ попытокъ ума; ученые и свѣтскіе боги французскаго Парнаса были помрачены и навсегда заслонены *плынымъ дикаремъ* *) Шекспиромъ, а оракулы критики поступили въ архивъ рѣшенныхъ и забытыхъ дѣлъ. И давно ли все это совершилось?... Давно ли бились на смерть покойники — *классицизмъ* и *романтизмъ*?... Гдѣ же, спрашиваю я, гдѣ же эта мѣрка, этотъ аршинъ, которымъ можно мѣрить изящныя произведенія; гдѣ этотъ масштабъ, которымъ можно безошибочно измѣрять градусы ихъ эстетическаго достоинства? Ихъ нѣтъ — и вотъ какъ непрочно литературные кодексы! Какъ, съ постепеннымъ ходомъ жизни народа, измѣняется его законодательство, чрезъ отиженіе старыхъ законовъ и введеніе новыхъ, сообразно съ современными требованіями общества, такъ измѣняются и законы изящнаго съ полученіемъ новыхъ фактовъ, на которыхъ они основываются. И развѣ мы получили всѣ факты; развѣ мы изучили всѣ литературы, подъ этими безчисленными національными,

*) Въ «Сѣверной Пчелѣ» обвиняютъ меня, между многими литературными преступленіями, въ томъ, что я называю Шекспира *плынымъ дикаремъ*. Стыжусь оправдываться въ этомъ передъ публикою, и только движимый состраданіемъ къ жалкому невѣднію «С. Пчелы», объявляю ей за новостъ (для нея), что это выраженіе принадлежитъ Вольтеру, обирадавшему Шекспира, а мною оно употребляется въ шутку. Бѣдная «Пчела», какъ еще много пустыхъ вещей, недоступныхъ для ея мушиной любознательности!

вѣковыми и историческими фязіономіями; развѣ мы изслѣдовали жизнь каждаго художника порознь? Развѣ, въ этомъ отношеніи, для будущаго уже ничего не остается?... Нѣтъ, еще долго дожидаться полнаго и удовлетворительнаго кодекса искусствъ, какъ долго дожидаться этого совершеннаго, гражданскаго законоположенія, которое должно осуществить мечты о золотомъ вѣкѣ Астрей. Стало быть, нѣтъ законовъ изящнаго, по которымъ можно и должно судить произведенія искусствъ? Есть, потому что если теперь не исполнѣ постигнуть весь міръ изящнаго, то уже извѣстны многіе изъ его законовъ, извѣстны самыя его основанія; но будущему времени предоставлено открыть существующія отношенія между этими законами и основаніями и привести ихъ въ полную и гармоническую систему. Критику должны быть извѣстны *современныя* понятія о творествѣ; иначе онъ не можетъ и не имѣетъ права ни о чемъ судить.

Но этого еще мало. Часто случается, что критикъ, изложивши свой взглядъ на условія творчества, сообразно съ современными понятіями объ этомъ предметѣ, прилагаетъ его ложно, и вѣрно описавши характеръ греческаго ваянія, показываетъ вамъ разбитый глиняный горшокъ, въ которомъ варили щи, и божится и клянется, что это греческая ваза. Отчего это? Оттого, что эстетика не алгебра, что она, кромѣ ума и образованности, требуетъ этой пріемлемости изящнаго, которая составляетъ своего рода талантъ и дается не всѣмъ. Прислушайтесь внимательнѣе къ нашимъ литературнымъ толкамъ и сужденіямъ — и вы согласитесь со мною. Развѣ у насъ нѣтъ людей съ умомъ, образованіемъ, знакомыхъ съ иностранными литературами, и которые, несмотря на все это, отъ души убѣждены, что Жуковскій выше Пушкина; которые иногда восхищаются восьмикопѣчными стихотвореніями и талантами гг. А., В., С., и т. д.? Отчего это? Оттого, что эти люди часто руководствуются въ своихъ сужденіяхъ однимъ умомъ, безъ всякаго участія со стороны чувства;

оттого, что принимают за поэзію свои любимыя мысли, или видятъ удобный случай приложить и оправдать свои собственные мысли объ изящномъ, а эти мысли часто бывають парадоксами и предразсудками. Въ предметахъ человѣческаго чувства, умъ безъ чувства всегда ведетъ за собою предразсудки и строить парадоксы. Умъ очень самолюбивъ и упрямо довѣрчивъ къ себѣ; онъ создалъ систему и лучше рѣшится уничтожить здравый смыслъ, нежели отказаться отъ ней; онъ гнетъ все подъ свою систему, и что не подходитъ подъ нее, то ломаетъ. Въ этомъ случаѣ онъ похожъ на Мольеровыхъ лѣкарей, которые говорили, что они лучше рѣшится уморить больного, чѣмъ отступить хоть на іоту отъ предписаній древнихъ. Въ дѣлѣ изящнаго, сужденіе тогда только можетъ быть правильно, когда умъ и чувство находятся въ совершенной гармоніи. И вотъ отчего такая разногласица въ сужденіяхъ о литературныхъ сочиненіяхъ. Въ самомъ дѣлѣ, одному нравятся «Цыгане» Пушкина и не нравится сказка о Бовѣ Королевичѣ, а другой въ восхищеніи отъ Бовы Королевича и не видитъ ни малѣйшаго достоинства въ «Цыганахъ» Пушкина. Кто изъ нихъ правъ, кто виноватъ? Говоря собственно, они оба совершенно правы: сужденіе того и другаго основано на чувствѣ, и никакая эстетика, никакая критика, не можетъ быть посредницей въ этомъ дѣлѣ. Да! тонкое поэтическое чувство, глубокая ~~приемли~~пріемлимость впечатлѣній изящнаго — вотъ что должно составлять первое условіе способности къ критицизму, вотъ посредствомъ чего съ перваго взгляда можно отличать поддѣльное вдохновеніе отъ истиннаго, риторическія вычуры отъ выраженія чувства, галантерейную работу формъ отъ дыханія эстетической жизни, и только вотъ при чемъ сильный умъ, обширная ученость, высокая образованность, имѣють свой смыслъ и свою важность. Въ противномъ случаѣ, изучите всѣ языки земнаго шара, отъ китайскаго до самоѣдскаго, изучите всѣ литературы, отъ санскритской до чухонской, — вы все будете мѣтять

не впадать, говорить не истать, пропускать мимо глазъ словъ и приходить въ восторгъ отъ бумажекъ. Развѣ тяжелая «Россіяда» не подходила подѣ эстетическіе законы добраго стараго времени; развѣ скучный и водяной «Дмитрій Самозванецъ» г. Булгарина не отличается общою манерою и замашками историческаго романа? Развѣ въ свое время трудно было доказать художественное достоинство того и другаго произведенія, эстетическими правилами двухъ эпохъ времени, т. е. семидесятыхъ годовъ прошлаго и двадцатыхъ текущаго столѣтія? О, нѣтъ ничего легче! Но вотъ что очень было трудно: спасти ихъ отъ чахоточной смерти. Вотъ отчего такъ часто бывають неудачны попытки иныхъ высокоученыхъ, но лишенныхъ эстетическаго чувства критиковъ, уронить истинный талантъ, не подходящій подѣ ихъ школьную мѣру, и возвысить мишурнаго фразера.

У насъ еще и теперь тайна искусства есть истинная тайна въ буквальномъ смыслѣ этого слова, для многихъ людей, посвящающихъ себя этому искусству или по влеченію, или ex-officio, или отъ нечего дѣлать. Цвѣтистая фраза, новая манера—и вотъ уже готовъ поэтический вѣнокъ изъ «калуфера и мяты», нынче зеленѣющій, а завтра желтѣющій. Цвѣтистая фраза принимается за мысль, за чувство, новая манера и стихотворныя гримасы—за оригинальность и самобытность. Помните ли вы остроумный апологъ, рассказанный въ одномъ нашемъ журналѣ, какъ «человѣкъ съ умомъ на три страницы» хотѣлъ отъ скуки бросить лавровый вѣнокъ поэту первому прошедшему мимо его окна, и какъ онъ бросилъ его чрезъ форточку бездарному стихотворцу, который на этотъ разъ проходилъ мимо окошка «человѣка съ умомъ на три страницы»?... Вотъ вамъ объясненіе, почему въ нашей литературѣ бездна самыхъ огромныхъ авторитетовъ. И хорошо еще, если человѣкъ - то, раздающій поэтическіе вѣнки, точно съ умомъ хоть на три страницы: тутъ нѣтъ еще большаго зла, потому что онъ можетъ, одумавшись или разсердившись на

свое неблагоприятное созданіе, уничтожить его такъ же легко, какъ онъ его и создалъ, чему у насъ и бывали примѣры. Это даже можетъ быть и забавно, если сдѣлано умно и ловко. Но вотъ эти добрые и «безнавѣтные» критики, которые, въ сердечной простотѣ своей, не шутя, принимаютъ русскій горюхъ за эллинскіе цвѣты, сѣверный чертополохъ и крапиву за райскіе кринны, они-то истинно и вредны. Души добрыя и честныя, пріобрѣта когда-то и какъ-то какое-нибудь вліяніе на общественное мнѣніе — они добродушно обманываютъ самихъ себя и невинно вводятъ и другихъ въ обманъ.

«Но чтѣ жъ въ этомъ худаго?» можетъ быть, спросятъ иные. О, очень много худаго, милостивые государи! Если превознесенный поэтъ есть человѣкъ съ душою и сердцемъ, то неужели не грустно думать, что онъ долженъ идти не по своей дорогѣ, сдѣлаться записнымъ фразеромъ, и послѣ мгновеннаго успѣха, эфемерной славы, видѣть себя заживо похороненнымъ, видѣть себя жертвою литературнаго безславія? Если это человѣкъ пустой, ничтожный, то неужели не досадно видѣть глупое чванство литературнаго павлина, видѣть незаслуженный успѣхъ, и, такъ какъ нѣтъ глупца, который не нашелъ бы глупѣе себя, видѣть нелѣпое удивленіе добрыхъ людей, которые, можетъ-быть, не лишены нѣкотораго вкуса, но которые не смѣютъ имѣть своего сужденія? А святость искусства, унижаемаго бездарностію?... Милостивые государи! если вамъ понятно чувство любви къ истинѣ, чувство уваженія къ какому-нибудь задушевному предмету, то будете ли вы осуждать порывъ человѣка, который, иногда къ своему вреду, вызываетъ на себя и мнѣніе самолюбій и общественное мнѣніе, имѣя полное право не выѣшиваться, какъ говорится на святой Руси, не въ свое дѣло?... Долженъ ли этотъ человѣкъ оскорбляться или пугаться того, что люди посредственные, холодные къ дѣлу истины, лишены огня Прометеева, провозгласятъ его крикуномъ или ругателемъ? Вамъ понятно ли это чувство? Вамъ

понятна ли эта запальчивость, для васъ справедлива ли она въ самой своей несправедливости?... А понимаете ли вы блаженство взбѣсить жалкую посредственность, расшевелить мелочное самолюбіе, возбудить къ себѣ ненависть ненавистнаго, злобу злаго?... «Но какая же изъ всего этого польза?» А общественный вкусъ къ изящному, а здравыя понятія объ искусствѣ? «Но увѣрены ли вы, что ваше дѣло направлять общественный вкусъ къ изящному и распространять здравыя понятія объ искусствѣ; увѣрены ли вы, что ваши понятія здравы; вкусъ вѣренъ?» Такъ, я знаю, что тотъ былъ бы смѣшонъ и жалокъ, кто бы сталъ увѣрять въ своемъ превосходствѣ другихъ; но, во первыхъ, вещи познаются по сравненію, и дѣла другихъ заставляютъ иногда человѣка приниматься самому за эти дѣла; во вторыхъ, если каждый изъ насъ будетъ говорить: «да мое ли это дѣло, да гдѣ мнѣ, да куда мнѣ, да что я за выскочка!» то никто ничего не будетъ дѣлать. Гадокъ наглый самохвалъ; но не менѣе гадокъ и человѣкъ безъ всякаго сознанія какой-нибудь силы, какого-нибудь достоинства. Я терпѣть не могу ни Скалозубовъ, ни Молчалиныхъ.

Я слишкомъ хорошо знаю нашъ литературный міръ, наши литературныя отношенія, и потому почти каждая новая книга возбуждаетъ во мнѣ такія думы и ведетъ къ такимъ размышленіямъ, какія она не во всѣхъ возбуждаетъ, и вотъ почему у меня вступленіе или мысли *à propos* почти всегда составляютъ главную и самую большую часть моихъ рецензій. Къ числу такихъ книгъ принадлежатъ стихотворенія г. Бенедиктова; они возбудили въ моей душѣ множество элегій, до которыхъ я большой охотникъ; но обстоятельства, сопровождавшія ея появленіе, и безотчетные крики, встрѣтившіе ее, только одни заставили меня взяться за перо. Правда, стихотворенія г. Бенедиктова не принадлежатъ къ числу этихъ дюжинныхъ и бездарныхъ произведеній, которыми теперь особенно наводняется наша литература; непро-

тивъ, въ этой печальной пустотѣ, они обращаютъ на себя невольное вниманіе и, съ перваго взгляда, легко могутъ показаться чѣмъ-то совершенно выходящимъ изъ круга обыкновенныхъ явленій. Но это-то самое и заставляетъ рецензента, отложивъ въ сторону пошлыя оговорки и околичности, прямо и рѣзко высказать о нихъ свое мнѣніе. Это будетъ не критика, а отзывъ, простое мнѣніе, или, какъ говорить, рецензія, потому что тутъ критикъ нечего дѣлать. Дѣло коротко, просто и ясно, а вопросъ болѣе о разныхъ обстоятельствахъ, касающихся дѣла, нежели о самомъ дѣлѣ.

Я сказалъ, что стихотворенія г. Бенедиктова обращаютъ на себя невольное вниманіе; прибавлю, что это происходитъ не столько отъ ихъ независимаго достоинства, сколько отъ различныхъ отношеній. Въ самомъ дѣлѣ, много ли надо таланта, чтобы обратить на себя вниманіе *стихами* въ наше прозаическое время? Кромѣ того, стихотворенія г. Бенедиктова обнаруживаютъ въ немъ человѣка со вкусомъ, человѣка, который умѣетъ всему придать колоритъ поэзіи; иногда обнаруживаютъ превосходнаго версификатора, удачнаго описателя; но вмѣстѣ съ тѣмъ, въ нихъ видна эта дѣтскость силы; эта безпрестанная невыдержанность мысли, стиха, самаго языка, которыя обнаруживаютъ отсутствіе чувства, фантазіи, а слѣдовательно и поэзіи. Сказавши, надо доказать, и я не вижу для этого никакого другаго средства, кромѣ анализа и сравненія.

Кажется, въ наше время никто не долженъ сомнѣваться въ томъ, что въ истинно-художественномъ произведеніи не можетъ быть погрѣшностей и недостатковъ, какъ думаютъ школяры и люди посредственные. Чтò создано фантазією, а не холоднымъ умомъ, то всегда истинно, вѣрно и прекрасно; погрѣшности же тамъ, гдѣ фантазія уступаетъ свое мѣсто уму, и умъ работаетъ безъ участія чувства, по источникамъ изобрѣтеній. Въ романѣ, въ драмѣ, словомъ, во всякомъ большемъ сочиненіи, недостатки едва ли избѣжны, потому

что поэту ¹надо имѣть слишкомъ гигантскую фантазію, чтобы не допустить никакого вліянія со стороны ума, разсчета, труда. Но лирическое сочиненіе есть плодъ мгновенной вспышки фантазіи, мгновенное измѣненіе чувства, слѣдовательно въ немъ всякое неестественное или вычурное выраженіе, всякій прозаическій стихъ, обличаетъ недостатокъ фантазіи. Я никакъ не умѣю понять, что за поэтъ тотъ, у кого не достанетъ фантазіи на 20 или на 40 стиховъ, кто со стихами вдохновенными мѣшаетъ стихи дѣланные. Какъ въ романѣ или драмѣ невыдержанность характеровъ, неестественность положеній, неправдоподобность событій, обличаютъ работу, а не творчество; такъ въ лиризмѣ, неправильный языкъ, яркая фигура, цвѣтистая фраза, неточность выраженія, изысканность слога, обличаютъ ту же самую работу. Простота языка не можетъ служить исключительнымъ и необманчивымъ признакомъ поэзіи; но изысканность выраженія всегда можетъ служить вѣрнымъ признакомъ отсутствія поэзіи. Стихъ, переложенный въ прозу и обращающійся отъ этой операціи въ натяжку, такъ же какъ и темныя, затѣйливыя мысли, разложенныя на чистыя понятія и теряющія отъ этого всякій смыслъ, обличаетъ одну риторическую шумиху, наборъ общихъ мѣстъ. Я представляю вамъ теперь нѣсколько фразъ изъ бѣльшей части стихотвореній г. Бенедиктова, обращенныхъ мною въ прозаическія выраженія, со всею добросовѣстностію, безъ малѣйшаго искаженія, и сдѣлаю вамъ нѣсколько вопросовъ, поставивъ судьей въ этомъ дѣлѣ вашъ собственный здравый смыслъ.

— Юноша сорвалъ розу и украсилъ этою *пламенною жемчужною* чело дѣвы. — Вы были ли, прекрасные дни, когда *сверкали одни веселья*; небесныя звѣзды очами судей взирали на землю съ *лазурнаго свода* (??), *милая дикость равняла людей* (?!). — Любовь не *измѣдилась въ ущельяхъ сердецъ*, но, повсюду раскрытая и *сверкала въ очи* (??), надѣвала на міръ всеобщій вѣнецъ. — Дѣва, у которой уста кокетствуютъ улыбкою, изобличается гибкій станъ, и все, что дано прихотямъ, то украшено *рѣзцемъ любви* (?!!). — Ребенокъ (на пожаръ) простиралъ

свои ручки въ жаламъ неистовыхъ огненныхъ змѣй (т. е. къ огню).—
Передъ завистливою толпою, я вносилъ твой станъ, на огненной ла-
донѣ, въ *вихрь* круженія (т. е. вальсировалъ съ тобою).—Струи вре-
мени возрастили *мохъ забвенія на развалинахъ любви* (!!).—Въ твоёмъ
гробомъ, вѣрномъ станѣ, я утоплялъ горящую ладонь.—За жизнен-
нымъ кощемъ (?) есть лучший міръ, тамъ я *обручусь съ тобою коль-
цемъ точности*. — Любовь преломлялась, блестяла цвѣтными огнями
сердечнаго неба. — Чудная дѣва *минутными* прелестями влекла къ
себѣ *железные сердца*. — Къ кому прикинуть головою, гдѣ *растопить*
свинцеъ несчастія? — Фантазія вдуваетъ разсудку свой сладкій дымъ. —
Море опоясалось мечемъ молній. — Солнце вонзило въ дождевыя капли
пламя своего луча. — Въ черныхъ глазахъ Адели могила безстрастія
и колыбель блаженства. — Исира души прихотливо подлетѣла къ паръ
черненькихъ глазъ и умильно посмотрѣла въ окна своей хранины. —
Матильда, сидя на жеребцѣ (!), гордится красивымъ и плотнымъ
усыстою, а жеребецъ подъ дѣвою топчется, храпитъ и пляшетъ. —
Грудь стонетъ свинцовымъ гробомъ, и въ немъ ляжетъ прахъ моей
любви. — Конь повнесетъ меня вдаль на *молніяхъ отчаяннаго бѣга*. —
Любовь есть капля меду на остромъ жалѣ красоты. — Ея тихая мысль,
зря въ святомъ разумѣ, разгоралася искрою, а потомъ, оперенная
словомъ, вылетала изъ ея устъ пѣвнтельнымъ голубемъ. — На пер-
вомъ жизни перѣ возникалъ посявъ грѣха. — Да не падетъ на *пламя*
красоты морозный паръ безстрастнаго дыханія. — Могучею рукою
вонзять сталь правды въ шипучее (?) сердце порока. — Его рука пе-
ревила лунавою змѣею станъ молодой дѣвы, вползла на грудь и на
груди уснула.

Что это такое? неужели поэзія, неужели вдохновеніе, юное,
кипучее, тревожное, пламенное, полное глубины мысли?...
И столько фразъ на какихъ-нибудь ста шести страницахъ,
или пятидесяти трехъ листахъ!... Въ четырехъ частяхъ
мелкихъ стихотвореній Пушкина, хорошихъ и дурныхъ, и въ
трехъ частяхъ поэмъ, заключается около двухъ тысячъ стра-
ницъ: найдите же мнѣ хоть пять такихъ выраженій *), и я
позволю печатно назвать себя клеветникомъ, ругателемъ, че-
ловѣкомъ, ничего не смыслящимъ въ дѣлѣ искусства! Но я

*) Боюсь только четвертой части, которой еще не видалъ и за ко-
торую поэтому не отвѣчаю.

дурно и, можетъ быть, недобросовѣстно поступилъ, указавъ на Пушкина: прошу извиненія у великаго поэта и у публики. Возьмите Жуковского, возьмите даже Козлова, Языкова, Туманскаго, Баратынскаго, найдите у всѣхъ нихъ хоть половинное число такихъ вычуръ—и я сознаюсь побѣжденнымъ. Вы скажете: «это не доказательство; это обнаруживаетъ только не выработанный талантъ, не укрѣпившееся перо, словомъ, литературную неопытность». Хорошо. Но вы, милостивые государи, какъ понимаете искусство? Неужели ему можно выучиться, пользуясь безпристрастными и благоразумными замѣчаніями опытныхъ писателей? Талантъ можетъ зрѣть не отъ навыка, не отъ выучки, но отъ опыта жизни; а лѣта и опытъ жизни могутъ возвысить взглядъ поэта на жизнь и природу, могутъ сосредоточить его энергію и пламень чувства, но не усилить ихъ, могутъ придать глубину его мысли, но не сдѣлать ея живѣе и тревожнѣе. А когда, какъ не въ первой молодости художника, чувство его бываетъ живѣе и пламеннѣе, фантазія игривѣе и радужнѣе? А гдѣ, какъ не въ первыхъ произведеніяхъ поэта, кипитъ и горитъ и колыхается бурною волною его свѣжее чувство? Слѣдовательно, какія же, какъ не первыя его произведенія, болѣе вѣрны, истинны, не натянуты, живы, вдохновенны, чужды вычуръ и гримасъ риторическихъ?... Помните ли вы юнаго поэта Веневитинова? Посмотрите, какая у него точность и простота въ выраженіи, какъ у него всякое слово на своемъ мѣстѣ, каждая рима свободна и каждый стихъ рождаетъ другой безъ припущенія? Развѣ онъ обдумывалъ или обдѣлывалъ свои поэтическія думы? То ли мы видимъ у г. Бенедиктова? Посмотрите, какъ неудачны его нововведенія, его изобрѣтенія, какъ неточны его слова! Человѣкъ у него витаетъ въ рощахъ; волны грудей у него превращаются въ грудныя волны; камень лопаеъ (вм. лопается), преклоняется къ заплечью красавицы, сидящей въ креслахъ; степь безпредметна; стоитъ безглаголенъ; сердце пляшетъ; солнце сентябревое; валы

лижутъ паты утеса; пирная роскошь и веселіе; прелестная сердцегубка и пр.

Такія фразы и ошибки противъ языка и здраваго смысла никогда не могутъ быть ошибками вдохновенія: эти ошибки ума, и только въ одной персидской поэзіи могутъ онѣ составлять красоту.

Гдѣ-то было сказано, что въ стихотвореніяхъ г. Бенедиктова владычествуетъ мысль: мы этого не видимъ. Г. Бенедиктовъ воспѣваетъ все, что воспѣваютъ молодые люди,—красавицъ, горе и радости жизни; гдѣ же онъ хочетъ выразить мысль, то или бываетъ слишкомъ теменъ, или становится холоднымъ риторомъ. Вотъ примѣръ:

Отвсюду объятый равниною моря,
Утесъ гордо высится,—мраченъ, суровъ,
Незыблемъ стоитъ онъ, въ могуществѣ спора
Съ прибойми волнъ и съ напоромъ вѣтровъ.
Вамъ только мѣжутъ могучаю паты;
Отъ времени только бразды вдоль чела;
Мохъ сѣрый ползетъ на широкіе скаты,—
Сѣдая вершина престолъ для орла.
Какъ въ плащъ, исполнивъ весь во мглу завернулся;
Поникъ, будто въ думахъ косматой главой;
Безстрашно надъ моремъ естъ станомъ наизуля
И грозно повиснулъ надъ бездной морской;
Вы ждете—падетъ онъ,—не ждите паденья!...
Наклонно (?) онъ сталъ, чтобы сверху взирать
На слабыя волны съ усмѣшкой презрѣнья
И смертнаго взоры отвагой пугать!... и т. д.

Скажите, что тутъ хорошаго? Во первыхъ, тутъ не выдержана метафора: сперва утесъ является покрытымъ только мхомъ, а потомъ уже косматымъ, т. е. покрытымъ кустарникомъ и даже деревьями; во вторыхъ, это не поэтическое возсозданіе природы, а наборъ громкихъ фразъ; это не солнце, которое освѣщаетъ и вмѣстѣ согреваетъ, а воздушный метеоръ, забавляющій человѣка своимъ ложнымъ блескомъ, но

не согрѣвающій его. Очень понятно, что авторъ хотѣлъ выразить здѣсь идею величія въ могуществѣ; но здѣсь идея не сливается съ формою: ея не чувствуешь, но только догадываешься о ней. Мицкевичъ, одинъ изъ величайшихъ мировыхъ поэтовъ, хорошо понималъ это великолѣпіе и гиперболизмъ описаній, и потому, въ своихъ «Крымскихъ Сонаетахъ» очень благоразумно прикидывался правовѣрнымъ мусульманиномъ; и въ самомъ дѣлѣ, это гиперболическое выраженіе удивленія къ Чатырдаху кажется очень естественнымъ въ устахъ поклонника Мугаммеда, сына Востока. Вообще громкія, великолѣпныя фразы еще не поэзія. При всемъ моемъ энтузіастическомъ удивленіи къ Пушкину мнѣ ни что не помѣшаетъ видѣть фразы, если онѣ есть, даже и въ такихъ его стихотвореніяхъ, въ которыхъ есть и истинная поэзія, и я, въ первой половинѣ его «Андрея Шенье», до того мѣста, гдѣ поэтъ представляетъ Шенье говорящимъ, вижу фразы и декламацию... Вотъ, напримѣръ, найдите мнѣ стихотвореніе, въ которомъ бы твердость и упругость языка, великолѣпіе и картинность выраженій, были доведены до большаго совершенства, какъ въ стихотвореніи:

Видалъ ли очи львицы голодной,
Когда идетъ она на брань,
Или съ весельемъ ногою хладной
Вонзаетъ въ трепетную лань?
Ты зрѣлъ гіену съ лютымъ зѣвомъ,
Когда грызетъ она затворъ!
Какъ раскаленъ упорнымъ гнѣвомъ!
Ея окровавленный взоръ!
Тебѣ случалось въ краѣ ночи,
Во весь опоръ пустявъ коня,
Внезапно волчьимъ встрѣтить очи,
Какъ два недвижимые огня!... и т. д.

И между тѣмъ, спрашиваю васъ, неужели это поэзія, а не стихотворная игрушка, неужели эти выраженія вышли въ вдохновенную минуту изъ души взволнованной, потря-

сенной, а не прибраны и не придуманы, въ напряженномъ и неестественномъ состояніи духа; неужели это безсознательное измѣненіе чувства, а не наборъ фразъ, написанныхъ на тему, заданную умомъ?... И взгляните пристальнѣе въ этотъ фальшивый блескъ поэзіи: что вы найдете въ немъ? Одно умѣнье, навыкъ, литературную опытность и вкусъ. Посмотрите, какъ искусно г. стихотворецъ умѣлъ придать ложный колоритъ поэзіи самымъ прозаическимъ выраженіямъ, съ семнадцатаго стиха до двадцать пятаго. Было время, когда подобныя натяжки принимались за поэзію; но теперь — извините!

Обращаюсь къ мысли. Я рѣшительно нигдѣ не нахожу ея у г. Бенедиктова. Что такое мысль въ поэзіи? Для удовлетворительнаго отвѣта на этотъ вопросъ, должно рѣшить сперва, что такое чувство. Чувство, какъ самое этимологическое значеніе этого слова показываетъ, есть принадлежность нашего организма, нашей плоти, нашей крови. Чувство и чувственность разнятся между собою тѣмъ, что послѣдняя есть тѣлесное ощущеніе, произведенное въ организмѣ какинъ-нибудь матеріальнымъ предметомъ; а первое есть тоже тѣлесное ощущеніе, но только произведенное *мыслію*. И вотъ отчего человекъ, занимающійся какинъ-нибудь вычисленіями или сухими мыслями, подноситъ руку ко лбу, и вотъ почему человекъ потрясенный, взволнованный чувствомъ, подноситъ руку къ груди или сердцу, ибо въ этой груди у него замираетъ дыханіе, ибо эта грудь у него сжимается или расширяется, и въ ней дѣлается или тепло или холодно, ибо это сердце у него и млѣетъ и трепещетъ и порывисто бьется; и вотъ почему онъ отступаетъ и дрожитъ и поднимаетъ руки, ибо по всему его организму, отъ головы до ногъ, проходитъ огненный холодъ и волосы становятся дыбомъ. И такъ очень понятно, что сочиненіе можетъ быть съ мыслію, но безъ чувства! и въ такомъ случаѣ есть ли въ немъ поэзія! И наоборотъ, очень понятно, что сочиненіе, въ которомъ есть

чувство, не можетъ быть безъ мысли. И естественно, что чѣмъ глубже чувство, тѣмъ глубже и мысль, и наоборотъ. «Вселенная безконечна», говорю я вамъ; эта мысль велика, и высока, но въ этихъ словахъ еще не заключается художественнаго произведенія, и не будетъ его, еслибы я распространилъ эту мысль хоть на десяти страницахъ. Но «Die Grösse der Welt», это стихотвореніе Шиллера, въ которомъ облечена въ поэтическую форму эта же самая мысль, и которое такъ прекрасно, полно и вѣрно передано на русскій языкъ г-мъ Шевыревымъ, дышитъ глубокою поэзію, и въ немъ мысль уничтожается въ чувствѣ, а чувство уничтожается въ мысли; изъ этого взаимнаго уничтоженія рождается высокая художественность. А отчего? Оттого, что эта мысль, родившись въ головѣ поэта, дала, такъ сказать, толчокъ его организму, взволновала и зажгла его кровь и зашевелилась въ груди. Таковъ «Демонъ» Пушкина, это стихотвореніе, въ которомъ такъ неизмѣримо глубоко выражена идея сомнѣнія, рано или поздно бывающаго удѣломъ всякаго чувствующаго и мыслящаго существа; такова же его дивная «Сцена изъ Фауста», выражающая почти ту же идею; таковъ его «Бахчисарайскій Фонтанъ», гдѣ, въ лицѣ Гирей, выражена мысль, что чѣмъ шире и глубже душа человѣка, тѣмъ менѣе способенъ онъ удовлетворить себя чувственными наслажденіями; таковы его «Цыгане», гдѣ выражена идея, что, пока человѣкъ не убьетъ своего эгоизма, своихъ личныхъ страстей, до тѣхъ поръ онъ не найдетъ для себя на землѣ истинной свободы ни посреди цивилизаціи, ни въ таборахъ кочующихъ дѣтей вольности. Я не говорю о другихъ его произведеніяхъ, я не говорю о его «Онѣгинѣ», этомъ созданіи великомъ и безсмертномъ, гдѣ что стихъ, то мысль, потому что въ немъ что стихъ, то чувство.

Вотъ вамъ мысль въ поэзіи! Это не разсужденіе, не описаніе, не силлогизмъ—это восторгъ, радость, грусть, тоска, отчаяніе, вопль! Но мое любимое правило: вещи познаются

всего лучше чрезъ сравненіе; и такъ возьмите стихотвореніе, Жуковскаго «Русская Слава» и стихотвореніе Пушкина «Клеветникамъ Россіи» — сравните ихъ, и тогда вы вполне поймете, что такое мысль въ поэзіи и что такое въ ней чувство и что одно безъ другаго быть не можетъ, если только данное сочиненіе художественно. Теперь, укажите мнѣ хоть на одно стихотвореніе г. Бенедиктова, которое бы заключало въ себѣ мысль въ изложенномъ значеніи, въ которомъ бы эта мысль томила душу, тѣснила грудь; въ которомъ былъ бы хотя одинъ сильный, энергическій стихъ, невольно западающій въ память и никогда не оставляющій ея! «Полярная Звѣзда» по красотѣ стиховъ — чудо: этому стихотворенію можно противопоставить только «Ганимеда» г. Теплякова; но оно сбивается на описаніе, и я не вижу въ немъ никакой мысли, а это, не забудьте, единственное, по стихамъ, стихотвореніе г. Бенедиктова. Кстати объ описаніяхъ: описаніе — вотъ основной элементъ стихотвореній г. Бенедиктова; вотъ гдѣ старается онъ особенно выказать свой талантъ, и, въ отношеніи ко внѣшней отдѣлкѣ, къ прелести стиха, ему это часто удается. Но это все прекрасныя формы, которымъ недостаетъ души. Въ старину (которая, впрочемъ, очень недавно кончилась) всѣ питали теплую вѣру въ описательную поэзію, а старовѣры, всегда вѣрные старопечатнымъ книгамъ и стародавнимъ преданіямъ, и теперь еще признаютъ существованіе описательной поэзіи. Объ этомъ спорить нечего — вопросъ давно рѣшенный! Описательной поэзіи нѣтъ и быть не можетъ, какъ отдѣльнаго вида, въ которомъ бы проявлялось изящное; но описательная поэзія можетъ быть вездѣ въ частяхъ и подробностяхъ. Описаніе красотъ природы создается, а не списывается; поэтъ изъ души своей воспроизводитъ картину природы, или возсоздаетъ видѣнную имъ; въ томъ и другомъ случаѣ, эта красота выводится изъ души поэта, потому что картины природы не могутъ имѣть красоты абсолютной; эта красота скрывается въ душѣ,творя-

шей или созерцающей ихъ. Поэтъ одушевляетъ картину своимъ чувствомъ, своею мыслию; надобно, чтобы онъ или любовался ею, или ужасался ей, если онъ хочетъ прельстить или ужаснуть васъ ею. Картины Кавказа и таврическихъ ночей, у Пушкина, плѣнительны, потому что онъ одушевилъ ихъ своимъ чувствомъ, потому что онъ рисовалъ ихъ съ тѣмъ упоеніемъ, съ которыми юноша описываетъ красоту своей любезной. Можетъ быть, увидя Кавказъ и слича дѣйствительность съ поэтическимъ представленіемъ, вы не найдете никакого сходства: это очень естественно— все зависитъ отъ расположенія нашего духа, потому что жизнь и красота природы таятся въ сокровищницѣ души нашей; природа отражается въ ней, какъ въ зеркалѣ: тускло зеркало—тусклы и картины природы, свѣтло зеркало—свѣтлы и картины природы. Я, право, не вижу почти никакого достоинства въ описательныхъ картинахъ г. Бенедиктова, потому что вижу въ нихъ одно усиліе воображенія, а не внутреннюю полноту жизни, все оживляющей собою. Въ стихотвореніяхъ г. Бенедиктова все не досказано, все не полно, все поверхностно, и это не потому, чтобы его талантъ еще не созрѣлъ, но потому, что онъ, очень хорошо понимая и чувствуя поэзію воспѣваемыхъ имъ предметовъ, не имѣетъ этой силы фантазіи, посредствомъ которой всякое чувство высказывается полно и вѣрно. У него нельзя отнять таланта стихотворческаго; но онъ не поэтъ. Читая его стихотворенія, очень ясно видишь, какъ они дѣланы. Если г. Бенедиктовъ будетъ продолжать свои занятія по стихотворной части, то онъ со временемъ выпишется, овладѣетъ поэзіемъ выраженія, выработаетъ свой стихъ, не будетъ дѣлать этихъ дѣтскихъ промаховъ, на которые я указалъ выше; словомъ, будетъ писать такъ же хорошо, какъ г. Трилунный, г. Шевыревъ, г. М. Дмитріевъ, но едва ли когда-нибудь будетъ онъ поэтомъ. Первые стихи поэта похожи на первую любовь: они живы, пламенны, естественны, чужды изысканности,

вычурности, натяжек; но таковы ли первые стихи г. Бенедиктова? Дай Богъ, чтобы мое предсказаніе оказалось ложнымъ и нелѣпнымъ, чтобы мои основанія, которыми я руководствовался въ моемъ сужденіи, были опровергнуты фактомъ: мнѣ было бы очень пріятно обмануться такимъ образомъ! Но до тѣхъ поръ, пока это не сбудется, я останусь твердъ въ своемъ мнѣніи, которое не есть слѣдствіе личности или какихъ-нибудь расчетовъ; но слѣдствіе любви къ истинѣ. Въ заключеніе скажу, что какъ ни естественно обмануться стихами г. Бенедиктова, но изданная имъ книжка, въ наше прозаическое время, многими можетъ быть принята за поэзію. Словомъ, если г. Бенедиктовъ не оставитъ своихъ стихотворныхъ занятій, онъ скоро приобрететъ себѣ большой авторитетъ; его стихи будутъ приниматься съ радостью во всѣхъ журналахъ, во многихъ будутъ расхваливаться, по крайней мѣрѣ, года два: а что будетъ послѣ?... То же, что стало теперь съ стихотворцами, которыхъ такъ много было въ прошломъ десятилѣтіи, и изъ которыхъ многіе обладали талантомъ выше г. Бенедиктова... Увы! что дѣлать! Рѣка времени все уноситъ, все истребляетъ, и немного, очень немного всплываетъ на ея сокрушительныхъ волнахъ!...

Многія изъ стихотвореній г. Бенедиктова очень милы, какъ весьма справедливо замѣчено въ одномъ журналѣ. Ихъ съ удовольствіемъ можно прочесть отъ нечего дѣлать; они не дадутъ душѣ поэтическаго наслажденія, но и не оскорбятъ, не возмутятъ его безвкусіемъ или нелѣпостію; нѣкоторыя даже будутъ пріятны для читателя, какъ апельсинъ въ лѣтній день, или чашка кофе послѣ обѣда. За то есть (хотя и очень немного) и такія, которыхъ бы рѣшительно не слѣдовало печатать. Таково «Наѣздица», мы не выписываемъ его, потому что наша цѣль доказать истину, а не повредить автору. У кого есть въ душѣ хоть искра эстетическаго вкуса, а въ головѣ хоть капля здраваго смысла, тотъ, вѣрно, согласится съ нами. Мы не требуемъ отъ поэта нравственности;

но мы вправѣ требовать отъ него граціи въ самыхъ его шалостяхъ; и, подъ этимъ условіемъ, мы ни одного стихотворенія г. Языкова не считаемъ безнравственнымъ, и подъ этимъ же условіемъ, мы считаемъ упомянутое стихотвореніе г. Бенедиктова очень неблагопрістойнымъ, и сверхъ того видимъ въ немъ рѣшительное отсутствіе всякаго вкуса. То же можно сказать и обо многихъ мѣстахъ нѣкоторыхъ другихъ его стихотвореній. Мы очень рады, что этотъ фактъ можетъ служить подтвержденіемъ истины, всѣми признанной, что только одинъ истинный талантъ можетъ быть нравственнымъ въ своихъ произведеніяхъ. Въ поэтическихъ шалостяхъ, грація—великое дѣло, потому что безъ нея эти шалости могутъ показаться отвратительными; а эта грація есть удѣлъ одного вдохновенія. Мы сказали, что нѣкоторыя стихотворенія г. Бенедиктова очень милы какъ поэтическія игрушки: такими считаемъ мы: «Къ Полярной Звѣздѣ», «Озеро», «Прощаніе съ саблею», «Ореллана», «Незабвенная», «Къ Н—му»; но особенно намъ понравилось «Два Видѣнія»—стихотвореніе, которое можетъ служить лучшимъ доказательствомъ нашего мнѣнія вообще о стихотвореніяхъ г. Бенедиктова.

СТИХОТВОРЕНІЯ КОЛЬЦОВА.

(Москва. 1835).

Даръ творчества дается не многимъ избраннымъ любимаѣ природы, и дается имъ не въ равной степени. У однихъ, степень его силы зависитъ рѣшительно отъ одной природы; у другихъ, она зависитъ сколько отъ природы, столько и отъ внѣшнихъ обстоятельствъ. Есть художники, произведеніямъ которыхъ обстоятельства ихъ жизни могутъ сообщить тотъ или другой характеръ, но на творческій талантъ которыхъ они не имѣютъ никакого вліянія: это художники-геніи. Отличительный признакъ ихъ геніальности состоитъ въ томъ, что они властвуютъ обстоятельствами и всегда сидятъ глубже и дальше черты, отчерченной имъ судьбою, и, подъ общими внѣшними формами, свойственными ихъ вѣку и ихъ народу, проявляютъ идеи, общія всѣмъ вѣкамъ и всѣмъ народамъ. Шекспиръ и при дворѣ Людвига XIV остался бы Шекспиромъ; его геніи не задушилъ бы заразителный воздухъ двора этого блистательнаго, но отнюдь не великаго, короля Франціи; его геніальнаго взгляда на жизнь—этой природной философіи, не убило бы мишурное величіе золотого вѣка французской словесности; его могущественныхъ порывовъ не оковали бы схоластическія понятія объ изящномъ. Но Расинъ и при дворѣ Елизаветы былъ бы придворнымъ поэтомъ, перелагалъ бы дворскія сплетни въ трагедіи и писалъ бы по той мѣркѣ,

которую давали бы ему люди, общественное мнѣніе, приличіе, или вкусъ королевы и лордовъ. Творенія гениевъ вѣчны, какъ природа, потому что основаны на законахъ творчества, которые вѣчны и неизблѣмы, какъ законы природы, и которыхъ кодексъ скрытъ во глубинѣ творческой души,—а не на проходящихъ и условныхъ понятіяхъ объ искусствѣ того или другаго народа, той или другой эпохи; потому что въ нихъ проявляется великая идея человѣка и человѣчества, всегда понятная, всегда доступная нашему человѣческому чувству, а не идемъ двора или общества въ то или другое время, у того или другаго народа. Гений есть торжественнѣйшее и могущественнѣйшее проявленіе сознающей себя природы и потому есть явленіе рѣдкое; не многіе вѣка озарялись этими роскошными солнцами, у не многихъ сіяло на небосклонѣ по нѣскольку этихъ солнцевъ... Но ежели вся цѣпь созданія есть не что иное, какъ восходящая лѣствица сознанія безсмертнаго и вѣчнаго духа, живущаго въ природѣ, то и служители искусства представляютъ собою ту же самую лѣствицу, которая восходить или нисходить, смотря по тому, съ начала или съ конца будете вы обозрѣвать ее. Безконечная и всегда неразрывная цѣпь! Есть художники, которыхъ вы не рѣшитесь почитать высокимъ именемъ гениевъ, но которыхъ вы поколеблетесь отнести къ талантамъ;—которые какъ бы начинаютъ собою нисходящую ступень лѣстницы и какъ бы принадлежать къ этому дивному поколѣнію духовъ, которыми пламенное воображеніе младенчествующихъ народовъ населило и лѣса и горы, и воды и воздухъ, и которыхъ называло силфами и пери, и поставило ихъ на чертѣ между высшими небесными духами и человѣкомъ. Наконецъ, есть еще эти художники, ознаменованные болѣею или меньшею степенью таланта творческаго, эти люди, на которыхъ небо взираетъ, какъ на любимыхъ, хотя и занимающихъ свое мѣсто послѣ духовъ безплотныхъ, чадъ своихъ. Хвала и поклоненіе наше гению, хвала и удивленіе высокому таланту! Но не откажемъ

же хотя во вниманіи и этому меньшому и юнѣйшему сыну неба! Не равно лучезарны лучи, сіяющіе на нихъ главахъ, но все они дѣти одного и того же неба, все они служители одного и того же алтаря. Пусть одинъ будетъ ближе, другой дальше къ алтарю — воздадимъ каждому почтеніе наше по мѣсту, занимаемому имъ, но уважимъ всякаго, кому дано свыше высокое право служенія алтарю...

Я хочу сказать, что художникъ по призванію есть всегда предметъ достойный вниманія нашего, на какой бы ступени художественнаго совершенства ни стоялъ онъ, какъ бы ни было невелико его творческое дарованіе. Если онъ точно художникъ, если точно природа помазала его при рожденіи на служеніе искусства, если онъ только не дерзкій самозванецъ, непосвященно и самовольно присвоившій себѣ право служенія божеству, — то, говорю я, не пройдемъ мимо его съ холоднымъ невниманіемъ, но остановимся передъ нимъ и посмотримъ на него испытующимъ взоромъ: можетъ быть, на его челѣ подглядимъ мы печать высокой думы, которая не для всехъ замѣтна; можетъ быть, въ его очахъ мы уловимъ этотъ лучъ вдохновенія, который всегда бываетъ гостемъ небеснымъ; можетъ быть, его уста выскажутъ намъ какую-нибудь святую тайну, взволнуютъ нашу грудь какимъ-нибудь сладкимъ, хотя и тихимъ чувствомъ...

Такимъ поэтомъ почитаемъ мы г. Кольцова; съ такой точки зрѣнія смотримъ мы на талантъ его; онъ владѣетъ талантомъ небольшимъ, но истиннымъ, даромъ творчества не глубокимъ и не сильнымъ, но не поддѣльнымъ и не натянутымъ, а это, согласитесь, не совсѣмъ обыкновенно, не весьма часто случается. Поспѣшимъ же встрѣтить новаго поэта съ живымъ сочувствіемъ, съ привѣтомъ и ласкою...

Я сказалъ, что геній-художникъ независимъ отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, что эти обстоятельства даютъ тотъ или другой характеръ его созданія, но не возвышаютъ и не ослабляютъ силы его фантазіи. Не таковы обыкновенные таланты:

ихъ нельзя разсматривать внѣ обстоятельствъ ихъ жизни, потому что этими обстоятельствами объясняется иногда и ихъ чрезвычайный успѣхъ и ихъ паденіе, этими обстоятельствами опредѣляется, что они могли бы сдѣлать и почему они сдѣлали столько, а не столько, такъ, а не эдакъ, и слѣдовательно, опредѣляется важность и степень ихъ таланта. Чтобы написать въ наше время нѣсколько строфъ, не уступающихъ въ звучности и великолѣпіи нѣкоторымъ строфамъ Ломоносова, нужно одно умѣніе и навыкъ, а въ то время, въ которое жилъ Ломоносовъ, для этого нуженъ былъ талантъ. И развѣ самъ Шекспиръ не становится выше въ нашихъ глазахъ оттого самаго, что онъ жилъ въ XVI, а не въ XIX вѣкѣ? Представьте себѣ Державина, поэта вѣка Екатерины II, поэтомъ вѣка Петра Великаго: развѣ ваше удивленіе къ нему не удвоится? И развѣ самъ Ломоносовъ не геній уже по одному тому, что онъ былъ холмогорскимъ рыбакомъ? Развѣ Слѣпушкинъ и другіе, совершенно не будучи поэтами, не обратили на себя общаго вниманія потому только, что они принадлежали къ низшему классу общества и самими себѣ были обязаны тѣмъ образованіемъ, которое какъ они сами, такъ и публика приняла за даръ творчества?... Кольцовъ тоже принадлежитъ къ числу этихъ поэтовъ-самоучекъ, съ тою только разницею, что онъ владѣетъ истиннымъ талантомъ.

Кольцовъ — воронежскій мѣщанинъ, ремесломъ прасолъ. Окончивъ свое образованіе приходскимъ училищемъ, т. е. выучивъ букварь и четыре правила ариметики, онъ началъ помогать честному и пожилому отцу своему въ небольшихъ торговыхъ оборотахъ и трудиться на пользу семейства. Чтеніе Пушкина и Дельвига въ первый разъ открыло ему тотъ міръ, о которомъ томилась душа его, оно вызвало звуки, въ ней заключенные. Между тѣмъ домашнія дѣла его шли своимъ чередомъ; проза жизни смѣняла поэтическіе сны; онъ не могъ вполне предаться ни чтенію, ни фантазіи. Одно удовлетворенное чувство долга награждало его и давало ему силу

переносить труды чуждые его призванію. Можетъ быть, и еще другое чувство охраняло поэзію этой души, которая всего чаще высказывала свое горе въ степяхъ, у огней,

Подъ пѣнь родную чужака. (Стр. 20).

Какъ тутъ было созрѣть таланту? Какъ могъ выработаться свободный, энергическій стихъ? И кочевая жизнь, и сельскія картины, и любовь, и сомнѣнія, попеременно занимали, тревожили его; но всѣ разнообразныя ощущенія, которыя поддерживаютъ жизнь таланта, уже созрѣвшаго, уже воспитавшаго свои силы, лежали бременемъ на этой неопытной душѣ; она не могла похоронить ихъ въ себѣ и не находила формы, чтобы дать имъ внѣшнее бытіе.

Эти немногія данныя объясняютъ и достоинства, и недостатки, и характеръ стихотвореній Кольцова. Немного напечатано ихъ изъ большой тетради, присланной имъ, не всѣ и изъ напечатанныхъ равнаго достоинства; но всѣ они любопытны, какъ факты его жизни. Природа дала Кольцову безсознательную потребность творить, а нѣкоторыя вычитанныя изъ книгъ понятія о творчествѣ заставили его *сдѣлать* многія стихотворенія. Изъ помѣщенныхъ въ изданіи, найдется дватри слабыхъ, но ни одного такого, въ которомъ не было бы хотя нечаяннаго проблеска чувства, хотя одного или двухъ стиховъ, вырвавшихся изъ души. Большая часть положительно и безусловно прекрасны. Почти всѣ они имѣютъ близкое отношеніе къ жизни и впечатлѣніямъ автора, и потому дышатъ простотою и наивностію выраженія, искренностію чувства, не всегда глубокаго, но всегда вѣрнаго, не всегда пламеннаго, но всегда теплаго и живаго. Но при всемъ этомъ, они разнообразны, какъ впечатлѣнія, которыхъ плодомъ они были. Въ «Великой Тайнѣ» читатель найдетъ удивительную глубину мысли, соединенную съ удивительною простотою и благородствомъ выраженія, какое-то младенчество и простодушіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ и возвышенность и ясность взгляда. Это дума Шиллера, переданная русскимъ простолюдиномъ, съ рус-

екою отчетливостью, ясностію, и съ простодушіемъ младенческаго ума. Въ «Пѣснѣ Старика», «Удальцѣ», «Совѣтѣ Старца» дышитъ этотъ разгулъ юнаго чувства, которое просится наружу, выражается широко и раздольно, и которое составляетъ основу русскаго характера, когда онъ, какъ говорится, расходится. Въ «Пирушкѣ русскихъ поселянъ», «Размышленіи Поселянина» и «Пѣснѣ Пахаря» выражается поэзія жизни нашихъ простолюдиновъ. Вотъ такую народность мы высоко цѣнимъ: у Кольцова она благородна, не оскорбляетъ чувства ни цинизмомъ, ни грубостію, и въ то же время она у него неподдѣльна, не натянута и истинна. Простота выраженія и картинъ, прелесть того и другого, у него неподражаемы. По крайней мѣрѣ, до сихъ поръ, мы не имѣли никакого понятія объ этомъ родѣ народной поэзіи, и только Кольцовъ познакомилъ насъ съ нимъ. Но что составляетъ цвѣтъ и вѣнецъ его поэзіи,—это тѣ стихотворенія, въ которыхъ онъ изливаетъ свое тихое и безотрадное горе любви; они слѣдующія: «Люди добрые скажите»; «Ты не пой соловей»; «Первая любовь»; «Не шуми ты, рожь»; «Къ N.»; четвертое особенно прелестно.

Не знаю, будутъ ли имѣть успѣхъ стихотворенія Кольцова, обратитъ ли на нихъ публика то вниманіе, котораго они заслуживаютъ, будутъ ли умѣть наши журналы отдать имъ должную справедливость—все это покажетъ время. Но мы не можемъ не признаться, что Кольцовъ является съ своими прекрасными стихотвореніями не въ время, или, лучше сказать, въ дурное время.

Хорошо еще для него, еслибы онъ явился среди всеобщаго затишья нашихъ неутомонныхъ лирѣ, а то вотъ бѣда, что онъ является среди дикаго и нескладнаго рева, которымъ терзаютъ уши публики гг. непризванные поэты, превзобильно и преисправно наполняющіе или, лучше сказать, наводняющіе нѣкоторые журналы; является въ то время, когда хриплое карканье ворона и грязныя картины будто бы на-

родной жизни съ торжествомъ выдаются за поэзію... Грустная мысль! неужели и въ этомъ дѣлѣ гудокъ, волынка и бала-лайка, должны заглушить звуки арфы? Неужели и въ самомъ дѣлѣ стихотворное паясничество и кривлянье должны заслонить собою истинную поэзію?... Чего добраго! поэзія Кольцова такъ проста, такъ неизысканна и, что всего хуже, такъ истинна! Въ ней нѣтъ ни дикихъ, напыщенныхъ фразъ объ утесахъ и другихъ страшныхъ вещахъ; въ ней нѣтъ ни моху забвенія на развалинахъ любви, ни плотныхъ устъовъ, въ ней не гнѣздится любовь въ ущельяхъ сердецъ, въ ней нѣтъ ни другихъ подобныхъ диковинокъ. Толпа слѣпа: ей нуженъ блескъ и трескъ, ей нужна яркость красокъ, и ярко-красный цвѣтъ у ней самый любимый... Но нѣтъ, этого быть не можетъ! Вѣдь есть же и у самой толпы какое-то чутье, которому она слѣдуетъ наперекоръ самой себѣ и которое у ней всегда вѣрно! Вѣдь есть же люди, которые, предпочитая Пушкину и того и другаго поэта, тверже всѣхъ поэтовъ знаютъ наизусть Пушкина и чаще всѣхъ читаютъ его?... Кажется, теперь бы и должно быть этому времени, въ которое все оцѣнивается вѣрно и безошибочно?—Увидимъ!

Не знаемъ, разовьется ли талантъ Кольцова, или падетъ подъ игомъ жизни?—Этотъ вопросъ рѣшить будущее, намъ остается только желать, чтобы этотъ талантъ, котораго дебютъ такъ прекрасенъ, такъ полонъ надеждъ, развился вполне. Это много зависитъ и отъ самаго поэта; да не падетъ же его духъ подъ бременемъ жизни, или убитый ею, или обольщенный ея ничтожностію; да будетъ для него всегдашнимъ правиломъ эта высокая мысль борьбы съ жизнью и побѣды надъ нею, которую онъ такъ прекрасно выразилъ въ стихотвореніи: «Къ Другу».

Мы отъ души убѣждены, что до тѣхъ поръ, пока г. Кольцовъ будетъ сохранять высказанныя въ немъ чувства и будетъ основывать на нихъ неизмѣнное правило жизни, его талантъ не угаснетъ!...

ОНЫТЪ СИСТЕМЫ НРАВСТВЕННОЙ ФИЛОСОФІИ.

(Алексѣя Дроздова. Спб. 1835).

У насъ вообще не только совсѣмъ не распространено знаніе философіи, но и самое стремленіе къ нему едва начинаетъ пробуждаться, и то отрывочно, не дружно, какими-то порывами, безъ постоянства. Но тѣмъ не менѣе оно уже пробуждается, несмотря на отчаянные вопли профановъ науки, истощающихъ всѣ усилія своей «свѣтской» діалектики противъ «логическихъ построеній». Особенно это стремленіе замѣтно въ нашемъ духовенствѣ, которое съ любовью и замѣтнымъ успѣхомъ занимается этою великою наукою. Брошюрка, заглавіе которой выписано въ началѣ этой статьи, написанная духовнымъ и изданная духовнымъ, служитъ тому доказательствомъ.

Разумѣется, объ ней нигдѣ ничего не было сказано, да и намъ самимъ она попалась случайно. Мы прочли ее съ удовольствіемъ, которымъ и спѣшимъ подѣлиться съ нашими читателями. Вѣрный взглядъ на многіе предметы, прекрасное, проницанное чувствомъ изложеніе идей, добросовѣстность въ сужденіи, простота и ясность, составляютъ достоинство этого сочиненія; а отсутствіе строгой системы, происшедшее отъ невѣрности общему началу, и вслѣдствіе того частныя противорѣчія, вотъ ея недостатки. Въ томъ или другомъ случаѣ, какъ важность предмета, такъ и уваженіе къ добросовѣст-

ному и безкорыстному труду, побуждают насъ поговорить о немъ поподробнѣе.

Поттенный авторъ начинаетъ, какъ и должно, съ опредѣленія идеи «нравственной философіи», которую онъ иначе называетъ «дѣятельною»; различіе ея отъ «умозрительной» онъ полагаетъ въ томъ, что предметъ послѣдней есть *истина*, а первой *добро*. Между тою и другою онъ находитъ «координацію», которая, не дѣлая ихъ отдѣльными знаніями, предполагаетъ возможность ихъ обработыванія независимо одна отъ другой.

Вслѣдъ за тѣмъ авторъ говоритъ, что «нравственная философія не можетъ выводить началъ своихъ изъ опытовъ историческихъ, или изъ какихъ-нибудь правдоподобныхъ правилъ, но требуетъ точныхъ и основательныхъ свѣдѣній о томъ, что само въ себѣ истинно, хорошо и справедливо». Уже одного этого достаточно, чтобы видѣть въ этой книгѣ нѣчто достойное вниманія, а въ авторѣ, — человека понимающаго свой предметъ. Есть два способа изслѣдованія истины: а *priori* и а *posteriori*, т. е. изъ чистаго разума и изъ опыта. Много было споровъ о преимуществѣ того и другаго способа, и даже теперь нѣтъ никакой возможности примирить эти двѣ враждующія стороны. Одни говорятъ, что познаніе, для того чтобы быть вѣрнымъ, должно выходить изъ самаго разума, какъ источника нашего сознанія, слѣдовательно должно быть субъективно, потому что все сущее имѣетъ значеніе только въ нашемъ сознаніи и не существуетъ само для себя; другіе думаютъ, что познаніе тогда только вѣрно, когда выведено изъ фактовъ, явленій, основано на опытѣ. Для первыхъ существуетъ одно сознаніе, и реальность заключается только въ разумѣ, а все остальное бездушно, мертво и бессмысленно само по себѣ, безъ отношенія къ сознанію; словомъ, у нихъ разумъ есть царь, законодатель, сила творческая, которая даетъ жизнь и значеніе несуществующему и мертвому. Для вторыхъ, реальное заключается въ вещахъ, фактахъ, въ яв-

леніяхъ природы, а разумъ есть не что иное, какъ поденщикъ, рабъ мертвой дѣйствительности, принимающій отъ ней законы и измѣняющійся по ея прихоти, слѣдовательно мечта, призракъ. Вся вселенная, все сущее есть не что иное, какъ единство въ многоразличіи, безконечная цѣпь модификацій одной и той же идеи; умъ, теряясь въ этомъ многообразіи, стремится привести его въ своемъ сознаніи въ единству, и исторія философіи есть не что иное, какъ исторія этого стремленія. Яйца Леды, вода, воздухъ, огонь, принимавшіеся за начала и источникъ всего сущаго, доказываютъ, что и младенческій умъ проявлялся въ томъ же стремленіи, въ какомъ онъ проявляется и теперь. Непрочность первоначальныхъ философскихъ системъ, выведенныхъ изъ чистаго разума, заключается совсѣмъ не въ томъ, что онѣ были основаны не на опытѣ, а напротивъ въ ихъ зависимости отъ опыта, потому что младенческій умъ беретъ всегда за основной законъ своего умозрѣнія не идею, въ немъ самомъ лежащую, а какое-нибудь явленіе природы, и слѣдовательно выводитъ идеи изъ фактовъ, а не факты изъ идей. Факты и явленія не существуютъ сами по себѣ: они всѣ заключаются въ насъ. Вотъ, наприимѣръ, красный четверугольный столъ: красный цвѣтъ есть произведеніе моего зрительнаго нерва, приведеннаго въ сотрясеніе отъ созерцанія стола; четверугольная форма есть типъ формы, произведенный моимъ духомъ, заключенный во мнѣ самомъ и придаваемый мною столу; самое же значеніе стола есть понятіе, опять-таки во мнѣ же заключающееся и мною же созданное, потому что изобрѣтенію стола предшествовала необходимость стола, слѣдовательно столъ былъ результатомъ понятія, созданнаго самимъ человекомъ, а не полученнаго имъ отъ какого-нибудь внѣшняго предмета. Внѣшніе предметы только даютъ толчокъ нашему я и возбуждаютъ въ немъ понятія, которыя оно придаетъ имъ. Мы этимъ отнюдь не хотимъ отвергнуть необходимости изученія фактовъ: напротивъ допускаемъ вполне необходи-

мость этого изученія; только съ тѣмъ вмѣстѣ, хотимъ сказать, что это изученіе должно быть чисто-умозрительное и что факты должно объяснять мыслию, а не мысли выводить изъ фактовъ. Иначе матерія будетъ началомъ духа, а духъ работою матеріи. Такъ и было въ осьмнадцатомъ вѣкѣ, этомъ вѣкѣ опыта и эмпиризма. И къ чему привело это его? Къ скептицизму, матеріализму, безвѣрію, разврату и совершенному невѣдѣнію истины при обширныхъ познаніяхъ. Чтѣ знали энциклопедисты? Какіе были плоды ихъ учености? Гдѣ ихъ теоріи? Онѣ всѣ разлетѣлись, полопались какъ мыльные пузыри. Возьмемъ одну теорію изящнаго, теорію, выведенную изъ фактовъ и утвержденную авторитетами Буало, Баттѣ, Лагарпа, Мармонтеля, Вольтера: гдѣ она, эта теоріи или, лучше сказать, чтѣ она такое теперь? Не больше какъ памятникъ безсилія и ничтожества человѣческаго ума, который дѣйствуетъ не по вѣчнымъ законамъ своей дѣятельности, а покоряется оптическому обману фактовъ. Къ чему повела эта теоріи? Къ современной гибели и уничтоженію искусства, низведеннаго ею на степень простаго ремесла. А отчего? Оттого, что эти люди хотѣли создать идеалъ искусства по безсмертнымъ образцамъ, завѣщаннымъ древностію, а не вывести изъ своего духа. Скажутъ, онѣ знали только греческую и римскую словесность, а потому и судили только по произведеніямъ этихъ литературъ; но не знали Шекспира, не были знакомы съ литературою среднихъ вѣковъ, литературами восточныхъ народовъ, жили прежде Шиллера, Гёте, Байрона. Ну, такъ чтѣ-жъ? Имъ и не нужно было знать всего этого, потому что у нихъ было нѣчто надежнѣе произведеній Шиллера, Гёте и Байрона, у нихъ былъ разумъ, въ нихъ былъ сознающій себя духъ человѣческій, а въ этомъ разумѣ, въ этомъ духѣ заключался идеалъ искусства, заключалось темное и трепетное предчувствіе истинныхъ произведеній творчества. Если произведенія древности не подходили подъ этотъ идеалъ, это значило, что или они не такъ по-

нимали эти произведенія, или что эти произведенія ложны и не художественны. Чтобы представить это яснѣе, возьмемъ какой-нибудь примѣръ. Я убѣжденъ, что поэзія есть безсознательное выраженіе творящаго духа, и что слѣдовательно поэтъ, въ минуту творчества, есть существо болѣе страдательное, нежели дѣйствующее, а его произведеніе есть уловленное видѣніе, представшее ему въ свѣтлую минуту откровенія свыше, слѣдовательно оно не можетъ быть выдуманною его ума, сознательнымъ произведеніемъ его воли. Взявши это основаніе за абсолютное, я не признаю поэзіи ни въ чемъ, что создано не по этому закону, ни въ чемъ, что имѣло цѣль или было результатомъ подражанія.

«Но, скажутъ мнѣ, такіа - то и такіа - то произведенія не подходятъ подъ этотъ законъ». — Слѣдовательно они ложны, отвѣчаю я. — «Но вѣрно ли ваше начало?» — Опровергните его! — Теперь пойдемъ далѣе. Я убѣжденъ, что эпическая поэма, чтобъ быть истинно художественнымъ произведеніемъ, должна отражать въ себѣ, какъ въ зеркалѣ, жизнь цѣлаго народа; потомъ, чтобъ быть такою, она должна быть произведена по закону творчества, о которомъ я уже говорилъ; т. е. должна быть безсознательнымъ выраженіемъ творящаго духа, независимымъ отъ сознательной воли человѣка, слѣдовательно въ высочайшей степени оригинальнымъ, въ высочайшей степени чуждымъ всякаго подражанія. Такова «Иліада», — произведеніе ли она цѣлаго народа, или какого-нибудь слѣпца Гомера, — которая есть символъ идеи героической Греціи; таковъ «Фаустъ» Гёте, созданіе одного человѣка, который самъ былъ полнѣйшимъ выраженіемъ Германіи и который въ самомъ созданіи представилъ символъ духа своего отечества, въ формѣ оригинальной и свойственной его вѣку. Но не таковы «Энеида», «Освобожденный Іерусалимъ», «Потерянный Рай», «Мессіада», потому что онѣ созданы не безотчетно, не самобытно, а вслѣдствіе «Иліады», слѣдовательно живутъ не своею, а чужою жизнію. Поэтому въ нихъ нѣтъ и не можетъ быть ни полной

картины жизни народа, которому онѣ принадлежать, ни вѣрнаго отраженія духа времени, въ которое онѣ произошли. Конечно, въ нихъ есть великія частныя красоты; но тѣмъ не менѣ это произведенія ложныя и ошибочныя. — Однако они признаны всѣми вѣками? — Такъ: но пусть докажутъ, что мои основанія ложны; въ такомъ случаѣ я сознаюсь, что вѣка говорили дѣло. Только тогда для меня ужъ не будетъ поэзіи: поэзія превратится въ ремесло, въ забаву, въ невинное препровожденіе времени, въ родъ карточной игры или танцевъ. Приведемъ еще примѣръ. Недавно какъ-то въ одномъ журналѣ отставали отъ жестокихъ нападокъ здраваго смысла плохонькую пріятельскую книженку, для чего не нашли лучшаго способа, какъ отвергнуть возможность поэзіи у необразованныхъ и невѣжественныхъ народовъ, какъ будто поэзія есть плодъ науки и цивилизаціи, а не свободный плодъ человеческого духа. Для этого рыцарь пріятельской книжки уцѣпился руками и ногами за русскую пѣсню:

Какъ у нашего двора
Пріюкатана гола —

и доказалъ ею, какъ дважды два—четыре, что въ русскихъ народныхъ пѣсняхъ нѣтъ поэзіи, потому-де, что онѣ сложены безграмотными мужиками, а не «свѣтскими» людьми, не кандидатами, магистрами и докторами, не позаботясь даже догадаться, что приведенная имъ въ примѣръ пѣсня не есть совсѣмъ пѣсня, а голосъ пѣсни, родъ припѣва, гдѣ часто собираются слова, не имѣющія никакого смысла, только для голоса, какъ, напримѣръ, «ай люли, ай люли!» и т. п. Вотъ что значитъ основываться на фактахъ безъ мысли! И оттого-то, читая эту статью, не знаешь что читаешь: статью ли о поэзіи, или о новомъ способѣ унавоживать поля для посѣва картофеля... Смѣшно и жалко!...

Но я началъ объ осьмнадцатомъ вѣкѣ и о Французахъ, и самъ не замѣтилъ, какъ перешелъ къ девятнадцатому вѣку

и къ намъ Русскимъ; это оттого, что осьмнадцатый вѣкъ еще и теперь здравствуетъ во многихъ нашихъ книгахъ и журналахъ, особливо «свѣтскихъ», а Французы по сю пору водятъ насъ какъ дѣтей на помочахъ своего эмпиризма, выдавая его за эклектизмъ. Человѣчество только отъ Нѣмцевъ узнало, что такое искусство и что такое философія, тогда какъ Французы вмѣсто искусства показали намъ что-то въ родѣ башмачнаго ремесла, а вмѣсто философія что-то въ родѣ игры въ бирюльки. Умозрѣніе всегда основывается на законахъ необходимости, а эмпиризмъ на условныхъ явленіяхъ мертвой дѣйствительности. Поэтому первое есть зданіе, построенное на камнѣ; второе—зданіе, построенное на пескѣ, которое тотчасъ валится, если вѣтеръ сдуетъ хоть одну изъ песчинокъ, составляющихъ его зыбкое основаніе. Математика есть наука по преимуществу положительная и точная, и между тѣмъ нисколько не эмпирическая, а выведенная изъ законовъ чистаго разума, что одно и то же; что дважды два — четыре, эта истина узнана не изъ опыта, а изъ духа перенесена въ опытъ. Что такое всѣ гипотезы, на которыхъ основана астрономія, какъ не умозрѣніе? а между тѣмъ развѣ астрономія наука не положительная? Два величайшія открытія въ области нашего вѣдѣнія — Америка и планетная система—сдѣланы а priori. Надъ Колумбомъ и Галилеемъ смѣялись, какъ надъ сумасшедшими, потому что опытъ явно опровергалъ ихъ: но они вѣрили своему разуму и разумъ былъ оправданъ ими.

Но еще страннѣе намъ кажется мысль о какомъ-то современномъ соединеніи умозрительнаго и эмпирическаго способа изслѣдованія истины: помилуйте, это сушая нелѣпость, которую уничтожается цѣлый кругъ знанія, возможность всякой науки, потому что этимъ отрицается дѣйствительность не только умозрѣнія, но и самаго опыта: если умозрѣніе нуждается въ помощи опыта, значитъ оно недостаточно; если опытъ нуждается въ помощи умозрѣнія, значитъ и онъ не-

достаточенъ. Признавая недостаточность опыта, мы уничтожаемъ реальность фактовъ, независимую отъ нашего сознанія, и утверждаемъ тѣмъ, что посредствомъ опыта рѣшительно ничего невозможно узнать; признавая недостаточность умозрѣнія, превращаемъ нашъ разумъ въ фантомъ и утверждаемъ, что и посредствомъ разума ничего невозможно узнать. Следовательно, къ чему же поведетъ это соединеніе? Только два однородные предмета могутъ составить одно цѣлое. Другое дѣло—повѣрка умозрѣнія опытомъ, приложеніе умозрѣнія къ фактамъ: это дѣло возможное. Если умозрѣніе вѣрно, то опытъ непремѣнно долженъ подтверждать его въ приложеніи, потому что, какъ мы уже сказали, и самое опытное знаніе есть необходимо умозрительное, вслѣдствіе того, что фактъ имѣть жизнь и значеніе не самъ по себѣ, а только по тому понятію, которое онъ пробуждаетъ въ нашемъ сознаніи и которое мы къ нему прилагаемъ. Следовательно, если факты поняты вѣрно, они непремѣнно должны подтверждать умозрѣніе, потому что умозрѣніе не противорѣчитъ умозрѣнію.

И такъ, сочиненіе г. Дроздова принадлежитъ къ области умозрѣнія, что и даетъ ему необходимо важность и силу въ глазахъ людей мыслящихъ. Но отдавая ему должную справедливость, мы тѣмъ болѣе должны быть безпристрастны и къ его недостаткамъ. А главный его недостатокъ, какъ мы уже и замѣтили, состоитъ въ противорѣчии автора съ самимъ собою, вслѣдствіе его невѣрности умозрѣнія, которое онъ самъ признаетъ единственнымъ законнымъ способомъ изслѣдованія истины.

Въ § 13 своей книгѣ г. Дроздовъ говоритъ:

Если высочайшій законъ нравственности долженъ имѣть истинное достоинство и нравственную цѣну, то онъ долженъ происходить: а) изъ ядеи высочайшаго добра; б) обвинять всю область нравственной жизни, следовательно имѣть характеръ безусловной всеобщности; в) долженъ имѣть прямое и преимущественное направленіе къ нашему чувству, потому что только это чувство зависитъ отъ воли во всѣхъ

отношеніяхъ жизни. Но когда станемъ требовать отъ высочайшаго нравственнаго закона того, чтобы онъ всегда научалъ, какъ долженъ поступать нравственно-добрый человѣкъ въ каждомъ особенномъ, непредвидѣнномъ случаѣ — или будемъ требовать отъ него совершенно невозможнаго, или мораль должна превратиться въ такъ-называемую „казуистику“.

Все это очень вѣрно и дѣлаетъ большую честь мышленію автора; но вслѣдъ за тѣмъ встрѣчается и противорѣчіе, ложная мысль, которую очень непріятно встрѣтить послѣ такихъ прекрасныхъ и истинныхъ мыслей:

Въ такомъ случаѣ, чтобы не разстроить связи и единства дѣятельной философіи, лучше всего предоставить различіе добра и зла самому произволу человѣка.

Нѣтъ, мы думаемъ, что всѣ частные вопросы должны необходимо вытекать изъ основной идеи нравственности и рѣшаться ею: въ противномъ случаѣ, человѣкъ, предоставленный своему произволу, самъ сдѣлается казуистомъ. Эта ошибка повела автора къ другой, важнѣйшей; заставила его, противъ воли, сдѣлать изъ нравственной философіи настоящую казуистику.

Вторая часть его сочиненія заключаетъ въ себѣ «частную нравственную философію», то есть именно приложеніе нравственной философіи къ частнымъ случаямъ, которые, какъ и должно, нисколько не вяжутся ни съ цѣлымъ сочиненіемъ, ни другъ съ другомъ.

Подобныхъ противорѣчій можно бы было найти и болѣе. Но не эта цѣль наша; мы хотѣли обратить на сочиненіе г. Дроздова вниманіе публики, на которое оно имѣетъ законныя права, и потому безпристрастно высказавши наше мнѣніе о его недостаткахъ, спѣшимъ выставить на видъ то, что показалось намъ въ немъ особенно достойнымъ вниманія.

Доброе есть религіозная идея, также какъ истинное и прекрасное. Человѣческій духъ поставляетъ Бога первоначальнымъ источникомъ столько же всего добраго, сколько всего истиннаго и прекраснаго, слѣдовательно вѣчная идея добраго имѣетъ тѣсную, превѣчную связь съ Богомъ, существомъ всесвятѣйшимъ. Ибо все доброе принимаетъ ха-

ракторъ истиннаго добра не иначе, какъ отъ своего участія въ превъзномъ добрѣ и превъзной истинѣ. Поэтому-то, все нравственно-доброе и запечатлѣно печатію величія и святости, возбуждающихъ въ человѣкѣ безконечное благоговѣніе. Ибо оно есть отраженіе высочайшаго добра—Бога.

Доброе имѣетъ также тѣснѣйшее сродство съ истиннымъ и прекраснымъ. Ибо и оно, также какъ истинное и прекрасное, не подлежитъ никакой перемѣнѣ; вѣчно равное самому себѣ, оно никогда не теряетъ высокаго значенія своего для человеческого духа.

Нравственно-доброе становится изящнымъ, когда обнаруживается въ насъ какъ любовь къ Богу и человѣчеству. Поэтому, каждый добрый поступокъ человѣка есть вмѣстѣ истинный и прекрасный поступокъ (§ 10).

Вотъ истинныя понятія о нравственно-добротѣ и къ сожалѣнію такъ рѣдко встрѣчаемыя въ нашихъ мыслителяхъ! Конечно ученый безкорыстно орошающій потомъ чела своего ниву знанія, поставившій въ трудѣ цѣль и счастье своей жизни и находящій въ самомъ этомъ трудѣ свою высшую, свою конечную награду, есть жрецъ, служитель Бога; художникъ, въ ту минуту, когда воспроизводитъ въ словѣ, краскѣ или звукѣ дивныя явленія, таинственно сопричастующія его душѣ, есть также жрецъ, служитель Бога. Недаромъ, въ древности, у всѣхъ народовъ, жрецы были вмѣстѣ и хранителями знаній и служителями искусства: это доказываютъ не одни брамины и маги, египетскіе и греческіе жрецы, это доказываютъ и левиты еврейскіе, которые въ то же время были и книжниками, т. е. хранителями и представителями народной мудрости. Въ средніе вѣка свѣтъ просвѣщенія пламенѣлъ только въ уединеніи монастырскихъ келій, и только одни монахи, служители и мученики вѣры, были хранителями этого священнаго огня, не дали ему погаснуть до тѣхъ поръ, пока онъ не перешелъ и къ свѣтскимъ сословіямъ. Да придетъ же то время, когда люди убѣдятся, что науки и искусства суть также служеніе верховному добру, которое вмѣстѣ есть верховная истина и красота! Гердеръ есть типъ и предвозвѣстникъ этого времени, когда книга, перо, лира, кисть, рѣзецъ, будутъ кадиломъ божеству, орудіями священно-

служенія истинѣ, добру и красотѣ, совершаемаго тремя элементами нашего духа: разумомъ, волею и чувствомъ.

Понятіе и два рода совѣсти. Совѣсть есть первоначальное чувство добра и зла, основанное на существѣ духовной природы человѣка. Она развивается въ человѣкѣ вмѣстѣ съ развитіемъ ума и обнаруживается, какъ совѣсть добрая, во всемъ чистомъ и справедливомъ образѣ дѣятельности и характера человѣка; но она становится совѣстію злою, угрызающею при всякомъ незаконномъ чувствованіи или поступкѣ существа свободнаго и разумнаго.

Примѣч. Совѣсть, разсматриваемая въ двухъ вышеупомянутыхъ отношеніяхъ, раздѣляется на предъидущую и послѣдующую. Первая предшествуетъ поступку и состоитъ въ сознаніи нравственнаго закона и обязанностей, возлагаемыхъ имъ на свободу воли нашей; послѣдняя слѣдуетъ за поступкомъ, и оправдываетъ или осуждаетъ человѣка, производя въ немъ сознаніе свободного исполненія, или преступленія закона.

Здѣсь мы опять невольно принуждены остановиться и спросить автора: изъ какихъ началъ и вслѣдствіе какой необходимости вывелъ онъ это подраздѣленіе? Оно кажется намъ совершенно произвольнымъ, а слѣдовательно и неправильнымъ; то, что авторъ называетъ «сознаніемъ нравственнаго закона и обязанностей, возлагаемыхъ имъ на свободу воли нашей», есть дѣло разума, а отнюдь не совѣсти; слѣдовательно его «предъидущая совѣсть» принадлежитъ къ казуистикѣ, а не къ нравственной философіи.

Должно смотрѣть на совѣсть, какъ на существенную принадлежность нашей природы. Совѣсть принадлежитъ къ существеннымъ свойствамъ духовной природы человѣка, и никакъ не можетъ быть слѣдствіемъ воспитанія или какихъ-нибудь общественныхъ господствующихъ привычекъ. Если бы то или другое было справедливо, то могли бы когда-нибудь обойтись безъ этого внутреннего судіи. Но опытъ увѣряетъ, что хотя можно усыпить совѣсть, но никакъ нельзя совершенно искоренить ее въ человѣческомъ духѣ. Изъ одного міра она сопровождаетъ насъ въ другой.

Есть люди, которые отрицаютъ существованіе совѣсти и почитаютъ ее за предразсудокъ, основываясь на безконечной разности понятій о добрѣ и злѣ у разныхъ народовъ.

«У насъ, говорятъ они, уваженіе къ родителямъ и къ старости есть одна изъ священнѣйшихъ обязанностей, нарушеніе которой влечетъ за собою угрызеніе совѣсти: но у многихъ дикихъ народовъ, дѣти вѣшаютъ на деревьяхъ своихъ престарѣлыхъ родителей и исполняютъ это варварское дѣло какъ предписаніе закона или религіи, неисполненіе котораго влечетъ за собою угрызеніе совѣсти; у насъ челоуѣколюбіе оказывается даже личнымъ врагомъ: дикіе мучатъ и ѣдятъ своихъ плѣнниковъ; у насъ мщеніе есть порокъ: у варваровъ оно добродѣтель; слѣдовательно что-же такое совѣсть, если она въ одномъ мѣстѣ награждаетъ за то, за что наказываетъ въ другомъ, и на оборотъ?» Здѣсь явная ошибка, происходящая оттого, что слѣдствіе принято за причину, т. е. совѣсть за разумъ. Опредѣлимъ, что такое совѣсть. Челоуѣкъ созданъ для сознанія, и потому можетъ быть счастливъ только вслѣдствіе сознанія; слѣдовательно сознаніе есть его нормальное, естественное, а потому и блаженное состояніе, которое проявляется въ равновѣсіи челоуѣка самому себѣ, въ мирѣ и гармоніи съ самимъ собою; безсознательность же есть состояніе неестественное, болѣзненное, разрушающее равенство челоуѣка съ самимъ собою, миръ и гармонію его духа, слѣдовательно разрушающее его счастье. И такъ совѣсть добрая есть состояніе сознанія, злая—состояніе безсознанія. Первая условливаетъ наше счастье, даже и въ случаѣ потерь, лишеній, страданій, горестей, потому что, лишаясь счастья внѣшняго, мы не лишаемся счастья внутренняго, происходящаго отъ сознанія и состоящаго въ спокойствіи и гармоніи духа; вторая же, и при внѣшнемъ счастьи, состоящемъ въ исполненіи нашихъ эгоистическихъ желаній, лишаетъ насъ внутренняго счастья, которое одно истинно и удовлетворительно, потому что приводитъ нашъ духъ въ неравенство, въ дисгармонію съ самимъ собою, вслѣдствіе безсознанія. Выньте рыбу изъ воды—она издохнетъ, потому что вода есть стихія, которою она

дышать; лишите человѣка сознанія—онъ будетъ несчастливъ, потому что сознаніе есть стихія его духовной жизни. И потому, когда человѣкъ дѣлаетъ то, чего, по его сознанію, ему не должно дѣлать, онъ разрушаетъ свою внутреннюю гармонію, потому что поступаетъ противъ сознанія. Если человѣкъ наслаждается полнымъ счастіемъ, и вѣшнимъ и внутреннимъ, и если, не имѣя твердости лишиться вѣшнихъ выгодъ, обуславливающихъ его счастье, онъ для сохраненія ихъ поступить недобросовѣстно, то непремѣнно лишается не только своего внутреннего счастья, но и вѣшняго, потому что не вѣшнымъ счастіемъ обуславливается внутреннее, а внутреннимъ вѣшнее. Напротивъ, хотя человѣкъ, который оставилъ своего отца, мать, братьевъ и сестеръ, жену и дѣтей, составлявшихъ счастье его жизни, оставилъ свое достоиніе, обезпечивающее его жизнь, и оставилъ бы для того, чтобы не поступить противъ своего убѣжденія и подлостью не купить обладанія условіями своего счастья; словомъ для того, чтобы не нарушить заповѣди Спасителя: «иже любитъ отца или мать паче Мене, нѣсть Мене достоинъ; и иже любитъ сына или дочь паче Мене, нѣсть Мене достоинъ; и иже не приметъ креста своего, и въ слѣдъ Мене не грядетъ, нѣсть Мене достоинъ»; хотя, говорю, такой человѣкъ и былъ бы мученикомъ, страдальцемъ, но все не лишился бы своего внутреннего блаженства, т. е. все бы остался равенъ самому себѣ, въ мирѣ и гармоніи съ самимъ собою, и еще въ большей гармоніи, нежели былъ прежде, потому что въ самомъ страданіи нашелъ бы новое высокое блаженство, состоящее въ сознаніи исполненнаго долга, поддержаннаго человѣческаго достоинства, хотя страданіе тѣмъ не менѣе осталось бы страданіемъ. И такъ, вотъ что совѣсть: сознаніе гармоніи или дисгармоніи своего духа. Очевидно, что она есть только слѣдствіе сознанія хорошаго или дурнаго поступка, а не самое сознаніе, и потому не можетъ паправлять нашей дѣятельности, которая должна управляться непосредственно са-

нимъ разумомъ или сознаниемъ: другими словами, мы не совѣстью понимаемъ, что хорошо или дурно, а сознаниемъ. Если дикарь душитъ своего престарѣлаго отца, то онъ дѣлаетъ это не по внушенію своей совѣсти, а по неправильнымъ понятіямъ своего разума; и потому то онъ бываетъ правъ передъ своей совѣстью, и очень естественно, что она не только не наказываетъ его за подобный поступокъ, но еще награждаетъ, потому что совѣсть никогда не бываетъ во враждѣ съ убѣжденіемъ, будетъ ли оно истинно, или ложно. И такъ у всѣхъ народовъ могутъ быть различныя понятія о добрѣ и злѣ, смотря по степени ихъ сознанія, но совѣсть вездѣ одна и та же, и отрицать ея существованіе различіемъ правилъ нравственности у разныхъ народовъ значитъ еще несомнѣннѣе утверждать ея существованіе.

Какія нужны побужденія для нравственно-добраго поступка. Для того, чтобы поступокъ былъ совершенно добрымъ, требуется, чтобы побудительными причинами для дѣятельности нравственно-разумнаго существа были: 1) познаніе добра и 2) любовь къ добру и первообразу всего добраго.

Ибо не только вѣншее дѣйствіе должно быть добрымъ, но и самое чувствованіе или, что одно и то же, самое намѣреніе, которое составляетъ душу поступка. Поэтому совершенно добрый поступокъ есть принадлежность только человѣка съ образованнымъ умомъ и сердцемъ. Впрочемъ, само собою разумѣется, что доброе намѣреніе не можетъ оправдать худаго поступка; ибо добрая цѣль не можетъ облагородить низкаго средства (§ 30).

Понятіе поступковъ нравственно-безразличныхъ. Нѣтъ въ нравственномъ смыслѣ поступковъ безразличныхъ, т. е. нѣтъ никакого свободнаго поступка, который бы не былъ ни добръ, ни худъ. Ибо въ области нравственной всѣ возможныя отношенія жизни нашей должны быть опредѣлены чистотою чувствованія. Здѣсь все зависитъ отъ того, съ какимъ намѣреніемъ мы поступаемъ; но намѣреніе никогда не можетъ быть безразличнымъ, потому что оно всегда должно быть направлено къ высочайшему добру; слѣдовательно невозможно никакое дѣйствіе въ нравственномъ отношеніи безразличное.

Только тѣ поступки могутъ считаться безразличными, которые не

имѣють никакого отношенія къ свободѣ, но они поэтому не относятся къ нравственному бытію человечества (§ 31).

Все это прекрасно и вѣрно, потому что выведено изъ законовъ необходимости, а не изъ опыта. Особенно замѣчательны двѣ мысли. «Совершенно добрый поступокъ есть принадлежность только человѣка съ образованнымъ умомъ и сердцемъ», говоритъ авторъ, и говоритъ глубокую истину. Есть люди съ зародышемъ въ душѣ всего великаго и прекраснаго, но не развившіе этого зародыша сознаниемъ, и потому они способны только къ мгновеннымъ порывамъ къ добру и дѣлають поступки, которые противорѣчатъ всей остальной ихъ жизни. Добрые поступки у нихъ бессознательны, и потому не имѣють никакого достоинства, никакой цѣны, потому что они не суть слѣдствіе ихъ воли, а слѣдствіе ихъ организма. Зародышъ всего прекраснаго можетъ скрываться въ нашемъ организмѣ, и пока онъ не разовьется сознаниемъ, всѣ хорошіе поступки будутъ плодомъ его животности, будутъ бессознательны. Только тотъ чувствуетъ человѣчески, а не животное, кто понимаетъ свое чувство и сознаетъ его. У такого человѣка прекрасный организмъ есть средство, а не причина его совершенства, потому что причина совершенства должна заключаться въ сознаніи и волѣ. И потому-то справедливо, что истинно-добръ только тотъ, кто разуменъ; слѣдовательно только тѣ поступки, которые происходятъ подъ вліяніемъ сознающаго разума, могутъ назваться добрыми, а не тѣ, которые происходятъ изъ животнаго инстинкта; иначе вѣрная собака и послушная лошадь были бы существами самыми добродѣтельными. И потому, по нашему мнѣнію, нѣтъ ничего жалче и ничтожнѣе тѣхъ людей, въ похвалу которыхъ нельзя сказать ничего, кромѣ того, что они «добрые люди». Вѣрно всякому случалось называть кого-нибудь вслухъ пустымъ малымъ и слышать въ защищеніе его тысячу голосовъ, которые кричатъ: «да онъ добрый человѣкъ!» Конечно, такой «добрый человѣкъ» точно

добрый человекъ, но только въ смыслъ французскаго выраженія «bon'homme», и очень хорошо напоминаетъ собою вѣрную собаку и послушную лошадь.

«Нѣтъ никакого свободнаго поступка, который бы не былъ ни добръ, ни худъ, потому что поступокъ есть результатъ намѣренія, а намѣреніе никогда не можетъ быть безразлично», говоритъ авторъ, и опять говоритъ глубокую истину. Если поступокъ вышелъ изъ сознательнаго желанія сдѣлать добро, онъ добръ, хотя бы и не достигъ своей цѣли и не произвелъ никакихъ благихъ слѣдствій; если же въ намѣреніе примѣшивался расчетъ эгоизма—поступокъ дуренъ, безнравственъ, хотя бы и произвелъ благія слѣдствія. Добро тогда только добро, когда оно само себѣ цѣль. Бѣлое не можетъ быть чернымъ, а черное бѣлымъ; кто не уменъ, тотъ глупъ, кто не благороденъ, тотъ подлъ; съ истиной не можетъ и не должно быть торга, договоровъ, условій и уступокъ. Когда богатъ, спрашивавшій Христа о средствахъ къ спасенію, не согласился раздать бѣднымъ своего богатства и идти вслѣдъ за Спасителемъ, онъ былъ лишенъ царствія Божія, хотя отъ юности строго выполнялъ всѣ правила закона. Кто сознаетъ необходимость усовершенствованія и ежеминутно не улучшается столько, сколько можетъ, тотъ подлъ, хотя бы онъ былъ выше тысячи людей, хотя бы цѣлыя тысячи признавали въ немъ идеалъ благородства,—подлъ передъ самими собою, виноватъ и преступенъ передъ высшимъ судомъ нравственности, передъ судомъ своей совѣсти. Кто говоритъ: «я знаю то и то, съ меня довольно этого», или: «я возвысился до такой степени, что я лучше многихъ, съ меня этого довольно», тотъ богохульствуетъ, потому что идеалъ человѣческаго совершенства есть Христосъ, а всякій обязанъ стремиться къ возвышенію себя до идеала. Достигнетъ ли онъ его, или нѣтъ, это не его дѣло; по крайней мѣрѣ, онъ долженъ работать надъ собою каждую минуту, чтобы съ лавкою возвратитъ Господу полученный отъ него талантъ. Кто же от-

рицаеть въ себѣ способность къ усовершенствованію по слабости ума и недостатку чувства, тотъ отрицаетъ, что онъ созданъ по образу и по подобію Божію, тотъ отказывается отъ человѣческаго достоинства и не имѣетъ права называть людей своими ближними и братьями.

Молитва. Молиться значитъ жить въ присутствіи Божества, потому что молитва есть бесѣда нашего духа съ Богомъ. Она бываетъ или внутренняя, когда заключается въ тихомъ созерцаніи Божества, созерцаніи, глубину котораго не въ состояніи выразить никакія слова, или внѣшняя, когда изливается въ словъ, когда языкъ неволью движется отъ избытка сердечныхъ чувствованій.

Въ обоихъ случаяхъ, молитва питаетъ умъ и сердце человѣка, просвѣщаетъ разумъ и укрѣпляетъ волю; потому что, кромѣ того, что духъ нашъ не можетъ не дѣлаться совершеннѣе, возвышаясь къ идеалу всѣхъ совершенствъ,—во всѣ времена и всѣми народами признаваема была необходимость молитвы, и пренебреженіе ея почиталось признакомъ совершеннаго упадка духа и чрезвычайной его привязанности къ земному (§ 37).

Здѣсь мы опять неволью останавливаемся, но уже для того, чтобы вполне согласиться съ почтеннымъ авторомъ и отдать должную справедливость его мышленію. Онъ сказалъ о молитвѣ очень немного, но какъ въ этомъ немногомъ заключается опредѣніе молитвы, выведенное изъ разума и основанное на законѣ необходимости, то это немногое заключаетъ въ себѣ безконечный рядъ послѣдовательныхъ идей, которыя можно изъ него вывести, словомъ, заключаетъ въ себѣ цѣлую теорію молитвы, какъ малое зерно заключаетъ въ себѣ огромное дерево.

Теперь мы думаемъ, что довольно познакомили нашихъ читателей съ брошюрой г. Дроздова; но хотимъ сдѣлать изъ нея еще одно извлеченіе и поговорить по поводу этого извлеченія, содержаніе котораго касается одного изъ важнѣйшихъ вопросовъ нравственной философіи. Въ его «частной или прикладной» нравственной философіи есть глава подъ титуломъ: «нравственная жизнь, разсматриваемая въ гармоніи съ нами самими».

Основаніе этой гармоніи. Согласіе нравственнаго бытія съ нашею собственною личностію проистекаетъ изъ благочестивой увѣренности въ томъ, что мы не принадлежимъ исключительно намъ самимъ, но составляемъ собственность Божества и человечества. Въ этомъ случаѣ нравственное чувство разливаетъ свой свѣтъ, свою жизнь, на тѣло и духъ человѣка, имѣя непосредственнымъ предметомъ тотъ долгъ, которымъ мы обязываемся сохранять себя и облагороживать.

Человѣкъ долженъ стремиться къ своему совершенству и поставлать свое блаженство только въ томъ, что сообразно съ его долгомъ: вотъ основной законъ нравственности. Причина этого закона заключается въ немъ же самомъ, т. е. въ томъ, что человѣкъ есть человѣкъ, органъ сознанія природы, сосудъ духа Божія, и еще въ томъ, что человѣкъ есть членъ великаго семейства, которое называется «человѣчествомъ». И такъ этотъ законъ совершенно обуславливаетъ и опредѣляетъ значеніе человѣка и его обязанности. Человѣкъ носить въ душѣ своей всѣ зародыши, всѣ элементы той степени сознанія, до которой ему назначено достигнуть; но развитіе этого сознанія невозможно для него самого, отдѣльно взятаго, потому что оно требуетъ толчковъ и побужденій извнѣ, а эти толчки и внѣшнія побужденія происходятъ изъ симпатіи, связывающей людей между собою, и взаимныхъ отношеній, существующихъ между ними. Симпатія человѣка къ людямъ происходитъ отъ его родственности съ ними, отъ тождественности его стремленія и цѣли съ ихъ стремленіемъ и цѣлью, такъ что въ нихъ онъ любитъ себя, а ихъ любить въ себѣ; другими словами: его сознаніе любитъ ихъ сознаніе, т. е. онъ любитъ сознаніе самого себя въ другомъ субъектѣ, потому что любовь есть сознаніе, сознающее само себя и въ актѣ сознанія самого себя ощущающее блаженство. Иначе чѣмъ бы объяснили мы, что человѣкъ естественно любить только тѣхъ людей, которые стоятъ съ нимъ на болѣе или менѣе равной степени сознанія, и что онъ не только совершенно равнодушенъ и холоденъ къ людямъ, которые

стоять на несравненно низшей степени развитія, или вовсе не обнаруживают никакого стремленія къ развитію, но даже чувствуетъ къ нимъ отвращеніе, родъ ненависти, такъ что ему несносенъ ихъ видъ, тяжела ихъ бесѣда, словомъ, мучительно всякое соприкосновеніе съ ними? Взаимныя отношенія людей обуславливаются разностію степеней и разносторонностію сознанія, посредствомъ которыхъ люди взаимно дѣйствуютъ другъ на друга. Каждый человѣкъ развиваетъ собою одну сторону сознанія и развиваетъ ее до извѣстной степени; а возможно-конечное и возможно всеобщее сознаніе должно произойти не иначе, какъ вслѣдствіе этихъ разностороннихъ и разнообразныхъ сознаній. И поэтому одному человѣку невозможно достигнуть полнаго и совершеннаго развитія своего сознанія, которое возможно только для цѣлаго человѣчества и которое будетъ результатомъ соединенныхъ трудовъ, вѣковой жизни и историческаго развитія человѣческаго духа. Слѣдовательно всякій индивидъ есть членъ, есть часть этого великаго цѣлаго, есть сотрудникъ и соспѣшествователь его къ достиженію его цѣли, потому что, развивая свое собственное сознаніе, онъ необходимо отдаетъ, завѣщаетъ его въ общую сокровищницу человѣческаго духа. Каждый человѣкъ долженъ любить человѣчество, какъ идею полнаго развитія сознанія, которое составляетъ и его собственную цѣль, слѣдовательно каждый человѣкъ долженъ любить въ человѣчествѣ свое собственное сознаніе въ будущемъ, а любя это сознаніе, долженъ соспѣшествовать ему. И вотъ его долгъ, его обязанности и его любовь къ человѣчеству. Эта сладкая вѣра и это святое убѣжденіе въ безконечномъ совершенствованіи человѣческаго рода должны обязывать насъ къ нашему личному, индивидуальному совершенствованію, должны давать намъ силу и твердость въ стремленіи къ нему. Иначе, что же была бы наша земная жизнь? Какой бы смыслъ имѣла наша жажда улучшенія и обновленія? Не было ли бы все это калейдоскопическою игрою

безсмысленныхъ тѣней, пустымъ оборотомъ колеса около оси, утвержденной на воздухѣ?

Нѣтъ! не напрасно лучезарное солнце такъ величественно обтекаетъ голубое, далекое небо и проливаетъ на насъ и свѣтъ и теплоту, и жизнь и радость; не напрасно мерцають для насъ звѣзды таинственнымъ блескомъ и томятъ душу нашу тоскою, какъ воспоминаніе о милой родинѣ, съ которою мы давно разлучены и къ которой рвется душа наша; не напрасно всѣ міры связаны между собою электрическою цѣпью любви и сочувствіи, и все живущее, все дышащее составляетъ звено въ этой безконечной цѣпи; не напрасно человѣкъ и рождается и умираетъ, и веселится и скорбитъ, и горячо любитъ милое и горько рыдаетъ лишаясь его, и не переживаетъ своихъ склонностей и, стоя на прагѣ вѣчности, вспоминаетъ объ нихъ еще живѣе, и рыдаетъ объ нихъ еще горше и сладки ему слезы его; не напрасно человѣкъ стремится къ какому-то блаженству и ищетъ его всю жизнь, ищетъ его и въ шумныхъ наслажденіяхъ юности, и въ безумномъ упоеніи пировъ, и въ ужасахъ кровавыхъ битвъ, и въ тревогахъ опасностей, и въ обольщеніи славы, и въ очарованіи власти, и въ нѣгѣ бездѣйствія, и въ сладости труда, и въ свѣтѣ знанія, и въ наслажденіи искусствами, и въ любви другаго сердца, и... нерѣдко въ тиши монастырской кельи, въ борьбѣ съ своими желаніями, въ печальномъ наслажденіи заживо рыть себѣ могилу, своими собственными руками... И горе ему, если онъ искалъ этого блаженства путемъ ложнымъ, если думалъ обрѣсти его въ исполненіи своихъ безсознательныхъ, эгоистическихъ желаній; и благо ему, если онъ искалъ его тамъ, гдѣ оно есть, искалъ его въ сознаніи и путемъ сознанія!... Нѣтъ, еще разъ! вѣчность не мечта, не мечта и жизнь, которая служить къ ней ступенью! Много въ ней дурнаго, но еще больше прекраснаго: есть въ ней слабости, пороки и злодѣянія; но есть и слезы раскаянія, жгучія и вѣстѣ отрадныя, слезы раскаянія, въ

глухую полночь, предъ крестомъ Распятаго за насъ; есть паденіе, но есть и возстаніе; есть стремленіе, но есть и достиженіе; есть минуты горькія, убійственныя, минуты сомнѣнія и отчаянія, минуты разрушительной дисгармоніи съ самимъ собою, отвращенія отъ жизни, но есть и упоительныя минуты вѣры, когда въ груди бываетъ такъ тепло, на душѣ такъ свѣтло, жизнь становится такъ прекрасна, такъ полна, такъ тождественна съ блаженствомъ; есть страданія глубокія, невыносимыя, есть бѣдствія, переполняющія мѣру терпѣнія и превращающія для насъ землю въ адъ, гдѣ слышенъ скрежетъ зубовъ, откуда вѣетъ холодною могильною сыростью, гдѣ нѣтъ ни исхода, ни конца; но изъ этого міра разрушенія и смерти слышится душѣ отрадный голосъ: «пріидите ко Мнѣ вси труждающіеся и обремененніи, и Азъ упокою вы; возьмите иго Мое на себе и научитесь отъ Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ, и обрячете покой душамъ вашимъ; иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть». Тогда душа снова наполняется блаженствомъ неизъяснимымъ; и сырадное кладбище гніющей жизни превращается для ней въ тихую долину успокоенія, гдѣ могилы покрыты травою и цвѣтами, осѣнены печальными кипарисами, гдѣ журчаніе свѣтлаго ручья сливается съ унылымъ ропотомъ вѣтерка, а вдали, за горой, виднѣется край вечерѣющаго неба, осіяннаго, облитого багряными лучами заходящаго солнца—и ей мнится, что въ этой торжественной тишинѣ она созерцаетъ тайну вѣчности, что она видитъ новую землю, новое небо!

1836, сентября 13.

1835

М О Л В А *).

*) Молва въ этомъ году выходила отдѣльно отъ Телескопа in 4^о.

II

БИБЛІОГРАФІЯ *).

*) Обязанность сказать что-нибудь о всякой вышедшей книгѣ, даже не заслуживающей никакого вниманія, заставляла нерѣдко Бѣлинскаго ограничиваться только легкимъ упоминовеніемъ о ней или однимъ изложеніемъ содержанія. Всѣ такіе, не имѣющіе никакого значенія отзывы, мы исключили. Для оправданія же себя въ этомъ отношеніи, помѣщаемъ перечень ихъ въ концѣ библиографіи каждаго года и журнала.

ИЗГНАННИКЪ. Историческій романъ. Соч. Богеуса.
Перев. съ нѣмецкаго В.....ъ. Спб. 1834. Три части.

Неизвѣстный переводчикъ сего романа жалуется въ своемъ предисловіи, что «въ послѣдніе годы почти исключительно удостоивались (?) перевода на русскій языкъ французскіе романы, нѣмецкія же сочиненія сего рода какъ бы вовсе не существовали», несмотря на то, что «въ Германіи столько есть и ежегодно вновь (?) является отличныхъ беллетристовъ (??), коихъ гениальныхъ сочиненій неизвѣстны въ русской словесности», и объявляетъ, что, вслѣдствіе сего, онъ принялъ благое намѣреніе «ознакомить благосклонныхъ *) читателей съ нѣкоторыми, заслужившими славу, современными писателями Германіи, и на тщательные переводы по одному изъ лучшихъ ихъ сочиненій посвятить часы своего досуга». Это объявленіе или обѣщаніе, несмотря на дѣтскій способъ выраженія, должно обрадовать всѣхъ истинныхъ любителей изящнаго, особенно незнакомыхъ съ нѣмецкимъ языкомъ, и рецензентъ, съ своей стороны, отъ всей души благодарить неизвѣстнаго переводчика за прекрасное предпріятіе и желаетъ ему полного успѣха. Въ самомъ дѣлѣ, у насъ вообще слишкомъ мало дорожатъ славою переводчика. А мнѣ кажется, что теперь-то именно и должна бы въ нашей литературѣ быть

*) Почему же именно благосклонныхъ, а не просвѣщенныхъ и образованныхъ читателей, или, по крайней мѣрѣ, не русскую публику?

эпоха переводовъ или, лучше сказать, теперь вся наша литературная дѣятельность должна обратиться исключительно на одни переводы какъ ученыхъ, такъ и художественныхъ произведеній. Теперь курсъ на «россійскія» издѣлія чрезвычайно понизился; публика требуетъ дѣльнаго и изящнаго, и, не находя на отечественномъ языкѣ ни того, ни другаго *), по неволѣ читаетъ одно иностранное. Новыя погудки на старый ладъ надоѣли всѣмъ пуще горькой рѣдки; авторитеты обанкротились и потеряли свой кредитъ; очарованіе именъ исчезло; словомъ, наше общество требуетъ уже не мыльных пузырей, а дѣльнаго чтенія. Оригинальное уже не удовлетворяетъ его, ибо оно видимо обгоняетъ въ образованіи тѣхъ корифеевъ, которымъ бывало поклонялось. Посему надобно пользоваться подобнымъ направленіемъ общества и удовлетворять по возможности его требованіямъ. Для этого одно средство: знакомство съ европейскими образцами въ искусствѣ, европейскою ученостію и образованностію. У насъ только богатые люди, и притомъ живущіе въ столицахъ, могутъ пользоваться неисчерпаемыми сокровищами европейскаго генія; но сколько есть людей, даже въ самыхъ столицахъ, а тѣмъ болѣе въ провинціяхъ, которые жаждутъ живой воды просвѣщенія, но по недостатку въ средствахъ, или по незнанію языковъ, не въ состояніи утолить своей благородной жажды! И такъ намъ надо больше переводовъ какъ собственно ученыхъ, такъ и художественныхъ произведеній. О пользѣ говорить нечего: она такъ очевидна, что никто не можетъ въ ней сомнѣваться; главная же польза послѣднихъ, кромѣ наслажденія истинно изящнымъ, состоитъ наиболѣе въ томъ, что они служатъ къ развитію эстетическаго чувства, обра-

*) За весьма немногими исключеніями, и то въ пользу ученой литературы, разумѣю полезныя и благородныя труды гг. Устрялова, Сидонскаго и нѣкоторыхъ другихъ, несмотря на всеобщее коммерческое направленіе, безкорыстно подвизающихся на пользу и славу отечества.

зованію вкуса и распространенію истинныхъ понятій объ изящномъ. Кто прочтетъ и пойметъ хотя одинъ романъ Вальтеръ-Скотта или Купера, тотъ будетъ въ состояніи вполне оцѣнить какого-нибудь «Димитрія Самозванца», или какую-нибудь «Черную Женщину», ибо достоинство вещей всего вѣрнѣе познается и опредѣляется сравненіемъ. Да — сравненіе есть самая лучшая система и критика изящнаго. Сверхъ того переводы необходимы и для образованія нашего, еще не установившагося языка; только посредствомъ ихъ можно образовать изъ него такой органъ, на коемъ бы можно было разыгрывать всѣ неисчислимыя и разнообразныя вариациі человеческой мысли.

И такъ — честь и слава г. переводчику «Изгнанника» за его прекрасное намѣреніе! Но намѣреніе и исполненіе, къ несчастію, не одно и то же; и потому я хочу шепнуть ему на ушко нѣчто такое, о чемъ онъ, кажется, не думалъ, а именно: мало того, чтобы только переводить, надо знать: что и какъ переводить. Въ предисловіи своемъ онъ сказалъ, что рѣшился переводить сочиненія отличныхъ германскихъ беллетристовъ, а между тѣмъ перевелъ намъ не только не отличное, но рѣшительно посредственное произведеніе. Ибо, что такое «Изгнанникъ» Богемуса? Ни больше, ни меньше, какъ довольно обыкновенный складъ съ романовъ Вальтеръ-Скотта, а отнюдь не оригинальное и самобытное созданіе. Богемусъ, по крайней мѣрѣ въ своемъ «Изгнанникѣ», шелъ по пути давно уже истертому и избитому: онъ хотѣлъ въ обветшалую раму любви двухъ лицъ вставить картину Богеміи во время Тридцатилѣтней войны и очень неудачно это выполнилъ. Вы не найдете въ его сочиненіи ни духа того времени, ни вѣрной картины тогдашняго быта, ни героевъ этой великой эпохи исторіи человечества. Правда, въ немъ появляется, мелькомъ, на минуту, и то только въ концѣ третьей части, Валленштейнъ, но для романа не было бы ни малѣйшей потери, если бы онъ совсѣмъ не появлялся; правда, въ немъ вы видите графа

Турна, но вы ничего не потеряли бы, если бы совѣтъ его не видѣли; о Густавѣ Адольфѣ и другихъ персонажахъ великой драмы Тридцатилѣтней войны нѣтъ и помину; да и дѣйствіе романа начинается почти съ того времени, какъ герцогъ Фридландскій согласился на унижительныя просьбы Фердинанда II принять начальство надъ войскомъ. Только плутни и козни іезуитовъ изображены довольно занимательно. Характеровъ и положеній оригинальныхъ нѣтъ, почти все одни общія мѣста; словомъ, этотъ романъ даже и у насъ не былъ бы изъ первыхъ. И такъ г. переводчикъ сдѣлалъ очень неудачный выборъ пьесы для своего дебюта; вотъ первая и главная его ошибка. Чтобы заохотить публику къ произведеніямъ такой литературы, которая мало извѣстна, надобно выбирать творенія превосходныя и характеризующія духъ націи. Историческій романъ не нѣмецкое дѣло. Романъ философическій и фантастическій — вотъ ихъ торжество. Нѣмецъ не представить вамъ, какъ Англичанинъ, человѣка въ отношеніи къ жизни народа, или, какъ Французъ, въ отношеніи къ жизни общества; онъ анализируетъ его въ высочайшія мгновенія его бытія, изображаетъ его жизнь въ отношеніи къ высшей мировой жизни, и остается вѣренъ этому направленію даже и въ историческомъ романѣ. Таковъ онъ и въ другихъ родахъ поэзіи: Маркизъ Поза не Испанецъ, Максъ, Текла и Фаустъ — не Нѣмцы, а люди.

ПОСЕЛЫЩИКЪ. *Сибирская повесть. Соч. Н. Щ.,
автора Пользки въ Якутскѣ. Спб. 1834.*

Съ нѣкотораго времени въ нашей литературѣ появился особенный родъ романовъ, которые пишутся съ какою-нибудь предположенною полезною цѣлію; эти романы называются нравоописательными, сатирическими, административными, историческими, политико-экономическими, учеными и пр.; но мнѣ

кажется, что ихъ всего лучше назвать заказными, ибо, подобно платью и сапогамъ, они работаются на всякую мѣрку, заранее снятую. Разумѣется, въ издѣліяхъ сего рода басня или содержаніе ничего не значитъ, ибо служить только рамою, въ которую вставляются диссертация на разные ученые предметы. Эта басня или содержаніе во всѣхъ романахъ бываетъ одна и та же, независимо отъ парода и эпохи, къ которымъ она относится: какой-нибудь чувствительный и великодушный шутъ, герой добродѣтели въ родѣ Эраста Чертополохова, ищетъ руки и сердца какой-нибудь Дульцинеи; имъ мѣшаютъ, ихъ разлучаютъ какіе-нибудь злодѣи, какіе-нибудь «изверги естества», въ лицѣ корыстолюбиваго опекуна или жестоко-сердыхъ родителей; но наши герои не унываютъ, и послѣ многихъ разлукъ, неудачъ и опасностей соединяются на вѣки и начинаютъ жить да поживать, да добра наживать. Бѣдный читатель зѣваетъ, морщится, клянетъ сквозь слезы и глупаго любовника, и приторную героиню, и негодяевъ разлучниковъ, которые, вопреки здравому смыслу и на зло вольному мученику, мѣшаютъ веселымъ пиршомъ да и за свадьбу. Но не жалѣйте слишкомъ этого читателя, онъ не въ потерѣ: вѣнецъ есть награда добровольнаго мученичества. За свою скуку, за свою зѣвоту онъ избавляется отъ ужасной необходимости читать и изучать систематическія ученыя и учебныя книги, и лежа у себя на постелѣ, въ домашнемъ дезабилье, узнаетъ, напримѣръ, нѣкоторыя подробности стрѣлцакаго бунта при Петрѣ Великомъ, узнаетъ, что и въ Камчаткѣ бываетъ свое лѣто, узнаетъ, что Пекинъ главный городъ Китая, что Алжиръ въ Африкѣ, и тому подобныя истины. Нашъ вѣкъ—чудный вѣкъ: никогда удобства жизни и средства къ выполнению самыхъ дорогихъ желаній самыми дешевыми средствами не были такъ легки и доступны для всѣхъ и каждого. Скоро бѣдные перестанутъ завидывать богатымъ: вы абонируетесь у Семена, Эльцнера, Глазунова—и вотъ вамъ за какіе-нибудь полтора-два рубля въ годъ всѣ сокровища европей-

скаго и «россійскаго» генія; вы жертвуете, въ продолженіе шести лѣтъ, въ разные сроки сто восемьдесятъ рублей—и, не топчя пороговъ университетскихъ аудиторій, не добиваясь ученыхъ степеней, не ломая головы надъ нѣмецкими и французскими грамматиками и словарями, знаете все, что знаетъ какой-нибудь многоученый профессоръ нѣмецкаго университета, и, между прочими диковинками, знаете званіе, производство въ чины и лѣта жизни Ломоносова; издается ученая книга: она вамъ необходима, но по своему объему дорога, не по вашему карману; не печальтесь: она выходитъ тетрадами (pag livraisons), а эти тетради продаются по гривеннику, много по двугривенному; откажите себѣ въ удовольствіи проѣхать нѣсколько разъ на ванькѣ—и книга ваша. Слава нашему вѣку! Но этимъ еще не все кончилось: промышленность пошла далѣе. Вы, можетъ быть, не знаете языковъ и потому не можете читать иностранныхъ произведеній; вы, можетъ быть, человѣкъ дѣловой — вамъ некогда читать и русскихъ книгъ; вы, можетъ быть, немножко лѣнны или имѣете антипатію къ скучнымъ нынѣшнимъ путешествіямъ, и ко всему, что отзывается тяжелою ученостію, а между тѣмъ не хотите отстать отъ вѣка и прослыть невѣждою: не отчаявайтесь—къ вашимъ услугамъ романы, о которыхъ я говорилъ выше сего. Легкое средство! прекрасное средство! Что вамъ угодно знать? Исторію, географію, статистику, политическую экономію, философію, физику, химію? Вы все это будете знать — увѣряю васъ; только не лѣнитесь читать романовъ и повѣстей гг. Булгарина, Греча, Масальскаго, Калашникова, Барона Брамбеуса и мн. др. Одному только не выучитесь вы изъ нихъ—математикѣ. Охъ, эта проклятая математика! сердить я на нее: какъ не бьюсь, а не лѣзетъ въ голову! Гг. русскіе романисты! напишите, Бога ради, математическій романчикъ; уроки математики нынѣ очень вздорожали: вашъ романъ скоро разоидется!...

Но шутки въ сторону; скажу серьезно слова два объ этомъ

странномъ явленіи. Кто виновникъ этого ложнаго рода романовъ, этого святотатственнаго искаженія искусства? Вальтеръ-Скоттъ: по-дѣломъ такъ нападаетъ на него почтеннѣйшій Баронъ Брамбеусъ. Да, въ этихъ чудовищныхъ романахъ виноватъ одинъ Вальтеръ-Скоттъ; но не будемъ слишкомъ строги къ великому генію, къ славѣ и гордости нашего вѣка; мбо онъ виноватъ въ семъ преступленіи такъ же точно, какъ, напримѣръ, у насъ Пушкинъ виноватъ въ «Киргизскихъ» и другихъ «плѣнникахъ», какъ Крыловъ виноватъ въ басняхъ Маздорфа и г. Зилова, какъ комедія «Горе отъ ума» виновата въ комедіи: «Смѣшны мнѣ люди» и пр. Развѣ человѣкъ, вѣнецъ Божія созданія, хуже оттого, что обезьяна имѣеть съ нимъ какое-то отвратительное сходство и безпрестанно передразниваетъ его? Развѣ искусство менѣе божественный даръ оттого, что глупость и бездарность смѣшиваетъ его съ ремесломъ? Развѣ художникъ менѣе сынъ неба оттого, что цеховые мастера выдаютъ себя за художниковъ?

Вальтеръ-Скоттъ создалъ, изобрѣлъ, отырылъ, или, лучше сказать, угадалъ эпопею нашего времени—историческій романъ. По его слѣдамъ пустились многіе люди, ознаменованные печатію высокаго таланта и даже генія; но, несмотря на то, онъ остался единственнымъ въ семъ родѣ геніемъ. Есть люди, которые отъ души убѣждены, что историческій романъ есть родъ ложный, оскорбляющій достоинство и искусства и исторіи. Одно изъ важнѣйшихъ доказательствъ ихъ состоитъ въ томъ, что романисты часто искажаютъ историческую истину; но понимаютъ ли эти люди, что такое историческая истина? Понимаютъ ли они, что въ высшемъ-то значеніи сего слова она состоитъ не въ вѣрномъ изложеніи фактовъ, а въ вѣрномъ изображеніи развитія человѣческаго духа въ той или другой эпохѣ? Но кто уловилъ этотъ духъ? Развѣ изъ однихъ и тѣхъ же фактовъ не выводятъ различныхъ результатовъ? Одинъ историкъ говоритъ то, другой другое, и между тѣмъ они оба подтверждаютъ свои противоположныя мнѣнія одними

и тѣми же фактами. И кто рѣшить, который изъ нихъ правъ? Причина этому очевидна: здѣсь искусство совпадаетъ съ наукою; историкъ дѣлается художникомъ, и художникъ историкомъ. Какая цѣль историка? Уловить духъ изображаемаго имъ народа или изображаемаго имъ человѣчества въ какую-нибудь эпоху его жизни, такимъ образомъ, чтобы въ его изображеніи видно было бѣніе этой жизни, чтобы сквозь его разсказъ трепетала та живая идея, которую выразилъ собою народъ или человѣчество, въ ту или другую эпоху своего бытія. Въ семь смысловъ. Вальтеръ-Скоттъ, въ своемъ «Иванго» и «Карлъ Безразсудномъ», есть историкъ въ полномъ и высшемъ значеніи сего слова, ибо онъ въ сихъ созданіяхъ своего громаднаго гонія начерталъ намъ живой идеаль среднихъ вѣковъ. Прочтя эти два романа, вы не будете знать исторіи среднихъ вѣковъ, но будете знать сокровенную жизнь этой эпохи человѣчества; прочтя ихъ, вы будете въ исторіи и въ фактахъ искать повѣрки этого поэтического синтеза, и эти факты не будутъ для васъ мертвы. И это очень естественно: между идеалами и дѣйствительностію совсѣмъ нѣтъ такого неизмѣнимаго пространства, какое обыкновенно предполагаютъ; ибо что такое вся вселенная, какъ не воплощенный идеаль, созданный Всемогущимъ Художникомъ? Развѣ вы можете постигнуть ея жизнь однимъ умомъ? Умъ анализируетъ жизнь вселенной, ибо не можетъ охватить ея вдругъ: искусству предоставлено синтетическое представленіе ея жизни, ибо цѣль искусства есть предображать явленія жизни. Развѣ есть предѣлъ художественнаго творчества, развѣ не можетъ явиться такой художникъ, который въ одномъ созданіи выразить цѣлую и полную идею міровой жизни, а не одни ея частныя явленія? Говорятъ еще, что не должно мѣшать вымысловъ съ истиною. Но вѣдь—гдѣ жизнь, тамъ и поэзія—это аксіома! а гдѣ же, какъ не въ человѣчествѣ наиболѣе проявляется всеобщая жизнь вселенной, и слѣдовательно, что же, какъ не человѣчество, наиболѣе должно служить предметомъ по-

этического вдохновенія, и потому, что же, какъ не исторія должна доставлять, если можно такъ выразиться, материалы для художественныхъ созданий?

Теперь, очень понятно, въ чемъ состоитъ главное заблужденіе цеховыхъ художниковъ, и въ чемъ заключается главный недостатокъ ихъ заказныхъ издѣлій. Они хотятъ знакомить насъ съ историческими подробностями какой-нибудь эпохи, и неуклюже вставляютъ или, лучше сказать, втискиваютъ ихъ въ пошлую и обветшалую раму любви двухъ лицъ. Жалкіе слѣпцы, они видятъ въ исторіи человѣчества событія и подробности, нравы и обычаи, а не трепетаніе вѣчной идеи жизни человѣчества, и думаютъ, что они все сдѣлали, если вывели на сцену какое-нибудь историческое лице, вложили ему въ уста нѣсколько фразъ, сказанныхъ имъ при жизни, если счумѣли избѣжать анахронизмовъ и довольно вѣрно съ подлиннымъ намалевать нѣсколько картинъ тогдашняго быта и въ примѣчаніяхъ или выноскахъ подтвердить ссылками на разныхъ авторовъ *) достовѣрность своихъ изображеній. И потому у нихъ вымысль съ истинною сливается точно такъ же, какъ масло съ водою, и потому ихъ произведеніе есть анатомическій препаратъ, а не живое созданіе. Бѣдняжки, они не знаютъ того, что и сама исторія, при всей вѣрности представляемыхъ ею фактовъ, повѣренныхъ и очищенныхъ критикою, жестоко грѣшитъ противъ исторической истины, если не выражаетъ идеи жизни народа; они не знаютъ, что Вальтеръ-Скоттъ потому такъ увлекателенъ, истиненъ и вѣренъ въ отношеніи къ исторической истинѣ, что выражаетъ духъ избранной имъ эпохи, и не гоняется за подробностями, и что, посему, ему никакого труда не стоило соблюдать мелочную вѣрность въ подробностяхъ.

Искусство есть представленіе явленій міровой жизни; эта жизнь проявляется не въ одномъ человѣчествѣ, но и въ при-

*) Напр., на г. Успенскаго и друг.

родѣ; посему и явленія природы могутъ быть предметомъ романа. Но среди ея картинъ долженъ непремѣнно занимать какое-нибудь мѣсто человекъ. Высочайшій образецъ въ семъ случаѣ Куперъ: его безбрежныя, безмолвныя и величественныя степи, лѣса, озера и рѣки Америки исполнены дыханія жизни; его дикіе, въ соприсношеніи съ бѣлыми, дивно гармонируютъ съ этою дѣвственною жизнію американской природы. Вотъ другой поэтъ, который, подобно Вальтеръ-Скотту, породилъ своими гениальными созданіями тысячи уродливыхъ чадъ бездарной подражательности. Сколько подобныхъ нелѣпостей въ одной нашей литературѣ! Но и здѣсь также ошибка: наши Куперы изображаютъ намъ не таинственную жизнь природы, вѣющую въ безмолвныхъ, современныхъ міру лѣсахъ и степяхъ Сибири, но мѣстности Сибири. Подъ обольстительнымъ покровомъ поэзіи они хотятъ преподавать намъ скучные уроки минералогіи, зоогазіи и ботаники, географіи и топографіи.

Такъ врачъ болящаго младенца ко устамъ
Несетъ «іалъ, сладкими улитамъ по краямъ,
Счастливецъ обольщенъ—пьетъ горькое цѣленье:
Обманъ ему далъ жизнь, обманъ—ему спасенье!

Но увѣ! это горькое цѣленье хуже ревеню или рвотнаго порошка!...

О романѣ, заглавіе котораго выписано предъ началомъ сей статьи, нельзя ничего сказать особеннаго, и потому я нарочно распространился о томъ родѣ литературныхъ явленій, въ которому онъ относится. Авторъ «Посельщика» говоритъ въ своемъ предисловіи: «Повѣсть сія написана въ 1830 году, во время пребыванія моего въ Сибири, какъ опытъ —выидеть ли что-нибудь достойное чтенія изъ нетронутого тогда еще нашими литераторами сибирскаго быта». Г. Н. Щ. сими немногими строками, обнаруживающими его понятія о творчествѣ, оцѣнилъ свое твореніе какъ нельзя лучше и избавилъ рецензента отъ скучнаго труда разбирать его. Хотя г.

Н. Щ. и даетъ намъ знать, что «Сибиряки говорятъ о г. Калашниковѣ, что онъ забылъ языкъ своей родины, гражданскій бытъ и ошибается противъ географіи и естественной исторіи», но оправдываетъ его тѣмъ, что «изъ рукъ человѣческихъ ничего совершеннаго не вышло». Я же, съ своей стороны, скажу о г. Н. Щ., что онъ не ошибается, по крайней мѣрѣ, противъ географіи и естественной исторіи, ибо объ нихъ въ его романѣ нѣтъ и помину, да и вообще Сибирь въ немъ очень мало видна, ибо большая половина романческаго дѣйствія происходитъ въ Европейской Россіи, гдѣ герой романа рассказываетъ исторію своей жизни. О Сибири же собственно мы узнаемъ только то, что тамъ бываетъ очень холодно; что тамъ уходятъ съ заводовъ каторжные и рѣжутъ глухихъ мужиковъ, которые почитаютъ ихъ умѣющими заговаривать ружья; что Сибирь очень богата естественными произведеніями и т. п. Къ концу книги приложено объясненіе четырехъ словъ и трехъ сибирскихъ фразъ. Чего-жъ вамъ больше? Книжечка, ей Богу хороша — покупайте-съ!

ВЪ ТИХОМЪ ОЗЕРѢ ЧЕРТИ ВОДЯТСЯ. *Старая русская пословица въ лицахъ и въ одномъ дѣйствіи. Овдора Кони. Москва. 1834.*

Имя г. Кони давно уже играетъ нѣкоторую роль въ нашей литературѣ, въ которой, по крайнему беззачету, почти всѣ имена играютъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторую роль. Впрочемъ, нельзя не отдать ему справедливости за его трудолюбіе на избранномъ имъ поприщѣ, на которомъ онъ, надо сказать правду, подвизается не безъ успѣха. Во всякомъ его произведеніи, или, справедливѣе, во всякой его передѣлкѣ, замѣтна способность, литературная образованность и драматическая замашка, замѣтно остроуміе, особенно въ водевиль-

ныхъ куплетахъ, словомъ, замѣтны, до нѣкоторой степени, многія качества, необходимыя для сочиненія миленькихъ и маленькихъ эфемеровъ, которые называются водевилями, которые рождаются мгновенно и умираютъ разомъ, которые нынѣ приводятъ въ восторгъ непостоянную толпу, а завтра забываются ею.

Не думайте, чтобы я хотѣлъ нападать на водевилъ вообще; нѣтъ — сохрани меня Боже! Я слишкомъ далекъ отъ того, чтобы думать и вѣрить, что

Водевилъ есть вещь, а прочее все гиль;

но вѣстѣ съ тѣмъ отнюдь не думаю, чтобы водевилъ былъ сущій вздоръ, дѣло отъ бездѣлья, незаконное чадо поэзии! О, нѣтъ! И онъ можетъ быть художественнымъ произведеніемъ, когда вѣрно изображаетъ характеръ домашней жизни того или другаго народа, со всѣми ея мелочами и странностями. Водевилъ есть родъ, созданный Французами, понятный для Французовъ и прекрасный у Французовъ; эта ихъ собственность, ихъ добро, ихъ достояніе и онъ имѣетъ у нихъ глубокий смыслъ. Предоставляя высшей драмѣ живописать игру страстей, анализировать человѣка въ высочайшихъ мгновеніяхъ его бытія, въ сильнѣйшихъ изверженіяхъ внутренней полноты его жизни, въ замѣчательнѣйшихъ отношеніяхъ и соприкосновеніяхъ его индивидуальности съ обществомъ; или бичевать, подобно фуріи, падшаго, искаженного, утратившаго образъ и подобіе Божіе человѣка, въ его жалкой борьбѣ съ чувствомъ своего назначенія и обольщеніями эгоизма; представляя ей ругаться надъ обществомъ, которое столько времени твердитъ ходячія истины о добрѣ и злѣ, и которое столько времени поступаетъ наперекоръ этимъ истинамъ — водевилъ пародируетъ жизнь низшую, жизнь, такъ сказать, домашнюю, семейную и человѣка и общества, подбираетъ крохи, падающія со стола высшей драмы. Онъ относится къ сей послѣдней точно такъ же, какъ эпиграмма отно-

сится къ сатирѣ; онъ не хохочетъ яростно надъ жизнію, но строить ей рожи, не бичуетъ ее, а гримасничаетъ надъ нею; наконецъ, это ни больше, ни меньше, какъ экспромтъ на какой-нибудь житейскій случай. У насъ нѣтъ водевиля, какъ нѣтъ еще и кой-чего другаго многаго. Наши водевили суть передѣлки или переломки французскихъ водевилей, другими словами, водевили на водевили, а не на жизнь; наше остроуміе выписное, выдохшееся на почтовой дорогѣ при пересылкѣ... Жаль: ибо, кажется мнѣ, наша русская жизнь можетъ доставить истинному таланту неистощимый рудникъ матеріаловъ для народнаго водевиля, и, говорю, для одного только водевиля, больше ни для чего... Но чего нѣтъ, о томъ нечего и говорить!... А потому, какъ вамъ угодно, а труды г. Кони достойны нѣкотораго вниманія и даже уваженія. Повторяю: онъ имѣетъ способности для передѣлокъ съ французскаго этого рода литературныхъ эфемеровъ. Въ его «Въ тихомъ озерѣ черти водятся» есть нѣчто такое, что можетъ васъ заставить если не прочесть, то выслушать эту пьесу на театрѣ безъ скуки, даже не безъ удовольствія; въ ней есть нѣсколько забавныхъ положеній, нѣсколько миленькихъ куплетцевъ, исполненныхъ веселости... И такъ объ этомъ новомъ произведеніи г. Кони нечего много говорить: оно какъ двѣ капли воды похоже на бывшія, сущія и будущія издѣлія, какъ его собственнаго пера, такъ и прочихъ нашихъ гг. водевилистовъ-передѣльвателей. Самая новая, самая диковинная вещь въ сей книжечкѣ есть предисловіе г. передѣльвателя, и объ немъ я хочу сказать слова два.

Г. Кони говоритъ: «Комедія (??) должна быть зеркаломъ, но никогда выѣскою порочнаго. Этой истинѣ научили меня и горькая участь Аристофана и неудачи первыхъ представителей Мольеровыхъ комедій». Не понимаю: что можетъ имѣть общаго г. Кони съ Аристофаномъ и Мольеромъ? Одинъ жилъ такъ давно, а другаго ставятъ чуть-чуть не наравнѣ съ Шекспиромъ!

Въ заключеніе г. Кони говоритъ: «Знаю, пьеса моя имѣтъ много недостатковъ и погрѣшностей; исправлять ихъ не могу и не хочу: пускай она явится передъ читателями въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ явилась въ первый разъ на подмосткахъ (?) театра, гдѣ приобрѣла тотъ лестный успѣхъ, который я приписываю болѣе снисхожденію публики къ неуспыннымъ (!) трудамъ моимъ для сцены, чѣмъ успѣхамъ слабаго моего таланта». Не понимаю: какъ можно намереться такою наивностію о своихъ неуспынныхъ трудахъ на поприщѣ, столь легкомъ и столь благодарномъ?

«М. г., говоритъ испанскій нищій, протягивая руку къ проходящему, одолжите мнѣ на мѣсяць пять сотъ піастровъ». Проходящій подаетъ копѣйку, нищій беретъ ее и говоритъ съ гордостію: «Будьте увѣрены, м. г., что я ровно черезъ мѣсяць возвращу вамъ ваши пять сотъ піастровъ».

О, бѣдная наша литература! о, бѣдные наши авторитеты и авторитетники!!

ПОВѢСТИ, изд. Александромъ Пушкинымъ. Спб. 1834.

Всему свой чередъ, все подчинено неизмѣннымъ законамъ. За роскошною весною слѣдуетъ жаркое лѣто, а за нимъ унылая осень, а за сею холодная зима. Законы физическіе параллельны съ законами нравственными; юность человѣка есть прекрасная, роскошная весна, время дѣятельности и кипѣнія силъ; она бываетъ однажды въ жизни и болѣе не возвращается. Эпоха юности человѣка есть романъ, за коимъ начинается уже исторія: эта исторія всегда бываетъ скучна и уныла. То же самое представляется и въ дѣятельности художника: сколько огня, сколько чувства въ его произведеніяхъ! Послѣдующія бываютъ изыщѣе и выше, но за то и спокойнѣе: это спокойствіе называется зрѣlostію, возмужалостію таланта. Оно правда; но, горестная мысль! эта по-

степенная возвышенность генія необходимо сопряжена съ постепеннымъ охлажденіемъ чувства. Найдите созданіе чудовищѣе «Разбойниковъ» и виѣсть съ тѣмъ найдите созданіе пламеннѣе этого перваго произведенія Шиллера. Воля ваша, а весна самое лучшее время года! Хорошо еще, если осень плодородна и обильна, если она озарена послѣдними прощальными лучами великолѣпнаго солнца; но что когда она безплодна, грязна и туманна? А вѣдь это такъ часто случается! Вотъ передо мною лежатъ «Повѣсти, изданныя Пушкинымъ»: неужели Пушкинымъ же и написанныя? Пушкинымъ, творцемъ «Кавказскаго Пльиника», «Бахчисарайскаго Фонтана», «Цыганъ», «Полтавы», «Онѣгина» и «Бориса Годунова»? Правда, эти повѣсти занимательны, ихъ нельзя читать безъ удовольствія; это происходитъ отъ прелестнаго слога, отъ искусства рассказывать (сounter); но онѣ не художественныя созданія, а просто сказки и побасенки; ихъ съ удовольствіемъ и даже съ наслажденіемъ прочтеть семья, собравшаяся въ скучный и длинный зимній вечеръ у камина; но отъ нихъ не закипитъ кровь пылааго юноши, не засверкаютъ очи его огнемъ восторга; но онѣ не будутъ тревожить его сна,—нѣтъ—послѣ нихъ можно задать лихую высылку. Будь эти повѣсти первое произведеніе какого-нибудь юноши — этотъ юноша обратилъ бы на себя вниманіе нашей публики; но, какъ произведеніе Пушкина... осень, осень, холодная, дождливая осень, послѣ прекрасной, роскошной, благоуханной весны, словомъ,

. . . Прозанческія бредни,
Фламандской школы пестрый вздоръ!

Странное дѣло—очарованіе именъ! Прочтите вы эту книгу, не зная кѣмъ она написана—и вы будете въ полномъ удовольствіи; но загляните на заглавіе—и ваше живое удовольствіе превратится въ горькое неудовольствіе. Будь поставлено на заглавіи этой книги имя г. Булгарина, и я былъ

бы готовы подумать: ужъ и въ самомъ дѣлѣ Ѳаддей Венедиктовичъ не геній ли? Но Пушкинъ — воля ваша, грустно и подумать!

Эти повѣсти уже не новость. Въ нихъ новаго; препрославленная «Пиковая Дама», по мнѣнію «Библіотеки для Чтенія» (въ которой она была помѣщена), превосходящая всѣ созданія чуднаго Гофманова генія, и два отрывка изъ историческаго романа: «Ассамблея при Петрѣ Великомъ» и «Обѣдъ у Русскаго Боярина». Не помню, что касается до перваго, а послѣдній былъ напечатанъ давно въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ». Эти отрывки, особенно послѣдній, отличаются художественною занимательностію и возбуждаютъ живѣйшее желаніе прочесть весь романъ. Если этотъ романъ написанъ и будетъ изданъ вполне, то русскую публику можно будетъ поздравить съ приобрѣтеніемъ. Изъ повѣстей, собственно только первая: «Выстрѣлъ», достойна имени Пушкина.

**ИСТОРІЯ О ХРАБРОМЪ РЫЦАРѢ ФРАНЦІИ
ВЕНЦИАНѢ И О ПРЕКРАСНОЙ КОРОЛЕВНѢ
РЕНЦЫВЕНѢ.** *Печатано съ изданія 1829 года безъ
исправленія. Москва. 1834.*

Вопр. Какія книги болѣе всего читаются, расходятся и печатаются на Руси?

Отв. Сочиненія Матвѣя Комарова, «Жители Москвы», и творенія гг. Ѳ. В. Бугарина и А. А. Орлова.

Въ одномъ изъ послѣднихъ №№ «Сѣверной Пчелы» Ѳ. В. Бугаринъ учинилъ отчаянную вылазку противъ московскихъ журналовъ, какъ бывшихъ, такъ и сущихъ. Онъ говоритъ, что въ Москвѣ не было и нѣтъ хорошихъ журналовъ. Мы избавляемъ читателей отъ выписки его подлинныхъ словъ, а представимъ только гезаше его доказательствъ, которые очень удобно привести въ форму двухъ слѣдующихъ силлогизмовъ

СИЛЛОГИЗМЪ I.

Предложеніе. Мои сочиненія хороши.

Посылка I. Чтò хорошо, то читается, расходуется и раскупается.

Посылка II. Мои сочиненія читаются, расходятся и раскупаются; ergo

Conclusio. Мои сочиненія хороши.

СИЛЛОГИЗМЪ II.

Предложеніе. Московскіе журналы никуда не годятся.

Посылка I. Журналы, почему бы то ни было, не отдающіе справедливой похвалы хорошимъ сочиненіямъ, не могутъ быть хороши.

Посылка II. Московскіе журналы немилосердо издѣвались (дерзали!) надъ моими твореніями, которыя, вслѣдствіе перваго силлогизма, прехосходны; ergo

Conclusio. Московскіе журналы—дрянь.

Что Ѳ. В. Булгаринъ большой логикъ, объ этомъ нѣтъ спора; но судить логически и судить истинно, двѣ вещи разныя; посему, ни мало не думая составлять съ почтеннымъ авторомъ «Выжигинныхъ» на попрощѣ мышленія, я все-таки попытаюсь опровергнуть его силлогизмы силлогизмомъ моею собственной фабрики. Цѣль моего возраженія не та, чтобы убѣдить Ѳаддея Венедиктовича въ ложности его мнѣнія; нѣтъ, моя цѣль гораздо выше: польза науки (логики) и польза публики. Людямъ мыслящимъ не должно скрывать новыхъ, свѣтлыхъ и высокихъ истинъ; ибо это замедляло бы ходъ чело-вѣчества на пути къ совершенству. И такъ приступаю.

Предложеніе. Сочиненія А. А. Орлова безподобны.

Посылка I. Все, чтò читается и раскупается, превосходно.

Посылка II. Сочиненія А. А. Орлова читаются и раскупаются; ergo

Conclusio. Сочиненія А. А. Орлова безподобны.

Не правда ли, что это аксіома? Почему же *Θ. В. Булгаринъ* медлитъ признать достоинство литературныхъ издѣлій своего знаменитаго и достойнаго соперника? Неужели изъ зависти? Сохрани Богъ! Мы знаемъ, что *Сальери* завидовалъ *Моцарту*; но здѣсь талантъ завидовалъ генію, а *Θ. В. Булгаринъ* геній, и *А. А. Орловъ* геній, такъ зависти быть не должно; тѣмъ болѣе, что геній и зависть—несовмѣстныя свойства. Какъ бы то ни было, но или *Θаддей Венедиктовичъ* долженъ признать высокое достоинство скромнаго *Александра Анфимовича*, или долженъ признать ложность своего перваго силлогизма, что «все то, что читается и раскупается, превосходно», равно какъ и втораго силлогизма, который есть слѣдствіе перваго, что въ «*Москвѣ* не было и нѣтъ хорошихъ журналовъ».

Не правда ли, что это аксіома?

Присовокуплю къ моему силлогизму, разумѣется для пользы нашей литературы и всего человѣчества, еще нѣсколько бѣглыхъ замѣчаній. Повторяю: высокихъ и новыхъ истинъ (каковы: должно уповать на Бога, любить добродѣтель, избѣгать порока и пр.) не должно держать въ кулацѣ; если же онѣ были многократно повторены или въ дѣтскихъ прописяхъ или въ сочиненіяхъ *Θ. В. Булгарина*, то, для блага человѣчества, ихъ должно повторять какъ можно чаще.

Какая разница между талантомъ и геніемъ? Первый робокъ, второй смѣлъ, но эта смѣлость происходитъ отъ благороднаго сознанія въ своихъ силахъ. *Пушкина* читала и читаетъ съ восхищеніемъ вся Россія; однако онъ не только ни разу не объявлялъ о себѣ, что онъ хорошій поэтъ, но даже еще сознался печатно, что многіе изъ нападковъ его антагонистовъ были справедливы: явно, что *Пушкинъ* талантъ, а не геній. *Θ. В. Булгаринъ* неоднократно говорилъ о себѣ, что онъ знаменитый романистъ: явно, что *Θ. В. Булгаринъ* не талантъ, а геній.

Только разъ онъ обмолвился, сказавъ, что черезъ тысячу

лѣтъ его имя не будетъ извѣстно, хотя сочиненія и будутъ продаваться на толкучихъ рынкахъ; но это ничего не значитъ: скромность, какъ и хвастливость, есть удѣлъ гениа. Бюффонъ говаривалъ «геніевъ три: Ньютонъ, Лейбницъ и я!» и Бюффонъ точно былъ геній; Ѳ. В. Булгаринъ тысячу разъ увѣрялъ, что его романы превосходны, ибо потерпѣли не по одному тисненію, и кто-жъ не повѣритъ ему въ этомъ? Собственное признаніе паче всякаго свидѣтельства.

А «Французъ Венціанъ»? Я и забылъ объ немъ, увлекшись г. Булгаринымъ. Но что я скажу вамъ объ немъ? О произведеніяхъ такихъ авторовъ, каковы Матвей Комаровъ, «Житель Москвы», Ѳ. В. Булгаринъ и А. А. Орловъ, надо говорить tout ou rien; но для перваго у меня недостаетъ силъ, въ чемъ, какъ талантъ, а не геній, я сознаюсь откровенно; и потому умолкаю въ чувствѣ глубочайшаго удивленія и почтенія къ поименованнымъ мною авторамъ, съ каковымъ имѣю честь пребыть и пр.

**БРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНІЕ ГЛАВНЫХЪ ДОВОДОВЪ И
СВИДѢТЕЛЬСТВЪ, НЕОСПОРИМО УТВЕРЖДА-
ЮЩИХЪ ИСТИНУ И БОЖЕСТВЕННОЕ ПРО-
ИСХОЖДЕНІЕ ХРИСТІАНСКАГО ОТКРОВЕ-
НІЯ. Соч. Епископа лондонскаго Портьюса. Спб.
1834.**

Появленіе этой книги принадлежитъ къ числу тѣхъ предпріятій, которыя, при всей ихъ благонамѣренности, не приносятъ существенной пользы; ибо въ дѣлахъ добра мало одного усердія, нужно еще умѣнье. Цѣль этого сочиненія была, какъ видно изъ самаго ея заглавія, доказать истину и божественное происхожденіе христіанскаго Откровенія. Въ свое время подобное предпріятіе могло приносить свою пользу, ибо была несчастная пора, когда какое-нибудь bon mot, ка-

кой-нибудь пошлый каламбуръ убивалъ и религію, и истину, и плоды безкорыстнаго служенія знанію, и заслуженную репутацію человѣка. Это время уже кануло въ вѣчность: авторитетъ Вольтера и энциклопедистовъ упалъ даже въ провинціяхъ; его признають только развѣ какія-нибудь жалкія развалины

Времени очаковскихъ и покоренья Крыма.

Сверхъ того, подобныя книги только тогда могутъ быть полезны, когда содержащіеся въ нихъ истины изложены съ одушевленіемъ, съ теплотою чувства, съ увлекательнымъ краснорѣчіемъ, и подкрѣплены глубокою ученостію; ибо христіанское ученіе основано на любви и разумѣ, и потому говорить сколько уму, столько и сердцу.

**НОВОЕ НЕЛЮБО НЕ СЛУШАЙ, А ЛГАТЬ НЕ МѢ-
ШАЙ, ИЛИ ЛЮБОПЫТНЫЕ ОТРЫВКИ ИЗЪ
ЖИЗНИ МИНЫ МИНЫЧА ЕВСТРАТЕНБОВА,
№ 1. Москва. 1835.**

**ДВѢ ГРОВОВЫЯ ЖЕРТВЫ. Разсказъ Касьяна Русскаго.
Москва. 1834.**

Въ нынѣшнее время любятъ дѣлить литературу на разные классы: такъ напр. бываетъ литература классическая, романтическая (миръ праху ихъ!), юная, старая, неистовая, степенная, и пр. и пр. Но этимъ не ограничились гг. классификаторы: они раздѣлили на множество отдѣловъ самыя роды поэзіи, по главному элементу, составляющему ихъ внутренний характеръ. Въ семъ послѣднемъ случаѣ солонѣ всего пришлось роману, этой альфѣ и омегѣ всѣхъ современныхъ литературъ. Есть романъ историческій, сатирическій, право-описательный; есть романъ сухопутный и морской (школы Купера и Евгенія Сю); недостаетъ только земноводнаго ро-

мана; подземный же и притомъ допотопный, благодаря игривой фантазіи Барона Брамбеуса, пишется; словомъ, я долго бы не кончилъ, если бы вздумалъ вычислять всѣ роды и виды романа, ибо классификація романа, по своей обширности, ничѣмъ не уступитъ классификаціи растений или насѣкомыхъ.

Наша русская литература, равно какъ и русскій романъ, передѣлана нашими досужими классификаторами на безчисленное множество родовъ и видовъ. Я, нижеподписавшійся, кромѣ уже извѣстныхъ всѣмъ, открылъ еще новый родъ или, лучше сказать, новую область въ нашей литературѣ. Прежде, нежели объявлю во всеуслышаніе о моемъ открытіи, замѣчу мимоходомъ, что оно, по своей важности, стѣбитъ открытія Америки и что, слѣдовательно, я заслуживаю безсмертія наравнѣ съ Колумбомъ. Открытую мною область литературы надобно назвать Пономаревскою, ибо къ ней относятся только книги, печатаемыя въ типографіи г. Пономарева. Всѣ эти книги отличаются однимъ, общимъ имъ, характеромъ, который состоитъ въ слѣдующихъ признакахъ:

а) Всѣ онѣ величиною не превышаютъ числа трехъ печатныхъ листовъ и никогда не бываютъ менѣе полулиста.

б) Всѣ онѣ пишутся и печатаются безъ всякаго соблюденія правилъ грамматики, т. е. исполнены ошибокъ противъ этимологии, орфографіи и синтаксиса, до такой степени, что могутъ замѣнять всѣ какографическіе эзерсисы и пр.

в) Всѣ онѣ состоятъ въ явной враждѣ съ логикой и здравымъ смысломъ.

г) Большая часть изъ нихъ печатается на оберточной бумагѣ.

Avis au lecteur. Чтобы избавить читателей отъ повторенія одного и того же, симъ имѣю честь объявить, что впредь я буду рецензировать книги, выходящія изъ типографіи г. Пономарева, сими краткими словами:

«Твореніе, по характеру, принадлежащее къ пономаревской литературѣ, а по времени — къ смирдинскому періоду російской словесности».

БАРОНЪ БРАМБЕУСЪ. *Поэтыя Павла Павленки. Съ
эпиграфомъ: C'est de l'histoire bourgeoise. Москва. 1834.*

Вотъ книга, заглавіе которой, вѣроятно, для всякаго покажется истиннымъ гіероглифомъ! Что это такое? Критика на сочиненія извѣстнаго Барона Брамбеуса? Или біографія сего знаменитаго мужа? Ни то, ни другое, г-жа почтеннѣйшая публика! Васъ просто хотятъ морочить, надувать, изъ на-
лихъ - нибудь трехъ гривенниковъ. Это не критика, не біо-
графія, не романъ, не драма, не ода, а просто на просто пошлое маранье, состоящее изъ 53 страницъ, и относящееся, по времени появленія, къ смирдинскому періоду россійской словесности, а по внутреннему достоинству къ пономарев-
ской литературѣ, хотя напечатано и не въ типографіи г. Пономарева.

Кто такой авторъ этой вздорной книжонки? И какихъ ради причинъ появилась она на свѣтъ? И чего ради такъ обрадо-
валась ей «Библіотека для Чтенія»? Чего ради встрѣтила она
ее съ распростертыми объятіями и расхвалила въ прахъ? Это
загадка — не правда ли? Постараюсь дать вамъ, по возмож-
ности, удовлетворительныя объясненія на эти темныя гіеро-
глифы.

Кто такой авторъ этой книги?

Въ заглавіи стоятъ имя какого-то г. Павла Павленка. Кто
бы такой былъ этотъ г. Павелъ Павленко? Это имя совер-
шенно неизвѣстно и крайне затѣйливо: очевидно, что г. Па-
велъ Павленко есть псевдонимъ. Теперь мода на псевдонимство;
и такъ въ добрый часъ. Но какъ бы отгадать подлинное имя
сочинителя «Барона Брамбеуса»? Неужели въ этомъ грѣхѣ
виноватъ славный А. А. Орловъ? Нѣтъ, книжонка до такой
степени пошла, безсмысленна и безграмотна, что отъ нея,
вѣроятно, и гг. Сиговъ и Кузмичевъ отказались бы съ благо-
роднымъ негодованіемъ. И такъ кто же? По всему видно, что
это неразгаданная тайна. Но что за дѣло до сочинителя!

Вслѣдствіе какихъ причинъ появилась эта книжонка?

Помните ли вы, какъ въ нашей промышленной Москвѣ, тотчасъ послѣ появленія знаменитаго «Ивана Выжигина», появилось «Посланіе Сидора Пафнутьевича», не помню къ кому-то, посланіе, посвященное почитателямъ «Ивана Выжигина»? Незвѣстный авторъ онаго, соблазненный вещественнымъ успѣхомъ знаменитаго романа, хотѣлъ сдѣлать невинный оборотъ на счетъ славы его имени, и, сколько я помню, не ошибся въ своемъ расчетѣ: книжечка разошлась. Но «Сѣверная Пчела» тогда не поддавалась ласкательству и встрѣтила посланіе довольно сердито. Съ такою же цѣлю написанъ и «Баронъ Брамбеусъ», но не такова его судьба. Не знаю, благополучно ли онъ, подъ щитомъ знаменитаго имени, расходится по рукамъ читающей публики; знаю только, что «Библиотека для Чтенія» не послѣдовала примѣру «Сѣверной Пчелы». И чему-жъ тутъ удивляться? Какъ ни сладостенъ оиміамъ дружескихъ похвалъ, но все пріятнѣе услышать похвалу вчужѣ, хотя бы эта похвала была сдѣлана и изъ корыстныхъ видовъ. Всѣ смертные подвержены слабостямъ, и у Барона Брамбеуса есть своя Ахиллесовская пятка, и притомъ такая нѣжная, что для ней довольно и булавы, не только стрѣлы.

Содержаніе «Барона Брамбеуса» совершенно въ духѣ «Библиотеки для Чтенія». Какой-то дуралей помѣщикъ имѣетъ хорошенькую дочку, и хотя отъ роду ничего не читалъ и не смыслить въ литературѣ ни бельмеса, хочетъ во что бы то ни стало отдать ее за литератора. Но у дочки свой вкусъ: она влюблена въ улана. Какъ тутъ быть? Уланъ рѣшается на ужасное самозванство: онъ является къ отцу подъ именемъ Барона Брамбеуса, и требуетъ руки его дочери. Отецъ внѣ себя отъ радости. Но уланъ, мучимый совѣстію, открывается отцу въ обманѣ. Отецъ бѣсится, да дѣлать нечего; слово дано, и уланъ женится — и конецъ исторіи. Все это рассказано безъ всякаго остроумія, безъ всякой шутливости, безъ грамматики (охъ, эта проклятая грамматика — бѣда съ

нею, да и только!) и часто на счет здраваго смысла. Может-быть, въ семь последнемъ случаѣ, авторъ имѣлъ свою цѣль, ибо «здравый смыслъ и Баронъ Брамбеусъ», какъ уже теперь всѣмъ извѣстно, давно не ладаютъ другъ съ другомъ. C'est de l'histoire bourgeoise—гласить эпитаграфъ: вотъ чтѣ правда, то правда!

ПАНТЕОНЪ ДРУЖБЫ НА 1834 ГОДЪ. Собранный И.

О—мъ. Москва. 1834.

Нѣкоторымъ жаркимъ патриотамъ до крайности непріятно, когда говорятъ, что у насъ не было и нѣтъ литературы. Да утѣшятся они: поименованная книга служить самымъ торжественнымъ и неопровержимымъ доказательствомъ, что у насъ, по крайней мѣрѣ теперь, есть литература и литература богатая. Да умоляють дерзостные клеветники: эта книга изобличить и постыдить ихъ! Въ самомъ дѣлѣ, какъ не быть у насъ, даже и въ настоящее время, богатой литературѣ? Баронъ Брамбеусъ, гг. Гречъ, Булгаринъ, Орловъ, Масальскій, Воейковъ, И. Щ. (авторъ «Посельщика» и «Ангарскихъ Пороговъ»), Калашниковъ, Ушаковъ и пр. и пр.,—это все имена знаменитыя, ихъ авторитетъ крѣпокъ, какъ монументъ, воздвигнутый себѣ Горациемъ и Державинымъ. А сколько еще именъ неизвѣстныхъ, хотя и напечатанныхъ! Вотъ, напри-мѣръ въ «Пантеонѣ Дружбы», посмотрите-на и порадайтесь: И. О—ъ, И. Ленскій, И., М. Paul (повѣтъ весьма неутомимый и плодовитый), Х. Сабуровъ, Я. Оедоровъ, Л. И. Соболевъ, Вортенъ, баронъ Александръ Дельвигъ, А. П—въ, С—въ, Руфинъ Алексѣевъ, Т—въ! Какое богатство именъ! Какое блистательное созвѣздіе талантовъ! Какая стачка геніевъ!

КОНЕКЪ ГОРБУНОКЪ. *Русская сказка. Соч. П. Ершова. Въ III частяхъ. Спб. 1834.*

Было время, когда наши поэты, даровитые и бездарные, лѣзли изъ кожи вонъ, чтобы попасть въ классики, и изъ силъ выбивались украшать природу искусствомъ; тогда никто не смѣлъ быть естественнымъ, всякій становился на ходули и облакался въ мишурную тогу, боясь низкой природы; употребить какое-нибудь простонародное слово или выраженіе, а тѣмъ болѣе заимствовать сюжетъ сочиненія изъ народной жизни, не исказивъ его пошлымъ облагороженіемъ, значило потерять на вѣки славу хорошаго писателя. Теперь другое время: теперь всѣ хотятъ быть народными; ищутъ съ жадностію всего грязнаго, сальнаго и дегтарнаго; доходятъ до того, что презираютъ здравымъ смысломъ, и все это во имя народности. Не ходя далеко, укажу на попытку Казака Луганскаго и на поименованную выше книгу. И такъ нынѣ совсѣмъ не то, что прежде; но крайности сходятся; при томъ же давно уже было сказано, что

Ни что не ново подъ луною,
Что было—есть и будетъ вѣкъ.

И потому, несмотря на такую очевидную разность въ направленіяхъ, поэты настоящаго времени споткнулись на одномъ ухабѣ съ поэтами былаго времени. Какъ тѣ искажали народность, украшая ее, такъ эти искажаютъ ее, стараясь приближаться къ ея естественной простотѣ. Что въ русскихъ сказкахъ въ тысячу тысячъ разъ больше поэзіи, нежели въ «Бѣдной Лизѣ», не только въ «Боярской Дочери» и «Марѣ Посадницѣ», объ этомъ, въ наше время, нечего много говорить: это аксіома. Какъ же хотите вы воспроизводить ихъ? Не то же ли это, что, подобно Дюссю, передѣлывать въ пошлыя трагедіи геніальныя драмы Шекспира? Не то же ли, что поправлять народные русскія пѣсни, вставляя въ нихъ

паркетныя нѣжности и имена Лизъ, Нинъ и проч., какъ то дѣлывалось нашею доброю стариною! Эти сказки созданы народомъ: и такъ ваше дѣло списать ихъ, какъ можно вѣрнѣе, подѣ диктовку народа, а не подновлять и не передѣлывать. Вы никогда не сочините своей народной сказки, ибо для этого вамъ надо бы было, такъ сказать, омузичиться, забыть, что вы баринъ, что вы учились и грамматикѣ, и логикѣ, и исторіи, и философіи, забыть всѣхъ поэтовъ, отечественныхъ и иностранныхъ, читанныхъ вами, словомъ, переродиться совершенно; иначе вашему созданію, по необходимости, будетъ недоставать этой неподдѣльной наивности, ума, непросвѣщеннаго наукою, этого лукаваго простодушія, которыми отличаются народныя русскія сказки. Какъ бы внимательно ни прислушивались вы къ эху русскихъ сказокъ, какъ бы тщательно ни поддѣлывались подъ ихъ тонъ и ладъ, и какъ бы звучны ни были ваши стихи,—поддѣлка всегда останется поддѣлкою, изъ-за зипуна всегда будетъ виднѣться вашъ фракъ. Въ вашей сказкѣ будутъ русскія слова, но не будетъ русскаго духа, и потому, несмотря на мастерскую отдѣлку и звучность стиха, она нагонитъ одну скуку и зѣвоту. Вотъ почему сказки Пушкина, несмотря на всю прелесть стиха, не имѣли ни малѣйшаго успѣха. О сказкѣ г. Ершова—нечего и говорить. Она написана очень недурными стихами, но, по вышеизложеннымъ причинамъ, не имѣетъ не только никакого художественнаго достоинства, но даже и достоинства забавнаго фарса. Говорятъ, что г. Ершовъ молодой человекъ съ талантомъ; не думаю, ибо истинный талантъ начинается не съ попытокъ и поддѣлокъ, а съ созданій, часто нелѣпныхъ и чудовищныхъ, но всегда пламенныхъ и, въ особенности, свободныхъ отъ всякой стѣснительной системы или заранѣе предположенной цѣли.

ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ ВАДИМА. Москва. 1834.

Много чудесъ на бѣломъ свѣтѣ, но еще болѣе ихъ въ нашей литературѣ. Это истинно вавилонское столпотвореніе, гдѣ люди толкуются взадъ и впередъ, шумятъ, кричатъ на всевозможныхъ языкахъ и нарѣчіяхъ, не понимая другъ друга; повидимому, стремятся къ какой-то общей опредѣленной цѣли, а между тѣмъ бѣгутъ въ разныя стороны, суетятся и бросаются туда и сюда, и между тѣмъ ни на полъ шага впередъ:

Поклажа хоть не велика,
Да лебедь рвется въ облака,
Какъ тянетъ взадъ, а шука въ воду!

Въ самомъ дѣлѣ, что за противоположныя явленія! Цѣль одна—распространеніе просвѣщенія: а средства къ достиженію этой цѣли... Боже мой! Какъ различны!—Въ чемъ заключается причина этого разнохарактернаго дивертисмана, который такъ карикатурно танцуетъ наша литература? Безъ всякаго сомнѣнія, въ дѣтскомъ и разнокалиберномъ образованіи нашемъ. Это образованіе есть плацъ, сшитый изъ лоскутовъ разныхъ матерій всевозможныхъ цвѣтовъ и всевозможныхъ цѣвъ. Посмотрите: тамъ Брамбеусъ силится блистать красотами Поль-де-Кока, приправленными, въ приличныхъ мѣстахъ, неистовствомъ «юной словесности»; здѣсь г. Гречъ хлопочетъ воскресить нравственные романы почтенной старушки мадамъ Жанлисъ съ братією; тамъ г. Лажечниковъ готовить къ изданію романъ европейскаго достоинства; тутъ г. Булгаринъ и Орловъ пишутъ ѣдія сатиры на общество и стараются исправлять его пороки. Тамъ г. Устряловъ издаетъ «Сказанія Современниковъ о Димитріѣ Самозванцѣ»; здѣсь г. Сенковский трактуетъ о «Сагахъ», а какой-то Вадимъ грозитъ рѣшить споръ о «Словѣ о полку Игоревѣ». Тутъ повѣсти г. Павлова и грамматика Востокова—тамъ по-

вѣсти Безумнаго и грамматика г. Калайдовича... И все это пользуется чуть ли не равнымъ участкомъ славы!... У насъ есть литераторы, принадлежащіе, по своему образованію и образу мыслей, во всѣмъ вѣкамъ, начиная съ IX (или начала Россійскаго государства — см. «Россійскую Исторію» г. Кайданова) до XIX включительно. Въ самомъ дѣлѣ, у насъ есть люди, надъ которыми рѣшительно безсиленъ полетъ времени, которые крѣпко держатся тамъ, гдѣ стали однажды. У насъ есть люди, которые во всю прыть гонятся за вѣкомъ, думаютъ, что идутъ наравнѣ съ нимъ, ни мало не подозрѣвая, что отдѣлены отъ него цѣлымъ океаномъ разстоянія. Вотъ, напримѣръ, въ какому классу книгъ отнесете вы «Путевыя Записки Вадима», съ чѣмъ сравните ихъ? Чай, съ «*Impressions de Voyage par Dumas*»? Какъ бы не такъ! То же, да не то, увѣряю васъ. Въ ихъ появленіи на свѣтъ виновать не Дюма,—а Богъ вѣсть кто...

«Путевыя Записки Вадима»—истинное диво дивное! Чего-то въ нихъ нѣтъ! И юношескія разсужденія, и археологическія мечты, и историческія чувствованія — все это такъ и рябитъ въ глазахъ читателя. А риторика, риторика — о! да тутъ разливанное море риторики! Не хотите ли примѣровъ троповъ, фигуръ, поэтическихъ выраженій? Берите ихъ горстями, черпайте ведрами. Не ищите грамматическихъ ошибокъ, не ищите безеmysлацъ; но не ищите и новыхъ мыслей, не ищите выраженій, ознаменованныхъ теплою чувства... Риторика все потопила!

Авторъ начинаетъ съ того, что онъ съ юности читалъ великую книгу природы, которую не всѣ читаютъ; потомъ описываетъ свой переѣздъ изъ Сибири въ Малороссію; въ продолженіе этой безконечной дороги задумывается надъ Кремлемъ и другими памятниками временъ былыхъ; потомъ простодушно объясняетъ, почему у насъ не развилось и не усовершенствовалось національнымъ образомъ итальянское зодчество, занесенное къ намъ Аристотелемъ Болонскимъ, не догадываясь,

что у насъ, до Петра Великаго, ничего не могло развиваться, какъ у народа, который самъ не развивался, который мирно прозябалъ за своими столами дубовыми и скатертями бранными, на своихъ постеляхъ пуховыхъ за пологами шелковыми, и храбро, со всего плеча, крушилъ беспокойныхъ сосѣдей, которые мѣшали ему покоиться... Потомъ г. Вадимъ разсуждаетъ и мечтаетъ о Руси, Малороссіи, объ ихъ исторіи, и о многомъ, многомъ, о чемъ можете сами узнать, прочтя его «Путевыя Записки».

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ КАЗАКА ЛУГАНСКАГО. *Русскія сказки. Книжка вторая. Сиб. 1835.*

На нашемъ крохотномъ литературномъ небосклонѣ всякое пятнышко кажется или блестящимъ созвѣздіемъ или огромною кометою. Лишь только появится на немъ какая-нибудь тучка, которую, по ея отдаленности, нельзя хорошенъко опредѣлить, какъ наши любители литературной астрономіи тотчасъ вооружаются огромными критическими телескопами и съ важностію разсуждаютъ, что бы это такое было: неподвижная звѣзда, новая планета или блудящая комета. Они смотрятъ, толкуютъ, измѣряютъ, спорятъ, удивляются, а тучка между тѣмъ разсѣвается, и ихъ ненаглядная планета или комета испадаетъ мелкимъ дождичкомъ и—исчезаетъ въ землѣ. Много можно бы привести подобныхъ примѣровъ, тѣмъ болѣе, что почти вся исторія нашей литературы состоитъ изъ такихъ забавныхъ анекдотовъ. Вотъ, наприимѣръ, сколько шуму произвело появленіе Казака Луганскаго! Думали, что это и ни въсть что такое, между тѣмъ, какъ это ровно ничего: думали, что это необыкновенный художникъ, которому суждено создать народную литературу, между тѣмъ какъ это просто балагуръ, иногда довольно забавный, иногда слишкомъ скучный, нерѣдко уморительно веселый и часто приторно натя-

нутый. Вся его гениальность состоитъ въ томъ, что онъ умѣетъ кстати употреблять выраженія, взятыя изъ русскихъ сказокъ; но творчества у него нѣтъ и не бывало; ибо уже одна его замашка передѣлывать на свой ладъ народныя сказки достаточно доказываетъ, что искусство не его дѣло. Во второй части его «Былей и Небылицъ» содержатся три сказки, одна другой хуже. Первая всѣхъ серьезнѣе: въ ней между прочими вещами говорится о Сатурнѣ, о богѣ любви, о счастливомъ островѣ, наполненномъ нимфами (что-то похожее на островъ Калипсо); все это пересыпано сказочными руссизмами — не правда ли, что очень забавно? Вторая сказка — передѣлка, стало, о ней нечего говорить. Третья, «О Жидѣ вороватомъ и Цыганѣ бородатомъ», состоитъ изъ ходячихъ армейскихъ анекдотовъ о Жидахъ; грязно, сально, старо, пошло, но, несмотря на то, такъ забавно, что невозможно читать безъ смѣха... Казакъ Луганскій забавный балагуръ!...

АББАДЮННА. *Сочиненіе Николая Полевая. Москва. 1834. 4 части.*

МЕЧТЫ И ЖИЗНЬ. *Были и повѣсти, сочиненныя Николаемъ Полевымъ. Москва. 1834. 4 части.*

Скучно и тошно читать ex-officio разные вздоры и нелѣпости, изобрѣтаемые плодovitою бездарностію и безстыдною меркантильностію; непріятно и досадно повторять тысячу разъ одно и то же, или разыгрывать разныя варіаціи на одну и ту же тему; жалко и унижительно высказывать съ грубою откровенностію рѣзкія истины рыцарямъ печальнаго образа и дразнить пискливое самолюбіе литературныхъ гусей! За то, какъ пріятно и отрадно, взявши въ руки какое нибудь многотомное произведеніе «россійскаго» пера, осудивъ себя a priori на скуку и зѣвоту, а перо свое на беспощадную правду,

обмануться въ ожиданіи и, вмѣсто пошлости, прочесть что-нибудь сносное и порядочное! Но приняться за чтеніе книги такого автора, имя котораго общается твореніе, хотя и не гениальное, но ознаменованное болѣею или меньшею степенью таланта, и не обмануться въ своей надеждѣ, и быть въ состояніи отдать должную справедливость подобному произведенію — о, это верхъ блаженства для человѣка, свободнаго въ своемъ образѣ мыслей отъ всякаго вліянія партій и чуждаго всякаго литературнаго сватовства и кумовства. Въ дѣлѣ литературы, какъ и въ дѣлахъ жизни, есть своя честность, своя добросовѣстность, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, есть и свои неизбѣжныя отношенія, которыя ставятъ иногда человѣка въ необходимость быть пристрастнымъ, не рѣдко для поддержанія своей репутаціи. Міръ журнальный есть міръ политическій въ миниатюрѣ; въ немъ есть своя оппозиція, свои союзы, свои войны и примиренія. Кто не помнитъ прекрасной и остроумной статьи: «Обозрѣніе журнальныхъ кабинетовъ», помѣщенной въ «Московскомъ Вѣстникѣ» за 1830 годъ? Посему для посвященныхъ въ таинства журнальнаго міра кажутся весьма понятны и извинительны такія явленія, которыя по справедливости возбуждаютъ все негодованіе непосвященныхъ. Какъ бы то ни было, но, чуждый такого рода отношеній, я чувствую всю цѣну моей независимости, и спѣшу воспользоваться ею, чтобы высказать откровенно, по совѣсти и разумѣнію, мое мнѣніе о романѣ г. Полеваго. Я не намѣренъ писать на него критики и принимать на себя важной роли судіи неумолимаго; нѣтъ, я хочу бросить только бѣглый взглядъ, просто и безъ затѣй, изложить, въ видѣ записки, мое сужденіе, не какъ критика, но какъ простаго любителя, представить читателямъ результатъ впечатлѣній, коими поразило меня это новое явленіе въ нашей литературѣ.

«Аббадонна» есть второй романъ г. Полеваго; первымъ его опытомъ въ семъ родѣ была «Клятва при Гробѣ Господ-

нентъ». Какъ то, такъ и другое произведеніе не имѣетъ себѣ образца и не похоже ни на какое сочиненіе того же рода въ нашей литературѣ; но участь сихъ обоихъ произведеній чрезвычайно различна: принятыя съ равною благосклонностію публикою, они были приняты различнымъ образомъ нашими записными аристархами. Первое было превознесено нѣкоторыми изъ нихъ до седьмага неба, такъ что поставлено чуть ли не выше всего, что есть лучшаго въ семъ родѣ въ европейскихъ литературахъ; второе же, по мнѣнію тѣхъ же самыхъ людей, поставлено едва ли не наравнѣ съ издѣліями г. Александра Ордова. Не пускаясь въ изслѣдованіе любопытныхъ причинъ столь противоположнаго мнѣнія о двухъ произведеніяхъ одного и того же автора, я замѣчу мимоходомъ, что ни то, ни другое изъ сихъ мнѣній не справедливо. «Блѣтва при Гробѣ Господнемъ», какъ мнѣ кажется, ниже тѣхъ преувеличенныхъ похвалъ, которыми столь бездоказательно осыпали ее наши неумные литературные судьи; она едва ли заслуживаетъ имя художественнаго произведенія въ полномъ смыслѣ сего слова. Это есть просто попытка умнаго чловѣка создать русскій романъ, или, лучше сказать, желаніе показать—какъ должно писать романы, содержаніе коихъ берется изъ русской исторіи. И въ семъ случаѣ, этотъ романъ есть явленіе замѣчательное; одно уже то, что любовь играетъ въ немъ не главную, а побочную роль, достаточно доказываетъ, что г. Полевой вѣрнѣе всѣхъ нашихъ романистовъ понялъ поэзію русской жизни. Въ его произведеніи есть нѣсколько мѣстъ высокаго достоинства, есть много новаго, интереснаго, какъ вообще въ завязкѣ и ходѣ всего романа, такъ и во многихъ ситуаціяхъ и характерахъ дѣйствующихъ лицъ; но въ цѣломъ онъ вялъ и скученъ. Видно много ума, но мало фантазіи, видно усиліе, но не видно вдохновенія.

«Аббадонна» несравненно выше «Блѣтвы при Гробѣ Господнемъ»; можетъ-быть, это происходитъ оттого, что здѣсь

г. Полевой былъ, такъ сказать, болѣе въ своей тарелкѣ, ибо вообще его талантъ, несмотря на всю его многосторонность, особенно торжествуетъ въ изображеніи тѣхъ предметовъ, которые имѣютъ близкое отношеніе къ нему самому по опыту жизни. Представить художника въ борьбѣ съ мучащими жизни и ничтожностію людей—вотъ тама, на которую г. Полевой пишетъ съ особенною любовью и съ особеннымъ успѣхомъ: доказательствомъ тому его повѣсть «Жившисецъ» и разсматриваемый мною романъ. Эти два произведенія я считаю лучшими произведеніями г. Полеваго: въ нихъ онъ самъ является художникомъ. Впрочемъ его талантъ также весьма замѣчателенъ въ юмористическихъ картинахъ современной русской жизни и въ превосходномъ изображеніи поэтической стороны нашихъ простолюдиновъ; причина очевидна: то и другое ему слишкомъ хорошо знакомо, а онъ, повторяю, не иначе можетъ быть хорошъ, какъ въ сферѣ, хорошо ему знакомой. Это есть общая участь таланта, и составляетъ, по моему мнѣнію, его главное отлчіе отъ генія. Геній можетъ изображать вѣрно и сильно тѣхъ чувствованія и положенія, какія, по обстоятельствамъ его жизни, не могли быть имъ извѣданы; талантъ всегда находится подъ могущественнымъ вліяніемъ или обстоятельствъ своей жизни, или индивидуальности своего характера, и торжествуетъ въ изображеніи предметовъ, наиболѣе поражавшихъ его чувство или умъ; геній творитъ образы новые, никѣмъ даже и не подозрѣваемые, не только что не видѣнные; талантъ только воплощаетъ въ новыя формы вѣчные типы генія; оригинальность и красоты въ созданіи генія суть результатъ одной его творческой силы; красоты же въ произведеніи таланта суть слѣдствіе болѣе или меньшей подчиненности вліянію генія, а особность есть слѣдствіе болѣе индивидуальности человека, нежели художника. Степеню сей-то подчиняемости вліянію генія опредѣляется сила таланта.

Основная мысль «Аббадонны» не новость, хотя талантъ

автора умѣлъ придать ей прелесть новости. Характеры персонажей, за исключеніемъ двухъ, всѣ оригинальны и суть созданія автора. Два же, а именно: Элеоноры и Генріетты, суть пересозданные типы Шиллера, которыми, впрочемъ, г. Полевой умѣлъ придать столько оригинальности, что они не кажутся сколками своихъ образцовъ, а только напоминаютъ ихъ. Подобная подражательность, если только можно назвать ее подражательностію, замѣтна даже и въ нѣкоторыхъ положеніяхъ: кромѣ сходства въ характерахъ, Элеонора и Генріетта напоминаютъ собою леди Мильфортъ и Луизу Шиллера, и во взаимныхъ отношеніяхъ между собою, какъ соперницы. Такъ, напримѣръ, прекрасная сцена свиданія Элеоноры съ Генріеттою (ч. IV, стр. 78—95) напоминаетъ сцену свиданія леди Мильфортъ съ Луизою. «И онъ передалъ ей душу свою—я видѣла это: у него привыкла она такъ смотрѣть, такъ говорить» (стр. 101). Эти слова изступленной любовью и ревностію Элеоноры показываютъ, что автору «Аббадонны», какъ будто въ смутномъ снѣ, представлялась поминутая сцена изъ «Коварства и Любви», хотя его собственная отъ этого ни мало не теряетъ въ художественномъ достоинствѣ и имѣетъ свой характеръ и свою оригинальность.

Говоря, что двое изъ главныхъ персонажей «Аббадонны» напоминаютъ типы Шиллера, я отнюдь не имѣю цѣлю унижать чрезъ то достоинство сего романа, а еще менѣе упрекать г. Полеваго въ подражательности. Смѣшно и думать, чтобы въ наше время хотя сколько-нибудь образованный человѣкъ поставилъ въ заглавіи своего сочиненія: подражаніе такому-то, и сталъ бы объяснять въ предисловіи, что принадлежитъ въ его сочиненіи собственно ему, и что взято имъ на прокатъ изъ того или другаго писателя; еще смѣшнѣе думать, чтобы въ наше время, человѣкъ съ истиннымъ талантомъ, сядя за перо, съ намѣреніемъ создать что-нибудь, разложилъ передъ собою твореніе гения, и сталъ бы съ него скопировать. Нѣтъ: въ созданіи истиннаго таланта нашего

времени вы никогда не замѣтите этой пошлой подражательности, которая почиталась нѣкогда необходимою принадлежностію чудовищныхъ и безобразныхъ произведеній такъ называемыхъ классиковъ. Этого мало: вы не всегда узнаете на одно какое-нибудь извѣстное произведеніе, которое было бы исключительнымъ образцемъ онаго; но вы всегда, или, по крайней мѣрѣ, часто откроете въ немъ слѣды вліянія одного или даже и нѣсколькихъ гениальныхъ твореній. Эта зависимость есть невольная дань таланта гению—дань, которую онъ часто платитъ ему безсознательно и безъ своего вѣдома. Такъ, напримѣръ, историческій романъ XIX вѣка не есть изобрѣтеніе Вальтера-Скотта, ибо всѣ роды и виды повѣи безусловны, и ихъ прототипы скрываются въ непреложныхъ законахъ творчества, но я думаю, что Вальтер-Скоттъ потому уже гений и стоитъ гораздо выше всѣхъ послѣдовавшихъ романистовъ, что онъ первый угадалъ этотъ родъ романа. Колумбы открываютъ неизвѣстныя части міра, а Пизарры и Кортесы только довершаютъ ихъ открытія.

Вотъ главные персонажи «Аббадонны», на коихъ сосредотчивается интересъ романа: Вильгельмъ, молодой художникъ, созданіе, вполне принадлежащее г. Полевому, невольно привлекающее къ себѣ вниманіе читателя, борется между влеченіемъ своего гения и обольщеніями жизни, между голосомъ своего художническаго призванія и сомнѣніемъ въ своемъ художническомъ призваніи; Элеонора, чудное, дивное, высокое, прелестное созданіе, женщина, рожденная съ душою пламенною и энергическою, съ страстями знойными и волнаническими, но увлеченная обстоятельствами въ бездну разврата, превосходная актриса, изступленная жрица и пошляница изыскаго и вмѣстѣ съ тѣмъ презрѣнная любовница сильнаго временщика, бездушнаго старичишки, испытываетъ надъ собою высокое таинство любви, очищается въ ея священномъ пламени отъ ржавчины порока и возстаетъ отъ своего паденія въ мощномъ, исполненномъ величія; потомъ Генріетта, первая

любовь Вильгельма, одно изъ этихъ милыхъ, кроткихъ созданий, Нѣмочекъ-кухарочекъ, которыхъ я люблю до смерти, и которыхъ еще никогда не видывалъ, которыя общаются избранному ими юношѣ и супружескую вѣрность до гроба и вкусно сваренный супъ изъ картофеля, и тихое упоеніе романтической любви и самый классическій порядокъ въ домѣ и на погребѣ, которыя сначала изображаются съ серафимскими крыльми, а потомъ съ связкою ключей, которыя, наконецъ, начинаютъ свое поприще идеалами, а оканчиваютъ кухню и прачечною, — Генріетта испытываетъ муки отверженной любви и возбуждаетъ въ душѣ читателя живѣйшее состраданіе къ своему положенію. Второстепенныя лица также интересны. Разсказъ вообще живой и занимательный; положенія по большей части новыя и оригинальныя; обрисовка характеровъ мастерская, облачающая руку твердую и рѣзкую; множество картинъ и описаній истинно художественныхъ, каковы: представленіе «Арминія», сцена въ бесѣдкѣ, вольный переводъ изъ Сутея индійской легенды «Аллоа», столкновение Вильгельма съ дворомъ князя и съ могущественнымъ барономъ Калькопфомъ, поѣздка Вильгельма на родину, и уже упомянутая мною прекрасная сцена свиданія Элеоноры съ Генріеттою, изображеніе директора театра, литераторовъ, поэтовъ, журналистовъ, ученыхъ, ползающихъ поочередно передъ сильными, закулисныя тайны, т.-е. театр въ время репетицій и до поднятія занавѣса; наконецъ прекрасный слогъ — вотъ достоинства новаго произведенія г. Полеваго. Въ немъ цѣлость выдержана, по крайней мѣрѣ, пока, ибо этотъ романъ еще не составляетъ цѣлаго; его продолженіе и окончаніе будетъ въ другомъ романѣ. За одно только можно упрекнуть автора: это за излишнюю говорливость, которая иногда переходитъ въ совершенную болтливость; между многими прекрасными мыслями, у него, особенно въ первой части, встрѣчаются мѣста, состоящія изъ сентенцій, рѣшительно пошлыхъ. Конечно, подобныя пошлыя сентенціи могли бы составить

блескъ и украшеніе романовъ иныхъ авторовъ, пользующихся на святой Руси большимъ авторитетомъ, но какъ-то непріятно и досадно встрѣчать ихъ въ романѣ г. Полеваго. Желаемъ и съ нетерпѣніемъ ожидаемъ, чтобы второй романъ, служащій окончаніемъ «Аббадоннѣ», вышелъ какъ можно скорѣе, и благодаримъ г. Полеваго, что онъ, литераторъ Москвы, подарилъ нашу публику хорошимъ произведеніемъ, тогда какъ петербургскіе литераторы подчуютъ ее заплесневѣлыми крохами съ убогой трапезы Поль-де-Кока, Жанлисъ и Дюкре-Дюмениля съ братією.

Что касается до повѣстей г. Полеваго, объ нихъ вообще можно сказать то же, что и объ «Аббадоннѣ»: это созданія не вѣковыя, не гениальныя, но ознаменованныя печатію сильнаго таланта. Въ четырехъ частяхъ его «Мечты и Жизнь» заключается пять повѣстей: «Блаженство Безумія», «Эмма», «Живописецъ», «Мѣшокъ съ Золотомъ» и «Разказы Русскаго Солдата». Первая слишкомъ какъ-то напоминаетъ Гофмана, но отличается мастерскимъ рассказомъ; вообще большинство голосовъ остается на сторонѣ «Эммы», но мнѣ больше всего нравится «Живописецъ»; самая слабая повѣсть есть «Мѣшокъ съ Золотомъ», но «Разказы Русскаго Солдата» — это прелесть! Въ этой пьесѣ такъ много чувства, такъ много оригинальности и вѣрности въ изображеніи чувствъ и понятій простолюдиновъ, что съ нею не можетъ идти ни въ какое сравненіе ни одна повѣсть, взятая изъ престолярной жизни. Истина вымысла доведена въ ней до совершенства, такъ что когда прочтешь эту повѣсть, то всѣ писанныя въ одномъ съ нею родѣ покажутся холодными и искаженными копіями. Странно, почему г. Полевой не помѣстилъ въ своихъ «Мечты и Жизнь» своей прекрасной исторической повѣсти «Симеонъ Кирдяпа» и своихъ занимательныхъ «Святочныхъ Вечеровъ?»

**ЗАПИСКА О ПОХОДАХЪ 1812 И 1813 ГОДОВЪ, ОТЪ
ТАРУТИНСКАГО СРАЖЕНІЯ ДО КУЛЬМСКАГО
БОЯ. Спб. 1834. Дѣл части.**

Бѣ числу самыхъ необыкновенныхъ и самыхъ интересныхъ явленій въ умственномъ мірѣ нашего времени принадлежать «Записки» или «Mémoires». Это суть истинныя лѣтописи нашихъ временъ, лѣтописи живыя, любопытныя, писанныя не добродушными монахами, но людьми, по большей части образованными и просвѣщенными, бывшими свидѣтелями, а иногда и участниками этихъ событій, которые описываются ими со всею откровенностію, какая только возможна въ наше время, со всѣми подробностями, которыхъ ищетъ и романистъ, и драматургъ, и историкъ, и правоописатель, и философъ. И въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть любопытнѣе этихъ «Записокъ»? это исторія, это романъ, это драма, это все, что вамъ угодно. Что можетъ быть важнѣе ихъ? Десять, двадцать человѣкъ пишутъ объ однихъ и тѣхъ же событіяхъ, и каждый изъ нихъ имѣетъ своего конька, свою ахилесовскую пятку, свой взглядъ на вещи, свою манеру въ изложеніи, словомъ, свои дурныя и хорошія стороны: сличайте, сравнивайте, повѣряйте, сводите на одну ставку—сколько матеріаловъ для результатовъ, результатовъ вѣрныхъ и драгоценныхъ, если только вы съумѣете хорошо сдѣлать ваше дѣло. «Записки» или «Mémoires» есть собственность Французовъ, чадо ихъ народности. Ихъ успѣху и распространенію чрезвычайно много способствовали послѣдніе перевороты; въ самомъ дѣлѣ: монархія, республика, имперія, реставрація, «сто дней», опять реставрація—тутъ можно объясняться откровенно и безъ обиняковъ, и есть о чемъ говорить!

Если кто сочтетъ «Записки о походахъ 1812 или 1813 годовъ» за подобныя Mémoires, тотъ жестоко обманется въ

своемъ ожиданіи. Это просто исторія походовъ, изложенная въ связи, подобно извѣстному сочиненію Бутурлина. Исторія эта, сколько я понимаю, есть произведеніе человѣка умнаго и знающаго свое дѣло: онъ былъ очевидцемъ и участникомъ въ описываемыхъ имъ походахъ, судить о нихъ ученымъ образомъ, смотреть на многія вещи съ новой точки зрѣнія. Главное достоинство сего сочиненія состоитъ въ благородномъ безпристрастіи: авторъ отдаетъ полную справедливость громадному генію «сына судьбы», удивляется ему до энтузіазма, какъ знатокъ военнаго искусства, и оправдываетъ свое удивленіе фактами; равнымъ образомъ, онъ говоритъ съ восторгомъ о храбрости Французовъ, что, впрочемъ, ни мало не мѣшаетъ ему приносить должную дань хвалы и удивленія своимъ соотечественникамъ. Вообще его энтузіазмъ къ тѣмъ и другимъ основанъ не на какомъ-нибудь безотчетномъ чувствѣ, но на знаніи военнаго искусства, и посему, говоря съ похвалою о блистательныхъ подвигахъ какъ непріятельскихъ, такъ и отечественныхъ генераловъ, онъ безпристрастно говоритъ и объ ихъ ошибкахъ. Вообще эта книга можетъ читаться съ удовольствіемъ даже и непосвященными въ таинства военнаго ремесла, ибо, при всей своей дѣльности, она чужда утомительной сухости, и написана, за исключеніемъ не многихъ синтаксическихъ неправильностей, хорошимъ русскимъ языкомъ.

ХИТЛЬНИЦЕЕ, ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНІЕ МАЛО-РОССІИ. *Историческій романъ XVII вѣка. Соч. П. Голоты. Москва. 1834. Три части.*

Авторъ сего, будто бы, «историческаго романа XVII вѣка» описывалъ, въ третьей и послѣдней части онаго, обрученіе одного изъ своихъ героев, Тимофея Хитльницкаго, сына знаменитаго Зиновія, прозваннаго Богданомъ, съ молдавскою

вняжною, прекрасною Розандою, говорить тако: «Пріятно бы было оканчивать романы подобнымъ благополучіемъ (!?), гдѣ (??) порокъ наказывается, а добродѣтель торжествуетъ, гдѣ (??) слава и геройство доставляютъ блаженство и въ этой скучной жизни; но человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ». Не правда ли, что подобныя понятія и чувствованія дѣлаютъ большую честь сердцу автора? Подумаешь, что читаешь тираду изъ «Дамскаго Журнала»; но всемогущее время, въ быстромъ полетѣ, коснулось своимъ крыломъ и г. Голоты, и потому онъ продолжаетъ тако: «Слѣдую исторіи, я съ прискорбіемъ долженъ придерживаться истины и тѣмъ огорчить, можетъ быть, хотя одно чувствительное сердце». Повторяю: все это такъ прекрасно и виѣстѣ такъ обыкновенно, что эти слова, какъ и весь романъ, можно-бъ совсѣмъ оставить безъ вниманія; но слѣдующія за ними строки удивляютъ своею наивностію и невольно останавливаютъ на себѣ вниманіе рецензента: «Можетъ-быть многіе воскликнутъ: Помилуйте, г. Голота, вы дарите (!) насъ уже третьимъ романомъ подобнаго почти окончанія!» Что это такое? Дѣрякое самохвальство со стороны автора, или его смѣшное заблужденіе на счетъ своего дарованія и своей литературной значительности?... Въ томъ и другомъ случаѣ, я, нижеподписавшійся, долгомъ почитаю предложить ему, со всею вѣжливостію, два слѣдующихъ вопроса:

Милостивый государь, г. Голота, къ чему такія странныя претензіи? Повѣрьте, что онѣ смѣшны и забавны даже и у такихъ писателей, которые далеко ушли отъ васъ. Потомъ, съ чего вы вздумали сдѣлать несбыточное предположеніе, чтобы кто-нибудь изъ читателей могъ дочитатьъ, безъ крайней необходимости, до третьей части вашего романа, и обратиться къ вамъ, г-ну Голотѣ, такое патетическое воззваніе? Ибо:

Вашъ романъ—не романъ, а дурной фарсъ, который гораздо ниже бездарныхъ издѣлій многихъ нашихъ романистовъ.

Всѣ ваши историческія лица искажены и изуродованы; вмѣсто того великаго Зиновія Хмѣльницкаго, о которомъ народная дума говорить:

Только Богъ святой знает,
Що Хмѣльницкій думаетъ, гадаетъ!

вы представили въ своемъ романѣ какого-то Дюкре-Дюмени-левскаго героя, въ родѣ знаменитаго Эраста Чертополохова, который дѣйствуетъ какъ сумасшедшій и объясняется надутымъ, риторическимъ языкомъ персонажей «Россійскаго Театра». Это произошло оттого, что у васъ не было ни идей, ни идеаловъ, а какія-то мертвыя куклы, въ которыхъ ваша фантазія не умѣла вдохнуть душу живу, которыхъ вы видѣли не ясно, какъ будто бы въ смутномъ снѣ. У васъ Малороссію угнетаютъ не Поляки, а какой-то сумасшедшій Ляхъ Чаплинскій, — лице, весьма похожее на злодѣевъ классической трагедіи.

Въ вашемъ романѣ нѣтъ и тѣни Малороссіи, ни въ дѣйствіи, ни въ языкѣ, исключая развѣ нѣсколькихъ малороссійскихъ поговорокъ, которыя вы, ни къ селу, ни къ городу, разсадили въ разныхъ мѣстахъ!

Наконецъ вашъ романъ написанъ дурнымъ русскимъ языкомъ, отъ первой страницы до послѣдней. Для доказательства беру на выдержку слѣдующее мѣсто: «Другъ мой, что ты сказалъ? доверши мое благополучіе. Могу ли обольщать себя чарующей надеждою быть любимымъ отъ твоей сестры?» Это говорить Нечай!!!...

Спрашиваю васъ, г. авторъ, не странны ли послѣ этого всѣ ваши авторскія претензіи?

Въ заключеніе скажу, что изъ множества эпиграфовъ, которыми усѣянъ вашъ романъ, удачнѣе другихъ подобранъ слѣдующій:

А намъ дулаты, и дулаты!...

Онъ какъ-то лучше идетъ къ роману...

ЦАРЬ-ДѢВИЦА. Москва. 1835.

Ну—пошла писать наша народная литература! Сказка за сказкою! Только успѣвай встрѣчать да провожать незваныхъ гостей! И правду говорить, что русскій человѣкъ смысленъ: выдумать что-нибудь свое—глупое или умное—не его дѣло; за то ужъ если натолкнетъ его кто-нибудь—такъ держись только, да смотри въ оба! Охъ, «Царь Салтанъ Салтановичъ»! Богъ тебѣ судья! востормошилъ ты нашъ неугомонный народъ—житья не стало отъ сказокъ; хотъ бѣги со свѣта долой! Не понимаю, какъ по сію пору никому не придетъ въ голову издать «Илью Муромца» Карамзина на лучшей веленовой бумагѣ, со всею типографическою роскошью и съ учеными примѣчаніями. Кажется теперь настало именно то время, когда это плохенькое произведеньице, которое самъ авторъ почиталъ бездѣлкою и шуткою, должно казаться великимъ, геніальнымъ твореніемъ, вѣковымъ типомъ почти всего, что нынѣ пишется. Право, пора бы сбыться надъ нимъ судьбѣ Мильтонова «Потеряннаго Рая», котораго современники оцѣнили въ 7½ ф. ст., а потомство превознесло превыше свѣтилъ небесныхъ! И въ самомъ дѣлѣ, развѣ «Илья Муромецъ» уступить въ достоинствѣ «Царю Салтану», «Берендею», «Коньку-Горбунку» и пр. и пр.? Да, крайности сходятся!

Что такое «Царь-Дѣвица»? Право, не знаю! Три раза прочелъ, а ровно ничего не понялъ! Можетъ-быть потому, что вся эта крохотная сказочка состоитъ изъ фантастическихъ сновъ, а

Когда же складны сны бываютъ?

Знаю только то, что эта книжечка написана гладенькими стишками, состоитъ ровнымъ счетомъ, со включеніемъ заглавнаго листка, изъ 23 страницъ и продается по два рубля съ полтиною.

**СОЧИНЕНІЯ ВЪ ПРОЗѢ И СТИХАХЪ КОНСТАНТИ-
НА БАТЮШКОВА. Спб. 1834. Дѣл части.**

Наша литература, чрезвычайно богатая громкими авторитетами и звонкими именами, бѣдна до крайности истинными талантами. Вся ея исторія шла такимъ образомъ: вмѣстѣ съ какимъ-нибудь свѣтиломъ, истиннымъ или ложнымъ, появлялось человѣкъ до десяти бездарныхъ людей, которые, обманываясь сами въ своемъ художническомъ призваніи, обманывали неумышленно и добродушную, довѣрчивую публику, блистали по нѣскольکو мгновеній, какъ воздушные метеоры, и тотчасъ погасали. Сколько пало самыхъ громкихъ авторитетовъ съ 1825 года по 1835! Теперь даже и боги этого десятилѣтія, одинъ за другимъ, лишаются своихъ алтарей и погибаютъ въ Лѣтѣ съ постепеннымъ распространеніемъ истинныхъ понятій объ изящномъ и знакомства съ иностранными литературами. Тредьяковскій, Поповскій, Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Богдановичъ, Бобровъ, Капнистъ, г. Воейковъ, г. Катенинъ, г. Лобановъ, Висковатовъ, Крюковскій, С. Н. Глинка, Бунина, братья Измайловы, В. Пушкинъ, Майковъ, кн. Шаликовъ — всѣ эти люди не только читались и приводили въ восхищеніе, но даже почитались поэтами; этого мало, нѣкоторые изъ нихъ слыли геніями первой величины, какъ-то: Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ и Богдановичъ; другіе были удостоены тогда почетнаго, но теперь потерявшаго смыслъ, титула образцовыхъ писателей *). Теперь, увы! имена однихъ изъ нихъ извѣстны

*) Вотъ, напримѣръ, что писалъ о Майковѣ знаменитый драматургъ нашъ кн. Шаховской, въ краткомъ предисловіи къ своей прозаической повѣсти «Расхищенные Шубы», помѣщенной въ «Чтеніи въ Бесѣдѣ Любителей Россійскаго Слова» 1811 года: «На нашемъ языкѣ Василій Ивановичъ Майковъ сочинилъ «Елисея», шуточную повѣсть въ 4 пѣсняхъ. Отличныя дарованія сего поэта и прекраснѣйшіе стихи (!!), которыми наполнено (чѣмъ: отличными дарованіями или прекра-

только по преданіямъ о ихъ существованіи, другихъ потому только, что они еще живы, какъ люди, если не какъ поэты... Имя самого Карамзина уважается теперь какъ имя незабвеннаго дѣйствителя на поприщѣ образованія и двигателя общества, какъ писателя съ умомъ и рвеніемъ къ добру, но уже не какъ поэта-художника... Но хотя авторская слава такъ часто бываетъ непрочна, хотя удивленіе и хвала толпы бываютъ такъ часто ложны, однако, слѣпая, она иногда, какъ будто невзначай, преклоняетъ свои колѣна и передъ истиннымъ достоинствомъ. Но она, повторяю, часто дѣлаетъ это по слѣпотѣ, невзначай, ибо превозноситъ художника за то, за чтѣ порицаетъ его потомство, и, наоборотъ, порицаетъ его за то, за чтѣ превозноситъ его потомство. Батюшковъ служитъ самымъ убѣдительнымъ доказательствомъ сей истины. Что этотъ человѣкъ былъ истинный поэтъ, что у него было большое дарованіе, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Но за чтѣ превозносили его похвалами современники, чему удивлялись они въ немъ, почему провозгласили его образцовымъ (въ то время то же, что нынѣ геніальнымъ) писателемъ?... Отвѣчаю утвердительно: правильный и чистый языкъ, звучный и легкій стихъ, пластицизмъ формъ, какое-то жеманство и кокетство въ отдѣлкѣ, словомъ, какая-то классическая щеголеватость — вотъ чтѣ плѣняло современниковъ въ произведеніяхъ Батюшкова. Въ то время о чувствѣ не хлопотали, ибо почитали его въ искусствѣ лишнимъ и пустымъ дѣломъ,

свѣтлыми стихами?) его сочиненіе, заслуживаютъ справедливыя похвалы всѣхъ любителей русскаго слова; но содержаніе поэмы, взятое изъ само-простонародныхъ происшествій и буйственныхъ дѣйствій его героя, не позволяютъ причесть сіе острое и забавное твореніе къ роду иронико-комическихъ поэмъ, необходимо требующихъ благопрістойной шутиливости (стр. 46)». Такъ какъ это было давно, то я привожу это мнѣніе не въ укоръ знаменитому и многоуважаемому мною драматургу, а какъ фактъ для исторіи русскаго литературнаго доказательства, какъ непрочное удивленіе современниковъ къ авторамъ.

требовали искусства, а это слово имѣло тогда особенное значеніе и значило почти одно и то же съ вычурностію и неестественностію. Впрочемъ была и другая важная причина, почему современники особенно полюбили и отличили Батюшкова. Надобно замѣтить, что у насъ классицизмъ имѣлъ одно рѣзкое отличіе отъ французскаго классицизма; какъ французскіе классики старались щеголять звонкими и гладкими, хотя и надутыми, стихами и вычурно-обточенными фразами, такъ наши классики старались отличаться варварскимъ языкомъ, истинною амальгамою славянщины и искаженнаго русскаго языка, обрубали слова для мѣры, выламывали дубовыя фразы и называли это пѣтическою вольностію, которой во всѣхъ эстетикахъ посвящалась особая глава. Батюшковъ первый изъ русскихъ поэтовъ былъ чуждъ этой пѣтической, вольности—и современники его разахалися. Мы скажутъ, что Жуковскій еще прежде Батюшкова выступилъ на поприще литературы: такъ, но Жуковскаго тогда плохо разумѣли, ибо онъ былъ слишкомъ не по плечу тогдашнему обществу, слишкомъ идеаленъ, мечтателенъ и посему былъ заслоненъ Батюшковымъ. И такъ Батюшкова превозгласили образцовымъ поэтомъ и прозаикомъ и совѣтовали молодымъ людямъ, упражняющимся (въ часы досуговъ, отъ нечего дѣлать) словесностію, подражать ему. Мы, съ своей стороны, никому не посоветуемъ подражать Батюшкову, хотя и признаемъ въ немъ большое поэтическое дарованіе, а многіе изъ его стихотвореній, несмотря на ихъ щеголеватость, почитаемъ драгоценными перлами нашей литературы. Батюшковъ былъ вполнѣ сынъ своего времени. Онъ предощущалъ какую-то новую потребность въ своемъ художественномъ направленіи, но, увлеченный классическимъ воспитаніемъ, которое основывалось на странномъ и безотчетномъ удивленіи къ греческой и латинской литературѣ, скованный слѣпымъ обожаніемъ французской словесности и французскихъ теорій, онъ не умѣлъ уяснить себѣ того, что предощущалъ какимъ-

то темнымъ чувствомъ. Вотъ почему вмѣстѣ съ элегіею «Умирающій Тассъ» — этимъ произведеніемъ, которое отличается глубокимъ чувствомъ, не поглащеннымъ формою, энергическимъ талантомъ, и которому въ параллель можно поставить только «Андрея Шенье» Пушкина, онъ написалъ потомъ вялое, прозаическое посланіе къ Тассу (ч. II, стр. 98); вотъ почему онъ, творецъ: «Элегій на развалинахъ замка въ Швеціи», «Тѣнь друга», «Послѣдняя весна», «Омиръ и Гезіодъ», «Къ другу», «Къ Карамзину», «И. М. М. А.», «Къ Н.», «Переходъ черезъ Рейнъ» — подражалъ пошлomu Парни, оставилъ намъ скучную сказку «Странствователь и Домосѣдъ», отрывочный переводъ изъ Тасса, ужасающій Херасковскими ямбами, и множество стихотвореній рѣшительно плохихъ, и наконецъ множество балласта, состоящаго изъ эпиграммъ, мадригаловъ и тому подобнаго; вотъ почему, признаваясь, что «древніе герои подъ перомъ Фонтенеля не рѣдко преобразуются въ придворныхъ Лудовикова времени, и напоминаютъ намъ учтивыхъ пастуховъ того же автора, которымъ недостаетъ парика, манжетъ и красныхъ каблучковъ, чтобы шаркать въ королевской передней» (ч. I, стр. 101), онъ не видѣлъ того же самаго въ сочиненіяхъ Расина и Вольтера и восхищался Рюриками, Оскольдами, Олегами Муравьева, въ которомъ благороднаго сановника, добродѣтельнаго мужа, умнаго и образованнаго чловѣка, смѣщивалъ съ поэтомъ и художникомъ *). Кромѣ поименованныхъ мною стихотвореній, нѣкоторыя замѣчательны по прелести стиха и формы, какъ, напр., «Воспоминаніе», «Выздоровленіе», «Мои Пенаты», «Таврида», «Источникъ», «Плѣнный», «Отрывокъ изъ Элегій» (стр. 75), «Мечта», «Къ П — ну», «Разлука», «Вакханка» и даже са-

*) Муравьевъ, какъ писатель, замѣчателенъ по своему нравственному направленію, въ которомъ просвѣчивалась его прекрасная душа, и по хорошему языку и слогу, который, какъ то можно замѣтить даже изъ отрывковъ, приведенныхъ Батюшковымъ, едва ли уступаетъ Барамзинскому.

мыя подражанія Парни. Все остальное посредственно. Вообще отличительный характер стихотвореній Батюшкова составляет какая-то безпечность, легкость, свобода, стремленіе не къ благороднымъ, но къ облагоустроеннымъ наслажденіямъ жизни; въ семь случаевъ они гармонируютъ съ первыми произведеніями Пушкина, исключая, разумѣется, тѣ, кои, у сего послѣдняго, проникнуты глубокимъ чувствомъ. Проза его любопытна, какъ выраженіе мнѣній и понятій одного изъ умнѣйшихъ и образованнѣйшихъ людей своего времени. Во всемъ прочемъ, кромѣ развѣ хорошаго языка и слога, она не заслуживаетъ никакого вниманія. Впрочемъ, лучшія прозаическія статьи суть: «Нѣчто о морали, основанной на философіи и религіи», «О поэзи и поэтѣ», «Прогулка въ Академію», а самыя худшія: «О легкой поэзи», «О сочиненіяхъ Муравьева», и въ особенности повѣсть «Предслава и Добрыня».

Теперь объ изданіи. Наружность онаго не только опрятна и красива, но даже роскошна и великолѣпна. Нельзя не поблагодарить отъ души г. Смирдина за этотъ прекрасный подарокъ, сдѣланный имъ публикѣ, тѣмъ болѣе, что онъ уже не первый, и, надѣмся, не послѣдній. Цѣна, по красотѣ изданія, самая умеренная: въ Петербургѣ 15, а съ пересылкою въ другіе города 17 рублей. Вотъ чѣмъ должны заслуживать общее уваженіе гг. книгопродавцы. Безкорыстныхъ подвиговъ мы можемъ желать отъ нихъ, но не требовать; цѣль дѣятельности купца есть барыши; въ этомъ нѣтъ ничего предосудительнаго, если только онъ пріобрѣтаетъ эти барыши честно и добросовѣстно, если онъ только не способствуетъ, своими денежными средствами и своею излишнею паждостію къ выгодамъ, распространенію дурныхъ книгъ и развращенію общественнаго вкуса

Жаль только, что это изданіе, вполне удовлетворяя требованія вкуса въ наружныхъ достоинствахъ, не удовлетворяетъ ихъ во внутреннихъ. Еще при выходѣ сочиненій Державина г. Смирдину было замѣчено въ одномъ московскомъ

журналѣ, что стихотворенія должны располагаться въ хронологическомъ порядкѣ, сообразно со временемъ ихъ появленія въ свѣтъ. Такого рода изданія представляютъ любопытную картину постепеннаго развитія таланта художника и даютъ важные факты для эстетика и для историка литературы. Напрасно г. Смирдинъ не обратилъ на это вниманія.

ДОСУГИ ИНВАЛИДА. *Часть вторая. Москва. 1835.*

Это новое произведеніе г. Ушакова; г. Ушаковъ писатель плодовитый! Не говоря уже о его длинныхъ и скучныхъ статьяхъ о польской литературѣ и русскомъ театрѣ, сколько повѣстей вышло изъ-подъ его неутомимаго пера! Какъ всѣ замѣчательные люди, г. Ушаковъ имѣетъ своихъ завистниковъ. Оно кажется, чему бы завидовать... но онъ самъ сказалъ въ своемъ предисловіи, что «онъ имѣетъ счастье не нравиться нѣкоторымъ ученымъ журналамъ». Слово «ученымъ», какъ само собою разумѣется, отмѣчено у него позорнымъ клеймомъ курсива. Г. Ушаковъ не любитъ учености! Это уже давно извѣстно. Но не въ томъ дѣло. Зачѣмъ человеку съ истиннымъ талантомъ прибѣгать къ такимъ страннымъ средствамъ для обращенія на себя вниманія публики? Чтò за Гомеръ такой г. Ушаковъ, что у него есть свои зои-илы? Мы знаемъ изъ темныхъ преданій нашей литературы, что были завистники у Крылова, у Озерова, у Грибоѣдова: это въ порядкѣ вещей, ибо сіи писатели могли возбудить въ себѣ зависть жалкой посредственности, которая думала подвизаться на одномъ съ ними поприщѣ; но, чтобъ были завистники у г. Ушакова... это невѣроятно. Г. Ушаковъ написалъ очень хорошую повѣсть «Киргизъ - Байсакъ», и въ неѣ признали талантъ тѣ самые люди, которые безжалостно насмѣхались надъ его журнальными статьями; г. Ушаковъ написалъ нѣсколько плохихъ повѣстей, и ему всѣ безъ оби-

няковъ объявили, что эти повѣсти не достойны имени сочинителя «Киргизъ-Кайсака»: гдѣ-жъ тутъ зависть?...

Въ вышепоименованномъ новомъ своемъ произведеніи г. Ушаковъ хотѣлъ практически развить очень истертую мысль, что бракъ безъ взаимной любви есть преступленіе. Самый коротенькій, и притомъ довольно пошлый анекдотецъ растянулъ онъ на цѣлую книгу. Дѣло въ томъ, что одинъ офицеръ, родомъ Черкесъ, взятый въ дѣтствѣ въ плѣнъ русскимъ генераломъ и воспитанный имъ со всею нѣжностію отца, влюбился въ одну княгиню. Такъ какъ онъ былъ стыдливъ какъ красная дѣвушка, то княгиня, не любившая излишнихъ проволокъ, поспѣшила навести простыча на объясненіе, повиснуть на шею бѣднаго малаго и взорвать его, какъ пороховой боченокъ, еладострастнымъ поцѣлуемъ. Не удовольствовавшись этимъ, она, жертва торговаго брака, назначаетъ ему свиданіе. Молодой человѣкъ, любившій ее цѣлые два или три года платоническою любовію, и ужасавшійся мысли осквернить брачное ложе ближняго, хотеть ее образумить, выпиваетъ для смѣлости пуншу, нарѣзывается какъ сапожникъ, и говоритъ ей полу-русскимъ и полу-славянскимъ языкомъ самыя солдатскія любезности. (Какъ въ голову войдетъ дурачество такое?). Бѣдная княгиня остолбѣла и прогнала отъ себя пьянаго нахала. Онъ, послѣ такого дебюта, становится смѣлѣе съ женщинами, волочитъ за ними безъ усталости, но мысль о княгинѣ преслѣдуетъ его; наконецъ его убиваютъ на сраженіи, княгиня умираетъ съ горя. Все это пересказано длинно, скучно, все это приправлено сентенціями о томъ и о семъ, а больше ни о чемъ. Странно то, что почтенный авторъ, бывшій нѣкогда отчаяннымъ романтикомъ и ратовавшій, елико могъ, за новизну, обнаруживаетъ теперь самое классическое направленіе; безпощадно бранитъ Байрона за то, что «онъ надѣлялъ огнемъ и геройствомъ своихъ Конрадовъ и Чайльдъ-Гарольдовъ на злодѣянія, на прелюбодѣянія, на богохуленіе, на всѣ жерзости, украшающія его про-

изведенія», словомъ, оказываетъ удивительное, впрочемъ весьма похвальное, благоговѣніе ко всему, что съ такимъ ожесточеніемъ преслѣдовало бывало въ своихъ журнальныхъ статьяхъ. Ни одной свѣтлой мысли, ни одного занимательнаго положенія, ни одной хорошей картины нѣтъ въ его скучномъ и вяломъ разсказѣ; все такъ обще, истерто, старо, что никакъ не можешь помириться съ мыслью, что читаешь произведеніе автора «Киргизъ Кайсака».

Что время имѣетъ большое вліяніе на людей, это истина несомнѣнная; но не менѣе того несомнѣнно и то, что его вліяніе часто бываетъ совершенно противоположно, смотря по свойству людей. «Какъ уменъ этотъ человѣкъ» говорятъ иногда люди, «да и не мудрено: онъ такъ долго жилъ на свѣтѣ, такъ много видѣлъ, слышалъ и чувствовалъ!»—«Какъ страненъ и несносенъ этотъ человѣкъ»,—тоже случалось мнѣ слышать—«и не мудрено: становится старъ!»...

АНГАРСКІЕ ПОРОГИ. *Сибирская быль.* Соч. Н. Щ.
Спб. 1835.

Г. Н. Щ. подражаетъ г. Калачникову: г. Калачниковъ великій писатель, слѣдовательно нѣтъ ничего удивительнаго или предосудительнаго въ томъ, что г. Н. Щ. подражаетъ г-ну Калачникову! Г. Н. Щ. называетъ нашу (т. е. русскую) критику пристрастною: г. Н. Щ. писатель съ гениемъ, слѣдовательно нѣтъ ничего страннаго въ томъ, что онъ имѣетъ враговъ и завистниковъ—это общая участь генія. Я не умѣлъ отдать должной справедливости его первому произведенію «Посельщикъ», ибо не могъ возвыситься до него, и потому въ «С. Пчелѣ» мой взглядъ на это твореніе былъ названъ однообразнымъ; признаюсь откровенно, что мои взгляды на нашу литературу точно очень однообразны; впрочемъ, въ семь случаевъ, мнѣ можетъ служить оправданіемъ то, что наша лите-

ратура съ нѣкотораго времени сдѣлалась очень однообразна. Какъ бы то ни было, но я каюсь въ моей винѣ предъ г. Н. Щ., и торжественно объявляю, что его новый романъ произвелъ на меня сильный эффектъ: онъ показался мнѣ до такой степени трогательнымъ и чувствительнымъ, что я, прочтя половину, залился слезами и съ горя заснулъ: послѣ слезъ крѣпко спится! Такъ какъ въ это время я страдалъ безсонницею, то и почитаю за долгъ благодарить г. Н. Щ. за его романъ; такъ какъ на другой вечеръ я почувствовалъ въ урочное время расположеніе ко сну, изъ чего и заключилъ, что безсонница оставила меня, то и не почелъ за долгъ дочесть занимательную повѣсть г. Н. Щ. Посему не могу довести до свѣдѣнія читателя, какъ много, противъ прежняго романа, новыхъ географическихъ, топографическихъ, геологическихъ и прочихъ фактовъ о Сибири заключается въ новомъ романѣ г-на Н. Щ., и что такое «Ангарскіе Пороги».

АРАБЕСКИ. *Разныя сочиненія Н. Гоголя. Спб. 1835.*
Дѣтъ части.

МИРГОРОДЪ. *Повѣсти, служащія продолженіемъ „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“, Н. Гоголя. Спб. 1835. Дѣтъ части.*

Конецъ 1833 и начало 1834 года были ознаменованы какою-то особенною мертвенностію въ нашей литературѣ; казалось, что уже все кончилось—и книги и журналы. Старые поэты, какъ заслуженные ветераны, или совсѣмъ сошли со сцены, или позамолкли, а новыхъ не являлось. «Торжато Тассъ» г. Вукольника порадовалъ было любителей изящнаго, какъ пріятная, хотя и дѣтская греза. Прекрасные стихи, нѣсколько поэтическихъ мѣстъ въ семъ произведеніи заставили было публику поздравить себя съ новымъ поэтомъ, подававшимъ блестящія надежды... Несравненно выше и за-

нимательнѣе былъ «Дмитрій Самозванецъ» г. Хомякова; кромѣ нѣкоторыхъ неотъемлемыхъ достоинствъ сей драмы, ей придава особенную значительность пустота и ничтожность всѣхъ печатныхъ явленій того времени. Но видно г. Хомяковъ не такъ былъ богатъ журнальными благопріятелями, какъ г. Кукольникъ. Да и что-жъ мудренаго—вѣдь говорить же пословица: не родись пригожъ, не родись уменъ — родись счастливъ?... Я не хочу этимъ сказать, чтобы драма г. Хомякова была какимъ-нибудь чудомъ или даже чѣмъ-нибудь важнымъ; но если въ наше время пишутся преогромныя статьи о такихъ трагедіяхъ, которыя не заслуживаютъ рѣшительно ни малѣйшаго вниманія ни въ какомъ отношеніи, то почему же бы не сказать слова два о такомъ сочиненіи, которое замѣчательно если не большимъ достоинствомъ, то, по крайней мѣрѣ, какъ заблужденіе замѣчательнаго таланта, которому не удастся попасть на надлежащую дорогу? Но объ этомъ послѣ. Моя рѣчь клонится къ тому, что гораздо лучше посчастливилось концу 1834 и началу 1835 года. Повѣсти г. Павлова, «Аббадона» г. Полеваго, «Арабески» и «Миргородъ» г. Гоголя принадлежатъ къ самымъ пріятнымъ явленіямъ въ нашей литературѣ и всѣ появились въ этотъ промежутокъ времени. Если мы прибавимъ, что на дняхъ вышелъ новый романъ г. Вельтмана «Свѣтославичъ Вражій Питомецъ», печатаются два новые романа г. Полеваго, и оканчивается печатаніемъ давно ожидаемый романъ г. Лажечникова «Ледяной Домъ», то по неволѣ сознаемся, что 1835 годъ, въ литературномъ отношеніи, въ сорочкѣ родился... Дай Богъ, чтобы его начало было прекрасною зарею новаго лучшаго дня для нашей литературы...

Всѣмъ извѣстенъ прекрасный талантъ г. Гоголя. Его первое произведеніе: «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки», возбуждало въ публикѣ самыя лестныя надежды. Но благоразумнѣйшіе изъ читателей, наученные горькимъ опытомъ, не смѣли слишкомъ предаваться этимъ надеждамъ. Въ самомъ

дѣлѣ, какъ богата наша литература такими писателями, которые первыми своими произведеніями подавали о себѣ большія надежды, а послѣдующими уничтожали эти надежды! У меня вертится на языкѣ нѣсколько твореній такого рода, къ которымъ такъ хорошо идетъ эпитетъ счастливыхъ или удачныхъ... Есть люди, которые въ большихъ статьяхъ неудачу вторыхъ и третьихъ романовъ приписываютъ какому-то меркантильному направленію и торговымъ расчетамъ гг. авторовъ; по моему мнѣнію, это странное явленіе можно всего естественнѣе и всего справедливѣе объяснять бездарностію гг. авторовъ: истинный талантъ не могутъ убить ни хорошая плата за заслуженные труды, ни рѣзкая критика. Гораздо страннѣе успѣхъ такого рода литературныхъ рыцарей; но назвавши ихъ произведенія счастливыми или удачными, вы легко разгадаете и эту загадку... Но не о томъ дѣло... Я хочу сказать, что г. Гоголь составляетъ прекрасное и утѣшительное исключеніе изъ сихъ столь общихъ и столь обыкновенныхъ у насъ явленій: двѣ его пьесы въ «Арабескахъ» («Невскій Проспектъ» и «Записки Сумасшедшаго») и потомъ «Миргородъ» доказываютъ, что его талантъ не упадаетъ, но постепенно возвышается *).

**ТАИНСТВЕННЫЙ МОНАХЪ ИЛИ НѢКОТОРЫЯ
ЧЕРТЫ ИЗЪ ЖИЗНИ ПЕТРА I. Историческій
романъ. Спб. 1834. Три части.**

Начавъ читать этотъ романъ, я (на 14 страницъ первой части) нашелъ, что бояринъ Хованскій, пришедши домой въ одинъ осенній вечеръ 1676 года, раздѣвшись до рубахи и надѣвши тулупъ, приказалъ ставить самоваръ, чтобы напиться чаю: и такъ въ осенніе вечера 1676 года наши боро-

*) Подробный отчетъ объ этихъ двухъ книгахъ помѣщенъ въ отдѣлѣ критики этой же части (стр. 169).

датые бояре пили уже чай и держали въ дому самовары? Жаль, что почтенный авторъ, который, какъ видно изъ сего образчика, весьма силенъ въ знаніи отечественныхъ древностей, не сказалъ, употребляли ли наши бояре съ чаемъ ямайскій ромъ, или аракъ! Какъ бы то ни было, но я такъ обрадовался этому любопытному извѣстію, касательно образа домашней жизни нашей древней аристократіи, что въ восторгѣ не хотѣлъ далѣе читать и положилъ было книгу на столъ. Но человѣческія желанія ненасытимы; притомъ же кому не хочется выучиться всему, ничему не учась? И такъ въ надеждѣ набрести еще на какіе-нибудь драгоценныя историческіе и археологическіе факты, я снова взялъ въ руки книгу, прочелъ ее до конца — и не даромъ: надежда не обманула меня—я много нашелъ диковинокъ. Но не хочу лишать читателей пріятнаго удовольствія, которое они могутъ получить, отыскивая сами дивныя дива «Таинственного Монаха». Въсто всего этого я хочу сказать кое-что à-propos. У меня предурная привычка говорить всегда не о главномъ дѣлѣ, а такъ, о чемъ-нибудь постороннемъ: чтó дѣлать, это мой конекъ.

Съ какой цѣлю написанъ этотъ романъ? Если для того, чтобы обогатить русскую литературу новымъ художественнымъ созданіемъ; то скажу откровенно почтенному, хотя и неизвѣстному мнѣ автору, что онъ не достигъ своей цѣли: онъ совершенно не поэтъ, не художникъ. Его Петръ, его Софія, его Хованскій, Голицынъ, Щегловитый, Меньшиковъ, Дорошенко, Мазепа, Карлъ XII и прочія выведенныя имъ историческія лица суть не иное чтó, какъ общія риторическія мѣста, образы безъ лицъ, сбитые кое-какъ на одну колодку.

Если авторъ имѣлъ цѣль дидактическую, т. е. хотѣлъ развить практически какія-нибудь идеи, или, въ формѣ романа, представить новыя точки зрѣнія на событія избранной имъ эпохи изъ отечественной исторіи, то опять скажу ему съ тою же откровенностію, что и въ семъ случаѣ онъ ни мало не достигъ своей цѣли. Ибо дидактическое направленіе

въ искусствѣ требуетъ современныхъ идей о предметахъ и просвѣщеннаго взгляда на вещи: но, спрашиваю всѣхъ и каждаго, есть ли что-нибудь современнаго въ понятіяхъ автора объ искусствѣ въ сихъ строкахъ: «Надобно предупредить читателя, что онъ, по всегдашней своей благосклонности (охъ ужъ эти авторскія надежды на благосклонность читателей!), долженъ будетъ дѣлать мысленно за авторомъ скачки, не по днямъ, а по годамъ (трудное дѣло—какъ разъ упрыгаешься: сужу по собственному опыту). Это романческіе антракты, въ которые (въ которыхъ?) авторъ не находитъ, чтó бы ему написать путнаго (хоть и говорить, что дѣло мастера боится, а видно не такъ-то легко!)—а гоняся за эффектами, собираетъ происшествія многихъ лѣтъ, чтобъ поразить читателя сложностію явленій». — Правда, сущая правда! именно такъ и дѣлали всѣ великіе романисты, начиная съ Вальтеръ-Скотта до автора «Таинственнаго Монаха». Эти прекрасныя и глубокія мысли о творчествѣ г. авторъ заключаетъ сими грустными, уныніе наводящими словами: «Счастливы оба (т. е. авторъ и его читатель), если это удастся. Только многіе собираются, да мало являются: Можетъ быть и наша участь такова же». Всесовершеннѣйшая и всеконечнѣйшая правда! Жаль только, что послѣдняя мысль выражена въ предположительной, а не утвердительной формѣ.

Если г. авторъ хотѣлъ представить живую картину быта нашихъ предковъ въ самую занимательную эпоху русской исторіи, то и здѣсь онъ не вполне достигаетъ своей цѣли: ибо хотя у него факты и до крайности вѣрны (чтó можно видѣть изъ самовара и чаю), но въ картинахъ нѣтъ никакой жизни.

Если г. авторъ хотѣлъ своимъ романомъ доставить публикѣ хорошо и складно написанную по-русски книгу, то, въ семь отношеній, онъ всего менѣе достигъ своей цѣли; ибо, увлеченный можетъ быть порывами воображенія, онъ забылъ орфографію, чтó видно изъ неправильной разстановки знаковь препинанія, и въ особенности двоеточій, а болѣе всего въ

ошибкахъ противъ синтаксиса, что можно видѣть изъ слѣдующихъ выдержекъ: «Зная духъ Русскихъ, онъ предвидѣлъ, что, покоривъ его однажды спасительному игу военного повиновенія, солдаты его будутъ первѣйшими въ свѣтѣ». (Ч. II, стр. 149). Это галлицизмъ, а такихъ галлицизмовъ въ семь романѣ тьма. «Она была залившись слезами» — эта фраза изъ петербургскаго жаргона, а такихъ фразъ въ семь романѣ бездна. Замѣчу еще мимоходомъ объ эстетическомъ чувствѣ г. автора: на 203 стр. втораго тома у него помѣщена такая чудная картина (строка 16 — 22), что я, изъ уваженія къ читателямъ и изъ страха возмутить ихъ душу и произвести тошноту, не выпиываю этого мѣста, несмотря на всю его краткость, а только совѣтую г. автору избѣгать этихъ отвратительныхъ пошлостей, которыми такъ любить щеголять игривая фантазія Барона Брамбеуса.

ВѢДЬМА, ИЛИ СТРАШНЫЯ НОЧИ ЗА ДНѢПРОМЪ.

Соч. А. Чуровскаго. Москва. 1834. Три части.

ЧЕРНОЙ (ЫИ?) КОЩЕЙ, ИЛИ ЗА ДНѢПРОВСКІЙ ХУТОРЪ, У ЛУННОЙ ГОРЫ. Русский романъ, изъ

временъ Петра Великаго. Соч. А. Чуровскаго. Москва. 1834. Три части.

Г. А. Чуровскій есть новое лице, недавно выступившее на поприще литературы. Но неизвѣстность его имени ни мало не мѣшаетъ совершенному успѣху его дебюта; пословица говоритъ: видно птицу по полету, а добраго молодца по ухваткѣ! Онъ подражаетъ почтенному Н. И. Гречу, знаменитому автору «Черной Женщины», и, надобно сказать правду, подражаетъ ему съ большимъ успѣхомъ: его романъ не только ни на волосъ не уступаетъ въ достоинствѣ «Черной Женщинѣ», но еще превосходитъ ее занимательностью содержания, обиліемъ всякаго рода чертовщины, т. е. участіемъ

нечистой силы въ дѣлахъ слабыхъ смертныхъ, множествомъ картинъ мастерской отдѣлки въ родѣ сочиненій матушки мадамъ Жанлисъ, Радклифъ, Дюкре-Дюмениля и всей честной братіи. Во всемъ этомъ г. Чуровскій несравненно выше г. Греча; но у него есть свои стороны, въ которыхъ онъ уступаетъ г. Гречу: это, во первыхъ, грамматика, которая, у г. Чуровскаго, жестоко страдаетъ, тогда какъ у г. Греча является во всемъ блескъ совершенства; само собою разумѣется, что и не г. А. Чуровскому далеко тягаться съ нимъ въ семь случаевъ. И такъ г. А. Чуровскій въ грамматикѣ далеко уступаетъ ему, равно какъ и въ наружныхъ качествахъ своихъ романовъ: они печатаны въ типографіи г. Пономарева, и слѣдовательно на дурной сѣрой бумагѣ и съ типографическими ошибками, которыя, въ соединеніи съ орфографическими, синтаксическими и этимологическими, приводятъ въ трепетъ даже и меня, меня, за грѣхи жизни, обреченнаго судьбою на чтеніе всѣхъ возможныхъ ужасовъ, начиная съ невинныхъ мечтаній Вадима*** до неистовой трескотни повѣстей Барона Брамбеуса. За то сочиненія г. Чуровскаго превосходятъ твореніе г. Греча внутренними качествами. Во первыхъ, въ нихъ чертовщины гораздо больше; во-вторыхъ, они отличаются большею современностію, или, по крайней мѣрѣ, претензіями на современность. Но я чувствую, что я никогда бы не кончилъ, если бы сталъ разсматривать романы г. А. Чуровскаго въ отношеніи къ роману г. Греча. Чтобы не утомить читателей «Молвы» огромною рецензіею, я предоставляю имъ самимъ судить о достоинствѣ произведеній г. А. Чуровскаго по слѣдующей тирадѣ изъ его «Чернаго Кошеля»:

«Ну, Федюха Юла! распотѣшилъ ты давеча мою головушку, говорить одинъ изъ нихъ; шутка ли, началъ передъ Матрешей какія еинты-еинты разводить; ужъ моли Богу, что не выдалъ-те Гришуха Бурсакъ, а то отломалъ бы бока-то!

«Гришуха Бурсакъ! — ну ужъ великая штука!... Нѣтъ, братъ Сеюшца, ты еще не выдывалъ отъ меня рыси, я и не такую пыль въ глаза

запушу; а что мнѣ Гришуха?—ни почѣмъ!... Я какъ поговорилъ дюжо съ Матрешей, такъ она теперь и плевать-то на него не захочетъ.— Да что и за любовники! какъ съ яхшался съ Мишухой удалымъ, по недѣлѣ къ ней и глазъ не кажетъ!» (Ч. II. 7).

Не правда ли, что въ этомъ маленькомъ отрывкѣ вся Малороссія видна какъ на ладони?—что она выражена, воспроизведена въ немъ съ удивительно-поразительною вѣрностію?

Одно только странно, что г. А. Чуровскій ни разу не упомянулъ, въ своемъ «Черномъ Кошеѣ», о Петрѣ Великомъ, имя котораго выставлено въ заглавіи! Неужели это можно объяснить излишнею подражательностію? Вотъ въ томъ-то и бѣда, что гении, подражая какому-нибудь творенію и превосходя свой оригиналъ красотою, не рѣдко какъ бы противъ своей воли, отражаютъ его недостатки въ своихъ твореніяхъ. Г. А. Чуровскій, ради самого Феба, не подражайте г. Гречу; равнымъ образомъ, не учитесь грамматикѣ; эта прозаическая наука гению ни къ чему не служить, и лишь только охлаждаетъ его пламенные восторги.

УЧЕБНАЯ КНИГА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ (ДЛЯ ЮНОШЕСТВА). *Сочиненіе профессора И. Кайдрова. Древняя исторія. Отъ сотворенія міра и происхожденія первыхъ государствъ до переселенія народовъ и паденія Западной Римской Имперіи. Спб. 1834.*

Въ предисловіи къ этой книгѣ, г. сочинитель говоритъ: «Просвѣщенные читатели сей книги замѣтятъ, что, составляя древнюю исторію, я разсматривалъ многіе (почему же не всѣ?) предметы, входящіе въ составъ ея, совсѣмъ съ другой точки зрѣнія, нежели съ каковою я смотрѣлъ на нихъ дѣтъ за пятнадцать передъ симъ, и вообще изложилъ древнюю исторію въ другомъ, противъ прежняго, видѣ». То же самое объ-

явила и «Сѣверная Пчела» при извѣстіи о выходѣ этой книги, уведомляя своихъ читателей, что г. Кайдановъ представляетъ въ своемъ новомъ трудѣ результаты успѣховъ, сдѣланныхъ наукою въ продолженіе послѣднихъ пятнадцати лѣтъ. При-знаюсь, какъ выписанныя мною строки изъ предисловія по-чтеннаго автора, такъ и объявленіе «Сѣверной Пчелы» по-разили умы многихъ читателей глубокимъ удивленіемъ. «Что за чудо такое совершилось въ наше время?» думали мы. Мы имѣли полное право не довѣрять «Пчелѣ», въ глазахъ ко-торой всѣ предметы книжнаго петербургскаго міра предста-вляются въ увеличительномъ видѣ; но удостовѣреніе самого автора, котораго скромность всѣмъ извѣстна, сдѣлала насъ по неволѣ суевѣрными. Но, прочтя опредѣленіе исторіи, какъ науки, и первую страницу введенія, мы тотчасъ увидѣли, что это чудо очень естественно и обыкновенно. Правда, въ этой книгѣ много перемѣнъ и улучшеній, словомъ, много новаго; но это новое ново только для одного автора, и не носитъ на себѣ ни какихъ признаковъ успѣховъ науки. Изъ этого читатели не должны однако заключать, что г. Кайдановъ хотѣлъ умышленно придать своей книгѣ больше цѣны для лучшаго ея сбыта, какъ то дѣлаютъ многіе, которыхъ мы не называемъ. Нѣтъ, онъ, такъ же скромнъ и добросовѣстенъ, какъ былъ всегда: онъ, можетъ - быть, многихъ читателей ввелъ въ заблужденіе, но это потому, что самъ находится въ заблужденіи. Разбирать его книгу настоящимъ образомъ невозможно, ибо подробный разборъ вышелъ бы больше са-мой книги. И такъ ограничусь легкими замѣтками.

«Исторія есть описаніе великой долговременной жизни рода человеческого. Посему предметомъ ея суть дѣянія и судьбы людей». — Такъ опредѣляетъ въ 1835 году исторію г. Кай-дановъ, опредѣлявши ее въ 1817, 24 и 32 годахъ «повѣ-ствованіемъ о достопамятныхъ явленіяхъ въ мірѣ». Повиди-мому это есть значительный шагъ впередъ для автора, но въ-самомъ дѣлѣ это не иное что, какъ круговое движеніе мель-

ничнаго колеса, которое безпрестанно вертится, а вперед ни на шагъ. Чтò такое «описанія великой, долговременной жизни рода человѣческаго?» Наборъ словъ—съ грамматическимъ смысломъ. «Предметъ исторіи суть дѣянія и судьбы людей». Это есть предметъ біографіи; предметъ исторіи не люди, а человѣчество. Пора бы удостовѣриться г. Кайданову, что исторія есть картина успѣховъ человѣчества на поприщѣ самосовершенствованія, или, другими словами: «наука, показывающая, какимъ образомъ и вслѣдствіе какихъ причинъ жизнь человѣчества, развивавшаяся подъ формою политическихъ обществъ, явилась въ томъ видѣ, въ какомъ теперь находится». Это опредѣленіе не ново, да благо ужъ готово. Въ наше время можно имѣть на исторію взглядъ еще высшій; но имѣть на нее взглядъ низшій значить совершенно не понимать ея.

Во введеніи въ «Исторію» у г. Кайданова цѣлый параграфъ, состоящій изъ шести страницъ, означенъ рубрикою: «польза знанія исторіи». Чего можно ожидать отъ человѣка, который добродушно разсуждаетъ о пользѣ знанія исторіи? И какъ разсуждаетъ! «Люди», говоритъ онъ, прежде насъ жили, и передали намъ сокровища своего разума и опытности, кои они приобрѣли долговременными трудами, иногда же бѣдствіями, страданіями и слезами,—а мы, пользуясь ими сокровищами, неужели не захотимъ и знать о тѣхъ, кои оставили ихъ намъ въ наслѣдство?» Не правда ли, что эти слова суть не иное чтò, какъ перефразировка словъ Карамзина, утверждавшаго, что мы потому должны знать о нашихъ предкахъ, что они терпѣли и страдали за насъ, и своими бѣдствіями приуготовили наше блаженство? Есть люди, которые утверждаютъ, что и Карамзинъ не имѣлъ право судить такъ поверхностно, ибо въ его время жилъ Гердеръ и другіе знаменитые писатели, начавшіе своими сочиненіями новую эру исторіи; чтò же должно сказать о г. Кайдановѣ, который съ 1817 года по 1835 годъ повторяетъ такіа старыя, истертыя,

вещи? «Исторія переносить насъ, какъ бы волшебною силою: въ протекшіе вѣки, повелѣваетъ падшимъ царствамъ возстать изъ праха своего, разверзаетъ гробы, вдыхаетъ жизнь въ прахъ умершихъ... Исторія, показывая прежнія событія, указываетъ и слѣдствія ихъ, ибо люди дѣлаются умнѣе, осторожнѣе, тогда только, когда почувствуютъ слѣдствія собственныхъ ошибокъ своихъ» и пр. и пр. Первая изъ этихъ мыслей есть наборъ фразъ, въ которыхъ много шуму и треску, но которыя ровно ни къ чему не ведутъ; вторая такъ стара, что совѣстно и опровергать ее. Нѣтъ, г. Кайдановъ, человѣчество дѣлается лучше не отъ знанія исторіи, не отъ опытности, почерпаемой изъ ея уроковъ, но отъ полного гармоническаго сознанія своего назначенія, цѣли своего существованія; а это сознаніе можетъ произойти отъ повсемѣстнаго, общаго просвѣщенія. Мы всякую науку, всякое знаніе можемъ приложить къ жизни; но истинная, настоящая и непосредственная цѣль знанія есть знаніе. Погодите, можетъ-быть, и изъ астрономіи нѣкогда сдѣлаютъ родъ бухгалтеріи и употребятъ ее на спекуляціи и торговлю; но это не будетъ главною пользою отъ астрономіи. И такъ, ищите въ исторіи не уроковъ опытности, завѣщанной отъ предковъ потомкамъ, не удовлетворенія простаго любопытства; ищите въ ней дыханія жизни Божіей, проявляющейся или хотящей проявить себя въ чело-вѣчествѣ!... А всѣ эти вещи мы давно уже прочли и давно уже забыли ихъ; для чего же повторять намъ ихъ?...

И такъ въ чемъ же состоитъ усовершенствованіе «Исторіи» г. Кайданова? О! во многомъ, если хотите! Онъ уже начинается не съ Ассиріи, а съ Индіи и Китая, говоритъ о кастахъ и объясняетъ ученіе браминовъ, хотя и неправильно, ибо въ индійскомъ пантеизмѣ видитъ одну вѣру въ переселеніе душъ—не больше; причисляетъ Семирамиду къ мифамъ! Вообще справедливость требуетъ замѣтить, что теперь у него меньше лишннихъ и пустыхъ подробностей о сомнительныхъ или неважныхъ событіяхъ, и больше дѣла. Доказательствомъ

этого может служить одно уже то, что Ассирияне, Вавилоняне и Египтяне занимают у него теперь несравненно меньшее число страниц, чѣмъ въ прежнихъ изданіяхъ. Потомъ, онъ измѣнилъ совершенно планъ своей исторіи, ибо вмѣсто прежняго Гееренова этнографическаго изложенія принялъ изложеніе синхронистическое. По моему мнѣнію, послѣднее лучше, ибо въ древней исторіи есть свои точки отдохновенія, или, лучше сказать, точки соединенія, въ которыхъ древніе народы сливались, хотя и насильственно, въ одно общее цѣлое. Таковыя точки суть Киръ, Александръ и пуническія войны. Этотъ способъ изложенія очень удобенъ для преподаванія, хотя, можетъ быть, изолированная жизнь древнихъ народовъ и противорѣчитъ ему. Синхронистическая картина жизни народовъ въ каждомъ принятомъ періодѣ скорѣе всего можетъ впечатлѣться въ памяти ученика.

Г. Кайдановъ раздѣлилъ древнюю исторію на IV періода: первый, какъ само собою разумѣется, отъ сотворенія міра до Кира; второй отъ Кира до Александра; третій отъ Александра до превращенія Римской республики въ имперію; четвертый отъ Августа до паденія Рима. Мнѣ кажется, что эпохою четвертаго періода надо полагать пуническія войны, а не имперію, ибо въ древней исторіи было три, такъ сказать, мгновенія, въ которыхъ человѣчество соединялось во едино посредствомъ меча. Оно явилось огромною монархіею при Кирѣ, потомъ при Александрѣ; пуническія войны положили основаніе третьей монархіи, ибо Римляне со второй пунической войны оставили свою оборонительную систему войны и начали быстро обращать міръ въ Римъ, и съ тѣхъ поръ всѣ народы начали, какъ рѣки въ морѣ, исчезать въ римскомъ народѣ, съ тѣхъ поръ исторія Рима есть исторія міра.

Я уже показалъ, что взглядъ г. Кайданова на дѣла и событія нисколько не перемѣнился. Приведу еще нѣсколько доказательствъ. Хотя онъ уже и не осуждаетъ Сарданапада за самоубійство—этотъ ужасный проступокъ, воспрещаемый

вѣми Божескими и человѣческими законами, — но все еще начинается исторію не съ появленія на свѣтѣ первыхъ политическихъ обществъ, все еще упускаетъ изъ виду, что человѣкъ внѣ общественной жизни отнюдь не составляетъ предмета исторіи, и что не для чего вводить въ исторію вещей, не принадлежащихъ исторіи. Онъ говоритъ, что народы, первоначально поселившіеся въ Греціи, были до того дики и невѣжественны, что «и тотъ имѣетъ право на благодарность ихъ, кто научилъ ихъ строить хижины, питаться желудями (а прежде они, бѣдняжки, совсѣмъ не умѣли есть? если же умѣли, то развѣ желуди слишкомъ лакомое блюдо, что за нихъ г. Кайдановъ обязываетъ Грековъ благодарностію первому гастрному, научившему ихъ питаться ими?), одѣваться въ звѣриныя кожи, и употреблять въ свою пользу огонь». Но вслѣдъ за этимъ говорить, что въ «гражданскомъ отношеніи Греція раздѣлялась на множество мелкихъ частей, изъ коихъ каждая состояла подъ властію особеннаго начальника». Какъ! Общество волковъ раздѣлялось на области и имѣло начальниковъ? Впрочемъ, почему же и не такъ: вѣдь пчелы имѣютъ же начальника въ своей маткѣ? Но и то сказать: пчелы все цивилизованнѣе волковъ. — «Сии начальники Грековъ часто (однакожъ не всегда) были предводителями бродягъ и разбойниковъ, и сами подавали примѣръ грабежей». Разбойникомъ можно назвать только того, кто разбойничаетъ, зная, что это ремесло предосудительное; волковъ мужики убиваютъ за разбой въ стадахъ овечьихъ, но не представляютъ ихъ въ земскій судъ для допроса и суда. — «Объяденіе и опійство считали (начальники Грековъ) геройствомъ и величіемъ». Да чѣмъ же они однако объѣдались? Неужели желудями? А опійство! Такъ стало быть они и вино попиливали? — «Жены и дочери ихъ умѣли только пасти стада, мыть бѣлье и готовить грубую пищу». Какъ! Такъ они щеголяли не въ однихъ звѣриныхъ жолахъ? Они носили бѣлье? Воля ваша, г. авторъ, а вы противорѣчите самому себѣ. «И го-

товить грубую пищу». — Изъ чего же? неужели все изъ желудей? Какъ бы то ни было, а поваренное искусство всегда признакъ цивилизаци! — «Бекропсъ... изъ аттическихъ динарей сдѣлалъ гражданъ». Творецъ небесный! Да возможное ли это дѣло? Бекропсъ — одинъ-одинехонекъ — счумѣлъ изъ нѣсколькихъ десятковъ, а можетъ-быть и сотенъ тысячъ динихъ звѣрей сдѣлать гражданъ!... Экіе молодцы были въ древности, не то что нынче! Исполать ихъ досужеству! Такимъ же чудеснымъ образомъ Нума Помпилій, у г. Байданова, изъ Римлянъ, бывшихъ настоящими *mauvais sujets*, сдѣлалъ людей *comme il faut*. — «Тщеславіе, свойственное языческимъ народамъ — вести свое происхожденіе отъ боговъ» и пр. А я все думалъ, что причина этой охоты скрывается не въ тщеславіи, а въ склонности къ мифамъ, свойственной не языческимъ, а всѣмъ младенчествующимъ народамъ... Но довольно, я никогда не кончилъ бы, еслибы вздумалъ продолжать... На каждую страницу г. Байданова можно написать другую. Заключаю однако: какъ ни плоха новая книга г. Байданова, но если кому уже суждено учиться исторіи по книгамъ г. Байданова, то я совѣтую ему учиться по этой, изданной въ 1834 году...

Замѣчу еще о слогѣ. Онъ дуренъ до крайности, и дуренъ не отъ неумѣнія писать, а отъ какого-то страннаго понятія о слогѣ. Г. Байдановъ любитъ мѣшать съ русскими словами славяно-церковный, любитъ сей, оный, поелику, которыхъ по справедливости не любитъ почтенный Баронъ Брамбеусъ. Я, конечно, не такъ ожесточенъ противъ этихъ словъ, какъ выше-реченный мужъ, и даже почитаю необходимыхъ ихъ употребленіе въ иныхъ случаяхъ, для бѣльшей ясности въ слогѣ, особенно когда дѣло идетъ о предметахъ догматическихъ, ученыхъ; но я противъ ихъ употребленія безъ всякой нужды. Конечно, въ наше время никто не скажетъ, подобно знаменитому Жоффруа: «Мессіяда, поэма г. Клопштока! *Fi donc!* г. Клопштокъ! какое варварское имя! можетъ ли имѣть хоть

каплю ума господинъ, который называется Клопштокомъ?» Но многіе могутъ сказать: «Можетъ ли написать хорошую книгу человекъ, который пишетъ: «сіе мое сочиненіе... сей книги... совсѣмъ съ другой точки зрѣнія, нежели съ каковой... источникомъ такихъ жалобъ есть незнаніе исторіи... посему предметомъ ея суть дѣянія и судьбы людей»?...

Бнига г. Кайданова особенно изобилуетъ полонизмами, образцы которыхъ читатели могутъ видѣть въ послѣднихъ двухъ фразахъ.

СЦЕНЫ НА МОРѢ. *Сочиненіе И. Давыдова. Санкт-петербургъ. 1835.*

Эта книга, несмотря на то, что заключаетъ въ себѣ не болѣе 336 страницъ, печатанныхъ цicerо, чрезвычайно длинна для того, кто, прочтя 10 или 15 страницъ оной, не можетъ ее бросить, а долженъ прочесть до конца. Да, она покажется ему безпредѣльна, какъ то море, которое въ ней описывается, и какъ это же море водянисто. Немастерство писать, истертая сентенція о томъ и о семъ, геніальныя замашки à la Marlinisky: вотъ отличительныя ея качества. Напрасно г. авторъ «Сценъ на Морѣ» оправдывается тѣмъ, что ему только 21 годъ, что онъ живетъ сердцемъ, а не умомъ, напрасно увѣряетъ, что въ немъ теперь все кипитъ: въ комъ есть талантъ и въ комъ кипитъ чувство, тотъ не напишетъ въ 21 годъ водянаго сочиненія.

И такъ книга плоха: тутъ нечему дивиться; другое дѣло, еслибы она была хороша — тогда бы я отъ всей души похвалился. Но вотъ что удивительно: въ «Московск. Наблюдателѣ», новомъ журналѣ издаваемомъ, извѣстно, людьми умными, образованными и благонамѣренными, объ этой книгѣ сказано, что «Сцены на Морѣ» обнаруживаютъ дарованіе замѣтное, рисовку вѣрную, хотя кисть весьма, весьма несво-

бодную». Какъ! неужели «Московскій Наблюдатель» хочетъ покровительствовать своимъ авторитетомъ посредственности? Сохрани Богъ! Посредственность и въ петербургскихъ журналахъ имѣетъ для себя очень сильныхъ защитниковъ и покровителей, и, благодаря имъ, наводнила собою русскую литературу: куда же будетъ дѣваться отъ ней, когда московскіе журналы, въ которыхъ она доселѣ видѣла неумолимыхъ и неутомимыхъ враговъ своихъ, будутъ способствовать ея успѣхамъ? Увидѣвъ изъ первой книжки «Наблюдателя», что библиографія не входитъ въ составъ сего журнала, а что въ немъ будутъ разсматриваться только замѣчательныя явленія въ нашей литературѣ, я подумалъ, что въ цѣломъ годовомъ изданіи «Московского Наблюдателя» будетъ много двѣ-три критики; и каково же было мое удивленіе, когда во второй книжкѣ прочелъ довольно благосклонные отзывы о «Сценахъ на Морѣ», и (о верхъ ужаса!) о «Ангарскихъ Порогахъ», сочиненіи, въ высочайшей степени бездарномъ и пошломъ! Мнѣ скажутъ, что въ «Московскомъ Наблюдателѣ» больше хулятъ, чѣмъ хвалятъ эти книги: положимъ, такъ, но уже одно то, что въ немъ упоминается объ этихъ книгахъ, должно придать имъ значительность, ибо въ немъ предположено говорить только о такихъ книгахъ, которыя заслуживаютъ какое-нибудь вниманіе. Жаль, очень жаль, ибо «Московскій Наблюдатель» не петербургскій журналъ, и отъ него должно ожидать, что онъ не измѣнитъ тѣмъ надеждамъ, которыя подаль о себѣ публикѣ!...

**КОРОУНСКІЯ ВРАТА, НАХОДЯЩІЯСЯ ВЪ НОВГО-
РОДСКОМЪ СОФІЙСКОМЪ СОВОРЬ.** *Описаніе
и объясненіе Федоромъ Адельунгомъ, Дѣйстви-
тельнымъ Статскимъ Совѣтникомъ, кавалеромъ, членомъ,
многихъ академій и ученыхъ обществъ. Съ нѣмецкаго
перевелъ Петръ Артемовъ, Общества Исторіи и
Древностей Россійскихъ при Императорскомъ Мо-
сковскомъ Университетѣ учрежденнаго, соревнователь.
Москва. 1834.*

**ЦАРСТВОВАНИЕ ЦАРЯ ФЕДОРА АЛЕКСѢВИЧА
И ИСТОРИЯ ПЕРВАГО СТРЕЛЬЦАГО ВУНТА.**
Спб. 1834. Дѣтъ части.

РУССКАЯ БИБЛІОТЕКА, или собраніе матеріаловъ для
отечественной исторіи, географіи, статистики и
древней русской литературы, издаваемое Николаемъ
Полевымъ, членомъ-корреспондентомъ Императорской
Санктпетербургской Академіи Наукъ, дѣйстви-
тельнымъ членомъ разныхъ ученыхъ обществъ и кавале-
ромъ. Томъ первый. Москва. 1833.

Вотъ три книги, которыя служатъ яснымъ доказы-
тельствомъ, что у насъ занимаются не одними вздорами и пу-
стяками, но иногда и дѣломъ. Утѣшительная истина! Но
вмѣстѣ съ тѣмъ, вотъ три тѣ же самыя книги, которыя слу-
жатъ яснымъ доказательствомъ, какъ мало умѣютъ у насъ
дорожить дѣломъ и отдавать справедливость дѣльному. Горь-
кая истина! Скажите, спрашиваю васъ: кто изъ переводчи-
ковъ, авторовъ и издателей подобныхъ книгъ могъ надѣяться
на барыши, на славу или, по крайней мѣрѣ, хоть на при-
знательность? Не имѣетъ ли передъ ними, во всѣхъ сихъ
отношеніяхъ, преимущество всякій пошлый романистъ или
плохой стихотворецъ? Эти жалкіе пачкуны всегда имѣютъ
свой кругъ читателей и почитателей, всегда достигаютъ своей
цѣли — денегъ или гаерской извѣстности на литературныхъ

рынках; между тѣмъ какъ бѣдные труженики полезнаго и дѣльнаго тратятъ свои собственныя деньги, убиваютъ время, и въ награду слышатъ брань и холодныя насмѣшки. Изъ чего тутъ хлопотать?... Вотъ, напримѣръ, какъ отозвались наши журналы о первой и послѣдней изъ поименованныхъ мною книгъ. Первую изъ нихъ уничтожили или хотѣли уничтожить за то, что она велика и скучна. Важная и достаточная причина! Но вѣдь занимательность ученаго сочиненія зависитъ не отъ самого него, а отъ степени участія, принимаемаго въ немъ читателемъ. Меня не заинтересуетъ книга, подобная «Ворсунскимъ вратамъ», но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы она была скучна: изъ этого видно только то, что подобные предметы не занимаютъ моего ума. Другое дѣло, скучное произведеніе искусства, назначенное для удовольствія читателя, какъ, напримѣръ, нѣкая фантастическія путешествія, въ которыхъ всѣ предметы представляются вверхъ ногами, какъ въ глазахъ у пьянаго, — такого рода книги ужасны, нестерпимы, если онѣ скучны и притомъ толсты; въ такомъ случаѣ онѣ вполнѣ оправдываютъ мысль Бакона или, если угодно, Бекона, что большая книга — большое зло... Вторую изъ упомянутыхъ книгъ разбрали за неважность и незначительность содержащихся въ ней матеріаловъ, забывъ старинное правило, что отъ книги не должно требовать больше того, что обѣщаетъ ея заглавіе.

Начинай съ начала — мудрое правило, великая истина! Зданія строятся изъ приготовленныхъ матеріаловъ; труду зодчаго предшествуетъ трудъ кирпичника, каменщика. Надъ этими бѣдными каменщиками много издѣвались у насъ остроумцы, которые сами ничего не произвели, кромѣ нѣсколькихъ мыльных пузырей и беззубаго остроумія, которые теперь разлетѣлись, лопнули и забыты вмѣстѣ съ именами своихъ творцевъ. Не прочно то зданіе, хотя бы оно было и храмъ, которое построено изъ дурнаго матеріала: не удивительно, что въ немъ какъ разъ оснужаютъ свое мѣстопробываніе фи-

лины и совы. Исторія въ послѣднее время оказала въ Европѣ удивительные успѣхи; но, въ числѣ многихъ причинъ, эти успѣхи много зависѣли отъ разработки матеріаловъ, отъ очистки фактовъ. Всякому свое; одинъ разбираетъ грамматическій смыслъ ветхихъ хартій, другой читаетъ въ нихъ судьбу народовъ и ходъ человѣчества, и между обоими ими находится тѣсная связь: одинъ безъ другаго не можетъ существовать. Очень естественно, что многихъ можетъ привести въ трепетъ одно заглавіе «Корсунскихъ Вратъ», написанное Ломоносовскимъ слогомъ и съ полнымъ гражданскимъ и литературнымъ титуломъ автора и переводчика, а тѣмъ болѣе содержаніе и объемъ самаго сочиненія; но что-жъ дѣлать? Карамзинъ, помнитса, сказалъ, что для успѣховъ науки необходимы педанты—это правда. Человѣкъ, слишкомъ увлеченный какими-нибудь отдѣльными и особенно не слишкомъ важнымъ предметомъ, не можетъ не впасть въ нѣкотораго рода маленький педантизмъ—умѣйте же уважать въ немъ самый этотъ педантизмъ, ибо его источникъ есть любовь къ предмету, въ которомъ авторъ умѣлъ открыть новую сторону. Какая вамъ нужда, если авторъ немножко излишне-говорливъ, подробенъ: вашъ долгъ—извлечь сущность и овладѣть результатами его сочиненія.

Впрочемъ книга «Корсунскія Врата» не такъ обширна: 225 страницъ крупнаго цიცеро, изъ коихъ одна половина посвящена объясненію (весьма любопытному и занимательному) изображеній, находящихся на вратахъ, а другая самому трактату—это еще очень милостиво. Къ книгѣ приложено девять огромныхъ рисунковъ, книга издана по ученому, in quarto—вотъ что развѣ можетъ испугать инаго боязливаго читателя; но вѣдь она писана не для боязливыхъ читателей. Въ «Библіотекѣ для Чтенія» сказано, что она переведена языкомъ, ужасающимъ слухъ и зрѣніе: видно, что строгій рецензентъ прочелъ одно предисловіе, которое, какъ на бѣду, въ самомъ дѣлѣ переведено слишкомъ ученымъ образомъ, тогда какъ

самое сочиненіе передано ясно, просто и свободно, безъ насилія родному языку и не въ ущербъ здравому смыслу.

Скажутъ: зачѣмъ г. переводчикъ выбралъ такую книгу? есть же много предметовъ ближайшихъ къ намъ и нужнѣйшихъ для насъ. Миѣ кажется за тѣмъ, что ему такъ хотѣлось; пусть всякій дѣлаетъ, что ему угодно, лишь только дѣлаетъ. Трудъ безъ любви есть каторжная работа, а переводчикъ вѣрно былъ живо заинтересованъ этою книгою, если взялся перевести ее.

Вторая изъ сихъ книгъ принадлежитъ покойному Берху, трудолюбивому составителю этого рода книгъ, который очень трудно опредѣлить: ни матеріалы для исторіи, ни разысканія, ни исторія, а что-то похожее и на то и другое и третье. У Берха не должно искать ни взглядовъ, ни теорій, ни обзоровъ политическаго состоянія государства въ описываемую имъ эпоху: у него все простой рассказъ, безъ всякой мысли, которая бы одушевляла и проникала собою цѣлое сочиненіе, безъ всякаго колорита, который бы отличалъ одно повѣствованіе отъ другаго, безъ всякаго философическаго или политическаго взгляда, который бы объяснялъ событія. Разумѣется, что безъ этихъ качествъ, книги такого рода теряютъ все свое достоинство и бываютъ скучны, вялы, сухи и трудны для памяти; но пусть всякій дѣлаетъ, что можетъ, а мы за все—спасибо! Пересказать кое-какъ, въ хронологическомъ порядкѣ, событія какого-нибудь царствованія, приложить къ этому нѣсколько историческихъ документовъ, еще нигдѣ не напечатанныхъ, сдѣлать нѣсколько замѣчаній на какія-нибудь подробности—вотъ работа гг. Берха, Вейдемейера и другихъ, которыхъ у насъ все-таки не много. Такія книги хороши для справокъ и могутъ облегчать трудъ настоящаго историка, слѣдовательно полезны, и слѣдовательно заслуживаютъ вниманіе и благодарность своимъ составителямъ. При малочисленности нашихъ дѣятелей на поприщѣ исторіи, всякій посильный трудъ, могущій доставить хотя

малѣйшую пользу, есть дѣло почтенное. Такова и послѣдняя книга покойнаго Берха.

Несравненно важнѣе обоихъ предшествующихъ, по ближайшему своему отношенію къ нашимъ потребностямъ, книга г. Полеваго. Давайте намъ больше фактовъ, фактовъ для историка, для драматика, для романиста, для правописателя! Каждая черта, самая малѣйшая, время былыхъ — драгоцѣнна. Тутъ не можетъ быть ничего неважнаго, лишняго, безполезнаго. Если мы съ благоговѣніемъ смотримъ на мѣдную монету время царей и хранимъ ее какъ святыню, то что же должно сказать о всякой строкѣ, которая или обогащаетъ важнымъ историческимъ фактомъ, освѣщая темную сторону какого-нибудь событія, или свидѣтельствуетъ намъ объ образѣ жизни, о понятіяхъ, объ обычаяхъ нашихъ предковъ? Мнѣ кажутся чрезвычайно странными упреки, сдѣланные въ нѣкоторыхъ нашихъ журналахъ г. Полевому за неважность матеріаловъ, помѣщенныхъ имъ въ первой части его Визлюеники; я не могу добиться, чего требуютъ эти господа! Издатель давно уже объявлялъ, что онъ будетъ помѣщать безъ разбора и безъ систематическаго и хронологическаго порядка все, что только касается старины. А кто имѣетъ право требовать отъ дѣлателя на какомъ бы то ни было поприщѣ больше того, что онъ общалъ, или предполагалъ себѣ. При томъ же, кромѣ исторической важности, развѣ не любопытны подробности, напримѣръ, объ албазинскихъ герояхъ, «не помышлявшихъ ни о славѣ, ни о потомствѣ, въ ихъ собственныхъ, просто писанныхъ сношеніяхъ между собою», письма Суворова и пр.? Нѣтъ, не такъ хладнокровны къ подобнымъ предметамъ иностранцы: у нихъ все важно и потому все описано по тысячѣ разъ, начиная, напримѣръ, съ собора Notre Dame de Paris, до послѣдняго зубчика всякой старой башни, съ Марсова поля до послѣдняго клочка земли, на которомъ ступала нога Карловъ и Людовиковъ. Каждая ничтожная записка историческаго лица имѣетъ право у нихъ

печататься и перепечатываться. Какая причина этого вниманія, доходящаго до мелочности, ко всему, что носитъ на себѣ печать старины? Любовь къ своему, къ родному. Дай Богъ, чтобы и у насъ пробудилась эта любовь на дѣлѣ, а не на словахъ! Дай Богъ, чтобы предпріятія, подобныя предпріятію г. Полеваго, нашли себѣ соперниковъ и цѣнителей!

ДИТЯ ПОЭЗИИ. *Казань. 1834. Съ эпитафюмъ:*

Блаженъ, кто про себя таилъ
Души высокія созданья,
И отъ людей, какъ отъ могилъ,
Не ждалъ за чувство воздаянья!

СТИХОТВОРЕНІЯ МИХАИЛА МЕРЪЛИ. *Москва. 1835.*

Съ эпитафюмъ:

Товарищи, какъ думаете вы?...
Для васъ я пѣлъ?...
Нѣтъ! не для васъ! Она меня хвалила,
Ей нравился разгульный мой вънокъ,
И младости заносчивая сила
И пламенныхъ восторговъ кипитокъ!...

Н. Языковъ.

Въ наше прозаическое время появленіе альманаха, поэмы и собранія стихотвореній, есть ужасный анахронизмъ: смотришь и не вѣришь глазамъ! Въ такомъ случаѣ никогда не бываетъ середины—или что-нибудь слишкомъ замѣчательное, или что-нибудь слишкомъ посредственное. Такъ было и прежде, отъ 1820 до 1830 года, съ тою однакожъ разностію, что тогда на все смотрѣли какъ-то снисходительнѣе, и такія предпріятія какъ-то легче сходили съ рукъ. Но теперь наступила пора разочарованія; это разочарованіе горько, оно мститъ жестоко и переходитъ въ очарованіе осторожно, съ оглядкою, строго взвѣсивши и рассчитавши, и при чемъ-нибудь необыкновенномъ. Все это очень естественно; пословица

говорить: «обжегшись на молочкѣ, будешь дуть и на воду»... Посему, какую жалкую роль играютъ въ нашей литературѣ несчастные, запоздалые путники, которые появляются съ этими устарѣлыми плодами своей досужей фантазій, отъ которыхъ уже всѣмъ набило оскомину, которые всѣмъ уже пріѣлись, и только своимъ авторамъ кажутся молодыми, сочными и вкусными! Читающая публика, въ одномъ отношеніи, похожа на beau monde. Этотъ beau monde, или большой свѣтъ, свято чтить уставы моды и приличія, и никому не позволить отступить отъ нихъ; но иногда онъ дѣлаетъ исключеніе въ пользу людей замѣчательныхъ, въ какомъ бы то ни было отношеніи; онъ иногда прощаетъ ихъ неловкость, ихъ оригинальность, любитъ ими и называетъ ихъ гениальною странностію. Такъ точно и читающая публика: когда бываетъ мода на оды, она ласково принимаетъ всѣхъ одистовъ, отъ Державина до Капниста и Петрова; когда бываетъ мода на поэмы, она съ благосклонностію улыбается всѣмъ поэмистамъ отъ Пушкина до автора «Киргизскаго Пльнника» и иныхъ прочихъ, и т. д. Но горе тому, кто придетъ къ ней съ поэмою въ рукахъ, когда бываетъ мода на романы, повѣсти и драмы! Только одинъ истинный талантъ, или даже геній, можетъ спасти сочинителя отъ свиста и шиканья. И такъ публика, какъ и большой свѣтъ, прощаетъ анахронизмы только генію, таланту и вообще истинной заслугѣ.

Авторы поименованныхъ мною книжекъ находятся именно въ этомъ неловкомъ и затруднительномъ обстоятельствѣ: они, на похоронный обѣдъ или поминки по усопшемъ, пріѣхали въ синнихъ фракахъ и бѣлыхъ галстукахъ и жилетахъ, при томъ безъ всякихъ правъ на извиненіе въ несоблюденіи приличія... Между ними находится чрезвычайно большое сходство и чрезвычайно большое различіе... Сходство состоитъ въ положеніи, а разница въ томъ, что одинъ провинціалъ, а другой столичный житель. Костюмъ перваго, кромѣ его неумѣстности,

отличается еще стариннымъ, вышедшимъ изъ моды фасономъ; костюмъ втораго неумѣстенъ, но шить по модѣ. И вотъ почему авторъ «Дитяти Поэзіи», съ дѣтскою наивностію и провинціальнымъ простосердечіемъ разсуждаетъ, въ своемъ предисловіи, «о какой-то исключительной способности, склонности или влеченіи, которое мы приносимъ съ собою въ свѣтъ, и которое, облеченное въ человѣческую форму, совершенствуется съ развитіемъ сей разумно органической формы, и наконецъ является геніемъ». Вотъ почему онъ потомъ въ семъ же предисловіи докладываетъ своимъ читателямъ съ удивительною скромностію и откровенностію, которыми всегда отличаются люди, «приносящіе съ собою въ свѣтъ исключительную способность, склонность или влеченіе, что онъ еще въ раннемъ возрастѣ (разсказывали ему) любилъ читать стихи и прибирать, безъ всякой связи и смысла, слово къ слову; потомъ, бывши въ ученіи и проходя риторикѣ и поэзію, дѣлалъ посредственные успѣхи въ послѣдней на заданные предметы, и наконецъ показалъ своему другу первую свою балладу», что «другъ ее прочиталъ, много смѣялся и зачалъ поправлять ее въ его глазахъ, растолковывая ему правила, совѣтовалъ ими заниматься и читать образцовыя сочиненія», что «онъ ему послѣдовалъ и часто, бывъ съ нимъ вмѣстѣ, читалъ лучшихъ русскихъ поэтовъ, послѣ нѣмѣцкихъ и французскихъ. Позднѣе же латинскихъ, итальянскихъ и англійскихъ», что «по окончаніи ученія, онъ посвятилъ свои дни другой наукѣ и, обучаясь въ университетѣ, въ свободное время занимался литературою и осмѣливался излагать свои мысли въ стихахъ» и, наконецъ, «издать въ свѣтъ сіи занятія досуга, сіи первые робкіе опыты своей стыдливой Музы» и пр. Наконецъ вотъ почему, зная столько языковъ и будучи знакомъ съ сокровищами столькихъ литературъ, онъ напоминаетъ своими «робкими опытами» мудрую пословицу, что «неразумному сыну не въ помощь богатство», и пишетъ ужасныя, варварскія вирши. Но оставимъ въ покоѣ

наивнаго автора «Дитяти Поэзіи», изъявивъ ему наше сожалѣніе, что онъ не послѣдовалъ смыслу избраннаго имъ эпиграфа, и обратимся къ г-ну Меркли.

Г. Меркли далеко превосходитъ автора «Дитяти Поэзіи», и по языку и по стику, и по мысли и по предметамъ своихъ поэтическихъ вдохновеній, и неудивительно: авторъ «Дитяти Поэзіи» провинціалъ, г. Меркли житель столицы; авторъ «Дитяти Поэзіи» былъ студентомъ Казанскаго университета, г. Меркли былъ студентомъ Московскаго университета, а во всемъ этомъ чрезвычайно большая разница, и все это естественнымъ образомъ даетъ сильный перевѣсъ г-ну Меркли. Но говоря безъ шутокъ, что заставило г-на Меркли, который, какъ видно изъ его стиховъ, человѣкъ не безъ образованія, не безъ смысла и даже не безъ блескоу таланта, что заставило его издать свои стихотворенія въ свѣтъ? Обратитъ ими на себя вниманіе современниковъ онъ не могъ, ибо теперь прошла мода на стихи, теперь только превосходные стихи стануть читать, а стихи г-на Меркли вообще посредственны; еще болѣе нельзя ему надѣяться на потомство, ибо маленькія блестящія таланта вообще какъ-то скоро тускнутъ. И такъ чего же онъ добивался? Право, не знаю; а жаль: онъ, повторяю, какъ видно изъ его стиховъ, человѣкъ образованный. Мнѣ скажутъ, что очень естественно ошибаться на счетъ своего таланта, что въ своемъ дѣлѣ никто не судья и что то же побужденіе проявлять себя, которое двигало Державина и Пушкина, двигало Тредьяковскаго и Сумарокова. Оно такъ, да не такъ! Отличительная черта образованности человѣка нашего времени именно и состоитъ въ благородномъ сознаніи своей неспособности къ искусству, если онъ не способенъ къ нему. Нынче тотъ не современецъ, кто пишетъ повѣсти или стихи, не имѣя истиннаго таланта. Кто способенъ чувствовать изящное и наслаждаться имъ, кому доступны всѣ человѣческія чувства, тотъ еще не художникъ, ибо можно сильно, живо и пламенно чувствовать, и вмѣстѣ

съ тѣмъ не умѣть выражать своихъ чувствъ. Вотъ что сказалъ бы я г-ну Меркли, еслибы онъ захотѣлъ послушать меня: «М. Г., пишите стихи и читайте ихъ той, которая внушила вамъ ихъ: она пойметъ и оцѣнитъ ихъ, она и наградитъ автора; печатайте ихъ даже въ журналахъ, ибо, во первыхъ, инымъ журналамъ надобно же чѣмъ-нибудь наполняться, а во вторыхъ, ваши стихи лучше бѣльшаго числа стиховъ, которые помѣщаются въ «Библіотекѣ для Чтенія»,—но, Бога ради, не издавайте ихъ вполнѣ, цѣлыми книгами. а употребите вашъ умъ, вашу образованность, ваши таланты и вашу дѣятельность на предметы болѣе полезные и болѣе достойные».

НАТАЛІЯ. *Сочиненіе юспози ***. Изданіе Сальванди.
Перевелъ съ французскаго А. Шубяковъ. Москва. 1835.*

Было время, когда думали, что конечная цѣль человѣческой жизни есть — счастье. Твердили о суетности, непрочности и непостоянствѣ всего подлуннаго и взапуски спѣшили жить, пока жилось, и наслаждаться жизнію во что бы то ни стало. Разумѣется, всякій по своему понималъ и толковалъ счастье жизни, но всѣ были согласны въ томъ, что оно состоитъ въ наслажденіи. Законы, совѣсть, нравственная свобода человѣческая, всѣ отношенія общественныя, почитались не инымъ чѣмъ, какъ вещами, необходимыми для связи политическаго тѣла, но въ самихъ себѣ пустыми и ничтожными. Молились во храмахъ и кошунствовали въ бесѣдахъ; заключали брачные контракты, совершали брачные обряды и предавались всѣмъ неистовствамъ сладострастія; знали, вслѣдствіе вѣковыхъ опытовъ, что люди не звѣри, что ихъ должны соединять религія и законы, знали это хорошо — и принаровили религіозныя и гражданскія понятія къ своимъ понятіямъ о жизни и счастьи: высочайшимъ и лучшимъ идеаломъ обще-

ственного зданія почиталось то политическое общество, котораго условія и основанія клонились къ тому, чтобы люди не мѣшали людямъ веселиться. Это была религія XVIII вѣка. Одинъ изъ лучшихъ людей этого вѣка сказалъ:

Жизнь есть небесъ мгновенный даръ:

Устрой ее себя къ покою,

И съ чистою твоей душою

Благословляй судьбъ ударъ.

.

.

Пей, ѣшь и веселись, соседъ!

На свѣтъ жить намъ время срочно.

Веселье то лишь непорочно,

Раскаянья за коимъ нѣтъ!

Это была еще самая высочайшая нравственность; самые лучшіе люди того времени не могли возвыситься до высшаго идеала оной. Но вдругъ все измѣнилось: философовъ, пустившихъ въ оборотъ эти понятія, пачали называть, говоря любимымъ словомъ Барона Брамбеуса, надувателями человѣческаго рода. Явились новые надуватели — нѣмецкіе философы, къ которымъ по справедливости вышереченный мужъ питаетъ ужасную антипатію, которыхъ нѣкогда такъ прекрасно отшлифовалъ г. Масальскій, въ превосходной своей повѣсти: «Донъ Кихоть XIX вѣка» — этомъ истинномъ chef d'oeuvre русской литературы — и которыхъ, наконецъ, недавно убила наповаль «Библіотека для Чтенія». Эти новые надуватели, съ удивительною наглостію и шарлатанствомъ, начали проповѣдывать самыя безнравственныя правила, вслѣдствіе коихъ цѣль бытія человѣческаго состоитъ будто бы не въ счастіи, не въ наслажденіяхъ земными благами, а въ полномъ сознаніи своего человѣческаго достоинства, въ гармоническомъ проявленіи сокровищъ своего духа. Но этимъ не кончилась дерзость опасныхъ вольнодумцевъ: они стали еще утверждать, что будто только жизнь, исполненная безкорыстныхъ поры-

вовъ къ добру, исполненная лишеній и страданій, можетъ назваться жизнію человѣческою, а всякая другая будто бы есть большее или меньшее приближеніе къ жизни животной. Нѣкоторые поэты стали дѣйствовать какъ будто по согласію съ сими злонамѣренными философами и распространять разныя вредныя идеи, какъ-то: что человѣкъ непремѣнно долженъ выразить хоть какую-нибудь человѣческую сторону своего бытія, если не всѣ, т. е. или дѣйствовать практически на пользу общества, если онъ стоитъ на важной ступени онаго, безъ всякаго побужденія къ личному вознагражденію; или отдать всего себя знанію для самого знанія, а не для денегъ и чиновъ; или посвятить себя наслажденію искусствомъ, въ качествѣ любителя, не для свѣтскаго образованія какъ прежде, а для того, что искусство (будто бы) есть одно изъ звеньевъ, соединяющихъ землю съ небомъ; или посвятить себя ему въ качествѣ дѣйствителя, если чувствуетъ на это призваніе свыше, а не призваніе кармана; или полюбить другую душу, чтобы каждая изъ земныхъ душъ имѣла право сказать:

Я все земное совершила:

Я на землѣ любила и жила!

или, наконецъ, просто имѣть какой-нибудь высшій человѣческій интересъ въ жизни, только не наслажденіе, не объяденіе земными благами. Потомъ, на помощь этимъ философамъ, пришли историки, которые стали и теоріями и фактами доказывать, что будто не только каждый человѣкъ въ частности, но и весь родъ человѣческій стремится къ какому-то высшему проявленію и развитію человѣческаго совершенства; но за то ужъ и катаетъ же ихъ, озорниковъ, почтенный Баронъ Брамбеусъ! Я, съ своей стороны, право, не знаю, кто правъ: прежніе ли французскіе философы или нынѣшніе нѣмцы; который лучше: XVIII или XIX вѣкъ; но знаю, что между тѣми и другими, между тѣмъ и другимъ, большая ра-

зница во многихъ отношеніяхъ. Не говоря о другихъ, укажу на искусство. Преніе романы всегда оканчивались бракомъ, богатствомъ и, слѣдовательно, возможнымъ человѣческимъ блаженствомъ; нынѣшніе почти всѣ такъ гадко оканчиваются, что на ночь страшно и дочитывать ихъ. Преніе только въ трагедіяхъ допускалась плачевная развязка, и то ex officio, изъ подражанія Грекамъ; но за то былъ выдуманъ новый родъ—драма, герои которой хотя и претерпѣвали много гоненій за свою добродѣтель, но за то къ концу пьесы женились, и дѣлались богаты; про нынѣшнія драмы я не говорю: срамъ да и только! Преніе въ комедіяхъ осмѣивались маленькіе людскіе недостатки, какъ то, привычка нюхать много табаку, употреблять часто въ разговорѣ любимыя поговорки, какъ напр. *милый мой!* и тому подобныя; нынче въ комедіяхъ хлещутъ (да вѣдь какъ?... со всего плеча!) чиновниковъ, которые вмѣсто того, чтобы служить государю вѣрою и правдою, думаютъ только о чинахъ и взяткахъ, какъ Фамусовъ, людей, которые, вмѣсто того, чтобы любить, распутничаютъ, словомъ, вмѣсто того, чтобы быть людьми, бываютъ скотами, и пр.

Во Франціи пишутъ многія женщины; нѣкоторыя изъ нихъ пишутъ (дивное дѣло!) хорошо. Неизвѣстная сочинительница «Натали» не принадлежитъ къ числу хорошо пишущихъ, по новымъ понятіямъ. Героиня ея романа въ восторгѣ отъ «Матильды» г-жи Коттенъ, и авторъ хлопочетъ о томъ, чтобы показать способъ застраховать жизнь женщины отъ несчастія на землѣ. Средствомъ къ этому, по ея мнѣнію, должна быть слѣпая покорность судьбѣ и избѣжаніе страстей и глубокихъ чувствъ. Ей нѣтъ до того дѣла, что можно быть несчастною, живя съ немилымъ мужемъ, что жизнь безъ страстей и чувствъ есть не жизнь, а оцѣпенѣлый сонъ альпійскаго сурка во время зимы; она не говоритъ женщинамъ, что бракъ безъ любви есть или торговая сдѣлка, противная совѣсти и религіи, или дѣтскій легкомысленный поступокъ, за который

неумудрено впоследствии дорого поплатиться, что для избежанія размовки съ мужемъ или измѣны ему, не надо шутить замужествомъ прежде замужества: нѣтъ, она дѣзетъ вонъ изъ кожи, чтобъ показать гибельныя слѣдствія пылкихъ страстей, на манеръ г-жи Жанлисъ, Коттень и прочей литературной сволочи добраго стараго времени. Несмотря на то, что въ этомъ романѣ есть мысль, есть нѣкоторая занимательность, происходящая не отъ таланта автора, а отъ его литературной цивилизованности, если можно такъ сказать, нельзя не удивиться неудачному выбору г. переводчика, и еще болѣе неудачному исполненію его труда. Видно, что онъ хорошо знаетъ французскій языкъ, но въ размовкѣ съ русскимъ синтаксисомъ, ибо его переводъ биткомъ набитъ фразами, подобными слѣдующимъ: «Печальный и торжественный видъ графини, произнося слова сіи, сообщился всѣмъ... Онъ говорить, что онъ мнѣ уже не супругъ, но это онъ еще... Усталость наша, всходя на оный, была хорошо вознаграждена»...

Куда ужъ намъ, бѣднымъ, думать о томъ, чтобы наши собственныя произведенія какою-нибудь мыслію выкупали недостатокъ таланта, когда мы еще плохо знаемъ, или совсѣмъ не знаемъ русской грамматики, и не умѣемъ написать правильно ни одной русской фразы!...

ОБРАЗЕЦЪ ПОСТОЯННОЙ ЛЮБВИ. *Драма въ трехъ дѣйствіяхъ, передѣланная съ французскаго языка (?), изъ театра (??) Скриба. А. П. Москва. 1834.*

Этотъ «Образецъ Постоянной Любви», есть не что иное, какъ «Валерія или Слѣпая», которою умѣла такъ заинтересовать нашу публику прекрасная игра г-жи Баратыгиной. Не знаю, какъ названа эта пьеса Скрибомъ; но не думаю, чтобы Скрибъ могъ дать ей такое пошлое, классическое названіе, какое носить она въ переводѣ!

Петербургъ въ одномъ отношеніи имѣеть большое преимущество передъ Москвою: если въ немъ нѣтъ и никогда не было хорошихъ журналовъ, если въ немъ мало хорошихъ литераторовъ, собственно ему принадлежащихъ, то въ немъ мелочная торговая литература несравненно выше московской. Тамъ переведутъ романъ, водевиль, повѣсть, если не всегда слишкомъ хорошо, то почти всегда со смысломъ, съ грамматикою, напечатаютъ всегда опрятно, даже красиво; въ Москвѣ, напротивъ, почти всегда безъ смысла, безъ грамматики, почти всегда на оберточной бумагѣ. Переводъ г-на А. П. принадлежитъ къ числу самыхъ чудовищныхъ, самыхъ безобразныхъ произведеній мелочной литературной промышленности Москвы: безграмотность и бессмыслие его превосходятъ всякое вѣроятіе.

О ГОСПОДИНѢ НОВГОРОДѢ ВЕЛИКОМЪ. (Письмо)
*съ приложеніемъ вида Новгорода въ 12-мъ столѣтіи,
и плана окрестностей. А. В. Москва. 1834.*

Какимъ живымъ, легкимъ, оригинальнымъ талантомъ владѣеть г. Вельтманъ! Каждой бездѣлкѣ, каждой шуткѣ умѣетъ онъ придать столько занимательности, прелести! О, онъ истинный чародѣй, истинный поэтъ! Поэтъ въ искусствѣ, поэтъ въ наукѣ! Да, онъ и въ наукѣ поэтъ, поэтъ археологъ! Въ романѣ, въ повѣсти, онъ разгадываетъ своимъ поэтическимъ чувствомъ эту поэтическую русскую старину, которая, какъ самъ онъ говоритъ, такъ хитро умѣла его влюбить въ непостижимую красоту свою! Онъ переселяетъ васъ въ эту глубокую древность, рассказывая о ней были и небылицы: пока читаете вы эти небылицы, вы отъ души вѣрите имъ, сами не зная почему; когда перестанете читать ихъ, то онѣ мерещатся передъ глазами вашими, и этому нечего дивиться: таково всегда произведеніе истиннаго та-

ланта! Послѣ всякаго романа, г. Вельтманъ предлагаетъ нѣсколько страницъ ученыхъ примѣчаній, и только одна ученая ихъ форма мѣшаетъ вамъ принять ихъ за прелестныя поэтическія грезы: такъ много въ нихъ поэзіи, поэзіи г-на Вельтмана, поэзіи запечатлѣнной всею оригинальностью, всею прихотливостію, всею своеобразиемъ его таланта! Такъ, напримѣръ, ему случилось взглянуть мимоходомъ на Новгородъ, и онъ написалъ нѣсколько прекрасныхъ страницъ, составляющихъ первую половину его «Письма о Господинѣ Новгородѣ Великомъ». Вторая половина посвящена историческимъ мечтаніямъ о Варягахъ, о Днѣпровскихъ порогахъ и пр. Этимъ несчастнымъ порогамъ довольно досталось и отъ этимологической дыбы Струве, Тунмана и другихъ; но г. Вельтманъ подвергъ ихъ новой этимологической пытке, и русскія ихъ названія, сохраненныя Константиномъ Багрянороднымъ, досконально объяснилъ изъ скандинавскаго языка. Самый городъ Валдай, славный своими сайками, происходитъ у него отъ Wald (лѣсъ) и Eu (островъ); онъ подкрѣпляетъ это мнѣніе еще и тѣмъ, что подлѣ Валдая, на озерѣ, есть острова, изъ коихъ одинъ покрытъ лѣсомъ, который называется Темный лѣсъ. Не правда ли, что въ этихъ археологическихъ мечтаніяхъ много поэзіи? Въ такомъ же духѣ писаны г. Вельтманомъ и его ученые примѣчанія къ его роману «Святославичъ, Вражій Питомецъ»; въ нихъ у него все происходитъ отъ Нѣмцевъ; самъ Адамъ чуть ли не Нѣмецъ, такъ какъ у нѣкоторыхъ все происходитъ отъ Славянъ и самъ Адамъ чуть ли не Славянинъ.

Видъ Новгорода въ XII столѣтіи, приложенный къ брошюрѣ г. Вельтмана, и снятый съ «Древняго изображенія Великаго Новгорода во время осады онаго, въ 1169 или 1170 году, суздальскими князьями, находящагося въ иконостасѣ на доскѣ деревянной, подлѣ чудотворною иконою Знаменія Богородицы въ Новгородскомъ Знаменскомъ соборѣ за рѣшеткою и занавѣскою», доказываетъ ясно, какъ хорошо

умѣли у насъ еще въ XII столѣтіи снимать планы съ городовъ и какъ далеко отодвинуло назадъ Русь татарское иго, ибо до Петра Великаго у насъ не умѣли снять вида съ какого-нибудь поля или деревушки. Вотъ новый и сильный фактъ противъ скептиковъ!...

БОРИСЪ ГОДУНОВЪ. *Трагедія въ трехъ дѣйствіяхъ. М. Лобанова. Санктпетербургъ. 1835.*

Авторъ этой трагедіи былъ нѣкогда въ числѣ знаменитыхъ. Въ какомъ-то плохомъ журналѣ, кажется въ «Новостяхъ Литературы», издававшихся г. Воейковымъ, въ 20-хъ годахъ, переводъ г-на Лобанова Расиновой «Федры» былъ названъ лучшимъ русскимъ переводомъ первой въ свѣтѣ трагедіи. Увы! съ тѣхъ поръ много утекло воды! много произошло пережѣвъ! Первая трагедія въ свѣтѣ забыта неблагодарнымъ потомствомъ, вмѣстѣ съ нею забытъ и ея знаменитый переводчикъ. Такъ, его забыли; но онъ не измѣнился, хотя и все измѣнилось вокругъ него—и люди, и мнѣнія. Впрочемъ, ни мало не измѣнившись самъ, онъ замѣтилъ всеобщую пережѣву во вкусахъ и понятіяхъ. Вслѣдствіе этого онъ вышелъ на знакомое ему поприще, съ тѣми же словами, съ тѣми же старыми вещами, но въ новомъ модномъ костюмѣ. Тяжелый, Херасковскій шестистопный ямбъ замѣнилъ онъ пятистопнымъ безриemenнымъ; надъ завѣтными тріединствами наругался безжалостно; вмѣсто Грековъ и Римлянъ древнихъ временъ вывелъ русскихъ XVI вѣка. Но, повторю, это только костюмъ, сущность же все та же, старая классическая, бездушная. Ни страстей, ни характеровъ, ни стиховъ, ни интереса — нѣтъ ничего этого, все холодно, поддѣльно, придумано, нарумянено, все на ходуляхъ, безъ всякой естественности. Напримѣръ, Борисъ, этотъ великій характеръ, который въ самомъ злодѣйствѣ долженъ быть великъ, при-

знается въ своемъ преступленіи женѣ и дочери съ жалкою трусостью неопытнаго новичка въ пороѣ. Его жена и дочь истинныя наперсницы классическихъ трагедій. Грустно читать подобныя произведенія, тѣмъ болѣе грустно, когда они, несмотря на свою юродивость, бываютъ плодомъ жалкаго заблужденія, а не шарлатанства, не меркантильности! Г. Лобановъ писалъ эту трагедію съ 1825 года, т. е. почти десять лѣтъ: не классицизмъ ли это? Не явное ли это доказательство, что почтенный авторъ совсѣмъ не поэтъ? что онъ сдѣлалъ, а не создалъ свою поэмѣ? Было время, когда всѣ были увѣрены, что немножко стихотворнаго дарованія при знаніи правилъ и литературной образованности составляютъ поэта, что чѣмъ долѣе сочинялась пьеса, чѣмъ болѣе трудовъ стоила своему автору, тѣмъ она была лучше: неужели все это надо опровергать? Повторяю: грустно видѣть челоуѣка, можетъ быть, съ умомъ, съ образованностію, но заматорѣвшаго въ устарѣвшихъ понятіяхъ и застигнутаго потокомъ новыхъ мнѣній. Онъ трудится честно, добросовѣстно, а надъ нимъ смѣются; онъ никого не понимаетъ, и его никто не понимаетъ. Не могу представить себѣ ужаснѣйшаго положенія!...

ХУДОЖНИКЪ. *Т. м. ф. а. Спб. 1834. Три части.*

Въ этомъ сочиненіи есть мысль и мысль прекрасная, поэтическая. Но исполненіе этой мысли весьма неудачно; авторъ хотѣлъ изобразить жизнь художника въ борьбѣ съ людьми, обстоятельствами, судьбою и самимъ собою, и написалъ довольно большую книгу, которая наполнена общими мѣстами и до крайности утомляетъ читателя, не доставляя ему никакого удовольствія. Причина очевидна: онъ не составилъ себѣ ясной, отчетливой, глубокой и вѣрной идеи о художникѣ, идеи, очерпнутой изъ фактовъ и повѣренной собственнымъ чувствомъ;

онъ смотритъ на художника съ той жалкой и устарѣлой точкой зрѣнія, съ которой у насъ вообще смотрятъ на этотъ предметъ, больше по привычкѣ, больше по стародавнимъ преданіямъ, чѣмъ вслѣдствіе глубокаго наблюденія и несомнѣнныхъ фактовъ, извлеченныхъ изъ жизни извѣстныхъ художниковъ. Какъ, по общему повѣрью русскаго народа, всякій умница, дѣлецъ или мастеръ непремѣнно долженъ быть горькимъ пьяницею, малымъ, какъ говорится сорви-голова; такъ, по общепринятому мнѣнію многихъ нашихъ авторовъ и литераторовъ, художникъ непремѣнно долженъ быть чудакомъ, оригиналомъ, который со всѣми бранится, ни съ кѣмъ не можетъ ужиться, который безпрестанно вдохновенъ, восторженъ, никогда не знаетъ прозаическихъ минутъ, который въ глаза называетъ всѣхъ подлецами, негодяями, а самъ святъ, какъ праведникъ, и незлобивъ, какъ голубь; его клануть, гонять, терзаютъ, а онъ всѣхъ любить, какъ братьевъ, всѣхъ благословляетъ, и ненавидитъ одно злато и стяжаніе; потому дѣлается челоѣконенавистникомъ, мизантропомъ и ищетъ уединенія. Нѣтъ, не таковъ художникъ! Все это черты индивидуальности челоѣка, а отнюдь не общая характеристика художника! Художники, особенно въ наше время, и пьютъ и ѣдятъ и любятъ денежки, какъ и всѣ смертныя. Да и много ли изъ нихъ такихъ, которые особенно прославились своими страданіями? многіе ли изъ нихъ испытали участь Тасса? Начнемъ съ древнихъ: изъ греческихъ, Гомеръ—миръ; прочіе жили счастливо, были любимы и уважаемы своими согражданами; хотя Демосѣенъ сюда собственно не относится, какъ не художникъ, но и тотъ погибъ не за свой удивительный даръ, а за политическія мнѣнія; изъ Римлянъ, Виргилій и Гораций жили очень хорошо, и послѣдній цѣлый вѣкъ, потягивая тибурское, восклицалъ:

Хвала, умѣренность злата!

Изъ новыхъ, особенно не посчастливилось испанскимъ и португальскимъ поэтамъ, и то за то, что они захотѣли быть

умнѣ глупыхъ своихъ соотчичей; но вѣдь и то сказать: гдѣ же это и любить? Шекспиръ жилъ въ ладу съ людьми и умеръ владѣльцемъ порядочнаго помѣстья, а развѣ это не большое счастье? Французскіе поэты, съ Расина до Вольтера *) включительно, были очень счастливы, Жильбертъ и Андрей Шенье составляютъ исключеніе, да объ нихъ мало и знаютъ: притомъ же они хотѣли быть честными людьми и плохо знали философію XVIII вѣка! О нынѣшнихъ французскихъ поэтахъ нечего и говорить: всѣ они богаты, слѣдственно счастливы, хвалямы, слѣдственно довольны; нѣкоторые изъ нихъ, какъ, напримѣръ, знаменитый Викторъ Гюго, хорошіе граждане, хорошіе супруги, отцы и люди, несмотря на кровавый и безчинный характеръ своей музыки. Изъ Англичанъ, Байронъ... да онъ былъ большой чудакъ, жертва самаго себя, своей мысли, и это-то, кажется мнѣ, всего болѣе можетъ быть истиннымъ несчастьемъ художника. Вальтеръ-Скоттъ былъ богатъ, знатенъ, славенъ, добръ, честенъ, любилъ людей и жилъ съ ними въ ладу. Изъ Нѣмцевъ, почти не было несчастныхъ поэтовъ; Гёте, одному изъ представителей нѣмецкой литературы, вездѣ было хорошо, можетъ быть потому, что онъ былъ выше всего; Шиллеру, другому представителю нѣмецкой литературы, тоже вездѣ было хорошо, потому что его счастье было не отъ міра сего.

Перечтите біографіи всѣхъ великихъ художниковъ, и вы увидите, что художникъ совсѣмъ не синонимъ слову сумасшедшій и мученикъ; многіе изъ нихъ рѣшительно гнусны, какъ люди, и только въ поэтическія мгновенія бываютъ велики; и это очень понятно, ибо поприще поэта есть больше чувствованіе, чѣмъ дѣйствованіе.

*) Кромѣ Руссо, который былъ слишкомъ благороденъ и высокъ, чтобъ быть счастливымъ во времена Вольтеровъ, Мармонтелей, Лагарповъ, и пр.

Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,
Въ забавахъ суетнаго свѣта
Онъ малодушно погруженъ.
Молчитъ его святанъ лира,
Душа вкушаетъ хладный сонъ,
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ!

Вообще надо замѣтить, что художникъ у насъ еще загадка, неувидимая, какъ женщина, и его невозможно подвести подъ общія черты. Въ одномъ мѣстѣ, онъ царь и пророкъ, какъ Давидъ, въ другомъ мученикъ, какъ Тассъ, въ третьемъ, богачъ, какъ Байронъ, въ четвертомъ, нищій, какъ Сервантесъ, тамъ министръ, какъ Державинъ, тутъ беззаботный весельчакъ-политикъ, какъ Беранже; здѣсь его гонятъ, ненавидятъ, тамъ ласкаютъ и любятъ, и пр. и пр.

Художникъ г-на Т. м. ф. а принадлежитъ къ числу тѣхъ нескладныхъ и нелѣпыхъ созданій, которыя были бы въ тягость и себѣ и людямъ, еслибы были возможны. Къ счастью, это только мечта, самая неудачная и неестественная. Г. Т. м. ф. ъ. не извелъ этотъ идеалъ изъ міра души своей, а слѣпилъ его по расчетамъ возможностей. Поэтому его герой не возбуждаетъ никакого участія, не имѣетъ никакого опредѣленнаго образа, и его тотчасъ забываешь, какъ скоро закроешь книгу. И между тѣмъ, надо быть справедливыми, завязка повѣсти и многія ситуации придуманы авторомъ чрезвычайно счастливо. Всего несноснѣе онъ тамъ, гдѣ прибѣгаетъ къ такимъ пружинамъ, которыя уже по одному тому трудно привести въ движеніе, что къ нимъ всѣ прибѣгаютъ. Такъ, напримѣръ: бѣдный живописецъ, будучи еще ребенкомъ, завидуетъ ласкамъ, которыми его товарищъ по ученію осыпали ихъ родители, и чувствуетъ при этомъ зрѣлищѣ глубокую тоску и темное желаніе назвать когонибудь своимъ отцемъ или матерью— вы ожидаете услышать изъ устъ его какое-нибудь недоговоренное слово, какой-нибудь глухой

воплъ души, подобный молніи, проблеснувшей надъ бездною и открывшей на минуту всю глубину ея, вы ожидаете увидѣть лице, мгновенно передернутое судорогою, уста, искривившіяся страданіемъ, взоръ, который изобличалъ бы предсмертную муку, а г. Т. м. ф. ъ вмѣсто всего этого заставляетъ своего художника проговорить нѣсколько скучныхъ, растянутыхъ страницъ водяной прозы, общихъ мѣстъ риторической шумихи. И между тѣмъ, книга г-на Т. м. ф. а. принадлежитъ къ числу замѣчательныхъ явленій въ нашей литературѣ. Отчего же такая несообразность? Оттого, что у насъ еще худо знаютъ различіе между словами творить и дѣлать, между способностію чувствовать и заставлять другихъ чувствовать; оттого, что у насъ, кто созналъ себя хоть на вершокъ выше толпы, тотъ уже почитаетъ себя поэтомъ...

Въ заключеніе скажу, что художникъ г-на Т. м. ф. а, отзывается часто слишкомъ замѣтнымъ подражаніемъ прекрасной повѣсти г. Полеваго «Живописецъ», и, какъ всякое подражаніе, вольное или невольное, неизмѣримо далеко отстоитъ отъ своего высокаго образца.

ИСТОРІЯ ДОНСКАГО ВОЙСКА, ВЛАДИМИРА БРО- НЕВСКАГО. Часть первая. Санктпетербургъ. 1834.

Великое дѣло терпѣніе! Оно точно есть одно изъ необходимыхъ качествъ генія, но оно, вопреки Бюффону, совсѣмъ не то, что геній, даже совсѣмъ не то, что талантъ: Тредьяковскіе, Сумароковы и Херасковы не единственные свѣдѣтели этой истины. И въ наше время можно найти этихъ несчастныхъ мучениковъ терпѣнія и безталанности. Трудятся неутомимо, хлопочутъ безпрестанно, вѣчно заняты, считаютъ десятками плоды своего трудолюбія, а толку все ни на грошъ. Не помогаетъ имъ даже и ихъ ученость, которая обыкновенно состоитъ въ кропотливомъ знаніи однихъ фак-

товъ, знаніи мелочномъ и скрупулёзномъ, не проникнутомъ никакою мыслию, никакимъ воззрѣніемъ, которыя составляютъ душу и жизнь всякаго знанія, наконецъ, въ этомъ сухомъ и мертвомъ знаніи, котораго они ни къ чему не умѣютъ приложить, не умѣютъ привязать ни къ какой мысли, ни къ какой цѣли, ни къ какому плану. Вотъ, напримѣръ, говоря впрочемъ безъ всякихъ примѣненій, къ чему можетъ служить «Исторія Донскаго Войска», составленная покойнымъ Броневскимъ? Ровно ни къ чему, хотя она стояла своему почтенному автору большахъ трудовъ, большаго терпѣнія. Вы прочитываете ее всю или ех officio, какъ я, или, желая почерпнуть изъ нея какія-нибудь свѣдѣнія, прочитываете ее, скрѣпивъ сердце, терпя скуку, и наконецъ видите вожделѣнный берегъ; спросите же теперь себя, чтò у васъ осталось въ головѣ, чтò вы упомянули, чтѣмъ хорошимъ или полезнымъ обогатили свою память? Увѣряю васъ, что не найти вамъ удовлетворительнаго отвѣта на этотъ мудреный вопросъ. Если вы слишкомъ неопытны въ дѣлахъ этого рода и при этомъ еще слишкомъ добросовѣстны, если вы благоговѣете передъ всякимъ честнымъ, благонамѣреннымъ трудомъ, вы, можетъ-быть, станете обвинять самихъ себя или въ недостаткѣ памяти, или, наконецъ, въ недостаткѣ основныхъ пріуготовительныхъ познаній, безъ которыхъ нельзя читать подобныхъ книгъ? О, будьте спокойны, не обвиняйте себя: вы правы, совершенно правы, виновать одинъ авторъ! Книги, къ числу которыхъ относится «Исторія Донскаго Войска», бываютъ двухъ родовъ: однѣ изъ нихъ должны представить систематическую исторію какого-нибудь отдѣльнаго предмета, какъ хотѣлъ это сдѣлать г. Броневскій; другія должны представить факты для этой исторіи. Книги перваго рода должны быть проникнуты какою-нибудь мыслию, должны быть согрѣты живымъ участіемъ автора въ описываемыхъ имъ событіяхъ, должны, наконецъ, представить полную и одушевленную картину цѣлой жизни народа, или только одного

момента ея. Таковы «Тридцатилѣтняя Война» и «Отпаденіе Нидерландовъ отъ Испаніи» Шиллера. Книги втораго сорта должны быть или просто сборникомъ матеріаловъ, и въ такомъ случаѣ ихъ важность опредѣляется степенью важности и вѣрности документовъ; или повѣствованіемъ, въ которомъ соединены и примирены по возможности всѣ извѣстные матеріалы и изложены въ хронологическомъ порядкѣ. Такое повѣствованіе должно быть просто, ясно; все дѣло въ фактахъ, и составитель не долженъ позволять себѣ никакихъ разсужденій, не долженъ, такъ сказать, выглядывать изъ-за фактовъ: его обязанность состоитъ въ томъ, чтобы выбрать изъ историческихъ источниковъ все нужное и расположить въ такомъ строгомъ и ясномъ порядкѣ, чтобы событія плавно текли другъ за другомъ, не забѣгали другъ другу въ глаза, не перебивали другъ у друга дороги, и чтобы читателю не трудно было удерживать ихъ въ своей памяти. Ничего не можетъ быть драгоцѣннѣе такого рода книгъ: онѣ были бы важны и для простаго читателя, и для критика, и для писателя исторіи.

«Исторія Донскаго Войска», г. Броневскаго, принадлежитъ къ числу книгъ перваго разряда, и виѣсть къ числу самыхъ неудачныхъ попытокъ. Прочтите ее сто разъ, и ничего не узнаете, ничего не удержите въ памяти. Что такое Донцы, какую идею выразили они собою, какое мѣсто должны они занимать въ русской исторіи?—Обо все этомъ и не спрашивайте автора. Онъ перефразировываетъ вамъ дурнымъ Ломоносовскимъ слогомъ то исторію Карамзина, то статью Полеваго, то что-нибудь другое; толкуетъ о событіяхъ въ Россіи, и Донцы въ его драмѣ являются аксессуарными персонажами. Онъ всегда былъ компиляторомъ, онъ не измѣнилъ себѣ и въ послѣднемъ своемъ сочиненіи; какъ въ водевиляхъ набирается музыка изъ разныхъ авторовъ, такъ и онъ спилъ свою книгу изъ разныхъ чужихъ лоскутовъ, и потому у него яркость и достоинство этихъ лоскутовъ зависятъ отъ того,

у кого онъ ихъ бралъ. Такъ, напр., лучшее мѣсто его книги есть взятіе Донцами Азова, потому что это мѣсто есть не чтѣ иное, какъ списокъ (разумѣется, немного искаженный г. компиляторомъ) извѣстной статьи г. Полеваго. Трудно, скучно, да и бесполезно было бы наводить справки, откуда и по скольку бралъ онъ чужаго, и чтѣ собственно принадлежитъ ему. Странно то, что онъ въ предисловіи показалъ всѣ свои, какъ говоритъ онъ, источники, и умолчалъ о статьѣ «Взятіе Азова», хотя послѣ, когда дошло дѣло до этого событія, и признается, въ сноскѣ, въ своемъ, какъ говоритъ онъ, заимствованіи. Много и еще кое-чего можно бъ было сказать... но довольно... *de mortuis aut bene aut nihil...* и то, чтѣ я написалъ—для живыхъ, а не для покойника.

ТЕТУШКИНЫ СКАЗКИ. *Сочиненіе дѣвицы М. В. Руссо. Переводъ съ французскаго. Съ виньеткою и картинками (тремя). Москва. 1835. Дѣтъ части.*

Дѣтскія повѣсти, если хотите, довольно сносныя въ сравненіи со множествомъ дѣтскихъ книгъ, издаваемыхъ у насъ; но къ чему онѣ, если ихъ достоинство только относительное? Главный ихъ недостатокъ состоитъ въ томъ, что онѣ напоминаютъ собою слова, вѣдается, Фоміона, по случаю отправления Аѳинянами небольшого флота, для сбора подати съ нѣкоторыхъ острововъ: «Если это для войны, то флотъ слишкомъ малъ; если же для сбора подати, то слишкомъ великъ». Если эти повѣсти назначались ихъ авторомъ для чтенія дѣвицъ, уже готовящихся сдѣлаться невѣстами, то онѣ нелѣпы и глупы; если же для малолѣтнихъ дѣвочекъ, то непреличны, ибо ихъ персонажи, по большой части, дѣвушки отъ двѣнадцати до пятнадцати лѣтъ, и всѣ, за хорошее поведеніе, награждаются выгоднымъ замужествомъ. Конечно, для дѣвушки въ пятнадцать лѣтъ, которая уже питаетъ же-

ланіе быть замужемъ—такая награда слишкомъ достаточная причина вести себя хорошо, по крайней мѣрѣ, при людяхъ; но что тутъ лестнаго для дѣвочки отъ семи до четырнадцати лѣтъ? Если уже люди должны быть добры изъ выгоды, если уже имъ непремѣнно надо получать плату за свою добродѣтель, то для маленькой дѣвочки фунтъ конфетъ обольстительнѣе всякаго богатаго мужа. Вотъ нравственность XVIII вѣка!... Какихъ высокихъ чувствъ можно ожидать отъ дѣвушки, напитанной или, лучше сказать, напичканной такою прекрасною моралью?... И между тѣмъ, эта мораль проповѣдуется всѣмъ, и едва ли не каждый изъ насъ (исключенія очень рѣдки) былъ упитываемъ этою небесною манною! Горькая мысль!... Едва появится на свѣтъ новый житель міра, новый членъ огромнаго человѣческаго семейства, и уже ему предлагаютъ тонкій ядъ разврата, ядъ, истребляющій сѣмена добраго и посѣвающій въ юной, ангельской душѣ терніи эгоизма и ничтожества въ помыслахъ, желаніяхъ и стремленіи! И все это добродушно, отъ искренняго сердца, нерѣдко съ чистымъ желаніемъ добра. Такъ, напримѣръ, Коцебу написалъ для своихъ дѣтей нѣсколько, надо сказать правду, презанимательныхъ повѣстей, подъ названіемъ «Подарокъ Дѣтямъ на Новый Годъ»; такъ сладенькій и добренькій Дюкре-Дюмениль издалъ тоже довольно занимательныя дѣтскія повѣсти, подъ названіемъ: «Вечернія Бесѣды въ Хижинѣ или Наставленія Престарѣлаго Отца». Въ тѣхъ и другихъ, всякое достоинство награждено, а пороки и недостатки вездѣ наказаны, и изъ всего этого выведено мудрое правило, что надо быть добрымъ. Добрые наши отцы и наставники готовы божиться и клясться, что въ этихъ книжкахъ чистѣйшая нравственность.

«Тетушкины Сказки» не выдержатъ ни малѣйшаго сравненія съ повѣстями Коцебу и Дюкре-Дюмениля, которыя, какъ я уже сказалъ, отличаются нѣкоторымъ литературнымъ достоинствомъ и дурны только отъ косаго взгляда на вещи

и пошлаго понятія о нравственности. Это просто плохенькія сказочки, состоящія изъ общихъ мѣстъ и въ содержаніи и въ сентенціяхъ. Переводъ и такъ и сякъ, но правописаніе немного криво.

ЖЕРТВА. *Литературный эскизъ. Сочиненіе 1-жи Мон-борнъ. Переводъ съ французскаго Z... Москва. 1835.*

Въ послѣднее время въ Европѣ, или, лучше сказать, во Франціи (а это почти одно и то же), глухо началъ раздаваться какой-то ропотъ противъ священнѣйшаго гражданско-религіознаго установленія — брака; начали обнаруживаться какія-то сомнѣнія на счетъ его законности и даже необходимости; теперь этотъ ропотъ превратился въ какой-то неистовый вопль, а сомнѣнія начали предлагаться во всеуслышаніе, въ видѣ какой-то аксіомы. Теоретическихъ доказательствъ нѣтъ, да, благодаря нелѣпости этой мысли, и не можетъ быть; и такъ прибѣгли къ другому способу, къ практическому, и избрали орудіемъ искусство, которое во Франціи никогда не существовало само для себя, но всегда служило какимъ-нибудь внѣшнимъ, практическимъ цѣлямъ. И вотъ, начиная съ первыхъ коринеевъ французской литературы до нищенской литературной братіи, всѣ тайно или явно вооружились противъ брака, у всѣхъ, въ основаніи каждаго произведенія, начала пробиваться эта аггіеге pensée. Но женщины-писательницы, главою которыхъ явилась знаменитая Жоржъ-Зандъ, и которыхъ во Франціи такъ же много, какъ на Руси бездарныхъ стихотворцевъ и романистовъ, женщины-писательницы, говорю я... но постойте... позвольте мнѣ на минуту уклониться отъ матеріи... я страхъ какъ люблю отступленія; это мой конекъ...

Что такое женщина-писательница? Женщина имѣетъ ли право быть писательницею?

Вопросъ очень не новый: его предлагала и рѣшала еще покойница бабушка мадамъ Жанлисъ, которая, какъ всѣмъ извѣстно, была изъ самыхъ зазорныхъ писательницъ. Брюзгливая старушка (я не умѣю представить ее иначе, какъ подъ формою старой брюзги) сказала и доказала (не помню, гдѣ именно), что авторство ни въ какомъ случаѣ не есть дѣло женщины. По истинѣ, безпримѣрное самоотверженіе!... Впрочемъ, можетъ быть, въ этомъ случаѣ, ей хотѣлось упрочить за собою литературную монополію, и потому мы въ правѣ ей не повѣрить, и рассмотреть этотъ вопросъ по своему.

Въ мірѣ все имѣетъ свое назначеніе, все прекрасно въ предѣлахъ своего назначенія и дурно внѣ его; это вѣчный, неизмѣняемый законъ провидѣнія. Женщина-Амазонка, какая-нибудь храбрая Брадаманта, въ повѣсть, можетъ быть не больше какъ смѣшна, но въ дѣйствительности она существо въ высочайшей степени отвратительное и чудовищное: мужчина съ женоподобнымъ характеромъ есть самый ядовитый пасквиль на человѣка.

Tout est bon, tout est bien, tout est grand à sa place!

Жизнь человѣческая есть не сонъ, не мечта, не греза; цѣль ея не наслажденіе, не счастье, не блаженство: нѣтъ, она есть великій даръ провидѣнія. Безумный хватается за этотъ даръ какъ за игрушку и легкомысленно играетъ имъ какъ игрушкою; мудрый принимаетъ его съ покорностію, но и съ трепетомъ, ибо знаетъ, что это есть драгоцѣнный залогъ, который онъ долженъ будетъ нѣкогда возвратить въ чистотѣ и пѣлости, что это есть тяжкій, страдальческій крестъ, на градою котораго будетъ терновый вѣнецъ и чувство исполненнаго долга. Выразить достоинство человѣческое, проявить въ себѣ идею Божества — вотъ назначеніе смертнаго, и вотъ почему, вслѣдствіе справедливаго закона вѣчной премудрости, сила заключается въ слабости, величіе въ ничто-

жествъ, безконечность въ ограниченности, и вотъ почему скудельный, волнуемый своекорыстными страстями, сосудъ чловѣка можетъ быть жилищемъ Духа Святаго. Безъ борьбы нѣтъ заслуги, безъ усилій нѣтъ побѣды. Два пути ведутъ чловѣка къ его цѣли: путь разумный и путь чувства, и благо ему, когда они оба сливаются въ пути дѣятельности! Безгранично поприще дѣятельности для мужчины: едва сознаетъ онъ свое бытіе, едва почувствуетъ свои силы, и ему, юному жителю міра, весь міръ отверзаетъ свои сокровища, и, покорный могуществу его мысли, предлагаетъ всѣ орудія, какія нужны ему для совершенія его подвига. Если онъ чувствуетъ въ груди своей тревогу генія, если во внутреннемъ слухѣ души раздается какой-то таинственный зовъ, манящій его, подобно колокольчику Вадима, въ туманную, неизвѣданную даль,—онъ перомъ, кистью, рѣзцомъ, звуками вызываетъ изъ души своей новые міры, полные жизни и очарованія, или углубляется въ природу, допытывается ея тайнъ и сообщаетъ ихъ людямъ въ живомъ знаніи, или властвуетъ ими, для ихъ же блага, мечемъ, волею, дѣломъ и словомъ. Если же природа и не дала ему генія, то и тогда обширно его поприще, велико его назначеніе: ему остается честнымъ, безкорыстнымъ трудомъ, благороднымъ презрѣніемъ личныхъ выгодъ, готовностію самопожертвованія въ дѣлѣ правды, водворять добро въ томъ маломъ и тѣсномъ кругу, который назначило провидѣніе для его дѣятельности, по мѣрѣ его душевныхъ силъ. Кто не можетъ быть маркизомъ Позою, тотъ можетъ быть Феликсомъ Феномъ *): ибо сила въ безсиліи, величіе въ ничтожности, безконечность въ ограниченности, ибо овому талантъ, овому два, а дѣло въ томъ, чтобы не закопать въ землю своего таланта, но возвратить его Вертоградарю съ ростомъ. Тотъ подлѣ, кто беретъ на себя трудъ выше силъ своихъ, или, обольщаясь ложнымъ блескомъ,

*) См. «Тел.» годъ 1834. Часть XX, стр. 485.

идеть наперекоръ врожденнымъ склонностямъ и дарованію; величайшая мудрость состоитъ въ смиренной покорности своему назначенію. Кто противится ему, тотъ бунтовщикъ противъ вѣчныхъ и справедливыхъ законовъ провидѣнія. Если тебѣ едва подъ силу должность секретаря въ какомъ-нибудь судѣ уѣзднаго города, не лѣзь въ губернаторы, хотя бы ты и имѣлъ возможность добиться этого мѣста, но предоставь его достойнѣйшему себя; если природа осудила тебя на смиренную прозу дѣловыхъ бумагъ и приходорасходныхъ книгъ, то занимайся же честно и добросовѣстно этою бѣдною прозою, а не надѣвай на себя, подобно самозванцу, вѣнка поэта, хотя бы ты и могъ сдѣлаться предметомъ удивленія не только для своего муравейника, но и всего современнаго человѣчества и коварно выманить у него незаслуженные лавры: тогда ты будешь великъ, истинно великъ, будучи малымъ и неизвѣстнымъ. Найдешь и безъ того средства быть полезнымъ и свершить свой подвигъ, было бы стремленіе, а міръ и жизнь безконечны!

И такъ цѣлый міръ есть открытое поприще дѣятельности мужчины; цѣлый міръ есть его владѣніе; какое же поприще, какой же міръ отдамъ во владѣніе женщинѣ?

Какъ бы ни тѣсенъ, какъ бы ни ограниченъ былъ кругъ дѣятельности, избранный мужчиною, но всякая сознательная дѣятельность есть путь къ свершенію подвига жизни, а подвигъ жизни равно для всѣхъ тяжелъ и ужасенъ. Но правосудное и любящее провидѣніе Божіе, возложивъ на человѣка бремя его жизни и подвига, разочло и взвѣсило силы его человѣческой природы, и, въ семь намѣреній, дало ему новый, виѣ его самого находящійся, источникъ силы, въ той таинственной симпатіи, въ той высокой душевной гармоніи, въ томъ чистомъ, эфирномъ пламени любви, которое соединяетъ его съ женщиною. Женщина ангелъ-хранитель мужчины на всѣхъ ступеняхъ его жизни: ея бдящій, попечительный взоръ встрѣчаетъ онъ при самомъ своемъ появленіи на свѣтъ,

и, прильнувъ къ источнику любви и жизни, къ ней обращаетъ онъ, съ бессознательною любовію, свою первую улыбку; ея нѣмъ произноситъ онъ въ своемъ первомъ, младенческомъ лепетѣ; ея любовь напутствуетъ его до самаго того мгновенья, когда жизнь исторгаетъ его изъ ея нѣжныхъ, материнскихъ объятій; потомъ, ея взоръ возбуждаетъ въ немъ, необузданномъ юношѣ, пламень благородныхъ страстей, порывы къ высокому въ дѣлахъ и помыслахъ, крѣпитъ его душу, кипящую избыткомъ силъ, и укрощаетъ дикіе порывы его буйной воли, и его, юнаго, мощнаго льва, бессознательно стремится, съ удвоенною энергіею, къ его дѣли, маня сладостною наградою своей взаимности—этими послѣдними, возможнымъ на землѣ блаженствомъ, послѣ котораго человѣку ничего не остается желать для себя. И какая нужда, если смерть или обстоятельства жизни не дадутъ ему выпить до дна фіалъ блаженства, или если, вмѣсто чаръ взаимности, онъ вкуситъ муки отверженной любви?... Но если мужчине суждено и блаженство взаимности и блаженство соединенья, то она же, все она, въ лѣтахъ его мужества, путеводная лучезарная звѣзда его жизни, опора, источникъ силы, который не даетъ душѣ его остынуть, очерствѣть и ослабнуть. Въ старости, она блѣдный лучъ солнца, напоминающій ему, что для него было нѣкогда другое, яркое и пламенное солнце, роскошно освѣщавшее дорогу его жизни и давшее вкусить ему всѣ человѣческія радости!

И такъ поприще женщины — возбуждать въ мужчине энергію души, пылъ благородныхъ страстей, поддерживать чувство долга и стремленіе къ высокому и великому—вотъ ея назначеніе, и оно велико и священно! Для нея—представительницы на землѣ красоты и граціи, жрицы любви и самоотверженія—въ тысячу разъ похвальнѣе внушить «Освобожденный Іерусалимъ», нежели самой написать его, такъ же какъ въ тысячу разъ похвальнѣе вручить своему избранному шить съ завѣтомъ «съ нимъ или на немъ!» нежели самой

броситься въ пылъ битвы съ оружіемъ въ рукахъ. Утѣшительница въ бѣдствіяхъ и горестяхъ жизни, радость и гордость мужчины, она—гибкая лоза, зеленый плющъ, обвивающій гордый дубъ, благоуханная роза, растущая подъ кровомъ его могучихъ вѣтвей и украшающая его уединенную и суровую жизнь, обреченную на дѣятельность и борьбу. Предметъ благоговѣйной страсти, нѣжная мать, преданная супруга—вотъ святой и великій подвигъ ея жизни, вотъ святое и великое ея назначеніе! Природа дала мужчинѣ мощную силу и дерзкую отвагу, мятежныя страсти и гордый, пытливый умъ, дикую волю и стремленіе въ созданію и разрушенію; женщинѣ дала она красоту вмѣсто силы, избыткомъ нѣжнаго и тонкаго чувства замѣнила избытокъ ума, и опредѣлила ей быть весталкою огня кроткихъ и возвышенныхъ страстей: и какая дивная гармонія въ этой противоположности, какой звучный, громкій и полный аккордъ составляютъ эти два, совершенно различные, инструмента! Воспитаніе женщины должно гармонировать съ ея назначеніемъ, и только прекрасныя стороны бытія должны быть открыты ея вѣдѣнію, а обо всемъ прочемъ она должна оставаться въ миломъ, простодушномъ незнаніи: въ этомъ смыслѣ, ея односторонность въ ней достоинство; мужчинѣ открыть весь міръ, всѣ стороны бытія.

Что же такое женщина-писательница? Женщина имѣетъ ли право и можетъ ли быть писательницею?

Прекрасны изображенія Сафо и Коринны, прекрасны, какъ поэтическія грезы, какъ созданія фантазія; но что такое онѣ въ самомъ дѣлѣ? Амазонки, Брадаманты, «академики въ чепцахъ», «семинаристы въ желтыхъ шаляхъ»! Уму женщины извѣстны только немногія стороны бытія, или лучше сказать, ея чувству доступенъ только міръ преданной любви и покорнаго страданія; всезнаніе въ ней ужасно, отвратительно, а для поэта долженъ быть открытъ весь безпредѣльный міръ мысли и чувства, страстей и дѣлъ. Знаемъ много женщинъ-поэтовъ, но ни одной женщины-генія; ихъ созданія недолго-

вѣчны, ибо женщина только тогда поэтъ, когда любить, а не тогда, когда творить. Природа удѣляетъ имъ иногда искру таланта, но никогда не даетъ генія: Коринна побѣждала Пиндара на играхъ олимпійскихъ, но Пиндаръ побѣдилъ Коринну въ потомствѣ, ибо потомство рукоплещетъ созданію, а не творцу, и его не подкупишь роскошью стана, прелестью лица! И вотъ почему, когда читаешь произведеніе женщины, дышащее живымъ, неподдѣльнымъ чувствомъ, блестящее искрами таланта, то невольно жалѣешь, думая, чѣмъ бы могла быть такая женщина, и на что бы могла обратить прекрасный даръ природы—пламень своего чувства.

Женщина должна любить искусства, но любить ихъ для наслажденія, а не для того, чтобы самой быть художникомъ. Нѣтъ, никогда женщина - авторъ не можетъ ни любить, ни быть женою и матерью, ибо самолюбіе не въ ладу съ любовью, а только одинъ геній или высокій талантъ можетъ быть чуждъ мелочнаго самолюбія, и только въ одномъ художникъ-мужчинѣ эгоизмъ самолюбія можетъ имѣть даже свою поэзію; тогда какъ въ женщинѣ онъ отвратителенъ... Словомъ, женщина-писательница съ талантомъ жалка, женщина-писательница бездарная—смѣшна и отвратительна.

И должно ли, и можетъ ли это оскорблять женщину? Все прекрасно и высоко въ предѣлахъ своего назначенія, и все должно гордиться и радоваться своимъ назначеніемъ, ибо оно есть воля провидѣнія. Кто въ юности не почиталъ себя поэтомъ, кто избытка чувствъ не принималъ за пламень вдохновенія, кто не писалъ стиховъ? Эта слабость простибельна въ мужчинѣ; но и онъ смѣшонъ и презрителенъ, если, на зло разсудку и вопреки природѣ, грѣхъ своей юности сдѣлаетъ грѣхомъ своей жизни, ибо въ такомъ случаѣ онъ есть самозванецъ, бунтовщикъ противъ вѣчныхъ уставовъ провидѣнія. Что жъ должно сказать о женщинѣ?...

Но мое отступленіе уже чрезчуръ длинно, и, вѣроятно, также и скучно, а все оттого, что я не люблю женщинъ-

писательницъ! Богъ съ ними! Обращаюсь къ прерванной нити моего разсужденія. Я остановился, помнится, на томъ, что во Франціи женщины-писательницы съ особеннымъ ожесточеніемъ возстали на бракъ. Нужно ли говорить, чего хочется этимъ женщинамъ, чего добиваются онѣ? Если бы еще онѣ увлекались ложными, но поэтическими идеями о добренькомъ старичкѣ платонизмѣ, или не менѣе ложными и не менѣе поэтическими идеями объ отреченіи отъ всѣхъ человѣческихъ чувствъ и принесеніи ихъ въ жертву какой-нибудь задушевной мысли—такъ и быть! Но нѣтъ, очень понятенъ этотъ сенсимонизмъ, эта жажда эманципации: ихъ источникъ скрывается въ желаніи имѣть возможность удовлетворять порочнымъ страстямъ. Une femme émancipée—это слово можно бы очень вѣрно перевести однимъ русскимъ словомъ, да жаль, что его употребленіе позволено въ однихъ словаряхъ, да и то не во всѣхъ, а только въ самыхъ обширныхъ. Прибавлю только то, что женщина-писательница, въ нѣкоторомъ смыслѣ, есть la femme émancipée.

Но какая причина тому, что писатели стали такъ возставать противъ брака? Причина очевидна: они не умѣютъ отличить идеи брака отъ злоупотребленій брака. Люди все опрофанировали; они торгуютъ своими чувствами, совѣстію, они изъ брака, одного изъ священнѣйшихъ установленій, сдѣлали родъ торговой сдѣлки, и, надо сказать правду, ничто такъ не пострадало отъ злоупотребленій развращенной человѣческой воли, какъ бракъ. Но довольно: нѣтъ ничего смѣшнѣе и глупѣе, какъ съ важностію доказывать, что дважды два—четыре. Но, скажутъ многіе, каковы же должны быть всѣ эти люди, которые отвергаютъ святость и необходимость брака? не истинны ли они чудовища?—О нѣтъ, милостивые государи, я совсѣмъ не такъ думаю о нихъ. По моему мнѣнію, многіе изъ нихъ, можетъ быть, очень добрые и почтенные люди, даже способны сдѣлаться хорошими супругами и отцами: отличайте преувеличеніе отъ злонамѣренности. Прост-

ная волна подмывает песчаный берег и съ бесиліемъ разбивается о гранитную скалу: для сомнѣнія также есть свои песчаные берега, свои гравитныя скалы. Не бойтесь за бракъ, не страшитесь эманципации женщинъ: все это вздоры довольно милые и забавные, но ни мало не опасные. — Но какая же польза отъ этихъ новыхъ мнѣній, этихъ безнравственныхъ филиппикъ противъ вѣковой, очевидной истины? О, очень большая! Знаете ли что? У людей преслабая память; они находятъ истину и слѣдуютъ ей; потомъ эта истина, по ихъ похвальному обычаю, мало-по-малу искажается и наконецъ дѣлается совершенною ложью; люди привыкаютъ къ ея искаженному, обезображенному виду, отъ души вѣря, что она всегда была такова; когда какой-нибудь безпокойный чужакъ посмѣется надъ ихъ истиною, они разсердятся, начнутъ ее защищать, подвергнуть ее строгому анализу и доищутся до ея начала, и вспомнить ее въ ея первобытной чистотѣ. Споры кончатся, и истина возстановится во всемъ своемъ блескѣ. И такъ заключаю: «Провидѣніе ведетъ человѣчество къ его цѣли путями дивными и таинственными, часто то самое, что, повидимому, должно бы отдалить его отъ этой цѣли, приближаетъ его къ ней: это попятныя движенія впередъ».

Да, можетъ-быть уже не далеко то время, когда люди не только перестанутъ вооружаться противъ брака, но перестанутъ и торговать имъ; когда женщины не только перестанутъ авторствовать, но даже перестанутъ и вѣрить тому, чтобы когда-нибудь существовали женщины-писательницы!...

А что же мой романъ, что моя «Жертва»? Гдѣ она, я уже и забылъ о ней, увлекшись мыслями, которыя она во мнѣ возбудила. Или, лучше сказать, что скажу я вамъ о ней? Какъ выскажу я вамъ въ сотый разъ давнишнюю, старую новость? Но дѣлать нечего, не радъ, а готовъ — охота пуще неволи. И такъ изволите видѣть: «Жертва, литературный эскизъ» есть одна изъ тысячи и одной филиппикъ противъ брака. Дѣло въ томъ, что злодѣй - опекунъ влюбляется въ

свою племянницу и волочится за нею, а сиротка была дѣвушка *comme il faut*, да къ тому ужъ и любила другаго. Дядюшка остался съ носомъ и взбѣсился. Чтобы отомстить ей, онъ выдаетъ ее насильно за негодяя, который ничему не вѣритъ, проматываетъ ея имѣніе и дѣлаетъ ее несчастною. Да зачѣмъ же она выходила за него? спросите вы. Развѣ во Франціи нѣтъ законовъ противъ насилія? О, есть, и очень справедливые, даже очень снисходительные въ отношеніи къ свободѣ выбирать и перемѣнять мужей и женъ. Такъ въ чемъ же дѣло? А вотъ въ чемъ: дѣвушка была слабаго характера, не посмѣла противиться ненавистному дядѣ, хотя и знала, что имѣетъ право не слушаться его, да автору надо было какъ-нибудь прицѣпиться къ браку, хотъ онъ тутъ не виноватъ ни душою, ни тѣломъ. Въ самомъ дѣлѣ, прекрасная логика! Дѣвушка погибаетъ отъ слабости характера, а бракъ виноватъ! Но довольно, романъ такъ плохъ, такъ дуренъ, что не стоить ни критики, ни внимательнаго разсмотрѣнія. Мадамъ Монборнъ не имѣетъ ни искры дарованія, и, вѣроятно, во Франціи пользуется такимъ же авторитетомъ, какъ у насъ, на Руси, г-да А. В. С. Д. и другіе прочіе. Не знаю, съ чего вздумалось какому-то г-ну или какой-то г-жѣ Z... перевести этотъ романъ на русскій языкъ, какъ будто бы на Руси и безъ него мало дурныхъ романовъ; еще менѣе понимаю, съ чего этому таинственному г-ну или этой таинственной г-жѣ Z... вздумалось перевести его самымъ безграмотнымъ образомъ, однимъ словомъ, самымъ московскимъ переводомъ. Вѣрно это заказецъ какого-нибудь московскаго Лавока?... Г-нъ или г-жа Z...! если уже вамъ нельзя не переводить, то, Бога ради, переводите романы только въ родѣ этой «Жертвы», и не дѣлайте хорошихъ сочиненій жертвами вашей безграмотности!...

ИЖОРСКИЙ. Мистерія. Спб. 1835.

Знаете ли, что должно составлять необходимую принадлежность всякой книги, чего долженъ искать при всякой книгѣ читатель?—Предисловія. О, предисловіе великое, необходимое дѣло! Я имѣлъ тысячу случаевъ замѣтить это. Предисловіе для книги гораздо важнѣе, чѣмъ для человека платье: по платью можно ошибиться, по предисловію никогда. Пословица говорить: по платью встрѣчаютъ, по уму провожаютъ; для чего нѣтъ пословицы, которая бы говорила: по предисловію книгу встрѣчаютъ, по предисловію и провожаютъ, т.-е. владутъ на столъ или подъ столъ? Для чего позволяютъ печатать книги безъ предисловій? Отъ какой скуки, отъ какой потери денегъ и времени избавились бы читатели, и сколько бы читателей лишились многіе гг. авторы!

Когда я прочелъ предисловіе къ «Ижорскому», то содрогнулся отъ ужаса при мысли, что, по долгу добросовѣстнаго рецензента, мнѣ должно прочесть и книгу; когда прочелъ книгу, то увидѣлъ, что мой страхъ былъ глубоко основателенъ. Господи Боже мой! и въ жизни такая скука, такая проза, а тутъ еще и въ поэзіи заставляютъ упиваться этою скукою и прозою!... Но мнѣ надо обратиться къ моему сужденію о предисловіяхъ: оно будетъ самою лучшею критикою на «Ижорскаго».

Было время, когда правила творчества были очень просты, ясны, опредѣленны, не многосложны и для всѣхъ доступны: кто прочелъ «Словарь Древнія и Новыя Поэзіи» г. Остолопова, тотъ смѣло могъ вербоваться въ поэты; кто же, къ этому, прочелъ лекціи и критики Мерзлякова, тому ничего не стоило сдѣлаться великимъ поэтомъ и даже написать эпическую поэму не хуже Иліады. Всѣ писали на одинъ ладъ: прочитаешь двѣ, три страницы, и ужъ знаешь впередъ, что слѣдуетъ и чѣмъ кончится. Оттого и предисловія были очень

кратки: въ нихъ авторъ обыкновенно говорилъ, кому подражалъ и изъ кого заимствовалъ. Это блаженное время кануло въ вѣчность, и вдругъ законы творчества сдѣлались такъ мудрены, высоки и многочисленны, что самые записные законники, какъ ни бились, не могли понять въ нихъ ни слова, и, разсердясь, торжественно объявили ихъ нелѣпыми. Потомъ, видя, что ихъ принимаетъ вся талантливая и пылкая молодежь, а съ нею и публика, они приуныли точно такъ же, какъ приуныли теперь старые крючкотворцы отъ новаго «Свода Законовъ». Слѣдствіемъ этой реформы было то, что всѣ книги стали появляться съ предисловіями, и предисловіями длинными, въ видѣ разсужденій, диссертаций, разговоровъ, писемъ и пр. Дѣло въ томъ, что наши авторы какъ-то проникли, что созданія Гёте, Шиллера, Байрона, Вальтеръ-Скотта, Шекспира и другихъ гениальныхъ поэтовъ суть поэтическіе символы глубокихъ философическихъ идей. Вслѣдствіе этого и наши молодцы начали тормозить нѣмецкую философію и класть въ основу своихъ издѣлій философическія идеи. Все было это очень хорошо, но вотъ въ чемъ бѣда: они не знали того, что мысль тогда только поэтична, если можно такъ сказать, когда проведена чрезъ чувство и облечена въ форму дѣйствіемъ фантазіи, а что въ противномъ случаѣ она есть пошлая холодная, бездушная аллегорія. Они не знали, что великіе поэты, соблазнившіе ихъ своимъ примѣромъ, оттого сообщали своимъ созданіямъ глубину мысли и высоту идей, что они жили и дышали этими мыслями и идеями; что они не придумывали этихъ мыслей и идей, но только освобождались отъ тяготившаго ихъ избытка оныхъ; что они не искали этихъ мыслей и идей, но что эти мысли и идеи искали ихъ, такъ какъ истинный поэтъ не ищетъ рѣшмы, но рѣшма ищетъ его; что, наконецъ, они не старались развивать практически этихъ мыслей и идей для убѣжденія ума читателей, но выражали ихъ безсознательно и безцѣльно. Наши авторы думали, что здѣсь дѣло идетъ только о томъ, чтобы взять какую-нибудь

дею, обдумать ее логически, да и придѣлать къ ней сказку, романъ или драму. И поэтому они стали, въ длинныхъ предисловіяхъ, объяснять свою идею, какъ бы предчувствуя, что безъ того она осталась бы для читателя неразрѣшимой загадкою.

Къ числу такихъ-то авторовъ принадлежитъ и авторъ «Ижорскаго». Не имѣя поэтическаго таланта, онъ дурно понимаетъ и искусство. Жалко видѣть, какъ онъ, въ своемъ предисловіи, острить надъ какими-то, будто бы, защитниками трехъ единствъ, которыхъ, на святой Руси, уже давно видомъ не видать, слыхомъ не слыхать, ибо теперь и самые ультра-классики хлопочутъ уже не о трехъ единствахъ, но о «нравственности въ изящномъ». Жалко видѣть, какъ онъ силится развить теорію того реда сочиненій, къ которому относитъ своего «Ижорскаго»—мистерій. Увы! все это труды напрасныя! Въ чемъ есть чувство, поэзія, талантъ, то не можетъ повредить себѣ странностію или новостію формы: его всѣ тотчасъ поймутъ безъ комментарій.

Авторъ представляетъ какого-то Ижорскаго, разочарованнаго человѣка, тысячу первую пародію на Чайльдъ-Гарольда. Этотъ Ижорскій ничему не вѣритъ, ибо во всемъ разочаровался отъ нечего дѣлать; страшный Бука, повелитель духовъ, отдаетъ его во власть проказнику Кикиморѣ (что-то въ родѣ русскаго, доморощеннаго Мефистофеля); этотъ Кикимора влюбляетъ его, для собственной потѣхи, въ княжну Лидію: бѣднякъ страдаетъ, удаляется въ деревню и дѣлается совершеннымъ отшельникомъ; потомъ Кикимора влюбляетъ въ него княжну Лидію, но такимъ образомъ, что мизантропъ съ этой минуты охлаждаетъ къ ней и вымѣщаетъ на ней свои прежнія страданія; какъ бы желая извѣдать, точно ли она его любитъ, говорить ей слѣдующими дурными стихами:

.....Одно довѣрье,
Довѣрье можетъ породить во мнѣ,
И вотъ вопросъ мой вамъ, сіятельной княжнѣ:

Вы въ силахъ ли презрѣть высокомерье,
Спѣвъ рода своего, молву и санъ отца?
Принадлежать мнѣ до вѣнца
Вы въ силахъ ли?... Молчишь, блѣднѣешь...

Княжна общается, и вдругъ исчезаетъ, приходитъ пѣшкомъ въ Петербургъ, въ нарядѣ молодого крестьянина; является къ Вескову, молодому человѣку съ душою и сердцемъ, который давно уже любилъ ее, выдаетъ себя за крестьянина Ижорскаго и предлагаетъ ему вылѣчить своего барина, къ которому Весковъ питалъ энтузіастическое уваженіе, отъ его меланхоли. Весковъ соглашается. Они приходятъ оба очень кстати: на Ижорскаго напали разбойники, и Весковъ спасаетъ его. Они живутъ у него въ домѣ. Кикимора возбуждаетъ въ немъ подозрѣніе, что казачекъ Вескова есть пропавшая княжна. Ижорскій думаетъ, что она надъ нимъ насмѣхается, закалываетъ Вескова и бѣжитъ съ Кикиморою и княжною, которую бросаетъ на дорогѣ сиящую. Въ бѣдной княжнѣ принимаетъ участіе Титанія. Наконецъ, Шишимора является Ижорскому въ собственномъ видѣ и заставляетъ его низвергнуться со скалы длинною рѣчью, окончаніе которой заключаетъ въ себѣ смыслъ всей этой длинной и скучной аллегоріи. Смыслъ рѣчи, какъ отдѣльная мысль, обнаруживаетъ въ авторѣ человѣка съ умомъ и чувствомъ, и самые стихи въ ней болѣе другихъ одушевлены, хотя и мало отзываются поэзіею.

Всего страннѣе въ этой мистеріи участіе персонажей небывалой русской мифологіи. За неимѣніемъ на Руси духовъ, авторъ надѣлалъ своихъ, но къ несчастію его Бука, Кикимора, Шишимора, Зничъ, его русалки, лѣшіе, совы и пр., очень плохо вяжутся съ гномами, сильфами, ондинами, саламандрами, Титаніею, Аріэлемъ и пр. Мифологія тогда только имѣетъ смыслъ, поэзію и фантастическую прелесть, когда она есть созданіе фантазіи народа, который питаетъ къ своимъ вымысламъ суевѣрный страхъ и отъ души имъ вѣритъ.

Грустно видѣть человѣка съ умомъ, съ большею или меньшею степенью образованія, человѣка съ уваженіемъ къ святымъ предметамъ человѣческаго обожанія, любящаго искусство,—и видѣть съ тѣмъ такъ жестоко обманывающагося на счетъ своего призванія, такъ дурно понимающаго значеніе высокаго слова: искусство! Для того, чтобъ быть поэтомъ, мало ума: нужны чувство и фантазія. Дѣлать поэмы можетъ всякій, творить — одинъ поэтъ. Работа всегда остается работою, какъ бы ни высока была ея цѣль.

СЫНЪ ЖЕНЫ МОЕЙ. *Романъ. Соч. Поль-де-Кока.*
Спб. 1835. Дѣя части.

«Это сочиненіе хорошо, но только безнравственно, а это и хорошо и отличается чистѣйшею нравственностію и прекраснымъ слогомъ». Такъ думалъ и говаривалъ, бывало, покойникъ XVIII вѣка, который, какъ всѣмъ извѣстно и вѣдомо, самъ отличался чистѣйшею нравственностію и въ дѣлахъ и въ помыслахъ. «Какъ безнравственна юная французская литература! нельзя ничего дать прочесть молодому человѣку, не говоря уже о дѣвушкѣ и даже всякой женщинѣ!» Такъ вопіютъ нынѣ почтенныя развалины почтеннаго XVIII вѣка, обломки добраго стараго времени. «Нравственность въ литературѣ!» Да, это вопросъ, и вопросъ глубокий, многосложный, на который Французъ можетъ написать два томика, въ двѣнадцатую долю, а Нѣмецъ двѣнадцать томовъ in quarto. Не почитая себя способнымъ ни къ тому, ни къ другому труду, я постараюсь въ легкой журнальной статейкѣ бросить взглядъ на «нравственность въ литературѣ».

На языкѣ человѣческомъ есть слова, которыя люди повторяютъ, не вникая въ ихъ значеніе, не условливаясь въ ихъ смыслъ, повторяютъ и сердятся, когда кто-нибудь осмѣ-

лится сказать: «да что же это такое, милостивые государи?» Къ числу такихъ странныхъ словъ принадлежатъ «нравственность вообще», и «нравственность въ литературѣ». Древніе передали намъ въ изящныхъ формахъ кровавую исторію Эдипа и фамиліи Атридовъ, исторію полную мрачныхъ злодѣйствъ, возмутительныхъ преступленій, какъ-то: отцеубійства, братоубійства, мужеубійства, кровосмѣшенія, и блюстители нравственности находили тутъ бездну нравственности, потому, писатели, появившіеся въ концѣ XVIII и началѣ XIX вѣка, начали изображать жизнь во всей ея ужасающей наготѣ и истинѣ, и хотя они, въ ужасномъ, далеко не превосходили древнихъ, но блюстители нравственности оглушающимъ хоромъ заревѣли противъ безнравственности новѣйшихъ писателей. Воля ваша, а тутъ есть недоразумѣніе. Кажется, все дѣло въ томъ, что дурно условились въ значеніи слова «нравственность».

Что такое нравственность? Въ чемъ должна состоять нравственность?— Въ твердомъ, глубокомъ убѣжденіи, въ пламенной, непоколебимой вѣрѣ въ достоинство человѣка, въ его высокое назначеніе. Это убѣжденіе, эта вѣра, есть источникъ всѣхъ человѣческихъ добродѣтелей, всѣхъ дѣйствій. Если я твердо убѣжденъ въ томъ, что міръ обширная торговая площадь, гдѣ люди обманомъ, и мытьемъ и катаньемъ, выторговываютъ другъ у друга тепленькое мѣстечко, гдѣ бы можно было и поѣсть сладко, и соснуть мягко, и погулять весело, площадь, на которой всякій думаетъ только о своихъ барышахъ и почитаетъ позволительными всѣ средства къ достиженію своей цѣли, и между тѣмъ повторяетъ общія мѣста морали, не вѣря имъ,—то, скажите, Бога ради, зачѣмъ же я долженъ быть добрымъ, честнымъ, великодушнымъ, зачѣмъ осужу я себя на лишенія, на страданія, когда могу наслаждаться благами жизни! Я былъ-бы, въ такомъ случаѣ, очень глухъ, не правда ли?—Развѣ изъ страха угрызений совѣсти? Но зачѣмъ же мнѣ и злодѣйствовать, зачѣмъ губить ближ-

него? я буду только обманывать его, заставляя его служить мнѣ, предоставляя и ему какія-нибудь выгоды, но только помня твердо, что своя рубашка къ тѣлу ближе, и видя зло, угнетенія, неправосудіе, не виѣшиваться не въ свои дѣла, если меня не трогаютъ. Такъ и думалъ XVIII вѣкъ. Всѣ писали и говорили о нравственности, и ни въ комъ не было нравственности, ибо никто не вѣрилъ достоинству человѣка, великости его назначенія.

Но ежели я вѣрю, что я долженъ дать отчетъ въ моей жизни, долженъ употребить ее на святой подвигъ, какъ завѣщалъ это намъ Распятый за насъ,—я могу и въ такомъ случаѣ заниматься мелочами жизни, быть пустымъ, даже злымъ человѣкомъ, по уже прости счастье жизни, оно невозможно для меня, прости счастливое самодовольство, я уже не могу обмануть себя. Такъ думаетъ XIX вѣкъ, ибо онъ, если еще не вполне увѣрился, то уже начинаетъ вѣрить въ достоинство человѣка, въ великость его назначенія.

Весьма не трудно приложить это понятіе о нравственности вообще «къ нравственности въ литературѣ». Какое мнѣ дѣло, что въ романѣ или драмѣ добродѣтельный погибаетъ, а порочный торжествуетъ? Если добродѣтельный боится пасть за правду, если онъ ропщетъ на провидѣніе за то, что оно попускаетъ торжествовать надъ нимъ пороку, онъ уже не добродѣтеленъ: онъ поденщикъ, просящій платы за труды, онъ любить добро не для добра, а изъ желанія награды. Нѣтъ, если онъ добродѣтеленъ истинно, то благодари провидѣніе за бѣдствіе, лобызай карающую руку. Если во мнѣ есть чувство добра, меня не испугаетъ зрѣлище ужасовъ и страданій, вопль проклятій и богохуленій, представляемыхъ мнѣ Евгеніемъ Сю, Бальзакомъ, Лакруа и другими, ибо царство добраго не отъ міра сего.

Вотъ другое дѣло литература XVIII вѣка, она не такъ глубока и ужасна; она, напротивъ, очень весела и снисходительна къ слабостямъ человѣческимъ, но за то и убій-

ственна для чувства нравственности, соблазнительна и развратна. Эти сцены сладострастія, набросанныя игривою кистію съ чувствомъ самоуслажденія, эти невинные экивоки, отъ которыхъ закипаетъ молодая кровь юноши и волнуется грудь дѣвушки — вотъ она, вотъ ядовитая отравка нравовъ! Это хорошо извѣстно многимъ, которые, еще бывши дѣтьми, читали философическія повѣсти Вольтера, *Contes en vers* Лафонтена, «Кавалера Фобласа» и другія *chefs-d'oeuvres* XVIII вѣка.

Передо мною лежитъ романъ Поль-де-Кока «Сынъ моей Жены», перелистываю его съ разстановкою и трепещу при мысли, что это подлое и гадкое произведеніе можетъ быть прочтено мальчикомъ, дѣвочкою и дѣвушкою; трепещу при мысли, что Поль-де-Кокъ почти весь переведенъ на русскій языкъ и читается съ услажденіемъ всею Россією!... Боже великій! и есть люди, которые печатно хвалятъ его и находятъ его самымъ нравственнѣйшимъ изъ современныхъ французскихъ писателей, его, грязнаго осадка отъ мутной воды XVIII вѣка, его, угодника площадной черни!... А мы слушаемъ и вѣримъ!... Слава намъ!...

Что такое Поль-де-Кокъ? кто онъ и откуда? О, это писатель удивительный! Хотите ли имѣть понятія о созданіи и характерѣ его безчисленныхъ твореній? У него, по большей части, герой романа дитя природы, который ничему не учился, не знаетъ даже грамоты, и потому свѣжъ, крѣпокъ и смѣлъ, ѣсть за троихъ и пьетъ за десятерыхъ. Надобно еще замѣтить, что онъ всегда незаконнорожденный: Поль-де-Кокъ сенсимонистъ! Юность молодца проходить въ буянствѣ, волокитствѣ за деревенскими дѣвками, потомъ онъ вступаетъ въ военную службу, или пускается въ путешествіе, дѣлая вездѣ извѣстнаго рода проказы и тысячи пошлыхъ глупостей; потомъ влюбляется по незнанію, въ родную сестру... дѣлается провосмѣшителемъ... Это самая ужасная катастрофа, которою разрѣшаются всѣ гордіевскіе узлы романовъ Поль-де-Кока,

ибо всё его герои очень пламенны и нетерпеливы, а онъ самъ имѣетъ свои собственныя понятія о блаженствѣ любви... Наконецъ дѣло какъ-нибудь улаживается, выходитъ, что обезчещенная не сестра молодцу, и что онъ почиталъ ее сестрою по ошибкѣ; и романъ оканчивается счастьемъ, т. е. свадьбою и богатствомъ, и слѣдовательно «нравственно». Для полноты картины, выведенъ какой-нибудь гусаръ, пьяница, бунтъ и волокита на старости лѣтъ; на сценѣ безпрестанно мужики, обманываемые женами, трактиры, кабаки и т. д. Вотъ вамъ Поль-де-Кокъ!

Въ разсматриваемомъ мною романѣ, Поль-де-Кокъ превзошелъ самого себя въ пошлости и безнравственности; это самое худшее изъ его произведений. Переводъ я сначала почелъ московскимъ, и очень удивился, когда, выписывая его заглавіе со всѣми библиографическими подробностями, увидѣлъ: «С. Петербургъ»; переводъ есть истинная какографія логики, грамматики и здраваго смысла. Не выписываю фразъ, ибо не могу рѣшиться выборомъ.

ЧЕТЫРЕ ВЫМЫСЛА. *Сочиненіе Николая Лутковского.*
Спб. 1834.

ЭМИЛІЙ ЛИХТЕНБЕРГЪ. *Повѣсть. Соч. М. Лисиц-
ной. Изданіе второе безъ прибавленій (!). Москва.*
1835. Двѣ части.

Les beaux esprits se rencontrent — говорить французская пословица: правда, истинная правда! Вотъ два сочиненія, принадлежащія особамъ разнаго пола, написанныя въ разныя времена (послѣднее издается въ другой разъ и безъ прибавленій), а сколько въ нихъ общаго, сходнаго, роднаго! Добрый дѣдушка Лафонтенъ (вѣчная ему память!) былъ, для обоихъ нихъ, образцомъ и вдохновителемъ, и весьма естественно, что они далеко отстоятъ отъ него въ литературномъ

достоинствѣ, ибо когда же подражатели бываютъ выше своихъ образцовъ, или даже равны имъ?

Мнѣ какъ-то совѣстно не познакомить васъ хоть сколько-нибудь съ красотами этихъ сочиненій, этими красотами, самородными и блестящими, какъ алмазъ! Раскрываю «Четыре Вымысла» и читаю: «Подобно охотнику, пробирающемуся въ тѣснинѣ густаго лѣса, Алексѣй желалъ сперва раздвинуть вѣтви Александровыхъ чувствованій, чтобъ, такъ сказать, посмотрѣть, нѣтъ ли, въ самомъ дѣлѣ, за этими вѣтвями— потаеннаго логовища змѣи, лисицы или тетерева; потомъ предполагалъ онъ, въ другой визитъ, продолжить свое любопытство; а въ третій надѣялся уже обстоятельно узнать, соперника ли для себя имѣетъ онъ въ Александрѣ, или просто откровеннаго знакома». Творецъ небесный! Раздвинуть вѣтви чувствованій и посмотрѣть, нѣтъ ли за ними потаеннаго логовища змѣи, лисицы или тетерева (ужъ вѣрно глухаго!); сдѣлать цѣлыхъ три визита въ чувствованія! Ай, ай! да это новый элементъ, кромѣ Августа Лафонтена, элементъ восточный, оріентальный — а я и не замѣтилъ этого! Это точно какъ будто переводъ съ персидскаго. Раскрываю «Эмилія Лихтенберга» и читаю:—«Такъ по вашему рѣшительно нѣтъ несчастія?—Есть, сударь! оно, по моему, состоитъ въ заблужденіяхъ и порокахъ людей; но отъ насъ зависитъ предохранить спокойствіе чистой совѣсти, съ которою никогда и не въ какихъ обстоятельствахъ жизни человѣкъ не можетъ быть несчастливъ.—О! повѣрьте, сударыня, что много есть людей, которые были всегда игрушкой рока и которые даже противъ воли впадали въ преступленія.—Не говорите мнѣ объ нихъ: они были игрушки страстей своихъ».

Каково? Но теоретическій догматизмъ еще не главное достоинство произведенія г-жи М. Лисициной: у ней факты всего убѣдительнѣе. Она хочетъ заставить любить добро, ея герои всѣ добры, и за то всѣ женятся и выходятъ замужъ по склонности, по любви, и живутъ богато и счастливо. И

посмотрите, какъ вѣренъ, какъ несомнѣненъ призъ, предлагаемый сочинительницею: когда кто-нибудь изъ персонажей ея романа любить глубоко, пламенно, энергически, до безумія, до изступленія, и ему измѣняетъ его любезная—вы думаете, бѣдняжка сходить съ ума, застрѣливается, или просто умираетъ отъ отчаянія? Да, какъ бы не такъ! Нѣтъ—авторъ тотчасъ сводитъ горемыку съ другою дѣвушкою и, прежде, нежели вы успѣете мигнуть глазомъ, или понюхать табакъ, заставляетъ его влюбиться въ нее, а ее влюбляетъ въ него—и дѣло съ концемъ. Правда, нѣкоторые и добрые у него умираютъ, но это не отъ чего другаго, какъ отъ старости—но вѣдь и то сказать, не два же имъ вѣка жить! Вы не повѣрите, какъ убѣдительно эти истины въ устахъ автора «Эмилія Лихтенберга», тѣмъ болѣе, что онѣ высказаны языкомъ, надо сказать правду, правильнымъ и чистымъ, хотя нерѣдко и сбивающимся на подъяческій отъ неумѣреннаго употребленія слова «онъ» во всѣхъ падежахъ. Но этотъ маленький недостатокъ ничего не значить, ибо съ избыткомъ выкупается прелестью разсказа, живымъ изображеніемъ характеровъ, страстей и положеній. Рѣшено! съ завтрашняго же дня не шутя принимаюсь за себя: стану ѣсть и пить умѣренно, спать мало, вставать ровно въ пять часовъ, а ложиться въ десять, по утрамъ наслаждаться природою, плакать и трогаться при видѣ всего прекраснаго, дарить всякаго несчастнаго хоть слезою, если въ карманѣ не случится ни копѣйки (что очень часто со мною случается), а душе всего какъ можно чаще повторять нравственные правила. Да, мнѣ больше, чѣмъ кому-нибудь другому, надо быть добрымъ: ибо, во первыхъ, я бѣденъ и живу трудомъ; во вторыхъ, одинокъ, что очень скучно. Нѣтъ, нѣтъ! скорѣе быть добрымъ, скорѣе жениться на какой-нибудь прекрасной, образованной, добродѣтельной, влюбленной въ меня, а главное, богатой дѣвушкѣ, зажить барономъ и мечтать съ милой женою о счастіи при любви и подъ соломенною кровлею, о блаженствѣ и при нищетѣ, а больше

всего, о выгодѣ быть добрымъ! Совѣтую и вамъ, любезный читатель, послѣдовать моему примѣру, если вы бѣдны и не женаты! ..

**ЗАПИСКИ Г-ЖИ ДЮКРЕ О ИМПЕРАТРИЦѢ ІОЗЕ-
ФИНѢ, И ЕЯ СОВРЕМЕННИКАХЪ, И О ДВО-
РАХЪ НАВАРСКОМЪ И МАЛЬМЕЗОНСКОМЪ.**
Переводъ съ французскаго. Спб. 1835. Четыре части.

Несмотря на то, что «Записки г-жи Дюкре о Іозефинѣ» получили во Франціи справедливый успѣхъ и заслужили о себѣ отзывы многихъ французскихъ литераторовъ, какъ говорить переводчикъ (г. Андрей де Шамплетъ), и чрезвычайно понравились Бурьенну, знаменитому мемуаристу — эта книга мнѣ очень не понравилась, и я думаю, что она не стоила перевода. Г-жа Дюкре не имѣетъ ни дара наблюдательности, ни умѣнья схватывать рѣзкія черты характеровъ и дѣлъ, ни таланта рассказывать. Ея повѣствованіе вертится на пустякахъ и мелочахъ; содержаніе его составляютъ пустые анекдоты и дворскія сплетни. Ея взглядъ на вещи самый картофельный, самый пансіонскій: она удивляется всѣмъ и всему, начиная съ г-жи Жанлисъ до брилліантовъ императрицы Іозефины; у ней всѣ хороши и она всѣхъ оправдываетъ. Ея понятія — понятія XVIII вѣка; она добродушно признается, что, «подобно всѣмъ молодымъ дѣвушкамъ, имѣла преувеличенныя и ложныя понятія о необходимости быть влюбленною въ своего мужа», и пренаивно раскрывается, что не вышла замужъ за богатаго и умнаго, но нетерпимаго ею чело-вѣка, который за нее сватался. Но это, скажутъ, дѣла домашнія, которыя не имѣютъ никакого отношенія къ авторству. — Напротивъ, очень большое, ибо отъ образа взгляда много зависитъ достоинство сочиненія. Одинъ хохолъ-мужикъ сказалъ, что еслибы его сдѣлали царемъ, то онъ укралъ бы

сто рублей, да и убѣжалъ: мужикъ сказалъ глупо потому, что имѣлъ глупыя понятія о вещахъ. Спросите Калмыка, кто истинно великій человѣкъ.— Кто имѣетъ счастье быть Калмыкомъ и знаетъ великую тайну Арчилана-Хубилыгана (переселеніе душъ), отвѣтитъ онъ вамъ. Вслѣдствіе этого отвѣта, Наполеонъ и Шекспиръ будутъ исключены изъ числа великихъ людей, и глупъ ли, уменъ ли этотъ отвѣтъ, но онъ есть результатъ того взгляда на вещи, который имѣетъ Калмыкъ.

Можетъ быть, многія подробности, находящіяся въ книгѣ г-жи Дюкре, имѣютъ свою относительную важность въ глазахъ Французовъ; но русскимъ читателямъ отъ этого не легче: книга для нихъ такъ же скучна и утомительна. Они увидятъ изъ нея, что Жозефина, или по переводу г. де Шаплета, Юзефина, оказывала многія благодѣянія, любила Наполеона, своихъ дѣтей, позволяла управлять собою льстецамъ и наущникамъ, и въ семъ отношеніи обнаруживала удивительную слабость воли и характера; словомъ, увидятъ въ Жозефинѣ женщину, какихъ много; но не увидятъ той необыкновенной Жозефины, странная судьба которой такъ тѣсно была соединена съ судьбою дива нашего времени: эта послѣдняя Жозефина ускользнула отъ близорукой наблюдательности г-жи Дюкре.

НАСЛѢДНИЦА. *Быль вмѣсто романа, или романъ вмѣсто были.* Соч. П. Сумарокова. Москва. 1835. Двѣ части.

Скромное имя г. Сумарокова не блеститъ въ нашихъ литературныхъ адресъ-календаряхъ; оно почти незамѣтно между лучезарными созвѣздіями и свѣтилами, окружающими его. Но это просто несправедливость судьбы, ибо, если о достоинствѣ вещей должно судить не безотносительно, а по сра-

вненію, то имя г. Сумарокова должно принадлежать къ числу самыхъ громкихъ, самыхъ блестящихъ именъ въ нашей литературѣ, особенно въ настоящее время. Но видно, онъ не участвуетъ ни въ какой литературной компаніи, издающей журналъ, и, особенно, не умѣетъ писать предисловіи къ своимъ сочиненіямъ, и не имѣетъ духу писать на нихъ рецензій и печатать ихъ, разумѣется подъ вымышленными именами, въ журналахъ, что также въ числѣ самыхъ вѣрныхъ средствъ къ прославленію. Но, оставя всѣ шутки, скажемъ, что г. Сумароковъ, не отличаясь особенною силою таланта, и даже совершенно не будучи поэтомъ, въ истинномъ смыслѣ этого слова, заслуживаетъ вниманіе, какъ пріятный рассказчикъ былей и небылицъ, почерпаемыхъ имъ изъ міра русской, преимущественно провинціальной жизни, и отличающихся занимательностію и хорошимъ языкомъ. Его повѣсти, помѣщавшіяся въ «Телеграфѣ» и недавно изданныя особо, съ удовольствіемъ читались и читаются нашею публикою. Онѣ не отличаются ни глубиною мысли, не энергіею чувства, ни поэтическою истиною, ни даже большою современностію; но въ нихъ есть что-то не совсѣмъ истертое и обыкновенное, а у насъ и это хорошо. Онѣ не заставляютъ васъ задрожать отъ восторга, онѣ не выжмутъ изъ глазъ вашихъ горячихъ слезы, но вы съ тихимъ удовольствіемъ прочтете ихъ въ длинный зимній вечеръ, но вы не бросите ни одной изъ нихъ, не дочитавши, хотя и заранѣе догадываетесь о развязкѣ. Герои повѣстей г. Сумарокова люди не слишкомъ мудреные, не слишкомъ глубокіе или страстные; это люди, какихъ много, но вы полюбите ихъ отъ души, примите участіе въ ихъ судьбѣ и, сколько-нибудь познакомившись съ ними, непремѣнно захотите узнать, чѣмъ кончились ихъ похижденія.

Всякій долженъ слѣдовать своему таланту, всякій долженъ оставаться въ предѣлахъ, отмежеванныхъ ему природою; мы не совѣтывали бы г. Сумарокову писать романовъ, ибо его

поприще есть повѣсть. Изъ самаго его романа «Наслѣдница» вышла повѣсть, противъ его собственной воли, повѣсть довольно занимательная, но очень растянутая, почему, вѣроятно, она и показалась своему автору романомъ. Множество пустыхъ подробностей, бездна самыхъ жалкихъ сентенцій, чрезвычайно какъ много вредять этому роману, который впрочемъ не безъ достоинствъ. Первая часть, по причинѣ ужасной растянутости, скучна и утомительна, но вторая, въ которой ходъ дѣйствія живѣе и быстрѣе, читается съ большимъ удовольствіемъ. Авторъ хорошо подсмотрѣлъ многія черты общества и удачно схватилъ ихъ. Молодая дѣвушка, воспитанная въ деревнѣ, съ душою пламенною, любитъ молодого небогатаго человѣка. Мать замѣчаетъ эту любовь и не жѣлаетъ ей развиваться, видя въ молодомъ человѣкѣ выгодную партію для своей дочери. Вдругъ дочь дѣлается наслѣдницею огромнаго имѣнія и, для принятія его, ѣдетъ съ матерью въ Москву, къ промотавшимся родственникамъ, которые до того времени не хотѣли ихъ и знать, а когда они сдѣлались богаты, то вдругъ почувствовали къ нимъ самую нѣжную привязанность. Промотавшееся столичное семейство изображено очень хорошо. Столичная тетюшка и кузина сообщаютъ своей провинціальной родственницѣ правила разврата и подлости, которыя въ свѣтѣ называются правилами нравственности, разлучаютъ ее, посредствомъ клеветы, съ ея любезнымъ, и посредствомъ разныхъ обмановъ, истерзавъ юное сердце бѣдной дѣвушки всѣми муками ревности, уговариваютъ ее выйти замужъ за генерала, человѣка благороднаго и умнаго, но уже пожилаго. Бѣдная жертва кидается съ отчаянія въ объятія уважаемаго, но немного ей человѣка, и затаиваетъ въ сердцѣ свои страданія. Въ деревнѣ, когда мужъ ея занимается охотою съ гостями, за ней волочится графчикъ, мальчишка, воспитанный въ правилахъ XVIII вѣка, и, взбѣшенный ея презрѣніемъ, ищетъ средствъ погубить ее. Бѣдный молодой человѣкъ, котораго

она любила, входить въ садъ генерала, встрѣчается съ нею, не выдавши ея пять лѣтъ. Объясняются, мирятся, и расходятся, чтобъ больше не видаться. Горничная дѣвка это замѣчаетъ, сообщаетъ графчику, тотъ мужу; слѣдствиемъ — дуэль и смерть обоихъ страдалцевъ.

РЕЙНСКІЕ ПИЛИГРИМЫ. Соч. Бульвера. Переводъ съ французскаго. 1835. Четыре части.

Европейскіе журналы, преимущественно англійскіе, сколько мы могли замѣтить изъ «Revue Britannique», часто удивляютъ самыми странными, если не нелѣпыми, сужденіями о литературныхъ предметахъ, сужденіями, которыя даже и у насъ смѣшны; часто они хлопочутъ о такихъ вопросахъ, которые даже и у насъ уже не вопросы. Не ходя далеко, укажемъ на статью о новой драмѣ Виктора Гюго, помѣщенную въ одномъ изъ №№ «Артиста», французскаго журнала, и переведенную въ «Наблюдатель». Но англійскіе журналы особенно свидѣтельствуютъ о незавидномъ состояніи критики въ Англии. Недавно мы прочли въ «Revue Britannique» статью объ Эдуардѣ Литтонѣ Бульверѣ — новой англійской и, слѣдовательно, европейской знаменитости, о которой такъ много говорятъ и у насъ. Эта статья переведена въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», повторена въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», и поэтому должна быть извѣстна русской публикѣ. Изъ нея видно то, что духъ Англичанъ принимаетъ новое направленіе, представителемъ котораго есть — Бульверъ. Въ чемъ же состоитъ это новое направленіе духа англійской націи? Въ стремленіи къ жизни мечтательной, идеальной, совершенно противоположной ихъ положительной, расчетливой, рациональной жизни. Правда ли это? Возможное ли это дѣло? Не знаю; по крайней мѣрѣ, такъ говоритъ авторъ статьи объ Эдуардѣ Литтонѣ Бульверѣ; прибавлю еще, что онъ видитъ въ этомъ

новомъ направленіи много худаго и предсказываетъ близкую и ужасную реформу въ Англіи, обвиняя Бульвера въ томъ, что онъ своими романами способствуетъ этому вредному направленію и своимъ огромнымъ авторитетомъ ускоряетъ его развязку. Какъ бы то ни было, это вопросъ чисто англійскій, обстоятельство семейное и для насъ совершенно постороннее; а вотъ въ чемъ дѣло: судя по великому вліянію, которое авторъ статьи о Бульверѣ приписываетъ этому писателю, судя по огромному авторитету, которымъ пользуется въ Англіи этотъ ея любимецъ и баловень, не имѣете ли вы права заключить, что Бульверъ есть писатель гениальный, что цвѣты его поэзіи роскошны, благоуханны, какъ плодородная природа Индіи, что его картины чудесны и разнообразны, какъ безпредѣльный міръ Божій, что онъ представляетъ природу и жизнь преобразенными, въ новомъ, волшебномъ, фантастическомъ свѣтѣ — не правда ли? Но увы! ничего этого нѣтъ: Бульверъ поэтъ, какихъ много; поэтъ второклассный, если не третьеклассный: его романы какъ романы — середка на половинѣ, хотя въ нихъ и блестятъ искры истиннаго, неподдѣльнаго таланта. И въ самомъ дѣлѣ, не странно ли думать, чтобы Британецъ, гордый, расчетливый, пресыщенный жизнію, усталый отъ ея впечатлѣній, соскучившійся ея прозою, сталъ искать отдохновенія и освѣженія для своей души, не въ Шекспирѣ, не въ Байронѣ, не въ Вальтерѣ - Скоттѣ, не въ Куперѣ, или Томасѣ Мурѣ, а въ Бульверѣ? Развѣ поэзія этихъ поэтовъ положительна, суха, утомительна, неспособна потрясти самую холодную душу, распалить самое вялое воображеніе? Развѣ гений этихъ поэтовъ не великъ, развѣ онъ ниже генія Бульвера? Странно! Чтѣ-жъ такое этотъ Бульверъ, чтѣ онъ за чародѣй такой, что, мановеніемъ своего волшебнаго жезла, заставляетъ Англичанъ забывать свои конторы и биржу, свои проэкты всемірной торговли и бросаться въ фантастическій міръ Нѣмцевъ? Въ чемъ находятъ онъ свои могущественныя средства, гдѣ беретъ

свои орудія? Ужъ не въ родствѣ ли онъ съ феями и гномами, ужъ не подарилъ ли ему Оберонъ своего лилейнаго скипетра? Мы это сейчасъ увидимъ, бросивши взглядъ на «Рейнскихъ Пилигримовъ».

«Рейнскіе Пилигримы» единственный романъ Бульвера, прочтанный мною; но судя по его характеру и по упомянутой статьѣ въ «Revue Britannique», они могутъ дать полное понятіе о Бульверѣ. Вотъ въ чемъ состоитъ ихъ содержаніе: Тревелианъ, молодой человѣкъ, съ душою сильною и характеромъ возвышеннымъ, любитъ Гертруду Ванъ, дѣвушку, которая имѣетъ все, что дѣлаетъ женщину на землѣ представительницею неба—красоту и способность къ нѣжной, пламенной любви, безграничному самоотверженію, преданности и высокой покорности судьбѣ; отецъ этой дѣвушки, лице, тоже имѣющее свою физіономію, есть третій персонажъ романа Бульвера. Прелестная, очаровательная Гертруда страждетъ неизлѣчимою болѣзнію—чахоткою, и, по совѣту докторовъ, пускается въ путешествіе по берегамъ Рейна, въ сопровожденіи своего отца и любовника. Тревелианъ, имѣя пылкое воображеніе, зная наизусть почти всѣ преданія, всѣ древне-нѣмецкія хроникъ, и притомъ обладая способностію пріятнаго рассказчика, рассказываетъ Гертрудѣ отрывки изъ этихъ преданій и хроникъ, чтобы отклонить ея вниманіе отъ собственнаго ея положенія. Все это очень естественно, все вѣрно, прекрасно и занимательно. Эта Гертруда, прекрасный, благоуханный цвѣтокъ, рожденный для того, чтобы заставить другое существо полюбить жизнь, — эта Гертруда, стоящая на краю могилы и живѣе ошущающая прелесть жизни, и сильнѣе желающая жить, и до послѣдней минуты обманывающая себя лестною надеждою на счетъ жестокой истины своего положенія; потомъ, этотъ Тревелианъ, сосредоточившій въ самомъ себѣ всѣ силы души своей и кажущійся спокойнымъ и холоднымъ, тогда какъ въ его сердцѣ горятъ пламя любви и чувства, — этотъ гордый, крѣпкій дубъ, опершійся на розу

и долженствующій пасть, когда она увянетъ; наконецъ, этотъ старикъ Ванъ, извѣдавшій жизнь, утомившійся ея обманами, опершійся на самого себя, и въ своемъ безстрастіи еще глубоко любящій дочь свою—всѣ эти лица, повторяю, имѣютъ собственную фізіономію и живо занимаютъ вниманіе читателя своею судьбою, своимъ положеніемъ, своею личностію. Но не здѣсь Бульверъ, онъ въ эпизодахъ, онъ въ разсказахъ Тревелиана; въ нихъ силится онъ оживить старину съ ея волшебными воспоминаніями, съ ея романтической жизнію, такъ противоположною расчетливой жизни.

Эти эпизоды прекрасны, когда дѣло идетъ объ изображеніи чувствъ и положеній человѣческихъ, общихъ всѣмъ вѣкамъ, всѣмъ народамъ, и понятнымъ во всѣхъ вѣкахъ и для всѣхъ народовъ. Таковъ эпизодъ: «Молодая дѣвушка изъ города Мелина», въ коемъ прекрасно изображена женщина, существо любящее и преданное; таковъ эпизодъ: «Братья», въ которомъ воскресаетъ поэтическая жизнь среднихъ вѣковъ, съ ея рыцарствомъ, ея любовію, ея вѣрностію, страданіемъ и религіозностію; но и не здѣсь еще Бульверъ; онъ въ разсказахъ фантастическихъ, которые тоже прекрасны; ихъ два: «Душа въ Чистилищѣ» и «Падшая Звѣзда». Но особенно Бульверъ, такой Бульверъ, какимъ представляетъ его авторъ статьи въ «Revue Britannique», Бульверъ мечтатель, Бульверъ, недовольный современною жизнію, видѣнъ въ повѣствованіи о феяхъ и геніяхъ, которые, Богъ знаетъ по какимъ правамъ и ради какихъ причинъ, вѣдѣваются у него въ людскія дѣла, и здѣсь-то Бульверъ смѣшонъ, жалокъ и нелѣпъ до крайности. Эти фен, эти геніи, ихъ разсказы о любви кошекъ и собакъ—суть не чтò иное, какъ натяжки, самыя скучныя и утомительныя, рѣзныя украшенія русскихъ крестьянскихъ избъ на домѣ итальянской архитектуры, лозанье паяца въ антрактахъ хорошей драмы. Если въ этомъ состоитъ мечтательность и идеальность Бульвера, то едва ли ему удастся ниспровергнуть существующій порядокъ дѣлъ въ

Англіи, и изъ Англичанъ, народа дѣятельнаго, торговаго, положительнаго, сдѣлать мечтательныхъ, созерцающихъ, сумасбродныхъ Нѣмцевъ по идеалу Тика. Бульверъ часто, или, лучше сказать, безпрестанно жалуется на прозу нашей жизни, и очень замѣтно, что ему хочется быть мечтательнымъ, хочется создать какую-то идеальную жизнь; это видно изъ самыхъ его эпиграфовъ; онъ старается заставить своихъ читателей вѣрить въ бытіе существъ особеннаго рода, наполняющихъ глубину лѣсовъ, ущелія горъ, дно морей и рѣкъ, воздушныя пространства; словомъ, онъ силится возвратить міръ къ его первобытному состоянію, когда юное человечество населяло природу небывалыми существами и отъ души вѣрило ихъ дѣйствительности. Намѣреніе нелѣпое! Развѣ нѣтъ поэзіи въ нашей жизни, развѣ сама истина и дѣйствительность не есть высочайшая поэзія? Развѣ естественное и вѣрное изображеніе любви Тревелиана и Гертруды не лучше въ тысячу разъ глупыхъ рассказовъ о небывалыхъ феяхъ и геніяхъ, рассказовъ каррикатурныхъ, блѣдныхъ и холодныхъ? Развѣ пошлая аллегорія о добродѣтеляхъ есть поэзія?

Словомъ, Бульверъ, писатель не геніальный, но съ талантомъ, хорошъ только тамъ, гдѣ естественъ, гдѣ пишетъ въ духъ времени, гдѣ противорѣчитъ своимъ нелѣпымъ мыслямъ о жизни, и несносенъ, гдѣ силится, вопреки своему таланту, быть идеальнымъ. Ему надо чувствовать, а не мыслить, надо безсознательно слѣдовать внушенію своего таланта, а не корчить изъ себя трубадура съ вѣнкомъ на остриженной головѣ и букетомъ розъ на модномъ фракѣ: тогда онъ будетъ лучше. Равнымъ образомъ, ему не надо судить ни объ англійской, ни о нѣмецкой литературѣ, ни о вкусѣ, ибо его сужденія объ этихъ предметахъ похожи на его рассказы о феяхъ и о добродѣтеляхъ.

СЕСТРА АННА. *Сочиненіе Поль-де-Кока. Перевелъ съ французскаго А. Пр.....ва. Сиб. 1834. Четыре части.*

Этакое мнѣ счастье на романы Поль-де-Кока! Недавно раздѣлялся съ однимъ, и ужъ долженъ возиться съ другимъ, но это въ послѣдній разъ.

«Сестра Анна», какъ и всѣ произведенія Поль-де-Кока, этого корифея кабаковъ и лакейскихъ, должна доставить полное удовольствіе любителямъ неблагопристойныхъ сочиненій, въ родѣ «Кавалера Фобласа», романовъ «Пиго-ле-Брэнз, Крамера, Contes Лафонтена, нувеллей Боккачіо и множества извѣстнаго рода книжекъ въ двѣнадцатую, шестнадцатую и восемнадцатую долю съ гравюрами, которыя въ большомъ изобиліи издавались въ XVIII вѣкѣ, и которыя охотники всегда читаютъ тайкомъ и держатъ подъ рукою. Молодой мальчикъ, у котораго не развилось еще чувство, но уже развилась чувственность, и который имѣетъ особенный вкусъ къ анакреонтической поэзіи — найдетъ тутъ для себя прекрасные уроки и богатый запасъ опытности на извѣстные случаи; человекъ возмужалый, съ эмпирическимъ взглядомъ на вещи, предпочитающій положительное и существенное идеальному и мечтательному — найдетъ тутъ для себя тѣмъ воспоминаній, а можетъ быть, и почувствуетъ охоту снова приняться за опытные знанія; старецъ, привилегированный гражданинъ Цитеры и Паеоса, поклонникъ Киприды, ученикъ Парни и Богдановича въ наукѣ жизни, съ желаніемъ еще не угасшимъ, но и съ сознаніемъ своего безсилія — подогрѣетъ этимъ чтеніемъ свою охладѣлую кровь и обрѣтетъ хотя мгновенныя силы на новые подвиги. Словомъ, Поль-де-Кокъ есть истинный оракулъ для людей обоихъ половъ, всѣхъ возрастовъ и всѣхъ состояній. Это сокращенный кодексъ нравственности XVIII вѣка.

И однакожъ, ни одному писателю такъ не посчастливилось

на Руси, какъ Польша-Коку: знакъ добрый!... И чему-жъ дивиться, если нѣкоторые критики не шутя увѣряютъ, что Польша-Коку есть раг excellence нравственный писатель... Г. Гоголь былъ ими пожалованъ въ Польша-Коки, ими, которые сами истинные Польша-Коки!... И всѣ романы Польша-Кока, какъ на зло, переведены, по большей части, очень хорошо! Правда, что не родись уменъ, не родись пригожъ, родись счастливъ!

СТИХОТВОРЕНІЯ А. КОПТЕВА. *Спб. 1834. Съ эпиграфомъ:*

Чувствительность есть даръ, поэзія искусство,
Природа сердце мнѣ, судьба дала перо.

Вы не повѣрите, какъ обрадовали меня стихотворенія г. А. Коптева, въ какое восхищеніе привели они меня! Они напомнили мнѣ то невинное, золотое время дѣтства, когда, еще будучи мальчикомъ и ученикомъ уѣзднаго училища, я, въ огромныя кнѣ тетрадей, неутомимо, денно и ночью, и безъ всякаго разбору, списывалъ стихотворенія Карамзина, Дмитриева, Сумарокова, Державина, Хераскова, Петрова, Станевича, Богдановича, Максима Невзорова, Крылова и другихъ, когда я плакалъ, читая «Бѣдную Лизу» и «Марьину Рощу», и вѣнялъ себя въ священнѣйшую обязанность бродить по полямъ, при томномъ свѣтѣ луны, съ понуримъ лицомъ à la Эрастъ Чертополоховъ. Воспоминанія дѣтства такъ обольстительны, къ тому же природа дала мнѣ самое чувствительное сердце и сдѣлала меня поэтомъ, ибо, еще будучи ученикомъ уѣзднаго училища, я писалъ баллады и думалъ, что онѣ не хуже балладъ Жуковскаго, не хуже «Райсы» Карамзина, отъ которой я тогда сходилъ съ ума. Теперь вамъ вѣрно ни мало не покажется удивительнымъ, что стихотворенія г. А. Коптева привели меня въ чрезвычайное восхищеніе и даже истор-

гнули изъ глазъ моихъ нѣсколько слезинокъ чувствительности. Чтобы еще лучше объяснить вамъ, почему стихотворенія г. А. Коптева произвели на меня такое сильное дѣйствіе, скажу вамъ, что я, будучи ученикомъ уѣзднаго училища, самъ писалъ стихи точно въ такомъ же родѣ и съ такимъ же успѣхомъ, въ этомъ родѣ, чисто классическомъ и совершенно чувствительномъ; съ романтическимъ я познакомился уже тогда, какъ во мнѣ совѣмъ прошло стихотворное неистовство.

Стихотворенія г. А. Коптева очень живо и вѣрно напеминаютъ собою ту эпоху нашей литературы, когда умолкли громкіе и торжественные звуки пѣсенъ Державина, когда Карамзинъ съ Дмитриевымъ (И. И.) дали совершенно новое направленіе нашей словесности и когда появились тысячи унылыхъ и слезливыхъ пѣвцовъ. Они отличаются чувствительностію, нѣжностію, пастушескою простотою и пѣстическими вольностями, наполнены похвалами тихой убогой жизни подъ соломенною кровлею, на берегу чистаго ручья, подлѣ сѣнистой рощицы, гдѣ пастухъ мирно пасетъ стадо барашковъ, воспѣваетъ на свирѣли счастье дней своихъ и свою дорогую пастушку, свою милую Хлою. Но что мои прозаическія похвалы передъ поэзіею г. А. Коптева? онѣ

Какъ предъ солнцемъ блескъ свѣчи!

Сами факты всего лучше говорятъ за себя, и потому осмѣливаюсь взять изъ книги г. А. Коптева нѣсколько драгоценныхъ перловъ его поэзіи и ослѣпить ими взоры удивленныхъ читателей. Я буду выписывать самое лучшее, не заботясь о цѣлости пьесъ.

Слезы, ахъ! льются,
Сердце трепещетъ
Бѣдно мое.
Нѣтъ здѣсь любезныхъ,
Я воздыхаю—

Милыхъ здѣсь нѣтъ.

.

Лейтсѣ же, слезы,
Нѣтъ колы любовныхъ—
Милыхъ колы нѣтъ!

.

Дикіе враны!
Горестъ вѣщайте
Крикомъ своимъ.

Вязы вѣтвясты,
Сосны высоки,
Войте со мной.

Горы кремнисты!
Искры посыпьте
Съ трескомъ вездѣ.

Эхо!— мой вторя
Трепетъ сердечной,
Ужась сугубъ... и т. д.

Вотъ здѣсь я у прудочка
Объ другѣ помышлялъ;
А тутъ возлѣ лужочка
Летѣть къ нему желалъ.
Ахъ, я вьдохнулъ, садочникъ!
Объ чемъ?—ты хочешь знать,—
Послушай, мой дружочикъ,
Что буду здѣсь вѣщать... и т. д.

Пруды, сады, чертоги
Во вкусѣ и имѣлъ:
Цари!—земные боги!
Подобну жизнь я велъ.
Въ садахъ рога гремѣли,
Друзей тѣмъ забавлялъ;
Цыганки пѣсни пѣли,
А я подъ тактъ плясалъ, и т. д.

Но нѣтъ—довольно! я утомился выписывать эти блестящія красоты классицизма, я опускаю прелестныя двустипія,

четверостишія «Къ друзьямъ», «Къ Парашѣ», «Къ Л. И.», «Къ Живописцу», «Къ Соснѣ»; остроумные акростихи на «Лягу», «Сонѣ»; экспромты «къ Москвѣ, къ Пафнучицу, къ Мотыгину» и пр. и пр. Кто желаетъ вполнѣ упитъ поэзію г. А. Коптева, того отсылаю къ его книгѣ: мое дѣло только познакомить съ красотами сочиненія.

Для этой послѣдней цѣли, выпиываю нѣкоторыя изъ примѣчаній, приложенныхъ въ концѣ книжки, какъ то всегда дѣлается при изданіи твореній геніальныхъ поэтовъ, ибо, безъ комментарій, они не совсѣмъ понятны. Примѣчанія, приложенныя къ стихотвореніямъ г. А. Коптева, чрезвычайно любопытны, какъ факты о почтенной старинѣ.

«Стихи сіи были написаны, подражая нѣжной музѣ Н. М. Карамзина, бѣлыми хоремами; но одна почтенная женщина велѣла мнѣ перемѣнить хорей на ямбы и украсить римами». Вотъ какъ въ старину-то наши поэты уважали дамъ и повиновались имъ; это былъ вѣкъ истинной вѣжливости, вѣкъ истиннаго царства красоты!

«Почтеннымъ издателямъ Московскаго Курьера угодно было назвать сію піесу прекрасною; чувствительно благодаря ихъ за лестную похвалу, скажу: я буду доволенъ и тѣмъ, ежели благосклонные читатели найдутъ оную посредственною». Вотъ какъ скромны были въ старину наши поэты! Не то, что нынѣ, когда всякій дѣзаетъ въ Байроны и Шиллеры!

«Премного благодарю, хотя не знакомую мнѣ, но милую любезную дѣвицу, которая извѣстна многимъ своими рѣдкими талантами, за то, что въ одномъ дружескомъ собраніи пѣла она сію элегію на голосъ: Я не знала ни о чемъ въ свѣтѣ тужить и пр., а тѣмъ самымъ заставила многихъ списывать сію піесу.— Признаюсь, это трогаетъ мое самолюбіе». Вотъ какими средствами въ старину наши поэты входили въ славу! Все черезъ дамъ—такъ и должно!

«Сія стихи я написалъ въ угодность одной прелестной дѣвушкѣ; прелестной, слѣдовательно и любезной, которая сама

часто посвящаетъ Музамъ праздные часы свои, охотница до ландышей, любить стихи сего разиѣра».

«Въ словахъ Пашалика и Акалцига, правописаніе то самое, какое находится въ Географіи г. Гейма, изданной въ 1819 году, см. 276 и 279».

«М. М. Херасковъ написалъ подобными же стихами Бахаріану, написалъ и еще лучшемъ безсмертія тѣмъ болѣе приобрѣлъ себѣ». То-то же — вотъ что значитъ хорошій разиѣръ!

«Весна П. И. Шаликова кого не плѣнитъ прелестными картинами, пылкостью воображенія и живостью мыслей; словомъ, всѣмъ, тотъ вѣрно нечувствителенъ. Смотри. Вѣстникъ Европы 1803 года, № 9». И я то же скажу, что тотъ совѣмъ нечувствителенъ, кто не восхитится пылкостью воображенія князя Шаликова.

Прочтя стихотворенія г. А. Боптева и примѣчанія къ нимъ, кто не захочетъ отъ души повѣрить, что былъ на землѣ золотой вѣкъ, было то время, когда волкъ мирно пасся съ овцою, тигръ ласкался къ газели, а удавъ цѣловался съ голубемъ?...

ПОСЛАНІЕ ПЕТРУ ИВАНОВИЧУ РИБОРДУ, ВИЦЕ-АДМИРАЛУ И БАВАЛЕРУ ВЪ БРОНШТАДТѢ.
1834 года Іюля 28 дня. Соч. Графа Хвостова. Спб. 1834.

СТИХИ НА ОСВЯЩЕНІЕ СОВОРА ВСѢХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ ВЪ РОССІИ. *Іюля 20 дня 1835 года.*

МАНЬЧЖУРСКАЯ ПѢСНЬ, СЪ ПЕРЕВОДА ВЪ ПРОЗѢ ПЕРЕЛОЖЕННАЯ СТИХАМИ. *20 Января 1834 года. Спб. 1834 года.*

НА ПАМЯТНИКЪ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ І.
Два стихотворенія на Турецкомъ и Персидскомъ языкахъ Мирзы-Джафара. Топчибашева, Адъютанта-Про-

фессора Персидскаго языка при И. С. Петербургскомъ университетѣ и въ Институтъ Восточныхъ языковъ, состоящемъ при Азіатскомъ Департаментѣ Министерства Иностранныхъ дѣлъ, Надворнаго Советника, Кавалера Орденовъ Св. Анны второй и Св. Владиміра четвертой степени, и члена Лондонскаго Королевскаго Азіатскаго Общества. Спб. 1835.

Всѣ эти четыре стихотворенія ясно показываютъ, что поэзія у насъ еще процвѣтаетъ роскошно и благоуханно, вопреки мнѣнію нѣкоторыхъ невѣждъ, нагло утверждающихъ, что будто она не то что кончилась, а опала, какъ пустоцвѣтъ, не принеся никакихъ плодовъ. Мы очень радуемся, что имѣемъ случай зажать ротъ этимъ беспокойнымъ и невѣжливымъ крикунамъ, торжественно указавъ имъ эти произведенія русской музыки.

Первыя три изъ нихъ принадлежать нашему настоящему поэту графу Хвостову, который называетъ себя и котораго называетъ князь Шаликовъ «Пѣвцомъ Кубры» — титулъ, вполне заслуженный имъ. Въ этихъ стихотвореніяхъ такъ много поэзіи, свѣжести и могучести таланта, не охлажденнаго холодомъ долговременной жизни, что ихъ можно почесть первыми порывами юнаго воображенія. Третье стихотвореніе особенно отличается удивительною энергіею таланта, иногда возвышающагося до истинной гениальности, что можно видѣть изъ слѣдующихъ стиховъ, наудачу нами выбранныхъ:

Для подданныхъ отъ высоты престола
Присвоилъ онъ, межъ подвиговъ, трудовъ,
Безцѣнное приобрѣтеніе дола —
Законовъ даръ — превыше всѣхъ даровъ.
Онъ воинамъ знамена далъ, отряды,
Священныхъ службъ установилъ обряды;
Создатель онъ и капищъ и божницъ,
Онъ при дворѣ три учредилъ чертога,
Гдѣ зрѣлся чинъ и наблюденіе строго,
Гдѣ предъ царемъ все повергалось ницъ.

Надобно замѣтить, что это стихотвореніе есть переложеніе прозаическаго перевода съ манджурскаго языка, сдѣланнаго г. Захаромъ Леонтьевскимъ. Г. Захаръ Леонтьевскій въ восторгѣ отъ переложеній графа Хвостова: мы вполне раздѣляемъ этотъ восторгъ.

О стихотвореніяхъ почтеннаго Мирзы Джафара мы ничего не можемъ сказать, во первыхъ, потому что они не принадлежатъ къ русской литературѣ; во вторыхъ, потому что они недоступны для насъ, какъ писанныя на восточныхъ языкахъ; впрочемъ, мы увѣрены, что они несравненно лучше своихъ переводовъ.

ПОЛНЫЙ И НОВѢЙШІЙ ПЪСЕННИКЪ, въ тринадцати частяхъ, содержащій въ себѣ собраніе всѣхъ лучшихъ пѣсень извѣстныхъ нашихъ авторовъ, какъ то: Державина, Карамзина, Дмитріева, Богдановича, Нелединскаго - Мелецкаго, Капниста, Батюшкова, Жуковскаго, Мерзлякова, А. Пушкина, Баратынскаго, Козлова, Барона Дельвига, Князя Вяземскаго, Федора Глинки, Бориса Федорова, Веневитинова, Слѣпушкина, и многихъ другихъ литераторовъ. Расположенный въ отдѣльныхъ частяхъ для каждаго предмета. Собранный И — мъ Гурьяновымъ. Москва, въ типографіи Н. Степанова. 1835. Тринадцать частей: I—191, II—144, III—114, IV—160, V—148, VI—97, VII—190, VIII—176, IX—120, X—137, XI—114, XII—144, XIII—144. (16).

Достоинство этой книги совершенно соотвѣтствуетъ замысловатости ея заглавія. Г. Гурьяновъ обогатилъ рыночную литературу новымъ произведеніемъ. Тутъ нѣтъ ничего худого: г. Гурьяновъ слѣдуетъ внушенію своего генія. Да вотъ бѣда: его геній ужъ черезчуръ игривъ. Мы не говоримъ о томъ,

что онъ изъ нашихъ писателей составилъ такое разнохарактерное общество, какого не представляетъ и самая «Библиотека для Чтенія»; что онъ свелъ Державина, Пушкина, Жуковского, Мерзлякова, Козлова, Батюшкова, Веневитинова и пр. въ одну компанію съ Богдановичемъ, Нелединскимъ-Мелецкимъ, Капнистомъ, Борисомъ Федоровымъ и Слѣпушкинымъ; мы не удивляемся поистинѣ удивительному хладнокровію знаменитыхъ корифеевъ нашей литературы, съ какимъ они видятъ себя въ такомъ прекрасномъ обществѣ; мы не удивляемся незаконной дерзости, осмѣливающейся ругаться надъ правами собственности: все это вещи очень обыкновенныя въ Москвѣ: объ этомъ много говорится въ петербургскихъ журналахъ, объ этомъ бываетъ рѣчь и въ московскихъ журналахъ. Но мы, при всей нашей привычкѣ къ подобнымъ явленіямъ, не можемъ надивиться одному: какъ могутъ быть на свѣтѣ такіе люди, которые не умѣютъ сдѣлать порядочно ни хорошаго, ни дурнаго дѣла.

Кто далъ право г. Гурьянову, помѣстивши, безъ позволенія авторовъ, пьесы, исказить ихъ пропусками и переправками своей фантазіи и ореографическою безграмотностію? Не угодно ли полюбоваться его поправочками:

Скинь мантилью, ангелъ милый
И явись, какъ яркій день.
Ножку дивную продвнь
Ночной зеепръ
Струить зепрѣ... и т. д.

„Скажи, что смотришь на дорогу?“
Мой храбрый вопросишь.
„Еще *попья*, ты слава Богу,
Друзей не проводишь.
Къ груди *попьянувъ* головою,
Я *громко просвиссталъ*.
„Гусарь! ужъ *нѣтъ* ее со мною!“
Сказалъ и замолчалъ.

Слеза повисла на рѣсницѣ
И канула въ покаянъ.
„Дитя, ты, плачешь о дѣвицѣ!“
Сказалъ и замолчалъ.

Съ чего вздумалось г. Гурьянову пропѣть одно и то же стихотвореніе Пушкина въ двухъ разныхъ частяхъ и на разные голоса? Въ отдѣленіи пѣсенъ простонародныхъ и хороводныхъ это стихотвореніе напечатано такъ:

Я пережилъ свои желанья,
Я разлюбилъ свои мечты,
Остались мнѣ одни страданья,
Плоды сердечной пустоты!
Подъ бурями судьбы жестокой
Увяль цвѣтушій мой вѣнецъ?
Живу печальный, одинокой
И жду—придетъ ли мой конецъ.
Такъ позднимъ хладомъ пораженный,
Какъ бури слышенъ земній свистъ;
Одинъ на вѣткѣ обнаженной
Трепещетъ запоздалый листъ!...

Въ отдѣленіи пѣсенъ любовныхъ это стихотвореніе напечатано такъ:

Я пережилъ свои желанья,
Я разлюбилъ свои мечты;
Остались мнѣ одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.
Безмолвно жребію послушный,
Влачу страдальческій вѣнецъ,
И жду, печальный, равнодушный,
Когда же придетъ мой конецъ.

А прогрозъ: знаете ли, какія пьесы помѣщены въ отдѣленіи пѣсенъ застольныхъ, дружескихъ и круговыхъ? — «Вечерній звонъ» (Козлова), «Даруетъ небо человѣку» (изъ Бахчисарайскаго фонтана), «Мой другъ, хранитель-ангелъ мой» (Жу-

ковскаго), «Небо дай мнѣ длани» (Хомякова), «Свѣтитъ мѣсяцъ на кладбищѣ» (Жуковскаго). И знаете, между какими произведеніями? «Саша ангелъ какъ не стыдно»; «Пожалуйте, сударыня, сядьте со мною рядомъ», «Братъ, рюмки наливайте» и пр. А сколько другихъ нелѣпостей! Стихотвореніе г. Шевырева — «Супруги» (военная пѣсня, помѣщенная въ «Московскомъ Вѣстникѣ» 1827) приписано Пушкину, подъ заглавіемъ — «Свадьба», съ пропусками и безсмысленными искаженіями; нѣкоторыя пьесы напечатаны по шести разъ (разумѣется, съ варіантами); большая часть сборника состоитъ изъ старинныхъ сочиненій, отличающихся площаднымъ вкусомъ и дурными стихами. Для образчика выпишемъ куплетъ изъ одной такого рода невинной пѣсенки:

Однажды я Лилету
Земляни раздѣту,
Забвенну спомъ — зрѣлъ здѣсь;
На ту красу взирая,
Я таняъ обмирая —
И... если бы не честь...

Какъ ни непріятно, ни отвратительно рыться въ подобномъ сорѣ, но положивши себѣ за непремѣнную обязанность преслѣдовать, литературнымъ судомъ, литературныя штуки всякаго рода, обличать шарлатанство и бездарность, я почелъ долгомъ выставить, предъ глазами публики, поступокъ г. Гурьянова. Если я этимъ не предупрежу другихъ подобнаго рода литературныхъ предпріятій, то, можетъ быть, спасу многихъ довѣрчивыхъ читателей отъ покупки и прочтенія дурной книги: въ такомъ случаѣ, моя цѣль достигнута и труды не пропади. Еще прибавлю, что эта книга напечатана на сѣрой дурной бумагѣ и украшена чудовищными картинками, отличающимися лубочною работою и площаднымъ вкусомъ.

НАЧЕРТАНІЕ РУССКОЙ ИСТОРИИ ДЛЯ УЧИЛИЩЪ.

Сочиненіе профессора Поюдина. Москва. 1835.

Наша литература особенна бѣдна учебными книгами: истина не новая, даже очень старая, но мы все-таки повторяемъ ее, хотя нѣкоторые и почитаютъ это излишнимъ и несправедливымъ въ настоящее время, когда, по ихъ мнѣнію, множество вновь появившихся книгъ въ этомъ родѣ доказываютъ противное. Не хотимъ спорить объ этомъ: у всякаго свой взглядъ на вещи, а на наши глаза множество ничего не доказываетъ. И такъ наша литература очень бѣдна учебными книгами, и преимущественно по части исторіи. Причина этого заключается сколько въ трудности составленія хорошей учебной книги, столько и въ ложномъ понятіи, какое вообще имѣютъ у насъ касательно этого предмета. Здѣсь невольно подвертываются мнѣ подъ перо слова г. Шевырева: «Ахъ, эти бѣдныя дѣти! Что не годится для взрослыхъ, что боится критики—то все ссылается на подачу дѣтямъ. Ихъ невинность какъ будто бы должна оправдывать всѣ недостатки сочиненія». Замѣьте, что г. Шевыревъ говоритъ это по поводу книги, изданной Жаненомъ, не примѣняя къ нашей литературѣ. Что же у насъ?... О, сердце обливается кровью при мысли о безтолковомъ учебникѣ и варварѣ-педагогѣ, общими силами убивающихъ юные таланты и изъ дѣтей съ человѣческимъ организмомъ дѣлающихъ идіотовъ... Да и чего хорошаго можно ожидать отъ нашихъ учебныхъ книгъ, когда истинные ученые презираютъ заниматься ихъ составленіемъ, и когда ихъ дѣлаютъ шарлатаны и невѣжды?... Много-ли у насъ учебныхъ книгъ, скрѣпленныхъ именемъ профессора или извѣстнаго ученаго? А за эти книги не должны братья даже и ученые по ремеслу: самый разительный примѣръ этого есть «Учебная Книга Русской Словесности», г. Греча—этотъ сборникъ устарѣлыхъ правилъ и дурныхъ примѣровъ, скорѣе спо-

собныхъ убить чувство вкуса и склонность къ изящному, чѣмъ развить ихъ. Такихъ примѣровъ много...

Г. Погодинъ предпринялъ вознаградить недостатокъ учебныхъ книгъ по части отечественной исторіи. Нельзя выразить того восхищенія, съ какимъ мы узнали объ этомъ намѣреніи, того нетерпѣнія, съ какимъ мы ожидали появленія этой книги, за прекрасное исполненіе которой ручалось имя г. Погодина. Но при всемъ нашемъ уваженіи къ г. Погодину, какъ къ человѣку и писателю, мы поставляемъ себѣ непремѣннымъ долгомъ сказать во всеуслышаніе, что никогда не испытывали мы такого жестокаго разочарованія, никогда не обманывались такъ ужасно въ своихъ надеждахъ и ожиданіяхъ... Мы едва вѣрили глазамъ своимъ. Эта книга рѣшительно недостойна имени своего автора, отъ котораго публика всегда была въ правѣ ожидать чего-нибудь дѣльнаго и даже прекраснаго. Одно ея раздѣленіе на періоды, неосновательность котораго уже доказана г. Скрамненкомъ, ясно показываетъ, что она составлена слишкомъ на скорую руку. Представьте себѣ: событія до Петра Великаго занимаютъ 249 страницъ—сколько же, вы думаете, занимаютъ событія отъ вступленія на престолъ Петра Великаго до смерти Александра Благословеннаго?—Страницъ, по крайней мѣрѣ, пятьсотъ. если не тысячу?—Нѣтъ — всего-на-все 64 страницы!... Мы слишкомъ далеки отъ того, чтобы думать, что г. Погодинъ не былъ въ состояніи написать не только порядочной, но и хорошей учебной книги; мы скорѣе готовы подумать, что онъ не хотѣлъ этого сдѣлать, и что причина совершенной неудовлетворительности его сочиненія заключается въ крайней невнимательности и поспѣшности, съ какою оно составлялось. Это доказываетъ все: и отсутствіе хронологіи, безъ которой учебная книжка есть фантомъ или образъ безъ лица, и параграфы въ нѣсколько страницъ безъ перерыву, и самый языкъ, неправильный и необработанный, общія мѣста и не-

опредѣленность въ выраженіяхъ *), это доказываетъ, напри-
мѣръ, и слѣдующее мѣсто: «Датскій принцъ Іоаннъ, братъ
Христіана, былъ вызванъ въ Россію въ женихи Ксеніи, послѣ
раздора съ Густавомъ, воевать съ Турками и изгнать ихъ
изъ Европы, не оставляла Бориса».

Много, очень много можно бы было сказать о недостат-
кахъ Исторіи г. Погодина; но для этого слишкомъ тѣсны
предѣлы простой библиографической статьи.

**БИБЛИОТЕКА РОМАНОВЪ И ИСТОРИЧЕСКИХЪ
ЗАПИСОКЪ**, издаваемая книгопродавцемъ Ф. Рот-
маномъ, на 1835 годъ. Спб.

У насъ часто слышатся жалобы на равнодушіе публики ко
всему отечественному, и преимущественно на ея холодность
къ русской литературѣ. Кто правъ, кто виноватъ: публика
или тѣ, которые на нее жалуются? Можетъ быть, ни то, ни
другое. Но вотъ вопросъ: кто виноватъ—публика или лите-
ратура? Это вопросъ важный, обширный; его изслѣдованіе
привело бы къ самымъ любопытнымъ и поучительнымъ ре-
зультатамъ. У меня давно вертится въ головѣ цѣлая статья
на этотъ предметъ, и я очень жалѣю, что недостатокъ сво-
боднаго времени не даетъ мнѣ возможности приняться за это

*) Напримѣръ, что значать эти фразы: «Кромѣ Волкова прославился
вскорѣ «Дмитревскій»? Какъ и чѣмъ прославился? Не такъ ли точно,
какъ прославлялись герои Подновинскаго? Ибо что тогда были за цѣ-
нители театра? «Дмитріевъ, Озеровъ, Батюшковъ, Мераляковъ про-
славившись своими сочиненіями». Но вѣдь своими же сочиненіями про-
славившись и Сумароковъ, и Херасковъ, и даже Тредьяковскій, и ими
же прославившись Шекспиръ, Байронъ, Шиллеръ. Признаемся откро-
венно, такія фразы хороши только у г. Кайданова. Къ чему эти без-
престанныя мѣстоименія «мы»? Развѣ оффиціальныи слогъ, какимъ пи-
шутся реляціи, приличенъ учебной исторической книгѣ? Mais ses
rouquolis ne finissent jamais...

дѣло. А статейка вышла бы прекуръзная! Но дѣлать нечего, и вмѣсто того, чтобы угощать общаніями, скажу здѣсь мимоходомъ словца два объ этомъ вопросѣ, на который меня особенно наводитъ «Библіотека Романовъ» г. Ротгана. Съ одной стороны, возьмемъ въ соображеніе, много ли у насъ пишется и много ли годится для чтенія изъ того, что пишется; съ другой стороны, подумаемъ о томъ: если наша публика равнодушна къ отечественной литературѣ, то кто же даетъ нашимъ литераторамъ возможность превращать свои журнальныя статьи въ медвѣжьи шубы, казанскія сани и воронья лошади, а свои романы въ дома и деревни? Кто же даетъ нашимъ книгопродавцамъ возможность издавать журналы, Энциклопедическіе Словари, Живописныя Обзорѣнія и Библіотеки Романовъ? Не эта ли русская публика, столь равнодушная и невнимательная къ отечественной литературѣ?... Нѣтъ, воля ваша, а русская публика не только не равнодушна, но даже слишкомъ пристрастна къ своей литературѣ, и еслибы ея простодушная довѣрчивость не была иногда слишкомъ нагло обманываема, то думаю, что она была бы еще пристрастнѣе къ литературѣ. Но что же дѣлать, если литература такъ жестоко издѣвается надъ нею? Точно такъ же нелѣпо обвиняють публику и въ холодности къ русскому театру. Но, Боже мой, кто же, какъ не эта публика наполняла театръ, когда на немъ играла чета Каратыгиныхъ? Сколько дави при покупкѣ билетовъ, какая тѣснота въ театрѣ!... Но что прикажете ей дѣлать въ театрѣ на обыкновенныхъ спектакляхъ? Слушать охриплый ревъ Мельпомены, или плоскія шутки Талии и звѣвать?... Нѣтъ, воля ваша, а я хочу заступиться за публику, хочу оправдать ее...

Теперь у насъ почти вся литературная дѣятельность производится по подпискѣ, и публика усердно помогаетъ господамъ антрепренерамъ. Дай Богъ! Но вотъ что худо: большая часть нашихъ затѣйщиковъ худо помнятъ это безцѣнное правило великаго нашего баснописца:

Услуга намъ при нуждѣ дорога,
Да за нее не всякъ умѣетъ взяться!

Въ наше время, когда романъ и повѣсть сдѣлались, въ умственной пищѣ, такою же необходимою и всеобщую потребностію, какую необходимую и всеобщую потребность составляетъ чай въ физической пищѣ, когда исторія, тоже сдѣлавшаяся страстію вѣка, не только подала руку роману, но даже и сама превратилась въ романъ и начала появляться въ видѣ историческихъ записокъ или мемуаровъ,—въ наше время, говорю я, какимъ бы драгоценнымъ подаркомъ для публики была многотомная книга, состоящая изъ мемуаровъ, романовъ и повѣстей! И г. Ротганъ даритъ публику такую книгою. Необходимымъ достоинствомъ такой книги долженъ быть строгій выборъ сочиненій, входящихъ въ ея составъ, тѣмъ болѣе строгій, что есть изъ чего выбирать. И что же выбралъ г. Ротганъ, какимъ произведеніемъ дебютировала его «Библіотека»? «Еленою», романомъ миссъ Эджвортъ!... Что такое миссъ Эджвортъ? Горничная г-жъ Жанлисъ и Коттенъ, которая, наслушавшись ихъ мудрости, приглядѣвшись къ ихъ манерѣ, вздумала проповѣдывать въ XIX вѣкѣ ту мораль и рассказывать тѣ поучительные и скучные вздоры, надъ которыми смѣялись и въ XVIII вѣкѣ. Что такое «Елена»? Длинное и скучное, убійственно скучное поученіе о томъ, что дѣвушка должна вести себя въ свѣтѣ съ крайнею осторожностію и благоразуміемъ, а пуще всего никогда не лгать и всегда говорить правду, и что за сімъ добродѣтели она дѣвица должна непремѣнно получить награду, т. е. выйти замужъ за богатаго человѣка. По долгу рецензента, я было старался въ нѣсколько пріемовъ прочесть убійственный романъ; но мое терпѣніе лопнуло на половинѣ третьей части. Пять частей, т. е. 1301 страница или 54 печатныхъ листа!... Мнѣ пуще всего жаль бумаги, хотя эта бумага и походить на оберточную!... А добровольные мученики? Ну да Богъ съ ними: коль купили, такъ пусть читаютъ; вѣдь имъ надо

же что-нибудь читать! За скучною и длинною «Еленою» слѣдуетъ тощій и забавный «Дебюро», родъ біографіи одного знаменитаго паяца, набросанной игривымъ перомъ балагура Жанена. Но и этой повѣсти не слѣдовало бы помѣщать въ «Библіотекѣ Романовъ»; она не имѣетъ у насъ большого значенія, ибо это есть насмѣшка надъ современнымъ французскимъ театромъ, да и къ тому же кромѣ ея есть много того, что слѣдовало бы перевести. За «Дебюро» слѣдуютъ «Альбигойцы», романъ Матюрена. Матюрень странный писатель! Это смѣсь Вальтеръ-Скотта съ Левисомъ и отчасти съ Радклиффъ. Его фантастическое воображеніе самую дѣйствительную жизнь превращаетъ въ родъ какой-то мистеріи, разыгрываемой совокупно людьми и чертами и дирижируемой судьбою. Несмотря на множество натяжекъ, подставокъ, множество ребяческихъ странностей, его романы имѣютъ непреодолимую прелесть. Начавши читать романъ Матюрена, вы не заснете спокойно, не дочитавъ его. И не знаю, съ чѣмъ можно сравнить впечатлѣніе отъ его романовъ? Это какой-то сонъ, тяжкій, мучительный, но вмѣстѣ съ тѣмъ сладкій, невыразимо сладкій! Кому не извѣстенъ его «Мельмотъ Скиталецъ», это мрачное фантастическое и могущественное произведеніе, въ которомъ такъ прекрасно выражена мысль объ эгоизмѣ, этомъ чудовищѣ, жадно пожирающемъ наслажденія и, въ свою очередь, пожираемомъ наслажденіями? Въ «Альбигойцахъ» есть много хорошаго: рыцари, монахи, принцессы, еретики, колдовство, словомъ, средніе вѣка, со всѣми своими принадлежностями, изображены очаровательно, несмотря на множество недостатковъ, которыми отличается это произведеніе.

Я думаю еще, что одно изъ необходимѣйшихъ условій такого рода книги, какъ «Библіотека Романовъ» г. Ротгана, должно состоять въ томъ, чтобы всѣ переводы были сдѣланы съ подлинниковъ. Но у г. Ротгана все переведено съ французскаго. Неужели онъ не могъ найти въ Петербургѣ пе-

реводчиковъ съ англійскаго?... Странно!... Потомъ, я думаю, что также одно изъ необходимѣйшихъ условій такого рода книги должно состоять въ томъ, чтобы переводы были превосходны; но у г. Ротгана переводы очень посредственны, а переводъ «Елены» очень плохъ. Наконецъ, мы думаемъ, что одно изъ необходимѣйшихъ условій такого рода книгъ должно состоять также и въ красивости и даже роскоши изданія; но изданіе г. Ротгана слишкомъ скромно. Перемѣшанная цифровка страницъ, неправильная разстановка знаковъ препинанія и вообще множество типографическихъ ошибокъ доказываютъ, что эта книга какъ-будто дѣлается на фабрикѣ и хочетъ взять поспѣшностію, а не достоинствомъ. Не знаю, будетъ ли имѣть успѣхъ это литературное предпріятіе г. Ротгана; знаю только то, что если оно не будетъ имѣть успѣха, то не публика будетъ въ этомъ виновата...

ДОВМОНТЪ, КНЯЗЬ ПСКОВСКІЙ. *Историческій романъ XIII вѣка. Соч. А. Андреева. Москва. 1835. Двѣ части. Съ лубочною картинкою и эпиграфомъ:*

Въ дни мирны быть во всемъ полезнымъ гражданиномъ,
Во дни военныхъ бурь быть Россомъ, Славяниномъ —
Вотъ свойство Россіянъ, отечества сыновъ!

Чудный романъ! Удивительный романъ! Я, признаться, не дочелъ его второй части, не потому, чтобъ онъ показался мнѣ скученъ, вялъ, безтолковъ и бездаренъ; но потому, что я люблю хорошаго понемножку и всегда имѣю привычку дочитывать хорошія книги по листочку въ день, вмѣсто лакомства, вмѣсто конфетъ. Но, несмотря на то, что я остановился на половинѣ третьей главы второй части этого романа, я могу вполне оцѣнить его и дать понятіе о его характерѣ и достоинствахъ. Характеръ и достоинства «Довмонта, Князя

Исковскаго» составляютъ—историческая вѣрность, съ какою схваченъ духъ Руси въ XIII вѣкѣ, народность вообще, патриотизмъ, чистѣйшая нравственность и слогъ. Русь изображена какъ нельзя лучше: тутъ дѣва на скалѣ крутояраго берега рѣки Москвы, при громѣ, молніи и завываніи яроснаго аквилона, произноситъ трагическій монологъ, закалывается кинжаломъ и упадаетъ въ пѣнистыя волны Москвы; тамъ удалой Налеть, сдѣлавшійся атаманомъ разбойнической шайки, вслѣдствіе несчастной любви, совершаетъ великодушныя подвиги въ родѣ Карла Моора: не правда ли, что

Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ?

Чувство патриотизма у почтеннаго автора доходитъ до *plus ultra*: всѣ Татары у него подлецы и трусы, которые бѣгають толпами отъ одного взгляда русскихъ богатырей; Русскіе всѣ благородны, великодушны и храбры, дѣяютъ и дерутся, какъ истинные герои Владиміровыхъ временъ *) Даже иновѣрцы, служащіе Руси, отъ Литвина Довмонта до Черкеса Сайдака, отличаются храбростію, чистѣйшей нравственностію и превосходнымъ аппетитомъ. Что касается до нравственности — ею проникнутъ весь романъ, начиная съ заглавія до обертки. Слогъ самый ученый, ибо преизобильно усѣянъ, словно веснушками на лицѣ, «сими» и «оными»; языкъ персонажей есть языкъ лучшаго общества.

*) Рязанцы особенно храбры: у нихъ не только живые, но и мертвецы оказываютъ послѣднія усилія отчаяннаго мужества. (Ч. I, стр. 99).

ГРАММАТИЧЕСКІЕ УРОКИ РУССКАГО ЯЗЫКА. *Дмитрія Каширина, старшаго учителя Пинскаго дворянскаго училища, нравственно-политическихъ наукъ действительнаго студента. Москва. 1835.*

Мы долго добивались значенія и цѣли этой книжки и никакъ не могли добиться. Сколько мы могли понять, тутъ дѣло идетъ о грамматической реформѣ и точно въ такомъ же духѣ, какъ и у всѣхъ нашихъ грамматическихъ реформаторовъ. Переименовать терминъ, не переименовавъ вещи, и думаютъ, что очень много сдѣлали. Напр., дѣло давно рѣшено, что буквы *ъ, ъ, ѣ* суть полугласныя, такъ нѣтъ: для послѣдней изъ нихъ г. Каширинъ выдумываетъ новое названіе — подручной или краткой; мѣстоименіе, этотъ терминъ, такъ правильно, такъ удачно составленный, такъ хорошо выражающій идею и значеніе этой части рѣчи, мѣстоименіе, къ которому мы такъ привыкли, такъ прислушались, съ которымъ такъ освоились съ самаго дѣтства, мѣстоименіе г. Каширинъ перекрещиваетъ въ «лицесловіе» или «лицеуказаніе» и думаетъ, что онъ этимъ далеко подвигаетъ впередъ русскую грамматику. Странное дѣло, какъ можно придавать столько важности такимъ мелочамъ, какъ можно заниматься ими? Неужели наука ограничивается только этимъ? Неужели для человѣка, для его мысли, его чувства, не существуетъ другихъ, высшихъ интересовъ въ самой грамматикѣ? Неужели тотъ болѣе христіанинъ, кто вступаетъ въ церковь правою ногою, нежели тотъ, кто вступаетъ въ нее лѣвою?... Вѣдь были же такія времена, когда люди и объ этомъ спорили фанатически!

Съ удивленіемъ увидѣлъ я изъ этой первой тетради «Грамматическихъ уроковъ», что въ русскомъ языкѣ только пять гласныхъ буквъ: *а, о, у, і, э*; куда же дѣвались: *е, ѣ, я, ю, ѳ*? Съ удивленіемъ увидѣлъ я, что частей рѣчи въ русской грамматикѣ десять; что числительныя прилагательныя

(составляющія одно отдѣленіе съ прилагательными обстоя-
тельственными) составляютъ особенную часть рѣчи; что есть
особенная часть рѣчи — глаголъ коренной (вѣроятно, *быть*)
и пр. и пр., всего не перечтешь.

Мы желаемъ узнать отъ г. Каширина, какую принялъ онъ
систему въ изложеніи грамматики, ибо изъ первой тетради,
которой титулъ мы выписали, вмѣстѣ съ гражданскимъ ти-
туломъ г. автора, мы этого не видимъ. Кажись, дѣло идетъ
о буквахъ и словахъ, но зачѣмъ же тутъ вмѣшалось право-
писаніе—не понимаемъ. Что же касается до правописанія, то
мы въ этомъ отношеніи вполне согласны съ рецензентомъ
«Библіотеки для Чтенія», который говоритъ, что наше пра-
вописаніе пестритъ страницу безъ всякой нужды прописными
буквами и что «кланяться большими буквами извѣстнымъ звач-
ніямъ ни на что*ни похоже, потому что буквы не созданы
для поклоновъ и должны стоять прямо». Въ самомъ дѣлѣ,
развѣ прописныя буквы существуютъ въ произношеніи, развѣ
они не суть дѣло условное? Если въ началѣ рѣчи и въ соб-
ственныхъ словахъ принято писать большія буквы, то зачѣмъ
же писать ихъ въ словахъ нарицательныхъ? А развѣ коро-
левство, профессоръ, генералъ и даже дѣйствительный сту-
дентъ, не такія же нарицательныя слова, какъ уѣздъ, округъ,
ученикъ, солдатъ? По моему мнѣнію, такъ прилагательныя,
происходящія отъ собственныхъ именъ, должно писать стро-
чными буквами; вѣдь нарѣчія, происходящія отъ собствен-
ныхъ прилагательныхъ (по-русски, по-нѣмецки), обходятся
же безъ прописныхъ буквъ.

ОТВѢТЪ БРИТИКАМЪ, *разсуждающимъ при (объ?) моемъ объявленіи: Краткая система русской грамматики, заключающая въ себѣ многія новѣйшія правила и критическій разборъ другихъ грамматикъ и пр., по которой обучаясь, легко можно изучать и грамматику употребительнѣйшихъ иностранныхъ языковъ; какъ-то: Французскаго, Латинскаго и Нѣмецкаго. Москва. 1835.*

Удивительные успѣхи оказываетъ у насъ литературная промышленность! Право, нельзя не подивиться ея ловкости, изворотливости и дѣятельности! Какая у ней смѣтливость! какое у ней чутье! Она знаетъ, когда надо пускать въ оборотъ романы, когда повѣсти, когда драмы, когда учебныя книги! Этого мало, она знаетъ, когда и какія именно надо дѣлать учебныя книги! Она теперь принялась за грамматику! Бѣдная грамматика! Чего не дѣлаетъ она съ нею!

Г. Гуслистый выдаетъ себя за педагога; сперва онѣ издавалъ разные буквари, способы выучивать дѣтей въ нѣсколько часовъ грамотѣ, но, видно, это невыгодно; теперь онѣ прикинулся грамматическимъ реформаторомъ и грозитъ показать намъ истинную систему русской грамматики. Для этого онѣ вывѣсилъ въ книжной лавкѣ Н. Н. Глазунова огромную программу, напечатанную крупными литерами разныхъ шрифтовъ; но и этого ему показалось мало: онѣ выдумалъ, что у него есть враги, завистники, которые будто бы разобидѣли его систему еще до появленія ея на бѣлый свѣтъ. Я, никогда и нѣчего не слышавшій о системѣ г. Гуслистаго, ни о его врагахъ и завистникахъ, тщетно ломалъ себѣ голову, чтобы узнать, который изъ нашихъ журналовъ былъ такъ не самолюбивъ, такъ не уважителенъ къ самому себѣ, что обнаружилъ неприязнь и зависть къ г. Гуслистому. Наконецъ, къ крайнему удивленію моему, увидѣлъ, что г. Гуслистый сочи-

нилъ себѣ непріятелей и завистниковъ, за немѣніемъ настоящихъ. Что за литераторъ, у котораго нѣтъ враговъ? Что за книга, которой даже и не бранять?

Но что за система г. Гуслистаго? Этого я никакъ не могъ понять; это что-то въ родѣ сфинксовой загадки, на которую едва ли найдется новый Эдипъ. И потому я не стану разбирать ее, а потѣшу васъ выпискою изъ брошюрки г. Гуслистаго; изъ этой выписки вы лучше узнаете, что за система г. Гуслистаго и можетъ ли она возбудить непріязнь и зависть. И такъ слушайте:

«Вотъ задача, надъ рѣшеніемъ которой я теперь тружуся! вотъ основа моего сочиненія!—Не знаю, понравится ли это нашимъ лингвистамъ? Впрочемъ, согласится они, или нѣтъ, я на то мало смотрю! Четыре года трудился я надъ сею идеею и отъ нее (я?) не отступлю. Четыре года!—Скажутъ: мало, очень мало!!— Конечно, не много, но я доказалъ, что могъ въ два часа найти, а въ три мѣсяца издать то, чего другіе долго и даже очень долго не находили. Я указываю на мой способъ обученія чтенію. Да! смѣло могу гордиться симъ произведеніемъ. Его многіе еще не понимаютъ или не хотятъ понять, это меня не беспокоитъ, будетъ время, поймутъ и по неволѣ со мною согласятся. Ежели бы я въ силахъ былъ такъ отчетливо изложить грамматику, сію великую, необходимую науку народовъ, я былъ бы благодаренъ провидѣнію. Не принесъ бы 100 валовъ какъ Пинегоръ, но 100 дней пожертвовалъ бы Тому, отъ Котораго вся наша и мысль и воля и совершеніе ея. Но, признаюсь, при всемъ моемъ усиліи представить въ семъ отношеніи что-либо похожее на *chef-d'oeuvre*, вижу высокую трудность и еще не напечатавши своей системы — готовъ оную перепечатать, но увѣренъ также, что перечерчивши, опять буду чернить».

Что сказать на это?...

**О ЖИЗНИ И ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ СИРА ВАЛЬТЕРА
СКОТТА.** *Сочиненіе Аллана Каммингама. Переводъ
Дьяницы Д..... Спб. 1835.*

Переводъ и изданіе этой книги принадлежитъ къ числу рѣдкихъ и утѣшительныхъ явленій въ нашей литературѣ, кото-

рыя бывають результатомъ мысли, исполняются сою ашого и съ толкомъ. Кому неизвѣстно великое имя Вальтеръ-Скотта, оглашавшее своимъ громомъ болѣе четверти вѣка, а теперь сіяющее для потомства кроткимъ и благотворнымъ свѣтомъ? Кто не знаетъ созданій этого громаднаго и скромнаго генія, который былъ литературнымъ Колумбомъ и открылъ для жаждущаго вкуса новый, неисчерпаемый источникъ изящныхъ наслажденій, который далъ искусству новыя средства, облекъ его въ новое могущество, разгадалъ потребность вѣка и соединилъ дѣйствительность съ вымысломъ, примирилъ жизнь съ мечтою, сочеталъ исторію съ поэзіею. Кто не читалъ и не перечитывалъ этихъ разнообразныхъ созданій, въ которыхъ средніе вѣка возстають, и движутся, и проходятъ передъ нами, дышащіе всею полнотою своей жизни, играющіе всѣми радужными и мрачными лучами своей волшебной фантазмагоріи? Кто, наконецъ, не жилъ въ этомъ роскошномъ и разнообразномъ мірѣ чудесныхъ событій, дивныхъ фізіономій, начиная отъ фанатическихъ войнъ пуританскихъ до войнъ за вѣру въ Азіи, отъ колоссальной фигуры фанатика Бурлея до фантастическихъ образовъ Ричарда, Лудвига XI, Карла Смѣлаго? Боже великій! Чтò за дивный міръ, сколько портретовъ, сколько фізіономій,

Какая смѣсь одеждъ и лицъ,
Племень, нарѣчій, состояній!

О, это цѣлая и огромная панорама вселенной, въ которой движутся и толпятся всевозможныя явленія человѣческой жизни, заключенныя въ волшебныя рамы вымысла! И есть люди, которые сомнѣваются и отвергаютъ поэтическій талантъ Вальтеръ-Скотта, называя неестественнымъ и нелѣпымъ соединеніе исторіи съ вымысломъ... Стоять ли эти люди опроверженія?... Какъ! стало-быть и большая часть драмъ Шекспира, Шиллера, Гёте, суть незаконныя чада воображенія,

а ихъ творцы не художники, не поэты? Иначе, за что же такое предпочтеніе драмѣ предъ романомъ? За что эта монополія на исторію въ пользу драмы? Стало-быть, жизнь историческая не можетъ быть предметомъ поэтическаго представленія, такъ же, какъ и жизнь частная? Развѣ законы той и другой не тождественны? Развѣ народная жизнь образуется не изъ дѣйствія частныхъ интересовъ и побужденій, характеризующихъ человѣка? И потомъ, развѣ мы можемъ видѣть въ исторіи всѣ тайныя пружины и причины великихъ событій, часто теряющихся въ самыхъ частныхъ дѣйствіяхъ и побужденіяхъ? Въ исторіи мы видимъ сцену и декорации; почему же роману не обнажать намъ тайнъ закулисныхъ, имѣющихъ такое тѣсное отношеніе съ сценою? Вы не любите, чтобы нарушали историческую истину? Странное дѣло! Кто будетъ такъ нелѣпъ, чтобы не отличить истины отъ вымысла, или учиться исторіи по романамъ. Къ тому же, самъ историкъ болѣе или менѣе есть творецъ характеровъ историческихъ, ибо при всемъ своемъ стараніи быть вѣрнымъ фактамъ, каждый историкъ болѣе или менѣе придаетъ особенный оттѣнокъ каждому историческому лицу, сколько потому, что часто сами факты бываютъ недостаточны, темны, противорѣчащи, столько и потому, что всякій индивидуумъ имѣетъ свой собственный образъ воззрѣнія на предметы. Почему же поэту не позволено понять по своему то или другое историческое лице и воспроизвести его въ художественномъ созданіи сообразно съ своимъ о немъ понятіемъ, и обставить его обстоятельствами, частію истинными, но больше вымышленными, которые бы характеризовали его историческую и человѣческую личность?

Какъ ни нелѣпы сомнѣнія на счетъ законности художественнаго сочетанія исторіи съ вымысломъ, какъ ни безнравственны упреки, дѣлаемые Вальтеръ-Скотту въ безнравственности его созданій, но все это ничто предъ сомнѣніемъ въ поэтическомъ талантѣ автора «Пуританъ» и «Ивангое». Здѣсь

было бы неумѣстно и бесполезно распространяться объ этомъ вопросѣ, давно уже рѣшенномъ европейскою, или, лучше сказать, всемірною славою Вальтеръ-Скотта. Авторитетъ не доказательство, скажете вы. Нѣтъ—я съ этимъ не согласенъ. Знаете-ли что? У народа есть какое-то чутье, столь вѣрное, что онъ никогда не обманывается ни въ своихъ любимцахъ, ни въ предметахъ своего равнодушія. Я не знаю изъ нашихъ русскихъ поэтовъ никого, чья бы слава и народность была такъ прочна, такъ безсмертна, какъ слава Пушкина и Грибоѣдова. Державина, Озерова, Жуковского, Батюшкова и нѣкоторыхъ другихъ будутъ помнить записные литераторы, люди книжные; Пушкина и Грибоѣдова будетъ помнить и знать народъ. Сюда должно причислить еще Крылова. Правда, нашъ вѣкъ слишкомъ уменъ, важенъ, хитръ и лукавъ, слишкомъ занятъ высшими, человѣческими интересами, и не можетъ пафнаться ни простодушіемъ, ни затѣйливостію басни, не можетъ почерпать въ ней уроковъ мудрости; онъ смотритъ на нее, какъ на поэтическую игрушку, какъ смотрѣлъ прошлый вѣкъ на тріолеты, мадригалы и рондо; но для басни остается еще обширный кругъ почитателей: это народъ, масса народа. Съ постепеннымъ образованіемъ въ Россіи низшихъ и среднихъ классовъ народа, число читателей басенъ Крылова будетъ безпрестанно умножаться, и придетъ время, когда онѣ сдѣлаются ходячею философіею народа, въ полномъ смыслѣ этого слова, когда онѣ будутъ издаваться десятками тысячъ экземпляровъ; онѣ, а виѣтъ съ ними и слава Крылова, погаснутъ только съ жизнію народа. Вы скажете: но вѣдь авторитеты Тредьяковскаго, Сумарокова, Хераскова и другихъ были не меньше авторитетовъ Крылова, Пушкина и Грибоѣдова? Такъ—но педанты, толпа и чернь еще не народъ. Точно то же было и въ другихъ литературахъ: Нѣмецъ призналъ Гёте и Шиллера своею національною славою; Франція апплодируетъ на улицѣ, когда видитъ Беранже; Джонъ Буль, любитъ и любитъ своего стараго Вилля. Но этотъ же Джонъ Буль,

скажете вы, заплатилъ семь съ половиною фунтовъ стерлинговъ за «Потерянный Рай». Такъ, но знаете ли что? у меня пристрастный и пренелѣпный вкусъ: я самъ не дорого бы далъ этому забытому народомъ и прославленному восемнадцатымъ вѣкомъ поэту, котораго неестественная и напряженная фантазія изобрѣла порохъ и пушки еще прежде Адама и Евы и заставила дьяволовъ стрѣлять изъ этихъ пушекъ въ ангеловъ. Многие находятъ въ этомъ удивительное величіе и исполнскую силу воображенія; но я (и очень многие, если не всѣ) нахожу тутъ одну уродливость, которой истинный художникъ никогда не могъ бы выдумать. Нѣтъ, воля ваша, а гласъ народа, гласъ Божій, и народъ и вѣка самые непогрѣшительные критики. На Вальтеръ-Скотта и народъ и народы и человѣчество давно уже возложили вѣнецъ поэтической славы: остается вѣкамъ и потомству скрѣпить опредѣленіе современниковъ—и это будетъ! Такъ какому ли нибудь самозванному барону удастся снять этотъ вѣнокъ съ лучезарной головы гениальнаго баронета?...

Переводчица сочиненія Аллана Каннингама о жизни и сочиненіяхъ Вальтеръ-Скотта, въ довольно обширномъ предисловіи, отстаиваетъ съ жаромъ поэтическую славу гениальнаго Шотландца отъ нападеній Барона Брамбеуса. Въ ея разсужденіи видѣнъ свѣтлый, образованный умъ и теплое чувство, мы прочли его съ живымъ удовольствіемъ, и оно показалось намъ лучше самой книги. Жаль только, что она сражалась съ почтеннымъ барономъ не равнымъ оружіемъ, отчего и бой былъ очень не равенъ. Причина та, что она ошибочно поняла нападки Барона на Вальтеръ-Скотта и приняла его шутки и мистификаціи за дѣло. Баронъ Брамбеусъ человѣкъ очень умный, и надо умѣть понимать его, чтобъ быть въ состояніи съ нимъ сражаться. Да, я почитаю за шутки, очень милыя и остроумныя, его нападки на автора «Пуританъ», на Юную Словесность, такъ же какъ почитаю за шутки критики г. О. О. на «Черную Женщину» г. Греча, «Ма-

зепу» г. Булгарина, и въ то же время высоко цѣню критику того же лица на «Роксолану» г. Кукольника, рецензію на «Притчи Крумахера» и нѣкоторыя другія книги. Въ самомъ дѣлѣ, надо знать, когда человѣкъ говоритъ дѣло, когда шутить, и на дѣло надо отвѣчать серьезно, а на шутки шутками. Посмотрите, какъ мило и тонко поступаетъ, въ этомъ случаѣ, г. Булгаринъ, заставляя бѣлорускаго мужика защищать противъ Барона Брамбеуса свои любезныя «сіи» и «оныя»! И въ то же время, посмотрите, какъ неловко и неуклюже начала воевать съ «Библіотекою для Чтенія» «С. Пчела», еще недавно ея постоянная и усердная партизанка. Но какъ бы то ни было, а предисловіе Дѣвицы Д..... написано умно и можетъ быть полезно для многихъ читателей. Жаль только, что она, возражая Барону со всѣмъ достоинствомъ и всею твердостью человѣка, чувствующаго правоту своего дѣла, слишкомъ смиренно обезоруживаетъ, на всякій случай, его гнѣвъ, давая ему замѣтить, что въ ея книгѣ нѣтъ опасныхъ «сихъ» и «онихъ». Теперь о самой книгѣ. Она довольно интересна, какъ всѣ книги, даже посредственныя, въ которыхъ содержатся какія-нибудь подробности о жизни великаго человѣка. Но книга все-таки посредственна, потому что г. Алланъ Каннингамъ человѣкъ очень недалкій въ литературѣ и, какъ кажется, принадлежитъ къ числу литературныхъ рыцарей печальнаго образа. Его критическіе взгляды на сочиненія Скотта довольно мелки и поверхностны, понятія о творчествѣ тоже очень не далеки. Впрочемъ онъ добрый человѣкъ и очень любить Вальтеръ-Скотта; да какъ и не любить: онъ имѣлъ благосклонность похвалить его сочиненіе, всѣми разруганное. Переводчица книги Каннингама обѣщаетъ еще перевести нѣсколько сочиненій о жизни горячо любимаго ею автора; мы отъ всей души желаемъ, чтобы она выполнила свое обѣщаніе.

Переводъ вообще очень хорошъ, хотя мѣстами и встрѣчаются неправильности и даже темнота въ слогѣ, какъ, напр., «В. С. въ 1813 году объявилъ (publia—издалъ?) Матильду

Рокби», или: «Каждый день писалъ болѣе десяти печатныхъ листовъ», т. е. по цѣлой книгѣ? Это невозможно: вѣрно есть ошибка въ переводѣ. Впрочемъ это все мелочи, которыя ни мало не вредятъ достоинству перевода вообще, и я выставляю ихъ не для публики, а для переводчицы, чтобъ она обратила на нихъ свое вниманіе при своихъ слѣдующихъ переводахъ. Но вотъ о чемъ хочу я еще замѣтить—о правописаніи. Это предметъ теперь очень важный въ нашей письменности. И въ самомъ дѣлѣ, посмотрите: съ одной стороны, «Библіотека для Чтенія», съ которою мы, въ этомъ отношеніи, совершенно согласны, производитъ въ языкѣ, и особенно въ правописаніи, реформу, съ другой безпрестанно появляющіяся грамматики, каждая по своему, также сходятся произвести реформу. Что это значитъ? То, что намъ надоѣла разногласица, что мы хотимъ согласиться хотя въ правописаніи. Давно бы пора! Спорный пунктъ больше всего о прописныхъ буквахъ. Кажется, дѣло очень ясно, и не о чемъ бы и спорить: такъ нѣтъ, наши литераторы упрямо держатся старины, даже тогда, какъ сами хлопочутъ изъ всѣхъ силъ о преобразованіи языка. Напримѣръ: вслѣдствіе какихъ причинъ, переводчица книги Каннингама ставитъ прописныя буквы въ началѣ словъ: геній, литература, литераторъ, искусство, поэзія, поэтъ, поэма, ода, драма, романъ, романистъ, драматикъ, океанъ (жизни) и пр.? Мы знаемъ, что геній гораздо выше не только титулярнаго совѣтника, но и коллежскаго ассессора, мы знаемъ, что слова: поэзія, искусство, романъ, драма и пр. выражаютъ предметы священные для нашего чувства; но вѣдь геній такое же нарицательное слово, какъ и глупецъ, но вѣдь добродѣтель, слава, честь, храбрость, самоотверженіе также выражаютъ идеи, священные для нашего человѣческаго чувства: зачѣмъ же въ словахъ: глупецъ, добродѣтель, самоотверженіе начальные литеры пишутся маленькія? Собственное имя есть то, съ которымъ соединяется понятіе о какомъ-нибудь индивидуумѣ; Алексѣевъ много, но когда я говорю: я видѣлъ вчера Алексѣя,

то разумѣю здѣсь извѣстное лице, единственное въ мірѣ, представляю себѣ въ это время его образъ, черты лица и всё его особенности; также точно и съ словомъ: Пушкинъ, я разумѣю творца Онѣгина, одного въ мірѣ, но когда говорю: Байронъ былъ геній, то словомъ геній означаю не индивидуальность, а принадлежность, атрибутъ, какъ и словомъ: уменъ, высокъ, глупъ, низокъ. Если мы будемъ изъяснять свое уваженіе къ идеямъ, выражающимъ человѣческое достоинство, большими буквами, то наша печать должна превратиться въ какую-то пеструю и безобразную набойку, и здравый смыслъ требуетъ, чтобы для словъ, выражающихъ идеи низкія, какъ-то: подлость, неблагодарность, коварство и пр., были придуманы особенныя буквы, или кривыя, или самыя маленькія. Конечно, странно въ наше время съ важностію разсуждать о такихъ мелочахъ, какъ стихотворные размѣры, октавы, или о большихъ и малыхъ буквахъ, и придавать этимъ вздорамъ какую-нибудь важность; но надо же и въ мелочахъ слѣдовать здравому смыслу; если есть опредѣленная форма въ платьѣ, въ обращеніи, почему же не быть имъ и въ печати? Вамъ нравится человѣкъ, одѣвающийся опрятно и со вкусомъ, соблюдающій условія вѣжливости и хорошаго тона: почему же вы не хотите позаботиться о томъ, чтобы ваша книга была напечатана опрятно, красиво, изящно; а если такъ, то зачѣмъ же вы безобразите ее, безъ всякой нужды, этою отвратительною пестротой, которая такъ непріятно рябитъ въ глазахъ? Можно одѣться богато, но безвкусно; можно напечатать книгу великолѣпно и безвкусно. Нашъ вѣкъ любитъ во всемъ совершенство, и иностранныя книги, даже слишкомъ скромно изданныя, всегда отличаются какою-то изящностію, происходящею отъ вкуса, отпечатокъ котораго онѣ на себѣ носятъ.

КРАТКАЯ ГЕОГРАФІЯ ДЛЯ ДѢТЕЙ, *изданная по руководству Г-на Статскаго Советника и Кавалера И. А. Гейма. Деятое изданіе. Москва. 1835.*

Эта крохотная книжечка принадлежитъ къ числу тѣхъ жалкихъ спекуляцій и неудачныхъ компиляцій, о которыхъ не слѣдовало бы и упоминать, если бы онѣ не были въ высочайшей степени вредны. Мы не будемъ поддерживать своего мнѣнія неумѣстными доказательствами, мы не будемъ осыпать нашихъ читателей собственными именами и утомлять сухою ученостію; такъ какъ дѣло очень ясно и коротко, то мы опираемся на ихъ здравый смыслъ и спрашиваемъ ихъ: можно ли въ книжонкѣ, состоящей изъ шести печатныхъ листовъ, помѣстить описаніе цѣлаго земнаго шара, рассматриваемаго въ трехъ обширныхъ значеніяхъ? Географія есть по преимуществу наука обширная; краткость ея изложенія всего скорѣе дѣлаетъ ее недоступною для изученія, сообщая ей характеръ сухости, темноты и сбивчивости. Напротивъ, чѣмъ въ обширнѣйшемъ объемѣ излагается она, тѣмъ дѣлается занимательнѣе, живѣе, интереснѣе, понятнѣе и, слѣдовательно, доступнѣе для изученія. Господинъ компиляторъ начинается, какъ водится, дурнымъ опредѣленіемъ географіи, изъ котораго не выводится раздѣленія науки на три части; на пяти листикахъ излагаетъ математическую, физическую географію и, сверхъ того, введеніе въ политическую; говоритъ, что «круглота земли доказывается неодинаковымъ временемъ восхожденія и захожденія солнца, лунными затмѣніями, морскими путешествіями и возвышеніемъ и пониженіемъ полярной звѣзды», не объясняя ни однимъ словомъ этихъ доказательствъ и забывая еще объ одномъ, т. е. различности звѣздъ, видимыхъ жителями сѣвернаго полушарія и ихъ антиподами; потомъ вычисляетъ земные круги, тоже ни однимъ словомъ не объясняя ихъ значенія. Въ политическомъ опи-

саніи Россіи подробно распространяется о системѣ водныхъ сообщеній, что можетъ имѣть мѣсто только въ обширной географіи, состоящей, по крайней мѣрѣ, изъ ста листовъ, и по необходимости опускаетъ важные предметы. Ну, господа защитники всего, что дѣлается въ нашей литературѣ, какъ прикажете журналисту поступать съ такими явленіями книжнаго міра? Молчать о нихъ? но это было бы подло, потому что учебная книга не романъ, и если дурно составлена, то дѣлаетъ вреда не меньше чумы или холеры. Говорить о ней правду, но кротко и вѣжливо, — невозможно, потому что кровь невольно кипитъ, а вѣжливый тонъ не будетъ понятенъ ни для компиляторовъ, ни для покупателей. Браниться? но это унижительно для рецензента и противно приличію. Что же остается дѣлать? рѣшите сами, а я, между тѣмъ, замѣчу вамъ еще объ одномъ обстоятельстве, такъ общемъ и обыкновенномъ въ нашей современной литературѣ. Благодаря просвѣщеннымъ усиліямъ правительства и духа времени, у насъ проходитъ уже наглое невѣжество, гордящееся своимъ безобразіемъ; жажда къ просвѣщенію замѣтна во всѣхъ классахъ, и поэтому учебныя книги сдѣлались самымъ выгоднымъ товаромъ для книжныхъ производителей. Какъ же пользуются эти производители этимъ направленіемъ общества? Какія употребляютъ они средства удовлетворить его настоящей потребности? Они сокращаютъ и искажаютъ учебныя сочиненія старинныхъ авторовъ: оно и лучше, вѣдь умершій авторъ не будетъ требовать удовлетворенія изъ гроба за нанесенное ему оскорбленіе! Обыкновенно они выбираютъ такое сочиненіе, которое было когда-то въ славѣ, и уродуютъ его. Въ то время, когда иностранные журналы безпрестанно представляютъ результаты новѣйшихъ путешествій, когда многіе находятъ не вполне удовлетворительными и не слишкомъ обширными творенія Бальби и Мальте-Брёна, наши компиляторы довольствуются господиномъ статскимъ совѣтникомъ и кавалеромъ Н. А. Геймомъ.

ОПЫТЪ ИСЛѢДОВАНІЯ НѢКОТОРЫХЪ ТЕОРЕТИЧЕСКИХЪ ВОПРОСОВЪ. Соч. Константина Зеленецкаго. Книжка первая. Москва. 1835.

Мы не можемъ быть слишкомъ строги къ брошюрѣ г. Зеленецкаго, потому что всякое усиліе къ мысленію, всякое уваженіе къ высокимъ человѣческимъ предметамъ, невольно располагають насъ въ пользу автора. Бездарный ремесленникъ, безталанный романистъ, въ нашихъ глазахъ, творенія гадкія, ненавистныя, вредныя и не заслуживающія никакой пощады; но люди, обнаруживающіе какую-нибудь мыслительность, или, по крайней мѣрѣ, какую-нибудь любовь къ мыслительности, заслуживаютъ въ нашихъ глазахъ высокое уваженіе, когда хорошо исполняютъ свое дѣло, и снисхожденіе, когда обнаруживаютъ слабость мысли или дѣтскость въ сужденіяхъ. Мы не нашли въ книжкѣ г. Зеленецкаго никакихъ нецѣлостей, никакихъ вздоровъ, хотя въ то же время не нашли ничего новаго или заслуживающаго особенное вниманіе. Онъ разсуждаетъ о трехъ предметахъ: а) О мѣстѣ, занимаемомъ логикою въ системѣ философіи; б) О содержаніи и расположеніи географіи; в) О предметѣ и значеніи политической исторіи. Въ первомъ авторъ излагаетъ мнѣнія известныхъ философовъ о значеніи логики какъ науки и доказываетъ, что логику не должно условливать метафизикою, какъ то думаетъ Шеллингъ, что ея не должно смѣшивать съ метафизикою, какъ то сдѣлалъ Гегель, но что лучше принимать ее въ томъ значеніи, которое придаетъ ей Кантъ, называя ее наукою чисто формальною; взглядъ Канта кажется автору болѣе подходящимъ къ истинѣ. Во второмъ разсужденіи, которое намъ кажется слабѣе всѣхъ, авторъ нападаетъ, отчасти справедливо, на преподаваніе въ Россіи географіи, и представляетъ свой планъ географіи, въ которомъ мы не нашли ничего новаго, кромѣ того, что авторъ почитаетъ необходимымъ «этно-

графическое обозрѣніе человѣческаго рода» прежде изложенія политическаго раздѣленія племенъ человѣческихъ. Вотъ результатъ третьяго разсужденія: «Политическая исторія народа есть исторія его личности, есть изложеніе основной его жизни, жизни той стихіи, которую проявить въ извѣстномъ періодѣ челоѣчества суждено сему народу. Всеобщая политическая исторія, какъ исторія взаимно-отношеній народовъ, т. е. ихъ личностей, есть представитель жизни всѣхъ стихій челоѣчества, во всѣ періоды его бытія».

Книжка г. Зеленецкаго порадовала насъ, какъ безкорыстное стремленіе къ мыслительности, до которой у насъ такъ мало охотниковъ и для которой у насъ такъ много самыхъ ожесточенныхъ враговъ. Но она глубоко огорчила и оскорбила насъ въ другомъ отношеніи, а именно, какъ доказательство, что у насъ еще не умѣютъ складно и общежительно выражаться на русскомъ языкѣ. Скажите, чего вы должны ожидать отъ какого-нибудь рѣмача или дюжиннаго романиста, если челоѣкъ, разсуждающій о Кантѣ, Шеллингѣ, Гегелѣ, о значеніи логики и исторіи, выражается языкомъ старопечатныхъ російскихъ книгъ? Неужели грамматика мудренѣе философіи? Неужели умѣніе порядочно выразиться труднѣе умѣнія порядочно мыслить?

ТРИ СЕРДЦА. *Александра Длинскаго. Москва. 1835.*

Несносенъ мальчикъ, который, заложивъ руки въ карманы, принявъ на себя серьезный видъ, ходитъ большими шагами по комнатѣ и представляетъ изъ себя большаго; несносенъ мѣщанинъ во дворянствѣ, челоѣкъ, рожденный въ пятнадцатомъ классѣ и добившись какъ-нибудь четырнадцатаго, и который подходитъ къ ручкѣ къ дамамъ, говорить съ барышнями о погодѣ, прибавляетъ ко всякому слову съ, требуетъ къ себѣ большой аттенціи и изъ всего этого заключаетъ, что опъ

благородная особа; несносенъ лакей, который павлиннться передъ своею братьею, надѣвъ урядной фракъ своего барина; но несноснѣе всего этого безталанный бумагомаратель, который пародируетъ знаменитыхъ писателей и суется туда же «подмѣчать первый яркій румянецъ на лицѣ дѣвушки и подслушивать первое бѣненіе сердца ея, первый вздохъ ея».

«Кто бы, продолжалъ Бетинъ, — смотря на эту малютку, не сказалъ, что одна изъ розъ этого сада вдругъ ожила! Проклятая шампанская зараза! Теперь я долженъ сидѣть въ этомъ карантинѣ, гдѣ судьба состроила заставу изъ трехъ бутылокъ, и я не могу пройти сивозъ нее... не могу получить аудіенціи до тѣхъ поръ, пока не буду чистъ какъ правовѣрный мусульманинъ, который сроду не нюхалъ благословеннаго напитка! А до тѣхъ поръ сердце мое можетъ десять разъ превратиться въ пепелъ отъ этого чистилищнаго огня, который пылаетъ въ глазахъ ея... А эти волосы... влинусь всѣмъ, что каждый волосокъ ея прицѣпить на себя по десятку сердецъ нашихъ... о тогда бѣда, если она надѣнетъ шляпку: они задохнутся!»

Неужели въ этомъ пошломъ мадригальничаньи и есть что-нибудь остраго, умнаго, затѣйливаго, достойнаго вниманія образованнаго читателя?... Правда, у г. Долинскаго говорить это пьяный пьянюшка; но, во первыхъ, неужели все, что можетъ взбрести въ голову пьяному дураку, должно доводиться до свѣдѣнія публики; а, во вторыхъ, у г. Долинскаго и трезвые говорить не умнѣе пьянаго.

ПОБОЙНЫЙ МУЖЪ И ВДОВА ЕГО. *Комедія-водевиль въ одномъ дѣйствіи. Федора Кони. Москва. 1835.*

ИВАНЪ САВЕЛЫЧЪ. *Московская шутка-водевиль въ двухъ дѣйствіяхъ. Федора Кони. Москва. 1835.*

ЗАГОВОРЪ ПРОТИВЪ СЕБЯ, ИЛИ СОНЪ ВЪ РУКУ.
Сценическая бездѣлка въ одномъ дѣйствіи, въ стихахъ. Соч. Гавр. Фонъ-Бейера. Спб. 1835.

Не все то легко, что кажется легкимъ съ перваго взгляда. Ничего нѣтъ легче, какъ сочинить водевиль, и ничего нѣтъ

труднѣе, какъ сдѣлать водевилъ. Очевидно, что тайна этого противорѣчія заключается въ талантѣ: есть онъ — и легко; нѣтъ его — и трудно, а, кажись, въ обоихъ случаяхъ нѣтъ ничего легче. Наши водевили могутъ служить лучшимъ доказательствомъ этой истины. Во первыхъ, они по большей части суть передѣлки французскихъ водевилей, слѣдовательно, куплеты, остроты, смѣшныя положенія, завязка и развязка — все готово, умѣйте только воспользоваться. И что же выходитъ? Эта легкость, естественность, живость, которая невольно увлекала и тѣшила ваше воображеніе, во французскомъ водевилѣ, эта острота, эти милыя глупости, это кокетство таланта, эта игра ума, эти гримасы фантазіи, словомъ, все это исчезаетъ въ русской копіи, а остается одна тяжеловатость, неловкость, неестественность, натянутасть, дватри каламбура, два-три экивока — и больше ничего. Не будемъ строги къ нашимъ водевилистамъ, не будемъ требовать отъ нихъ особенной живости, большого остроумія; но можемъ ли мы не требовать отъ нихъ естественности и здраваго смысла? Здравый смыслъ особенно вещь очень нужная: безъ него и водевилю такъ же нельзя обойтись, какъ драмѣ или комедіи. И при этой-то нищетѣ даже въ здоровомъ смыслѣ, при этой-то безталанности, сколько претензій, сколько важничанья! Вообразите себѣ, къ водевилю, вмѣсто предисловія, сцена изъ «Фауста»!... Гдѣ же тутъ здравый смыслъ?... Бумажная корона очень забавна на головѣ буфона, но золотая... Воля ваша, гг. водевилисты, а есть вещи, которыми не должно шутить!...

«Покойникъ мужъ» на сценѣ очень милъ, очень забавенъ; даже въ самомъ чтеніи (тотчасъ послѣ обѣда, особенно послѣ сытнаго обѣда) онъ забавенъ. Но «Иванъ Савельичъ» — воля ваша, г. авторъ, такъ не шутятъ добрые люди! Въ шуткѣ, какъ и во всемъ, здравый смыслъ важнѣе всего; но гдѣ же онъ, этотъ здравый смыслъ, въ «Иванѣ Савельичѣ»? Старикъ дядя уходитъ спать, а его племянникъ и племянница затѣ-

ваютъ пиръ на весь міръ и думаютъ, что больной и добрый ихъ дяденька не узнаетъ объ ихъ проказахъ... И потомъ, этотъ дядюшка, играющій роль шута въ собственномъ домѣ, этотъ племянникъ и эта племянница, которыхъ характеръ и поступки такъ же естественны и возможны, какъ чудеса въ волшебныхъ сказкахъ—неужели все это можетъ служить забавою не только дѣтей, но даже взрослыхъ людей?... А эти клеветы на общество (разумѣется, самыя невинныя и самыя незлонамеренныя)—неужели во всемъ этомъ есть здравый смыслъ?... Конечно, никому не должно шумѣть изъ пустяковъ, никому не должно придавать большаго значенія малымъ вещамъ; смѣшонъ писатель, который снабжаетъ свои водевили и громкими предисловіями, и замысловатыми эпиграфами, и затѣйливыми заглавіями; смѣшонъ рецензентъ, который бы раскричался изъ-за водевиля, вмѣсто того, чтобы улыбнуться слегка и заставить другихъ улыбнуться слегка; но, господа, положимъ, что водевиль вздоръ, но вѣдь здравый-то смыслъ не вздоръ; положимъ, что изъ-за водевиля не должно горячиться, но вѣдь за искаженіе здраваго-то смысла нельзя не горячиться! Вы авторъ, слѣдовательно, вы требуете и похищаете мое вниманіе и мое время, а согласитесь, что досадно терять на вздоры то и другое.

И между тѣмъ «Иванъ Савельичъ» надѣлалъ много шума и произвелъ своимъ появленіемъ великія событія въ нашей литературѣ. Во первыхъ, онъ подалъ поводъ рецензенту «Библиотеки для Чтенія» написать предлинную рецензію и выказать въ ней весь блескъ этого удивительнаго остроумія, которому должно уступить остроуміе всѣхъ нашихъ водевилистовъ безъ исключенія; во вторыхъ, онъ навлекъ, со стороны остроумнаго критика, несправедливое нареканіе на нашу Москву. Въ самомъ дѣлѣ,

Москва вишь виновата!

Москва, вишь, не шутить, а ругается. Бѣдная Москва! Какъ не вспомнить при сей occasiō этихъ стиховъ:

На Москву послалъ Богъ кару:
Безъ копвечной свѣчи
Не бывать бы въ ней пожару.

Богъ судья г. Кони!...

«Заговоръ противъ себя, или сонъ въ руку» не водевиль а, изволите видѣть, сценическая бездѣлка. Бездѣлки вообще очень милы, когда искусно сдѣланы; чѣмъ вещь миниатюрнѣе, тѣмъ больше она требуетъ и искусства и тонкости въ отдѣлкѣ. Но г. фонъ-Бейеръ не мастеръ на галантерейныя вещицы; его бездѣлка носить на себѣ слишкомъ рѣзкіе слѣды топора и скобели. Я не говорю уже о томъ, что эта комедія нелѣпа въ высочайшей степени по своей завязкѣ и ходу, что она есть жалкое подражаніе старой пьесѣ «Романъ на большой дорогѣ»: все это еще куда-бъ ни шло. Но каково встрѣтить въ сценической бездѣлкѣ подобныя несценическія красоты:

Глядь: ваша матушка бѣжить въ ужасномъ горѣ.
«Представьте—говорить—здѣсь, право, воръ на воръ!
Ей-ей, дневной грабежъ! Какой-то тамъ пострѣлъ,
Въ толкучемъ, на сорокъ рублей меня огрѣлъ!»

Прочтя комедію, въ которой есть подобные стишки, по неволѣ вспомнишь стишки изъ другой, тоже преострой комедіи:

Для барышей кажихъ напуталъ ты комедію?
Вотъ здѣсь насъ четверо: кто дастъ полтину мѣдью?

III.,

ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СТАРИНА.

Нѣтъ ничего пріятнѣе, какъ созерцать минувшее и сравнивать его съ настоящимъ. Всякая черта прошедшаго времени, всякій отголосокъ изъ этой бездны, въ которую все стремится и изъ которой ничто не возвращается, для насъ любопытны, поучительны и даже прекрасны. Какъ бы ни нелѣпа была книга, какъ бы ни глупъ былъ журналъ, но если они принадлежатъ къ сферѣ идей и мыслей, уже не существующихъ, если ихъ оживляютъ интересы, къ которымъ мы уже холодны—то эта книга и этотъ журналъ получаютъ въ нашихъ глазахъ такое достоинство, какого они, можетъ-быть, не имѣли и въ глазахъ современниковъ: они дѣлаются для насъ живыми лѣтописями прошедшаго, говорящею могилою умершихъ надеждъ, интересовъ, задушевныхъ мнѣній, мыслей. Вотъ почему всякая книга, напечатанная у Гари, Любія и Попова, гуттенберговскими буквами, въ кожаномъ переплетѣ, порывѣющъ отъ времени, возбуждаетъ все мое любопытство; вотъ почему, увидѣвши гдѣ-нибудь разрозненные нумера «Поклющагося Трудюлюбца», «Агланъ», «Лицея», «Сѣвернаго Вѣстника», «Духа Журналовъ», «Благонамѣреннаго» и многихъ другихъ почившихъ журналовъ, я читаю ихъ съ какою-то жадностію и даже упоеніемъ. Не худо иногда напоминать старину въ пользу и поученіе настоящаго времени; не худо,

къ слову и к стати, воскрешать черты прошедшаго, иногда для смѣха, а иногда и для дѣла. Недавно попались мнѣ въ руки двѣ старинныя книги, одну изъ нихъ я зналъ когда-то наизусть: это знаменитая трагедія Сумарокова «Димитрій Самозванецъ»; другую увидѣлъ въ первый разъ: это переводъ Шекспирова «Юлія Цезаря», сдѣланный прозою, въ 1789 году, то есть почти за пятьдесятъ лѣтъ назадъ, когда на Руси о Шекспирѣ знали меньше, чѣмъ теперь о китайскихъ и индійскихъ поэтахъ, и когда въ самой Европѣ этотъ вѣнчанный царь поэтовъ почитался за пьянаго дикаря и варвара. Какъ первая книга показываетъ, что и въ старину было не меньше нынѣшняго этихъ непосредственныхъ головъ, этихъ жалкихъ рутиньеровъ, которые не боятся ходить только по избитымъ и протоптаннымъ дорогамъ и вѣрять на слово то г. Вольтеру, то г. Буало; такъ вторая книга показываетъ, что и въ старину были головы свѣтлыя, самостоятельныя, которыя не почитали за пустой призракъ своего ума и чувства, даннаго имъ Богомъ, которыя своему уму и чувству вѣрили болѣе, нежели всѣмъ авторитетамъ на свѣтѣ, любили мыслить по своему, идти наперекоръ общимъ мнѣніямъ и вѣрованіямъ, вопреки всѣмъ господамъ Вольтерамъ, Буало, Баттѣ и Лагарпамъ, этимъ грознымъ и могучимъ божествамъ своего времени. Такіе факты драгоцѣнны для души мыслящей и сердца чувствующаго, и ихъ должно откапывать въ пыли прошедшаго и показывать настоящему. Поэтому-то мы представляемъ здѣсь «предисловія» изъ обѣхъ книгъ, какъ къ пресловутому «Димитрію Самозванцу», трагедіи Александра Сумарокова, такъ и къ переводу «Юлія Цезаря» безвѣстнаго переводчика. Первое покажетъ намъ въ Сумароковѣ плохаго литератора, бездарнаго и самохвальнаго стихотворца, безсильнаго и ничтожнаго мыслителя въ дѣлѣ искусства, хотя, въ то же время, человѣка съ здравымъ смысломъ и благороднымъ образомъ сужденія въ обыкновенныхъ предметахъ человѣческой мысли; а второе покажетъ человѣка, который

своими понятіями объ искусствѣ далеко обогналъ свое время и поэтому заслуживаетъ не только наше вниманіе, но и удивленіе.

Вотъ предисловіе Сумарокова къ «Димитрію Самозванцу».

Слово Публика, какъ нѣгдѣ и г. Вольтеръ изъясняется, не знаменуетъ цѣлаго общества; но часть малую онаго: то есть людей знающихъ и вкусъ имущихъ. Если бы я писалъ о вкусѣ Диссертацию; я бы сказалъ то, что такое вкусъ, и изъяснилъ бы оное; но здѣсь дѣло не о томъ. Въ Парижѣ, какъ извѣстно, невѣждъ не мало, какъ и вездѣ; ибо вселенная по большой части ими наполнена. Слово чернь принадлежитъ низкому народу: а не слово: Подлой народъ; ибо подлой народъ суть каторжники и прочіи презрѣнныя твари, а не ремесленники и земледѣльцы. У насъ сіе имя вѣзмъ тѣмъ дается, которые не дворяны. Дворянныя! великая важность! Разумной священникъ и проповѣдникъ Величества Божія, или кратко Богословъ, Естествословъ, Астрономъ, Риторъ, Живописецъ, Скульпторъ, Архитектъ и проч., по сему глупому положенію члены черни. О несносная дворянская гордость, достойная презрѣнія! Истинная чернь суть невѣжды, хотя-бы они и великіе чины имѣли, богатство Крезово, и влекли бы свой родъ отъ Зевса и Юноны, которыхъ никогда не бывало, отъ сына Филиппова побѣдителя или паче разорителя вселенныя, отъ Юлія Цесаря утвердившаго славу римскую, или паче разрушившаго оную. Слово Публика и тамо, гдѣ гораздо много ученыхъ людей, не значить ничего. Людовикъ XIV далъ Парнасу золотой вѣкъ въ своемъ отечествѣ: но по смерти его вкусъ мало-по-малу сталъ исчезать. Не исчезъ еще; ибо видимъ мы онаго остатки въ Г. Вольтерѣ и во другихъ Французскихъ писателяхъ. Трагедіи и комедіи во Франціи пишутъ, но не видно еще ни Вольтера, ни Молиера. Ввелся новый и пакостный родъ слезныхъ комедій: ввелся тамъ; но тамъ не исторгнутся смена вкуса Расинова и Молиерова: а у насъ по Театру почти еще и начала нѣтъ; такъ такой скарредный вкусъ, а особливо вѣку Великія Екатерины не принадлежитъ. А дабы не впустить онаго, писалъ я о такихъ драмахъ къ Г. Вольтеру: но они въ сіе краткое время вползли уже въ Москву, не смѣя появиться въ Петербургъ: нашли всенародную похвалу и рукоплесканіе, какъ скарредно имъ переведена Евгенія, и какъ нагло Актриса подъ именемъ Евгеніи Бакханту имъ изображала: а сіе рукоплесканіе переводчикъ оныя драмы, какой-то подъячій, до небесъ возноситъ, соплетая зрителямъ похвалу и утверждая вкусъ ихъ. Подъячій сталъ судьбою Парнаса, и утвердителемъ вкуса Московской Публики! — Конечно, скоро представленіе свѣта будетъ. Но не уже ли Москва болѣе повѣрять подъячему, нежели Г. Вольтеру и мнѣ: я не

ужели вкусъ жителей Московскихъ сходнее со вкусомъ сего подъячаго! Подъячему соплетать похвалы вкуса Княжичей и Господичей Московскихъ, толь мыловѣстно, козь непристойно лажю хотя и приворному, мои пѣсни, безъ моей воли, портить, печатать и продавать, или противъ воли еще пребывающаго въ жизни автора портить его Драмы, и за порчу собирать деньги или съѣзжавшимся видѣть Семиру, сидѣть возлѣ самаго оркестра и грызть орѣхи, и думати, что когда за входъ заплачены деньги въ позорище, можно въ партерѣ въ кулачки биться, а въ ложахъ рассказывать исторіи своей недѣли громко, и грызть орѣхи; можно и дома грызть орѣхи; а публиковать газеты весьма малонужныя, можно и внѣ театра; ибо таковыя газетчики къ тому довольно времени нѣвѣютъ. Многія въ Москвѣ зрители и зрительницы, не для того на позорища ѣздить, дабы имъ слушать не нужныя имъ газеты: а грызеніе орѣховъ не приноситъ удовольствія, ни зрителямъ разумнымъ, ни актерамъ, ни трудившемуся во удовольствіе Публики автору: ево служба награжденія, а не наказанія достойна. Вы путешествовали, бывшія въ Парижѣ и въ Лондонѣ, скажите! грызутъ ли тамъ во время представленія драмы орѣхи; и когда представленіе въ пущемъ жарѣ своемъ, съгнутъ ли поссорившихся между собою пьяныхъ вучеровъ, ко тревогѣ всего партера, ложъ и Театра. Но какъ то ни есть: я жалѣю, что я не имѣю копій съ посланнаго къ Г. Вольтеру письма, бывъ тогда въ крайней разстройкѣ, и крайне боленъ, когда Князь Козловской отъѣзжавшій къ Г. Вольтеру по письму ко мнѣ завѣхалъ: я отдалъ мой подлинникъ ниже ево на бѣло переписавъ; однако отвѣтное письмо сего отличнаго автора и сльдственно и отличнаго знатока, нѣсколько моихъ вопросовъ заключаетъ: что до скаредной слезной комедіи касается. А етели ни Г. Вольтеру ни мнѣ кто въ этомъ повѣрить не хочетъ: такъ я похваляю и такой вкусъ, когда щи съ сахаромъ кушать будутъ, чай пия съ солью, кофе съ чеснокомъ: и съ молебномъ совокупять паннаенду. Между Талин и Мельпомены различіе таково, каково между дня и ночи, между жара и стужи и какаа между разумными зрителями Драмы и между безумными. Не по количеству голосовъ, но по качеству утверждается достоинство вещи: а качество имѣть основаніе на истиннѣ

Достойной похвалы невѣжи не умалять:

А то не похваля, когда невѣжи хвалять.

Вотъ предисловіе къ переводу «Юлія Цезаря»:

При изданіи сего Шекспирова творенія почитаю почти за необходимость писать предисловіе. До сего времени еще ни одно изъ сочи-

нений знаменитаго сего Автора не было переведено на языкъ нашъ; слѣдственно и ни одинъ изъ соотчичей моихъ, не читавшій Шекспира на другихъ языкахъ, не могъ имѣть достаточнаго о немъ понятія. Вообще сказать можно, что мы весьма незнакомы съ Англическою Литературою. Говорить о причинѣ сего почитаю здѣсь не катати. Доволенъ буду, если вниманіе читателей моихъ не отяготится и тѣмъ, что стану говорить собственно о Шекспирѣ и его твореніяхъ.

Авторъ сей жилъ въ Англіи во времена королевы Елисаветы, и былъ одинъ изъ тѣхъ великихъ духовъ, коими славятся въѣи. Сочиненія его суть сочиненія драматическія. Время, сей могущественный истребитель всего того, что подъ солнцемъ находится, не могло еще доселѣ затмить извѣстности и величія Шекспировыхъ твореній. Вся почти Англія согласна въ хвалѣ приписываемой Мужу сему. Пусть спросить упражнявшагося въ чтеніи Англичанина: каковъ Шекспиръ?— Вездѣ всякаго сомнѣнія будетъ онъ отвѣтствовать: Шекспиръ великъ! Шекспиръ неподражаемъ! Всѣ лучшіе Англическіе Писатели, послѣ Шекспира жившіе, съ великимъ тщаніемъ выискали въ красотахъ его произведеній. Милтонъ, Юнгъ, Томсонъ и прочіе прославившіеся творцы, пользовались многими его мыслями, различно ихъ украшая. Немногіе изъ Писателей столь глубоко проникли въ человѣческое естество, какъ Шекспиръ; немногіе столь хорошо знали всѣ тайнѣишія человѣка пружины, сокровеннѣишія его побужденія, отличительность каждой страсти, каждаго темперамента и каждаго рода жизни, какъ удивительный сей Живописецъ. Всѣ великолѣпныя картины его непосредственно Натура подражаютъ; всѣ оттѣнки картинъ сихъ въ изумленіе приводятъ внимательнаго разсматривателя. Каждая степень людей, каждый возрастъ, каждая страсть, каждый характеръ говоритъ у него собственнымъ своимъ языкомъ. Для каждой мысли находитъ онъ образъ, для каждаго ощущенія выраженіе, для каждаго движенія души намучишій оборотъ. Живописаніе его сильно, и краски его блистательны, когда хочеть онъ явить сіяніе добродѣтели; кисть его весьма лѣстлива, когда изображаетъ онъ кроткое волненіе нѣжнѣишихъ страстей: но самая же сія кисть гигантскою представляется, когда описываетъ жестокое волнованіе души.

Но и сей великой Мужъ, подобно многимъ, не освобожденъ отъ колющихъ укоризнъ нѣкоторыхъ худыхъ критиковъ своихъ. Знаменитый Соенистъ Вольтеръ сдѣлался доказывать, что Шекспиръ былъ весьма средственный Авторъ, исполненный многихъ и великихъ недостатковъ. Онъ говорилъ: «Шекспиръ писалъ безъ правилъ; творенія его суть и трагедія и комедія вмѣстѣ, или траги-комы-лирико-пастушья фарсы безъ плана, безъ связи въ сценахъ, безъ единствъ; непріятная смѣсь

высокаго и низкаго, трогательнаго и смѣшнаго, истинной и ложной остроты, забавнаго и бессмысленнаго; онѣ исполнены такихъ мыслей, которыя достойны мудреца, и притомъ такого вздора, которой только шутѣ достойны; онѣ исполнены такихъ картинъ, которыя принесли бы честь самому Гомеру, и такихъ карриатуръ, которыхъ бы и самъ Скарронъ устыдился». Излишнимъ почитаю теперь опровергать пространно мнѣнія сія, уменьшеніе славы Шекспировой въ предметъ мнѣвшія. Скажу только, что всѣ тѣ, которые старались узнать достоинства его, не могли противъ воли своей не сказать, что въ немъ много и превосходнаго. Человѣкъ самолюбивъ; онъ страшится хвалить другихъ людей, дабы, по мнѣнію его, самому снѣ не унизиться. Волтеръ лучшими мѣстами въ трагедіяхъ своихъ объявляетъ Шекспиру; но не взирая на сіе, сравнивалъ его съ шуткомъ, и поставлалъ ниже Скаррона. Изъ сего бы можно было вывести весьма оскорбительное для памяти Волтеровой слѣдствіе, но я удерживаюсь отъ сего, вспомяни, что человека сего нѣтъ уже въ мірѣ нашемъ.

Что Шекспиръ не держался правилъ театральныхъ, правда. Истинною причиною сему, думаю, было пылокое его воображеніе, не могшее покориться никакимъ предписаніямъ. Духъ его парилъ яко орелъ, и не могъ паренія своего измѣрять тою мѣрою, которою измѣряютъ полетъ свой воробьи. Не хотѣлъ онъ соблюдать такъ называемыхъ единствъ, которыхъ нынѣшніе наши драматическіе Авторы такъ крѣпко придерживаются; не хотѣлъ онъ полагать тѣсныхъ предѣловъ воображенію своему; онъ смотрѣлъ только на Натуру, не заботясь впрочемъ ни о чемъ. Известно было ему, что мысль человѣческая мгновенно можетъ перелетать отъ запада къ востоку, отъ конца области Моголовой къ предѣламъ Англіи. Геній его, подобно Генію Натуры, обнималъ взоромъ своихъ и солнце и атомы. Съ равнымъ искусствомъ изображалъ онъ и Героя и шута, умнаго и безумца, Брута и башмачника. Драмы его, подобно неизмѣримому театру Натуры, исполнены многообразія; все же вмѣстѣ составляетъ совершенное цѣлое, не требующее исправленія отъ нынѣшнихъ театальныхъ Писателей.

Трагедія, мною переведенная, есть одно изъ превосходныхъ его твореній. Нѣкоторые недовольны тѣмъ, что Шекспиръ, назвавъ Тригедию сію «Юліемъ Цезаремъ», послѣ смерти его продолжаетъ еще два Дѣйствія; но неудовольствіе сіе окажется ложнымъ, еслии съ основательностію будетъ все рассмотрѣно. Цезарь умерщвленъ въ началѣ третьяго Дѣйствія, но духъ его живъ еще; онъ одушевляетъ Октавія и Антонія, гонитъ убійцъ Цезаревыхъ, и послѣ всѣхъ ихъ погубляетъ. Умерщвленіе Цезаря есть содержаніе Трагедіи; на умерщвленіи семъ основаны всѣ Дѣйствія.

Характеры, въ сей Трагедіи изображенные, заслуживаютъ вниманіе Читателей. Характеръ Брутовъ есть наилучшій. Французскіе Переводчики Шекспировыхъ твореній говорятъ объ ономъ такъ. «Брутъ есть самый рвдкій, самый важный и самый занимательный моральный характеръ. Антоній сказалъ о Брутѣ: вотъ мужъ! а Шекспиръ, изображавшій его намъ, сказать могъ: «вотъ характеръ! ибо онъ есть дѣйствительно изящнѣйшій изъ всѣхъ характеровъ, когда-либо въ драматическихъ сочиненіяхъ изображенныхъ».

Что касается до перевода моего, то я наиболѣе стараюсь перевести вѣрно, стараюсь притомъ избѣжать и противныхъ нашему языку выраженій. Впрочемъ пусть разсуждаютъ о семъ могущіе разсуждать о семъ справедливо. Мыслей автора моего нигдѣ не перемѣнялъ я, почитая сіе для Переводчика непозволеннымъ.

Если чтеніе перевода доставитъ Россійскимъ Любителямъ Литтературы достаточное понятіе о Шекспирѣ; если оно принесетъ имъ удовольствіе: то Переводчикъ будетъ награжденъ за трудъ его. Впрочемъ онъ приготовился и къ противоположному. Но одно не будетъ ли ему пріятнѣе другаго? — Можетъ быть. — Октября 15, 1786.

Мы нарочно сохранили правописаніе авторовъ; впрочемъ, какъ ихъ правописаніе, такъ и языкъ, не слишкомъ далеко отстали отъ нашего времени; и теперь нѣкоторые «свѣтскіе» журналы горю стоятъ и отчаянно отстаиваютъ подъячизмъ въ языкѣ и не хуже какого-нибудь Сумарокова впадаютъ большими буквами не только князьямъ и графамъ, но и литераторамъ, и геніямъ, и поэзіи, и читателямъ...

2.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ НАДЪ СОВРЕМЕННОЮ РУССКОЮ ЛИТЕРАТУРОЮ.

Было бы слишкомъ трудно и почти невозможно передать нашимъ читателямъ всѣ наблюденія, сдѣланныя нами въ послѣднее время надъ русскою литературою; но, не желая лишить ихъ удовольствія быть свидѣтелями такого интереснаго зрѣлища, мы хотимъ довести до ихъ свѣдѣнія хотъ одинъ

или два феномена, которые, безъ всякаго спора, любопытнѣе и поучительнѣе всѣхъ атмосферическихъ явленій, самыхъ необыкновенныхъ.

И такъ благословясь, приступаемъ къ дѣлу.

О МИРНОМЪ И ДРУЖЕЛЮБНОМЪ НАПРАВЛЕНІИ НАШЕЙ ЖУРНАЛИСТИКИ.—Нашу журналистику

обыкновенно упрекаютъ въ бранчивомъ тонѣ, духѣ неуваженія, неприличія и недружелюбія. И добро бы еще, еслибы подобныя обвиненія происходили со стороны только публики; нѣтъ, сами журналы безпрестанно обвиняютъ самихъ себя во всемъ этомъ. Но эта явная несправедливость.

Конечно, есть споры, ссоры и даже битвы, но гдѣ-жъ не бываетъ всего этого? За то посмотрите, какіе умиленные, исторгающія слезы восхищенія, примѣры непамятозлобія, добродетельства, дружбы! Не на нашей ли памяти и не передъ нашими ли глазами одинъ журналъ превознесъ до небесъ одинъ драматическій талантъ, поставилъ его наравнѣ съ Байрономъ, Гёте, Шекспиромъ; и потомъ, давно - ли этотъ же самый драматическій талантъ былъ осмѣянъ, уничтоженъ, по поводу одной его драмы восточнаго содержанія, тѣмъ же самымъ журналомъ?—Наконецъ, давно ли этотъ драматическій талантъ былъ принужденъ довольно неловко защищаться противъ вѣроломнаго журнала и хвалить самого себя? И что жъ? Недавно, очень недавно, въ этомъ самомъ журналѣ была помещена цѣлая драма, столько же скучная, сколько и длинная, драма того же самого автора... Какъ вамъ покажется этотъ рѣдкій примѣръ христіанскаго умѣнія прощать врагамъ?... Недавно одинъ «свѣтскій» журналъ, издаваемый въ Москвѣ, объявилъ съ какимъ-то торжествомъ и какою-то гордостью, что съ нимъ живутъ ладно, мирно и братски только «Литературныя Прибавленія къ Инвалиду», которыхъ никто не читаетъ и о которыхъ никто и знать не хочетъ. Потомъ, дру-

той «свѣтскій» журналъ, издаваемый въ Петербургѣ *) подъ званіемъ знаменитаго и громкаго, но совершенно невиннаго въ этомъ изданіи имени, превознесъ до небесъ эти же самыя «Литературныя Прибавленія къ Русскому Инвалиду», а этотъ плохенькій журналецъ въ восторгѣ отъ обоихъ «свѣтскихъ» журналовъ. Странное и удивительное зрѣлище! Журналы «свѣтскіе», журналы бонтонныя, разодранные, раздушенные, обнимаются съ журналомъ перахою, журналомъ самымъ нечистоплотнымъ, самымъ оборваннымъ, печатаемымъ на оберточной бумагѣ, отъ которой пахнетъ типографскими чернилами и подвальною сыростію... И это еще не примѣръ дружелюбія, столь рѣдкаго въ наше эгоистическое время... И послѣ этого еще можно упрекать наши журналы въ духъ вражды и недоброжелательства?...

ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.—Къ числу самыхъ свѣжихъ новостей нашей журналистики принадлежитъ торжественное открытіе имени настоящаго редактора «Библіотеки для Чтенія»: это г. профессоръ Сенковский, извѣстный своими прекрасными переводами арабскихъ сказокъ, помѣщавшихся въ разныхъ альманахахъ.

Онъ самъ объявилъ, что «всѣ, которые носили званіе редакторовъ «Б. для Ч.», слишкомъ невинны въ ея недостаткахъ, чтобы отвѣчать за нихъ передъ публикою, и слишкомъ благородны, чтобы требовать для себя похвалы за достоинства, въ которыхъ они не имѣли никакого участія», что «весь кругъ ихъ редакторскаго дѣйствія ограничивался чтеніемъ третьей, послѣдней корректуры уже готовыхъ, отпечатанныхъ листовъ, набранныхъ въ типографіи по рукописямъ, которыя никогда не сообщались имъ предварительно». Это объявленіе для насъ очень важно: по крайней мѣрѣ, мы теперь знаемъ,

*) Московскій—«Наблюдатель»; петербургскій—«Современникъ».

вслѣдствіе какихъ «тягостныхъ трудовъ, неразлучныхъ съ званіемъ редактора «Б. для Ч.», отказался И. А. Крыловъ отъ редакторства этого журнала. Въ этой же (іюльской на 1836 годъ) книжкѣ «Библіотеки для Чтенія» находится очень интересное извѣстіе о ея отношеніяхъ къ одному петербургскому журналисту, который... Но позвольте, мы расскажемъ этотъ любопытный фактъ словами самой «Библіотеки для Чтенія».

У насъ есть одинъ такой журналецъ свой, преданный намъ тѣломъ и душою, съ которымъ мы заключили формальный трактатъ, на весьма выгодныхъ для него условіяхъ, чтобы онъ, подъ видомъ литературныхъ замѣтокъ, или какъ-нибудь другимъ образомъ бранилъ «Библіотеку для Чтенія» въ каждомъ своемъ листочкѣ: однажды этотъ журналецъ—ужь не скажемъ который! какая нужда вамъ знать его имя?—въ исполненіе договора, изливъ всю свою желчь на наше изданіе, забранился изъ усердія до того, что напечаталъ, будто бы мы въ нынѣшнемъ году потеряли полторы тысячи подписчиковъ, и, — что-жъ вы думаете,—на другой день лишникъ полторы тысячи человекъ подписалось на «Библіотеку для Чтенія»! Похвали же онъ хоть разъ, хоть въ шутку, мы бы навѣрное потеряли тысячи три читателей. Скажутъ, что это съ нашей стороны не хорошо, что мы поддѣваемъ публику. Что жъ дѣлать! Aide-toi, le ciel t'aidera, говоритъ пословица; надо пользоваться всѣмъ и брать у эдакихъ журнальцевъ, что у нихъ есть. Въ ихъ лавочкѣ нѣтъ другаго товара, кромѣ брани: мы беремъ у нихъ брань, для себя, для своей пользы и своего удовольствія. Это позволительная сдѣлка.

Непосвященные въ таинства петербургской журналистики, мы не знаемъ, позволительная ли эта сдѣлка; впрочемъ, говоря выраженіемъ городничаго Сввозника-Дмухановскаго, «можетъ оно тамъ такъ и нужно».

Мы не ручаемся также и за достовѣрность этого факта, чтобы у какого бы то ни было журнала могло явиться полторы тысячи подписчиковъ въ одинъ день—и вслѣдствіе чего же?—брани журнальца, у котораго нѣтъ и полутора подписчиковъ и который самими литераторамъ извѣстенъ только по имени. Между тѣмъ для курьезу, мы какъ-то заглянули въ не-

опрятный листокъ «Литературныхъ прибавленій къ Инвалиду» тотчасъ послѣ прочтенія послѣдней книжки «Библіотеки для Чтенія» и вычитали тамъ извѣстіе объ одномъ отаитскомъ журналистѣ, будто переведенное изъ «Quarterly Review» — будто бы, говоримъ мы, потому что слогъ и манера этого извѣстія совсѣмъ не отзываются европезмомъ, но ясно обнаруживаютъ нашу родную самодѣльность. Вотъ оно, это извѣстіе:

Одинъ отаитскій журналистъ чрезвычайно загордился передъ своею собратіею, поднявъ носъ на 90 градусовъ, и сталъ точь-въ-точь индійскій пѣтухъ съ брыжжами, началъ обо всемъ судить и рѣдить, задирать тѣхъ, кто постарше его бабушки (*нечего сказать — важное преимущество*) и подтрунивать надъ тѣми, кто его умнѣе, выказывать свою ученость передъ тѣми, которые учились и прилежаніе и основательнѣе. Надоѣло, наконецъ, такое хвастовство его товарищамъ. Вотъ они уговорились поколотить его. На бѣду его, въ одно воскресенье, когда сердитые на своего спѣсиваго собрата журналисты уже были навеселѣ отъ англійскаго джана, встрѣтились они съ нимъ въ королевской кокосовой рошѣ; одинъ началъ тузить его по головѣ, другой подъ сердцемъ: журналистъ не охнулъ. И не чудно! — вѣдь у него мѣдный лобъ, а вмѣсто сердца природа сунула ему камень за пазуху. Тутъ одинъ старый газетчикъ (травленный волкъ!) догадался и ударилъ по карману: заревѣлъ скрага какъ быкъ, котораго рѣжутъ; откуда взялся голосъ у него. Ихъ обступила толпа звать — и сцена кончилась всеобщимъ хохотомъ.

Откуда бы ни было получено это извѣстіе, оно во всякомъ случаѣ очень любопытно, и мы вѣримъ ему на слово. Только желательно бы знать: этотъ прибитый журналистъ и газетчикъ-травленный волкъ, кто-нибудь изъ нихъ не тотъ ли, о которомъ на Руси была сложена пѣсня на голосъ «Лишь только занялась заря», гдѣ между прочимъ сказано про него:

Одной рукой объемлетъ станъ,
Другою наровить въ карманъ?

Пли не тотъ ли кто-нибудь изъ нихъ, о которомъ, тоже на Руси, была сложена другая очень забавная пѣсня, которой

ГОЛОСЪ МЫ ЗАБЫЛИ, И ИЗЪ КОТОРОЙ МЫ ПОЖНИМЪ ТОЛЬКО ВОТЪ
ЭТИ СТИХИ:

Я жену продамъ,
Дѣтей такъ отдамъ!
.....
Мнѣ въ глаза наплюй,
По щекамъ отдуй,
По лицу трезвонь—
Лишь карманъ не тронь:
Въ немъ чувствительность,
Раздражительность...

Во всякомъ случаѣ, какъ битый журналистъ, такъ и журналистъ-травленный-волкъ, очень интересны, и къ нимъ обоимъ очень пристали эти стихи...

3.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Русская литература, столь бѣдная прошедшимъ и настоящимъ, очень богата будущимъ... Говорятъ, г. Бони готовить къ печатанію новый маленькій водевиль съ большимъ предисловіемъ... Слышали мы также, что въ «Московскомъ Наблюдателѣ» будетъ помѣщено нѣсколько мадригаловъ кн. Шалякова, нѣсколько критическихъ статей гг. Лихопина и Авенира Народнаго и много другихъ интересныхъ новостей... Дай-то Богъ!... Но занимательнѣе всего давно уже извѣстное объявленіе о новомъ твореніи Ѳ. В. Булгарина: «Россія въ историческомъ, статистическомъ, географическомъ и литературномъ отношеніяхъ, ручная книга для Русскихъ всѣхъ сословій». Знаменитый нашъ нравоописатель и романистъ, по примѣру отца всѣхъ романистовъ, великаго Шотландца, хочетъ замкнуть свое блистательное поприще большимъ историческимъ твореніемъ, и въ скромномъ своемъ объявленіи

увѣрять, что всякій истинный патриотъ, не предатель и не ренегатъ, долженъ непремѣнно подписаться на его книгу, которая скоро выйдетъ, смотря по дѣятельности сотрудниковъ; и такъ какъ подписка на эту книгу безденежная, то, слышали мы стороною, г. Бугаринъ приобрѣлъ уже до десяти тысячъ подписчиковъ... У насъ въ Москвѣ, А. А. Орловъ готовить полное изданіе своихъ романовъ... Боже мой! сколько надеждъ, сколько сладостныхъ надеждъ!... Если онъ исполнится, пусть тогда ренегаты и безбородые Шеллинги и Гегели доказываютъ, что у насъ нѣтъ литературы!...

4.

ПРОСОДИЧЕСКАЯ РЕФОРМА.

Между тѣмъ какъ Англичане съ такимъ участіемъ и уваженіемъ говорятъ о нашей новой обсерваторіи, между тѣмъ какъ Куперъ пишетъ сатиры на политическія теории, а г-жа Лебренъ—портреты знаменитыхъ людей XVIII вѣка,—и мы. Москвичи, не остаемся безъ дѣла. Въ первой іюльской книжкѣ «Московского Наблюдателя» громко возвѣщена реформа... въ русской просодіи. Авторъ остроумно рѣшаетъ нѣкоторые затруднительные вопросы. Знаете ли отчего замолкли поэты на Руси?—«Ихъ нѣтъ», скажете вы. Неправда! это тишина передъ бурей; «они спятъ на лирахъ», а пока они спятъ, «Московский Наблюдатель» навязываетъ имъ потихоньку другія струны, разбудить ихъ своими октавами, и они запоютъ... Васъ плѣняютъ стихи Пушкина! вы думаете, что они воспитали поэтическое чувство на Руси? стыдитесь! Они гладки, звучны; а это худо—они изнѣжили, разслабили нервы вашего слуха! Чтобы помочь этой бѣдѣ, явится переводъ «Освобожденнаго Іерусалима»—съ шумомъ и скрипомъ потянутся передъ вами неслыханныя октавы. Но не затыкайте ушей ради Бога! это

для вашей же пользы! слухъ вашъ окрѣпнетъ такъ, что не только вынесетъ, полюбитъ стихъ Тредьяковскаго! вы избавитесь отъ многихъ горькихъ ощущеній, вы пріобрѣтете міръ наслажденій... подумайте... цѣлая «Телемахида»! Только потерпите: «терпѣніе горько, но плодъ онаго сладокъ»! Новое поколѣніе!—реформаторъ взываетъ къ тебѣ, откликнись на высокое воззваніе его октавою... Достойное новое поколѣніе, если оно займется преобразованіемъ нашей просодіи! въ нашъ вѣкъ какіе интересы могутъ быть выше? Смотрите! можетъ быть, явится эпическая поэма! Эманципация женскимъ стихамъ! Полно имъ ходить объ ручку съ мужскими! По восьми, по шестнадцати свиваются они въ хороводы и поютъ въ одинъ голосъ! Ждите эпической поэмы съ итальянскою просодіей! Новое поколѣніе! помогите!

5.

ВѢСТНИКЪ ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ.

На будущій 1836 годъ въ Москвѣ издается новый журналъ, который ни мало не относится къ литературѣ и учености, но тѣмъ не менѣе найдетъ себѣ почитателей и цѣнителей. Мы говоримъ о «Вѣстникѣ Парижскихъ Модъ». Въ доброе старое время наши почтенные сатирики, комики, нравоучители и нравоописатели, между прочими ужасными пороками, губящими бѣдное человѣчество, съ особеннымъ ожесточеніемъ нападали на деспотическое владычество моды. О! тогда не то, что нынѣ, тогда отъ нашихъ писателей не было ни покоя, ни простора порокамъ, и если бы писанія этихъ почтенныхъ мужей не были забыты неблагодарнымъ человѣчествомъ, неблагодарными соотечественниками, то человѣчество и наше отечество теперь жили бы жизнію возрожденною и преображенною, пороки исчезли бы съ лица земли, въ мірѣ воцарился

бы снова золотой вѣкъ Астрей, и наша счастливая планета превратилась бы въ цвѣтущую Аркадію. Правда, люди по-прежнему подличали бы изъ выгодъ, унижались передъ «глыбами позлащенной грязи», торговали бы своими священнѣйшими чувствами, своими священнѣйшими обязанностями, по-прежнему были бы холодны къ дѣлу религій, общественнаго блага, искусства, и попрежнему были бы ревностны и пламенны въ дѣлѣ подлости, взяточничества: они не читали бы Шекспира, Вальтеръ - Скотта, Шиллера, Гёте, Байрона, не знали бы «Юной Словесности», но читали бы «Иліаду» въ переводѣ Гнѣдича, и «Энеиду» въ переводѣ Петрова, и «Освобожденный Іерусалимъ» въ переводѣ Мерзлякова, трагедіи Расина въ переводѣ Лобанова и идилліи Дезюльера въ переводѣ Мерзлякова; не читали бы Пушкина, Грибоедова и не взяли бы въ руки Гоголя, но читали бы стихи Сумарокова, Хераскова и Петрова, романы дѣвицы Марьи Извѣковой и повѣсти Владиміра Измайлова, Карамзина и князя Шалякова; но они ложились бы спать въ десять часовъ, вставали бы въ пять, восхищались бы восхожденіемъ солнца, пили бы ключевую воду, дышали бы однимъ запахомъ розъ и лилій, плели бы изъ нихъ вѣночки для своихъ пастушекъ, не нюхали и не курили бы табаку и наслаждались бы цвѣтущимъ здравіемъ, румяные и томные, нѣжные и чувствительные: а во всемъ этомъ, согласитесь, большая выгода для человѣчества. Но, увы! почти всѣ наши писатели, особенно писатели добраго стараго времени, о которыхъ я говорю, отличаются слабостію здоровья и недолговѣчностію. И вотъ отчего люди и по сію пору еще не исправились, вотъ почему на свѣтѣ и по сію пору царствуютъ пороки и владычествуетъ ненавистная мода. Теперь совсѣмъ не то, теперь другое время, теперь люди спокойно смотрятъ на измѣнчивый ходъ нравовъ, обычаевъ, вкусовъ и, вооружившись мудрымъ правиломъ:

Къ чему напрасно спорить съ вѣкомъ?

Обычай деспотъ межъ людей!

спокойно подчиняють себя тираніи моды. Да! теперь совсѣмъ другое время! Теперь презрять человѣка, который убилъ бы на паркетѣ свое человѣческое чувство и данный ему Богомъ талантъ, который очерствѣлъ бы для всего высокаго, гоняясь за мелочами и суетностію свѣтскихъ требованій; но теперь уже не презрять человѣка потому только, что онъ одѣтъ по модѣ, со вкусомъ и даже изысканно, что его манеры благородны, формы изящны, обращеніе деликатно, такъ же, какъ не презрять человѣка съ душою и сердцемъ, за то только, что онъ одѣтъ бузвкусно, не по модѣ, или бѣдно, что его манеры грубы, обращеніе не ловко; нынче о такомъ человѣкѣ скажутъ только: жаль, что обстоятельства лишили его свѣтской образованности! Теперь не уважать пустаго человѣка, безъ души и сердца, какого-нибудь глупаго фата, за одну элегантность его внѣшней жизни, за однѣ ничтожныя формы, безъ внутренняго сознанія своего достоинства; но теперь не поставятъ въ достоинство грубости, цинизма или вульгарности формъ и въ самомъ отличномъ человѣкѣ. Вслѣдствіе этого убѣжденія, мы нападки на моды причисляемъ къ числу этихъ жалкихъ и ничтожныхъ выходокъ, какъ и нападки на роскошь, на блескъ, и изыщество цивилизованной жизни, условія которой такъ тѣсно соединены съ условіями высшей человѣческой жизни. Поэтому, мы желаемъ полного успѣха «Вѣстнику Парижскихъ Модъ», видя въ немъ необходимое явленіе нашей общественной жизни.

6.

ЖУРНАЛЬНАЯ ЗАМѢТКА.

Время полемики миновалось въ нашей литературѣ. Это сдѣлалось естественнымъ образомъ: публикѣ наскучилъ шумъ и крикъ, въ которомъ она ничего не понимала, а литература

утомилась. Мы не желаемъ возвращенія этого шумливаго времени; мы всегда высказываемъ открыто и прямо свое сужденіе о томъ или другомъ литературномъ произведеніи и не отвѣчаемъ на упреки, дѣлаемые намъ будто бы за пристрастіе и несправедливость нашихъ сужденій. Въ самомъ дѣлѣ, не смѣшно ли бѣ было возражать на эти обвиненія? Всякій судить по своему разумѣнію, всякій, если онъ честный человѣкъ, долженъ быть убѣжденъ въ справедливости своего сужденія, слѣдовательно, по одному чувству уваженія къ самому себѣ, никто не долженъ оправдываться въ своихъ литературныхъ дѣйствіяхъ, да своему дѣлу никто и не судья. Но когда, по поводу какого-нибудь литературнаго дѣла, васъ упрекають въ дѣлахъ совсѣмъ не литературныхъ, когда оскорбляютъ вашу личность человѣка и гражданина, то неужели вы должны молчать? А если будете отвѣчать, то неужели этимъ введете полемику? И притомъ неужели одинъ журналъ будетъ пользоваться правомъ ругать своихъ противниковъ невѣждами, ренегатами, измѣнниками отечеству, а другіе не будутъ имѣть права замѣтить этому журналу неприличность и неблагопріятность его выходокъ, не будутъ имѣть права сказать ему:

Послушай, врѣ, да знай же мѣру!...

Знаемъ, что есть журналы, которымъ совѣстно отвѣчать, какъ есть люди, съ которыми войти въ какія-нибудь объясненія значить унижить себя въ собственныхъ глазахъ и въ общемъ мнѣніи. Презрительное молчаніе—лучшій отвѣтъ такимъ журналамъ и такимъ людямъ. Но что же прикажете дѣлать, если у насъ, въ литературѣ, нападающій непременно правъ, если у насъ, въ литературѣ, молчаніе, хотя бы оно было слѣдствіемъ презрѣнія, почитается за безмолвное сознаніе или своего безсилія, или неправости своего дѣла! И притомъ, повторяю, я неуклонно слѣдую правилу, что въ своемъ дѣлѣ никто не судья, я потому положилъ себѣ за

обязанность не отвѣчать ни на какія возраженія, если подобный отвѣтъ не поведетъ къ рѣшенію какихъ-нибудь истинъ и не будетъ достоинъ прочтенія людей мыслящихъ; но я не могу молчать, когда на меня клеветаютъ, взводятъ небылицы и, наконецъ, ругаютъ нагло, называя ренегатомъ и тому подобными нелитературными названіями.

Дѣло вотъ въ чемъ: всѣмъ извѣстно и вѣдомо, что «Северная Пчела» приходитъ въ крайне дурное расположеніе духа и выпускаетъ все свое мушиное жало, къ концу года, когда дѣло идетъ о подписчикахъ. Политика очень благоразумная и расчетливая! Когда кончится подписка, тогда не дурно заговорить объ умѣренности, безпристрастїи, добросовѣстности, не худо по временамъ нападать на полемiku, бранчивый тонъ рецензій и тому подобное. «Пчела» неуклонно слѣдуетъ этому благоразумному правилу; такъ поступаетъ она и теперь: мало того, что она бранитъ истинно-непріязненные ей журналы, она нападаетъ даже на тѣ, которымъ сама недавно падала до ногъ. Мало того, что она, о чемъ бы ни говорила, всегда скажетъ какое-нибудь недоброе слово о «Телескопѣ» и «Молвѣ»; она, о ужасъ! нападаетъ теперь, на кого бы вы думали? па «Библіотеку для Чтенія»!... Истинное осуществленіе басни Крылова о «Полканѣ и Барбосѣ»! Да и чему тутъ дивиться: развѣ этого не должно было ожидать? Развѣ этого уже и не бывало съ «Пчелою»? Развѣ подписчики не такая жирная кость, за которую бы нельзя было онымъ Орестамъ и Пиладамъ не пожалѣть зубовъ и нѣсколькихъ флочковъ шерсти?... О войнѣ или, лучше сказать, о нападахъ «Пчелы» на «Библіотеку для Чтенія» (потому что «Библіотека для Чтенія» слишкомъ благоразумна и слишкомъ горда, чтобы вступить въ открытую войну съ «Пчелою»; она скорѣе пришибетъ ее мимоходомъ, а пророс, какимъ-нибудь апологомъ), можетъ быть, поговорю особенно, по поводу правоописательной и нравственно-сатирической статейки г. Булгарина, въ которой очень длинно и очень скучно описывается

поѣзда знаменитаго романиста двадцатыхъ годовъ въ Бѣлоруссію, и въ которой очень много прекуръёзныхъ и премилыхъ вещицъ; а теперь обращаюсь къ настоящему вопросу.

И такъ «Пчела» къ концу нынѣшняго года стала особенно нападать на «Телескопъ» и «Молву»; намъ было это всегда очень пріятно, потому что подавало пищу для смѣха. Нѣтъ ничего забавнѣе и утѣшительнѣе, какъ видѣть безсильнаго врага, который, стараясь вредить вамъ, противъ своей воли служить вамъ. Разумѣется, мы смѣялись про себя, а въ журналѣ сохраняли презрительное молчаніе и оставляли доброй «Пчелѣ» трудиться для нашей пользы и нашего удовольствія. Недавно баронъ Розенъ поднесъ публикѣ, въ своемъ «Петрѣ Басмановѣ» новый огромный (не помню, который уже по счету) кубокъ воды прозаической; «Пчела» воспользовалась этимъ случаемъ отдѣлать «Телескопъ», въ особенности «Молву», а болѣе всего рецензента, пишущаго въ томъ и другомъ журналѣ и пользующагося лестнымъ счастьемъ не нравиться журнальному насѣкомому. Я буду по порядку выписывать обвинительные пункты и отвѣчать на каждый особенно.

Первое обвиненіе состоитъ въ томъ, что будто бы въ «Телескопѣ» и «Молвѣ» «нѣкоторые знаменитые критики отъ времени до времени наѣзжаютъ изъ-за угла на нашу словесность съ опущенными забралами *), съ ужасными копьями, вырванными изъ гусиныхъ крыльевъ, съ картонными щитами, на которыхъ красуются девизы неизвѣстныхъ рыцарей. Девизы замѣчательные и многозначущіе! Тутъ найдешь и А. и Б. и В., словомъ сказать: всю нашу азбуку, отъ аза до ижицы включительно. Девизы эти имѣютъ двойную цѣль: во первыхъ, они приводятъ въ трепетъ всѣхъ писателей, живыхъ и мертвыхъ; во вторыхъ, за неимѣніемъ букваря, могутъ употребляться въ школахъ для изученія складовъ и, такимъ обра-

*) Что это за словесность съ опущенными забралами и прочими атрибутами, которые придаетъ ей сотрудникъ «Пчелы», по неумѣію ставить въ приличныхъ мѣстахъ запятая?

зомъ, распространять просвѣщеніе, содѣйствовать успѣхамъ нашей словесности».

Не правда ли, что эти остроты очень злы и тонки? О, «Пчела» не любитъ шутить! Жаль только, что остроумный авторъ статейки немножко клеветаетъ, т.-е. говоритъ неправду. Въ «Телескопѣ» не было ни одной рецензіи, подписанной буквою; да и покуда въ немъ всѣхъ рецензій было двѣ, и подъ обѣими ими стоитъ полная моя фамилія. Въ «Молвѣ» всѣ рецензіи, за исключеніемъ весьма немногихъ, принадлежатъ тоже мнѣ; сперва я подъ ними подписывался—онъ—инскій, а теперь В. Б.; неужели въ этихъ В. Б. заключается вся русская азбука? Можетъ быть сотруднику «Пчелы» такъ померещилось: вѣдь у страха глаза велики. Все сказанное о неизвѣстныхъ рыцаряхъ, скрывающихся за русскою азбукою, скорѣе можно отнести къ «С. Пчелѣ», гдѣ подъ всѣми рецензіями, кромѣ писанныхъ г. Булгаринымъ и г. Скромненко, стоятъ буквы, только не всегда русскія; Z встрѣчается всего чаще.

Я никакъ не могу понять, что за ненависть питаютъ нѣкоторые литераторы къ безыменнымъ рецензіямъ. Какая нужда имъ до имени? Пройдетъ два-три года, и всѣ рецензіи, которыми наполняются всѣ, безъ исключенія, наши журналы, канутъ въ Лету, выйдутъ съ безсмертными твореніями, на которыя онѣ пишутся. Если же то или другое твореніе истинно велико и безсмертно, то все-таки ему, а не рецензіи, не критикѣ на него, жить въ вѣкахъ. Конечно, есть люди, которые, написавши журнальную статейку, отъ души убѣждены, что они сдѣлали великое дѣло, такъ какъ Иванъ Ивановичъ, съѣвши дыню, бывалъ отъ души убѣжденъ, что онъ тоже свершилъ немаловажный подвигъ. Я не принадлежу къ числу такихъ людей, и смотрю по-философски какъ на свои, такъ и на чужіе журнальные труды, и потому не обращаю на имена никакого вниманія. Конечно, рецензенты «С. Пчелы» почитаютъ свои рецензіи безсмертными произведеніями ума че-

ловѣческаго и потому придаютъ именамъ большую важность. У всякаго свой взглядъ на вещи!...

Второе обвиненіе на неизвѣстныхъ рыцарей, или, лучше сказать, на меня, состоитъ въ томъ, что я осмѣлился усомниться въ существованіи русской словесности *). «Напрасно, говорить «Пчела», возражалъ имъ ученый, остроумный критикъ въ «Библіотекѣ для Чтенія» **), что 12,000 русскихъ книгъ, означенныхъ въ каталогъ нашей книжной торговли, никакъ нельзя счесть за 12,000 голландскихъ селедокъ, и что повтому можно нѣсколько подозрѣвать существованіе русской литературы. Нѣтъ ея! кричатъ рыцари, и между тѣмъ сами безпрестанно повторяютъ: наша словесность, нашей словесности; нашу словесность. Да о чемъ же вы кричите, господа? Неужто вы, по примѣру знаменитаго рыцаря печальнаго образа, нападаете на какого-нибудь великана-невидимку?» — Что на это отвѣчать? 12,000 книгъ! Въ самомъ дѣлѣ, убѣдительное доказательство! И въ числѣ этихъ книгъ, изъ классиковъ — Симеона Полоцкаго, Кантемира, Тредьяковскаго, Сумарокова, Майкова, Хераскова, Петрова, Николаева, Грузинцева, Майкова, и пр. и пр.; а изъ романтиковъ — Орлова, Кузмичева, Сигова, А. П. Протопова, Гахрва, Гурьнова, и пр. и пр. И въ числѣ этихъ же книгъ, книги поваренныя, о истребленіи клоповъ и таракановъ; и въ числѣ этихъ же книгъ, безчисленное множество переводовъ... И потомъ, если изъ всего этого останется ~~на~~ 500 хорошихъ книгъ, то сколько между ними будетъ условно хорошихъ, и сколько останется безусловно хорошихъ?... Но довольно объ этомъ: мы не поймемъ другъ друга. Я не умѣю опредѣлять достоинства литературы вѣсомъ и счетомъ. Притомъ же, я отвергаю существованіе русской литературы только подъ

*) Въ моихъ «Литературныхъ Мечтаніяхъ».

**) При разборѣ «Черной Женицы», г. Греча, или «Мазены», г. Булгарина — не помню, право.

тѣмъ значеніемъ литературы, которое я ей даю, а подѣ всѣми другими значеніями вполне убѣжденъ въ ея существованіи. Но въ этомъ пунктѣ мы еще менѣе поняли бы другъ друга, и потому оставляю этотъ вопросъ и обращаюсь къ другимъ.

«Нѣтъ у насъ словесности, да и критики нѣтъ! повторяютъ хорошъ рыцари. Помилуйте! А Полевой, а критикъ «Библіотеки для Чтенія» *), а Булгаринъ, а Марлинскій, а Шевыревъ... Неужели вы ничего не читали изъ ихъ превосходныхъ разборовъ?» **).

Противъ этого я ничего не буду возражать. Замѣчу только, каковъ комплиментъ гг. Марлинскому и Шевыреву? А потомъ, каковъ комплиментъ г. Полевому? Да,

Не похворовится отъ такихъ похвалъ!

«Давно ли знаменитый критикъ, краса московскихъ рецензентовъ, алмазъ «Молвы», А. или Б., не упомяну (полно, правда ли? мнѣ сдается, что очень помните!), совершенно уничтожилъ незаслуженную славу самозванца-писателя Марлинскаго и неопровержимо, наперекоръ всему свѣту, доказалъ, что у Марлинскаго нѣтъ ни идей, ни ума, ни чувства; что у него только есть потуги чувства, ходульки остроумія, калейдоскопическая игра мишурныхъ фразъ. Напрасно ученый, глубокомысленный, снисходительный Ж. старался поощрить

*) Критикъ «Библіотеки для Чтенія»? А какъ его имя? Или и онъ принадлежитъ къ числу безыменныхъ рыцарей?

**) Въ самомъ дѣлѣ, я что-то плохо помню превосходные разборы г. Булгарина: у меня преслабая память. Вивовать! я помню одинъ превосходный разборъ г. Булгарина — это разборъ VII главы «Онѣгина», разборъ, въ которомъ сей знаменитый г. критикъ прокричалъ паденіе Пушкина на двухъ языкахъ, русскомъ и французскомъ (совершенное, паденіе! chute complète!) и, какъ дважды-два—четыре, доказалъ, что она VII глава «Онѣгина» есть такой вздоръ, такая ничтожная и бездарная болтовня, въ сравненіи съ которою и «Евгеній Вельскій» кажется чѣмъ-то дѣльнымъ. Да этотъ превосходный разборъ точно превосходитъ; онъ дѣлаетъ г. Булгарину большую честь, свидѣтельствуя о его безпристрастномъ, благородномъ и независимомъ

и поддержать возникающий, юный талант Марлинского. На Ж. напали остроумный В. и мудрый нашъ русскій Гегель, Д., и доказали, что А. совершенно правъ». Я нарочно дѣлаю такія длинныя и точныя выписки: дѣла говорятъ сами за себя, и когда ребенокъ бросается на взрослого человѣка съ топоромъ, то скорѣе всего можетъ ранить самого себя этимъ тяжелымъ оружіемъ, которое слишкомъ ему не по силамъ. Остроуміе вещь прекрасная; но усиліе быть остроумнымъ очень опасно для того, кто приниживается острякомъ. Я никогда не отнималъ у г. Марлинского ни идей, ни ума, потому что иногда встрѣчаю въ его сочиненіяхъ первыя, и всегда вижу много втораго; о чувствѣ—дѣло другое: здѣсь мы, т. е. я и мой противникъ, опять не поймемъ другъ друга, и потому я не хочу объ этомъ распространяться. «Потуги чувства» и подобныя имъ фразы, можетъ быть, очень хороши, только я не употребляю ихъ. Итакъ опять, въ одномъ обвинительномъ пунктѣ, двѣ клеветы. Посмотримъ, нѣтъ ли и третьей. Кто такой этотъ ученый, глубокомысленный, списходительный Ж., который напрасно старался поощрить и поддержать талантъ г. Марлинского? Не знаю. Кто эти—остроумный В. и мудрый нашъ русскій Гегель Д., которые напали на Ж.? Это все я же. О, сотрудникъ «Пчелы» очень остроуменъ! Да, что за перо у Ивана Ивановича! Но когда же была эта война за г. Марлинского? Рѣшительно никогда. Вѣрно, она приснилась остроумному Пси *).

образъ сужденія, и его высокихъ и глубокихъ понятій объ изищномъ, и становить его на ряду самыхъ превосходныхъ русскіихъ критиковъ. Если сотрудникъ „Пчелы“, г. Пси, такіе разборы называетъ превосходными, то я могъ бы вспомнить и еще очень много превосходные разборы г. Булгарина. Но только, въ такомъ случаѣ, г. Пси напрасно называетъ превосходными разборы г. Полеваго: они рѣшительно дурны и ничтожны, если прототипомъ критика должны быть превосходные разборы г. Булгарина.

*) Такъ подписался подъ этой роковою статьею мой остроумный противникъ.

«Давно ли извѣстный всей Россіи и даже всей Европѣ *) Е., или нѣтъ, не Е., а И. (неужто вы про него ничего не слыхали) **), доказалъ, что Державинъ былъ такой же романтикъ, какъ и Пушкинъ, и что причина этого скрывается въ его невѣжествѣ; что Карамзинъ писалъ по-дѣтски, плаксиво и растлительно, что цѣлые томы его «Исторія» — одна риторическая шумиха; что Жуковскій не сынъ XIX вѣка, а провельтъ; что въ Батюшковѣ мысли дѣтскія».

Да, эти мысли мнѣ принадлежать, и я не отпираюсь отъ нихъ, и готовъ защищать ихъ противъ всякаго, кромѣ извѣстныхъ и неизвѣстныхъ рыцарей «С. Пчелы», потому что мы, т. е. я и они, не поняли бы другъ друга.

«Что Шекспиръ пьяный дикарь, Расинъ накрахмаленъ, Шатобрианъ крестный отецъ, а г-жа Сталь повивальная бабка юнаго романтизма. Мы вовсе не шутимъ; всѣ эти прелести напечатаны въ «Молвѣ». — М. г. онѣ напечатаны не въ одной «Молвѣ»; онѣ напечатаны и въ одной статьѣ высоко уважаемаго вами г. Марлинскаго. Но я не хочу отпаливаться отъ этой остроты: мнѣ васъ жаль, а лежачаго не бьютъ!...

«Давно ли этотъ же первоверховный критикъ И. показалъ всю цѣну, весь геній П., о которомъ до того никто и не слыхалъ?»

Понимаете ли вы эту остроту? Знаете ли вы, кто этотъ П., котораго превознесъ И., и о которомъ дотошъ никто не слыхалъ? Это г. Гоголь, котораго прекрасныя, поэтическіе сочиненія подали мнѣ поводъ написать большую статью, помѣ-

*) Каково остроуміе! „Извѣстный всей Россіи и даже всей Европѣ!“ Не случилось ли вамъ слышать брани кухарокъ или площадныхъ торговкокъ: „Эка ты княгиня, эка ты графиня, эка краля какая!“ Въ этомъ состоитъ иронія и сарказмъ черни. Какъ жаль, что эта иронія и сарказмъ площади переходить такъ часто въ превосходные разборы «С. Пчелы».

**) По крайней мѣрѣ, вы, мой остроумный противникъ, много, очень много про него слыхали.

щенную въ VII и VIII №№ «Телескопа». Не вѣрите? Ну такъ вотъ вамъ и доказательство:

«Нѣсколько завистливый Н. соединился съ У. *), и блестящимъ софистическимъ разборомъ затмилъ было достоинство П.; но всѣ наши гении, философы, ученые, всѣ первостепенные таланты, и Ч. и Ц. и Ш. и Щ. и даже простодушный, безпечный БІ, горячо вступились за П. и доказали...» Позвольте на минуту прервать моего остроумнаго противника, и увѣдомить васъ, что вся эта война опять вымышленная, что весь этотъ наборъ словъ не что иное, какъ остроты моего остроумнаго противника, что весь этотъ наборъ буквъ означаетъ одного меня, нижеподписавшагося; дѣло еще только начинается, и такъ слушайте: «и доказалъ, что П. нашъ Байронъ, Шекспиръ, и что всѣ наши самозванцы литераторы, безпрестанно поражаемые московскими журналами, какъ-то: Баратынскій, Булгаринъ, Сенковский, Гречъ, Пушкинъ, Крыловъ, Жуковский, Загоскинъ, Лажечниковъ, Марлинскій, Масальскій, Ушаковъ, баронъ Розень, Балашиниковъ, Козловъ, Михайловскій-Данилевскій, Давыдовъ, Погодинъ, Погорѣльскій, Полевой, Скобелевъ, Хомяковъ, Языковъ, Вельтманъ, однимъ словомъ, всѣ литературные торговцы (особенно петербургскіе), принуждающіе долготерпѣливую публику покупать по четыре тысячи ихъ жалкихъ издѣлій, не стоятъ ни одного мизинца гениальнаго П.»

Видите ли вы, что между этими литературными свѣтилами нѣтъ одного г. Гоголя?...

Всей русской читающей публикѣ извѣстно, что въ одной повѣсти г. Гоголя описанъ одинъ изъ тѣхъ офицеровъ, которые «любятъ потолковать объ литературѣ, хвалятъ Булгарина, Пушкина и Греча, и говорить съ презрѣніемъ и

*) Ужъ это не тѣ ли господа, которые въ «Библіотекѣ для Чтенія» и «С. Пчелѣ» разругали сочиненія г. Гоголя?...

остроумными колкостями объ А. А. Орловъ *)). Тутъ нѣтъ ничего удивительнаго или предосудительнаго—люди военные, они занимаются литературою между службою и отдыхомъ, имъ простиительно ставить на одну доску Булгарина, Пушкина, и Греча; но какъ ихъ построила въ одинъ фронтъ «С. Пчела»? Какъ? вотъ нашли чему удивляться! Своя рука владыка, а свой журналъ, что свой домъ: что хочу, то и дѣлаю въ немъ; кто мнѣ запретить объявить въ моемъ журналѣ, что я выше Шекспира, Шиллера, Гёте, Байрона?... И вотъ извольте послѣ этого дорожить славой: Пушкинъ на одной доскѣ съ гг. Калашниковымъ, Ушаковымъ, барономъ Розеномъ! Полевой и Лажечниковъ на одной доскѣ съ гг. Масальскимъ, Погорьльскимъ, Булгаринымъ и иными!... Не правда ли, что мой антагонистъ очень ловокъ на комплименты, что къ нему нельзя примѣнить этихъ стиховъ:

Хотя услуга намъ при нуждѣ дорога,
Но за нее не всякъ умѣетъ взяться?...

Я пропускаю нападки моего остроумнаго противника на высокія философическія сужденія объ изящномъ, о XIX вѣкѣ, объ идеяхъ, о требованіяхъ вѣка: я знаю, что всѣ эти предметы не по плечу извѣстнымъ и неизвѣстнымъ рыцарямъ «С. Пчелы». Въ чемъ не знаешь толку, чего не понимаешь, то брани: это общее правило посредственности. Бывали примѣры, что и посредственность толковала, какъ умѣла, объ этихъ же самыхъ предметахъ, но это было время, когда ее признавали за гениальность; это золотое время прошло, и посредственности ничего не остается дѣлать, какъ нападать на новыя идеи, называя ихъ вольнодумными и мятежными. Посредственность видитъ мятежника во всякомъ, кто выше ея, или кто не признаетъ ея величія.

*) Этого-то ошцерь и былъ причиною того, что г. Гоголь выключень «Пчелою» изъ списка великихъ русскихъ писателей.

Мой остроумный противник обвиняет меня еще въ томъ, что я называю миссъ Эджевортъ горничною г-жъ Жанлисъ и Коттенъ; это правда: она точно ихъ горничная, шеголяющая въ обношенныхъ капотахъ, подаренныхъ ей ея господами.

Мой остроумный противникъ мимоходомъ даетъ знать, что для того, чтобы понравиться критикамъ, подобнымъ мнѣ, художники должны доказывать, въ своихъ сочиненіяхъ, что «измѣна дѣло не худое и даже похвальное». Вотъ какъ мило бранятся въ Петербургѣ, не по московскому! Нѣтъ, м. г., я глубоко убѣжденъ, что всякая измѣна есть дѣло гнусное, подлое, нечеловѣческое; я глубоко бы презрѣлъ человѣка, который бы, наприхѣръ, изъ злобы къ Русскимъ, сперва леталъ бы подъ французскимъ орломъ, а потомъ бы перешелъ опять къ Русскимъ...

«Мы искренно любимъ всѣхъ достойныхъ русскихъ литераторовъ и отъ души радуемся каждому новому произведенію, обогащающему нашу родную словесность, которой якобы вовсе нѣтъ, да и быть не можетъ, какъ увѣряютъ нѣкоторые завистливые иностранцы, не знающіе вовсе Россіи, да еще (Богъ имъ судья!) ренегаты, безбородые юноши, домощенные Гегели, Шеллинги».

Какъ! кто говорить, что у насъ нѣтъ литературы, тотъ ренегатъ? Кто находить въ своемъ отечествѣ не одно хорошее, тотъ тоже ренегатъ?... Стало быть Китайцы, Персіане и другіе восточные варвары, которые презираютъ всѣхъ иностранцевъ и не видятъ никого выше и образованнѣе себя, только одни они не ренегаты?... Стало быть Петръ Великій былъ не правъ, давши пощечину одному переводчику, который, переведши книгу о Россіи, выпустилъ изъ нея все, что говорилось въ ней дурнаго о Русскихъ?... И притомъ, м. г., какое вы имѣете право называть кого-нибудь ренегатомъ. Я могъ бы переслать эту посылку къ вамъ назадъ; но я не хочу этого сдѣлать, потому что человѣкъ, пользующійся гражданскими правами, не можетъ быть ренегатомъ, хотя бы

онъ и не правился мнѣ... Нѣтъ, м. г., на святой Руси не было, нѣтъ и не будетъ ренегатовъ, т. е. этакихъ выходцевъ, бродягъ, пройдохъ, этихъ разстригъ и патріотическихъ предателей, которые бы, играя двойною присягою, попадали въ двойную цѣль, и, избавляя отъ негодяя свое отечество, пятали бы своимъ братствомъ какое-нибудь государство.

Теперь, кто-жъ бы это былъ мой остроумный противникъ? «Я тотъ, восклицаетъ онъ, котораго знаетъ Русь, и кажется, любить, поелику моихъ литературныхъ издѣлій расходилось по четыре тысячи экземпляровъ и болѣе». Еслибы мы вѣрили возможности голоса съ того свѣта, то подумали бы, что это вызываетъ и гласитъ къ намъ тѣнь г. Матвѣя Комарова, московскаго жителя, переводчика «Маркиза Глаголя», «Жизни и дѣяній Картуша», автора «Никонора Несчастнаго Дворянина», «Милорда Англійскаго», «Жизни Ваньки Каина» и другихъ сочиненій, которыя разошлись по Россіи больше, нежели въ числѣ четырехъ тысячъ экземпляровъ; или тѣнь Курганова, знаменитый «Письмовникъ» котораго имѣлъ на Руси гораздо большій успѣхъ, нежели самъ «Иванъ Выжигинъ»; или тѣнь блаженнаго Михаила Федорыча Меморскаго, котораго учебныя книжицы и теперь еще даютъ хлѣбецъ нѣкоторымъ спекуляторамъ... Изъ живыхъ писателей я ни одного не смѣю назвать авторомъ этой статьи, потому что, въ такомъ случаѣ, названный мною писатель имѣлъ бы право поступить со мною какъ съ публичнымъ клеветникомъ и нарушителемъ законовъ приличія и вѣжливости. Настоящій авторъ очень благоразумно поступилъ, что скрылъ свое имя.

Въ заключеніе желаю, чтобы урокъ, данный мною, неизвѣстнымъ юношею, знаменитому литератору, котораго сочиненія расходятся по четыре тысячи экземпляровъ и который теперь скрывается за буквою Пси, не остался безъ пользы. Скажу ему еще за тайну, что не удаются остроты тому, кто не остеръ отъ природы и, кто, сверхъ того, еще сердится. Напрасно вы, м. г., прикидываетесь хладнокровнымъ: вы

горячитесь, сами не замѣчая этого; напрасно вы притворяетесь, будто не знаете настоящаго имени молодаго философа И.: по тону вашей статьи, очень замѣтно, что вы твердо знаете мое имя; напрасно вы увѣряете, что будто бы вы не читаете «Молвы» и даже не знаете, существуетъ ли она: вы читаете ее, вы знаете наизусть много изъ того, что въ ней пишется, вы помните въ ней все гораздо лучше, нежели я, который, по слабости памяти, скоро забываетъ все, что читаетъ написаннаго болѣею частію великихъ писателей, псаленныхъ вами, и что пишетъ самъ. Прощайте и умѣйте, если можете, забыть меня такъ же скоро, какъ я васъ забылъ, ибо, оканчивая послѣднее слово моей отповѣди, я уже забываю васъ, чтобы никогда объ васъ не помнить *)

*) Я еще забылъ упомянуть объ одной диковинкѣ, обрѣтающейся въ бранной статейкѣ «С. Пчелы», это — классико-романтическое упоминеніе объ Аполлонѣ. «Этимъ способомъ, говоритъ мой противникъ, можно уронить, изуродовать сочиненіе самого Аполлона, бога поэзіи, еслибы онъ вздумалъ ихъ напечатать и сошелся въ условіяхъ съ какимъ-нибудь книгопродавцемъ». Неправда ли, что этотъ намекъ на Аполлона совершенно въ классико-романтическомъ духѣ? Классическимъ онъ можетъ похвастаться потому, что теперь уже вышло изъ моды тормошить парнасскую и олимпійскую сволочь, а г. Песъ еще не отстаеетъ отъ этой похвальной привычки добраго стараго времени; романтическимъ этотъ намекъ можетъ назваться потому, что г. Песъ — Аполлона, этого бога свободнаго и благороднаго искусства, какимъ представляли его себѣ простодушные Греки, дѣлаетъ романтикомъ, т. е. литературнымъ торгашемъ, заставляя его продавать книгопродавцамъ свои свободныя и творческія вдохновенія. Какое сильное воображеніе у г. Песа! Въ самомъ дѣлѣ, кому придетъ въ голову сдѣлать самого Аполлона литературнымъ торгашемъ и заставить его въ книжной лавкѣ смиренно продавать свою рукопись русскому книгопродавцу, который съ важностію, приличною торговой особѣ, вымѣриваетъ эту тетрадь аршиномъ и кладетъ ее на вѣсы!... Какъ невольно иногда высказывается человѣкъ!...

IV.

ТЕАТРЪ.

ОБЪ ИГРЪ Г. КАРАТЫГИНА.

Въ нашей вялой и прозаической жизни всякая новость возбуждаетъ всеобщее вниманіе и сильно занимаетъ собою умы всѣхъ и cadaго. Въ числу такихъ новостей принадлежить вторичный прїѣздъ въ Москву знаменитыхъ петербургскихъ артистовъ Каратыгиныхъ. Кто не помнить, какъ засуетилась наша бѣлокаменная во время ихъ перваго прїѣзда, какая была давка у театра, какъ трудно было доставать билеты, какъ толковали и спорили объ игрѣ любимцевъ петербургской публики и въ аристократическихъ гостиницахъ и гостиницахъ, и въ плебейскихъ горницахъ и трактирахъ, и на улицахъ и перекресткахъ? Кто не помнить знаменитаго турнира, на которомъ было переломлено столько копій и roue и contre, во имя Каратыгиныхъ, П. Щ. и г. Шевыревымъ, и ареною котораго была «Молва». Кто не помнить, какъ г. Шевыревъ, послѣ нѣсколькихъ упорныхъ и утомительныхъ схватокъ, оставилъ поле битвы и не кончилъ сраженія, обидѣвшись невѣжливостію своего хладнокровнаго и несговорчиваго противника, не хотѣвшаго поднять забрала своего шлема и провозгласить своего рода и имени?... Оно, кажется, тутъ бы не на что претендовать: вѣдь журнальные турниры совсѣмъ не то, что рыцарскіе турниры. Благородные рыцари почитали предосудительнымъ для себя сражаться съ безымян-

ными противниками, ибо смѣняли въ безчестіе подвергать свое благородное тѣло невѣжливымъ ударами какого-нибудь плебея, и не видѣли никакой для себя славы въ побѣдѣ надъ противникомъ незнатнаго рода и племени; но въ литературѣ геральдика вещь совершенно посторонняя; въ ней важны дѣла, а не имена. Но всѣмъ уже извѣстно, что г. Шевыревъ скрѣпу критическихъ статей именами ихъ авторовъ почитаетъ самымъ вѣрнымъ средствомъ для избѣжанія отъ наветовъ, коварства и недобросовѣстности критики, и крѣпко убѣжденъ, что критикъ, скрывающій свое имя, непременно долженъ имѣть какіе-нибудь недобрые умыслы въ отношеніи къ своему противнику... Какъ бы то ни было, дѣло не о томъ... и потому я обращаюсь къ предмету моей статейки, подъ которой однако не подписываю полного моего имени, ибо хочу высказать мое мнѣніе, а не блеснуть моимъ именемъ, которое очень не важно и до котораго посему никому нѣтъ дѣла.

И такъ всѣмъ памятен шумъ и движеніе, произведенныя прежнимъ пріѣздомъ въ Москву г-на и г-жи Каратыгиныхъ... Такое же ли точно дѣйствіе произвелъ теперешній ихъ пріѣздъ? Кажется, что нѣтъ. Правда, и теперь по утрамъ ужасная давка при раздачѣ билетовъ, и теперь ходенемъ ходитъ огромный Петровский театръ отъ грома рукоплесканій нашей доброй и неслишкомъ взыскательной публики, и теперь въ той же самой «Молвѣ» вышелъ на арену таинственный П. Щ.; но рукоплесканія уже не такъ единодушны и дружны, уже часто они прерываются и заглушаются ропотомъ неудовольствія; но таинственный г. П. Щ. что-то рѣшительнѣе и рѣзче, хладнокровнѣе и насмѣшливѣе въ своемъ тонѣ, и пока еще не встрѣтилъ ни одного противника... Что бы это значило?... Неужели г. Каратыгинъ, этотъ артистъ, такъ горячо любящій свое искусство, такъ глубоко и усердно изучающій его, вмѣсто того, чтобы идти впередъ, пошелъ назадъ и сдѣлался хуже?...

Нѣтъ, онъ все тотъ же, но уже не тѣ обстоятельства: къ нему присмотрѣлись, его разглядѣли, а прелесть новости

потеряла свою магическую силу. Вотъ и разгадка этой загадки. Въ искусствѣ есть два рода красоты и изящества, такъ же точно, какъ есть два рода красоты въ лицѣ человѣческомъ. Одна поражаетъ вдругъ, нечаянно, насильно, если можно такъ сказать; другая постепенно и непримѣтно вкрадывается въ душу и овладѣваетъ ею. Обаяніе первой быстро, но не прочно; второй медленно, но долговѣчно; первая опирается на новость, нечаянность, эффекты и нерѣдко странность; вторая беретъ естественностію и простотою. Марлинскій и Гоголь— вотъ вамъ представители того и другаго рода красоты въ искусствѣ. Я не отрицаю таланта въ г. Марлинскомъ и пока еще не вижу генія въ г. Гоголѣ; но хочу только показать разность между талантомъ случайнымъ, т. е. развившимся вслѣдствіе или обстоятельствъ жизни, или направленія, полученнаго съ дѣтства, и талантомъ самобытнымъ, независимымъ отъ обстоятельствъ жизни. Первый всему обязанъ образованіемъ, а безъ него ничего не значить; второму образованіе даетъ обширнѣйшій кругъ дѣйствія и возвышаетъ его взглядъ на природу, но не усиливаетъ его ни на волосъ. Шекспиръ и Вольтеръ— вотъ два драматурга, оба съ талантомъ, но одинъ невѣжда, а другой всезнайка— нужно ли тутъ слишкомъ распространяться?— Но изъ всѣхъ признаковъ, которыми отличается талантъ природный отъ таланта случайнаго, для меня разительнѣе слѣдующій: талантъ самобытный всегда успѣваетъ, когда не выходитъ изъ своей сферы, когда остается вѣренъ своему направленію и всегда падаетъ, когда хватается не за свое дѣло, вслѣдствіе расчета или системы; талантъ случайный берется за все и нигдѣ не падаетъ совершенно; г. Марлинскій во всѣхъ своихъ повѣстяхъ, какъ ни разнообразны онѣ, одинаковъ и ровень— т. е. вполнину хорошъ, вполнину дуренъ; г. Гоголь вздумалъ написать фантастическую повѣсть à la Hoffmann («Портретъ»), и эта повѣсть рѣшительно никуда не годится.

Повидимому, я отдалился отъ предмета моего разсужденія;

но въ самомъ дѣлѣ, я гораздо ближе къ нему, нежели какъ можно ожидать. У насъ два трагическихъ актера, г. Мочаловъ и г. Каратыгинъ; хочу провести между ними параллель. «Какое невѣжество! Каратыгинъ и Мочаловъ—*fi donc!* Можно ли помнить о Мочаловѣ, говоря о Каратыгинѣ?...» Не знаю, будутъ ли мнѣ сказаны подобныя слова; но я уже какъ будто слышу ихъ. У насъ это такъ натурально; мы такъ неумѣренны ни въ нашемъ удивленіи, ни въ нашемъ презрѣніи къ авторитетамъ. Теперь какъ-то странно и даже страшно произнести имя г. Мочалова, не имѣя намѣренія посмѣяться надъ нимъ, какъ смѣются надъ Александромъ Орловымъ, говоря о Вальтеръ-Скоттѣ. Но я думаю иначе, и если каждый, въ дѣлѣ литературы и искусства, можетъ имѣть свое мнѣніе, то почему же и мнѣ не имѣть своего, хотя мое скромное имя и не значится въ литературныхъ адресъ-календаряхъ?...

Всѣмъ извѣстно, что съ г. Мочаловымъ очень рѣдко случается, чтобы онъ выдержалъ свою роль отъ начала до конца, однакожъ все-таки случается, хотя и рѣдко, какъ, напр., въ роли Яромира въ «Прародительницѣ», въ роли Тасса и нѣкоторыхъ другихъ. Потомъ, всѣмъ извѣстно, что онъ можетъ быть хорошъ только въ извѣстныхъ роляхъ, какъ будто нарочно для него созданныхъ, а въ прочихъ по большей части бываетъ рѣшительно дуренъ. Наконецъ, всѣмъ также извѣстно, что, часто дурно понимая и дурно исполняя цѣлую роль, онъ бываетъ превосходенъ, неподражаемъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оной, когда на него находитъ свыше геній вдохновенія. Теперь всѣмъ извѣстно, что г. Каратыгинъ равно успѣваетъ во всѣхъ роляхъ, т. е., что ему равно рукоплещутъ во всевозможныхъ роляхъ, въ роли Карла Моора и Димитрія Донскаго, Фердинанда и Ермака, Эссекса и Ляпунова. По моему мнѣнію, въ декламаторскихъ роляхъ онъ бываетъ еще лучше, и думаю, что онъ былъ бы превосходенъ въ роли Димитрія Самозванца трагедіи Сумарокова, и во

всѣхъ главныхъ персонажахъ трагедіи Хераскова и барона Розена... Какое же должно вывести изъ этого слѣдствіе?... Что г. Мочаловъ талантъ низшій, односторонній, а г. Каратыгинъ актеръ съ талантомъ всеобъемлющимъ, Гёте сценическаго искусства? Такъ думаетъ большая часть нашей публики, большая часть, но не всѣ, и я принадлежу къ малому числу этихъ не всѣхъ. По моему вотъ что: г. Мочаловъ талантъ невыработанный, односторонній, но вмѣстѣ съ тѣмъ сильный и самобытный; а г. Каратыгинъ талантъ случайный, не призванный, успѣхъ котораго зависитъ отъ огромныхъ природныхъ средствъ, т. е. роста, осанки, фигуры, крѣпкой груди, и потомъ отъ образованности, ума, чаще смѣливости, а болѣе всего смѣлости. Послушайте: если г. Мочаловъ могъ въ цѣлую жизнь свою ровно и искусно выдержать двѣ-три роли въ ихъ цѣлости, то согласитесь, что у него кромѣ чувства, которое можетъ быть живо и пламенно и не у художника, есть рѣшительный сценическій талантъ, хотя и односторонній; если онъ бываетъ гигантски великъ въ нѣкоторыхъ монологахъ и положеніяхъ, дурно выдерживая цѣлость и ровность роли, то согласитесь, что онъ обладаетъ чувствомъ неизмѣримо-глубокимъ. Почему же онъ не можетъ выдерживать цѣлости не только всѣхъ, но даже и большей части ролей, за которыя берется? Отъ трехъ причинъ: отъ недостатка образованности, соединеннаго съ упрямою невнимательностію къ искреннимъ совѣтамъ истинныхъ любителей искусства, потомъ отъ односторонности своего таланта и, наконецъ, отъ того, что онъ для эффектовъ не профанируетъ своимъ чувствомъ... Не правда ли, что послѣдняя причина кажется вамъ слишкомъ странною? Погодите — я объяснюсь прямѣе, для чего пока оставляю въ покоѣ г. Мочалова и обращаюсь къ г. Каратыгину.

Г. Каратыгинъ, какъ я уже сказалъ, берется рѣшительно за всѣ роли, и во всѣхъ бываетъ одинаковъ, или, лучше сказать, ни въ одной не бываетъ несносенъ, какъ то не

рѣдко случается съ г. Мочаловымъ. Но это происходитъ скорѣе не отъ всесторонности таланта, но отъ недостатка истиннаго таланта. Г. Каратыгину нѣтъ нужды до роли: Ермакъ, Карлъ Мооръ, Димитрій Донской, Фердинандъ, Эдипъ — ему все равно, была бы роль, а въ этой роли были бы слова, монологи, а пуще всего возгласы и риторика: съ чувствомъ, безъ чувства, съ смысломъ, безъ смысла, повторяю, ему все равно! Я очень хорошо понимаю, что одинъ и тотъ же актеръ можетъ быть превосходенъ въ роляхъ: Отелло, Шайлока, Гамлета, Ричарда III, Макбета, Карла и Франца Моора, Фердинанда, Марииза Позы, Карлоса, Филиппа II, Теля, Макса, Валленштейна и проч., какъ ни различны эти роли по своему духу, характеру и колориту; но я никакъ не могу понять, какъ одинъ и тотъ же талантъ можетъ равно блистать и въ бѣшеной, кипучей роли Карла Моора, и въ декламаторской надутой роли Димитрія Донскаго, и въ естественной, живой роли Фердинанда, и въ натянутой роли Ляпунова. Такой актеръ не то ли же самое, что поэтъ, готовый во всякій часъ, во всякую минуту проимпровизовать вамъ прекрасными стихами и буриме, и мадригалъ, и эпиграмму, и акростихъ, и оду, и поэмѣ, и драмѣ, и все что ни зададутъ ему? Здѣсь я вижу не талантъ, не чувство, а чрезвычайное умѣніе побѣждать трудности, это умѣніе, которое такъ высоко цѣнилось французскими критиками XVIII вѣка, и которое такъ хорошо напоминаетъ дивное искусство фокусника, метавшаго горохъ сквозь игольное ушко.

Я сценическое искусство почитаю творчествомъ, а актера самобытнымъ творцомъ, а не рабомъ автора. Найдите двухъ великихъ сценическихъ художниковъ, геній которыхъ былъ бы совершенно равенъ, дайте имъ сыграть одну и ту же роль, и вы увидите то же да не то. И это очень естественно: ибо невозможно найти даже двухъ читателей съ равною образованностію и равною способностію принимать впечатлѣнія изящнаго, которые бы совершенно одинаковымъ образомъ пред-

ставляли себѣ героя драмы. Они оба поймутъ одинаковымъ образомъ идею и идеаль персонажа, но различнымъ образомъ будутъ представлять себѣ тонкія черты и оттѣнки его индивидуальности. Тѣмъ болѣе актеръ: ибо онъ, такъ сказать, дополняетъ своею игрою идею автора, и въ этомъ-то дополненіи состоитъ его творчество. Но этимъ оно и ограничивается. Изъ пылкаго характера, созданнаго поэтомъ, актеръ не можетъ и не имѣетъ права сдѣлать хладнокровнаго, и наоборотъ. Теперь, спрашиваю я, какимъ же образомъ дастъ онъ жизнь персонажу, если авторъ не далъ ему жизни, какимъ образомъ заставитъ онъ его говорить страстно, пламенно, изступленно, когда авторъ заставилъ его говорить натянуто, надутю, риторически? Отъ высокаго до смѣшнаго — только шагъ, и потому, при неудачномъ исполненіи, чѣмъ выше идея, тѣмъ каррикатурнѣе ея впечатлѣніе. Другое дѣло комедія. Тамъ актеръ является болѣе творцомъ, ибо иногда можетъ придать персонажу такія черты, о которыхъ авторъ и не думалъ. И вотъ почему нашъ несравненный Щепкинъ часто бываетъ такъ превосходенъ въ самыхъ плохихъ роляхъ. Онъ пересоздаетъ ихъ, а для этого ему нужно, чтобы онѣ были только что не безсмысленны. И это очень естественно, ибо здѣсь, если авторъ не вдохновляетъ актера, то актеръ можетъ вдохнуть душу живую въ его мертвыя созданія, потому что здѣсь нужно одно искусство, а не чувство, не душа.*) Но въ драмѣ актеръ и поэтъ должны быть дружны, иначе изъ нея выйдетъ презабавный водевиль. Въ ней роль должна

*) Я здѣсь разумѣю одніи смѣшныя или уже слишкомъ посредственныя роли, и не говорю о роляхъ высшей художественной комедіи, въ которой актеръ непременно долженъ понять автора, чтобы успѣть. Доказательствомъ этого можетъ служить игра г. Щепкина, въ «Венеціанскомъ Купцѣ» и «Матросѣ», гдѣ нѣтъ чисто высокаго и гдѣ много комическаго, но гдѣ, при всемъ томъ, совсѣмъ не до смѣха. То же доказываетъ его же игра въ чисто комической роли Фамусова, въ которой актеръ глубоко понималъ поэта, и, несмотря на свою отъ него зависимость, самъ является творцомъ.

одушевлять и вдохновлять актера, ибо и обыкновенный читатель, совсѣмъ не бывши актеромъ, можетъ потрясти душу слушателя декламировкою какого-нибудь сильнаго мѣста въ драмѣ. Искусство и здѣсь орудіе важное, но второстепенное, вспомогательное.

Я видѣлъ г. Каратыгина въ четырехъ роляхъ (не упоминаю пустой роли, игранный имъ въ драмѣ: «Мужъ, Жена и Сынъ»): въ Ермакѣ, Ляпуновѣ, Эссексѣ (въ прошлый пріѣздъ его въ Москву), и Карлѣ Моорѣ (во второй разъ). Чтобы подкрѣпить мои мысли фактами, буду говорить о послѣдней. Ни въ одной роли онъ не казался мнѣ такъ рѣшительно дурень, такъ холоденъ, такъ натянутъ, такъ эффектенъ. Ни одного слова, ни одного монолога, отъ котораго бы забилося сердце, поднялись дыбомъ волосы, вырвался тяжкій вздохъ, навермулась бы на глазахъ восторженная слеза, отъ котораго бы затрепеталъ судорожно зритель, бросило бы его въ ознобъ и жаръ! Пробуждалось по временамъ какое-то странное чувство, похожее на чувство, происходящее отъ страха, или отъ давленія домоваго; но это чувство было мимолетно, мгновенно, ибо, лишь только зритель начиналъ подчиняться его обаянію, какъ тотчасъ все оказывалось ложною тревогою, а актеръ спѣшилъ разрушить подобное впечатлѣніе или какимъ-нибудь изысканнымъ эффектомъ, или совершеннымъ отсутствіемъ чувства при крайнемъ усиліи возвыситься до чувства, въ чемъ, разумѣется, онъ уже нисколько не виноватъ. Какъ, напримѣръ, сыгралъ г. Каратыгинъ эту славную, потрясающую сцену, въ которой Карлъ Мооръ выводитъ отца своего изъ башни и выслушиваетъ ужасную повѣсть его заключенія? Онъ стремительно обратился къ спящимъ разбойникамъ: это движеніе и выстрѣлъ изъ пистолета были сдѣланы грозно и благородно, а вопль: «вставайте!» былъ превосходенъ; но что же онъ сдѣлалъ потомъ, какъ произнесъ лучшій монологъ въ драмѣ? Онъ (слушайте! слушайте!), онъ отвелъ за руки, на край сцены, троихъ изъ главныхъ разбойниковъ,

и, обратившись къ одному и, помнится, сжавши его руку, сказалъ: «Посмотрите, посмотрите: законы свѣта нарушены!» къ другому: «Узы природы прерваны!» къ третьему: «Сынъ убилъ отца!» Оно и дѣльно—всѣмъ сестрамъ по серьгамъ, чтобъ ни одной не было завидно. Нѣтъ, не такъ произносить иногда этотъ монологъ г. Мочаловъ: въ его устахъ это лава всеувлекающая, всепожирающая, это черная туча, внезапно разражающаяся громомъ и молніею, а не придуманныя заранѣе театральныя штучки. Въ одномъ только мѣстѣ этой драмы г. Каратыгинъ былъ не дурень, когда говорилъ: «Какъ величественно заходитъ солнце!... Въ юности моя любимая мысль была—жить и умереть подобно ему... Дѣтскія были мечты мои!» и то не потому, чтобы онъ придавалъ этимъ словамъ особенное чувство, но потому, что произнесъ ихъ просто, безъ натяжки, безъ фарсовъ.

Зачѣмъ мы ходимъ въ театръ, зачѣмъ мы такъ любимъ театръ? Затѣмъ, что онъ освѣжаетъ нашу душу, завядшую, заплесневѣлую отъ сухой и скучной прозы жизни, мощными и разнообразными впечатлѣніями, затѣмъ, что онъ волнуетъ нашу застоявшуюся кровь неземными муками, неземными радостями, и открываетъ намъ новый, преображенный и дивный міръ страстей и жизни! Въ душѣ человѣческой есть то особенное свойство, что она какъ будто падаетъ подъ бременемъ сладостныхъ ощущеній изящнаго, если не раздѣляетъ ихъ съ другою душой. А гдѣ же этотъ раздѣлъ является такъ торжественнымъ, такъ умирительнымъ, какъ не въ театрѣ, гдѣ тысячи глазъ устремлены на одинъ предметъ, тысячи сердецъ бьются однимъ чувствомъ, тысячи грудей задыхаются отъ одного упоенія, гдѣ тысячи я сливаются въ одно общее цѣлое я въ гармоническомъ сознаніи безпредѣльнаго блаженства?... Когда этотъ поэтический Мооръ, этотъ падшій ангелъ, указываетъ на распростертаго безъ чувствъ старца-мученика и не человѣческимъ голосомъ восклицаетъ: «о, посмотрите, посмотрите—это мой отецъ!» когда онъ, въ награду за ве-

ликодушный поступокъ своего товарища, возлагаетъ на него обязанность мстить за своего отца и, поднявъ руки къ небу, проклиная изверга-брата: о! въ васъ нѣтъ души человѣческой, нѣтъ чувства человѣческаго, если при этомъ вы не обомрете, не обомлѣете отъ ужаснаго и вмѣстѣ сладостнаго восторга!... Но полное сценическое очарованіе возможно только подъ условіемъ естественности представленія, происходящей сколько отъ искусства, столько и отъ ансамбля игры. Но у насъ невозможенъ этотъ ансамбль, невозможна эта цѣлость и совокупность игры, ибо, у насъ, съ бѣшенными воплями г. Мочалова мѣшается ревъ и кривлянье гг. Орлова, Волкова, г-жи Рыкаловой и многихъ, многихъ иныхъ прочихъ. Что-жь тутъ дѣлать? Остается смотрѣть внимательно на главный персонажъ драмы и закрыть глаза для всего остальнаго. Но ежели и актеръ, занимающій главное амплуа, не выдерживаетъ цѣлости роли, будучи превосходенъ только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оной,—тутъ что остается дѣлать?—Ловить эти немногія мѣста и благодарить художника за нѣсколько глубокихъ потрясеній, за нѣсколько сладкихъ минутъ восторга, которыя вы уносите изъ театра, и память о которыхъ долго, долго носится въ душѣ вашей. Такъ смотрю я на игру г. Мочалова, этого требую я отъ игры его, это нерѣдко получаю, и за это благодарю его. Напримѣръ, нынѣшнимъ годомъ на масляницѣ, я видѣлъ его въ роли Отелло: роль, какъ обыкновенно, была дурно выдержана; но за то было нѣсколько мѣстъ, отъ которыхъ я потерялъ свое мѣсто и не помнилъ и не зналъ, гдѣ я и что я, отъ которыхъ всѣ предметы, всѣ идеи, весь міръ и я самъ слились во что-то неопредѣленное и составили одно цѣлое и нераздѣльное, ибо я слышалъ какіе-то ужасные, вызванные со дна души, вопли, и прочелъ въ нихъ страшную повѣсть любви, ревности, отчаянія — и эти вопли еще и теперь раздаются въ душѣ моей. Я даже понималъ, отъ чего такъ дурно была выдержана цѣлость роли: давали «Отелло», какъ и всегда, пошлой фабрики варвара-

Дюсиса; а г. Мочаловъ въ своей игрѣ живетъ жизнью автора, и тотчасъ умираетъ, какъ скоро умираетъ авторъ. Чуть несообразность, чуть натяжка—и онъ падаетъ. Въ моихъ глазахъ этотъ недостатокъ искусства есть высочайшее достоинство, ибо служить вѣрнымъ ручательствомъ добросовѣстности артиста и неподдѣльности его чувства. Мнѣ хотѣлось бы посмотреть на г. Мочалова въ Шекспировскомъ «Отелло»...

Не таковъ г. Каратыгинъ; роли надутыя, неестественныя, декламаторскія суть торжество его; онъ заставляетъ забывать о ихъ несообразности и нецѣпости; тамъ гдѣ г. Мочаловъ насмѣшилъ бы всѣхъ, тамъ онъ особенно хорошъ. Возьму для примѣра «Ермака» г. Хомякова. Закрывши рукой имена персонажей, я могу съ наслажденіемъ читать эту пьесу, ибо это собраніе элегій и поэтическихъ думъ о жизни исполнено теплоты чувства и поэзіи. Еще съ большимъ наслажденіемъ я выслушалъ бы ихъ и отъ г. Каратыгина, только не въ театрѣ, а въ комнатѣ. Но какъ пьеса драматическая, «Ермакъ» просто нецѣпость. Чтобы заставить насъ восхищаться имъ на сценѣ, надо сперва воротить насъ ко временамъ классицизма, къ этимъ блаженнымъ временамъ наперсниковъ, злодѣевъ, героевъ, фиѳимъ, румянъ, бѣлилъ и декламаций. Но г. Каратыгинъ не побоялся взять на себя этой миссіи, и онъ не совсѣмъ ошибся въ своемъ разсчетѣ. Его всегдѣшнее орудіе—эффектность, граціозность и благородство позъ, живописность и красота движеній, искусство декламации. Напрасно обвиняютъ его въ излишествѣ эффектовъ; его игра не можетъ существовать внѣ ихъ. Я думаю, онъ былъ бы очаровательно прекрасенъ въ роли «Димитрія Самозванца», и на вопросъ Шуйскаго:

Какая предстонтъ Димитрію бѣда?

мастерски бы отвѣтилъ:

Зла «урія во мнѣ смятенно сердце гложетъ;
Злодѣйская душа спокойна быть не можетъ!

Да, я увѣренъ, что театръ потрясся бы до основанія отъ грома рукоплесканій. И это очень вѣроятно, ибо позы, движенія и декламации г. Каратыгина менѣе зависятъ отъ содержанія и достоинства пьесы, чѣмъ отъ его удивительнаго искусства. Когда онъ бываетъ особенно хорошъ, когда онъ наиболѣе получаетъ рукоплесканій? Когда падаетъ въ ноги отцу, обнимаетъ его колѣна, бросается въ объятія къ женѣ, цѣлуетъ сына и, держа его на рукахъ, бѣгаетъ съ нимъ по сценѣ, бросается въ Иртышъ, когда уносить на плечахъ отравленнаго Скопина-Шуйскаго, допрашиваетъ Фидлера и выбрасываетъ его въ окошко. Надобно замѣтить, что наша публика вообще очень смѣшлива: она смѣется, когда ужасный Шейлокъ точитъ ножъ о свой сапогъ, когда мстительный Жидъ въ грозныхъ словахъ изливаетъ ядъ ненависти своей къ христіанамъ, палачамъ его племени, она хохочетъ надъ страданіями бѣднаго, благороднаго Матроса. Сцена между Ляпуновымъ и Фидлеромъ должна бы разсмѣшить ее; но г. Каратыгинъ такъ благородно и граціозно выбросилъ за окно г. Усачева, что никто даже и не улыбнулся, кромѣ развѣ райка. Напротивъ, чудное дѣло! эта же самая публика рукоплещетъ отъ восторга каррикатурнымъ возгласамъ Ляпунова къ своему мечу, или, когда онъ такъ уморительно комически говоритъ Скопину: «Здорово, князь!» Г. Каратыгинъ вполне разгадалъ нашу публику и глубоко понялъ ея требованія; вотъ вамъ и причина, почему на нынѣшній разъ такъ много фарсовъ прибавилось противъ прежняго. Если же онъ иногда ужъ черезчуръ пересаливаетъ въ нихъ, такъ это оттого, что онъ испытываетъ, понравятся ли публики его новыя выдумки.

И такъ какой же вообще характеръ игры его? Преодолывать трудности, дѣлать все изъ ничего. А для этого, разумѣется, нужны одни эффекты, одно искусство, обдуманность, предварительное изученіе роли, созданной не авторомъ, но актеромъ. Смотри на его игру, вы безпрестанно удивлены, но никогда не тронуты, не взволнованы. Искусство безъ чув-

ства — это классицизмъ, холодный какъ зима, выглаженный какъ мраморъ, но плѣняющій искусно отдѣланными формами. Впрочемъ, можетъ быть я и неправъ, ибо на счетъ этого у меня свой образъ мыслей, въ которомъ меня цѣлый свѣтъ не переувѣритъ: я не понимаю, какъ могъ восхищать своею игрою Тальма, ибо не понимаю, какъ можно восхищаться трагедіями Корнея, Расина, Вольтера, въ которыхъ отличался этотъ любимецъ Наполеона... Гдѣ нѣтъ истины, природы, естественности, тамъ нѣтъ для меня очарованія. Я видѣлъ г. Каратыгина нѣсколько разъ, и не вынесъ изъ театра ни одного сильнаго движенія; въ его игрѣ все такъ удивительно, но вмѣстѣ съ тѣмъ такъ поддѣльно, придуманно, изысканно. Г. Каратыгинъ — Марлискій сценическаго искусства; у него есть талантъ, но талантъ, образованный силою воли, прилежнымъ изученіемъ, но не самобытный, не природный, какъ у г. Мочалова; талантъ ходить, говорить, разсчитывать эффекты, понимать, гдѣ и что надо дѣлать, но не увлекать души зрителей собственнымъ увлеченіемъ, не поражать ихъ чувства собственнымъ чувствомъ... Пластика, граціозность движеній и живописность позъ составляютъ сущность балетовъ, а въ драмѣ суть средства вспомогательныя, второстепенныя. Чувствомъ можно замѣнить недостатокъ оныхъ, но никогда ими невозможно замѣнить недостатокъ чувства. А чѣмъ восхищались еще три года назадъ тому жаркіе поклонники таланта г. Каратыгина? О, нѣтъ! давайте мнѣ актера-плебея, но плебея Марія, не выглаженного лоскомъ паркетности, а энергическаго и глубокаго въ своемъ чувствѣ. Пусть подергиваетъ онъ плечами и хлопаетъ себя по бедрамъ; это дерганье и хлопанье пошло и отвратительно, когда дѣлается отъ незнанія, что надо дѣлать; но когда оно бываетъ предвѣстникомъ бури, готовою разразиться, то что мнѣ вашъ актеръ-аристократъ!...

Я сказалъ все, что хотѣлъ сказать. Считаю нужнымъ замѣтить, что никогда не бывалъ за кулисами, никогда не на-

ходилъся ни въ какихъ отношеніяхъ съ гг. артистами, о ко-
нѣхъ сужу, и не знакомъ ни съ однимъ изъ прочихъ, и по-
тому судить безъ всякихъ личныхъ предубѣжденій, безъ вся-
каго личнаго пристрастія, по моей совѣсти и разумѣнію. Легко
можетъ стать, что мое мнѣніе будетъ очень не важно, какъ
въ глазахъ артиста, такъ и въ глазахъ публики, но оно дол-
жно быть важно для меня, ибо тотъ недобросовѣстенъ, кто
не дорожитъ своими мнѣніями, какъ человекъ, если не какъ
литераторъ... Стыжусь и краснѣю, дѣлая эту пошлую ого-
ворку; но что же дѣлать, когда не только толпа, но и нѣ-
которые изъ людей, руководствующихъ мнѣніями этой толпы,
во всякомъ сужденіи, откровенно и рѣзко выраженномъ не
въ пользу судимаго лица, видятъ навѣты, недобросовѣстность
и недоброжелательство?

2.

БЕНЕФИСЪ Г. ЖИВОКИНИ.

*СЫНЪ ПРИРОДЫ, или. ученъе свѣтъ, а неученъе тѣмъ,
комедія-водевилъ въ 3 отдѣленіяхъ, взятая изъ романа
Поль-де-Кока (!!!). Покойникъ мужъ и его вдова, ко-
медія-водевилъ въ 1 дѣйствіи О. А. Кони. Заимствована
изъ французской комедіи. Царство женщинъ, или свѣтъ
наизворотъ, водевилъ въ 2 дѣйствія, переводъ съ фран-
цузскаго и. Детаю и Кукова. Маскарадъ, разнохарак-
терный дивертисманъ и пр. Бенефисъ г. Живокини.*

Я давно уже не былъ въ театрѣ, разумѣется, по разнымъ
недосугамъ; бенефисъ г. Живокини взманилъ меня. Въ са-
момъ дѣлѣ, г. Живокини артистъ съ истиннымъ талантомъ,
и когда не кривляется для угожденія райку (я даю этому
слову обширное значеніе), то его умная, обдуманная игра

доставляетъ зрителямъ большое удовольствіе. Я разъ пять былъ на водевилѣ «Хороша и Дурна», и не откажусь еще быть двадцать разъ, и все для г. Живокина, хотя этотъ водевилъ и всѣми актерами играется прекрасно. И такъ я прочелъ афишку и подумалъ: «Вечеръ наслажденія, добродушной веселости, благороднаго удовольствія! Гм!... но комедія-водевилъ, передѣланная изъ неблагопристойнаго романа Поль-де-Кока?...» Однакожъ, подумалъ и пошелъ. Открывается занавѣсъ—и театръ исчезаетъ и уступаетъ свое мѣсто балагану... А гророс! Не случалось ли вамъ когда-нибудь приглядываться къ шуткамъ паяцовъ и прислушиваться къ ихъ остроумнымъ шуткамъ? Миѣ случалось, потому что я люблю иногда посмотрѣть на нашъ добрый народъ, въ его веселыя минуты, чтобы получить какія-нибудь данныя насчетъ его эстетическаго направленія. Теперь я могу удовлетворять моей наблюдательности и всегда и ближе, не дожидаясь Масляной и Пасхи и не ходя на Москву рѣку и въ Подновинское... Но пока еще не о томъ дѣло. Посмотрите: вотъ паяцъ на своей сценѣ, т. е. на подмосткахъ балагана; внизу, передъ балаганомъ тѣмъ эстетическаго народа, ищущаго своего изящнаго, своего искусства; остроты буфона сыплются какъ искры отъ огня; все смѣется добродушнымъ смѣхомъ; въ толпѣ видѣнъ Татаринъ. «Эй, кричитъ ему паяцъ, эй, князь, поди, я припеку тебѣ пукли!» Земля и небо потряслись отъ хохота. Какъ вамъ это покажется? Жюль Жаненъ говоритъ, что современный французскій театръ представляется въ лицѣ паяца Дебюро: гдѣ-жъ бы онъ сталъ искать нашего? Въ доброе старое время, въ это время холоднаго классицизма, цѣвучей декламации, въ это время царей, наперсниковъ, проевъ добродѣтели, злодѣевъ, опекуновъ, горничныхъ, любовниковъ,—въ это доброе старое время, говорю я, театръ понимали лучше. Идеи объ искусствѣ не было; цѣль была забава, но забава благопристойная, умная, благородная, приличная забава людей образованныхъ. А теперь?... Теперь идея искус-

ства только на журнальных обертках и афишках, но въ художественныхъ произведеніяхъ и на театрѣ ея и духу нѣтъ. Но мы все-таки въ выигрышѣ противъ нашихъ дѣдовъ: мы въ театрѣ какъ дома, нѣтъ! что я сказалъ! мы въ театрѣ, какъ... какъ... право, не знаю гдѣ!... Бѣ чорту прилпче, долой благопристойность! Это классицизмъ, а мы романтики. Зачѣмъ намъ Мольера?—онъ классикъ! Давайте намъ Поль-де-Кока — онъ романтикъ! Да, мы не хотимъ лицебритъ, давай намъ жизнь, какъ она есть, безъ прикрасъ; природу нельзя украшать! давай намъ жизнь такъ, какъ она есть на площадяхъ, на рынкахъ, въ харчевняхъ, въ романахъ Поль-де-Кока и въ «Фантастическихъ Путешествіяхъ» Барона Брамбеуса!... «А что дѣлается на французскомъ театрѣ? Развѣ тамъ не даютъ водевилей, содержаніе которыхъ вертится на...» говорите вы. Такъ, но тамъ въ самой неблагопристойности есть благопристойность, есть грація, которая хоть сколько - нибудь выкупаетъ отсутствіе приличія. Помните ли вы басню Крылова: «Оселъ и Собака»?... Перенимать надо умѣючи. И такъ слава намъ! нашъ театръ уже не пародія на жизнь, а представленіе самой жизни, такъ какъ она есть, жизни нараспашку, безъ... слава намъ!... Сколько чудесъ было на бенефисѣ г. Живокини! Нѣтъ, никогда не забуду я бенефиса г. Живокини! никогда не забуду я, какъ г. Живокини жаловался королевѣ, что его... что его... лишили невинности, и кто же? дама, министръ внутреннихъ дѣлъ... Никогда не забуду я, какъ королева (г-жа Рѣпина) и ея министры обольщали на сценѣ мужчинъ, совѣтовали имъ оставить застѣнчивость, приличную нѣжному мужскому полу... я думалъ, я ждалъ, что все до конца пойдетъ наизворотъ; къ несчастію, этого не было; видно, оставлено до слѣдующаго бенефиса г. Живокини. И такъ г. Живокини со слезами и съ стыдливостью (истинно аретинскою) жаловался на насиліе, а въ ложахъ хлопали, въ креслахъ хлопали, раскъ просто торжествовалъ и въ немъ точно былъ рай... И вотъ

оно, то высокое и божественное искусство, которое возвышает душу, волнуетъ сердце благородными, человѣческими ошущеніями, которое предображаетъ человѣческую жизнь и возноситъ нашу мысль къ идеѣ всеобщей жизни!... Милостивые государи, у насъ нѣтъ высокой комедіи, у насъ одна только комедія «Горе отъ Ума»; ну, на нѣтъ и суда нѣтъ; но если наши комики, водевилисты, не могутъ постигать высокаго комическаго, какъ постигалъ его Грибоѣдовъ, если они не могутъ клеймить ничтожество и эгоизмъ печатію позора, почему же бы имъ не издѣваться добродушно надъ нашею домашнею жизнію, нашими повседневными отношеніями, но смѣяться остро, умно и благопристойно?... Если у насъ только одна комедія, то давайте намъ хоть «Богатоповыхъ», «Добрыхъ Малыхъ» или «Ссору двухъ сосѣдовъ»: это все лучше...

3.

НЕДОВОЛЬНЫЕ, оригинальная комедія въ 4 дѣйствіяхъ въ стихахъ, соч. М. Н. Загоскина. Дивертисманъ, вновь сочиненный (?) и поставленный въ-жею Гюльенъ. Спектакль 2 декабря.

Театръ былъ полонъ: ни одного пустаго кресла, ни одной пустой логи; не говоримъ уже о прочихъ мѣстахъ. Самая внѣшность театра отзывалась какою-то бенефисною торжественностію; необыкновенное освѣщеніе, суетливость и давка въ дверяхъ, множество экипажей всѣхъ родовъ возвѣщали, что во внутренности должно произойти что-то необыкновенное и важное...

Не знаю, недавняя ли и еще живая у всѣхъ въ памяти слава г. Загоскина, какъ романиста, обратила общее вниманіе на его новый драматическій трудъ, или рѣдкость новыхъ оригинальныхъ пьесъ, даваемыхъ на нашемъ театрѣ,

произвела сильное движеніе въ публикѣ и возбудила ея участіе. Какъ бы то ни было, но сѣздъ былъ необыкновенный. Это насъ чрезвычайно радуетъ, какъ доказательство, что русская публика никогда и не думала быть холодною къ отечественной литературѣ и особенно къ театру, какъ изволятъ увѣрять въ этомъ люди, или совѣтъ незнающіе нашей публики, или имѣющіе особенныя причины сердиться за ея холодность.

Подобно другимъ и мы спѣшили увидѣть новую комедію г. Загоскина, спѣшили увѣриться, выигралъ ли нашъ бѣдный театръ хоть что-нибудь въ этой комедіи. Съ нетерпѣніемъ ожидали мы, когда поднимется занавѣсъ, и онъ поднялся, и мы увидѣли новую комедію г. Загоскина. Несмотря на то, что мы изъ третьяго акта узнали о завязкѣ и развязкѣ комедіи, мы просидѣли и четвертый актъ...

Цѣль комедіи г. Загоскина была—осмѣять этихъ невѣждъ, старыхъ и молодыхъ, знатныхъ и незнатныхъ, которые, не будучи ни на что способны и видя себя забытыми и неуважаемыми, обвиняютъ общественный порядокъ, находятъ все русское дурнымъ, все иностранное хорошимъ, не зная хорошо ни того, ни другаго; которые не замѣчаютъ успѣховъ цивилизаціи, просвѣщенія и добра въ своемъ отечествѣ; видя въ немъ хорошее, закрываютъ глаза, затыкаютъ уши и молчатъ или перетолковываютъ дѣло назнанку; видя дурное, кричатъ, что есть мочи. Вотъ «Недовольные» г. Загоскина; они очень возможны, они есть вездѣ, гдѣ только есть люди, потому что гдѣ люди, тамъ и эгоизмъ, а когда эгоизмъ оскорбленъ, онъ всею недоволенъ. Истинное достоинство молчать, хотя бы оно было и не оцѣнено и оскорблено; мелочное самолюбіе и ничтожество громко вопіютъ о сдѣланной имъ несправедливости, громко трубятъ о своихъ заслугахъ и своей важности. Если смотрѣть на предметъ съ этой точки зрѣнія, то нельзя не согласиться, что автору предстояло поле обширное, обѣщавшее богатую жатву. Посмотрижь, какъ онъ имъ воспользовался.

И такъ основная идея и цѣль комедіи г. Загоскина намъ очень нравится. Честь и слава художнику, который дѣлаетъ такое благородное употребленіе изъ своихъ дарованій; честь и слава художнику, который употребляетъ свой высокій, данный ему Богомъ талантъ на осмѣяніе невѣжества и эгоизма, на исправленіе общества! Но еще болѣе ему чести и славы, если эта благородная цѣль гармонируетъ съ направленіемъ его таланта, если она дружна съ его вдохновеніемъ, если она есть слѣдствіе его привычныхъ думъ, если она составляетъ религію его души и его творческаго генія, если она сливается съ его безцѣльной потребностію творить, словомъ если она у него не обдуманый расчетъ, а бессознательный порывъ... Только подъ этимъ условіемъ его цѣль будетъ цѣлью художника, а не ремесленника, не поставщика на заказъ литературныхъ произведеній; только подъ этимъ условіемъ его портреты будутъ живыя созданія, а не мертвыя копіи; только подъ этимъ условіемъ невѣжество устыдится своего изображенія; въ противномъ же случаѣ, оно не узнаетъ себя въ немъ и будетъ надъ нимъ же издѣваться!...

Хорошая цѣль во всемъ похвальна; въ искусствахъ тѣмъ болѣе.

Но, въ последнемъ случаѣ, выполненіе этой цѣли—вотъ одно, что составляетъ торжество поэта. Мы отдали полную справедливость благородной цѣли г. Загоскина; теперь посмотримъ, каково онъ ее выполнилъ.

То же самое чувство безпристрастія, которое заставило насъ отдать справедливую похвалу прекрасной цѣли автора, заставляетъ насъ, къ крайнему нашему неудовольствію, признаться, что выполненіе этой цѣли показалось намъ неудовлетворительнымъ. Прежде, нежели представимъ наши доказательства, мы считаемъ нужнымъ замѣтить, что нашимъ сужденіемъ будетъ руководствовать одна любовь къ истинѣ, что оно будетъ чуждо всякаго пристрастія, всякой личности. Мы ни въ какомъ случаѣ не смѣшаемъ г. Загоскина съ пред-

ставителями литературной черни и будемъ уиѣть говорить о его произведеніи съ должнымъ уваженіемъ къ нему, къ публикѣ и къ самимъ себѣ. Мы увѣрены, что какъ публика, такъ и многоуважаемый нами писатель, не сочтутъ нашей твердости, нашего убѣжденія, за невѣжливость или неуваженіе къ личности автора, хотя наше сужденіе будетъ и не въ его пользу. Мы всегда уиѣли отдавать должную справедливость его литературнымъ заслугамъ. Мы уважаемъ его «Юрія Милославскаго», уважаемъ этотъ романъ за благородное чувство любви къ отечеству, которымъ онъ согрѣтъ, за степень таланта, съ которою онъ выполненъ, хотя и видимъ въ немъ произведеніе слабое въ художественномъ отношеніи; мы уважаемъ его «Рославлева» за картины простонародной жизни, довольно удачно схваченныя, хотя и видимъ въ немъ еще меньше художественности.

Мы уважаемъ даже его «Аскольдову Могилу» за хорошій языкъ, которымъ она написана, хотя и видимъ въ ней неудачную попытку. И такъ да не осуждаютъ насъ въ пристрастіи къ г. Загоскину!

Представьте себѣ, каково было наше удивленіе, когда мы въ первомъ актѣ «Недовольныхъ» узнали что-то знакомое намъ, хотя и давно забытое нами! Помните ли вы отрывокъ изъ комедіи г. Загоскина «Столичные Жители въ Провинціи», помѣщенный въ первой части «Московского Вѣстника» за 1829 годъ? Сначала мы подумали, что г. Загоскинъ, строго держась предписаній классицизма, писалъ свою комедію «Недовольные» цѣлыя шесть лѣтъ; но когда снова прочли напечатанный отрывокъ, то увидѣли, что въ «Недовольныхъ» онъ переделанъ и переименованъ. «Столичные Жители въ Провинціи» превратились въ «Недовольныхъ» и изъ провинціи перѣехали опять въ столицу. Тутъ нѣтъ ничего особенно худого: автору не трудно перенести своихъ героевъ не только изъ какой-нибудь губерніи въ Москву, но даже изъ Іеддо въ Лиссабонъ — переѣздъ обойдется дешево, какъ ни великъ онъ.

Но вотъ что приводитъ насъ въ соблазнъ: мы доселѣ никакъ не думали, чтобы однажды созданное поэтъ могъ передѣлывать по своей прихоти, какъ хозяинъ можетъ перестроить по новому плану домъ, котораго прежнимъ планомъ онъ остался недоволенъ. Неужели творчество есть ремесло, фантазія настругъ, которымъ можно помыкать, какъ угодно?... Странно, и, однакожъ, въ отношеніи ко многимъ нашимъ авторамъ, это выходитъ такъ!...

Теперь скажемъ нѣсколько словъ о содержаніи и характерахъ комедіи. О ея планѣ, завязкѣ и развязкѣ, мы представляемъ себѣ поговорить поподробнѣе въ другое время. Вотъ дѣйствующія лица комедіи: Князь Радугинъ, аристократъ, богачъ, промотавшій пять тысячъ душъ оттого, что на Рождество ѣлъ свѣжую малину, а на Крещеніе свѣжіе огурцы (маленькая гипербола!); онъ человѣкъ пустой и глупый до послѣдней крайности; онъ не способенъ ни къ какому дѣлу, ни къ какой службѣ, живетъ въ отставкѣ и сердится, что правительство не замѣчаетъ его великихъ талантовъ, его гениальности, и не даетъ ему мѣста, приличнаго его богатству, уму и знатности. У князя есть знакомый, Глинскій, второй томъ Сурскаго, близкая родня Холмину: этотъ человѣкъ олицетворенная ходячая мораль; онъ говоритъ не иначе, какъ сентенціями; вы не станете съ нимъ спорить, вы согласитесь съ нимъ во всемъ до послѣдняго слова, но смертельно соскучитесь, если поговорите съ нимъ хоть десять минутъ. Несмотря на его правильное сужденіе, на здравый образъ его мыслей, онъ немножко смѣшонъ, немножко bon homme, какъ всѣ люди, которые бросаютъ бисеръ передъ свиньями, которые съ важностію разсуждаютъ съ слѣпыми о цвѣтахъ, съ глухими о музыкѣ. Вотъ главные лица комедіи: на нихъ вертится все ея зданіе. Князь Любскій, министръ, приглашаетъ Глинскаго вступить въ службу и предлагаетъ ему мѣсто своего товарища. Князь Радугинъ, давно уже просившій князя Любскаго о мѣстѣ, ожидалъ въ это время отвѣта отъ

него; разумеется, министр прислалъ ему отказъ. Случись же такъ, что судьбѣ, или, лучше сказать, автору угодно было сыграть престранную шутку.

Письмо министра къ Глинскому попало въ руки князя Радугина, который показалъ его (третье дѣйствіе все происходитъ на водахъ) своимъ знакомымъ и началъ павлиниться, играя роль товарища министра. Только что уходитъ князь, какъ является Глинскій и говорить, что ему попалось, по ошибкѣ въ адресахъ, письмо, принадлежащее князю, а его находится въ рукахъ князя. Вотъ вамъ завязка комедіи «Недовольные»: не правда ли, что она очень проста и естественна? Въ четвертомъ дѣйствіи, къ князю являются съ поклономъ люди, всегда надъ нимъ смѣявшіеся и сверхъ того появившіеся не подличать передъ нимъ. Забавнѣ всего ихъ предлоги, будто бы заставившіе ихъ заѣхать нечаянно къ князю: эти предлоги такъ же естественны, такъ же приличны людямъ хорошаго тона, какъ прилична ошибка въ адресахъ министерской канцеляріи. Повторяю, что простота и естественность составляютъ главное достоинство комедіи г. Загоскина. Чтò-жъ далѣе? Разумеется, князь ломается, корчитъ изъ себя товарища министра, принимаетъ своихъ поклонниковъ въ халатѣ, общается имъ милости; поклонники расходятся съ самыми канцелярскими поклонами; человѣкъ докладываетъ о пріѣздѣ Глинскаго; князь говоритъ съ удовольствіемъ, что и этотъ моралистъ пріѣхалъ къ нему съ поклономъ и велитъ его принять; Глинскій является и выводитъ дурака изъ его сладкаго заблужденія. Въ это же время, повѣренный по дѣламъ князя докладываетъ ему, что его имѣніе описано за долги. Князь бѣсится и бранитъ Россію. Вы думаете, что онъ бранитъ ее за то, что въ ней нѣтъ снисхожденія къ такимъ знатымъ особамъ, какъ онъ, что въ ней передъ закономъ всѣ равны? — ничего не бывало! онъ бранитъ ее точно такъ, какъ дитя бьетъ вещь, о которую оно ушиблось, т. е. безъ всякаго резона, безъ всякой причины.

Вы думаете, что Глинскій воспользуется этимъ, чтобы спросить его, неужели во Франціи законы протезируютъ должниковъ, а не кредиторовъ, и фактомъ докажетъ ему превосходство Россіи передъ Франціею, въ случаѣ утвердительнаго отвѣта князя? — ничуть не бывало! онъ говоритъ князю грубости, которыхъ никогда не позволить себѣ человѣкъ-хорошаго тона. Князь говоритъ, что въ Россіи невозможно жить человѣку съ умомъ и душою, и этимъ оканчивается комедія. На первый случай, довольно о самой комедіи, скажемъ слова два о прочихъ дѣйствующихъ лицахъ. У князя Радугина есть теща, Анисья Дмитріевна Камская, что прежде была Матреной Савишною Лянскою; это лице хоть кого такъ поставитъ въ тупикъ; по своему происхожденію, своему богатству и положенію въ обществѣ, она кажется аристократкою; но по своему образу мыслей и выраженія, она очень похожа на этихъ торговыхъ толкачаго рынка, которыя продаютъ ситцевыя рубашки, бумажные платки и бѣловые носки.

Въ этомъ отношеніи даже знаменитая сваха Савишна въ «Черной Немочи», въ сравненіи съ нею, кажется аристократкою. Камская говоритъ, что ей придется «положить зубы на полку; пожалуй, не замай, съ души преть»; видя, какъ посѣтителіи водъ пошли принимать ихъ, она говоритъ:

Ну, батюшки, пошли на водопой.

Она подсылаетъ своихъ лакеевъ вывѣдывать тайны чужихъ домовъ, чтобъ имѣть пищу для своихъ сплетней; шпионъ ея, Аеонька, хотѣлъ посмотрѣть, что дѣлается въ домѣ у Волгиныхъ; тамъ былъ балъ, и хозяинъ дома, оставивъ гостей, вышелъ на улицу,

Какъ вдругъ съ наскоку
Брякъ въ щоку!
«Послушайте, за что?»

— А вотъ за что?— да хлысть въ другую...

Ужъ онъ его каталъ, каталъ!

Натѣшился, усталъ,—

Людишки приняли...

Камская бѣсится—

Ужъ и жъ его, мерзавца, доканая!

говорить она. Скажите, Бога ради, что все это значить? Неужели это картина нашего высшего общества? Неужели эта картина снята съ него послѣ «Горе отъ Ума», въ 1835 году?... Гдѣ видѣлъ г. Загоскинъ такіа лица? И говорятъ еще, что комедія Фонъ-Визина теперь уже анахронизмъ! Мы то же думали, пока не увидѣли «Недовольныхъ». Но повѣримъ г. Загоскину въ существованіи такого рода «Недовольныхъ» — теперь другой вопросъ: зачѣмъ выводить ихъ въ комедіи? Развѣ для утѣшенія райка? И въ самомъ дѣлѣ, раекъ такъ горячо хлопалъ разсказу Аеоньки, какъ никогда не хлопалъ прошлый вѣкъ разсказу Терамена. Въ «Горе отъ Ума» почти всѣ лица гнусны, какъ люди, но всѣ они естественны, всѣ они люди, а не куклы, пляшущія по ниткамъ, дергаемыя руками дирижѣра комедіи...

Потомъ у князя есть сынъ и дочь. О дочери мы не будемъ много говорить: это просто бездушная и притомъ устарѣвшая кокетка; это еще не бѣда: жаль только, что она походитъ немного на горничную. Но сынъ князя — лицо, важное въ комедіи. Это мальчикъ, который заучилъ нѣсколько модныхъ выраженій, подобныхъ слѣдующему, которое удалось намъ упомянуть:

....Когда никто изъ насъ не постигалъ

Ни любомудрія высокой цѣли,

Ни просвѣщенія свѣтлый идеалъ.

Молодой князекъ былъ въ Парижѣ, прекрасно говорить и писать на многихъ языкахъ, и только одинъ русскій знаетъ плохо; онъ обожаетъ все европейское, ненавидитъ все рус-

ское, разумѣется, не зная хорошо ни того, ни другаго; онъ служить, но очень нерадиво; три недѣли не является къ должности, получаетъ выговоръ отъ начальника, который, между прочимъ, совѣтуетъ ему поучиться русской грамматикѣ; князекъ отвѣчаетъ своему начальнику грубостями, выгоняется изъ службы съ худымъ аттестатомъ и въ восторгѣ оттого, что толпа не поняла его. Сверхъ того князекъ мотъ, картежный игрокъ, фатъ, волокита; онъ смѣется надъ роднымъ отцомъ и почти въ глаза называетъ его дуракомъ; словомъ, это человѣкъ безъ познаній, безъ правилъ, безъ души, безъ ума, безъ чести и совѣсти. Здѣсь явное преувеличеніе. Вѣрно, г. Загоскинъ слѣдовалъ тѣмъ эстетикамъ, въ которыхъ говорится, что идеаль есть совокупленіе всѣхъ чертъ, разбѣянныхъ въ природѣ, въ одно лице, для выраженія той или другой идеи. Врутъ эти эстетики, и слѣдовать имъ опасно. Вообще у г. Загоскина любимая замашка—утрировать. Такъ, напр., въ своей повѣсти «Три Жениха» онъ представилъ либерала, который безпрестанно толкуетъ о правахъ человѣчества, вопіетъ противъ феодальнаго тиранизма, и который, въ то же время, держитъ своего мальчишку въ желѣзномъ ошейникѣ, бьетъ его не щадя, изъ своихъ рукъ, плетью, и который, наконецъ, такъ неостороженъ, такъ простъ, что не умѣетъ скрыть своихъ варварскихъ поступковъ и позволяетъ застать себя на дѣлѣ... Увѣряемъ г. Загоскина, что молодые люди, подобные князю Владиміру Радугину, не существуютъ въ природѣ, что только подобные имъ были у насъ когда-то, но что теперь и ихъ ужъ нѣтъ. Неужели у насъ нѣтъ ничего смѣшнаго, ничего порочнаго, что авторы принуждены прибѣгать къ выдумкамъ и небылицамъ? Нѣтъ, для Грибоѣдова общество представляло богатые матеріалы; теперь онъ не написалъ бы «Горе отъ Ума», но написалъ бы новую и вѣрную картину настоящаго общества и такъ же бы насмѣшилъ его! Но вѣдь у Грибоѣдова былъ огромный талантъ, если не геній!...

Скучно, утомительно и бесполезно говорить о другихъ персонажахъ: это все одно и то же, только въ разныхъ костюмахъ и съ разными именами. Въ Запяткинѣ, задумевномъ другѣ Владиміра Радугина, авторъ хотѣлъ представить что-то въ родѣ Молчалина: это тотъ же подлець, только понаглѣе, а главная разница между ними та, что одинъ живой портретъ, а другой восковая фигура, безъ признака жизни и душно слѣпленная. Княгиня Глафира Савишна Дутикова такъ глупа и нелѣпа, что совѣстно и говорить о ней. Федосья Львовна Полкалова, какъ двѣ капли воды, похожа на г-жу Простакову Фонъ-Визина. Графъ Мишурскій, баронъ Турухмановъ—глупцы, тоже безъ малѣйшей тѣни естественности. Только Котомкинъ и камердинеръ князя Радугина, котораго имени мы не можемъ сказать, по причинѣ его дурнаго этимологическаго значенія—показались намъ естественными и вѣрными портретами, подобныхъ которымъ можно найти по крайней мѣрѣ въ провинціи. Анюта, что прежде была Наташей, изъ магазинной швейки превращена авторомъ въ компаньонку, и очень неудачно.

Представленіе было лучше комедіи, и однакожъ не произвело на публику никакого впечатлѣнія. Всѣхъ лучше игралъ, разумѣется, г. Щепкинъ; если онъ походилъ не на князя, столичнаго жителя, а на Богатонova, провинціала въ столицѣ, это не его вина; всѣхъ хуже игралъ г. Живокини, который, представляя хотя и пустаго, но свѣтскаго человѣка, очень походилъ на сидѣльца овощной лавки. Послѣ комедіи, мы видѣли какой-то китайскій танецъ, а въ этомъ будто бы китайскомъ танцѣ видѣли разныя ломанья, кривлянья и русскія антраша въ присядку, видѣли круги, полукруги, прямые углы въ 90 градусовъ и тупые углы во 150 и болѣе градусовъ, описываемые ногами. Долго ли эти прямые и тупые углы будутъ наругаться надъ благопристойностію и требованіями вѣка?...

СПИСОКЪ КНИГЪ, ОТЗЫВЫ О КОТОРЫХЪ, ПО НЕЗНАЧИ-
ТЕЛЬНОСТИ СВОЕЙ, НЕ ВОШЛИ ВЪ ЭТО СОБРАНИЕ.

1835 Молва. № 1. Домовой или Любовь стараго подъячаго.—Верескъ.—№ 5. Дворянскіе выборы.—№ 8. Не влюбляйся безъ памяти, водевилъ О. Кони.—Мужъ въ каминѣ, водевилъ его же. — № 9. Подробныя свѣдѣнія о волжскихъ Калмыкахъ.—№ 10. Сказаніе о побойцѣ великаго князи Дмитрія Донскаго.—№ 12. Повѣсти для дѣтей, соч. г-жи Ренневиль.—Собраніе повѣстей, Беркени.—Страсть къ должностямъ, комедія.—№ 14. Клятвопреступница.—Современныя повѣсти модныхъ писателей.—Достопамятный бракъ царя Іоанна Грознаго.—Тетрадь русской грамматики для Русскихъ.—№ 16. Похожденіе червонца.—Стихотворенія Баратынскаго.—№ 18. Рахиль, соч. Евгенія Фоа.—Пещера смерти.—№ 19. Исторія Пугачевского бунта.—№ 21. Забавные анекдоты Поляньяна Финдюро.—№ 22. Святославичъ, соч. Вельтмана.—№ 23. Два мужа, водевилъ.—Женихъ-мертвецъ.—Добрыя дѣвушки.—№№ 24, 25, 26. Краткая исторія города Казани.—№№ 27, 28, 29, 30. Ледяной домъ, соч. Лажечникова.—Малороссійскія повѣсти Основьяненка.—Насъкы Украинскы казкы.—Метода всеобщаго обученія Жакото.—Метода Жакото. Чтенія для умственнаго развитія дѣтей.—Артистъ, водевилъ.—Вечера моей бабушки.—№№ 31, 32, 33, 34. Очерки съвера, соч. Ампера.—Карманный гомотическій лѣчебникъ.—Люди высшаго и низшаго круга.—№ 35. Кривой бѣсъ.—Тише ѣдешь, дальше будешь.—№ 36. Русская исторія для первоначальнаго чтенія, соч. Н. Полеваго.—№ 37. Осужденный, повѣсть А. Крылова.—№ 38. Весенніе цвѣты.—Атаманъ бури.—№ 39. Сцены изъ петербургской жизни.—№ 40. Повѣсти Александра Никитина.—Горе отъ тещи, водевилъ Григорьева.—Плачь на кладбищѣ, соч. Кузминачева.—Сельскій колдунъ, его же.—Незаконнорожденный, пер. Протопопова.—№ 41. Нѣмецко-русскій словарь Брифа.—Практическан

русская грамматика. — Опыт полного учебнаго курса русской грамматики. — № 42. Библіотека романовъ, Ротгана, ч. XIV, XV и XVI. — Эшафотъ, романъ Биньяна. — Священная исторія. — Барановскій, романъ. — Валерій и Амалія. — № 45. Записки о Петрѣ Великомъ, Виліамса. — О распространеніи Россійскаго государства въ единодержавіе. — Стихотворенія Владимира Бенедиктова. — №№ 46, 47. Валерія или слѣпая. — Новѣйшіе повѣсти и рассказы. — Сцены современной жизни. — Весенняя вѣтка. — №№ 48, 49. Осенній вечеръ. — № 50. Исторія Японіи. — №№ 51, 52. Подвиги русскихъ воиновъ въ странахъ кавказскихъ. — Поединокъ. — Цвѣты нравственности. — Авторскій вечеръ. — Дѣтскій театръ, Бор. Оедорова.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

ОГЛАВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

1834

М О Л В А.

I.

КРИТИКА.

Литературныя мечтанія.	Стр. 1
--------------------------------	-----------

II.

БИБЛИОГРАФІЯ.

Ночь на рождество Христово	129
Грамматика языка русскаго, соч. Калайдовича.	132
Повести Безумнаго.	152
Регентство Бирона, соч. Масальскаго. — Графъ Оболянской, соч. Коншина. — Шагоны, русская повѣсть XVI столѣтія.	156

1835

Т Е Л Е С К О П Ъ.

I.

КРИТИКА.

О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя («Арабески» и «Мир- городъ»).	165
О стихотвореніяхъ Баратынскаго	235

Стихотвореніе Вл. Бенедиктова	Стр. 246
Стихотворенія Кольцова	265
Опытъ системы нравственной философіи, Алексѣя Дроздова	272

М О Л В А.

II.

БИБЛИОГРАФІЯ.

Изгнанникъ, историческій романъ Богемуса	297
Поселщикъ, сибирская повѣсть Н. Щ.	300
Въ тихомъ озерѣ черти водятся, пословица О. Кони	307
Повѣсти, изданныя Александромъ Пушкинымъ	310
Исторія о храбромъ рыцарѣ Францызъ Венціанъ	312
Краткое изложеніе доводовъ, утверждающихъ божественное происхожденіе христіанскаго откровенія	315
Новое нелюбю не слушай, а лгать не мѣшай. — Двѣ гробовыя жертвы, разсказъ Касьяна Русскаго	316
Баронъ Брамбеусъ, повѣсть Павла Павленки	318
Пантеонъ дружбы на 1834 г.	320
Конекъ-Горбунушъ; русская сказка П. Ершова	321
Путевыя записки Вадима	323
Были и небылицы, Казака Лагунскаго	325
Аббадонна, соч. Н. Полеваго. — Мечты и Жизнь, его же	326
Записка о походахъ 1812 и 1813 годовъ	334
Хиѣльницкіе, историческій романъ Голоты	335
Царь-дѣвица	338
Сочиненія въ прозѣ и стихахъ К. Батюшкова	339
Досуги Инвалида. Часть вторая	344
Ангарскіе пороги, сибирская быль, Н. Щ.	346
Арабески, разныя сочиненія Гоголя. — Миргородъ, повѣсти, его же	347
Таинственный монахъ, историческій романъ	349
Вѣдьма, соч. А. Чуровскаго. — Черный Кошечей, его же	352
Учебная книга всеобщей исторіи, Кайданова	354
Сцены на морѣ, соч. Давыдова	361
Корсунскія врата. — Царствованіе Ѳедора Алексѣевича. — Русская Визаіюенна	363
Дѣтя повзг. — Стихотворенія М. Меркли	368
Наталія, соч. г-жи ***	372
Образецъ постоянной любви, драма	376

	Стр.
О Господиѣ Новгородѣ Великомѣ	377
Борисъ Годуновъ, трагедія Лобанова	379
Художникъ, соч. Тимофеева	380
Исторія Донскаго войска, Вл. Броневскаго	384
Тетушкины сказки	387
Жертва, литературный эскизъ	389
Ижорскій, мистерія	399
Сынъ жены моей, романъ Поль-де-Кока	403
Четыре вымысла, соч. Лутковскаго.—Эмилиѣ Лихтенбергъ, соч. М. Лисицкой	407
Записки г-жи Дюкре о императрицѣ Іозефинѣ	410
Наслѣдница, соч. П. Сумарокова	411
Рейнскіе пилигримы, соч. Бульвера	414
Сестра Анна, соч. Поль-де-Кока	419
Стихотворенія А. Коптева	420
Посланіе Рикорду. — Стихи на освященіе Собора всѣхъ учеб- ныхъ заведеній.—Маньчжурская пѣснь.—На памятникъ им- ператору Александру I	424
Полный и новѣйшій пѣсенникъ, Ив. Гурьянова	426
Начертанія Русской исторіи для училищъ, соч. Погодина	430
Библіотека романовъ и историческихъ записокъ, Ротмана	432
Довмонтъ, князь псковскій, соч. А. Андреева	436
Грамматическіе уроки русскаго языка, Д. Каширина	438
Отвѣтъ критикамъ, г. Гуслистаго	440
О жизни и произведеніяхъ Вальтеръ-Скотта, соч. Аллана Кан- нингама	441
Краткая географія для дѣтей	449
Опытъ изслѣдованія нѣкоторыхъ теоретическихъ вопросовъ, Зе- ленецкаго	451
Три сердца, А. Долинскаго	452
Покойникъ мужъ, водевилъ Ѳ. Коня.—Иванъ Савельичъ, его же. Заговоръ противъ себя	453

III.

ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.

Русская литературная старина	459
Метеорологическія наблюденія надъ современною литературою	465
Литературныя извѣстія	470
Просодическая реформа	471

Вѣстникъ парижскихъ модъ	Стр. 472
Журнальная замѣтка	474

IV.

ТЕАТРЪ.

Объ игрѣ г. Каратыгина	491
Бенефисъ г. Живокина	504
Недовольные	507
Списокъ книгъ, отзывы о которыхъ, по незначительности своей, не вошли въ это собраніе	517

СОЧИНЕНІЯ
В. БѢЛИНСКАГО.

Соч. В. БѢЛИНСКАГО Ч. II.

1

СОЧИНЕНІЯ
В. БѢЛИНСКАГО.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА И ЕГО ФАКСИМИЛЕ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Изданіе шестое.

ЦѢНА ЗА КАЖДУЮ ЧАСТЬ 1 Р. 25 К.

МОСКВА.
Типографія А. И. Мамонтова и К^о, Леонтьевскій пер., № 5
1891.

1836.

ТЕЛЕСКОПЪ И МОЛВА *).

***) Въ этомъ году они выходили вмѣстѣ въ одной книжкѣ.**

1934

1.

К Р И Т И К А.

НИЧТО О НИЧЕМЪ,

или

ОТЧЕТЪ Г. ИЗДАТЕЛЮ ТЕЛЕСКОПА ЗА ПОСЛѢДНЕЕ ПОЛУГОДИЕ

(1835)

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1.

Вы обязали меня сдѣлать легкій и короткій обзоръ хода нашей литературы, во время вашего пребыванія за-границей, и привели меня тѣмъ въ крайнее затрудненіе. Развѣ вамъ не извѣстно, что «ничто не ново подъ луною»? Какихъ же хотите вы новостей отъ русской литературы, и въ такой короткій періодъ ея существованія? «Тѣмъ лучше для васъ, тѣмъ меньше вамъ труда», скажите вы. Нѣтъ, вы не правы: отъ этого мнѣ не только не легче, но предстоитъ истинно геркулесовскій подвигъ: я долженъ написать статью, а изъ чего я вамъ напишу ее, о чемъ буду повѣствовать вамъ въ ней? О ничемъ?... Итакъ, надо сдѣлать что-нибудь изъ ничего? — Помните ли вы, какъ одинъ изъ знаменитѣйшихъ нашихъ писателей, изъ первостатейныхъ геніевъ, утомившій на смерть свою литературную славу тѣмъ, что вздумалъ писать о ничемъ и весь вылился въ ничто?... Конечно, я не пользуюсь литературною славою и, слѣдовательно, не подвергаюсь опасности посадить ее на мель роковаго ничто; но у меня другой страхъ, и очень основательный. Если я не пользуюсь ни тѣнію той лучезарной славы, которою сіялъ нѣ-

когда помянутый великій писатель, то вмѣстѣ не имѣю и искры его гения, который нашелся, хотя и въ конечной погибели своей репутаціи, высказаться въ ничемъ на нѣсколькихъ страницахъ. Притомъ же, хотя я, въ отсутствіе ваше, волею или неволею, игралъ роль сторожа на нашемъ Парнасѣ, окликая всѣхъ проходящихъ и отдавая имъ, своею аллебардою, честь по ихъ званію и достоинству, хотя не утомило и неусыпно стоялъ на своемъ посту, — однакожь многое ускользнуло отъ моей бдительности. Бывало, нахлынетъ дѣлая толпа — и тутъ некогда было разспрашивать каждаго порознь; стукнешь аллебардою по всѣмъ и пропустишь. А теперь неужели мнѣ надо дѣлать поголовную переключку, бѣгать по всѣмъ закоулкамъ и собирать народъ православный? Нѣтъ — отрекаюсь отъ этого труда: и такъ было много хлопотъ и, можетъ-быть, много шуму изъ пустяковъ! Да и притомъ возможное ли это дѣло? Много ли изъ тѣхъ, которые промчались мимо моей сторожки, остались теперь въ живыхъ?... Итакъ, и скажу вамъ только развѣ о тѣхъ лицахъ, которыя особенно врѣзались въ моей памяти, буду повѣствовать только о тѣхъ событіяхъ и случаяхъ, которые особенно поражали мое вниманіе. Мой обзоръ будетъ отрывчатъ, безпорядоченъ и несвязенъ, какъ всякій рассказъ наскоро о предметѣ многосложномъ, разнообразномъ и ничтожномъ.

Итакъ, я обзорѣваю, становлюсь обзорѣвателемъ! — Обзорѣвать, обзорѣватель — вы помните, какъ громко звенѣли нѣкогда эти два слова въ нашей литературѣ? Кто не обзорѣвалъ тогда? Гдѣ не было обзорѣній? Какой журналъ, какой альманахъ не имѣлъ своего штатнаго обзорѣвателя? И это была должною не трудная, легкая, казенная; за нее брался всякій, не запасаясь дорогимъ лорнетомъ учености, даже иногда вовсе безъ очковъ грамматики и здраваго смысла! —

Отчего-жь теперь такъ мало пишется обзорѣній? Куда дѣвались всѣ эти обзорѣватели? Я прошу у васъ позволенія заняться предварительно разрѣшеніемъ этого любопытнаго

вопроса, хотя по крайней мѣрѣ для того, чтобъ наполнить мою статью объясненіемъ причинъ, почему она не можетъ быть нѣчто.

Обозрѣнія всякаго рода бываютъ результатомъ или сознанія силы, или сомнѣнія въ ней. Кто часто пересчитываетъ свои деньги, повѣряетъ счеты и подводитъ итоги, тотъ или богатѣетъ день отъ дня, или бѣднѣетъ; само собою разумѣется, что въ первомъ случаѣ онъ хочетъ удостовѣриться въ улучшеніи своего состоянія и опредѣлить степень этого улучшенія, а во второмъ случаѣ хочетъ измѣрить глубину своего паденія, хочетъ взглянуть въ бездну, отверзтую передъ нимъ, какъ бы съ намѣреніемъ приучить себя заранѣе къ ея ужасному виду, или какъ будто находя жестокое наслажденіе въ сознаніи своего бѣдственнаго положенія, веселясь собственнымъ своимъ отчаяніемъ. У насъ была уже литература, были Ломоносовъ, Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Державинъ, Фонъ-Визинъ, Хемницеръ, Богдановичъ, Капнистъ; потомъ, Карамзинъ, Дмитріевъ, Крыловъ, Озеровъ, Мерзляковъ, и наконецъ Батюшковъ и Жуковский; всѣ эти люди пользовались почти равнымъ участкомъ славы, всѣми ими восхищались почти въ равной степени, по крайней мѣрѣ, всѣ они слыли равно за художниковъ и за гениевъ (или, по тогдашнему, за образцовыхъ писателей). Критиковать тогда значило хвалить, восхищаться, дѣлать возгласы и, много-много, если указывать на нѣкоторые неудачные стихи въ цѣломъ сочиненіи, или на нѣкоторыя слабыя мѣста, съ совѣтомъ поэту, какъ ихъ починить. Понятія о творчествѣ тогда были готовы, взятые на прокатъ у Французовъ; критики не было, потому что критика болѣе или менѣе есть сестра сомнѣнію, а тогда царствовало полное убѣжденіе въ богатствѣ нашей литературы, какъ по количеству, такъ и по качеству; литературныхъ обозрѣній тогда тоже не было и не могло быть, потому что въ обозрѣніе всегда входитъ критика, а вмѣсто ихъ иногда случались по временамъ, и то рѣдко, реэстры пи-

сателей и ихъ писаній, перемѣшанные съ извѣстнымъ числомъ хвастливыхъ восклицаній. Мерзляковъ вздумалъ было напасть на авторитетъ Хераскова и, взявши ложныя основанія, высказалъ много умнаго и дѣльнаго; но какъ его критицизмъ былъ явнымъ анахронизмомъ, то и не принесъ никакихъ плодовъ. Но вдругъ все перемѣнилось: явился Пушкинъ, и вмѣстѣ съ нимъ такъ называемый романтизмъ. Въ чемъ состоялъ этотъ романтизмъ? Въ отношеніи къ Пушкину, этотъ романтизмъ состоялъ въ томъ, что, изъ всѣхъ нашихъ поэтовъ, Пушкина одного было можно назвать поэтомъ-художникомъ и не ошибиться; что онъ, вмѣсто, того, чтобы писать громкія и торжественныя оды на современныя событія, обыкновенно или теряющія свою прелесть для потомства, или представляющіяся ему въ другомъ свѣтѣ, сталъ говорить намъ о чувствахъ общихъ, человѣческихъ, всѣмъ болѣе или менѣе доступныхъ, всѣмъ болѣе или менѣе испытанныхъ; что онъ напалъ на истинный путь и, будучи рожденъ поэтомъ, свободно слѣдовалъ своему вдохновенію. Да! воля ваша, а я крѣпко убѣжденъ, что народъ или общество самый лучшій, самый непогрѣшительный критикъ. Я однажды высказалъ, или, лучше сказать, повторилъ чужую мысль, что Державина спасло его невѣжество: отрекаюсь торжественно отъ этой мысли, какъ совершенно ложной. Державинъ не былъ ученъ, но находился подъ вліяніемъ современной ему учености, раздѣлялъ вѣрованія и мнѣнія своего времени объ условіяхъ творчества и, на зло своему гемію, всю жизнь свою шелъ по ложному пути. Поэтому, тѣ изъ его созданій, которыя противорѣчили современной ему эстетикѣ, отличаются истинною поэзіею. Возьмите, напримѣръ, «Водопадъ»: похоже-ли это на оду, диопрамбъ, кантату? Это просто элегія, которая, по своей формѣ и своему духу, только тѣмъ отличается отъ элегій даже самыхъ крошечныхъ нашихъ поэтиковъ, что запечатлѣна гениемъ Державина. И за то, какъ прекрасна и глубока эта элегія! — Но возьмите его торжественныя оды:

что это такое? Посмотрите, какъ онъ въ нихъ никогда не могъ поддержать до конца своего напряженного восторга, какъ онъ въ концѣ каждой изъ нихъ падалъ и, начавши высоко и громко, оѣнчивалъ ровно ничѣмъ! И кто станетъ теперь читать эти торжественныя оды?... Измаилъ, Прага, Рымникъ, Кагулъ—всѣ эти имена напоминаютъ о дѣйствіяхъ великихъ; но то ли они, эти великія дѣйствія, для насъ, чѣмъ были для современниковъ? Мы, юноши нынѣшняго вѣка, мы, бывши младенцами, слышали отъ матерей нашихъ не объ Измаилѣ, не о Кагулѣ, не о Рымникѣ, а объ двѣнадцатомъ годѣ, о бородинской битвѣ, о сожженіи Москвы, о взятіи Парижа. Эти событія и ближе къ намъ по времени и поважнѣе прежнихъ въ своей сущности; да и они слабѣютъ уже въ нашемъ воображеніи, заглушаемыя громами араатскими, забалканскими, варшавскими. Но поэзія всѣхъ этихъ великихъ происшествій сама по себѣ такъ необъятна, что ее трудно уловить, увѣковѣчить въ звукахъ. Сверхъ того, мы уже увѣрились теперь, что фактъ или событіе сами по себѣ ничего не значать: важна идея, выражаемая ими. Итакъ, что же значать всѣ эти торжественныя оды, какой интересъ могутъ имѣть для потомства всѣ эти трогомгласныя описанія? Скажутъ: это питаетъ народную гордость, даетъ наслажденіе святому чувству любви къ отечеству; Русскіе брали непреодолимыя твердыни и всему свѣту доказали свою храбрость; это подвиги, которые поэзія должна передавать потомству. Очень хорошо, но вѣдь храбрость есть неотъемлемое свойство Русскихъ; но вѣдь они доказывали ее всегда и вездѣ, какъ только былъ случай; но вѣдь ничтожная же горсть Русскихъ удержала за Россією Грузію и уничтожила всѣ попытки персидской арміи; но вѣдь ничтожная же горсть Русскихъ отбила Арменію и запитила ее противъ Персіи и Турціи?... Эти подвиги у насъ такъ часты, такъ обыкновенны; они составляютъ ежедневную жизнь народа русскаго... Да, Державинъ шелъ путемъ слишкомъ тѣснымъ: онъ льстилъ совре-

женности, нападалъ на интересы частные, современные, и рѣдко прибѣгалъ къ интересамъ общимъ, никогда не старѣющимъ, никогда не измѣняющимся — къ интересамъ души и сердца человѣческаго! И въ этомъ виновата ученость вѣна, которой онъ былъ непричастенъ, но подъ вліяніемъ которой онъ всегда находился. Не зная по-латыни, онъ подражалъ Горацию, потому что тогда всѣ подражали Горацию; не постигнувъ духа и возвышенной простоты псалмовъ Давида, онъ перелагалъ ихъ съ прозы на громкіе, напыщенные стихи, потому что всѣ наши поэты, начиная съ Ломоносова, дѣлали это, не говоря уже о Французахъ. Гораций воздвигнулъ себѣ «памятникъ», Державинъ тоже; но что у перваго было, вѣроятно, вдохновеніемъ, то у втораго было подражаніемъ. Обратимся назадъ. Итакъ, романтизмъ въ отношеніи къ Пушкину состоялъ въ томъ, что онъ искалъ поэзіи не въ современныхъ и преходящихъ интересахъ, а въ вѣчномъ, неизмѣняемомъ интересѣ души человѣческой. Въ отношеніи къ другимъ поэтамъ, вышедшимъ вслѣдъ за Пушкинымъ, романтизмъ состоялъ въ томъ, что ода была рѣшительно замѣнена элегіей, высокопарность — унылостью, жесткій, ухабистый и неуклюжій стихъ — гармоническимъ, плавнымъ, гладкимъ. Въ отношеніи къ цѣлой литературѣ, романтизмъ состоялъ въ томъ, что было отвергнуто, какъ нелѣпость, драматическое тріединство, хотя не было написано ни одной хорошей драмы. Итакъ, вотъ весь нашъ романтизмъ! Тогда явилось множество поэтовъ (стихотворцевъ и прозаиковъ), стали писать въ такихъ родахъ, о которыхъ въ русской землѣ долѣ было вѣдомъ не видать, слыхомъ не слыхать. Тогда-то наши критики пустились въ обзорѣнія: они увидѣли, что у насъ есть писатели и въ классическомъ и въ романтическомъ родѣ, и захотѣли повѣрить свое родное богатство, подвести его итога. Это была эпоха очарованія, упоенія, гордости: новость была принята за достоинство, и эти поэты, которыхъ мы теперь забыли и имена и творенія, казались

тѣмъ-то необыкновеннымъ и великимъ. И это было очень естественно: новостъ направленія и духа сочиненій всегда бываетъ камнемъ преткновенія для критики.

Итакъ, очень ясно, что раннее очарованіе, непрочныя надежды, родили гордость и самоувѣренность въ нашихъ критикахъ; а гордость и самоувѣренность породили множество обзрѣній. Только одинъ Пушкинъ былъ предметомъ, достойнымъ и обзрѣній, и критикъ, и споровъ, а между тѣмъ все шло заурядъ въ обзрѣнія. И разумѣется, эти обзрѣнія были важны, горды и веселы, какъ молодыя надежды, какъ неопытная юность, гордящаяся силами, еще не удовлетворяясь въ нихъ. Новостъ за новостью, поэма за поэмою, романъ за романомъ, повѣсть за повѣстью, альманахъ за альманахомъ, журналъ за журналомъ, а элегіи и отрывки безъ числа, безъ мѣры, и все это возбуждало участіе, восторгъ, удивленіе, потому что все это было ново. Слѣдовательно, обзрѣвателю было что обзрѣвать, было о чемъ потолковать. Одна голая и сухая перечень годовыхъ явленій литературнаго міра могла составить статейку; а разведенная фразами, разжиженная чувствованьями, одобренная теоріями и идеями, эта перечень превращалась въ большую статью. И эту статью читали наперерывъ и съ гордостью повторяли находившіеся въ ней итоги и воагласы. Между тѣмъ начиналась уже и критика. Такъ какъ романтизмъ привелъ за собой эманципацію, то, естественнымъ образомъ, начало закрадываться сомнѣніе насчетъ достоинства писателей прежней школы. Нападая на классицизмъ, стали нападать и на классиковъ, не подозревая, что, съ немногими исключеніями, выигрышъ стоялъ только въ Пушкинъ, а что все остальное была та же старина, только на новый ладъ. Но пока управлялись со стариками, и новички успѣли состарѣться и наскучить. Разумѣется, это совершилось не вдругъ, а постепенно. Тогда обзрѣнія начали терять свой кредитъ, и вмѣсто ихъ начала усиливаться основательная критика.

Итакъ, теперь—что теперь обозрѣвать? Новаго ужъ нѣтъ ничего, все старо. У меня страстная охота писать, и я, во что бы то ни стало, хочу написать романъ—но что же? Я во всемъ предупрежденъ! Хочу писать романъ историческій—старо; перерываю всѣ эпохи русской исторіи—старо; хочу писать романъ нравоописательный и нравственно-сатирическій—но и это старо и пошло; хочу писать романъ географическій, статистическій, топографическій—опять старо; вдумалъ было однажды нравственно-фантастическій—но и тутъ какой-то злодѣй предупредилъ меня; хочу писать подземный, представить людей маленькихъ, съ мизинецъ, и потомъ большихъ, съ коломенскую версту,—куда! этимъ еще восемнадцатый вѣкъ воспользовался, а я ничего не хочу имѣть общаго съ восемнадцатымъ вѣкомъ; но вотъ вдругъ блеснула свѣтлая мысль: хочу вывести людей допотопныхъ и потомъ людей ходящихъ, мыслящихъ и говорящихъ вверхъ ногами—и тутъ предупредила меня игривая фантазія Барона Брамбеуса. Ну, повѣрите ли, почтенный издатель «Телескопа», куда я ни бросался, какъ ни ломалъ свою бѣдную голову, а кончилъ тѣмъ, что пришелъ въ отчаяніе, и рѣшился не писать ничего по части поэзіи. Но наши писатели не такъ робки и, можетъ-быть, не такъ горды и самолюбивы, въ этомъ отношеніи, какъ я: они, зная свое—тормошатъ старину и слушать не хотятъ ни публики, ни рецензентовъ. Честь и слава ихъ храбрости, но каково публикѣ-то отъ этой храбрости? Но публикѣ по дѣломъ: кто ее заставляетъ пробавляться истертою стариною?—А каково рецензентамъ-то?—Но и имъ по дѣломъ: кто ихъ заставляетъ писать рецензіи и горячиться изъ пустяковъ?—А каково обозрѣвателямъ-то—что имъ остается обозрѣвать?—А кто ихъ заставляетъ обозрѣвать, когда нечего обозрѣвать?—Они и не обозрѣваютъ!... И славу Богу!...

И послѣ этого, вы, милостивый государь, требуете отъ меня—чего-же?—обозрѣнія!... Но, видно, дѣлать нечего—и я, въ угожденіе вамъ, посвящаюсь въ обозрѣватели!...

Увы! миновалось то золотое, прекрасное время, когда наши красноречивые обозреватели, въ сердечной простотѣ, съ теплою вѣрою, съ полнымъ убѣжденіемъ, что они дѣлаютъ дѣло, а не порютъ задоръ, начинали свои обозрѣнія взглядами на состояние земнаго шара, когда на немъ не было людей, или съ янцъ Леды, или съ потопа, или, по крайней мѣрѣ, съ Греціи и Рима, чтобы прошедшимъ объяснить настоящее. Обозревателю нашихъ дней не для чего залетать такъ далеко: онъ долженъ начать съ предмета, самаго близкаго къ сердцу всѣхъ и каждому, самаго необходимаго въ жизни — съ кармана.... Да! въ карманѣ долженъ видѣть онъ таинственный рычагъ юной литературной дѣятельности, которая промышляетъ и оптомъ и по мелочи; въ немъ долженъ искать онъ рѣшенія на всѣ мудренны загадки современной русской литературы. Увы! миновалъ золотой вѣкъ нашей литературы, наступилъ желѣзный, а

.... Въ сей вѣкъ желѣзный,
Безъ денегъ, слава—ничего!

Что дѣлать! покоримся судьбѣ—видно, такъ должно быть, а чему быть, тому не миновать! Теперь всѣ пустились въ литературу, всѣ сдѣлались поэтами, романистами и повѣствователями. Классическій періодъ нашей литературы былъ не умнѣе, но какъ-то благороднѣе нынѣшняго; тогда пускались въ литературу изъ славы, изъ извѣстности, и только люди, по крайней мѣрѣ, знавшіе грамматику, знакомые съ литературнымъ тактомъ своего времени, не чуждые здраваго смысла; теперь же романтизмъ освободилъ насъ и отъ грамматики, и отъ приличія, и отъ здраваго смысла. Тогда литература была удѣломъ какого-то привилегированнаго класса; теперь же пишутъ и сапожники, и пирожники, и подъячіе, и лакеи, и сидѣльцы овощныхъ и мучныхъ лавожъ, словомъ всѣ, кто только умѣетъ чертить на бумагѣ каракульки. Откуда набралась эта сволочь? Отчего она такъ расхрабрилась? Гдѣ рычагъ этой

внезапной и живой литературной дѣятельности? Я уже сказать, что его надо искать въ карманѣ.... Знаете ли, что почтеннѣйшій Николай Ивановичъ! я душевно люблю православный русскій народъ и почитаю за честь и славу быть ничтожной пестинкой въ его массѣ; но моя любовь сознательная, а не слѣпая. Можетъ-быть, вслѣдствіе очень понятнаго чувства, и не вижу пороковъ русскаго народа, но это нисколько не мѣшаетъ мнѣ видѣть его странности, и я не почитаю за грѣхъ пошутить, подъ веселый часъ, добродушно и незлобиво, надъ его странностями, какъ всякій порядочный человѣкъ не почитаетъ для себя за униженіе посягать иногда надъ собственными своими недостатками. Знаете ли вы, въ чемъ состоитъ главная странность вообще русскаго человѣка? Въ какомъ-то своеобразномъ взглядѣ на вещи и упорной оригинальности. Его упрекаютъ въ подражательности и безхарактерности; я самъ, грѣшный, вслѣдъ за другими взводилъ эту небылицу (въ чемъ и каюсь); но этотъ упрекъ неоснователенъ: русскому человѣку вредитъ совсѣмъ не подражательность, а, напротивъ, излишняя оригинальность. Пробѣгите въ умѣ вашемъ всю его исторію — и доказательства явятся передъ глазами. Вотъ они.... Но постойте: чтобы яснѣе выразить мою мысль, я долженъ прибавить, что русскій человѣкъ, съ чрезвычайною оригинальностью и самобытностью, соединяетъ удивительную недовѣрчивость къ самому себѣ и, вслѣдствіе этого, страхъ какъ любить перенимать чужое, но, перенимая, вкладетъ титъ своего генія на свои заимствованія. Такъ, еще въ давніе вѣка, прослышалъ русскій человѣкъ, что за моремъ хороша вѣра и пошелъ за нею за море. Въ этомъ случаѣ, онъ, по счастью, не ошибся; но какъ поступилъ онъ съ истинной, божественной вѣрой? Перенесъ ея священныя имена на свои языческіе предразсудки: Св. Владісію поручилъ должность бога Волоса, Перуновы громаы и молніи отдалъ Ильѣ-пророку. и т. д. Итакъ, вы видите, перемѣнились слова и названія, а идеи остались все тѣ же! По-

томъ, явился на Руси царь умный и великій, который захотѣлъ русскаго человѣка умыть, причесать, обрить, отучить отъ лѣни и невѣжества: взвыль русскій человѣкъ гласомъ велиемъ и замахалъ руками и ногами; но у царя была воля желѣзная, рука крѣпкая, и потому русскій человѣкъ, волею или неволею, а засѣлъ за азбуку, началъ учиться и шить, и кроить, и строить, и рубить. И въ самомъ дѣлѣ, русскій человѣкъ сталъ походить съ виду какъ будто на человѣка: и умыть и причесать, и одѣть по формѣ, и знаетъ грамоту; и кланяется съ припаркиваніемъ, и даже подходитъ къ ручкѣ дамъ. Все это хорошо, да вотъ что худо: кланаясь съ припаркиваніемъ, онъ, говорятъ, расшибалъ носъ до крови, а подходя къ ручкамъ прелестныхъ дамъ, наступалъ на ихъ ножки, цѣпляясь за свою шпагу, не умѣя справиться съ трехуголкою; выучивъ наизусть правила, начертанныя на зеркалѣ рукою великаго царя, онъ не забылъ, не разучился спрягать глаголъ *братъ* подъ всѣми видами, во всѣ времена; по всѣмъ лицамъ безъ изыятія, по всѣмъ числамъ безъ исключенія; надѣвши мундиръ, онъ смотрѣлъ на него не какъ на форму идеи, а какъ на форму парада, и не хотѣлъ слушать, когда мудрое правительство толковало ему, что правосудіе не средство къ жизни, что присутственное мѣсто не лавка, гдѣ отпускаютъ и права и совѣсть оптомъ и по-мелочи, что судья не воръ и разбойникъ, а защитникъ отъ воровъ и разбойниковъ. Потомъ былъ на Руси другой царь умный и добрый; видя, что добро не можетъ пустить далеко корня тамъ, гдѣ нѣтъ науки, онъ подтверждалъ русскому человѣку учиться, а за ученіе обѣщалъ ему большой чинъ и знатное мѣсто, думая, что приманна выгоды всего сильнѣе; но что жъ вышло?... Правда, русскій человѣкъ смыслентъ и понятливъ; коли захочетъ, такъ и самого Иѣмца за поясъ... И точно, русскій принялся учиться, но только, получивъ чинъ и мѣсто, бросалъ тотчасъ книги и принимался за карты—оно и лучше!... И такъ, не ясно ли послѣ этого, что русскій человѣкъ само-

бытенъ и оригиналенъ, что онъ никогда не подражалъ, а только бралъ изъ-за-границы формы, ставляя тамъ идеи, и одѣвалъ въ эти формы свои собственные идеи, заимствованныя ему предками. Конечно, къ этимъ доморощеннымъ идеямъ не совсѣмъ шелъ заморскій нарядъ; но къ чему нельзя привыкнуть, къ чему нельзя приглядѣться?...

Обратимся къ литературѣ. Съ нею, русскій человѣкъ поступилъ точно такъ же, какъ и со всѣмъ тѣмъ, о чемъ я уже говорилъ. Какъ все прочее, она у него—цвѣтокъ пересаженный, и надо сказать, какъ все хорошее, не имъ самимъ, а правительствомъ. Литература наша началась при Елисаветѣ, а получила нѣкоторую осѣдлость при Екатеринѣ II. Намъ извѣстно, что, въ царствованіе этой великой жены, наша литература находилась, подобно почти всѣмъ европейскимъ литературамъ, подъ вліяніемъ французской. Французская литература была тогда полнымъ выраженіемъ XVIII вѣка, а что такое XVIII вѣкъ—объ этомъ всякій знаетъ. Мы скажемъ только, что XVIII вѣкъ былъ малый веселый и разгульный, любилъ мягко поспать, сладко поѣсть, пьяно попить и ни о чемъ не тужить. Веселиться—была его цѣль, и всѣ средства почиталъ онъ позволенными къ достиженію этой цѣли. Всѣмъ извѣстна мудрая русская пословица: «богатый на деньги, а голъ на выдумки». Поэты и вообще литераторы были тогда люди бѣдные и неважные, но это не помѣшало имъ веселиться наравнѣ съ людьми богатыми и веселыми: они надѣли на себя ливреи людей богатыхъ и важныхъ, и, за ихъ столами, въ восторгѣ радости, запѣли пѣсни дивныя, живыя. Кого жъ они воспѣвали? Героевъ тогда не было; греческая литература была плохо понимаема, но хорошо была понята литература латинская—и стали воспѣвать меценатовъ! Да какъ было и не воспѣвать ихъ? Люди были они богатые, поѣтовъ кормили сладко, хотя иногда и употребляли ихъ вѣсто плевалъницъ, но что жъ за бѣда—вѣдь утереться не трудно. Этого было довольно для русскаго человѣка: онъ такъ хорошо, на

этотъ разъ, сошелся съ Французомъ, что взялъ идею и форму и, слѣдовательно, еще въ первый разъ, явился совершеннымъ подражателемъ. Тогда-то пошли наши оды съ любимымъ словечкомъ: «о ты», и пр. Но въ міръ все оканчивается, кончился и XVIII вѣкъ, кончился вездѣ, а у насъ еще здравствовалъ, и только въ одной литературѣ сталъ измѣняться. Въ этомъ отношеніи, мы должны съ благодарностью произнести имя Жуковского, познакомившаго насъ съ германскою литературою и передавшаго намъ нѣсколько благоуханныхъ цвѣтовъ ея. Были дарованія, но инныя изъ нихъ шли не своею дорогою, сбиваемыя XVIII вѣкомъ, и остались только въ литературныхъ обзорѣніяхъ, а не въ памяти народа; другія, по своей незначительности, успѣли добиться только эфемерной славы. Идея искусства и потребность искусства проявились только въ началѣ третьяго десятилѣтія настоящаго вѣка; но кромѣ Пушкина и Грибоедова не было поэтовъ; за то, какъ я уже и говорилъ выше, было много обзорѣній.

Какое жь слѣдствіе изъ всего этого? А вотъ какое: сначала наша литература родилась вслѣдствіе мысли правительства и симпатіи характера русскаго народа къ господствовавшему тогда характеру Французовъ; потомъ она сдѣлалась подражательницей вдругъ нѣсколькихъ литературъ; теперь... теперь... Но позвольте мнѣ послѣ вывести полный и удовлетворительный результатъ. Я такъ уже усталъ, а впереди предстоитъ большой трудъ: трудно обзорѣть цвѣтущую долину, но еще труднѣе—безплодную аравійскую степь.

2.

Начинаю мое обзорѣніе съ журналовъ, потому что, какъ ни мало у насъ теперь журналовъ, но все больше, чѣмъ книгъ. Разумѣется, на тѣ и другія я смотрю какъ обзорѣтель, которому нужны матеріалы для обзорѣнія и для котораго важно

только то, о чемъ онъ что-нибудь можетъ сказать; каковы бы ни были наши журналы, о нихъ все-таки можно сказать много и за и противъ; но книгъ, стоящихъ вниманія, въ какомъ бы то ни было отношеніи, вышло безъ васъ не болѣе двухъ или трехъ. Здѣсь я опять долженъ употребить оговорку: такъ какъ моему разсмотрѣнію подлежатъ книги только по части художественной и притомъ оригинальныя, то и не удивительно, что я нахожу такъ мало книгъ, вышедшихъ въ послѣднее полугодіе прошлаго года. Итакъ, обращаюсь къ журналамъ и приступаю къ дѣлу.

Но съ какихъ журналовъ должно мнѣ начать? Съ московскихъ, или петербургскихъ? И потомъ, съ какого именно?—Начинаю, по старшинству и важности, съ «Библіотеки для Чтенія», а за нею брошу взглядъ на прочіе петербургскіе журналы. У меня есть причина, и причина очень достаточная, для этого предпочтенія въ пользу «Библіотеки для Чтенія»: журналъ, владѣющій болѣе чѣмъ половиною противъ своихъ собратій числомъ подписчиковъ и въ продолженіе не одного уже года поддерживаемый постояннымъ вниманіемъ публики, такой журналъ, говорю я, можетъ быть не лучший, но, безъ сомнѣнія, долженъ быть важнѣйшій; потому что все, что пользуется авторитетомъ, заслуженнымъ или не заслуженнымъ, все что имѣетъ на публику большое вліяніе, хорошее или вредное, все то важно и достойно вниманія и прилежнаго изслѣдованія. А «Библи. для Чтен.», во всѣхъ этихъ отношеніяхъ, есть первый и важнѣйшій въ Россіи журналъ, и, слѣдовательно, обозрѣватель съ него долженъ начинать свой разборъ. О прочихъ петербургскихъ журналахъ я буду говорить тотчасъ послѣ «Библіотеки» и прежде московскихъ изданій, не для соблюденія порядка, а тоже вслѣдствіе основательной и важной причины: всѣ петербургскіе журналы, какъ я покажу это ниже, имѣютъ, въ своемъ направленіи, духъ и правилахъ, много общаго съ «Библіотекою», хотя въ то же время они суть не болѣе, какъ жалкія пародіи на этотъ соблаз-

нительный для них образец: тѣ же цѣли, тѣ же замашки, тѣ же усилія, хотя и не та лѣвкость, не то умѣнье, не та сила, не то исполненіе!—Да, не даромъ петербургская книжная производительность не въ ладу съ московскою: каждая изъ нихъ, несмотря на видимое разногласіе съ самой собою, имѣетъ общій характеръ, одно направленіе, одно основаніе, и, вслѣдствіе совершенной противоположности, другъ съ другомъ во всѣхъ этихъ отношеніяхъ, обѣ онѣ должны найдаться одна къ другой въ естественной непріязни, какъ теперь прямодушный Турокъ къ хитрому Персіянину, какъ нѣкогда тяжелый Англичанинъ къ легкому Французу. И я постараюсь показать, сколько возможно, отличительныя черты, отличающія ихъ одну отъ другой и поставляющія ихъ въ непріязненное отношеніе одну къ другой.

«Библіотека для Чтенія» начинается уже третій годъ своего существованія, и, что очень важно, она нисколько не изменилась ни въ объемѣ, ни въ достоинствѣ своихъ книжекъ, ни въ духѣ и характерѣ своего направленія; она всегда вѣрна себѣ, всегда равна себѣ, всегда согласна съ собою, словомъ, идетъ шагомъ ровнымъ, поступью твердою, всегда по одной дорогѣ, всегда къ одной цѣли; не обнаруживаетъ ни усталости, ни страха, ни непостоянства. Все это чрезвычайно важно для журнала, все это составляетъ необходимое условіе существованія журнала и его постоянного кредита у публики; въ то же время это показываетъ, что «Библіотекою» держится одинъ человекъ, и человекъ умный, живой, смѣливый, дѣятельный — качества, составляющія необходимое условіе журналиста; ученость здѣсь не мѣшаетъ, но не составляетъ необходимаго условія журналиста, для котораго, въ этомъ отношеніи, гораздо важнѣе, гораздо необходимѣе универсальность образованія, хотя бы и поверхностнаго, многосторонность познаній, хотя бы и верхоглядныхъ, энциклопедизмъ, хотя бы и мелкій. О «Библіотекѣ» писали и пишутъ, на нее

нападали и нападают сперва враги, а наконец и друзья, поклявшіеся ей въ вѣрности до гроба, пожертвовавшіе ей собственными выгодами; разумѣется, въ чаяніи большихъ отъ союза съ сильными и богатыми собратами; а «Библіотека» все-таки здравствуетъ, смѣется (большею частію, молча) надъ нападками своихъ противниковъ! Въ чемъ же заключается причина ея неизмѣрнаго успѣха, ея неслыханнаго кредита у публики? Если бы я сталъ утверждать, что «Библіотека» журналъ плохой, ничтожный, это значило бы смѣяться надъ здравымъ смысломъ читателей и надъ самимъ собою; факты говорятъ лучше доказательствъ, и первенство и важность «Библіотеки» такъ ясны и неоспоримы, что противъ нихъ нечего сказать. Гораздо лучше показать причины ея могущества, ея авторитета. На «Библіотеку», на Врамбеуса и на Тю-тунджи-оглу (что все почти тождественно) было много нападокъ, часто безсильныхъ, иногда сильныхъ, было много аттакъ, часто невѣрныхъ, иногда впаздъ, но всегда безполезныхъ. Не знаю, правъ я, или нѣтъ, но мнѣ кажется, что я нащелъ причину этого успѣха, столь противорѣчащаго здравому смыслу, и такъ прочнаго, этой силы, такъ носящей въ самой себѣ зародышъ смерти, и такъ постоянной, такъ не слабѣющей. Не выдаю моего открытія за новость, потому что оно можетъ принадлежать многимъ; не выдаю моего открытія и за орудіе, долженствующее быть смертельнымъ для разсматриваемаго мною журнала, потому что истина не слишкомъ сильное орудіе тамъ, гдѣ еще нѣтъ литературнаго общественнаго мнѣнія. «Библіотека» есть журналъ провинціальный: вотъ причина ея силы. Разсмотримъ это. Но я долженъ взять нѣсколько повыше, долженъ упомянуть о ея началѣ, ея зарожденіи на свѣтъ. Всякому извѣстно, что этотъ журналъ основанъ книгопродавцемъ, который приобрѣлъ у публики большую довѣренность, и приобрѣлъ по справедливости, по заслугѣ; всякому извѣстно, что этотъ книгопродавецъ ведетъ торговлю большую и, слѣдовательно, въ состояніи дѣлать большіе обороты и пус-

каться въ важныя предпріятія: это обстоятельство ручалось за исправный выходъ книжекъ, за ихъ типографическое достоинство, за хорошую и честно выполняемую плату сотрудникамъ журнала. Правда, это обстоятельство, съ одной стороны благопріятствуя зарождавшемуся предпріятію, съ другой могло и повредить ему, потому что публика знала, что владѣлецъ журнала не могъ быть ни его издателемъ, ни его редакторомъ, ни даже его сотрудникомъ, что потому онъ долженъ былъ поручать изданіе своего журнала разнымъ лицамъ, одному послѣ другого, неизбежнымъ слѣдствіемъ чего должно было быть разногласіе въ мнѣніяхъ, противорѣчіе въ духѣ и направленіи изданія; притомъ, публикѣ были извѣстны въ числѣ редакторовъ имена гг. Греча и Булгарина, издателей очень посредственныхъ журналовъ и авторовъ очень плохихъ романовъ, и она лишь впоследствии могла увидѣть, что гг. Гречъ и Булгаринъ были и остались только вкладчиками своихъ статейъ и корректорами «Библіотеки», что Тю-тунджи-оглу не имѣлъ ничего общаго съ ними въ своей ловкости, умѣ, остроуміи, что самый языкъ и правописаніе всѣхъ статей, особенно послѣднее, принадлежали ему же, а не имъ; но нашей публикѣ до этого не было нужды; ей обѣщаны были толстыя книги и участіе почти всѣхъ знаменитостей — этого для ней было достаточно. Итакъ, одно уже то обстоятельство, что новый журналъ былъ собственностію богатаго и честнаго книгопродавца, была одною изъ смышлѣннѣйшихъ причинъ его успѣха. Потому, что участіе почти всѣхъ знаменитостей нашего письменнаго міра, эти имена, выставленные въ программѣ и на оберткахъ «Библіотеки», какъ залогъ того, что вся литературная дѣятельность должна сосредоточиться въ одномъ изданіи, чего никогда не бывало, о чемъ самая мысль всегда казалась несбыточною—какая приманка для нашей доверчивой публики!... Правда, нѣкоторые изъ авторовъ, имена которыхъ двѣнадцать разъ въ годъ повторялись на оберткахъ журнала, не подарили его ни одною статьею; правда, нѣкоторые изъ

знаменитостей сошли съ обертки, къ немалому вреду репутации журнала; правда, и половина оставшихся именъ, при второмъ годѣ, совсѣмъ изчезла съ обертки; правда, большая часть этихъ знаменитостей была совсѣмъ не знаменита, и между этими знаменитостями многія были сдѣланы на скорую руку, ради предстоящей потребности, многія, не знаменитости были промаведены въ знаменитости, промаведены самимъ этимъ журналомъ, ради предстоящей нужды; но нашей публикѣ не было до того нужды: она по прежнему встрѣчала постоянно нѣкоторыя имена или въ самомъ дѣлѣ любимыя ею, или къ которымъ она приглядѣлась, что для нея все равно, и, довѣрчивая, невзыскательная, питала теплую вѣру во всемоу, что выдавали ей за талантъ и гений сами эти же таланты и гении. Дѣло было сдѣлано, а русскій человекъ вообще сговорчивъ, и въ литературныхъ дѣлахъ за неустойкой не гонится, если вы исполнили хоть часть условій — такъ: мало избаловать онъ полными устоями. Присоедините къ этому его уваженіе къ авторитетамъ, къ громкимъ именамъ, его довѣрчивость во всемоу, что другими или самимъ собою провозглашается за дарованіе. Итакъ, вотъ вторая и очень важная причина успѣха «Библіотеки» при самомъ ея началѣ. Теперь слѣдуетъ третья, не менѣе важная: кто же помнитъ хвастливаго и, можно сказать, безстыдно-самохвальнаго объявленія объ изданіи «Библіотеки»? кто же помнитъ возгласовъ «С... Пчелы», которая прожужжала всѣмъ уши, что кто не подпишется на «Библіотеку», тотъ не патриотъ, тотъ не любить отечества, не жаждетъ ему добра, что тотъ ренегатъ, измѣнникъ?—И что же?—Это хвастливое объявленіе, эти вопли, эти возгласы во всякомъ другомъ обществѣ были бы почетены, но крайней мѣрѣ, за неприличныя, возбудили бы недоуменіе, недоуверчивость, и убили бы предпріятіе въ самомъ его зародышѣ; но у насъ это-то чуть ли и не есть вѣрнѣйшее средство успѣха. Я часто замѣчалъ за самимъ собою, что когда мнѣ случалось ходить для покупокъ въ городъ, и когда

слухъ мой оглушался, и мое человѣческое достоинство оскорблялось невѣжливой и грубою политикою нашей національной коммерціи, громко и неистово превосходящей свои товары, и нагло и почти насильно затаскивающей покупателя въ свою лавку, то я замѣчалъ, что чуть ли не всегда попадаешь въ самую горластую, въ самую наглядную лавку: что дѣлать — человекъ русскій! — Проклинаешь это азіатское самохвальство, эту предательскую вѣжливость, сбивающуюся на униженіе, эту безстыдную наглость, и къ ней-то, именно и попадаешь, какъ рыба на удочку — на Руси такъ мастера ведется!... Итакъ, вотъ три причины, сдѣлавшія «Библіотеку» сильною, когда еще «Библіотеки» не было и на свѣтъ!

Теперь посмотримъ, какими средствами умѣла она поддерживать себя во мнѣніи публики, или, лучше сказать, какими средствами умѣла сдѣлать себя необходимою для публики и, всѣми осуждаемая, всѣми ненавидимая, сдѣлать всѣхъ своими подписчиками? Я сказалъ, что тайна достойнаго успѣха «Библіотеки» заключается въ томъ, что этотъ журналъ есть по преимуществу журналъ провинціальныи, и въ этомъ отношеніи невозможно не удивляться той ловкости, тому умѣнью, тому искусству, съ какими онъ прихоравливается и поддѣлывается къ провинціи. Я не говорю уже о постоянномъ, всегда правильномъ выходѣ книжекъ, одгомъ изъ главнѣйшихъ достоинствъ журнала; остановлюсь на числѣ книжекъ и продолжительности срока ихъ выхода. Я думалъ прежде, что это должно обратиться во вредъ журналу; теперь вижу въ этомъ тонкій и вѣрный расчетъ. Представьте себѣ семейство степнаго помѣщика, семейство, читающее все, что ему попадется, съ обложки до обложки; еще не успѣло оно дочитатьъ до послѣдней обложки, еще не успѣло перечесть, гдѣ принимается подписка, и оглавленіе статей, составляющихъ содержаніе нумера, а ужъ къ нему летитъ другая книжка, и такая же толстая, такая же жирная, такая же болатливая, словоохотливая, говорящая вдругъ однимъ и нѣсколькими языками. И въ са-

момъ дѣлѣ, какое разнообразіе! — Дочка читаетъ стихи гг. Ершова, Гогніева, Струговщикова и повѣсти гг. Загоскина, Ушанова, Панаева, Калашникова и Масальскаго; сынонь, какъ членъ новаго поколѣнія, читаетъ стихи г. Тимофеева и повѣсти Барона Брамбеуса; батюшка читаетъ статьи о двухпольной и трехпольной системахъ, о разныхъ способахъ удобренія земли, а матушка о новомъ способѣ лѣчить чахотку и красить нитки; а тамъ еще остается для желающихъ критика, литературная лѣтопись, изъ которыхъ можно черпать горстями и пригоршнями готовыя (и часто умныя и острыя, хотя рѣдко справедливыя и добросовѣстныя) сужденія о современной литературѣ; остается пестрая, разнообразная смѣсь; остаются статьи ученыхъ и новости иностранныхъ литературъ. Не правда ли, что такой журналъ — кладъ для провинцій?...

Но постойте, это еще не все: разнообразіе не иѣшаетъ и столичному журналу и не можетъ служить исключительнымъ признакомъ провинціального. Бросимъ взглядъ на каждое отдѣленіе «Библіотеки», особенно и по порядку. Стихотворенія занимаютъ въ ней особое и большое отдѣленіе: подъ многими изъ нихъ стоятъ громкія имена, кановы: Пушкина, Жуковского подъ большею частію стоятъ имена знаменитостей, выдуманныхъ и сочиненныхъ наскоро самою «Библіотекою»; но нѣтъ нужды: тутъ все идетъ за знаменитость; до достоинства стиховъ тоже мало нужды: имена, подъ ними подписанныя, ручаются за ихъ достоинство, а въ провинціяхъ этого ручательства слишкомъ достаточно. То же самое, въ отношеніи именъ, должно сказать и о русскихъ повѣстяхъ: иностранныя подписаны именами, которыя для провинцій непремѣнно должны казаться громкими, хотя бы и не были громки на самомъ дѣлѣ: подписаны именами журналовъ громкихъ и извѣстныхъ во всемъ мірѣ. То же должно сказать и о прочихъ отдѣленіяхъ «Библіотеки». Теперь скажите, не большая ли это выгода для провинцій?—Вамъ извѣстно, какъ много и въ

столицахъ людей, которыхъ вы привели бы въ крайнее замѣшательство; прочтя ихъ стихотвореніе, скрывши имя его автора и требуя отъ нихъ мнѣнія, не высказывая своего; какъ много и въ столицахъ людей, которые не смѣютъ ни восхититься статьею, ни сердиться на нее, не заглянувъ на ея подпись. Очень естественно, что такихъ людей въ провинціяхъ еще больше, что люди съ самостоятельнымъ мнѣніемъ попадаютъ туда случайно и составляютъ тамъ самое рѣдкое исключеніе. Между тѣмъ, и провинціалы, какъ и столичные жители, хотѣтъ не только читать, но и судить о прочитанномъ, хотѣтъ отыскиваться вкусомъ, блѣстать образованностію, удивлять своими сужденіями, и они дѣлаютъ это; дѣлаютъ очень легко, безъ всякаго опасенія компрометировать свой вкусъ, свою разборчивость, потому что имена, подписанныя подъ стихотвореніями и статьи «Библіотеки», избавляютъ ихъ отъ всякаго опасенія посадить на мель свой критическій и обнаружитъ свое безвкусіе, свою необразованность и невѣжество въ дѣлѣ изящнаго. А это не шутка!—Въ самомъ дѣлѣ, кто не признаетъ проблемновъ гетинъ въ самыхъ славкахъ Пушкина, потому только, что подъ ними стоитъ это магическое имя «Пушкинъ»? То же и въ отношеніи къ Жуковскому. А чѣмъ ниже Пушкина и Жуковского гг. Тимофеевъ и Ершовъ? Ихъ хвалитъ «Библіотека», лучший русскій журналъ, и принимаетъ въ себя ихъ произведенія.—Можетъ ли быть посредственна или нехороша повѣсть г. Загоскина? Въдъ Загоскинъ авторъ «Милославскаго» и «Рославлева», а въ провинціи никому не можетъ придти въ голову, что эти романы, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, теперь уже не то, чѣмъ были, или по крайней мѣрѣ, чѣмъ казались нѣкогда. Можетъ ли быть не превосходна повѣсть г. Ушакова, автора «Киргизъ-Кайсакъ», «Кота Бурмостъва», бывшаго сотрудника «Московского Телеграфа», сочинителя длинныхъ, скучныхъ и ругательныхъ статей о театрѣ? Провинція и подозрѣвать не можетъ, чтобъ знаменитый г. Ушаковъ теперь былъ уво-

ленъ изъ знаменитыхъ въ чистую. — Кто усомнится въ достоинствѣ повѣстей гг. Панаева, Калашникова, Масальскаго? — Да, въ этомъ смыслѣ, «Библиотека» журналъ провинціальный!

9.

Теперь я буду слѣдить за «Библиотекою» шагъ за шагомъ; я обнаружу всю ея политику, изъясню подробности причины ея могущества. Я не буду пускаться о «Библиотеку» въ излишнія разсужденія, буду представлять одни факты, а тамъ пусть понимаютъ ихъ, какъ угодно. До сихъ поръ я сдѣлалъ только предисловіе, опредѣлилъ точку зрѣнія, съ которой гляжу на «Библиотеку»; теперь покажу, что я вижу въ ней. Прошу васъ не забыть, что основная мысль моя о «Библиотеку» состоитъ въ томъ, что этотъ журналъ провинціальный, что онъ издается для провинціи и силею одною провинціею. Итакъ, приступаю къ подробнѣйшему объясненію признанію ея привилегированнаго провинціализма. Я не считаю за нужное слишкомъ распространяться о стихотворномъ отдѣленіи «Библиотеки». Пора стиховъ миновала въ нашей литературѣ: наступила пора смиренной прозы. Хорошихъ стиховъ теперь не достанешь ни за какія деньги, и потому «Библиотека» не виновата, что помѣщаетъ дурные стихи; но она виновата въ томъ, что выдаетъ ихъ за хорошіе. Это съ ея стороны рассчетъ, расчесть, въ который входитъ преимущественно провинція. Итакъ, о стихахъ нечего много говорить; но можно побольше поговорить о прозаическомъ отдѣленіи русской словесности.

Разумѣется, это отдѣленіе состоитъ преимущественно изъ повѣстей и можетъ назваться по преимуществу провинціальнымъ. Пересматриваю «Библиотеку», и чьи имена встрѣчаю въ отдѣленіи повѣстей русской фабрики? — Во первыхъ, гг.

Загоскина, Ушакова; въ «Библиотекѣ» это знаменитости первой величины, авторитеты, лучезарнымъ свѣтомъ которыхъ она озаряется съ особеннымъ удовольствіемъ, съ особенною хвастливостію; потомъ, повѣсти гг. Степанова, Маркова и многихъ другихъ, именъ которыхъ я не могу упомянуть, по причинѣ ихъ множества: эти знаменитости недавнія, авторитеты юные. Чтобы янѣ развить мою мысль, я долженъ разсмотрѣть попристальнѣе нѣкоторыя изъ этихъ повѣстей. Въ такомъ случаѣ, мнѣ надо бы было начать съ г. Загоскина, какъ первой знаменитости «Библиотеки», въ которой онъ помѣстилъ двѣ повѣсти: «Вечера на Хопрѣ» и «Три Жениха, провинціальные очерки»; но первой я совсѣмъ не читаю, а о второй упомянулъ слегка при откывѣ о «Недовольныхъ», и, мнѣ кажется, довольно удачно уловилъ ея характеристику, что, разумѣется, очень не трудно было сдѣлать. Итакъ, не желая повторять одно и то же, замѣчу только, что г. Загоскинъ очень удачно назвалъ свою повѣсть «провинціальными очерками»: этимъ названіемъ онъ написалъ на нее самую лучшую критику а priori, а помѣщеніемъ ея въ «Библиотеку» сдѣлалъ на нее самую лучшую критику а posteriori... Обращаюсь къ г. Ушакову.

Вамъ, почтеннѣйшій Николай Ивановичъ, извѣстенъ гибкій и универсальный талантъ г. Ушакова; вы, вѣрно, еще не забыли, что онъ писалъ нѣкогда предлинныя, преисполненныя славянскаго остроумія и прескучныя статьи о театрѣ; вы помните также, что онъ, г. Ушаковъ, писалъ презлыя, хотя ужъ и чересчуръ холодныя, сатирическія аллегоріи, и въ этомъ родѣ явился основателемъ и главою важной, хотя и безлюдной школы: я разумѣю «Кота Бурмостъга»; потомъ, знаете, что онъ написалъ очень порядочный романъ «Киргизъ-Кайсакъ». Да, все это должно быть, вамъ давно извѣстно, но вотъ чего вы навѣрное не знаете: г. Ушаковъ не удовольствовался приобрѣтенною славой въ этихъ трехъ родахъ, пошелъ далѣе, какъ и слѣдуетъ всякому сильному дарованію. Сперва

онъ сдѣлалъ попытку воскресить на Руси духъ покойнаго Августа Лафонтена, и написалъ повѣсть «Марихень», но этотъ опытъ не удался: «Марихень» не только не разбудила Августа Лафонтена, но и сама заснула съ нимъ сномъ непробуднымъ. Эта неудача не лишила однако бодрости г. Ушакова: какъ просвѣщенный и опытный литераторъ, онъ понялъ, что нельзя идти противъ духа времени, и бросился въ другую сторону, въ которой вполнѣ созналъ свое направленіе и свое назначеніе: онъ рѣшился сдѣлаться народнымъ. Разсказавши намъ довольно увлекательно о страданіяхъ юной аристократки, разсказавъ о страданіяхъ Киргизъ-Кайсакъ: плебея по рожденію, но аристократа по мысли и чувству, онъ теперь бросился совершенно въ противоположную сторону, и принялся за плебеевъ, плебеевъ по рожденію, плебеевъ по уму, чувству и образованности. Уже не балы, а вечеринки рисуетъ теперь намъ его чудотворная кисть, и само собою разумѣется, что отъ этихъ вечеринокъ слухъ нашъ поражается не звуками кадрилей и мазурокъ, арфіе — не блестящими люстрами и канделябрами, обстановка не благовонными парфюмами, а побранками и плоскими шутками, чадомъ салныхъ свѣчей и запахомъ водки, ерофеича, разнаго сорта наливокъ, а иногда и простой сивухи, сельдей, икры паюсной и зернистой, луку зеленого и рѣпчатого, жареной печени, и пр. и пр.; вмѣсто князей, кавалеристовъ, дамъ, теперь онъ выводитъ и скромныхъ отставныхъ пѣхотинцевъ, и купцовъ третьей гильдіи, и мѣщанъ всѣхъ разрядовъ, словомъ все, что носить бороду, одѣвается въ запунъ, или длиннополый сюртукъ съ высокими лифомъ, въ тѣлогрѣйку, или даже въ поняву, а голову повязываетъ бумажнымъ или парчевымъ платкомъ. Короче сказать: почтенѣйшій г. Ушаковъ сдѣлался теперь прозаическимъ г-мъ Измайловымъ. Переходъ удивительный, метаморфоза чудесная, но вмѣстѣ съ тѣмъ и очень понятная: г. Ушаковъ покорился духу времени и увлекся народностію.

Народность въ литературѣ!... Позвольте мнѣ, почтенный

издатель «Телескопа», сдѣлать здѣсь небольшое отступленіе отъ матеріи и оставить на минутку другую г. Ушакова. Я хочу сказать, или скорѣе, повторить уже сказанное мною когда-то о народности; этотъ предметъ занимаетъ теперь всѣхъ, вы сами пишете объ немъ, и потому я считаю теперь вѣстати подать свой голосъ. Что такое народность въ литературѣ? Отраженіе индивидуальности, характерности народа, выраженіе духа внутренней и внѣшней его жизни, совокупныя ея умственными оттѣнками, красками и родимыми пятнами—не такъ ли?—Если такъ, то, мнѣ кажется, нѣтъ нужды поставлать такой народности въ обязанность истинному таланту, истинному поэту; она сама собою непримѣнно должна проявиться въ творческомъ созданіи. Вы признаете большее или меньшее вліяніе индивидуальности поэта на его произведенія, какъ бы они равнообразны ни были! Вы не станете отрицать, что чѣмъ дарованіе поэта сильнѣе, тѣмъ оно оригинальнѣе! Итакъ, если личность поэта должна отражаться въ его твореніяхъ, то можетъ ли не отражаться въ нихъ его народность? Развѣ всякій поэтъ, прежде чѣмъ онъ человѣкъ, не есть Русскій, Французъ или Нѣмецъ? Возьмемъ поэта русскаго: онъ родился въ странѣ, гдѣ небо сѣро, снѣга глубоки, морозы трескучи, вьюги страшны, лѣто знойно, земля обильна и плодородна: развѣ все это не должно положить на него особеннаго характеристическаго плеяма? Онъ, въ младенчествѣ, слышалъ сказки о могучихъ богатыряхъ, о храбрыхъ витязяхъ, о прекрасныхъ царевнахъ и князьяхъ, о злыхъ колдунахъ, о страшныхъ домовыхъ; онъ, съ малолѣтства, приучилъ свой слухъ къ жалобному, протяжному пѣнію родныхъ пѣсень; онъ читалъ исторію своей родины, которая не похожа на исторію никакой другой страны въ мірѣ; онъ провелъ лѣта своей юности среди общества, которое не похоже ни на какое другое общество; онъ принадлежитъ къ народу, который еще не живетъ полною жизнью, но у котораго настоящее уже интересно, какъ шагъ, какъ переходъ къ

прекрасному будущему, у котораго это будущее еще въ зародышѣ, еще въ зернѣ, но уже такъ богато надеждами!... Потому, если онъ поэтъ, поэтъ истинный, то не долженъ ли сочувствовать своему отечеству, раздѣлять его надежды, болѣть его болѣзнями, радоваться его радостями?... Кто не согласится съ этимъ, кто будетъ противорѣчить этому?—Итакъ, спрашиваю: можетъ ли истинный русскій поэтъ не быть русскимъ поэтомъ, русскимъ не по одному рожденію, а по духу, по складу ума, по формѣ чувства, какъ бы ни глубоко былъ онъ проникнутъ европеизмомъ? Да, почтеннѣйшій издатель, если поэтъ владѣетъ истиннымъ талантомъ, онъ не можетъ не быть народнымъ, лишь бы только творилъ изъ души, а не мудрилъ умомъ, не бралъ работою?... Возьмите Крылова: оставляя покуда въ сторонѣ вопросъ о баснѣ, какъ художественномъ произведеніи, и смотря на его самого даже не какъ на поэта, а какъ на краснобая, не видите ли вы въ немъ чистѣйшей народности, безъ всякой примѣси тривіальности; не доказывается ли его народность и живымъ сочувствіемъ къ нему народа русскаго, и его непереводимостью ни на какой языкъ въ мірѣ?—Теперь возьмемъ другую сторону, совершенно противоположную этой, возьмемъ «Онѣгина», лучшее произведеніе Пушкина: развѣ эта Татьяна, Ольга, этотъ Ленскій, эти старикъ Ларины, эти провинціальныя фигуры, Буяновы, Пѣтушковы, Зарѣцкіе, самый Онѣгинъ—развѣ они, будучи лицами типическими, человѣческими и, слѣдовательно, всемірными, не принадлежатъ исключительно къ русскому міру, не вваны изъ русской жизни; развѣ, перемѣнивъ ихъ имена на Адольфовъ, Генріеттъ, Эрнестовъ, Аналій, вы не уничтожите ихъ смысла, ихъ значенія?—Но, скажутъ, можетъ-быть, иные, это доказываютъ только, что поэтъ, зная хорошо свое общество, вѣрно описалъ его, а не то, чтобы онъ былъ народенъ, потому что онъ также бы вѣрно могъ описать и нѣмецкое общество; слѣдовательно, народность состоитъ во взглядѣ на вещи и формахъ проявленія чувствъ и мыслей!—Такъ, ни-

достовѣрные государи, вы почти правы, но вотъ въ чемъ дѣло: могъ ли бы поэтъ вѣрно описать свое общество, еслибъ онъ не симпатизировалъ ему, еслибъ не былъ участникомъ его жизни, повѣреннымъ его тайнъ? Если жъ онъ такъ вѣрно могъ изобразить какой-нибудь эпизодъ изъ европейской жизни, это значить только, что мы, Русскіе, также причастны и европейской жизни, какъ своей собственной. Что жъ касается до народности собственно поэта, то вамъ стоитъ только пристальнѣе взглянуть въ «Онегина», чтобы въ мысляхъ и чувствахъ самого автора увидѣть все элементы народности, чтобы признать, что только русскій поэтъ, и притомъ въ известномъ моментъ русской жизни, могъ такъ мыслить и чувствовать и такъ выражать свои мысли и чувства! Наконецъ возьмемъ еще третью сторону, совершенно не похожую на обѣ предыдущія, возьмемъ сочиненія г. Гоголя. Въ нихъ поэтизируется по большей части жизнь собственно народа, жизнь массы, и автору очень естественно было бы впасть въ простонародность, но онъ остался только народнымъ, и въ томъ же самомъ смыслѣ, въ которомъ народенъ Пушкинъ. Отчего жъ это? Оттого, что г. Гоголь поэтъ, что онъ владѣетъ высокимъ и могучимъ талантомъ; оттого, что въ его описаніи какой-нибудь глупой ссоры двухъ идиотовъ, или попойки жизни двухъ простаковъ, я вижу взглядъ на жизнь, взглядъ грустно-шутливый; я воображаю, сколько въ мірѣ людей, которыхъ жизнь проходитъ въ малочахъ эгоизма, въ ѣдѣ, питьѣ и снѣнѣ, и которые думаютъ, что они живутъ и дѣлаютъ должное; воображаю, и мнѣ становится грустно... Самыя такъ-называемыя сальности и плоскости, которыя у всякаго другаго были бъ неминуемо отвратительны, въ повѣстяхъ г. Гоголя отличаются какою-то граціею, смягчаются какою-то наивностью; встрѣчая самыя рѣзкія изъ нихъ, вы прощаете ихъ автору, какъ прощаете гримасу прекрасной и любимой женщины! Что же слѣдуетъ изъ всего этого? А то, что у кого есть талантъ, кто поэтъ истинный, тотъ не можетъ не быть народнымъ!

Но у кого нѣтъ таланта, и кто захочетъ быть народнымъ, тотъ всегда будетъ простонароднымъ и тривіальнымъ; тотъ, можетъ-быть, вѣрно опишетъ всю отвратительность низшихъ слоевъ народа, кабака, площади, избы, словомъ—черни, но никогда не уловитъ жизни народа, не достигнетъ его поэзіи. Самымъ лучшимъ и самымъ живымъ доказательствомъ этой истины можетъ служить г. Ушаковъ. Онъ народенъ въ пошло-понимаемомъ смыслѣ этого слова, но избавь насъ Богъ отъ такой народности—она и такъ ужъ надоела намъ! Оставляя въ покоѣ народность твореній г. Ушакова, я покажу здѣсь только ихъ провинціальность и, следовательно, ихъ важность для «Библіотеки для Чтенія». Очень жалѣю, что у меня нѣтъ теперь подъ рукой той книжки «Библіотеки», гдѣ помѣщена повѣсть г. Ушакова «Сельцо Дятлово». То-то олавная, то-то чудная повѣсть! Вотъ ужъ истинно народная и совершенно провинціальная! Въ ней описывается прежаемая исторія, а провинція такъ любитъ жалостныя исторіи; развязка ея счастливая, а провинція еще больше любитъ счастливыя развязки. Если я только не совсѣмъ забылъ, то дѣло, изволите видѣть, вотъ въ чемъ: одинъ помещикъ взялъ къ себѣ на воспитаніе двухъ сиротокъ, мальчика и дѣвочку; едва дѣвочка успѣла сдѣлаться дѣвушкою, какъ злодѣй лишилъ ее невинности. Она отъ него, кажется, скрылась и пропала изъ глазъ его лѣтъ на десять. Что же? Онъ кажется, опять пошелъ служить и, мучимый совѣстью, искалъ свою жертву, чтобъ какъ-нибудь загладить свое преступленіе. Наконецъ, будучи уже майоромъ, узналъ ее въ толстой богатой вдовѣ-купчихѣ, женился на ней, началъ пить вмѣстѣ ерофеичъ, браниться съ ней по-военному, а она съ нимъ по-купечески; иногда доходило и до драки: онъ, какъ водится, справлялся съ своею дражайшею поповиною кулаками и штыками, а она, какъ водится, отдѣлывалась отъ атакъ своего сожителя ногтями и ухватами; проснавшись, они мирились, и такимъ образомъ въ мирѣ и любви прожили до глубокой старости. Братъ ея былъ

отданъ въ полкъ, и старый майоръ писалъ къ нему поучительныя посланія, исполненныя нравственности оцѣнныхъ лавочекъ, отличавшіяся канцелярско-мѣщанскимъ слогомъ. Все это у г. Ушакова ужасъ какъ мило и занимательно и поучительно для всѣхъ вообще читателей, для провинціальныхъ въ особенности. Потомъ, въ седьмой книжкѣ «Библіотеки», уже за прошлый годъ, безъ васъ, помѣщена другая повѣсть г. Ушакова: «Нюна»; эта повѣсть названа почтеннымъ авторомъ паррикатурою, и названа такъ не безосновательно. Бю-то займусь я здѣсь въ особенности, потому что она для васъ должна быть новостью.

Былъ-жить въ Москвѣ Тихонъ Михеевичъ, сынъ небольшого чиновника, который оставилъ своему сыну душъ съ полесотни, илюдь взяточничества. Хотя почтенный г. Ушаковъ и не скрываетъ отъ своихъ читателей, что батюшка героя его повѣсти былъ воръ, однако замѣчаетъ, что онъ «пользовался расприданствомъ и одобреніемъ своихъ покровителей, дружбою своихъ товарищей и уваженіемъ всѣхъ знавшихъ его». После чего почтеннѣйшій г. Ушаковъ съ удивительною наивностью прибавляетъ: «этотъ капиталецъ стоитъ нѣсколькихъ ревизскихъ душъ!» Нечего сказать—хорошъ капиталецъ, хороша и логика!... Тихонъ Михеевичъ до сорока пяти лѣтъ волочился за дѣвушками, но шутницы всегда измѣняли ему, и онъ послѣ каждой измѣны со вздохомъ восклицалъ: «ахъ измѣнницы!» Когда жъ ему минуло сорокъ пять лѣтъ, онъ не шутя задумалъ жениться: на кубическѣй, или, какъ замѣчаетъ остроумный авторъ, эллипсоидической дурищѣ, Липанѣ. Не смотря на то, что Тихонъ Михеевичъ не зналъ «французскаго языка и теорій ваяннаго, онъ зналъ хорошо дѣла, любилъ чтеніе, въ особенности былъ страстенъ къ стихамъ, говорилъ хорошо, судилъ здраво и мастерски писалъ дѣловыя бумаги». Мы должны прибавить еще, что онъ не только былъ мастеръ на дѣловыя бумаги и любилъ стихи, но и самъ былъ въ душѣ глубокой повтъ, чему доказательствомъ можетъ слу-

жить слѣдующее четверостишіе его работы, сдѣланное имъ для своей глупой и уродливой невѣсты:

Кривошеяна прелестна!
Лзя ль тебя мнѣ не любить?
Безъ тебя въ груди мнѣ тѣсно;
Не могу тебя забыть.

Несмотря на то, что Тихонъ Михеевичъ былъ чрезвычайно смѣшонъ и уродливой наружности, длиненъ до нельзя ростомъ, «онъ былъ человѣкъ умный, добрый и честный». Не правда ли, что такой герой для провинціальной повѣсти лучше всякаго Ахилла и Джиура? Не правда ли также, что для столицы онъ рѣшительно не годится?—О! «Библіотека» знаетъ, какія нужны для провинціи повѣсти, а г. Ушаковъ знаетъ, какія нужны для «Библіотеки» повѣсти.

Тихонъ Михеевичъ женился, и вышла прекрасная пара: жена была мала ростомъ и толста, за то мужъ былъ длиненъ и худощавъ; оба были глупы, какъ нельзя больше, и мужъ съ большимъ резонаномъ могъ бы пропѣть этотъ куплетъ изъ одной старинной пѣсни:

Оселла, ты каррикатура,
Гуръ нетесанный чурбакъ;
Ты невинна, что ты дура,
Я невиненъ, что дуракъ!

Женясь, наши дурачки такъ разнѣжились, что жена мужа стала называть Тишею, а мужъ жену Піюшею, и вотъ отчего повѣсть получила названіе «Піюши»; это же слово произведено отъ Олимпіады, а не отъ пьяницы (Піюша уже въ послѣдствіи сдѣлалась пьяницей, когда, къ немалому удовольствію своего сожителя, пристрастилась къ пиву). Какъ любилъ Тихонъ Михеевичъ свою дражайшую половину, Боже мой, какъ онъ любилъ ее! Она была его утѣхою, радостью, игрушкою; она бросалась со всего размаха на его тощія ноги;

прыгала ему на шею, сказала по коинатѣ, такъ что дребезжали окна. Но земное счастье не прочно; рано или поздно. а долженъ же быть ему конецъ, и онъ насталъ, этотъ роковой конецъ, счастью нѣжнаго мужа. И что лишило блаженства добраго Тихона Михеевича: болѣзнь или смерть жены, чума или холера? О, нѣтъ, все не то! Вѣкъ будете думать, а все не придумаете; только чудотворная фантазія г. Ушакова могла приобрести такую ужасную и непредвидѣнную катастрофу супружескаго счастья. Слушайте и дивитесь, — какъ изобрѣтательна, какъ смѣла бываетъ провинціальная фантазія...

Однажды, когда Тихонъ Михеевичъ сидѣлъ въ туфляхъ, во фланелевой фуфайкѣ, и любовался, какъ прыгала его ненаглядная Піюша, а она, говоритъ авторъ, «прыгала такъ увѣсисто, что каждымъ ея прыжкомъ можно было вполотить свою на вершонию», ему вдругъ пришла въ голову охота записать:

— Піюша? Піюшечка моя! Піюсеночекъ! — „Ну что?“ — „Дай мнѣ табачку понюхать, моя милочка!“ — „Вишь какой! лѣнь самому встать!“ — „Ишь твоихъ пальчишекъ мнѣ пріятнѣе, мой котеночекъ!“ — „Хорошо хорошо!“ и Піюша сунула ему табачку въ носъ. — „Какъ пріятно! какъ вкусно! говорилъ Тиша, протягивая губы къ толстымъ пальцамъ Піюши. Любишь ли ты меня? — „Люблю“. — А вотъ сейчасъ узнаю...! А . . . а . . . а . . . а . . . чихъ! . . . правда! правда! — „Ну такъ не люблю!“ — „Не любишь?... Нѣтъ, не правда. Не чихается! — „Понюхай еще!“ и Піюша забила ему такую щепоть, что Тиша еще не донюхавши расчихался. — „Ха, ха ха! Вотъ видишь?“ По... постою.... а... чихъ!... а.... пос.... той!... Вотъ.... а.... чихъ!... Вотъ тебя! — „Я убью!“ — „А я поймаю!“

И Тихонъ Михеевичъ, разширивъ руки и ноги въ сажень, началъ передвигаться направо и нѣлѣво, ловя Піюшу, которая такъ прыгала, что стѣны дрожали.

Поймалъ, поймалъ?... Постою же, подъ арестъ тебя, подъ караулъ!

(Онъ усадилъ ее въ небольшія кресла, или табуретъ, стоявшій въ углу). Сиди тутъ! Смирно!... Пока я не позову. Смирно!

И, скорчившись, онъ началъ пятиться до самой двери, приговаривая: сидѣть! сидѣть! — Тутъ онъ, все скорчившись, приподнялъ оба ладони противъ лица и началъ манить пальцами. крича: цыпъ, цыпъ,

сюда. сюда! На этотъ крикъ Піюша вскачила и побѣжала.—Ахъ!—
„Что случилось“.

Случилась бѣда, и какая бѣда! Вотъ здѣсь-то надо видѣть всю широту, всю размашистость кисти г. Ушакова, и удивляться ей! Дѣло вотъ въ чемъ: вамъ ужь извѣстно, что Типша посадилъ свою Піюшу въ табуретъ, который былъ съ ручками, какъ кресла, и такъ какъ содержащее было ограничѣнное содержимаго, то, когда Піюша побѣжала къ мужу, содержащее какъ будто обхватило содержимое и приросло къ нему. Какая картина! Дорого бы я далъ, чтобъ увидѣть ее въ натурѣ! О, г. Ушаковъ обладаетъ изобрѣтательнымъ гениемъ! Не всякому бы пришла въ голову такая чудная идея!—Піюша разсердилась и назвала своего мужа «толстоплечымъ медвѣдемъ». Въ дверяхъ раздался хохотъ, излетавшій изъ горла молодого человѣка съ усами, отвратительно нахальнаго вида. Это былъ Виссаріонъ Кривошеинъ, двоюродный братъ Піюши. Чудное лицо этотъ Виссаріонъ Кривошеинъ, или попросту Висяша! Онъ злодѣй—что передъ нимъ Францъ Мооръ? въ ученики не годится. Да, фантазія Шиллера должна замерзнуть передъ фантазіей г. Ушакова! Вы не можете представить, какъ я радъ, что русскій поэтъ побѣдилъ нѣмецкаго. А вѣдь знаете ли что? одна и та же причина произвела Франца Моора и Висяшу Кривошеина — ненависть къ пороку! Висяша былъ облагодѣтельствованъ отцемъ Піюши, который его, сироту, выучилъ «французскому языку и другимъ наукамъ, и отдалъ въ университетъ». Висяша не учился, пилъ и буянилъ въ трактирахъ, за что и былъ исключенъ изъ университета, но нисколько не унылъ отъ этого, а только называлъ съ презрѣніемъ своихъ наставниковъ «отсталыми». Потомъ онъ поступилъ въ военную службу, кое-какъ дослужился до офицерскаго чина, послѣ чего былъ вытнанъ и изъ военной службы за свое нахальство и дерзость. Потомъ обаялъ своими дерзкими сужденіями одного помѣщика, который, возмущенъ высокоемъ понятіемъ о его достоинствахъ, пору-

чакъ...ему воспитаніе своихъ дѣтей; но татъ какъ Висаша одѣлалъ ихъ негодными, то и былъ выпнанъ изъ дому... Эта исторія повторилась съ нимъ и въ другомъ домѣ. Не правда ли, что Висаша мерзкій, негодный человѣкъ? Впрочемъ, не удивительно, что онъ былъ такимъ: «Висаша судилъ и рѣдилъ о Фихте и о Гегелѣ, и былъ такъ убѣжденъ въ тождествѣ мировъ идеальнаго и реальнаго, что смѣло называлъ презрѣнными невѣждами тѣхъ, которые не понимали знаменитаго тождества. Въ особенности плѣнился Висаша Шеллинговымъ Я». Теперь дѣло, кажется, очень ясно: можетъ ли быть не буйномъ, не пьяницею и не нахаломъ человѣкъ, который читаетъ Фихте, Гегеля и Шеллинга, разсуждаетъ объ идентитетѣ и о Я?...

Почтеннѣйшіе, за что такая ненависть къ философіи? Или, хорошъ видѣтрадъ, да вселенъ — набѣеши оскмину? Перестаньте подрывать у дуба корни, поднимите ваши глаза и вверхъ, если только вы можете поднимать ихъ вверхъ, и узнаете, что на этомъ-то дубѣ растутъ ваши жолуди....

Обратимся къ Висашѣ. Ему нечего было вѣтъ, онъ вспомнилъ, что его кузина вышла замужъ за достаточнаго человѣка, и отправился къ ней. Онъ былъ принятъ Тишею радужно, Піюшею тоже, и, въ благодарность, началъ толковать Тишѣ, что онъ живетъ для того только, чтобъ жить, и пр., а Піюшу сталъ вразумлять, что ея мужъ дуракъ. Потомъ сманилъ Піюшу и увезъ это сокровище отъ его обожателя. Тина съ горю умеръ, и пр. и пр. Чтѣ жъ за идею хотѣлъ выразить г. Ушаковъ своимъ Висашею? А вѣтъ какую:

Мой Висаша существо не выдуманное и не заимствованное изъ каррикатуры Гюн-де-Кари...Нѣтъ, онъ существуетъ и духомъ и плотью, но существуетъ не въ одномъ лицѣ, а въ тысячѣ, въ сотняхъ тысячъ лицъ. Геніемъ паритъ онъ надъ просвѣщенною Европою и силится доказать, что онъ не болѣе и не менѣе, какъ духъ времени, представитель утонченъ разума новѣйшаго и лучшаго поколения.

Но что жь тутъ худаго? Если такъ, то, право, Висяша славный малый, и мы не понимаемъ ненависти къ нему почтеннаго г. Ушакова. Но, постойте, я сейчасъ найду ключъ къ разрѣшенію этого недоразумѣнія.

Висяша теперь всѣмъ недоволенъ, даже и тѣмъ, что солнце свѣтитъ. Такъ, почтенный читатель, когда вы въ театрѣ, сидя въ креслахъ, съ удовольствіемъ смотрите на пѣсу и на игру актеровъ, и слышите, что позади васъ кто-то ропщетъ, презрительно насмѣхается и говоритъ въ полголоса, по-русски: что за мерзость! по-французски: quelle horreur! вы, не оглядываясь, знайте, что за вами сидитъ Висяша. Когда вы читаете хорошую книгу и, наслаждаясь ею въ душѣ, говорите спасибо автору, и вдругъ вамъ приносятъ журналъ, въ которомъ та же книга оцѣнена ниже поношенныхъ латей, повѣрьте, что это оцѣнка сдѣлана Висяшею.

А, такъ вотъ что! Вотъ въ чемъ вся бѣда-то! Понимаемъ!... Г. Ушаковъ теперь ужь не критикъ, не рецензентъ; это ремесло не далось ему, и онъ оставилъ его; онъ теперь писатель, онъ ужь не судья, а подсудимый! Конечно, чего бояться хорошему автору? Какъ бы ни была злонамѣренна критика, но она никогда не уронитъ хорошаго сочиненія, особенно художественнаго. Вѣдь и на Байрона напали съ ожесточеніемъ, вѣдь и Гёте преслѣдовали запальчиво, а все-таки Байронъ остался Байрономъ, а Гёте—Гёте. За что жь это ожесточеніе противъ рецензентовъ? Не есть ли это сознаніе своей посредственности, ропотъ авторитета, чувствующаго свое паденіе?... Къ тому же давно ли почтенный г. Ушаковъ былъ такимъ грознымъ, такимъ неумолимымъ гонителемъ бѣднаго нашего театра? Давно ли онъ былъ такимъ неумолимымъ рыцаремъ противъ классиковъ и осыпалъ ихъ, бѣдныхъ, съ ногъ до головы, картечью своихъ тяжело-словенскихъ остротъ, за неимѣніемъ чисто русскихъ?... Что жь это такое? Или сознаніе несправедливости своихъ прежнихъ мнѣній?... Нѣтъ! не то означаетъ это отступничество отъ самого себя, это возвращеніе къ классицизму, это покровительство посредственности; тутъ есть двѣ другія причины; первая:

г. Ушаковъ увидѣлъ, что онъ въ излишней запарывистости, колотилъ своихъ; вторая: онъ хотѣлъ написать повѣсть для «Библіотеки», и, слѣдовательно, для провинціи; и тутъ и тамъ онъ, вѣроятно, успѣлъ. Итакъ, поздравляемъ!...

Есть еще въ «Библіотекѣ» курьезная повѣсть «Бѣда, еслибъ не медвѣдь»; съ этою я познакомлю васъ какъ можно короче. Прапорщикъ Рамирскій влюбился въ княгиню Златопольскую, прекрасную и молодую вдову. Будучи семнадцати лѣтъ, прелестная Марія вышла за семидесятилѣтняго скарёда, Мужъ ея вскорѣ заболѣлъ, а она предъ его смертію уѣхала въ Италію. Въ ея отсутствіе вкралась въ довѣренность издахшаго скелета капитанша Дарья Климовна Борщъ, и вслѣдствіе ея плутней, князь сдѣлалъ такое завѣщаніе, что если княгиня выйдетъ замужъ по выбору капитанши, то наслѣдуетъ миллионъ двѣсти тысячъ; въ противномъ же случаѣ, должна удовольствоваться только стами тысячами, а остальные пойдутъ къ законнымъ наслѣдникамъ. Капитанша имѣла очень важную причину способствовать такому распоряженію со стороны стараго сластолюбца: у ней былъ племянникъ въ родѣ Митрофанушки, и за него-то прочла она княгиню. Эта, разумеется, отказалась, взяла свои сто тысячъ, и очень скоро ихъ прометала. Между тѣмъ ея любезный Рамирскій возвратился изъ польской кампаніи уже поручикомъ, увѣнчанный орденами, и началъ наступательно требовать руки княгини. Княгиня рѣшилась застрѣлиться, а передъ смертію задать пиръ на славу. Надобно сказать, что у капитанши былъ задушевный другъ, майоръ Фролъ Силычъ Торопенко, который питалъ удивительную симпатію къ скотамъ и любилъ ихъ выкармливать; такъ выкармлилъ онъ медвѣженка и тайкомъ отъ капитанши держалъ его въ домѣ. Капитанша, напившись шампанскаго до несостоянія держаться на своихъ капитанскихъ ногахъ, и намазавъ себѣ щеки мастикою своего изобрѣтенія, растворенною въ меду, легла въ кровать, смежой съ комнатою майора. Вдругъ раздался крикъ: спасите! спа-

сите!... умираю! — Въ комнату ввалила толпа, а съ нею и Рамирскій — и что жъ представилось изумленнымъ глазамъ зрителей.

Одна изъ любопытнѣйшихъ сценъ частной жизни. Медведь, привлеченный медовымъ запахомъ мастики, позволилъ облизать Дарью Климовну и прехладнокровно облизывать ея тучныя ланиты.

Какова сцена?... И для кого она?... Ужъ, конечно, не для столицы, а для провинціи! — Но посмотримъ, чѣмъ кончилось дѣло.

Рамирскій бросился въ комнату княгини, которой онъ отдалъ на сохраненіе свои пистолеты. Вбѣгаетъ, что жъ? Княгиня лежитъ на полу, распростертая передъ образомъ, а подлѣ ней, на полу, пистолетъ, со введеннымъ куркомъ. Ужась, да и только! Женщина, которая, первая изъ своего пола, хочетъ попробовать застрѣлиться! — Очевидно, что и этотъ эффектъ совершенно въ провинціальномъ духѣ, потому что и провинціальное воображеніе тоже находитъ неизъяснимую, таинственную прелесть въ ужасномъ (ужасномъ въ его вкусѣ).

А потомъ что? Разумѣется, Рамирскій заставилъ капитаншу дать слово, что она не будетъ противорѣчить княгинѣ въ выборѣ жениха, и застрѣлилъ медвѣдя. Ужась, какъ мило и затѣйливо! Въ этой же повѣсти, авторъ, описывая петергофскій праздникъ перваго іюля и замѣчая, что въ этотъ день въ Петергофѣ заняты людьми даже щели, говорить:

И хотѣлъ однажды описать, что дѣлается въ этихъ щеляхъ, но мнѣ сказали, что все это уже описано Поль-де-Кокомъ.

Жаль, право, жаль! А это бы очень пригодилось для «Библиотеки» и, следовательно, для провинцій.

Читали ли вы еще остроумную повѣсть г. Тимофеева «Утрахоткія Происшествія»? Очень занимательная повѣсть: въ провинціяхъ, я думаю, всѣ безъ ума отъ ней. Въ ней описанъ бунтъ женщинъ противъ мужчинъ, которыхъ онѣ, при помощи какой-то волшебницы, спровадили подъ землю. Но

что же вышло? Женщины скоро почувствовали необходимость мужчинъ и поняли ихъ значеніе; перессорились между собою изъ лоскутковъ, раздѣлились на двѣ партіи; дѣло дошло до генеральнаго сраженія, обѣ враждующія стороны явились на мѣсто битвы съ оружіемъ въ рукахъ, но бросили это оружіе, и вѣѣлились другъ другу въ волосы и принялись въ потасовку. Здѣсь авторъ весьма основательно удивляется силѣ природы. Дѣло кончилось тѣмъ, что мужчины были возвращены. Какая злая и умная насмѣшка надъ сен-симонистами и надъ госпожею Дюдеванъ!...

Приведу еще примѣръ, который, какъ самый сильный, я съ умысломъ берегъ къ концу, чтобъ оправдать пословицу: «ионецъ вѣнчать дѣло». Есть въ «Библіотекѣ» повѣсть г. Нидловскаго: «Уѣздная Казначейша». Въ этой повѣсти между прочимъ повѣствуется, какъ толпа гуляющихъ вечеромъ по городу дамъ и кавалеровъ шла мимо каннареева огорода, плетень котораго во многихъ мѣстахъ обвалился, шла въ то время, когда въ огородѣ, въ густой и высокой крапивѣ, каннарейша объяснялась въ любви какому-то мелкому уѣздному чиновнику, и какъ любопытная исправница, смекнувъ дѣломъ, поползла на четверенькахъ, чтобъ поближе рассмотреть неясно представлявшійся вечеромъ предметъ, и какъ собесѣдникъ каннарейши, влѣпилъ исправницѣ въ лобъ пощечину...

Но я чувствую, что зашелъ далеко, что слишкомъ глубоко разрылъ эту кучу переирѣлаго и фосфорическаго навоза, что моимъ читателямъ можетъ сдѣлаться дурно; но я не виноватъ въ этомъ, я не выдумываю, а только представляю экстракты изъ тѣхъ изящныхъ произведеній, которыми лучший русскій журналъ подчуетъ нашу публику...

4.

Перехожу къ отдѣленію «Иностранной Литературы» въ «Библіотекѣ». Это почти то же, что отдѣленіе «Русской Ли-

тературы». Всѣ иностранныя повѣсти, подобно русскимъ, отъ первой строки до послѣдней, проникнуты провинціализмомъ. Все, что составляетъ послѣдніе ряды французской литературы, все, что составляетъ балластъ французскихъ, иногда и англійскихъ журналовъ, что чуждо всякой наизящности, что отзывается пустотою, посредственностію, мелочностію, и что отзывается провинціальнымъ остроуміемъ, провинціальною забавностію, все это переводится въ «Библіотеку». Тщетно стали бы вы искать въ этихъ повѣстяхъ анализа души и сердца человѣческаго, идей вѣка, взгляда на жизнь, глубокаго чувства, роскошной фантазіи; тщетно стали бы вы искать между этими повѣстями такой, которая бы заставила васъ или воскликнуть въ порывѣ восторга: «прекрасна жизнь!» или воскликнуть въ тоскѣ: «скучно жить на свѣтѣ!» Скорѣй вы воскликнете, прочтя нѣсколько переводныхъ повѣстей «Библіотеки»: «скучно читать повѣсти въ «Библіотеку», очень скучно!...» Такъ какъ я обѣщался ничего не говорить безъ доказательства, все подкрѣплять фактами, то приведу примѣра два, какъ ни скучно и ни тяжело для меня это. Въ одной, напримѣръ, повѣсти описывается, какъ одинъ чудакъ купилъ себѣ домъ, которымъ не могъ нарадоваться. Въ самомъ дѣлѣ, домъ былъ настоящее чудо, да вотъ бѣда, что онъ стоялъ на какомъ-то перекрестномъ пунктѣ, котораго нельзя было миновать куда бы вы ни ѣхали изъ тѣхъ мѣстъ, куда вамъ надо ѣздить, и, вслѣдствіе этого, къ чудаку стали заѣзжать въ гости и его и женина родня, и оставались у него по недѣлѣ и больше, чѣмъ, разумѣется, и разоряли его и надѣдали ему. безмѣрно, такъ что онъ принужденъ былъ бросить свой домъ. Чудная, прелюбопытная и прешоучительная повѣсть! Въ другой описывается, какъ одинъ Французъ, начитавшись въ «путешествіяхъ» о прекрасныхъ чугуновыхъ дорогахъ, о прекрасныхъ паровыхъ дилижансахъ, объ отличныхъ трактирахъ въ Англіи, рѣшился посмотреть все это собственными глазами, и что жъ?... Вместо прекрасныхъ чугуновыхъ дорогъ,

онъ нашелъ мерзкую, тряскую, изрытую рытвинами дорогу; вмѣсто превосходныхъ паровыхъ дилижансовъ, онъ принужденъ былъ ѣхать въ одной повозкѣ, въ которой избилъ себя голову и намалъ бока, на тощихъ клячахъ, которыя, ступивши два шага впередъ, отступали шагъ назадъ; вмѣсто отличныхъ трактировъ, онъ провелъ часовъ шесть въ вонючей крестьянской лачугѣ, гдѣ чуть было не умеръ съ голоду. Вотъ и все тутъ. Какое же слѣдствіе долженъ вывести провинціальный читатель изъ этой повѣсти? А то, что чугунныя дороги Англіи существуютъ только въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», и что «славны бубны за горами»!—Вообще надо замѣтить, что эта поговорка принята «Библиотекою» за тезисъ, который она и развиваетъ самымъ левымъ образомъ. Провинція этому сочувствуетъ, это ободряетъ, и неудивительно: человекъ безграмотный съ особеннымъ удовольствіемъ слушаетъ брань на грамотность, потому что эта грамотность есть его позоръ и безславіе. Листить толкѣ всего выгоднѣе, это игра навѣряна. Кажется, «Библиотека» очень хорошо поняла эту истину. И зато, имѣя извѣстно изъ самыхъ достовѣрныхъ источниковъ, что «Библиотека» проникла даже въ такія мѣста, куда едва проникали доселѣ азбуки и налендари. Итакъ, честь и слава ея ловкости, ея дѣятельности!...

За отдѣленіемъ русской и иностранной словесности слѣдуетъ въ «Библиотекѣ» ученое отдѣленіе, подъ рубрикою «Науки и Художества». Это отдѣленіе самое лучшее; въ немъ встрѣчаются иногда статьи, истинно заслуживающія вниманія, истинно прекрасныя и любопытныя. Разумѣется, лучшія изъ этихъ статей, по большей части, переводныя; но случаются иногда хорошія изъ оригинальныхъ. Такъ, напр., мы прочли нѣсколько занимательныхъ и мастерски написанныхъ отрывковъ изъ «Записокъ Дениса Васильевича Давыдова»; прочли статью, кажется, подъ названіемъ «Воспоминанія Смирнъ», статью интересную, живую, проникнутую чувствомъ. Говорятъ, что сочинитель ея есть не кто иной, какъ редакторъ

«Библиотеки»: мнѣ до этого нѣтъ дѣла; чья бы ни была статья, она прекрасна, этого для меня довольно. Итакъ, отдѣленіе «Наукъ и Художествъ» есть лучшее въ «Библиотеки», но оно имѣетъ одинъ недостатокъ, и очень важный: къ этому отдѣленію нельзя имѣть полной довѣренности, по крайней мѣрѣ, въ отношеніи къ переводнымъ статьямъ. Въ самомъ дѣлѣ, если читателямъ этого журнала извѣстно, что онъ не только поправляетъ и передѣлываетъ Бальзака, но даже укорачиваетъ выпусками оригинальныя статьи, какъ-то было судяно имъ съ статьей г. Шевырева «Синистъ V», то кто же имъ поручится, что, читая статью иностраннаго ученаго, они получаютъ понятіе о взглядѣ на извѣстный предметъ этого ученаго, а не какого-нибудь неизвѣстнаго (или, пожалуй, и извѣстнаго) рыцаря, который изъ-за знаменитаго имени выставитъ имъ свою не знаменитую личность?... Это предположеніе тѣмъ основательнѣе, что всѣ статьи «Библиотеки», ученыя и не ученые (исключая немногихъ оригинальныхъ) отличаются какимъ-то общимъ характеромъ и во взглядѣ и изложеніи, а этотъ общій характеръ отличается какимъ-то провинціальнымъ бравадомъ. Такая манера намъ кажется очень недобросовѣстною. Возьму, для примѣра, повѣсть Бальзака «Дѣдъ Горіо». Для кого переводятся въ журналахъ иностранныя повѣсти? Для людей или не знающихъ иностранныхъ языковъ, или знающихъ, но не имѣющихъ средствъ пользоваться иностранными книгами. Теперь, для чего эти люди читаютъ иностранныя повѣсти? Я думаю, не для одной забавы, даже и не для одного эстетическаго наслажденія, но и для образованія себя; чтобы имѣть понятіе, что пишетъ тотъ или другой иностранный писатель, и какъ писать. Какое же понятіе получаетъ онъ о Бальзакѣ; прочтя его повѣсть въ «Библиотеки»?—Но «Библиотеки» до этого нѣтъ дѣла: она себя на умѣ, она сама придѣлываетъ къ «Старику Горіо» пошло-счастливое окончаніе, дѣлая Растиньяла милліонеромъ, она знаетъ, что провинція любитъ счастливыя окончанія въ романахъ и повѣ-

стать. Напротивъ, если она встрѣчаетъ въ иностранной статьѣ какую-нибудь плоскость во вкусъ провинціи, то не выпуститъ ея; нѣтъ! она скорѣй свою прибавитъ. Такъ, въ нестой книжкѣ этого журнала, въ отдѣленіи «Иностранной Словесности» есть статья очень забавная и занимательная — «Амброзіанскія Ноли». Въ ней двое друзей, Скотоводъ и Нортъ, разговариваютъ о безсмертій души, а потомъ переходятъ къ переселенію душъ; и Скотоводъ сказалъ, что прежде, чѣмъ сдѣлается скотоводомъ, онъ былъ львомъ, и очень мило началъ рассказывать исторію своей львиной жизни.

Нортъ. Скажи, пожалуй, правда ли, что левъ предпочитаетъ человѣчье мясо какому другому и, отъдавая его однажды, обыкновенно дѣлается антропофагомъ?

Скотоводъ. Онъ можетъ дѣлаться и можетъ не дѣлаться антропофагомъ, потому что я не знаю, что такое антропофагъ. Что касается до предпочтенія, оказываемаго имъ человѣческому мясу, то это много зависитъ отъ его качества и доброты. Я, напримѣръ, никогда не могъ безъ принужденія съѣсть старой бабы, какъ бы она жирна ни была, не говоря уже о старикахъ. *A la longue*, предпочитаю я серну даже самой молоденькой и мягкой двучки. Двучатина хороша въ двѣ, въ три недѣли разъ, а всякій день надоесть до смерти...

Спрашивается: для кого, какъ не для провинціи, переведена, или, вѣроятнѣе, придѣлана послѣдняя фраза?...

Но я началъ говорить объ ученомъ отдѣленіи «Библиотеки»; возвращаюсь къ нему, чтобы сказать слова два объ одной изъ его статей: «Способности и мнѣнія новѣйшихъ путешественниковъ по Востоку». Это статья оригинальная, мы даже знаемъ, кому она принадлежитъ, хотя подъ ней и не стоитъ никакого имени. Странно заглавіе этой статьи, но еще страннѣе ея содержаніе, и еслибы я не попалъ на счастливую идею основанія, цѣли, усилій и успѣховъ «Библиотеки», выражаемыхъ однимъ словомъ «провинція», — то былъ бы принужденъ возложить на свои уста перстъ молчанія и сознаться, что умъ мой сталъ коротокъ, или, другими словами, съѣлъ на нитки.

Но Аллахъ верижъ! теперь я догадался, такъ ничему не дивлюсь и все понимаю: Знаете ли вы, Николай Ивановичъ, какая главная, основная мысль этой статьи?... А вотъ такая: всѣ путешественники по Востоку врутъ и порютъ дичь, не понимая въ особенности Турціи; и именно не догадываясь, что Турція въ тысячу разъ цивилизованнѣе и образованнѣе Европы, что она пользуется не искусственною, фальшивою цивилизаціею, а истинною, основанною на нравственномъ достоинствѣ всѣхъ индивидуумовъ, составляющихъ эту имперію... Мысль, по истинѣ, смѣлая и совершенно новая!... Знаете ли, что было сдѣлано со мной эта статья? Меня уже одинъ разъ и такъ обвиняли въ ренегатствѣ, какъ вамъ извѣстно, и обвиняли напрасно; но когда я прочелъ эту статью, то — дивитесь — чуть было въ самомъ дѣлѣ не сдѣлался ренегатомъ въ полномъ смыслѣ этого слова, и чуть быдо не укатилъ въ благословенную Турцію... Правда, мнѣ хорошо, очень хорошо и въ своемъ отечествѣ; правда, живя въ немъ, я каждый вечеръ засыпаю спокойно, въ полной увѣренности, что встану поутру живъ, что если могу умереть ночью, то по волѣ Божіей, а не по прихоти или злобѣ людской; правда, я всегда смѣло хожу по улицамъ, не боясь, что меня кто-нибудь хватитъ кинжаломъ въ бокъ, да и былъ таковъ, или что начальникъ города велитъ посадить меня на колы для своего удовольствія, или отдуть по пятамъ для наставленія на путь истинный; правда, я всегда увѣренъ, что если буду вести себя какъ слѣдуетъ благородному человеку и не буду шѣпаться не въ свои дѣла, то никогда не узнаю даже, что такое заключеніе; тюрьма. Да! все это я знаю и во всемъ этомъ сердечно увѣренъ; но страна, гдѣ люди всѣ справедливы въ высшемъ значеніи этого слова, гдѣ они не дѣлаютъ зла, не потому, чтобы боялись наказанія, а потому, что ненавидятъ зло... спрашиваю васъ, у кого же не родится сильнаго, непреодолимаго желанія взглянуть на эту страну хоть однимъ глазкомъ?... А у меня; каюсь въ грѣхѣ, родилось даже пре-

ступное желаніе водвориться тамъ на вѣки... Сказать правду, мнѣ приходило на мысль — во-первыхъ, сажаніе на колы, потомъ, палочное щекотаніе по пяткамъ, далѣе, прибиваніе гвоздемъ за ухо къ дереву, съ размазвкою лица медомъ, для накормленія насѣкомыхъ; — наконецъ, погруженіе женщины въ мѣшкахъ на дно морей и океановъ... Но что жъ, подумавъ я, можетъ быть, мы, Европейцы, принимаемъ, въ этомъ случаѣ, слова и вещи, забывая, что восточные жители, обладающіе пламеннымъ воображеніемъ, любятъ выражаться иносказательно, что сажать на колы у нихъ означаетъ, можетъ быть, возносить человѣка наверхъ почестей и славы; бить по пяткамъ — посвящать въ кавалеры какого-нибудь ордена; что прибиваніе гвоздемъ за ухо значитъ симпатическій способъ лѣченія отъ какой-нибудь болѣзни, напр., отъ водянки или полнокровія; что бросить женщину на дно моря, завязанную въ мѣшкѣ, значитъ завязать женщину въ мѣшокъ любви и бросить на дно сердца, или что-нибудь подобное... Но, счастію, я вѣрю и вѣрилъ всегда, что какъ всякій народъ въ частности, такъ и человѣчество вообще, могутъ быть одолжены своимъ нравственнымъ совершенствомъ только благотвельному вліянію христіанской вѣры, единой истинной вѣры на землѣ, а не чувственному и грубому мухаммеданизму. Эта увѣренность удержала меня, и только ей обязаны вы, что не лишились своего дѣятельнаго сотрудника, а отечество вѣрнаго сына; безъ нея я носилъ бы теперь чалму, и, можетъ быть, имѣлъ бы случай на опытъ перевести на прозаическій языкъ поэтическія выраженія жителей Востока. Впрочемъ, надо вамъ сказать, что соблазнъ такъ силенъ, что я долго еще колебался; оставить же совершенно свое намѣреніе не прежде, какъ попалъ на счастливую мысль, что «Библиотека» журналъ провинціальный, и что она часто съ умысломъ отпускаетъ провинціальныя bons-mots, къ числу которыхъ принадлежитъ и статья «Способности и мнѣнія путешественниковъ по Востоку».

За отдѣленіемъ «Наукъ и Художествъ» слѣдуетъ отдѣленіе «Промышленности и Сельскаго Хозяйства»; о немъ я умалчиваю, какъ о предметѣ для меня не интересномъ и совершенно мнѣ незнакомомъ. Слѣдующія за нимъ отдѣленія, «Критика» и «Литературная Лѣтопись», вызываютъ меня — и я спѣшу къ нимъ.

«Критика» есть самое жалкое, самое плохое отдѣленіе, а «Литературная Лѣтопись» одно изъ немногихъ отдѣленій, которыми «Библиотека» по справедливости можетъ гордиться. Страшное противорѣчіе!... Какъ хотите, однакожь такъ въ самомъ дѣлѣ, и это опять не совсѣмъ удивительно: есть люди, у которыхъ ума хватаетъ на статью въ нѣсколько страницъ, но есть также люди, у которыхъ ума хватаетъ только на нѣсколько строкъ. Причина этому заключается въ раздѣлѣ труда, на который природа обращаетъ вниманія гораздо больше, чѣмъ политическая экономія. Притомъ же иному талантъ, иному два...

Я не хочу нападать на явное отсутствіе добросовѣстности и благонамѣренности въ критическомъ отдѣленіи «Библиотеки», не хочу указывать на безпрестанныя противорѣчія, на какое-то хвастовство умѣньемъ смѣяться надъ всѣмъ, надъ приличіемъ и истиною; обо всемъ этомъ много говорили другіе и мнѣ почти ничего не оставили сказать. Скажу только, что недобросовѣстность критики «Библиотеки» заключается въ какой-то непонятной и высшей причинѣ, кромѣ обыкновенныхъ и пошлыхъ журнальныхъ отношеній. Г. Тю-тунджи-Оглу ненавидитъ всякій родъ истинной славы, гонитъ съ ожесточеніемъ все, что ознаменовано талантомъ, и оказываетъ всевозможное покровительство посредственности и бездарности: гг. Булгаринъ и Грець у него писатели превосходные, таланты первостепенные, а г. Гоголь есть русскій Поль-де-Бокъ, и, конечно, нейдетъ ни въ какое сравненіе съ этими геніями. Но это все ужъ старо и довольно пошло и скучно для повторенія: приведу примѣръ поновѣе и посвѣжѣ. Вы-

ходить новый романъ г. Лажечникова, произведение, конечно, не гениальное, не великое, не бессмертное, но ознаменованное печатью истиннаго дарованія, но дышащее живою, неподдѣльною теплотою, кипящее благороднѣйшѣ жаромъ; словомъ—плодъ искренней, задушевной и образованной мысли, и въ то же почти время выходитъ какое-то бездарное произведение; подъ именемъ «Записокъ Горянова». Что же? Критикъ «Библіотеки» берется разсматривать въ одной статьѣ оба эти произведенія; отнумеровываетъ нѣсколько плоскихъ остроумій съ счету перваго и превозноситъ до небесъ послѣднее!... Конечно, это шутка; и для г. забавника очень удачная; потому что умные тотчасъ догадаются, что онъ «изнудить потѣшаться», и не придутъ въ сомнѣніе на счетъ его ума и вкуса, а глупые подивятся его уму и вкусу и поверятъ ему на слово: въ томъ и другомъ случаѣ расчетъ вѣрный; и шутка хоть куда!— Все такъ, но: можетъ ли и долженъ ли человекъ, для котораго истина что-нибудь значить, который имѣетъ уваженіе къ своему человѣческому достоинству, можетъ ли и долженъ ли онъ такъ шутить?... Нѣтъ, воля ваша, а тутъ что-нибудь да не то! Этотъ таинственный г. Тю-тюнджи-Оглу—кто онъ?... Ужь не турокъ ли онъ въ самомъ дѣлѣ? Ужь не для того ли онъ усвоилъ себѣ европейскую образованность и знаніе нашего языка и нашихъ обычаевъ; чтобы отомстить намъ за униженіе своего отечества, сбивая съ примаго пути образованія наши провинціи, смѣясь такъ злодѣйски и надъ правдою и надъ ними самими?... Чего добраго—съ нами крестная сила!... Но не одной недобросовѣстностью удивляетъ отдѣленіе «Критики» въ «Библіотекѣ»: оно, сверхъ того, носитъ на себѣ отпечатокъ какой-то посредственности, какой-то скудости, негибкости и не-растяжимости ума, котораго не становится даже на нѣсколько страницъ. Но нашъ критикъ ужъветъ этому помочь: на двѣ строки своего сочиненія, онъ выписываетъ двѣ, три, четыре страницы изъ разбираемой книги, и этихъ часто извѣщаетъ

себя отъ большихъ ватруженій. Да и въ самомъ дѣлѣ, что бы онъ сталъ писать, онъ, для котораго не существуетъ никакихъ теорій, никакихъ системъ, никакихъ законовъ и условій изыщнаго? Намъ скажутъ, что всего этого не существуетъ и для знаменитаго Жюль-Жюлена, который, несмотря на то, говорить обо всемъ, даже и о томъ, о чемъ не имѣетъ никакого понятія; намъ скажутъ, что остаются еще личные впечатлѣнія, и что критикъ можетъ ихъ налагать. Все это такъ, да вѣдь личные впечатлѣнія, получаемыя образованнымъ человекомъ отъ какого-нибудь произведенія, непременно должны быть согласны съ тою или другою теоріею, системою, или, по крайней мѣрѣ, съ тѣмъ или другимъ закономъ изыщнаго, потому что, даже оставляя въ сторонѣ теоріи и системы, теперь известны многіе законы, выведенные изъ самой сущности творчества; притомъ, можно ли говорить хорошо о прекрасныхъ впечатлѣніяхъ отъ такой книги, которая наглагола на васъ такую?... Нѣтъ, очень понятно, отчего критики г. Тю-тюджи-Оглу, такъ тоны, сухи и скудны даже источниками изобрѣтенія, даже общими мѣстами. Онъ написалъ только двѣ критики, которыя могутъ служить образцомъ журнальной политики и ловкости. Первая, на «Черную Женщину» г. Греча, гдѣ критикъ очень ловко и знаменательно изложилъ теорію анатоміи, физиологіи, электричества и магнетизма человѣческаго тѣла, и, не сказавъ ничего о романѣ, сказавъ только, что онъ говоритъ о всякой книгѣ, которую хочется пустить въ ходъ, что онъ (ни на одномъ языкѣ земнаго шара не читалъ такого прекраснаго произведенія. И что же была слѣдствіемъ этой критики? Разумеетсяъ, провинція, думая найти въ романѣ г. Греча все чудеса, которыхъ она не понимаетъ, и, о которыхъ такъ хорошо говорилъ критикъ, раскупила «Черную Женщину». Оно и прекрасно: критикъ и себя показавъ и пріятеля одолжилъ! — Вторая — на романъ г. Булгарина «Мазепу», гдѣ критикъ какъ будто нападаетъ на автора за духъ новѣйшаго литературнаго неистовства, а

между тѣмъ, изложеніемъ: содержанія и выписками изъ романа, показывается, что разбираемое имъ сочиненіе написано въ совершенно неистовомъ духѣ, такъ, соблазнительномъ для провинціи. Слѣдствіе критики было опять то же самое! — Позвольте, виновать, я еще добылъ трезвю, — на «Роксодану» г. Кукольника; эта критика не только умно и основательно написана, но даже и добросовѣстна. Странно только, что г. критикъ, уничтожая въ духѣ эту драму, осыпаетъ ея автора съ головы до ногъ камплектами, которые напомнимъ стихъ нашъ «Горько отъ Ума»

Не поздоровится отъ такихъ похвалъ.

Слѣдствія этой критики были совѣтъ другія, нежели духъ прежнихъ; г. Кукольникъ начался принужденнымъ защищать и хвалить самъ себя въ «С. Пчелѣ».

Итакъ, за цѣлые два года, въ «Библиотекѣ», была только одна критика, и умная и безпристрастная, вмѣстѣ, критика на «Роксодану», да двѣ критики недобросовѣстныя, но очень ловкія: на «Черную Женщину» и «Матеру». Въ прозіи, исключая недобросовѣстности, чрезвычайно недовки, неудачны, холодны, водяны и состоятъ болѣею частью изъ выписокъ изъ разбираемыхъ сочиненій. Конечно, это самый легкій способъ писать въ самое короткое время самыя большія критики, и, сказать правду, критикъ «Библиотеки» въ высочайшей степени владеетъ этимъ искусствомъ!

Теперь слѣдуетъ «Литературная Лѣтопись». Какъ плохое въ «Библиотекѣ» отвлеченіе критики, такъ хороша ея «Литературная Лѣтопись». Въ этомъ отвлеченіи рецензентъ, хотя также угождаетъ провинціи, но имѣетъ въ виду и столицу. О добросовѣстности и безпристрастности «Литературной Лѣтописи» много говорить нечего; находить въ ней что-нибудь удивительное и чрезвычайное было бы странно; но ей нельзя отказать въ одномъ, очень важномъ достоинствѣ: въ ловкости, умѣнши, знаніи литературной манеры, въ шутливости и

часто остроумія. Въ «Сынъ Отечества» утверждаютъ, что передъ авторомъ «Литературной Лѣтописи» ни гроша не стоитъ ни Менцель, уступающій ему въ обширности и глубокости свѣдѣній, ни Жюль-Жаненъ, который славится остроуміемъ и не имѣетъ сегой доли насмѣшливости критика «Библиотеки для Чтенія». Я не шучу: эти слова, право, напечатаны въ «Сынъ Отечества». Но я этому не дивлюсь, не дивитесь и вы: я знаю, кто написалъ эти строки. Въ мірѣ физическомъ есть существа столь маленькія, что для нихъ все горы да утесы; вы помните басню Крылова, въ которой крыса извѣщаетъ свою куму, что врагъ ихъ, кошка, попала въ когти льву; но кума не повѣрила, говоря, что сильнѣе кошки звѣря нѣтъ?... Итакъ, дѣло не о томъ. Что касается до учености, ея нынче трудновато обжорочить: всѣ знаютъ, откуда она почерпается и какими средствами составляется. Напишите намъ книгу съ систематическимъ изложеньемъ предмета съ новой точки зрѣнія, и тогда мы взвѣсимъ вашу ученость и поклонимся ей; а на три страницы у кого не станетъ учености и ума? Что жъ касается до удивительнаго остроумія критика «Библиотеки», то мы все-таки не видимъ, почему Жюль-Жаненъ долженъ сократиться въ нуль передъ его остроуміемъ. Тайна остроумія рецензента «Библиотеки»; значительности и занимательности «Литературной Лѣтописи»; заключается больше въ современности способа выраженія и знаніи литературнаго такта, нежели въ истинномъ остроуміи. Чтобъ дѣло было яснѣе, укажу на «С. Пчелу», этотъ неугощивый рудникъ тупоумныхъ рецензій. Выходить трагедія г. Лобанова, и «Пчела» начинаетъ жужжать: «Злополучный Борисъ! Развѣ мало тебѣ, что при жизни терпѣлъ ты отъ козней бояръ, отъ преслѣдованій враждебной тебѣ судьбы, отъ злыхъ наветовъ и отъ Гришки? Тебѣ и за гробомъ нѣтъ спокойствія! Начиная съ Нарѣжнаго и кончая М. Г. Лобановымъ, всякій поднимаетъ тебя изъ могилы, бѣдный старецъ; выводитъ на позорище; заставляетъ говорить такіа вещи, ко-

торимъ тебѣ иногда и въ голову не приходило. Вѣднѣй Баридъ! — Бидная «Ицела»! скажемъ мы отъ себя... Выходить казенный романъ, и она пускается въ предлинное и прескучное поученіе о томъ, что книги должны издаваться опрѣтно, потому что нѣтъ читающіе дамы. Въ рецензіяхъ «Библіотеки» нельзя найти такихъ пошлостей, такихъ беззубыхъ острогъ, такой тугоумной шутовщины, такихъ истертихъ, потасованныхъ общихъ мѣстъ. «Библіотека» отъбѣсана не всецѣло остроуміемъ, но всегда умно, или, по крайней мѣрѣ, — никогда глупо. Жаль только, что ея рецензенты иногда покушаются свое остроуміе незаконными средствами. Мы, право, не понимаемъ, что хорошаго или забавнаго въ томъ, что онъ отыскиваетъ глупаго автора, или пошлаго издателя чужихъ сочиненій, съ содержательномъ типографіи, въ которой напечатана дурная книга. Такъ, напримѣръ, онъ уморилъ г. Степанова, нашего почтеннаго типографіи, шестой годъ слушающаго своими неумными станами «Телескопу» и «Мелѣ», будто онъ, г. Степановъ, вытолъ съ г. Гурьиновымъ подаль лавалъ дурной примѣръ присвоенія чужой собственности и пропѣвалъ пѣниисимо неблагопріобрѣтенныя піесы изданнаго послѣднимъ сборника... Стыжусь ячужъ, напоминая о такомъ жалкомъ поступкѣ г. рецензента; какъ онъ, при всемъ своемъ умѣ и всей своей смѣтливости, не понималъ, что клевета не есть остроуміе, и что, въ этомъ отношеніи, его рецензія: проиѣта претіано, претіаниссимо?... Не понимаемъ также, что за странная замашка у г. рецензента «Библіотеки», выписывая отрывокъ изъ разбираемой имъ книги, вставлять въ выписку пошлости своего изобрѣтенія и приписывать ихъ автору разбираемаго имъ сочиненія, какъ онъ сдѣлалъ это, напримѣръ, съ г. Кони, при разборѣ его подевіи «Иванъ Савельичъ». — Повторяемъ опять, неумели клевета есть остроуміе! Если остроуміе, то умъ, безъ сомнѣній, провинціальное, а не столичное!

«Смѣсь» составляетъ послѣднее отдѣленіе «Библіотеки»;

одно изъ лучшихъ, изъ самыхъ занимательныхъ и самыхъ полныхъ. Тутъ вы найдете все: и брань на французскую литературу, и острофы надъ французскими водевидами, острофы, цѣликомъ ваяны изъ французскихъ же журналовъ, и ученые извѣстия, и пр. и пр. Я думаю, что такое отдѣленіе необходимо для великаго журнала, какъ десертъ для стола. Конечно, чтобы хорошо составлять подобную смесь, нужно быть только «великимъ человекомъ на малыхъ дѣлахъ»; но журналъ странная вещь, и если для него нужны люди, способные на что-нибудь прекрасное и даже великое, то не менѣе ихъ нужны и великіе люди на малыхъ дѣлахъ. Редакторъ «Библіотеки» хорошо понималъ это, и, морыи Протей, преобразуется по своей волѣ и въ повѣствователя, и въ ученого, и въ критика, и въ рецензента, и въ составителя «Смеси»; жаль только, что во всемъ этомъ онъ сохраняетъ одинъ тонъ, одну манеру, одинъ духъ, умотребляетъ однѣ замашки.

Довольно — я у берега! Пора оставить «Библіотеку» для Чтенія», оставивъ во вѣхъ отношеніяхъ въ полномъ смыслѣ этого слова. Но какое же оцѣнство выведу я изъ всего сказаннаго мною объ этомъ журналѣ? Оцѣнство у меня должно сойтись съ приступомъ: «Библіотека» есть журналъ провинціальный, и въ этомъ заключается тайна ея могущества, ея силы, ея кредита у публики. Выкинь она стихотворное отдѣленіе, выкинь повѣсти гг. Загоскина, Ушакова, Тихонова, Брамбуса, Бужарина, Масадецаго, Маркова, Степанова и другихъ, выкинь ихъ повѣстками гг. Маринскаго, Одолевскаго, Павлова, Писарева, Гоголя; переводы повѣстей лучшихъ писателей современной Европы; перемѣни свой минимескій тонъ; введи критику строгую, безпристрастную, основательную — и трехъ четвертей подписчиковъ у ней какъ не бывало! Впрочемъ, нельзя не дивиться вѣрному расчету, съ которымъ онъ основана, немалодѣятности и постоянству ея направленія, вѣрности самой себѣ, аккуратности въ изданіи, и, надо сказать правду, хорошему языку, особливо въ переводныхъ статьяхъ,

въ чемъ ей должны уступить все наши журналы; наконецъ, ея дѣятельности, проворству, а болѣе всего — ея безсмысленному и настоящему редактору.

Теперь мнѣ должно говорить о «Сынѣ Отечества», но я ничего не могу о немъ сказать, потому что не только не читалъ, даже не видалъ его, какъ мы старался объ этомъ, «Сынъ Отечества», у насъ въ Москвѣ считается, какимъ-то примаркомъ-девидикомъ, о существованіи котораго все знаютъ, но котораго никто не видитъ. «Сынъ Отечества» самъ замѣтилъ, самъ созналъ эту странность и сомнительность своего существования, и вѣдущий нынѣшній годъ возродиться, т. е. переимѣнить цѣль своей обложки и блеснуть критикою, т. е. критикомъ!... Этой диковинки я кое-какъ добился. И, что жъ? Въ самомъ дѣлѣ, возрожденный журналъ, размахнулся со всего плеча критическою статейкою, въ которой началъ цѣловать — тымъ бы вы думали? — безпристрастнѣмъ!.. Какое же это животное, спросите вы? Отвѣчаю вамъ: ее написала г. ВВВ., авторъ очень плохихъ повѣстей, жалкій переагаторъ. Бальзака на русско-испанскіе нравы, рецензентъ «С. Пчелы» и, наконецъ, отставной сотрудникъ «Библиотеки», какъ увѣрять въ этомъ публику сама «Библиотека»!.. Итакъ, довольно о критикѣ возрожденнаго «Сына Отечества»; есть вещи, которыя стоить только навести по имени, чтобъ дать о нихъ настоящее понятіе!... Перехожу къ «Пчелѣ»

Вамъ вѣроятно, что «Пчела» жужжать уже давно, что она любить и ужалить, въ чемъ ей, разумѣется, никогда не удастся, потому что жало ея тупо. Вѣдь вѣдѣтно также, что этотъ журналъ есть двойчатка: одну половину его составляютъ политическія извѣстія, а другую разныя разности. Бѣда болѣе пришла: бы этикъ равнымъ равностямъ, еслибы, отъ нихъ отнять политическія извѣстія. Вы, почтенный Николай Ивановичъ, не читаете «Пчелы» (ей и многія давно ужъ не читаютъ), но вы нѣкогда ее читали: она все та же, надъ нею тяготеетъ все тотъ же уровень золотой посредственности, по прежнему

она судить и рядить обо всемъ, бранить и хвалить одну и ту же книгу, отъ чего, разумеется, для книги ни лучше, ни хуже; словомъ, «Пчела» журналъ ежедневный, нуждается въ оригиналѣ, такъ готова похвалить брань на все, кромѣ самой себя. Я не буду слишкомъ распространяться о «Пчелѣ»; я укажу только на одну ея характеристическую черту. Авторъ критическаго размаха возрожденнаго «Сына Отечества» ужасно расхваливаетъ «Пчелу» и находитъ въ ней одинъ только порокъ. «Пчела», говоритъ онъ, вообще отличается безпристрастіемъ (?!); и ее можно только укорить въ излишней добротѣ: она печатаетъ слишкомъ много похвалъ! Впрочемъ, хотите ли имѣть таинственъ, чтобъ узнавать, какая статья принята по доброй волѣ, и какая статья подсунута ей насильными просьбами? Это очень просто: подъ статьями послѣдняго рода всегда пишется роковое слово: «сообщено». Что это такое? Насмѣшка надъ публикою, ругательство надъ здравыми смысломъ? Какъ? Стало-быть, журналистъ имѣетъ право расхвалить дурную книгу и разбранить хорошую, если поставитъ подъ своею статьею словечко «сообщено»?... Стало-быть, онъ имѣетъ право принять въ свой журналъ чужое и притомъ печальное мнѣніе о той или другой книгѣ, не читавши этой книги; или думая о ней иначе, и правъ, когда поставитъ подъ таупой рецензіею «сообщено»?... Послѣ этого, можно ли даже упоминать о «Пчелѣ»?...

А знаете ли вы о войнѣ, которую «Пчела» ведетъ противъ «Библиотеки»? Вотъ потѣха-то! Ну такъ и рвется, что есть мочи! Бѣдная! имѣ жалъ ее! Какимъ тупымъ оружіемъ сражается она съ мощнымъ врагомъ, который не удостоиваетъ ее даже взгляда; какъ неловко, неулюже нападаетъ на него она, которая недавно, очень недавно, такъ низко кланялась ему, такъ усердно прославляла его!

Враги!—давно ли другъ отъ друга
Ихъ жажда *злата* отвела?...

Въ одномъ изъ номеровъ «возрожденнаго» старца помещена критическая статья цѣлаго г. Павла Крутенева, автора очень многой книжонки, на Барона Брамбеуса: прочтите ее, когда вамъ будетъ немножко грустно. Можетъ быть, вы заплачете, только не отъ горя, а отъ смѣху.

Теперь бы мнѣ слѣдовало говорить еще объ одномъ литературномъ петербургскомъ журналѣ, да я его и въ глаза не видаю. Вы догадаетесь, что я говорю о «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Инвалиду», которыя справедливо бы было назвать «Инвалидными Повтореніями Литературы»? Скорѣе можно открыть въ Москвѣ допотопную мамонтову кость, чѣмъ найти ахотъ журналъ. И между тѣмъ «Московскія Вѣдомости» и «Пчела» увѣдомляли о его изданіи на нынѣшній годъ: стало-быть, онъ существуетъ. Говорить, что почтенный издатель этого журнала невидимки очень сильно радуется противъ «Библіотеки для Чтенія» и нашего журнала: можетъ-быть да почему жь бы и не такъ? Почтенный старецъ самъ пишетъ, самъ и читаетъ, слѣдовательно, никому зла не дѣлаетъ, слѣдовательно, его бранныя выходки суть не что иное, какъ невидимая забава на старости лѣтъ. Итакъ, въ часъ добрый! — пусть продолжаетъ тѣшиться!

И вотъ всѣ литературныя петербургскія журналы! Несмотря на разность ихъ направленія и неравенство въ силахъ, всѣ они стремятся къ одной цѣли — къ мирному и одиодушному преуспѣянію въ награду за труды и хлопоты, и потому всѣ они очень не любятъ беззаконныхъ кружковъ, мѣшающихъ ихъ мирнымъ и полюбившимъ сдѣлать между собою и съ публикою. Они стараются жить въ ладу другъ съ другомъ, и если у нихъ бываютъ между собою разногласія, то всегда не изъ пустяковъ какихъ-нибудь, не изъ вздорныхъ мнѣній объ изыщномъ, о безпристрастіи, добросовѣстности, и другихъ подобныхъ бездѣлокъ, но всегда изъ чего-нибудь важнаго, существеннаго и необходимаго въ жизни. Одни изъ нихъ (такъ какъ ихъ немного, то и не считаю за нужное

называть по именамъ) плывутъ на всѣхъ парусахъ, дѣлають обороты большіе, оптовые; другіе, не стоишь сильные, изворачиваются и такъ и сякъ, и иногда, въ мутной водѣ, вынимають ловы довольно счастливые. Если жъ желкіе извороты имъ не удаются, если кредитъ ихъ у публики падаетъ, то они прибѣгаютъ къ возрожденію, или къ перерожденію, смотря по обстоятельствамъ. Если у нихъ нѣтъ чего другаго, за то они могутъ похвалиться постоянствомъ, дѣятельностью, устойчивою въ условіяхъ, разумѣется, внѣшнихъ, касающихся до выхода нумеровъ; качества бумаги, цвѣта обложки и тому подобнаго. Однимъ словомъ, одни оптомъ, другіе по мелочи — но, какъ бы ни было, всѣ болѣе или менѣе успѣваютъ въ своихъ намѣреніяхъ.

Совсѣмъ другое зрѣлище представляютъ московскіе журналы настоящаго времени. Въ нихъ можно замѣтить и мысль, и какіе-то порывы благородные и чуждые внѣшнихъ расчетовъ, большое усердіе къ своему дѣлу, и вѣсть съ тѣмъ всегда неудачу, неуспѣхъ, какую-то медленность и, вслѣдствіе этого, неустойку во внѣшнихъ условіяхъ программы; словомъ, московскіе журналы — люди добрые и честные, но какіе-то злополучные, какъ будто бы подъ несчастною звѣздою рожденные и съ самаго начала своего существованія осужденные на бѣдствіе. Всмотритесь въ нихъ пристальнѣе; что это такое? Идутъ; кажется, къ цѣли определенной, видимой, а все не доходить до ней, а все сбиваются съ пути, ворочаются назадъ, начинаютъ свое путешествіе снова, а все ни шагу впередъ!... Всегда постоянные въ цѣли, они никогда не постоянны въ средствахъ, противорѣчатъ сами себѣ, не вѣрны своей идее, хотя и никогда не измѣняютъ ей. А злые-то петербургскіе сироты! тому и рады: видя неудачи, смѣются; слыша себѣ громкіе и справедливые укоры, выставляютъ въ отвѣтъ числа своихъ подписчиковъ. Странное дѣло! То ли были московскіе журналы назадъ тому не больше какъ два года? Что тогда были передъ ними петербургскіе журналы? Притча

во языцехъ, предметъ постижимъ!—А теперь, налетятъ, про-
возвѣстятъ разныя бы-роляхъ... Пусто, и однагожь спра-
ведливо!

Но къ чему я пишу такую жалобную прелюдію? Не будетъ
ли эта прелюдія длиннѣе самой пѣсни, эта прісказка длин-
нѣе самой сказки? Гдѣ они, эти московскіе журналы, о ко-
торыхъ я собираюсь говорить? Много ли ихъ?... Передо мною
ничего, какъ бы на крылахъ бури, множеству призраковъ,
но все это тѣни бойцовъ умершихъ... А живые... о, пусто!

О какихъ московскихъ журналахъ буду я говорить?...
Много ли ихъ? Мнѣ бы следовало начать съ «Телескопа» и
«Молвы», подражая петербургскимъ журналамъ. Тамъ на
этотъ счетъ неслициномъ застѣнчивы и скромны. «Библіотека
для Чтенія», давно уже объявила, что такой журналъ, какъ
она, «былъ настоящею потребностью публики». Еслибы пи-
савшій эти строки прибавилъ: «провинціальныя», то мы ни
мамо не поженились бы его откровенности, которой онъ самъ
дивится. «Пчела» безъ заарнія совѣсти, объявила, что она
между газетамъ то же, что «Библіотека» между журналами,
что ея рецензіи прекрасны и всѣ статьи превосходны. Со-
блavitелный пригѣръ откровенности! Но, говорить посло-
вица, что городъ, то нравы; что село, то обычаи: въ Пе-
тербургѣ истари заведемъ, между журналами и литераторами,
хвалять себя самихъ, если другіе не хвалятъ, въ Москвѣ
же, напротивъ, это всегда почиталось неприличнымъ и смѣш-
нымъ. И потому я, слѣдуя московскому обычаю, умалчиваю о
«Телескопѣ» и «Молвѣ». Вы сами, почтеннѣйшій издатель,
въздвигаете вашего отсутствія, имѣете полное право быть
судьею этихъ журналовъ, какъ они издавались безъ васъ. Я
поручусь только за добросовѣстность и усердіе свое; объ
исполненіи судите сами. Послѣду къ «Московскому Наблю-
дателю».

Петербургскіе журналы утверждаютъ, что «Наблюдатель» осно-
ванъ съ цѣлью уронить «Библіотеку», и видятъ въ этомъ

бодящую злонамеренность. Мы этому не вѣримъ, во первыхъ, потому, что уронить «Библиотеку» трудно: книга большая, толстая, жирная, какъ увѣряла насъ сама «Библиотека», а какъ жиръ и сало тождественны, те и сальная, прибавимъ мы отъ себя; во вторыхъ, мы скорѣе можемъ предполагать, что «Наблюдатель» основанъ съ нѣсколькими дѣлами реакціи дурному и вредному вліянію «Библиотеки» на массу публики, и въ этомъ мы не только не видимъ ничего худого или предосудительнаго, но видимъ много хорошаго и благороднаго. По объявленію «Наблюдателя» было замѣтно, что это будетъ журналъ дѣятельный, настойчивый, упорный, журналъ съ мнѣніемъ, направленіемъ, характеромъ. Имена участниковъ въ изданіи утверждали насъ въ этой вѣрѣ. Мы ждали «Наблюдателя» съ нетерпѣніемъ, какъ торжества Москвы надъ Петербургомъ, какъ побѣды честной литературной дѣятельности надъ литературною промышленностью. Въ самомъ дѣлѣ, журналъ новый, юный, съ овѣжами, истинными силами, съ прекрасными именами, съ хорошею репутаціею еще до своего рожденія—чего мы не были въ правѣ надѣяться отъ него?... Правда, искушенные холоднымъ опытомъ, обманутые не разъ въ самыхъ лучшихъ своихъ надеждахъ, утратившіе вѣру въ авторитеты, мы иногда задумывались грустно, улыбались недовѣрчиво; но неужели же «Библиотека», литературная промышленность и посредственность, должны торжествовать, неужели же голосъ правды уже безсиленъ, уже заглушается вликами: «къ намъ, къ намъ, у насъ лучше?» восклицали мы, и ласково, съ улыбкою поглядывали на объявленіе о новомъ журналѣ. Наконецъ онъ появился: вышла книжка—Петербургъ привсталъ; вышла другая—Петербургъ приосанился и улыбнулся; вышла третья, четвертая—Петербургъ захохоталъ, смотря на пронесшуюся мимо его бурю; Москва приуныла—и наши надежды разлетѣлись въ прахъ!.. Да, господа, прѣкрасно очарованіе, мила вѣра въ достоинство всего, что хочется видѣть хорошимъ, но и холодный скеп-

тицизмъ имѣть свою добрую сторону: если съ нимъ слишкомъ мучаетъ васъ гѣвота, за то съ нимъ не попадешь въ дурачки, а быть въ дурачкахъ всего хуже!...

Прежде нежели мы объяснимъ, почему «Наблюдатель», обладая всѣми средствами, необходимыми для журнала, несколько не оправдалъ надеждъ, которыя подавалъ о себѣ, мы должны сказать, что онъ, въ самомъ дѣлѣ, былъ предпріятіемъ честнымъ, добросовѣстнымъ, благонамѣреннымъ, что редація его употребляла и употребляетъ всѣ средства сдѣлать его лучшимъ, что она не щадитъ для этого ни издержекъ, ни труда. Роскошное, великолѣпное изданіе, полнота книжекъ, мелкій шрифтъ статей, доказываютъ это. Со стороны своей благонамѣренности, «Наблюдатель» не измѣнилъ своей программѣ; но благонамѣренность и талантъ или умѣнье, къ несчастію, не одно и то же!...

Журналъ долженъ имѣть прежде всего фізіономію, характеръ; альманачная безличность для него всегда хуже. Фізіономія и характеръ журнала состоятъ въ его направленіи, его мнѣніи, его господствующемъ ученіи, котораго онъ долженъ быть органомъ. У насъ въ Россіи могутъ быть только два рода журналовъ—ученые и литературные; говоря: могутъ быть, я хочу сказать — могутъ приносить пользу. Журналы собственно ученые у насъ не могутъ имѣть слишкомъ обширнаго круга дѣйствія; наше общество еще слишкомъ молодо для нихъ. Собственно литературные журналы составляютъ настоящую потребность нашей публики; журналы учено-литературные, искусно дирижируемые, могутъ приносить большую пользу. Теперь, какія мнѣнія, какое ученіе должны господствовать въ нашихъ журналахъ, быть главнымъ ихъ элементомъ? Отвѣчаемъ, не задумываясь: литературныя, до искусства, до изящнаго относящіяся. Да, это главное! Вы хотите издавать журналъ, съ тѣмъ чтобы дѣлать пользу своему отечеству, такъ узнайте жь прежде всего его главныя, настоящія, текущія потребности. У насъ еще мало читателей: въ

нашемъ отечествѣ, составляющемъ особенную, шестую часть свѣта, состоящемъ изъ шестидесяти милліоновъ жителей, журналъ, имѣющій пять тысячъ подписчиковъ, есть рѣдкость неслыханная, диво дивное. Итакъ, старайтесь умножить читателей: это первая и священнѣйшая ваша обязанность. Не пренебрегайте для этого никакими средствами, кромѣ предосудительныхъ, наклоняйтесь до своихъ читателей, если они слишкомъ малы ростомъ, пережевывайте имъ пищу, если они слишкомъ слабы, узнайте ихъ привычки, ихъ слабости, и, соображаясь съ ними, дѣйствуйте на нихъ. Въ этомъ отношеніи, нельзя не отдать справедливости «Библіотекѣ»: она надѣлала много читателей; жаль только, что безъ нужды слишкомъ низко наклоняется, такъ низко, что въ рядахъ своихъ читателей не видитъ никого ужъ ниже себя; крайности во всемъ дурны; умѣйте наклонить и заставьте думать, что вы наклоняетесь, хоть вы стоите и прямо. Потомъ, вторая ваша обязанность, развивая и распространяя вкусъ къ чтенію, развивать вмѣстѣ и чувство изящнаго. Это чувство есть условіе человѣческаго достоинства: только при немъ возможны умъ, только съ нимъ ученый возвышается до мировыхъ идей, понимаетъ природу и явленія въ ихъ общности; только съ нимъ гражданинъ можетъ нести въ жертву отечеству и свои личныя надежды и свои частныя выгоды; только съ нимъ человѣкъ можетъ сдѣлать изъ жизни подвигъ и не сгибаться подъ его тяжестью. Безъ него, безъ этого чувства, нѣтъ генія, нѣтъ таланта, нѣтъ ума—остается одинъ пошлый «здравый смыслъ», необходимый для домашняго обихода жизни, для мелкихъ расчетовъ эгоизма. Кто откликается на одну плясовую музыку, откликается не сердцемъ, а ногами; чью грудь не томятъ, чью душу не волнуетъ музыка; кто видитъ въ картинѣ только галантерейную вещь, годную для украшенія комнаты, и дивится въ ней юдной отдѣлкѣ; кто не любитъ стиховъ смолodu, кто видитъ въ драмѣ только театральную піесу, а въ романѣ сказку, годную для занятія

отъ скуки — тотъ не человѣкъ, хотя бы онъ умѣлъ болтать о Россіи, о Робертѣ-Діаволѣ, чугуновыхъ дорогахъ и паровыхъ машинахъ. Эстетическое чувство есть основа добра, основа нравственности. Пусть процвѣтаетъ въ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ гражданское благоденствіе, пусть цивилизація дошла до послѣдней степени, пусть тюрьмы тамъ пусты, трибуналы праздно: но если тамъ, какъ увѣряютъ насъ, нѣтъ искусства, нѣтъ любви къ изящному, я призираю этимъ благоденствіемъ, я не уважаю этой цивилизаціи, я не вѣрю этой нравственности, потому что это благоденствіе искусственно, эта цивилизація бесплодна, эта нравственность подозрительна. Гдѣ нѣтъ владычества искусства, тамъ люди не добродѣтельны, а только благоразумны, не нравственны, а только осторожны; они не борются со зломъ, а избѣгаютъ его, избѣгаютъ его не по ненависти ко злу, а изъ расчета. Цивилизація тогда только имѣетъ цѣну, когда помогаетъ просвѣщенію, а слѣдовательно, и добру—единственной цѣли бытія человѣка, жизни народовъ, существованія человѣчества. Погодите, и у насъ будутъ чугуныя дороги и, пожалуй, воздушныя почты, и у насъ фабрики и мануфактуры дойдутъ до совершенства, народное богатство усилится; но будетъ ли у насъ религіозное чувство, будетъ ли нравственность — вотъ вопросъ. Будемъ плотниками, будемъ слесарями, будемъ фабрикантами; но будемъ ли людьми—вотъ вопросъ!

Чувство изящнаго развивается въ человѣкѣ самимъ изящнымъ, слѣдовательно, журналъ долженъ представлять своимъ читателямъ образцы изящнаго; потомъ, чувство изящнаго развивается и образуется анализомъ и теоріею изящнаго, слѣдовательно, журналъ долженъ представлять критику. Тамъ, гдѣ есть уже охота къ искусству, но гдѣ еще зыбки и шатки понятія объ немъ, тамъ журналъ есть руководитель общества. Критика должна составлять душу, жизнь журнала, должна быть постояннымъ его отдѣленіемъ, длиною, не прерывающеюся и не оканчивающеюся статьею. И это тѣмъ важнѣе,

что она для всѣхъ приманчива, всѣми читается жадно, всѣми почитается украшеніемъ и душой журнала. Первая ошибка «Наблюдателя» состоитъ въ томъ, что онъ не созналъ важности критики, что онъ какъ бы изрѣдка и неохотно принимается за нее. Онъ выключилъ изъ себя библіографію, эту низшую, практическую критику, столь необходимую, столь важную, столь полезную и для публики и для журнала. Для публики здѣсь та польза, что, питая довѣренность къ журналу, она избавляется и отъ чтенія и отъ покупки дурныхъ книгъ, и въ то же время, руководимая журналомъ, обращаетъ вниманіе на хорошія; потомъ, развѣ по поводу плохого сочиненія нельзя высказать какой-нибудь дѣльной мысли, развѣ къ разбору вздорной книги нельзя привязать какого-нибудь важнаго сужденія? Для журнала, библіографія есть столько же душа и жизнь, сколько и критика. «Библіотека» очень хорошо поняла эту истину, и за то браните ее, какъ угодно; а у ней всегда будетъ много читателей. Теперь сдѣлаю нѣсколько общихъ замѣчаній на «Наблюдателя», а потомъ перейду къ его критикѣ.

«Наблюдатель» есть журналъ энциклопедическій: и вотъ еще одинъ изъ главныхъ его недостатковъ, одна изъ причинъ, мѣшающихъ его успѣху. Мы не говоримъ уже о томъ, что энциклопедизмъ бесполезенъ, вреденъ, что онъ, теперь, къ нашему несчастію, овладѣлъ нами и кружитъ наши головы; мы не говоримъ, что энциклопедизмъ есть не универсальность, а скорѣе односторонняя поверхностность; мы спрашиваемъ только, сообразенъ ли планъ и границы «Наблюдателя» съ энциклопедизмомъ? «Библіотека» имѣетъ полное право быть энциклопедическимъ журналомъ: въ книгѣ изъ двадцати слишкомъ листовъ можно проговорить о многомъ. Но и «Библіотека» раздѣлена на извѣстное число отдѣленій, и въ каждой книжкѣ ея вы видите одно и то же расположеніе, одни и тѣ же отдѣленія и въ одинаковомъ числѣ; и потому, если вы не занимаетесь, напримѣръ, сельскимъ хозяйствомъ, то можете его отдѣленіе

оставлять неразрѣзаннымъ—для васъ и такъ много останется чего почитать. Въ «Наблюдателѣ», напротивъ, такой энциклопедизмъ невозможенъ. Положимъ, статья г. Давыдова «О овечьемъ сахарномъ производствѣ» есть статья превосходная; европейская, да она имѣетъ интересъ частный, она тягела для такого журнала, какъ «Наблюдатель»; ея мѣсто въ «Замѣдѣльческомъ Журналѣ», или, что всего лучше, въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», у которыхъ, говорятъ, около десяти тысячъ подписчиковъ. Притомъ, мы не видимъ полного энциклопедизма въ «Наблюдателѣ»: его поприще ограничивается очень немногими и определенными предметами: литературою, исторіею, сельскимъ хозяйствомъ и политическою экономіею. Напротивъ, намъ кажется, что его энциклопедизмъ состоитъ въ какомъ-то отсутствіи общности, порядка, характера. Это альмамахъ, это тетради, гдѣ шиваются и дурныя, и посредственныя, и хорошія, и отличныя статьи. Только періодическій выходъ его книжекъ дѣлаетъ его журналомъ. Конечно, въ немъ бывають статьи превосходныя, но эти статьи не составляютъ регулярнаго войска, это настоящая милиція, которая идетъ неровнымъ шагомъ, нападаетъ недружно, невпопадъ, нестройно, и, сильная своимъ многолюдствомъ, своею храбростію, вездѣ проигрываетъ сраженія, вездѣ отступаетъ. Поэтому, я не буду пересчитывать статей «Наблюдателя» и отдавать о каждой изъ нихъ отчеты. «Наблюдатель» особенно щеголяетъ стихотвореніями, но въ этомъ онъ не далеко ушелъ отъ «Библіотекки». Кроме того, что въ немъ было не болѣе двухъ или трехъ порядочныхъ стихотвореній, въ немъ есть множество такихъ, которыя рѣзительно не дѣлають чести его впусу, какъ, напр., «Своя Семья», уродливая и грязная каррикатура на поэзію. Собственно изъ извѣстныхъ произведеній замѣчательны: «Иванъ Барабашъ» г. Срезневскаго, «Маскарадъ» г. Павлова и «Себастьянъ Бахъ» г. Безгласнаго, а изъ теоретическихъ: «Взглядъ на направленіе исторіи» г. Ястребцова. О переводныхъ умалчиваю: между ними есть и

очень хорошія и очень посредственныя. Обращаюсь къ критикѣ.

Критика въ «Наблюдателѣ» такъ странна, такъ удивительна, что стѣдуетъ особеннаго, подробнаго разсмотрѣнія, для котораго я теперь не имѣю времени, да и у васъ не достанетъ мѣста. Надобно сказать, что это критика характерная, вѣрная самой себѣ, добросовѣстная и убѣжденная, если можно такъ выразиться; но вмѣстѣ съ тѣмъ не достигающая своей цѣли, не приносящая пользы, не понимаемая публикою. Причина этому заключается въ томъ, что она не современна, что она отзывается классицизмомъ, не имѣетъ никакого основнаго начала, никакого центра, изъ котораго бы выходила, что она, наконецъ, похожа на аббата Баттѣ во фракѣ XIX вѣка. Знаю, что я сказалъ слишкомъ много, что подобныя вещи или вовсе не говорятся, или говорятся съ доказательствами: я представляю ихъ въ особенной статьѣ «О критикѣ Московскаго Наблюдателя». Пусть, какъ хотать, судать о моемъ поступкѣ, но я твердо убѣжденъ, что можно уважать чужія мнѣнія и быть съ ними несогласнымъ, что уваженіе уваженіемъ, приличіе приличіемъ, а правда правдою, что комплименты и надригалы хороши въ гостиной, на паркетѣ, а не въ журналѣ, гдѣ всего важнѣе честное, независимое, чуждое личностей, но и твердое, стойкое мнѣніе.

Этимъ пока оканчиваю мои замѣчанія о литературныхъ журналахъ. Что жъ касается до книгъ, относящихся къ изящной словесности, то въ Петербургѣ, въ ваше отсутствіе, не вышло ни одной достойной вниманія; въ Москвѣ вышелъ «Ледяной Домъ», новый романъ И. И. Лажечникова. Этотъ романъ былъ истиннымъ подаркомъ русской публикѣ, прекрасною, лучезарною звѣздою на пустынномъ небосклонѣ нашей литературы. Но я не буду говорить о немъ: онъ стѣдуетъ подробнаго разсмотрѣнія; и такъ какъ *mon tard, que jamais*, то въ «Телескопѣ», безъ сомнѣнія, будетъ помѣщенъ полный отчетъ объ этомъ примѣчательномъ произведеніи. Не мало надѣлало

шуму появленіе «Стихотвореній г. Бенедиктова»: одни увидѣли въ нихъ зарю новой поѣтической жизни въ нашей литературѣ, другіе не признають въ нихъ даже таланта версификаціи; середины между этими двумя крайностями нѣтъ; публика такъ же раздѣлена, какъ и журналы, въ отношеніи къ г. Бенедиктову. Вамъ извѣстно объ немъ мое мнѣніе: можетъ-быть, оно несправедливо, но оно было плодомъ убѣжденія, чуждаго всякой личности. Какъ бы то ни было, но я рѣшился не говорить болѣе объ этомъ предметѣ: пусть рѣшить этотъ вопросъ время, лучший рѣшитель такихъ вопросовъ. Къ числу пріятныхъ явленій нашей бѣдной литературы принадлежать «Стихотворенія г. Кольцова», которыя вамъ также извѣстны. Но г. Кольцову не такъ посчастливилось, какъ г. Бенедиктову.

И вотъ я кончилъ.... А слѣдствіе?... Къ чему его вывести, когда оно и такъ ясно? Факты говорятъ иногда краснорѣчивѣе разсужденій. Литература есть народное самосознаніе, и тамъ, гдѣ нѣтъ этого самосознанія, тамъ литература есть или скороспѣлый плодъ, или средство къ жизни, ремесло извѣстнаго класса людей. Если и въ такой литературѣ есть прекрасныя и изящныя созданія, то они суть исключительныя, а не положительныя явленія, а для исключеній нѣтъ правила....

О КРИТИКѢ И ЛИТЕРАТУРНЫХЪ МНѢНІЯХЪ

«МОСКОВСКАГО НАБЛЮДАТЕЛЯ».

Что такое критика? Простая оцѣнка художественнаго произведенія, приложеніе теоріи къ практикѣ, или усиліе создать теорію изъ данныхъ фактовъ? Иногда то и другое, чаще все вмѣстѣ. Потомъ, чѣмъ критика должна быть? Частнымъ выраженіемъ мнѣнія того или другаго лица, принимающаго на себя обязанность судьи изящнаго, или выраженіемъ господствующаго мнѣнія эпохи, въ лицѣ ея представителей, которое есть результатъ прежде бывшихъ мнѣній, прежде бывшихъ опытовъ и наблюденій? Безъ сомнѣнія, она имѣетъ право быть тѣмъ и другимъ, но въ первомъ случаѣ она должна быть шагомъ впередъ, открытіемъ новаго, расширеніемъ предѣловъ знанія, или даже совершеннымъ его измѣненіемъ, должна быть дѣломъ генія; во второмъ случаѣ она меньше рискуетъ, но за то можетъ быть увѣреннѣе въ самой себѣ, можетъ быть всегда истинною въ отношеніи къ своему времени. Итакъ, критика перваго рода есть исключеніе изъ общаго правила, явленіе великое и рѣдкое; критика втораго рода есть усиліе уяснить и распространить господствующія понятія своего времени объ изящномъ. Въ наше время, когда основные законы творчества уже найдены, это есть единственная цѣль критики. Уяснить эти законы теоретически, подтверждать ихъ истину практически, вотъ ея назначеніе. Теорія есть систематическое и гармоническое единство законовъ изящнаго; но она имѣетъ

ту невыгоду, что заключается въ известномъ моментѣ времени, а критика безпрестанно движется, идетъ впередъ, собираетъ для науки новыя матеріалы, новыя данныя. Это есть движущаяся эстетика, которая вѣрна однимъ началамъ, но которая ведетъ насъ къ нимъ разными путями и съ разныхъ сторонъ, и въ этомъ-то заключается ея прогрессъ. Вотъ почему критика такъ важна, такъ всеобща; вотъ почему она завладѣла общимъ вниманіемъ и приобрѣла такой авторитетъ, такое могущество. Дарованіе критика есть дарованіе рѣдкое и потому высоко цѣнимое; если мало людей, надѣленныхъ отъ природы большимъ или меньшимъ участіемъ эстетическаго чувства, способныхъ принимать впечатлѣнія изящнаго, то какъ же должно быть мало людей, обладающихъ въ высшей степени этимъ эстетическимъ чувствомъ и этою пріемлемостію впечатлѣній изящнаго!... Ошибаются тѣ люди, которые почитаютъ ремесло критика легкимъ и болѣе или менѣе всякому доступнымъ: талантъ критика рѣдокъ, путь его скользокъ и опасенъ. И въ самомъ дѣлѣ, съ одной стороны, сколько условій сходится въ этомъ талантѣ: и глубокое чувство, и пламенная любовь къ искусству, и строгое, многостороннее изученіе, и объективность ума, которая есть источникъ безпристрастія, способность не поддаваться увлеченію; съ другой стороны, какова высота принимаемой имъ на себя обязанности! На ошибки подсудимаго смотреть какъ на что-то обыкновенное; ошибка судьи наказывается двойнымъ посмѣяніемъ.

Предметъ критики есть приложеніе теоріи къ практикѣ. Всякое критическое разсмотрѣніе, имѣющее своимъ предметомъ не прямо изящное, а что-нибудь имѣющее къ нему отношеніе, есть не критика, а полемика, какъ бы оно ни было скромно, вѣжливо, тихо и безжизненно. Статья о мѣтніяхъ какого-нибудь журнала объ изящномъ есть критика; статья о самомъ журналѣ есть полемика или простое сужденіе. Статья о сочиненіяхъ истиннаго поэта, въ которой доказывается, почему онъ есть истинный поэтъ, или статья о сочиненіяхъ

поэта-самозванца, въ которой доказывается, почему онъ есть поэтъ-самозванецъ, такая статья есть критика; статья о произведеніи чловѣка, котораго никто не думалъ почитать поэтъ, и котораго сочиненія не идутъ подъ покровку теоріи, есть полемика. Подъ словомъ «полемика» я разумѣю здѣсь не брань, не споры, а все что называется рецензією и простымъ выраженіемъ мнѣнія о какомъ-нибудь литературномъ предметѣ. Цѣль критики высокая—повѣрна фактовъ умозрѣніемъ, и наоборотъ, цѣль полемики низшая—защита здраваго смысла. Критика опирается на умозрѣніи, полемика на здоровомъ смыслѣ. Я почелъ необходимымъ сдѣлать это раздѣленіе: у насъ всякая статья, въ которой судится о какомъ-нибудь литературномъ предметѣ, называется критикою.

Всякое дѣло должно быть сообразно съ обстоятельствами, въ ладу съ отношеніями. Такъ и критика. Мы сказали, что она такое; теперь, мы должны сказать, чѣмъ она должна у насъ быть въ Россіи. Въ Германіи, странѣ критики, критика идеальна, умозрительна, во Франціи критика положительная, историческая. Какова же должна быть критика въ Россіи?... Но можетъ ли быть у насъ даже какая-нибудь критика, когда у насъ нѣтъ литературы? Г. Шевыревъ однажды коснулся этого вопроса и рѣшилъ, что у насъ критика должна, какъ у Нѣмцевъ, предшествовать литературѣ. Мнѣніе, можетъ-быть, не вѣрное, но остроумное! не хочу разсматривать его; скажу только, что, по моему мнѣнію, нашей литературѣ должна предшествовать нѣкоторая образованность влуса, или, другими словами, у насъ сперва должны явиться читатели, *dilettanti*, а потомъ уже и литература. Нѣмцы сдѣлались критиками вслѣдствіе своего характера, своего умозрительнаго направленія, слѣдовательно, у нихъ критика родилась сама; у насъ она есть усиліе или подражаніе, такъ же, какъ и литература. Я не знаю политической экономіи и потому не могу рѣшить, продуктъ ли родить потребителей, или потребители рождать продуктъ; но крайней мѣрѣ, у насъ сперва должны явиться

требователи на литературу, а потомъ уже и литература. А то—смѣшное дѣло!—хотятъ, чтобы у насъ были поэты, когда еще ихъ некому читать. Цвѣтущее состояніе нашей книжной торговли не только не опровергаетъ этого положенія, но еще подтверждаетъ его: тамъ, гдѣ съ равною жадностью читаются и хорошее и дурное, гдѣ равный успѣхъ имѣютъ и «пѣсенники» г. Гурьянова и стихотворенія Пушкина, тамъ видна охота къ чтенію, но не потребность литературы. Когда наша читающая публика сдѣлается многочисленна, взыскательна и разборчива, тогда явится и литература.

Изъ этого ясно видно назначеніе критики въ Россіи. У насъ принесетъ пользу критика высшая, трансцендентальная: она необходима; но она у насъ должна являться многорѣчивою, говорливою, повторяющею саму себя, толковитою. Ея цѣлью долженъ быть не столько успѣхъ науки, сколько успѣхъ образованности. Наша критика должна быть гувернеромъ общества и на простомъ языкѣ говорить высокія истины. Въ своихъ началахъ, она должна быть нѣмецкою, въ своемъ способѣ изложенія французскою. Нѣмецкая теорія и французскій способъ изложенія—вотъ единственный способъ сдѣлать ее и глубокою и общедоступною. Нѣмцы обладаютъ умозрѣніемъ, но не мастера посвящать профановъ въ свои тайнства, ихъ можетъ понять ихъ же каста—ученные; Французы выбки и мелки въ умозрѣніи, но мастера мирить знаніе съ жизнію, обобщать идеи. Подражать же исключительно Нѣмцамъ пока бесполезно, Французамъ—вредно, потому что, съ одной стороны, идея всегда должна быть зерномъ ученія, но не должна пугать своею глубиною, должна быть доступна; съ другой стороны, практическія начала безъ основной идеи—пустой орѣхъ, котораго не стоитъ труда грызть. Во всякомъ случаѣ, не надо забывать, что русскій умъ любитъ просторъ, ясность, опредѣленность, чистое умозрѣніе его не отуманитъ, но отвлечетъ отъ себя; фактизмъ можетъ сдѣлать его мелкимъ, поверхностнымъ.

У насъ любятъ критику—объ этомъ нѣтъ спора. Критика журнала всегда разогнута на критику, первая разрыванная статья въ журналѣ есть критика; какъ бы ни былъ дурной журналъ, въ канонъ бы ни былъ упадокъ, но если въ немъ случится хоть одна замѣнительная критическая статья, она будетъ прочтена, заключающая ее книжка вынется изъ-подъ спуда и увидитъ свѣтъ Божій; критику больше всего бываетъ обязанъ журналъ своею силою. Безъ критики журналъ есть образъ безъ лица, анатомическій препаратъ, а не живое органическое существо. Почему же такъ? Тутъ скрывается много причинъ и оскорбленное самолюбіе, и личныя отхошенія, но больше всего жажда образованности. Теперь очень ясно, чѣмъ должна быть въ Россіи критика, какая ея цѣль и какимъ путемъ должна она идти къ своей цѣли. Равнымъ образомъ, теперь ясно видно, какъ важна у насъ критика, какъ благотвѣтельно вліяніе хорошей критики, и какъ вредно—дурной.

Окончивъ эти предварительныя объясненія, которыя я почиталъ необходимыми, приступаю къ своему дѣлу.

Я не безъ намѣренія сказалъ о различіи критики отъ полемики, не безъ намѣренія далъ моей статьѣ заглавіе не просто «о критикѣ Московскаго Наблюдателя», но «о критикѣ и литературныхъ мнѣніяхъ Московскаго Наблюдателя»: еслибы я сталъ говорить только о его критикѣ, то мнѣ было бы не о чемъ говорить, потому что собственно критическихъ статей въ «Наблюдатель» было не больше двухъ или трехъ, остальные всѣ полемическія, въ томъ смыслѣ, какой я даю полемикѣ.

Я буду разсматривать всѣ статьи по порядку, буду слѣдить всѣ мнѣнія шагъ за шагомъ.

Г. Шевыревъ есть исключительный и привилегированный критикъ «Московскаго Наблюдателя»: его статьи составляютъ лучшее упрощеніе и даютъ нѣкоторую жизнь и движеніе этому журналу, который такъ бѣденъ жизнью и движеніемъ. Поэтому, на его статьи я долженъ обратить особенное вни-

маніе. Г. Шевыревъ литераторъ дѣятельный, добросовѣстный оригинальный во мнѣніяхъ и слоgъ, литераторъ съ дарованіемъ и авторитетомъ: тѣмъ большаго вниманія заслуживаютъ его критическія мнѣнія, а всякое вниманіе, будетъ ли оно поддержкою или реакціею, есть признакъ уваженія. Опровергать можно только то, что имѣетъ вліяніе на публику; а имѣть это вліяніе можетъ только талантъ. Вотъ что заставило меня взяться за перо, вотъ какимъ чувствомъ и вслѣдствіе какой причины приступаю я къ разбору мнѣній г. Шевырева.

Г. Шевыревъ дебютировалъ въ «Наблюдателѣ» статью «Словесность и Торговля». Это была статья не критическая, а полемическая. Г. Шевыревъ изъясняетъ въ ней сожалѣніе, что наша литература превратилась въ промышленность, что она «подружилась съ книгопродавцемъ, продала ему себя за деньги и поклалась въ вѣчной вѣрности». Это выраженіе есть остроумная и чрезвычайно вѣрная характеристика современной нашей литературы. Вообще вся статья отличается какнись-то грустнымъ чувствомъ негодованія и колкимъ остроуміемъ въ выраженіи. Въ ней много справедливаго, глубоко истиннаго и поразительно вѣрнаго; но выводъ ея рѣшительно ложень. Авторъ доказалъ совсѣмъ не то, что хотѣлъ доказать, какъ увидимъ ниже. Постѣдуюмъ за нимъ въ его статьѣ:

. . . Нашъ писатель то, что можно сказать однимъ словомъ, выражаетъ предложеніемъ, а предложеніе, достаточное для мысли, вытягиваетъ въ длинный предлинный періодъ, періодъ въ убористую страницу, страницу въ огромный листъ печатный... Его слоgъ, какъ проволока, можетъ до безконечности вытягиваться. — Но въ чемъ тайна всего этого?—Въ томъ, что цѣна печатнаго листа есть 200 или 300 рублей; что каждый апитетъ въ статьѣ его цѣвится, можетъ-быть, въ гривну, каждое предложеніе есть рубль; каждый періодъ, смотри по длине, есть синія или красная ассигнація!...

Все это очень остроумно и вѣрно; но сдѣлаемъ еще нѣсколько выписокъ.

Итакъ болтливость нашего слога, безконечные плеоназмы, необдѣланные періоды, ряды синонимовъ, существительныхъ, прилагательныхъ и глаголовъ на выборъ, все эти свойства скорописи, одо-

лѣвающей нашу литературу, имѣютъ начало свое въ томъ, что нынѣ слова — деньги, и слогу чѣмъ грузнѣе, тѣмъ выгоднѣе. Отъ такого слога растетъ статья, толстѣютъ листки книги, вздувается самая книга, какъ калачъ у пекаря, наблюдающаго выгоды припеки.

На журналы я смотрю, какъ на капиталистовъ. „Библіотека для Чтенія“ имѣетъ для меня пять тысячъ душъ подписчиковъ. „Сѣверная Пчела“ можетъ-быть вдвое. Замѣчательно, что эти журналы еще въ томъ сходятся съ богачами, что любятъ хвастаться всенародно своимъ богатствомъ. И эти души подписчиковъ гораздо вѣрнѣе, чѣмъ твои оброчныя: за ними никогда нѣтъ недоимки; онѣ платятъ впередъ, и всегда чистыми деньгами, и всегда на ассигнаціи. Вотъ идетъ литераторъ въ новыхъ санихъ: ты думаешь, это сани. Нѣтъ, это статья „Библіотеки для Чтенія“, получившая видъ саней, покрытыхъ медвѣжьей полостью, съ богатыми серебряными когтями. Вся эта бронза, этотъ коверъ, этотъ лакъ чистый и опрятный — все это листы этой дорого заплаченной статьи, принявшіе разные виды саннаго издѣлія. Литераторъ хочетъ дать обѣдъ, и жалуется, что у него нѣтъ денегъ. Ему говорятъ: да напиши повѣсть и пошли въ „Библіотеку“, вотъ и обѣдъ.

Вызови на страшный судъ того писателя, котораго первый романъ, внушенный вдохновеніемъ честнымъ и приготовленный долгимъ трудомъ, завоевалъ вниманіе публики! Спроси совѣсть его о второмъ, о третьемъ, о четвертомъ его романѣ! Вслѣдствіе чего они явились? Не насильно-ли выпросилъ онъ ихъ у непокорнаго [вдохновенія, у невнимательной исторіи? Не торопился-ли онъ всѣмъ напряженіемъ силъ своихъ противъ условій Музы, чтобы только воспользоваться снѣжестію перваго успѣха? Его насильственное второе, болѣе насильственное третье и четвертое вдохновеніе не было ли плодомъ того безотчетнаго, но сладкаго чувства, что романъ теперь самая вѣрная спекуляція?

Повторяю, въ этихъ выпискахъ заключается самое вѣрное изображеніе современной литературы. Но что же этимъ хотѣлъ сказать почтенный критикъ? Не противорѣчить ли онъ самому себѣ? Теперь наши литераторы въ чести, живутъ своимъ ремесломъ, а не посторонними и чуждыми ихъ призванію трудами: это прекрасно, это должно радовать. Теперь талантъ есть богатое наслѣдство, онъ уже не ропщетъ на несправедливость судьбы, онъ уже не завидуетъ праву знатнаго происхожденія, доставляющаго всѣ выгоды, всѣ блага жизни: это

утѣшительно, это отрадно!... Но, полно, правда ли, что «наша литература даетъ обѣды, живетъ въ черторахъ, ходитъ по коврамъ, ѣздитъ въ каретахъ, въ лаковыхъ саниахъ, кутается въ медвѣжью шубу, въ бекешъ съ бобровымъ воротникомъ, возвышаетъ голосъ на аукціонахъ Опекуноваго Совѣта, покупаетъ ииѣнія?...» Нѣтъ ли въ этихъ словахъ преувеличенія, гипербола? Не слишкомъ ли далеко увлекся авторъ въ своемъ благородномъ негодованіи? Или не смѣшиваетъ ли онъ вещей, ложно принимая одну за другую? Правда, намъ известны два или три романиста, которые обезпечили на всю жизнь свое состояніе своими первыми романами, но это было еще до основанія «Библіотеки»: за чтѣмъ възводить на нее небывалыя вины, когда у ней бывалыхъ много? «Иванъ Выжигинъ» явился въ то время, когда еще наша литература не была торговлею, когда она была во всемъ цвѣтѣ своемъ. Вслѣдъ за «Иваномъ Выжигинымъ» появились Юрій Милославскій, «Дмитрій Самозванецъ», Рославлевъ, «Послѣдній Новикъ», а «Библіотека» явилась уже послѣ всѣхъ нихъ. Повѣстями и журнальными статьями, даже при усиленной дѣятельности, можно только жить кое-какъ, но объ обезпеченіи своего состоянія нельзя и думать. Спрашиваю г. Шевырева: изъ участвующихъ въ «Библіотекѣ» помѣстилъ ли хоть кто-нибудь болѣе двухъ или трехъ статей въ годъ?... А на три статьи, какъ бы онѣ дороги ни были, право, не наживешь чертоговъ, не заведешь кареты, много-много развѣ купишь сани, да безъ лошадей на нихъ далеко не уѣдешь... Гдѣ жъ логика, гдѣ справедливость? Странное дѣло, какъ сильно овладѣла г. Шевыревымъ ложная мысль, что въ нашъ вѣкъ поэты и литераторы превратились въ какихъ-то Великихъ Моголовъ!... Но объ этомъ будетъ ниже, когда дойдетъ до его статьи о «Чаттертонѣ». Нѣтъ, г. критикъ, будемъ радоваться отъ искренняго сердца и тому, что теперь талантъ и трудолюбіе даютъ (хотя и не всѣмъ) честный кусокъ хлѣба!... И въ этомъ отношеніи, «Библіотека для Чтенія» заслуживаетъ

благодарность, а не упрекъ. Но вы видите въ этомъ вредъ для успѣховъ литературы; вы говорите, что наши вторые романы бываютъ какъ-то хуже первыхъ, третьи хуже вторыхъ, что наши повѣсти водяны, періоды длинные, обременены безъ нужды эпитетами, глаголами, дополненіями: все это правда, во всемъ этомъ я согласенъ съ вами, да вы ошибаетесь въ причинѣ этого явленія. Вспомните, что каждый стихъ Пушкина обходился книгопродавцамъ въ красненькую, если не больше, а вѣдь стихи Пушкина отъ этого нисколько не были хуже; вспомните, что за «Шиковую даму» и «Бняжну Мими» «Библиотека» заплатила деньгами, ассигнаціями, а вы сами хвалите эти повѣсти. Вотъ вамъ самый простой и самый убѣдительный фактъ. Онъ доказываетъ, что истинный талантъ не убиваетъ деньги, что

Не продается сочиненье,

Но можно рукопись продать!

Конечно, вѣрная пожива отъ литературныхъ трудовъ умножаетъ число непризванныхъ литераторовъ, наводняетъ литературу потопомъ дурныхъ сочиненій; но это зло необходимое. Литература, какъ и общество, имѣетъ своихъ плебеевъ, свою чернь, а чернь вездѣ бываетъ и невѣжественна, и нагла, и безстыдна. Обращаюсь опять къ Пушкину; ему платили дорого, очень дорого, но посмотрите на его литературное поприще: его «Кавказскій Плѣнникъ» былъ хорошъ, но «Бахчисарайскій Фонтанъ» лучше, но «Цыганы» еще лучше, а тамъ еще остаются «Евгеній Онѣгинъ», «Борисъ Годуновъ», «Полтава»; что жъ вы говорите намъ о вторыхъ и третьихъ романахъ?... Эти вторые и третьи романы были хуже первыхъ оттого, что успѣхъ первыхъ - то былъ основанъ не на талантѣ, не на истинномъ достоинствѣ, а на разныхъ постороннихъ обстоятельствахъ; одинъ гладко и грамотно писалъ, другой блеснулъ новостью рода, третій какъ-то нечаянно обмолвился: вотъ вамъ и вся тайна, вся загадка; она не мудрена и надъ ней не для чего ломать головы. Вы очень вѣрно изобразили

состояніе современной литературы, но вы не вѣрно объяснили причины этого состоянія; у насъ нѣтъ литераторовъ, а деньгами нельзя надѣлать литераторовъ: вотъ что вы доказали, хотя и думали доказать совсѣмъ другое. Вы сами были вкладчикомъ «Библіотеки», вы сами украсили ее статью, такъ неужели ваша статья должна быть хуже отъ того, что вы получили за нее деньги?... Повѣрьте, что еслибы теперь нельзя было ни копейки добиться литературными трудами, наша литература отъ этого не была бы ни на волосъ лучше.

Въ этой же статьѣ, г. Шевыревъ взводитъ странное обвиненіе на нашихъ писателей, говоря, что «наши пишущіе спекуляторы (въ подраженіе Европѣ) дарятъ насъ, но большей части, въ родѣ разочарованномъ или ужасномъ». Полно, правда ли и это? Мнѣ такъ кажется, наши романы съ этой стороны не заслуживаютъ ни малѣйшаго упрека.

По поводу этой мысли, г. Шевыревъ объясняетъ причину разочарованнаго и отчаяннаго характера европейскихъ романовъ, говоря, что она заключается въ вѣковой опытности и разочарованіи человѣчества. Это такъ, но тутъ есть и другія причины: вліяніе Байрона, стремленіе къ истинѣ, покорность модѣ, желаніе вѣрнаго успѣха и въ славѣ и въ деньгахъ, и пр. Вѣдь не всякій романъ, не всякая повѣсть есть поэзія, есть творчество: а если романъ или повѣсть есть не работа, а плодъ вдохновенія, то изображенная въ нихъ жизнь непременно должна быть или ужасна, или крайне смѣшна...

Отъ этой полемической статьи перехожу къ двумъ собственно критическимъ статьямъ г. Шевырева. Первая изъ этихъ статей есть разборъ «Князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйскаго», драмы г. Кукольника, вторая «Трехъ Повѣстей» г. Павлова. Въ этихъ статьяхъ г. Шевыревъ является критикомъ, дѣлаетъ насъ участникомъ своихъ критическихъ вѣрованій и даетъ намъ средство оцѣнить свой критическій талантъ. Эти двѣ статьи, еще при самомъ своемъ появленіи, удивили насъ до крайности, показались намъ неразрѣшимыми

загадками; теперь мы имъ еще больше удивляемся, еще больше ихъ не понимаемъ. Критика на драму г. Кукольника, и критика большая, въ двухъ книжкахъ журнала!... Мнѣ кажется, что такая критика себѣ дороже... Но что намъ до этого: всякій воленъ тратить свое добро на что хочетъ; посмотримъ лучше, какъ исполнилъ свое дѣло г. Шевыревъ.

Онъ начинаетъ краткимъ изложеніемъ хода событій эпохи, изъ которой почерпнуто содержаніе драмы г. Кукольника, и мимоходомъ изъясняетъ сожалѣніе, что Карамзинъ не могъ окончить этой картины.

Какъ часто, дочитывая послѣднюю страницу XII тома, которая такъ чудно рисуетъ русскій хаосъ междоусобицъ, при послѣднихъ словахъ „Оршакъ не сдавался“, вмѣстѣ съ картиною эпохи и воображалъ картину самого историка. Представьте себѣ его въ двадцатипятилѣтнихъ креслахъ (?), свидѣтеляхъ его труда неутомимаго: одинъ (?), чуждый помощи (???), сильной рукой приподымаетъ онъ тяжелую завѣсу минувшаго, спитую изъ ветхихъ хартій, и устремляетъ на великую эпоху Россіи глубокомысленныя очи, а другою рукою пишетъ съ нею живую картину, возвращая минувшее настоящему... и внезапно хладная коса смертная касается неутомимой руки писателя на самомъ широкомъ ея разбѣгѣ... перо выпало изъ перстовъ, вслѣдъ за тѣмъ свинцовая завѣса закрыла отъ насъ Исторію Россіи—свинцовая, потому что, послѣ могучей руки Карамзина, никто до сихъ поръ не осмѣлился достойно (?) поднять ее, хотя и были нѣкоторые усилія... Славныя кресла Карамзина до сихъ поръ еще праздны, къ стыду нашей литературы!

Не правда ли, что эти строки очень странны? Мы не хотимъ упрекать г. Шевырева въ излишнемъ пристрастіи къ Карамзину: послѣ того, какъ насъ призывали молиться на могилѣ незабвеннаго мужа и шептать его святое имя, насъ трудно удивить чѣмъ-нибудь въ этомъ отношеніи. Конечно, г. Шевыревъ, какъ по своимъ лѣтамъ, такъ и по своему образованію, не долженъ былъ бы принадлежать къ литературнымъ старовѣрамъ; но это другой вопросъ, который самъ собою рѣшится подробнымъ разсмотрѣніемъ всѣхъ критическихъ и литературныхъ мнѣній г. Шевырева... Покуда насъ

удивляетъ только неловкость комплемента, сдѣланнаго г. Шевыревымъ памяти Карамзина. Хвалить вообще не такъ легко, какъ думаютъ, тутъ надо большое умѣнье, чтобъ иные насмѣшники не сказали:

Не поздоровится отъ этакихъ похвалъ!

Во первыхъ: что за двадцатипятилѣтнія кресла? Развѣ они принадлежать къ преданіямъ нашей литературы, развѣ о нихъ всѣ знаютъ? Развѣ это точно фактъ, что Карамзинъ двадцать пять лѣтъ сидѣлъ въ однихъ креслахъ? Если же это просто риторическая фигура, то довольно забавная...—«Одинъ»—да развѣ исторію пишутъ вдвоемъ? «Чуждый помощи»—это неправда: Карамзину помогали труды многихъ изыскателей. «Сильной рукою приподымаетъ онъ тяжелую завѣсу минувшаго, спитую изъ ветхихъ хартій, и устремляетъ на великую эпоху Россіи глубокомысленныя оча, а другою рукою пишетъ съ нея живую картину»... Помилуйте: да зачѣмъ же онъ подымалъ эту завѣсу? Что онъ за нею видѣлъ? Вѣдь эта завѣса была сшита изъ лѣтописей, такъ стало-быть онъ на ней, а не за ней долженъ былъ видѣть минувшее? И притомъ, что за странная фантазія представить Карамзина въ такомъ неловкомъ и принужденномъ положеніи: одной рукою держится за тяжелый занавѣсъ, а другою пишетъ! Пускай эти руки были могучія, а все трудно... Воля ваша, а здѣсь не выдержана метафора, и потому страждетъ здравый смыслъ. Да, впрочемъ, излишнее пылкое воображеніе всегда было врагомъ здраваго смысла... Что же такое значить «осмѣлиться достойно поднять руку» для написанія исторіи—этого мы рѣшительно не понимаемъ.

Но этотъ неловкій комплиментъ составляетъ въ статьѣ г. Шевырева родъ небольшого, хотя и эмфатическаго отступленія; обращаюсь къ главному предмету.

Кончивъ изложеніе или очеркъ событій эпохи, избранной драматикомъ, г. Шевыревъ дѣлаетъ слѣдующее заключеніе, выражающее его основное понятіе о творчествѣ:

Кажется, исторія сама чертитъ путь драматику, сама даетъ главные событія и характеры, сама располагаетъ дѣйствія.

Что это такое? Не обманываютъ ли меня глаза?... Какъ? такъ сама исторія даетъ художнику планъ драматическаго созданія, а ему, художнику, остается только «не исказить ея, быть вѣрнымъ ей, отгадывать кой-что утаенное временемъ и лѣтописью?...» Полно, не ошибся ли я? Перечитываю—такъ, точно такъ!... Какъ? такъ, стало быть, я пишу историческую драму, онъ пишетъ, вы пишете, они пишутъ—и всѣ мы, какъ ни много насъ, напишемъ поневолѣ одно и то же? Гдѣ же свобода художника? Что же его вдохновеніе, его творчество?... Признаюсь, чудный рецептъ писать драмы! Удивляюсь, какъ послѣ этой статьи г. Шевырева не явилось нѣсколькихъ дюжины историческихъ драмъ!... Только избѣгая длинныхъ выписокъ, не выписываю этого даннаго рецепта слишкомъ въ двѣ страницы мелкой печати, гдѣ критикъ по пальцамъ высчитываетъ, что и что долженъ выставить въ своей драмѣ поэтъ, который бы избралъ для своей драмы эту эпоху. Жаль, что г. Шевыревъ не показалъ намъ того закона творчества, на которомъ онъ основалъ право исторіи и свое собственное чертить путь фантазіи художника; жаль, что этотъ интересный законъ эстетики остается доселѣ тайною!... Впрочемъ, какъ увидимъ ниже, всѣ пункты эстетическаго уложенія, на которомъ опираются мнѣнія г. Шевырева, доселѣ остаются для публики тайною. Мы, съ своей стороны, всегда думали, что поэтъ не можетъ и не долженъ быть рабомъ исторіи, такъ же, какъ онъ не можетъ и не долженъ быть рабомъ дѣйствительной жизни, потому что въ томъ и другомъ случаѣ онъ былъ бы списчикомъ, копистомъ, а не творцомъ. Поздравляемъ поэта, если герой его романа или драмы совершенно сходенъ съ героемъ исторіи, котораго онъ выводитъ въ своемъ созданіи; но это можетъ быть только въ такомъ случаѣ, когда поэтъ угадаетъ историческое лицо, когда его фантазія свободно сойдется съ дѣйствительностію. Разумѣется, что это

будетъ случай, а не расчетъ, удача, а не намѣреніе. Поэтъ читаетъ хроники, исторію, повѣряетъ, соображаетъ, сдружается съ избранною эпохою, съ избранными лицами; изученіе для него необходимо, но не это изученіе составляетъ актъ творчества: поэтъ ищетъ историческое лицо, зоветъ его къ себѣ и не видитъ его, пока оно само не придетъ къ нему, незванное и неожиданное, въ свѣтлую минуту поэтическаго откровенія, можетъ-быть, тогда, какъ онъ уже бросалъ и хроники и исторіи... То же и съ планомъ, ходомъ и всею композиціею созданія. Ему нужны только нѣкоторыя мгновенія изъ жизни героя, ему нужны только нѣкоторыя черты эпохи; онъ въ правѣ дѣлать пропуски, неважные анахронизмы, въ правѣ нарушать фактическую вѣрность исторіи, потому что ему нужна идеальная вѣрность. Возьмите трехъ, четырехъ превосходныхъ историковъ той или другой эпохи, того или другаго историческаго лица: эта эпоха, это лицо у каждаго изъ нихъ, при всемъ сходствѣ, будетъ отличаться особенными противорѣчащими оттѣнками. Значить, и въ исторіи есть свое творчество, значить, и историкъ создаетъ себѣ идеаль. Хроники однѣ, а идеалы, составленные по нимъ, различны. Иногда же художникъ (особенно, когда его талантъ субъективенъ) имѣетъ полное право нарушить исторію въ исторической драмѣ, взявъ исторію только рамою для своей идеи. Филиппъ и Донъ-Карлосъ Шиллера нисколько не похожи на Филиппа и Донъ-Карлоса исторіи: но, невѣрные исторической истинѣ, они въ высочайшей степени вѣрны вѣчной истинѣ человеческой души, человеческого сердца, вѣрны истинѣ поэтической, потому что не выдуманы, не придуманы, а родились сами!... А какъ? — этого не сглазятъ бы вамъ и самъ поэтъ, еслибы вы его спросили, и отослали бы, можетъ-быть, васъ съ вашимъ вопросомъ къ Шлегелю, къ Сольгеру, къ Шеллингу...

Второй части этой критики не буду разбирать подробно. Въ ней критикъ доказываетъ не то, чтобы поэтъ погрѣшилъ противъ творчества, а то, что онъ не пошелъ по пути, на-

черченному самою исторіею. Потомъ исчисляетъ его промахи противъ здраваго смысла, а именно; что у него героемъ драмы является Ляпуновъ, а Скопинъ-Шуйскій играетъ самую жалкую и ничтожную роль, что отравленіе Скопина на пиру есть тупоумное злодѣйство, и пр. Разумѣется, все это не касается законовъ изящнаго, потому что драма совсѣмъ не изящна; разумѣется, легко выставить всѣя ошибки, потому что, когда умъ творить безъ участія чувства и фантазіи, то всегда дѣлаетъ нелѣпости и промахи противъ здраваго смысла. Перехожу ко второй критической статьѣ г. Шевырева.

Эта статья еще удивительнѣе. Въ ней г. Шевыревъ разсуждаетъ о разныхъ предметахъ и, между прочимъ, о какой-то «свѣтской» повѣсти, и называетъ повѣсти г. Павлова «свѣтскими». Что это такое—«свѣтская» повѣсть? Не понимаю; въ нашей эстетикѣ не упоминается о «свѣтскихъ» повѣстяхъ. Да развѣ есть повѣсти мужицкія, мѣщанскія, подьяческія? А почему-жъ бы имъ и не быть; если есть повѣсти «свѣтскія»?... Ну, пусть ихъ будутъ—посмотримъ, что дальше. Сначала критикъ говоритъ, что у насъ рѣдко появляются хорошія повѣсти: это мы знаемъ, Потомъ, что повѣсть есть вывѣска современной литературы: и объ этомъ мы тоже слышали. Причину этого критикъ находитъ въ томъ, что «у всякаго есть своя жизнь, свой анекдотъ, свой разсказъ, однимъ словомъ: у всякаго своя повѣсть». Но вѣдь, скажемъ мы, и прежде было то же, отчего жъ прежде повѣстей не писали? Потомъ критикъ говоритъ, что, «съ тѣхъ поръ, какъ стало такъ легко быть авторомъ», появилось много дурныхъ повѣстей и романовъ: истина неоспоримая! «Повѣсть тѣмъ болѣе доступна для всѣхъ и каждому, что ея форма есть та же проза, которою всѣ говорятъ»; признаемся—мы съ этимъ не совсѣмъ согласны. Потомъ критикъ говоритъ, что «жизнь есть какое-то складное бюро, со множествомъ ящиковъ, между которыми есть одинъ глубокій тайный ящикъ съ пружиною», что въ этомъ ящикѣ лежитъ женское сердце, что авторъ

«Трехъ Повѣстей» слегка коснулся этого ящика, и что есть надежда, что когда-нибудь онъ и совѣмъ откроетъ его. Послѣ этой прекрасной и поэтической аллегоріи въ восточномъ вкусѣ, критикъ говоритъ намъ, что авторъ вынулъ изъ ящика записку, смыслъ которой состоитъ въ томъ, что человѣкъ вездѣ достоинъ вниманія, что сильныя страсти и рѣзкіе характеры встрѣчаются и въ убогихъ хижинахъ крестьянъ. «Въ этихъ словахъ, говоритъ критикъ, заключается теорія автора и тайна современной повѣсти». Для кого же эта тайна есть тайна, объ этомъ критикъ умалчиваетъ. Потомъ критикъ говоритъ, что есть люди, которые «ищутъ повѣстей за тридевять земель, на горахъ Кавказа, въ степяхъ Африки, въ жизни великихъ людей, въ своей фантазіи (?)». Нѣтъ, продолжаетъ онъ, найдите повѣсть здѣсь, около себя». Мы не понимаемъ, почему поэтъ долженъ ограничить себя только окружающею его жизнію, почему онъ не можетъ искать ее на Кавказѣ, въ Африкѣ и въ жизни великихъ людей, и болѣе всего въ своей фантазіи. Намъ, напротивъ, кажется, что онъ именно только въ своей фантазіи долженъ искать повѣсти: жизнь у всѣхъ подъ руками, всѣ ее видятъ, многіе даже наблюдаютъ и понимаютъ, но воспроизводить могутъ только тѣ, у которыхъ есть фантазія. Потомъ говоритъ, что въ «свѣтской» повѣсти г. Павлова «Ятаганъ» все просто, неизысканно, безъ внезапностей, что въ ней характеровъ немного, но что эти характеры глубоки, что повѣствователь долженъ быть психологомъ: со всѣмъ этимъ нельзя не согласиться.

Теперь слѣдуетъ у него упрекъ автору за женщину, противъ которой онъ, будто бы, погрѣшилъ въ своей повѣсти «Аукціонъ». Онъ называетъ ее, «неизгладимымъ проступкомъ предъ лицомъ женскаго пола и непозволительнымъ злоупотребленіемъ таланта писателя». Признаемся откровенно: мы и такъ уже нашли много непонятнаго и удивительнаго во мнѣніяхъ г. Шевырева, но это мнѣніе даже пугаетъ насъ: мы

боимся, что оно непонятно намъ вслѣдствіе своей глубины и ограниченности нашей мыслительной способности. Онъ даже нападаетъ въ этомъ отношеніи на «Ятаганъ», въ которомъ княжна кокетничаетъ съ соперникомъ своего избранника не изъ какой другой цѣли, какъ изъ любви къ этому невинному занятію... «Эта княжна, говоритъ онъ, лукаво помнитъ о какихъ-то ядовитахъ бездѣлкахъ общества, о каретѣ, въ которой нельзя ѣздить ея солдату»... Пусть думаетъ г. критикъ, какъ угодно ему, но мы понимаемъ это иначе: намъ кажется, что здѣсь-то именно авторъ «Трехъ Повѣстей» показалъ самымъ блистательнымъ образомъ свое знаніе и свѣта, и человеческого сердца, въ этой чертѣ мы признаемъ высокую художественность. Мы желаемъ не меньше всякаго, чтобы люди были хороши, но хотимъ, чтобы ихъ показывали такими, каковы они есть, истина и разочарованіе терзаютъ насъ не меньше всякаго, но мы ищемъ ея, этой истины, но мы находимъ въ ея терзаніяхъ радость, наслажденіе своего рода, и насъ удивляетъ и смѣшитъ аркадская вѣра въ совершенство міра сего...

Нѣтъ, не такова женщина у насъ въ Россіи! Она едва ли не лучше мужчинъ, она его образованнѣе; потому ли, что образованіе женское не такъ сложно, какъ мужское; потому ли, что ей больше досуга предаваться свободнымъ занятіямъ ума, чѣмъ мужчинамъ, рано увлекаемому службою...

Часъ отъ часу не легче?... Женщина едва ли не образованнѣе мужчинъ, потому что «женское образованіе не такъ сложно, какъ мужское»?... Но вѣдь образованіе нашихъ крестьянокъ еще малосложнѣе, такъ слѣдуетъ ли изъ этого, чтобы наши крестьянки въ полосатыхъ понёвахъ были идеаломъ женщинъ? И неужели высочайшее совершенство образованія состоитъ въ несложности образованія?... Женщина у насъ едва ли не образованнѣе мужчинъ, потому что «ей болѣе досуга предаваться свободнымъ занятіямъ ума, чѣмъ мужчинамъ»?... Но блѣлорумянымъ, чернозубымъ и тучнымъ сожительницамъ

нашихъ брадатыхъ торговцевъ еще болѣе времени предаваться свободнымъ занятіямъ ума!.. И онѣ точно предаются «свободнымъ» занятіямъ!... Воля ваша, а здѣсь нѣтъ логики!— Но послушаемъ еще критика.

Если когда мужчина въ Россіи будетъ достоинъ своего назначенія, это будетъ даръ женщины, плодъ ея заботливости о немъ. Посмотрите, какъ она посвятила у насъ себя воспитанію дѣтей, какъ она отказывается отъ веселій свѣта, какъ она сама себя создаетъ свободный гинецей, какъ любить дѣтскую и живетъ въ ней своими мыслями и чувствами!

Честь и хвала г. Шевыреву! Онъ нашелъ, наконецъ, эту утопію, эту землю обѣтованную, гдѣ женщина презираетъ мелочами суетности и самолюбія, гдѣ она велика исполненіемъ своихъ священнѣйшихъ обязанностей въ скромномъ уголкѣ семейной жизни, отшежеванномъ ей природою, гдѣ она жена и мать, а не свѣтская женщина, не *femme savante*, не поэтъ!.. Поздравляемъ его съ находкою!... Мы бы сказали объ этомъ болѣе, но такъ какъ это не относится ни къ критикѣ, ни къ литературѣ, то заключаемъ наше замѣчаніе стихомъ Грибоѣдова.

Блаженъ кто вѣруетъ: тепло ему на свѣтѣ!

Слѣдующая за этимъ мысль поражаетъ своею вѣрностію и глубокостію, и намъ очень пріятно ее выписывать, хотя она тоже не относится ни къ критикѣ, ни къ литературѣ.

Изобразите мнѣ, г. повѣствователь, ту женщину, о которой вы сами говорите, что она оторвется отъ великолѣпной жизни, отъ родныхъ, и пойдетъ за вами въ Сибирь, на край свѣта, гдѣ только можетъ умереть за васъ... Изобразите мнѣ женщину еще выше этой, потому что къ высокимъ пожертвованіямъ мы часто бываемъ способны, но не бываемъ способны къ пожертвованіямъ ежедневнымъ, обыкновеннымъ, не сопряженнымъ ни съ какимъ говоромъ славы, чуждымъ всякаго подозрѣнія въ тщеславіи, въ притязаніи на публичное мнѣніе; изобразите мнѣ во время пышнаго бала, который и пылаетъ, и гремитъ, и блещетъ, и ждетъ женщины... изобразите мнѣ ее во время такого бала въ своей дѣтской, у колыбели, съ младенцемъ у ея груди въ ту очаровательную полночь, когда все о ней думаетъ, все полно ею...

Да, это истинная женщина, и мы увѣрены, что всѣ наши повѣствователи будутъ изображать ее, когда она сдѣлается не фениксомъ, не исключительнымъ, подобно гению, но обыкновеннымъ явленіемъ. До того же блаженнаго времени, совѣтъ г. Шевырева останется безплоднымъ.

Потомъ, г. критикъ хвалить слогъ автора «Трехъ Повѣстей»; его слогъ, въ самомъ дѣлѣ, цвѣтокъ, благоухающій и прекрасный; мы вполне согласны въ этомъ съ г. критикомъ, но намъ кажется страннымъ, что онъ называетъ его періодъ округленнымъ, его фразу—обточенной: по нашему мнѣнію, эта похвала хуже брани. «Новый повѣствователь; говоритъ онъ еще, романистъ въ классическихъ формахъ. Его фраза — фраза Шатобріана по щегольству и отдѣлкѣ, но украшенная простотою». Если это такъ, то, по нашему мнѣнію, это опять таки не похвала, а порицаніе: мы уважаемъ благородство въ литературѣ, но не терпимъ паркетности, высоко цѣнимъ изящество, но ненавидимъ щегольство.

Вообще г. критикъ въ своей статьѣ довольно ясно высказалъ и прямо, и околичностями, и общими мѣстами, что повѣсти г. Павлова прекрасны; но что такое онъ въ нашей литературѣ, какой ихъ особенный характеръ — объ этомъ онъ умолчалъ, и потому мы имѣемъ право и эту его статью отнести къ роду статей полемическихъ.

Теперь слѣдуетъ статья о «Миргородѣ» г. Гоголя. Почтенный критикъ, со всею добросовѣстностію, отдаетъ справедливость таланту г. Гоголя; но намъ кажется, что онъ невѣрно его понялъ. Онъ находитъ въ немъ только стихію смѣшнаго, стихію комизма. Мы думаемъ иначе. Смѣшное выражается многообразно, многохарактерно, такъ сказать. Въ этомъ отношеніи оно похоже на остроуміе: есть остроуміе пустое, ничтожное, мелочное, умѣющее найти сходство между Расиномъ и деревомъ, производи то и другое отъ «корня», остроуміе, играющее словами, опирающееся на «какъ бы не такъ» и тому подобномъ, остроуміе, глотающее иголки ума, которыми

может и само подавиться, какъ мы уже и видѣли примѣры этому въ нашей литературѣ, потому есть остроуміе, происходящее отъ умѣнія видѣть вещи въ настоящемъ видѣ, схватывать ихъ характеристическія черты, высказывать ихъ смѣшныя стороны. Остроуміе перваго рода есть удѣлъ великихъ людей на малыхъ дѣла; остроуміе втораго рода или дается природою, или пріобрѣтается горькими опытами жизни, или вслѣдствіе грустнаго взгляда на жизнь: оно смѣшнѣе, но въ этомъ смѣхѣ много горечи и горести. Остроуміе перваго рода есть каламбуръ, шарада, тріолетъ, мадригалъ, буриме; остроуміе втораго рода есть сарказмъ, желчь, ядъ, другими словами: оно есть отрицательный силлогизмъ, который не доказываетъ и не опровергаетъ вещи, но уничтожаетъ ее тѣмъ, что слишкомъ вѣрно характеризуетъ ее, слишкомъ рѣзко высказываетъ ея безобразіе, или удачнымъ сравненіемъ, или удачнымъ опредѣленіемъ, или просто вѣрнымъ представленіемъ ея такъ, какъ она есть. Смѣшное или комическое такъ же точно раздѣляется: оно или водевилъ, или «Горе отъ Ума». Мы думаемъ, что смѣшное и остроумное перваго рода принадлежатъ Барону Брамбеусу, повѣсти котораго не лишены литературнаго достоинства, хотя и лишены всякой художественности, какъ и повѣсти всѣхъ рассказчиковъ-балагуровъ; а смѣшное г. Гоголя относится ко второй категоріи комизма. Мы опираемся въ этомъ случаѣ на то, что его повѣсти смѣшны, когда вы ихъ читаете, и печальны, когда вы ихъ прочтете. Онъ представляетъ вещи не каррикатурно, а истинно: въ его «Вечерахъ на хуторѣ», въ повѣстяхъ: «Невскій Проспектъ», «Портретъ», «Тарасъ Бульба», смѣшное перемѣшано съ серьезнымъ, грустнымъ, прекраснымъ и высокимъ. Комизмъ отнюдь не есть господствующая и перевѣшивающая стихія его таланта. Его талантъ состоитъ въ удивительной вѣрности изображенія жизни въ ея неуловимо-разнообразныхъ проявленіяхъ. Этому-то и не хотѣлъ понять г. Шевыревъ: онъ видитъ въ созданіяхъ г. Гоголя одинъ комизмъ, одно смѣшное, и выска-

залъ нѣсколько мыслей вообще о смѣшномъ. Эти мысли кажутся намъ очень невѣрными, и мы сейчасъ же повѣримъ ихъ. Мы прежде сдѣлаемъ замѣчаніе объ одномъ чрезвычайно странномъ его мнѣніи. Хвала цѣлое и подробности «Старосвѣтскихъ Помѣщиковъ», онъ говоритъ:

Мнѣ не правится тутъ одна только мысль, убійственная мысль о привычкѣ, которая какъ будто разрушаетъ нравственное впечатлѣніе цѣлой картины. Я бы вымаралъ эти строки.

Мы никакъ не можемъ понять этого страха, этой робости передъ истиной! Критикъ не доказываетъ ни однимъ словомъ ложности этой мысли, напротивъ, какъ будто признаетъ ея справедливость, и въ то же время негодуетъ на нее!... Странно!... Что касается до насъ, мы уже пережили этотъ аркадскій періодъ человѣческаго возраста, когда глаза страшатся свѣта истины, а потѣшаются ложными цвѣтами мыльныхъ пузырей!...

Смѣшное есть безсмыслица безвредная... Человѣкъ шелъ по улицѣ и упалъ... Вы смѣетесь его неловкости, потому что неловкость есть въ своемъ родѣ безсмыслица; но если вы замѣтили, что онъ вывихнулъ ногу и стонаетъ... тутъ вамъ не до смѣху... Чувство состраданія изгоняетъ чувство смѣха... Такъ точно въ страстяхъ и порокахъ: они смѣшны до тѣхъ поръ, пока безвредны... Ревнивецъ смѣшонъ въ Арнольфъ Молиера, и ужасенъ въ Отелло... Сумасшедшій смѣшонъ до тѣхъ поръ, пока не опасенъ себѣ и другимъ... Безвредная безсмыслица—вотъ стихія комическаго, вотъ истинно смѣшное.

Г. Шевыревъ довольно пространно и отчетливо развиваетъ намъ свою теорію комизма: въ ней много справедливыхъ и дѣльныхъ замѣтокъ, но основаніе рѣшительно ложно. Что такое «безвредная безсмыслица»?—ничего больше, какъ безсмыслица! Давно уже рѣшено, что основаніе смѣшнаго есть несообразность, противорѣчіе идеи съ формою, или формы съ идеею. Это доказываетъ примѣръ, приведенный самимъ г. Шевыревымъ. Человѣкъ шелъ и упалъ—это смѣшно, безъ сомнѣнія. Но отчего, оттого, что идущій человѣкъ долженъ идти, а не лежать: следовательно, въ случайности его паденія заключается противорѣчіе и съ его цѣлію, и съ положеніемъ

человѣка идущаго. Вы встрѣчаете на улицѣ мужика, который, идя, ѣстъ калачъ — вамъ не смѣшно, потому что эта походная трапеза не противорѣчитъ идеѣ мужика; но еслибы вы встрѣтили на улицѣ съ калачемъ въ рукахъ человѣка свѣтскаго, человѣка сошше *il faut*: вы расхохотались бы, потому что принятое и утвержденное условіями нашей общественности понятіе о свѣтскомъ человѣкѣ противорѣчитъ идеѣ походной трапезы среди улицы.

О замѣчаніи г. Шевырева касательно фантастической повѣсти г. Гоголя «Вій» я имѣлъ случай говорить. Это замѣчаніе очень справедливо и основательно.

Статья о «Миргородѣ» есть лучшая изъ статей г. Шевырева, помѣщенныхъ въ «Наблюдатель», и болѣе другихъ можетъ назваться критикою: въ ней онъ, по крайней мѣрѣ, разсуждаетъ о смѣшномъ и фантастическомъ, предметахъ, прямо относящихся къ искусству; но мнѣніе его вообще о характерѣ повѣстей г. Гоголя и о смѣшномъ кажется намъ невѣрнымъ.

Теперь слѣдуетъ пятая статья г. Шевырева «О критикѣ вообще и у насъ въ Россіи». Въ началѣ этой статьи г. Шевыревъ какъ бы мимоходомъ дѣлаетъ замѣчаніе на счетъ чьего-то мнѣнія, что «у насъ нѣтъ еще словесности, а есть уже критика», и потомъ задаетъ себѣ вопросъ: «можетъ ли существовать критика тамъ, гдѣ нѣтъ еще словесности?» На этотъ вопросъ онъ отвѣчаетъ утвердительно, ссылаясь на нѣмецкую литературу, въ которой «Лессингъ, Винкельманъ и Гердеръ предшествовали Шиллеру, и Гётѣ, и Жанъ-Полу». Вслѣдствіе этого онъ думаетъ, что и у насъ можетъ быть то же самое. Я еще въ началѣ этой статьи сказалъ мое мнѣніе на счетъ этой мысли. Потомъ онъ переходитъ къ важности критики у насъ въ Россіи и говорить, что «словесность наша до тѣхъ поръ не достигнетъ высокихъ созданій національнаго вкуса, а будетъ ограничиваться отрывками и мелкими произведеніями, пока не водворится у насъ критика національная, воспитанная своею наукою и основанная на глу-

бокомъ изученіи исторіи словесности». Мы съ этимъ не согласны: мы думаемъ, что у насъ тогда будетъ литература, когда явится вдругъ нѣсколько талантовъ. Пушкинъ, Грибоедовъ и Гоголь явились, не дожидаясь критики. Слѣдующая за этимъ мысль кажется намъ еще удивительнѣе. Г. Шевыревъ сначала говоритъ, что наука и преданіе враждебны другъ другу, первая какъ нововводительница, безпрестанно движущаяся впередъ, вторая какъ цѣпь, мѣшающая ходу человѣчества: мысль, можетъ-быть, не новая, но глубоко вѣрная! Потомъ онъ говоритъ, что есть еще борьба искусства съ наукою и преданіемъ и что въ этой борьбѣ заключается жизнь искусства.

Словесность производящая слитая нарушить всѣ законы и уничтожить совершенно науку и преданіе. Наука хочетъ умертвить всѣякую живую силу въ своемъ строгомъ законѣ и подчинить ее урокамъ опыта и правиламъ, ею постановленнымъ. Еслибы въ этой борьбѣ которая-нибудь изъ силъ восторжествовала, что весьма возможно, то равновѣсіе и гармонія литературнаго міра были бы совершенно нарушены. При исключительномъ торжествѣ науки, уничтожилась бы вся новая жизнь въ мірѣ творящаго слова и на мѣсто ея воцарилось бы мертвое и холодное подраженіе. Восторжествовала бы производящая: безначаліе, хаосъ, уничтоженіе всѣхъ законовъ красоты могло бы быть слѣдствіемъ такого торжества въ литературномъ мірѣ. И откуда бы могло послѣдовать возрожденіе жизни словеснаго міра и возстановленіе усиленнаго начала, еслибы, кромѣ этихъ двухъ враждующихъ силъ, не присутствовала третья, которая занимаетъ средину между тою и другою силою и является примирителемъ, равно наблюдающимъ права каждой изъ нихъ? — Вотъ мѣсто, которое, по моему мнѣнію, должна занимать критика въ литературѣ... Однимъ словомъ, согласить законъ и жизнь, не нарушать перваго и не попустить убійства второй — вотъ дѣло истинной критики! Торжествуетъ исключительно наука: освободить искусство; буйствуетъ искусство — возстановить на него науку — вотъ ея назначеніе.

Вотъ понятіе г. Шевырева о критикѣ. Но мы съ нимъ не согласны, оно намъ кажется ложнымъ, потому что выведено изъ ложнаго начала. Между искусствомъ и наукою точно есть борьба, да только эта борьба есть не жизнь, а смерть искусства. Вдохновенію не нужна наука, оно ученіе науки, оно

никогда не ошибается. Основной законъ творчества, что оно сообразно съ цѣлю безъ цѣли, бессознательно съ сознаніемъ, опровергаетъ всѣ теоріи и системы, кромѣ той, которая основана на немъ, выведенная изъ законовъ человѣческаго духа и вѣковыхъ опытовъ надъ произведеніями искусства. Слѣдовательно, не наука создала искусство, а искусство создало особенную науку—теорію изящнаго; слѣдовательно, искусство только тогда истинно и изящно, когда вѣрно себѣ, а не наукѣ, а если наукѣ, то имъ же самимъ созданной. Правда, наука всегда силилась покорить искусство, но какое было слѣдствіе этого? Смерть искусства, какъ то доказываетъ классическая французская литература. Но когда искусство было свободно отъ науки, оно было полно жизни, истины, красоты эстетической: достаточно указать на одного Шекспира, чтобы сдѣлать это положеніе неопровержимымъ. Я, право, не знаю, какое вліяніе теорія, система, піитика, наука (назовите это какъ угодно), имѣла вліяніе на Байрона, Вальтеръ-Скотта, Купера, Гёте, Шиллера?... Г. Шевыревъ указываетъ на новѣйшую французскую литературу, какъ на плачевный примѣръ буйства искусства, освободившагося отъ науки: но во первыхъ, я никакъ не могу понять, въ чемъ состоитъ это буйство; во вторыхъ, точно ли новѣйшія произведенія французской литературы суть плоды искусства, творчества; не покорены ли они болѣе или менѣе духу моды, подражанія, расчета особеннаго рода системы, что для искусства не менѣе губительно науки? Критика не есть посредникъ и примиритель между искусствомъ и наукою: она есть приложение теоріи къ практикѣ, есть, та же наука, созданная искусствомъ, а не создающая искусство. Ея вліяніе простирается не на искусство, а на вкусъ публики; она не для гения, творца, который всегда вѣренъ ей, не думая и не стараясь быть ей вѣрнымъ, а для направленія общественнаго вкуса, который можетъ измѣнять ей, сбиваемой съ толку ложно-изящнымъ или ложными системами.

Остальная и большая часть этой статьи состоит изъ обличеній критика «Библиотеки для Чтенія». Эти обличенія во всевозможныхъ неправдахъ, противорѣчій самому себѣ, наивномъ шарлатанствѣ, явной и откровенной недобросовѣстности, умышленныхъ нецѣлостяхъ, дышать благороднымъ негодованіемъ, неподдѣльнымъ жаромъ, острою въ выраженіи, рѣзкостію и силою слога. Все это прекрасно, но знаете ли что? Мнѣ, наконецъ, и только сейчасъ, сію минуту, пришла въ голову чудная мысль, что не должно и не изъ чего нападать на Барона Брамбеуса и Тю-тюджи-Оглу: кто-то изъ нихъ недавно объявилъ, что «Москва не шутитъ, а ругается», и я вывелъ изъ этого объявленія очень дѣльное слѣдствіе, что какъ почтенный баронъ, такъ и татарскій критикъ «не ругаются, а шутятъ», или, лучше сказать «изволятъ потѣшаться». Теперь это уже ни для кого не тайна, и тѣхъ, для которыхъ оба вышереченные мужи еще опасны своимъ вреднымъ вліяніемъ, тѣхъ уже нѣтъ средствъ спасти. Поймите, виноваты! Эврика! эврика! Есть средство, есть, я нашелъ его, честь и слава мнѣ! Для этого надобно, чтобъ нашелся въ Москвѣ человекъ со всѣми средствами для изданія журнала, съ вещественнымъ и невещественнымъ капиталомъ, т. е. деньгами, вкусомъ, познаніями, талантомъ публициста, свѣтлостью мысли и огнемъ слова, дѣятельный, весь преданный журналу, потому что журналъ, такъ же, какъ искусство и наука, требуетъ всего человека, безъ раздѣла, безъ измѣнъ себѣ; надобно, чтобы этотъ человекъ умѣлъ возбудить общее участіе къ своему журналу, завоевать въ свою пользу общественное мнѣніе, надѣлать себѣ тысячи читателей... Тогда «Библиотека для Чтенія» — поминай, какъ звали, а покуда... дѣлать нечего...

Нечего и говорить, какъ основателенъ и справедливъ упрекъ г. Шевырева критику «Библиотеки для Чтенія», что онъ судить о литературныхъ произведеніяхъ по личнымъ впечатлѣніямъ и отвергаетъ возможность положительныхъ законовъ ис-

кусства; но намъ страннымъ кажется то, что основанія изящнаго, которыми руководствуется самъ г. Шевыревъ, остаются для насъ доселѣ тайною. Мы рассмотрѣли уже пять статей его, и только въ одной нашли нѣсколько бѣглыхъ замѣтокъ о комическомъ или смѣшномъ и фантастическомъ. Мы нисколько не сомнѣваемся въ добросовѣстности г. Шевырева, мы увѣрены въ его вкусѣ, намъ бы хотѣлось знать и его литературное ученіе въ приложеніи къ разбираемымъ имъ книгамъ...

Послѣ статьи г. Шевырева «О критикѣ вообще и у насъ въ Россіи» слѣдуетъ разборъ одного изъ безчисленныхъ сочиненій, или, лучше сказать, одной изъ безчисленныхъ статей Аретина современной французской критики, знаменитаго Жюль-Жанена: «Romans, Contes et Nouvelles littéraires; Histoire de la Poesie chez tous les peuples». Я не читалъ и даже не видалъ этой книги; можетъ-быть и не буду читать, не предвидя отъ ней особенной пользы, какъ отъ компиляціи, въ чемъ самъ авторъ очень наивно признается. Онъ написалъ ее для дѣтей и, потому ли, или почему другому, взялся знакомить своихъ читателей даже съ восточными литературами, которыхъ не знаетъ, рѣшась на это именно потому, что и «другіе объ этомъ не больше его знаютъ». Причина очень достаточная, оправданіе очень резонное, по крайней мѣрѣ, для Жанена! Что жъ касается до насъ, то мы думаемъ, что здѣсь Жанень, какъ говорится, превзошелъ самого себя въ этомъ миломъ невѣжествѣ, которымъ онъ гордится, какъ достоинствомъ, какъ заслугою: честь и слава ему! Итакъ, я не буду повѣрять мнѣній г. Шевырева касательно Жаненовой книги: они очень справедливы; не буду защищать ея отъ ожесточенныхъ нападковъ нашего критика: они очень дѣльны, хотя немного и утрированы, потому что Жанена оправдываетъ нѣсколько его откровенность и потому что отъ автора не должно требовать больше того, что онъ самъ обѣщаетъ. Если можно его обвинять, и обвинять сильно, какъ обвиняетъ г. Шевыревъ, такъ это за то, что онъ взялся не за свое дѣло, но и на

это, онъ можетъ отвѣчать: почему жь никто не сдѣлалъ ничего въ этомъ родѣ лучше меня? а я выполнилъ, какъ умѣлъ, то, что обѣщалъ. Короче сказать, касательно мнѣнія о самой книгѣ, мы почти согласны съ г. Шевыревымъ и прикладываемъ руку къ его приговору: даже и не читавши этого опальнаго произведенія литературнаго довѣсы Жанена. Но мы рѣшительно не согласны съ г. Шевыревымъ на счетъ его мнѣнія о самомъ Жаненѣ; его взглядъ на этого писателя былъ бы очень справедливъ, еслибы не отъявился какимъ-то безотчетнымъ и безусловнымъ предубѣжденіемъ противъ всей современной французской литературы, предубѣжденіемъ, которое очень понятно въ татарскомъ критикѣ «Библиотеки для Чтенія», отводящемъ глаза православному русскому народу отъ своихъ проказъ, но которое совсѣмъ непонятно въ г. Шевыревѣ, не имѣющемъ никакой нужды придерживаться такого образа мыслей. Дѣло вотъ въ чемъ: г. Шевыревъ говоритъ, что весь Жаненъ заключается въ газетномъ фельетонѣ, что вся сила, все могущество его таланта заключается въ слогѣ, имъ самимъ созданномъ и никому другому недоступномъ, не имѣющая даже гг. Брамбеуса и Тю-тюнджи-Оглу, которые, смышля подражать ему, только каррикатурно передразниваютъ его. Да, это очень справедливо: журнальная проза составляетъ главную стихію Жаненова таланта, главную, но не исключительную, какъ мы думаемъ. Жаненъ не ученый, не критикъ, а просто литераторъ, въ высочайшей степени обладающій талантомъ говорить на бумагѣ, литераторъ, каждая статья котораго есть бесѣда (conversation) умнаго, образованнаго и остраго чловѣка. разговоръ бѣглый, живой, перелетный какъ бабочка, трескучій какъ догорающій огонекъ каминна, дробящій предметъ какъ граненый хрусталь; присовокупите къ этому неподражаемую легкость и болтливость языка, легкомысленность въ сужденіи, неистощимую, огненную дѣятельность, всегдашнюю готовность говорить о чемъ угодно, даже и о томъ, чего не знаетъ, но въ томъ и другомъ случаѣ, говорить умно,

остро, увлекательно, граціозно, мило, хотя часто и неосновательно, вѣдорно, безстыдно: и вотъ вамъ причина народности Жанена. Что Беранже въ поэмѣ, то Жанень въ журнальной литературѣ. Мы этимъ не думаемъ равнять великаго и истиннаго поэта современной Франціи съ журнальнымъ болтуномъ: мы только хотимъ сказать, что тотъ и другой суть выраженіе своего народа и, потѣму, его исключительные любимцы. Но Жанень, какъ Французъ по преимуществу, имѣеть и другія качества, свойственныя одному ему и больше никому: онъ мило безстыденъ, престоудушно нагъ, гордо невѣжественъ, протѣпительно безсовѣстенъ, кокетливо продаженъ и непостояненъ во мнѣніяхъ. Эта умышленная и сознательная невѣрность самому себѣ, эта измѣнчивость въ мнѣніяхъ была бы возмутительно отвратительна въ Англичанинѣ, особенно въ Нѣмцѣ; но въ Жаненѣ, какъ во Французѣ, она протѣпительна, мила даже, какъ кокетство въ прекрасной женщинѣ. Онъ лжетъ, хочетъ васъ обмануть, вы это замѣчаете — и только смѣетесь, а не оскорбляетесь, не возмущаетесь. Жанень имѣеть на это исключительную привилегію, и этой-то привилегіи не хотѣлъ замѣтить г. Шевыревъ! Онъ съ ожесточеніемъ нападаетъ на легкомысліе, съ какимъ Жанень за все хватается, на недобросовѣстность, съ какою все выполняетъ, и на какое-то хвастовство съ недобросовѣстностью и невѣжествомъ; но онъ не хотѣлъ уяснить себѣ идеи, выражаемой словомъ «Жанень», не хотѣлъ увидѣть, что Жанень есть родъ журнальнаго паяца, который тѣшитъ публику и, между тѣмъ, безнаказанно даетъ щелчки тому и другому, пускаетъ въ оборотъ и дѣльную мысль, и умышленный софизмъ, и все это часто изъ одного невиннаго желанія понасмѣиваться. Но пусть будетъ такъ: мы не хотимъ спорить на счетъ этого съ г. Шевыревымъ, но насъ крайне изумило его мнѣніе, что Жанень будто бы «плохой романистъ»... Плохой романистъ!... Помните: вѣдь это слишкомъ много значить, вѣдь это что-то чрезвычайно смѣшное, чрезвычайно

жалкое, вѣдь плохой романистъ, какъ и плохой поэтъ, есть посмѣшище, притча во языцѣхъ, рыцарь печальнаго образа въ полномъ смыслѣ этого слова. Неужели такимъ считается во Франціи авторъ «Барнава»?... У всякаго свой вкусъ, и мы не хотимъ переувѣрять г. Шевырева на счетъ истиннаго достоинства романовъ Жанена, но мы осмѣливаемся имѣть и свой вкусъ и почитать романы Жанена хорошими, а не плохими; равнымъ образомъ смѣемъ увѣрить нашихъ читателей, что и во Франціи, какъ и во всей Европѣ, не всѣ думаютъ, о романахъ Жанена согласно съ г. Шевыревымъ. Что касается до насъ лично, мы имѣемъ вообще о французской литературѣ, а слѣдовательно и о романахъ Жанена, понятіе современное, всѣми признанное, для всѣхъ общее и ни для кого не новое. Мы думаемъ, что французской литературѣ не достаетъ чистаго, свободнаго творчества, вслѣдствіе зависимости отъ политики, общественности и вообще національнаго характера Французовъ, что ей вредятъ скорописность, духъ не столько вѣка, сколько дня, обаяніе суетности и тщеславія, жажда успѣха во что бы то ни стало. Все это можно приложить и къ романамъ и повѣстямъ Жанена и вслѣдствіе всего этого можно найти въ нихъ важныя недостатки; но невозможно не признать въ нихъ слѣдовъ яркаго и сильнаго таланта. Жаненъ романистъ и повѣствователь, точь-въ-точь какъ всѣ модные французскіе романисты и повѣствователи, и мы только безусловнымъ предубѣжденіемъ г. Шевырева противъ всей французской литературы можемъ объяснить его немилость къ Жанену и слишкомъ смѣлый эпитетъ, придаваемый имъ ему, какъ романисту. Поэтому, мы почли за долгъ заступиться за Жанена, какъ за романиста, сколько изъ любви къ истинѣ, столько и потому, что для нашей публики слишкомъ достаточно возгласовъ «Библіотеки для Чтенія» противъ французской словесности: зачѣмъ же отбивать у этого журнала насущный хлѣбъ и помогать ему въ цѣли, которой онъ и безъ всякой чужой помощи, вѣроятно, успѣшно достигаетъ?... Прибавимъ къ этому еще, что

окончаніе статьи г. Шевырева привело насъ въ ужасъ: въ самомъ дѣлѣ, кто не почтетъ слѣдующихъ словъ какъ бы взятыми на выдержку изъ «Библіотеки для Чтенія».

Вотъ какъ составляются нѣмны книги во Франціи! Вотъ чѣмъ угощаютъ французское юношество! Вотъ какъ навѣстный литераторъ наряжается добровольно въ лоскуты чужихъ трудовъ и самъ передъ своею публикою добровольно сознается въ этомъ!... Что за нравственность въ той литературѣ, гдѣ безчинная хищность имѣетъ еще смѣлость быть явлено откровенною!...

Мы слишкомъ далеки отъ того, чтобъ подозрѣвать г. Шевырева въ симпатіи съ Варономъ Брамбеусомъ на счетъ французской литературы, но мы не можемъ понять, какъ можно по одному приѣзду и по одному литератору дѣлать такое невыгодное заключеніе о цѣлой литературѣ и произносить ей такой грозный приговоръ!... И что худого, что авторъ, издавая компиляцію, самъ предувѣдомляетъ читателя, что это компиляція?... Что касается до чужихъ лоскутьевъ, то въ нихъ и у насъ любятъ радиться, только не любятъ въ этомъ сознаваться: а это развѣ лучше?... Право, слишкомъ уже приторны эти безотчетные, ни на чемъ не основанные возгласы о безнравственности литературы цѣлаго народа, литературы, которая имѣетъ Шатобріановъ и Ламартиновъ, и мы очень бы желали, чтобъ наши правоучители растолковали намъ, въ чемъ именно состоитъ эта безнравственность, или поукротили бы свое негодованіе!... Эти возгласы, какія бы причины не производили ихъ, тѣмъ досаднѣе, что простодушная неосновательность во мнѣніяхъ часто можетъ имѣть одни слѣдствія съ хитрою неблагонамѣренностью, и что, вслѣдствіе того, иной добросовѣстный литераторъ можетъ попасть въ одну категорію съ витязями «Библіотеки для Чтенія»...

Теперь мнѣ слѣдуетъ разсмотрѣть седьмую статью г. Шевырева, которая можетъ назваться и критическою, и полемическою, и филологическою, и художественною: разумію переводъ седьмой пѣсни «Освобожденнаго Іерусалима». Да, я смотрю на этотъ переводъ не иначе, какъ на журнальную статью,

въ которой есть немного критики, очень много полемики, а больше всего шуму и грому. Дѣло въ томъ, что этотъ переводъ снабженъ чѣмъ-то въ родѣ предисловія, въ которомъ г. Шевыревъ не шутя грозитъ произвести ужасную реформу въ нашемъ стихосложеніи, изгнать наши бойкіе ямбы, наши звучные металлическіе хорен, наши гармоническіе дактили, амфибрахъи, анапесты, и замѣнить ихъ—чѣмъ бы вы думали?—тоническимъ риемомъ нашихъ народныхъ пѣсень, этимъ риемомъ, столь роднымъ нашему языку, столь естественнымъ и музыкальнымъ?.. цѣтъ!—итальянскою октавою!.. Статейка начинается жадобой на какого-то журналиста, который не хотѣлъ помѣстить въ одномъ номерѣ своего журнала перевода седьмой пѣсни «Освобожденнаго Іерусалима», а помѣстилъ его, въ видѣ отрывковъ, въ нѣсколькихъ номерахъ, чѣмъ повредилъ его добромъ впечатлѣнію на публику. «Переводчикъ, говоритъ г. Шевыревъ, тогда отсутствовалъ, а отсутствовавшіе всегда виноваты, по извѣстной пословицѣ».. Сначала, этотъ упрекъ, какъ ни казался основательнымъ, удивилъ меня немного своею горечью, но когда я прочелъ октавы, то вполнѣ раздѣлилъ благородное негодованіе г. Шевырева на злаго журналиста и хотѣлъ сгоряча написать на него презлую статью. Въ самомъ дѣлѣ, «перекроить въ отрывки экономическимъ расчетомъ журнала» такой опытъ, которымъ затѣвалась такая важная реформа и который весь состоялъ изъ такихъ звучныхъ, гармоническихъ октавъ, какъ слѣдующія:

Кружить шаги широкими кругами,
Отъспивъ доспѣхъ, мечемъ махая праздно;
Межъ тѣмъ Танкредъ, хотъ и утомленъ путями,
Идетъ и напираетъ безотвязно.
И всякій шагъ, соперника стопами
Уступленный, пріемлетъ неотказно,
И все къ нему тѣснится сгоряча,
Въ глаза сверкая молніей меча.
.....
Потомъ кружить отселя и оттоля,

И вновь кружить оттоля и отсеявъ,
И всякій разъ, вопиая бодръ и бодръ,
Разить врага тяжель и тяжель.
Все, что есть силъ въ горящей гнѣвомъ воли,
Въ искусствѣ опытномъ и ветхомъ тѣлѣ,
Все ко вреду Черкеса съединяеть.
И счастье и небо закликаетъ.

О! только бы узнать мнѣ имя этого парвара журналиста, а то не уйти ему отъ меня!.. Но! пона последуемъ за г. Шевыревымъ въ его объясненіяхъ затѣваемой имъ реформы.

Онъ говоритъ, что тогда его опытъ являлся въ неблагоприятное время, потому что «слухъ нашъ дѣлался какою-то нѣгою однообразныхъ звуковъ, мысль спомойно дремала подъ эту мелодію и языкъ превращалъ слова въ одни звуки» (?), а въ октавахъ его «нарушались всѣ условныя правила нашей про-содіи, объявлялся совершенный разводъ мужескимъ и женскимъ речамъ, хорей впутывался въ ямбъ, двѣ гласныя принимались за одинъ слогъ».

Понятно теперь для васъ, въ чемъ состоитъ реформа г. Шевырева?... Думаю, что очень понятно. Но нужна ли она и возможна ли она?... Какъ ни непріятно и ни скучно заниматься разбирательствомъ такихъ вопросовъ, но я обрекъ себя на это и долженъ выполнить начатое, во что бы то ни стало.

Для чего намъ октавы? Для того же, для чего намъ были нужны эпическія поэмы, оды, а теперь романы; для того же, для чего намъ нужны были героическіе гексаметры, да еще съ спондеями, и элегическіе пентаметры. У всѣхъ народовъ были эпическія поэмы—стало-быть и намъ нужно было имѣть ихъ, да еще не одну, а дюжину? во всѣхъ евронейскихъ литературахъ лиризмъ проявлялся въ формѣ надутыхъ одъ—стало-быть и нашимъ лирикамъ надо было надуваться; у Грековъ и Римлянъ поэмы писаны были гексаметрами, а элегін гексаметрами и пентаметрами попеременно—стало-быть и намъ надо было гексаметровъ и пентаметровъ, во что бы то ни

стало, а такъ какъ ихъ не было въ языкѣ, то, ради предстоящей потребности, сработали кое-какъ свои, замѣнивъ спондей хореемъ; теперь, у Итальянцевъ есть октавы—какъ же не быть имъ у насъ?... Вы скажете, что ихъ октавы родились отъ духа и просодіи ихъ языка, что онѣ родились сами, а не изобрѣтены, что русскій языкъ не итальянскій, что два слога за одинъ принимать можно только въ пѣніи, а не въ чтеніи, для котораго преимущественно пишутся стихи, и Богъ знаетъ, чего вы еще не скажете!... Я самъ думалъ доселѣ, что размѣръ не есть дѣло условное, что наши ямбы и хорей не чистые ямбы и хорей, что они близки къ тонизму нашего народнаго рима и потому такъ подружились съ нашей поэзіею; а дактили, амфибрахи и анапесты совершенно согласны съ духомъ нашего языка, потому что въ народныхъ пѣсняхъ встрѣчаются пѣлые стихи дактилическіе, амфибрахическіе и анапестическіе. Равнымъ образомъ, я всегда думалъ, что гекзаметръ есть метръ искусственный, и потому тяжелый, утомительный для чтенія и никогда не могущій привиться къ нашему стихосложенію. Какъ же хотѣть заставить насъ писать октавами, которыя должно читать какъ прозу, въ которыхъ нѣтъ сочетанія, гдѣ объявляется совершенный разводъ мужескимъ и женскимъ приемамъ?... Впрочемъ, я еще думалъ и то, что размѣръ не составляетъ сущности искусства, въ которомъ главное дѣло творчество, изящество, красота; что поэтъ имѣетъ право писать и ямбами, и хорейми, и дактилями, и амфибрахиями, и анапестами, и гекзаметрами, и пентаметрами, и даже октавами, лишь бы только онъ хорошо писалъ. Но г. Шевыревъ рѣшительно разувѣрилъ меня во всѣхъ моихъ теплыхъ вѣрованіяхъ на счетъ русскаго стихосложенія неопровержимыми доказательствами. Съ моей стороны осталось было одно только возраженіе противъ него: я думалъ, что когда нововведеніе въ духъ языка, то должно имѣть успѣхъ, а г. Шевыревъ не нашелъ ни одного послѣдователя; но и это возраженіе уничтожается само собою: мы узнаемъ, что

Давно мы не слышимъ бывалыхъ стиховъ. Если и слышимъ, то изрѣдка. Читаемъ все прозу и прозу. Можетъ-быть, это безмолвіе, господствующее въ мірѣ нашей поэзіи, эта чудная тишина, эта пустыня пророчить какой-нибудь переворотъ въ нашемъ стихотворномъ языкѣ, въ формахъ нашей прозодіи. Благодаря этой тишинѣ, слухъ отвыкаетъ отъ прежней монотоніи, нервы его окрѣпнуть, вытѣкаютъ отъ расслабленія—и онъ будетъ способенъ выносить звуки и сильнѣе и тверже. Теперь едва ли не совершается у насъ время перехода, означенное бездѣйствіемъ почти всѣхъ нашихъ поэтовъ, которые, въ послѣднее время, вода слегка привычными пальцами по струнамъ, дремали, дремали, и теперь заснули на своихъ лирахъ, и спать до новаго пробужденія!

И такъ—спокойной ночи, пріятнаго сна гг. поэтамъ!... Пока они проснутся отъ скрыша октавъ г. нововводителя, мы рѣшимъ и безъ нихъ, почему эти октавы не произвели никакихъ слѣдствій: потому что явились немного рано, во время перехода, а не по его окончаніи. Нашъ слухъ только окрѣпаетъ, но еще не окрѣпъ; новыя октавы немного дерутъ его. Но погодите, скоро онъ прислушается къ этому, особливо, когда молодое поколѣніе, внявъ голосу г. реформатора, придетъ къ нему на помощь. Подвигъ великій; интересъ всеобщій, вопросъ мировой! Дѣло идетъ о судьбѣ искусства въ Россіи, которое непремѣнно погибнетъ безъ октавъ: такъ молодому ли поколѣнію оставаться празднымъ, когда его дѣятельности предстоить такое обширное поле!...

Не хотите ли знать, какъ пришла г. Шевыреву эта прекрасная мысль? Послушаемъ его самого:

Съ послѣдними звуками нашей монотонной Музы въ ухахъ, и ухахъ въ Италію... Долго я не слыхалъ русскихъ стиховъ, которые памяты мнѣ были только своимъ однозвучіемъ (?!?!)... Вслушиваясь въ сильную гармонію Данте и Тасса... Обратился къ нашимъ первымъ мастерамъ—нашелъ въ нихъ силу... устыдился изнѣженности, слабости и скудости нашего современнаго языка русскаго... Всѣ свои чувства и мысли объ этомъ я выразилъ тогда въ моемъ посланіи къ А. С. Пушкину, какъ представителю нашей поэзіи. Я предчувствовалъ необходимость переворота въ нашемъ стихотворномъ языкѣ; мнѣ думалось, что сильныя, огромныя про-

извѣдѣнія Музы не могутъ у насъ явиться въ такихъ тѣсныхъ скудныхъ формахъ языка; что намъ нуженъ большой просторъ для новыхъ подвиговъ. Безъ этого переворота не создать свое великое, не переводить творенія чужія мнѣ казалось и кажется до сихъ поръ невозможнымъ (???). Но я догадывался также, что для такого переворота надо всѣмъ замолчать на нѣсколько времени, надо отучить слухъ публики отъ дурной привычки... Такъ, теперь и дѣлается. Поэты молчатъ. Первая половина моего предчувствія сбылась: одно сбудется и другая.

Пока сбудется вторая половина предчувствія г. Шевырева, подивимся, какъ много новыхъ истинъ заключается въ немногихъ его строкахъ, выписанныхъ нами! Мы думали, что, напримѣръ, стихи Пушкина памятны всякому образованному Русскому своимъ высокимъ художественнымъ достоинствомъ, а не однимъ своимъ однозвучіемъ: теперь ясно, что мы ошибались! Потому, мы думали, что «сильныя, огромныя произведенія Музы» могутъ являться такъ же хорошо и въ «тѣсныхъ и скудныхъ формахъ языка», какъ въ широкихъ и богатыхъ, основываясь на примѣрѣ Шекспира и Байрона, которые заковывали свои исполинскія созданія въ бѣдныя и однообразныя метры англійскаго стихосложенія, и которые, право, не ниже хоть, напримѣръ, господина Виргилія, отъа немного тощей мыслями «Энеиды», хотя писанной богатымъ, роскошнымъ гекзаметромъ: и это наше мнѣніе оказалось ложнымъ. Наконецъ, «намъ надо всѣмъ замолчать на нѣсколько времени (вотъ въ этомъ-то мы вполне согласны съ г. Шевыревымъ!), надо отучить слухъ публики отъ дурной привычки... Такъ теперь и дѣлается... Поэты молчатъ». А! такъ вотъ почему они молчатъ?... Они ожидали реформы, а не по неимѣнію голоса?... Боже мой! какъ много новаго можно иногда сказать въ немногихъ словахъ!...

Я самъ знаю недостатки моей копія. Стихи мои слишкомъ рѣзки, часто жестки и даже грубы.

Мы съ этимъ совсѣмъ несогласны; но не хотимъ опровергать скромнаго переводчика, потому что приведенныя нами

въ примѣръ двѣ октавы его могутъ служить самымъ убѣдительнымъ опроверженіемъ этихъ словъ... Но довольно объ октавахъ!

Теперь слѣдуетъ разборъ г. Шевырева стихотвореній г. Бенедиктова. Этотъ разборъ важнѣе всего: онъ доставилъ новому стихотворцу большую извѣстность; на крайней мѣрѣ въ Москвѣ. И неудивительно: этотъ разборъ есть истинный диамантъ, истинное изліяніе восторженнаго чувства: это, доказываетъ и непомянутое обиліе точекъ послѣ каждаго періода, и необыкновенная живѣе всего дѣйствительность языка... Тамъ, строжайшему разбору должны бы подвергнуться этотъ разборъ; но, съ одной стороны, у него достанетъ духа холоднаго, прозаическаго разсудка опровергать пламенную поэзію чувства, плодомъ котораго былъ этотъ вдохновенный разборъ? съ другой же стороны, я твердо рѣшился ничего больше не говорить о стихотвореніяхъ г. Бенедиктова; тѣмъ болѣе, что моя рѣшительность сдѣлалась еще тверже, когда я прочелъ въ «Библіотекѣ для Чтенія» новое стихотвореніе этого поэта «Кудри», гдѣ онъ говоритъ, какъ пріятно «наматывать на цѣпелъ кудри и прищипывать ихъ поцѣлуями»: что можно сказать противъ такой поэзіи?

Но оставляя въ сторонѣ вопросъ о стихотвореніяхъ г. Бенедиктова, взглянемъ на статью г. Шевырева, взглянемъ хладнокровно и даже холодно: мы не остудимъ этимъ ея теплоты. Сначала критикъ радуется звукамъ новой лиры, внезапно раздавшейся среди всеобщаго затишья нашихъ лиръ. И такъ еще старые поэты спятъ (да продлитъ Господь ихъ сонъ!), они еще не проснулись, а ужъ явился новый поэтъ съ чѣмъ же? съ актавою?... О, нѣтъ! съ прежними монотонными ямбами, хоремми, амфибрахиями—но за то «съ глубокою мыслию на челѣ, съ чувствомъ нравственнаго цѣломудрія, и даже съ нѣкоторымъ опытомъ жизни». Такъ, стало быть, и безъ октавъ можно еще быть глубокимъ въ мысляхъ и, слѣдовательно, глубокимъ въ чувствахъ?... Потомъ, критикъ спраши-

васть себя, что ему дѣлать отъ такой внезапной радости: «поздравить ли русскую публику съ великимъ поэтомъ, или сохранить строгую неподвижность, какъ будто недоступную никакому насилію впечатлѣнія, сказать только: хорошо, но посмотримъ!» и тѣмъ ваять на себя «душегубство неразвившагося таланта»?... Критикъ не долго думалъ и, разумѣется, рѣшился на первое, а мы пока остановимся на «душегубствѣ».

Есть странное мнѣніе, что строгій и рѣзкій приговоръ можетъ убить неразвившееся дарованіе. Правда ли это? Положимъ, если и можетъ — тогда что жъ за бѣда такая?... Къ чему эти поэты, которыхъ заставляетъ замолчать первая выходка критики, какъ раскричавшагося ребенка лоза няньки? — Истиннаго и сильнаго таланта не убьетъ суровость критики, такъ какъ незначительнаго не подыметъ ея привѣтъ. Поэтомъ можетъ назваться только тотъ, кто не можетъ не писать, кто не въ силахъ удерживать вѣчно пламенныхъ порывовъ своей фантазіи. Вспомните, какъ встрѣченъ былъ Байронъ; вспомните, какъ встрѣченъ былъ нашъ Пушкинъ: что жъ — испугался ли тотъ и другой? Первый отвѣчалъ желчною сатирою и «Чайльдъ-Гарольдомъ»; второй тоже продолжалъ идти впередъ и, какъ будто тѣшась надъ своими аристархами, припечаталъ ихъ поученія ко второму изданію «Руслана и Людмилы». Въ истинномъ поэтѣ предполагается глубокая вѣра въ свое призваніе; притомъ же, если критика несправедлива, она встрѣчаетъ сильную оппозицію въ публикѣ.

Въ западной Европѣ еще можетъ имѣть смыслъ это мнѣніе, у насъ же рѣшительно никакого; тамъ, если осмистано первое произведеніе неразвившагося таланта, этотъ талантъ можетъ умереть съ голоду, прежде нежели напишетъ второе произведеніе, которое должно поднять его во мнѣнія публики; у насъ, слава Богу, никто съ голоду не умираетъ, и вопросъ о жизни и смерти не рѣшается изданіемъ книжки стихотвореній?

Нѣтъ, не нужно намъ постовъ, которыхъ талантъ можетъ убить первая строгая или несправедливая критика; у насъ и

такъ ихъ много; если критика заставитъ хоть одного изъ нихъ благоразумно замолчать, то сдѣлаетъ очень доброе дѣло...

Послѣ могучаго, первоначальнаго періода созданія языка, разцвѣтъ въ нашей поэзіи періодъ формъ самыхъ изящныхъ, самыхъ утонченныхъ... Это былъ періодъ картинъ, роскошныхъ описаній, гармоніи чудесной, живой, хотя однообразной, нѣги, иногда глубины чувства, растворенной тоскою о прошломъ... Однимъ словомъ, это была эпоха изящнаго матеріализма въ нашей поэзіи... Слухъ нашъ дрожалъ отъ какой-то роскоши раздражительныхъ звуковъ... упивался, или скользилъ по нимъ, иногда не вслушивался въ нихъ... Воображеніе наслаждалось картинами, но болѣе чувственными... Иногда только внутреннее чувство, чувство сердечное, и особенно чувство грусти неземной вліяло чѣмъ-то духовнымъ въ поэзіи... Но матеріализмъ торжествовалъ... Формы убивали духъ...

Вотъ приступъ г. Шевырева къ похвальному слову г-ну Бенедиктову. Послѣ этого приступа, онъ говоритъ:

Есть другая сторона въ поэзіи, другой міръ — міръ мысли, міръ идеи поэтической, которая скрыта глубоко. Въ нѣкоторыхъ современныхъ повтахъ проявилось стремленіе къ мысли, но было частію слѣдствіемъ не столько поэтическаго, сколько философическаго направленія, привитаго къ намъ изъ Германіи... Для формъ мы уже сдѣлали много, для мысли еще мало, почти ничего. Періодъ формъ, періодъ матеріальный, языческій, однимъ словомъ, періодъ стиховъ и пластицизма уже кончился въ нашей литературѣ слоговзвучною сказкою; пора наступить другому періоду, духовному, періоду мысли.

Нужно ли говорить, кто у г. Шевырева является главою этого ожиданнаго періода мысли въ исторіи нашей литературы?... Довольно, остановимся на этомъ.

И такъ, первый русскій поэтъ, созданія котораго проникнуты мыслию, есть—г. Бенедиктовъ!... Поздравляемъ г. Шевырева съ открытіемъ, а публику съ пріобрѣтеніемъ!... У насъ шутить не любятъ; какъ примутся хвалить, такъ какъ разъ въ боги запишутъ и храмъ соорудать. Но пусть такъ—похвала отъ убѣжденія не бѣда; но вѣдь убѣжденіе-то должно же быть согласно съ здравымъ смысломъ? Но отдавая должное г. Бенедиктову, г. Шевыревъ долженъ же былъ, по своему жъ убѣжденію, не обижать заслуженныхъ корифеевъ нашей ли-

тературы?... Такъ г. Бенедиктовъ выше Пушкина, Жуковскаго, Грибоедова, не говоря уже о Козловѣ, Подолинскомъ, Веневитиновѣ, О. Глинкѣ и другихъ?... Когда у насъ былъ этотъ «періодъ картинъ, роскошныхъ описаній», эта «эпоха изящнаго матеріализма»?... Кто ея представители?... Гг. Языковъ и Хомяковъ, изъ которыхъ первый есть неоспоримо поэтъ, поэтъ истинный, но поэтъ именно картинъ, роскошныхъ описаній, поэтъ изящнаго матеріализма; второй же блѣднѣйшій поэтъ выраженія, и только выраженія, поддѣлывающійся подъ мысль, но сильный однимъ только выраженіемъ!... Если такъ, то мы совершенно согласны съ г. Шевыревымъ; но вѣдь гг. Языковъ и Хомяковъ ни суть представители всей нашей поэзіи, но вѣдь они стоятъ и не въ первомъ ряду нашихъ поэтовъ, которыхъ, впрочемъ, такъ немного, но вѣдь остаются еще Пушкинъ, Жуковский, Грибоедовъ, впереди которыхъ нѣтъ никого, и за которыми стоятъ еще и другія дарованія, кромѣ гг. Языкова и Хомякова. Пушкинъ можетъ принадлежать къ періоду «изящнаго матеріализма» только «Русланомъ и Людмилою». Развѣ въ Черкешенкѣ его «Кавказскаго Пльнника» нѣтъ идеи, нѣтъ мысли? Развѣ его Зарема, Марія, Гирей, его Алеко, Земфира, словомъ, вся поэма «Цыгане», не суть произведенія мысли глубокой, могучей, поэтической? А Марія, Мазепа, Кочубей «Полтавы» — въ нихъ тоже нѣтъ мысли? А Годуновъ — неужели въ немъ меньше мысли, чѣмъ въ стихотворныхъ побрякушкахъ г. Бенедиктова? А «Онѣгинъ», этотъ живой, движущійся міръ лицъ, мыслей, чувствъ?... Теперь о Жуковскомъ. Конечно, многія его піесы, какъ-то: «Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ», «Пѣвецъ на Кремль», «Пѣснь Барда надъ гробомъ Славянъ-побѣдителей», большая часть посланій, нѣкоторые переводы, какъ, наприм., «Пиршество Александра» изъ Драйдена, большая часть балладъ — конечно, все это не поэзія въ собственномъ смыслѣ, все это не больше, какъ прекрасные стихи, которые, все-таки въ миллионъ разъ лучше стиховъ г. Бенедиктова; но за Жу-

ковскимъ остаются еще его элегіи, романы, пѣсни, переводныя и оригинальныя, его «Ахиллъ» и «Ослова Арфа», его переводъ «Юанны д'Аркъ»: развѣ во всемъ этомъ нѣтъ мысли, нѣтъ идеи, развѣ все это относится къ періоду «изящнаго матеріализма, періоду фетишъ, поглощавшихъ идеи»?... Странно!... «Горе отъ Ума» тоже прекрасно однимъ «формами» и лишено мысли, идеи... Не понимаемъ!... И такъ даже самъ Пушкинъ ниже г. Бенедиктова?... Поздравляемъ!... Вотъ вамъ заслуга, вотъ вамъ слава ваша, поэты!

Вотъ ваши строгіе цѣнители и судьи!

Да, впрочемъ, что жъ тутъ неурядица для поэтовъ? Они могутъ отвѣчать намъ стихомъ изъ той же комедіи:

А судьи—кто?...

Повторю—убѣжденіе прекрасно, но оно должно быть основано, по крайней мѣрѣ, хоть на здоровомъ смыслѣ, если не на чувствѣ, не на умѣ, иначе это убѣжденіе будетъ хуже неспособности имѣть какое-либо убѣжденіе. Въ этомъ случаѣ, мы говоримъ смѣло и твердо: мы опираемся на публику, на всѣхъ образованныхъ людей, на здравый смыслъ, на умъ, на чувство.

Другое дѣло — достоинство стихотвореній г. Бенедиктова: оно еще можетъ быть, до нѣкоторой степени и для нѣкоторыхъ людей, спорнымъ вопросомъ; но такія гиперболическія похвалы—воля ваша—онѣ похожи на оду какого-нибудь Гафиза или Саади персидскому шаху...

Но этимъ мы все кончилось: вотъ еще мысль г. Шевырева, которая удивляетъ своею странностію, по крайней мѣрѣ, насъ:

Я съ полнымъ убѣжденіемъ вѣрю въ то, что только два способа могутъ содѣйствовать къ искушенію падшей поэзіи: во первыхъ, мысль; во вторыхъ, глубокое своенародное изученіе древнихъ и новыхъ произведеній народовъ.

Нѣтъ, эти два способа сами по себѣ ничего не значать; они могутъ имѣть смыслъ только при третьемъ способѣ: при

появленіи на поприщѣ литературы истинныхъ и великихъ поэтовъ, которыхъ нельзя сдѣлать никакими способами.

Послѣ этого г. Шевыревъ говоритъ, что первая отличительная черта стихотвореній г. Бенедиктова есть мысль, и, въ доказательство, выписываетъ плохенькое стихотвореньице «Цвѣтокъ» и знаменитый «Утесъ». Вторую отличительную черту стихотвореній г. Бенедиктова онъ полагаетъ «могучее нравственное чувство добра, слитое съ чувствомъ цѣломудрія» *). Потомъ слѣдуютъ комплименты и выписки піесъ.

Теперь дохожу до статьи г. Шевырева о драмѣ Альфреда де Виньи «Чаттертонъ». Критикъ разсматриваетъ ее съ двухъ сторонъ: сперва въ отношеніи къ ея идеѣ, потомъ въ отношеніи ея художественнаго исполненія. Мы особенно займемся первою частью его статьи, которая и полнѣе, и подробнѣе, и гораздо важнѣе въ томъ смыслѣ, что въ ней съ горячимъ убѣжденіемъ выдается за непреложную истину ужасный парадоксъ. Во второй части статьи сказано очень мало и сказано то, что можно сказать объ этой драмѣ, даже и не читавши ея, но зная характеръ и господствующую идею въ твореніяхъ де Виньи и соображаясь съ сужденіями французскихъ критиковъ. Г. Шевыревъ отдаетъ справедливость автору за его умѣренность въ ужасахъ, на которые такъ неуѣднѣнна вообще вся современная французская литература, за простоту и естественность въ ходѣ его піесы, чуждой всѣхъ натяжекъ, подставокъ и театралныхъ эффектовъ искусственной мѣзы Виктора Гюго. Г. Шевыревъ говоритъ, что отличительный характеръ нынѣшней французской литературы состоитъ въ ея зависимости отъ всѣхъ европейскихъ литературъ, такъ какъ прежде, отличительный характеръ всѣхъ европейскихъ литературъ состоялъ въ зависимости отъ французской; но въ то

*) Это чувство цѣломудрія особенно выразилось въ его піесѣ „Назадница“, которой мы не выписываемъ, хотя бы это было теперь и кетати, потому что имѣемъ свои понятія о чувствѣ цѣломудрія и боимся оскорбить въ нашихъ читателяхъ это чувство.

же время, г. Шевыревъ признается, что Французы, беря чужое, любятъ переименовывать его по своему, или, какъ онъ говорить, преувеличивать (*exagèrer*), и что, поэтому, отличительный характеръ ихъ произведеній состоитъ въ преувеличеніи (*exagération*). По его мнѣнію, поэзія Виктора Гюго есть «вогнутое зеркало, гдѣ исказилась поэзія Шекспира, Гёте и Байрона, гдѣ романтизмъ (?) британо-германскій взбилъ хохоль до потолка, вытянулъ лицо и всталъ на дыбы, и совершенно обезобразилъ свое естественное, выразительное лицо», и что поэтому она есть «клевета не только на романтизмъ (?), но и на природу человѣческую». Это совершенная правда, по крайней мѣрѣ, въ отношеніи къ драмамъ Гюго, которыя суть истинная клевета на природу человѣческую и на творчество; но въ подражаніи ли, въ зависимости ли отъ Шекспира, Гёте и Байрона, заключается причина этого?... Намъ кажется, что эта причина гораздо ближе, что она въ господствѣ идеи, которая не связана съ формою, какъ душа съ тѣломъ, но для которой форма прибирается по прихоти автора, у котораго идея всегда одна, всегда готовая, всегда отрѣшенная отъ всякаго образнаго представленія, никогда не проходящая чрезъ чувство; слѣдовательно, чисто философская задача ума, рѣшаемая логически, и у котораго форма составляется послѣ идеи, вырабатывается отдѣльно отъ нея, составляеть для нея не живое и органическое тѣло, съ уничтоженіемъ котораго уничтожается и идея, а одежду, которую можно надѣть и опять снять, и перекроить, и перешить, и въ которой главное дѣло въ томъ, чтобы она была впору, сидѣла - плотно, безъ складокъ и морщинъ. Въ Гюго нельзя отрицать поэтическаго элемента, но онъ совсѣмъ не драматикъ, онъ идетъ по пути ложному, выбранному вслѣдствіе системы, а не безотчетнаго стремленія. И это очень понятно: онъ явился въ эпоху умственнаго переворота, въ годину реформы въ понятіяхъ объ изящномъ, и потому часто творилъ не для творчества, а для оправданія своихъ понятій объ искусствѣ; сло-

вомъ, Гюго есть жертва этого нелѣпаго романтизма, подъ которымъ разумѣли эманципацию отъ ложныхъ законовъ, забывъ, что онъ долженъ былъ состоять въ согласіи съ вѣчными законами творящаго духа. Странное дѣло! объ этомъ романтизмъ толковали и спорили и въ Германіи, и въ Англіи, но онъ тамъ не сдѣлалъ никакого вреда, вѣроятно, потому, что его тамъ понимали настоящимъ образомъ. Обратимся къ Альфреду де Виньи. У него есть тоже идея, и идея постоянная, но эта идея у него въ сердцѣ, а не въ головѣ, и потому не вредитъ его творчеству. Какъ всякій поэтъ съ истиннымъ дарованіемъ, онъ простъ, неизысканъ, естественъ, добросовѣстенъ, и потому болѣе поэтъ, нежели Гюго. Что же касается вообще до всей французской литературы, то намъ кажется, что, несмотря на всю свою народность, она не народна, что всѣ ея корифеи какъ будто не въ своей тарелкѣ, и потому, при всей блистательности своихъ талантовъ, не могутъ создать ничего вѣчнаго, безсмертнаго.

Французъ весь въ своей жизни, у него поэзія не можетъ отдѣлаться отъ жизни, и потому его родъ не драма, не комедія, не романъ, а водевиль, пѣсня, куплетъ и, развѣ еще, повѣсть. Беранже есть царь французской поэзіи, самое торжественное и свободное ея проявленіе; въ его пѣсни и шутка, и острота, и любовь, и вино, и политика, и между всѣмъ этимъ, какъ бы внезапно и неожиданно сверкнетъ какая-нибудь человѣческая мысль, промелькнетъ глубокое или восторженное чувство, и все это проникнуто веселостью отъ души, какимъ-то забвеніемъ самого себя въ одной минутѣ, какою-то застольною беззаботливостью, пиршественною безпечностью. У него политика—поэзія, а поэзія—политика, у него жизнь—поэзія, а поэзія—жизнь. И вотъ поэзія Француза: другой для него не существуетъ. Онъ мастеръ еще рассказывать, какъ справедливо замѣтилъ г. Шевыревъ; но его не станетъ на долгій рассказъ, его рассказъ — мимолетный эпизодъ, черта изъ жизни, и не романъ, а повѣсть его законный родъ. И

посмотрите, какъ эта повѣсть удалась ему, какъ она владычествуетъ надъ его досугомъ, его мыслию. Но это опять-таки повѣсть французская, синтетическая картина внѣшней жизни, а не аналитическая исторія души, сосредоточенной въ самой себѣ, какъ у Нѣтцше, и притомъ не въ фантастическихъ попыткахъ, не въ психическихъ опытахъ, которые всегда неудачны, а въ представленіи внѣшней, общественной жизни. Герой Нѣтца сидитъ на бѣдномъ чердакѣ и, мученикъ мысли, то выпытываетъ изъ своей головы теорію звука, тайну его вліянія на душу, то мученикъ своего растроеннаго воображенія, представляетъ себя жертвою какого-то враждебнаго духа, то создаетъ себѣ идеалъ женщины и воспламененный имъ, возвышается до тоніальной дѣятельности въ искусствѣ, и, потомъ, нашедши осуществленіе этого идеала не въ ангелѣ, не въ пери, а въ смертной женщинѣ, сдѣлавшись ея обладателемъ, начинаетъ ненавидѣть ее, своихъ дѣтей, самого себя, и оканчиваетъ все это бумажествомъ: вспомните «Кремонскую Скрипку», «Песочнаго Человѣка», «Живописца» Гофмана. У Француза герой представляется иногда на чердакѣ, или въ какомъ-нибудь мѣщанскомъ пансіонѣ матушки Вокеръ, но съ этого чердака душа его стремится не на небо, но въ преисподнюю, не въ міръ волшебства и фантазій, жаждетъ не внѣшней жизни, не любви сосредоточенной, затворнической, внѣ жизни, не тѣснаго міра вдвоемъ, томится не мыслию, не идеєю, а рвется на балъ, на паркетъ, гдѣ море огня, гдѣ блескъ и радость, громъ музыки и танцы, гдѣ герцогини и маркизы, жаждетъ эффектовъ, хочетъ блистать, удивлять, желаетъ любви, но открытой, но могущей доставить ему торжество, возбудить къ нему зависть... Да—пусть будетъ все такъ, какъ должно быть—тогда все будетъ хорошо и прекрасно. Не хлопчите о воплощеніи идей: если вы поэтъ—въ вашихъ созданіяхъ будетъ идея: даже безъ вашего вѣдома; не старайтесь быть народными: слѣдуйте свободно своему вдохновенію—и будете народны, сами не зная какъ; не заботь-

тесь о нравственности, но творите, а не дѣлаете—и будете нравственны, даже на зло самимъ себѣ, даже усиливаясь быть безнравственными!...

Альфредомъ де Виньи овладѣла мысль о бѣдственномъ положеніи поэта въ обществѣ, о его враждебномъ отношеніи къ обществу, которому онъ служить, и которое, въ награду за то, допускаетъ его умереть съ голоду. Эту идею онъ выразилъ въ своемъ превосходномъ сочиненіи «Стелла». Мы еще не успѣли изгладить грустныхъ впечатлѣній, произведенныхъ на насъ судьбою Чаттертона, какъ его творецъ даритъ насъ опять тѣмъ же Чаттертономъ, но только въ новой формѣ, уже въ драмѣ, а не въ повѣсти. Въ мысли Альфреда де Виньи много истины. Но не такую показалаъ она г. Шевыреву, и онъ напалъ на нее стремительно, опровергаетъ ее съ какимъ-то ожесточеніемъ, какъ явную нелѣпость, какъ клевету на общество. Разсмотримъ этотъ вопросъ.

Не имѣя подъ рукою драмы де Виньи, мы принуждены воспользоваться нѣсколькими строками перевода г. Шевырева изъ предисловія автора.

Развѣ вы не слышите звуковъ удивленныхъ пистолетовъ? Ихъ удары краснорѣчивѣе, чѣмъ мой слабый голосъ. Не ослышате ли вы, какъ эти отчаянные юноши просятъ насущнаго хлѣба, и никто не платитъ имъ за работу? Какъ! Ужели нація до такой степени лишена избытка? Ужели отъ дворцовъ и милліоновъ, нами расточаемыхъ, не остается у насъ ни чердака, ни хлѣба для тѣхъ, которые безпрестанно покушаются насильно идеализировать ихъ націю? когда перестанемъ мы отвѣчать имъ: «deserve and die» (отчаявайся и умирай)? Дѣло законодателя излѣчить эту рану, самую живую, самую глубокую рану на тѣлѣ нашего общества, и проч.

Первая половина мысли Альфреда де Виньи очень вѣрна, вторая очень ложна. Поэтъ природою поставленъ во враждебныя отношенія съ обществомъ; общество предполагаетъ нѣчто положительное, матеріальное, а царство поэта не отъ міра сего. Теперь, возможно ли примирить поэта съ жизнью, не поссоривъ его съ поэзіею? поэтъ погибаетъ часто жерт-

вою общества, и общество въ этомъ нисколько не виновато. Объяснимся.

Является поэтъ съ истиннымъ талантомъ. Кто судья его таланта? Общество. Теперь, можетъ ли оно судить всегда безошибочно и безпристрастно? Но общество имѣетъ своихъ представителей; следовательно, на нихъ лежитъ ответственность за гибель поэта! Хорошо; но развѣ эти представители также не могутъ ошибаться на счетъ его достоинства, особливо, когда онъ не приобрѣлъ еще никакого авторитета? Какъ назначать они ему пенсію, если онъ еще не показалъ своего таланта во всей его силѣ? А когда онъ покажетъ его, ему уже не нужно пенсіи: его творенія расходятся. Неужели общество должно кормить всякаго, кто только назоветъ себя поэтомъ? Въ такомъ случаѣ, оно само умерло бы съ голоду. И всегда ли общество является гонителемъ и врагомъ поэта? Оно изгнало Тасса; но не за поэзію, а за любовь, на которую не почитало его въ правѣ; оно изгнало Данта, но не за поэзію, а за участіе въ политическихъ дѣлахъ; оно низко оцѣнило Мильтона, за то какъ лелѣяло Расина и Мольера! Если Мильтонъ точно великій поэтъ, то общество потому не оцѣнило его, что, по своему образованію, было не въ силахъ этого сдѣлать. Чѣмъ же оно виновато въ отношеніи къ поэту? Ничѣмъ. И между тѣмъ поэтъ все-таки умираетъ, умираетъ и будетъ умирать съ голоду среди его, среди этого общества, столь благосклоннаго къ нему, столь лелѣющаго его. Въ чемъ же причина этого противорѣчія?

Альфредъ де Виньи показываетъ Чаттертона, питающагося почти подаяніемъ, выпивающаго склянку съ ядомъ; Жильбера—при смерти проклинающаго своего отца и мать за то, что они выучили его грамотѣ и тѣмъ оторвали отъ плуга и обратили къ перу; Шенье—на гильотинѣ; ссылается на pistolетные выстрѣлы, на вопль: «хлѣба! хлѣба!»

Г. Шевыревъ говоритъ, что все это преувеличено даже въ отношеніи къ прежнимъ временамъ, и совершенно ложно

въ отношеніи къ настоящему времени; что нынѣ поэтъ — богатъ, весь въ золотѣ, окруженный мраморомъ и бронзою, не только всѣми удобствами цивилизации, но и всѣми ея прихотями, и, въ доказательство своего мнѣнія, съ торжествомъ указывать на Вальтеръ-Скотта, Гёте, Байрона, даже на самого де Виньи, который, по его мнѣнію, клеветаетъ на общество, заступається за бѣднаго собрата въ кабинетѣ, украшенномъ всею роскошью парижской промышленности, лежа на бархатной подушкѣ; и, когда кончилъ свою повѣсть о бѣдствіяхъ Чаттертона, весьма сытно и вкусно поужиналъ, въ полномъ удовольствіи отъ своего труда.

Вальтеръ-Скоттъ, Гёте и Байронъ!... Да, это примѣры блистательные, но, къ несчастію, не доказательные. Вальтеръ-Скоттъ точно было разбогатѣлъ, и разбогатѣлъ своими литературными трудами; но за то на долго ли? Онъ умеръ почти банкротомъ. Богатство Гёте зависѣло не столько отъ его литературной дѣятельности, сколько отъ особеннаго стеченія обстоятельствъ; не всякому какъ Гёте удастся выхлопотать у всѣхъ нѣмецкихъ правительствъ привилегію противъ контрфакцій и, такимъ образомъ, сдѣлаться монополистомъ своихъ произведеній; а безъ этой мѣры нѣмецкій литераторъ не разбогатѣетъ. Что касается до Байрона — о немъ и говорить нечего; Байронъ былъ лордъ Британіи!... Г. Шевыревъ продол-
должаетъ:

Развѣ вы не помните процесса Виктора Гюго съ его книгопродавцемъ, процесса, который кончился не къ славы перваго поэта Франціи?... Г. де Ламартину, вѣроятно, съ большимъ барышемъ окупилъсь все издержки его путешествія на Востокъ?... Давно ли Дюма, нищимъ пришедшій въ Парижъ, давалъ баты для своихъ друзей и парижскихъ красавицъ?... Какой изъ современныхъ поэтовъ Франціи не ведетъ обширныхъ счетовъ съ Евгениемъ Радюземъ? Какой изъ нихъ не ѣздитъ въ каретахъ, не живетъ въ комнатахъ бронзовыхъ, зеркальныхъ и бархатныхъ?...

Все это прекрасно, но все это, къ несчастію, мечты, а не дѣйствительности! Всѣ литературныя знаменитости современ

ной Франціи живутъ въ довольствѣ, но не богатствѣ, живутъ какъ порядочные bourgeois и занимаютъ квартиры удобныя и просторныя, хорошо и со вкусомъ меблированныя, не простыя и обыкновенныя, а не дворцы; нѣкоторые, можетъ-быть, имѣютъ и свои кареты, но большая часть катается въ наемныхъ; золото же, мраморъ и бархаты они видятъ и часто, но только не у себя дома. Это можно сказать смѣло. Чтобъ жить такъ роскошно, какъ описываетъ г. Шевыревъ, надо получать полмилліона ежегоднаго дохода; а кто изъ нихъ ежегодно получитъ и пятую долю этой суммы? Нѣтъ, что ни говорите, а огромный домъ въ Сен-Жерменскомъ предмѣстьѣ и родовое имѣніе, дающее въ годъ сто или двѣсти тысячъ ливровъ, вѣрнѣе и надежнѣе всякаго таланта, всякаго генія, какъ бы тотъ или другой великъ ни былъ. Тамъ только получай и пользуйся, ни о чемъ не думая и не унижая своего человѣческаго достоинства житейскими хлопотами желудка ради; здѣсь непрерывный трудъ и работа, часто уклоненіе отъ своего назначенія, иногда потеря души, для удовлетворенія бѣдной человѣческой природы, требованій прихотей и общежитія. Чтобы увидѣть во всей ясности всю неосновательность мнѣнія г. Шевырева, стоитъ только указать на поѣздку Дюма въ Швейцарію, которую онъ приводитъ, какъ доказательство несмѣтнаго богатства, стяжаннаго талантомъ: намъ изъ достоверныхъ источниковъ извѣстно, что мѣсто въ дилижансѣ, отъ Париза до Базеля, стоитъ шестьдесятъ франковъ, и что потомъ шести сотъ франковъ слишкомъ достаточно, чтобъ объѣздить всю Швейцарію; а Дюма ходилъ пѣшкомъ, что еще дешевле. Гдѣ жъ логика?...

Правда, въ нашъ вѣкъ поэтъ не есть пасынокъ общества, напротивъ, онъ его любимое, балованное дитя; толпа уже не косится на него съ презрѣніемъ или лаемъ, но съ почтеніемъ разступается предъ нимъ и даетъ дорогу, даже не понимая, что онъ такое. Даже и у насъ, на святой Руси, сильный, богатый баринъ почитаетъ за честь знакомство съ извѣстнымъ

поэтомъ, читаетъ его стихи, прислушивается къ говору сужденій, чтобъ уметь сказать при случаѣ слова-два о его стихахъ, словомъ, смотреть на поэта, не только какъ не на без-полезную, но даже какъ на очень полезную мебель для украшенія своей гостиной на нѣсколько часовъ. И у насъ, говорю я, богатый и знатный баричъ, привилегированный гражданинъ модныхъ залъ, бьется изо всѣхъ силъ, низко кланяется журналисту, чтобъ тотъ помѣстилъ въ своихъ листкахъ его стихи и далъ ему право назваться поэтомъ. По крайней мѣрѣ подобныя явленія теперъ не рѣдки. Но вотъ въ чемъ бѣда-то: общество иногда озолотитъ какого-нибудь Бальзака, и допустить умереть съ голоду какого-нибудь Шиллера, надѣнетъ вѣнокъ на голову какого-нибудь г. Больвера, и равнодушно пройдетъ мимо какого-нибудь Байрона. Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что оно уважаетъ идею поэта; но всегда ли оно безошибочно въ выборѣ своихъ кумировъ?... Истинное чувство не для всѣхъ доступно, глубокая мысль не для всѣхъ понятна; яркость красокъ, мастерская обработка формъ скорѣе бросаются въ глаза толпѣ, составляющей общество, и сильнѣе раздражаютъ ея зрительный нервъ; потому что въ этой толпѣ больше найдется людей со вкусомъ—этимъ плодомъ образованности и навыка, нежели съ чувствомъ—этимъ даромъ природы. Это можно приложить не къ одному искусству. Если вы съ жаромъ и убѣжденіемъ излагаете ваше душевное мнѣніе, съ тѣмъ, чтобъ приобрести этимъ извѣстность, обратить на себя общее вниманіе, а не изъ чистой, безкорыстной любви къ истинѣ—то не хлопчите лучше: васъ никогда не замѣтятъ, вы всегда останетесь въ заднихъ рядахъ, васъ оцѣнятъ только немногіе, только избранные, а эти немногіе, эти избранные не составляютъ общества, которое даритъ славой и авторитетомъ. Да! не хлопчите, или перемѣните свой образъ дѣйствования: замѣните основательную мысль звонкою фразой, теплое чувство громкою декламациею, благородную простоту выраженія цвѣтистою вычурностію, паркетною ма-

нерностию, изъ горячаго проповѣдника мысли сдѣлается до-
кимъ лекторомъ, который обо всемъ умѣетъ майтною ска-
зать и прилично, и умно, и красно: тогда толпа ваша—вла-
ствуете надъ нею! Эта мысль, оченъ вѣрна; самъ г. Шевыревъ
утверждаетъ ее, сказавши, что общество раздвигаетъ поэта,
что, въ вѣнѣ своихъ милостей, своихъ даровъ, оно отни-
маетъ у него независимость, въ образѣ дѣйствования, застав-
ляетъ его поддаваться подъ свой характеръ, дѣлаетъ его
своимъ дѣстцомъ. Да! нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что поэтъ
и общество стоятъ во враждебныхъ отношеніяхъ другъ къ
другу, что они естественные враги между собою. Съ одной
стороны, общество его душитъ ярже, чѣмъ узнаетъ о его
достоинствѣ; съ другой стороны, оно раздвигаетъ его своею
благоклонностию. Конечно, у насъ есть и защита противъ
него; въ первомъ случаѣ, какое-нибудь счастливое обстоя-
тельство, дающее ему средство придти, увидѣть и побѣдить;
во второмъ случаѣ, гений, или, по крайней мѣрѣ, слишкомъ
большой талантъ, слишкомъ вѣрный инстинктъ творчества.
Да! гения не убиваетъ обаяніе выгоды; оно убиваетъ Баль-
заковъ, Жаненовъ, Дюма, но не Байроновъ, не Гёте, не
Вальтеръ-Скоттовъ. Эти гении могутъ быть даже людьми
низкими, душами продажными—и все-таки золото бессильно
надъ ихъ вдохновеніемъ. Чѣмъ платилъ Гёте своимъ высо-
кимъ ласкателямъ? Двустѣніями на балы, глухими гекзамет-
рами, а не «Вертеровъ», не «Вильгельмомъ Мейстеромъ»,
не «Фаустомъ». На чѣмъ сбили Вальтеръ-Скотта, экономи-
ческіе расчеты и выкладки! На исторіи, а не на романѣ...

Странно и непонятно, какъ г. Шевыревъ не хотѣлъ ви-
дѣть, что въ наше время истинный талантъ и даже гений
можетъ точно умереть съ голоду, обезсиленный отчаянною
борьбою съ внѣшнею жизнью, непризнанный, поруганный!...
Неужели онъ не читалъ или забылъ прекрасную статью
«Литературное сотрудничество», помѣщенную въ четвертой
книжкѣ того журнала, въ которомъ онъ принимаетъ такое

дѣтельное участіе! Еслибы выписка не пришлась въ три или четыре страницы, мы представили бы изъ этой статьи такой сильный и ужасный фактъ, передъ которымъ должна пасть всякая теорія, всякое мнѣніе объ этомъ предметѣ *). Авторъ этой статьи Французъ, онъ писалъ по собственному опыту, писалъ съ неподдѣльнымъ жаромъ и убѣжденіемъ. Онъ представлялъ юношу, котораго природа назначила быть поэтомъ, а отецъ велѣлъ ему быть медикомъ. Юноша сначала принуждаетъ себя, но природа беретъ свое, и онъ рѣшительно бросаетъ ненавистную науку. «Ты хочешь быть независимымъ ни отъ кого въ своихъ занятіяхъ», пишетъ къ нему отецъ, будь же независимъ ни отъ кого и въ своемъ содержаніи». Молодой человекъ въ отчаяніи: внѣшняя жизнь опутываетъ его своими сѣтями, нищета и голодъ раздѣляютъ его высокій чердакъ, садятся съ нимъ за его шаткій столъ, ложатся съ нимъ на его жесткомъ ложѣ. У него нѣтъ денегъ, но есть талантъ, а слѣдовательно, и надежда: его голова горитъ, грудь тѣснится, и онъ торопится излить на бумагу тяготящее ихъ бремя, онъ работаетъ день и ночь. Драма готова; она, можетъ-быть, отличается всѣми недостатками перваго опыта, всею уродливостію, происходящею отъ несосредоточенности силъ, но она пламенна, жива, гениальна. Онъ несетъ ее къ директору театра, но директоръ поручаетъ ее на разсмотрѣніе чиновнику театральнаго правленія, который, по недосугамъ, отдаетъ ее своей женѣ. Наконецъ, пьеса одобряется; но она, какъ произведеніе молодого человека, должна быть поправлена театральнымъ поправщикомъ, а этотъ поправщикъ имѣетъ похвальное обыкновеніе оставлять развѣ третью часть труда автора, а двѣ приклеиваетъ свои. Молодой человекъ въ негодованіи беретъ назадъ свою драму и уходитъ домой. Еще прежде этого написалъ онъ прекрасный романъ: принесъ его къ книгопродавцу, который, какъ человекъ благовоспитанный, принялъ его очень

*) М. Н. 1835. кн. 4. стр. 714 722.

ласково и предложили ему триста франковъ, замѣтя однако, что въ условіи будетъ сказано: «двѣ тысячи», чтобы не оскорбить самолюбіе автора. Какъ отъ книгопродавца, такъ и отъ директора театра, молодой человекъ уходитъ со своею рукописью домой, а дома его ждетъ хозяйинъ съ требованіемъ платы за квартиру, трактирщикъ со счетомъ, лапочникъ съ другими; за ними рисуется изображеніе скорбной смерти и смотритъ на него, какъ на вѣрную добычу, и изъ-за этого скелета выглядываютъ, какъ примиритель и посредникъ, неясная мысль о самоубійствѣ... Юноша торжъ, какъ все люди съ сознаніемъ таланта, благороденъ, какъ все пылкіи души, міръ для него отвратителенъ, люди гады, жизнь гнусна; и вотъ раздается «уединенный выстрѣлъ пистолета», и вотъ умираетъ поэтъ среди общества, котораго онъ назначенъ былъ составлять славу, среди избытка роскоши и утонченъ цивилизаціи, среди шумнаго говора славы и изобилія, дѣлющихся такое множество его собратій по ремеслу, которые, можетъ быть, все ниже его своимъ талантомъ. И это еще во Франціи; что же въ Англіи, гдѣ кусокъ насущнаго хлѣба такъ дорогъ, гдѣ борьба съ вышинею жизнью такъ ужасна, требуетъ такихъ великихъ силъ, гдѣ люди такъ холодны, такъ эгоисты, такъ погружены въ себя и въ свои расчеты?... Видь не у всехъ же поэтовъ отцы богаты или достаточны, не у всехъ поэтовъ отцы не почитаютъ поэзіи пустымъ дѣломъ и не насилуютъ воли своихъ дѣтей. да иные поэты и не имѣютъ вовсе отцовъ, а бѣдный вездѣ виноватъ... О! много, много должно радоваться «уединеннаго выстрѣловъ пистолета»!... Альфредъ де Виньи, конечно, правъ!...

Эта исторія очень естественна и обычна, эта катастрофа очень возможна и неудивительна. Но Огюсть Люисъ, авторъ статьи, на которую я ссылаюсь, представляетъ эту катастрофу иначе, описываетъ самоубійство другаго рода, болѣе ужасное и позорное, чѣмъ то, возможность котораго представилъ и отъ себя. У него, молодой человекъ принимается за трудъ

начество, входить въ роль литературныхъ сдѣлкъ и подражъ, дѣлать своей талантѣ средствомъ; искусство — ремесломъ, лишается нерваго, теряетъ способность понимать второе, и съ гордостью повторять: «Мои актѣ играно до ста, а такого-то только сѣмьдесятъ восемь, несмотря на то, что онъ прежде меня, сталъ заниматься этимъ дѣломъ»!... Такое нравственное самоубійство не гибельнѣе ли физическаго?.. О! Альфредъ де Виньи очень правъ!...

Назвать идею Альфреда де Виньи ложною, г. Шевыревъ говоритъ, что ея неосновательность повредила и художественному исполненію драмы: скажите, Бога ради, можетъ ли это быть?... Ложность основной идеи можетъ повести къ ложнымъ выводамъ въ какомъ-нибудь логическомъ изслѣдованіи, что, напр., и сдѣлалось съ г. Шевыревымъ въ его статьѣ о драмѣ де Виньи; но въ художественномъ произведеніи идея всегда истинна, если вышла изъ души. Да и какое дѣло поэту, вѣрна или нѣтъ его идея? Развѣ онъ философъ, изслѣдователь! Шекспиръ въ своемъ «Отелло» выразилъ идею ревности, показалъ намъ ревность, не рѣшая, хорошее, или дурное это чувство. Возьмите любую восточную пѣсню Беранжа, въ которой онъ, подъ вдохновеніемъ веселости, въ прекрасныхъ, гармоническихъ стихахъ, не шутя утверждаетъ васъ, что, кромѣ вина и любви, все на свѣтѣ вадоръ, которыми глубоко заниматься мысль, само собою разумѣется, ложная, но пѣсня отъ того ни сколько не хуже. Поэтъ весь зависитъ отъ минуты, которая навѣваетъ на него вдохновеніе; Шиллеръ былъ душою пламенно-вѣрующая, а посмотрите, какое безотрадное, ужасное отчаяніе проглядываетъ въ каждомъ стихѣ его дивнаго «Resignation»... Еслибы идея Альфреда де Виньи была и ложная, его драма отъ того не могла быть хуже, потому что его идея ложная для васъ, для меня и для кого угодно, но не для него, который убѣжденъ въ ней и умомъ и чувствомъ, и потому мнѣ кажется очень неумѣстнымъ насмѣшливое предположеніе г. Шевырева, что

«его оиятельство, графъ Альфредъ де Виньи, въ ту семнадцатую ночь, когда убилъ своего героя полуголодною смертию, весьма сытно и вкусно поужиналъ, въ подомъ удовольствіи отъ своего труда». Да! эта штука мнѣ кажется тѣмъ болѣе неумѣстной, что де Виньи поэтъ съ истиннымъ талантомъ, поэтъ добросовѣтный, и что самъ онъ Шевыревъ отдаетъ похвалу его драмѣ; а можетъ ли быть, хорошо художественное произведеніе, когда оно на выстраданно, не вычувствовано, а хладнокровно придумано головою, отъ нечего дѣлать? Гдѣ же логика?

Теперь остается поговорить еще о двухъ статьяхъ г. Шевырева: въ одной заключается его отчетъ публичнъ о спектакляхъ гг. Каратыгиныхъ въ ихъ послѣдній приездъ въ Москву прошлаго года; другая содержитъ въ себѣ то, чего я тщасно ищу доселѣ — объясненіе направленія, вѣрованія, литературнаго ученія, задумешной идее «Московского Наблюдателя»; эта драгоценная для меня находка содержится въ первомъ номерѣ этого журнала за нынѣшній годъ, и ее я разсмотрю послѣ всѣхъ, ею заключаю мою статью и изъ ней выведу результатъ моихъ изслѣдованій насчетъ притики и литературныхъ мнѣній «Московского Наблюдателя».

Г. Шевыревъ отдаетъ отчетъ въ впечатлѣніяхъ произведенныхъ на него приездомъ четы Каратыгиныхъ: этотъ отчетъ, разумѣется, очень приятенъ для петербургскихъ артистовъ. И немудрено: это артисты высшего толка, и «Наблюдателю» невозможно не симпатизировать съ ними и не превознести ихъ до седьмаго неба. Въ самомъ дѣлѣ; какая грація въ манерахъ, какая живопись въ позѣхъ; какая торжественная декламация! Все это такъ вѣрно напоминаетъ золотыя времена классикама, немного напыщеннаго, немного на ходуляхъ, но за то благороднаго, бонтонаго, аристократическаго, съ гладкимъ и выплаженнымъ стихомъ, съ пѣвучею дикцію, съ минуэтною выступкою! Правду сказать, въ нихъ только и превосходно, что эта виѣшняя сторона искусства.

которая, конечно, важна въ артистѣ, но отнюдь не составляетъ его сущности, успѣхъ въ которой достигается изученіемъ, навыкомъ, рутинною, вкусомъ. Постойте—«вкусъ»!—остановимся на «вкусѣ»; давно и добирался до этого слова и до смерти радъ, что наконецъ добрался до него. Часто случается намъ читать и слышать выраженія: этотъ портъ отличается «вкусомъ», этотъ критикъ обладаетъ «вкусомъ»; у этого человѣка есть «вкусъ». Такія выраженія меня выводятъ изъ терпѣнія; я ненавижу слово «вкусъ», когда оно прилагается не къ столу, не къ галантерейнымъ вещамъ, не къ покрою платья, не къ водевилямъ и балетамъ, а къ произведеніямъ искусства. Это слово есть собственность, принадлежность XVIII вѣка, когда слово «искусство» было равносильно слову «savoir-faire», когда «творить» значило «отдѣлывать, выглаживать». Нашъ вѣкъ замѣнилъ слово «вкусъ» словомъ «чувство». Объяснимъ это примѣромъ. Вотъ картина, произведеніе великаго художника! Стоитъ передъ нею человекъ со вкусомъ: посмотрите, какъ умно и вѣрно судить онъ о ея перспективѣ, о ея отдѣлѣ въ цѣломъ и частяхъ, о расположеніи группъ, о соотношеніи частей съ цѣлымъ, о колоритѣ; посмотрите, какъ быстро замѣтилъ онъ, что рука у этой фигуры не на своемъ мѣстѣ и длиннѣе, чѣмъ должна быть, что вотъ здѣсь слишкомъ густа тѣнь, а здѣсь не достаетъ свѣта. Его судъ вѣренъ, но холоденъ, какъ судъ о паплетѣ или буржоашизмѣ. И что дало ему возможность судить такъ о картинѣ? Свѣтская образованность, привычка видѣть много хорошихъ картинъ и слышать сужденія о нихъ знатоковъ, навязъ, рутинна, словомъ—вкусъ! Теперь на эту же картину смотреть человѣкъ съ чувствомъ, хоть и не знатокъ: онъ безмолвно, благоговѣнно смотритъ на нее: теряясь, утопая въ своемъ восторженномъ созерцаніи, и не можетъ отцать себя отъ нея; что-то его плѣняетъ въ ней; но за то какъ восторгъ его полонъ, чистъ, овятъ, божественъ! Человѣкъ со вкусомъ станетъ достигаться надею бездѣлкою, бросающеюся

въ глаза тонкостію, своей отдѣлки и удовлетворяющею всѣмъ требованіямъ вѣншией стороны искусства, но пройдетъ безъ вниманія мимо произведенія гениальнаго, если оно не приче- само и не приложено по условнымъ правиламъ приличія. Че- ловѣкъ съ чувствомъ не ошибается въ достоинствѣ художе- ственнаго произведенія: онъ холоденъ къ такому, отъ кото- раго всѣ въ восторгѣ, онъ обвиняетъ себя въ невѣжествѣ, почитаетъ себя неправымъ и, на зло самому себѣ, не можетъ найти въ немъ той красоты, которая такъ бросается всѣмъ въ глаза; но за то онъ въ восхищеніи отъ такого произве- денія, къ которому всѣ равнодушны, и здѣсь опять можетъ обвинить себя въ невѣжествѣ, въ «безвкусицѣ», но, на зло са- мому себѣ, не можетъ переимѣнить своего мнѣнія. Я здѣсь представляю человека съ чувствомъ безъ образованія, безъ данныхъ для сужденія, безъ способности критицизма. И между художниками есть свои «люди со вкусомъ»; одолженные сво- имъ талантомъ, своими успѣхами одному вкусу; словомъ, созданные вкусомъ—этимъ плодомъ образованности, просвѣ- щенія, ума, но не чувствомъ—этимъ даромъ одной природы, который образованностію, просвѣщеніемъ и умомъ возвышается, но не дается ими. Да простятъ нашей смѣлости: къ такимъ художникамъ причислемъ мы г. Каратыгина и г-жу Караты- гину. Они удачно усвоили себѣ вѣншнюю сторону искусства, они вѣрнымъ глазомъ измѣрили сцену, хорошо разлади эф- фекты, они въ высочайшей степени овладѣли искусствомъ блѣднѣть, краснѣть, падать въ обморокъ, возвышаться и по- низжать голосъ, дѣйствовать жестами, играть слѣпыхъ, боль- ныхъ—но не больше. А развѣ это не таланты! развѣ такіе люди не рѣдки! скажутъ намъ. А развѣ вкусъ тоже не та- лантъ? развѣ люди со вкусомъ также не рѣдки? отвѣчаемъ мы. Мнѣніе г. Шевырева о гг. Каратыгинныхъ давно уже всѣмъ извѣстно: еще три года назадъ тому бился онъ за нихъ, съ поднятымъ забраломъ, какъ прилично благородному рыцарю, съ соперникомъ безъ герба и девиза, съ забраломъ одушен-

нымъ, но съ рукою тяжелою, съ ударами мѣткими. Г. Шевыревъ сошелъ съ турнира прежде своего соперника, но не побѣжденный имъ, а только раздосадованный его упрямымъ ингино. Кто изъ нихъ правъ, кто ошибается; не беремся рѣшить, но признаемся, что невольно симпатизируемъ съ таинственнымъ рыцаремъ, а потому ли, что таинственность всегда возбуждаетъ къ себѣ участіе, или потому, что наѣзтники безъ щита и герба, не вписанные въ герольдію, къ намъ какъ-то ближе. Какъ бы то ни было, только во второй прѣздъ г. Шевыревъ не сталъ сражаться, хотя неизвѣстный его соперникъ и опять вызывалъ его на бой. На этотъ разъ онъ безъ боя превознесъ своихъ любимыхъ артистовъ до седьмага неба и выразилъ свое къ нимъ удивленіе множествомъ точекъ послѣ каждого періода и каждой фразы, какъ онъ всегда дѣлаетъ, когда хочетъ выразить къ чему-нибудь свое удивленіе.

Въ этой статьѣ брошено кстати нѣсколько мыслей о «Ермакѣ», драмѣ г. Хомякова. Г. Шевыревъ сперва говоритъ, что эта драма есть подражаніе «Разбойникамъ» Шиллера, потомъ, что это не драма, но что въ ней виденъ зародышъ драмы, наконецъ, что «изъ ея лиризма выдвигаются (?) три могучія чувства, на которыхъ задуманъ колоссальный (??) и фантастическій (???) образъ Ермака». Все это такъ справедливо, глубокомысленно и вѣрно, что противъ этого невозможно ничего возразить. Да, именно здѣсь поневолѣ умолкаетъ всякая неблагонамѣренность критики и прекращаетъ нехотя навѣты... По крайней мѣрѣ, критика была бы слишкомъ зла, слишкомъ неблагонамѣренна, еслибы вздумала пользоваться таними для себя находками. И такъ—довольно; покажемъ, что мы умѣемъ и помолчать тамъ, гдѣ бы много могли поговорить.

Изъ критическихъ статей «Московского Наблюдателя», не принадлежащихъ г. Шевыреву, нѣкоторыя очень примѣчательны; назовемъ ихъ: «Музыкальная Лѣтопись» г. Мельгунова, въ которой онъ отдаетъ отчетъ за всѣ примѣчательныя явленія нашего музыкальнаго міра въ началѣ прошлаго года,

есть одна изъ такихъ статей, въ какихъ именно нуждаются наши журналы и какими они такъ бѣдны; она написана ловко, умно, живо, съ знаніемъ дѣла. «Брамбеусъ и Юная Словесность», статья, г. Н. П-ца содержитъ въ себѣ обвиненія Брамбеуса въ похищеніи идей и вымысловъ изъ французской литературы, которую онъ такъ не жалуется. Тамъ, гдѣ авторъ статьи говоритъ вообще о продолжкахъ почтеннаго Барона, тамъ онъ и остеръ, и увлекателенъ, но гдѣ онъ сравниваетъ статьи Брамбеуса съ ихъ оригиналами, тамъ становится скученъ и утомителенъ. Вообще эта статья не произвела большого впечатлѣнія на публику. Причина этому заключается, вѣроятно, въ томъ, что публика давно уже знала о похвальной привычкѣ Барона ловко и безъ спросу пользоваться чужою собственностью, давно уже понимала, что онъ не пишетъ, а изволить «потѣшаться»; слѣдовательно, усилія г. критика казались ей напрасными и были ею приняты холодно. Но особенно примѣчательны двѣ статьи, подписанныя буквою «— о —»: одна—разборъ извѣстной оперы «Аскольдова Могила», другая—новой комедіи г. Загоскина «Недовольные». Поговоримъ объ этихъ статьяхъ.

Въ первой статьѣ «Аскольдова Могила» разбирается не какъ музыкальное произведеніе, а какъ драма. Авторъ статьи, въ нѣсколькихъ строкахъ, передаетъ мнѣніе публики, отголосокъ большинства голосовъ о новой музыкѣ г. Верстовскаго; отъ себя же онъ говоритъ о другихъ, имѣющихъ отношеніе къ шестъ предметамъ. Вообще у него нѣтъ вѣрныхъ и глубокихъ идей объ оперѣ, выведенныхъ логически изъ идей искусства вообще. Сначала онъ утверждаетъ, что опера непременно должна имѣть смыслъ независимо отъ музыки, вопреки мнѣнію тѣхъ, которые позволяютъ ей обходиться безъ смысла, ссылаясь на примѣръ Итальянцевъ. Это вопросъ—и вопросъ важный; но авторъ статьи ничѣмъ не рѣшаетъ его, а если и рѣшаетъ, то очень неудовлетворительно, однимъ намекомъ. Если мы не ошибаемся, намъ кажется, что, по его

мнѣнію, опера должна быть фантастическимъ созданіемъ. Если онъ имѣлъ точно эту мысль, то она достойна вниманія и гораздо большаго и удовлетворительнѣйшаго развитія: на нее можно бы написать огромную статью, если не книгу. Если опера должна быть фантастическимъ созданіемъ, то, безъ сомнѣнія, она должна имѣть смыслъ, такъ же, какъ его имѣютъ самыя, повидимому, бессмысленныя повѣсти Гофмана. Мы думаемъ только, что для этого гармоническаго единства двухъ искусствъ—поэзіи и музыки—нужна въ художникъ и двойственность гения; но возможна ли она, какъ явленіе положительное, а не исключеніе, и, въ послѣднемъ случаѣ, состоитъ ли она въ равновѣсіи гения въ обоихъ этихъ искусствахъ?... Потомъ авторъ говоритъ, что содержаніе оперы должно браться изъ народныхъ преданій, чтобъ имѣть силу очарованія, что «Аскольдова Могила» грѣшитъ противъ того правила, что времена Святослава далеки отъ насъ, какъ времена Навуходоносора, и такъ же непонятны намъ. Все это высказано весьма увлекательно и искусно. За тѣмъ слѣдуетъ изложеніе содержанія оперы. И все! *).

*) Замѣчательна въ этой статьѣ выходка автора противъ русскаго кулака. Здѣсь я обращаюсь къ вамъ, почтенный издатель „Телескопа“, и вамъ подаю аппеляцію на васъ самихъ.. Вы недавно сдѣлали возраженіе противъ этой выходки, которое мнѣ кажется не совсемъ справедливымъ. Во первыхъ, вы несправедливо обвиняете „Московского Наблюдателя“ въ ожесточеніи противъ г. Загоскина: онъ совершенно одного мнѣнія съ вами на счетъ этого писателя. Въ „Моляхъ“ когда-то сказано было, что авторъ Юрій Милославскаго есть слава и гордость Россіи; „Наблюдатель“ не говоритъ этого и, вѣрно, никогда не скажетъ, но онъ признаетъ „Юрія Милославскаго“ первымъ русскимъ историческимъ романомъ (разумеется, не по старшинству пропехожденія, а по достоинству; въ первомъ смыслѣ „Выжигинъ“ его старше), а первое во всемъ есть неоспоримо слава и гордость народа. Потомъ—о русскомъ кулакѣ: я противъ него. Конечно, прежде надо условиться въ значеніи этого слова, а потомъ уже спорить. Вы смотрите на кулака какъ на орудіе силы, совершенно тождественное съ шпагою, штыкомъ и пудею. Оно такъ, но все-таки между

Статья о «Исходоульныхъ» написана съ тою же ловкостію, съ тѣмъ же искусствомъ, съ тою же увлекательностію, какъ и объ «Аскольдовой Могилѣ». Но и въ ней искусство тайное въ сторонѣ: много дѣльнаго высказано а рторов, но самое дѣло, то есть искусство, не тронуто.

Изъ прочихъ статей примѣчательна: «Историческіе и Филологическіе Труды Русскихъ Оріенталистовъ» г. Григорьева. Это, какъ показываетъ самый титулъ статьи, есть сборникъ утѣнительныхъ извѣстій объ успѣхахъ въ Россіи оріентализма. Потому «Народныя Спѣванія или Свѣтскія пѣсни Словаковъ въ Венгріи» г. І. Бодянскаго, котораго г. Руссовъ недавно причислялъ къ мифамъ, въ родѣ Гомера. Эта статья написана съ талантомъ, знаніемъ и любовію, заключаетъ въ себѣ много дѣльных и чрезвычайно любопытныхъ фактовъ

этимъ орудіями силы есть существенная разность: кулакъ, равно какъ и дубина, есть орудіе дикаго, орудіе невѣжды, орудіе чело-вѣка грубаго въ своей жизни, грубаго въ своихъ понятіяхъ, кулакъ требуетъ одной животной силы, одного животного остервавленія и больше ничего. Щага, штыкъ и пуля суть орудія чело-вѣка образованнаго; они предполагаютъ искусство, ученіе, методу, следова-тельно, зависимость отъ идеи. Звѣрь сражается когтемъ и зубомъ, естественными его орудіями; кулакъ есть тоже естественное орудіе звѣря-чело-вѣка; чело-вѣкъ общественный сражается орудіемъ, кото-рое создаетъ себя самъ, но котораго не имѣетъ отъ природы. Если жъ бывають безсмысленные удары стилетомъ изъ-за угла, если были без-честные удары негодной шпаконки восемнадцатаго вѣка — это ничего не доказываетъ: бывають безчестные удары и кулакомъ изъ-за угла, въ темную ночь, въ глухомъ переулкѣ. А притомъ, и въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ — говоря словами автора критики — „зачѣмъ лѣстить этому классу народа, который, несмотря на великаго преобразователя Россіи, до сихъ поръ еще гордо поглаживаетъ за угломъ свою бо-роду и за угломъ радъ похвастать своими кулаками? Кулаки не по-могли подъ Нарвой, и не кулаки, а обученное войско смыло подъ Полтавой пятно стыда кровью своего прежняго побѣдителя! Не кула-камъ обязаны мы, что знаемъ теперь, звонокъ-ли чугунъ на Аустер-лицкомъ мосту, когда кавачій конь бьетъ о него подковой, и красива ли Сена, когда отражаются въ ней русскіе штыки“.

качественно своего предмета. Намъ не понравилось въ ней только двѣ вещи: употребленіе извѣстныхъ, учено-юридическихкихъ словечекъ и одно выраженіе: *звѣсть и скромное, и хвастливое. Вотъ оно:*

Мы еще такъ молоды въ сѣнь случаевъ, такъ неопытны къ себѣ, хоть, можетъ быть, и сумѣли бы кой-что сказать напередокъ другимъ, что лучше позаимствуемся отъ инуду (?), представимъ чужое, но, по насъ, дальнѣе чего не успѣли сами добыть, нежели, слѣдуя примѣру нѣкоторыхъ, пускать пыль въ глаза православнымъ.

Воля ваша, господа, а по нашему тайны сиротность хуже хвастовства. Къ чѣму эти оговорки? Если знаете—говорите смѣло, не знаете—молчите! А то вы какъ-то нѣволью напоминаете русскаго человѣка съ бородкою, который, потешивая у себя въ затылкѣ, съ лукаво-простодушнымъ видомъ говоритъ: «гдѣ-ста намъ? мы дураки; вотъ ваша милость—другое дѣло»...

Статья «Взглядъ на Системы Философіи XIX вѣка во Франціи» еще не кончена. До сихъ поръ, она можетъ обратить на себя вниманіе двумя, тремя идеями, совершенно современными, показывающими, что авторъ ея понимаетъ истины, еще для многихъ у насъ недоступныя. Проникнутый, или еще проникаемый духомъ новой философіи, онъ вѣрно судить (тамъ гдѣ судить, а въ этой статьѣ сужденій немного) о попыткахъ Французовъ примириться съ религіею. Онъ говоритъ, что Франціи не достаетъ знаній, совѣтуетъ ей болѣе ознакомиться съ Германіею, указываетъ на послѣдователей Гегеля, развившихъ его религіозныя идеи. «Понять или умереть»—вотъ законъ нашего вѣка, говоритъ онъ. Надобно однакожъ замѣтить, что, до сихъ поръ, въ этой статьѣ больше ссылокъ, нежели мыслей, что авторъ какъ-то не смѣлъ въ своихъ приговорахъ, что, не одобряя эклектизма, онъ все-таки слишкомъ снисходителенъ къ нему, что, наконецъ, языкъ его чрезвычайно тяжелъ. Но несмотря на все это, нѣсколько не мудреныхъ, но вѣрныхъ идей заставляютъ насъ возложить на автора благія надежды: явная потребность и совершенный

недостатокъ философическаго вѣдѣнія въ Россіи должны поощрять его какъ труднѣе болѣе серьезнымъ. Правда, занятіе философіею, болѣе нежели какою-нибудь другою наукою, требуетъ того, что называютъ «самозабвеніемъ», но за то она больше, нежели какая-нибудь другая наука, даетъ на это средство: сладко забывая въ чистой идее, посвятивъ себя на служеніе ей и воспитать другихъ для этого служенія. Немногіе одобряютъ эту жизнь для «отвлеченностей», но авторы знаютъ, что такое «конкретное». Настоящее понятіе о «конкретномъ» смирить порывы пылкой суебности и глубеть, уминованія пошлаго «здравооуміемъ», для котораго конкретное — навозъ и картофели. Но повторимъ: отъ человека, который выходитъ у насъ съ какими-нибудь намекомъ на свои философскія познанія, мы въ правѣ требовать большаго, требовать труда для насъ, если еще не наступилъ часъ автору труда для себя. Поэтому мы считаемъ эту статью эпизодомъ занятій автора, плодомъ досуга, которому онъ самъ, вѣрно, не придаетъ большаго значенія. Что жъ насчетъ до «Наблюдателя» — очевидно, эта статья въ немъ случайная и не должна имѣть мѣста въ сужденіи о немъ самомъ.

Вотъ все, что показалося намъ примѣчательнымъ въ имени бы то ни было отношеніи, по части чисто литературной критики «Московского Наблюдателя» въ прошломъ году. Можетъ быть, мы что-нибудь и пропустили, это ужъ не наша вина. Есть вещи, о которыхъ даже грѣшно говорить вслухъ; и потому мы умалчиваемъ, наприѣръ, о статьѣ «не Выдержки, а почти Выдержки изъ Большихъ Замисловъ о прошлыхъ временахъ» какого-то г. Авенира Народнаго, только позволяемъ себѣ замѣтить, что эта статья, вѣроятно, взята «Наблюдателемъ» изъ «Покоящагося Трудобоба», или «Парнаскаго Щепетильника», а можетъ быть и изъ другого какого-нибудь допотопнаго журнала: въ наше время трудно найти человека, который могъ бы написать такую статью, и еще труднѣе — журналъ, который бы ее принять въ себя. И такъ; оставляемъ

пропущенное или недосмотрѣнное и обращаемся къ послѣдней статьѣ г. Шевырева, которая должна объяснить намъ идею «Наблюдателя» и цѣль его литературныхъ усилій.

Эта статья называется «Перечень Наблюдателя» и украшаетъ собою первый номеръ этого журнала за нынѣшній годъ. Г. Шевыревъ начинаетъ ее признаніемъ, что читатели журнала настойчиво требуютъ библіографіи, и оправдывается въ причинѣ невниманія къ ихъ требованію. Для этого онъ очень остроумно дѣлитъ этихъ читателей на три класса. Къ первому у него относятся тѣ, которые «съ невиннымъ чистосердечіемъ вѣряютъ себя совѣсти журналиста» и требуютъ его мнѣнія о книгѣ, для рѣшенія простаго вопроса, купитъ ее, или нѣтъ? Ко второму—люди лѣньные, которые книгу не читаютъ, а судить о ней хотятъ. Къ третьему—«люди движенія, люди безпокойные, которымъ не сидится на мѣстѣ», которые «не любятъ, чтобы на улицахъ было всегда смирно, чтобъ долго не случалось пожаровъ».

Читателей перваго разряда «Наблюдатель» не хотѣлъ удовлетворять потому, что онъ совершенно чуждъ всякихъ карманныхъ отношеній, и что оставаться въ накладе при покупке книги есть достойное наказаніе для невѣжества. Мнѣніе очень благородное! Но мы имѣемъ на этотъ счетъ свое, которое, если не такъ благородно, за то заключаетъ въ себѣ побольше здраваго смысла. Мы думаемъ, что литературный спекулянтъ, напавшій на невѣжество контрибуціею за дурныя книги, ничѣмъ не честнѣе молодцовъ, которые напавшій на разсѣянность зѣваютъ, липая ихъ кошелекъ или часовъ; долженъ ли же журналистъ своимъ молчаніемъ способствовать успѣхамъ литературныхъ спекулянтовъ?... Нѣтъ. По нашему простому, плебейскому мнѣнію, журналистъ долженъ поставить себѣ за священнѣйшую обязанность—неуспѣшно преслѣдовать надутелей невѣжества, препятствовать успѣхамъ мелкой литературной промышленности, столь губительной для распространенія вкуса и охоты къ чтенію. Онъ не долженъ забывать, что

книги, особенно догматическія, пишутся для невѣждъ, что дурная книга сообщаетъ превратныя понятія и дѣлаетъ невѣжду еще невѣжественнѣе. Представьте себѣ степнаго провинціала, который сроду ничего не читывалъ, кромѣ календаря и писемъ отъ своей родни и знакомыхъ, но который долженъ покупать книги для своихъ дѣтей, которыя хотятъ все читать; кто будетъ его руководителемъ въ выборѣ книгъ: газетныя объявленія, или собственное соображеніе? А вѣдь эти дѣти принадлежатъ къ молодымъ поколѣніямъ, которыя должны нѣкогда явиться честными и способными дѣятелями на служеніи отечеству; а вѣдь направленіе ихъ дѣятельности зависитъ отъ книгъ, по которымъ они учатся, или которыя они читаютъ! Неужели же и эти поколѣнія, юныя и жаждущія образованія, должны наказываться за невѣжество своихъ отцовъ?... Нѣтъ, милостивые государи, люди просвѣщенные и образованные не столько нуждаются въ нашихъ совѣтахъ, сколько невѣжды; допускать спекулянтовъ издѣваться надъ невѣжествомъ значить способствовать его усиленію, значить отвращать его отъ свѣта знанія, отъ блеска образованности. Мы глубоко убѣждены, что библиографія есть одно изъ важнѣйшихъ, необходимѣйшихъ и полезнѣйшихъ отдѣленій благонамѣреннаго журнала, и что смѣяться надъ добродушною довѣрчивостію читателей къ своему журналу, значить не имѣть къ себѣ уваженія. Если другіе журналы дѣйствуютъ недобросовѣстно, неблагонамѣренно, это не даетъ вамъ права самимъ ничего не дѣлать; это, напротивъ, должно васъ обязать къ усиленной дѣятельности. Читателей втораго разряда «Наблюдатель» не хочетъ удовлетворять потому, что его «сотрудники не намѣрены никому навязывать своихъ мнѣній». Вотъ прекрасно! да кто жъ васъ просидъ навязывать публикѣ свой журналъ, въ которомъ такъ много вашихъ же мнѣній?... Читателей третьяго разряда «Наблюдатель» не хочетъ удовлетворять потому, что «его критика никогда не угождала ихъ безпокойной страсти къ зрѣлищамъ всякаго рода». Помилуйте — какъ никогда! А

статьи противъ «Библіотеки для Чтенія», противъ Барона Брамбеуса? Если на нихъ не сбѣгались какъ на пожаръ, такъ это потому, что ихъ огонь горѣлъ слишкомъ тускло, давалъ больше дыму, чѣмъ полымя, а не потому, чтобы они были писаны умѣренно и скромно. Воля ваша, а эта тактика «Библіотеки», которая каждый мѣсяцъ бранить полемику, упрекаетъ за нее другіе журналы и въ то же время сама ругается очень неблагопристойно... Нѣтъ—этихъ причинъ намъ недостаточно—мы нашли другую: библіографія дѣло очень хлопотное, съ нею каждый день паживаешь по врагу, который готовъ вредить вамъ и клеветою и всѣми средствами: благо-разумное же молчаніе избавляетъ отъ этихъ непріятностей; и вотъ причина, почему «Наблюдатель» не хочетъ отдавать пуб-ликѣ отчета въ новыхъ книгахъ. Оно и лучше!... Но всего забавнѣе, послѣ этихъ объясненій, слѣдующія строки:

Несмотря на это, должно говорить подробно почти обо всѣхъ про-изведеніяхъ литературы нашей, потому что этого требуютъ. Вся-кая книга есть для публики вопросъ, на который ожидаютъ отвѣта въ журналѣ. Публика не любитъ оставаться въ недоумѣніи: она не любитъ умолчаній, или недомолвокъ. Дѣло журналовъ—утождать иногда ея слабостямъ.

Вотъ въ этомъ мы согласны съ авторомъ статьи; но чему же должно вѣрить въ его словахъ: первому или послѣднему? не умѣемъ отвѣчать на этотъ мудреный вопросъ. Видно, у всякаго своя логика, видно, дважды-два иногда бываетъ три, а иногда и четыре!... Вслѣдствіе этой прекрасной логики, г. Шевыревъ обѣщается давать публикѣ отчетъ въ нѣкото-рыхъ книгахъ и начинается съ «Князя Скопина-Шуйскаго»; романа, написаннаго дамою.

Отчетъ въ этомъ произведеніи начинается сожалѣніемъ г. Шевырева о томъ, что наши дамы принимаютъ мало участія въ литературныхъ трудахъ, что наша словесность есть обще-ство слишкомъ исключительно мужское, отчего «обхожденіе и разговоръ въ сословіи литераторовъ отзывается до нестер-

пимаго (?) "трубкою" и пуншемъ». Въ самомъ дѣлѣ, это очень жаль, но, къ счастью, бѣду еще можно поправить. Шевыревъ найдетъ для этого вѣрное средство. «Появление многихъ дамъ въ сословіи писателей, говорить онъ, могло бы имѣть, какъ я думаю, полезное вліяніе на общежитіе и нравы нашей литературы». Можетъ-быть, это справедливо, только мы не понимаемъ, что такое «общежитіе и нравы литературы»? Притомъ, развѣ литература гостиная, развѣ она не цвѣтъ цѣлой цивилизаціи народа, не результатъ историческаго развитія всей его жизни?... Развѣ въ литературѣ требуется что-нибудь другое, кромѣ изящества, учености, достоинства, и развѣ эти качества зависятъ не отъ таланта и гения, а отъ любезности писателей?... Развѣ тамъ, гдѣ женщины-писательницы толпами являются въ литературѣ, нѣтъ пошлыхъ и дикихъ поговѣ, нѣтъ невѣжливыхъ и криводушныхъ журналистовъ?... Но я вижу, что мой въ концѣ не будетъ... А! вотъ въ чемъ дѣло! Изъ нашей литературы хотѣтъ устроить бальную залу и уже зазываютъ въ нее дамы; изъ нашихъ литераторовъ хотѣтъ сдѣлать свѣтскихъ людей въ модныхъ фракахъ и въ бѣлыхъ перчаткахъ; эцгергію хотѣтъ замѣнить вѣжливостью, чувство — приличіемъ, мыслъ — модною фразою, изящество — щеголеватостію, критику комплиментами; короче — къ намъ снова зовутъ восемнадцатый вѣкъ, этотъ золотой вѣкъ свѣтской (profane) литературы, этотъ вѣкъ Лагарповъ и Батте; когда въ трагедію допускались не люди, а выше, чѣмъ люди, когда въ нее могъ попасть только полубогъ, или герой, или, по крайней мѣрѣ, герцогъ и баронъ, что, конечно, не меньше, когда лицо трагедіи должно было говорить не иначе, какъ принявши важную осанку, выступивъ ногою, вытянувъ руку и непрежненно высочимъ паркетнымъ слогажъ. А! такъ вотъ почему намъ съ нѣкотораго времени такъ часто толкуютъ о нашихъ-то «свѣтскихъ» повѣстяхъ и «свѣтскихъ» романахъ!... Такъ вотъ гдѣ срывалась задушевная идея, которую съ такимъ жаромъ развиваетъ

«Наблюдатель»! Признаюсь, есть изъ чего и хлопотать! Но посмотримъ, что дальше.

Дальше слѣдуетъ вторичное воззваніе къ дамамъ, вторичное приглашеніе дамъ взяться за перо и приняться за «свѣтскій романъ». И такъ—place aux dames!...

Я думаю бы скорѣе, что романъ «свѣтскій» будетъ областью женщины. Современное общество—это ея царство, ея жизнь; здѣсь утонченный взглядъ ея и вѣрное чувство могли-бы уловить такія краски и оттѣнки на картинѣ общества, которые нѣзсегда останутся недоступны для насильственныхъ пріемовъ писателя мужчины. У женщинъ есть этотъ особенный оринтъ «свѣтскаго» осмиданія, передъ которымъ тупы чувства мужскія. Такимъ романомъ, я думаю, женщина могла-бы имѣть благотворное вліяніе и на наше общество.

Убѣдились ли вы этими неопровержимыми доводами? — Я убѣдился, и теперь отъ души взываю place aux dames! Но я иду еще дальше, я не могу остановиться на одной литературѣ, потому что въ такомъ случаѣ вліяніе женщинъ на наше общество все-таки будетъ слишкомъ односторонне и слабо. Если наше общество должно быть обязано своимъ образованіемъ не ученымъ и литераторамъ, не таланту, не генію, не наукѣ, не тяжкому труду избранниковъ, а женщинамъ, — то было бы слишкомъ несправедливо такъ ограничивать поприще ихъ дѣятельности: для такой высокой цѣли нужна первая эманципація женщины. Полумѣры нигде не годятся, съ золотомъ серединою не далеко уйдець. И такъ, я составилъ свой собственный проектъ касательно улучшения нашего общества: онъ прекрасенъ, но первоначальная идея его все-таки принадлежитъ не мнѣ, а г. Шевыреву, слѣдовательно, — ему честь и слава, а мнѣ хоть спасибо. Вотъ въ чемъ состоитъ мой проектъ. Наши дамы начнутъ писать «свѣтскіе» романы, но онѣ не должны и не могутъ остановиться на этомъ: таково свойство человеческого генія, онъ идетъ все впередъ. И такъ, дамы прижмутся со временемъ и къ историческому роману; но чтобы писать историческіе романы, надо знать исторію, а исторія наука; и такъ, вотъ шагъ въ область науки! Но наука

одна, — науки суть не что иное, какъ искусственные ея подраздѣленія; науки смежны, сопряженны другъ къ другу; исторіи нельзя знать безъ археологіи, хронологіи, географіи, географія непонятна безъ математики, математическая географія такъ близка къ астрономіи, физическая къ естествознанію. И такъ, почему бы дамамъ нашимъ не пуститься и въ науку, тѣмъ болѣе, что этотъ переходъ естественъ, что отъ «свѣтскаго» романа до философіи нѣтъ скачка?... Особенно имъ слѣдовало бы заняться математикою: какія благотворныя слѣдствія повлекло бы это за собою! Математикимъ всѣ люди упрямые, нелюбезные и часто очень грубые! Что, еслибы дамы стали съ кафедръ преподавать всѣ знанія человѣческія! О, съ какою бы жадностію, слушали ихъ студенты, какъ бы смягчились университетскіе нравы, какіе успѣхи оказало бы просвѣщеніе въ Россіи! И такъ, гг. профессоры всѣхъ четырехъ факультетовъ, не исключая и медицинскаго, будьте догадливы и вѣжливы — *place aux dames!*... Но науки сопрягаются съ жизнью, и практика въ преподаваніи иногда замѣняетъ теорію — такова наука нравъ: почему жъ бы дамамъ не заняться судопроизводствомъ не въ однихъ тѣсныхъ предѣлахъ аудиторіи, но и въ судилищахъ? почему бы имъ не быть сенаторами, предсѣдателями, совѣтниками?... Какое бы благотворное вліяніе оказалось тогда надъ нашимъ обществомъ! Кончилось бы взяточничество, по крайней мѣрѣ деньгами, ябеда превратилась бы въ шплетни, съ просителями обращались бы вѣжливо, съ подсудимыми кротко... А почему жъ бы дамамъ не заняться и военною службою, которая больше всѣхъ нуждается въ умягченіи нравовъ и урокахъ общежитія?... Здѣсь ужъ я и не въ силахъ вычислить всѣхъ благотворныхъ вліяній на общество: какое войско не одержитъ побѣды, когда имъ будетъ командовать прекрасная дама въ образѣ Беллоны? какая война не будетъ человѣколюбива, кротка, когда будетъ вестись дамами? какіе солдаты не сдѣлаются вѣжливыми, деликатными, и ловкими, повинувшись такимъ милымъ начальникамъ?...

Конечно, может быть; отъ этого пострадаетъ дисциплина, поправится порядокъ; потому что начальство иногда будетъ мактировать своей должностью, занятое балами, парядами, а иногда и скванное такими обстоятельствами, въ которыхъ виновата одна природа; и именно природа дикая, но въдъ и мужжны подвергаютъ болванамъ; и не природу! нтъ апелляций.

Я, право, не шучу. Литературные сан-симонисты такъ говорятъ, что женщины имѣютъ право пивать; потому что она человекъ, что она обладаетъ тѣми же способностями; какъ и мужчина; политическіе сан-симонисты опираются на то же, доказывая, что женщина должна и имѣть право заниматься общественными должностями. Такъ какъ я согласенъ съ первыми, то ужъ естественно, не могу не согласиться со вторыми. Въ противномъ случаѣ, я показалъ бы, что во имѣть логической послѣдовательности, здраваго смысла, а я имѣю большія претензіи на здравый смыслъ. Въ самомъ дѣлѣ, если эмансипація, то ужъ полная, а то не изъ чего хлопотать. И такъ — гг. поэты, литераторы, профессоры, судьи, генералы! будьте догадливы; будьте вѣжливы: place aux dames!

Послѣ этой глубокой и прекрасной мысли; г. Шевыревъ очень занимательно изслѣдуетъ важный вопросъ о томъ: можетъ ли дамъ успѣть въ историческомъ романѣ, кромѣ «свѣтскаго»? — но его теорія выходитъ, что не можетъ, но опыты разубѣдили его въ этомъ. Въ известномъ романѣ г-жи Коттенъ «Матильда или Крестовые походы», въ этомъ романѣ, который уже тысяча два читаетъ мой камердинеръ и не можетъ хвалиться; г. критикъ не видитъ большого историческаго достоинства, потому что въ немъ «чувство и воображеніе топорствуютъ надъ исторіею»; онъ не могъ иначе оцѣнить этого гениальнаго произведенія и по другой еще причинѣ; но послушаемъ его самого.

У меня же была еще въ свѣжей памяти эта чудная «Елена» миссъ Эджвортъ, это созданіе живое, идеаль британской женщины. Я

полю, как читая этот романъ, я, казалось, жилъ въ лучшемъ обществѣ, гдѣ и мысли и чувства становились благороднѣе, гдѣ узнавалъ я силу каждаго слова въ общесѣтѣи и научался его взвѣшивать. Прочитавъ „Елену“, я какъ-то почувствовалъ себя лучше, во мнѣ пришло какой-то нравственной силы для того, чтобы дѣйствовать въ обществѣ (*много? мало, много, мало, въ свѣтскихъ*). Въ сдѣдствіе „свѣтскаго“ романа, написаннаго перомъ „геніальной“ женщины. (*Во самомъ дѣлѣ, удивительное сдѣдствіе!*). Такимъ романомъ воспитывается общество (*какое? свѣтское?*), и литература (*какая?—свѣтская?*) сильно подвигаетъ его нравственный успѣхъ.

Е. Швырьевъ: поверить, все это не шутя, и я говорю на очертъ этого безъ шутокъ. Я не востаю протѣвъ того, что онъ еще не забылъ: «Матильды» г-жи Коттенъ, давно уже перешедшей изъ гостиныя въ переднюю и дѣвичью; есть что-то уничижительное въ званіи: «слабаго», что-то рыцарское въ повровительствіи тому, что вефми принацо за цѣлѣпость; но миссъ Эджвортъ не требуетъ особенной защиты: ея романы извѣстны всей Европѣ и превозносятся до небесъ Барономъ Брамбаусомъ. Я не отрицаю, что представители дѣвичей и передней могутъ становиться благороднѣе и возвышеннѣе: въ своихъ чувствахъ и мысляхъ не только отъ «Матильды» или «Вены», но и отъ Курганова «Письмовника» и романовъ Александра Андримовича Ордова; но я, собственно я, а не кто-нибудь другой, могу возвышаться душою только отъ художественныхъ, а не «свѣтскихъ» романовъ. Художественный и «свѣтскій» не суть слова однозначашія, такъ же, какъ дворянинъ и благородный человекъ. Художественность доступна для людей всѣхъ сословій, всѣхъ состояній, если у нихъ есть умъ и чувство; «свѣтскость» есть принадлежность касты. Художественность есть творчество, а творчество изображаетъ человека съ его страстями, его порывами къ добру и злу, его радостями и страданіями; «свѣтскость» же уничтожаетъ страсти, порывы, радости и горести, она подводитъ все это подъ уровень посредственности, равнодушія, ничтожности и скуки. Я этимъ совѣтъ не думаю доказывать, чтобы между

людьми высшего общества не было людей съ душою и сердцемъ, людей съ талантомъ и доблестію: подобная мысль въ наше время была бы жалкимъ и смѣшнымъ анахронизмомъ. Я говорю не о «свѣтскихъ» людяхъ въ частности, а о «свѣтскомъ» обществѣ вообще, гдѣ умоляетъ умъ, боясь оскорбить своимъ превосходствомъ глупость, гдѣ притавляется чувство, боясь оскорбить приличіе, гдѣ самый гений сгнѣшится принять на себя видъ посредственности и ничтожества, чтобъ не показаться смѣшнымъ и страннымъ. «Свѣтскость» еще сходится съ образованностію, которая стоитъ въ знаніи всего понемножку, но никогда она не сойдется съ наукою и творчествомъ: то и другое необходимо должно изнуриться и обмалѣть, жертвуя своимъ временемъ на выполнение ея ничтожныхъ условий, дыша несвойственной ему атмосферою. Аристократія таланта не есть аристократія общества: Шекспиръ не на паркетѣ приобрѣлъ свой мірообъемлющій взглядъ на человѣческую природу. Шиллеръ не на паркетѣ нашелъ небо и рай своихъ божественныхъ видѣній, которыя онъ передалъ намъ подъ человѣческими именами Амалий, Луизъ, Текль, Карловъ, Фердинандовъ, Позъ, Максавъ, Телей. Романъ долженъ быть изображеніемъ человѣческой жизни, а не паркетныхъ сплетней, и только идея человѣческой жизни, а отнюдь не идея паркетныхъ сплетней, можетъ возвысить и облагородить человѣческую душу. Романъ миссъ Эджвортъ «Елена» есть не что иное, какъ пошлая рама для выраженія пошлой мысли, что «дѣвушка не должна лгать и въ шутку», есть нятитомный и убійственно-скучный сборъ ничтожныхъ правоученій гостинной. Говорятъ, что главное достоинство этого романа состоитъ въ вѣрномъ изображеніи всѣхъ тонкостей, всѣхъ отблѣсковъ высшего англійскаго общества, недоступныхъ для непосвященныхъ въ таинства гостинныхъ. Если это такъ, то тѣмъ хуже для романа. Я человѣкъ не свѣтскій, слѣдовательно, не могу понять свѣтской стороны романа, но я всегда могу понять его человѣческую и его художественную сторону. Въ

какихъ бы формахъ ни проявлялась человѣческая жизнь, она понятна всегда и для всѣхъ, потому что переходяща форма, но вѣчна идея эстетическаго творенія. Прометей Эсхила, прикованный къ горѣ, терзаемый коршуномъ и съ горделивымъ презрѣнiемъ отвѣчающій на упрёки Зевеса, есть форма чисто греческая, но идея непоколебимой человѣческой воли и энергiи души, гордой и въ страданiи, которая выражается въ этой формѣ, понятна и теперь: въ Прометей я вижу челоуѣка, въ коршунѣ страданiе, въ отвѣтахъ Зевесу мощь духа, силу воли, твердость характера. Какое мнѣ дѣло, что у Индiйцевъ въ дѣла человѣческiя вѣтшиваются боти и духи; это мнѣ нисколько не мѣшаетъ понимать «Сакунталу»: я остаюся въ сторонѣ все индiйское и вижу одно человѣческое, а это человѣческое равно и одинаково и у Индiйцевъ, и у Русскихъ, и у Нѣмцевъ. Почему жъ я не понимаю «свѣтлаго» въ романѣ миссъ Эджвортъ? — Потому что въ немъ нѣтъ ничего человѣческаго, слѣдовательно, ничего и художественнаго. Читая этотъ романъ, я невольно твержу стихи поэта:

И даже глухости смѣшной
Въ тебѣ не встрѣтишь, свѣтъ пустой!

А я могу повѣрить этому поэту: онъ знаетъ свѣтъ не по слуху. Еще хорошо бы, еслибы миссъ Эджвортъ представила мнѣ свѣтъ, такъ какъ онъ есть, въ сходствѣ съ этими изображенiемъ, которое сдѣлано челоуѣкомъ, тоже знающимъ свѣтъ не по слуху:

Между толпами бродить разныхъ лица, подъ веселый напѣвъ кон-траданса свиваются и развиваются тысячи интригъ и сѣтей; толпы подобострастныхъ аэролитовъ вертятся вокругъ однодневной кометы; предатель униженно кланяется своей жертвѣ; здѣсь послышалось незначущее слово, привязанное къ глубокому долготѣнному плану; здѣсь улыбка презрѣнiя скатилась съ великолѣпнаго лица и оледѣнила какой-то умоляющій взоръ; здѣсь тихо позвучатъ темные грѣхи и торжественная подлость гордо носить на себѣ печать от-верженiя.

Вотъ поэтическая сторона большаго свѣта, которую я очень люблю въ художественномъ представленіи; миссъ Эджвортъ уловляетъ только одну ничтожность и скуду большаго свѣта, и потому просимъ не взыскать, ея романъ намъ кажется и пошлымъ, и безталанннымъ, и ничтожнымъ, ничѣмъ не выше дряхлыхъ романовъ госпожъ Коттенъ и Дандисъ. Мы не вѣримъ, чтобъ были такія души, которыя бы могли возвышаться отъ «Елены» миссъ Эджвортъ или отъ романовъ дѣвицы Маріи Извъковой.

Переходя къ «Востокъ», г. Шевыревъ удивляется, какъ могутъ быть такіе люди, которые сомнѣваются: Пушкина ли это поэма, или нѣтъ. А что жъ тутъ удивительнаго, если смѣемъ спросить? На поэмѣ стоитъ имя Пушкина: для меня этого довольно, чтобъ имѣть право приписать ему эту поэмю. Вы говорите, что Пушкинъ не въ состояніи написать такого дурнаго произведенія, а почему же такъ? Вѣдь онъ написалъ же «Ангело» и нѣсколько другихъ плохихъ сказокъ? Да и какихъ чудесъ на свѣтъ не бываетъ? Погодите, можетъ быть, Пушкинъ подарить насъ еще и октавами изъ Тасса! Г. Шевыревъ негодуетъ на «Библіотеку» за то, что она «завлекательно объявила, что Пушкинъ воскресъ въ этой поэмѣ (какъ будто бы кто-нибудь сомнѣвался въ жизни его таланта)» — а кто жъ, смѣемъ спросить, не сомнѣвался въ этомъ?... Развѣ только одинъ «Московскій Наблюдатель», и то потому, что Пушкинъ принадлежалъ къ числу его сотрудниковъ? Равнымъ образомъ, мы не видимъ ничего предосудительнаго и въ томъ, что «Библіотека» стала укорять Пушкина въ томъ, что онъ издалъ такое произведеніе: если позволительно упрекать книгопродавцевъ за изданіе дурныхъ книжонокъ, то почему же поэтъ долженъ быть свободенъ отъ этого упрека?...

Издать дурную поэмю — въ волѣ всякаго, кто имѣетъ лишніе деньги. Отчего же отнимать это право и у Пушкина? Читатель, понимающій толкъ въ поэмахъ, развернувъ книгу, угадаетъ, что поэма не Пушкина и не купитъ ея. Тотъ же, который не отгадаетъ, пусть купитъ: невѣжеству только и наказанія, что остаться въ накладѣ.

Хороша мораль — нечего сказать! Может-быть, въ свѣтъ надуть кого бы то ни было, хотя бы и невѣжество, почитается нравственнымъ? Мы этого не знаемъ; мы люди простые, не свѣтскіе, и обманъ почитаемъ во всякомъ случаѣ дѣломъ предосудительнымъ. Притомъ же вспомните о провинціалахъ, между которыми есть и не невѣжды, но которые не имѣютъ возможности развернуть книги, не выписавши ея сперва и не заплативши за нее впередъ деньги; для нихъ достаточно имени великаго и перваго поэта русскаго, чтобъ не имѣть никакого подозрѣнія въ обманѣ.

Потомъ г. Шевыревъ говоритъ о «Пѣсняхъ» г. Тимофеева и высказываетъ обвинялами, что онѣ не имѣютъ никакого достоинства и не стоятъ вниманія. Это очень справедливо, но насъ удивляютъ слѣдующія строки:

Мы готовы думать, что эти пѣсни принадлежать не тому же автору, котораго имя встрѣчали мы подъ нѣкоторыми пріятными статьями въ прозѣ...

Что, что такое? Это — «свѣтскій» комплиментъ! Г. Тимофеевъ такой же прозаикъ, какъ и поэтъ, но онъ недавно помѣстилъ въ «Наблюдателѣ» статейку своей работы «Любовь Поэта». А! понимаемъ!...

Отъ г. Тимофеева г. Шевыревъ переходитъ къ книгѣ Сильвіо Пеллико «О Должностяхъ Человѣка», переведенной въ Одессѣ г. Хрусталевымъ. Читателямъ «Телескопа» извѣстно наше мнѣніе объ этой книгѣ. Сильвіо Пеллико много страдалъ, и страдалъ съ этими рѣдкимъ терпѣніемъ, которое свойственно только или слишкомъ сильнымъ или слишкомъ слабымъ душамъ. Не беремся рѣшить, къ которой изъ этихъ двухъ категорій относится Сильвіо Пеллико, однако думаемъ, что душа сильная могла бы вынести изъ своего заключенія что-нибудь посильнѣе и поглубже дѣтскихъ разсужденій о томъ, что дважды-два — четыре. Конечно, эти старыя истины онъ предлагаетъ своимъ добродушнымъ читателямъ и почитателямъ съ искреннимъ убѣжденіемъ, отъ чистаго сердца, но отъ

этого его книга ничуть не лучше. Г. Шевыревъ говорить, что Сильвіо Пеллико имѣлъ право говорить общія мѣста и преподавать сухіе, произвольно-догматическіе уроки, послѣ столькихъ страданій и послѣ своей книги «Prigioni»; не споримъ. у всякаго свой взглядъ на вещи, а, по нашему, общія мѣста — всегда общія мѣста, кѣмъ бы они ни были сказаны, честнымъ человѣкомъ, или негодяемъ. Затѣмъ г. Шевыревъ приводитъ нѣсколько страницъ изъ книги Пеллико: эти выписки всего лучше могутъ оправдать наше мнѣніе объ этой книгѣ.

Статья заключается разборомъ «Записокъ Титулярнаго Совѣтника Чухина» г. Булгарина. Въ этомъ разборѣ г. Шевыревъ очень мило и храбро нападаетъ на г. Булгарина за его невѣжливость къ дамамъ. Какъ счастливы наши дамы! Сколько у нихъ ревностныхъ защитниковъ и почитателей! За нихъ сражаются, имъ служатъ и въ журналахъ, и въ вѣдомостяхъ!... Дѣло вотъ въ чемъ: г. Булгаринъ говорить въ одномъ мѣстѣ своего предисловія, «что женщины нѣжныѣ, сострадательнѣе, великодушнѣе мужчинъ», а четырьмя страницами выше такимъ образомъ объясняетъ, почему литературный умъ не можетъ ужиться съ обществомъ: «А дамы... о дамахъ я ничего не смѣю говорить. Place aux dames! — Вѣдь умныхъ любятъ только умные люди, слѣдовательно, литературному уму и тѣсно, и душно въ свѣтскихъ обществахъ». Что бы, кажется, дурнаго въ этой мысли? По нашему сужденію, эта мысль есть аксіома и, безъ сомнѣнія, лучше всего романа г. Булгарина. Но не такъ смотритъ на это дѣло г. Шевыревъ; послушайте, что онъ говорить:

«Каковъ комплиментъ и свѣтскому обществу и въ особенности дамамъ, которыя составляютъ лучшую часть его! Послѣ этого вѣрно автору, когда онъ правдоноситъ женщинамъ... Мы не знаемъ, когда изъ-подъ его пера, какаетъ правда, но здѣсь видимъ что-то въ родѣ чернильнаго пятна или неучтивости.

Послѣ этого, разумеется, роману г. Булгарина достается порядкомъ. Намъ самимъ этотъ романъ кажется очень плохимъ

и плоскимъ произведеніемъ, только по другой причинѣ: вслѣдствіе отсутствія таланта въ авторѣ, а не вслѣдствіе его неуваженія къ прекрасному полу. Мы тоже очень уважаемъ прекрасный полъ, но защищать его не намѣрены, потому что и въ одномъ князѣ Шаликовѣ онъ имѣетъ очень сильнаго защитника; что же говорить о другихъ...

Слава Богу! наконецъ — то я добрался до идеи «Наблюдателя»! Онъ хлопочетъ не о распространеніи современныхъ понятій объ изящномъ; теорія изящнаго не входитъ въ него, искусство у него въ сторонѣ; онъ старается о распространеніи свѣтскости въ литературѣ, о введеніи литературнаго приличія, литературнаго общежитія; онъ хочетъ, во что бы то ни стало, одѣть нашу литературу въ модный фракъ и бѣлые перчатки, ввести ее въ гостиную и подчинить зависимости отъ дамъ; цѣль истинно похвальная: кто не поревнуетъ ей! По крайней мѣрѣ, теперь мы знаемъ, о чемъ хлопочетъ «Наблюдатель», какаа его идея; по крайней мѣрѣ, мы теперь знаемъ, что онъ имѣетъ значеніе и смыслъ: а я только этого и добивался, и только чрезъ первый нумеръ его на нынѣшній годъ добился этого. Упреди я моею статьею послѣднюю статью г. Шевырева — и идея «Наблюдателя» осталась бы для всѣхъ тайною. Пріятно думать, что теперь наши журналы издаются если не съ мыслию, то со смысломъ, определеннымъ и яснымъ. Хорошо ли, дурно ли (не смѣю и не имѣю права судить объ этомъ) — «Телескопъ» и «Молва» хлопочутъ объ искусствѣ и литературѣ въ чисто литературномъ смыслѣ, безъ постороннихъ цѣлей. «Московский Наблюдатель» проповѣдуетъ свѣтскость и эдегантность въ литературѣ, смотритъ на искусство и литературу съ свѣтской точки зрѣнія. «Библиотека для Чтенія» развиваетъ ту мысль, что умозрительныя знанія и все, проникнутое идеєю, не только бесполезно, но и вредно, что нѣмецкая философія — бредъ, что только положительныя, фактическія знанія еще годятся на что-нибудь, что ничему не должно учиться, что для того, чтобы все знать, довольно вы-

писывать «Библиотеку для Чтенія» и «Энциклопедическій Словарь». «С. Пчела» и «Сынъ Отечества» одни чужды всякой мысли и даже всякаго смысла; но и у нихъ есть цѣль, опредѣленная и постоянная, это—подписчики...

Мнѣ бы слѣдовало еще поговорить о переводныхъ критическихъ статьяхъ «Московского Наблюдателя», но это совсѣмъ бесполезно, потому что онѣ нисколько не гармонируютъ съ цѣлью этого журнала. Тамъ, въ западной Европѣ, свѣтскость не новость, рыцарство, даже и литературное, давно уже сдѣлалось пошлостью. Но у насъ—другое дѣло; мы еще недавно надѣли бѣлые перчатки, и потому ходимъ поднявши руки вверхъ, чтобъ всѣ ихъ видѣли; мы еще недавно переменяли охабенъ на фракъ, и потому безпрестанно охорашиваемся и оглядываемъ себя со всѣхъ сторонъ; мы еще недавно перестали бить нашихъ женъ и пляску въ присядку переменяли на танцы, и потому кричимъ громко «*place aux dames*», какъ бы похваляясь своею вѣжливостью, и танцуемъ французскую кадрили съ такою важностію, какъ будто городъ беремъ... Это явленіе понятное и необходимое, но кажется, уже и у насъ пора бы ему сдѣлаться анахронизмомъ... Говоря безъ шутокъ, оно и есть анахронизмъ, смѣшной и жалкій...

Въ заключеніе почитаю необходимымъ сказать нѣсколько словъ о странномъ и опасномъ положеніи челоуѣка, который у насъ судить о чемъ бы то ни было, и судить не въ пользу судимаго. «Скажи правду—потеряи дружбу»: мудрая пословица. У насъ особенно всѣ авторитеты щекотливы и притязательны; точъ-въ-точъ мелкіе уѣздные чиновники. У насъ еще важность авторитета опредѣляется не заслугою, а выслугою, не достоинствомъ, а лѣтами. Кто началъ свое литературное поприще съ двадцатыхъ годовъ и началъ его надутыми стишками, продолжалъ журнальными статейками—тотъ уже авторитетъ, тотъ уже смотритъ на челоуѣка, осмѣливагося сказать ему правду, какъ на буйна, пристаиваго къ нему на улицѣ... Но всего горестнѣе, что у насъ еще не могутъ понять

того, что можно уважать человека, любить его, даже быть съ нимъ въ знакомствѣ, въ родствѣ—и преслѣдовать постоянно его образъ мыслей ученый или литературный; всего досаднѣе, что у насъ не умѣютъ еще отдѣлять человека отъ его мысли, не могутъ повѣрить, чтобы можно было терять свое время, убивать здоровье и наживать себѣ враговъ изъ привязанности къ какому-нибудь задушевному мнѣнію, изъ любви къ какой-нибудь отвлеченной, а не житейской мысли... Но какая нужда до этого? Развѣ должно прибѣгать къ божбѣ для увѣренія въ чистотѣ и безкорыстіи своихъ дѣйствій? Развѣ за благородный порывъ должно требовать награды отъ общественнаго мнѣнія? Развѣ мысль не есть высокая и прекрасная награда тому, кто служить ей?... О нѣтъ! пусть толкуютъ ваши дѣйствія, кому какъ угодно; пусть не хотятъ понять ихъ источника и цѣли, но если мысль и убѣжденіе доступны вамъ — идите впередъ, и да не совратятъ васъ съ пути ни расчеты эгоизма, ни отношенія личныя и житейскія, ни боязнь непріязни людской, ни обольщенія ихъ коварной дружбы, стремящейся взаимнѣ своихъ ничтожныхъ даровъ лишить васъ лучшаго вашего сокровища — независимости мнѣнія и чистой любви къ истинѣ!...

[illegible]

II.

БИБЛІОГРАФІЯ.

ПОСТОЯЛЫЙ ДВОРЪ. *Записки покойнаго Горянова,
изданныя его другомъ Н. П. Маловымъ. Спб. 1835.
Четыре части.*

Сорокъ пять печатныхъ листовъ мелкимъ шрифтомъ — есть чего почитать! Въ этомъ отношеніи никто не можетъ такъ хорошо оцѣнить достоинства этого романа, какъ я. Нечего сказать — свершилъ геркулесовскій подвигъ! Уфъ! дайте перевести духъ!...

De mortuis aut bene, aut nihil — говорить латинская пословица; почтеннѣйшій Горяновъ покойникъ, а Н. П. Маловъ только издатель его записокъ: одинъ правъ тѣмъ, что скончался, другой тѣмъ, что онъ только исполнитель воли покойнаго, душеприказчикъ, и нисколько не виноватъ въ проказахъ своего друга. Какъ же тутъ быть? Гдѣ взять виноватаго, кого судить? Но, вотъ счастливая мысль! Я нашелъ средство успокоить мою совѣсть: вѣдь о покойникахъ грѣхъ судить только въ такомъ случаѣ, когда они умираютъ вполнѣ, совсѣмъ, безъ всякихъ претензій на вниманіе живыхъ, безъ всякихъ притязаній безприютъ живыхъ своею личностію; а г. Горяновъ, отдавши тѣло свое землѣ, а духъ небу, не сошелъ съ житейскаго поприща, не оставилъ этого тревожнаго моря: онъ завѣщалъ намъ, живущимъ и здравствующимъ, свои мысли, чувства, страданія, мечты, исторію своей многотрудной и многострадальной жизни, исторію большого числа лѣтъ, съ которыми судьба поставила его въ тѣсныя соотношенія, короче, онъ завѣщалъ намъ четыре огромныя книги, отъ которыхъ не въ мочь головѣ и сердцу, напеча-

танныя мелкимъ шрифтомъ, отъ котораго не въ мочь глазамъ. И такъ миръ праху страдальца, благословеніе его памяти! Но его книга — другое дѣло! Онъ самъ вызвался на судъ, прежде наказавши насъ тяжкою казнію и безъ всякаго суда. Теперь наша очередь, и мы не откажемся отъ нашихъ правъ. Г. издатель—другое дѣло! Къ нему нельзя придратъся ни съ которой стороны, развѣ только со стороны неумѣнья ставить правильно знаки препинанія. Противъ этого ему рѣшительно нечего сказать: мы были при смерти покойника, мы слышали его послѣднюю волю, и мы знаемъ, что онъ не заказывалъ своему другу слѣдовать въ точности своей ореографіи. Можетъ-быть, почтенный Н. П. Маловъ, по личной дружбѣ и уваженію къ покойному, не хотѣлъ ни на югу отступить отъ текста завѣщанныхъ ему тетрадей:

Въ самомъ дѣлѣ, это очень можетъ статься: а воля умирающаго священна, уваженіе къ его памяти тоже!...

Богъ судья г. Горюнову! Взять онъ на свою душу (во всѣхъ другихъ отношеніяхъ совершенно праведную) тяжкій грѣхъ, а мы, не виноватые ни душой, ни тѣломъ, должны отдуваться за него. Разсчитать не совсѣмъ добросовѣстный! Но дѣло сдѣлано, поправить его нельзя; можно только избавить отъ добровольной пытки многихъ довѣрчивыхъ читателей, и мы постараемся это сдѣлать.

Что такое «Записки покойнаго Горюнова»? Это романъ, записки — только форма. Къ какому роду романа относится онъ по своему характеру и содержанію? Трудно отвѣчать удовлетворительно на этотъ вопросъ, трудно найти типъ этого романа. Онъ принадлежитъ къ какому-то смѣшанному роду: въ немъ найдете вы манеру и дѣвицы Марьи Извѣковой, и г-жи Жандисъ, и миссъ Эджвортъ, и Поль-де-Рока, и даже частію Александра Ананьевича Орлова. Сколько постороннихъ вліяній, сколько чуждыхъ вдохновеній! Но у покойнаго Горюнова много и своего собственнаго, отъ чего читателю ничуть не легче. Ничто всѣ жалуется на несправедливость

критики, никто не хочет верить ей добросовѣстности, требуютъ доказательствъ и выписокъ, чтобъ дѣло было явѣе дня, чтобъ читатель имѣлъ данныя для сужденія о разбираемой книгѣ и повѣркѣ самаго разбора. Требованіе очень справедливое, хотя и рѣдко возможное для исполненія. И такъ, мнѣ должно изложить вкратцѣ содержаніе романа и ходъ его дѣйствія отъ начала до конца, отдать отчетъ въ характерахъ дѣйствующихъ лицъ: я бы и сдѣлать это, еслибъ была какая-нибудь возможность! Но я утомилъ бы васъ, утомилъ бы себя, и все безъ пользы, безъ нужды. Итъ — отъ такого подвига отказался бы и самъ Геркулесъ! — Романъ длинный, длинный, и поучительный, и чинный; происшествій бездна, дѣйствующихъ лицъ тьма тьмушая; притомъ же, на этотъ разъ, и самая память мнѣ какъ-то измѣнилась: не больше двухъ часовъ, какъ я дочитался до отроднаго слова «конецъ», а уже забылъ множество подробностей и долженъ пересматривать, переписывать все безконечныя четыре части; долженъ безпрестанно наводить справки, дѣлать выписки; легкій ли это трудъ — сами посудите! Но дѣлать нечего; вѣлася, такъ прочь отговорки! Постараюсь схватить главныя черты, характеризующія этотъ романъ, указать на самыя яркія и пѣтистыя, у кого много лишняго времени и охоты, кто не труситъ умереть впруть тысячу разъ; тотъ можетъ прочесть самый романъ.

И такъ, приступаю къ дѣлу со страхомъ и трепетомъ, иду на новую попытку съ самоотверженіемъ и преданностію воли судьбы неумолимой.

Августа 14, въ пять часовъ утра, въ день святаго ангела, проснулся Горяновъ и, не вставая съ постели, съазалъ довольно длинное и витѣватое воззваніе къ Богу, собственнаго сочиненія. За симъ слѣдуетъ описаніе физическихъ примѣтъ оратора, потомъ описаніе бѣдствій, претерпѣнныхъ имъ въ жизни. Горяновъ принадлежалъ къ числу чудаковъ и оригиналовъ: утомленный жизнію онъ купилъ себѣ семь десятинъ

песчаной земли, удобрить ее, развелъ садъ, построилъ постоянный домъ, одну половину котораго занималъ самъ, а въ другую пускалъ проѣзжихъ, и имъ же сбывалъ произведенія своего сада. Надобно замѣтить, что онъ имѣлъ чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника и орденскую звѣзду. Тутъ слѣдуетъ самое подробное описаніе усадьбы, дома и сада Горянова; словоохотный г. Маловъ описываетъ все это съ такою отчетливостію, съ какою Вальтеръ-Скоттъ описывалъ замки рыцарей. Эту страсть къ скучнымъ, утомительнымъ описаніямъ, на нѣсколькихъ страницахъ, почтенный издатель занялъ у своего покойнаго, какъ увидимъ ниже. Онъ описываетъ: въ какомъ порядкѣ размѣщены были плодовые деревья, какіе цвѣты и какъ расположены были въ партерѣ. Я пропускаю описаніе утренняго туалета Горянова и глубоко-мысленныя его разсужденія (вслухъ, съ самимъ собой) по поводу каприфоліи, обвивающейя вокругъ дома. Горяновъ былъ человѣкъ пожилой, а старики вообще болтавы. Я пропускаю его разговоръ съ ключницею Ольгою, и богатые подарки на водку своей прислугѣ, талерами и рублевиками. Горяновъ былъ человѣкъ щедрый и благотѣльный. Равнымъ образомъ, я пропускаю описаніе кабинета Горянова, которое, конечно, длиннѣе и поэтичнѣе описанія Армидина сада у Тасса. Но вотъ къ Горянову приходитъ другъ его, Н. П. Маловъ, и между ними начинается преглубокомысленный разговоръ о «животворящемъ духѣ великаго разумѣнія, какъ силахъ дѣйствующихъ и страдательныхъ; о веществѣ, какъ составѣ формы, органахъ, и объ общемъ законѣ рожденія, жизни и смерти». Этотъ разговоръ такъ мудренъ, что я ни слова не понималъ въ немъ, потому что въ немъ есть такія вещи, которыхъ

Не хитрому уму не выдумать и вѣкъ.

За сими глубокими мыслями, слѣдуютъ нападки на умъ, на этого «гордеца здѣшняго міра», Ужъ достается жь ему отъ обоихъ друзей—и подѣломъ мука!—Вдругъ входитъ мальчикъ,

весь въ слезахъ, докладываетъ, что какой-то проѣзжій избилъ его и требуетъ на лицо самого хозяина. Горяновъ надѣлъ звѣзду и пошелъ къ проѣзжему. Едва переступилъ онъ черезъ порогъ, какъ проѣзжій проревѣлъ: «такъ это ты!» вонзилъ ему въ бокъ охотничій ножъ, выскочилъ изъ комнаты, и слѣдъ простылъ. Истинная сцена изъ испанской жизни! Только охотничій ножъ, вмѣсто кинжала, разрушаетъ немного очарованіе. Но вы, пожалуй, скажете, что на Руси такихъ романтическихъ убійствъ не бываетъ, а если и случаются, то не остаются безнаказанными; погодите, еще не то увидите: увидите похищенія среди бѣлаго дня, удары кинжалами, не въ грудь а... Но послѣ скажу, и тогда вы узнаете, что русская жизнь ничѣмъ не разнится отъ итальянской или испанской. Бѣдный Горяновъ умираетъ и завѣщаетъ свои тетради Н. П. Малову.

Каждая тетрадь начинается сентенціями о томъ и о семъ, а чаще ни о чемъ. Если сентенціи выкинуть, то двухъ частей романа какъ не бывало. Но гдѣ же романъ, и что же онъ? Погодите — сейчасъ. Горяновъ не есть герой романа, онъ въ немъ лицо аксесуарное; его постоянный домъ тоже не играетъ въ романъ никакой роли. Впрочемъ, очень трудно найти настоящаго героя романа; въ трехъ первыхъ частяхъ его роль играетъ, если не ошибаюсь, дочь генерала Катенева, Катерина Михайловна. Горяновъ купилъ у ея отца землю и черезъ это познакомился съ нѣмъ. Описаніе физическихъ и нравственныхъ примѣтъ отца и дочери составляютъ нѣсколько страницъ. Здѣсь скажу кстати и однажды навсегда, чтобы избѣжать повтореній, что Горяновъ не скупился на описанія, и еслибы ихъ выкинуть, то еще части романа какъ не бывало. Чуть появится новое лицо, онъ описываетъ его съ ногъ до головы и съ головы до ногъ; онъ ничего не упустилъ, ничего не забудетъ, начиная отъ цвѣта глазъ и кончая до устройства ногъ, отъ формы головы до бородавки на щекѣ. И нечего сказать, въ этомъ отношеніи труды его не тщетны:

стоитъ только заучить описаніе кого-нибудь изъ дѣйствующихъ, такъ узнаешь его, не читая его паспорта. Но этимъ все и оканчивается: какъ ни подробно рисуетъ авторъ фیزیономію души, какъ ни тщательно анализируетъ характеръ того или другаго лица, это лицо для васъ всегда—привидѣніе безплотное!—У генерала есть еще сынъ; онъ въ полку, украшенъ двумя ранами и нѣсколькими орденами, Катерина Михайловна любитъ Долинскаго, ловкаго, умнаго и храбраго офицера, Поляка по происхожденію, Русскаго по обстоятельствамъ жизни и по службѣ: Генералъ полюбилъ молодаго Долинскаго, за его личныя достоинства, но когда узналъ о любви его къ своей дочери, то запретилъ ему входить въ свой домъ. Генералъ ненавидѣлъ Поляковъ, а о любви имѣлъ самыя военныя идеи. Но свиданія продолжаются, любовь «гнѣздится въ утробѣхъ сердець» молодыхъ людей. Ахъ! кто можетъ повелѣвать сердцу? оно не признаетъ надъ собой никакой власти, ни отцовской, ни генеральской!... Генералъ зналъ о свиданіяхъ, зналъ о перепискѣ и, почитая все это за вздоръ, не обращалъ на это никакого вниманія. Чудакъ! онъ не зналъ, что подливаетъ масло въ огонь, и безъ того сильно пылавщій. Наконецъ онъ наотрѣзъ сказалъ своей дочери, что ей не бывать за Долинскимъ. Упрямый старикъ! жестокій старикъ! Но какъ вы ни сердитесь на него, а все сознаетесь, что онъ лицо необходимое: безъ тирана, что за романъ, что за драма? а Катеневъ тиранинъ очень добрый, очень милый во всѣхъ другихъ отношеніяхъ. Надобно вамъ сказать, что Катерина Михайловна предосудная дѣвица; она создана авторомъ по образу Шиллеровскихъ героинь, этихъ идеальныхъ, небесныхъ созданій, и только одинъ разъ, какъ увидимъ ниже, сбивается на тонъ и характеръ Польша-де-Кювскихъ гризетокъ, этихъ созданій чисто земныхъ и нагавейныхъ. Но кто изъ рожденныхъ отъ жены не падаетъ?... Дочь въ отчаяніи, но сила духа, ея превозмогаетъ тяжесть страданія; она исторгаетъ у отца своего позволеніе остаться, какъ выражается авторъ, въ дѣвкахъ и

устроить гостепріимный домъ изъ семи помѣщій для безпріютныхъ семействъ. Генераль согласился на то и на другое. Правда, первое-то условіе было для него слишкомъ тягостно, потому что ему, какъ аристократу, хотѣлось видѣть въ будущемъ распространеніе своей фамиліи; но у него оставался еще сынъ, бравый молодецъ, который могъ постоять за себя. Виновать! первая просьба была сдѣлана дочерью и утверждена отцомъ гораздо послѣ второй, — когда уже генераль, пригласившій гостить къ себѣ въ домъ графа Чижова, который страстно влюбился въ Катерину Михайловну и за котораго генералу страстно хотѣлось отдать свою дочь. Графъ Чижовъ... но о немъ послѣ. Теперь остановимъ наше вниманіе на богоугодномъ заведеніи сиродобольной дѣвицы Катеневой.

Когда уже приняты были нѣсколько безпріютныхъ женщинъ, мажорель Катенева, принявшая на себя вѣданіе и должность президента своего заведенія (формы — дѣло прекрасное, ихъ не нѣтъ, соблюдаютъ и дѣвицки), открыла совѣтъ о принятіи новыхъ несчастныхъ. Совѣтъ происходить со всею торжественностію, прилично присутственному мѣсту: президентъ сидѣлъ въ углубленіи залы, за боковыми столами, накрытыми до пола зеленымъ сукномъ; надъ нимъ висѣлъ портретъ ея отца, а вокругъ стола члены совѣта, состоявшіе изъ призрачныхъ женщинъ.

— Здравствуйте, Алексѣй Павлович! сказала она мнѣ (Горянову); садитесь вонъ меня. Мы работаемъ въ первый день праздника (Пасхи); но работа наша посвящена Ему, тѣмъ молитва. Мы судимъ и рѣшаемъ о принятіи новыхъ семействъ, потому что еще три отдѣленія не замѣнены. — Она обратилась къ молодой Картуковой, которая сидѣла у противоположнаго конца стола и занимала должность секретаря. Прочтите, сказала она, выписки изъ бумагъ, нужныхъ для нашего совѣда.

М. секретарь прочла извѣстіе о лишившейся мужа, разорившейся отъ пожара и другихъ несчастныхъ случаевъ и обремененной дѣтьми, купчихѣ Сысоевой.

Катенева повела глаза. (??...) по членам совѣта. — Что скажете? спросила она. — Принять, принять! былъ отвѣтъ. Картукова продолжала: Анна Мирль Герценсбуле, дѣвица изъ Тапсала, по просьбѣ госпожи Маловой. Мѣстопробываніе въ здѣшней губерніи, въ городѣ Н...

— Что же ты, Настинька, остановилась? спросила дѣвица Катенева: пороки другихъ не касаются до насъ. Помнишь, какъ привели къ Снасителю на судъ женщину дурнаго поведенія. Неужели бы ты не стала читать этой притчи? Продолжайте, Настинька!

— Анна Мирль имѣетъ двухъ дѣтей.

А, такъ вотъ въ чемъ дѣло! Секретарь былъ застѣнчивѣ председателя; оно такъ и слѣдуетъ: подчиненные всегда застѣнчивы въ присутствіи начальниковъ. Впрочемъ, какъ ни странно слышать, что идеальная дѣвица, съ возвышенною душою и любящимъ сердцемъ, такъ храбро разсуждаетъ о человѣческихъ слабостяхъ извѣстнаго рода, и не краснѣя даетъ знать, что она имѣетъ о нихъ ясное понятіе, не мы нисколько не поставляемъ этой опытности и знанія къ стыду идеальной дѣвы. Мы выписали это мѣсто потому, что оно привело насъ въ истинное умиленіе. Теперь обратимся назадъ.

Пріѣзжаетъ графъ Чиновъ, въ это же время былъ въ отпуску и сынъ Катенева. Чтобы дать понятіе о наружности и характерѣ графа, надобно бѣ было списать слово въ слово нѣсколько страницъ, а у насъ для этого не достало бы ни времени, ни мѣста. Графъ былъ двадцати осьми лѣтъ, пригожъ собою, съ лукавыми глазами, и очень уменъ и образованъ, хотя изъ его разговоровъ и поступковъ этого и не видно; но мы вѣримъ на слово автору. Какъ ни бился графъ, съ которой стороны ни заходилъ онъ къ Катеневой, но успѣлъ пріобрѣсть только ея дружбу и заставить ее полюбить себя, какъ брата. Катерина Михайловна, на зло отцу и брату, къ отчаянію графа, была вѣрна Долинскому, какъ и должно героинѣ романа. Вдругъ получаетъ она письмо отъ Долинскаго, который уведомляетъ ее, что онъ женился, и разрываетъ ее отъ клятвъ. Съ бѣдной дѣвушкой сдѣлалась впоплекся, про-

должавшаяся нѣсколько дней; она была при смерти и умерла бы, еслибы дѣларь Крузе не спасъ ее. Этотъ Крузе, несмотря на свою молодость, былъ очень искусенъ, и если авторъ романа доводитъ кого-нибудь изъ героев до гроба, но не хочетъ совсѣмъ уморить, то Крузе творить чудеса. Упомяну объ одномъ дѣйствіи его чудеснаго искусства воскрешать мертвыхъ. Хотя генералъ и былъ палачемъ своей дочери, но въ прочихъ отношеніяхъ былъ, какъ я уже и сказалъ, прекрасный человѣкъ, только съ большими странностями. Такъ, напримеръ, онъ былъ чрезвычайно недоувѣрчивъ и подозрителенъ, и за нимъ водился грѣшокъ — подслушивать. У него гостилъ племянникъ Ериновъ, промотавшійся повѣса, а впрочемъ добрый малый; этотъ Ериновъ растворилъ со всего размаха дверь и поразилъ подслушивавшаго разговоръ своей дочери съ Горяновымъ въ високъ костыльнымъ замка. Старикъ чуть не умеръ, дочь его также, но чудотворный геній Крузе все поправилъ.

И такъ, Катенева чуть не умерла. Братъ ея, тотчасъ по прочтеніи роковаго письма, вскричалъ «смерть!» и рѣшился ѣхать въ Вильно, чтобъ убить Долинскаго. Отецъ еще больше подстрекалъ его ко мщенію, и тщетно добрый Горяновъ читалъ имъ длинныя и поучительныя диссертациі: безумцы не опомнились, а вопиюще понапрасну сорилъ цвѣты своего краснорѣчія, доводы ума и убѣжденія чувства. Между тѣмъ, Катенева была спасена, но избавившись отъ физической болѣзни, она впала въ нравственную, да въ какую! стыдно ужъ сказать. Изъ Шиллеровской дѣвы, она сдѣлалась Польде-Кокковскою дѣвкою. Будучи свидѣтельницею ласкъ, оказываемыхъ благодѣтельствованной ею дѣвушкѣ женихомъ ея, и потомъ супружескихъ ласкъ четы Маловыхъ, которые при людяхъ не очень женировались, она почувствовала какое-то преступное любопытство, и, выдумывая средства, какъ удовлетворить ему, вступила въ разговоры съ своею горничною. Мы выше видѣли, что Катенева и безъ того была довольно

свѣдуща in rerum natura, но, видно, горячая была еще опытиѣ. Но послушаемъ саму Катерину Михайловну:

— Мой умъ начинаетъ разстроиваться. Я боюсь мужчинъ: взгляды на нихъ заставляютъ меня трепетать всѣми членами. Я боюсь сама себя, боюсь собственныхъ глазъ своихъ, языка, рукъ: этихъ обличителей моего безумія. Цѣломудренная еще тѣломъ, я готова утратить все при первомъ удобномъ случаѣ.

Какова?... О, покойный Горяновъ хорошо зналъ людей, и особенно молодыхъ идеальныхъ дѣвушекъ!... И такъ, есть надежда, что Катенева далеко уйдетъ; но, къ сожалѣнью, ея спасаетъ другой врачъ, уже духовный—Горяновъ. Онъ же узналъ случайно, что письмо Долинскаго было подложное, что все это были шуточки Чицова; графъ убѣждаетъ отъ Катеневыхъ съ яростію въ душѣ и планами о мщеніи. Молодой Катеневъ въ окрестностяхъ Полоцка. Онъ получаетъ чинъ полковника, встрѣчается случайно съ Долинскимъ, который былъ уже бригаднымъ генераломъ, и дружится съ нимъ. Графъ Чицовъ чуть было не убилъ изподтишка Катенева, но Долинскій спасъ его. Однажды генералъ Катеневъ читалъ «С. Пчелу» и увидѣлъ изъ ней, что Долинскій спасъ двадцать четыре человѣка отъ потопленія, подвергая опасности собственную свою жизнь; старикъ пришелъ въ умиленіе и сказалъ своей дочери, что Долинскій—ей! Надо прибавить здѣсь, для ясности, что Долинскій принужденъ былъ выдавать себя за сына часового мастера, когда свелъ знакомство съ Катеневыми; потомъ открылось, что онъ принадлежитъ къ хорошей фамиліи: генералу это было извѣстно еще прежде. И такъ, веселымъ пиркомъ да и за свадебку? Оно такъ, но сперва надо было преодолѣть множество препонъ. Чицовъ съ сообщникомъ своимъ, бѣглымъ солдатомъ, нашелъ средство проникать, когда ему было нужно, въ одну пустую залу генеральскаго дома, и по ночамъ, подобно домовому, пугалъ всѣхъ жителей его. Когда пріѣхалъ Долинскій, онъ хотѣлъ его убить, но провидѣніе не позволило восторжествовать злодѣю. Въ домъ генерала ночевалъ однажды Тараторинъ...

но: позвольте познакомить васъ съ этимъ лицомъ: оно очень оригинально.

Тараторинъ—глупецъ, мать его—дура, отца у него нѣтъ, но онъ надѣждется большаго имѣнія. Ему хочется жениться такъ же, какъ хотѣлось жениться Митрофанушкѣ. Онъ вполочится за всѣми дѣвицами, и всѣ владычннн смѣются. Онъ говоритъ «манананну»: напр., онъ хотѣлъ сказать: «точно какъ теленокъ облизать», а сказалъ: «точно какъ, лизенокъ облизать». Не правда ли, что это очень мило? О! покойный Гюрюновъ мастеръ былъ рисовать характеры!

Давида Картаулова отъѣзжала Тараторину: «Вы много шутите, мнѣ, бѣдной, безродной сиротѣ, можно ли быть вашею женою?»—Какъ это Федосья Андреевна—(отъѣзжала Тараторинъ)—быть мнѣ вашей женою... что вы подъ этимъ разумеваете?»

Ну, теперь имѣете ли вы понятіе о г. Тараторинѣ?—Однакожь, онъ добрый малый: когда графъ похитилъ Катеневу, онъ смѣло бросился въ воду, ухватился за лодку, и только добрый ударъ по рукѣ не допустилъ его совершить рыцарскаго поступка. Но этимъ, какъ увидимъ ниже, не кончились его бѣды. Прибавлю еще послѣднюю характеристическую черту къ изображенію Тараторина. Онъ, наконецъ, женился на одной изъ призрѣнныхъ Катеневой дѣвицъ; а Ершовъ, которому удалось спасти свою кузину отъ Чижова, женился на сестрѣ Тараторина. И вотъ что говорилъ Ершовъ на счетъ семейственныхъ дѣлъ своего шурина:

Что вы думаете? (говорилъ Ершовъ) замѣтили вы, какъ бѣдная Марья Андреевна похудѣла въ два мѣсяца? Это не даромъ—отъ безлзненныхъ припадковъ душевныхъ и тѣлесныхъ. Онъ больше, чѣмъ звѣрь: не знаетъ ни времени, ни мѣста; не имѣетъ ни соображенія, ни жалости; какъ заладить свое, ничто не можетъ остановить его.

И такъ, этотъ-то Тараторинъ остался однажды ночевать въ домѣ генерала; спать ему досталось въ одной комнатѣ съ Долинскимъ, который, положивъ его на свою постель, пошелъ спать въ комнату молодаго Катенева. Вдругъ оба друга услы-

шали ужасный крикъ; приближаютъ, и что же видать?... Вѣдь вздумалось же судьбѣ сыграть такую плоскую шутку! Тараторинъ лежалъ весь въ крови и плескалъ ее рукою. Рана была не на головѣ и не на груди, а пониже немного синыны; ударъ былъ нанесенъ кинжаломъ, и такъ какъ Тараторинъ, вѣроятно, спалъ на боку, то имѣлъ четыре раны. Фу!... Крузе его вылѣчилъ, однакожь онъ долго не могъ сидѣть.

Наконецъ мамзель Катенева сдѣлалась мадамъ Долинская. Мужъ ея, въ угожденіе генералу, вышелъ въ отставку и остался жить при немъ. Онъ перевелъ на ея имя свои двѣ тысячи душъ; молодой Катеневъ отказался, въ пользу сестры, отъ Крутыхъ Верховъ; словомъ, всѣ сражаются взапуски великодушіемъ, плачутъ, рыдаютъ, цѣлуютъ, обнимаютъ другъ друга, и говорятъ сентенціи и рѣчи вопреки мнѣнію добраго Горянова, что «кто много чувствъ имѣетъ, тотъ мало говорить». Но Катенева нашла въ бракѣ только душевное блаженство и, въ своемъ откровенномъ разговорѣ съ Горяновымъ, котораго мы не выписываемъ, потому что и такъ боимся, за эти выписки, негодованія со стороны нашихъ читателей, призналась ему, что «однѣ только обязанности жены могутъ ее принудить пользоваться земными наслажденіями».

А графъ Чиновъ? онъ получилъ достойную награду за свои злодѣянія: свалился съ моста черезъ Оку, сперва попалъ на колъ ляжкою, потомъ сорвался и снова попалъ на него, на манеръ какъ казнятъ въ Турціи преступниковъ. *Fi donc!*

Третьею частью оканчиваются похождения Катерины Михайловны, въ четвертой она играетъ второстепенную роль, и только дѣлаетъ, что ораторствуетъ о преимуществѣ небесной любви передъ землею. Героинею четвертой части является княжна Серпуховская. Какъ ни усталъ я самъ, какъ ни утомилъ васъ, но—дѣлать нечего—познакомлю васъ и съ этою исторіею, которая весьма поучительна.

Княгиня Серпуховская знакома и дружна съ семействомъ Катеневыхъ. У ней дочка лѣтъ четырнадцати, ангелъ себѣю.

умища неописанная. Мать ее воспитываетъ прекрасно, только ублажа въ ней волю, и, въ этомъ отношеніи, сдѣлала ее автоматомъ.

— Какъ я люблю, мама, эту гимназю! прошептала княжна. — А какъ ты умѣешь любить? сказала княгиня, мать, и дочь въ одну секунду перепорхнула съ кушетки въ объятія матери.

Княжна имѣетъ чувствительное сердце. Горяновъ разсказалъ исторію объ одномъ несчастномъ семействѣ:

— Мама, другъ мой, мама! что хотите со мной дѣлать, только позвольте выкупить это бѣдное семейство.

Какая милая дѣвушка! А какъ она невинна, какъ наивна! Княгиня увезла свою дочь въ Москву, и начала ее учить всѣмъ наукамъ. Княжнѣ уже шестнадцать лѣтъ, и, по свѣдѣтельству профессора Чуманова, ея учителя, она прошла уже полный курсъ геометріи и алгебры; черезъ годъ она прослушала курсъ эстетики и исторію философіи, и занималась даже механикою, физикою и химіею. Можетъ-быть, вамъ не понравится это; можетъ-быть, вы, подобно мнѣ, не можете терпѣть «академиковъ въ чепцѣ и семинаристовъ въ желтыхъ шаляхъ»; но не безпокойтесь, княжна не сдѣлалась педантомъ; ея обширныя познанія въ естественныхъ наукахъ помогли ей сдѣлаться «элликтическою кухаркою» и «домоводчицею»; она прикладывала свои знанія къ огранкѣ, къ вращенію нитокъ, и пр. Также она довольно успѣла и въ анатоміи, посредствомъ гипсовыхъ и анатомическихъ слѣпковъ. Последнее знаніе, какъ увидимъ ниже, очень пригодилось ей. Когда княжна была столько учена, что могла уже выдержать докторскій экзаменъ, она отправилась съ матерью путешествовать по Европѣ. Разумѣется, путешествіе еще болѣе возвысило достоинства этого идеальнаго существа. И вотъ онѣ возвратились изъ путешествія; княжнѣ было тогда девятнадцать лѣтъ, а Катерина Михайловна Катенева давно уже была госпожею Долинскою. Княжна прекрасна, ростъ ея малъ, но талія прелестна, характеръ живой, огненный, страстный. Она любитъ все не-

обыкновенное, все гигантское; особенно высоких и складных мужицъ; идеаль ея мужа стройный гренадеръ, и неудивительно: сама она мала, а противоположности нравятся. Мать ея, видя что дочка давно уже на возрастъ, и притомъ утомившись заботами о поддержаніи своего имѣнія, хочетъ видѣть ее за мужемъ. Ей нѣтъ нужды, кто будетъ мужемъ ея дочери, дуракъ ли, урокъ ли, былъ бы богатъ. Да! княжна очень переѣхалась, возвратясь изъ путешествія! Въ князю влюбленъ молодой Катеневъ, полковникъ, увѣшанный орденами и крестами, украшенный ранами, и какой умища, Боже мой, какой умища! Что ни шагъ, то проповѣдь, что ни слово, то сентенція. Но бѣдный напрасно вздыхаетъ, напрасно томится—ему сулятъ братскую любовь, а все отъ того, что онъ обыкновеннаго росту. Потомъ княгиня выписала князя Таркутова; этотъ князь генералъ и, несмотря на то, большой дуракъ и скрята. Какъ ни хотѣлось матери упрятать свою дочку за этого молодца, но не тутъ-то было! На подставку князю нашелся камергеръ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Шебаровъ, человѣкъ ловкій, свѣтлый и чрезвычайно умный, но такой дурной собою, что на него нельзя было смотрѣть безъ отвращенія. Онъ толковалъ съ княгиней о «тайнѣ плодородія природы», идею которой древніе обожали подъ именемъ Изиды. Вдругъ съ княжною совершается чудо чудное, диво дивное... Но послушаемъ самого автора:

Княжна Серпуховская начала совершенно отливаться въ формы порока... Свежесть ея исчезла, румянецъ обратился въ блѣдность: глаза помутились, подъ глазами легли свинцовыя полосы. И все это въ нѣсколько дней! Какъ быстро этотъ огонь разрушаетъ прелести земныя! Высокая грудь ея безпрестанно волнуется; походка приняла видъ сладострастный; все поступки сдѣлались рѣшительныя; въ одеждѣ открылась неопрятность, соблазнительная небрежность... Она не можетъ ничего сдѣлать и ничѣмъ заняться: однѣ только мечты нечистыя въ груди ея. однѣ желанія неукротимыя.

Какъ не повѣрнись, послѣ этого, что отъ высокаго до

смѣшного одинъ только шагъ! Наполеонъ правъ; но не мнѣ его правъ и Державинъ, который сказалъ:

Какихъ ни вымышляй пружинъ,
Чтобъ шужу бую ужудиться—
Не можно вѣкъ носить личина,
И истина должна открыться.

Да! кто созданъ Поль-де-Кокомъ, тому не бывать Шиллеромъ!... Все дѣло въ томъ, что княжна повстрѣчалась съ мужчиною въ 14½ вершковъ, стройнымъ и гибкимъ: этого ей было достаточно, чтобъ влюбиться безъ памяти. Пламенное воображеніе княжны любило мѣры большія, количества огромныя. Но кто же былъ этотъ мужчина?—Убийца, дѣлатель фальшивой монеты, нѣсколько разъ наказанный плутомъ, заклеименный нѣсколькими печатями мозора. Онъ убѣжалъ (не помню, въ который разъ) изъ Сибири и убилъ Горянова, который, находясь въ службѣ, судилъ его за одно уголовное преступленіе и способствовалъ егосылкѣ въ Сибирь. Этого злодѣя звали Зарембскимъ; на его атлетическомъ тѣлѣ была голова Антиноя; на лицѣ — Байроновская улыбка; глаза — глаза змѣя райснаго; онъ быстро и правильно объяснялся на французскомъ, нѣмецкомъ и англійскомъ языкахъ. Такъ описалъ его Горяновъ, который зналъ его еще двадцатидвухлѣтнимъ юношею и оставнымъ майоромъ одного кирасирскаго полка. Зарембскій воровалъ, грабилъ, жегъ и рѣзалъ людей, основывалъ раскольничьи сенты, и пр. и пр. И въ этомъ-то широкоплечемъ, длинномъ и статномъ героѣ, украшенномъ тремя клеймами на лицѣ, нашла свой идеалъ юная, прекрасная, пламенная сердцемъ, возвышенная душою, украшенная всѣми дарами природы и воспитанія, княжна Серпуховская! Горяновъ объясняетъ это психическое явленіе тѣмъ, что княжна много училась, и всю вину кладетъ на науки. Довольно религіи! говоритъ онъ добродушно, не понимая, что только при просвѣщенномъ разумѣ и образованномъ сердцѣ человекъ способенъ постигать вполне высокія истины хри-

стіанской религіи; что у невѣждъ религія превращается или въ фанатизмъ, или въ суевѣріе. И чѣмъ же все это кончилось? Княжна ввела своего друга въ итальянскую ферму въ саду, подкупила дворецкаго и черезъ горничную пересылала ему пищу и необходимыя вещи, не забывая и сама какъ можно чаще посѣщать его. Тотъ открылся ей во всемъ, и тѣмъ еще болѣе выигралъ въ ея къ нему расположеніи. Наконецъ, она бѣжала съ нимъ и поселилась въ какомъ-то раскольничьемъ скитѣ — и слухъ о ней пропалъ навѣчно...

Ну вотъ вамъ, по возможности, полный очеркъ этого романа; довольны ли вы имъ? Я старался схватить самыя характеристическія черты, и потому о многомъ не сказалъ. Сколько тутъ характеровъ, и какіе характеры! Объ одномъ Н. П. Маловѣ, издателѣ записокъ Горянова, можно написать большую отдѣльную статью; какъ занимателенъ этотъ характеръ! А его супруга, Аделаида Францовна — это, какъ выразился покойный Горяновъ, «вечеловѣченное сладострастіе снаружи и благочестіе внутри»!...

Теперь мнѣ должно познакомить васъ съ внѣшними качествами этого романа. Языкъ, надо признаться, очень плохъ. Горяновъ человѣкъ стариннаго покроя и грамотъ, какъ видно, учился на желѣзные гроши. Какъ, напримѣръ, покажется вамъ эта фраза: «Вице-губернаторъ, великій знатокъ въ винахъ, пилъ ихъ съ большимъ удовольствіемъ, смакуя на губахъ и журча ими между зубами; прокуроръ глоталъ безусловно (?)». Вообще покойный Горяновъ придерживался какого-то жаргона, непонятнаго для насъ; такъ, напримѣръ, есть ли въ русскомъ языкѣ подобныя слова: «изконно (т. е. древне), заготовя себѣ загодя (заблаговременно, заранее?), подлажливаетъ плоды, напштавъ собирался было говорить до-капо», и т. д.? А что за правописаніе! чѣмъ объяснить это уваженіе, которое Горяновъ питалъ къ иностраннымъ словамъ? Стадія, кредиторъ, наста, идеаль; гастрономія, гумористика — въ началѣ всѣхъ этихъ словъ авторъ ставилъ

прописная буквы. Разобраножа знають пропискиа обнаруживаетъ ужасную безграмотность: допущенныя слова вездѣ отдѣлены отъ дополнительныхъ занятыхъ...

Мы охотно прощаемъ покойнику и безтолковость и безграмотность, и непристойность его романа, но мы не можемъ ему простить той убийственной насущности, которою пронизанъ его романъ отъ первой страницы до последней...

Бѣдный Горюновъ! онъ долженъ былъ убитъ вѣдѣемъ, а потому самъ зарѣзалъ себя! Успокой, Господи, душу страдающаго!...

Въ одномъ журналѣ: «Настоящий дворъ» превознесенъ до небесъ; тамъ найдены въ этомъ романѣ жѣла, которыхъ, будто бы, нельзя истрѣтить нигде на землѣ дамы вѣнчаго шара. Не споримъ; у нашего новой вкусы: сылаемая на тульскія стальныя печати, съ забавною эмблемою, но которыхъ упоминаетъ Горюновъ въ своихъ запискахъ (т. I, стр. 152).

**О ХАРАКТЕРѢ НАРОДНЫХЪ ПѢСЕНЪ У СЛАВЯНЪ
ЗАДУНАЙСКИХЪ.** *Набросано Юріемъ Венедиктовымъ.
Г. Османъ Шереметьевъ. Жанитъба Павла Плетинского.
Москва. 1835.*

Изданная, въ 1833. году, Вукомъ Стефановичемъ четвертая часть «Народныхъ Сербскихъ Пѣсенъ» подала поводъ г. Венедиктову написать прекрасную статью, которая была помѣщена въ «Телескопѣ». Г. Венедиктъ издалъ эту статью отдѣльною брошюрою; подъ № 1, какъ первый приступъ къ цѣлому ряду статей въ этомъ родѣ, имѣющихъ цѣлю ознакомить русскую публику съ народною повѣію задунайскихъ Славянъ. Намѣреніе прекрасное и благородное! Мы такъ мало знакомы въ этомъ отношеніи съ нашими соплеменниками, что должны радоваться всякому добросовѣстному труду, который можетъ обогатить насъ хотя нѣсколькими фактами.

Книжка г. Венелина содержитъ въ себѣ много богатыхъ и, что всего важнѣе, освященныхъ идеями фантомъ.

Первобытная поэзія народовъ заслуживаетъ особенное вниманіе, потому что она юна и свѣжа какъ жизнь юности, неприхотлива и простодушна какъ лепета младенца, могущественна и сильна какъ первое, дѣтственное сознаніе жизни, чиста и стыдлива какъ улыбка красоты. Это творчество истинное, безсознательное, безцѣльное, хотя, въ то же время, и одностороннее, однодѣльное. Оно вполнѣ истинно и живо, проявляетъ духъ, характеръ и всю жизнь народа, которые высказываются въ немъ непринужденно и безыскусственно. Отъ этого, произведенія младенчества юныхъ народовъ вѣчно юны и восторженны. Мы не знаемъ этихъ безыменныхъ пѣнцовъ, добродушно и безразсечно изливавшихъ свое чувство въ минуты радости или тоски; они творили не для безсмертія, не для цѣли нравственной или политической, не для всѣхъ этихъ расчетовъ, корыстныхъ и безкорыстныхъ, которые нерѣдко западаютъ въ кабинетныя произведенія, какъ черви вредоносные, и подвѣдаютъ корень жизни художественнаго произведенія.

Пѣсни задунайскихъ Славянъ, сколько мы можемъ судить по образцамъ, предложеннымъ авторомъ разсматриваемой нами статьи, представляютъ самыя лучшія данныя для подтвержденія этого мнѣнія о первобытной поэзіи, этого мнѣнія, котораго мы не смѣемъ назвать своимъ, потому что теперь оно принадлежитъ всѣмъ людямъ съ здравымъ смысломъ и родилось гораздо прежде насъ. Пѣсни задунайскихъ Славянъ выражаютъ всю жизнь народа; которые онѣ созданы, такъ же, какъ *Иліада* выражаетъ всю жизнь Грековъ въ ея героическій періодъ. Прочти ихъ, вы не будете имѣть нужды ни въ описаніяхъ путешественниковъ, ни въ пособіи историкъ, чтобы познакомиться вполнѣ съ народомъ. Въ нихъ вся его жизнь внѣшняя и домашняя, все его бытъ и повѣрья, все задушевные вѣрованія, надежды и страсти. Но

мы не будем слишком распространяться о писателях задунайскихъ Славянъ, потому что, въ такомъ случаѣ, мы невольно повторили бы все, что о нихъ такъ умно, такъ основательно, такъ вѣрно и такъ уважительно высказано г. Венелинымъ; и къ тому же бросить бѣглый библиографическій взглядъ на его сужденіе.

Статья начинается выпискою двухъ пѣсенъ на сербскомъ языкѣ съ переводомъ на русскій. Переводъ сдѣланъ самимъ авторомъ статьи, и сдѣланъ прекрасно. Онъ близокъ, вѣренъ, поэтиченъ, если можно такъ сказать, и русскій языкъ нигдѣ не мажасловянъ, нигдѣ не страдаетъ на счетъ этой близости. Мы были бы очень благодарны автору, если бы онъ даровалъ намъ чаще и больше подобными переводами пѣсенъ славянскихъ народовъ, которые ему такъ хорошо знакомы. Но въ пѣсенѣ, авторъ начинаетъ рассуждать о характерѣ и обычаяхъ Волгарь и Сербовъ, и особенно о ихъ дѣвокицѣвѣ. Факты, сообщаемые имъ, чрезвычайно любопытны. Поэтому онъ выводитъ изъ нихъ заключеніе о характерѣ пѣсенъ этихъ народовъ. Потомъ рассуждаетъ объ историческихъ причинахъ, дающихъ иногда тому или другому народу другой характеръ, нежели какой онъ имѣлъ. Мысли его объ этомъ предметѣ прекрасны, глубоки и подкрѣплены фактами. Изъ этого рассужденія онъ объясняетъ кровавый и мрачный характеръ Задунайцевъ, отраженный въ ихъ пѣсняхъ. Характеръ поэзіи Задунайцевъ, по его мнѣнію, чисто гомерическій, и мы съ полнымъ удовольствіемъ согласны: героизмъ и юначество — одно и то же. Въ заключеніе, авторъ говоритъ вообще о бытѣ эпическ. разумѣя подъ этимъ словомъ такого рода художественныя произведенія, которыя создаются не какою-либо личностью, а цѣлымъ народомъ. Вълѣдствіе этого, онъ очень основательно отвергаетъ художественное и эпическое достоинство всѣхъ кабинетныхъ произведеній, какъ-то: «Энеиды», «Освобожденнаго Иерусалима», «Генриады», «Россиады», и пр., какъ сочиненій ваназическихъ, какъ «народныхъ трудовъ по части героизма». Эта

же идея привела его къ разсужденію объ «Иліадѣ», какъ твореніи самобытномъ и живомъ, созданномъ народомъ, а не какимъ-то Гомеромъ. Мысль не новая, но хорошо развитая авторомъ. Онъ доказываетъ, что «гомеровъ» есть слово нарицательное и означаетъ стѣнца. Прекрасно также развита авторомъ мысль о томъ, что каждый народъ имѣетъ своего представителя и его-то выводитъ въ своихъ созданіяхъ эпопеѣ и пѣсняхъ; Греки — Ахилла, Испанцы — Донъ-Жуана, Нѣмцы — Фауста и т. д. Герой Болгаровъ есть Марко-Короленичъ.

Однимъ словомъ, статья или брошюра г. Венелина принадлежитъ къ тѣмъ приятнымъ явленіямъ, которыя у насъ очень рѣдки. Но, отдавая должную справедливость достоинствамъ его сочиненія, мы съ тѣмъ же беспристрастіемъ замѣтимъ и его недостатки. Мы пропускаемъ, что языкъ г. Венелина нерѣдко бываетъ неправиленъ и страненъ, что онъ любитъ употреблять слова и выраженія, нигдѣ не употребляемыя, какъ-то «кулонность человѣческаго рода» и тому подобныя, которыхъ не мало; все это не важно. Но насъ удивили нѣкоторые его мысли, изложенныя частью въ выносахъ, частью въ прибавленіяхъ къ статьѣ; онѣ кажутся намъ въ совершенной дисгармоніи съ тѣми, о которыхъ мы говорили выше. Съ трудомъ вѣрится, чтобы тѣ и другія принадлежали одному и тому же лицу. Что значить, напримѣръ, эта наемѣшка надъ Гёте, за то, что онъ выдалъ Елену «Иліады» за Нѣмца Фауста? Неужели почтенному автору неизвѣстно, что есть художественныя сочиненія, которые, будучи неестественны, несбыточны и нелѣпы въ фактичекомъ отношеніи, тѣмъ не менѣе истинны кастически? Неужели ему неизвѣстно, что въ творчествѣ сказка или разсказъ бываетъ иногда только символомъ идеи? Что за наемѣшка надъ красавицею Еленою, которую авторъ грозитъ наказать самымъ славянскимъ, т. е. самымъ варварскимъ наказаніемъ? За что такая немилость? Неужели почтенный авторъ думаетъ, что дѣйствующія лица въ поэмѣ должны быть всегда резонабельны,

нравственны, словомъ, должны отличаться хорошимъ поведениемъ? Неужели ему неизвестно, что самыя понятія о нравственности не у всехъ народовъ, и не во все вѣны сходны? Елена нисколько не оскорбляла своимъ поведениемъ жизни древнихъ; она совершенно въ духѣ народа и въ духѣ времени. Ее также смѣшно упрекать въ безнравственности, какъ смѣшно упрекать задунайскихъ Славянъ въ томъ, что они головорѣзы.

Потомъ, что это за нападки на Гердера и Гизо? И за что же? за то, что они находили духъ рыцарства и героизма только въ нѣмецкихъ племенахъ, а не въ славянскихъ? Странно!—Конечно, героизмъ, т. е. непосѣдность, предприимчивость и страсть къ кровопролитію, свойственны болѣе или менѣе всякому младенчеству народу; но и самый этотъ героизмъ имѣетъ болѣе или менѣе кругъ дѣйствія. Норманны переплывали моря и завоевывали отдаленныя страны, а Славяне дрались съ своими сосѣдями, или другъ съ другомъ. Что же касается до рыцарства, то оно, безъ всякаго сомнѣнія, принадлежитъ исключительно одной Европѣ среднихъ вѣковъ, и именно Нѣмцамъ. Рыцарство и героизмъ очень похожи другъ на друга, но между ними есть и большая разница: героизмъ бываетъ почти всегда безсмысленъ, а рыцарство водится идею. Гдѣ же надо искать этой идеи? Неужели въ безсмысленной рѣзнѣ задунайскихъ Славянъ съ Турнами, или кавказскихъ племенъ между собою? За что же г. Венелинъ такъ сердится на Гизо и особенно на великаго Гердера, что они были неуважительны къ Славянамъ? Я презираю это дѣтское обожаніе авторитетовъ, вследствие котораго нельзя сказать о Мильтонѣ, что онъ не поэтъ, или, по крайней мѣрѣ, не великій поэтъ, и тому подобное, — но съ тѣмъ вмѣстѣ противъ неуважительнаго тона къ людямъ, оказавшимъ человѣчеству большія услуги, каковъ Гердеръ; и слова: «Гердеръ дѣтствуетъ, Гердеръ ребячается», мнѣ кажутся неумѣстными. Гердеръ могъ ошибаться, могъ не

знать чего-либо, но никогда онъ не могъ ни дѣйствовать, ни ребячиться. Намъ желательно, чтобы г. Венелинъ, въ слѣдующихъ своихъ брошюрахъ, объяснился точнѣе насчетъ всѣхъ нашихъ вопросовъ, тѣмъ болѣе, что эти вопросы не одними нами повторяются.

Но несмотря на все это, мы признаемъ сочиненіе г. Венелина пріятнымъ явленіемъ въ нашей литературѣ, достойнымъ прочтенія людей мыслящихъ, и увѣрены, что г. Венелинъ приметъ наше откровенное мнѣніе, какъ о достоинствахъ? такъ и недостаткахъ его статьи, за доказательство нашего къ нему уваженія.

**ВОСВОИЩЕ ПУТЕШЕСТВІЕ ВОКРУГЪ СВѢТА, со-
ставленное: Дюмономъ - Дюрвиллемъ. Часть первая.
Москва. 1835.**

Есть два рода просвѣщенія: просвѣщеніе ученое и просвѣщеніе эмпирическое. Первое есть достояніе касты, удѣлъ немногихъ избранныхъ, обревшихъ себя на храненіе священнаго огня въ храмѣ; недоступномъ для профановъ; второе есть достояніе общее, потребность массы; умственное богатство цѣлаго народа. Парижъ есть первый городъ Европы въ умственномъ отношеніи; всѣ ученые, которыми гордилась и гордится Франція, были и суть граждане великаго города; и однакожъ, на статистической картѣ народнаго просвѣщенія, составленной Дюпенемъ, департаментъ Сены означенъ красною чуть-чуть не черною. И наоборотъ, въ Норвегіи всякій мужикъ есть человѣкъ грамотный, а мы не знаемъ именъ норвежскихъ ученыхъ, намъ неизвѣстны академіи и другія общества Норвегіи. Государство, которое гордится мировыми именами гениевъ науки, въ которомъ высшіе классы общества стоятъ на самой высокой степени просвѣщенія, а масса народа коснѣетъ въ дикомъ невѣжествѣ, такое государ-

ство еще не проявило вполне всей своей жизни, не дошло до цѣли своего существованія; словомъ, оно еще молодо, юно, незрѣло. Государство, масса, которая стоитъ на известной и одинаковой степени возможнаго для массы просвѣщенія, но которое не возростило науки и не имѣло представителей знанія, это государство показываетъ, что или провидѣнне судило ему играть незначительную роль въ великомъ семействѣ человѣческаго рода, или что оно еще мѣтѣ, чѣмъ младенецъ. И такъ, то и другое просвѣщеніе должно быть въ полной гармоніи, чтобы вполне развилась жизнь народа, вполне было выполнено имъ его значеніе.

Въ наше время эта истина глубоко постигнута, и у просвѣщенныхъ народовъ Европы обилженіе науки съ жизнью составляетъ одинъ изъ главнѣйшихъ предметовъ ихъ усилій и дѣятельности. Ученѣйшіе люди проповѣдуютъ знаніе, приносившая къ языку и понятіямъ своихъ слушателей, снисходя до нихъ и нарушая, такъ сказать, науку, чтобы сдѣлать ее привлекательнѣе для толпы. Народу нужны познанія чисто фактическія, идеи не для него; но народъ есть общество, а общество представляетъ, въ своей совокупности, множество ступеней; поэтому и самый образъ изложенія свѣтской науки долженъ быть различенъ. У насъ народу, т. е. самой грубой массѣ народа, нужна еще только азбука, а когда выучится ей, ему нужно ознакомиться съ основаніями религіи и другими первоначальными человѣческими идеями; другаго знанія для него пока не нужно. Но въ другихъ сословіяхъ, одни почитаютъ себя въ правѣ ничего не знать и ничему не учиться, а другіе и должны бы по всѣмъ законамъ, божественнымъ и гражданскимъ, да не хотятъ. Вотъ для этихъ-то людей должно трудиться нашимъ литераторамъ и ученымъ; эти-то люди должны представлять для нихъ обширное поле дѣятельности не блистательной, но благородной, не славной, но почтенной. Я не говорю уже о людяхъ, которые жаждутъ знанія и не имѣютъ никакихъ средствъ удов-

летворить этой жадѣ. Въ самомъ дѣлѣ, что у насъ сдѣлано до сихъ поръ для употребленія общаго, народнаго? У насъ есть ученые, именами которыхъ мы по справедливости гордимся, у насъ есть нѣсколько ученыхъ сочиненій, которыхъ достоинство не подлежитъ никакому сомнѣнью; но у насъ все-таки нѣтъ ни ученыхъ книгъ, ни книгъ для общаго чтенія съ цѣлю самообразованія. Думаемъ, что это происходитъ отъ того, что у насъ всѣ ищутъ и добиваются больше эфемерной славы, нежели хотять служить добру. | ...

«Путешествіе Дюмонъ-Дюрвиля» есть книга народная, для всѣхъ доступная, способная удовлетворить и самаго привязчиваго, глубоко ученаго человѣка, и простолюдина, ничего не знающаго, Дюмонъ-Дюрвиль объѣхалъ кругомъ свѣта и рѣшился почти въ формѣ романа наложить полуде землекопство, соединивъ въ немъ факты, находящіеся въ сочиненіяхъ извѣстныхъ путешественниковъ и приобретенные имъ самимъ. Заманчивость и прелесть его описаній не даютъ оторваться отъ книги, когда возьмешь ее въ руки...

ВАСТОЛА, ИЛИ ЖЕЛАНІЯ. *Поэтыя въ стихахъ, соч. Виланда. Въ трехъ частяхъ. Изд. А. Пушкина. Спб. 1836.*

«Вастола» надѣлала много шуму и въ нашей литературѣ, и въ нашей публикѣ: имя Пушкина, выставленное на это сочиненіе, напоминающее своими стихами времена Тредьяковскаго и Сумарокова, подало поводъ къ страшнымъ сомнѣніямъ, догадкамъ и заключеніямъ. Но критики и рецензенты поставлены этииъ магическимъ именемъ въ совершенный тупикъ. Имя при сочиненіи важно для всѣхъ, для критиковъ особенно. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь могутъ же быть такіа сочиненія, которыя, какъ первый опытъ незнакомца юности, должны служить залогомъ прекрасныхъ надеждъ; а какъ произведенія

какого-нибудь заслуженнаго порифея, могучаго атлета литературы, должны служить признакомъ гніенія художнической жизни, унакомъ творческаго дара?... Напиши теперь Пушкинъ еще «Руслана и Людмилу» — публика приняла бы холодно это произведение, дѣтское по идеѣ и вымыслу, но живое и пламенное по исполненію; не явился теперь съ «Русланомъ и Людмилою» опять какой-нибудь неяснѣйшій юноша — ему снова рундидескала бы цѣлая Русь!... Да, что имъ говоритъ, а мнѣ, при сочиненіи важное дѣло! — При настоящемъ двусмысленномъ состояніи нашей литературы, появленіе почти всякаго новаго произведенія сопровождается какою-нибудь страшною и совсѣмъ не литературною исторіею; то же случилось и съ «Василою»... Пушкинъ — издатель или авторъ этой поэмы? вотъ вопросъ... Мы не хотимъ рѣшать его; намъ нѣтъ дѣла до частныхъ, домашнихъ обстоятельствъ, соединенныхъ съ появленіемъ того или другаго сочиненія; мы видимъ книгу и судимъ о ней. Да! такъ бы должно быть, но случай-то вовсе не въ руцѣ вонъ! Мы скорѣй повѣримъ, что какой-нибудь витязь толкунаго рынца написалъ романъ, который выше «Иваньего» и «Пургана»; драму, которая выше «Гамлета» и «Отелло», чѣмъ тому, чтобы Пушкинъ былъ переводчикомъ «Васила». Пушкинъ можетъ быть ниже себя, но никогда ниже Сумарокова. Разнымъ образомъ, мы никогда не повѣримъ и тому, чтобы Пушкинъ выставилъ свое имя на негодномъ рыночномъ произведеніи, желая оказать помощь какому-нибудь бѣдному приемачу; такого рода благотворительность слишкомъ оригинальна; она доходитъ на добродѣіе начальника, который не хочетъ выгнать изъ службы пьянаго, лѣниваго и глупаго подьячаго, но желая лишить его куска хлѣба. Конечно, можетъ быть, это сравненіе покажется невѣрнымъ, потому что оба атж поступка, повидимому, имѣютъ мало сходства; но я думаю, что они очень сходны между собою, и именно тѣмъ, что равно незаконны при всей своей законности, неблагонамѣренны при всей своей благонамѣренности, и тѣмъ, что

какъ тотъ, такъ и другой лишены здраваго смысла. И такъ, очень ясно, что послѣдній слухъ живъ, по крайней мѣрѣ, мы такъ думаемъ въслѣдствіе нашего глубокаго уваженія къ первому русскому поэту. Поэтому, лучше оставить дѣло, какъ оно есть, не разгадывая и не объясняя его.

Но мы все-таки не хотимъ вѣрить, чтобы эта несчастная и безталанная «Вастола» была переведена Пушкинымъ, не хотимъ и не можемъ вѣрить этому по двумъ причинамъ. Во-первыхъ, «Вастола» есть произведеніе Виланда, какъ означено въ ея заглавіи. А что такое Виландъ? Нѣмецъ, подражавшій, или лучше сказать, силлившійся подражать французскимъ писателямъ XVIII вѣка; Нѣмецъ, усвоившій себѣ, можетъ-быть, пустоту и ничтожность своихъ образцовъ, но оставшійся при своей родной нѣмецкой тяжеловѣстости и скучноватости. Потомъ, что такое долженъ быть Нѣмецъ, который хотѣлъ подражать французскимъ острякамъ и балетурамъ восемнадцатаго вѣка? Если онъ человѣкъ посредственный, то похожъ на медвѣдя, котораго мы заставили танцовать французскую кадрили въ порядочномъ обществѣ; если онъ человѣкъ мыслитель и чувства, то похожъ на жреца, который, забывъ алтарь и жертвоприношеніе, пустился въ присядку съ уличными скаморохами. Очевидно, что ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ Нѣмцу не годится подражать никому, кромѣ самого себя, тѣмъ менѣе французскимъ писателямъ XVIII вѣка. Теперь, что такое «Вастола»? По нашему мнѣнію, это просто пошлая и глупая сказка, принадлежащая къ разряду этихъ нравоучительныхъ повѣстей (*contes moraux*), въ которыхъ выражаея, легкими разговорными стихами, какая-нибудь пошлая, ходичая и для всѣхъ старая истина практической жизни. Восемнадцатый вѣкъ былъ въ особенности богатъ этими нравоучительными повѣстями; самыя повѣсти Мармонтеля, хотя онъ писаны прозою, принадлежать къ тому же типу. Эти повѣсти всегда были нравоучительны, хотя и не всегда были нравственны, и очень понятно, почему ихъ такъ любилъ восемнадцатый вѣкъ; лице-

мѣръ намъ всѣхъ говорить о религии, безнравственный человекъ больше другихъ любить наставлять своихъ ближнихъ длинными поученіями о нравственности: «Васюда» есть одна изъ этихъ нравоучительныхъ повѣстей, которыхъ бездну можно найти въ нашихъ прежнихъ образцовыхъ сочиненіяхъ, надевавшихся въ пользу и назиданіе юношества. Теперь спрашивается, кто можетъ предположить, чтобы Пушкинъ выбралъ себя для перевода сказку Виланда, и такую сказку?.. Можетъ-быть, многие скажутъ, что это естественный переходъ отъ «Анжело»: и то можетъ-статься!...

Вторая причина, заставляющая насъ не вѣрить, какъ нелѣпости, чтобъ Пушкинъ былъ переводчикомъ «Васюды», заключается въ достоинствѣ перевода, въ этихъ отрывкахъ, которые Русь читала съ восхищеніемъ при Сумароковѣ, которые стала забывать съ появленіемъ Богдановича, и о которыхъ совсемъ забыла съ появленіемъ Пушкина. Мы не станемъ излагать содержанія «Васюды», потому что мы этихъ показали бы крайнее неуваженіе не только къ публикѣ, но даже къ самимъ себѣ: сказка не только пошлая и глупая, но еще неблагопрістойна.

ПѢСНИ Т. М. Ф. А. *Часть первая. Изданіе второе, полное. Спб. 1835.*

ЕЛИСАВЕТА КУЛЬМАНЪ, *фантазія. Т. м. ф. а. Спб. 1835.*

Г. Тимофеевъ принадлежитъ къ числу самыхъ дѣятельныхъ и неутомимыхъ нашихъ поэтовъ: стихотвореніе за стихотвореніемъ, фантазія за фантазіею, повѣсть за повѣстью—успѣвай только читать! Право, съ такимъ трудолюбіемъ, съ такою неутомимостью можно поставить критику въ совершенный тупикъ: бѣдная не въ силахъ будетъ слѣдить за развитіемъ поэта и преслѣдовать его успѣхи... Но наша критика (если

только она есть) не может назваться бѣдною, истощенною дружицей, сколько потому, что у насъ мало дѣятельныхъ писателей, столько и потому, что у нашихъ писателей дѣятельность рѣдѣе бываетъ признаномъ силы и разносторонности таланта, что, протѣя и оцѣня одно изъ произведеніе, можно не читать и не оцѣнивать остальныхъ, какъ бы много ихъ ни было, въ полной увѣренности, что они нишуть одно и то же, и все такъ же. Намъ кажется, что г. Тимофеевъ принадлежитъ къ числу такихъ писателей. Чего не пишетъ онъ, какихъ стихотвореній нѣтъ у него!... И повѣсти, и фантазмагоріи, и пѣсни, и съ рѣсмами и бѣлыми стихами, и съ припѣвами и безъ припѣвовъ, и, наконецъ, съ затѣйливыми посвященіями отцамъ, матерямъ, дядьямъ, братьямъ, сестрамъ, несчастнымъ, Русскимъ, и пр. и пр. Онъ поддѣлывается и подъ мысль, и подъ чувство, хочетъ взять то странностію, то затѣйливостію, вычурностію, то простотою, безыскусственностію — и что же — ничто не гудается!... Несмотря на все видимое разнообразіе его произведеній, они чрезвычайно похожи другъ на друга; они всѣ сравнены уровнемъ посредственности. Въ нѣкоторыхъ изъ его стихотвореній легко замѣтить блестящіе умы; но чувства, но фантазіи — нѣтъ и слѣдовъ!

Взглянемъ на нѣкоторыя изъ его пѣсенъ, и спросимъ всякаго, справедливо ли наше мнѣніе объ немъ, или должно? безпристрастно, или пристрастно?

Здѣсь все мрачно, все здѣсь дико!
Всюду пусто, всюду тихо.
Каркай воронъ, квакай жаба,
Пойте, войте, духи ада!

Каркай демонъ, квакай жаба,
Пойте, войте, духи ада!

Всюду мрачно, всюду тихо,
Все здѣсь пусто, все здѣсь дико!

Первымъ изъ этихъ куплетовъ начинается, а вторымъ оканчивается пѣса «Отверженный». Вы думаете, что герой этой

песны есть какой-нибудь злодѣй, мучимый терзаніями совѣсти? ничего не бывало — это просто несчастный человѣкъ, съ которымъ никто не дѣлился душою, котораго никто не хотѣлъ приглубить. Гдѣ жъ здравый смыслъ? гдѣ логика? Развѣ искусство состоитъ въ отсутствіи здраваго смысла? развѣ чувство идетъ на переکورъ логикѣ?... Нѣтъ, милостивые государи, когда дѣло идетъ о творчествѣ, умъ ошибается противъ логики здраваго смысла, а чувство всегда согласно съ нею. Вамъ теперь смѣшно стихотвореніе Ломоносова «Заблудившійся Амуръ», а въ свое время оно считалось чудомъ, дивомъ человѣческаго генія; чтѣ жъ это значить? а то, что умъ сдѣлалъ глупость; напротивъ, все созданное чувствомъ никогда не можетъ казаться смѣшнымъ, никогда не можетъ устарѣть и обветшать. Обращаюсь къ этимъ двумъ куплетамъ; не мечутся ли они въ глаза своей дикою странностью, своею недѣлой нескладницей? Развѣ пародія на два стиха Мицкевича есть поэзія? Развѣ придуманная дикость есть фантастическое? Развѣ демоны каркають?...

Спи. малютка,

Спи спокойно.

Баю, баиньки, баю!

Жили, были

Братъ съ сестрою.

Демонъ въ брата

Поселился:

Братъ въ сестрицу

Вдругъ влюбился.

Клара съ братомъ

Разлучилась,

Клара въ келью

Заключилась.

.....

Въ мрачномъ лѣсѣ

Черезъ мѣсяць,

Путникъ встрѣтилъ

Трупъ холодный.

Трупъ былъ черенъ,

Утоль-утлємъ;
Въздѣло носа,
Кость да яма;
Ротъ ислеканъ
Ястребами;
Лобъ источенъ
Весь червями;
Воалъ трупа.
Ножъ булатный...

Спи, малютна.
Спи спокойно,
Баю, байныи, баю!

Конечно, отъ этихъ стиховъ и взрослый заснетъ спокойно и крѣпко, тѣмъ болѣе младенецъ; но скажите, Бога ради, къ какой стати пѣть надъ колыбелью невиннаго существа о такихъ отвратительныхъ мервостяхъ? — Пѣска эта посвящена «любительницамъ чрезвычайно страннаго», и это не добре: лучше бы посвятить ее вообще всѣмъ «любителямъ нелѣпаго»!

И стихотвореніе «Грамматика» написалъ поэтъ, художникъ, словомъ, человѣкъ съ талантомъ, съ дарованіемъ?... Если такъ то признаюсь, кто жъ не поэтъ, чтѣ не поэзія?—Такая холодная, такая полезная аллегорія — откуда она вырыта?... Ужъ не изъ погребовъ ли Сумароковыхъ, Грамматиныхъ, Николевыхъ? Или и въ самомъ дѣлѣ поэзія есть забава, игрушка, невинное препровожденіе времени?.... Можетъ быть — для иныхъ?

Перелистываю всѣ стихотворенія г. Тимофеева и вижу, что онъ иногда не чуждъ идей, какъ н. п. въ «Свободѣ Художника», «Хандрѣ», «Наполеонѣ» и пр.; но всѣ эти идеи не проходятъ чрезъ фантазію; все мертво, холодно, бездушно, вяло; все показываетъ, что онъ дѣлаетъ свои стихи и, можетъ быть, доидетъ до искусства дѣлать ихъ хорошо, не будетъ позволять себѣ, для рѣимы, словъ подобныхъ «юбилеямъ» (вм. празднуемъ), а для мѣры—усѣченій въ родѣ «Италья, Фло-

ренція», и пр. Но поэтомъ, художникомъ онъ никогда не будетъ, потому что до этого нельзя достигнуть ни назыкомъ, ни ученьемъ, ни прилежаніемъ, ни даже смертельною охотою. Изъ всѣхъ пѣсень г. Тимоеева, намъ показалась одна «Простодушный», не по своей художественности, а по какой-то наивности.

Все, что мы сказали о г. Тимоеевъ, какъ поэтъ, по поводу его мелкихъ стихотвореній, все это оправдывается, какъ нельзя лучше, и его фантазіею «Елисавета Кульманъ». Это произведеніе рѣшительно ничтожно. Авторъ имѣлъ претензіи воавысить нашу душу, умилишь и растрогать, представя намъ генія, помазанника проридѣнія, и — насмѣшилъ до слезъ. Этакъ не поминяють покойниковъ!...

Г. Тимоеевъ, въ нѣсколькихъ поэтическихъ картинахъ, представляетъ намъ развитіе внутренней жизни геніальной дѣвушки. Но что такое геніальная дѣвушка? Амалия, Миньона, Текла?... Это вопросъ посторонній, и мы считаемъ неприличнымъ разсматривать его теперь. Скажемъ только, что г. Тимоеевъ представляетъ намъ душу генія-поэта, генія-художника — и его піеса не есть поэтический анализъ души художника: нѣтъ, это какая-то фантазмагорія, смѣлая по своей идеѣ, достойная бога Аполлона и опасная для Икаровъ... Но у г. Тимоеева достало смѣлости взять на себя выполнение такой идеи! Надо сказать, она необыкновенна потому только, что требуетъ слишкомъ много одушевленія, огня, роскошной фантазіи. Дѣло въ томъ, что у г. Тимоеева дѣйствуютъ геніи, силы природы, принимающія на себя человѣческія формы; у него является даже бѣдность во образѣ женщины. Согласитесь, что это мысль дѣтская и потому самому требующая фантазіи молодой, игривой, пылкой. Да! много надо поэзіи, чтобы сдѣлать вѣроятнымъ невѣроятное, истиннымъ ложное; дѣйствительнымъ волшебное. Я не буду разбирать всей «фантазіи» г. Тимоеева, укажу только на одно мѣсто, которое показалось мнѣ курьезнѣе другихъ. Геній разговари-

ваетъ съ Елизаветою Кульманъ и описываетъ ей аллегорически Грецію, какъ страну; въ которую она должна направить свою дѣятельность и свои дарованія; едеа успѣлъ теній жеченуть, какъ входитъ учитель Елизаветы и предлагаетъ ей учиться по-гречески. Елизавета въ изумленіи, стоитъ неподвижно отъ восторга; на глазахъ ея слезы. Она шепчетъ въ объятія учителя...

Мы почитаемъ «фантазію» г. Тимофеева оскорбленіемъ памяти Елизаветы Кульманъ во всѣхъ отношеніяхъ. Елизавета Кульманъ, безъ всякаго сомнѣнія, была явленіемъ необыкновеннымъ, не какъ поэтъ, не какъ художникъ, а просто какъ какое-то чудо природы, какое-то странное и прекрасное отступленіе ея отъ своихъ обычныхъ законовъ. Мы читали въ «Библіотекѣ» статью г. Никитенки о Елизаветѣ Кульманъ, статью живую, одушевленную, горячую; только намъ попался невѣрнымъ и ложнымъ взглядъ автора на Елизавету Кульманъ, какъ на поэта; приведенные имъ стихи показываютъ, что она не была даже версификаторомъ, не только поэтъ; несмотря на то, эта прекрасная статья заставила насъ удивляться Елизаветѣ, какъ чудесному и прекрасному явленію, промелькнувшему въ міръ падучею звѣздою. На память Елизаветы Кульманъ можно написать элегію, или другое какое-нибудь лирическое стихотвореніе; но написать такую фантазмагорію и заставить всѣ силы природы, небо, землю и адъ, принять участіе въ жизни этой необыкновенной, но отнюдь не гениальной дѣвушки, значить оскорблять ея память. Такого рода фантазмагорія могла бъ представить Шекспира, Байрона; Шиллера, Гёте, какъ такихъ людей, въ гениальности которыхъ убѣждено все человѣчество; еслибъ такая фантазмагорія была и неудачна, по крайней мѣрѣ въ ней былъ бы смыслъ.

Должно однако присовокупить, что фантазія г. Тимофеева, лишённая даже прізрака поэзіи, написана очень гладкими и бойкими стихами; что и въ ней, какъ во всѣхъ произведеніяхъ

г. Тимощева, играют не последнюю роль вороны! Тимощевъ очень любитъ воронъ!

СТИХОТВОРЕНІЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. *Частъ четвертая. Спб. 1835.*

Четвертая часть стихотвореній Пушкина заключаетъ въ себѣ двадцать шесть пѣснь и въ числѣ ихъ извѣстный всѣмъ наизусть «Разговоръ Книгопродавца съ Поэтомъ», начатый, вѣсто предисловія, при первой главѣ «Евгенія Онѣгина» перваго изданія; потомъ, три большія сказки и, наконецъ, шестнадцать пѣсень западныхъ Славянъ, переведенныхъ или передѣланныхъ съ французскаго (исторія этого перевода извѣстна).

Вообще очень мало утѣшительнаго можно сказать объ этой четвертой части стихотвореній Пушкина. Конечно, въ ней виденъ закатъ таланта, но таланта Пушкина; въ этомъ закатѣ есть еще какой-то блескъ, хотя слабый и блѣдный... Такъ, напримѣръ, всѣмъ извѣстно, что Пушкинъ перевелъ шестнадцать сербскихъ пѣсень съ французскаго, а самыя эти пѣсни подложныя, выдуманныя двумя французскими шарлатанами—и что жъ? — Пушкинъ умѣлъ придать этимъ пѣснямъ колоритъ славянскій, такъ что, еслибы его ошибка не открылась, никто и не подумалъ бы, что это пѣсни подложныя. Кто что ни говори—а это могъ сдѣлать только одинъ Пушкинъ! Самыя его сказки—онѣ, конечно, рѣшительно дурны, конечно, поэзія и не касалась ихъ *), но все-таки онѣ цѣлою головою выше всѣхъ попытокъ въ этомъ родѣ дру-

*) Впрочемъ, сказка «о Рыбакѣ и Рыбкѣ» заслуживаетъ вниманіе по крайней простотѣ и естественности разсказа, и болѣе всего по своему размѣру чисто русскому. Кажется, нашъ поэтъ хотѣлъ именно сдѣлать попытку въ этомъ размѣрѣ, и для того нарочно написалъ эту сказку.

гихъ нашихъ поэтовъ. Мы не можемъ понять, что за странная мысль овладѣла имъ, и заставила тратить свой талантъ на эти поддѣльные цвѣты. Русская сказка имѣетъ свой смыслъ, но только въ такомъ видѣ, какъ создала ее народная фантазія; передѣланная же и прикрашенная, она не имѣетъ ~~никакого~~ никакого смысла. «Гусарь», «Будрысъ и его сыновья», «Воевода» — всѣ эти піесы не безъ достоинства, а послѣдняя рѣшительно хороша: въ ней есть чувство; но прочее по большей части показываетъ одно умѣнье владѣть языкомъ и римою, умѣнье, иногда уже измѣняющее, потому что не рѣдко попадаются стихи, вставленные для римы, особенно въ сказкахъ, стихахъ, въ которыхъ отсутствуютъ даже вкусъ; видно одно *savoir faire*, и то не рѣдко съ промахами!...

«Разговоръ Книгопродавца съ Поэтомъ» приводитъ насъ въ грустное расположеніе духа: онъ напомнилъ намъ золотое время поэзіи Пушкина, то время, когда — какъ говорить онъ самъ о себѣ въ этой піесѣ —

Все волновало нѣжный умъ:
Цвѣтущій лугъ, луны блистанье,
Въ часовнѣ ветхой бури шумъ,
Старушки чудное приданье, и т. д.

Да, прекрасное было то время? Но что намъ до времени? оно прошло, а прекрасные плоды его остались, и они все такъ же свѣжи, такъ благоуханны!...

Въ томъ же «Разговоръ Книгопродавца съ Поэтомъ» поразило насъ грустнымъ чувствомъ еще одно обстоятельство: помните-ли вы мѣсто, гдѣ поэтъ, разочарованный въ женщинахъ, отказывается, въ своемъ благородномъ негодованіи, воспѣвать ихъ? Въ первомъ изданіи «Евгенія Онѣгина», при которомъ былъ приложенъ и этотъ поэтический «Разговоръ», поэтъ говоритъ:

Пускай ихъ Шаликовъ поетъ
Любезный базовень природы!

Теперь эти стихи напечатаны такъ:

Пускай ихъ юноша поетъ,
Любезный баловень природы!

Увы!... Sic transit gloria mundi!...

Но въ четвертой части стихотвореній Пушкина есть одно драгоценное перло, напоминавшее намъ его былую поэзію, напоминавшее намъ былаго поэта: это элегія «Безумныхъ дѣтъ угасшее веселье».

Да! такая элегія можетъ выгнать не только нѣсколько слезъ, даже цѣлую часть стихотвореній!...

**ЕСТЕСТВО МИРА, ИЛИ ВѣЧНОСТЬ ВО ВРЕМЕНИ,
А ПРОСТРАНСТВО ВЪ ОБЪЕМѢ. А. Т. Москва.
1835.**

**УСТРОЕНІЕ ВОЗЛЕННОЙ, ИЛИ РАСПОЛОЖЕНІЕ
ЕСТЕСТВЕННЫХЪ ВИДОВЪ ПО ИХЪ ПРОЯВ-
ЛЕНІЯМЪ. Москва. 1835.**

**ОЧЕРТАТЕЛЬНОСТЬ ЕСТЕСТВА, ИЛИ НАРУЖНАЯ
ФОРМА ПРОЯВЛЕНІЙ. А. Т. Москва. 1835.**

**ДВИЖИМОСТЬ ЕСТЕСТВА, ИЛИ УСТРЕМЛЕНІЕ ВИ-
ДОВЪ ВЪ РАВНОСТИ ОТНОШЕНІЯМЪ ПО ИХЪ
ПРОЯВЛЕНІЯМЪ. А. Т. Москва. 1835.**

Брошюры г. А. Т. возбудили противъ себя самое ожесточенное гоненіе со стороны нашихъ журналовъ. «Библіотека для Чтенія» осмѣяла ихъ по двумъ причинамъ: онѣ претендуютъ на умозрѣніе или высшіе философическіе взгляды, и исполнены сими и оными. Известно глубокое чувство антипатіи и омерзѣнія, которое возбуждаетъ въ «Библіотекѣ для Чтенія» одно слово «философія», известна и ея ожесточенная ненависть къ проклятымъ сямъ и онымъ. «С. Пчела» неавидать и боится всего, что выходитъ изъ

границъ золотой посредственности, по одному подозрѣнію, что тутъ можетъ скрываться «философія»; но сіи и оныя она жалуетъ, и горячо, хотя очень неловко, отстаиваетъ отъ нападеній «Библіотеки для Чтенія». Впрочемъ, брошюры г. А. Т. родились, видно, не въ добрый часъ: не защитили ихъ отъ нападеній «Ицелы» сіи и оныя. Я, съ своей стороны, не уступаю «Библіотекѣ» въ ненависти къ симъ и онымъ, считая, по уваженію правъ собственности, дѣломъ беззаконнымъ похищать сіи мѣстоименія у подъячизъ, которыми оныя толико любезны и вожделѣнны, и притомъ не видя въ нихъ ни малѣйшей надобности; но въ «философіи» питаю родъ какого-то суевѣрнаго уваженія, будучи убѣжденъ, что только въ ходѣ человѣческой мысли заключается историческій прогрессъ. Поэтому, хотя сіи и оныя и возбуждали меня противъ г. А. Т.; но его претяныи на мыслительность мирили меня съ нимъ: за хорошее и хорошо выполненное намѣреніе, за мысль, можно простить сіи и оныя. И такъ, я взялъ въ руки одну изъ брошюръ г. А. Т., желая увидѣть, какъ фантазируетъ человѣкъ о предметахъ такъ близкихъ, такъ любезныхъ человѣку, какіе вадасть онъ себѣ вопросы и какъ рѣшаетъ ихъ. Я хотѣлъ даже и въ такомъ случаѣ, еслибъ не нашелъ ничего необыкновеннаго, ничего новаго, или новымъ образомъ, новымъ путемъ объясненнаго, хотѣлъ защитить г. А. Т. противъ ожесточенныхъ враговъ «философіи». Съ перваго раза, мнѣ показалось очень трудно читать эту книгу, хотя писанную и русскими словами; но, рѣшась на благое дѣло, я старался преодолевать всѣ трудности. Нѣсколько страницъ — и терпѣніе мое лопнуло. Я попалъ на періодъ, занимающій въ книжкѣ, напечатанной среднимъ шрифтомъ, четыре страницы безъ нѣсколькихъ строкъ. Истинно философскій языкъ, но только совсѣмъ не русскій! Воля г. автора, а мнѣ кажется, что изученію философіи должно предшествовать изученіе грамматики, такъ же, какъ изложенію философіи должно предше-

ствовать умѣніе ясно, понятно и толковито изъясняться на своемъ языкѣ. Вы хотите писать для людей свѣтскихъ, вы посвящаете вашу книгу дамъ: тѣмъ болѣе должны вы стараться говорить живымъ, народнымъ словомъ, а не мованкою школьныхъ и подъяческихъ словъ, согласованныхъ между собою синтаксисомъ волостныхъ правленій; этого жалею, вы должны дойти до педантизма въ отдѣлкѣ слова.

Кто много знаетъ и у кого знаніе есть родъ вѣрованія, у кого умъ и чувство сливаются вмѣстѣ, тотъ имѣетъ право не уважать грамматики, потому что, взявши этого, въ его рѣчи будетъ жаръ, энергія, движеніе, могущество, сдѣловательно, — у того слогъ будетъ прекрасенъ, безъ всякаго старанія съ его стороны сдѣлать его прекраснымъ. Но кто о высокихъ истинахъ говорить такъ же спокойно и хладнокровно, какъ

О счастіи, о вѣдѣ,

О царствѣ и своей роднѣ,

тому надо тѣсно держаться грамматики, надо обтачивать свои періоды, задумываться надъ словомъ, размышлять надъ фразою. Тамъ и дѣлаютъ всѣ люди безъ дарованія: посмотрите, какъ въ сочиненіяхъ гг. Булгарина, Греча, и проч. Это просто нарисеть. Да и глубокость мысли — насколько не мѣшаетъ ясности изложенія: что хорошо понято, то легко и свободно излагается, какъ бы высоко ни было. Философія есть знаніе истины, а истина есть свѣтъ!

ПРОВИНЦІАЛЬНЫЯ ВРЕДНИ И ЗАПИСКИ ДОМЕ- ДОНА ВАСИЛЬЕВИЧА ПРУТЯКОВА. Москва.

1836. Дѣль части.

Авторъ этой книги говорить въ своемъ предисловіи:

Я не романтикъ, не классикъ; нѣтъ у меня ни эффектовъ, ни потрясеній, ни смертоубійствъ, даже ничего нѣтъ фантастическаго. Что же это такое? Безымянный выродокъ. Вотъ, скажутъ, авторъ не

знаешь эстетики: нѣтъ ничего трансцендентальнаго, индивидуальнаго, объективнаго; нѣтъ и новый, слога простой и рубить съ плеча,

Вотъ какія рѣчи отпустилъ намъ Домедонъ Васильевичъ! Мы, съ своей стороны, скажемъ только то, что въ его «Запискахъ», въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ ни идеализма, ни трансцендентализма: въ нихъ, напротивъ, абсолютный нигилизмъ съ достаточною примѣсью безвкусыя, тривиальности и безграмотности. Стилъ, или какъ говорятъ авторы, штилъ его не новый: это правда; его слогъ допотопный, ископаемый, его языкъ есть языкъ Традьяковскаго, Симеона Подопскаго, Сухомарокова. Его слогъ, говоритъ онъ, простой и рубить съ плеча: правда, онъ точно ужъ чересчуръ простоватъ, а какъ онъ рубить съ плеча, объ этомъ судите сами по отрывку слѣдующей курьезной пьесы.

Былъ, изволите видѣть, майоръ Трубинъ, котораго, должно жениться въ сорокъ пять лѣтъ на молодой дѣвушкѣ; у майора былъ любимый деньщикъ, Козмичъ, обладавшій столь великимъ умомъ, сколько прилично имѣть деньщику. Черезъ пять лѣтъ послѣ своего брана, майору надо было куда-то отлучиться съ своимъ деньщикомъ. Послѣ этого вступленія намъ будетъ понятенъ слѣдующій отрывокъ:

„Мнѣ минуло пятьдесятъ лѣтъ, рожилъ про себя майоръ. Трѣтъ и бытъ. У меня жена бездѣльная, но мнѣ пятьдесятъ лѣтъ — и я долженъ остерегаться.—Ну если“... Тутъ опять майоръ задумался... Отъѣхавъ версты три, вдругъ остановилъ онъ своего коня и вѣрному своему шталмейстеру Данилѣ Козмичу далъ слѣдующій приказъ: „Воротись, братъ Козмичъ, домой... и скажи женѣ, чтобъ она сегодня сидѣла дома и отнюдь никого не принимала. Признаться тебѣ, изъ что-то не хочется, чтобъ она безъ меня одна оставалась. И такъ воротись домой, а потомъ догоняй меня скорѣе“. Козмичъ, услышавъ бариновъ приказъ, остоленѣлъ... „Помилуйте, сударь, что вы надъ собой дѣлаете! Развѣ не жили вы на свѣтѣ довольно, чтобъ узнать?“— „Что это!“ вскричалъ майоръ, немного разсердясь, „ты меня ужъ въ этомъ учить хочешь?“—Данило умолкъ и, не говоря ни слова въ отвѣтъ, поворотилъ иноходца и тихимъ шагомъ пустился вспять...

Ѣхавши дорогою, Козмичъ разсуждалъ такъ: „Вотъ господа, вотъ

мужья! дѣлай по ихъ волю. Кому охота на каторгу? А мой баринъ самъ на бѣду накупается. Что теперь дѣлать? Какъ не сказать баринѣ, — отъ барина мнѣ бѣда, и сказать ей, — отъ барыни барину бѣда, макъ снѣгъ на голову. Боже упаси!... Е-ге! стой! Вдругъ нахнулъ Козмичъ пѣлаго пноходца и макъ изъ лука стрѣла въ воротахъ прилетѣла. Майорша... увидя Данилу, стремглавъ бросилась къ нему. „Что ты Козмичъ? не случилось ли чего?“ — „Ничего, сударыня, все слава Богу по добру по здоррову! Баринъ приказалъ дѣлаться, приказалъ сказать, приказалъ доложить, не изводите, дискать, безъ него на барбосѣ верхомъ садиться; онъ, дискать, хотъ и смирная собака, однако, дискать, шутокъ не любитъ и вѣрно-де насъ укусилъ.“ Отдавъ свой рапортъ, Козмичъ пустился по дорожкѣ вѣдуть за майоромъ. Майорша возвратилась въ свою комнату и прищипке задумалась... „Что значить этотъ повелительный приказъ?“, говорила она про себя. „А! я это ясно, вижу: эти мужья насъ пробуютъ — и хотятъ узнать, далеко-ли наше послушаніе простирается можетъ; но нѣтъ, полно, за тѣмъ-ли я посвятила ему молодость и провождаю дни мои съ стариками, чтобъ повиноваться смышленымъ его хотѣніямъ.“

Такъ, милостивый государыня, безъ сомнѣнія неясно, что у любезнаго пола рѣшеніе съ исполненіемъ почти въ одинаковомъ времени, вовсе въ противность приказнаго порядка, гдѣ иногда нарочито время проходить; слѣдовательно, майорша вышесказанное свое рѣшеніе немедленно въ исполненіе провозгласила: на барбосѣ ну верхомъ ѣздить. Барбосѣ, чтобъ отрицаться, не тутъ-то было! на барбоса пуще назавидася, докль барбосѣ, какъ сущій лубяникъ и сущая собака, милую ношу съ себя не сбросилъ и бодякъ барынѣ ручку не укусилъ... На другой день по возвращеніи майора, не забылъ онъ при первой встрѣчѣ и будто ненарочно о гостяхъ спросить, на что желаемый отвѣтъ получилъ. Куда съ радости дѣваться? Объясненіе, объясненіе такое, что ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ написать. А между тѣмъ майорша ручку спрятать не забыла. Майоръ, чтобъ ручки, дѣловать, одной руки нѣтъ какъ нѣтъ! — Что за шутка! вскричалъ майоръ, что съ твоей ручкой сдѣлалось? — Ничего... право, ничего... я виновата мой другъ, я... Ты вчера приказывалъ о барбосѣ, а я не послушалась, ѣздила на немъ; и отъ мнѣ руку укусилъ... — Что я приказывалъ вчера? вскричалъ майоръ; гдѣ съ тѣмъ? — Да, вчера, съ Данилою, отвѣчала майорша съ удивительнымъ тономъ. Дѣло уже шло не на шутку, и Данило на ту бѣду явился въ комнату. „Что я съ тобой вчера съ женой приказывалъ?“ спросилъ его майоръ. — Такъ, милостивый государь,

отвѣтствовалъ Козимичъ, я барыня сказала... „Что ты ей сказала?“ — Да, сударь, про барбоса. — „Что ты навралъ?“ — Нѣтъ, милостивый государь, не навралъ, сказалъ Козимичъ утвердительно... Прощу васъ только вспомнить теперь, про что вы мнѣ вчера приказали. Ну что жъ, взгляните на барышину ручку, еслибъ и ей не то сказала?

Говорить, что эта пошлая сказка принадлежитъ Бомбанио; если это правда, то удивительно, какъ она переняла въ фантазію русской черни; любой кучеръ или лакей перескажетъ вамъ ее по своему. Кучера и лакеи любятъ соблазнительныя исторіи на счетъ господъ, въ этомъ нѣтъ никакого дива; но странно, какъ вздумалъ ее пересказывать г. Прутиновъ, этотъ старецъ, который безпрестанно твердитъ о нравственности, который недоволенъ всѣмъ современнымъ — и Англійскимъ клубомъ, и новѣйшими романами, и новѣйшею литературою, и новѣйшими покроємъ платья, и новѣйшимъ поколѣніемъ, потому что во всемъ этомъ видитъ совершенную безнравственность. Если повѣрить его жужжанию, то въ настоящее время все безнравственно — даже троттуары, по которымъ ходятъ люди, и крыши домовъ, по которымъ ходятъ гадки и трубочисты; что правда, совѣсть, честь, существовали только въ старину, въ то время, когда люди хвастались безбожіемъ, шеголяли кощунствомъ, торжались числомъ обольщенныхъ женщинъ и убитыхъ противниковъ, когда судьи передъ зеркаломъ торговались съ просителями, словомъ, это время, такъ прекрасно характеризованное безсмертнымъ Грибоедовымъ. И вотъ какими средствами, вотъ какимъ путемъ, хочеть почтенный старецъ обратитъ на истинный путь нашъ безнравственный вѣкъ! Но это явная ошибка въ расчетѣ со стороны автора: онъ, кажется, не понялъ нашего вѣка; едва ли и нашъ вѣкъ пойметъ его. И это очень естественно: времена, а вѣсть съ ними и понятія о нравственности переходчивы. Поэтому, да не осуждаетъ насъ почтенный старецъ, если мы объявимъ ему за тайну (для него), что его понятія о нравственности намъ кажутся

совершенно безразличными. Мы, люди новѣйшаго поколѣнія, мы презираемъ бракомъ по расчету, презираемъ эту торговую сдѣлку, уничтожающую достоинство человека и общества, но уважаемъ идею брака, какъ священнаго союза двухъ душъ, понимающихъ одна другую, союза любви, освящаемаго чувствомъ и религіею. Поэтому, въ нашихъ глазахъ, старикъ, женившійся на молодой дѣвушкѣ, есть или глупецъ, стоящій на ступени безсмысленнаго животнаго, или отвратительный сластолюбецъ, что едва ли еще не хуже; и потому, намъ смѣшна и вѣрность майорши, и любовь майора, и еще смѣшнѣе показалась бы вѣрность его сожительницы. Потому, мы, люди новѣйшаго поколѣнія, слишкомъ уважаемъ идею женщины, слишкомъ горячо вѣримъ въ достоинство человеческое и возможность его въ обоихъ полахъ, слишкомъ убѣждены въ добродѣтели женщины, которая способна возвыситься до святаго чувства любви, чтобы не вѣрить въ чистоту и твердость женщины; мы даже не почитаемъ за добродѣтель этой чистоты и твердости, а видимъ въ нихъ простое и обыкновенное исполненіе долга, даже и не исполненіе долга, а просто естественное состояніе женщины, потому что добродѣтель есть усиліе, побѣда надъ какимъ-нибудь порочнымъ или эгоистическимъ порывомъ, а любящая женщина не можетъ имѣть подобныхъ порывовъ въ отношеніи своей вѣрности къ мужу, слѣдовательно, у ней не можетъ быть не только борьбы съ преступнымъ чувствомъ, но даже и мысли о такой борьбѣ. Видите ли, почтенный старецъ, мы обогнали васъ въ нравственности и слѣдовательно, не только не нуждаемся въ вашихъ урокахъ, но еще почитаемъ себя въ правѣ задать вамъ порядочный. Ваша повѣсть не имѣетъ для насъ ни значенія, ни смысла; порядочная женщина не дочтеть ея до конца и не позволитъ читать ее своей дочери. Ваша повѣсть можетъ доставить удовольствіе и пользу развѣ необразованному классу нашихъ бородатыхъ жрецовъ Бахусова храма, отиѣривающихъ право-

славнымъ жестяными сосудами спиртуозную влагу. Ваша повесть могла бы имѣть значеніе и смыслъ назадъ тому лѣтъ двадцать, когда еще бродили гибельныя правила осьмнадцатаго вѣка, когда честь женщины почиталась позоромъ, плейбейскою манерою, неумѣніемъ жить въ свѣтѣ, когда бракъ почитался родомъ вуала, накидываемаго на развратъ, родомъ привилегіи на распутство. Но и тогда вамъ не мѣшало бы имѣть побольше вкуса и запастись большею грамотностію, бѣльшимъ умѣніемъ выражаться на языкѣ понятномъ, живомъ, образованномъ, общепотребительномъ, а не на какомъ-то старинномъ подъяческомъ жаргонѣ. Теперь же въ наше время, ваша повесть и всѣ ваши нравственно-сатирическія статейки даже не смѣшны, потому что ужъ чересчуръ скучны и плоски. Вы сражаетесь съ тѣнью, съ призракомъ. Вы идѣте не туда, куда надо, вы прикладываете свои пластыри къ здоровымъ членамъ общества и не видите его истинныхъ ранъ, которыхъ, конечно, много, и которыя, безъ сомнѣнія, очень глубоки. Вы, напримѣръ, нападаете на моды: старая, очень старая пѣсня, такая старая, что въ сравненіи съ ней «Выду я на рѣчынью» кажется пѣснею сейчасъ сложенною. Моды нисколько не вредятъ обществу. Кто при большомъ состояніи разоряется отъ моды, тотъ мотъ, расточитель, который разорился бы, еслибы и не было моды; кто, не имѣя состоянія, тонется за модами, тотъ сумасшедшій, который остался бы сумасшедшимъ, еслибы и не было моды. Притомъ если отъ моды разоряется одно сословіе, то богатѣетъ другое, слѣдовательно, для государства нѣтъ вреда. Сверхъ того, нынче уже признано, что и подъ моднымъ фракомъ изъ дорогаго англійскаго сукна и подъ золотистомъ жилетомъ можетъ быть благородное и пламенное сердце; что модная шелковая шляпа можетъ покрывать голову великаго и глубокаго ума. Нынче всѣ согласны въ томъ, что странность и неприличіе въ одеждѣ обличаетъ скорѣе суетное желаніе отличиться, выказатъ себя странностію, обратить на себя

общее вниманіе, чѣмъ истинную мудрость. И въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ, который сшилъ бы себѣ долгополый сюртукъ съ высокими лифомъ, на тѣ деньги, на которыя онъ могъ бы сшить модный сюртукъ, этотъ человѣкъ оказалъ бы себя или чудачкомъ, что, разумѣется, не предосудительно, или глупцомъ, что очень предосудительно. Такъ что же значать ваши нападки на моды почтенный старецъ? Знаете ли вы, что Россія, какъ и всякое государство, обязана своимъ образованіемъ, въ числѣ многихъ другихъ причинъ, наиболѣе модѣ? Петръ Великій обрилъ наши бороды и перемѣнилъ нашъ костюмъ, что было необходимо для нашего сближенія съ Европою и въ умственномъ отношеніи; онъ заставлялъ насъ учиться языкамъ и наукамъ. На кого прежде всего пало бремя тягостной, но необходимой реформы? Разумѣется, на дворъ. Двору стало подражать богатое дворянство, этому мелкое дворянство, этому и разночинцы, а теперь купцы и мѣщане. Если теперь образуются по убѣжденію въ пользу и необходимости образованія, то тогда учились просто изъ моды, чтобъ не отстать отъ высшихъ себя. Общество можетъ идти впередъ только благоразумнымъ и тихимъ отстраненіемъ стараго и замѣненіемъ его новымъ. Да, мода есть благодѣтель обществъ. Я не понимаю, почему старинный, прочный, но неуклюжій и тяжелый берлинъ, лучше прочной же, но легкой и красивой кареты? А кто изъ уродливаго берлина сдѣлалъ шегольскую карету? Мода, непостоянная, беспокойная мода, всегда скучающая, всегда недовольная настоящимъ. Модѣ обязаны мы всеми удобствами нашей жизни. Что же, почтенный старецъ, значать ваши нападки на моду? Развѣ безъ васъ никто не зналъ, что человѣкъ, посвятившій себя исключительно на служеніе модѣ, есть человѣкъ пустой, ничтожный? О, нѣтъ! вы хотѣли блеснуть умомъ, похвастать остроуміемъ — и ошиблись въ своемъ разсчетѣ, потому что кто нынче нападаетъ на моды, того не читаютъ...

Вы нападаете на Англійскій клубъ, какъ, на подрывъ домашней семейной жизни—и опять не впопадъ! Можно имѣть свой домъ, любить до безумія жену, словомъ, быть хорошимъ мужемъ и отцомъ, и ѣздить въ клубъ. И почему же не долженъ ѣздить въ клубъ или собраніе человѣкъ, которому ограниченное состояніе не позволяетъ заводить у себя дома собранія и давать балы? Въ клубъ не все же играютъ въ карты, тамъ и ѣдятъ, и пьютъ, и говорятъ, и читаютъ все, что представляетъ отечественная и иностранная журналистика. Кто же охотникъ до картъ, тотъ и дома и въ гостяхъ можетъ удовлетворить своей охотѣ.

Вы нападаете на современную литературу, находите ее и безнравственною и безчинною; вамъ не нравятся многіе нынѣшніе романы, вы говорите, что ихъ нельзя дать въ руки дѣвушкамъ; я не хочу защищать передъ вами современной литературы и нынѣшнихъ романовъ, потому что это былъ бы напрасный трудъ; мы не поняли бы другъ друга. Скажу вамъ только, что многіе изъ романовъ, на которые вы намекаете, никогда не оскорбляютъ въ такой степени нравственнаго чувства женщины, какъ повѣсти въ родѣ вашей «Барбось или на своемъ поставлю».

Вы доказываете, что не должно пьянствовать, клеветать на ближняго, оплошно управлять имѣніемъ, и проч. Это истинны неоспоримыя, и мы отъ души бы поблагодарили васъ, еслибы не выучили ихъ наизусть въ нашихъ азбукахъ и прописяхъ, по которымъ учились въ дѣтствѣ читать и писать. Жаль, что между этими полезными истинами, вы пропустили одну, и очень важную, а именно ту, что не должно писать и издавать книгъ, не выучившись грамотѣ и не умѣя порядочно выражаться на отечественномъ языкѣ.

Да, почтеннѣйшій старецъ, Дормедонъ Васильевичъ, вы сражаетесь съ тѣнью, съ призракомъ, вы цѣлитесь не туда, куда надо, вы не понимаете истинныхъ недуговъ человѣка и человѣческаго общества, вы не знаете этого великаго пра-

вила, что «la morale est dans la nature des choses», а не въ скучныхъ поученіяхъ и тупоумныхъ остротахъ.

Я написалъ объ вашей книгѣ не для публики: публика не прочтетъ ея, можете быть въ этомъ увѣрены; я написалъ это для васъ, чтобы защитить передъ вами публику, показавъ причину ея невниманія къ вашей книгѣ: будьте жъ мнѣ благодарны!...

**ПРЕКРАСНАЯ АСТРАХАНКА, ИЛИ ХИЖИНА НА
БЕРЕГУ РѢКИ ОКИ.** *Романъ, взятый изъ истин-
наго происшествія: Россійское сочиненіе. Въ двухъ
частяхъ. Москва. 1836.*

Хотя «Прекрасная Астраханка» принадлежитъ къ одной и той же категоріи съ «Провинціальными Бреднями», но несравненно лучше ихъ и потому заслуживаетъ большаго вниманія. Чтеніе этого романа послѣ «Записокъ» Дормедона Васильевича есть истинное отдохновеніе отъ труда тяжкаго, утомительнаго. «Прекрасная Астраханка» принадлежитъ къ числу лучшихъ Россійскихъ романовъ, и только излишняя пышность воображенія автора мѣшаетъ ей нѣсколько превзойти даже самую «Черную Женщину», это произведеніе воображенія уже остывшаго и сдружившагося съ холоднымъ разсудкомъ. Мы хотимъ познакомить нашихъ читателей съ этимъ прекраснымъ романомъ, пересказавъ, сколько возможно короче, его содержаніе.

Бъ роману, какъ водится, приложено предисловіе, отличающееся необыкновенною цвѣтистостью слога и глубокою ученостью; въ немъ авторъ увѣдомляетъ своихъ читателей, что городъ Астрахань стоитъ на берегу Волги и что въ немъ можно въ одинъ часъ встрѣтить «разныхъ націй народовъ», и пр.

Было утро. На берегу рѣки Кутума стоялъ домъ купца

Огурева. На балконъ съ вызолоченными перилами, подъ зеленымъ зонтомъ или навѣсомъ, сидѣла прелестная Анастасія въ легкой лѣтней одеждѣ цвѣта невинности и любовалась природою. Анастасія была единственное дѣтище купца Огурева. Вдругъ она увидѣла шляпку, на которой сидѣло шесть гребцовъ, съ веслами въ рукахъ, въ красныхъ рубахахъ, у коихъ «вротѣ» были обшиты золотымъ галуномъ, съ чернobarкатными шапочками на головахъ, которыя были украшены багряными перьями (вѣроятно, страусовыми). На кормѣ сидѣлъ и правилъ рулемъ и парусомъ молодой прекрасный юноша съ величественною осанкою, съ огненнымъ и вмѣстѣ дикимъ взоромъ «умѣреннымъ неподражаемою улыбкою при встрѣчѣ со взорами прекрасной Анастасіи». Порывлявшись съ балкономъ, онъ сталъ на одно колѣно и, простря свои руки къ Анастасіи, а потомъ на небо (но не къ небу), съ выразительностію сказалъ громко: «Клянусь! ты будешь моею, или сія рѣка будетъ моею могилою!»

Сей прекрасный, страстный и адополучный юноша, который произнесъ оныя натеѣческія слова, былъ сынъ знаменитаго Стеньки Разина!

Шляпка начала скрѣпляться изъ глазъ плѣнительной Анастасіи, которая услышала «громкій звукъ гобоя и вскорѣ сей куплетъ, пропѣтый хоромъ чистыхъ голосовъ»:

Душа красная дѣвица,

Ангель крѣпкой красотой!

Взоръ твой — свѣтлая денница —

Вдругъ плѣнилъ меня собой!

И такъ, во времена Стеньки Разина, въ Россіи не только прекрасно играли на гобоѣ, но и сочиняли прекрасные куплеты, которымъ мазавидовалъ бы самъ г. Пугочниковъ: этотъ фактъ надлежитъ принять къ свѣдѣнію.

«Воже! кто сей' незнаемый юноша, который неволью влечетъ къ себѣ мое сердце и душу? Неужели это мнѣ суженный моего судьба лѣпно прилежѣ въ мѣста сіи; чтобъ я его увидѣла и полюбала!» ска-

зала сама себя Анастасія. Ахъ! если это не сонъ, но одна мечта моего воображенія, занятого романами, мною читанными...

Видите ли, какимъ прекраснымъ, витиеватымъ стилемъ объясняется прелестная Анастасія! По симъ рѣчамъ тотчасъ можно догадаться, что она дѣвица воспитана и образована. Пусть невѣжды вооружаются противъ романовъ, но романы и во времена Стеньки Разина приносили дѣвицамъ большую пользу! Такъ какъ я не читалъ романовъ, сочиненныхъ во времена Стеньки Разина, то и не могу судить о достоинствѣ оныхъ, но думаю, что сіи романы были благопріостойнѣе «Постоялаго Двора», забавнѣе «Черной Женщины» и нравственнѣе «Провинціальныхъ Бредней» г. Прутикова.

Я пропускаю интересный разговоръ Анастасіи съ ея горничною, Анетою (а не Акиетою), которая умна и лукава, какъ всѣ горничныя; еслибъ я вздумалъ выписывать всѣ красоты сего романа, то моя рецензія вышла бы больше онаго. Однако, я не могу не выписать поэтическаго описанія, сдѣланнаго Анастасіею возлюбленному ея сердца:

„Онь преласенъ какъ майской день, величественъ какъ кедръ ливанскій“!...

Творецъ небесный! какъ краснорѣчиво выражали дѣвицы свои чувства, во время Стеньки Разина! ай! ай! какъ краснорѣчиво!...

„Гдѣ, это вы, сударыня, были? спросила мать Анастасіи! Вѣрно изволили заниматься чтеніемъ прекрасныхъ романовъ, копми набита голова и сердце ваше до такой степени, что вы даже забыли должное почтеніе къ вашимъ родителямъ, поздравить ихъ съ добрымъ утромъ, и по нѣскольку часовъ заставляете ждать ихъ до чаю!“

Эти строки мнѣ кажутся немного странными: я ни мало не сомнѣваюсь въ томъ, что во времена Стеньки Разина чай былъ во всеобщемъ употребленіи, тотъ-въ-тотъ какъ теперь, что дочери тогда, какъ и теперь поздравляли своихъ родителей съ добрымъ утромъ, особенно дочери купецкія, что матери, въ прощическомъ штиль, съ дочерьми говорили во множественномъ числѣ; но я съ трудомъ могу вѣрить, чтобы

романы тогда были въ такомъ гоненіи. Очевидно, что это еще вопросъ, вопросъ историческій и литературный, который должно изслѣдовать. Въ ожиданіи, пока явится ученый, который разрѣшитъ этотъ вопросъ, будемъ слѣдовать за нитью разсказа.

Мать упрекаетъ мужа, что онъ позволяетъ дочери читать романы, «безъ чтенія которыхъ она была бы невинна, какъ ангелъ, и добродѣтельна, какъ мать ея!»... Мужъ отвѣчаетъ женѣ, что она сама смолоду до того любила романы, что забывала для нихъ обѣды и ужины. Но это читателю и безъ того видно, потому-что мать объясняется слогомъ книжнымъ и ораторскимъ, котораго купчихъ время. Стеньки Разина нельзя было приобрести безъ чтенія романовъ. Но женѣ не понравилось возраженіе мужа. «Сею насмѣшкою, говоритъ она, думаешь ты поселить въ единственной нашей дочери неуваженіе къ своей матери». Пошло слово за слово, и старики побранились; въ этой ссортѣ, мать Анастасіи отъ маническаго и книжнаго языка постепенно перешла къ слогу простому, разговорному, который употребляется и теперь не токмо купцами и мѣщанами, но и чиновниками, въ домашнихъ объясненіяхъ съ ихъ сожительницами.

Вдругъ входитъ Стефанъ (сынъ Стеньки Разина).

„Боже! — вскрикиваетъ Анастасія — это онъ!“ — и упадаетъ въ обморокъ.

Такъ и должно! если дѣвицы, во времена Стеньки Разина, читали романы, то, безъ сомнѣнія, должны были умѣть падать въ обморокъ. Конечно, нынче это выходитъ изъ моды, но во времена Стеньки Разина сей обычай существовалъ во всей силѣ. Стефанъ, какъ образованный молодой человекъ, бросился помогать своей возлюбленной.

„Прочь, прочь! — кричитъ Марія (мать Анастасіи: въ порядочныхъ и истинно классическихъ романахъ никогда не называютъ по отчеству героев и особенно героинь, хотя бы сіи и были купчихи). Что ты за птица, взлетѣвшая въ высокія хоромы? Если ты лѣкарь, то не нужны твои пособія; у насъ есть лучшее лѣкарство: святая

вода, антидоръ, воскресная молитва отъ враговъ и супостатовъ, конхъ порученія ты, можетъ-быть, принимаешь, и будучи столь прекрасенъ, думаешь соблазнить насъ, какъ святыхъ отцовъ въ пустыняхъ, и посвятить здѣсь клевету и раздоръ! Но и того хуже, если ты сынъ убійцы и разбойника, проливающего невинную кровь, плущаго случая налить ядъ свой въ нѣдра добродѣтельнаго семейства!... Удались, исчезни яко дымъ и прахъ!“

Каковъ образчикъ краснорѣчія?... Знаете ли, что я въ немъ вижу? — А что?... Да ужъ вѣрно то, чего никто не видитъ. Коротко и ясно: я сдѣлалъ историческое открытіе, нашелъ новый фактъ. О! не даромъ я давно подозрѣвалъ въ себѣ историко-критическую способность, даръ соображенія и богатыхъ выводовъ изъ самыхъ бѣдныхъ данныхъ. Да, въ этомъ случаѣ, я не уступлю самому г. Скронненку, который такъ много уже открылъ новаго въ нашей исторіи, хотя и не очень давно ею занимается. Дѣло вотъ въ чемъ: по сей краснорѣчивой рѣчи матери Анастасіи, я заключаю, что, въ времена Стеньки Разина, преподаваніе риторики было въ самомъ цвѣтущемъ состояніи, что ей учили даже женщинъ. Замѣтили ль вы, что Марія, мать Анастасіи, выражается всѣми тремя родами слога: съ Стефаномъ высокимъ, съ дочерью среднимъ, а съ мужемъ низкимъ? Кому не извѣстно, что оное остроумное раздѣленіе слога на высокій, средній и низкій относится къ отдаленнымъ временамъ, и всѣми нашими учителями и законодателями краснорѣчія, отъ Ломоносова до гг. Плаксина и Глаголева, признается необходимымъ? Но посмотримъ, какое дѣйствіе произвела на Стефана громовая выходка Маріи. Ужасное!... Онъ затрепеталъ всѣми членами и поблѣднѣлъ...

„Что это значить, государь мой? спросилъ его Владиміръ (*отецъ Анастасіи*). Слѣдовательно слова жены моей справедливы... Отъ чего вы такъ трепещите!“

— Отъ несправедливыхъ ея упрековъ! отвѣчалъ Стефанъ, стараясь принять на себя спокойный видъ.

„А мнѣ кажется, возразилъ Владиміръ, поглаживая свою лысину, они не несправедливы, ибо честный человекъ оныхъ не боится и

съ равнодушіемъ переносить всѣ насмѣшки и ругательства, и почитая себя непричастнымъ таковымъ укоризнамъ, еще болѣе возмущается въ душѣ своей, а вы... вы молодой человѣкъ... ахъ! право, ужасюсь за васъ — и мнѣ кажется, что слова жены моей справедливы! Скажите: кого я имѣю честь видѣть въ моихъ домѣ, т. е. кто вы именно?»

Какъ очевидно различіе мужчины отъ женщины! Краснорѣчіе второй пламенно и бурно, дышитъ чувствомъ; краснорѣчіе первого спокойно, тихо, но глубоко и кпится мыслями. Вотъ каковы были русскіе бородатые купцы во времена Стеньки Разина; да — не то, что нынѣшніе, которыхъ въ краснорѣчій загоняетъ всякій сельскій дьячокъ, доходившій въ семинаріи хоть до синтаксическаго класса, и у которыхъ краснорѣчивы только окладистая борода, румяныя ланиты, толстыя чрева и туго набитые карманы. Неоспорно, что свѣтъ день ото дня становится хуже, какъ увѣряетъ въ этомъ Дормедонъ Васильевичъ Прутковъ!...

Наконецъ, Стефанъ прибѣгаетъ къ ловкой уверткѣ, одной изъ тѣхъ гениальныхъ выдумокъ, которыя вы можете найти въ народной русской сказкѣ въ лицахъ, подъ названіемъ «О Бабынхъ Уверткахъ и Непостоянныхъ Документахъ» — и миръ возстановился. Мать шепнула что-то дочери, и сія вышла.

«Вѣрно, сударыня, сказалъ Стефанъ, вы почитаете неприличнымъ прекраснѣйшей вашей дочери быть въ обществѣ съ незнакомымъ человѣкомъ, и чрезъ сіе лишаете какъ жея, такъ и самихъ себя удовольствія ее видѣть; если я здѣсь лишній, сію же минуту оставлю васъ въ покоѣ».

Quelle galanterie; quelle politesse! Молодые шеголи и франты XIX вѣка, краснѣйте: что вы въ сравненіи съ денди XVII вѣка? то же, что нынѣшніе титулярные совѣтники въ сравненіи съ рыцарями среднихъ вѣковъ!...

«Ахъ, помилуйте, помилуйте! отвѣчаетъ Марія.... Я сказала дочери, чтобъ она переѣхнула платье, ибо на ней надѣто утреннее negligé, а это платье не годится при постороннемъ человѣкѣ».

Боже мой! какое знаніе приличій! Какое строгое исполненіе требованій хорошаго тона! И въ кожѣ жѣ? въ купчихѣ времени Стеньки Разина!... O bon vieux temps! Тогда тоже былъ въ употребленіи французскій языкъ, и даже въ большемъ, чѣмъ нынѣ: можно побиться объ закладъ, что теперь ни одна купчиха, съ бумажною или парчовою новязкою на головѣ, въ цѣлой Астраханской губерніи, не пойметъ слова «неглиже».

«А мнѣ кажется, сударыня, возражалъ Стефанъ, что сія одежда болѣе дѣлаетъ прелестною дѣвицу, ибо болѣе къ натурѣ и не принужденна. Еслибъ я когда-нибудь вздумалъ жениться, продолжалъ онъ, то никогда бы не позволилъ женѣ моей заключать въ тѣсныя предѣлы стройную и природную свою тѣлю, развѣ только въ такомъ случаѣ, когда бъ дрожащая моя половина была такъ толста, какъ ваша приходская попадья».

Какія аркадскія понятія о прелести, придаваемой женщинамъ костюмомъ! Вѣрно, во времена Стеньки Разина, издавался какой-нибудь чувствительный «Дамскій Журналъ»!... И потомъ, какое остроуміе со стороны молодого человѣка XVII вѣка!... О! этотъ молодой человѣкъ зналъ толкъ!...

«Одлакова, вы здѣсь, вѣрно, не мовичекъ, и не послѣдній наскѣшникъ?» сказала Марія... «Извините меня, сударыня, въ семъ неумѣстномъ сравненіи, отвѣчалъ Стефанъ... Произнеся сіи слова, цѣлуетъ еще руку Маріи, совершенно имъ обвороженной; но онъ имѣлъ другую цѣль, ибо зналъ, что отъ пріобрѣтенія благорасположенія Маріи зависѣло его счастье».

Владиміръ, которому эти нѣжности показались смѣшны, началъ подшучивать надъ своею женою, которая, оставивъ высокій слогъ, отвѣчала ему низкимъ: «Не сойди-ка съ ума плѣшивая обезьяна!» За симъ, Владиміръ, разсказалъ Стефану, какъ его сожительница, въ продолженіе тридцатилѣтней ихъ брачной жизни, осыпала его бранью, одѣляла толчками и сдѣлала его плѣшивымъ; виѣпляясь, какъ кошка въ крысу, въ его курчавыя волосы, когда онъ увѣщевалъ ее плетью меньше скалить зубы съ молодыми мужчинами и не безчестить себя. Признаюсь откровенно, это мнѣ не понравилось,

и воля ваша, г. неизвѣстный, но тѣмъ не менѣе знаменитый авторъ «Прекрасной Астраханки», а тутъ есть противорѣчіе. Если Марія иногда выражалась немного сильно, такъ это потому, чтобы разнообразить свой слогъ, вслѣдствіе предписаній риторики; но чтобы она, начитанная романами, знавшая французскій языкъ, соблюдавшая строго bon ton, обладавшая такимъ краснорѣчіемъ—чтобы она, говорю, могла доходить до такого mauvais genre—это, право, неестественно. Впрочемъ, можетъ быть, такое обращеніе супруговъ между собою, во времена Стеньки Разина, почиталось за хорошій тонъ? Въ такомъ случаѣ, не спору, но зато не хочу быть согласнымъ съ Дормедономъ Васильевичемъ Прутиковымъ, чтобы встарину все было лучше нынѣшняго.

Супруги скоро помирились, и вошла Анастасія въ бѣломъ атласномъ платьѣ, опоясанномъ зеленымъ бархатнымъ поясомъ съ брильянтовой пряжкой, съ букетомъ розъ, приколотыхъ къ груди, съ зеленою лентою, унизанною крупнымъ жемчугомъ, и брильянтовымъ склаважемъ на головѣ, съ браслетами на рукахъ. Какъ прекрасна она была въ этомъ костюмѣ, почти не измѣнившемся со временъ Стеньки Разина до нашего времени!... Но этимъ не все кончилось: по приказанію матери, Анастасія принесла арфу, настроила ее и, сдѣлавъ нѣсколько аккордовъ, запѣла слѣдующій романсъ, сочиненный ею экспромтомъ:

Сіяетъ солнце надъ востокомъ
Въ лазурь—золотымъ лучемъ!
Пловецъ въ челяхъ, ведомый рокомъ,
Въ одеждѣ рыцарской, съ мечемъ,
Присталъ къ сямъ берегамъ Кутума,
Вступилъ въ незнаемый чертогъ!

Скажи, скажи, пришлецъ незнакомый!—
Зачѣмъ присталъ къ сямъ берегамъ?
Коль хочешь быть теперь упрямою,—
Иди, оставь спокойство намъ!

Вотъ чувства, сердца выраженья!...
Скажи, скажи—ты мнѣ въ отвѣтъ,
Зачѣмъ пришелъ въ чужи селенья?
Какой намѣреній—завѣтъ?—

Сначала импровизація Анастасіи привела Стефана въ большое затрудненіе, но—говорить авторъ—

Оборотливый умъ, просвѣщенный воспитаніемъ, не долго остается въ бездѣйствіи и находитъ скоро отвѣты на самую трудную задачу. Я знаю отечественныхъ поэтовъ, которые, ни мало не думавши, говорятъ то въ одну минуту, что нашъ братъ сочинитель долженъ рѣшить въ теченіе цѣлаго мѣсяца; но, падая ихъ, я не смѣю здѣсь именовать; ибо публика очень извѣстна объ ихъ талантахъ.

Мы думаемъ, что наши знаменитые поэты должны быть очень благодарны автору «Прекрасной Астраханки» за его комплиментъ, а болѣе за пощадку, которую онъ имъ даетъ, за его скромность на счетъ утайки ихъ именъ.

Мой Стефанъ (*продолжаетъ авторъ*), — будучи изъ числа не послѣднихъ въ своемъ родѣ, сейчасъ нашелъ, или приискалъ скоро на заданную ему Анастасіей задачу отвѣтъ. Взявши у ней арфу и аккомпанируя, пропѣлъ слѣдующее объясненіе:

На что, красавица прелестна!
Ты ищешь объясненія словъ?
При мудрости твоей чудесной
Я чту гостепріимный кровъ,
Въ который принять я съ пріязней.

.....
Тобой плѣнешь я съ перва ввгляда,
Съ тобой хочу счастливымъ быть,
Когда жь отнимется отрада...
Не стану я на свѣтъ жить! и т. д.

„Каковъ отвѣтъ! вскричала Марія: не ангельскій ли голосъ проникъ въ мою душу! О, сколь онъ очарователенъ, любезенъ, и какую прелестную гармонию вливаетъ въ сердца наши! — О! дочь! милая моя Анастасія! Вотъ лучший учитель, могущій образовать твои способности! Что эти надутые вгонсты? Эти сребролюбцы, ищущіе своей выгоды, которые, занимаясь одинъ часъ твоимъ ученіемъ, стараются только превознести себя похвалами къ талантамъ, коихъ они никогда

не имѣли! они превозносятъ тебя до небесъ, въ надеждѣ болѣе получить отъ насъ платы, но незнаюмецъ, въ первый разъ нѣ съ видѣвшимъ, доказалъ намъ, какъ они ничтожны? Бери, дочь моя! бери отъ сего господина уроки и ты будешь идеаломъ для всѣхъ образованныхъ дамъ въ нашемъ городѣ“.

Нужно ли говорить, что Стефанъ согласился? Сынъ Стеньки Разина былъ отличный виртуозъ и любилъ Анастасію — чего жъ лучше! Но довольно! прочтите сами романъ, а я не хочу отнимать у васъ удовольствія, рассказавъ вамъ вполнѣ содержаніе этого прекраснаго романа. Да не та была и цѣль моя: я только хотѣлъ дать понятіе о неслыханныхъ красотахъ сего произведенія. Когда же вы прочтете его сами, тогда я напишу на него настоящую критику, въ которой докажу, какъ дважды-два—четыре, что современная русская литература совсѣмъ не такъ бѣдна, какъ думаютъ нѣкоторые безпокойные крикуны, что если она теперь немножко и вздремнула, за то часто грезить, и «Прекрасная Астраханка» есть одна изъ самыхъ поэтическихъ, самыхъ патетическихъ ея грёзъ.

Во второй части есть ужасно высокая сцена, сцена свиданія Стефана съ отцомъ своимъ Стенькою Разинымъ: въ этой сценѣ они оба говорятъ высокимъ слогомъ. Вообще этотъ романъ напоминаетъ собою лучшее произведеніе гениальнаго Дюкре-Дюмениля, сперва сосланнаго неблагодарнымъ потомствомъ въ лакейскую, а потомъ въ подвалы: «Викторъ или Дитя въ Лѣсу»; но, почтенные читатели, «Прекрасная Астраханка» только напоминаетъ «Виктора», а не есть подражаніе оному, хотя и обрѣтаются такіе невѣжды, которые думаютъ, что сіе русское сочиненіе есть будто бы пародія на французское произведеніе; что будто бы «Прекрасная Астраханка» есть тотъ же самый «Викторъ», перетесанный топоромъ и скобелю на русскіе нравы. Вообще надо замѣтить, что у Дюкре-Дюмениля слогъ прелестный, а у нашего автора высокий, и потому пальма первенства должна остаться за русскимъ сочинителемъ.

ОТЕЛЛО, фантастическая повесть, В. Гауфа. Переводъ съ нѣмецкаго. Спб. 1835.

Въ Германіи была нѣкогда особенная литературная школа. школа фаталистическая, одно изъ самыхъ несчастныхъ и жалкихъ заблужденій человѣческаго ума. Фаталисты лишаютъ человѣка свободной воли, дѣлаютъ его рабомъ и игрушкою какой-то неотравимой, враждебной и грозной силы, и, наконецъ, ея жертвою. Кому не извѣстно «Двадцать Четвертое Февраля» Вернера, «Прародительница» Грильпарцера, многія повѣсти Тика и другихъ? Гофманъ не принадлежитъ къ этой школѣ; фаталистическое и фантастическое не одно и то же. У Гофмана человѣкъ бываетъ часто жертвою своего собственнаго воображенія, игрушкою собственныхъ призраковъ, мученикомъ несчастнаго темперамента, несчастнаго устройства мозга, но не какой-то судьбы, передъ которою трепеталъ древній міръ и надъ которою смѣется новый. Гауфъ, молодой человѣкъ съ талантомъ, принадлежалъ къ школѣ фаталистовъ, но онъ ушелъ очень не далеко. Его «Отелло» нисколько не страшитъ, даже не смѣшонъ, а просто смученъ, что всего хуже. Переводъ довольно плохъ. Изданіе могло бы быть опрятнѣе, еслибъ печать не была испещрена безконечнымъ количествомъ прописныхъ буквъ, употребленныхъ безъ всякой нужды, на зло здравому смыслу. Переводчикъ не только графу и барону, даже генію, театральному режиссеру и сѹфлеру низко кланяется прописною буквою. Не знаешь, съ чего онъ также выдумалъ писать «дрождать» вмѣсто «дрожать»? Неужели онъ этотъ глаголъ производитъ отъ дрожжей? Опечатокъ, или, можетъ быть, грамматическихъ ошибокъ, довольно.

РУССКАЯ ИСТОРИЯ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЧТЕНІЯ. *Сочиненіе Николая Полеваго. Часть третья.*
Москва. 1835.

Третья часть «Русской Исторіи» г. Полеваго превзошла всѣ наши ожиданія. Это уже не просто ученіе для дѣтей, это уже книга для всѣхъ. Авторъ оставилъ, или лучше сказать, обился съ тона дѣтскаго рассказчика на тонъ повѣствователя, историка. Но, оставивши тонъ дѣтскаго рассказчика, который, правду сказать, и въ первыхъ двухъ томахъ состоялъ только въ однихъ обращеніяхъ къ «любвнымъ читателямъ», онъ продолжаетъ свое прекрасное сочиненіе въ какомъ-то общедоступномъ и всѣхъ удовлетворяющемъ тонѣ. Его рассказъ отличается изящностію и стройностію, представляетъ собою правильную, симметрически расположенную галлерею мастерскихъ картинъ, проникнуть одушевленіемъ, полною мыслей и, выйдя съ этимъ, отличается такою простотою изложенія, что, удовлетворяя самаго взыскательнаго ученаго, доступенъ и для дѣтей, и для простолюдиновъ. Тѣсныя предѣлы, назначенные себѣ авторомъ, не только не повредили достоинству его сочиненія, но еще были одною изъ главныхъ причинъ, способствовавшихъ возвышенію этого достоинства. Мы живемъ на счетъ этого свои понятія: мы убѣждены, что одинъ изъ главнѣйшихъ недостатковъ «Исторіи Русскаго Государства» Карамзина заключается въ томъ, что она, объемля собою событія, не простиравшіяся даже до избранія Михаила, состоитъ изъ двѣнадцати, а не изъ трехъ, или много-много четырехъ томовъ. Мы не исключавъ изъ этого недостатка рѣшительно всѣ опыты и предшествовавшіе труду Карамзина, и послѣдовавшіе за нимъ. Въ самомъ дѣлѣ, къ чему служить слишкомъ подробное изложеніе событій, эта свалка, этотъ свозъ и важныхъ, и пустыхъ фактовъ? Не вредитъ ли это и общности событій, которыя должны вѣзваться въ памяти мастерскимъ изложеніемъ и уловляться однимъ взглядомъ? Не

вредить ли это и смыслу событій, который у историка выражается въ идеяхъ? Покажите намъ характеръ историческаго лица, такъ, чтобы оно рисовалось въ нашемъ воображеніи; проходило передъ нашими глазами со всѣми оттѣнками своей индивидуальности; уловите идею событія и выразите ее не разсужденіями и разглагольствованіями, а изложеніемъ событія, такъ, чтобы идея сама невольно бросалась, такъ сказать, въ глаза читателя; представьте намъ всѣ фазы жизни народа, всѣ ея переходы и измѣненія, оттѣните и очертите ихъ: вотъ долгъ историка. Для всего этого не нужно многотомныхъ издженій фактовъ; все это видѣте и ясныѣ въ сжатомъ, сосредоточенномъ разсказѣ. Разбираемое нами сочиненіе служить самымъ лучшимъ подтвержденіемъ справедливости нашего мнѣнія. Оно полно и обширно во всемъ смыслѣ этого слова; его первая часть даже могла бы быть гораздо короче, не къ ущербу, а къ усугубленію своего достоинства. Оно совершенно удовлетворяетъ тѣ требованія, которые мы полагаемъ въ основу достоинства историческаго сочиненія. Характеры дѣйствующихъ въ ней изображены удивительно. По недостатку положительныхъ и фактическихъ свѣдѣній, мы не можемъ ни повѣрять ихъ сказаніями лѣтописей, ни ручаться за ихъ историческую вѣрность; но можемъ смѣло увѣрить нашихъ читателей, что эти характеры не образы безъ лицъ, не мертвыя тѣни, а живыя созданія, которые вы видите передъ собою, которые имѣютъ для васъ не только смыслъ и душу, но и тѣло, но и образъ, опредѣленный и тѣлесный. Въ этомъ отношеніи мы поспорили бы съ почтеннымъ авторомъ только на счетъ Іоанна IV. Намъ кажется, что онъ не разгадалъ, или, можетъ-быть, не хотѣлъ разгадать тайну этого необыкновеннаго человѣка. У насъ господствуетъ нѣсколько различныхъ мнѣній на счетъ Іоанна Грознаго: Карамзинъ представилъ его какимъ-то двойникомъ, въ одной половинѣ котораго мы видимъ какого-то ангела, святаго и безгрѣшнаго, а въ другой чудовище, изрыгнутое природою, въ минуту раз-

дѣла съ самой собою, для пагубы и мученія бѣднаго человѣка честна, и эти двѣ половины спиты у него, какъ говорится, бывшими фитками. Грозный былъ для Карамзина загадоченъ; другіе представляютъ его не только злымъ, но и ограниченнымъ человѣкомъ; нѣкоторые видятъ въ немъ генія. Г. Полевой держится какой-то середины: у него Іоаннъ не гений, а просто замѣчательный человѣкъ. Съ этимъ мы никакъ не можемъ согласиться, тѣмъ болѣе, что онъ самъ себѣ противорѣчитъ, изобразивъ такъ прекрасно, такъ вѣрно, въ такихъ широкихъ очеркахъ эту колоссальную характеръ. Въ самомъ разсказѣ г. Полеваго, Іоаннъ очень понятенъ. Объяснимся. Есть два рода людей съ добрыми наклонностями: люди обыкновенные и люди великіе. Первые, сбившись съ прямого пути, дѣлаются маленькими пегодьями, слабодушниками; вторые—злодѣями. И чѣмъ душа человѣка огромнѣе, чѣмъ она способнѣе къ впечатлѣніямъ добра, тѣмъ глубже падаетъ онъ въ бездну преступленія; тѣмъ больше заносится во злѣ. Таковъ Іоаннъ: это была душа энергичная, глубокая, гигантская. Стоитъ только пробѣжать въ умѣ жизнь его, чтобы удостовѣриться въ этомъ. Вотъ, четырехлѣтнее дитя, остается онъ безъ отца, и кому же вѣрится его воспитаніе? Преступной матери и самовольству бояръ, этихъ буйныхъ бояръ, крамольныхъ, корыстныхъ, которые не почитали за безчестіе и стыдъ лѣнності, нерадѣнія, явнаго неповиновенія царской волѣ, проигрыва сраженія вълѣдствіе споровъ о мѣстахъ, а почитали себя обезпеченными, уничтоженными, когда ихъ сажали не по чинамъ на царскихъ пирахъ. И что же дѣлаютъ съ царственнымъ отрокомъ эти своекорыстные и бездушные бояре?... Онъ рветъ животное, наслаждается его смертными издыханіями, а они говорятъ: «пусть державный тѣшится». Кто жъ виноватъ, если потому онъ тѣшился надъ ними, своими развратителями и наставниками въ тиранствѣ?... Онъ любитъ Телепнева—и они вырываютъ любимца изъ его объятій и ведутъ его на мѣсто казни. Душа младенца была потрясена до основанія, а

такія души не забываютъ подобныхъ потрясеній. Онъ дѣлается юношею и распутничаетъ: болѣе видятъ въ этомъ свою пользу и подучиваютъ его на распутство. Но зрѣлище народнаго бѣдствія потрясаетъ душу юнаго царя и вдругъ пережьмаетъ его; онъ женится — и на комъ же? на кроткой, прекрасной Анастасіи; онъ уже не тиранъ, а добрый государь; онъ уже не легкомысленный и вѣтреный мальчикъ, а благоразумный мужъ; какіе люди способны къ такимъ внезапнымъ и быстрымъ пережьмамъ?... Ужь, конечно, не просто добрые и жеглушие!... Онъ подаетъ руку иному Сильвестру и безродному Адашеву; онъ вѣряется имъ; онъ такъ будто поминаетъ ихъ, но понимаютъ ли они его?... Люди народа, они дѣйствуютъ благородно и безкорыстно, умно и удачно, но они оковываютъ волю царя; эта воля была лѣвиная и жаждала раздолья и дѣятельности самобытной; честолюбивая и пламенная... Своимъ влияніемъ на умъ царя, они спеленали его, не думая, что ему стоить только пожать плечами; чтобъ разорвать пеленки. Они, наконецъ, назначили ему и часъ молитвы, и часъ суда и совѣта, и часъ царской потѣхи, покорили эту душу тяжкому, холодному, чинному и бездушному этикету, а эта душа была пылка, нетерпѣлива, стояла выше предразсудковъ своего времени и въ тайнѣ презирала безомысленныя обрядами... И царь надѣлъ иго; слушался своихъ любимцевъ, какъ дитя, казилось, былъ всѣмъ доволенъ; но его сердце точилъ червь униженія... У царя есть сынъ и есть дядя — послѣдній обломокъ развалившагося зданія удѣловъ. Царь боленъ при смерти; въ это время Русь уже приучилась страшиться крамоль; наследство престола было уже опредѣлено и утверждено общимъ, народнымъ мнѣніемъ: сынъ царя былъ уже выше своего дяди — и что же? При смертномъ одрѣ умирающаго вѣнценосца возсталъ крамола: болѣе отрекаются отъ законнаго наследника, къ ней пристають Сильвестръ и Адашевъ... Царь все видитъ, все слышитъ; его санъ, его достоинство поруганы: у его смертнаго одра брань и чуть не драка; справедливость нарушена: его

сынъ лишенъ престола, который, отдается удѣльному князю, который въ глазахъ и царя и народа казался правомъникомъ, хотя и былъ невиненъ; которому право жизни было дано какъ будто изъ милости... Этотъ ударъ былъ слишкомъ силенъ, нанесенная имъ рана была слишкомъ глубока: царь возсталъ для мщенія... Трепещите, буйные и крамольные бояре! ваша часъ пробилъ, вы сами нажали кару на свою голову, вы оскорбили льва, а левъ не забываетъ оскорбленій и страшно мститъ за нихъ... Царь выздоровѣлъ, оглянулся назадъ: назади было его сирое дѣтство, казнь Овчинны-Талачникова, тяжкая неволя и ненавистная боярщина, нарушавшая надъ его смертнымъ закономъ, оскорблявшая и законъ, и справедливость, и совѣсть; взглянулъ впередъ: впередъ опять тяжкая неволя и ненавистная боярщина... Мысль объ имѣннѣ и крамолѣ сдѣлалась его жеманію, и съ тѣхъ поръ онъ вездѣ и во всемъ могъ видѣть одну имѣнну и крамолу, какъ человѣкъ, помышлавшійся отъ привидѣнія, вездѣ и во всемъ видитъ испугавшій его призракъ... Къ этому присоединилась еще смерть страстно любимой имъ Анастасіи... И теперь какъ, понятно его постепенное измѣненіе, его переходъ къ злодѣйству... Ему надлежало бы свергнуть съ себя тягостную опеку, слушать совѣты, а дѣлать по своему, не питать вѣры, но быть осторожнымъ съ боярщиною и править государствомъ къ его славлѣ и счастію; но онъ жаждетъ мести, мести за себя, а человѣкъ имѣетъ право мстить только за дѣло истины, за дѣло Божіе; а не за себя... Мщеніе, можетъ-быть, сладкій, но ядовитый напитокъ; это скорпионъ, самъ себя уязвляющій... Кровь тоже напитокъ опасный и ужасный: она что морская вода, чѣмъ больше пьешь, тѣмъ жажда сильнѣе; она тушитъ месть, какъ тушитъ масло огонь... Для Іоанна мало было виновныхъ, мало было бояръ—онъ сталъ казнить цѣлые города: онъ былъ боленъ, онъ опьянѣлъ отъ ужаснаго напитка крови... Все это вѣрно и прекрасно изображено у г. Полеваго, и въ его изображеніи намъ понятно это безуміе, эта звѣрская кровожад-

ность, эти неслыханные злодѣйства, эта гордыня и, вмѣстѣ съ ними, эти жгучія слезы, это мучительное раскаяніе и это униженіе, въ которыхъ, появляясь вся жизнь Грознаго; намъ понятнѣе также и то, что только ангелы могутъ изъ духовъ свѣта превращаться въ духъ тьмы... Іоаннъ поучителенъ въ своемъ безуміи; это не тиранъ классической трагедіи, это не тиранъ Римской имперіи; гдѣ тираны были выраженіемъ своего народа и духа времени; это былъ падшій ангелъ, который и въ паденіи своемъ обнаруживаетъ по временамъ и силу характера желѣзнаго; и силу ума высokaго. По мнѣнію г. Полеваго, онъ былъ выше отца своего и ниже дѣда, въ которомъ онъ видитъ какаго-то Петра Великаго. И такъ, очевидно, что извнѣшнее пристрастіе въ пользу Іоанна III заставило историка быть пристрастнымъ въ невыгоду Іоанна IV. Славный дѣдъ Грознаго найдется ни въ какомъ сравненіи съ Петромъ: онъ былъ государь уминый, хитрый, осторожный, благоразумный, твердый, но только во дворцѣ, а не на полѣ брани; онъ обезпечилъ, благодаря своему осторожному уму и судьбѣ, самостоятельность Руси, въ которой, впрочемъ, долго еще самъ сомнѣвался; онъ возвысилъ въ глазахъ народа царскій санъ, устроилъ восточный этикетъ: и вотъ его заслуга! Но Петра мы знаемъ великимъ и во дворцѣ, и на полѣ брани, всегда простымъ и дѣйствительнымъ; мы не столько удивляемся ему послѣ полтавской битвы, сколько послѣ нарвскаго сраженія; мы не столько удивляемся ему въ его борьбѣ съ вышними врагами, сколько въ борьбѣ съ шевѣжествомъ и фанатизмомъ народа.

Не пята ни времени, ни мѣста, а притомъ и ождая послѣдней части «Русской Исторіи» г. Полеваго, мы не можемъ входить въ ея подробное разсмотрѣніе и должны ограничиться общими замѣчаніями. Изъ историческихъ характеровъ, съ особеннымъ искусствомъ изображены: Василій Шуйскій; Скопинъ-Шуйскій; Ляпуновъ; Мининъ; Авраміи Палицынъ; потомъ слабый Михаилъ, искусный Филаретъ, Аленскій и, на-

конецъ, патріархъ Никонъ — это доселѣ совершенно новое лицо нашей исторіи, въ томъ смыслѣ, что мы еще не видѣли его ни въ какой прагматической исторіи: всѣ эпохи и почти всѣ важныя событія показаны болѣе или менѣе, а инныя и совершенно въ новомъ свѣтѣ; такъ, напримѣръ, въ особенности царствованіе Алексея Михайловича. Въ эпоху междоусобій, въ яркомъ свѣтѣ являютъ у историка мясникъ Мининъ и инокъ Палицынъ, эти два величайшіе герои нашей средней исторіи, которыми однимъ Русь обязана своимъ спасеніемъ, потому что Пожарскій былъ только годнымъ орудіемъ въ ихъ рукахъ. Ничто такъ не поразительно, какъ дивная и горестная судьба этихъ трехъ великихъ мужей: Минина, Палицына и Никона, чьихъ колоссальные образы изображены историкомъ съ особенною любовью и особеннымъ успѣхомъ! Одни изъ нихъ, мясникъ, которому каждый бояринъ, каждый дворянинъ могъ безнаказанно нагловать въ лицо и растереть ногою, умѣлъ не только возбудить патріотическій восторгъ согражданъ, но и поддержать его, оогласить партіи, пригласить вождей, понять Палицына, дѣйствовать съ нимъ заодно, упрямлять вѣсѣ съ нимъ Пожарскимъ и достигнуть своей цѣли, и что жъ стало съ нимъ потомъ? ему дали дворянство и боярство, но не пустили въ думу, гдѣ этотъ мясникъ могъ оскорбить своимъ присутствіемъ достоинство знаменитыхъ бояръ, которые всѣ были такъ доблестны, что и самъ Мстиславскій казался между ними геніемъ первой величины... Другой, святой и великій инокъ, раздѣлявшій съ нижегородскимъ мясникомъ вѣнецъ спасенія отечества, примирившій въ дѣтскую минуту страсти вождей, утишившій ропотъ буйной сволочи продажною священническихъ сосуловъ, золотой утвари Лавры, является изгнанникомъ въ дальній монастырь, по волѣ полудержавнаго инока, и скрывается отъ глазъ изумленнаго его доблестію потомства въ неизвѣстной могилѣ... Третій, другъ и наперсникъ царя, мужъ совѣта и разума, вѣстановитель вѣры, гонимый невѣжествомъ и предразсудковъ, гибнетъ жертвою происковъ

опять той же боярщины!.. Какіе люди! какая судьба!... Честь и слава таланту, умѣвшему представить въ истинномъ свѣтѣ такихъ людей и такую судьбу!...

Намъ кажется, что г. Полевой ошибся въ объемъ своего сочиненія: первая часть его слишкомъ велика; слишкомъ несоотвѣстна съ строгостію дѣла; вторая и третья отличаются совершенною соотвѣстностію другъ другу и удивительною перспективностію событій; но какова же должна быть, въ этомъ отношеніи, послѣдняя, т. е. четвертая часть, которая должна вмѣстить въ себя событія отъ царствования Феодора Алексѣевича до нашихъ дней?.. Если она числомъ листовъ будетъ равна третьей^{*)}, то будетъ казаться, въ сравненіи съ предыдущими, какими-то Перечнемъ событій, приложеннымъ въ видѣ дополненія. Мы увѣремъ, что почтенный авторъ самъ сознаетъ свою ошибку, и при второмъ изданіи, которое, безъ сомнѣнія, скоро будетъ потребовано публикою, исправитъ его и, вмѣсто четырехъ томовъ, подаритъ насъ, по крайней мѣрѣ, шестью. Тогда мы будемъ имѣть исторію настоящую и удовлетворительную. Лучшая явится тогда, когда наши историческіе матеріалы будутъ совершенно объяснены и разработаны критикою; а это будетъ не скоро!...

ДѢТСКАЯ КНИЖКА НА 1835 ГОДЪ, которую составилъ для умныхъ, милыхъ и прілежныхъ маленькихъ читателей и читательницъ *Владиміръ Бурнашевъ*. Спб. 1835.

Мы взяли эту книжку съ полною увѣренностію, что найдеть въ ней полный вздохъ и пріятно обманулись въ этомъ ожиданіи. Г. Бурнашевъ обманетъ сабою хорошаго писателя для дѣтей — дай-то Богъ! Его книжка истинный кладъ

^{*)} Которая состоитъ изъ двадцати одного листа.

для дѣтей. Первая новѣсть «Русая Коса» безподобна. Именно такія новѣсти должно писать для дѣтей. Питайте и развивайте въ нихъ чувство; возбуждайте чистую, а не корыстную любовь къ добру; заставляйте ихъ любить добро для самого добра, а не изъ награды, не изъ выгоды быть добрыми; возвышайте ихъ души примѣрами самоотверженія и высокости въ дѣлахъ, и не скучайте имъ пошлою моралью. Не говорите имъ: «это хорошо, а это дурно, потому и поэтому», а покажите имъ хорошее, не называя его даже хорошимъ, но такъ чтобы дѣти сами, своимъ чувствомъ, поняли, что это хорошо; представляйте имъ дурное, тоже не называя его дурнымъ, но такъ, чтобы они по чувству ненавидѣли это дурное. Помните, что основаніе Евангелія есть любовь, а любовь проявляется самоотверженіемъ своего эгоизма, готовностію жертвовать собою и своимъ счастіемъ для добра и правды. Развивайте также въ нихъ и эстетическое чувство, которое есть источникъ всего прекраснаго, великаго, потому что человѣкъ, лишенный эстетическаго чувства, стоитъ на степеняхъ животнаго. Но какъ должно развивать въ дѣтяхъ эстетическое чувство? вотъ вопросъ, на который должны обращать особенное вниманіе писатели для дѣтей. Мы думаемъ, что для этого одно средство: давать дѣтямъ произведенія, сколько возможно доступныя для нихъ, но изящныя, но согрѣтыя теплотою чувства и означенныя болѣею или меньшею степенью истиннаго таланта. Изъ этого видно, какъ рѣдки должны быть люди, обладающіе талантомъ, необходимымъ для дѣтскаго писателя, и какъ глупы люди, презирающіе этимъ родомъ литературной славы!

ПРЕДКИ КАЛИМЕРОСА. АЛЕКСАНДРЪ ФИЛИППОВИЧЪ МАКЕДОНСКІЙ. Москва. 1836. *Дѣтъ части.*

Кому не извѣстенъ талантъ г. Вельмана? Кто не странствовалъ съ его «Странникомъ» по всемъ странамъ міра,

древняго и новаго, словоиъ, вездѣ, куда только влекла его прихотливая и причудливая фантазія автора? Кто не жилъ съ нимъ въ баснословныя времена напей Руси, столь полной сказочными чудесами, столь богатой сильными, могучими богатырями, красивыми дѣвицами, съдыми кудесниками, всею нечистою силою; начиная отъ дѣдушки Ющеня Безсмертнаго до лохматого Домовята и обольстительной Русалии стараго Днѣпра? Кто не помнитъ Ивы Олельковича, съ его «нѣтутъ» и кривыми ногами; кто не помнитъ Милицы и Младеня? А! Святославъ, Бражій питомецъ, его пѣстунъ — и кто перечесть все эти фантастическіе полуобразы, эти пестрые картины русскаго сказочнаго міра?... Да все это носить на себѣ печать истиннаго, неводьмаго таланта, котораго, правда, никогда не становится на что-нибудь цѣлое, полное и стройное, но который такъ не менѣе превосходенъ въ своемъ неоконченномъ, отрывчатомъ, прыгучемъ, такъ сказать, характерѣ. Сверхъ того, талантъ г. Вальтмана самобытенъ и оригиналенъ въ высочайшей степени; онъ никому не подражаетъ, и ему никто не можетъ подражать. Онъ создалъ себѣ какой-то особенный, ни для кого недоступный міръ; его взгляды и его слогъ тоже принадлежать одному ему. Болѣе всего намъ нравится его взглядъ на древнюю Русь; этотъ взглядъ чисто-сказочный и самый вѣрный. Кто бы сталъ поэтизировать древнюю Русь въ формѣ Вальтеръ-Скоттовскаго романа; а на въ формѣ полу-фантастической, полу-путанвой сказки — ну того, конечно бы не романъ, а какая-то пародія на романы, что-то блѣдное, безжизненное, маслостеяное и нагнутое. Валтеръ-Скоттъ ходитъ не далеко. Въ свое время мы поговоримъ объ этомъ подробнѣе. Да, мы твердо убѣждены, что древняя Русь (т. е. до времени услаенія Москвы) годится только на сказки, оперы, фантазіи и фантазмагоріи. Г. Вальтманъ хорошо это понялъ, и потому его романы читаются съ удовольствіемъ. Они народны въ томъ смыслѣ, что дружны съ духомъ народныхъ сказокъ, покрыты коло-

ритомъ славянской древности, которая дышитъ въ дошедшихъ до насъ памятникахъ. Онъ позналъ древнюю Русь: своимъ поэтическимъ духомъ, и, не давая намъ видѣть ее такъ, какъ она была, даетъ намъ чутъ ее въ какомъ-то призракъ; неуловимомъ, но характеристическомъ, чуждомъ, но понятномъ. Одно это можетъ служить неопровержимымъ доказательствомъ неподдѣльности таланта (г. Вельтманъ). Въ романѣ, или въ повѣсти, гдѣ предполагается жизнь: действительная, талантъ иногда можно замѣнить знаніемъ жизни и людей, вѣрнымъ спискомъ съ существующихъ характеровъ, хорошимъ слогомъ, умными замѣтками о жизни, воспоминаніями собственной жизни. Конечно, и такой романъ все-таки не будетъ художественнымъ созданіемъ, но онъ можетъ занять на нѣкоторое время общее вниманіе, можетъ прожить хотя короткое время. Но въ созданіяхъ фантастическихъ, сказочныхъ—безъ таланта плохо. Какъ ни напугиваетесь, а все будете или смѣшны, или глупы. Чѣмъ вымыселъ нехитрѣе, тѣмъ онъ неудачнѣе, если обдуманъ; а не созданъ. Гримаса должна быть жъ лицу, если она жила; и фантазія есть свои гримасы.

Г. Вельтманъ началъ свое поприще плохими поэмами въ стихахъ; но невѣстность приобрѣлъ своимъ «Странникомъ», этою жгучею болтовнею въ стихахъ и прозѣ о томъ, и о семъ, а чаще ни о чемъ. «Въ странникѣ» выразился весь характеръ его таланта, причудливый, изощренный, который то выкрустится, то развѣтвится, у котораго прустъ похожа на омѣхъ, омѣхъ на прустъ, который отличенъ удивительною способностію соединять между собою самыя несоединимыя идеи, сближать самыя разнородныя образы, отъ кофей переходить въ индійской пагодѣ, отъ жидка фантора къ Наполеону, отъ перочиннаго ножичка къ Байрону, изъ настоящего перелетать въ прошедшее, и изъ всего этого дѣлать какую-то мозаическую картинку, въ которой все соединяется очень естественно, ничто другъ отъ друга не ссорится, сло-

вомъ, все принимаетъ на себя какой-то общій характеръ. «Странникъ» — это калейдоскопическая игра ума, шалость таланта; это не художественное произведение, а дѣло и шутка по-поламъ; вы и посмѣетесь, и вздохнете, а иногда и освѣжитесь болѣе или менѣе сильнымъ впечатлѣніемъ творчества. Какъ бы то ни было, что крайней мѣрѣ, вы не утомитесь, не соскучитесь отъ этой книги, прочтете ее отъ начала до конца, безъ всякаго усилія; а это, согласитесь, большое достоинство. Много ли книгъ, которыя можно читать безъ скуки, добровольно?

«Кошечка Бездомный» есть лучшее произведение Г. Вельтмана. Такъ какъ онъ слѣдовалъ непосредственно за «Странникомъ», то и подавалъ блестящія надежды на талантъ Г. Вельтмана. Въ самомъ дѣлѣ, ничего дѣлать разочарованнѣе, какъ ожидать послѣ хорошаго произведенія, того или другаго автора еще лучшее, послѣ второго еще лучшее. Постепенная зрѣлость въ послѣдующихъ произведеніяхъ есть самый вѣрный пробный камень таланта. Талантъ долженъ идти въ гору, если онъ хочетъ творить не для современниковъ, а для потомства; въ противномъ случаѣ, онъ есть явленіе, которое можетъ быть прекрасное, но мимолетное, мгновенное, падающая звезда, воздушный метеоръ. Не слѣдовало бы за «Кошечку» романы Г. Вельтмана были означены галатомъ и достоинствомъ, но дѣло, они были ничто лучше, его произведенія — «Кошечка Бездомная». Въ его «Маринѣ Вадковѣ» замѣтенъ какой-то намекъ на мысль глубокую и прекрасную, но эта мысль выражена такъ загадочно, все сознаніе, по обыкновенію, изложено такъ отрывочно, что, право, все это начинало походить на злоупотребленіе таланта; на какой-то фокусъ-покусъ фантазіи. Г. Вельтманъ играетъ на свой талантъ, и публика не безъ основанія боится, чтобы онъ не проигрался...

«Александръ Фидионовичъ Македонскій» есть продолженіе «Странника» Авторъ начинаетъ такъ:

Хоть вы златницами меня обсыпьте и обвѣсьте,
Какъ идола молитесь мнѣ,
Но съ тѣмъ, чтобъ я сидѣлъ на мѣстѣ
И видѣлъ Божій міръ лишь въ книгахъ да во снѣ...
Нѣ соглашусь!
Но если челоуѣкъ самой судьбой скованъ,
И счастье не везетъ... душа его на днѣ;
И онъ, какъ говорятъ по-польски, замурованъ,
Но видѣть Божій міръ и въ книгахъ и во снѣ...
Что жъ дѣлать!

Въ самомъ дѣлѣ, это не совсѣмъ тріатно; но г. Вельтманъ вѣтмъ настолько не затруднился; онъ сѣлъ на гиппогрифа и похалъ въ древность; впрямую отъ него носились мною, какъ инфузоріи въ каплѣ воды; вѣбю, по горамъ, тянулся Гурістанъ Азовъ, Финикіянъ, Смировъ, Цельтовъ, Киммеріянъ, Хазаръ, Печенѣговъ...

Счастливый путь г. Вельтману. Мы не въ силахъ слѣдовать за нимъ въ его продолжительномъ путешествіи въ такую даль; мы не можемъ и пересказать всѣхъ диковинокъ, какихъ онъ тамъ изсмотрѣлъ. Пусть читатели сами все узнаютъ изъ его книги.

Однакомъ намъ хотѣлось бы дать какое-нибудь понятіе о его новомъ произведеніи: оно стоитъ, чтобы о немъ поговорить побольше; но мы все-таки боимся, что не суждемъ хорошенько сдѣлать этого. Однакожъ хотъ какъ-нибудь...

Гиппогрифъ мой извѣдалъ пылъ преданій; не останавливаясь, проихалъ я Хіаръ-Задю, Балістана; изглянулъ на Сметъ Александра Великаго... Необыкновенное сходство съ Наполеономъ!

Въ Тирѣ г. Вельтманъ увидѣлъ Пифію; она взглянула на него молча; одоетиса — и скрылась за занавѣсомъ.

Читали ль вы отвѣтъ пророчицы въ глазахъ!
Всѣ нервы въ васъ, какъ струны загрохочутъ,
Когда свѣтильники любви не въ небесахъ,
А на землѣ, блаженство вамъ пророчитъ!
О звездный свѣтъ отъ голубыхъ очей!

О кудри, свитыя изъ утреннихъ лучей!

И бурю любви колеблющее донде!

И эти лебеди Меандра — рамена!

Тс! Пиеи нисходить уже съ трона,

Въ объятья... да!... въ объятья сна!

Не правда ли, что Пиеи прекрасна, что въ нее можно влюбиться? Г. Вельтманъ такъ и сдѣлалъ — и сдѣлалъ хорошо. Ему оставалось только похитить ее; но, какъ похитить Пиеию?

Да, это хоть кого такъ поставило бы въ тупикъ, но г. Вельтманъ не долго думалъ; онъ сказалъ самому себѣ:

Но я влюбленъ, влюбленъ я страстно;

А страсть есть то же, что и власть:

Ей все возможно, все подвластно,

Страсть можетъ Пиеию украсть.

Я такъ и сдѣлалъ. Ошибаются историки, которые похищеніе юной Пиеи приписываютъ Фессалийцу Поникрату.

Невозможно пересказать всѣхъ приключеній г. Вельтмана. Онъ познакомился съ Филиппомъ Аминтовичемъ, отцомъ Александра Филипповича Македонскаго; съ его супругою Олимпіею или Василисою (не помню ея отчества, а справиться не имѣю времени), съ Аристотелемъ Никомаховичемъ, воспитателемъ Александра Македонскаго. Дочь Олимпіи, Фессалину, взялъ на воспитаніе самъ г. Вельтманъ. Онъ видѣлъ, какъ росъ Александръ, сопровождалъ его въ походахъ, былъ съ нимъ въ Вавилонѣ, и уже въ этомъ городѣ, получивъ изъ дому нѣжную записку въ стихахъ, разстался съ всемірнымъ завоевателемъ и возвратился къ намъ въ Москву.

Похитивъ Пиеию, г. Вельтманъ пустился въ путь; но принужденъ былъ оставить ее у Нелавговъ, которые жили на перепутіи двухъ дорогъ, изъ которыхъ одна вела въ Латыши, а другая въ Словены. Перебравшись чрезъ Карпатскій хребтъ, онъ очутился въ садахъ Одубешти и палъ тамъ пре-

восходное вино, которое подкрѣпило его силы послѣ путешествія въ областяхъ Эреба; но желая возвратиться на родину, онъ отправился на станцію, чтобъ взять почтовыхъ лошадей. «Ди-Граве Кай», вскричалъ онъ по-молдовански. «Пожалуйте подорожную», отвѣчалъ ему «капитанъ-де-почтъ» по-русски. Носъ, глаза, усы, одежда и трубка въ зубахъ доказывали, что этотъ «капитанъ-де-почтъ» былъ или Молдаванъ, или Грекъ, или, по крайней мѣрѣ, Римлянинъ. Г. Вельтманъ разсердился на него за требованіе подорожной, махнулъ рукою — и скуфья полетѣла съ головы «капитана-де-почтъ».

— Вотъ тебѣ и подорожная!..

— Какъ вы смѣете драться? вскричалъ онъ, потерявъ равновѣсіе и папуши. Я благородный, я Калимеросъ!

— Будь ты хоть Кали-еспера-сась, мнѣ все равно.

— Нѣтъ, я не Кали-еспера-сась, а Калимеросъ! Вотъ извольте посмотреть сами.

И капитанъ-де-почтъ досталъ изъ кованнаго сундука почтовый листъ бумаги, на которомъ было написано. „Cet enfant est né d'une des plus illustres tiges; qu'il soit nommé Alexandre Kalimeros“.

— Что это значитъ? думалъ я, рассматривая черты капитана-де-почтъ, какъ онъ похожъ на бюстъ Александра Великаго, который я видѣлъ въ сирійскомъ храмѣ, а бюстъ Александра Великаго похожъ... о, это должно изслѣдовать! Не нужно лошадей! вскричалъ я. — Я отправлюсь въ глубокую древность изслѣдовать, действительно ли ты Калимеросъ!

— Заплатите прежде за безчестье! вскричалъ капитанъ-де-почтъ, догоняя меня... Но я уже былъ за тридцать земель въ тридцатомъ царствѣ.

— И это потомокъ великаго челоука! думалъ я, пробираясь въ Македонію; о, справедливая ирмецкая пословица, что счастье „глаголю“, а несчастье „унылаю“!

И такъ — Грекъ, капитанъ-де-почтъ, носилъ фамилію Калимеросъ и былъ похожъ лицомъ на бюстъ Александра Великаго, видѣнный г. Вельтманомъ въ сирійскомъ храмѣ — его и Александръ Великій долженъ былъ прозываться Калимеросомъ. Потому: известно, что Наполеонъ происходитъ отъ одной греческой фамиліи, переселившейся въ Италію по па-

даніи Византійскаго имперіи, что тогда Филиппъ иериде титъ Каллимеросъ, и что греческое «Каллимеросъ» было переведено на итальянскій слово въ слово чрезъ «Buona parte», что значитъ добрая участь; ergo Наполеонъ есть потомокъ Александра Македонскаго. Иная нудная генеалогія! Но крайней мѣрѣ, чуждая въ томъ отношеніи, что доставляетъ намъ неожиданное удовольствіе познакомиться съ Наполеономъ еще прежде знакомства съ его пращуромъ Александромъ Филипповичемъ...

... Сначала романъ г. Вельтмана удивилъ насъ немного; мы думали: какъ можно тратить свое время на такіа, конечно, очень мизаня, но вѣдь съ тѣмъ и безпродныя вещицы? Это тѣмъ страннѣе, что талантъ г. Вельтмана родился бы на что-нибудь подѣльнѣе и поощественнѣе. Что это такое? сказка не сказка, романъ не романъ, а если романъ, то совсѣмъ не историческій, а развѣ этимологическій, потому что все дѣйствующія лица приѣзжаны на этимологическомъ производствѣ словъ; неужли г. Вельтманъ заботѣлъ быть изобрѣтателемъ особеннаго рода романовъ—этимологическихъ!...

Но послѣдніи помысли все это не романъ, а тонкая, злая сатира на историческихъ мифовъ и отчаянныхъ этимологистовъ. Вотъ доказательство г. Вельтманъ доказываетъ, разужбета, шутя, что Омиръ происходитъ отъ слова «по міру», потому что творецъ Илиады былъ сѣтвой старикъ и ходилъ по міру!... У Грековъ г. Вельтманъ нашелъ и вареницы, и кадки, и боченки, и все, что вы можете найти въ московскомъ Охотномъ ряду!.. Очевидно, что это шутня!

Но эта шутня написана мило, остро, увлекательно, очаровательно; читая ее, и не видишь, какъ перевертываются листы, и только съ досадою замѣчаешь, что близокъ конецъ. И такъ, читатель, который хочетъ только позабавиться и ищетъ для этого свободное время, можетъ съѣло взяться за новый романъ г. Вельтмана.

МИХАИЛЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ ЛОМОНОСОВЪ. *Сочиненіе Ксенофонта Полевцова. Москва. 1836. Дѣя части.*

Геній есть самое торжественное проявленіе силы человеческого духа. Ниспосылаемый на землю, какъ испытатель препятствій, затрудняющихъ ходъ человечества и народовъ, онъ есть какъ бы фокусъ сознанія современнаго ему человечества, или своего народа. Неистощимый въ силахъ и средствахъ, непобѣдимый въ борьбѣ, загадка для самого себя, то идолъ, то жертва людей, мученикъ своего призванія, — такое высокое и мучительное зрѣлище представляетъ онъ своею жизнью! И люди жадно смотрятъ на это зрѣлище, когда поймутъ и сознаютъ его величіе, громко и съ восторгомъ рукопрещаютъ умершему актёру, котораго оживотворяли при его жизни, поклоняются, какъ идолу, закланной ими жертвѣ. И это очень естественно, очень понятно: съ одной стороны, только въ борьбѣ и битвахъ съ жизнью творится великое и, въ такомъ случаѣ, люди безсознательно служатъ пружиною дѣятельности генія; съ другой стороны, только издали трѣплютъ и освѣщаютъ лучи солнца, а вблизи они, можетъ-быть, жгли бы и ослѣпляли; не весною и не лѣтомъ, а осенью, не въ пышномъ и благоухающемъ цвѣтѣ, а въ печальной и увядающей зелени, приносятъ дерево свой плодъ. И какъ обвинять людей, что они рѣдко оцѣниваютъ генія при его жизни? Имъ мѣшаютъ хладнокровно и безпристрастно всматриваться въ его жизнь и отношенія личныя, и страсти и страстишки, и самолюбіе эпохи, а сверхъ того, они вообще великановъ почтиваютъ чурками и ищутъ предметовъ обожанія себѣ по плечу. Но какъ бы то ни было, а истина наконецъ возстановляется, хотя и поздно, справедливость воздается, хотя и за гробомъ: закатившійся геній сіяетъ людямъ роковымъ и тихимъ свѣтомъ, не ослѣпляя ихъ глазъ и не скрывая отъ нихъ пятнъ, и люди съ благоговѣніемъ поклоняются тѣни великаго, изучаютъ его жизнь и дѣла, чтобы добраться по нимъ, что та-

кое были они сами въ то время, когда онъ представлялъ ихъ собою, т. е. мыслятъ, чувствовали, страдали и дѣлали за нихъ. Рѣдко являются на землю эти посланники неба; не каждый вѣтъ и не каждый народъ гордится ими. Несмотря на свое родственное сходство, несмотря на тожество идеи, выражаемой ихъ явленіемъ, они стоятъ не всегда на одной ступени величія, отдавая не всегда равную силу. Но это часто зависитъ отъ обстоятельствъ, среди которыхъ они явятся въ міръ. Александры, Цезари, Карлы, Лютеры, Наполеоны дѣйствуютъ прямо на все человечество, даютъ направление дѣламъ всего міра; Генрихи, Колъберты, Петры дѣйствуютъ на человечество и его будущую судьбу не прямо, а чрезъ свой народъ, подготавливая въ немъ новаго дѣйствителя на сценѣ міра.

Нашъ Ломоносовъ принадлежитъ къ числу этихъ скромныхъ, но тѣмъ не менѣе великихъ гениевъ послѣдняго рода. Европа едва знала о его существованіи, отечество знало, и то въ лицѣ немногихъ, только имя Ломоносова, но не понимало идеи, значенія этого имени. И теперь, когда уже наступило время безпристрастнаго сужденія объ этомъ человѣкѣ, многіе не понимаютъ всю огромность его генія, многіе даже уважаютъ его по сознанію, по убѣжденію, а не по привычкѣ, не по урокамъ школы, вѣдавшимся въ памяти, не по неслѣпымъ возгласамъ педантовъ, прожужжавшимъ уши всему читающему міру?... Да и за чтѣ, въ самомъ дѣлѣ, уважать Ломоносова? Что онъ сдѣлалъ?—Ровно ничего, если угодно!—Гдѣ дѣла его?—Нигдѣ, если хотите!—Но, спросимъ мы, въ свою очередь, чтѣ сдѣлалъ Петръ великій, гдѣ дѣла его?—И на повѣрку выйдетъ опять-таки ничто и нигдѣ!... Въ самомъ дѣлѣ, развѣ нынѣшній Петербургъ — его Петербургъ, нынѣшняя Россія — его Россія?... Такъ, не его, не та, совсѣмъ другая; но безъ него она не была бы такою, какою мы ее видимъ...

Между Ломоносовымъ и Петромъ большое сходство: тотъ

и другой положила начало великому дѣлу, которое потомъ пошло другимъ путемъ, другимъ образомъ, но которое не пошло бы безъ нихъ. Дать ходъ идеѣ, пробудить жизнь въ автоматъ — великое дѣло, на которое мало здраваго смысла, мало ума, мало таланта, на которое нуженъ гений, а гений есть олицетвореніе, проявленіе идеи цѣлаго человечества, цѣлаго народа въ лицѣ одного человѣка. Гений не есть, какъ сказалъ Бюффонъ, терпѣніе въ высочайшей степени, потому что терпѣніе есть добродѣтель посредственности, бездарности; но онъ есть сильная воля, которая все побѣждаетъ, все преодолеваетъ, которая не можетъ погнѣться, не можетъ отступить, хотя и можетъ переломиться, пасть, но въ такомъ случаѣ, она уже не переживаетъ себя. Да — сила воли есть одинъ изъ главнѣйшихъ признаковъ гения, есть его мѣра.

И какъ изумительно, какъ чудесно проявилась эта дивная сила въ Ломоносовѣ! Чтобы понять это вполне, надо забыть наше время, наши отношенія, надо перенестись мыслію въ ту эпоху жизни Россіи, когда грамотныхъ людей можно было перечесть по пальцамъ, когда ученіе было чѣмъ-то тяжелымъ съ колдовствомъ; когда книга была рѣдкостью и неоцѣненнымъ сокровищемъ. И въ это-то время, на берегу Ледовитаго океана, на рубежѣ природы, въ царствѣ смерти, родился у рыбака сынъ, который съ чего-то забралъ себѣ въ голову, что ему надо, непременно надо учиться, что безъ ученья жизнь не въ жизнь. Ему этого никто не толковалъ, какъ толкуютъ это нынче, его даже били за охоту къ ученію, какъ нынче бьютъ за отвращеніе къ наукѣ. Чуденъ былъ этотъ мальчикъ, не походилъ онъ на добрыхъ людей, и добрые люди, глядя на него, пожимали плечами. Всѣ и старше его, и моложе, и ровесники, всѣ омотрѣли на вещи глазами «здраваго смысла» и, по привычкѣ видѣть ихъ каждый день, не видѣли въ нихъ ничего необыкновеннаго: солнце имъ казалось большимъ фонаремъ, свѣтившимъ имъ полгода, а чудное сіяніе въ погодовую ночь отблескомъ большаго зажженнаго

костра дровъ; необозримое море они почитали за большой рыбный садокъ, словомъ, эти благоравные люди все казалось обыкновеннымъ, кромѣ денегъ и хлѣба. Но мальчикъ смотрѣлъ на все это другими глазами: въ полугодовой ночи онъ видѣлъ что-то чудное, скрывавшее въ себѣ таинственный смыслъ, онъ вѣдалъ мѣнять его въ свою несходную даль, какъ-бы общая ему объяснить все непонятное, все, что сообщало его душѣ странные порывы, волновало его грудь неизвѣстною и сладкою тоскою, возбуждало въ его умѣ вопросы за вопросами... Да, мальчикъ былъ любимое дитя природы, родной сынъ между миллионами насѣнныхъ, а между любимымъ сыномъ и любящею матерью всегда существуетъ симпатическое чувство, которымъ они молча понимаютъ другъ друга... Но мальчику мало было понимать чувствомъ, онъ хотѣлъ понять разумомъ; ему мало было любоваться на прекрасную природу, онъ хотѣлъ заставить ее говорить съ собою; открыть себѣ ея завѣтные тайны, словомъ, ему хотѣлось чего-то такого, чего онъ не умѣлъ назвать и и чего боялся... И вотъ онъ, покорный внутреннему голосу, оставляетъ любимого отца и ненавистную мачиху, бѣжитъ въ Москву... Зачѣмъ? — учиться? Странный мальчикъ! чего онъ надѣялся, чего добивался? Тогда еще не давали за знанія чиновъ, тогда наука еще не была дойною коровою, и не золото, не почести, а бѣдность, горестъ и униженіе судили они безумному... Говорятъ, что есть свои наслажденія въ наукѣ, потому только, что она наука, свое блаженство въ истинѣ, потому только, что она истина; говорятъ, что внѣшняя жизнь не удовлетворяетъ даже тѣхъ людей, которые исключительно для нея созданы; потому что, среди избытка земныхъ благъ, эти люди желаютъ еще большихъ, которыхъ земля уже не въ состояніи имъ дать, и что будто бы эта ненасытимость есть доказательство невозможности удовлетворенія себя однимъ земнымъ; говорятъ, что, напротивъ, внутренняя жизнь вполне удовлетворяетъ человѣка, внимательнаго къ ея тай-

ественному, вону, что духовная пища насыщает, не обременяя, услаждает, не производя отвращенія; говорить еще, что будто бы есть свое счастье въ несчастіи, свое блаженство въ страданіи, свое сладострастіе въ лишеніяхъ и жертвахъ для истиннаго, благаго и прекраснаго... Да — это говорить и чувствовать, не только нынѣ, и говорить это, не одни мудрые вѣда, но и люди обыкновенные, говорятъ не какъ истины вѣроятныя, не какъ аксіомы непреложныя; но тогда, но въ то время, въ самой Европѣ, эти истины постигались только избранными, только солью земли, и постигались тайнымъ чувствомъ, а не сознательнымъ разумѣніемъ; въ Россіи же никто не подозревалъ ихъ, никто и не догадывался о нихъ, Кто жъ сказалъ о нихъ нашему бѣдному, необразованному юношѣ, нашему холмогорскому мужику, недовѣку никакаго происхожденія? — Никто, кромѣ этого внутреннего голоса, который слышится душѣ избранной, никто, кромѣ этой глубокой вѣры, которая двигаетъ горы съ мѣста на мѣсто!... Кто далъ ему средство идти съ такимъ упорствомъ къ своей цѣли? — Никто, кромѣ этой могучей воли, которая есть орудіе генія... Иди же въ свой путь, стремись на свое великое дѣло, юный геній! Борись съ людьми, страдай отъ нихъ, для ихъ же счастья, жми руку богачу, склоняй чело предъ вельможею, но не для нихъ и не для себя, а ради приращенія науки въ въ любезномъ отечествѣ, и не забывай, что это не долгъ, а жертва съ твоей стороны, что ты не долженъ, ради суеты земной или работѣннаго удивленія къ блестящей ничтожности, къ позлащеннымъ кумирамъ, унижать, предъ сынами земли, любимцами слѣснаго счастья, своего достоинства, своего великаго сана, своего высокаго рода, ты, избранныкъ Божій, гражданинъ неба, вельможа вселенной!...

И Ломоносовъ не измѣнилъ своему назначенію: вся жизнь его была прекраснымъ подвигомъ, непрерывною борьбою, непрерывною побѣдою. Голова ходитъ кругомъ отъ мысли, что было сдѣлано въ Россіи до Ломоносова, и что онъ дол-

ментъ былъ сдѣлать, и что сдѣлать. Петръ Великій, прежде нежели завелъ въ Россіи первую типографію, долженъ былъ самъ нарисовать формы новыхъ буквъ; прежде нежели увидѣлъ первый печатный листъ, долженъ былъ своими державными руками править корректуру; прежде нежели увидѣлъ обученное войско, долженъ былъ собою показать идеаль солдата, идеаль повиновенія; прежде нежели увидѣлъ устъхъ военныхъ укрѣпленій и флота, долженъ былъ самъ быть и купецомъ, и плотникомъ, и слесаремъ, и столяромъ, словомъ — всѣмъ. Такъ и Ломоносовъ: онъ все долженъ былъ самъ сдѣлать; всему положить начало; строить домъ, долженъ былъ дѣлать и подмости, обжигать кирпичи и растворять известь. До него существовала только русская азбука, но не было русскаго языка, и только послѣ него сталъ возможенъ въ Россіи раздѣлъ ученыхъ и литературныхъ трудовъ. И вотъ онъ пишетъ грамматику, которая уже не годится для нашего времени, но лучше которой еще не являлось у насъ; даетъ законы языку и утверждаетъ ихъ образцами. Какой же можно требовать художественности отъ его стихотвореній и его похвальныхъ словъ, когда они писаны были не столько по призыву вдохновенія, не столько изъ бессознательной потребности творить, сколько по призыву нужды, сколько по сознательному желанію дать образцы литературы и повѣрить на практикѣ теорію языка и стихосложенія. И какъ онъ успѣлъ въ последнемъ! Введенное имъ стихосложеніе осталось навсегда въ русскомъ стихотворствѣ, и стихи его по гармоніи, гладкости, правильности языка, гораздо выше его прозы, въ которой онъ старался поддѣлаться подъ складъ и конструкцію латинской прозы. Мы даже думаемъ, что Ломоносовъ былъ человѣкъ съ рѣшительнымъ талантомъ къ поэзіи: кромѣ ягтхъ, хотя и немногихъ проблесковъ истинной поэзіи, въ его одахъ есть строфы, какъ будто написанныя десять лѣтъ назадъ тому. Конечно, въ наше время, звучный и гладкій стихъ уже не есть несомнѣнный

признакъ таланта, но тогда, во времена Кавтемировъ, Тредьяковскихъ, Сумароковыхъ, тогда одно высшее достоинство Ломоносовскихъ стиховъ могло ручаться за неподдѣльное внутреннее достоинство. Въ самомъ дѣлѣ, когда у насъ стали даже и бездарные люди писать гладкими и звучными стихами?—Послѣ Пушкина; и я заключаю изъ этого, что даже высшая сторона искусства доступна только одному таланту, и уже не прежде, какъ послѣ его подвига, она дѣлается достоинствомъ рутиньеровъ. Риторика Ломоносова тоже была великою заслугою для своего времени; если она теперь забыта, то не потому, чтобы мы имѣли риторики выше ея по достоинству, а потому, что теперь риторика, въ томъ значеніи, какое даютъ ей, какъ науку, научающей краснѣ писать, сдѣлалась исключительнымъ достоинствомъ педантовъ, глупцовъ, и считается за такую же науку, какъ алхимія и астрологія. Ломоносовъ былъ не только поэтомъ, ораторомъ и литераторомъ, но и великимъ ученымъ. Обширная область естествознанія сильно мучила его пыливый умъ, и не вотще, по прекрасному выраженію г. Полеваго, «въ видѣ Ломоносова, Россія стучалась въ двери Вольфа, съ жаждою науки и знанія». Онъ всѣмъ занимался съ жаромъ, любовію и успѣхомъ. И сколько трудовъ долженъ былъ во всемъ преодолѣть! Онъ пристрастился, напримѣръ, къ мозаикѣ, и что жъ?—принужденъ былъ самъ отливать равноцвѣтные стекла! Кромѣ того, самъ дѣлалъ, какъ позволяли ему средства, физическіе инструменты. Тогда не то, что нынѣ, тогда Академія Наукъ была бѣдѣе всякой нынѣшней гимназіи. Да объ Академіи тогда и не очень заботились, она была, какъ и самое просвѣщеніе, родъ какого-то парада для торжественныхъ дней—форма, вывезенная изъ Европы, безъ идеи. Планъ основанія Академіи принадлежитъ Петру Великому, и еслибы провидѣніе допустило его осуществить этотъ планъ, тогда Академія видѣла бы заботы и попеченія о себѣ и, по крайней мѣрѣ, не нуждалась бы въ пособіяхъ; но послѣ Петра, до Екате-

рины II, смотрѣли на Академію какъ на мѣсто, въ которомъ
говорятся торжественныя рѣши въ торжественныя дни — не-
большие. Даже просвѣщеннаго покровительство благороднаго
Шувалова немного давало Ломоносову средствъ къ возвыше-
нію этого единственнаго ученаго общества въ Россіи. Шу-
валовъ также не всегда могъ защищать Ломоносова отъ по-
ддѣловъ-рутиньеровъ, Тредьяковскихъ, и проч. Академическая
канцелярія была сильнѣе цѣлой Академіи, подвѣзчіе были силь-
нѣе академиковъ.

Не прекрасна ли такая жизнь? Не интересенъ ли такой
человѣкъ? Или лучше сказать, не должны ли такіе люди со-
ставлять предметъ живѣйшаго, любознательнаго, глубокаго бла-
гоговѣнія для всѣхъ народовъ вообще и для своего въ осо-
бенности? Не есть ли Ломоносовъ одна изъ самыхъ яркихъ
народныхъ славъ? Ученый, поэтъ и литераторъ, не по слу-
чаю, а по призванію, онъ преодолѣлъ тысячи препятствій, и
во всю жизнь остался человѣкомъ, ученымъ труженникомъ, а
не сдѣлался, когда улыбнулось ему мірское счастье, вельмо-
жею, знатнымъ бариномъ. Какъ рѣзла равнина между ге-
ніемъ и простымъ дарованіемъ! Карамзинъ былъ съ боль-
шимъ дарованіемъ, много сдѣлалъ для русской литературы,
но какъ Ломоносовъ-то былъ выше его! Одинъ безъ средствъ,
безъ способовъ, находитъ все самъ, борется на каждомъ
шагу; другой, воспитанникъ Новикова, подготовленный къ
нѣмецкому образованію, сбивается съ своего пути и, зна-
комый съ нѣмецкою и англійскою литературами, увлекается
пустымъ блескомъ «свѣтской» французской учености, и остается
ей вѣренъ при общемъ переворотѣ ученыхъ и литератур-
ныхъ идей, при рѣшительномъ отсутствіи Франціи са-
мой отъ себя и рѣшительномъ перевѣсѣ германской мысли-
тельности. Потомъ, одинъ съ пустыми вспоможеніями, съ
малымъ достаткомъ проводитъ всю жизнь въ укроной тиши
кабинета и выходитъ изъ него только къ Шувалову, и то
въ надеждѣ «какого-нибудь обрадованія по своимъ справеж-

ливимъ для пользы отечества прошеніямъ», трудится надъ полемъ глухимъ, заросшимъ, въ которому отъ вѣка не прикасалась нога человѣческая; и творить изъ ничего; другой, со всеми средствами, принимается за поле: еще не обработанное, не застоянное, но уже подвергшееся хотя первоначальной разработкѣ, продолжаетъ свое прекрасное дѣло съ успѣхомъ, который замѣчаютъ, ободряютъ, и онъ, выскан- ный признательностію и милостями, ограничиваетъ свое дѣло уже какъ бы ex-officio, дѣлается свѣтскимъ человѣкомъ, вельможею...

Доселѣ у насъ не было біографіи Ломоносова, всё извѣстія о его жизни являлись въ разбросанныхъ отрывкахъ тамъ и сямъ. Г. К. Полевой рѣшился пополнить этотъ важный недостатокъ въ нашей литературѣ и выполнилъ свое намереніе съ блестящимъ успѣхомъ. Его книга не романъ и не біографія въ точномъ смыслѣ этого слова. Настоящей біографіи Ломоносова не можетъ и быть, потому что этотъ обыкновенный человѣкъ не оставилъ по себѣ никакихъ записокъ, современники его тоже не позаботились объ этомъ. Да и какъ требовать отъ нихъ этого: они смотрѣли на Ломоносова не какъ на гениальнаго человѣка, а какъ на безпокойную и опасную для общественнаго благосостоянія голову; посредственность ничѣмъ такъ жестоко не оскорбляется, какъ истиннымъ превосходствомъ, и во всякаго рода превосходствѣ видитъ буйство и закигательство... И такъ, можетъ быть только хронологическій перечень сочиненій Ломоносова, съ обозначеніемъ главныхъ событій его жизни, но полная картина жизни гениальнаго человѣка исчезла навсегда. Чтобы представить ее, нужно дополнить, разцвѣтить воображеніемъ извѣстные факты, оттумевать фантазіею сухой очеркъ. Такъ и сдѣлалъ г. Полевой. Онъ не позволилъ себѣ ни одного вымышленнаго факта; у него есть вымыселъ, но онъ состоитъ въ разцвѣтленіи живыми подробностями какого-нибудь извѣстнаго факта. Объяснимъ это примѣромъ: извѣстно, по одному

донедшему до насъ писъму Ломоносова къ Шувалову, что этотъ вельможа хотѣлъ помирить его съ Сумароковымъ; прочтите описаніе этого происшествія у г. Полевато, и вы поймете, въ чемъ состоитъ его изобрѣтеніе, которое намъ кажется совершенно позволительнымъ и законнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, какое умѣніе поэтизировать свой предметъ; какая вѣрность живописи! Ломоносовъ—весь въ этомъ отрывкѣ; таковъ, какъ выдѣнь въ своемъ писъмѣ къ Шувалову—этомъ образцѣ благородства и примодушія. А Сумароковъ! о, и онъ весь, со всемъ своимъ самохвальствомъ, пустою и ничтожностью! Но это не лучшее мѣсто въ книгѣ: юность Ломоносова, постепенное развитіе его тѣла и сознанія своего призванія; жизнь въ Германіи, любовь, женитьба, бѣгство въ Россію, первые успѣхи, борьба съ невѣжествомъ—словомъ, весь Ломоносовъ; вся жизнь его изображены такъ просто, благородно, увлекательно, съ такимъ одушевленіемъ. Вы читаете не композицію, не сборъ фантовъ, а видите живую и полную картину, чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе приковывающую къ себѣ ваши глаза. И не могло быть иначе: все созданіе проникнуто идеею, и вы вездѣ, какъ въ общности, такъ и въ малѣйшихъ подробностяхъ, видите эту идею, а эта идея—внутренняя жизнь человека и генія. Взглядъ на Ломоносова самый вѣрный, по крайней мѣрѣ, для насъ: все сужденія о каждомъ отдѣльномъ трудѣ Ломоносова обнаруживаютъ здравыя литературныя понятія; нѣтъ ни малѣйшихъ отступленій отъ истины. Мы разумѣемъ здѣсь истину высокую, истину идеи, которая сообщаетъ истину и изложенію, и подробностямъ. Языкъ вездѣ ясный и благородный, по мѣстамъ искусно и удачно поддѣлывающійся подъ старину. Все созданіе проникнуто истинною художественностію, достойною своего высокаго предмета. Мы уже сказали, что это и не романъ, и не біографія въ точномъ смыслѣ этихъ словъ; но это дѣло и ума, и фантазіи, это поэтическая біографія, принадлежащая и къ наукѣ, и къ искусству—родъ совершенно новый, оригинальный.

Да, мы чистосердечно и добросовестно можем сказать, что книга г. Есенофонта Молеваго есть приятное явление въ нашей литературѣ, прекрасный подарокъ публикѣ. Мы особенно рекомендуемъ ее молодому поколѣнію; изъ среды котораго готовятся будущіе дѣятели на нивѣ человѣческой мысли; оно найдетъ для себя высокіе уроки въ этой книгѣ, оно увидитъ въ жизни Ломоносова свой долгъ и свое назначеніе, оно узнаетъ изъ нея, что только въ честной и безкорыстной дѣятельности заключается условіе человѣческаго достоинства, что только въ силѣ воли заключается условіе нашихъ успѣховъ на избранномъ поприщѣ. Не всякому природа даетъ гѣній; не всякому назначено быть Ломоносовымъ; но и безъ гѣнія у человѣка можетъ быть стремленіе къ благу, и добрая, великая сильная воля, а съ стремленіемъ къ благу и добродѣлю волю всякій можетъ выполнить свое назначеніе на поприщѣ дѣятельности, отмежеванномъ природою и указаннымъ сознаніемъ своей способности! Зрѣлище жизни великаго человѣка есть всегда прекрасное зрѣлище: оно возвышаетъ душу, миритъ съ жизнью, возбуждаетъ дѣятельность!...

ЛѢТОПИСЬ ФАКУЛЬТЕТОВЪ НА 1835 ГОДЪ, изданная въ двухъ книгахъ А. Галичемъ и В. Пасскисамъ.
Спб. 1835. Дѣль части.

Намъ очень непріятно, что послѣ прекраснаго произведенія г. Молеваго, мы должны говорить, для полноты библіографіи, о «Лѣтописи Факультетовъ»; но что жъ дѣлать, когда у насъ рецензентъ, обязанный читать все, что только издается и печатается, за наслажденіе, доставленное ему одною хорошею книгою, долженъ заплатить казню отъ ста дурныхъ книгъ! У насъ вообще не любятъ рѣзкихъ приговоровъ и часто жалуются на бранчивый тонъ критики; но что жъ дѣлать, если у насъ о рѣдкой только книгѣ можно сказать доброе

слово! Хулить и нападать не такъ легко и не такъ хрипато, какъ думаютъ: это, напротивъ, занятіе самое неприятное, самое тяжкое, и человѣкъ, посвящающій себя на него, приноситъ себя на жертву оскорбленныхъ авторскихъ самолюбій, которыя цѣлуютъ въ всѣхъ другихъ родовъ самолюбій. Въ природѣ человеческой есть странная черта: назовите человѣка подлагомъ, негодяемъ — онъ еще можетъ простить васъ за это; назовите же его существомъ ограниченнымъ, бездарнымъ — и онъ никогда вамъ не проститъ этого. «Но зачѣмъ же вамъ нападать на другихъ, зачѣмъ называться самими на неприятели, что вамъ за дѣло, что тотъ или другой написалъ глупую книгу, издалъ пошлый альманахъ, составленный изъ тетрадокъ или класоныхъ сумокъ учениковъ приходскаго училища? — не можете квалить, такъ, по крайней мѣрѣ; ничего не говорите о нихъ, промолчите! Вольно вамъ придавать важность пустымъ вещамъ и изъ ничего навлекать на себя нареканіе и неприязнь!» Всякій воленъ думать, какъ ему угодно — мы, въ свою очередь, тоже, и поэтому мы вотъ какъ думаемъ и вотъ какъ отвѣтили бы; еслибы намъ предложили подобный вопросъ: если въ человеческой природѣ есть возбужденіе лѣзть изъ ножи, чтобы каваться больше; чѣмъ бываешь, и дѣлать все худо и безталанно, то въ той же человеческой природѣ есть свойство оскорбляться своимъ дурнымъ и мстить на свое оскорбленіе; если правы первые, то по крайней мѣрѣ, не виноваты и послѣдніе. Мы не говоримъ уже о публикѣ, которую преимущественно имѣетъ въ виду рецензентъ, мы не говоримъ уже объ общей пользѣ, о вредѣ для вкуса читателей, происходящемъ отъ дурныхъ книгъ — объ этомъ и такъ уже много говорили. А мы, вмѣсто этого, вотъ что скажемъ: вы цѣните свое время, хотите читать или для пользы, или для наслажденія, берете книгу и съ тяжкимъ трудомъ, насилуя свое вниманіе и теряя свое драгоценное время, прочитываете отъ начала до конца, и вмѣсто истины или идеи красоты, которыхъ вы въ ней искали, видите одну

ложь, одно безобразіе, видите истинны, которые для васъ могли быть новостію, когда вы еще черпали мудрость изъ правоучительныхъ повѣстей съ картинками и изъ дѣтскихъ прописей—что вы тогда скажете? Не бросите ли вы съ негодованіемъ этой книги подъ столъ, проклиная и бездарнаго бумагомарателя, и лѣниваго журналиста, который ничего не хотѣлъ сказать вамъ объ этой книгѣ, или сказалъ правду вполовину, снисходительно. Прежде нежели я рецензентъ, я читатель, и вотъ я беру въ руки и начинаю читать какую-нибудь книгу, хоть, напримѣръ, «Дѣтскіе Фанультовы». Прѣбѣтаю предисловіе, чтобы узнать цѣль ея изданія, и узнаю, что она состоитъ изъ разныхъ «дѣльных» статей, разсужденій, взглядовъ, трактатовъ петербургскихъ гг. литераторовъ и ученыхъ,—сочиненій, которые слишкомъ пространны для журнала и слишкомъ коротки для того, чтобы составить книгу. Хорошо! думаю я, эти статьи ученыхъ: онѣ потребуютъ всего моего вниманія, но за то и прочту ихъ съ пользою. И такъ, благословясь приступаю къ чтенію; первая книга начинается стихами. Что жь это за стихи, когда они писаны и въ какое время? Вотъ вопросы, которые прежде всего пробуждаютъ во мнѣ эти стихи. Кажется, они писаны недавно, а по складу, тону и содержанію относятся ко временамъ Капниста и В. Пушкина. Странно!... Потомъ слѣдуетъ критическая статья г. Пласкина «Взглядъ на послѣдніе успѣхи русской словесности 1833 и 1834 годовъ». Хорошо—посмотримъ, какъ судять о ходѣ нашей словесности «ученые» люди! Читаю—и что жь узнаю?... То, что у насъ есть словесность, вопреки людямъ, отрицающимъ ея существованіе. Положимъ, что и такъ—но чѣмъ это доказывается? Г. Пласкинъ отвѣчаетъ, не задумываясь, тѣмъ, что «послѣдніе два года ознаменованы счастливымъ (?) появленіемъ сильныхъ талантовъ, украшенныхъ (?) новымъ (?) просвѣщеніемъ, талантовъ дѣятельныхъ». Очень хорошо—положимъ, что и такъ, но кто же эти таланты?—Во первыхъ г. Сенковский; но что

онъ написать особенно талантливаю? статью «Скандинавскія Саги»! Потомъ: Баронъ Брамбеусъ, написавшій «Фантастическія Путешествія», потомъ Безгласный, — но развѣ онъ явился только въ послѣдніе два года? — Потомъ, потомъ... гг. Букольниковъ, Тимосевъ и Бршовъ — три, какъ говорить авторъ статьи, рѣшительно самостоятельныя литературскія таланта!... «Дай Богъ, прибавляетъ онъ, чтобы мы со временемъ могли назвать ихъ гениями, но это пока остается желаніемъ, надеждою»! Послѣ этого, авторъ говоритъ, что Пушкинъ подарилъ намъ чудную «Пиковую Даму», которая невольно напоминаетъ «Черную женщину»! Ну ужъ точно чудная дама! А намъ сужденіе г. Плаксіна невольно напоминаетъ стихи Крылова:

Хотя услуга намъ при нуждѣ дорога,
Но за нее не всякъ умѣетъ взяться!

Ну ужъ жадно, чудные эти стихи Крылова! За этимъ читаешь статью г. Галича «Роспись идеаламъ Греческой Пластики», что въ переводѣ на русскій языкъ значитъ: перечень произведеній греческой пластики: по разнымъ родамъ ея идеаловъ. Впрочемъ, эта статья, несмотря на произвольныя словесныя подраздѣленія и тяжелый языкъ, не безъ достоинства. Потомъ слѣдуетъ статья Плаксіна «Вступленіе въ Исторію театра», изъ которой мы ничего не узнаемъ о театрѣ. За «оною послѣдуютъ» двѣ главы изъ «педагогическаго» романа г. Плаксіна «Женское воспитаніе»: не посмотрѣвъ на подпись, мы сперва думали было, что эти главы принадлежатъ г. Борису Федорову — этого достаточно для ихъ оцѣнки. За двумя главами изъ педагогическаго романа слѣдуетъ «Взглядъ на Исторію и Преимущественно Русскую» г. Вознесенскаго; изъ этого взгляда мы ровно ничего не узнаемъ о русской исторіи. Въ первой части есть и еще нѣсколько «ученыхъ» статей, взглядовъ и разсужденій, но мы не имѣли храбрости читать ихъ. Заглядывали въ нѣкоторые во второй части, но какъ ни бились, ничего не могли отъ нихъ до-

биться, даже того, о чемъ говорить гг. авторы этихъ статей. Журнальная или альманажная ученая статья не можетъ изложить никакого знания во всей полнотѣ его, но можетъ представить его сущность и результаты; но для этого нужно внимательное и ясное изложеніе и хорошей языки; въ чемъ же нѣтъ ни того, ни другаго—того, повѣрьте, нѣтъ читать не будетъ. И вотъ, Богъ знаетъ почему такъ названная, и Богъ знаетъ, что означающая «Лѣтопись Факультетовъ»! Читайте ее и браните рецензентовъ!...

СТИХОТВОРЕНІЯ ВЛАДИМИРА БЕНЕДИКТОВА. *Второе изданіе. Спб. 1836.*

Мы было дали себѣ слово ничего больше не говорить о стихотвореніяхъ г. Бенедиктова, предоставляя времени рѣшить вопросъ о ихъ достоинствѣ, этотъ вопросъ, который для нѣкоторыхъ кажется важнымъ и спорнымъ; но второе изданіе этихъ стихотвореній заставляетъ насъ; противъ воли, нарушить слово. Чтобы не повторять уже сказаннаго нами такъ опредѣлительно и ясно, и чтобы въ самомъ дѣлѣ не сдѣлать важнаго вопроса изъ таковаго простаго и очевиднаго дѣла, мы скажемъ только, что вторичное прочтеніе «Стихотвореній г. Бенедиктова» не только не заставило насъ перемѣнить уже высказаннаго мнѣнія, но еще болѣе утвердило въ немъ. Да почему бы мы и перемѣнили его? У г. Бенедиктова по прежнему «сверкають веселья; любовь гнѣздится въ ущельяхъ сердца; дѣва вносится на горящей ладони въ вихрь круженія; любовь блеститъ цвѣтными огнями сердечнаго неба; чудная дѣва влечетъ магнитными прелестями желѣзные сердца; солнце вонзается въ дождевыя капли пламя своего луча; искра души прихотливо подлетаетъ къ парѣ черненькихъ глазъ и умильно поглядываетъ въ окна своей хранины; Матильда сидитъ на жеребцѣ плотнымъ усѣдомъ; могучею рукою вонзается сталь

правды въ шипучее сердце порона; морозный паръ безстрастного дыханья падаетъ на пламя красоты», и пр. и пр. Да, все эти выраженія у г. Бенедиктова стоятъ по прежнему, а мы по прежнему думаемъ, что хоть совсѣмъ не поэтъ, кто прибѣгаетъ, въ своихъ стихахъ, къ подобнымъ украшеніямъ. Правда, мы замѣтили двѣ значительныя перемѣны или поправки; можетъ-быть, есть еще и другія перемѣны, кромѣ этихъ. Безъ сомнѣнія, новые стихи лучше прежнихъ; но что все это доказываетъ? — Ничего болѣе, какъ то, что мы правы въ нашемъ мнѣніи о достоинствѣ «Стихотвореній г. Бенедиктова». Такъ какъ переправлены и передѣланы стихи, замѣченные нами въ то время, какъ особенно дурные, то мы въ правѣ думать, что эти, хотя немногія, поправки сдѣланы авторомъ вслѣдствіе нашихъ замѣчаній. Намъ пріятно видѣть, что г. Бенедиктовъ обратилъ вниманіе на наши совѣты и воспользовался ими, хотя и поздно; но это дѣлаетъ честь его характеру, какъ человека, а не какъ поэта: по нашему мнѣнію, поэтъ долженъ быть упрямъ и стойкъ, будучи увѣренъ, что каждый его стихъ есть плодъ вдохновенія, которое никогда не обманывается, которое всегда творитъ вѣрно; долженъ походить на Пушкина, который въ отвѣтъ одному критику, осуждавшему его стихъ изъ «Цыганъ»,

И съ камня на траву свалился,

сказалъ: «я долженъ былъ такъ выразиться, я не могъ иначе выразиться».

НОЧЬ. *Сочиненіе С. Темнаго. Спб. 1836. Съ титрафомъ.*

Когда бъ ты видѣлъ этотъ міръ,
Гдѣ взоръ и вкусъ разочарованъ,
Гдѣ чувство стынетъ, умъ окованъ,
И гдѣ тщеславіе кумиръ;
Когда бъ въ пустынь многолюдной

Ты не нашёл души одной,
Поварь, ты бь навсегда, другъ мой,
Забывъ свой ропотъ безразсудный.

Здѣсь лаской жаркаго привѣта

Душа милая не согрѣта.

Не захожу я здѣсь въ очагъ

Огня, возженнаго въ нихъ чувствомъ.

И слово, сжатое искусствомъ,

Невольно мреть въ моихъ устахъ.

Эта книжечка, состоящая изъ сорока-четырёхъ страницъ въ осьмую долю листа и напечатанная крупнымъ шрифтомъ и съ ужасными пробѣлами, которыми въ наше время авторы прикрываютъ нищету своего ума и фантазіи, не хватающихъ даже и на три порядочныя страницы, эта книжечка поразила насъ своею страдностью. Кромѣ выписаннаго нами аниграфа, который заранее даетъ знать о претензіяхъ немыслимаго или темнаго автора, въ предисловіи находятся еще слѣдующія строки, которыя хотъ кого доставятъ въ тунникъ.

Что сказать читателямъ про три ничтожныя листка, про сіе не-
большое собраніе мыслей моихъ, извлеченныхъ изъ труда болѣе
обширѣйшаго? Одно скажу я то, что отдаю себя на судъ тому, кто
выше предразсудковъ времени; кто, трудясь въ книгъ столѣтій, взи-
ралъ на событія съ философической точки, познавая тайны сердца
человѣческаго во всѣхъ сокровенныхъ изгибахъ его; кто обратитъ
своихъ душою всей любить умѣть, тотъ, читая со вниманіемъ не-
много строкъ сіи, пойметъ меня здѣсь. Я писалъ коротко, но въ ма-
ломъ старался заключать многое; меня больше занимали мысли, ихъ
много тѣснилось тогда въ пылкой душѣ!...

Предоставляя опытнымъ оріенталистамъ рѣшать, на какомъ
изъ восточныхъ языковъ писаны эти строки, мы скажемъ отъ
себя только то, что писаны они не на русскомъ. Но не это
особенно удивило насъ: читая по обязанности все, чѣмъ да-
рить русскую публику досужая дѣятельность російскихъ
авторовъ, мы привыкли къ безграмотности, незнанію отече-
ственного языка и неумѣнію выразиться складно, по-человѣче-

ски, на нѣсколькихъ страницахъ. Нѣтъ, — насъ удивило, что такимъ безграмотнымъ языкомъ выражаются такіа огромныя претензіи: замѣтите, что темный авторъ назначаетъ свою книжечку людямъ, которые выше предразсудковъ своего вѣка. Но и въ этомъ еще нѣтъ ничего дурнаго; мы сначала подумали было, что это сочиненіе какого-нибудь гения, который, углубившись въ міръ идей, забылъ о грамматикѣ, и который представляетъ любознательности своихъ современниковъ какіе-нибудь новыя взгляды на предметы човѣческой мысли, совершенно опровергающіе всѣ дознанія вѣка и должествующіе произвести реформу въ човѣческомъ знаніи. И что жъ мы увидѣли, прочтя книжку?—Во первыхъ, совершеннѣйшее незнаніе языка, и вслѣдствіе этого, удивительную темноту выраженія, нерѣдко сближающуюся на безсмысліе; потомъ напущенность, надутость и напыщенность во фразахъ; наконецъ мысли, которыя, правда, не могли бы придти въ голову пустаго и ограниченнаго човѣка, но которыя въ наше время; все-таки слишкомъ обыкновенныя общія; даже замѣтили, если не чувство, то какое-то безпокойство, похожее на чувство. Что жъ тутъ новаго или особенно любопытнаго для людей, которые выше предразсудковъ своего времени?... Замѣтно, что эта «Ночь» есть произведеніе молодаго човѣка съ душою, съ пыломъ, но еще не созрѣлаго для мысли, еще не умѣющаго отдавать самому себѣ отчетъ въ своихъ мысляхъ, а уже сгарающаго желаніемъ написать и издать въ свѣтъ что-нибудь, непременно написать и издать. Опасное желаніе, которое губитъ истинный талантъ, вымучивая изъ него насильственные и недозрѣлыя созданія, которое плодитъ толпы дурныхъ писателей, служа имъ порою за то, что они имѣютъ талантъ! О, еслибы каждый молодой човѣкъ, не лишенный чувства и сгарающій желаніемъ печататься, издавалъ всѣ плоды своей фантазіи, сколько бы дурныхъ книгъ бросилъ онъ въ свѣтъ и сколько бы раскаянія при готовилъ себѣ въ будущемъ!... Мы говоримъ это отъ чистаго сердца, говоримъ даже по собственному опыту, потому что

имѣемъ причины благодарить обстоятельства, которые помо-
гали намъ приобрести жалкую эфемерную извѣстность нѣкими
произведеніями искусства и занять мѣсто въ забавномъ ряду
литературныхъ рыцарей печальнаго образа. Пишущіе люди
раздѣляются на литераторовъ и литературщиковъ: первые пи-
шутъ по призванію, по сознанію своей способности писать;
вторые—самозванцы. Нынѣ уже настало время, что понимаютъ
различіе между этими двумя словами; нынѣ литераторъ есть
лицо почтенное, а литературщикъ смѣшное и жалкое. Нынѣ,
молодой человѣкъ, пишущій не по невозможности не писать,
не по желанію высказать что-нибудь такое, что онъ хорошо со-
зналъ, въ чемъ вполне убѣдился, или что ясно себя предста-
вилъ, пишущій прежде времени, безъ приготовленія, больше,
нежели когда-либо, похожъ на мальчика, который надѣваетъ
огромный галстукъ до ушей, закладываетъ руки въ карманы,
принимаетъ на себя серьезный видъ и корчитъ взрослого чело-
вѣка. Всему есть свое время; прежде составляли себѣ лите-
ратурную извѣстность какимъ-нибудь четверостишіемъ къ
«Лилѣ» или «Нинѣ», прежде молодые люди думали, что напе-
чатать свое имя значить прославиться и сдѣлаться изъ ничего
чѣмъ-то; нынѣ совсѣмъ напротивъ: нынѣ молодой человѣкъ
съ истиннымъ достоинствомъ, подающій о себѣ истинныя на-
дежды, заботится прежде всего обогатить себя познаніями—

И не торопится вписаться въ полкъ шутовъ.

Нынѣ молодой человѣкъ съ умомъ и чувствомъ убѣжденъ,
что спасенье не въ одной литературѣ, слава не въ одномъ
маранѣ бумаги, а въ выполненіи своихъ человѣческихъ обя-
занностей, въ стремленіи къ тому, къ чему назначила его
природа, къ чему онъ сознаетъ себя способнымъ. Оно такъ
и должно быть: «вчера» всегда хуже «нынче», «завтра»
всегда лучше «нынче»; поколѣнія совершенствуются, и, при
замѣтномъ ходѣ просвѣщенія и образованности въ Россіи, уже
не рѣдкость встрѣчать шестнадцатилѣтнихъ юношей, которые

съ насмѣшливою улыбною смотрять на двадцатилѣтнихъ, не говоря уже о тридцатилѣтнемъ похолѣши, къ которому, за слишкомъ немногими исключеніями, все еще идетъ эдакъ стихъ Грибоедова:

А ты, мой батюшка, неизлѣчимъ, хоть брось!

Мы не безъ намѣренія такъ распространились объ опасности безвременнаго и не сознанаго авторства; повторяемъ, въ г. Темномъ мы отнюдь не замѣчаемъ хорошаго автора, но предполагаемъ хорошаго человека. И такъ, да будетъ ему извѣстно, что наше мнѣніе объ немъ добросовѣстно и искренно. Мы отъ души желаемъ ему добра. Поэтому, мы не затруднялись въ выборѣ нашихъ выраженій, зная, что на сильные болѣзни нужны и сильные лѣкарства; мы старались быть не столько тонкими и ловкими, сколько прямыми и откровенными. Мы хотимъ одѣлать еще болѣе для доказательства искренности нашихъ словъ, хотимъ показать ему, почему считаемъ себя въ правѣ высказывать такъ рѣзко невыгодное для его самолюбія наше мнѣніе о достоинствѣ его книги и давать ему совѣты. Главные недостатки его сочиненія состоятъ: въ отсутствіи общей идеи, въ обыкновенности всѣхъ мыслей и ложности нѣкоторыхъ, въ напыщенности выраженія и незнаніи языка.

Все это мы беремся доказать ему, а не публикѣ, которая и безъ насъ это тотчасъ замѣтитъ, какъ скоро прочтетъ его книгу.

Какую идею хотѣлъ выразить г. Темный своимъ сочиненіемъ? Ровно никакой, потому что, когда онъ брался за перо, у него было только желаніе непремѣнно написать что-нибудь, что бы ни написалось, а не было никакой идеи. Сначала онъ говоритъ, что въ жизни человѣку выдаются святыя минуты, когда онъ сильнѣе чувствуетъ, яснѣе мыслить, больше понимаетъ; и эту-то простую мысль авторъ разводитъ водою громкихъ фразъ на нѣсколькихъ страни-

цахъ; витѣйствуетъ о ничтожности человѣка, и это витѣйство очень похоже на переложеніе въ растянутую прозу прекрасной оды Державина. «На Смерть Менцераго», такъ что попадаются фразы, цѣликомъ взятые изъ нея, каковы: «нынѣ своимъ величіемъ изумленъ, а завтра что ты человѣкъ?— исчезнуть въ той безднѣ, въ которую мы всѣ стремглавъ свалимся». Наконецъ, авторъ рассуждаетъ о совершенности человѣчества, и всѣ эти предметы не находятся у него ни въ какой связи; ни въ какомъ отношеніи, такъ что, какъ бы вы ни бились, прочтя книжку, ничего не упомяните изъ ней, а читая, ничего не поймете.

Въ доказательство обыкновенности мыслей мы ничего не хотимъ выписывать, потому что для этого надобно бы было списать всю книжку. Въ доказательство ложности укажемъ на предисловіе автора, гдѣ онъ говоритъ, что его «Ночь» есть «извлеченіе изъ труда болѣе обширнаго». Подобныя извлеченія могутъ дѣлаться изъ наного — мнѣ бы догматическаго сочиненія, гдѣ логически развита какая-нибудь мысль, а не изъ поэтическихъ мечтаній, достоинство которыхъ постигается только въ цѣломъ созданіи; словомъ, извлеченія дѣлаются изъ плодовъ ума, а не изъ произведеній фантазіи, изъ которыхъ могутъ быть стрываны, но не экстракты. Возьмемъ еще на выдержку фразы: «Физическій міръ (?) нашъ, наклонный ко всему чувственному, удерживается благородствомъ приличій общественныхъ; снявъ узду сію, онъ нисходитъ на степень животнаго». Здѣсь двѣ ошибки: во первыхъ, тутъ дѣло должно идти не о физическомъ мірѣ, а о чувственной сторонѣ человѣческаго бытія; во вторыхъ, общественныя приличія служатъ уздою только для грубыхъ, необразованныхъ, или развратныхъ людей.

Незнаніе языка и жалкаяность выраженій видны почти во всякой фразѣ. Заметимъ здѣсь автору «Ночи», во первыхъ, что рѣшмы хороши въ стихахъ, но въ прозѣ никуда не годятся; во вторыхъ, что есть наука, называемая граммати-

кою, которая учить знанію языка, и въ этой грамматикѣ есть отдѣленіе, которое называется синтаксисомъ, который учить, правильно выражаться словами, а въ этомъ синтаксисѣ есть глава, называемая «О порядкѣ словъ»...

Замѣтимъ еще, что еслибы авторъ и умѣлъ писать складно по-русски, то все бы не долженъ былъ сѣтовать на гробахъ по правиламъ риторики и натягиваться въ подраженіи Юнгу, который, между нами будь сказано, былъ поэтъ прескучный. Не худо бы также помнить г. Темному, что главный «предразсудокъ» нашего вѣка состоитъ именно въ его убѣжденіи, что безъ знанія языка нельзя быть авторомъ, слѣдовательно, волею или неволею, а онъ самъ долженъ покориться этому «предразсудку», потому что не велика честь для него будетъ, если его будутъ читать только непричастные этому «главному предразсудку» нашего вѣка люди»...

СТРАСТЬ СОЧИНЯТЬ, ИЛИ „ВОТЪ РАЗВОЙНИКИ!“

водевилъ въ одномъ дѣйствіи, передѣланный съ французскаго Федоромъ Кони. Москва. 1836.

Много было говорено о томъ, что такое водевилъ, но никто еще не потрудился отдать себѣ отчетъ въ томъ, что такое водевилисть. Да—водевилисть принадлежитъ еще къ числу тѣхъ неразгаданныхъ задачъ, надъ которыми человечество тщетно ломаетъ себѣ голову. *Ars longa, vita brevis:* горькая мысль!

Но утѣшиться: если, въ области нашего вѣдѣнія, остается еще много неразрѣшенныхъ вопросовъ, то много и людей, которые въ состояніи рѣшать подобные вопросы. Я принадлежу къ числу такихъ людей, потому что мнѣ первому удалось рѣшить великій вопросъ: что такое водевилисть? Но на открытіе этой важной истины я былъ наведенъ г. Гоголемъ, почему и буду предлагать всѣ мои рѣшенія словами г. Гоголя. Прошу только выслушать благосклонно.

Водевилисть есть человекъ, у котораго «въ лицѣ такое разсужденіе, и физиономія... такіе важные поступки, и такъ здѣсь много, много всего»; человекъ, который хочетъ наконецъ «чѣмъ-нибудь такимъ высокимъ заняться», потому что «ему такъ скучно жить: онъ ищетъ пищи для души, а свѣтскан чернь его не понимаетъ». Не правда ли, господа?

Теперь очень легко рѣшить вопросъ и какъ пишутся водевили. Это дѣлается очень просто. «Театральная дирекція говоритъ водевилисту: пожалуйста, братецъ, напиши что-нибудь. А водевилисть думаетъ себѣ: пожалуй, изволь, братецъ! да тутъ все въ одинъ вечеръ и напишетъ». Вотъ какъ пишутся водевили!

Новый водевиль г. Федора Кони носить на себѣ яріе признаки водевильнаго происхожденія. Знаменитый нашъ драматургъ такъ торопился окончаніемъ своего творенія, что даже не успѣлъ ни написать къ нему предисловія, ни снабдить его какою-нибудь тирадою изъ Шекспира, Гомера, Байрона или Гёте, ни наставить замысловатыхъ эпитафій, взятыхъ изъ арабскихъ и санскритскихъ поэтовъ. Впрочемъ, новый водевиль г. Кони отъ этого нисколько не хуже, если еще не лучше — что представляемъ рѣшить потомству. Мы не станемъ здѣсь входить въ подробное разсмотрѣніе этого геніальнаго водевиля; да и для чего бы мы это сдѣлали? — въдь всѣ водевили, особенно передѣлываемые съ французскаго, удивительно какъ похожи другъ на друга. Что же касается собственно до новаго созданія водевильной музы г. Кони, оно особенно отличается вѣрностію дѣйствительности, такъ что, въ этомъ отношеніи, «Горе отъ Ума» и «Ревизоръ» кажутся самыми ничтожными произведеніями. Новость вымысла также составляетъ одно изъ самыхъ яркихъ достоинствъ «Страсти Сочинять» г. Кони. Что касается до куплетовъ, то намъ показался лучше всѣхъ тотъ, въ которомъ говорится о «журналистѣ, уѣзжающемъ за-границу»; то-то чудный куплетъ! Журналистъ, уѣзжающій за-границу! «О тонкая штука!

Эжъ куда метнулъ! какого туману напустилъ! Разбери кто хочетъ!»

Больша мы ничего не имѣемъ сказать о новомъ водевилѣ г. Коли. Кому не извѣстенъ превосходный талантъ этого драматурга? Онъ на все мастеръ: и журнальную статейку натачать, и водевильчикъ состряпать, и «у него такъ это все славно... замѣчанія такія... видно, что наукамъ учился»... Извините, опять выпишемъ изъ «Ревизора»! Что дѣлать?— Фразы г. Гоголя такъ сами и ложатся подъ перо.

СВЯТОЧНЫЕ ВЕЧЕРА ИЛИ РАЗСКАЗЫ МОЕЙ ТЕ- ТУШКИ. Москва. 1835. Двѣ книжки.

Чудно устроенъ бѣлый свѣтъ, какъ подумаешь! Не напрасно говорить русская пословица: «по платью встрѣчаютъ по уму провожаютъ!» Вотъ катится по звонкой мостовой великолѣпная карета, которую мчитъ, какъ вѣтеръ, шестерня лихихъ лошадей; форрейторъ кричитъ громко «пади»; сановитый кучеръ съ окладистой бородой ловко правитъ рьяными бѣгунами; двѣ длинныя статуи въ ливреяхъ горделиво стоятъ назади; трескъ, громъ, пыль; мелкіе экипажи сворачиваютъ, прохожіе бѣгутъ, И что жъ? — Вы думаете, тамъ, за полированными стеклами, на сафьянныхъ подушкахъ, сидитъ какое-нибудь божество, доблесть, слава, гений?... Нѣтъ! тамъ часто зѣбаетъ пресыщенное честолюбіе, самолюбивая глупость, дряхлое ничтожество, которое не стоитъ сѣруи, дешевле позолоты!—А вотъ мчится легкая, воздушная коляска на парѣ вороныхъ; мостовая съ дробнымъ ропотомъ вырывается изъ-подъ ней; Аполлонъ, свѣтозарный богъ искусствъ, съ охотою промѣнялъ бы ее на свою дрянную колесницу въ древнемъ вкусѣ; въ ней сидятъ мужчина и женщина; вы думаете, это чета влюбленныхъ, упевающаяся всею роскошью, всѣмъ избыткомъ и душевныхъ и вещественныхъ благъ, чета,

дышащая атмосферою изъ радостей, восторговъ и наслаждений жизни?... Нѣтъ, это не то, это лохматая борода, черные зубы, слои бѣлилъ и румянъ, это барышъ и торговля, обманъ и безсовѣстiе, словомъ, это тѣ же лыжи, тѣ же мочала, только въ позолотѣ другаго рода; это та же ветошь. тотъ же отсѣдъ жизни, только подъ лакомъ другаго цвѣта! — Куда жъ обратиться? Гдѣ искать и находить безъ ошибки, безъ разочарованiя? Э, постойте! вотъ ѣдетъ, или, лучше сказать, вотъ ползетъ на смиренной клячѣ какая-то умиленная фигура съ сверкомъ бумагъ въ рукѣ, въ одеждѣ служителя Ѳемиды. Пойдемъ къ нему, поговоримъ съ нимъ. Можетъ-быть, это одинъ изъ тѣхъ людей, которые могли бы ѣздить въ каретѣ, но ѣздить на калиберѣ, потому что мысли и чувство всегда предпочитали общественному мнѣнiю, а долгъ человѣка и христiянина мишурнымъ выгодамъ жизни, которые въ сознанiи своего человѣческаго достоинства находятъ для себя достаточное вознагражденiе за всѣ лишения и страданiя, добровольно ими на себя наложенныя?... О нѣтъ! это просто подъячiй, человѣкъ, который никогда и не думалъ ни о чувствѣ, ни о мысли, ни о долгѣ, ни о человѣческомъ достоинствѣ; чувство всегда полагалъ онъ въ сытномъ обѣдѣ и рюмкѣ водки, мысль для него заключалась въ удобствахъ жизни, долгъ въ повторенiи нѣсколькихъ пошлыхъ правилъ, затверженныхъ имъ съ юности, а человѣческое достоинство въ чинѣ коллежскаго ассессора и выгодномъ мѣстѣ; ѣдетъ онъ на калиберѣ изъ трактира, гдѣ его угощали по силѣ возможности, чѣмъ Богъ послалъ, усердный проситель... Но я вижу, мы несчастливы во всѣхъ нашихъ наблюденiяхъ надъ разъѣзжающими на лошадахъ: попытаемъ счастья надъ пѣшеходами. Вотъ стоитъ нищiй: подойдемъ къ нему, скажемъ ласковое слово, подадимъ копѣйку — онъ нашъ братъ по Христѣ; узнаемъ, почему онъ нищiй, зачѣмъ онъ нищiй. Можетъ-быть, это одна изъ тѣхъ горделивыхъ и непреклонныхъ душъ, которая хочетъ или всего, или ничего,

Одинъ изъ тѣхъ грѣшныхъ и гордыхъ вояковъ челоуѣчества, которые, стоя на величайшей вершинѣ мысли и чувства, могутъ скорѣе переломиться, нежели погнуться отъ бури несчастія; одинъ изъ тѣхъ людей, который любилъ людей, хотѣлъ имъ добра, требовалъ отъ нихъ сочувствія и, не получивъ его, хотѣлъ жить на ихъ счетъ, ничего не дѣлая имъ, презирая и ихъ хвалой, и ихъ осужденіемъ; или, можетъ-быть, это челоуѣкъ выстрадавшійся, падшій подъ бременемъ несчастія, для котораго нѣтъ ни добра, ни зла, ни чести, ни безчестія, ни гордости, ни униженія, живой автоматъ, въ которомъ не погасъ одинъ инстинктъ жизни и развѣ совнаніе своей нравственной смерти; или, можетъ-быть, это одно изъ тѣхъ дивныхъ существъ, которыхъ называютъ дарвишамъ, юродивымъ, для которыхъ нѣтъ на землѣ ни отечества, ни родныхъ, ни благъ, ни горестей, ни радости, которые не умѣютъ трѣхъ перечестъ, а знаютъ, что насъ ждетъ за гробомъ, словомъ, одинъ изъ этихъ великихъ постовъ, которые не пишутъ въ жизнь свою ни одной строки, и которые, тѣмъ не менѣе, великіе поэты! — Нѣтъ — все не то: это просто развратъ, прикрытый лохмотьями, живая спекуляція на состраданіе и милосердіе ближнихъ, лѣнь, прикрывающаяся гримасою убожества и несчастія! — Гдѣ жъ люди-то? Въ чемъ же они ѣдятъ, какъ они ходятъ, во что одѣваются? Гдѣ жъ люди? — Вездѣ и нигдѣ, если хотите; иногда и въ каретахъ, иногда и въ рубищѣ на перекресткѣ. Вездѣ; только помните, что это явленія необыкновенныя, рѣдкія, исключительныя. «Бочка дегтю, ложка меду»: вотъ вашъ великій мировой законъ въ пошлой формѣ!

То же самое представляетъ и книжный міръ: «бочка дегтю, ложка меду»! — Было время, когда книгопечатаніе почиталось чѣмъ-то святымъ и таинственнымъ, когда имъ занимались со страхомъ и трепетомъ, какъ дѣломъ не житейскимъ. И тогда печатались дурныя книги, но отъ неумѣнья, отъ невѣжества, отъ бездарности, а не отъ недобросовѣстности, не

отъ умилительнаго и сознательнаго желанія, сдѣлать изъ антейскихъ выгодъ дурное дѣло. Теперь же, когда люди поддались коммерческому направленію, когда они спекулируютъ и религіею, и совѣстью, и правосудіемъ—теперь книгопечатаніе ни больше, ни меньше, какъ фабрикація сбыточнаго товара; такъ извольте жъ постѣ этого судить о книгахъ по ихъ внѣшней типографской красотѣ и достоинству! Здѣсь такъ же можно ошибиться, какъ и въ людяхъ. Что это такое, такъ изящно, просто и красиво изданныхъ?—Это стихотворенія Пушкина, того поэта, который первый объяснилъ для насъ трину поэзіи. По заслугѣ честь! — А это что такое, такъ же хорошо, такъ же тщательно изданныхъ?—Это романъ г. Булгарина, это «Александроида» г. Свѣчина!... Видите, не одни господа ходятъ въ модныхъ фракахъ; въ нихъ щеголяютъ и «иваны»... А это что за книга, напечатанная такъ скромно, какъ всѣ книги, печатанныя въ типографіи г. Греча, на такой сѣрватой бумагѣ, съ такимъ множествомъ опечатокъ?—Это «Арабески» г. Гоголя, въ нихъ помѣщены «Невскій Проспектъ» и «Записки Сумасшедшаго!»... Теперь видите: не одни «иваны» ходятъ въ байковыхъ сюртукахъ съ мѣдными пуговицами; въ нихъ иногда рядятся и господа, иногда отъ нужды, иногда по приходу или безпечности. Что жъ тутъ остается дѣлать?... По платью встрѣчать, по уму провожать, какъ гласитъ мудрая русская половица...

Передъ нами лежитъ теперь книжка, или, лучше сказать, книжонка; напечатанная на бумагѣ, въ которой отпускаются товары «авошнѣхъ» лавочекъ, кривыми, косыми, слѣпыми буквами, съ ужаснѣйшими опечатками, грамматическими ошибками, словомъ, изданная въ типографіи г. Новомарева. И что же?—Чтеніе этой книжонки порадовало насъ и доставило большае удовольствія, нежели чтеніе многихъ «свѣтскихъ» романовъ и «свѣтскихъ» журналовъ. Мы, можетъ-быть, и не увидѣли бы этой книжонки, потому что она, можетъ-быть,

и не дошла бы до насъ. Но намъ объ ней было говорено какъ о радости; (и мы не достали). Надобно сказать, что мы и тармъ всё переходяща до насъ книги ходя до Павловны, хотя по нѣсколькимъ страницъ, смотря по тому, какъ оможется: это наше святое правило; это наше добровольное мученичество, за которое мы надѣмся получить отпущеніе хотя въ половинѣ нашихъ грѣховъ, разумѣется, литературныхъ. И такъ, мы развернули эту книжку съ конца и прочли «Чудную встрѣчу».

Здѣсь виденъ если не талантъ, то зародышъ таланта. Авторъ, очевидно, небольшой грамотѣй, еще новичекъ въ своемъ дѣлѣ; и оттого его языкъ часто въ разладѣ съ правилами, часто въ его разсказахъ встрѣчаются обмолвки противъ характера простодушія, который онъ на себя принялъ; онъ прикидывается простымъ человѣкомъ, хочетъ говорить съ простымъ людьми, и между тѣмъ употребляетъ слова «фантазія, тѣни умершихъ» и тому подобное. Но, несмотря на все это, какое соединеніе простодушія и лукавства въ его разсказѣ; какая прекрасная мысль скрывается подъ этою русско-простонародно-фантастическою формою! Это не сказка Казака Луганскаго, въ которой часто нѣтъ ни мысли, ни цѣли, ни начала, ни конца. Советуемъ неизвѣстному автору обратить вниманіе на свой талантъ и видѣть въ немъ не одно средство къ приобрѣтенію тѣхъ жалкихъ и ничтожныхъ выгодъ, которыя могутъ доставить ему Мурраи и Лавочка толкучаго рынка. Мы, съ своей стороны, почтемъ для себя за долгъ слѣдить за развитіемъ его таланта и быть посредниками между нимъ и дубликою. Талантъ дѣло великое! Мы готовы идти отыскивать его не только на толкучемъ рынкѣ; но даже въ грязь Михонскаго болота, куда г. профессоръ Сенковскій посылалъ А. С. Пушкина за «Библіотекою для Чтенія».

**О ЖИТЕЛЯХЪ ЛУНЫ И О ДРУГИХЪ ДОСТОПРИ-
МЪЧАТЕЛЬНЫХЪ ОТКРЫТІЯХЪ,** *сдѣланныхъ*
астрономомъ Сиръ-Джонномъ Гершелемъ, во время пре-
быванія его на мѣстѣ Доброй Надежды. Переводъ съ
нѣмецкаго. Спб. 1836.

Переводчикъ этой книжки долженъ быть человекъ очень пожилой; онъ помнить еще, какъ «Гулливерово Путешествіе» было принято за истину; поэтому-то онъ и рѣшился перевести эту книжонку. Онъ еще не увѣренъ, что это нелѣпость. Впрочемъ, если и нелѣпость—для него бѣда не велика: половина Европы была обманута этою нелѣпостью; и неудивительно: вѣдь вездѣ не безъ добрыхъ людей, даже и въ просвѣщенной Европѣ.

Можно не знать той или другой науки, можно не знать даже никакой—и быть человекомъ; но нельзя ругаться наукою, нельзя кощунствовать надъ нею—и быть человекомъ. Есть однако люди, которые довольно образованы, даже нѣсколько учены, и которые, несмотря на то, находятъ какое-то удовольствіе, даже наслажденіе въ кощунствѣ этого рода. Есть люди, которые поддѣлываютъ грамоты, хроники, и которыми иногда удается обманывать людей истинно-ученыхъ. Всѣ обманщики гадки; но обманщики этого рода—особенно; святотатство есть ужаснѣйшій изъ грѣховъ.

Брошюрка «О Жителяхъ Луны» написана однимъ изъ этихъ остроумныхъ кощунствъ и приписана знаменитому Гершелю. Нашъ переводчикъ, помнящій, какъ было принято за истину «Гулливерово Путешествіе», обрадовался новой истинѣ такого рода и постыдился передать ее русской публикѣ въ довольно-плохомъ переводѣ.

III.

ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.

НЕБОЛЬКО СЛОВЪ О «СОВРЕМЕННОМЪ».

Давно уже было всѣмъ извѣстно, что знаменитый поэтъ нашъ Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ, вознамѣрился издавать журналъ; наконецъ, первая книжка этого журнала уже и вышла, многие даже прочли ее, но, несмотря на то, у насъ, въ Москвѣ, этотъ журналъ есть истинная новость, новость дня, новость животрепещущая, и въ этомъ смыслѣ, то, что хотимъ мы сказать о немъ, будетъ настоящимъ извѣстіемъ. Дѣло въ томъ, что у насъ, въ Москвѣ, очень трудно достать «Современникъ» за какія бы то ни было деньги; несмотря на многія требованія и нетерпѣнію публики, въ Москву прислано его очень небольшое число экземпляровъ. Странное дѣло! съ нѣкотораго времени это почти всегдашняя исторія со всѣми петербургскими книгами, не издаваемыми, хотя и продаваемыми г. Смирдинымъ, и не сочиняемыми или не покровительствуемыми гг. Гречемъ и Булгаринымъ. Эта же исторія случилась и съ новымъ произведеніемъ г. Гоголя «Ревизоръ»: судя по нетерпѣнію публики читать его, казалось бы, что въ Москвѣ въ одинъ день могла бы разойтись его цѣлая тысяча экземпляровъ... Наконецъ, и мы прочли «Современника» и слышимъ отдать въ немъ отчетъ публикѣ.

«Современникъ» есть явленіе важное и любопытное, сколько по знаменитости имени его издателя, столько и отъ надеждъ, возлагаемыхъ на него одною частію публики, и страха, ощущаемаго отъ него другою частію публики. Г. Санковский,

редакторъ «Библиотеки для Чтенія», аристархъ и законодатель этой послѣдней части публики, до того испугался предпріятія Пушкина, что, забывъ обычное свое благоразуміе, имѣлъ неосторожность сказать, что онъ «отдалъ бы все на свѣтъ, лишь бы только Пушкинъ не сдержалъ своей программы». Подлинно, что у страха глаза велики, и справедливо, что уstraшенный человѣкъ, вмѣсто того, чтобъ бить по призраку, напугавшему его, колотить иногда самого себя...

Мы не будемъ входить въ исследование вопроса: имѣть ли право Пушкинъ издавать журналъ? мы даже не почитаемъ себя въ правѣ предложить такой вопросъ и, какъ люди не испуганные, и, следовательно, сохранившіе присутствіе духа и владычество разсудка, предоставляемъ другимъ, подобнымъ разбирательства: ученому и книги въ руки, говорить по слову! Мы же, съ своей стороны, прямо и искренно высказываемъ наше мнѣніе о «Современникѣ»; сколько позволяетъ это издавать первая вышедшая книга. Признаемся; мы не думаемъ, чтобы «Современникъ» могъ имѣть большой успѣхъ; но въ словѣхъ «успѣхъ» мы разумѣемъ не число подписчиковъ, а нравственное вліяніе на публику! По нашему мнѣнію, да и по мнѣнію самого «Современника», журналъ долженъ быть чѣмъ-то живымъ и дѣятельнымъ; а можетъ ли быть особенная живость въ журналѣ, состоящемъ изъ четырехъ книжекъ; а не изъ десяти; и появляющемся чрезъ три мѣсяца? Такой журналъ, при всемъ своемъ внутреннемъ достоинствѣ, будетъ проходить на альманахъ, въ которомъ, между прочимъ, есть и критика. Что альманахъ не журналъ, и что онъ не можетъ имѣть живаго и сильнаго вліянія на нашу публику, объ этомъ нечего и говорить. «Библиотека для Чтенія» особенно обязана своимъ успѣхомъ тому, что продолжительность періодовъ выхода своихъ книжекъ замѣнила необыкновенною толлотою ихъ. Баяня тутъ живость, каяня современность, когда вы будете говорить о книгѣ чрезъ шесть мѣсяцевъ послѣ ея выхода? А развѣ вы

не знают, какъ имъ живица, какъ недолговѣчны наши книги? Или не помогутъ и наши заѣздняки: потому что они родятся, по большой части, подъ несчастною звѣздою. Вотъ что мы находимъ главнымъ недостаткомъ въ «Современникѣ».

Главное же достоинство его: если только это можетъ назваться какимъ-нибудь достоинствомъ, состоитъ въ томъ, что въ немъ всѣ статьи оригинальны, вромѣ, разумеется, стихотвореній. Какими же эти статьи? А вѣдь объ этомъ-то мы и хотимъ поговорить.

«Современникъ» состоитъ изъ пяти стихотвореній и одиннадцати прозаическихъ статей. Стихотворенія вообще всѣ не безъ достоинства, вромѣ «Розы» и «Кипариса». «Пиръ Петра Великаго» отличается бойкостью стиха и оригинальностью выраженія. «Скупой Рыцарь», отрывокъ изъ Чеховской трагикомедіи, переведенъ хорошо, хотя, какъ отрывокъ, и ничего не представляетъ для сужденія о себѣ. Но «Ночной Омотръ» Жуковскаго есть одно изъ тѣхъ стихотвореній, въ которыхъ у насъ теперь въ цѣлый годъ является не больше одного или двухъ... Это истинное перло поэзіи, какъ по глубинѣ поэтической мысли, такъ и по простотѣ, благородству и высотности выраженія. Мы очень жалѣемъ, что право собственности и величина пьесы не позволяютъ намъ выписать его. Изъ прозаическихъ статей прежде всего должно говорить о двухъ статьяхъ г. Гоголя. Первый: «Колеска», есть не что иное, какъ шутка, хотя и мастерская въ высочайшей степени. Въ ней выразилось все умѣніе г. Гоголя схватывать эти рѣзкія черты общества и уловлять эти оттѣнки, которые вслѣдъ видитъ каждую минуту около себя и которые доступны только для одного г. Гоголя. Но пьеса все-таки не больше, какъ шутка, и, по нашему мнѣнію, не можетъ замѣнить собою отсутствія повѣсти, которая почитается у насъ необходимымъ украшеніемъ всякой книжки журнала, особливо первой. Вторая статья г. Гоголя, «Утро дѣловаго человѣка», говорятъ, есть отрывокъ изъ его комедіи. Во всякомъ слу-

чаѣ, она представляетъ собою нѣчто цѣлое, отличающееся необыкновенною оригинальностью и удивительною вѣрностью. Если вся комедія такова, то одна она могла бы составить эпоху въ исторіи нашего театра и нашей литературы, а г. Гоголь одну уже напечаталъ и еще говорить, готовить дѣлѣ... Эта пьеса есть отрывокъ изъ которой — то изъ нихъ, какъ мы слышали, «Путешествіе въ Арзрумъ» самого издателя есть одна изъ тѣхъ статей, которая хороша не по своему содержанию, а по имени, которое подъ нею подписано. Въ самомъ дѣлѣ, если есть на свѣтѣ такіе люди, которые за что бы ни принялись, все портятъ, которые ничего не умѣютъ порядочно сдѣлать, то есть и такіе, которые ничего не умѣютъ сдѣлать дурно. Статья Пущина не заключаетъ въ себѣ ничего такого, что бы вы, прочли ее, могли пересказать, что бы васъ особенно поразило, но ее нельзя читать безъ увлеченія, нельзя не дочитать до конца, если начнешь читать. «Разборъ сочиненій Георгія Конисскаго» хорошъ, въ томъ смыслѣ, что даетъ ясное понятіе о разбираемой книгѣ и возбуждаетъ желаніе прочесть самую книгу. Сужденіе о Георгіи Конисскомъ, какъ объ историкѣ и историческомъ лицѣ, намъ кажется справедливымъ, но чтобы онъ былъ хорошимъ проповѣдникомъ — съ этимъ мы несогласны; его краснорѣчіе — схоластическое и тяжелое. Самые дурныя статьи, это — «О Риемѣ» барона Розена и «Парижъ», родъ записки, писанной къ пріятелю на разныхъ лоскуткахъ, безъ всякой связи и занимательности, дурнымъ языкомъ. «Должна Ажитугай» примѣчательна, какъ произведеніе Чернуса (султана Казы-Гирея), который владѣетъ русскимъ языкомъ лучше многихъ почетныхъ нашихъ литераторовъ. Но самыя интересныя статьи — это «О движеніи журнальной литературы въ 1834 и 1835 гг.» в «Новыхъ книгахъ»: въ нихъ видны духъ и направленіе новаго журнала. «Журнальная литература, эта живая, свѣжая, говорливая, чуткая литература, такъ же необходима въ области наукъ и кудожествъ, какъ пути сообщенія для государства, какъ ярмарки и биржи

для купечества и торговли». Такъ начинается первая статья, и мы, выписывая начало для того, чтобы показать, что «Современникъ» имѣетъ истинный взглядъ на журналы. Въ самомъ дѣлѣ, естественнo было бы думать въ наше время, чтобы журналы были эмпилопедіею наукъ, изъ которой можно бы было черпать полную горстью знанія, посредствомъ которой можно бы было сдѣлаться ученымъ. Только одни левѣнды и верхоялды могутъ такъ думать въ наше время. Журналъ есть не наука и не ученость, но, такъ сказать, факторъ науки и учености, посредникъ между наукою и учеными. Какъ бы ни велика была журнальная статья, но она никогда не изложитъ полной системы какого-нибудь знанія; она можетъ представить только результаты этой системы, чтобы обратить на нее вниманіе ученыхъ, какъ скорое извѣстіе, и публики, какъ рапортъ о случившемся. Вотъ почему такое важное мѣсто, такое необходимое условіе достоинства и существованія журнала составляетъ критика и библіографія, ученая и литературная.

Главное содержаніе разбираемой нами статьи состоитъ въ сужденіи о литературныхъ періодическихъ изданіяхъ въ Россіи за 1834 и 1835 гг. Мы почитаемъ за долгъ сказать, что всѣ эти сужденія не только изложены рѣзко, остро и ловко, но даже безпристрастно и благородно; авторъ статьи не исключаетъ изъ своей опалы ни одного журнала, и хотя его сужденіе и о нашемъ изданіи совѣтъ не лестно для насъ, но мы не видимъ въ немъ ни злонамѣренности, ни зависти, ни даже несправедливости. О «Библіотекѣ для Чтенія» высказаны истинныя рѣзкія и горькія для нея, но уже извѣстныя и многими еще прежде сказанныя. Одно только показалося намъ и новымъ и крайне удивительнымъ, мы не знали до сихъ поръ, что наясническія, повѣсти и гаерскія фанфаронады въ критикахъ и рецензіяхъ «Библіотеки» принадлежать почтенному профессору О. И. Санковскому, что Баронъ Брамбеусъ и патарскій критикъ Тр-тюнджи-Оглу, тоже ни кто другой, какъ тотъ же

д. Сенковский. О «Наблюдателѣ» сказано: «сказана такая истина; почти то же самое, что было сказано о живы нашемъ журналѣ, только менною повисходительнѣе». Вообще «Современникъ» при всей своей мажородной и твердой откровенности, обнаруживаетъ какуто-то симпатію къ «Наблюдателю». Напротивъ, сказавши, что это журналъ безмизанный, чуждый рѣзкаго и постоянного мнѣнія, онъ чрезъ нѣсколько страницъ приходитъ въ восторгъ отъ критикъ г. Шевырева; потому на-мѣняетъ о мажорныхъ перлахъ русской поэзіи, будто бы находящихся въ «Наблюдателѣ», а этотъ намекъ довольно ясно намекаетъ о знаменитыхъ друзьяхъ; такъ по крайней мѣрѣ намъ показалось. Въ сужденіи о «Наблюдателѣ», къ слову о его редакторѣ, высказана очень дѣльная мысль, въ томъ смыслѣ, что обнаруживаетъ вѣрный взглядъ на то, чѣмъ долженъ быть журналъ: «Редакторъ всегда долженъ быть виднымъ лицомъ. Не немъ; на оригинальности его слога, на общепонятности и занимательности языка его, на постоянной свѣжей дѣятельности его основывается весь кредитъ журнала». Вслѣдъ за тѣмъ, очень вѣрно и очень остроумно замѣчено, что «Наблюдатель» похожъ на тѣ ученые общества, гдѣ члены ничего не дѣлаютъ и даже не бываютъ въ присутствіи, между тѣмъ какъ президентъ является каждый день, садится въ свой кресла и велитъ записывать протоколъ своего уединеннаго засѣданія».

Превосходно также характеризована «С. Ичела»: она просто названа афишю, въ которой помѣщаются объявленія о книгахъ, виѣствъ съ критиками на номадныя и табачныя лавочки, пишущіяся какими-то «ловкими и хорошо воспитанными людьми, безъ сомнѣнія, имѣвшими причины быть довольными фабрикантами». Очень остроумно также замѣчено о редакторствѣ г. Греча въ «Библиотекѣ для Чтенія»: «Имя г. Греча выставлено было только для формы, по крайней мѣрѣ, никакого содѣйствія не было замѣчено съ его стороны. Г. Гречъ давно уже сдѣлался почетнымъ и необходимымъ редакторомъ

себя унижительнымъ спуститься въ журнальную сферу... Это что такое?... Что жь виновать въ томъ, что эти писатели такъ горды? Притомъ же что они за критики?— Крыловъ превосходный и даже гениальный баснописецъ, никогда не былъ и не будетъ никакимъ критикомъ; Жуковский написалъ, кажется, двѣ критическія статьи: «О сатирахъ Бюшгана» и «О Баснѣ и Басняхъ Крылова», и при всемъ нашемъ уваженіи къ знаменитому поэту, мы скажемъ, что именно эти-то двѣ его статьи и поназываютъ, что онъ не рожденъ быть критикомъ. Что же касается до ин. Вяземскаго, то избавь насъ Боже отъ его критикъ такъ же, какъ и отъ его стиховъ...

Мы не согласны еще съ тѣмъ, что будто бы жалкое состояніе нашей журнальной литературы доказывается особенно тяжбыми дѣломъ о мѣстоименіяхъ «сей» и «оный». Во первыхъ, этой тяжбы никогда не было; редакторъ «Библиотеки» шутилъ при всякомъ случаѣ надъ этими подъяческими словами, но статей о нихъ не писалъ, а если и написалъ одну, то въ видѣ шутки и помѣстилъ ее передъ отдѣленіемъ «Смѣся». Мы, напротивъ, осмѣливаемся думать, что жалкое состояніе нашей литературы и вообще нашей умственной дѣятельности гораздо болѣе доказывается защищеніемъ и употребленіемъ «сизъ» и «онихъ», нежели нападками на «сѣи» и «онѣи»... Спрашиваемъ почтеннаго издателя «Современника», почему онъ, употребляя «сѣи» и «онѣи», не употребляетъ «сизъ», «онихъ», «онѣи», «онѣи», «онѣи»?... Онъ, вѣрно, сказалъ бы, потому что эти слова вышли изъ употребленія, что они не употребляются въ разговоръ?... Но чѣмъ же счастливѣе ихъ «сѣи» и «онѣи», которыя тоже вышли изъ употребленія и не употребляются въ разговоръ?... Воля ваша, а право, въ нашей умственной дѣятельности, какъ и въ нашей общественной жизни, очень мало видно владычества здраваго смысла, даже въ мелочахъ; у насъ всякій самъ хочетъ давать законы, забывая, что если что-нибудь найдено или за-

мѣчено справедливо другимъ, о томъ уже нечего говорить. Посмотрите на одно наше правописаніе, или на наши правописанія, потому что у насъ ихъ почти столько же, сколько книгъ и журналовъ: мы еще изъявляемъ наше дѣтское уваженіе большими буквами и поэту и поэзіи, и литератору и литературѣ, и журналу и журналисту — все это у насъ, на Руси, состоитъ въ классѣ и потому требуетъ поклона...

Вообще эта статья содержитъ въ себѣ много справедливыхъ замѣчаній, высказанныхъ умно, остро, благородно и прямо, и потому подающихъ надежду, что «Современникъ» будетъ журналомъ съ мнѣніемъ, съ характеромъ и дѣятельностію. Мы не почитаемъ рѣзкости порокомъ, мы, напротивъ, почитаемъ ее за достоинство, только думаемъ, что кто рѣзко высказываетъ свои мнѣнія о чужихъ дѣйствіяхъ, тотъ обязываетъ этимъ и самого себя дѣйствовать лучше другихъ. Что же касается до статьи «Новыя книги», то она состоитъ больше въ обобщеніяхъ, нежели въ исполненіи, и не представляетъ ничего рѣшительнаго и замѣчательнаго. Но подождемъ втораго номера; онъ намъ дастъ средство высказать наше мнѣніе о «Современникѣ» яснѣе и опредѣленнѣе, и между тѣмъ останемся при желаніи, чтобы новый журналъ совершенно выполнялъ тѣ надежды и ожиданія, которыя подаютъ имя его издателя и рѣзкая опредѣленность его мнѣній о дѣятельности своихъ собратій по ремеслу.

ОТЪ БЪЛИНСКАГО.

И дьячей сталъ судіею Парнаса, и утвердителемъ вкуса московскъ и публики! — Конечно, скорѣе представленіе связи будетъ. (Иоаннуеда Москвитинъ, поверить, подальше, нежели г. Вольтеру, и мнѣ; и, все же, вкусъ жителей Московскихъ сходняе со вкусомъ сево подъячего?)

СУЖАГОДОВЪ.

Недавно, вступивъ на литературное поприще, еще не успѣвъ оемотрѣться на немъ, я съ удивленіемъ вижу, что рѣдкимъ изъ нашихъ литераторовъ удавалось съ такимъ уваженіемъ, какъ мнѣ, обращать на себя вниманіе, если не публики, то по крайней мѣрѣ своихъ собратіи: по ремеслу въ рамѣхъ дѣль, въ такое короткое время нажить себѣ столько враговъ, и враговъ такихъ добродетельныхъ, такихъ непамятудобныхъ, которые, въ простотѣ сердечной, хлопчутъ изъ всѣхъ силъ о вашей извѣстности: не есть ли это рѣдкое счастіе? Я до такой степени удостоинъ судьбою этого счастія, что имѣлъ бы право почестъ себя очень замѣчательнымъ человекомъ, еслибъ враги-пріатели мои были хоть сколько-нибудь замѣчательны: одно только это непріятное обстоятельство охлаждаетъ порывы моего самолюбія... А то, право, какая внимательность ко мнѣ, какое уваженіе! Въ «свѣтскихъ» журналахъ стрѣляютъ въ меня намеками, разборомъ моихъ фразъ, выносками. Одинъ петербургскій журнальчикъ, находящійся въ короткихъ связяхъ съ «свѣтскими» журналами, и въ то же время преданный душой и тѣломъ «Библіотекѣ для

возможности угодить». Противъ этого я не спорю; я въ самомъ дѣлѣ не люблю потачекъ; когда дѣло идетъ объ истинѣ, о благѣ искусства. Но вышепереченный титулярный совѣтникъ сими не доводится. Вслѣдъ за тѣмъ, онъ доноситъ на меня, что я закричалъ когда-то е. е. в. господинѣ Каратыгинѣ: «не надо намъ анѣра аристократа!» и привоскучиваетъ потомъ слѣдующія явительныя рѣчи, по которымъ легко можно видѣть, что г. титулярный совѣтникъ болѣе чѣмъ не литераторъ, что онъ не имѣетъ понятія не объ однихъ литературныхъ приличіяхъ: «а изъ всѣхъ, де, твореній г. Влѣнноваго замѣтно, что, по его мнѣнію, тотъ, кто носитъ чистое бѣлье, имеетъ лицо, и отъ него не пахнетъ ни чеснокомъ, ни водкою, аристократъ». Та! та! та! г. титулярный совѣтникъ! Такія рѣчи не дѣлаютъ чести вашему благородному обонянію, или по крайней мѣрѣ не называютъ рѣшительное невниманіе къ обонянію издателей и читателей «Сѣверной Пчелы». Знаете ли, что нынѣ ужъ и въ порядочныхъ рестораціяхъ не говорить вслухъ о «чеснокѣ» и «водкѣ»? Но претензія моя не въ томъ: эти рѣчи вовсе не резонны, и никакъ до меня не касаются. Что въ моихъ глазахъ опрятность, литературная и житейская, есть не порокъ, а достоинство, тому можетъ служить торжественнымъ доказательствомъ мое отвращеніе къ повѣстямъ и романамъ гг. Ушакова и Запоскина, отъ героевъ и героинь которыхъ точно нерѣдко понахиваетъ «чесночкомъ» и «водочкой» (да простятъ мнѣ читатели это уменьшительное повтореніе выраженій г. титулярнаго совѣтника!). И нигдѣ такъ сильно не выражалось мое отвращеніе отъ этого литературнаго цинизма, столь несвойственнаго аристократіи, какъ въ моемъ отзывѣ о комедіи г. Запоскина «Недовольные», герои которой хотя и причислены своими авторомъ къ аристократамъ, т. е. людямъ высшаго круга общества, но выражаются языкомъ тѣхъ особъ, которыя рѣдко «моютъ лицо», еще рѣже «мѣняютъ бѣлье», и отъ которыхъ... (оки! опять было проговорился выраженіями г. титулярнаго совѣтника!).

И такъ, а зачѣмъ столько на меня лебедъ? — И вѣдь, я имѣю столь высокое понятіе объ аристократіи, что по одному употребленію этихъ словъ, которыми такъ щеголяетъ г. титулярный совѣтникъ, не счѣту него аристократомъ, хотя бы даже онъ былъ и другой такой совѣтникъ, повыше!

Впрочемъ, кто знаетъ настоящій рангъ почтеннаго мелодрагата, скрывшагося подъ спомынымъ именемъ титулярнаго совѣтника?

Изъ словъ его видно, что онъ имѣетъ большой кругъ дѣятельности, силу немаловажную, по крайней мѣрѣ, для гг. актёровъ. — Ну, разсудите сами — продолжаетъ доносить на меня — оный, мнимый, или истинный Иванъ Ефремовъ, сынъ Попровскій — какъ же послѣ этого какой-нибудь порядочный артистъ, который дорожитъ своимъ мѣстомъ, можетъ уподѣлить г. Бѣлинскому? — Въ своемъ дѣлѣ никто не судья — вотъ мое правило; и потому я не почтаю себя въ правѣ доказывать, чтобы кто-нибудь могъ и долженъ былъ дорожить моимъ мнѣніемъ; но нельзя не остановиться здѣсь на выраженіи «артистъ, который дорожитъ своимъ мѣстомъ». Аллахъ керимъ! что это значить? Почтенный титулярный совѣтникъ не даетъ ли этимъ знать, что актёръ, который дорожилъ бы моимъ мнѣніемъ или последовалъ бы моему совѣту, вслѣдствіе своей доброй воли и своего убѣжденія, долженъ «лишиться мѣста»?... Странно!... Этотъ г. титулярный совѣтникъ что-то очень грозенъ.

Изъ послѣдующихъ пунктовъ вышесказанной челобитной видно, что она писана не столько въ обличеніе статьи г. А. Б. В., помѣщенной въ «Молву», сколько съ намѣреніемъ сдѣлать извѣтъ на меня, и въ добавокъ еще, не какъ на литератора, а какъ на человека. — «Онъ (то есть я) что-то особенно глѣздается на здѣшній театръ — вѣщаетъ г. титулярный совѣтникъ — можетъ быть, за то, что въ немъ мѣста накутся ему слишкомъ дороги». — Я не хочу здѣсь спрашивать г. титулярнаго совѣтника, какими образомъ могъ онъ

площадь продажных похвастъ и браней, что онъ сшибеть не съ одной пустой головой незаслуженныя лавры, что онъ оцѣняетъ не съ одной литературной ворони нападкныя на-
вѣины перья, что онъ сорветъ маску тинимой учености и
ининого таланта не съ одного заѣзжаго фотляра, съ барон-
скихъ гербомъ и татарскихъ прозвищемъ, пускающаго въ
глаза простодушной публикѣ шпаль шодъально патриотизма
и лавейского остроумія. Тѣмъ пріятнѣе было намъ надѣяться
всего этого отъ «Современника»; что теперь, именно теперь,
наша литература особенно нуждается въ такомъ журналѣ;
и мы думали, что еслибы самъ Пушкинъ и не принималъ въ
своемъ журналѣ слишкомъ дѣятельнаго участія, предоста-
вилъ его избраннымъ и надежнымъ сотрудникамъ, то одного
его имени, столь знаменитаго, столь народнаго, такъ слышно
отзывающагося въ души Русскія, одного имени Пушкина
достаточно будетъ для пріобрѣтенія новому журналу огром-
наго кредита съ стороны публики; а кредитъ публики дѣло
великое: съ нимъ много хорошаго можно сдѣлать талантъ,
соединенный съ любовью къ истинѣ и ревностію къ благу
общему.

И такъ, мы рѣшили не ждать второй книжки «Современ-
ника», чтобъ высказать положительныя наше о немъ мнѣніе.
И вотъ мы, наконецъ, дождались этой второй книжки — и
чтожь? — Да, ничего!... Ровно, ровнеконько ничего!... Статья
«О движеніи журнальной литературы» была хороша,

А моря не зажгла!...

Этого мало: убивъ воѣ наши журналы, она убилъ и свой
собственный. Въ «Современникѣ» участія Пушкина нѣтъ рѣ-
шительно никакого. Теперь къ нему самому идетъ шутка,
сказанная имъ же или его сотрудникомъ на счетъ г. Андро-
сова: «Современникъ» самъ похожъ на тѣ ученныя общества,
гдѣ члены ничего не дѣлаютъ и даже не бывають въ при-
сутствіи, между тѣмъ какъ президентъ является каждый день,

садится въ свое кресло и велитъ записывать протоколъ своего, уединеннаго засѣданія. Впрочемъ, это все бы ничего: остается еще духъ и направленіе журнала. Но, увы! вторая книжка вполне обнаруживаетъ этотъ духъ, это направленіе; она показала явно, что «Современникъ» есть журналъ «свѣтскій», что это петербургскій «Наблюдатель». Въ одномъ петербургскомъ журналѣ было недавно сказано, что «Современникъ» есть вторая или третья попытка (такъ же неудачная, какъ и прежнія, прибавимъ мы тутъ себя), какой-то аристократическо-мартинской партіи, которая смилется основать для себя свѣдочное мѣсто своихъ мнѣній. Мы не знаемъ и не хотимъ знать ни объ аристократическихъ, ни о какихъ другихъ партіяхъ; но намъ извѣстно, что въ нашей литературѣ есть точно какой-то свѣтскій кругъ литераторовъ, который не находитъ нигдѣ пріюта для своихъ мнѣній, которыхъ никому не нужно и даромъ, заводить журналы, чтобы толковать о себѣ и о «свѣтскости» въ литературѣ; и, по нашему счету, «Современникъ» есть уже пятая попытка въ этомъ родѣ. Мы уже нѣсколько разъ имѣли случай говорить, что въ литературѣ необходимы таланты, гены, творчество, изысканіе, ученость, а не «свѣтскость», которая только дѣлаетъ литературу мелкою, ничтожною, безсильною и, наконецъ, совершенно ее губитъ; что литература есть средство для выраженія мысли и чувства, данныхъ намъ Богомъ, а не «свѣтскости», которая очень хороша въ гостиныхъ и дѣлахъ вѣтшей жизни, но не въ литературѣ. Да, мы это повторяли очень часто и очень смѣло, потому что въ этомъ случаѣ за насъ стоялъ здравый смыслъ и общее мнѣніе. Посмотрите, что такое живые всѣхъ нашихъ «свѣтскихъ» журналовъ? Бореніе жизни съ смертію въ груди чахоточнаго. Что сказали намъ новаго объ искусствѣ, о наукѣ «свѣтскіе» журналы? Ровно ничего. Публика остается холодною и равнодушною къ этимъ жалкимъ анахронизмамъ, силащимся воскресить осьминадцатый вѣкъ; она презрительно улыбается, когда въ этихъ журналахъ съ

какимъ-то вдохновеннымъ восторгомъ уверяють, что: «человѣкъ въ сферѣ гостинной рожденный въ гостинной у себя дома; садится на кресло; кресло — онъ садится, никакъ въ свои кресла; заговорить не можетъ; боится; проговориться; что, напротивъ, ипроринципъ вѣдомка, (?) не смѣетъ присѣсть иначе; какъ на кончикъ стула». Малостивные государи, уиѣйте садиться на кресла, будьте въ гостинной, какъ у себя дома — все это прекрасно, все это дѣлаетъ вамъ большую честь; видя, съ какими искусствомъ садитесь вы на кресла, съ какою свободою любезничаютъ въ гостинной, мы готовы ружошескать вамъ, но никакъ не отпоемъ, имѣетъ все это къ литературѣ? Ужели уиѣнне садиться на кресла и свободно говорить въ гостинной, есть натеиъ на талантъ литературный или поштинскій? Ужели человекъ, уиѣющий, не принужденно себя въ кресла и свободно пересидеть изъ пустаго въ по-рожнее; больше; меньше человекъ; робко; садящийся на кончикъ стула; знаетъ объ искусствѣ, о наукѣ, глубже симпатизируетъ еиъ челоѣчествомъ; тревожище мучится въ своихъ вопросахъ о жизни, о вѣчности, о мірѣ, о тайнѣ бытия, сильнѣе страдаетъ, усерднѣе молится, тверже вѣруетъ, несожнѣннѣе надеется, пламеннѣе любитъ, благороднѣе и безкорыстнѣе дѣйствуетъ?... Малостивные государи, къ чему эти безпрестанныя цѣквашы самимъ собой за знаніе «свѣтскости», къ чему эти безпрестанныя уверенія, что вы люди «свѣтскіе»? Мы и такъ вѣримъ вамъ, склоняемся предъ вашею «свѣтскою» мудростію; вамъ и книги въ руки; не думайте, чтобы между вами и нами было что-нибудь въ родѣ зависти, въ родѣ *jalousie de metien*. Но публикѣ нужны не гувернёры, которые кричали бы ей: «*lepek-vons droit*», а поэты, а ученые, а литераторы, а критики, которые бы знакомили ее съ высшими челоѣческими потребностями и наслажденіями, руководствовали бы ее на пути просвѣщенія и эстетическаго, а не «свѣтскаго» образованія. Оглянитесь вокругъ себя повнимательнѣе: вы увидите, что и между вами, людьми «свѣт-

скими», людьми «высшаго общества», есть люди, которымъ душна балная атмосфера, ненавистенъ мишурный блескъ гостиныхъ, которые бѣгутъ отъ нихъ, чтобы въ тиши уединенія предаться мирному занятію предметами человѣческой мысли и чувства; есть люди, которые скучны въ обществѣ, не любезны съ дамами, для которыхъ уже неозвратно кончился осьмнадцатый вѣкъ, вмѣстѣ

Со славой красныхъ наблукровъ
И величавыхъ париковъ!...

Не представляетъ ли чего замѣчательнаго содержаніе второй книжки «Современника»? — Изъ трехъ стихотворныхъ піесъ замѣчательны только двѣ: «Урожай» г. Кольцова, довольно растянута въ цѣломъ, но мѣстами блестящая искорками поэзіи, да «Іоаннъ и Аристотель» барона Розена, отрывокъ изъ драмы, складомъ, ладомъ и прелестію стиховъ напоминающій «Дейдамію» Тредьяковскаго. Не угодно ли полюбоваться хоть нѣсколькими стихами?

У насъ цвѣтутъ науки и искусства;
Художниками славится нашъ край:
Италія—картинная палата,
Огромный пѣвчій хоръ, изящный строй
Разнообразныхъ веледѣльныхъ зданій.
И область стихотворства и любви.
Свою картину пишетъ живописецъ,
Пѣвецъ свой голосъ гнетъ и сыплетъ въ дробь,
Обожествляетъ женщинъ стихотворецъ, и т. д.

Такими-то ужасными виршами объясняется Аристотель съ Іоанномъ III, который отвѣчаетъ ему еще ужаснѣйшими!—Теперь о прозѣ. Здѣсь замѣчательна статья: «Записки Н. А. Дуровой, издаваемая А. Пушкинымъ». Если это мистификація, то признаемся, очень мастерская; если подлинныя записки, то занимательныя и увлекательныя до невѣроятности. Странно только, что въ 1812 году могли писать такимъ хо-

рошимъ языкомъ, и кто же еще? женщина; впрочемъ, можетъ-быть, онѣ поправлены авторомъ въ настоящее время. Какъ бы то ни было, мы очень желаемъ, чтобъ эти интересныя записки продолжали печататься. Критическихъ и полемическихъ статей пять. Между ними очень дѣльный, хотя и очень сухой, разборъ книги «Статистическое описаніе Нахичеванской провинціи» г. Золотицкаго. Но разборы «Ревизора» г. Гоголя и «Наполеона», поэмы Эдгара Кине, подписанные литерою В., должны совершенно уронить «Современника». Это разборы самые «свѣтскіе», потому что, прочтя ихъ, вы готовы сказать г. рецензенту, хотя заочно: «Милостивый государь! все, чтѣ вы говорили, очень прекрасно; но позвольте васъ спросить, о чемъ вы говорили и чтѣ хотѣли сказать?» Таковъ характеръ всѣхъ «свѣтскихъ» сужденій объ изящномъ; въ нихъ вообще замѣтно отсутствіе логики. Впрочемъ, одинъ «свѣтскій» журналъ недавно очень откровенно признался, что въ сужденіи логика только вредить, и что, поэтому, онъ не хочетъ и знать ее; такъ чего жъ вы хотите? Вообще въ этихъ статьяхъ обнаруживается самая глубокая симпатія къ московскому «свѣтскому» журналу и безпредѣльное уваженіе къ его критикѣ, чтѣ впрочемъ и неудивительно: свой своему поневолѣ брать. Странно только, что при этомъ случаѣ на «Телескопѣ» взведена небылица; сказано, будто бы какіе-то издатели «Телескопа» восклицали: «Избави насъ Боже отъ критикъ «Наблюдателя»! На это, во первыхъ, замѣтимъ, что есть издатели, напримѣръ, «Сына Отечества» и «С. Пчелы», имена которыхъ и выставляются на оберткѣ этихъ журналовъ; но у «Телескопа» былъ и есть только одинъ издатель, имя котораго должно быть извѣстно г. В. Во вторыхъ, скажемъ, что не въ «Телескопѣ», а въ «Молвѣ», были точно сказаны эти слова, но не о критикахъ «Наблюдателя», а о критикахъ князя Вяземскаго. Правду сказать, это почти одно и то же; но «Телескопъ» отмахивался отъ нихъ за публику, а совѣмъ не за себя, потому что мы, участвующіе мыслію

и сердцемъ въ «Телескопѣ», съ своей стороны, напротивъ, «любимъ иногда почитать что-нибудь забавное».

Забавнѣе всего, что «свѣтскій» критикъ «Современника», соблазнившись мыслію Скриба *), что въ литературѣ всегда отражается прошедшее, а не настоящее состояніе общества, такъ восхитился ею, что уцѣпился за нее обѣими руками, теревить ее такъ и сякъ, и прилагаетъ кстати и некстати въ русской литературѣ. Если повѣрить ему, то у насъ потому только преслѣдуютъ сатирую взяточничество, отъ Сумарокова до Гоголя, что это взяточничество было когда-то давно, только не теперь; что Ломоносовъ и Державинъ, и вслѣдъ за ними тысячи другихъ лириковъ потому только безпрестанно воспѣвали побѣды, что ихъ время было мирное, чуждое войнъ и побѣдъ... Словомъ, смѣхъ и горе... Библиографія покуда отдѣливается однѣми звѣздочками, между тѣмъ какъ осталось только двѣ книжки «Современника».

И это «Современникъ»? Что жъ тутъ современнаго? Неужели стихи барона Розена и похвалы «свѣтскимъ» людямъ, за то, что они умѣютъ хорошо садиться въ кресла и говорить въ обществѣ свободно?... И на такомъ-то журналѣ красуется имя Пушкина!...

*) Взятою изъ статьи, помѣщенной въ началѣ этой же книжки «Современника».

1838.

МОСКОВСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ.

I.

КРИТИКА.

ГАМЛЕТЪ, ПРИНЦЪ ДАТСКІЙ. *Драматическое представление. Соч. Вилліама Шекспира. Переводъ съ англійскаго Николая Полеваго. Москва. 1837.*

Всякій предметъ человѣческаго знанія имѣетъ свою теорію, которая есть сознаніе законовъ, по которымъ онъ существуетъ. Сознать можно только существующее, только то, что есть, и потому, для созданія теоріи какого-нибудь предмета, должно, чтобы этотъ предметъ, какъ данное, или уже существовалъ, какъ явленіе, или находился въ созерцаніи того, кто создаетъ его теорію. Нѣкоторые утверждаютъ, что будто въ Германіи теорія искусства предупредила само искусство, что оно было тамъ результатомъ теоріи, и что, наконецъ, такова же должна быть участь искусства и у насъ въ Россіи. Мысль, очевидно, ложная, не входя въ дальнія разсужденія, ее можно опровергнуть самыми фактами. Въ Германіи, эстетика, будучи многимъ обязана поэту Шиллеру, обязана еще болѣе философамъ Шеллингу и Гегелю, изъ которыхъ первый еще живъ, тогда какъ уже не осталось въ живыхъ ни одного изъ великихъ ея поэтовъ, ни представителя ихъ Гёте. И не могло быть иначе, потому что если сознаніе предмета не дается самимъ этимъ предметомъ, то пробуждается имъ. Теперь, что бы могло возбудить въ Нѣмцахъ стремленіе къ сознанію изящнаго, если у нихъ еще не было образцовъ изящнаго? — Искусство древнихъ! Но интересу, который должно было возбудить въ нихъ древнее искусство, долженъ былъ предшествовать интересъ, возбужденный къ своему родному искусству. Понимать древнее искусство можно только объек-

тивно, а объективности непременно должна предшествовать субъективность, иначе эта объективность будетъ уродливая, бесплодная. Примѣръ Французовъ лучше всего доказываетъ эту истину: не имѣя своей литературы, они имѣли понятіе о греческой, хотя и не понимали ея; захотѣли свою создать по ея образцу — и вышла нелѣпость. Вся ошибка въ томъ, что они поняли греческую литературу субъективно, т. е. поняли ее какъ Французы и поняли ее какъ бы свою, французскую литературу, а не объективно, т. е. не такъ, какъ бы должны были Французы понять чужую литературу, въ духѣ и жизни того народа, которому она принадлежала.

Мы могли бы привести и еще много доказательствъ и примѣровъ, что теорія всего того, чего нѣтъ, что не существуетъ, не имѣетъ цѣны, достоинства—даже мыльнаго пузыря. Если же предметъ теоріи находится, какъ данное, только въ созерцаніи автора теоріи, то какъ бы ни вѣрно было его созерцаніе, его теорія будетъ понятна только для одного его. Въ обоихъ случаяхъ отсутствіе предмета теоріи уничтожаетъ возможность всякой теоріи. Если у иностранцевъ есть превосходные переводы—нашей публикѣ отъ этого не легче, и тайна переводовъ на русскій языкъ для нея должна остаться тайною до тѣхъ поръ, пока какой-нибудь талантливый переводчикъ самымъ дѣломъ не покажетъ, какъ должно переводить съ того или другаго языка, того или другаго поэта. Жуковский давно уже показалъ, какъ должно переводить Шиллера (особенно переводомъ «Орлеанской Дѣвы») и Байрона (переводомъ «Шильонскаго Узника»). Теперь это вопросъ рѣшенный; дорога проложена, и продолжателямъ предоставлена возможность даже дальнѣйшихъ успѣховъ. Но въ литературѣ нашей возникъ новый вопросъ, и уже давно: вопросъ — какъ должно переводить Шекспира? Г. Вронченко первый началъ переводить Шекспира съ подлинника; онъ перевелъ «Гамлета» вполне, безъ всякихъ перемѣнъ, но вопросъ остался нерѣшеннымъ; г. Якимовъ перевелъ «Лира» и «Ве-

неціянскаго Купца»—и вопросъ еще больше запутался; между этими двумя переводами былъ данъ на сценѣ переводъ (прозою) «Венеціянскаго Купца»; Шейлока игралъ Щепкинъ и игралъ превосходно, а вопросъ все-таки ни на шагъ не подвинулся рѣшеніемъ. Теперешній переводчикъ «Гамлета» написалъ статью о томъ, какъ должно переводить Шекспира,—но вопросъ по прежнему оставался вопросомъ. Явился «Гамлетъ» на московской сценѣ, и вопросъ рѣшенъ.

Прежде, нежели будемъ говорить о переводѣ, мы должны сказать, что нисколько не почитаемъ этого перевода, совершеннымъ переводомъ, или чудомъ, фениксомъ переводовъ. Нѣтъ! Во первыхъ, въ немъ много недостатковъ, и недостатковъ важныхъ; во вторыхъ, мы очень понимаемъ, какъ можетъ быть лучший и лучший переводъ «Гамлета». Переводъ г. Полеваго—прекрасный, поэтическій переводъ; а это уже большая похвала для него и большое право съ его стороны на благодарность публики. Но есть еще не только поэтическіе, но и художественные переводы, и переводъ г. Полеваго не принадлежитъ къ числу такихъ. Повторяемъ: его переводъ поэтическій, но не художественный; съ большими достоинствами, но и съ большими недостатками. Но даже и не въ этомъ заслуга г. Полеваго: его переводъ имѣлъ полный успѣхъ, далъ Мочалову возможность выказать всю силу своего гигантскаго дарованія, утвердилъ «Гамлета» на русской сценѣ. Вотъ въ чемъ его заслуга, и мы заранѣе отказываемся отъ всякаго спора съ тѣми людьми, которые не захотѣли бы видѣть въ этомъ великой заслуги, и литературѣ, и сценѣ, и дѣлу собственнаго образованія. Не будь переводъ г. Полеваго даже поэтическимъ, но имѣй такой же успѣхъ—мы и тогда смотрѣли бы на него, какъ на дѣло великой важности. Можетъ-быть, намъ возразятъ, что, безъ поэтическаго достоинства, переводъ и не могъ бы имѣть никакого успѣха; съ этимъ мы согласны.

Утвердить въ Россіи славу имени Шекспира, утвердить и распространить ее не въ одномъ литературномъ кругу, но во

всемъ читающемъ и посѣщающемъ театръ обществѣ; опровергнуть ложную мысль, что Шекспиръ не существуетъ для новѣйшей сцены, и доказать, напротивъ, что онъ-то преимущественно и существуетъ для нея—согласитесь, что это заслуга, и заслуга великая!

Правило для перевода художественныхъ произведеній одно, передать духъ переводимаго произведенія, чего нельзя сдѣлать иначе, какъ передавши его на русскій языкъ такъ, какъ бы написалъ его по-русски самъ авторъ, еслибы онъ былъ русскимъ. Чтoby такъ передавать художественныя произведенія, надо родиться художникомъ.

Въ художественномъ переводѣ не допускается ни выпусковъ, ни прибавокъ, ни измѣненій. Если въ произведеніи есть недостатки—и ихъ должно передать вѣрно. Цѣль такихъ переводовъ есть—замѣнить по возможности подлинникъ для тѣхъ, которымъ онъ недоступенъ по незнанію языка, и дать имъ средство и возможность наслаждаться имъ и судить о немъ.

Съ такою цѣлю перевелъ г. Вронченко «Гамлета» и «Макбета» Шекспира. Но ни въ томъ, ни въ другомъ переводѣ онъ не достигнулъ своей цѣли. Не говоря о другихъ причинахъ, главною причиною этого неуспѣха было то, что Шекспиръ еще недоступенъ для большинства нашей публики въ настоящемъ своемъ видѣ; чтo въ немъ понятно и извинительно для любителя искусства, посвятившаго себя его изученію, то не понятно и не извинительно въ глазахъ большинства.

Такъ какъ переводы дѣлаются не для нѣсколькихъ чловѣкъ, а для всей читающей публики, и такъ какъ сцена должна дѣйствовать не на одинъ партеръ и первые ряды ложъ, а на весь амфитеатръ, то переводчикъ долженъ строго сообразоваться со вкусомъ, образованностію, характеромъ и требованіями публики. Вслѣдствіе этого, перевода Шекспира для чтенія публики, онъ не только имѣетъ право, но еще и долженъ выкидывать все, чтo не понятно безъ коммента-

рій, что принадлежит собственно вѣку писателя, словомъ, для легкаго уразумѣнія чего нужно особенное изученіе. Переводя же драму Шекспира для сцены, онъ тѣмъ болѣе обязывается къ такимъ выпускамъ, прибавкамъ и перемѣнамъ, чѣмъ разнообразіе публика, для которой онъ трудится. И ученому непріятно слышать на сценѣ такія слова и фразы, для которыхъ нужны комментаріи; что жъ должно сказать, въ этомъ отношеніи, о простыхъ любителяхъ театра, изъ которыхъ многіе въ первый разъ въ жизни слышатъ имя Шекспира? Сверхъ того, не все то говорится въ обществѣ, что читается въ тиши кабинета; не все то можетъ читать дѣвушка и вообще женщина, что позволительно читать мужчинѣ; это правило должно быть закономъ для піесъ, даваемыхъ на театрѣ.

Безъ такихъ переводовъ невозможны художественные, полные переводы драмъ Шекспира, потому что они скорѣе вредятъ цѣли, нежели способствуютъ ей. Еслибы искаженіе Шекспира было единственнымъ средствомъ для ознакомленія его съ нашею публикою, — и въ такомъ случаѣ не для чего бы было церемониться; искажайте смѣло, лишь бы успѣхъ оправдалъ ваше намѣреніе: когда двѣ, три и даже одна піеса Шекспира, хотя бы и искаженная вами, упрочила въ публикѣ авторитетъ Шекспира и возможность лучшихъ, полнѣйшихъ и вѣрнѣйшихъ переводовъ той же самой піесы, вы сдѣлали великое дѣло, и ваше искаженіе или передѣлка въ тысячу разъ достойнѣе уваженія, нежели самый вѣрный и добросовѣстный переводъ, если, онъ, несмотря на всѣ свои достоинства, болѣе повредилъ славѣ Шекспира, нежели распространилъ ее.

Иногда въ литературѣ являются особеннаго рода дѣятели: имѣютъ безконечное вліяніе на свое время и не производятъ ничего, что бы пережило даже ихъ самихъ. Обыкновенно такіе люди отличаются дѣятельностію многостороннею и разнообразною; ни въ чемъ не обнаруживаютъ рѣшительнаго ге-

нія, или даже и сильнаго таланта, и ко всему показываютъ большую способность; не принадлежать ни къ какому предмету знанія или дѣятельности исключительно, и берутся за всѣ и во всѣхъ успѣвають. Обыкновенно, чѣмъ блестяще бывають ихъ успѣхи, тѣмъ они кратковременнѣе.

Но обратимся къ переводамъ Шекспира. Мы сказали, что ихъ должно быть два рода: одинъ, имѣющій цѣлю по возможности замѣненіе подлинника и въ художественномъ, и въ историческомъ, и въ литературномъ отношеніяхъ; другой, имѣющій цѣлю ознакомленіе публики съ великимъ драматургомъ. Переводъ «Гамлета» г. Полеваго принадлежитъ къ этому второму разряду переводовъ.

Въ 1828 году вышелъ переводъ «Гамлета» г. Вронченки, человѣка, страстно любящаго Шекспира и обладающаго талантомъ поэзіи. Этихъ двухъ качествъ должно бѣ быть достаточно для удачнаго перевода, но переводъ не имѣлъ никакого успѣха. Впрочемъ, трудъ г. Вронченки достоинъ высокаго уваженія: онъ многимъ далъ возможность познакомиться съ Шекспиромъ; говоря о неудачѣ, мы разумѣемъ публику. Этому были три причины: первая—переводъ былъ полный, безъ всякихъ измѣненій; вторая—переводъ былъ вѣрный въ буквальномъ значеніи, почти подстрочный, почему и не переданъ духъ этого великаго созданія; третья—не говоря о томъ, что буквальная точность связывала слогъ переводчика,—его понятіе о языкѣ и слогѣ довершили неудачу перевода. Спѣшимъ объяснить. Еслибы мы видѣли въ г. Вронченкѣ человѣка, взявшагося не за свое дѣло, мы не стали бы и говорить о его переводѣ, какъ о вещи, нестѣящей вниманія и уже старой. Но многія, прекрасно переданныя мѣста и вообще всѣ безъ исключенія лирическія мѣста, въ которыхъ г. Вронченко вполне уловилъ могучую поэзію Шекспира, доказываютъ намъ, что переводить Шекспира — его дѣло; но что только ложное понятіе о близости перевода и о русскомъ слогѣ лишили его успѣха на поприщѣ, которое

онъ избралъ съ такою любовію. Мы не говоримъ о томъ, что онъ не такъ понялъ «Гамлета», какъ должно, что видно изъ его предисловія, гдѣ онъ доказываетъ, что Шекспиръ имѣлъ какую-то моральную цѣль: поэты часто ошибочно выговариваютъ то, что глубоко и вѣрно понимаютъ безсознательно. И такъ это въ сторону.

Близость къ подлиннику состоитъ въ переданіи не буквы, а духа созданія. Каждый языкъ имѣетъ свои, одному ему принадлежащіе средства, особенности и свойства, до такой степени, что для того, чтобы передать вѣрно иной образъ или фразу, въ переводѣ иногда ихъ должно совершенно измѣнить. Соотвѣтствующій образъ, такъ же, какъ и соотвѣтствующая фраза, состоятъ не всегда въ видимой соотвѣтственности словъ: надо, чтобы внутренняя жизнь переводнаго выраженія соотвѣтствовала внутренней жизни оригинальнаго. Кажется, что бы могло быть ближе прозаическаго перевода, въ которомъ переводчикъ нисколько не связанъ, а между тѣмъ прозаическій переводъ есть самый отдаленный, самый невѣрный и неточный, при всей своей близости, вѣрности и точности. Возьмите переводъ Гизо и сравните его хоть съ переводомъ г. Вронченки, и вы увидите, что между ними такая разница, какъ будто бы это были переводы двухъ различныхъ сочиненій. Во французскомъ прозаическомъ переводѣ совершенно утраченъ этотъ букетъ, который составляетъ жизнь всякаго изящнаго произведенія, и безъ котораго оно похоже на выдохшееся вино: по его вкусу и цвѣту можно узнать только то, къ какому сорту принадлежало оно нѣкогда *).

Въ нашей литературѣ возникъ уже давно вопросъ о словахъ: сей, оный, ибо, таковый и тому подобныхъ, которыя одними почитаются необходимостію русской рѣчи, а другими—

*) Впрочемъ тутъ есть еще и другая причина: французскій языкъ, этотъ бѣдный, жалкій языкъ, имѣетъ необыкновенную способность опошлять все, что не водевиль или не громкія фразы.

ея уродствомъ и искаженіемъ. Оставляя въ сторонѣ рѣшеніе этого вопроса, какъ не идущее къ дѣлу, мы замѣтимъ только, что въ драматическихъ произведеніяхъ эти слова всѣми единодушно признаны негодными къ употребленію, потому что они не употребляются въ разговорной рѣчи, а драматическій слогъ есть по преимуществу разговорный. Г. Вронченко пользовался ими съ излишнею расточительностію. Потомъ, признано всѣми за непреложную истину, что драматическій языкъ, какъ языкъ разговорный, долженъ быть въ высшей степени естественъ, т. е. отрывистъ, чуждъ вводныхъ предложений, чистъ, простъ, коротокъ, ясенъ, понятенъ безъ напряженія. Не менѣе того согласны всѣ и въ томъ, что стихотворный языкъ, точно такъ же, какъ и прозаическій, долженъ быть правиленъ грамматически, вѣренъ своему духу, свободенъ, развязенъ, чуждъ вычурныхъ книжныхъ оборотовъ.

Каково читать, не только слышать со сцены, такіе стихи, какъ вотъ слѣдующіе? —

Такъ робкими творить всегда насъ совѣсть;
Такъ яркій въ насъ рѣшимости румянецъ
Подъ тѣнію тускнѣетъ размышленья,
И замысловъ отважные порывы,
Отъ сей препоны уклоняя бѣгъ свой,
Имень дѣяній не стяжаютъ.

Въ переводѣ г. Полеваго эта мысль выражена такъ:

Ужасное созданье робкой думы!
И яркій цвѣтъ могучаго рѣшенья
Блѣднѣетъ передъ мракомъ размышленья,
И смѣлость быстрого порыва гибнетъ,
И мысль не переходитъ въ дѣло.

То ли это? А въ чемъ же разница?—Въ томъ, что у одного языкъ книжный, а у другаго живой, разговорный.

Уснуť?—Но сповидѣнья?—Вотъ препона;
Какія будутъ въ смертномъ снѣ мечты,
Когда мятежную мы свергнемъ брѣнность.
О томъ помыслить должно!

Что за слово препона? Кто употребляетъ его въ разговорѣ? Зачѣмъ, скажите ради Бога, должно помыслить, а не подумать? Развѣ потому, что въ трагедіи требуется высокій, а не средній, и не низкій слогъ?—Но, во первыхъ, Шекспиръ писалъ драмы, а не трагедіи, а во вторыхъ, онъ не читалъ русскихъ риторикъ и не вѣрилъ раздѣленію слога на высокій, средній и низкій. Для него существовалъ одинъ слогъ—слогъ души человѣческой на всѣхъ ступеняхъ ея развитія и во всѣхъ моментахъ ея жизни. Шекспиръ не гнушался никакими словами: для чистаго, все чисто; резонёрство, чопорность и щепетильность нужны только для Тартюфовъ.

Здѣсь тонкостей нѣтъ вовсе, королева.
Что онъ помѣшанъ—правда; такая правда,
Что жаль его, и жаль, что это правда;
Престранная фигура? Ну, да Богъ съ ней!
Здѣсь тонкостей не нужно. Онъ помѣшанъ,
Сказали мы, теперь въ чемъ дѣло? Должно
Найти сего причину дѣйства; дѣйства,
Иль правильнѣй сказать, сего бездѣйства
Души и тѣла, ибо на сіе
Бездѣйственное дѣйство есть причина, и т. д.

Конечно, Полоній хотѣлъ говорить ученымъ слогомъ и потому могъ употреблять ибо, но сіи дѣйства и бездѣйства—это ужъ верхъ учености въ языкѣ. Сравните тотъ же монологъ въ переводѣ г. Полеваго—опять то же, да не то; какъ-то больше жизни, свободы, непринужденности, словомъ — разговорности.

Этихъ выписокъ довольно для показанія недостатковъ перевода г. Вронченки и поясненія причины его неуспѣха; скоро покажемъ мы его достоинства, — но прежде перейдемъ къ переводу г. Полеваго.

Языкъ правильный, въ высшей степени разговорный, сообразный съ каждымъ дѣйствующимъ лицомъ, сверхъ того, языкъ живой, согрѣтый, проникнутый огнемъ поэзіи: вотъ главное достоинство этого перевода. Въ отношеніи къ простотѣ, естественности, разговорности и поэтической безыскусственности, этотъ переводъ есть совершенная противоположность переводу г. Вронченки. Перечтите сцену съ матерью: сколько огня, силы, энергіи, сжатости, и какая отрывистость, простота! Не тотъ ли это языкъ, который вы ежедневно слышите около себя и которымъ вы ежедневно сами говорите?— А между тѣмъ, это языкъ высокой поэзіи, поэтическое выраженіе одного изъ самыхъ поэтическихъ моментовъ духа глубокаго человѣка! Да, актёру можно вполнѣ одушевиться отъ такой роли и такъ переданной; онъ будетъ чувствовать, что говоритъ не фразы, а слова страсти, и не запнется ни на одномъ словѣ, которое бы могло охолодить его своею изысканностію или неловкостію. При другомъ переводѣ, ни драма, ни Мочаловъ не могли бы имѣть такого успѣха. Мы понимаемъ, почему почтенный переводчикъ почти всѣ знаки препинанія замѣнилъ однимъ тире: въ разговорной и безыскусственной рѣчи нѣтъ риторической округленности, при которой одной возможна правильная и точная пунктуация.

Страшно,
За человѣка страшно мнѣ!

Такъ оканчивается дивный монологъ. «А вотъ они, вотъ два портрета» и это окончаніе принадлежитъ самому переводчику; но его и самъ Шекспиръ принялъ бы, забывшись, за своё: такъ оно идетъ тутъ, такъ оно въ духѣ его. Да, оно вполнѣ выражаетъ это состояніе души человѣка, вникающаго въ себя, вышедшаго изъ органическаго полнаго самоощущенія жизни, разбирающаго, анализирующаго всякое свое чувство, всякое свое ощущеніе, всякую свою мысль! И это очень понятно; переводчикъ вошелъ въ духъ Шекспира, освоился,

свылся душою съ жизнію лицъ его драмы, и у него сорвалось Шекспировское выраженіе.—Да, мы глубоко понимаемъ, какъ это возможно; это совсѣмъ не то, что, переведши прекрасно драму Шекспира, вообразить себя драматикомъ и начать писать свои драмы, безъ призванія, безъ генія художническаго...

Въ переводѣ г. Полеваго вездѣ видна свобода, видно, что онъ старался передать духъ, а не букву. Поэтому, иногда отдаляясь отъ подлинника, онъ этимъ самымъ вѣрно выражаетъ его, въ этомъ и заключается тайна переводовъ.

Но мы слишкомъ далеки отъ того, чтобы почитать переводъ г. Полеваго совершеннымъ: нѣтъ, въ немъ много недостатковъ, и очень важныхъ. Вообще г. Полевой болѣе перевелъ «Гамлета» для сцены, нежели передалъ его: передать значить замѣнить подлинникъ, сколько это возможно. Онъ торопился, переводилъ его наскоро, между множествомъ другихъ дѣлъ, а Шекспиръ требуетъ глубочайшаго изученія, всей любви, всего вниманія, совершеннаго погруженія въ себя. Отъ этого въ переводѣ г. Полеваго ослаблено много этихъ оттѣнковъ, этихъ чертъ, которыя не важны только для поверхностнаго взгляда, но составляютъ всю сущность поэтическаго созданія. Укажемъ, для доказательства, на нѣкоторыя мѣста, принимая переводъ г. Вронченки за самый вѣрный въ буквальномъ смыслѣ; въ томъ превосходномъ монологѣ, которымъ заключается второй актъ, и въ которомъ, по уходѣ актеровъ, Гамлетъ упрекаетъ себя за недостатокъ силы для мщенія, у г. Вронченко онъ говоритъ:

Сего я стою: мягкосердый голубь,
Я не имѣю жолчи, и обиды
Мнѣ не горька.

Въ этихъ словахъ весь Гамлетъ. У г. Полеваго это совсѣмъ выпущено.

Равнымъ образомъ у него ослаблена сцена сумасшествія Офеліи.

Его опустили въ сырую могилу,
Въ сырую, сырую могилу!

Какъ идетъ этотъ припѣвъ къ оборотамъ колеса въ самоприпѣвъ!

Такъ говоритъ у г. Вронченки безумная Офелія, и эти слова глубоко выражаютъ энергическую дикость ея сумасшествія. У г. Полеваго это выпущено.

полоній. Какъ это длинно.

гамлетъ. Какъ твоя борода: не худо и то и другое отправить къ брадобрѣю (къ цирюльнику, говоря среднимъ или низкимъ слогомъ). Продолжай, другъ мой! Онъ засыпаетъ, если не слышитъ шутокъ, или непристойностей.

Послѣднее выраженіе Гамлета характеризуетъ Полонія; въ переводѣ г. Полеваго выпущено.

Супругъ столь нѣжный! Онъ небеснымъ вѣтрамъ
Претилъ дуть сильно на лицо супруги!
Земля и небо! должно ли припомнить?
И обладанье, мнилось, умножало
Въ ней обладанья жажду!

Такъ говоритъ Гамлетъ о любви своего покойнаго отца къ своей женѣ, а его матери; въ переводѣ г. Полеваго это прекрасное мѣсто ослаблено.

О еслибъ

Я властенъ былъ открыть тебѣ всѣ тайны
Моей темницы! Лучшее бы слово
Сей повѣсти тебѣ взорвало сердце,
Оледенило кровь, и оба глаза,
Какъ звѣзды, исторгнуло изъ мѣсть ихъ,
И распрямивъ твои густыя кудри,
Поставило бъ отдѣльно каждый волосъ
Какъ гнѣвнаго щетину дикобраза!

Это говоритъ Гамлету тѣнь отца, въ переводѣ г. Вронченка, и какомъ переводѣ! уже не только поэтическомъ, но и художественномъ. Г. Полевой перевелъ это мѣсто совсѣмъ не такъ. Вообще, тамъ, гдѣ драматизмъ переходитъ въ ли-

ризмъ и требуетъ художественныхъ формъ, съ г. Вронченкомъ невозможно бороться.

Г. Полевой сдѣлалъ много выпусковъ: онъ исключилъ непристойности, каламбуры, непонятные намеки, укоротилъ по возможности роли тѣхъ актёровъ, отъ которыхъ нельзя было ожидать хорошаго выполненія; словомъ, онъ въ переводѣ сообразовался и съ публикою, и съ артистами, и со сценою. Это хорошо; но мы не понимаемъ причины выпуска нѣсколькихъ прекрасныхъ мѣстъ. Превосходнѣйшая сцена пятаго акта, на могилѣ Офеліи, не только ослаблена — искажена, а послѣдній, многозначительный монологъ Гамлета совсѣмъ выпущенъ; видно, что почтенный переводчикъ спѣшилъ окончаніемъ.

Что касается до пѣсенъ Офеліи и вообще всѣхъ лирическихъ мѣстъ, то, повторяемъ, г. Вронченко передалъ ихъ не только поэтически, но и художественно.

Заключаемъ: переводъ «Гамлета» есть одна изъ самыхъ блестящихъ заслугъ г. Полеваго русской литературѣ. Дѣло сдѣлано — дорога арены открыта, борцы не замедлятъ. Что нужно, что онъ въ нихъ найдетъ, можетъ — быть, опасныхъ соперниковъ, кипящихъ свѣжею силою юности, не гостей, но уже хозяевъ на свѣтломъ пиру современности! Мы увѣрены, что онъ первый и отъ всего сердца пожелаетъ имъ побѣды!

ПОЛНОЕ СОВРАНИЕ СОЧИНЕНІЙ Д. И. ФОНЪ-ВИ-
ЗИНА. *Изданіе второе. Москва. 1838.*

ЮРІЙ МИЛОСЛАВСКІЙ, ИЛИ РУССКІЕ ВЪ 1612 г.
Соч. М. Заюскина. Изданіе пятое. 1838.

Многимъ, не безъ основанія, покажется страннымъ соединеніе въ одной критической статьѣ произведеній двухъ писателей различныхъ эпохъ, съ различнымъ направленіемъ талантовъ и литературной дѣятельности. Мы имѣемъ на это

причины, изложеніе которыхъ и должно составить содержаніе этой первой статьи. Двѣ вторыя будутъ содержать самый разборъ сочиненій *).

Начинаемъ ее повтореніемъ много уже разъ повторенной нами мысли, что всякій успѣхъ всегда необходимо основывается на заслугѣ и достоинствѣ, хотя неуспѣхъ не только не всегда есть доказательство отсутствія достоинства и силы, но еще иногда и служить явнымъ доказательствомъ того и другаго. Въ свое время и «Иванъ Выжигинъ» имѣлъ необыкновенный успѣхъ, и строгіе критики, вмѣсто того, чтобы хладнокровно изслѣдовать причину такого явленія, поспѣшили сдѣлать опрометчивое заключеніе, что всякое литературное произведеніе, раскупленное въ короткое время и въ большомъ числѣ экземпляровъ, непременно дурно, потому что понравилось толпѣ. Толпа!—но вѣдь толпа раскупала и Байрона, и Вальтеръ-Скотта, и Шиллера, и Гёте; толпа же, въ Англіи, ежегодно празднуетъ день рожденія своего великаго Шекспира. Въ сужденіяхъ надо избѣгать крайностей... Всякая крайность истинна, но только какъ одна сторона, отвѣченная отъ предмета; полная истина только въ той мысли, которая объемлетъ всѣ стороны предмета и, самообладая собою, не даетъ себѣ увлечься ни одною исключительно, но видитъ ихъ всѣ въ ихъ конкретномъ единствѣ. И потому, видя передъ собою успѣхъ Байрона, Вальтеръ - Скотта, Шиллера и Гёте, не забудемъ Мильтона, при жизни своей отвергнутаго толпою, а слишкомъ чрезъ столѣтіе превознесеннаго ею; вспомнимъ мническаго старца Омира, безпріютнаго странника при жизни и кумира тысячелѣтій. Теперь намъ слѣдовало бы перечестъ всѣ эти славы и знаменитости, при жизни ихъ превознесенныя, и по смерти забытыя, но... реестръ былъ бы длиненъ до утомительности. Вмѣсто этого безконечнаго изчисленія мы лучше скажемъ, что не только не должно отзываться съ пре-

*) Эти двѣ вторыя если и были написаны, то не были напечатаны.

зрѣніемъ объ этихъ недолговѣчныхъ и даже эфемерныхъ славахъ и знаменитостяхъ, но еще должно съ любопытствомъ и вниманіемъ изучать ихъ. Если вы въ какой-нибудь деревенькѣ найдете брадатаго Одиссея, который вертитъ общимъ мнѣніемъ и владычествуетъ надъ всѣми не начальническою властію, а только своимъ непосредственнымъ вліяніемъ, авторитетомъ своего имени—это явный знакъ, что этотъ брадатый Улиссъ есть выраженіе, представитель этой маленькой толпы, которую вы можете узнать и опредѣлить по немъ, въ силу пословицы «каковъ попъ, таковъ и приходъ». Эта истина тѣмъ разительнѣе въ высшихъ сферахъ и въ обширнѣйшихъ кругахъ жизни, что въ нихъ пріобрѣтеніе авторитета несравненно труднѣе. Что бы вы ни говорили, а человѣкъ, умственные труды котораго читаются цѣлымъ обществомъ, цѣлымъ народомъ, есть явленіе важное, вполне достойное изученія. Какъ бы ни кратковременна была его сила, но если она была — значитъ, что онъ удовлетворилъ современной, хотя бы то было и мгновенной, потребности своего времени, или, по крайней мѣрѣ, хоть одной сторонѣ этой потребности. Слѣдовательно, по немъ вы можете опредѣлить моментальное состояніе общества, или хотя одну его сторону. Теперь никто не станетъ восхищаться не только трагедіями Сумарокова, но даже и Озерова, а между тѣмъ оба эти писателя навсегда останутся въ исторіи русской литературы. Сумароковъ, своими трагедіями, далъ возможность для учрежденія въ Россіи театра на прочномъ основаніи, т. е. на охотѣ публики къ театру. Скажутъ: «что за заслуга быть первымъ только по счету? это сдѣлалъ бы всякій». Очень хорошо, но кромѣ Сумарокова этого никто не сдѣлалъ, хотя были трагики и кромѣ него. Херасковъ въ свое время пользовался огромнымъ авторитетомъ и написалъ множество трагедій и слезныхъ драмъ, но имъ, равно какъ и трагедіямъ Ломоносова, всегда предпочитались трагедіи Сумарокова. И тотъ же Херасковъ торжествовалъ надъ всѣми своими со-

пернигами, какъ эпикъ. Водевиль Аблесимова «Мельникъ» и комедіи Фонъ-Визина убили, въ свою очередь, всѣ комическія знаменитости, включая сюда и Сумарокова. Вспомнимъ также высокое уваженіе современниковъ къ «Ябедѣ» Капниста, теперь совершенно забытой комедіи. Наконецъ явился Озеровъ, — и слава Сумарокова, какъ трагика, была уничтожена, потому что поддерживалась только отсталыми. Значить: общество живо симпатизировало всѣмъ этимъ людямъ, а если такъ, значить: эти люди угадали потребности своего времени и удовлетворили имъ, чего они не могли бы сдѣлать, еслибы сами они не были выраженіемъ духа своего времени, представителями своихъ современниковъ. А это значить — занимать въ обществѣ высокое мѣсто. Что успѣхъ этихъ людей нисколько не ручается за ихъ художническое призваніе — объ этомъ нечего и говорить: ранняя смерть отрицаетъ поэтический талантъ; но что это не были люди ничтожные, бездарные, принимая слово «дарованіе» не въ одномъ художническомъ значеніи — это также ясно. И вотъ точка зрѣнія, съ которой всѣ эти люди имѣютъ важное значеніе, достойное всякаго вниманія. И въ ихъ время было много плодovitыхъ бездарностей, но эти бездарности никогда не пользовались ни славой, ни извѣстностію. Не нужно говорить, что и въ эфемерной славѣ есть свои градаціи — это разумѣется само собою: главное дѣло въ томъ, что нѣтъ явленія безъ причины, нѣтъ успѣха не по праву, и что всякое явленіе и всякій успѣхъ, выходящій изъ предѣловъ повседневной обыкновенности, заслуживаютъ вниманіе. Было въ Россіи время — мы помнимъ его, хотя, кажется, и отдѣлены отъ него какъ будто цѣлымъ вѣкомъ, — было время, когда всѣмъ наскучило читать въ романахъ только иноземныя похожденія и захотѣлось посмотреть на свои родныя. И вотъ является романъ, герои котораго называются русскими фамиліями, по имени и отчеству, мѣсто дѣйствія въ Россіи, обычаи, условія общественнаго быта какъ будто русскіе. Конечно, все это было

русскимъ только по именамъ лицъ и мѣсть, и по увѣреніямъ автора; но на первыхъ порахъ показалось для всѣхъ русскимъ на самомъ дѣлѣ, и было принято за русское. Тутъ еще была и другая причина: романъ былъ нравоописательный и сатирический, и главная нападка въ немъ была устремлена на лихонство. Этому были обязаны своимъ успѣхомъ многія сочиненія Сумарокова, Нахимова и «Ябеда» Капниста. Сверхъ того, романъ хотя былъ произведеніемъ иноплеменика, но отличался правильнымъ, чистымъ и плавнымъ русскимъ языкомъ, — достоинство, которымъ могли хвалиться не многіе и изъ русскихъ писателей, даже пользовавшихся большою извѣстностію. Вотъ вамъ и причина успѣха романа. Если онъ и теперь имѣетъ еще свою публику, и то не даромъ, а за дѣло. Какъ неправы люди, которые нѣкогда истощали свое остроуміе надъ романами А. А. Орлова: у него была своя публика, которая находила въ его произведеніяхъ, то, чего искала и требовала для себя, и въ извѣстной литературной сферѣ онъ одинъ, между множествомъ, пользовался истинною славою, заслуженнымъ авторитетомъ.

Всякій народъ есть нѣчто цѣлое, особое, частное и индивидуальное; у всякаго народа своя жизнь, свой духъ, свой характеръ, свой взглядъ на вещи, своя манера понимать и дѣйствовать. Въ нашей литературѣ теперь борются два начала — французское и нѣмецкое. Борьба эта началась уже давно, и въ ней-то выразилось рѣзкое различіе направленія нашей литературы. Разумѣется, что намъ такъ же къ не лицу идти быть Нѣмцами, какъ и Французами, потому что у насъ есть своя національная жизнь — глубокая, могучая, оригинальная, но назначеніе Россіи есть — принять въ себя всѣ элементы не только европейской, но міровой жизни, на что достаточно указываетъ ея историческое развитіе, географическое положеніе и самая многосложность племенъ, вошедшихъ въ ея составъ и теперь перекаляющихся въ горнилахъ великорусской жизни, которой Москва есть средоточіе и сердце, и приобщающихся къ ея сущности. Разумѣется, принятіе эле-

ментовъ всемірной жизни не должно и не можетъ быть механическимъ или эклектическимъ, какъ философія Кузена, сшитая изъ разныхъ лоскутковъ, а живое, органическое, конкретное: — эти элементы, принимаясь русскимъ духомъ, не остаются въ немъ чѣмъ-то постороннимъ и чуждымъ, но перерабатываются въ немъ, преобразуются въ его сущность, и получаютъ новый, самобытный характеръ. Такъ въ живомъ организмѣ разнообразная пища, процессомъ пищеваренія, обращается въ единую кровь, которая животворитъ единый организмъ. Чѣмъ многосложнѣе элементы, тѣмъ богатѣе жизнь. Неуловимо безконечны стороны бытія, и чѣмъ болѣе сторонъ выражаетъ собою жизнь народа — тѣмъ могучѣе, глубже и выше народъ. Мы, Русскіе — наследники цѣлаго міра, не только европейской жизни, и наследники по праву. Мы не должны и не можемъ быть ни Англичанами, ни Французами, ни Нѣмцами, потому что мы должны быть Русскими; но мы возьмемъ, какъ свое, все, что составляетъ исключительную сторону жизни каждаго европейскаго народа, и возьмемъ ее — не какъ исключительную сторону, а какъ элементъ для пополненія нашей жизни, исключительная сторона которой должна быть многосторонностью, не отвлеченная, а живая, конкретная, имѣющая свою собственную народную фizioномію и народный характеръ. Мы возьмемъ у Англичанъ ихъ промышленность, ихъ универсальную практическую дѣятельность, но не сдѣлаемся только промышленниками и дѣловыми людьми; мы возьмемъ у Нѣмцевъ науку, но не сдѣлаемся только учеными; мы уже давно беремъ у Французовъ моды, формы свѣтской жизни, шампанское, усовершенствованія по части высокаго и благороднаго повареннаго искусства; давно уже учимся у нихъ любезности, ловкости свѣтскаго обращенія; но пора уже перестать намъ брать у нихъ то, чего у нихъ нѣтъ: знаніе, науку. Ничего нѣтъ вреднѣе и нелѣпѣе, какъ не знать, гдѣ чѣмъ можно пользоваться.

Вліяніе Нѣмцевъ благотворительно на насъ во многихъ отно-

шеніяхъ—и со стороны науки и искусства, и со стороны духовно-нравственной. Не имѣя ничего общаго съ Нѣмцами въ частномъ выраженіи своего духа, мы много имѣемъ съ ними общаго въ основѣ, сущности, субстанціи нашего духа. Съ Французами мы находимся въ обратномъ отношеніи: хорошо и охотно сходясь съ ними въ формахъ общественной (свѣтской) жизни, мы враждебно противоположны съ ними по сущности (субстанціи) нашего національнаго духа.

Мы начали съ того, что у каждаго народа, вслѣдствіе его національной индивидуальности, свой взглядъ на вещи, своя манера понимать и дѣйствовать. Это всего разительнѣе видно въ абсолютныхъ сферахъ жизни, къ которымъ принадлежитъ и искусство. Понятія объ искусствѣ, равно какъ и самая идея его — взяты нами у Французовъ, и только съ появленіемъ Жуковскаго литература и искусство наше начали освобождаться отъ вліянія французскаго, извѣстнаго подъ именемъ классицизма (мнимаго). Реакція французскому направленію была произведена нѣмецкимъ направленіемъ. Во второмъ десятилѣтіи текущаго вѣка эта реакція совершила полный свой кругъ: классицизмъ французскій былъ убитъ совершенно. Но съ третьяго десятилѣтія, теперь оканчивающагося, Французы снова вторглись въ нашу литературу, но уже во имя романтизма, который состоитъ въ изображеніи дикихъ страстей и вообще животности всякаго рода, до какой только можетъ ниспасть духъ человѣческій, оторванный отъ религіозныхъ убѣжденій и преданный на свой собственный произволъ. Владычество было не долговременно; но результаты этого владычества остались: теперь уже мало уважаютъ произведенія юной французской школы, но на искусство снова смотрятъ во французскія очки. Между тѣмъ, съ другой стороны, нѣмецкій элементъ слишкомъ глубоко вошелъ въ наши литературныя вѣрованія и борется съ французскимъ. Бросимъ взглядъ на тотъ и другой.

Для насъ въ особенности существуютъ двѣ критики — нѣ-

мецкая и французская, столько же различны между собою и враждебны другъ другу, какъ и націи, которымъ принадлежатъ. Разница между ними ясна и очевидна съ перваго, даже самаго поверхностнаго взгляда, и происходитъ отъ различія духа того и другаго народа. Различіе это заключается въ томъ, что духовному созерцанію Нѣмцевъ открыта внутренняя, таинственная сторона предметовъ знанія, доступенъ тотъ невидимый, сокровенный духъ, который ихъ оживляетъ и даетъ имъ значеніе и смыслъ. Для Нѣмца всякое явленіе жизни есть таинственный іероглифъ, священный символъ, или, наконецъ, органическое, живое созданіе, и для Нѣмца понять явленіе бытія значитъ—проникнуть въ источникъ его жизни, прослѣдить біеніе его пульса, трепетаніе внутренней, сокровенной жизни, найти его соотношеніе къ общему источнику жизни и въ частномъ увидѣть проявленіе общаго. Французъ, напротивъ, смотритъ только на виѣшнюю сторону предмета, которая одна и доступна ему. Форма, взятая сама по себѣ, а не какъ выраженіе идеи; явленіе, взятое само по себѣ, безъ отношенія къ общему, частность не въ ряду безчисленнаго множества частныхъ, выражающихъ единое общее, а въ кучѣ частныхъ, безъ порядка набросанныхъ—вотъ взглядъ Француза на явленія міра. И потому, пока еще дѣло идетъ о предметахъ, познаваемыхъ разсудкомъ, подлежащихъ опыту, наглядкѣ, соображенію — Французы имѣютъ свое значеніе въ наукѣ и дѣлаются отличными математиками, медиками, обогащаютъ науку наблюденіями, опытами, фактами. Но какъ скоро дѣло дойдетъ до сокровеннѣйшаго и глубочайшаго значенія предметовъ, до ихъ соотношенія другъ къ другу, какъ цѣпи, лѣтвицы явленій, вытекающихъ изъ одного общаго источника жизни и представляющихъ собою единство въ безконечномъ разнообразіи,—Французы или впадаютъ въ произвольность понятій и риторику, или начинаютъ возставать противъ общаго и одинаго, какъ противъ мечты, а таинственное стремленіе къ уразумѣнію жизни изъ одного и общаго начала,

стремленіе, заключенное въ глубинѣ нашего духа и выражающееся, какъ трепетное предощущеніе таинства жизни, называютъ пустою мечтательностію. Для Нѣмца безконечный міръ Божій есть проявленіе въ живыхъ образахъ и формахъ духа Божія, все произведшаго и во всемъ являющагося, книга съ семью печатами; а знаніе—храмъ, куда входитъ онъ съ омовенными ногами, съ очищеннымъ сердцемъ, съ трепетомъ благоговѣнія и любви къ источнику всего. И потому-то, и въ наукѣ, и въ искусствѣ, и въ жизни, у Нѣмцевъ все запечатлѣно характеромъ религіозности, и для нихъ жизнь есть святое и великое таинство, которое понимается откровеніемъ и разумѣніе котораго дается, какъ благодать Божія. Для Француза все въ мірѣ ясно и опредѣленно, какъ дважды два—четыре; явленія жизни для него не имѣютъ общаго источника, одного великаго начала — они выросли въ его головѣ, какъ грибы послѣ дождя, и наука у него не храмъ, а магазинъ, гдѣ разложены товары не по внутреннему ихъ соотношенію, а по внѣшнимъ, случайнымъ признакамъ: стоить прочесть ярлычки, наклеенные на нихъ, и ихъ употребленіе, значеніе и цѣна извѣстны ему. Это народъ внѣшности: онъ живетъ для внѣшности, для показу, и для него не столько важно быть великимъ, сколько казаться великимъ, — быть счастливымъ, сколько казаться такимъ. Посмотрите, какъ слабы, ничтожны во Франціи узы семейственности, родства; въ ихъ домахъ внутренніе покои пристроиваются къ салону и домашняя жизнь есть только приготовленіе къ выходу въ салонъ, какъ закулисныя хлопоты и суетливость есть приготовленіе къ выходу на сцену. Французъ живетъ не для себя — для другихъ, для него не важно, что онъ такое, а важно, что о немъ говорятъ; онъ весь во внѣшности, и для нея жертвуетъ всѣмъ — и человѣческимъ достоинствомъ и личнымъ своимъ счастьемъ. Самая высшая точка духовнаго развитія этой націи, цвѣтъ ея жизни — есть понятіе о чести.

Честь въ самомъ дѣлѣ есть понятіе высокое, и въ самомъ

дѣлѣ для Француза честь не пустой звукъ, но глубокое убѣжденіе, за которое онъ долженъ жертвовать всѣмъ. Но тутъ есть два обстоятельства, которыя значительно сбавляютъ цѣну съ этого чувства. Во первыхъ—понятіе о чести не есть религіозное, слѣд., оно условно; во вторыхъ,—все ли оканчивается для человѣка понятіемъ о чести, и неужели понятіе о чести есть вѣнецъ знанія, разгадка всей жизни?...

Есть книга, въ которой все сказано, все рѣшено, послѣ которой ни въ чемъ нѣтъ сомнѣнія, книга безсмертная, святая, книга вѣчной истины, вѣчной жизни — Евангеліе. Весь прогрессъ человѣчества, всѣ успѣхи въ наукахъ, въ философін, заключаются только въ большемъ проникновеніи въ таинственную глубину этой божественной книги, въ сознаніи ея живыхъ, вѣчно непреходящихъ глаголовъ. Въ этой книгѣ ничего не сказано о чести. Честь есть краугольный камень человѣческой мудрости. Основаніе Евангелія — откровеніе истины чрезъ посредство любви и благодати.

Но евангельскія истины не глубоко вошли въ жизнь Французовъ: они взвѣсили ихъ своимъ разсудкомъ и рѣшили, что должна быть мудрость выше евангельской, истина — выше любви. Любовь постигается только любовію; чтобы познать истину, надо носить ее въ душѣ, какъ предощущеніе, какъ чувство: вѣра есть свидѣтельство духа и основа знанія; безконечное доступно только чувству безконечнаго, которое лежитъ въ душѣ человѣка, какъ предчувствіе. У Французовъ — у нихъ во всемъ конечный, слѣпой разсудокъ, который хорошъ на своемъ мѣстѣ, т. е. когда дѣло идетъ о разумнѣи обыкновенныхъ житейскихъ вещей, но который становится буйствомъ предъ Господомъ, когда заходитъ въ высшія сферы знанія. Народъ безъ религіозныхъ убѣжденій, безъ вѣры въ таинство жизни — все святое оскверняется отъ его прикосновенія, жизнь мретъ отъ его взгляда. Такъ оскверняется для вкуса прекрасный плодъ, по которому проползла гадина.

Изъ этого-то различія между національнымъ духомъ Нѣм-

цевъ и Французовъ происходитъ и различіе искусства и взгляда на искусство того и другаго народа. Французскій классицизмъ вытекъ прямо изъ ихъ конечнаго разсудка, какъ признакъ нищенства ихъ духа. Теперешнее романтическое бѣснованіе такъ называемой юной французской литературы имѣетъ своимъ началомъ тотъ же источникъ. Но ихъ критика — что это такое? То же, что и всегда была — біографія писателя, разсматриваемая съ внѣшней стороны. Для Французовъ произведеніе писателя не есть выраженіе его духа, плодъ его внутренней жизни; нѣтъ, это есть произведеніе внѣшнихъ обстоятельствъ его жизни. Французы во всемъ вѣрны своимъ началамъ.

Не такова нѣмецкая критика. Будучи даже эмпирическою, она обнаруживаетъ стремленіе законами духа объяснить и явленіе духа.

Многіе читатели жаловались на помѣщеніе нами статьи Рётшера «О философской критикѣ художественнаго произведенія», находя ее темною, недоступною для пониманія. Пользуемся здѣсь случаемъ опровергнуть несправедливость такого заключенія: это относится къ предмету нашего разсужденія гораздо ближе, нежели какъ кажется съ перваго взгляда. Прежде всего мы скажемъ, что не всѣ статьи помѣщаются въ журналахъ только для удовольствія читателей; необходимы иногда и статьи ученаго содержанія, а такія статьи требуютъ труда и размышленія.

Рётшеръ дѣлитъ критику на философскую и психологическую. Постараемся, сколько можно проще, изложить его начала. Всякое художественное произведеніе есть конкретная идея, конкретно выраженная въ изящной формѣ, и представляетъ особый, въ самомъ себѣ замкнутый міръ. Когда мы вполне насладились изящнымъ произведеніемъ, вполне насытили и удовлетворили свое непосредственное чувство, у насъ рождается желаніе еще глубже проникнуть въ его сущность, объяснить себѣ причину нашего восторга. Тогда непосред-

ственное чувство, производимое впечатлѣніемъ, уступаетъ свое мѣсто посредству мысли, — и мы беремъ въ посредство между собою и художественнымъ произведеніемъ мысль, чтобы вполне съ нимъ слиться, чтобы наше понятіе вполне съ нимъ соотвѣтствовало, другими словами, чтобы понятіе было тождественно съ понимаемымъ. Но прежде, нежели объяснить, какъ дѣлается этотъ процессъ, мы должны сказать о недостаточности одного непосредственнаго пониманія произведеній искусствъ и о необходимости прибѣгать къ посредству мысли.

Всякое явленіе есть мысль въ формѣ. Формы неуловимы и безчисленны по своей безконечной разнообразности; одна и та же идея является въ безконечномъ множествѣ и разнообразіи формъ; всѣ же идеи суть не иное что, какъ одна движущаяся, развивающаяся идея бытія, которая проходитъ чрезъ всѣ ступени, всѣ моменты своего развитія. Это движеніе въ развитіи представляетъ собою непрерывную цѣпь, каждое звено которой есть отдѣльная мысль, прямо и непосредственно вытекающая изъ предшествовавшей идеи, или предшествовавшего звена, и по закону необходимости выводящая изъ себя другую последующую идею, которая есть ея же продолженіе, или другое последующее звено. Въ этомъ движеніи, въ этомъ развитіи единой вѣчной идеи состоитъ жизнь міра, потому что безъ движенія нѣтъ жизни, а движеніе должно имѣть цѣлю развитіе, потому что движеніе безъ разумной цѣли есть пустое, хаотическое броженіе, а не жизнь. И такъ, если всѣ идеи суть не иное что, какъ логически, по законамъ разумной необходимости, единая, сама изъ себя развивающаяся идея, то, слѣдовательно, задача философіи есть открытіе, сознаніе этого движенія идеи, и если это сознаніе возможно, то возможно и сознаніе всего сущаго, какъ проявленіе одной движущейся идеи, которая есть сущность, духъ и жизнь своихъ формъ. Если это сознаніе невозможно, то невозможна всякая попытка живаго знанія, потому что разнообразность явленій, какъ формъ, неуловима, и кромѣ того,

безъ знанія идеи формы, самая форма мертва для знанія и недоступна ему. Здѣсь ясно видно заблужденіе эмпириковъ, которые опытнымъ наблюденіями частныхъ явленій хотятъ возвыситься до сознанія общаго, абсолютнаго, а между тѣмъ по необходимости запутываются въ ихъ безконечномъ разнообразіи, не имѣя въ рукахъ аріадниной нити. Явленіе (фактъ), оставаясь непонятнымъ въ своей сущности, которая есть его идея, ничего не откроетъ, ничего не рѣшитъ; а идея частнаго явленія, отдѣльно взятая, не можетъ быть понятна. Слѣдовательно, эмпирики хлопочутъ по пустому. Эмпиризмъ принесъ великую пользу философін: онъ собралъ для нея матеріалы, не какъ данныя для вывода, а какъ данныя для отрѣшенія отъ непосредственности впечатлѣній, какъ данныя для опроверженія конечныхъ системъ, выдаваемыхъ за абсолютныя, наконецъ, какъ данныя для побужденія къ дальнѣйшему углубленію въ сущность вещей. Слѣдовательно, эмпиризмъ служилъ все умозрѣнію же, а самъ для себя не только ничего не сдѣлалъ, но всегда былъ собственнымъ своимъ разрушителемъ, подавая на самого себя оружіе противорѣчащимъ разнообразіемъ фактовъ.

Или міръ есть нѣчто отрывочное, само себѣ противорѣчащее, или единое, цѣлое, но только въ безконечномъ разнообразіи являющееся. Въ первомъ случаѣ, онъ недоступенъ знанію и не есть проявленіе вѣчнаго разума, который себѣ не противорѣчитъ; во второмъ случаѣ, онъ долженъ быть разумнымъ явленіемъ, которое въ сознаніи отождествляется съ разумомъ. Здѣсь является новый родъ враговъ знанія—люди, которые, имѣя чувство безконечнаго и душу живу, не могутъ примирить знанія съ чувствомъ, видя въ разумѣ и чувствѣ два враждебныя другъ другу начала. Это заблужденіе свойственно иногда самымъ глубокимъ и сильнымъ умамъ.

Чувство есть непосредственное созерцаніе истины, чувственное пониманіе истины. Безъ чувства нѣтъ разума; у кого нѣтъ чувства, у того только конечный разсудокъ, а

не разумъ, и для того невозможно высшее понимание жизни. Но человекъ не животное, и потому не можетъ и не долженъ оставаться при одномъ умственномъ, инстинктивномъ пониманіи: онъ долженъ понимать сознательно, т. е. свои непосредственныя ощущенія переводить на понятіе и выговаривать ихъ. Тогда не будетъ противорѣчія между умомъ и чувствомъ, но чувство будетъ безсознательнымъ разумомъ, а разумъ сознательнымъ чувствомъ. Такъ точно любовь есть пониманіе, а пониманіе есть любовь, потому что любовь есть присутствіе въ сокровенной сущности любимаго предмета, а присутствіе одного субъекта въ другомъ есть не что иное, какъ пониманіе этого другаго субъекта. Понимать предметъ только чувствомъ, еще не значить быть въ немъ, потому что одно непосредственное чувство часто бываетъ обманчиво и, вслѣдствіе нашей субъективности, придаетъ предмету наше понятіе, а не видитъ въ немъ его понятія, т. е. того значенія, которое онъ имѣетъ въ самомъ дѣлѣ. Основаніе христіанской религіи есть любовь къ ближнему до самопожертвованія. Съ другой стороны, пониманіе однимъ разумомъ, безъ участія чувства, есть пониманіе мертвое, безжизненное и ложное, и нисколько не разумное, а только разсудочное. И если, въ религіи, довѣріе къ одному непосредственному чувству доводитъ до фанатизма, то довѣріе одному только разсудку доводитъ до невѣрія, которое есть отреченіе отъ своего человѣческаго достоинства, есть нравственная смерть.

И такъ, чувство есть безсознательный разумъ, а разумъ есть сознательное чувство, и то и другое отнюдь не враждебные другъ другу элементы, но должны быть единымъ, цѣльнымъ, органическимъ, конкретнымъ. Человекъ не есть только духъ и не есть только тѣло, но его тѣло есть явленіе духа. Но между тѣмъ, борьба чувства и мысли въ человекѣ тѣмъ не менѣе не подвержена сомнѣнію: только это отнюдь не опровергаетъ сказаннаго нами. Борьба эта необходима: она есть процессъ развитія, безъ котораго нѣтъ

жизни. Въ комъ кончилась эта борьба, въ глазахъ кого предметы уже не дwoятся, наука не противорѣчить вѣрѣ,— тотъ достигъ живаго, конкретнаго знанія, и въ томъ чувствѣ есть бессознательный разумъ, и разумъ есть сознательное чувство. Только это не всѣмъ дается, и не всѣмъ дается поровну, но овому талантъ, овому два; и еще это не дается даромъ, а достигается борьбою, усиленіемъ: просите и дается вамъ, толщьте—и отверзется.

Процессъ этого отождествленія совершается черезъ мысль, которая является посредницею между нами и предметомъ нашего изслѣдованія, чтобы отрѣшивши насъ отъ непосредственнаго чувства и тѣмъ избавивши насъ отъ субъективнаго заключенія, снова возвратить насъ къ чувству, но уже проведенному черезъ мысль. Это необходимо во всѣхъ сферахъ знанія, — въ пониманіи произведеній искусства также. Эта-то мысль и составляетъ содержаніе первой статьи Рётшера. Онъ говоритъ, что нельзя понять художественнаго произведенія, не понявши его въ его цѣломъ (тоталитетѣ), и не увидѣвши въ немъ частнаго, конечнаго проявленія общей, безконечной идеи. Идея есть содержаніе художественнаго произведенія и есть общее; форма есть частное появленіе этой идеи. Не постигнувши идеи, нельзя понять и формы и насладиться ею, а постичь идею можно только чрезъ отвлеченіе идеи отъ формы, т. е. чрезъ уничтоженіе живаго, органическаго, конкретнаго созданія, черезъ раззятіе его, какъ трупa. Форма, поглощая въ себѣ идею, дѣлаетъ изъ общаго частное (индивидуальное) явленіе и лишаетъ возможности оцѣнить самое себя, потому что живетъ одно общее, а частное живетъ потолику, поколику оно есть выраженіе общаго. Чтобы понять это общее, надо оторвать идею отъ формы и найти абсолютное значеніе этой идеи въ ряду всѣхъ идей, найти мѣсто этой идеи въ діалектическомъ движеніи общей идеи, какъ звено въ цѣпи. Надо содержаніемъ оправдать форму. Здѣсь первая задача: конкретна ли идея, взя-

тая за основаніе художественнаго произведенія, т. е. истинна ли она, вполне ли соответствует себѣ и вполне ли выражаетъ себя, потому что только конкретная идея можетъ воплотиться въ конкретный поэтический образъ. Поэзія есть мышленіе въ образахъ, и потому, какъ скоро идея, выраженная образомъ, не конкретна, ложна, не полна, то и образъ по необходимости не художественъ. И такъ, оторвать идею отъ формы художественнаго созданія, развить ее изъ самой себя и оправдать ее самой собою, какъ ступень, какъ звено, какъ моментъ діалектическаго движенія общей единой идеи,—вотъ первая задача философской критики. Но этимъ еще не все оканчивается: кромѣ мышленія, нужна еще для критика сила фантазій, которою бы онъ могъ провести по образамъ разбираемаго имъ художественнаго созданія оторванную отъ него идею, снова потерять ее въ формѣ, и видѣть самому и показать ее другимъ въ ея органическомъ единствѣ съ формою, въ этихъ свѣтлыхъ, игривыхъ перебивахъ жизни, которая сквозитъ въ формѣ, какъ лучъ солнца въ граненомъ хрусталѣ. Со всею поэтическою прелестью выраженія и со всею энергіею могучей мысли, Рётшеръ выражаетъ свою мысль сравненіемъ, которое подаетъ ему мифъ о Палладѣ, которая изъ тѣла Діонисія Загрея, растерзаннаго титанами, спасла еще его трепетавшее сердце и передала его Зевсу, чтобы отецъ безсмертныхъ и смертныхъ возжегъ изъ него новую жизнь. Рётшеръ критика-мыслителя, который отторгаетъ идею отъ художественнаго произведенія и тѣмъ разрушаетъ его, сравниваетъ съ Палладою, которая вырываетъ изъ груди Діонисія Загрея его быющее сердце; а критика-творца, какимъ онъ становится во второмъ актѣ критическаго процесса, сравниваетъ съ Зевсомъ, который изъ растерзаннаго сердца Діонисія возжигаетъ новую жизнь. «Не довольно еще, говоритъ онъ, сохраненія общей жизни конкретной идеи,—это дѣло мудрости; но еще кромѣ мудрости необходима творческая дѣятельность, которая бы возста-

новила благолѣпное устройство божественнаго тѣла и, чрезъ то, возвратила бы сохраненные въ огнѣ мышленія образы въ новомъ, просвѣтленномъ видѣ».

Повторимъ въ короткихъ словахъ все сказанное нами.

Художественное произведеніе есть органическое выраженіе конкретной мысли въ конкретной формѣ. Конкретная идея есть полная, всѣ свои стороны обнимающая, вполне себя равная и вполне себя выражающая, истинная и абсолютная идея, — и только конкретная идея можетъ воплотиться въ конкретную, художественную форму. Мысль, въ художественномъ произведеніи, должна быть конкретно слита съ формою, т. е. составлять съ ней одно, теряться, исчезать въ ней, проникать ее всю. Поэтому, ошибаются тѣ, которые думаютъ, что ничего нѣтъ легче, какъ сказать, какая идея лежитъ въ основаніи художественнаго созданія. Это дѣло трудное, доступное только глубокому эстетическому чувству, сроднившемуся съ мыслительностью; но это всего легче въ неконкретныхъ мнимо-художественныхъ произведеніяхъ, гдѣ не форма предшествовала, при созданіи, идеѣ и заслоняла собою идею отъ самого творца, но къ извѣстной идеѣ придумана форма. Далѣе, первый процессъ философской критики долженъ состоять въ отвлеченіи найденной въ твореніи идеи отъ ея формы и оправданіи конкретности этой идеи, чрезъ развитіе ея изъ самой себя. Когда идея выдержитъ философское испытаніе, тогда форма оправдается содержаніемъ, потому что какъ невозможно, чтобы неконкретная идея могла воплотиться въ художественную форму, такъ невозможно, чтобы въ основаніи не художественнаго произведенія могла лежать конкретная идея.

Второй процессъ философской критики состоитъ въ органическомъ сочлененіи разорваннаго произведенія, въ сочлененіи, въ которомъ бы всѣ части его, будучи живо соединены, представляли бы собою единое цѣлое (тоталитетъ), какъ выраженіе единой, цѣлой и конкретной идеи, и каждая изъ

нихъ, имѣя собственное значеніе, собственную жизнь и красоту, необходимо служила бы для значенія, жизни и красоты цѣлаго, какъ части человѣческаго тѣла представляютъ собою единое, живое, органическое тѣло, не теряя и частнаго своего значенія, жизни и красоты. Цѣлостность (тоталитетъ) художественнаго произведенія зависитъ отъ идеи, лежащей въ его основаніи и такъ проникающей его, что даже и его части, повидимому, чужды этой главной основной идеѣ, всѣ служатъ къ ея же выраженію. Такъ, на примѣръ, въ «Отелло» Шекспира только главное лицо выражаетъ идею ревности, а всѣ прочія заняты совершенно другими интересами и страстями; но, несмотря на то, основная идея драмы есть идея ревности, и всѣ лица драмы, каждое имѣя свое особое значеніе, служатъ къ выраженію основной идеи. И такъ, второй актъ процесса философской критики состоитъ въ томъ, чтобы показать идею художественнаго созданія въ ея конкретномъ проявленіи, прослѣдить ее въ образахъ и найти цѣлое и единое въ частностяхъ.

Вотъ въ чемъ состоитъ сущность и значеніе философской критики. Это критика абсолютная, и ея задача — найти въ частномъ и конечномъ проявленіе общаго, абсолютнаго. Ея суду могутъ подлежать только произведенія, вполне художественныя, т. е. такія, въ которыхъ все необходимо, все конкретно, и всѣ части органически выражаютъ единое цѣлое, т. е. конкретную идею. Разумѣется, что такой критикъ долженъ стоять на ряду съ вѣкомъ, быть обладателемъ современнаго ему знанія и, кромѣ того, имѣть качества, необходимо условливающія собственно критика. Нужно ли говорить, что намъ еще долго ждать такой критики и такого критика?... Въ самой Германіи такая критика еще только началась, какъ результатъ послѣдней философіи вѣка. Но тѣмъ не менѣе полезно знать ее и имѣть ея идеаль...

Психологическая критика ограниченнѣе въ своихъ условіяхъ и доступнѣе для усилій, посвящающихъ себя критикѣ.

Ея цѣль — уясненіе характеровъ, отдѣльныхъ лицъ художественнаго произведенія. Это поприще блестящее, поле, дающее богатую жатву, — и радушно, съ любовію привѣтствуетъ Рётшеръ психологическую критику, отдавая ей полное превосходство передъ критикою непосредственнаго чувства, состоящею въ отрывочномъ восторгѣ мѣстами и частностями и въ отрывочномъ порицаніи мѣстъ и частей художественнаго произведенія; но онъ же говоритъ, что этой критики недостаточно для уразумѣнія цѣлаго художественнаго произведенія. Психологическая критика, говоритъ онъ, можетъ посвятить насъ въ тайнства души Гамлета, Офеліи, Порціи, но не объяснить намъ, почему именно эти, а не другіе характеры необходимы въ «Гамлетѣ» и «Венеціанскомъ Купцѣ»; она можетъ разоблачить процессъ безумія Лира во всей его цѣлости, но не можетъ рѣшить, какъ можетъ быть художнически оправдано изображеніе этого состоянія духа (безумія), и какое мѣсто занимаетъ онъ въ тоталитетѣ. Тоталитетъ невозможно уловить непосвященному въ тайнства отвлеченной абсолютной идеи. Всякое явленіе есть выраженіе идеи, но идея доступна только перешедшему чрезъ область абстракціи (отвлеченія). Абстракція не есть сама себѣ цѣль, но безъ нея невозможно конкретное пониманіе. Знаніе мертвить жизнь, отдѣляя идеи отъ прекрасныхъ живыхъ явленій; но оно мертвитъ ее съ тѣмъ, чтобы послѣ увидѣть ее воскресшею въ новомъ, лучшемъ, просвѣтленномъ видѣ. Здѣсь опять напоминаемъ нашимъ читателямъ мифъ о Палладѣ, которая исторгаетъ изъ груди Діонисія трепещущее его сердце и подаетъ его Зевсу, чтобы отецъ боговъ и человѣковъ возжегъ изъ него новое пламя прекрасной, юной жизни. Испытующій разумъ, философія — Минерва, вырывающая сердце жизни; фантазія — Юпитеръ, возжигающій въ немъ новую жизнь. Выше мы уже говорили, что идея доступна знанію только въ отрѣшенной чистотѣ своей, оторванная отъ явленій; исканіе абсолютной идеи въ явленіяхъ и чрезъ явленія

есть эмпиризмъ. Конечно, всякое изученіе съ мыслию не есть уже сухое, мертвое, эмпирическое. Напротивъ, оно принадлежитъ уже къ области живаго рационализма, и если имъ вооружается человѣкъ съ душою глубокою и сильною, хотя и не философъ, то приноситъ богатые плоды въ живомъ пониманіи вѣчной истины; но не должно однакожь забывать, что все должно имѣть свою цѣну, и что кто хочетъ чистой и холодной воды, тотъ долженъ черпать ее въ самомъ источникѣ. Полное и совершенное пониманіе произведеній искусства возможно только чрезъ философскую критику. Тоталитетъ художественнаго созданія заключается въ общей идеѣ, а общая идея открывается только вполне овладѣвшему царствомъ абсолютной идеи, которое завоевалъ онъ такимъ трудомъ и борьбою съ мертвымъ скелетомъ абстракціи...

Далѣе, Рётшеръ даетъ критикѣ названіе отрицающей или разрушающей, которая является такою въ отношеніи къ произведеніямъ художественной дѣятельности, стоящей на первой и низшей ступени.

Потомъ онъ указываетъ особенную дѣятельность для критики, въ отношеніи къ произведеніямъ, не имѣющимъ полного художественнаго достоинства, или, говоря его сжатымъ, энергическимъ языкомъ, «къ произведеніямъ, которыя находятся въ существенной связи съ идеею и ея абсолютными требованіями, и въ которыхъ содержаніе и форма имѣютъ какое-либо субстанціальное достоинство, но которыя, вмѣстѣ съ тѣмъ, заключаютъ въ себѣ стороны отрицательныя, т. е. принадлежащія или къ какому-нибудь опредѣленному времени, или къ ограниченной сферѣ какого-нибудь субъекта». Вмѣсто всякихъ поясненій этой и безъ того очень ясной мысли, мы прибавимъ отъ себя только, что желали бы видѣть такую критику на лучшія произведенія Шиллера, этого страннаго полу-художника и полу-философа. Прочія его произведенія, то есть—не лучшія, должны скорѣе подлежать суду критики отрицающей и разрушающей, нежели этой, которая, говоря

словами Рётшера, «должна открывать положительное въ отрицательномъ, очищать зерно отъ скорлупы».

«Самое блестящее поприще открывается для той критики, которая отыскиваетъ положительное въ отрицательномъ, когда она, видя въ художественномъ произведеніи моментъ историческаго развитія, раскрываетъ съ этой стороны его общее и субстанціальное значеніе. Критика, понимая отдѣльное произведеніе, или какого-нибудь художника, въ ихъ историческомъ значеніи, беретъ — во первыхъ, свой объектъ въ его абсолютномъ смыслѣ, какъ моментъ міроваго развитія, и во вторыхъ, въ той же мѣрѣ указываетъ его отрицательныя стороны, которыя и открываются именно въ историческомъ развитіи». Здѣсь опять мы повторимъ, что суду такой критики подлежатъ произведенія Шиллера. Мы постараемся, сколько будетъ въ силахъ, развить эту мысль въ третьей статьѣ, которая будетъ посвящена исключительно разсмотрѣнію «Юрія Милославскаго», который принадлежитъ къ одному роду съ художественными произведеніями Шиллера и относится къ нимъ, какъ развитіе Россіи относится къ міровому развитію цѣлаго человѣчества. «Юрій Милославскій» не лишень большаго поэтическаго, если не художественнаго, значенія, но въ историческомъ отношеніи этотъ романъ имѣетъ еще большее значеніе.

«Даже и тѣ произведенія, которыя не соотвѣтствуютъ понятію искусства, имѣютъ здѣсь положительное значеніе, если только въ нихъ открывается необходимый моментъ развитія». Здѣсь Рётшеръ разумѣетъ моментъ въ развитіи самаго искусства и указываетъ на изваянія древне-эллинскаго или гіератическаго стиля, какъ на переходъ отъ символическаго Востока къ греческому искусству. Равнымъ образомъ, онъ указываетъ и на произведенія Галлеровъ, Уцовъ и Крамеровъ, по его мнѣнію, имѣющихъ положительное достоинство, которое состояло въ освобожденіи искусства отъ чисто-моральнаго направленія. Еслибы, говоритъ онъ, эти произведенія яви-

лись позднѣе, то не имѣли бы никакого значенія и никакой цѣны; но явившись въ свое время, они выразили необходимый моментъ въ развитіи искусства. Но, по нашему мнѣнію, которое, какъ намъ кажется, нисколько не противорѣчитъ мысли Рётшера, есть еще и такія произведенія, которыя могутъ быть важны, какъ моменты въ развитіи не искусства вообще, но искусства у какого-нибудь народа, и сверхъ того, какъ моменты историческаго развитія и развитія общественности у народа. Съ этой точки зрѣнія «Недоросль», «Бригадиръ» Фонъ-Визина и «Ябеда» Капниста, получаютъ важное значеніе, равно какъ и такого рода явленія, каковы Кантемиръ, Сумароковъ, Херасковъ, Богдановичъ и прочіе. Во второй статьѣ мы рассмотримъ съ этой точки зрѣнія комедіи Фонъ-Визина.

Съ этой же точки зрѣнія и французская историческая критика получаетъ свое относительное достоинство. Главное существенное отличіе нѣмецкой критики отъ французской состоитъ въ томъ, что первая, какова бы она ни была, даже будучи эмпирическою, если не всегда смотритъ на свой предметъ со стороны его духа и внутренняго, сокровеннаго значенія, то хотя обнаруживаетъ претензію на такой взглядъ. Не такова критика Французовъ: для нея не существуютъ законы изящнаго, и не о художественности произведенія хлопочетъ она. Она беретъ произведеніе, какъ бы заранѣе условившись почитать его истиннымъ произведеніемъ искусства, и начинаетъ отыскивать на немъ клеймо вѣка, не какъ историческаго момента въ абсолютномъ развитіи человѣчества, или даже и одного какого-нибудь народа, а какъ момента гражданскаго и политическаго. Для этого она обращается къ жизни поэта, его личному характеру, его внѣшнимъ обстоятельствамъ, воспитанію, женитьбѣ, всѣмъ подробностямъ его семейнаго, гражданскаго быта, вліянію на него современности въ политическомъ, ученомъ и литературномъ отношеніи, и изъ всего этого сплится вывести причину и необходимость

того, почему онъ писалъ такъ, а не иначе. Разумѣется, это не критика на изящное произведеніе, а комментарий на него, который можетъ имѣть большую или меньшую цѣну, но только какъ комментарий. Кому не интересно знать подробности частной жизни великаго художника, какъ и всякаго великаго человѣка? — Но здѣсь удовлетвореніемъ этого любопытства вполне ограничивается и достиженіе цѣли: подробности жизни поэта нисколько не поясняютъ его твореній. Законы творчества вѣчны, какъ законы разума, и Гомеръ написалъ свою «Иліаду» по тѣмъ же законамъ, по которымъ Шекспиръ писалъ свои драмы, а Гёте своего «Фауста»; при разборѣ произведеній этихъ исполиновъ искусства, отдѣленныхъ одинъ отъ другаго тысячелѣтіями и вѣками, критикъ будетъ поступать одинаковымъ образомъ. Что мы знаемъ о жизни Шекспира? Почти ничего, а между тѣмъ его творенія отъ этого не меньше ясны, не меньше говорятъ сами за себя. На что намъ знать, въ какихъ отношеніяхъ Эсхилъ или Софоклъ были къ своему правительству, къ своимъ гражданамъ, и что при нихъ дѣлалось въ Греціи? Чтобы понимать ихъ трагедіи, намъ нужно знать значеніе греческаго народа въ абсолютной жизни человѣчества; нужно знать, что Греки выразили собою одинъ изъ прекраснѣйшихъ моментовъ живаго, конкретнаго сознанія истины въ искусствѣ. До политическихъ событій и мелочей намъ нѣтъ дѣла. Въ приложеніи къ художественнымъ произведеніямъ, французская критика не заслуживаетъ и названія критики: это просто пустая болтовня, въ которой все произвольно и въ которой все можно понять *), кромѣ значенія разбираемаго въ ней произведенія. Но когда такую критикою разсматриваются не художественныя, но не смотря на то, имѣющія свое, историческое, значеніе произведенія, тогда французская критика имѣетъ свою цѣну, свое

*) И то очень рѣдко: гдѣ произвольность, тамъ все непонятно. Для доказательства, ссылаемся на статью Низара о Ламартина, помещенную въ „Сынъ Отечества“.

достоинство, и заслуживаетъ всякаго уваженія. Въ самомъ дѣлѣ, какъ вы будете критиковать сочиненія, напримѣръ, Вольтера, изъ которыхъ ни одно не художественно, ни одно не перешло въ потомство, но всѣ имѣли огромное влияние на своихъ современниковъ? — Разумѣется, съ французской точки зрѣнія. Конечно, если Вольтеръ былъ явленіемъ мировымъ, то и на него можно взглянуть съ философской точки зрѣнія, хотя и совсѣмъ не какъ на художника; но при подробномъ разсматриваніи непремѣнно впадете въ колею исторической критики. И эта критика всегда должна имѣть свое участіе при разсматриваніи такихъ произведеній, которыя, предназначаясь своими творцами для сферы искусства, имѣютъ только историческое значеніе. Разумѣется, что и здѣсь французская критика, какъ что-то положительное и особое, не можетъ имѣть мѣста, но только какъ односторонній взглядъ, можетъ входить въ настоящую критику, которая, какой бы ни носила характеръ, обнаруживаетъ постоянное стремленіе изъ общаго объяснить частное и фактами подтверждать дѣйствительность своихъ началъ, а не изъ фактовъ выводить свои начала и доказательства.

II.

БИБЛІОГРАФІЯ.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА.

Описывай, не мудрствуя лукаво.

Пушкинъ.

Начиная четвертый годъ своего существованія, «Московскій Наблюдатель» хочетъ наконецъ поправить передъ публикою свою вину, истинную или мнимую, отвратить отъ себя ея упрекъ, заслуженный или незаслуженный: полная по возможности библиографія отнынѣ будетъ его постоянною статьею. Не знаемъ, интересно ли будетъ публикѣ — этому грозному властелину-невидимкѣ, присутствіе котораго всякій видитъ во всемъ и вездѣ, а никто не можетъ указать, въ чемъ и гдѣ оно именно, этому образу безъ лица, которому, всякій по своей волѣ и прихотямъ, даетъ и приписываетъ и волю и прихоти, — не знаемъ, интересно ли будетъ публикѣ, въ каждой новой книжкѣ журнала, находить себѣ новое доказательство, что для нея книгъ пишется много, а читать ей по прежнему — нечего. Но... намъ что до этого? «Публика этого хочетъ», говорятъ намъ — и мы хотимъ исполнить ея желаніе. Намъ часто случалось еще слышать и читать, что публика требуетъ отъ журнала не одной критики и библиографіи, но и полемическихъ браней и схватокъ; но мы никогда этому не вѣрили, сколько по уваженію къ публикѣ, которую мы всегда отдѣляли отъ толпы, столько и потому, что мы никогда не любили разсчитывать своихъ успѣховъ на счетъ своихъ убѣжденій, а низкую угодливость смѣшивать съ добро-

совѣстнымъ усердіемъ. Поэтому, благомыслящіе читатели по прежнему могутъ брать нашъ журналъ въ руки, не боясь замарать ихъ... Обозрѣвая область литературной дѣятельности, мы смѣло будемъ называть хорошее хорошимъ, а дурное дурнымъ, съ удовольствіемъ останавливаясь на первомъ и стараясь проходить краснорѣчивымъ молчаніемъ второе, особливо если оно принадлежитъ къ тѣмъ мимолетнымъ и призрачнымъ явленіямъ, которыя не производятъ никакого вліянія и не оставляютъ по себѣ никакихъ слѣдовъ. Равнымъ образомъ, мы по прежнему предоставляемъ другимъ отыскивать промахи и ошибки своихъ собратій по журнальному ремеслу, и по прежнему не отказываемся отъ благороднаго спора, чуждаго личности и желанія мелкаго торжества. Сдѣлать замѣчаніе, или даже и возраженіе, на мысль, которая намъ кажется ложною, и подавливать, какъ добычу для дневнаго пропитанія, чужія обмолвки или промахи—двѣ вещи, совершенно различныя.

Мы должны бы начать наше обозрѣніе съ литературныхъ явленій настоящаго года; но, на первый разъ, мы позволимъ себѣ небольшое уклоненіе отъ предполагаемаго плана въ пользу нѣсколькихъ болѣе или менѣе примѣчательныхъ произведеній прошлаго года, о которыхъ намъ пріятно поговорить. Начинаемъ съ «Современника»: не говоря о томъ, что это періодическое изданіе болѣе похоже на альманахъ въ четырехъ частяхъ, нежели на журналъ,—оно влечетъ къ себѣ наше вниманіе предметомъ, близкимъ къ русскому сердцу: мы разумѣемъ стихотворныя произведенія и отрывки Пушкина, напечатанные въ «Современникѣ» послѣ смерти ихъ великаго творца. Предметъ отрадный и грустный въ то же время! Съ одной стороны — мысль, что эти посмертныя произведенія свидѣтельствуютъ о новомъ, просвѣтленномъ періодѣ художественной дѣятельности великаго поэта Россіи, объ эпохѣ высшаго и мужественнѣйшаго развитія его гениальнаго дарованія; а съ другой стороны—мысль о томъ жалкомъ возрѣ-

ни, съ какимъ смотрѣло на этотъ предметъ дѣтское прекраснѣе, которое, выглядывая изъ узкаго окошечка своей ограниченной субъективности, мѣрять дѣйствительность своимъ фальшивомъ аршиномъ, и осудивши поэта на жизнь подъ соломенною кровлею, на берегу свѣтлаго ручейка, не хочетъ признавать его поэтомъ на всякомъ другомъ мѣстѣ: какое противорѣчiе, и сколько отраднaго и горькаго въ этомъ противорѣчiи!...

Мнимый періодъ паденiя таланта Пушкина начался для близорукаго прекраснѣе съ того времени, какъ онъ началъ писать свои сказки. Въ самомъ дѣлѣ, эти сказки были неудачными опытами поддѣлаться подъ русскую народность; но несмотря на то, и въ нихъ былъ виденъ Пушкинъ, а въ «Сказкѣ о Рыбакѣ и Рыбкѣ» онъ даже возвысился до совершенной объективности и съумѣлъ взглянуть на народную фантазію орлинымъ взоромъ Гёте. Но если бы сказки и всѣ были дурны, одной элегіи «Безумныхъ дѣтъ угасшее веселье», напечатанной въ «Б. для Ч.» за 1834 годъ, достаточно было, чтобы показать, какъ смѣшны и жалки были безпокояства добрыхъ людей о паденiи поэта; но... да и кто не былъ, въ свою очередь добрымъ человекомъ?... Стихотворенiя, явившіяся въ «Современникѣ» за 1836 годъ, не были оцѣнены по достоинству: на нихъ лежала тѣнь мнимаго паденiя. Такъ, напр., сцены изъ комедіи «Скупой Рыцарь» едва были замѣчены, а между тѣмъ, если правда, что, какъ говорятъ, это оригинальное произведеніе Пушкина, онъ принадлежать къ лучшимъ его созданiямъ. А его «Капитанская Дочка»? О, такихъ повѣстей еще никто не писалъ у насъ, и только одинъ Гоголь умѣетъ писать повѣсти, еще болѣе дѣйствительныя, болѣе конкретныя, болѣе творческія—похвала, выше которой у насъ нѣтъ похвалъ!

Первое, что съ особенною, раздирающею душу грустію, поражаетъ вниманіе читателя въ V томѣ прошлогодняго «Современника», это письмо В. А. Жуковскаго къ отцу поэта о

смерти его сына... О, какую сладкою грустію трогаютъ душу эти подробности о послѣдней мучительной борьбѣ съ жизнію, о послѣдней, торжественной битвѣ съ несчастіемъ души глубокой и мощной, эти подробности, переданныя со всею отчетливостію, какую только могло внушить удивленіе къ высокому зрѣлищу кончины великаго и близкаго къ сердцу чело-вѣка, удивленіе, котораго не побѣждаетъ въ благодатной душѣ и самая тяжкая скорбь!... А это трогательное участіе въ судьбѣ великаго поэта, которымъ отозвалась на его несчастіе русская душа, въ лицѣ всѣхъ сословій народа, отъ вельможи до нищаго!... А это умиляющее и возвышающее душу вниманіе монарха къ умирающему страдальцу, это отеческое вниманіе, которымъ вѣщеносный отецъ народа поспѣшилъ усладить послѣднія минуты своего поэта и пролить въ его болѣющую душу отрадный елей благодарности, мира и спокойствія о судьбѣ осиротѣлыхъ любимцевъ его сердца!.. О, кто, послѣ этого, дерзнетъ осуждать неисповѣданныя пути провидѣнія!... Кто дерзнетъ отрицать, что жизнь человѣческая не есть высокая драма во всѣхъ ея многообразныхъ проявленіяхъ, и что самое страданіе и бѣдствіе не есть въ ней благо!...

Вотъ перечень посмертныхъ сочиненій Пушкина, помѣщен-ныхъ въ четырехъ томахъ «Современника»: три поэмы — «Мѣдный Всадникъ», «Русалка» и «Галубъ», изъ которыхъ только первая вполнѣ окончена; двѣ піесы прозою и стихами вмѣстѣ — «Сцены изъ рыцарскихъ временъ» и «Египетскія ночи»; два прозаическихъ отрывка: «Арапъ Петра Великаго» и «Лѣтопись села Горохина»; потомъ примѣчательная критическая «О Мильтонѣ и Шатобріановомъ переводѣ «Потерян-наго Рая»; кромѣ того, нѣсколько мелкихъ стихотвореній, частію недоконченныхъ, и отдѣльныхъ мыслей и замѣчаній, Мы не будемъ критически разсматривать этихъ произведеній, потому что, если ужъ говорить о нихъ, то надо все говорить, для чего мы не имѣемъ ни времени, ни мѣста. Мы скажемъ,

или, лучше, повторимъ о нихъ уже сказанное нами, что, по ихъ количеству и величинѣ, они составляютъ собою цѣлый томъ, а этотъ томъ будетъ представителемъ совершенно новаго періода высшей, просвѣщенной художнической дѣятельности Пушкина. По этому самому, они не для всѣхъ доступны, и въ этомъ самомъ и заключается причина поспѣшнаго приговора толпы о паденіи поэта. Въ самомъ дѣлѣ, чтобы постигнуть всю глубину этихъ гениальныхъ картинъ, разгадать вполне ихъ таинственный смыслъ и войти во всю полноту и свѣтлозарность ихъ могучей жизни, должно пройти чрезъ мучительный опытъ внутренней жизни, и выйти изъ борьбы прекраснѣйшаго въ гармонію просвѣщеннаго и примиреннаго съ дѣйствительностію духа. Повторяемъ: примиреніе путемъ объективнаго созерцанія жизни — вотъ характеръ этихъ послѣднихъ произведеній Пушкина. Не почитаемъ за нужное прибавлять, что народность, въ высшемъ значеніи этого слова, какъ выраженіе сущности народа, а не тривиальной простонародности, составляетъ также характеръ этихъ послѣднихъ звуковъ этого замогильнаго голоса; Пушкинъ всегда былъ самобытенъ, всегда былъ русскимъ поэтомъ, даже и тогда, когда находился подъ чуждымъ вліяніемъ.

Формы его произведеній все такъ же художественны, но это уже не тотъ бойкій стихъ, который, какъ разсыпавшійся лучъ солнца, сверкалъ и игралъ по жизни: нѣтъ, послѣдніе стихи Пушкина—это волны бытія, проходящія передъ упоеннымъ взоромъ зрителя въ спокойномъ величіи.

Если вы не читали «Мѣднаго Всадника», то, чтобы заставить васъ прочесть его, просимъ васъ взглянуть въ неизчерпаемую глубину сокровенной красоты его, хоть въ мѣстѣ, начинающемся стихами:

. . . . Боже, Боже! тамъ—
Увы! близехонько къ волнамъ,
Почти у самаго залива —
Заборъ некрашенный. да ява, и т. . д.

А этот хоръ русалокъ —

Веселой толпою
Съ глубокаго дна
Мы ночью всплываемъ;
Насъ грѣетъ луна, и т. д.

Не правда ли, что этотъ дивный хоръ — совершенно новое явленіе все той же неистощимой жизни, совершенно новый аккордъ все той же неизчерпаемой любви?... Но мы еще передернемъ декорацию жизни и покажемъ ей новыя стороны:— вотъ рыцарская баллада:

Жилъ на свѣтѣ рыцарь бѣдный,
Молчаливый и простой,
Съ виду сумрачный и блѣдный,
Духомъ смѣлый и прямой, и т. д.

Съ такою глубокостію, съ такою вѣрностію, и въ такой небольшой піескѣ, схватить одну изъ главнѣйшихъ сторонъ среднихъ вѣковъ, этого религіознаго періода человѣчества, когда и слава, и мужество, и любовь, и все, все было религіею—кто могъ это сдѣлать?—Пушкинъ!

Читали ли вы его «Галуба»? Вотъ отецъ, Чеченецъ, хоронитъ своего могучаго сына, удалаго наѣздника, опору своей старости; кладетъ съ нимъ въ гробъ все его оружіе:

Чтобы крѣпка была могила,
Гдѣ храбрый ляжетъ почивать,
Числь могъ на зовъ онъ Азраила
Исправнымъ воиномъ возстать.

Схоронивши одного сына, Галубъ встрѣчаетъ другаго: его привелъ къ нему старецъ, воспитывавшій его. Но Галубъ вскорѣ недоволенъ своимъ другимъ сыномъ. Однажды узнаетъ онъ, что сынъ его встрѣтилъ въ своихъ разъѣздахъ Армянина и не привелъ его на арканъ съ добычею. Въ другой разъ узнаетъ онъ, что сынъ его встрѣтилъ бѣжавшаго раба и оставилъ его невредимымъ. Въ третій разъ Галубъ узнаетъ,

что Тазитъ встрѣтилъ убійцу своего брата и пощадилъ и его, потому что онъ былъ израненъ, безоруженъ. Отецъ проклялъ своего сына и прогналъ его отъ себя. Въ черкесскомъ селѣ праздникъ; молодежь забавляется воинскими потѣхами; жены и дѣвы поютъ;

Но между дѣвами одна
Молчитъ, уныла и блѣдна, и т. д.

«Египетскія ночи» принадлежатъ также къ самымъ дивнымъ произведеніямъ Пушкина, и въ лицѣ его Чарскаго догадливые читатели найдутъ для себя много данныхъ для разгадки поэта...

Всѣ мелкія стихотворенія отличаются тѣмъ же общимъ чувствомъ просвѣтлѣнія примиреннаго съ самимъ собою духа, вышедшаго съ честію изъ опасной борьбы. И кто бы усомнился въ этомъ, прочти «Отцы пустынники и жены непорочны»,—эту трогательную исповѣдь души, страждущей и блаженной въ своемъ страданіи?

Но особеннаго вниманія заслуживаетъ стихотвореніе «Герой», напечатанное въ «Телескопѣ» 1831 года и написанное въ ту минуту тяжкаго испытанія для Россіи, когда свирѣпствовала въ ней холера, и когда нашъ царь, не дожидаясь отъ медиковъ рѣшенія вопроса о заразительности этого мороваго повѣтрія, пріѣхалъ ободрить унылую Москву, древнюю и вѣрную столицу своихъ отцовъ... Это стихотвореніе, кромѣ своего высокаго поэтическаго достоинства, драгоцѣнно еще и какъ доказательство благородныхъ, истинно русскихъ чувствованій Пушкина, и только по смерти его стало извѣстно, что оно принадлежитъ ему...

«Арапъ Петра Великаго» есть отрывокъ изъ предполагавшагося Пушкинымъ романа, и какъ отрывокъ, онъ уже не новость, потому что былъ давно напечатанъ въ какомъ-то альманахѣ, а въ «Современникѣ» онъ помѣщенъ въ болѣешемъ видѣ, почему и составляетъ собою новость. Какъ жаль, что Пушкинъ не кончилъ этого романа! Какая простота и

вмѣстѣ глубокость, какая кисть, какія краски! Да, еслибы Пушкинъ кончилъ этотъ романъ, то русская литература могла бы поздравить себя съ истинно-художественнымъ романомъ. «Лѣтопись села Горохина», въ своемъ родѣ, чудо совершенства, и еслибы въ нашей литературѣ не было повѣстей Гоголя, то мы ничего лучшаго не знали бы.

Статья Пушкина «О Мильтонѣ» и Шатобріановомъ переводѣ «Потеряннаго Рая» чрезвычайно интересна: она знакомитъ насъ съ Пушкинымъ не столько какъ съ критикомъ, сколько какъ съ человѣкомъ, у котораго былъ вѣрный взглядъ на искусство, вслѣдствіе его вѣрнаго и безконечнаго эстетическаго чувства. Въ этой статьѣ мѣтко и рѣзко показываетъ онъ отсутствіе именно этого чувства у господъ Французовъ и, въ доказательство, представляетъ факты, какъ безбожно терзали бѣднаго Мильтона корифеи французской литературы. — дикій г. Гюго, въ своей «чудовищной и неждпой драмѣ» «Кромвель», и чопорный аббатикъ XIX вѣка, графъ де Виньи, въ своемъ «облизанномъ» романѣ «Saint-Mars». Ёдко смѣется Пушкинъ надъ послѣднимъ, когда тотъ заставляетъ бѣднаго Мильтона читать отрывки изъ своей поэмы на вечерѣ у Маріи де Лормъ.

Повторяемъ: во всемъ этомъ виденъ не критикъ, опирающійся въ сужденіяхъ на извѣстныя начала, но гениальный человѣкъ, которому его вѣрное и глубокое чувство, или, лучше сказать, богатая субстанція открываетъ истину вездѣ, на чтѣ онъ ни взглянетъ. А какъ поэтъ, Пушкинъ принадлежитъ, безъ всякаго сомнѣнія, къ мировымъ, хотя и не первостепеннымъ, геніямъ. Да и много ли этихъ первостепенныхъ геніевъ искусства?—Омиръ (миѳическое имя), Шекспиръ, Гёте, Бетховенъ и, не знаемъ, право, кто въ живописи. И несмотря на то, читая, а особенно слушая сужденія многихъ о Пушкинѣ, какъ о человѣкѣ и какъ о поэтѣ, невольно вспоминаешь его же стихи, которыми оканчивается его превосходное стихотвореніе «Полководецъ»:

О люди! жалкій родъ, достойный слезъ и смѣха!
Жрецы минутнаго, поклонники успѣха!
Какъ часто мимо васъ проходитъ человѣкъ,
Надъ кѣмъ ругается сляпой и буйный вѣкъ.
Но чей высокій ликъ въ грядущемъ поколѣньи
Поэта приведетъ въ восторгъ и удивленье!

Изъ не-Пушкинскихъ стихотвореній очень мало хорошихъ въ «Современникѣ»: изъ оригинальныхъ заслуживаетъ особенное вниманіе «Цвѣтокъ» Жуковскаго. Послѣ этого благоухающаго ароматомъ поэзіи «Цвѣтка» нельзя не замѣтить стихотворенія Ѳ. Н. Глинки «Ангелъ». Изъ переводныхъ стихотворныхъ піесъ замѣчательны—«Органъ» изъ Гердера А. П. Глинки, и мы пользуемся здѣсь случаемъ повторить изъ «Современника» пріятное извѣстіе, что переводчица Шиллеровой «Пѣсни о колоколѣ» приготовляетъ къ изданію 19 легендъ Гердера. Переводы г. Губера изъ «Фауста» также примѣчательны; г. Губеръ печатаетъ вполне переведеннаго имъ Фауста.

Изъ прозаическихъ не-Пушкинскихъ статей особенно замѣчательна: «Солдатскій Портретъ» Грицька Основьяненка, прекрасно переведенный съ малороссійскаго г. Луганскимъ. Такъ-то лучше: а то мы, Москали, немного горды, а еще болѣе того лѣнны, чтобы принуждать себя къ пониманію красоты малороссійскаго нарѣчія, если дѣло идетъ не о народной поэзіи. Вѣдь Гоголь умѣетъ же рисовать намъ Малороссіянъ русскимъ языкомъ? Увѣряемъ почтеннаго Грицька Основьяненка, что еслибы онъ написалъ свои прекрасныя повѣсти по-русски, то, несмотря на мудреную для выговора фамилію своего автора, онѣ доставили бы ему гораздо большую извѣстность, нежели какою онъ пользуется на Руси, пиша по малороссійски. Кромѣ «Солдатскаго Портрета» мы прочли съ удовольствіемъ «Сильфиду» кн. Одоевскаго; «Петербургскія записки» неизвѣстнаго, шутка, въ которой мило и игриво высказано много правды на счетъ обѣихъ нашихъ столицъ, и, наконецъ, «Письма совоспитанницъ», сочиненіе дамы.

НЕВѢСТА ПОДЪ ЗАМКОМЪ, *комедія-водевиль въ 1-мъ дѣйствіи. Н. Соколова. Москва. 1838.*

Водевили — это гибель для чувства изящнаго, гибель для театра, гибель для актёровъ. Во Франціи, они едва ли не самый пышный цвѣтъ литературы, потому что французское искусство не шагало далѣе пѣсни и куплета, почему Беранже и Скрибъ, въ нашихъ глазахъ, выше Гюго, Ламартина и всей компаніи неистовыхъ и идеальныхъ геніевъ, извѣстныхъ подъ фирмою *la jeune France*. Но у насъ—что такое они у насъ? Хоть бы, по крайней мѣрѣ, были своего роднаго стряпанья, а то передѣлки безжизненныя! Актёры играютъ ихъ, ничего не понимая. Посмотрите, какою общностью игры отличается представленіе «Ревизора» на Петровскомъ театрѣ. А отчего? Оттого, что актёры въ сферѣ своей, русской жизни, а потому и естественны. А въ водевиляхъ, они какіе-то образы безъ лицъ. Что сказать о «Невѣстѣ подѣ Замкомъ»? Мы еще и не дочли ея, и хотѣли отложить наше сужденіе до окончательнаго прочтенія пьесы; но, къ счастью, увидѣли на концѣ слѣдующій куплетъ:

Теперь рѣшенія отъ васъ
Съ боязнью авторъ ожидаетъ.
За тѣмъ, что онъ второй лишь разъ
Свой трудъ на судъ вашъ представляетъ.
Ахъ, будьте жъ добры, какъ всегда,
И снисходительно судите...
Насъ не браните, господа!
И водевиль нашъ поддержите.

У кого, послѣ такой униженной просьбы, у кого, говоримъ мы, подымется рука?... Ступай, водевиль!...

**ВИВЛЮТЕКА ДѢТСКИХЪ ПОВѢСТЕЙ И РАЗСКА-
ЗОВЪ.** Соч. В. Бурьянова. Спб. 1837—1838. Че-
тыре части.

СОВѢТЫ ДЛЯ ДѢТЕЙ, или рассказы занимательныхъ
анекдотовъ, повѣстей, происшествій и другихъ нази-
дательныхъ примѣровъ (?), посвященныхъ сыновьямъ
и дочерямъ (чьимъ?). Новое сочиненіе г. Бульи. Съ
раскрашенными картинками. Переводъ съ француз-
скаго. В. Бурьянова. Спб. 1838.

ЗИМНІЕ ВЕЧЕРА или бесѣды отца съ дѣтьми объ ум-
ственныхъ способностяхъ, нравяхъ, обычаяхъ, образъ
жизни, обрядахъ и промышленности всѣхъ народовъ
земнаго шара. Соч. Деппина. Переведено съ четвертаго
французскаго изданія, съ нѣкоторыми измѣненіями и
дополненіями, В. Бурьяновымъ. Спб. 1838. Дѣтъ части.

**ПРОГУЛКА СЪ ДѢТЬМИ ПО С.-ПЕТЕРБУРГУ И ЕГО
ОКРЕСТНОСТЯМЪ.** Сочиненіе В. Бурьянова. Спб.
1838. Три части.

Наша литература особенно бѣдна книгами для воспитанія
въ обширномъ значеніи этого слова, т. е. какъ учебными,
такъ и литературными дѣтскими книгами. Но эта бѣдность
нашей литературы покуда еще не можетъ быть для нея важ-
нымъ упрекомъ. Посмотрите на богатые литературы Францу-
зовъ, Англичанъ и Нѣмцевъ: у всѣхъ у нихъ книгъ много, по
читать дѣтямъ почти нечего, или, по крайней мѣрѣ, очень мало.
Множество и количество ничего не доказываютъ. У Францу-
зовъ, напримѣръ, писали для дѣтей Беркенъ, Бульи, г-жа
Жанлисъ и прочіе, написали бездну, но—повторяемъ—дѣти
отъ этого нисколько не богаче книгами для своего чтенія. И
это очень естественно: должно родиться, а не сдѣлаться дѣт-
скимъ писателемъ. Тутъ требуется не только талантъ, но и
своего рода гений. Да, много, много нужно условій для обра-
зованія дѣтскаго писателя: тутъ нужна душа благодатная, лю-

блжшая, кроткая, спокойная, младенчески-простодушная, умъ возвышенный, образованный, взглядъ на предметы просвѣтленный, и не только живое воображеніе, но и живая поэтическая фантазія, способная представлять все въ одушевленныхъ, радужныхъ образахъ. Не говоримъ уже о любви къ дѣтямъ и о глубокомъ знаніи потребностей, особенностей и оттънковъ дѣтскаго возраста. Дѣтскія книги пишутся для воспитанія, а воспитаніе—великое дѣло: имъ рѣшается участь человѣка. Конечно, есть такія богатая и мощная субстанціи, которыя спасаютъ людей отъ гибели, вслѣдствіе дурнаго воспитанія, но не менѣе того несомнѣнно и то, что люди съ этими же самыми субстанціями, при хорошемъ воспитаніи, получили бы еще лучшее опредѣленіе и прямѣе бы дошли до своей цѣли съ силами свѣжими, не истощенными въ борьбѣ съ случайностями. Не говоримъ уже о томъ, что хорошее воспитаніе дурнаго дѣлаетъ менѣе дурнымъ, а порядочнаго дѣлаетъ положительно хорошимъ, способствуя ему пріобрѣсти опредѣленіе, равное его субстанціи—что и составляетъ значеніе дѣйствительности человѣка, противопоставляя это слово призрачности. Молодые поколѣнія суть гости настоящаго времени и хозяева будущаго, которое есть ихъ настоящее, получаемое ими какъ наслѣдство отъ старѣйшихъ поколѣній. Каждое новое поколѣніе есть зародышъ будущаго, которое должно сдѣлаться настоящимъ, есть новая идея, готовая смѣнить старую идею. На этомъ и основанъ ходъ и прогрессъ челоѣчества. «Не вливаютъ вина молодаго въ мѣхи старые», сказалъ нашъ Божественный Спаситель, и Онъ же изрекъ о дѣтяхъ, приведенныхъ къ Нему для благословенія: «Таковыхъ есть царствіе небесное». Но новое, чтобъ быть дѣйствительнымъ, должно выйти изъ стараго—и въ этомъ законѣ заключается важность воспитанія, и имъ же условливается важность призванія тѣхъ людей, которые берутъ на себя священную обязанность быть воспитателями дѣтей.

Обыкновенно думаютъ, что душа младенца есть бѣлая доска,

на которой можно писать, что угодно. Конечно, нельзя отвергать, что воспитаніе, внѣшнія обстоятельства, опытъ жизни, имѣютъ на человѣка великое и важное вліяніе; но все-таки возможность опредѣленія человѣка, и истиннаго, и ложнаго, заключается въ его субстанціи, а субстанція—въ его организмѣ. Каждый человѣкъ есть индивидъ, и какъ хорошимъ, такъ и худымъ, можетъ сдѣлаться только по своему, индивидуально. Воспитаніе не дѣлаетъ человѣка, но помогаетъ ему дѣлаться (хорошимъ или худымъ), и поэтому, если душа младенца и въ самомъ дѣлѣ есть бѣлая доска, то качество и смыслъ буквъ, которыя пишетъ на ней жизнь, зависятъ не только отъ пишущаго и орудія писанія, но и отъ свойства самой этой доски. А тутъ еще есть, такъ называемыя нѣкоторыя, врожденныя идеи, которыя суть непосредственное созерцаніе истины, заключающееся въ таинствѣ человѣческаго организма. Ребенка нельзя увѣрить, что дважды два—пять, а не четыре. Но это аксіома конечнаго разсудка, а есть еще аксіомы разума, развитіе которыхъ и должно составлять цѣль и заботу воспитанія. Нѣтъ! не бѣлая доска есть душа младенца, а дерево въ зернѣ, человѣкъ въ возможности. Какъ ни старо сравненіе воспитателя съ садовникомъ, но оно глубоко вѣрно, и мы не затрудняемся воспользоваться имъ. Да, младенецъ есть молодой, блѣдно-зеленый ростокъ, едва выглянувшій изъ своего зерна; а воспитатель есть садовникъ, который ходитъ за этимъ росткомъ. Посредствомъ прививки и дикую лѣсную яблоню можно заставить, вмѣсто кислыхъ и маленькихъ яблокъ, давать яблоки садовыя, вкусныя, большія; но тщетны были бы всѣ усилія искусства заставить дубъ приносить яблоки, а яблоню—жолуди. А въ этомъ-то именно и заключается, по большей части, ошибка воспитанія: забываютъ о природѣ, дающей ребенку наклонности и способности и опредѣляющей его значеніе въ жизни, и думаютъ, что было бы только дерево, а то можно заставить его приносить, что угодно, хоть арбузы вмѣсто орѣховъ.

Для садовника есть правила, которыми онъ необходимо руководствуется при хожденіи за деревьями. Онъ соображается не только съ индивидуальною природою каждого растенія, но и со временами года, съ погодою, съ качествомъ почвы. Каждое растеніе имѣетъ для него свои эпохи возрастанія, сообразно съ которыми онъ и располагаетъ свои съ нимъ дѣйствія: онъ не сдѣлаетъ прививки ни къ стебелю, еще не сформировавшемуся въ стволъ, ни къ старому дереву, уже готовому засохнуть. Человѣкъ имѣетъ свои эпохи возрастанія, не образуясь съ которыми, въ немъ можно задушить всякое развитіе. Жизнь человѣка проявляется въ движеніи его сознанія. Предметъ сознанія есть истина, всегда одинаковая, всегда ровная, всегда единая, но развивающаяся для человѣка во времени, понимаемая имъ постепенно, въ необходимыхъ и одинъ изъ другаго слѣдующихъ моментахъ, и потому представляющаяся ему неувимой, противорѣчивой, разнообразною. Знать можно только существующее, только то, что есть, и человѣкъ, какъ разумно-сознательная сущность и органъ всего сущаго, самъ для себя есть самый интересный предметъ знанія, и весь остальной, внѣ его находящійся міръ сущаго, можетъ сознать только чрезъ себя, перешедши изъ непосредственнаго единства съ нимъ въ распадѣніе. а изъ распадѣнія—въ разумное единство.

Въ человѣкѣ двѣ силы познаванія: разсудокъ и разумъ. У каждой изъ нихъ своя сфера: конечность есть сфера разсудка, безконечное понятно только для разума. Разумъ въ человѣкѣ необходимо предполагаетъ и разсудокъ, но разсудокъ не уславливаетъ собою разума. Разсудокъ, когда онъ дѣйствуетъ въ своей сферѣ, есть такъ же искра Божія, какъ и разумъ, и возвышаетъ человѣка надъ всею остальною природою, какъ ступень сознанія; но когда разсудокъ вступаетъ въ права разума, тогда для человѣка гибнетъ все святое въ жизни, и жизнь перестаетъ быть таинствомъ, но дѣлается борьбою эгоистическихъ личностей, азартною игрою, въ которой тор-

жестствует хитрый и безжалостный, и гибнет неловкій или совѣстливый. Разсудокъ, или то, что Французы называютъ *le bon sens*, что они такъ уважаютъ, и представителями чего они съ такою гордостью провозглашаютъ себя, разсудокъ уничтожаетъ все, что, выходя изъ сферы конечности, понятно для человѣка только силою благодати Божіей, силою откровенія; въ своемъ мишурномъ величіи, онъ гордо попираетъ ногами все это, потому только, что онъ безсиленъ проникнуть въ таинство безконечнаго. XVIII вѣкъ былъ именно вѣкомъ торжества разсудка, вѣкомъ, когда все было переведено на ясныя, очевидныя и для всякаго доступныя понятія. Разумъ также переводитъ въ опредѣленные понятія, но уже не конечное, а безконечное; также выговариваетъ опредѣленнымъ словомъ, но уже то, что не подлежитъ чувственному созерцанію, и его опредѣленія и выговариванія не оковываютъ значенія сущаго мертвою неподвижностію разсудка, но, схватывая моментъ вѣчной жизни общаго и абсолютнаго, заключають въ себѣ безконечную возможность опредѣленій дальнѣйшихъ моментовъ. Въ опредѣленіяхъ разсудка смерть и неподвижность; въ опредѣленіяхъ разума—жизнь и движеніе. Сознать можно только существующее: такъ неужели конечныя истины очевидности и соображенія опыта существеннѣе, неужели тѣ дивныя и таинственныя потребности, порыванія и движенія нашего духа, которыя мы называемъ чувствомъ, благодатью, откровеніемъ, просвѣтлѣніемъ? Вотъ въ этомъ-то и заключается причина нападковъ на искусство и философію, которыя нѣкоторымъ людямъ кажутся призраками разстроеннаго воображенія. И они правы, эти люди: сознать можно только существующее, а для нихъ не существуетъ содержаніе искусства и философіи, это содержаніе, которое, какъ милость Божія, дается человѣку при его рожденіи. А для этихъ людей все призракъ, чего не можно привести въ такую же ясную формулу, какъ то, что дважды два—четыре.

Говоря о воспитаніи, мы нисколько не отступили отъ сво-

его предмета, начавши говорить о различіи разсудка отъ разума. Пониманіе этого различія должно быть краеугольнымъ камнемъ въ планѣ воспитанія, и первая забота воспитателя должна состоять въ томъ, чтобы не развивать въ дѣтяхъ разсудка на счетъ разума, и даже обратить все свое вниманіе только на развитіе послѣдняго, тѣмъ болѣе, что первый и безъ особенныхъ усилій возьметъ свое. Если несносенъ, пошлъ и гадокъ взрослый человѣкъ, который все великое въ жизни мѣряетъ маленькимъ аршиномъ своего разсудка, и о религіи, искусствѣ и знаніи разсуждаетъ, какъ о поствѣ хлѣба, или выгодной партіи; то еще отвратительнѣе ребенокъ резонёръ, который разсуждаетъ, потому что еще не въ силахъ мыслить. Да, не только развивать — надо душить, въ самомъ ея зародышѣ, эту несчастную способность резонёрства въ дѣтяхъ; она иссушаетъ въ нихъ источники жизни, любви, благодати; она дѣлаетъ ихъ молоденькими старичками, ставитъ на ходули. Не говорите дѣтямъ о томъ, что такое Богъ: они не поймутъ вашихъ конечныхъ и отвлеченныхъ опредѣленій безконечнаго существа: но заставьте дѣтей любить Его, этого Бога, Который является имъ и въ ясной лазури неба, и въ ослѣпительномъ блескѣ солнца, и въ торжественномъ великолѣпіи возстающаго дня, и въ грустномъ величіи наступающей ночи, и въ ревѣ бури, и въ раскатахъ грома, и въ цвѣтахъ радуги, и въ зелени лѣсовъ, и во всемъ. что есть въ природѣ живаго, такъ безмолвно и вмѣстѣ такъ краснорѣчиво говорящаго душѣ юной и свѣжей, и, наконецъ, во всякомъ благородномъ порывѣ, во всякомъ чистомъ движеніи ихъ младенческаго сердца. Не разсуждайте съ дѣтьми о томъ, какое наказаніе полагаетъ Богъ за такой-то грѣхъ, не показывайте имъ Бога, какъ грознаго, карающаго судію, но учите ихъ смотрѣть на Него безъ трепета и страха, какъ на отца, безконечно любящаго своихъ дѣтей, которыхъ Онъ создалъ для блаженства, и которыхъ блаженство Онъ искупилъ мученіемъ на крестѣ. Внушайте дѣтямъ

страхъ Божій какъ начало премудрости, по дѣлайте такъ, чтобы этотъ страхъ вытекалъ изъ любви же, и чтобы не боязнь наказанія, но боязнь оскорбить Отца, благаго, любящаго, а не грознаго и мстящаго, производила этотъ страхъ. Обращайте ваше вниманіе не на истребленіе недостатковъ и пороковъ въ дѣтяхъ, но на наполненіе ихъ животворящею любовію: будетъ любовь, не будетъ пороковъ. Истребленіе дурнаго безъ наполненія хорошимъ—безплодно; оно производитъ пустоту, а пустота безпрестанно наполняется—пустотою же: выгоните одну, явится другая. Любви, безконечной любви—все остальное призрачно и ничтожно. «Богъ есть любовь, и пребывающій въ любви, пребываетъ въ Богѣ и Богъ въ немъ».—Теперь предстоитъ вопросъ: это цѣль воспитанія, а гдѣ же путь къ этой цѣли? Вопросъ этотъ такъ глубокъ и обширенъ, что для рѣшенія его мало книги, не только журнальной статьи. Но мы хотимъ слегка взглянуть на него съ одной его стороны—въ приложеніи къ дѣтскимъ книгамъ, съ чего мы и начали.

Мы выше сказали, что для человѣка истина существуетъ прежде всего, какъ непосредственное созерцаніе, во глубинѣ его духа заключающееся. Этимъ-то непосредственнымъ созерцаніемъ человѣкъ видитъ истину, какъ бы по какому-то инстинкту, и, не будучи въ состояніи доказать ея или вывести изъ логической необходимости ея очевидности, не сомнѣвается въ ней. Это есть то, что въ людяхъ съ искрою божіею называется убѣжденіемъ, вѣрою, откровеніемъ, или религіознымъ постиженіемъ истины. Но—повторяемъ—дитя можетъ только разсуждать—что составляетъ пустоцвѣтъ жизни, и не можетъ еще мыслить—что составляетъ истинный, плодотворный цвѣтъ жизни. Теперь очень естественно рождается вопросъ: въ чемъ должно состоять воспитаніе дѣтей, что должно оно развивать въ нихъ, если не мысль, которая еще не существуетъ для нихъ?

Основу, сущность, элементъ высшей жизни въ человѣкѣ

составляет его внутреннее ощущение безконечнаго, которое, какъ чувство, лежитъ въ его организаціи. Чувство безконечнаго есть искра Божія, зерно любви и благодати, живой электрическій проводникъ между человѣкомъ и Богомъ. Степени этого чувства различны въ людяхъ, по глаголу Христа: «И далъ одному пять талантовъ, другому два, третьему одинъ, каждому по его силѣ»; но мѣрою глубины этого чувства измѣряется достоинство человѣка и близость его къ источнику жизни—къ Богу. Все человѣческое знаніе должно быть выговариваніемъ, переводеніемъ на понятія, опредѣленіемъ, словомъ—сознаніемъ таинственныхъ проявленій этого чувства, безъ котораго, поэтому, всѣ наши понятія и опредѣленія суть слова безъ смысла, форма безъ содержанія, сухая, безплодная и мертвая отвлеченность. Безъ чувства безконечнаго, въ человѣкѣ не можетъ быть и внутренняго, духовнаго созерцанія истины, потому что непосредственное созерцаніе истины основывается, какъ на фундаментѣ, на чувствѣ безконечнаго. Это чувство есть даръ природы, результатъ счастливой организаціи, и потому свойственно и дѣтямъ, въ которыхъ лежитъ какъ зародышъ—и развитіе, возвращеніе этого зародыша и должно составлять главную заботу воспитанія. Но какимъ путемъ, какимъ средствомъ, должно совершиться это развитіе и возвращеніе?

Мы сказали, что живая, поэтическая фантазія есть необходимое условіе, въ числѣ другихъ необходимыхъ условій, для образованія писателя для дѣтей: чрезъ нее и посредствомъ ея долженъ онъ дѣйствовать на дѣтей. Въ дѣтствѣ, фантазія есть преобладающая способность и сила души, первый посредникъ между духомъ ребенка и вѣкъ его находящимся міромъ дѣйствительности. Дитя не требуетъ выводовъ, доказательствъ и логической послѣдовательности: ему нужны образы, краски и звуки. Дитя не любитъ идей: ему нужны исторіи, повѣсти, сказки, рассказы. И посмотрите, какъ сильно у дѣтей стремленіе ко всему фантастическому, какъ жадно слушаютъ они

разказы о мертвецахъ, привидѣніяхъ, волшебствахъ. Что это показываетъ?—потребность безконечнаго, начало чувства поэзіи, которыя находятъ для себя удовлетвореніе пока еще только въ одномъ чрезвычайномъ, отличающемся неопредѣленностію идеи и яркостію красокъ. Чтобы говорить образами, надо если не быть поэтомъ, то по крайней мѣрѣ быть рассказчикомъ и имѣть фантазію живую, рѣзвую, радужную. Чтобы говорить образами съ дѣтьми, надо знать дѣтей, надо самому быть взрослымъ ребенкомъ, не въ пошломъ значеніи этого слова, но родиться съ характеромъ младенчески-простодушнымъ. Есть люди, которые любятъ дѣтское общество и умѣютъ занять его и рассказомъ и разговоромъ и даже игрою, принявъ въ ней участіе; дѣти, съ своей стороны, встрѣчаютъ этихъ людей съ шумною радостію, слушаютъ ихъ со вниманіемъ и смотрятъ на нихъ съ откровенною довѣрчивостію, какъ на своихъ друзей. Про такого человѣка у насъ, на Руси, говорятъ: это дѣтскій праздникъ. Вотъ такихъ-то «дѣтскихъ праздниковъ» нужно и для дѣтской литературы. Да—много, очень много условій! Такіе писатели, подобно поэтамъ, рождаются, а не дѣлаются...

Чѣмъ обыкновенно отличаются повѣсти для дѣтей?—дурно склееннымъ рассказомъ, пересыпаннымъ нравственными сентенціями. Цѣль такихъ повѣстей — обманывать дѣтей, искажая дѣйствительность. Тутъ обыкновенно хлопочутъ изъ всѣхъ силъ убить въ дѣтяхъ всякую живость, рѣзвость и шаловливость, которыя составляютъ необходимое условіе юнаго возраста, вмѣсто того, чтобы стараться дать имъ хорошее направленіе и сообщить характеръ доброты, откровенности и граціозности. Потомъ стараются приучить дѣтей обдумывать и взвѣшивать всякій ихъ поступокъ, словомъ, сдѣлать ихъ благоразумными резонёрами, которые годятся только для классической комедіи; а не думаютъ о томъ, что все дѣло во внутреннемъ источникѣ духа, что если онъ полонъ любовію и благодатію, то и внѣшность будетъ хороша, и что, наконецъ,

нѣтъ ничего отвратительнѣе, какъ мальчишка-резонёръ, свысока разсуждающій о нравственности, заложивъ руки въ карманы. А потомъ что еще?—потомъ стараются увѣрять дѣтей, что Богъ наказываетъ за всякій проступокъ и награждаетъ за всякое хорошее дѣйствіе. Истина святая — не споримъ; но объяснять дѣтямъ наказаніе и награжденіе въ буквальномъ, вѣшнемъ и, слѣд., случайномъ смыслѣ — значитъ обманывать ихъ. А по смыслу и разумѣнію (разумѣется, крайнему), всѣхъ дѣтскихъ книжекъ награда за добро состоитъ въ долготѣйшей жизни, богатствѣ, выгодной женитьбѣ — прочтите хоть, напр., повѣсти Коцебу, написанныя имъ для собственныхъ дѣтей. Но дѣти только неопытны и легкомысленны, но отнюдь не глупы — и отъ всей души смѣются надъ своими мудрыми наставниками. И это еще спасеніе для дѣтей, если они не позволяютъ такъ грубо обманывать себя; но горе имъ, если они повѣрятъ: ихъ разувѣритъ горькій опытъ и наброситъ въ ихъ глазахъ темный покровъ на прекрасный божій міръ. Каждый изъ нихъ собственнымъ опытомъ узнаетъ, что безстыдный лѣнтяй часто получаетъ похвалу на счетъ прилежнаго; что наглый затѣйникъ шалости непризнательностію отдѣлывается отъ наказанія, а сдѣлавшій шалость и чистосердечно признавшійся въ ней, нещадно наказывается; что честность часто не только не даетъ богатства, но дѣлаетъ еще бѣднѣе, и пр. Да, все это, къ несчастію, узнаетъ каждый изъ нихъ. Но не каждый изъ нихъ узнаетъ, что наказаніе за худое дѣло производится самымъ этимъ дѣломъ и состоитъ въ отсутствіи изъ души благодатной любви, мира и гармоніи, единственныхъ источниковъ истиннаго счастья; что награда за доброе дѣло опять-таки происходитъ отъ самаго этого дѣла, которое даетъ человѣку сознаніе своего достоинства, сообщаетъ его душѣ спокойствіе, гармонію, чистую радость и чрезъ то дѣлаетъ ее храмомъ божіимъ, потому что Богъ тамъ, гдѣ безмятежна, просвѣтленная радость, гдѣ любовь. А обо всемъ этомъ должны бы дѣтямъ говорить дѣтскія книжки. Онѣ бы

должны были внушать имъ, что счастье не во вѣшнихъ и призрачныхъ случайностяхъ, а во глубинѣ души; что не блестящій, не богатый, не знатный человекъ любимъ Богомъ, но «сокровенный сердца человекъ въ нетѣнномъ украшеніи кроткаго и спокойнаго духа, что драгоценно предъ Богомъ», какъ говоритъ св. апостолъ Петръ. Онѣ бы должны были показать имъ, что міръ и жизнь прекрасны, такъ какъ они есть, но что независимость отъ ихъ случайностей состоитъ не въ коврѣ самолета, не въ волшебномъ прутикѣ, мановеніе котораго воздвигаетъ дворцы, вызываетъ легіоны хранительныхъ духовъ, съ пламенными мечами, готовыхъ наказъ злыхъ преслѣдователей и обидчиковъ, но въ свободѣ духа, который силою божественной, христіанской любви торжествуетъ надъ невзгодами жизни и бодро переноситъ ихъ, почерпая свою силу въ этой любви. И еслибы все это онѣ передавали имъ не въ истертыхъ сентенціяхъ, не въ холодныхъ нравоученіяхъ, не въ сухихъ разсказахъ, а въ повѣствованіяхъ и картинахъ, полныхъ жизни, движенія, проникнутыхъ одушевленіемъ, согрѣтыхъ теплотою чувства, написанныхъ языкомъ легкимъ, свободнымъ, игривымъ, цвѣтущимъ въ самой своей простотѣ — то могли бы служить однимъ изъ самыхъ прочныхъ основаній и самыхъ дѣйствительныхъ средствъ для воспитанія дѣтей. И какое обширное, богатое поле представляется такимъ писателямъ: не говоря уже объ источникѣ ихъ собственной фантазіи, религія, исторія, географія, естествознание — умѣйте только пожинать! Да, для дѣтей предметы тѣ же, что и для взрослыхъ людей, только изложенные сообразно съ ихъ понятіемъ, а въ этомъ-то и заключается одна изъ важнѣйшихъ сторонъ этого дѣла. Какіе богатые матеріалы представляетъ одна исторія! Показать душѣ юной, чистой и свѣжей примѣры высокихъ дѣйствій представителей человѣчества, дѣйствительность добра и призрачность зла — не значитъ ли это возвысить ее? Провести дѣтей по тремъ царствамъ природы, пройти съ ними по всему земному шару, съ его многолюдными населеніями и

пустынями, съ его сухью и океанами — не значить ли это показать имъ Творца въ Его твореніи, заставить ихъ возлюбить Его и возблаженствовать этою любовію?... Пишите, пишите для дѣтей, но только такъ, чтобы вапу книгу съ удовольствіемъ прочелъ и взрослый и, прочтя, перенесся бы мечтою въ свѣтлыя годы своего младенчества... Главное дѣло, какъ можно меньше сентенцій, правоученій и резонёрства: ихъ не любятъ и взрослые, а дѣти просто ненавидятъ. Они хотятъ въ васъ видѣть друга, а не наставника, требуютъ отъ васъ наслажденія, а не скуки, рассказовъ, а не поученій. Дитя веселое, доброе, живое, рѣзвое, жадное до впечатлѣній, страстное къ рассказамъ, не чувствительное, а чувствующее — такое дитя есть дитя божіе: въ немъ играетъ юная, богатая жизнь, и надъ нимъ почиетъ благословеніе божіе. Пусть дитя шалить и проказить, лишь бы его шалости и проказы не были вредны и не носили на себѣ отпечатка физическаго и нравственнаго цинизма; пусть оно будетъ безразсудно, опрометчиво, лишь бы оно не было глупо и тупо; мертвенность же и безжизненность хуже всего. Но ребенокъ разсуждающій, ребенокъ благоразумный, ребенокъ резонёръ, ребенокъ, который всегда остороженъ, никогда не сдѣлаетъ шалости, ко всѣмъ ласковъ, вѣжливъ, предупредителенъ, и все это по разсчету, то горе вамъ, если вы сдѣлали его такимъ! Вы убили въ немъ чувство и развили конечный разсудокъ; вы заглушили въ немъ богатое семя безсознательной любви, и возрастили въ немъ — резонёрство... Бѣдныя дѣти, сохрани васъ Богъ отъ оспы, кори и сочиненій Беркена, Жанлисъ и Бульи!...

Много, много еще можно бъ было сказать объ этомъ предметѣ, но мы и такъ уже заговорились больше, нежели сколько позволяютъ предѣлы библиографической статьи, и совсѣмъ потеряли изъ виду книжки г. Бурьянова, подавшія намъ поводъ къ этимъ разсужденіямъ. Что же онѣ, эти книжки г. Бурьянова? А вотъ постойте — сейчасъ скажемъ. Г. Бурьяновъ пишетъ для дѣтей такъ много, что одинъ журналъ назвалъ его

за плодovitость дѣтскимъ Вальтеръ-Скоттомъ. Въ самомъ дѣлѣ, г. Бурьяновъ много пишетъ, и потому между нимъ и В.-Скоттомъ удивительное сходство! Противъ этого нечего и спорить. А между тѣмъ, г. Бурьяновъ все-таки самый усердный и дѣятельный писатель для дѣтей, и еслибы въ литературной дѣятельности этого рода все ограничивалось только усердіемъ и дѣятельностію, т. - е. еслибы тутъ не требовалось еще призванія, таланта, высшихъ понятій о своемъ дѣлѣ и, наконецъ, знанія языка, то мы бы первые были готовы оставить за нимъ имя какого угодно генія, начиная отъ Гомера до Гёте вступительно. Но... что и какъ переводить и пишетъ г. Бурьяновъ?—а вотъ посмотримъ.

Первая изъ четырехъ поименованныхъ нами книгъ г. Бурьянова «Библіотека дѣтскихъ повѣстей и разсказовъ» есть его сочиненіе и можетъ служить образчикомъ его сочиненій въ этомъ родѣ, а вторая «Совѣты для дѣтей» Будьи есть его переводъ и можетъ служить образчикомъ выбора и достоинства его переводовъ. Перваго сочиненія мы прочли одну только часть. Нравственное начало есть жизнь этого сочиненія: вотъ его лучшая и полная характеристика. Порокъ или исправляется или наказывается; добродѣтель торжествуетъ—это ужъ само собою разумѣется; но не всякій догадается, что русскія повѣсти г. Бурьянова суть переложенія французскихъ на русскіе нравы, или, лучше сказать, на русскія имена и фамиліи,—то же, что русскіе водевили. Но есть и оригинальныя: мы прочли какого-то «Новаго кавказскаго плѣнника» — и задумались надъ словомъ «новый»: какой же «старый?» неужели Пушкина? но — въ такомъ случаѣ — что за отношеніе между ними? ужъ не такое ли, какъ между г. Бурьяновымъ и В.-Скоттомъ — можетъ быть! Мы уже не говоримъ, что въ этой повѣсти нѣтъ ни характеровъ, ни лицъ, ни природы кавказской, ни теплоты душевной, ни умѣнія разсказывать, а слѣдовательно, и занимательности, ни слога—ничего этого мы и не искали въ ней, но намъ показалось досаднымъ искаженіе мѣст-

ностей Пятигорска: у г. Бурьянова, Эльбрусъ выглядываетъ изъ-за Бештау, тогда какъ Бештау стоитъ вправо отъ Пятигорска и въ сторонѣ отъ Эльбруса; Черкесъ, набросивъ на голову лошади бурку (?), низвергается съ берега въ Подкумокъ, тогда какъ берега Подкумка чуть не вровень съ водою, а самъ онъ глубиною — воробью по колѣно; низверженные грозой огромныя сосны лежатъ чрезъ бурные потоки, служа г. Бурьянову мостами, тогда какъ, въ окрестностяхъ Пятигорска, ни на Машукѣ, ни на Бештау, ни на другихъ близкихъ къ нимъ горахъ нѣтъ ни потоковъ, ни сосенъ, даже маленькихъ, не только большихъ, а растутъ жалкій дубовый кустарникъ, едва въ ростъ челоуѣка. Мы не читали сочиненія г. Бурьянова «Прогулка съ дѣтьми по Россіи»; но, послѣ такого вѣрнаго описанія Пятигорска, смѣемъ думать, что немного правды о Россіи выходятъ дѣти изъ этой безконечной прогулки.

«Совѣты для дѣтей» — превосходны: чистѣйшая нравственность такъ и блещетъ въ нихъ, вмѣстѣ съ дубочными картинками, на которыхъ она представлена въ лицахъ. Не угодно ли полюбоваться?—Малютки—братъ и сестра, дѣти бѣднаго солдата, пошли съ кувшиномъ за водою, и мальчикъ разбилъ кувшинъ. Сдѣлавши бѣду, онъ началъ плакать, боясь, что отецъ его жестоко накажетъ; сестра предлагаетъ ему снять вину на себя; мальчикъ наотрѣзъ отказывается отъ такого ужаснаго самопожертвованія. Этотъ споръ великодушія подслушивается за деревьями одна достаточная вдова; дарить мальчику новый кувшинъ, приговаривая: «Вотъ что значить никогда не лгать: рано или поздно Богъ награждаетъ насъ за это». Потомъ богатая вдова выводитъ изъ бѣдности стараго солдата, отца малютокъ, осыпавъ его своими благодѣянiями, и изъ всего этого снова выводится святое правило, что «быть добрымъ и никогда не лгать очень выгодно, потому что за это платится наличною звонкою монетою». А переводъ этой книжки—какіе длинные періоды, что за роскошь въ причастіяхъ, дѣйствительныхъ и страдательныхъ!.... Бѣдныя дѣти! мало

того, что г. Бульи изсушаетъ въ вашихъ юныхъ сердцахъ благоухающій цвѣтъ чувства и выращаетъ въ нихъ пырей и бѣлену резонёрства:—г. Бурьяновъ еще убиваетъ въ васъ и всякую возможность говорить и писать по-человѣчески на своемъ родномъ языкѣ!...

«Зимніе вечера», сочиненіе какого-то г. Деппинга, имѣло во всей Европѣ чрезвычайный успѣхъ, какъ увѣряетъ г. Бурьяновъ въ предисловіи къ этой книгѣ, переведенной имъ съ четвертаго изданія. Можетъ-быть, эта книга и въ самомъ дѣлѣ хороша, но такъ какъ мы не читали ея въ подлинникѣ, а г. Бурьяновъ столько же передѣлалъ эту книгу, сколько и перевелъ ее, то, зная направленіе переводчика, мы и не считаемъ себя въ правѣ судить о ней. По крайней мѣрѣ, въ переводѣ-то она показалась намъ довольно сухимъ и утомительнымъ изложеніемъ фактовъ! А вѣдь было гдѣ развернуться! Показать дѣтямъ міръ Божій въ картинѣ человѣческихъ племенъ и обществъ—богатый предметъ! Особенно намъ не понравилось обиліе сентенцій тамъ, гдѣ само дѣло говорить за себя. Но что хуже всего, такъ это то, что авторъ или (что вѣроятнѣе), переводчикъ безпрестанно выхваляетъ добродѣтели дикихъ народовъ—безусловное уваженіе къ старости и безусловное повиновеніе ей, не скрывая, въ то же время, обычая многихъ дикарей—убивать своихъ отцовъ. Хорошо уваженіе! И что за добродѣтель такая—безусловное уваженіе и покорность старости? Представьте себѣ, что какое-нибудь благовопитанное дитя, повѣривъ г. Бурьянову, вздумаетъ не только безусловно уважать, но и безусловно повиноваться сѣдому камердинеру, сѣдому старостѣ, лакею своего отца, первому встрѣтившемуся сѣдому нищему: куда бы повела его эта безусловность повиновенія сѣдинѣ? Да и вообще, надо осторожно восхищаться добродѣтелями дикихъ; и въ самой Европѣ, въ образованнѣйшихъ государствахъ, чернь дика и звѣрообразна съ своей нравственной стороны: чего же хотите вы отъ дикарей—этихъ существъ, стоящихъ на степени животнаго? Пер-

вая точка отправленія духовнаго развитія людей есть соединеніе ихъ въ гражданскія общества, а дикари цѣлыя тысячелѣтія живутъ, чуждаясь гражданственности. Въ Америкѣ, напримеръ, они совсѣмъ истребляются, тѣсными Штатами: такъ истребляется звѣрь изъ того мѣста, гдѣ водворится человѣкъ. И у этихъ-то полулюдей велятъ нашимъ дѣтямъ учиться нравственности!...

«Прогулка съ дѣтьми по С.-Петербургу» есть самое скучное и голословное изчисленіе зданій и достопримѣчательностей Петербурга. А и тутъ было бы гдѣ развернуться, потому что въ Петербургѣ нѣтъ ни одного зданія, котораго видъ не пробуждалъ бы въ памяти какого-нибудь случая, какой-нибудь подробности о его великомъ основателѣ — Петрѣ, нашей народной гордости и славѣ, и его великихъ наследникахъ. И г. Бурьяновъ кое-гдѣ и берется за это, но его описанія вялы, холодны, мелочно-подробны и касаются больше до ширины и вышины стѣнъ; а его воспоминанія очень походятъ на общія мѣста. Онъ даже выписываетъ мѣстами приличные стихи изъ Пушкина и Жуковского, но, вмѣстѣ съ ними, прилагаетъ и вирши Рубана. Нѣтъ, это книжка не для дѣтей; скучно, утомительно и бесплодно будетъ имъ читать ее: они ничего не упомянуть изъ нея, потому что дѣти понимаютъ и помнятъ не разсудкомъ и памятью, а воображеніемъ и фантазією, а что за пища воображенію и фантазіи эти статистическія описанія, эти сухія, голословныя изчисленія безчисленныхъ фактовъ? Намъ скажутъ: «это займетъ дѣтей и удержитъ ихъ отъ рѣзвости и шалостей». Положимъ, что и такъ, но что за польза въ этомъ! нѣтъ, пусть лучше дѣти шалятъ и рѣзвятся — это необходимо въ ихъ возрастѣ, пусть лучше бѣгаютъ по саду или полю и привыкаютъ созерцать живую природу въ ея красотѣ — это развиваетъ въ нихъ чувство безконечнаго: а такое препровожденіе времени въ тысячу разъ полезнѣе, нежели чтеніе подобныхъ книгъ....

ДВѢТСКІЙ АЛЬБОМЪ НА 1838 ГОДЪ. *Собраніе повѣстей, разсказовъ и драматическихъ разговоровъ. Подарокъ на праздникъ. А. Попова. Спб. 1838.*

Г. Поповъ идетъ по одной дорогѣ съ г. Бурьяновымъ: перебивается общими мѣстами о нравственности, и думаетъ, что дѣйствуетъ на образованіе дѣтей. Въ одной изъ своихъ сказочекъ, бѣдныхъ содержаніемъ и богатыхъ фразами, онъ советуетъ дѣтямъ наблюдать строгую осторожность въ выборѣ друзей. Но что такое дружба? Какъ и любовь, она есть взаимное пониманіе въ общемъ двухъ субъектовъ. Во всякомъ другомъ случаѣ, дружба есть привычка, или связь, основанная на взаимныхъ эгоистическихъ выгодахъ. Чрезъ что завязывается истинная дружба между людьми?—черезъ стремленіе къ общему, другими словами, черезъ любовь къ истинѣ. Какъ одинъ человѣкъ можетъ узнать внутреннюю жизнь другаго?—черезъ обмѣнъ мыслей и чувствъ. Въ чемъ же заключается тайна сближенія двухъ человѣкъ равной субстанции, но еще не узнавшихъ другъ друга съ ихъ нравственной стороны?—въ симпатіи, причина которой заключается въ родствѣ ихъ субстанцій, по русской пословицѣ: «душа душѣ даетъ вѣсть». Теперь какимъ образомъ можно дать почувствовать дѣтямъ таинство истинной дружбы и предохранить ихъ отъ увлеченій ложной;—растолковавши имъ значеніе дружбы, какъ взаимнаго пониманія двухъ субъектовъ въ святомъ таинствѣ жизни. Разумѣется, что это толкованіе должно быть сдѣлано понятно для дѣтей и не въ разсужденіи, а въ повѣсти или драмѣ, такъ, чтобы дѣло говорило само за себя, и дѣти могли бы сами вывести для себя мысль этого сочиненія, безъ помощи нравственныхъ сентенцій со стороны автора. А для этого, разумѣется, нуженъ талантъ и талантъ. По крайней мѣрѣ, мы такъ думаемъ; но г. Поповъ думаетъ объ этомъ иначе, или совсѣмъ не думаетъ объ этомъ: жалѣемъ!...

СОВРЕМЕННОСТЬ. 1838 г. № 1.

Первый № «Современника» на нынѣшній годъ давно уже всѣми прочтенъ и потому вышелъ изъ ряду литературныхъ новостей, которыя должны составлять содержаніе нашей «Литературной хроники». Но не столько новое, сколько примѣчательное, въ какомъ бы то ни было значеніи, составляетъ постоянный и главный предметъ библиографическаго отдѣленія «Наблюдателя», а пока въ «Современникѣ» будетъ хотя одна строка Пушкина, хотя недоконченные полстиха, онъ не перестанетъ быть для насъ явленіемъ примѣчательнымъ, въ хорошемъ значеніи этого слова.

Начнемъ по порядку — съ прозаическихъ статей. Первая изъ нихъ и по порядку, и по достоинству, и по содержанію, есть статья В. А. Жуковскаго «Путешествіе по Россіи Е. И. В. Государя Наслѣдника Цесаревича». — «Послѣднее сраженіе Фигнера», статья г. Николая Невѣдомскаго, принадлежитъ къ числу такихъ оригинальныхъ статей, какими рѣдко украшаются наши журналы. Мы прочли ее съ живѣйшимъ наслаженіемъ. — «Хроника Русскаго въ Парижѣ» живо заинтересовываетъ читателя, и то, что составляетъ ея букетъ — это именно небрежность, и отрывочность, съ какими она писана. Передѣлать ее въ журнальную статью — значило бы испортить. Конечно, не худо было бы редакціи исключить слово «дебаты» и «журналъ дебатовъ», но только этимъ и должны ограничиться ея поправки. Отсутствие всякой послѣдовательности, смѣсь фразъ русскихъ, французскихъ, латинскихъ, говорливость, пестрота и отсутствие всякаго содержанія при видимой полнотѣ содержанія — настоящій Парижъ, Вавилонъ новаго человѣчества! Но все это нисколько не мѣшаетъ автору сохранять свой образъ мыслей и имѣть здравыя понятія о предметахъ, и это тамъ, гдѣ хоть у кого такъ закружится голова, вслѣдствіе общаго головокруженія, составляющаго основу народной жизни. Намъ особенно понравилась

тонкая насмѣшливость автора на счетъ Лерминье—говоруна и фразѣра, на котораго Франція смотритъ какъ на великаго философа. «Я замѣтилъ, что Лерминье, хотя все еще иногда сенсимонствуетъ, но уже начинаетъ съ почтеніемъ отзываться о римской церкви: *sans l'église que serait devenu le monde!* вскричалъ онъ громогласно и ударивъ крѣпко рукою по кафедрѣ». — Еслибы мы присутствовали при чтеніи этой знаменитой лекціи, то, право, не удержались бы, чтобы не поподчивать великаго французскаго философа благимъ совѣтомъ почтеннаго городничаго Сквозника-Дмухановскаго: «Оно конечно, Александръ Македонскій герой, но зачѣмъ же стулья ломать? отъ этого убытокъ казнѣ». Далѣе авторъ «Хроники» говорить о Лерминье:

При всемъ томъ лекціи его составлены изъ какихъ-то темныхъ намековъ, которые Карамзидъ называлъ бы полумыслями. Онъ слишкомъ гоняется за эффектомъ, за блестящими фразами, которыми облекаетъ самыя пошлыя идеи или свѣдѣнія. „Charles a disparu! Nous trouvons le commencement de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Russie: nous y trouvons les principia rerum!“ И вдругъ послѣ латинскаго изрѣченія начинаетъ рассказъ объ Англіи такъ, „César alla une fois voir l'Angleterre, c'est le génie romain qui la visita. Il fallait l'attirer à l'histoire“. Цезаря не поняли; даже Луканъ въ своей „Фарсалии“ критиковалъ его за то, что онъ безъ пользы былъ два раза въ Англіи! „Alfred introduit l'Angleterre dans la grande nationalité de l'Europe. Il reproduit Charlemagne; il traduit Boëce (De consolatione): voila comment s'ourdit la trame de la solidarité humaine“. Описывая состояніе Саксонцевъ-завоевателей, до появленія Альфреда, Лерминье съ важностію и отважно проканесъ: „ils attendaient quelque chose!“... и т. д.

Какъ вамъ кажутся всѣ эти фразы, эти фанфаронады, буффонады, эти ходули выраженій и образовъ безъ мыслей и смысла?... Франція называетъ это философіею... Хороша философія!...

Но и этимъ еще не все оканчивается: Лерминье, какъ говорятъ остроумный авторъ «Хроники», въ Collège de France коверкаетъ имена Гегеля, Шлегеля и Канта. Еще хорошо бы

было и для него и для здраваго смысла, еслибъ онъ коверкалъ ихъ только въ Collège de France: къ несчастію, его шарлатанство и наглость идутъ далѣе.

Не удивляемся нисколько, что авторъ «Хроники» говорить съ маленькою насмѣшливостію о Ламартинѣ; но удивляемся тому, что онъ еще какъ будто уважаетъ его и потому боится, ужь не слишкомъ ли смѣется надъ нимъ... Странное дѣло: неужели фразы въ прозѣ замѣтите стихотворныхъ фразъ? «Кстати о Ламартинѣ, говоритъ авторъ «Хроники». Субботы его начались, но въ салонѣ его толпятся депутаты, и политика заглушаетъ литературу. На столѣ по прежнему разбросаны брошюры, журналы и всѣ произведенія новѣйшей словесности во всѣхъ родахъ. Несмотря на исключительное господство политики въ разговорахъ, иногда удается и литературѣ, а особливо поэзіи, обратить на себя минутное вниманіе хозяина». Вотъ вамъ и поэзія!

Кстати: не угодно ли вамъ позабавиться Франціею со стороны ея успѣховъ въ философіи? — Академія нравственныхъ наукъ предложила на 1839 годъ «критическій разборъ (чего бы вы думали?) нѣмецкой философіи»! Призъ состоитъ въ 1500 франковъ, да дѣло больше и не стѣить, потому что для всякаго истиннаго Француза разобрать нѣмецкую философію — все равно, что завоевать Россію — вздоръ, бездѣлица! Вотъ программа: «1) faire connaitre, par des analyses étendues les principeaux systèmes, qui ont paru en Allemagne, depuis Kant inclusivement jusqu'à nos jours; 2) s'attacher principalement au système de Kant, qui est le principe de tous les autres»; 3) apprecier cette philosophie (легкое дѣло!), discuter les principes sur lesquels elle repose, les methodes qu'elle employa, les resultats aux quels elle est parvenue, chercher la part d'erreur et la part de verité (!?) qui s'y rencontrent et de qui, en dernière analyse, aux yeux d'une saine critique (вѣроятно, d'une critique du bon sens) peut legitiement subsister sous une forme ou sous une autre du mouvement

philosophique en Allemagne». Право, это напоминает инструкцію персидскаго посланника (въ романѣ «Хаджи-Баба-Ипагани въ Персіи и Турціи») узнать—Англія постоянное ли жилище Англичанъ, или ихъ только лѣтнее кочевье, Лондонъ въ Англіи, или Англія въ Лондонѣ....

Мы должны упомянуть еще о трехъ статьяхъ «Современника», хотя въ немъ ихъ и гораздо больше. Такъ какъ мы рѣшились однажды навсегда говорить болѣе о томъ, о чемъ пріятно говорить, а во всемъ прочемъ полагаться на краснорѣчивую выразительность молчанія, то и не стали бы говорить о двухъ статьяхъ — «О литературныхъ утратахъ» и «Праздникъ въ честь Крылова», еслибы онѣ, отличаясь удивительною странностію и въ выраженіи и въ мысляхъ, а особливо первая, не заключали въ себѣ много дѣльныхъ мыслей, хорошо высказанныхъ. Вотъ примѣръ странности въ мысляхъ: авторъ первой статьи смѣшиваетъ между собою два совершенно различныя понятія — поэта и литератора. Если одно и то же лицо можетъ совмѣщать въ себѣ и литератора и поэта, то труды этого лица должны быть разсматриваемы съ двухъ совершенно различныхъ точекъ зрѣнія. Пушкинъ былъ поэтъ, по своимъ поэтическимъ произведеніямъ, и Пушкинъ же былъ литераторъ, какъ издатель журнала и авторъ нѣсколькихъ критическихъ и полемическихъ статей. Авторъ справедливо называетъ Шатобріана литераторомъ, потому справедливо, что Шатобріанъ писалъ много, но ни поэтомъ, ни ученымъ никогда не былъ: но называть литераторомъ Гёте такъ же странно, какъ называть генералиссимуса Суворова прапорщикомъ Суворовымъ; если Гёте былъ не только великій поэтъ, знаменитый ученый, но и примѣчательный литераторъ, то и Суворовъ, будучи генералиссимусомъ, былъ и прапорщикомъ, а будучи графомъ и княземъ, былъ и дворяниномъ. Высшее достоинство уничтожаетъ низшее, заключая, его въ себѣ. Гомеръ и Шекспиръ были поэтами, но не были литераторами. Право, между этими двумя достоинствами не

меньшее разстояніе, какъ и между прапорщикомъ и генераломъ.

О странностяхъ въ выраженіи разбираемой статьи мы не хотимъ распространяться, а скажемъ коротко, что ея слогъ иногда тяжелъ и теменъ. Въмѣсто же всякихъ мелочныхъ разбирательствъ, выпишемъ изъ мѣстъ, особенно поразившихъ насъ истинною и достоинствомъ своего содержанія, два слѣдующія, въ которыхъ авторъ говоритъ о вліяніи Пушкина на общество и впечатлѣніи, которое произвелъ онъ на него своею безвременною смертію:

«Утраченный Россіею поэтъ, котораго характеристику, равно какъ и его произведенія, долго будутъ изучать поклонники искусства, прошелъ всѣ степени, назначаемыя природою для подобныхъ ему талантовъ. Въ исторіи нашей литературы нѣтъ примѣра, кто бы возмужалъ независимѣе его и быстрѣе. Нѣтъ примѣра, кто бы сдѣлался болѣе властительнымъ во всѣхъ классахъ читателей, не низводя достоинства призванія его. Имя его, какъ поэта, произносилось во всѣхъ концахъ обширной Россіи. Явленіе каждаго новаго его сочиненія пробуждало любопытство и участіе людей, самыхъ незаботливыхъ о словесности. Даже иностранцы, для которыхъ русскіе звуки еще невняты, внесли его имя въ списокъ знаменитыхъ людей. Они могли судить о немъ только по переводамъ. Но кто передастъ на другомъ языкѣ эти стихи и эту прозу, не измѣнивъ ихъ физіономіи? Для насъ въ немъ было все полно жизни и сочувствія. Литература наша съ его именемъ соединяла всѣ свои блестящія надежды.

«Мы потеряли поэта въ его лучшіе годы. Смерть его произвела не жалость, но какое-то оцѣпѣніе. Странно было слышать, но учителямъ увѣрить себя въ утратѣ, къ которой ничто не приготовляло. О немъ можно сказать, что смерть не похитила его, но оторвала отъ насъ. Чувство, испытанное современниками въ эту минуту, не принимало обыкновенныхъ оттѣнковъ, смотря по различію характеровъ и отношеній: оно выразилось равнымъ болѣзненнымъ содроганіемъ. Теперь время и размышленіе привели душу въ другое состояніе: она измѣряетъ пространствомъ, отдѣлявшее великаго поэта отъ его послѣдователей, и задумчиво смотритъ на судьбу благороднаго искусства, въ которомъ такъ много народной славы».

Нужно ли говорить, что все это прекрасно и глубоко вѣрно? Такія вещи говорить сами за себя; а намъ только странно, что такія прекрасныя мѣста (а ихъ больше, нежели сколько мы выписали) какъ-то слишкомъ ярко освѣчиваются отъ всего остального.

Что же касается до статьи «Праздникъ въ честь Крылова», статьи, какъ кажется, писанной той же самою рукою,—то мы, признаемся, не поняли ея. Намъ кажется, что авторъ статьи нисколько не опредѣлилъ того, что хотѣлъ опредѣлить—ни значенія басни, какъ рода поэзіи, ни значенія Крылова, какъ русскаго баснописца и поэта. По нашему мнѣнію, басня есть поэзія конечнаго разсудка, поэзія ходячей, житейской, практической философіи народа. Не чувство безконечнаго пораждаетъ эту поэзію, и не таинство жизни составляетъ ея содержаніе: ея одушевленіе есть веселость, ея содержаніе есть житейская, обиходная мудрость, уроки повседневной опытности въ сферѣ семейнаго и общественнаго быта. Какъ всякая поэзія, и басня говоритъ образами: она рисуетъ и осла, и лисицу, и льва, и соловья; первый у нея добродушно глупъ, вторая увертливо хитра, третій грозно могущъ, а четвертый... но портретъ четвертаго вотъ какъ изобразилъ дивный живописецъ—

Защолкалъ, засвисталъ,
На тысячу ладовъ тянулъ, переливался,
То нѣжно онъ ослабѣвалъ
И томной въ далекъ свирѣлью отдавался,
То мелкой дробью вдругъ по роцѣ разсыпался.

Но если она такъ вѣрно, такъ характеристически рисуетъ животныхъ, то еще лучше, вѣрнѣе рисуетъ она людей — толстаго откупщика, который не знаетъ, куда ему дѣваться отъ скуки съ деньгами,—и бѣднаго, но довольнаго своею участію сапожника; повара-резонѣра, и недоученаго философа, оставшагося безъ огурцовъ отъ излишней учености; мужиковъ-политиковъ, и пр. Въ этомъ-то и заключается поэтическая сто-

рона басни; она есть маленькая драма, въ которой находятся свои типическіе характеры, свои оригинальныя индивидуальности. Но у ней есть еще другая сторона, столь же важная и еще болѣе характеристическая—сторона разсудка, который разсыпается лучами остроумія, сверкаетъ фейерверочнымъ огнемъ шутки и насмѣшки. Но и въ этомъ есть своя поэзія, какъ во всякомъ непосредственномъ, образномъ передаваніи истины. Самыя поговорки и пословицы народныя, въ этомъ смыслѣ, суть поэзія, или лучше сказать, суть начало, первая точка отправленія поэзіи. Басня, въ отношеніи къ поговоркамъ и пословицамъ, есть высшій родъ, высшая поэзія.

Всякій человѣкъ, выражающій въ искусствѣ жизнь народа, или какую-нибудь изъ ея сторонъ, всякій такой человѣкъ есть явленіе великое, потому что онъ своею жизнію выражаетъ жизнь миллионовъ. Крыловъ принадлежитъ къ числу такихъ людей. Онъ баснописецъ,—но это еще не важно; онъ поэтъ, но и это еще не даетъ патента на великость: онъ баснописецъ и поэтъ народный—вотъ въ чемъ его великость, вотъ, за что изданія его басенъ, еще при его жизни, зашли за 30,000 экземпляровъ, и вотъ за что со временемъ, каждое изъ многочисленныхъ изданій его басенъ будетъ состоять изъ десятковъ тысячъ экземпляровъ. Въ этомъ же самомъ заключается и причина того, что всѣ другіе баснописцы, пользовавшіеся не меньше Крылова извѣстностію, теперь забыты, а нѣкоторые даже пережили свою славу. Слава же Крылова все будетъ расти и пынѣй разцвѣтать, до тѣхъ поръ, пока не умолкнетъ звучный и богатый языкъ въ устахъ великаго и могучаго народа русскаго. Кто хочетъ изучить языкъ русскій вполнѣ, тотъ долженъ познакомиться съ Крыловымъ. Самъ Пушкинъ не полонъ безъ Крылова, въ этомъ отношеніи. Эти идіомы, эти руссизмы, составляющіе народную фیزیономію языка, его оригинальныя средства и самобытное, самородное богатство, уловлены Крыловымъ съ невыразимою вѣрностію.

Вотъ какъ понимаемъ мы Крылова. Можетъ-быть, наше по-

нѣтіе о немъ невѣрно, ложно, но, по крайней мѣрѣ, всякій можетъ видѣть, въ чемъ оно состоитъ; а этого-то именно мы и не находимъ въ статьѣ «Праздникъ въ честь Крылова». Авторъ ея говоритъ и то, и другое, говоритъ много, и можетъ-быть хорошо: только мы не можемъ сказать, что именно говоритъ онъ, потому что основная идея его статьи затѣнѣна словами, которыя бы должны были ее выразить.

Маленькая статейка «Александръ Пушкинъ» примѣчательна и драгоцѣнна тѣмъ, что содержитъ въ себѣ два небольшіе отрывка изъ частныхъ писемъ великаго поэта. Первый относится къ его poemѣ «Полтава»; а второй касается до смерти Дельвига. Выписываемъ тотъ и другой.

Наши критики, разбирая „Полтаву“, упомянули о байроновомъ „Мазепѣ“. Они его не понимаютъ. Старый гетманъ, предвидя неудачу, бранить, въ моей poemѣ, молодого Карла и называетъ его мальчишомъ и сумасшедшимъ. Критики, со всею важностію, укоряютъ меня въ неосновательномъ мнѣніи о шведскомъ королѣ. Въ одномъ мѣстѣ у меня сказано, что Мазепа ни къ чему не былъ привязанъ. Чѣмъ-же опровергаютъ меня критики? Они ссылаются на собственные слова Мазепы, увѣряющаго Марію, въ моей poemѣ, что онъ любить ее больше славы, больше власти! Такъ имъ понятно, такъ знакомо драматическое искусство! Еще замѣчаютъ, что заглавіе моей poemы ошибочно, и что вѣроятно не называлъ я ее „Мазепой“, чтобъ не напоминать о Байронѣ. Это частію справедливо. Но была у меня и другая причина, которой, конечно, никто изъ нихъ не подозрѣваетъ: эпиграфъ. Такъ и „Бахчисарайскій Фонтанъ“ первоначально названъ былъ „Гаремомъ“, но меланхолическій эпиграфъ, который безспорно лучше всей poemы, соблазнилъ меня.

Байронъ зналъ Мазепу по вольтеровой исторіи Карла XII.

Байронъ пораженъ былъ только картиной человека, связаннаго на дикой лошади и несущагося по степямъ. Картина, конечно, поэтическая. И за то посмотрите, что онъ изъ нея сдѣлалъ! Но не ищите тутъ ни Мазепы, ни Карла, ни сего мрачнаго, ненавистнаго, мучительнаго характера, который проявляется во всѣхъ почти произведеніяхъ Байрона, но котораго (на бѣду моимъ критикамъ) въ Мазепѣ именно и нѣтъ. Байронъ и не думалъ о немъ. Онъ выставилъ рядъ картинъ, одна другой разительнѣе. Вотъ и все. Но какое пламенное созданіе, какая широкая, гениальная кисть! Если же

бы ему подъ перо попалась исторія оболъченной дочери и казненнаго отца, то вѣроятно никто бы не осмѣлился послѣ него коснуться сего предмета.

Чѣмъ больше думаю, тѣмъ сильнѣе чувствую, какой отвратительный предметъ для художника въ лицѣ Мазепы! Ни одного добраго благороднаго чувства! Ни одной утѣшительной черты! Соблазнъ, вражда, измѣна, лукавство, малодушіе, свирѣпость... Сильные характеры и глубокая трагическая тѣнь, набросанная на всѣ эти ужасы— вотъ что увлекло меня. „Полтаву“ написалъ я въ нѣсколько дней; долже не могъ-бы ею заниматься и бросилъ-бы ее.

„21 генв. 1831. Москва. Что скажу тебѣ, мой милый! Ужасное извѣстіе получилъ я въ воскресенье. На другой день оно подтвердилось. Вчера вздилъ я къ Салтыкову объявить ему все—и не имѣлъ духу. Вечеромъ получилъ твое письмо. Грустно, тоска. Вотъ первая смерть, мною оплаканная. Карамзинъ подконецъ былъ мнѣ чуждъ: я глубоко сожалѣлъ о немъ какъ Русскій, но никто на свѣтѣ не былъ мнѣ ближе Дельвига. Изъ всѣхъ связей дѣтства онъ одинъ оставался въ виду—около него собиралась наша бѣдная кучка. Безъ него мы точно осиротѣли. Считаю по пальцамъ сколько насъ? ты, я, Б...й, вотъ и все. Вчера провелъ я день съ Н...мъ, который сильно пораженъ его смертію. Говорили о немъ, называя его покойникъ Дельвигъ, и этотъ эпитетъ былъ столь-же страненъ, какъ и страшенъ. Нечего дѣлать! Согласимся: покойникъ Дельвигъ—быть такъ. Б...й боленъ съ огорченія. Меня не такъ-то легко съ ногъ свалить. Будь здоровъ и постарайся быть живымъ“.

Тутъ нѣтъ громкихъ фразъ, нѣтъ восклицаній, но есть нѣчто такое, чего нельзя назвать, и что свидѣтельствуетъ о глубокой грусти глубокой души... Это не для всякаго ясно... Но Пушкинъ и не хлопоталъ о томъ, чтобы всѣ его понимали. «Лучшія движенія сердца своего (говоритъ авторъ статейки) считалъ онъ домашнимъ дѣломъ и не любилъ выказывать ихъ. Онъ хранилъ ихъ для тѣснаго круга друзей, преимущественно для своихъ лицейскихъ товарищей, которыхъ любилъ неизмѣнно».—Но и здѣсь еще не конецъ хорошимъ прозаическимъ статьямъ «Современника»: онѣ оканчиваются небольшою, но интересною статьею «Крымскія преданія».

Переходимъ къ стихотворному отдѣленію.

На нынѣшній разъ оно такъ бѣдно, что мы не заговоримся о немъ. Пушкинскихъ стихотвореній только два. «Кто знаетъ край» есть родъ какого-то отрывка, гдѣ все какъ-то полупрозрачно, въ полусвѣтѣ, какъ будто не досказано; даже намъ сдается, что это чуть-ли не варіанты изъ «Онѣгина», если не отрывокъ изъ него, хотя отсутствіе правильныхъ строфъ и противорѣчитъ нашей догадкѣ.

Съ какою легкостью небесной
Земли касается она!
Какою прелестью чудесной
Во всѣхъ движеніяхъ полна!

Эти четыре стиха напоминаютъ слѣдующіе четыре стиха изъ VII главы «Онѣгина» —

Съ какою гордостью небесной
Земли касается она!
Какъ вѣгой грудь ея полна!
Какъ томень взоръ ея чудесный!

Но что бы ни напоминало собою и что бы ни было стихотвореніе «Кто знаетъ край» — отрывокъ или цѣлое, варіантъ или оригинальное — оно стихотвореніе Пушкина, не по подписи этого волшебнаго имени, а по художественному достоинству.

Другое стихотвореніе «Послѣдніе цвѣты» указываетъ одно изъ таинствъ души и жизни человѣческой, и въ своихъ простыхъ безыскусственныхъ формахъ блеститъ таинственною красотою творчества. Послѣ этихъ двухъ стихотвореній Пушкина замѣчательны только слѣдующія: «Тайныя Думы» Гр — ни Р — ной: въ немъ прекрасными, полными души и чувства, стихами воспѣваются достоинства одной высокой особы, имени которой мы не смѣемъ угадывать... Потомъ «Stabat Mater» переводъ Жуковскаго. По желанію Е. И. В. государыни великой княгини Елены Павловны, 4 марта нынѣшняго года, была исполнена знаменитая музыка этой религіозной пѣсни, вслѣдствіе чего и былъ сдѣланъ ея переводъ. Онъ второй на русскомъ

языкъ: первый принадлежит Шевыреву. Наконецъ стихотвореніе г. Кольцова «Царство Мысли», дышащее теплотою чувства и отличающееся возвышенностію идеи.

Кстати: примѣчательнъ, хотя и въ другомъ совѣмъ смыслѣ, переводъ «Мазепы» Байрона, помѣщенный цѣликомъ. Не будемъ входить въ подробности, а скажемъ вообще, что одно содержаніе, само по себѣ, еще не составляетъ поэзіи, которая состоитъ въ формѣ; а если Байронъ выражалъ содержаніе своихъ поэмъ въ такихъ формахъ, какими г. Я. Г. передалъ одну изъ нихъ, то напрасно онъ пользуется славою великаго, гениальнаго поэта. Впрочемъ, г. Я. Г., какъ кажется, самъ это чувствовалъ, и потому просить прощенія у тѣни Байрона за переводъ его творенія.

Остальныя стихотворенія не заслуживаютъ особеннаго вниманія ни въ какомъ отношеніи — виновать! — изъ нихъ должно исключить одно — «Мысль» Баратынскаго: оно особенно отличается необыкновенною художественностію своихъ поэтическихъ формъ; это истинная творческая красота.

ЕЛЕНА, поэма Г. Бернета. Спб. 1838.

Г. Бернетъ уже успѣлъ приобрести себѣ нѣкоторую извѣстность писателя съ дарованіемъ, и не понапрасну: онъ точно владѣетъ поэтическимъ талантомъ. Читали ли вы его стихотвореніе «Призракъ» *)? Начало этого стихотворенія — поэ-

*) Помѣщенное въ „Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Инвалиду“, нерѣдко, замѣтимъ кстати, очень счастливыхъ на хорошія стихотворенія: такъ въ 18 № этой газеты мы прочли прекрасное стихотвореніе «Пѣсни про Царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалаго купца Калашникова». Не знаемъ имени автора этой пѣсни, которую можно назвать поэмою, въ родѣ поэмъ Кирши Данилова, но если это первый опытъ молодого поэта, то не боимся попасть въ лживые предсказатели, сказавши, что наша литература приобрететъ сильное и самобытное дарованіе.

зія, благоухающая ароматнымъ цвѣтомъ прекрасной внутренней жизни, поэтическое выраженіе одного изъ ея явленій, выраженіе, гдѣ каждый стихъ есть живой поэтический образъ, и гдѣ каждый стихъ и каждое слово стоятъ на своемъ мѣстѣ, по закону творческой необходимости, и не могутъ быть ни переставлены, ни перемѣнены!... А вотъ что такое это:

Гіацинты уменьшать куренье,
Розы въ чашкахъ ароматъ сожмуть,
Прекратить ручьи свое теченье,
Рѣки станутъ, вѣтерки умрутъ,—
И тогда, какъ міръ весь почитаетъ
Дѣвы сонъ, почувствуешь ты вѣявъ:
Кто-то плачетъ, жжетъ и лобызаетъ;
Не гоня, оставь его, оставь!

Что такое это?—восточная гипербола, которой ярко-пестрые краски рѣзко отдѣляются отъ таинственно-сумрачнаго колорита первыхъ двадцати-четырехъ стиховъ, фраза, растянутая на восемь стиховъ, глиняная рука, придѣланная къ мраморной статуѣ!... Отчего же это вышло такъ странно?—оттого, что у поэта немного не достало вдохновенія, за недостаткомъ котораго онъ и прибѣгъ къ хитросплетеніямъ разсудка, вслѣдствіе чего благоухающее, безконечное чувство, оживлявшее его стихотвореніе, разрѣшилось очень опредѣленнымъ и конечнымъ чувствованіемъ. И это очень естественно: отчего великіе художники иногда оставляли недоконченными свои созданія, иногда прерывали свою работу и съ томительнымъ страданіемъ искали въ себѣ силы докончить ее, и, не находя этой силы, иногда уничтожали съ отчаянія свое прекрасно начатое твореніе? — оттого, что вдохновеніе, какъ всякая благодать, не въ волѣ человѣка, и еще оттого, что великіе художники никогда не додѣлываютъ своихъ произведеній, если не могутъ ихъ досоздать. Но какъ бы то ни было, а г. Бернетъ владѣетъ истиннымъ поэтическимъ дарованіемъ, и поэтому самому намъ непріятно говорить о его «Еленѣ», и мы въ самомъ дѣлѣ не

будемъ говорить о ней, а только скажемъ кое-что, сколько въ избѣжаніе упрека въ безотчетныхъ приговорахъ, столько и по уваженію къ г. Бернету, котораго мы отнюдь не смѣшиваемъ съ толпою маленькихъ геніевъ-самозванцевъ, великолѣпно издающихъ свои творенія, никѣмъ не читаемыя, никому не интересныя, и которыхъ пріятель-журналисты, какъ бы насмѣхаясь надъ публикою и здравымъ смысломъ, объявляютъ наследниками Пушкина. Мы увѣрены, что г. Бернетъ, какъ поэтъ съ истиннымъ дарованіемъ, если и не согласится съ нашимъ мнѣніемъ, то и не почтетъ его не стоящимъ своего вниманія: онъ не можетъ не замѣтить искренности нашего сужденія.

Поэма г. Бернета ниже всякой критики, хотя въ ней мѣстами и блещутъ искорки дарованія. Главный ея недостатокъ состоитъ въ растянутости, многословности и невыдержанности: она могла бы быть втрое меньше; каждая мысль въ ней, раздробляясь на множество стиховъ, ослабѣваетъ и переходитъ въ повтореніе одного и того же; часто за тремя хорошими стихами слѣдуетъ дурной стихъ, и еще чаще одинъ хорошій стихъ подавляется и тухнетъ между тремя дурными. Но особенно вредитъ этой поэмѣ претензія автора на оригинальность и нововведенія въ словахъ и римахъ.

Содержаніе поэмы было бы очень просто, еслибы мѣстами не искажалось изысканными подробностями. Оно относится ко временамъ феодализма. Дѣвушка, обреченная матерью на монастырскую жизнь, любитъ рыцаря и, украдкою отъ настоятельницы, видится съ нимъ. Игуменья, чтобы заставить ее признаться въ преступленіи монастырскаго устава, показываетъ ей черепъ ея матери, и черепъ говоритъ Еленѣ, отъ лица ея матери, что она возмутила ея покой во гробѣ и своимъ преступленіемъ губить и его и свое блаженство въ будущей жизни. Несмотря на изысканность этой выходки, Елена повѣрила черепу и рѣшилась принести свою любовь въ жертву долгу: она уже не являлась на тайныя свиданія. Вдругъ до ея слуха доходитъ вѣсть о буйномъ развратѣ и неистовомъ оже-

сточеніи ея любезнаго рыцаря. Онъ приходитъ видѣть ее въ послѣдній разъ. Въ словахъ его Еленѣ сколько любви, сколько огня, страсти, чувства, какое драматическое движеніе, и какая вмѣстѣ съ тѣмъ смѣсь чистаго золота съ грубой рудою! Можно подумать, что г. Бернетъ писалъ эту поэму вдвоемъ, въ товариществѣ съ какимъ-нибудь бездарнымъ стихотворцемъ: на свою долю взялъ созданіе всѣхъ хорошихъ и превосходныхъ стиховъ, а на его предоставилъ приемованную прозу и изысканныя до дикости выраженія, какъ будто почитая необходимою такую чудную смѣсь шипучаго вина съ прѣсною водою. Ясно, что г. Бернетъ только еще выступаетъ на поэтическое поприще, что онъ еще не можетъ владѣть ни своимъ талантомъ, ни своею субъективностію, что стихъ часто не слушается его и выражаетъ совсѣмъ не то, что хотѣлъ онъ имъ выразить; словомъ, ясно, что г. Бернетъ еще дитя въ искусствѣ, но дитя, которое общается нѣкогда крѣпкаго взрослого человѣка. Но обратимся къ поэмѣ.

Отказъ затворницы бѣжать съ нимъ вызываетъ бурный потокъ упрековъ, который у г. Бернета реветъ оглушающимъ ревомъ, и только въ немногихъ стихахъ въ выраженіяхъ пишеть. Приведенная въ ужасъ и живо затронутая и оскорбленная сомнѣніемъ ея возлюбленнаго въ ея глубокомъ, святомъ чувствѣ, и въ то же время окованная сознаниемъ страшнаго долга. Елена отвѣчаетъ въ порывѣ ужаснаго отчаянія:

„Возьми жъ меня!“

Раздался крикъ

И что-то съ башни въ этотъ мигъ,

Одеждой свиснувъ, какъ крылами.

Мелькнуло предъ его глазами—

И, какъ подстрѣленный орелъ,

Упало на гранитный полъ...

Тяжелый стукъ!... Но послѣ стука,

Ни вздоха, ни молюбы, ни звука!...

Превосходно!... но слѣдующіе стихи должно пропустить, чтобы

не ослабить и не разрушить глубокаго впечатлѣнія, которое производятъ эти...

Проклятія автора, которыя градомъ сыплются на голову бѣднаго рыцаря, намъ крайне не нравятся. Въ царствѣ искусства, какъ въ созерцаніи абсолютной жизни, нравственная точка зрѣнія есть самая фальшивая, потому что въ этомъ благодатномъ и безконечномъ царствѣ есть явленія общей жизни, но нѣтъ ни героевъ добродѣтели, ни злодѣевъ. То и другое существуетъ въ субъективности авторовъ. Объективность есть условіе поэзіи, безъ котораго она не существуетъ и безъ котораго всё ея произведенія, какъ бы ни были они прекрасны, носятъ въ себѣ зародышъ смерти. И что сдѣлалъ злодѣйскаго бѣдный рыцарь? Онъ требовалъ своего, требовалъ любви, которая бы соотвѣтствовала его любви, словомъ, онъ былъ самымъ собою, и въ этомъ вся вина его. Елена, съ своей стороны, такъ же права, какъ и онъ: она была самой собою, въ моментальномъ состояніи своего духа. Да, они оба правы—и миръ обоимъ имъ!... Другое дѣло, еслибы всё эти проклятія авторъ вложилъ въ уста несчастнаго героя своей поэмы: тогда это имѣло бы значеніе, какъ новый характеръ, который приняло его отчаяніе, новый ужасный моментъ его духа, непосредственно вытекшій изъ предшествовавшихъ моментовъ и хода обстоятельствъ. И тогда какъ бы хорошо поступилъ авторъ, еслибы, выбросивъ 42 прозаическихъ стиха, заставилъ рыцаря проговорить эти восемь—поэтическіе:

Ты, мрачный духъ, звезду затмилъ
Высокую между звездами,
Сожегъ цвѣтъ лучшій межъ цвѣтами,
Ты херувима умертвилъ!...
О, никогда еще душа
Такъ безкорыстно не любила!
За что жъ, безуміемъ дыша,
Земная страсть ее убила?

Закключаемъ: г. Бернетъ подаетъ надежды, и надежды прекрасныя; но это еще не талантъ, а только обѣщаніе таланта,

не поэзія, а только предчувствіе поэзія. Цѣлая поэма, повторяемъ, ниже всякой критики, и выписанныя нами мѣста — самыя лучшія въ ней. Начало ея не возбуждаетъ охоты къ дочтенію до конца, хотя сквозь мракъ фразъ, вычурностей, и прозаизма, чудится какой-то таинственный свѣтъ красоты эстетической.

Высказывая со всею искренностію наше мнѣніе г. Бернету о его талантѣ, мы не боялись рѣзкости нашихъ выраженій, потому что самая эта рѣзкость есть лучшее доказательство нашего уваженія къ дарованію г. Бернета. Къ тому же мы боимся за судьбу его поэтического поприща: его захвалять, а этотъ способъ убивать дарованіе есть самый вѣрный. Въ Петербургѣ такъ много журналовъ и альманаховъ, которые, и для балласту, и для блеска, очень нуждаются въ дѣятельности поэтовъ, рвутъ и треплютъ ее по клочкамъ, и щедро платятъ за нее похвалами и восклицаніями...

СТИХОТВОРЕНІЯ *Владимира Бенедиктова. Вторая книга.*
Спб. 1838 г.

Все безконечное отличается отъ конечнаго своею неуловимостію и непередаваемостію съ математическою точностію и ясностію. Причина этого заключается въ томъ, что все безконечное запечатлѣно печатію таинственности, которая составляетъ одну изъ основныхъ потребностей духа, и безъ которой погибло бы всякое наслажденіе созерцаніемъ жизни. Это всего болѣе примѣняется къ искусству. Подите въ Останкино, въ вельможный, въ полномъ и высшемъ значеніи этого слова, домъ графа Шереметева, и пересмотрите тамъ мраморныя копія съ великихъ произведеній греческаго ваянія. Отчего же живетъ онъ, этотъ бездушный, холодный мраморъ, такою одушевленною, такою свѣтло-пламенною жизнію, какъ

будто бы хочет вамъ сказать привѣтствіе любви и счастья, какъ будто хочетъ вамъ открыть какую-нибудь завѣтную тайну вѣчно прекраснаго бытія? Отчего же этотъ холодный и бездушный кусокъ камня представляется вамъ Венерою, богинею красоты, которая, въ своей лучезарной, гармонической наготѣ, такъ граціозно стоитъ на пьедесталѣ, такъ стыдливо прикрываетъ руками свои дивныя прелести, предъ которыми благоговѣль міродержавный Олимпъ, и при созерцаніи которыхъ просвѣтлялось божественною улыбкою грозное чело отца боговъ и человѣковъ, Юпитера-громовержца? Отчего же эти мраморныя выпуклости, эти нѣмыя формы сверкаютъ и дышатъ такою упонительно-могучею красотою, а вы, смотря на нихъ, не пожираете ихъ влюбленными очами, не трепещете страстнымъ восторгомъ, но тихо и спокойно, въ благоговѣнномъ безмолвіи, созерцаете этотъ олицетворившійся передъ вами типъ, эту окаменѣвшую идею вѣчной красоты, и душа ваша плаваетъ, расширяется въ ароматическомъ эфирѣ безмятежно-гармоническаго наслажденія, — и легкою, свѣтлою, прозрачною, грустно-радостною мечтою переносится въ ту страну, подъ то вѣчно-лазоровое небо, гдѣ жизнь была безпрерывнымъ служеніемъ, неумолкаемымъ хоромъ красотъ?... Но пойдите далѣе; вотъ бюстъ фавна: посмотрите, о, посмотрите, какая невыразимо-радостная улыбка играетъ на прелестныхъ устахъ юнаго божества лѣсовъ, какъ осіяла эта чудная улыбка каждую выпуклость его прекраснаго лица, какое дико-гармоническое, страстно-безмятежное играніе жизни выражаетъ это самодовольное, упонительное ослабленіе!... Но вотъ бюстъ Александра Македонскаго: какая дикая дивная гармонія въ размѣрахъ этой греческой головы! Какое благородство, величіе, какая гордость и, вмѣстѣ съ тѣмъ, красота, кротость и спокойствіе въ этомъ лицѣ героя-полубога!... А вѣдь это только копія: что же оригиналы?... Неужели это мраморъ, холодный, бездушный камень? Какимъ же образомъ, какимъ волшебствомъ уловилъ онъ въ себя

и заключилъ въ свою темную массу эту юную жизнь, которая трепещетъ и играетъ въ немъ своими свѣтлыми переживаниями?... Вы скажете, что Венера Медицейская нравится потому, что въ ней выражена идея женственной красоты, типъ которой носили въ душѣ своей свѣтлыя чада Эллады; что въ фавнѣ выражена идея красоты, которая отражается въ полнотѣ самонаслажденія жизни; что въ Александрѣ Македонскомъ воспроизведена идея этого героя, котораго исторія и преданіе представляютъ апотеозомъ героической красоты Грековъ... Можетъ быть, все это и такъ, но я не о томъ спрашиваю. Въ чемъ состоитъ тайна этого живаго слитія идеи съ формою, этого органическаго сочетанія жизни съ мраморомъ, которыя я вижу во всемъ этомъ: вотъ о чемъ я спрашиваю! Кромѣ красоты, гармоніи, дѣвственной стыдливости, я вижу и въ лицѣ Венеры, и въ ея положеніи, и во всей ея цѣлости, еще какое-то нѣчто, котораго не умѣю назвать, не умѣю выговорить.... Эта прекрасная Венера есть и красота, какъ идея, и красота, какъ индивидъ — и какъ женщина вообще, и какъ одна какая-нибудь женщина.... То же самое и этотъ фавнъ, и этотъ полубогъ, сынъ Олимпіи и громовержца-Зевеса:—они и боги и люди, боги безъ имени, люди—съ именами... И добро бы еще все это было выражено какою-нибудь яркостію, затѣйливостію, чѣмъ-нибудь мудренымъ: а то все такъ просто, такъ обыкновенно, что не къ чему придраться, не на чтѣ указать, опереться... «Вотъ эта черта, около губъ; это возвышеніе на щекѣ»... Не говорите мнѣ этого: значить, вы не понимаете искусства, если думаете разлагать на черты и выпуклости его внутреннюю жизнь... Эти лица, эти образы поражаютъ меня своею цѣлостію, своимъ общимъ выраженіемъ, а не частными чертами и выпуклостями. Жизнь не въ глазу, не въ губахъ, не въ подбородкѣ, не въ рукѣ, не въ ногѣ, а въ лицѣ и цѣломъ станѣ человѣка, въ гармоніи всѣхъ чертъ, выпуклостей, округлостей и членовъ его тѣла. А чтѣ же такое эта жизнь?...

Нѣчто, чего, право, нельзя назвать... О, я понимаю теперь мнѣ Пигмалиона, влюбившагося въ статую, имъ созданную, и оживившаго ее своею любовію!... Не въ статую, а въ свѣтлый образъ, созданный его фантазіею и прилетавшій къ нему въ его лучшія минуты, влюбился онъ; не статую, а безобразную глыбу мрамора оживить мечтой своей фантазіи томился онъ желаніемъ и—новый Прометей—онъ похитилъ у небожителей ихъ божественный огонь и оживилъ имъ бездушный мраморъ и наслаждался своимъ прекраснымъ созданіемъ... Да, счастливый художникъ, онъ вдохнулъ въ мраморъ эту жизнь, это «нѣчто», котораго я не умѣю и назвать.

Онъ во гробъ лежалъ съ непокрытымъ лицомъ;
Съ непокрытымъ, съ открытымъ лицомъ!

Такъ поетъ безумная Офелія о своемъ погибшемъ отцѣ, и какая глубокая творческая жизнь заключается въ этихъ двухъ простыхъ стихахъ, какою глубокою поэзіею дышатъ эти безыскусственные слова! И что же составляетъ ихъ внутреннюю жизнь, ихъ таинственную прелесть? — Повтореніе одного и того же слова съ простымъ этимологическимъ измѣненіемъ: «не-покрытымъ, съ от-крытымъ». Но такъ-то могуче дѣйствуетъ все, что ни выходитъ изъ полноты жизни...

Возьмите любое изъ мелкихъ стихотвореній Пушкина: какая удивительная простота и содержанія и формы, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какая глубокая жизнь!... Иногда случается встрѣтить въ толпѣ незнакомое лицо: въ немъ нѣтъ ничего особеннаго, а между тѣмъ оно врѣзывается въ память, и долго-долго силишься вспомнить, гдѣ встрѣчалъ его, и долго-долго мелькаетъ оно передъ усталыми глазами, готовыми сомкнуться на ночной покой, мгновеніе соннаго забытья сливается съ мыслию объ этомъ странномъ, неотвязчивомъ лицѣ... Вотъ какое впечатлѣніе производятъ мелкія стихотворенія Пушкина, когда ихъ прочтешь въ первый разъ, безъ особеннаго вни-

манія. Забудешь иногда и громкое имя поэта и всѣмъ извѣстное названіе стихотворенія, а стихотвореніе помнишь, и когда помнишь смутно, то оно беспокоитъ душу, мучитъ ее. Отчего это?—оттого, что во всякомъ такомъ стихотвореніи есть нѣчто, которое составляетъ тайну его эстетической жизни.

Вотъ этого-то «нѣчто» и не находимъ мы въ стихотвореніяхъ г. Бенедиктова. Его стихъ звученъ, громокъ, полонъ гармоніи; его образы ярки, смѣлы, живописны; онъ часто какъ будто возвышается до истиннаго одушевленія, до истинной поэзіи; но перечтите еще разъ, взгляните попристальнѣе въ то, что вамъ показалось поэзіею — и «нѣчто» и не бывало: форма остается отдѣленною отъ духа, а духа нѣтъ, потому что нѣтъ таинственнаго слитія между ними. Одновременность идеи и формы есть основной законъ акта творчества; но у г. Бенедиктова—такъ по крайней мѣрѣ кажется намъ — идея всегда предшествуетъ формѣ, которая у него придѣлывается къ идеѣ. Сверхъ того, что за ослѣпительная яркость красокъ! какъ непріятно раздражаетъ она зрительный нервъ!

Мы говоримъ объ изысканности выраженій. Развернемъ книгу. Вотъ стихотвореніе «Море».

Свинцовая дума въ тебѣ потонула;
Мечта лобызаетъ поверхность твою.
Отраднa, мила мнѣ твоя безконечность;
Въ тебѣ мнѣ открыта красавица-вѣчность.

Что это такое и для чего это? — право, не понимаемъ. На русскомъ языкѣ есть три стихотворенія къ морю: Пушкина, Жуковского, Полежаева; сравните ихъ съ стихотвореніемъ г. Бенедиктова...

Земли могучія возстанья,
Побѣги праха въ небесахъ!

Это значить—горы!

Масса сорвалась съ грустной (?) цѣпи тяготѣнья съ кипящею душою отторженія; столбы въ развалинахъ—изгнанники высотъ; кудри дѣвы — шелковый каскадъ; поэтъ есть пѣвучій пловецъ, безъякорный (!) въ жизненномъ морѣ; коснуться къ ней пламеннымъ взоромъ (т. е. „взглянуть на нее“); въ походъ мы ридились; всѣ прихоти—въ пламень (вѣрно, въ каминъ?); кинуть въ воздухъ замерзшія объятія, кольцомъ объятій обогнуть; въ небѣ есть алмазы освѣщенія и сѣмена крушительной грозы; но не страшись и молній отверженія; откованный въ горчили сердца стихъ; сердечной музыки мучительная гамма; Наполеонъ во мракѣ безвластія на островѣ нѣмомъ; мысль заряжена огнемъ гремучихъ вдохновеній; живыя нглы штыковъ; природа вихремъ свиснула по полю; дребезги разбитой власти.

Неужели это поэзія?

Намъ, можетъ-быть, скажутъ, что это недостатки, которые могутъ быть и при истинной поэзіи. Могутъ—отвѣчаемъ мы; но въ стихотвореніяхъ г. Бенедиктова мы, при этихъ недостаткахъ, обличающихъ отсутствіе эстетическаго чувства, не видимъ жизни, этого «нѣчто», о которомъ мы говорили. Читаешь ихъ съ напряженіемъ, а прочтя, чувствуешь удовольствіе, какое всегда слѣдуетъ за окончаніемъ тяжелой работы. Нѣкоторыхъ стихотвореній, какъ, напр., «Море». «Я не люблю тебя», «Ватерлоо», мы совсѣмъ не понимаемъ, не только въ поэтическомъ, но и во всякомъ смыслѣ.

Можетъ-быть, мы ошибаемся?—мы никому не навязываемъ своего мнѣнія: справедливо оно — намъ честь; ложно—тѣмъ хуже намъ, а не поэту: истина рано или поздно должна оправдаться, а ложь постыдиться...

УГОЛИНО. *Драматическое представленіе.* Соч. Н. Полеваго. Спб. 1838.

«Всеприсутствіе духа еще другимъ образомъ является намъ. Во всякомъ естественномъ произведеніи организація простирается въ безконечность. Она не снаружи его только: она

проникаетъ всю его внутренность. Возьмите кристаллъ и разбейте его въ маленькіе кусочки, въ такіе, чтобъ разсмотрѣть ихъ можно было только въ самые сильные микроскопы, и вы снова въ этихъ мельчайшихъ кусочкахъ найдете образъ кристалла. Или посмотрите на древесный листокъ въ постепенно болѣе и болѣе увеличивающія стекла, и вы увидите, какъ организація простирается въ немъ въ безконечность. И чѣмъ внимательнѣе станете вы наблюдать произведенія природы, тѣмъ болѣе, очевиднѣе откроется вамъ, до какихъ неувловимыхъ, тонкихъ нитей простирается его организація. Этимъ-то различаются произведенія природы отъ произведеній ремесла. Самая тончайшая ткань является грубыми, перепутанными веревками, какъ скоро посмотрите на нее въ микроскопъ».

Такъ говоритъ одинъ изъ новѣйшихъ мыслителей Германіи, разсуждая о всеприсутствіи духа въ природѣ. Какъ нарочно случилось такъ, что мы недавно собственными глазами удостоувѣрились въ поразительной истинности чуднаго факта, которымъ онъ подтверждаетъ свою мысль. На Кузнецкомъ мосту показывается микроскопъ, увеличивающій предметы въ миллионъ разъ, и мы тамъ видѣли крыло мухи и бабочки, величиною болѣе двухъ аршинъ; видѣли перерѣзанный сахарный тростникъ, который кажется перепиленнымъ огромнымъ дубомъ, и удивлялись безконечной организаціи этихъ предметовъ. Какая во всемъ стройность, гармонія, симметрія, красота, изящество, правильность! Какая безпредѣльность, безконечность! Каждая малѣйшая частица, атомъ, исчезающій отъ невооруженнаго глаза, заключаетъ въ себѣ безчисленное множество другихъ частицъ, изъ которыхъ части каждой расположены съ непостижимою соотвѣтственностію, правильностію и красотою. Потомъ тамъ же видѣли мы лоскуточекъ самой тонкой, лучшей кисеи, и намъ представилась плетенка изъ мочальныхъ веревокъ, переплетенная квадратно, но безъ всякой правильности; а веревки грубыя, какъ-бы измочаленныя, истертыя...

То же самое зрѣлище представить вамъ и искусство, если только природа одарила васъ хорошимъ микроскопомъ—вѣрнымъ и глубокимъ чувствомъ изящнаго. При помощи его вы безъ труда отличите произведенія творчества отъ произведений ремесла. Въ первыхъ вы тотчасъ замѣтите полноту организациі и органическую жизнь, посредствомъ которой всѣ части его связаны необходимыми внутренними единствомъ, а во вторыхъ, какъ разъ замѣтите, что всѣ ихъ части соединены механически, помощію клея, нитокъ, гвоздей и другихъ посредствующихъ предметовъ. Сначала такое произведение можетъ показаться вамъ очаровательною красавицею, полною жизни и прелести; но всмотритесь въ нее пристальнѣе—и вы увидите отвратительный скелетъ, у котораго вмѣсто голубыхъ глазъ—впадины, вмѣсто розовыхъ устъ—голыя челюсти съ оскалившимися зубами. Конкретность *) есть главное условіе истинно-поэтическаго произведенія; а безъ нея оно есть произведение мастерства, поддѣльный розанъ, и съ цвѣтомъ и съ запахомъ розана, но безъ жизни розана, безъ чего-то такого, чего нельзя назвать, но въ чемъ заключается жизнь. Конечно, ремесло, или мастерство, очень удачно поддѣлывается

*) Конкретность производится отъ конкретный, а конкретный происходитъ отъ латинскаго глагола *concreresco* — *срастаюсь*. Это слово принадлежитъ новѣйшей философіи и имѣетъ обширное значеніе. Здѣсь мы употребляемъ его, какъ выраженіе органическаго единства идеи съ формою. Конкретно то, въ чемъ идея проникла форму, а форма выразила идею, такъ что съ уничтоженіемъ идеи уничтожается и форма, а съ уничтоженіемъ формы уничтожается идея. Другими словами, конкретность есть то таинственное, неразрывное и необходимое сліяніе идеи съ формою, которое образуетъ собою жизнь всего, и безъ котораго ничего не можетъ жить. Это особенно поразительно въ произведеніяхъ искусства: въ музыкальномъ произведеніи есть идея и жизнь, въ которыхъ заключается тайна его дѣйствія на душу человѣка, и есть звуки — форма; уничтожьте звуки—и не будетъ музыкальнаго произведенія. Конкретности противоплагается *отвлеченность*, которая въ искусствѣ существуетъ какъ *аллегорія*.

подъ природу, но только издали, до тѣхъ поръ, пока не взглянуть поближе на его поддѣлки. Обратите вниманіе на то, какъ отвратительны восковыя статуи, какое непріязненное, враждебное чувство антипатіи пробуждаютъ онѣ: точь-въ-точь какъ трупъ. А между тѣмъ въ нихъ подражаніе и близость къ природѣ доведены до послѣдней, почти невозможной, степени совершенства. Напротивъ того, произведенія скульптуры, эти мраморныя произведенія, гдѣ глаза и волосы одного цвѣта со всѣмъ тѣломъ — живутъ и дышатъ юною, роскошною жизнію, и весело улыбаются, и стыдливо смотрятъ и какъ будто хотятъ что-то вымолвить... Причина очевидна: въ первыхъ форма существуетъ отдѣльно, сама по себѣ, а идея сама по себѣ, или, лучше сказать, форма прислана для идеи и приклеена къ ней; во вторыхъ же выражается конкретное сліяніе идеи съ формою, и идея существуетъ только черезъ форму. Законъ конкретности выходитъ изъ закона свободы, основанной на непреложной необходимости. Всякое произведеніе искусства только потому художественно, что создано по закону необходимости, что въ немъ нѣтъ ничего произвольнаго, что въ немъ ни одно слово, ни одинъ звукъ, ни одна черта не можетъ замѣниться другимъ словомъ, другимъ звукомъ, другою чертою. Да не подумаютъ, что мы уничтожаемъ этимъ свободу творчества: нѣтъ, этимъ-то именно мы и утверждаемъ ее. Художникъ можетъ перемѣнить не только слово, звукъ, черту, но всякую форму, даже цѣлую часть своего произведенія, но съ этою перемѣною измѣняется и форма, и идея; и это будетъ уже не та же идея, не та же форма, только улучшенная, но новая идея, новая форма. И такъ, въ истинно-художественныхъ произведеніяхъ, какъ вышедшихъ изъ законовъ необходимости, нѣтъ ничего случайнаго, ничего лишняго, ничего недостаточнаго, но все необходимо. Въ драмѣ Шекспира нѣтъ вымысла, въ обыкновенномъ и пошломъ значеніи этого слова; каждая драма его есть самое вѣрное, самое точное описаніе событія, случившагося въ дѣйствитель-

номъ мірѣ, но извѣстнаго только одному Шекспиру, какъ будто онъ самъ присутствовалъ при его развитіи и ходѣ. Ни одно лицо его драмы не скажетъ ни одного слова, котораго бы оно не должно было сказать, т. е. которое не выходило бы изъ его характера, изъ всей полноты его природы. Поэтому можно написать книгу о каждомъ изъ дѣйствующихъ лицъ любой его драмы, рассказать его исторію до начала драмы и по ея окончаніи.

Не таковы мнимо-художественныя произведенія, эти батарды искусства, эти красавицы по милости бѣлиль, румянъ, сурьмы и накладныхъ формъ; эти недосозданные Икары съ восковыми крыльями, эти жалкіе недоноски воображенія: въ нихъ все произвольно, и потому все несвободно; все условно, и потому все бессмысленно. Образы безъ лицъ, пародіи на дѣйствительность, безжизненные трупы еще до рожденія—они иногда обольщаютъ призракомъ какой-то неестественной жизни, очаровываютъ призракомъ какой-то неестественной красоты; но горе тому, кто влюбится въ нихъ: его постигнетъ участь студента Натанаэля, влюбившагося въ автоматъ, въ повѣсти Гофмана «Песочный Человѣкъ». Для него никогда уже не будетъ доступна истинная, живая красота, а онъ, новый Танталъ, вѣчно будетъ жаждать упоенія красою... Но къ счастью, люди, способные обмануться такою красою, неспособны къ танталовой жадѣ и находятъ для себя полное удовлетвореніе въ призракахъ. Всякому свое—во здравіе! Но мы твердо держимся мысли, что обманываться могутъ индивиды, а не общество, и что если для него и существуетъ возможность обмануться, то очень не надолго, и въ такомъ случаѣ, чѣмъ живѣе было его увлеченіе, тѣмъ безпощаднѣе будетъ его мщеніе за него, чѣмъ громче были его минутныя рукоплесканія, тѣмъ пронзительнѣе будетъ его свистъ...

Конкретность всякаго лица въ драмѣ, всякаго образа вообще въ искусствѣ, выходитъ изъ законовъ творческой необходимости. Законы эти сознаны; но самый процессъ твор-

чества есть тайна. Можно сказать, почему въ той или другой поэтической формѣ отразилась животрепещущая жизнь, но нельзя сказать, какимъ образомъ. Мы уже намекали объ этомъ, говоря о стихотвореніяхъ г. Бенедиктова. Кому непонятна покажется наша мысль, тому нельзя растолковать ее. Мы можемъ только сказать, что художественный образъ только тогда художественъ, когда онъ есть конкретное выраженіе идеи въ формѣ и черезъ форму, что конкретность вытекаетъ изъ творческой необходимости, а творческая необходимость чувствуется и сознается художникомъ въ минуту творческаго одушевленія, которое въ свою очередь есть принадлежность творческаго дара, получаемого отъ природы ея избранными любимцами. Содержаніе этихъ строкъ, или этого періода, можетъ быть содержаніемъ цѣлаго сочиненія въ нѣсколькихъ томахъ. Не чувствуя въ себѣ достаточной силы для такого сочиненія, мы ограничиваемся развитіемъ этой мысли при разборѣ произведеній, мнимыхъ и истинныхъ, и приложеніемъ ея къ нимъ.

Все, что мы высказали теперь, все это было пробуждено въ насъ драматическимъ произведеніемъ г. Полеваго. Не знаемъ почему, но только ни одно сочиненіе не производило на насъ такого грустнаго впечатлѣнія. Драматическое произведеніе на сценѣ и въ печати подвергается суду страшному, немощному, а судить съ тѣмъ, чтобы осудить, не всегда приятно. Другое дѣло, когда авторъ въ родственномъ или пріятельскомъ кругу читаетъ свое произведеніе: тамъ нѣтъ суда, тамъ все подкуплено и благосклонною довѣренностію автора, и очарованіемъ его чтенія, которое дополняетъ сочиненіе и даже даетъ ему то, чего въ немъ нѣтъ, но что только желалъ авторъ въ немъ выразить... Нѣтъ, никогда не напечатаю и не поставлю на сцену моей драмы, если вздумаю написать ее!.. А отчего?—Вѣдь еслибъ всѣ такъ были робки, то не было бы на свѣтѣ и Шекспировыхъ драмъ! Нѣтъ, не отъ робости (я вообще не робокъ), не отъ робости я такъ

думаю, а по причинѣ болѣе основательной, которую и слѣшу высказать.

Есть два способа выражать внутренній міръ своихъ представлений: посредствомъ чистой мысли—логически, и непосредственно—въ образахъ. Каждый изъ этихъ способовъ имѣетъ свои подраздѣленія, и мы, оставляя въ сторонѣ первый, какъ не относящійся къ нашему предмету, будемъ говорить о второмъ. Этотъ второй, или непосредственный способъ выраженія идеи вообще называется поэтическимъ или художественнымъ. По нашему мнѣнію, это невѣрно: поэтическое можетъ быть не-художественнымъ, но художественное не можетъ быть не-поэтическимъ. Не входя въ подробныя объясненія, которыя могли бы завести насъ далеко, постараемся примѣромъ объяснить нашу мысль. Въ прошлой книжкѣ нашего журнала помѣщенъ переводъ «Идеаловъ» Шиллера, переводъ, по крайней мѣрѣ какъ кажется намъ, прекрасный, хотя, можетъ быть, еще и далеко не совершенный; но не въ этомъ дѣло, а въ томъ, что это произведеніе Шиллера поэтическое, но нисколько не художественное. Оно обнаруживаетъ въ Шиллерѣ душу пламенную, глубокую, великую, человѣка гениальнаго, но не художника; оно полно глубокихъ идей, отличается силою, энергіею и красотою выраженія, но не художественностію. Въ творчествѣ сила не въ идеѣ, а въ формѣ, которая, само собою разумѣется, необходимо предполагаетъ и условливаетъ идею, и эта форма должна быть проникнута кроткимъ, благолѣпнымъ сіяніемъ эстетической красоты. Величіе содержанія (идеи) не только не есть ручательство эстетической красоты, но еще часто опозориваетъ ее.

Еслибы васъ спросили, какую идею выражаютъ собою «Идеалы» Шиллера, вы, безъ сомнѣнія, не запинаясь отвѣтили бы: идею человѣка съ душою поэтическою, колоссальною, человѣка, который отзывался на всѣ явленія жизни, порывался выразить и въ звукѣ, и въ словѣ, и въ краскѣ ну-

тренный міръ своихъ глубокихъ и могучихъ ощущеній, и который наконецъ увидѣлъ съ грустію, что для него міръ уже не то, чѣмъ онъ ему казался въ золотые дни его юности, и что взаимну всѣхъ блестящихъ благъ своихъ жизнь дала ему только дружбу и трудъ... Не правда ли?—Теперь, что бы вы отвѣтили, еслибы васъ спросили, какую идею выражаетъ собою «Нереида» Пушкина?—Трудный вопросъ — не правда ли? Можетъ-быть, вы и отвѣтили бы на него, только подумавши, и не такъ скоро. И таково всегда истинно-художественное произведеніе, что въ немъ идея, такъ сказать, поглощается формою, и вы больше видите ее, нежели понимаете. Въ этомъ-то и состоитъ непосредственность искусства. Въ «Нереидѣ» Пушкина есть идея; но она такъ конкретно слита съ формою, что вамъ, чтобы выговорить ее, надо оторвать ее отъ формы, а форма такъ прекрасна, что у васъ не подымается рука на такую операцію. Спросите всѣхъ, что лучше — «Идеалы», или «Нереида»?—большинство станетъ за «Идеалы», но чьи глаза одарены ясновидѣніемъ вѣчной красоты, тѣ даже не станутъ и сравнивать этихъ двухъ произведеній...

Все, что вышло изъ души, изъ чувства, словомъ, изъ полноты жизни и выражено съ жаромъ, увлеченіемъ—во всемъ томъ есть поэзія, потому что есть непосредственность или образность.

Въ этомъ смыслѣ поэзія можетъ быть и въ рѣчи, и въ статьѣ журнальной. За примѣрами ходить не далеко: вспомните, что говоритъ Гегель *) о той части физическихъ наукъ, «которая подсматриваетъ тихую, таинственную производительность природы, проявляющуюся въ камнѣ и въ нѣдрахъ земли, скромно, безъ претензій слагающую этотъ языкъ молчанія, эти красивыя формы, радующія взоръ, раздражающія дѣятельность ума, побуждающія его нечувствительно возвышаться до поня-

*) Гимназическія рѣчи Гегеля: „Наблюдатель“, стр. 200.

тія и представляющія ему образъ тихой, правильной, замкнутой въ себѣ красоты! Неужели это не поэзія?—Но, вѣрно, никто не вздумаетъ назвать это художественностію.

Мы думаемъ, что это даже и не поэзія, хотя тутъ и есть поэзія, какъ есть она во всемъ, въ чемъ есть душа, и чувство, и жизнь; но что это краснорѣчіе, или второй, низшій способъ непосредственнаго выраженія истины. Первый же и высшій способъ непосредственнаго выраженія истины есть художественная поэзія, или поэзія формы; а поэзія содержанія, т. е. такая поэзія, которой сила и могущество заключается въ глубокости и великости идеи, занимаетъ середину между этими двумя способами непосредственнаго способа выраженія истины. Она колеблется между краснорѣчіемъ и художественностію, безпрестанно переходя то въ краснорѣчіе, что вредитъ ей, то въ художественность, что возвышаетъ ее. Въ этомъ смыслѣ она есть какой-то недоносокъ, и ея произведенія не могутъ надѣяться на долговѣчность. Шиллеръ, въ которомъ философскій элементъ безпрестанно боролся съ художественнымъ элементомъ и часто побѣждалъ его, Шиллеръ, едва ли не въ большей части своихъ произведеній, принадлежитъ къ числу этихъ полу-поэтовъ. Гёте и нашъ Пушкинъ—вотъ чисто поэтическія натуры: одному довольно сорваннаго цвѣтка, а другому завядшаго цвѣтка, нечаянно найденнаго имъ въ книгѣ, чтобы ринуть душу читателя въ міръ безконечнаго...

Но я началъ объяснять, почему бы никогда не отдавать моей драмы ни на сцену, ни въ печать, а дошелъ до Гёте и Шиллера: это не отступленіе, а приступъ.

Положимъ, что у меня есть свой внутренній міръ идей, которыя меня тревожатъ и рвутся осуществиться; какой изъ изчисленныхъ мною способовъ выраженія долженъ я избрать? Положимъ, что я не метафизикъ, не философъ, что логика мнѣ не дается; слѣд., остается непосредственный способъ. Тутъ опять вопросъ: есть ли у меня даръ творчества, или только способность краснорѣчія? Если я поэтъ, то никогда

не выскажусь, никогда не дамъ себя понять въ рѣчи, въ статьѣ, въ фантазіи какой-нибудь, и именно потому, что я поэтъ; но вполнѣ выскажусь въ художественномъ произведеніи. Если же я не художникъ, то какъ бы ни глубока и ни вѣрна была идея, которую я хочу высказать — она затемнится; какъ бы ни пламенно было чувство, одушевляющее меня — оно охладѣетъ, если я, наперекоръ моей натурѣ, буду силиться и натягиваться выразить то и другое въ лирическомъ стихотвореніи, въ поэмѣ, романѣ, драмѣ. Человѣкъ выдаетъ поэтическое произведеніе: ему говорятъ, что въ немъ нѣтъ мысли, потому что нѣтъ чувства, и нѣтъ чувства, потому что нѣтъ мысли. «Помилуйте, возражаетъ онъ, я писалъ по вдохновенію, глубоко чувствовалъ то, что писалъ...» — Вѣримъ, вѣримъ, милостивый государь, но все-таки ваша поэма есть проза, и проза плохая, а не поэзія. Вдохновеніе не есть исключительная принадлежность художника: безъ него недалеко уйдетъ и ученый, безъ него не много сдѣлаетъ даже и ремесленникъ, потому что оно вездѣ, во всякомъ дѣлѣ, во всякомъ трудѣ. У васъ есть душа, есть чувство, но они и остались въ васъ, а не перешли въ ваше произведеніе, потому что вы не были самимъ собою, или наперекоръ своей природѣ, своему призванію, хотѣли передать благодатное пламя души вашей въ томъ, чего вамъ недано. Самозванство и въ поэзіи ведетъ къ паденію. Еслибы только одни поэты были людьми съ душою и чувствомъ, то ихъ бы не кому было читать и понимать; а еслибы всѣ люди съ душою и чувствомъ сдѣлались поэтами, то опять имъ пришлось бы читать самихъ себя.

Вотъ я и кончилъ. «Какъ кончили, а Уголино? Вѣдь вы объ немъ хотѣли говорить?» — Да я ужъ все сказалъ объ немъ. Впрочемъ, если угодно, я прибавлю еще кое-что, чтобы, какъ говорится, заострить статью.

«Уголино» есть лучшее доказательство той непреложной истины, что нельзя писать драмъ, не будучи поэтомъ. Умѣть писать стихи также не значитъ еще быть поэтомъ: всѣ книж-

ныя лавки завалены доказательствами этой истины. Что такое «Уголино» Что за лица въ немъ, что за характеры, что за завязка? Вотъ вопросы, на которые трудно отвѣчать. Интересъ двоятся на двухъ лицахъ, и никакъ нельзя рѣшить, которое изъ нихъ есть герой драмы. Вѣроятно Нино, потому что его роль въ Москвѣ играетъ Мочаловъ, а въ Петербургѣ г. Каратыгинъ. Что же такое этотъ Нино? Сперва это молодой повѣса, буйный гуляка, потомъ аркадскій пастушокъ, далѣе свирѣпый мститель, а наконецъ скучный резонёръ. Въ этомъ Нино собраны всѣ недостатки Карла Моора и Фердинанда, и ни одного изъ ихъ достоинствъ. Это что-то дѣтское, прекраснотушное.—Вероника по идеѣ—прекрасное созданіе, напоминающее Юлію Шекспира, но по выполненію—образъ безъ лица. Сцены любви между Нино и Вероникою явное подражаніе, или, лучше сказать, явная пародія на сцены любви между Ромео и Юлією. И въ самой лучшей изъ нихъ, начинающейся стихами:

Вероника! я смѣлъ ли думать... о, позвольте мнѣ
Стать на колѣни передъ вами, ангеломъ небеснымъ!—

ни одного поэтическаго стиха, ни одного поэтическаго слова! Фраза на фразѣ! Эта ли сцена любви, гдѣ все должно быть проникнуто чувствомъ, душою, жаромъ? И какой конфетный взглядъ на любовь! Во всемъ этомъ нѣтъ ни тѣни даже того, что мы назвали краснорѣчіемъ въ поэзіи и что такъ часто и съ такою силою кипитъ въ самыхъ дѣтскихъ произведеніяхъ Шиллера, даже въ «Фіеско», самой плохой изъ его драмъ. Сцена любви! Да знаете ли вы, что такое должна быть сцена любви?

Все, что ни говорить Нино Вероникѣ, и она ему, все это произвольно, потому что все это можетъ быть измѣнено и перемѣнено, какъ вамъ угодно и сколько вамъ угодно. И потому-то они, сами чувствуя затруднительность своего положенія, прибѣгаютъ къ благодѣтельному въ такихъ случаяхъ

междометію «ахъ» и къ восклицательному повторенію своихъ именъ «Нино!» «Вероника!» Прочтите сцену свиданія (тоже въ саду) Ромео съ Юліею: есть ли тамъ хоть одно лишнее или незначащее слово? не обрисовываетъ ли тамъ каждая фраза, каждое слово, и характеръ, и положенія, и чувства того, изъ чьихъ устъ выходить?

Вы скажете—что за сравненіе: то Шекспиръ, а то Полевой! Очень хорошо: перечтите все, что говоритъ Черкешенка Пушкина плѣннику, Зарема Маріи, Алеко Земфиръ, Марія Мазепъ, что пишетъ Татьяна Онѣгину, и что писалъ Онѣгинъ Татьянѣ, и что говорила она ему: вотъ языкъ любви, безконечно глубокий, безконечно разнообразный, какъ разнообразны люди, которые говорятъ имъ. Вы опять скажете, что за сравненіе: то Пушкинъ, а то Полевой! Но съ кѣмъ же сравнить? Неужели же съ Сумароковымъ?

И какъ жалко было видѣть Мочалова въ этой роли! Онъ сдѣлалъ все, больше нежели можно было сдѣлать — и все-таки пьеса усыпила публику. Когда Нино находитъ Веронику убитою, онъ вышелъ изъ хижины съ лицомъ мертвеца, блѣдный и синій, онъ былъ ужасенъ; но тутъ онъ дѣйствовалъ одинъ, безъ участія автора; онъ сталъ говорить — и авторъ безпрестанно шѣшалъ ему, безпрестанно вязалъ его, заставляя говорить фразы. Но въ этой сценѣ есть два удачные стиха, которые не испортили бы никакой и ничьей сцены — это, когда Нино встрѣчаетъ Уголино:

Добро пожаловать — я гостю радъ —
Хозяйки нѣтъ — что дѣлать? — я не виноватъ!

И теперь еще раздаются въ слухъ нашемъ эти два стиха, которые прорыдалъ блѣдный, посинѣлый человѣкъ...

Въ сценѣ, гдѣ Нино засыпаетъ и видитъ во снѣ Веронику, которая на облакъ поетъ ему прозаическими стихами о загробной жизни, жалко было смотрѣть и на Мочалова и на драму... Но когда особенно жалко было смотрѣть на Моча-

лова, такъ это въ VIII сценѣ послѣдняго акта: тутъ онъ является ораторомъ, правоучителемъ, и съ необыкновеннымъ успѣхомъ наводитъ на зрителей сладостную дремоту...

И что жъ, спросить насъ, неужели во всей драмѣ,—одно неудачное и ничего хорошаго? И да и нѣтъ — если угодно, Есть счастливыя выраженія, счастливыя положенія, какъ, напр., Нино, застающій свою жену зарѣзанною; Нино, узнающій потомъ объ истинномъ убійцѣ; Нино, рѣшающійся на смерть, и въ сценѣ съ своимъ наставникомъ; есть очень удачныя монологи, и особенно тотъ, который Нино говоритъ своему наставнику; но какъ все это не выходитъ органически изъ цѣлаго, по закону необходимости, то въ нашихъ глазахъ и не имѣетъ другаго значенія, кромѣ помпы и блеску. Если хотите, у Гюго и Дюма много найдется драмъ хуже «Уголино» и мало столь хорошихъ; но это не похвала, а приговоръ... Сцена въ Башнѣ Голода,—возмутительна, чтобы не сказать отвратительна; сцена, гдѣ откармливаютъ дѣтей Уголино, смѣшна.

Изъ характеровъ всѣхъ лучше сдѣланъ и отдѣланъ Руджеро, и Щепкинъ, игравшій эту роль, изумлялъ своимъ искусствомъ: онъ создалъ эту роль на сценѣ, отъ себя, независимо отъ автора.

Мы не будемъ разбирать драмы съ исторической стороны—это нисколько не относится къ дѣлу: поэтическіе характеры могутъ быть не вѣрны исторіи, лишь были бы вѣрны поэзіи. Вѣрность законамъ творчества — это главное, а остальное все второстепенное. Поэтому, у насъ, при разборѣ сочиненія, первый вопросъ: что это такое — поэзія, или претензія на поэзію? Имена для насъ ничего не значать, и чѣмъ громче имя, тѣмъ строже нашъ судъ, потому что ложныя произведенія часто ходятъ за истинныя, благодаря очарованію имени, подъ которымъ они выпускаются. Отъ этого большой вредъ для эстетическаго образованія общества. Многіе, увлекаясь фразами, привыкаютъ почитать ихъ за поэзію и дѣлаются

неспособными понимать истинную поэзію. Слѣдовательно, тутъ вредъ истинѣ, а когда дѣло идетъ о истинѣ въ отношеніи къ искусству—для насъ нѣтъ никакихъ именъ: Amicus Plato, sed magis amica veritas!

КРАТКАЯ ИСТОРІЯ ФРАНЦІИ ДО ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. Соч. Мишле, профессора историческихъ наукъ. Перев. съ французскаго К. Пулювиъ. Спб. 1838.

«Не родись уменъ, не родись пригожъ—родись счастливъ», говоритъ русская пословица; мы вспомнили ее, читая уродливую компиляцію Мишлѣ и видя, что она переведена хорошо. Предосадно читать дурныя книги, хорошо переведенныя: это все равно, что читать хорошую книгу, дурно переведенную.

Во Франціи есть свои явленія умственнаго міра, достойныя всякаго уваженія, представители націи, дѣлающіе ей честь. Условіе достоинства французскихъ ученыхъ такого рода заключается непременно въ ихъ народности, въ томъ, чтобы они были Французами по преимуществу и вполнѣ выражали собою духъ своего общества. Къ такимъ людямъ принадлежатъ: Кювье, Депоитренъ, Жоффруа де Сентъ-Илеръ, Гизо и нѣкоторые другіе; это, по большей части, умы точные, практическіе, глубокіе и основательные въ своей сферѣ, вѣрные своей точкѣ зрѣнія. Кромѣ того, какъ всѣ люди съ истиннымъ достоинствомъ, они добросовѣстны, не любятъ фанфаронадъ и громкихъ фразъ. У Французовъ есть способность рассказывать факты, представлять историческія событія въ связи и картинно, и въ этомъ отношеніи, особенно можно указать на Тьерри, извѣстнаго своимъ превосходнымъ твореніемъ «La conquête de l'Angleterre par les Normands». Да, истина непреложная, что у всякаго народа есть своя жизнь,

свое значеніе, своя дѣйствительность и своя призрачность, свое великое и свое пошлое. Мы сказали о великомъ французскаго народа въ учено-литературномъ отношеніи: перейдемъ къ его пошлему.

Во Франціи, послѣ революціи и владычества Наполеона—событій, познакомившихъ ее съ другими народами, вдругъ произошла сильная реакція всему старому. Реакція эта съ особенною силою выразилась въ литературѣ. Франція разрушила капища кумировъ своихъ, сбросила ихъ статуи съ пьедесталовъ и разбила ихъ. Корнель, Расинъ, Буало, Мольеръ, Кребильонъ, потомъ Вольтеръ, со всѣмъ энциклопедическимъ причетомъ — все это было ниспровергнуто, отринуто. Вдругъ образовались двѣ школы: идеальная и неистовая. Представители первой были Шатобрианъ и Ламартинъ. Безспорно, это люди честные, добрые; но въ поэзіи требуется нѣчто другое, кромѣ хорошаго поведенія,—требуется даръ творчества, который одинъ можетъ сдѣлать человѣка художникомъ, а его-то у нихъ и не доставало, по крайней мѣрѣ, въ соразмѣрности съ ихъ претензіями на художническую геніяльность. Но что жъ долго думать?—Если не художественность—такъ фразы, не геній—такъ претензія на геніяльность. Они такъ и сдѣлали. Это самая опасная и вредная школа, потому что ничто такъ не портитъ молодыхъ людей, какъ приторная чувствительность, надутая возвышенность и вообще фразѣрское направленіе. Такая поэзія дѣлаетъ людей призраками, закрывая отъ ихъ глазъ, туманомъ фразеологіи, живую дѣйствительность. Шатобрианъ имѣетъ еще значеніе, какъ государственный человѣкъ, много жившій, много видѣвшій, и какъ писатель собственно, а не поэтъ; но Ламартинъ съ своими неистощимыми слезами о бѣдствіяхъ человѣческихъ и чуть ли не полумилліономъ годового дохода, съ своимъ поэтическимъ ореоломъ изъ золоченой бумаги и претензіями на политическую значительность, съ своими заоблачными мечтаніями и свѣтскою мелочностію, есть не что иное, какъ длинная водяная

элегія, начиненная искусственными вздохами и поддѣльными слезами, пышная фраза на ходуляхъ, риторическая восклицательная фигура. Но что нужны? — Франція провозгласила его великимъ поэтомъ, а огромная нація добрыхъ людей, разсѣянная по всему бѣлому свѣту, повѣрила ей на слово. Вотъ какова идеальная школа романтическихъ поэтовъ Франціи. Неистовая не такова. Она происходитъ по прямой линіи отъ Байрона, Дѣло вотъ въ чемъ, Байронъ, какъ новый Атлантъ, поднялъ на свои мощныя рамена страданія цѣлаго человѣчества, но не палъ подъ этою ужасною тяжестью. Душа его была бездонная пропасть; его притязанія на жизнь были огромны, и жизнь отказала ему въ его требованіяхъ. Онъ оперся на самого себя, и, новый Прометей, терзаемый коршуномъ — ненасытимою жаждою своего безпокойнаго духа, вопли гордой души своей передалъ въ чудныхъ, художественныхъ образахъ. Это былъ поэтъ гордаго самимъ собою отчаянія. Сынъ XVIII вѣка, онъ съ презрѣніемъ оттолкнулъ отъ себя его бѣдныя радости, его нищенскія наслажденія, — и не узналъ истинныхъ радостей, истинныхъ наслажденій, того богатства духа, котораго ни ржа не точитъ, ни тать не похищаетъ. Въ арабійской пустынѣ желѣзнаго стоицизма нашелъ онъ свое убѣжище отъ карающей его и презираемой имъ судьбы, и не достигъ до обѣтованной земли благодати, гдѣ открывается вѣчная истина, разрѣшаются въ гармонію диссонансы бытія и мерцаетъ таинственнымъ блескомъ заря безконечнаго блаженства. Да, благородному лорду дорогою цѣною обошлись его дивныя пѣсни: онъ былъ имъ выстраданъ. Но наши господа неистовые объ этомъ не подумали: имъ показалось очень эффектно бранить и проклипать жизнь. И вотъ —

Запѣли молодцы: кто въ лѣсъ, кто по дрова.

Выпустили на свѣтъ бѣлыхъ медвѣдей, Гановъ, Лукрецій Борджіа, и пр. Все, что есть отвратительнаго въ человѣче-

ской природѣ, внѣ ея уклоненія, все, что есть ужаснаго въ гражданскомъ обществѣ, всё его противорѣчія—все это они отвлекли отъ природы человѣка и отъ гражданского общества, и рядъ чудовищно-нелѣпыхъ романовъ, повѣстей и драмъ наводнилъ весь бѣлый свѣтъ. Евгений Сю просто-напросто объявилъ, что на этомъ свѣтѣ быть честнымъ и добрымъ значить мѣтить прямо на висѣлицу или на колесо, а быть мерзавцемъ и извергомъ есть вѣрное средство наслаждаться всеми благами міра сего. Гюго объявилъ себя защитникомъ всѣхъ гонимыхъ, т. е. физическихъ и моральныхъ чудищъ: по его теоріи, всѣ сосланные на галеры съ клеймомъ лилии — люди добродѣтельные, невинно гонимые обществомъ. Балзакъ проповѣдуетъ, что быть бѣднымъ — все равно, что заживо попасть въ адъ, и что быть счастливымъ и блаженнымъ значить—имѣть кучу денегъ и право ставить передъ своею фамиліею частицу *de*. Дюма возвѣстилъ міру, что любить женщину значить быть готовымъ каждую минуту задушить, зарѣзать ее; что сильно и глубоко чувствовать значить быть тигромъ, гіеною. Жоржъ-Сандъ приглашаетъ людей къ естественному состоянію, почитая гражданскія установленія, и особенно бракъ, главною причиною человѣческихъ бѣдствій. Развратъ, кровосмѣшеніе, разбой, отцеубійство, дѣтоубійство, братоубійство, предательство, казни, пытки, кровь, гной, рѣзня, тюрьмы и дома разврата,—сдѣлались любимыми пружинами для возбужденія эффекта. И что же?—вы думаете, что это люди съ сильными страстями, съ могучею волею, мученики жизни? — Ничего не бывало! это просто добрые ребята, краснощекіе, полные, здоровые, богатые, по модѣ одѣтые, роскошно живущіе. За вкуснымъ обѣдомъ и бутылкою шампанскаго они охотно забываютъ свое ожесточеніе противъ жизни, а за порядочную сумму денегъ готовы написать диѳирамбъ въ честь ея. Они такъ писали только потому, что это было въ модѣ и товаръ хорошо съ рукъ шелъ. Дайте имъ денегъ—они обратятся къ религіи—и

къ какой вамъ угодно: къ христiанской (даже къ католицизму), къ магометанской, къ жидовской; надбавьте цѣну — они поклонятся идоламъ. Это народъ сговорчивый, и если вы увидите у котораго-нибудь изъ нихъ на лбу морщины, а на устахъ злую усмѣшку, то смѣло можете сказать —

Какой сердитый видъ!

Не бойтесь — онъ на дождь сердить!

Четыре главные момента были въ исторiи французскаго искусства и литературы вообще: вѣкъ стиховъ Ронсара и сентиментально-аллегорическихъ романовъ дѣвицы Скюдери; потомъ блестящiй вѣкъ Людовика XIV; далѣе XVIII вѣкъ; за нимъ — вѣкъ идеальности и неистовости. И что же? — Несмотря на виѣшнее различiе этихъ четырехъ перiодовъ литературы, они тѣсно соединены внутреннимъ единствомъ, отличаются общностию основной идеи, которую можно опредѣлить такъ: надутость и приторность въ идеальности и искренность въ невѣрiи, какъ выраженiе конечнаго разсудка, который составляетъ сущность Французовъ и которымъ они торжественно превозносятся, величая его здравымъ смысломъ (*bon sens*). Поэтому самая цвѣтущая эпоха французской литературы была въ XVIII вѣкѣ. Сатанинское владычество Вольтера было дѣйствительно потому, что выразило собою моментъ не только цѣлаго народа, но и цѣлаго человѣчества. Это былъ чело-вѣкъ могучiй, котораго мысль и слово имѣли несчастное, но въ то же время дѣйствительное значенiе. Въ неистовой школѣ видны тѣ же сѣмена невѣрiя и разрушенiя, но сѣмена не въ духѣ времени, случайныя, призрачныя, подгнившiя, и потому не пускающiя ростковъ. Вольтеръ былъ подобенъ сатанѣ, освобожденному высшею волею отъ адамантовыхъ цѣпей, которыми онъ прикованъ къ огненному жилищу вѣчнаго мрака, и воспользовавшемуся краткимъ срокомъ свободы на пагубу чело-вѣчества; господа неистовые похожи на мелкихъ бѣсенятъ, которымъ много-много если удастся соблазнить православнаго

полакомиться въ постный день ложкою молока, или заставить набожную старуху проспать заутреню. Вольтеръ, въ своемъ сатанинскомъ могуществѣ, подъ знаменемъ конечнаго разсудка, бунтовалъ противъ вѣчнаго разума, ярясь на свое безсиліе постичь разсудкомъ постижимое только разумомъ, который есть, въ то же время, и любовь, и благодать, и откровеніе; неистовые отверглись Вольтера, презирають безвѣріе и нечестіе XVIII вѣка, признають и любовь, и благодать, и откровеніе, и, въ то же время, устремляютъ всѣ усилія своихъ ограниченныхъ дарованій и конечныхъ умовъ, чтобы противорѣчіями жизни (которыхъ они не въ силахъ примирить по не достатку любви, благодати и откровенія) доказать, что міръ Божій есть мрачная пустыня, гдѣ слышны только стоны и скрежетъ зубовъ. Не одно ли то же оба эти явленія?—Да, одно и то же; но между ними есть и большая разница: первое было выраженіемъ историческаго момента, второе—совершенно случайно, произвольно, и потому, ничтожно. Вольтеръ и его сподвижники были люди примѣчательные, даровитые, сильные, въ самомъ своемъ несчастномъ ослѣпленіи; а господа неистовые—просто люди, взявшіеся за дѣло не по плечу себѣ, гениі-самозванцы. Первые были Титаны, возставшіе противъ державнаго Олимпа и пораженные его громами; вторые—шаловливые школьники, затѣявшіе обобратъ чужое вишневое дерево и думающіе; что они ниспровергають цѣлый міръ. Чтобы образумить первыхъ, нужны были громы, для вторыхъ достаточно хорошихъ розогъ. Первые выражали свою внутреннюю разорванность, свое распаденіе и муки отъ него; вторые прикинулись разочарованными и схватились за богохульство, какъ за средство для эффектовъ.

Если неистовая школа есть повтореніе школы XVIII вѣка, то идеальная есть повтореніе двухъ первыхъ—школы Ронсара вкупѣ съ дѣвицею Скъюдери, и школы Людовика XIV: перемѣнились слова, перемѣнилась мода, сущность осталась та же. Это тѣ же фразы, то надутыя, то сантиментальныя, вывѣскоу

которыхъ можетъ служить знаменитый монологъ, начинающійся стихомъ—

A peine nous sortions des portes de Trézène

Да не подумаютъ, что мы унижаемъ французскую литературу и умышленно не хотимъ въ ней видѣть ничего хорошаго. Нѣтъ, мы видимъ въ ней и ея хорошую сторону. Эти же люди, еслибы они захотѣли быть самими собою, а не лѣзли бы въ міровые геніи, были бы порядочными писателями, которыхъ сказочки и водевильчики очень весело было бы читать за завтракомъ и послѣ обѣда, за чашкою кофе. Сверхъ того, у Французовъ есть и блестящія дарованія. Одинъ Беранже, впрочемъ, не принадлежащій ни къ идеальной, ни къ неистовой школѣ, есть такой поэтъ, которымъ Франція по справедливости можетъ гордиться. Его сфера очень ограничена, но въ самой ея ограниченности есть своя безконечность, потому что и у Французовъ, лишенныхъ міроваго созерцанія, есть своя сфера безконечнаго. Беранже — гуляка праздный; поцѣлуй Лизеты, бокалъ шампанскаго, побѣда республиканскихъ войскъ или арміи Наполеона — этимъ онъ доволенъ, больше онъ ничего не хочетъ знать. Деяствъ XVIII вѣка по своимъ религіознымъ вѣрованіямъ, республиканецъ и вмѣстѣ наполеонистъ по своимъ политическимъ понятіямъ, язычникъ по своему взгляду на жизнь, безпечный, легкомысленный, остроумный, веселый, часто безстыдный до отвратительнаго цинизма, иногда даже возвышенный и глубоко чувствующій,—онъ Французъ въ душѣ и истинный поэтъ. Поэтому, у него нѣтъ натянутостей, нѣтъ фразъ. Я, говорить онъ, пою бездѣлки—

*Mais Dieu brille à travers ma gaité,
Il a béni ma pauvreté.*

Къ довершенію всего, Беранже есть явленіе дѣйствительное, въ полномъ смыслѣ этого слова, потому что онъ есть полное выраженіе народнаго духа Франціи и истинный поэтъ.

Въ то самое время, когда возникали идеальная и неистовая школы литературы, во Франціи возникала германско-французская ученая школа. Дѣло было вотъ какимъ образомъ: Кузенъ, не зная по-нѣмецки, два часа поговорилъ avec monsieur Hegel (Гежель или Эжель), и узналъ, что Гегель великій философъ, постигъ всю его философію и началъ проповѣдывать во Франціи эклектизмъ. Лерминье — тоже гений первой величины, дни въ два ниспровергъ авторитетъ Кузена во Франціи и объявилъ, что Французы, какъ и всякій другой народъ должны имѣть свою философію, потому что разумъ — познавательная сила — не одинъ и тотъ же у всѣхъ людей, и бытіе — предметъ знанія — не одно и то же. По его теоріи, сколько головъ, столько и умовъ, и всѣ эти умы суть разноцвѣтные очки, въ которыя и міръ и истина кажутся разноцвѣтными; абсолютной истины нѣтъ, а все истины относительныя, хотя онѣ и ни къ чему не относятся. Христіанская религія абсолютная, и ея божественный Основатель на царство Духа указалъ намъ, какъ на цѣль нашихъ вѣрованій, и чрезъ Духъ же обѣщалъ намъ постиженіе этого благодатнаго и безконечнаго царства; но Лерминье не христіанинъ, а сенсимонистъ. Впрочемъ, и у насъ нашлись добрые люди, лѣтъ двадцать уже сидящіе неподвижно на синтезѣ и анализѣ и отъ души повѣрившіе французскому болтуну, что истина не одна, и что каждый народъ долженъ имѣть свою философію. Къ этой германско-французской школѣ принадлежатъ Мишлѣ, Кюне и нѣсколько другихъ фразёровъ. Конечно, это люди не безъ дарованій, не безъ ума и не безъ свѣдѣній, но видите ли что: надъ ними сбылись эти насмѣшливые стихи нашего великаго баснописца —

И сдѣлалась моя Матрёна
Ни пава, ни ворона.

Мы уже сказали, что условіе достоинства всякаго дѣйствителя на литературномъ поприщѣ есть его народность; а эти

люди, сдѣлавшись Германцами, въ то же время не перестали быть Французами. Оба эти элемента въ нихъ не проникли конкретно одинъ другаго, а остались неслившимися отвлеченностями. И потому, въ нихъ безпрестанно враждуетъ конечный разсудокъ съ претензіями на міровое созерцаніе. Результатомъ этой борьбы необходимо долженствовали быть произвольность во мнѣніяхъ и надутая фразистость въ выраженіи.

Книга, подавшая намъ поводъ къ этому длинному разсужденію о Французахъ, есть сочиненіе, какъ значится въ ея заглавіи, знаменитаго Мишлѣ, ученаго германско-Французской школы. По выходѣ ея перевода, почти всѣ наши журналы пали передъ нею ницъ: имя великаго Мишлѣ для нихъ было ручательствомъ достоинства книги. Въ самомъ дѣлѣ — Французъ и еще новой школы —

Какъ тутъ смѣть
Свое сужденіе имѣть?

Что же такое этотъ великій господинъ Мишлѣ? Это просто одинъ изъ людей очень обыкновенныхъ вездѣ, даже и у насъ, и немногимъ выше тѣхъ литературныхъ судей, которые у насъ становятся предъ нимъ на колѣна. Впрочемъ, его праздникъ у насъ уже проходитъ: тѣ самые люди, которые прежде съ торжествомъ и колѣноприклоненіемъ провозгласили его имя, вмѣстѣ съ другими именами того же сорта, теперь уже начинаютъ разочаровываться въ его гениальности. Вотъ что значитъ подрости! А то бывало — не смѣй и слова сказать о новыхъ Французахъ; по крайней мѣрѣ, мы и теперь еще помнимъ, какъ, лѣтъ семь или восемь назадъ, въ одномъ журналѣ, напали на г. Кронеберга за то, что онъ осмѣлился сказать, будто у Французовъ нѣтъ философіи, и что Кузенъ — плохой философъ...

«Краткая Исторія Франціи Мишлѣ» есть очень плохая компиляція, какихъ у насъ много и своихъ. Не понимаемъ, зачѣмъ было переводить ее. Съ одними русскими книгами, безъ

всякихъ иностранныхъ пособій, можно наподрядъ составить исторію Франціи и толковитѣе, и яснѣе, и существеннѣе. Въ книгѣ Мишлѣ ни умозрѣнія, ни философскихъ взглядовъ, ни фактовъ—однѣ фразы и нескладное повѣствованіе безъ всякаго содержанія.

Въ началѣ, толкуются Цельты, Иберы, Кимбры, Тевтоны, Свевы, Узипины, Танктеры — кричать, шумять — ничего не разберешь. Ихъ покоряють Римляне,—и все это видишь какъ въ туманѣ или въ какомъ-то тяжеломъ снѣ: никакой картинности, ни малѣйшей перспективы, ни искры повѣствовательнаго таланта! Это какой-то несвязный бредъ разстроенной головы. Карлъ Великій чуть-чуть не пройденъ молчаніемъ—и подѣломъ ему: онъ дурно поступалъ съ Саксонцами, а Мишлѣ — защитникъ угнетеннаго человѣчества, строгій и грозный судья минувшихъ поколѣній и историческихъ лицъ. Онъ казнить и награждаетъ ихъ.

Не угодно ли полюбоваться фразами великаго историка?—

Англія первая открыла Франціи тайну силъ ея; зато тяжки были испытанія, которыми она должна была купить эту благотворную тайну. Какъ въ рукахъ демона-искусителя, она проходила страшные круги дантова ада, называемаго исторіей четырнадцатаго столѣтія; но искушеніе не кончилось еще и въ пятнадцатомъ вѣкѣ. Ей нужно было погрузиться до дна, и потомъ уже всплыть.

Не правда ли—слогъ такой высокій, что даже ничего понять нельзя?...

Оставшееся при немъ (при Генрихѣ V, королѣ англійскомъ) войско должно было неминуемо погибнуть, еслибы въ совѣтахъ Франціи нашелся хоть одинъ умный человѣкъ.

Это уже не высота, а остроуміе, которое въ исторіи очень хорошо, какъ соль за столомъ.

Проѣзжая теперь по Италіи и видя столько слѣдовъ, оставленныхъ войнами шестнадцатаго вѣка, нельзя не чувствовать въ душѣ тоски, нельзя не проклинать варваровъ, начавшихъ эти опустошенія. Кто превратилъ Маремму въ пустыню? — полководецъ Карла Пятаго; кѣмъ сожжены эти великолѣпные дворцы, которыхъ печаль-

ныя развалины поражаютъ взоръ путника? — ландшафтами Франциска I.

Точь-въ-точь какъ отрывокъ изъ какого-нибудь сантиментальнаго путешествія. Но въ исторической учебной книгѣ и это хорошо — для разнообразія; а то ученикъ можетъ соскучиться, находя въ ней одно дѣло да дѣло.

Католическими войсками предводительствовали тогда величайшіе изъ полководцевъ, знаменитый тактикъ Тилли и Валленштейнъ — настоящий демонъ войны.

Вотъ чтò хорошо сказано — настоящий демонъ войны! Это по-нашему, по-русски: вѣдь демонъ все равно, чтò чортъ; а у насъ простой народъ, желая похвалить кого-нибудь за удачество, обыкновенно говорить: онъ чортъ на все! Думали наши мужики, что великій историкъ Франціи, въ учебной своей книгѣ, выражается ихъ языкомъ!

Въ то время они (парламенты) очень низко преклоняли свои головы, но когда подняли ихъ и удостоверились, что онъ еще у нихъ на плечахъ, когда увидѣли, что властитель (Ришельё) действительно умеръ, тогда почувствовали себя храбрыми и заговорили громко — точно вырвавшіеся на свободу школьники, въ промежутокъ между начальствомъ двухъ учителей — Ришельё и Людовика XIV.

Прочтя эту саркастическую выходку г. Мишлѣ противъ парламентовъ, мы, подобно миргородскому судѣ, восхитившемуся просьбою Ивана Ивановича Перерепенко, воскликнули: «Чтò за бойкое перо! Господи Боже, какъ пишетъ этотъ человѣкъ!»

Съ другой стороны являлась Голландія, небольшая страна, населенная народомъ грубымъ, корыстолюбивымъ, молчаливымъ, (?), произведшимъ столько дѣлъ безъ всякаго величія. Начальный подвигъ его состоялъ въ томъ, что, несмотря на океанъ, онъ поддерживалъ свое существованіе, — это было первое чудо; потомъ онъ сталъ солить сельди и сыръ; потомъ промѣнялъ смрадные свои бочки на бочки золота; наконецъ, учредивъ банкъ, сдѣлалъ это золото плодотворнымъ: червонцы высиживали дѣтокъ. Въ половинѣ семнадцатаго вѣка Голландцы радостно прибирали къ рукамъ отдѣлявшіеся отъ Испаніи участки; отняли у нея море, а въдобавокъ и Индію.

За что г. Мишлэ такъ сердится на бѣдныхъ Голландцевъ? Ужъ не за то ли, что они слишкомъ жестоко проучили его великаго короля, Людовика XIV?—Но за это можете сердиться на нихъ Французъ, а не историкъ, котораго первое достоинство должно состоять въ объективномъ созерцаніи событій. Онъ сердится на нихъ за то, что они много великихъ дѣлъ совершили безъ всякаго величія. Важное обвиненіе—въ немъ высказался Французъ!

Величіе въ великихъ дѣлахъ у Французовъ состоитъ въ помпѣ, риторической шумихѣ и вычурной парадности — характерическая черта ихъ народности, изъ которой прямо текли трагедіи Корнеля и Расина! Рисоваться — это страсть Французовъ, великихъ и малыхъ.

Говорятъ, когда Англичанину наскучитъ жить, то онъ ѣстъ въ послѣдній разъ пудингъ и, заложивъ двери своего кабинета на крючокъ, застрѣливается. Французъ дѣлаетъ это совсѣмъ иначе: онъ заранѣе объявляетъ въ журналѣ, что ему жизнь въ тягость, потому что она не дала ему, чего онъ стоитъ, т. е. ста тысячъ ливровъ годоваго дохода, славы первокласснаго писателя и министерскаго портфёля (во Франціи нѣтъ ни одного человѣка, который бы не считалъ себя стоящимъ всего этого), что люди ему ненавистны, потому что не умѣли оцѣнить его великихъ дарованій; потомъ нанимаетъ музыкантовъ и, проговоривши народу, на площади, съ моста, или просто съ подмостокъ свою послѣднюю рѣчь — образецъ велерѣчія, съ величіемъ древняго Римлянина закалывается, при плескахъ восторженной толпы.

Такъ умираютъ во Франціи юноши, разочарованные жизнію, и кухарки, покинутыя своими любовниками.

Г-ну Мишлэ не нравится и то, что Голландцы молчаливы: опять виденъ Французъ, говорунъ и болтунъ по природѣ своей. Зачѣмъ г. Мишлэ сердится на смрадные бочки Голландцевъ? — конечно, запахъ сельдей не похожъ на запахъ розъ; но въ торговлѣ ароматъ—послѣднее дѣло.

Говоря о вѣкѣ Людовика XIV, онъ пересчитываетъ его славныхъ писателей, между которыми включаетъ и г-жу Севинье. Убилъ бобра!

Въ то же время система Декарта была доведена до крайняго развитія; Малебраншъ снова относитъ разумнiе человѣческое къ Богу (?), и вслѣдъ за тѣмъ, въ протестантской Голландiи, враждовавшей съ католическою Францiею, раскрылась бездонная пропасть, готовившаяся поглотить католицизмъ и протестантизмъ, свободу и нравственность, идею Бога и міръ: эта бездна—система Спинозы.

Великій Боже, что за галиматья! Пойми, кто можетъ—хвалить или порицаетъ великій фразёръ великаго философа! Что значитъ слово «поглотить»? Не ошибся-ли г. переводчикъ: не стоитъ ли въ подлинникѣ «обнять»?—Но и въ такомъ случаѣ, галиматья по прежнему останется галиматеею. Спиноза—этотъ глубокой и великій философъ, который первый мировое созерцаніе объявилъ содержаніемъ философіи, Бога поставилъ предметомъ абсолютнаго знанія — этотъ Спиноза проглотилъ свободу и нравственность, и пр. и пр. Да какъ г. Мишлѣ не подавился такимъ глоткомъ, который онъ такъ великодушно приписываетъ Спинозѣ!...

Въ сосѣдственныхъ съ Францiею странахъ преобладалъ скептицизмъ; за отрицательнымъ ученіемъ Юма слѣдовалъ мнимый догматизмъ Канта (?); превыше всего раздавался поэтический голосъ Гёте, гармоническій, но безнравственный и равнодушный.

Часть отъ часу не легче! Поэтический и, въ то же время, безнравственный!

Вотъ какъ понимаютъ искусство Французы, этотъ народъ, лишенный отъ природы лучшаго дара божьяго—чувства изяшнаго! Да что говорить о Французахъ, когда у насъ, на Руси, недавно была переведена ничтожная книжонка Менцеля, устремленная противъ Гёте. Но—слава Богу!—наша публика не приняла этой памфлеты крикуна, который ненавидитъ Гёте за то, что онъ былъ другомъ государей, царей и дорожилъ знаками ихъ уваженія къ себѣ.

И вся-то книга Мишлэ состоитъ изъ такихъ фразъ. Прочти ее, чувствуешь, что совершилъ подвигъ великій, кончилъ дѣло трудное: читая пятую страницу, забываешь, что прочелъ въ первой. Зачѣмъ эта компиляція нужна въ русской литературѣ? Не лучше ли было бы перевести очень похвальный и дѣльный трудъ этого же самаго Мишлэ—«*Mémoires de Luther, écrites par lui-même*». Такъ какъ въ этой книгѣ говорить самъ Лютеръ, то она очень интересна. Фантазіи и умышленія издателя можно выкинуть: отъ этого книга будетъ и короче, и лучше.

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ П. КАМЕНСКАГО. Спб. 1838.

Два части.

Имя г. Каменскаго совершенно новое въ нашей литературѣ, и несмотря на то, оно уже пользуется громкою извѣстностію между петербургскою пишущею братіею. Его повѣстями украшаются петербургскіе журналы и альманахи: его повѣсти восхваляются почти во всѣхъ тамошнихъ журналахъ. Что за причина такой внезапной и быстрой славы?—ужь, конечно, талантъ Каменскаго.

Можетъ быть, г. Каменскій и въ самомъ дѣлѣ пишетъ очень хорошо. можетъ-быть, онъ и въ самомъ дѣлѣ второй Марлинскій, если намъ мало было одного; можетъ быть, его повѣсти и въ самомъ дѣлѣ прекрасны: все это можетъ быть, но мы хотимъ говорить не о томъ, какъ можетъ быть, а о томъ, какъ намъ кажется. Признаемся откровенно, что касается собственно до насъ, то намъ «Повѣсти и Разказы» г. Каменскаго очень не нравятся. Мы не хотимъ этимъ сказать, чтобы они были дурны,—нѣтъ, сохрани насъ Богъ отъ такого рѣшительнаго приговора, вопреки мнѣнію столькихъ знатоковъ и судей изящнаго! — Но они намъ кажутся очень утомительными, чтобы не сказать — скучными. Можетъ-быть, въ

этомъ виновата наша субъективность? — Да чего не можетъ быть! Какъ бы то ни было, но рѣшась, по долгу добросовѣстнаго рецензента, прочесть, во что бы то ни стало, «Повѣсти и рассказы» г. Каменскаго, мы признали себя рѣшительно побѣжденными на половинѣ занимательной повѣсти «Письма Эискаго», которая стоитъ предпоследнею статью въ первой части. За вторую мы и не принимались. Впрочемъ, она намъ не совсѣмъ незнакома: на концѣ ея мы съ ужасомъ увидѣли повѣсть «Конецъ міра», отъ которой уже однажды мы чуть было не отчаялись въ концѣ своей жизни, и отъ которой навѣки заснулъ грозный Султанъ - Пюбликъ-Багадуръ. Признаемся: было отъ чего заснуть сномъ непробуднымъ.

Истинные поэты потому живописуютъ нравы и обычаи страны, избранной ими театромъ своего романа или повѣсти. что, безъ этого, ихъ лица были бы призраками, а не дѣйствительными, живыми созданіями. Для нихъ нравы и обычаи—дѣло второстепенное, постороннее, о которомъ они нисколько не заботятся, но которое у нихъ само собою, какъ бы безъ ихъ вѣдома, формируется и осуществляется. У многихъ поэтовъ, напротивъ, вся сущность — въ изображеніи мѣстности, нравовъ и обычаевъ страны, а характеры, завязка и развязка—дѣло второстепенное и постороннее. Эта несчастная завязка и развязка у нихъ не больше, какъ рамка, въ которую можно вставить какую угодно картину. Кавказъ интересуется всѣхъ и дикою красотою своей первобытной природы, и дикими нравами своихъ обитателей; и вотъ стали являться безпрестанныя описанія этой страны, по большей части, въ формѣ повѣстей. Тутъ обыкновенно описывается горскій князь, молодой и прекрасный, съ дикими страстями и сильною душою, который или страшно мститъ врагу, или зарѣзываетъ роднаго отца, чтобы поскорѣе прибрать къ рукамъ его владѣніе. Если дѣло идетъ о Кавказѣ, то никогда не ищите въ повѣсти ничего тихаго, веселаго или забавнаго:

повѣсть обыкновенно начинается громкими фразами, а оканчивается рѣзною, предательствомъ, отцеубійствомъ. Конечно, все это бываетъ въ жизни, и на Кавказѣ больше, нежели гдѣ-нибудь; но вѣдь это только одна сторона жизни горцевъ: зачѣмъ же отвлекать только одну ее? Оно, конечно, эффектно, но одно да одно—воля ваша—наскучаетъ.

Г. Каменскій до того увлекается описательною стороною поэзіи, что его «Повѣсти и Разказы» могутъ замѣнить не только статистику и топографію Кавказа, но и словари грузинскаго, черкесскаго и турецкаго языковъ. «Мой денязъ или дорья тянулась, вилась... Онъ шелъ и не сводилъ взора съ моего панджари». Въ примѣчаніяхъ, которыхъ въ повѣсти на 73 страничкахъ ровно 61,—въ примѣчаніяхъ вы узнаете, что денязъ значитъ море, а панджари окошко. Не все ли это равно, что въ повѣсти, сцена которой во Франціи, героиню заставить говорить такъ: «Мое меръ .тянулось, вилось; я сидѣла у моего фенетра», а потомъ, въ примѣчаніяхъ, сказать, что меръ значитъ море, а fenêtre—окошко?...

Но главное, что хуже всего въ «Повѣстяхъ и Разказахъ» г. Каменскаго, это его страстная охота быть вторымъ Марлинскимъ. И поэтому, у него: «лучи солнца ломаются о доно дышащаго моря; солнце проникаетъ на (вм. въ) грудь моря и цѣлуется съ нимъ (съ моремъ); Гюго съ восточной нѣгой обтекаетъ взорами свою возлюбленную; луна бросаетъ снопы свѣта на усыпленную грудь земли; рѣка Кура походитъ на маститаго старца, съ висячею думою на челѣ, съ ропотомъ и грустью о прошломъ; но что всё убѣжденія самаго услужливаго, теплаго участія противъ лавы любви матери! Пѣни-тельный цвѣтникъ умирительныхъ утѣшеній и золотая храмина, могучій столпъ философскихъ совѣтовъ и убѣжденій равно рушатся, поглощаются ея огненнымъ потокомъ. (Какъ хорошо!) Кто надыхалъ на тебя цѣпнящій холодъ убій-ственнаго ко мнѣ равнодушія?»

Больше всего удивила насъ повѣсть «Письма Энскаго»—

та самая, которой мы не могли дочесть, удивила насъ явнымъ подражаніемъ и въ чувствахъ, и въ мысляхъ, и въ выраженіи—кому бы вы думали?—г. Платону Смирновскому. Впрочемъ, зачѣмъ вездѣ искать подражанія: гора съ горою сходится, а человѣкъ съ человѣкомъ и подавно, говоритъ русская пословица.

Послушаемъ, что говоритъ г. Платонъ Смирновскій.

Я на выборъ отобралъ повтовы и поэзію, отослалъ то и другое за предѣлы міра. Силою воли выбросилъ себя на безвредную дистанцію отъ всевозможныхъ прозъ, предварительно начинивъ ея прозаическую пустую внутренность всѣми убійственными газами, всѣми воспалительными, горючими веществами и потомъ сдавливалъ ее между двухъ полюсовъ, ежеминутно усиливая давленіе, и съ хохотомъ любовался, какъ волновался міръ, какъ волновалась проза; прыгалъ въ бѣшеной радости, кричалъ и бѣсновался отъ восторга и наслажденія, когда наконецъ лопался міръ и какъ пыль разлетались грязь и проза.

Теперь послушаемъ, что говоритъ г. Энскій, герой повѣсти г. Каменскаго «Письма».

Ахъ, какъ я понимаю теперь холодное презрѣніе, переполнявшее душу какого-нибудь Наполеона, взиравшаго съ его горней точки на это человѣчество... Я понимаю Нерона (Боже мой, какой ужасный человѣкъ этотъ г. Энскій!), наслаждавшагося зрѣлищемъ пожара Рима... Ахъ! какъ охотно вдругъ обрушилъ бы я все, разорвалъ эту стройную цѣпь творенія, ниспровергнулъ бы всѣ міры! Міръ человѣческій я вдавилъ бы, втискалъ въ волосяную трубку реомюрова снаряда, и потомъ преспокойно сталъ бы любоваться картиной всеобщаго хаоса... Это каррикатурное кроки, по крайней мѣрѣ, разсѣяло бы меня...

Не правда ли, что сходство въ мысляхъ и выраженіи поразительно? Но вѣдь и то сказать: *les beaux esprits se rencontrent*.

ТУРЛУРУ (,) *романъ Поль-де-Кока. Спб. 1838. Четыре части.*

СЪДИНА ВЪ ВОРОДУ, А ВЪСЪ ВЪ РЕВРО, ИЛИ КАКОВЪ ЖЕНИХЪ? *Романъ сочиненія Поль-де-Кока. Москва. 1838.*

ПОВѢСТИ ЕВГЕНІЯ СЮ. *Переводъ съ французскаго. Москва. 1838.*

Кто не бранить Поль-де-Кока, кто не гнушается и его романами, и его именемъ, какъ чѣмъ-то пошлымъ, простонароднымъ, площаднымъ?—Бѣдный Поль-де-Кокъ! Перевернемъ вопросъ: кто не читаетъ романовъ Поль-де-Кока и, мало того — кто не читаетъ ихъ съ удовольствіемъ, даже часто на зло самому себѣ? Чьи романы съ такою скоростію переводятся и съ такою скоростію расходятся, какъ не романы Поль-де-Кока? — Счастливый Поль-де-Кокъ! Инаго писателя всѣ хвалятъ — и никто не читаетъ; Поль-де Кока всѣ бранятъ — и всѣ читаютъ. Странное противорѣчіе! оно стоить того, чтобы подумать о немъ! Всякій успѣхъ, а тѣмъ больше такой продолжительный и такъ постоянно поддерживающійся, заслуживаетъ вниманія и изслѣдованія. Нѣтъ явленія безъ причины, и чѣмъ важнѣе явленіе, тѣмъ интереснѣе его причина. Приговоры толпы не такъ пусты и ничтожны, какъ это кажется съ перваго взгляда, и наоборотъ, сужденія знатоковъ не всегда такъ важны и значительны, какъ кажутся съ перваго взгляда. Развѣ голосъ знатоковъ не утвердилъ имени генія за Херасковымъ, а толпа не отвергла этого «Россійскаго Гомера» и его дюжинныхъ поэмъ, отказавшись ихъ читать? Кто же былъ правъ: толпа или знатоки? Потомъ, развѣ знатоки не отвергли «Руслана и Людмилу», встрѣтивъ дикими воплями этотъ первый опытъ великана-поэта; и развѣ не толпа приняла его съ радостными кликами? Конечно, знатоки знатокамъ рознь, но и толпа имѣетъ свое и еще очень важное значеніе: не слушайте ея сужденій—они часто дики и нелѣпы,

но внимательно наблюдайте за ея вкусами и склонностями — они важны и достойны глубокаго изученія.

У насъ переведены почти всѣ, если не всѣ рѣшительно, романы Вальтеръ-Скотта: знакъ, что они нашли у насъ себѣ читателей, а наши переводчики и книгопродавцы нашли выгоду переводить и печатать ихъ. Это важное обстоятельство, которое много говоритъ въ пользу романиста и публики. Французскіе романисты неистовой школы пользуются у насъ громадною славою, но много ли переведено на русскій языкъ ихъ романовъ? — Почти ничего. «Сенъ-Марсъ», «Стелло» — но ихъ авторъ не изъ неистовыхъ, а только изъ чопорныхъ? Сколько еще не переведено романовъ одного Сю, да и переведенные-то не имѣли особеннаго успѣха! Повѣсти переводились неумоимо, но для журналовъ, которые ихъ и превозносили. Теперь спросите, сколько переведено романовъ Поль-де-Кока? — Всѣ И какой они имѣли успѣхъ? — самый лучший, такъ что Поль-де-Коку у насъ посчастливилось наравнѣ съ Вальтеръ-Скоттомъ. Смѣшно было бы сравнивать гениальнаго шотландскаго художника съ забавнымъ парижскимъ сказочникомъ; но фактъ остается фактомъ, и на него надо взглянуть поближе, оставляя въ сторонѣ всѣ заранѣе составленныя теоріи, которыя такъ часто походятъ на заранѣе принятые предубѣжденія.

Поль-де-Кокъ и во Франціи, и вездѣ, имѣетъ большой успѣхъ, которымъ, безъ сомнѣнія, обязанъ какому-нибудь дѣйствительному достоинству, какой-нибудь дѣйствительной силѣ. Наши журналы о немъ ничего не говорятъ, а если говорятъ, то съ презрѣніемъ и отвращеніемъ: французскіе журналы тоже или совсѣмъ не говорятъ о немъ, или говорятъ шути и издѣваясь. Можетъ-быть, тѣ и другіе правы; но знаете ли что? — для меня (собственно для меня) Поль-де-Кокъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ корифеевъ современной французской литературы. Право! Я не равняю его съ Беранже, потому что Беранже поэтъ, и поэтъ великій, а Поль-де-Кокъ не больше, какъ веселый раскшникъ небылицъ, которыя очень походятъ

на были. Далѣе: онъ для меня выше всѣхъ представителей и идеальной, и неистой школы. Право! Видите ли, въ чемъ дѣло. Идеальные и неистовые похожи на знаменитаго ламанчскаго витязя: онъ вѣчно билъ невпопадъ, принимая мельницы за великановъ, а бараньи стада — за арміи; а они, думая изображать жизнь и людей, словомъ, дѣйствительность, изображаютъ какой-то чудовищный призракъ, созданный ихъ болѣзненнымъ и разстроеннымъ воображеніемъ; думая осуждать и чернить прекрасный Божій міръ, чернятъ самихъ себя, и, колотя по жизни, получаютъ шишки на свой собственный лобъ. Не таковъ добрый и скромный Поль-де-Кокъ: онъ не заносится слишкомъ далеко. Его сфера очень опредѣленна и ограничена; за то онъ полный хозяинъ въ ней и радъ отъ всей души угощать васъ, чѣмъ Богъ послалъ. Его міръ — это міръ гризетокъ, солдатъ, поселянъ, средняго городского класса; его сцена — это бульваръ, публичный садъ, трактиръ, кофейная средней руки, иногда кабакъ, комната швей, бѣдная квартира честнаго ремесленника. Онъ рѣдко заглядываетъ въ салоны, а если иногда и заглядываетъ, то не для чего другаго, какъ для показанія къ нимъ полнаго своего презрѣнія. Онъ входитъ въ нихъ, не спросясь и не снимая шляпы, какъ его честный, добрый и грубый Гаспаръ, и ужь если онъ войдетъ въ салонъ, то непремѣнно наладетъ на паркетъ пыльных слѣдовъ и запятнаетъ блестящую мебель. Но это бы еще ничего, а хуже всего то, что въ этихъ садонахъ, въ которые онъ очень рѣдко заглядываетъ, онъ непремѣнно найдетъ то же самое, что и въ бѣдныхъ квартирахъ шестаго и седьмаго этажа, только подъ другою формою, разумѣется, блестящею, и — вѣдь такой болтунъ! — тотчасъ же все это и расскажетъ во всеуслышаніе.

Поль-де-Кокъ — это французскій Теньеръ литературы. Онъ не поэтъ, не художникъ, но талантливый рассказчикъ, даровитый сказочникъ. Не обладая даромъ творчества, онъ обладаетъ способностію вымысла и изобрѣтенія, умѣетъ завязать

и развязать исторію, и хотя написалъ ихъ бездну, но ни въ одной не повторилъ себя. Его лица—не типическіе образы, но они оригинальны и самобытны. Каждое изъ нихъ имѣетъ свою фязіономію и говоритъ своимъ языкомъ. Большому частію это все народъ простой, безъ претензій, и у котораго, что на языкѣ, то и на умѣ. Но между этими гризетками, торговками, солдатами, мужиками и всѣмъ мелкимъ парижскимъ народомъ у него мелькаютъ удачно схваченные съ природы портреты петиметровъ, банкировъ, богатыхъ купцовъ и особенно шулеровъ, этихъ *chevaliers d'industrie*, которые нынче въ скверномъ трактирѣ покупаютъ за нѣсколько су свой обѣдъ, а завтра обѣдаютъ въ лучшей рестораціи столицы, на счетъ какого-нибудь молодого купчика или барича, вырвавшагося на волю и мотающаго батюшкино имѣніе; нынче не знаютъ, гдѣ ночевать, а завтра блестать своею любезностію, остроуміемъ и знаніемъ всего понемножку, въ какомъ-нибудь порядочномъ обществѣ. Жизнь всякаго народа складывается изъ многихъ слоевъ и кажетъ себя со многихъ сторонъ. Поль-де-Кокъ то же для средняго класса, что Бальзакъ для высшаго, съ тою только разницею, что картины перваго естественнѣе, вѣрнѣе подлиннику. Онъ не гоняется за сильными страстями, не выдумываетъ героевъ, а списываетъ съ того, что видитъ вездѣ. Его романы проникнуты какимъ-то чувствомъ добродушія, за которое нельзя не любить автора. Онъ на сторонѣ добра и добрыхъ, и потому развязка каждаго его романа есть раздача каждому по дѣламъ его. Мѣстами, онъ обнаруживаетъ истинное, неподдѣльное чувство; но веселость и добродушіе составляютъ главный характеръ его романовъ. Кто всегда веселъ, тотъ счастливъ, а кто счастливъ — тотъ добрый человѣкъ. Конечно, доброта не ручается за глубину души, но Поль-де-Кокъ не выдаетъ себя ни за что особенное; и коли вы хотите его полюбить, то полюбите его такимъ, каковъ онъ есть. Чтобы кончить его характеристику, надо сказать, что онъ ученикъ, хотя и совершенно самостоятельный, Пиго-Лебрена;

но у него нѣтъ этой ненависти противъ религіи, нѣтъ этой страсти къ кощунству, которыя были болѣзнію людей XVIII вѣка. За то у него есть другой недостатокъ, занятый имъ у своего образца и доведенный имъ до послѣдней крайности: Поль-де-Кокъ большой циникъ, и откровенность его въ нѣкоторыхъ предметахъ доходить до отвратительной грубости. Богъ не далъ ему ни желанія, ни таланта накидывать на нѣкоторыя стороны природы легкаго покрывала стыдливости и приличія. Онъ съ особеннымъ удовольствіемъ останавливается на грязныхъ картинахъ и съ особенною отчетливостію рисуетъ и отдѣливаетъ ихъ. Конечно, все, что ни рисуетъ онъ, все это съ природы, но кистю надо крѣпко держаться приличія, потому что у него нѣтъ, какъ у поэта, этой творческой силы, которая преображаетъ дѣйствительность, не измѣняя и не искажая ея. А Поль-де-Кокъ, въ этомъ случаѣ, плебей, и часто ничѣмъ не лучше героевъ своихъ романовъ. Есть искусство соблюсти вѣрность изображаемой дѣйствительности и, въ то же время, не оскорбить эстетическаго чувства; можно обо многомъ давать знать, ничего не показывая: Поль-де-Кокъ неизвѣстно это искусство, и онъ не показываетъ большой охоты пріобрѣсти его. Что дѣлать? — У всякаго народа есть свои хорошія и свои дурныя стороны: Поль-де-Кокъ — Французъ, а Французы никогда не славились опрятностію, въ противоположность своимъ сосѣдямъ — Англичанамъ, Голландцамъ и Нѣмцамъ. При томъ же французская и преимущественно парижская жизнь представляетъ особенное богатство грязи и грязи, физической и нравственной, такъ что для вѣрности картины поневолѣ надо рисовать и эту грязь. Мы уже сказали, что и тутъ есть своя манера, и что эта манера неизвѣстна Поль-де-Кокъ. Поэтому, горе безпечному отцу, который не вырветъ изъ рукъ своего сына-мальчика романа Поль-де-Кока; горе неосторожной матери, которая дастъ его въ руки дочери! Писатели неистовой школы всѣ отвратительныя картины свои набрасываютъ полутѣнью, такъ что онѣ непонятны для неис-

порченной юности; Поль-де-Кока рисуетъ свои съ такою отчетливостію и угощаетъ ими съ такимъ добродушіемъ, что черезъ это романы его дѣлаются ядомъ для неопытной юности. Это зло еще можетъ быть исправимо, если переводчики, уважая нравственное чувство, или выбрасываютъ, или передѣлываютъ подобныя картины. Разумѣется, и тогда романы Поль-де-Кока не могли бы составить пріятнаго чтенія для дѣвушки, и даже для молодаго человѣка, но тѣ, кому все можно читать, тѣ могли бы ихъ читать, не боясь ни замарать своихъ рукъ, ни оскорбить своего эстетическаго чувства. Но многіе ли думаютъ о томъ, что они дѣлаютъ? Большая часть переводчиковъ именно этими-то красотами и думаетъ выиграть...

Мы не станемъ разбирать романовъ Поль-де-Кока, заглавія которыхъ выставлены нами въ началѣ этой статьи, потому что всѣ сочиненія Поль-де-Кока можно только читать, а не разбирать. Для насъ довольно сказать, что въ нихъ всѣ тѣ же достоинства и тѣ же недостатки, какими отличаются и всѣ его романы. «Турлуру» есть образецъ бессмысленныхъ переводовъ: видно, что переводчикъ не знаетъ ни по-французски, ни по-русски, и не вѣрить, чтобы знаніе грамматики для чего-нибудь было нужно. Московскій переводъ тоже не изъ бойкихъ переводовъ; но въ сравненіи съ петербургскимъ онъ просто превосходенъ.

Что касается до «Повѣстей Сю», это собственно не «Повѣсти Евгенія Сю», а «Три разсказа Евгенія Сю»; но видно, переводчикъ нашелъ свою выгоду дать своей тоненькой книжкѣ въ 116 страницъ такое толстое заглавіе, и мы не почитаемъ себя въ правѣ входить въ его экономическіе расчеты. Три разсказа эти обнаруживаютъ въ Евгеніи Сю талантъ разскащика, и ихъ, а особливо послѣдній, можно бѣ было съ удовольствіемъ читать, еслибы изъ-за нихъ не высовывалось лицо разскащика со страшными гримасами à la lord Вугон. Переводъ не совсѣмъ дуренъ.

СОВРЕМЕННОСТЬ. *Томъ десятый. Спб. 1838.*

По смерти своего основателя, «Современникъ» измѣнился во внѣшнемъ планѣ. Къ числу перемѣнъ относится помѣщеніе стихотвореній отдѣльно отъ прозы, подъ особою нумераціею страницъ. Не думая нисколько вмѣшиваться въ домашнія распоряженія чужаго и притомъ высокоуважаемаго нами журнала, мы все-таки скажемъ, что такое распоряженіе, при нынѣшнемъ состояніи стихотворства, не можетъ быть выгодно ни для какого журнала. А между тѣмъ оно сдѣлано тремя журналами. Но какія жь были слѣдствія этого распоряженія? Обязавшись, такъ-сказать, представлять публикѣ въ каждой книжкѣ цѣлое отдѣленіе стихотвореній, журналистъ наполняетъ это отдѣленіе чѣмъ случится, и даже не думаетъ сдѣлать оговорки: «просимъ не взыскать—чѣмъ богаты, тѣмъ и рады». Строчки съ приемами смѣло выдаются за поэзію; условіе подписки выполнено, потому что счетъ листовъ вѣренъ,—а прочее сойдетъ съ рукъ.

Во 2 № «Современника», кромѣ двухъ произведенія Пушкина, можно замѣтить только одно, подписанное знакомыми публикѣ буквами—Г—ня, Е. Р—на; обо всѣхъ остальныхъ было бы слишкомъ не великодушно со стороны рецензента даже и упоминать.

«Сцена изъ Бориса Годунова» написана разностопными стихами съ приемами, и этимъ рѣзко отдѣляется ото всего «Бориса Годунова», писаннаго пятистопнымъ ямбомъ безъ приемъ. Въ ней виденъ Пушкинъ, какъ и во всемъ, что ни вышло изъ-подъ его творческаго пера; но потому ли, что мы въ нее еще не вникнули, или потому, что это въ самомъ дѣлѣ такъ только мы готовы думать, что великій художникъ не безъ основанія исключилъ ее изъ «Бориса Годунова». Но во всякомъ случаѣ, помѣщеніемъ ея издатель выполнилъ свой долгъ передъ публикою, и благодарность ему за это! «Въ Сынѣ Отечества» говорятъ о существованіи другой сцены,

выключенной Пушкинымъ изъ его трагедіи,—сцены, гдѣ Бориса упрашиваютъ принять вѣнецъ: «Современникъ» долженъ рѣшить намъ, затеряна она, или сохранена. Другое стихотвореніе Пушкина, помѣщенное въ этой книжкѣ, есть лирическое—«Къ Женщинѣ-Поэту».

Есть что-то дѣлющее чувство, какая-то дивная, таинственная гармонія въ этомъ стихотвореніи,—гармонія, состоящая не въ подборѣ звуковъ, не въ гладкости стиха, но во внутренней, сокровенной жизни, которою оно дышитъ. И какая простота!...

Хорошихъ статей въ прозѣ и теперь въ «Современникѣ» больше, чѣмъ посредственныхъ; о послѣднихъ мы умолчимъ, а о первыхъ поговоримъ.

Самыя интересныя статьи во второй книжкѣ «Современника», это—«Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ» и «Хроника Русскаго въ Парижѣ». Первая содержитъ въ себѣ нѣсколько драгоценныхъ фактовъ о жизни и характерѣ великаго нашего поэта и отличается многими свѣтлыми взглядами на его произведенія. Статью эту можно назвать взглядомъ на жизнь нашего поэта. «Хроника Русскаго въ Парижѣ» по прежнему отличается калейдоскопическою занимательностію. Остановимся на ней, чтобы позабавиться вертлявою и суетливою дѣятельностію Французовъ.

Ужъ старая новость, что Кине написалъ плохую, напыщенную поэму, въ которой фальшивымъ голосомъ воспѣлъ Наполеона: поэма давно забыта вездѣ, а во Франціи, какъ водится, прежде, нежели гдѣ-нибудь. И вотъ Кине написалъ трилогію или драму «Прометей». То-то долженъ быть славный пузырь, если только не лопнулъ до печати! Онъ читалъ ее на вечерѣ, гдѣ въ числѣ слушателей были Шатобріанъ и Амперъ. Первый находитъ излишнюю роскошь въ описательныхъ формахъ и уподобленіяхъ; второй думаетъ, что поэма была бы вдвое лучше, еслибъ была вдвое меньше: истинно французская критика, лучше которой для французскаго поэтическаго произведенія ничего не можетъ быть.

Жерюзе открылъ курсъ о французской словесности въ началѣ XVII столѣтія. Онъ начнетъ Ронсаромъ и продолжитъ до Корнеля. Кажется, что бы много говорить о Ронсарахъ? но Французъ за словомъ въ карманъ не полѣзетъ, если дѣло идетъ о болтовнѣ. Впрочемъ, ученый профессоръ охотно прочелъ бы и больше, да больше онъ ничего не знаетъ, какъ самъ откровенно признается въ этомъ, по свойственной всѣмъ великимъ людямъ скромности. «Здѣшняя академическая молодежь, говоритъ авторъ «Хроники», привыкла со всѣхъ кафедръ философскаго факультета слышать одни отрывки, однѣ части науки; такъ, напр., Ленорманъ, вмѣсто Гизо, читаетъ только о Финикіяхъ; Амперъ ограничилъ себя нѣсколькими столѣтіями средней исторіи; Жерюзе полувѣкомъ французской литературы; самъ Форіэль избралъ для этого курса одну Испанію». Это во Франціи называется—преподаваніемъ наукъ! И то сказать: у всякаго народа свой взглядъ на вещи; Китайцы еще смѣшнѣе все понимаютъ.

Берье далъ свое имя одной толстой книгѣ: въ книгѣ нѣтъ ни строчки его, а она разошлась. Именами теперь во Франціи промышляютъ всѣ знаменитости—Карлъ Нодье особенно. «Недавно въ академіи зашелъ между ними и Жуи споръ о разныхъ запискахъ. Жуи началъ хулить записки д'Абрантеса, а Нодье, защищая ихъ слегка, сказалъ: первый томъ, напримѣръ, очень хорошо написанъ.—Вѣрю, отвѣчалъ Жуи, потому что вы его писали.—Нодье замолчалъ».

Но вотъ верхъ смѣшнаго: Маркъ-Жирарденъ открылъ въ Сорбоннѣ литературный курсъ, содержаніемъ котораго будетъ «Эмиль» Руссо. Но не здѣсь конецъ смѣшнаго: вранье вступительной лекціи заключено было слѣдующими словами: «Я вѣрю въ совершенствованіе, которое доведетъ до совершенства». На другой день въ «Journal des Debats» пріятельская рука расхвалила вранье Жирардена въ силу слѣдующей мысли: «Не будемъ требовать отъ вѣка больше, нежели сколько онъ дать можетъ». Милостивые государи, да кто васъ сдѣ-

лажь представителями вѣка? — Еслибы все это касалось не до Парижа, то мы, право, готовы были бы подумать, что остроумный авторъ «Хроники» мистифируетъ насъ.

Говоря о громкой фразѣ, устремленной Кузеномъ на перовъ, авторъ говоритъ такъ о немъ самомъ: «Съ 1830 г. переводчикъ Платона сдѣлался искателемъ фортуны, т. е. власти и почестей, и пересталъ поучать насъ съ Сорбонской кафедры, ораторствуя въ камерѣ перовъ. Эти упрёки въ бездѣйствіи, въ политическомъ ничтожествѣ не показываютъ чистаго желанія блага отечеству, но заставляютъ подозрѣвать какую-то скрытную досаду за собственное политическое бездѣйствіе, на которое осуждены теперь перы Франціи». Мы, съ своей стороны, не вмѣшиваясь въ политику, которая насъ очень мало интересуетъ, и въ которой мы очень мало знаемъ, скажемъ отъ себя, что наука требуетъ всего человѣка, и что философъ и политикъ вмѣстѣ больше, нежели кто-нибудь, напоминаетъ Матрёну Крылова —

И сдѣлалась моя Матрена
Ни павъ, ни ворона.

Прекрасна параллельная характеристика, которую авторъ «Хроники» дѣлаетъ Бруму и Дюпену:

Конечно, и въ немъ много неприличнаго важности сана и самой знаменитости его таланта. Брумъ иногда некстати остритъ, шутки его, часто колкія и мѣткія, не всегда во вкусъ хорошаго общества: но въ душѣ его таится любовь къ ближнему, любовь къ массамъ — онъ всегда за нихъ. Въ гражданскомъ уложеніи французскихъ колоній допускается рабство негровъ во всѣхъ его оттѣнкахъ. Отпущенный на волю изъ негровъ сынъ можетъ имѣть отца рабомъ своимъ, дочь — рабынею мать свою. Въ Бурбонѣ недавно (1836) совершенъ актъ, въ коемъ сказано: „Perpétue Créole agée de 50 ans, esclave et mère de la demoiselle Zélia Forestier de St. Denis“. Такихъ актовъ множество совершается во французскихъ колоніяхъ. Возставалъ-ли противъ нихъ демократъ Дюпенъ, оракулъ здѣшней юстиціи? Нѣтъ; ему не до того; онъ нападаетъ на австрійскихъ за-

конодателей, на бѣдныхъ проповѣдниковъ Евангелія. Но въ той же статьѣ, въ которой публицистъ заклеилъ поношеніемъ французское колоніальное законодательство, сказано по другому подобному случаю: „Deja Lord Brougham a dénoncé cette nouvelle infamie au parlement d'Angleterre“. Порывы, изліянія души его переходятъ въ законъ, обращаются въ факты. благотѣлствуютъ милліонамъ; вздохи сердца, скорбящаго о страждущемъ человечествѣ, перелетаютъ океанъ, падая животворящею росой на братьевъ нашихъ, черныхъ и бѣлыхъ.

Не правда ли, что между англичаниномъ и Французомъ большая разница? Еслибы дѣло шло о разности силы генія, или какъ о частномъ явленіи, то нечего бы и говорить; но здѣсь разница происходитъ отъ различія субстанцій двухъ народовъ. Англичанъ обыкновенно упрекаютъ въ холодности чувства, эгоизмѣ; Французовъ понимаютъ, какъ энтузіастовъ, готовыхъ тотчасъ принять участіе въ правомъ дѣлѣ и пожертвовать за него собою. Полно такъ ли это? Англичанинъ не любитъ фразъ, но любитъ дѣло и принимается за него только тогда, когда видитъ возможность успѣха; Французъ хватается за все, на шумитъ, испортитъ дѣло—и въ сторону. Его самоотверженіе выходитъ изъ самолюбія, изъ страсти блистать, удивлять, рисоваться. Въ одномъ московскомъ листкѣ когда-то было замѣчено, что покоренные Французами народы ненавидятъ своихъ побѣдителей, потому что послѣдніе, стремясь распространить у нихъ цивилизацію и просвѣщеніе, не уважаютъ ихъ предразсудковъ; но что Англичане тѣмъ самымъ ладятъ съ Индійцами, что хладнокровно смотрятъ, какъ жены сожигаются на кострахъ своихъ мужей. Такъ думать, значить, не знать дѣла. Мы не говоримъ уже о томъ, что ни одинъ народъ въ мірѣ не прославился такою филантропіею, какъ Англичане и, родные имъ, Американскіе Штаты: не говоримъ о ихъ обществѣхъ трезвости, о дѣятельности ихъ миссіонеровъ, распространяющихъ по лицу земли благовѣстіе спасенія: въ этомъ отношеніи, защитникамъ Французовъ ничего не остается, кромѣ скромнаго молчанія. Но мы прямо скажемъ, что обвинять Ан-

гличанъ въ холодности въ дѣлѣ истребленія религіозныхъ предразсудковъ туземцевъ Индіи—значить грубо ошибаться. Нѣтъ, Англичане дѣятельно подкапываются подъ гигантское зданіе этихъ вѣковыхъ предразсудковъ, но они знаютъ, что трудно бороться съ тѣмъ, что освящено вѣками и религіею, что за это надо приниматься исподволь, осторожно,—и они идутъ къ своей благородной цѣли медленными, но вѣрными шагами. Не таковы Французы: гдѣ ни бывали ихъ войска, вездѣ возбуждали ненависть страны своимъ неуваженіемъ къ обычаямъ и духу народному, наглымъ насиліемъ тому и другому. Нашъ простой народъ это очень хорошо помнитъ съ 1812 года, когда святыня храмовъ московскихъ была такъ святотатственно и такъ безумно оскорблена. Англичане приносятъ въ покоренныя ими страны идеи общественнаго порядка, законности, промышленности, просвѣщенія, а Французы навязываютъ имъ свои мечты о небывалой свободѣ, которая состоитъ въ отрицаніи основаній и подпоръ общественнаго блага, въ легкомысленномъ ниспроверженіи стараго порядка, вышедшаго изъ вѣковаго развитія, и замѣненія его на старую руку сострипанными и эферными нововведеніями. Чтобы дать народу или племени новый порядокъ, надо сперва спросить его, нуженъ ли ему этотъ порядокъ; чтобы избавить его отъ бѣдствій существующаго у него порядка, надо сперва узнать, чувствуетъ ли онъ эти бѣдствія. Французы объ этомъ не заботятся, и потому ненавидимы вездѣ, куда ни являлись побѣдителями, и никогда не удерживали своихъ завоеваній.

Перейдемъ къ статьѣ г. Губера «Взглядъ на нынѣшнюю литературу Германіи». Это статья интересная по содержанію, прекрасная по изложенію; но нѣкоторыя мысли намъ показались невѣрными.

Г. Губеръ въ Фаустѣ и Вагнерѣ видитъ два противоположные типа: человѣка, стремящагося къ живому наблюденію природы, и книжнаго труженика, сжатаго въ тѣсныхъ предѣлахъ древней теоріи. Другими словами, по мнѣнію г. Губера,

Фаустъ—романтикъ, Вагнеръ — классикъ. Дерзко было бы, безъ глубокаго и основательнаго изученія въ журнальной заимѣтѣ и двумя словами, опредѣлить идею этихъ двухъ типовъ мірообъемлющаго созданія Гёте: но ничуть не будетъ смѣло не согласиться съ г. Губеромъ и замѣтить, что гораздо ближе будетъ къ истинѣ видѣть въ Фаустѣ типъ человѣка, съ глубокою и могучею субстанціею и міровымъ созерцаніемъ въ душѣ, а въ Вагнерѣ конечнаго, ограниченнаго читателя мертвой буквы. Со взглядомъ г. Губера на это великое твореніе Гёте, трудно было бы передать его.

Кстати: въ «Сынѣ Отечества» помѣщенъ большой отрывокъ изъ «Фауста», перевода г. Струговщикова. Этотъ отрывокъ возбуждаетъ живѣйшее желаніе прочесть переводъ вполнѣ, если онъ конченъ. Если же это только начало или опытъ, то желательно, чтобы г. Струговщиковъ не оставилъ своего труда безъ окончанія.

Прекрасно и вѣрно характеризуетъ г. Губеръ крикуну Менцеля и намекаетъ на причину его успѣха.

Увлекаясь жаждою политическихъ переворотовъ, онъ ненавидѣлъ Гёте, не какъ поэта, а какъ величаваго представителя монархическихъ началъ. Юное поколѣніе Германіи, воспитанное среди общихъ тревогъ западной Европы, безъ цѣли, безъ сознанія, требовало новаго поприща. Негодуя на тишину нѣмецкаго быта, молодая генерация искала себѣ опоры и предводителя. И въ это мгновеніе доходитъ до нея хула озлобленнаго Менцеля. Неопытные, восторженные умы собираются подъ знамена смѣлаго проповѣдника національнаго перерожденія. Гётева слава мѣшаетъ ихъ собственной, и они съ гнѣвнымъ усиленіемъ, вѣсть съ своимъ учителемъ, подрываютъ безсмертный памятникъ великаго имени. Такимъ образомъ Менцель противъ воли сдѣлался основателемъ новой школы. Время и опытъ доказали ему ничтожность его прежнихъ усилій, и теперь онъ съ ужасомъ отступается отъ этой юной Германіи, которая, съ своей стороны, также не очень жалуетъ основателя новой школы. Цѣль этой школы — измѣненіе общества въ самыхъ основныхъ его стихіяхъ: всѣ сочиненія ея устремлены къ ниспроверженію стараго, освященнаго вѣками порядка.

Далѣе г. Губеръ отдаетъ полную справедливость дарованію

ямъ, такъ несчастно направленнымъ, этой школы. «Вотъ, горитъ онъ, вотъ Бёрне, этотъ мученикъ своей несбыточной идеи! Для нея онъ пожертвовалъ спокойствіемъ жизни, для нея ополчился жаломъ горькихъ насмѣшекъ. Любя Германію, онъ болѣе всѣхъ страдалъ отъ раны, которую самъ въ ней углублялъ. Смерть недавно разрѣшила ему тѣ неразгаданныя тайны, которыя были проклятіемъ всей его жизни!»

Да, это юная Германія — великій и поучительный урокъ для юношества всѣхъ націй! Она лучше всего показываетъ, какъ бесплодны и ничтожны покушенія индивидуальностей на участіе въ ходѣ міродержавныхъ судебъ. Конечно, общество живетъ, развивается, слѣдовательно, измѣняется, но черезъ кого?—черезъ геніевъ, избранниковъ судьбы, которые производятъ благодѣтельные перевороты, часто сами того не зная, единственно удовлетворяя безсознательному стремленію своего духа. Кто выходитъ на сцену и говорить: «Я геній, я хочу измѣнить къ лучшему общественныя начала»,—тотъ самозванецъ, который тотчасъ же и дѣлается жертвою своего самозванства. Кто же, не понимая жестокихъ уроковъ опыта и сознавши свое безсиліе перестроить дѣйствительность, живущую изъ самой себя, по непреложнымъ и вѣчнымъ законамъ разумной необходимости, будетъ тѣшить себя ребяческими выходами противъ нея, тотъ не перейдетъ въ потомство, но только заставитъ сказать о себѣ современниковъ:—

Ай моська!—знать сильна,
Коль лаеъ на слона!

Но мы несогласны съ мнѣніемъ г. Губера о Гейне: онъ слишкомъ несправедливъ къ нему. Въ Гейне надо различать двухъ человѣкъ. Одинъ—прозаическій писатель съ политическимъ направленіемъ. Зараженный тлетворнымъ духомъ новѣйшей литературной школы Франціи, онъ занялъ у нея легкомысліе, поверхностность въ сужденіи, безстыдство, которое для остраго слова искажаетъ святую истину. Живя въ Па-

рижѣ, онъ изливаетъ свою жолчь на то, что зимою бываетъ холодно, а лѣтомъ жарко, что Китай въ Азіи, тогда какъ ему надобно быть въ Европѣ, и на подобныя несообразности сего несовершеннаго міра, который не хочетъ перевернуться вверхъ дномъ, повѣривши мудрости г-на Гейне. Потомъ въ Гейне надо видѣть поэта съ огромнымъ дарованіемъ, уже не болтуна-Француза, но истиннаго Нѣмца-художника, котораго лирическія стихотворенія отличаются непередаваемою простотою содержанія и прелестію художественной формы.

Даже г. Губеръ отказывается съ похвалою о новыхъ поэтахъ Германіи — Уландѣ, Грюнѣ (графъ Ауэрспергъ), Ленау (фонъ-Нимпшъ), Рюкертѣ, Шамиссо, Пфицерѣ, Цедлицѣ, (авторѣ «Ночнаго Смотра», переведеннаго Жуковскимъ),

Несмотря на такіа дарованія, нынѣшняя нѣмецкая литература представляетъ печальную картину; первая причина такого бѣдственнаго положенія заключается въ совершенномъ отсутствіи централизаціи талантовъ; вторая въ жалкой подражательности нынѣшней французской словесности.

Съ послѣднею причиною нельзя не согласиться; но первая касательно отсутствія центральности талантовъ, едва ли справедлива. Этой центральности и прежде не было, а были Гёте, Шиллеръ, Гофманъ, Жанъ-Поль, Гайднъ, Моцартъ, Бетховенъ и—сколько еще? Мы включаемъ и композиторовъ, потому что не однимъ же поэтамъ нужна центральность, если только она нужна имъ. Геній вездѣ скажется. Во Франціи есть центральность талантовъ—въ Парижѣ; а много ли геніевъ произвела она? Важны не внѣшнія, а внутреннія причины, заключающіяся въ духѣ націи.

Удивляемся, что, говоря объ ученой нѣмецкой литературѣ настоящаго времени, г. Губеръ ни однимъ словомъ не упомянулъ о новой ученой школѣ, которая образована Гегелемъ и теперь дѣятельно популяризируетъ философію своего великаго учителя, прилагая ее ко всѣмъ отраслямъ знанія. Мар-

гейнеке, Гото, Гёшеле, Шульце, Штрауссъ, Геннигъ, Марбахъ, Рётшеръ, Бандеръ, Байеръ, Розенкранцъ, Гансъ, Бауръ, Михелетъ (Michelet), — котораго у насъ смѣшиваютъ съ французскимъ болтуномъ Michlet, — Флате, Магеръ, Шаллеръ, Фёрстеръ, Бауманъ, Эрдманъ и другіе—всѣ эти люди стояли бы упоминовенія. Во всякомъ случаѣ, мы съ удовольствіемъ прочли статью г. Губера.

Послѣ нея намъ остается только упомянуть о переводной (съ англійскаго) статьѣ «Жанъ-Поль», которая читается не безъ интереса, и тѣмъ заключить нашъ разборъ второй книжки «Современника» за нынѣшній годъ.

СКАЗКИ РУССКІЯ, *разсказываемыя Иваномъ Ванею.*
Москва. 1838.

РУССКІЯ НАРОДНЫЯ СКАЗКИ, *собранныя Богданомъ*
Бронницкимъ. Спб. 1838.

Поэзія народа есть зеркало, въ которомъ отражается его жизнь со всѣми ея характеристическими оттѣнками и родовыми примѣтами. Такъ какъ поэзія есть не что иное, какъ мышленіе въ образахъ, то поэзія народа есть еще и его сознаніе. На какой бы степени образованія ни стоялъ человѣкъ, онъ уже чувствуетъ или безсознательно мыслить; на какой бы степени цивилизаціи ни стоялъ народъ, онъ уже имѣетъ свою поэзію. Пѣсня составляетъ его лирическую поэзію, сказку—эпическую. Драматическая поэзія можетъ найдаться въ томъ или другомъ, какъ элементъ, но обыкновенно бываетъ плодомъ дальнѣйшаго развитія искусства у народа. У каждаго народа поэзія носить отпечатокъ его духа. Пѣсня Француза часто неблагопрістойна и всегда весела, пѣсня Нѣмца патріархальна или мрачна, пѣсня Русскаго заунывна, тосклива и могуча. Содержаніе пѣсни есть субъективное, личное чувство, ошущеніе, навѣянное минутою или

обстоятельствомъ; но въ сказкѣ преимущественно выражается общее народа, его пониманіе жизни. Поэтому, сказки всѣхъ младенчествующихъ народовъ отличаются однимъ общимъ характеромъ — чудеснымъ въ содержаніи. Рыцарство, богатырство и олицетвореніе невидимыхъ, таинственныхъ, болѣею частью, враждебныхъ силъ составляетъ неизчерпаемый предметъ народныхъ сказокъ. Физическая мощь есть первый моментъ сознанія жизни и ея очарованія; и вотъ является безконечный рядъ сильныхъ-могучихъ богатырей и витязей, которые выпиваютъ по ведру вина, закусываютъ плѣшью бараномъ, а иногда и быкомъ. Чего человѣкъ не знаетъ, не сознаетъ, все то представляется ему страшнымъ таинствомъ: вотъ и являются колдуны, волшебники, злые духи, змѣи-горыничы, зиланты, русалки и вѣдьмы.

Смотря съ этой точки зрѣнія на народныя сказки, видишь въ нихъ двойной интересъ — интересъ феноменологіи духа человѣческаго и народнаго. Не говоримъ уже объ интересѣ развивающагося языка. Поэтому, какой благодарности заслуживаютъ тѣ скромные, безкорыстные труженики, которые съ неослабнымъ постоянствомъ, съ величайшими трудами и жертвованіями, собираютъ драгоценности народной поэзіи и спасаютъ ихъ отъ гибели забвенія. Но нѣкоторые думаютъ оказать ту же услугу, пиша сами въ народномъ духѣ. Нѣтъ спору, что всякій истинный талантъ народенъ, не стараясь и даже не желая быть народнымъ, но только будучи самимъ собою, потому что народъ не есть условное понятіе, но конкретная дѣйствительность, и ни одинъ индивидъ не можетъ, еслибы и хотѣлъ, оторваться отъ общей родной субстанции. Но нѣкоторые поэты хотятъ быть народными особеннымъ образомъ, творя въ духѣ народной поэзіи. Прошедшаго не воротить: это законъ общій и непреложный. Нельзя сдѣлаться Баяномъ временъ Владиміра Краснаго-солнышка. Можно воспроизвести древность, но уже это будетъ древность, воспроизведенная поэтомъ XIX вѣка, а совсѣмъ не

какимъ-нибудь безвѣстнымъ пѣвцомъ «Слова о полку Игоревомъ». Но эта древняя поэзія болѣе или менѣе сохранилась въ простомъ народѣ, какъ менѣе подвергшемся измѣненію,—по крайней мѣрѣ, такъ кажется. Въ самомъ дѣлѣ, за простонародною поэзіею исключительно осталось имя народной, потому что она не приняла въ себя чужихъ элементовъ, но осталась въ своей дѣвственной самобытности. Поэтому, какому-нибудь Кольцову, поэту-прасолу, не мудрено заставить крестьянина такъ выражать свою неудачу въ сватовствѣ за свою суженую, которой ему отецъ не хочетъ отдать мимо старшихъ дочерей—

Болитъ моя головушка,
Щемитъ мое ретивое,
Печаль моя всесвѣтная,
Пришла бѣда незваная—
Какъ съ плечъ свалить—не знаю самъ:
И сила есть—да воли нѣтъ,
Наружи кладъ—да взять нельзя:
Заклялъ его обычай нашъ.
Ходи, гляди, да мучайся,
Толкуй съ башкой порожнему.

Ему очень естественно заставить другаго крестьянина, послѣ измѣны его суженой,

Вночь, подъ бурю, коня сѣдлать,
Безъ дороги въ путь отправиться
Горе мыкать, жизнью тѣшиться,
Съ злою долей перевѣдаться.

Онъ жилъ въ мірѣ этихъ формъ жизни, сроднился съ ними прежде, нежели узналъ, что есть на свѣтѣ вещь, которая называется поэзіею. Теперь ему знакомы и другіе міры формъ жизни, но прежняя уже всегда существуетъ для него объективно. Напротивъ, всѣ поэты, не въ этой сферѣ жизни рожденные и воспитанные, только надѣваются на себя накладную бороду и кафтанъ, но не дѣлаются народными поэтами: изъ-за смураго зипуна виднѣются фалды фрака. У Пушкина

есть, такъ-называемыя, народныя стихотворенія, какъ, напр., «Буря небо иглою кроетъ»; и это точно народныя стихотворенія, потому что принадлежать русскому поэту, и поэту великому, но они не простонародныя, а только написанныя на голось простонародныхъ и пропѣтыя бариношъ, а не крестьяниномъ. Но это-то и составляетъ ихъ особенную прелесть. Пушкинъ обладалъ геніяльною объективною въ высшей степени, и потому ему легко было пѣть на всѣ голоса. Но и его геній изнемогъ, когда захотѣлъ, на зло законамъ возможности, субъективно создавать русскія народныя сказки, беря для этого готовые рисунки и только вышивая ихъ своими шелками. Лучшая его сказка — это «Сказка о Рыбакѣ и Рыбкѣ», но ея достоинство состоитъ въ объективности: фантазія народа, которая творить субъективно, не такъ бы рассказала эту сказку.

Творчество должно быть свободно: произвольныя усилія поддѣлываться подо что бы то ни было вредять ему.

Или собирайте русскія сказки и передавайте намъ ихъ такими, какими вы подслушали ихъ изъ устъ народа; или пишите свои сказки, гдѣ бы и вымыселъ и краски принадлежали вамъ самимъ, но гдѣ бы все было въ духѣ нашей народности или простонародности. Примѣромъ этого можетъ служить талантливый балагуръ, казакъ Луганскій. Но еще лучший примѣръ представляетъ Гоголь. Вспомните его «Утопленницу», его «Ночь предъ Рождествомъ» и его «Заколдованное Мѣсто», въ которыхъ народное фантастическое такъ чудно сливается въ художественномъ воспроизведеніи съ народнымъ дѣйствительнымъ, что оба эти элемента образуютъ собою конкретную поэтическую дѣйствительность, въ которой никакъ не узнаешь, что въ ней было и что сказка, но все по-неволѣ принимаешь за быль.

Сказки гг. Ваненко и Бронницына принадлежать къ неудачнымъ попыткамъ поддѣлаться подъ народную фантазію. Основы ихъ сказокъ, по большей части, взяты изъ подлин-

ныхъ русскихъ сказокъ, но такъ смѣшаны съ ихъ собственными вымыслами и украшеніями, что изъ нихъ дѣлается что-то странное. Этимъ мы отнюдь не унижаемъ труда гг. Ваненко и Бронницына; напротивъ, въ ихъ неудачныхъ попыткахъ виденъ талантъ, который только пошелъ по ложной дорогѣ, и ихъ сказки, несмотря на то, читаются гораздо съ большимъ удовольствіемъ, нежели многіе романы и повѣсти.

Г. Ваненко пишетъ сказки и русскія и малороссійскія, и въ тѣхъ и другихъ обнаруживаетъ талантъ разсказа. Жаль только, что онъ слишкомъ иногда подражаетъ Луганскому. Другой недостатокъ у г. Ваненки состоитъ въ томъ, что онъ, въ своихъ сказкахъ, часто говоритъ о сатирическихъ романахъ, кумплиментахъ, и подобныхъ небывальщинахъ въ русскихъ сказкахъ. Вообще его сказки спиты изъ разныхъ лоскутковъ: то изъ смурого русскаго сукна, то изъ англійскаго, то изъ китайки, то изъ *drap-de-dames*. Обмолвкамъ и проговоркамъ—нѣтъ числа.

Г. Бронницынъ увѣряетъ, будто его сказки списаны со словъ хожалаго сказочника, крестьянина изъ подмосковной. Можетъ-быть, оно и такъ было, только г. Бронницынъ, вѣрно, записывалъ ихъ послѣ, и такъ какъ многое позабылъ, то и переименовалъ.

Желаемъ отъ всей души, чтобы гг. Ваненко и Бронницынъ перестали пересказывать народные сказки, уже безъ нихъ и давно сочиненныя, а стали бы разсказывать свои: мы съ удовольствіемъ послушали бы ихъ.

СОЧИНЕНІЯ НИКОЛАЯ ГРЕЧА. *Спб. 1838. Пять частей.*

«Нѣтъ правды на свѣтѣ!» восклицаютъ утвердительно угрюмые скептики, иные разочарованные опытомъ, иные ожесточенные неудачами, иные просто по сознанію собственной не-

справедливости. Съ такими людьми нечего и спорить: они слѣпы отъ рожденія, и зрячіе никогда не увѣрятъ ихъ, что на небѣ каждый день ходитъ красное солнышко и разгоняетъ темноту ночи, и что сами ночи часто освѣщаются краснымъ мѣсяцемъ. Но есть другіе скептики, не столько важные, но не менѣе упрямые: эти отъ всей души убѣждены, въ дерзкой мысли, что будто бы «нѣтъ правды въ журналахъ». Господи Боже мой, что за свѣтъ такой нынче сталъ: ничему не вѣрятъ, во всемъ сомнѣваются, даже—(могу-ли выговорить безъ ужаса!) даже — въ журналахъ! Но шутки въ сторону; поговоримъ серьезно. Лжи, умысленной и неумысленной, въ журналахъ такъ же много, какъ и во всѣхъ дѣлахъ человѣческихъ, но въ нихъ же много и святой истины, хотя и гораздо меньше, чѣмъ лжи. Но живетъ одна истина, и дѣйствительна только одна истина: ложь есть призракъ,—и если бываетъ дѣйствительна, то не иначе, какъ отрицательная истина, какъ служительница истинѣ. Міръ такъ чудно устроенъ, что во всѣхъ процессахъ его жизни видишь большею частію одну ложь и рѣдко-рѣдко святую истину; но результатомъ этихъ процессовъ всегда бываетъ только истина, и никогда ложь. То же и въ журналахъ. Было время, когда нападки на Пушкина сдѣлались какимъ-то критическимъ удамствомъ и шегольствомъ. Дѣло зашло такъ далеко, что одинъ журналистъ (не помнимъ его имени) въ седьмой главѣ «Онѣгина» увидѣлъ—что бы вы думали?—совершенное паденіе, *chûte complète*, и второпяхъ, на радости, неосторожно поспѣшилъ провозгласить его на двухъ языкахъ: русскомъ и французскомъ. Другой журналистъ того же разбора встрѣтилъ появленіе «Бориса Годунова», это громадное созданіе великаго генія, драгоцѣннѣйшее достояніе отечественной литературы, встрѣтилъ его плоскимъ пасквилемъ въ дурныхъ виршахъ:

И Пушкинъ сталъ намъ скучень,
И Пушкинъ надоелъ:
И стихъ его не звучень,
И Геній охладѣлъ.

«Бориса Годунова»
Онъ выпустилъ въ народъ.
Убогая обнова!
Увы! на новый годъ!

Но что же?—все это послужило не къ униженію, а къ возвышенію поэта: споры, толки и крики заставили глубже взглядѣться въ его творенія и тѣмъ вѣрнѣе оцѣнить ихъ; а ожесточенное гоненіе показало только то, что чѣмъ огромнѣе слонъ, тѣмъ сильнѣе претензіи мосекъ на храбрость. Это было, а теперь мы скажемъ сказку, для доказательства той же истины. Этого нѣтъ, но предположимъ, что это есть; предположимъ, что нѣсколько журналовъ, какъ будто бы ставнувшись, изъ всѣхъ силъ хлопотали объ униженіи, наприимѣръ, хоть Гоголя, увѣряя, что все его достоинство состоитъ въ комизмѣ, и то тривіальномъ. Что же?—Вы думаете: публика повѣритъ журналистамъ? Нѣтъ: въ ихъ крикахъ она услышитъ оханья отъ царапинъ, нанесенныхъ маленькому самолюбію какою-нибудь журнальною статьею въ родѣ литературнаго обзора или отчета; въ ихъ вопляхъ она услышитъ стоны отъ глубокихъ ранъ, нанесенныхъ самолюбивой посредственности гордымъ дарованіемъ; услышитъ скрежетъ зубовъ блѣдной зависти, раздраженной презирающимъ ее достоинствомъ; слѣдовательно, въ самой лжи публика откроетъ истину. Слава Богу, что все это только предположеніе, а не фактъ; но еслибы это былъ фактъ, то журналисты, которыхъ мы предположили, ошиблись бы въ своемъ намѣреніи, и назло самимъ себѣ способствовали бы утвержденію истины. Все, что ни живетъ, ни дѣйствуетъ, все служить духу истины; только одни служатъ ему съ цѣлію служить именно ему, слѣдовательно, сознательно, а другіе служатъ ему, думая служить своимъ конечнымъ, мелочнымъ цѣлямъ.

Отдѣленіе критики и библіографіи въ журналѣ многіе считаютъ не только бесполезнымъ, но и вреднымъ, потому что, говорятъ они, это-то отдѣленіе журнала и есть фокусъ его

пристрастія, недобросовѣстности, лжей, клеветъ, тутъ раздаются похвалы и вѣнки безсмертія писателямъ своего прихода, и тутъ же унижаются и уничтожаются всѣ чужіе, не наши. Эта картина преувеличена, но въ ней есть и правда. Повторяемъ: гдѣ люди, тамъ и несправедливости, ошибки, пристрастіе, ложь, но тамъ же и истина. Умѣйте только открыть ее въ самой лжи, и васъ не обмануть. Вы дались въ обманъ,—сами виноваты. Что жъ дѣлать, если иной читатель, прочтя насмѣшливую похвалу какой-нибудь книжонкѣ, которой журналистъ не разбираетъ, но надъ которою онъ тѣшится, приметъ брань за похвалу и купить книгъ? Въ одномъ журналѣ книгу хвалятъ, въ другомъ ее бранятъ: кто же правъ?—Рѣшайте сами. Если вы не въ состояніи отличить холодныхъ похвалъ, вынужденныхъ расчетомъ или обстоятельствами и состоящихъ въ общихъ мѣстахъ и форменныхъ комплиментахъ, отъ похвалы задушевной, искренней, теплой, вышедшей изъ одушевленія предметомъ похвалы,—то опять вы же виноваты. Если вы не умѣете отличить хитросплетеній пристрастія отъ прямодушнаго отзыва, — то опять-таки вините не журналы, а самихъ себя. Кромѣ того, разногласіе журналовъ въ отзывахъ о книгахъ происходитъ гораздо болѣе отъ разности ихъ взгляда на вещи, нежели отъ умышеннаго пристрастія. Зачѣмъ вездѣ видѣть одну недобросовѣстность? Я берусь вамъ доказать неопровержимыми фактами, что изъ тысячи сочиненій, разобранныхъ въ продолженіе года нашими журналами—не оцѣненныхъ или похуленныхъ вслѣдствіе недоброжелательства къ авторамъ, пристрастія и расчета, наберется едва ли 100, а если изъ остальныхъ 900 не всѣ оцѣнены по достоинству, то не умышенно, а по свойственной людямъ слабости—ошибаться въ истинѣ. Слѣдовательно, $\frac{1}{10}$ умышенной лжи на $\frac{9}{10}$ добросовѣстности, хотя и не чуждой промаховъ и ошибокъ; согласитесь, что зло еще далеко не такъ сильно надъ добромъ, какъ думаютъ! А какъ часто случается читать въ нашихъ журналахъ единодушные отзывы

объ иной книгѣ. Нѣтъ! все благо, все добро! Читатели, покупающіе книги по рекомендаціи журналовъ, не полагаясь на собственное сужденіе, по недостатку данныхъ, не напрасно такъ поступаютъ: самые несмѣтливые изъ нихъ избавляютъ себя этимъ отъ многихъ обмановъ книжной производительности, а смѣтливые и совсѣмъ избѣгаютъ ихъ. И потому-то теперь библиографическое отдѣленіе сдѣлалось непермѣннымъ условіемъ всякаго журнала, и первое, прежде другихъ статей журнала, разрѣзывается и прочитывается нетерпѣливою публикою. Кто что ни говори, а необходимость и потребность всегда возьмутъ свое.

Нѣкоторые изъ читателей, опытныхъ въ дѣлѣ журналистики, часто заранѣе знаютъ, какой приговоръ послѣдуетъ въ томъ или другомъ журналѣ той или другой книгѣ. Такъ напримѣръ, мы увѣрены, что многіе изъ читателей, приступивъ къ чтенію нашей статьи, или еще только увидѣвъ въ ея началѣ титулъ сочиненій г. Греча, скажутъ — иные съ улыбкою удовольствія: «посмотримъ, какъ его тутъ отдѣляли!», а иные, съ улыбкою недовѣрчивости и презрѣнія: «посмотримъ, какъ тутъ грызутся». Но мы очень рады обмануть ожиданіе тѣхъ и другихъ и доказать фактомъ, что не всѣ предсказанія сбываются, и что въ нашемъ журналѣ высказываются мнѣнія не о лицахъ, а о сочиненіяхъ.

Во всякомъ отчетѣ о литературныхъ трудахъ, первымъ и главнымъ дѣломъ должно быть опредѣленіе взгляда, точки зрѣнія на разсматриваемыя сочиненія. Въ упущеніи изъ виду этого правила и состоитъ ошибочность сужденій критиковъ и рецензентовъ. Обыкновенно прочтутъ романъ и, не найдя въ немъ художественнаго произведенія, осуждаютъ его на аутодафе, не подумавъ о томъ, что авторъ и не думалъ претендовать на титулъ поэта, а хотѣлъ просто написать быль или сказку, для удовольствія и пользы читателей, и совершенно достигъ своей цѣли, потому что нашелъ себѣ многочисленныхъ читателей и почитателей. Что нужды, если въ романѣ

нѣтъ творчества, но есть вымыселъ, занимательность; нѣтъ фантазіи—есть воображеніе; нѣтъ глубокихъ идей—есть вѣрныя практическія замѣчанія о жизни, плодъ опытности и знакомства съ жизнью не по однимъ книгамъ; нѣтъ огня поэзіи—есть теплота чувства; нѣтъ вдохновенія—есть одушевленіе; нѣтъ образовъ—есть портреты; нѣтъ художественности въ обработкѣ—есть слогъ, языкъ? Чтò нужды, что это произведеніе не вѣковое, не безсмертное? авторъ и не имѣлъ на это претензіи: онъ хотѣлъ доставить своимъ современникамъ средство къ благородному или полезному развлеченію, — и достигъ своей цѣли. Отъ автора должно требовать ни больше, ни меньше того, чтò онъ обѣщаль. Забывая это правило, бранять книгу, которая имѣла заслуженный успѣхъ, и тѣмъ оподозриваютъ у публики и себя и критику. Другое дѣло, когда бездарный бумагомаратель, или даже и писатель не безъ достоинствъ, но не поэтъ и не ученый, является съ претензіями на художническую или ученую гениальность и, какъ говорится, садится не въ свои сани: тогда долгъ критики указать ему его настоящее мѣсто.

И такъ, прежде всего скажемъ, какъ смотримъ мы на литературные труды г. Греча, какое мѣсто даемъ ему въ русской литературѣ. Въ этомъ будетъ состоять и нашъ отчетъ о сочиненіяхъ г. Греча.

Г. Гречъ написалъ два романа и одну повѣсть; но мы тѣмъ не менѣе почитаемъ его совершенно чуждымъ сферы поэзіи, понимая подъ этимъ словомъ искусство, творчество, художество; но это не мѣшаетъ намъ смотрѣть на его романы, какъ на пріятный подарокъ публикѣ, какъ на сочиненія, имѣющія большое литературное достоинство. Вообще, по нашему мнѣнію, г. Гречъ не поэтъ, не ученый, но литераторъ, по достоинству занимающій въ нашей литературѣ одно изъ видныхъ мѣстъ и оказавшій ей большія услуги. Чтò такое литераторъ?—Публицистъ, литературный факторъ при публикѣ, человѣкъ, который, не произведя ничего прочнаго, безуслов-

наго, имѣющаго всегдашнюю цѣну, пишетъ много такого, что имѣетъ цѣну современности; не научая, даетъ средства научиться; не восторгая, доставляетъ удовольствіе. Онъ пишетъ статью и о современномъ событіи, отдаетъ отчетъ о книгѣ, издаетъ журналъ, или участвуетъ въ немъ; онъ историкъ, ораторъ, переводчикъ, путешественникъ, комментаторъ, издатель чужихъ сочиненій съ своими предисловіями, участникъ въ литературныхъ предпріятіяхъ, корректоръ; пишетъ книги, которыя не принадлежатъ къ области учености, но на которыя всѣ ссылаются и которыми всѣ пользуются какъ вспомогательными способами для собственныхъ сочиненій, даже ученыхъ. Словомъ, литераторъ, все, что вамъ угодно, и собственно ничего, потому что, ставши чѣмъ-нибудь, онъ дѣлается или поэтомъ, или ученымъ въ какой-нибудь сферѣ знанія. Но это нисколько не унижаетъ званія литератора: литераторъ есть лицо необходимое, человѣкъ дѣйствительный, и если онъ пріобрѣлъ вліяніе на публику, то играетъ въ современности роль историческую, въ большей или меньшей степени. Его имя принадлежитъ исторіи литературы народа, а слѣдовательно, и его просвѣщенія, поколику литература есть выраженіе, сознаніе умственной жизни народа.

Г. Гречъ написалъ нѣсколько грамматикъ, изъ которыхъ хотя ни одна не уничтожаетъ живѣйшей потребности лучшихъ учебныхъ книгъ, но которыя всѣ принадлежатъ къ лучшимъ сочиненіямъ въ этомъ родѣ. Скажемъ болѣе: его грамматикки суть важныя явленія въ исторіи нашего языка, и съ нихъ начинается основательнѣйшее его изученіе. Прежде, при изложеніи правилъ русскаго языка, болѣе обращали вниманіе на языкъ: г. Гречъ обратилъ вниманіе на русскій языкъ, на его видовыя особенности, и потому его грамматикки — драгоценная сокровищница, неизчерпаемый рудникъ матеріаловъ для изученія русскаго языка и составленія грамматикъ. Это самая блестящая его заслуга, самое важнѣйшее его участіе въ дѣлѣ отечественнаго просвѣщенія. Г. Гречъ издалъ «Учебную

книгу русской словесности», въ которой въ первый разъ была оставлена школьная риторическая теорія и сдѣлана попытка—дать понятіе о всѣхъ родахъ сочиненій такъ, чтобы юношество могло судить о литературѣ не по школьному образу мыслей, а по тому, который господствуетъ въ обществѣ; и дать правила, руководствуясь которыми. юношество могло бы выучиться написать и письмо, и дѣловую бумагу, и записку, словомъ все, что требуется въ жизни, а не хрип, порядковыя и автоніяновскія, которыя пишутся въ классахъ на заданныя темы, а въ жизни и литературѣ ни къ чему не служить, а только дѣлаютъ изъ людей тяжелыхъ педантовъ. Конечно, понятія, изложенныя въ этой учебной книгѣ, не всѣ новы, не всѣ сообразны съ современнымъ взглядомъ на искусство и литературу, не отличаются наукообразнымъ изложеніемъ и строгостію системы; но книга заслуживаетъ вниманіе уже по одному тому, что не похожа на всѣ бывшіе и до нея и послѣ нея опыты въ этомъ родѣ. Авторъ его сдѣлалъ свое дѣло и въ правѣ сказать своимъ порицателямъ: «сдѣлайте лучше». Приложенная при книгѣ хрестоматія, составляющая самую значительную ея часть, если не отличается строгостію въ выборѣ піесъ, за то знакомитъ почти со всѣми писателями, игравшими сколько-нибудь значительную роль въ нашей литературѣ. Авторъ присовокупилъ даже къ своей исторіи литературы отрывки изъ древнихъ и старинныхъ сочиненій, отрывки изъ переложеній псалмовъ Симеономъ Полоцкимъ, изъ сатиръ Кантемира, «Телемахиды и «Деидаміи» Тредьяковскаго. Самая исторія литературы есть драгоценный сборникъ матеріаловъ для исторіи русской литературы, ручная настольная книга для литератора и всякаго любителя отечественной литературы, справочный адресъ-календарь дѣйствователей на поприщѣ русскаго слова. Трудъ не блестящій, но безцѣнный, стоившій своему автору большихъ трудовъ. Какъ жаль, что во всѣхъ послѣдующихъ изданіяхъ, послѣ 1822 года, эта исторія сокращена имъ. Какой бы дра-

гоцѣнный подарокъ сдѣлалъ г. Гречъ русской литературѣ, еслибы значительно пополнилъ этотъ трудъ и издалъ его особенною книжкою!

Возьмите пятую часть полного собранія сочиненій г. Греча: она вся состоитъ изъ отдѣльныхъ статей, изъ которыхъ каждая имѣетъ свое достоинство и по содержанію и по изложенію. Между ними вы особенно замѣтите слѣдующія: «Взглядъ на Исторію Русскаго Театра», драгоцѣнный матеріалъ для исторіи русскаго театра, собраніе фактовъ, которые могли бы совершенно затеряться, трудъ, для котораго надо имѣть много терпѣнія и много средствъ, а главное—много охоты, которую рѣдкіе имѣютъ; «Некрологи», которые представляютъ краткій фактическій обзоръ литературной и ученой дѣятельности Карамзина, Шуберта, Ѳедорова; «Литературные очерки и воспоминанія», въ которыхъ найдете обзоръ русской литературы за нѣсколько лѣтъ и факты и подробности о Гнѣдичѣ, Мартыновѣ, Сомовѣ, Сухтеленѣ, нѣмецкой писательницѣ Элизѣ фонъ-деръ Рекке, Брюковскомъ, Никольскомъ. Тутъ вы найдете статью «Московскія письма», гдѣ замѣтите пріятный рассказъ, многія удачно схваченныя черты нашихъ обѣихъ столицъ, нѣсколько рѣзкихъ и вѣрныхъ замѣтокъ и мыслей о томъ и о семъ. Все это изложено прекраснымъ языкомъ, умно, живо, занимательно. Вотъ что такое литература и вотъ что такое—Гречъ.

Г. Гречъ написалъ два романа, принадлежащіе къ позднѣйшей литературной его дѣятельности. Онъ заплатилъ ими дань времени. Теперь всѣ пишутъ романы или повѣсти. Оно и легко и выгодно. Но и въ романахъ Гречъ остался самимъ собою—литераторомъ. «Черная женщина» есть второй его романъ; но такъ какъ это полное собраніе его сочиненій начинается ею, то мы прежде скажемъ слова два о ней. Романъ, какъ говорится, сказка добрая. Онъ читается скоро и съ удовольствіемъ. Главный его недостатокъ состоитъ въ романической запутанности на манеръ романовъ XVIII вѣка. Это вліяніе ста-

рины, очень понятное въ пожиломъ человѣкѣ. Будь романъ проще и короче, онъ былъ бы гораздо лучше. Герой романа добрый, но слабый до пошлости человѣкъ, который вѣчно страдаетъ отъ своей безхарактерности, котораго не бьетъ только лѣнивый, и который, поэтому, не возбуждаетъ къ себѣ никакого участія. Но вокругъ него толпятся интересные портреты, вѣрно списанные съ общества того времени. Въ лицѣ Алимари авторъ заплатилъ дань идеальности, которая совсѣмъ не въ характерѣ его таланта. Оттого изъ этого лица и вышелъ какой-то фантомъ, составленный изъ риторства, резонерства и мистицизма. Основная мысль цѣлаго романа есть оправданіе возможности духовидѣній; этой-то мысли романъ г. Греча и обязанъ преимущественно своимъ успѣхомъ. Не входя въ отчетливыя объясненія по этому предмету, которыя бы могли завести насъ далеко, мы скажемъ только, что для насъ собственно самый изступленный, и слѣдовательно, самый болѣзненный мечтатель лучше, нежели разсудительный человѣкъ, для котораго все въ жизни ясно и опредѣленно, какъ дважды два—четыре. Вѣра въ чудесное есть добрый элементъ въ человѣкѣ, признакъ благоговѣйнаго и трепетнаго предощущенія тайнства жизни; только надо, чтобы эта вѣра была просвѣтлена мыслию, иначе она можетъ перейти въ суевѣріе и изуверство. Во всякомъ случаѣ, успѣхъ романа г. Греча «Черная женщина», по нашему мнѣнію, говорить много въ пользу нашего общества, какъ доказательство, что въ немъ есть живая потребность внутренней жизни. Еслибы романъ былъ проще и короче, мы прочли бы его еще съ большимъ удовольствіемъ; а то ничтожность главнаго лица, запутанность и натяжки въ запутываніи и распутываніи происшествій, часто ужасно утомляютъ читателя... Но несмотря на все это, прекрасный разсказъ, многія удачно и вѣрно схваченныя черты съ общества и времени, множество дѣльных мыслей, замѣчаній, мѣстами искусство, мѣстами даже теплота разсказа—все это дѣлаетъ то, что «романъ читается».

«Поѣздка въ Германію, романъ въ письмахъ», была дебютомъ г. Греча на романическомъ поприщѣ, и дебютомъ столь удачнымъ и успѣшнымъ, что какъ-то невольно жальшесть, зачѣмъ г. Гречъ не остался при одномъ дебютѣ. «Поѣздка въ Германію» несравненно выше «Черной женщины». Простота происшествія, простота и, вмѣстѣ съ нею, одушевленіе, игривость разказа, вѣрность, естественность въ картинахъ, въ изображеніи характеровъ, прекрасный, образцовый языкъ— все это дѣлаетъ «Поѣздку въ Германію» однимъ изъ примѣчательныхъ явленій русской литературы. Представьте себѣ, что къ вамъ пришелъ на вечеръ умный, образованный, любезный, пожилой и опытный человѣкъ, словомъ, одинъ изъ бывалыхъ людей, и притомъ обладающій даромъ разказа; представьте себѣ, что онъ хочетъ занять васъ однимъ изъ многочисленныхъ своихъ воспоминаній, и безъ всякихъ авторскихъ претензій рассказываетъ вамъ простую быль, простое, но тѣмъ болѣе интересное событіе дѣйствительной жизни; вызываетъ давно знакомые образы, даетъ имъ жизнь, заставляя ихъ снова дѣйствовать, волноваться, стремиться, желать, любить... Вы не видите, какъ прошелъ вечеръ; вы не замѣчаете, что ужъ давно полночь... разсказъ конченъ, а вы все еще слушаете... и со вздохомъ и улыбкою грустнаго удовольствія подаете доброму разсказчику руку и отъ души жмете его руку... Вотъ впечатлѣніе отъ прочтенія «Поѣздки въ Германію» и вотъ лучшая ея характеристика; по крайней мѣрѣ, мы не умѣемъ сдѣлать лучшей. Герой этого разказа—лицо нисколько не идеальное, но тѣмъ болѣе интересное (идеальность надѣла намъ). Это простой, неглупый, образованный и благородный человѣкъ, у котораго есть и душа и характеръ. Героиня тоже простая дѣвушка, безъ всякой идеальности, но въ которую тѣмъ больше можно влюбиться безъ памяти. Картины петербургскаго чиновничества, семейнаго быта петербургскихъ Нѣмцевъ, очерки нѣкоторыхъ оригиналовъ, достолюбезныхъ чудаковъ, а главное—простота въ про-

исшествіи, въ разсказѣ, въ чувствахъ, въ языкѣ, но простота, которая соединена съ одушевленіемъ, сердечною теплотою— все это такъ мило, такъ занимательно, что и не видишь, какъ переворачивается листъ за листомъ, а прочтя послѣдній, съ досадою встрѣчаешь «конецъ». О языкѣ нечего и говорить: молодые люди, которые, не посвящая себя литературѣ, хотѣть знать отечественный языкъ, а тѣмъ болѣе молодые литераторы, которые хотѣтъ хорошо писать на немъ, найдутъ чему поучиться у Греча. «Сія» и «ибо» («онихъ» г. Гречъ не употребляетъ, хотя и горячо отстаиваетъ ихъ отъ г. Сенковскаго) не составляютъ дѣйствительнаго и важнаго недостатка въ слогѣ г. Греча, особенно для меня, читая хорошую книгу, даже вслухъ, я вмѣсто «сихъ», «ибо» и «онихъ» произношу «эти, потому что, они», и такъ привыкъ къ этому, что часто хвалю книгу за отсутствіе въ ней нелюбимыхъ мною словъ. Совѣтую всѣмъ враждующимъ противъ «сихъ», «ибо» и «онихъ» воспользоваться моимъ изобрѣтеніемъ.

«Поѣздка во Францію, Германію и Швейцарію въ 1817 г., письма къ А. Е. Измайлову» и «Дѣйствительная поѣздка въ Германію въ 1835 году» составляютъ содержаніе четвертаго тома, а наблюдательность и занимательность составляютъ главные достоинства этихъ двухъ «поѣздокъ». Нынѣ трудно сказать что-нибудь новаго о своемъ путешествіи, и точно въ «поѣздкахъ» г. Греча встрѣчаешь все старое, давно извѣстное, но принимаешь все это за новое, потому что во всемъ этомъ, кромѣ прекраснаго изложенія, виденъ оригинальный, самобытный взглядъ человѣка умнаго и наблюдательнаго. Теперь остается намъ сказать нѣсколько словъ о статьѣ, въ видѣ предисловія, приложенной къ V тому, подъ титуломъ «Къ портрету Николая Ивановича Греча». Она писана пріятельскою рукою, которая, заступаясь за друга передъ врагами, истинными и мнимыми, не забыла и себя. Во всемъ этомъ мы не видимъ худа, но видите ли? дѣло часто не въ самомъ дѣлѣ, а въ манерѣ, съ какою выполняется. По ма-

нерѣ узнають сословіе, къ которому принадлежитъ человѣкъ, по манерѣ узнають и школу, къ которой принадлежитъ писатель. Манерою Александръ Анеимовичъ отличается отъ всѣхъ писателей, и многіе изъ нихъ только манерою и выше его, тогда какъ разница, повидимому, въ талантѣ. Да, манера— великое дѣло. Конечно, въ этой статьѣ, все, можетъ-быть, и правда, особенно, когда дѣло идетъ не о «мы», а объ «онѣ»; конечно, все это очень откровенно; но, во первыхъ, если сознаніе своего личнаго достоинства очень позволительно, то судъ о себѣ вслухъ и въ свою пользу, знаете... не ловко какъ-то... во вторыхъ — манера, манера, манера!... Другой сказалъ бы то же, да не такъ... Впрочемъ, и то сказать: всякій долженъ быть самимъ-собою, чтобъ тѣмъ легче было узнать его.

Отъ полного собранія сочиненій Н. И. Греча перейдемъ къ его брошюркѣ.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПОЯСНЕНІЯ. *Спб. 1838.*

Въ апрѣльской книжкѣ „Библіотеки для Чтенія“ нынѣшняго года, въ отдѣленіи „Литературная Лѣтопись“, напечатана статья о новоизданныхъ моихъ сочиненіяхъ, написанная умно, учтиво и съ большимъ ко мнѣ снисхожденіемъ. Имѣя всѣ причины быть довольнымъ ею и благодарить ея автора, считаю однако нужнымъ сдѣлать въ ней примѣчанія, которые кажутся мнѣ не излишними и сверхъ того могутъ пояснить предметъ, очень для насъ важный и любезный—свойства и требованія милаго намъ языка русскаго.

Такъ начинается брошюрка г. Греча, и это начало даетъ понятіе о ея содержаніи. Оно двойное: г. Сенковскій и русскій языкъ раздѣляютъ въ немъ вниманіе читателя.

Г. Булгаринъ, въ біографіи друга своего, Н. И. Греча, сказалъ о немъ, что онъ «формально былъ избранъ петербургскими литераторами въ редакторы «Б. для Ч.» Г. Сенковскій возразилъ на это, что «Б. для Ч.» никогда не издавалась отъ имени всѣхъ русскихъ литераторовъ». Въ опроверженіе г.

Сенковского, Н. И. ссылается на слова г. Булгарина, сказанные имъ печатно въ 1833 г., что «г. Смирдинъ рѣшился соединить всѣхъ литераторовъ въ одномъ предпріятіи, и съ этою цѣлію вознамѣрился издавать журналъ «Библіотека для Чтенія», сотрудниками котораго согласились быть всѣ русскіе писатели, всѣ поэты и прозаики, пріобрѣтшіе славу, извѣстность или просто благоволеніе публики». Г. Гречъ прибавляетъ къ этому, что еслибы въ словахъ г. Булгарина заключалась неправда или преувеличеніе, то писатели не приминили бы тогда же возразить на это. Съ этимъ нельзя не согласиться. Далѣе г. Гречъ говоритъ, что, не будучи избранъ въ редакторы формально, онъ принялъ предложеніе г. Смирдина—надзирать за слогомъ и языкомъ его журнала и, вмѣстѣ съ г. Сенковскимъ, сдѣлался его редакторомъ. Въ февралѣ 1834 г. г. Сенковский отказался отъ званія редактора, и остался одинъ г. Гречъ, который въ свою очередь отказался отъ этого редакторства, сдѣлавшись редакторомъ «Энциклопедическаго Лексикона». «Тогда, говоритъ онъ, исчезли и имена сотрудниковъ съ главнаго листа, между тѣмъ какъ въ объявленіяхъ о продолженіи «Библіотеки» повторялось, что всѣ прежніе литераторы въ ней участвуютъ. Тщетно нѣкоторые изъ нихъ объявляли, что давно уже прекратили всякое съ нею сообщеніе...» Возражая г. Сенковскому на замѣчаніе, что г. Гречъ только слегка исправляетъ слогъ въ статьяхъ «Б. для Ч», послѣдній замѣчаетъ, что онъ точно не позволялъ себѣ измѣнять мыслей автора, не дерзалъ ничего исключать, а тѣмъ менѣе навязывать своего, словомъ, передѣлывать или пародировать, а только исправлялъ слогъ, очищая его отъ барбаризмовъ, соллещизмовъ и другихъ жестокихъ грамматическихъ ошибокъ. Мы, съ своей стороны, такое уваженіе къ чужому труду почитаемъ благороднымъ качествомъ; но думаемъ, что г. Гречъ слишкомъ увлекся своею мыслію. Почему не передѣлать статьи, если авторъ на это согласенъ? Безъ согласія же авторскаго и г. Сенковский, извѣстный стра-

стію передѣлывать чужія статьи, на это, вѣроятно, не рѣшается: иначе кто же бы согласился помѣщать свои статьи въ его журналѣ?

Г. Булгаринъ сказалъ, что слогъ въ первомъ году «Б. для Ч.», во время редакторства Н. И. Греча, былъ какъ жемчугъ; Н. И., понимая цѣну такой похвалы, называетъ ее дружескимъ преувеличеніемъ, или, говоря языкомъ нынѣшнихъ реформаторовъ, амичальною экзажераціею. Изъ булыжнаго камня, прибавляетъ онъ, жемчужины не выточить — дѣлано было, что можно.

Второй спорный пунктъ брошюры заключается въ отзывѣ г. Сенковского о слогѣ г. Греча въ «Черной женщинѣ», выраженномъ въ слѣдующихъ словахъ: «Языкъ въ «Черной женщинѣ», по пристрастію автора къ нѣкоторымъ мертвымъ словамъ можетъ показаться теперь, въ глазахъ девяти десятыхъ Россіи, нѣсколько устарѣлымъ, и даже дикимъ». Въ отвѣтъ на это обвиненіе, г. Гречъ выписываетъ похвалы, которыми, назадъ тому четыре года, встрѣтилъ г. Сенковский его романъ: «пріятный, свѣтлый слогъ» (стр. 20); «прекрасныя мысли, выраженные съ очаровательною простотою» (тамъ же); «заманчивость слога и содержанія» (стр. 43); «страницы высокаго краснорѣчія» (стр. 44). Здѣсь г. Гречъ останавливается и съ недоумѣніемъ восклицаетъ:

Теперь не прошло четырехъ лѣтъ, а ужъ этотъ самый пріятный, свѣтлый, очаровательный, заманчивый, краснорѣчивый слогъ — обветшалъ и одичалъ! И такъ, въ русскомъ языкѣ произошли въ это время важныя перемѣны? Возникли новыя оригинальныя писатели и вытѣснили прежнихъ литераторовъ: появились книги, написанныя слогомъ, который оставилъ далеко за собою слогъ писателей прежняго времени? Нѣтъ, ничего этого не бывало. Въ эти годы мы испытали однѣ утраты; писатели, содѣйствовавшіе болѣе другихъ къ усовершенствованію и обогащенію языка, преждевременно сошли въ могилу. Гдѣ же эти усовершенствованія, это обновленіе русскаго языка? — Критикъ не заставляетъ насъ долго томиться недоумѣніемъ. Съ невыразимымъ простодушіемъ сознательнаго генія онъ прямо говоритъ: „Этотъ

несчастіе (обветшалось и одичаніе гречева слога) которому мы отчасти причиною“.

И такъ, дѣло дошло до вопроса о преобразованіи русскаго языка г. Сенковскимъ. Почитая дѣло русскаго языка близкимъ къ себѣ по многимъ отношеніямъ, г. Гречъ рѣшается окончательно изслѣдовать вопросъ о преобразованіи, къ чему и приступаетъ слѣдующимъ сужденіемъ о «Библіотекѣ для Чтенія» —

„Б. для Ч.“ есть безспорно одинъ изъ лучшихъ нашихъ журналовъ. Въ ней принимаютъ участіе многіе хорошіе писатели; въ ней помѣщаются переводы прекрасныхъ статей, ученыхъ и литературныхъ, изъ журналовъ иностранныхъ; въ ней есть полнота, разнообразіе. Исправность ея выхода обратилась въ пословицу. Жалуются на незанимательность многихъ статей, помѣщаемыхъ вмѣсто балласту, на цинизмъ и безвкусіе нѣкоторыхъ мыслей, картинъ и выраженій, на странныя выходки противъ философіи и учености германской, на безпрерывныя насмѣшки и тупыя эпиграммы, которыми испещряются даже ученые и серьезныя статьи. Но угодилъ-ли на всѣхъ; есть люди, есть читатели „Библіотеки“, которымъ именно нравится то, что другіе порицаютъ. Дѣйствительный порокъ этого журнала, препятствующій ему рѣшительно дѣйствовать на публику, заключается въ дурномъ его слогѣ и варварскомъ языкѣ. Изъ этого, разумѣется, должно исключить помѣщаемыя въ „Библіотекѣ“ статьи постороннихъ авторовъ, которыхъ редація коснётся не смѣетъ. Оригинальныя статьи „Библіотеки“ кажутся дурными переводами съ какого-то неизвѣстнаго намъ языка. Слогъ въ нихъ шероховатый, грубый, тяжелый и до крайности неправильный. И между тѣмъ „Библіотека“ (позвольте употребить эту метонимію, для избѣжанія собственныхъ именъ) громкогласно объявляетъ, что она очищаетъ языкъ русскій. что она одна хорошо пишетъ по-русски. что русскіе писатели, старающіеся наблюдать въ своихъ сочиненіяхъ чистоту, правильность, благородство, гармонію—несчастные, запоздалые, заблудившіеся странники въ Монгольскихъ степяхъ русскаго слова. И Карамзинъ, и Пушкинъ, и Державинъ, и Грибоедовъ — жалкіе пигмеи предъ великимъ барономъ Брамбеусомъ! Разберемъ это подробно.

Отъ этого г. Гречъ переходитъ къ гоненію, воздвигнутому г. Сенковскимъ на «сіи» и «оныя», говоря мимоходомъ, что

это гоненіе отнюдь не новое, что оно уже было предпринимаемо слѣпыми поклонниками Карамзина, и до такой степени, что, лѣтъ за сорокъ назадъ, употреблять «сіи» и «оныя» — значило объявить себя человѣкомъ безъ вкуса. Затѣмъ слѣдуютъ доказательства въ пользу «сихъ» и «оныхъ».

Остановимся на этомъ и выскажемъ, со всею искренностію, со всѣмъ безпристрастіемъ къ обѣимъ спорящимъ сторонамъ, съ которыми обѣими мы несогласны, наше мнѣніе. Начнемъ съ нашего мнѣнія о «Библіотекѣ для Чтенія», перейдемъ къ реформѣ г. Сенковского и кончимъ «сими» и «оными». Споръ совсѣмъ не такъ маловаженъ, какъ думаютъ.

Мы не хотимъ писать разбора или критики на «Библіотеку для Чтенія»; но мы хотимъ въ нѣсколькихъ словахъ выговорить наше мнѣніе о ней, чтобы тѣмъ лучше рѣшить вопросъ о «сихъ» и «оныхъ», какъ это сдѣлалъ и самъ Н. И. Гречъ. По нашему мнѣнію, «Б. для Ч.» прежде всего журналъ полезный, и мы отъ всей души желаемъ ей продолженія того же успѣха у публики, которымъ она такъ заслуженно всегда пользовалась. Разнообразіе и полнота содержанія, аккуратный выходъ книжекъ, безъ сомнѣнія, много способствуютъ ея успѣху; но она одолжена имъ еще двумъ качествамъ, гораздо больше значительнымъ и важнѣйшимъ, и которыя очень подходятъ на недостатки, и потому служатъ предметомъ жесточайшихъ нападокъ и порицаній ея противниковъ. Это—ея самобытность до односторонности и языкъ. Давно уже рѣшено и не требуетъ никакихъ доказательствъ то, что журналъ долженъ имѣть свой характеръ, свой образъ мнѣній, свою, такъ сказать, личность, вслѣдствіе мысли, которая служитъ основаніемъ всѣхъ его дѣйствій. Безпристрастная абсолютность и универсальность вредитъ журналу, потому что безъ парціальности (*partialité*) онъ безцвѣтенъ, холоденъ, мертвъ. И у «Б. для Ч.» есть свой характеръ, потому что есть мысль, которую можно назвать положительностію въ искусствѣ и въ знаніи. Поэтому «Библіотека» — непримиримый врагъ умозрѣ-

нія, философін. Повторяемъ: это не порокъ, а достоинство. Представляя собою, въ этомъ отношеніи, діаметральную противоположность редактору «Библіотеки», мы тѣмъ болѣе уважаемъ этотъ журналъ. Безъ разности и противоположности во мнѣніяхъ, не было бы ни жизни, ни движенія, ни прогресса. Во всякой мысли, во всякомъ ученіи, есть своя сторона истины, и все благо, все добро! Пусть думаетъ всякій, какъ хочетъ; просторъ и уваженіе всѣмъ мнѣніямъ, всѣмъ ученіямъ! Дорога мысли широка; пусть всякій идетъ своей дорогой, не заѣзжая другихъ; пусть всякій развиваетъ свои понятія, уважая чужой образъ мыслей, хотя бы и не раздѣлялъ его. Есть большая разница между самобытностію и задорливою одностороною, которая не столько хочетъ заставить себя слушать, сколько хочетъ заставить замолчать другихъ. И такъ, у «Б. для Ч.» есть свой оригинальный образъ мыслей, которымъ проникнута всякая статья ея, всякая строка, который составляетъ главную ея силу и опору. Эмпиризмъ не сухой и пошлый, но проникнутый жизнію мысли, есть душа этого журнала. И повторяемъ: потому самому, что мы почитаемъ себя поборниками совершенно противоположнаго ученія, потому самому и интересенъ для насъ этотъ эмпирическій журналъ: въ немъ есть своя сторона истины, слѣд., своя дѣйствительность. Но что составляетъ его главное достоинство, то самое составляетъ и его главный недостатокъ: парціальная односторонность доводитъ его до крайней нетерпимости. Проповѣдая уваженіе къ чужому мнѣнію, «Библіотека» не уважаетъ рѣшительно ничего мнѣнія. Ни всемірная слава, ни европейскій авторитетъ, ни заслуги, ни ученость, ничто не защищаетъ ея ожесточенныхъ нападокъ. Она не постыдилась унизиться до брани противъ Велланскаго почтеннаго старца, славнаго своею глубокою ученостію—плодомъ дѣятельной жизни, посвященной служенію истины, Шеллингъ, Гегель, въ ея глазахъ, не больше, какъ шарлатаны, или много-много, если сильные умы, помѣшавшіеся на сумазбродныхъ идеяхъ. И все

отъ того, что эти люди не эмпирики, а рациональные мыслители, которые, сверхъ того, не только не вѣрятъ «Библіотекѣ», но и не читають ея. Чтѣ дѣлать?—истина и заблужденіе такъ близко граничатъ другъ съ другомъ въ дѣлахъ человѣческихъ, что часто одно необходимо предполагаетъ другое! Ограниченность есть условіе всякой силы!... Другое достоинство «Б. для Ч.»—это ея языкъ. Н. И. Гречъ, въ своей брошюркѣ, выписываетъ изъ журнала г. Сенковского фразы, которыя грѣшатъ противъ духа русскаго языка и часто противъ основныхъ правилъ русскаго синтаксиса, и на этомъ основываетъ свои доказательства, что редакторъ «Библіотеки» не умѣетъ писать по-русски и не совершенствуется, не преобразовываетъ, а только портитъ нашъ прекрасный языкъ. Это кажется намъ преувеличеннымъ. У какого писателя не найдете вы обмолвокъ противъ языка, особенно при срочной журнальной работѣ, и тѣмъ болѣе у такого, который пишетъ не на своемъ родномъ языкѣ? Чтѣ касается собственно до меня, то очень хорошо видя самъ много такихъ обмолвокъ, и очень важныхъ, я, въ то же время, во всѣхъ статьяхъ «Б. для Ч.» вижу какую-то легкость, разговорность, такъ что иногда невольно увлекаюсь чтеніемъ статей даже по части сельскаго хозяйства, которыя нисколько меня не могутъ интересовать своимъ содержаніемъ. И очень многіе согласны со мною въ этомъ. Да, можно сказать смѣло — и почему же не сказать?—всякому свое!—можно сказать смѣло, что г. Сенковский сдѣлалъ значительный переворотъ въ русскомъ языкѣ; это его неотъемлемая заслуга. Какъ всѣ реформаторы, онъ увлекся односторонностію и вдался въ крайность. Изгнавши,—да, изгнавши (самъ г. Гречъ признается, что, къ сожалѣнію, увлеклись этимъ потокомъ и молодые люди съ талантомъ) изъ языка разговорнаго, общественнаго, такъ сказать, комнатнаго, «сіи» и «онныя», онъ хочетъ совсѣмъ изгнать ихъ изъ языка русскаго, равно какъ и слова: «объемлющій, злато, молодой, очи, ланиты, уста, чело, рамена, стопы», и пр. Увлечшись своею мыслию,

онъ не хочетъ видѣть, что слогъ въ самомъ дѣлѣ не одинъ, что самый драматическій языкъ, выражая потрясенное состояніе души, разнится отъ простаго разговорнаго языка, равно какъ драматическій языкъ необходимо разнится отъ языка проповѣди. Не говоримъ уже о различіи стихотворнаго языка отъ прозаическаго.

И день насталъ. Встаетъ съ одра
Мязепа, сей страдалецъ хилый,
Сей трупъ живой, еще вчера
Стоявшій слабо надъ могилой.

или:

Сей остальной изъ стаи славной
Екатерининскихъ орловъ!

Здѣсь слово «сей» незамѣнимо, и «этотъ», еслибы оно и подошло подъ мѣру стиха, только бы все испортило. Но вотъ и еще примѣръ:

И знойный островъ заточенья
Полночный парусъ посвятить,
И путникъ слово примиренья
На ономъ камнѣ начертить, и пр.

Въ послѣднемъ стихѣ слово «этомъ» подошло бы даже и подъ метръ; но тысяча «этихъ» не замѣнила бы здѣсь одного «онаго»; это такъ, потому что такъ, какъ говоритъ г. Гречъ. Есть вещи, о которыхъ трудно спорить, которыя не поддаются мысли, когда чувство молчить. И на «сіи» и «оныя» въ стихахъ могутъ рѣшаться только истинные поэты: ихъ поэтический инстинктъ всегда и безошибочно покажетъ имъ не возможность, но необходимость употребленія этихъ словъ тамъ, гдѣ есть эта необходимость. Но «сіи» и «оныя», употребляемыя въ прозѣ, хотя бы то было и прозѣ самого Пушкина, — доказываютъ или предубѣжденіе и желаніе сдѣлать вопреки не истинѣ, а человѣку, который сказалъ истину, или

неумѣніе управиться съ языкомъ. Конечно, отрадно и уми- лительно для души прочесть на воротахъ «Сей домъ отдается въ наймы, съ сараями и безъ оныхъ», но вѣдь это слогъ дворниковъ. Мы никакъ не можемъ понять, почему «сей», которымъ начинается исторія Карамзина, не замѣнимъ сло- вомъ «этотъ», какъ утверждаетъ г. Гречъ. Нѣтъ, почтен- нѣйшій Николай Ивановичъ, что ни говорите, а нельзя отри- нуть важнаго и сильнаго вліянія «Библіотеки» на русскій языкъ. Если она ошибается, думая, что богословскія и фи- лософскія истины должны излагаться такимъ же языкомъ, какъ статьи о сельскомъ хозяйствѣ и ея «Литературная Лѣ- топись», то она права, доказывая, что въ романѣ, повѣсти, журнальной статьѣ, «сіи» и «оныя» никуда не годятся, и что изгнаніе ихъ изъ общественнаго языка должно служить къ его гибкости, заставивъ искать новыхъ оборотовъ, которые помогутъ обойтись безъ книжныхъ словъ. Вы сами говорите, что этимъ словамъ не можетъ быть мѣста въ комедіяхъ, въ повѣстяхъ, подражающихъ изустному разсказу, въ разгово- рахъ, въ дружескихъ письмахъ и т. п.; теперь, и не одни вы говорите, теперь это всѣ говорятъ; но кто причиною, что это теперь всѣ говорятъ? Вы говорите, что слово «сей» должно быть терпимо въ книгахъ историческаго и дидактиче- скаго содержанія, въ дѣловыхъ бумагахъ; а почему? Развѣ духъ такого рода сочиненій требуетъ этого; развѣ въ нихъ живое слово «этотъ» слабѣе, сбивчивѣе, темнѣе выражаетъ мысль, и развѣ оно въ нихъ страннѣе, диче, нежели книжное слово «сей»? Намъ кажется, что въ этомъ случаѣ простое, непосредственное чувство лучше всего рѣшаетъ вопросъ: какъ- то неловко произнести это слово, читая книгу, когда его нельзя безъ смѣху произнести, говоря.

Вы называете «сей» и «оный» мѣстоименіями — а по ка- кому праву? Уважаемъ ваше глубокое знаніе духа и свойствъ русскаго языка, ваши важныя заслуги по этой части, но на слово не повѣримъ вамъ. Мѣстоименіе замѣняетъ имя, и по-

тому можетъ быть подлежащимъ въ рѣчи, не заставляя подразумевать при себѣ имени, но заставляя подразумевать за себя имя; но «сей» и «оный», равно какъ «тотъ» и «этотъ». всегда имѣютъ при себѣ имя, которое опредѣляютъ собою, или заставляютъ его подразумевать при себѣ. Очевидно, что это слова опредѣлительныя. Вы говорите еще, что «оный» необходимо для различенія въ именительномъ и винительномъ падежахъ именъ, предметовъ личныхъ и неодушевленныхъ, и что «оное» въ этомъ случаѣ не можетъ быть замѣнено «его»; — прекрасно, но если никто не прибѣгаетъ къ этому средству для ясности? Вольно, отвѣчаете вы. Нѣтъ, не вольно, а невольно, возражаемъ мы вамъ: филологи, грамматики и литераторы не творятъ языка, а только сознаютъ его законы и приводятъ ихъ въ ясность; языкъ творится самъ собою, и даже не народомъ, а изъ народа.

Не говоря о слогѣ, посмотрите, что у насъ дѣлается въ правописаніи, которое у всякаго журнала, почти у всякой книги свое. Что это значить? То, что языкъ еще не установился ни въ какомъ отношеніи. И гдѣ же ему установиться, когда у насъ пишутъ уже давно, а говорить только еще начинаютъ. Безъ живаго участія общества, одни литераторы не сдѣлаютъ всего, а общество наше по-французски знаетъ лучше, чѣмъ по-русски. Но самая разногласица въ орѳографіи показывается уже движеніе единства. Нелѣпыя попытки уничтожаются сами собою, а удачныя, въ духѣ языка сдѣланныя нововведенія, удержатся и примутся всѣми. Поэтому, кому какое дѣло до другихъ; пусть всякій пишетъ, какъ признаетъ за лучшее. Но вотъ фактъ: давно ли произошла эта разногласица въ орѳографіи? И вотъ другой фактъ: въ этой разногласицѣ уже не начинается ли какое-то единогласіе, т. е. уже не приняты ли нѣкоторыя правила всѣми безъ исключенія? И вотъ еще третій фактъ: въ новомъ изданіи вашихъ сочиненій, почтеннѣйшій Николай Ивановичъ, нѣтъ ли, въ орѳографіи, значительныхъ противъ прежняго измѣненій? Ка-

жется, что есть!—справьтесь-ка. А кто причиною этого измѣненія въ правилахъ орѳографіи, со стороны опытнаго учителя русскаго языка?—Предоставляю вамъ самимъ угадать...

Брошюрка г. Греча есть образецъ сильной, энергической и, въ то же время, благородной полемики. Увлекаясь иногда пристрастіемъ, авторъ говоритъ много и истиннаго, глубоко-вѣрнаго о языкѣ вообще и русскомъ въ особенности. Совѣтуемъ всѣмъ молодымъ людямъ читать его брошюрку.

«Не требуемъ, говоритъ Гречъ въ концѣ своей брошюры, не требуемъ, чтобъ редакторъ «Библіотеки» и его сотрудники писали лучше, чище, правильнѣе: всякъ пишетъ, какъ можетъ; но можемъ требовать, чтобы этотъ варварскій языкъ не былъ называемъ образцовымъ и обработаннымъ; чтобъ въ «Библіотекѣ для Чтенія» не осыпали насмѣшками, не оскорбляли гордымъ презрѣніемъ тѣхъ изъ русскихъ писателей, которые не поклоняются златому тельцу Барона Брамбеуса». Требованіе справедливое! прибавимъ мы отъ себя. Въ самомъ дѣлѣ, еслибы г. Сенковскій имѣлъ и оказывалъ побольше вниманія и уваженія къ чужому мнѣнію и чужой личности, еслибы онъ не вдавался въ исключительную односторонность и не дѣлалъ часто шуму изъ пустяковъ, т. е. изъ какихъ-нибудь «сихъ» и «оныхъ», попавшихся ему въ плохой книжонкѣ, и не лишалъ хорошаго сочиненія заслуженной хвалы только за «сіи» и «оня», то его справедливыя и дѣльныя мысли о преобразованіи русскаго языка были бы приняты всѣми съ большимъ уваженіемъ. Фанатизмъ, въ чемъ бы то ни было, самъ себя вредить. Впрочемъ, истина не замедлитъ отдѣлаться отъ лжи, и потому—все хорошо, господа!...

III.

ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ТЯЖБА О СИХЪ И ЭТИХЪ.

Тяжба о «сихъ» и «оныхъ» уже давно не новость: еще прежде Барона Брамбеуса одинъ изъ старинныхъ стихотворцевъ сказалъ: «То сей, то оный на богъ гнется».

Но вотъ возникла новая тяжба—о «сихъ» и «этихъ». Одинъ петербургскій журналъ клеймить печатью курсива «сихъ», незаконно забравшихся въ русскій словарь и проживающихъ въ немъ не по паспорту: это тоже старая исторія, давно извѣстная всякому, «даже и не бывшему въ семинаріи», какъ говоритъ Иванъ Ивановичъ Перерепенко. Но, можетъ-быть, не всѣмъ извѣстно, что другой, петербургскій же, журналистъ, по привычкѣ ли, которая есть вторая природа челоѣка, или по нерасположенію къ первому журналисту, но только питаетъ особенную любовь къ проскриптамъ нашего словаря, хотя, скажемъ мимоходомъ, «оныхъ» и совсѣмъ не употребляетъ, да и съ «сими» съ нѣкотораго времени обращается рѣже. Полагаясь на догадливость нашихъ читателей, мы не считаемъ за нужное давать имъ знать, что мы говоримъ о челоѣкѣ, котораго важныя услуги отечественной литературѣ всѣмъ извѣстны; но... у какого Ахиллеса нѣтъ своей пятки? и сей журналистъ точно имѣетъ оную... Съ перваго взгляду, все это кажется очень обыкновеннымъ, но что же? — слѣдствія этого обстоятельства очень необыкновенны, по крайней мѣрѣ, по ихъ забавности, если не по важности: первый журналистъ, какъ мы уже сказали, клеймить курсивомъ «си», а

второй, наперекоръ ему, клеймить курсивомъ «эти». Странный способъ доказыванія истины!... Это напоминаетъ «Двухъ Ивановъ» Нарѣжнаго: первый Иванъ, сердясь на второго Ивана, сжегъ у него голубятню, а второй Иванъ, чтобы показать первому Ивану незаконность его поступка, сжегъ у него дѣльный домъ со всѣми принадлежностями. Повторяемъ: странный способъ выводить изъ заблужденія своихъ ближнихъ, странный даже и для «Двухъ Ивановъ»... Бѣдная наша журналистика! у насъ еще играютъ въ нее, какъ въ мячикъ... И что за вопросы? И какъ рѣшаются?—по-ивановски!!!... Что теперь дѣлать нашимъ авторамъ: за «си» будетъ ихъ преслѣдовать «этотъ» журналистъ, а за «эти» ихъ будетъ преслѣдовать «сей» журналистъ. Остается выдумать имъ новое слово, которое могло бы замѣнить и «си» и «эти» и отклонить отъ нихъ неблагоклонность и этого журналиста и сего журналиста—больше дѣлать нечего!..

2.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЯСНЕНІЕ.

(письмо къ редактору «московского наблюдателя.»)

Есть люди, съ которыми ни о чемъ не хотѣлось бы говорить, и есть вещи, о которыхъ ни съ кѣмъ не хотѣлось бы говорить. Журнальный міръ особенно богатъ тѣми и другими, и тѣхъ и другихъ очень легко оставлять въ покоѣ, хотя бы они и беспокоили васъ, нападая на ваши мысли, взгляды, чувства. Но когда какое-нибудь журнальное инкогнито, нападая на васъ, искажаетъ ваши мысли, даетъ имъ превратный толкъ, приписываетъ вамъ то, чего вы никогда не думали, то почему же вамъ не оправдаться — разумѣется, не передъ нимъ, не передъ этимъ инкогнито, а передъ тою частію публики, которая могла бы повѣрить ему на слово?—

Вѣдь быть безъ вины виноватымъ, передъ кѣмъ бы то ни было, очень непріятно.

Моя статья о «Гамлетѣ», которой ваша снисходительность дала пріютъ въ вашемъ журналѣ, была первоначально назначена въ «Сынъ Отечества», но какъ-то попала въ «С. Пчелу» — честь, которой я совсѣмъ не ожидалъ. По крайней мѣрѣ, начало моей статьи было помѣщено, не помню, въ которомъ № этой газеты. Все это очень обыкновенно; но вотъ что нѣсколько странно: во 2 № «Сына Отечества» вдругъ появилась привязчивая выходка противъ начала моей статьи. И это еще не такъ удивительно: удивительнѣе то, что редакция «С. О.» не почла себя обязанною дать мнѣ вполнѣ высказаться, а почла себя въ правѣ бросить въ меня изъ-за уголка камешкомъ — не могу сказать, отъ себя ли, или черезъ кого другаго, только инкогнито... Не правда ли, что это очень удивительно?... Сначала я и самъ дивился и не могъ ничего понять; но теперь уже ничему не дивлюся и все понимаю...

Неизвѣстный авторъ выходочки, г. А. М., началъ свое нападеніе на меня съ того, что, вырвавъ, сообразно съ своею цѣлю, одну мою фразу, заставилъ меня увѣрять, будто бы «эстетическое образованіе нашего общества есть не болѣе, какъ мода». У меня эта мысль выражена предположительно, для яснѣйшаго вывода истины: г. А. М. распорядился ею по своему и думаетъ, что онъ правъ. Желаю ему оставаться въ лестной для его самолюбія увѣренности въ побѣдѣ, но защищаться не хочу: онъ сражается не со мною, а съ призракомъ, имъ же самимъ созданнымъ. Замахнувшись на этотъ призракъ какимъ-то доводомъ, который, по своей ясности, походить и на силлогизмъ и на шарадъ вмѣстѣ, онъ заключаетъ: «это, кажется, понятно». Очень!...

Потомъ г. А. М. спрашиваетъ меня, чтѣ я разумѣю подъ словомъ «наше общество». Какъ прикажете отвѣчать на такой наивный вопросъ? — «Россію или Москву»? продолжаетъ допросчикъ. — И то и другое, м. г., только не васъ — не пугайтесь.

Далѣ г. А. М. съ неменьшею наивною удивляется тому, что я переводъ «Гамлета» на русскій языкъ отношу къ русской, а не къ китайской и не санскритской литературѣ. Впрочемъ, и тутъ еще мало удивительнаго: можетъ-быть, г. А. М. и въ самомъ дѣлѣ не знаетъ, что переводы на русскій языкъ принадлежатъ къ русской литературѣ; но странно, что и редакція «Сына Отечества» думаетъ объ этомъ согласно съ г. А. М.

«Къ свѣжему и мощному русскому духу слабо привился гнилой французскій классицизмъ» — на эту мою фразу г. А. М. напалъ съ особеннымъ торжествомъ. Сперва онъ увѣряетъ, что классицизмъ не вздоръ, и что каждая литература имѣла его (не исключая и восточныхъ), потомъ увѣряетъ, что классицизмъ ни одной литературѣ не сдѣлалъ вреда и ни одной литературы не лишилъ ни одного дарованія. Что отвѣчать на это?...

Да, конечно, классицизмъ не лишилъ ни Англію, ни Германію (въ Испаніи его совсѣмъ не было) ни одного дарованія. Въ первой если и былъ классицизмъ, то въ литературное владычество ограниченныхъ людей, и тотчасъ рухнулъ, какъ явились Байронъ и В.-Скоттъ, съ дружиною мощныхъ сподвижниковъ. Та же участь классицизма была и въ Германіи; ему поддались только бездарные люди, и если Вилландъ, человѣкъ съ дарованіемъ, былъ увлеченъ французскимъ классицизмомъ, то ужъ, вѣрно, не въ своемъ «Оберонѣ». Вы какъ думаете, г. А. М.? Да, субстанціи англійскаго и германскаго народа слишкомъ огромны, чтобы позволить спеленать себя гнилыми пеленками французской эстетики, и если первая и позволила на минуту спеленать себя ими, то пожала только богатырскими плечами — и пеленки распозлились. Такова же судьба этихъ пеленокъ и въ Россіи.

Но конецъ «удивительнаго» и «чудеснаго» въ статейкѣ г. А. М. еще далекъ; г. А. М. неистощимъ на выдумки, и выдумалъ — что бы вы думали? — слушайте: Карамзинъ былъ

романтикъ (понятно ли? — очень!), Карамзинъ произвелъ Жуковского, а Жуковский Пушкина!... Какова генеалогія?... Трудно знать чужой образъ мыслей; но мы вотъ какъ думаемъ: Карамзинъ въ исторіи нашей литературы безсмертенъ, заслуги его велики и неоспоримы; но поэтомъ, а слѣдовательно, и романтикомъ онъ никогда не былъ, и слѣдовательно, на Жуковского, какъ поэта, никакого вліянія имѣть не могъ: вы какъ думаете, г. А. М?... Вообще у васъ довольно сбивчивыя понятія о вліяніи одного поэта на другаго: вы непременно хотите сдѣлать изъ нихъ династію, такъ что, по вашей теоріи, Мильтона родилъ Шекспиръ, Байрона и В.-Скотта—Мильтонъ... ужъ и видно, что «наукамъ учился»...

Далѣе г. А. М. нападаетъ на мою мысль, что «живыя вдохновенія Англіи и Германіи тѣсно сроднились съ русскимъ духомъ»: эта мысль показалась ему горше полыни. Такъ какъ съ нею нельзя не согласиться, а его намѣреніе и состояло именно въ томъ, чтобы не согласиться со мною, то онъ и противорѣчитъ себѣ на каждомъ словѣ. То спрашиваетъ меня, гдѣ это сродненіе, то, какъ будто бы нашедши его, доказываетъ, что оно сдѣлано у насъ черезъ Французовъ же, тогда какъ нѣсколькими строками выше самъ сказалъ о Жуковскомъ, что онъ своими превосходными переводами сроднилъ насъ съ нѣмецкою и англійскою литературами. Чему вѣрить? Впрочемъ, можетъ-быть, г. А. М. думаетъ, что Жуковский переводилъ Шиллера, Гёте, Байрона и пр. съ французскаго; если такъ, то и спорить нечего. Далѣе утверждаетъ, что Жуковский не имѣлъ себѣ подражателей, которыми обыкновенно опредѣляется авторитетъ писателя и направленіе литературы: стоитъ ли это опроверженія? Не говоря уже о безчисленномъ множествѣ балладистовъ, дурныхъ и хорошихъ, не примѣръ ли Жуковского породилъ такихъ талантливыхъ переводчиковъ Шиллера, какъ гг. Шевыревъ, Шипковъ, Ободовскій и другіе? Гдѣ сродненіе? — Зачѣмъ долго искать? Вспомните хоть «Гамлета», переведеннаго Н. А.

Полевымъ и въ обѣихъ столицахъ Россіи привлекающаго въ театръ многолюдныя толпы. Кто наши романисты? Гг. Загоскинъ, Полевой, Лажечниковъ. Кто имѣлъ на нихъ болѣе или меньшее вліяніе? В.-Скоттъ. Кто писалъ у насъ повѣсти? Гг. Марлинскій, Павловъ, Полевой, кн. Одоевскій. Какое вліяніе имѣла на нихъ литература съ бородкою à la jeune France и съ прическою à la moujik?—никакого, рѣшительно. Я не говорю уже о Гоголѣ, талантѣ высокомъ и оригинально-самобытномъ, хотя и не замѣчаемомъ «Сыномъ Отечества». Слѣдовательно, честь подражанія Французамъ остается только за Барономъ Брамбеусомъ; да вѣдь его повѣсти не больше, какъ баронскія фантазіи... «Какіе писатели (англійскіе и нѣмецкіе) переведены нами и прочитаны?» спрашиваетъ г. А. М. Да, много еще не переведено, хотя, по времени, уже и очень много: В.-Скоттъ весь (худо ли, хорошо ли), Шиллеръ большею частію, Гофманъ также — право, пока довольно. Я не говорю уже о томъ, что здѣсь вопросъ состоитъ не столько во множествѣ переводовъ, сколько въ томъ участіи, съ какимъ они принимаются, и въ томъ вліяніи, какое они производятъ. Чтò же касается до того, что г. А. М. не читалъ англійскихъ и нѣмецкихъ поэтовъ,—мы въ этомъ нисколько не виноваты.

Обращаюсь опять къ странной мысли г. А. М., что русское общество познакомилось съ нѣмецкою и англійскою литературами чрезъ Французовъ. Не хочу толковать ему, что превосходные переводы Жуковского, внесшіе въ нашу литературу новый элементъ и новую жизнь, сдѣланы имъ съ подлинниковъ; а лучше постараюсь объяснить ему, что переводы переводамъ—рознь, а вотъ и фактъ, самый новый и самый свѣжій: Н. А. Полевой перевелъ «Гамлета» съ оригинала и перевелъ не буквально, а поэтически, творчески, и успѣхъ этого перевода былъ блистателенъ; вотъ другой: кто-то изъ безымянныхъ или безгласныхъ, вѣроятно, подстрекнутый этимъ успѣхомъ, перевелъ Шекспировыхъ «Merry Wives of

Windsor»— вотъ тѣхъ, что недавно такъ тихо упали на Петровскомъ театрѣ, несмотря на превосходную игру Щепкина, но перевелъ ихъ съ французскаго, съ гизотовскаго перевода: видите ли, вотъ и разница. Потомъ, Н. А. Полевой, зная, что театръ есть мѣсто для всѣхъ возрастовъ и половъ, выключилъ или изгладилъ, въ своемъ переводѣ, всѣ грубыя плоскости, свойственныя вѣку Шекспира; а неизвѣстный перелagатель «Виндзорскихъ Кумушекъ» не только тщательно сохранилъ и удержалъ, но еще щедрою рукою прибавилъ своихъ, расейскихъ. Первое ознакомленіе и сродненіе есть прямое, а второе черезъ посредничество (французскаго словаря): но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы всѣ наши поэты и литераторы знакомили русскую публику съ нѣмецкою и англійскою литературами по образцу переводчика «Кумушекъ». Вы какъ думаете, г. А. М?...

Далѣе г. А. М. совѣтуетъ мнѣ обратить вниманіе на цифры— на ввозъ иностранныхъ книгъ. Въ этомъ я не буду спорить съ г. А. М. Онъ правъ: французскіе романы и водевили составляютъ главный предметъ ввоза иностранныхъ книгъ; но я говорилъ въ моей статьѣ объ эстетическомъ чувствѣ, какъ выраженіи субстанции русскаго народа, а не о той маленькой частичкѣ его, которая предпочитаетъ всему на свѣтѣ французскую литературу, французскія моды и французскую кухню; и даже не о той, еще меньшей частичкѣ его, которая, почитывая французскія книжки и французскіе журналы, не только свысока произноситъ приговоры такимъ обыкновеннымъ вещамъ, какъ, напр., философія Гегеля, но даже и переводить съ французскаго языка Шекспира... Что у насъ, въ Россіи, точно такъ же, какъ и вездѣ, на Поль-де-Кока найдется больше читателей и почитателей, чѣмъ на Гёте,—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, да только изъ этого ровно ничего не слѣдуетъ, развѣ только то, что необразованныхъ людей вездѣ гораздо больше, нежели образованныхъ.

Говоря о ввозѣ книгъ, г. А. М. съ торжествомъ указы-

васть еще на преимущественное употребленіе французскаго языка передъ прочими. Опять не доказательство: французскій языкъ у насъ, какъ и вездѣ, былъ и будетъ во всеобщемъ употребленіи, преимущественно передъ прочими, — правда; но это потому, что онъ преимущественно передъ всѣми прочими нуженъ для жизни: его долженъ знать и свѣтскій человѣкъ, и негоціантъ, и конторщикъ, и путешественникъ. И поэтому, у насъ, въ Россіи, найдется очень много людей, которые не читали ни одного французскаго писателя, а хорошо говорятъ и пишутъ по-французски. Но въ воспитаніи, особенно у людей высшаго круга, теперь этотъ языкъ играетъ равную роль съ англійскимъ и нѣмецкимъ: всякій хорошо воспитанный высшаго общества молодой человѣкъ равно хорошо знаетъ всѣ эти языки и ихъ литературы. Кромѣ того, въ высшемъ кругу англійскій языкъ и въ жизни соперничествуетъ съ французскимъ: XVIII вѣкъ прошелъ и уже не воротится.

Наконецъ — слава Богу — конецъ! Но конецъ вѣнчается дѣломъ, говоритъ пословица, и г. А. М. славно увѣнчалъ свое дѣло: онъ сперва искажилъ мою мысль, а потомъ прехрабро напалъ на нее. Удивляюсь, какъ редакція «С. О.» и «С. П.» просмотрѣла это: вѣдь начало моей статьи напечатано было въ «Пчелѣ», такъ, кажется, за справкою не далеко было ходить. Впрочемъ — извините... виновать: я общался ничему не удивляться... Г. А. М. выдумалъ, что я сочиненія Державина называю мишурою, и говорить, что это «не мысли, а болѣзненное порожденіе головы». Не споримъ, что все это очень остроумно и забавно; но приписывать другому слова, которыхъ онъ не говорилъ — недобросовѣстно и невѣжливо — объ этомъ мы поспорили бы съ г. А. М. — Нѣтъ, не мишурою, а жертвою классицизма почитаемъ мы произведенія Державина — этого богатыря поэзіи, этого яркаго и могучаго явленія русской жизни. Но объ этомъ когда-нибудь, въ другое время, и побольше... Въ самомъ дѣлѣ, это такой предметъ, о которомъ можно много и хорошо поговорить, только не съ г. А. М.

3.

ЖУРНАЛЬНАЯ ЗАМѢТКА.

Коровкинъ (*продолжил читать*). „Какой-то судья Ляпкинъ-Тяпкинъ, ужасный мошенникъ“... (*останавливается*). Должно - быть французское слово.

Амосъ Федоровичъ. А чортъ его знаетъ, что оно значить. Еще хорошо, если только мошенникъ, а можетъ-быть и того еще хуже.

Ревизоръ, комедія Гоголя.

Въ нашей литературѣ, именно журнальной, и особенно петербургской, такъ много удивительнаго для насъ, москвичей, что мы уже потеряли способность удивляться. Напримѣръ, тамъ есть престранный обычай: разбранять московскій журналъ, или московскаго литератора, да и заключать желаніемъ, чтобы московская журналистика и московскіе литераторы оставили дурную привычку браниться... Это очень мило—не правда ли?

Въ 140 № «С. Пчелы» напечатана шумливая выходка противъ «Наблюдателя». Она подписана буквами **Θ. Б.**, этими буквами, которые такъ неожиданно слетѣли съ «Сына Отечества» вмѣстѣ съ «Сѣвернымъ Архивомъ». Поэтому имя **Θаддея Венедиктовича**, знаменитаго автора «**Выжигиныхъ**», насъ очень удивило, снова появившись въ «С. Пчелѣ». Но ничему не должно удивляться—

Чудесъ на сей землѣ разсѣяно безъ счету.
Да не вездѣ ихъ всякій припѣваетъ,

Главная нападка устремлена на «Наблюдателя» за употребленіе новыхъ и непонятныхъ для г. Булгарина словъ, каковы: конечность, призрачность, дѣйствительность, просвѣт-

лѣніе, субъективность, объективность. Г. Булгаринъ сперва замѣтилъ мимоходомъ, и очень остроумно, что при «Наблюдателѣ» апрѣльскія моды приложены къ мартовской книжкѣ. а мартовская книжка вышла въ маѣ; но такъ какъ обвиненіе и остроты по этому поводу стали ужъ слишкомъ однообразны и стары, то мы и не возражаемъ на нихъ, отдавая, впрочемъ, полную справедливость остроумію автора такого множества юмористическихъ статейъ и сатирическихъ романовъ. И такъ, г. Булгаринъ не понимаетъ словъ: прекраснодушіе, субъективность, объективность, конечность, призрачность, просвѣтлѣніе, дѣйствительность, и пр. Что онъ ихъ не понимаетъ—въ этомъ мы ему охотно вѣримъ: но чѣмъ же мы виноваты, что онъ не понимаетъ? Есть люди, которые находятъ для себя непонятными даже «Московскія Вѣдомости», самый доступный журналъ, а тѣ, которые никогда не учились читать, не понимаютъ ничего писаннаго и печатнаго. но они, вѣроятно, винять въ этомъ не писанное и печатное, а самихъ себя; если же они поступаютъ наоборотъ, то кладутъ на себя желтый шаръ въ лузу, говоря биллиарднымъ выраженіемъ одного извѣстнаго литератора. Г. Булгаринъ не понимаетъ, что такое внутреннее распаденіе и внутренняя разорванность, и мы нисколько не удивляемся, что онъ не понимаетъ этого. Слово есть выраженіе, выговариваніе чего-нибудь существующаго, какъ явленіе, и чтобы выговорить или назвать явленіе, надо имѣть это явленіе въ созерцаніи, чувственномъ или внутреннемъ, духовномъ. У кого есть во лбу два здоровые глаза, тотъ легко можетъ созерцать явленія, подлежащія чувственному созерцанію; чтобы созерцать явленія духа, для этого надо имѣть духъ, богатый явленіями. Мы не разъ уже повторяли, что сознать можно только существующее, и что существующее для одного есть часто призракъ для другаго. Отчего поэтовъ любить и не поэты, отчего одного поэта любить цѣлый народъ, а иногда и цѣлое человѣчество? Оттого, что въ духѣ такого поэта проис-

ходить всѣ явленія, которыя порознь происходят въ каждомъ изъ членовъ народа и человѣчества. Жизнь духа есть безконечная лѣстница, и каждый человѣкъ стоитъ на известной ступенькѣ этой великой лѣстницы. Распаденіе и разорванность есть моментъ духа человѣческаго, но отнюдь не каждого человѣка. Такъ точно и просвѣтлѣніе: оно есть удѣлъ очень немногихъ и даже въ самыхъ этихъ немногихъ является въ безконечно различныхъ степеняхъ. Царство духа подлѣжитъ тѣмъ же законамъ, какъ царство природы: и въ немъ есть и растенія, и полипы, и инфузоріи и, наконецъ, минералы. Чтобы понять значеніе словъ распаденіе, разорванность, просвѣтлѣніе, надо или пройти чрезъ эти моменты духа, или имѣть въ созерцаніи ихъ возможность. Кто же не проходилъ чрезъ нихъ и не имѣетъ въ созерцаніи ихъ возможности, тому нѣтъ никакой возможности растолковать ихъ.

Что такое конечный разсудокъ? спрашиваетъ г. Булгаринъ, сказавши сперва, что онъ понимаетъ нѣмецкую философію и глубоко уважаетъ ее. Что такое конечный разсудокъ? спрашиваетъ онъ—и рѣшаетъ этотъ вопросъ новымъ вопросомъ: «Не тотъ ли, что комаръ вынесъ на кончикъ своего носа, какъ говорится въ солдатскихъ поговоркахъ»? Вы угадали. Ѳаддей Вепедиктовичъ—именно тотъ самый. Всѣмъ извѣстно, что наши храбрые солдаты тоже понимаютъ нѣмецкую философію и глубоко уважаютъ ее.

Г. Булгаринъ очень вѣжливо, совершенно европейски называетъ насъ шарлатанами, которые коверкаютъ чужія мысли, чтобы прослыть учеными *). На это мы ничего не возражаемъ: это не нашъ языкъ. Еслибы г. Булгаринъ настоятельно потребовалъ отъ насъ объясненія на этотъ счетъ, то мы выставили бы, за себя, на диспутъ съ нимъ такихъ людей, ко-

*) Въ другомъ мѣстѣ своей статьи г. Булгаринъ, выписавъ изъ „Наблюдателя“ фразу, говорить: „Ей богу, это субъективная и объективная галиматья; отрицательный абсолютъ=0“. Не правда ли, что это образецъ журнальной и литературной вѣжливости?

которые не принадлежать къ литературному міру точно такъ же, какъ слова г. Булгарина не принадлежать къ литературному языку.

«Домашніе наши новомыслители, которыхъ дѣятельность начинается съ покойной «Мнемозины» и продолжается сквозь рядъ покойныхъ журналовъ въ нынѣшнемъ «Московскомъ Наблюдателѣ», безпрестанно придумываютъ новыя слова и выраженія, чтобъ выразить то, чего они сами не понимаютъ. Сперва они выѣзжали на чужеземныхъ выраженіяхъ: абсолютъ, субъективъ (?) и объективъ, и пр. Теперь они прибавили къ чужеземцинѣ множество русскихъ словъ, давъ простому ихъ значенію таинственный смыслъ. Любимыя ихъ слова теперь: конечность, призрачность, просвѣтлѣніе, дѣйствительность; но настоящій фаворитъ — призрачность». Такъ говорить г. Булгаринъ. Что все это остроумно и вѣжливо — въ этомъ нѣтъ сомнѣнія: г. Булгаринъ давно уже приобрѣлъ себѣ громкую извѣстность остроуміемъ и вѣжливостію своихъ журнальных статей; это было замѣчено еще г. Косичкинымъ по поводу одного петербургскаго литератора, у котораго мизинецъ заключалъ въ себѣ больше ума, нежели головы всѣхъ московскихъ литераторовъ. Что же касается до того, что г. Булгаринъ называетъ нашъ журналъ продолженіемъ «Мнемозины», то мы принимаемъ это обвиненіе за комплиментъ и чувствительно благодаримъ за него, если только г. Булгаринъ смотритъ на «Мнемозину» какъ на такой журналъ, предметомъ котораго было—искусство и знаніе. Что касается до субъектива, и объектива, то, на этотъ разъ, г. Булгаринъ самъ увлекся страстію нововведенія и выдумалъ два такихъ слова, которыхъ въ русской литературѣ никогда не было. Чтобы не повторять одного и того же, скажемъ однажды навсегда, что употребленіе новыхъ словъ безъ расчетливой осторожности точно можетъ повредить ихъ успѣху, и мы рѣшились употреблять ихъ не иначе, какъ съ объясненіемъ, и — пока они не утвердились — какъ можно меньше.

Но бѣда не велика, если вначалѣ было поступлено не такъ: всѣ ложныя, т. е. ненужныя слова уничтожатся сами собою, а удачно составленныя и придуманныя удержатся, несмотря на все остроуміе ожесточенныхъ гонителей всего новаго, оригинальнаго, всего выходящаго изъ рутинны посредственности, всего носящаго на себѣ характеръ самобытности и силы.

Когда М. Г. Павловъ, начавшій свое литературное поприще въ «Мнемозинѣ» и первый заговорившій въ ней о мысли и логикѣ — предметахъ, о которыхъ, до «Мнемозины», русскіе журналы не говорили ни слова, — когда М. Г. Павловъ началъ употреблять слово «проявленіе», то это слово сдѣлалось предметомъ общихъ насмѣшекъ, такъ что антагонисты почтеннаго профессора называли его, въ насмѣшку, «господиномъ, который употребляетъ слово проявленіе», а теперь всѣмъ кажется, что будто это слово всегда существовало въ русскомъ языкѣ.

Г. Булгаринъ сердится на насъ за то, что мы Пушкина называемъ великимъ поэтомъ: что дѣлать?—это наше мнѣніе, которое мы имѣемъ полное право выговаривать, и еще тѣмъ смѣлѣе, что оно утверждено цѣлымъ народомъ. Еще разъ просимъ извиненія у г. Булгарина въ нашей слабости любить и дорожить дарованіями, дѣлающими честь нашему отечеству. Пушкинъ, великій поэтъ, и поэтъ русскій, русскій и по душѣ и по крови. Мы, впрочемъ, понимаемъ, какъ трудно сойтись намъ съ г. Булгаринымъ во мнѣніи о Пушкинѣ, который, безъ сомнѣнія, и по очень понятной причинѣ, имѣетъ для насъ несравненно высшее значеніе, нежели Мицкевичъ.

Г. Булгаринъ сердится на насъ еще за то, что мы первымъ русскимъ прозаикомъ почитаемъ г. Гоголя; этого мало: мы почитаемъ его еще и великимъ поэтомъ. Конечно, это не можетъ быть пріятно г. Булгарину; но это не одному ему непріятно: за это на насъ многіе негодуютъ. Посредственность — вездѣ посредственность!

Въ нашемъ журналѣ про Пушкина было сказано, что въ

«Сказкѣ о Рыбакѣ и Рыбкѣ» онъ возвысился до совершенной объективности, а г. Булгаринъ говорить, будто мы сказали, что онъ возвысился тутъ до совершенной субъективности. Мы слишкомъ далеки отъ мысли, чтобы г. Булгаринъ съ умыслу замѣнилъ слово объективность словомъ субъективность. Нѣтъ! тысячу разъ нѣтъ! Онъ сдѣлалъ это совершенно добросовѣстно: въ отношеніи къ этимъ словамъ, онъ поступаетъ точно такъ же, какъ нашъ добрый простой народъ въ отношеніи къ европейцамъ: будь Итальянецъ, будь Англичанинъ, будь Испанецъ, а у него все Нѣмецъ! Увѣряемъ г. Булгарина, что мы нисколько не сердимся на него за это: добродушное незнаніе достолюбезно, но ничуть не обидно. Но вотъ противъ чего мы не можемъ не возразить: г. Булгарину показалось, будто мы подъ субъективноію разумѣемъ грубость, нехудожественную естественность или попросту мужиковатость, и что будто бы, по нашему мнѣнію, этими достоинствами отличается «Сказка о Рыбакѣ и Рыбкѣ» Пушкина. И это г. Булгаринъ вывелъ изъ того, что мы игру г. Ленскаго въ роли Хлестакова находимъ субъективною, и потому, отличающеюся не художественною естественностію и грубостію. Чтобы вывести г. Булгарина изъ заблужденія, поспѣшимъ растолковать ему, что значить субъективность. Субъектъ есть мыслящее существо (человѣкъ); объектъ — мыслимый предметъ. Чтобы мышленіе было вѣрно, надобно, чтобы понятіе субъекта объ объектѣ было тождественно съ объектомъ. Истинному познанию предметовъ намъ часто мѣшаетъ наша субъективность, вслѣдствіе которой мы, вмѣсто того, чтобы опредѣлить то значеніе, которое именно выражаетъ предметъ нашего сужденія, придаемъ ему наше значеніе и тѣмъ изъ предмета дѣлаемъ призракъ, т. е. совѣмъ не то, что онъ есть въ самомъ дѣлѣ, а то, чѣмъ онъ намъ кажется. Сквозь зеленые очки всѣ предметы кажутся зелеными. У души человѣка есть свои очки, которые снимаютъ съ нея знаніе и разумный опытъ жизни. Объяснимъ это примѣромъ. Христіян-

скіе народы отличаются терпимостію всѣхъ религій. Магометане ненавидятъ и преслѣдуютъ все, что не магометанство. Въ первомъ случаѣ видно умѣніе перенестись въ чуждую сферу и понять чуждое себѣ явленіе—это объективность; во второмъ случаѣ видна чистая субъективность. Но вотъ прижѣръ еще ближе къ дѣлу. Шиллеръ былъ субъективенъ въ своихъ первыхъ произведеніяхъ; онъ изображалъ въ нихъ людей не такими, каковы они суть и какими, слѣдовательно, должны быть; но такими, какими они ему представлялись. или какими онъ хотѣлъ, чтобъ они были. Но субъективность отнюдь не есть мужиковатость, хотя и можетъ быть мужиковатостію по свойству субъекта: это мы сейчасъ докажемъ. Шиллеръ великъ въ самой своей субъективности, потому что его субъективность есть субъективность генія. Онъ создалъ себѣ идеалъ человѣка и осуществилъ его въ маркизѣ Позѣ. Теперь, въ противоположность Шиллеру, возьмемъ васъ, почтеннѣйшій Ѡадей Венедиктовичъ: въ безподобномъ романѣ своемъ «Иванъ Выжигинъ» вы изобразили Вороватиныхъ и Ножатиныхъ, истинныхъ негодяевъ и изверговъ, но вы ихъ и называете негодяями и извергами — это объективное изображеніе. Но вы же въ своемъ Иванѣ Выжигинѣ были творцомъ чисто субъективнымъ, потому что силились выразить въ немъ вашъ идеалъ человѣка. Конечно, вашъ Выжигинъ — человѣкъ очень добрый и почтенный, но далеко не идеалъ человѣка.

Потомъ г. Булгаринъ грозно обвиняетъ насъ въ несправедливомъ отзывѣ о петербургскихъ артистахъ—гг. Каратыгинѣ и Сосницкомъ. Не хотимъ повторять безъ нужды уже сказаннаго нами объ этихъ артистахъ, а скажемъ только, что на этотъ разъ г. Булгаринъ вполнѣ насъ понялъ и вполнѣ развилъ мысль, слегка нами высказанную. Намъ остается только благодарить его за это.

Что Скрибъ выше Гюго и Ламартина — это наша мысль, и мы снова повторяемъ ее; но Ламартина, вмѣстѣ съ Шато-

бріаномъ, мы относимъ къ школѣ идеальныхъ, а не неистовыхъ поэтовъ юной Франціи: къ неистовымъ принадлежать Гюго, Дюма, Бальзакъ, и пр.

Г. Булгаринъ обвиняетъ насъ за помѣщеніе повѣсти «Однѣ сутки изъ жизни стараго холостяка». Повѣсть ему не нравится, а намъ очень нравится, безъ чего мы, разумѣется, и не помѣстили бы ее. О вкусахъ спорить трудно, особенно тамъ, гдѣ вкусы діаметрально противоположны. Намъ самимъ не нравится многое, что восхищаетъ г. Булгарина, и мы очень понимаемъ возможность ошибки съ нашей стороны. Не всѣ обладаютъ критическимъ талантомъ г. Косичкина, который умѣлъ помирить двухъ враговъ и соперниковъ, отдавши каждому должное—у одного похваливши элементъ философскій, а у другаго—поэтическій.

«Какъ милости, просимъ у «Московского Наблюдателя» परिцать и объявлять дурнымъ, негоднымъ все, что мы ни напишемъ, и за это обѣщаемъ примѣрную благодарность. Еслибъ насъ похвалили въ «Московскомъ Наблюдателѣ», тогда мы сокрушили бы перо свое и, произнося съ сокрушеннымъ сердцемъ: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa (латынское выраженіе — по-французски оно значитъ pardon, по-польски *padam do nog*, а по-русски—впередъ не буду), на вѣки бы замолчали».

У страха глаза велики, говоритъ русская пословица. Нѣтъ, г. Булгаринъ, не бойтесь и пишите на здоровье: даемъ вамъ слово не бранить ничего, что вы напишете. И зачѣмъ это и къ чему это? Всякій писатель оканчиваетъ свое поприще тѣмъ, что его перестаютъ наконецъ бранить, потому что всѣ убѣждаются, что или онъ точно великъ, или лучше не будетъ и писать не перестанетъ. Что же до того, чтобы хвалить васъ... если только вы сдержите ваше обѣщаніе... намъ такъ хотѣлось бы оказать русской литературѣ такую великую услугу... обольщеніе велико—но—пишите, пишите, г. Булгаринъ, а у насъ нѣтъ силъ на такой подвигъ!...

«Послѣ этого, милости просимъ вѣрить журнальнымъ сужденіямъ, объявленіямъ и декламаціямъ! Послѣ этого просимъ гнѣваться на публику за то, что она не поддерживала и не поддерживаетъ журналовъ, издававшихся и издающихся въ духѣ «Московского Наблюдателя». На это мы замѣтимъ только то, что «Сынъ Отечества» издавался совсѣмъ не въ духѣ «Московского Наблюдателя», а между тѣмъ публика такъ слабо поддерживала его, что нуженъ былъ московскій литераторъ, чтобы спасти этотъ журналъ отъ смерти, и еще нужно было изъ двухъ журналовъ сдѣлать одинъ и исключить имя одного изъ двухъ редакторовъ.

«Въ заключеніе, просимъ всѣхъ любителей русской словесности читать «Московскій Наблюдатель», потому что это лучшее средство для оцѣнки литераторовъ, принадлежащихъ къ двумъ литературнымъ мнѣніямъ». Странное заключеніе! какъ противорѣчить оно духу и содержанію всей статьи!

IV.

ТЕАТРЪ.

ГАМЛЕТЪ, ДРАМА ШЕКСПИРА,

и

МОЧАЛОВЪ ВЪ РОЛИ ГАМЛЕТА.

Несмотря на множество фактовъ, доказывающихъ, что эстетическое образованіе нашего общества есть не болѣе, какъ мода, привычка, или обычай, и то не свой, а заимствованный духомъ подражательности изъ чуждаго источника; несмотря на то, у насъ иногда промелькиваютъ явленія, заставляющія приудержать:я рѣшительнымъ приговоромъ на этотъ предметъ и самымъ положительнымъ образомъ убѣждающія въ этой истинѣ, что темная атмосфера нашей эстетической жизни освѣщалась, хотя и изрѣдка, самыми яркими проблесками дарованій, и что въ нашемъ обществѣ есть всѣ элементы, а слѣдовательно, и живая потребность изящнаго. Стоитъ только заглянуть въ исторію нашей письменности: посмотрите, какъ слабо привился къ свѣжему и мощному русскому духу гнилой и безсильный французскій классицизмъ: едва Пушкинъ, предшествуемый Жуковскимъ, растолковалъ намъ тайну поэзіи, едва наши журналы открыли намъ литературную Германію и Англію и—гдѣ нашъ классицизмъ, гдѣ наши дюжинныя поэмы, гдѣ протяжный вой, мишурная мантия и деревянный кинжалъ Мельпомены! Посмотрите, напротивъ, въ какое короткое время и какъ тѣсно сроднились съ русскимъ духомъ живыя вдохновенія Германіи и Англіи; по-

смотрите, какую всеобщность, какую народность приобрѣли роскошныя и полныя юной и дѣвственной жизни созданія Пушкина еще при самомъ появленіи его на поэтическое поприще, еще во время полного владычества бездушнаго французскаго классицизма и нелѣпой французской теоріи искусства! Этого мало: ежели на свѣжую русскую жизнь не имѣлъ почти никакого вліянія гнилой французскій классицизмъ, то еще менѣе имѣлъ на нее вліянія лихорадочный, пьяный французскій романтизмъ. Посмотрите только, увлекся ли кто-нибудь изъ нашихъ талантливыхъ, уважаемыхъ публикою писателей, этими неестественными, но произведенными хмѣлемъ и безумствомъ конвульсіями такъ называемой, Богъ знаетъ почему, юной, но въ самомъ-то дѣлѣ той же дряхлой, но только на новый ладъ, французской литературы? Кто ей подражалъ? литературные подрядчики, чернь литературная — больше никто! Не показываетъ ли все это вѣрнаго эстетическаго чувства въ нашемъ юномъ обществѣ? Можетъ-быть, намъ укажутъ, въ опроверженіе, на незаслуженное равнодушіе со стороны нашего общества къ созданіямъ Державина, Озерова, Батюшкова: несмотря на все наше желаніе защититься противъ этого довода, мы не будемъ входить ни въ какія подробности, потому-что онѣ могли бы слишкомъ далеко завести насъ, а скажемъ только то, что если геній или талантъ и точно были достояніемъ этихъ поэтовъ, то общество все-таки имѣло свое право на равнодушіе къ нимъ, потому что, въ союзѣ со временемъ, оно есть самый непогрѣшительный критикъ, и если оно часто принимаетъ мишуру за чистое золото, то не больше какъ на минуту.

Все, что мы сказали, клонится къ оправданію нашей публики въ несправедливомъ обвиненіи въ ея будто бы холодности къ изящному вообще и къ отечественной литературѣ въ особенности. Со дня на день новые факты заставляютъ отнести эти обвиненія къ числу тѣхъ запоздалыхъ предубѣжденій, которыя повторяются по привычкѣ, какъ общія мѣста,

и, подобно всѣмъ общимъ мѣстамъ, не имѣютъ никакого смысла. Къ числу этихъ утѣшительныхъ фактовъ, которыми особенно богато настоящее время, принадлежитъ представленіе на московской сценѣ Шекспирова Гамлета.

Уже болѣе года, какъ играется эта пѣса на московской сценѣ, и какъ самый переводъ ея напечатанъ, слѣдовательно, всѣ впечатлѣнія теперь—уже только воспоминаніе, всѣ сужденія и толки—уже одно общее мнѣніе, разумѣется, рѣшенное большинствомъ голосовъ, и потому теперь намъ должно быть не органомъ одной минуты восторга, но спокойнымъ историкомъ литературнаго событія, важнаго по самому себѣ и по своимъ слѣдствіямъ, и поэтому сосредоточеннаго на одной идеѣ и представляющаго какъ бы нѣчто цѣлое и характеристическое. Мы поговоримъ и о самой пѣсѣ, и объ игрѣ Мочалова, и о переводѣ; но публика будетъ главнѣйшимъ вопросомъ нашего разсужденія.

Гамлетъ!... понимаете ли вы значеніе этого слова — оно велико и глубоко: это жизнь человѣческая, это человѣкъ, это вы, это я, это каждый изъ насъ, болѣе или менѣе, въ высокомъ или смѣшномъ, но всегда въ жалкомъ и грустномъ смыслѣ... Потомъ, Гамлетъ—этотъ блистательнѣйшій алмазь въ лучезарной коронѣ царя драматическихъ поэтовъ, увѣнчаннаго цѣлымъ человѣчествомъ и ни прежде, ни послѣ себя не имѣющаго себѣ соперника—Гамлетъ Шекспира на московской сценѣ!... Что это такое? спекуляція на мировое имя, жалкая самонадѣянность, слѣпое обольщеніе самолюбія, долженствовавшее въ наказаніе лишиться восковыхъ крыль своихъ отъ палящаго сіянія солнца, къ которому оно такъ легкомысленно осмѣлилось приблизиться?... Гамлетъ—Мочаловъ. Мочаловъ, этотъ актёръ, съ его, конечно, прекраснымъ лицомъ, благородною и живою фizioномією, гибкимъ и гармоническимъ голосомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, и небольшимъ ростомъ, неграціозными манерами и часто пѣвучею дикцією; актёръ, конечно, съ большимъ талантомъ, съ минутами вы-

сокаго вдохновенія, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, никогда и ни одной роли не выполнившій вполнѣ и не выдержавшій въ цѣломъ ни одного характера: сверхъ того, актёръ съ талантомъ одностороннимъ, назначеннымъ исключительно для ролей только пламенныхъ и изступленныхъ, но не глубокихъ и многозначительныхъ—и этотъ Мочаловъ хочетъ выйти на сцену въ роли Гамлета, въ роли глубокой, сосредоточенной, меланхолически-желчной и безконечной въ своемъ значеніи... Что это такое? добродушная и невинная бенефициантская продѣлка?... Такъ, или почти такъ думала публика и чуть ли не такъ думали и мы, пишущіе теперь эти строки подъ влияніемъ тѣхъ могущественныхъ впечатлѣній, которыя, поразивши однажды душу человѣка, никогда не изглаживаются въ ней, и которыя привести на память значить снова возобновить ихъ въ душѣ со всею роскошью и со всею свѣжестью ихъ сладостныхъ потрясеній... Мы надѣялись насладиться двумя-тремя проблесками истиннаго чувства, двумя-тремя проблесками высокаго вдохновенія, но въ цѣлой роли думали увидѣть пародію на Гамлета и—обманулись въ своемъ предположеніи: въ игрѣ Мочалова мы увидѣли если не полного и совершеннаго Гамлета, то потому только, что въ превосходной вообще игрѣ у него осталось нѣсколько невыдержанныхъ мѣстъ; но онъ бросилъ въ глазахъ нашихъ новый свѣтъ на это созданіе Шекспира и далъ намъ надежду увидѣть настоящаго Гамлета, выдержаннаго отъ перваго до послѣдняго слова роли.

Нельзя говорить объ игрѣ актёра, не сказавши ничего о піесѣ, въ которой онъ игралъ, тѣмъ болѣе, если эта піеса есть великое произведеніе творческаго генія, а между тѣмъ инымъ извѣстна только по наслышкѣ, а инымъ и вовсе неизвѣстна. И такъ, мы сперва поговоримъ о самомъ «Гамлетѣ» и изложимъ его содержаніе, потомъ отдадимъ отчетъ въ игрѣ Мочалова, а въ заключеніе скажемъ наше мнѣніе о переводѣ Полеваго.

Кому не извѣстно, хотя по наслышкѣ, имя Шекспира, одно

изъ тѣхъ міровыхъ именъ, которыя принадлежать цѣлому человечеству? Слишкомъ было бы смѣло и странно отдать Шекспиру рѣшительное преимущество предъ всѣми поэтами человечества, какъ собственно поэту, но, какъ драматургъ, онъ и теперь остается безъ соперника, имя котораго можно было поставить подлѣ его имени. Обладая даромъ творчества въ высшей степени и одаренный мірообъемлющимъ умомъ, онъ въ то же время обладаетъ и этою объективною геніа, которая сдѣлала его драматургомъ по преимуществу и которая состоитъ въ этой способности понимать предметы такъ, какъ они есть, отдѣльно отъ своей личности, переселяться въ нихъ и жить ихъ жизнью. Для Шекспира нѣтъ ни добра, ни зла; для него существуетъ только жизнь, которую онъ спокойно созерцаетъ и сознаетъ въ своихъ созданіяхъ, ничѣмъ не увлекаясь, ничему не отдавая преимущества. И если у него злодѣй представляется палачемъ самого себя, то это не для назидательности и не по ненависти ко злу, а потому, что это такъ бываетъ въ дѣйствительности, по вѣчному закону разума, вслѣдствіе котораго кто добровольно отвергся отъ любви и свѣта, тотъ живетъ въ удушливой, мучительной атмосферѣ тьмы и ненависти. И если у него добрый въ самомъ страданіи находитъ какую-то точку опоры, что-то такое, что выше и счастія и бѣдствія, то опять не для назидательности и не по пристрастію къ доброму, а потому, что это такъ бываетъ въ дѣйствительности, по вѣчному закону разума, вслѣдствіе котораго любовь и свѣтъ есть естественная атмосфера человѣка, въ которой ему легко и свободно дышать даже и подъ тяжкимъ гнетомъ судьбы. Впрочемъ, эта объективность совсѣмъ не есть безстрастіе: безстрастіе разрушаетъ поэзію, а Шекспиръ великій поэтъ. Онъ только не жертвуетъ дѣйствительностію своимъ любимымъ идеямъ, но его грустный, иногда болѣзненный взглядъ на жизнь доказываетъ, что онъ дорогою цѣною искупилъ истину своихъ изображеній.

Есть два рода людей: одни прозябаютъ, другіе живутъ. Для первыхъ жизнь есть сонъ, и если этотъ сонъ видится имъ на мягкой и теплой постели, они удовлетворены вполне. Для другихъ же, людей собственно, жизнь есть подвигъ, выполнение котораго, безъ противорѣчія съ благопріятностію внѣшнихъ обстоятельствъ, есть блаженство; а при условіи добровольныхъ лишеній и страданій, должно быть блаженствомъ и точно есть блаженство, но только тогда, когда человѣкъ, уничтоживъ свое я во внутреннемъ созерцаніи или сознаніи абсолютной жизни, снова обрѣтаетъ его въ ней. Но для этого внутренняго просвѣтленія нужно много борьбы, много страданія, и для него много званыхъ, но мало избранныхъ. Для всякаго человѣка есть эпоха младенчества, или этой бессознательной гармоніи его духа съ природою, вслѣдствіе которой для него жизнь есть блаженство, хотя онъ и не сознаетъ этого блаженства. За младенчествомъ слѣдуетъ юношество, какъ переходъ въ возмужалость: этотъ переходъ всегда бываетъ эпохою распада, дисгармоніи, слѣд., грѣха. Человѣкъ уже не удовлетворяется естественнымъ сознаніемъ и простымъ чувствомъ: онъ хочетъ знать; а такъ какъ до удовлетворительнаго знанія ему должно перейти черезъ тысячи заблужденій, нужно бороться съ самимъ собою, то онъ и падаетъ. Это непреложный законъ какъ для человѣка, такъ и для человечества. Для человѣка, эта эпоха настаетъ двоякимъ образомъ: для одного она начинается сама собою, вслѣдствіе избытка и глубины внутренней жизни, требующей знанія во что бы то ни стало — вотъ Фаустъ; для другаго, она ускоряется какою-нибудь внѣшними обстоятельствами, хотя ея причина и заключается не во внѣшнихъ обстоятельствахъ, а въ духѣ самаго этого человѣка — вотъ Гамлетъ. Для жизни законы одни, но проявленія ихъ безконечно различны: распадъ Гамлета выразился слабостію воли при сознаніи долга. И такъ, «слабость воли при сознаніи долга» — вотъ идея этого гигантскаго созданія Шекспира, — идея, впервые высказанная

Гёте въ его «Вильгельмъ Мейстеръ» и теперь сдѣлавшаяся какимъ-то общимъ мѣстомъ, которое всякій повторяетъ по своему. Но Гамлетъ выходитъ изъ своей борьбы, т. е. побѣждаетъ слабость своей воли, слѣд., эта слабость воли есть не основная идея, но только проявленіе другой болѣе общей и болѣе глубокой идеи,—идея распадѣнія, вслѣдствіе сомнѣнія, которое, въ свою очередь, есть слѣдствіе выхода изъ естественнаго сознанія. Все это мы объяснимъ подробнѣе; для чего и спѣшимъ перейти къ изложенію содержанія и хода всей пьесы.

Въ Даніи жилъ когда-то доблестный король Гамлетъ съ женою своею Гертрудою, которую онъ любилъ страстно и которою самъ былъ любимъ страстно. Кромѣ жены, у него былъ сынъ, принцъ Гамлетъ, и братъ Клавдій. Вдругъ этотъ король умираетъ скоростижно, а братъ его, Клавдій дѣлается королемъ и, еще не давши пройти и двумъ мѣсяцамъ послѣ братниной смерти, женится на его вдовѣ, своей невѣсткѣ. Сынъ покойнаго короля, юный принцъ Гамлетъ, долго учился въ Виртембергѣ, «въ этихъ германскихъ университетахъ, гдѣ уже метафизика доискивалась до начала вещей, гдѣ уже жили въ мірѣ идеальномъ, гдѣ уже мечтательность доводила человѣка до внутренней жизни. Настроенный такимъ образомъ, онъ возвращается ко двору, грубому и развратному въ своихъ удовольствіяхъ, и дѣлается свидѣтелемъ смерти своего отца и скорого забвенія, которое бываетъ удѣломъ умершихъ» *). Онъ обожалъ покойнаго короля, какъ отца, какъ человѣка, какъ героя—и глубоко былъ оскорбленъ соблазнительнымъ поведеніемъ своей матери. Вѣра въ человѣческое достоинство въ немъ поколеблена, лучшія мечты его о благѣ разрушены. Если мы къ этому прибавимъ еще то, что онъ любитъ Офелію, дочь министра Полонія, то читатель нашъ будетъ совершенно на той точкѣ, отъ которой отправ-

*) Гизо въ предисловіи къ „Гамлету“.

ляется дѣйствіе драмы. Друзья Гамлета, Бернардо, Франциско, Марцеллій и Гораціо, стоя на стражѣ у галлерей королевскаго замка, видятъ тѣнь покойнаго короля и, условившись рассказать объ этомъ Гамлету, расходятся. Вотъ въ чемъ состоитъ первая сцена перваго акта. Во второй сценѣ является король, королева, Гамлетъ, Полоній, Лаертъ и другіе придворные. Король въ хитросплетенной рѣчи благодаритъ придворныхъ за то, что они одобрили его бракъ; потомъ посылаетъ двухъ придворныхъ послами къ норвежскому королю для переговоровъ. Наконецъ соглашается на просьбу Лаерта, сына Полонія, возвратиться во Францію, откуда онъ прѣхалъ на коронацію. Рѣшивши все это, король, вмѣстѣ съ королевою, проситъ Гамлета перестать печалиться о потерѣ отца и не ѣхать въ Виртембергъ, а остаться въ Даніи. Гамлетъ отвѣчаетъ имъ коротко и отрывочно съ грустною ироніею; обѣщаетъ исполнить ихъ просьбу. Всѣ уходятъ, онъ остается одинъ.

Изъ монолога: «Для чего ты не растаешь, ты не распадешься прахомъ», и разговора съ вошедшими затѣмъ Гораціо и Марцелло вы уже видите состояніе души Гамлета: она глубоко уязвлена ядовитою стрѣлою; слова его отзываются желчью, негодованіе высказывается въ сарказмахъ. Чтò жъ почувствовалъ Гамлетъ, когда Гораціо объявилъ ему о чудномъ явленіи тѣни отца его? Онъ рѣшается провести съ ними ночь на стражѣ, и прося ихъ о молчаніи, отпускаетъ.

Третье явленіе перваго дѣйствія происходитъ въ домѣ Полонія. Лаертъ, отправляясь во Францію, прощается съ Офеліею и совѣтуетъ остерегаться Гамлета и смотрѣть на его любовь, какъ на пустое увлеченіе. Входитъ Полоній и даетъ Лаерту свои послѣдніе совѣты, въ которыхъ виденъ вельможа и пошлый человѣкъ, который ни о чемъ не имѣетъ понятія, а между тѣмъ думаетъ о себѣ, что онъ очень уменъ и глубоко проникъ въ жизнь, потому только, что много прожилъ на бѣломъ свѣтѣ, то есть больше другихъ успѣлъ надѣлать глупостей.

Выслушавши съ должнѣмъ уваженіемъ родительскія наставленія, Лаертъ уходитъ, сказавши сестрѣ:

Прощай, Офелія, и помни мой совѣтъ.

—
Я заперла его на сердцѣ—ключъ
Возьми съ собою, Лаертъ—

отвѣчаетъ ему Офелія. Полоній привязывается къ ея словамъ и требуетъ у нея отчета въ ея отношеніяхъ къ Гамлету. Даетъ ей благоразумные совѣты, увѣряетъ ее, что Гамлетъ дурачится, «что ему, какъ принцу, извинительно», но къ ней вовсе не идетъ. Наконецъ запрещаетъ ей принимать отъ него письма и подарки и велитъ доносить себѣ о, всякомъ его поступкѣ съ нею: любящая дѣвушка дѣлается покорною дочерью и общается въ точности исполнять приказанія своего батюшки.

Четвертая сцена перваго дѣйствія происходитъ на террасѣ передъ замкомъ. Гамлетъ является съ Гораціо и Марцелліемъ. Раздается отдаленный звукъ трубъ.—Что это такое?—спрашиваетъ Гораціо. Гамлетъ отвѣчаетъ:

Что? веселый пиръ
Великаго влестителя, и каждый разъ,
Какъ онъ стаканъ вина подноситъ ко рту,
Звукъ трубный возвѣщаетъ свѣту подвигъ
Героя-короля.

Наконецъ является тѣнь. Гамлетъ обращается къ ней съ монологомъ, слишкомъ длиннымъ для его положенія и много риторическимъ; но это не вина ни Шекспира, ни Гамлета: это болѣзнь XVI вѣка, характеръ котораго, какъ говоритъ Гизо, составляла гордость отъ множества познаній, недавно прибрѣтенныхъ, расточительность въ разсужденіяхъ и неуемность въ умствованіяхъ. Онъ же справедливо замѣчаетъ, что Лаертъ самую искреннюю горестъ о потерѣ отца и сестры выражаетъ самою надутою риторикою, а мужикъ, копающій могилу, играетъ роль философа своей деревеньки.

Тѣнь манитъ за собою Гамлета, который, въ своемъ изступленіи, слѣдуетъ за нею, отвѣтивъ угрозами на представленія друзей, пытавшихся удержать его. Гораціо и Марцеллій, подумавъ нѣсколько, рѣшаются слѣдовать за нимъ. Тѣнь и Гамлетъ снова являются на сценѣ; тѣнь рассказываетъ Гамлету о своей смерти, и ея рассказъ проникнуть лирическою цвѣтистостію языка и истинною шекспировскою поэзіею. Гамлетъ узнаетъ, что его отецъ отравленъ своимъ братомъ, а его дядею, теперешнимъ королемъ, мужемъ его матери, который, въ то время, какъ король спалъ въ саду, влилъ ему въ ухо ядъ, отъ котораго онъ и умеръ въ страшныхъ мукахъ; а такъ какъ эта внезапная смерть застигла его въ грѣхахъ, не приготовившагося покаяніемъ, то онъ и осужденъ днемъ горѣть въ адскомъ огнѣ, а ночью блуждать по землѣ, доколѣ его убійца не будетъ наказанъ. Тѣнь исчезаетъ; Гамлетъ остается одинъ. За сценою раздаются голоса Гораціо и Марцеллія, которые въ безпокойствѣ ищутъ Гамлета.

Теперь поймите положеніе Гамлета. Эта душа, рожденная для добра и еще въ первый разъ увидѣвшая зло во всей его гнусности, и какое зло? и надъ кѣмъ совершившееся?—надъ героемъ, великимъ человѣкомъ, представителемъ добра, отцомъ его, этого Гамлета!... И отъ кого узналъ онъ объ этомъ? — отъ самой тѣни своего отца, столь глубоко имъ любимаго, столь ужасно погибшаго. Не обращайтесь вниманія на сверхъестественное посредство умершаго человѣка: не въ томъ дѣло, дѣло въ томъ, что Гамлетъ узналъ о смерти своего отца, а какимъ образомъ—вамъ нѣтъ нужды. Но вмѣсто этого, разверните драму и подивитесь, какъ поэтъ умѣлъ воспользоваться даже этимъ «чудеснымъ», чтобы развернуть во всемъ блескѣ свой драматическій геній: его тѣнь жива; въ ея словахъ отзывается боль страждущаго тѣла и страждущаго духа... О, какая высокая драма: какая истина въ положеніи! Въ разговорѣ съ тѣнью, каждое слово Гамлета проникнуто любовію къ отцу, безконечно-глубокою, безконечно-

страждущею. Въ разговорѣ съ Горацио и Марцелліемъ, по уходѣ тѣни, каждое слово Гамлета есть острая стрѣла, облитая ядомъ, въ каждомъ выраженіи его отзывается и мучительное бѣшенство противъ злодѣйства и мучительная горестъ отъ того, что оно совершилось. Жребій брошенъ: само Провидѣніе избираетъ его мстителемъ—и онъ клянется мстить. страшно мстить, но это только порывъ... Погоди, Гамлетъ, ты любишь добро, ненавидишь зло, ты сынъ, но ты и человѣкъ...

Въ головѣ его мгновенно промелькнулъ планъ. Онъ закликаетъ своихъ друзей хранить молчаніе, что бы онъ ни дѣлалъ, глубокое молчаніе даже и тогда, еслибъ ему вздумалось прикинуться сумасшедшимъ. Три раза заставляетъ онъ ихъ клясться въ молчаніи на своемъ мечѣ? и три раза раздается изъ-подъ земли гробовой голосъ тѣни «клянитесь!» наконецъ клятва взята, и Гамлетъ уходитъ съ своими друзьями; послѣднія слова его:

Преступленье

Проклятое! Зачѣмъ рожденъ я наказать тебя!

въ переводѣ г. Вронченко, кажется, ближе выражаютъ смыслъ подлинника

Нашъ вѣкъ разстроенъ; о несчастный жребій!
Зачѣмъ же я рожденъ его исправить!

Слышите ли: «Зачѣмъ же я рожденъ его исправить?» Видите ли: онъ понялъ, что мщеніе его святой долгъ, котораго онъ, безъ презрѣнія къ себѣ, не могъ бы не выполнить; онъ даже рѣшился на мщеніе и, повидимому, рѣшился твердо, даже съ какою-то дикою радостію; но въ то же время, онъ падаетъ подъ тяжестію собственнаго рѣшенія. Въ этихъ словахъ: «Зачѣмъ же я рожденъ его исправить?» заключена основная мысль цѣлой драмы. Всеобъемлющій умъ Гёте первый замѣтилъ это: гений понялъ генія.

Первое явленіе втораго дѣйствія открывается Полоніемъ, который отпускаетъ во Францію служителя для надзора за Лаертомъ и даетъ ему подробную инструкцію, по которой онъ долженъ дѣйствовать, чтобы развѣдать о поведеніи его сына. Въ этой инструкціи высказывается весь характеръ Полонія, составленный изъ хитрости и благоразумія; обнаруживается его взглядъ на нравственность, какъ на понятіе чисто условное.

Вдругъ входитъ Офелія, вся встревоженная, и на вопросъ Полонія о причинѣ ея волненія, рассказываетъ о странномъ появленіи Гамлета въ ея комнату.

«Довольно!» говоритъ Полоній,

Скорѣ къ королю. Безумство это,
Любовное безумство—понимаю!
Любовь всего скорѣ съ ума насъ сводить.
Жаль, очень жаль мнѣ принца! Вѣрно,
Ты грубо отвѣчала на его любовь?

о ф е л і я.

Нѣтъ, только слѣдуя приказу,
Я писемъ отъ него не принимала больше,
И запретила видѣться со мною.

п о л о н і й.

Вотъ онъ и одурѣлъ отъ этого! Какъ жаль,
Что поступилъ я слишкомъ скоро, строго;
Да вѣдь я думалъ, что онъ шутить! Могъ-ли
Предвидѣть слѣдствія?—поторопиться—глупо!
Все недовѣрчивость проклятая причиной—
Мы старики упрямь.

Погоди, Полоній: это еще не послѣдній твой промахъ: придетъ время и еще не такъ промахнешься, со всѣмъ твоимъ благоразуміемъ, со всѣмъ твоимъ знаніемъ жизни, которыми ты такъ тщеславишься. Ты много жилъ на свѣтѣ, и твоя опытность такъ же велика, какъ длинна твоя сѣдая борода; но ты еще многого не знаешь, старый ребенокъ! Ты ловко

умѣешь править своею утлою ладьею на грязномъ болотѣ мелочныхъ интересовъ внѣшней жизни; ты знаешь, какъ провести за носъ и недруга и друга, когда это тебѣ нужно; ты умѣешь кланяться низко и говорить сладко передъ сильнѣйшими тебя; держать себя достойно и прилично передъ равными себѣ, и снисходительно и ласково уничтожать своимъ мишурнымъ величіемъ низшихъ себя; но скоро горестнымъ опытомъ увѣришься ты, что ты ничего не зналъ, ничего не понималъ, и твоя опытная мудрость, твое извѣданное благо-разуміе и осторожность не только не спасутъ тебя отъ роковой минуты, но еще помогутъ тебѣ сдѣлать неизбежное *salto mortale*.

Да, бѣдный Полоній, твоя собственная дочь и Гамлетъ скоро растолкуютъ тебѣ все это, хотя и бесполезно и поздно для тебя, старый ребенокъ, глупый умникъ...

Во второмъ явленіи второго акта, король и королева просятъ двухъ придворныхъ, бывшихъ товарищей по ученію и друзей Гамлета, Розенкранца и Гильденштерна, разсѣять грусть молодого принца. Гильденштернъ и Розенкранцъ обѣщаютъ употребить всѣ свои силы вывѣдать причину его грусти и разсѣять ее. Входитъ Полоній и объявляетъ королю двѣ новости: первую, что Вольтимандъ и Корнелій, отправленные послами къ норвежскому королю, дядѣ молодого Фортинбраса, возвратились съ успѣхомъ, и вторую, что онъ, Полоній, отъ прозорливости котораго ничто въ мірѣ не можетъ укрыться, открылъ причину Гамлетова разстройства, которую и объявить ему, когда онъ отпуститъ пословъ. По отпускѣ пословъ, начинается сцена, въ которой особенно выражается весь характеръ Полонія. Онъ предлагаетъ королю устроить встрѣчу Гамлета съ своею дочерью и подслушать его разговоръ съ нею. Король и королева соглашаются и уходятъ. Полоній идетъ навстрѣчу Гамлету и заводитъ съ нимъ разговоръ, изъ котораго, увы, ничего не узнаетъ положительнаго, и только еще болѣе увѣряется въ пріятной для его

самодлюбія мысли, что Гамлетъ по уши влюбленъ въ его дочь. Это одна изъ превосходнѣйшихъ сценъ. Гамлетъ притворяется сумасшедшимъ и ловко сбиваетъ съ толку Полонія своими неожиданными отвѣтами, проникнутыми желчною ироніею, грустію и презрѣніемъ къ Полонію, котораго онъ глубоко понимаетъ. «Принцъ, позвольте взять смѣлость проститься съ вами», говоритъ наконецъ Полоній. «Изъ всего, что вы можете взять у меня, ничего не уступлю я вамъ такъ охотно, какъ жизнь мою, жизнь мою, жизнь мою», отвѣчаетъ Гамлетъ: о, видно эта жизнь сдѣлалась для него ужъ слишкомъ тяжелою ношею!...

За этимъ начинается другая превосходнѣйшая сцена: разговоръ Гамлета съ Гильденштерномъ и Розенкранцемъ. Гамлетъ продолжаетъ представлять изъ себя помѣшаннаго и злобно дурачить этихъ двухъ пошляковъ своими неожиданными, лукавыми и желчными отвѣтами и вопросами; наконецъ заставляетъ признаться, что они подосланы къ нему королемъ и королевою. Изобличенные и одураченные, они сворачиваютъ рѣчь на комедіантовъ, только что прибывшихъ ко двору.

Входятъ комедіанты; главный изъ нихъ, по вызову Гамлета, читаетъ монологъ изъ плохой трагедіи, въ которомъ надутыми стихами описывается неистовство Пирра и бѣдствіе Гекубы. Гамлетъ спрашиваетъ главнаго комедіанта, можетъ ли онъ представить «Смерть Гонзага» и можно ли ему, Гамлету, вставить въ эту піесу стишковъ десятокъ своихъ? Получивши удовлетворительный отвѣтъ, отпускаетъ комедіантовъ и всѣхъ, находящихся на сценѣ, и остается одинъ.

Въ монологѣ «Богъ съ вами! Я одинъ теперь», вырвавшимся изъ глубины души, какъ вырывается потокъ лавы изъ глубины земли, высказался весь Гамлетъ. Онъ сравниваетъ себя съ комедіантомъ, и спрашиваетъ такъ невыгодно для своей личности; онъ отвергаетъ предположеніе о своей трусости, говоря, что за личную обиду онъ готовъ мстить кровью; наконецъ, онъ хочетъ узнать истину посредствомъ актёровъ:

видите ли, онъ не вѣрить духу. Но здѣсь представляется вопросъ: потому ли онъ медлитъ мщеніемъ, что не вѣрить духу, или потому не вѣрить духу, что медлитъ мщеніемъ? Мы сейчасъ увидимъ, что онъ уже несомнѣнно вѣрить духу, но еще долго не увидимъ, что онъ не медлитъ болѣе мщеніемъ... Бѣдный Гамлетъ!...

Первое явленіе третьяго акта открывается разговоромъ короля и королевы съ Гильденштерномъ и Розенкранцемъ, которые доносятъ имъ о неуспѣхѣ своей рекогносцировки при Гамлетѣ. Встрѣча Гамлета съ Офеліею уже улажена Полоніемъ. Король высылаетъ королеву и придворныхъ, а самъ скрывается за дверью, чтобы подслушать разговоръ Гамлета съ Офеліею. Офелія прохаживается по сценѣ съ книгою въ рукахъ, какъ будто углубившись въ чтеніе. Является Гамлетъ.

За монологомъ «Быть или не быть» начинается его разговоръ съ Офеліею, въ которомъ онъ оскорбительными и саркастическими насмѣшками надъ нею, высказываетъ болѣзненное состояніе своего духа, и заставляетъ ее выносить на себѣ его презрѣніе къ женщинѣ, возбужденное въ немъ матерью. Король выходитъ изъ-за своей засады и говоритъ, что не любовь, а что-нибудь другое причиною разстройства Гамлетова: совѣсть короля догадливѣе дипломатической тонкости Полонія. «Такъ рѣшено, говоритъ король, Гамлетъ поѣдетъ въ Англію». Полоній не противорѣчитъ этой мѣрѣ, но предлагаетъ еще и свою: послѣ представленія, на которое Гамлетъ пригласилъ короля и королеву, позвать его къ королевѣ, которая бы его поразспросила, а ему, Полонію, подслушать ихъ разговоръ, и если онъ изъ него ничего не узнаетъ, тогда уже отправить его въ Англію.

Второе явленіе третьяго акта заключаетъ въ себѣ разрѣшеніе Гамлетова сомнѣнія, разрѣшеніе, которое для Гамлета горше и тяжелѣе прежняго сомнѣнія. Эта сцена гнететъ ужасомъ душу зрителя какъ какое-то неясное могильное видѣніе: въ ней выражено все ужасное цѣлой драмы, сосредоточенное

въ одномъ моментѣ. Но объ этомъ мы поговоримъ послѣ, потому что глубокая и сосредоточенная сила этой сцены понята и перечувствована нами не столько въ чтеніи, сколько въ представленіи: великій актёръ объяснилъ намъ Шекспира въ этой сценѣ, которой, безъ посредства этого актёра, невозможно постигнуть во всей безконечности ея скрытой и подавляющей душу силы.

Гамлетъ даетъ совѣты актёру, какъ ему должно играть. Потомъ, объявляя нѣсколько о своемъ планѣ Гораціо, умоляетъ его наблюдать за королемъ,

Входитъ король и королева, въ сопровожденіи двора. Гамлетъ прикидывается сумасшедшимъ весельчакомъ, и въ этой ужасной веселости осыпаетъ сарказмами короля и Полонія. Всѣ садятся; Гамлетъ противъ короля и королевы, у ногъ Офеліи, на которую изливаетъ свою саркастическую желчь.

Начинается представленіе. На сценѣ дряхлый король, сидя въ креслахъ, разговариваетъ съ своею женою. Его томитъ предчувствіе о близкой смерти, и онъ съ грустію вспоминаетъ о тридцати годахъ блаженства, проведеннаго имъ въ супружествѣ съ нею. Королева отвѣчаетъ ему желаніемъ, чтобы ихъ взаимное блаженство продолжалось еще на столько же лѣтъ. Король возражаетъ предчувствіемъ скорой смерти и желаніемъ, чтобы вторичная любовь осчастливила спутницу его жизни. Надутыми, гиперболическими клятвами отрицаетъ королева возможность вторичной любви для себя. Они расстаются; король засыпаетъ въ креслахъ. На сцену входитъ злодѣй, съ чашкою, наполненною ядомъ, который онъ и вливаетъ въ ухо спящему королю. Король встаетъ съ гнѣвомъ. Общее смятеніе. Всѣ выходятъ. Гамлетъ въ истерическомъ восторгѣ отъ того, что убійца его отца открытъ. Входитъ Гильденштернъ и объявляетъ Гамлету, что королева, мать его, желаетъ съ нимъ говорить.

Послѣ представленія, король рѣшилъ, что ему надо сбыть съ рукъ Гамлета, во что бы то ни стало. Мученія совѣсти

страшно раздирають его душу, и онъ высказываетъ ихъ въ одномъ изъ тѣхъ монологовъ, въ которыхъ поэзія и лиризмъ выраженій и образовъ удивительно сливаются съ самымъ высшимъ драматизмомъ, и которые умѣлъ писать только одинъ Шекспиръ — одинъ онъ, и больше никто. Опасаясь сдѣлать статью нашу слишкомъ большою, мы не выписываемъ этого превосходнаго монолога. Въ немъ, послѣ продолжительной борьбы, король не рѣшается отказаться отъ выгодъ своего злодѣйства, т. е., отъ короны и королевы, но рѣшается — молиться и становится на колѣна. Въ это время входитъ Гамлетъ; минута благопріятна: одинъ ударъ шпагою — и совершенъ подвигъ и нѣтъ камня на душѣ... Онъ такъ и хочетъ сдѣлать, но вдругъ ему приходитъ въ голову превосходная мысль.

Остановите ваше вниманіе на монологѣ. «И съ молитвой погибнетъ онъ!»: онъ покажетъ вамъ, что если прекрасная душа не можетъ и не умѣетъ обманывать другихъ, то можетъ и умѣетъ обманывать себя, и свою нерѣшительность и слабость объяснять себѣ жаждою мести, которая должна быть ужаснѣе и удовлетворительнѣе, когда ей предстанетъ удобнѣйшій случай. А между тѣмъ, его слова не пустая фраза: напротивъ, они исполнены силы и поэзія, потому что онъ вѣритъ своей мысли, по крайней мѣрѣ, въ эту минуту. Не забудьте къ этому, что, послѣ представленія, недовѣрчивость къ духу уже кончилась...

И такъ, Гамлетъ, сказавши эти слова, уходитъ, вполне убѣжденный, что для того только отсрочилъ месть, чтобъ сдѣлать ее ужаснѣе, а совѣтъ не по недостатку силы воли... Король, окончивъ свою молитву, встаетъ съ убѣжденіемъ, что

Слова на небо—мысли на землѣ!

Безъ мысли слово недоступно къ Богу!

Вотъ уже и третье явленіе третьяго дѣйствія; драма идетъ все крещендо: сейчасъ только убѣдился Гамлетъ въ ужасной

истинѣ на счетъ смерти своего отца, сейчасъ только колебался онъ между своею нерѣшительностію и порывомъ мщенія. и вотъ ему предстоитъ рѣшительный разговоръ съ матерью. Полоній, давши королевѣ совѣтъ быть съ Гамлетомъ строго, украдкой отъ нея прячется за занавѣскою; старый дуралей не предчувствуетъ, что лѣзетъ въ западню, которую самъ себѣ устроилъ, на зло своему благоразумію и своей опытности. Входитъ Гамлетъ. Онъ убиваетъ Полонія, думая, что то былъ король, подслушивающій разговоръ его съ матерью.

Въ разговорѣ, за тѣмъ происшедшемъ, королева подавлена страшною силою истины и убѣжденія: она уже не оправдывается—она проситъ у сына снисхожденія, пощады; она уже не преступная, но слабая женщина, не королева, но мать. Вдругъ является тѣнь Гамлетова отца: она пришла возбудить силы своего сына на мщеніе и повелѣваетъ ему сильнѣй дѣйствовать на душу матери. Въ Гамлетѣ борются два противоположныя чувства: ужасъ къ сверхъестественному явленію и любовь къ отцу. Явленіе тѣни, вмѣсто того, чтобъ дать ему новую силу, лишаетъ его и прежней. Бѣдный Гамлетъ!... Королева хочетъ увѣрить его, что это мечта его разстроеннаго воображенія: Гамлетъ отвѣчаетъ ей, что его пудльсь бьется такъ же, какъ и у ней, что онъ видитъ и слышитъ такъ же, какъ и она, что онъ можетъ пересказать въ порядкѣ всѣ слова тѣни, упрекаетъ ее, что она хочетъ приписать его безумію то, что должна приписать своимъ грѣхамъ и преступленіямъ; умоляетъ ее покаяться, закликаетъ ее не освернять себя прикосновеніемъ его дяди; говоритъ ей, что привычка—чудовище, но что она же можетъ быть и спасеніемъ человѣку, когда онъ твердо рѣшится привыкать къ добру; и, наконецъ, такъ заключаетъ эту выходку, полную страсти, огня, любви:

И разъ еще—о мать моя! Прости мнѣ—
Я былъ къ тебѣ жестокъ, безчеловѣченъ,
Но я хотѣлъ, я долженъ быть таковъ.

Чтобъ матери отдать вновь чувства чловѣка...
Да, слова два...

К О Р О Л Е В А.

Скажи, что дѣлать мнѣ?

Этотъ вопросъ показалъ Гамлету, что понапрасну выходилъ онъ изъ себя, что его прекрасныя и полныя жизни сѣмена пали на каменистую почву, что слезы и признанія его матери были не раскаяніемъ души сильной и энергической, которая если глубоко падаетъ, то и мощно возстаетъ, а слезами слабой женщины, на которую прикрикнули, плачемъ дитяти, которому погрозили лозою за шалость. Тогда презрѣніе и бѣшенство, глубокое, сосредоточенное, болѣзненное бѣшенство, замѣнило въ душѣ Гамлета воскресшую на мгновеніе любовь къ матери:—Что!... спрашиваетъ онъ ее дикимъ, а потомъ продолжаетъ глухимъ, тихимъ и задушаемымъ голосомъ:

Ничего не дѣлай, и не вѣрь
Тому, что говорилъ я... и т. д.

Да, онъ сказалъ ей это глухимъ, тихимъ и задушаемымъ голосомъ, потому что мы не одинъ разъ слышали этотъ ужасный голосъ, и каждый разъ, при воспоминаніи о немъ, у насъ стынетъ кровь въ жилахъ... Наконецъ, видя, что съ нею нечего толковать о томъ, чего она не можетъ понять, онъ говоритъ ей о своемъ отъѣздѣ въ Англію, куда должны провожать его двое друзей, которымъ онъ вѣрить, какъ ящерицамъ.

Первое явленіе четвертаго акта открывается разговоромъ короля съ королевою о смерти Полонія. Король говоритъ, что и онъ бы могъ такъ погибнуть, и что, поэтому, Гамлета должно удалить; потомъ спрашиваетъ о немъ королеву, гдѣ онъ? Королева отвѣчаетъ:

Онъ потащилъ убитаго Полонія.
Среди безумія, какъ искры злата
Средь грубой смѣси руды—сверкають въ немъ
И умъ и сердце. Онъ рыдаетъ—поздно!...

Бѣдный Гамлетъ! У него было такъ много ума и души, что отъ него не могло скрыться ни достоинство, ни пошлость, и онъ умѣлъ понимать и презирать пошляковъ: но должность палача была ему не по натурѣ, а между тѣмъ судьба сдѣлала его палачемъ... Передъ отправленіемъ Гамлета въ Англію, чрезъ Данію проходило норвежское войско, подъ предводительствомъ Фортинбраса, для завоеванія клочка земли у Польши. Гамлетъ съ нимъ встрѣчается.

Какъ все противъ меня возстало
За медленное мщенье!... Чтѣ ты человѣкъ,
Когда ты только означаешь дни
Сномъ и обѣдомъ? Звѣрь, не больше, ты.
Да, Онъ, создавшій насъ съ такимъ умомъ, что мы
Прошедшее и будущее видимъ,—Онъ не для того
Насъ одарилъ божественнымъ умомъ,
Чтобъ погубили мы его безплодно.
И если робкое сомнѣнье медлитъ дѣломъ,
И гибнетъ въ нерѣшительной тревогѣ—
Три четверти здѣсь трусости постыдной
И только четверть мудрости святой.
Къ чему мнѣ жить? Твердить: я долженъ сдѣлать
И медлить, если силы есть, и воля, и причины,
И средства исполненія! Вотъ примѣръ:
Здѣсь юный вождь ведетъ съ собою войско.
Могучее и сильное; вождь смѣлый,
Онъ все приносить въ жертву чести, славы.
Все отдаетъ погибели и смерти,
И для чего? За чтѣ? Яичной скорлупы
Завоеваніе не стѣнить. Честь не велика,
Не велика и слава жертвовать собою
Ничтожному дѣянью. Но на чтѣ причина?
Ее дѣянья наши оправдаютъ...
А я—отецъ убитъ, безславы матери удѣлъ—
Какъ крови не кипѣть, уму не волноваться!
А я—бездѣйствую, когда на мой позоръ,
На смерть идетъ здѣсь двадцать тысячъ войска,
И многіе не знаютъ, для чего идутъ,
И тысячи бѣгутъ за тѣнью славы,
И той земли. за чтѣ они погибнуть—

На ихъ могилы мало!... Нѣтъ! отъ сей поры
Кровь будетъ мысль единая—или вовсе
Во мнѣ не будетъ мысли ни единой.

Мы не могли удержаться, чтобъ не выписать этого монолога, сколько потому, что въ немъ видна практическая философія Шекспира, и видно, какіе вопросы и думы занимали этотъ гениальный умъ; столько и потому, что въ этомъ же монологе Гамлетъ является уже сознающимъ свое безсиліе, уже не оправдывающимъ его разными благовидными предлогами, но горько оплакивающимъ его...

Во второмъ явленіи четвертаго акта, Гамлетъ скрывается отъ нашего вниманія, которое переводить на себя—Офелія, но какая и въ какомъ положеніи?... Увы, буря сломила и измяла этотъ прекрасный, благоухающій цвѣтокъ: онъ еще отзывается прежнимъ ароматомъ, но жизни въ немъ уже нѣтъ... Она лишилась разсудка.

Является Лаертъ. Не успѣлъ онъ еще вдоволь натѣшиться въ своемъ любезномъ Парижѣ, какъ прилично образованному и знатному молодому человѣку, — и вотъ извѣстіе о смерти отца призвало его въ Данію. Подозрѣвая короля виновникомъ въ ужасномъ для него событіи, онъ собираетъ своихъ друзей и, съ шпагою въ рукѣ, требуетъ у него своего отца, говоря, что «безславіе и безчестіе будетъ его удѣломъ, если онъ останется спокоенъ». Король хитросплетенными рѣчами слагаетъ вину на Гамлета и общаетъ Лаерту удовлетвореніе. Вдругъ входитъ Офелія, странно убранная соломой и цвѣтами — и Лаертомъ овладѣваетъ истинная горестъ, уже не вслѣдствіе понятій о чести и приличіи

Король пользуется этою раздирающей душу сценою, чтобы еще болѣе поджечь Лаерта на мщеніе Гамлету. Вдругъ Горацио получаетъ два письма — одно къ себѣ, другое къ королю; и въ первомъ узнаетъ о его возвращеніи. Король составляетъ планъ погубить Гамлета другимъ средствомъ. Онъ объясняетъ Лаерту, что любовь королевы и народа къ Га-

млету дѣлаетъ невозможнымъ мнѣніе законами и что надо хитростію достичь той же цѣли. Поджегши еще болѣе ненависть Лаерта къ Гамлету, предлагаетъ ему вызвать Гамлета на поединокъ, но дружески, какъ соперника въ искусствѣ биться на шпагахъ, а между тѣмъ общаетъ шпагу Лаерта обмочить смертельнымъ ядомъ. Разумѣется, послѣдній отказывается отъ этого, какъ отъ тайнаго убійства, несовѣстнаго съ понятіемъ о чести; но вдругъ приходитъ королева и объявляетъ имъ—о смерти Офеліи:

Тамъ, гдѣ на воды ручья склоняясь, ива
Стоить и отражается въ водахъ,
Офелія плела вѣнки и пѣла.
Вѣнки свои ей вздумалось развѣсить
На ивъ—гибкій обломился сукъ,
И въ воду, бѣдная, упала, и въ водѣ.
Не чувствуя опасности и смерти,
Все пѣла и вѣнки свои плела,
Пока ея одежда не промокла,
И бѣдную не повлекло на дно...

Какой поэтический и граціозный рассказъ! Какой поэтический и умиляющій душу образъ смерти! Офелія и умерла какъ жила — прекрасно, и смерть ея миритъ насъ съ жизнію, а не бунтуетъ противъ нея, какъ у этихъ мнимыхъ поборниковъ и послѣдователей Шекспира, этихъ близорукихъ и микроскопическихъ геніевъ такъ-называемой юной литературы Франціи...

Первое явленіе пятаго акта происходитъ на кладбищѣ—сцена ужасная! Двое мужиковъ копаютъ могилу для Офеліи—и по своему, съ этимъ равнодушіемъ, которое дается привычкою и невѣжествомъ, разсуждаютъ о ея смерти. Входятъ Гамлетъ и Гораціо. Первый унылъ, грустенъ, какъ человекъ, безъ интереса предпринявшій важную борьбу и предвидящій роковое и неизбежное для себя окончаніе. Мысль о смерти, о концѣ и преходящности всего въ мірѣ, овладѣваетъ имъ. Зрѣлище кладбища усиливаетъ ее. Онъ вступаетъ

въ разговоръ съ могильщикомъ, и грубые, но иногда ловкіе отвѣты послѣдняго дѣлаютъ этотъ разговоръ похожимъ на стукъ молота, которымъ заколачиваютъ гробъ. «Не копай глупостей изъ могилы, пріятель», говоритъ Гамлетъ могильщику. «О, я не копаю, а закапываю ихъ», отвѣчаетъ ему могильщикъ, въ полной увѣренности, что онъ очень забавно шутить, и нимало не подозрѣвая, что отъ такой шутки мерзнетъ кровь въ жилахъ... Могильщикъ выкапываетъ черепъ изъ могилы, бросаетъ его на полъ и говоритъ Гамлету, что это черепъ Йорика... «Бѣдный Йорикъ!» восклицаетъ Гамлетъ и говоритъ Горацио о томъ, что этотъ Йорикъ нашивалъ его на рукахъ, что онъ былъ острякъ и забавникъ, а теперь у него не осталось ни одной остроты, чтобы посмѣяться надъ собственнымъ безобразіемъ. Потомъ переходитъ къ мысли, что прахъ Александра Македонскаго и Цезаря теперь — глина, употребленная на замазку стѣны въ хижинѣ селянина.

Вдругъ появляется похоронная процессія: несутъ гробъ Офеліи, который провожаютъ король, королева и нѣсколько придворныхъ! Гамлетъ въ изумленіи; наконецъ онъ узнаетъ ужасную тайну.

Второе явленіе пятаго дѣйствія происходитъ во дворцѣ, между Гамлетомъ и Горацио. Изъ разговора ихъ видно, что слова Гамлета, сказанныя имъ его матери: «Поѣдемъ, поглядимъ, кто похитрѣй кого взорветъ на воздухъ», не были ни пустымъ хвастовствомъ, ни уловкою слабаго человѣка, старавшагося обмануть самого себя; нѣтъ, этотъ теоретическій Гамлетъ перехитрилъ, провелъ за носъ, одурачилъ всѣхъ этихъ практическихъ людей, какъ замѣчаетъ Гизо. Нѣтъ, Гамлетъ не слабое, безсильное дитя, когда надо дѣйствовать свободно, по внутреннему побужденію, даже когда надо губить людей, если только бѣшенство противъ нихъ даетъ достаточно силы на ихъ погубленіе. Онъ только упрекаетъ себя въ томъ, что у него нѣтъ столько бѣшенства противъ убійцы его отца,

обольстителя его матери, хищника короны, сколько нужно бѣшенства для того, чтобы убійство показалось не долгомъ, не обязанностію, а удовлетвореніемъ душевной потребности, которое во всякомъ случаѣ должно быть, по крайней мѣрѣ, легко. Однакожь, съ той минуты, когда онъ узналъ о злодѣйскомъ умыслѣ короля на собственную жизнь, его рѣшеніе, кажется, тверже, хотя онъ и попрежнему еще много говоритъ о немъ, что не совсѣмъ сообразно съ твердымъ рѣшеніемъ.

Входитъ одинъ изъ придворныхъ, Осрикъ, и самымъ искуснымъ, самымъ придворнымъ образомъ предлагаетъ Гамлету, отъ имени короля, вызовъ Лаерта, и увѣдомляетъ его, что король держитъ за него, противъ Лаерта, шесть превосходныхъ коней. Лаертъ же, за себя, шесть драгоцѣнныхъ шпагъ и шесть кинжаловъ, а споръ состоитъ въ томъ, со стороны короля, что изъ двѣнадцати разъ Лаертъ не дастъ Гамлету и трехъ ударовъ, а со стороны Лаерта, что онъ изъ девяти разъ дастъ Гамлету три удара. Вся эта сцена превосходна въ высшей степени: въ ней нѣтъ ничего придуманнаго, натянутого или изысканнаго для насильственной развязки, за неимѣніемъ естественной, какъ то часто бываетъ у обыкновенныхъ талантовъ. У Шекспира, напротивъ, развязка выходитъ необходимо изъ сущности дѣйствія и индивидуальности характеровъ, и все это просто, обыкновенно, естественно. Умѣнье и легкость, съ какими Осрикъ ведетъ довольно трудное дѣло, показываютъ, что Шекспиръ равно хорошо зналъ и царей, и придворныхъ, и могильщиковъ. Гамлетъ грустно издѣвается надъ придворною лъстивостію Осрика; но онъ задумывается прежде, нежели даетъ свое согласіе на вызовъ, и, по уходѣ ловкаго посла, говоритъ Гораціо о предчувствіи, которое его невольно смущаетъ: какая глубина и истина во всемъ этомъ!

ГОРАЦІО. Если душа ваша что-нибудь вамъ подсказываетъ, не презирайте этимъ увѣдомленіемъ души. Я пойду извѣстять, что вы теперь расположены.

Г а м л е т ь. Нѣтъ! это глупость. Презримъ всякія предчувствія. Безъ воли Провидѣнія и воробей не погибнетъ. Чему быть сегодня, того не будетъ потомъ. Чему быть потомъ, того не будетъ сегодня— не теперь тому быть, такъ послѣ. Быть всегда готову — вотъ все! Если никто не знаетъ того, что съ нимъ будетъ, — оставимъ всему быть такъ, какъ ему быть назначено.

Изъ этихъ словъ видно, что Гамлетъ не только прекрасная, но и великая душа: тотъ великъ, кто такъ умѣетъ понимать міродержавный промыслъ и такъ умѣетъ ему покоряться, потому что только сила, а не слабость умѣютъ такъ понимать Провидѣніе и такъ покоряться ему. Замѣтьте изъ этого, что Гамлетъ уже не слабъ, что борьба его оканчивается: онъ уже не силится рѣшиться, но рѣшается въ самомъ дѣлѣ, и отъ этого у него нѣтъ уже бѣшенства, нѣтъ внутренняго раздора съ самимъ собою, осталась одна грусть, но въ этой грусти видно спокойствіе, какъ предвѣстникъ новаго и лучшаго спокойствія.

Гамлетъ дерется съ Лаертомъ и наноситъ ему ударъ; король пьетъ за здоровье Гамлета и предлагаетъ ему кубокъ, но онъ отказывается до окончаніе боя и еще даетъ ударъ Лаерту. Королева пьетъ за здоровье Гамлета, и король, не успѣвши остановить ее, говоритъ про себя: «Она погибла— къ кубку ядъ». Этотъ кубокъ былъ приготовленъ для Гамлета: король очень хитръ и остороженъ—въ случаѣ неудачи одной смерти онъ приготовилъ Гамлету другую; но судьба издѣвается надъ жалкимъ слѣпцомъ и дѣлаетъ свое. Королева предлагаетъ Гамлету раздѣлить съ нею кубокъ; но судьба дѣлаетъ свое, и Гамлетъ снова отказывается до окончанія боя. Лаертъ даетъ ударъ Гамлету, который въ то же мгновеніе выбиваетъ его рапиру и бросаетъ свою. Лаертъ въ бѣшенствѣ схватываетъ Гамлетову рапиру, а Гамлетъ подымаетъ его: судьба дѣлаетъ свое, а люди думаютъ, что они дѣлаютъ свое. Королева лишается чувствъ: ядъ начинается въ ней дѣйствовать—она умираетъ. Раненый Лаертъ откры-

ваетъ все Гамлету, и онъ закалываетъ короля. За симъ умираютъ и Лаертъ и Гамлетъ.

Входитъ Фортинбрасъ; Гораціо передаетъ ему завѣщаніе Гамлета и общается объяснить тайну кроваваго зрѣлища. Фортинбрасъ велитъ вынести тѣло Гамлета; слышна унылая музыка.

Излагая содержаніе драмы, мы не имѣли гордаго намѣренія ввести читателя въ сферу Шекспира и показать этого великана поэзіи во всемъ блескѣ его поэтического величія. Подобное предпріятіе было бы неисполнимо. Посмотрите на чудный міръ Божій; въ немъ все прекрасно и премудро: и червь, ползущій по травѣ, — и левъ, оглашающій ревомъ африканскую степь и приводящій въ ужасъ все живое и дышащее. — и вѣяніе зефира въ тихій майскій вечеръ, — и ураганъ, воздымающій песчаную аравійскую пустыню. — и свѣтлая рѣчка, отражающая въ своихъ струяхъ глубокое небо, — и безбрежный океанъ, поражающій душу человѣка чувствомъ безконечности, — и капля росы, которая зыблется на цвѣткѣ, — и лучезарная звѣзда, которая трепещетъ въ дальнемъ небѣ!... Вездѣ красота, вездѣ величіе, вездѣ гармонія, но вмѣстѣ съ тѣмъ и вездѣ нѣчто, а не все. Взгляните на ночное небо: какимъ безчисленнымъ множествомъ свѣтилъ усыяно оно! но что же? — это только частица, только уголокъ безпредѣльной вселенной, и за этимъ безчисленнымъ множествомъ звѣздъ, которое мы видимъ, находится ихъ безчисленное множество такихъ же безчисленныхъ множествъ, которыхъ мы не видимъ. Чтобы постигнуть безпредѣльность, красоту и гармонию созданія въ его цѣломъ, должно, отрѣшившись отъ всего частнаго и конечнаго, слиться съ вѣчнымъ духомъ, которымъ живетъ это тѣло безъ границъ пространства и времени, и ощутить, сознать себя въ немъ: только тогда исчезнетъ многообразіе, уничтожится всякая частность, всякая конечность, и явится, для просвѣтленнаго и свободнаго духа, одно великое цѣлое... Всякое проявленіе духа, какъ извѣстная степень

его сознанія, есть прекрасно и велико; но видимая вселенная, будучи безконечною, живетъ динамически и механически, сама не зная этого, и только въ человѣкѣ — этомъ отблескѣ Божества — духъ проявляется свободно и сознательно, и только въ немъ обрѣтаетъ онъ свою субъективную личность. Пройдя чрезъ всю цѣпь органическаго обособленія и дойдя до человѣка, духъ начинаетъ развиваться въ человѣчествѣ, и каждый моментъ исторіи есть извѣстная степень его развитія, и каждый такой моментъ имѣетъ своего представителя. Шекспиръ былъ однимъ изъ этихъ представителей. Вселенная есть прототипъ его созданій, а его созданія суть повтореніе вселенной, но уже сознательнымъ и, потому, свободнымъ образомъ. Каждая драма Шекспира представляетъ собою цѣлый, отдѣльный міръ, имѣющій свой центръ, свое солнце, около котораго обращаются планеты съ ихъ спутниками. Но Шекспиръ не заключается въ одной какой-нибудь изъ своихъ драмъ, такъ же, какъ вселенная не заключается въ одной какой-нибудь изъ своихъ мировыхъ системъ: но цѣлый рядъ драмъ заключаетъ въ себѣ Шекспира — слово символическое, значеніе и содержаніе котораго велико и безконечно, какъ вселенная. Чтобы разгадать вполнѣ значеніе этого слова, надо пройти черезъ всю галерею его созданій, эту оптическую галерею, въ которой отразился его великій духъ, и отразился въ необходимыхъ образахъ, какъ конкретное тождество идеи съ формою, отразился, говоритъ мы, потому что міръ, созданный Шекспиромъ, не есть ни случайный, ни особенный, то тотъ же, который мы видимъ и въ природѣ, и въ исторіи, и въ самихъ себѣ, но только какъ бы вновь воспроизведенный свободною самодѣятельностію сознающаго себя духа. Но и здѣсь еще не конецъ удовлетворительному изученію Шекспира; для этого мало, какъ сказали мы, пройти всю галерею его созданій: для этого надо сперва отыскать, въ этомъ безконечномъ разнообразіи картинъ, образовъ, лицъ, характеровъ и положеній, въ этой борьбѣ, столк-

новений и гармоніи конечностей и частных — надо найти во всемъ этомъ одно общее и цѣлое, гдѣ, какъ въ фокусѣ зажигательнаго стекла лучи солнца, сливаются всѣ частности, не теряя, въ то же время, своей индивидуальной дѣйствительности; словомъ, надо уловить въ этой игрѣ жизней дыханіе одной общей жизни — жизни духа; а этого невозможно сдѣлать иначе, какъ опять таки, соевлекшись всего призрачнаго и случайнаго, возвыситься до созерцанія міроваго и въ своемъ духѣ ощутить трепетаніе мировой жизни. Но и это будетъ только полное и совершенное самоощущеніе себя въ мірѣ Шекспировой поэзіи, но не полное и отчетливое сознаніе себя въ ней. Мы почитаемъ себя слишкомъ далекими даже отъ перваго акта сознанія; второй же предоставленъ той мірообъемлющей и послѣдней философіи нашего вѣка, которая, развернувшись, какъ величественное дерево, изъ одного зерна, покрыла собою и заключила въ себѣ, по свободной необходимости, всѣ моменты развитія духа, и, не принимая въ себя ничего чуждаго, но живя собственной жизнію, изъ своихъ же нѣдръ развитою, во всякомъ, даже конечномъ развитіи, видитъ развитіе абсолютнаго духа, конкретно слитаго съ явленіемъ, и къ которой Шекспиръ, вмѣстѣ съ Гёте, другимъ исполиномъ искусства, относится какъ та же самая истина, но только другимъ путемъ и параллельно съ нею проявившаяся. Повторяемъ: непосвященные въ ея таинства и приподнявшіе только край завѣсы, скрывающей отъ глазъ конечности міръ безконечнаго, мы почтемъ себя счастливыми, если дадимъ чьей-нибудь дремлющей душѣ почувствовать, какъ прекрасенъ и чудесенъ этотъ дивный міръ, и возбудимъ въ ней стремленіе узнать его ближе, и въ этомъ знаніи найти свое высшее блаженство. И потому, при всемъ нашемъ нежеланіи и опасеніи впасть въ какое-нибудь субъективное мнѣніе, вмѣсто логическаго развитія объективной истины, мы все-таки боимся не высказать удовлетворительно даже и того, что мы хорошо чувствуемъ, и почтемъ себя счастливыми,

ежели въ желаніи подѣлиться съ другими немногими, но прекрасными ощущеніями, найдемъ свое оправданіе...

И такъ, мы изложили содержаніе «Гамлета» не для того, чтобы показать этимъ достоинство этого глубокаго созданія, но для того, чтобы имѣть, такъ-сказать, данные для сужденія о немъ, чего нельзя иначе сдѣлать, какъ отдавъ отчетъ въ нашемъ понятіи о каждомъ, или по крайней мѣрѣ о главныхъ характерахъ драмы. Разумѣется, наше о нихъ понятіе только въ такомъ случаѣ будетъ истинно, когда оно будетъ понятіемъ необходимымъ и въ сущности этихъ характеровъ заключающимся, потому что субъективное мнѣніе критика не есть истина и не имѣетъ ничего общаго съ критикой, вопреки тѣмъ господамъ, которые любятъ высказывать свои мнѣнія и отрицаютъ абсолютность изящнаго.

Говоря о характерахъ дѣйствующихъ лицъ въ драмѣ, намъ должно выставить на видъ эту дѣйствительность шекспировскихъ лицъ, эту конкретность выражающагося въ нихъ духа жизни съ проявленіемъ жизни. Каждое лицо Шекспира есть живой образъ, не имѣющій въ себѣ ничего отвлеченнаго, но какъ бы взятый цѣликомъ и безъ всякихъ поправокъ и передѣлокъ изъ повседневной дѣйствительности. Французы нѣкогда думали (да и теперь еще думаютъ то же, хотя и увѣряютъ въ противномъ), что идеалъ есть собраніе во едино разсѣянныхъ по всей природѣ чертъ одной идеи: по этому прекрасному положенію, злодѣй долженствовалъ быть соединеніемъ всѣхъ злодѣйствъ, а добродѣтельный всѣхъ добродѣтелей и, слѣд., не имѣть никакой личности. Таковъ, напримѣръ, Эней благочестивый, Виργилія, это порожденіе вѣка гнилаго и развратнаго, для котораго добродѣтель была мертвымъ абстрактомъ, а не живою дѣйствительностію. Шекспиръ есть совершенная противоположность этой жалкой теоріи, и потому-то Французы даже и теперь еще не могутъ съ нимъ сродниться, хотя и воображаютъ себя его энтузіастами.

Гамлетъ представляетъ собою цѣлый отдѣльный міръ дѣй-

ствительной жизни, и посмотрите, какъ простъ, обыкновененъ и естественъ этотъ міръ при всей своей необыкновенности и высоты. Но и самая исторія человѣчества, не потому ли и высока и необыкновенна она, что проста, обыкновенна и естественна? Вотъ молодой человѣкъ, сынъ великаго царя, наслѣдникъ его престола, увлекаемый жаждою знанія, проживаетъ въ чуждой и скучной странѣ, которая ему не чужда и не скучна, потому что только въ ней находитъ онъ то, чего ищетъ—жизнь знанія, жизнь внутреннюю. Онъ отъ природы задумчивъ и склоненъ къ меланхоліи, какъ всѣ люди, которыхъ жизнь заключается въ нихъ самихъ. Онъ пылокъ, какъ всѣ благородныя души: все злое возбуждаетъ въ немъ энергическое негодованіе, все доброе дѣлаетъ его счастливымъ. Его любовь къ отцу доходитъ до обожанія, потому что онъ любитъ въ своемъ отцѣ не пустую форму безъ содержанія, но то прекрасное и великое, къ которому страстна его душа. У него есть друзья, его сопутники къ прекрасной цѣли, но не собутыльники, не участники въ буйныхъ оргіяхъ. Наконецъ, онъ любитъ дѣвушку, и это чувство даетъ ему и вѣру въ жизнь и блаженство жизнию. Не знаемъ, былъ ли бы онъ великимъ государемъ, которому назначено составить эпоху въ жизни своего народа, но мы знаемъ, что счастливить все, зависящее отъ него, и давать ходъ всему доброму—значило бы для него царствовать. Но Гамлетъ, такой, какимъ мы его представляемъ, есть только соединеніе прекрасныхъ элементовъ, изъ которыхъ должно нѣкогда образоваться нѣчто определенное и дѣйствительное; есть только прекрасная душа, но еще не дѣйствительный, не конкретный человѣкъ. Онъ пока доволенъ и счастливъ жизнью, потому что дѣйствительность еще не расходилась съ его мечтами; онъ еще не знаетъ того, что прекрасно только то, что есть, а не то, что бы должно быть, по его личному, субъективному взгляду на вещи. Такое состояніе есть состояніе нравственнаго младенчества, за которымъ непременно должно послѣ-

воваты распаденіе; это общая и неизбѣжная участь всѣхъ порядочныхъ людей; но выходъ изъ этого дисгармоническаго распаденія въ гармонію духа, путемъ внутренней борьбы и сознанія, есть участь только лучшихъ людей. И вотъ наша прекрасная душа, нашъ задумчивый мечтатель, вдругъ получаетъ извѣстіе о смерти обожаемаго отца. Грусть по немъ онъ почитаетъ священнымъ долгомъ для всѣхъ близкихъ къ царственному покойнику, и что же?—онъ видитъ, что его мать, эта женщина, которую его отецъ любилъ такъ пламенно, такъ нѣжно, что «запрещалъ небеснымъ вѣтрамъ дуть ей въ лицо», эта женщина не только не почла своею обязанностію душевнаго траура по мужѣ, но даже не почла за нужное надѣть на себя личины, уважить приличіе, и, забывъ стыдъ женщины, супруги, матери, отъ гроба мужа посѣщала къ брачному алтарю, и съ кѣмъ?—съ роднымъ братомъ умершаго, съ своимъ деверемъ, и принесла ему въ приданое — престолъ государства! Тутъ Гамлетъ увидѣлъ, что мечты о жизни и самая жизнь совсѣмъ не одно и то же, что изъ двухъ одно должно быть ложно: и въ его глазахъ ложь осталась за жизнью, а не за его мечтами о жизни. Что жъ стало съ нашею прекрасною душою, когда она отъ самой тѣни своего отца услышала и страшную повѣсть о братоубійствѣ, и намекъ о страшныхъ замогильныхъ тайнахъ, и страшный завѣтъ о мщеніи? О, она прокляла все доброе и злое—прокляла жизнь! Его мать—женщина слабая, ничтожная, преступная,—и женщина погибла въ его понятіи. Онъ втопталъ въ грязь свое прекрасное чувство; онъ обременяетъ предметъ своей любви всею тяжестію позора и презрѣнія, которое заслуживаетъ въ его глазахъ женщина; онъ говоритъ Офеліи такія слова, какихъ женщина не должна ни отъ кого слышать. а тѣмъ меньше отъ того, кого любить; онъ дѣлаетъ ей такія оскорбленія, за которыя отъ женщины нѣтъ прошенія мужчинѣ, какъ бы ни любила она его. Вѣра была жизнію Гамлета, и эта вѣра убита, или, по крайней мѣрѣ, сильно по-

колеблена въ немъ—и отчего же?—отъ того, что онъ увидѣлъ міръ и человѣка не такими, какими бы онъ хотѣлъ ихъ видѣть, но увидѣлъ ихъ такими, каковы они суть въ самомъ дѣлѣ. Любовь была его второю жизнію, и онъ отрекается отъ нея, потому что презираетъ женщину — почему же? — потому, что его мать заслуживаетъ презрѣніе, какъ будто недостойнство его матери уничтожаетъ достоинство женщины вообще. Присовокупите къ этому, что Гамлетъ нисколько не отдѣляетъ своего царственного достоинства отъ своего человѣческаго достоинства; что не поклонничества, но любви и сочувствія требуетъ онъ отъ людей, а между тѣмъ видитъ въ нихъ только рабѣющихъ придворныхъ, которые спекулируютъ своимъ подданничествомъ,—и вамъ будетъ еще понятнѣе это разочарованіе. Но потерять вѣру въ людей, вслѣдствіе какого-нибудь горькаго опыта, еще не значитъ потерять все и потерять безвозвратно: такая потеря кажется потерей только вслѣдствіе мгновеннаго ожесточенія, которое можетъ продолжаться болѣе или менѣе, но не можетъ быть всегдашнимъ состояніемъ великой души: но—потерять вѣру въ самого себя, увидѣть свои убѣжденія въ совершенномъ разладѣ съ своею жизнію—это потеря, и потеря ужасная. Таково было состояніе Гамлета. Онъ узналъ о гибели отца изъ устъ тѣни этого самаго отца, онъ выслушалъ отъ него завѣтъ мести, онъ убѣжденъ, что эта месть его священный долгъ; въ первомъ порывѣ взволнованнаго чувства онъ клянется и небомъ и землею летѣть на мщеніе какъ на свиданіе любви—и вслѣдъ за этимъ сознаетъ свое безсиліе выполнить и долгъ и клятву... Отчего въ немъ это безсиліе?—оттого ли, что онъ рожденъ любить людей и дѣлать ихъ счастливыми, а не карать и губить ихъ, или, въ самомъ дѣлѣ, отъ недостатка этой силы духа, которая умѣетъ соединить въ себѣ любовь съ ненавистію, изъ однихъ и тѣхъ же устъ изрекать людямъ и слова милости и счастья, и слова гнѣва и кары;—повторяемъ: какъ бы то ни было, но мы видимъ

слабость. Однако, эта слабость должна же имѣть какой-нибудь смыслъ, если она избрана такимъ великимъ гениемъ, каковъ Шекспиръ, основною идеею одного изъ лучшихъ его созданий, и если она такъ сильно, такъ мощно останавливается на себѣ мысль человѣка? — Объективность не можетъ быть единственнымъ достоинствомъ художественнаго произведенія; тутъ нужна еще и глубокая мысль. Слабость человѣка не есть понятіе отвлеченное, но, въ то же время, и не въ ней заключается жизнь духа, проявляющаяся въ человѣкѣ, и, слѣдовательно, не она должна быть предметомъ творческой дѣятельности міроваго, абсолютнаго гения. Не забудьте, что Гамлетъ есть главное лицо драмы, въ которомъ выражена ея основная мысль, и на которомъ, поэтому, сосредоточенъ ея интересъ. И что за особенное наслажденіе смотрѣть на зрѣлище человѣческой слабости и ничтожества? И гдѣ же, въ такомъ случаѣ, былъ бы абсолютный взглядъ Шекспира на жизнь? И почему бы эта пьеса возбуждала въ душѣ читателя, или зрителя, такое спокойное, примирительное и глубокое чувство? напротивъ, въ такомъ случаѣ она должна бѣ была возбуждать въ немъ чувство отчаянія, отвращенія къ жизни, какъ эти чудовищныя произведенія духовно-малолѣтныхъ гениевъ юной французской литературы. Нѣтъ, это не то! Гамлетъ выражаетъ собою слабость духа — правда; но надо знать, что значитъ эта слабость. Она есть распаденіе, переходъ изъ младенческой, безсознательной гармоніи и самонаслажденія духа въ дисгармонію и борьбу, которая суть необходимое условіе для перехода въ мужественную и сознательную гармонію и самонаслажденіе духа. Въ жизни духа нѣтъ ничего противорѣчащаго, и потому дисгармонія и борьба суть вмѣстѣ и ручательства за выходъ изъ нихъ: иначе человѣкъ былъ бы слишкомъ жалкимъ существомъ. И чѣмъ человѣкъ выше духомъ, тѣмъ ужаснѣе бываетъ его распаденіе, и тѣмъ торжественнѣе бываетъ его побѣда надъ своею конечностію, и тѣмъ глубже и святѣе

его блаженство. Вотъ значеніе Гамлетовой слабости. Въ самомъ дѣлѣ, посмотрите: что привело его въ такую ужасную дисгармонію, ввергло въ такую мучительную борьбу съ самимъ собою?—несообразность дѣйствительности съ его идеаломъ жизни, — вотъ что. Изъ этого вышла и его слабость и нерѣшительность, какъ необходимое слѣдствіе дисгармоніи. Потомъ, посмотрите: что возвратило ему гармонію духа?—очень простое убѣжденіе, что «быть всегда готову—вотъ все». Вслѣдствіе этого убѣжденія онъ нашелъ въ себѣ и силу и рѣшимость: смерть дяди была рѣшена имъ, и онъ убилъ бы его, еслибы новыя злодѣйства послѣдняго снова не возмутили и не взволновали на минуту его души. Онъ прощаетъ Лаерту свою смерть и говоритъ: «Смерть! такъ вотъ она, Горацио»; потомъ, завѣщавши своему другу открытіемъ истины спасти его имя отъ поношенія, умираетъ, и мысль о его смерти сливается для зрителя съ звуками унылой музыки; душа просвѣтлена созерцаніемъ абсолютной жизни, и невольно предается грусти, но эта грусть спокойна и торжественна, потому что душа зрителя уже не видитъ въ жизни ничего случайнаго, ничего произвольнаго, но одно необходимое, и примиряется съ дѣйствительностію.

И такъ, вотъ идея Гамлета: слабость воли, но только въ слѣдствіе распаденія, а не по его природѣ. Отъ природы Гамлетъ человѣкъ сильный: его желчная иронія, его мгновенныя вспышки, его страстные выходы въ разговорѣ съ матерью, гордое презрѣніе и нескрываемая ненависть къ дядѣ—все это свидѣтельствуетъ объ энергіи и великости души. Онъ великъ и силенъ въ своей слабости, потому что сильный духомъ человѣкъ и въ самомъ паденіи выше слабаго человѣка, въ самомъ его возстаніи. Эта идея столько же проста, сколько и глубока: а это и старались мы показать. Въ изложеніи содержанія драмы наши читатели уже видѣли выполненіе этой идеи, видѣли всѣ отѣнки, переходы, волненія и колебанія души Гамлета, подслушали и подсмотрѣли его сокровенныя

движенія и мысли и поняли ихъ лучше, нежели онъ самъ понималъ ихъ: поэтому, намъ ужъ не нужно болѣе говорить о простотѣ, естественности и этой дѣйствительности, которою отличается вся роль Гамлета и которою проникнуты каждое его слово, каждое его положеніе. Впрочемъ, мы скоро перейдемъ къ игрѣ Мочалова, который растолковалъ намъ Гамлета своею неподражаемою игрою: подробный отчетъ о его игрѣ новыми чертами дополнить наше изображеніе Гамлета. Теперь же перейдемъ къ другимъ лицамъ, составляющимъ цѣлое драмы. Офелія занимаетъ въ драмѣ второе лицо послѣ Гамлета. Это одно изъ тѣхъ созданій Шекспира, въ которыхъ простота, естественность и дѣйствительность сливаются въ одинъ прекрасный, живой и типическій образъ. Сверхъ того, это лицо женское, а кто хочетъ знать женщину, какъ конкретную идею, какъ существо, опредѣляемое самою ея жизнію—тотъ долженъ видѣть ее въ изображеніяхъ Шекспира. Офелія есть одно изъ лучшихъ его изображеній. Представьте себѣ существо кроткое, гармоническое, любящее, въ прекрасномъ образѣ женщины; существо, которое совершенно чуждо всякой сильной, потрясающей страсти, но которое создано для чувства тихаго, спокойнаго, но глубокаго; существо, которое неспособно вынести бурю бѣдствія, которое умретъ отъ любви отверженной или, что еще скорѣе, отъ любви сперва раздѣленной, а послѣ презрѣнной, но которое умретъ не съ отчаяніемъ въ душѣ, а угаснетъ тихо, съ улыбкою и благословеніемъ на устахъ, съ молитвою за того, кто погубилъ ее; угаснетъ, какъ угасаетъ заря на небѣ въ благоухающій майскій вечеръ: вотъ вамъ Офелія. Это не Дездемона, которая, будучи существомъ столь же женственнымъ и слабымъ, сильна въ своей женственной слабости; это не юная, прекрасная и обольстительная Дездемона, которая умѣла отдаться своей любви вполнѣ, навсегда, безъ раздѣла, и въ старомъ и безобразномъ Маврѣ умѣла полюбить великаго Отелло; не Дездемона, для которой любовь сдѣлалась чувст-

вошъ высшимъ, поглотившимъ въ себѣ всѣ другія чувства, всѣ другія склонности и привязанности; не Деждемона, которая на слова своего престарѣлаго и нѣжно ею любимого отца—«выбирай между мною и имъ»—при цѣломъ сенатѣ Венеціи сказала твердо, что она любить отца, но что мужъ для нея дороже, и что она хочетъ подражать своей матери, повинаясь мужу болѣе, нежели отцу; которая, наконецъ, умирая, невинно задушенная когтями африканскаго тигра, сама себя обвиняетъ, предъ Эмилиєю, въ своей смерти и проситъ ее оправдать передъ супругомъ. Нѣтъ, не такова Офелія: она любить Гамлета, но въ то же время любить и отца, и брата, и все, что къ ней близко, и для ея счастья недостаточно жизни въ одномъ Гамлетѣ, ей нужна еще жизнь и въ отцѣ и въ братѣ. Она любитъ Гамлета, любитъ истинно и глубоко, запираетъ въ сердцѣ благоразумные совѣты брата, и ключъ отдаетъ ему; передаетъ отцу письма и подарки Гамлета и, отнимъ словомъ, ведетъ себя какъ нельзя аккуратнѣе. А какъ она любитъ своего отца? такъ, просто — какъ отца: чтобы любить его, ей не нужно знать его хорошихъ, человѣческихъ сторонъ—ей нужно только не знать его пошлыхъ сторонъ, да еслибы она ихъ и замѣтила, то стала бы плакать объ немъ, но не перестала бы любить его. Такъ же она любитъ и своего брата. Простодушная и чистая, она не подозреваетъ въ мірѣ зла и видитъ добро во всемъ и вездѣ, даже тамъ, гдѣ его и нѣтъ. Ей нѣтъ нужды до Полонія и Лаерта, какъ до людей; она ихъ знаетъ и любитъ: одного — какъ отца, другого—какъ брата. Въ сарказмахъ Гамлета, обращенныхъ къ ней, она не подозреваетъ ни измѣны, ни охлажденія, а видитъ сумасшествіе, болѣзнь, и горюетъ молча. Но когда она увидала окровавленный трупъ своего отца, и узнала, что его смерть есть дѣло человѣка, такъ нѣжно ею любимого—она не могла снести тяжести этого двойнаго несчастія, и ея страданіе разрѣшилось—сумасшествіемъ... И вотъ въ головѣ ея смутно мелькають двѣ мысли: то о какомъ-то старикѣ, который былъ

Съ бѣлой, какъ снѣгъ, бородой,
Съ волосами, какъ чесанный лентъ,

и который

Во гробъ лежалъ съ непокрытымъ лицомъ,
Съ непокрытымъ, съ открытымъ лицомъ;

то о какой-то дѣвушкѣ, обманутой своимъ любезнымъ...

Вотъ она является въ своемъ горестномъ и все-таки граціозномъ безуміи и поетъ пѣсню о миломъ другѣ, который насмѣялся надъ ея любовію; потомъ она выходитъ, убранная цвѣтами и соломой, какъ будто для встрѣчи своего милаго, — и поетъ пѣсню, въ которой поэзія смѣшана съ непристойностями, не подозрѣвая ея оскорбительнаго смысла... Нѣтъ, Гамлетъ, послѣ страшной тайны, задавившей его душу, могъ бы сказать этой чистой, гармонической душѣ:

Взгляни, мой другъ: по небу голубому,
Какъ легкій дымъ, несутся облака;
Такъ грусть пройдетъ по сердцу молодому,
Его, какъ тѣнь, касается слегка.
О милый другъ, твои молодые годы
Прекрасный цвѣтъ души твоей спасутъ:
Оставь же мнѣ и громъ и непогоды —
Они твое блаженство унесутъ.
Прости, забудь, не требуй объясненій:
Тебѣ судьбы моей не раздѣлять.
Ты рождена для тихихъ упоеній,
Для слезъ любви, для счастья любить! *)

Мы предположили Гамлета говорящимъ Офеліи эти стихи, для того, чтобы этимъ окончательно очертить характеръ Офеліи, такъ, какъ мы его понимаемъ; а мы понимаемъ его столько же дѣйствительнымъ (слово возможный не выразило бы нашей мысли), сколько и прекраснымъ. Это существо столько же не выдуманное поэтомъ, сколько и не списанное съ натуры, но созданное такъ конкретно, какъ можетъ творить только одна природа. И если въ дѣйствительной жизни

*) Стихотвореніе г. Красова.

мы не встрѣтимъ Офеліи; то потому, что одно и то же явленіе не повторяется дважды; а совсѣмъ не потому, чтобы это созданіе принадлежало къ міру идеальному. Прекрасное одно, но оно многообразно до безконечности въ своихъ проявленіяхъ. Сверхъ того, какъ все необыкновенное и великое, оно рѣдко, и для того, чтобы видѣть его, надо имѣть глаза, одаренные ясновидѣніемъ прекраснаго...

Отъ Гамлета и Офеліи, какъ самыхъ важныхъ лицъ въ драмѣ и представителей высшаго міра, перейдемъ къ Лаерту, какъ представителю міра средняго, а отъ него къ Полонію, королю и королевѣ, какъ представителямъ міра низшаго. Впрочемъ, изъ этого не слѣдуетъ, чтобы у Шекспира были подобныя дѣленія міровъ—для него существовалъ одинъ міръ—прекрасный Божій міръ, въ которомъ добро и зло существуетъ только для индивидовъ, находящихся еще въ состояніи конечности, но въ которомъ собственно нѣтъ ни добра, ни зла, какъ понятій относительныхъ и одно другое усложняющихъ, а есть жизнь духа, вѣчнаго и истиннаго. Въ его драмѣ, драма заключается не въ главномъ дѣйствующемъ лицѣ, а въ игрѣ взаимныхъ отношеній и интересовъ всѣхъ лицъ драмы, отношеній и интересовъ, вытекающихъ изъ ихъ личности. Главное лицо въ его драмѣ только сосредоточиваетъ на себѣ ея интересъ, но не заключаетъ въ себѣ ея. Такъ это есть и въ исторіи: исторія эпохи, отмѣченной именемъ Наполеона, не есть исторія одного человѣка, но цѣлаго народа въ извѣстную эпоху.

Лаертъ—это, какъ говорится, малый добрый, но пустой. Онъ не глупъ, но и не уменъ; не золъ, но и не добръ: это какое-то отрицательное понятіе. Какъ всѣ молодые люди, онъ пылокъ, но эта пылкость устремлена на мелочи. Изъ Парижа пріѣхалъ онъ въ Данію на коронацію, и, по окончаніи ея, опять просится въ Парижъ. А зачѣмъ? Да такъ—кутить, т. е. за тѣмъ, за чѣмъ и теперь ѣздить туда веселые люди, которые Парижемъ ограничиваютъ свои путешествія, и только

потому заглядываютъ въ скучную для нихъ Германію, что черезъ нее нельзя же перепрыгнуть въ шумную столицу наслажденій. Лаертъ любилъ отца—но какъ?—не больше, какъ добраго, снисходительнаго отца, который, не отказываясь отъ своей отеческой власти, не мѣшалъ ему веселиться вволю, вслѣдствіе общности своихъ понятій о веселіи съ сыновними. Онъ любилъ Офелію, но уже не по одной привычкѣ, но и не потому, чтобы могъ оцѣнить ее. Онъ чувствовалъ, что могъ гордиться своею сестрою, но не понималъ, что въ ней именно хорошаго. Смерть отца поразила его особенно тѣмъ образомъ, какимъ она случилась, и еще тѣмъ, что его отецъ похороненъ просто, какъ человѣкъ частный, а не съ аристократическою пышностію. Смерть сестры подѣйствовала на него иначе, потому что у него точно было доброе сердце. По слабости характера позволилъ онъ королю сдѣлать изъ себя орудіе убійства; по добротѣ души и притомъ видя себя наказаннымъ за свою продѣлку, онъ просилъ у Гамлета прощенія и открылъ ему все прежде, нежели умеръ. Однимъ словомъ, это былъ добрый малый, но больше ничего.

Теперь обратимся къ Полонію. Это уже не отрицательное, но положительное, хотя и гадкое понятіе. И не мудрено: Полоній такъ много жилъ на свѣтѣ, что имѣлъ время опредѣлиться вполне, тогда какъ Лаертъ былъ еще слишкомъ молодъ для этого. Что же такое этотъ Полоній—да просто—добрый малый — *bon vivant*, какъ говорятъ Французы. Смолodu онъ былъ шалунъ, вѣтреникъ, повѣса; потомъ, какъ водится, перебѣсился, остепенился и сталъ.

Старикъ, по старому шутившій—
Отзывно ловко и умно,
Что нынче нѣсколько смѣшно.

Полоній человѣкъ способный къ администраціи, или что гораздо вѣрнѣе, умѣющій казаться способнымъ къ ней. Сверхъ того, онъ умѣетъ развеселить своего государя острымъ словечкомъ, даже говоря съ нимъ о государственныхъ дѣлахъ,

Также онъ любить кстати и тряхнуть стариною, какъ говорить русская поговорка, т. е. представить изъ себя грѣшнаго старичка. Не говоря уже о его собственныхъ намекахъ на этотъ предметъ, вспомните, что сказалъ объ немъ Гамлетъ актѣру: «Продолжай другъ мой! онъ засыпаетъ, если не слышитъ шутокъ, или непристойностей». Но этимъ еще не ограничиваются дарованія Полонія: онъ еще одинъ изъ тѣхъ придворныхъ, которыхъ Гамлетъ называетъ губкою. Словомъ, Полоній — добрый малый, умный и опытный человекъ. Вспомните только, какіе прекрасные совѣты даетъ онъ своему сыну, отпуская его во Францію: онъ даже совѣтуетъ ему, «подружившись, быть вѣрнымъ въ дружбѣ», онъ знаетъ, что знатному человеку, сыну вельможи, полезно быть вѣрнымъ въ дружбѣ, такъ же, какъ и быть вѣрнымъ въ своемъ словѣ, потому что сынъ придворнаго не то, что простой человекъ, который не знаетъ приличій и хорошаго тона. О, Полоній столько же нѣжный отецъ, сколько и умный, опытный человекъ, глубоко изучившій трудную науку жизни! Онъ очень хорошо зналъ, что въ жизни есть богатство, почести, знатность, вкусный столъ, мягкая постель, спокойный сонъ, волокитство, обольщеніе; но не зналъ, что въ этой же самой жизни есть нѣчто выше всего этого — есть жизнь въ истинѣ и духѣ; дающая человеку такое сокровище, котораго ни ржа источить, ни воръ похитить не можетъ; есть любовь двухъ душъ, которая, уничтожая отдѣльное существованіе человека въ другомъ, создаетъ ему новое и преобразованное бытіе; наконецъ, есть мщеніе за поруганное добро, за убитаго предательски отца... Да, бѣдный Полоній не зналъ всего этого; впрочемъ, онъ былъ добрый малый.

Король и королева такъ же благоразумны, какъ и Полоній; какъ и онъ, они видятъ въ жизни только богатство, почести и власть, а больше ничего. Ни одного изъ нихъ нельзя назвать злодѣемъ. Королева просто слабая женщина. Она любила искренно своего покойнаго мужа и была истинно сча-

слива его любовію. Только ея любовь имѣла свой характеръ, потому что любовь одна, но она характеризуется степенью нравственнаго развитія и силою души человѣка. Поэтому, и ея проявленія различны; поэтому есть люди, которые могутъ любить только одинъ разъ въ жизни и, лиась предмета любви своей, умираютъ для всякаго другаго подобнаго чувства; и потому же самому есть люди, которые могутъ любить два, три и болѣе разъ въ жизни, и ихъ любовь такъ же истинна по своей сущности, какъ и любовь тѣхъ сильныхъ и глубокихъ душъ, которыя могутъ любить только однажды въ жизни; разница въ характерѣ и степени любви: у однихъ она принимаетъ характеръ всеобщій, міровой; у другихъ — характеръ частности и большей или меньшей, смотря по силѣ духа и степени развитія субъекта, ограниченности. И такъ, королева, еще при жизни своего мужа, полюбила его брата, за то, что онъ моложе и румянѣ лицомъ: это слабость, но не злодѣйство. Увлеченная своимъ обольстителемъ, она не знала и даже не подозрѣвала ужасной тайны братоубійства. Она искренно, матерински любитъ своего сына, любить его потому только, что она родила его, что онъ ея сынъ, а совѣмъ не потому, чтобы она видѣла въ немъ проблески человѣческаго достоинства. Какъ бы то ни было, только она любитъ своего сына и любить его искренно. Его печаль, которой она не подозрѣваетъ причины, тяжело легла на ея сердце. Въ первомъ явленіи втораго дѣйствія, когда Полоній хлопочетъ устроить встрѣчу Гамлета съ своею дочерью, королева, увидѣвъ вдали Гамлета, идущаго съ книгою въ рукахъ, говорить:

Посмотрите: вотъ онъ идетъ, читаетъ что-то—какъ унылъ!

Въ послѣднемъ явленіи послѣдняго акта, во время дуэли Гамлета съ Лаертомъ, она всѣми силами старается показать ему свое участіе: говорить ему ласковые слова и пьеть за его здоровье. И самъ Гамлетъ искренно любитъ свою мать,

хотя и понимаетъ ея ничтожество, и это-то, замѣтимъ мимоходомъ, было еще одною изъ причинъ его слабости. «Мать моя, ты испугалась за меня!» говорить онъ ей послѣ роковой дуэди, и въ его словахъ отзывается такъ много любви и нѣжности, несмотря на то, что это слова человѣка умирающаго, вѣроломно отравленнаго и идущаго на страшный и послѣдній расчетъ съ своимъ жесточайшимъ врагомъ... И такъ, королева не злодѣйка, и даже не столько преступная, сколько слабая женщина. Она любить сына, отъ всей души желаетъ ему счастья, и соединеніе его съ Офелією есть ея любимѣйшая мечта, а для себя она проситъ только пощады, снисхожденія, только того, чтобы смотрѣли сквозь пальцы на ея проступокъ, изъ котораго былъ только одинъ выходъ—разорвать преступную связь, чего она не въ силахъ была сдѣлать.

Король тоже не злодѣй, но только слабый человѣкъ, а если и злодѣй, то по слабости характера, а не по ожесточенію сильной души. Онъ даже очень добрый человѣкъ: онъ отъ души желаетъ счастья всѣмъ и каждому; онъ дастъ вамъ денегъ, если вы бѣдны, онъ похлопочетъ о вашей свадьбѣ, если, вы влюблены; онъ любитъ даже Гамлета и былъ бы имъ счастливъ какъ добрый отецъ милымъ сыномъ, своею сладкою надеждою. Впрочемъ, у него не можетъ быть ни сильныхъ привязанностей, ни сильныхъ ненавистей, почему отличительная черта его характера, какъ всѣхъ пошлыхъ людей, есть безразличная доброта. Посмотрите на Яго: вотъ злодѣй въ истинномъ смыслѣ этого слова, злодѣй-художникъ, который веселится всякимъ своимъ ужаснымъ дѣломъ, какъ художникъ веселится своимъ произведеніемъ. Онъ понимаетъ всѣ изгибы душъ благородныхъ и обязанъ этимъ не близорукому опыту, но своему внутреннему созерцанію, вслѣдствіе котораго онъ умѣетъ себя ставить во всякое человѣческое положеніе. Въ немъ были всѣ элементы добраго, но не было силы развить ихъ; для него была эпоха распадѣнія, борьбы,

и въ этой борьбѣ онъ палъ, побѣжденный своимъ эгоизмомъ. Онъ понимаетъ, глубоко понимаетъ блаженство добра и, види что оно не для него, онъ мститъ за всякое превосходство надъ собою, какъ за личную обиду. Это человекъ конечный, но съ сильной душою. И потому, когда всѣ его злодѣйства выходятъ наружу, и когда Отелло и другіе спрашиваютъ его о причинахъ такихъ злодѣйствъ, — онъ отвѣчалъ имъ спокойно, въ своемъ сатанинскомъ величіи: «Я сдѣлалъ свое; вы знаете, чтѣ знаете: больше я ничего не скажу». Нѣтъ, не таковъ Клавдій: онъ сдѣлалъ злодѣйство не по убѣжденію, сдѣлалъ его рукою трепещущею, съ лицомъ блѣднымъ и отвращеннымъ отъ своей жертвы, отъ которой убѣждалъ, не удостоившись въ ея гибели, чтобы скрыться и отъ людей и отъ самого себя. Онъ не отбилъ корону брата, какъ разбойникъ, но укралъ ее, какъ воръ. И чѣмъ она, эта корона, такъ прельстила его? Не мыслию объ этой царственной дѣятельности, въ которой привольно жить душѣ сильной; не потребностію осуществлять на дѣлѣ внутренній міръ своихъ помысловъ; нѣтъ: она прельстила его блескомъ своего золота, своихъ каменьевъ, своею фигурою, прельстила его какъ игрушка прельщаетъ дитя. Онъ любить поѣсть и попить, но не просто, а такъ, чтобы каждый глотокъ его сопровождался звуками трубъ; онъ любить пиры, но такъ, чтобы быть героемъ ихъ; онъ любить не рабство, но льстивыя рѣчи, низкіе поклоны, знаки глубокаго и благоговѣйнаго уваженія, какъ любятъ ихъ всѣ выскочки. Присовокупите къ этому еще и его любовь къ женѣ своего брата: каково бы ни было это чувство, но если оно не просвѣтлено, оно мучительно и, для удовлетворенія себя, заставляетъ человека быть неразборчивымъ на средства. Душа истинно благородная умѣетъ желать сильно и мучительно, но умѣетъ и оставаться при одномъ желаніи, если удовлетвореніе его сопряжено съ преступленіемъ, потому что истинно благородная душа въ самой себѣ находитъ и отпоръ, или противодѣйствіе своему желанію, и воз-

награжденіе за неудовлетвореніе своего желанія. Не таковъ Клавдій: у него въ душѣ было пусто—и онъ сдался на голосъ своего желанія, а сдавшись, сдѣлался мученикомъ. Онъ хочетъ быть добрымъ, справедливымъ, и точно добръ и справедливъ, но только до тѣхъ поръ, пока пиры, почести и королева оставляются за нимъ безспорно; но какъ скоро Гамлетъ намекнулъ ему о незаконности его владѣнія и тѣмъ и другимъ, онъ тотчасъ увидѣлъ, что ему невозможно ограничиться однимъ злодѣйствомъ, и что, кто разъ пошелъ по этой дорогѣ, тотъ или погибай, или не останавливайся. Но онъ не понялъ, что какъ ни велика наша мудрость, но она не можетъ измѣнить, по своей волѣ, порядка событій и обратить ихъ въ нашу пользу, и что, въ этомъ отношеніи, есть нѣчто такое, что смѣется надъ нашею мудростію и обращаетъ ее въ глупость, на нашу же гибель.

Кромѣ этихъ лицъ, особенно примѣчательно лицо Гораціо: это добрый малый, который любитъ добро по инстинкту, не разсуждая объ немъ; человекъ честный и откровенный. Онъ любитъ Гамлета, какъ добраго благороднаго человека, но и не подозрѣваетъ въ немъ великой души, осужденной на адскую борьбу съ самой собою. Поэтому, Гамлетъ дѣлится съ нимъ своею внутреннею жизнію не больше, какъ столько, сколько она доступна для добраго Гораціо, и открываетъ ему свои тайны больше по необходимости, нежели по чувству дружбы. Такие люди, какъ Гамлетъ, безсознательно умѣютъ понимать cadaго на своемъ мѣстѣ и, вслѣдствіе этого, съ каждымъ опредѣлить свои отношенія.

Я за то тебя люблю,
Что ты терпѣть умѣешь. Въ счастья.
Въ несчастья равенъ ты, Гораціо.

Такъ говоритъ ему Гамлетъ, и въ этихъ словахъ заключается полная характеристика Гораціо и объясненіе взаимныхъ отношеній другъ къ другу этихъ двухъ лицъ.

О прочих лицахъ драмы мы не будемъ говорить, не потому, чтобы каждое изъ нихъ не было ни конкретнымъ, ни дѣйствительнымъ, ни необходимымъ для цѣлости драмы, но потому, что наша статья и безъ того сдѣлалась слишкомъ длинна; сверхъ того, говоря о характерахъ лицъ, мы имѣли въ виду показать простоту, естественность и дѣйствительность содержанія и хода драмы, образующей собою цѣлый, отдѣльный міръ дѣйствительной жизни. Не знаемъ, успѣли ли мы въ этомъ, но почитаемъ необходимымъ прибавить ко всему сказанному нами на этотъ предметъ, что во всѣхъ драмахъ Шекспира есть одинъ герой, имени котораго онъ не выставляетъ въ числѣ дѣйствующихъ лицъ, но котораго присутствіе и первенство зритель узнаетъ уже по опущеніи занавѣса. Этотъ герой есть — жизнь, или, лучше сказать, вѣчный духъ, проявляющійся въ жизни людей и открывающійся въ ней самому себѣ. Этому-то незримо присутствующему герою и главному лицу всѣхъ своихъ драмъ, обязанъ Шекспиръ своею вѣчно неумирающею славою, потому что въ немъ заключается его абсолютность. Вглядитесь попристальнѣе въ лица, образующія собою драму «Гамлетъ»: чтѣ вы увидите въ каждомъ изъ нихъ?—Субъективность, конечность, сосредоточеніе на личныхъ интересахъ. Посмотрите на самого Гамлета: всѣ прочія лица драмы или враги ему или друзья. Онъ называетъ свою мать «чудовищемъ порока», тогда какъ она не больше, какъ слабая женщина; короля онъ тоже становится на какія-то ходули, почитая его ужаснымъ, чудовишнымъ злодѣемъ, тогда какъ онъ только жалокъ и ничтоженъ; наконецъ, Гамлетъ даже въ Полоніи видитъ какого-то для себя врага, тогда какъ тотъ изъ всѣхъ силъ хлопочетъ о его женитьбѣ на своей дочери. Уже къ концу пьесы выходитъ онъ, въ торжественную минуту просвѣтлѣнія, изъ своей личности и возвышается до абсолютнаго созерцанія истины, но тогда оканчивается и драма. Чтѣ дѣлаетъ король?—старается обезпечить себѣ похищенную корону, обладаніе коро-

левою и удовольствіе пить вино при звукахъ трубъ. А королева?—примиреніемъ съ любимымъ, но непонятымъ ею сыномъ, доставить себѣ возможность весело жить съ новымъ мужемъ. А эта кроткая, прекрасная и гармоническая Офелія?—она занята своими думами любви и горестью о несбывшихся надеждахъ. А Полоній?—онъ хлопочетъ породниться съ царскою кровью. А Лаэртъ?—сперва онъ весь въ мысли о своемъ любезномъ Парижѣ и его веселостяхъ, а потомъ въ бѣшенствѣ на Гамлета за смерть отца и помѣшательство сестры. А прочіе придворные?—они заняты своимъ страннымъ положеніемъ между Гамлетомъ, какъ будущимъ королемъ, и между Клавдіемъ, какъ настоящимъ королемъ, и своими дѣйствіями выражаютъ жидовскую поговорку: помози, Боже, и вашимъ и нашимъ.

И такъ, всѣ эти лица находятся въ заколдованномъ кругу своей личности, ни мало не догадываясь, что они, живя для себя, живутъ въ общемъ, и дѣйствуя для себя, служатъ цѣлому драмы. И вотъ опускается занавѣсъ: Гамлетъ погибъ, Офелія погибла, король также; нѣтъ ни добраго, ни злаго—все погибло. Какое мучительное чувство должно бы возбудить въ душѣ зрителя это кровавое зрѣлище! А между тѣмъ, зритель выходитъ изъ театра съ чувствомъ гармоніи и спокойствія въ душѣ, съ просвѣтленнымъ взглядомъ на жизнь и примиренный съ нею, и это потому, что, въ борьбѣ конечностей и личныхъ интересовъ, онъ увидѣлъ жизнь общую, мировую, абсолютную, въ которой нѣтъ относительнаго добра и зла, но въ которой все—безусловное благо!...

Признаемся: не безъ какой-то робости приступаемъ мы къ отчету объ игрѣ Мочалова: намъ кажется, и не безъ основанія, что мы беремся за дѣло трудное и превосходящее наши силы.

Сценическое искусство есть искусство неблагодарное, потому что оно живетъ только въ минуту творчества и могущественно дѣйствуя на душу въ настоящемъ, оно неуловимо

въ прошедшемъ. Какъ воспоминаніе, игра актера жива для того, кто былъ ею потрясенъ, но не для того, кому бы хотѣлъ онъ передать свое о ней понятіе. А мы хотимъ именно это сдѣлать: хотимъ передать тѣ ощущенія, ту жизнь безъ имени, то состояніе духа безъ всякой посредствующей возможности выраженія, которыми дарилъ насъ могучій художникъ, и при воспоминаніи о которыхъ наша взволнованная и наслаждающаяся душа тщетно ищетъ словъ и образовъ, чтобы сдѣлать для другихъ яснымъ и ощутительнымъ созерцаніе прошедшихъ моментовъ своего высокаго наслажденія... И что же мы сдѣлаемъ для этого? — Изчислимъ ли всѣ тѣ мѣста, въ которыхъ художникъ былъ особенно силенъ?—но намъ могутъ и не повѣрить. Обозначимъ ли общими чертами характеръ его игры?—но и здѣсь мы достигнемъ много-много если вѣроятности, а мы хотѣли бы, чтобы въ нашемъ отчетѣ была очевидность. Нѣтъ, не подробный и обстоятельный отчетъ должны мы написать, не мнѣніе наше должны мы представить на судъ читателей, которые могутъ и принять и не принять его: мы должны заставить ихъ повѣрить намъ безусловно, а для этого намъ должно возбудить въ душахъ ихъ всѣ тѣ потрясенія, вмѣстѣ и мучительныя и сладостныя, неуловимыя и дѣйствительныя, которыми восторгалъ и мучилъ насъ по своей волѣ великій артистъ; должно ринуть ихъ въ то состояніе души человѣка, когда она, увлеченная чародѣйственною силою и слабая, чтобы защититься отъ ея могучихъ обаяній, предается ей до самозабвенія и, любя чужою любовію, страдая чужимъ страданіемъ, сознаетъ себя только въ одномъ чувствѣ безконечнаго наслажденія, но уже не чужаго, а своего собственнаго; словомъ, намъ должно сдѣлать съ нашими читателями то же самое, что дѣлалъ съ нами Мочаловъ... Но это значило бы идти въ соперничество, въ состязаніе съ тѣмъ великимъ художникомъ, чей геній раздѣлилъ съ Шекспиромъ славу созданія Гамлета, чья глуповая душа изъ сокровенныхъ тайниковъ своихъ высылала

и разрушительныя бури страстей и торжественное спокойствіе души... Состязаться съ нимъ! .. но для этого надобно, чтобы каждое наше выраженіе было живымъ поэтическимъ образомъ; надобно, чтобы каждое наше слово трепетало жизнью, чтобы въ каждомъ нашемъ словѣ отзывался то яростный хохоть безумнаго отчаянія, то язвительная и горькая насмѣшка души, оскорбленной и судьбой, и людьми, и самой собою, то грустно-ропщущая жалоба утомленнаго самимъ собою безсилія, то гармоническій лепетъ любви, то торжественно-грустный голосъ примиреннаго съ самимъ собою духа... Да, надобно, чтобы каждое наше слово было проникнуто кровью, желчью, слезами, стонами, и чтобы изъ-за нашихъ живыхъ и поэтическихъ образовъ мелькало передъ глазами читателей какое-то прекрасное меланхолическое лицо, и раздавался голосъ, полный тоски, бѣшенства, любви, страданія, и во всемъ этомъ всегда гармоническій, всегда гибкій, всегда проникающій въ душу и потрясающій ея самыя сокровенныя струны... Вотъ тогда бы мы вполне достигли своей цѣли, и сдѣлали бы для нашихъ читателей то же самое, что сдѣлалъ для насъ Мочаловъ. Но, еще разъ, для этого надобно имѣть душу вулканическую и страстную, и не только способную въ высшей степени страдать и любить, но и заставлять другихъ страдать и любить, передавая имъ свою любовь и свои страданія... Рецензенту надо сдѣлаться поэтомъ, и поэтомъ великимъ... Все это мы говоримъ отнюдь не для того, чтобы поднять Мочалова: его талантъ, этотъ, по выраженію одного извѣстнаго литератора, самородокъ чистаго золота, и неумолкающія рукоплесканія цѣлой Москвы, какъ свидѣтельство необыкновеннаго успѣха, дѣлаютъ для Мочалова излишними всѣ косвенныя средства для его возвышенія. И все, что мы сказали, не примѣняется къ одному ему исключительно, но ко всякому великому актѣру. Сценическое искусство есть искусство неблагодарное — вотъ что хотѣли мы сказать, говоря о невозможности отдать удовлетворитель-

наго отчета объ игрѣ Мочалова. Вы прочли произведеніе великаго генія и хотите разобрать его: передъ вами книга, и еслибы у васъ неостало силы показать его въ надлежащемъ свѣтѣ, вы расскажете его содержаніе, выпишите изъ него мѣста, и тогда оно заговорить само за себя. Вы хотите просто дать о немъ понятіе вашему другу, знакомому, который не читалъ его: скажите основную мысль, содержаніе, нѣсколько стиховъ, врѣзавшихся въ вашей памяти, и вы опять достигнете своей цѣли. Вы прослушали музыкальное произведеніе и хотите или снова оживить его для себя, или дать о немъ кому-нибудь понятіе — вы садитесь за фортепьяно, или поете мотивъ, и если это будетъ далеко не то, что вы слышали, то все-таки нѣчто похожее на то... Эстампъ даетъ вамъ понятіе о великомъ произведеніи живописи. Но актёръ... попросите его самого напомнить вамъ какое-нибудь мѣсто, особенно поразившее васъ въ его игрѣ: и вы увидите, что онъ самъ не въ состояніи его повторить *), а если и повторить, то не такъ, можетъ-быть, лучше — только не такъ... Слышите ли: онъ самъ не въ состояніи; какъ же можетъ передать его игру простой любитель его искусства, и притомъ на бумагѣ, мертвою буквою?... Мы любимъ Мочалова, какъ великаго художника, мы благодарны ему за тѣ минуты невыразимаго наслажденія, которыми онъ столько разъ восторгалъ нашу душу, но мы пишемъ эти строки не для него, а для искусства, которое мы любимъ, и для удовлетворенія понятной потребности говорить о томъ, что было причиною нашего величайшаго наслажденія. И вотъ здѣсь-то наша боязнь: что любишь, то желаешь и другихъ заставить любить, а для этого недостаточно одной любви — нужно еще и умѣние передать ее. Но мы взяли за это добровольно, увлекаемые

*) Впрочемъ, есть и такіе актёры, которые служатъ исключеніемъ изъ этого правила и которымъ, въ самыхъ патетическихкихъ мѣстахъ ихъ роли, можно кричать «оро. И такіе актёры иногда считаются великими.

безотчетнымъ желаніемъ подѣлиться съ другими своими прекрасными ощущеніями и указать имъ на узанный нами и, можетъ-быть, еще неизвѣстный для нихъ источникъ эстетическаго наслажденія, на новый міръ прекрасной жизни:— пусть же наше безкорыстное побужденіе будетъ служить намъ оправданіемъ въ случаѣ неупѣха, если для неупѣха въ добровольно принятомъ на себя дѣлѣ можетъ быть какое-нибудь извиненіе. А мы почтемъ себя совершенно достигшими своей цѣли, вознагражденными и счастливыми, ежели, передавая глубокія и прекрасныя ощущенія, которыми волновала насъ вдохновенная игра великаго актёра, и указывая на тѣ минуты его высшаго одушевленія, которыя отдѣлялись отъ цѣлаго выполненія роли и съ особеннымъ могуществомъ потрясали души зрителей, заставимъ бывшихъ на этихъ представленіяхъ сказать: «да, это правда: все было прекрасно. но эти мгновенія были велики», а тѣхъ, которые не видѣли «Гамлета» на сценѣ, заставимъ пожалѣть объ этой потерѣ и пожелать вознаградить ее...

Что такое сценическое искусство? — Какъ всякое искусство, оно есть творчество. Теперь: въ чемъ же заключается творчество актёра, котораго талантъ и сила состоятъ въ умѣніи вѣрно осуществить уже созданный поэтомъ характеръ?— Въ словѣ осуществить заключается творчество актёра. Вы читаете Гамлета, понимаете его, но не видите его передъ собою, какъ лицо имѣющее извѣстную фізіономію, извѣстный цвѣтъ волосъ, извѣстный органъ голоса, извѣстныя манеры, словомъ, конкретную живую личность. Это какая-то статуя, съ выраженіемъ страсти въ лицѣ, но которой и волоса, и лицо, и глаза одного цвѣта—цвѣта мрамора. Конечно, всю эту видимую личность вы создаете сами, или, лучше сказать, вы ее представляете себѣ, но независимо отъ Шекспира и сообразно съ вашей субъективностію. Если, съ одной стороны, вы не имѣете права человѣку холодному и медленному придать фізіономію живой, пламенной, то, съ другой стороны, совер-

шенно отъ васъ зависить, не измѣняя характера, лица, придать ему черты по своему идеалу, потому что каждое драматическое лицо Шекспира конкретно и живо, какъ лицо, дѣйствующее свободно и реально, но черезъ своего творца; вы вездѣ видите его присутствіе, но не видите его самого: вы читаете его слова, но не слышите его голоса, и этотъ недостатокъ пополняете собственною своею фантазіею, которая, будучи совершенно зависима отъ автора, въ то же время и свободна отъ него. Драматическая поэзія не полна безъ сценическаго искусства: чтобы понять вполне лицо, мало знать, какъ оно дѣйствуетъ, говорить, чувствуетъ—надо видѣть и слышать, какъ оно дѣйствуетъ, говорить, чувствуетъ. Два актѣра, равно великіе, равно гениальные, играютъ роль Гамлета: въ игрѣ каждого изъ нихъ будетъ виденъ Гамлетъ, шекспировскій Гамлетъ; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, это будутъ два различные Гамлета, т. е. каждый изъ нихъ, будучи вѣрнымъ выраженіемъ одной и той же идеи, будетъ имѣть свою собственную фізіономію, созданіе которой принадлежитъ уже сценическому искусству. Сущность каждого искусства состоитъ въ его свободѣ; безъ свободы же искусство есть ремесло, для котораго не нужно родиться, но которому можно выучиться. Свобода сценическаго искусства, какъ искусства самостоятельнаго, хотя и связаннаго съ драматическимъ, безгранична, потому что возможность давать различныя фізіономіи одному и тому же лицу заключается не въ субъективности актѣра, но въ степени его таланта и въ степени развитія его таланта; одинъ и тотъ же актѣръ можетъ сыграть двухъ шекспировскихъ, въ то же время, двухъ различныхъ Гамлетовъ, и никогда не можетъ сыграть роли Гамлета двухъ разъ совершенно одинаково. Сила и сущность сценическаго гения совершенно тождественная съ гениемъ прочихъ искусствъ, потому что, подобно имъ, она состоитъ въ этой всегдашней способности, понявши идею, найти вѣрный образъ для ея выраженія. Но между поэтомъ и актѣромъ, вслѣдствіе индивидуальности ихъ

искусствъ, есть и большая разница. Чѣмъ выше поэтъ, тѣмъ спокойнѣе творить онъ: образы и явленія проходятъ предъ нимъ, вызываемые волшебными заклинаніями его творческой силы, но они живутъ въ немъ, а не онъ живетъ въ нихъ; онъ понимаетъ ихъ объективно, но живетъ въ той жизни, которую образуютъ они своею гармоническою цѣлостію, а не въ какомъ-нибудь изъ нихъ особенно, а такъ какъ выражаемая ихъ общностію жизнь есть жизнь абсолютная, то его наслажденіе этою жизнію, естественно, спокойно. Актёръ, напротивъ, живетъ жизнію того лица, которое представляетъ. Для него существуетъ не идея цѣлой драмы, но идея одного лица, и онъ, понявши идею этого лица объективно, выполняетъ ее субъективно. Взявши на себя роль, онъ уже—не онъ, онъ уже живетъ не своею жизнію, но жизнію представляемаго имъ лица; онъ страдаетъ его горестями, радуется его радостями, любитъ его любовію; всѣ прочіе актёры, играющіе вмѣстѣ съ нимъ, становятся на это мгновеніе его друзьями или его врагами, по свойству роли каждого. И, Боже мой, сколько средствъ требуетъ сценическое дарованіе! Мы не говоримъ уже о средствахъ матеріальныхъ, но необходимыхъ, каковы: крѣпкое сложеніе, стройный, высокій станъ, звучный и гибкій голосъ; для этого нужна еще организація огненная, раздражительная, мгновенно воспламеняющаяся: лицо подвижное, истинное зеркало всѣхъ чувствъ, проходящихъ по душѣ; способность любить и страдать глубокая и безконечная. Вы читаете драму съ участіемъ, она васъ волнуетъ, но вы ни на минуту не забываете, что вы не Гамлетъ, не Отелло, и вамъ отъ этого чтенія остается одно только наслажденіе, послѣ котораго вы здоровы и душою и тѣломъ; а актёръ?—о, онъ не русскій, не москвичъ, не Мочаловъ, въ эту минуту, а Гамлетъ или Отелло, чувствующій въ своей душѣ всѣ раны ихъ души. Если вы прочли драму вслухъ, то чѣмъ съ большимъ одушевленіемъ прочли вы ее, тѣмъ болѣе стѣсненіе чувствуете вы у себя въ груди и изнеможеніе

въ цѣломъ организмѣ: что же долженъ чувствовать послѣ своей игры актёръ, пережившій, въ нѣсколько часовъ, цѣлую жизнь, составленную изъ борьбы и мукъ страстей великой души? — И не потому ли такъ мало гёніяльныхъ актёровъ? Въ самомъ дѣлѣ, сколько именъ перешло въ потомство? — очень немного: Гаррикъ, Кемблъ, Кинъ — и только. Намъ, можетъ-быть, скажутъ, что мы забыли Тальму, г-жъ Жоржъ и Марсъ: нѣтъ, мы не забыли ихъ, но они были французы... а мы очень не смѣлы въ нашихъ сужденіяхъ, когда слово Французъ сходится съ словомъ искусство, и когда мы не имѣемъ подъ рукою вѣрныхъ данныхъ для сужденія объ этомъ Французѣ въ отношеніи къ искусству... Вотъ, напримѣръ, Корнель, Расинъ, Мольеръ, Вольтеръ, Гюго, Дюма—это другое дѣло: объ нихъ мы не задумываясь скажемъ, что они, можетъ-быть, отличные, превосходные литераторы, стихотворцы, искусники, риторы, декламаторы, фразёры; но вмѣстѣ съ тѣмъ, мы не задумываясь же скажемъ, что они и не художники, не поэты, но что ихъ невинно оклеветали художниками и поэтами люди, которые лишены отъ природы чувства изящнаго... Но Тальма, Жоржъ, Марсъ... мы ихъ не видѣли и охотно готовы вѣрить, что они были чудеснѣйшими эффектёрами, декламаторами, фигурантами... но чтобы они были великими актёрами... да не о томъ дѣло...

Кстати: мы сказали, что актёръ есть художникъ, слѣдовательно, творить свободно, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, мы сказали, что онъ и зависитъ отъ драматическаго поэта. Эта свобода и зависимость, связанная между собою неразрывно, не только естественны, но и необходимы: только чрезъ это соединеніе двухъ крайностей актёръ можетъ быть великъ. Какъ всякій художникъ, актёръ творить по вдохновенію, а вдохновеніе есть внезапное проникновеніе въ истину. Драматическій поэтъ, какъ всякій художникъ, выражаетъ своимъ произведеніемъ извѣстную истину, и каждый образъ его есть конкретное выраженіе извѣстной истины, слѣдовательно, актёръ мо-

жеть вдохновляться только истинною, и слѣдовательно, чѣмъ выше поэтъ, тѣмъ вдохновеннѣе долженъ быть актёръ, играющій созданную имъ роль, такъ какъ чѣмъ глубже истина, тѣмъ глубже должно быть и проникновеніе въ нее, а слѣдовательно, и вдохновеніе. Поэтому, мы не вѣримъ таланту тѣхъ актёровъ, которые всякую роль, какимъ бы поэтомъ она ни была создана—великимъ или малымъ, превосходнымъ или дурнымъ—играютъ равно хорошо, или могутъ играть хорошо плохую роль. Хорошо декламировать—другое дѣло, но декламировать роль и играть ее—это двѣ вещи совершенно разныя, и если превосходный актёръ можетъ быть и превосходнымъ декламаторомъ, изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы превосходный декламаторъ непременно долженствовалъ быть и превосходнымъ актёромъ. Все, что ни выражаетъ своею игрою актёръ, все то заключается въ авторѣ; чтобы понимать автора—нуженъ умъ и эстетическое чувство; чтобы уразумѣніе автора перевести въ дѣйствіе—нуженъ талантъ, гений. Поэтому, если характеръ, созданный поэтомъ, не вѣренъ, не конкретенъ, то какъ бы ни была превосходна игра актёра, она есть искусничанье, а не искусство, штукачество, а не творчество, изступленіе, а не вдохновеніе. Если актёръ скажетъ съ увлекающимъ чувствомъ какую-нибудь надутую фразу изъ плохой пьесы, то это опять-таки будетъ фиглярство, фокусничество, а не чувство, не одушевленіе, потому что чувство всегда связано съ мыслию, всегда разумно, одушевляться же можно только истинною, больше ничѣмъ. Впрочемъ, извѣстно, что великіе актёры иногда превосходно играютъ нелѣпыя роли: мы сами это видѣли, и еще недавно: Мочаловъ прекрасно сыгралъ пошлую роль Бина въ пошлой пьесѣ Дюма «Геній и Безпутство». Но это нисколько не опровергаетъ нашей мысли; во первыхъ, онъ сыгралъ ее такъ хорошо, какъ хорошо можно сыграть нелѣпую роль, то есть, относительно хорошо, и въ цѣлой роли на него было скучно смотрѣть, хотя онъ показалъ крайнюю степень искусства; во вторыхъ: если у него было въ этой роли два-

три момента истинно вдохновенныхъ, то эти моменты были чисто-лирическіе, субъективные, въ которыхъ онъ, пользуясь положеніемъ представляемаго имъ лица, высказалъ не дюма-масовскаго Кина, а самого себя, и которые нисколько не были связаны съ ходомъ и характеромъ цѣлой драмы, и къ которымъ, наконецъ, онъ привязалъ свое понятіе, свое, ему известное значеніе и смыслъ. Такъ же хорошо онъ игрывалъ Карла Моора и Отелло (дюсисовскаго), т. е. несмотря на всѣ его усилія, цѣлой роли никогда не было, но всегда было пять-шесть превосходнѣйшихъ мѣстъ, и именно въ этомъ-то неумѣнн, въ этомъ-то безсиліи выдерживать невыдержанные или неконкретные характеры мы видимъ несомнѣнное доказательство таланта Мочалова, хотя прежде, т. е. до представленія «Гамлета», вмѣстѣ съ большинствомъ голосовъ, мы смотрѣли на это, какъ на недостатокъ, или на неполноту его дарованія.

Назадъ тому почти годъ, января 22, пришли мы въ Петровскій театръ на бенефисъ Мочалова, для котораго былъ назначенъ «Гамлетъ» Шекспира, переведенный Н. А. Полевымъ. Мнѣніемъ большинства публики, которое отчасти раздѣляли и мы, начали мы эту статью. Любя страстно театръ для высокой драмы, мы болѣли о его упадкѣ, и въ плоскихъ водевильныхъ куплетахъ и неблагопристойныхъ каламбурахъ намъ слышалась надгробная пѣснь, которую онъ пѣлъ самому себѣ. Мы всегда умѣли цѣнить высокое дарованіе Мочалова, о которомъ судили по тѣмъ немногимъ, но глубокимъ и вдохновеннымъ вспышкамъ, которыя западали въ нашу душу съ тѣмъ, чтобы никогда уже не изглаживаться въ ней; но мы смотрѣли на дарованіе Мочалова, какъ на сильное, но вмѣстѣ съ тѣмъ и нисколько не развитое, а вслѣдствіе этого искаженное, обезсиленное и погибшее для всякой будущности. Это убѣжденіе было для насъ горько, и возможность разубѣдиться въ немъ представлялась намъ мечтою сладостною, но несбыточною. Такъ понимали Мочалова мы, мы, готовые сидѣть въ

театръ три томительнѣйшихъ часа, подвергнуть наше эстетическое чувство, нашу горячую любовь къ прекрасному, всѣмъ оскорбленіямъ, всѣмъ пыткамъ со стороны бездарности аксесуарныхъ лицъ и тщетныхъ усилій главнаго—и все это за два, за три момента его творческаго одушевленія, за двѣ, за три вспышки его могучаго таланта: какъ же понимала его, этого Мочалова, публика, которая ходить въ театръ не жить, а засыпать отъ жизни, не наслаждаться, а забавляться, и которая думаетъ, что принесла великую жертву актёру, ежели, обаянная магическою силою его вдохновенной игры, просидѣла смирно три часа, какъ бы прикованная къ своему мѣсту желѣзною цѣпью? Что ей за нужда жертвовать нѣсколькими часами тяжелой скуки для нѣсколькихъ минутъ высокаго наслажденія?... Да, Мочаловъ все падалъ и падалъ во мнѣніи публики, и наконецъ сдѣлался для нея какимъ-то пріятнымъ воспоминаніемъ, и то сомнительнымъ... Публика забыла своего идола, тѣмъ болѣе, что ей представился другой идолъ—изваянный, живописный, граціозный, всегда себѣ равный, всегда находчивый, всегда готовый изумлять ее новыми, неожиданными и смѣлыми картинами и рисующимися положеніями... Публика увидѣла въ своемъ новомъ идолѣ не горделиваго властелина, который даетъ ей законы и увлекаетъ ее зыбкую волю своею могучею волею, но льстиваго услужника, который за мгновенный успѣхъ ея легкомысленныхъ рукоплесканій и кликовъ старался угадывать ея вѣтренныя прихоти... Вотъ тогда-то раздались со всѣхъ сторонъ ея холодные возгласы: Мочаловъ—мѣщанскій актёръ—что за средства—что за ростъ—что за манеры—что за фигура—и тому подобное. Публика снова увидѣла своего идола, снова встрѣчала и приветствовала его рукоплесканіями, снова приходила въ восторгъ при каждой его позѣ, при каждомъ его словѣ; но она уже чувствовала раздѣленіе въ самой себѣ, чувствовала, что восторгъ ея натянуть, что, словомъ, все то же, да какъ-то не то... Но Мочалову отъ этого было не легче: публика стано-

вилась къ нему холоднѣе и холоднѣе, и только немногія души, страстныя къ сценическому искусству и способныя понимать всю безцѣнность сокровища, которое, непризнанное и непонятое, таилось въ огненной душѣ Мочалова, скорбѣли о постепенномъ упадкѣ его таланта и славы, а вмѣстѣ съ ними и о постепенномъ упадкѣ самого театра, наводненнаго потокомъ плоскихъ водевилей...

Все, что мы теперь высказали, все это проходило у насъ въ головѣ, когда мы пришли въ театръ, на бенефисъ Мочалова. Насъ занималъ интересъ сильный, великій, вопросъ въ родѣ—«быть или не быть». Торжество Мочалова было бы нашимъ торжествомъ, его послѣднее паденіе было бы нашимъ паденіемъ. Мы о немъ думали и то и другое, и худое и хорошее, но мы все-таки очень хорошо понимали, что его такъ называемыя прекрасныя мѣста въ посредственной вообще игрѣ были не простою удачею, не прискриваніемъ тепленькаго чувства и порядочнаго дарованія, но проблескомъ души глубокой, страстной, вулканической, таланта могучаго, громаднаго, по ни мало не развитаго, не воспитаннаго художническимъ образованіемъ, наконецъ, таланта, не постигающаго собственнаго величія, не радѣющаго о себѣ, бездѣйственнаго. Мелькала у насъ въ головѣ еще и другая мысль: мысль, что этотъ талантъ, сверхъ всего сказаннаго нами, не имѣлъ еще и достойной себя сферы, еще не пробовалъ своихъ силъ ни въ одной истинно-художественной роли, не говоря уже о томъ, что онъ былъ нѣсколько сбивъ съ истиннаго пути надутыми классическими ролями, подобными роли Полинника, которыя были его дебютомъ и его первымъ торжествомъ, появленіемъ на сцену. Впрочемъ, мы не вполне сознавали эту истину, которая для насъ очевидна, потому что, благодаря Мочалову, мы только теперь поняли, что въ мірѣ одинъ драматическій поэтъ—Шекспиръ, и что только его піесы представляютъ великому актѣру достойное его поприще, и что только въ созданныхъ имъ роляхъ великій актѣръ можетъ

быть великимъ актёромъ. Да, теперь это для насъ ясно, но тогда... За то, тогда мы чувствовали, хотя и бессознательно, что Гамлетъ долженъ рѣшить окончательно, что такое Мочаловъ, и можно ли еще публикѣ посѣщать Петровскій театръ, когда на немъ дается драма... Минута приближалась и была для насъ продолжительна и мучительна. Наконецъ, увертюра кончилась, занавѣсъ взвился,—и мы увидѣли на сценѣ нѣсколько фигуръ, которыя довольно твердо читали свои роли и не упускали при этомъ дѣлать приличные жесты: увидѣли, какъ старая г. Усачевъ испугаться какого-то пугала, которое означало собою тѣнь Гамлетова отца, и какъ другой воинъ, желая показать, что это тѣнь, а не живой человѣкъ, осторожно кольнулъ своею аллебардою воздухъ мимо тѣни, дѣлая видъ, что онъ безвредно прокололъ ее. Все это было довольно забавно и смѣшно, но намъ, право, было совсѣмъ не до смѣху: въ томительной тоскѣ ждали мы, что будетъ дальше. Вотъ наши герои уходятъ со сцены, раздается свистокъ; декорация перемѣняется, появляется нѣсколько пажей и выходитъ г. Козловскій, ведя за руку г-жу Синецкую, а за ними бенефициантъ; театръ потрясся отъ рукоплесканій. Вотъ онъ отдѣляется отъ толпы, становится въ отдаленіи на краю сцены въ черномъ, траурномъ платьѣ, съ лицомъ унылымъ, грустнымъ, Что-то, будетъ?... Вотъ король и королева обращаются къ нашему Гамлету—онъ отвѣчаетъ имъ; изъ этихъ короткихъ отвѣтовъ еще не видно ничего положительнаго о достоинствѣ игры. Вотъ Гамлетъ остается одинъ. Начинается монологъ—«Для чего ты не растаешь» и пр., и мы, въ этомъ первомъ представленіи, крѣпко запомнили слѣдующіе стихи:

Едва лишь шесть недѣль прошло, какъ нѣтъ его,
Его, властителя, героя, полубога
Предъ этимъ повелителемъ ничтожнымъ,
Предъ этимъ мужемъ матери моей...

Первые два стиха были сказаны Мочаловымъ съ грустію, съ

любовію — въ послѣднихъ выразилось энергическое негодованіе и презрѣніе; невозможно забыть его движенія, которое сопровождало эти два стиха. Стихъ «О, женщины!—ничтожество вамъ имя!» пропалъ, какъ и во всѣ слѣдующія представленія; но стихъ «Башмаковъ она еще не истоптала» и почти всѣ слѣдующіе, почти во всѣ представленія, были превосходно сказаны. Но изъ всего этого съ особенною силою выдался отвѣтъ Гамлета Гораціо на слова послѣдняго объ умершемъ королѣ—

Человѣкъ онъ былъ... изъ всѣхъ людей.
Мнѣ. не видать уже такого человѣка!

Половину первого стиха «Человѣкъ онъ былъ», Мочаловъ произнесъ протяжно, ударяя Гораціо по плечу, и какъ бы прерывая его слова; все остальное онъ сказалъ скороговоркою, какъ бы спѣша высказать свою задушевную мысль, прежде, нежели волненіе духа не прервало его голоса. Театръ потрясся отъ единодушныхъ и восторженныхъ рукоплесканій... Такое же дѣйствіе произвелъ у него послѣдній монологъ во второмъ дѣйствіи, и тѣ, которые были на этомъ представленіи, не могутъ забыть и этого выраженія грусти и раздумья, вслѣдствіе мысли о любимомъ отцѣ, и горестнаго предчувствія ужасной тайны, съ которымъ онъ проговорилъ стихи—

Тыя моего отца—въ оружіи.—Бѣдами
Грозитъ она—открытіемъ злодѣйства...
О. еслибъ поскорѣе ночь настала!
До тѣхъ поръ—спи. моя душа!

и этой торжественности и энергіи, съ которыми онъ произнесъ стихъ «Злодѣйство встанетъ на бѣду себѣ!» и этого граціознаго жеста, съ которымъ онъ сказалъ послѣдніе два стиха—

И если ты его землею закроешь цѣлой ...
Оно стражнеть ее и явится на свѣтъ!

сдѣлавши обѣими руками такое движеніе, какъ будто бы, безъ всякаго напряженія, единою силою воли, сталкивалъ съ себя тяжесть, равную цѣлому земному шару...

Третья сцена была ведена Мочаловымъ вообще недурно; но монологъ послѣ ухода тѣни былъ произнесенъ съ увлекающею силою. Сказавши «О мать моя! чудовище порока!» онъ сталъ на колѣно и, задыхающимся отъ какого-то сумасшедшаго бѣшенства голосомъ, произнесъ: «Гдѣ мои замѣтки»? и пр. Равнымъ образомъ невозможно дать понятія объ этой ироніи и этомъ помѣшательствѣ ума, съ какими онъ, на голосъ Марцеллія и Гораціо, звавшихъ его за сценою, откликнулся: «Здѣсь, малютки! Сюда, сюда, я здѣсь»! Сказавши эти слова съ выраженіемъ умственнаго разстройства въ лицѣ и голосѣ, онъ повелъ рукою по лбу, какъ человѣкъ, который чувствуетъ, что онъ теряетъ разумъ, и который боится въ этомъ удостовѣриться.

Здѣсь, кстати, скажемъ слова два о помѣшательствѣ Гамлета. У Англичанъ было много споровъ и разсужденій о томъ: сумасшедшій ли Гамлетъ, или нѣтъ? Этотъ вопросъ намъ кажется очень простъ и ясенъ съ тѣхъ поръ, какъ его разрѣшилъ намъ Мочаловъ своею игрою. У Гамлета была своя жизнь, въ сферѣ которой онъ сознавалъ себя какъ нѣчто дѣйствительное. Вдругъ ужасное событіе насильственно выводитъ его изъ того опредѣленія, въ которомъ онъ понималъ и жизнь и самого себя: естественно, что Гамлетъ теряетъ всякую точку опоры, всякую сосредоточенность, изъ явленія дѣлается элементомъ и, изъ созерцанія безконечнаго, впадаетъ въ конечность. Вотъ въ чемъ состоитъ помѣшательство Гамлета: на одно мгновеніе онъ сдѣлался призракомъ съ возможностью дѣйствительности, но безъ всякой дѣйствительности, какъ человѣкъ, оглушенный ударомъ по головѣ, остается на нѣсколько минутъ только съ возможностью душевныхъ способностей, которыя у него замираютъ, хотя и не умираютъ. И Гамлетъ точно сумасшедшій, но не потому, чтобы

потерялъ свой разумъ, но потому, что потерялся самъ на время; впрочемъ, его разсудокъ при немъ, и онъ во всякомъ случаѣ не приметъ свѣчки за солнце. Дѣло только въ томъ, что сначала онъ до такой степени растерялся, что пока не могъ найти лучшаго способа дѣйствованія, какъ прикинуться сумасшедшимъ, о чемъ онъ и намекнулъ довольно ясно Марцеллю и Горацио. И Мочаловъ глубоко постигъ это своимъ художническимъ чувствомъ: онъ сумасшедшій, когда, стоя на одномъ колѣнѣ, записываетъ въ записной книжкѣ слова тѣни; онъ сумасшедшій, когда откликается на зовъ своихъ друзей и во всей сценѣ съ ними послѣ явленія тѣни, но онъ сумасшедшій въ томъ смыслѣ, какой мы, благодаря его же игрѣ, даемъ сумасшествію Гамлета, и Мочаловъ представляется для зрителей сумасшедшимъ только въ этомъ третьемъ явленіи, а больше нигдѣ, какъ то будетъ нами показано ниже. Спорить же о томъ, былъ ли Гамлетъ сумасшедшимъ въ буквальномъ смыслѣ этого слова, странно: сумасшедшій человекъ не можетъ быть предметомъ искусства и героемъ шекспировской драмы. Мысль представить въ поэтическомъ произведеніи человека умалишеннаго, такая мысль могла бъ быть истинною находкою только для какого-нибудь героя французской литературы, этой литературы, которая копается въ гробахъ, посѣщаетъ тюрьмы, дома разврата, логовища бѣлыхъ медвѣдей, отыскиваетъ чудовищъ въ лютомъ Казимодо и Лукреціи Борджіа, людей съ отрѣзаннымъ языкомъ, съ отгнившею головою, и все это для того, чтобъ сильнѣе поразить эффектами душу читателя. Но гений Шекспира былъ слишкомъ великъ, чтобъ прибѣгать къ такимъ мелкимъ средствамъ для успѣха; слишкомъ хорошо постигалъ красоту дивнаго Божіяго міра и достоинство человѣческой жизни, чтобы унижать то и другое пошлыми клеветами. Намъ укажутъ, можетъ быть, на Офелію, какъ на живое опроверженіе нашей мысли; но мы отвѣтимъ, что сумасшествіе Офеліи представлено у Шекспира, какъ результатъ главнаго событія ея жизни, какъ

мимолетное явленіе, но не какъ предметъ драмы, на которомъ были бы основаны цѣль и успѣхъ ея. Сдѣлавшись сумасшедшею, Офелія сходитъ со сцены, какъ лицо уже лишнее въ драмѣ. Не говоримъ уже о томъ, что появленіе сумасшедшей Офеліи производить въ душѣ зрителя грустное страданіе, но не ужасъ, не отчаяніе и не отвращеніе отъ жизни. Иные думаютъ, что Гамлетъ сумасшедшій только въ нѣкоторыя минуты; очень хорошо; но въ такомъ случаѣ, эти минуты не имѣли бы никакой связи съ остальною его жизнію; но всѣ слова Гамлета послѣдовательны и заключаютъ въ себѣ глубокій смыслъ. И это было прекрасно выполнено Мочаловымъ. «Что новаго!» спрашиваетъ Гораціо. «О, чудеса!» отвѣчаетъ Гамлетъ съ блудящимъ взоромъ и съ выраженіемъ дикой и насмѣшливой веселости. «Скажите, принцъ, скажите», продолжаетъ Гораціо. «Нѣтъ, ты всемъ расскажешь», возражаетъ Гамлетъ, какъ бы забавляясь недоумѣніемъ своего друга. «Нѣтъ, клянемся!» — Что говоришь ты: я повѣрю людямъ? ты все откроешь! — «Нѣтъ, клянемся небомъ!» Тогда Мочаловъ принялъ на себя выраженіе какой-то таинственности и, нагибаясь поочереды къ уху Гораціо и Марцеллія, какъ бы готовясь открыть имъ важную и ужасную тайну, проговорилъ тихимъ и торжественнымъ голосомъ:

Такъ знайте жъ: въ Даніи бездѣльникъ каждый
Есть въ то же время плутъ негодный.

а потомъ, возвысивъ голосъ, прибавилъ съ тономъ серьезнаго убѣжденія «да!». Но эта иронія и это бѣшеное сумасшествіе были такъ насильственны, что онъ не въ состояніи постоянно выдерживать ихъ, и стихи —

Идите вы, куда влекутъ желанья и дѣла —
У всякого есть дѣло, есть желанье —

онъ произнесъ съ чувствомъ безконечной грусти, какъ человѣкъ, для котораго одного не осталось уже ни желаній, ни дѣлъ, исполненіе которыхъ было бы для него отрадою и сча-

стиемъ. Тѣмъ же тономъ сказалъ онъ: «А я пойду, куда велить мой жалкій жребій»; но заключеніе «пойду—молиться» было произнесено имъ какъ-то неожиданно и съ выраженіемъ всей тяжести гнетущаго его бѣдствія и порыва найти какой-нибудь выходъ изъ этого ужаснаго состоянія.

Да, все это было проникнуто ужасною силою и истинною; но слѣдующее за тѣмъ мѣсто, это превосходное мѣсто, гдѣ онъ заставляетъ своихъ друзей клясться въ храненіи тайны на своемъ мечѣ, было выполнено слабо, и въ немъ Мочаловъ ни въ одно представленіе не достигалъ полного совершенства; но и тутъ прорывались сильныя мѣста, особенно въ большомъ монологѣ, который начинается стихомъ: «И постарайтесь, чтобъ оно невѣдомо осталось». И тутъ у него не одинъ разъ выдавались два мѣста—

Гораціо, есть много и на землѣ и въ небѣ,
О чемъ мечтать не смѣетъ наша мудрость,

и—

Клянитесь мнѣ—и сохрани васъ Боже
Нарушить клятву мнѣ!

Но стихи—

Преступленье

Проклятое! зачѣмъ рожденъ я наказать тебя!

намъ всегда казались у него потерянными, что было для насъ тѣмъ грустнѣе, что мы всегда ожидали ихъ съ нетерпѣніемъ, потому что въ нихъ высказывается вся тайна души Гамлета. Очевидно, что Мочаловъ не обратилъ на нихъ всего вниманія, какого они заслуживали: иначе онъ умѣлъ бы сказать ихъ такъ, чтобы это отдалось въ душахъ зрителей и глубоко запало въ нихъ.

Такъ кончился первый актъ. Тутъ было много потеряннаго, невыдержаннаго, но за то тутъ было много же и превосходно сыграннаго, и общее впечатлѣніе громко говорило за бенефицианта. Мы отдохнули, и съ замираніемъ сердца предчувствовали полное торжество и свершеніе самыхъ лестныхъ

и самых смѣлыхъ нашихъ надеждъ; словомъ, мы надѣялись уже всего, но то, что мы увидѣли, превзошло всѣ наши надежды.

Во второмъ актѣ, Мочаловъ начинаетъ свою роль разговоромъ съ Полоніемъ и продолжаетъ съ Гильденштерномъ и Розенкранцемъ. Это сцены ужасныя, въ которыхъ Гамлетъ ѣдкими, ядовитыми сарказмами высказываетъ болѣзненное, страждущее состояніе своего духа, всю глубину своего распадѣнія, своей дисгармоніи, всю великость своего позора передъ самимъ собою, всю муку своего сомнѣнія, нерѣшительности и безсилія. Въ этихъ двухъ сценахъ, Мочаловъ развернулъ передъ зрителями все могущество своего сценическаго дарованія и показалъ имъ состояніе души Гамлета такимъ, какъ мы его описали теперь. Надо было видѣть, съ какимъ лицомъ онъ встрѣтился съ Полоніемъ: на этомъ лицѣ былъ виденъ и отпечатокъ безумія, и выраженіе какой-то хитрости, и презрѣніе къ Полонію, и глубокая тоска, и муки растерзаннаго и одинокаго въ своихъ страданіяхъ сердца. А этотъ голосъ, какимъ на вопросъ Полонія «Какъ поживаете, любезный принцъ?» отвѣчалъ онъ: «Слава Богу, хорошо!» и какимъ онъ на другой его вопросъ «Да знаете ли вы меня, принцъ?» отвѣчалъ: «Очень знаю: ты рыбакъ.»—О, такой голосъ не передается на бумагѣ и не повторяется дважды по произволу даже того, кому принадлежитъ онъ. «Что вы читаете, принцъ?» спрашиваетъ Полоній Гамлета. «Слова, слова, слова!» отвѣчаетъ ему Гамлетъ, и какъ отвѣчаетъ! Нѣтъ, не передать мы хотимъ выраженіе этого отвѣта, а пожалѣть, что взяли за дѣло невыполнимое, по крайней мѣрѣ, для насъ... Скажемъ только, что публика поняла великаго артиста и аплодировала съ жаромъ...

Сцена съ Гильденштерномъ и Розенкранцемъ еще значительно первой по своей скрытой, сосредоточенной силѣ, и Мочаловъ такъ и сыгралъ ее. Въ первый еще разъ удостовѣрились мы, какъ можетъ актёръ совершенно отрѣшиться отъ

своей личности, забыть самого себя и жить чужою жизнью, не отдѣляя ее отъ своей собственной, или, лучше сказать, свою собственную жизнь сдѣлать чужою жизнью, и обмануть на нѣсколько часовъ и себя самого и двѣ тысячи человѣкъ... Дивное искусство!... Но вотъ здѣсь-то мы въ совершенномъ отчаяніи: мы еще можемъ характеризовать манеру произношенія и жесты, которыми оно было сопровождаемо; но лицо, но голосъ — это невозможно, а въ нихъ-то все и заключалось... Съ перваго слова до послѣдняго, этотъ голосъ измѣнялся непрерывно, но ни на минуту не терялъ своего полумнаго, хитраго и болѣзненнаго выраженія. Встрѣтивъ Гильденштерна и Розенкранца съ выраженіемъ насмѣшливой, или, лучше сказать, ругательной радости, онъ началъ съ ними свой разговоръ, какъ человѣкъ, который не хочетъ скрывать отъ нихъ своего презрѣнія и своей ненависти, но который и не хочетъ нарушить приличія. «Да, кстати: чѣмъ вы досадили фортунѣ, что она отправила васъ въ тюрьму?» спрашиваетъ онъ ихъ съ выраженіемъ лукаваго простодушія. «Въ тюрьму, принцъ?» возражаетъ Гильденштернъ. «Да, вѣдь Данія тюрьма», отвѣчаетъ имъ Гамлетъ немного протяжно и съ выраженіемъ ѣдкаго и мучительнаго чувства, сопровождая эти слова качаніемъ головы. «Стало быть, и цѣлый свѣтъ тюрьма?» спрашиваетъ Розенкранцъ. «Разумѣется. Свѣтъ просто тюрьма, съ разными перегородками и отдѣленіями», отвѣчаетъ Гамлетъ съ притворнымъ хладнокровіемъ и тономъ какого-то комическаго убѣжденія, и вдругъ, переѣмая голосъ, съ выраженіемъ ненависти и отвращенія прибавляетъ, махнувши рукой: «Данія самое гадкое отдѣленіе». Но когда Розенкранцъ дѣлаетъ ему замѣчаніе, что свѣтъ потому только кажется ему тюрьмою, что тѣсенъ для его великой души; тогда Гамлетъ, какъ бы забывая на минуту роль сумасшедшаго, оставляетъ свою пронию и съ чувствомъ глубокой грусти, въ которой слышится сознаніе его слабости, восклицаетъ: «О, Боже мой! моя великая душа помѣстилась бы въ орѣ-

хой скорлупѣ, и я считалъ бы себя владыкою безпредѣльнаго пространства!» Словомъ, вся эта сцена ведена была съ неподражаемымъ искусствомъ, съ полнымъ успѣхомъ, хотя и не съ крайнею степенью совершенства, потому что тотъ же Мочаловъ, впоследствии, доказалъ, что ее можно играть и еще лучше. Но особенно онъ былъ превосходенъ, когда допрашивалъ придворныхъ, сами ли они къ нему пришли, или были подсланы королею: весь этотъ допросъ былъ сдѣланъ тономъ презрительной насмѣшливости, и когда, приведенные въ замѣшательство, придворные посмотрѣли другъ на друга, то Мочаловъ бросилъ на нихъ искоса взглядъ злобно-лукавый и съ выраженіемъ глубокой къ нимъ ненависти и чувства своего надъ ними превосходства сказалъ: «Я насвободу вижу васъ!» и потомъ вдругъ снова принялъ на себя видъ прежняго помѣшательства.

Всѣ эти переходы были быстры и неожиданны, какъ блескъ молніи. Потомъ онъ превосходно проговорилъ имъ свое признаніе, и его голосъ, лицо, осанка, манеры мѣнялись съ каждымъ словомъ: онъ вырасталъ и поднимался, когда говорилъ о красотѣ природы и достоинствѣ человѣка; онъ былъ грозенъ и страшенъ, когда говорилъ, что земля ему кажется кускомъ грязи, величественное небо—грудю заразительныхъ паровъ, а человѣкъ... «Я не люблю человѣка!» заключилъ онъ, возвысивъ голосъ, грустно и порывисто покачавши головою, и граціозно махнувши отъ себя обѣими руками, какъ бы отталкивая отъ своей груди это человѣчество, которое прежде онъ такъ крѣпко прижималъ къ ней...

Намъ кажется, что въ сценѣ съ Полоніемъ, пришедшимъ возвѣстить о пріѣздѣ комедіантовъ, Мочаловъ не только въ это первое, но и почти во всѣ послѣдующія представленія, нѣсколько утрировалъ, произнося съ невѣроятною растяжкой слова—

О чудное чудо!

О дивное диво!

Эта пѣвучая дикція, равно какъ и жестъ, сопровождавшій ее и состоявшій въ хлопаньи руки объ руку, всегда производили на насъ непріятное впечатлѣніе. Но переходъ изъ этой шутиливости, доходящей иногда до тривиальности, въ большую часть представленій былъ превосходенъ; мы говоримъ о томъ мѣстѣ, когда Гамлетъ на слова Полонія: «Если вы меня изволите называть дивомъ, у меня точно есть дочь, которую я очень люблю» — отвѣчаетъ: «Одно изъ другаго не слѣдуетъ», невозможно дать понятіе объ этомъ внезапномъ переходѣ изъ фальшивой веселости на счетъ ничтожества бѣднаго Полонія въ состояніе какой-то торжественной, мрачной, угрожающей и что-то недоброе пророчащей важности, какая выражается вдругъ и въ лицѣ, и въ голосѣ, и въ приемахъ Мочалова. Тутъ виденъ Гамлетъ, который презираетъ и не любитъ людей, тѣмъ болѣе людей ничтожныхъ, который желалъ бы убѣжать не только отъ нихъ, но и отъ самого себя: и ему-то, этому-то Гамлету, надоѣдаютъ эти люди своими пошлостями — что ему остается дѣлать? Ругаться надъ ихъ ничтожностію и дурачить ихъ въ собственныхъ ихъ глазахъ! — Онъ то и дѣлаетъ; но эта роль не можетъ долго развлекать его и тотчасъ ему наскучаетъ: тогда онъ вдругъ какъ бы пробуждается изъ минутнаго усыпленія, вспоминаетъ о своемъ положеніи, и всѣ слова его отдаются въ сердцѣ, какъ злое пророчество... Всѣ уходятъ. Гамлетъ одинъ. Слѣдуетъ длинный монологъ на двухъ цѣлыхъ страницахъ, монологъ сильный, ужасный! Здѣсь мы уже совершенно теряемся и тщетно ищемъ словъ, или лучше сказать, много находимъ ихъ, но они не повинуются намъ и остаются словами, а не образами, не картинами, не гимномъ, не дифирамбомъ... Превосходно, выше всякаго ожиданія, шелъ весь второй актъ, но этотъ монологъ... И это очень понятно, потому что въ этомъ монологе Гамлетъ выказываетъ всю свою душу, со всѣми ея глубокими, зіяющими ранами, и что весь этотъ монологъ есть не что иное, какъ вопль, стонъ души, обвиненіе, жестокий доносъ, жалоба

на самого себя передъ лицомъ судящаго неба... Въ самомъ дѣлѣ, Гамлетъ остался одинъ, послѣ того, какъ его мучило своими преслѣдованіями, своею пошlostію и ничтожностію, столько людей, передъ которыми онъ долженъ былъ скрываться, надѣвать маску, играть заранѣе предположенную роль: эти люди наконецъ оставили его — и вотъ спертое чувство вылилось все наружу, и не находя себѣ границъ, поглотило собою даже самый свой источникъ...

Гдѣ взять словъ для выраженія этой глубокой, сокрушительной, болѣзненной тоски, этого негодованія, бѣшенства и презрѣнія противъ самого себя, укорины и себѣ и природѣ за самого же себя, съ какими великій нашъ артистъ началъ говорить эти стихи —

Какое я ничтожное созданье!
Комедіантъ, наемщикъ жалкій, и въ дурныхъ стихахъ.
Мнѣ, выражая страсти, плачетъ и блѣднѣетъ.
Дрожить, трепещеть... Отчего?
И что причина? выдумка пустая,
Какая-то Гекуба! Что жъ ему Гекуба?
Зачѣмъ онъ дѣлитъ слезы, чувства съ нею?
Что, еслибъ страсти онъ имѣлъ причину,
Какую я имѣю? Залилъ бы слезами
Онъ весь театръ, и воплемъ растерзалъ бы слухъ.
И преступленіе ужаснулъ, и въ жилахъ
У зрителей онъ заморозилъ кровь!

Все это онъ проговорилъ нѣсколько протяжно, и голосомъ тихимъ, какъ рыданіе, и во всемъ этомъ выражалось преимущественно чувство безконечной тоски, безконечнаго огорченія самимъ собою, и только въ послѣднихъ стихахъ, голосъ его, не теряя этого выраженія, окрѣпъ и возвысился, какъ бы преодолевъ задушавшее его чувство. Проговоривши эти стихи, Мочаловъ сдѣлалъ довольно продолжительную паузу, и какъ бы бросивъ взглядъ на самого себя, вдругъ и неожиданно со всюю сосредоточенностію скрытой внутренней силы сказалъ — «а я?...» Сказавши это, онъ остановился среди

сцены въ вопрошающемъ положеніи и, какъ будто ожидая отъ кого-нибудь отвѣта, и послѣ, тоже довольно замѣтной, паузы, махнулъ руками съ выраженіемъ отчаянія, умѣряемого однакоже чувствомъ грусти, и пошелъ по сценѣ, говоря голосомъ, выходившимъ со дна страждущей души—

Ничтожный я. презрѣнный человекъ.
Безчувственный—молчу, молчу, когда я знаю,
Что преступленіе погубило жизнь и царство
Великаго властителя. отца!...

Въ послѣднемъ стихѣ голосъ Мочалова измѣнился: въ немъ отозвалась тоскующая любовь, и это у него было всегда, когда онъ говорилъ объ отцѣ.

Или я трусь?
Кто смѣетъ словомъ оскорбить меня,
Или нанести мнѣ оскорбленіе безъ того,
Чтобъ за обиду не вступился я.
Не растерзалъ обидчика, не кинулъ
На растерзанье вранамъ трупъ его!

Въ этихъ стихахъ чувство горести слилось съ выраженіемъ какой-то силы и энергіи. Но въ слѣдующихъ Мочаловъ принялъ прежній тонъ, отдающійся въ душѣ воплемъ нестерпимаго страданія—

И что же?
Чудовище разврата и убійцу вижу я,
И самый адъ зоветъ меня ко мщенію.
А я—

Здѣсь онъ снова остановился на одномъ мѣстѣ и, послѣ короткой паузы, съ этою убійственною ироніею, когда она обращается на себя, произнесъ—

Безплодно изливаю гнѣвъ въ словахъ.
И онъ безвреденъ—онъ, когда я живъ.
Я сынъ убитого отца. свидѣтель
Позора матери!... О, Гамлетъ. Гамлетъ!
Позоръ и стыдъ тебѣ!...

Все, что мы ни говорили о превосходствѣ игры Мочалова до этого самаго мѣста, все это ничто въ сравненіи съ тѣмъ, какъ сказалъ онъ—

О, Гамлетъ, Гамлетъ!

Позоръ и стыдъ тебѣ...

Это быстрое качаніе головою, это быстрое маханіе руками, эта ускоренная походка, выразившая самый жестокій припадокъ сокрушительной, раздирающей душу скорби; этотъ голосъ, безъ всякаго усиленія, безъ малѣйшаго крику, потрясшій слухъ всѣхъ и cadaго, достигнувшій сокровеннѣйшихъ изгибовъ сердца зрителей—о, это было дивное мгновеніе!... И примѣчательно то, что изъ всѣхъ представленій, на которыхъ мы были, только въ одно пропало это мѣсто, но во всѣ прочія талантъ Мочалова торжествовалъ въ немъ вполне.

Такъ кончился второй актъ; такъ сошелъ со сцены нашъ Гамлетъ, сопровождаемый восторженными рукоплесканіями и криками... Публика была въ упоеніи. Все отзывалось полнымъ успѣхомъ, полнымъ торжествомъ; но это было еще только начало цѣлаго ряда блистательныхъ триумфовъ для Мочалова.

Въ третьемъ актѣ, Гамлетъ является на сцену съ знаменитымъ монологомъ «Быть или не быть». Этотъ монологъ не даромъ пользуется своею знаменитостію, какъ будто бы онъ не составлялъ части драмы, но былъ особеннымъ и цѣльнымъ произведеніемъ Шекспира: въ немъ выражена вся внутренняя сторона Гамлета, какъ человѣка, тревожимаго вопросами жизни и, кромѣ того, мучимаго борьбой съ самимъ собою. И такъ, мы ожидали этого монолога отъ Мочалова съ особеннымъ волненіемъ духа, но обманулись въ своемъ ожиданіи. Не только въ это первое представленіе, но и во всѣ прочія безъ исключенія, этотъ монологъ пропадалъ, и иногда развѣ только къ концу былъ слышенъ. Очень понятно, отчего это всегда было такъ: Петровскій театръ, по своей огромности, требуетъ отъ актѣра голоса громкаго, а Мочаловъ хочетъ

вѣрнѣе представить человѣка, погруженнаго въ своихъ мысляхъ. Для этого онъ начинаетъ свой монологъ въ глубинѣ сцены, при самомъ выходѣ изъ-за кулисъ, медленно приближаясь, тихимъ голосомъ продолжаетъ его, такъ что когда доходить до конца сцены, то говоритъ уже послѣдніе стихи, которые, поэтому, одни и слышны зрителямъ. Это большая ошибка съ его стороны. Естественность сценическаго искусства совѣмъ не то же, что естественность дѣйствительности; и смотрѣть на нее такъ, значить впасть въ ошибку французскихъ классиковъ, которые необходимымъ условіемъ естественности почитали единство времени и мѣста; искусство имѣетъ свою естественность, потому что оно есть не списываніе, не подражаніе, но воспроизведеніе дѣйствительности. И потому, мы думаемъ, что Мочалову надо было представить Гамлета, погруженнаго въ размышленіе, не столько размышляющимъ положеніемъ, то есть опущенною внизъ головою, тихимъ голосомъ, и походкою, сколько самымъ углубленіемъ въ размышленіе. Онъ можетъ возвысить свой голосъ, насколько не выходя изъ положенія человѣка, сосредоточеннаго на занимающихъ его мысляхъ; онъ можетъ, и даже долженъ, для большей художественной естественности, выходить молча и, если угодно, скользить взорами по предметамъ, безъ всякаго къ нимъ вниманія и нѣсколько мгновеній ходить по сценѣ, не говоря ни слова, и, уже подойдя къ краю сцены, начать свой монологъ. Мы увѣрены, что въ такомъ случаѣ этотъ монологъ никогда не потерялся бы.

Мы сказали, что послѣдніе стихи этого монолога у Мочалова бываютъ слышны и иногда онъ произноситъ ихъ превосходно: не помнимъ, такъ ли это было въ первое представленіе, но помнимъ, что когда онъ замѣтилъ Офелію, то его переходъ изъ состоянія размышленія въ состояніе притворнаго сумасшествія былъ столько же быстръ, неожиданъ, какъ и превосходенъ. Глухимъ, сосредоточеннымъ, саркастическимъ голосомъ и какою-то дикою скороговоркою говорилъ

онъ съ Офеліею, и вся эта сцена была проникнута высочайшимъ единствомъ одушевленія, единствомъ характера. Мы не можемъ забыть ея всей, отъ перваго слова до послѣдняго, но монологъ: «Удались отъ людей, Офелія!» — этотъ монологъ выдается въ нашей памяти изъ всей сцены. Начало его онъ говорилъ торопливо, быстро, но слова: «но готовъ обвинить себя въ такихъ грѣхахъ, что лучше не родиться», онъ произнесъ съ выраженіемъ какого-то вопля, какъ бы противъ его воли вырвавшегося изъ его души. Слѣдующія за этимъ слова онъ произносилъ также нѣсколько протяжно и съ чувствомъ сокрушительной тоски; въ нихъ слышался Гамлетъ, который не столько страдаетъ отъ сознанія своихъ недостатковъ, сколько досадуетъ на себя, что у него нѣтъ воли даже и на мерзости. Невозможно выразить того презрительнаго и болѣзненнаго негодованія, съ какимъ онъ сказалъ: «Что изъ этого человѣка, который ползетъ между небомъ и землею!»

Въ томъ монологѣ, гдѣ Гамлетъ даетъ совѣты актѣру, Мочаловъ, по нашему мнѣнію, былъ хорошъ только въ послѣднемъ представленіи (ноября 20); во всѣ же прочія онъ производилъ имъ на насъ непріятное впечатлѣніе, именно словами: «представь добродѣтель въ ея истинныхъ чертахъ, а порокъ въ его безобразіи». Эти слова слѣдовало бы произнести какъ можно проще и спокойнѣе и безъ всякихъ выразительныхъ жестовъ: Мочаловъ, напротивъ, произносилъ ихъ усиленнымъ голосомъ, походившимъ на крикъ, и съ усиленными жестами, въ которыхъ была видна не выразительность, а манерность. Но въ слѣдующей сценѣ, гдѣ онъ упрямиваетъ Гораціо наблюдать за королемъ во время комедіи, онъ какъ въ это представленіе, такъ и во всѣ слѣдующія, былъ превосходенъ, великъ. Наклонившись къ груди Гораціо и положивъ ему руки на плеча, какъ бы обнимая его, онъ произнесъ:

Мой другъ!

Прошу тебя—когда явленіе это будетъ,
Внимательно ты наблюдай за дядей,
За королемъ—внимательно, прошу.

Это «внимательно» и теперь еще раздается въ слухъ нашъ, какъ будто мы только вчера его слышали, или, лучше сказать, никогда не переставали его слышать. Но это «внимательно», несмотря на всю безконечность своего поэтического выраженія, было только прологомъ къ той высокой драмѣ, которая немедленно послѣдовала за нимъ. Никакое перо, никакая кисть не изобразить и' слабаго подобія того, что мы тутъ видѣли и слышали. Всѣ эти сарказмы, обращенные то на бѣдную Офелію, то на королеву, то, наконецъ, на самого короля, всѣ эти краткія отрывистыя фразы, которыя говоритъ Гамлетъ, сидя на скамеечкѣ, подлѣ кресель Офеліи, во время представленія комедіи,—все это дышало такою скрытою, невидимою, но чувствуемою, какъ давленіе кошмара, силою, что кровь леденѣла въ жилахъ зрителей, и всѣ эти люди разныхъ званій, характеровъ, склонностей, образованія, вкусовъ, лѣтъ и половъ, слились въ одну огромную массу, одушевленную одною мыслию, однимъ чувствомъ, и съ вытянувшимся лицомъ, заколдованнымъ взоромъ, притая дыханіе, смотрѣвшую на этого небольшого, черноволосаго человѣка съ блѣднымъ, какъ смерть, лицомъ, небрежно полуразвалившагося на скамейкѣ. Жаркія рукоплесканія начинались и прерывались, недоконченныя; руки поднимались для плесковъ и опускались обезсиленные; чужая рука удерживала чужую руку; незнакомецъ запрещалъ изъясненіе восторга незнакомцу — и никому это не казалось страннымъ. И вотъ, король встаетъ въ смущеніи; Полоній кричить «огня! огня!»; толпа поспѣшно уходитъ со сцены: Гамлетъ смотритъ ей вслѣдъ съ непонятнымъ выраженіемъ; наконецъ, остается одинъ Гораціо и сидящій на скамеечкѣ Гамлетъ, въ положеніи человѣка, котораго спертое и удер-

живаемое всею силою исполинской воли чувство готово разразиться ужасною бурей. Вдруг Мочаловъ однимъ львинымъ прыжкомъ, подобно молніи, съ скамеечки перелетаетъ на середину сцены и, затопавши ногами и замахавши руками, оглашаетъ театръ взрывомъ адскаго хохота... Нѣтъ! еслибы, по данному мановенію, вылетѣлъ дружный хохоть изъ тысячи грудей, слившихся въ одну грудь — и тотъ показался бы смѣхомъ слабаго дитяти, въ сравненіи съ этимъ неистовымъ, громовымъ, оцѣпняющимъ хохотомъ, потому что для такого хохота нужна не крѣпкая грудь съ желѣзными нервами, а громадная душа, потрясенная безконечною страстію... А это топанье ногами, это маханіе руками, вмѣстѣ съ этимъ хохотомъ? — О, это была макабрская пляска отчаянія, веселящагося своими муками, упивающагося своими жгучими терзаніями... О, какая картина, какое могущество духа, какое обаяніе страсти!... Двѣ тысячи голосовъ слились въ одинъ торжественный кликъ одобренія, четыре тысячи рукъ соединились въ одинъ плескъ восторга — и отъ этого оглушающаго вопля отдѣлялся неистовый хохоть и дикіе стоны одного человѣка, бѣгавшаго по широкой сценѣ, подобно вырвавшемуся изъ клѣтки льву... Въ это мгновеніе исчезъ его обыкновенный ростъ: мы видѣли передъ собою какое-то страшное явленіе, которое, при фантастическомъ блескѣ театральнаго освѣщенія, отдѣлялось отъ земли, росло и вытягивалось во все пространство между поломъ и потолкомъ сцены, и колебалось на немъ какъ зловѣщее привидѣніе...

Олея ранили стрѣлой —

Тотъ охаетъ, другой смѣется.

Одинъ хохочетъ, плачь другой,

И такъ на свѣтѣ все ведется!

Прерывающимся, измученнымъ голосомъ проговорилъ онъ эти стихи; но страсть неистощима въ своей силѣ и слова «плачь другой», произнесенныя съ протяжкою и усиленнымъ удареніемъ, и сопровождаемыя угрожающимъ и нѣсколько

разъ повтореннымъ жестомъ руки, показали, что буря не утихла, но только приняла другой характеръ. Стихи—

Быль у насъ въ чести немалой
Левъ, да часть его пришелъ—
Счастье львиное пропало,
И теперь въ чести... пѣтухъ!

Мочаловъ произнесъ нараспѣвъ, задыхающимся отъ усталости голосомъ, отирая съ лица потъ и какъ бы желая разорвать на груди одежду, чтобы прохладить эту огненную грудь... И всѣ эти движенія были такъ благородны, такъ граціозны... На словѣ «пѣтухъ» онъ сдѣлалъ сильное удареніе, которое было выраженіемъ бѣшеннаго и жолчнаго негодованія. «Послѣдняя римеа не годится, принцъ», говоритъ ему Гораціо. «О добрый Гораціо!» восклицаетъ Гамлетъ, положивши обѣ руки на плеча своего друга, и это восклицаніе было воплемъ взволнованной, страждущей и на минуту окрѣпшей души. «Теперь слова привидѣнія я готовъ покупать на вѣсь золота! Замѣтилъ ли ты?» послѣднія слова онъ произнесъ съ невѣроятною растяжкой, дѣлая на каждомъ слогѣ усиленное удареніе и, вмѣстѣ съ этимъ, произнося каждый слогъ какъ бы отдѣльно и отрывисто, потому что внутреннее волненіе захватывало у него духъ, и кто видѣлъ его на сценѣ, тотъ согласится съ нами, что не искусство, не умѣніе, не расчетъ вѣрнаго эффекта, а только одно вдохновеніе страсти можетъ такъ выражаться. Знаемъ, что тѣмъ, которые не видѣли Мочалова въ роли Гамлета, эти подробности должны показаться скучными и ничего для нихъ не поясняющими; но тѣ, которые все это видѣли и слышали сами, тѣ поймутъ насъ. «Очень замѣтилъ, принцъ», отвѣчаетъ Гораціо. «Только что дошло до отравленія», продолжаетъ Гамлетъ протяжно. «Это было слишкомъ явно», прерываетъ его Гораціо. — «Ха! ха! ха!» Онъ опять захохоталъ и, хлопая руками, въ неистовомъ одушевленіи метался по широкой сценѣ... Театръ снова потрясся отъ кликовъ и рукоплесканій и снова, изъ этого

вопля тысячей голосовъ и плеска тысячей рукъ, отдѣлился одинъ крикъ, одинъ хохоть... Лицо, искаженное судорогами страсти и все-таки не утратившее своего меланхолическаго выраженія; глаза, сверкающіе молніями и готовые выскочить изъ своихъ орбитъ; черныя кудри, какъ змѣи, бьющіяся по блѣдному челу—о, какой могущій, какой страшный художникъ!.. Наконецъ, притихающія рукоплесканія публики позволяютъ ему докончить монологъ—

Эй, музыкантовъ сюда, флейщиковъ!

Когда король комедій не полюбитъ,

Такъ онъ—да, просто онъ, комедіи не любить!

Эй, музыкантовъ сюда!

Новый оглушающій взрывъ рукоплесканій... Сцена съ Гильденштерномъ, пришедшимъ звать Гамлета къ королевѣ и изъяснить ему ея неудовольствіе, была превосходна въ высшей степени. Блѣдный, какъ мраморъ, обливаясь потомъ, съ лицомъ, искаженнымъ страстію, и вмѣстѣ съ тѣмъ торжествующій, могущій, страшный, измученнымъ, но все еще сильнымъ голосомъ, съ глазами, отвернутыми отъ послѣднихъ и устремленными безъ всякаго вниманія на одинъ предметъ, и перебирая рукою кисть своего плаща, давалъ онъ Гильденштерну отвѣты, безпрестанно переходя отъ сосредоточенной злобы къ притворному и болѣзненному полоумію, а отъ полоумія къ жолчной ироніи. Невозможно передать этого неподражаемаго совершенства, съ которымъ онъ уговаривалъ Гильденштерна сыграть что-нибудь на флейтѣ: онъ дѣлалъ это спокойно, хладнокровно, тихимъ голосомъ, но во всемъ этомъ просвѣчивался какой-то замыселъ, что заставляло публику ожидать чего-то прекраснаго—и она дождалась: сбросивъ съ себя видъ притворнаго и ироническаго простодушія и хладнокровія, онъ вдругъ переходитъ къ выраженію оскорбленнаго своего человѣческаго достоинства, и твердымъ, сосредоточеннымъ тономъ, говорить: «Теперь суди самъ: за кого ты меня принимаешь? Ты хочешь играть на душѣ моей,

а вотъ не умѣешь сыграть даже чего-нибудь на этой дудкѣ. Развѣ я хуже, простѣе, нежели эта флейта? Считаю меня чѣмъ тебѣ угодно—ты можешь меня мучить, но не играть мною!» Какое-то величіе было во всей его осанкѣ и во всѣхъ его манерахъ, когда говорилъ онъ эти слова, и при послѣднемъ изъ нихъ, флейта полетѣла на полъ, и громъ рукоплесканій слился съ шумомъ ея паденія... Такова же была сцена его съ Полоніемъ; такъ же проговорилъ онъ свой монологъ предъ стоявшимъ на колѣняхъ королежъ; его одушевленіе не ослабѣвало ни на минуту и въ сценѣ съ матерью оно дошло до своего высшаго проявленія. Эта сцена, превосходно сыгранная послѣ цѣлаго ряда сценъ, превосходно сыгранныхъ и требовавшихъ безконечнаго одушевленія, безконечной страсти, показала, что тѣло можетъ уставать, но что для духа нѣтъ усталости, и что, наконецъ, и самый изнеможенный организмъ обновляется и находитъ въ себѣ новыя силы, новую жизнь, когда оживляется духъ... Въ самомъ дѣлѣ, послѣ этого ужаснаго истощенія, какое естественно должно бѣ было слѣдовать за такими душевными бурями, нельзя было надѣяться на сцену съ матерью, и мы охотно извинили бы Мочалова, еслибы онъ испортилъ ее; но онъ явился въ ней съ новыми силами, какъ будто онъ только началъ свою роль... Просто, благородно, тихимъ голосомъ, сказалъ онъ — «Что вамъ угодно, мать моя?—Скажите». Такъ же точно возразилъ онъ на ея упрекъ въ оскорбленіи — «Мать моя! отецъ мой вами оскорбленъ жестоко». Но нѣтъ! мы не хотимъ больше входить въ подробности, потому что усилія передать вѣрно всѣ оттѣнки игры этого великаго актѣра, оскорбляютъ даже собственное наше чувство, какъ дерзкая и неудачная попытка. Скажемъ вообще о цѣлой сценѣ, что ничего подобнаго невозможно даже пожелать, потому что пожелать нельзя иначе, какъ имѣя желаемое въ созерцаніи, а это выше всякаго воображенія, какъ бы ни было оно смѣло, сильно, требовательно... Всѣ эти переходы отъ грозныхъ энергическихъ

упрековъ къ мольбамъ сыновней любви, и возвращеніе отъ нихъ къ ѣдкой, сосредоточенной ироніи — все это можно было понимать, чувствовать, но нѣтъ никакой возможности передать. Конечно, и тутъ ускользнули нѣкоторые оттѣнки, нѣкоторыя черты, которыя въ другихъ представленіяхъ были схвачены и вполне выдержаны, но за то, многое тутъ было сказано лучше нежели въ послѣдовавшіе разы. Къ такимъ мѣстамъ, должно причислить монологъ —

Такое дѣло.

Которымъ скромность погубила ты!
Изъ добродѣтели—ты сдѣлала коварство; цвѣтъ любви
Ты облила смертельными ядомъ; клятву,
Предъ алтаремъ тобою данную супругу,
Ты въ клятву игрока преобратила...

Эти стихи Мочаловъ произнесъ тономъ важнымъ, торжественнымъ и нѣсколько глухимъ, какъ человѣкъ, который, упрекая въ преступленіи подобнаго себѣ человѣка, и тѣмъ болѣе мать свою, ужасается этого преступленія; но слѣдующіе за ними —

Ты погубила вѣру въ душу человѣка—
Ты посмѣялась святости закона,
И небо отъ твоихъ злодѣйствъ горитъ!

вырвались изъ его груди, какъ вопль негодованія, со всею силою тяжкаго и болѣзненнаго укора: сказавши послѣдній стихъ, онъ остановился и, бросивъ уstraшенный, испуганный взглядъ кругомъ себя и наверхъ, тономъ какого-то мелодическаго рыданія произнесъ —

Да, видишь ли, какъ все печально и уныло,
Какъ будто наступаетъ страшный судъ!

Слѣдующій затѣмъ монологъ, гдѣ онъ указываетъ матери на портреты ея бывшаго и настоящаго мужа, которые представляются ему въ его изступленіи, Мочаловъ произноситъ съ такимъ превосходствомъ, о которомъ также невозможно дать

никакого понятія. Сказавши съ страстнымъ и вмѣстѣ грустнымъ упоеніемъ стихъ «совершенство Божьяго созданія» — онъ на мгновеніе умолкаетъ и, бросивши на мать выразительный взоръ укора, тихимъ голосомъ говоритъ ей «онъ былъ твой мужъ!» Потомъ внезапный переходъ къ бѣшенству при стихахъ —

Но посмотри еще—
Ты видишь ли траву гнилую, зелье,
Сгубившее великаго—

потомъ снова переходъ къ такому грозному допросу, отъ котораго не только живой организмъ, но и истлѣвшія кости грѣшника потряслись бы въ своей могилѣ—

Взгляни, гляди—
Или слѣпая ты была, когда
Въ болото смрадное разврата пала?
Говори слѣпая ты была?

но вотъ его грозный и страшный голосъ нѣсколько смягчается выраженіемъ увѣщанія, какъ будто желаніемъ смягчить ожесточенную душу матери-грѣшницы—

Не поминай мнѣ о любви: въ твои лѣта
Любовь уму послушною бываетъ:
Гдѣ же былъ твой умъ? Гдѣ былъ разумокъ?
Какой же адскій демонъ овладѣлъ
Тогда умомъ твоимъ и чувствомъ—зрѣньемъ просто?
Стыдъ женщины, супруги, матери забыть...
Когда и старость падаетъ такъ страшно,
Что же юности осталось?

и наконецъ, это болѣзненное напряженіе души, это столкновеніе, эта борьба ненависти и любви, негодованія и состраданія, угрозы и увѣщанія, все это разрѣшилось въ сомнѣніе души благородной, великой, въ сомнѣніе въ человѣческомъ достоинствѣ—

Страшно,
За человѣка страшно жить!...

Какая минута! и какъ мало въ жизни такихъ минутъ! и какъ счастливы тѣ, которые жили въ подобной минутѣ! Честь и слава великому художнику, могущая и глубокая душа котораго есть неизчерпаемая сокровищница такихъ минутъ, благодарность ему!...

Мы не въ состояніи передать сцены въ четвертомъ актѣ, гдѣ Розенкранцъ спрашиваетъ Гамлета о тѣлѣ убитаго имъ Полонія; скажемъ только, что эта сцена, равно какъ и слѣдующая, съ королемъ, была продолженіемъ того же торжества генія, которое въ первомъ актѣ выказывалось проблемами, а со втораго, за исключеніемъ нѣсколькихъ невыдержанныхъ мгновеній, непрерывно шло все впередъ и впередъ... Большой монологъ —

Какъ все противъ меня возстало
Замедленное мщеніе!... п пр.

былъ блестящимъ заключеніемъ этого блестящаго торжества генія.

Въ самомъ дѣлѣ, этотъ монологъ былъ заключеніемъ; въ пятомъ актѣ, въ сценѣ съ могильщиками, вдохновеніе оставило Мочалова, и это превосходная сцена, гдѣ онъ могъ бы показать все могущество своего колоссальнаго дарованія, была имъ пропѣта, а не проговорена. Впрочемъ, это понятно: цѣлую и большую половину четвертаго акта и начало пятаго онъ оставался въ бездѣйствіи, къ которому, разумѣется, должно присовокупить и антрактъ: а бездѣйствіе для актѣра, и тѣмъ болѣе для такого волканическаго актѣра, какъ Мочаловъ, и еще въ такой роли, какова роль Гамлета, не можетъ не произвести охлажденія, и точно онъ явился какъ охлаждающаяся лава, которая, однакожь, и охлаждаясь, все еще кипитъ и взрывается. И такъ, мы нисколько не винимъ Мочалова за холодное выполненіе этой сцены, но мы жалѣемъ только, что онъ не былъ въ ней какъ можно проще и замѣнялъ какимъ-то пѣніемъ недостатокъ одушевленія. Но объ

этомъ послѣ. Зато, слѣдующая за этимъ сцена на могилѣ
Офеліи была новымъ торжествомъ его таланта. Мы никогда
не забудемъ этого могучаго, торжественнаго порыва, съ ка-
кимъ онъ воскликнулъ—

Но я любилъ ее, какъ сорокъ тысячъ братьевъ.
Любить не могутъ!

Бѣдный Гамлетъ, душа прекрасная и великая! ты весь вы-
сказался въ этомъ вдохновенномъ воплѣ, который вырвался
изъ тебя безъ твоей воли и прежде, нежели ты объ этомъ
подумалъ... Замѣьте, что любовь Гамлета къ Офеліи играетъ
въ цѣлой піесѣ роль постороннюю, какъ будто случайную,
и вы узнаете объ ней изъ словъ Офеліи и Полонія, но самъ
онъ ничего не говоритъ о ней, если исключить одно его вы-
раженіе, сказанное имъ Офеліи: «Я любилъ тебя прежде!»,
за которымъ онъ почти тотчасъ же прибавилъ «Я не любилъ
тебя!» И вотъ на могилѣ ея, этой прекрасной, гармонической
дѣвушки, высказываетъ онъ тайную исповѣдь души своей,
открываетъ однимъ нечаяннымъ восклицаніемъ всю безконеч-
ность своей любви къ ней, все чтó онъ прежде сознательно
душилъ и скрывалъ въ себѣ, и то, чего онъ, можетъ-быть,
и не подозрѣвалъ въ себѣ... Да, онъ любилъ, этотъ несча-
стный, меланхолическій Гамлетъ, и любилъ, какъ могутъ лю-
бить только глубокія и могучія души... Въ этомъ торжест-
венномъ воплѣ выразилось все могущество, вся безпредѣль-
ность лучшаго, блаженнѣйшаго изъ чувствъ человѣческихъ,
этого благоуханнаго цвѣта, этой роскошной весны нашей
жизни, чувства, которое, безъ боли и страданій, снимая съ
нашихъ очей тлѣнную оболочку конечности, показываетъ намъ
міръ просвѣтленнымъ и преображеннымъ, и приближаетъ насъ
къ источнику, откуда льется гармоническими волнами свѣта
безконечная жизнь. О! Офелія много значила для этого гру-
стнаго Гамлета, который въ своемъ жолчномъ неистовствѣ,
осыпалъ ее незаслуженными оскорбленіями, а теперь, на ея

могилѣ, позднимъ признаніемъ приносить торжественное покаяніе ея блаженствующей тѣни...

Превосходно былъ сказанъ нашимъ Гамлетомъ-Мочаловымъ и слѣдующій монологъ—

Чего ты хочешь! Плакать, драться, умирать.
Быть съ ней въ одной могилѣ? Чтò за чудеса!
Да я на все готовъ на все, на все—
Получше брата я ее любилъ...

Послѣдній стихъ былъ произнесенъ съ энергическою выразительностью, и мы во всѣ представленія, на которыхъ были, слышали его съ новымъ наслажденіемъ, тогда какъ стихи—

Но я любилъ ее, какъ сорокъ тысячъ братьевъ
Любить не могутъ!

мы слышали въ первый и—къ сожалѣнію—въ послѣдній разъ: они уже не повторялись такимъ образомъ...

Въ сценѣ съ Осрикомъ Мочаловъ былъ по прежнему превосходенъ и выдержалъ ее ровно и вполнѣ отъ перваго слова до послѣдняго. Мы особенно помнимъ его грустный и тихій, но изъ самой глубины души вырвавшійся смѣхъ, съ которымъ онъ приглашалъ придворнаго надѣть шапку на голову. Въ послѣдней сценѣ съ Горацио, мы видѣли въ игрѣ Мочалова истинное просвѣтлѣніе и возстаніе падшаго духа, который предчувствуетъ скорое окончаніе роковой борьбы, груститъ отъ своего предвидѣнія, но уже не отчаивается отъ него, не боится его, но готовъ встрѣтить его бодро и смѣло, съ полною довѣренностію къ промыслу.

Окончаніе пьесы было какъ-то неловко сдѣлано, и вообще оно было удовлетворительно только въ послѣднемъ представленіи (30 ноября). По опущеніи занавѣса Мочаловъ три раза былъ вызванъ.

Невозможно характеризовать вѣрно всѣхъ подробностей игры актѣра, да и сверхъ того, это было бы утомительно и неясно для тѣхъ, которые не видали ея, а мы и такъ боимся

себѣ упрека въ излишней отчетливости. Но какъ умѣли и какъ могли, мы сдѣлали свое: безпристрастно назвали мы слабое слабымъ, великое великимъ и старались выставить на видъ тѣ и другія мѣста, но такъ какъ первыхъ было мало, а вторыхъ слишкомъ много, то статистическая точность остается только за первыми. Теперь мы скажемъ слова два объ общемъ характерѣ игры Мочалова въ это первое представленіе, и тотчасъ перейдемъ къ послѣдующимъ. Мы видѣли Гамлета, художественно созданнаго великимъ актѣромъ, слѣдовательно, Гамлета живаго, дѣйствительнаго, конкретнаго, но не столько шекспировскаго, сколько мочаловскаго, потому что, въ этомъ случаѣ, актѣръ самовольно отъ поэта, придалъ Гамлету гораздо болѣе силы и энергіи, нежели сколько можетъ быть у человѣка, находящагося въ борьбѣ съ самимъ собою и подавленнаго тяжестію невыносимаго для него бѣдствія, и далъ ему грусти и меланхоліи гораздо менѣе, нежели сколько долженъ ее имѣть шекспировскій Гамлетъ. Торжество сценическаго генія, какъ мы уже и замѣтили это выше, состоитъ въ совершенной гармоніи актѣра съ поэтомъ, слѣдовательно, на этотъ разъ Мочаловъ показалъ болѣе огня и дикой мощи своего таланта, нежели умѣнія понимать играемую имъ роль и выполнять ее вслѣдствіе вѣрнаго о ней понятія. Словомъ, онъ былъ великимъ творцомъ, но творцомъ субъективнымъ, а это уже важный недостатокъ. Но Мочаловъ игралъ еще въ первый разъ въ своей жизни великую роль и былъ ослѣпленъ ея поэтической лучезарностію до такой степени, что не могъ увидѣть ее въ ея истинномъ свѣтѣ. Впрочемъ, дѣлая противъ него такое обвиненіе, мы разумѣемъ не цѣлое выполненіе роли, но только нѣкоторыя мѣста изъ нея, какъ-то: сцену по уходѣ тѣни, пляску подъ хохотъ отчаянія въ третьемъ актѣ; потомъ послѣдовавшую за тѣмъ сцену съ Гильденштерномъ и еще нѣсколько подобныхъ мгновеній. И все это было сыграно превосходно, но только во всемъ этомъ

видна была болѣе вулканическая сила могущественнаго таланта, нежели вѣрная игра. Но сцены: съ Полоніемъ, потомъ съ Гильденштерномъ и Розенкранцемъ во второмъ актѣ, сцена съ Офеліею въ третьемъ, сцена съ Розенкранцемъ и королемъ въ четвертомъ, сцена на могилѣ Офеліи, потомъ съ Осрикомъ въ пятомъ актѣ,—были выполнены съ высочайшимъ художественнымъ совершенствомъ. Мы хотимъ только сказать, что игра не имѣла полной общности.

Января 27, т. е. черезъ четыре дня, «Гамлетъ» былъ снова объявленъ. Стеченіе публики было невѣроятнo; успѣвшіе получить билетъ почитали себя счастливыми. Давно уже не было въ Москвѣ такого общаго и сильнаго движенія, возбужденнаго любовію къ изящному. Публика ожидала многого и была съ излишкомъ вознаграждена за свое ожиданіе: она увидѣла новаго, лучшаго, совершеннѣйшаго, хотя еще и не совершеннаго, Гамлета. Мы не будемъ уже входить въ подробности и только укажемъ на тѣ мѣста, которыя въ этомъ второмъ представленіи выдались совершеннѣе, нежели въ первомъ. Весь первый актъ былъ превосходенъ, и здѣсь мы особенно должны указать на двѣ сцены—первую, когда Горацио извѣщаетъ Гамлета о явленіи тѣни его отца, и вторую—разговоръ Гамлета съ тѣнью. Невозможно выразить всей полноты и гармоніи этого аккорда, состоявшаго изъ безконечной грусти и безконечнаго страданія вслѣдствіе безконечной любви къ отцу, который издавалъ собою голосъ Мочалова, этотъ дивный инструментъ, на которомъ онъ по волѣ беретъ всѣ ноты человѣческихъ чувствованій и ощущеній, самыхъ разнообразныхъ, самыхъ противоположныхъ; невозможно, говоримъ мы, дать и приблизительнаго понятія объ этой музыкѣ сыновней любви къ отцу, которая волшебнo и обаятельно потрясала слухъ, души зрителей, когда онъ, въ грустной сосредоточенной задумчивости, говорилъ Горацио—«Другъ! Мнѣ кажется, еще отца я вижу», и, наконецъ, когда онъ спрашивалъ его, видѣлъ ли онъ лицо тѣни его

отца, и на утвердительный отвѣтъ Гораціо, дѣлаетъ вопросы—
«Онъ былъ угрюмъ?» — «И блѣденъ?» Потомъ мы слышали,
эту же гармонію любви, страждущей за свой предметъ, въ
сценѣ съ тѣнью, взятыхъ словахъ: «Увы, отецъ мой!» —
«О небо!» И, наконецъ, въ стихахъ —

Дядя мой!

О ты, души моей предчувствіе—сбылось!

эти гармоническіе звуки страждущей любви дошли до высшихъ нотъ, до своего крайняго и возможнаго совершенства. Въ этихъ двухъ сценахъ, которыя, прибавимъ, были выдержаны до послѣдняго слова, до послѣдняго жеста, въ этихъ двухъ сценахъ мы увидѣли полное торжество и постигли полное достоинство сценическаго искусства, какъ искусства творческаго самобытнаго, свободнаго. Скажите, Бога ради: читая драму, увидѣли ль бы вы особенное и глубокое значеніе въ подобныхъ выраженіяхъ: «Онъ былъ угрюмъ? — И блѣденъ?—Увы, отецъ мой!—О небо!» Потрясли ли бы вашу душу до основанія эти выраженія? Еще болѣе: не пропустили-ль бы вы безъ всякаго вниманія подобное выраженіе, какъ «о небо!»—это выраженіе, столь обыкновенное, столь часто встрѣчающееся въ самыхъ пошлыхъ романахъ? Но Мочаловъ показалъ намъ, что у Шекспира нѣтъ словъ безъ значенія, но что въ каждомъ его словѣ заключается гармоническій, потрясающій звукъ страсти, или чувства человѣческаго... О, зачѣмъ мы слышали эти звуки только одинъ разъ? Или въ душѣ великаго художника разстроилась струна, съ которой они слетѣли? Нѣтъ, мы увѣрены, что это струна зазвѣнитъ снова, и снова перенесетъ на небо нашу изнемогающую отъ блаженства душу... Но мы говоримъ только о голосѣ, а лицо?—О, оно блѣднѣло, краснѣло, слезы блистали на немъ... Вообще первый актъ, за исключеніемъ одного мѣста — влѣтвы на мечъ, которое опять вышло несовсѣмъ удачно, былъ полнымъ торжествомъ, не Мочалова, но сце-

ническаго искусства въ лицѣ Мочалова. Надобно прибавить къ этому, что по единодушному согласію и враговъ и друзей таланта Мочалова, у него есть ужасный для актёра недостатокъ: утрированные и иногда тривіальные жесты. Но въ Гамлетѣ они у него исчезли, и если въ первомъ представленіи, они промелькивали изрѣдка, особенно въ несчастной сценѣ съ могильщиками, то во второмъ, даже ядовитый и пронизательный взглядъ зависти не подглядѣлъ бы ничего сколько-нибудь похожаго на непріятный жестъ. Напротивъ, всѣ его движенія были благородны и граціозны въ высшей степени, потому что они были выраженіемъ движеній души его, слѣдовательно, необходимы, а произвольны.

Второй актъ былъ выдержанъ Мочаловымъ вполнѣ отъ перваго слова до послѣдняго и только тѣмъ отличался отъ перваго представленія, что былъ еще глубже, еще сосредоточеннѣе и гораздо болѣе проникнуть чувствомъ грусти.

То же должны мы сказать и о третьемъ актѣ. Сцена во время представленія комедіи отличалась болѣею силою въ первомъ представленіи, но во второмъ она отличалась болѣею истинною, потому что ея сила умѣрялась чувствомъ грусти, вслѣдствіе сознанія своей слабости, что должно составлять главный отгѣнокъ характера Гамлета. Макабрской пляски торжествующаго отчаянія уже не было; но хохотъ былъ не менѣе ужасенъ. Сцена съ матерью была повтореніемъ перваго представленія, но только по совершенству, а не по манерѣ исполненія. Даже она была выполнена еще лучше, потому что въ ней былъ лучше выдержанъ переходъ отъ грозныхъ увѣщаній судіи къ мольбамъ сыновней нѣжности, и отихи —

И если хочешь

Благословенія небесъ, скажи мнѣ —

Приду къ тебѣ просить благословенья!

были въ устахъ Мочалова рыдающею музыкою любви... Такъ же выдались и отдѣлились стихи —

Убийца,
Злодѣй, рабъ, шутъ въ коронѣ, воръ,
Укравшій жизнь, и братнюю корону
Тихонько утащившій подъ полой,
Бродяга...

Всѣ эти ругательства ожесточеннаго негодованія были имъ произнесены со взоромъ, отвращеннымъ отъ матери, и голосомъ, походившимъ на бѣшеное рыданіе. Стоная, слушали мы ихъ: такъ велика была гнетущая душу сила выраженія ихъ... И такъ - то шло цѣлое представленіе. Впрочемъ, изъ него должно исключить монологъ. «Быть или не быть» и несчастную сцену съ могильщиками. Мы уже говорили, что стихи—

Но я любилъ ее, какъ сорокъ тысячъ братьевъ
Любить не могутъ!

уже не повторялись такъ, какъ были они произнесены въ первое представленіе. Исключая это, все остальное было выше всякаго возможнаго представленія совершенства; но послѣ мы узнали, что для генія Мочалова нѣтъ границъ...

Февраля 4 было третье представленіе «Гамлета». Та же трудность доставать билеты и то же многолюдство въ театрѣ. какъ и въ первыя два представленія, показали, что московская публика, зная, что въ двухъ шагахъ отъ нея есть, можетъ-быть, единственный въ Европѣ талантъ для роли Гамлета, есть драгоцѣнное сокровище творческаго генія, не лѣнится ходить видѣть это сокровище, какъ скоро оно страхнуло съ себя пыль, которая скрывала его лучезарный блескъ отъ ея глазъ. Съ упоеніемъ восторга смотрѣли мы на эту многолюдную толпу и съ замираніемъ сердца ожидали повторенія тѣхъ чудесъ, которыя казались намъ какимъ-то волшебнымъ сномъ; но на этотъ разъ наше ожиданіе было обмануто. Въ игрѣ Мочалова были мѣста превосходныя, великія, но цѣлой роли не было. Мы почитали себя въ правѣ надѣяться еще большей полноты и ровности, которыхъ однихъ не доставало для полного успѣха первыхъ двухъ представ-

лений, потому что даже и во второмъ, какъ мы уже замѣтили, пропалъ монологъ «Быть или не быть» и не хорошо была сыграна сцена съ могильщиками, но именно этого-то и не увидѣли. Скажемъ болѣе: старыя замашки, состоявшія въ хлопанъ по бокамъ, въ пожиманіи плечами, въ хватаніи за шпагу при словахъ о мщеніи и убійствѣ, и тому подобномъ, снова воскресли. Но при всемъ томъ, справедливость требуетъ замѣтить, что еслибы мы не видѣли двухъ первыхъ представленій, то были бы очарованы и восхищены этимъ третьимъ, какъ то и было со многими, особенно не видѣвшими втораго. Но мы уже сдѣлались слишкомъ требовательными, и это не наша, а Мочалова вина.

Февраля 10 было четвертое представленіе Гамлета, о которомъ мы можемъ сказать только то, что оно показалось намъ еще неудовлетворительнѣе третьяго, хотя по прежнему въ немъ были моменты высокаго, только одному Мочалову свойственнаго, вдохновенія; хотя оно видѣвшихъ «Гамлета» въ первый разъ и приводило въ восторгъ; хотя публика была также многочисленна, какъ и въ первыя представленія, и хотя, наконецъ, Мочаловъ и былъ два или три раза вызванъ по окончаніи спектакля.

На представленіе 14 февраля, мы не были. Шестое представленіе было 23 февраля. Боже мой! шесть представленій въ продолженіе какого-нибудь мѣсяца съ тремя днями... да тутъ хоть какое вдохновеніе такъ ослабѣетъ!...

Мы начали бояться за судьбу «Гамлета» на московской сценѣ; мы начали думать, что Мочалову вздумалось уже опочить на своихъ лаврахъ... И онъ точно заснулъ на нихъ, но наконецъ проснулся, и какъ проснулся... Безъ надежды пошли мы въ театръ, но вышли изъ него съ новыми надеждами, которыя были еще смѣлѣе прежнихъ... Дѣло было на масляной, спектакль давался по утру; публики было немного въ сравненіи съ прежними представленіями, хотя и все еще много. Извѣстно, что денной спектакль всегда производитъ на душу

непріятное впечатлѣніе — точь-въ-точь какъ прекрасная дѣвушка поутру, послѣ бала, кончившагося въ 6 часовъ. Два акта шли болѣе хорошо, нежели дурно, т. е. сильныхъ мѣстъ было больше, нежели слабыхъ, и даже промелькивала какая-то общность въ его игрѣ, которая напоминала первое представленіе. Наконецъ начался третій актъ—и Мочаловъ возсталъ, и въ этомъ возстаніи былъ выше, нежели въ первыхъ два представленія. Этотъ третій актъ былъ выполненъ имъ ровно отъ перваго слова до послѣдняго и, будучи проникнутъ ужасающею силою, отличался въ то же время и величайшею истиною: мы увидѣли шекспировскаго Гамлета возсозданнаго великимъ актѣромъ. Не будемъ входить въ подробности, но укажемъ только на два мѣста. Послѣ представленія комедіи, когда смущенный король уходитъ съ придворными со сцены, Мочаловъ уже не вскакивалъ со скамеечки, на которой сидѣлъ, подлѣ креселъ Офеліи. Изъ пятаго ряда креселъ, увидѣли мы такъ ясно, какъ будто на шагъ разстоянія отъ себя, что лицо его посинѣло, какъ море предъ бурей: опустивъ голову внизъ, онъ долго качалъ ею съ выраженіемъ нестерпимой муки духа, и изъ его груди вылетѣло нѣсколько глухихъ стоновъ, походившихъ на рыканіе льва, который, попавшись въ тенета и видя безполезность своихъ усилій къ освобожденію, глухимъ и тихимъ ревомъ отчаянія, изъясняетъ невольную покорность своей бѣдственной судьбѣ... Оцѣпенѣло собраніе, и нѣсколько мгновеній, въ огромномъ амфитеатрѣ, ничего не было слышно, кромѣ испуганнаго молчанія, которое вдругъ прервалось кликами и рукоплесканіями... Въ самомъ дѣлѣ, это было дивное явленіе: тутъ мы увидѣли Гамлета уже не торжествующаго отъ своего ужаснаго открытія, какъ въ первое представленіе, но подавленнаго, убитаго очевидностію того, что недавно его мучило, какъ подозрѣніе, и въ чемъ онъ, цѣною своей жизни и крови, желалъ бы разубѣдиться... Потомъ, въ сценѣ съ матерью, которая вся была выдержана превосходѣйшимъ образомъ, онъ въ это

представленіе, бросилъ внезапный свѣтъ, озарившій одно мѣсто въ Шекспирѣ, которое было непонятно, по крайней мѣрѣ для насъ. Когда онъ убилъ Полоніа, и когда его мать говорить ему: — «Ахъ, что ты сдѣлалъ, сынъ мой!» онъ отвѣчалъ ей — «Что? не знаю. Король?»

Слова: «Что? не знаю». Мочаловъ проговорилъ тономъ чело-вѣка, въ головѣ котораго вдругъ блеснула пріятная для него мысль, но который еще не смѣетъ ей повѣрить, боясь обмануться. Но слово «король?» онъ выговорилъ съ какою-то дикою радостію, сверкнувъ глазами, и порывисто бросившись къ мѣсту убійства... Бѣдный Гамлетъ! мы поняли твою радость; тебѣ показалось, что твой подвигъ уже свершенъ, свершенъ нечаянно: сама судьба, сжалившись надъ тобою, помогла тебѣ стряхнуть съ шеи эту ужасную тягость... И послѣ этого, какъ понятны были для насъ ругательства Гамлета надъ тѣломъ Полоніа: — «А ты, глупецъ, дуракъ, болванъ! Прости меня», и проч... О, Мочаловъ умѣетъ объяснить, и кто хочетъ понять шекспирова Гамлета, тотъ изучай его не въ книгахъ и не въ аудиторіяхъ, а на сценѣ Петровскаго театра!...

По окончаніи третьяго акта, Мочаловъ былъ вызванъ публикою и предсталъ предъ нею торжествующій, побѣдоносный, съ сіяющимъ лицомъ. Мы видѣли, что эта минута была для него высока и священна, и мы поняли великаго артиста: публика нарушила для него обыкновеніе вызывать актѣра только послѣ послѣдняго акта пьесы, а онъ сознавалъ, что это было не снисхожденіе, а должная дань заслугѣ; онъ видѣлъ, что эта толпа понимаетъ его и сочувствуетъ ему — высшая награда, какая только можетъ быть для истиннаго художника!... Остальные два акта были играны прекрасно; даже въ несчастной сценѣ съ могильщиками Мочаловъ былъ несравненно лучше прежняго.

Весною, апрѣля 27, мы увидѣли Гамлета въ шестой разъ. Но это представленіе было очень наудачно: мы узнали Моча-

лова только въ двухъ сценахъ, въ которыхъ онъ, можно сказать, просыпался, и которыя поэтому, рѣзко отдѣлялись отъ цѣлаго выполненія роли. Игравши два акта ни хорошо, ни дурно, что хуже, нежели положительно дурно, онъ такъ превосходно сыгралъ сцену съ Офелією, что мы не знаемъ, которому изъ всѣхъ представленій «Гамлета» должно отдать преимущество въ этомъ отношеніи. Другая сцена, превосходно имъ сыгранная, была сцена во время комедіи, и мы никогда не забудемъ этого шутливаго тона, отъ котораго у насъ морозъ прошелъ по тѣлу и волосы встали дыбомъ, и съ которыми онъ сперва проговорилъ: «Стало быть можно надѣяться на полгода людской памяти, а тамъ — все равно, что чловѣкъ, что овечка» — а потомъ пропѣлъ: «Схоронили, Позабыли!» — Равнымъ образомъ, мы никогда не забудемъ и мѣста предъ уходомъ короля со сцены. Обращаясь къ нему съ словами, Мочаловъ два или три раза силился поднять руку, которая противъ его воли упала снова; наконецъ, эта рука засверкала въ воздухѣ, и задышающимъ голосомъ, съ судорожнымъ усиленіемъ, проговорилъ онъ монологъ: «Онъ отравляетъ его, пока тотъ спалъ въ саду», и пр. Послѣ этого, какъ понятенъ былъ его неистовый хохотъ!...

Осенью, 26 сентября, мы въ седьмой разъ увидѣли Гамлета; но едва могли высидѣть три акта, и только по уходѣ короля со сцены были вознаграждены Мочаловымъ за наше самоотверженіе, съ какимъ мы такъ долго ждали отъ него хоть одной минуты полнаго вдохновенія. Грѣхъ сказать, чтобы и въ другихъ мѣстахъ роли у Мочалова не проблескивало чего-то похожаго на вдохновеніе, но онъ всякій такой разъ какъ будто спѣшилъ разрушить произведенное имъ прекрасное впечатлѣніе какимъ-нибудь утрированнымъ и натянутымъ жестомъ, такъ много похожимъ на фарсъ. Въ числѣ такихъ непріятныхъ жестовъ, насъ особенно оскорбляли два: хлопанье по лбу и головѣ при всякомъ словѣ объ умѣ, су-

масшествіи и подобномъ тому, и потомъ хватанье за шпагу при каждомъ словѣ о мщеніи, убійствѣ и тому подобномъ.

Ноября 2 было восьмое представленіе «Гамлета»; но мы его не видѣли, и послѣ очень жалѣли объ этомъ, потому что, какъ мы слышали, Мочаловъ игралъ прекрасно. Наконецъ мы увидѣли его въ роли Гамлета въ девятый разъ, и еслибы захотѣли дать полный и подробный отчетъ объ этомъ девятомъ представленіи, то наша статья, вмѣсто того, чтобы приближаться къ концу, только началась бы еще настоящимъ образомъ. Но мы ограничимся общою характеристикою и указаніемъ на немногія мѣста.

Никогда Мочаловъ не игралъ Гамлета такъ истинно, какъ въ этотъ разъ. Невозможно вѣрнѣе ни постигнуть идеи Гамлета, ни выполнить ее. Ежели бы на этотъ разъ онъ сыгралъ сцену съ Гораціо и Марцелліемъ, пришедшими увѣдомить его о явленіи тѣни, такъ же превосходно, какъ во второе представленіе, и еслибы въ его отвѣтахъ тѣни слышалась та же небесная музыка страждущей любви, какую слышали мы во второе же представленіе; еслибы онъ лучше выдержалъ свою роль при клятвѣ на мечѣ и монологъ «Быть или не быть», еслибы въ сценѣ съ могильщиками онъ былъ такъ же чудесенъ, какъ во всемъ остальномъ, и еслибы въ сценѣ на могилѣ Офеліи стихи—«Но я любилъ ее, какъ сорокъ тысячъ братьевъ любить не могутъ» были произнесены имъ такъ же вдохновенно, какъ въ первое представленіе,—то онъ показалъ бы намъ крайніе предѣлы сценическаго искусства, послѣднее и возможное проявленіе сценическаго генія. Почти съ самаго начала замѣтили мы, что характеръ его игры значительно разнится отъ первыхъ представленій: чувство грусти, вслѣдствіе сознанія своей слабости не заглушало въ немъ ни жолчнаго негодованія, ни болѣзненного ожесточенія, но преобладало надъ всѣмъ этимъ. Повторяемъ, Мочаловъ вполнѣ постигъ тайну характера Гамлета и вполнѣ передалъ ее своимъ

зрителямъ: вотъ общая характеристика его игры въ это девятое представленіе.

Теперь о нѣкоторыхъ подробностяхъ, особенно поразившихъ насъ въ это послѣднее представленіе. Когда тѣнь говорила свой послѣдній и большой монологъ, Мочаловъ весь превратился въ слухъ и вниманіе и какъ бы окаменѣлъ въ одномъ ужасающемъ положеніи, въ которомъ оставался нѣсколько мгновений и по уходѣ тѣни, продолжая смотрѣть на то мѣсто, гдѣ она стояла. Слѣдующій за этимъ монологъ онъ почти всегда произносилъ вдохновенно, но только съ силою, которая была не въ характерѣ Гамлета: на этотъ разъ стихи—

О небо! и земля! и что еще?

Или и самый адъ призвать я долженъ?

онъ произнесъ тихо, тономъ человѣка, который потерялся, и съ недоумѣніемъ смотря кругомъ себя. Во всемъ остальномъ, несмотря на всѣ измѣненія голоса и тона, онъ сохранилъ характеръ человѣка, который спалъ и былъ разбуженъ громовымъ ударомъ.

Весь второй актъ былъ чудомъ совершенства, торжествомъ сценическаго искусства. Третій актъ былъ, въ этомъ отношеніи, продолженіемъ втораго, но такъ какъ онъ по быстротѣ своего дѣйствія, по безпрестанно возрастающему интересу, по сильнѣйшему развитію страсти, производитъ двойное, тройное, въ сравненіи съ прочими актами, впечатлѣніе, то, естественно, игра Мочалова показалась намъ еще превосходнѣе. По уходѣ короля со сцены, онъ, какъ и въ шестомъ представленіи, не вставалъ со скамеечки, но только повелъ кругомъ глазами, изъ которыхъ вылетѣла молнія... Дивное мгновеніе!... Здѣсь опять былъ виденъ Гамлетъ, не торжествующій отъ своего открытія, но подавленный его тяжестью... *)

*) Въ представленіи 10 февраля, Мочаловъ изумилъ насъ новымъ чудомъ въ этомъ мѣстѣ своей роли: когда король всталъ въ смущеніи, онъ только поглядѣлъ ему вслѣдъ съ безумно-дикомъ

Къ числу такихъ же видныхъ мѣстъ этого представленія, принадлежитъ монологъ, который говоритъ Гамлетъ Гильденштерну, когда тотъ отказался играть на флейтѣ, по неумѣнью: «Теперь суди самъ: за кого же ты меня принимаешь? Ты хочешь играть на душѣ моей, а вотъ, не умѣешь сыграть даже чего-нибудь на этой дудкѣ. Развѣ я хуже, простѣе нежели эта флейта? Считай меня чѣмъ тебѣ угодно—ты можешь мучить меня, но не играть мною». Прежде Мочаловъ произносилъ этотъ монологъ съ энергіею, съ чувствомъ глубокаго, могучаго негодованія; но въ этотъ разъ онъ произнесъ его тихимъ голосомъ укора... онъ задыхался... онъ готовъ былъ зарыдать... Въ его словахъ отзывалось уже не оскорбленное достоинство, а страданіе отъ того, что подобный ему человѣкъ, его собрать по человѣчеству, такъ пошло понимаетъ его, такъ гнусно выказываетъ себя передъ человѣкомъ...

Тщетно было бы всякое усиліе выразить ту грустную сосредоточенность, съ какою онъ издѣвался надъ Полоніемъ, заставляя его говорить, что облако похоже и на верблюда, и на хорька, и на кита, и дать понятіе о томъ глубоко-значительномъ взглядѣ, съ которымъ онъ молча посматрѣлъ на стараго придворнаго. Слѣдующій за тѣмъ монологъ «Теперь насталъ волшебный ночи часъ» и т. д. никогда не былъ произнесенъ имъ съ такимъ невѣроятнымъ превосходствомъ, какъ въ это представленіе. Говоря его, онъ озирался кругомъ себя съ ужасомъ, какъ бы ожидая, что страшилища могилъ и ада сейчасъ бросятся къ нему и растерзаютъ его, и этотъ ужасъ, говоря выраженіемъ Шекспира, готовъ былъ вырвать у него оба глаза, какъ двѣ звѣзды, и, распрямивъ его густыя кудри,

улыбкою и, безъ хохота, тотчасъ началъ читать стихи: «Олея ранили стрѣлой». Говоря съ Горацио о смущеніи короля, онъ опять не хохоталъ, но только съ дикимъ неистовымъ выраженіемъ закричалъ: „Эй, музыкантовъ сюда, олейщиковъ!“ Какая неистощимость въ средствахъ! Какое разнообразіе въ манерѣ игры! Вотъ что значить вдохновеніе!

поставилъ отдѣльно каждый волосъ, какъ щетину гнѣвнаго дикобраза... Таковъ же былъ и его переходъ отъ этого выраженія ужаса къ воспоминанію о матери, съ которою онъ долженъ былъ имѣть рѣшительное объясненіе. — Мы стонали, слушая все это, потому что наше наслажденіе было мучительно... И такъ-то шелъ весь этотъ третій актъ. По окончаніи его, Мочаловъ былъ вызванъ.

Боже мой! думали мы: вотъ ходить по сценѣ человѣкъ, между которыми и нами нѣтъ никакого посредствующаго орудія, нѣтъ электрическаго кондуктора, а между тѣмъ мы испытываемъ на себѣ его вліяніе; какъ какой-нибудь чародѣй, онъ томить, мучить, восторгаетъ, по своей волѣ, нашу душу — и наша душа безсильна противустать его магнетическому обаянію... Отчего это? — На этотъ вопросъ одинъ отвѣтъ: для духа не нужно другихъ посредствующихъ проводниковъ, кромѣ интересовъ этого же самаго духа, на которые онъ не можетъ не отозваться...

Сцена въ четвертомъ актѣ съ Розенкранцомъ, была выполнена Мочаловымъ лучше нежели когда-нибудь, хотя она и не одинъ разъ была выполняема съ невыразимымъ совершенствомъ, и заключеніе ея: «Впередъ лисицы, а собака за ними» было произнесено такимъ тономъ и съ такимъ движеніемъ, о которыхъ невозможно дать ни малѣйшаго понятія. Такова же была и слѣдующая сцена съ королемъ; такъ же совершенно былъ проговоренъ и большой монологъ: «Какъ все противъ меня возстало», и пр. Пятый актъ шелъ гораздо лучше, нежели во всѣ предшествовавшія представленія. Хотя въ сценѣ съ могильщиками отъ Мочалова и можно бъ было желать большаго совершенства, но она была, по крайней мѣрѣ, не испорчена имъ. Все остальное, за исключеніемъ однако монолога на могилѣ Офеліи, о которомъ мы уже говорили, было выполнено имъ съ неподражаемымъ совершенствомъ до послѣдняго слова. И должно еще замѣтить, что на этотъ разъ никто изъ зрителей, рѣшительно никто, не всталъ съ

мѣста до опущенія занавѣса (за которымъ послѣдовалъ двукратный вызовъ), тогда какъ во всѣ прежнія представленія начало дуэли всегда было для публики какимъ-то знакомъ къ разъѣзду изъ театра.

Чтобы дополнить нашу исторію шекспирова «Гамлета» на московской сценѣ, скажемъ нѣсколько словъ о ходѣ цѣлой пьесы. Извѣстно всѣмъ, что у насъ идти въ театръ смотрѣть драму, значить—идти смотрѣть Мочалова; такъ же какъ идти въ театръ для комедіи, значить—идти въ него для Щепкина. Впрочемъ, для комедіи у насъ еще есть, хотя и второстепенные, но все-таки весьма примѣчательные таланты, какъ-то г-жа Рѣпина, г. Живокини, г. Орловъ; но для драмы у насъ только одинъ талантъ, слѣдовательно, какъ скоро въ томъ или другомъ явленіи пьесы Мочалова нѣтъ, то публика очень законно можетъ заняться на эти минуты частными разговорами или найти себѣ другой способъ развлечения. Но «Гамлету» въ этомъ отношеніи посчастливилось нѣсколько передъ другими пьесами. Во первыхъ, роль Полонія выполняется Щепкинымъ, котораго одно имя есть уже вѣрное ручательство за превосходное исполненіе. И въ самомъ дѣлѣ, цѣлая половина втораго явленія въ первомъ дѣйствіи, и потомъ значительная часть втораго акта были для публики полнымъ наслажденіемъ, хотя въ нихъ и не было Мочалова; не говоримъ уже о той сценѣ во второмъ актѣ, гдѣ оба эти артиста играютъ вмѣстѣ. Нѣкоторые недовольны Щепкинымъ за то, что онъ представлялъ Полонія нѣсколько придворнымъ забавникомъ, если не шутомъ. Намъ это обвиненіе кажется рѣшительно несправедливымъ. Можетъ-быть, въ этомъ случаѣ погрѣшилъ переводчикъ, давши характеру Полонія такой оттѣнокъ, но Щепкинъ показалъ намъ Полонія такимъ, каковъ онъ есть въ переводѣ Полеваго. Но мы и обвиненіе на переводчика считаемъ несправедливымъ: Полоній точно забавникъ, если не шутъ, старичекъ по старому шутившій, сколько для своихъ цѣлей, столько и по склонности, и для

насъ образъ Полонія слился съ лицомъ Щепкина, такъ же, какъ образъ Гамлета слился съ лицомъ Мочалова. Если наша публика не оцѣнила вполне игры Щепкина въ роли Полонія, то этому двѣ причины: первая—ея вниманіе было все поглощено ролью Гамлета; вторая—она видѣла въ игрѣ Щепкина только смѣшное и комическое, а не развитіе характера, выполненіе котораго было торжествомъ сценическаго искусства. Здѣсь кстати замѣтимъ, что большинство нашей публики еще не довольно подготовлено своимъ образованіемъ для комедіи: оно непременно хочетъ хохотать, завидя на сценѣ Щепкина, хотя бы это было въ роли Шайлока, которая вся проникнута глубокою, міровою мыслию и нерѣдко становить дыбомъ волосы зрителя отъ ужаса; или въ роли матроса, которая пробуждаетъ не смѣхъ, а рыданіе.

Кромѣ Щепкина, должно еще упомянуть и о г-жѣ Орловой, играющей роль Офеліи. Въ первыхъ двухъ актахъ она играетъ болѣе, нежели неудовлетворительно: она не можетъ ни войти въ сферу Офеліи, ни понять безконечной простоты своей роли, и потому безпрестанно переходитъ изъ манерности въ надутость. Но это совсѣмъ не отъ того, чтобы у нея не было ни таланта, ни чувства, а отъ дурной манеры игры, вслѣдствіе ложнаго понятія о драмѣ, какъ о чемъ-то такомъ, въ чемъ ходули и неестественность составляютъ главное. Мы потому и рѣшились сказать г-жѣ Орловой правду, что видимъ въ ней талантъ и чувство. Четвертый актъ объясненъ одной ей своимъ успѣхомъ. Она говоритъ тутъ просто, естественно, и поетъ болѣе нежели превосходно, потому что въ этомъ пѣніи отзывается не искусство, а душа... Въ самомъ дѣлѣ, ея рыданіе, съ которымъ она, закрывъ глаза руками, произноситъ стихъ: «Я шутилъ, вѣдь я шутилъ» такъ чудно сливается съ музыкою, что нельзя ни слышать, ни видѣть этого безъ живѣйшаго восторга. Съ прекрасною наружностію г-жи Орловой и ея чувствомъ, которое такъ ярко проблескиваетъ въ четвертомъ актѣ, ей можно образо-

вать изъ себя хорошую драматическую актрису—нужно только изученіе.

Безподобно выполняетъ г. Орловъ роль могильщика: естественность его игры такъ увлекательна, что забываешь актёра и видишь могильщика. Такъ же хорошъ въ роли другаго могильщика г. Степановъ, и намъ очень досадно, что мы не видѣли его въ ней въ послѣдній разъ. Очень недурень также г. Волковъ, играющій роль комедіанта.

Г. Самаринъ могъ бы хорошо выполнить роль Лаерта, еслибы слабая грудь и слабый голосъ позволяли ему это, почему онъ, будучи очень хорошъ въ роли Кассіо, не требующей громкаго голоса, въ роли Лаерта едва сноситъ.

И такъ, вотъ мы уже и у берега; мы все сказали о представленіяхъ «Гамлета» на московской сценѣ, но еще не все сказали о Мочаловѣ, а онъ составляетъ главнѣйшій предметъ нашей статьи. И потому кстати или не кстати,—но мы еще скажемъ нѣсколько словъ о представленіи «Отелло», которое мы видѣли декабря 9, т. е. черезъ недѣлю послѣ послѣдняго представленія «Гамлета». Надобно замѣтить, что это было послѣднее изъ трехъ представленій «Отелло», и что въ этой пьесѣ Мочаловъ совершенно одинъ, потому что, исключая только г. Самарина, очень недурно игравшаго роль Кассіо, всѣ прочія лица какъ бы наперерывъ старались играть хуже. Самая пьеса, какъ извѣстно, переведена съ подлинника прозою; но во всякомъ случаѣ, благодарность переводчику: онъ согналъ со сцены глупаго дюсисовскаго «Отелло» и далъ работу Мочалову.

И Мочаловъ работалъ чудесно. Съ перваго появленія на сцену, мы не могли узнать его: это былъ уже не Гамлетъ, принцъ датскій: это былъ Отелло, Мавръ африканскій. Его черное лицо спокойно, но это спокойствіе обманчиво: при малѣйшей тѣни человѣка, промелькнувшей мимо его, оно готово вспыхнуть подозрѣніемъ и гнѣвомъ. Еслибы провинціалъ, видѣвшій Мочалова только въ роли Гамлета, увидѣлъ его въ

Отелло, то ему было бы трудно увѣриться, что это тотъ же самый Мочаловъ, а не другой совсѣмъ актёръ: такъ умѣть перемѣнять и свой видъ, и лицо, и голосъ, и манеры, по свойству играемой имъ роли, этотъ артистъ, на котораго главная нападка состояла именно въ субъективности и одно-манерности, съ которыми онъ играетъ всѣ роли! И это обвиненіе было справедливо, но только до тѣхъ поръ, пока Мочаловъ не игралъ ролей, созданныхъ Шекспиромъ.

Мы не будемъ распространяться о представленіи Отелло, но постараемся только выразить впечатлѣніе, произведенное имъ на насъ. Первый и второй акты шли довольно сухо; знаменитый монологъ, въ которомъ Отелло, рассказывая о началѣ любви къ нему Дездемоне, высказываетъ всего себя, былъ совершенно потерянъ. Въ третьемъ актѣ начались проблески и вспышки вдохновенія, и въ сценѣ съ платкомъ, нашъ Отелло былъ ужасенъ. Монологъ, въ которомъ онъ прощается съ войною и со всѣмъ, что составляло поэзію и блаженство его жизни, былъ потерянъ совершенно. И это очень естественно: этотъ монологъ непремѣнно долженъ быть переведенъ стихами: въ прозѣ же онъ отзывается громкою фразою. «О, крови, Яго, крови!» было произнесено также неудачно; но въ четвертой сценѣ третьяго акта Мочаловъ былъ превосходенъ, и мы не можемъ безъ содраганія ужаса вспомнить этого выраженія въ лицѣ этого тихаго голоса, отзвывавшагося гробовымъ спокойствіемъ, съ какими онъ, взявши руку Дездемоне и какъ бы шутя и играя ею, говорилъ: «Эта ручка очень нѣжна, синьора... Это признакъ здоровья и страстнаго сердца, тѣлосложенія горячаго и сильнаго! Эта рука говоритъ мнѣ, что для тебя необходимо лишеніе свободы, да... потому что тутъ есть юный и пылкій демонъ, который непрестанно волнуется. Вотъ откровенная ручка, добренькая ручка!» и пр. Последніе два акта были полнымъ торжествомъ искусства: мы видѣли передъ собою Отелло, великаго Отелло, душу могучую и глубокую, душу, которой

и блаженство и страданіе проявляются въ размѣрахъ громадныхъ, безпредѣльныхъ, и это черное лицо, вытянувшееся, искаженное отъ мукъ, выносимыхъ только для Отелло, этотъ голосъ глухой и ужасно-спокойный, эта царственная поступь и величественныя манеры великаго человѣка, глубоко вѣ-
зались въ нашу память и составили одно изъ лучшихъ сокровищъ, хранящихся въ ней. Ужасно было мгновеніе, когда, «томимый не здѣшней мукою» и преодолеваемый адскою страстію, нашъ великій Отелло засверкалъ молніями и заговорилъ бурями: «Съ ней?... на ея ложѣ?... съ ней... возлѣ нея... на ея ложѣ?... Если это клевета!... О, позоръ!... Платокъ!... его признанія! Платокъ!... вымучить у него признаніе и повѣсить его за преступленіе... Нѣтъ, прежде задушить, а потомъ... О, заставить его признаться... Я весь дрожу... Нѣтъ, страсть не могла бы такъ завладѣть природою, такъ сжать ее, еслибы внутренній голосъ не говорилъ мнѣ о ея преступленіи. Нѣтъ! это не слова измѣняютъ меня... Ея глаза, ея уста?... Возможно-ли?..» И потомъ, наклонившись къ землѣ, какъ бы видя передъ собою преступную Дездемону, задыхающимся голосомъ проговорилъ онъ: «признайся!... Платокъ!... о демонъ!...» и грянулся на полъ въ судорогахъ...

Слѣдующая сцена, въ которой Отелло подслушиваетъ разговоръ Кассіо съ Яго и Біанкою, шла неудачно отъ ея постановки, потому что Отелло стоялъ какъ-то въ тѣни и вдалекѣ отъ зрителей, и его голосъ не могъ быть слышенъ. Слова, которыя говорить Отелло Яго по удаленіи Кассіо и въ которыхъ видно ужасное спокойствіе могучей души, рѣшившейся на мщеніе: «Какую смерть я изобрѣту для него, Яго?»—эти слова въ устахъ Мочалова не произвели никакого впечатлѣнія, и онъ самъ сознается, что они никогда не удавались ему, хотя онъ и понималъ ихъ глубокое значеніе. Исключая это мѣсто, все остальное, до послѣдняго слова, было болѣе нежели превосходно—было совершенно. Еслибы

игра Мочалова не проникалась этою эстетическою, творческою жизнію, которая смягчаетъ и преобразуетъ дѣйствительность, отнимая ея конечность, то признаемся, немного нашлось бы охотниковъ смотрѣть ее, и посмотри, немногіе могли бы надѣяться на спокойный сонъ. Не говоримъ уже объ игрѣ и голосѣ—одного лица достаточно, чтобы заставить вздрагивать во снѣ и младенца и старца. Это мы говоримъ о зрителяхъ — что же онъ, этотъ актёръ, который своею игрою леденить и мучить столько душъ, слившихся въ одну потрясенную и взволнованную душу?—о, онъ долженъ бы умереть на другой же день послѣ представленія! Но онъ живъ и здоровъ, а зрители всегда готовы снова видѣть его въ этой роли. Отчего же это? Оттого, что искусство есть воспроизведеніе дѣйствительности, а не списокъ съ нея; оттого, что искусство въ нѣсколькихъ минутахъ сосредоточиваетъ цѣлую жизнь, а жизнь можетъ казаться ужасною только въ отрывкахъ, въ которыхъ не видно ни конца, ни начала, ни цѣли, ни значенія, а въ цѣломъ она прекрасна и велика... Искусство, освобождаетъ насъ отъ конечной субъективности и нашу собственную жизнь, отъ которой мы такъ часто плачемъ по своей близорукости и частности, дѣлаетъ объектомъ нашего знанія, а слѣдовательно, и блаженства. И вотъ почему видѣть страшную гибель невинной Дездемоны и страшное заблужденіе великаго Отелло совсѣмъ не то, что видѣть въ дѣйствительности казнь, пытку или тому подобное. Поэтому же для актёра сладки его мученія, и мы понимаемъ, какое блаженство проникаетъ въ душу этого человѣка, когда, почувствовавъ вдохновеніе, онъ по восторженнымъ плескамъ толпы узнаетъ, что искра, загорѣвшаяся въ его духѣ, разлетѣлась по этой толпѣ тысячами искръ и вспыхнула пожаромъ... А между тѣмъ, онъ страдаетъ, но эти страданія для него сладостнѣе всякаго блаженства... Но обратимся къ представленію.

Сцена Отелло съ Дездемоною и Людовикомъ была ужасна:

принявши отъ послѣдняго бумагу венеціанскаго сената, онъ читалъ ее, или силился показать, что читаетъ, но его глаза читали другія строки, его лицо говорило о другомъ, ужасномъ чтеніи... Невозможно передать того ужаснаго голоса и движенія, съ которыми, на слова Дездемоны «милый, Отелло», Молчановъ вскричалъ «демонъ!» и ударилъ ее по лицу бумагою, которую до этой минуты судорожно мять въ своихъ рукахъ. И потомъ, когда Людовико просить его, чтобы онъ воротилъ свою жену, которую прогналъ отъ себя съ проклятіями — мучительная, страдающая любовь противъ его воли отозвалась въ его болѣзненномъ воплѣ, съ которымъ онъ произнесъ: «Синьора!».

Одно воспоминаніе о второй сценѣ четвертаго акта леденить душу ужасомъ; но несмотря на ровность игры, которой характеръ составляло высшее и возможное совершенство, въ ней отдѣлились три мѣста, которыя до дна потрясли души зрителей, — это вопросъ: «Что ты сдѣлала?» вопросъ, сказанный тихимъ голосомъ, но раздавшійся въ слухъ зрителей ударомъ грома; потомъ: «Сладострастный вѣтеръ, лобзающій все, что ему ни встрѣчается—останавливается и углубляется въ нѣдра земныя, только чтобъ ничего не знать»... и наконецъ: «Ну, если такъ, то я прошу у тебя прощенія. Вѣдь я, право, принималъ тебя за ту развратную Венеціанку, которая вышла замужъ за Отелло!» — Несмотря на то, что значительную и послѣднюю часть четвертаго акта, Отелло скрывается отъ вниманія зрителей, по опущеніи занавѣса, публика вызвала Мочалова: такъ глубоко потрясъ ее этотъ четвертый актъ...

Пятый былъ вѣнцомъ игры Мочалова: тутъ уже не пропала ни одна черта, ни одинъ оттѣнокъ, но все было выполнено съ ужающею отчетливостію. Оцѣпенѣвъ отъ ужаса, едва дыша, смотрѣли мы, какъ африканскій тигръ душилъ подушкою Дездемону; съ замираніемъ сердца, готоваго разорваться отъ муки, видѣли мы, какъ бродилъ онъ вокругъ

постели своей жертвы, съ дикимъ, безумнымъ взоромъ, опираясь рукою на стѣну, чтобъ не согнулись его дрожащія колѣна. Его магнетическій взоръ безпрестанно обращался на трупъ, и когда онъ слышалъ стукъ у двери и голосъ Эмилии, то въ его глазахъ, нерѣшительно переходившихъ отъ кровати къ двери, мелькала какая-то глубоко затаенная мысль: намъ показалась, что этому великому ребенку жаль было своей милой Дездемоны, что онъ ждалъ чуда воскресенія... И когда вошла Эмилиа и воскликнула: «О, кто сдѣлалъ это убійство?», и когда умирающая Дездемона, стоная, проговорила: «Никто — я сама. Прощай. Оправдай меня передъ моимъ милымъ супругомъ» — тогда Отелло подошелъ къ Эмилии и, какъ бы обнявши ее черезъ плечо одной рукою и наклонившись къ ея лицу, съ полоумнымъ взоромъ и тихимъ голосомъ, сказалъ ей: «Ты слышала, вѣдь она сказала, что она сама... а не я убилъ ее». — «Да, это правда; она сказала», отвѣчаетъ Эмилиа. «Она обманщица; она добыча адскаго пламени», продолжаетъ Отелло, и, дико и тихо захохотавши, оканчиваетъ: «Я убилъ ее!» — О, это было однимъ изъ такихъ мгновений, которыя сосредоточиваютъ въ себѣ вѣка жизни, и изъ которыхъ и одного достаточно, чтобы удостовѣриться, что жизнь человѣческая глубока, какъ океанъ неисходный, и что много чудесъ хранится въ ея неиспытанной глубинѣ...

Тщетны были бы всѣ усилія передать его споръ съ Эмилиею о невинности Дездемоны: великому живописцу эта сцена послужила бы неизчерпаемымъ источникомъ вдохновенія. Когда для Отелло началъ проблескивать лучъ ужасной истины, онъ молчалъ; но судорожныя движенія его лица, но потухающій и вспыхивающій огонь его мрачныхъ взоровъ, говорили много, много, и это была самая дивная драма безъ словъ... Послѣдній монологъ, гдѣ выходитъ наружу все величіе души Отелло, этого великаго младенца, гдѣ открывается единственный возможный для него выходъ изъ распаденія —

умереть безъ отчаянія, спокойно, какъ лечь спать послѣ утомительныхъ трудовъ безпокойнаго дня, этотъ монологъ, въ устахъ Мочалова, былъ послѣднею гранью искусства и бросилъ внезапный свѣтъ на всю піесу. Особенно поразительны и неожиданны были послѣднія слова: «Вотъ какими изобразите меня. Къ этому прибавьте еще, что однажды въ Алеппо дерзкій чалмоносецъ-Турокъ ударилъ одного Венеціанина и оскорблялъ республику. Я схватилъ за горло собаку-магометанина и вотъ точно такъ поразилъ его!». Кинжалъ задрожалъ въ обнаженной и черной груди его, не поддерживаемый рукою, и такъ какъ Мочаловъ довольно долго не выходилъ на вызовъ публики, то многіе боялись, чтобы сцена самоубійства не была сыграна съ излишнею естественностію.

И вотъ мы, приближаемся къ концу, можетъ-быть, давно желанному для нашихъ читателей, и вмѣстѣ съ ними, мы радостно восклицаемъ: «берегъ! берегъ!» Въ самохъ дѣлѣ, этотъ берегъ для насъ самихъ былъ какою-то terra - incognita, которую мы только надѣялись найти, но которой мы еще не видѣли... И это происходило не оттого, чтобы мы пустились въ наше плаваніе безъ цѣли и безъ компаса, но оттого, что мы хотѣли, во что бы то ни стало, обстоятельно обозрѣть море, въ которое ринулись, обольщенные его поэтическимъ величіемъ и красотою, съ точностію опредѣлить долготу и широту его положенія, вѣрно измѣрить его глубину и обозначить даже мели и подводные камни... Предоставляемъ читателямъ рѣшить успѣхъ нашей экспедиціи, а сами замѣтимъ имъ только то, что, не нарушая скромности и приличія, мы можемъ увѣрить ихъ, что продолжительность нашего плаванія происходила не отъ чего другаго, какъ отъ любви къ этому прекрасному морю... Эта любовь дала намъ не только силу и терпѣніе, необходимыя для такого большаго плаванія, но и сдѣлала его для насъ наслажденіемъ, блаженствомъ... Не будемъ спорить и защищать себя, если впечатлѣніе, про-

изведенное нашею статьею на читателей, не заставит ихъ повѣрить намъ: обвинять другихъ за свой собственный неуспѣхъ намъ всегда казалось смѣшною раздражительностію мелочнаго самолюбія. Но еще смѣшнѣе кажется намъ много-рѣчіе, происходящее не отъ одушевленія его предметомъ, большой трудъ, отъ котораго на долю автора достается только тягость, а не живѣйшее наслажденіе. И такъ, да не обвиняютъ насъ ни въ плодovitости, ни, въ подробностяхъ: мы не примемъ такого обвиненія; неудача — это другое дѣло... Мы не могли и не должны были избѣгать обширности и подробности изложенія, потому что мы хотѣли сказать все, что мы думали, а мы думали много... Предметъ нашего разсужденія возбуждалъ въ насъ живѣйшій интересъ, и мы считаемъ его дѣломъ важнымъ; тѣ, которые, въ этомъ отношеніи, несогласны съ нами, тѣ могутъ думать, что имъ угодно... Оставляя въ сторонѣ нашъ энтузіазмъ и наши доказательства — одного необыкновеннаго и такъ долго поддерживающагося участія публики къ «Гамлету» на московской-сценѣ, уже достаточно для того, чтобы не дорожить холоднымъ равнодушіемъ людей, которые не хотѣли бы видѣть никакой важности въ этомъ событіи. Но, можетъ-быть, многіе, не отвергая этой важности, увидятъ въ нашемъ отчетѣ излишнее увлеченіе въ пользу Мочалова; для такихъ у насъ одинъ отвѣтъ: «вѣрьте или не вѣрьте — это въ вашей волѣ; удачно или неудачно мы выполнили свое дѣло — это вамъ судить; но мы смѣемъ увѣрить васъ въ томъ, что въ насъ говорило убѣжденіе, а давало силу говорить такъ много одушевленіе, безъ которыхъ мы не можемъ и не умѣемъ писать, потому что почитаемъ это оскорбленіемъ истины и неуваженіемъ къ самимъ себѣ». Прибавимъ еще къ этому, что въ разсужденіи Мочалова, мы можемъ ошибаться передъ истинною, и въ этомъ смыслѣ никому не запрещаемъ имѣть свое мнѣніе, но передъ самими собою мы совершенно правы и готовы отвѣчать за каждое наше слово объ игрѣ этого артиста, кото-

раго дарованіе мы, по глубокому убѣжденію, почитаемъ великимъ и гениальнымъ.

2.

Г. КАРАТЫГИНЪ НА МОСКОВСКОЙ СЦЕНѢ ВЪ РОЛИ ГАМЛЕТА.

Во вторникъ, 12 апрѣля, г. Каратыгинъ явился на московской сценѣ въ роли Гамлета. Не будемъ говорить, что, послѣ игры Мочалова, г. Каратыгину предстоялъ подвигъ трудный— въ этомъ никто не сомнѣвается; не будемъ и сравнивать игры перваго съ игрою послѣдняго: это дѣло не касается Мочалова такъ же, какъ и Мочаловъ не касается этого дѣла... Скажемъ только, что, во первыхъ, г. Каратыгинъ совершенно переѣнилъ характеръ своей игры и переѣнилъ къ лучшему; а во вторыхъ, что онъ показалъ чудо искусства, если подѣ словомъ «искусство» должно разумѣть не творчество, а умѣніе, прибрѣтенное навыкомъ и ученіемъ... Фарсовъ, за которые прежде такъ справедливо упрекали г. Каратыгина его противники, мы на этотъ разъ замѣтили гораздо меньше; но когда человѣкъ, не чувствуя въ душѣ движенія страсти, говорить такія слова и такимъ голосомъ, источникомъ которыхъ можетъ быть только одна страсть, то, по необходимости, будетъ дѣлать фарсы, какъ бы ни былъ далекъ отъ всякаго желанія дѣлать ихъ, и какъ бы ни старался быть простымъ и естественнымъ. Что дѣлать! Чувство, вдохновеніе, талантъ, гений—они даются природою даромъ, и часто, какъ говорить Сальери Пушкина—

Не въ награду
Любви горящей. самоотверженія.
Трудовъ, усердія, моленій...
А озаряютъ голову безумца,
Гуляки празднаго...

Что дѣлать! повторяемъ мы: Моцартъ и Сальери не единственный примѣръ, доказывающій эту истину...

Мы увѣрены, что съ нами согласится всякій, кто былъ 12 апрѣля въ театрѣ, и кто помнить, что во второмъ актѣ, гдѣ Гамлетъ читаетъ стихи изъ плохой трагедіи, публика съ жаромъ аплодировала г. Каратыгину, а вслѣдъ за этимъ съ такимъ же жаромъ аплодировала г. Волкову, игравшему роль комедіанта и читавшему стихи изъ этой же смѣшной трагедіи; что это значить?... Не знаемъ; по крайней мѣрѣ, надъ этимъ можно думать и надуматься...

Отчета объ игрѣ г. Каратыгина мы отдавать не будемъ; мы не хотимъ огорчать благороднаго артиста, который такъ пламенно любитъ свое искусство и съ такимъ самоотверженіемъ изучаетъ его: для насъ гораздо легче высказать горькую правду такому актѣру, которому природа подарила гений, а собственное нерадіе вредитъ въ безусловномъ успѣхѣ.

Мы увѣрены, что въ «Уголино» г. Каратыгинъ былъ превосходенъ, выше всякаго сравненія съ Мочаловымъ, потому что роль Нино совершенно по немъ и даетъ ему полную возможность развернуть все свое искусство. У всякаго поэта долженъ быть свой актѣръ: г. Каратыгинъ можетъ дѣлать съ г. Полевымъ славу созданія «Уголино».

3.

г. соснищій на московской сценѣ въ роли городничаго.

И здѣсь мы говоримъ такъ, просто, чтобы только сказать, а совѣтъ не для какихъ-нибудь сравненій: это дѣло не касается Щепкина, и Щепкинъ не касается этого дѣла... Другое дѣло—г. Живокини; но и здѣсь сравненіе невыгодно для петербургскаго артиста: фарсы—это сходство; веселость, достоятельность какая-то въ самыхъ фарсахъ и рѣшительный

талантъ во всемъ прочемъ—это разница. Гёте сказалъ, что онъ никогда не почиталъ себя обязаннымъ читать плохихъ авторовъ, но что онъ вѣнялъ себѣ въ обязанность смотрѣть на посредственныхъ и дурныхъ актёровъ, чтобы тѣмъ лучше цѣнить хорошихъ. Не для какихъ-нибудь сравненій, а какъ фактъ, говоримъ мы, что только 13 апрѣля постигли мы талантъ Щепкина во всей его безконечной силѣ. Не правда ли, что мысль Гёте превосходна? Кстати: г. Самаринъ дебютировалъ въ роли Хлестакова. Онъ подаетъ большія надежды для этой роли, только ему нужно привыкнуть къ ней. Но пока мы еще не видѣли настоящаго Хлестакова: лицо, манеры и тонъ г. Самарина слишкомъ умны и благородны для роли Хлестакова, и, по этой причинѣ, онъ, не будучи въ состояніи выполнять ее субъективно, еще не возвысился до ея объективнаго пониманія и исполненія. Но повторяемъ: онъ подаетъ надежды, за что и былъ вызванъ публикою. Изученіе дѣло великое: вотъ чего особенно не должно забывать г. Самарину. Впрочемъ, начало его было удачно, хотя еще и далеко несовершенно. Но во всякомъ случаѣ, и піеса, и театръ, и публика въ положительномъ выигрышѣ отъ того, что г. Самаринъ смѣнилъ г. Ленскаго, котораго игра слишкомъ субъективна и производитъ непріятное впечатлѣніе какою-то грубою, нисколько не художественною, естественностію.

Не говоримъ о г. Степановѣ, игравшемъ роль судьи: его игра чудесна; но скажемъ, что г. Орловъ, въ роли Осипа, превзошелъ самого себя. Да, у этого артиста рѣшительный комическій талантъ, и мы очень жалѣемъ, что онъ такъ грубо обманывается въ своемъ призваніи и искажаетъ трагическими ролями свое прекрасное дарованіе. Сыграть хорошо комическую роль такъ же трудно и такъ же славно, какъ и сыграть хорошо трагическую роль, и еще выше и славнѣе нежели сыграть дурно хотя бы самого Гамлета. По этой же причинѣ, несмотря на то, что въ одномъ журналѣ очень жестоко и очень остроумно нападаютъ на тѣхъ, которые удивляются, или под-

ражаютъ Гоголю, созданіе такой роли, какъ роль Осипа, въ тысячу, въ миллионъ разъ выше всякихъ пародій на Шекспира, и ужъ, конечно, ничѣмъ не ниже созданія такой роли, какъ, напримѣръ, роль Уголио или Нино, какъ ни превосходны объ эти роли... Вообще «Ревизоръ» у насъ идетъ хоть куда: есть общность въ ходѣ цѣлой пьесы, а это не шутка. Въ послѣдній разъ, о которомъ мы говоримъ, кромѣ городничаго, всѣ играли болѣе или менѣе хорошо, начиная отъ почтеннаго судьи Тяпкина-Ляпкина до Мишки.

4.

МОСКОВСКІЙ ТЕАТРЪ.

Кто не любитъ театра, кто не видитъ въ немъ одного изъ живѣйшихъ наслажденій жизни, чье сердце не волнуется сладостнымъ, трепетнымъ предчувствіемъ предстоящаго удовольствія при объявленіи о бенефисѣ знаменитаго артиста, или о поставкѣ на сцену произведенія великаго поэта? На этотъ вопросъ можно смѣло отвѣчать: всякій и у всякаго, кромѣ невѣждъ и тѣхъ грубыхъ, черствыхъ душъ, недоступныхъ для впечатлѣній искусства, для которыхъ жизнь есть непрерывный рядъ счетовъ, расчетовъ и обѣдовъ. Посмотрите, какое движеніе на этой прекрасной площади, у этого величественно-граціознаго дома, похожаго на греческій храмъ: къ нему тянется рядъ каретъ и дрожекъ всѣхъ родовъ, включая сюда и кулачки смиренныхъ вавекъ; къ нему приливаютъ толпы пѣшиходовъ. Тутъ всѣ полы, всѣ возрасты, всѣ сословія. Одинъ спѣшитъ занять свои кресла въ первомъ ряду, а другой поспѣе захватить получше мѣстечко на скромныхъ скамеечкахъ; тутъ идетъ великолѣпное семейство, состоящее изъ трехъ или четырехъ человѣкъ, занять свою ложу въ бельэтажѣ, а рядомъ съ нимъ идетъ цѣлая толпа плащей и манто,

шляпъ и шляпокъ «всѣхъ возрастовъ, считая отъ тридцати до двухъ годовъ», занять свою ложу въ третьемъ ряду. Это обыкновенно чиновническое или купеческое семейство, а иногда и два, если не три: они сложились и взяли ложу. А вотъ дюжій работникъ, мастеровой, гризетка, жмутся въ толпѣ и толкаютъ другъ друга, чтобы прежде другихъ получить билетъ въ раекъ за свой трудовой, кровный гривенникъ. Всѣ они будутъ въ разныхъ мѣстахъ, но всѣхъ ихъ привлекъ сюда одинъ интересъ, и всѣ они будутъ видѣть и слышать одно, и всякій по своему насладится этимъ однимъ.

Давно ли—этому прошло съ небольшимъ развѣ 50 лѣтъ, какъ Сумароковъ горько жаловался, въ предисловіи къ своему «Димитрію Самозванцу», на невѣжественность публики его времени. «Вы путешествовали — восклицаетъ онъ, — бывшіе въ Парижѣ и въ Лондонѣ, скажите: грызутъ ли тамъ во время представленія драмы орѣхи; и когда представленіе въ пушемъ жарѣ своемъ, сѣкутъ ли поссорившихся между собою пьяныхъ кучеровъ ко тревогѣ всего партера, ложъ и театра?» — Прочтя эту наивную жалобу человѣка, котораго нѣкоторые помнятъ еще въ лицо, какъ не скажешь съ Грибоѣдовымъ: «Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ!» Мало того, что чрезъ полвѣка послѣ этого блаженного времени не только столичная, но даже публика послѣдняго уѣзднаго городка чужда всякаго подобнаго упрека—она уже понимаетъ и любить Шекспира, и драмы его ставить выше всѣхъ произведеній драматическаго искусства. Теперешняя публика знаетъ о Сумароковѣ по одной наслышкѣ или по воспоминанію и глубоко заснула бы отъ прекрасныхъ «трагедій» Озерова, такъ глубоко, что только одно магическое имя Шекспира заставило бы ее проснуться. Какой прогрессъ!

Въ Россіи любятъ театръ, любятъ страстно. Заѣзжая труппа актѣровъ, одинъ пріѣзжій столичный актѣръ, можетъ пробудить сильное движеніе и въ умахъ, и въ сердцахъ, и въ карманахъ губернскаго или уѣзднаго города. Театръ имѣетъ для

нашего общества какую-то непобѣдимую, фантастическую прелесть. И между тѣмъ, слышны безпрестанныя жалобы на холодность и равнодушіе нашей публики къ театру. Отчего же это противорѣчіе? Кто правъ, кто виноватъ.

У насъ есть таланты и таланты блестящіе — объ этомъ никто не спорить; но число этихъ талантовъ слишкомъ не такъ велико, чтобъ ихъ доставало на каждую пьесу. Обыкновенно бываетъ такъ, что изъ десяти дѣйствующихъ лицъ — три, много четыре таланта, и шесть рѣшительныхъ бездарностей. Отъ этого нѣтъ никакой общности въ игрѣ, а безъ общности — что за очарованіе? — Безъ нея представленіе — кукольная комедія. Вотъ причина холодности нашей публики, и причина глубоко основательная. Но точно ли дѣло въ такомъ видѣ, какъ оно представляется намъ? Посмотримъ.

Таланты вездѣ рѣдки; природа скупа на нихъ. Невозможно требовать, чтобы такая огромная труппа, какъ труппа московскаго театра, была сформирована изъ однихъ талантовъ. Ни одинъ театръ въ Европѣ не можетъ похвалиться этимъ, потому что это не въ природѣ вещей. А между тѣмъ общность и цѣлость игры есть неотъемлемая принадлежность всякаго порядочнаго иностраннаго театра. Недостатокъ дарованій долженъ замѣняться умомъ, образованностію, изученіемъ. Есть такіе актёры, которые ни одной роли не сыграютъ художественно и въ то же время не испортятъ никакой роли, за какую ни возьмутся. Такіе актёры — дѣло важное, истинное сокровище для всякаго театра. Они сами не блестятъ, но даютъ возможность блестятъ другимъ. Безъ нихъ невозможно очарованіе истинности представленія.

Много ли у насъ истинныхъ дарованій и есть ли у насъ актёры, хорошо играющіе, не имѣя таланта? — Мы не будемъ рѣшать этого вопроса, а представимъ здѣсь одинъ фактъ, изъ котораго можно вывести много прекрасныхъ заключеній.

Мая 5, въ бенефисъ гг. Козловскаго, Щепкина и Сѣколова, давалась драма Шиллера «Коварство и любовь». Драма эта

есть одно изъ самыхъ прекраснѣшнихъ произведеній Шиллера; въ ней дѣтскости гораздо больше, нежели въ «Разбойникахъ». Художественности и творчества—нисколько, огня отрицать нельзя; но такъ какъ этотъ огонь вытекъ не изъ творческаго одушевленія объективнымъ созерцаніемъ жизни, а изъ ратованія противъ дѣйствительности, подъ знаменемъ нравственной точки зрѣнія, то онъ и похожъ на фейерверочный огонь: много шуму и треску, и мало толку. На идею пьесы Шиллера навелъ «Отелло» Шекспира; но что у послѣдняго основано на непреложныхъ законахъ необходимости, то у перваго совершенно произвольно. Почему идеальная Луиза рѣшается пожертвовать своимъ честнымъ именемъ и признать себя любовницею стараго развратника и шута, почему она такъ упорно избѣгаетъ объясненія съ человѣкомъ, котораго любить, съ которымъ у ней одна душа, одно сердце—все это извольте понимать, какъ вамъ угодно. Завязка вертится на пустомъ недоразумѣніи. А характеры?—Луиза—идеальная кухарка, сентиментальная фразѣрка; Фердинандъ—маленькій Отелло съ эполетами и шпагою. Человѣкъ новаго времени, глубокой и высокой Германецъ—такой человѣкъ не отравитъ ядомъ подобнаго себѣ человѣка, тѣмъ болѣе дѣвушку, которую онъ любитъ. Если она недостойна его чувства; если она гнусно наругалась надъ нимъ—онъ отворотится отъ нея, съ разбитымъ сердцемъ, съ погибшею надеждою на счастье жизни, но не станетъ мстить и не сдѣлается палачемъ. Отелло былъ африканецъ и жилъ давно, въ то время, когда люди еще не идеальничали. Но Шиллеру это нужно было для эффекта, безъ котораго его драма сбилась бы на такъ-называемую мѣщанскую комедію: поссорились, наговорили громкихъ фразъ, да—веселымъ пиркомъ и за свадьбу. Кромѣ того, это ему было нужно и для вѣщаго наказанія президента за его злодѣяніе, потому что этотъ президентъ злодѣй въ родѣ Франца Моора: дьяволъ совѣтъ адскимъ причетомъ не годится ему въ ученики. Страхъ та-

кой, что мочи нѣтъ! Леди Мильфордъ, конечно, споснѣ идеальной Луизы, но тоже не скажетъ слова просто — все съ ужимкой. Только отецъ и мать Луизы и Вурмъ похожи на людей и носятъ на себѣ признаки дѣйствительности.

Но обратимся къ московскому театру.

Стеченіе публики было большое: на афишѣ стояло имя г. Каратыгина; сверхъ того, г-жа Рѣпина дебютировала въ роли Луизы. Публика встрѣтила г-жу Рѣпину съ изъявленіемъ живѣйшаго восторга: нѣсколько минутъ продолжались ея единодушныя рукоплесканія. Г. Каратыгинъ былъ также встрѣченъ рукоплесканіями, хотя и далеко не единодушными. Онъ игралъ просто, съ достоинствомъ, а потому и — прекрасно. Умъ и ловкость могутъ много дѣлать, даже замѣнять, въ глазахъ толпы, талантъ. То же самое можно сказать и о г-жѣ Рѣпиной, но только въ отношеніи къ одному этому представленію, потому что роль Луизы не можетъ одушевить артистки съ истиннымъ и глубокимъ дарованіемъ, какою мы почитаемъ г-жу Рѣпину. Мы желали бы ее видѣть въ роли Юліи Шекспира: въ этой роли есть чѣмъ одушевиться и есть гдѣ показать свое дарованіе. Объ этомъ же представленіи мы можемъ сказать только то, что г-жа Рѣпина безпрестанно оспаривала у г. Каратыгина благосклонность публики.

Но это все еще не то, что мы хотѣли сказать: фактъ вотъ въ чемъ: г. Усачевъ, тотъ самый актеръ, который въ драмѣ на московской сценѣ занимаетъ мѣсто какого-то статиста, и который въ трагическихъ роляхъ точно возбуждаетъ состраданіе, только не къ лицу, которое представляетъ, а къ самому себѣ, — этотъ самый г. Усачевъ превосходно сыгралъ роль Вурма, сыгралъ ее какъ истинный художникъ. Г-жа Львова-Синецкая, въ роли леди Мильфордъ, какъ-то забывшись, что она играетъ въ трагедіи, сошла съ трагическаго котурна, заговорила живымъ, естественнымъ человѣческимъ языкомъ — и публика съ жаромъ апплодировала ей, наравнѣ

съ г-жею Рѣпиною и г. Каратыгинымъ. Г. Волковъ, извѣстный своею дрожуще-пѣвучею дикцією, играя роль Миллера *), въ третьемъ актѣ, забылъ, что онъ играетъ, «царя Эдипа» и заговорилъ живымъ человѣческимъ языкомъ—и публика апплодировала ему съ жаромъ, наравнѣ съ г-жею Рѣпиною и г. Каратыгинымъ. Всѣхъ лучше игралъ г. Усачевъ, но ему не апплодировали; всѣхъ хуже игралъ г. Сосницкій **), но ему апплодировали. Но несправѣдливость публики видна была только въ отношеніи къ г. Усачеву: рукоплесканія съ громкимъ смѣхомъ, изъяслявшимъ полное удовольствіе, неслись маршалу сверху...

И такъ, эти люди, которые выставяются образцами бездарности, нашли же въ себѣ и силы и талантъ, чтобы не только быть сносными въ продолженіе четырехъ часовъ и не портить своихъ ролей, но даже и восхищать публику въ нѣкоторыхъ мѣстахъ своихъ ролей. Это фактъ! Уваженія къ своему искусству, своему званію, вниманія къ себѣ, изученія, постоянного строгаго изученія — вотъ чего недостаетъ большей части нашихъ артистовъ. Но вотъ и еще фактъ. Кажется, 17 мая, въ театрѣ Петровскаго парка давали «Ревизора».

Какое очаровательное гулянье этотъ Петровскій паркъ! Нѣтъ лучшаго гулянья ни въ Москвѣ, ни въ ея окрестностяхъ! Эти дороги, по которымъ можно ѣздить, окаймленные дорожками, по которымъ можно только ходить, эти поляны, луга—зеленые острова съ кучами деревьевъ, пруды, красивые, живописные домики, строеніе вокзала, этотъ театр-игрушка, этотъ фантастическій Петровскій замокъ, полузакрытый деревьями, эти толпы народа, то волнующіяся по

*) Которую г. Потанчиковъ выполняетъ не только умно, но иногда съ истиннымъ художественнымъ достоинствомъ.

**) Г. Сосницкій, въ роли маршала, напоминалъ собою г. Баранова: онъ игралъ не вельможу, не придворнаго, а какого-то шута самаго пошлаго тона.

дорожкамъ, то разбросанныя по лугу, отдѣльными обществами, подъ деревьями, за столиками пьющія чай — какая очаровательная, одушевленная, полная жизни картина! И когда вечеръ тихо спустится съ суроваго, хотя и чистаго неба, и все начнетъ становиться тише, торжественнѣе, неопредѣленнѣе, березы сильнѣе задышатъ своимъ ароматомъ, разноцвѣтныя шляпки, шали, манто, съ прелестнѣйшими головками, чудеснѣйшими личиками, сольются во что-то неопредѣленное и цѣлое — какая фантастическая, волшебная картина! Да, Петровский паркъ лучшее гулянье Москвы; нельзя было сдѣлать московской публикѣ лучшаго подарка, какъ превративъ это обыкновенное мѣсто въ какой-то эдемъ!... Тутъ соединено все — и природа и искусство, и деревня и городъ: вы можете дышать свѣжимъ воздухомъ, вдыхать въ себя обаятельный запахъ весенней зелени, словомъ, наслаждаться природою и деревнею и, вмѣстѣ съ тѣмъ, пользоваться всѣмъ, что только можетъ доставить вамъ столичный городъ. Это гулянье европейское, оно отличается характеромъ общественности. Тутъ всѣ сословія, всѣ общества, кромѣ того, для котораго существуетъ Марьино роща. И оно лучше: наслаждаться можно только, не мѣшая другъ другу...

Какъ хорошо, погулявши въ паркѣ, пойти въ этотъ миниатюрный театръ, посмотреть на эту маленькую сцену, которая вся видна и съ которой все слышно, взглянуть на эту небольшую, сжатую и пеструю публику! Первый рядъ креселъ иногда занимается дамами, и это придаетъ особенно очаровательный и пріятный оттѣнокъ маленькому театру. Какъ пріятно въ антрактахъ выходить на крыльцо театра, наблюдая за вечерѣющимъ днемъ и за этою живою картиною, которая черезъ каждые полчаса принимаетъ новый характеръ! Какъ пріятно изъ освѣщеннаго амфитеатра, по окончаніи спектакля, выйти на свѣжій воздухъ, когда уже темно, все разбѣзжается, разбродится и, какъ тѣни на поляхъ Елисейскихъ, мелькають толпы въ сумракѣ...

И такъ, 17 мая мы пошли смотрѣть «Ревизора». Городничаго игралъ, Щепкинъ, въ первый разъ по приѣздѣ изъ Петербурга, въ которомъ онъ оставилъ по себѣ живую память. Роль городничаго въ Москвѣ была очень опошлена во время его отсутствія, и тѣмъ нетерпѣливѣе ждали мы увидѣть ее снова, выполненную великимъ художникомъ. И какъ онъ выполнилъ ее! Нѣтъ, никогда еще не выполнялъ онъ ее такъ! Этотъ первый актъ, который всегда какъ-то не удавался ему, былъ у него на этотъ разъ чудомъ совершенства. Какое одушевленіе, какая простота, естественность, изящество! Все такъ вѣрно, глубоко-истинно—и ничего грубаго, отвратительнаго; напротивъ, все такъ достолюбезно, мило! Актѣръ понималъ поэта: оба они не хотятъ дѣлать ни каррикатуры, ни сатиры, ни даже эпиграммы; но хотятъ показать явленіе дѣйствительной жизни, явленіе характеристическое, типическое.

Но что Щепкинъ былъ превосходенъ—это въ порядкѣ вещей; удивительно то, что вся пьеса идетъ прекрасно. О гг. Орловъ и Степановъ мы уже не говоримъ, не желая повторять одного и того же: чудо совершенства да и только! Г. Шумскій, играющій Добчинскаго—превосходенъ. Кислое лицо, видъ какого-то добродушнаго идиотства, провинціальность природы, какіе онъ умѣетъ принимать на себя, все это выше всякихъ похвалъ. Г. Никифоровъ играетъ Бобчинскаго немного съ фарсами, но, по крайней мѣрѣ, не портитъ роли. Г. Соколовъ, играющій купца Абдулина — чудесенъ. Слѣсарша—живая природа до *pes plus ultra*. Мишка, трактирный слуга, гости городничаго—все это прелесть. Даже Анна Андревна наконецъ вошла въ свою роль какъ должно; также и Марья Антоновна; словомъ, кромѣ г. Ленскаго, играющаго Хлестакова несносно дурно, всѣ хороши, и въ ходѣ пьесы удивительная общность, цѣлость, единство и жизнь.

Мы уже имѣли случай замѣтить, что причина успѣшнаго хода этой пьесы заключается въ самой этой пьесѣ. Послѣ ея,

всего лучше идетъ «Горе отъ Ума». Оно такъ и должно быть: драматическіе поэты творятъ актёровъ. Намъ нужно имѣть свою комедію, и тогда у насъ будетъ свой театръ. Подражательность ввела къ намъ идею и потребность театра, а самобытная поэзія должна создать театръ. Какія богатые надежды сосредоточены на Гоголѣ! Его творческаго пера достаточно для созданія національнаго театра. Это доказывается необычайнымъ успѣхомъ «Ревизора»! Какое глубокое, гениальное созданіе! И что можетъ создать человѣкъ, который написалъ такое произведеніе только для пробы пера!...

5.

ОБЪ АРТИСТѢ.

Знаете ли вы, что такое, и кто именно тотъ артистъ, о которомъ я хочу вамъ говорить?—О, если бы вы знали, какъ интересенъ этотъ таинственный артистъ, вы не отстали бы отъ меня до тѣхъ поръ, пока бы я не сказалъ вамъ его имени! И я радъ сказать вамъ его... но видите ли—«дѣло очень тонкаго свойства», какъ говоритъ Петръ Ивановичъ Добчинскій, въ комедіи Гоголя. Если я вамъ скажу, что въ театрѣ Петровскаго Парка, 17 іюля, былъ данъ водевиль «Артистъ» и что именно объ немъ-то и хочу я вамъ говорить,—то, какъ ни ясно и ни обстоятельно такое объясненіе, а артистъ все-таки останется для васъ тайною. Не понятіе ли для васъ будетъ, если я скажу, что въ этомъ водевильномъ «Артистѣ» скрывается другой, высшаго драматическаго рода артистъ, котораго зовутъ не Раймондомъ и котораго играетъ не г. Богдановъ 2-й, но котораго зовутъ Эдуардомъ и котораго играетъ г. П. Степановъ. Вотъ вамъ и разгадка: артистъ теперь для васъ уже не тайна; не инкогнито—вы теперь знаете его имя, чинъ и фамилію. «Но

что жь тутъ мудренаго? спросите вы: эту тайну можно было разрѣшить еще проще: прочесть афишку». О, нѣтъ! отвѣчаю я вамъ: афишка ничего не пояснила бы вамъ. Видѣть этотъ водевилъ на сценѣ—это другое дѣло, очень понятное и для москвича и для жителя Петербурга. Я давно уже слышалъ объ этомъ водевилѣ и чудесахъ, которые творить въ немъ г. П. Степановъ, но увидѣлъ его въ первый разъ только 17 іюля—такъ ужь, видно, судьбѣ угодно было.

Прежде всего надо сказать, что водевилъ «Артистъ»—очень обыкновенный водевилъ, кое-какъ переведенный съ французскаго, и безъ игры г. П. Степанова, онъ — просто ничего: но при игрѣ этого актѣра — чудо, прелесть: онъ, смѣшнѣе до слезъ, и чтобы, видя его на московской сценѣ, не хохотать, надо быть лишеннымъ отъ природы способности смѣяться. Но я лучше расскажу, какъ было дѣло, исторически и прагматически, потому что отъ историка нашего вѣка, кромѣ изложенія фактовъ, требуется еще и взглядовъ на событія... Содержаніе водевиля очень просто и очень пусто. Дѣло въ томъ, что артистъ Раймондъ, какъ всѣ артисты, бѣденъ и всегда въ долгу, и, какъ не всѣ артисты, очень радъ своей бѣдности и очень гордъ тѣмъ, что никому не платитъ долговъ. Квартиру онъ нанимаетъ у богача, молодого человека, по имени Эдуарда, который влюбленъ въ его дочь. любимъ ею и желалъ бы на ней жениться, да чудакъ артистъ хочетъ, во чтобы то ни стало, сдѣлать изъ своей дочери артистку и выдать ее замужъ непременно за артиста. Тогда Эдуардъ рѣшается мистифицировать г. Раймонда. Онъ является къ нему подъ видомъ Бемолини и потомъ Вербуа, его заимодавцевъ: отъ лица обоихъ увѣряетъ его, что его картины распродались за дорогую цѣну, и что не онъ имъ, а они ему должны. Бемолини—Итальянецъ, и Эдуардъ прикидывается композиторомъ, рассказываетъ содержаніе будто бы когда-то сочиненный имъ оперы, поетъ изъ нея мотивы—и публика хохочетъ до слезъ, потому что ничего смѣшнѣе

нельзя вообразить. Объясняется онъ ломанымъ русскимъ языкомъ и, между прочимъ, увѣдомляетъ г. Раймонда, что онъ даетъ его хозяину уроки музыки. «Но есть ли въ немъ талантъ-то?» грустно восклицаетъ г. Раймондъ по уходѣ мнимаго Бемолини. Вдругъ является лавочникъ Вербуа, съ тѣми же сказками о сбытѣ картинъ. Рассказываетъ артисту о своей прежней жизни, какъ онъ былъ танцовщикомъ на театрѣ, какъ любилъ свою жену, которая была танцовщицею на томъ же театрѣ, и какъ однажды, прыгая съ нею въ балетъ, онъ ревновалъ ее къ другому и, встрѣчаясь съ нею на сценѣ въ танцахъ, объяснялся съ нею. Это тоже преуморительная сцена. Сказавши Раймонду, что онъ учить танцевать его хозяина, мнимый Вербуа уходитъ. Г. Раймондъ ждетъ г. Руселя, профессора декламации, который долженъ давать его дочери уроки декламации. Является опять Эдуардъ, подъ видомъ профессора Руселя. Вдругъ входитъ настоящий, точно такимъ же образомъ одѣтый, какъ и подложный. Его очень мило играетъ г. Никифоровъ. Между профессорами начинается споръ—кто изъ нихъ лучше знаетъ свое дѣло: сцена, о которой безъ хохота нельзя даже и вспомнить. «Я покажу вамъ образецъ моего искусства», говоритъ г. П. Степановъ, играющій роль мнимаго Руселя, и начинаетъ декламировать сцену изъ третьяго акта «Гамлетъ». Эмилія, дочь Раймонда, должна представлять королеву, мать Гамлета, который и обращается къ ней съ монологомъ: — «Такое дѣло, которымъ погубила скромность ты!» Сказавши стихъ— «И небо отъ твоихъ злодѣйствъ горитъ!» онъ обнимаетъ одною рукою Эмилію черезъ шею, другою указываетъ на небо, и плаксивымъ и вмѣстѣ ревущимъ голосомъ, какъ бы исходящимъ изъ пустой бочки, восклицаетъ—

Да, видишь ли, какъ все печально и уныло.

Какъ будто наступаетъ страшный судъ!

Страшный взрывъ хохота и жаркія рукоплесканія изъявили восторгъ публики... Но этимъ потѣха не кончилась. Вотъ

Гамлетъ ужасается явленія тѣни и вопить зычно:—«Крылами вашими меня закройте», и пр. Хохоть и рукоплесканія еще громче.

Смѣшной нарядъ г. Степанова довершилъ иллюзію, которая и безъ того была въ высшей степени совершенна. Не думайте, чтобы онъ усиливался или утрировалъ *) — нѣтъ, это была живая природа.

Совѣтуемъ г. Степанову воспользоваться портретами и монологомъ—«А вотъ они: вотъ два портрета—посмотри». Не худо бы также взять ему на выдержку и то мѣсто изъ сцены комедіи, гдѣ, по уходѣ короля и придворныхъ, Гамлетъ встаетъ съ полу, на которомъ лежалъ у ногъ Офеліи, играя ей шейнымъ платкомъ, встаетъ съ тѣмъ, чтобы упасть снова и поползти по сценѣ на четверенькахъ: это тоже была бы живая природа, а не утрировка.

Потомъ г. Степановъ перемѣнилъ и видъ, и голосъ, и осанку, даже вдругъ сдѣлался какъ-то ниже ростомъ и, подергивая плечами и какъ бы силясь высочить изъ самого себя, проговорилъ нѣсколько ямбовъ изъ какой-то старинной классической трагедіи: публика опять узнала что-то знакомое **), громкій хохоть и громкіе плески изъявили ея удовольствіе.

Но — вотъ важный фактъ: за мѣсяцъ передъ этимъ тоже давали «Артиста», и г. Степановъ, такъ же перемѣнивъ и голосъ, и ростъ, и приемы, проговорилъ монологъ изъ третьяго акта «Гамлета» — и мы слышали отъ многихъ, что никто изъ публики даже и не улынулся... это очень понятно: на «Иліаду» не было ни одной пародіи, а на «Энеиду» была бездна пародій, и пресмѣшныхъ—вспомните «Энеиду» гг. Осипова и Котляревскаго... Пародировать можно только поддѣльное, надутое и натянутое...

*) Каратыгина.

**) Мочалова.

Ахъ, чуть было не забылъ: еслибы г. Степановъ попробовалъ своихъ силъ въ сценахъ сумасшествія «Лира», или въ сценахъ изъ «Отелло!»... Вѣдь онъ свободенъ въ выборѣ отрывковъ. Увѣряемъ его, что если онъ возьметъ «Артиста» себѣ въ бенефисъ и объявитъ въ афишкѣ тирады изъ этихъ драмъ, то на его бенефисъ будетъ такая же многочисленная публика, какая была на «Король Лиръ» и «Отелло»...

Но—пора къ концу. Водевиль оканчивается тѣмъ, что Эдуардъ признается Раймонду въ своей продѣлкѣ: артистъ признаетъ въ немъ талантъ и отдаетъ ему свою дочь.

Водевиль вообще шелъ очень хорошо: г. Богдановъ, котораго мы, къ сожадѣнію, очень рѣдко видимъ на сценѣ, игралъ очень мало. О г. Никифоровѣ я уже упоминалъ: онъ былъ смѣшонъ безъ фарсовъ. Прочія лица не портили представленія.

Піеса тѣмъ болѣе восхитила насъ, что передъ нею мы очень тяжело назъвались, слушая на сценѣ сентенціи и поученія въ «Какаду, или слѣдствіе урока кокеткамъ», классической и очень скучной комедіи, писанной шестипудовыми ямбами. За то, мы тутъ имѣли удовольствіе видѣть г. Ленскаго, безподобно игравшаго роль графа Ольгина: г. Ленскій удивительно усвоилъ себѣ манеры и тонъ людей высшаго круга. Онъ съ головы до ногъ походилъ на графа. Чудный талантъ!...

6

ПЕТРОВСКІЙ ТЕАТРЪ.

Нашъ театръ нынѣшній годъ необыкновенно счастливъ петербургскими гостями. Весною подвизались на его сценѣ гг. Каратыгинъ и Свѣницкій; осенью на немъ дебютируютъ гг. Воротниковъ и Мартыновъ, Чтò жь, милости просимъ! Москва гостепріимна, и часто, будучи несправедлива къ своимъ до-

машинным дарованіямъ, не жалѣеть рукоплесканій для гостей. Мы не видѣли г. Воротникова въ роли Осипа, но слышали, что онъ былъ принятъ въ ней очень холодно. Это не мудрено: послѣ г. Орлова надо было выполнить эту роль съ неслыханнымъ искусствомъ, или не браться за нее. Когда у публики есть мѣрка для сужденія, есть средство для сравненія, то дебютанту предстоитъ большая опасность. Нынѣшнею весною сцена Петровскаго театра представила самыя неоспоримыя доказательства этой истины. Сентября 2 мы увидѣли г. Воротникова въ піесѣ князя Шаховскаго «Федоръ Григорьевичъ Волковъ, или день рожденія русскаго театра»; эта піеса давалась въ его пользу, и онъ игралъ въ ней роль Фаддѣя Михѣича Михѣева. Но прежде, чѣмъ мы скажемъ объ немъ, поговоримъ о другомъ актѣрѣ, который жилъ давно, когда еще насъ не было.

Слишкомъ за сто лѣтъ до нашего времени, въ 1729 году, 2 февраля, родился въ Россіи человѣкъ, которому она обязана началомъ своего театра. Это былъ Федоръ Григорьевичъ Волковъ, сынъ костромскаго купца. Мать Федора Григорьевича, по смерти своего мужа, а его отца, вышла замужъ за ярославскаго кожевеннаго заводчика Полушкина, который любилъ ея дѣтей, какъ своихъ собственныхъ, и особенно Федора Григорьевича. Замѣтивъ въ немъ необыкновенныя дарованія и умъ, онъ отправилъ его въ Москву, въ Заиконоспасскую академію—учиться Закону Божію, нѣмецкому языку и математикѣ. Ф. Г. отличился въ наукахъ, выучился порядочно играть на гусяхъ и на скрипкѣ, пѣть по нотамъ, рисовать водяными красками, особенно пейзажи. Этимъ уже достаточно выразилась его склонность къ изящнымъ искусствамъ; но участіе въ представленіяхъ духовныхъ драмъ и нѣкоторыхъ Мольеровыхъ комедій, переведенныхъ тогдашнимъ языкомъ, было для него важнѣе: вѣроятно, это обстоятельство и открыло ему его настоящее призваніе. Въ 1746 г. Полушкинъ отправилъ своего семнадцатилѣтняго пасынка въ

Петербургъ, въ которомъ онъ имѣлъ дѣла по торговлѣ. Поручивъ ему смотрѣніе за своими дѣлами, онъ оставилъ его въ нѣмецкой конторѣ для пріученія къ бухгалтеріи и торговлѣ. Хозяинъ, полюбивъ Волкова всею душою, однажды взялъ его съ собою въ придворный театръ на италіанскую оперу. Блескъ представленія очаровалъ Волкова, и этотъ случай навсегда рѣшилъ его призваніе. На ловца звѣрь бѣжитъ, говоритъ русская пословица, и новое обстоятельство не замедлило еще болѣе подстрекнуть страсть молодого художника. Въ кадетскомъ корпусѣ, основанномъ Минихомъ, представлялись трагедіи Расина и Вольтера на французскомъ языкѣ; Сумароковъ добился позволенія играть тамъ же и его драматическія сочиненія. Волковъ нашелъ случай получить себѣ мѣстечко за кулисами и, какъ самъ рассказывалъ И. А. Дмитревскому, «увидя и услыша Бекетова (кадета) въ роли Синава, пришелъ въ такое восхищеніе, что не зналъ, гдѣ онъ былъ — на землѣ или на небесахъ». Восторгъ понятный! Представьте себѣ человѣка, въ душѣ котораго, какъ таинственный колокольчикъ Вадима, раздавался непонятный зовъ, манившій его къ какой-то цѣли, прекрасной, но непостижимой для него самого,—и вдругъ онъ видитъ передъ глазами то, чего такъ страстно алкала его пламенная душа, видитъ сцену, вѣроятно, устроенную блестящимъ образомъ, слышитъ на ней русскую рѣчь, родныя имена, видитъ представленіе русскаго сочиненія, восхитившаго своихъ современниковъ! Было отъ чего придти въ восторгъ! Тутъ у него блеснула мысль устроить въ Ярославлѣ театръ. Онъ свелъ тѣсное знакомство съ италіанскими артистами, выучился по-италіански, присмотрѣлся къ театральному распорядку и устройству, все срисовывалъ, списывалъ и записывалъ; принялся за основательнѣйшее изученіе музыки и живописи, перевелъ нѣсколько нѣмецкихъ и италіанскихъ піесъ. Это былъ въ полномъ смыслѣ русскій человѣкъ—бойкій, твердый, смѣтливый, переимчивый. Идя неуклонно къ своей прекрасной цѣли,

которая тогда могла казаться несбыточною мечтою. онъ, вопреки мнѣнію тѣхъ добрыхъ людей, которые думаютъ, что наука и искусство живутъ всегда въ разладѣ съ дѣйствительностію, ловко и успѣшно велъ торговля дѣла своего отца, хотя и чувствовалъ къ нимъ рѣшительное отвращеніе. Возвратясь въ Ярославль, Волковъ принялся учить драматическому искусству меньшихъ своихъ братьевъ, Григорія и Гавріила, также и сосѣднихъ дѣтей, Василя и Михаила Поповыхъ, Чулкова, Ванюшу Нарыкова, родственника его Соколова и другихъ. Въ день именинъ своего добраго отчима. онъ сдѣлалъ ему сюрпризъ: большой кожевенный сарай вдругъ превратился въ театръ, съ кулисами, машинами, и пр., и на немъ была представлена драма «Эсфирь» и пастораль «Евмондъ и Бероа». Первая была, вѣроятно, та самая, о которой сказано въ разрядныхъ книгахъ 1676 года: «Представлена была комедія, какъ Артаксерксъ приказалъ отрубить голову Аману»; вторая — самимъ Волковымъ была переведена съ нѣмецкаго. Штука удалась: мать Волкова расплакалась, что Богъ даровалъ ей такого разумнаго сына: Полушкинъ былъ въ восхищеніи. Получа отъ природы инстинктъ истины, добрый старикъ въ невинномъ и благородномъ увеселеніи не видѣлъ бѣсовской потѣхи. Болѣе всего поразили его облака, которыя сами собою подымались и опускались

Вельможество и боярство тогдашняго времени отличалось не одною роскошью, пышностію и расточительностію, но и просвѣщеннымъ меценатствомъ. Волковъ нашелъ себѣ покровителя въ особѣ воеводы Мусина-Пушкина. Онъ, вмѣстѣ съ помѣщикомъ Майковымъ, отцомъ стихотворца Майкова, уговорилъ ярославское дворянство и купечество завести театръ для чести и славы города. Старапія ихъ были успѣшны, и скоро на берегу Волги выстроился небольшой деревянный театръ—дѣдушка нынѣшнихъ колоссальныхъ и великолѣпныхъ театровъ, какъ утлый ботикъ Бранта былъ дѣдушкою нынѣш-

ного громаднаго флота Россіи. Волковъ былъ основателемъ, архитекторомъ, декораторомъ, машинистомъ, капельмейстеромъ, актѣромъ, авторомъ, переводчикомъ и директоромъ этого театра; онъ былъ всѣмъ, и его доставало на все. Театръ былъ открытъ оперою «Титово милосердіе», которую Волковъ перевелъ съ италіянскаго. Оркестръ былъ набранъ изъ домашнихъ помѣщичьихъ музыкантовъ, а хоръ пѣлъ архіерейскими пѣвчими.

Всѣ эти факты заимствованы нами изъ статьи въ IX томѣ «Энциклопедическаго Лексикона»; Н. И. Гречъ, въ своей статьѣ «Взглядъ на исторію русскаго театра до начала XIX столѣтія» говоритъ, что домъ подъ театръ былъ уступленъ Майковымъ, сыномъ, и что, давая по воскреснымъ днямъ спектакли, Волковъ началъ брать за входъ плату: въ кресла по 25, въ партеръ по 10, въ галерею по 5, а въ раекъ по 3 копѣйки. Нарыковъ и Поповъ были семинаристы и играли женскія роли. Театръ всегда былъ полонъ: такъ понравилось публикѣ это увеселеніе, а мы и теперь еще не отстали отъ старинной привычки — упрекать ее въ холодности и равнодушіи въ дѣлѣ искусства.

Слухъ о ярославскихъ представленіяхъ Волкова дошелъ до Императрицы Елизаветы Петровны, и она пожелаала видѣть въ Петербургѣ ярославскихъ артистовъ. Въ 1725 (?) году, говоритъ Н. И. Гречъ *), былъ отправленъ въ Ярославль сенатскій экзекуторъ Дашковъ, съ повелѣніемъ — привести всѣхъ тамошнихъ актѣровъ ко двору. Труппа состояла изъ трехъ братьевъ Волковыхъ, Нарыкова, регистраторовъ Попова и Иконникова, купческаго сына Скачкова, цырюльника Шумскаго, двухъ братьевъ Егоровыхъ и Михайлова. Они были привезены прямо въ Царское-село и на другой день представили трагедію Сумарокова «Синавъ и Труворъ», ту самую,

*) Тутъ явная ошибка въ годъ: самъ же Н. И. сказалъ выше, что Волковъ началъ стремиться къ своей цѣли около 1750 года.

представленіе которой въ кадетскомъ корпусѣ загло страсть къ сценическому искусству въ пламенной душѣ Волкова. Федоръ Волковъ игралъ Кія, Поповъ Хорева, Григорій Волковъ Астраду, а Нарыковъ — Оснельду. Последняго сама Государыня Императрица изволила убирать къ этой роли. При этомъ случаѣ она спросила о имени трагической актрисы и, услышавши въ отвѣтъ, что ея имя Нарыковъ, сказала ей: «Ты похожъ на польскаго графа Дмитревскаго, и я хочу, чтобы ты принялъ его фамилію». И такимъ-то образомъ изъ семинариста Нарыкова явился потомъ знаменитый Дмитревскій, задушевный другъ и соперникъ Лекена и Гаррика, знаменитый актёръ и одинъ изъ просвѣщеннѣйшихъ и образованнѣйшихъ людей своего времени. Представленіе понравилось всѣмъ; Сумароковъ былъ въ упоеніи: самолюбивыя мечты его вполне осуществились. Потомъ наши артисты дали еще четыре представленія, въ которыхъ играли во второй разъ: Семиру, Синава, Артистону и Гамлета. Послѣ этого отличнѣйшіе изъ труппы: Ф. Волковъ, Дмитревскій, Поповъ и Шумскій, были отданы въ кадетскій корпусъ для обученія наукамъ и иностраннымъ языкамъ, а прочіе были съ награжденіемъ отосланы обратно въ Ярославль. Къ избраннымъ четырёмъ актёрамъ было присовокуплено восемьро спадшихъ съ голосовъ пѣвчихъ. Каждый изъ нихъ получалъ въ годъ 60 р. жалованья и по парѣ суконнаго платья. Они находились подъ начальствомъ оберъ-штабмейстера Петра Спиридоновича Сумарокова и пользовались столомъ наравнѣ съ кадетами. Корпусные офицеры: Мелиссино, Остервальдъ и Свистуновъ преподавали имъ правила декламаци. И такъ, кадетскій корпусъ принималъ двойное участіе въ основаніи русскаго театра: въ немъ воспитывались Сумароковъ, котораго по справедливости называютъ «отцомъ русскаго театра», Херасковъ, Озеровъ, Кроковскій; Княжнинъ былъ въ немъ учителемъ; бывшія въ немъ представленія были толчкомъ для Волкова, и въ немъ же нашелъ онъ свое образованіе, вмѣстѣ съ своими

товарищами и сподвижниками. Н. И. Гречъ. изъ статьи котораго мы выписали эти подробности, сообщаетъ интересный анекдотъ о знаменитомъ въ то время актёрѣ Офренѣ, подъ руководствомъ котораго, въ царствованіе Императрицы Екатерины II, кадеты занимались представленіемъ французскихъ трагедій. Государыня сама нерѣдко посѣщала эти представленія и всегда приказывала наставнику, почтенному старцу, страстно любившему свое искусство, садиться въ первомъ ряду креселъ подлѣ себя. Офренъ, въ восторгѣ, нерѣдко забывалъ, гдѣ сидитъ, и забавлялъ Государыню своими восклицаніями. Сказываютъ, что однажды, слушая монологъ въ «Магометѣ» (котораго игралъ Желѣзниковъ), онъ говорилъ отрывисто, но довольно громко: «*Bien! très bien! comme un dieu! comme un ange! presque comme moi!*»

Въ 1754 году, для празднованія рожденія Великаго Князя Павла Петровича, дано было русскою труппою нѣсколько представленій при дворѣ. Въ то же время приняты на театръ и женщины; изъ танцовщицъ Зорина, двѣ сестры, офицерскія дочери—Марья и Ольга Ананьины, Пушкина и знаменитая въ то время Авдотья. Артисты тогда назывались не по фамиліямъ, а по именамъ, и большею частію уменьшительнымъ: такъ, напр., танцовщикъ Бубликовъ славился подл именемъ Тимошки; лучшая пѣвица того времени, г-жа Сандунова, слыла Лизанькою, а танцовщица Берилова — Настенькою. Такъ ихъ называли тогда даже въ журналахъ, при отчетахъ о театральныхъ представленіяхъ.

Августа 30 1756 года состоялся именной указъ объ учрежденіи русскаго театра. Директоромъ назначенъ былъ Александръ Петровичъ Сумароковъ, а первымъ актёромъ Волковъ. Прочіе актёры были Дмитревскій, Поповъ, Шумскій, Сѣчкаревъ (изъ придворныхъ пѣвчихъ), дѣвица Пушкина (вышедшая потомъ замужъ за Дмитревскаго) и сестры Ананьины, вышедшія за Григорія Волкова и Шумскаго. — Два раза въ недѣлю даваемы были русскія представленія на деревянномъ

театръ, близъ Лѣтняго сада. Отъ казны отпускалось на содержаніе театра по 5000 рублей въ годъ. Въ 1749 году театръ переведенъ въ лѣтній дворецъ (у нынѣшняго Полицейскаго моста, гдѣ теперь домъ Косиковскаго). Императрица приходила почти на каждое представленіе, черезъ корридоры, прямо изъ своихъ апартаментовъ. Репертуаръ тогдашняго театра состоялъ изъ трагедій и комедій Сумарокова, и изъ переводовъ нѣкоторыхъ піесъ Мольера, какъ-то: «Скупой, Лѣкарь по неволѣ, Скапиновы обманы, Мѣщанинъ въ дворянствѣ, Тартюфъ, Ученныя женщины», т. д. Изъ переводныхъ трагедій представляемы были «Подіевикъ» и «Андромаха». Первая представленная въ Россіи русская опера (1755) была «Цефалъ и Прокрисъ», соч. Сумарокова. Музыку сочинилъ тогдашній капельмейстеръ Арія; онъ получилъ въ награду за трудъ свой богатую соболью шубу и сто полумпериаловъ. Первые роли играли дочь лютниста Елизавета Бѣлоградская и пѣвчіе графа Разумовскаго: Гаврила Марценковичъ (отличный пѣвецъ, славившійся подъ именемъ Гаврилушки), Николай Клутаревъ, Степанъ Рожевскій и Степанъ Евстафьевъ. Въ 1756 году Волковъ, по Высочайшей волѣ, отправился въ Москву, чтобы и тамъ открыть театральныя зрѣлища, и, по статьѣ «Энциклопедическаго Лексикона» въ 1758, а по статьѣ Н. И. Греча въ 1759 году, московское театральное зрѣлище существовало уже во всей своей красѣ. Тамъ играли Троепольскій съ женою, Пушкинъ и нѣкоторые студенты московскаго университета. Черезъ два года этотъ театръ былъ упраздненъ, и двѣ первыя актрисы, Троепольская и Михайлова, были переведены въ Петербургъ. Волковъ, возвратясь въ Петербургъ, гдѣ у него за 9 лѣтъ блеснула первая, почти дѣтская мысль объ основаніи театра, нашелъ уже между актѣрами нѣсколько отличныхъ дарованій. Выписываемъ остальные подробности о жизни Волкова изъ статьи «Энциклопедическаго Лексикона»:

«Чтобы возвысить и распространить въ народѣ новое для

него искусство, Волковъ, съ соизволенія Императрицы, возобновилъ одну изъ священныхъ и нравственныхъ трагедій св. Дмитрія Ростовскаго, которыя нѣкогда представлялись въ Заиконоспасскомъ монастырѣ и въ теремахъ царевны Софьи Алексѣевны. «Кающійся грѣшникъ» былъ данъ на придворномъ театрѣ съ великолѣпнымъ и устройствомъ, которое напоминало афинскую сцену. Волковъ до самой кончины Императрицы Елисаветы Петровны удостоивался ея милостиваго вниманія, пользовался уваженіемъ двора и всѣхъ просвѣщенныхъ людей. Волковъ собралъ всѣ священные драматическія творенія св. Дмитрія, списалъ съ большимъ тщаніемъ и поднесъ Императрицѣ Екатеринѣ II. Она благоволила отдать ихъ любителю русской старины князю Б. Г. Орлову; но гдѣ эти рѣдкія рукописи теперь находятся, неизвѣстно.

«Разсказываютъ съ достовѣрностію, что Государыня, по восшествіи на престолъ, благоволила жаловать Волкова дворянскимъ достоинствомъ и отчиною; но онъ, со слезами благодарности, просилъ Императрицу удостоить этою наградою женатаго брата его, Гавріила, а ему позволить остаться въ томъ званіи и состояніи, которому онъ обязанъ своею извѣстностію и самыми Монаршими милостями. И Государыня, которая понимала высокое предназначеніе и чувства людей, посвятившихъ себя изящнымъ искусствамъ, уважила просьбу перваго русскаго актёра и основателя отечественнаго театра. По прибытіи въ Москву для коронаціи, она поручила ему устройство народныхъ праздниковъ.

«Въ это время заботливой дѣятельности, Ѳ. Г. Волковъ простудился, открылась воспалительная горячка, и смерть похитила у Россіи необыкновеннаго человѣка, упрочившаго ей новый источникъ народнаго образованія, если согласиться, что во всѣхъ странахъ театръ былъ вѣрнымъ мѣриломъ и указателемъ общественнаго просвѣщенія и духа времени. Ѳ. Г. Волковъ не былъ женатъ и, какъ увѣряютъ, никогда не влюблялся, можетъ быть, отъ того, что его сердце было пре-

исполнено страстію къ своему искусству и творчеству. Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что онъ перевелъ многія драматическія произведенія и писалъ стихотворенія; можетъ-статься, что онъ со временемъ и отыщутся, но теперь мы знаемъ только, по изустнымъ преданіямъ, одну изъ его эпитаграммъ:

Всадника хвалятъ—хорошъ молодецъ;
Хвалятъ другіе—хорошъ жеребецъ;
А я такъ примолвлю: и конь и дѣтина,
Оба пригожи и оба скотина.

«Но по этой жесткой, хотя и замысловатой эпитаграммѣ, безъ сомнѣнія, нельзя ничего заключить о литературномъ дарованіи Волкова. И. А. Дмитревскій утверждалъ, что современники весьма уважали литературные труды его; только самъ авторъ былъ недоволенъ собою и охотно замѣнялъ свои переводы чужими: рѣдкое самоотверженіе, особенно въ драматическомъ писателѣ, который въ то же время управлялъ сценою».

Желательно бы было имѣть вѣрные факты для сужденія о сценическомъ талантѣ Волкова. Впрочемъ, если нельзя говорить утвердительно, то можно предполагать, что онъ могъ и не имѣть не только блестящаго, но и замѣчательнаго сценическаго дарованія: кто бываетъ всѣмъ, тотъ рѣдко бываетъ чѣмъ-нибудь. Волковъ—лицо историческое, человекъ великій, но не какъ артистъ, а какъ двигатель общественной жизни, въ одной ея сторонѣ. Такіе люди обыкновенно знаютъ и умѣютъ все, что нужно имъ, чтобы достигнуть своей цѣли, и не знаютъ, не умѣютъ ничего, въ чемъ бы могли быть образцами и чего бы могли быть представителями.

Пришедши въ театръ 2 числа нынѣшняго мѣсяца, мы, въ ожиданіи поднятія занавѣса, дали полную волю своей мечтательности. Скоро ли, думали мы, въ Русскихъ утвердятся полное уваженіе къ самимъ себѣ, къ своему родному, безъ ненависти и враждебнаго пристрастія ко всему достойному уваженія у иностранцевъ? Какъ часто случается у насъ слышать, что въ нашемъ обществѣ нѣтъ страстей, волнованіе которыхъ

составляет романтическую прелесть жизни; что у насъ нѣтъ этого внутренняго безпокойствія, которое даже въ людяхъ низшаго класса пробуждаетъ стремленіе возвыситься надъ своею сферою и собственными силами создать себѣ средства и проложить дорогу къ славѣ. Какое нелѣпое, пошлое мнѣніе! Какъ! А этотъ гениальный рыбакъ, это дивное явленіе, которому мало равныхъ въ исторіи человѣчества? Этотъ купецъ, который попавшись за долги въ тюрьму и будучи освобожденъ изъ нея милостивымъ манифестомъ по случаю открытія памятника, воздвигнутаго Великою Великому, поклялся на колѣняхъ заплатить своему благодѣтелю, и посвятилъ всю жизнь свою на выполненіе священной клятвы, и оставилъ намъ огромное сочиненіе—доказательство, какъ много можетъ сдѣлать необыкновенный человѣкъ, безъ всякихъ средствъ, почти безграмотный? А этотъ Новиковъ, который почти ничего не написалъ, такъ же много сдѣлалъ для русской литературы и русской образованности, какъ много сдѣлали для того и другаго Ломоносовы, Карамзины и другіе? А этотъ сынъ купца, пасынокъ кожевеннаго заводчика, отецъ русскаго театра? Помилуйте—надо не уступать Французамъ въ умѣніи говорить и писать по-французски и не знать русской орфографіи, надо читать исторію Карамзина во французскомъ переводѣ, чтобы не видѣть въ этихъ явленіяхъ живѣйшаго доказательства самороднаго богатства русскаго духа и русской жизни! И теперь, развѣ не видимъ мы и теперь этихъ самобытныхъ проблесковъ народнаго духа и въ наукѣ, и въ искусствѣ, и въ ремеслахъ? Въ Курскѣ борода не мѣшаетъ считать звѣзды, а въ Воронежѣ прасольство не мѣшаетъ творить чудные образы и дивные звуки... А откуда, съ какими средствами, съ какимъ подготовленіемъ, явился на поприщѣ нашей журналистики тотъ литераторъ, котораго многосторонняя и разнообразная дѣятельность принесла и приноситъ столько пользы нашей литературѣ?... Но одна ли литература представляетъ это зрѣлище? А Данилычъ Петра Великаго,

который часто удерживалъ на всемъ маху свою дубинку, вспоминая день полтавской викторіи? А Потемкинъ, сперва бѣдный студентъ московскаго университета, а потомъ —

. . . Славы, счастья сынъ,
Великолѣпный князь Тавриды?

А все это блестящее созвѣздіе, весь этотъ планетный міръ, вращавшійся около лучезарнаго солнца — Екатерины Великой? Этотъ измаильскій герой, выигравшій столько же побѣдъ, сколько давши сраженій, умѣвшій покорять своей Матушкѣ царства — и пѣть пѣтухомъ, ѣсть сухари и выѣзжать на битву безъ мундира, съ лентою посверхъ рубашки? А этотъ дипломатъ Безбородко, прогулявшій по-русски время работы и прочевшій Матушкѣ дипломатическую бумагу своего сочиненія — на бѣломъ листѣ?... Неужели во всемъ этомъ нѣтъ самобытности, оригинальности, жизни, движенія, поэтической прелести? И неужели еще наши писатели, или люди, почтающіе себя писателями, будутъ жаловаться, что русская жизнь не даетъ содержанія для романа, повѣсти, драмы? Но, слава Богу, это жалкое предубѣжденіе разсѣвается все болѣе и болѣе, съ того времени, какъ раздался священный голосъ съ престола, повелѣвающій Русскимъ быть Русскими, и возвѣщающій, что кромѣ самодержавія и православія, всегда бывшихъ и всегда будущихъ сокровеннымъ родникомъ русской жизни, ея твердою опорою и залогомъ ея исполнскаго могущества на страхъ врагамъ и благо міра, да будетъ еще народность и да проникнетъ собою и наше знаніе, и наше искусство, и наши произведенія и да сообщить имъ ту оригинальность и самобытность, безъ которыхъ нѣтъ прочности и дѣйствительности... Появленіе множества романовъ, драмъ и повѣстей съ содержаніемъ изъ русской жизни, опера «Жизнь за Царя», выразившая стремленіе воспользоваться въ ученой музыкѣ элементами народной музыки — все это добро, все это благо и все это есть ручательство и залогъ прекрасной

будущности, начало новой, прекрасной жизни. До Петра Великаго, Русскіе были самобытны, но эта самобытность была непосредственная, односторонняя, отвлеченная и субъективная: она ненавидѣла все чуждое ей, враждебно отставала себя отъ благотѣльнаго вліянія чуждыхъ элементовъ, и потому она должна была разрушиться, и, впадши въ противоположную крайность, сдѣлаться несправедливою къ самой себѣ. Но это было состояніе переходное, временное, другаго рода односторонность и отвлеченность, — и должно было возбудить реакцію. Міродержавнымъ судьбамъ вѣчнаго промысла было угодно, чтобы благотѣльное воздѣйствіе направленію, данному Россіи ея великимъ преобразователемъ, было совершено его достойнымъ внукомъ, благоговѣйно удивляющимся великому подвигу своего великаго пращура, изъ-за предѣловъ гроба, изъ царства вѣчной жизни и славы, съ умиленіемъ взирающаго на его великій подвигъ и благословляющаго его...

Но мы все еще какъ-то не привыкли къ мысли, что все великое и истинное только издалека является во всемъ своемъ ослѣпительномъ блескѣ, а вблизи кажется просто и обыкновенно, но что его простота и обыкновенность не должна отрицать его дѣйствительности. Вотъ, напримѣръ, этотъ Волковъ, — будь онъ иностранецъ, его соотечественники давно бы истребили его жизнь на трагедіи, комедіи, драмы, оперы, водевили, романы, повѣсти, сказки; а у насъ нѣтъ даже полной его біографіи, потому что негдѣ взять фактовъ о подробностяхъ его жизни, а многіе не знаютъ его и имени, хорошо зная, какого цвѣта сюртукъ носить г. де Бальзакъ, какъ толста его необыкновенная трость и что въ ней заключается. Наконецъ явился человѣкъ, страстный къ театру и оказавшій ему важныя услуги и своими сочиненіями, и своимъ непосредственнымъ на него вліяніемъ — извѣстный и неутомимый нашъ драматургъ, князь Шаховской, и сдѣлавъ водевилъ изъ главнаго момента жизни Волкова. И что же? публика

толпами ходить смотрѣть эту піесу, важную, если не по исполненію, то по содержанію.—Ничего не бывало. Я самъ, такъ горько жалующійся на другихъ, увидѣлъ ее въ первый и—послѣдній разъ.

Во первыхъ: водевиль слѣпленъ и склеенъ кое-какъ. Сквозь его водевильныя формы такъ и проглядываетъ старинная классическая комедія. Простоты — никакой. Волковъ говорить ужасныя фразы, а его мать, отчимъ и ярославскій голова Корнило Борисевичъ подтачиваютъ ему, вѣсто того, чтобы попросить его объясняться языкомъ болѣе понятнымъ для кожевниковъ и градскихъ головъ, особенно того времени. Конечно, Иванъ Трофимовичъ Полушкинъ былъ человекъ добрый и по своему очень умный; но вѣдь его болѣе всего восхитили облака, которые сами собою поднимаются и опускаются, и въ представленіи своего пасынка онъ видѣлъ не больше какъ забавную потѣху: такъ гдѣ же ему было понимать громкія фразы Волкова о значеніи театра и славѣ въ потомствѣ? Надо вещи понимать просто. Когда въ послѣднемъ актѣ, Волковъ читалъ свою длинную и фразистую рѣчь о важности своего подвига, то мы ожидали, что отчимъ и голова остановятъ и спросятъ, что за дичь такую несетъ онъ имъ. Ничего не бывало! Они и его превзошли въ риторствѣ. Мать удивлялась дѣлу Волкова, потому что, во первыхъ, она ничего въ немъ не понимала, а во вторыхъ, потому что оно было дѣломъ ея разумнаго дѣтища. Впрочемъ, противъ этой истины авторъ и не погрѣшилъ; только портретъ этой доброй бабы онъ набросалъ очень блѣдными чертами. Потомъ, къ чему это искаженіе анекдотической истины? Зачѣмъ этотъ Нарыковъ называется Дмитревскимъ, когда еще онъ не былъ имъ? Зачѣмъ эта Груша, которая вопреки всѣмъ обычаямъ, пускается ломать комедію вмѣстѣ съ мужчинами, тогда какъ и на придворномъ театрѣ долгое время женскія роли выполнялись мужчинами? Но главное, зачѣмъ весь воде-

виль сметанъ на живую нитку, и въ его Волковъ всего меньше виденъ Волковъ.

Во вторыхъ — обстановка. Г. Самаринъ, игравшій Дмитревскаго, былъ одѣтъ какимъ-то баричемъ и игралъ не семинариста, а какого-то барича. Зачѣмъ, вмѣсто моднаго сюртука и воротничковъ а l'enfant, на немъ не было затрапезнаго халата, а на затылкѣ пучка? Г. Богдановъ, игравшій Попова, тоже семинариста, былъ на сценѣ въ томъ, въ чемъ ходитъ всегда, за исключеніемъ чулокъ и башмаковъ, которыхъ семинаристы никогда не носили. Словомъ, въ обстановкѣ пьесы были употреблены всѣ усилія, чтобъ лишить пьесу даже и той правдоподобности, которую могло бы ей придать сценическое представленіе.

Мы не узнали Мочалова въ роли *Θ. Г. Волкова*. Жестикація его была напряженная, сильная до излишества; но одушевленія не было. Многие играли не дурно, и къ этому числу надо отнести г. Соколова и г-жу Сабурову: первый игралъ Полушкина, а вторая его жену, мать Волкова. Вообще же тяжело и скучно было смотрѣть на это длинное и вялое представленіе несообразностей всякаго рода, и только одушевленная, граціозная и естественная игра г-жи Рѣпиной оживляла его нѣсколько. Г-жа Рѣпина умѣла придать значеніе и жизнь самой несообразной роли, и это потому, что она никакой роли не умѣетъ сыграть дурно, какъ бы роль не была дурна.

А бенефициантъ? Онъ игралъ *Θаддѣя Михѣича Михѣева*, подбѣгаго съ приписью, и игралъ—какъ бы вамъ сказать?—ну такъ, какъ бы сыгралъ эту роль всякій актѣръ со смысломъ и привычкою къ сценѣ. Въ интермедіи-водевилѣ «*Имянины благодѣтельнаго помѣщика*» онъ отличался въ роли *Нѣмца*, *Карла Мартыновича Янсона*; но мы не остались на этихъ имянинахъ.

Послѣ «*Федора Григорьевича Волкова*» данъ былъ водевиль покойнаго Писарева «*Хлопотунъ, или дѣло мастера боятся*».

Въ немъ очаровалъ публику М. С. Щепкинъ, въ роли Репейкина, своею живою, одушевленною, пламенною, характеристическою игрою, за что и былъ вызванъ публикою, которую онъ такъ хорошо вознаградилъ за скуку предшествовавшаго представлѣнія. Кстати о водевилѣ: теперь нѣтъ уже такихъ водевилей, и, сравнивая его съ нынѣшнею водевилною стряпнею, поневолѣ согласишься, что въ лицѣ Писарева литература наша и театръ понесли чувствительную потерю... Все такъ умно, мило, живо, въ куплетахъ такая острота, такая радужная, блестящая игра ума. Музыка куплетовъ принадлежитъ г. Верстовскому, — и не надо быть знатокомъ музыки, чтобы съ первыхъ же звуковъ замѣтить, что это не обыкновенная музыкальная болтовня безъ смыслу, а что-то одушевленное жизнію сильнаго таланта.

Теперь мы должны отдать отчетъ о представленіи 6 сентября и игрѣ другаго петербургскаго артиста, г. Мартынова, котораго мы увидѣли тутъ въ первый разъ. Этотъ отчетъ для насъ тѣмъ пріятнѣе, что мы будемъ говорить объ истинномъ и большомъ талантѣ, но тѣмъ и строже будетъ наше сужденіе о немъ.

Давался водевиль «Любовное зелье, или цырюльникъ-стихотворецъ», водевиль, разумѣется, переведенный съ французскаго. Въ подлинникѣ это, должно-быть — милая, легкая, живая, игривая шалость водевилной французской фантазіи; въ переѣздѣ на русскій языкъ, черезъ Балтійскій портъ, она значительно отсырѣла и, потому, отяжелѣла. Все дѣло въ томъ, что въ молодую достаточную вдову влюбленъ цырюльникъ, деревенскій франтъ, щеголь, любезникъ, который говорить вѣчно въ рифму и потому считаетъ себя стихотворцемъ; потомъ въ эту же вдову влюбленъ молодой пастухъ, который съ деревенскою простоватостію и грубостію соединяетъ любящую душу. Какъ цырюльникъ смѣлъ и любезенъ по своему съ прелестною вдовою, такъ пастухъ съ нею робокъ и неразвязенъ: твердо рѣшась объясниться съ нею, онъ

при видѣ ея робѣетъ и—то не можетъ вымолвить слова, а то говорить пошлости. Трактирщица предлагаетъ ему зелье, которое должно сдѣлать его смѣлымъ. Это зелье — шампанское. Онъ напивается его и успѣваетъ въ любви, потому что вдова и безъ того его любила. Эту роль игралъ г. Мартыновъ. Смущеніе при видѣ вдовы, робость въ разговорѣ съ нею, робость до того, что у него захватываетъ духъ, прерывается голосъ, и безъ того дрожащій — все это было выполнено г. Мартыновымъ съ истиннымъ артистическимъ талантомъ. Но когда вдова уходитъ со сцены, и онъ начинаетъ проклинать себя за глупую робость передъ нею и утрату счастья цѣлой жизни вслѣдствіе этой глупой робости—мы увидѣли въ г. Мартыновѣ истиннаго художника. Сквозь эту деревенскую грубость и личную простоватость Жано Бижу проглядывало столько истиннаго, глубокаго чувства, что онъ намъ казался нисколько не смѣшонъ, хотя и былъ въ высшей степени смѣшонъ. Но въ цѣломъ роль была выполнена г. Мартыновымъ очень не ровно, не удовлетворительно, чему причиною были несносные фарсы на манеръ г. Живокини. Если г. Мартыновъ такими средствами будетъ добиваться рукоплесканій и вызововъ, то не далеко уйдетъ и исказитъ свой прекрасный талантъ, свое сильное и самобытное дарованіе. Бѣда молодому художнику, если онъ, успѣвши обратить на себя вниманіе публики, подумаетъ, что съ его стороны уже все сдѣлано, и остается только пожинать лавры рукоплесканій и вызововъ! Талантъ образуется ученіемъ и жизнію, и не скоро получаетъ право почитать себя талантомъ: сперва надо поучиться, потрудиться, смотрѣть на себя поскромнѣе... И вотъ самое лучшее доказательство, что расчеты на успѣхъ черезъ фарсы не всегда надежны: г. Мартыновъ былъ вызванъ послѣ г-жи Орловой, игравшей Катерину, конечно, очень мило, но все-таки игравшей второстепенную роль.

Г. Никифоровъ былъ прекрасенъ въ роли цирюльника.

Вотъ дарованіе не большое, не блестящее, но необходимое для нашего театра! Къ тому же г. Никифоровъ всегда хо-рошъ на своемъ мѣстѣ.

За «Любовнымъ Зельемъ» слѣдовалъ водевиль г. Ленскаго «Хороша и дурна и глупа и умна». Этотъ водевиль нравится публикѣ, и мы съ нею въ этомъ согласны. Въ самомъ дѣлѣ, г. Ленскій довольно удачно переложилъ его на русскіе провинціальныя нравы и вывелъ въ немъ помѣщицкій бытъ средней руки. Разумѣется, что его трудъ не былъ бы даже и замѣченъ безъ дарованій г-жи Рѣпиной и г. Живокини; но при ихъ пособіи онъ пользуется заслуженнымъ и постояннымъ вниманіемъ публики. Въ этомъ водевилѣ только одно лицо никуда негодится: это Александръ Ивановичъ Алинскій, что-то въ родѣ Пирогова г. Гоголя, только Пирогова сентиментальнаго. То же должно сказать и о выполненіи этой роли: какъ и созданіе ея—оно субъективно. Впрочемъ, когда Алинскій узнаетъ, что Наденька не будетъ его женою, вслѣдствіе эгоистической честности ея отца, который для щегольства именемъ честнаго человѣка жертвуетъ счастіемъ дочери и уводитъ ее за руку, отказывая Алинскому отъ дому, до самаго времени ея замужества, то г. Ленскій неожиданно обнаружилъ истинный талантъ — и какой еще! — трагическій! Да, онъ такъ патетически произносилъ роковое и послѣднее прости, такъ порывисто бросился за Наденькою въ двери комнаты, въ которую ее уже увелъ отецъ, что мы невольно подумали: что бы г. Ленскому попробовать своихъ силъ въ роли Гамлета или Отелло!

Право, въ успѣхѣ нельзя бы сомнѣваться! Именно, г. Ленскій оттого и играетъ на нашей сценѣ такую скромную роль, что выходитъ не въ своихъ роляхъ.

Вообще этотъ водевильчикъ идетъ всегда очень хорошо. Не говоримъ о г-жѣ Рѣпиной, которая создала роль Наденьки гораздо больше, нежели сколько создалъ ее г. Ленскій. Невозможно играть лучше и совершеннѣе. Это просто зна-

чить—сдѣлать все изъ ничего. Такъ же точно г. Живокини создалъ роль Падчерицына. Это актёръ съ большимъ дарованіемъ, и если бы онъ сдѣлалъ самъ для себя столько, сколько сдѣлала для него природа, то пошелъ бы далеко и оставилъ бы свое имя въ лѣтописяхъ сценическаго искусства. Г. Потанчиковъ играетъ роль Лузова такъ умно и отчетливо, что хорошъ въ ней даже и послѣ Щепкина. Г-жа Сабурова очень хорошо выполняетъ роль Степаниды Карповны Лузовой.

Емельяна обыкновенно играетъ г. Никифоровъ, на этотъ разъ его игралъ г. Мартыновъ. Общности въ его игрѣ не было, типическаго лица мы не видѣли, и вообще эту роль г. Никифоровъ выполняетъ и забавнѣе и съ большею характеристичностію; но у г. Мартынова вырывались инныя слова и жесты такъ, что характеризовали всѣхъ возможныхъ Емельяновъ лучше, нежели цѣлое выполненіе этой роли г. Никифоровымъ. Повторяемъ, у г. Мартынова есть талантъ—и большой; только онъ еще ученикъ въ искусствѣ, и если не поторопится объявить себя мастеромъ, то далеко пойдетъ...

Было уже поздно, когда кончился этотъ водевиль, и потому мы не дождались «Ложи перваго яруса», которою заключался спектакль.

Въ воскресенье, 11 сентября, давался «Ревизоръ». Нельзя не поблагодарить дирекцію за тщательную и умную обстановку этой пьесы: нельзя требовать большаго вниманія къ этому великому произведенію драматическаго гения. Мы всегда были довольны обстановкою «Ревизора», но на этотъ разъ замѣтили и еще улучшенія; напр., купцы стали больше походить на купцовъ уѣзднаго городка — и характеристическими бородами и кафтанами; а прежде они были похожи на московскихъ и дородствомъ и нарядомъ. Костюмы всѣхъ прочихъ лицъ въ комедіи тоже отличаются характеристикою провинціализма въ высшей степени. Ходъ пьесы отличается удивительною цѣлостію; всѣ актёры, даже играющіе нѣмыми

роли, превосходно выполняют свое дѣло. Жаль только, что нѣтъ у насъ актёра для роли Хлестакова. Ее играютъ въ Москвѣ два артиста—гг. Самаринъ и Ленскій; первый имѣетъ превосходство надъ послѣднимъ въ дарованіи, но наружность второго больше идетъ къ роли.

Наружность г. Самарина идетъ къ ролямъ Чацкаго, Кассіо, Лаерта; но для Хлестакова ему надо значительно измѣниться, по крайней мѣрѣ, въ своихъ пріемахъ. Мы увѣрены, что г. Самаринъ выработался бы для этой роли, и мы скоро увидѣли бы на нашей сценѣ роль Хлестакова, выполняемую съ талантомъ. Г. Ленскій на этотъ разъ дѣлалъ такіе фарсы, что портилъ ходъ всей пьесы.

Щепкинъ — художникъ, и потому для него изучить роль не значитъ одинъ разъ приготовиться для нея, а потомъ повторять себя въ ней: для него каждое новое представленіе есть новое изученіе. Онъ всегда игралъ городничаго превосходно, но теперь становится хозяиномъ въ этой роли и играетъ ее все съ болѣею и болѣею свободою. Его игра—творческая, гениальная. Онъ не помощникъ автора, но соперникъ его въ созданіи роли. Послѣ него всѣхъ блестяще выполняетъ свою роль г. Орловъ; за нимъ долженъ слѣдовать г. Шумскій, превосходно играющій Добчинскаго. Наравнѣ съ ними должно поставить г. П. Степанова, превосходно играющаго судью Тяпкина-Ляпкина; г-жа Баженовская, играющая слѣсаршу Пошлепкину, и г. Соколовъ, играющій купца Абдулина—тоже превосходны. Отчетливая, умная и даже характеристическая игра г. Потанчикова въ роли почмейстера и г. Румянова въ роли Земляники, не мало способствуютъ совершенству хода цѣлаго представленія пьесы. Г-жа Львова-Синецкая выполняетъ свою роль прекрасно; игра г-жи Пановой довольно удовлетворительна. Г. Шубертъ играетъ роль Мишки лучше, совершеннѣе, нежели какъ можно требовать. Прекрасно г. Максимъ игралъ роль трактирнаго слуги, и намъ очень жаль, что на этотъ разъ она была отдана другому.

Г. Мартыновъ игралъ Бобчинскаго очень посредственно; г. Никифоровъ несравненно выше его въ этой роли. Мы этого не ожидали.

Да, великое созданіе Гоголя на московской сценѣ не только не роняетъ своего достоинства, — а и это ужь большая похвала, — но и положительно поддерживаетъ его. Публика московская умѣетъ цѣнить и піесу и ея сценическое выполненіе.

Громкія рукоплесканія сопровождали почти каждое слово Щепкина, и единодушный, громкій вызовъ, еще прежде, чѣмъ опустился занавѣсъ, показалъ, что Щепкина у насъ умѣютъ понимать и цѣнить. Наконецъ и г. Орловъ дождался давно заслуженной имъ награды: ему громко аплодировали, и его громко вызвали тотчасъ послѣ Щепкина. Къ удивленію публики, онъ вышелъ съ г. Ленскимъ, но громкіе крики: «Орлова! Орлова!», встрѣтившіе его, ясно показали ему, кого нужно было публикѣ...

«Царства женщинъ», которымъ заключается спектакль, мы не дождались.

СПИСОКЪ КНИГЪ, ОТЗЫВЫ О КОТОРЫХЪ, ПО НЕЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ СВОЕЙ, НЕ ВОШЛИ ВЪ ЭТО СОБРАНІЕ.

1836. *Молва*. № 1. Мѣсяцесловъ на 1836 годъ.—Библіотека полезныхъ свѣдѣній о Россіи. — № 2. Пѣсни, романсы и разныя стихотворенія. № 3. Викторъ, или слѣдствіе худаго воспитанія. — Памятныя записки титулярнаго совѣтника Чухина. — О должностяхъ чловѣка, соч. Сильвіо Пеллико. — Собраніе рѣмъ по алфавиту. — № 4. Библіотека романовъ, изд. Роттаномъ. — № 5. Басни Крылова.—Кальянъ, А. Полежаева.—Очерки Константинополя, Базиліи. — Стелло или голубые бѣсы.—Бетти и Томсъ.—№ 6. Всеобщее путешествіе вокругъ свѣта, Дюмонъ-Дюрвиля, ч. 2. — Оперы и водевили, Дм. Ленскаго.—Сорокъ одна повѣсть.—Темные рассказы опрокинутой головы.—№ 7. Страсть и мщеніе.—Русская Шехеразада.—№ 3. Хвалебное приношеніе вѣры. — Письма леди Рондо. — Стенька Разинъ. — № 9. Катенька или семеро сватаются. — № 11. Бѣдность и любовь.—Черный паукъ.—№ 12. Всеобщее путешествіе Дюмонъ-Дюрвиля, ч. 3.—Надежда, изд. Кульчицкій.—Умные анекдоты Адамки Педрилло. — 1838. *Московский Наблюдатель*. № 1. Виргинія, соч. Вельтмана. — Сердце и Думка, его же. — Альманахъ на 1838 г. — Повѣсти и путешествіе въ Май-Мачинъ.—Были и повѣсти Ушакова.—Пряключеніе съ молодымъ купчикомъ.—№ 2. Новая энциклопедическая русская азбука, В. Бурьянова.—№ 3. Сочиненія Ал. Пушкина. Т. 1, 2 и 3. — Сборникъ на 1838 г. — Три водевили.—Крамольники. — Гадей Дятель. Тайнственный житель близъ Покровскаго собора. — Ворожея. — № 4. А. Тейльса ручная библіотека. — № 5. Новый нѣмецкій театръ. Повѣсть и рассказъ Н. Андреева. — Три повѣсти Никромскаго. — Сынъ актрисы. — Повѣсти и рассказы Пл. Смирновскаго. — Саксонецъ, повѣсть. — Чертовъ колпачекъ. — Сказка въ стихахъ. — Древняя исторія для юношества. — Древняя исторія, рассказанная дѣтямъ — № 7. Полное собраніе соч. Фонъ-

Визина.—Юрій Милославскій.—Повѣсти и рассказы Владиславлева.— Библиотека избранныхъ романовъ, изд. Глазуновымъ. Герцогиня Шатору.— Бѣлошапочники.— № 8. Кабинетъ чтенія.— Студентъ и княжна.— Историческіе анекдоты персидскихъ государей.— Полковникъ старыхъ временъ.— Восемь дней валаціи.— № 10. Вечера на Карповкѣ.— Мечты и были Маркова.— Тайна.— № 11. Письма о богослуженіи восточной католической церкви.— Воспоминаніе о посѣщеніи святыни московской.— № 12. Переписка и рассказы русскаго инвалида.—Краткое руководство къ познанію племенъ.

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ.

ОГЛАВЛЕНИЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ.

1836.

ТЕЛЕСКОПЪ и МОЛВА.

1.

Критика.

	Стр.
Ничто о ничемъ или отчетъ издателью „Телескопа“ за послѣд- нее полугодіе (1835) русской литературы	9
О критикѣ и литературныхъ мнѣніяхъ „Московского Наблю- дателя“	72

2.

Вибліографія.

Постоялый дворъ, записки покойнаго Горянова	153
О характерѣ народныхъ пѣсенъ у Славянъ задунайскихъ, Юрія Венелина	169
Всеобщее путешествіе вокругъ свѣта, составленное Дюмонъ Дюрвиллемъ	174
Востока или желанія, повѣсть въ стихахъ, Виланда	176
Пѣсни Т. м. ф. а.—Елисавета Кульманъ, фантазія Т. м. ф. а. . .	179
Стихотворенія Александра Пушкина. Ч. 4	185
Естество міра. — Устройство вселенной.—Очертательность есте- ства. — Движимость естества	187
Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Пру- ткова	189
Прекрасная Астраханка	197
Отелло, фантастическая повѣсть Гауфа	207
Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Соч. Н. Полевова	208

	Стр.
Дѣтская книжка на 1835 г., сост. Вл. Бурнашевымъ	215
Предки Калимероса. Александръ Филипповичъ Македонскій. Соч. Вельтмана	216
Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. Соч. Ксен. Полевова.	224
Лѣтопись факультетовъ на 1835 г., изд. А. Галичемъ и В. Плак- синымъ	234
Стихотворенія Вл. Бенедиктова.	238
Ночь, соч. С. Темнаго.	239
Страсть сочинять, водевилъ Ѳ. Кони.	245
Святочные вечера или рассказы моей тетушки	247
О жителей луны	252

3.

Журнальная всячина.

Нѣсколько словъ о „Современникѣ“	255
Отъ Бѣлинскаго	264
Вторая книжка „Современника“	268

1838.

МОСКОВСКІЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ.

1.

Критика.

Гамлетъ, принцъ Датскій, соч. Шекспира, пер. Н. Полевова	281
Полное собраніе сочиненій Фонъ-Визина. — Юрій Милославскій, соч. Загоскина	293

2.

Вибліографія.

Литературная хроника	319
Невѣста подъ замкомъ, водевилъ Н. Соколова	328
Библіотека дѣтскихъ повѣстей и рассказовъ.—Совѣты для дѣ- тей.—Зимніе вечера.—Прогулка съ дѣтьми по С.-Петер- бургу, соч. Бурянова	329
Дѣтскій альбомъ на 1838 г., А. Попова	345
Современникъ 1838 г. № 1	346

	Стр.
Елена, поэма Бернета	356
Стихотворенія Вл. Бенедиктова	361
Угодино, драматическое представленіе, соч. Н. Полевова	366
Краткая исторія Франціи, соч. Мишле	379
Повѣсти и рассказы Каменскаго	392
Турлуру, романъ Поль-де-Кока.—Сядина въ бороду, романъ, его же.—Повѣсти Евгенія Сю	396
Современникъ. Т. X.	402
Сказки русскія, рассказываемыя Иваномъ Паненко. — Русскія народныя сказки, собранныя Бронницынымъ	411
Сочиненія Н. Греча	415
Литературныя поясненія, его же	427

3.

Журнальная всячина.

Литературная тяжба	441
Литературное объясненіе	442
Журнальная замѣтка	449

4.

Т е а т р ъ.

Гамлетъ, драма Шекспира, и Мочаловъ въ роли Гамлета	461
Каратыгинъ на московской сценѣ	566
Сосницкій на московской сценѣ	567
Московскій театръ	569
Объ артистѣ	577
Петровскій театръ	581
Списокъ книгъ, отзывы о которыхъ, по незначительности ихъ, не вошли въ это собраніе	602

СОЧИНЕНІЯ
В. БѢЛИНСКАГО.

СОЧИНЕНІЯ
В. Б Ъ Л И Н С К А Г О.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА И ЕГО ФАКСИМИЛЕ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Издание шестое.

ЦѢНА ЗА КАЖДУЮ ЧАСТЬ 1 Р. 25 К.

МОСКВА.
Типографія А. Н. Мамонтова и К^о, Леонтьевскій пер., № 5
1891.

1839.

МОСКОВСІЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ.

I.

КРИТИКА.

ЛЕДЯНОЙ ДОМЪ. Соч. И. И. Лажечникова. Москва.
1833—1837. Четыре части.

ВАСУРМАНЪ. Соч. И. Лажечникова. Москва. 1838.
Четыре части.

Вотъ уже третій романъ изданъ г. Лажечниковымъ, — и слава его растетъ все болѣе и болѣе. Общій голосъ утвердить за нимъ почетное званіе перваго русскаго романиста, и добросовѣстная критика, чуждая личнымъ отношеній и литературнаго пристрастія, всегда подтвердитъ криговоръ публики, если только она — добросовѣстная критика. Разумѣется, это первенство, по сущности своей, есть относительное; хотя, по хронологіи исторіи нашей литературы, и безусловное. Мы хотимъ этимъ сказать, что, говоря о г. Лажечниковѣ, какъ о первомъ русскомъ романистѣ, мы отнюдь не имѣемъ въ виду писателей повѣстей, но только однихъ романистовъ, и отнюдь не видимъ въ немъ идеала романистовъ, но только лучшаго русскаго романиста. Мы не будемъ сравнивать его съ Вальтеръ-Скоттомъ и Кукеромъ, потому что можно и не тягаться съ этими двумя вѣковыми исполинами-художниками, быть примѣчательнымъ романистомъ вообще и первымъ, то есть, лучшимъ во всякой литературѣ, кромѣ англійской. Мы не будемъ также говорить съ лукавою провією, что романы г. Лажечникова лучше романовъ Евгенія Сю, Виктора Гюго, Бальзака и прочихъ, потому что еслибы его романы были не только хуже, но даже не были бы лучше романовъ этихъ корифеевъ безпутной французской литературы, то мы не почли бы ихъ слишкомъ завиднымъ приобрѣтеніемъ для русской литературы

и не стали бы о нихъ много хлопотать. Еще менѣе намѣрены мы, выписавши изъ романовъ г. Лажечникова нѣсколько изысканныхъ выражений или вычурныхъ фразъ, которыхъ они въ самомъ дѣлѣ очень не чужды, изречь ему грозный приговоръ, или—что еще хуже—побранивши его за недостатки, похвалить за достоинства, какъ учитель бранить и хвалить своего ученика за ученическую задачу, пополамъ съ грѣхомъ, оконченную. Отъ послѣдней продѣлки съ нашей стороны, г. Лажечникова защищаетъ его огромная извѣстность, и грозный авторитетъ у публики, а еще болѣе одно повидимому маленькое, но въ самомъ-то дѣлѣ очень важное обстоятельство, а именно: мы сами не лишимъ романовъ, и г. Лажечниковъ не перебиваетъ у насъ дорогъ. Вотъ, если бы мы вздумали написать, или (все равно!) дописать какой-нибудь романъ, что-нибудь въ родѣ Евгенія Сю, примиреннаго съ Августомъ Лиффоненомъ, и въ этомъ романѣ вывели бы героемъ какого-нибудь недопеченнаго поэта, который «хочетъ заняться чѣмъ-нибудь высокимъ» и жалуется, что «свѣтская чернь его не понимаетъ», бранить гражданское устройство, которое мѣшаетъ безъ антовъ и записей жениться, одними словомъ, презираетъ бѣдную землю, на которой если забудешь дней пять не поѣсть, то непременно умрешь, и смотреть заживо на небо, гдѣ нѣтъ ни формъ, ни обрядовъ... О, тогда плохо бы пришлось отъ насъ г. Лажечникову: мы умѣли бы его отдѣлать въ коротенькой библиографической статейкѣ... Но чего нѣтъ, о томъ нечего и говорить, и такъ какъ намъ ничто не мѣшаетъ наслаждаться прекраснымъ поэтическимъ талантомъ г. Лажечникова и цѣнить его, то и приступимъ къ дѣлу;—назовемъ хорошее хорошимъ, а дурное дурнымъ; за первое отъ души поблагодаримъ автора, а за второе отъ души извинимъ его, ради первого.

Въ самомъ дѣлѣ, при оцѣнкѣ романовъ г. Лажечникова главный и первый трудъ долженъ состоять въ отдѣленіи достоинствъ отъ недостатковъ. Намъ скажутъ: да въ этомъ-то

и состоятъ задача всякой критики. Не будемъ возражать на подобное возраженіе: у насъ понятія о критикѣ совсѣмъ другія, но мы пока побережемъ ихъ про себя, потому что излишняя отчетливость повела бы насъ слишкомъ далеко и отбила бы отъ предмета. И потому, пока мы условились, что дѣло критики есть отдѣленіе красоты отъ недостатковъ въ произведеніи искусства, а мѣрка при этомъ химическомъ процессѣ—личное ощущеніе критики. Дюпенъ издавъ карту народнаго просвѣщенія Франціи, оттѣнивъ колоритомъ отношенія образованности въ различныхъ департаментахъ, т. е. самые образованные департаменты, означивъ свѣтлою краскою, а невѣжественные—темною. Вотъ такую карту желаемъ мы составить, изъ нашей критической статьи, для романовъ г. Ламежикова. Пусть всякій повѣрять наше мнѣніе собственнымъ своимъ мнѣніемъ.

Еще не успѣли мы забыть удовольствія, которымъ наслаждались при чтеніи «Ледяного дома», вышедшаго въ 1835 году, какъ взяли, кажется, за третье, если не за четвертое, чтеніе этого романа, по случаю второго его изданія въ концѣ прошлаго года, — и прочли его еще съ большимъ удовольствіемъ, нежели въ первый разъ: лица, которыя начали уже, отъ времени, представляться нашимъ глазамъ подъ какими-то туманными дымами, снова ожили передъ нами, и мы радужно и весело встрѣтились съ старыми знакомцами, и нашли ихъ такъ-же интересными, милыми и любезными, какъ я въ пору перваго знакомства; прекрасныя ощущенія, которыя, отъ времени, уже начинали терять свою предметность и повторялись въ душѣ нашей, какъ нагѣвы какой-то забытой, но прекрасной лѣсни, вновь воскресли въ ней, живыя, свѣжія, могучія; и снова взволновали ее своими очаровательными потрясеніями. . . И однакожъ—странное дѣло!—при послѣднемъ чтеніи, романъ доставилъ намъ несравненно большее наслажденіе, чѣмъ при первомъ; но при первомъ чтеніи мы ставили его гораздо выше, давали ему гораздо большее зна-

ченіе, большую цѣну, нежели какія даемъ ему теперь... Помню, какъ мучилъ меня этотъ «Ледяной Домъ», какъ какая-то неразгаданная загадка, какъ обирался я тогда написать о немъ огромную статью, а въ ней тепло, живо и увлекательно раскрыть все его красоты, и какъ — не могъ написать ни строки... Тяжесть подвига подавляла силы... По крайней мѣрѣ, такъ казалось мнѣ тогда. Помню, что больше всего меня затрудняла и мучила двойственность романа: то представлялся онъ мнѣ выше всего, что можно себѣ представить въ этомъ роцѣ, то я не видѣлъ въ немъ почти ничего... Первое ощущеніе оправдывалось моимъ сознаніемъ, которому я не вѣрилъ, какъ дьявольскому наводненію, и упрекалъ себя въ немъ, какъ въ грѣхъ... Странно, а понятно: только тогда можно вполне насладиться литературнымъ произведеніемъ, когда поставишь его на свое мѣсто и не будешь требовать отъ него ни больше, ни меньше того, что оно можетъ дать; такъ точно, можно ужиться со всякимъ человекомъ, если только поймешь его на его мѣстѣ и будешь требовать отъ него ни больше, ни меньше того, что можно и должно отъ него требовать. Какая истинная и, въ то же время, простая мысль, а между тѣмъ, такъ трудно и какъ не скоро понимается она!...

Не будемъ излагать содержанія «Ледяного Дома»: оно и безъ того всякому образованному читателю знакомо и переживаемо; не поговоримъ о лицахъ, образующихъ своими соотношеніями его драму. Герой — Волюнскій. Какъ историческое лицо, онъ и теперь еще загадка. Одни видятъ въ немъ героя, мученика за правду; другіе отрицаютъ въ немъ не только патріота, но и порядочнаго человека. Но мы оставимъ историческаго Волюнскаго — намъ до него нѣтъ дѣла: мы пишемъ не объ исторіи, а о романѣ. Тутъ представится другой вопросъ: имѣетъ ли право поэтъ изобразить историческое лицо? Да и нѣтъ, отвѣчаемъ мы. Да будетъ проклятъ, кто бы нанесъ святотатственную руку на искаженіе Петра Вѣдинаго и умыш-

ленно осмѣлился бы сдѣлать уродливаго карму изъ великана
человѣчества; но анахронизмы, искаженіе событій, вслѣдствіе
требованій, ткани и механизма романа—но только безъ иска-
женія идеи лица,—могутъ казаться неоправдательными или
преступными только вникающему разсудку, а не живому эсте-
тическому чувству. Что же касается до сомнительныхъ, или
неважныхъ историческихъ лицъ, то и говорить нечего: въ
произведеніи искусства должно искать соблюденія художе-
ственной, а не исторической истины. Что за важность, что
Шиллеръ изъ Карлоса, непокорнаго сына и дурнаго человѣка,
сдѣлалъ идяла воярыщнаго, благороднаго человѣка? Худо
не это, а то, что его драма есть произведеніе риторики, а ея
лица—риторическія аллегоріи, а не живыя созданія. Что намъ
за нужда, что Гёте изъ восьмидесятилѣтняго старика Эгмонта,
отца многочисленнаго семейства, сдѣлалъ молодого, кипя-
щаго избыткомъ жизни юношу? Онъ хотѣлъ изобразить не
Эгмонта, а кипящаго избыткомъ душевныхъ силъ юношу въ
положеніи Эгмонта. Исторія услужила ему только «поэтиче-
скимъ положеніемъ», а главное дѣло въ томъ, что его драма—
великое произведеніе великаго художника. Кто хочетъ знать
исторію, тотъ учишь ей не по романамъ и драмамъ. Поэтому,
для насъ смѣшны нападки нѣкоторыхъ аристарховъ на г. Ла-
жечникова, что онъ снялъ десятка два или три лѣтъ съ плеча
Волынскаго (добра бы еще искажалъ историческій характеръ!).
Что же такое Волынский Лажечникова?—Это человѣкъ, глу-
бодѣй, могучій, духовъ, пламенный патріотъ, душа чистая,
благородная, но легкій, вѣтранный; тонкій политикъ—и маль-
чищъ, не умѣющій совладать съ самимъ собою; государствен-
ный мужъ—и волокита, гуляка праздный. Соединеніе такихъ
противоположностей въ одномъ человѣкѣ очень возможно,—
и задача творчества именно въ томъ и состоитъ, чтобы эти
противоположности не бросались въ глаза читателю, но со-
ставляли бы одно цѣлое, слитое. Характеръ Волынскаго у
г. Лажечникова очерченъ мѣстами очень удачно, но мѣстами

онъ двоится. Это произошло, сколько мы понимаемъ, совсѣмъ не оттого, чтобы у автора не достало таланта, но отъ нравственной точки зрѣнія, съ которой онъ смотритъ на человека. То, что въ Волынскомъ было играніемъ жизни, широкимъ размахомъ души, съ бѣшенымъ восторгомъ и безграничнымъ упоеніемъ отзывавшейся на зовъ обольстительницы жизни,—на то авторъ смотрѣлъ глазами ментора, какъ на слабости, на заблужденія, и какъ будто бы самъ колебался во мнѣніи о героѣ своего романа. Отъ этого, любовь Волынскаго къ Маріорицѣ далеко не возбуждаетъ въ читателѣ того участія, какое бы она должна была возбуждать. Вы смотрите на нее, какъ на школьническую шалость взрослого человека. Мы очень понимаемъ, что любовь къ Маріорицѣ Волынскаго, женатаго на прекрасной, страстно любящей его и прежде нѣжно любимой имъ женщинѣ, должна была тревожить его, какъ преступленіе, и, доставляя ему минуты высочайшаго, упоительнаго блаженства, давать ему лютыя минуты вниканія въ себя; скажемъ больше—Волынскій былъ бы существо чисто безнравственное, неспособное возбудить участія къ себѣ, еслибы онъ не чувствовалъ своей вины передъ женою, и не страдалъ отъ ея сознанія. Гдѣ любовь, тамъ нѣтъ эгоизма, а гдѣ нѣтъ эгоизма, тамъ всегда есть сознаніе своей вины, хотя бы и невольной, передъ другими; любящее сердце страдаетъ за всѣхъ, а тѣмъ больше за тѣхъ, кого оно само заставило страдать; безнравственность только тамъ, гдѣ нѣтъ любви. Итакъ, мы нападаемъ на автора не за то, что его герой чувствуетъ свою вину передъ женою, но за то, что онъ сознаетъ свою вину какъ бы не самъ, не своею волею, а по приказу автора. Всякое лицо, созданное поэтомъ, должно быть для него предметомъ (объектомъ), совершенно ему внѣшнимъ, и задача автора состоитъ въ томъ, чтобы представить этотъ предметъ (объектъ) какъ можно вѣрнѣе, соответственнѣе ему, т. е. самому предмету (объекту), что и называется объективнымъ изображеніемъ, т. е. такимъ, въ которое авторъ не вноситъ ничего

своего—ни понятій, ни чувствъ. Но пока довольно о Волинскомъ. Мы еще обратимся къ нему.

Второе—самое лучшее—лицо въ романѣ есть Маріорица. Дити пламеннаго юга, дочь цыганки, питомица гарема, дивный цвѣтокъ Востока, расцвѣтшій для нѣги, упоенія чувствъ, и перенесенный на холодный сѣверъ—эта Маріорица, по идеѣ, чудное созданіе. Нѣсколькихъ типическихъ чертъ, еще два-три взмаха художническаго рѣзца—и это былъ бы одинъ изъ драгоцѣннѣйшихъ перловъ въ сокровищницѣ нашей литературы. Но не дивная красота, не роскошь и нѣга движеній, не молнія черныхъ глазъ, зовущихъ къ наслажденію и восторгамъ, составляютъ ароматическое благоуханіе этого пышнаго цвѣта восточныхъ странъ; но... да вѣтъ! — мы лучше словами самого автора опишемъ вамъ плѣнительную Маріорицу. «Отъ христіанской вѣры, въ которой она родилась, остались у ней тайныя понятія и золотой крестъ на груди. Какимъ образомъ этотъ крестъ попалъ къ ней, она не помнила; только не забыла, что женщина, которая вынесла ее изъ пожара, когда горѣлъ отцовскій домъ, строго наказывала ей никогда не покидать святого знаменія Христа и, какъ она говорила, благословенія отцовскаго. Эта самая женщина продала ее хотинскому пашѣ. Француженка (учительница Маріорицы въ гаремѣ паши), узнавъ, что Маріорица родилась христіанкою, старалась бесѣдами на языкѣ, непонятномъ для черныхъ страшей, ознакомить ученицу свою съ главными догматами своей вѣры. Отъ этого ученія и гаремнаго воспитанія ея, сочетались въ душѣ Маріорицы, пламенная, мечтательная, и фатализмъ магометанскій, и мистицизмъ православія, такъ что въ небѣ, созданномъ ею, обитали и чистѣйшіе духи, и обольстительныя дѣвы пророка, а на землѣ въѣ дѣйствія чело-вѣка подчинялись предопредѣленію».

Читателямъ знакома эта обворожительная Маріорица, знакома имъ и ея чудная судьба. Дочь цыганки и молдаванскаго князя, она воспитывалась сперва въ цыганскомъ таборѣ, по-

томъ подкинута была своею матерью къ своему отцу, а наконецъ была продана ею хотинскому мигу, который берегъ ее въ подарокъ султану, ничего не щадя для ея воспитанія, любовался ею, одерживая желанія дряхлой старческой души, сносить ея прихоти, свойственные жанданъ и избалованному ребенку вмѣстѣ. По взятіи Хотина Минихомъ, она подалась плѣнницею знаменитому вождю, а имъ была подарена Государынѣ Аннѣ Ивановнѣ, которая любовалась ею, какъ игрушкой, и любила ее, какъ дочь. Фатализмъ былъ источникомъ любви Маріоринъ къ Волыноному — прекрасная поэтическая мысль, которая могла родиться только въ прекрасной, поэтической душѣ... Года за два до ея плѣна, когда Русскіе вели съ Турками переговоры въ Немировѣ, старый паша говорилъ въ шутку Маріоринѣ, что онъ уступитъ ее русскому послу Волыноному, о которомъ слава прошла тогда до Хотина. Надобно было, чтобы этотъ самый Волынский, ловкій, статный, красивый, съ черными кудрями, разсыпавшимися по плечамъ, съ проносящимися взорами, первый изъ мужчинъ встрѣтилъ ее по пріѣздѣ ея въ Петербургъ. «При имени Волынскаго вняжна затрепетала. Фатализмъ, которымъ она съ малолѣтства была напитана, сказавъ ей, что это самый тотъ, неизбѣжный ей, суженый ей рокомъ, что она введена съ пепелища отцовскаго дома въ Хотинъ и оттуда въ страну, о которой не мыслила никогда, потому единственно, что еще при рожденіи назначено ей любить русскаго, именно Волынскаго». Такъ говоритъ авторъ, и мы очень жалѣемъ, что вслѣдъ за этими простыми, но много заключающими въ себѣ словами, онъ, увлекшись духомъ прошлаго вѣка, прибавляетъ о какомъ-то редеи любви, проинсанномъ маленькимъ докторомъ въ блондиновомъ парикѣ и съ двумя крылышками за плечами...

Къ Волыноному, на святкахъ, подъ видомъ друзей, забрались переряженные враги; между ними былъ извѣстникъ, который шепнулъ ему о продѣлкѣ. Лихой, разгульный Волыскій шепнулъ слугамъ отослать ихъ дучеровъ, отпочивавъ

дорогихъ гостей дорогими винами, посадилъ на свои сани и велѣлъ слугамъ отвести ихъ на Волково-поле и тамъ бросить, а самъ, наярженный кучеромъ, повезъ оттуда брата Бирона, и, пристыженнаго, униженнаго, ссадилъ его у дворца, давши ему этимъ добрый урокъ шутить осторожнѣе. Потомъ Волынский два раза проѣхалъ мимо дворца, гдѣ жила его Маріорица. Вдругъ слышитъ голоса—это дѣвушки; одна спрашиваетъ его: «Какъ тебя зовутъ, дружокъ?» Волынский задрожалъ отъ звука этого голоса и, снявши шапку, отвѣчалъ: «Артеміемъ, сударыня!»—Артемій! смѣясь, закричали дѣвушки, какое дурное имя!—Не правда! оно мнѣ нравится!—подхватила княжна. А Волынский?—лихой ямщикъ, онъ вздохнулъ, надѣлъ шапку на бекрень и, тронувъ шагомъ лошадей, затянулъ пріятнымъ голосомъ—

Вдоль по улицѣ мятелца мятеть.

За мятелницей и милый другъ идетъ...

Это природа чисто русская, это русскій баринъ, русскій вельможа старыхъ временъ!... Вообще вся эта глава (VII) одно изъ лучшихъ мѣстъ романа и не испортила бы никакого и ничьего романа.

Итакъ, Маріорица уже успѣла перенять русскіе святочные обычаи, они понравились ея пылкому, суевѣрному воображенію.... Проѣзжій ямщикъ назвался Артеміемъ—новая причина любить Артемія Петровича Волынскаго, новое доказательство, что она рождена для него, обречена ему рокомъ!... Фатализмъ чудесить!...

Какъ-же любила она его?

Вотъ что писала она къ нему въ одномъ изъ писемъ своихъ: «Я вся твоя! Имѣй сто женъ, сто любовницъ—я твоя, ближе, чѣмъ кора при деревѣ, растение при землѣ. Дѣлай изъ меня что хочешь, какъ изъ вещи, которая тебя утѣшаетъ и которую, измѣавши, можешь покинуть, какъ изъ плода, который ты воленъ высосать и—бросить!... Я создана на это: мнѣ это опредѣлено при рожденіи моемъ».

Она любила его, какъ восточная женщина, любила его, какъ существо высшее, и, какъ о недостижимомъ блаженствѣ, мечтала быть его рабою, служить его прихотямъ, безропотно повиноваться его волѣ.... А онъ?—онъ не любилъ, онъ только увлеченъ ею на время. Это чувство было для него не вся жизнь съ ея радостями и страданіями, не вся судьба, а мгновенная вспышка, прихоть сердца, играніе жизни... Авторъ называетъ его любовью чувственною.

Здѣсь мы рады придаться къ случаю, чтобы сказать, что мы рѣшительно не вѣримъ ни идеальной, ни чувственной любви. Та и другая существуетъ, но обѣ онѣ ложны, какъ двѣ противоположныя крайности, двѣ противоположныя отвлеченности. Такъ называемая идеальная любовь есть палочка, на которой ѣздятъ верхомъ школьники, воображая, что они скачутъ на богатырскомъ конѣ; это своего рода донъ-кихотство. Такъ называемая чувственная любовь есть удѣлъ животныхъ съ человѣческимъ образомъ. Но всякое чувство, чтѣ бы оно ни было—любовь, или увлеченіе, мгновенная прихоть сердца,—но если только оно волнуетъ душу сладкимъ восторгомъ и растворяетъ ее трепетнымъ ощущеніемъ таинства жизни, если оно возбуждено созерцаніемъ идеи абсолютной красоты въ живомъ образѣ,—это чувство уже любовь, а не чувственность. Всякая любовь есть одухотворенная чувственность; любовь одна, по степени ея безконечно-разнообразны, и съ каждой степенью измѣняется ея характеръ, а степени ея состоятъ въ постепенно большемъ и большемъ проникновеніи чувственности духовнымъ [просвѣтлѣніемъ. Есть люди, которые отъ всей души убѣждены, что красота возбуждаетъ чувственность: бѣдные не понимаютъ, что красота есть явленіе духа, и что гдѣ красота рождаетъ любовь, тамъ уже нѣтъ чувственности. Для животныхъ красота не существуетъ — это составляетъ одно изъ преимуществъ человѣка надъ животными. Только красота не составляетъ условія любви, но безъ красоты любовь невозможна.

Характеръ Маріорицы обрисовать удачнѣе всѣхъ прочихъ. Это рѣшительно лучшее лицо во всемъ романѣ. Она нигдѣ не измѣняетъ себя. Она слодитъ со сцены, какъ вошла на нее: какъ звѣзда любви, которая ярче и прекраснѣе всѣхъ небесныхъ свѣтилъ—и вечеромъ, когда является, и утромъ, когда скрывается. Последнее ея свиданіе съ Волынскимъ было апо-теозомъ всей ея жизни, и мы рѣшительно отрицаемъ всякое человѣческое, не только эстетическое, чувство въ томъ, кто бы, увлеченный сухимъ, какъ арифметика, морализмомъ, увидѣлъ въ последнемъ мгновеніи ея жизни паденіе, а не просвѣтлѣніе, не торжественное просвѣтлѣніе, не торжественное свершеніе подвига жизни.... Словомъ, Маріорица есть самый красивый, самый душистый цвѣтокъ въ поэтическомъ вѣнкѣ нашего дароватаго романиста.

Послѣ этихъ двухъ лицъ, съ особенною любовію и стараніемъ обрисовано лицо, цыганки Маріудлы, матери Маріорицы. По нашему мнѣнію, это лицо такъ же дурно, какъ хороша Маріорица. Авторъ хотѣлъ олицетворить идею матери; но вѣдь олицетворить значить—отвлеченную идею воплотить въ образъ, а этого-то и не сдѣлалъ авторъ: его-цыганка мать осталась отвлеченною идеею. Все что ни говоритъ она, ни чувствуетъ, все это нисколько несообразно ни съ ея званіемъ, ни съ ея положеніемъ, а главное—ничему этому какъ-то не вѣрится. Изуродованіе лица крѣпкой водкой, чѣмъ авторъ хотѣлъ показать образецъ самоотверженія и высокой любви матери, возбуждаетъ не участіе, а отвращеніе. Вообще, эта цыганка есть лицо совершенно лишнее, которое не помогаетъ ходу романа, а только и путаетъ, и затрудняетъ его. Безъ нея, романъ былъ бы короче, сжатѣе и лучше. Ея слуга и товарищъ, цыганъ Василій, несравненно лучше, но тоже совершенно лишнее лицо въ романѣ. Тоже думаемъ мы и о лѣкаркѣ, ея дочери, и о всей IV главѣ второй части. Конечно, все это характеризуетъ Петербургъ тогдашняго времени; но подобныя характеристики должны выходить изъ хода романа,

изъ сущности дѣла, и авторъ не имѣетъ права прибѣгать для нихъ къ натяжкамъ.

Теперь о другихъ лицахъ. Превосходно обрисованъ Остерманъ, сынъ бѣднаго нѣмецкаго пастуха, въ молодости своей студентъ енскаго университета, повѣса и волокита, а потомъ сподвижникъ великаго преобразователя Россіи, вице - канцлеръ, дипломатъ, интриганъ. Онъ играетъ въ романѣ роль менѣе, чѣмъ второстепенную, но гдѣ онъ является, вездѣ является живымъ лицомъ, и это лицо одно изъ лучшихъ созданій нашего поэта.

Биронъ, въ романѣ, вездѣ вѣренъ самому себѣ и тоже принадлежитъ къ удачнымъ изображеніямъ автора; но это лицо только слегка очерчено карандашомъ, и по прочтеніи романа, для читателя остается загадкою и историческій, и романическій Биронъ. Что онъ такое, этотъ человѣкъ, изъ курляндскаго конюха преобразовавшійся въ курляндскаго герцога? — Не будемъ обвинять его, тѣмъ болѣе, что и его благородный соперникъ, патриотъ Волынской, остается еще загадкою (мы говоримъ это въ историческомъ значеніи). Клеветы Бирона очерчены очень удовлетворительно; жаль только, что всѣмъ имъ авторъ придалъ и рыжіе волосы, и рты до ушей. Злодѣйство и пороки безобразны, но только не въ такомъ смыслѣ. Одинъ художникъ нарисовалъ дьявола красавцемъ, но самъ сошелъ съ ума, взглянувъ на ужасное безобразіе этой красоты.

Въ числѣ дѣйствующихъ лицъ мы встрѣчаемъ двухъ шутковъ—Кульковскаго и Тредьяковскаго. Оба они были бы прекрасно изображены, если бы авторъ не сердился на нихъ и не высказывалъ къ нимъ своего отвращенія и презрѣнія. Повторяемъ: поэтъ не судья, а свидѣтель, и свидѣтель безпристрастный. Онъ говоритъ: такъ было, а хорошо или худо—не мое дѣло! Для него всѣ люди и хороши, и интересны, онъ всѣми любитъся, всѣхъ любитъ, и любитъ ихъ такими, каковы они есть. Такъ натуралистъ не брезгаетъ никакою га-

диною, равно дорожить чучелою отвратительной лягушки, какъ и чучелою миловиднаго голубя. Какъ хорошъ у г. Лажечнинова этотъ Тредьяковский—его образъ выраженія, манеры—словомъ, все превосходно; но настышки автора надъ педантомъ разрушаютъ все очарованіе. Моральная точна зрѣнія на жизнь и поэтический взглядъ на нее—это вода и огонь, взаимно себя уничтожающіе. Безспорно, Тредьяковский былъ душою низенькая: образцовая бездарность, соединенная съ чудовищными претензіями на гениальность, необходимо предполагаютъ въ человѣкѣ или глупца или подлеца. Но загляните въ «Ревизора» Гоголя: дивный художникъ не сердится ни на кого изъ своихъ оригиналовъ, сквозь грубыя черты ихъ невѣжества и лихомства, онъ умѣлъ выказать и какую то доброту, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ. Загляните въ его дивную «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ», посмотрите съ какою любовью описалъ онъ этихъ чудановъ, съ какимъ сожалѣніемъ расстался онъ съ ними, а между тѣмъ и насколько не прикрасилъ, но показалъ ихъ совершенно «въ натурѣ».

Подачкинъ и матушка его «барская барыня» изображены превосходно.

Эйхлеръ и Зуда рисуются на первомъ планѣ романа. По идеѣ, оба превосходны, но исполненіемъ нельзя удовлетвориться. Сонный, долгоязыый и чѣмъ-то особенно странный Эйхлеръ еще мерещится въ глазахъ вашихъ и послѣ прочтенія романа; но съ тѣхъ поръ, какъ срываетъ съ себя маску притворства—онъ теряетъ всякую личность. Зуда съ трудомъ помнится даже и при чтеніи романа.

Изъ соучастниковъ Волынскаго особенно хорошъ Щурховъ: никогда не забудете вы этого милаго, благороднаго чудака, въ его фуфайкѣ изъ синеполосатаго тѣла и въ красномъ шолоховомъ колпакѣ, окруженнаго четырьмя польскими собаками, мѣшающаго въ печкѣ кочергою уголья и бесѣдующаго съ своими слугою, дядькою и наставникомъ вмѣстѣ.

Заключимъ наше сужденіе о романѣ общимъ взглядомъ на него. Онъ раздѣленъ на главы, которыя можно раздѣлить на три разряда: главы, написанныя превосходно; главы, въ которыхъ золото перемѣшано съ большимъ количествомъ руды, и главы, состоящія изъ одной руды, развѣ съ нѣсколькими блестящими золотомъ. Къ послѣднимъ принадлежать безъ исключенія всѣ тѣ, въ которыхъ выходитъ на сцену цыганка Мариулла: натянутасть положеній и фразистость выраженія составляютъ ихъ отличительное свойство. Главы второго разряда ознаменованы участіемъ Зуды, любовію Волынскаго и нѣкоторыми растянутостями. Главы первого разряда суть тѣ, въ которыхъ является Волынский, какъ противникъ Бирона, потомъ, всѣ, гдѣ является и сама императрица. Таковы слѣдующія главы: «Смотръ», «Ледяная статуя», «Переряженные», «Западня», «Сцена на Невѣ», «Съ передняго и съ задняго крыльца», «Соперники», «Во Дворцѣ», «Ледяной домъ», «Родины козы», «Любовь повѣренная», «Ударъ». Не менѣе прекрасны, хотя и въ другомъ значеніи, и слѣдующія: «Фатализмъ», «Педантъ», «Обезьяна герцогова», «Куда вѣтеръ подуетъ», «Свадьба шута» и «Ночное свиданіе». Но «Ледяная статуя», «Соперники», «Родины козы» и «Ночное свиданіе» — выше всякихъ похвалъ. Читая главы, которыя такъ рѣзко отличаются отъ изчисленныхъ нами, и видя съ какою нерѣшительностію, какъ бы ощупью, идетъ этотъ талантъ, — невольно изумляешься, видя его возставшимъ въ какомъ-то львиномъ могуществѣ... Читателямъ извѣстно, какую важную роль играетъ въ романѣ ледяная статуя, они живо помнятъ это энергическое лице Малороссіянина, такъ рѣзко и могуче очерченное двумя, тремя штрихами, какъ будто невзначай наброшенными: помнятъ они и сцену обливаній, въ которой авторъ умѣлъ изобразить ужасное событіе, не сдѣлавъ его отвратительнымъ. А «Соперники»? Вспомните этого хитраго политика Остермана въ гостяхъ у Бирона, эту бесѣду лисицы съ волкомъ, гдѣ лиса такъ искусно умѣетъ

недослышать, жалуясь на глухоту, и недоговорить, жалуясь на подагру въ ногѣ.

«Родины Козы», не меньше этой, превосходная глава. Мысль, положеніе, слогъ—здѣсь все это согласно: высоко, глубоко, и просто! О главѣ «Ночное свиданіе» мы не будемъ распространяться, и скажемъ только, что чисто-романическая часть романа развита и оправдана въ ней совершенно. Волыньскій тутъ является опять двусмысленнымъ лицомъ, какъ и во всей исторіи своей любви; но Маріорица возстаётъ тутъ со всѣмъ величіемъ любящей женщины, для которой любовь есть цѣль и подвигъ жизни. Конечно, ея любовь не есть идеаль любви, она любила по своему; ей не было нужды до мнѣній, вѣрованій ея милого; взаимный обмѣнъ мыслей и убѣжденій не былъ нуженъ для ея чувства, какъ масло для лампы; повторяемъ—она любила по своему, но любила истинно и глубоко, потому что все принесла въ жертву своему чувству, и кромѣ его ничего не понимала и не видѣла въ жизни. И послѣ событія въ ледяномъ домѣ, Маріорица умерла: больше ей не за чѣмъ было жить, потому что она взяла у жизни все, что только могла ей дать жизнь...

И вотъ моя дюпеновская карта кончена. Романъ г. Лажечникова не представляетъ собою цѣлаго зданія, части котораго заранѣе вышли бы, въ головѣ художника, изъ единой и общей идеи: въ немъ много пристроекъ, сдѣланныхъ послѣ. Но теплое, поэтическое чувство, которымъ проникнуто все сочиненіе, множество отдѣльныхъ превосходныхъ картинъ, прекрасныхъ частностей, основная мысль—все это дѣлаетъ «Ледяной Домъ» однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ явленій въ русской литературѣ и вмѣстѣ, съ «Послѣднимъ Новикомъ», украшаетъ чело своего автора прекраснымъ поэтическимъ вѣнкомъ.

Теперь о «Басурманѣ».

Въ этотъ романъ авторъ вышелъ на совершенно новое для себя поприще, вступилъ въ состязаніе съ г. Загоскинымъ, какъ авторомъ «Юрія Милославскаго» и г. Полевымъ, какъ

авторомъ «Блѣтвы при гробѣ Господнемъ». Исторія Россіи перерѣзана Петромъ Великимъ на двѣ части, столь не похожія одна на другую, что онѣ представляютъ собою какъ бы два различныхъ міра. Для двухъ первыхъ своихъ романовъ, г. Лажечниковъ взялъ содержаніе изъ эпохи; начатой Петромъ; въ третьемъ онъ рѣшился перенестись своимъ воображеніемъ дальше и глубже, въ эпоху, гдѣ вся надежда на одну фантазію, гдѣ собственное свидѣтельство, или рассказы отца, дѣда — невозможно. Признаемся, это было для насъ не совсѣмъ добрымъ предвѣстіемъ. Изобразить въ романѣ Россію при Іоаннѣ III, совсѣмъ не то, что изобразить ее въ исторіи: долгъ романиста — заглянуть въ частную, домашнюю жизнь народа, показать, какъ въ эту эпоху онъ и думалъ, и чувствовалъ, и пилъ, и ѣлъ, и спалъ. А какіе у насъ для этого факты?.... Гдѣ литература, гдѣ мемуары того времени?.... Остаются лѣтописи — но съ ними далеко не убѣдешь, потому что онѣ факты для исторіи, а не для романа. Но для художника достаточно одного намека, чтобы живо представить себѣ полную картину жизни народа въ извѣстную эпоху. Такъ... но это «такъ» относится только къ тому, кто оправдалъ дѣломъ свою мысль... Посмотримъ, какъ оправдалъ ее г. Лажечниковъ въ новомъ своемъ романѣ...

Русская исторія есть неисчерпаемый источникъ для романиста и драматика; многіе думаютъ напротивъ, но это потому, что они не понимаютъ русской жизни и мѣряютъ ее нѣмецкимъ аршиномъ. Какъ писатели XVIII вѣка изъ русскихъ Малашихъ дѣлали Меланій, а русскихъ пастуховъ заставляли состязаться въ игръ на свирѣляхъ въ подражаніе эклогамъ Виргилія, — такъ и теперь многіе наши романисты съ русскою жизнію дѣлаютъ то же, что Вальтеръ-Скоттъ дѣлалъ съ шотландскою. Вездѣ есть герой, который и храбръ, и красавецъ, и благороденъ, непремѣнно влюбленъ и послѣ — или, побѣдивши всѣ препятствія, женится на своей возлюбленной, или «смертію оканчиваетъ жизнь свою». А вѣдь никому не прій-

дѣтъ въ голову представить лихого молодца, который сперва пламенно любилъ свою завнобушку (что впрочемъ не мѣшало ему и колотить ее временемъ), а потомъ, обливаясь кровавыми слезами, бросилъ ее, чтобы жениться на богатой и пригожей, т. е. румяной и дородной, но нисколько не любимой имъ дѣвушкѣ, и черезъ то достигнуть цѣли своихъ пламеннѣйшихъ желаній, а между тѣмъ сослужить службу царю-батюшкѣ и обнаружить могучую душу. Какъ можно это?—нисколько не поэтически, хотя и совершенно въ духѣ русской жизни, въ которой любовь надравле была контрабандою и никогда не почиталась условіемъ брака. Оттого-то у насъ и нѣтъ еще ни одного истинно-русскаго романа, и оттого-то герои почти всѣхъ нашихъ романовъ лишены всякой силы характера, всякаго индивидуальнаго колорита. Русская жизнь до Петра Великаго имѣла свои формы — поймите ихъ, и тогда увидите, что она заключаетъ въ себѣ для романа и драмы, такіе же богатые матеріалы, какъ и европейская. Да что говорить о романистахъ, когда и историки наши ищутъ въ русской исторіи приложений къ идеямъ Гизо о европейской цивилизаціи, и первый періодъ мѣряютъ нормандскимъ футомъ, вѣсто русскаго аршина!... Боже мой, а какія эпохи, какія лица! Да ихъ стало бы нѣсколькимъ Шекспирамъ и Вальтеръ-Скоттамъ. Вотъ періодъ до Ярослава—это періодъ сказочный и полусказочный. Г. Вельтманъ первый намекнулъ, какъ должна пользоваться имъ фантазія поэта. Вотъ періодъ удѣловъ, періодъ, въ который великанъ-младенецъ, путемъ раздробленія, разбрасывался въ длину и ширину и захватывалъ себѣ побольше мѣста на Божьемъ свѣтѣ, чтобы было ему гдѣ развернуться и поразгуляться, когда прійдетъ его время....

Высота-ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота, океанъ-море!
Широко раздолье по всей землѣ.
Глубоки омуты днѣпровскіе!

Вотъ періодъ татарщины — этой внѣшней силы, которая

должна была сдвинуть Русь, спаять ее ея же кровію, пробудивъ въ ней чувство единовѣрія и единородности... А характеры?... Вотъ могучій Іоаннъ III, первый царь русскій, замыслившій идею единовластія и самодержавія, установившій придворный этикетъ, сокрушившій представителей издыхавшаго удѣльничества, и поставившій власть царскую наравнѣ съ волею Божіею... Вотъ Іоаннъ IV, этотъ Петръ I, не во время явившійся и грозно доканчивавшій идею своего великаго дѣла... Вотъ добрый Федоръ I, отшельникъ и постникъ на престолѣ... Вотъ хитрый, ловкій Годуновъ, жертва неудачной попытки попасть въ великіе... Вотъ удалецъ Димитрій... Вотъ Шуйскій, низкій на престолѣ, гордый въ паденіи... И чѣмъ дальше, тѣмъ жизнь кипитъ больше и больше, характеры толпятся — и наконецъ, много ли было у Петра дней, изъ которыхъ cadaго не хватило бы на романъ или драму?...

Г. Лажечниковъ, кажется, самъ чувствовалъ невыгоду своего положенія въ избранной для своего романа эпохѣ и потому герой его романа—Нѣмецъ. Не будемъ пересказывать содержанія, тѣмъ болѣе, что оно, мы увѣрены, всякому извѣстно. Дѣйствіе романа не только двоится—троится даже. Оно начинается съ темницы внука Іоанна, несчастнаго Димитрія, который къ роману нисколько не относится. Впрочемъ, это одна только глава. Потому дѣйствіе происходитъ въ Богеміи, оттуда идетъ въ Италію, чтобы снова возвратиться въ Богемію. Для сущности романа, оно тянется слишкомъ долго и медленно и вообще роману, кромѣ обширности, ничего не придаетъ. Герой романа—лицо совершенно безцвѣтное, безхарактерное. Авторъ говоритъ намъ, что Антонъ Эренштейнъ любилъ науку, былъ прекрасенъ, храбръ, уменъ, великодушенъ, но сами мы ничего этого не видимъ и вѣримъ автору на слово. Онъ влюбляется въ Анастасію, дочь боярина Образца, а она влюбляется въ него, и любовь эта возбуждаетъ въ читателѣ слишкомъ слабое участіе. Если хотите, она описана очень, даже слишкомъ подробно, но въ этомъ

описаніи нѣтъ этихъ рѣзкихъ типическихъ чертъ, которыя, повидимому, ничего не показывая, все даютъ видѣть, и еще такъ, что посмотрѣвши на нихъ разъ, никогда не забудешь. Конечно, тутъ есть черты, очень вѣрно схваченныя. Напримѣръ: влюбленная Анастасія думаетъ, что басурманъ сглазилъ, околдовалъ ее, и рѣшается идти къ нему просить его, чтобы онъ спалился надъ нею — отворожилъ ее отъ себя. Черта прекрасная — безспорно; но вѣдь это черта народная, общая, а въ поэзіи требуется, чтобы общія народныя черты проявлялись въ частныхъ лицахъ, индивидуумахъ, а не были привязаны, или, лучше сказать, навязаны какимъ-то именемъ безъ лица. Вообще, надо признаться, что всѣ почти лица въ новомъ романѣ г. Лажечникова какъ-то безцвѣтны, такъ, что самыя лучшія изъ нихъ — слышутъ, а не портреты. Знаменитый Аристотель Фіораванте, архитекторъ, размышля, дитейщикъ и каменщикъ Іоанна III, говоритъ, какъ художникъ; но ему какъ-то не вѣрится, въ его словахъ видишь самого автора, а не лицо романа. Сынъ его, Андрюша, что-то такое, чего невозможно ни пообразить себѣ при чтеніи, ни вспомнить послѣ чтенія романа. Если хотите, каждое изъ этихъ лицъ не противорѣчитъ самому себѣ, т. е. говоритъ одно и то же, въ словахъ не путается, да только все и ограничивается у нихъ одними словами. Изъ лицъ лучшіе — бояринъ Образецъ и сынъ его, Хабаръ, особенно первый, съ его патріархальностію, чистою жизнію и ненавистію къ Нѣмцамъ. Очень удачно обрисованъ еще бояринъ Русалка.

Самая лучшая сторона въ романѣ — историческая, а самое лучшее лицо — Іоаннъ III. Душа отдыхаетъ и оживаетъ, когда выходитъ на сцену этотъ могучій человѣкъ, съ его гениальною мыслию, его желѣзнымъ характеромъ, непреклонною волею, электрическимъ взоромъ, отъ котораго слабонервныя женщины падали въ обморокъ... Въ немъ мы снова увидѣли сильный талантъ г. Лажечникова. Онъ глубоко, вѣрно понялъ идею Іоанна и вѣрно очертилъ его характеръ.

Кромѣ того, описанія приѣма нѣсловъ, казней, политическихъ операций Іоанна, разныхъ русскихъ обычаевъ того времени, составляютъ одну изъ блестящихъ сторонъ новаго романа. Поэтическихъ мѣстъ много; интересъ вездѣ поддержанъ. Не понимаемъ, для чего авторъ опять повелъ своихъ читателей въ Богемію: романъ кончился въ Москвѣ...

Заключая нашъ разборъ увѣреніемъ, что новый романъ г. Лажечникова есть болѣе, нежели пріятный подарокъ для публики, обратимся къ предмету, чуждому поэзіи и самому прозаическому. Мы хотимъ сказать слова два о новомъ, необыкновенномъ и до чрезвычайности странномъ правописаніи автора «Басурмана». Положимъ, что окончаніе прилагательныхъ на «ова» и «ева», вмѣсто «аго», и «яго», и «его», имѣетъ свое основаніе, и даже, когда къ этому попривыкнуть, можетъ быть принято всѣми; что же касается до «можетбыть», «можетстаться», «какскоро» и тому подобныхъ—то мы не знаемъ, что и сказать объ этомъ. Будь это принято всѣми, тогда сбывается сказка о старухѣ, которая, замѣтивъ, что ея господа, поддунья, молодѣетъ отъ какого-то элексира, такъ несоразмѣрнохватила его, что сдѣлалась семилѣтнимъ ребенкомъ...

Съ нетерпѣніемъ ожидаемъ «Колдуна на Сухаревой башнѣ»: въ этомъ романѣ авторъ снова будетъ въ своей сферѣ, и напомнить намъ имъ «Новика» и «Ледяной Домъ». Кстати о напомниманіи: пользуемся случаемъ напомнить, отъ лица публики, даровитому автору, что за нимъ есть должокъ—и очень большой: на 74 стр. IV части «Ледяного Дома» онъ обѣщалъ разсказать исторію Линара и мужа Анны Леопольдовны, а на 75-й—про чудесную смерть С***вой и про сердце ея, выставленное въ церкви на золотомъ блюдѣ подъ стекляннымъ колпакомъ, и пр.

Не легко отказаться отъ такихъ обещаній, и кому же будетъ писать, если писатели съ такимъ талантомъ, какъ авторъ «Новика» и «Ледяного дома», будутъ оставаться только при обещаніяхъ!

БИБЛІОГРАФІЯ.

БАЛЪЯНЪ, *стихотворенія Александра Полежаева*.
Москва, 1838.

АРФА, *стихотворенія Александра Полежаева 1838*.

Объ эти книжки содержать въ себѣ послѣдніе, уже замирающіе, глухіе звуки и полужвуки нѣкогда звонкой и гармонической лиры. Полежаевъ прославился своимъ талантомъ, который рѣзко отделился своею силою и самобытиростью отъ толпы многихъ знаменитостей, повидимому, затѣмнявшихъ его собою; но, волнуемый пылкими необузданными страстями, онъ присовокупилъ къ своей поэтической славѣ другую славу, которая была проклятіемъ всей его жизни и причиною утраты таланта и ранней смерти... Миръ праху его... никто не смѣетъ изречь приговоръ ближнему... Миръ праху твоему, поэтъ!...

Невольно взяли мы за «Стихотворенія Полежаева», изданныя въ 1832 году, и прочли ихъ. Въ созданіяхъ поэта — его духъ, его жизнь. Полежаевъ былъ рожденъ великимъ поэтомъ, но не былъ поэтомъ: его творенія — вопли души, терзающей самое себя, стонъ нестерпимой муки субъективнаго духа, а не пѣсни, не гимны, то веселыя и радостныя, то важныя и торжественныя, прекрасному бытію, объективно созерцаемому. Истинный поэтъ не есть ни горлица, тоскливо воркующая грустную пѣснь любви, ни кукушка, надрывающая душу однообразнымъ стономъ скорби, но свучный, гармоническій разнообразный соловей, поющій пѣснь природы... Созданія истиннаго поэта суть гимны Богу, прославленіе его великаго творенія... Въ царствѣ Божіемъ нѣтъ плача и скре-

жета зубовъ — въ немъ одна просвѣтленная радость, свѣтлое ликованіе, и самая печаль въ немъ есть только грустная радость... Поэтъ есть гражданинъ этого безконечнаго и святаго царства: ему Богъ далъ плодотворную силу любви проникать въ таинства «полнаго славы творенья», и потому онъ долженъ быть его органомъ... Вопли разстерзаннаго духа, сосредоточеніе въ скорбяхъ и противорѣчіяхъ земной жизни, доказываютъ пребываніе на землѣ и только тщетное порываніе къ свѣтлому, голубому небу — подножію престола Вездѣсущаго... Вотъ почему мы не оставляемъ имени поэта за Полежаевымъ, и думаемъ, что его пѣсни, нашедшія отзвѣвъ въ современникахъ, не перейдутъ въ потомство. Плачевныхъ и скорбящихъ поэтовъ великій поэтъ Гёте характеризовалъ эпитетомъ лазаретныхъ, и этимъ вполне опредѣлилъ ихъ отрицательное значеніе въ области искусства...

И однакожь, природа одарила Полежаева могучимъ талантомъ: только этому таланту не суждено было развернуться и расцвѣсть пышнымъ цвѣтомъ. Жизнь сдѣлала его субъективнымъ, а субъективность — смерть поэзіи, и ея произведенія — поэтический пустоцвѣтъ, который тѣшатъ взоръ минутнымъ блескомъ и запахомъ, а плода не приносятъ. Почему было такъ, а не иначе, почему поэту не суждено было прозрѣть, и въ безконечномъ чувствѣ безконечной любви найти разрѣшеніе и примиреніе противорѣчій бытія?... На это одинъ отвѣтъ — да будетъ благословенна воля Провидѣнія!...

Съ содраганіемъ сердца читаешь эту страшную исповѣдь жизни въ стихахъ: «О для чего судьба меня сгубила»; но это ужасное признаніе могло быть навѣяно минутою отчаянія; — тихо и скорбно высказываетъ онъ сознаніе своего паденія въ стихотвореніи «Вечерняя Заря». Это грустное убѣжденіе въ необходимости и неизбежности своего паденія безъ надежды на возстаніе, съ неменьшею силою выразилось и въ прекрасныхъ стихахъ — «Ахъ, кто мечтѣ высокой вѣрилъ».

Характеръ мрачнаго отчаянія и тяжелой скорби лежитъ на большей части сочиненій Полежаева, но съ его лиры сплывались и торжественные звуки примиренія и гармоническіе акорды явленій жизни. Кому неизвѣстно его стихотвореніе «Провидѣніе», въ которомъ, послѣ ужасовъ паденія, онъ такъ торжественно воспѣлъ свое мгновенное возстаніе? Подобный же моментъ возстанія съ меньшею поэзіей выраженъ въ стихахъ—

О нѣтъ! свершилось!... жаръ мятежный
Остылъ на пасмурномъ челѣ: и т. д.

Кому неизвѣстно его стихотвореніе «Пѣнь плѣннаго Ирокезца»—это повѣстическое созданіе, достойное великаго поэта? Кому неизвѣстно его «Море», которое «измѣрилъ онъ жадными очами» и «предъ лицомъ котораго повѣрилъ онъ силы своего духа»? Кому неизвѣстенъ его «Вальтасаръ», переведенный изъ Байрона? Нѣкоторые пѣсни его также принадлежатъ къ перламъ его поэзіи. Но самое лучшее, можно сказать, гигантское созданіе его генія, вышедшее изъ души его въ свѣтлую минуту откровенія и мирового созерцанія, есть стихотвореніе «Грѣшница».

Съ перваго раза можетъ показаться страннымъ, что Полежаевъ, котораго главная мука и отравка жизни состояла въ сомнѣніи, съ жадностью переводилъ водяно-краснорѣчивыя лирическія поэмы Ламартина; но это очень понятно, если взглянуть на предметъ попристальнѣе. Крайности соприкасаются, и ничего нѣтъ естественнѣе, какъ переходъ изъ одной крайности въ другую... Кромѣ того, Полежаевъ явился въ такое время, когда стихотворное ораторство и риторическая шумиха часто смѣшивались съ поэзіей и творчествомъ. Этихъ объясняются его лирическія произведенія, написанныя на случаи, его «Коріоланъ» и другія пѣсы въ этомъ родѣ. Недостатокъ въ развитіи заставилъ его писать въ сатирическомъ родѣ, къ которому онъ нисколько не былъ способенъ. Его остроуміе тяжело и грубо. Недостатокъ же развитія, помѣшагъ

ему обратить вниманіе на форму, выработать себѣ послушный и гибкій стихъ. И потому, отличаясь часто энергическою сжатостію выраженія, онъ иногда выдается въ прозаическую растянutosть, и между прекрасными стихами вставляет стихи, отличающіеся странностію, изысканностію и неточностію выраженія.

Кто не идетъ впередъ, тотъ идетъ назадъ: стоячаго положенія нѣтъ. Второе собраніе стихотвореній Полежаева, изданное въ 1833 году подъ титуломъ «Кальянъ», было несравненно ниже перваго. Даже лучшія піесы—пополамъ съ риторическою водою. Только одна «Цыганка» блещетъ яркимъ цвѣтомъ художественной формы. Сколько игры, переливовъ поэтическаго блеска и въ стихотвореніи «Ахалукъ», не совсѣмъ, впрочемъ, выдержанномъ! Только этими двумя стихотвореніями «Кальянъ» напоянулъ о прежнемъ Полежаевѣ: остальное все или прѣсная вода, или вино пополамъ съ прѣсною водою. Теперь «Кальянъ» изданъ во второй разъ, въ 16-ю долю листа, на сѣрой бумагѣ, неуклюжими и слишкомъ крупными для формата буквами, съ ужаснѣйшими опечатками и грамматическими ошибками, и наконецъ, съ дурновылитографированнымъ портретомъ автора.

Въ «Арфѣ» заключаются послѣдніе стихи Полежаева, еще болѣе свидѣтельствующіе о постепенномъ замираніи его таланта. Только въ стихотвореніи «Грусть», извѣстномъ читателямъ нашего журнала, видѣнъ прежній Полежаевъ, съ его бойкимъ разгульнымъ стихомъ и неизмѣнною грустью... Въ піесѣ «Черные глаза», которой половина тоже напечатана въ «Наблюдателѣ», искры поэзіи сверкаютъ сквозь массу грубой руды; вторая половина ея—голая риторика. Въ «Коріоланѣ», поэмѣ, заключающей въ себѣ болѣе трехъ-сотъ стиховъ, не наберется и десяти поэтическихъ стиховъ. Изъ уваженія къ памяти поэта, издателямъ не слѣдовало бы помѣщать такихъ піесъ, какъ «Авторъ и Читатель»—піеса, исполненная грубаго и тупого остроумія. Замѣчательно въ «Арфѣ» стихо-

твореніе «Баюшки - баю», невыдержанное, мѣстами дико-грубое, но мѣстами же и превосходное.

Изданіе «Арфы» ничѣмъ не лучше «Кальяна» — только бумага почище. Для каждой пѣсы заглавіе на особенномъ листѣ, пробылѣ ужасныя, словомъ — все, что нужно для плохого изданія. Тѣ же опечатки, грамматическія ошибки и тотъ же портретъ, что и при «Кальянѣ» и съ тѣмъ же пошлымъ выраженіемъ въ лицѣ. И это красавецъ Полежаевъ!...

СОВРЕМЕННОСТЬ. *Томы одиннадцатый и двѣнадцатый*
Спб. 1838.

Это двѣ послѣднія книжки «Современника» за прошедшій годъ. Мы немного опоздали отчетомъ о нихъ, но это потому, что мы читали ихъ не торопясь, какъ читаемъ мы все, чтеніе чего доставляетъ намъ удовольствіе; кромѣ того, въ этихъ двухъ книжкахъ «Современника» такъ много хорошаго и занимательнаго, что всего скоро прочесть нельзя, и обо всемъ поговорить слегка и мимоходомъ тоже невозможно. По прежнему, «Современникъ» постоянно продолжаетъ быть интереснымъ журналомъ, достойнымъ славы своего основателя; по прежнему, онъ есть сборникъ оригинальныхъ статей, интересныхъ по содержанію и изложенію, и стихотвореній, между которыми бывають иногда и поэтическія, кромѣ посмертныхъ сочиненій Пушкина. Въ «Современникѣ» есть даже и критика, по большей части очень снисходительная, и библіографія, отличительный характеръ которой, въ противоположность всѣмъ нашимъ журналамъ, составляетъ мягкость, нѣжность, снисходительность и краткость. Тутъ выписываются заглавія всѣхъ новыхъ книгъ, но говорится только о нѣкоторыхъ; большею частію всѣ хваляются, а если инныя и осуждаются, то съ такою деликатностію, что нерѣдко самое порицаніе можно при-

нять за похвалу. Мягкость, по истинѣ, удивительная въ нашей жесткой журналистикѣ! И какъ жаль, что это прекрасное отдѣленіе «Современника» совсѣмъ не читается!

Поговоримъ о хорошемъ въ обиходъ книжкахъ. «Современника». Томъ XI начинается статью, очень интересною по изложенію и еще болѣе по содержанію: «Младенческіе пріюты въ Санктпетербургѣ». За этою статью слѣдуютъ «Очерки Швеціи», статья, не означенная никакимъ именемъ, неовымъ характеромъ, достоинствомъ своего содержанія и изложенія, невольно выдающая тайну имени своего автора. Она не кончена и остановилась, или, лучше сказать, прервалась на самомъ интересномъ мѣстѣ. Въ величайшему нашему, равно, какъ и всѣхъ читателей, неудовольствію, въ XII томѣ нѣтъ ея окончанія, ни продолженія. Отъ «Очерковъ Швеціи», пропуская критики и рецензіи, переходимъ къ статьѣ «Отрывокъ изъ исторіи американско-испанскихъ партизановъ», чтобы сказать, что мало встрѣчается въ русскихъ журналахъ статей, проникнутыхъ такою одушевленностью изложенія, картинностью слога, такимъ присутствіемъ мысли, такою свѣтлостью взгляда и такою живою занимательностью содержанія... Какъ жаль, что почтенный издатель ни строкою, ни словомъ не даетъ знать, изъ какого сочиненія это отрывокъ, и въ началѣ статьи г. Николай Новѣдомскаго не сдѣлалъ краткаго предисловія о ея содержаніи. Для незнакомыхъ съ дѣлами Южной-Америки, эта статья можетъ показаться темною и обиходною, именно потому, что она отрывокъ изъ середины сочиненія. «Путешествіе императрицы Екатерины II въ Крымъ», статья г-жи Ишиновой, соединяетъ въ себѣ историческую вѣрность содержанія съ романтическою прелестью изложенія.

XII томъ «Современника» начинается статью «Путешествіе В. А. Жуковскаго по Россіи». «Очерки Испаніи» — маленькая, но живая и интересная статейка. «Старинныя русскія странности. Отрывки біографіи ***». Эта статейка такъ страшно помѣщена, что вы непременно пропустите ее безъ

вниманія, если не замѣтите имени, выставленнаго подъ нею— Александръ Пушкинъ. Но когда вы прочтете ее, вами овладѣтъ горькое чувство: вы бы съ наслажденіемъ прочли или, вѣрнѣе сказать, проглотили бы и романъ въ 10 частейъ, написанный такъ, а между тѣмъ должны удовольствоваться двумя страничками. Увы! грустное чувство возбуждаютъ эти двѣ странички: сколько было начато имъ!... Его гений только сталъ развертываться во всей силѣ, во всей своей настоятельной дѣятельности.... Что бы мы прочли, чтѣмъ бы мы владѣли!

Возвращаемся снова къ XI тому. Послѣ изчисленныхъ нами статей, въ немъ помѣщена «Маруся»; повѣсть Гриція Основьяненка, съ малороссійскаго нарѣчія переведенная (и переведенная прекрасно) на русскій языкъ. Мы не въ состояніи выразить того наслажденія, съ какимъ прочли ее. Общій восторгъ публики, единодушныя похвалы всѣхъ журналовъ, вполнѣ оправдываютъ впечатлѣніе, которое произвела на насъ эта чудная повѣсть. Но всему должно давать настоящую оцѣнку, сужденіе о предметѣ должно браться изъ самаго судимаго предмета, а не придаваться ему личнымъ вкусомъ и субъективностію судящаго. Похвала, хотя сколько-нибудь превышающая истинное достоинство произведенія, не возвышаетъ, а унижаетъ его, и вообще преувеличенныя похвалы, послѣ, когда пройдетъ восторгъ, нерѣдко становятся причиною столь же, или еще и болѣе несправедливыхъ и незаслуженныхъ порицаній. Признаемся, мы видимъ въ «Марусѣ» не художественное, а только поэтическое произведеніе, разумѣя подъ словомъ «поэтическое» все проникнутое душою, согрѣтое чувствомъ. Наумъ Дротъ, Маруся, Василь — что такое всѣ эти лица?—это типы Малороссійянъ образцовыхъ, цвѣтъ національной жизни народа. Что такое типъ въ творчествѣ?—человѣкъ-люди, лицо-лица, то есть такое изображеніе человѣка, которое замыкаетъ въ себѣ множество, цѣлый отрядъ людей, выражающихъ ту же самую идею. Объ-

яснимъ примѣромъ нашу мысль. Что такое Отелло?—Человѣкъ великій духомъ, но съ страстями необузданными образованіемъ, неоухотворенными мыслію до степени чувства, и потому ревнивецъ, задушающій жену своею по одному подозрѣнію въ невѣрности съ ея стороны. Отелло есть тигръ, есть представитель цѣлаго рода, цѣлаго отдѣла, разряда такихъ ревнивцевъ. Отеллы были всегда и могутъ быть теперь, хотя и въ другихъ формахъ; нынѣшніе не станутъ душить жены или любовницы, а скорѣе задушатся сами. Возьмемъ примѣръ изъ другого міра. Вы знакомы съ майоромъ Ковалевымъ?—Отчего онъ такъ заинтересовалъ васъ, отчего такъ смѣшите онъ васъ несбыточнымъ примѣщеніемъ съ своимъ злополучнымъ носомъ?—Оттого, что онъ есть не майоръ Ковалевъ, а майоры Ковалевы, такъ-что, послѣ знакомства съ нимъ, хотя бы вы варазъ встрѣтили цѣлую сотню Ковалевыхъ,—тотчасъ узнаете ихъ, отличите среди тысячъ. Типизмъ есть одинъ изъ основныхъ законовъ творчества, и безъ него нѣтъ творчества. Слѣдовательно, Наумъ, Маруся и Василь — типическія лица, а если такъ—то и художественныя?... Такъ, но не совсѣмъ. Въ творествѣ есть еще законъ: надобно, чтобы лицо, будучи выраженіемъ цѣлаго особаго міра лицъ, было въ то же время и одно лицо, цѣлое, индивидуальное. Только при этомъ условіи, только чрезъ примиреніе этихъ противоположностей, и можетъ оно быть типическимъ лицомъ, въ томъ смыслѣ, въ какомъ называли мы типическими лицами Отелло и майора Ковалева. А этого-то колорита личности и индивидуальной особенности и недостаетъ Науму, Марусѣ и Василію. Первый изъ нихъ есть идеалъ Малороссіянина, простого мужика, который простымъ религіознымъ чувствомъ возвысился до рѣшенія важнѣйшихъ задачъ жизни и до проявленія въ себѣ, своею жизнью, человека и христіанина, и притомъ Малороссіянина, потому-что, будучи Русскимъ, онъ, не измѣняясь въ своей идеѣ, измѣнился бы въ формахъ. Что Наумъ какъ мужъ и отецъ, то Василь какъ молодой чело-

вѣкъ, и то самое Маруся какъ молодая дѣвушка. Въ этомъ отношеніи они выполняютъ всѣ требованія искусства; но имъ недостаетъ чертъ индивидуальности; передъ вами рисуются силуэты, очерки, а не портреты; бюсты, а не живыя лица. Поэтому-то повѣсть кажется вамъ растянутою, хотя, еслибы самъ авторъ далъ вамъ право исключать изъ его повѣсти все, что кажется вамъ лишнимъ,—вы не нанали бы строки, которую бы можно было исключить. Художественность въ томъ и состоитъ, что одною чертою, однимъ словомъ, живо и полно представляетъ то, чего, безъ нея, никогда не выразишь и въ десяти томахъ. Отъ этой причины и происходитъ чрезвычайная плодovitость и многословіе всѣхъ произведеній, не запечатлѣнныхъ печатію художественности. Художникъ же, напротивъ, не нуждается въ многословіи: ему достаточно черты, слова, чтобы выразить мысль, на одно изъясненіе которой иногда нуженъ цѣлый томъ. Помните ли вы, какъ майоръ Ковалевъ ѣхалъ на извозникѣ въ газетную экспедицію и, не переставая тузить его кулакомъ въ спину, приговаривалъ: «Скорѣй, подлецъ! скорѣй, мошенникъ!» И помните ли вы короткій отвѣтъ и возраженіе извозника на эти понуканія—«Эхъ, баринъ!»—слова, которыя приговаривалъ онъ, потряхивая головой и стегая вожжей свою лошадь?... Этими понуканіями и этими двумя словами «Эхъ, баринъ!» вполне выражены отношенія извозниковъ къ майорамъ Ковалевымъ. Потомъ, помните ли вы еще сцену въ газетной экспедиціи?—Лакей съ галунами и наружностію, показавшею пребываніе его въ аристократическомъ домѣ, стоялъ возлѣ стола съ запискою въ рукахъ, и почелъ за нужное показать свою общительность: «Повѣрите ли, сударь, что собаченка не стѣдитъ восьми гривенъ, то есть, я не далъ бы за нее и восьми грошей; а графиня любитъ, ей Богу, любитъ;—и вотъ тому, кто ее отыщетъ, сто рублей! Если сказать по приличію, то вотъ такъ, какъ мы теперь съ вами, вкусы людей совсѣмъ несовмѣстны: ужъ когда охотникъ,

то держи лягавую собаку, или пуделя; не пожалѣй пяти-
сотъ, тысячу дай, но зато ужъ чтобъ была собака хо-
рошанъ».

Въ этихъ немногихъ словахъ характеризуемо цѣлое сосло-
віе, весь лакейскій людъ, съ его образомъ мыслей и его обра-
зомъ выраженія; и кромѣ этого, въ этихъ немногихъ словахъ,
выражено одно лицо, которое, будучи похоже на множество
лицъ этого разряда, въ то же время похоже только на самого
себя, и больше ни на кого. Много могли бы мы привести
здѣсь въ примѣръ такихъ типическихъ чертъ и очерковъ, но это
слишкомъ далеко завлекло бы насъ и отдалило бы отъ пред-
мета. И потому скажемъ, что въ Наумѣ, Марусѣ и Васи-
лѣ не видимъ мы этихъ типическихъ рѣзкихъ чертъ и индивиду-
альныхъ особенностей, и потому не видимъ въ ихъ обрисовкѣ
художественнаго выполненія. Своими соотношеніями они об-
разуютъ не драму дѣйствительности, а оперу-лирику, гдѣ,
пользуясь положеніемъ, высказываютъ довольно поэтически,
если не художественно, все чтò можно почувствовать въ по-
добномъ положеніи. Въ этомъ отношеніи — какая великая
разница повѣсти Гоголя!... Впрочемъ, эти мысли не всѣмъ и
не для всѣхъ понятны — особенно для людей, которые, по при-
чинѣ неподвижнаго сидѣнія на синтезѣ и анализѣ, недовольны
любезностію казаковъ Гоголя...

Кромѣ Наума, Маруса, Василя и Насти, въ повѣсти «Ма-
руся» есть еще герой — и герой первый, который важнѣе и
Наума, и Василя, и Насти, и самой Маруси: это — Малорос-
сія, съ ея поэтической природою, съ ея поэтической жизнію
простого народа, съ ея поэтическими обычаями. Этотъ-то ге-
рой и составляетъ всю заманчивость, всю поэтическую пре-
лесть повѣсти. Авторъ, въ лицахъ этой повѣсти, передалъ из-
вѣстныя черты этого героя, не какъ художникъ, а какъ опи-
сатель и человѣкъ глубоко-чувствующій. Поэтому, каждая
страница, каждое слово его проникнуто, согрѣто чувствомъ.
Кромѣ того, рассказъ его отличается народнымъ малороссій-

скимъ простодушіемъ, которое очень удачно передано переводчикомъ. Бытъ сельскихъ жителей, ихъ нравы, обычаи, поэзія ихъ жизни, ихъ любовь—все это изображено такъ, что стоило бы болѣе подробнаго разсмотрѣнія. Взглядъ автора на человѣческое сердце очень простъ, даже простоватъ; но это простота наивная, притворная—сквозь нея проглядываетъ глубина и могущество мысли... Издатель «Современника» оказалъ своимъ читателямъ неоцѣненную услугу, давши имъ возможность насладиться этою прекрасною повѣстью, которая была имъ недоступна, по причинѣ нарѣчія, на которомъ написана своимъ авторомъ.

Обратимся снова къ XII тому. «Отрывки изъ Жанъ-Поля», прекрасно переведенные г. Бедкимъ, составляютъ живую и интересную статью. Они даютъ полное понятіе объ этомъ уродливомъ, дикомъ гениі Германіи, который, въ своихъ поэтическихъ созерцаніяхъ, то возвышался до вѣчныхъ звѣздъ поэзіи, то впадалъ въ изысканность и совершенное безмысліе, если не въ безмысліе. Статья г. Даля «Объ Омеопатіи» какъ-то странно попала подъ одну нумерацію съ поэтическими мыслями Жанъ-Поля. Впрочемъ, это нисколько не мѣшаетъ ей быть въ высшей степени интересною статью и по содержанию, и по изложенію. Статья «О греческой эпиграммѣ» имѣетъ ученое и литературное достоинство. Повѣстями XII томъ не блистателенъ. Тутъ помѣщена «Мачиха и Паниночка» г. Гребенки, которая... но—виноваты!—мы обѣщали говорить только о хорошемъ...

Теперь о стихотвореніяхъ.

Въ XI томѣ помѣщена цѣлая поэма «Казначейша». Стихъ бойкій, гладкій, рассказъ веселый, остроумный—поэма читается съ удовольствіемъ. Потомъ замѣтно, теплотою чувства, стихотвореніе «Освободительница», подписанное буквою Г.—«Новыя строфы изъ Евгенія Онѣгина» интересны, какъ все, вышедшее изъ-подъ пера Пушкина. «Опричникъ», отрывокъ, должно быть, изъ большаго сочиненія, служить по-

вымъ доказательствомъ, какъ много чудныхъ надеждъ унесъ Пушкинъ въ свою безвременную могилу...

И для насъ

Потомъ животирацій глазь!

«Великое Слово», дума г. Кольцова заключаетъ собою XI томъ «Современника». Эта дума, по глубокой мысли, по возвышенности выраженія, принадлежитъ къ роскошнѣйшимъ перламъ русской поэзіи.

Отдѣленіе стихотвореній въ XII томѣ тоже начинается поэмою. Это поэма г. Ершова—«Сузге»; къ содержанію ея подало поводъ событіе завоеванія Сибири Ермакомъ. Стихъ бойкій, плавный, — мѣстами гармоническій и поэтический, составляетъ достоинство поэмы, а отсутствіе сжатости и силы—ея недостатокъ. Еслибы г. Ершовъ, написавши свою поэму, отложилъ ее въ сторону, и потомъ въ минуты вдохновенія, дѣлалъ бы поправки, замѣняя десять стиховъ—двумя, четырьмя,—тогда его поэма была бы прекраснымъ поэтическимъ цвѣткомъ на пустынномъ и мертвомъ полѣ современной русской поэзіи. «Къ равнодушной», стихотвореніе гр—ни Ев. Р—ной, замѣчательно болѣе по мысли, нежели по художественной отдѣлкѣ. «Новыя строфы изъ Евгенія Онѣгина» —къ чему похвала и восклицанія.—Читайте сами. Послѣ прекраснаго стихотворенія г. Кольцова «Къ Милой», перепечатаннаго «Современникомъ» изъ 2 № «Московского Наблюдателя» за прошлый годъ, — можно еще упомянуть о стихотвореніи «Къ Венерѣ Медицейской».

СТРАННЫЙ ВАЛЪ, *повѣсть изъ разсказовъ на станціи, и восемь стихотвореній. Соч. В. Олима. Спб. 1838.*

Г. Олимпъ написалъ фантастическій романъ, подъ названіемъ «Разсказы на станціи», и до напечатанія его, рѣшился

отдѣльно издать изъ него отрывокъ, составляющій одну изъ его четырехъ частей. «Странный балъ» есть этотъ отрывокъ, судя по величинѣ котораго, можно заключить, съ достовѣрностію, что весь романъ будетъ величиною съ повѣсть для книжки журнала; а достоинствомъ не уступить многимъ оригинальнымъ повѣстямъ и въ журналахъ помѣщаемыхъ и отдѣльно издаваемыхъ. И такъ, въ добрый часъ, г. Олинъ! Не вы первые, не вы и послѣдніе! Благія предпріятія всегда будутъ имѣть своихъ дѣятелей. Намъ странно только то, что вы относите свою повѣсть къ роду фосфорическихъ повѣстей Гофмана и Вашингтона-Ирвинга. Вопервыхъ, по нашему мнѣнію, оба эти писатели ничего общаго между собою не имѣютъ, и совсѣмъ не слѣдуетъ Вашингтона-Ирвинга, талантливаго рассказчика, ставить на одну доску съ Гофманомъ, великимъ, гениальнымъ художникомъ; вѣдь въ фосфорическихъ повѣстяхъ Гофмана заключается не одинъ только фосфоръ, черти и привидѣнія, но еще и мысль, которая даетъ эту волшебную, обаятельную силу надъ духомъ человѣка; въ третьихъ, мы никакъ не можемъ понять, что за отношеніе между фосфорическими повѣстями Гофмана и фосфорическою повѣстью г. Олина.... Намъ вѣстается; что мысль и талантъ уничтожаютъ рѣшительно всякое соотношеніе между ними... Ошибка большая со стороны г. Олина—издать отрывокъ изъ романа прежде всего романа: отрывокъ-то, положимъ, что прочтутъ — зато романъ-то останется безъ читателей... Потомъ: что за безпрестанные эти толки о романтизмѣ, нагъ поэзіи кладбищъ, чертей, вѣдьмъ, колдуновъ и привидѣній? Только въ двадцатыхъ годахъ понимали такъ романтизмъ, въ то блаженное время, когда еще всѣ журналы и альманахи украшались стихотвореніями г. Олина, и когда появилась его трагедія «Корсаръ», сдѣланная изъ поэмы Байрона, произведеніе великое, но теперь совершенно забытое...

Но мы отвлеклись отъ предмета и забыли о «Странномъ Балѣ» г. Олина. Что же это за балъ такой? — А вотъ ви-

дите ли, — одному генералу сгрустнулось дома отъ бездѣйствія и стошнилось отъ неушѣреннаго куренія табаку — и онъ пошелъ прогуляться по улицѣ. Дѣло было въ Петербургѣ и ночью. Въ прогулкѣ этой попался ему знакомый, Вельскій-чертъ. Тѣмъ и семь заманилъ онъ генерала на балъ; на этомъ балѣ такъ много красавицъ, что старый генералъ разнѣжился и пустился плясать. Странно ему показалось, что у всѣхъ красавицъ ножки гусиныйя и козьи, а у мужчинъ рожки на лбахъ; да такъ-какъ тутъ были и маскарадъ, то Вельскій-чертъ и легко разсѣялъ безпокойство генерала. После танцевъ стали играть въ фанты. Генералу, по вынужденію фанту, присудили прыгнуть съ коммоды. Взобрался на него генералъ, а прыгнуть боится — нехъ ли въ всѣ шутять — онъ творить молитву, ограждаетъ себя крестнымъ знаменіемъ — и ни гостей, ни великолѣпно-освѣщенной залы какъ не бывало; а самъ онъ, вмѣсто коммоды, стоитъ на лѣсахъ строящагося дома на четвертомъ этажѣ. Эту дивную повѣсть рассказывалъ г. Олину самъ генералъ, выздоровѣвши отъ бѣлой горячки.

И это фантастическое, гофманическое? Если такъ, то фантастическій родъ самый легкій, и ничего нѣтъ легче, какъ сдѣлаться Гофманомъ: стоитъ только дурнымъ слогомъ пересказать въ тысячу-первый разъ какую-нибудь ходячую простонародную нелѣпость...

Нѣтъ, господа, фантастическое совсѣмъ не это. Оно есть одинъ изъ самыхъ важныхъ и самыхъ глубочайшихъ элементовъ человѣческаго духа; мысль великая мерцаетъ въ таинственномъ сумракѣ царства фантастическаго... Но мы забылись — заговорили о мысли: къ чему это и зачѣмъ это?...

Какъ бы предчувствуя, что «Странный Балъ» не удовлетворитъ читателей, г. Олинъ, чтобы вознаградить ихъ хоть сколько-нибудь, приложилъ къ нему восемь стихотвореній своей работы. Въ одномъ изъ нихъ, несмотря на его нехудожественную обработку, есть теплота, чувство. Оно называется

«Монха» и похоже на отрывокъ изъ какого-нибудь драматическаго произведенія. — Мы вездѣ ищемъ хорошаго; и, найдя его, съ радостію указываемъ на него другимъ. Жалѣемъ, что не можемъ оказать того же объ остальныхъ семи стихотвореніяхъ г. Олнна. Да и можетъ ли быть у г. Олнна много хорошихъ стихотвореній, когда онъ говоритъ о себѣ такъ:

Прошла пора очарованій
Пора безумства и надеждъ;
Погасъ въ груди огонь желаній,
Доблю дичтожность и невѣдь!

Въ такомъ состояніи духа не много напоминаешь хорошаго.

**СЕРДЦЕ ЧЕЛОВѢЧЕСКОЕ ЕСТЬ ИЛИ ХРАМЪ ВО-
ЖЕЙ, ИЛИ ЖИЛИЩЕ САТАНЫ.** *Представлено,
для удобнѣйшаго понятія, въ десяти фигурахъ, для
поощренія и способствованія къ христіанскому жи-
тію. Спб. 1838.*

Основаніе христіанскаго ученія есть любовь, или то живое, трепетное проникновеніе въ вѣчныя истины бытія, какъ явленія духа Божія, которое наполняетъ душу человѣка неограниченнымъ, безконечнымъ блаженствомъ. Но до такого духовнаго погруженія въ таинственную сущность источника и виновника бытія—Бога, до такого живого и трепетнаго проникновенія въ вѣчныя истины бытія, невозможно дойти чрезъ посредство слабаго, ограниченаго и конечнаго разсудка человѣческаго, который, куда ни оглянется — вездѣ видитъ одни противорѣчія, и, безсильный примирить ихъ—или отчаявается познать истину, или принимаетъ за истину свои призрачныя, ложныя заключенія. Нѣтъ, не разсудкомъ, холоднымъ и ограниченнымъ, дается познаніе евангельской истины, выше которой нѣтъ истины въ мірѣ, но благодатію, которою вдохновляетъ Духъ Божій свое слабое созданіе, чтобы при-

общить его къ своей вѣчной жизни и сдѣлать его органомъ и тимпаномъ своей славы... Да, только тотъ постигалъ и чувствовалъ въ себѣ откровеніе вѣчныхъ тайнъ бытія, только тотъ вкушалъ отъ безсмертнаго хлѣба божественной истины, кто отрекался отъ самого себя, отъ своихъ личныхъ интересовъ, кто погружался въ сущность Божества до уничтоженія своей личности, и свою личность, какъ жертву, добровольно приносилъ Богу... Только тотъ воскреснетъ въ Богѣ, кто умеръ въ Немъ... Вѣчная жизнь достигается путемъ смерти, путемъ уничтоженія... А благодать дается только тому, кто, смиривъ порывы буйнаго разсудка и съ корнемъ вырвавъ изъ сердца своего сѣмена гордости и самообольщенія, билъ себя въ грудь и повторялъ съ мытаремъ: «Грѣшныи, Господи, отпусти мнѣ грѣхи мои!» Да, только тотъ прозрѣетъ и просвѣтлѣетъ, и возблаженствуетъ въ трепетномъ сознаніи истины всѣхъ истинъ, кто, распростертый передъ Крестомъ въ таинственный часъ полуночи, молясь, плача и рыдая, взывалъ къ невидимому Свидѣтелю нашихъ тайныхъ помышлений: «Вѣрую, Господи, помози моему не-вѣрію!».. И тогда кончится брань духа съ плотію, кончится борьба истины со страстями, просвѣтлѣетъ страдальческое лицо избранника кроткимъ свѣтомъ тихой и безмятежной радости, той свѣтлой радости, которая питаетъ не пресыщая, крѣпитъ не обременяя, той безконечной радости, отъ которой кротко движется духъ, не волнуясь мятельно, видитъ даль безъ границъ, глубину безъ дна — и не возмущается страхомъ; въ сердцѣ своемъ ощутитъ онъ ту безмятежную тишину, въ которой слышатся отдаленные хоры ангеловъ, тотъ священный сумракъ, сивозъ который сіяетъ зоря безсмертія и тусклымъ, таинственнымъ мерцаніемъ своимъ сулитъ вѣчное успокоеніе, потому что его сердце сдѣлается уже храмомъ Божиимъ, гдѣ величіе размѣровъ и благолѣпіе украшеній возвышаетъ и окрѣпляетъ духъ, а не подавляетъ его, гдѣ тишина не пугаетъ духа своимъ мертвымъ безмол-

віємъ, а настраиваетъ его къ торжественности и благоговѣнію, какъ провозвѣстница таинственнаго присутствія Бездѣснаго.... И укрѣпитъ Богъ слабое твореніе свое и не будетъ въ немъ больше страха: любовь побѣдитъ и изгонитъ страхъ... И кончатся его ежедневныя заботы, и опасенія за свой грядущій день, за свое настоящее и будущее счастье, за свои личные и конечные интересы: пусть будетъ мрачно небо надъ его головою, пусть бушуютъ вѣтры и раздаются громы — они не заглушаютъ для него голоса Бога, не прервутъ его собесѣдованія съ нимъ въ молитвѣ—онъ никогда не забудетъ, что онъ сынъ Бога живаго, что у него есть Отецъ, который хранитъ его своею любовію и безъ воли котораго не спадаетъ и волосъ съ головы его,—а такъ-какъ эта воля свята и справедлива, то съ любовію и безъ страха, онъ подвергнется всѣмъ ея опредѣленіямъ... Не устраситъ его и мысль о смерти: не отвратительный скелетъ уничтоженія, а свѣтлаго ангела успокоенія увидитъ онъ въ ней... Не возмутится душа его и потерю кровныхъ и ближнихъ; разлука съ ними будетъ для него залогомъ свиданія въ новомъ, лучшемъ бытіи, на новой землѣ и подъ новымъ небомъ... Въ колыбеляхъ и могилахъ будутъ видѣться ему волны великаго океана бытія: волна гонитъ волну, волна смѣняетъ волну — волны проходятъ и исчезаютъ, а океанъ все также великъ и глубокъ, и также живетъ и движется на своемъ бездонномъ, необъятномъ ложѣ,— а въ его кристалѣ все также торжественно отражается лугезарное солнце, и все также колышется и трепещетъ ночное небо, усыпанное мириадами звѣздъ,—а тѣ звѣзды своимъ таинственнымъ блескомъ какъ-будто говорятъ о новыхъ мірахъ, гдѣ также приходятъ и проходятъ волны бытія, можетъ-быть, уже прошедшія здѣсь...

Да, истинный христіанинъ есть тотъ, для кого на землѣ нѣтъ уже страданія, нѣтъ грѣха, нѣтъ страха, нѣтъ смерти; онъ еще здѣсь, на землѣ, живетъ уже въ небѣ, потому что въ его

духъ живетъ любовь и блаженство—ибо душа его есть храмъ Бога. Дается жизнь его, обремененная годами—онъ благодаритъ за нее Бога; смерть застигаетъ его на полудорогѣ жизни—онъ съ любовью бросается въ объятія тихаго ангела успокоенія, потому что онъ понимаетъ значеніе словъ: «Въ дому Отца моего обители много сущъ». Онъ знаетъ, потому что любить: ибо любовь есть высшее знаніе... Онъ знаетъ: цѣлый, яко голубь, онъ мудръ, яко змій, ибо за страданія, за жертву, за борьбу съ сомнѣніями рассудна, за вѣру, которая не оставляла его и среди сомнѣній—ему дана высшая мудрость, высшее знаніе. Истинно-вѣрующій есть въ то же время и знающій... Но—повторяемъ—это знаніе не принадлежитъ человѣку, не есть плодъ его человѣческой мудрости, но дается, ниспосылается ему свыше, какъ откровеніе, какъ благодать, какъ любовь. Отъ него зависитъ только неослабное стремленіе къ этому знанію, а это стремленіе выражается въ жертвахъ, въ борьбѣ, въ трудѣ, въ молитвѣ, въ отреченіи отъ себя для Бога, отъ благъ земныхъ для небесныхъ... Только тогда внутри его въ таинственномъ святилищѣ его духа, восходитъ свѣтлое солнце истины и лучами своими просвѣтляетъ свой темный, плотской горизонтъ, и даетъ человѣку сокровище, котораго ни червь не точитъ, ни ржа не ѣстъ, ни тать не похищаетъ...

Распространеніе евангельскихъ истинъ есть святая обязанность всякаго христіанина, возлагаемая на него убѣжденіемъ въ нихъ и любовью къ истинѣ; но не всякій долженъ принимать ее на себя, потому что для этого требуется духовное посвященіе, которое состоитъ въ глубокомъ промываніи въ евангельскія истины путемъ любви, откровенія и благодати, и еще въ способности передавать свои мысли съ жаромъ, убѣжденіемъ и силою. Кто возьмется за эту высокую миссію безъ этого внутренняго посвященія, тотъ высокія религіозныя истины обратитъ въ сухое правоузеніе—плодъ человѣческой мудрости, конечнаго человѣческаго разсудка. Самый высочай-

ший, самый истинный, единственный образец и примѣръ для этого есть Евангеліе; божественный Искупитель нашъ говорилъ фарисеямъ: «Горе вамъ, книжники и фарисеи», грозилъ заблудшимъ и ожесточеннымъ вѣчнымъ огнемъ и вѣчною смертію; но это было только одною стороною его ученія, необходимымъ средствомъ для потрясенія окаменѣлыхъ и ожесточенныхъ сердецъ, потому что, грозя адомъ, онъ указывалъ и на небо, говоря о наказаніи, говорилъ и о прощеніи и искупленіи, о вѣчномъ блаженствѣ, и говорилъ это словами, въ которыхъ вѣялъ духъ вѣчной, божественной любви, безконечнаго небеснаго блаженства. Поэтому-то всѣ проповѣди, всѣ объясненія христіанскихъ истинъ, не проникнутыя духомъ трепетной, животворной любви, никогда и никакого не производятъ дѣйствія. Сверхъ того, Евангеліе отличается еще и тѣмъ, что оно равно убѣдительно, равно ясно и понятно говорить всѣмъ сердцамъ, всѣмъ душамъ, всѣмъ умамъ, искренно жаждущимъ напитаться его истинами; его равно понимаетъ и царь, и нищій, и мудрецъ, и невѣжда. Да, каждый изъ нихъ пойметъ равно, потому что одинъ пойметъ больше, глубже, нежели другой, но всѣ они поймутъ одну и ту же истину, — и еще такъ, что мудрый, но гордый своею мудростію, пойметъ ее меньше, нежели простолюдинъ, въ простотѣ и смиреніи своего сердца, жаждущаго истины и по тому самому отзывающагося на нее...

Такія мысли возбудила въ насъ маленькая книжка, подъ названіемъ «Сердце человѣческое есть или храмъ Божій, или жилище сатаны». Книжка эта первоначально написана на французскомъ языкѣ, съ котораго переведена была на нѣмецкій, а съ него уже на русскій. Въ ней предлагается сухое изложеніе христіанскихъ истинъ, разсудочно, а не сердцемъ понятыхъ; для лучшаго же уразумѣнія приложено нѣсколько рисунковъ, а на тѣхъ рисункахъ сердца человѣческія, наполненныя діаволами и грѣхами, въ видѣ козловъ, змѣй и другихъ животныхъ. Непонимаемъ, къ чему все это. Евангеліе просто,

доступно для всякаго излагаетъ свои святія и высокія истины; къ чему же эти мистическіе и аллегорическіе рисунки?.. Только любовь родитъ любовь, и только любовь говоритъ сердцу языкомъ живымъ и понятнымъ. Хитросплетенія затемняютъ истину, сбивая съ толку бѣдный разумъ и охлаждая сердце. Нѣтъ, не такимъ образомъ проповѣдывала всегда и проповѣдуетъ теперь истины Евангелія наша православная церковь. Эта же книжка явно написана на французскомъ языкѣ...

ИСКУССТВО ВРАТЬ ВЗЯТКИ. *Восточная сказка. Соч.*

В. Серебрянникова. Москва, 1838.

ТРИ ВЕЗДЪЛКИ. *Соч. В. Серебрянникова. Москва. 1838.*

Добро и зло, по необходимости, такъ тѣсно перемѣшаны другъ съ другомъ, что одно необходимо предполагаетъ и условливаетъ другое, и оба вмѣстѣ образуютъ третье, единое и цѣлое, а взятыя каждое само по себѣ, представляютъ собою двѣ отвлеченныя противоположности. Такъ точно воздухъ состоитъ изъ кислорода и азота, изъ которыхъ первый убиваетъ человѣка своею доброкачественностью, а второй своею злокачественностію; но соединенные вмѣстѣ чудотворною и живительною силою природы, они взаимно модифицируютъ другъ друга и, теряясь другъ въ другъ, образуютъ воздухъ, безъ котораго не можетъ существовать ничто живое въ природѣ. Поэтому, гдѣ добро—тамъ и зло, и наоборотъ; поэтому же, всякій предметъ имѣетъ свою хорошую и свою дурную сторону. Сердцу человѣческому сродно желать одного добра и оскорбляться созерцаніемъ зла; долгъ человѣка есть—стремиться къ добру и бороться со зломъ: это желаніе, это стремленіе и эта борьба составляютъ механическій рычагъ, могущественный двигатель, часовую пружину жизни; но не должно забывать, что безъ зла не было бы движенія, а слѣдовательно

и жизни, и что надежда видѣть міръ совершенно освобожденнымъ отъ зла—есть мечта воображенія, мечта прекрасная, по ея источнику, но пустая и бесплодная, по ея сущности. Итакъ, вездѣ есть зло, вездѣ есть свои дурныя стороны. Петербургскіе журналы (особенно одинъ изъ нихъ) нападаютъ на Москву, за дурную сторону ея литературы—за плохія изданія, за множество вздорныхъ сочиненій, ежегодно появляющихся въ ней. Дѣйствительно; въ Москвѣ образовался особенный родъ литературы, особенный литературный міръ. Эта литература ходитъ во фризовой шинели, рѣдко брѣдетъ бороду, умывается и причесывается развѣ по торжественнымъ праздникамъ; печатается она въ типографіяхъ гг. Кузнецова, Смирнова и Кириллова; ея поприще и крутъ дѣйствія—толкучій рынокъ: тамъ процвѣтаютъ книжныя магазины ея Лавова и Мурраевъ; ея посредники—ходебщики; ея публика—сидѣльцы «авошныхъ» лавокъ и вообще люди, для которыхъ все печатное должно быть хорошо. Такъ, это правда; но развѣ этого нѣтъ въ Петербургѣ, конечно, въ петербургской формѣ? Вся разница въ бумагѣ и печати, и развѣ—и то не всегда—въ болѣе грамотности. По крайней мѣрѣ, мы беремся цифрами доказать, что разница не въ числѣ, а только въ лучшей бумагѣ и лучшихъ буквахъ. Но, во всякомъ случаѣ, зло всѣмъ не такъ велико, какъ думаютъ: стоитъ только взглянуть на предметъ съ другой стороны, чтобы въ злѣ увидѣть добро. Не всѣ же могутъ читать Вальтеръ-Скотта и Жюперы: есть люди, которымъ нужны и «Милордъ Англійскій», и «Гуакъ или необходимая вѣрность», и «Филатия» съ «Мирошками». Вѣдь имъ надо же что-нибудь читать, а кто читаетъ что-нибудь, уже гораздо выше того, кто ничего не читаетъ. Чтеніе должно быть по плечу чтецу, и въ чтеніи должна быть своя постепенность, свой ходъ, свое развитіе: иной отъ «Англійскаго Милорда» доходитъ до «Ивана Выжигина» и на немъ останавливается; а иной, начавъ «Гуакомъ или непоколебимою вѣрностію» и, перешедши чрезъ все многочисленное поколѣніе

«Выжигиныхъ», доходить до Вальтеръ-Скотта и Бунера. Но и тотъ, кто, начавши съ «Милордовъ» и «Гуаковъ», на нихъ и остановился — и тотъ, говорю я, уже далеко опередилъ того, кто ничего не читаетъ. Итакъ, пусть читаетъ во здравіе нашъ православный народъ, пусть съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе распространяется въ немъ жажда къ чтенію!... Что бы ни пробуждало и не питало эту жажду — все хорошо! Долгъ рецензента — показать, для какого класса читателей писана та или другая книга, а не бранить эти добренькія сѣренькія книжки, которыя распространяются по своему читающему міру не въ лппахъ и не черезъ почту, а въ мѣшкахъ и черезъ ходобшиговъ. Я, какъ рецензентъ, даже люблю эти сѣренькія книжки: читать ихъ не нужно, а писать о нихъ можно сколько угодно, и для этого нужно только взглянуть туда-сюда, чтобы для потѣхи, выписать какую-нибудь нурѣзность, или, придравшись къ какой-нибудь диковинкѣ, посмѣяться надъ добренькою сѣренькою книжкою... Вотъ другое дѣло — эти бездарные и многотомные романы, оиратно изданные, со смысловъ написанные, съ претензіями на талантъ! Тутъ уже рецензенту плохо: читай себѣ отъ доски до доски, чтобы вычитать какую-нибудь нелѣпость; а между тѣмъ все обстоятъ благополучно — нѣтъ ни отиѣнно глупаго, нѣтъ и ничего умнаго — вездѣ середка на половинѣ... Охъ, эта золотая середина!...

«Искусство брать взятки» и «Три Бездѣлки» г. Серебренникова не принадлежатъ, по счастію, къ золотой посредственности: это книги, въ своемъ родѣ образцовыя. Для доказательства, выпишемъ изъ одной изъ «Трехъ Бездѣлокъ» мѣсто прозою и стихами, съ строжайшимъ соблюденіемъ орфографіи почтеннѣйшаго г. В. Серебренникова:

Конечно вы знаете, что значить фантастическій часъ?... Это часъ явленія духовъ и привидѣній; часъ колдовства, часъ заклинаній; время разгула дожовыхъ и вѣдьмъ; словомъ, таинственная и мрачная полночь!... Говоря вообще, разумѣется, ни въ одной освѣщенной помѣщи, напол-

ненной народомъ, вы не увидите ни черноты, ни мрака полуночи, ни лѣтаго, ни зимы, ни вѣтра, ни дождя, ни холода, ни жары. Но если вы посвящены въ первыя три таинства кабалистики; то непременно замѣтите волшебное вліяніе фантастическаго часа тамъ, гдѣ балъ за деньги и балъ безъ денегъ... Но, сначала, кабалистикъ ли вы? Передъ обѣдомъ, вы пьете водку? За столомъ выпиваете три, четыре бокала Рейнвейну? За десертомъ можете осушить бутылку шампанскаго?.. Если такъ, то поздравляю васъ, вы, отличный кабалистикъ первыхъ трехъ степеней; еще шагъ,—и вы на четвертой! отъ васъ не скроется фантастическій часъ!.. Признавая васъ адептомъ Халдейской мудрости, я начну объяснять приступы чаръ полуночи, кабалистически: надѣюсь, что поймуть меня.—(Хоть и трудно, но не невозможно) Итакъ:

И чары крѣпкіе налегли!..

А Кома и Вахъ кричатъ: Вивать!

А Асмодей гримасы строить;

Упала въ креслы Галатея!

Рыдастъ громко Мельпомена,

Безумно Талія хохочетъ!..

И околѣло стало Терсикоръ,

Зефиръ улетъ съ нимфомъ вертятся, колеблется;

И вотъ обонье совершилось полуночи!...

Спѣшитъ раздоры, ссоры сѣять,

Вдали Меенстофель тесня, толкая нагло...

Забвенія объята простираетъ

А тамъ жортей, звѣвая во весь ротъ...

Напѣваетъ кубокъ ароматомъ,

Съ конфетною улыбкою на устахъ,

Тутъ Вахъ, увитый виноградомъ,

За нимъ укрылся Иппократъ...

И важно смотреть на желудки,

Здѣсь Кома и Момусъ жертвы просятъ.

И слушайте: пора домой! Домой пора!...

Онъ шепчетъ, «на гвоздь вниманія повѣсьте уши» и т. д.

Хороша проза, но стихи еще лучше: ихъ можно читать и съ начала до конца, и съ конца до начала—смыслъ будетъ совершенно все тотъ же... Но въ этомъ-то и состоитъ дарованіе поэта... Теперь вы знаете, что за авторъ г. В. Се-ребренниковъ и для какого класса читателей написалъ онъ «Искусство брать взятки» и «Три Бсадѣлки...»

ДѢЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ ВОРОНЕЖЪ.

Сочиненіе Ивана Раевича. Москва. 1838.

Слово «дѣйствительный» принимается въ двухъ значеніяхъ: какъ противоположность слову «воображаемый» и какъ противоположность слову «призрачный». Итакъ, «дѣйствительное» есть то, что есть въ самомъ дѣлѣ; «воображаемое» есть то, что живетъ въ одномъ воображеніи, а чего въ самомъ дѣлѣ нѣтъ; «призрачное» есть то, что только кажется чѣмъ-нибудь, но что совсѣмъ не то, чѣмъ кажется. Міръ «воображаемый» въ свою очередь раздѣляется на «дѣйствительный» и «призрачный». Міръ, созданный Гомеромъ, Шекспиромъ, Вальтеръ-Скоттомъ, Куперомъ, Гёте, Гофманомъ, Пушкинымъ, Гоголемъ, есть міръ «воображаемый-дѣйствительный», т. е. столько же не подверженный сомнѣнію, какъ и міръ природы и исторіи; но міръ, созданный Сумароковымъ, Дюкре-дю-Менилемъ, Радклифъ, Расиномъ, Корнелемъ, и пр. — есть міръ «воображаемый-призрачный». Потому-то онъ теперь и забытъ всѣмъ міромъ. Теперь намъ предстоитъ важный трудъ — рѣшить, къ которой изъ этихъ категорій принадлежитъ «дѣйствительное» путешествіе въ Воронежъ г. Раевича, который, въ посвященіи своей книжки г. Узанову откровенно признается, что онъ «еще не причисленъ къ великимъ людямъ, уже увѣнчаннымъ громкимъ титуломъ «литератора». Цѣль и предметъ путешествія, въ книжкѣ г. Раевича, занимаетъ какихъ-нибудь двѣ-три странички; вся же она занята описаніемъ событій, которыя совершились съ авторомъ на дорогѣ отъ Москвы до Воронежа. Впервыхъ, его встрѣтила въ Тульской губерніи ужасная буря въ то время, какъ почтенный авторъ «при очаровательномъ звукѣ переливныхъ тоновъ свирѣли, погружался въ сладостное чувство самозабвенія, и переносился въ нѣдро благословенной Аркадіи», и какъ «душа и сердце его таяли отъ восторга». —

Вдругъ заиграли вѣтры; небосклонъ началъ мрачиться; облака толпами понеслись по тверди; молніи забродили по горизонту съ сильнымъ трескомъ грома, и природа въ ужасѣ погружалась въ мертвое оцѣпеніе. Мрачныя тучи рыскали на черныхъ своихъ крылахъ; въ подлунной (ужъ будто бы во всей!) вопарилась гробовая мрачность; только молніи, извивистою змѣею разсѣвая тучи, освѣщали трепещущую природу. Буйные вѣтры, раскаты грома, зіяніе молніи, слившись въ смертоносную игру стихій, отражали грозный разговоръ неба съ землею перстью.

Вслѣдствіе такого случая, почтенный авторъ попалъ въ домъ одного тульского помѣщика.

Мѣсто, гдѣ возвышалась мыза П.... И.... Г....аго, было подъ особеннымъ покровительствомъ природы; домъ его, какъ только могъ я рассмотреть при лунномъ свѣтѣ, стоялъ на возвышенной гранитной скалѣ, которую рука причудливой природы разукрасила образованіемъ колонадъ и минаретовъ; при скатѣ скалы (.) на отлогомъ берегу извивистой рѣчки (.) разтиралась долина.

По «гранитнымъ скаламъ, разукрашеннымъ природою колонадами и минаретами» и находящимся въ Тульской губерніи, мы почитаемъ себя вправѣ отнести путешествіе г. Раевича къ разряду «воображаемо-призрачныхъ» произведеній литературы.

Вотъ бесѣда г. Раевича съ его гостепріимными хозяевами:

Предметомъ перваго нашего разговора была Москва; потому рѣчь перешла къ учености; всѣ литераторы и всѣ издатели журналовъ были исчислены. Петръ Ивановичъ, превознося всѣхъ нашихъ издателей (.) съ особеннымъ уваженіемъ относился о гг. Гречъ и Булгаринѣ. „Перо перваго, т. е. Греча, (который издаетъ „Сѣверную Пчелу“) говорилъ онъ, неподражаемо въ слогѣ, а послѣдняго (т. е. Булгарина, который долженъ написать въ „Пчелу“ отзывъ о книгѣ Раевича) мило въ критикѣ; онъ также душевно скорбѣлъ о смерти Пушкина, и ожидалъ чего-то великаго отъ молодыхъ поэтовъ. Я даже предугадываю—присовокупилъ онъ, что на развалинахъ современемъ (?) забытой (!) славы Пушкина, водрузится слава Бенедиктову.

Считая славу Пушкина безсмертною подобно славѣ незабвенныхъ поэтовъ Державина и Ломоносова, славѣ безсмертнаго Карамзина, я не соглашался, чтобы слава Пушкина, столь ярко озарившая горизонтъ

литературнаго міра въ нашемъ вѣкѣ, могла когда нибудь подвергнуться чернымъ олеромъ забвенія.

Пушкина нельзя еще сравнить съ Державиннымъ и Ломоносовымъ. возразилъ Петръ Ивановичъ, — онъ также далекъ и отъ Карамзина. которые должны быть безсмертными потому, что Ломоносовъ (.) давъ новый оборотъ стихотворенію (.) возродилъ поэзію; а Карамзинъ заговорилъ первый чистымъ русскимъ языкомъ, и всѣ сердца отзывались на его голосъ.

— „Но и Пушкинъ, — сказалъ я: — въ нашъ вѣкъ, первый началъ пѣвнать читателей новою игрою словъ (!...); удивительною легвостію. чистотою слога“.

— Неужели же въ нынѣшнее время, когда Россія исполненна шагами идетъ къ самобытности въ образованіи, писатели наши должны подражать вѣкамъ протекшимъ (?)

— Нѣтъ! присовокупилъ Вѣра Николаевна — наступленіе каждаго вѣка должно быть улучшеніемъ языка отечественнаго.

— „Это исполнили недавно наши писатели, — сказалъ я (.) обратясь къ Вѣрѣ Николаевнѣ. Назадъ тому не болѣе пяти лѣтъ литература наша получила быстрый переворотъ“.

— Но Пушкинъ только предупредилъ ихъ, имѣя отъ природы живое воображеніе и высокіе таланты, и сдѣлалъ только то, что долженъ былъ сдѣлать, но впрочемъ онъ не оставилъ намъ ничего самобытнаго.“

Этотъ литературный разговоръ показался намъ столь дѣйствительнымъ, что мы ни минуты не поколебались выписать его весь, отъ слова до слова, въ надеждѣ, что какой-нибудь составитель курса эстетики или теоріи поэзіи воспользуется имъ....

СТО РУССКИХЪ ЛИТЕРАТОРОВЪ. Изд. книгопродавца
А. Смирдина. Томъ первый. Александровъ. Марин-
скій. Давыдовъ. Зотовъ. Кукольникъ. Полевой. Пуш-
кинъ. Свининъ. Сенковский. Шаховской. Спб. 1839.

Альманахъ въ пятьдесятъ два печатныхъ листа, въ огромное in-folio, или въ небольшое in-quarto; альманахъ, роскошно напечатанный, вмѣщающій въ себѣ четырнадцать статей зна-

менѣйшихъ русскихъ писателей — отъ Пушкина до Зотова, съ ихъ портретами, съ десятью картинками, превосходно нарисованными въ Россіи и превосходно выгравированными на стали въ Лондонѣ, — альманахъ-чудо!... Какъ онъ родился, гдѣ онъ родился?

Какъ? — не знаемъ; гдѣ? — въ Парижѣ. Тамъ выдумана была книга «Ста-одного» — у насъ память хороша, мы не забыли, и, по старой привычкѣ пользоваться чужимъ примѣромъ, рѣшились издать книгу ровно «Сто Русскихъ литераторовъ».

Зачѣмъ только сто? — Зачѣмъ не тысяча, не сто тысячъ? — Статей негдѣ брать? — Вадоръ! — такихъ статей, какъ «прѣздъ вице-губернатора», или «Александръ Даниловичъ Меньшиковъ», не оберешься — стоитъ только кликнуть кличъ «Авторовъ нѣтъ такого числа? — Пустое! — Рафаилъ Михайловичъ Вотовъ открылъ собою безконечную вереницу самородныхъ гениевъ... Помогите, кому не лестно видѣть свой портретъ превосходно выгравированный на стали; видѣть свою статью въ книгѣ рядомъ съ статьею Пушкина?... Да для одного этого иной пожелаетъ сдѣлаться писателемъ... Вотъ другое дѣло — приятно ли Пушкину быть въ подобномъ обществѣ?... Да что на него смотрѣть — вѣдь жаловаться не будетъ!... Десять томовъ этого альманаха намѣренъ издать А. Ф. Смирдинъ: въ каждомъ томѣ будутъ статьи десяти авторовъ, десять портретовъ и десять картинокъ. Первый томъ заключаетъ въ себѣ статьи писателей, названныхъ въ его заглавіи. Первый... но мы устроимъ свой порядокъ, по которому первымъ безспорно долженъ быть Пушкинъ, а не г. Сенковский съ г. Зотовымъ...

«Каменный Гость», посмертное сочиненіе Пушкина, драматическая поэма... Герой этой небольшой драмы — Донъ Хуанъ, тотъ самый, который является героемъ въ либретто знаменитой оперы Моцарта; но у Пушкина общаго съ этимъ либретто только имена дѣйствующихъ лицъ — Донъ Хуана, Донны Анны, Лепорелло, а идея цѣлаго созданія, его расположеніе,

ходъ, завязка и развязка, положенія персонажей—все это у Пушкина свое, оригинальное. Поэма помѣщена не болѣе, какъ на тридцати пяти страницахъ, и не смотря на то, она есть цѣлое, оконченное произведеніе творческаго генія; художественная форма, вполне обнявшая безконечную идею, положенную въ ея основаніе; гигантское созданіе великаго мастера, творческая рука котораго, на этихъ бѣдныхъ тридцати пяти страницахъ, умѣла изчерпать великую идею, всю до малѣйшаго оттѣнка... Просимъ не принимать нашихъ словъ за сужденія: нѣтъ, они не сужденіе, они—звуки, восклицанія, междометія... Сужденіе требуетъ спокойствія—не того пошлаго разсудочнаго спокойствія, источникъ котораго есть мелкость и холодность души, недоступный для сильныхъ и глубокихъ впечатлѣній,—нѣтъ, того спокойствія, которое дается полнымъ удовлетвореніемъ изящнымъ произведеніемъ, полнымъ воспріятіемъ его въ себя, полнымъ погруженіемъ въ таинство его организаціи... Чтобы оцѣнить вполне великое созданіе искусства, разоблачить передъ читателемъ тайны его красоты, сдѣлать прозрачною для глазъ его форму, чтобы сквозъ нея онъ могъ подсмотрѣть въ немъ великое таинство присутствія вѣчнаго духа жизни, ощутить его благоуханное вѣяніе,—для этого требуется много, слишкомъ много, по крайней мѣрѣ, гораздо больше, нежели сколько мы можемъ сдѣлать... Торжественно отказываемся отъ подобнаго подвига и признаемъ свое безсиліе для его совершенія... Но для насъ оставалось бы еще неизреченное блаженство передать читателю наше личное, субъективное впечатлѣніе, пересказать ему, какъ потрясались, одна за другою, всѣ струны души нашей; какъ духъ нашъ то замиралъ и изнемогалъ подъ тяжестью невыносимаго восторга, то мощно возставалъ и овладѣвалъ своимъ восторгомъ, когда передъ нимъ разверзалось на минуты царство безконечнаго... Но мы не можемъ сдѣлать этого... Мы увидѣли даль безъ границъ, глубь безъ дна,—и съ трепетомъ отступили назадъ... Да, мы еще только изумлены, пріятно

испуганы, и потому не въ силахъ даже себѣ отдать отчетъ въ собственныхъ ощущеніяхъ... Что такъ поразило насъ?— Мы не знаемъ этого, но только предчувствуемъ это,—и отъ этого предчувствія дыханіе занимается въ груди нашей и на глазахъ дрожатъ слезы трепетнаго восторга... Пушкинъ, Пушкинъ!... И тебя видѣли мы... Неужели тебя?... Великій, неужели безвременная смерть твоя непременно нужна была для того, чтобы мы разгадали, кто былъ ты?...

«Одна глава изъ неоконченнаго романа» сильно разманиваетъ любопытство читателя только однимъ намекомъ на характеръ героини... Впрочемъ, цѣлаго она не представляетъ, а какъ отрывокъ—слишкомъ мала, и потому только при имени Пушкина можетъ имѣть особенную цѣну.

«Дурочка», повѣсть г. Полеваго, напомнила намъ прежняго Полеваго... Это не художественное созданіе, но сколько въ ней души, чувства, какая прекрасная мысль лежитъ въ ея основаніи!... Какъ жаль, что эта прекрасная, благоухающая ароматомъ чувства и мысли повѣсть испорчена растянутостію и мѣстами, субъективными мыслями автора. Первая же страница начинается давно уже извѣстными и давно уже всѣмъ надоевшими разглагольствованіями о тцетѣ гадкаго металла, называемаго золотомъ. Къ чему это?—всякому, даже и «не бывавшему въ семинаріи», извѣстно, что золото—металлъ благородный, а деньги, которыя изъ него дѣлаются—вещь очень хорошая и полезная. Не серебро, а сребролюбіе гадко. Потомъ, къ чему это презрѣніе къ благамъ земнымъ, простирающееся до оскорбленія при одной мысли объ обѣдѣ?—На станціи, героя повѣсти человѣкъ спрашиваетъ—не угодно ли ему покушать, а онъ сердится, говоря, что кто влюбленъ, тотъ унижилъ бы себя даже и легкимъ завтракомъ, не только обѣдомъ. Вся эта идеальность устарѣла и страхъ какъ надоела... Впрочемъ, можетъ быть, все это у почтеннаго автора не безъ особенной цѣли. Дѣло вотъ въ чемъ: герой повѣсти—молодой человѣкъ, не безъ глубокости въ душѣ, но съ фальшивыми

понятіями о жизни, что-то недокопченное, не сформировавшееся. Онъ воспитывался вмѣстѣ съ дѣвочкою, и, еще будучи дѣтьми, они поклялись другъ другу въ «вѣрности до гроба». Любовь этого молодого человѣка испаряется въ пустозвонныхъ фразахъ, потому что сама любовь его есть не что иное, какъ пустованная фраза, идеальная претензія. Онъ бѣдѣетъ—и ему отказали. Послѣ этого онъ сталъ богатымъ и случай познакомили его съ прекраснымъ явленіемъ женственнаго міра: откровеніе таинства жизни предстало ему въ прекрасномъ, поэтическомъ образѣ женщины. Въ семействѣ перчаточника Нѣмца встрѣтилъ онъ это существо, родное себѣ, эту половину души своей. Съ малолѣтства прозванная злою мачихою дурочкою, она—душа глубокая и поэтическая, сердце любящее и страстное—на всю жизнь осталась въ кругу втихъ глухихъ умишковъ, съ прозвищемъ дурочки, и почти сама вѣрила, что она дурочка. Молодой человѣкъ разгадалъ ее—они полюбили другъ друга. Но онъ былъ такъ призраченъ, прекраснодушенъ, такъ помѣшанъ на идеальныхъ фразахъ, что, любя истинно Дурочку, не переставалъ вздыхать и пышно размагольствовать о Полинѣ. Ощувши въ себѣ истинное чувство, онъ не повѣрилъ ему и принесъ его въ жертву пошлomu фразерству своего дѣтства. Дурочка была оставлена—онъ женился на Полинѣ, которая сыграла съ нимъ одну изъ тѣхъ комедій, которыя такъ легко играть хитрымъ и ловкимъ женщинамъ съ идеальными шутами. Скоро увидѣлъ онъ, что, вмѣсто женщины, женился на восковой статуѣ безъ души и сердца. Равнодушный и апатическій, ѣдетъ онъ съ женою въ домъ одной графини—и въ гувернантѣ хозяйки дома узнаетъ Дурочку. Истинное чувство снова всмыкнуло, но уже поздно... Дурочка скрылась. Изъ конца повѣсти, растянутого и дурно сложенного, мы узнаемъ, что она утопилась, и узнаемъ это очень отчетливо, потому что почтенный авторъ не хотѣлъ ничего оставить на догадку своихъ читателей, а рассказать имъ все съ болтливой отчетливостію чувствительныхъ романистовъ прошлаго вѣка...

Несмотря на то, повесть произвела на насъ глубокое впечатлѣніе. Основная мысль ея такъ проста и такъ вѣрна; многія подробности изложены съ увлекательною живописностію; вездѣ дрогидываетъ теплое чувство...

Вторая статья г. Попова «О бумагахъ и запискахъ, оставшихся по кончинѣ Петра великаго, въ его собственномъ кабинетѣ» — отличается высокимъ интересомъ содержанія, одушевленностію и мастерствомъ изложенія.

Кстати тутъ же укажемъ и на прекрасную статью Дениса Васильевича Давыдова «Тягизить въ 1807 году». Это отрывокъ изъ военныхъ записокъ знаменитаго воина-литератора. Излишне было бы распространяться о высокомъ достоинствѣ ея содержанія и изложенія.

По части романическо-повѣствовательной замѣчательнѣе еще «Сѣрный ключъ» г. Александрова (Дѣвицы - Кавалериста). Марлинскаго помѣщены двѣ прозаическія пѣсни: окончаніе его безконечнаго «Муллы-Нура» и «Местъ», и одно стихотвореніе «Сонъ». Что сказать о нихъ?... Прекрасно! Превосходно! Напримѣръ, какая отрада для любителей громкихъ фразъ прочесть эти слова Муллы-Нура, служащаго приступомъ къ исторіи его жизни, которую онъ самъ рассказываетъ автору:

Что на свѣтѣ есть тайнаго, кромѣ нашего сердца? Развѣтаетъ ночь, крышная влодѣйство: дремучій лѣсъ выходитъ голосъ на обвиненіе; разступается хлябь моря и выдаетъ утопленнаго хищниками добро. Могилы, самыя могилы не окрываютъ я, врагъ своемъ преступленій, и съ червями зарождаются въ нихъ мстители. Я видѣлъ: Рускіе узнавали по внутренностямъ жертвъ прошлое, какъ подопоклонники предки наши угадывали по нимъ будущее. А когда можно заставить говорить мертвецовъ, кто заставить молчать живыхъ?... тайное скоро становится явнымъ, и базарная молва нерѣдко трубить о томъ, что было шопотомъ сказано между двоими. Нѣтъ! моя жизнь не тайна, мои похождения можеть рассказать тебѣ послѣдній мальчишъ въ Кубѣ. — «Онъ убилъ своего дядю и бѣжалъ въ горы!» вотъ вся повесть обо мнѣ, и она не ложь, но полна ли она? но справедливо ли осудить меня по этимъ словамъ всякій, кто ихъ услышитъ? — на это могу

отвѣчать только я. Пусть отрубят мою голову—что же найдеть въ этой головѣ судья для объясненія моего преступленія? пусть вырѣжутъ сердце—какъ отгадаетъ въ немъ врачъ пружины, которыя двинули на убійство?... А въ этомъ вся важность для меня! Только это зову я на судъ совѣсти,—все остальное—дѣло случая—все остальное пусть какъ хотятъ судятъ въ людскомъ дѣлаѣ! Тамъ же мнѣ думать объ этомъ, еще тяжелѣе рассказывать — и между тѣмъ оно меня душитъ!... Мучительно вырывать зубчатую стрѣлу изъ раны, но и оставлять ее нестерпимо...

Изъ сего отрывка ясно значитсѣ, что Мулла-Нуръ, полудикій татаринъ Кавказскихъ горъ—большой философъ и вообще выражается высокимъ слогомъ, не хуже героевъ трагедій Борнея и Расина...

«Местъ», просто... но о «Мести», какъ и обо всемъ прочемъ, мы лучше совсѣмъ умолчимъ.... «Маруса», повѣсть князя Шаховскаго, есть, кажется, первый опытъ почтеннаго драматурга въ повѣствовательномъ родѣ и, какъ всѣ запоздалые опыты, очень неудачный. Эта повѣсть доказываетъ ясно, что удача въ сценическихъ произведеніяхъ скорѣе отрицаетъ, нежели условливаетъ удачу въ романѣ и повѣсти. Авторъ изображаетъ какую-то малороссійскую Сафо т. е. влюбленную стихотворицу, какъ будто бы всякая влюбленная стихотворица непременно должна называться Сафо. Старинная манера! Было время, когда Державина называли россійскимъ Пиндаромъ, Гораціемъ и Анакреономъ; Хераскова—россійскимъ Гомеромъ и т. д. Но это бы еще куда ни шло! Дѣло въ томъ: почему авторъ не говоритъ, что героиня его повѣсти—лицо историческое; а если она выдумана имъ, то по какому праву онъ приписалъ ей прекраснѣйшія народныя пѣсни?... Но и это бы еще куда ни шло! А жаль того, что рассказъ въ высшей степени сбивчивъ, темень и неловокъ, характеровъ какъ не бывало, языка и слога тоже... Пріѣздъ вице-губернатора повѣсть г. Зотова... Но что о ней говорить?... Nonny soit qui mal y pense!... «Превращеніе головъ въ книги и книгъ въ головы», уже сотое и въ сотый

разъ довольно неудачное подражаніе такъ называемымъ философскимъ повѣстямъ Вольтера, старая и притомъ такъ ужасно растянутая штука или шутка, что вмѣсто смѣха производитъ зѣвоту.

Кромѣ этихъ повѣстей, въ книгѣ «Сто русскихъ литераторовъ» помѣщены двѣ драматическія піесы: «Іоаннъ Антонъ Лайзевицъ», драматическая фантазія въ пяти актахъ, съ эпилогомъ г. Кукольника, и «Александръ Даниловичъ Меньшиковъ», драматическое представленіе въ трехъ картинахъ г. Свинына. Обѣ эти піесы находятся одна къ другой въ обратномъ отношеніи: піеса г. Кукольника показываетъ, какъ много можетъ сдѣлать истинный талантъ изъ такого содержанія, изъ какого, повидимому, ничего нельзя сдѣлать; піеса г. Свинына показываетъ, какъ мало можетъ сдѣлать посредственность и изъ такого содержанія, изъ какого трудно не сдѣлать чего-нибудь хорошаго. Да, съ истиннымъ наслажденіемъ прочли мы «Іоанна Антона Лайзевица». Не скажемъ, чтобы это было художественное произведеніе, не скроемъ, что тутъ много недостатковъ, натажекъ (какъ напр., въ сценахъ съ ящиками, при купцахъ и при женѣ); но смѣло можемъ сказать, что все произведеніе насквозь пронизануто любовію къ искусству, поэтической теплотою души, характеры очеркнуты удачно, мастерскихъ сценъ много... И какой міръ представленъ въ этомъ сочиненіи — міръ искусства, міръ художниковъ! Тутъ вы увидите и пламеннаго энергическаго Мессинга, и Эшенбурга, и Иффланда, и, наконецъ, Шиллера, съ его блѣднымъ лицомъ, задумчивымъ видомъ, съ его вѣчнымъ «заступничествомъ человечества отъ людей», по прекрасному выраженію г. Кукольника... Словомъ, піеса его, по своему объему, составляетъ порядочную книгу, а мы прочли ее, безъ отдыха, какъ небольшую статью...

Что бы вамъ сказать объ «Александрѣ Даниловичѣ Меньшиковѣ»? Да зачѣмъ много говорить? судите сами — вотъ маленький отрывочекъ. Сперва позвольте васъ предупредить, что Меньшиковъ, еще будучи разнощикомъ пироговъ

или блиновъ, влюбился въ дочь боярина Арсеньева, — и вотъ какъ разсуждаетъ съ стрѣleckимъ полковникомъ о своей любви и о любви вообще:

„О троицынъ днѣ будетъ годъ, какъ пошелъ я помолиться къ Спасу въ Кречетникахъ; приложась къ святому кресту, я спѣшилъ выйти изъ церкви, чтобы поспѣть съ товаромъ въ Дѣвичій монастырь до выхода народа отъ поздней обѣдни. На паперти одѣяла убогую братію каная-то боярышня. Пробиваясь сквозь толпу нищихъ.. я толкнулъ неосторожно одну старуху, она заворчала и стукнула меня крѣпко плеткою по головѣ; я хотѣлъ отмстить ей добрымъ тузомъ, какъ ненарокомъ взглянулъ на боярышню; взоры наши встрѣтились и рука моя опустилась... Какой то огонь пробѣжалъ по всему существу моему. Съ тѣхъ поръ, беззаботный, веселый, счастливый — я сдѣлался задумчивъ, мраченъ, безпокоенъ. Ощущенія, то сладкія, то мучительныя, наполнили мое сердце, мечты дальныя (!), думы неангажны (!!) волновали мою душу: я сталъ недоволенъ собою, сталъ стыдиться своего невѣжества, своего состоянія. Однимъ словомъ, я весь переродился... Въ любви, слова — послѣднее дѣло: языкъ любви гораздо краснорѣчивѣе: одинъ взглядъ часто говоритъ болѣе, чѣмъ можно пересказать въ цѣлый часъ словами; одно движеніе руки, появленіе, уходъ милаго человека объясняютъ цѣлый рядъ недоуцѣній, вопросовъ, желаній... Жалю о тебѣ, Василій Матвѣевичъ: не зная мукъ любви, ты не испыталъ чаръ истиннаго блаженства жизни; не испыталъ *отравы неизвестности, таинственности, страха, надежды и отчаянія* (?!) — ты не существовалъ душою въ семъ прекрасномъ мірѣ...

Каковъ Меньшиковъ!... Еще, будучи пирожникомъ или блинникомъ, онъ уже выражался о любви истертыми фразами и общими мѣстами изъ чувствительныхъ романовъ: какъ же заговорить онъ, будучи генераломъ, княземъ, вельможею? — Ужъ разумѣется какъ — не даромъ же говорится пословица: «каковъ въ колыбельку, таковъ и въ могилку»...

Меньшиковъ — великое лицо въ русской исторіи. Несмотря на его честолюбіе, завистливость, сребролюбіе, Петръ Великій любилъ его какъ друга, питалъ къ нему какое-то особенное, отеческое чувство: значить въ этомъ человѣкѣ было что-то великое, несмотря на недостатки: расположеніе и дружба вели-

смѣшны поминки, а не добрый, почтенный Поль-де-Конъ. Итакъ, честь и слава Поль-де-Кону, первому романисту французскому!...

«Мусташъ» — романъ Поль-де-Кона: больше о немъ сказать нечего. О переводѣ тоже не для чего распространяться; это образецъ безпримѣрной безграмотности. Странное дѣло! Въ доброе старое время, кончившееся двадцатыми годами, не было безграмотныхъ сочиненій и переводовъ. Книга могла быть дурна, но языкъ ея всегда былъ правиленъ, чистъ, въ ладу съ грамматикой и логикой. А теперь книга, въ которой грамматика и здравый смыслъ не страдаютъ, истинная рѣдкость! Отчего это? Оттого, что тогда въ книжному дѣлу цѣнили уваженіе, придавали ему истинную важность, и потому брались за него люди грамотные, приготовившіеся ученіемъ, запасшіеся опытностію; а теперь въ литературу играютъ, и всякій недоучившійся школьникъ, чтобы достать на нару платья, смѣло принимается переводить съ французскаго романъ, или даже и писать свой. Переводъ «Мусташа» — образцовая безграмотность! Видно, что переводчикъ даже и не слышалъ о наукѣ, которая называется грамматикою. Въ переводѣ его всѣ слова русскія, но конструкція, складъ рѣчи — чухонскій, мыринскій, словомъ, какой угодно, только не русскій...

НОВОГОДНИКЪ. *Собраніе сочиненій въ прозу и стихи современныхъ русскихъ писателей. Изданный Н. Кукольниковъ Спб. 1889.*

Съ нетѣрпѣніемъ ожидали мы «Новогодника», съ нетѣрпѣніемъ и прочли его, потому что этотъ подвигъ выше всякаго терпѣнія. Безъ аллегорій — альманахъ г. Кукольника ниже всякой посредственности: за исключеніемъ двухъ, трехъ піесъ, это просто — сборъ разнаго литературнаго хлама. При-

знаемся, совсѣмъ не того ожидали мы отъ ввуса, любви и усердія къ литературѣ такого писателя, какъ г. Кукольникъ, и его альманахъ для насъ новое доказательство, какъ мало надо вѣрить именамъ...

Начнемъ съ стихотвореній.

«Антоній» стихотворная поэма, въ двадцати-семи главахъ— каждая глава стиховъ въ пятнадцать, г. Губера. Въ ней воспѣвается жизнь неизвѣстнаго свѣту героя, который, черезъ оное воспѣваніе, кажется, хочетъ пріобрѣсти себѣ извѣстность. Въ добрый часъ! Но это обстоятельство постороннее; главное дѣло въ томъ, что мѣстами гладкость и бойкость стиха, мѣстами игривость разсказа, мѣстами истинное чувство, составляютъ достоинства; а излишнее подражаніе Пушкину, мѣстами дурные стихи, вообще претензіи на какую-то глубину, составляютъ недостатки этой поэмы.— «Прогулка Маріи Стюартъ въ С. Жерменскомъ паркѣ» (глава VIII изъ большой романтической поэмы «Давидъ Рицціо»). Славная поэма! Чудесные гекзаметры!— Читайте, дивитесь и наслаждайтесь —

«Что же намъ дѣлать. Анета?... Поѣдемъ къ святой Женевѣ!»

— Ваше величество, это не близко—сказали старушки.

Есть особый обрядъ для повозокъ въ Нантеръ; мы не смѣемъ

«Если нельзя, такъ поѣдемъ гулять въ Сенъ-Жерменъ». — Невозможно!

Тамъ не топили сегодня, а къ ночи нельзя воротиться. —

«Вытопать! день чудесный и холодъ весенній не страшенъ»...

— Ваше величество!... какъ вамъ угодно... сказали старушки,

Но...—«Пусть сѣлаютъ коней! мы поѣдемъ верхомъ съ баронессой!»

— Но...—«Разумѣется, вамъ приготовить шартеты!»... Старушки

Нѣсколько „но“ проворчали: Марія была непреклонна.

Вышли статсъ-дамы; держали совѣтъ, наконецъ согласились.

Славные гекзаметры! чудесные гекзаметры! при сей вѣрной okazji, мы не можемъ удержаться чтобы не сдѣлать извѣстнымъ какъ творцу этихъ прекрасныхъ гекзаметровъ, такъ и публикѣ, что и мы пишемъ гексаметрами большую романтическую поэму, въ двадцати-четырехъ пѣсняхъ—трудъ,

изъ котораго есть доказать, что можно писать гонимыми
еизъидиши, и нежеле иплетъ ихъ шестидесяти (неосторож-
силевничъ) Вотъ маленькій отрывочекъ изъ наивнѣйшаго
труда — да разсудить насъ публика!

Здравствуй мой другъ! Каково поживаешь? Что твой капешъ?
«Ахъ, вотъ все! Дѣржно 14 двѣсти и три помину дѣло!»
«Ахъ, ты, дѣвчонка? Дома тебя кто-то да запереть?»
«Будь я вчера у тебя, отобравъ жиденья и съ тобой»
«Вечеромъ вместе въ театръ — Дѣву Дуная давали.»
— Ах, мой cher! я дома совсѣмъ не живу, въ деревню собираюсь,
дня черезъ два, такъ въ хлопотахъ все, а жель-тъмъ заранѣе
«Домъ-къ поправно велѣтъ приступить: помя уль выломажъ»
«Къ молодой дѣвушкѣ» стихотвореніе кн. Мещерскаго.
Нѣтъ, ты жени не прижаешь!
Клянусь, небесная моя,
ты задрожешь, когда узнаешь,
кто я таковъ, откуда я!
Минуты короче, обожженныя раны,
Я спутникъ въ блудѣхъ, съ не-звѣдъ и духомъ,
Я гордъ — и не ищу прощенья,
И радъ горѣть въ огнь грѣховъ!

Не читайте дальше, господа, — страшно!... Какіе, поду-
маешь, есть на свѣтѣ люди!...
«Козаку-поэту» г. Бендиктова: стихъ бойкій, звонкій,
гармоническій, какъ пѣсня соловья, гремучій, какъ серебро, —
безспорно; но что въ стихѣ?... по крайней мѣрѣ, мы ничего
не нашли!...

За симъ слѣдуетъ еще нѣсколько мелкихъ стихотвореній,
да о нихъ мы умолчимъ, потому что не до нихъ: первое дѣй-
ствіе изъ драматическаго представленія «Елена Глинская»,
нѣматого драматическаго произведенія Н. А. Полеваго, погло-
щаетъ все наше вниманіе, въ ущербъ маленькимъ пѣскамъ.
Что сказать объ этомъ первомъ дѣйствіи? — хорошо, очень
хорошо, словомъ — «мастерски, съ удареніемъ, съ чувствомъ»,
какъ сказано похвалить Полонія; тогда ужасно скучно,

ужасно утомительно... Говорить, что Николай Алексеевич написал еще четыре новых драматических пьесы, вместо того, чтобы дописать двенадцать томов своей «Истории Русского народа», томъ «Русской истории для первоначального чтенія», добавить публикѣ свои многочисленные недоимки... «Отрывокъ изъ романа въ стихахъ»... «Три года жизни» г. Н. Кукольника доказываетъ, что родство съ поэтомъ, хотя бы и самое близкое, совсѣмъ не одно и то же съ поэтическимъ дарованіемъ. «Прощаніе съ жизнью», стихотвореніе Полежаева, примѣчательно только послѣдними стихами:

Да, небогатъ «Новогодникъ» хорошими стихотвореніями, даже можно сказать утвердительно, что очень, очень бѣднѣ ими; но тѣмъ съ большимъ вниманіемъ остановились мы на восьми стихотвореніяхъ новаго поэта, г. Минаева. Во всѣхъ нихъ проглядываетъ если не талантъ, то что-то похожее на талантъ, борющійся съ фразерствомъ; но въ «Ивановѣ пѣснѣ» обнаруживается рѣшительный талантъ хотя еще и не совсѣмъ овладѣвшій самимъ собою. Радуюсь появленію новаго таланта, повидимому, подающаго въ будущемъ надежды, мы хотимъ поговорить объ немъ пообстоятельнѣе. Послѣ этой пьесы можно указать еще на «Ночную прогулку», что же касается до прочихъ, — онѣ принадлежатъ къ неудачнымъ попыткамъ. Напримѣръ, что это такое —

За то какъ весною, хрусталь свой ломая,
Широкая Волга, что море кипитъ,
И радостно льется рѣка голубая,
И мѣсяцъ надъ нею намазъ свой творитъ.
Но двѣ-старушку лишь вѣтръ поцѣлуетъ.
Она разоляется, она забудетъ... и т. д.

Что это такое? — мѣсяцъ творитъ надъ Волгою намазъ, какъ благочестивый мусульманинъ; Волга — престарѣлая дѣва, которая злится, когда ее поцѣлуетъ вѣтеръ (нашелъ что цѣловать — старую дѣвку!). Воля ваша, это не поэзія, а стихотворная галиматья!... Еще нѣсколько словъ о «Пѣснѣ».

Какъ по морю было синему,
По сердитому Хвалынскому,
Словно труженникъ (?) изъ давнихъ дней (!)
Бородилъ валы соколъ-корабль.
Для него паруса—бури выткали!
У него флюгера—вьются молніи!
По узорнымъ бортамъ—звѣзды нижутся!
И шумять въ облакахъ мачты тяжкія
Все надъ безднами леталъ корабль,
Онъ на якорь не ставалъ,
Низко вихрю—брату малому, (!)
Подъ грозою онъ не кланивался....

Вопервыхъ: «паруса вытканная бурями; флюгера вьются, какъ молніи; звѣзды нижутся по бортамъ; вихрь — малый братъ кораблю» — что это такое? — восточная, гиперболическая фразеологія. Вовторыхъ, къ чему искажать народныя пѣсни, вмѣсто того, чтобы писать свои? — Естественная и наивная народная поэзія хороша сама по себѣ, безъ передѣлокъ. Для доказательства, приводимъ отрывокъ, подобный, только по содержанію и формѣ, пѣснѣ г. Минаева:

Изъ-за моря, синего,
Изъ глухоморя зеленого.
Отъ славнаго города Леденца,
Отъ того-де царя, вѣдь заморскаго,
Выбѣгали, выгребали тридцать кораблей,
Тридцать кораблей—единъ корабль
Славнаго гостя богатаго,
Молода Соловья, сына Будиміровича.
Хорошо корабли изукрашены;
Одинъ корабль получше всѣхъ:
У того было у сокола корабля
Вмѣсто очей было вставлено
По дорогу камению, по яхонту;
Вмѣсто бровей было прибавлено
По черному соболу якутскому,
И якутскому вѣдь сибирскому;
Вмѣсто уса было воткнуто
Два острые ножика булатные;

Вмѣсто ушей было воткнуто
Два остра копья мурзаметскія;
И два горностая повѣшены,
И два горностая, два замнѣ;
У того было сокола у корабля
Вмѣсто гривы прибывало
Два лисицы бурнастыя;
Вмѣсто хвоста повѣшено,
На томъ было соколъ корабля
Два медвѣдя бѣлые заморскіе;
Носъ, корма по туриному,
Всѣ введены по звариному.

Вотъ это народность, живая, неподдѣльная! Нѣтъ ничего безплоднѣе, какъ поддѣлки подъ такую народность, съ искусственными и новѣйшими приправами.

Послѣдняя стихотворная пѣснь въ альманахѣ есть «Прологъ» изъ трагедіи: «Генералъ-поручикъ Іоаннъ Рейнгольдъ Паткуль», г. Кукольника. Не распространяясь объ этой пѣснѣ, скажемъ, что такъ, какъ она есть, она представляетъ собою цѣлое художественное произведеніе, — похвала, выше которой у насъ нѣтъ похвалъ. Если вся трагедія будетъ такова, какъ этотъ прологъ, и въ цѣломъ и въ частности, — то смѣло можно поздравить русскую словесность съ новымъ, блестящимъ приобрѣтеніемъ, которое должно увеличить собою ея богатства.

Обратимся къ прозѣ. Она такъ же бѣдна, какъ и стихотворная часть. «Скупецъ» довольно интересный отрывокъ изъ правоописательнаго романа, который скоро долженъ появиться въ свѣтъ, г. Основьяненка.

«Князь Бековичъ-Черкасскій», г. Каменскаго. Остановимся на этомъ новомъ нещечѣ современной русской литературы и неутомимаго пера второго Марлинскаго. Повѣсть открывается семейственною сценою: отецъ и мать любятъ своими дѣтьми. «О, какъ мы счастливы, Марья!» говорилъ Бековичъ, ходя подъ-руку съ женою по своей рабочей комнатѣ,

«Богъ благословилъ насъ: въ домѣ довольство, въ дружбѣ ближнихъ нѣтъ недостатка; семейныхъ наслаждений полная чаша,—а дѣти, посмотри пожалуйста, какія у насъ дѣти!» Проговоривши такіа слова, Бековичъ продолжалъ ораторствовать и резонерствовать, а жена его продолжаетъ нѣжничать. Вдругъ входитъ отецъ Марей, тестъ Бековича, Голицынъ. «Все воркуете, милуетесь!» говоритъ почтенный старецъ, усаживаясь въ большихъ нѣмецкихъ креслахъ; «словно голубь съ голубкою». Бековичъ охотно признаетъ себя голубемъ, только замѣчаетъ, что его нѣжная голубка часто воркуетъ противъ царской службы; тогда Голицынъ начинаетъ, въ свою очередь, говорить слѣдующую ораторско-резонерскую рѣчь: «Э, эхъ, Марей! не свывивай руки твоему дѣлу; на немъ лежитъ, кромѣ долга общаго—быть полезнымъ по силамъ, долгъ личной благодарности. Вспомни, что издѣлано для него; мѣднаго горскаго; инъ языкъ просвѣтить на своей копѣ, образованъ по европейскому; пострavitъ въ уроченіи съ боярами именитыми; допустить въ дѣламы и посѣту царскому;... это великая вещь! Он много отбудетъ службы, а вѣдь не вы платитъ своего долга... помни это, Марей, помогай ему; а не сбивай съ толку и прощай Бековичъ, не хочеть уступитъ тестю и отвѣчаетъ ему тоже рѣчью, поварой, а вѣдь общарностію, не выписываемъ. Черезъ несколько времени послѣ этого ораторскаго конкурса (состязанія), Бековича потребовали къ царю, а Марей, оставшійся одинъ, говоритъ надобуетъ длинную рѣчь, и достойную Гига-Ливію обнаруживающую въ одной Марей-глубокія политическія соображенія и высшіе взгляды на состояніе общества при Петрѣ Великомъ; эта краснорѣчивая рѣчь прервана была приходомъ Бековича. Тутъ почтенный и даровитый авторъ оставляетъ ораторскую канцелю, берется за знотъ живописца и рисуетъ намъ сцену потрясающую, ужасную. Бековичъ назначенъ главою экспедиціи въ Хиву. Жена, проворивъ его до Астрахани, возвращается въ Питеръ. На Волгѣ была страшная буря. Дѣло; впрочемъ,

Изъ этого монолога ясно значитъся, что Беконичъ былъ не только краснорѣчивый ораторъ, но и пламенный лирическій поэтъ... Беконичъ попался въ плѣнь, былъ подвергнутъ пыткамъ, но и это не отбило у него охоты говорить ораторскія рѣчи и трагическіе монологи. Для оправданія пословицы: «гробъ горбатаго исправить», онъ произноситъ длинную рѣчь и передъ самой смертью... Рѣшительно, повѣсть г. Каменскаго совсѣмъ не повѣсть, а поэма, и поэма въ гомеровскомъ родѣ, гдѣ герои говорятъ другъ-другу и сами съ собою пылкими рѣчами... Беконичъ—лицо историческое, человекъ, оказавшій отечеству услуги, страдальчески умершій на службѣ царю: какъ не пожалѣть, что онъ сдѣлался Ахилломъ такой Иліады и попался подъ перо такому Гомеру...

«Давидъ Якуновичъ Крушина», русская повѣсть XIII вѣка, г. Троицкаго,—истинное услажденіе послѣ поэмы г. Каменскаго. Въ ней не замѣтно ни таланта, ни особеннаго умѣнія рассказывать, она убійственно растянута; но намъ понравилось въ ней то, что она чужда бессмысленныхъ выскопарныхъ выраженій, длинныхъ рѣчей и монологовъ... Вообще, будь она внятеро короче, то читалась бы не безъ удовольствія. Впрочемъ, мы должны замѣтить, что ужъ гдѣ-то читали ее разъ.

«Двѣ притчи о всякой всячинѣ, да еще ней о чемъ» В. Луганскаго, остроумная и игривая шутка. «Вспоминанія юности» г. Греча, интересный рассказъ о русскомъ обществѣ въ литературномъ отношеніи, въ началѣ нынѣшняго вѣка. Вотъ такія статьи мы дорого цѣнимъ: это матеріалы для исторіи русскаго просвѣщенія и литературы, матеріалы тѣмъ болѣе интересные, что они, какъ и всѣ мемуары, вводятъ насъ въ закулисную сторону предмета, недоступную изученію чрезъ книги.

«Василій Буслаевичъ», русская народная сказка, доставленная издателю альманаха г. Сахаровымъ — есть не что иное, какъ «Василій Буслаевъ», стихотворная поэма, находя-

шаяся въ древнихъ російскихъ стихотвореніяхъ, собранныхъ Киршемъ Даниловымъ и вторично изданныхъ въ 1818 г. К. Калайдовичемъ. Г. Сахаровъ не говоритъ ни слова, откуда онъ взялъ эту сказку, и какъ будто совѣтъ не знаетъ что она уже давно напечатана. Предлагаетъ же онъ ее публикѣ въ прозѣ, а не въ стихахъ, и, кромѣ того, съ самыми незначительными отиѣнами, впрочемъ, не въ пользу сказки. Отранно...

«Измѣна, Мавретанскій драматическій рассказъ въ одномъ актѣ» г. Кукольника — пьеса не безъ занимательности и не безъ достоинства.

«О Романтизмѣ» — что-то въ родѣ отрывка, Марлинскаго. Глубокомысленный авторъ, столь же сильный въ области мышленія, какъ и въ области творчества, открываетъ ученому міру слѣдующія новости: 1 Мысль есть сліяніе чувствъ, ума и воли. 2. Чувство есть осуществленная мысль. 3. Умъ есть опытность мысли. 4. Два пути къ истинѣ: опыты и воображеніе. Въ этомъ отрывкѣ — истинное вавилонское смѣшеніе понятій, мыслей, безмыслія, безмыслицы, словъ. Тутъ борьба Лагарпа и Баттѣ съ «Московскимъ Телеграфомъ», прошлаго вѣка съ двадцатыми годами настоящаго, тутъ переиѣшаны понятія объ искусствѣ съ понятіями о нравственности, парадоксальныя сужденія о произведеніяхъ искусства съ азбучными правилами о прилежаніи и благонравіи; анализъ и синтезъ красуются съ трехъугольникомъ истины блага и красоты; дѣтскія мысли борются съ претензіями на гениальность въ мышленіи... Стоило ли все это быть напечатаннымъ?... «Переправа чрезъ Лету» — новая юмористическая статья г. Булгарина, въ которой онъ, по своему обыкновенію, говоритъ о другѣ своемъ Николаѣ Ивановичѣ Гречѣ и нападаетъ на людей которые пишутъ ксожалѣнію, вмѣсто къ сожалѣнію.

Смѣяться, право не грѣшно,
Надъ всѣмъ, что кажется смѣшно!

Эти два стиха Карамзина взяты элиграфомъ къ статьѣ г.

изложенный!... Этотъ безразсудный отецъ, самовольно опредѣлившій своему сыну противное его духу поприще, и зато проклинаящій его трупъ за страшное злодѣйство; этотъ молодой исендѣзъ, съ его глубокою душою и вулканическими страстями, усиленными воспитаніемъ и удивленною жизнію, страстями, которыя, безъ этого, можетъ быть, пронились бы свѣтомъ мысли и возгорѣлись бы яротнимъ огнемъ чувства, а могучая воля устремилась бы на благое и въ благой дѣятельности дала бы плодъ стерицею: какіе два страшные урока!... Не доказываетъ ли первый, что нравственная свобода человека священна: отецъ Валеріана еще въ дѣтствѣ обрекъ его служенію алтара, но Богъ не принявъ обѣтовъ, произнесенныхъ безсознательнымъ и недостовольнымъ повановеніемъ чуждой волѣ, а не собственнымъ стремленіемъ выполнить потребность своего духа и въ этомъ выполненіи обрѣсти свое блаженство!... Не доказываетъ ли второй, что только чувство истинно и достойно человека; но что всякая страсть есть ложь, заблужденіе, грѣхъ?... Чувство не допускаетъ убійствъ, прови, насилія, злодѣйства, но все это есть необходимый результатъ страсти. Что такое была любовь Валеріана?—страсть могучей души и, какъ всякая страсть—ошибка, обманъ, заблужденіе. Любовь есть гармонія двухъ душъ, и любящій, теряясь въ любимомъ предметѣ, находитъ себя въ немъ, и если, обманутый вѣщностію, почитаетъ себя не любимымъ, то отходитъ прочь съ тихою грустію, съ какимъ-то болѣзненнымъ блаженствомъ въ душѣ, но не съ отчаяніемъ, не съ мыслию о мщеніи и крови, обо всемъ этомъ, что унижаетъ божественную природу человека. Въ страсти выражается воля человека, стремящаяся, вопреки опредѣленіямъ вѣчнаго разума и божественной необходимости, осуществить претензіи своего самолюбія, мечты своей фантазіи, или порывы кипящей своей крови...

А эта милая, прекрасная Лютгарда!—Страшенъ конецъ ея, но мысль о немъ не леденитъ души: не вотще жила Лют-

гарда — она могла бы дать о себѣ эту поэтическую вѣсть съ того свѣта:

.... Я все земное совершила,
Я на землѣ любила и жила.

Да, повторимъ еще разъ: повѣсть «Павильонъ» представляетъ собою прекрасное содержаніе, увлекательно и сильно, хотя мѣстами и растянуто, наложенное; обличаетъ руку твердую; мужскую.

Кстати: говоря о прекрасной повѣсти г. Александрова, мы не можемъ не упомянуть объ отзывѣ о ней одного журнала. Еще во второй книжкѣ своей «Сынъ Отечества» изъяснилъ добродушное удивленіе къ странному положенію современной русской литературы, вслѣдствіе котораго «О. И. Сенковский шутить; Пушкина и Марлинскаго (?) дочитываемъ мы послѣднія статьи; Д. В. Давыдовъ воспоминаетъ былое; Давица-Кавалеристъ, Рафаиль Михайловичъ Зотовъ и князь А. А. Шаховской рассказываютъ намъ повѣсти; П. П. Свиньинъ является съ драмою, а Н. В. Кукольникъ пишетъ драматическія фантазіи». — Все точно такъ, такъ есть въ самой дѣйствительности — съ тѣмъ же добродушіемъ заключаетъ маститый «Сынъ Отечества».

Подъ старость люди плохо видятъ, плохо слышать, а слѣдовательно, и не совсѣмъ хорошо понимаютъ. Къ этому присоединяется еще и то, что старые люди мѣряютъ современность понятіями того блаженного времени, въ которое они, старые добрые люди, были молоды, здоровы, полные надеждъ, воевали, въ свою очередь, съ устарѣлыми, обвѣтшальными мнѣніями. Послѣ этого, удивительно ли, что маститый «Сынъ Отечества» съ такимъ старческимъ добродушіемъ удивляется тому, что нисколько не удивительно. Но тѣмъ не менѣе, мы поставимъ долгомъ надразумить почтеннаго Нестора нашихъ журналовъ (второго послѣ «Вѣстника Европы»), растолковавъ ему слѣдующее:

Пушкина мы ценим прежде всего потому, что он умер, а после его смерти было напечатано несколько его сочинений. По той же самой причине и Марлинского дочитывают те, которые еще читают его. П. П. Свиньинъ явился как драмой потому же самому, почему Н. А. Полевой — журналист, литератор, историк, философ, эстетик, политик, экономист, статистик, критик, стихотворец, романист и новеллист — явился, с своими драмами, комедиями, пьесами и новеллами. Несторъ же Васильевичъ Кукольникъ пишет драматическую фантазию потому, что ему, Богу, дано прекрасное дарование писать поэтическую фантазию. Что же касается до того, что Девница-Кавалеристъ, Рафаиль Михайловичъ Вотовъ и князь А. А. Шаховской рассказывают намъ повести, то тут запомнимъ, что и Девница-Кавалериста, отнюдь не должно смущивать съ Р. М. Зотовымъ даже и в шутку, а не только в правду. Девница-Кавалеристъ пишет повести потому же самому, почему писатель пишет ихъ: современный редакторъ «Сынъ Отечества», съ другою только разницею, что переводитъ права безспорно на ее сторону, потому что на ее стороне переносъ таланта.

Въ 3-й своей книжкѣ «Сынъ Отечества» вотъ какъ рассуждаетъ О. «Павильонъ» г. Александрова:

Какъ хороша изгородь Оби! Какъ въ шпалерахъ, доведенныхъ! Какъ тутъ просто и естественно. Можно ли сравнить такой рассказъ съ кровавыми, неестественными подробностями «Павильона». Мы говоримъ: неестественными. Иные могутъ (и даже) возразить, что все такъ точно было в самомъ дѣлѣ: неведомо, воспыхивали въ павильонѣ двинушки, графъ похитилъ ее, а князь зарезалъ ее. Но все то что, такъ? Неестественное нравственное уродство, а уродство не принадлежность искусства измышленнаго. Намъ просить г-жа Дурова за наши замчанія, потому что мы говоримъ наше мнѣніе искренно (конечно) и не следуемъ обычаю другихъ: хвалить на поварь, или бранить оптомъ писателя. (Варваръ...) Мы знаемъ и знаемъ, что дарованія бываютъ различны (что правда — то правда), и что всего труднѣе, можетъ быть узнать, настоящую

дорогу своего дарованія, такъ что самые гениальные люди въ томъ ошибались¹⁾. Хотите ли примѣровъ? Байронъ и Державинъ были великіе лирики (?!), В. Скоттъ—великій романистъ, Шиллеръ—великій драматикъ, Ирвингъ-Вашингтонъ—превосходный рассказчикъ новостей, но не зло природы хотѣли быть Державинъ и Байронъ драматическими писателями, В. Скоттъ историкомъ (о исторіи—мамень претиновеніи!). Шиллеръ историкомъ и философъ, а И. Вашингтонъ рѣшительно отказался отъ повѣсти и упорно пишетъ теперь исторіи, въ которыхъ каждая глава доказываетъ, что онъ историкъ плохой.

Что сказать объ этомъ? «Ксендзъ воспитывалъ въ павильонѣ дѣвушку, графъ похитилъ ее, а ксендзъ зарѣзалъ ее»: можно ли такъ излагать содержаніе повѣсти? Такимъ изложеніемъ можно опошлить любую драму Шекспира. «Мавръ изъ ревности удушаетъ невинную жену, а потомъ, узнавши о ея невинности, зарѣзывается»: что это такое?—неестественное уродство, а уродство не есть принадлежность искусства изящнаго. Хороша критика на «Отелло» Шекспира? О, мы умѣемъ критиковать! Даженикову мы не позволимъ писать романовъ, Дѣвицу - Кавалериста не оставимъ предостеречь писать повѣсти — мы какъ разъ предостережемъ ихъ, увѣривъ, что они идутъ по ложной дорогѣ, что одно имъ спасеніе — перестать писать, предоставивъ эту заботу намъ. Кстати: увѣдомляемъ, что мы пустили писать драмы (слово «мы» достаточно указываетъ на ихъ высокое достоинство), а посему и объявляемъ, что всѣ драматики—бывшіе, сущіе и будущіе — отъ Шекспира до господина x включительно — шли, идутъ и будутъ идти ложною дорогою, вопреки природѣ и на зло своему дарованію. Не мѣшайте намъ—мы любимъ просторъ; а впрочемъ, мы критики честные и добросовѣстные, «мы» говоримъ наше мнѣніе, хотя и не грамматически, но искренно, и не слѣдуемъ обычаю другихъ: хвалить на повалъ или бра-

¹⁾ Самымъ разительнымъ примѣромъ этому служить г. Полевой. Онъ былъ всѣмъ, но на всемъ остановился на полдорогѣ: начавши «Исторію Русскаго Народа», оканчиваетъ водевилемъ съ замысловатыми куплетцами.

нить ономъ писателя». Что же касается до того, что Байронъ (вкупѣ и влюбъ съ Державиннымъ) былъ лирикъ, объ этомъ нечего и много говорить. Но что касается до Вашингтона-Ирвинга, то мы не согласны, будто онъ ужъ рѣшительно плохой историкъ, и что его «Исторія Колумба» потому только никуда негодится, что г. Полевой сочинилъ отрывокъ изъ своей исторіи Колумба, которая, безъ сомнѣнія, была бы лучше Вашингтоновой, еслибы была написана... Равнымъ образомъ, мы не согласны и съ тѣмъ, будто Шиллеръ, на зло природѣ, былъ историкомъ и философомъ. Мы знаемъ изъ достовѣрныхъ источниковъ, что Гегель признавалъ въ Шиллерѣ философскій элементъ, едва ли не болѣе чѣмъ поэтическій, и призналъ Шиллера истиннымъ основателемъ науки изящнаго (эстетике). Но что намъ до Гегеля—Гегель вретъ, Гегель—жалкое явленіе послѣ Шиллинга, такъ же какъ Бартагенъ послѣ Шлегеля; современная нѣмецкая литература—вздоръ, пустошъ. Да читали ли вы Гегеля? — Зачѣмъ читать!—мы и такъ знаемъ. Изучали ли вы современную нѣмецкую литературу?—Когда намъ! мы пишемъ водевили...

БРАВО ИЛИ ВЕНЕЦИАНСКІЙ ВАНДИТЪ, историческій романъ. Соч. Я. Ф. Купера. Спб. 1839. Четыре части.

Куперъ явился послѣ Вальтеръ-Скотта и многими почитается какъ бы его подражателемъ и ученикомъ; но это рѣшительная нелѣпость: Куперъ — писатель совершенно самостоятельный, оригинальный, и столько же великій, столько же гениальный, какъ и шотландскій романистъ. Принадлежать немногому числу перворазрядныхъ, великихъ художниковъ, онъ создалъ такія лица и такіе характеры, которые навѣки останутся художественными типами: вспомните его Соколиного Глаза, который потомъ является Тенетчикомъ, вспомните его пчелинаго охотника Павла, его Твердосердаго,

его Харвея Биша, его Джона Поля *), и множество другихъ лицъ, вѣроятно, столько же, какъ и мы, знакомыхъ и перенесшихъ тамъ. Сверхъ того, будучи гражданиномъ молодого государства, рожденнаго на молодой землѣ, непохожей на нашъ старый свѣтъ, онъ, черезъ это обстоятельство, какъ будто бы сдѣлалъ особый родъ романовъ—американско-степныхъ и морскихъ. Въ самомъ дѣлѣ: эти дивныя изображенія безпредѣльныхъ степей Америки, покрытыхъ травой выше человеческого роста, населенныхъ стадами бизоновъ, пресѣкаемыхъ огромными лѣсами, тающими въ себѣ краснокожихъ дѣтей Америки, ведущихъ и между собою, и съ бѣлыми непримиримую брань, — гдѣ, у кого, кромѣ Купера можете вы найти все это? А море, а корабль?— тутъ онъ опять какъ у себя дома; ему извѣстно наваніе каждой веревочки на кораблѣ, онъ понимаетъ, какъ самый опытный лоцманъ, каждое движеніе корабля, какъ искусный капитанъ—онъ умѣетъ управлять имъ и нападая на неприятельское судно, и убѣгая отъ него. На тѣсномъ пространствѣ палубы, онъ умѣетъ завязать самую многосложную и, въ то же время, самую простую драму, и эта драма изумляетъ васъ своею силою, глубиною, энергіею, величию, а между тѣмъ въ ней все такъ, повидимому, спокойно, неподвижно, медленно, обыкновенно. Дивный, могучій, великій художникъ! Вотъ это-то и заставило всѣхъ сдѣлать ложное заключеніе, что Куперъ можетъ быть у себя дома только въ степи, въ лѣсу, да на морѣ; но что если перенесетъ мѣсто дѣйствія своего романа на твердую землю, то непременно потерпитъ кораблекрушеніе и сядетъ на мель. Но великій художникъ не побоялся карканья критическихъ вороньевъ или воронъ; но, расправивъ свои могучія орлиныя крылья, и на чужомъ ма-

*) А этого не угодно ли для курьезу сравнить съ Джономъ-Полемъ г. Александра Дюма, чтобы увидѣть разницу между самобытнымъ гениемъ творчества и литературнымъ обезьянничествомъ жалкой посредственности.

терикъ, подъ чуждымъ небомъ полетѣлъ тѣмъ же, ему одному свойственнымъ, полетомъ, каковымъ парилъ онъ подъ небомъ своей родины. «Браво», романъ, мѣстомъ дѣйствія котораго Куперъ избралъ Венецію; служить этому доказательствомъ. Недавно этотъ романъ явился на русскомъ языкѣ въ самомъ безграмотномъ переводѣ, какой только можетъ себѣ вообразить самое пылкое и смѣлое безграмотное воображеніе, — и почти во всѣхъ нашихъ журналахъ было повторено, что Куперъ — хорошій романистъ у себя въ Америкѣ, да на морѣ, а въ Европѣ срѣзался, и что его «Браво» — скучный и пошлый романъ. Вотъ такъ-то, — что много думать!...

Признаемся, не безъ страха принялись мы за чтеніе «Браво»: намъ было грустно удостовѣриться, что такой великій художникъ, какъ Куперъ, могъ писать плохіе романы, какъ какой-нибудь Бولверъ. Вотъ уже мы, черезъ великую силу, прочли главу, другую... переводъ уже одолѣвалъ наше терпѣніе, нашу любовь къ искусству, готовую на великія жертвы — даже на чтеніе такихъ переводовъ... но вотъ мракъ началъ разсѣиваться, легкіе очерки стали превращаться въ живописныя фигуры, слабыя тѣни — въ живые образы и лица, и, не смотря на ужасный переводъ, мы уже не читали, а съ ненасытною жадностію пожирали остальные главы и части... И теперь, когда уже романъ давно прочтенъ, и теперь носятя передъ нашими глазами эти дивныя обравы, которые могла создать только фантазія великаго художника... Вотъ старый рыбакъ Антоніо, съ его энергическою простотою нравовъ, съ его благородною грубостію; вотъ глубокій, могучій, меланхолическій Браво; вотъ кроткая, чистая, милая Джелсомина; вотъ вѣтренная и лукавая Аннина — какія лица, какіе характеры! какъ сроднилась съ ними душа моя, съ какою сладкою тоскою мечтаю я о нихъ!... Коварная, мрачная кинжальная политика венеціанской аристократіи, нравы Венеціи, регата, или состязаніе гондольеровъ, убійство Антоніо — все

это выше всякаго описанія, выше всякой похвалы. И все это такъ просто, такъ обыкновенно, такъ медочно, повидимому; люди хлопочутъ, суетятся, кто хочетъ погулять, кто достать деньжонокъ, кто поволочиться, кто пощеголять; лица всѣхъ веселы, публичныя гулянья нестрѣютъ масками, по каналамъ развѣзжаютъ гондолы,—но изъ всего этого выставляется какой-то жидосадый призракъ, наводящій на васъ оцѣпеняющій ужасъ. И все дѣйствіе продолжается какихъ-нибудь три дня; внѣшнихъ рычаговъ нѣтъ—вся драма завязывается изъ столкновенія разныхъ индивидуальностей и противоположности ихъ интересовъ, всѣ событія самыя ежедневныя,—но только не разъ, во время чтенія, опустится у васъ рука съ книгою и долго, долго будете вы смотрѣть вдаль, не видя передъ собою никакого опредѣленнаго предмета.

Прежде, нежели произносить такой рѣшительный и такой презрительный приговоръ произведенію такого великаго мастера, какъ Куперъ,—не худо было бы прочесть его въ подлинникъ, если доступенъ языкъ его, или хотъ во французскомъ переводѣ, потому что всѣ французскіе переводчики, вопреки большей части русскихъ, имѣютъ похвальную привычку заботиться о смыслѣ и правильности языка.

РУССКІЕ ЖУРНАЛЫ.

1.

Въ нашей журналистикѣ, съ началомъ нынѣшняго года, произошло столько переменъ, что 1839 годъ долженъ составить эпоху въ ея дѣтписяхъ. Явились два новые журнала; нѣкоторые старые измѣнились. Въ послѣдней новости относятся и безпрестанные образы своихъ собратій. Мы первые довольно уже нацѣтались разныхъ отзывовъ и сужденій о самихъ себѣ, мы, которые ни о комъ не судили. Думаемъ, что правила приличія и вѣжливости требуютъ, чтобы мы за вни-

маніе заплатили вниманіемъ, и не остались въ долгу, особенно у почетнаго и маститаго «Сына Отечества», который такъ скромно и такъ любезно привѣтствовалъ насъ своимъ, немного дрожащимъ отъ старости и отъ небольшой досады, (вслѣдствіе старости же) голосомъ... «Галатей» — дама и красавица — отъ нея мы отдѣлаемся нѣсколькими комплиментами и любезностями; а «Сына Отечества»... Но начнемъ по порядку и не забудемъ и прочихъ жуналовъ. Съ кого же начать? — Мы не будемъ долго думать и начнемъ съ «Современника», потому что ни одинъ журналъ не читаемъ мы съ такимъ удовольствіемъ, ни одинъ журналъ такъ высоко не цѣнимъ какъ «Современникъ». Читатели «Наблюдателя» еще съ прошлаго года находили въ немъ постоянно самые подробные отчеты о каждой книжкѣ «Современника».

«Современникъ» всегда богатъ хорошими оригинальными статьями — обстоятельство, которое даетъ этому журналу высокую цѣну. Первая книжка за нынѣшній годъ, составляющая тринадцатый томъ изданія, особенно богата хорошими оригинальными статьями. Пересмотримъ ихъ по порядку. Первая — «Знакомство съ Рунебергомъ» г. Я. Грота содержитъ любопытныя подробности объ одномъ изъ знаменитыхъ современныхъ поэтовъ и литераторовъ шведскихъ — Рунебергѣ, и о шведской литературѣ. Статья эта — отрывокъ изъ путешествія по Финляндіи, отрывокъ; возбуждающій живѣйшее желаніе прочесть путешествіе, изданное вполнѣ. Пропуская «Разборъ новыхъ книгъ», переходимъ къ статьѣ «Отрывки изъ исторіи партизановъ Пиривейскаго полуострова» г. Невѣдомскаго, къ статьѣ превосходной и по содержанію, и по изложенію, давно возбудившей въ насъ живое вниманіе и еще живѣйшее желаніе прочесть въ цѣломъ сочиненіи, изъ котораго она отрывокъ. Критическая статья «Шекспиръ» очень интересна по своему содержанію и хорошо составлена. «Картина Бразиліи» — статья прелюбопытная по фантазъ о мало или почти неизвѣстной у насъ странѣ міра, и по прекрасному, живому изложенію.

За эти статьи слѣдуетъ собственно изящная словесность. Прочтя съ удовольствіемъ «Два разсказа, или Болгарка и Подольнка», очень милый, но нѣсколько растянутый разсказъ В. Лутискаго, вы переходите къ «Городу безъ имени», прекрасной, полной мысли и жизни фантазіи ин. Одоевскаго. Въ этой фантазіи (иначе мы не умѣемъ назвать прекраснаго произведенія ин. Одоевскаго) съ силою и энергіею показана вся мощь и безнравственность односторонняго взгляда на развитіе народовъ и государствъ, вслѣдствіе котораго основною движателемъ и цѣлью ихъ жизни и стремленій должна быть только польза. «Праздникъ жертвоцовъ» — переводъ съ милороссійскаго нарѣчія на русскій языкъ одного изъ милыхъ юмористическихъ разсказовъ талантливаго Грица Осмоулякова. Въ отдѣленіи стихотвореній остановимся на «новой спѣнѣ изъ Бориса Годунова», чтобы сказать, что этотъ небольшой отрывокъ блеститъ всею лучезарностію творческаго гения Пушкина, и что мы не понимаемъ, почему великій мастеръ исключилъ его изъ цѣлаго произведенія. «Путешественнику», стихи четырнадцатилѣтняго Пушкина, интересны, какъ фактъ — не больше.

Перелистывая съ читателями первую книжку «Современника», приглашаемъ ихъ перелистовать съ нами три первыя книжки «Библіотеки для Чтенія» и просимъ ихъ не путаться тяжести труда — мы намѣрены совершить его на ходу.

Можетъ быть, многіе ждутъ уже отъ насъ брани, насмѣшекъ, нападокъ, потому что мы заговорили о «Библіотекѣ для Чтенія»: напрасныя ожиданія! Наши литературныя мнѣнія чужды всякой личности, всякъ отношеній, требующихъ для своей ясности особенныхъ домашнихъ комментариевъ. Для насъ равны — и «Библіотека для Чтенія», и «Сынъ Отечества», и «Отечественныя Записки», и «Объерная Пчела». Намъ не нравится направленіе Б. для Ч., но намъ нравится, что въ ней есть направленіе — качество, принадлежащее не всякимъ нашимъ журналамъ; мы не раздѣляемъ мнѣній Б. для Ч. и

даже не любимъ ихъ, но мы любимъ ее за то, что у ней есть мѣня, которыя есть не у всѣхъ нашихъ журналовъ. Объ аккуратности изданія этого журнала, равно какъ и о томъ, что онъ умѣетъ угодить своимъ читателямъ — нечего и говорить, а это, согласитесь, два важныя качества въ журналѣ. Итакъ, да здравствуетъ Б. для Ч. и да не упрекаетъ она насъ въ пристрастіи, злобѣ и ожесточеніи къ себѣ!... Послѣ этого приступа, который мы считали необходимымъ, приступимъ къ самому дѣлу.

Первое отдѣленіе въ Б. для Ч. «Русская Словесность» — названіе немного повѣрное, потому что предметъ и прочихъ всѣхъ отдѣленій тоже русская словесность. Отдѣленіе «Русской словесности» въ Б. для Ч. всегда начинается стихотвореніями. По причинѣ стихотворнаго безплодія въ современной русской литературѣ, это отдѣленіе «Библіотеки» всегда было крайне слабо. Г. Тимофеевъ всегдашній и неутомимый поставщикъ для этого отдѣленія — можно судить, каково оно! Вдругъ въ трехъ книжкахъ Б. для Ч. за нынѣшній годъ авилось одиннадцать прекрасныхъ, поэтическихъ стихотвореній. Это было загадкою для многихъ — только не для насъ. Авторъ этихъ прекрасныхъ стихотвореній — г. Красовъ. У насъ была тетрадь его стиховъ (единственный экземпляръ), и мы были уполномочены поэтомъ брать изъ нее, что намъ угодно. Вслѣдствіе этого, въ «Наблюдателѣ» еще за прошлый годъ помѣщено было нѣсколько стихотвореній г. Красова — остальные дожидались своей очереди. Вдругъ редація «Наблюдателя» потеряла эту тетрадь, единственный списокъ стихотвореній, писанныхъ въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ. Вѣроятно, тотъ, кому тетрадь попала въ руки, переслалъ ее въ редакцію «Библіотеки», и мы очень рады, что прекрасныя стихотворенія любимого и уважаемаго нами поэта, утраченныя для насъ, не утратились для публики. На тетрадь, въ самомъ дѣлѣ, не было выставлено имени автора, — и потому въ 1 № «Библіотеки» — «Элегія» (стихотвореніе, напечатанное, ка-

жета, еще въ «Телескопѣ» за 1835 годъ), «Сынъ» (нигдѣ ненапечатанное стихотвореніе) и «Цѣня» (напечатанная въ 1 № «Наблюдателя» за прошлый годъ) явились съ именемъ г. Бернета. Въ 11 № «Библіотеки» — «Элегія» и три «пѣсни», изъ которыхъ послѣдняя была напечатана въ 5 № «Наблюдателя», явились уже совсѣмъ безъ имени, съ примѣчаніемъ редакціи о полученіи тетради. Чтѣ же касается до трехъ стихотвореній, напечатанныхъ въ 11 № въ Б. для Ч. съ именемъ г. Красова, то они ваяты не изъ тетради, а присланы въ редакцію этого журнала самимъ авторомъ, который, дождавъ на долговременное непомѣщеніе своихъ стихотвореній, прислалъ ихъ къ намъ, вслѣдствіе чего прекрасная элегія — «Когда порой свободный отъ трудовъ» помѣщена была еще въ 10 № «Наблюдателя» за прошлый годъ. Изъ примѣчанія редакціи «Библіотеки» въ 11 №, видно, что тетрадь вся: жаль — значить часть ея утрачена, потому что мы помнимъ тамъ много прекрасныхъ стихотвореній, особенно одно, называющееся «Клара Мовбрай».

Теперь заглянемъ въ прозаическое отдѣленіе «Русской Словесности».

«Альпійскіе виды» — интересный очеркъ г. Фролова. — «Малороссійская Лѣнь» г. Бабака — довольно занимательный очеркъ малороссійскаго быта. — «Николай Сапѣга», повѣсть г. Константинова, принадлежитъ къ числу очень хорошихъ журнальныхъ повѣстей. За нею слѣдуетъ «Иванъ Рябовъ, рыбакъ Архангелогородскій» драматическій анекдотъ г. Кукольниина, превосходное въ своемъ родѣ произведеніе. Особенное достоинство этого новаго произведенія неистощимаго пера г. Кукольника составляетъ народный языкъ, доведенный до крайняго совершенства, и чтѣ особенно-то и важно — подѣ русскою простонародною рѣчью таится русскій простонародный умъ, русская душа. «Маскарадъ», бойко и рѣзко написанный рассказъ — легкій очеркъ большого свѣта. Въ немъ играетъ важную роль какой-то поэтъ Н — нъ, по имени Александръ Сергѣевичъ, который,

когда его маска называется Алеко и намекает ему о Кавказъ и Бессарабию, принимаетъ это за намеки на свои сочинения... Но это еще ничего... Страшно, что этотъ Н—нъ, прѣхавъ съ маскарада домой, «сбинулъ фракъ, подвинулъ свѣчу, опустилъ перо въ чернилицу, потеръ рукою по лбу, зѣвнулъ и написалъ шестую строфу «Бородинской Годовщины» и легъ спать». Это что-то похожее—какъ бы сказать—на плоскость, слишкомъ неумѣтную и для многихъ оскорбительную...

Вообще, отдѣленіе «Русской Словесности» въ первыхъ трехъ книжкахъ хоть куда. Въ отдѣленіи «Иностранной Словесности» нашли мы довольно интересную журнальную повѣсть «Кальдеронъ» (Больвера) и превосходную повѣсть Марріета «Чортъ-собака». Мастерская обрисовка характеровъ, ловко завязанная и развязанная интрига, чудесный рассказъ—вотъ достоинство этой повѣсти. Мѣстами пошлость чувствованій, тривіальный взглядъ на вещи, сальность выраженія—вотъ ея недостатки, вѣроятно сообщенные ей переводомъ. «Сельскій хозяинъ», комедія принцессы Амаліи саксонской—маленькая правоучительная пѣска, которой приличнѣй быть помѣщенной въ дѣтскомъ, нежели въ учено-литературномъ журналѣ, издаваемомъ для взрослыхъ.

Въ отдѣленіи «Наукъ и Художествъ» 1-го № помѣщена огромная статья г. Куторги «Естественная исторія наливочныхъ животныхъ», статья, интересная по содержанію и хорошо изложенная, но по своей огромности, совсѣмъ не журнальная. «Григорій VII», чрезвычайно интересная историческая статья. «Науки, искусства и искусства *)» въ древней Индіи, статья г. Менцова, заключающая въ себѣ нѣсколько любопытныхъ фактовъ, изложенныхъ безъ всякаго взгляда, безъ всякой мысли. «Елисавета и Анна, королевы англійскія», интересная по содержанію, но сбивчивая и темная по

*) Желательно бы знать, какую разность полагаетъ авторъ этой статьи между художествами и искусствами?

отсутствію мысли, статья. «Обращенія союзовъ въ растеніяхъ» — статья, посвященная слишкомъ частному предмету. Общественнаго «промышленности и сельскаго хозяйства», какъ о предметѣ, совершенно намъ чуждомъ, мы не судимъ. Критика въ «Библіотекѣ» обыкновенно состоитъ изъ выписокъ изъ рассматриваемыхъ сочиненій, выписокъ, къ которымъ придѣлано нѣсколько личныхъ мнѣній, ни на чемъ, кромѣ произвола редактора, не основанныхъ, и ничѣмъ, кромѣ его остротъ и шутокъ, не подтвержденныхъ. Направленіе этой «критики», какъ и всего журнала — вражда противъ умозрѣнія, противъ мысли, и распространеніе ложныхъ, опытныхъ, наглядныхъ и рутинныхъ понятій въ наукѣ и искусствѣ. Напримѣръ въ № 3 помѣщена критика по поводу книгъ: «Русская исторія, г. Устрялова; Дѣянія Петра Великаго, Голицева, О княжествѣ Литовскомъ. Какое мѣсто въ русской исторіи должно занимать княжество литовское?» г. Устрялова. Въ этой статьѣ, которая почему-то названа критикою, тогда какъ она есть только сборъ произвольныхъ и притомъ устарѣлыхъ мнѣній объ исторіи, несмотря на величіе такого предмета, какъ Петръ Великій, холодно, апатически изложенныхъ, въ этой статьѣ нападаютъ на мысль объ историческомъ развитіи человѣчества, какъ стремленіи къ совершенствованію, и вмѣсто совершенствованія полагаютъ стремленіе къ умноженію физическихъ и умственныхъ наслажденій: мысль энциклопедистовъ XVIII вѣка!... Впрочемъ, въ этой статьѣ, мы встрѣтили очень дѣльную мысль, особенно важную, какъ опроверженіе нелѣпости, распространяемой поверхностными мыслителями, вотъ она: «Что такое Россія въ отношеніи къ человѣчеству? — Этотъ вопросъ мы уступаемъ мнимымъ мыслителямъ, которымъ дельфійскій оркулъ открылъ своимъ загадочнымъ словомъ, что Россіи предоставлено быть обновительницею дряхлаго Запада, внести туда новый элементъ, и что призваніе ея такое же, какъ призваніе Германцевъ и Норманцевъ въ среднихъ вѣкахъ.

Незавидна была бы судьба Россіи быть обновительницею Запада, который, сказать мимоходомъ, вовсе не старѣетъ. Мы принимаемъ Россію за отдѣльный міръ, по величинѣ равный Европѣ, и видимъ, напротивъ того, что Европа обновляетъ Россію». Умно и справедливо!

Отдѣленіе «Смѣси» въ Б. для Ч. по прежнему свѣжо и интересно, но ужъ чересчуръ однообразно, потому что исключительно посвящается открытіямъ и новостямъ по части естествознанія. Отдѣленіе «литературной лѣтописи» становится все мороче и оуше: отсутствіе веселости, остроумія, прежнихъ милыхъ шуточекъ, отъ которыхъ всѣ животы надрывали, показываетъ какое-то утомленіе, усталость.

Теперь еще одно замѣчаніе—о языкѣ Б. для Ч.; онъ нарѣдко грѣшитъ противъ живого русскаго языка, обличая въ редакторѣ иноплеменика. Напримѣръ: «Охотно бы позволилъ себя сколотъ и стерзать, чтобы только убѣдиться, что я не сплю». Сколотъ и стерзать!... «Я расскажу тебѣ послѣ большой смѣхъ»—покаковски это?... «Слеза благодарности, которая жгетъ меня подъ маской» — жгетъ, нечетъ, бѣгетъ: такъ говорится развѣ по финскому произношенію, а по московскому или — что все одно и тоже — по великорусскому, говорится: жжетъ, печетъ, бѣжитъ... Не смотря на то, «Библиотека для Чтенія», все-таки, интересный и охотно, съ удовольствіемъ читаемый журналъ: въ этомъ-то и заключается причина его необыкновеннаго успѣха.

Теперь обратимся къ «Сыну Отечества» и «Отечественнымъ Запискамъ».

2.

Увы! на жизненныхъ браздахъ
Мгновенной жатвой, пожатая,
По тайной воли провидца,
Восходить, зрѣють и падуть;
Другія имъ во слѣдъ идутъ...
Такъ наше вѣтренное племя
Растетъ, волнуется, кипитъ
И къ гробу пращадъ тѣснитъ.
Придетъ, придетъ и наше время,
И наши внуки, въ добрый часъ,
Изъ міра вытѣснятъ и насъ.

Пушкинъ.

Что старина, то и дѣнье!

Киришъ Даниловъ.

Благословите, братцы, правду сказать.

Сынъ Отечества.

Не станемъ писать исторіи «Сына Отечества» этого масти-
таго журнала, догоняющаго или перегоняющаго своими го-
дами «Вѣстникъ Европы» блаженной памяти; скажемъ только,
что, послѣ многочисленныхъ и неудачныхъ попытокъ къ воз-
рожденію и обновленію, онъ перешелъ, наконецъ, въ руки че-
ловѣка, перваго именемъ своимъ въ русской журналистикѣ.
Не говоря уже о перемѣнѣ въ планѣ журнала, изъ недѣльника
превратившагося, по примѣру Б. для Ч., въ мѣсячникъ,—
сколько надеждъ было возложено публикою на этотъ журналъ,
подпавшій подъ редакцію знаменитаго, талантливаго и много-
сторонняго редактора. Поговаривали было уже, что Б. для Ч.
приходитъ конецъ, что вотъ, наконецъ-то, явится журналъ,
который дастъ намъ критику безпристрастную, благородную,
независимую, основанную на твердыхъ началахъ науки изящ-
наго, въ ея современномъ состояніи; журналъ, который, какъ

на ладони, будетъ показывать намъ современную Европу со стороны ея умственной дѣятельности и духовнаго развитія. Ждали, кричали—кричали и ждали, и—дождались...

«Сынъ Отеч.» сдѣлался собственностію г. Смирдина, слѣдовательно имѣлъ всѣ матеріальныя средства къ наружному достоинству, своевременному выходу, книжкѣ и улучшенію даже внутренняго содержанія, чрезъ приглашеніе къ участию русскихъ писателей пользующихся заслуженнымъ авторитетомъ. Имя редактора ручалось за превосходный выборъ статей, за превосходную критику и за многое превосходное. Но не всѣ надежды сбываются. Вопервыхъ, С. О. сталъ отстаывать, такъ что послѣдняя книжка его за прошлый годъ вышла въ нынѣшнемъ; С. О. явился съ самой скромной наружностію—на сѣренькой бумажкѣ, слѣпо и некрасиво напечатанный...

Но еще поразительнѣе внутренняя сторона С. О. Подъ критикою онъ сталъ разумѣть библіографическіе отзывы о книжкахъ, или рецензіи, и потомъ французскія статьи о предметахъ искусства. Въ рецензіяхъ была выговорена правда нѣсколькимъ плохимъ книжонкамъ, но главныя усилія были направлены — вопервыхъ, противъ людей, которые, по слѣпотѣ своей, видѣли въ С. О. не журнальное свѣтило, а какое-то тусклое пятно, знаменующее затмѣненіе на горизонтѣ нашей журналистики; во вторыхъ, противъ людей, которые, по закону давности, совершенно забыли «Московскій Телеграфъ» и смѣялись надъ повтореніемъ устарѣлыхъ понятій; въ третьихъ, противу людей, которые осмѣливались видѣть въ г. Лажечниковѣ даровитаго писателя, а не безграмотнаго писаку, а прекрасныя романы его ставить выше романовъ г. Полевого. Что касается до критикъ, переводимыхъ въ С. О. съ французскаго, то очень трудно опредѣлить ихъ сущность и цѣль. Или уже такова организація нашего духа, или въ самомъ дѣлѣ Французы въ этомъ виноваты, но только для насъ рѣшительно недоступна ясность французскихъ ста-

тей. Прочтя французскую статью со всевозможным напряженным вниманием, мы всегда спрашиваем себя: да о чемъ же хлопочет сей господинъ, или — другими словами:

Да, изъ чего же быцуетесь вы столько?

По моему мнению, только та статья хороша, въ которой развита какая-нибудь мысль, и въ которой каждая мысль, являясь въ живомъ словѣ, теряетъ свою скелетную отвлеченность и переходитъ въ объективное представление. Прочтя такую статью, можно иногда не согласиться съ ея основаніями, но всегда можно сказать, какая развита въ ней мысль, какъ она развита (т. е. весь ея диалектический ходъ), и потому ее можно всегда помнить. Кажется, что противъ этой мысли, столь же простой, смелой и истинной, никто спорить не станетъ. Теперь приглашаемъ, не угодно ли кому-нибудь для пробы, пересказать содержаніе хоть статьи Филарета Шаль «Нынѣшняя англійская словесность», помѣщенной въ 3 книжкѣ С. О. за нынѣшній годъ? Въ этой статьѣ говорится и о Шекспирѣ, и о Байронѣ, и о Вальтеръ-Скоттѣ, о Сутей и Вордсвортѣ, но объ искусствѣ не говорится ни слова, а между тѣмъ очень много наговорено о машинахъ, цилиндрахъ, новѣйшей цивилизаціи, пароходахъ и о прочемъ, что до искусства не касается. Прочтя статью, вы не обогащаетесь даже ни однимъ новымъ фактомъ о современной англійской литературѣ, — о мысли я уже и не говорю. А между тѣмъ это еще самая лучшая французская статья въ С. О., потому что между, такъ называемыми, критиками французскими, Филаретъ Шаль еще отличается противъ другихъ большимъ количествомъ здраваго смысла. Въ прошломъ году, С. О. дебютировалъ двумя французскими статьями, очень дурно переведенными: о Викторѣ Гюго, кажется, Сень Бёва, и о Ламартинѣ, кажется, Низара. Боже мой, что это за произвольность въ понятіяхъ! Ничего не поймешь, ничего не разберешь!

Запали молодцы—кто въ лѣсъ, кто по дрова!
Деруть, а толку нѣтъ!

О томъ, что называется основаніями науки — нѣтъ и намека. Какъ же послѣ этого смѣть презирать Нѣмцевъ! Говорятъ, Нѣмцы темно пишутъ. Не правда: что выше насъ, то намъ темно; но станьте вашимъ развитіемъ въ уровень съ Нѣмцемъ—и вы увидите, что онъ пишетъ ясно и понятно. А что и у Нѣмцевъ есть темные писани, потому что у нихъ въ головѣ темно, — это можно доказать изъ «Сына же Отечества»: прочтите въ 1 № статью Амедея Вендта «О нынѣшнемъ состояніи живописи, ваяніи, зодчества и музыки». У Нѣмцевъ критика основана на законахъ разума, всегда одинаго и неизмѣняющагося, на началахъ науки, сообразно ея современному состоянію. Лессингъ, Шиллеръ, Шлегель, и теперешняя дружина молодыхъ гегелистовъ—Ганцъ, Рѣтшеръ, Бауманъ, Гото и другіе — что такое всѣ эти имена? — Это названіе періодовъ развитія науки изящнаго, это названіе главъ въ ея исторіи, потому что, повторяемъ, въ Германіи критика развилась исторически, и въ ея представителяхъ вы увидите вліяніе и Канта, и Шиллинга, и Гегеля. По этой причинѣ, если Лессингъ, Шиллеръ и Шлегели теперь не могутъ быть законодателями вкуса, то ихъ заслуга все-таки не забыта, и ихъ достоинство не унижено: Нѣмцы изучаютъ ихъ какъ историческія лица въ наукѣ изящнаго, чтобы чрезъ это изученіе видѣть ходъ и развитіе мысли о творчествѣ. Напротивъ того, какое значеніе могутъ имѣть Лагарпы и Жоффруа, кромѣ развѣ, какъ факты колобродства человѣческаго разсудка? За что подорожить потомство статьями Жюль-Жанета и статьями Густава Планца, Сень-Бѣва, Навара, Филарета Шаля? Скажите, какое соотношеніе между этими людьми, имѣлъ ли кто изъ нихъ вліяніе на другого, чье имя должно стоять впереди, чье послѣ?... Нѣтъ, они являлись всѣ случайно, мысли ихъ родились случайно, какъ личныя мнѣнія, ни на чемъ не основанныя, ни къ чему не привязанныя. Ихъ назначеніе —

не быть проводниками новыхъ идей объ искусствѣ, исторически развивающихся; ихъ ремесло — высказывать афемерный вкусъ толпы, мнѣніе дня. Я въ восторгѣ отъ «Руслана и Людмилы», а мой лакей безъ ума отъ «Еруслана Лазаревича»: мы оба правы, и если бы мой лакей умѣлъ написать статью, въ которой бы высказалъ свое личное мнѣніе о высокомъ достоинствѣ «Еруслана Лазаревича» и о пошлости поэмы Пушкина, это была бы превосходная критическая статья во французскомъ духѣ. Я такъ думаю, мнѣ такъ кажется — вотъ основаніе французской критики. Эта произвольность во мнѣніяхъ часто доходитъ до такихъ нелѣпостей, которыя могутъ являться только во французской литературѣ. Недавно, одинъ французикъ, Арнуль Фреми, вздумалъ написать шуточное письмо къ тѣни Дидерота, о томъ, что драма есть ложный родъ и не принадлежитъ къ искусству, но что Корнель, Расинъ, Мольеръ, Вольтеръ, Шекспиръ (какое дикое сближеніе именъ!...) великіе люди!!! И что же? Редакторъ С. О. не только почелъ нужнымъ перевести оную статью для своего журнала, но и еще, въ выноскѣ къ ней, глубокомысленно замѣтилъ, что дѣло стоитъ того, чтобъ надъ нимъ подумать». И потомъ, онъ же перевелъ превосходную статью Варнгагена о Пушкинѣ, для показанія пошлости современной нѣмецкой критики и, чтобы лучше достичь своей цѣли, перевелъ ее ужаснымъ образомъ... Что обо всемъ этомъ сказать?

Теперь вы имѣете понятіе какова критика С. О., т. е. къ какому вѣку, къ какому времени она относится, и до какой степени принадлежитъ она нашему времени?...

Теперь мы должны сказать о собственныхъ критическихъ статьяхъ редактора С. О. Еще въ прошломъ году изумилъ онъ весь русскій читающій міръ своею статьею о «Курсѣ Словесности» И. И. Давыдова. Очень жалѣемъ, что не имѣемъ времени, ни мѣста, ни охоты, ни терпѣнія разобрать эту статью, дивную во статьяхъ. Въ ней нашъ критикъ рѣшительно убиваетъ книгу почтеннаго профессора, говоря, что

она есть не что иное, какъ «слова, слова, слова»; и вслѣдъ за тѣмъ, строить свою систему словесности, которая именно есть не что иное, какъ «слова, слова, слова». Въ нынѣшнемъ году, почтенный редакторъ С. О. размахнулся тремя статьями: «Критическія изслѣдованія касательно современной русской литературы» — «Мнѣніе о новомъ правописаніи г. Лажечникова, въ романѣ его: Басурманъ» — «Вредитъ ли критика современной русской словесности? (возращеніе на статью Н. В. Букольника)». Общій характеръ всѣхъ этихъ статей состоитъ въ богатствѣ словъ, бѣдности мыслей и апатическомъ изложеніи. Бурѣяніе всѣхъ статей «Вредитъ ли критика современной русской словесности». Впервыхъ: вопросъ такъ не мудренъ и ясенъ, что толковать о немъ — значить разсуждать о томъ, что «науки суть полезны». Мы понимаемъ, что на подобный вопросъ можно отвѣтить нѣсколькими фразами, въ родѣ слѣдующихъ: «Дарованіе, которое можно убить порицаніемъ, недостойно жить, и чѣмъ скорѣе умереть, тѣмъ лучше для литературы, потому что черезъ это она избавляется отъ вреднаго пустощества»; но мы рѣшительно не понимаемъ, какъ можно сдѣлать цѣлую статью изъ рѣшенія подобнаго вопроса, и еще — какъ можно назвать такую статью критикою? Неужели критика есть пересыпаніе изъ пустого въ порожнее?... Вовторыхъ: сколько диковинокъ и что за диковинки въ этой критикѣ... Истинное вавилонское столпотвореніе словъ безъ мыслей!... Не угодно-ли полюбоваться хоть одною диковинкою?

Какъ ни различны теперь мнѣнія русскихъ критиковъ, по примѣры убѣждать насъ, что, въ послѣднее время, каждое, чуть какую-либо надежду подававшее дарованіе было тотчасъ выявлено и ледѣно читателями и критикою. Подолжскій, Вельтманъ, Вронченко, гр. Р—на, Бенедиктовъ, Якубовичъ, Лермонтовъ, Ершовъ, Дадъ, Панаевъ (И. И.), Соколовскій, Губеръ, князь Одоевскій, Шевырѣвъ, Бороздина, Маркевичъ, Ободовскій, баронъ Розенъ, Каменскій, Владиславлевъ, Лажечниковъ, Теплова, вы самъ, милый Н. В.; даже присолъ Кольцовъ, всѣ вы, принадлежащіе къ эпохѣ послѣ-пушкинской, всѣ, болѣе или мѣнѣе, но отличенные дарованіемъ безпорочнымъ, не были-ль всѣ отличены кри-

тикою модѣйшему? не заслужива-ль себя большей или меньшей почетности и извѣстности? Что же намъ еще прикажете дѣлать?—хвалить сряду всѣхъ поэтовъ: г-дѣ Теплякова, Ѳедосѣева, Мейцова, Лаговыи, Чистякова, Тимоеева, Бернети, Мывникова, Рудниовскаго, Чижова, Бахтурина, Луцшевича и пр. и пр., чьи имена мелькають въ журналахъ? Въ они, можетъ быть, умные, ученые, добрые, любезные люди, но поэты плохіе! Довольно, что ихъ печатають, а притомъ и похвадивають...

Каково?—Имена кн. Одоевскаго, Лажечникова, Вельтмана, Бронченко,—не только на ряду съ именами молодыхъ людей, еще только выступающихъ на поприще, хотя и подающихъ большія надежды, но на ряду съ именами г-дѣ: Соколовскаго, Якубовича, Бороздны, барона Розена, Каменскаго!... Хорошо, очень хорошо!... мы не говоримъ уже о томъ, что г. Тепляковъ несравненно выше всѣхъ этихъ господъ,—какъ попалъ съ Ѳедосѣевыми и Тимоеевыми г. Бернетъ, молодой человекъ съ несомнѣнными поэтическими дарованіями?... Посмотримъ что дальнѣе:

Да неужели и васъ всѣхъ, выше-упомянутыхъ, пожаловать прямо въ гении? а совѣсть гдѣ? (да, это вопросъ!...) А гдѣ ваше оправданіе трудами? — И васъ, которыхъ мы отличаемъ отъ другихъ, неужели хвалить безусловно? никогда! Если Подолинскій не оправдалъ мыслью своихъ прелестныхъ звуковъ, если Каменскому (!...) совѣтуютъ думать объ языкѣ при мысли; если князю Одоевскому говорятъ, что балъзаковская, практическая повѣсть не его родъ, если Губеру указываютъ на невѣрность его „Фауста“, если Лажечникову совѣтуютъ не вводить реформы въ языкъ безъ достаточныхъ причинъ, если Соколовскому говорятъ, что его духовная поэзія, просто, ошибка, если Далю сказываютъ, что онъ слишкомъ хитритъ въ своемъ русизмѣ, если Бенедиктова умоляютъ (?) пощадить свой звучный стихъ отъ изысканности — развѣ все это нападки, заговоръ противъ талантовъ?

Конецъ концовъ—это изъ рукъ вонъ! У г. Каменскаго есть мысль (!...), да языкъ дуренъ, а у г. Подолинскаго звученъ стихъ, да мысли нѣтъ!...

Что вы, о, дальніе потомки!...

Помыслите о нашихъ дняхъ...

И кто все это пишетъ теперь!... О, слава міра сего, какъ ты не надежна! Великую правду сказалъ Наполеонъ, что отъ высокаго до смѣшнаго только шагъ. Но чтобы выставить во всемъ блескъ добросовѣстность, безпристрастіе, благородный тонъ, хладнокровіе, умѣренность, уваженіе къ приличію, къ чужой личности, соединенныя съ остроуміемъ и энергіею выраженія г. редактора С. О., выписываемъ его привѣтствіе «Московскому Наблюдателю» — предметъ, очень близкій къ нашему сердцу.

Мы получили наконецъ изъ Москвы первую книжку Московскаго Наблюдателя. Слухи не обманули насъ. „Наблюдатель“ выходитъ съ новаго года ежемѣсячно, толстыми книжками... Кто редакторъ его — не знаемъ. Изданіе принялъ типографщикъ Н. С. Степановъ, который по словамъ Наблюдателя, владѣетъ всеми матеріальными средствами къ внутреннему и вѣшнему улучшенію журнала. — И къ внутреннему? Поздравляемъ добрую Москву съ русскимъ Франклиномъ и Ричардсономъ, которые также были типографщики. Признаться, мы что-то худо понимаемъ, что это такое: матеріальныя средства къ внутреннему улучшенію? Вѣроятно, интеллектуальный конкретизмъ, которымъ Я. Степановъ выведетъ индивидуальное Я Наблюдателя въ реальное Я не Я, изъ безусловнаго абсолютизма, въ какомъ находился онъ въ прошедшемъ году. Даруй, Гегель, успѣха! Читатели, живущіе призрачною жизнью прекраснѣе извинять насъ за непонятный языкъ. Что дѣлать? Съ волками надобно вѣть, по старой пословицѣ. Оставя шутки, скажемъ, что въ прошедшемъ году „Наблюдатель“ представлялъ какое-то странное явленіе. Онъ явился какимъ-то вздорливымъ юношею, а что всего хуже — пустился въ философію, и при концѣ года могъ сказать: О, философія! ты срѣзала меня! Говорила некогда г-жа Простакова о своемъ супругѣ, что на него иногда „находить“, बातшка, такъ сказать, столбнякъ — выпуча глаза стоитъ, какъ вкопанный, а какъ столбнякъ попройдетъ, то занесетъ такую дичь, что у Бога просишь опять столбняка“. Почти тоже случилось съ Наблюдателемъ: занесъ дичь, забросался во всѣ стороны, заговорилъ такимъ языкомъ, что не знали мы: смѣяться, жалѣть ли?...

Неправда-ли, что очень любезно — и тонъ такой благородный?... Но не ожидайте отъ меня раздѣлки какой бы можно было ожидать, по пословицѣ: «какъ аукнется, такъ и откликнется». Впервые, Боже сохрани такъ откликаться, а вовто-

рыхъ, я, молодой литераторъ, не хочу упустить случая, не хочу отказать себѣ въ удовольствіи—дать старому, почетному и знаменитому литератору урокъ въ вѣжливости и хорошемъ тонѣ... Итакъ, начинаю... но—что же буду я говорить г. Полевому? неужели читать ему азбучныя правила о первыхъ началахъ общежитія?—Помилуйте, вѣдь онъ уже не дитя, не ребенокъ—напротивъ, онъ человѣкъ пожилой, что замѣтно уже и по одному образу его мыслей, не говоря уже объ образѣ выраженія... Нѣтъ, вмѣсто урока, я лучше постараюсь защититься отъ его несправедливыхъ и пристрастныхъ нападокъ, защититься вѣжливо, кротко, но и не слабо, не бессильно...

Что смѣшного въ томъ, что въ программѣ сказано о Н. С. Стопановѣ, какъ о человѣкѣ, имѣющемъ матеріальныя средства къ внѣшнему и внутреннему улучшенію журнала? Изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы онъ былъ Франклиномъ или Ричардсономъ: развѣ А. Ф. Смирдинъ не способствовалъ внутреннему достоинству «Библіотеки для Чтенія», хотя въ изданіи и не принималъ никакого участія, кромѣ издержекъ? Конечно, одинъ онъ, съ своими матеріальными средствами, не много бы сдѣлалъ: доказательствомъ—«Сынъ Отечества»...

Во всемъ остальномъ защищаться нечего: смыслъ и тонъ нападокъ г. Полеваго—лучшая защита для «Наблюдателя»—и потому мы продолжаемъ, какъ начали, разсматривать «Сынъ Отечества».

Важнѣйшее отдѣленіе всякаго журнала—критика и библіографія; онѣ, можно сказать, душа, жизнь его, потому что въ нихъ рѣзче всего высказывается его направленіе, сила и достоинство. Каковы эти отдѣленія въ С. О.,—вы видѣли. Къ довершенію нашего очерка, прибавляемъ еще двѣ-три черты. Редакторъ С. О. видитъ въ Менцелѣ великаго критика, и съ великимъ ликованіемъ объявилъ, что Менцель разругалъ новый романъ г. Лажечникова и расхвалилъ г. Булгарина. Эка важность! Менцель ругалъ самого Гёте, и вообще

онъ такой критикъ, ругательствомъ котораго можно гордиться. Потомъ, редакторъ С. Отечества откровенно признался, что онъ не понимаетъ «Каменнаго Гостя» Пушкина, но что восхищается гладкостію стиха... Удивителенъ ли послѣ этого приговоръ статьѣ Варнгагена?... Увы! *O bon vieux temps!*...

Отдѣленіе стихотвореній С. О. всегда соперничало съ тѣмъ же отдѣленіемъ въ Б. для Ч., и потому въ немъ много очень прекрасныхъ стихотвореній, особенно тѣмъ примѣчательныхъ, что ихъ можно читать и сверху внизъ, и снизу вверхъ... Въ этомъ отношеніи особенно хороши стихотворенія г. Сушкова... Впрочемъ, случайно прошлаго года, попало въ С. О. нѣсколько превосходныхъ стихотвореній Кольцова. Не знаемъ какъ, но только между именами г-дъ: Стромиллова, Некрасова, Сушкова, Гогіева, Банникова, Нахтигала и многихъ иныхъ, попадалось иногда и имя г. Струговщикова, подписанное подъ прекрасными переводами изъ Гёте. Да былъ еще напечатанъ въ С. О. первый актъ изъ «Ромео и Юліи», перев. г. Каткова. Этотъ первый актъ былъ отосланъ г. Полевому еще прежде, нежели вышла первая книжка С. О. прошлаго года, но въ помѣщеніи перевода было отказано—по причинѣ его крайняго несовершенства. Но, господа, въ годъ много воды утечетъ, а человѣческому совершенству нѣтъ предѣловъ: переводъ, ровно черезъ годъ былъ помѣщенъ, безъ позволенія переводчика, который совсѣмъ не желалъ быть въ какихъ бы то ни было отношеніяхъ съ С. О., и къ крайнему его сожалѣнію, потому что, недовольный своимъ переводомъ, онъ совершенно вновь перевелъ весь первый актъ.

Въ трехъ книжкахъ С. О., за нынѣшній годъ, изъ стихотвореній заслуживаютъ вниманіе только три «Римскія Элегіи» изъ Гёте, переведенныя г. Струговщиковымъ. Остальное не стоитъ упоминовенія.

Прозаическая часть словесности въ С. О. очень хороша. Если «Иголкинъ» самого редактора и «Свидѣтель» Одоевскаго—вялы и скучны, каждый по своему, за то вознаградить васъ

исполнѣ прекрасная, полная души и мысли, повѣсть г. Вельтмана «Радой». Съ наслажденіемъ также прочтете и прекрасную повѣсть г-жи Жуковой «Самоотверженіе». Переносимыя повѣсти все хороши по выбору и хорошо переведены.

Изъ статей ученаго содержанія примѣчательны статьи г-дъ: Врангеля, О. Лакина, В. Давыдова, Корсакова. Чрезвычайно интересны «Записки герцога Де-Лиріа-Бервика, бывшаго испанскимъ посломъ при російскомъ дворѣ».

Отдѣленіе современной исторіи интересно по содержанію, а не по изложенію. Вообще, все касающееся собственно до Россіи, гораздо лучше, подробнѣе и занимательнѣе излагается въ «Отечественныхъ запискахъ», нежели въ С. О.

Желая быть безпристрастными не на словахъ, а на самомъ дѣлѣ, мы не скрыли отъ нашихъ читателей, что въ С. О. есть много прекрасныхъ статей. Но что въ этомъ? — Журналъ, будучи сборникомъ хорошихъ статей, долженъ быть еще и журналомъ — т. е. имѣть свое направленіе, свой характеръ, словомъ, быть выразителемъ своей мысли. Въ этомъ отношеніи, «Библиотека для Чтенія» — лучший примѣръ: все ея статьи, не только въ одномъ духѣ, но даже и пишутся однимъ языкомъ, однимъ слогомъ, потому что сглаживаются одною рукою. Это обстоятельство можетъ быть непріятно для тѣхъ писателей, которые принуждены были, силою обстоятельствъ, покориться такому усовершенствованію, но для журнала это большая выгода, даряя единство его духу. Нельзя сказать, что бы С. О. не стремился, съ своей стороны, къ этому единству; но, какъ бы сбившись съ пути, онъ безпрестанно противорѣчитъ самъ себѣ: начинаетъ статьи — и не оканчиваетъ; даетъ обѣщанія поговорить о томъ и о семъ — и не выполняетъ; то хочетъ унизить Гоголя (по причинамъ очень важнымъ и очень извинительнымъ), то приторно его похваливаетъ; то какъ будто дѣлаетъ настоящую оцѣнку Марлинскому, то, вспомнивъ его обязательную ста-

тейку о «Клятвѣ при гробѣ Господнемъ», снова приходитъ отъ него въ обязательный восторгъ. Мы думаемъ, что драмы и водевили много мѣшаютъ самоцѣльности С. О., отнимая у него время заняться самимъ собою. Впрочемъ, С. О. выражаетъ свою идею: онъ отстаиваетъ старое противъ новаго, начиная отъ гениальности Расина до русской ореографіи...

Остановимся на этомъ предметѣ, грустномъ и вмѣстѣ поучительномъ.

Въ самомъ дѣлѣ, не странное ли зрѣлище представляетъ собою человѣкъ, который, съ силою, энергіею, одушевленіемъ, вооруженный смѣлостію и дарованіемъ, явился на литературномъ поприщѣ рьянымъ поборникомъ новаго и могучимъ противникомъ стараго; а сходить съ поприща, на которомъ подвизался съ такимъ блескомъ, съ такою славой и такимъ успѣхомъ, сходить съ него — противникомъ всего новаго и защитникомъ всего стараго?... Не господинъ ли Полевой первый убилъ на Руси авторитетъ Корней и Расиновъ, — и не онъ ли теперь благоговѣтъ предъ ихъ мишурнымъ величіемъ?... Чего добраго, можетъ быть, мы еще дождемся умильныхъ статей, гдѣ будетъ доказываться величіе Тредьяковского, Сумарокова, Хераскова?... Не господинъ ли Полевой первый привѣтствовалъ Пушкина первымъ и великимъ русскимъ поэтомъ, — и не онъ ли теперь, одинъ изъ всѣхъ журналистовъ, не понимаетъ одного изъ самыхъ колоссальныхъ его произведеній — «Каменнаго Гостя»?... Не господинъ ли Полевой первый былъ у насъ гонителемъ литературнаго безвкусія, вычурности, натянутости, — и не онъ ли теперь въ восторгѣ не только отъ Марлинскаго, но даже и отъ г. Каменскаго?... Мы не ставимъ г. Полевому въ вину того, что онъ не понималъ Гоголя и восходъ новаго великаго свѣтила привѣтствовалъ неприличною бранью: г. Полевой и не могъ понять Гоголя, потому что, когда явился Гоголь, г. Полевой былъ уже въ своей апогеѣ, и у него на все были уже составлены свои опредѣленія...

Всякое явленіе имѣетъ свою причину, и все, что мы сказали о г. Полевомъ, совершилось очень естественно. Главнѣйшая его услуга, и услуга великая, состояла въ уничтоженіи ложныхъ авторитетовъ. Онъ явился на журнальное поприще еще въ то время, когда «мадригалъ Лилетъ» давалъ право на поэтическое безсмертіе; когда литературное чинопочитаніе было во всей своей силѣ; когда столько дикихъ предрассудковъ царствовало въ понятіяхъ о поэзіи. И вотъ онъ сталъ дѣйствовать съ энергіею, пыломъ и смѣlostію, открыто пошелъ противъ всего, что казалось ему устарѣвшимъ, отсталымъ, и уничтожалъ его во имя новаго. Что такое это новое, онъ не сказалъ этого публикѣ, потому что и для самого него оно осталось навсегда тайною... Между тѣмъ, гоненіе на старое часто доходило до ослѣпленія; нехорошо не потому, что не хорошо, а потому, что старое... Но все это было нужно, и все принесло великую пользу. Уничтоживши совершенно достоинство и заслуги Карамзина, мы—молодое поколѣніе—снова признали ихъ, но уже признали свободно, а не по преданію, не съ чужого голоса, или не по привычкѣ съ дѣтства думать одно и то же. Успѣхъ г. Полеваго былъ немновѣрный, потому что его усилія требовались духомъ времени. Этому успѣху всего болѣе былъ обязанъ онъ смѣлости. *Revue Encyclopédique* служила для него и сокровищницею новыхъ идей, и нерѣдко снабжала его статьями, которыя ему стоило только передѣлывать и придѣлывать—къ чему было ему нужно. Не прилѣпившись ни къ какой сферѣ знанія или дѣятельности, онъ брался за все и во всемъ хотѣлъ быть нововводителемъ. Познакомившись съ Нѣмцами черезъ Французовъ, онъ невѣрно понялъ ихъ. Познакомившись съ Шеллингомъ черезъ французскія статьи, онъ говорилъ о тождествѣ и о томъ, что $a = a$... Все это нужно было для того времени, и всего этого теперь уже не нужно...

Мы извиняемъ теперешнюю ревность г. Полеваго къ про-

шедшему. У всякаго съ своимъ прошедшимъ связано такъ много прекрасныхъ воспоминаній, и потому каждому кажется великимъ и истиннымъ только то, что явилось въ его время, когда въ немъ интересы были живы, когда онъ исполненъ былъ надежды и силы. Напротивъ того, настоящее для пожилыхъ людей часто бываетъ такъ грустно: дико смотрятъ они на все новое, которое чуждо имъ, уже застывшихъ въ известныхъ формахъ, и которому чужды они, уже неспособные ни къ какому движенію. Когда вышелъ г. Полевой на поприще, тогда гремѣли и сіяли имена Гюго, Ламартина, де-Виньи, Бальзака — удивительно ли, что и теперь онъ почитаетъ ихъ великими гениями? — Читая и перечитывая французскіе журналы, онъ безпрестанно встрѣчалъ въ нихъ имя Шеллинга, какъ величайшаго философа современнаго человѣчества — удивительно ли, что Шеллингъ и теперь остается для него первымъ философомъ, а его философія — геркулесовскими столпами абсолютнаго мышленія? Эта исторія всегда повторялась: кантисты не хотѣли видѣть ничего великаго въ Фихте, фихтеисты съ ироническою улыбкою смотрѣли на Шеллинга, а шеллингисты въ Гегелѣ видятъ пустой призракъ. Вотъ отчего въ глазахъ г. Полеваго, Лессинга и Шлегеля мѣшались Варягагену быть глубокимъ критикомъ, а Шеллингъ Гегелю — великимъ и первымъ философомъ современнаго человѣчества. Вотъ почему современная нѣмецкая литература, столько богатая и великая, такъ роскошно оплодотворенная духомъ великаго Гегеля, — кажется ему пустоцветною и ничтожною. Это кругъ, начавшійся нападками на «Вѣстникъ Европы» и кончившійся редакторствомъ «Сына Отечества».

Теперь, чего вы хотите отъ С. О.? Всѣ недостатки его происходятъ отъ глубокой причины: онъ не понимаетъ современности и потому не можетъ угождать и нравиться ей. А такъ какъ, сверхъ того, онъ развлеченъ составленіемъ драмъ, оперъ, комедій и водевилей, то и не имѣетъ достаточнаго времени для улучшенія самого себя...

Отъ С. О. обратимся къ предмету болѣе интересному и пріятному — къ «Отечественнымъ Запискамъ».

Объ О. З. мы не будемъ много говорить, потому что это журналъ новый, еще не успѣвшій исполнить себя, выказать и высказать, хотя и подавшій о себѣ блестящія надежды въ будущемъ. Сказать правду, мы не совсѣмъ довольны его критическимъ направленіемъ, потому что нѣтъ этого направленія не достаточно ясно и опредѣлено. Впрочемъ, появленіе въ 5. № О. З. статьи Варнгагена о Пушкинѣ, превосходно переведенной г. Катковымъ, заставляетъ насъ надѣяться, что въ О. З. будетъ критика дѣльная и современная.

Объ этой статьѣ мы еще поговоримъ.

Говоря о критикѣ О. З., должно упомянуть съ уваженіемъ о разборѣ «Фауста», переведеннаго г. Губеромъ. Въ этой статьѣ высказано много интересныхъ подробностей объ историческомъ народномъ Фаустѣ, преданіе о которомъ послужило формою столькимъ произведеніямъ и наконецъ самому «Фаусту» Гёте. Въ сужденіи объ этомъ великомъ произведеніи также высказано много дѣльнаго. Но намъ не нравится пристрастный отзывъ критика о переводѣ, отзывъ, столь несообразный съ уваженіемъ критика къ гениальному произведенію Гёте, потому, мы не согласны въ некоторыхъ мысляхъ. Критикъ говоритъ, что Гретхенъ Гёте выше Джюльетты Шекспира: странная и произвольная мысль! До сихъ поръ, еще не придумано инструмента для измѣренія относительнаго достоинства созданій великихъ поэтовъ, и потому условились почитать ихъ совершенно равными одно другому, какъ формы, совершенно равныя своимъ содержаніемъ. Впрочемъ, изъ этого слѣдуетъ, что содержаніе, поколику обнимаетъ оно сферу бытія, можетъ служить этою мѣркою. Но измѣрилъ ли критикъ содержаніе Джюльетты? Не есть ли она полная женщина, выраженіе женственной природы и женственного духа по преимуществу? Что же касается до воплощенной этой идеи въ живую роскошную, въ высшей степени художественную форму, — объ этомъ

страшно и говорить, когда дѣло идетъ о такомъ художникѣ, какъ Шекспиръ... Потомъ, критикъ говоритъ, что сумасшедшая Маргарита несравненно естественнѣе сумасшедшей Офеліи. По нашему мнѣнію, думать такъ, значитъ не понимать ни Маргариты, ни Офеліи. Сумасшествіе есть отвлеченная идея, которая конкретизируется только въ явленіи. Сумасшедшимъ можетъ быть всякій человѣкъ: вотъ отвлеченное понятіе; но каждый можетъ быть сумасшедшимъ только по своему, и ни одинъ сумасшедшій на другого походить не можетъ: вотъ понятіе конкретное. Не говоря о разницѣ характеровъ, одна разниа обстоятельствъ, бывшихъ причиною сумасшествія, дѣлаетъ изъ Маргариты и Офеліи два, совершенно различныхъ лица, которыми не могутъ ни повѣряться, ни мѣяться одно другимъ: Точно такъ же, какъ всякій человѣкъ представляетъ собою отдѣльный и особый міръ, на всѣ другіе не похожій, никакимъ другимъ не замѣнимый,—такъ и всякое художественное лицо. Въ этомъ то и состоитъ конкретность явленій дѣйствительности и искусства. Если бы не Гамлетъ, а другое лицо было причиною сумасшествія Офеліи, то и сумасшествіе ея необходимо носило бы на себѣ другой характеръ; точно такъ же, какъ еслибы Гамлетъ обставленъ былъ другими лицами, то и его болѣзненная нерѣшительность, колебанія его воли, жалобы на самого себя—все это, будучи тѣмъ же самымъ, было бы въ то же время и совершенно другимъ. Конкретность даетъ себя видѣть не въ идеѣ, а въ формѣ, и въ этой же формѣ, даетъ себя видѣть и индивидуальность, и личность субъекта, которая уже по одному тому, что она личность, не можетъ ни быть замѣнена никакою другою личностію, ни быть мѣркою другой личности. Какъ въ природѣ нѣтъ двухъ лицъ, совершенно сходныхъ другъ съ другомъ, такъ и въ сферѣ искусства не можетъ быть двухъ лицъ, изъ которыхъ одно дѣлало бы не нужнымъ другое, тѣмъ, что было бы лучше этого другого. Впрочемъ, можетъ быть, критикъ подъ словомъ «несравненно естественнѣе» разумѣлъ художественное выполненіе — въ

такомъ случаѣ, мы, не обинуясь, скажемъ ему, что съ этой стороны, ему не доступны ни Офелія, ни Маргарита...

Не можемъ мы также согласиться и въ мысли о самомъ Фаустѣ, какъ о человѣкѣ «съ душою сильною, съ дерзновенными замыслами и необузданными перывами, но съ уничтоженною вѣрою во все прекрасное». Такъ—Фаустъ утратилъ вѣру, но не въ прекрасное (это выраженіе становится уже приторнымъ), а въ дѣйствительность бытія, какъ тождество истины съ явленіемъ; такъ — Фаусту все представлялось мечтою и призракомъ,—но отчего и почему—вотъ вопросъ и вотъ въ чемъ сущность дѣла. Сколько мы понимаемъ, это произошло съ нимъ оттого, что, какъ человѣкъ глубокий и всеобъемлющій, онъ необходимо долженъ былъ выйти изъ естественной гармоніи духа и поессориться съ дѣйствительностію; но для того, чтобы, принявши въ себя всѣ элементы жизни, перешли чрезъ всѣ ея противорѣчія и отрицанія, черезъ долгое и кровавое испытаніе, путемъ разумнаго опыта и разумнаго знанія, примирить ихъ въ своемъ разумномъ созерцаніи и — черезъ то — снова пріобрѣсти утраченную гармонію души, не уже не естественную, а сознательную, и снова обрѣсти себя въ живомъ и конкретномъ единствѣ съ дѣйствительностію, хотя бы то было только для того, чтобы сказать: «въ предчувствіи такого блаженства я наслаждаюсь теперь прекрасною минутою!» — и умереть... Да не подумаютъ, что мы претендуемъ объяснить основную мысль такого великаго созданія, какъ «Фаустъ» Гёте: нѣтъ, мы только претендуемъ на то, что наше предположеніе (а не утвержденіе) ближе къ истинѣ, нежели мысль критика О. З... Какъ много есть людей, которые лишены вѣры въ истину, но своей ничтожности и пустотѣ, а между тѣмъ кто почтеть такого человѣка достойнымъ героемъ подобной поэмы? Распаденіе Фауста должно имѣть глубокий смыслъ какъ необходимость, а не какъ случайность...

Въ статьѣ объ «Иліадѣ» разсуждается больше о томъ—

Гомеръ или народъ создалъ это вѣковое произведение искусства. Вопросъ этотъ начинается становиться смѣшнымъ, а между тѣмъ ему придаютъ такую важность. Народъ можетъ создать преогромную книгу жѣсомъ, представляющихъ собою цѣлое и единое по духу и характеру; но никогда народъ не создаетъ изъ досютковъ и отрывковъ поэмы, представляющей собою цѣлое и стройное по содержанию и формѣ. Это просто на просто—нелѣпность нелѣпостей. Нѣкоторые искусники поговаривали о возможности изъ народныхъ малороссійскихъ думъ о Богданѣ Хмельницкомъ составить поему, столько же цѣлую и стройную, какъ и «Иліада»: попребуйте, господа, а пока не подтвердите на дѣлѣ вашей мысли, мы вамъ не повѣримъ. Народъ живетъ въ своихъ представителяхъ, которые относятся къ нему какъ голова къ туловищу. Такую-то голову имѣли Элліны въ Гомерѣ. Говорятъ, что трудно повѣрить, чтобы одинъ человекъ могъ сдѣлать такое великое дѣло. Напротивъ, труднѣе повѣрить, чтобы много людей могли сдѣлать одно такое великое дѣло. Всякая разумная сила является отнюдь не въ субстанціи, а въ личномъ, индивидуальномъ, субъективномъ опредѣленіи. И потому, слово «народъ» часто бываетъ самымъ бессмысленнымъ словомъ; какъ безличная отвлеченность. Развѣ не великое дѣло—преобразовать Россію?—А чтожъ, развѣ самъ народъ это сдѣлалъ, а не одинъ человекъ, олицетворившій въ себѣ все силы, все субстанціальное могущество этого народа? — Въ дѣлѣ творчества, единичность творящей силы еще необходима.

Не можемъ мы также согласиться и въ томъ, чтобы гекзаметры Жуковского, въ переводѣ имъ отрывковъ изъ «Иліады» съ латинскаго, были лучше переводовъ Гнѣдича. Даже приведенныя въ статьѣ О. З. примѣры рѣшительно увѣряютъ совершенно въ противномъ. И почему бы этому и не быть такъ! Жуковскій имѣетъ слишкомъ много другихъ правъ на превосходство передъ тѣмъ и другимъ; но постигнуть духъ, божественную простоту и пластическую прелесть древ-

нихъ Грековъ было суждено на Русь пока только одному Гиддичу.

Впрочемъ, въ О. З. примѣчательна, ученая историческая критика, о которой не распространяемся.

Обратимся къ статьѣ Варнгагена. Она была уже переведена въ О. О., но такъ переведена, что если бы самъ Варнгагенъ зналъ по-русски такъ же хорошо, какъ по-нѣмецки, то ни коимъ образомъ не узналъ бы своей статьи. Редакторъ С. О., вѣроятно, по этому переводу и сдѣлалъ свое странное заключеніе объ этой статьѣ, и потому нисколько не удивительно, что его заключеніе вышло очень странно. Статья Варнгагена явилась въ О. З. какъ прибавленіе къ 5 № этого журнала, и въ письмѣ переводчика къ редактору О. З. объясняется причина вторичнаго перевода статьи слѣдующимъ образомъ: «Я твердо увѣренъ, что искренне, положи руку на сердце, вы не скажете, что публика сколько-нибудь знакома съ этою статьею; и если хоть на минуту задумается исполнить мою просьбу, то развѣ потому, что какой-то жалкій, невѣрный переводъ самовольно назвавъ себя статьею Варнгагена о Пушкинѣ и пустая уже вѣсть съ журналомъ, принявшимъ его въ свои объятія, бродить по міру и вводить въ заблужденіе честныхъ людей»...

Кромѣ уже изчисленныхъ нами критическихъ статей слѣдуетъ указать на очерки иностранныхъ литературъ, изъ которыхъ особенно примѣчательны—французской въ 1 и 5 №№. Конечно, во всѣхъ этихъ статьяхъ пробивается усиліе къ характерному и дѣльному направленію, но все это еще неопредѣленно, нерѣзко. Среди самыхъ дѣльныхъ мыслей часто встрѣчаются противорѣчія, замѣтно какъ бы бореніе двухъ противоположныхъ ученій...

Въ библиографической хроникѣ О. З. тѣ же достоинства и тѣ же недостатки. Достоинства: часто безпристрастные, дѣльные, хорошо написанные отзывы о сочиненіяхъ; недостатки: иногда духъ парціальности, иногда устарѣлость мнѣній и са-

мага изложенія ихъ. Последнее случается рѣже и объясняется участіемъ не одного, а многихъ лицъ въ библиографической хроникѣ. Первое же заслуживаетъ особенный упрекъ. Зачѣмъ, напримѣръ, такъ часто употреблять имена гг. Орлова (А. А.) и Булгарина (Ф. В.) нераздѣльно?— Это, во первыхъ, должно непремѣнно обнаруживать, что О. З. придаютъ этимъ двумъ, конечно примѣчательнымъ лицамъ въ нашей литературѣ, слишкомъ большую важность; а во вторыхъ, это можетъ ихъ взаимно возгордить одного на счетъ другого, въ ущербъ успѣхамъ нашей литературы. Въ 4 № О. З. насъ поразили ужасомъ отзывъ о «Борисѣ Ульинѣ», этомъ жалкомъ произведеніи, обличающемъ въ авторѣ его образцовую бездарность. И какъ будто издѣваясь надъ памятью Пушкина, О. З. хотятъ насъ увѣрить, что авторъ онаго «Бориса Ульина» былъ соблазненъ легкими стихами Пушкина, не догадываясь, что легкіе стихи Пушкина въ то же время и очень тяжелы, такъ что надо имѣть богатырскую силу, чтобы владѣть ими, какъ собственнымъ оружіемъ. Но, впрочемъ, можетъ быть, мы понапрасну горячимся: можетъ-быть, отзывъ О. З.—тонкая насмѣшка, для удостовѣренія въ чемъ достаточно обратить вниманіе на стихи, которые выписаны въ рецензіи О. З., какъ отличнѣйшіе, тогда какъ въ нихъ смыслу нѣтъ. Вотъ они—

Трехглавый штыкъ! младыхъ героевъ
Не ты ли лестная мечта,
И не тобой ли занята,
Ихъ дума скачетъ среди боевъ?
Когда Суворовъ мельъ тобой,
Какъ пылъ, Французовъ, предъ собой,
Потѣшенъ, любъ былъ Руси ратной
Разсказъ игры твоей булатной.

Хороша легкость! Суворовъ штыкомъ мель Французовъ передъ собою, какъ пылъ. Потѣшенъ, любъ для ратной Россіи разсказъ булатной игры штыка... Нѣтъ, рецензія О. З. не похвала, а тонкая насмѣшка.

Особенное вниманіе заслуживаетъ въ О. З. отдѣленіе, посвященное собственно на ознакомленіе Русскихъ съ своимъ отечествомъ, во всѣхъ отношеніяхъ. И по содержанію, и по изложенію превосходны всѣ статьи подъ рубрикою «Современная хроника Россіи». Къ этому же отдѣленію мы относимъ и любопытныя статьи г. Каменскаго «Мастерскія русскихъ художниковъ»: онѣ писаны просто, благородно и знакомятъ насъ съ нашими сокровищами искусствъ.

Объ ученыхъ статьяхъ должно замѣтить, что онѣ, по большей части, слишкомъ исключительнаго содержанія и притомъ чудовищно огромны. Гораздо больше нашли бы себѣ читателей статьи по части исторіи и естествознанія, нежели по части физики и математики.

Отдѣленіе «смѣси» разнообразно и интересно. О. З. имѣютъ, въ этомъ отношеніи, тотъ перевѣсъ передъ Б. для Ч., что въ ихъ смѣси много оригинальныхъ статей.

Теперь обращаемся къ самому лучшему, богатѣйшему и блистательнѣйшему отдѣленію О. З.—къ отдѣленію «словесности», въ которомъ, по средствамъ О. З. и по отношенію ихъ къ нашимъ литературнымъ знаменитостямъ, съ ними ни одинъ изъ русскихъ журналовъ не можетъ соперничествовать. Пробѣжимъ сперва по блистательному списку оригинальныхъ повѣстей въ 5 № О. З.

«Княжна Зизи» кн. Одоевскаго, читается съ наслажденіемъ, хотя и не принадлежитъ къ лучшимъ произведеніямъ его пера. Даже можно сказать, что эта повѣсть и не выдержана: въ первыхъ, странно, что такая глубокая женщина, какъ княжна Зизи, могла полюбить такого пошлаго и гадкаго человѣка, какъ Городковъ; не менѣе того невѣроятно, чтобы Городковъ, который въ большей половинѣ повѣсти является человекомъ свѣтски образованнымъ, въ концѣ повѣсти могъ явиться провинціальнымъ подъячимъ самаго подъяческаго тону.—Отрывокъ изъ романа «Вадимовъ» Марлинскаго—фразы, надутыя до безсмыслицы. «Исторія двухъ калошъ», повѣсть графа Са-

логуба—лучшая повѣсть въ О. З. и рѣдкое явленіе въ современной русской литературѣ. Прекрасная мысль свѣтится въ одушевленномъ и мастерскомъ разсказѣ, котораго душа заключается въ глубокомъ чувствѣ человѣчественности. Мы не говоримъ о простотѣ, безыскусственности, отсутствіи всякихъ претензій: все это необходимое условіе всякаго прекраснаго произведенія, а повѣсть гр. Салогуба—прекрасный, благоухающій ароматомъ мысли и чувства, литературный цвѣтокъ. Во 2 № помѣщенъ «Павильонъ» г-жи Дуровой, о которомъ мы уже высказали наше мнѣніе. Въ 3 № помѣщена «Бѣла», разсказъ г. Лермонтова, молодого поэта съ необыкновеннымъ талантомъ. Здѣсь въ первый еще разъ является г. Лермонтовъ съ прозаическимъ опытомъ—и этотъ опытъ достоинъ его высокаго поэтическаго дарованія. Простота и безыскусственность этого разсказа невыразимы, и каждое слово въ немъ такъ на своемъ мѣстѣ, такъ богато значеніемъ. Вотъ такіе разсказы о Кавказѣ, о дикихъ горцахъ и отношеніяхъ къ нимъ нашихъ войскъ, мы готовы читать, потому что такіе разсказы знакомятъ съ предметомъ, а не клеветаютъ на него. Чтеніе прекрасной повѣсти г. Лермонтова многимъ можетъ быть полезно еще и какъ противоядіе чтенію повѣстей Марлинскаго.

Въ 4 № «Дочь чиновнаго человѣка», повѣсть г. Панаева (И. И.). Это одна изъ русскихъ повѣстей нашего талантливаго повѣствователя. Какъ и всѣ его повѣсти, она согрѣта живымъ, пламеннымъ чувствомъ, и, сверхъ того, представляетъ собою мастерскую картину петербургскаго чиновничества, не только съ его виѣшной, но и внутренней, домашней стороны. Содержаніе повѣсти просто, и тѣмъ пріятнѣе, что при этомъ оно богато потрясающими драматическими положеніями. Однимъ словомъ, повѣсть г. Панаева принадлежитъ къ самымъ примѣчательнымъ явленіямъ литературы нынѣшняго года. Не чужда она и недостатковъ, но они не важны, хотя повѣсть и много бы выиграла, еслибы авторъ далъ себѣ трудъ изгладить ихъ. Но главный недостатокъ состоитъ въ отдѣлкѣ характера ге-

роя повѣсти: авторъ какъ будто хотѣлъ представить идеальнаго художника въ молодомъ человѣкѣ, который вѣчно вздыхаетъ по какимъ-то недостижимымъ для него идеаламъ творчества, и ничего не можетъ создать, — что и составляетъ мученіе и отраву всей его жизни. Это идеальнаго художника г. Полеваго, который не разъ пытался его изобразить въ своихъ повѣстяхъ. Но это уже устарѣлый взглядъ на искусство: нынче думаютъ, что художникъ потому и художникъ, что безъ мученій и натуры, свободно можетъ воплощать въ живые образы порожденія своей творческой фантазіи; но что томящіеся по недостижимымъ для нихъ идеаламъ художники — или просто пустые люди съ претензіями, или обыкновенные талантики, претендующіе на гениальность. Гениальность не есть проклятіе жизни художника, но сила познавать ея блаженство и осуществлять въ живыхъ образахъ это познаніе. Впрочемъ, изъ нѣкоторыхъ мѣстъ повѣсти кажется, что авторъ и хотѣлъ изобразить въ своемъ героѣ такого жалкаго недоноски; это тѣмъ яснѣе, что онъ подавляется простымъ и возвышеннымъ въ своей простотѣ характеромъ героини; но въ такомъ случаѣ автору надлежало бы быть яснѣе и опредѣленнѣе. Впрочемъ, можетъ быть, онъ поправитъ еще это во второй своей повѣсти «Любовь свѣтлой дѣвушки», героемъ которой будетъ опять тотъ же художникъ — недоносокъ, и которую онъ уже пишетъ, какъ это намъ извѣстно изъ достовѣрнаго источника.

Въ 5 № — «Бѣдовикъ» повѣсть г. Даля. Это, по нашему мнѣнію, лучшее произведеніе талантливаго казака Луганскаго. Въ немъ такъ много человѣчности, доброты, юмора, знанія человѣческаго и преимущественно русскаго сердца, такая самобытность, оригинальность, игривость, увлекательность, такой сильный интересъ, что мы не читали, а пожирали эту чудесную повѣсть. Характеръ героя ея — чудо, но не вездѣ, какъ кажется намъ, выдержанъ; но солдатъ Власовъ и его отношенія къ герою повѣсти — это, просто, роскошь.

Въ IV книжкѣ есть еще «Дорожные Эскизы» на пути изъ Франкфурта въ Берлинъ г. Шевырева, особенно интересные подробностями его свиданія съ Гёте.

Переводныхъ прозаическихъ писъ немного: «Сила Крови», повѣсть Сервантеса, переведенная съ испанскаго, интересна только по имени своего автора и развѣ, какъ намека на домашнюю жизнь Испанцевъ; она прекрасно переведена съ подлинника г. Тимковскимъ. «Боги, герои и Виландъ», соч. Гёте, переведенное г. Струговицкимъ, представляетъ собою любопытную страницу изъ исторіи нѣмецкой литературы, къ сожалѣнію не понятую у насъ.

Прекрасныхъ стихотвореній въ О. З. — множество. Конечно между ними есть и стихи гг. Якубовича, Стромиллова, Гребенки, Айбулата, но—

И въ солнцѣ, и въ лунѣ есть темныя мѣста.

Въ 1 № изъ стихотвореній вы находите маленькое прелестное стихотвореніе Пушкина: «Въ альбомѣ»; «Думу», энергическое, могучее по формѣ, хотя и прекраснѣе по содержанію, стихотвореніе г. Лермонтова. Вторая книжка бѣдна хорошими стихотвореніями и можно упомянуть только о «Поэтѣ», опять того же г. Лермонтова, примѣчательномъ многими прекрасными стихами и также прекраснѣе по содержанію. Третья книжка красуется «Послѣднимъ подѣлуемъ», роскошно-поэтическимъ стихотвореніемъ г. Кольцова. Четвертая книжка блеститъ прекраснымъ стихотвореніемъ г. Лермонтова «Русалка», и поражаетъ удивленіемъ отрывокъ изъ поэмы гр.—ни Е. Р.—ной «Существованность и вдохновеніе, или жизнь двѣушки»; да, поражаетъ удивленіемъ, и если хотите знать почему, прочтите сами этотъ удивительный отрывокъ... Пятая книжка необыкновенно богата прекрасными стихотвореніями, изъ которыхъ два—«Вѣтка Палестины» и «Не вѣрь себѣ» принадлежатъ г. Лермонтову. Первое поражаетъ художественностію своей формы, а второе—глубокостію

своего содержанія и могучестію формы: дѣло идетъ, кажется, о тѣхъ непризванныхъ поэтахъ, которые могутъ вдохновляться только своими страданіями, за отсутствіемъ истиннаго поэтическаго призванія. Замѣьте, что здѣсь поэтъ говоритъ не о бездарныхъ и ничтожныхъ людяхъ, обладаемыхъ метроманією, но о людяхъ, которымъ часто удастся выстрадать и то и другое стихотвореніе, и которые вопли души своей, или кипѣніе крови и избытокъ силъ, принимаютъ за даръ вдохновенія. Глубокая мысль!... Сколько есть на бѣломъ свѣтѣ такихъ мнимыхъ поэтовъ! И какъ глубоко истинный поэтъ разгадалъ ихъ!...

Кромѣ двухъ прекрасныхъ стихотвореній г. Лермонтова, въ 5 № О. З. есть четыре прекрасныя стихотворенія г-жи Павловой: «Неизвѣстному поэту» оригинальное, «Клятва Мойны» и «Гленара» шотландскія баллады, одна В. Скотта, другая изъ Камбеля; «Пойми любовь» изъ Рюкерта. Удивительный талантъ г-жи Павловой (урожденной Янишь) переводить стихотворенія со всѣхъ извѣстныхъ ей языковъ и на всѣ извѣстные ей языки — начинаетъ наконецъ пріобрѣтать всеобщую извѣстность. Въ нынѣшнемъ году вышли ея переводы съ разныхъ языковъ на французскій, подъ названіемъ «Les Préludes» — и мы не могли довольно надивиться, какъ умѣла даровитая переводчица передать на этотъ бѣдный, антипоэтический и фразистый, по своей природѣ, языкъ благородную простоту, силу, сжатость и поэтическую прелесть «Полководца» — одно изъ лучшихъ стихотвореній Пушкина. Но еще лучше (по приличію языка) ея переводы на русскій языкъ.

Такъ - то дебютировали на сценѣ журналистики возобновленные «Отечественныя Записки». Если — чего и должно ожидать — продолженіе будетъ еще лучше начала, то, при своихъ матеріальныхъ средствахъ, при своихъ выгодныхъ отношеніяхъ почти ко всѣмъ нашимъ пишущимъ знаменитостямъ, О. З., безъ всякаго сомнѣнія, не замедлятъ занять первое мѣсто въ современной русской журналистикѣ.

Внѣшность О. З. очень красива, полнота содержанія даже черезчуръ удовлетворительна, а поспѣшность, съ какою летаютъ книжка за книжкою — изумительна. Все это дѣлаетъ честь неутомимости редактора и желанію его — сдѣлать свой журналъ вполне достойнымъ того лестнаго приѣма, которымъ уже удостоила его публика.

Въ слѣдующей книжкѣ «Наблюдателя» надѣмся поговорить о «Литературныхъ Прибавленіяхъ» и «Галатѣ».

III.

ТЕАТРЪ.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИКА.

«Московский Наблюдатель» не может отдавать подробных отчетовъ о всѣхъ представлѣніяхъ, которыя даются на Петровскомъ театрѣ: онъ предоставляетъ эту обязанность «Галатеѣ», которая, являясь еженедѣльно, разноситъ на своихъ легкихъ крылышкахъ всевозможныя и самыя свѣжія новости. Два-три дня назадъ вы были въ театрѣ, а на третій, на четвертый читаете отчетъ о пьесѣ, которую видѣли, повѣряете чужое сужденіе съ своимъ собственнымъ, — согласитесь, что это очень пріятно! Но что за удовольствіе читать отчетъ объ игрѣ актера, которой всѣ впечатлѣнія давно уже изгладились изъ вашей памяти; или читать сужденіе о какомъ-нибудь водевилѣ, который давался назадъ тому мѣсяцъ или два, и въ это время успѣлъ уже уснуть съ тѣмъ, чтобъ больше не просыпаться!... Планъ «Наблюдателя» дѣлаетъ невозможными подробные и постоянные отчеты о театрѣ; но онъ будетъ представлять публикѣ свои сужденія о самыхъ значительныхъ пьесахъ и спектакляхъ. На первый разъ, упомянемъ о томъ, что удалось намъ видѣть и что, по нашему мнѣнію, имѣетъ какую-либо значительность.

Г. Ленскій далъ въ свой бенефисъ, бывшій 2 декабря прошлаго года, «Свадьбу Фигаро». Кому не извѣстно, хотя по слухамъ, это знаменитое произведеніе XVIII вѣка? Восемьдесятъ представлений сряду выдержало оно въ Парижѣ. Бомарше, его авторъ, приобрѣлъ себѣ изступленныхъ почитателей, поклонниковъ и нажилъ себѣ непримиримыхъ враговъ. Какой успѣхъ! Какая слава! Но вѣчны только художественныя произведенія, только они никогда не старѣются;

сдѣланныя же вещи могутъ имѣть только современный успѣхъ, и никуда не годятся, когда проходить ихъ время. Знаменитая «Женитьба Фигаро» есть произведеніе человѣка необыкновеннаго, даровитаго — это доказывается ея чудовищнымъ успѣхомъ въ свое время; но, тѣмъ не менѣе, она сдѣланная, а не созданная вещь, произведеніе литературы, а не искусства,—воображенія, а не фантазіи. Главный интересъ этой пьесы политическій: она была злою сатирою на аристократію XVIII вѣка. Во всякомъ случаѣ, успѣхъ ея былъ заслуженный, потому что незаслуженныхъ успѣховъ не бываетъ. Но теперь—что такое теперь эта пьеса?—По крайней мѣрѣ, мы не видимъ въ ней ничего, кромѣ длинной, утомительной и скучной пьесы, съ обыкновенными комическими пружинами прошлаго вѣка, съ натянутыми остротами и натянутыми положеніями. Укажемъ только на монологъ, въ которомъ Фигаро, въ 5 актѣ, рассказываетъ (впродолженіе около получаса) свою исторію, и потомъ на плоско-смѣшную сцену вытаскиванья изъ бесѣдки почти всѣхъ лицъ комедіи, въ пятomъ же актѣ. И «Женитьба Фигаро» препорядочно утомила московскую публику. Изъ дѣйствующихъ лицъ пьесы, которыхъ всѣхъ числомъ 17, хороше играли только двое—г-жа Рѣпина и Щепкинъ,—и то, не по достоинству своихъ ролей, а по рѣшительному неумѣнію сыграть что нибудь посредственно. Щепкинъ игралъ роль садовника, роль маленькую и незначительную; но г-жа Рѣпина играла Сусанну, вторую роль въ пьесѣ,—и признаемся, если бы всѣ и всегда такъ играли, то не было бы больше плохихъ пьесъ, но всѣ пьесы, даже дурныя, были бы превосходны. Что касается до Фигаро — его игралъ самъ бенефициантъ, и игралъ довольно отчетливо — по крайней мѣрѣ, видно было, что онъ готовился къ роли. изучалъ ее; но Фигаро мы не видали. Эту роль можетъ сыграть хорошо только французскій актеръ, а у русскаго всегда будетъ недостатокъ въ фосфорической живости и наивномъ безстыдствѣ и наглости.

Балетъ «Дѣва Дуная», въ продолженіе какихъ-нибудь шести недѣль, выдержалъ четырнадцать представлений. Разумѣется, главная причина успѣха здѣсь декораціи, которыя въ самомъ дѣлѣ прекрасны, особенно замокъ надъ рѣкою, отражающійся въ водѣ. Прелесть! Впрочемъ, и самый балетъ не безъ занимательности, исключая нѣкоторыхъ танцевъ, бесконечно и бесполезно растягивающихъ его Г. Герино показать намъ, что и мушкетеръ можетъ имѣть сабытное значеніе въ танцахъ. Онъ столько же превосходный актеръ, какъ и танцовщикъ: жесты его выразительны, танцы граціозны, лицо — говоритъ. Мимикою и движеніями онъ разыгрываетъ передъ вами многосложную драму. Да, въ этомъ случаѣ, танцевальное искусство есть — искусство. Впрочемъ, это искусство въ зародышѣ, первая точка отправленія искусства — оно такъ же относится къ драмѣ, какъ хороводное пѣніе поселянъ къ оперѣ. Балетъ, какъ соединеніе танцевъ съ мимикою, — это, наконецъ, пластика, движущаяся, покинувшая свой пьедесталъ, свою спокойную неподвижность. — Не менѣе г. Герино восхищала публику и г-жа Санковская. Въ самомъ дѣлѣ, въ ея танцахъ столько души и граціи, что восхищенію зрителя нѣтъ предѣловъ. Мы никогда не забудемъ этой граціозности, съ какою «Дѣва Дуная» старается показаться неловкою и неуклюжею передъ барономъ Вильдбальдомъ — это очарованіе!... Г-жа Воронина-Иванова, по обыкновенію, роскошествовала на сценѣ жизнію и страстію.

Не смотря на это, мы только разъ видѣли «Дѣву Дуная». Впрочемъ, это, въ первыхъ, оттого, что балетъ довольно растянутъ; во вторыхъ, потому, что наглядное, зрительное удовольствіе скоро наскучаетъ, а г. Герино и г-жи Санковская и Воронина-Иванова не одни составляютъ весь балетъ....

Декабря 28 мы видѣли «Коварство и Любовь». Въ роли Луизы дебютировала г-жа Вышеславцева; дебютъ былъ неудаченъ, почему мы и не намѣрены о немъ распространяться, и поговоримъ лучше о другомъ. Фердинанда, по обыкновенію,

игралъ Мочаловъ. Помнимъ мы, какъ, въ послѣдній прїѣздъ свой, вышелъ въ этой роли г. Каратыгинъ, въ красномъ мундирѣ, который такъ изящно, такъ пластически обрисовывалъ его станъ, словомъ, въ костюмѣ, части котораго совершенно соотвѣтствовали одна другой и который такъ гармонировалъ съ ролью. Рукоплесканія долго не дали ему выговорить слова. Заслуженныя рукоплесканія! Въ искусствѣ, изящная форма—великое дѣло, особенно тамъ, гдѣ вдохновеніе не прорывается бурными волнами.... Г. Каратыгинъ заговорилъ... въ его словахъ, въ его дикціи мы не слышали трепетнаго одушевленія, но, не смотря на то, чувствовали себя подъ вліяніемъ какого-то обаянія.... Отчего это такъ? — Оттого, что слово «искусство» даже и въ этимологическомъ смыслѣ имѣетъ великое значеніе. У васъ нѣтъ одушевленія — такъ и не горячитесь, а старайтесь сказать просто, ясно, точно, такъ, чтобы мысль автора не была нисколько потемнѣна или скрадена, а высказалась бы вся. Въ такомъ случаѣ, сценическое очарованіе замѣнило бы недостатокъ одушевленія со стороны актера. — Странное дѣло! — мы хотѣли говорить о Мочаловѣ, а заговорили о г. Каратыгинѣ.... Впрочемъ, это не прихоть наша, и самъ Мочаловъ навелъ насъ на благодарное воспоминаніе о г. Каратыгинѣ. Впервые, Мочаловъ вышелъ въ мундирѣ гарнизоннаго баталіоннаго командира, въ мундирѣ разстегнутомъ и который, сверхъ того, сидѣлъ на немъ мѣшокъ мѣшкомъ. Потомъ игра, Боже мой, какая игра!... Конечно, было мѣста два, да вѣдь эти два мѣста продолжались двѣ минуты, а мы высидѣли въ театрѣ слишкомъ три часа. Прибавимъ къ этому, что драма въ нашемъ театрѣ сдѣлалась какимъ то *mauvais genre* и *mauvais ton*: она дается рѣшительно для райка, точно такъ же, какъ балетъ и водевилъ даются рѣшительно для всей публики.... Жаль! — Наша публика очень любитъ драму, и мы не можемъ довольно надивиться тому, что еще театръ не бываетъ совсѣмъ пустъ, когда даютъ драму.... Положимъ, что Мочаловъ и превосходно вы-

полнить свою роль—да въдь одно лицо не составляет драмы, а прочихъ нѣтъ никакой возможности видѣть и слышать. Впрочемъ, изъ числа этихъ прочихъ должно выключить гг. Усачева и Потанчикова, изъ которыхъ первый прекрасный въ роли Вурма, а второй въ роли Миллера...

Теперь намъ слѣдовало бы говорить о бенефисѣ Мочалова, бывшемъ января 4-го, но, къ сожалѣнію, намъ не удалось его видѣть.

Къ удивленію всѣхъ, Мочаловъ выбралъ на свой бенефисъ піесу великаго мастера, но уже игранную на нашей сценѣ и безпримѣрно дурно переведенную. Это дѣлаетъ большую честь художественной добросовѣстности Мочалова: выбери онъ какую-нибудь французскую пошлость, только новую, — и его карманъ остался бы въ выигрышъ насчетъ искусства.

Повторяемъ, мы не были на этомъ бенефисѣ, но судя по единодушнымъ отзывамъ всѣхъ бывшихъ на немъ, — Мочаловъ снова развернулъ передъ публикою во всемъ могуществѣ и блескѣ свой громадный сценическій геній. Мы охотно этому вѣримъ, потому что мы лучше, нежели кто-нибудь другой, знаемъ, чего можно ожидать отъ Мочалова и что за дивныя сокровища кроются въ бездонной глубинѣ его великаго художественнаго генія.

Впрочемъ, мы были на повтореніи «Лира» — и остались не совсѣмъ довольны Мочаловымъ. Въ его игрѣ видны были обдуманность, соображеніе, словомъ, изученіе искусства; но не было того пламеннаго одушевленія, которое составляетъ отличительный характеръ игры Мочалова. Такъ напр., то мѣсто, гдѣ Лиръ, ударяя себѣ въ голову, говоритъ: «О Лиръ! Лиръ! Лиръ! стучи въ эти ворота» — не произвело на насъ никакого дѣйствія. Несмотря на то, въ игрѣ была общность, цѣлость и отчетливость, что очень рѣдко бываетъ въ игрѣ Мочалова, и было нѣсколько мѣстъ истинно превосходныхъ. Самые пламенные почитатели таланта г. Каратыгина и противники таланта Мочалова единодушно отдали преимущество

послѣднему передъ первымъ въ роли Лира. Рукошесканіямъ и вызовамъ не было конца.

Въ бенефисъ г. Лаврова (13 января) между прочимъ былъ данъ «Дѣдушка русскаго флота» г. Полеваго; а въ бенефисъ г-жи Львовой-Синецкой (20 января) «Иголкинъ, купецъ новгородскій», тоже произведеніе г. Полеваго. Обѣ эти пьесы увидѣли мы чуть ли не въ третье ихъ представленіе, именно, первую 3 февраля, а вторую 1 февраля. «Дѣдушка русскаго флота» на сценѣ очарователенъ и уже успѣлъ сдѣлаться любимую пьесу нашей публики—театръ всегда полонъ при его представленіи. Нельзя не отдать справедливости почтенному автору: онъ съ такимъ искусствомъ, съ такимъ умѣньемъ и ловкостію составилъ эту пьесу, что она нравится даже и въ чтеніи, но на сценѣ—это просто очарованіе. Этому особенно способствуетъ превосходное, гениальное выполненіе Щепкинымъ роли Брандта. Нѣтъ, что бы ни сказали мы объ игрѣ этого великаго артиста въ роли Брандта—ничто не дастъ о ней и приблизительнаго понятія... Слезы навертываются на глазахъ при одномъ воспоминаніи объ этомъ старческомъ голосѣ, въ которомъ такъ много трепетной любви, молодого чувства... А искусство, эта вѣрность роли (которую на сценѣ создалъ самъ артистъ, независимо отъ автора) отъ перваго до послѣдняго слова—все это выше всякихъ похвалъ, самыхъ восторженныхъ, самыхъ энтузіастическихъ...

Прекрасенъ г. Самаринъ въ роли Петра Гродекера: въ его игрѣ такъ много натуры, такъ много сценическаго огня, столько искусства!... О, этотъ молодой артистъ много общается въ будущемъ! Онъ уже приобрѣлъ себѣ нѣкоторую извѣстность, но, кажется, не хочетъ ею ограничиться и возлечъ на нераспустившихся лаврахъ, а хочетъ идти впередъ... Дай-то Богъ!

Г-жа Сабурова 2-я довольно мила въ роли Корнелии; современемъ она общается довольно хорошую артистку.. Опять дай-то Богъ!...

Г. Никифоровъ очень забавенъ въ роли Гроомдума. Мочаловъ, въ роли Лефорта, такъ несносно декламировалъ, что мы подумали было, что онъ поетъ куплетъ изъ водевиля...

По опущеніи занавѣса былъ вызванъ авторъ пьесы: московская публика тотчасъ узнала о прибытіи къ ней ея стараго знакомаго и любимца...

Что намъ сказать объ «Иголкинѣ»? Намѣреніе похвально, но выполненіе—изъ рукъ вонъ. Есть вещи довольно эффектныя на сценѣ, но зато какая растянутасть, сколько лишняго!... Къ чему, напримѣръ, лица Маргариты и Густава, лица совершенно лишнія? Правдоподобности очень немного. Шведскіе солдаты—дураки и трусы: двое убѣжали отъ Иголкина, а цѣлый десятокъ едва рѣшился, и то съ великимъ страхомъ, подойти къ Иголкину, чтобы заковать его въ желѣза. Это намъ не нравится по двумъ причинамъ: вопервыхъ, Петръ Великій не съ презрѣнными трусами имѣлъ дѣло подъ Полтавою; а вовторыхъ, мы очень хорошо помнимъ вотъ эти дивные стихи Пушкина—

Въ бореньи падшій невредимъ;
Враговъ мы въ прахъ не топтали;
Мы не напомнимъ нынѣ имъ
Того, что старыя скрижали
Хралятъ въ преданіяхъ нѣмыхъ;
Мы не сожжемъ Варшавы ихъ;
Они народной Немезиды
Не узрять гнѣвнаго лица,
И не услышатъ пѣснь обиды
Отъ лиры русскаго пѣвца.

Довольно о пьесѣ—скажемъ объ игрѣ. Роль Иголкина выполняетъ Мочаловъ, и выполняетъ ее превосходно: теплота чувства и искусство выказываются у него постоянно, во все продолженіе роли, несмотря на всю ея неблагодарность... Г. Никифоровъ, въ роли Христіана, забавенъ, безъ фарсовъ можно сказать, прекрасенъ...

1839.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИБАВЛЕНІЯ

къ

„РУССКОМУ ИНВАЛИДУ“

I.

БИБЛІОГРАФІЯ.

НОВѢЙШІЙ ДѢТСКІЙ РОБИНЗОНЪ, или *любопытнѣйшія приключенія Робинзона Крузо*. Разсказъ отца своимъ дѣтямъ. Съ восемью картинами литографированными. Москва. 1839.

Подъ этимъ рыночнымъ заглавіемъ площадная литературная промышленность издала коротенькую выборку, сдѣланную, разумѣется, очень аляповато, изъ извѣстнаго дѣтскаго романа. Двѣ вещи особенно хороши въ этой выборкѣ: чистѣйшая нравственность и картинки съ подписями. Подъ чистѣйшею нравственностію авторъ выборки разумѣетъ наказаніе Робинзона за его величайшее преступленіе, состоявшее въ безпокойномъ духѣ, который стремилъ его за моря. Не странно ли такое обвиненіе? Не самъ ли Богъ одарилъ каждого человѣка особеннымъ стремленіемъ, и на разности этихъ стремлений основалъ зданіе человѣческаго общества?... Одни — воины, другой — судья, третій — ученый, художникъ, ремесленникъ и т. д. И, слава Богу, если каждый дѣлается тѣмъ или другимъ не по случаю, а по внутреннему расположенію, влеченію. Нужно ли толковать, какую пользу принесли человечеству Куки, Лаперузы, Беринги и другіе, и именно потому что родились со страстію къ мореплаванію? Что, еслибы нѣжные родители того или другого запретили путешествовать своему сыну? Чего бы тогда лишилась наука и человечество!... Любовь и уваженіе къ родителямъ, безъ всякаго сомнѣнія, есть чувство святое; но все должно быть въ своихъ границахъ и ничто ничему не должно мѣшать. Всякій человѣкъ обязанъ своимъ родителямъ; но въ то же время онъ есть

и самъ себѣ цѣль, такъ что ограничить поприще его жизни только успокоеніемъ «нѣжныхъ родителей» значило бы уничтожить его значеніе, какъ существа разумнаго, самостоятельнаго и свободнаго, имѣющаго обязанности не только къ родителямъ, но и къ обществу, и къ самому себѣ, — обязанности не менѣе первыхъ священныя. Изволите видѣть, Робинзонъ былъ наказанъ судьбою за то, что послѣдовалъ своему внутреннему влеченію, самою природою въ него вложенному!

Послѣ «чистѣйшей нравственности» особенно плѣнительны въ книжицѣ картинки, но еще восхитительнѣе подписи подъ картинками; вотъ одна изъ таковыхъ: «Робинзонъ въ Бинутъ на островъ послѣ Борабле Крушенія»...

СТИХОТВОРЕНІЯ ВЛАДИСЛАВА ГОРЧАКОВА.

Москва. 1839.

Признакъ разумности всякаго явленія есть его необходимость, тогда какъ, наоборотъ, признакъ безсмысленности всякаго явленія есть его случайность. Законъ этотъ всего разительнѣе выказывается въ произведеніяхъ ума и творчества человѣческаго. Вы читаете романъ Вальтеръ-Скотта, знаете, что это вымыселъ, что ничего этого не было; но между тѣмъ принимаете въ разсказанномъ событіи такое живое участіе, какъ будто бы оно связано съ собственною вашею жизнію; вы любите его героевъ, или ненавидите ихъ, какъ будто бы они вамъ знакомы, будто бы вы ихъ видѣли, знаете ихъ въ лицо; прочтя романъ, вы продолжаете его въ своей фантазіи, думая, что случилось съ тѣмъ и другими лицомъ, какъ начало послѣ того жить то и другое лицо. Отчего это?—оттого, что тутъ все необходимо, т. е. что всѣ событія вытекаютъ изъ индивидуальностей дѣйствующихъ лицъ, ихъ личностей и харак-

теровъ, всѣхъ ихъ непосредственности, и изъ взаимныхъ ихъ положеній и отношеній другъ къ другу; оттого что авторъ не положилъ тутъ ни одной случайной черты, ни одного произвольнаго штриха, которые можно было бы выскоблить безъ ущерба и искаженія цѣлаго; но, всѣ его черты, до малѣйшаго штриха, необходимы, слѣд., разумны, а потому неизмѣнимы и незамѣнимы. Но не таковы нѣкоторые петербургскіе и московскіе романы: и въ нихъ, повидимому, все естественно, все оправдывается извѣстными и достаточными причинами; но вы на зло собственному разсудку и самимъ себѣ, какъ-то не признаете очевидности этихъ причинъ, но васъ оскорбляетъ самая простота и естественность этихъ событій, которыхъ, по прочтеніи, смутно, хаотически бродятъ въ вашей памяти, какъ несвязные отрывки какого-то тяжелаго и нескладнаго сна, котораго вы не можете себѣ ясно припомнить, какъ ни силитесь. Отчего это? — оттого, что всѣ эти событія произошли и явились сами по себѣ, безъ всякаго соотношенія къ дѣйствующимъ лицамъ, безъ всякой зависимости отъ нихъ, и это опять не случайно, а по причинѣ, потому что эти дѣйствующія лица не суть субъективные опредѣленія, возникшія изъ зерна самой въ себѣ замкнутой (чтобъ не сказать нѣмецкимъ словомъ — конкретной) мысли, носящія въ самихъ себѣ, а не внѣ себя свою необходимость или разумность, но безличныя призраки, слѣпленные чрезъ выѣшенное слѣпленіе отвлеченныхъ признаковъ, и потому чисто случайныя и произвольныя. Точно также, посмотрите: вотъ стихи; они просты, какъ обыкновенная разговорная рѣчь, чужды пестроты и яркости цвѣтовъ и красокъ; но вы невольно останавливаетесь надъ ними; но вы навсегда знаете ихъ, если разъ узнали, и иногда, прочтя нечаянно и безъ вниманія, вспоминаете и помните ихъ уже послѣ прочтенія, къ собственному своему удивленію: значить, что въ нихъ все необходимо, что въ нихъ одинъ стихъ ведетъ за собою другой, и что не рифма, а внутренняя, невидимая связь съ

первыми стихами условливаетъ послѣдніе; не зная второй строфы, вы узнаете ее, когда прочтете; какъ будто бы прежде знали ее, и вы безошибочно сами угадываете, что вотъ этимъ стихомъ оканчивается вся пѣса. Напротивъ, у иного поэта стихъ и гладокъ, и звученъ, и громокъ, образы поразительны своею новостію и смѣлостію, мысль основная ярка и цѣлѣтѣиста, а между тѣмъ вамъ не хочется прочесть этихъ стиховъ, которыми вы, при первомъ чтеніи, можетъ быть, восхищались; даже и не переставая удивляться имъ, вы никакъ не можете удержать ихъ въ памяти, а если и достигаете этого, то усиленъ, и притомъ такъ, что безпрестанно забываете; вамъ все кажется, что чего-то недостаетъ въ нихъ; несмотря на ихъ высокое, по вашему мнѣнію, достоинство, въ нихъ есть что-то странное: это что-то есть произвольность, случайность; не сами собою сошлись эти стихи, вызванные волшебнымъ скипетромъ чародѣя поэта, нѣтъ, ихъ свелъ насильно, за-воротъ или напряженный, неестественный восторгъ, какъ бы отъ приѣма опіума или дурмана, или конечная воля и самолюбіе, при усиленномъ трудѣ; они могутъ быть исправлены, переправлены, измѣнены, переименованы, потому что не динамическою самодѣятельною силою изъ ничего являющагося духа созданы они, но сдѣланы механическимъ расчетомъ, обдуманымъ соображеніемъ. Истинный поэтъ, когда пишетъ, видитъ передъ собою все свое стихотвореніе въ его цѣлости; ложный, написавши два первые стиха съ раза и не думая, обыкновенно задумывается надъ двумя послѣдними, и эти два послѣдніе бываютъ обязаны своимъ явленіемъ не самимъ себѣ, а рифмѣ. Что же въ этомъ случаѣ значить рифма? — Чистѣйшую случайность, сестру произвольности, плодородную мать призраковъ... Какъ явленіе, эта случайность имѣетъ свой интересъ для наблюдающаго духа, точно такъ же, какъ имѣютъ для него свой интересъ уродливыя болѣзни, уродливыя младенцы о двухъ головахъ, съ однимъ глазомъ... Особенно интересна эта призрачность,

когда принимает на себя призракъ дѣйствительности такъ, что только опытный глазъ и сильное, острое внутреннее зрѣніе могутъ рассмотретьъ ее. Это зависитъ отъ большей или меньшей образованности, силы разсудка и воображенія (а не разума и фантазіи), опытности, смѣливости, новизны и смѣлости того, чье самолюбіе или заблужденіе порождаетъ ее. И такую случайность безпощадно должно преслѣдовать, какъ врага сильного и опаснаго, который не лучше лукаваго задержать отъ неопытнаго взора дѣйствительность и замѣнить ее обманчивыми призраками. Но когда она является въ лохмотьяхъ, во всей отвратительности своего нищенства— всякое ожесточеніе противъ нея будетъ донкихотствомъ.

Стихотворенія г. Горчакова занимаютъ мѣсто въ золотой серединѣ между двумя этими странностями: ихъ стихъ довольно гладокъ и вообще благопристроенъ, такъ что ихъ нельзя причислить къ числу явленій рыночной литературы; но въ то же время ихъ стихъ и далеко не такъ звонокъ, блестящъ, гладокъ, мысль ярка и затѣйлива, чтобы ихъ можно причислить къ той случайности, которую не всякій можетъ отличить отъ дѣйствительности.

Такъ ты, моя арфа,
Огонь своихъ звуковъ
Надъ сердцемъ разсыпь
И радугой небо
Души моей сирой
Утѣшь хоть на мигъ!

Поэтъ проситъ свою арфу, чтобы она «разсыпала надъ сердцемъ его огонь своихъ звуковъ, и небо сирой души его утѣшила хоть на мигъ радугою»—и не грамматически, и не складно! Словомъ, это больше, чѣмъ соединеніе нѣсколькихъ случайностей: это просто—соединеніе нѣсколькихъ небыностей... Но, скажутъ, это только шесть стиховъ изъ цѣлой піесы, а въ одной піесѣ могутъ найдтись шесть дурныхъ сти-

ховъ. Чтобы не подозрѣвали насъ въ пристрастіи, укажемъ, пожалуй, на цѣлое стихотвореніе «Цвѣтокъ».

Скажите, Бога ради, понялъ ли хоть что-нибудь въ этомъ стихотвореніи вашъ разумъ—я уже не говорю, ваше чувство? «Подъ зеленою сосною цвѣтетъ душистый цвѣтокъ, не роза, не ландышъ и не темная фіалка, а краса полей—незабудка; цвѣтокъ этотъ посаженъ и взлелѣянъ красавицею-дѣвицею, онъ увянетъ, а сосна все зеленая (для стиха тутъ пропущенъ глаголъ, безъ котораго въ періодѣ не достаешь смысла); на будущую весну опять взойдетъ, а сосну ужъ сломалъ вѣтеръ, и солнечный жаръ спалитъ цвѣтокъ «во цвѣтъ дней»; увяла ты, моя любовь, дѣвица въ могилѣ, какъ незабудочку ее сгубилъ ненастный рокъ». Что это такое? Повторяемъ: даже и не случайность, а просто—безтолочь...

**РѢЧИ, ПРОИЗНОСЕННЫЯ ВЪ ТОРЖЕСТВЕННОМЪ
СОВРАЩЕНІИ ИМПЕРАТОРСКАГО МОСКОВСКАГО
УНИВЕРСИТЕТА 10 ІЮНЯ 1839. Москва.**

Въ брошюрѣ, заглавіе которой здѣсь выписано, кромѣ рѣчей гг. Морозкина и Сокольскаго, есть еще и «Краткій отчетъ о состояніи Императорскаго Московскаго Университета за 1838—1839 академическій годъ».

Вотъ уже третій годъ, какъ мы читаемъ въ московскихъ университетскихъ «актахъ» превосходныя рѣчи. Въ 1836 году мы прочли прекрасную рѣчь г. Шуровскаго; въ 1838 году мы прочли прекрасную рѣчь г. Крылова о римскомъ правѣ: въ нынѣшнемъ году мы прочли превосходную рѣчь г. Морозкина «объ Уложеніи и послѣдующемъ его развитіи»...

Еслибы мы хотѣли шагъ за шагомъ слѣдить за развитіемъ этой рѣчи, то наша рецензія превратилась бы въ огромную критику; а еслибы мы хотѣли выписать всѣ мѣста, отличаю-

щающія могучимъ и увлекательнымъ краснорѣчьемъ, то намъ пришлось бы перепечатать почти всю рѣчь, отъ слова до слова. Предоставляемъ самимъ читателямъ прочесть ее всю, а сами слегка коснемся кой-какихъ мѣстъ.

На 22 страницѣ мы встрѣтили мысль, поражающую читателя своею странностью. Ораторъ находитъ въ русскомъ народѣ «творческий, безконечно плодотворительный смыслъ, который непрерывно выступаетъ изъ круга положительности, непрерывно стремится впередъ, совершая новые обороты, проявляя новыя стороны человеческого духа». Мы совершенно согласны съ этою фразою, особенно если въ ней слово «смыслъ» замѣнить словомъ «разумъ», но мы никакъ не можемъ согласиться, чтобы эта, какъ называетъ ее ораторъ, «непостижимая тонкость смысла» была и добродѣтью, и недостаткомъ народа, какъ и умишленная добродѣтель, почти всегда обличающая недостатки развитія вышнихъ душевныхъ силъ — ума, воображенія и эстетическаго чувства. Что въ русскомъ народѣ есть огромный элементъ разумности, — это несомнѣнно; и эта многосторонность духа, о которой говоритъ самъ ораторъ, что же она, какъ не проявленіе разума? Что у нашего народа есть не только обыкновенная способность — воображеніе, эта память чувственныхъ предметовъ и образовъ, но и высшая, творческая способность — фантазія и глубокое эстетическое чувство — это доказываютъ русскія народныя пѣсни, то заунывные и тоскливые, то трогательныя и живыя, то разгульныя и буйныя, но всегда безконечно могучія, всегда выражающія широкій рамахъ богатырской души... Что разумъ и эстетическое чувство суть по преимуществу достоинство и принадлежность великаго народа русскаго, его характеристическія примѣты, — это доказываютъ и наши гигантскіе успѣхи въ цивилизаціи въ столь короткое время, и наше молодое просвѣщеніе, и наша молодая литература. Сто лѣтъ назадъ мы имѣли только сатиры Кантемира, а теперь уже гордимся именами Ломоносова, Фонъ-Визина, Державина, Карамъ-

зина, Крылова, Батюшкова, Жуковского, Грибоедова... А такія гигантскія проявленія русскаго духа, такіе могучіе проблески его, какъ Пушкинъ и Гоголь?... Неужели русскій народъ богатъ только разсудкомъ и бѣденъ разумомъ и эстетическимъ чувствомъ? «Тонкость разсудка можетъ развиваться и въ дряхлѣющемъ, и въ младенческомъ обществѣ отъ умственного и нравственнаго застою» — говоритъ ораторъ. Дѣйствительно такъ, т. е. отъ такихъ причинъ развилась тонкость разсудка у Персіанъ и Китайцевъ: неужели подъ эту же категорію подходитъ и молодая Россія, молодая, не смотря на то, что имѣетъ уже девятистѣтовую исторію и совершила нѣсколько цикловъ своего развитія?... Нѣтъ, послѣ указанныхъ нами фактовъ, такая мысль — парадоксъ, не имѣющий даже и достоинства странности. «Напротивъ того — продолжаетъ ораторъ — глухота разсудка, при остротѣ ума и воображенія, бываетъ иногда плодомъ высокой цивилизаціи, добродѣтелью свободно рожденнаго народа». Еще парадоксъ!... Мы желали бы, чтобы ораторъ указалъ намъ на народъ, отличившійся или отличающійся умомъ, эстетическимъ чувствомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и глухотою разсудка, какъ результатомъ высокой цивилизаціи. Мы думаемъ, что необыкновенная сила разсудка какъ въ человѣкѣ, такъ и въ народѣ, отнюдь не обуславливаетъ силы разума и обладаніе эстетическимъ чувствомъ; но что разумъ и эстетическое чувство необходимо обуславливаютъ и необыкновенную силу разсудка. Въ отношеніи къ разсудку и практическому уму ни одинъ народъ въ мірѣ не можетъ равняться съ Французами, — но зато какой же народъ въ Европѣ бѣденъ или разумностію, фантазією и эстетическимъ чувствомъ? Напротивъ, Англичане, гордящіеся Шекспиромъ, Байрономъ и Вальтеръ-Скоттомъ, суть въ то же время и народъ, отличающійся силою разсудка, способностію анализа и практическимъ умомъ. Если въ ихъ искусствѣ и ихъ исторіи видно преобладаніе разума и фантазіи, то въ ихъ мышленіи видно явное преобладаніе разсудка. Голландцы, со-

отечественники Рубенса, гордые двумя именами живописи — нидерландскою и орлеанскою, — въ то же время суть и народъ разсудка и практическаго ума. Какая чудовищно-огромная сила разсудка видна въ Нѣмцахъ. Кантъ и Гегель, которые, особливо послѣдній, въ то же время отличаются и чудовищно-огромною силою разума и эстетическаго чувства, не говоря, уже о томъ, что вообще умозрительные, трансцендентальные и фантастическіе Нѣмцы въ дѣйствительной и практически-подожительной жизни аккуратны и разсудительны какъ нельзя болѣе. Такъ точно и русскій народъ, богатый элементами разума и эстетическаго чувства, въ то же время отличается и необыкновенною смѣтливостію, смѣшленною, практическою дѣятельностію ума, остроуміемъ, аналитическою силою разсудка. «Но если природа и исторія создали насъ юристами, а не философами и не поэтами, и мы привыкли къ землѣ, чѣмъ къ облакамъ, то будемъ же довольны нашею судьбой, будемъ юристами въ совершенствѣ, будемъ Римлянами въ юриспруденціи». Прекрасно, но мы никакъ не можемъ удовлетвориться такою бѣдною участію. Нѣтъ, мы думаемъ, или, лучше сказать, мы вѣримъ и знаемъ, что міродержавныя судьбы вѣчнаго промысла, природа и исторія, не осудили Россію на такое одностороннее и узкое существованіе въ тѣснотѣ котораго неестественно сложились бы огромные члены ея богатырскаго тѣла, прервалось бы дыханіе ея широкой груди, и ожался бы глубокій и могучій духъ. Нѣтъ, мы вѣримъ и знаемъ, что назначеніе Россіи есть всесторонность и универсальность: она должна принять въ себя всѣ элементы жизни духовной, внутренней, гражданской, политической, общественной, и, принявши, должна самообытно развить ихъ изъ себя... Мы еще не философы — это правда, но мы уже обнаруживаемъ живое стремленіе къ разумному знанію, и если не въ философін, то въ частныхъ знаніяхъ даже оказали уже нѣкоторые успѣхи, и русское просвѣщеніе гордится уже именами нѣсколькихъ знаменитыхъ математиковъ, астрономовъ,

мореплавателей. Сколько знаній было соединено въ лицѣ одного. отца русской науки и русской литературы — Ломоносова! Что касается до поэзіи — мы уже давно поэты: вѣдь Пушкинъ не могъ же быть явленіемъ случайнымъ, а Пушкина мы, даже по сознанию самихъ иностранцевъ, смѣло можемъ противопоставить любому поэту всѣхъ народовъ и всѣхъ вѣковъ. Такъ зачѣмъ же намъ быть только юристами, новыми Ринлянами въ юриспруденціи? — Мы будемъ и юристами, и Ринлянами въ юриспруденціи, но мы будемъ и поэтами, и философами, народомъ артистическимъ, народомъ ученымъ, и народомъ воинственнымъ, народомъ промышленнымъ, торговымъ, общественнымъ. Въ Россіи видно начало всѣхъ этихъ элементовъ, и если эти элементы все еще останутся элементами, а не дѣйствительными явленіями, это значитъ, что всѣ извѣстныя опредѣленія не въ пору ему, что гнило для него всякое человеческое оружіе, ненадежны никакіе человеческіе доспѣхи, и потому-то онъ, нашъ божественный Ахиллъ, безоружный, бездѣйственный, но могучій и страшный, ждетъ отъ небожителя Гефеста неземного вооруженія; а для враговъ и недруговъ ему достаточно выйти на валъ и трикраты крикнуть... Не можемъ довольно удивиться, какъ такая страшная мысль попала въ такую прекрасную рѣчь... но это единственное пятно ея.

Чрезвычайно любопытно въ «рѣчи» изложеніе, или, лучше сказать, разложеніе юридическихъ началъ «Уложенія», разложеніе, въ которомъ рассматриваетъ ораторъ основные законы «Уложенія», государственныя учрежденія (чины, приказы — разрядный, помѣстный приказъ большого прихода, посольскій, судный, разбойный или сысканой, холопій, земскій, стрѣльцкій, духовное управленіе, іерархія), областныя учрежденія (воевода, приказная, съѣзжая изба или налата, губныя старосты, дѣловальники, части, разряды; городовыя приказаши и городничіе, таможенныя или торговые суды, посадные подъячіе), просвѣщеніе, (его религіозный характеръ

до Федора Алексѣевича и Софіи Алексѣевны, славяно-греко-латинская академія, приказъ книгопечатнаго дѣла), государственная служба, (жестничество, взятки, состоянія народа, дворянство, духовенство, городенія сословія), гражданскіе законы. Превосходенъ взглядъ оратора при рѣшеніи заданнаго имъ себѣ вопроса: «На какихъ началахъ основана гражданская часть «Уложенія». Начала эти семейственныя, патриархальныя, по его рѣшенію, которое кажется намъ глубоко-вѣрнымъ и истиннымъ.

Если бы такимъ образомъ юристы наши обрабатывали исторію права на Руси и разоблачили его внутреннее значеніе и сокровенную, таинственную сущность — мысль, — какъ далеко подвинулась бы русская исторія! Право есть краеугольный камень общественнаго зданія, цементъ, связывающій его части, и потому, пока темна эта сторона исторіи какого-либо народа, то и сама исторія его, по необходимости, есть темный, непроходимый лѣсъ. Монаха, подати, источники, промысловъ, основанія военной службы, права сословій, ихъ взаимныя отношенія, судъ и расправа, ихъ формы — безъ знанія всего этого нѣтъ знанія исторіи. Исторія войнъ и договоровъ есть только одна сторона исторіи народа, есть исторія частная. Итакъ, пусть сперва обрабатываютъ эти частныя исторіи; пусть занимающійся дипломатіей разработаетъ исторію договоровъ; воинъ — изобразить намъ характеръ и развитіе военнаго искусства въ Россіи; литераторъ, лингвистъ — исторію и развитіе литературы и языка; другой — исторію іерархій, монастырей и такъ далѣе. Это поважнѣе вопроса, важности котораго никто не взялъ на себя труда истолковать, вопроса, безплоднаго рѣшенія котораго успѣли уже сдѣлать сухимъ и педантскимъ занятіе русскою исторіею. Вотъ, когда обрабатываются всѣ эти частныя исторіи, или эти отдѣльныя стороны исторіи русской — тогда только возможна будетъ истинная русская исторія, безъ «высшихъ взглядовъ» и построенная не на пескѣ, а на твердомъ основаніи. Судя по рѣчи г. Мо-

рошкина, мы можем смело надѣяться, что отъ него великихъ услугъ русской исторіи со стороны идеи и развитія русскаго права, русскаго законодательства и русскаго судопроизводства. Г. Морозкинъ принадлежитъ къ новому поколѣнію ученыхъ— не къ тому, которое краснорѣчіе отличаетъ отъ поэзіи характеромъ живописи, а поэзію отъ краснорѣчія—характеромъ музыки, которое дѣленіе поэзіи на эпическую, лирическую и драматическую основываетъ на прошедшемъ, будущемъ и настоящемъ времени, которое, наконецъ, громкими фразами слагается: прикрасить нищету своихъ знаній; итъ г. Морозкинъ не имѣетъ ничего общаго съ этими учеными: въѣтъ известна его пламенная любовь къ наукѣ, его огромная начитанность, добросовѣстная ученость, а рѣчь его показываетъ еще, что Богъ далъ ему душу живу, открылъ его разумѣнію таинственную глубину мысли и одарилъ его огненнымъ словомъ. Вся рѣчь г. Морозкина есть образецъ глубокомыслия, учености, живого пламеннаго краснорѣчія, мѣстами возвышающагося до поэзіи. Мы не можемъ удержаться, чтобы не написать изъ его рѣчи хотъ два мѣста, особенно подтверждающія наше мнѣніе о цѣлой рѣчи г. Морозкина.

«Чего жъ не доставало русскому народу? Преобразованія! Его не доставало для семнадцатаго вѣка! Явился царь съ горящею мыслию въ очкахъ, съ отражкою душой на челѣ и съ громоподобнымъ словомъ власти! Онъ страшиный кинулъ взоръ на царствующій градъ, сурово посмотрѣлъ на дады прошедшаго и двинулъ царство на него. Что жъ не понравилось ему въ нѣдѣліи предковъ? Что возмутило Петра въ твореніи его отцовъ? Но это—тайна души великой, глубокая тайна гения! Мы видѣли только внѣшнее этого духа, который, какъ грозное облако, прошелъ надъ русскою землею. Мы видѣли, какъ онъ сочувствовалъ Іоанну Грозному, какъ благоговѣлъ передъ кардиналомъ Ришелье, и какъ не терпѣлъ византийскаго двора, его роскошества и лѣни, его ханжей и лицемеровъ. Какое грозное соединеніе стихій въ душѣ смертнаго, рожденнаго повелѣвать и царствовать! И къ этому огненному началу нравственной его жизни присоединилось глубочайшее сознаніе собственныхъ силъ. Посланникъ неба, самодержавный смертный, рѣшительно рожденный для преобразованій! Въ какомъ бы

онъ вѣкъ ни родился, въ какомъ бы народѣ ни воспитался, онъ всегда и вездѣ былъ бы преобразователемъ. Это его природа! Если бы онъ былъ современнымъ древнему Язону, его постигла бы участь божественнаго Иракла. Онъ былъ бы слишкомъ тяжелъ для легкой греческой армады. Но Провидѣніе знало, гдѣ произвести на свѣтъ необычайнаго смертнаго. Только русскій корабль могъ сдержать такого страшнаго пассажира! Только русское море могло носить на хребтѣ своемъ столь отважнаго мореходца! Только Россія могла не треснуть отъ этого духа, который напругалъ ее, чтобы уровнять ея силы съ своею исполинскою мощію!...

Какъ жаль, что этотъ пламенный диамантъ, достойный истиннаго поэта, а ужъ не оратора, какъ чернильнымъ пятномъ бѣлая бумага, подпорченъ одною риторическою фразою! Ораторъ спрашиваетъ себя: «что жъ не нравилось ему въ наслѣдіи предковъ?»—Что возмутило духъ Петра въ твореніи его отцовъ?» и отвѣчаетъ: «но это тайна души великой, глубокая тайна гениа». Риторическая фраза! Гдѣ тутъ тайна?—Дѣло ясно! Петра возмутила отжившая идея, мертвая форма, невѣжество, предразсудки, лѣнь, азіатизмъ и китаизмъ народа, котораго силы онъ зналъ и назначеніе пророчески предугадывалъ. Но къ чему наши слова, когда самъ ораторъ, чрезъ нѣсколько строкъ, обнаруживаетъ пустоту этой фразы слѣдующими чудными строками:

„Преобразователь въ теченіе всей своей жизни хранилъ въ себѣ тайное сознаніе, что не одно рожденіе возвелъ его на престолъ, но сила высшая призвала его царствовать надъ народами! Онъ чувствовалъ, что не кровь, а духъ его долженъ предшествовать. Онъ отвергъ сына и возжелалъ оставить по себѣ достойнѣйшаго. Но великій человекъ не пріобщился нашимъ слабостямъ! онъ не зналъ, что мы—и плоть, и кровь! Онъ былъ великъ и силенъ, а мы родились и малы, и худы, намъ нужны были общіе уставы человечества! Петру Великому не нравилось наше древнее государственное устройство. Государева боярская дума должна была уступить мѣсто сенату; областные приказы—ландратамъ и ландрихтерамъ. Ему не нравились наши цѣловальники, наши дѣяки и подъячіе. Онъ желалъ бы посадить на ихъ мѣсто алчныхъ Шведовъ, секретарей и шрейберовъ цесарской службы. Ему не нравилось прошедшее Россія. Но всѣ эти перемѣны ничто въ

сравненіи съ преобразованіемъ государственной службы. Самъ, начавъ съ солдата гвардіи, онъ прошелъ медленно по лѣстницѣ подчиненія, и завышалъ ее своимъ подданнымъ. А что кормленіе прежнее, что паровой хлѣбъ—соль? Въ потъ лица бѣли ихъ слуги Петра Великаго. Нигдѣ онъ не былъ такъ грозенъ своимъ правосудіемъ, какъ противъ дармоедовъ, жерскихъ вѣдухъ и казнопрядовъ. Не уважая частной собственности, когда думалъ объ отечествѣ, за каждую копейку, излишне взятую сборщикомъ податей, или переданную комиссіонеромъ торгашу, онъ былъ неумолимъ для виновнаго“.

Каждый годовой отчетъ о дѣйствіяхъ и состояніи Московскаго университета долженъ возбуждать живѣйшее участіе. Московскій университетъ—единственное высшее учебное заведеніе въ Россіи; онъ не знаетъ себѣ соперниковъ; у него есть исторія, потому что для него всегда существовало органическое развитіе. Въ Московскомъ университетѣ есть духъ жизни, а его движеніе, его ходъ къ усовершенствованію такъ быстръ, что каждый годъ онъ уходитъ впередъ на видимое разстояніе.

II.

ТЕАТРЪ.

МОСКОВСКІЙ ТЕАТРЪ.

ДОМЪ НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ СТОРОНѢ, или искусство не платить за квартиру, *водевиль въ 1-мъ дѣйствіи*; ЖЕНА АРТИСТА, *драма въ 2-хъ дѣйствіяхъ*, соч. Скриба, пер. съ французскаго Н. А. Коровкина; ЦЫГАНЕ, *драматическое представление, взятое изъ поэмы А. С. Пушкина*; ПЕРВОЕ представленье «Мельника, колдуна, обманщика и свата», *комедія въ 1-мъ дѣйствіи*, соч. Н. А. Полеваго; МЕРТЪ по выбору и свѣдѣнію по неволѣ, *водевиль въ 1-мъ дѣйствіи, переводъ съ французскаго*. (Бенефисъ г-жи Орловой, 13 октября).

Мы устали, только переписывая длинную афишку, испещренную такимъ множествомъ заманчивыхъ заглавій, и у насъ рѣшительно не достало бы силъ переписать ее со всѣми ея заманчивыми подробностями и именами. Г-жа Орлова радушно, по-московски, угостила московскую публику, и московская публика осталась ею очень довольна. И какъ было не остаться довольною публикѣ?—бенефисъ—ея страсть, а расположеніе къ длиннымъ афишкамъ доходить въ ней иногда до слабости; ежели же къ многочисленности присоединится и новостіе, она не скупится на плату, и театръ бываетъ полнехонекъ. Мочаловъ прошлаго года далъ въ свой бенефисъ Шекспирова «Лира», твореніе міровое и вѣковое, хотя и безбожно искаженное переводомъ и безсмысленными пропусками. Огромный талантъ бенефицианта, любовь къ нему публики, кажется, могли бы обѣщать блестящій успѣхъ, но пѣса была уже сценически знакома публикѣ, и была знакома ей не

совѣтъ съ хорошей стороны, хотя въ этомъ былъ виноватъ и не Мочаловъ, въ первый разъ являвшійся въ ней,—и въ театрѣ было просторно. Кто же виноватъ въ этомъ, если не самъ артистъ? Имя Шекспира велико въ Москвѣ послѣ блестящаго успѣха «Гамлета» и «Отелло», благодаря великому дарованію Мочалова; но за все надо браться умѣючи, осторожно; благородный артистъ руководствовался не расчетами корысти, а любовью къ искусству, и его наградою былъ восторгъ зрителей и ихъ многочисленность при повтореніи пьесы, но мы говоримъ не о немъ, а о публикѣ. Она навсегда вникаетъ въ причину явленія и, обманувшись въ ожиданіи, не предается ему въ другой разъ. Ей нѣтъ дѣла до того, что пьеса злополучно переведена, злополучно изуродована пропусками, злополучнѣе поставлена, наконецъ, злополучно была выполнена, ей нѣтъ дѣла и до того, что не Мочаловъ виноватъ во всѣхъ этихъ злополучіяхъ: она рѣшается, что пьеса скучна, смѣшивая съ пьесой пародію и сценическое выполненіе. Такъ, напримѣръ, виновата ли она въ томъ, что не хочетъ больше видѣть «Отелло», и что каждое новое представленіе этой великой драмы есть новое ея паденіе? Что за нужда ей знать, что пьеса поставлена какъ только возможно злополучнѣе, какъ будто бы объ этомъ хлопотали съ особеннымъ усердіемъ; что за нужда ей знать, что, послѣ послѣдняго пребыванія на московской сценѣ г. Каратыгина, «Отелло» сталъ даваться съ выпускомъ лучшихъ мѣстъ—торжества таланта Мочалова; что съ тѣхъ поръ она лишена связи, смысла; что всякій актеръ въ ней воспользовался страннымъ правомъ выпускать изъ своей роли что ему угодно?... Она знаетъ только то, что въ пьесѣ нѣтъ здраваго смысла, что въ ней ничего нельзя понять, какъ будто бы ее писалъ не Шекспиръ, а какой-нибудь доморощенный водевилистъ; что Мочаловъ въ ней каждый разъ все слабѣе и слабѣе, и она права, что избѣгая скуки за свои же деньги, не хочетъ больше видѣть «Отелло». Точно также не права, что любить

длинные афишки, испещренные множеством новых пьес и именами старых знаменитостей, своей оцене, и что она толпою нахлынула на бенефис г-жи Орловой, такъ что почти мѣста пустого не было въ огромной залѣ Петровскаго театра. Бенефициантка также права, что хотѣла угодить публикѣ. Гдѣ обѣ стороны довольны одна другою, тамъ третья не имѣетъ права вмешиваться, и потому намъ остается только хвалить — и мы хвалимъ.

Но достоинство пьесъ другое дѣло, нежели ихъ множество и новостъ, за нихъ отвѣчаютъ ихъ авторы, а не бенефициантка, и мы попросимъ ихъ отвѣтить.

«Домъ на петербургской сторонѣ, или искусство не платить за квартиру» — фарсъ, который смѣнить не замысловатостію, не остроуміемъ, а своею нелѣзностью. Однако онъ смѣнитъ, а не усыпляетъ: за неимѣніемъ лучшаго, и это достоинство, и за это спасибо. У скряги Копейкина наймаютъ квартиру молодой повѣса Субботинъ, и заключаетъ контрактъ на полгода. Будочникъ приносить его пожитки, — матрацъ и трехногий стулъ; Копейкинъ приходитъ въ отчаяніе, что обманулся щегольскою одеждою своего постояльца и счелъ его за богатаго человѣка. Субботинъ любитъ Анну Семеновну Жемчужнину, которая нанимаетъ квартиру у Копейкина, и которую Копейкинъ не пускаетъ съ квартиры, потому что она за нее ему задолжала. Къ Субботину приходятъ его пріятель, департаментскіе офицеры съ гербовыми пуговицами: Бушуевъ, Дудкинъ, Ухарскій. Ужъ по ихъ фамиліямъ вы узнаете, каковы эти господа офицеры. Они начинаютъ шумѣть и гвалтъ, по вызову Субботина. Прибѣгаетъ хозяинъ; они его окружаютъ, и, приложивъ губамъ свертокъ дѣловыхъ бумагъ, уже не наивистываютъ, а накрываютъ во все горло мотивъ «адемаго вальса» изъ «Роберта». Субботинъ начинаетъ дѣлать разныя требованія отъ хозяина, особенно, чтобы онъ отпустилъ безъ денегъ Жемчужнину. Хозяинъ не соглашается — новый адемовъ крикъ; грозить полиціею — Субботинъ хладнокровно говоритъ, что

полиція давно ужъ отступилась отъ него, бьетъ стекла, стучить въ полъ стуломъ. Наконецъ Копейкинъ соглашается на все; и вдругъ Домна, кухарка Копейкина, какъ - то открываетъ, что Субботинъ сынъ ея господина; Копейкинъ очень неохотно въ этомъ увѣряется и еще неохотнѣе соглашается на бракъ Субботина съ Жемчужиною. Все это лишено всякой правдоподобности, остроумія и смысла; но все это возбуждало вверху неистовый смѣхъ. Г. Орловъ игралъ Копейкина, и сыгралъ бы его очень хорошо, еслибы въ натурѣ его игры было побольше граціи и поменьше грубости. Г. Ленскій хорошо бы сыгралъ роль Субботина, если бы придавъ ей побольше веселости и комизма. Г-жа Степанова, можетъ быть, тоже хорошо сыграла бы свою роль, если бы въ ея роли было хоть на копейку смысла. Гг. Максимъ 2, Звѣревъ, Шубертъ и прочіе, не поименованныя въ афишѣ, также хорошо бы сыграли свои роли, если бы въ ихъ игрѣ было хоть сколько-нибудь натуры и развязности. Г-жа Кашина выполнила свою роль хорошо, безъ всякихъ «бы».

«Жена артиста» — французская мелодрама во вкушъ прошлаго вѣка, съ чувствительными эффектами. Живописецъ любитъ дѣвушку - аристократку; не надѣясь получить ея руку, онъ уѣхалъ въ Россію, гдѣ прожилъ три года, возвратился въ Парижъ и, какъ отецъ его возлюбленной отошелъ къ своимъ знаменитымъ предкамъ, женился на ней. Вотъ и живетъ онъ съ нею, какъ голубь съ голубкою: то порисуетъ, то поворкуетъ. А художникъ онъ знатный — пишетъ картины тысячь по двадцать франковъ каждую. Однако онъ всетаки вошелъ въ большіе долги, потому что уплатилъ долги своего тестя и содержитъ жену такъ, чтобы она не замѣтила перемѣны своего состоянія. За женою его волочится виконтъ де-Ретель, да потомъ ужъ волочится и за ея горничною, Викториною, въ которую влюбляетъ дуралей Августинъ, подмастерье Клермонта. Надо сказать, что Клермонтъ считаетъ виконта своимъ задушевнымъ другомъ. Эвелина открываетъ ему глаза — и онъ

начинает свирѣпствовать противъ виконта, какъ негодая; а виконтъ ему намеряетъ о векселѣ въ шесть тысячъ франковъ, которому срокъ вышелъ въ этотъ же вечеръ. Живописецъ въ отчаяніи: долгу на немъ двадцать тысячъ, а денегъ въ карманѣ ни гроша — надо продать лошадей, мебель, перемѣнить квартиру, лишить свою жену всѣхъ удобствъ жизни, къ которымъ она привыкла съ малолѣтства. Бѣда, да и только! Но вдругъ вбѣгаетъ Викторина съ письмомъ, содержащимъ въ себѣ предложеніе правительства — написать двѣ картины, по 20,000 франковъ за каждую; Клермонтъ бросается къ палитрѣ, но — о, ужасъ! — онъ вдругъ ослѣпъ... Первый актъ кончился. Во второмъ актѣ, Клермонтъ, сидя въ креслахъ, слѣпой, жалобно воркуетъ съ Эвелиною, которая собирается идти погулять и, давши ему слово возвратиться скорѣе, оставляетъ его одного ворковать. Входитъ Августинъ и открываетъ Клермонту за тайну, въ видѣ жалобы, что виконтъ де-Ретель попрежнему волочится за Викториною. Клермонтъ въ изумленіи; онъ думалъ, что виконтъ ужъ давно Богъ знаетъ гдѣ. Августинъ говоритъ ему еще, что они живутъ, хоть на другой квартирѣ, но всетани опрятной и красивой, и что ихъ мебель все та же, — и въ доказательство даетъ Клермонту ощупать одно кресло. Наконецъ онъ говоритъ, что барыня часто отлучается изъ дома, и онъ видѣлъ у ней брилліантовый перстень. Клермонтъ высылаетъ Августина и ощупью доходитъ до бюро, въ которомъ и отыскиваетъ роковой перстень, и, проворковавъ жалобно и горестно на свое злополучное одиночество и потерю чести, съ отчаянія уходитъ въ другую комнату. Вдругъ входитъ виконтъ де-Ретель и, встрѣченный Викториною, говоритъ ей «въ 7 часовъ», отдаетъ письмо и хочетъ уйти, какъ вбѣгаетъ Августинъ и начинаетъ свирѣпствовать. Виконтъ приказываетъ молчать, грозитъ въ случаѣ нескромности и уходитъ. Входитъ Клермонтъ и узнаетъ отъ глупо-свирѣпствующаго Августина, что тутъ былъ ~~виконтъ~~; Клермонтъ въ пущемъ отчаяніи и наибольшемъ злополучіи. Эвелина возвращается съ

прогулки—и они оба начинают ворковать. Клермонтъ упрасиваетъ ее не оставлять его на этотъ вечеръ одного—Эвелина говоритъ ему, что она дала слово быть у кого-то. Новое подтвержденіе свирѣпыхъ подозрѣній Клермонта! Наконецъ, на его неотступныя воркованія она соглашается остаться, проситъ его отдохнуть, а сама проситъ позволенія побыть въ своей комнатѣ, къ которой подходитъ, хлопаетъ дверью и на цыпочкахъ уходитъ въ другую дверь, потому что, еще во время ея разговора съ мужемъ, Викторина дѣлала ей знаки и говорила, что ее ждутъ. Узнавши, что жены нѣтъ дома, Клермонтъ подходитъ къ окну своей комнаты, находящейся въ третьемъ этажѣ, чтобы выпрыгнуть изъ нея и «смертію окончить жизнь свою», какъ вдругъ вбѣгаетъ Эвелина... Дѣло, изволите видѣть, въ томъ, что она рѣшилась, изъ любви къ мужу, опредѣлиться на сцену и своимъ блестящимъ талантомъ доставить ему довольство; что же до вины, онъ сначала хотѣлъ ее соблазнить, а потомъ, видя неудачу и тронувшись ея добродѣтелью (вѣрность жены мужу во Франціи почитается добродѣтелью, и еще столь же геройскою, сколько и рѣдкою), безкорыстно помогать ей въ ея предпріятіяхъ. Клермонтъ въ упоеніи блаженства отъ сугубой добродѣтели жены, увѣренность въ которой послѣ страшнаго сомнѣнія для него тѣмъ отраднѣе. Къ довершенію всего, онъ узнаетъ, что, благодаря таланту жены, они снова богаты, и онъ можетъ ѣхать въ Берлинъ къ славному окулисту, который очень дорого беретъ за свои операціи и только одинъ въ состояніи возвратить ему зрѣніе. Такъ какъ жена его (г-жа Орлова) явилась такъ истати прямо со сцены, и въ костюмѣ Испаніи, то Клермонтъ (г. Мочаловъ) и восклицаетъ: «Какъ она должна быть прекрасна въ этомъ костюмѣ!» Восклицаніе осталось безъ аплодисмента, но когда Эвелина упала передъ мужемъ на колѣни, обняла его колѣни, а онъ началъ ворковать, и замѣвъъ началъ опускаться, то публика пришла въ неописанный восторгъ отъ такой чувствительно-патетической сцены...

Драма, какъ изволите видѣть, довольно плоховата, какъ и все французскія драмы: но дѣло въ томъ, что когда ихъ играютъ французскіе артисты, то на сценѣ онѣ прекрасны; а когда ихъ играютъ русскіе артисты, (по крайней мѣрѣ въ Москвѣ), онѣ бываютъ невыразимо дурны, еще хуже, чѣмъ въ чтеніи. Когда пьеса русская, то-есть въ русскихъ нравахъ, то и наши артисты хороши, и въ ихъ игрѣ есть даже цѣлостъ и общность (ensemble); но когда пьеса переводная, особенно съ французскаго и, слѣдовательно, требующая живости и свѣтовой ловкости, то два-три таланта еще доставятъ вамъ наслажденіе; остальные же заставятъ васъ съ лихвою расплатиться за это наслажденіе; а общность пьесы напомнитъ вамъ балаганныя представленія.

Что сказать о выполненіи «Жены артиста»? Сивозъ вычурную манерность игры г. Мочалова промелькивали иногда и благородная простота, и теплота чувства. Г-жа Орлова всегда прекрасна, и ей за это всегда аплодируютъ; удивительно ли, что и на этотъ разъ публика была ею очень восхищена? — Г. В. Стенановъ былъ въ роли Августина очень потѣшенъ, но нимало не милъ...

«Цыгане» есть не что иное, какъ драматическая часть поэмы Пушкина, безъ перемѣнъ взятая изъ нея цѣликомъ, равумѣется, съ выпускомъ эпической, отъ чего и здравый смыслъ выпустился. Комедія началась пѣніемъ г. Бантышевымъ пѣсни «Мы живемъ среди полей» и пляскою табора, въ которомъ была одна женщина—Земфира (г-жа Рѣпина). Публика заставила г. Бантышева (игравшаго роль молодого цыгана), повторить пѣсню. Затѣмъ у Алеко (г. Мочалова) начался разговоръ съ Земфирою, а послѣ разговора, Земфира тотчасъ начала пѣть «Старый мужъ, грозный мужъ». Въ этомъ пѣніи г-жа Рѣпина вся была—огонь, страсть, трепетъ, дикое упоеніе... Публика заставила ее повторить... Но играла она такъ же дурно, какъ и г. Мочаловъ, то есть очень дурно. Г. Орловъ читалъ монологи стараго цыгана, этого дивнаго, ве-

ликаго характера, созданнаго колоссальнымъ гениемъ Пушкина; при тепломъ и глубокомъ чувствѣ Щепкина и его превосходномъ талантѣ, это чтеніе произвело бы сильный эффектъ, и публика поняла бы стараго цыгана, отца Земфиры, какъ абсолютнаго человѣка въ естественной непосредственности... Сцена убійства была просто смѣшна.

Первое представленіе «Мельника, колдуна, обманщика и свата» есть одно изъ новѣйшихъ произведеній неутомимаго новаго петербургскаго драматурга, Н. А. Полеваго. Кстати: чтобы напиться его духомъ и тѣмъ лучше понять эту шесу, мы въ тотъ день, какъ готовились идти въ театръ, прочли въ послѣдней книжкѣ медленно выступающаго «Сына Отечества» еще одно изъ новѣйшихъ драматическихъ произведеній Н. А. Полеваго — «Ода премудрой царевнѣ Киркизъ-Кайсацкой Фелицѣ». Штука славная-съ! особенно намъ понравилось лицо Державина: онъ безпрестанно читаетъ свои стихи, или разсуждаетъ въ канцеляріи о высокомъ и прекрасномъ, и притомъ такъ высоко и прекрасно, такъ чуждо обыкновеннаго человѣческаго языка, что тотчасъ увидишь, что это не простой человѣкъ, а великій поэтъ и «наукамъ учился». Словомъ, «молодой, молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати-трехъ, а говоритъ совсѣмъ такъ, какъ старикъ. Извольте, говоритъ, я поѣду и туда, и туда... такъ все это славно. Я, говоритъ, и написать, и почитать люблю, но мѣшаетъ, что въ канцеляріи, говорить, немножко темно». И это нисколько не странно: въ старину, то есть во время Н. А. Полеваго, всѣ были убѣждены, что поэтъ непременно долженъ быть нѣсколько помѣшанный человѣкъ: говорить громкія фразы о вдохновеніи, о поэтическомъ призваніи, о своемъ гениіи и своихъ созданіяхъ, не быть способнымъ ни къ какому дѣлу, со всѣми спорить и высказывать толстѣ всевозможное презрѣніе. Новѣйшее поколѣніе думаетъ совсѣмъ иначе: оно отъ души смѣется надъ идеальнымъ Чацкимъ, какъ надъ полоумнымъ, и хочетъ, чтобы поэтъ только въ своихъ твореніяхъ былъ поэтомъ, а

въ обществѣ являлся бы въ сюртукѣ или фракѣ, а не въ повѣтческомъ мундирѣ съ мишурнымъ ореоломъ на головѣ. И самые поэты новаго времени смотрятъ на предметъ съ этой же точки зрѣнія. Извѣстно, что Пушкинъ съ большею частію людей разговоръ о лошадяхъ предпочиталъ разговору о поэзіи, о которой просто бесѣдовалъ или въ задушевномъ кругу, или съ самимъ собою, и пуще всего на свѣтѣ не терпѣлъ, чтобы на него смотрѣли и съ нимъ обращались, какъ съ поэтическою знаменитостію, или даже говорили при немъ о его сочиненіяхъ. Въ этомъ видѣнъ духъ времени. Наполеонъ стóитъ Александра Македонскаго, или Юлія Цезаря, но ходилъ не въ мантии, а въ сѣромъ сюртукѣ, не въ шляпѣ, а въ уродливой трехъ-уголкѣ; но зато сколько безконечной поэзіи въ этомъ сѣромъ сюртукѣ и въ этой уродливой трехъ-уголкѣ, и не странно ли было бы, еслибы онъ надѣлъ рыцарскіе доспѣхи и шлемъ!... Но мы заговорились: обратимся къ піесѣ. Послѣ Державина, самое интересное лицо въ ней Хемницеръ. Онъ вретъ глупости насчетъ многого, и хотя можно съ нимъ и не спорить, но ужъ никакъ нельзя согласиться, чтобы Державинъ былъ великій человекъ, потому что Хемницеръ умѣе его съ своими пошлыми побаселками, которыми онъ такъ плоско резонерствуетъ, и потому что поэзія—безумство: это старая пѣсня двадцатыхъ годовъ!.. Впрочемъ, славная піеса, господа! Прочтите!...

У: Сумарокова есть воспитанница, которая любитъ Аблесимова, переписчика его сочиненій, и которую оный Аблесимовъ обожаетъ. Сія дѣвица не терпитъ Жукова, племянника Тредьяковскаго и плохого стихотворца, а оный Жуковъ плѣненъ ея красотою, подло льститъ авторскому самолюбію Сумарокова и получаетъ его обѣщаніе выдать за него свою воспитанницу. Аблесимовъ признается Сумарокову въ любви къ его воспитанницѣ,—Сумароковъ этимъ только что не оскорбляется, какъ нелѣпостью, говоря, между прочимъ, что онъ отдастъ свою воспитанницу только за «сочинителя». —О, если только

за этимъ стало дѣло, восланицаетъ Аблесимовъ, то вы моя, Анна Ивановна! — и подаетъ Сумарокову рукопись своего «Мельника, Колдуна, Обманщика и Свата». Сумароковъ смѣется надъ піекою, какъ надъ образцовою глупостью, потому что ея герои — русеніе мужики и бабы. Аблесимовъ замѣчаетъ ему, что онъ самъ изображалъ въ своихъ трагедіяхъ русскихъ людей съ русскими именами — Синава, Димитрія, Ксецію и пр. «Но я облагородилъ и украсилъ ихъ!» восклицаетъ Сумароковъ: «я сдѣлалъ изъ нихъ Ахиллесовъ, Агамемнионовъ, Клитемнестръ, только съ русскими именами; а въ ослотахъ у меня все Даметы, Хлои, Титиры, а не Ваньи, Оомки и Маврушки! Ты не знаешь піитики, а берешься писать — вотъ и вышелъ вадоръ!» Словомъ, начинается споръ, въ которомъ Сумароковъ отстаиваетъ піитическія правила (или классицизмъ), а Аблесимовъ — природу и естественность (или романтизмъ). Коротче: это продолженіе того же гоненія на классиковъ, которое началось еще съ «Московского Телеграфа», и только поэтому Аблесимовъ, невзначай написавшій хорошенъкую піесу, и разсуждаетъ довольно умно, въ разсудочномъ смыслѣ. Въ этомъ спорѣ Сумароковъ съ ужасомъ узнаетъ, что Аблесимовъ отдастъ уже свою піесу на театръ, и она тотъ же вечеръ будетъ дама; онъ предсказываетъ ему смѣхъ и свистки, какъ достойное наказаніе за его незнаніе піитики. Аблесимовъ рѣшается на удачу и требуетъ у Сумарокова слова выдать за него свою воспитанницу, если публика хорошо приметъ его «Мельника», и самъ отказывается отъ своихъ притязаній, если піеса падетъ. Увѣренный въ паденіи піесы, Сумароковъ даетъ ему слово и руну и просить Тредьяковскаго, пришедшаго къ концу ихъ спора и принявшаго сторону «піитики», разнять ихъ въ качествѣ свидѣтеля. Входитъ Богданъ Богдановичъ Книперъ, содержатель вольнаго театра въ Петербургѣ, — и Сумароковъ напускается на него за то, что онъ безъ его согласія рѣшился взять на сцену такую дрянъ, которая возбудитъ об-

щій ропотъ и отъ которой ему будетъ большой убытокъ. Богданъ Богдановичъ въ отчаяніи, что пьесы уже нельзя отгнать, потому что сейчасъ же должно начаться ея представлѣніе. Онъ уходитъ. Является Жуковъ, подбѣгаетъ передъ Сумароковымъ, предсказываетъ паденіе «Мельника» и уходитъ въ театръ. Остаются Оумариковъ и Тредьяковский, читаютъ другъ другу отрывки изъ своихъ твореній и ссорятся: оцена, напоминающая Триссотина и Вадіуса. Раздраженный Тредьяковский уходитъ, забывши взять свое малое пяти-пудовое чашо, рукопись «Телемахиды». Сумароковъ пишетъ на него анжирандку. Вдругъ вбѣгаетъ Богданъ Богдановичъ и зоветъ его въ театръ къ Шувалову и другимъ вельможамъ, возвращаясь, что «Мельникъ» имѣлъ неслыханный успѣхъ у публики, отъ вельможъ до черни. Встревоженный Сумароковъ уходитъ съ нимъ. Входитъ Аблесимовъ; онъ уже въ отчаяніи, что рѣшился отдать пьесу на театръ, не посоветовавшись съ Сумароковымъ; онъ уже упренаетъ себя и за то, что осморила его премудрѣе мнѣніе объ искусствѣ. Входитъ Анна Ивановна и горюетъ съ нимъ вмѣстѣ. Вдругъ является изъ театра Жуковъ. Онъ забѣгаетъ на Оумарова за то, что тотъ, давши ему слово за свою воспитанницу, далъ также слово и Аблесимову, въ случаѣ удачі его пьесы, которая, какъ онъ это самъ сейчасъ видѣлъ, очень удалась. И вотъ онъ хочетъ отомстить, сказавши Аблесимову и Аннѣ Ивановнѣ, что пьеса пала. Любопытны въ отчаяніи; но приходить Сумароковъ, радушно поздравляетъ Аблесимова съ успѣхомъ пьесы и съ невѣстою и, узнавши о продѣлкѣ Жукова, выгоняетъ его. Приходитъ Тредьяковский, говоря, что онъ забылъ тетрадку. Сумароковъ весело его встрѣчаетъ и предлагаетъ мировую за бокаломъ вина; Тредьяковский хочетъ читать свою «Дейдію», но всѣ выходятъ, и занавѣсъ медленно спускается передъ чтецомъ, не замѣчающимъ отсутствія слушателей.

Піеска, какъ видите, не очень затѣливая, съ самыми

обыкновенными и истертыми пружинами классической комедии: съ благороднымъ отцомъ, *père noble* (Сумароковъ), съ дочерью (Анна Ивановна) и ея любовникомъ, съ соперникомъ-мерзавцемъ (Жуковъ) и двумя шутами (Тредьяковскимъ и Князевымъ). Словомъ, одна изъ тѣхъ драматическихъ посредственностей, которыя, бывало, въ «Московскомъ Телеграфѣ» Н. А. Полевой такъ умно и энергически преслѣдовала, какъ уголовныя преступленія противъ здраваго вкуса и здраваго смысла. Характеръ Сумарокова совершенно искаженъ: это добрякъ съ слабостію къ стихотворству, котораго можно согласить на все. льстя его слабости, и которой отъ души радъ успѣху Аблесимова, незнающаго пѣтеньки, и на радости прощаетъ Тредьяковскому его оскорбленіе. Не таковъ былъ Сумароковъ: онъ принималъ похвалы, какъ дань, должную русскому Лафонтену, Расину, Мольеру, Вольтеру, и за нихъ не считалъ себя нисколько обязаннымъ; а сомнѣніе въ своей гениальности принималъ за невѣжество, за помѣшательство въ умъ или за провную обиду. Успѣхъ пьесы, написанной не по правиламъ пѣтеньки, сдѣлалъ бы его провнымъ врагомъ отцу родному, не только какому-нибудь Аблесимову, переписчику его твореній. Эта была одна изъ самыхъ раздражительныхъ, изъ самыхъ страстныхъ посредственностей, съ такимъ же даромъ къ поэзіи и съ такимъ же чудовищнымъ самолюбіемъ, какъ и Тредьяковскій, но съ лучшимъ языкомъ, сильнѣйшими страстями и большимъ смысломъ.

Какъ изобразилъ авторъ Сумарокова—г. Потанчиковъ—выполнилъ его не только умно, но и талантливо, съ большимъ искусствомъ и большею естественностію. Тредьяковскаго игралъ Щепкинъ и, разумѣется, игралъ превосходно, художественно. Впрочемъ, онъ не столько *показалъ*, сколько создалъ эту роль. Поэтому, съ перваго появленія его на сцену, до того, какъ онъ остается на ней читать «Дейдамію», смѣхъ и рукоплесканія не умолкали и разрѣшались въ громкій, еди-нодушный вызовъ. Г-жа Орлова была очень къ лицу приче-

сана постаринному и выполняла свою роль просто, благородно, тепло и умно. По болѣзни г. Никифорова, роль Книпера игралъ г. Рославскій, и игралъ съ старинными кривляньями и самыми плоскими фарсами. Это одна изъ тѣхъ посредственностей, которыхъ Французы называютъ utilités, но которыя свирѣпо портятъ себя неумѣстными притязаніями на гениальность. Вообще пѣса шла хорошо, цѣлостно и была принята публикою съ восхищеніемъ; не смотря на литературность ея содержанія, не совсѣмъ доступную. Это одна и та же исторія: въ пьесѣ съ содержаніемъ изъ русской жизни, безъ трагическихъ ходовъ, и хотъ мало-мальски порядочно слѣвленной; и актеры все хороши, и въ игрѣ есть общность; публика всегда довольна и хорошо принимаетъ такую пѣсу.

Заключительною пѣсью бенефиса была очень миленькій французскій водевиль «Моръ по выбору и смѣлый по неволѣ» который игралъ очень ладно, и въ которомъ г. Живокини восхитилъ публику многою оригинальностью и неподражаемою веселостію и естественностію своею игрою. Какой это прекрасный талантъ! Сколько оригинальности, умѣнья занять публику даже самою плохою ролью! Да, еслибы г. Живокини повѣше смотрѣлъ на свое искусство; то оставилъ бы въ его лѣтонисяхъ славное имя!

Бенефисъ кончился въ четверть одиннадцатаго; и много, и разнообразно, кое-что и хорошо, и недолго,—чего же больше?

Москва. 1838, октября 15.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ТЕАТЪРЪ

ВЕЛИВАРИЙ. *Драма въ стихахъ и въ прозѣ, по мотивамъ, съ кн. великаго (Ободовскаго). (Спектакль, 31-ю октября)*

Да, господа, жить безвыгодно въ Москвѣ и хотѣть прѣкратить Петербургъ — это значить, лѣзъ одного мѣра пере-летѣть въ другой, совершенно на первый не похожій. Я те-перь, особенно, понялъ, какъ, ошибши и мелоды, споры о пре-восходствѣ одной столицы надъ другою. Эти споры такъ же дѣтски и неосновательны, какъ споры о превосходствѣ одного гениальнаго произведенія искусства предъ другимъ, тоже ге-ниальнымъ, вслѣдствіе которыхъ «Гамлетъ» превосхо-денъ, то «Макбетъ» нигкуда не годится, и наоборотъ. Нѣтъ, Москва имѣетъ свое значеніе, котораго не имѣетъ Петер-бургъ, но и она такъ же не можетъ замѣнить Петербурга, какъ и Петербургъ ея: каждый изъ этихъ городовъ хорошъ по своему, каждая изъ столицъ лучше другой, каждая одна другой хуже! Я еще не осмотрѣлся въ Петербургѣ, чему причиною и то, что общность его такъ сильно и мощно охватила мою душу, что она не въ состояніи сосредоточиться ни на одной частности и рассмотреть ее. Хотя Петербургъ въ осеннее и зимнее время не имѣетъ и половины своего значенія, являясь во всемъ своемъ поэтическомъ блескѣ только весной и лѣтомъ, но я уже заколдованъ имъ. Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ только вскользь увидѣть Неву, чтобы почтеть себя перенесеннымъ въ какое-то волшебное царство съ крутыхъ береговъ безводной Москвы-рѣки... По мѣрѣ

кого-то ознакомленъ съ частностями Петербурга, и буду не-
стоянцо и въ порядкѣ отдавать вамъ отчетъ въ моихъ спе-
циальныхъ, и теперь же напишу это съ театра. И. Липинъ.
Но буду распространяться о впечатлѣніяхъ, которое произ-
вела на меня рѣзкая разность Александринскаго театра отъ
московскаго, Петровскаго, и доказывать, что послѣдній не-
сравненно лучше, величественнѣе, и такъ сказать, столичнѣе,
Александринскій и менше, и тусклѣе, но что онъ показалось
несколько менше преимуществъ его передъ Петровскимъ и
истинною красотой. Такъ, это то, что они были подлесто-
нѣе, что въ немъ не было мѣста пустотѣ, съ Петровскимъ
это случается только въ самыя блистательныя бенефисы лю-
бимцевъ московской публики — Мочалова и Щепкина, а чаще
всего, при представленіи новаго балета съ блистательными де-
корациями, какъ напримеръ, «Два Дуная», которая только
теперь начинаетъ надобдѣть московской публикѣ, обычно-
венно предпочитающей декорации и танцы драмѣ и ея худо-
жественному выполненію. Но я баговорился. Эта разница не
театровъ, а публики обихъ столицы. И эта разница очень
рѣзка: Съ перваго взгляда видно, что для петербургской
публики театръ совсѣмъ не то, что для московской: для первой
онъ необходимость, для второй — развлеченіе. Сприняваю васъ:
много ли въ Петровскій театръ сошлось бы народу на новую
песню неизвѣстнаго автора и переведенную человекомъ; ко-
нечно, не безъ дарованія, но совершенно неизвѣстнаго въ
литературѣ, и притомъ, когда эта пьеса дается не въ бене-
фисъ Мочалова или Щепкина, а въ обыкновенный спектакль,
и еще — что въ Москвѣ очень важно — не въ воскресный день,
а въ будни?.. Обыкновенно, московская публика внимательна
только мѣстами, когда ее самовластно увлекаетъ могущество
вдохновенія артиста и обаятельная сила драматическаго по-
ложенія или гениальность сцены; но зато, какъ скоро сцена
ей не нравится, или артисты дурно выполняютъ ее, еслибы
вы хотѣли внимательно слѣдить за связью и ходомъ пьесы,

вамъ не дадутъ этого сдѣлать разговоры, смѣхъ, напильные, смертные и проч. Когда даютъ драму — московская публика смотритъ Мочалова, не думая о драмѣ и какъ будто не замѣчая другихъ артистовъ, участвующихъ въ ней. Для нея драма Шекспира или г. Полеваго, все равно — есть не произведеніе искусства, существующее по себѣ и для себя, а средство для Мочалова показать себя. Въ Петербургѣ напротивъ: здѣсь пьеса не отдѣляется отъ сценическаго выполненія и столько же заинтерисовываетъ публику, какъ и выполненіе. Какъ бы ни была скудна сцена и какъ бы дурно ни выполнялась она, ее слушаютъ и смотрятъ внимательно, какъ бы боясь упустить изъ виду что-нибудь развитія, связи, хода и цѣлости пьесы. Малѣйшій отдѣльный разговоръ или шепетъ возбуждаетъ общее негодование и прерывается шиканьемъ. Какъ бы ни неудаченъ былъ эффектъ, который старается произвести актеръ, но если въ его эффектѣ есть мысль или даже только смыслъ, если, по крайней мѣрѣ, видно напѣреніе со смысломъ — внимательная публика тотчасъ замѣчаетъ это, и самымъ внимательнымъ, благодарнымъ, награждаетъ артиста громкимъ и единодушнымъ аплодисментомъ. Петербургскіе артисты не могутъ пожаловаться на свою публику, и если, который изъ нихъ не замѣченъ ею, или не пользуется ея благосклонностію — значитъ, что онъ ужъ плохъ. Въ Москвѣ ходятъ въ театръ, большею частію, отъ нечего дѣлать, чтобы ничѣмъ кончить день, начатый и продолженный ничѣмъ. Петербургскій театръ наполняется, большею частію, дѣловымъ народомъ, который, поработавъ въ департаментахъ часовъ семь, заходитъ въ него, не оттого, что проходить мимо, но идетъ въ него отдохнуть, освѣжиться, и не развлекается, не забавляется, а наслаждается театромъ. Видите ли: дѣловая жизнь не убиваетъ любви къ изящному, но еще больше развиваетъ и усиливаетъ ее. Не выдаю вамъ всего этого за непреложный фактъ: можетъ-быть, больше приглядѣвшись, я принужденъ буду или совсѣмъ отступить отъ такого заключенія о любви

петербургской публики къ театру, или много совѣтъ изъ него; но крайней мѣрѣ, то, о чемъ я пишу къ вамъ; я видѣлъ собственными глазами, а не сквозь чужія очки.

Теперь мнѣ надо познакомить васъ съ драмою. Она разделена на пять отдѣленій съ эффектными названіями; въ Петербургѣ это любятъ; для Москвы же это пустая и фразерская уловка: не знаю, правъ ли Петербургъ, но какъ истинный Москвитинъ я согласенъ съ Москвою... Итакъ, на пять отдѣленій: первое называется «Тріумфаторъ». Антонина, жена Велизарія, и Елена, дочь его, говорятъ о скоромъ прибытіи мужа и отца. Дочь замѣчаетъ, что мать не оживлена радостію при мысли о скоромъ свиданіи съ мужемъ, но что напротивъ, она грустна и таитъ какую-то тяжкую мысль. Наскакавъ множество общихъ риторическихъ фразъ, Елена, сопровождаемая подругой своею, Олимпією, бѣжитъ во срѣтеніе отцу. Антонина одна на сценѣ, и мы узнаемъ отъ нея, что ея сердце полно ненависти и жажды мщенія противъ Велизарія. У нея былъ сынъ, дитя, котораго Велизарій укралъ у ней, у сонной, и велѣлъ убить; а самъ сказалъ женѣ, что ея дитя внезапно умерло, и что не желая усматривать ея горести, онъ велѣлъ его похоронить во время ея сна. Но вотъ недавно, умирая, рабъ открылъ ей, что ея сынъ не умеръ, а былъ похищенъ, и что онъ, по приказанію своего господина, оставилъ его на морскомъ берегу, гдѣ онъ, вѣроятно, растерзанъ звѣрями; что господинъ его вдвѣдалъ этотъ варварскій поступокъ вслѣдствіе одного пророческаго сна, который, по обьявленію астрологовъ, давалъ знать, что сынъ Велизарія погубитъ и отца своего, и свое отечество. Антонина, какъ глубоко-оскорбленная мать, клянется мужу страшною местию. Входятъ Руфій и Евтропій, враги Велизарія, и она условливается съ ними о мщеніи. Перемена декорацій. Императоръ Юстиніанъ разспрашиваетъ одного изъ придворныхъ о поведеніи Велизарія въ его тріумфальномъ шествіи по столицѣ. Раздаются торжественные звуки марша, знаменосцы несутъ побѣдныхъ

орловъ, передовой отрядъ воиновъ ведетъ длинныя Вандаловъ, и на торжественной колесницѣ, везомый народомъ, является Велизарій. Сошедши съ колесницы, онъ снимаетъ съ головы лавровый вѣнокъ и полагаетъ его на ноги владыки. Императоръ собственною рукою снова возлагаетъ ему вѣнокъ на голову. Велизарій представляетъ императору пленныхъ и проситъ имъ пощады и милости; императоръ даритъ ихъ ему, съ правомъ распоряжаться или участью, или уходомъ. Велизарій даритъ пленныхъ свободою и обѣщаетъ обезпеченіе ихъ участи: они бросаются къ его ногамъ съ кликами восторженной благодарности. Только одинъ Аламиръ, молодой Вандагъ, молчитъ. Этого Алампры не дитя, найденное тирскими купцами на берегу моря и проданное ими вандальскому царю, который и воспринялъ его какъ сына. На вопросъ Велизарія, отчего онъ не радуется свободѣ, онъ отвѣчаетъ, что хочетъ жить и умереть при немъ. Нѣжная смена Декораціи пережвняются. Велизарій дома мрачнаго тона и смущеніе жены приводитъ его въ смущеніе: она подаритъ ему значительно, что умеръ его любимый рабъ. Онъ радуется въ душѣ, что съ этою смертію умерла роковая тайна сыноубійства. Второе отдѣленіе — «Местъ матери». Отрывается савальсъ — и является Аламвръ. Его расхищаетъ Византія, ему хочется быть Римляниномъ. Вбѣгаетъ Елена съ ужасомъ, объявляетъ, что ее отца императоръ советъ въ сенатъ черезъ нарочнаго. Входитъ Велизарій, и дочь съ ужасомъ извѣщаетъ его о требованіи императора. Велизарій говоритъ, что ему нечего бояться, что совѣтъ его чистъ. Декораціи пережвняются — мы видимъ сенатъ. Императоръ извѣщаетъ сенаторовъ о домогъ на Велизарія въ государственной дѣлѣ, требуетъ суда безпристрастнаго, но и строгаго. Является Велизарій — и входитъ на сцену Руфинъ и Евтропій какъ обвинители. Главное обвиненіе — письмо Велизарія къ женѣ. «Твоя ли это рука?», спрашиваетъ Руфинъ. «Моя», отвѣчаетъ Велизарій — и начинаетъ читать и съ изумленіемъ и ужасомъ видитъ, что выраженія

нѣжности друга; и отца перфектинаны съ фразами о заговорѣ дѣлѣ нѣвержестѣ императора оъ трона: «Рука тѣмъ мощно; я не писалъ этого!» восклицаетъ Велизарій: «пусть оправдываетъ меня! жена!» Входитъ Антонина; и подтверждаетъ оправданіе доноса; Руфина и Евтропія; приведенный въ удивленіе и ужасъ; Велизарій проситъ ее быть справедливою и именовать Бога; и свѣдѣвшихъ брагмаче; союза. Тогда Антонина въ полголоса говоритъ ему: что это; мѣсть; матери; что умирающій; рабы; ей; все; оштрафъ. Поцѣловъ Антонины, Велизарій признается въ протупленіи; самоубійства, въ которомъ его никто не обвинялъ; и за которое, поэтому; его; не; могутъ; и судить; какъ; еще; кромѣ; того; за; протупленіе; частное; семейное; и; общественное; для; блага; отечества; и; государя. Но; ничто; не; помогаетъ; — и; Велизарій; не; дожидаясь; рѣшенія; императора и; сената, велитъ; подать; себѣ; цѣпи; и; идти; въ; темницу. Не; помню; хорошенку; въ; этомъ; или; въ; слѣдующемъ; отдѣленіи; приходять; къ; императору; представители; войска; чтобы; просить; у; него; помилованія; Велизарію; отъ; смертной; казни. Императоръ; соглашается; перемѣнить; смерть; на; изгнаніе; и; значительнымъ; голосомъ; предписываетъ; Руфину; и; Евтропію; позаботиться; чтобы; Велизарій; никогда; не; могъ; увидѣть; его; лица. Руфинъ; истолковываетъ; повелѣніе; императора; буквально; — и; при; перемѣнѣ; декораций; является; Велизарій; слѣпой; и; въ; рубищѣ. Какой-то; мальчикъ; вызывается; быть; ему; вожатымъ, онъ; проситъ; его; обѣзвать; въ; домъ; чтобы; сказать; о; немъ; слово; дочери; его; Еленѣ; и; узнать; что; этотъ; мальчикъ; вожатый; — его; дочь. Сцена; въ; чувствительно-патетическомъ; родѣ; нѣмецкихъ; мелодрамъ. Между; тѣмъ; Антонина; насытивъ; свою; мѣсть; приходитъ; въ; раскорміе; свирѣпствуетъ; и; впадаетъ; въ; помѣшательство. Императоръ; начинаетъ; подозревать; Руфина; и; Евтропію; тѣмъ; болѣе; что; Ашаны; сдѣлали; вторженіе; въ; имперію; и; къ; мальчикъ; числомъ; войска; разбили; на; голову; огромное; войско; порученное; Руфину. Между; тѣмъ; Велизарій; приходитъ; въ; одну; деревню; Елена; оставляетъ; его; одного; чтобы

поискать ему путь, — и они слышатъ о себѣ разговоръ крестьянъ, изъ которыхъ одинъ поетъ романъ Меркляева. Другой крестьянинъ, нѣкогда служившій подъ его знаменами, узнать его — трогательно-патетическая сцена. Даже Велизарій встрѣчается съ крестьянами, которые въ ужасѣ бѣгутъ отъ перваго отряда Алановъ. Наконецъ, онъ встрѣчается съ Октаромъ, начальникомъ Алановъ, и съ Аламиромъ, который, горя мщеніемъ за Велизарія, воздвигнулъ Алановъ противъ имперіи. Посредствомъ разныхъ мелодраматическихъ штукъ и штучекъ, какъ-то: палашекъ, рединокъ, бордавокъ и т. п., Велизарій узнаетъ, что Аламиръ — сынъ его. Октаръ предлагаетъ Велизарію принять начальство надъ его Аланами, чтобы вмѣстѣ съ нимъ и съ Аламиромъ идти въ Византію. Велизарій, разувѣся, отказывается; тогда Октаръ объявляетъ Аламира своимъ плѣнникомъ. Велизарій говоритъ, что онъ скорѣе поразитъ сына собственною рукою, нежели допустить его сдѣлаться врагомъ отечеству, — и въ самомъ дѣлѣ заноситъ кинжалъ надъ грудью сына; но, тронутый толпицею великодушнѣе, Октаръ отпускаетъ ихъ обоихъ, и только старается взять съ Велизарія слово — не брать начальства надъ императорскими войсками, въ чемъ тотъ, разувѣся, начисто ему отказывается. Между тѣмъ, императоръ призываетъ къ себѣ Антонину, желая разсвѣять свои подозрѣнія о невинности Велизарія и тревогу своей совѣсти, что онъ осудилъ невиннаго; Антонина во всемъ признается, и въ присутствіи императора уличаетъ Руфина въ поддѣлкѣ подъ руку Велизарія. Императоръ допрашиваетъ Евтропія и заставляетъ его отыскать истину: обоихъ ихъ онъ отсылаетъ на казнь. Велизарій подлѣ Византіи. Народъ бѣжитъ въ смятеніи отъ передовыхъ отрядовъ варварскаго войска; и встрѣчаетъ Велизарія; нѣкоторые узнаютъ его. Пророганы и Леоны, начальники императорской гвардіи, идутъ съ отрядами войска, неся въ рукахъ военачальническія регалии; они спрашиваютъ у народа, не видалъ ли кто слѣпого Велиза-

рия, и, увидѣвши его въ толпѣ, объявляютъ его, имѣемъ императора, главнѣйшѣмъ вождемъ войска, уведомляютъ о рас-
кажнѣ императора и казни клеветниковъ. При кликахъ вос-
торженной толпы, Велизарій надѣваетъ на себя шлемъ, бе-
ретъ въ руки жезлъ военачальника и уходитъ. Вы думаете,
что тутъ и конецъ трагедіи? нѣтъ, до конца еще далеко!
Приходитъ императоръ и разглагольствуетъ съ Еленой. За-
чѣмъ и какъ — то приходитъ соседняя съ ума Антонина и
очень чудно начинаетъ свирѣпствовать. Потомъ приходитъ
вѣстникъ или наперсникъ и возвѣщаетъ, что Велизарій одер-
жалъ побѣду надъ варварами. Далѣе кто-то доноситъ, что
Аламиръ убитъ и самъ Велизарій опасно раненъ. Наконецъ,
несутъ умирающаго Велизарія, и Антонина опять начинаетъ
свирѣпствовать, въ самомъ смѣшномъ смыслѣ этого слова;
но, къ удовольствію зрителей, она скоро умираетъ. Остав-
шіеся въ живыхъ ждутъ пока умретъ Велизарій, разгла-
гольствуя риторическими фразами; Велизарій умираетъ — и
они перестаютъ мучить публику нескончаемою болтовнею.

Уф! насилу досказалъ!... Очень ясно, что это не траге-
дія, не драма, а мелодрама въ чувствительно-нѣмецкомъ родѣ.
На сценѣ она хороша, но читать ее нѣтъ возможности; да
и на сценѣ она хороша только по милости г. Каратыгина
1-го, и еще была бы лучше, еслибы не была растянута и
начинена, для связи, бездушными сценами. Какъ во всѣхъ
дюжинныхъ посредственностяхъ такого рода, въ этой драмѣ
каждое лицо не дѣйствуетъ, а говоритъ за себя, то есть
описываетъ свои качества и обстоятельства. Злодѣи смѣшны,
пошли до послѣдней крайности. Характеровъ нѣтъ. Всѣхъ
хуже лицо Юстиніана: Это какой-то добрякъ, котораго всѣ
обманываютъ. Переводъ хорошъ — г. Ободовскій владѣетъ
стихомъ; только мы совѣтовали бы ему избѣгать шестино-
гата ямба, который такъ, для слуха и для уха, напоминаетъ
классическія трагедіи Сумаронова и Хераскова съ братією.

Вообще; эта пѣса для сцены такъ хороша, какъ вѣроятно,

не забываю ни самъ авторъ, ни переводчикъ, и это дѣло Г. Каратыгина, выполняющаго роль Велизарія. Г. Каратыгинъ принадлежитъ къ числу тѣхъ художниковъ, которые въ высшей степени постигли внѣшнюю сторону своего искусства. Я никому не навязываю моихъ убѣжденій, но не отрицаю себя въ правѣ имѣть свои убѣжденія и открыто высказывать ихъ. Я не пойду смотрѣть п. Каратыгина въ роли Гамлета, которую онъ играетъ искусно, но въ которой я требую отъ актера, кромѣ искусства, еще кое-чего такого, чего мнѣ не можетъ дать Каратыгинъ; я не пойду смотрѣть въ роли Лира ни Мочалова, ни Каратыгина, потому что въ первомъ можетъ быть, увижу Лира, но только Лира, а не короля Лира, а во второмъ — только короля, но не Лира короля; я не пойду смотрѣть на Каратыгина въ роли Отелло, потому что, равно ничего не увижу, но всегда пойду смотрѣть Мочалова въ этой роли, потому что если иногда тоже ничего не увижу, зато иногда много увижу, точно такъ же, какъ всегда пойду смотрѣть Мочалова въ роли Гамлета, потому что всегда увижу что-нибудь великое, а часто и много великаго; но я никогда не пойду смотрѣть Мочалова въ роли Лейчестера, Людовика XI, Велизарія, и всегда пойду смотрѣть въ этихъ роляхъ Каратыгина. Игра Мочалова, по моему убѣжденію, иногда есть откровеніе таинства, сущности сценическаго искусства, но часто бываетъ и его оскорбленіемъ. Игра Каратыгина, по моему убѣжденію, есть норма внѣшней стороны искусства, и она всегда вѣрна себѣ, никогда не обманываетъ зрителя, воплотивъ давая ему то, что онъ ожидаетъ, и еще больше, Мочаловъ всегда падаетъ, когда его оставляетъ его вдохновеніе, потому что ему, кромѣ своего вдохновенія, не на что опереться, такъ какъ онъ пренебрегаетъ техникою стороны искусства; поэтому, онъ всегда падаетъ и тамъ, когда берется за роли, требующія отъ него выдержанія, искусства — въ техническомъ смыслѣ этого слова. Каратыгинъ за всякую роль беретъ, смѣло и увѣренно, потому

что его успѣхъ зависитъ не отъ умнаго вдохновенія, а отъ
строгаго изученія роли: поэтому онъ играетъ только въ ро-
ляхъ и сценахъ, трагическихъ, по своей душности, огненной
страсти, трагическаго одушевленія, какъ въ *Отелло*; но его
падеши видны не только, а неминуемо, знаменать искусства.
Оба эти артиста представляютъ собою двѣ противоположныя
стороны: двѣ крайности искусства, и оба они — представители
нашихъ столицъ, со стороны вкуса и направленія публики.
Оба они достойны того уваженія и той любви, которыми
пользуется каждый изъ своей родной сцены. Безъ вдохнове-
нія нѣтъ искусства; но одно вдохновеніе, одно непосред-
ственное чувство, есть счастливый даръ природы, богатое
наслѣдство безъ труда и заслуги; только изученіе, наука,
трудъ дѣлаютъ человека достойнымъ и законнымъ владѣль-
цемъ этого, чистаго случайнаго, наслѣдства; — и они же утвер-
ждаютъ его дѣйствительность, а безъ нихъ оно и теряется
и проматывается. Изъ этого ясно, что только изъ соединенія
этихъ противоположностей образуется истинный художникъ,
котораго, напримѣръ, русскій театръ имѣетъ въ лицѣ Щеп-
кина. Односторонности сами по себѣ не удовлетворительны.
Что мнѣ за радость видѣть умное, отчетливое, но холодное
выполненіе роли *Отелло*; въ которой можно простить не-
ровности, промахи, неудачи, но въ которомъ нельзя простить
недостатка бушующей, опустошительной страсти африканскаго
тигра и великаго человека вмѣстѣ?... Съ другой стороны,
что мнѣ за радость, увидѣвши въ патетической сценѣ Лира
съ дочерью истинно оскорбленнаго отца-короля, видѣть по-
томъ какого-то мѣщанина, который слится увѣрить, что
будто онъ король!... Впрочемъ, въ историческомъ развитіи
искусства односторонности имѣютъ свое значеніе, и потому
будемъ желать, чтобы московскій Мочаловъ не переставалъ,
какъ Весталка, хранить священный огонь сущности своего
искусства, безъ которой нѣтъ искусства, а есть только умѣнье;
и пусть, петербургскій Каратыгинъ не перестаетъ показывать,

что такое художественность формы, безъ которой и истинное искусство недостаточно и неполно...

Каратыгинъ создалъ роль Велизарія: Онъ является на сцену Велизаріемъ и сходитъ съ нея Велизаріемъ, и Велизарій, котораго онъ игралъ, есть великій человѣкъ, герой, который до своего ослѣпленія является грозой Готвъ и Вандаловъ, хранителемъ христіанскаго міра противу враговъ, а послѣ ослѣпленія.

... Видитъ въ памяти своей
Народы, вѣки и державы.

Я врагъ эффектовъ, мнѣ трудно подпасть подъ обаяніе эффекта; какъ бы ни былъ онъ изященъ, благороденъ и уменъ, онъ всегда встрѣтитъ въ душѣ моей сильный отпоръ; но когда я увидѣлъ Каратыгина-Велизарія, въ триумфъ везомаго народомъ по сценѣ въ торжественной колесницѣ, когда я увидѣлъ этого лавровѣнчаннаго старца-героя, съ его сѣдою бородою, въ царственно скромномъ величіи, — священный восторгъ мощно охватилъ все существо мое и трепетно потрясъ его... Театръ задрожалъ отъ взрыва рукоплесканій... А между тѣмъ, артистъ не сказалъ ни одного слова, не сдѣлалъ ни одного движенія — онъ только сидѣлъ и молчалъ... Снимаетъ ли Каратыгинъ вѣнокъ съ головы своей и полагаетъ его къ ногамъ императора, или подставляетъ свою голову, чтобы тотъ снова наложилъ на нее вѣнокъ — въ каждомъ движеніи, въ каждомъ жестѣ, видѣнъ герой, Велизарій. Словомъ, въ продолженіе цѣлой роли — благородная простота, геройское величіе видны были въ каждомъ шагѣ, слышны были въ каждомъ словѣ, въ каждомъ звукѣ Каратыгина; передъ вами безпрестанно являлось несчастье въ величіи, ослѣпленный герой, который

... Видитъ въ памяти своей
Народы, вѣки и державы...

Мы не будемъ въ подробности разбирать игры и запычать

лучшія мѣста. Сказано только, что сцена, гдѣ дѣется романсъ Моральева, была исполнена такого неотразимаго поэтическаго обаянія, о которомъ нельзя дать слѣдами никакого понятія, — и это опять было дѣломъ Каратыгина; едой герой, лишенный зрѣнія, сидѣлъ на пнѣ дерева, и лицомъ, движеніями головы и рукъ выражалъ тѣ грустно-возвышенныя ощущенія, которыя производилъ въ немъ каждый стихъ романа, пѣлаго о немъ престыжникомъ, но недоувавшимъ, что его слушаетъ самъ тотъ, о комъ онъ пѣлъ... Превосходная сцена!... Самъ романсъ хотя, по недостатку художественности, и сдѣлался нѣсколько тѣмъ, что оуѣткіе люди называютъ *шаукай-генге*, но въ немъ такъ много чувства, думи, нѣкоторые стихи такъ удачны, а музыка такъ прекрасна, что его нельзя слушать безъ восторга и умиленія.

Г-жа Каратыгина занимала роль Антонны. Въ ея импрѣ много искусства въ техническомъ смыслѣ этого слова, но я рѣшительно не въ состояніи привыкнуть къ ея пѣвучей дикціи, къ ея выдѣлываніямъ и вскрикиваніямъ, къ ея рисующимся позамъ и движеніямъ, *à la menuet*. Впрочемъ, сцена обвиненія мужа передъ лицомъ императора и сената была прекрасна.

Мнѣ очень интересно было видѣть г. Брянскаго, потому что я, какъ Москвичъ, не имѣю никакого понятія о томъ, что такое на сценѣ роль короля, если эта роль второстепенная, т. е. если играютъ не Мочаловъ и не Каратыгинъ, а г. Козловскій и тому подобныя. И въ самомъ дѣлѣ, г. Брянскій благородною, простою и величавою манерою, съ какою онъ держалъ себя въ роли Юстиніана, далъ мнѣ понятіе о королѣ, но его нѣсколько растянутая дикція такъ странна для уха варвара-Москвича, что я не былъ нисколько удовлетворенъ; нетерпѣливо желаю увидѣть г. Брянскаго въ такъ называемыхъ романтическихъ роляхъ, какъ-то: Милларѣ, Казимодо, въ которыхъ онъ, говорятъ, превосходенъ; — г. Брянскій по преимуществу петербургскій актеръ и потому едва ли

бы понравился московской публикѣ. Петербургскій театръ есть театръ "преданій", въ которомъ искусство передавалось отъ одного таланта къ другому; въ которомъ еще живы имена Дмитревскаго, Яковлева, Семанова. П. Брыляскій есть одна изъ яркихъ звѣздъ этого классическаго созвѣздія. Московскій театръ — плебей безъ преданій, безъ преданій, безъ исторіи, романтикъ по своему духу, врагъ классицизма, певущій дикіи и минутныя движенія. Въ этомъ опять резко выразилась разница обитателей столицъ: въ Москвѣ — сущность дѣла, его идеи и жизнь; въ Петербургѣ — извѣстная форма, новаторская вышность. Конечно, певущая дикіи и минутность движеній давно уже не будущее; но они уже и въ Петербургѣ начинаютъ исчезать. Каратыгинъ представляетъ собой переходъ, середину между двумя крайностями; и его игра становится все проще и ближе къ натурѣ, тѣмъ, что видѣніе его два-три года назадъ, теперь едва ли бы узнали. Естественно, что если явится послѣ него достойный талантъ, онъ будетъ еще дальше отъ классическаго преданія, а между тѣмъ этому преданію будетъ обязать благородствомъ своихъ приемовъ и всей вышней стороны своего искусства.

Г-жа Асенкова занимала роль Елены. Да, господа, слухи объ очаровательности г-жи Асенковой меня не обманули: она восхитительна, когда является мальчикомъ... премиальный мальчикъ... Она тоже обращаетъ большое вниманіе на вышнюю сторону искусства: ея лицо ни на минуту не бываетъ безъ дѣла; она то съ любовію смотритъ на отца, то хочетъ заплакать и когда заврывается платномъ, то невольно повѣришь, что она плачетъ... Только жаль, что она слишкомъ утруждаетъ мускулы своего прекраснаго лица, усиливаясь дать ему то или другое выраженіе...

Роль Вандаля Аламира игралъ г. Леонидовъ, и игралъ ее какъ истинный вандалъ: такъ сердито смотрѣлъ и такъ свирѣпо размахивалъ руками. Роль Руфина игралъ г. Толченновъ, который привелъ меня въ истинное восхищеніе. Вотъ,

господа, таланты! Какъ г. Козловскій созданъ для ролей королей, такъ г. Толченновъ созданъ для ролей военачальниковъ; но для полнаго очарованія, ихъ непременно должно видѣть вмѣстѣ, потому что царственность г. Козловскаго будетъ рѣзко проявляться только при военачальничествѣ г. Толченнова! первый — цудошавъ, витень; второй — доволно — тучей, какъ воинъ, которому нужна сила; и весело развѣшенъ; какъ охотникъ, который любить лопатать. Говорить, что Китайцы имѣютъ обыкновеніе списывать множество портретовъ съ главнаго военачальника и разсылать ихъ къ окрестнымъ народамъ, чтобы держать ихъ черезъ это въ должномъ страхѣ и уваженіи къ небесной имперіи — величественная фигура г. Толченнова! создана для того, чтобы быть идеаломъ такого военачальника.

Прочія лица, участвовавшія въ «Велизаріи» — посредственности, которыя ничѣмъ не отличаются отъ своихъ московскихъ собратій по ремеслу и таланту. Постановка вообще несравненно лучше московской; но гдѣ дѣйствуютъ толпы — такъ же худа, какъ и въ Москвѣ. Азаны гонятъ народъ, и вмѣсто народа, выбѣгаетъ человекъ десятокъ, которыхъ движенія показываютъ, что они очень хорошо знаютъ, что все это обманъ и что за кулисами, изъ за которыхъ ихъ выслали, нѣтъ никакой опасности.

Итакъ, вотъ вамъ отчетъ въ моемъ первомъ знакомствѣ съ петербургскимъ театромъ. Что еще увижу — не замедлю уведомить такимъ же образомъ.

2.

1) *ЖЕНУХЪ НА РАСКВАТЬ. Водвилъ въ одномъ дѣйствіи, съ французскаго Д. Лансманъ. — ПОЛЕВНИКЪ СТАРЫХЪ ВРЕМЕНЪ. Комедія-водвилъ въ одномъ дѣйствіи, Соч. гг. Мелвилля, Габріеля и Анжолло. (Спектакль 21 ноября).*

2) *УЖАСНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦЪ, или У ОУГА. ПЛАЗА ВЕДЛИИ. Оригинальная комедія въ одномъ дѣйствіи, соч. Н. А. Полсваго. — ДЪДУШКА И ВНИЧЕГЪ. Драма-водвилъ въ двухъ дѣйствіяхъ, съ французскаго, Н. А. Короскина, новая музыка, соч. Лядова (вост.). — ТАКЪ, ДА НЕ ТАКЪ. Оригинальная комедія-водвилъ въ одномъ дѣйствіи, соч. Н. А. Короскина. — ПОСЛѢДНІЙ ДЕНЬ ПОМИНИ. Оригинальная шутка въ двухъ декорацияхъ, съ куплетами провинціальнаго быта. (Спектакль 11 декабря).*

(Изъ письма Москвитинъ).

.... Былъ въ Академіи художествъ и видѣлъ остатки выставлен. Говорю «остатки», потому что большая часть картинъ, и притомъ лучшихъ, уже была вынесена; осталось нѣсколько посредственныхъ произведеній, да еще портретовъ, которые, право, никакъ не могу мнать, съ какой стороны относятся къ искусству... Искусство есть творчество, а списать вѣрно портретъ, т. е. скопировать съ натуры лицо человѣка—совсѣмъ не значить что нибудь создать. Конечно, по портретамъ можно судить, до какой степени совершенства достигъ тотъ или другой господинъ (не могу сказать «художникъ»: портретистъ совсѣмъ не художникъ, а развѣ мастеръ) въ технической части искусства, которая, взятая сама по себѣ, отнюдь не есть искусство, а развѣ мастерство. — Вообще, соображаясь съ слухами и съ статьею «Сѣверной Пчелы», выставка была по-

средственная, въ которой очень-немного было примѣчательнаго и, кажется, ровно ничего превосходнаго. Видѣлъ «Послѣдній день Помпеи»; и пока ничего не могу сказать объ этомъ произведеніи ни про, ни contra, потому что оно не произвело на меня никакого опредѣленнаго впечатлѣнія. Надо еще будетъ посмотрѣть да помзучить. Я всегда читалъ необходимое отъращеніе къ этимъ пустымъ и легкимъ судьямъ всего великаго, этимъ аматѣрамъ-Хрестаковымъ, которые легко судятъ о тяжелыхъ вещахъ, которые, ~~достоявъ~~ минуты двѣ съ своимъ лорнетомъ передъ картиною, объявляютъ рѣшительно дурнымъ, можетъ-быть, великое созданіе, плодъ жаркихъ молитвъ, святаго вдохновенія, многихъ дней и ночей безъ сна и пищи, — объявляютъ его дурнымъ потому только, что оно имъ не понравилось и не произвело на нихъ сильнаго впечатлѣнія съ перваго раза; которые не понимаютъ, что иногда самое великое произведеніе потому именно и не доступно для скорого постиженія, что слишкомъ велико, что носить на себѣ отпечатокъ божественной простоты, а не блеститъ паразитическими эффектами; что оно, наконецъ, требуетъ долговременнаго и добросовѣстнаго изученія... Но этимъ господамъ все тринь-трава: съ судейскою важностію и свѣтскою легкостію готовы судить они хоть о тяжелыхъ трудахъ, напримѣръ, какого-нибудь Гегеля, и его философію — плодъ глубокой, всеобъемлющей учености, дѣятельной и многотрудной жизни, безкорыстно посвященной исключительному служенію истинѣ — пожалуй, въ одну минуту объявляютъ недостаточною, хотя и не лишенною достоинствъ, эфемернымъ, хотя и замѣчательнымъ явленіемъ, — они, которые не имѣютъ на это никакихъ правъ, приобретаемыхъ трудомъ и изученіемъ, — они, которые не знаютъ даже, въ какомъ форматѣ изданы творенія великаго мыслителя, и что распространеніе его ученія составляетъ теперь жизнь цѣлой Германіи и есть фактъ современной исторіи человечества... Богъ съ ними, съ этими господами!... Постараемся не увлекаться безотчетнымъ уваженіемъ къ авторитетамъ и

чужимъ мнѣніямъ, но также и не будемъ безотчетно увлекаться слѣпою довѣренностью къ собственнымъ впечатлѣніямъ, которыя часто бываютъ обманчивы, и къ собственнымъ мнѣніямъ, которыя, влѣдствіе этого, еще чаще бываютъ ошибочны. И потому прошу не принимать моихъ словъ о картинѣ Брюлова за сужденіе, которое я позволю себѣ произнести только тогда, когда много часовъ будетъ проведено мною въ безмолвномъ созерцаніи этого произведенія, пользующагося такою громкою славой. Вмѣстѣ съ вами смотрѣлъ я, въ Москвѣ, на «Прометея» Доминикина, и выпнешъ изъ залы съ какимъ-то неопредѣленнымъ и тяжелымъ чувствомъ, съ затаенною досадою и на себя, и на картину; а теперь эта картина не отстаетъ отъ меня, какъ будто я сто разъ видѣлъ ее, какъ будто и теперь еще стою передъ нею, и теперь еще вижу передъ собою эту перепрокинутую фигуру, изъ судорожно-раствореннаго рта которой слышится, исходятъ глухіе стоны, извергающіеся изъ груди, а не изъ горла, — а на челѣ, сморщенномъ и напряженномъ отъ невыразимаго страданія, какъ свѣтлый лучъ въ глубокомъ мракѣ, проблескиваетъ торжество побѣды... Кстати: въ залѣ Академіи я видѣлъ «Причащеніе св. Іеронима» Доминикина же: вотъ предметъ-то для наслажденія и изученія!... Много, много придется мнѣ писать къ вамъ!... Картина Бруни «Моленіе о чашѣ» не произвела на меня особеннаго впечатленія. Мнѣ кажется, что въ лицѣ Спасителя только страданіе и невольная страдальческая покорность, а не божественность; положеніе всей фигуры нѣсколько изыскано; а чаша въ воздухѣ гораздо больше говоритъ о содержаніи картины, нежели лицо и положеніе Иисуса Христа. Въ лицѣ Богочеловѣка должны быть схвачены два момента — человѣческій, какъ выраженіе страданія: «Прискорбна есть душа моя до смерти; Отче мой, аще возможно есть, да мимо идеть отъ мене чаша сія»; и божественный, какъ выраженіе побѣды и торжества духа надъ плотію: «Обаче не яко азъ хочу, но яко же ты». Великій

предметъ, предъ которымъ смирится и устрашится фантазія самаго великаго, самаго гениальнаго художника!... Въ Эрмитажѣ еще не былъ; впереди еще много наслажденій, много писемъ къ вамъ во исполненіе обещанія отдавать вамъ самый подробный отчетъ во всемъ, чѣмъ поразять и усладить меня сокровища искусства, хранящіяся въ Петербургѣ. Теперь же снова обращаюсь къ предмету не столь высокому и поэтическому, не столь поразительному и усладительному—къ Александринскому театру.

Въ первомъ письмѣ моемъ къ вамъ я показывалъ вамъ Александринскій театръ со стороны драмы, теперь покажу вамъ его со стороны комедіи и водевиля. Эта пѣсня будетъ еще заунывнѣе; благодаря моему московскому варварству... Непріятно, господа, быть въ положеніи Скиа, вдругъ очутившагося въ Аѳинахъ; но не хочу и притворяться, а останусь Скиаомъ, варваромъ, однимъ словомъ—Москвичемъ... Вообще театры обѣихъ нашихъ столицъ еще въ младенчествѣ: въ тѣхъ и другихъ есть таланты, и даже великіе, но нѣтъ еще сценическаго искусства, которое состоитъ въ цѣлостности представленія, въ томъ что называется ensemble, и безъ чего нѣтъ сценическаго искусства, а можетъ быть только развѣ стремленіе къ нему. Кому это покажется страннымъ или ложнымъ, тому советую побывать въ петербургскомъ Михайловскомъ театрѣ... Но объ этомъ я скоро буду писать къ вамъ, а пока помолчу, тѣмъ болѣе, что это будетъ цѣлая исторія, только совершенно въ другомъ родѣ—пѣсня совѣмъ на другой тонъ и ладъ... Но въ какомъ бы ни были состояніи наши театры обѣихъ столицъ, однако между ними есть разница. Не берусь вамъ показать ее, но попробую наметнуть, какъ я уже и сдѣлалъ это въ первомъ моемъ письмѣ къ вамъ. Какъ истинные Москвичи, вы знаете въ чемъ разница между Мочаловымъ и Каратыгинымъ; подобная же разница есть и между Щепкинымъ и Сосницкимъ, не въ томъ смыслѣ, чтобы Щепкинъ своими недостатками походить на

Мочалова и ими давалъ надъ собою верхъ Сосницкому, а въ томъ, что, оставляя въ сторонѣ неумѣстный споръ о степени таланта того и другого артиста, нельзя не сознаться, что и у Сосницкаго есть своя сторона превосходства надъ Щепкинымъ, общая всему петербургскому. Если дочтете до конца это письмо, то увидите, о чемъ я говорю, и, можетъ быть, согласитесь со мною, хотя съ перваго раза вамъ и покажется дикимъ такое мнѣніе со стороны чистаго Москвича. Итакъ, въ драмѣ ни Москвѣ передъ Петербургомъ, ни Петербургу передъ Москвою величаться нечѣмъ; у насъ (т. е. у Москвичей) Мочаловъ—здѣсь Каратыгинъ; у насъ Львова-Синицкая—здѣсь Каратыгина; у насъ Орлова—здѣсь (общее мнѣніе Петербурга) Асенкова; у насъ г. Козловскій—здѣсь г. Толченовъ; у насъ Самаринъ—здѣсь г. Леонидовъ (тотъ самый, что игралъ въ «Велизаріи» роль Вандаля); у насъ въ трагедіи является иногда Щепкинъ—здѣсь Бранскій, а иногда и Сосницкій (какъ напр., въ роли Руджіеро, которую въ Москвѣ выполняетъ Щепкинъ); у насъ Орловъ, въ роляхъ Швейцера въ «Разбойникахъ», Уголино, Яго—здѣсь гг. Третьяковъ, Вороновъ и прочіе, хотя и въ другихъ роляхъ; но у насъ же Орловъ въ роли могильщика въ «Гамлетѣ», а здѣсь не знаю кто: итакъ, положимъ, что равно... Но въ комедіи и водевилѣ, у насъ Щепкинъ—здѣсь Сосницкій; у насъ Рѣпина—здѣсь не знаю кто; у насъ Орлова—здѣсь Асенкова, если не ошибаюсь; у насъ Потапчиковъ, Степановъ, Орловъ—здѣсь опять не знаю кто; Максимовъ 1-й что-то среднее между Самаринимъ и Ленскимъ; если у насъ во многихъ роляхъ отличаются В. Степановъ, Никифоровъ, Шумскій, В. Соколовъ, Сабурова, Баженовская, даже Руминовъ—здѣсь во многихъ роляхъ отличаются: Азадасевъ (въ роляхъ подьячихъ), Григорьевъ 2-й (верхъ возможнаго совершенства въ роляхъ купцовъ и купчиковъ, и возможной бездарности во всемъ другомъ), Григорьевъ 1-й (въ роли армейскихъ офицеровъ и нѣкоторыхъ другихъ), Каратыгинъ

2-й (въ роли Архиваріуса и пѣкоторыхъ другихъ). Что касается до Живокини — здѣсь Мартыновъ, и какъ онъ еще молодъ и можно надѣяться, что будетъ совершенствоваться, то едва ли не Москва должна завидовать Петербургу. Г-жи Бранской еще не видалъ ни въ драмѣ, ни въ комедіи, а г-жи Каратыгиной не видалъ въ комедіи, и потому не сужу о нихъ. Вотъ вамъ данныя для сужденія—выводите сами результаты. Вообще въ петербургскомъ театрѣ есть слѣдующая странная особенность отъ московскаго: здѣсь какая-то общность, такъ что иногда не разберешь, чѣмъ разнятся между собою Каратыгины и Асенкова, и даже другіе, когда хорошо заучать роль и приготовятся, тѣмъ болѣе, что публика Александринскаго театра равно въ восторгѣ отъ тѣхъ и другой и третьихъ; въ Москвѣ же, напротивъ, какая-то неровность — то гора или холмъ, то совершенная плоскость: Мочаловъ и Щепкинъ неизмѣримо высятся и рѣзко отличаются отъ второстепенныхъ актеровъ; второстепенные прекрасны, третьестепенные удовлетворительны, а кто за ними—смотреть нельзя, хоть зажмурь глаза или бѣги вонъ изъ театра; тогда какъ здѣсь объ иномъ и не догадаешься, что онъ изъ плохенькихъ, потому что и говорить со смысломъ и съ удареніемъ, и ходить на ногахъ по-человѣчески...

Въ публикѣ обѣихъ столицъ тоже большая разница. Не говорю о публикѣ Михайловскаго театра—это совсѣмъ другой міръ и міръ прекрасный, потому что сюда собираются только люди, которые приходятъ наслаждаться и спеническимъ искусствомъ, и талантами Алланъ, Бурбѣ и другихъ, люди, которые не любятъ хлопать и кричать; сверхъ того въ Михайловскомъ театрѣ нѣтъ райка—важное обстоятельство!... Но о публикѣ Михайловскаго театра послѣ. Московскую публику можно раздѣлить на три разряда: въпервыхъ, на воскресную, для которой даются по воскресеньямъ «Аскольдова могила», «Жизнь игрока», «Скопинъ-Шуйскій» и даже драмы Шекспира, и которая всѣмъ довольна, всему громко хлопаетъ,

всегда вызывает Орлову, и равно вызывает Мочалова и г. Савина; потомъ публику бенефисную, для которой бенефисъ — праздникъ, и которая ужъ непременно вызываетъ бенефицианта, если только онъ не г. Козловскій; наконецъ, публику, преимущественно собирающуюся на повтореніе бенефисныхъ піесъ, если бенефисъ имѣлъ блестящій успѣхъ, и вообще, посѣщающую піесы только по выбору. Въ Александринскомъ театрѣ публика всегда одна и та же, болѣею частью состоитъ изъ дѣловаго и утомленнаго народа, которому послѣ официальныхъ бумагъ всякій слогъ хорошъ. Отсюда истекаетъ ея безпримѣрная снисходительность: за все хорошее она благодаритъ съ такимъ же энтузіазмомъ, какъ и за превосходное, а ко всему слабому, посредственному и дурному она до того терпима, что ошиканная ею піеса, или осмѣянный актеръ уже рѣшительно никуда не годны. Она говоритъ съ восторгомъ объ Алланѣ, восхищается Каратыгинымъ и Сосницынымъ, и театръ дрожитъ отъ ея рукоплесканій и ея «браво», когда Асенкова покажется передъ нею въ мужскомъ платьѣ, а иногда и въ жейскомъ. Она очень любитъ драму, но отъ Шекспира вообще скучаетъ, потому, разумѣется, что онъ дурно переводится и еще хуже играется; но она очень ободряетъ произведенія отечественныхъ талантовъ, каковы напр., г. Полевой и г. Коровкинъ — усердные и неутомимые драматурги, особенно ею любимые. Но она и къ нимъ будетъ неутомимо строга, если бы они забыли должное уваженіе къ ея просвѣщенному и образованному вкусу и рѣшились забавлять ее фарсами въ родѣ «Филатокъ и Мирошекъ» или «Незнакомцевъ» и «Послѣднихъ дней Помпей». Московская публика умѣреннѣе въ своихъ восторгахъ, да и скупѣе на нихъ: если она и вызываетъ актера по нѣскольку разъ, то это не иначе, какъ по воскресеньямъ, и то не болѣе четырехъ разъ въ одинъ спектакль. Кромѣ того въ Москвѣ, если напр., Мочаловъ играетъ действительно превосходно, то рукоплесканія публики громче и единодуш-

нѣе, но рѣже, и ея восторгъ иногда выражается какимъ-то торжественнымъ безмолвіемъ, въ которомъ слышится изумленіе чудомъ, и которое для много артиста лестнѣе всякихъ воплей и хлопанья. Что всего удивительнѣе, въ московскомъ Петровскомъ театрѣ такіа явленія бывають даже и по воскреснымъ днямъ...

Итакъ, давай «Жениха на Расхватъ». Пьерро игралъ г. Шемаевъ: роль выучена твердо, есть развязность, толковитость, жесты и возвышенія голоса умістны, но нѣтъ этого «нѣчто», которое трудно назвать и которое составляетъ талантъ. Есть люди, которые скажутъ самое обыкновенное слово, сдѣлають самый обыкновенный жестъ—и всѣ смѣются; есть другіе: говорить все замысловатое, смѣшное, нарочно дѣлають смѣшные жесты—и никто не смѣется; не правда ли, что у первыхъ есть нѣчто, а у другихъ нѣтъ этого нѣчто?... Такъ и г. Шемаевъ: роль его была смѣшна, игралъ онъ хорошо, даже дѣлалъ фарсы, на которые откликались сочувствіемъ райскія сердца и души, но смотрѣть на него было тяжело и скучно, и непріятно. Прочія лица, которыхъ представляли г. Алексѣевъ и г-жа Садунова, Бормотова, Рамазанова 2-я, Теряевъ, Соловьева и Волкова 1-я—тоже хороши, и объ ихъ игрѣ смѣло можно сказать: «обстоятъ благополучно». Однимъ словомъ, заставьте въ Москвѣ разыграть водевилъ подобныя же таланты, вышло бы ужасное уродство; но со всѣмъ тѣмъ, я уже не пойду въ другой разъ смотрѣть «Жениха на расхватъ».

Въ «Подковникъ старыхъ временъ» г-жа Асенкова въ длинныхъ ботфортахъ, мундирѣ и прочемъ. Дѣйствительно, она играетъ столь же восхитительно, сколько и усадительно, словомъ, очаровываетъ душу и зрѣніе. И потому каждый ея жестъ, каждое слово возбуждали громкія и восторженные рукоплесканія; куплеты встрѣчаемы и провожаемы были кликами «форо». Особенно мило выговариваетъ она «чортъ возьми!» Я былъ вполне восхищенъ и очарованъ, но отъ

чего-то вдругъ стало мнѣ и тяжело, и грустно, и, не смотря на мое желаніе' полюбоваться Мартыновымъ въ роли Фломара, я вышелъ изъ театра при началѣ водевиля, и дорогою мечталъ о Москвѣ, о васъ, и о прочемъ...

Декабря 8-го былъ бенефисъ Сосницкаго, почти весь составленный изъ трудовъ знаменитыхъ и неутонченныхъ петербургскихъ драматурговъ — г. Полеваго и г. Коровкина, такъ что это было нѣчто въ родѣ состязанія двухъ талантовъ. Декабря 11-го всѣ эти пьесы были повторены — и г. Коровкинъ дважды торжественно побѣдилъ г-на Полеваго, пьеса котораго «Ужасный незнакомецъ, или у страха глаза велики» — единственная въ спектаклѣ, была опикана, тогда какъ двѣ пьесы г. Коровкина, особенно «Дѣдушка и внучекъ», благодаря прекрасной игрѣ Сосницкаго, заслужили лестное одобреніе публики Александринскаго театра. Я не видалъ бенефиса, но былъ на повтореніи, и потому видѣлъ все то же, что происходило и въ бенефисѣ.

«Незнакомецъ» есть не драма, не комедія и не водевилъ, а какой-то фарсъ въ родѣ неудачнаго подражанія Коцебу. Ландманнъ провинціи прислалъ бургемейстеру городка приказъ изловить какого-то разбойника, или что-то такое; въ это время черѣзъ городъ проѣзжалъ какой-то «неизвѣстный», котораго бургемейстеръ, городской судья и еще кто-то почли почему-то за вышерѣченнаго вора и разбойника и рѣшились захватить живого. Бургемейстеръ собираетъ полгорода съ оружіемъ, говорить рѣчь о славѣ, чести и безсмертіи, прощается съ женою, которая упадаетъ въ обморокъ, и съ дочерью, которая не упадаетъ въ обморокъ; «неизвѣстный» входитъ, и на него устремляются издали шпаги, сабли, ружья, владѣльцы которыхъ прячутся другъ за друга, трясутся и прочее. Наконецъ, его кое-какъ схватили. Является ландманнъ и узнаетъ въ «неизвѣстномъ» какую-то важную особу, ругаетъ бургемейстера и судью и уходитъ съ важною особою, чѣмъ и кончается дѣло.

Вы сказали бы, что Осеницкий игралъ душно; если бы не читали себя въ правѣ сказать это... Въ самомъ дѣлѣ, какое право имѣть рецензентъ хулить игру актера въ безсмысленной роли; какъ напр., въ роли Филатки, Миронки, или Яги-Бабы, которую иногда игралъ Щепкинъ на московской сценѣ?.. Отъ актера, какъ и отъ наждаго, должно требовать только возможнаго. Искусный актеръ можетъ изъ безсмысленной роли сдѣлать что-нибудь порядочное; а не изъ безсмысленной... Кромѣ Осеницкаго, можно упомянуть только о г. Толченовъ, который сжигалъ публику въ серьезной роли. Вотъ подлинно комическій-то талантъ: дайте ему сыграть, хоть мертваго, такъ насмѣшить...

«Дѣдушка и внучекъ», драма-водевилъ, была бы не только со смысломъ, но и съ мыслию; еслибы въ ней не было липняго лица, которое игралъ г. Григорьевъ 1-й, и котораго отношенія къ цѣлому пьесы какъ-то непонятны. Но всѣ недостатки этой пьесы выкупаются лицомъ дѣдушки, которое изображено даже съ мыслию и превосходно сыграно Осеницкимъ.

Дѣдушка любилъ своего внука и не умѣлъ быть къ нему строгимъ, хотя и чувствуетъ необходимость этого. Онъ сажаетъ его за книгу, а тотъ хватается за игрушку; онъ начнетъ выповорачивать, а кончитъ тѣмъ, что поможетъ ему опустить кубарь. Приходить его зять, хочетъ побранить сына, а дѣдушка начнетъ увѣрять, что его внучекъ образецъ прилежности и скромности, хотя и знаетъ, что онъ шалунъ и лѣнвецъ. У дѣдушки есть еще внучка, взрослая дѣвушка, которая любитъ молодого человека, Камскаго. Дѣла отца ея разстроены, потому что его тестя (дѣдушку) обманулъ и разорялъ какой-то Юлинь, благодѣтельствованный имъ молодой человекъ. Дѣдушка застаётъ Камскаго съ своей внучкою въ то время, какъ тотъ очень нѣжно цѣловалъ у ней ручки. Дѣдушка строго принимается за влюбленныхъ, но узнавши, что они любятъ другъ друга и желали бы жениться, прико-

дять въ старческій восторгъ, даетъ имъ свое согласіе, велитъ имъ поѣхать, и даже, въ забытіи, ссызываетъ въ окошко всѣхъ своихъ знакомыхъ на сговоръ внучки. Влюбленные охлаждаютъ его восторгъ, пресея до времени помолчать. Камскій уходитъ, дѣдушка занялся со внучкомъ игрушками. Входитъ Хамовъ, хожатый по дѣламъ и ростовщикъ. Онъ приноситъ отцу Машѣ тысячу рублей въ займы подъ страшные проценты. Тоже Машѣ о своей любви, къ ближнему и безкорыстїи, онъ проситъ ее передать ей отцу для подписанія, заготовленныя обязательства, а деньги кладетъ на столъ. Дѣдушка вдругъ выходитъ. Является самъ Раевъ (отецъ) и уходитъ съ ростовщикомъ въ свой кабинетъ. Вдругъ входитъ дѣдушка съ корзинкою, наполненною игрушками и вещами, и припадаетъ Машу, подбавляется дорожными сѣрками, которыя онъ, въ числѣ другихъ вещей, купилъ ей въ подарокъ къ свадьбѣ. «Гдѣ вы взяли деньги?» восклицаетъ она, и съ ужасомъ узнаетъ, что старикъ (почему и какъ — это тайна автора), взявъ на столѣ тысячу и всю, издержалъ ее. «Стало быть мы разорены? Зачѣмъ же вы отъ меня тайни это?..» восклицаетъ старикъ, но ужасу Машѣ, догадавшійся объ истинѣ. Маша убѣгаетъ въ кабинетъ къ отцу, старикъ въ отчаяніи и кочетъ уйти навсегда изъ дома, такъ безнадежно погубленнаго имъ своего вѣтя, какъ вдругъ слышитъ его голосъ «я прогнню его!..» Прекрасная сцена, въ которой есть гдѣ развернуться таланту артиста!.. Убѣгаетъ внучекъ — дѣдушка съ плачемъ отдаетъ ему игрушки, прощается съ нимъ и уходитъ, сопровождаемый слезами внучка, который тотчасъ утѣшается, принимаясь разбирать изъ корзины игрушки.

Во второмъ актѣ, Камскій рассказываетъ своему двоюродному брату, Юлину, о несчастномъ семействѣ, погубленномъ нагодомъ, который имъ былъ благодѣтельствованъ. Юлинъ грубо высмываетъ брата, остается одинъ и жадуется, что его всѣ оставили, даже родной, братъ называетъ въ глаза него-

даемъ, — изъ чего публика и видитъ, что этотъ Юлинь тотъ самый чедовѣкъ, который погубилъ своего благодѣтеля; но публикѣ трудно понять, за что онъ сердитъ на брата, который не думалъ его ругать въ глаза, не зная, что говорить о немъ, ругая неизвѣстнаго негодая. Это, вѣроятно, одна изъ тайнъ автора или передѣлывателя драмы-водевиля. Юлинь уходитъ изъ комнаты, въ которую входилъ Камскій съ Гриневымъ (дѣдушкою). Дѣдушка дрожитъ отъ холода и жалуется на русскій морозъ, тогда какъ онъ, за часъ передъ этимъ, отворялъ окно на улицу, чтобы просить гостей на свадьбу внушки: маленькая несообразность, или можетъ быть, въ тотъ годъ зима такъ быстро смѣнила лѣто, или, можетъ быть, это еще одна изъ тайнъ передѣлывателя французской пьесы. Камскій подводитъ старика къ камину и бѣжитъ за виномъ. Старикъ выпилъ рюмку, и Камскій предлагаетъ ему выпить другую за здоровье своего двоюроднаго брата Юлина. Старикъ, узнавъ, что онъ въ домъ своего врага, приходитъ въ негодованіе на Камскаго, который привелъ его сюда. Странное дѣло! живя въ одномъ городѣ съ Юлинымъ, старикъ не зналъ его дома! Но, можетъ быть, это еще одна изъ тайнъ г. передѣлывателя!... Старикъ хочетъ уйти, но Камскій уговариваетъ его остаться и приводитъ въ свою комнату. Входитъ Хамовъ и спрашиваетъ Юлина; Камскій идетъ къ брату съ докладомъ и скрывается, а Юлинь входитъ, начинаетъ ругать родню: грозитъ выгнать изъ дома тѣтку, сестру своей матери, и мать Камскаго, и общается отказомъ свое неблагопріобрѣтенное имѣніе Хамову. Этотъ помогаетъ ему ругать его родню, подличаетъ и уходитъ въ радости. Юлинь одинъ — жалуется на родню и на свое одиночество; причина и смыслъ — тайна автора. Входитъ Гриневъ, и слѣдуетъ сцена упрековъ со стороны старика и ожесточенія со стороны Юлина. Последний уходитъ, и вдругъ вбѣгаютъ Петя и Маша съ извѣстіемъ, что ихъ имѣніе продается съ молотка. Старикъ сходитъ съ ума; но Юлинь вдругъ почему-то (последняя

тайна автора) расканвается, отдает свое имѣніе обиженному имъ семейству, изъявляетъ согласіе на бракъ своего брата съ Машею; старикъ приходитъ въ разсудокъ—и какъ видите, всѣ счастливы.

Изъ этого изложенія видно, что вся пьеса составлена для одного характера—дѣдушки, который и очерченъ съ мыслию. Сосницкій былъ превосходенъ. Одно уже то, что, играя комическую роль, онъ умѣлъ трогать и возбуждать не смѣхъ, а чувство, не переставая быть смѣшнымъ, показываетъ удивительное искусство. Его невозможно было узнать: сгорбленный станъ, восьмидесятилѣтнее и предоброе лицо, голосъ, манеры, даже произношеніе, дающее знать о недостаткѣ зубовъ—словомъ, все до малѣйшаго оттѣнка, до едва замѣтной черты, было въ высшей стѣпени вѣрно, правдоподобно, естественно, артистически-искусно. Въ каждомъ словѣ, въ каждомъ движеніи видѣнъ былъ добрый, благородный, теплый старикъ. Невозможно требовать большаго и лучшаго отрѣшенія отъ своей личности, и только афишка могла увѣрить меня, что это былъ Сосницкій, а не другой какой-нибудь актеръ, которому, по причинѣ собственныхъ восьмидесяти лѣтъ за плечами, не для чего было прикидываться старикомъ. Вотъ въ этомъ-то я и вижу превосходство Сосницкаго передъ Шепкинымъ: послѣдняго вы вездѣ и во всемъ узнаете, хотя онъ каждую роль выполняетъ совершенно сообразно съ ея духомъ и характеромъ. Ему измѣняется не талантъ, не искусство, но его фигура, какая-то одному ему свойственная манера, отъ которой онъ вполнѣ никакъ не можетъ отрѣшиться. Въ этомъ отношеніи, изъ русскихъ актеровъ у Сосницкаго едва ли есть соперники: самого Каратыгина, глубоко постигшаго эту внѣшнюю сторону искусства, вы всегда узнаете по голосу и еще по чему-то особенному, только ему принадлежащему; но Сосницкій перерождается, подобно Протею, въ тѣхъ роляхъ, которыми можетъ овладѣвать вполнѣ. Мы замѣтили въ его игрѣ только

одинъ недостатокъ: въ патетическихъ сценахъ мы желали бы слышать атотъ трепеть чувства, эту электрическую теплоту души, которыми Щепкинъ такъ обязательно и такъ могущественно волнуетъ массы, и увлекаетъ ихъ по волѣ своей огненной натуры. Вотъ здѣсь превосходство Щепкина надъ Сосницкимъ, превосходство, котораго тайна, кажется, не со-всѣмъ въ органѣ голоса. И въ этихъ двухъ пунктахъ вообще главная разница между театрами обѣихъ нашихъ столицъ. Во всякомъ случаѣ, я готовъ сто разъ видѣть Сосничаго въ роли дѣдушки, но тѣмъ менѣе глубоко и болѣзненно буду завидовать вамъ, если вы увидите въ ней Щепкина...

Внучка играль г. Песочный, мальчикъ лѣтъ десяти. Объ игрѣ его мы скажемъ только то, что смѣшно и странно требовать отъ ребенка таланта и искусства, но что со всѣмъ тѣмъ, еслибы всѣ взрослые играли такъ, то въ Александринскій театръ было бы за чѣмъ ходить хоть каждый день. Малютка былъ вызванъ два раза.

Г. Максимовъ 1-й очень отчетливо и искусно выполнитъ довольно пустую роль, а г. Мартыновъ превосходно, артистически сыгралъ роль Хамова. Вотъ, господа, талантъ! Если онъ будетъ изучать и учиться, то не только водевиль, но и комедія долго еще не осиротѣютъ на Александринскомъ театрѣ.

«Такъ, да не такъ» — пустой фарсъ въ водевильномъ родѣ. Василій Павловичъ Неродовъ, майоръ гусарскаго полка, любить поволочиться за всякою женщиною, какую только увидитъ, а жена его, Надежда Павловна, сердится на него за это. И вотъ она къ себѣ ждетъ свою пансіонскую подругу, Катерину Федоровну Славину, съ ея женихомъ, Владиміромъ Сергѣевичемъ Холмскимъ; а мужъ находитъ у ней черновую записку, въ которой она проситъ свою подругу пріѣхать къ ней въ мужскомъ платьѣ, а жениха упросить одѣться въ женское. Очень умно и правдоподобно! Дѣло происходитъ въ деревнѣ. Мужъ волочится за женихомъ, и какъ съ мущиною

обходится съ невѣстою; а жена открываетъ ему, что записка была хитростію (и очень замысловатою!) съ ея стороны, и что онъ въ дуракахъ. Съ изумленіемъ увидѣлъ я Сосницкаго, какъ бы чудомъ какимъ изъ 80-лѣтняго старика вдругъ превратившагося въ повѣсу-маіора, правда нѣсколько дурного тона, но который требовался духомъ пьесы, потому что ея дѣйствующія лица, какъ видно изъ нашего краткаго изложенія, не могутъ принадлежать къ числу порядочныхъ людей. Тщетно старался я найти въ лицѣ Сосницкаго что-нибудь похожее на лицо дѣдушки, котораго видѣлъ передъ собою четверть часа назадъ, и котораго лицо я никогда не забуду—сколько въ немъ характеристическаго. Непостижимое искусство! — Роль невѣсты подруги, въ бенефисъ, играла г-жа Самойлова 2-я, говорятъ, актриса съ замѣчательнымъ талантомъ; но на этотъ разъ, по причинѣ ея болѣзни, эту роль занимало воспитанница Федорова, почему я ничего не могу пока сказать вамъ о г-жѣ Самойловой 2-й.

«Послѣдній день Помпей» — фарсъ, оскорбляющій и чувства, и смыслы. Въ немъ провинціалы уѣзднаго городка представлены и дураками, и подлецами, безъ всякаго правдоподобія, безъ всякой естественности. Г. Григорьевъ 1-й прекрасно игралъ Н. Н., проѣзжающаго ремонтера, а г. Каратыгинъ 2-й — Пшеницына; и изъ другихъ многіе были недурны. Актерамъ публика даже аплодировала мѣстами, но пьесу всетаки проводилъ съ негодованіемъ и презрѣніемъ. И по дѣломъ!...

заколдованный домъ. Трагедія въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ, съ танцами, соч. Ауфенберга, переведенная съ нѣмецкаго П. Г. Ободовскимъ. — Чего на сценѣ не выдаютъ, или что у кого болитъ, тотъ о томъ и говоритъ. Водились въ одномъ дѣйствіи, сюжетъ заимствованъ изъ старинной комедіи, и проч. — (Спектакль 14 декабря).

(Изъ письма Москвича).

Дивно уже слышать я, что Каратыгинъ превосходенъ въ «Заколдованномъ Домѣ» въ роли Людовика XI. Кажется, эта пьеса давалась и на московской сценѣ, но мнѣ не случилось ея видѣть. Поэтому, мнѣ очень хотѣлось узнать, какъ изображенъ въ ней характеръ Людовика XI, такъ дивно созданный гениальнымъ Вальтеръ-Скоттомъ, а прекрасное выполненіе роли Велизарія Каратыгинымъ еще болѣе усилило мое желаніе.

Много слышавшійся отъ всѣхъ объ игрѣ Каратыгина въ роли Людовика XI, я многого и ожидалъ; но увидѣть еще болѣе, и снѣшу подѣлиться съ вами моимъ восторгомъ.

«Заколдованный Домъ» передѣланъ изъ извѣстной повѣсти Бальзака «Maitre Cornélius» и передѣланъ такъ хорошо, что вышла прекрасная драматическая пьеса, а не пошлая нѣмецкая штука съ чувствительными эффектами. Не буду вамъ рассказывать ея содержаніе, которое извѣстно всѣмъ, видѣвшимъ ее на сценѣ, или читавшимъ повѣсть Бальзака. Скажу только, что Людовикъ XI очень удачно въ ней очеркнутъ, если не созданъ, и что онъ, особенно благодаря превосходной игрѣ Каратыгина, живо напоминаетъ историческаго Людовика XI, кровожаднаго, жестокаго, мстительнаго,

забавлявшагося мученіями своихъ жертвъ, какъ кошка мышью, скупого, формально-набожнаго, внутренно безрелигіознаго и безнравственнаго, и, какъ всѣ люди безъ истинной религіозности, въ высшей степени суевѣрнаго; но вмѣстѣ съ этимъ характера могучаго, воли исполинской, словомъ, страшнаго орудія для осуществленія блага, путемъ зла. Каратыгинъ, какъ бы переродился въ этой роли — его нельзя было узнать, хотя мѣстахъ въ двухъ, жертвуя истинному эффекту, онъ и измѣнялъ своей роли, и изъ Людовика XI становился Каратыгинымъ. Но, какъ это были, какія, — нибудь два мгновенія на три часа превосходной игры, то лавръ подвига и остается за нимъ безспорно. Игру его невозможно характеризовать словами, и надо видѣть, чтобы понять и оцѣнить верхъ драматическаго искусства и торжество его таланта, являющагося, въ этой роли, въ своемъ апогеѣ. Дряхлый старикъ, страждущій всѣми недугами — плодомъ буйно-проведенной молодости, непрерывно напряженнаго и неестественнаго состоянія духа; король-плебей, который одѣтъ съ мѣщанскою простотой, безпрестанно шутить, какъ какой-нибудь добрый гражданинъ своего «добраго» города Парижа, но сквозь внѣшній плебейзмъ котораго ни на минуту не перестаетъ проблескивать лучъ царственнаго достоинства, даваемого правомъ рожденія и привычкою повелѣвать съ младенчества. Онъ окруженъ людьми низкаго званія, которые, по своей ограниченности, приписываютъ благосклонность къ нимъ короля личнымъ своимъ достоинствамъ и мнимой родственности съ духомъ короля, не доимая его глубокаго плана униженія дворянства для возвышенія и славленія воедино разьединенной Франціи. Таковъ Каратыгинъ, въ этой роли! Въ каждомъ словѣ, въ каждомъ жестѣ вы видите характеръ историческаго Людовика XI! Посмотрите, какъ онъ согнулся, какъ часто кашляетъ, задыхается, какъ медленна и слаба его походка, какое коварство въ его будто бы простодушномъ смѣхѣ, какъ онъ все видитъ, притворяясь, что ничего не видитъ,

какъ онъ умѣетъ привинуться обманутымъ, чтобы даругъ и врасплохъ схватить свою жертву и заставить ее во всемъ сознаться; замѣтьте, какъ ужъ чужезуръ обыкновененъ его языкъ, простонародны манеры, грубы шутки, и какъ сквозь все это видѣнъ король, знающій, что онъ король, увѣренный въ своемъ могуществѣ; въ силѣ своего ума и непреклонности воли! — Вотъ вамъ игра Каратыгина, если это дастъ вамъ о ней хоть какое-нибудь понятіе!—Но, вотъ, вѣрный духу своего вѣка, онъ отказывается отъ любимого кушанья, отъ рюмки вина, потому что его врачъ запрещаетъ ему это, грозилъ, въ случаѣ непослушанія, скорою смертію... И онъ повинуется ему, какъ дитя, не догадывается, при всей хитрости и тонкости, что врачъ этимъ мститъ ему за презрѣніе, которымъ онъ безпрестанно клеймилъ его, равно какъ и всѣхъ своихъ тварей; онъ хорошо знаетъ имъ цѣну, и издѣваться надъ ними—его любимая забава! При словѣ «Богъ», «покаяніе», «смерть» онъ набожно снимаетъ свою шапку съ оловянными изображеніями святыхъ,—и въ то же время съ шуточками и остротами посылаетъ на ужасную пытку юношу, любимого его дочьрю, которую онъ любитъ со всею отеческою нѣжностію. Онъ знаетъ свои грѣхи, боится страшнаго суда; но просить у Бога еще двадцати лѣтъ жизни для блага Франціи, которая стонетъ отъ его жестокостей. Все это я говорю не отъ себя, не отъ исторіи, не отъ піесы даже, а изъ того, что я увидѣлъ отъ Каратыгина, или лучше сказать, что показалъ мнѣ Каратыгинъ...

Дивное искусство!...

Всѣ говорятъ, что у Каратыгина всегда превосходно выходитъ то мѣсто, гдѣ графъ Аймаръ Сен-Валье отказывается подписать свою разводную съ побочною дочьрю короля, говоря, что развести его съ женою можетъ только папа, на что Людовикъ XI отвѣчаетъ ему:

Здѣсь императоръ твой и папа!

Въ самомъ дѣлѣ, согбенный, потный, престарѣлаго и большаго вѣнца носца, выпрямился; принималъ гордое, высокое, господское, задремавшее. Я это и видѣлъ, и слышалъ, но совѣсть тѣмъ, на свой развѣ, это мѣсто не такъ удалось: въ голосѣ чувствовалось напряжение, усиленіе; а неимовенная вспыхнула вдругъ, пробудившароса и грозно возставшаго царскаго величія. Но послѣдовавшіе за тѣмъ кашель, усталость, и весь конецъ оцены, приговоренный съ видомъ утомленія тѣла, но не души, были превосходны въ высшей степени. Въ послѣднемъ дѣйствіи, когда Жоржъ д'Отувиль, коварно и оскорбительно обманутый королемъ, въ порывѣ негодованія вычисляетъ ему его жестокости и преступленія, Каратыгинъ превосходно, съ неподражаемымъ благородствомъ, достоинствомъ и простотою произнесъ стихи:

Умолкни! дерзкими наскучилъ мнѣ словами.
Долготерпѣнныя оставилъ я готовы;
Что небо не разить надменнаго громами...
Ты думаешь—у неба нѣтъ громавъ.

И никто не хлопнулъ ему; но послѣдующій за тѣмъ монологъ, гдѣ Людовикъ XI, хваляся своимъ безстрастіемъ, говорить, какъ онъ вышелъ цѣлъ изъ битвы, изъ-подъ мечей окружавшихъ его враговъ, а мальчикъ хочетъ его утратить *), — былъ произнесенъ какъ-то утрированно и сопровождался какимъ-то насильственнымъ жестомъ—и все приняло въ неописанный восторгъ... Вотъ только два мѣста во всей пьесѣ, въ которыхъ Каратыгинъ показался мнѣ не Людовикомъ XI, а Каратыгинымъ. Исчислять превосходныхъ

*) Это могло происходить и оттого, что самый монологъ, натянуть, а главное оттого, что пьеса, переведена не прозою, а стихами, и еще шестистопными и, какъ мнѣ иногда слышалось, чуть ли не съ рифмами. Когда наши переводчики убѣдятся, что шестистопіе ямбы, съ переливающимися, или, лучше сказать, перекатывающимися полустііями, несомнѣны въ драмѣ?... Вотъ ужъ подлинно неумѣстная трата таланта!...

мѣсть не стану этого значить. Если бы отдалъ подробный отчетъ въ каждой сценѣ и каждой жестѣ что было бы, неужели всѣмъ удовлетворительно для насъ, невидавшихъ Каратыгина въ этой роли, и утомительно для меня и для читателей?

Превосходно!... и одинаково не пойду въ другой разъ смѣтрѣть «Заколдованный Домъ». Что тутъ за наслаждение платить дорогою цѣною утомленія, скуки и досады!... Иgra Каратыгина въ роли Людовика ХІ шесты торжественности, снато искусства, но представленіе всей пьесы, она, впрочемъ есть рѣшительное оскорбленіе и оценяческаго искусства, потому что, если выстъ съ Каратыгинымъ играли Брянскій и Брянскан, зато съ ними играли и г. Толченновъ (и еще такую роль, удовлетворительное выполненіе которой сдѣлало бы честь великому таланту), и съ ними же играли господа Вороновъ, Фальбергъ, Толченновъ 2-й, Асанасевъ, Чайотій, Ахалинъ... Бѣдная русская сцена: таланты есть, а театра нѣтъ!...

Вторую роль въ пьесѣ — роль Норнелія — игралъ Брянскій, и игралъ съ вѣроятнымъ ему искусствомъ. Но мнѣ опять, сквозь всю простоту его игры, слышалась какъ бы, невольно, вслѣдствіе долговременной привычки, пробивавшаяся классическая нѣвучность и передичность голоса, къ тому же еще слишкомъ мягкаго для такой роли; а въ потрясающихъ мѣстахъ роли, гдѣ выказывалась снрость, скупости во всемъ ужасѣ своего трагическаго комизма, его голосъ и жесты казались мнѣ нѣсколько напряженными, и потому утрированными. Что же касается до мимики и манеры держаться на сценѣ сообразно съ характеромъ своей роли, — я видѣлъ много таланта, искусства и умѣнія. Вотъ, мнѣ кажется, роль, созданная для Щепкина? Ужъ тутъ онъ не насмѣшилъ бы, усыпивъ въ половину, какъ въ роли Гарпагона, а ужаснулъ бы зрителей, показавъ имъ, въ комической формѣ, трагическую сторону одной изъ ужаснѣйшихъ страстей человѣческихъ — скупости!... Брянская прекрасно выполнила роль

графини Маріи, жены графа Аймара Сен-Валье и дочери короля, хотя это и не изъ такихъ ролей, гдѣ артистъ можетъ исполнѣтъ развернуть свой талантъ, чтобы о немъ можно было произнести опредѣленное сужденіе.

Роль сестры Корнелиуса принадлежитъ къ важнѣйшимъ ролямъ въ піесѣ, и ее превосходно исполнила г-жа Валберхова, нѣкогда блиставшая на петербургской сценѣ, а теперь отличающаяся почти въ одной этой роли; но зато такъ отличающаяся, что невольно хочется ее вызвать тотчасъ послѣ Каратыгина. Въ самомъ дѣлѣ, невозможно требовать болѣе искуснаго выполненія роли, а когда она умираетъ, убитая подозрѣніемъ въ воровствѣ со стороны родного брата и его угрозами пытки и казни, то можно испугаться — ужъ и не въ правду ли она умерла... Превосходная сцена!

Послѣ драмы давался какой-то водевиль; но я не люблю смотрѣть водевили послѣ драмъ, въ которыхъ хоть одинъ актеръ поразилъ мою душу сладостными впечатлѣніями искусства... Сверхъ того, я твердо рѣшился не смотрѣть тѣхъ водевилей, въ которыхъ не участвуютъ вмѣстѣ Сосницкій, Максимовъ 1-й, Григорьевъ 2-й, (если дѣло идетъ о купцѣ), Афанасьевъ (если дѣло идетъ о подъячемъ или лакеѣ), Мартыновъ, или хоть по крайней мѣрѣ одинъ Мартыновъ... Что дѣлать, у всякаго свой вкусъ — почему же и мнѣ не имѣть своего? Вслѣдствіе этого я не видѣлъ ни водевилъ, ни г-жи Асенковой.

1839.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.

1891

ALFRED H. HENNINGSEN, JR.

I.

КРИТИКА.

ОЧЕРКИ ВОРОДИНСКАГО ОРАЗЖЕНІЯ. Соч. О. Пашку.

Москва. 1839.

Народъ не есть отвлеченное понятіе: народъ есть живая особность, духовная организація, которой разнообразны и разнообразны отправленія: служить въ единой цѣли. Народъ есть личность, какъ отдельный человекъ. Каждый образъ людей сталъ народами; частныя индивидуальности слились въ общія массы и, такъ сказать, носились въ нихъ?.. Вотъ одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, рѣшеніе которыхъ не подлежитъ ни историческимъ разсужденіямъ, ни изслѣдованіямъ разсудка, опирающимся на опытъ. Спросите человека, какъ онъ явился на свѣтъ: можетъ ли онъ вамъ отвѣтить на этотъ вопросъ? Онъ существовалъ еще во чревѣ своей матери, но не зная о своемъ существованіи; онъ существовалъ еще бессмысленнымъ и безсловеснымъ ребенкомъ, но не зная о своемъ существованіи; онъ даже не помнилъ своего младенчества, когда уже лизнулъ его ласкающая незнакомая рука; а юная душа приняла уже разнообразныя впечатлѣнія бытія; онъ едва-едва помнитъ себя даже выходящимъ изъ младенчества, уже развивающимся своими духовными способностями; его сознательное существованіе начинается съ черты, разграничивающей отрочество и юношество. Вотъ почему каждый человекъ всегда начинаетъ свою исторію словами: «съ тѣхъ поръ, какъ я началъ себя помнить»; и вотъ почему самая эпоха его сознанія еще такъ неопредѣленная, представляя собою какой-то утренній полусумракъ, и только въ періодъ юношества дѣлается яснымъ и свѣтлымъ утромъ. Такъ точно и народъ не въ состояніи отвѣчать самому себѣ на вопросъ:

откуда онъ произошелъ, какъ онъ явился? Намъ скажутъ, что людей свели взаимныя нужды, заставившія ихъ взаимными уступками для обоюдной выгоды, ограничить свою свободу и принять общественную форму. Прекрасно, но въ дѣлѣ не бѣжить отъ своихъ родителей, отъ своего семейства, безсознательно (чувствуя) свою свободу, и, кѣмъ и отвращаясь лозы и власти ихъ, а между тѣмъ оно все-таки не помнить, какъ это сдѣлалось, что оно стало членомъ своего семейства, а членомъ своего государства. Другіе, намъ скажутъ — и это будетъ еще оправданіе — что исходнымъ пунктомъ соединенія людей въ общество было безсознательное члененіе человека на человека, врожденное ему отъ природы, на взаимныя нужды другъ въ другъ только укрѣпила и довершила его соединеніе. Прекрасно, но въ дѣлѣ и младенца, прежде нежели онъ почувствовалъ нужду въ своей матери или матери, влекся къ нимъ безсознательнымъ чувствомъ, а между тѣмъ, ставши полнымъ человекомъ, онъ все-таки не помнить, какъ это сдѣлалось, и даже не помнить черты, раздѣляющей форму его безсознательности съ началомъ его сознательности. Очевидно, что народъ рождается безсознательно, проходить всѣ вѣрасты человека, т. е. сперва бываетъ зародышемъ или возможностью, изъ которой, какъ растеніе изъ семени, организуется младенецъ, дѣтский матерью-природою, изъ младенца дѣлается отрочонокъ, и наконецъ, доходитъ до того момента своего существованія, съ котораго начинать говорить: съ тѣхъ поръ, какъ я началъ себя помнить. Вотъ почему начало, или, лучше сказать, зачатіе жизни народовъ рѣшительно ускользаетъ отъ взора исторіи, и всѣ усилія разсудочныхъ мыслителей схватить его остаются тщетными; вотъ почему въ исторіи каждаго народа есть періоды бесцеловный и полубесцеловный, или доисторическій или полудисторическій, который такъ незамѣтно сливается съ историческимъ; что невозможно уловить черты, раздѣляющей ихъ.

Много было теорій о происхожденіи политическихъ обществъ, особенно много ихъ было у Французовъ, въ ихъ «философскомъ» XVIII вѣкѣ. Эти теоріи принесли великую пользу, доказавъ безпачужность и чуждость стремленія объяснить опытомъ неподдающееся опыту, сдѣлать явнымъ то, что недоступно для разсудка. Такимъ же точно образомъ смѣли мы объединить происхожденіе языка. Сознавъ, что слово основано на непреложныхъ законахъ разума, заключили изъ этого, что явленіе слова было результатомъ сознанія; ага законы, т. е. что оно было сочинено, придумано, изобрѣтено, какъ напр. паровая машина: сочинены, придуманы и изобрѣтены законы сознанія, силы паровъ. Нелѣпая мысль была распространена до того, что стали хлопотать о сочиненіи или учрежденіи универсальнаго языка, въ которомъ были бы все свойства, составляющія особенность каждаго языка: отдѣльно, и который, къ тому, важнѣе бы все языки и былъ бы общимъ ученымъ языкомъ. Разумѣется, это предпріятіе кончилось тѣмъ же, чѣмъ кончилось строеніе вавилонскаго столба: не осталось даже и обломковъ гордаго зданія, мнѣвшаго цѣлю соединить небо съ землею. Кромѣ того смѣли найти первобытный человеческій языкъ, и пустились въ ходъ сказки о Памметихѣ, прибѣгнувшемъ къ странному способу для разрѣшенія этого неразрѣшимаго вопроса, и допытывавшагося черезъ него, кто первобытный языкъ былъ—фригійскій. Потомъ основали образованіе языка изъ междометій и почитали себя въ состояніи ясно, опредѣлительно показать весь историческій ходъ развитія языка, какъ собранія условныхъ звуковъ для выраженія понятій. Остановите ваше вниманіе на эпитетѣ «условный», и вы поймете причину этого заблужденія! Всякое условіе бываетъ сознательно и есть заранѣе предположенное намѣреніе, предположенная цѣль, и наконецъ договоръ. Человѣкъ почувствовалъ необходимость сообщить свои мысли подобнымъ себѣ: вотъ и давай условливаться лошадь навывать лошадью, собаку собакою, и такъ даже. Прекрасно; но развѣ въ цѣломъ

обществѣ людей только одному предоставлено было право предлагать условія, а всѣмъ прочимъ только принимать ихъ; да кланяться, приговаривая: «такъ-съ, батюшка, такъ—слушаемъ-съ! Это лошади, а это собака?» И какъ одинъ членъ вѣкъ могъ согласить многихъ? а если многие задумали согласить многихъ, то какъ же они успѣли согласиться? Кроме того, какъ бы это ни вышло, черезъ одного или многихъ, но если эти «условія» не явились причины въ самихъ себѣ, т. е. не основывались на непреложной внутренней необходимости, то они были случайны, а следовательно и бессмысленны; но мы знаемъ, что каждый языкъ, отъѣмъ вѣтвѣй, основанъ на непреложныхъ законахъ, и что всѣ языки, несмотря на ихъ различіе, основаны на однихъ и тѣхъ же началахъ, потому что языкъ одного народа и можетъ выучиваться языку другого народа. Итъ, языкъ былъ данъ человеку, какъ откровеніе, а не найденъ имъ, какъ изобрѣтеніе. Если человекъ явился въ міръ существомъ разумнымъ, то необходимо и словеснымъ; потому что слово есть разумъ въ явленіи. Человекъ владелъ словомъ еще прежде, нежели узналъ, что оно властвуетъ словомъ; точно также дитя говоритъ правильно, грамматически, еще и не зная грамматики, следовательно еще не зная, что оно говоритъ правильно, грамматически. Слово человеческое есть одно изъ тѣхъ явленій дѣйствительности, которыя въ самихъ себѣ скрываютъ причину своего дѣленія, которыя органически возникаютъ и развиваются изъ себя, и въ себѣ не имѣютъ причины, и которыхъ рожденіе есть, поэтому, тайна. Дѣйствительность, какъ явившійся, отъединившійся разумъ, всегда предшествуетъ сознанію; потому что прежде нежели познавать, надо имѣть предметъ для сознанія. Вотъ почему естественное, или ученіе о природѣ, явилось гораздо послѣ самой природы; грамматика — послѣ языка; исторія — послѣ пережитой народомъ жизни. Все что ни есть — есть или явившійся разумъ (разумъ въ явленіи), или сознающій разумъ (разумъ въ сознаніи). Дѣло сознающаго разума — созавать дѣйствительность;

а не творить ее, и потому разумъ изучать грамматику, а не сочинять языка, писать трактаты объ организации общества, а не создавать общества... Какъ невозможно сочинить языка, такъ невозможно и устроить гражданскаго общества, которое устроится само собою, безъ сознанія и вѣдома людей, изъ которыхъ оно складывается. Всякое явленіе дѣйствительности, изъ самопо себѣ возникшее, рождается и развивается органически; всякое изобрѣтеніе дѣлается механически. Первое есть вдохновенный порывъ духа обществиться въ дѣйствительности; второе есть расчётъ разума, основанный на соображеніи вѣроятностей. Материалисты XVIII вѣка хотѣли объяснить происхожденіе міра механическимъ сплывленіемъ атомовъ, механическимъ процессомъ взаимодѣйствія тяжести и выходящихъ изъ ея математическихъ законовъ стремленій; но это объясненіе только затемнило сущность дѣла, потому что, отличаясь внѣшней ясностію, отличалось внутреннимъ мракомъ. И какъ же тутъ быть свѣту, а не мраку, когда они въ мірозданіи видѣли только какіе-то блоки, веревки, гвозди и клей, а не горячую кровь и полные электричества нервы, — мертвый скелетъ, а не живой организмъ, какъ выраженіе движущагося въ немъ духа жизни? Автоматъ дѣлается механически, и потому онъ трупъ безъ жизни; организмъ человѣка развивается динамически, и потому въ немъ вѣдетъ, движется духъ жизни. Въ зародышѣ, изъ котораго рождается человѣкъ, заключенъ духъ жизни, самодѣятельно, изъ самого себя развивающійся въ опредѣленные формы, во чревѣ матери, какъ развивается динамически, т. е. собственною самодѣятельностію, зерно, положенное въ землю, и становится деревомъ. То и другое требуетъ для своего развитія внѣшняго вещества — питанія; но это внѣшнее перерабатываютъ и претворяютъ въ свою собственность, въ свои соки, кровь и плоть, и это внѣшнее опять развиваютъ изъ себя: такъ точно происходитъ и народъ. Его духовная организація параллельна телѣсной организаціи мла-

денца и дерева, примѣры которыхъ мы нарочно привели. Сущность жизни въ зернѣ жизни, а это вѣрно — божественная идея, изъ сферы возможности переходящая въ сферу действительности; изъ небытія осуществляющаяся въ бытіе, по глаголу священнаго писанія: «Богъ создалъ міръ сей изъ ничего».

Начиная отъ времени, въ которыхъ мы живемъ только изъ исторіи, до нашего времени не было и нѣтъ ни одного народа, составившагося и образовавшагося по какому-нибудь и сознательному условію известнаго числа людей, изъ явившихъ желаніе войти въ его составъ, или по мысли одного какого-нибудь, хотя бы гениальнаго человека. Намъ, можетъ быть, укажутъ на Оѣверо-Американскіе штаты — на этотъ народъ безъ имени и названія, на этого сына безъ отца, потомка безъ предковъ; на это политическое общество, какъ будто искусственно ввищенное, механически соединенное изъ разнородныхъ началъ? Мы ответимъ, что все это только кажется такимъ для поверхностнаго взгляда, но совсѣмъ не таково на самомъ дѣлѣ. Во-первыхъ, Оѣверо-Американскіе штаты являлись по условію только государствомъ а не народомъ; между же государствомъ и народомъ большая разница: народъ можетъ не быть государствомъ, но государство не можетъ не быть народомъ; народъ можетъ сдѣлаться государствомъ, но государство не можетъ сдѣлаться народомъ, потому что оно было народомъ прежде еще, чѣмъ сдѣлалось государствомъ. Большая и главная часть народонаселенія Оѣверо-Американскихъ штатовъ — природные Англичане: господствующій языкъ — англійскій; направленіе въ религіи, политикѣ и гражданскомъ устройствѣ явно отзывается британизмомъ. Слѣдовательно, Оѣверо-Американскіе штаты не безъ родни, не безъ предковъ, не безъ отца и матери: Сначала они были англійскими колоніями, слѣдовательно, имѣли уже готовыми всѣ матеріалы для государственной жизни: образованный языкъ съ богатою литературою, религію, въ высшей степени раз-

витуху, праздничность и т. п. Таковы были племена, образовавшиеся из Англичан, как бы особые племена, вследствие влияния климата и страны, и других племен, отличающееся от жителей Великобритании, как бы отчужденные от романы, дондальцаго Бупара от романовъ гевильнаго. Остотъ, хотя и писавшихъ на одномъ, азыкъ, то, некоторые изъ образъ, и образовался какъ бы особый народъ, которому, не мудрено было, стать государствомъ. Да и самый процессъ перехода народа въ государство, совершился не механически, но условно, а зарождался, арыкъ обнаружился исторически, такъ, что причины его далеко скрываются во времени, и история Северо-Американскихъ штатовъ должно начинать съ эпохи религиозно-политической реформы въ самой Англии.

Исходный пунктъ жизни каждаго народа скрывается въ географическихъ, этнографическихъ, геологическихъ и климатическихъ условіяхъ. Когда человекъ выходитъ изъ своего естественнаго состоянія, онъ начинаетъ борьбу съ природою: покоряетъ ее себѣ и даже вмѣняетъ могуществомъ своей разумности; но до тѣхъ поръ онъ — рабъ. Мощно действуютъ на него дая впечатлѣнія, и его темпераментъ имѣетъ кровное родство съ материнкомъ, на которомъ онъ родился, съ небомъ; подъ которымъ онъ родился, а его характеръ есть результатъ его темперамента. Законъ родства крови и плоти есть законъ самого духа!... Сначала всякое человѣческое общество существуетъ какъ племя, потомъ — какъ народъ; немного племенъ известно исторіи: состояніе человѣческаго общества, какъ племена, есть первый и самый естественный моментъ его существованія, это какъ будто развѣтвившіеся отпрыски единого ствола, какъ будто размножившіеся члены единого семейства, давно потерявшаго память о своемъ прародителѣ, уже не только родные, но двоюродные, троюродные и такъ далѣе, составляющіе отдѣльные круги семейства. Племена не имѣютъ не только законовъ, даже обычаевъ: освященныхъ временемъ, но живутъ какъ бы руководимы наинимъ-то

инстинктомъ. Имъ нужна пища — и у нихъ есть стрѣла и лукъ, или сѣть для рыбъ: вотъ всѣ ихъ потребности и всѣ точки соприкосновения между ними. Но вотъ племя становится съ другимъ племенемъ, и, какъ всякой естественной индивидуальности другая индивидуальность враждебна, между ними начинается кровавая борьба; каждое племя плотнѣе соединяется, родственнѣе сжимается, яснѣе создаетъ свою индивидуальную особность; рождаются понятія о славѣ и безславьи, о геройствѣ и малодушии, о ненависти ко враждебному племени, какъ овищенномъ долгѣ; являются военачальники и нѣкоторая подчиненность. Но этимъ все и оканчивается, потому что только столкновение съ народомъ или государствомъ можетъ быть причиною развитія племени въ народъ и государство, или чрезъ подпаденіе подъ власть его и исчезновеніе въ немъ, или чрезъ перенятіе его идей. И потому у племенъ власть военачальника блѣдна, безцвѣтна и неопредѣлена, неутверждена и не освящена никакою идеею, не имѣетъ даже силы преданія (traditio), не только закона, жречество основано на мистическомъ страхѣ непонятнаго ихъ уму, и потому мугающагося его, и развѣ еще на нѣкоторыхъ врожденныхъ челоѣку слабыхъ и неопредѣленныхъ идеяхъ о божествахъ. Въ такомъ видѣ представляются вамъ всѣ дикія племена Европы, Азии и Африки, и наконецъ, дикія племена цѣлыхъ частей свѣта — Америки и Океаніи. Это какія-то инфузоріи политическихъ обществъ, безсильныя принять определенную и единственно разумную форму челоѣческаго общества — форму государственную. Что бы ни было причиною этого: низшая, въ сравненіи съ нашею организациею, изолированность отъ образованнаго міра, недавность ихъ происхожденія и близость къ природѣ, или какія-нибудь чисто внѣшнія, случайныя причины, или все это вмѣстѣ взятое; но только можно съ вѣроятностію заключать, что всѣ изъ извѣстныхъ намъ государствъ, бывшихъ и нынѣ находящихся, начали свое существованіе съ состоянія племени, состоянія,

которое, какъ безсознательное, не могли помнить, а слѣдовательно и забыть. Въ Америкѣ Испанцы, кромѣ множества племенъ, застали два народа—мексиканскій и керуанскій, изъ примѣра которыхъ можно видѣть, какъ общество переходитъ во второй свой моментъ — изъ племени дѣлается народомъ. У народа уже начинается исторія, которой нѣтъ у племени, хотя эта исторія еще только преданіе, изъ устъ въ уста, отъ поколѣнія къ поколѣнію переходящее. У народа уже есть зародыши всѣхъ формъ государственной жизни: утвержденная верховная власть, іерархія чиновъ, раздѣленіе на сословія, и пр.; но только все это еще какъ преданіе, какъ обычай, освященный временемъ, какъ безсознательно-существующій фактъ, а не какъ что-нибудь выговоренное, какъ законъ, и утвержденное законою формою. Народъ тогда только дѣлается государствомъ, когда законность, освященная временемъ и отъ времени получившая свою силу, приобретаетъ формальность, народная жизнь получаетъ опредѣленные, выговоренные, или на письмѣ утвержденные формы, и эти формы переходятъ въ законъ. Государство есть высшій моментъ общественной жизни и ея высшая и единая разумная форма. Только ставши членомъ государства, человѣкъ перестаетъ быть работою природы, но дѣлается ея водителемъ, и только какъ членъ государства, является онъ существомъ истинно-разумнымъ. Племена близки къ животнымъ, и потому минута, когда узнаетъ о нихъ существованіе государство, есть минута ихъ истребленія, порабоженія и перерожденія въ новомъ и чуждомъ имъ духѣ; въ новыхъ и чуждыхъ имъ формахъ.

Всякая разумность, чтобъ сдѣлаться разумностію, должна явиться сперва какъ естественность, какъ непосредственное откровеніе. Всякая разумность священна, т. е. имѣетъ свою мистическую, таинственную сторону, и причина этой таинственности скрывается опять въ близости къ источнику всего сущаго, къ божественной идеѣ, первоначально осуществляю-

щейся во всеобщей родовой материи, въ сущности (субстанціальной) началѣ. Какая глубина мысли и какая поэзія въ русскомъ выраженіи «мать сыра земля»! Въ самомъ дѣлѣ, она мать намъ, наша родная мать, ибо она есть первоначальная, первосущная форма духа, хранительница всѣхъ силъ, всей сущности (субстанціи) творящей природы! Изъ ея материнскаго ложа вышелъ человѣкъ, и въ ея материнскихъ нѣдрахъ покоится онъ на вѣчность! Точно каково же и родство людей между собою: всѣ люди родня другъ другу по духу; но это духовное родство сперва проявляется въ нихъ какъ родство крови и плоти, и духовное родство потому и свято, что выходитъ изъ кровно-плотскаго. Точно также, потому же самому, и государство есть разумное, а потому и священное явленіе, что его начало скрывается въ естественно-семейственномъ родствѣ людей, переходящемъ потомъ въ родство племенное, а наконецъ въ народное. Какъ въ отдѣльныхъ семействахъ мы замѣчаемъ часто сходство чертъ лица, голоса, манеры говорить и дѣйствовать, словомъ, сходство характера, духа, даже при несходствѣ направленій, — такъ и всякій народъ отличается единствомъ языка, а слѣдовательно и характера мысли, взгляда на вещи и способа понимать ихъ (потому что языкъ есть осуществившееся, явившееся понятіе), единствомъ религіи, образа правленія, родовымъ сходствомъ въ образѣ вѣтшней жизни, наконецъ, семейственнымъ сходствомъ физиономіи составляющихъ его индивидуумовъ, такъ что трудно не узнать по одному лицу Англичанина, Француза, Нѣмца, Итальянца, Татарина и т. д. Это сходство, это единство, это родство священные, потому что основаніе ихъ плоть и кровь, какъ первосущныя (субстанціальныя) формы духа. И вотъ почему космополитъ есть какое-то ложное, двухмысленное, странное и неомытное явленіе, какой-то блѣдный, туманный прирастъ; а не яркая и живая дѣйствительность; вотъ почему, напримѣръ, Русскій, случайно проведенный въ Парижѣ свое младенчество и въ чуждой его родной сущности

(субстанціи) странѣ принявшій первыя живыя впечатлѣнія бытія; представляетъ изъ себя какого-то амфибія, уродливаго и отвратительнаго, какъ воѣ амфибіи; вотъ почему человѣкъ, для котораго *ubi bene ibi patria*, есть существо безнравственное и бездушное, недостойное называться священнымъ членомъ человѣка; вотъ почему, наконецъ, измѣнникъ своему отечеству, предатель своей родины, есть злодѣй, при видѣ котораго содрагается человѣческое сердце, отъ котораго съ омерзѣніемъ отвращается человѣчество, и который, если только онъ не идіотъ (не въ риторическомъ, а въ фізіологическомъ смыслѣ этого слова) скитається по землѣ, подобно Каину, съ печатью проклятiя на челѣ и ненавистию къ собственному существованію!... Еслибы общественныя узы были не плоть и кровь, а только взаимный договоръ для общихъ выгодъ, тогда въ идеѣ государства не было бы ничего священнаго, и предательство отечества было бы проступкомъ противъ чести и морали (*Moralität*), а не преступленіемъ противъ нравственности (*Sittlichkeit*); промѣнять свое отечество на другое было бы не несчастіемъ, а простымъ расчетомъ перемѣны хорошаго на лучшее. Какъ не можемъ мы представить себѣ человѣка, вдругъ и Богъ вѣсть откуда явившагося полнымъ, возмужалымъ и разумнымъ человѣкомъ, такъ не можемъ себѣ представить и общества, вдругъ возникшаго по условному договору известнаго числа индивидуумовъ. Какъ священно существо человѣка, потому что его рожденіе и развитіе есть тайна для него самого, такъ священно и существованіе общества, потому что его начало и развитіе есть тайна. Чтобы полнѣе и яснѣе выразить нашу мысль—укажемъ на самое важнѣйшее и самое священнѣйшее явленіе общественной жизни.

Спросите какого-нибудь французскаго говоруна, какого-нибудь либеральнаго аббата Француза: откуда и какъ произошла царская власть?—и онъ непремѣнно скажетъ вамъ, что это сдѣлалось слѣдующимъ простымъ образомъ: «когда люди

лишились своей естественной невинности, стали злы и развратны, то увидѣли себя въ горькой необходимости выбрать изъ среды себя человѣка и вручить ему неограниченную власть надъ собою». Для поверхностнаго взгляда абстрактныхъ головъ, въ глазахъ которыхъ идеи и явленія не заключаютъ въ самихъ себѣ своей причины и необходимости, но вырастаютъ какъ грибы послѣ дождя, но только безъ почвы и корней, а на воздухѣ,—для такихъ головъ нѣтъ ничего проще и удовлетворительнѣе такого объясненія, но для людей, духовному ясновидѣнію которыхъ открыта глубина и внутренняя сущность вещей, не можетъ быть ничего нечѣпѣе, смѣшнѣе и бессмысленнѣе. Все, что не имѣетъ причины въ самомъ себѣ и является изъ какаго то чуждаго ему «виѣ» а не «изнутри» сажого себя,—все такое лишено разумности, а слѣдовательно и характера священности. Коренныя государственныя постановленія священны, потому что они суть основныя идеи не какаго-нибудь извѣстнаго народа, но каждаго народа, и еще потому что они, перешедши въ явленія, ставши фактомъ, діалектически развивались въ историческомъ движеніи, такъ что самыя ихъ измѣненія суть моменты ихъ же собственной идеи. И потому коренныя постановленія не бываютъ закономъ, изрѣченнымъ отъ человѣка, но являются, такъ сказать, довременно, и только выговариваются и сознаются человекомъ. Равнымъ образомъ коренныя постановленія государства никогда не измѣняются въ смыслѣ замѣны однихъ другими, но измѣняются въ смыслѣ расширенія или ограниченія, сообразно съ временными требованіями исторической жизни народа. Измѣненіе это всегда чувствуется въ государственномъ тѣлѣ какъ сотрясеніе и часто сопровождается судорожными потрясеніями цѣлаго его состава, ибо мысль, чтобы осуществиться, должна перейти въ дѣло, въ фактъ, въ явленіе; а всякое явленіе совершается какъ бы въ плоти и крови. Такъ, напр., реформа, произведенная въ жизни Россіи Петромъ Великимъ, совершалась въ борьбѣ и потря-

семіяхъ всего государственнаго организма, но потому-то она такъ крѣпко и утвердилась и перешла въ законъ, и тѣмъ болѣе прометить столѣтій отъ этого событія, тѣмъ большую законность и священность будетъ приобретать дѣло Петра. Мы хотимъ этимъ сказать, что сила вѣковаго преданія и священная таинственность всего, теряющагося въ довременности, имѣютъ глубокое значеніе, и только однѣ освящаютъ явленія, какъ свидѣтельство, что эти явленія—непосредственное откровеніе, а не человѣческія выдумки. Человѣческіе уставы могутъ быть полезны, а не священные; только непосредственно Богомъ явленное священо. Нѣтъ власти, которая бы не была отъ Бога, но всякая власть отъ Бога—говоритъ св. писаніе, и эти слова заключаютъ въ себѣ глубокую мысль и непреложную истину.

Азія есть колыбель человѣческаго рода—его отечество; въ ней начало всѣхъ вѣрованій, всѣхъ человѣческихъ обществъ; въ ней начало всего довременнаго, всего непосредственно явившагося. И св. писаніе, и исторія, и даже сама современность указываютъ намъ на Азію, какъ на страну патріархальности. Китай—эта едва ли не первобытнѣйшая политическая форма общества, и по сю пору есть государство по преимуществу патріархальное. Всѣ мусульманскія государства носятъ въ своемъ основномъ построеніи печать древней патріархальности. Аравія и теперь еще представляетъ собою первобытный типъ племенъ, управляемыхъ патріархами. Св. писаніе говоритъ намъ о первыхъ патріархахъ, какъ о царяхъ людей, жившихъ въ законѣ естественномъ. Что такое былъ Іаковъ, переселившійся въ Египетъ, какъ не отецъ семейства, до того размножившагося, что маститый старецъ сдѣлался и отцомъ и прапрадѣдомъ вмѣстѣ, такъ что для своихъ праправнуковъ, по закону колѣннаго отдаленія, казался столько же правителемъ, царемъ, сколько родственникомъ и родоначальникомъ? Отсюда ясно, что мистическая и священная идея отца-родоначальника была живымъ источникомъ истекшей изъ

нея идеи царя. Только бессловесныя животныя живутъ безъ властей; но человѣкъ даже въ своемъ естественномъ состояніи, даже еще не развратившись, не сдѣлавшись злымъ, признавалъ власть и жилъ въ разумныхъ формахъ повелительства и подчиненности, задолго до того, какъ созналъ ихъ значеніе, или ихъ нужду; чувство, вмѣстѣ съ нимъ родившееся, сказало ему, что отецъ выше сына, и что сынъ долженъ повиноваться, слѣдовательно, признавать власть отца. Вотъ почему во всѣхъ племенахъ родоначальничество есть первый моментъ общественнаго сознанія, а право первородства—самое священное право. Законы челоѣчества вездѣ одни и тѣ же, потому что они законы разума, а разумъ одинъ, какъ одинъ Богъ: американскіе дикари, по законамъ вѣжливости, всякаго старшаго себя называютъ «своимъ отцомъ», а равнаго себѣ по лѣтамъ «своимъ братомъ». Нельзя вывести изъ опыта, какимъ образомъ изъ отеческой власти явилась царская власть, отецъ сталъ царемъ; но въ умозрѣніи это очень понятно. Исторія не можетъ показать картины развитія идеи отца въ идею царя, исторія не помнитъ этого, потому что это явленіе довременное. Но тѣмъ яснѣе, что кто внушилъ челоѣку чувство мистическаго, религіознаго уваженія къ виновнику дней своихъ, осяятилъ санъ и званіе отца, тотъ осяятилъ санъ и званіе царя, превознесъ его главу превыше всѣхъ смертныхъ и земную участь его поставилъ внѣ зависимости отъ случайной воли людской, сдѣлавъ личность его священою и неприкосновенною. Челоѣчество не помнитъ, когда преклонило оно колѣни передъ царскою властію, потому что эта власть была не его установленіемъ, но установленіемъ Божиимъ, не въ извѣстное и опредѣленное время совершившимся, но отъ вѣка въ божественной мысли пребывавшимъ. Поэтому царь есть намѣстникъ Божій, а царская власть, замыкающая въ себѣ всѣ частныя воли, есть преобразование единодержавія вѣчнаго и довременнаго разума.

Достоинство монарха есть священство, и въ таинствѣ по-

мазанія совершается непосредственная передача власти царю отъ Бога, и «Сердце Царево въ рудѣ Божіей», и какъ говорить Шекспировъ Ричардъ II:

Елей съ помазаннаго короля
Не могутъ смыть всѣ воды океана!
Дыханіе земнымъ людей не можетъ
Съ избраннаго намѣстника Творца
Сдѣять самъ его!

Вотъ почему, отдавая подданому приказаніе идти, монархъ не оглядывается назадъ, чтобы удостовѣриться, исполняется ли его приказаніе; вотъ почему его слово—законъ, маніе руки его—повелѣніе, взглядъ очей—гроза или милость. Онъ творитъ, какъ «власть имѣющій» (Ев. отъ Матѳ. гл. VII, ст. 29), и власть его не отъ него, но свыше. Вотъ почему, когда слѣпое своеволие воздвигаетъ бури мятежа, онъ съ безтрепетнымъ грознымъ челомъ является одинъ и безоружный, и въ комнатѣ Шакловитаго, и на площади, усыпанной мятежными толпами, которыхъ и самый страхъ оружія, и смерти былъ безсиленъ привести къ повиновенію,—является и, вмѣсто увѣщаній и просьбъ, однимъ словомъ властительныхъ устъ, однимъ мановеніемъ державной руки повергаетъ передъ собою во прахъ сонмище губителей оцѣпенѣвшихъ отъ одного его появленія: ибо онъ творитъ «какъ власть имѣющій»... Превосходно у Шекспира то мѣсто въ «Ричардѣ II», гдѣ отложившійся отъ короля герцогъ йоркскій, увидѣвъ Ричарда, осажденнаго и почти побѣжденнаго безъ надежды на возстаніе, увидѣвъ его восходящимъ на стѣну замка, въ гордомъ сознаніи его царственнаго величія, возмущается духомъ въ сознаніи виновной совѣсти и восклицаетъ:

Смотрите! о, смотрите! самъ король Ричардъ,
Какъ негодующее солнце входить,
Багровое на огненномъ востока прагѣ,
Замѣтивъ, что завистливыя облака
Стремятся потемнить его сіянье

И запятнать собою лучезарный путь
Къ странѣ заката. Но онъ смотритъ какъ король;
Смотрите: очи какъ орла сверкаютъ
И въ нихъ могучее величество горитъ!
О, Боже! ихъ ли горе потемнѣть!

Какая безконечная глубина мысли заключена въ этомъ невольномъ изліяніи, въ этой исповѣди виновнаго вассала, такъ молніеносно и въ такихъ немногихъ словахъ выраженной величайшимъ гениемъ, котораго всезрящему оку доступна была сущность міровой жизни, ея основные законы! И сколько глубины и истины въ этомъ обращеніи короля къ вассалу:

Мы удивляемся: стоять такъ долго
И ожидать, чтобъ въ страхѣ преклонились
Твои колѣни, потому что мы себя
Твоимъ законнымъ королемъ считаемъ!
И если такъ: какъ смѣютъ твои члены
Забуть предъ нами подданнаго долгъ?
Когда же не король я,—покажи
Насъ развѣчающую десницу Бога!
Мы знаемъ, что рука изъ крови и костей
Не можетъ захватить священный скипетръ,
Не святотатствуя и не ворую.
И думаешь ли ты, что всѣ Британцы,
Какъ ты отъ насъ сердцами отвратились,
Что мы и безъ друзей, и безъ защиты?...
То знай: Господь мой, всемогущій Богъ
За облаками держитъ ополченье язвы;
Въ защиту намъ; она убьетъ дѣтей
Невышедшихъ еще на свѣтъ отъ тѣхъ
Кто на главу мою вассала руку
Дерзнетъ занести и вдумаетъ грозить
Слѣдую драгоцѣннаго вѣнца!
Скажи же Болингброку (кажется онъ тамъ),
Что каждый шагъ его на нашей почвѣ—
Опасная пачина. Онъ пришелъ
Сломать печать на пурпурномъ завѣтѣ
Кровавыхъ войнъ. Но прежде, чѣмъ корона,
Къ которой онъ стремится, на его челѣ

Возляжетъ мирно, десять тысячъ разъ
Кровавое чело сыновъ заставитъ
Лить слезы матерей, обезобразитъ
Ликъ Англiи цвѣтущей, превратитъ
Цвѣтъ мира дѣвственнѣй и блѣдный
Въ багровое негодованье, ороситъ
Дуга Британiи ея же кровью!

Президентъ Сѣверо-Американскихъ штатовъ есть особа почтенная, но не священная: какъ представитель общества по условiю самого общества, онъ есть высшiй чиновникъ его, на которомъ лежитъ большая противъ другихъ отвѣтственность и который зато пользуется большимъ противъ другихъ жалованьемъ и почетомъ, а не царь, который выше суда человѣческаго и съ которымъ подданные связаны кровными, неразрывными узами духа и нравственнаго закона. Личность президента есть призракъ, дѣйствительно одно званiе его, и потому тотъ или другой—все равно. Вслѣдствiе этого, идея этого государства есть условный символъ, безъ сущности и личности, тогда какъ въ монархiяхъ образъ государя, есть личность государства, и подданный, служа монарху, служитъ своему государству. Имя монарха для подданныхъ есть слово мистическое, таинственное, священное: оно заставляетъ, магическою силою заключенной въ немъ идеи, признавать цѣлый народъ какъ единаго челоуѣка, и безконечное множество индивидуальныхъ особностей сливается въ единое тѣло, въ единую живую душу, имѣющую въ своемъ актѣ сознанiя единое я. Отсюда ясно видно, какое великое значенiе имѣетъ для вѣщности древность рода и происхожденiя, теряющаяся въ непроницаемости мистическаго мрака временъ и вѣчности. Царь долженъ родиться царемъ, и право рожденiя есть его первѣйшее и священнѣйшее право. Изъ миллионовъ людей онъ одинъ избранъ Богомъ, и миллионы не могутъ ревновать его избранiю, и добровольно преклоняются передъ нимъ колѣни, какъ передъ существомъ высшаго рода, и охотно повинуются ему, отказывая въ такомъ повиновенiи

равнымъ себѣ, ибо власть ихъ считаютъ случайною. Это-то, видно, и было причиною паденія всѣхъ самозванцевъ и похитителей, хотя многие изъ нихъ и были люди великаго ума, способностей и силы характера. Какъ снято съ самозванца царское имя, которымъ онъ осынился какъ правомъ—и будь онъ гений, окажи народу великія заслуги, но уже нѣтъ на немъ багряницы, и обнаженный трудъ его лежитъ добычею небесныхъ птицъ... Другимъ образомъ, но тотъ же конецъ бываетъ и для похитителей. Благодаря своему гениальному инстинкту, свойственному всѣмъ истинно великимъ людямъ, Наполеонъ глубоко чувствовалъ эту истину. Раздаватель коронъ и скипетровъ, могущественнѣйшій монархъ въ мірѣ, по свободному признанію цѣлаго народа, великій гений, самъ создавшій себѣ и тронъ, и свое колоссальное счастье, кажется, имѣвшій полное право гордиться своимъ и царскимъ происхожденіемъ, онъ, не смотря на все это, безпокоился и о своей судьбѣ, и о судьбѣ своего рода; онъ понималъ, что для твердости и дѣйствительности его власти недостаточно и его гениальности, и его подвиговъ, и помазанія католическимъ священникомъ,—и искалъ, какъ своего спасенія, вступить въ бракъ съ женою царскаго рода. И вотъ, онъ разводится съ женою, которую страстно любилъ, которую короновалъ какъ императрицу, и вступаетъ въ новый брачный союзъ съ принцессою, древняго царскаго рода, съ дщерію цесарей. Свѣтскіе мудрецы, люди, которые легко разсуждаютъ о тяжелыхъ предметахъ, которыми достаточно четверть часа, чтобы, съ сигарою во рту, пересудить всѣхъ и все, перестроить міръ на свой ладъ; такіе люди глубоко-мысленно объявляютъ, что Наполеонъ этимъ союзомъ унижалъ величіе своего гения и, увлеченный тщеславіемъ, сдѣлалъ безразсудный поступокъ, роковую ошибку, которая и погубила его. Нѣтъ! это была мысль гениальная, свойственная только великому человѣку, глубоко понимавшему законы разумной дѣйствительности, глубоко постигавшему таинственную

и сокровенную для обыкновеннаго вѣнчія сущность вещей. Мысль Наполеона стоитъ всѣхъ его побѣдъ и подвиговъ: онъ въ ней такъ же великъ, какъ и въ нихъ. Не мелкое тщеславіе, не суетное желаніе украситься заимствованнымъ блескомъ и пурпуромъ чуждой ему багряницы, рѣшило его на этотъ союзъ, но глубокое сознаніе, что этотъ бракъ набросить на него въ глазахъ царей и народовъ, современниковъ и потомства, тотъ религіозно-таинственный свѣтъ, который составляетъ необходимое условіе дѣйствительности царственнаго достоинства. Онъ понималъ, что если у него будетъ сынъ, то, хотя бы этотъ сынъ, наслѣдовавъ его престолъ, не наслѣдовалъ и слабаго отблеска его генія, словомъ, былъ бы самымъ обыкновеннымъ человѣкомъ, и тогда бы онъ тверже своего великаго отца сидѣлъ на оставленномъ ему тронѣ, онъ — сынъ великаго отца и вѣнценосной матери. Что онъ слышалъ въ восторженныхъ кликахъ своей старой гвардіи? — любовь къ ея великому полководцу, ея маленькому капралу... Но могъ явиться и другой полководецъ, озарить новымъ блескомъ имъ же прославленныхъ орловъ и присвоить себѣ клики воинственныхъ привѣтствій. Что онъ слышалъ въ восторженныхъ кликахъ народа? — благодарность за оказанныя ему услуги, громкій аплодисментъ за успѣхъ, за которыми могли раздаваться — какъ оно и случалось — оскорбительные свистки сбившемуся съ роли актеру. Не забудьте изрѣченія Наполеона: «я продолжатель не королевства Гуго-Капета, но имперіи Карла Великаго». Видите ли: онъ призываетъ себѣ на помощь не одинъ союзъ брака съ вѣнценосною женою, но и союзъ исторіи, союзъ вѣковъ, союзъ преданія, — и на Марсовыхъ поляхъ силится напомнить священное и мистическое прошедшее и связать съ нимъ настоящее... О, господа глубокомысленные политики! Наполеонъ понималъ кое-что не хуже и не меньше вашего, и самые его ошибки и промахи разумнѣе и поучительнѣе вашихъ прекрасныхъ умствованій.

Все, сказанное нами клонится къ тому, чтобы показать, что общество или народъ не есть отвлеченное понятіе, но живая личность, единое тѣло и единая душа; что она рождается не случайно, не по человѣческому условію и произволу, но по волѣ Божіей; что оно не есть только необходимая форма развитія человѣчества и не имѣетъ причины въ нуждѣ и пользѣ людей, но есть само себѣ цѣль, въ самой себѣ носящая свою причину; что оно развивается не механически, но динамически, т. е. собственною самодѣятельностію жизненной силы, составляющей его сущность, не чрезъ налипание и сращеніе извнѣ, но внутренне (имманентно) изъ самого себя, органически, какъ дерево изъ зерна...

Доселѣ мы смотрѣли на общество, какъ на нѣчто единое и цѣлое: теперь взглянемъ на него какъ на единство противоположностей, которыхъ борьба и взаимныя отношенія составляютъ его жизнь. Общество состоитъ изъ людей, изъ которыхъ каждый человѣкъ принадлежитъ и себѣ, и обществу, есть индивидуальная и самоцѣльная особность и членъ общества, часть цѣлаго, принадлежащая не себѣ, а обществу. Прежде всего всякій человѣкъ есть особность, есть личность, индивидуальность, которая есть исходный пунктъ всѣхъ его дѣйствій и необходимое условіе его дѣйствительности. Какъ особность, онъ стремится къ своему личному удовлетворенію; но лишь только сдѣлаетъ онъ шагъ къ этому удовлетворенію, какъ встрѣчаетъ себѣ препятствіе внѣ себя, гдѣ онъ видитъ множество существъ, подобныхъ ему, такъ же, какъ и онъ, стремящихся къ личному удовлетворенію. Что полезно ему, то полезно и другому; а какъ иногда для многихъ полезно одно, то каждый, стараясь воспользоваться имъ одинъ, старается лишить его всѣхъ другихъ, — борьба личностей и индивидуальных особностей. Далѣе: что полезно одному, то вредно другому, и этотъ другой старается не допустить перваго, — опять борьба личностей. Это зрѣлище представляетъ въ себѣ все твореніе, которое есть безконечное многообрази-

чіе особенностей; это зрѣлище представляют собою безсмысленныя животныя; но въ людяхъ, какъ существахъ разумныхъ, это же самое зрѣлище, имѣющее своимъ основаніемъ сознаніе своей единичности каждымъ лицомъ, есть только исходный пунктъ жизни, которая есть борьба, но результаты которой представляют новое зрѣлище. Человѣкъ, какъ особность, естественно видитъ въ другихъ людяхъ, какъ особностяхъ же, нѣчто враждебное себѣ; но въ то же время онъ доходитъ своимъ разумомъ до сознанія, что каждая изъ этихъ враждебныхъ ему особностей имѣетъ такое же право на личное удовлетвореніе, какъ и онъ, и что, слѣдовательно, если онъ требуетъ отъ нихъ уступокъ и нуждается въ ихъ помощи, то и онъ въ правѣ требовать отъ него уступокъ и помощи. Вотъ законъ любви, которая есть чувственный, такъ сказать, разумъ, или безсознательная разумность! Изъ закона любви вытекаетъ законъ нравственный, который создается изъ столкновенія внутренняго (субъективнаго) міра человѣка съ внѣшнимъ (объективнымъ) міромъ. Всякій человѣкъ есть самъ себѣ цѣль, и жизнь дана ему какъ удовлетвореніе, какъ счастье, какъ блаженство, въ которомъ, слѣдовательно, онъ имѣетъ полное право стремиться, сообразно съ своими личными потребностями, наклонностями и средствами. Внутри себя носить онъ таинственный и безконечный міръ, полный желаній, порывовъ, стремленій, страданій и радостей, и только чрезъ удовлетвореніе этого своего міра можетъ онъ достигнуть счастья. Это міръ внутренній; міръ субъективный человѣка, сфера, въ которой онъ самъ себѣ цѣль и, кромѣ себя и личнаго своего удовлетворенія, имѣетъ право ничего и ничего не знать. Субъективная сторона человѣка истинна и, слѣдовательно, дѣйствительна; но всякая односторонняя истина, доведенная до крайности, впадаетъ въ нелѣпость. Субъективность, оставаясь субъективностью, въ сферѣ знанія превращается въ ограниченность и произвольность понятій, въ сферѣ чувства — въ сухой и безнравственный эгоизмъ, въ сферѣ

дѣйствія — въ преступленіе и злодѣйство. Субъектъ есть личность; но что же такое эта личность, кого выражаетъ и опредѣляетъ она? Субъективная личность, есть выраженіе и опредѣленіе духа, а духъ безконеченъ: слѣдовательно, субъективная личность не должна быть ограниченностію; духъ истиненъ, слѣдовательно, субъективная личность не должна быть эгоистическою. А между тѣмъ, ограниченность есть условіе всякой субъективности. Въ чемъ же примиреніе этого противорѣчія, гдѣ выходъ изъ него? въ столкновеніи субъективной личности человѣка съ объективнымъ (внѣ его находящимся) міромъ. Человѣкъ есть частное и случайное по своей личности, но общее и необходимое по духу, выраженіемъ котораго служитъ его личность. Отсюда выходитъ двойственность его положенія и его стремленій; его борьба между своимъ я и тѣмъ, что находится внѣ его я, составляетъ его не я. Въ отношеніи къ его индивидуальной собственности, міръ не я, міръ объективный, есть враждебный ему міръ; но въ отношеніи къ его духу, какъ проблеску безконечнаго и общаго, міръ его не я, міръ объективный, есть родной ему міръ. Чтобы быть дѣйствительнымъ человѣкомъ, а не призракомъ онъ долженъ быть частнымъ выраженіемъ общаго, или конечнымъ проявленіемъ безконечнаго. Вслѣдствіе этого онъ долженъ отрѣшиться отъ своей субъективной личности, признавъ ее ложью и призракомъ, долженъ смириться передъ мировымъ, общимъ, признавъ только его истинною и дѣйствительностію. Но какъ это мировое или общее находится не въ немъ, а въ объективномъ мірѣ, онъ долженъ сродниться, слиться съ нимъ, чтобы послѣ, усвоивъ объективный міръ въ свою субъективную собственность, стать снова субъективною личностію, но уже дѣйствительною, уже выражающею собою не случайную частность, а общее, мировое, словомъ, стать духомъ во плоти. Въ сферѣ жизни, въ сферѣ дѣйствія, столкновеніе субъективной личности съ объективнымъ міромъ совершается дѣятельно же, не какъ житейская опытность, но

какъ разумный опытъ жизни. Почва, на которой вырастаютъ благотворные плоды разума, есть нравственное чувство. Субъектъ, создавая свою слабость, свою самоцѣльность, и слѣдуя инстинктивному стремленію къ личному удовлетворенію, чувствуетъ на каждомъ своемъ шагѣ и въ каждомъ своемъ дѣйствіи какъ бы связаннымъ какими-то внѣшними отношеніями; онъ говоритъ себѣ: «я самъ себѣ цѣль и хочу жить для жизни, жить для себя»; но внѣшній міръ говоритъ ему: «ты не для себя созданъ, ты мнѣ принадлежишь, каждую твою радость, каждое твое наслажденіе ты можешь получить только съ моего позволенія». Съ ужасомъ и ненавистію внимаетъ юный человѣкъ этому страшному голосу какого-то призрака, котораго онъ не видитъ, но котораго могучія объятія охватили его со всѣхъ сторонъ и не позволяютъ ему ни одного свободного движенія. Въ этомъ невидимомъ сторукомъ исполнѣ онъ видитъ существо совершенно внѣшнее и враждебное себѣ; но разумный опытъ жизни, цѣною страшной борьбы, противорѣчій, страданій, перемѣшанныхъ съ торжествомъ побѣды, примиреніемъ и радостями, убѣряетъ его наконецъ, что этотъ колоссальный и враждебный ему призракъ есть его же родное, его же внутреннее, слово, законы его собственнаго разума, его же субъективнаго духа, но только осуществившіеся во внѣ его, какъ явленія въ самомъ дѣлѣ, онъ видитъ, что онъ есть единичная личность, которая сама себѣ цѣль, но онъ же видитъ, что у него есть отецъ, мать, братья, сестры, родственники, друзья, знакомые, наконецъ, общество, отечество, правительство, и что со всѣми этими предметами (объектами) его субъективная личность связана не условными узами, но узами крови и плоти, а слѣдовательно и духа. Онъ понимаетъ, что если бы они сами захотѣли отрѣшиться отъ него, сдѣлать его свободнымъ отъ нихъ, онъ потерялъ бы всякое значеніе въ собственныхъ глазахъ, отутился бы въ собственныхъ глазахъ призракомъ безъ почвы, на которую уперлась

бы его нога, безъ воздуха, которымъ освѣжилась бы грудь его, безъ имени, которымъ бы онъ обозначилъ себя въ нѣмой бесѣдѣ съ самимъ собой. Въ духовномъ развитіи чело-вѣка моментъ отрицаніе необходимъ, потому что кто ни-когда не ссорился съ истиною, у того и миръ съ нею не очень проченъ; но это отрицаніе должно быть именно только моментомъ, а не цѣлою жизнью: ссора не можетъ быть цѣ-лію самой себѣ, но имѣетъ цѣлію примиреніе. Всякій духов-ный процессъ совершается съ болью и страданіемъ, и стол-кновение субъективной личности чело-вѣка съ объективнымъ міромъ сперва необходимо является, какъ борьба и страданіе. Но дорогое и покупается дорогою цѣною, и благо тому, кто цѣною страданія приобрѣтаетъ истину, которая одна даетъ блаженство, его же ржа не тлѣтъ, и тать не похищается. Но горе тѣмъ, которые ссорятся съ обществомъ, чтобы ни-когда не примириться съ нимъ: общество есть высшая дѣй-ствительность, а дѣйствительность или требуетъ полнаго мира съ собою; полнаго признанія себя со стороны чело-вѣка, или сокрушаетъ его подъ свинцовою тяжестью своей испол-нительской длани. Кто отторгся отъ нея безъ примиренія, тотъ дѣлается призракомъ; нажущимся ничто, и погибаетъ. Алеко Пушкина поссорился съ обществомъ и думалъ навсегда изба-виться отъ него, приставъ къ бродячей толпѣ дѣтей природы и вольности; но общество и тамъ нашло его и страшно отомстило ему за себя чрезъ него же самого. Такъ какъ, не смотря на всѣ его мудрствованія, оно жило въ немъ без-совѣстно и кровно, то онъ и вѣдунгалъ, вопреки своимъ понятіямъ, малюетъ на полудикихъ дѣтей природы тѣ же самыя стѣснительныя условія общественности, противъ ко-торыхъ самъ возставалъ, и два трупа лежали передъ нимъ, какъ необходимые результаты его ложнаго положенія въ от-ношеніи къ самому себѣ, и навсегда унесли съ собою въ могилу всякую надежду его на счастье и миръ души въ этой жизни...

Но борьба есть условіе жизни: жизнь умираетъ, когда оканчивается борьба. Субъективный человѣкъ въ вѣчной борьбѣ съ объективнымъ міромъ и, слѣдовательно, съ обществомъ, — но въ борьбѣ не въ смыслѣ возстанія, а въ смыслѣ своего безпрестаннаго стремленія то въ ту, то въ другую сторону. Объяснимъ это примѣромъ: Петръ Великій былъ человѣкъ; слѣдовательно, у него былъ свой субъективный міръ, въ которомъ онъ принадлежалъ только себѣ, а не государству: онъ былъ супругъ, отецъ, братъ, словомъ — семьянинъ; онъ вкушалъ, въ нѣдрахъ своего семейства, тѣ же радости, которыя вкушалъ и послѣдній изъ его подданныхъ. Онъ имѣлъ друзей, какъ напримѣръ, Меншикова, котораго горячо любилъ. Это его субъективный міръ. Но онъ же не имѣлъ почти минуты времени, чтобы забыться въ милыхъ, обаятельныхъ радостяхъ семейственности и дружбы:

То академикъ, то герой,
То мореплаватель, то плотникъ,
Онъ всеобъемлющей душой
На тронѣ вѣчный былъ работникъ.

Вотъ его объективный міръ. Но и этотъ объективный міръ не былъ чуждымъ и внѣшнимъ ему, не былъ однимъ суровымъ догомъ, но былъ его задушевымъ, кровнымъ, и дѣйствуя на его поприщѣ, онъ вкушалъ блаженство, которому нѣтъ предѣловъ и для выраженія котораго нѣтъ словъ. Но если это было такое блаженство, котораго ему не могъ дать субъективный міръ, зато и субъективный міръ давалъ ему такое блаженство, котораго не могъ ему дать объективный міръ. Сверхъ того, субъективные радости даются легче, нежели объективныя: эти дома, онъ всегда съ нами, а для достиженія тѣхъ нужна борьба, усиліе, трудъ въ потѣ чела; нужно иногда на роковую ставку судьбы поставить все. Притомъ же дѣйствіе въ объективномъ мірѣ не можетъ всегда быть только наслажденіемъ.

ежъ, но часто должно быть однимъ долгомъ, и минуты блаженства, доставляемыя имъ, рѣдки, и бывають большею частію результатомъ успѣха.

Пируеть Петръ. И гордь, и асень,
И дологъ славы взоръ его,
И царскій пиръ его прекрасень.
При кликахъ войска своего,
Въ шатра своежъ онъ угощаетъ
Своихъ вождей, вождей чужихъ,
И славныхъ пльнниковъ ласкаетъ.
И за учителей своихъ
Заздравный кубокъ поднимаетъ.

Да, это торжество, незнакомое простымъ смертнымъ: это торжество, извѣстное только богамъ, царямъ, героямъ и народамъ! Но сколько огорченій, досадъ, сомнѣній, мукъ душевныхъ, тревогъ и заботъ предшествовало этому дивному торжеству!... Чтобы лучше показать двойственность челоѣка въ субъективномъ и объективномъ мірѣ, напомнимъ Петра въ другія двѣ минуты. Вспыхиваетъ стрѣлецкій бунтъ, и душа заговора—родная сестра царя-исполина: братъ о ней плачетъ, а царь ее судить и караетъ... Надежда великаго царя, боявагося и трепетавшаго только одной смерти—смерти своей идеи реформы,—тотъ, кто могъ и продолжить, и укрѣпить, или прекратить и изгнать ее, его родной, его единственный сынъ, возстаетъ на отца и царя, востаетъ именно, какъ на преобразователя... Всѣ суды готовы: на одной сторонѣ естественная любовь родителя, на другой—судьба народа... Народъ побѣдилъ—страшная, величественная и торжественная минута!... Солнце должно было остановиться въ своемъ вѣчно-доременномъ теченіи, природа притаять дыханіе, пульсъ міровой жизни прерваться, въ ожиданіи страшнаго рѣшенія, чтобы потомъ забиться новою, удвоенною жизнью, потечь новымъ, ускореннымъ теченіемъ отъ чувства торжества... Великій подвижъ великаго челоѣка!—восклицаете вы

въ гордомъ сознаниі торжества достоинства человѣческой природы. Міръ объективный побѣдилъ міръ субъективный, общее побѣдило частное! Отчего же такъ велика эта побѣда?—оттого, что власть естественнаго влеченія сердца безгранична надъ волею человѣка, и когда торжествуетъ надъ нимъ законъ нравственный, человѣкъ является героемъ, молубогомъ, представителемъ человѣчества, осуществившимъ своею личностію все могущество цѣлаго человѣчества; оттого, что права субъективнаго человѣка безкомпромиссны надъ душою и побѣждаютъ только самоотверженіемъ въ пользу общаго... Итакъ, у одного человѣка двѣ жизни, изъ которыхъ каждая поочередно овладѣваетъ имъ, которыя борются между собою, и въ этой борьбѣ его жизнь...

Общество слагается изъ множества людей, и у каждого изъ нихъ свой горизонтъ понятій, своя сфера жизни, свой кругъ дѣйствія, наконецъ, свой субъективный и свой объективный міръ. Одинъ больше частное явленіе, т. е., больше принадлежитъ себѣ; другой больше общее явленіе, т. е., больше сливается съ интересами объективными, выходящими изъ сферы его частной жизни; но каждый раздѣленъ между собою и обществомъ, и каждый соединенъ съ обществомъ т. е. находитъ себя въ обществѣ. Иной, по ограниченности своей натуры, даже не понимаетъ слова «отечество», но если онъ впишетъ въ сословіе, въ цѣхъ—у него уже есть свой объективный міръ. Вотъ откуда истекаетъ живое единство общественной организаціи, которой безчисленные и разнообразныя нервы, проходя взадъ и впередъ и перепутываясь въ тѣлѣ, сходятся въ одномъ пунктѣ и образуютъ собою органъ сознанія—единого личнаго я. Каждый изъ членовъ общества имѣетъ свою исторію жизни, а общество имѣетъ свою, и еще гораздо послѣдовательнѣйшую, гораздо полнѣйшую, разумнѣйшую и понятнѣйшую. Какъ единый человѣкъ, оно переходитъ моменты развитія: начавъ бытіе свое безсознательно и до временно, вдругъ пробуждается для сознанія, но для сознанія еще ес-

тественнаго, непосредственнаго *); наконецъ, наступаетъ для него эпоха выхода изъ естественной непосредственности, оно отрицаетъ родство крови и плоти во имя родства духа, чтобы потомъ чрезъ духъ снова признать родство крови и плоти, но уже просвѣщенное духовомъ. — свѣтомъ божественной мысли. Какъ у единого человѣка, у него бываютъ болѣзни, и фазы болѣзней, и переходъ въ здоровое состояніе. Словомъ, это живая, единичная личность, огромное тѣло, съ безчисленнымъ множествомъ головъ, но съ единою душою, единымъ индивидуальнымъ я. И никогда его единство не бываетъ такъ поразительно, какъ въ тѣхъ грустно или радостно торжественныхъ его положеніяхъ, когда или рѣшается вопросъ о его жизни и смерти, или общая радость заставляетъ сильно биться его исполниское сердце. Все въ немъ усилено въ какомъ-то дремотномъ спойствіи, все такъ обыкновенно и ежедневно: судья ходитъ въ судъ, чтобы брать жалованье и жить имъ, воинъ исполняетъ свои обязанности, какъ долгъ службы, составляющій условія его обезпеченія, купецъ думаетъ о барышахъ, словомъ—все занято собою: кто родится, кто умираетъ, кто женится, кто разводится, и всякій — Иванъ да Петръ, Сидоръ да Лука. Но вотъ буря иноплемennаго нашествія пронесется по усиленному народу и разражается громомъ и молніею надъ его безпечною головою—и нѣтъ больше людей: является народъ, нѣтъ больше личныхъ и частныхъ интересовъ: все дума объ отечествѣ, пестрые толпы слились въ одну обшую массу, во главѣ которой является царь. И тѣ, которые удивляли

*) Здѣсь слово „непосредственный“ употреблено въ значеніи отсутствія посредства мысли въ сознаніи. Младенецъ, или простолюдинъ можетъ быть добръ, не имѣя ни малѣйшаго понятія ни о добрѣ, ни о злѣ—доброта непосредственная; другой можетъ обнаруживать своими дѣйствіями и инстинктивно вѣрными заключеніями удивительную истинность, никогда не думавши о томъ, что такое истина — непосредственное познаніе истины.

вась своею мелкостію и пошлостію, оскорбляли бездушнѣмъ, тѣ часто поражаютъ вась и львиною храбростію, и благородствомъ поступковъ, и великодушною готовностію принести себя на жертву за общее дѣло, даже не думая, чтобы ихъ жертва имѣла какую-нибудь цѣну. Для того-то и насылается буря, чтобы очищала воздухъ, и орошенная земля чреватѣла плодородіемъ и давала плодъ сторицею... Такое зрѣлище представляла собою Русь на мамаевскомъ побоищѣ; такое зрѣлище представляла она въ годину междоусобицъ, когда умирающее сознание ея я было пробуждено и оживлено голосомъ коляры Палицына, святителя Гермогена, мясника Минина и дѣятельнымъ участіемъ князя Пожарскаго... Отчего видна такая забота: на лицахъ вѣхъ и каждаго? отчего по одному направленію движутся, отъ мѣста до мѣста, густыя массы, народа, отчего, говоря словами поэта:

Въ погребальный снѣгъ ись ходъ,
Вся имперія идетъ?...

Умеръ Влагословенный... Отчего въ первопрестольномъ градѣ, отъ заставы до стѣпъ священнаго кремля, тянутся по обѣимъ сторонамъ густыя толпы безчисленнаго народа, едва удерживаемыя въ порядкѣ двойнымъ рядомъ солдатъ, лѣпятся на помостахъ, покрываютъ заборы и кровли домовъ? Кто созвалъ ихъ сюда? Никто, даже тѣ, которые имѣютъ право сзывать народъ, скорѣе озабочены тѣмъ, чтобы число его не было во вредъ ему самому. Отчего лица всѣхъ свѣтлы и радостны, чужды всякой житейской заботы, всякой мысли о себѣ? отчего: глава всѣхъ, съ томленіемъ и трепетомъ ожиданія, обращены въ одну сторону? отчего вдругъ, при царственномъ гулѣ колоколовъ и громѣ пушекъ, воздухъ потрясся отъ стонущаго «ура», какъ бы выходящаго изъ единой груди и единыхъ устъ?... Новый Царь вступаетъ въ древнюю Москву для вѣнчанія на царство...

Много славныхъ и блестящихъ мгновеній пережила молодая Россія—молодая и юная, не смотря на свою девятилѣтнюю

жизнь; много перетеряно было ею славныхъ бѣдъ, много перепраздновано славныхъ торжествъ; но все они помрачаются 1812 годомъ. И въ самый знаменитый 1612 годъ за нее спорили и жизнь, и смерть; но тогда спасеніе казалось чудомъ, которому тогда только повѣрили, когда оно уже совершилось; но въ 1812 г. споръ жизни съ смертію казался еще страшнѣе, а въ спасеніи никто не отчаявался, никто не сомнѣвался даже. Бѣда была торжествомъ: что же самое торжество?... Великое влияние имѣли на Россію нашествіе Наполеона и послѣдняя борьба ея съ нимъ: уже не разъ опытомъ блестящихъ побѣдъ и славныхъ торжествъ сознавала она свои исполнскія силы, но что все эти опыты передъ эпохою XII и XIV годовъ?... Народная фантазія, въ союзъ съ преданіемъ создала могущаго богатыря, въ мифическомъ образѣ котораго видится образъ самого народа и вмѣстѣ символъ его судьбы—Илью Муромца, который, лишенный ногъ, тридцать лѣтъ сидѣлъ сиднемъ, а на тридцать-первый погулять пошелъ. И дѣйствительно: добрый молодецъ расходился и разгулялся... Съ самой эпохи татарскаго ига, Россія была оторвана отъ европейскаго міра и развивалась сама въ себѣ изолированно, формировалась изнутри и извнѣ и крѣпла въ силахъ своей исполнской корпорации; но въ отношеніи къ общему развитію человечества, она сидѣла сиднемъ, погруженная въ дрему непробудную. И вдругъ исполнилъ, ростомъ и силою вровень съ нею, поставилъ ее на ноги, разбудилъ отъ вѣковой дремоты—и она встала и пошла. Съ самаго того мгновенія, какъ царственный жладевецъ началъ тѣшиться въ селѣ Преображенскомъ съ своею потѣшною ротою и потомъ могучею дланью крѣпко ухватился за бразды правленія, Россія не имѣла минуты свободной, чтобы вздремнуть, чтобы забыться покоемъ отъ ратныхъ и гражданскихъ подвиговъ, отъ торжествъ побѣды и славы, отъ триумфовъ завоеваній и приобрѣтеній. Но что вся эта бодрствениная, недреманная, полная трудовъ и дѣятельности жизнь передъ тѣмъ, для которой снова какъ бы пробудилась

она страшнымъ кликомъ: «непріятель идетъ на Москву»? что
 веѣ прежнія ея востанія отъ сна передъ тѣмъ, которое со-
 вершилось при заревѣ пылающей Москвы—этой очиститель-
 ной жертвы за спасеніе цѣлаго народа, этого феникса, вновь
 возродившагося изъ своего священнаго пепла?... И послѣ
 того, какой блистательный рядъ торжествъ!... Дѣло шло уже
 не о новой прибрѣтенной провинціи, не о клочкѣ земли, отби-
 той у враговъ и моря для построенія города, ни даже о завде-
 ваніи царства и царствъ: дѣло шло сперва о собственномъ
 спасеніи, а потомъ о спасеніи всей Европы, слѣдовательно—
 всего міра. Россія тѣсно примыкается къ исторіи Европы, зна-
 комится съ ея бытомъ и домашнею жизнію,—и Царь русскій,

Вождь вождей, царей диктаторъ,
 Нашъ великій Императоръ
 Міра свѣтлая звезда—

является посредникомъ между царями и народами, Готфредомъ
 крестоваго похода новыхъ вѣковъ, изрекаетъ пощадъ и милость
 гордой столицѣ народа, почитающаго себя первымъ народомъ
 въ мірѣ, и въ свѣтломъ торжествѣ и триумфѣ проходитъ по
 столицамъ спасенной имъ Европы!... Явленіе безпримѣрное
 въ исторіи человѣчества и могшее совершиться только въ
 концѣ XVIII и началѣ XIX вѣковъ—въ это время чудесъ и
 гигантовъ!...

У всякаго человѣка есть своя исторія, а въ исторіи свои
 критическіе моменты: и о человѣкѣ можно ошибочно судить,
 только смотря по тому, какъ онъ дѣйствовалъ и какимъ
 онъ являлся въ эти моменты, когда на вѣсахъ судьбы ле-
 жала его и жизнь, и честь, и счастье. И чѣмъ выше чело-
 вѣкъ, тѣмъ исторія его грандіознѣе, критическіе моменты
 ужаснѣе, а выходъ изъ нихъ торжественнѣе и поразитель-
 нѣе. Такъ и у всякаго народа—своя исторія, а въ исторіи
 свои критическіе моменты, по которымъ можно судить о силѣ
 и величіи его духа, и, разумѣется, чѣмъ выше народъ, тѣмъ
 грандіознѣе царственное достоинство его исторіи, тѣмъ пора-

зительнѣе трагическое величіе его критическихъ моментовъ и выхода изъ нихъ съ честью и славой побѣды. Духъ народа, какъ и духъ частнаго человѣка, высказывается выполнѣ только въ критическія минуты, по которымъ однимъ можно безошибочно судить не только о его силѣ, но и молодости и свѣжести его силъ. Бородинская битва, самимъ Наполеономъ названная битвою гигантовъ, была самымъ торжественнымъ, самымъ трагическимъ актомъ великой драмы XII-го года. Взглянемъ на нее со словъ автора книги, подавшей поводъ въ этой статьѣ, и участника, и очевидца въ великомъ дѣлѣ.

«Солдаты наши желали, просили боя. Подходя къ Смоленску, они кричали: «мы видимъ бороды нашихъ отцовъ, пора драться!» Узнавъ о счастливомъ соединеніи всѣхъ корпусовъ, они объяснились по своему: вытягивая руку и разгибая ладонь съ раздѣленными пальцами — «прежде мы были такъ!» (т. е. корпуса въ арміи, какъ пальцы на рукѣ, были раздѣлены), «теперь мы» — говорили они, сжимая пальцы и свертывая ладонь въ кулакъ: «вотъ такъ! такъ пора же (замахиваясь дюжими кулакомъ), такъ пора же дать Французу раз: вотъ этакъ!» — Это сравненіе разныхъ эпохъ нашей арміи съ распростертою рукою и свернутымъ кулакомъ было очень порудски, по крайней мѣрѣ, очень посолдатски, и весьма у мѣста.

«Мудрая воздержность Барклая де-Толли не могла быть оценена въ то время. Его война отступательная была собственно — война завлекательная. Но общій голосъ арміи требовалъ иного. Этотъ голосъ мужественный, громкій, встрѣтился съ другимъ, еще болѣе громкимъ болѣе возвышеннымъ — съ голосомъ Россіи. Народъ видѣлъ наши войска стройныя, могучія, видѣлъ оруженіе огромное, Государя твердаго, готового всѣмъ жертвовать за цѣлость, за честь своей имперіи видѣлъ все это — и въ тайнѣ чувствовалъ, что (хотя было все) не доставало еще кого-то — не доставало полководца русскаго. Зато переездъ Кутузова изъ Санктпетербурга къ арміи приходилъ на какое-то торжественное шествіе. Преданія того времени передаютъ намъ великую поэтическую повѣсть о безпредѣльномъ сочувствіи, пробужденномъ въ народѣ высочайшимъ назначеніемъ Михаила Ларіоновича въ званіе главноначальствующаго въ арміи. Жители городовъ, оставляя всѣ дѣла расчета и торга, выходили на большую дорогу, гдѣ ждалась безостановочно почтовая карета, которой везъ малѣйшія прикѣты

заранѣе извѣстны были войскамъ. Понятныя гражданскія выноски хлѣбъ-соль, духовенство напутствовало предводителя армій молитвами; окольные монастыри высылали къ нему на дорогу иноковъ съ иконами и благословеніями отъ святыхъ угодниковъ, а народъ, не находя другого средства къ выраженію своихъ простыхъ, душевныхъ порывовъ, прибѣгалъ къ старому, радушному обычаю — отпираты лошадей и везъ карету на себѣ. Жители деревень, оставивъ озабоченныя работы (ибо это была пора косы и сердца), спорожили также подлѣ дорогою, чтобы взглянуть, поклониться и въ мабытъ усердія поцѣловать горячій слѣдъ, оставленный колесомъ путешественника. Самовидцы рассказывали мнѣ, что матери бѣжали съ грудными младенцами, становились на колѣни и, между тѣмъ, какъ старики кланялись слѣдъмъ головами, онѣ съ безотечнымъ воплемъ поднимали младенцевъ своими вверхъ, какъ будто поручая ихъ зашитъ верховнаго воеводу! Съ такою огромною въ него вѣрою, окруженный славою прежнихъ походовъ, прибылъ Кутузовъ къ арміи (стр. 5, 6 и 7).

.....
Наканунѣ дня Бородинскаго, главнокомандующій велѣлъ принести въ икону Скорбливой Божіей Матери по всей линіи. Это живо напоминало приготовленіе къ битвѣ будаковской. Духовенство шло въ ризахъ, каддила дымились, свѣчи теплились, воздухъ оглашался пѣніемъ и святая икона шествовала. Сама собою, по влеченію сердца, стотысячная армія падала на колѣни и припадала челомъ къ землѣ, которую готова была упоять до сытости своею кровью. Вездѣ творилось крестное знаменіе, по мѣстамъ слышались рыданія. Главнокомандующій, окруженный штабомъ, встрѣтилъ икону и поклонился ей до земли. Когда кончилось молебствіе, изъсодько головъ поднялось вверхъ и послышалось: „орелъ парить!“ Главнокомандующій взглянулъ вверхъ, увидѣлъ плавающего въ воздухѣ орла и тотчасъ обнажилъ свою сѣдую голову. Ближніе къ нему закричали „ура“ и этотъ крикъ повторился вслѣдъ войскамъ (стр. 39).

Да, это было великое зрѣлище, это была картина міровой жизни, непосредственно явившаяся, волею Божіею, откровеніе вѣчнаго духа жизни, воочію совершившаяся!... Тутъ являлась личность народа, поглощавшая въ себѣ всѣ частныя личности; всѣ умы были полны одною мыслию, сердца однимъ чувствомъ, и бились въ тактъ, какъ бы то было сердце одного человѣка... Не много подобныхъ минутъ хранить исторія на своихъ заветныхъ страницахъ, но поэтому-то и

велики, и священны такіа минуты: ихъ не можетъ произвести и устроить воля человѣческая, но онѣ являются сами, какъ разумная необходимость... Скажите, какая была нужда цѣлому народу до одного человѣка — того семидесятилѣтняго вождя съ сѣдою головою и прострѣленнымъ глазомъ? Развѣ онъ былъ тому отецъ, другому братъ, третьему родня дальняя! развѣ онъ могъ того сдѣлать счастливымъ, другому дать денегъ, третьяго исцѣлить отъ неизлѣчимой болѣзни? Нѣтъ! эти люди были ему чужды, какъ и онъ былъ чуждъ имъ; они были для него — все незнакомыя лица, хотя это лицо и было извѣстно имъ развѣ только по портретамъ. Но почему же его лицо распалось на такое множество портретовъ? почему эти портреты всѣмъ извѣстны? Потому что этотъ человѣкъ есть не частное явленіе, а одинъ изъ выразителей сущности народной жизни, одинъ изъ представителей нравственнаго могущества своего народа, не Михаилъ и не Ларионовичъ, а просто Кутузовъ — имя символическое, изъ собственнаго сдѣлавшееся нарицательнымъ; потому что онъ не случайное выраженіе частной идеи, а необходимо — разумное выраженіе общенародной и человѣчественно-мировой идеи, высшее явленіе высшей дѣйствительности, сынъ не случая, но судьбы... Глубоко замѣчаніе автора «Очерковъ Бородинскаго сраженія», что нуженъ былъ русскій полководецъ, съ русскимъ именемъ: подвигъ Барклая-де-Толли великъ, участь его трагически-печальна и способна возбудить негодованіе въ великомъ поэтѣ ¹⁾; но мыслитель, благословляя память

1) „Полководецъ“ — одно изъ величайшихъ созданій гениальнаго Пушкина, олицетворяющееся слѣдующими стихами:

О родъ людской, достойный слезъ и смѣха,
Жрецы минутнаго, поклонники успѣха!
Какъ часто мимо васъ проходитъ человѣкъ,
Надъ всѣмъ ругается сѣдой и буйный вѣкъ,
Но чей высокій лить, въ грядущемъ поколѣннхъ,
Повѣсть приведетъ въ восторгъ и умиленье!

Барклая-де-Толли и благоговѣя передъ его священными подвигомъ, не можетъ обвинять и его современниковъ; видя въ этомъ явленіи разумную и непреложную необходимость... Отчего же изъ всѣхъ русскихъ генераловъ, только на Кутузовъ остановилось вниманіе и довѣренность царя, безсознательно и какъ бы инстинктивно подтвержденныя удивленіемъ и вѣрою народа? Здѣсь мы понимаемъ глубокий смыслъ изрѣченія св. писанія «гласъ Божій — гласъ народа» — изрѣченія, которое только и понимается въ торжественныя минуты народной жизни, когда исчезаютъ люди и является только народъ.

Рокотъ барабановъ, рѣзкіе звуки трубъ, музыка, пѣсни и крики несвязные (привѣтныя кличъ войска Наполеону) слышались у французовъ. Священное молчаніе царствовало въ нашей линіи. Я слышалъ, какъ квартиргеры громко садовали къ порціи. «Воду привезли: кто хочетъ, ребята! ступай къ чаркѣ!» Никто не шелъохнулся. По мѣстамъ вырывался глубокий вздохъ и слышались слова: «Спасибо за честь! не къ тому изготавлялись; не такой завтра день!» И съ этими многіе старіки, освѣщенные догорающими огнями, «творили» крестное анамѣе и приговаривали: «Мать, Пресвятая Богородица! помоги достоять намъ за землю!»

Еслибы въ книгѣ г. Глинки не было ни одного изъ тѣхъ достоинствъ, о которыхъ будемъ еще говорить ниже, то за одинъ этотъ фактъ, передаваемый ею во всеобщую извѣстность; одна достойна названія народной книги. Никогда явленія духа не бывають такъ мистически поразительны, никогда они не производятъ въ душѣ такого живого, яснаго и трепетно-священнаго созерцанія своей таинственной сущности, какъ открываясь чрезъ эти массы самаго низшаго народа, лишеннаго святаго умственнаго равнѣтія, заглублаго отъ низшихъ нуждъ и тяжелыхъ работъ жизни. Солдаты наши требовали сраженія; мысль, что Москва будетъ отдана непріятелю, заставляла ихъ громко роптать — ихъ, которые по своему національному духу и Богомъ данному имъ инстинкту истины и здраваго разсудка, всегда отличаются безпредѣльнымъ до-

вѣрности въ высшей власти и молчаливымъ выполнениемъ ея велѣній. Бородинская битва была дана для нихъ. Скажите: что такое Москва этому трубному солдату, ему, который никогда не видалъ ея, а только смутно носилъ, въ ограниченномъ кругѣ своихъ понятій, какую-то безсвязную мысль о ея сорока сорокахъ церквей, ея Кремль и бѣлокаменныхъ палатахъ?... Почему же мысль о занятіи ея врагомъ тяжелѣе для него всѣхъ смертей?... Не довольно ли было бы ему ограничиться простымъ и безмолвнымъ выполнениемъ своей обязанности: стать, гдѣ велѣтъ стать, и умереть, гдѣ велѣтъ умереть, не желая и не требуя сраженія, когда «командиры» не хотятъ его, и не называясь, можетъ быть, на вѣрную и неизбежную смерть?... Вотъ самое поразительное и самое очевидное доказательство того, что все живетъ въ духѣ и служить духу и сильно однимъ духомъ: и мудрецъ, глубоко проникшій въ сокровенныя причины вещей, и свѣтскій человѣкъ, имѣющій обо всемъ легкія понятія, и грубый поселенинъ, котораго ограниченный кругозоръ понятій не простирается далѣе низкихъ нуждъ матеріальной жизни. Вотъ самое поразительное и самое очевидное доказательство того, что всякій человѣкъ, на какой бы ступени нравственнаго развитія ни стоялъ онъ, не есть какал-то особность, сама по себѣ существующая, но есть живая часть живого цѣлаго, которая страдаетъ; когда страдаетъ цѣлое; которая тотчасъ сознаетъ свое кровное родство съ тою общиною, которая есть альфа и омега его бытія, какъ охоро настанетъ для нея торжественная минута... Вотъ, наконецъ, самое поразительное и самое очевидное доказательство того, что человеческое общество, народъ или государство, есть не искусственная машина, механически движущаяся, но живое тѣло, кровь и плоть, одушевляемая духомъ. Мы попросили бы кстати мудрыхъ вѣна сего доказать намъ, что въ мірѣ есть какая-то матеріальная сила, какою-то человѣческимъ произволъ, который расчетливо хитрою побѣждаетъ силу духовную

образованность и гений... Мы попросили бы их встать и объяснить намъ, какъ слѣдная воля человѣческая производить явленія, въ которыхъ, по нашему мнѣнью, непосредственно является самъ Богъ; какъ она, собственно сама, творить возможное только Богу, и насильемъ производить въ грубыхъ массахъ любовь, вдохновеніе, самопожертвованіе, единство цѣлей и стремленій, словомъ то, что можетъ производить только духъ...

Обратимся собственно къ книгѣ О. Н. Глинки. Она не есть сочиненіе ученое ни въ военномъ, ни въ историческомъ смыслѣ, и не обогатитъ ни воениста писателя, ни историка новыми фактами. Она даже не имѣетъ достоинства разсказа, въ порядкѣ и картинно-изложеннаго. Сначала авторъ начинаетъ повѣствовать о бородинскомъ дѣлѣ во дни (потому что на Бородинскомъ полѣ дрались 23, 24 и 25 августа), потомъ отдѣльно описываетъ собственно бородинское сраженіе, бывшее 26 августа, и, описавъ его коротко въ цѣломъ, начинаетъ описывать его же въ часамъ, почему необходимо повторять одно и то же и нѣсколько сбиваетъ строгаго, ходоваго читателя. Но его книга, не будучи ни военною, ни историческою, можетъ называться поэтическою. Если она не впечатлѣетъ въ умѣ вашемъ полной, художественно оконченной замкнутой картины бородинской битвы, зато она покажетъ вамъ всю поэзію, всю мистическую таинственную сторону его, дастъ самое вѣрное понятіе о его всемірно-историческомъ значеніи; наведетъ васъ на глубокую, возвышенную думу о человѣчествѣ, о царяхъ и народахъ, вѣкахъ и событіяхъ; вознесетъ васъ въ ту превыспреннюю сферу, гдѣ вашей головы не кружатъ ядовитыя и смрадные испаренія мелкаго эгоизма, жалкихъ заботъ о своей личности и низкихъ нуждъ жизни; возведетъ васъ на ту высокую гору, съ которой исчезаетъ все мелкое и ежедневное, все частное и случайное, но видятся только народы и царства, цари и герои—помазанники и избранники Божіи, своею судьбою осуществляющіе

довременныя судьбы міра, отъ вѣка почивавшія въ лонѣ божественной идеи... Изъ янги Θ. Н. Глинки вы не узнаете бородиной битвы въ стратегическомъ отношеніи, но вы узнаете, что съ тѣхъ поръ какъ люди начали между собою войну, еще не было такой битвы не на жизнь, а на смерть, гдѣ частныя ошибки производились массами, которыя въ прежнія и еще недавнія времена почитались страшными арміями, гдѣ на тѣсномъ пространствѣ гремѣло непрерывно 1,700 орудій, дралось отчаянно 300,000 человекъ; гдѣ умирающіе дорывались оружіемъ, добивали кулакомъ, дегрызали зубами умирающихъ подлѣ нихъ враговъ, гдѣ лопались орудія и взрывались зарядные ящики, воздухъ былъ—дымъ и огонь, рукопашный бой и натискъ непріятельской кавалеріи считались отдыхомъ за прекращеніемъ адскаго дѣйствія непріятельской артилеріи; гдѣ безъ отдыха дрались пятнадцать часовъ, и гдѣ, наконецъ, осталось 29,999 труновъ; вы узнаете, что это была битва гомерическая, гдѣ каждый дѣйствовалъ какъ бы отъ себя, драденъ за свое личное дѣло, за свою личную обиду, гдѣ отдѣльно подвизались и огнедышащій Ней, и левъ русской арміи—Багратіонъ, и горюющий Мюратъ, и русскій Баяръ—Милорадовичъ, и Коновницыны, и Тучковы, и гдѣ Бариллай-де-Толи, сей

...уотарый вожь какъ ратникъ молодой,

Свинца веселый свистъ слышавшій впервой,

Бросался онъ въ огонь, ища желанной смерти;—

Вотще!...

гдѣ спокойно, орлинымъ взоромъ слѣдилъ за судьбою битвы тотъ престарѣлый вожь, на священной сѣдинѣ котораго лежало спасеніе Россіи; гдѣ не разъ погружался въ думу и недоумѣніе сынъ судьбы, «могучій баловень небѣды», и въ первый разъ оказалъ несвойственную ему нерѣшительность и опустилъ нѣсколько драгоцѣнныхъ мгновеній... Въ книгѣ Θ. Н. Глинки вы найдете живую кистію начертанные портреты героевъ битвы, и мастерски набросанныя отдѣльныя ея картины и очерки.

По приведенным выше образцам читатели могут безошибочно судить о благородной простоте и поэтической живости слова; равно как и о важности книги *Θ. Н. Глинки* для русской публики. Это книга народная, в полном значении этого слова, потому что, при великой важности содержания, она весьма равно доступна. Теперь, когда Русские уже не стыдятся, не гордятся быть Русскими; теперь, когда знакомство с родною славой и родным духом одѣлалось общою потребностью и общою страстью, стыдно Русскому не иметь книги *Θ. Н. Глинки*, единственной книги на русском языке, в которой одинъ изъ величайшихъ фактовъ отечественной славы рассказанъ такъ живо, увлекательно и такъ общедоступно? Но книга *Θ. Н. Глинки*, при большихъ достоинствахъ, не чужда и некоторыхъ недостатковъ, которые долгомъ считаемъ замѣтить, въ надеждѣ, что почтенный авторъ, при второмъ изданіи своего прекраснаго сочиненія, изданіи, которое, вѣроятно, скоро потребуется, не оставитъ воспользоваться нашими замѣчаніями, если найдетъ ихъ справедливыми. Въ цѣломъ его сочиненіи мы желали бы видѣть больше единства и послѣдовательности въ изложеніи событій, и меньше дробности и разнообразія въ манерахъ и приѣмахъ рассказывать. Равнымъ образомъ, намъ очень непріятно, что благородная простота слова автора «*Очерковъ Бородинскаго Сраженія*» иногда пачается то изысканными и натянутыми сравненіями, какъ напримѣръ, «сшибающихся рядовъ съ разбивающимся стекломъ», потомъ, «съ рабочею храниною хлима», сравненіями которыя, нисколько не поясняя сущности дѣла, только затмѣняютъ его; то изысканными и натянутыми выраженіями, какъ напр. приурочить, вмѣсто отнести или присоединить, и другихъ тому подобныхъ; въ одномъ мѣстѣ мы даже встрѣтили слово «объективный», совершенно неумѣстно употребленное, и потому неимѣющее никакого значенія. Но что всего непріятнѣе и досаднѣе въ «Очеркахъ», это мѣста, вызывающія ложный, разсудочный и вѣбшій мистицизмъ, который

видить таинство не въ сущности идеѣ, а въ случайныхъ столичнейшихъ обстоятельствахъ, случайномъ числѣ какою-нибудь. Напримѣръ, пристрастно сравнивая Кутайсова съ наладникомъ среднихъ вѣковъ, авторъ подтверждаетъ это сравненіе тѣмъ, что сраженіе при Бреси происходило 26-го же августа, въ которое палъ Кутайсовъ. Потомъ замѣчаетъ, что въ бородинскомъ бою участвовало съ обѣихъ сторонъ шесть Михайловъ, какъ будто Михайлъ было имя привилегированное, и число шесть смолько-нибудь относилось къ сущности дѣла или пояснило его.

Мы сказали, что книга О. Н. Глинки есть единственная народная книга о бородинскомъ сраженіи, разумѣя подъ этимъ ея чисто литературный характеръ и нисколько не думая давать ей преимущество передъ учеными сочиненіями оныхъ XII года генераловъ Михайловскаго-Данилевскаго, Бутурлина и другихъ военныхъ писателей.

Но, можетъ-быть, многие изъ читателей упрекнутъ насъ въ томъ, что въ критикѣ «Очерковъ Бородинскаго Сраженія» болѣе всего заняты выводы и разсужденія о народахъ, нежели взгляды на самую битву бородинскую, подающую къ нимъ поводъ... Всякое явленіе можетъ быть разсматриваемо съ двухъ сторонъ—со стороны идеи, выражаемой имъ, и со стороны самаго выраженія идеи. Но какъ основаніе и сущность всякаго явленія заключаются въ идеѣ, выражаемой имъ, то самое выраженіе (фактъ) не можетъ быть понятно, когда разсматривается само по себѣ, вѣтъ скрывающейся въ немъ мысли. Критика есть сознаніе общихъ законовъ частнаго явленія, разсматриваемаго ею: слѣдовательно, идеи, какъ первообразы вѣчныхъ и переходящихъ законовъ разума, должны быть ея главнымъ и исключительнымъ предметомъ, а само явленіе (фактъ) должно служить ей только средствомъ для приложенія общихъ законовъ къ частному явленію. Подробности о бородинской битвѣ читатели найдутъ въ самихъ «Очеркахъ», слѣдовательно, пересказывать ихъ отъ лица критика—лишній

трудъ, когда дѣло идетъ о книгѣ литературной и общепонятной, а пересказывать ихъ отъ лица автора—значило бы наполнить статью выписками и, по примѣру нѣкоторыхъ критиковъ, легкимъ образомъ блистать чужимъ умомъ и на чужой счетъ. Поэтому, намъ хотѣлось дать читателямъ нашу точку зрѣнія на бординскую битву, не какъ на случайное явленіе, безъ начала и конца, безъ причины и слѣдствія, но какъ на необходимое проявленіе народной жизни, какъ на непосредственное осуществленіе и откровеніе воли Божіей; и тѣмъ указать на мистическую и таинственную сущность этого великаго событія,—а этого нельзя было иначе сдѣлать, какъ отпавившись отъ первоначальной идеи, воспроизводящей и всеживущей изъ собственной творящей силы. Мы думаемъ, и убѣждены, что уже проходить въ нашей литературѣ время безотчетныхъ взглядовъ съ «ахами» и восклицательными знаками и точками, для выраженія глубокихъ идей безъ всякаго смысла; что проходить уже время великихъ истинъ, съ диктаторскою важностію изречаемыхъ, и ни на чемъ не основывающихся, ничѣмъ не подтверждающихся, кромѣ личнаго мнѣнія и произвольныхъ понятій мнимаго мыслителя. Публика начинаетъ требовать не мнѣній, а мысли. Мнѣніе есть произвольное понятіе, основанное на поговоркѣ: «мнѣ такъ кажется»; какое же дѣло публики до того, что и какъ кажется тому или другому господину?... Притомъ одинъ и тотъ же предметъ одному кажется такъ, другому иначе, а большей части обыкновенно вверхъ ногами. Вопросъ не въ томъ, какъ кажется, а въ томъ — какъ есть въ самомъ дѣлѣ, и этотъ вопросъ можетъ рѣшаться не мнѣніемъ, а мыслию. Мнѣніе опирается на случайномъ убѣжденіи случайной личности, до которой никому нѣтъ дѣла, и которая сама по себѣ — очень неважная вещь; мысль опирается на самой себѣ, на собственномъ внутреннемъ развитіи изъ самой себя, по законамъ логики. Давно уже прошло то блаженное время, когда разобрать критически художественное произведеніе значило,

разобрать некоторы фразы, или удачно составленные, или погрѣшающіи противъ яснаго; теперь безвозвратно проходить и то блаженное время, когда неприванный критикъ, какъ бы издаваясь надъ мушкетною, объявляетъ, что: личныя оцѣненія — выходящій критеріумъ изыскаго, и сказать, что то или другое сочиненіе «принадлежитъ къ лучшимъ явленіямъ литературнаго года», что оно «ему очень понравилось», что онъ «много провѣлъ въ немъ съ особеннымъ наслажденіемъ», — сказавъ это въ десяти строкахъ, дѣлаетъ десять или двѣнадцать страницъ выписокъ, и смѣло, крупными литеромъ, ставитъ въ заглавіи этихъ выписокъ простое слово «критика». Да, безвозвратно проходитъ уже пора, такъ сказать, мороченья публики подобными штуками. Достоинство и важность мысли начинаютъ принаваться всѣми. Что касается лично до насъ, мы такъ глубоко убѣждены, что истина не въ людскихъ «мнѣніяхъ», не въ личныхъ убѣжденіяхъ, а только въ мысли, что еслибы въ опроверженіе этого указали на наши собственныя статьи, мы скорѣе бы согласились въ томъ, что или тѣ, которыми онѣ кажутся недоказательными, не допросили ни до потребности, ни до пониманія «мысли», или что, въ самомъ дѣлѣ, въ нашихъ статьяхъ заключаются причины ихъ недоказательности, — чѣмъ согласиться въ томъ, чтобы могущество и очевидность истины заключались не въ «мысли». Во всякомъ случаѣ, «Отечественныя Записки» старались и будутъ стараться удовлетворять по возможности общей потребности идеи, предоставляя другимъ угощать публику «своими мнѣніями», если только публикѣ въ самомъ дѣлѣ, большая нужда знать, каковы мнѣнія, у «сего» или «этого» господина, такъ называемаго критика.

II.

БИБЛІОГРАФІЯ.

**ПОВѢСТЬ О ПРИКЛЮЧЕНІИ АНГЛИНСКАГО МИ-
ЛОРДА ГЕОРГА, О БРАНДЕНБУРГСКОЙ МАРК-
ГРАФИНѢ ФРИДЕРИКѢ ЛУИЗѢ, СЪ ПРИСО-
ВОУЩЕНІЕМЪ ЕЪ ОНОЙ (къ бранденбургской
маркграфинѣ Фридерикѣ Луизѣ?) ИСТОРИИ ВЫВ-
ШАГО ВИЗІРЯ МАРЦИМИРИОА И САРДИН-
СКОЙ КОРОЛЕВЫ ТЕРЕЗИИ. Съ гравированными
картинами и портретами. Изданіе десятое. Москва.
1839. Три тома.**

«О, милордъ англійскій, о великій Георгъ! ощущаешь ли ты съ какимъ грустнымъ, тоскливымъ и вѣдѣтъ отраднымъ чувствомъ беру я въ руки тебя, книга почтенная, хотя и безсмысленная! Въ то время, когда я уже бойко читалъ по толкамъ, хотя еще и не умѣлъ писать, въ то время, когда еще только начиналось мое литературное образованіе, когда я прочелъ и «Бову» и «Еруслана» гражданскою печатью, и «Повѣсти и романы господина Вольтера», и «Зеркало добродѣтели» съ раскрашенными картинами,—скажи, не тебя ли жадно искалъ я, не къ тебѣ ли тоскливо порывалась душа моя, пламенная ко всему хорошему и прекрасному?... Помню тотъ день незабвенный, когда, доставъ тебя, уединился я далеко, нахотѣлся, въ огородѣ между грядками бобовъ и гороха, подъ открытымъ небомъ, въ лѣсу пышныхъ подсолнечниковъ—этого роскошнаго украшенія огородной природы, и тамъ, въ этомъ невозмутцаемомъ уединеніи, быстро перестрачивалъ твои толстыя и жестокія страницы, всею душою удивляясь дивнымъ приключеніямъ, такою широкою кистью, такъ богато и красно изложеннымъ... Задумался я, погружившись сердцемъ въ какое-то

сладостное мечтаніе... Передо мною носился образъ твоей прекрасной, о Георгъ, маркиграфини, которая наполнила меня такимъ нѣжнымъ, трепетнымъ чувствомъ удивленія къ своей дивной красотѣ и женственному достоинству, что, мнѣ кажется, не посмѣлъ бы дотронуться и до рукава ея богатаго платья!.. А ты, неистовый Георгъ, ты не только рѣшился остаться ночевать съ нею въ одной комнатѣ, но даже и впечатлѣть на ея устахъ преступный поцѣлуй, за что она, пришедъ въ великую свирѣпость, не то надавала тебя пощечинами, не то выгла отодратъ тебя плетью на конюшнѣ — не помню, право, а справиться некогда. И какъ любилъ тебя Жейлины, какъ навязывались онѣ сами на тебя, а, оторвавшись отъ тѣхъ милордовъ англійскихъ! И Елизавета, твоя обрученная, и маркиграфиня, твоя возлюбленная, и королева арабская, и королева гишпанская — сколько ихъ, и все королевны!... А ты, несчастный визирь турецкій, злополучный Марцимиръ, помнишь ли ты, какъ страдалъ я тебѣ, когда лукавый чортъ отбивалъ у тебя твою прекрасную жену, королеву сардинскую, Терезію? О, еслибы попался тогда мнѣ въ руки этотъ дьяволенокъ, я бы показалъ ему, что адъ-то не въ аду, а у меня въ рукахъ!.. О, какъ я радъ былъ, когда, наконецъ, наградились ваша прилежная вѣрность, образцовые любовники, какіхъ нѣтъ болѣе въ нашъ вѣтранный и, какъ утверждаютъ какой-то журналистъ, въ нашъ положительный, индустриальный, антимоетическій вѣкъ, въ который, по этому, уже невозможны ни «Милорды англійскіе», ни «Аббадонны»... О, милорды! что ты со мною сдѣлала? Ты такъ живо напомнила мнѣ золотые годы моего дѣтства, что я вижу ихъ передъ собою; желѣзная современность исчезаетъ изъ моего сознанія; я снова становлюсь ребенкомъ, и вотъ уже съ близкими сердцемъ бѣгу по пыльнымъ улицамъ моего родного городка, вотъ влѣзу на дворъ родного дома съ тесовою кровлею, окруженный бревенчатыми заборами... Вотъ отъ воротъ до крыльца трехугольный малосадыкъ, съ яблони, черемуховыми дере-

вошь и купю розановъ... Вотъ и огородъ, которому со двора служить оградой погребъ и другія службы, съ небольшоими промежутками частокола, а съ остальныхъ трехъ сторонъ — плетень... Вотъ и маленькая баня при вхѣдѣ въ огородъ; даже и среди бѣлаго дня пугавшая мое дѣтское воображеніе своею таинственною пустотою... а вотъ возлѣ нея, и столбъ сѣна, на которомъ я часто воображалъ себя то Александромъ Македонскимъ, то Ерусалаимъ Лазаревичемъ... вотъ онъ и весь огородъ, съ своими грядами, своими подсолнечниками, которые черезъ его плетень дружелюбно наклонили свои густыя вѣтви... А въ домѣ — тамъ нѣтъ ни комнаты, ни мѣста на чердакѣ, гдѣ бы я не читалъ, или не мечталъ, или, позднѣе, не сочинялъ... Пойдите, я поведу васъ... Но, милордъ, что ты со мною сдѣлалъ?... Какая кому нужда моего дѣтства?... Я мечтаю, а надо мною смѣются — и всему этому виноваты ты...» и пр. и пр.

Вотъ и извольте всегда быть безпристрастнѣйшій! Нѣтъ, нельзя быть безпристрастнѣйшій: безпристрастіе — добродѣтель сухая, мертвая, чиновническая! Вамъ смѣшнѣе, нелѣпѣе, грубѣе «Милордъ Англинскій», а нашему доброму пріятелю, изъ записокъ или рукописныхъ «мемуаровъ» котораго мы выписали вышеприведенное мѣсто (и рѣшились на выписку потому, что эти мемуары, вѣроятно, никогда не будутъ изданы), этому пріятелю нашему онъ милъ, любезнѣе, дорогѣе — онъ напоминаетъ ему такое время, о которомъ этотъ не можетъ вспомнить безъ слезъ умиленія и сердечной тоски... Да и сколько наслажденія доставлялъ милордъ, вѣроятно, многимъ и многимъ во время оно! И одно ли наслажденіе? Нѣтъ, и пользу: черезъ него многіе впервые узнали, какая прежде была вѣра у англинскихъ милордовъ... Мы не скроемъ отъ васъ этого и охотно подѣлимся съ вами знаніями, которыя мы приобрѣли изъ этой книжицы: у англинскихъ милордовъ вѣра была сперва языческая или баснословная, что можно узнать, впервыхъ, по слѣдующему вступ-

ленію въ повѣсти! «Въ прошедшія времена, когда еще европейскіе народы не всѣ приняли христіанскій законъ, но нѣкоторые находились въ баснословномъ языческомъ идолопоклоненіи, случилось въ Англіи съ однимъ милордомъ слѣдующее странное приключеніе». Потомъ это видно изъ приложеннаго при концѣ повѣсти реестра древнихъ языческихъ боговъ и богинь, изъ которыхъ, напр., Сатурнъ описывается такъ: «Старшій изъ всѣхъ боговъ у язычниковъ почитался Время, названное Сатурномъ, котораго изображаютъ съ крыльями на плечахъ, держащаго въ рукѣ косу, на головѣ песочные часы, и будто онъ поѣдалъ всѣхъ своихъ дѣтей, кромѣ оставшихся Юпитера, Нептуна и Плутона». Реестръ боговъ и богинь заключенъ слѣдующимъ глубоко-премудрымъ замѣчаніемъ: «Вотъ какими нелѣпостями наполнена была древность, и всего еще удивительнѣе, что въ тогдашнія времена, какъ у Грековъ, такъ у Римлянъ, были великіе разумники, но всему.¹⁾ суетвѣрію слѣдо и безразсудно вѣрили».

На страницѣ, второй послѣ заглавнаго листка, красуется таковая эпиграфъ:

Очастье подобно какъ прекрасный цвѣтъ,
Который между терніями растетъ;
Если станешь срывать неосторожно,
То скоро онимъ уколоться можно.

Знаете ли, кто авторъ этихъ безподобныхъ стиховъ? — Все онъ же, все «Матвѣй же Комаровъ, житель города Москвы». А кто таковъ сей Матвѣй Комаровъ? — спрашиваете вы. Лицо, столь же великое и столь же таинственное въ нашей литературѣ, какъ и Гомеръ въ греческой: имя его и мѣсто жительства извѣстны, но гдѣ онъ родился и обстоятельства его жизни совсѣмъ неизвѣстны. Знаютъ нѣкоторые по именамъ и его сочиненія, но никто не знаетъ цѣны его сочиненіямъ, и немногіе читали ихъ, а между тѣмъ они ра-

¹⁾ Въ изданіи прошлаго года сказано: „всеу оному суетвѣрію“.

зопились едва ли не въ числѣ десятковъ тысячъ эвземляровъ, и нашли для себя публику помногочислѣннѣе, нежели «Выжигины» гг. Булгарина и Орлова. Сочиненія эти слѣдующія: «Повѣсть о приключеніяхъ англійскаго милорда Георга», «Исторія французскаго мошенника Картуна» и «Обстоятельное и вѣрное описаніе жизни славнаго руссійскаго мошенника Ваньки Каина». Когда жилъ Матвѣй Комаровъ, житель города Москвы? — Вотъ интересный вопросъ, котораго, къ сожалѣнію, не рѣшаетъ собственноручное къ «Англійскому Милорду» предувѣдомленіе самого автора, обращенное къ «благоразумнымъ читателямъ и любезнымъ согражданамъ», потому что подъ этимъ предисловіемъ не выставлено года и мѣсяца. Когда-нибудь, мы, позапасшись фактами, познакомятъ публику съ Матвѣемъ Комаровымъ и его сочиненіями поподробнѣе, а теперь о немъ самое скажемъ только, что это предостолобевѣйшій въ мірѣ человекъ. Не угодно ли вамъ узнать, для чего сочинилъ онъ «Англійскаго Милорда»? Онъ вотъ что говоритъ объ этомъ въ своемъ предисловіи:

„Я труды моего пера не съ тѣмъ выпускаю въ публику, чтобъ чрезъ то заслужить себѣ авторское имя; ибо я не хочу уподобиться безразсудному аѳинейскому Герострату, который для того только сжегъ славный въ числѣ семи древнихъ чудесъ почитающійся Діанѣинъ храмъ (въ самую ту ночь, какъ родился Александръ Великій), чтобъ тѣмъ сдѣлать имени своему безсмертную память; но мое намѣреніе единственно состоитъ въ томъ, чтобы показать обществу хотя жалкіишу накую ли есть услугу, и не проводить бы время моей жизни въ праздности, посвѣдуя въ томъ словамъ одного аѳиняго нашего стихотворца, который говоритъ:

„Безъ пользы въ свѣтъ жить,
Напрасно землю лишь тягчить“.

А вотъ вамъ доказательство примѣрной скромности почтеннаго «жителя города Москвы»:

„Что же принадлежитъ до критики, то хотя я и знаю, что иногда и самыя изслусныя писатели не рѣдко оной подвѣжены бывають („)

а мнѣ уже, какъ человеку: ничему, не, унаному, избавиться отъ того очень будетъ трудно; и, потому воображается мнѣ, что можетъ быть, нѣкоторые скажутъ: „не за свое дѣло онъ принялъ дѣло!“ Однакожь и все сіе предаю на разсужденіе благоразумныхъ читателей, потому что всякую вещь кто какъ понимаетъ, тотъ такъ объ оной и заключеніе дѣлаетъ, а многіе иногда и для того, чуждымъ дѣломъ критикуютъ, что авторыды нѣмудры и непонятны. Но, а какъ читателю, какъ и къ другимъ пребуду навсегда съ должнымъ, да и до всякому читателю, съ моимъ почтеніемъ, всепокорнѣйшимъ слугою,

Матвѣй Комаровъ,
житель города Москвы“.

Судьба книгъ такъ же странна и таинственна, какъ судьба людей. Не только много было умныхъ «Англинскаго Милорда», но были на Руси еще и глупые его винтики: за что же онъ забытъ, а онъ до сихъ поръ печатается и читается? Кто рѣшить этотъ вопросъ! Вѣдь есть же люди, которымъ везетъ Богъ: знаетъ за что! потому что они очень умны, или очень глупы. Остатіе слѣпо! Сколько поколѣній въ Россіи начало свое чтеніе, свое занятіе литературою съ «Англинскаго Милорда». Одни изъ сихъ людей пошли дальше и — неблагодарные — смѣются надъ нимъ, а другіе и, теперь еще читаютъ его себѣ, да почитываютъ! Вотъ уже, кажется, это третье изданіе, третье съ 1837 года, на которое, на оборотѣ главнаго листка, подъ цензурнымъ одобреніемъ, стоитъ уведомленіе: «печатано съ изданія 1834 года безъ исправленія». И изданіе 1839 года — «девятое»! Когда же было первое изданіе? — Въ каталогѣ Логина «Исторія Карлуина» означена 1794 годомъ; слѣдовательно, сорокъ четыре года назадъ; къ тому же времени долженъ относиться и «Англинскій Милордъ». Живъ ли его авторъ? онъ ли безпрестанно издаетъ вновь свое великое твореніе, или имъ пользуются книжные промышленники? Все это вопросы важные, сказать бы чуждымъ съ «высшими взглядами».

Книжица украшена портретомъ, англинскаго милорда. Георга: какая-то рожа въ парикѣ и постыжъ времятъ Петра

Великаго: Сверхъ того, къ ней приложены четыре картины: это ужъ даже и не рожи, а Богъ знаетъ что такое. Вотъ, напримеръ, на первой изображены подь чѣмъ-то похожими на дерево: накой-то болванъ съ поднятыми вверхъ руками и растопыренными пальцами; подъ него нарисована деревянная лошадка, а у ногъ двѣ фигуры, столько же похожія на собакъ, сколько и на лягушекъ, а подъ картиною надписано: «Милордъ отъ страшной грозы пролетѣ надъ деревомъ и протеръ руны, просить о утѣшеніи бури». Сличите эти картины съ тѣхъ изданій—и вы не въ одной черточкѣ не увидите разницы: онѣ отгискиваются на тѣхъ же доскахъ, которыя были вырѣзаны еще для перваго изданія. Вотъ что называется безомертвѣемъ!...

ГАДАТЕЛЬНАЯ КНИЖКА. Москва. 1839.
ЧУДЕСНЫЙ ГАДАТЕЛЬ *узнаетъ задуманныя мысли*
и т. д. Изданіе четвертое (III). Москва. 1869.

Всякое убѣжденіе, всякая остроумность души, какъ бы ни были они, по видимому, мелки, и имѣть корень въ ея существѣ и могутъ быть объяснены нѣмъ развитія ея жизни. Случайности можетъ быть въ частныхъ, отдѣльныхъ проявленіяхъ, но случайности нѣтъ въ общемъ, въ рядѣ, въ существѣ. Италь, для того, чтобы понять какое-либо дѣйствіе, какое-либо явленіе въ нравственномъ мірѣ, должно найти его источникъ и понять тотъ фазисъ въ развитіи внутренняго міра, который обнаруживается въ этомъ дѣйствіи или въ этомъ явленіи. Тогда отдѣльное явленіе получить общее значеніе: оно будетъ понятно, и если оно въ свою бытность было мѣлко или пошло, или даже отвратительно и гнусно, то, будучи понятно, оно уже и не мѣлко и не пошло, и не отвратительно: оно облагораживается, оно становится явленіемъ необходимаго состоянія души или

духа вообще. Но съ другой стороны страшно было бы думать, что все, имѣющее внутреннюю и необходимую причину, истинно и нормально. Не смотря на такую причину, иное явление потому ложно и ненормально, что самый источникъ его не есть нормальное состояніе духа и принадлежитъ къ той отрасли его развитія, на которой онъ еще скованъ и потемнѣлъ для того, чтобы послѣ, чрезъ посредство развитія стать свободнымъ и свѣтлымъ. То состояніе духа ложно и не нормально, въ которомъ онъ подчиняется какому-нибудь отдѣльному моменту своего существа и, весь отдавшись одностороннему направленію, доходитъ, наконецъ, до крайности, до искаженія своего существа. Для человѣка, промѣ его индивидуальности, существуетъ еще міръ внѣшній, міръ объектовъ. Въ развитіи индивидуальнаго я есть такой моментъ, въ которомъ оно отрицаетъ отъ себя всякую истину и полагаетъ ее всю въ объектѣ. Продолжая развивать далѣе этотъ моментъ, онъ доходитъ, наконецъ, до рѣзительной крайности, принимая за истину все, что только противорѣчитъ его опредѣленіямъ. Эта моментная крайность называется суевѣріемъ. Сущность суевѣрія именно заключается въ томъ, что оно видитъ всю истину во внѣшнемъ, положительномъ, и не потому, чтобы оно было убѣждено въ разумности внѣшняго и положительнаго, а потому что оно, напротивъ, темно и недоступно для я (что бы ни было это я—чувство ли, предчувствіе ли, мысль ли) и диаметрально противорѣчитъ ему. Чѣмъ страннѣе, чѣмъ нелѣпнѣе, чѣмъ безосмысленнѣе явленіе, тѣмъ больше уваженія оказываетъ ему суевѣріе; и для того, чтобы придать важность простому и обыкновенному случаю, для того, чтобы вывести его изъ ряду прочихъ случаевъ, суевѣріе старается только затеменить его, какъ можно больше запутать, какъ можно нелѣпнѣе представить. Суевѣріе видитъ во всемъ присутствіе чего-то таинственнаго, но не той родственной съ нашими духомъ, сладостной, благоуханной тайны, не души всего живого, перестающей быть тайною, когда духъ выйдетъ

изъ сумрака чувства на ясный свѣтъ разумной мысли — не того, что составляетъ существо благороднѣйшаго фазиса въ духовномъ развитіи, мистицизмъ, — нѣтъ; таинственное, въ которомъ живетъ суевѣріе, холодно и мертво: оно подавляетъ и душитъ, потому что въ немъ отражается всякая разумность, всякій смыслъ; здѣсь духъ падаетъ въ униженіи, трепещущій и безсильный, заключенный рабствомъ въ оковы, и лежитъ у ногъ мрачнаго, деспотическаго, непроницаемаго произвола. Суевѣріе относится къ мистицизму, какъ слѣпотѣ къ магнетическому ясновидѣнію, которое хотя не есть здоровое состояніе, однако знаменуетъ наступленіе здоровья. Суевѣріе не выходитъ изъ тѣсныхъ границъ ежедневнаго міра; оно только старается ступить въ немъ непроницаемый мракъ; мистика, сквозь сумракъ дальняго міра, видитъ далекое мерцаніе духовнаго свѣта... Суевѣріе сближаетъ насильственно самые разнородные предметы, уничтожаетъ всѣ законы, придаетъ всему сверхъестественную силу; всѣ дѣйствія и явленія выходящія изъ него, сухи, мертвы, лишены всякой духовности. Вотъ источникъ всѣхъ нелѣпыхъ предрассудковъ, гаданій, примѣтъ. Человѣкъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, связываетъ свою жизнь, свое предпріятіе съ обстоятельствами, неимѣющими никакой съ ними связи; онъ связываетъ именно потому, что нѣтъ никакой связи; онъ не выѣзжаетъ никуда въ понедѣльникъ; онъ опасается, выходя изъ дома, ступить первый шагъ лѣвой ногою; онъ задрожитъ, если нечаянно просыплетъ соль за столомъ; онъ въ ужасѣ вспомнитъ изъ-за стола, если увидитъ, что за нимъ сидятъ тринадцать человѣкъ, и т. д., онъ же ищетъ, напримѣръ, изъ случайнаго смѣшенія картъ предугадывать свою будущую судьбу, или предугадать судьбу какого-нибудь предпріятія изъ того, что случайно откроется и прочтется въ нелѣпой гадательной книжкѣ...

Записавшись, мы чуть было не забыли, о чемъ должна теперь идти у насъ рѣчь: но слово «гадательная книжка»

заставило насъ невольно взглянуть на книжицы, лежащія передъ нами, а эти книжицы заставляли насъ также невольно отвести въ другую сторону наши оскорбленные взоры. И кто бы не оскорбился, кто бы не отвернулся, взглянувъ къ на: начальныя листы этихъ приторныхъ въ своей пошлости тетрадей! Намъ стало стыдно, что мы разговаривали по случаю ихъ такъ серьезно;... Все, даже и гадательныя книжки, несмотря на уродливость своего назначенія, допускаютъ нѣкоторую степень изящества: гадательная книжка могла бы быть занимательнымъ обрѣзкомъ остротъ словъ, мѣткихъ изреченій, забавныхъ нападковъ; въ ней могло бы быть обширное поприще для веселой болтовни, для способности острить; которую, какъ бытъ, многохочомъ, у насъ очень нелегко сжививаютъ съ остроуміемъ, другою, гораздо высшей способностью... А эти книжицы... Но замолчимъ лучше о нихъ.

ВОРОДИНСКАЯ ГОДОВЩИНА. В. Жуковскаго. Москва.

1839.

**ПИСЬМО ИЗЪ ВОРОДИНА ОТЪ ВЕЗРУКАГО КЪ
ВЕЗНОГОМУ ИНВАЛИДУ.** Москва. 1839.

Ничто какъ не расширяетъ духа человѣческаго, ничто не открываетъ его такимъ могучимъ орлинымъ полетомъ въ безбрежныя равнины царства безконечнаго, какъ созерцаніе міровыхъ явленій жизни. Поэтому, исторія человечества, какъ объективное изображеніе, какъ картина и зеркало общихъ, мировыхъ явленій жизни, доставляетъ челоѣку наслажденіе безграничное, полное роопощаго, трепетно-сладкаго восторга; созерцанія эти движущіяся, ошпетворившіяся судьбы человечества, въ лицѣ народовъ и ихъ благородныхъ представителей, ставъ лицомъ къ лицу съ этими полными трагическаго величія событіями, духъ челоѣка — то падаетъ предъ

ними во прахъ, прогнанный мятежнымъ и непокорнымъ его
самобладаю чувствомъ, икъ царственной граціозности, и
подавленный обременительною полнотою собственнаго упое-
нія, — кто, жоркая свой восторгъ разумнымъ промисловіемъ
въ нѣхъ сокровенную сущность, сами востаетъ въ мощномъ
величіи, гордо сознавая свое родство съ ними. Вотъ, гдѣ
скрывается абсолютное значеніе исторіи и вотъ почему за-
нatie ея есть такое блаженство, — нѣмѣ не можеть замѣнить
человѣку: нѣ одна изъ абсолютныхъ сферъ, въ которыхъ
открывается его духу сущность сущаго и родственно слы-
вается съ ними до блаженнаго уничтоженія его индивидуаль-
ной единичности. Да, кто способенъ выводить изъ внутрен-
няго міра своихъ задушевныхъ, субъективныхъ интересовъ,
чей духъ столько могучъ, что въ силахъ переступить за черту
закодированнаго круга прекрасныхъ, обаятельныхъ радостей
и страданій своей человеческой личности, вырваться изъ
ихъ, милыхъ, лелѣющихъ объятій, чтобы озеркать великія
явленія объективнаго міра, и ихъ объективную особенность
усвоить въ субъективную собственность чрезъ сознаніе своей
съ ними родственности, — того ожидаетъ высокая награда, без-
конечное блаженство: вавсвертають слезами восторги очей его,
и весь онъ будетъ — настроенная арфа, бряцающая торже-
ственную мѣль своего освобожденія отъ оковъ конечности,
своего сознанія духомъ, нѣ духъ. Но тогда мировое истори-
ческое событіе есть въ то же время и фактъ отечественной
исторіи, и его субстанціальная родственность съ духомъ со-
звѣдающаго просвѣтитъ до прозрачности его таинственную
сущность, — о, тогда его блаженство будетъ еще шире, без-
конечнѣе, потому что на родной призвѣтъ отзовутся новыя
струны, сокрытыя въ самыхъ недоступныхъ глубинахъ его
сердца!... Въ такимъ-то великимъ мировымъ явленіямъ при-
надлежитъ битва бородинская — истинная битва, гигантовъ,
гдѣ, съ одной стороны, исполнитель мировыхъ судебъ, вле-
комый бессознательнымъ стремленіемъ наполнить страшную,

бездннкую пропасть своего необъятнаго духа, минуть, послѣднимъ подвигомъ, остановить свою блуждающую заѣзду и стать у темной цѣлы своего таинственнаго пути, а съ другой—великій народъ, подъ знаменемъ креста, и державной власти, стать за свое существованіе и за честь своихъ царей,—

И равенъ былъ неравный споръ...

Дивное зрѣлище! Умъ изнемогаетъ, силѣсь обнять его во всей безконечности его значенія!... И тому прошло уже двадцать семь лѣтъ, и новыя поколѣнія сѣяли старыя, и уже многихъ нѣтъ изъ знаменитыхъ сподвижниковъ, и лавровѣнчанныя главы оставшихся покрыты священною сѣдиною, и уже давно исполнились раны молодого царства, и уже давно цвѣтеть оно и новою жизнію, и новыми силами, и новою славой,—а между тѣмъ все это какъ будто вчера было... Да оно и въ самомъ дѣлѣ было не двадцать семь лѣтъ назадъ, а недавно, очень недавно, если не вчера, потому что только теперь, только ставши прошедшимъ, явилось оно намъ во всемъ своемъ свѣтѣ, уже не ослѣпляя своимъ блескомъ нашихъ брѣнныхъ очей, но радуя ихъ отдаленнымъ сіяніемъ своего безсмертнаго величія, намъ радуется очи торжественная, обаявшая полнеба, но тихо мерцающая заря вечера или утра...

Великое прошедшее родило великое настоящее... Царственно-высокій духъ русскаго Царя, созерцающій минувшія судьбы вѣреннаго ему Богомъ народа, остановился на полѣ славы своего державнаго брата, на полѣ славы своего народа,—и его монаршей волѣ было достойно воздать дань благодарности и славы великому подвигу сподвижниковъ Благословеннаго... И вотъ частное владѣніе становится даромъ Царя своему будущему преемнику, и въ Бородинѣ, «отъ храма Господня до хижины земледѣльца, все преобразовано, перелажено и представляетъ собою обширную дачу съ устроенными, для сообщенія, мѣстами, дорогами и улицами, и въ верстѣ отъ Бородина, на бывшей батарее Раев-

саго, величественно и гордо возвышается безсмертный памятникъ, заключающій въ себѣ восьмиугольную пирамиду».

Вотъ по творческому, властительному слову, на священныхъ поляхъ Бородина, прижавшихъ въ нѣдра свои кости и кровь героевъ великой драмы, стало подъ ружьемъ сто сотръ тысячъ новыхъ героевъ... И вотъ въ вѣчно-памятный день 26-го августа, съ разсвѣтомъ дня, въ рядахъ прочтенъ былъ царскій приказъ:

„Рекита! Передъ вами памятникъ, свидѣтельствующій о славномъ подвигѣ нашихъ товарищей! Здѣсь, на этомъ самомъ мѣстѣ, за 27 лѣтъ передъ сямъ, надменный врагъ возмечталъ побѣдить русское войско, стоявшее за вѣру, Царя и отечество!—Богъ наказалъ безразсуднаго: отъ Москвы до Нѣмана разметаны кости деревняхъ припеллцевъ—и мы вошли въ Парижъ. Теперь настало время воздать славу великому дѣлу. Итакъ, да будетъ память вѣчная безсмертному дла насъ Императору Александру I. Его твердою волею спасена Россія. Вѣчная слава падшимъ геройскою смертію товарищамъ нашимъ, и да послужитъ подвигъ ихъ примѣромъ намъ и позднѣйшему потомству!—Вы же всегда будете надеждою и оплотомъ вашему Государю и общей матери нашей, Россіи!“

И ряды грянули русское «ура!» и оно не умолкало отъ пятаго до восьмага часа дня...

„Извѣстно, что съ этого же самаго времени загремѣлъ военный кличъ въ началъ смертоносной битвы: посему грозное утро въ памяти стариковъ воскресло, полуумершія сердца затрепетали и полужившая кровь снова закипѣла. „Теперь хоть бы снова на басурмана“, шептали инвалиды. „Далеко кулику до Петрова дня“, молили другіе; „пройдутъ вѣка, высохнутъ моря и рѣки, а врагъ сюда и носа не покажетъ!“

Это слова безрукаго инвалида, который оставшеюся рукою перомъ владѣетъ какъ штыкомъ. Нужно ли его имя?... Послушаемъ же далѣе этого краснорѣчиваго въ своей воинской простотѣ историка великаго событія:

Войска вокругъ памятника составили огромное, величественное каре. Всѣ остальные генералы, штабъ и оберъ-офицеры, участвовавшіе въ

Бородинскомъ дѣлѣ, помѣщаясь у памятника за рѣшеткой. День былъ свѣтлый, солнце однакожъ не показывалось; но лишь святые хоругви, въ сопровожденіи московскаго митрополита, съ многочисленною духовною процессією, Государемъ Императоромъ встрѣченныя, приблизились къ памятнику, оно явилось и скрылось. По совершеніи панихиды, начатая молебень: а когда Царь и воины стали на колѣни, селѣцъ онова, просѣдо, общая радость заблестала, а между старыми героями пронесся говоръ: „Такъ надъ главою Кутузова, неожиданно воспарилъ орелъ при осмотрѣ бородинскихъ укрѣпленій 25 августа 1812 года“. — „Съ нами Богъ! разумѣйте языцы и покоряйтесь, яко съ нами Богъ!“ — Вслѣдъ за симъ огласилась пѣнь: „Тебѣ Бога хвалимъ!“ Громъ пушекъ и „ура“ все еще гремѣли, и роковой 1812 годъ — откланялся!

Въ заключеніе этого знаменитаго, дивнаго и торжественнаго явленія, Государь Императоръ, провожая прежнимъ порядкомъ святые хоругви, повелѣлъ всѣмъ войскамъ мимо памятника проходить церемониальнымъ маршемъ, сомкнутыми полковыми колоннами: въ головѣ войскъ колонны вѣдали генералы, непримѣкающіе къ составу собранныхъ войскъ.

„Покойно и благоговѣнно отсалютовавъ русскій Царь сооруженному имъ и освященному днесь памятнику; симъ рѣдкимъ примѣромъ, въ лицѣ всей Россіи, принесъ полжнующую дань величію Бога, онъ воздастъ честь заслугамъ человека. Высокій примѣръ!

Да, это было великое зрѣлище, достойное того, которое должно было собою напомнить! Это былъ отгулъ звучно-отгрянувшій отъ умершаго великаго прошедшаго и воскресившій его, но отгулъ безъ крови, безъ страданій, а только со славой, блескомъ и величіемъ перваго гула... Этимъ торжественнымъ дѣйствіемъ прошедшее связано неразрывно съ настоящимъ и будущимъ, царскіе дружины пріяли въ себя новый элементъ жизни, который будетъ передаваться изъ рода въ родъ, отъ поколѣнія къ поколѣнію — да знаетъ благородное сословіе защитниковъ отечества свою славу черезъ славу своихъ предшественниковъ, и да не умираетъ въ немъ ихъ высокій духъ, но обновленный и вѣчно-юный да пребудетъ твердымъ оплотомъ и незыблемымъ основаніемъ народнаго могущества и славы!... Подвигъ, достойный великой

души нашего Царя, который въ славѣ народа своего подаетъ свою собственную славу, и котораго деутомимый духъ находить только отдыхъ и наслажденіе въ подвигахъ, домашнихъ и въ вѣдѣніи, на грядущія времена... Истинно царственная драма во всемъ величїи и во всемъ очарованїи всемірно-историческаго арѣлища, достойная усаждать духъ царей и народовъ!

Да, великое событіе совершилось передъ нами, событіе народное, но народное не въ томъ смыслѣ, какъ понимаютъ это слово непривзванные опекуны чадовѣческаго рода, заграничные крикуны. Для насъ, Русскихъ, нѣтъ событій народныхъ, которыя бы не выходили изъ живого источника высшей власти. Велико было событіе 1612 года, но предъ нами имъ не гордились и не радовались, а скорбѣли и печалились докода домъ Романовыхъ, не давъ имъ царя, — и только отъ сей великой минуты имъ возвращена была ихъ слава, потому что уже явилось царское дѣло, освятившее ее, и безыменному подвигу давшее и имя, и цѣль, и значеніе... Пусть будетъ велико наше народное торжество, пусть, какъ волны океана, сольется въ него все народонаселеніе необъятной Россїи; но еслибы эта неисчетная громада народа не видала впереди себя своего царя, который въ спокойномъ, царственномъ величїи привѣтствуетъ ея восторженные вѣдїи, и на лицѣ котораго она читаетъ и грозу, и милость, и царскую доблесть, и великій мощный духъ, на который спокойно и самоуверенно опирается ея счастье въ настоящемъ и надежды въ будущемъ, — тогда для нея торжество было бы не торжествомъ, а безсмысленною сходкою празднаго народа, и въ священномъ не было бы священнаго!... Оттого-то молодѣетъ нашъ старый, нашъ державный Кремль, и кипитъ народомъ, и оглашается своимъ вѣковымъ «ура», когда надъ дворцомъ гордо развѣвается широкій флагъ — залогъ присутствїя того, кто есть и жизнь, и душа своего народа... Да, въ словѣ «царь» чудно слито сознаніе русскаго народа, и для него это слово полно поэзіи и

тайнственного значенія... И это не случайность, а самая строгая, самая разумная необходимость, открывающая себя въ исторіи народа русскаго. Ходъ нашей исторіи обратный въ отношеніи къ европейской: въ Европѣ точкою отправленія жизни всегда была борьба и побѣда низшихъ ступеней государственной жизни надъ высшими: феодализмъ боролся съ королевскою властію, и побѣжденный ею, ограничилъ ее, явившись аристократіею; среднее сословіе боролось и съ феодализмомъ и съ аристократіею, демократія—съ среднимъ сословіемъ; у насъ совсѣмъ наоборотъ: у насъ правительство всегда шло впереди народа, всегда было звѣздой путеводною къ его высокому назначенію; царская власть всегда была живымъ источникомъ, въ которомъ не изсякали воды обновленія, солнцемъ, лучи котораго, исходя отъ центра, разбѣгались по системамъ исполинской корпораціи государственнаго тѣла и проникли ихъ жизненною теплотою и свѣтомъ *). Въ царѣ наша свобода, потому что отъ него вся наша цивилизація, наше просвѣщеніе, такъ же, какъ отъ него наша жизнь. Одинъ великій царь освободилъ Россію отъ Татаръ и соединилъ ея разъединенныя члены: другой—еще болѣйшій—ввелъ ее въ сферу новой обширѣйшей жизни; а наследники того и другого довершили дѣло своихъ предшественниковъ. И потому-то всякій шагъ впередъ русскаго народа, каждый моментъ развитія его жизни, всегда былъ актомъ царской власти; но эта власть никогда не была абстрактною и произвольно-случайною, потому что всегда тайнственно сливалась съ волею Провидѣнія—съ разумною дѣйствительностью, мудро угадывая потребности государства, сокрытыя въ немъ, безъ вѣдома его самого, и приводя ихъ въ сознаніе. Отсюда происходитъ

*) Отношеніе же высшихъ сословій къ низшимъ прежде состояло въ патріархальной власти первыхъ и патріархальной подчиненности вторыхъ, а теперь—въ спокойномъ пребываніи каждаго въ своихъ законныхъ предѣлахъ, и еще въ томъ, что высшія сословія мирно перекладываютъ образованность низшимъ, а низшія мирно ее принимаютъ.

эта дивная симпатія, сдѣлавшая единое и цѣлое изъ двухъ началъ, это всегдашнее и безусловное повиновеніе царской волѣ, дакъ волѣ самого Провидѣнія. Итакъ, не будемъ толковать и разсуждать о необходимости безусловнаго повиновенія царской власти: это ясно и само по себѣ; нѣтъ, есть нѣчто важнѣе и ближе къ сущности дѣла: это — привести въ общее сознаніе, что безусловное повиновеніе царской власти есть не одна польза и необходимость наша, но и высшая поэзія нашей жизни, наша народность, если поужь словомъ «народность» должно разумѣть актъ слитія частныхъ индивидуальностей въ общемъ сознаніи своей государственной личности и самости. И наше русское народное сознаніе вполне выражается и вполне исчерпывается словомъ «царь», въ отношеніи къ которому «отечество» есть понятіе подчиненное, слѣдствіе причины. Итакъ, пора уже привести въ ясное, гордое и свободное сознаніе то, что впродолженіе многихъ вѣковъ было непосредственнымъ чувствомъ, непосредственнымъ историческимъ явленіемъ; пора сознать, что мы имѣемъ разумное право быть горды нашею любовью къ царю, нашею безграничною преданностію его священной волѣ, какъ горды Англичане своими государственными постановленіями, своими гражданскими правами, какъ горды Северо-Американскіе штаты своею свободою. Жизнь всякаго народа есть разумно необходимая форма обще-мировой идеи, а въ этой идеѣ заключается и значеніе, и сила, и мощь, и повоія народной жизни; а живое, разумное сознаніе этой идеи есть и цѣль жизни народа, и, вѣстѣ, ея внутренній двигатель. Петръ Великій, пріобщивъ Россію европейской жизни, дакъ черезъ это русской жизни, новую, обширѣйшую форму, но отнюдь не измѣнивъ ея субстанціальнаго основанія, точно такъ же, какъ представители новаго европейскаго міра, усвоивъ себѣ рѣснопныя плоды, завѣщанные ему древнимъ міромъ, отнюдь не сдѣлались ни Греками, ни Римлянами, но развились въ собственныхъ, самобытныхъ формахъ, развив-

шихся изъ субстанціального зерна ихъ жизни. Вотъ взглядъ истинный и единый, который долженъ взять за основаніе историкъ русскаго народа, чтобы не заблудиться въ дремучемъ лѣсу абстрактныхъ ужестованій ложно понятаго «русскаго европеизма». И потому-то, отдавая должную справедливость и должную дань хвалы и удивленія всему истинному у нашихъ западныхъ соседей, будемъ далекі отъ ослабленія—признать за предметъ подражанія то, что относится собственно къ формѣ ихъ народной, а не общечеловѣческой жизни, а еще тѣмъ болѣе будемъ далекі отъ ослабленія—признавать за великое дурное стороны ихъ жизни, которыя, какъ случайности, или какъ крайности, необходимо существуютъ въ жизни всякаго народа. Равнымъ образомъ и не будемъ забывать собственнаго достоинства, будемъ уметь быть гордыми своею народною индивидуальностію, основнымъ стихіями своей народной индивидуальности; но будемъ уметь быть гордыми безъ тщеславія, которое закрываетъ глаза на собственные недостатки и есть врагъ всякаго движенія впередъ, всякаго преуспѣянія въ добрѣ и славѣ... Необъятно пространство Россіи, велики ея юныя силы, безпредѣльна ея мощь — и духъ замираетъ въ трепетномъ восторгѣ отъ предощущенія ея великаго назначенія; ея—законной наследницы жизни трехъ періодовъ человѣчества! Есть чему радоваться, есть чѣмъ быть блаженными и гордыми въ нашемъ природномъ сознаніи; но не забудемъ же, что достиженіе цѣли возможно только черезъ разумное развитіе не какого-нибудь чуждаго и вѣшняго, а субстанціального, роднаго начала народной жизни, и это таинственное зерно, корень, сущность и жизненный пульсъ нашей народной жизни выражается словомъ «царь». Будемъ прислушиваться и къ порицанію недруговъ и завистниковъ; извлекая изъ нихъ полезныя уроки; а на кривыя толки, безсмысленныя возгласы и громкія, но пустыя фразы безмозглыхъ преобразователей цоколевскаго рода, непризванныхъ посредниковъ

въ чужихъ семейныхъ дѣлахъ, будемъ отвѣчать презрительнымъ молчаніемъ, а если ужъ слишкомъ раскритчатся, то отвѣтимъ имъ словами нашего великаго поэта —

Вы грозны на словахъ: попробуйте на дѣлѣ!...

Мы увѣрены, что эти строки не потгутъ наши читатели отступленіемъ отъ предмета, подавшаго къ нимъ поводъ; бородинское торжество невольно навело насъ на эти мысли: оно было мыслию Царя перешедшею въ торжество народа...

Брошюры, заглавіе которыхъ выписано въ началѣ нашей статьи, обязаны своимъ появленіемъ бородинскому торжеству, которое нашло себѣ органы въ знаменитомъ поэтѣ, лавровъичанномъ ветеранѣ нашей поэзіи, и въ знаменитомъ воинѣ—инвалидѣ, къ военной славы своей присовокупившемъ славу безъискусственнаго, но сильнаго сердечнымъ краснорѣчіемъ литератора. О его брошюрѣ мы не будемъ говорить: выписанныя нами изъ нея мѣста достаточно свидѣтельствуютъ о ея достоинствѣ: — «Бородинская Годовщина» есть новая пѣснь пѣвца русской славы, который въ годину великаго испытанія, родиннаго настоящаго торжество, былъ органомъ славы подвигамъ и подвизавшимся героямъ великой драмы, и въ которомъ уста не охладѣли поэтическаго жара. Конечно, какъ стихотвореніе, обязанное своимъ появленіемъ не приотливому порыву фантазіи, а навѣянное современнымъ событіемъ и ограниченное во времени своего появленія, — оно не должно подвергаться въ цѣломъ строгой критикѣ, — но въ немъ много сильныхъ и прекрасныхъ строфъ и стиховъ, которые нельзя читать безъ умиленія, а недостаточность другихъ вознаграждается поэзіею содержанія. Не говоря уже о талантѣ поэта, само торжество, сама мѣстность, вся дышащая воспоминаніемъ, — не могли не родить поэзіи одними простымъ своимъ представленіемъ.

Читателямъ нашего журнала уже известно новое произведеніе Жуковскаго: заключаемъ нашу статью послѣдними словами поэта, сливая съ ними и свою собственную мысль:

Память вѣчная вамъ, братья!
Рать младая къ вамъ объѣтъ
Простираетъ въ глубь земли;
Нашу Русь вы намъ спасли:
Въ свой чередъ мы грудью станемъ;
Въ свой чередъ, мы вѣсть прозябемъ.
Если Царь велитъ отдать
Жизнь за общую намъ мать!

СПОСОБЪ КЪ РАСПРОСТРАНЕНІЮ ШЕЛКОВОДСТВА.

Н. Юдицкаго. Москва. 1889.

Странное дѣло! у насъ многіе нападаютъ на то, что въ учебныхъ заведеніяхъ, въ числѣ наукъ не только находится русская словесность, но и еще считается однимъ изъ главнѣйшихъ предметовъ ученія. Мы никакъ не оправдываемъ этихъ нападокъ. Оставляя въ сторонѣ теорію краснорѣчія и поэзіи, и вообще всякую теорію, въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ, послѣ основательнаго и строгаго изученія грамматики, полагаемъ даже полезнымъ занимать учениковъ практикою языка, чтобы они умѣли ясно, вразумительно, кругло, цѣлѣбно и прилично написать записку о присылкѣ книги, приглашеніе на вечеръ, письмо къ отцу, матери, или другу о своихъ нуждахъ, чувствахъ, препровожденіи времени и прочихъ предметахъ, невыходящихъ изъ сферы ихъ понятій и ихъ жизни. Тутъ главное дѣло, чтобы приучить ихъ къ естественному, простому, но живому и правильному слогу, къ легкости изложенія мыслей и — главное — къ сообразности съ предметомъ сочиненія. У насъ, напротивъ, или приучали разсуждать дѣтей о высокихъ или отвлеченныхъ предметахъ, чуждыхъ сферы ихъ понятія, и тѣмъ заранее настраивали ихъ къ напыщенности, высокопарности, вычурности къ вышнему, педагогическому языку, — или приучали ихъ писать на пошлыя темы, состоя-

ція изъ общихъ мѣстъ, не включающихъ въ себя никакой мысли. И все это въ темныхъ педантическихъ формахъ хрип (порядковой, превращенной, автонимской), или риторического разсужденія въ наивѣстныхъ схоластическихъ рамкахъ. И какиѣ же плоды этого ученія? — Бездушное резонерство, расплывающееся холодною и прѣсною водою общихъ мѣстъ или высокопарныхъ риторическихъ украшеній. И потому: ученикъ, образованный по старой системѣ, напишетъ важнѣе разсужденіе о томъ, что знаетъ, а между тѣмъ же умѣетъ написать записки, простого письма. Это похоже на человека, который умѣетъ ходить на манеръ древнихъ герцоговъ, со всѣмъ театральнымъ величіемъ; а не умѣетъ ни пойти, ни стоять, ни сѣсть въ порядочномъ обществѣ. О, господа, ужасная эта наука — риторика! Блаженъ, кто можетъ страхнуть съ себя ея педантическую гилью и пыль, и горе тому, кто навсегда и поневолѣ остался шеголять въ ея миниатурной порфирѣ, въ ея бумажной коронѣ на головѣ и съ ея деревяннымъ динжаломъ! А между тѣмъ должно учить дѣтей писать; но только въ основу этого ученія должно положить грамматику, въ ея общемъ значеніи, и тѣсное знакомство съ духомъ родного языка, знакомство, приобретенное творчею и еще болѣе практичною. Что проще — то и истиннѣе, и труднѣе, и потому гораздо легче выучится писать слогомъ Домошова и Хараскова (мы говоримъ о прозѣ), нежели слогомъ Карамзина, Батюшкова, Жуковского, такъ же, какъ гораздо легче писать слогомъ Марлинскаго, нежели слогомъ Пушкина или Гоголя. Конечно, талантъ дается природою; но мы говоримъ о томъ, что можно, по силамъ наждаго, приобрести ученіемъ; хорошая метода ученія развиваетъ талантъ, а дурная даетъ ему ложное направленіе. А куда же дѣвалась наша риторика — мы говоримъ только о грамматикѣ? Неужели риторикѣ должно исключать изъ предметовъ ученія? — Нисколько, но должно ввести ее въ ея собственные предѣлы. Чтобы писать хорошо надо запастись содержаніемъ, а этого никакая риторика не дастъ, — и

та, которой до сих пор у насъ учить, даетъ только губительную способность варьировать отвлеченную мысль общими мѣстами и растигивать пустоту въ безконечность, другими словами — пускать мыльные пузыри. Содержаніе дается пѣлостностію образованія и развитія; умѣніе владѣть содержаніемъ. т. е. равнивать его правильно, даетъ логика; риторика же не виновата ни въ томъ ни въ другомъ. Обыкновенно у насъ риторика начинается изложеніемъ теорій періодовъ; вотъ первое неважное присвоеніе риторикой чужого: теорія періодовъ относится къ синтаксису, что уже многіе понимаютъ. За теорією періодовъ слѣдуетъ теорія «украшеннаго языка» — тропъ, метафоръ, фигуръ: вотъ это дѣйствительно относится къ содержанію риторики. Но и тутъ риторика совсѣмъ не должна учить «красно писать», или сочинять, на заданныя темы, тропы и фигуры, а только должна показать значеніе того и другого, какъ выраженіе известнаго состоянія, или известной настроенности духа пишущаго. За теорією языка украшеннаго, обыкновенно слѣдуетъ ученіе о хрихъ и разсужденіяхъ — это вонъ, какъ, подавить свою гниль и пыль, какъ гибель всего естественнаго, простого, какъ ферулу, о которой воспоминаніе должно сохраниться, подобно факту старины, вмѣстѣ съ шилонскими преданіями о наляхъ, суботкахъ и прочемъ; о чемъ такъ забавно разсказываетъ «Панъ Халавскій». Стилистика: — вотъ настоящее содержаніе риторки; но эта не теорія, а систематическій, по возможности, сборъ эмпирическихъ правилъ подтвержденныхъ примѣрами...

Куда мы зашли? «Какое отношеніе имѣетъ грамматика и риторика къ шемководству?» скажете вы... О, большое, очень большое, какъ сейчасъ увидишь...

Кто пишетъ и писанія свои печатаетъ, тотъ — литераторъ, хотя бы онъ писалъ о лошадяхъ или собакахъ; не только червяхъ. Кто хочетъ быть литераторомъ, тотъ долженъ и знать языкъ и владѣть языкомъ; — условіе, безъ котораго sine qua non. Французы лучше другихъ поняли эту практи-

ческую истину. Правила языка ихъ приведены почти въ математическую точность; знаніе своего языка и умѣніе правильно и свободно выражаться на немъ и словесно и письменно — у нихъ одно изъ первыхъ условій образованія; точно такъ же, какъ свѣтскость, хорошій тонъ. Поэтому, если Французъ пишетъ не хорошо, это не отъ неумѣнія, а отъ претензій на выспренность, или отъ близзости въ понятіяхъ. Хорошее вездѣ хорошо, и подражать хорошему очень похвально. Жаль, что у насъ въ литературѣ перестали въ этомъ подражать Французамъ. Прежде, но крайней мѣрѣ, старались писать и писали правильно и изящнымъ языкомъ; теперь, слово безграмотность есть право на литературство... Это вообще недостатокъ нашей общественности, недостатокъ нашего образованія. Сколько у насъ людей, которые по-французски пишутъ какъ Французы, по-русски двухъ словъ не умѣютъ сказать, и у своихъ ласкось спрашиваютъ о значеніи слова, или спрашиваютъ какъ назвать вотъ то-то или это! Сколько у насъ людей, которые ни на какомъ языкѣ не умѣютъ написать двухъ словъ, а между тѣмъ не лишены иногда не только образованности, но и учености, и обладаютъ большимъ умомъ!... У Французской литературное образованіе — принадлежность и условіе образованности; у насъ есть роскошь, и будетъ роскошью, пока сѣмена новаго воспитанія не принесутъ желанныхъ плодовъ...

Вотъ книга о шелководствѣ — слушайте:

«Осмѣлюсь предложить добро(ы)и советъ изобрѣтателямъ и дѣятельнымъ хозяевамъ нашихъ временъ (нашего времени), обратить должное вниманіе на сію практическую теорію: (;) гдѣ не нужно разсматривать сочиненія со стороны строимъ журналистовъ; но обратит(ь)ся на цѣль отрасли (чего?) столь полезной; съ точки истины (обратиться съ точки истины на отрасль!!!...) и вникнуть въ оную, вѣрно опытные и благонамѣренные люди, (запятаи), оправдаютъ и изведутъ новыя пріятности (!!...); (точка съ запятой) и впоследствии большія выгоды, въ свѣдѣніи изобильномъ, также не богатомъ, но хорошо учрежденномъ хозяйствѣ: (два точки) послѣдую сему совету».

Что за путаница! О, здравый смысл! о грамматика! о риторика! о логика! когда вы были боленше поруганы!...

Долгъ рецензента, по крайней мѣрѣ, положить содержаніе разбираемой книги; но для этого ему должно сперва прочесть книгу, а неужели вы будете требовать, чтобы мы читали подобныя книги, способныя отвратить отъ всякаго чтенія и отъ самаго шелководства?...

**СОВРАНИЕ РЕЦЕПТОВЪ ПАРИЖСКИХЪ ГОРОД-
СКИХЪ ВОДЪНИЦЪ**, или *Руководство къ предпи-
сыванію врачебныхъ средствъ, употребляемыхъ врачами
и хирургами этихъ заведеній. Съ замѣчаніями о прие-
мѣ, способѣ ихъ употребленія, и т. д.* Соч. Ф. С.
Ратъе, доктора медицины парижскаго факультета,
члена корреспондента, и т. д. Переводъ съ француз-
скаго, съ четвертаго изданія, исправленнаго и значи-
тельно умноженнаго. Москва. 1839.

Медицинскія сочиненія принадлежатъ къ разряду тѣхъ книгъ, которыми особенно и преимущественно должны пользо-
ваться мы отъ французской литературы. Сто лучшихъ ро-
мановъ и тысяча лучшихъ повѣстей юной французской ли-
тературы не стоятъ одной такой книги! Мы уже не гово-
римъ о всевозможныхъ французскихъ теоріяхъ, особенно фи-
лософскихъ, эстетическихъ и сен-симонистскихъ: сколько ни
родилъ ихъ философскій XVIII вѣкъ и современное резо-
нёрство и декламаторство Франціи, всё онѣ, безъ исключе-
нія, не стоятъ одной страницы французской книги по части
наукъ естественныхъ или медицинскихъ. Мы хотимъ сказать,
что у всякаго народа должно брать, занимать и перенимать
только-то, что составляетъ сущность его жизни, плоды его
духа, словомъ, его дѣйствительность — въ высшемъ фило-
софскомъ значеніи этого слова. И потому, философіи будемъ

учиться не у Французовъ и Англичанъ, такъ же какъ музыкѣ не у Китайцевъ и Турковъ, а у Немцевъ; высшего, художественнаго (т. е. выпадшаго изъ національной непосредственности) искусства будемъ искать не у Французовъ, а у Англичанъ и Немцевъ; у Французовъ же будемъ слѣдить развитіе математики, медицины, особенно послѣдней, и особенно въ практическомъ ея развитіи. Устроеніе больницъ, способы и приемы леченія, уходъ за больными, словомъ, все, что ускользаетъ отъ теоріи и умозрѣнія, что принадлежитъ къ области эмпири, опытнаго соображенія, опытной проницательности,—все это у Французовъ развито до возможной высокой степени. Французы—по преимуществу народъ дѣла. Нѣмецъ скажетъ мысль: Французъ—понялъ ли онъ ее или нѣтъ, для него все равно, — сдѣлать пусть ее въ ходъ, примѣнить ее къ жизни — впадетъ или не впадетъ, во вредъ или въ пользу себя и другимъ—для него все равно. Но изъ всего, что примѣняли Французы къ жизни, кажется, ничто не удавалось нѣтъ съ такою пользою для себя и для другихъ, какъ математика (прикладная), медицина и хирургія. Цвѣтущее состояніе ихъ знаменитой Политехнической школы, изобиліе въ образованныхъ офицерахъ для арміи, искусныхъ артиллеристахъ и инженерахъ, наконецъ, цвѣтущее состояніе практической медицины доказываютъ это.

Вотъ почему мы думаемъ, что переводчикъ книги Ратье «Собраніе Рецептовъ» могъ бы выбрать для труда своего изъ французскихъ медицинскихъ книгъ что-нибудь поважнѣе и подарить этимъ русскимъ врачамъ. Докторъ Ратье, какъ видно, очень высоко цѣнитъ рецепты, какіе выписываютъ въ парижскихъ больницахъ; положимъ, что это происходитъ отъ любви къ отечественной медицинѣ, но зачѣмъ бы, казалось, этотъ огромный сборникъ всякой всячины передавать на рускомъ языкѣ? Если сочиненіе Ратье переведено для того, чтобы познакомить русскихъ врачей съ состояніемъ медицины во Франціи, то едва ли переводчикъ достигъ пред-

положенной цѣли. Спрашивается, что приобретаетъ врачъ изъ богословнаго изслѣдованія рецептовъ? Вѣдь люди умѣли писать рецепты, но затвержденными формулами — дѣло ничтожное. Много надобно свѣдѣній, чтобы умѣть правильно и глубоко писать рецепты.

Въ области литературы бывають произведенія, по своему внутреннему достоинству, принадлежащія къ искусству, но, тѣмъ не менѣе, остающія эпоху въ литературномъ и даже общественномъ образованіи народа. Къ такимъ произведеніямъ принадлежитъ «Бѣдная Лиза» Карамзина; въ такіе же произведенія принадлежитъ и «Чернышъ» Козлова. «Бѣдная Лиза» своимъ появленіемъ произвела фуроръ въ нашемъ обществѣ: сколько слезъ было пролито прекрасными читательницами и блѣдными, чувствительными читателями! Ходили къ Лизину — пруду, выѣзжали на корѣ окружающихъ его развѣсистыхъ березъ и сердицъ, пронзенныхъ стрѣлами, и чувствительныя фразы, которыя и теперь еще можно видѣть.

LE MOINE, HISTOIRE KIOUVIENNE. Traduction en vers du poëme de J. Kaslova; **ЧЕРНЫШЪ**, par le prince Nicolas Galitzin. Moscou, 1839.

Въ области литературы бывають произведенія, по своему внутреннему достоинству, принадлежащія къ искусству, но, тѣмъ не менѣе, остающія эпоху въ литературномъ и даже общественномъ образованіи народа. Къ такимъ произведеніямъ принадлежитъ «Бѣдная Лиза» Карамзина; въ такіе же произведенія принадлежитъ и «Чернышъ» Козлова. «Бѣдная Лиза» своимъ появленіемъ произвела фуроръ въ нашемъ обществѣ: сколько слезъ было пролито прекрасными читательницами и блѣдными, чувствительными читателями! Ходили къ Лизину — пруду, выѣзжали на корѣ окружающихъ его развѣсистыхъ березъ и сердицъ, пронзенныхъ стрѣлами, и чувствительныя фразы, которыя и теперь еще можно видѣть. Мы говоримъ это совѣмъ не для того, чтобы смѣяться, а чтобы засвидѣтельствовать этотъ фактъ прошедшаго времени. Долгъ нашего вѣка ни надѣ чѣмъ не смѣяться, но все сознать объективно, всему указать свое мѣсто въ ряду явленій, всему отдать должную справедливость. Карамзинъ, своимъ сантиментальнымъ произведеніемъ выразилъ духъ времени, бессознательно угадавъ его, какъ человекъ необыкновенный и сильный духомъ, и потому — то онъ такъ сильно увлеченъ «Бѣдною Лизой» современное ему общество. «Бѣдную Лизу» теперь никто не станетъ читать для наслажденія; но она

всегда сохранится въ исторіи русской литературы и общественнаго образованія, какъ важный памятникъ, какъ дѣло ума челоѣка необыкновеннаго, потому что она («Бѣдная Дѣва») была первымъ проявленіемъ на русскомъ языкѣ, которое убѣдило тогдашнее полу-французское общество, что и у русского челоѣка можетъ быть и душа, и сердце, и умъ и талантъ, и что русскій языкъ не совсѣтъ варварскій, но имѣетъ свою способность къ выраженію нѣжныхъ чувствованій, свою прелесть, легкость и гибкость. Точно такой же фуроръ произвелъ въ нашемъ обществѣ другого времени «Чернецъ» Козлова. Эта поэмка была сколкомъ съ «Джяура» Байронова; въ ней также монахъ, въ предсмертной исповѣди, рассказываетъ свою исторію, содержаніе которой есть любовь, а роковое событіе, побудившее героя къ отчужденію отъ людей и міра — убійство. Но герой Козлова относится къ герою Байрона, какъ мальчикъ, задавившій бабочку, къ челоѣку, взорвавшему на воздухъ цѣлый городъ съ миллиономъ жителей. Но какъ Козловъ истинный поэтъ въ душѣ, который, не будучи въ силахъ совладать съ большими размѣрами, поэтически высказывалъ въ мелкихъ стихотвореніяхъ поэтическія ощущенія своей поэтической души, — то его «Чернецъ», блѣдное и слабое произведеніе въ цѣломъ, отличается множествомъ поэтическихъ частныхъ, носящихъ на себѣ отпечатокъ сильнаго таланта. Нѣсколько сантиментальный характеръ поэмы, горестная участь ея героя, а вмѣстѣ съ тѣмъ и горестная участь самого пѣвца — все это доставило «Чернецу» едва ли не больше читателей, чѣмъ поэмамъ Пушкина, которыхъ высоко-художественная дѣйствительность была тогда, да еще и теперь, слишкомъ немногимъ по плечу. «Чернецъ», еще прежде изданія, ходилъ въ рукописи по рукамъ многочисленныхъ читателей, и особенно отъ прекрасныхъ читательницъ принялъ обильную дань слезъ умиленія и грустно-сладостныхъ восторговъ.

И онъ навсегда останется прекраснымъ поэтическимъ цвѣт-

комъ, для простой и скромной прелести и легкаго, но сладостнаго аромата, котораго всегда найдется множество прелестныхъ бабочекъ и легкихъ мотыльковъ.

«Чернецъ» уже не разъ былъ переводимъ на французскій языкъ, и вотъ явился его новый переводъ, сдѣланный русскимъ, который владѣеть французскимъ языкомъ какъ своимъ роднымъ. Это обстоятельство особенно заставляетъ требовать многого отъ перевода. Посмотримъ же на не него.

J'ai jamais les bois, la chasse à l'animal sauvage;
Du Dnépre avec orgueil, franchissant à la nage
Le courant, j'atteignais, tout heureux l'autre bord.
J'ai jamais tous les périls, l'exercice du corps:
Je n'avais rien à perdre, étant tout seul au monde,
Eh! qui m'eût envié ma misère profonde?

Что это такое?—неужели эти чудные стихи, полные гармоніи, силы и поэтической прелести:

Любилъ и за зверьми гоняться,
День цѣлый по лѣсамъ скитаться,
Широкій Днѣпръ переплывать,
Любилъ опасностью играть,
Надъ жизнью дерзостно смѣяться:
Мнѣ было некого терять,
Мнѣ было не съ кѣмъ разсказаться!

Какая поэзія, сжатость, простота и безыскусственность въ подлинникѣ, и какая изысканность, полная риторической шумихи и общихъ мѣстъ въ переводѣ!... И это не одно мѣсто—весь переводъ цѣлой поэмы—декламація, риторика...

1840.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

I.

КРИТИКА.

МЕНЦЕЛЬ, КРИТИКЪ ГЕТЕ.

Главный недостатокъ критики Менцеля, какъ мнѣ кажется, состоитъ въ подчиненіи поэзіи и вообще словесности, политикѣ, или даже повѣтіямъ и духу политической партіи, Менцель—депутатъ оппозиціонной сторони. Этимъ объясняются его строгіе приговоры Іоанну Мюллеру, Гегелю, Гёте и др.; отъ этого же происходитъ оппозиціонный духъ его впаги, и пр.

В. К., переводчикъ книги Менцеля.

Менцель есть собственное имя одного человѣка, сдѣлавшагося нарицательнымъ, каковы, на примѣръ, плена Ира, Фарсиса, Креза, Зоила и т. п. Это обстоятельство придаетъ большую и важную значительность Менцелю, какъ представителю цѣлаго разряда людей, которые были и до него, есть еще и теперь, и, къ сожалѣнію, будутъ всегда. Такъ, на примѣръ, какое-нибудь пошлое, ничтожное, пустое лицо дѣлается многозначительнымъ и реальнымъ въ художественномъ произведеніи, какъ выражающее собою цѣлую сторону дѣйствительной жизни, представляющее свою индивидуальностію цѣлый разрядъ, цѣлую толпу индивидуумовъ одной и той же идѣи. Это подало намъ поводъ поговорить о Менцелѣ, какъ о представителѣ критиковъ извѣстнаго рода, не обращая вниманія на частности и подробности, относящіяся къ его лицу, или исключительно къ нѣмецкой литературѣ. Года съ полтора назадъ тому, сочиненіе Менцеля о нѣмец-

кой литературѣ явилось въ прекрасномъ русскомъ переводѣ, съ выпускомъ всего, собственно неотносящагося къ литературѣ. Такъ какъ, говоря о Менцелѣ, мы хотимъ говорить о критикѣ, имѣя въ виду собственно русскую публику, — то и возьмемъ этотъ переводъ за фактъ, за данное для сужденія, чтобы каждый изъ нашихъ читателей самъ могъ быть судьей въ этомъ дѣлѣ. Но ~~всего же~~ ^{предлагаемая} статья отнюдь не есть разборъ книги Менцеля, но скорѣе сужденіе или трактатъ объ отношеніяхъ критики вообще къ искусству, по поводу извѣстнаго рода критическаго направленія, котораго представитель Менцель.

Слава — вещь обольстительная, и къ ней одинъ путь. Но многіе смѣшиваютъ славу съ извѣстностію, и съ этой точки зрѣнія пути къ ней умножаются до безконечности. По настоящему, слава есть видное понятіе извѣстности, а извѣстность относится къ славѣ, какъ родъ къ виду. Гомеръ извѣстенъ человечеству своимъ творческимъ гениемъ, Зондъ — ограниченностію и низостию своего духа въ дѣлѣ творчества, Крезъ — богатствомъ, Иръ — бѣдностію, Парисъ — красотою, Парисъ — безобразіемъ. Можно одѣлаться извѣстнымъ всему свѣту — умомъ и глупостию, благородствомъ и подлостью, храбростию и трусостию. Чтобы обезсмертить себя въ потомствѣ, великій художникъ, на диво міру, создалъ въ Эфесѣ великолѣпный храмъ «златоуной» Артемидѣ, чтобы обезсмертить себя въ потомствѣ; Геростратъ сжегъ его. И оба достигли своей цѣли: имена обоихъ безсмертны, но съ тою только разницею, что одно извѣстно и славно, а другое только извѣстно. Слава есть патентъ на величіе, выдаваемый дѣломъ, человечествомъ одному человеку, великимъ подвигомъ доказавшему свое величіе; извѣстность есть внесеніе имени въ полицейскій реестръ, въ которомъ записываются всеневныя событія, выходящія изъ порядка обыкновенности и ежедневности. Слава всегда

есть награда и счастье; известность часто бывает наказаніемъ и обидѣніемъ.

Изъ числа известныхъ людей, претендующихъ на славу, принадлежитъ Гизецъ Менцель. Имя его известно въ Германіи, Англіи, Франціи, Россіи, и еще недавно почитался онъ главою партій, однимъ изъ представителей Германіи имѣлъ послѣдователей, хвалителей, даже враговъ, безъ которыхъ слава — не слава, и известность — не известность. Конечно, теперь этотъ славный господинъ Менцель не больше, какъ жаркій представитель устарѣвшихъ мнѣній, который на ихъ раввалинахъ, съ ожесточенною дерзостью, отстаиваетъ свое эфемерное и минутное величіе, символъ эстетическаго безвкусицы, человѣкъ, имя котораго — литературное порицаніе, какъ имя какого-нибудь Зоила, но тѣмъ не менѣе у него встали была своя апогея славы. Какимъ же образомъ прибрѣлъ онъ эту славу? Видите ли: онъ издавалъ журналъ, а журналъ есть вѣрное средство прославиться для человѣка держаго, безстыднаго и ловкаго. Представься только ему случай захватить въ свои руки журналъ, — и слава его сдѣлана. Путей и средствъ много и они разнообразны до безконечности; но главное тутъ — хорошо начертанный планъ и неукоснительная вѣрность ему во всѣхъ дѣйствіяхъ, до малѣйшихъ подробностей. Основною же непременно должна быть посредственность, которая всѣмъ по плечу, всѣмъ нравится, всѣмъ льститъ и, слѣдовательно, овладѣваетъ массами и толпами, возбуждая негодованіе только въ нѣкоторыхъ — не званыхъ, а избранныхъ. Но какъ этихъ «избранныхъ» можетъ удовлетворить только сила, основывающаяся на талантѣ, гениі, умѣ, знаніи, и какъ число этихъ «избранныхъ» такъ ограничено, что не можетъ принести обильную жатву подписки, — то о нихъ нечего и думать; толпа любитъ посредственность, и посредственность должна угождать толпѣ. Для этого ловкій журналистъ долженъ исключительно выбирать только посредственность. Этого народа много, да онъ

и сговорчивъ. Мнѣнія журнала, который имъ хорошо платитъ и еще лучше ихъ хвалить — всегда будутъ ихъ кровными и душевными мнѣніями. — до первой есоры, которая всегда бываетъ при первой кости. Смотрите же, не жалѣйте похвалъ: надо, чтобы въ вашѣмъ журналѣ все участвовали гении да великіе таланты — иначе вашего журнала не будутъ ни уважать, ни покупать. Въ выборѣ не затрудняйтесь: тѣмъ бевталантнѣе, тѣмъ лучше для васъ — лишь бы не была чуждъ нѣкотораго внѣшняго смысла, лоска, блеска, которые толпа всегда принимаетъ за гениальность, потому что ей они по плечу, и она ихъ понимаетъ, — а что для нея понятно, то и велико. Вотъ идетъ къ вамъ «поэтъ», который можетъ вдохновляться на подражъ и къ каждому номеру журнала, съ точностію и аккуратностію, поставитъ какое вамъ угодно число аллегорій, одъ и даже мистерій; хватйтесь за него обѣими руками: это для васъ кладъ, и скорѣе кричите, что этотъ «юный гений», произведеніями котораго «настоящо» украшается вашъ журналъ, счастливо набралъ себѣ дорогу близехонько, о-бо-въ дороги, навримвръ, какого-нибудь Гёте и совершенно можетъ замѣнить для вашихъ читателей великаго германскаго поэта, котораго ваши читатели бранятъ за «непонятливость». Ежели въ твореніяхъ вашего Гёте часто будетъ недоставать даже и внѣшняго смысла — не бѣда: поправляйте сами, обглаживайте и сглаживайте; это ремесло нетрудное. Является молодой талантликъ, или иное дарованье съ драмою, или другимъ чѣмъ, и обращаетъ на себя нѣкоторое вниманіе публики: захвалите его въ пухъ, не жалѣйте чернилъ и гипербола, кричите: «я упалъ на колѣни передъ NN, воскликнулъ: великій Гёте! великій NN!» Если этотъ NN задумаетъ посѣть вадернуть носъ, забывши, что онъ сталъ великимъ черезъ васъ, и это не бѣда: напишите притчу, апологъ объ отогрѣтой за пазухою змѣѣ, о «человѣкѣ съ умомъ на двѣ страницы», который, для потѣхи, кинулъ въ форточку окна славу первому прохожему... Будьте увѣрены, что г. NN снова будетъ въ

вашихъ оловяныхъ рукавицахъ и самъ придетъ съ помощникомъ: тогда скажите, что вы попутали, или это вы говорили со-всѣмъ не о немъ, а о другомъ. Тогда разумѣется, найдетъ васъ не пошлымъ, а только забавнымъ; а кто ее забавляетъ, тому она не охунится платить. Что касается до повѣстей, не забывайте одного: заказывайте «забавнымъ», таинъ, которые не всѣми читаются явно, о которыхъ не при всѣхъ гово-рится вслухъ; да велите доставлять себѣ ихъ рукописи съ большими полями и пробѣлами между строки, чтобы вамъ было гдѣ подбавлять своего «юмора» и своихъ «забавныхъ» картинокъ; благословясь, черкайте, крестите, выписывайте свое, а главное—не робѣйте ни отъ какой плоскости, ни отъ на-лой депривности, помня, что у Пель-де-Кока несравненно больше читателей, чѣмъ у Вальтеръ-Скотта. Братцы, чтобы авторитетъ Вальтеръ-Скотта не помѣшалъ успѣху вашихъ «забавныхъ» повѣстей, объявите, что историческіе романы великаго Британца дурны и пошлы, потому что они — неа-ложимый плодъ отъ соединенія исторіи съ вымысломъ, или выразитесь какъ-нибудь ятакъ, поэтическиише и «позабавнише». Если кто-нибудь изъ вашихъ абонированныхъ нувелистовъ будетъ такъ смѣлъ и дерзокъ, что осмѣлился издать жѣ свои повѣсти, помѣщавшіяся въ вашемъ журналѣ, въ ихъ перво-бытномъ видѣ, безъ вашихъ поправокъ и передѣлокъ; и че-резъ то лишить ихъ многого «забавнаго», разругайте ихъ безповадно, а для тѣхъ, которые помнятъ, что читади ихъ въ вашемъ журналѣ, скажите что въ немъ онѣ были «отлично хороши», хотя написаны и дурно, и что это отъ того, что у васъ есть волшебная машина, въ которую вы положите дурную повѣсть, а, повернувъ ключикомъ, вынимаете оттуда хорошую, т. е. «забавную». Толпа расхохочется, ибо на-йдетъ это объясненіе «забавнымъ», а слѣдовательно и вполне удовлетворительнымъ для себя. Въ вашемъ журналѣ непре-мѣнно должна быть критика; потому что критику любить и требуютъ отъ журнала. Истинная критика требуетъ мысли,

а толпа любить «забавляться», а не мыслить, и потому, вмѣстѣ «истинной» критикѣ, создайте «забавную» критику. Для этого объявите, что изящное есть спонитив совершенно условное и относительное, а отнюдь не абсолютное (ужасное слово для толпы!), что оно зависитъ отъ условія наизгнѣ, страны, народа, каждаго человѣка, его пищеваренія, здоровья и подобныхъ «непредвидѣнныхъ» обстоятельствъ. Скажите, что въ искусствѣ хорошо то, что вамъ нравится, и худо то, что вамъ не доставляетъ удовольствія. Вамъ замѣтить: какое же вы имѣете право называть превосходнымъ произведеніемъ то, что, по условію личности каждаго, инстинктъ показываетъ совсѣмъ не превосходнымъ, а для иныхъ и совершенно дурнымъ? Отвѣчайте: я правъ и они правы, у всякаго де барона своя фантазія. Такая критика очень легка и нравится толпѣ, которая вообще любитъ все, что въ ровень съ нею и не оскорбляетъ ея маленькаго самолюбія своею «непонятливостію». Побольше фразъ отъ себя, и еще больше выписокъ изъ будто бы критикуемаго вами сочиненія, и у васъ въ одинъ вечеръ готово десять «забавныхъ» критикъ, которыя понравятся тысячамъ и оскорбятъ десятки, тогда какъ иногда мало десяти вечеровъ, чтобы написать «истинную» критику, которая удовлетворитъ десятки и оскорбитъ тысячи. Тонъ «забавной» критики непременно долженъ быть рѣзкій, нѣжный, нахальный: иначе толпа не будетъ вамъ вѣрить. Когда разбираете книгу автора чужого прихода, или человѣка котораго вы не любите, боитесь или другое что, дѣлайте изъ его книги выписки такихъ мѣстъ, какихъ въ его книгѣ нѣтъ, приписывайте ему такія мнѣнія, которыхъ онъ и не думалъ имѣть, словомъ, клеветайте, но только смѣлые и рѣшительные: толпа того и слушаетъ, тому и вѣрить, у кого горло широко и замашки наглѣе. Не забывайте при этомъ чаще говорить о своей добросовѣстности, благонамѣренности, объ уваженіи къ собственной личности, недопускающемъ васъ до неприличныхъ браней и полемики, о своихъ талантахъ и

других похвальных качествъ вашего ума и сердца, о своихъ соперникахъ видите, что они и глупы, и безталантны, и недобросовѣстны, а главное, что они завидуютъ вамъ, какъ всё посредственные люди завидуютъ гению. Возьмите девизомъ своимъ «смѣлость города брать» — и будьте увѣрены, что всѣ пармазы сдѣлутся вашей «смѣлости».

Есть еще другой способъ къ приобретению журнальной славы, котораго частію можно держаться и при первомъ, но который многа и одна доводитъ до цѣли: это нападать на утвержденныя понятія, на утвержденныя авторитеты и славы. Толпу иногда можно запугать, чтобъ заставить удивляться себѣ. Скажите толпѣ дикую рѣзкость и, не дожидаясь ея отвѣта, и не давая ей придти въ себя отъ первой рѣзкой несправедливости, говорите другую, третью, и поверите съ увѣренностію въ несправедливости своихъ мыслей, смотрите на толпу прямо, во всё глаза, не мигая и не моргая. Напримѣръ, слава Пушкину въ своей апогеѣ и все передъ нимъ на колѣняхъ: начните «ругать» его въ буквальной значеніи этого слова, и говорите, что его произведенія мелки и ничтожны, хотя и не лишены блесковъ таланта, вышшеи: отдышки и т. п. Вы думаете, что трудно сдѣлать? Ничего не бывало, только больше смѣлости. Разверните, напримѣръ, хоть «Полтаву»: выделите слова измѣнника Мазепы о Петрѣ Великомъ и воспламените: «каковъ портретъ Петра!» какъ будто такимъ изображалъ самъ поэтъ, отъ своего лица; слова Мазепы же о Карлѣ XII то же выдайте за портретъ, начерченный самимъ поэтомъ, и рѣшите, что всѣ характеры въ поэтѣ лишены всякаго величія. Толпа не будетъ справляться и повѣритъ вамъ на слово. Выгуйте себѣ какой-нибудь стран- ный, полу-славянской дикій языкъ, который бросался бы въ глаза своею каледоскопическою нестрелою и казался бы исполнѣ оригинальнымъ и глубоко-тайнственнымъ: она, пожалуй, сдѣлаетъ видъ, что и понимаетъ его, стыдась сознаться въ своемъ невѣжествѣ. Вотъ вы уже и поколебали

авторитетъ Пушкина; идите дальше, и утверждайте, что Байронъ и Гёте не истинные художники, ибо-де они на алтарь чистыхъ дѣвъ (т. е. музъ, которыхъ Тредьяковскій называлъ мусами) неомовенными рунами возлагали возгребія нечистыхъ и уметы поганые, которые доставали они изъ возкрай лужи, и т. п. Но вотъ проходитъ время, а съ нимъ и ложь: образъ Пушкина является въ новомъ и еще лучезарнѣйшемъ свѣтѣ; Байрона и Гёте уже никто не ругаетъ, — а вамъ что? вы свое сдѣлали, парманиъ ваши обезпеченъ, а притомъ вы изъ-подтишка искусно можете запѣть новую, старая забыта, и вы уже на кредитъ пользуетесь славой «отлично-умнаго человѣка».

А вотъ чудесное средство противъ враговъ; оно въ большомъ употребленіи въ Парижѣ, этомъ городѣ пертъ и подковъ всякаго рода. Мы говоримъ о публичныхъ лекціяхъ. Это одно изъ надежныхъ средствъ уронить репутацію даже журнала; не только писателя. О чемъ больше всего и вездѣ читаются публичныя лекціи? — Разумѣется, о словесности и языкѣ, потому что ни объ одномъ предметѣ нельзя такъ много говорить общимъ мѣстъ и учить другикъ, не учась ничему и ничего не зная. Извѣстно, что Парижане большіе охотники до всего публичнаго и любятъ позѣвать на всякое зрѣлище; вотъ они отъ нечего дѣлать и идутъ посматрѣть фокусовъ-покусовъ какого-нибудь говоруна; на кредитъ пользующагося извѣстностію «отлично-умнаго человѣка». Зала публичнаго чтенія; не университетская аудиторія: въ ней собираются не слушать, а слышать, чтобъ потомъ не подумать, а поболтать въ обществѣ. Посему, ловкій «лекторъ» избѣгаетъ всего, въ чемъ есть мысль, и хлопочетъ только о словахъ. Вотъ онъ беретъ книгу незнакомнаго ему писателя, выбираетъ изъ нея нѣсколько фразъ, которыхъ не понимаетъ, потому что эти фразы состоятъ не изъ общихъ мѣстъ, составляющихъ шасущный хлѣбъ цѣлой его жизни, и выражаютъ собою мысль, требующую, для своего пониманія

ума и чувства. Сверхъ того въ фразакъ могутъ вѣтрѣться слова, которыхъ не слышалъ лекторъ, учившійся какъ-нибудь и чему-нибудь на желѣзные грощи, — и вотъ онъ читаетъ эти фразы, дакъ образецъ галиматѣи и искаженія языка. Тогда вездѣ весела, въ Парижѣ особенно, — и вотъ она смѣется и рукоплещетъ своему лектору. Но горе книгѣ, если въ вырванныхъ изъ нея фразахъ заключается не только мысль, но еще и новая мысль, выраженная новымъ словомъ или новымъ терминомъ!... Какое ей дѣло до того, что въ языкѣ и образѣ выраженія осмѣянной болтуномъ книги можетъ быть уже занимается заря новой эпохи литературы, новыхъ понятій объ искусствѣ, новаго взгляда на жизнь и науку? Какое дѣло до того, что тотъ, чью литературную редукацію считают занятнѣе лекторъ, приносилъ людямъ плодъ горячаго восторга, безкорыстной любви къ истинѣ, — то, что перечувствовалъ и перемыслилъ онъ, чѣмъ живеть его душа, чѣмъ бьется его сердце?... Болтунъ прочелъ двѣтри фразы изъ его статьи, прочелъ, разумѣется, съ искаженіемъ смысла, съ фарсами и гримасами, и въ заключеніе прибавилъ: «право, боюсь вамъ, это галиматѣи! и толпа рада вѣрить ему: она было васнула отъ одной необходимости слушать, и ее вдругъ будятъ такимъ милымъ и забавнымъ фарсомъ: какъ же ей не смѣяться!... Да ей надо смѣяться уже изъ одной благодарности, что ее выводятъ изъ тяжелаго и страннаго положенія дѣлать серьезную мину... Въ Парижѣ всѣ говорятъ *bons-mots*, даже замисные глупы; черезъ *bons-mots* тамъ пріобрѣтаютъ славу, черезъ *bons-mots* и теряютъ ее. Нерѣдко честь и доброе имя зависать тамъ отъ *bons-mots* какого-нибудь записного бонмотиста... Таковъ уже городъ Парижъ!...

Меицель перепробовалъ всѣ эти способы добывать журналомъ и «лекціями» славу себѣ и дѣлать вредъ своимъ врагамъ. Онъ сочинялъ выписки изъ разбираемыхъ книгъ, приписывалъ своимъ противникамъ мнѣнія, которыхъ они и не

думали имѣть, раздавать вины славѣ и божественности людямъ бездарнымъ, газетоваль и клеветникъ на гения, талантѣ и всякаго рода заслугу, и всякаго рода силу, и всякаго рода достоинство. Но главная причина его позорной навѣстности — дерзкіе и наглые нападки на Гёте. Онъ прицѣпился свое маленькое имячко къ великому имени поэта; какъ къ баснѣ Крылова, паукъ прицѣпился къ хвосту орла — и мощный орелъ вознесъ его на вершину облака, облака Кавказа. Но съ нимъ случилось, какъ съ паукомъ: пахнулъ вѣтеръ — и бѣдный паукъ опять очутился на низменной долинѣ, а орелъ, взмахнулъ широкими крылами, съ горныхъ громадъ гордо и отважно ринулся въ знакомыя ему безбрежныя пространства эира. Менцель теперь явился въ Россіи въ прекрасномъ переводѣ, за который русская литература должна быть весьма благодарна переводчику. Въ самомъ дѣлѣ, пора намъ взглянуть прямо въ лицо этому пресловутому мужу; котораго имя еще обаятельно дѣйствуетъ у насъ на нѣкоторыхъ, и къ которому еще недавно кто-то простеръ братскія объятія въ то, что онъ нападаетъ на Гегеля, Гёте и Мюллера. *Les beaux esprits se rencontrent!*... Всѣ другіе русскіе журналы холодно и грубо приняли незваннаго гостя, хотя и сами себя не могли отдать въ своей враждебности къ нему. Пора перестать основываться на безотчетномъ чувствѣ, пора мыслить сознательно.

Разумѣется, что въ Менцелѣ нельзя отрицать и нѣкоторой заслуги, которая состояла въ преслѣдованіи пошлой нѣмецкой сантиментальности и другихъ дурныхъ сторонъ нѣмецкой литературы, которая онъ преслѣдовалъ рѣзко и дерзко. Но побить нѣсколько дрянныхъ романовъ и хотя множество глупыхъ книжонокъ, еще не великое дѣло, — и еслибы подобно хорошіе рецензенты плохихъ книгъ могли претендовать на гениальность, то Европа не обращалась бы гениями, какъ грибами послѣ дождя. Чтобы хорошо писать о дурныхъ книгахъ, нужна начитанность, нѣкоторая литера-

турная образованность, иъсносно: искусства и изобретений, на-
выкомъ: способности владѣть языкомъ; но чтобы хорошо пи-
сать о книгахъ, умныхъ и сочиненіяхъ ученыхъ, нужно имѣть
глубокую природу, развитую ученость и много и даръ слова
отъ природы. Но натура Манцели очень мелка: уиъ ограни-
ченъ, а учился онъ на мѣдныхъ деньгахъ; потерпѣвъ свои
свѣдѣнія изъ журналовъ, — а между тѣмъ пустился судить и
рядить о предметахъ, выходящихъ изъ опраниченного круга
доступныхъ ему идей; — именно объ искусствѣ и наукѣ; о
Гёте и Гете. Въ маленькихъ дѣлахъ онъ быль великъ,
а на великія его не стало. Нашлись люди, которые указали
ему его мѣсто; онъ разсудилъ на нихъ и сталъ выиъдывать
на Гёте и Гете. Къ оскорбленному и раздраженному само-
любію присоединились иъкоторыя одностороннія убѣжденія,
которыя ограниченные люди всегда предъются фанатическо-
не столько по любви къ истинѣ, сколько по любви и высо-
кому уваженію къ самому себѣ. Это явленіе общее — я вотъ
съ какою точки зрѣнія имя Манцеля есть имя нарицательное,
понятіе родовое. Вадянемъ на эти одностороннія убѣжденія
ограниченнаго человѣка:

Есть особый родъ мѣрдобольныхъ людей, которые болѣе
заицаются другими, нежели самими собою, а потому всегда
несчастливы, всегда обременены хлопотами и заботами. Имъ
кажется, что и въ мѣрѣ все идетъ худо, и что отечество ихъ
вотъ сейчасъ готово погибнуть жертвою превратнаго хода дѣлъ,
а въ слѣдствіе такого взгляда на вещи, имъ кажется, что они
призваны и мѣрѣ поправить, и отечество спасти, — для чего
тому и другому нужно только повѣрить ихъ мудрости и не-
уклонно выиънить ихъ совѣты. Для этихъ маленькихъ вели-
кихъ людей, государство не есть живой организмъ, котораго
части входятся въ зависимомъ другъ отъ друга взаимодѣй-
ствіи, котораго развитіе и жизнь условливаются непреложными
законами, въ его же сущности заключенными; для нихъ госу-
дарство не есть живая, индивидуальная личность сама по себѣ.

и сама для себя душа, имѣющая свою свободную волю, которая выше воли частныхъ лицъ: для нихъ государство не имѣетъ ни почвы, ни климата, ни географіи, ни исторіи, ни прошедшаго, ни настоящаго; для нихъ оно не есть живое осуществленіе довременной божественной идеи, ставшей по возможности явленіемъ и стремящейся развиться изъ самой себя во всей своей безконечности; для нихъ не существуетъ міродержавнаго Промысла, который управляетъ судьбами царствъ и народовъ и, въ разумно-свободной необходимости, указываетъ на путь, его же не преидеши... Нѣтъ! для этихъ маленькихъ великихъ людей государство есть искусственная машина, которую по произволу можетъ вертѣть всякій маленький великій человѣкъ. Они осуждаютъ Петровъ и Наполеоновъ, съ важностію указывая на ихъ ошибки и не шутя давая знать, что на мѣстѣ этихъ, впрочемъ, дѣйствительно великихъ людей, они бы не сдѣлали такихъ промаховъ. Они говорятъ: Петръ сдѣлалъ тогда-то вотъ то-то, между тѣмъ какъ ему слѣдовало бы въ то время сдѣлать вотъ это; они говорятъ, что Наполеонъ палъ потому что не стоялъ за права человѣчества, а думалъ только о своей личной власти. Жалкія слѣпцы! Петръ сдѣлалъ именно то, для чего послалъ его, что поручилъ ему Богъ, — ему, своему посланнику и помазаннику свыше; онъ угадалъ волю духа времени, — и не свою, а волю пославшаго его выполнилъ онъ, — потому-то онъ и великій человѣкъ. Только маленькіе великіе люди таращатся выполнить свою случайную волю: воля великихъ людей всегда совпадаетъ съ волею Божіею, которою и сильны они, которою и удаются имъ дѣла ихъ. Наполеонъ палъ потому же, почему и всталъ: та же могучая десница низвергла, которая и вознесла его. Онъ совершилъ свою миссію — и палъ не отъ слабости, а отъ тяжести своей силы, которая уже не находила болѣе для себя дѣла. Смѣшны и жалки эти великіе маленькіе люди!... Вообразите себѣ сумасшедшаго, котораго растроенному воображенію представляется, что, — вотъ облака упадутъ на землю и подавятъ ее,

вотъ огнедышащее солнце сплать своими лучами все живущее на ней, вотъ зима истрепаетъ его своими губительными холодами... Напрасно солнце утромъ восходитъ въ тучахъ торжественномъ величьи и пробуждаетъ живую природу все творение, отъ былинки до человека; въ полдень тучи роскошныю обиваютъ немыслимый золотомъ дурей свонхъ и голубой куполъ неба; и свою любимую дочь, многодарную землю; а вечеромъ въ новой торжественности, какъ победитель, утомленный побѣдою, сподать съ своей вечно неизмѣнной дороги и блѣдными лучами даетъ послѣднѣе замирающее поцѣлу своей любимой; и скрывается за розовымъ занавѣсомъ жерновой зари; выходя на стѣну и блѣдную луну; и мириады жутафунхъ звѣздъ... Да напрасно съ того незапамятнаго довременнаго митовенія, какъ творившее «да будетъ!» твзвало небытіе въ бытію, до нашего времени; напрасно солнце ни разу не возшло вечеромъ и не скрылось утромъ; ни разу не вышло съ запада и не закатилось на востокъ; напрасно за убѣдительною смертію зимы слѣдуетъ всегда воскрешающая весна, за всею зимой лѣто; за лѣтомъ богатая дарами плодовъ осень, которой послѣдніе, запоздалые желтые колосья и листья; наконецъ, покрываются серебристымъ и алмазнымъ инеемъ зимы... Напрасно океанъ, скованный берегами; не можетъ вырваться изъ своего бездоннаго ложа, и его громадная волна; грозящая землѣ и небу; съ воетъ и ревомъ, въ безжальной ярости, разбивается о несокрушаемую твердыню тринитныхъ скалъ... Напрасно рѣки, какъ обычную дань, несутъ къ морю волны свои, и не текутъ вспять... Напрасно все!... Не слышна ему музыка сферъ и міровъ; глухъ онъ къ гармоническому хору, который образуетъ своимъ стройнымъ чиномъ, своими неизмѣняемыми законами, своимъ несмущаемымъ теченіемъ къ предустановленной отъ вѣка цѣли, творение предвѣчнаго Художника!... Нѣтъ, ему слышится только диссонансы, мерещится одинъ раздоръ: тучи грозятъ отнять

свѣтъ, громъ—разбить землю, молнія—испепелить все живущее на ней, — и, бѣдный сумасбродъ, онъ хватается за топоръ, обхватываетъ свои плышки и тычинки, и хлопотеть, подпереть ими съ трескомъ разрушающееся зданіе вселенной...

Такое же зрѣлище представляютъ собою и эти маленькіе великіе люди, о которыхъ мы говоримъ. Добровольные мученики, — имъ нѣтъ покоя, для нихъ нѣтъ радости, нѣтъ счастья: тамъ гаснетъ свѣтъ просвѣщенія, тутъ гибнетъ добродѣтель и нравственность, здѣсь подавляется иѣдый народъ, — и съ воплемъ указываютъ они на виновниковъ такого ужаснаго зла; какъ будто бы люди, или челоѣкъ, въ состояніи остановить ходъ міра, имѣннть участь народа; какъ будто бы нѣтъ Провидѣнія, и судьбы всенродныхъ предоставлены слѣпому случаю или слѣпой волѣ одного челоѣка. Сумасброды! внимательнѣе, заглядывайте въ священную книгу судебъ челоѣчества, въ вѣчную «книгу царствъ» — въ исторію, по которой поверхностно смодѣлать ваши взоры, отуманенные предубѣжденіями и заранѣе заготовленными произвольными понятіями вашей ограниченной личности. Умираетъ прекрасная Греція, отчизна Гомеровъ и Платоновъ, опустѣли ея дивные храмы, сброшены съ пьедесталовъ ея мраморныя статуи; храмы сокрушились, и ихъ развалины заросли травою, а статуи взяла желѣзная рука варвара-побѣдителя; — но, развѣ умерла для насъ она, эта прекрасная Греція? Развѣ развалины ея храмовъ и обломки ихъ колоннъ не свидѣтельствуютъ намъ о гармоніи ихъ размѣровъ, о первобытной красотѣ роскошныхъ ихъ формъ? Развѣ эти чудныя статуи, пережившія тысячелѣтія, не предатели Винкельману во всемъ очарованіи вѣчной юности, и не открыли ему сокровенныхъ тайниковъ исчезнувшей ея жизни свѣтлыхъ чадъ Эллады, и не повѣдали ему дивныхъ тайнъ творчества? Развѣ для насъ «Иліада» — мертвая буква, жѣмой памятникъ навѣки умершаго и навсѣгда потерявшаго свой смыслъ и свое значеніе прошедшаго, а не

источникъ живого блаженства, величайшаго разумнаго наслажденія и изыщѣйшихъ созданіемъ общечеловѣческаго искусства? Развѣ жизнь Грецовъ не вошла въ нашу, какъ элементъ? Развѣ не получили мы ее, какъ законное наслѣдіе?... Кто же говорить, что Греція умерла навсегда, падши отъ натиска варварства и невѣжества? — Пережитые человечествомъ моменты не исчезаютъ въ вѣчности, какъ звукъ, теряющійся въ пустынь; но навсегда дѣлаются его законнымъ владѣніемъ въ сознаніи, которое одно дѣйствительно, одно есть истинная жизнь духа, а не призракъ. Не только для немощнаго чловѣка; — и для старца; если только его старость ясна, какъ вечеръ прекраснаго весенняго дня, воспоминаніе о свѣтломъ утрѣ своего младенчества, о знойномъ полуднѣ своей юности, составляетъ одно изъ страдѣйшихъ наслажденій его старости: но человечество выше чловѣка; моменты его жизни есть высшая, разумнѣйшая дѣйствительность, тѣмъ моменты жизни чловѣка. — такъ оно ли забудетъ греческую жизнь, этотъ роскошный цвѣтъ своего младенчества, или средній вѣкъ, этотъ роскошный цвѣтъ своей юности, изъ которыхъ образовался роскошный плодъ его мужества?... Омаръ сжегъ Александрійскую бібліотеку: проклятіе Омару — онъ навѣки потупилъ просвѣщеніе древняго міра! Погодите, милостивые государи, проклинать Омара! просвѣщеніе — трудная вещь — будь оно океаномъ, и высуши этотъ океанъ какой-нибудь Омаръ, — все останется подъ землею невидимый и сокровенный родникъ живой воды, который не замедлитъ пробиться наружу свѣтлымъ ключомъ и превратиться въ океанъ. Просвѣщеніе бессмертно; ибо оно не имѣетъ внѣ себя никакой цѣли, обыкновенно называемой «пользою», но есть само себя цѣль, и въ самомъ себѣ заключаетъ свою причину, какъ внутренняя жизнь сознающаго себя духа. Удовлетвореніе духа, стремящагося къ сознанію, есть внутренняя причина и цѣль просвѣщенія; а его внѣшняя польза для человечества есть уже его необходимый результатъ. Не-

уже ли солнце есть самостоятельная планета, символ Божией славы, а фемарь для освѣщенія нашей маленькой земли, хотя оно и свѣтитъ намъ и грѣеть?... Омаръ, сжегъ Александрийскую бібліотеку, но не сжегъ Гомера и Платона, Эсхила и Демосфена, которыхъ мы знаемъ. Но вотъ, варвары разрушили Западную Римскую имперію — погибла цивилизация, исчезла мудрая гражданственность? Нѣтъ, не погибла она: къ вѣчнымъ городамъ, столицамъ политическаго міра, снова явился вѣчный городъ, столица духовнаго міра. Потомъ нашлась затерянный варварствомъ и вѣками, кодакъ Юстиніана — жизнь древняго міра: обѣдалась нашими законами насѣдѣемъ, вошла въ нашу жизнь, какъ элементъ. Но вотъ самый развитый примѣръ: народъ нашего времени, особенно богатый маленькими, великими людьми, забывъ, что у него есть исторія, есть прошлое, что онъ народъ новый и христіанскій, вздумалъ сдѣлаться Римляниномъ. Явилось множество маленькихъ великихъ людей и, съ школьными тетрадками въ рукахъ, стало около машины, названной ими *la guillotine*, и начало всѣхъ передѣлывать въ Римлякъ. Поэтамъ приказали они, во имя свободы, воспѣвать республиканскія добродѣтели, думая, что искусство должно служить обществу; мыслителямъ повѣдали, тоже во имя свободы, доказывать равенство правъ, а кто бы изъ поэтовъ или мыслителей, слѣдуя свободѣ вдохновенія или мысли, осмѣлился воспѣвать и доказывать противное, — тѣмъ, во имя свободы, рубили головы. Искусство и знаніе погибли — нѣтъ больше развитія идей, остановимся навсегда: ходъ уму... Но погодите отчаиваться: та же воля, которая пустила возстать злу, та невидимая, но могучая воля и истребила зло, — и чудовище пало жертвою самого себя, какъ скорпіонъ, умертвивши себя собственнымъ жаломъ; затѣя школьниковъ не удалась, тетрадки осмѣяны, кровавая комедія осмистана — и кѣмъ же? — сыномъ революціи, однимъ человекомъ, сотворившимъ волю послѣдшаго его... Кто могъ предвидѣть, кто могъ предска-

зати этого! Вѣдь ужъ все погибало... Но маленькіе великіе люди не принимаютъ этого; плоть есей души убѣждены, что если міръ еще цѣль и забудь держися, то не иначе какъ ихъ мудрости и усердіемъ въ общему благоу.

Въ числу такихъ то маленькихъ великихъ людей принадлежатъ и Менцель. Ему не нравится порядокъ дѣлъ въ Германіи, и онъ придумалъ на досугъ свой планъ для ея благосостоянія, и планъ этотъ не осуществляетъ этого благодѣтельнаго плана; но будучи въ состояніи отрываться отъ своего историческаго развитія, онъ отъ своей національной индивидуальности, да еще нѣмцы жаждутъ въ будущемъ въ состояніи постигнуть всей премудрости Г. Менцеля, и не вѣрять ей; а на самомъ его смотритъ какъ на журнальнаго прикула и политическаго притягателя; то онъ и возмущается на нее со всеми ожесточеніемъ фанатика и представляетъ собою откровенное и возмутительное зрѣлище сына; бьющаго по щекамъ родную мать свою. Другими словами: ему досадно, зачѣмъ Германія есть то, что она есть; а не то, чѣмъ бы ему хотѣлось ее видѣть — требованіе столь же справедливое, какъ и то, зачѣмъ нѣмцы вѣсь волосомъ русые, а не черные (когда нибъ именно и хочется, чтобы нѣмцы были черные волосы)... И потому, ему все не нравится въ Германіи; и ея злиность, и ея ученость; и ея патриархальныя обычаи и нравы. Но балъ всего онъ возмущается на насъ въ лицѣ ея геніальныхъ представителей, которыми онъ гордится, и которые доставили ей умственное и ладчестіе надъ всею просвѣщенною частию земного шара. Философія Гегеля принимала монархизмъ высшую разумную форму государства; и монархія, съ утвержденными основаніями, являлась исторической жизни народа развивавшаяся, была для великаго мыслителя идеаломъ государства. Менцель думаетъ объ этомъ совершенно иначе, и потому онъ объявляетъ, что Гегель — сумасбродъ, дикій фанатикъ; и его философія — обесчеловѣчаніе полнумъ челоука. Это большому достоинству съ его стороны подвергая Гёте

Великій поэтъ жилъ при веймарскомъ дворѣ, пользовался благосклонностію многихъ вѣнценосныхъ особъ и даже гордился дружбою къ себѣ многихъ изъ нихъ. Вотъ первое преступленіе германскаго поэта Гёте противъ добродѣтельнаго Римлянина Менцеля, который по одному этому предмету разродился двумя глупостями. Во первыхъ; жить при дворѣ, или не жить при немъ—это рѣшительно все равно, потому что въ обоихъ случаяхъ можно быть равно великимъ и равно добродѣтельнымъ человѣкомъ. Во вторыхъ, не только несправедливо, но и справедливо, выпада на человѣка, отнюдь не должно свѣшивать его съ художникомъ, равно какъ, рассматривая художника, отнюдь не слѣдуетъ касаться человѣка. У искусства есть свои законы, на основаніи которыхъ и должно рассматривать его произведенія. Мысль, выраженная поэтомъ въ созданіи, можетъ противорѣчить личному убѣжденію критика, не переставая быть истинною и общою, если только созданіе дѣйствительно художественно: ибо человѣкъ, какъ ограниченная частность, можетъ заблуждаться и питать ложныя убѣжденія, но поэтъ, какъ органъ общаго и мірового, какъ непосредственное проявленіе духа, не можетъ ошибиться и говорить ложь. Конечно, плоти данъ своей человѣческой натурѣ, и онъ можетъ впадать въ заблужденія, но это тогда, когда онъ измѣняетъ своей творческой натурѣ, становится невѣрнымъ самому себѣ и перестаетъ быть поэтомъ, допуская своей личности вмѣшиваться въ свободный процессъ творчества, и впадая въ резонерство, символизмъ и аллегорію. Слѣдовательно, чтобы узнать, вѣрна ли мысль, выраженная поэтомъ въ его произведеніи, должно сперва узнать дѣйствительно ли художественно его созданіе. Но этотъ вопросъ рѣшается непосредственнымъ впечатлѣніемъ созданія на непосредственное чувство критика (разумѣется; если его чувство доступно изысканному, глубоко и всеобъемлюще), повѣреннымъ потомъ діалектикою мысли на непреложныхъ основаніяхъ искусства; а отнюдь не позиціонными справками о трезвости поведения

и аккуратности поэта въ платежѣ долговъ; или осведомленіями о томъ, какъ отзывалась о немъ бабушка, дядюшка или была мать тетюшка, и хорошо ли онъ жилъ съ женою; а еще менѣе произвольными, убѣжденіями случайной личности критика. Основная идея критики Мюсселя была та, что искусство должно служить обществу. Если хотите, оно и служить обществу, выражая его же собственное сознаніе и питая духъ составляющихъ его индивидуумовъ возвышенными впечатлѣніями и благородными мыслями благого и истиннаго; но оно служить обществу не какъ что-нибудь для него существующее, а какъ нечто существующее по себѣ и для себя, въ самомъ себѣ имѣющее свою цѣль и свою причину. Когда же мы будемъ требовать отъ искусства спешнаго служебнаго общественнымъ цѣлямъ, а на поэта смотрѣть, какъ на подчиненнаго, которому можно заимствовать въ одно время — воспѣвать святость брака; въ другое — участие жертвовать своею жизнью за отечество; въ третье — обязанность честно платить долги, то вмѣсто изящныхъ созданій наводимъ литературу рифмованными диссертациями объ отвлеченныхъ и разсудочныхъ предметахъ, сухими аллегоріями; подъ которыми будетъ скрываться не живая истина, а мертвое резонерство, или, наконецъ, утарными пощадными мелкими страстями и бѣснованіями партій. То и другое было во французской литературѣ. Сперва ея произведенія были декламаторскимъ резонерствомъ, которое, въ звучныхъ и гладкихъ стихахъ, то расплывалось пошлыми сентенціями, какъ въ соннетирахъ Корнеля, Расина, Буало, Мольера, Фенелона; (автора «Теллемака»), то разсыпалось мелкими бѣсами въ пошлыхъ остротахъ и наглѣмъ конюшествомъ надъ всѣмъ, что было и за вѣтъ для человечества, какъ въ сатирическихъ Вольтера; теперь ея произведенія — буйное безуміе, авторовъ: обогативъ неистовство животныхъ страстей, выдавать подобно Гюго, Дюма, Эжену Сю, мясничество за трагедію и романъ, а клеветы на человѣческую натуру за изображеніе науро-

ящаго, въ какъ-и современнаго общества. Въ самомъ дѣлѣ, что представляетъ нѣмѣцкая, французская литература? Отраженіе мелкихъ сектъ, нѣвозможныхъ системъ, эфемерныхъ партій, дневныхъ вопросовъ: Гюгъ и Юдасъ, или известный, но отнюдь не славный, Жоффъ. Зандъ, пишетъ цѣлый рядъ романовъ, одинъ друтовъ, нелѣпыхъ и возмутительныхъ, чтобы приложить въ практикѣ идеи сам-симонизма объ обществѣ. Какія же это идеи? О, безподобныя! — именно: индустриальное направленіе должно ваять вверхъ жадъ идеальнымъ и духовнымъ; должно распространиться равенство не въ смыслѣ христіанскаго братства, которое и безъ того существуетъ въ мірѣ со времени первыхъ двѣнадцати учениковъ Спасителя, а въ смыслѣ какого-то масонскаго или квакерскаго сектантства; должно уничтожить всякое разлічіе между полами, разбѣшить женщину, на всякій случай и допустивъ ее наравнѣ съ мужчиною, къ отправленію гражданскихъ должностей, а главное — предоставить ей вѣдѣнное право мѣнять мужей по состоянію своего здоровья... Необходимый результатъ этихъ глубокихъ и первооходныхъ идей есть уничтоженіе священныхъ узъ браны, родства, семейственности, словомъ, совершенное превращеніе государства сперва въ животную и безачинную оргію, а потомъ — въ призракъ, построенный изъ словъ на воздухъ. Альфредъ де Виньи, другой маленький великій, чеповѣчекъ, ударился въ другую крайность: онъ, изъ всѣхъ силъ хлопотаетъ о возстановленіи французской монархіи: въ томъ видѣ въ какомъ она была до кардинала Ришелье. — Франція феодально-монархическая... Для этого онъ поправляетъ исторію, выдумывая никогда не существовавшіе факты, клеветаетъ на Наполеона, заставляя кагото-то пущаго пажла подслушивать его небывалый разговоръ съ пакою Имѣемъ VII, а чтобы уничтожить кардинала Ришелье, ненавидимаго имъ, какъ врага выродившейся феодальной аристократіи, противопоставляетъ ему, въ своемъ романѣ, пустого и ничтожнаго Сен-Мара, дѣлая его героемъ и

великимъ челоуѣкомъ. А между тѣмъ, «идеальный» Ламартинъ хлопочетъ въ водяныхъ медитаціяхъ, приторно-чувствительныхъ одгидахъ и надуетъ риторическихъ поемахъ воскресить католицизмъ среднихъ вѣковъ, котораго онъ не понимаетъ. Выпедъ во Франціи новый уголовный законъ, а завтра является сотня дюжинныхъ романовъ, въ которыхъ примѣромъ рѣшается справедливость или несправедливость закона; вышло новое постановленіе хоть о налогахъ, рекрутствѣ, авціяхъ — опять завтра же длинная вереница романовъ, которая нынче читается съ жадностію, а завтра забывается. Не такова истинная поэзія: ея содержаніе не вопросы дня, а вопросы вѣковъ, не интересы страны, а интересы міра, не участь партій, судьбы челоуѣчества. Не таковъ художникъ: въ дивныхъ образахъ осуществляет онъ божественную идею для ней самой, а не для какой-либо внѣшней и чуждой ей цѣли. Толпа Менцелей не смутитъ его дикими воплями и укорами въ безполезности его существованія—онъ гордо отвѣтилъ ей:

Пойдите прочь: какое дѣло
Поэту мирному до васъ!
Въ развратъ каменъите смѣло;
Не оживить васъ дыры гласъ!
Душѣ противны вы, какъ гробы,
Для вашей глупости и злобы
Имѣли вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры;
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!
Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ
Сметаютъ ересь—модевий трудъ!
Но, позабывъ дѣла сужденья,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы дѣ у васъ метлу берутъ?
Не для житейскаго волеенья,
Не для корысти, не для битва—
Мы рождены для одобренья,
Для вѣчности сладотъ и мучитъ!

Вдохновеніе художника такъ свободно, что самъ онъ не можетъ повелѣвать имъ, но повинуется ему, ибо онъ въ немъ, но не отъ него. Онъ не можетъ выбрать темъ для своихъ созданій, ибо безъ его вѣдома возникаютъ въ душѣ его тайнственныя явленія, которыя показываетъ онъ потомъ на диво міру. Онъ творить не когда хочетъ, но когда можетъ; онъ ждетъ минуты вдохновенія, но не приводитъ ее по волѣ своей, и потому-то

Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ.
Въ заботахъ суетнаго свѣта
Онъ залюбушно погруженъ.
Молчить, его святая лира;
Душа вкушаетъ хладный сонъ,
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ.
Но лишь божественный глаголъ
До слуха чуткаго коснется —
Душа поэта встрепенется,
Какъ пробудившійся орелъ;
Тоскуетъ онъ въ забавахъ міра.
Людской чуждается молвы,
Къ ногамъ народнаго кумира
Не клонить гордой головы;
Бѣжитъ онъ дикій и суровый,
И звуковъ, и смятенія полнъ,
На берегу пустынныхъ волнъ.
Въ широкошумныя дубровы...

Менцель поставляетъ Гёте въ великую вину и тяжкое преступленіе, что онъ молчалъ во время французской революціи и ни однимъ стихомъ не выразилъ своего мнѣнія объ этомъ событіи, потрясшемъ весь міръ. Въ самомъ дѣлѣ, великое преступленіе! Такъ точно, въ одномъ русскомъ журналѣ, кто-то ставилъ Пушкину въ вину, что онъ, воротясь изъ-за Кавказа, гдѣ былъ свидѣтелемъ славы русскаго оружія, напечаталъ VII-ю главу «Онегина», а не собраніе «торжественныхъ одъ»: подлинно — *les beaux esprits se rencontrent!*..

И такая легкая, удобопонятная пштинка: во время революціи, поэтъ непременно долженъ или хвалить, или хулить ее въ своихъ стихахъ, а во время войны — прославлять подвиги соотечественниковъ!... И какъ для Менцелей понятно, что Пушкинъ, возвратясь съ Кавказа, привезъ съ собою «Кавказскаго Пльнника», и какъ непонятно для нихъ, что Грибоедовъ съ того же Кавказа привезъ «Горе отъ Ума» — злую сатиру на современное московское (а не кавказское) общество... Бѣдные люди!...

„Каждое слово Гёте принималось какъ изреченіе оракула; но онъ никогда не начиналъ рѣчи, чтобы наомнить Германцамъ о народной ихъ чести, либо чтобы одушевить ихъ на какой-нибудь благородный помыслъ или подвигъ. Равнодушно пропускалъ онъ мимо себя событія всемірной исторіи, или только сердился, что военныя тревоги подчасъ нарушали сладкія минуты поэтическихъ его наслажденій. До французской революціи дремала Германія. Это грозное событіе пробудило наше отечество ужаснымъ образомъ: какія чувствованія должно было оно породить въ сердцахъ перваго нашего поэта! Новдй эра возбудила восторгъ въ Шиллеръ: Горрею, сгорая стыдомъ отъ намынъ отчизны и отъ глубокаго ея униженія, напоминалъ соотечественникамъ про прежнюю честь и прошлое величіе Германіи. Чтѣ же сдѣлалъ Гёте? Написалъ нѣсколько легкомысленныхъ комедій. Потомъ явился Наполеонъ. Чтѣ долженъ былъ думать ѳ немъ, сказать про него первый германскій поэтъ? онъ долженъ былъ, какъ Арндтъ и Кёрнеръ, проклинать губителя своей отчизны и сдѣлаться главою союза добродѣтели, или, ежели по привычкѣ Нмцевъ онъ былъ больше космополитъ, чѣмъ патріотъ, то, цѣ крайней мѣрѣ, какъ Байронъ, долженъ бы уразумѣть глубоко-трагическое значеніе великаго героя и его дивной судьбы“. (Ч. II, стр. 408—509).

Сколько лжей и пошлостей въ немногихъ словахъ этой ограниченной нѣмецкой головы! У каждаго народа необходимо двѣ стороны: дѣйствительная, сущная, и, какъ точечное ея отраженіе, пошлая и сѣшная; поэтому и Нѣмцевъ можно раздѣлить на Германцевъ, каковы: Мессингъ, Кантъ, Фихте, Шеллингъ, Гегель, Шиллеръ, и Гёте, и на Нмцевъ, каковы: Коцубу, Клаурень, Августъ Лафонтень, Фан-дер-Фельде, Бау-

мастеръ, Кругъ, Бакманъ и пр. Изъ этихъ-то достопочитаемыхъ и достополезныхъ Нѣмцамъ, Фижистерамъ, отъ которыхъ понахвастать и настремъ, и о пивомъ, принадлежитъ и нашъ сердитый господинъ Менцель. Спросите его, съ чего онъ ваялъ, что Гёте равнодушно пропускалъ событія всемірной исторіи? Неужели, какая-нибудь кукушка-сварушка, которая съ своими соседками дѣмъ и нонъ колотила языкомъ по зубамъ, толкуя о реляціяхъ наполеоновыхъ походовъ и побѣдъ, или какой-нибудь фельетонистъ, по копейкѣ со строки надсаживавшій себѣ грудь громкими фразами о томъ же предметѣ, неужели они больше интересовались и глубже понимали эти великія событія, нежели великій поэтъ, который по словамъ самого Менцеля, былъ полнѣйшимъ отраженіемъ, вѣрнѣйшимъ зеркаломъ своего великаго вѣка? Кто сказалъ ему, что Гёте не останавливался въ безмолвномъ созерцаніи, полномъ любви, мысли и благоговѣнія, передъ таинственными судьбами, въ такомъ величіи совершившимися въ его глазахъ, онъ, въ которомъ все жило и который во всемъ жилъ, который все себѣ ощущалъ и на все откликался струнами своего духа, этой звучной арфы вселенной, этого гармоническаго органа міровой жизни?...

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,
Ручьи разумить лепеталъ,
И говоръ древесныхъ листьевъ понималъ,
И чувствовалъ травъ прозябанье;
Была ему заведенная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна!

Неужели изъ этого, что Гёте не касался желихъ современныхъ доблтей, слѣдуетъ, чтобы они не касались его, что онъ не чувствовалъ ихъ? Развѣ Гомеръ въ своей «Илиадѣ» воспѣлъ современное ему событіе, а не за два столѣтія до него совершившееся? Развѣ Шекспиръ, въ своихъ драмахъ, представлялъ не современныи ему міръ? Помните, господа Менцели, точно какой-нибудь школьникъ, съ тетрадкой въ

рушъ, какой-нибудь Сен-Имъе могъ расписать по мѣсяце-
слову вдохновенныя поэты; возставъ въ апрѣлѣ воставать,
дружбу, въ май — любовь, въ июль — бракъ, а въ июль — добро-
тея!.. Мы этикъ отнюдь не хотимъ сказать, чтобы поэту
нельзя было отъвѣщаться пѣсню на современныя событія, нѣтъ;
это значило бы: впасть въ: противоположную крайность, а каж-
дая крайность есть неелѣпость, — плодъ ограниченности кула-
мъ: мозжечка духа. Вдохновеніе не справляется съ календаремъ.
Оно часто толпится, когда всѣ ожидаютъ его. И мы однако
думаемъ, что поэты все же способны отъвѣщаться на со-
временность, которая для него есть: начало, безъ середины и
конца, являющее безъ концы и широты, раскрытое туманомъ
страстей, /предубѣждений и пристрастій мартій, и потому его
вдохновеніе больше любить жить въ вѣкахъ минувшихъ, чѣмъ
буждаты исподлинскія гѣніи Ахилловъ и Ректорровъ, Фичардовъ
и Генриховъ, или изъ нѣдры собственнаго духа производить
свои гигантскія образы, каковы — Гамлетъ, Макбетъ, Отелло.
Менчешъ говорить, что новая тара, начатая французскою ре-
волюціею, пробудила восторгъ въ Шиллеръ; зачѣмъ же онъ
такъ беззастѣнливо ушачалъ, что если Шиллеръ въ восторгѣмъ
привѣтствовалъ начало французской революціи, то съ ошван-
щеніемъ сморрѣлъ на ея продолженіе и конецъ; и съ негодо-
ваніемъ отвергнулъ дилломъ на гражданина Французской рес-
публики, который предлагалъ ему Конвентъ за его трагедію
«Фіско» — очень плохое твореніе въ художественномъ
отношеніи?.. Или разсказать фактъ въ половину иногда не-
обходимо, чтобы поддержать ложь?.. И какъ понятно, что
Гѣте не могъ поступить подобно Шиллеру, ибо Гѣте былъ
геній несравненно высшій, геній чисто-художническій, а по-
тому не способный увлечаться ничемъ односторонностию,
но обнимавшій все въ оконченной цѣлости, на все смотрѣвшій
не снизу вверхъ, а сверху внизъ. Вся цѣль стремленій самого
Шиллера была — достигнуть мирообъемлющей объективности
Гѣте; только при концѣ своего поприща онъ болѣе или менѣе

достигъ этого, в оттого послѣднія его произведенія и выше, и глубже, чѣмъ произведенія его юности, полной пожирающаго пламени, а вмѣстѣ съ нимъ и дыма, и чада, и угара... Что могло дѣлать честь Шиллеру, то унизило бы Гёте. Съ чего ваялъ господинъ Менцель, что Гёте долженъ былъ, подобно господамъ Арндту и Кернеру, проклинать Наполеона, какъ губителя своей отчизны?... Это еще что за новость?... Когда Менцель заставляетъ Гёте подражать Шиллеру — въ этомъ еще есть немножко смысла, потому что Шиллеръ всетаки былъ великій духъ, если не такой же художникъ; но заставлятъ орла дѣлать то, что дѣлали помыры?... Для выполненія временныхъ требованій и цѣлей какой-нибудь ограниченной эпохи, есть маленькіе, недикіе люди, есть Арндты и Кернеры, а у истинно великихъ людей, исполновъ челоуѣчества — другое время и другіе цѣли — міръ и вѣчность... Съ чего ваялъ Менцель, что Гёте долженъ былъ сдѣлаться главою Тугендбунда, состоявшагося изъ школьничковъ и духовно-малолѣтнихъ дѣтей, и смѣшного для людей взрослыхъ и возмущавшихъ духомъ...

Все это показываетъ только, что Менцель не понимаетъ ни значенія, ни сущности искусства, а взявшись говорить о томъ, чего не смыслишь, невольно будешь говорить вздоръ; если же къ этому присоединится духъ партіи и оскорбленное самолюбіе, то, вмѣсто истины, будешь изрыгать ругательства и проклятія... Изъ всего этого видно одно: Менцель золь на Гёте за то, что тотъ не хотѣлъ быть ни крикуномъ, ни начальникомъ какой либо политической партіи, что онъ требовалъ не возможнаго сплоченія раздробленной Германіи въ одно политическое тѣло. У генія всегда есть инстинктъ истины и дѣйствительности; что есть, то для него разумно, необходимо и дѣйствительно, а что разумно, необходимо и дѣйствительно, то только и есть. Поэтому, Гёте не требовалъ и не желалъ возможнаго, но любилъ наслаждаться необходимо-сущимъ. Для него необходимость раздроб-

ленности. Германія была такимъ же убѣжденіемъ и такою же вѣрою, какъ у Пушкина было убѣжденіе и вѣра, что не русское море насаядетъ, а «славянскіе ручьи сольются въ русское море». Только какой-нибудь Манцель можетъ заключиться въ ограниченное чувство политической ненависти и оставить поэтическія созданія для рифмованныхъ памфлетовъ; но это-то и достаточно намекаетъ на «міровое величіе» его поэтическаго генія. Манцель, вѣрно, на колыняхъ передъ нимъ, а это самая злая и ругательная критика для поэта. Наконецъ, Манцель продолжительно и окончательно обнаруживаетъ свой взглядъ на Гёте, переводя противъ него слѣдующія слова Платона о Гомерѣ:

„Мнѣ должно, наконецъ, высказать мою мысль, хотя по какой-то некорректности къ Гомеру и застенчивости передъ нимъ, которая пыталась самой малодости, мнѣ трудно рѣшиться говорить объ этомъ поэтѣ: ибо онъ, кажется, глава и предводитель всѣхъ хорошихъ трагическихъ стихотворцевъ. Но какъ не должно человека ставить выше истины, то я принужденъ высказать, что думаю. Итакъ,] любезный Глазковъ, если ты встрѣтишь людей превозносящихъ Гомера, которые говорятъ, что этотъ поэтъ былъ востановителемъ цѣлой Греціи, и что онъ, стоитъ тщательнаго изученія, потому что отъ него можно научиться хорошо управлять дѣлами человѣческаго рода и хорошо обращаться съ ближними, что по этой причинѣ, должно располагать и вести свою жизнь согласно съ его предписаніями: то на такихъ людяхъ, конечно нельзя сердиться; имъ, безъ сомнѣнія, должно оказывать любовь и дружбу! Они, сколько могутъ, стараются всемирно быть людьми честными; нельзя также не согласиться съ ними, что Гомеръ есть гений, въ высшей степени поэтической и глава трагическихъ поэтовъ. При этомъ надлежитъ, однако, замѣтить, что въ государствѣ не должно допускать никакихъ твореній поэзіи, кромѣ посвященныхъ въ похвалу богамъ и въ славу доблестныхъ подвиговъ. Если скоро ты допустишь туда нѣжную и сладостную лиру какого бы ни было рода, лирическаго и эдическаго, то произвольныя волненія, веселія или печали станутъ тамъ царствовать вмѣсто закона и ума“. (Ч. II, стр. 442—443).

Итакъ—долой Гомера, долой Шекспира, долой искусство: они вредятъ обществу! Давно бы такъ! Въ такомъ случаѣ не

для чего было нападать на Гёте и писать нѣкую видорную книгу; сказать бы прямо, коротко и ясно, долой искусство! Тогда всякій понималъ бы, что одному Гёте нечего думать на блонъ свѣтъ. Менцель, въ простотѣ ума и сердца, думаетъ что онъ сошелся съ Платономъ, не видя въ словахъ величайшаго философа-поэта древности противорѣчія съ самимъ собою, и не понимая причины этого противорѣчія. Платонъ первый открылъ своимъ тѣніемъ причины красоты въ самой красотѣ, назвавъ все ея сущее воплощеніемъ божественныхъ идей, отъ вѣка въ себѣ пребывавшихъ и въ себѣ заключающихъ свою причину, — и тотъ же Платонъ уничтожаетъ міръ искусства, который есть міръ красоты!... Отчего это противорѣчіе? — Оттого, что въ древнемъ мірѣ общество уничтожало въ себѣ людей, и частнаго человѣка признавало не какъ существующаго самого по себѣ и для себя, а какъ только своего члена, свою часть и своего слугу. Тогда гражданинъ былъ выше человѣка; а какъ поэзія есть удовлетвореніе внутренней потребности духа, сонающаго и себя, и міръ, — то Платонъ при всемъ своемъ гонимъ, и не могъ примирить этого противорѣчія, которое было прижирено христіанствомъ и дальнѣйшимъ развитіемъ человѣчества въ исторіи. Всякая философія, въ своемъ началѣ, есть противорѣчіе, и только свершивъ свой полный кругъ дѣлается примиреніемъ, какъ философія нашего времени, философія Гегеля. Хотя Платонъ понималъ существующее больше какъ поэтъ, нежели какъ философъ, т. е. не діалектикою мысли, а полнотою внутренняго созерцанія, но онъ уже мыслилъ, а не творилъ, и потому разрушающая сила разсудка необходимо вошла въ его мірообъемлющіе воззрѣнія, какъ начало разрушенія полной и гармонической жизни Грековъ. Это разрушеніе въ Сократѣ проявилось уже рѣзко, какъ философія разсудка, противоположная поэтическому взгляду народа - художника, за что великій мудрецъ и погибъ жертвою оскорбленнаго имъ національнаго духа, еще немогшаго сознать въ Сократѣ начало

новой для себя жизни. И посмотрите, съ какимъ уваженіемъ, съ какою любовію и какою благородною скромностію вооружается противъ Гомера этотъ великій духъ! Смотрите, какъ боится онъ обаятельной силы нежной и сладостной лиры: о, онъ знаетъ, что не устоялъ бы противъ ея черодѣйственного обольщенія, онъ въ самомъ себѣ чувствовалъ своего предателя, ежеминутно готоваго измѣнить ему! Такъ противорѣчатъ себѣ умы гениальныя: только посредственность и ограниченность способны фанатически предаться какой-нибудь односторонности и упрямо закрывать глаза на весь остальной Божій міръ, противорѣчающій исключительности ихъ тѣснаго убѣжденія...

Накъ Мендель не Платонъ: что не подходитъ подъ его маленькую идею — онъ подгибаетъ подъ нее, а не гнется — онъ ломаетъ. Искусство не даноъ ему, не подошло подъ тѣсныя рамки его идеальнаго построенія — долой искусство — оно грѣхъ, преступленіе, безнравственность!... Вотъ такъ-то, что долго думать! А другой какой-нибудь чудакъ готовъ уничтожить общество, разрушить промышленность, торговлю, словомъ, всю практическую сторону жизни, чтобы обратить людей къ исключительному служенію искусству и подѣлать изъ нихъ художниковъ и аматѣровъ. Дайте имъ только возможность и силу приложить къ жизни свою теорію. — Одинъ завопитъ: «общество! все погибай, что не служитъ къ пользѣ общества!» а другой зарычитъ: «искусство! все погибай, что не живетъ въ искусствѣ!»... Не истинно мудрый вѣрно и безъ крапа говорить: «да живетъ общество и да процвѣтаетъ искусство: то и другое есть явленіе одного и того же разума, единого и вѣчнаго, и то и другое въ самомъ себѣ заключаетъ свою необходимость, свою причину и свою цѣль!»

Да! общество не должно жертвовать искусству своими общественными выгодами, или уклоняться для него отъ своей цѣли. Искусство не должно служить обществу иначе, какъ служа самому себѣ. Пусть каждое идетъ своей дорогой; не мѣшая другъ другу.

Дѣло Питтовъ, Фоксовъ, О'Конелей, Талейрановъ, Кауницевъ и Меттерниховъ — участвовать въ судьбѣ народовъ и испытывать свое вліяніе въ политической сферѣ человечества. Дѣло художниковъ — созерцать «полное славы творенье» и быть его органами, а не вмешиваться въ дѣла политическія и правительственныя. Иначе придется воскликнуть:

Бѣда коль пироги начнетъ печи сапожникъ,
А сапоги тачать пирожникъ!

Все велико на своемъ мѣстѣ и въ своей сферѣ, и всякій имѣетъ значеніе, силу и дѣйствительность только въ своей сферѣ, а заходя въ чуждую, дѣлается призракомъ, иногда только смѣшнымъ, иногда отвратительнымъ, а иногда смѣшнымъ и отвратительнымъ вмѣстѣ, подобно Менцелю. Можетъ быть, Менцель былъ бы хорошимъ чиновникомъ при посольствѣ, или даже депутатомъ города или сословія, потому что, можетъ быть, онъ въ этомъ и знаетъ что-нибудь и способенъ на что-нибудь; но онъ не можетъ быть даже и посредственнымъ критикомъ, потому что равно ничего не смыслитъ въ искусствѣ, не имѣетъ никакого органа для принятія впечатлѣній наящнаго. Онъ судитъ объ искусствѣ, какъ слѣпой о цвѣтахъ, глухой о музыкѣ. Воду нельзя мѣрять саженями, а дорогу ведрами: нельзя по политикѣ судить объ искусствѣ, ни по искусству о политикѣ, но каждое должно судиться на основаніи своихъ собственныхъ законовъ.

Есть еще и другая фальшивая мѣрка для искусства — тоже принятая Менцелемъ, который, въ отношеніи къ ней, имѣлъ, имѣетъ и всегда будетъ имѣть еще болѣе подражателей. Мы говоримъ о нравственной точкѣ зрѣнія на искусство.

Это вопросъ глубокій и важный. Сколько позволяютъ пределы статьи, напомнимъ на его безконечное значеніе.

Нравственность принадлежитъ къ сферѣ человеческихъ дѣйствій, и въ отношеніи къ волѣ человека есть тоже самое, что истина въ мышленіи, что красота въ искусствѣ. Основаніе

нравственности лежить въ глубинѣ духа—источника всего сущаго. Все, что выходитъ изъ одного начала, изъ одного общаго источника—все то родственно, единокровно и нераздѣльно въ своей сущности, хотя и различается средствами, путемъ и формою своего проявленія. Слѣдовательно, отдѣлять вопросъ о нравственности отъ вопроса объ искусствѣ такъ же невозможно, какъ и разложить огонь на свѣтъ, теплоту и силу горѣнія. Но поэтому-то самому и должно раздѣлить эти два вопроса. Когда вамъ сказали, что въ каминѣ разведенъ огонь—вы вѣрно не спросите, обожжетъ ли этотъ огонь ваши руки если вы положите ихъ на него,—и будутъ ли вамъ видны предметы, освѣщенные имъ. Такой вопросъ приличенъ только или ребенку, едва начинающему говорить, или человѣку сумасшедшему. Когда вамъ говорятъ, что женщина родила дитя—вы вѣрно не спросите есть ли у этого дитяти тѣло, или есть ли у него душа; когда онъ живъ, у него есть и душа, и тѣло, ибо онъ самъ есть не что иное, какъ явившійся или воплощавшійся духъ. Но вы можете сдѣлать вопросъ объ огнѣ—разведенъ ли онъ въ каминѣ, чтобы могъ и грѣть, и освѣщать, или еще только разводится; а о младенцѣ—живъ ли онъ, или родился мертвымъ, или умеръ родившись. Итакъ, видите ли: вы раздѣляете два вопроса именно потому что они нераздѣлимы, что отвѣтъ на одинъ есть уже необходимо и отвѣтъ на другой, хотя бы вы другого и не дѣлали. Такъ и въ искусствѣ: что художественно, то уже и нравственно; что нехудожественно, то можетъ быть не безнравственно, но не можетъ быть нравственно. Вслѣдствіе этого, вопросъ о нравственности поэтическаго произведенія долженъ быть вопросомъ вторымъ и вытекать изъ отвѣта на вопросъ—дѣйствительно ли оно художественно. Произведеніе искусства, художественность котораго не выдержать высшей пробы вкуса и критики можетъ быть положительно-безнравственно, какъ оскорбляющее нравственность, и можетъ быть отрицательно-безнравственно, какъ только неоскорбляющее нравственности; но всякое истинно

или действительно-художественное произведение не может не быть положительно-нравственнымъ. Доказать, что произведение искусства положительно-беснравственно — значить доказать, что оно положительно-нехудожественно, а для этого сперва должно рассмотреть его въ его собственной сферѣ, т. е. въ сферѣ искусства, и доказать изъ него же самого, что оно нехудожественно, или, по крайней мѣрѣ, прежде вопроса о нравственности, принять это за утвержденное и очевидное. Единсущное не противорѣчитъ единсущному, и истина не раздѣляется на самое же себя, чтобы уничтожить самое же себя.

Намъ возражать, что наше возраженіе противорѣчитъ опыту, ибо есть множество произведений искусства, которыя цѣлыми вѣками и народами признаны за художественныя, но которыя, тѣмъ не менѣ, беснравственны, и наоборотъ, есть множество произведений, слабыхъ съ художественной стороны, но въ высшей степени нравственныхъ.

Для отвѣта на подобное возраженіе, имѣющее всю силу внѣшней очевидности, должно условиться въ значеніи словъ «художественное» и «нравственное». Но какъ рѣшеніе подобнаго важнаго и глубокаго вопроса повело бы насъ слишкомъ далеко, то и ограничимся только тѣмъ, что слегка поговоримъ о значеніи «нравственнаго», оставляя безъ разрѣшенія «художественное», какъ будто определенное и всѣмъ известное.

Не все то принадлежитъ къ сферѣ «нравственнаго», что называютъ «нравственнымъ» (Sittlichkeit), сближая съ нимъ понятіе «моральнаго» (Moralität). Нравственность относится къ моральности, какъ разумный опытъ жизни къ житейской опытности, какъ высшее къ обыкновенному, трагическое къ повседневному, какъ разумъ къ разсудку, мудрость къ хитрости, искусство къ ремеслу. Жизнь человѣческая раздѣляется на будни, которыхъ въ ней много, и праздники, которыхъ въ ней мало. Въ жизни человѣка бываютъ торже-

ственные минуты, въ которыхъ все — побѣда, или все — паденіе, и нѣтъ середины. Это минуты борьбы его индивидуальной личности, требующей личнаго счастья или личнаго спасенія, съ долгомъ, говорящимъ ему, что онъ вправѣ стремиться къ счастью, или спасенію, но не на счетъ несчастія или гибели ближняго, имѣющаго равное съ нимъ право и на счастье, если оно ему представляется, и на спасеніе, если ему грозитъ бѣда. Воля человека свободна: онъ вправѣ выбрать тотъ, или другой путь, но онъ долженъ выбрать тотъ, на который указываетъ ему разумъ. Если онъ послушается голоса своей личности, требующей всего себя, и останется спокоенъ въ духѣ своемъ — онъ будетъ правъ въ отношеніи къ самому себѣ, хотя и виноватъ въ отношеніи къ разуму, котораго законовъ онъ не въ состояніи постигать: тогда не будетъ осуществленія нравственнаго закона, за нарушеніе котораго кара внутри человека, но тогда, можетъ быть, осуществится только моральный законъ, за нарушеніе котораго наказаніе внѣ человека, какъ возмездіе гражданскаго закона, или какъ личное мщеніе со стороны оскорбленнаго. Объяснимъ это примѣромъ, который сдѣлалъ бы нашу мысль осязаемою очевидностію. Молодой человѣкъ увлекается мимолетнымъ и скоропреходящимъ чувствомъ любви къ дѣвушкѣ, которая могла только доставить ему нѣсколько минутъ блаженнаго упоенія, но не удовлетворить вполне всѣхъ потребностей его духа, но не быть половиною души его, жизнью сердца, — словомъ, которая могла быть только его любовницею, но не женою. Теперь положимъ, что эта дѣвушка, не имѣя такой глубокой натуры, какъ онъ, и будучи ниже его и своими понятіями, чувствованіями, потребностями, и образованіемъ, тѣмъ не менѣе была бы существомъ, достойнымъ всякаго уваженія, могла бы составить счастье цѣлой жизни равнаго себѣ по натурѣ и образованію человека, быть вѣрною, любящею женою и матерью, уважаемою въ обществѣ женщинъ. Дѣвушка эта, не видя и не по-

нимая своего духовнаго неравенства съ этимъ молодымъ человекомъ, однакожь любить его страстно, предана ему до самоотверженія, до безумія, и уже мать его дитяти. Она не подозреваетъ и возможности конца своему счастью, ея любовь все сильнѣе и сильнѣе; а онъ уже просыпается отъ сладкаго упоенія страсти, онъ уже съ ужасомъ не находитъ въ себѣ прежней любви, онъ уже не въ силахъ отвѣчать на ея горячія лобзанія, на ея ласки, прежде столь обаятельныя, столь могучія для него... Она вся—любовь, упоеніе, нѣга; онъ весь—тяжелая дума, тревожное безпокойство. Наконецъ, ему нѣтъ больше силъ притворяться, тяжело ее видѣть, страшно о ней вспомнить. А между тѣмъ, какъ бы на зло самому себѣ, какъ бы для усугубленія своихъ страданій, онъ понимаетъ все ея достоинства: цѣнитъ всю ея любовь и преданность къ нему, даже видитъ въ ней больше, нежели, что она есть въ самомъ дѣлѣ. Онъ проклинаетъ и презираетъ себя, не видитъ въ мірѣ никого гнуснѣе и преступнѣе себя; онъ называетъ себя обманщикомъ, воромъ, подло укравшимъ любовь и честь женщины; о прошлыхъ своихъ увѣреніяхъ и клятвахъ любви онъ вспоминаетъ какъ объ умышленномъ, обдуманномъ вѣроломствѣ, забывъ, что въ то время восторговъ и упоеній, онъ говорил и клялся искренно, горячо вѣрилъ дѣйствительности своего чувства. Отчего же этотъ внутренній раздоръ, отчего это внутреннее раздвоеніе съ самимъ собою, этотъ жгучій огонь въ груди эта мука, эта пытка души?... Вѣдь эта дѣвушка только тихо плачетъ, безмолвно изнываетъ въ безотрадной тоскѣ отвергнутаго и оскорбленнаго чувства? Вѣдь она не грозитъ ему законами, не преслѣдуетъ его упреками, не безпокоитъ его требованіями, и потому страшная тайна останется между ними, и ему нечего страшиться ни мщенія гражданскаго закона, ни даже суда общественнаго мнѣнія?—Но отъ всехъ этихъ утѣшеній его страданія только глубже и мучительнѣе: безропотное страданіе жертвы возбуждаетъ въ немъ только боль-

цее уваженіе къ ней и большее презрѣніе къ себѣ; а безопасность виѣшняго наказанія только больше увеличиваетъ въ его глазахъ собственное преступленіе. Отчего же это?—Оттого, что сердце этого молодого человека всякъ почва, въ которую законъ нравственнаго духа такъ глубоко пустить свои корни; что онъ можетъ ихъ вырвать только съ кровію и тѣломъ, а слѣдовательно; и съ потерю общественной жизни. Онъ оскорбилъ не ходячія нравственные сентенціи: онъ оскорбилъ достоинство собственнаго духа, нарушилъ незримо, но ощутительно пребывающія въ его сущности законы его же собственнаго разума. Что же ему останется дѣлать? Женился на ней—она жете вы? Но для такихъ людей чувствовать подлѣ себя біеніе сердца, трепещущаго любовію; чувствовать сжатіе чужихъ-то горячихъ объятій, и оставаться холоднымъ, мертвымъ... ужасно!... Для трупа объятія живого существа то же, что для живого существа объятія трупа... Когда мы не связаны съ существомъ, на любовь котораго не можемъ отвѣчать; мы уважаемъ его, сострадаемъ ему, плачемъ и молимся о немъ; но когда мы связаны съ нимъ неразрывными узами брака, и его страстная любовь вызываетъ нашу, которой въ насъ нѣтъ, мы отвѣчаемъ ему не ненавистію... Что же тутъ дѣлать?... Иногда подобныя трагическія столкновенія разрѣшаются просто, во вкусѣ ищущанской драмы: красавица страдаетъ, а потомъ допустить утѣшить себя другому, который заставитъ ее забыть горе для радости; но что, ежели въ то время, какъ онъ беретъ съ собою и носить въ душѣ своей адъ, въ самомъ разгарѣ этой безвыходной борьбы, до слуха его дойдетъ страшная вѣсть, что она умерла, благословляя его, и его имя было ея послѣднимъ словомъ?... Неужели послѣ этого для него возможно счастье на землѣ? А если и возможно, неужели на немъ не будетъ какого-то мрачнаго оттѣнка? Неужели въ часы упоенія любви, изъ-за того юнаго, прекраснаго и полнаго жизни существа, которое такъ роскошно

осѣнило лицо его волнами длинныхъ локоновъ, ему не будетъ иногда являться какой-то блѣдный, страдальческій призракъ, съ любовью въ очахъ, съ благословеніемъ на устахъ?... Изъ той же возможности могла родиться и другая дѣйствительность: онъ могъ, идя по улицѣ, увидѣть толпу народа около какого-то трупъ женщины, сейчасъ вытаскнутаго изъ рѣки... Страшно!... Человѣческая природа содрогается передъ такимъ бѣдствіемъ... Что же значить это бѣдствіе? Въдь онъ могъ не признать трупъ, могъ пройти мимо, не боясь мщенія закона?... Нѣтъ, есть другой законъ, еще ужаснѣе закона гражданскаго, законъ внутренний, въ немъ самомъ пребывающій, законъ нравственности, — и этотъ-то законъ караетъ его. Бывали примѣры, что преступники, убійцы являлись въ судъ и признавались въ преступленіяхъ, давно совершенныхъ, давно забытыхъ, въ которыхъ ихъ и тогда никто не подозрѣвалъ, и какъ облегченія своихъ страданій, просили казни. Видите ли, какой страшный законъ, этотъ нравственный законъ, и какъ страшно его наказаніе: самая казнь, въ сравненіи съ нимъ, есть облегченіе, милость!... Но, повторяемъ, онъ не для всехъ существуетъ, потому что онъ въ духѣ человѣка, а не внѣ его, и въ духѣ только глубоко и могуче... Обратимся къ нашей исторіи. Она могла бы кончиться и не такъ эффектно, но не менѣе ужасно. Молодой человѣкъ могъ бы рѣшиться пожертвовать собою для искупленія своей вины, — страшная рѣшимость! Но что, если бы онъ услышалъ такой отвѣтъ на свое великодушное предложеніе: «я хочу любви, а не жертвы: я лучше умру, нежели быть въ тягость тому, кого люблю»... Вотъ тутъ уже совершенно нѣтъ выхода изъ двухъ крайностей: и себя погубилъ, и ее погубилъ... А между тѣмъ, эта погибель совсѣмъ не вѣшняя, не случайная, но есть осуществленіе возможности, которую онъ самъ же родилъ своимъ поступкомъ. Мы выше сказали, что дѣло точно такъ же могло кончиться очень хорошо для обѣихъ сторонъ, какъ кончилось

худое изъ этого видно, что сущность дѣла не въ совершеніи, а въ возможности совершенія. Проступая оскорбляя нравственный законъ, следовательно, необходимо условливая возможность наказанія, хотя оно могло бы и миновать. Итакъ, въ «возможности» лежитъ внутренняя, дѣйствительная сторона событія, потому что только внутреннее дѣйствительно, и только дѣйствительное велико. Отсюда важность и трагическое величіе осуществленія нравственнаго закона. Кончилась эта исторія хорошо — и молодой человекъ счастливъ, и никто бы не осудилъ его; кончилось оно дурно — и всё голоса противъ него....

Но есть люди, чьихъ совѣсть сговорчивѣе, которые боятся суда уголовнаго, но не боятся суда духовнаго....

Главное и существенное разлічіе нравственности отъ моральности состоитъ въ томъ, что первая есть законъ разума, въ таинственной глубинѣ духа пребывающій, а послѣдняя всегда бываетъ разсудочнымъ понятіемъ о нравственности же, но, только людей не глубокихъ, вѣнчившихъ, неносящихъ въ нѣдрахъ своего духа законъ нравственности, а между тѣмъ чувствующихъ его необходимость. Поэтому, нравственность есть понятіе обще-міровое, непреходящее, безусловное (абсолютное), а моральность часто бываетъ понятіемъ условнымъ, измѣняющимся. Было время, когда воинъ, пролившій за отечество лучшую часть своей крови, покрытый ранами и честными знаками отличій, обнаружилъ бы себя въ глазахъ общества безчестнымъ человѣкомъ, еслибы отказался отъ дуэли съ какимъ-нибудь мальчишкою-негодлемъ, и особенно, еслибы, по христіанскому чувству, простилъ ему оскорбленіе. И такъ думали во имя нравственности, которую, по счастью, очень удачно замѣнили французскимъ словомъ *moralité*... Моральность относится къ низшей или практической сторонѣ жизни, равно какъ и вытекающее изъ нея понятіе о чести; но, тѣмъ не менѣе, и она есть истина, когда не противорѣчитъ нравственности, — и кто нравственъ, тотъ необходимо и мора-

лень и честенъ, но не наоборотъ, ибо иногда самые моральные и честные, и благородные, въ силу общественнаго мнѣнія, люди, бываютъ самыми безнравственными людьми.

Тѣ, которые смотрятъ на искусство съ нравственной точки зрѣнія, обыкновенно суживаютъ нравственность съ моральностию, а какъ моральные понятія зависятъ отъ ограниченной личности случайнаго произвола каждаго, то каждый и судить по своему о произведеніяхъ искусства, требуя отъ нихъ то того, то другого, но никогда не требуя именно того, чего должно отъ нихъ требовать. Исключительность и односторонность господствуютъ въ этомъ взглядѣ. Чего не понимаетъ господинъ моралистъ, или господинъ резонеръ, то и объявляетъ безнравственнымъ. Эти моралисты-резонеры хотятъ видѣть въ искусствѣ не зеркало дѣйствительности, а какой-то идеальный, никогда не существовавшій міръ, чуждый всякой возможности, всякаго зла, всякихъ страстей, всякой борьбы, но полный усыпительнаго блаженства и резонерскаго правоченія; требуютъ не живыхъ людей и характеровъ; а ходячихъ аллегорій съ ярлычками на лбу, на которыхъ было бы написано: умирность, аккуратность, скромность и т. п. Влѣдствіе такого прекраснаго взгляда на сущность жизни, романъ, поэма, драма непременно должны кончаться счастливо для «добродѣтельныхъ», дабы всѣ видѣли, что «добродѣтель награждается», и несчастно для порочныхъ, дабы всѣ видѣли, что «порокъ наказывается». Близорукіе и носые, они не понимаютъ, что добродѣтель всегда награждается и зло всегда наказывается, но только внутренно, а внѣшнимъ образомъ торжество чаще остается за зломъ, нежели за добромъ. Они не понимаютъ, что добро есть лучшая награда за добро; и зло — жесточайшее наказаніе за зло. Въ душѣ человека и его небо, и его адъ. Прочтите, напр., высокохудожественное созданіе Вальтеръ-Скотта «Макмермурскую Нежѣсту» — эту великую трагедію, достойную гонимого Шекспира, эту высоко-поразительную картину, въ формѣ

романа, осуществившую трагическую борьбу, разрывившуюся въ торжество нравственного закона. Мать губить собственную дочь для удовлетворенія своей суетности грѣховныхъ побужденій холодной и искаженной души; обманомъ и хитростію разрываетъ она святой духовный союзъ юнаго дѣвственнаго существа съ избраннымъ ея сердца, съ родною ей душою. Бѣдную, кроткую дѣвушку увѣрили, что милый намѣнилъ ей, что жданный и желанный не придетъ уже къ ней, и уважали безотвѣтной жертвѣ на чуждаго ей человѣка, какъ на жениха, а молчаніе ея умышленно приняли за согласіе. И вотъ коварство и злоба восторжествовали: брачный контрактъ уже подписанъ безотвѣтной жертвою, овщенникъ уже тутъ, а милый сердца далеко, далеко, за синимъ моремъ, на чужой землѣ, подъ чуждымъ небомъ... Резонеры готовы вопіять противъ поэта, говоря, что онъ сдѣлалъ зло сильнымъ и торжествующимъ, а добро немощнымъ и погибающимъ... Но вотъ раздается на дворѣ зѣмля топотъ боя — и въ залу входитъ человекъ, завернутый плащомъ и шляпою... Вотъ онъ открываетъ лицо — и мать въ бѣшенствѣ бросается къ нему съ вопросомъ: какъ онъ осмѣлился нанести ихъ дому это новое оскорбленіе?... Видите ли: зло покарало зло — нравственный законъ осуществился; коварство, такъ глубоко обдуманное, такъ легко и непредвидѣнно разрушилось... Брать Люсію вызываютъ его на дуэль, женихъ тоже; онъ не отказывается, но спокойно проситъ у матери позволенія объясниться съ дочерью... «Ваша ли рука это, Люсія? безъ принужденія ли вы подписали этотъ контрактъ?» — Люсіа блѣднѣетъ и умирающимъ голосомъ отвѣчаетъ: «Безъ принужденія»... Отчего же она поблѣднѣла? Оттого, что и на ней совершилось осуществленіе нравственного закона, и она наказана за вину собственною виною, ибо въ миломъ сердца своего увидѣла своего грознаго судію. Она не имѣла права подписывать контракта и нести чуждому ей человѣку холодную душу, мертвое сердце, блѣдное лицо и потухшія очи,

ибо и церковь, освящаящая своимъ благословеніемъ союзъ сердецъ, изрекаетъ его только на условіи свободнаго выбора сердца; повиновеніе волѣ родительской не есть причина для нарушенія воли Божіей: Богъ выше родителей!... «Такъ возвратите же мнѣ половину моего кольца, Люсіа»... Она тѣпотно сжималась дрожащею рукою вынуть шнурокъ; на которомъ хранилось на груди кольцо; мать помогаетъ ей, и Равенсвудъ бросаетъ обѣ половинки переломленнаго кольца въ каминъ и тихо выходитъ... Долго ждалъ онъ шаговъ, но лишь исчезъ изъ глазъ смотрѣвшихъ на него враговъ, мать молнией помчалась на своею кофѣ. Леди Астонъ снова восторжествовала; вотъ конченъ и обрядъ; вотъ тянется отъ церкви къ замку блестящій поѣздъ, и три вѣдьмы, три нищія толкуютъ между собою о событіи, а одна пророчить близкія похороны... Вотъ начался и балъ; онъ уже во всемъ разгарѣ; но вдругъ въ спальнѣ новобрачныхъ раздается вопль... выламываютъ дверь: новобрачный лежитъ на постели съ перерѣваннымъ горломъ, а сумасшедшую новобрачную едва нашли въ каминѣ, и черезъ два дня новыи поѣздъ отъ замка къ церкви, и отъ церкви къ замку... Поодрячаемъ васъ, гордая и благородная леди Астонъ! вы побѣдили, вы торжествуете, вы поставили на своею; вы даже пережили и мужа; и всѣхъ дѣтей, и того, кто одинъ могъ сдѣлать счастливою дочь вашу, вы остались одни въ цѣломъ свѣтѣ, какъ надгробный памятникъ нѣсколькихъ вырытыхъ вами могилъ; говорятъ, что вы держали себя все такою же гордою, такою же непреклонною, какъ и прежде, что никто не слышалъ отъ васъ ни стона, ни жалобы, ни раскаянія; но къ этому прибавляютъ, что на вашемъ благородномъ и гордомъ лицѣ читали что-то другое, нежели что хотѣли вы показать, и что ваше присутствіе оледеняло улыбку на лицѣ младенца, умерщвляло всякую радость, всякое чувство человеческое, и отъшпеняло души людей, какъ появленіе жертвенца или страшнаго призрака... И вотъ въ чемъ торжество нравственности, а не въ счастливой

развязки!... Поэту нужно было показывать, а не доказывать, — въ искусствѣ что показано, то уже и доказано. Поэту не нужно было излагать своего мнѣнія, которое читатель и безъ того чувствуетъ въ себѣ по впечатлѣнью, которое произвелъ на него рассказъ поэта. Моральныя сентенціи и нравоученія со стороны поэта только ослабили бы силу впечатлѣній, которое одно тутъ и нужно, и дѣйствительно. Да! въ дѣйствительности зло часто торжествуетъ надъ добромъ, но вѣчная любовь никогда не оставляетъ чады своихъ: когда страданіе переполняетъ чашу ихъ терпѣнія, является упокоительный ангелъ смерти, и братскимъ поцѣлуемъ освобождаетъ «добрыхъ» отъ бурной жизни, и кротою рукою омываетъ ихъ очи, и мы читаемъ на просявшемъ лицѣ страдальцевъ тихую улыбку, какъ будто уста ихъ, договаривая свою теплую молитву прощенія врагамъ, приветствуютъ уже тотъ новый міръ блаженства, предшественію котораго они всегда носили въ себѣ... И надъ ихъ могилою совершается торжество примиренія: человечество благословляетъ ихъ память, и повѣстію о ихъ страданіяхъ не возмущается противъ жизни, а мирится съ нею въ умиленномъ сердцѣ, и укрѣпляется въ силѣ великодушно бороться съ бурями бѣдствій. А злые? Страшно ихъ торжество и только безмысленные могутъ завидовать ему... Но резонёры говорятъ свое — ихъ ничѣмъ не увѣришь, потому что они чужды духа и духъ чуждъ ихъ; они понимаютъ одно внѣшнее и безсильны заглянуть въ таинственную лабораторію чувствъ и ощущеній; они готовы любить добро, но за вѣрную меду въ здѣшней жизни и меду земными благами. Они громче всѣхъ кричатъ о Богѣ, — но потребуй отъ нихъ Богъ жертвы, пошли на нихъ тяжкое испытаніе — они перейдутъ на сторону Ваала и поклонятся до земли тельцу златому...

Все, что есть, то необходимо, разумно и дѣйствительно. Посмотрите на природу, проникните съ любовью къ ея материнской груди, прислушайтесь къ бѣенію ея сердца — и уви-

дите въ ея безконечномъ разнообразіи удивительное единство, въ ея безконечномъ противорѣчій удивительную гармонию. Кто можетъ найти хоть одну погрѣшность, хоть одинъ недостатокъ въ твореніи предвѣчнаго Художника? Кто можетъ сказать, что вотъ эта былинка не нужна, это животное лишнее? Если же міръ природы, столь разнообразный, столь, повидимому, противорѣчивый, такъ разумно-дѣйствителенъ, то неужли высшій его — міръ исторіи есть не такое же разумно-дѣйствительное развитіе божественной идеи, а такая-то божественная сказка, полная случайныхъ и противорѣчащихъ столкновеній между обстоятельствами?.. И однакожь, есть люди, которые твердо убѣждены, что все идетъ въ міръ не такъ какъ должно. Мы выше сего указывали на этихъ людей, представителемъ которыхъ можетъ служить Менцель. Отчего они заблуждаются? Оттого, что свою ограниченную личность противопоставляютъ личности Божіей; оттого, что безконечное царство духа мѣряютъ маленькимъ масштабомъ своихъ моральныхъ положеній, которыя они ошибочно принимаютъ за нравственные. Посмотрите, какъ они судятъ историческія лица: забывая въ нихъ историческихъ дѣятелей, представителей человѣчества, они вливаются, подобно пиявкамъ, въ ихъ частную жизнь, и ею силятся опровергнуть ихъ историческое величіе. Какое имъ дѣло до личнаго характера какого-нибудь Талейрана? Можетъ быть, этого человѣка и во многомъ осудить его духовникъ — единственный призванный и приванный судія его совѣсти; но они-то, эти моральные-то люди, развѣ они сами свободны отъ этого суда? Не лучше ли имъ было бы судить Талейрана какъ государственнаго человѣка, по мѣрѣ его вліянія на судьбу Франціи, оставивъ частнаго человѣка, не имѣющаго права на мѣсто въ исторіи? Удивительно ли послѣ этого, что исторія у нихъ является то сумасшедшимъ, то смиреннымъ домомъ, то темницею, наполненною преступниками, а не пантеономъ славы и безсмертія, полнымъ ликовъ представи-

телей человечества, исполнителей судеб Божіихъ. Хороша исторія!... Таки кривые взгляды, иногда выдаваемые за высшіе, происходятъ отъ разсудочнаго пониманія дѣйствительности, необходимо соединеннаго съ отвлеченностью и односторонностью. Разсудокъ умѣетъ только отвлечь идею отъ явленія и видѣть одну какую-нибудь сторону предмета; только разумъ постигаетъ идею нераздѣльно съ явленіемъ и явленіе нераздѣльно съ идеею, и схватываетъ предметъ со всѣхъ его сторонъ, видимому, одна другой противорѣчащихъ и другъ съ другомъ несомнѣтельныхъ, — схватываетъ его во всей его полнотѣ и цѣльности. И потому разумъ не создаетъ дѣйствительности, а сознаетъ ее, предварительно взявъ за аксіому, что все, что есть, все то и необходимо, и закономно, и разумно. Онъ не говоритъ, что такой-то народъ хорошъ, а всѣ другіе, непохожіе на него, дурны, что такая-то эпоха въ исторіи народа или человѣка хороша, а такая-то дурна, но для него всѣ народы и всѣ эпохи равно велики и важны, какъ выраженія абсолютной идеи, диалектически въ нихъ развивающейся. Для него возникновеніе и паденіе царствъ и народовъ не случайно, а внутренне-необходимо, и самая эпоха римскаго разврата есть не предметъ осужденія, а предметъ изслѣдованія. Онъ не скажетъ съ каинъ-нибудь Вольтеромъ, что крестовые походы были плодомъ невежества и предпріятіемъ дѣлшнымъ и смѣшнымъ, но увидитъ въ нихъ разумно-необходимое, великое и политическое событіе, совершившееся въ свою пору и свое время, и выразившее моментъ юности человечества, какъ всякой юности, исполненной благородныхъ порывовъ, безкорыстныхъ стремленій и идеальной мечтательности. Такъ же точно смотритъ разумъ на всѣ явленія дѣйствительности, видя въ нихъ необходимыя, явленія духа. Блаженство и радость, страданіе и отчаяніе, вѣра и сомнѣніе, дѣятельность и бездѣйствіе, побѣда и паденіе, борьба, раздоръ и примиреніе, торжество страстей и торжество духа, самыя преступленія, какъ бы они ни были

ужасны, все это для него явления одной и той же действительности, выражающія необходимые моменты духа, или уклоненія его от нормальности, вълѣдствіе внутреннихъ и вѣншихъ причинъ. Но разумъ не остается только въ этомъ объективномъ безпристрастіи: прижавъ все явленія духа равно необходимыми, онъ видитъ въ нихъ бесполезную лѣстницу, не лежащую горизонтально, а стоящую перпендикулярно, отъ земли къ небу, и въ которой ступени прогрессивно возвышаются одна надъ другою.

Искусство есть воспроизведеніе действительности; слѣдовательно, его задача не направлять и не приращивать жизнь, а показывать ее такъ, какъ она есть на самомъ дѣлѣ. Только при этомъ условіи поэзія и нравственность тождественны. Произведенія неистовой французской литературы не потому безнравственны, что представляютъ отвратительныя картины прелюбодѣнія, провосмишенія, отцеубійства и сыноубійства; но потому что они съ особенною любовью останавливаются на этихъ картинахъ и, отвлечая отъ полноты и цѣлости жизни только эти ея стороны, дѣйствительно ей принадлежащія, исключительно выбирать ихъ. Не такъ какъ въ этомъ выборѣ, уже ложномъ по своей односторонности, литературные санкюлоты руководствуются не требованіями искусства, которое само для себя существуетъ, а для подтвержденія своихъ личныхъ убѣжденій, то ихъ изображенія и не имѣютъ никакого достоинства вѣроятности и истины, тѣмъ болѣе, что они съ умысломъ клеветаютъ на человеческое сердце. И въ Шенспирѣ есть тѣ же стороны жизни; за которыя неистовая литература такъ исключительно хватается, но въ немъ онѣ не оскорбляютъ ни эстетическаго, ни нравственнаго чувства; потому что, вѣдѣвъ съ ними, у него являются и противоположныя имъ, а главное, потому что онъ не думаетъ ничего развивать и доказывать, а изображаетъ жизнь, какъ она есть.

Искусство издавна навлекло на себя нападки и ненависть

моралистовъ, этихъ вампировъ, которые мертвятъ жизнь холодомъ своего прикосновенія и силятся заковать ея безконечность въ тѣсныя рамки и клѣточки своихъ разсудочныхъ, а не разумныхъ опредѣленій. Но изъ всѣхъ поэтовъ, Гёте наиболѣе возбуждалъ ихъ ожесточеніе. Геній и безправственность — его неотъемлемыя качества въ ихъ глазахъ. Въ Менцелѣ эта моральная точка зрѣнія на искусство нашла полнѣйшаго своего выразителя и представителя. Причина очевидна: Гёте былъ духъ, во всемъ жившій и все въ себѣ ощущавшій своимъ поэтическимъ ясновидѣніемъ, слѣдовательно — неспособный предаться никакой односторонности, ни пристать ни къ какому исключительному ученію, системѣ, партиі. Онъ многостороненъ, какъ природа, которой такъ страстно сочувствовалъ, которую такъ горячо любилъ и которую такъ глубоко понималъ онъ. Въ самомъ дѣлѣ, посмотрите, какъ природа противорѣчива, а слѣдовательно, и безнравственна, по воззрѣнію резонёровъ: у полюсовъ она дышетъ холодомъ и смертію зимы, а подъ экваторомъ сожигаетъ изнурительною теплою; на сѣверѣ она скупа на свои дары и заставляетъ человѣка все брать трудомъ, кровавымъ потомъ и вѣчною борьбой съ собою, а на югѣ щедра дарами, но богата и смертоносными заразами, ядовитыми гадами и свирѣпыми звѣрями; въ срединѣ Африки она разметнулась безбрежною стѣнью — цѣлымъ океаномъ песка, гибельнаго для путешественниковъ, а въ Голландіи явилась тонкимъ болотомъ... Слѣдовательно, въ одномъ мѣстѣ она говоритъ одно, а въ другомъ утверждаетъ совсѣмъ противное; какая, право, безнравственная! Таковъ и Гёте — ея вѣрное зеркало. Во дни своей кипучей юности, обвѣянный духомъ художественной древности и обаянный роскошью природы и жизни поэтической Италіи, онъ писалъ «Римскія элегіи», этотъ дивный апофеозъ древней жизни и древняго искусства, и въ то же время воскресилъ въ своемъ «Гёцѣ» жизнь рыцарской Германіи, свелъ съ ума всю Европу повѣстію о «Страданіяхъ

Вертера» и создалъ въ «Вильгельмъ Мейстеръ» апотеозъ чловѣка, который ничего полезнаго не дѣлаетъ на бѣломъ свѣтѣ, и живетъ только для того, чтобы наслаждаться жизнью и искусствомъ, любить, страдать и мыслить. Потомъ, въ лѣта болѣе зрѣлыя, онъ въ «Прометей» воспроизвелъ художнически моментъ возстанія сознающаго духа противъ непосредственности на вѣру признанныхъ положеній и авторитетовъ, а въ «Фаустъ» — жизнь субъективнаго духа, стремящагося къ примиренію съ разумною дѣйствительностію путемъ сомнѣній, страданій, борьбы, отрицаній, паденія и возстанія, но подлѣ него помѣстилъ Маргариту, идеалъ женственной любви и преданности, покорную и безропотную жертву страданія, смерть которой была для нея спасеніемъ и искупленіемъ ея вины, въ христіанскомъ значеніи этого слова... Уловить Гёте въ какое-нибудь коротенькое опредѣленіе трудно, и не для Менцеля, Менцель и осердился на него, и назвалъ его чѣмъ-то въ родѣ безнравственной безличности.

Нашлось много людей, которые, въ простотѣ ума и сердца, воскликнули:

Ай, моська! Знать она сильна,
Коль лаетъ на слона!

и промѣняли слона на моську...

Чтобы унижить Гёте, Менцель противопоставляетъ ему Шиллера, не какъ художника, а какъ чловѣка «отличнѣйшаго поведенія». Не поздоровится отъ такихъ похвалъ!...

Чтобы сдѣлать Гёте образцомъ безнравственности, Менцель призналъ въ Шиллерѣ образъ нравственности. И Шиллеръ, въ самомъ дѣлѣ, былъ духъ столь же великій, сколько и нравственный: величіе и нравственность нераздѣльны, какъ теплота и свѣтъ въ огнѣ. Кто грѣшилъ противъ нравственности, стремясь къ нравственности, тотъ нравственнѣе того, который родился и умеръ нравственнымъ; точно такъ же, кто

заблуждался въ истинѣ, стремясь къ истинѣ, больше любитъ истину, нежели тотъ, который родился и умеръ правымъ противъ нея. Какъ благородные порывы пламенной, неистинной любви къ человечеству, первыя произведенія Шиллера, каковы: «Разбойники» и «Коварство и Любовь», нравственны; но въ отношеніи къ безусловной истинѣ и высшей нравственности, они рѣшительно безнравственны. Въ нихъ онъ хотѣлъ осуществить вѣчныя истины, — и осуществилъ свои личныя и ограниченныя убѣжденія, отъ которыхъ потомъ самъ отказался. Такъ какъ онъ въ нихъ задалъ себѣ задачу и назначилъ цѣль въ искусствѣ, то изъ нихъ и вышла поэтическая недооса и уроды, явленія совершенно-ничтожныя въ области искусства, хотя и великія въ оферѣ феноменологіи духа. Истинно-художественное произведеніе возвышаетъ и расширяетъ духъ человѣка до созерцанія безконечнаго, приширяетъ его съ дѣйствительностію, а не розсѣиваетъ противъ нея, — и укрѣпляетъ его на великодушную борьбу съ невзгодами и бурями жизни. Искусство достигаетъ этого тогда только, когда въ частныхъ явленіяхъ показываетъ общее и разумно-необходимое, и когда представляетъ ихъ въ объективной полнотѣ, цѣлости и оконченности, замкнутыми въ самихъ себѣ. Если въ трагедіи гибель и смерть оа героевъ явилась какъ внутренняя необходимость изъ ихъ характеровъ и дѣйствій, какъ разрѣшеніе ими же произведенной дисгармоніи въ гармонической оферѣ духа, для осуществленія нравственного закона, — мы примиряемся съ нею, и умиленною душою предаемся тихой и глубокой думѣ о поразительномъ урокѣ; но когда гибель и смерть героевъ трагедіи является вслѣдствіе страсти поэта къ ужаснымъ и поразжающимъ эффектамъ, какъ у какаго-нибудь Гюго, или по другой, внѣшней, случайной, а слѣдовательно, и безсмысленной причинѣ, — это возбуждаетъ въ насъ отвращеніе и ожерзѣніе, какъ зрѣлище казни или пытки. Такъ точно и страданія субъективнаго духа могутъ быть предметомъ искус-

ства, а слѣдовательно, и не оскорблять нравственности, если они изображены объективно, просвѣтлены мыслію, свидѣтельствующею о разумной необходимости ихъ явленія. Но когда они суть вопли самого поэта, то и не могутъ быть художественны, ибо кто вопить отъ страданія, тотъ не выше своего страданія, — слѣдовательно, и не можетъ видѣть его разумной необходимости, но видитъ въ немъ случайность, а всякая случайность оскорбляетъ духъ и приводитъ его въ раздоръ съ самимъ собою, слѣдовательно, и не можетъ быть предметомъ искусства. Гёте, въ своемъ «Вертерѣ», по собственному признанію, выразилъ моментальное состояніе своего духа, тяжело страдавшаго; «Вертеромъ», по собственному же его признанію, онъ и вышелъ изъ своего мучительнаго состоянія. И вотъ истинная причина, почему чтеніе «Вертера» производитъ на душу тоже тяжкое, дисгармоническое впечатлѣніе, не улаждающее, а только терзающее ее; вотъ почему «Вертеръ» и представляется чѣмъ-то неполнымъ, какъ бы неоконченнымъ. Это не художественное произведеніе, а рѣжущій, скрипящій диссонансъ духа. Поэтому, если онъ не есть безнравственное произведеніе, то и нисколько не есть нравственное произведеніе; Гёте измѣнилъ въ немъ самому себѣ, явился невѣрнымъ своей художнической натурѣ. Но кто же поставитъ ему въ вину то, что онъ на минуту не понялъ самого себя и изъ художника явился человѣкомъ?... И неужели одинъ неудачный опытъ можетъ затмить такую богатую и обширную художническую дѣятельность!...

Никакой человѣкъ въ мірѣ не родится готовымъ, т. е. вполне сформировавшимся; но вся жизнь его есть не что иное, какъ непрерывно-движущееся развитіе, безпрестанное формированіе. Истина не дается ему вдругъ: чтобы достигъ ея, онъ будетъ сомнѣваться, впадать въ ложь и противорѣчіе, страдать и падать. «Дорого да мило, дешево да гнило!» говоритъ мудрая русская пословица. Чѣмъ глубже натура человѣка, тѣмъ глубже и его паденіе, и его заблужденіе,

его противорѣчія и отрицанія, тѣмъ рѣзче его переходы отъ одного убѣжденія къ другому. Но есть люди, какъ бы рождающиеся съ готовыми понятіями, люди, которые въ старости думаютъ и понимаютъ точно такъ же, какъ думали и понимали въ дѣтствѣ. Это натуры бѣдныя и жалкія, равнодушныя къ истинѣ и чуждыя всякаго духовнаго движенія; умы мелкіе и ограниченные. Вотъ отъ этихъ-то духовно-малолѣтнихъ вы всегда и слышите забавно-самолюбивое возраженіе: «такъ, не вы ли тогда-то думали совершенно иначе, а теперь говорите совсѣмъ другое?—стало быть, вы ошибаетесь». Къ такимъ-то натурамъ принадлежитъ и Менцель: онъ родился совершенно готовымъ, и въ одномъ мѣстѣ своей книги съ препотѣшною гордостію ставитъ себѣ въ великую заслугу, что никогда не измѣнялъ своихъ убѣжденій. Для поэта другой ходъ въ движеніи истины, чѣмъ для людей обыкновенныхъ: безъ борьбы и противорѣчій, руководимый полнотою своей ясновидающей натуры, переходитъ онъ съ лѣтами отъ низшихъ явленій жизни къ высшимъ, отъ «Руслана и Людмилы» доходить до «Бориса Годунова» или «Каменнаго Гостя». Менцель этого не понимаетъ,—и, посмотрите, какъ растолковано это дивно-поэтическое признаніе великаго художника:

Die Feinde, sie bedrohen dich,
Das mehrt von Tag zu Tage sich,
Wie dir doch gar nicht graut!
Das seh ich alles unbewegt,
Sie zerren an der Schlangenhaut
Die jüngst ich abgelegt;
Und ist die nächste reif genug,
Abstreif ich die sogleich
Und wandle neu belebt und jung
Im frischen Götterreich ¹⁾.

1) Тебѣ грозятъ твои враги, и съ каждымъ днемъ число ихъ увеличивается. Какъ ты не боишься! Я смотрю на все это хладнокровно; они терзаютъ ту кожу, которую я недавно сбросилъ съ себя; кожа скоро замѣнившая ее достаточно созрѣетъ—я и эту сброшу немед-

Менцель это объясняетъ тѣмъ, что для Гёте не было ничего святого и заветнаго, что онъ всѣмъ забавлялся... Угадалъ!... Менцель, впрочемъ, не до конца прогнѣвался на Гёте: онъ не отнимаетъ у него огромнаго таланта—внѣшней поэтической формы безъ всякаго содержанія... О, почтенный нѣмецкій филистеръ! какъ пристала бы къ нему мандаринская шапка съ тремя желтенькими шариками, при его собственныхъ ушахъ!... Чтобъ быть критикомъ, надо родиться критикомъ, надо получить отъ природы обширное и глубокое созерцаніе, или внутреннее ясновидѣніе всего, что составляетъ содержаніе искусства; надо получить инстинктъ и тактъ для пониманія изящнаго. Мы не можемъ понимать и знать ничего такого, что не лежитъ, какъ возможность, въ сокровенныхъ тайникахъ нашего духа. Наука развиваетъ только данное намъ природою, и внѣ себя мы только узнаемъ находящееся въ насъ. Нѣсколько друзей пошло въ картинную галлерею, и всѣ остановились передъ «Мадонною» Рафаэля, какъ вдругъ одинъ вскричалъ съ восхищеніемъ: «славная рама! я думаю, рублей пятьсотъ стоитъ!» Растолкуйте же ему, что какъ бы ни хороша была эта рама, хотя бы она стоила миллионовъ, хотя бъ была сдѣлана изъ цѣльнаго алмаза — и тогда была бы грошевою вещію въ сравненіи съ картиною, которая въ нее вставлена... Растолкуйте Менцелю, или Менцелямъ, что, какъ въ природѣ, такъ и въ искусствѣ, нѣтъ прекрасныхъ формъ безъ прекраснаго содержанія, т. е. мысли, которая есть духъ жизни, ставшій въ нихъ видимою, очевидною дѣйствительностію, и что ей-то и одолжены эти прекрасныя формы и своею обаятельною красотою, и своею вѣчно-юною жизнію, и своимъ неотразимымъ и сладостнымъ могуществомъ надъ душою людей!...

ленно; обновленный, помолодѣвъ опять, явлюсь въ вѣчно-цвѣтущемъ царствѣ боговъ.

ГОРЕ ОТЪ УМА. *Комедія въ четырехъ дѣйствіяхъ, въ стихахъ. Соч. А. С. Грибоедова. Второе изданіе. Спб. 1839.*

Какъ посравнить. да посмотрѣть
Вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій:
Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ!
„Горе отъ Ума“.

Было время, когда теорія искусства представлялась съ математической точностію, такъ что для постиженія искусства не нужно было жить отъ природы чувства изящнаго, а слѣдовательно, и развивать его наукою и ученіемъ. Стоило присѣсть на часокъ, да прочесть любую піитику — и потомъ разсуждать объ искусствѣ вдоль и поперекъ. Въ этихъ піитикахъ основою была — идея искусства, какъ подражанія природѣ, съ приличіями, впрочемъ, украшеніями, въ родѣ мушекъ, бѣдиль и румянъ, или въ родѣ подстриженныхъ аллей регулярнаго сада. Объяснивъ такъ премудро и такъ глубоко значеніе искусства, приступали къ раздѣленію его на роды. Поезія раздѣлялась на лирическую, эпическую, драматическую, дидактическую, описательную, эпистолярную, пастушескую, сатирическую, эпитафическую, и проч. и проч., — всего не перечтешь. На чемъ основывалось это раздѣленіе? — На вѣншихъ признакахъ, на условной формѣ, существовавшей отвлеченно отъ идеи, изъ которой необходимо должна выходить всякая форма. Что такое, наприимѣръ, драматическая поезія? Вы думаете, что это вопросъ важный,

для рѣшенія котораго требуется время, размышленіе, изученіе, наука, о которомъ можно написать разсужденіе, цѣлую книгу?—Ничего не бывало! не успѣте перечестъ по пальцамъ десяти, какъ вамъ уже и готовъ самый точный и самый удовлетворительный отвѣтъ. По мнѣнію однихъ—не слишкомъ бойкихъ — драматическая поэзія есть театральное зрѣлище, съ нѣкоторымъ подражаніемъ природѣ, къ наставленію и увеселенію служащее; другіе—позамысловатѣе и въ пѣтическихъ хитростяхъ наиболѣе искушенные — говорятъ, что драматическая поэзія есть выраженіе настоящаго времени, какъ эпическая—прошедшаго, а лирическая—будущаго. Коротко и ясно! Но, милостивые государи, мужи ученостію и древностію лѣтъ знаменитые! положимъ, что эпическая поэзія воспѣваетъ хриплымъ голосомъ дѣла минувшія, а драма представляетъ бывшее настоящимъ; но лирическая-то поэзія какъ успѣла у васъ забѣжать впередъ самой себя и выражать то, чего и не было, и нѣтъ, а только еще будетъ? Напротивъ, *virgi doctissimi atque sapientissimi!* лирическая-то поэзія и есть, по преимуществу, выраженіе настоящаго момента въ духѣ поэта, настоящаго, мимолетнаго ощущенія. Подновленные мнимымъ романтизмомъ, какъ бѣлилами и румянами, устарѣлыя гетеры, нѣкоторые истые классики замѣтили эту тяжесть и «изъ глубины сознающаго духа» новою нелѣпостію украсили старую: лирическая поэзія, говорятъ они, выражаетъ настоящее время, эпическая—прошедшее, а драматическая—будущее, ибо де (о, неисчерпаемая глубина сознающаго духа!) она представляетъ людей не такими, каковы они суть, но какими должны быть!!!... Эту новую нелѣпость вытащилъ изъ глубины своего сознающаго духа одинъ Нѣмецъ-псевдофилософъ—Бахманъ, котораго безтолковая эстетика, къ сожалѣнію, прекрасно переведена была, лѣтъ десять назадъ тому, на русскій языкъ. Но объ обновленныхъ классикахъ послѣ: обратимся къ почюющимъ въ мирѣ. Раздѣливъ поэзію на роды, они приступили къ подраздѣленію родовъ

на виды. Что такое трагедія? — Определеній они не любили дѣлать, потому что опредѣленіе должно основываться на разумномъ началѣ и заключать въ себѣ, какъ зерно, растительную силу изъ самого себя, возможность внутренняго (имманентнаго) развитія изъ самого же себя, — и потому прибѣгали къ описаніямъ, которыя гораздо легче. Итакъ, опишешь, съ ихъ голоса, всѣ виды драматической поэзіи. Если драматическое произведѣніе писано шестистопными рифмованными ямбами съ пѣтическими вольностями (необходимое условіе!), если его дѣйствующія лица — цари и ихъ наперсники, царицы и ихъ наперсницы, механизъмъ дѣйствія движется чрезъ «вѣстниковъ», которые, краснорѣчиво и съ приличною выступкою, на сценѣ, гдѣ ничего не дѣлается, рассказываютъ, что дѣлается за кулисами, а пятый актъ кончится рѣзней, — то знайте, что это «трагедія»; если же оно писано прозою и содержитъ въ себѣ трогательное и навидательное происшествіе изъ частной жизни, и кончится свадьбою любовниковъ и наказаніемъ разлучниковъ, — знайте, что это «драма» или «слезная комедія», или «мѣщанская трагедія» — что все одно и то же; если же драматическое произведеніе имѣетъ въ предметъ осмѣяніе пороковъ и исправленіе нравовъ, и написано шестистопными тяжелыми ямбами съ пѣтическими вольностями, возбуждающими смѣхъ, а въ пятомъ актѣ кончится поворотъ негодяевъ и чудаковъ, и торжествомъ резонеровъ, — знайте, это «комедія» съ ея отцами и любовниками, съ ея субретками и резонерами; если же оно съ пѣніемъ и музыкою — то «опера».

Согласитесь, что все это очень просто, и развѣ только рѣшительные глупцы не въ состояніи были постичь всѣхъ этихъ премудростей за одинъ присѣсть. Такъ Мольеровъ «Мѣщанинъ въ дворянствѣ» въ одну минуту узналъ, что стихи есть стихи, а проза есть проза, и что онъ, съ тѣхъ поръ, какъ началъ говорить, все говорилъ прозою. Французы мастера и толковать, и понимать: быстрота соображенія со-

едняется у нихъ съ необыкновенною ясностію изложенія. Недоразумѣній по части искусства, въ оное блаженное время, не было, а если бы они и возникли, стоило только раскрыть кодексъ изящнаго — *L'art poétique* Буало и мѣтинку Баттѣ. «Лицей», или «Лицей» Лагарпа, котораго наши остряки прошлаго вѣка, безсознательно, но очень впопадѣ, называли въ шутку «Лакеемъ», былъ уже приложеніемъ теоріи сихъ великихъ мужей къ практикѣ; образцы искусства были утверждены и признаны въ произведеніяхъ Корнеля, Расина и Мольера, съ набавкою къ нимъ Вольтера, Кребильона и Дюсина—Шекспирова парикмахера и камердинера. Все было рѣшено и опредѣлено: наука не могла идти далѣе. Славное время, чудное время! И давно ли оно свирѣствовало у насъ на святой Руси? Давно ли Сумароковъ слылъ «россійскимъ господиномъ Расиномъ»? давно ли Мерзляковъ — человѣкъ даровитый и умный, душа поэтическая—съ важностію, нисколько не думая шутить или мистифицировать публику, разбиралъ неподражаемыя красоты творца дубоватаго «Синава» и свирѣпаго «Дмитрія Самозванца!...»

Дѣды, помню васъ и я!...

И вдругъ нахлынулъ потокъ новыхъ мнѣній. Легкая молодость, всегда жадная къ новости, ниспровергла прежнихъ идоловъ искусства, разрушила ихъ капища и наругалась надъ жертвоприношеніемъ. Тщетно почтенныя филістры классицизма, застигнутые въ своихъ вольтеровскихъ креслахъ внезапною бурей, кричали ниспровергнутымъ болванамъ: «выдбай, боже!» Деревянные божи потонули въ Дифпрѣ нововведенія: мишурная позолота потянула ихъ ко дну и погубила безвозвратно. Куда Сумароковъ! не хотимъ знать и Озерова. Что Озеровъ! смѣемся мы надъ Корнелемъ и Расиномъ!—Кого же вамъ надо, господи?—Шекспира, Байрона, Шиллера, Гёте, Вилтора Гюго—мы романтики!...

А! романтизмъ!... Просимъ покорно—вотъ сюда, поближе:

намъ надо разсмотрѣть васъ хорошенько. Вы смѣялись надъ стариками: посмотримъ, не смѣшны ли вы сами, молодой человѣкъ съ растрепанными чувствами и измѣною наружности...

Ахъ, господа, это пресмѣшная исторія—я вамъ расскажу ее. Но сперва мнѣ надо поговорить серьезно.

Всемирную исторію искусства, т. е. искусства не какого-нибудь народа, а цѣлаго человѣчества, раздѣляютъ на два великіе періода, обозначая, ихъ именами классическаго и романтическаго. Собственно классическое искусство существовало только у Грековъ—этого народа, который своею жизнію отпирывалъ праздники древняго міра. Всѣ народы Азіи и Африки выразили собою какую-нибудь одну сторону духа:—въ лицѣ Грековъ всѣ эти односторонности явились въ живомъ и слитномъ единствѣ. Всѣ народы сѣяли на нивѣ развитія слезами и кровью: Греки пожали только роскошные плоды, развивъ ихъ изъ своего многосторонняго, универсальнаго, абсолютнаго духа. Истина открылась человѣчеству впервые—въ искусствѣ, которое есть истина въ созерцаніи, т. е. не въ отвлеченной мысли, а въ образѣ, и въ образѣ не какъ условномъ символѣ (что было на Востокаѣ), а какъ въ воплощенной идеѣ, какъ полнымъ, органическомъ и непосредственнымъ ея явленіемъ въ красотѣ формъ, съ которыми она такъ нераздѣльно слита, какъ душа съ тѣломъ. Поэтому, самая религія Грековъ вышла изъ творящей фантазіи, и мысль о божествѣ явилась въ очаровательныхъ созданіяхъ искусства. Греческое творчество было освобожденіемъ человѣка изъ-подъ ига природы, прекраснымъ примиреніемъ духа и природы, до толѣ враждовавшихъ между собою. И потому греческое искусство облагородило, просвѣтило и одухотворило всѣ естественныя склонности стремленія человѣка, которые до толѣ являлись въ отвратительномъ безобразіи своей животности. Вотъ почему духъ нашъ не только не оскорбляется, но возвышается и облагораживается эпизодомъ изъ «Иліады»,

гдѣ лилейно-раменная Гера, державная супруга громовержца Зевеса, обольщаетъ чарами любви и наслажденія своего грознаго супруга, чтобы въ ея объятіяхъ отецъ боговъ и чело-вѣковъ не отвратилъ гибели отъ ненавистныхъ ей Данаевъ и не насладъ ея на любезныхъ ей Ахеянъ... Вотъ почему такую благородную, такую величественно-граціозную картину представляетъ собою Афродита—«милыхъ хитростей мать грозная» *), которая собственною рукою вводитъ прекрасную Елену на ложе бѣжавшаго отъ копья Менелаява боговиднаго царя Александра — Париса Пріаида... Всѣ формы природы были равно прекрасны для художнической души Эллина; но какъ благороднѣйшій сосудъ духа—человѣкъ, то на его прекрасномъ станѣ и роскошномъ изяществѣ его формъ и остановился съ упоеніемъ и гордостію творческій взоръ Эллина, — и благородство, величіе и красота человѣческаго стана и формъ явились въ безсмертныхъ образахъ Аполлона бельведерскаго и Венеры медіцейской. Посмотрите: сколько красокъ, сколько пластики въ описаніяхъ наружности и разнообразныхъ положеній человѣческаго стана въ пѣсняхъ пѣвца «Иліады», съ какимъ наслажденіемъ останавливается онъ на этихъ пластическихъ картинахъ, съ какою любовію, съ какою неистощимою роскошью творчества отдѣлываетъ ихъ своимъ волшебнымъ рѣзцомъ... Статуи Грековъ изображались нагими: то, что для другихъ показалось бы безстыднымъ оскорбленіемъ человѣческаго достоинства, въ древнемъ мірѣ было цѣломудренною поэзіею и сознаніемъ человѣческаго достоинства, — и вотъ почему ваяніе достигло у Грековъ такого высшаго развитія, принесло такіе роскошные плоды. Въ самомъ дѣлѣ, не говоря уже о важнѣйшихъ произведеніяхъ древняго рѣзца камня, барельефъ, медаль, посуда въ формѣ человѣческой и львиной головы, каждая бездѣлка въ этомъ родѣ есть художественное произведеніе, и въ ты-

*) Стихъ Мерзлякова.

сячу разъ выше лучшей статуи даже Кановы. У Грековъ родилось ваяніе—съ ними и умерло оно, потому что только у нихъ совершенство человѣческой фигуры могло имѣть такое мировое значеніе. Вотъ почему характеръ самой поэзіи Грековъ есть пластичность образовъ, такъ что хочется ощупать рукою этотъ волнистый, мраморный гекзаметръ, который, излетѣвъ изъ устъ, становится передъ глазами вашими отдельною статуею или движущею картиною. Причина этого явленія — уравниваніе идеѣ съ формою, изъ которыхъ каждая потеряла свою особность и которыя слились въ неразрывномъ тождествѣ уже, а не единствѣ только. Далѣе, какое было содержаніе греческаго искусства? Для Грековъ, какъ лишенныхъ христіанскаго откровенія, была темная, мрачная сторона жизни, которую они нарекли судьбою (*fatum*), и которая, какъ неотразимая, враждебная сила тяготѣла надъ самими богами. Но благородный, свободный Грекъ не преклонился, не палъ передъ этимъ страшнымъ призракомъ, а въ великодушнѣйшей и гордой борьбѣ съ судьбою нашелъ свой выходъ, и трагическимъ величіемъ этой борьбы просвѣтилъ мрачную сторону своей жизни; судьба могла лишить его счастья и жизни, но не унизить его духа, могла сразить его, но не побѣдить. Эта идея мелькаетъ еще и въ «Иліадѣ», а въ трагедіяхъ является уже во всемъ блескѣ своего царственнаго величія. Древній міръ былъ міръ внѣшній, объективный, въ которомъ все значило общество, и ничего не значилъ человѣкъ. Вотъ почему дѣйствующими лицами въ греческой трагедіи могли быть только боги, полубоги, цари и герои — представители общества, народа, а не частныя лица. Дивный, очаровательно-прекрасный, роскошно-упоительный міръ! Великій моментъ челоѣчества, моментъ примиренія, брачнаго союза духа съ природою въ искусствѣ, по превосходству художественномъ, слѣдовательно, въ искусствѣ по преимуществу, которому равнаго уже не будетъ, но котораго безсмертныя творенія, вопреки бессмысленному мнѣ-

нію ограниченныхъ головъ, невѣждъ и самоучекъ, всегда будутъ для насъ полны значенія обаятельной силы, потому что для человѣчества не теряется ни одинъ моментъ его развитія, а тѣмъ болѣе не можетъ забыться такая высокая ступень духа, на которой были Греки!... Исчезаютъ только конечныя формы, а формы искусства вѣчны и непреходящи, ибо въ ихъ конечности является безконечное...

Но кончился онъ, этотъ прекрасный міръ просвѣтленной чувственности, одухотворенныхъ формъ и героической борьбы челоуѣка съ неотразимою силою рока; кончился этотъ періодъ роскошнаго цвѣтенія искусства — умеръ народъ-художникъ! Уже и варваръ-Римлянинъ истощалъ всю свою жизнь — задача его была рѣшена: онъ простеръ надъ міромъ свою желѣзную длань, сливъ его въ механическое единствѣ своихъ гражданственныхъ формъ; онъ уже издалъ и кодексъ своихъ правъ, развитыхъ имъ изъ своей жизни и своею жизнью. Оруженныя дивными произведеніями искусства, вывезенными изъ ограбленной имъ Греціи, и зѣвалъ отъ пресыщенія и скуки, и корчилъ рабами чудовищныхъ рыбъ... Древній міръ одряхлѣлъ; содержаніе его жизни было истощено... невозможное челоуѣчество алкало и жаждало обновленія или смерти. А между тѣмъ, въ забытомъ уголкѣ міра, давно уже раздавался божественный голосъ, кротко и любовно взывавшій: «Приндите ко Мнѣ всѣ труждающіе и обремененныя — и Я успокою васъ! Возьмите иго Мое на себя, и научитесь отъ Меня; ибо Я кротокъ и смиренъ сердцемъ: и найдете покой душамъ вашимъ. Ибо иго Мое благо и бремя Мое легко». И пришелъ часъ — народы, познали гласъ пастыря, положившаго душу свою за овцы, и міръ осѣнился знаменемъ креста. Новые, влипающіе избыткомъ юной жизни, народы обновили древній міръ, и настала новый періодъ челоуѣчества, періодъ религіозный, періодъ романтический. Справедливо называютъ его періодомъ юношества челоуѣчества: это безпрестанное стремленіе куда-то, въ какую-то неопредѣленную даль, эта непрерывная

жажда дѣятельности—что все это, какъ не кипѣніе молодой крови, какъ не тревога юнаго духа, мучимаго избыткомъ силъ своихъ? Изъ этого безпокойнаго стремленія къ движению, хотя бы даже безъ всякой цѣли, но только къ движению, вышло бродячее рыцарство въ желѣзныхъ доопѣхъ, вѣчно на конѣ, вѣчно въ битвахъ, если не съ врагами, такъ съ самимъ собою въ кровавыхъ распряхъ и на потѣшныхъ турнирахъ. Но примымъ и непосредственнымъ источникомъ всей этой романтической жизни было христіанство. Нѣкоторые поверхностные мыслители говорили и писали, что будто христіанство отрицаетъ государство, общественность, науку и искусство, потому что въ Евангеліи ни о чемъ этомъ не говорится. Что христіанство не отрицаетъ государства, какъ необходимой формы существованія человечества—это ясно изъ словъ Спасителя: «Воздадите кесарева кесареви, Божія Богови», и изъ многихъ мѣстъ Евангелія, гдѣ говорится о земныхъ властяхъ. Но и это еще не главное, еще не причина, а только слѣдствіе: все дѣло въ сущности основной идеи; такъ какъ основная идея Евангелія—идея божественной любви, осуществившаяся страданіемъ и кровію за чадъ своихъ, такъ какъ эта идея есть идея всеобъемлющая, все въ себѣ заключающая, все собою условливающая, и въ самой себѣ носящая, какъ зерно, растительную силу, всѣ свои будущіе моменты и проявленія,—то благодатно оплотворенная ею почва человѣческаго развитія и произращала, и произращаетъ, и нигде не перестанетъ произращать всѣ цвѣты и всѣ плоды небесныя. Потому-то христіанская религія и дала обновленному міру такое богатое содержаніе жизни, котораго не изжить ему въ вѣчность; потому-то все, что ни есть теперь, чѣмъ ни гордится, чѣмъ ни наслаждается современное человечество,—все это вышло изъ плодотворнаго сѣмени вѣчныхъ, непреходящихъ глаголъ божественной книги Новаго Завѣта. Только въ ней и можно, и должно искать сокровенной причины торжества хри-

стіанской Европы надъ всѣмъ остальнымъ, нехристіанскимъ міромъ, слабымъ и ничтожнымъ въ своей громадной величинѣ передъ этою малѣйшею частію свѣта. Не изъ христіанства ли вышло все гражданское устройство среднихъ вѣковъ? Римляне завѣщали имъ гражданское право, вышедшее изъ чисто-отвлеченной мысли, и юридическія формы; но уваженіе къ личности человѣка, котораго самъ Богъ нарекъ сыномъ своимъ, уваженіе къ внутреннему челоуѣку вышло изъ Евангелія, изъ идеи равенства людей передъ судомъ Божиимъ, изъ идеи равенства права на отеческую любовь и милость Божию. Въ Евангеліи ничего не говорится объ искусствѣ, но божественный Спаситель называлъ себя сыномъ царственного пѣвца и пророка Давида, и христіанству обязано своими блистательнѣйшими вдохновеніями искусство среднихъ вѣковъ; ему обязаны своимъ возникновеніемъ и высокимъ развитіемъ и готическая архитектура—этотъ образъ безконечнаго стремленія въ царство духа, и живопись съ музыкою—эти, по преимуществу, (особливо послѣдняя) романтическія искусства. Христіанству же обязано своимъ возвышеннымъ, благороднымъ характеромъ и юношеское безпокойство одухотвореннаго имъ челоуѣчества: рыцари были защитники вдовъ и сиротъ, поборники религіи, воины Христовы. Оно же возвратило женщинѣ права ея; изъ него же вышло рыцарское благоговѣніе къ достоинству женщины, и отношенія обоихъ половъ получили такой возвышенно-идеальный характеръ, ибо родшая Бога была Матерь и Дѣва—сочетаніе материнской любви съ дѣвственною чистотою, а бракъ былъ названъ Спасителемъ «тайною великою»...

Итакъ, смиреніе передъ Богомъ, какъ отрицаніе своей конечной личности въ пользу вѣчной истины, смиреніе, простирающееся до энтузіастической готовности идти, какъ на свѣтлое торжество, на смерть за свое убѣжденіе, и не смотря ни на какую мѣру страданія, признавать благою и правою волю Божию, созная свою грѣховность (*résignation*); при

необходимомъ неравенствѣ на лѣстницѣ общественной іерархіи, совершенное равенство передъ крестомъ Распятато, въ смыслѣ христіанскаго братства, — а отсюда любовь и уваженіе къ чело-
вѣческой личности, великодушное мужество, жертвующее
всѣми своими силами и самою жизнью за угнетенныхъ и
гонимыхъ; идеальное обожаніе женщины, какъ представи-
тельницы на землѣ любви и красоты, какъ свѣтлаго генія
гармоніи, мира и утѣшенія; тревожное стремленіе въ сум-
рачную даль безконечнаго, ко всему таинственному и мисти-
ческому: — вотъ романтическіе элементы, изъ которыхъ сла-
галась богатая жизнь среднихъ вѣковъ. Эта эпоха была про-
бужденіемъ, возстаніемъ духа. Чтобы сознать себя, ему
надобно было отрѣшиться отъ природы, которая есть его же
собственная сторона, но которая единствомъ съ имъ (въ
смыслѣ древнихъ), такъ сказать, затѣняла его, поглощая
собою его невидимую жизнь и, прелестію формъ, отводя брѣ-
нныя очи отъ его таинственной сущности. Духу надо было
явиться только духомъ, отвлеченно отъ слитнаго явленія. И
онъ возсталъ въ своемъ страшномъ величій, онъ отвергся
природы, какъ врага своего, какъ діавола. Отсюда вышли:
обѣты цѣломудрія, отрѣшеніе отъ благъ земныхъ, отшель-
ничество; обаятельныя радости древняго міра уступили мѣсто
посту, молитвѣ, покаянію, бичеванію, — религія стала като-
лицизмомъ. Отсюда и романтическій характеръ искусства.
Живопись сдѣлалась орудіемъ религіи, ея служительницею;
возникла музыка — искусство романтическое по самой своей
сущности, какъ выраженіе внутренней жизни субъективнаго
духа, и ея гармонія гремѣла гимномъ Богу. Поэзія воспѣвала
подвиги и любовь храбрыхъ рыцарей и прекрасныхъ дамъ,
и ея формы улетучивались въ туманной мистикѣ содержанія.
Не спрашивали: какъ выполнено художественное произведе-
ніе, но спрашивали: что выражаетъ оно; содержаніе отдѣли-
лось отъ формы и стало выше ея. Это не значить, чтобы
произведенія романтическаго искусства были аллегоріями или

символами: въ истинныхъ художникахъ общая страсть времени къ аллегоріямъ и символамъ побѣждалась, болѣе или менѣе, полнотою ихъ художественной натуры, и идея становилась ошутительною только черезъ форму; но какъ въ древнѣйшій міръ красота формы, обязанная своимъ явленіемъ скрытой въ ней идеѣ, довольствовалась собою духъ и не производила въ немъ страстнаго порыва проникнуть въ ея сущность, такъ въ романическомъ мірѣ идея, поглощая собою вниманіе и удовлетворяя духъ, дѣлала форму вопросомъ второстепеннымъ. Искусство уже утратило свою самостоятельность, потому что религія — сознаніе истины въ непосредственномъ откровеніи, какъ высшее, всеобщее средство знанія, — подчинила себѣ искусство, которое, поэтому, перестало уже быть высшею всеобщю формою всеобщей истины. И вотъ въ этомъ-то смыслѣ греческое искусство только одно и есть истинное искусство, искусство какъ искусство и, слѣдовательно, высшее и совершеннѣйшее искусство, — и въ этомъ-то заключается для насъ и его достоинство, и его недостатокъ: содержаніе его для насъ неудовлетворительно, а возвыситься до его формы мы не можемъ, не отдавъ формѣ предпочтенія передъ идеею.

Итакъ, классическое искусство есть полное и гармоническое уравновѣшеніе идеи съ формою, а романтическое — перевѣсъ идеи надъ формою. Подъ первымъ разумѣется искусство Грековъ и — не по достоинству, а по общему характеру пластицизма — поэзія Римлянъ; подъ вторымъ — искусство среднихъ вѣковъ, включая сюда и нѣкоторыхъ новѣйшихъ поэтовъ, какъ наприм. Шиллера.

Изъ этого ясно видно, что называть классиками поэтическихъ уродовъ, каковы были: Корнель, Расинъ, Буало, Мольеръ, Кребильонъ, Вольтеръ, Дюсисъ, Аддисонъ, Попе, Альфіери и подобные имъ, или называть романтиками Шекспира, Сервантеса, Байрона, Вальтеръ-Скотта, Купера, Гёте, Пушкина могутъ только люди, воздвоенные французскими

идеями объ искусствѣ и незнающіе первыхъ началъ, азовъ науки изящнаго. Наше новѣйшее искусство, начатое Шекспиромъ и Сервантесомъ, не есть ни классическое, потому что «мы не Греки и не Римляне», и не романтическое, потому что мы не рыцари и не трубадуры среднихъ вѣковъ. Какъ же его назвать? Новѣйшимъ. Въ чемъ его характеръ? Въ примиреніи классическаго и романтическаго въ тождествѣ, а слѣдственно, и въ различіи отъ того и другого, какъ двухъ крайностей. Происходя исторически, непосредственно отъ второго, наслѣдовавъ всю глубину и обширность его безконечнаго содержанія и обогатя его дальнѣйшимъ развитіемъ христіанской жизни и пріобрѣтеніемъ новаго знанія, оно примирило богатство своего романтическаго содержанія съ пластицизмомъ классической формы.

Теперь обратимся къ смѣшной исторіи.

Очевидно, что классицизмъ, какъ его понимали Французы, и какъ онъ перешелъ отъ нихъ къ намъ, былъ псевдо-классицизмъ, столько же походившій на греческій, сколько маркизы XVIII вѣка походили на боговъ, царей и героев древней Греціи. Неспособные, по своему національному духу, проникнуть въ сущность свѣтлаго міра древнихъ Грековъ,—они взяли нѣчто отъ внѣшнихъ формъ, и думали, что, введя въ свою quasi-трагедію царей, наперсниковъ и вѣстниковъ, сдѣлаютъ ее греческою. Христіанскій міръ есть міръ внутренний, духовный, субъективный, въ которомъ личность человека благородна и священна потому уже, что онъ человекъ: вслѣдствіе этого въ шекспировской драмѣ шутъ короля Лира имѣетъ такое же право на свое мѣсто, какъ и самъ Лиръ на свое; а въ древней трагедіи, какъ мы уже замѣтили выше, могли имѣть мѣсто только представители политическаго общества, народа. Смотрѣть на внѣшность мимо ея значенія значитъ впасть въ случайность. Возвышенную простоту Грековъ, ихъ поэтическій языкъ, выходившій изъ пластическаго лиризма ихъ жизни, Французы думали замѣ-

нить натянутою декламациею и риторическою шумихою. Они сами себя называли классиками, и имъ всё повѣрили! Такъ какъ основаніемъ этого псевдо-классицизма была внѣшность и формальность, то понятно, отчего французская теорія изящнаго была такъ проста и опредѣленна: ничего нѣтъ легче, какъ судить о вещахъ по внѣшнимъ признакамъ.

Но такъ называемые романтики ушли не дальше ихъ, и только впади въ другую крайность: отвергнувъ псевдо-классическую форму и чопорность, они полагали романтизмъ въ безформенности и дикомъ неистовствѣ. Дикость и мрачность они провозгласили отличительнымъ характеромъ поэзіи Шекспира, смѣшавъ съ ними его глубину и безконечность, и не понявъ, что формы шекспировыхъ драмъ совсѣмъ не случайности, но обуславливаются идеею, которая въ нихъ воплотилась. Есть еще и теперь люди, которые Бетховена называютъ дикимъ, добродушно не понимая, что дикость есть униженіе, а не достоинство гения, и что энергія и глубокость совсѣмъ не то, что дикость. Они не поняли, что въ лирическихъ произведеніяхъ Гёте пластицизмъ формъ подходитъ къ древнему, и что ихъ художественное достоинство недоступно съ перваго взгляда со стороны идеи, но прежде всего поражаетъ роскошнымъ изяществомъ своихъ формъ. Если классики походили на напудренныхъ маркизовъ прошлаго вѣка, то романтики походили на нагихъ Австралійцевъ, одурѣвшихъ отъ человѣческой крови, или отправляющихъ свои отвратительныя торжества. Отвергнувъ устарѣлыя и случайныя формы искусства, еще не значить постигнуть сущность искусства. Последнее можно сдѣлать только оставивъ въ сторонѣ внѣшности, и углубившись въ начала искусства. Но это романтическое неистовство было нужно, какъ отрицаніе ложнаго классицизма: сдѣлавъ свое дѣло, оно, въ свою очередь, стало такъ же смѣшно, какъ и классическая чопорность. Въ сущности же всё крайности равны и ни одна не лучше другой. Мы смѣемся надъ классическими раздѣленіями поэзіи на роды и драматической

на виды, но понимаемъ ли мы это дѣло сами лучше ихъ? Мы говоримъ «драма, трагедія, комедія», а не думаемъ, въ чемъ состоитъ значеніе этихъ словъ, и чѣмъ они другъ отъ друга отличаются. Кровавый конецъ для насъ еще и теперь признакъ трагедіи, веселость и смѣхъ — признакъ комедіи; а то и другое вмѣстѣ и съ благополучнымъ окончаніемъ — драма. Все тѣ же вѣщныя и случайныя признаки, не выходящіе изъ идеп; мы все тѣ же классики, только классики романтическіе.

Кстати: позвольте объяснить вамъ поподробнѣе, что такое романтическій классицизмъ: это прямо относится къ предмету нашей статьи и представляетъ собою очень интересный предметъ, по крайней мѣрѣ, очень забавный.

Романтическій классикъ есть представитель эклектическаго примиренія классицизма съ романтизмомъ, въ которомъ кое-что удерживается изъ классицизма и кое-что берется изъ романтизма. Разумѣется, все дѣло тутъ вертится на отвлеченныхъ, вѣщныхъ формахъ. При разсматриваніи поэтическаго произведенія, первая задача классика — опредѣлить его родъ, и если его форма такъ странна, дика и такая небывалая, что классикъ недоумѣваетъ о его родѣ, то объявляетъ это сочиненіе вздорнымъ и негнѣнымъ, хотя и не лишённымъ блескомъ таланта. Такъ анти-поэтическій Вольтеръ отзывался о Шекспирѣ. Особенно, въ этомъ отношеніи, для классиковъ хуже чумы тѣ авторы, которые не выставляютъ на своихъ сочиненіяхъ словъ: поэма, трагедія, драма, комедія, водевиль, ода, эклога, элегія и пр. Для нихъ это просто убійство! Здѣсь классики очень сходны съ натуралистами: нашедши новый предметъ изъ животнаго, растительнаго или минеральнаго царства, натуралистъ прежде всего хлопочетъ о родѣ и видѣ, и если не узнаетъ сразу ни того, ни другого, то старается подвести свою находку подъ какой-нибудь извѣстный родъ въ качествѣ новооткрытаго вида. Но вотъ гдѣ и ужасная разница между классиками и натуралистами:

если рода не находится для новооткрытаго предмета, а самъ онъ не помѣщается въ цѣпи системы, какъ родъ, то натуралистъ всетаки не исключаетъ его изъ цѣпи созданій Божіихъ, но, тщательно описавъ его признаки, надѣется, что въ послѣдствіи найдется для него мѣсто; классикъ же, не думая долго, объявляетъ изящное произведеніе вздоромъ за то только, что оно не подходитъ подъ извѣстные ему роды произведеній искусства. Но лучше ли поступаютъ въ этомъ отношеніи господа романтики? Давно ли одинъ журналистъ, съ гордостью и до сихъ поръ называющій себя романтикомъ и всегда преслѣдовавшій классицизмъ, какъ уголовное преступленіе, отступился отъ «Каменнаго Гостя» Пушкина и нашелъ лишь хорошіе стихи въ этомъ великомъ созданіи потому только, что пришелъ въ недоумѣніе—что это такое: не то драматическій разсказъ, не то испанское имбродіо, не то Богъ знаетъ что! Не форма ли тутъ играетъ прежнюю свою роль, не классицизмъ ли это, хотя подновленный и подкрашенный романтизмомъ? А какъ вамъ кажется вотъ эта продѣлка: догадавшись о негѣposti раздѣленія поэзіи на роды, основанное на трехъ формахъ времени и дѣлающее лирическую поэзію выраженіемъ будущаго времени, нѣмецкій хитрецъ драматическую поэзію ставилъ выражать будущее время, ибо не драма представляетъ людей не такими, каковы они суть, а такими, каковы должны быть, слѣдовательно, какими будутъ. «О толкая штука! Экъ куда метнулъ! какого тумана напустилъ! разбери кто хочетъ!»... И всѣ толки, всѣ положенія нашихъ романтиковъ похожи на это какъ двѣ капли воды: это тѣ же классическія негѣности, но только перехитренныя и пережудренныя; словомъ, это романтический классицизмъ, старая погудка на новый ладъ. Онъ также смотритъ на предметъ извнѣ, а не изнутри, и потому хоть ему и кажется, что онъ прытко бѣжитъ, а въ самомъ-то дѣлѣ онъ все на одномъ мѣстѣ вертится вокругъ самого себя. Пора приняться за дѣло посерьезнѣе, пора взять за основаніе своихъ теорій не произвольныя,

субъективные понятія, а мысль, развивающуюся изъ самой себя. Мы не принадлежимъ ни къ классикамъ, ни къ романтикамъ, и равно смѣемся надъ тѣмъ и другимъ названіемъ, не находя смысла ни въ томъ, ни въ другомъ. Мы не ручаемся за вѣрность нашихъ основаній, но ручаемся, что въ нашихъ выводахъ будемъ логически вѣрны своимъ основаніямъ, и что если читатели не согласятся съ нами, по крайней мѣрѣ, поймутъ то, что мы хотимъ сказать. Задача, которую мы предлагаемъ себѣ въ этой статьѣ—вывести раздѣленіе драматической поэзіи на трагедію и комедію не по внѣшнимъ признакамъ, а изъ ихъ сущности, и на этихъ основаніяхъ сдѣлать критическую оцѣнку знаменитому произведенію Грибоѣдова.

Поэзія есть истина въ формѣ созерцанія; ея созданія — воплотившіяся идеи, видимыя, созерцаемыя идеи. Слѣдовательно, поэзія есть та же философія, то же мышленіе, потому что имѣетъ то же содержаніе—абсолютную истину; но только не въ формѣ діалектическаго развитія идеи изъ самой себя, а въ формѣ непосредственнаго явленія идеи въ образѣ. Поэтъ мыслить образами; онъ не доказываетъ истины, а показываетъ ее. Но поэзія не имѣетъ цѣли внѣ себя—она сама себѣ цѣль; слѣдовательно, поэтическій образъ не есть что-нибудь внѣшнее для поэта, или второстепенное, не есть средство, но есть цѣль: въ противномъ случаѣ, онъ не былъ бы образомъ, а былъ бы символомъ. Поэту представляются образы, а не идея, которой онъ изъ-за образовъ не видитъ, и которая, когда сочиненіе готово, доступна мыслителю, нежели самому творцу. Посему поэтъ никогда не предполагаетъ себѣ развить ту или другую идею, никогда не задаетъ себѣ задачи; безъ вѣдома и безъ воли его возникаютъ въ фантазій его образы и, очарованный ихъ прелестію, онъ стремится изъ области идеаловъ и возможности перенести ихъ въ дѣйствительность, т. е. видимое одному ему сдѣлать видимымъ для всѣхъ. Высочайшая дѣйствительность есть истина;

а какъ содержаніе поэзіи—истина, то и произведенія поэзіи суть высочайшая дѣйствительность. Поэтъ не украшаетъ дѣйствительности, не изображаетъ людей, какими они должны быть, но каковы они суть. Есть люди, — это все они же, все романтическіе же классы, — которые отъ всей души убѣждены, что поэзія есть мечта, а не дѣйствительность, и что въ нашъ вѣкъ, какъ положительный и индустріальный, поэзія невозможна. Образцовое невѣжество! нелѣпость первой величины! Что такое мечта? Призракъ, форма безъ содержанія, порожденіе разстроеннаго воображенія, празднои головы, колобродствующаго сердца! И такая мечтательность нашла своихъ поэтовъ въ Ламартинахъ, и свои поэтическія произведенія въ идеально-чувствительныхъ романахъ, въ родѣ «Аббадонны» *): но развѣ Ламартинъ—поэтъ, а не мечта, — и развѣ «Аббадонны» — поэтическое произведеніе, а не мечта?... И что за жалкая, и что за устарѣлая мысль о положительности и индустріальности нашего вѣка, будто-бы враждебныхъ искусству? Развѣ не въ нашемъ вѣкѣ явились Байронъ, Вальтеръ-Скоттъ, Куперъ, Томасъ Муръ, Уордсвортъ, Пушкинъ, Гоголь, Мицкевичъ, Гейне, Беранже, Эленшлегеръ, Тегнеръ и другіе? Развѣ не въ нашемъ вѣкѣ дѣйствовали Шиллеръ и Гете? Развѣ не нашъ вѣкъ оцѣнилъ и понялъ созданія классическаго искусства и Шекспира? Неужели это еще не факты? Индустріальность есть только одна сторона многосторонняго XIX вѣка, и она не помѣшала ни дойти поэзіи до своего высочайшаго развитія въ лицѣ поименованныхъ нами поэтовъ, ни музыкѣ, въ лицѣ ея Шекспира—Бетховена, ни философій, въ лицѣ Фихте, Шлегеля и Гегеля. Правда, нашъ вѣкъ—врагъ мечты и мечтательности, но потому-то онъ и великій вѣкъ! Мечтательность въ XIX вѣкѣ такъ же смѣшна, пошла и приторна, какъ и сан-

*) Известный пѣщевый романъ какого-то господина идеальшюмакера.

тиментальность. Дѣйствительность — вотъ пароль и лозунгъ нашего вѣка, дѣйствительность въ всемъ—и въ вѣрованіяхъ, и въ наукѣ, и въ искусствѣ, и въ жизни. Могучій и мужественный вѣкъ, онъ не терпитъ ничего ложнаго, поддѣльнаго, слабаго, расплывающагося, но любитъ одно мощное, крѣпкое, существенное. Онъ смѣло и безтрепетно выслушивалъ безотрадные пѣсни Байрона, и, вмѣстѣ съ нихъ мрачными пѣвцомъ, лучше рѣшился отречься отъ всякой радости и всякой надежды, нежели удовольствоваться нищенскими радостями и надеждами прошлаго вѣка. Онъ выдержалъ разсудочный критицизмъ Канта, разсудочное положеніе Фихте; онъ перестрадалъ съ Шиллеромъ всѣ болѣзни внутренняго, субъективнаго духа, порывающагося къ дѣйствительности путемъ отрицанія. И за то, въ Шиллингѣ онъ увидѣлъ варю безконечной дѣйствительности, которая въ ученіи Гегеля осіяла міръ росыошнымъ и великолѣпнымъ днемъ, и которая, еще прежде обмахъ великихъ мыслителей, непонятная, явилась непосредственно въ созданіяхъ Гете... Только въ нашъ вѣкъ искусство получило полное свое значеніе, какъ примиреніе христіанскаго содержанія съ пластицизмомъ классической формы, какъ новый моментъ уравнишенія идеи съ формою. Нашъ вѣкъ есть вѣкъ примиренія, и онъ такъ же чуждъ романтическаго искусства, какъ и классическаго. Средніе вѣка были моментомъ нецѣльнымъ, неслитнымъ, но отвлеченнымъ, мы видимъ въ немъ только романтическіе элементы, которыми человечество запаслось на будущую жизнь, и которые только теперь явились въ своей слитной дѣйствительности и проникли нашу частную, домашнюю и даже практическую сторону жизни, такъ что одна сторона не отрицаетъ другой, но обѣ являются въ неразрывномъ единствѣ, взаимно проникнувъ одна другую. Этого-то слитнаго единства и не было въ дѣйствительности среднихъ вѣковъ, которыхъ романтическіе элементы обозначались въ какой-то отвлеченной личности. И вотъ почему рыцарь, иногда при одномъ подозрѣніи въ невѣрности

жены, или безжалостно умерщвляя ее собственною рукою, или сожигая живую, — ее, которая нѣкогда была царицею думъ и мечтаній души его, передъ которою робко преклонялъ онъ колѣни, едва осмѣливаясь возвести взоры на свое божество, и которой безкорыстно посвящалъ онъ и свое кипящее мужество, и силу желѣзной руки, и безпокойную, бродячую волю свою... Да и вообще, находя жену, онъ терялъ идеальное, безплотное, ангелоподобное существо. Въ новѣйшемъ періодѣ человѣчества напротивъ: Юлія Шекспира обладаетъ всѣми романтическими элементами; любовь была религіею и мистикою ея собственного сердца, встрѣча съ родною ей душою была великимъ и торжественнымъ актомъ ея души, вдругъ сознавшей себя и возросшей до дѣйствительности, а между тѣмъ, это существо не облачное, не туманное, все земное, — да, земное, но насквозь проникнутое небеснымъ. Романтическое искусство переносило землю на небо, его стремленіе было вѣчно туда, по ту сторону дѣйствительности и жизни: наше новѣйшее искусство переноситъ небо на землю и земное просвѣтляетъ небеснымъ. Въ наше время только слабы и болѣзненные души видятъ въ дѣйствительности юдоль страданія и бѣдствій и въ туманную сторону идеаловъ переносятъ своей фантазіею, на жизнь и радость въ мечтѣ; души нормальныя и крѣпкія находятъ свое блаженство въ живомъ сознаніи живой дѣйствительности, и для нихъ прекрасенъ Божій міръ, и само страданіе есть только форма блаженства, а блаженство — жизнь въ безконечномъ. Мечтательность была вышею дѣйствительностію: только въ періодѣ юношества человѣческаго рода; тогда и формы поэзіи улетучивались въ еиміамъ молитвы, во вздохъ блаженствующей любви или тоскующей разлуки. Поэзія же мужественнаго возраста человѣчества, наша новѣйшая поэзія осязаемо-изящную форму просвѣтляетъ эпиромъ мысли, и на-яву дѣйствительности, а не: во снѣ мечтаній, открываетъ таинственныя врата священнаго храма духа. Короче: какъ романтиче-

ская поэзія была поэзією мечты и безотчетнымъ порывомъ въ область идеаловъ, такъ, новѣйшая поэзія есть поэзія дѣйствительности, поэзія жизни.

Раздѣленіе поэзіи на три рода—лирическую, эпическую и драматическую, выходитъ изъ ея значенія, какъ сознанія истины и, слѣдовательно, изъ взаимныхъ отношеній сознующаго духа—субъекта, къ предмету сознанія—объекту. Лирическая поэзія выражаетъ субъективную сторону челоуѣка, открываетъ нашему взору внутренняго челоуѣка, и потому вся она—ощущеніе, чувство, музыка. Эпическая поэзія есть объективное изображеніе совершившагося во времени событія, картина, которую показываетъ вамъ художникъ, выбирая для васъ лучшія точки зрѣнія, указывая на всѣ ея стороны. Драматическая поэзія есть примиреніе этихъ двухъ сторонъ, субъективной или лирической, и объективной или эпической. Передъ вами не совершившееся, но совершающееся событіе; не поэтъ вамъ сообщаетъ его, но каждое дѣйствующее лицо выходитъ къ вамъ само, говоритъ вамъ за самого себя. Въ одно и то же время видите вы его съ двухъ точекъ зрѣнія: оно увлекается общимъ водоворотомъ драмы и дѣйствуетъ волею и неволею сообразно съ своими отношеніями къ прочимъ лицамъ и идеѣ цѣлаго созданія—вотъ его объективная сторона; оно раскрываетъ передъ вами свой внутренній міръ обнажаетъ всѣ изгибы сердца своего, вы подслушиваете его нѣмую бесѣду съ самимъ собою—вотъ его субъективная сторона. Поэтому-то въ драмѣ всегда видите вы два элемента: эпическую объективность дѣйствія въ цѣломъ, и лирическія выходы и изліянія въ монологахъ, до того лирическія, что они непременно должны быть писаны стихами, и переданныя въ переводѣ прозою теряютъ свой поэтическій букетъ и переходятъ въ надутую прозу, чему доказательствомъ могутъ служить лучшія мѣста Шекспировыхъ драмъ, переведенныхъ прозою *).

*) Мы убѣждены въ томъ, что для совершеннѣйшаго перевода Шекспировыхъ драмъ стихами надобно и переводчику быть Шекспиромъ;

этим поэтъ является намъ субъектомъ, и потому - то въ ней такъ часто и такую важную роль играетъ его личность, его я, а ощущенія и чувства, о которыхъ онъ говоритъ, какъ о своихъ собственныхъ, будто бы одному ему принадлежащихъ, мы приписываемъ себѣ, узнаёмъ въ нихъ моменты собственного духа. Эпическій поэтъ, скрываясь за-событіями, которыя заставляютъ насъ созерцать, только подразумевается; какъ лицо, безъ котораго мы не знали бы о совершившемся событіи; онъ даже и не всегда бываетъ незримо-присутствующимъ лицомъ: онъ можетъ позволять себѣ обращенія и къ самому себѣ, говорить о себѣ, или, по крайней мѣрѣ, подавать свой голосъ объ изображаемыхъ имъ событіяхъ. Въ драмѣ, напротивъ, личность поэта исчезаетъ совсѣмъ и какъ бы даже не предполагается существующею, потому что въ драмѣ и событіе говорить само за себя, современно представляясь совершающимся, и каждое изъ дѣйствующихъ лицъ говорить само за себя, современно развиваясь и съ внутренней, и съ внѣшней стороны своей.

Драматическую поэзію обыкновенно раздѣляютъ на два вида: трагедію и комедію. Разовьёмъ необходимость этого раздѣленія изъ сущности идеи поэзіи, а не изъ внѣшнихъ формъ и признаковъ. Для этого мы должны раздѣлить на двѣ стороны самую поэзію, какая бы она ни была, лирическая, эпическая или драматическая: на поэзію положенія или дѣйствительности, и поэзію отрицанія или призрачности.

Предметъ поэзіи есть дѣйствительность или истина въ явленіи. Тѣ, которые думаютъ, что ея предметъ—мечты и вымыслы никогда и нигдѣ небывалаго, кромѣ воображенія

иначе переводъ его будетъ хоть сколько-нибудь невѣренъ—невѣрять или идеѣ, или формѣ, и всегда будетъ, болѣе или менѣе, субъективенъ, Шекспиръ, для чтенія, можетъ и долженъ быть переводимъ прозою. Если кому удастся перевести, какъ должно, Шекспирову драму стихами, это будетъ подвигъ, котораго однако достаточно для цѣлой жизни.

поэта, сбиваются словами «идеалъ» и «идеализированіе дѣйствительности». Конечно, созданія поэта не суть списки или копіи съ дѣйствительности, но они сами суть дѣйствительность, какъ возможность, получившая свое осуществленіе, и получившая это осуществленіе по непреложнымъ законамъ самой строгой необходимости: идея, рождающаяся въ душѣ поэта, есть тайна, какъ младенецъ, зачинающійся во чревѣ матери: кто можетъ угадать заранее индивидуальную форму той или другого! и та, и другая не есть ли возможность, стремящаяся получить свое осуществленіе, не есть ли совершенно никогда и нигдѣ небывалое, но долженствующее быть сущимъ? Идеалъ не есть собраніе разсѣянныхъ по природѣ чертъ одной идеи и сосредоточенныхъ на одномъ лицѣ, потому что собраніе не можетъ не быть механическимъ, — а это противорѣчитъ динамическому процессу творчества. Еще менѣе идеалъ можетъ быть воображеніемъ того, чего и нѣтъ, и быть не можетъ, т. е. мечтою, или украшеною природою и усовершенствованными людьми — людьми не какъ они суть, а какими будто бы они должны быть. Идеалъ есть общая (абсолютная) идея, отрицающая свою общность, чтобы стать частнымъ явленіемъ, а ставши имъ, снова возвратиться къ своей общности. Объяснимъ это примѣромъ. Какая идея Шекспирова «Отелло»? Идея ревности, какъ слѣдствіе обманутой любви и оскорбленной вѣры въ любовь и достоинство женщины. Эта идея не была сознательно взята поэтомъ въ основаніе его творенія, но, безъ вѣдома его, какъ незримо-падшее въ душу зерно, развилась въ образы Отелло и Дездемоны, т. е. сошла въ безусловной и отвлеченной общности, чтобы стать частными явленіями, личностями Отелло и Дездемоны. Но какъ лица Отелло и Дездемоны не суть лица какого-нибудь извѣстнаго Отелло и какой-нибудь извѣстной Дездемоны, а лица типическія, благодаря общей идеѣ, воплотившейся въ нихъ, то слѣдуетъ второе отрицаніе идеи или возвращенія общей идеи къ самой себѣ. Слѣдовательно, идеа-

лизировать дѣйствительность значить совсѣмъ не украшать, но являть ее, какъ божественную идею, въ собственныхъ нѣдрахъ своихъ носящую творческую силу своего осуществленія изъ небытія въ живое явленіе. Другими словами: «идеализировать дѣйствительность» значить въ частномъ и конечномъ явленіи выражать общее и безконечное, не списывая съ дѣйствительности какія-нибудь случайныя явленія, но создавая типическіе образы, обязанные своимъ типизмомъ общей идее, въ нихъ выражающейся. Портретъ, чей бы онъ ни былъ, не можетъ быть художественнымъ произведеніемъ, ибо онъ есть выраженіе частной, а не общей идеи, которая одна способна явиться типически; но лицо, въ которомъ бы, напримѣръ, всякій узналъ скупого, есть идеаль, какъ типическое выраженіе общей родовой идеи скупости, которая заключаетъ въ себѣ возможность всѣхъ своихъ случайныхъ явленій; поэтому, какъ скоро она стала образомъ, то въ этомъ образѣ всякій видитъ портретъ не какого-нибудь скупца, но портретъ всякаго какого-нибудь скупца, хотя бы этотъ какой-нибудь и имѣлъ совершенно другія черты лица.

Подъ словомъ «дѣйствительность» разумѣется все, что есть—міръ видимый и міръ духовный, міръ фактовъ и міръ идей. Разумъ въ сознаніи и разумъ въ явленіи, словомъ, открывающійся самому себѣ духъ, есть дѣйствительность; тогда какъ все частное, все случайное, все неразумное есть призрачность, какъ противоположность дѣйствительности, какъ ея отрицаніе, какъ кажущееся, но не сущее. Человѣкъ пьетъ, ѣстъ, одѣвается—это міръ призраковъ, потому что въ этомъ нисколько не участвуетъ духъ его; человѣкъ чувствуетъ, мыслить, сознаетъ себя органомъ, сосудомъ духа, конечною частностью общаго и безконечнаго—это міръ дѣйствительности. Человѣкъ служитъ царю и отечеству вслѣдствіе возвышеннаго понятія и своихъ обязанностяхъ къ нимъ, вслѣдствіе желанія быть орудіемъ истины и блага, вслѣдствіе сознанія себя, какъ части общества, своего кровнаго и ду-

ховнаго родства съ нимъ—это міръ дѣйствительности. «Овому талантъ, овому два»,—и потому, какъ бы ни была ограничена сфера дѣятельности человѣка, какъ бы ни незначительно было мѣсто, занимаемое имъ не только въ человѣчествѣ, но и въ обществѣ, но если онъ, кромѣ своей конечной личности, кромѣ своей ограниченной индивидуальности, видитъ въ жизни нѣчто общее, и въ сознаніи этого общаго, по степени своего разумѣнія находитъ источникъ своего счастья,—онъ живетъ въ дѣйствительности и есть дѣйствительный человѣкъ, а не призракъ, истинный, сущій, а не кажущійся только человѣкъ. Если человѣку недоступны объективные интересы, каковы жизнь и развитіе отечества, ему могутъ быть доступны интересы своего сословія, своего городка, своей деревни, такъ что онъ находитъ какое-то, часто странное и непонятное для самого себя, наслажденіе, для ихъ выгоды лишаться собственныхъ личныхъ выгодъ—и тогда онъ живетъ въ дѣйствительности. Если же онъ не возвышается и до такихъ интересовъ,—пусть будетъ онъ супругомъ, отцомъ, семьяниномъ, любовникомъ, но только не въ животномъ, а въ человѣческомъ значеніи, источникъ котораго есть любовь, какъ бы ни была она ограничена, лишь бы только была отрицаніемъ его личности,—онъ опять живетъ въ дѣйствительности. На какой бы степени ни проявился духъ, онъ—дѣйствительность, потому что онъ любовь или бессознательная разумность, — а потому разумъ, или любовь, сознавшая себя.

Мы шли отъ высшихъ ступеней къ низшимъ; пойдѣмъ обратно, и увидимъ, что, въ сознаніи истины, высшая дѣйствительность есть религія, искусство и наука; въ жизни—историческое лицо, геній, проявившій свою дѣятельность въ которой-нибудь изъ этихъ абсолютныхъ сферъ, внѣ которыхъ все—призракъ. Практическая дѣятельность историческаго лица, имѣвшаго вліяніе на судьбу народа и человѣчества, не исключается изъ этихъ сферъ, потому что сознаніе идеи его дѣятельности возможно только въ этихъ сферахъ.

Не все то, что есть, только есть. Всякий предмет физическаго и умственнаго міра есть или вещь по себѣ, или вещь и по себѣ, (an sich) и для себя (für sich). Дѣйствительно есть только то, что есть и по себѣ, и для себя, только то, что знаетъ, что оно есть и по себѣ, и для себя, и что оно есть для себя въ обществѣ. Кусокъ дерева есть, но онъ есть не для себя, а только по себѣ: онъ существуетъ только какъ объектъ, а не какъ объектъ-субъектъ, и человѣкъ знаетъ о немъ, что онъ есть, а не онъ самъ знаетъ о себѣ. Это же явленіе представляетъ собою и человѣкъ, когда его сознаніе, или его субъективно-объективное существованіе заключено только въ смыслъ или конечномъ разсудкѣ, на-глухо заперто въ соображеніи своихъ личныхъ выгодъ, въ эгоистической дѣятельности, — а не въ разумѣ, какъ въ сознаніи себя только черезъ общее, какъ въ частномъ и преходящемъ выраженіи общаго и вѣчнаго: онъ призракъ, ничто, хотя и кажется чѣмъ-то. Вы уже въ порѣ мужества, въ тапией душѣ есть любовь и вамъ доступно общее, человѣческое: обратите ваши взоры на свое прошедшее, что вы тамъ увидите? Конечно, ваша память не представитъ вамъ ни платья, которое вы износили, ни кушаній, которыми вы лакомились, ни минутъ, когда удовлетворено было ваше тщеславіе, или другія мелкія страстишки и пошлыя чувствованія; но вы вспомните тѣ минуты, когда васъ поражалъ видъ восходящаго солнца, вечерняя заря, буря и вѣдро, и всѣ явленія роскошно-величавой природы, этого храма Бога живаго; вы вспомните минуты, когда вы тепло молились, плакали слезами раскаянія, любви, чистой радости, когда васъ поражала новая мысль — словомъ, всѣ моменты, всѣ феномены вашего духа, не исключая отсюда и уклоненій отъ истины, если они были моментами отрицанія, необходимыми для познанія истины. Конечно, вы, можетъ быть, вспомните и платье, которое особенно восхищало вашу младенческую душу, и самоваръ, который собиралъ вокругъ себя вашего отца, мать, сестеръ

и братьевъ, и садъ, въ которомъ вы играли, и калитку, изъ которой во дни юности, выходили утрадой на сладкое свиданіе; но не жаль, не сноварь, не калитка — не всё эти пустяки чистоты исторгнуть грустно-сладостную слезу, воспоминанія изъ вашихъ глазъ, а тотъ «букетъ жизни», тотъ ароматъ блаженства, который «осязали» ихъ дни вась...» Чистая радость и блаженство «своимъ бытіемъ», хотя бы характеръ ихъ «былъ» и дѣтскій, суть дѣйствительность, потому что если они выходятъ и не изъ разумнаго сознанія, то изъ разумнаго ощущенія себя въ лонѣ вѣчнаго духа. Дѣйствительность есть во всемъ; а чѣмъ только есть движеніе, жизнь, любовь; все мертвое, холодное, неразумное, эгоистическое есть призрѣнность.

Но призрѣнность получаетъ характеръ необходимости, если мы, оставивъ челоуѣка съ его субъективной стороны, взглянемъ на него объективно; или на члена общества. Все служить духу, и истина идетъ всѣми путями, часто не разбирая ихъ. Иной удовлетворяетъ только низшимъ нуждамъ своей жизни, насыщаетъ свою страсть къ любопытствію, и, между тѣмъ, дѣлаетъ прибыль обществу, несколько не думая о его пользѣ, способствуетъ его развитію и благосостоянію, оживляя торговлю, кругообращеніе капиталовъ — единъ изъ столбовъ, поддерживающихъ зданіе общества, эту необходимую форму для развитія челоуѣчества. Но дѣло въ томъ, что одинъ служить истинѣ для удовлетворенія потребности собственнаго духа, личнаго стремленія къ счастью; другой служить ему невольно и безсознательно, думая служить себѣ. Такъ бродящій по полю волъ, способствуетъ плодородію земли, дѣлаетъ большую пользу; но кто же ему поклонится за это, скажетъ спасибо, почувствуетъ къ нему уваженіе? А, между тѣмъ, безъ такихъ воловъ общество было бы невозможно, и представить его безъ нихъ, значило бы представить домъ, построенный изъ камня на воздухѣ.

Дѣйствительность есть положительное жизни; призрѣнность —

ся отрицаніе. Но, будучи случайностію, призрачность дѣлается необходимостію, какъ уклоненіе отъ нормальности вслѣдствіе свободы человѣческаго духа. Такъ, здоровье необходимо условливаетъ болѣзнь, свѣтъ—темноту. Цѣлое заключаетъ въ себѣ всѣ свои возможности, и осуществленіе этихъ возможностей, какъ имѣющее свои причины, слѣдовательно, свою разумность и необходимость—есть дѣйствительность. Если мы возьмемъ человѣка, какъ явленіе разумности.—идея человѣка будетъ неполна: чтобъ быть полною, она должна заключать въ себѣ всѣ возможности, слѣдовательно, и уклоненіе отъ нормальности, т. е. паденіе. И потому, пустой, глупый человѣкъ, сухой эгоистъ есть призракъ; но идея глупца, эгоиста, подлеца есть дѣйствительность, какъ необходимая сторона духа, въ смыслѣ его уклоненія отъ нормальности.

Отсюда являются двѣ стороны жизни — дѣйствительная, или разумная дѣйствительность, какъ положеніе жизни, и призрачная дѣйствительность, какъ положеніе жизни. Отсюда же выходитъ и наше раздѣленіе поэзіи, какъ воспроизведенія дѣйствительности, на двѣ стороны — положительную и отрицательную. Чтобы придать нашему созерцанію осязательную очевидность, бросимъ бѣглый взглядъ на два произведенія поэта, выражающія каждое одну изъ этихъ сторонъ жизни.

Вы возвышаетесь духомъ и предаетесь глубокой и важной думѣ, читая «Тарасъ Бульбу»; вы смѣетесь и хохочете, читая курьезную «Повѣсть о томъ какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никитичемъ»: отчего эта противоположность впечатлѣнія отъ двухъ произведеній одного и того же художника?—Отъ сущности дѣйствительности, возсозданной въ томъ и другомъ, оттого, что первое изображаетъ положеніе жизни, а другое—ея отрицаніе. Что такое Тарасъ Бульба? Герой, представитель жизни цѣлаго народа, цѣлаго политическаго общества въ извѣстную эпоху жизни. Что вы

видите въ этой поэмі? что особенно поражаетъ васъ въ ней? Общество, составленное изъ пришельцевъ разныхъ странъ, изъ удалыхъ голоуѣ, бѣжавшихъ кто отъ мидетты, кто отъ родительскаго проклятія, кто отъ меча закона, и, между тѣмъ, общество, имѣющее одинъ общій характеръ, твердо сплоченное и связанное какою-то крѣпкою цементомъ. Въ чемъ эта связь?—въ православіи?—но оно такъ безтребовательно, такъ ограничено и бѣдно въ своей сущности, что мало походить на религію. — «Они приходили сюда, какъ будто возвращались въ свой собственный домъ, изъ котораго только за часъ передъ тѣмъ вышли. Пришедшій является только къ кошевому, который, обыкновенно, говорилъ: «Здравствуй! Что, во Христа вѣруешь?»—Вѣрую!—отвѣчалъ приходившій. «И въ Троицу святую вѣруешь?»—Вѣрую!—«И въ церковь ходишь?»—Хожу.—«А ну, перекрестись!»—Пришедшій крестился. «Ну, хорошо, отвѣчалъ кошевой, ступай же въ который самъ знаешь курень».—Этимъ оканчивается вся церемонія».—Нѣтъ, тутъ была другая сильнѣйшая связь: это удалство, которому жизнь—копейка, голова—наживное дѣло; это жажда дикихъ натуръ людей, нищихъ избыткомъ исполненныхъ сидѣть, жажда наполнить свою жизнь, тяготимую бездѣйствіемъ и правдою; что же лучше могло наполнить ее, удовлетворить дикій духъ человѣка могучаго, но безъ идей, безъ образованности, почти полудикаря, какъ не кровавая сѣча, какъ не отчаянное удалство во время войны, и не бѣшеная гульба во время мира? Оттого-то и въ этой гульбѣ нѣтъ ничего оскорбляющаго чувство, но такъ много поэтическаго; оттого-то эта гульба была, какъ превосходно выразился поэтъ, широкимъ размахомъ души. Итакъ, вотъ гдѣ основа и источникъ казацкой жизни и Запорожской Сѣчи, «того гнѣзда, откуда вылетали тѣ гордые и крѣпкіе, какъ львы», и вотъ гдѣ основная идея поэмы Гоголя. Тарасъ Бульба является у него представителемъ въ этой жизни, идеи этого народа, апотеозомъ этого широкаго размета души. Дурной мужъ, какъ всѣ люди полудикой

гражданственности; онъ любить своихъ сыновей, потому что изъ нихъ должны выйти важные рыцари; и онъ не любитъ бы и презирать бы дочерей своихъ; еслибы любилъ ихъ, потому что онъ никакъ не могъ понять, что христианство въ человѣкѣ, если онъ не годится въ рыцари. Онъ былъ христианинъ и православный по преданію, въ самомъ отвлеченномъ смыслѣ: рѣдко видѣлъ церковь Божию, и въ правлахъ жизни своей руководствовался обычаями и собственными страстями, а не религіею — и между тѣмъ зарывалъ бы родного сына въ малѣйшее слово противъ религіи, и фанатически ненавидѣлъ басурмановъ. Онъ любилъ свою родную Украйну и ничего не зналъ выше и прекраснѣе удалого казачества, потому что чувствовалъ то и другое въ каждой каплѣ крови своей, и духъ того и другого нашелъ въ немъ свой настоящій сосудъ, рѣзкими, рельефными чертами выдѣлялся на его полудикой фizioноміи и во всей его полудикой личности. Народную вражду онъ считалъ съ личною ненавистію, и когда къ этому присоединился дикій фанатизмъ отвлеченной религіозности, то мысль о поганомъ католичествѣ, какъ называлъ онъ Поляковъ, представлялась ему въ формѣ дымящейся крови, предсмертныхъ стоновъ и зарева пылающихъ городовъ, селъ, монастырей и костеловъ... Это лицо совершенно трагическое; его комизмъ только въ противоположности формъ его индивидуальности съ нашими — комизмъ чисто внѣшній. Вы смѣетесь, когда онъ дерется на кулачки съ роднымъ сыномъ и пресерььзно свѣтуетъ ему тузить всякаго, какъ онъ тузилъ своего батьку; но вы уже и не улыбаетесь, когда видите, что онъ попался въ плѣнь, потянувшись за грошевою дюлькою; но вы содрагаетесь, только еще видя, что онъ, въ яростной битвѣ, приближается къ оторопѣвшему сыну — сердце ваше предчувствуетъ трагическую катастрофу; но у васъ замираетъ духъ отъ ужаса, когда въ вашемъ слухѣ раздается этотъ комическій вопросъ: «что, сыну?»; но вы болѣзненно раздѣляете это мимолетное

умиление желанного характера, и в словах: Бульбы: «Чем бы не казнить были? — ни стамомъ, высокій, и ларнобродный, и лицо: какъ у дворянина, и рука была, прѣдле, въ бою, тирожать, промалъ, безъ славы! — А эта страшная, жажда, мести у Бульбы, противъ красавицы, Дольки, да мифію его, чарами погубившей, его сына, и потому, что море, крови, и поджарость, собиравшее, враждебный, край: въ среди его, грозная, фи-пура, старало фанатикъ, совершающего, страшную, тизну, въ ваматы, сына, наконде, что омертвѣніе, могуей, души, оглушенной, двукратнымъ, потрясеніемъ, потеряю, обеихъ, сыновей: «Неповажный, смѣлъ, онъ, на берегу, моря, шевода, губами, и проиенрся: «Останъ, мой, Останъ, мой!» Царедъ, нимъ, сверладо, и разсмыслось, Черное, море, въ дальнемъ, тростнидѣ, причала, чайка; бѣднѣ, пусть, его, ссерабрился, и слезы, кацади, одна, за другою... А это, безконечно-знаменательное: «сиди, смилу!»; и эта, вторая, страшная, тривна, мненія, за второго, сына, кончившаяся, смертію, мстителя, и какою смертію! — приязанный, жажною, мѣною, къ, строяему, бревну, съ, припоеденною, рукою, криналъ, онъ, своимъ, «хлонтцамъ», что, нмъ, надо, дѣлать, чтобы, опастись, отъ, недпрятеля, и, изъавдаль, свой, востарль, итъ, ихъ, удалъ, стна, и, дворовства... Видите, ли: у, этого, велевѣка, была, идея, которую, онъ, жилъ, и, для, которой, онъ, жилъ; видите, ли: онъ, не, перажидъ, ея, онъ, умеръ, вмѣстѣ, съ, нею... Для, нем, убидъ, онъ, собственною, рукою, милаго, сына, для, ния, онъ, умеръ, и, самъ... Въ, его, душѣ, жда, одна, идея, и, всѣ, другія, были, ему, недоступны, враждебны, и, ненавистны... А, жизнь, въ, объективной, идѣ, до, прѣтворенія, ея, въ, субъективную, стихію, жизни, — есть, жизнь, въ, разумной, дѣйствительности, въ, подоженіи, а, не, въ, отрицаніи, жизни... Грубость, и, ограниченность, Бульбы, принадлежать, не, его, личности, не, его, народу, и, времени. Сущность, жизни, всякаго, народа, есть, великая, дѣйствительность, въ, Тарасѣ. Бульбѣ, эта, сущность, машла, свое, подлѣйшее, выраженіе.

Совѣтъ, другой: міръ, представляетъ, намъ, ссора, Ивана

Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ. Это мѣръ случайностей, неразумности; это отрицаніе жизни, пошлая, грязная дѣйствительность. Но какими же образомъ могла она сдѣлаться содержаніемъ художественнаго произведенія, и не унизили ли художникъ своего таланта, сдѣлавъ изъ него такое употребленіе? Резонёры, которымъ доступна одна вышность, а не мысль, отвѣтятъ вамъ утвердительно на этотъ вопросъ. Мы думаемъ напротивъ. Какъ мы уже сказали, частное явленіе отрицанія жизни возбуждаетъ одно отверженіе, и есть призракъ; но какъ идея, какъ необходимая сторона жизни, призрочность получаетъ характеръ дѣйствительности и, слѣдовательно, можетъ и должна быть предметомъ искусства. Тутъ задача въ томъ, чтобы въ основаніи художественнаго произведенія лежала общая идея, и чтобы изображенія поэта были не списками съ частныхъ явленій (эти списки суть призраки), но идеалами, для того перешедшіе въ дѣйствительность явленія, чтобы каждый изъ нихъ былъ выраженіемъ идеи, представителемъ цѣлаго ряда, безконечнаго множества явленій одной идеи, и, будучи въ этомъ значеніи общимъ, былъ бы въ то же время единымъ — живою, замкнутою въ самой себѣ особностію. Всякая частность есть случайность, и если ея значеніе низко и пошло — она оскорбляетъ человѣческое, эстетическое чувство; но общее, хотя бы и отрицательной стороны жизни, уже дѣлается предметомъ знанія, и теряетъ свою случайность. Вотъ еслибы поэтъ, въ изображеніяхъ такого рода явленій, вдумалъ оправдывать свои субъективные убѣжденія, и грязь жизни выдавать субъективно за поэзію жизни, — тогда бы его изображенія были отвратительны; но тогда бы онъ уже и пересталъ быть поэтомъ. Они существуютъ для него объективно, всё они внѣ его, но онъ самъ въ нихъ; потому что поэтическимъ ясновидѣніемъ своимъ онъ проводитъ ихъ идею и, проводя ихъ чрезъ свою творческую фантазію, просвѣтляетъ эту идею ихъ естественную грубость и грязность.

Объективность, какъ необходимое условіе творчества, отрицаетъ всякую моральную дѣль, всякое судопроизводство со стороны поэта. Изображая отрицательныя явленія жизни, поэтъ нисколько не думаетъ писать сатиры, потому что сатира не принадлежитъ къ области искусства и никогда не можетъ быть художественнымъ произведеніемъ. Рисуя нравственныхъ уродовъ, поэтъ дѣлаетъ это совсѣмъ не скрѣпя сердце, какъ думаютъ многіе: нельзя сердиться и творить въ одно и то же время; досада портитъ желчь и отравляетъ наслажденіе, а минута творчества есть минута высочайшаго наслажденія. Поэтъ не можетъ ненавидѣть свои изображенія, каковы бы они ни были; напротивъ, скорѣе онъ ихъ любить, потому что они представляются ему уже просвѣтленными идеею.

Были два пріятеля-сосѣда, соединенные другъ съ другомъ неразрывными узами взаимной пошлости, привычки и праздности. Мы не будемъ ихъ описывать послѣ изображенія, сдѣланнаго поэтомъ. Если, читатели, вы помните и знаете Ивана Ивановича и Ивана Ильямовича — были они искренними друзьями, и вдругъ сдѣлались страшными врагами, и прожили все свое имѣніе, стараясь доѣхать другъ друга судомъ. А отчего? Стоитъ произнести по шѣсколько чертъ характера каждаго — и вы поймете причину этого страшнаго явленія. Иванъ Ивановичъ былъ человекъ весьма солидный, самаго толкаго обращенія, терпѣть не могъ грубыхъ или непристойныхъ словъ, и когда потчивалъ кого-нибудь знакомаго табаконъ, то говорилъ: «сѣбю ли просить, государь мой, объ одолженіи?», а если незнакомаго, то: «сѣбю ли просить, государь мой, не имѣя чести знать чина, имени и отчества, объ одолженіи?» Онъ любилъ лежать на солнцѣ подъ навѣсомъ въ одной рубашкѣ только послѣ обѣда, а вечеромъ надѣвалъ бекешъ, выходя со двора; но самая рѣзкая черта его характера была та, что, сѣвши дыню, онъ завертывалъ въ бумажку сѣмена, и надписывалъ: «Сія дыня сѣдена токого-то числа»;

а если при этом быть гостем, то и участвовать такой-то». Ирисовокутите къ этому подирету: спрашивую: скупость и: вы-
сокую цену, придаваемую: земнымъ: благодатямъ — и Иванъ. Ива-
новичъ весь: перады: вами. Иванъ: Никифоровичъ: отличался
отъ своего друга: толстотой: и: любилъ: употреблять: въ раз-
говоръ: непристойныя: слова, къ: крайнему: неудовольствию: до-
стойнаго: Ивана: Ивановича; любилъ: онъ: жаркіе: дни: выставля-
ть: на: солнце: спину, садиться: по: горло: въ: воду; куда ста-
вить: столъ: и: самоваръ: и: пить: чай; любилъ: въ: комнату:
лежать: въ: накурѣ: и: тогда: покуривать: кого-изъ: своей: таба-
керны: табаконъ, то: просто: повторять: «подождайтесь»; Теперь
вы: видите: всю: эту: жизнь: понитую: только: въ: произведеніи
художника; но: случайную: бессмысленную: и: глупо-животную
въ: дѣйствительности. Оба: героя: призраки, (въ: томъ: смыслѣ,
который: мы: выше: придали: этому: слову), и: въ: то, что: они: ни
дѣлаютъ: съ: призракомъ: пустота, бессмыслица. Въ: ихъ: ха-
рактерахъ: уже: лежить: такъ: необходимость, и: ихъ: ссора:
Ивану: Ивановичу: захотѣлось: имѣть: у: себя: ружье: Ивана: Ни-
кифоровича; вѣтъ: ли? — не: спрашивайте; они: самъ: этого: не
знаютъ. Мы: думаемъ, что: это: было: бессознательнымъ: жела-
ніемъ: чѣмъ-нибудь: заполнить: овою: праздною: пустоту, потому
что: пустота, вслѣдствіе: праздности: тяжела: и: мучительна: для
всякаго: человека; какъ: бы: ни: было: и:тъ, пошло. Иванъ: Ни-
кифоровичъ, по: такой: же: причинѣ, не: хотѣлъ: уступить: ему
своего: ружья; хотя: тотъ: и: обещалъ: ему: за: него: денежное
вознагражденіе — бурную: суму: и: много: горюха. Заявлялся
крупный: разговоръ, въ: которомъ: Иванъ: Никифоровичъ, гру-
бый: въ: своихъ: выходкахъ, называлъ: Ивана: Ивановича, этого
до: крайности: деликатнаго: и: милощиваго: со: стороны: своей:
чести: и: аттенціи: человека, называя: его: гл. о. ужасъ! —
гусаконъ.

Большая, безконечно-большая: черта: художественнаго: гениа
этотъ: гусакъ! Блѣды: повтъ: причиной: ссоры: сдѣлали: дѣй-
ствительно: оскорбительныя: ругательства, пощечину, драку —

это попортило бы все дело. Нартъ, неопытный, не понимая, что въ мірѣ призраковъ, которому они давали объективную действительность, и забавы, и заботы, и удовольствія, и горести, и страданія, и самое пошлѣе — все призрачно, бессмысленно, пусто и шло. Не думайте, чтобы эти два чудака были отъ природы созданы такими. Нѣтъ, природа справедлива: и людямъ она каждому даетъ въ мѣру чего и сколько ему нужно. Конечно, эти чудаки и отъ природы были не бѣжкіе люди, но и имъ нашлось бы свое мѣсто на безконечной лѣстницѣ человеческой и гражданской дѣятельности: они могли бы быть хорошими мужьями, отцами, хозяевами, и имѣть, сообразно съ занимаемымъ ими мѣстомъ въ дѣлѣ явленій, души, свою благообразность, формы, но неопытные, лѣтняя лѣнь, праздность, невѣжество — вотъ, что сдѣлало ихъ такими. Ихъ хотѣть примирить и почти было успѣли въ этомъ: уже Иванъ Никифоровичъ ползъ въ жармакъ, чтобы достать ромашъ и сказать: «одолейте!» но вдругъ лукавый дернулъ его зашивать, что не отшить сердито изъ пустого слова «гусака». Видите ли: если бы этотъ гусака замѣнилъ птицею, или выразился какъ-нибудь иначе, они снова были бы друзьями; но режовое слово было сказано, и снова прадедовскіе карбованцы полетѣли изъ желѣзныхъ сундуковъ въ жарманы кодычкихъ, и личіе, вѣншее и внутреннее благосостояніе, вся жизнь была истощена въ тягбѣ. Десять лѣтъ прошло, головы ихъ убѣдились сѣдиною, и цвѣтъ юности померкъ. «Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!» Да! прустно думалъ, что человекъ, «этотъ благодарнѣйшій сосудъ духа», можетъ жить и умереть призракомъ и въ призракахъ: даже и не подозревая возможности дѣйствительной жизни! И сколько на свѣтѣ такихъ людей, сколько на свѣтѣ Ивановъ Ивановичей и Ивановъ Никифоровичей!...

Начиная говорить о «Тарасѣ Бульбѣ», о «Ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ», мы не думали писать критики на эти два великія произведенія поэзіи: это

не относилось къ нашему предмету и далеко превзошло бы наши силы. Мы только взглянули на нихъ многообразно, и только съ одной стороны—съ той, которая непосредственно относится къ предмету нашей статьи. Мы показали, что элементы трагического находятся въ действительности, въ положеніи жизни, такъ сказать; а элементы комического—въ призрачности, имѣющей только объективную действительность, въ отрицаніи жизни. Трагедія можетъ быть и въ повѣсти, и въ романѣ, и въ новеллѣ, и въ нихъ же можетъ быть комедія. Что же такое, какъ не трагедія, «Тарасъ Бульба», «Цыгане» Пушкина, и что же такое «Сестра Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ», «Графъ Нулинь» Пушкина, какъ не комедія?... Тутъ разница въ формѣ, а не въ идеѣ. Но перейдемъ къ трагедіи и комедіи, и взглянемъ на нихъ поближе.

Трагическое заключается въ столкновеніи естественнаго влеченія сердца съ идеею долга; въ протекающей изъ того борьбѣ и, наконецъ, побѣдѣ или паденіи. Изъ этого видно, что ирравный конецъ тутъ ровно ничего не значить: Иванъ Ивановичъ могъ бы зарѣзать Ивана Никифоровича, а потомъ и себя, но комедія все бы осталась комедіею. Объяснимъ это примѣромъ. Андрій, сынъ Бульбы полюбилъ дѣвушку изъ враждебнаго племени, которой онъ не могъ отдаться, не измѣнивъ отечеству: вотъ столкновеніе (коллизія), вотъшибка между влеченіемъ сердца и нравственнымъ долгомъ. Борьбы не было: пылкая натура, имитная юными силами, отдалась безъ размышленія влеченію сердца. Будете ли вы осуждать ее, имѣете ли право на это? Нѣтъ; рѣшительно нѣтъ. Поймите безаванечно глубокую идею суда Спасителя надъ блудницею, и не поднимайте намя. А, между тѣмъ, Андрій всетаки виноватъ предъ нравственнымъ закономъ. Но еслибы въ жизни не было такихъ столкновений, то не было бы и жизни, потому что жизнь только въ противорѣчіяхъ и примиреніи, въ борьбѣ воли съ долгомъ

и влеченіемъ сердца, и въ побѣдѣ или паденіи. Чтобы по-
дѣть людямъ великій и поразительный примѣръ процесса
осуществленія развивающейся идеи и урокъ нравственности,
судьба избираетъ благороднѣйшіе сосуды духа и дѣлаетъ ихъ
уже не приступнинами, но очистительными жертвами, кото-
рыми искупается истина. Отелло потому и свершилъ страшное
убійство невинной жены, и палъ подъ тяжестью своего про-
ступка, что онъ былъ могучъ и глубокъ: только въ такихъ
душахъ кроется возможность трагической коллизіи, только
изъ такой любви могла выйти такая ревность и такая
жажда мести. Онъ думалъ отомстить своей женѣ столько же
за себя, сколько и за поруганное ея инимымъ преступленіемъ
человѣческое достоинство.

Человѣкъ живетъ въ двухъ сферахъ, въ субъективной, со
стороны которой онъ принадлежитъ только себѣ и больше ни-
кому, и въ объективной, которая связываетъ его съ семей-
ствомъ, съ обществомъ, съ человѣчествомъ. Эти двѣ сферы
противоположны: въ одной онъ господинъ самого себя, никому
неотдающій отчета въ своихъ стремленіяхъ и склонностяхъ;
въ другой онъ весь въ зависимости отъ внѣшнихъ отношеній.
Но такъ какъ этотъ объективный міръ суть законы его же
собственного разума, только внѣ его осуществившіеся, какъ
явленія; такъ какъ этотъ объективный міръ требуетъ отъ него
того же самаго, чего и онъ требуетъ для себя отъ объектив-
наго міра, — то онъ и связанъ съ ними неразрывными узами
ирови и духа. Вслѣдствіе этихъ-то кровно-духовныхъ узъ ирав-
ственность выходитъ изъ гармоніи субъективнаго человѣка
съ объективнымъ міромъ, и если та и другая сторона поз-
воляетъ ему предаться влеченію сердца, нѣтъ столкновенія,
ни борьбы, ни побѣды, ни паденія, но есть одно свѣтлое
торжество счастья. Когда же они расходятся, и одна влечетъ
его въ сторону, а другая въ другую, — является столкновеніе,
и чѣмъ бы человѣкъ ни вышелъ изъ этой битвы — побѣжден-
нымъ или побѣдителемъ — для него нѣтъ уже полного счастья:

онъ застигнуть судьбою! Если онъ увлекся увлеченіемъ сердца и оокрбить нравственный законъ итъ: этого оскорбленія вытекаетъ, какъ необходимый результатъ, его наказаніе, потому что отношенія его итъ обществу и міру, тѣмъ глубже в оященіе, чѣмъ онъ больше человекъ. Въ собственной душѣ его корни нравственного закона, и онъ самъ свой судья и свое наказаніе; если бы борьба и не развилась въ кровавую катастрофу, его блаженство уже отравлено, уже недолго, потому что сознаніе его незаконности не только дѣлаеъ, показывающуъ на него пальцами; но въ собственномъ его духѣ. Еще пражде: нежелъ Бульба, любилъ Андрія, Андрій былъ уже наказанъ: онъ побѣдилъ и задрожалъ, увидѣвъ отца своего. Одно уже то, что онъ нашелъ себя въ страшной необходимости занести убійственную руку на соотечественниковъ, наконецъ, на отца, было наказаніемъ, которое стоимо смерти, и которое смерть одѣлала для него выходомъ, спасеніемъ, а не карою. И самое блаженство его — не отравлялось ли оно: какою мрачною, тяжелою мыслію? Мы сказали, что Андрій, увидѣвъ себя въ страшной необходимости лить кровь своихъ соотечественниковъ, своихъ единовѣрцевъ: да, въ необходимости, которая, какъ слѣдствіе, изъ причины, логически, простекаеъ изъ его поступка. Макбетъ, томимый каждою властолюбіа достигнуть престола, убійствомъ своего законнаго короля, своего родственника и благодѣтеля, мужа протнаго и благороднаго, думалъ, можетъ быть, снять съ себя вину: парубійца, мудро управлѣя народомъ и даровавъ ему вышнюю безопасность и внутреннее благоденствіе; но ошибся въ своихъ расчетахъ: не днѣшній случай былъ его карою, но самъ онъ наказалъ себя; во всѣхъ онъ видѣлъ своихъ враговъ, даже въ собственной тѣни, и скоро, самъ сознавъ это, увидѣвъ логическую необходимость новыхъ злодѣйствъ, и сказалъ:

Кто зло, поставь — зломъ и поидвай!

Кровавая катастрофа въ трагедіи не бываетъ случайною и вѣншею; зная характеръ Бульбы, вы уже впередъ знаете, какъ онъ поступитъ съ сыномъ, если встрѣтится съ нимъ; сыновубійство для васъ уже заранѣе очевидная необходимость. Но сущность трагическаго не въ кровавой развязкѣ, которая можетъ произвести только чувство подавляющаго ужаса; сомнѣннаго съ отвращеніемъ, а въ идѣе необходимости кровавой развязки, какъ актѣ нравственнаго закона, отмѣнаго за свое нарушение, и вотъ почему, тогда заавѣно скрываетъ отъ васъ цену, покрытую трунами, вы уходите изъ театра съ такимъ то успокоивающимъ чувствомъ, съ тихою и глубокою думою о таинствѣ жизни. Потому же самому вы примиряетесь и съ благородными жертвами; человѣчески понимая, какъ трудно было имъ пройти безвредно между Сциллою сердечнаго влеченія и Харибою нравственнаго закона, удовлетворить вѣстѣ и субъективнымъ требованіямъ и объективнымъ обязанностямъ.

Само собою разумѣется, что, когда герой трагедіи выходитъ изъ борьбы побѣдителемъ, то развязка можетъ обойтись безъ крови; но что драма, отъ этого не теряя своего трагическаго величія. Что можетъ быть выше, какъ зрѣлище человѣка, который отрেকся отъ того, что составляло узловіе, сферу, воздухъ, жизнь его жизни, свѣтъ его очей, для котораго навсегда потеряна надежда на полноту блаженства; и для котораго остается одинъ выходъ — сосредоточивъ въ себѣ бремя несчастія, нести его въ благородномъ молчаніи, тихой грусти и сознаніи великодушной побѣды?... Равно величественное зрѣлище представляетъ собою человѣкъ падшій жертвою своей побѣды: таковъ былъ бы Гамлетъ, который для того, чтобъ исполнить долгъ мщенія за отца, отказался отъ блаженства любви, еслибы въ его дѣйствіяхъ было видно больше рѣшительности и полноты натуры.

Трагедія выражаетъ не одно положеніе, но и отрицаніе жизни, — только отрицаніе трагическаго характера. Мы разу-

мѣемъ тѣ страшныя уклоненія отъ нормальности, къ которымъ способны только сильныя и глубокія души. Макбетъ Шекспира—злой, не злой, съ душою глубокою и могучею, отчего онъ, вмѣсто отвращенія, возбуждаетъ участіе: вы видите въ немъ человѣка, въ которомъ заключалась такая же возможность побѣды, какъ и паденія, и который, при другомъ направленіи, могъ бы быть другимъ человѣкомъ. Но есть злой какъ будто по своей натурѣ, есть демоны человѣческой природы, по выраженію Рётнера: такова леди Макбетъ, которая недала кинжалъ своему мужу, подирѣпила и вдохновила его сатанинскимъ величіемъ своего отверженія отъ всего человѣческаго и женственнаго, своимъ демонскимъ торжествомъ надъ законами человѣческой и женственной природы, адскимъ хладнокровіемъ своей рѣшимости на мрачное злодѣйство. Но для слабаго сосуда женской организаціи было слишкомъ не въ мѣру такой сатанинскій духъ, и сокрушилъ его своею тяжестью, разрывъ безумство сердца помѣшательствомъ разсудка, тогда какъ самъ Макбетъ встрѣтилъ смерть подобно великому человѣку, и этимъ помѣрилъ съ собою душу зрителя, для котораго въ его паденіи совершилось торжество нравственнаго духа. Вообще, демоны человѣческой природы возбуждаютъ въ нашей душѣ больше трагическаго ужаса, нежели нечеловѣческаго участія: только ихъ гибель миритъ васъ съ ними. Въ нихъ есть своя безконечность, свое величіе, потому что всякая безконечная сила духа, хотя бы проявляющая себя въ одномъ злѣ, носить на себѣ характеръ величія, но величія чисто объективнаго, которое невольно хочешь созерцать, какъ невольно смотришь на удава или гремучаго змѣя, но котораго себѣ не пожелаешь. Итакъ, предметомъ трагедіи можетъ быть и отрицательная сторона жизни, но являющаяся въ силѣ и ужасѣ, а не въ мелкости и смѣхѣ, — въ огромныхъ размѣрахъ, а не въ ограниченности, — въ страсти, и не страстишкахъ, — въ преступленіи, а не въ проступкѣ, — въ злодѣйствѣ, а не въ плутняхъ.

Обратимся къ комедіи, составляющей главный предмет нашей статьи. Въ значеніе и сущность теперь ясны: она изображаетъ отрицательную сторону жизни, призракную дѣятельность. Какъ величіе и грандіозность составляютъ характеръ трагедіи, такъ смѣшное составляетъ характеръ комедіи. Грандіозность трагедіи вытекаетъ изъ нравственнаго закона, осуществляющагося въ ней судьбою ея героевъ — людей возвышенныхъ и глубокихъ, или отверженцевъ человѣческой природы, падшихъ ангеловъ; смѣшное комедіи вытекаетъ изъ безнравственнаго противорѣчія явленій съ законами высшей разумной дѣятельности. Какъ основа трагедіи на трагической борьбѣ, возбуждающей, смотря по ея характеру, ужасъ, состраданіе, или заставляющей гордиться достоинствомъ человѣческой природы и открывающей торжество нравственнаго закона, такъ и основа комедіи — на комической борьбѣ, возбуждающей смѣхъ; однакожъ въ этомъ смѣхѣ слышится не одна веселость, но и мщеніе за униженное человѣческое достоинство, и такимъ образомъ, другимъ путемъ, нежели въ трагедіи, но опять-таки открывается торжество нравственнаго закона.

Всякое противорѣчіе есть источникъ смѣшного и комическаго. Противорѣчіе явленій съ законами разумной дѣятельности обнаруживается въ призрачности, конечности и ограниченности — какъ въ Иванѣ Ивановичѣ и Иванѣ Никифоровичѣ; противорѣчіе явленія съ собственною его сущностью, или идеи съ формою, представляется то какъ противорѣчіе поступковъ челоѣка съ его убѣжденіями — Чацкій; то какъ представленіе себѣ не тѣмъ, что есть — титулярный совѣтникъ Поприщинъ (у Гоголя, въ «Запискахъ Сумасшедшаго»), воображавшій себя Фердинандомъ VIII, королемъ испанскимъ; то какъ достолюбезность или смѣшная форма вслѣдствіе воспитанія, привычекъ, субъективной ограниченности, односторонности понятій, странной наружности, манеръ, при достоинствѣ содержанія, — эта сторона комическаго

есть и въ самомъ Тарасѣ Бульбѣ. Вообще, не должно забывать, что элементы трагическаго и комическаго въ поэзіи смѣшиваются такъ же, какъ (и въ жизни) пошлость, въ драмахъ Шекспира, мѣшется съ первыми явленіями шутокъ, чудакъ и люди ограниченныя. Такъ точно и въ комедіи могутъ быть лица благородныя, характеры глубокіе и сильные. Различіе трагедіи и комедіи не въ этомъ, а въ ихъ сущности. Противорѣчіе явленія съ собственною его мощностію, или идеи съ формою, можетъ быть и въ трагедіи; но такъ оно есть уже источникъ не смѣшнаго и комическаго, а ужаснаго и грандіознаго, если выражается въ терѣ, должествующемъ осуществить нравственный законъ. Алехо Пушкина — человекъ съ душою глубокою и сильною, но крайней мѣрѣ, съ огнендышащими страстями и ужасною волею для свершенія ужаснаго, но что онъ представляетъ собою, какъ не противорѣчіе идеи съ формою? Онъ враждуетъ съ человѣческимъ обществомъ за его предрасудки, противные правамъ природы, за его стѣснительныя условія, и, между тѣмъ, самъ вноситъ эти предрасудки въ бѣдныя дѣтямъ природы, эти стѣснительныя условія къ полудикимъ дѣтямъ волюности; однакожъ изъ этого противорѣчія выводитъ не смѣхъ, а убійство и ужасъ трагическій — торжество нравственнаго закона. Чацкій Грибоѣдова представляетъ собою тоже противорѣчіе идеи съ формою; онъ хочетъ исправить общество отъ его глупостей, чѣмъ же? оковы собственными глупостями, разсуждая съ глупцами и неэфѣдами о «высокомъ и прекрасномъ», читая проповѣди и диспутации на балахъ, и всякаго ругая, какъ вырвавшійся изъ сумасшедшаго дома. И его противорѣчіе смѣшно, потому что оно — буря въ стаканѣ воды, тогда какъ противорѣчіе Алехо — страшная буря на океанѣ. Герои трагедіи — герои челоѣчества, его могущественнѣйшія проявленія; герои комедіи — люди обыкновенныя, хотя бы даже и умныя и благородныя. Міръ трагедіи — міръ безконечнаго въ страстяхъ и волѣ челоѣка; міръ ко-

медіи — міръ ограниченности, конечности. Если въ комедіи, между дѣйствующими лицами, есть герой челоѣчества, онъ играетъ въ ней обыкновенную роль, такъ что въ ней никто не видитъ, а знаетъ только подозреваетъ въ возможности героя челоѣчества. Но такъ скоро онъ является такимъ героемъ, и осуществляетъ свою судьбою торжество нравственнаго закона, то хотя бы всѣ остальные лица были дураки и смѣшили васъ до слезъ своимъ противорѣчіемъ съ разумною дѣйствительностію — драматическое произведеніе уже не комедія, а трагедія.

Но есть еще нѣчто среднее между трагедіею и комедіею. Можетъ быть такое произведеніе, которое, не представляя собою трагической коллизіи, какъ осуществленія нравственнаго закона, тѣмъ не менѣе, выражаетъ собою положительную сторону бытія, явленіе разумной дѣйствительности, жизнь духа. Мы выше сказали, что на какой бы степени ни явился духъ — его явленіе есть уже дѣйствительность въ разумномъ и положительномъ смыслѣ этого слова. Какъ двѣ полярности одной и той же силы, какъ двѣ противоположныя крайности одной и той же идеи — идеи дѣйствительности, мы представили «Тараса Бульбу» и «Ссору Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ»: теперь мы должны, для уясненія нашей мысли, указать на третье произведеніе того же поэта — «Старосвѣтскіе Помѣщики». Вы смѣетесь, читая изображеніе незатѣйливой жизни двухъ милыхъ оригиналовъ, жизни, которая протекаетъ въ ежеминутномъ «поушиваніи» разныхъ разностей; вы смѣетесь надъ этою простодушною любовію, скрѣпленною могуществомъ привычки и потомъ превратившеюся въ привычку: но вашъ смѣхъ весело-добродушенъ, и въ немъ нѣтъ ничего досаднаго, оскорбительнаго; но васъ поражаетъ родственною горестію смерть доброй Пульхеріи Ивановны, и вы, послѣ, болѣзненно сочувствуете безотрадной горести стараго младенца апоплексически замерзшаго душевно и тѣлесно отъ утраты своей няньки, лелѣвшей его безтребовательную жизнь и сдѣ-

лавшейся ему необходимою, какъ воздухъ для дыханія, какъ себѣ для отечей, и жажъ, наконецъ, тяжело становится при видѣ ниспроверженія домашнихъ понатовъ хлѣбосоольной четы; которое произвелъ глупый племянникъ, прицѣнявшійся на ярмаркахъ къ оптовымъ цѣнамъ, а покулавшій только кремешки и огнивки. Отчего же такъ привязываютъ васъ къ себѣ эти люди, добродушные, но ограниченные, даже и неподозрѣвающіе, что можетъ существовать сфера жизни, высшая той, въ которой они живутъ, и которая вся состоитъ въ снѣнѣ, или въ потчеванѣ и кушаніи! Оттого, что это были люди, по своей натурѣ неспособные ни къ какому злу, до того добрые, что всякаго готовы были угостить на смерть, люди; которые до того жили одинъ въ другомъ, что смерть одного была смертію для другого, смертію въ тысячу разъ ужаснѣйшею, нежели превращеніе бытія; слѣдовательно, основою ихъ отношеній была любовь, изъ которой вышла привычка, укрѣплявшая любовь. Это любовь еще на слишкомъ низкой ступени своего проявленія, но вышедшая изъ общаго, родового, во вѣки неизсякающаго источника любви. Это уже явленіе духа, хотя еще слабое и ограниченное, ступень духа, хотя еще и низшая, но уже явленіе не призрака, а духа; уже положеніе, а не отрицаніе жизни, — словомъ, своего рода разумная дѣйствительность. Мы жалѣемъ, что не можемъ указать ни на одно произведеніе такого рода въ драматической формѣ: оно было бы именно такимъ, которое не есть ни трагедія, ни комедія, но то среднее между ними, о которомъ мы говоримъ. Такого-то рода произведенія назывались въ старину «слезными комедіями» и «мѣщанскими трагедіями», а потомъ «драмами». Они обыкновенно заключали въ себѣ трогательное и даже «бѣдственное» происшествіе, «благополучно окончившееся». Плодовитая досужестъ Коцебу въ особенности снабжала XVIII вѣкъ этими «драмами», которые были бы именно тѣмъ, о чемъ мы говоримъ, еслибы были художественны. И въ самомъ дѣлѣ, такіа среднія между трагедіею и комедіею «драмы», по своей сущности, удобнѣе

въ тѣхъ называемой «благополучной развязкѣ», хотя эта «счастливая развязка» и отнюдь не составляетъ ни ихъ сущности, ни ихъ необходимаго условія. Мы выше сказали, что кровавая развязка не есть непремѣнное условіе даже самой трагедіи; но трагедія необходимо требуетъ жертвъ — кто бы они ни были, добрые или злые; и черезъ что бы ими ни были, чрезъ смерть или утрату надежды на счастье жизни, ибо только въ борьбѣ можетъ вникнуть и торжественно осуществиться торжество нравственнаго закона, которое есть высочайшее торжество духа и величайшее явленіе міровой жизни; почему и трагедія есть высшая сторона, цѣль и торжество драматической поэзіи. Изъ этого ясно видно, что «драма» можетъ изображать явленія разумной дѣятельности на всѣхъ ея ступеняхъ, а не только на первыхъ, какъ въ приведенныхъ намъ въ примѣръ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ». Отъ комедіи она существенно разнится тѣмъ, что представляетъ не отрицательную, а положительную сторону жизни; а отъ трагедіи она существенно разнится тѣмъ, что, даже и выражая торжество нравственнаго закона, дѣлаетъ это не чрезъ трагическое столкновеніе, въ самомъ себѣ непременно заключающее условіе жертвъ, а слѣдовательно лишена трагическаго величія и не достигаетъ до высшихъ міровыхъ сферъ духа. Мы думаемъ, что, вслѣдствіе такого умозрительнаго построенія, можно причислить къ «драмамъ», напримѣръ, шекирова «Венеціанскаго Куица» и пушкинскаго «Анжело»; и въ «Кавказскомъ Пльиникѣ» видѣть, въ эническомъ родѣ, соответственное ей явленіе.

Итакъ, мы нашли три вида драматической поэзіи — трагедию, драму и комедию, выводя ихъ не по внѣшнимъ признакамъ, а изъ идеи самой поэзіи. Для большей определенности въ этихъ техническихъ словахъ мы должны сказать еще нѣсколько словъ о сбивчивомъ употребленіи слова «драма». Словомъ «драма» выражаютъ и общее родовое понятіе произведеній цѣлаго ряда поэзіи, такъ что всякая пьеса въ

драматической формѣ—трагедія или то, комедія, или даже водевилъ, есть уже драма; потомъ, поды словомъ же «драма», разумѣютъ высшій родъ драматической поэзіи—трагедію. Поэтому, иіесы Шекспира называются то драмами, то трагедіями, но въ обоихъ случаяхъ означая этимъ словомъ высшій драматическій родъ, то, что Нѣмцы называютъ Trauerspiel. Другіе хотять ихъ называть только «драмами», оставляя названіе «трагедіи» за греческими произведеніями этого рода, и желая словомъ «драма» отличить христіанскую трагедію—герой которой есть субъективная личность внутренняго и самоцѣльнаго челоуѣка—отъ языческой трагедіи, герой которой народъ, въ лицѣ царей и герцоговъ, какъ представителей народа, какъ объективныхъ личностей, и потомъ, какъ трагедіи: въ маскѣ и на колуриѣ, и въ хорѣмъ—органомъ таинственнаго и невримопримствующаго героя—волоссацмаго призрака судьбы. Нѣкоторые хотять присвоить названіе «трагедіи» особанному роду произведеній новѣйшаго искусства, ведущаго свое начало отъ «мистерій» среднихъ вѣковъ,—драмамъ лирическимъ, каковы суть: «Фаустъ» Гёте, герой которой есть цѣлое челоуѣчество въ лицѣ одного челоуѣка, и «Орлеанская Дѣва» Шиллера, герой которой есть цѣлый народъ, таинственно-спасаемый высшими силами въ лицѣ чуждой дѣвы, которой мия и явленіе необъяснимо утверждено исторіей. Намъ кажется, что каждое изъ этихъ мнѣній имѣетъ свое основаніе, и наша цѣль была не указать на справедливѣйшее, но дать знать о существованіи всѣхъ. Кто пойметъ идею этихъ мнѣній, для того не будетъ тазаться сбивчивымъ различнымъ употребленіе слова «драма».

Трагедія или комедія, какъ и всякое художественное произведеніе, должна представлять собою особый, замнутый въ самомъ себѣ міръ, т. е. должна имѣть единство дѣйствія, выходящее не изъ внѣшней формы, но изъ идеи, лежащей въ ея основаніи. Она не допускаетъ въ себя ни чуждыхъ своей идеѣ элементовъ, ни внѣшнихъ толчковъ, которые бы

помогая ходу дѣйствія; но развивается динамично, т. е. изнутри одной себя; какъ дерево развивается изъ зерна. Поэтому, всякая пьеса въ драматической формѣ, являясь выражающей и выполняя истощивающая свою идею, цѣлая и оконченная въ художественномъ значеніи, т. е. представляющая собою особый замкнутый въ самомъ себѣ міръ, есть или трагедія, или комедія, смотря по сущности ея содержанія, но писаною не смотря на ея объектъ и т. е. личину, хотя бы она простиралась не далѣе пяти страницъ. Такъ, напр., пьесы Пушкина: «Медартъ и Сальери», «Служба Рыцаря», «Русалка», «Борисъ Годуновъ» и «Каменный Гость» — суть трагедія во всемъ смыслѣ этого слова, какъ выражающая, въ драматической формѣ, идею торжества нравственнаго закона, и представляющая, каждая въ отдельности, совершенно особый и замкнутый въ самомъ себѣ міръ.

Теперь посмотримъ, какими образомъ комедія можетъ представлять собою особый замкнутый въ самомъ себѣ міръ; для чего бросимъ бѣглый взглядъ на высокохудожественное произведеніе въ этомъ родѣ, на комедію Гоголя «Ревизоръ». Въ основаніи «Ревизора» лежитъ та же идея, что и въ «Ссортъ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ»: въ томъ и другомъ произведеніи поэтъ выразилъ идею отрицанія жизни, идею призрачности, получившую, подъ его художническимъ рѣзцомъ, свою объективную дѣятельность. Разница между ними не въ основной идеѣ, а въ моментахъ жизни, схваченныхъ поэтомъ, въ индивидуальностяхъ и положеніяхъ дѣйствующихъ лицъ. Во второмъ произведеніи, мы видимъ пустоту, лишенную всякой дѣятельности; въ «Ревизорѣ» — пустоту, наполненную дѣятельностію мелкихъ страстей и мелкаго эгоизма. Чтобы произведенія его были художественны, т. е. представляли собою особый, замкнутый въ самомъ себѣ міръ, онъ взялъ изъ жизни своихъ героев та- кой моментъ, въ которомъ сосредоточивалась вся цѣлостность ихъ жизни, ея значенія, сущность, идея, начало и конецъ.

въ первомъ—ссору двухъ пріятелей, во второмъ—ожиданіе и пріемъ ревизора. Все чуждое этой ссорѣ и этому ожиданію и пріему ревизора не могло войти въ повѣсть и комедію, и та и другая начаты съ начала и кончены въ концѣ; намъ не нужно знать подробности дѣтства обоихъ друзей—враговъ, ни того, что было съ ними послѣ, какъ ихъ видѣлъ поэтъ: мы знаемъ это изъ повѣсти, потому что знаемъ этихъ героевъ съ головы до ногъ, знаемъ всю сущность ихъ жизни, вполне исчерпанную поэтомъ въ описаніи ихъ ссоры. Такъ точно, на что намъ знать подробности жизни городничаго до начала комедіи? Ясно и безъ того, что онъ въ дѣтствѣ былъ ученъ на мѣдныхъ деньги, игралъ въ бабки, бѣгалъ по улицамъ, и какъ сталъ входить въ разумъ, то получилъ отъ отца уроки въ житейской мудрости, т. е. въ искусствѣ нагрѣвать руки и хорошить концы въ воду. Лишенный въ юности всякаго религіознаго, нравственнаго и общественнаго образованія, онъ получилъ въ наследство отъ отца и отъ окружающаго его міра слѣдующее правило вѣры и жизни: въ жизни надо быть счастливымъ, а для этого нужны деньги и чины, а для пріобрѣтенія ихъ—взятничество, казнокрадство, низкопоклонничество и подличанье передъ властями, знатностію и богатствомъ, лжманье и скотская грубость передъ низшими себя. Простая философія! Но замѣьте, что въ немъ это не развратъ, а его нравственное развитіе, его высшее понятіе о своихъ обязательныхъ обязанностяхъ: онъ мужъ, слѣдовательно обязанъ прилично содержать жену; онъ отецъ, слѣдовательно долженъ дать хорошее приданое за дочерью, чтобы доставить ей хорошую партію и тѣмъ, устроивъ ея благосостояніе, выполнить священный долгъ отца. Онъ знаетъ, что средства его для достиженія этой цѣли грѣшны передъ Богомъ; но онъ знаетъ это отвлеченно, головою, а не сердцемъ, и онъ оправдываетъ себя простымъ правиломъ всѣхъ помѣлыхъ людей: «не я первый, не я послѣдній, всѣ такъ дѣлаютъ». Это практическое правило жизни такъ глубоко вкоренено въ немъ, что обра-

тилось въ правило нравственности; онъ почелъ бы себя выскочкою, самолюбивымъ гордецомъ, еслибы, хотя позабывшись, повелъ себя честно въ продолженіе недѣли. Да оно и странно быть «выскочкою»: всѣ пальцы уставятся на васъ, всѣ голоса подымутся противъ васъ; нужна большая сила души и глубокіе корни нравственности, чтобы бороться съ общественнымъ мнѣніемъ. И не Сивозинки-Дмухановскіе увлекаются могучимъ водоворотомъ этой магической фразы «всѣ такъ дѣлають», и, какъ Молоху, приносятъ ей въ жертву и таланты, и силы души, и внѣшнее благосостояніе. Нашъ городничій былъ не изъ бойкихъ отъ природы, и потому «всѣ такъ дѣлають» было слишкомъ достаточнымъ аргументомъ для успокоенія его мозолистой совѣсти; къ этому аргументу присоединился другой, еще сильнѣйшій для грубой и низкой души: «жена, дѣти, казеннаго жалованья не станетъ на чай и сахаръ». Вотъ вамъ и весь Сивозинка-Дмухановскій до начала комедіи. Что касается до формъ, въ какихъ онъ выражался и проявлялся до того, онъ всѣ тѣ же, все его же, какъ и во время комедіи. Такъ же нетрудно понять, что съ нимъ было и по окончаніи комедіи, какъ онъ дожилъ свой вѣкъ. Художественная обрисовка характера въ томъ и состоитъ, что если онъ данъ вамъ (потому въ извѣстный моментъ своей жизни, вы уже сами можете рассказать всю его жизнь и до, и послѣ этого момента. Конецъ «Ревизора» сдѣланъ потомъ опять не произвольно, но вслѣдствіе самой разумной необходимости: онъ хотѣлъ показать намъ Сивозинка-Дмухановскаго всего, какъ онъ есть, и мы видѣли его всего, какъ онъ есть. Но тутъ скрывается еще другая, не менѣе важная и глубокая причина, выходящая изъ сущности пьесы. Въ комедіи, какъ выраженіи случайностей, все должно выходить изъ идеи случайностей и призраковъ и только чрезъ это получать свою необходимость: почтенный нашъ городничій жилъ и вращался въ мірѣ призраковъ, но какъ у него необходимо были свои понятія о дѣйствительности, хотя и

отвлеченныя, и сверхъ того самый основательный страхъ дѣйствительности, известный подъ именемъ уголовного суда, то и должно было выйти комическое столкновение, какъ ошибка естественнаго влеченія сердца къ воровству и плутнямъ съ страхомъ наказанія за воровство и плутни; страхомъ, который увеличивался еще и нѣкоторымъ безпокойствомъ совѣсти. У страха глаза велики, говоритъ мудрая русская пословица: удивительно ли, что глухой мальчишка, промотавшійся въ дорогѣ, трактирный денди, былъ принятъ городничимъ за ревизора? Глубокая идея! Не грозная дѣйствительность, а призракъ, фантомъ; или, лучше сказать, тѣнь отъ страха виновной совѣсти, должны были навазать челоуѣка призраковъ. Городничій Гоголя, не парикатура, не комическій фарсъ, не преувеличенная дѣйствительность, и въ то же время нисколько не дуракъ, но, по своему, очень и очень умный челоуѣкъ, который въ своей сферѣ очень дѣйствителенъ, умѣетъ ловко взяться за дѣло — сверовать и концы въ воду схоронить; подсунуть взятку и задобрить опаснаго ему челоуѣка. Его приступы къ Хлестакову, во второмъ актѣ, — образецъ подъяческой дипломатіи. Итакъ, конецъ комедіи долженъ совершиться тамъ, гдѣ городничій узнаетъ, что онъ былъ наказанъ призракомъ, и что ему еще предстоитъ наказаніе со стороны дѣйствительности; или, по крайней мѣрѣ, новыя хлопоты и убытки, чтобы увернуться отъ наказанія со стороны дѣйствительности. И потому, приходъ жандарма съ извѣстіемъ о приѣздѣ истиннаго ревизора прекрасно оканчиваетъ пьесу и сообщаетъ ей всю полноту и всю самостоятельность особаго, замкнутаго въ самомъ себѣ міра. Въ художественномъ произведеніи нѣтъ ничего произвольнаго и случайнаго, но все необходимо и логически вытекаетъ изъ его идеи. Каждое лицо въ немъ, способствуя развитію главной идеи, въ то же время есть и само себѣ цѣль, живетъ своею особою жизнью. Далѣе, мы изъ «Ревизора» развѣсемъ подробно эту идею, а пока замѣтимъ мимоходомъ, что, вслѣдствіе

этого взгляда на искусство. Мольеръ — такой же художникъ, какъ Гомеровъ Тиресъ, пророкъ; и такъ же дерзокъ на Шекспира, какъ титулярный советникъ. Мольеръ не Фердинанда VIII, короля испанскаго. Конечно, французамъ нравы, что ставятъ Мольера выше Корнеля и Расина: онъ действительно былъ человекъ съ большимъ талантомъ, съ неистомною живостию и остротою французскаго ума; онъ истощилъ все богатство разговорнаго французскаго языка, воспользовавшись всею его грациозною и живостию для выражения смѣльныхъ противорѣчій; онъ подмѣтилъ и вѣрно схватилъ многія дурныя своего времени. Но онъ великъ въ частности, а не въ цѣломъ; но его дѣйствующія лица не дѣйствительныя существа, а карикатуры, такъ же, какъ его произведенія — сатиры, а не комедии, такъ же, какъ самъ онъ поэтъ мѣстами, а не художникъ, который потому художникъ, что творить цѣлыя, стройное зданіе, выражаетъ изъ одной идеи. Напримеръ, въ его «Скупомъ», Гарпагонъ, конечно, хорошъ, какъ мастерски написанная карикатура, но все другія лица — резонёры, ходячія сентенціи о томъ, что скупость есть порокъ; ни одно изъ нихъ не живетъ своею жизнью и для самого себя, но все придуманы, чтобы лучше отъѣять собою героя квазі-комедіи. То же и въ «Тартюфѣ»: все лица присочинены для главнаго, и самъ Тартюфъ такъ нехитеръ, что могъ обмануть только одного человека, и то потому, что этотъ одинъ — пошлый дуракъ. Завязка и развязка многихъ комедій Мольера никогда не выходилъ изъ основной идеи и взаимныхъ отношеній дѣйствующихъ лицъ, но всегда придумывается, какъ рама для картины, не создается, какъ необходимая форма. Это оттого, что у него никогда не было идеи; и поэзія для него никогда не была сама себѣ цѣль, но средство исправлять общество осмѣяніемъ пороковъ. Какой это художникъ! Многие находятъ странную натяжку и фарсомъ, ошибку городничаго, принявшаго Хлестакова за ревизора, тѣмъ болѣе, что городничій человекъ, по своему, очень умный, т. е.

плутъ перваго разряда... Странное житіе, или, лучше сказать, странная слѣпота, недопускающая видѣть очевидность! Причина этого заключается въ томъ, что у каждаго чловека есть два зрѣнія—физическое, которому доступна только внѣшняя очевидность, и духовное, проницающее внутреннюю очевидность, какъ необходимость, вытекающую изъ сущности идеи. Вотъ, когда у чловека есть только физическое зрѣніе, а онъ смотритъ имъ на внутреннюю: очевидность, то и естественно, что ошибка городничаго ему кажется натяжною и фарсомъ. Представьте себѣ ворышку-чиновника такого, какиимъ вы знаете почтеннаго Сквозника-Дмухановскаго: ему видѣлись во снѣ двѣ какія-то необыкновенныя крысы, какихъ онъ никогда не видывалъ,—черныя, неестественной величины — прищипы, конюхали, и пощипы прочь. Важность этого сна для послѣдующихъ событій была уже тѣмъ-то очень вѣрно замѣчена. Въ самомъ дѣлѣ, обратите на него все ваше вниманіе: имъ открывается дѣнь призраковъ, составляющихъ дѣйствительность комедіи. Для чловека съ такимъ образованіемъ, какъ нашъ городничій, сынъ—мистическая сторона жизни, и чѣмъ они несвязнѣе и бессмысленнѣе, тѣмъ для него имѣютъ большее и таинственнѣйшее значеніе. Если бы, послѣ этого сна, ничего важнаго не случилось, онъ могъ бы и забыть его; но, какъ нарочно, на другой день онъ получаетъ отъ пріятеля уведомленіе, что «отправился нижегородъ изъ Петербурга чиновникъ съ секретнымъ предписаніемъ обревизовать въ губерніи все, относящееся по части гражданскаго управленія». Сомъ въ руку! Суевѣріе еще болѣе запуривается и безъ того запутанную совѣсть; совѣсть усиливаетъ суевѣріе. Обратите особенное вниманіе на слова «нижегородъ» и «съ секретнымъ предписаніемъ». Петербургъ есть таинственная страна для нашего городничаго, міръ фантастическій, котораго формъ онъ не можетъ и не умѣетъ себѣ представить. Нововведенія въ юридической сферѣ, грозяція уголовнымъ судомъ и ссылкой за вѣтренничество и

намократства, еще болѣе усугубляютъ для него фантастическую сторону Петербурга. Онъ уже допытывается своего воображенія, какъ прійдетъ ревизоръ, чѣмъ онъ приникнется и какія пуды онъ будетъ отливать, чтобы развѣдать правду. Слѣдуетъ толпи у честной коммисіи объ этомъ предметѣ. Судья-собачникъ, который беретъ взятки берзыми шенками, и потому не боится суда, который на своемъ вѣку прочесть пять или шесть книгъ, и потому нѣсколько вольнодумецъ, находитъ призыву приплыли ревизора, достоинств своего глубокомыслия и начитанности, говоря, что «Россія хочетъ вести войну, и потому министерія нарочно отправляютъ чиновника, чтобы узнать, нѣтъ ли гдѣ измѣны». Городничій молчалъ: неопытность этого предположенія и отвѣчаетъ: «Гдѣ нашему уѣздному городишкѣ? Еслибъ онъ былъ пограничнымъ, еще бы какъ-нибудь возможно предположить, а то стоять вѣрѣ знаетъ гдѣ—въ глуши... Отсюда хоть три года скачи, ни до какого государства не дойдешь». За сѣмъ онъ даетъ совѣтъ своимъ сослуживцамъ: быть осторожнѣе и быть готовымъ къ пріѣзду ревизора; вооружается противъ мысли о грѣшникахъ, т. е. взяткахъ, говоря, что «нѣтъ человека, который бы не имѣлъ за собою какихъ-нибудь грѣховъ», что «это уже такъ самимъ Богомъ устроено» и что «волтеріанцы напрасно противъ этого говорить»; слѣдуетъ маленькая перебранка съ судьей о значеніи взятокъ; продолженіе совѣтовъ; ропотъ противъ проклятаго инногнито. «Вдругъ ваглянется; а! вы здѣсь, голубчики! А кто, скажете, здѣсь судья? — Тяпкинь-Ляпкинь. А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! А кто непочтитель богоугодныхъ заведеній? — Земляника. — А подать сюда Землянику! Вотъ что худо!»... Въ самомъ дѣлѣ, худо! Входитъ наивный почтмейстеръ, который любитъ распечатывать чужія письма, въ надеждѣ найти въ нихъ разные этакіе пассажи... назидательные даже... лучше, нежели въ «Московскихъ вѣдомостяхъ». Городничій даетъ ему плутовскіе совѣты «немного распечатывать и прочитывать всякое письмо, чтобы узнать: — не

содержится ли въ немъ много-либѣ донесенія, или, просто переписки». Какая глубина въ изображеніи! Вы думаете, что фраза «или просто переписки» (безомыслица; или фарсъ со стороны претна) нѣтъ, это неумѣіе городничаго выражаться, какъ скоро онъ хотъ немного выводить изъ родныхъ сферъ своей жизни. И такою явнымъ вѣбхъ дѣйствующихъ лицъ въ комедіи! Наивный почтмейстеръ, не понимая, что чѣмъ дълго говорить, что онъ и такъ это дължать. «Я радъ, что вы это дълаете», отвѣчаетъ плутъ-городничій проследу почтмейстеру: «это въ жизни хорошо», и вида, что съ ними обиняками не много возжешь, напрямки просить: это—ровнее извѣстіе доставить: къ нему, а жалобу или донесеніе просто задерживать. Судья почуветь его собаченною, но онъ отвѣчаетъ, что ему теперь не до собакъ и зайцевъ: «У меня въ ушахъ тошнро и слышно, что ликогного прелятое; танъ я ожидаешь, что вдругъ отворятся двери и войдетъ...»

И въ самомъ дълѣ, двери отворяются съ шумомъ, и вбѣгаютъ Петръ Ивановичъ Бобчинскій и Добчинскій. Это передскіе шуты, уфадные слетники; ихъ всѣ видятъ, какъ дуряковъ, и обходятся съ ними или съ видомъ презрѣнія, или съ видомъ некривительства. Они безознательно это чувствуютъ, и потому нро всей ночи передъ всеми подличаютъ, и, чтобы только ихъ терпѣли, какъ собакъ и кощенъ въ комнату, всѣмъ подслуживаются новостями и слетниками, составляющими субъективную, объективную и абсолютную жизнь уфадныхъ городничихъ. Вообще, съ ними обращаются безъ чиновъ, какъ съ собаками и женщинами: надбѣдтъ — выгоняютъ. Ихъ дни проходятъ въ шатаньи и: собираньи новостей и слетней. Обогащесь подобною находкой; они вдругъ. вырастаютъ сознаниемъ своей важности, и уже бѣгутъ къ знакомымъ свѣдѣ, въ уфѣренности хорошаго крѣма.

«Чрезвычайное происшествіе!» кричитъ Бобчинокій. «Неожиданное извѣстіе!» восклицаетъ Добчинскій, вбѣгая въ комнату городничаго, гдѣ всѣ настроены на одинъ ладъ, а особ-

ливо самъ городничій весь сосредоточенъ на идее этой: «Что такое?» — Приходимъ въ гостиницу — восклицаетъ Добчинскій. Приходимъ въ гостиницу — перебиваетъ его Бобчинскій. Начинается рассказъ самый обстоятельный, самый подробный, отъ начала до конца: зачѣмъ пошли въ гостиницу, гдѣ, какъ, когда, при какихъ обстоятельствахъ, словомъ, по всеѣмъ правиламъ топииковъ или общихъ мѣстъ старинныхъ риторикъ. Чудаки перебиваютъ другъ-друга, каждому хочется наслаждаться своею важностію, быть центромъ общаго вниманія, а вмѣстѣ и занять себя, наполнить свою пустоту пустымъ содержаніемъ. Забавнѣе всего то, что имъ самимъ хочется какъ можно скорѣе добраться до эффектнаго конца, а между тѣмъ и хочется продолжить свое торжество и рассказать все сначала и подробно. Бобчинскій овладѣваетъ рассказомъ, говоря, что у Добчинскаго «и зубъ со свистомъ, и слога такого нѣту», и Добчинскому осталось только помогать жестами рассказу счастливаго Бобчинскаго, изрѣдка оббгать его нѣкоторыми фразами, которыя тотъ снова перехватываетъ и продолжаетъ свой рассказъ. Наконецъ дошли до «молодого человѣка недурной наружности въ партикулярномъ платьѣ». Представьте себѣ, какое впечатлѣніе долженъ былъ произвести этотъ «молодой человѣкъ недурной наружности въ партикулярномъ платьѣ» на воображеніе городничаго, уже безъ того настроенное ожиданіемъ проклятаго «инкогнито»! И вотъ, наконецъ, Бобчинскій передаетъ донесеніе трактирщика Власа: «Молодой человѣкъ, чиновникъ, ѣдущій изъ Петербурга — Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, а ѣдетъ въ Саратовскую губернію; и что чрезвычайно странно себя аттестуетъ: больше полуторы недѣли живетъ, дальше не ѣдетъ, забираетъ все на счетъ и денегъ хоть бы копейку заплатить». Слѣдуетъ остроумная смѣлка прощательнаго Бобчинскаго: съ какой стати слѣдуетъ ему здѣсь, когда дорога ему лежитъ Богъ знаетъ куда — въ Саратовскую губернію? Это вѣрно не кто другой, какъ самый тотъ чиновникъ». Не естественъ ли послѣ этого ужасъ городничаго?

Городничій. Что вы говорите? не может быть! Да и так, это вамъ такъ показалось. Это кто-нибудь другой.

Бобчинскій. Поищите, какъ не онъ! И денегъ не платить, и не вѣдетъ—кому-же быть, какъ не ему? И съ какой стати жилъ бы онъ здѣсь, когда ему прописана подорожная въ Саратовъ?

Понимаете ли вы хотя въ возможности эту чудную логику, эти резоны, эти доводы? на какихъ законахъ разума основаны они? Вотъ онъ — вотъ источникъ комическаго и смѣшнаго! Видите ли вы, какая драма, какое столкновение противоположныхъ интересовъ, проистекающихъ изъ характеровъ дѣйствующихъ лицъ и ихъ взаимныхъ отношеній, выразилось въ этихъ двухъ монологахъ! Городничій уже вѣрить страшному извѣстію, и какъ утопающій хватается за соломенку, такъ онъ пустымъ вопросомъ хочетъ какъ бы отдалить на время сознаніе горькой истины, чтобы дать себѣ время опомниться; Бобчинскій, напротивъ, всѣми силами старается поддержать и въ другихъ, и въ самомъ себѣ увѣренность въ справедливости извѣстія, которое вдругъ придадо ему такую важность. Да, въ этой комедіи нѣтъ ни одного слова, строгой и непреложной необходимости котораго нельзя бы было доказать изъ самой сущности идеи и дѣйствительности характеровъ. Но вотъ Бобчинскій, по тѣмъ же причинамъ, какъ и его достойный другъ, и съ такою же основательностію и очевидностію подаетъ голосъ о несомнѣнности факта:

Онъ, онъ!... ей Богу онъ!... Я ставлю Богу знать что... Такой наблюдательный: все обсмотрѣлъ и во углахъ всадъ, и даже заглянуть въ тарелки наши подлюбопытствовать, что ѣдимъ. Такой осмотрительный, что Боже сохрани...

Послѣ такого довода нѣтъ больше сомнѣнія! Такой наблюдательный, что даже въ тарелки заглядываетъ! Боже мой, да еслибы въ эту минуту бѣдному городничему сказали о наблюдательности его вучера, онъ принялъ бы его за ревизора, отличительнымъ признакомъ котораго, въ его испуганномъ воображеніи непременно должна быть наблюдательность....

Видите ли, съ какими искусствомъ поэтъ умѣлъ завязать эту драматическую интригу въ душѣ человека, съ какою поразительною очевидностію умѣлъ онъ представить необходимость ошибки городничаго? Если и теперь не видите—перечтите вомедію, или, что еще лучше—посмотрите ее на сценѣ; если и тутъ не увидите—такъ это уже вина вашего зрѣнія, а мы не беремъ на себя трудной обязанности научить слѣплаго безошибочно судить о цвѣтѣхъ. Если нужны еще доказательства, не изъ сущности идеи пронаведенія почерпнутыя, а внѣшнія, практическія, разсудочныя и резонерскія, безъ которыхъ многіе люди ничего не понимаютъ, замѣтимъ имъ, что подобныя случаи часто бывають въ жизни; сосредоточтесь на идеѣ, отъ которой зависитъ ваша участь,—вы начнете говорить о ней съ первымъ встрѣчнымъ на улицѣ, принявъ его за своего пріятеля, къ которому вы или говорить о ней. По крайней мѣрѣ, это очень возможно.

Пропускаемъ остальную поковину перваго акта—отчаяніе городничаго при мысли, что ревизоръ въ полторы недѣли могъ узнать о невинно-высѣченной имъ унтеръ-офицерской жонѣ, о покражѣ у арестантовъ провизіи, о нечистотѣ на улицахъ; его радость при мысли, что ревизоръ—молодой человекъ; его распоряженія; сцену съ квартальными; просьбу Добчинскаго взять его съ собою, или хотъ позволить «бѣжать за дрожками пѣтушкомъ, пѣтушкомъ», чтобы только посмотрѣть въ щелочку «такъ, знаете, изъ дверей только увидѣть какъ тамъ онъ... больше сущность и поступки его, а я ничего»; замѣчаніе городничаго квартальному, что онъ «не по чину беретъ»; сцену съ частнымъ приставомъ, допеснямъ о квартальномъ Держимордѣ, который поѣхалъ, по случаю драки, для порядка, и воротился пьянъ; дальнѣйшія распоряженія городничаго; его животныя переходы отъ раскаянія къ ругательствамъ на купцовъ, недогадавшихся подарить ему новой шпаги, хотя и видѣли, что старая уже не годится; его обѣщаніе поставить такую свѣчу, какой никто

еще не оставилъ, и угрозу: «на каждого бестимкуща вало-
жить по три пуда воска»; когда бѣда минетъ; опену Анны
Андреевны, распрашивающей мужа за дѣвкою о томъ, съ
усами ли ревизоръ и съ какими усами; брань бѣна на дочь,
которая своею кроткостію при туалетѣ лишила ее воз-
можности поскорѣе разузнать о ревизорѣ; эту пикировку съ
дочерью, въ которой поблеклая кометка уѣзднаго города пред-
ставляется какъ бы выдающею въ молодой дочери свою со-
перницу: скажемъ коротко, что во всемъ этомъ, какъ и въ
иредшествовавшемъ, поэтъ остался вѣрнѣе своей идѣе, не
измѣнилъ ей ни словомъ, ни чертою; что все это болѣе
нежели портретъ или зарисовка дѣйствительности, но болѣе
походить на дѣйствительность; нежели дѣйствительность по-
ходить сама на себя, ибо все это художественная дѣйстви-
тельность, замыслающая въ себѣ всѣ настоянія явленія подоб-
ной дѣйствительности.

Передъ вами Осипъ—герой лапейской природы, представи-
тель цѣлаго рода безчисленныхъ явленій, изъ которыхъ онъ
ни на одно не похожъ, какъ двѣ каналы воды, но изъ кото-
рыхъ каждое похоже на него, какъ двѣ капли воды. Въ своемъ
большомъ монологѣ, гдѣ, между прочимъ, читаетъ онъ право-
ученіе самому себѣ для своего барина, онъ высказываетъ всего
себя, свои отношенія къ барину и, наконецъ, самого барина.
Вы видите деревенскаго слугу, который, проживъ въ Петер-
бургѣ, постигъ достоинство столичной жизни и галактерейнаго
обращенія, но, по пословицѣ «снѣлько волка ни корми, онъ все
въ лѣсъ глядитъ», предпочитаетъ мирную деревенскую жизнь
травояденіямъ столицы; въ которой худо безъ денегъ, иной
разъ славно наѣшься, а къ другой чуть не лопнешь съ го-
лода. Въ истинно-художественномъ произведеніи всегда видно,
какъ взаимныя отношенія персонажей дѣйствуютъ на са-
мый ихъ характеръ, и потому вамъ тотчасъ станетъ ясно,
что Осипъ грубиянъ столько же по натурѣ, сколько и по
презрѣнію къ своему барину, котораго глупость онъ пони-

масть по своему. Этотъ баринъ одинъ изъ тѣхъ людей, которыхъ въ канцеляріяхъ называютъ пустѣйшими. Онъ фразѣтъ и шеголь, потому что дуракъ и столичный житель; глушцы скорѣе всего перенимаютъ виѣшнія стороны высшей ихъ жизни. Отецъ содержитъ его прилично, но онъ мотаетъ батюшкины денежки, чтобы наполнить свою пустоту, занять свою праздность и удовлетворить мелкому тщеславію, а потомъ спускаетъ платье на рынокъ, до новой присылки денегъ. «Онъ дѣйствуетъ и говоритъ безъ всякаго соображенія: не въ состояніи остановить постоянного вниманія на какой-нибудь мысли; рѣчь его отрывиста, и слова вылетаютъ совершенно неожиданно». Онъ слышалъ, что есть на свѣтѣ вещь, которая называется литературою, и въ его пустой головѣ въ безпорядкѣ улеглись имена сочиненій и названія журналовъ и сочинителей: Брамбеусъ и Смирдинъ, «Библиотека для Чтенія», и «Сумбeka», «Юрій Милославскій» и «Фанелла». Онъ—денди не по одному модному платью, но и по манерамъ, денди трактирный, одна изъ тѣхъ фигуръ, которыя красуются на вывѣскахъ московскихъ трактировъ, цирюлень и портныхъ. Въ Пензѣ его обыгралъ начистую пѣхотный капитанъ: онъ за это досадуетъ на случай и несчастіе, но не на капитана, къ которому онъ благоговѣтъ, какъ дилетантъ къ художнику, потому что, «что ни говори, а удивительно, бестія. штосы срѣзываетъ: всего какихъ-нибудь четверть часа посидѣлъ и все обобралъ—славно играетъ!» Великое достоинство въ его глазахъ!

Посмотрите, какъ робко и какими косвенными вопросами хочетъ онъ узнать отъ Осипа, есть ли у нихъ табакъ: о, онъ боится его нравоученій и его грубости! Посмотрите какъ онъ подличаетъ передъ трактирнымъ прислужкой, справляясь о его здоровьи и о числѣ пріѣзжающихъ въ ихъ трактиръ, и какъ ласково проситъ его поторопиться принести обѣдать! Какая сцена, какія положенія, какой языкъ! Гдѣ подсмотрѣлъ, гдѣ подслушалъ поэтъ сцены и этотъ языкъ?

И почему только одинъ онъ такъ подсмотрѣлъ и такъ подслушалъ? Можетъ быть, потому что онъ подсматривалъ и подслушивалъ какъ и всѣ, то есть, не подсматривая и не подслушивая, да въ фантазіи-то его это отразилось не такъ, какъ у всѣхъ. А вѣдь и эти всѣ—тоже поэты и художники, и какъ блины пекутъ и трагедіи, и драмы, и оперы, и комедіи, и водевили...

Входитъ Осипъ и говоритъ барину, что «тамъ чего-то приѣхалъ городничій, освѣдомляется и спрашиваетъ о васъ»,—новое комическое столкновеніе! У Хлестакова воображеніе настроено на мысли о жалобахъ трактирщика, о тюрьмѣ... Онъ испугался тюрьмы, но утѣшился мыслию, что если поведутъ его туда благороднымъ образомъ, то ничего; но мысль о двухъ купеческихъ дочеряхъ и офицерахъ, которыхъ онъ видѣлъ на улицѣ, снова приводитъ его въ отчаяніе... Можете представить, въ какой настроенности его воображенія входитъ къ нему городничій... Въ высшей степени комическое положеніе!... Но мы пропускаемъ эту превосходную сцену—она говоритъ сама за себя, а для кого она нѣма, тѣмъ не много помогутъ наши толкованія. Скажемъ только, что въ этой сценѣ городничій является во всемъ своемъ блескѣ: съ одной стороны, какъ чуждый фантастическому для него понятію петербургскаго чиновника и весь сосредоточенный на мысли о «проклятомъ инкогнито», онъ всѣ глупости Хлестакова принимаетъ за тонкія шуточки, а съ другой,—преловко и прехитро выкидываетъ свои тонкія шуточки и улаживаетъ дѣло.

Третье дѣйствіе, а Анна Андреевна все еще у окна съ своей дочерью—въ высшей степени комическая черта! Тутъ не одно праздное любопытство пустой женщины: ревизоръ молодъ, а она кокетка, если не больше... Дочь говоритъ, что кто-то идетъ—мать сердится: «Гдѣ идетъ? у тебя вѣчно какія-нибудь фантазіи; ну, да, идетъ». Потомъ вопросъ, кто идетъ: дочь говоритъ, что это Добчинскій—мать опять не соглашается и опять упрекаетъ дочь ни въ чемъ: «Какой

Добчинскій? тебѣ всегда вдругъ вообразится этакое! совсѣмъ не Добчинскій. Эй, вы, ступайте сюда! скорѣе!» Наконецъ объ разглядываютъ; дочь говорить — «А что? а что, маменька? Видите, что Добчинскій!» Мать отвѣчаетъ: «Ну, да, Добчинскій, теперь я вижу — изъ чего же ты споришь!» Можно ли лучше поддержать достоинство матери, какъ не быть всегда правою передъ дочерью и не дѣлая всегда дочь виноватою предъ собою? Какая сложность элементовъ выражена въ этой сценѣ: уѣздная барыня, устарѣлая кокетка, смѣшная мать! Сколько оттѣнковъ въ каждомъ ея словѣ, какъ значительно, необходимо каждое ея слово! Вотъ что значить проникать въ таинственную глубину организаціи предмета, и во внѣшность выводить то, что кроется въ самыхъ недоступныхъ для зрѣнія тканяхъ и нервахъ внутренней организаціи! Поэтъ заставляетъ насъ въ видѣть эти характеры и внутри находить причины всего внѣшняго, являющагося. Сцена Анны Андреевны съ Добчинскимъ: та и другой является тутъ во всей своей призрачности. Она спрашиваетъ его тотъ ли это ревизоръ, о которомъ уведомляли ея мужа: «Настоящій; я это первый открылъ вѣсть съ Петромъ Ивановичемъ». Потомъ онъ пересказываетъ свиданіе городничаго съ Хлестаковымъ такъ, какъ оно отразилось въ его понятіи и какъ должно было отразиться въ понятіи городничаго, и заключаемъ, что онъ тоже «перетрухнулъ немножко». «Да вамъ-то чего бояться—вѣдь вы не служите?» спрашиваетъ она его. «Да такъ, знаете, когда вельможа говорить, то чувствуешь страхъ», отвѣчалъ простакъ. На вопросъ городничихи о наружности ревизора, онъ его описываетъ такъ, какъ онъ отразился въ его узкой головѣ: «Молодой, молодой человекъ: лѣтъ двадцати-трехъ; а говорить совершенно какъ старикъ. Извольте, говорить, я поѣду и туда, и туда... (размахиваетъ руками) такъ это все славно». Видите ли въ этихъ бессмысленныхъ словахъ немножко-идіотское неумѣіе отдать себѣ отчетъ въ собственномъ впечатлѣніи и выразить

его словомъ? Далѣе: «А, говорить, и написать, и почитать люблю, но мнѣ кажется, что въ комнатѣ, говорить, немножко темно». Видите ли, изъ этого, что чѣмъ Хлестаковъ былъ пошлѣе, безсмыслнѣе въ своихъ фразахъ, трактирише въ своихъ манерахъ, тѣмъ большее придавалъ онъ себѣ значеніе не только въ глазахъ Добчинскаго, но и самого городничаго. Есть люди, которые почитаютъ въ книгахъ глубокихъ и мудрымъ все, чего они не понимаютъ; приведите къ нимъ какого-нибудь глупца или ловкаго мистификатора, какъ автора этой умной книжки, чѣмъ нелѣпѣе онъ будетъ выражаться, тѣмъ больше они будутъ ему удивляться. Для городничаго реvisorъ былъ слишкомъ премудрою книгою, потому уже только, что онъ, реvisorъ, въ этой точкѣ зрѣнія его трудно было сдвинуть, и потому все, что Хлестаковъ имъ вралъ послѣ къ ясной своей невыгодѣ, только еще болѣе поддерживало городничаго въ его заблужденіи, вмѣсто того, чтобы вывести изъ него и открыть ему глаза.

Сцена матери и дочери, совѣтующихся о туалетѣ, чтобы ихъ не осылали какою-нибудь «столичная штучка», и споръ о палевомъ платѣ, которое, по мнѣнію матери, къ лицу ей, такъ какъ у ней самые темные глаза, потому что «она и гадаетъ всегда на трефовую даму», и возраженіе дочери, «что къ ней не идетъ двѣтное платѣ, потому что она, больше, червонная дама» — эта сцена и этотъ споръ окончательно и рѣзкими чертами обрисовываютъ сущность, характеры и взаимныя отношенія матери и дочери, такъ что послѣдующее уже нисколько не удивляетъ въ нихъ васъ, какъ не удивляетъ сумма четырехъ, вышедшая изъ умноженія двухъ на два. Вотъ въ этомъ-то состоитъ типизмъ изображенія: поэтъ беретъ самыя рѣзкія, самыя характеристическія черты живописуемыхъ имъ лицъ, выпуская всѣ случайныя, которыя не способствуютъ къ отгѣненію ихъ индивидуальности. Но онъ выбираетъ не по сортировкѣ, не по соображенію и сличенію болѣе годныхъ съ менѣе годными, онъ даже и не думаетъ,

не забывается объ этомъ, но все это выходитъ у него само-
собою, потому что изображаемыя имъ на бумагѣ лица прежде
всего изобразились ему: не въ фантазіи, ни изображались во
всей полнотѣ своей и плѣтости, со всѣми родовыми притѣ-
тами, отъ швейцарской до родимаго латышка на лицѣ, отъ
звука голоса до каприза платья. Положить лихъ на бумагу —
для него утѣлать второстепенный, почти механическій трудъ.
И посмотрите, какъ легко у него свое вывести въ этой
коротенькой, какъ бы слѣпая и небрежно наброшенной слѣпѣ,
вы видите прошлое, настоящее и будущее, всю исторію
двухъ женщинъ, и, между тѣмъ, она вся состоитъ изъ спора
о платьѣ, и вся, какъ бы мимоходомъ и начально, вырвалась
изъ подъ веревята!...

Сценка явленія Хлестакова въ домѣ городничаго, въ со-
провожденіи свиты изъ городскаго чиновничества и самого
Сквозинки-Дмухановскаго, представленіе Анны Андреевны и
Марьи Антоновны, любовничанье и вранье Хлестакова —
каждое слово, каждая черта во всемъ этомъ, общность и
характеръ всего этого — торжество искусства, чудная кар-
тина, написанная великимъ мастеромъ, никогда нежданное,
нигдѣ не подозрѣвавшееся изображеніе всѣми видимого,
всѣмъ знакомаго, и, не смотря на то, всѣхъ удивившаго и
поразившаго своею новостію и небывалостію!... Здѣсь ха-
рактеръ Хлестакова, — этого второго лица комедіи — развер-
тывается вполне, раскрывается до послѣдней видимости своей
мисроскопической мелкости и гигантской пошлости. Къ со-
жалѣнію, это лицо понятно меньше прочимъ лицъ, и еще
не нашло для себя достойнаго артиста на театрахъ обѣихъ
столицъ. Многимъ характеръ Хлестакова кажется рѣзкомъ,
утрированъ, если можно такъ выразиться, его болтовня,
напоминающая: не любо, не слушай — врать не мѣшай, —
изыскано неправдоподобною. Но это потому что всякій хо-
четъ видѣть, и, слѣдовательно, видѣть въ Хлестаковѣ свое
понятіе о немъ, а не то, которое существенно заключается

въ немъ. Хлестаковъ является къ городничему въ домъ послѣ внезапной перемены его судьбы: не забудьте, что онъ готовился идти въ тюрьму, а, между тѣмъ, нашелъ деньги, почетъ, угощеніе, что онъ, послѣ невольнаго и мучительнаго голода, наѣлся досыта, отчего, и безъ вина можно прійти въ какое-то полупьяное расслабленіе, а онъ еще и подпоясать. Какъ и отчего произошла эта внезапная перемена въ его положеніи, отчего передъ нимъ стоитъ вся навтыжка — ему до этого нѣтъ дѣла; чтобы понять это, надо думать, а онъ не умѣетъ думать, онъ влечется, куда и какъ толкаютъ его обстоятельства. Въ его полупьяной головѣ, при обремененномъ желудкѣ, все передвоилось, все перемѣстилось — и Смирдинъ съ Брамбеусомъ, и «Библиотека» съ «Сумбекою», и Маврушка съ посланниками. Слова вылетаютъ у него вдохновенно; оканчивая послѣднее слово фразы, онъ не помнитъ ея перваго слова. Когда онъ говорилъ о своей значительности, о связяхъ съ посланниками, — онъ не зналъ, что онъ вреть, и нисколько не думалъ обманывать: сказавъ первую фразу, онъ продолжалъ, какъ бы противъ воли, какъ камень, толкнутый съ горы, катится уже не посредствомъ силы, а собственной тяжестию. «Меня даже хотѣли сдѣлать вице-канцлеромъ (зѣваетъ во всю глотку). О чемъ, бишь, я говорилъ?» Еслибы ему сказали, что онъ говорилъ о томъ, какъ отецъ сѣбалъ его розгами, онъ навѣрное уцѣпился бы за эту мысль, и началъ бы не говорить, а какъ будто продолжать, что это очень больно, что онъ всегда кричалъ, но что «при нынѣшнемъ образованіи этимъ ничего не возьмешь».

Многіе почитаютъ Хлестаква героемъ комедіи, главнымъ ея лицомъ. Это несправедливо. Хлестаковъ является въ комедіи не самъ собою, а совершенно случайно, мимоходомъ, и притомъ не самимъ собою, а ревизоромъ. Но кто его сдѣлалъ ревизоромъ? страхъ городничаго, слѣдовательно, онъ созданіе испуганнаго воображенія городничаго, призракъ, тѣнь его совѣсти. Поэтому онъ является во второмъ дѣйствіи и

исчезаетъ въ четвертомъ,—и никому нѣтъ нужды знать, куда онъ поѣхалъ и что съ нимъ стало: интересъ зрителя сосредоточенъ на тѣхъ, которыхъ страхъ создалъ этотъ фантомъ, и комедія была бы не кончена, если бы окончилась четвертымъ актомъ. Герой комедіи—городничій, какъ представитель этого міра призраковъ.

Въ «Ревизорѣ» нѣтъ сценъ лучшихъ, потому что нѣтъ худшихъ, но всѣ превосходны, какъ необходимыя части, художественно-образующія собою единое цѣлое, округленное внутреннимъ содержаніемъ, а не вѣншею формою, и потому представляющее собою особый и замнутый въ самомъ себѣ міръ. Скрѣпя сердце, пропускаемъ VII, VIII, IX и X явленія третьяго акта и остановимся только на оцѣнѣннѣ городничаго, какъ бы кто ударилъ его обухомъ по головѣ: «такъ совсѣмъ ошеломило! страхъ такой напалъ: еще такого важнаго человѣка никогда не видалъ (задумывается); съ министрами играетъ и во дворецъ ѣздитъ... такъ вотъ, право, чѣмъ больше думаешь... чортъ его знаетъ, не знаешь, что и дѣлается въ головѣ, какъ будто стоишь на какой-нибудь колокольнѣ, или тебя хотятъ повѣсить...» Это говоритъ уѣздный чиновникъ, служака, начавшій службу по старинному, что называлось «тянуть ляжку»; а вотъ голосъ чиновницы новаго времени, которая всегда образованнѣе своего мужа: «А я никакой совершенно не ощутила робости, я просто видѣла въ немъ образованнаго, свѣтскаго, вышшаго тона человѣка, а о чинахъ его мнѣ и нужды нѣтъ». Безподобна и эта выходка философствующаго городничаго: «Чудно все завелось теперь на свѣтѣ: народъ все тоненькій, поджаристый такой. Никакъ не узнаешь, что онъ важная особа». Это голосъ стараго чиновка, враслохъ застигнутаго новымъ временемъ: онъ уже и прежде слышалъ, а теперь собственными глазами удостовѣрился, что нынче-де уже по головѣ, а не по брюху дѣлаются важными особами.

Въ первыхъ сценахъ четвертаго акта Хлестаковъ бесѣ-

дуетъ съ самимъ собою и является все тѣмъ же, все самимъ же собою, и не имѣваетъ себѣ ни однимъ словомъ; ни однимъ движеньемъ. После дивныхъ сценъ съ чиновниками города, у которыхъ онъ набралъ денегъ, онъ еще въ первый разъ догадывается, что его принимаютъ не за то, что онъ есть, а за великаго государственнаго человѣка. Причина этого явленія и могущія выйти изъ него слѣдствія не въ силахъ остановитъ на себѣ его вниманія. Это одна изъ тѣхъ головъ, которыя не въ состояніи переварить самаго простаго понятія, и гмутають не жеванымъ. Онъ очень радъ, что его приняли за важную особу: «Я это люблю. Мнѣ нравится, если меня почитаютъ за важнаго человѣка. Въ моей физиономіи точно есть что-то такое, внушающее»... и не дожидаясь, сколько потому что эта фраза слышанная, а не своя, столько и потому, что вдругъ перепрыгнулъ къ другому предмету... «Это съ ихъ стороны тоже благородная черта, что они готовы дать взаимы денегъ». Видите ли: его приняли за важную особу — оттого, что «у него въ физиономіи есть что-то внушающее»; это должна дань его личнымъ достоинствамъ, а не другая, болѣе важная для чиновниковъ причина; что ему надавали денегъ, это не взятки; а заемъ, и онъ, на ту минуту, какъ говоритъ, вполне убѣжденъ, что возвратитъ имъ свой долгъ. Но Осипъ: умѣе своего барина: онъ все понимаетъ, и ласково, тоже, какъ будто мимоходомъ, совѣтуетъ ему уѣхать, говоря: «Погуляли здѣсь два денька, ну — и довольно; что съ ними связываться! плюньте на нихъ! неровень часъ: какой-нибудь другой найдетъ», и оболъщаетъ его тройкою лихихъ лошадей съ колокольчикомъ. Эта приманка, равно какъ и мимоходомъ сказанное предостереженіе, что «батюшка будетъ гнѣваться за то, что такъ замѣшались», и рѣшила Хлестакова послѣдовать благоразумному совѣту. Слѣдуетъ сцена съ купцами, въ которой вы видите, какъ на ладони, это купечество уѣзднаго городка, которое выучились кое-какъ зашибать деньги, а еще не обрилось и не умылось,

чтобы огъ его бороды не пахли напустомъ; которое плохо знаетъ грамоту и живетъ на «авось»; т. е. гдѣ выторговать, а гдѣ надуть, и съ которыми по всему городу обходился бая чинъ». «Схватить изъ бороду, поговорить, ахъ ты Татаринъ», которое, наконецъ, любить и коли давать, такъ давать — возьми и подноси, и головку сахара и тучечки съ винами, и на триста, — что приста! — пятьсотъ, только дѣло сдѣлай. Языкъ междражасно, върождъ Хлестаковъ опитъ не намѣнать, собѣ — брать, взаимъ; о взяткахъ слышать не хочеть, и если гдѣ приходиться въ маленькое недоумѣніе, такъ толкаетъ его. Олимпъ и заставляеть не быть безъ дѣйствія. Но вотъ входитъ Марья Антоновна; она въ комнату чужого молодого человека ищетъ маленьки. Ея приходы толкаетъ Хлестакова, т. е. заставляеть дѣлать то, чего онъ не думалъ дѣлать. Онъ франтъ, она «барышня»; следовательно, ему должно вомочиться за немъ. Что изъ этого выйдетъ, — такая мысль не можетъ прийти въ его пустую и легкую голову, которая дѣйствуетъ подъ вліяніемъ вѣшняго обстоятельства, подъ впечатлѣніемъ настоящей минуты. «Барышня» глупа, пуста и пошла, но она уже прочла нѣсколько романовъ, и у ней есть альбомъ, въ который Хлестаковъ долженъ написать какіе-нибудь атакіе новенькіе «стихи». О, ему это ничего не стоить — онъ много знаетъ наизусть стиховъ; напр., «О ты, что въ горести напрасно», и пр. И вотъ онъ на когъняхъ передъ нею. Уйди она — онъ черезъ минуту забылъ бы объ этой сценѣ, какъ совсѣмъ небывалой; но входитъ мать и толкаетъ его «просить руки» Марьи Антоновны. Онъ уѣзжаетъ въ полной увѣренности, что онъ женихъ и что все сдѣлалось какъ должно; но извѣстны крикнулъ, колокольчикъ зазвучалъ — и Хлестаковъ готовъ спросить себя: «На чемъ, бишь, я остановился?»

Первыя сцены пятого акта представляютъ намъ городничаго въ полнотѣ его грубаго блаженства животной натуры. Здѣсь поэтъ является глубокимъ анатомикомъ души человѣ-

ческой, проникаетъ въ самые недоступные тайники ея и выводитъ наружу все крившееся въ нихъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ патомъ актѣ городничій является въ своемъ апогеозѣ, полнымъ опредѣленіемъ своей сущности, вполне опредѣлившимся возможностью: все темное, грязное, низкое и грубое, что крылось въ его природѣ, развивалось воспитаніемъ и обстоятельствами, все это всплыло со дна наверхъ, изнутри явилось наружу, и явилось такъ добродушно, такъ комически, что вы невольно смѣетесь тамъ, гдѣ бы должны были ужасаться. «Что, говорить онъ жемъ, тебѣ и во снѣ не видѣлось: просто изъ какой-нибудь городничихи, и вдругъ... фу ты канальство! Съ какимъ дьяволомъ породнилась!» — «Какія мы съ тобою теперь птицы сдѣлались! А, Анна Андреевна! высокога полета, чортъ побери!» Изъ труса онъ дѣлается нахаломъ, мѣщаниномъ, который вдругъ попалъ въ знатные люди; страхъ Сибири прошелъ — онъ уже не общается Богу пудовой свѣчи, и грозитъ еще жить и обирать купцовъ; велитъ кричать о своемъ счастьи всему городу, «валить въ колокола: коли торжество, такъ торжество, чортъ возьми!» его дочь выходитъ замужъ за такого человѣка, «что и на свѣтѣ еще не было, что можетъ и прогнать всѣхъ въ городѣ, и въ тюрьму посадить, и все, что хочетъ». Боже мой! къ лицу ли ему генеральство! А онъ въ неистовомъ восторгѣ, въ бѣшеной комической страсти отъ мысли, что будетъ генераломъ... «Вѣдь почему хочется быть генераломъ? потому что случится, поѣдешь куда-нибудь, фельдъегери и адъютанты поскочутъ вездѣ впередъ: лошадей! и тамъ, на станціяхъ никому не дадутъ, все дожидается: всѣ эти титулярные, капитаны, городничіе, а ты себѣ и въ усь не дуешь: обѣдаешь гдѣ-нибудь у губернатора, а тамъ: стой городничій! Ха, ха, ха! Вотъ что, канальство, заманчиво!»

Такъ проявляются грубыя страсти животной природы! Это страсть — и страсть бѣшенная: у нашего городничаго сверкаютъ глаза, въ голосѣ тонъ изступленія, движенія порывисты.

Если не вѣрите—посмотрите на Щепкина въ этой роли. Въ комедіи есть свои страсти, источникъ которыхъ смѣшонъ, но результаты могутъ быть ужасны. По понятію нашего городничаго, быть генераломъ, значитъ видѣть предъ собою униженіе и подлость отъ низшихъ, гнести всѣхъ не генераловъ своимъ чванствомъ и надменностію; отнять лошадей у чело-вѣка нечиновнаго, или меньшаго чиномъ, по своей подорожной имѣющаго равное на нихъ право; говорить «братецъ» и «ты» тому, кто говоритъ ему «ваше превосходительство» и «вы»; и проч. Сдѣлайся нашъ городничій генераломъ — и когда онъ живетъ въ уѣздномъ городѣ, горе маленькому чело-вѣку, если онъ, считая себя «неимѣющимъ чести быть знакомымъ съ г. генераломъ», не поклонится ему, или на балу не уступитъ мѣста, хотя бы этотъ маленький чело-вѣкъ готовился быть великимъ чело-вѣкомъ!... тогда изъ комедіи могла бы выйти трагедія для «маленькаго чело-вѣка»...

Приходъ купцовъ усиливаетъ волненіе грубыхъ страстей городничаго; изъ животной радости онъ переходитъ въ животную злобу. Сначала хочетъ говорить тихо, съ сосредото-ченной яростію и злобною ироніею; но животная натура не даетъ ему выдержать этой роли: власть надъ собою принад-лежитъ только образованнымъ людямъ; онъ постепенно при-ходитъ въ большую и большую ярость и раздражается руга-тельствами. Онъ пересчитываетъ Абдулину свои благотѣнія, т. е. напоминаетъ случаи, гдѣ они виѣсть казну обкрады-вали... Купцы являются тѣми же купцами: они низко вла-няются, низко подличаютъ. Великодушный городничій смяг-чается, но на условіи, чтобы «зауселенныя бороды, аршин-ники, самоварники, протоканаліи и архибестіи» не думали «отбояриться отъ него какимъ-нибудь балычкомъ, или голо-вою сахара», ибо-де «онъ выдаетъ дочку свою не за какого-нибудь дворянина»...

Начинаютъ собираться гости. Городничій снова въ своемъ пѣтушьемъ величіи. Передъ нимъ всѣ подличаютъ, какъ передъ

знатною особю; поздравляють вслухъ съ «необыкновеннымъ благополучіемъ», и «ругаютъ въ полголоса. Городничка, какъ и съ самаго начала пятаго акта, играетъ роль случайной дамы, которая, однако, нисколько не удивлена своимъ счастьемъ, и какъ по праву принадлежащихъ ей достоинствъ, и какъ давно привычнымъ ей. Она показываетъ, что равнодушна къ нему. Но устарѣлая кокетка беретъ вверхъ надъ знатною дамою; она почти осмѣливаетъ женхача у своей дочери. Входитъ простодушный почтмейстеръ; и пренаивно открываетъ всѣмъ глаза насчетъ примаго ревизора; доказавъ очевидно что онъ «и не уполномоченный, и не особа». Сцена чтенія письма Хлестакова — въ высшей степени комическая. Но что же нашъ городничій? — Вы думаете, ему стыдно, мучительно-стыдно видѣть себя такъ жестоко одуроченнымъ собственною ошибкою, такъ тяжело наказаннымъ за свои трѣпки? Какъ бы не такъ! Бездарность, посредственность или даже обыкновенный талантъ, тотчасъ бы воспользовались случаемъ заставить городничка раскаться и исправиться; но талантъ необыкновенный глубже понимаетъ натуру вещей и творить не по своему произволу, а по закону разумной необходимости. Городничій пришелъ въ бѣшенство, что допустилъ обмануть себя мальчишкѣ, вертопраху, у котораго молоко на губахъ не обсохло, онъ, который «тридцать лѣтъ жилъ на службѣ», котораго ни одинъ кунецъ, ни одинъ подрядчикъ не могъ провести; мошенниковъ надъ мошенниками обманывать; пройдохъ и шутовъ танихъ, что весь свѣтъ готовы обворовать, поддѣлывалъ на уду; трехъ губернаторовъ обманул!» — Вы думаете, ему совѣстно, мучительно-совѣстно смотрѣть на тѣхъ людей, передъ которыми онъ сейчасъ только такъ ломался, которые унижались и подличали передъ его мнимую знатность? Ничего не бывало! Когда дражайшая его половина обнаруживаетъ всю свою глупость наивнымъ вопросомъ: «Какъ же?... вѣдь это не можетъ быть... онъ совѣтъ вѣдь обручился съ нашей Машенькой?» — онъ не

только не старается замать позорнаго для нихъ обоихъ объясненія, но еще съ досадою на ея недогадливость очень ясно толкуеть ей, въ чемъ дѣло: «А развѣ ты не видишь, что у него все это фу — фу? Пустѣйшій человѣкъ, чортъ бы побралъ его! Вотъ подлинно, если Богъ захочетъ наказать, такъ отниметъ разумъ. Ну что въ немъ было такого, чтобы можно было принять за важнаго человѣка, или вельможу? Пусть бы онъ имѣлъ что-нибудь внушающее уваженіе, а то чортъ знаетъ что? дрянъ, сосулька! Тоньше стѣркой опички!» За симъ обманутые чудаки бросаются съ ругательствомъ на Петровъ Ивановичей, какъ первыхъ вѣстовиковъ о пріѣздѣ ревизора. Брань сыплется на нихъ градомъ; они сваливаютъ вину другъ на друга, какъ вдругъ явленіе жандарма съ извѣстіемъ о пріѣздѣ истиннаго ревизора прерываетъ эту комическую сцену и, какъ громъ, разразившійся у нихъ ногъ, заставляетъ ихъ окаменѣть отъ ужаса, и такимъ образомъ превосходно замыкаетъ собою цѣлость пьесы.

Все, сказанное нами о «Ревизорѣ», отнюдь не есть разборъ этого превосходнаго произведенія искусства. Подробный разборъ хода всей пьесы, характеровъ ея дѣйствующихъ лицъ, ихъ взаимныя отношенія и ихъ взаимнодѣйствія другъ на друга, завели бы насъ далеко и отвлекли бы отъ главнаго предмета «Горе отъ ума», а наша статья и безъ того вышла слишкомъ велика. Скрѣпя сердце и обуздывая руку, мы не показали подробно развитія дѣйствія, а наскоро пробѣжали его, не останавливались на отдѣльных лицахъ, но, такъ сказать, зацѣплялись за нихъ. Наша цѣль была — наметнуть на то, чѣмъ должна быть комедія, художественно-созданная. Для этого мы старались наметнуть на идею «Ревизора», а вслѣдствіе ея, не только на естественность, но и на необходимость ошибки городничаго, принявшаго Хлестакова за ревизора, ошибки, составляющей завязку, интригу и развязку комедіи, а чрезъ все это, указать, по возможности, на цѣлость (Totalität) пьесы, какъ особаго, въ самомъ себѣ замкнутаго міра.

Не намъ судить, до какой степени выполнили мы все это; по крайней мѣрѣ, теперь читатели могутъ ясно видѣть наши требованія отъ искусства и нашъ критеріумъ для сужденія о комедіи.

Русская комедія начиналась задолго еще до Фонъ-Визина, но началась только съ Фонъ-Визина. Его «Недоросль» и «Бригадиръ» надѣлали страшнаго шума при своемъ появленіи, и навсегда останутся въ исторіи русской литературы, если не искусства, какъ одно изъ примѣчательнѣйшихъ явленій. Въ самомъ дѣлѣ, эти двѣ комедіи суть произведенія ума сильнаго, остраго, человѣка даровитаго; но онѣ мастерскія сатиры на современное общество, а, слѣдовательно, не художественныя произведенія, слѣдовательно, и не комедіи. Ни одна изъ нихъ не представляетъ собою цѣлаго, замкнутаго собою міра, возникшаго изъ творческаго зачатія, но представляетъ пресмѣшную карикатуру на глупость и невѣжество; въ нихъ нѣтъ основной идеи, въ философическомъ значеніи этого слова, но есть намѣреніе, цѣль, и цѣль внѣ, а не внутри ихъ заключенная. Поэтому каждая изъ нихъ раздѣлена на двѣ части: на смѣшную и серьезную, потому что дѣйствующія лица раздѣлены на два разряда: на дураковъ и умныхъ. Дураки очень милы и потѣшны, а умники — скучные резонёры. Завязка, интрига и развязка — общее мѣсто, старая объективная форма, какъ въ комедіяхъ Мольера. Правда, въ изображеніи дураковъ видна нѣкоторая объективность и что-то похожее на поэтическую обрисовку, потому что каждый изъ дураковъ глупъ по своему; но это слабо, и индивидуальныя особенности глупцовъ больше внѣшнія, чѣмъ внутреннія, изъ идеи вытекающія; а главное, изъ карикатурныхъ образовъ этихъ дураковъ, всегда, болѣе или менѣе, выглядываетъ смѣющаяся фигура самого автора. Однимъ словомъ, «Недоросль» и «Бригадиръ» — превосходныя, хотя и не безъ большихъ недостатковъ, произведенія литературы, но отнюдь не произведенія искусства.

Послѣ комедій Фонъ-Визина много надѣлала шума «Ябеда» Капниста; но это произведеніе даже и въ литературномъ смыслѣ не заслуживаетъ никакого вниманія. Успѣхъ его былъ основанъ не на его литературномъ, или какомъ-либо достоинствѣ, но на цѣли, которая состояла въ нападіи на лихоимство. Завязка, интрига и развязка пошлыя, стихи дубовые, языкъ варварски книжный.

Съ 1832 года начала ходить по рукамъ публики рукописная комедія Грибоѣдова «Горе отъ Ума». Она надѣлала ужаснаго шума, всѣхъ удивила, возбудила негодованіе и ненависть во всѣхъ, занимавшихся литературною ех-офицію, и во всемъ старомъ поколѣніи; только немногіе, изъ молодого поколѣнія и неприннадлежавшіе къ записнымъ литераторамъ и ни къ какой литературной партіи, были восхищены ею. Десять лѣтъ ходила она по рукамъ, распавшись на тысячи списковъ; публика выучила ее наизусть, враги ея уже потеряли голосъ и значеніе, уничтоженные потокомъ новыхъ мнѣній, и она являлась въ печати тогда уже, когда у ней не осталось ни одного врага, когда не восхищаются ею, не превозносятъ ее до небесъ, не признавать гениальнымъ произведеніемъ, считалось образцовымъ безвкусіемъ. И вдругъ, въ одномъ петербургскомъ журналѣ, въ 1835 году, какой-то (говорили и печатали тогда, будто московскій) критикъ объявилъ, что «Горе отъ Ума» — такое слабое произведеніе, что хуже даже «Недовольныхъ»... Разумѣется, публика приняла это за одну изъ тѣхъ милыхъ шуточекъ, до которыхъ такъ страстны нѣмкіе журналы. Но вотъ недавно, по случаю выхода въ свѣтъ второго изданія «Горе отъ Ума», въ другомъ петербургскомъ журналѣ (современномъ заднимъ числомъ) объявлено, что «Горе отъ Ума» должно стоять подлѣ комедій Фонъ Визина, и что тѣ, которые, подобно издателю комедіи Грибоѣдова (г. Ксенофонту Полевому), видятъ въ ея авторѣ «человѣка съ большимъ дарованіемъ» только прячутся за его имя. Такова судьба комедіи Грибоѣдова. Но все это доказываетъ только, что «Горе отъ Ума»

есть явленіе необыкновенное, произведеніе таланта сильнаго, могучаго, а виѣстъ съ тѣмъ, что для него уже настало время оцѣнкѣ критической, основанной не на знакомствѣ съ ея авторомъ и даже не на знаніи обстоятельствъ его жизни, а на законахъ вѣчнаго, всегда единыхъ и неизмѣняемыхъ.

«Горе отъ Ума» принято было съ враждою и ожесточеніемъ и литераторами, и публикою. Иначе не могло и быть: литературныя знаменитости тогдашняго времени состояли изъ людей прошлаго вѣка, или образованныхъ по понятіямъ прошлаго вѣка. Не забудьте, что въ то время самъ Мерзляковъ, человекъ съ большимъ талантомъ и поэтическою душою, разбиралъ съ кафедры неподражаемыя прасоты трагедій Сумаронова и подомывался надъ Шекспиромъ, Шиллеромъ и Гёте, какъ надъ представителями эстетическаго безвкусія, а въ Обществѣ Любителей Россійской словесности читалъ свои трактаты о трагедіи, производя ее отъ козла. Великими писателями считались тогда люди, которые теперь неизвестны даже по именамъ. Пушкинъ еще только удивлялъ однихъ и бѣсилъ другихъ. Словомъ, это было послѣднее время французскаго классицизма въ нашей литературѣ. Представьте же себѣ, что комедія Грибоедова, во первыхъ, была написана не шестиногими ямбами съ пятидесятью вольностями, а вольными стихами, какъ до того писались однѣ басни; во вторыхъ, она была написана не книжнымъ языкомъ, которымъ никто не говорилъ, котораго не зналъ ни одинъ народъ въ мірѣ, а Русскіе особенно слыхомъ не слыхали, видомъ не видали, но живымъ, легкимъ разговорнымъ русскимъ языкомъ? въ третьихъ, каждое слово комедіи Грибоедова дышало комическою жизнію, поражало быстротою ума, оригинальностью оборотовъ, поэзіею образовъ, такъ что почти каждый стихъ въ ней обратился въ пословицу или поговорку и годится для примѣненія то къ тому, то къ другому обстоятельству жизни,—а по мнѣнію русскихъ классиковъ, именно тѣмъ и отличившихся отъ французскихъ, языкъ комедіи, если

она хочет прослыть образцовою, непременно долженъ былъ щеголять тяжеловатостію, неповоротливостію, тупостію, изысканностію остротъ, прозаизмомъ выраженій и тяжелою скукою впечатлѣній; въ четвертыхъ, комедія Грибоѣдова отвергла искусственную любовь, резонёровъ, разлучниковъ, и весь пошлый истертый механизмъ старинной драмы; а главное и самое непростительное въ ней былъ — талантъ, талантъ яркій, живой, свѣжій, сильный, могучій... Да, литераторамъ не могла понравиться комедія Грибоѣдова; они должны были ожесточиться противъ нея!... За что же общество такъ сильно осердилось на нее! За то, что она была самою злою сатирою на это общество. Она заклеила остатки XVIII вѣка, духъ котораго бродилъ еще, какъ заколдованная тѣнь, ожидая себѣ осиноваго кола, которымъ и было «Горе отъ Ума». Новое поколѣніе вскорѣ не замедлило объявить себя за блестящее произведеніе Грибоѣдова, потому что, вмѣстѣ съ нимъ, оно смѣялось надъ старымъ поколѣніемъ видя въ «Горе отъ Ума» злоую сатиру на него и не подозрѣвая въ немъ еще злѣйшей, хотя и безумышленной сатиры на самого себя въ лицѣ полоумнаго Чацкаго...

За что же теперь такъ жестоко, такъ бездоказательно, такъ произвольно, и, надо сказать, такъ дерзко и неуважительно начинаютъ нападать на такое прекрасное, дѣлающее истинную честь отечественной литературѣ произведеніе?... Тутъ двѣ причины. Впервыхъ, кто нападаетъ? Люди ли, которые мѣряютъ изящныя произведенія своею неизящною стряпнею, и, на смѣхъ всему міру, таращатся видѣть въ Грибоѣдовѣ соперника себѣ, они, которые, какъ ни высоко загибаютъ голову, чтобы достать до его лица, но обиваютъ себѣ кулаки только о его колѣни, выше которыхъ, даже и на цыпочкахъ, не могутъ достать?... Вовторыхъ: въ дерзости этихъ людей, кромѣ оскорбленнаго, микроскопическаго самолюбія, выражается еще и требованіе времени опредѣлить достоинство «Горе отъ Ума» не на основаніи личныхъ мнѣ-

ній, но на основаніи законовъ изящнаго, и не при посредствѣ личнаго пристрастія, а при посредствѣ разумной мысли, холодной и мертвой для всякихъ личныхъ отношеній, но пламенной и живой для ищущихъ истины.

Теперь у насъ въ литературѣ господствуютъ и борятся два рода критики—французская и нѣмецкая. Первая смотритъ на произведеніе съ исторической точки зрѣнія, т. е. объясняетъ его и производитъ ему оцѣнку вслѣдствіе разбора его отношеній къ современному обществу и къ частной жизни самого автора. Извѣстно, что французы увлекаются дневными интересами (*les intérêts du jour*), и каждое литературное и поэтическое произведеніе у нихъ есть рѣшеніе дневнаго интереса (*la question du jour*), т. е. того, о чемъ говорить нынче. Нѣмецкая критика смотритъ на художественное произведеніе какъ на нѣчто безусловное, въ самомъ себѣ носящее свою причину, свое оправданіе и свою оцѣнку, по мѣрѣ того, какъ оно выражаетъ собою общіе законы духа, явленія разума, и мѣряетъ его масштабомъ разумной мысли. Извѣстно, что Нѣмцы мало занимаются эфемерными интересами текущаго дня, но сосредоточиваютъ все свое вниманіе на интересахъ общихъ, міровыхъ, непреходящихъ. Всякому свое! Но и французская критика имѣетъ свое значеніе при разсматриваніи такихъ произведеній литературы, которыя, имѣя больше вліяніе на общество, не принадлежать къ искусству, каковы, напримѣръ, повѣсти Карамзина, комедіи Фонъ-Визина и т. п. Однако же рѣшеніе вопроса: художественно или не художественно то или другое произведеніе литературы—подлежитъ совѣзмъ не французской, а нѣмецкой критикѣ, потому что рѣшеніе такого вопроса относится совѣзмъ не къ исторіи, а къ наукѣ изящнаго, имѣющей своимъ основаніемъ законы изящнаго, выводимые изъ разумной мысли. Мы уже мимоходомъ взглянули на «Горе отъ Ума» съ исторической точки зрѣнія: взглянемъ теперь на него со стороны искусства, чтобы опредѣлить — художественное ли оно произведеніе.

Всякое художественное произведение рождается из одной общей идеи, которой оно обязано и художественностью своей формы, и своимъ внутреннимъ и вѣншнимъ единствомъ, черезъ которое оно есть особый, замкнутый въ самомъ себѣ міръ. Какая основная идея «Горе отъ Ума»?— Это можно узнать только изъ самой комедіи; почему и взглянемъ на ея содержаніе.

Дочь барина-чиновника, въ минуту боренія утренняго свѣта съ темнотою ночи, въ своей спальнѣ, занимается музическою съ молодымъ человекомъ, чиновникомъ своего отца. Горничная, передъ спальнею, стоитъ на часахъ, и, чтобы кто не узналъ о ихъ несвоевременномъ занятіи музыкою и не перетолковалъ въ дурную сторону: такой безпорядочной любви къ искусству, напоминаетъ имъ, что уже свѣтаетъ, и, чтобы вывести ихъ изъ меломанческаго самозабвенія, переводитъ часовую стрѣлку. Вдругъ входитъ самъ баринъ и отецъ, Фамусовъ, и начинаетъ волочиться за горничною своей дочери, которая въ то время доигрывала послѣдній дуэтъ. Фамусовъ уходитъ; являюся Софья и Молчалинъ; Лиза упрекаетъ ихъ за долговременное пребываніе въ гармоніи, рассказываетъ о приходѣ барина, и о томъ, какъ она струсила. Входитъ опять Фамусовъ и застаётъ ихъ всѣхъ вмѣстѣ. Слѣдуютъ допросы, упреки и нападки на Кузнецкій мостъ. Софья рассказываетъ свой сонъ, желая навлечь на свою любовь къ какому-то робкому и бѣдному молодому человеку; отецъ прерываетъ ее:

Ахъ, матушка, не довершай удара!

Кто бѣдень, тотъ тебѣ не пара!

Въ заключеніе совѣтуетъ ей соснуть и идти съ Молчалинымъ подписывать бумаги. Софья наединѣ съ Лизою. Изъ ихъ разговора мы узнаемъ, что она безъ памяти отъ «скромнаго» Молчалина и не очень дорожитъ своимъ добрымъ именемъ и общественнымъ мнѣніемъ. Лиза возстаетъ противъ ея любви,

которая добрымъ не кончится, и напоминаетъ ей о Чацкомъ, который нѣжно любилъ ее съ дѣтства и котораго и она любила; но Софья отзывается о Чацкомъ съ враждебностію, находя въ немъ только злословіе и больше ничего. Вообще, служанка обращается съ своею барышнею за-просто, потому что, какъ помощница въ ея низкой связи, держитъ въ рукахъ своихъ ея участь. Вообще, всѣ эти сцены написаны мастерски и служатъ превосходною интродукцію въ комедію; характеры и ихъ взаимныя отношенія обрисованы рѣзко и искусно. Вдругъ лакей докладываетъ о пріѣздѣ Чацкаго, который тотчасъ и является.

Чацкий воспитывался въ домѣ Фамусова и любилъ его дочь съ дѣтства. Три года путешествовалъ онъ и не видалъ ея, теперь спѣшитъ увидѣться. Чацкий человѣкъ свѣтскій и человѣкъ «глубокой»: отсюда должны выходить приличіе и поэзія его свиданія съ Софьей. Какъ свѣтскій человѣкъ, онъ не долженъ разсыпаться въ нѣжныхъ и страстныхъ монологахъ; скорѣе долженъ онъ начать шутить и говорить о незначущихъ предметахъ, обо всемъ, кромѣ любви своей; но, какъ у глубокаго человѣка, въ его шуткахъ должно, какъ бы противъ его воли, проискриваться его чувство, и, какъ *aggrès pensé*, оно же должно незримо присутствовать въ его болтовнѣ о разныхъ пустякахъ. Но что же? Вопервыхъ, онъ заѣзжаетъ въ домъ ея отца и требуетъ свиданія съ ней, прямо съ дороги, не заѣхавъ домой, чтобы обриться и переодѣться, — и заѣзжаетъ когда же?—въ шесть часовъ утра! — Воля ваша — не посвѣтски, не умно и не эстетически!... Первое, что онъ начинаетъ говорить съ нею, — это о томъ, что она холодно принимаетъ его, тогда какъ онъ скакалъ, сломя голову, сорокъ пять часовъ, не прищуря глазомъ, терпѣлъ отъ бури, растерялся, падалъ нѣсколько разъ!... Софья холодно надъ нимъ издѣвается, — и онъ начинаетъ разспрашивать у ней о знакомыхъ и дѣлать противъ нихъ сатирическія выходки. Истиннаго и глубокаго чувства любви не видно ни въ одномъ

его словъ. Входитъ Фамусовъ. Софья пользуется случаемъ ускользнуть. Чацкій разсѣянно отвѣчаетъ на пошлости Фамусова и безпрестанно заводитъ съ нимъ рѣчь о Софѣ; наконецъ спохватывается, что ему пора домой, и уходитъ. Фамусовъ силится объяснить сонъ дочери и на кого изъ двухъ она метитъ — на Молчалива или на Чацкаго: одинъ — нищій, другой — франтъ, мотъ и сорванецъ, и заключаетъ свою думу, а вмѣстѣ съ нею и первый актъ комедіи, комическимъ восклицаніемъ:

Что за комиссія, Создатель,
Быть взрослой дочери отцомъ.

Фамусовъ приказываетъ Петрушкѣ читать календарь и отмѣчать, куда и когда баринъ отозванъ обѣдать. Превосходный монологъ! Тутъ Фамусовъ весь высказывается. Приходитъ Чацкій, и его безпрестанныя обращенія къ Софѣ Павловнѣ заставляютъ Фамусова спросить его -- не хочетъ ли онъ на ней жениться, — и замѣтить, что, для того, ему надо хорошенько управлять имѣніемъ, а главное послужить. «Служить бы радъ, прислуживаться тошно!» отвѣчаетъ ему Чацкій. Фамусовъ говоритъ, что «воѣ вы гордецы», что «спросили бы какъ дѣлали отцы, учились бы на старшихъ глядя». Чацкій радъ вызову и разливается потокомъ энергическихъ выходокъ противъ стараго времени, въ которыхъ Фамусовъ не понимаетъ ни полслова. Эта сцена была бы въ высшей степени комическою, еслибъ изображена была объективно, какъ столкновенія двухъ чудаковъ; но какъ этого нѣтъ, какъ авторъ не думалъ нисколько, что его Чацкій полоумный, то она смѣшна, но не въ пользу автора. Слуга докладываетъ о Скалозубѣ, и Фамусовъ проситъ Чацкаго, ради чужого человѣка, не заноситься завиральными идеями, и снѣшить на встрѣчу къ Скалозубу. Чацкій изъ его пошлости подозреваетъ, ужъ не прочитъ ли онъ этого гостя въ женихи своей дочери. Слѣдуетъ превосходная сцена Фамусова съ Скалозубомъ, гдѣ эти два ничтожные характера развиваются творчески.

А, батюшка, признайтесь, что едва
Гдѣ същется еще столица, какъ Москва!

восклицаетъ, въ лирическомъ одушевленіи пошлости, Фамусовъ.

«Дистанція огромнаго размѣра!» отвѣчаетъ ему лаконическій Скалозубъ. До сихъ поръ сцена шла превосходно, развита была творчески; но вотъ Фамусовъ распространяется о Москвѣ монологомъ въ 54 стиха, гдѣ, мѣстами очень оригинально, высказывая самого себя, мѣстами дѣлаетъ, за Чацкого, выходки противъ общества, какія могли бы прійти въ голову только Чацкому. Чацкій радѣхонекъ, вмѣшивается въ разговоръ и начинаетъ читать проповѣди и ругать Фамусова. Сцена удивительно-смѣшная, но только не въ похвалу комедіи... Ни съ того, ни съ сего, Фамусовъ говоритъ Скалозубу, что будетъ ждать его въ кабинетъ, и оставляетъ ихъ. Скалозубъ, сказавъ Чацкому монологъ, въ которомъ онъ чудесно высказывается, тоже уходитъ. Тутъ слѣдуетъ паденіе Молчалина съ лошади, обморокъ Софьи и подозрѣнія Чацкого. Кажется, чего бы еще подожрѣвать? Софья ведетъ себя такъ неосторожно въ отношеніи къ Молчалину и такъ нагло враждебна въ отношеніи къ Чацкому, что, кажется, совсѣмъ бы нечего подожрѣвать. Дѣло очень ясно: при бѣдѣ одного она падаетъ въ обморокъ, а другого, забывая всякое приличіе, ругаетъ. Чацкій уходитъ. Софья приглашаетъ Скалозуба на вечеръ, гдѣ будутъ всѣ домашніе друзья и танцы подъ фортепіано, и тотъ уходитъ. Софья изъясняетъ свой страхъ за Молчалина, Лиза упрекаетъ ее въ неосторожности, и Молчалинъ беретъ ей сторону противъ Софьи. Оставшіеся наединѣ съ Лизою, Молчалинъ волоочется за нее, говоря, что онъ любитъ барышню «по должности». Молчалинъ уходитъ, а Софья опять является, говоря Лизѣ, что она не выйдетъ къ столу и приказывая ей послать къ себѣ Молчалина. Вотъ и конецъ второго акта. Что въ немъ существеннаго, относящагося къ дѣлу? Обморокъ Софьи и, вслѣдствіе его,

ревность Чацкого; все остальное существует само по себѣ, безъ всякаго отношенія къ цѣлому комедіи. Всѣ говорятъ, и никто ничего не дѣлаетъ. Конечно, въ монологахъ дѣйствующихъ лицъ высказываются ихъ характеры, но это высказываніе, въ художественномъ произведеніи, должно происходить изъ его идеи и совершаться въ дѣйствіи. И въ «Ревизорѣ» каждое дѣйствующее лицо высказываетъ себя каждымъ своимъ словомъ, но совсѣмъ не съ цѣлію высказываться, а принимая необходимое участіе въ ходѣ пьесы. Каждое слово, сказанное каждымъ лицомъ, тамъ относится или къ ожиданію ревизора, или къ его присутствію въ городѣ. Лицо ревизора есть источникъ, изъ котораго все выходитъ и въ который все возвращается. И потому-то тамъ каждое слово на своемъ мѣстѣ, каждое слово необходимо, и не можетъ быть ни измѣнено, ни замѣнено другимъ. Оттого-то и комедія Гоголя представляетъ собою цѣлое художественное произведеніе, особый и замкнутый въ самомъ себѣ міръ, и можетъ подлежать только разсмотрѣнію нѣмецкой умозрительной критики, а отнюдь не французской исторической. Лица поэта нѣтъ въ этомъ созданіи, и потому, чтобы понять «Ревизора», намъ совсѣмъ не нужно знать ни образа мыслей, ни обстоятельствъ жизни его творца.

Чацкій рѣшается допытаться отъ Софьи, кого она любитъ, Молчалина, или Скалозуба. Странное рѣшеніе—къ чему оно! Другое бы еще дѣло: допытаться, любить ли она его. Что ему за радость узнать отъ нея, что она любитъ не Молчалина, а Скалозуба, или что она любитъ не Скалозуба, а Молчалина! Не все же ли это равно для него? Да и стоитъ ли какого-нибудь вниманія, какихъ-нибудь хлопотъ дѣвушка, которая могла полюбить Скалозуба или Молчалина? Гдѣ же у Чацкого уваженіе къ святому чувству любви, уваженіе къ самому себѣ? Какое же послѣ этого можетъ имѣть значеніе его восклицаніе въ концѣ четвертаго акта:

...Пойду искать по свѣту,
Гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ?

Какое же это чувство, какая любовь, какая ревность? буря въ стаканѣ воды!... И на чемъ основана его любовь къ Софьѣ? Любовь есть взаимное гармоническое разумѣніе двухъ родственныхъ душъ, въ сферахъ общей жизни, въ сферахъ истиннаго, благого, прекраснаго. На чемъ же могли они сойтись и понять другъ друга? Но мы и не видимъ этого требованія, или этой духовной потребности, составляющей сущность глубокаго человѣка, ни въ одномъ словѣ Чацкаго. Всѣ слова, выражающія его чувство къ Софьѣ, такъ обыкновенны, чтобы не сказать пошлы! И что онъ нашелъ въ Софьѣ? Мѣркою достоинства женщины можетъ быть мужчина, котораго она любитъ, а Софья любитъ ограниченнаго человѣка безъ души, безъ сердца, безъ всякихъ человѣческихъ потребностей, мерзавца, низкопоклонника, ползающую тварь, однимъ словомъ—Молчалина. Онъ ссылается на воспоминаніе дѣтства, на дѣтскія игры; но кто же въ дѣтствѣ не влюблялся и не называлъ своею невѣстою дѣвочки, съ которою вмѣстѣ учился и рѣзвился, и неужели дѣтская привязанность къ дѣвочкѣ должна непременно быть чувствомъ возмужалаго человѣка? буря въ стаканѣ воды—больше ничего!... И вотъ онъ приступаетъ къ объясненію. Вы думаете, что онъ сдѣлаетъ это какъ свѣтскій и какъ глубокій человѣкъ, какъ-нибудь намеками, со всевозможнымъ уваженіемъ и къ своему чувству, и къ личности той, которую, какова бы она не была, онъ любитъ? Ничего не бывало! Онъ прямо спрашиваетъ ее:

Дознаться мнѣ нельзя ли—
Хоть и не кстати, нужды нѣтъ—
Кого вы любите?

И этотъ человѣкъ волнуется любовію и ревностью! И это разговоръ, который долженъ рѣшить участь его жизни! Наконецъ онъ прямо заводитъ рѣчь о Молчалинѣ!!!!... Да намекнуть дѣвушкѣ, не любить ли она Молчалина, все равно, что намекнуть ей, не любить ли она лакея или кучера своего

отца... Софья расхваливает Молчалина, а Чацкий убъждается изъ этого, что она его и не любитъ, и не уважаетъ... Догадливъ!... Гдѣ же ясновидѣніе внутренняго чувства?... Лиза подходитъ къ барышнѣ своей и шепчетъ ей на ухо, что ее ждетъ Молчалинъ, и та хочетъ уйти. Чацкий проситъ у ней позволенія побыть минуту въ ея комнатѣ, но она пожимаетъ плечами, уходитъ къ себѣ и запирается, оставляя его съ носомъ. Чацкий, оставшись одинъ, опять ни съ того, ни съ сего увѣряется, что Софья любитъ Молчалина и вымещаетъ свою досаду остротами. Потомъ онъ заводитъ разговоръ съ Молчалинымъ, и тутъ слѣдуетъ превосходнѣйшая сцена, гдѣ Молчалинъ вполнѣ высказывается. Но вотъ собираются гости, и слѣдуетъ рядъ картинъ тогдашняго и, можетъ быть, отчасти и нынѣшняго московскаго общества—картинъ, написанныхъ мастерскою кистію. Наталья Дмитріевна съ своимъ мужемъ Платономъ Михайловичемъ Горичемъ, этимъ «высокимъ идеаломъ московскихъ всѣхъ мужей», ихъ взаимныя отношенія; князь Тугоуховскій и княгиня съ шестью дочерьми; графини Хрюмины, бабушка и внучка; Загорѣцкій, Хлестова—все это типы, созданныя рукою истиннаго художника; а ихъ рѣчи, слова, обращеніе, манеры, образъ мыслей, пробивающійся изъ-подъ нихъ—геніальная живопись, поражающая вѣрностію, истинною и творческою объективностію, но все это какъ-то не связано съ цѣлымъ комедіи, выставляется само-собою, особно и отдѣльно. Молчалинъ служитъ, составляетъ партію въ вистъ, подличаетъ. Чацкий язвительно колетъ имъ Софью, у которой вдругъ блеснула мысль отомстить ему, ославивъ его сумасшедшимъ. Вѣсть эта съ быстротою молніи переходитъ отъ одного къ другому и тотчасъ превращается въ доказанную очевидность, потому что всѣ принимаютъ ее на вѣру съ свѣтскою основательностію и свѣтскимъ доброжелательствомъ къ ближнему. У графини бабушки происходятъ пресмѣшныя сцены, по поводу шума о сумасшествіи Чацкаго, съ Натальей Дмитріев-

ной, Загорѣцкимъ и княземъ Тугоуховскимъ, а у Фамусова съ Хлестовой. Входитъ Чацкій, и всѣ отшатываются отъ него, какъ отъ сумасшедшаго; Фамусовъ совѣтуетъ ему ѣхать домой, говоря, что онъ нездоровъ, и Чацкій отвѣчаетъ ему:

Да, мочи нѣтъ! Милльонъ терзаній,
Груди отъ дружескихъ тисковъ,
Нога отъ шарканья, ушамъ отъ воелицаній;
А пуще головъ отъ всякихъ пустяковъ!

(Подходитъ къ Софѣ).

Душа адсь у меня какимъ-то горемъ жгата,
И въ многочудствѣ я потерянъ, самъ не свой.
Нѣтъ, недоволенъ я Москвой.

Скажите, послѣ этой, положимъ, что поэтической, но уже совершенно неумѣстной выходки Чацкаго, не въ правѣ ли было все общество окончательно и положительно удостовѣриться въ его сумасшествіи? Кто, кромѣ помѣшаннаго, предается такому откровенному и задушевному изліянію своихъ чувствъ на балѣ, среди людей, чуждыхъ ему? Да еслибы это были и не Фамусовы, не Загорѣцкіе, не Хлестовы, а люди отлично-умные и глубокіе, и тѣ приняли бы его за помѣшаннаго! Но Чацкій этимъ не довольствуется — онъ идетъ далѣе. Софья лукаво дѣлаетъ ему вопросъ, на что онъ такъ сердитъ? и Чацкій начинаетъ свирѣпствовать противъ общества, во всемъ значеніи этого слова. Безъ дальнѣхъ околичностей начинаетъ онъ рассказывать, что вонъ въ той комнатѣ встрѣтилъ онъ Французика изъ Бордо, который, «на-саживая грудь, собралъ вокругъ себя родъ вѣча» и рассказывалъ, какъ онъ снаряжался въ путь въ Россію, къ варварамъ, со страхомъ и слезами, и встрѣтилъ ласки и привѣтъ, не слышитъ русскаго слова, не видитъ русскаго лица, а все французскія, какъ будто онъ и не выѣзжалъ изъ своего отечества, Франціи. Вслѣдствіе этого, Чацкій начинаетъ неистово свирѣпствовать противъ рабскаго подражанія Русскихъ иностранцамъ, совѣтуетъ учиться у Китайцевъ «пре-

мудрому названію иноземцевъ», нападаетъ на сюртуки и фраки, замѣнявшіе величавую одежду нашихъ предковъ, на «смѣшныя, бритые, сѣдые подбородки», замѣнявшіе окладистые бороды, которыя упали по манію Петра, чтобы уступить мѣсто просвѣщенію и образованности—словомъ, насѣтъ такую дичь, что всѣ уходятъ, а онъ остается одинъ, не замѣчая того,— чѣмъ и оканчивается третій актъ.

Вообще, еслибы выкинуть Чацкаго, этотъ актъ, самъ по себѣ, какъ дивно-созданная картина общества и характеровъ, былъ бы превосходнымъ созданіемъ искусства.

Картина разъярѣна съ бала въ четвертомъ актѣ, есть также, сама по себѣ, какъ, нѣчто отдѣльное, дивное произведеніе искусства. Одинъ Репетиловъ чего стоитъ! Это лицо типическое, созданное великимъ творцомъ!... Чацкому не найдутъ его кучера; онъ задержанъ въ сѣняхъ и понаволѣ подслушиваетъ толки о своемъ сумасшествіи. Это его изумляетъ: онъ далекъ отъ мысли, что онъ сумасшедшій. Вдругъ онъ слышитъ голосъ Софьи, которая, надъ лѣстницей, во второмъ этажѣ, со свѣчою въ рукахъ, въ полголоса зоветъ Молчалина. Лакей приходитъ и докладываетъ о каретѣ, но Чацкій прогоняетъ его и прячется за колонну. Лиза стучится въ дверь къ Молчалину и вызываетъ его; Молчалинъ выходитъ и по своему любезничаетъ съ Лизою, не подозревая, что Софья все видитъ и слышитъ. Онъ говоритъ открыто, что любить Софью «по должности».

Софья является, подлецъ падаетъ ей въ ноги и вадается у ней въ ногахъ. Софья приказываетъ ему встать, и чтобы заря не застала его въ домѣ; иначе она все расскажетъ отцу. Она заключаетъ изъявленіемъ радости, что сама все узнала, и что не было тутъ свидѣтелей, подобно тому какъ былъ Чацкій во время ея давишняго обморока. «Онъ здѣсь, притворица, кричитъ Чацкій, бросаясь къ ней изъ-за колонны.

Скажите, Бога ради, какой бы порядочный, по крайней мѣрѣ, не сумасшедшій человѣкъ, на мѣстѣ Чацкаго, не уда-

лился тихонько, узнавъ горькую истину?... Но ему надо было произвести трагическій эффектъ, а вышла преуморительная комическая сцена, гдѣ самое смѣшное лицо — г. Чацкій... Нѣтъ, не то: ему надо было еще прочесть нѣсколько проповѣдей... Безъ этого комедія, по крайней мѣрѣ, кончилась бы на мѣстѣ, а тутъ она еще тянется, Богъ знаетъ для чего. Окончаніе извѣстно, и мы не будемъ о немъ говорить.

Итакъ, въ комедіи нѣтъ цѣлаго, потому что нѣтъ идея. Намъ скажутъ, что идея, напротивъ, есть, и что она—противорѣчіе умнаго и глубокаго человѣка съ обществомъ, среди котораго онъ живетъ. Позвольте: что это за новый Анахарсисъ, побывавшій въ Аѳинахъ и возвратившійся къ Смирнамъ?... Неужели представители русскаго общества все — Фамусовы, Молчалины, Софьи, Загорѣцкіе, Хлестаковы, Тугоуховскіе, и имъ подобные? Если такъ, они правы, изгнавши изъ своей среды Чацкаго, съ которымъ у нихъ нѣтъ ничего общаго, равно какъ и у него съ ними. Общество всегда правѣе и выше частнаго человѣка, и частная индивидуальность только до той степени и дѣйствительность, а не призракъ, до какой она выражаетъ собою общество. Нѣтъ, эти люди не были представителями русскаго общества, а только представителями одной стороны его, слѣдственно были другіе круги общества, болѣе близкіе и родственные Чацкому. Въ такомъ случаѣ, зачѣмъ же онъ лѣзъ къ нимъ, и не искалъ круга болѣе по себѣ? Слѣдовательно, противорѣчіе Чацкаго случайное, а не дѣйствительное; не противорѣчіе съ обществомъ, а противорѣчіе съ кружкомъ общества. Гдѣ же тутъ идея? Основною идеею художественнаго произведенія можетъ быть только такъ называемая на философскомъ языкѣ «конкретная» идея, т. е. такая идея, которая сама въ себѣ заключаетъ и свое развитіе, и свою причину, и свое оправданіе, и которая только одна можетъ стать разумнымъ явленіемъ, параллельнымъ своему діалектическому развитію. Очевидно, что идея Грибоедова была сбивчива и не ясна самому ему, а потому и осуществи-

дась какимъ-то недоноскомъ. И потомъ; что за глубокий человекъ Чацкій? Это просто, крикунъ, фразеръ, идеальный шутъ, на каждомъ шагу профанирующий все святое, о которомъ говорятъ. Неужели войти въ общество и начать всѣхъ ругать въ глаза дураками и скотами, значить быть глубокимъ человекомъ? Что бы вы сказали о человекѣ, который, войдя въ кабакъ, сталъ бы съ одушевленіемъ и жаромъ доказывать пьянымъ мужикамъ, что есть наслажденіе выше вина—есть слава, любовь, наука, поэзія, Шиллеръ и Жанъ-Поль Рихтеръ?... Это новый Донъ-Кихотъ, мальчикъ на падоchkѣ верхомъ, который воображаетъ, что сидитъ на дѣшадѣ... Глубоко вѣрно оцѣнилъ эту комедію кто-то, сказавшій, что это горе,—только не отъ ума, а отъ уничанья. Искусство можетъ избрать своимъ предметомъ и такого человека, какъ Чацкій, но тогда изображеніе долженствовало бы быть объективнымъ, а Чацкій лицомъ комическимъ; но мы ясно видимъ, что поэтъ не шутя хотѣлъ изобразить въ Чацкомъ идеалъ глубокаго человека въ противорѣчій съ обществомъ, и вышло Богъ знаетъ что.

Когда въ произведеніи искусства цѣль основной идеи — то и характеры дѣйствующихъ лицъ не могутъ быть вѣрны, по крайней мѣрѣ всѣ. Что такое Софья? Свѣтская дѣвушка, унизившаяся до связи почти съ лакеемъ. Это можно объяснить воспитаніемъ — дуракомъ отцомъ, какою-нибудь мадамю, допустившею себя переманить за лишнихъ 500 рублей. Но въ этой Софьѣ есть какая-то энергія характера: она отдала себя мужчине, не обольстясь ни богатствомъ, ни знатностію его, — словомъ, не по расчету, а напротивъ, ужъ слишкомъ по нерасчету; она не дорожитъ ни чьимъ мнѣніемъ, и когда узнала, что такое Молчалинъ, съ презрѣніемъ отвергаетъ его, велитъ завтра же оставить домъ, грозя, въ противномъ случаѣ, все открыть отцу. Но какъ она прежде не видала, что такое Молчалинъ? — Тутъ противорѣчіе, котораго нельзя объяснить изъ ея лица, а всѣ другія объяс-

ненія не могутъ, какъ внѣшнія и произвольныя, имѣть мѣста при разсматриваніи созданнаго поэтомъ характера. И потому Софья не дѣйствительное лицо, а призракъ.

Кромѣ Чацкого, ни на что непохожаго, всѣ прочія лица живы и дѣйствительны; но и они частенько измѣняютъ себя, говоря противъ себя эпиграммы на общество:

Фамусовъ лицо типическое, художественно созданное. Онъ весь высказывается въ каждомъ своемъ словѣ. Это гоголевскій городничій этого круга общества. Его философія та же. Знатность, вслѣдствіе чиновъ и денегъ — вотъ его идеалъ жизни. Чтобы не накопилось у него много дѣла, у него обычай: «подписано, такъ съ плечъ долой». Онъ очень уважаетъ родство —

Я передъ родней, гдѣ встрѣтятся, ползкомъ,
Сыщу ее на дѣв морехомъ.

При мнѣ служащіе чужіе очень рады:
Все большіе сестрицы, свояченицы, дѣтки,
Одинъ Молчалинъ мнѣ не свой,
И то за тѣмъ, что дѣловой.

Какъ будешь представлять къ крестинку или мѣстечку,
Ну какъ не порадовать родному человѣчку?

Но нигдѣ не высказывается онъ такъ рѣзко и такъ полно, какъ въ концѣ комедіи: онъ узнаетъ, что дочь его въ связи съ молодымъ человѣкомъ, что ея, слѣдовательно, и его доброе имя опозорено, не говоря уже о тяжелой, жгучей душѣ мысли быть отцомъ такой дочери — и что жъ? ничего этого и въ голову не приходитъ ему, потому что ни въ чемъ этомъ онъ не видитъ существеннаго: онъ весь жилъ и живетъ внѣ себя: его Богъ, его совѣсть, его религія — мнѣніе свѣта, и онъ восклицаетъ въ отчаяньи:

Моя судьба еще ли не плачевна:
Ахъ, Боже мой! что станетъ говорить
Княгиня Марья Алексѣевна.

Но этотъ Фамусовъ, столь вѣрный самому себѣ въ каждомъ своемъ словѣ, измѣняетъ иногда себѣ цѣлыми рѣчами.

Беремъ же побродягъ и въ домъ и по билетамъ,
Чтобъ нашихъ дочерей всему учить—всему
И танцамъ, и пѣнью, и нѣжностямъ и вздохамъ,
Какъ будто въ жены ихъ готовимъ скоморохамъ.

Это говорить не Фамусовъ, а Чацкій устами Фамусова, и
это не монологъ, а эпиграмма на общество.

Кто хочеть къ намъ пожаловать—изволь,
Дверь отперта для званыхъ и незваныхъ,
Особенно изъ иностранныхъ;
Хоть честный человекъ, хоть нѣтъ,
Для насъ равнехонько, про всѣхъ готовъ обѣдъ.

А наши старички, какъ ихъ возьметъ задоръ,
Засудятъ о дѣлахъ, что слово—приговоръ!
Вѣдь столбовые всѣ, въ усть никому не дѣютъ,
И о правительствѣ иной разъ такъ толкуютъ,
Что еслибъ кто подслушалъ ихъ—беда!
Не то, чтобъ новины вводили—никогда!
Спаси ихъ Боже! нѣтъ! а придержутся

Къ тому, къ сему, а чаще ни къ чему,
Поспорять, пошумять, и... разойдутся.

А дочки?
Французскіе романсы вамъ поютъ
И верхнія выводятъ нотки;
Къ военнымъ людямъ такъ и льнутъ,
А потому что патриотки!

Нужно ли доказывать, что Фамусовъ слишкомъ глупъ для
такихъ язвительныхъ эпиграммъ, и такъ добродушно преданъ
пошлой сторонѣ своего общества, что считаетъ за грѣхъ отъ
другого услышать противъ него выходку; что, наконецъ, все
это Фамусовъ говорить не отъ себя, а по приказу автора?...
Мало этого, самъ Скалозубъ острить, да еще какъ! — точно
въ точь, какъ Чацкій. Не вѣрите?—такъ прочтите:

Позвольте, расскажу вамъ вѣсть:
Княгиня Ласова какан-то здѣсь есть,

Назадница-вдова, но нѣтъ примѣровъ,
Чтобъ вздыло съ ней много кавалеровъ—
На дняхъ расшиблась въ пухъ:
Жокей не поддержалъ—считалъ онъ видно мухъ.
И безъ того она, какъ слышно неуклюжа;
Теперь ребра не достаетъ,
Такъ для поддержки ищетъ мужа:

Каковъ Скалозубъ! чѣмъ хуже Чацкаго?... Впрочемъ, Лиза не безъ основанія такъ остроумно; такую эпиграмму, замѣтила о немъ.

Шутить и онъ гораздъ—вѣдь нынче кто не шутить.

Но нигдѣ субъективность автора не проявилась такъ рѣзко, такъ странно и такъ во вредъ комедіи, какъ въ очеркѣ характера Молчалина, который онъ заставляетъ дѣлать самого же Молчалина:

Мнѣ завѣщалъ отецъ,
Вопервыхъ, угождать всѣмъ людямъ безъ изъятія:
Хозяину, гдѣ доведется жить;
Слугѣ его, который чиститъ платья,
Швейцару, дворнику для избѣжанія зла,
Собакамъ дворника, чтобъ ласкова была!

А Лиза отвѣчаетъ ему на эту оригинальную выходку эпиграмму, которая сдѣлала бы честь остроумію самого Чацкаго:

Сказать, сударь, у васъ огромная опека!

Скажите, Бога ради, станетъ ли какой-нибудь подлецъ называть себя при другихъ подлецомъ?—Вѣдь Молчалинъ глупъ, когда дѣло идетъ о чести, благородствѣ, наукѣ, поэзіи и подобныхъ высокихъ предметахъ; но онъ уменъ, какъ дьяволъ, когда дѣло идетъ о его личныхъ выгодахъ. Онъ живетъ въ домѣ знатнаго барина, допущенъ въ его свѣтскій кругъ, и совсѣмъ не болтливъ, но очень молчаливъ: такъ встаетъ ли ему подавать оружіе на себя горничной, такъ простоудушно хвастаясь своею подлостію?...

Но если вычеркнуть мѣста изъ монологовъ, гдѣ дѣйствующія лица проговариваются изъ угожденія автору, противъ

себя—это будутъ, за исключеніемъ Софьи, лица типическія, характеры художественно-созданные, хотя и не составляющіе комедіи своими взаимными отношеніями;—не говоримъ уже о Репетилловѣ, этожъ вѣчножъ прототипъ, котораго собственное имя сдѣлалось нарицательнымъ, и который обличаетъ въ авторѣ исполинскую силу таланта. Вообще, «Горе отъ Ума» не комедія, въ смыслѣ и значеніи художественнаго созданія, цѣлаго, единого, особнаго и замкнутаго въ себѣ міра, въ которомъ все выходитъ изъ одного источника — основной идеи, и все туда же возвращается, въ которомъ, поэтому, каждое слово необходимо, неизбѣжно и незамѣнно, въ которомъ все превосходно и ничего нѣтъ слабаго, лишняго, ненужнаго — словомъ, въ которомъ нѣтъ достоинствъ и недостатковъ, но одни достоинства. Художественное произведение есть само-себѣ цѣль и въ-себя не имѣетъ цѣли, а авторъ «Горе отъ Ума» ясно имѣлъ внѣшнюю цѣль—осмѣять современное общество въ злой сатирѣ, и комедію избралъ для этого средствомъ. Оттого-то и ея дѣйствующія лица такъ явно и такъ часто проговариваются противъ себя, говоря языкомъ автора, а не своимъ собственнымъ; оттого-то и любовь Чацкаго такъ пошла, ибо она нужна не для себя, а для завязки комедіи, какъ нѣчто внѣшнее для нея; оттого-то и самъ Чацкій какой-то образъ безъ лица, призракъ, фантомъ, что-то небывалое и неестественное. Но какъ не художественно-созданное лицо комедіи, а выраженіе мыслей и чувствъ своего авторъ, хотя и некстати, странно и дико выѣшавшееся въ комедію, самъ Чацкій представляется уже съ другой точки зрѣнія. У него много смѣшныхъ и ложныхъ понятій, но всѣ они выходятъ изъ благороднаго начала, изъ бьющаго горячимъ ключомъ источника жизни. Его остроуміе вытекаетъ изъ благороднаго и энергическаго негодованія противъ того, что онъ, справедливо или ошибочно, почитаетъ дурнымъ и унижающимъ человѣческое достоинство,—и потому его остроуміе такъ колю, сильно и выра-

жается не въ каламбурахъ, а въ сарказмахъ. И вотъ почему всѣ бранятъ Чацкаго, понимая ложность его какъ поэтического созданія, какъ лица комедіи, — и всѣ наизусть знаютъ его монологи, его рѣчи, обратившіяся въ пословицы, поговорки, примѣненія, эпитафии, въ афоризмы житейской мудрости. Есть люди, которыхъ разстроенныя или отъ природы слабыя головы не въ силахъ переварить этого противорѣчія, — и которые, поэтому, или до нереша превозносятъ комедію Грибоедова, или считаютъ ее годною только для зашиты какихъ-то рожъ подверженныхъ оплеухамъ.

Выведемъ окончательный результатъ изъ всего сказаннаго нами о «Горе отъ Ума», какъ оцѣнку этого произведенія. «Горе отъ Ума» не есть комедія, по отсутствію, или, лучше сказать, по ложности своей основной идеи; не есть художественное созданіе, по отсутствію самоцѣльности, а следовательно, и объективности, составляющей необходимое условіе творчества. «Горе отъ Ума» — сатира, а не комедія: сатира же не можетъ быть художественнымъ произведеніемъ. И въ этомъ отношеніи, «Горе отъ Ума» находится въ неизмѣримомъ, безконечномъ разстояніи ниже «Ревизора», какъ въполнѣ художественнаго созданія, въполнѣ удовлетворяющаго высшимъ требованіямъ искусства и основнымъ философскимъ законамъ творчества. Но «Горе отъ Ума» есть въ высшей степени поэтическое созданіе, рядъ отдѣльныхъ картинъ и самобытныхъ характеровъ, безъ отношенія къ цѣлому, художественно нарисованныхъ кистью широкою, мастерскою, рукою твердою, которая если и дрожала, то не отъ слабости, а отъ кипучаго, благороднаго негодованія, съ которымъ молодая душа еще не въ силахъ была совладѣть. Въ этомъ отношеніи «Горе отъ Ума», въ его цѣломъ, есть какое-то уродливое зданіе, ничтожное по своему назначенію, какъ напр., сарай, но зданіе построенное изъ драгоцѣннаго паросскаго мрамора, съ золотыми украшеніями, дивною рѣзбою, изящными колоннами... И въ этомъ отношеніи «Горе отъ Ума» стоитъ на такомъ же неизмѣри-

можъ и безконечномъ пространствѣ выше комедій Фонъ-Визина, какъ и ниже («Ревизора»).

Грибоѣдовъ принадлежить къ самымъ могучимъ проявленіямъ русскаго духа. Въ «Горе отъ Ума» онъ является еще пылкимъ юношею, но общающимъ сильное и глубокое мужество, — младенцемъ, но младенцемъ, радушающимъ, еще въ колыбели, огромныхъ змѣй, младенцемъ, изъ котораго долженъ явиться дивный Ираклъ. Разумный опытъ жизни и благотворная сила дѣтъ уравновѣсили бы волнованія кипучей природы, погасъ бы ея огонь и исчезло бы его пламя, а осталась бы теплота и свѣтъ, взоръ прояснился бы и возвысился до спокойнаго и объективнаго созерцанія жизни, въ которой все необходимо и все разумно, — и тогда поэтъ явился бы художникомъ, и завѣщалъ бы потомству не лирическіе порывы своей субъективности, а стройныя созданія, объективныя воспроизведенія явленій жизни... Почему Грибоѣдовъ не написалъ ничего послѣ «Горе отъ Ума», хотя публика уже и въ правѣ была ожидать отъ него созданій зрѣлыхъ и художественныхъ? — это такой вопросъ, рѣшенія котораго стало бы на огромную статью, и который все бы не рѣшился. Можетъ быть служба, которой онъ былъ приданъ не такъ-нибудь, но мимолетно, а дѣйствительно, вступила въ соперничество съ поэтическимъ призваніемъ; а можетъ быть и то, что въ душѣ Грибоѣдова уже зрѣли гигантскіе зародыши новыхъ созданій, которыя осуществить не допустила его ранняя смерть. Кто въ немъ одержалъ бы побѣду — дипломатъ, или художникъ — это могла рѣшить только жизнь Грибоѣдова, но не могутъ рѣшить никакія умозрѣнія, и потому предоставляемъ рѣшеніе этого вопроса мастерамъ и охотникамъ выдавать пустыя гаданія фантазіи за дѣйствительные выводы ума; сами повторимъ только, что «Горе отъ Ума» есть произведеніе таланта могучаго, драгоцѣнный перлъ русской литературы, хотя и не представляющее комедію, въ художественномъ значеніи этого слова, — произведеніе, слабое въ цѣломъ, но великое своими частностями.

Теперь намъ слѣдовало бы сказать что-нибудь о предисловіи, приложенномъ къ изданію «Горе отъ Ума», написанномъ его издателемъ и занимающемъ ровно сто страницъ. Въ немъ содержится біографія Грибоѣдова и критическая оцѣнка «Горе отъ Ума». Что сказать объ этомъ предисловіи? — Оно написано умнымъ литераторомъ, и написано живо, прекраснымъ языкомъ. Что же касается до взгляда на искусство, а вслѣдствіе этого, и на произведеніе Грибоѣдова, — это сужденіе въ духѣ французской критики и «Московского Телеграфа». Авторъ предисловія правъ съ своей точки зрѣнія, и мы спорить съ нимъ не будемъ, а только повторимъ стихи Грибоѣдова, взятые нами эпиграфомъ къ нашей статьѣ, и заключимъ ее ими:

Какъ посправить да посмотреть
Вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій:
Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ А. МАРЛИНСКАГО.

Санктпетербургъ. 1838—1839. Двѣнадцатъ частей.

Давно уже критика сдѣлалась потребностію нашей публики. Ни одинъ журналъ, или газета не можетъ существовать безъ отдѣла критики и библіографіи; эти страницы разрѣзываются и пробѣгаются нетерпѣливыми читателями даже прежде повѣстей, безъ которыхъ никакое періодическое изданіе не можетъ держаться и при самой критикѣ. Что означаетъ это явленіе? Отвѣчаемъ утвердительно: оно есть живое свидѣтельство, что въ нашей литературѣ настаетъ эпоха сознанія, «Но», скажутъ намъ, «предметъ сознанія есть явленіе, и потому всякое явленіе предшествуетъ сознанію, а всякое сознаніе есть, такъ сказать, слѣдствіе явленія; что же мы

будемъ созавать? Неужели наша литература такъ богата, что мы уже доходимъ до необходимости перечитать, переписать и переписать ея сокровища? Неужели мы столько насладились ея избытками, что для насъ наступаетъ уже время другого наслажденія—сознанія перваго наслажденія? И когда же успѣла совершить свой кругъ эта юная литература, которая еще только въ недавно прошедшемъ 1839 году переступила за столѣтіе своей жизни? Чтобы отвѣчать на такое возраженіе, должно предварительно условиться въ значеніи слова «литература». Прежде всего подъ «литературою» разумѣется письменность народа, весь кругъ его умственной дѣятельности, отъ народной пѣсни, перваго младенческаго лепета поэзіи, до художественныхъ созданій—этихъ зрѣлыхъ плодовъ творчества, достигшаго полнаго своего развитія; отъ глубокаго ученаго сочиненія, до легкой газетной статьи или брошюрки объ устройствѣ овиновъ, или объ истребленіи таракановъ. Потомъ, подъ «литературою» разумѣютъ собственно поэтическія произведенія, наконецъ — все легкое, служащее къ забавѣ и развлеченію, и доступное даже профанамъ въ наукѣ и искусствѣ. Но во всякомъ случаѣ и во всѣхъ этихъ значеніяхъ, литература есть сознаніе народа, цвѣтъ и плодъ его духовной жизни. Теперь спрашивается: подходит ли русская литература подъ всѣ сіи опредѣленія, и подъ которое-нибудь изъ нихъ исключительно?—Отвѣчаемъ—да, за исключеніемъ, впрочемъ, стороны собственно-ученой. Россія еще не успѣла обнаружить самостоятельной дѣятельности на поприщѣ науки, но обнаруживаетъ только живое стремленіе къ знанію и живую понятливость ученика. Однакожь и здѣсь найдется нѣсколько блестящихъ исключеній, особенно въ литературѣ математики, естествознанія, путешествій, гордящейся не однимъ блестящимъ русскимъ именемъ. Итакъ, понятнo, что наша ученая дѣятельность могла положительно проявляться только въ знаніяхъ точныхъ, а не въ умозрительныхъ: первая во всякое время имѣютъ свою безотносительную ис-

тину; втория же Россія застала въ эпоху усиленнаго и быстрого движенія, когда они въ одно десятилѣтіе пережили столѣтія. Укажемъ только на теорію искусства: до двадцатыхъ годовъ въ нашей литературѣ царствовалъ французскій классицизмъ, а съ этого времени одни заговорили о трактатѣ Канта «о высокомъ и прекрасномъ», другіе о братьяхъ Шлегеляхъ, объ Астѣ, а нѣкоторые и о Шеллингѣ; но, говоря о нихъ, они не понимали другъ друга, ни даже самихъ себя; ихъ — неприготовленныхъ, застигъ сильный переворотъ въ идеяхъ, развившихся въ Германіи исторически, а къ намъ перешедшихъ въ какомъ-то пестромъ безпорядкѣ. И потому эти господа не знали, на чемъ остановиться, на что опереться, что принять за основное и непреходящее; ибо что вчера считалось утвержденнымъ и новымъ, то завтра объявлялось у нихъ опровергнутымъ и устарѣвшимъ. И до сихъ поръ еще, относительно теоріи искусства, царствуетъ въ нашей литературѣ какой-то хаосъ; одни требуютъ критики, основанной на разумныхъ и, такъ сказать, апіорныхъ началахъ искусства, въ ихъ современномъ состояніи; другіе, сознавъ свое безсиліе достигнуть въ этомъ стремленіи какихъ-нибудь положительныхъ результатовъ, снова обратились къ произвольной французской эстетикѣ, и, съ грѣхомъ пополамъ, перебиваются старою рухлядью, которую нѣкогда сами рвали и истребляли во имя новаго, плохо ими понятнаго. *Les beaux esprits se repentent*, — и потому эти послѣдніе подали руку тѣмъ самымъ, которыхъ нѣкогда уличали для обнаруженія истины, тѣмъ самымъ, которые требуютъ исключительнаго господства своихъ бѣдненькихъ мнѣній, совершенно чуждыхъ искусству, но двойнѣ для нихъ пріятныхъ и выгодныхъ — какъ потому что эти «мнѣнія» по плечу ихъ ограниченности и удерживаютъ за ними вліяніе надъ толпою, такъ и потому что эти «мнѣнія» доставляютъ имъ, насчетъ толпы, существенную пользу. И вотъ примирившіеся, соединившіеся и понявшие другъ друга новые друзья, застигнутые врасплохъ

потокомъ новыхъ идей, хотять непонятное для ихъ ограниченности выставить за непонятное для всѣхъ, выдавая его за искаженіе языка, которому они будто бы оказали великія, хотя и никому неизвѣстныя услуги. Какъ же тутъ явиться какому-нибудь ученому сочиненію по части теоріи искусства? — Надо, чтобы сперва установилось броженіе идей и очистился эстетическій вкусъ публики; а для этого надо, чтобы пошлыя и торговыя мнѣнія объ искусствѣ замѣнились «мыслями» объ искусствѣ, чтобы литературные промышленники, объясняющіе законы искусства своею благонамѣренностію и усердіемъ къ пользѣ «почтеннѣйшей» публики, уступили мѣсто тѣмъ, которые говорятъ объ искусствѣ потому что любятъ и понимаютъ его; чтобы устарѣвшія идеи заклеились печатію общаго отверженія, а отсталые враги всего, въ чемъ есть жизнь, движеніе, сила и достоинство, потеряли всякое вліяніе даже надъ чернію общества, на которую одну опирается теперь ихъ шаткій авторитетъ. Это можетъ сдѣлать только критика при посредствѣ журнала, основаннаго съ чисто-литературною и ученою, а не торговою, цѣлію, и поддерживаемаго участіемъ людей благородномыслящихъ и даровитыхъ, а не литературныхъ спекулянтовъ, всю жизнь подвизавшихся на заднемъ дворѣ литературы и на кредитъ пользующихся извѣстностію «отлично умныхъ людей» и «отличнѣйшихъ сочинителей». Тогда можно будетъ подумать и о наукообразномъ сознаніи законовъ искусства.

То же зрѣлище представляетъ и наша историческая литература. Карамзинъ былъ полнымъ выраженіемъ установившихся и вполне опредѣлившихся идей своего времени, и потому его «Исторія Государства Россійскаго» есть твореніе зрѣлое, монументъ прочный и великій, хотя и начатый скромно, безъ криковъ, безъ униженія своихъ предшественниковъ, даже безъ штукмейстерскаго объявленія о подпискѣ. Такъ какъ твореніе Карамзина было плодомъ глубокаго изученія историческихъ источниковъ, основательнаго и отличнаго

по тому времени образованія, — твореніе таланта великаго, труда добросовѣстнаго и безкорыстнаго, совершавшагося въ священной тишинѣ кабинета, далекаго отъ всѣхъ литературныхъ рынковъ, на которыхъ издаются пышныя программы и забираются съ довѣрчивой публики деньги на ненаписанныя сочиненія во многихъ томахъ, то «Исторія Государства Россійскаго» съ каждымъ томомъ являлась созданіемъ болѣе зрѣлымъ, болѣе глубокимъ, болѣе великимъ и если остается недоконченною, то единственно по причинѣ смерти своего благороднаго творца, а не потому, чтобы у него не стало силъ на исполинскій подвигъ, или чтобы имъ впередъ взяты были деньги съ подписчиковъ, привлеченныхъ программой. Но послѣ Карамзина, что явилось сколько-нибудь примѣчательнаго въ нашей исторической литературѣ? Развѣ какая-нибудь пышная программа о подпискѣ на какую-нибудь небывалую исторію въ восемнадцати томахъ?... Или, вмѣсто этихъ восемнадцати, семь томовъ «высшихъ взглядовъ», изложенныхъ дурнымъ языкомъ и высокопарными фразами безъ всякаго содержанія — однимъ словомъ, бездарная и, часто безграмотная перефразировка великаго труда Карамзина, нещадно разруганнаго, при сей вѣрной оказіи, въ выноскахъ, занимающихъ половину каждой страницы?... Конечно, были другія попытки, болѣе благородныя и болѣе удачныя, но въ меньшемъ размѣрѣ, и нисколько не приближающіяся ни своимъ назначеніемъ, ни своимъ достоинствомъ къ безсмертному творенію Карамзина. А, между тѣмъ, великій трудъ Карамзина, какъ и всякій великій трудъ, отнюдь не отрицаетъ ни необходимости, ни возможности другого великаго труда въ этомъ родѣ, который такъ же бы удовлетворилъ своему времени, какъ его трудъ своему. Но этотъ новый трудъ будетъ возможенъ тогда только, когда новыя историческія идеи перестанутъ быть мнѣніями и взглядами, хотя бы и «высшими», сдѣлаются наукообразнымъ сознаніемъ исторіи какъ науки — словомъ — философіею исторіи...

Не такова была судьба нашей поэзии, потому что и вездѣ не такова судьба поэзии. Наука есть плодъ умственного развитія народа, плодъ его цивилизации, результатъ сознательныхъ усилій со стороны людей, которые ей посвящаютъ себя; тогда какъ поэзія есть драмное, непосредственное сознаніе народа. У народа нѣтъ еще письма, нѣтъ даже слова для выраженія идеи искусства, но есть уже искусство — народная поэзія. И даже тогда, какъ народъ уже вышелъ изъ состоянія безсознательности, и поэзія его, изъ непосредственной или народной сдѣлалась художественной или общею, міровою въ самой своей національности, — и тогда ея ходъ независимъ отъ хода науки. Такъ поэзія Англичанъ, народа положительнаго и эмпирическаго по своему національному духу, совершенно чуждаго философіи (какъ безусловнаго знанія), — поэзія Англичанъ не видитъ равной себѣ ни у одного изъ новѣйшихъ народовъ, даже у самыхъ Нѣмцевъ, и по праву можетъ стать на ряду, какъ равная съ равною, съ поэзіею древнихъ Грековъ. Въ Греціи Платонъ явился тогда, какъ уже Гомеръ давно сдѣлался мноюческимъ лицомъ, и когда самая драматическая поэзія совершила уже полный свой кругъ: Шекспиръ явился въ Англіи, не дожидаясь Шеллинговъ и Гегелей. Самая германская поэзія, идущая объ руку съ философіею, выигрывая оттого въ содержаніи, часто теряетъ въ формѣ, превращаясь въ какое то поэтическое развитіе философскихъ идей и впадая въ символистику и аллегорику. Вслѣдствіе этой-то общей независимости творчества отъ науки, и наша поэзія успѣла совершить такой великій и блестящій кругъ развитія, пока наука едва успѣла сдѣлать только нѣсколько неровныхъ порывовъ къ движенію...

Да, мы уже имѣемъ поэзію, которою смѣло можемъ соперничествовать съ поэзію всѣхъ народовъ Европы. «Но возможно ли» возразить намъ, «чтобы въ какіе-нибудь сто лѣтъ наша поэзія могла стать на такую неизмѣримую высоту?» — Прежде нежели отвѣтимъ на этотъ вопросъ, попросимъ тѣхъ,

кому угодно будетъ его сдѣлать, отвѣтитъ намъ на нашъ вопросъ: какимъ образомъ, въ продолженіе едва ли не полутора вѣка, наше отечество изъ государства, едва известнаго въ Европѣ, тѣснимаго и раздраемаго и Крымцами, и Поляками, и Шведами, сдѣлалось могущественнѣйшею монархіею въ мірѣ, приняло въ свою исполинскую корпорацію и отторгнутую отъ нея родную ей Малороссію, и враждебный Крымъ, и родственную Бѣлоруссію, и прибалтійскія шведскія области, и отодвинуло свое владычество за древній Араватъ? Какимъ образомъ въ столь короткое время, не имѣя печатнаго букваря, приобрѣло оно себѣ литературу, успѣло пережить даже азіятскіе нравы на европейскіе, такъ что о временахъ Митрофанушекъ и Скотининныхъ вспоминаетъ теперь, какъ о чемъ-то бывшемъ тысяча лѣтъ тому назадъ?... Мы думаемъ, что причина этого дивнаго явленія заключается въ глубинѣ и могуществѣ духа народа, въ сокровенномъ источникѣ его внутренней жизни, который горячимъ ключемъ бьетъ во внѣшность. Для духа нѣтъ условій времени, когда настанетъ минута его пробужденія. Это доказываетъ и богатая германская литература (мы разумѣемъ особенно-визначную), которая началась почти вмѣстѣ съ нашею, и еще такъ недавно утратила своего полного и вѣкаго представителя — Гёте. Французская же литература, въ XVII столѣтіи отпраздновавшая свой первый золотой вѣкъ, представителями котораго были Корнель, Расинъ и Мольеръ, — въ XVIII — свой второй золотой вѣкъ, представителемъ котораго былъ Вольтеръ съ энциклопедическимъ причетомъ, а въ XIX — свой третій вѣкъ романтическій — теперь, отъ нечего дѣлать, поетъ вѣчную память всѣмъ тремъ своимъ золотымъ вѣкамъ, какъ-то невзначай разсмотрѣвъ, что всѣ они были не настоящаго, а сусальнаго золота... Слѣдовательно, вопросъ не во времени нашей поэзіи, а въ ея дѣйствительности. Здѣсь мы не войдемъ ни въ подробности, ни въ объясненія, ни въ доказательства, которые отвлекли бы

насъ только отъ предмета статьи, и прямо выговоримъ наше убѣжденіе, предоставляя себѣ въ будущемъ оправдать его дѣйствительность критикою. Наша народная или непосредственная поэзія не уступитъ въ богатствѣ ни одному народу въ мірѣ, и только ждетъ трудолюбивыхъ дѣателей, которые собрали бы ея сокровища, таящіеся въ памяти народа. Не говоря уже о пѣсняхъ, — одинъ сборникъ народныхъ рапсодій, извѣстныхъ подъ именемъ «Древнихъ стихотвореній», собранныхъ Киршею Даниловымъ, есть живое свидѣтельство обильной творческой производительности, которою одарена наша народная фантазія. Между тѣмъ, наша художественная поэзія въ созданіяхъ Пушкина стала наряду съ поэзією всѣхъ вѣковъ и народовъ. Историческое ея развитіе блещетъ великими именами мощнаго Державина, народнаго Крылова, романтическаго Жуковскаго, пластическаго Батюшкова, юморическаго Грибоѣдова, бессмертнаго переводчика «Иліады» Гомера — Гнѣдича. Такъ какъ литература не есть явленіе случайное, но вышедшее изъ необходимыхъ внутреннихъ причинъ, то она и должна развиваться исторически, какъ нѣчто живое и органическое, непонятное въ своихъ частностяхъ, но понятное только въ хронологической полнотѣ и цѣлости своихъ процессовъ: съ этой точки зрѣнія, не только важны въ исторіи нашей поэзіи имена такихъ, болѣе или менѣе блестящихъ и сильныхъ талантовъ, каковы Ломоносовъ, Фонъ-Визинъ, Хемницеръ, Капнистъ, Карамзинъ (какъ стихотворецъ и романистъ), Мерзляковъ, Озеровъ, Дмитріевъ, кн. Вяземскій, Глинка (Ф. Н.), Хомяковъ, Баратынскій, Языковъ, Давыдовъ (Денисъ), Дельвигъ, Полежаевъ, Козловъ, Вронченко, Кольцовъ, Нарѣжный, Загоскинъ, Даль (казакъ Луганскій), Основьяненко, Александровъ (Дурова), Вельтманъ, Лажечниковъ, Павловъ, (Н. Ф.), кн. Одоевскій и другіе, но даже и ошибавшихся въ своемъ призваніи тружениковъ, каковы: Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Княжнинъ, Богдановичъ и пр.—Объяснимся.

Разсматривая литературу какого бы то ни было народа, невозможно отдѣлить ея развитіе отъ развитія общества. Это особенно должно относиться къ русской литературѣ, если вспомнимъ, что она явилась у насъ вслѣдствіе нашего сближенія съ Европою, какъ нововведеніе. Посему, мало было того, чтобы явился поэтъ: сперва нужно, чтобы было для кого явиться ему, чтобы были люди, которые уже слышали и кое-какъ понимали, что за человѣкъ — поэтъ. И вотъ, является какой-нибудь «профессоръ элоквенціи, а наипаче хитростей цитическихъ»; Василій Кирилловичъ Тредьяковскій, и пишетъ пѣны и разные стихословныя штуки: его понимаютъ, онъ нравится, и многіе уже имѣютъ идею «пѣны». Потомъ является Александръ Петровичъ Сумароковъ, русскій Расинъ, Лафонтенъ, Мольеръ и Вольтеръ: и общество узнаетъ, что такое ода, элегія, эпигра, трагедія, комедія, слезная драма, что такое театръ, и все это начинаетъ включать въ число своихъ забавъ.

Херасковъ—нашъ Гомеръ, воспѣвшій древнѣ брань,
Россіи торжество, паденіе Казани,—

растолковываетъ, что такое «героическая поэма». Общество благоговѣетъ передъ Ломоносовымъ, но больше читаетъ Сумарокова и Хераскова: они понятнѣе для него, болѣе по плечу ему. Является Державинъ, и всѣ признаютъ его первымъ и величайшимъ русскимъ поэтомъ, переставая, впрочемъ, восхищаться и Сумароковымъ, и Херасковымъ, и Петровымъ. Но у общества есть уже насчетъ Державина какая-то душевная мысль, есть къ нему какое-то особенное чувство, которое часто находится въ прямой противоположности съ сознаніемъ: Херасковъ написалъ двѣ преобладающія «героическія пѣны» (родъ, считавшійся вѣнцомъ поэзіи), слѣдственно, Херасковъ выше Державина, пишущаго небольшія пѣсы; но со всѣмъ тѣмъ, отъ имени Державина вѣло какимъ-то особеннымъ и таинственнымъ значеніемъ. Въ драматической поэзіи, Княжнинъ довершаетъ дѣло Сумарокова

и приготовляетъ обществу Озерова. Первые два холодно удивляли общество: Озеровъ трогалъ и заставлялъ его плакать сладкими слезами эстетическаго восторга и умиленія; — и потому въ немъ думали видѣть великаго гения, а въ это сантиментально-риторическихъ трагедійхъ — торжество поэзіи. Явился Жуковский: одни видѣли въ его поэзіи новый міръ, и жизнь души и сердца, и таинство поэзіи; другіе — талантливаго стихотворца; увлекающагося подражаніемъ уродливымъ образцамъ эстетическаго безвкусіа Нѣмцевъ и Англичанъ. Батюшковъ больше Жуковского по плечу, потому что называлъ себя классикомъ и подражалъ великимъ и малымъ писателямъ французской литературы. Но молодое поколѣніе не видало; но чувствовало въ немъ, какъ и въ Жуковскомъ, уже нѣчто другое: именно намекъ на истинную поэзію. Время невидимо работало. Старики уже начинали надѣяться. Мерзляковъ нанесъ первый ударъ Хераскову, и хотя онъ же восхищался Сумароковымъ, но сею цѣнгу уже давно не читали, а развѣ только подсмѣивались надъ нимъ. Тѣмъ не менѣе, такіе люди, какъ Сумароковъ, Херасковъ и Петровъ, достойны уважительнаго вниманія и даже изученія, какъ лица историческія. Если они не имѣли ни искры положительнаго таланта поэзіи, они имѣли несомнѣнное дарованіе версификаторовъ, — достоинство, теперь ничтожное, но тогда очень важное. Образованіемъ своимъ они были несравненно выше своихъ современниковъ и показали имъ новыя умственныя области. Нѣтъ успѣха, который былъ бы незаслуженнымъ; нѣтъ авторитета, который бы не основывался на силѣ: а эти люди пользовались удивленіемъ, восторгомъ и поклоненіемъ отъ своихъ современниковъ и, хотя недолго, даже и потомства. Ихъ читали и перечитывали, ихъ называли образцами для подражанія, законодателями вкуса, жрецами изящнаго. Но главная и дѣйствительная заслуга ихъ состоитъ въ томъ, что они отрицательно доказали положительную истину: черезъ нихъ понять былъ Державинъ такъ же, какъ потомъ

черезъ Державина были они поняты, хотя онъ оказалъ имъ этимъ и советъмъ другого рода услугу, чѣмъ они ему. Они приготовили Державину читателей, публику, которая безсознательно, но скоро поняла, что онъ выше ихъ, а потомъ, сравнивая его съ ними, постепенно доходила до сознанія, что чѣмъ болѣе онъ истинный поэтъ, тѣмъ болѣе они — лжепоэты.

Да, люди, подобные Сумарокову, Хераскову, Петрову, Княжнину, Богдановичу, необходимы въ историческомъ развитіи литературы, какъ писатели отрицательно дѣйствующие на сознаніе общества въ сферѣ положительной истины. Много было въ ихъ время поэтовъ, написавшихъ цѣлые томы, какъ, напр. Станевичъ, Николаевъ, Сушковъ, и подобные имъ; но ихъ имена ядобыты, какъ случайности, тогда какъ имена Сумарокова, Хераскова, Петрова, Княжнина, Богдановича навсегда останутся въ исторіи русской литературы и будутъ достойны уваженія и изученія. Каждый изъ нихъ — лицо типическое, выражающее общую идею, подъ которую подходитъ цѣлый рядъ родовыхъ явленій.

Въ числу такихъ-то примѣчательныхъ и важныхъ въ литературномъ развитіи отрицательныхъ дѣятелей принадлежитъ и Марлинскій. Его разннца съ ними, и его превосходство надъ ними, конечно, много состоитъ и въ степени дарованія, по которому его невозможно и сравнить съ ними, но много заключается и въ чисто-внѣшнихъ причинахъ. Тѣ были русскіе классики, отличавшіеся отъ своихъ образцовъ — французскихъ классиковъ, широкую тяжеловѣстностію въ выраженіи, искусственнымъ, а потому неправильнымъ и дурнымъ языкомъ: — Марлинскій явился на поприще литературы тѣмъ самымъ; что называлось тогда романтизмомъ. Какъ Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Богдановичъ и Княжнинъ хлопотали изъ всѣхъ силъ чтобы отдалиться отъ дѣйствительности и естественности въ изобрѣтеніи и слоgѣ, — такъ Марлинскій всѣми силами старался приблизиться въ тому и

другому. Тѣ избрали для своихъ снотворныхъ пѣснопѣій только героевъ историческихъ и мифологическихъ, этотъ—людей; тѣ почитали для себя за униженіе говорить живымъ языкомъ и поставляли дебѣ за честь выражаться языкомъ школьнымъ, этотъ силится подслушать живую общественную рѣчь и, во имя ея, раздвинуть предѣлы литературнаго языка. Посему, очень понятно, что тѣхъ теперь никто не станетъ читать, кромѣ серьезно изучающихъ отечественную литературу, а Марлинскій еще долго будетъ имѣть читателей и почитателей.

Появленіе Марлинскаго на поприщѣ литературы было ознаменовано блестящимъ успѣхомъ. Въ немъ думали видѣть Пушкина прозы. Его повѣсть сдѣлалась самою надежною приманкою для подписчиковъ на журналы и для покупателей альманаховъ, и только одинъ журналъ, какъ-бы обсужденный злосчастною судьбою на паденіе, не могъ воскреснуть отъ помѣщеннаго въ немъ «Фрегата Надежды»... Но когда появились въ «Телеграфѣ» его «Искуситель» и «Амалатъ-Бекъ», — слава его дошла до своего *pes plus ultra*. Общій голосъ рѣшилъ, что онъ великій поэтъ, гемій перваго разряда, и что нѣтъ ему соперниковъ въ русской литературѣ. Журналисты громкими фразами подкрѣпляли мнѣніе толпы; но никому изъ нихъ не приходило въ голову поговорить о Марлинскомъ въ отдельной статьѣ, хотя они въ длинныхъ статьяхъ рассуждали вкось и вкривь о многихъ писателяхъ, и не столь, по ихъ мнѣнію, великихъ и важныхъ. Такая огромная слава на кредитъ, такой громадный авторитетъ на честное слово, не могли стоять твердо и незыблимо. Часть публики явно отложила отъ предмета общаго удивленія. Въ нѣкоторыхъ журналахъ стали промелькивать фразы, то робкія, то рѣзкія, то косвенныя, то прямыя, въ которыхъ выражалось то сомнѣніе въ гениальности Марлинскаго, то положительное отрицаніе въ немъ всякаго таланта. Наконецъ, дѣло дошло до того, что тѣ же самые, кото-

рые первые провозгласили его гениемъ первой величины, начали, въ неизбежныхъ случаяхъ, отзываться о немъ уже не столько громко, даже нерѣшительно и какъ можно короче, какъ будто мимоходомъ. Но и тѣ, которые поневолѣ должны видѣть въ Марлинскомъ высшую творческую силу вслѣдствіе обширности и глубокости своего эстетическаго чувства, за отсутствіемъ чувства, — даже и они начинаютъ упрекать его въ излишней игривости и пѣнистой шипучести языка, которыми породили неудачныхъ подражателей, искажающихъ русскій языкъ. Впрочемъ, сіи послѣдніе, не смотря на то, не перестаютъ повторять въ похвалу отставнаго генія, свои и чужія громкія фразы, тѣмъ болѣе, что онъ уже не можетъ жьшать имъ въ сбытѣ ихъ товара, но еще можетъ служить имъ орудіемъ для униженія истинныхъ талантовъ, «забавно пишущихъ и вѣрно списывающихъ съ натуры». Между тѣмъ, подражатели Марлинскаго доходятъ до послѣдней крайности, изображая дикимъ и надутымъ языкомъ разныя сильныя ощущенія и тѣмъ самымъ уясняютъ вопросъ совѣтъ не въ пользу своего образца.

Но это излишество похвалъ, это множество подражателей, самое излишество порицаній — все несомнѣнно доказываетъ, что Марлинскій — явленіе примѣчательное въ литературѣ, выходящее изъ колеи пошлой обыкновенности. Изъ сего противорѣчія, естественно вытекаетъ необходимость — опредѣлить значеніе и цѣнность его, какъ писателя, указать въ литературѣ его истинное мѣсто. Постараемся же рѣшить, этотъ вопросъ, основываясь не на произволѣ личнаго «мнѣнія», которое чаще всего бываетъ личнымъ «предубѣжденіемъ», но опираясь на здравый смыслъ и эстетическое чувство нашихъ читателей, и такимъ образомъ, на себѣ, а имъ предоставляя право суда.

Марлинскій принадлежитъ къ числу тѣхъ литераторовъ, которые явились на литературное поприще какъ враги классицизма и поборники романтизма. Вслѣдствіе этого, онъ дѣйствовалъ не только какъ романистъ или нувелистъ: но и

какъ критикъ. Въ XI части его «сочиненій» помѣщены его годовые отчеты за литературу 1823, 1824 и частью 1825 годовъ, очеркъ исторіи древней и новой литературы до 1825 года; и разборъ романа г. Полеваго «Клятва при гробѣ Господнемъ». Не знаямъ почему, но только эти статьи въ полномъ собраніи сочиненій Марлинскаго названы полемическими, тогда какъ въ нихъ нѣтъ и тѣни полемики: въ нихъ авторъ ни на кого не нападаетъ и ни съ кѣмъ не споритъ, а положительно высказываетъ свои понятія о литературѣ вообще и произведеніяхъ отечественной словесности. Равнымъ образомъ, не понимаемъ, почему въ это полное собраніе не внесены истинно-полемическія статьи Марлинскаго, разсѣяныя по книжкамъ «Сына Отечества» двадцатыхъ годовъ, и крайне интересныя, какъ факты интереснѣйшаго времени нашей литературы, времени, въ которое началась война покойника классицизма съ теперешнимъ покойникомъ романтизмомъ. Эти полемическія статьи Марлинскаго были его журнальными схватками съ тогдашними литературными старовѣрами, отличаются вѣрностію взгляда на предметы, остроуміемъ и живостію. Вообще, Марлинскому, какъ критику, литература наша многимъ обязана: Это было важною заслугою съ его стороны, заслугою, которая теперь забыта самими его поклонниками, и которую намъ тѣмъ пріятнѣе выставить на видъ. Въ своихъ по-годныхъ и полу-годныхъ обзорѣяхъ литературы, имѣвшихъ въ двадцатыхъ годахъ такой успѣхъ, Марлинскій не отличается глубокимъ взглядомъ на искусство, не представляетъ о немъ ни одной глубокой идеи, но почти вездѣ обнаруживаетъ эстетическое чувство и пѣрный вкусъ человека умнаго и образованнаго. Всѣ они отличаются языкомъ по тому времени совершенно новымъ, чуждымъ, большею частію, изысканности и изчурности, полнымъ жизни, движенія, выразительности, оборотами новыми и смѣлыми, ягивыми, живописными, образными. Конечно, въ этихъ «обзорѣяхъ» часто встрѣчаются похвалы такимъ сочиненіямъ и такимъ «сочинителямъ», имена

которыхъ теперь сдѣлались донотопными, ископаемыми рѣдкостями; но, вѣстѣ съ тѣмъ, въ нихъ встрѣчаются и чистыя отставки заржавѣвшимъ и залесневѣвшимъ знаменитостямъ того времени, и истинныя оцѣнки старыхъ и новыхъ талантовъ, особенно Державина, Жуковского и Пушкина. Надо знать и помнить критику того времени, чтобы оцѣнить подобныя характеристики, въ которыхъ Марлинскій изобразилъ этихъ мощныхъ представителей нашей поэзіи. Вспомните привѣтствія, которыми онъ, наприимѣръ, встрѣтилъ появленіе «Московского Телеграфа» и которыми, въ немногихъ словахъ, такъ рѣзко и вѣрно охарактеризовалъ и начало, и середину, и конецъ этого изданія: «Въ Москвѣ явился двухнедѣльный журналъ «Телеграфъ», изд. г. Полевымъ. Онъ заключаетъ въ себѣ все, извѣщаетъ и судить обо всемъ, начиная отъ безконечно-малыхъ въ математикѣ до плѣтушьяхъ гребешковъ въ соусѣ, или до бантиковъ на новомодныхъ баншичкахъ. Неровный слогъ, самоувѣренность въ сужденіяхъ, рѣзкій тонъ въ приговорахъ, вездѣ охота учить и частое пристрастіе — вотъ знаки сего телеграфа, а «смѣлымъ Богъ владѣетъ» — его девизъ» (стр. 203).

Въ критической статьѣ о «Клятвѣ при Гробѣ Господнемъ», Марлинскій является уже совсѣмъ въ другихъ отношеніяхъ къ ея автору. Эта статья была написана въ 1833 году, а въ восемь лѣтъ много воды утекло: удивительно ли, что два автора, критиковавшіе сочиненія одинъ другого, поняли другъ друга къ обоюдной пользѣ, по пословицѣ: «рука руку моетъ — обѣ чисты»?... Во всякомъ случаѣ, эта статья весьма примѣчательна. Критикъ начинаетъ съ яницъ Леды, уцѣпляется за неизбѣжный въ то время классицизмъ и романтизмъ, садится на пароходъ Джонъ-Буль и везетъ своихъ читателей въ Индію, оттуда (сухимъ путемъ) въ Персію, заѣзжаетъ мимоходомъ въ Аравію и Египетъ, оттуда ѣдетъ (моремъ) въ Грецію, которую онъ понимаетъ довольно поверхностно — съ телеграфской точки зрѣнія; изъ Греціи

отправляется въ Римъ, и изъ Рима—прямо въ средніе вѣна. Тутъ идутъ толки о баронахъ и вассалахъ, о крестовыхъ походахъ, о менестреляхъ, наконецъ, о Шекспирѣ, о Вальтерѣ-Скоттѣ, Куперѣ, Байронѣ, Виллѣмѣ Гюго, который, по мнѣнію критика, знаетъ человѣческую природу не хуже Шекспира (!!!) и гораздо лучше Эсхила и Софокла (...!!); далѣе толкуется о XIII и XIX вѣкахъ, и о Наполеонѣ, а изъ всего этого выходитъ, что мы — романтики, и что г. Поневой — великій романтикъ и еще большій романтикъ (!!!...).

Ложная идея ложнаго романтизма до того овладѣла нашимъ романтическимъ критикомъ, что у него и Державинъ — романтикъ, и Карамзинъ, и Вельтманъ, словомъ, все талантовое, даровитое, все — романтики. Романтизмъ въ главахъ Марлинскаго есть альфа и омега истины, краугольный камень міра, ключъ ко всякой мудрости, рѣшеніе всего и на землѣ и подъ землею, причина всѣхъ причинъ, начало всѣхъ началъ; разгадка всевозможныхъ загадокъ, отъ бородавки на носу старушки, до тайной думы пенія. Вслѣдствіе всего этого, въ статьѣ довольно софизмовъ и произвольныхъ, ни на чемъ неоснованныхъ мнѣній. Въ слогѣ мѣстами колетъ глаза читателю вычурность. Особенно замѣтно желаніе шутить, которое проявляется иногда тамъ, гдѣ, кромѣ журналовъ, издающихся только для шутки, никто еще не шутилъ. Вотъ образецъ такой натянутой и нисколько не остроумной шутливости: «И вотъ мы въ Греціи, въ странѣ боговъ, подобныхъ людямъ, въ странѣ богоподобныхъ мужей! Я увѣренъ, что этотъ salto mortale не удивитъ васъ: развѣ не учились вы прыгать въ манежѣ? Что касается до меня, вы сами видите, что я вольтижирую на конькѣ своей не хуже Франиони сына» (т. XI. стр. 264). И эта неумѣстная и невеселая шутка зашѣшлась въ страницу, блестящую дѣльными мыслями и прекраснымъ языкомъ... Или, напримѣръ, какъ вамъ покажется, вотъ еще эта жилая шуточка: «Исторія была всегда, совершенная всегда. Но она ходила сперва неслышно будто кошка,

подкрадывалась невзначай, какъ тать (и справедливо и остроумно!). Она буянила и прежде» и пр. (стр. 254). Но вѣсть съ этими мыслями незрѣлыми, поверхностными и ложными, при этой неострой шутиливости, при атихъ вычурныхъ фразахъ, при этомъ явномъ пристрастии къ пріятельскому издѣлію, — сколько въ этой статьѣ свѣтлыхъ мыслей, вѣрныхъ замѣтокъ, сколько страницъ и мѣстъ, говорящихъ, сияющихъ, блестящихъ живыми, увлекательными краснорѣчіемъ, рѣзкими, многозначительными, хотя и краткими очерками, бриллиантовымъ языкомъ! сколько истиннаго остроумія, неподдѣльной игривости ума! Такъ напр., сколько правды выказали Марлинскій о «Самозванцѣ» и «Петръ Выжигинъ» г. Булгарина! Въ первомъ говоритъ онъ, авторъ изобразилъ «не Русь, а газетную Россію» и «натянуть тамъ, гдѣ дѣло идетъ на чувства, на сильныя вспышки страстей», что въ немъ «характеръ Годунова очерненъ, характеръ Самозванца не выдержанъ, а государственные люди чересчуръ просты и трусливы»; что авторъ «слишкомъ романтизировалъ похождения своего героя, и прибѣгъ къ чудесному, очень уже изношенному, заставлялъ кодуною пророчить Годунову самымъ пошлымъ образомъ надъ змѣями и жабами, которыхъ (между нами будь сказано) не найти въ мартѣ мѣсяцѣ ни за какія деньги»; что «въ Петръ Выжигинѣ историческая часть вовсе чужотна»; что «увѣрить, что Наполеонъ вошелъ въ Россію, обманутый Коленкуромъ, будто его примутъ съ открытыми объятиями, можно было въ 1812 году, не позже; да и тогда этимъ слухамъ вѣрили только въ гостинныхъ дворѣ»; что «Наполеонъ занимаетъ въ Выжигинѣ большіе мѣста, чѣмъ самъ герой повѣсти» и пр. (стр. 317 и 318). При вѣрности взгляда, какинъ удивительная память у критика: онъ не только прочелъ романъ г. Булгарина — даже упомянулъ, о чемъ и какъ въ нихъ рассказывается... За тѣмъ слѣдуютъ очень остроумныя оцѣнки романовъ гг. Загоскина и Лажечникова, которые, однакожъ, по пріавни къ автору «Клятвы», онъ

«ставить ниже этого, разумеется, нежоняеннаго пролазеденія. Сколько критическаго такта и вотъ въ этихъ немногихъ словахъ: «Я не поставлю Державина на одну доску съ Жуковскимъ и Пушкинымъ, потому что первый изумилъ всѣхъ подобно кометѣ, но исчезъ въ пучинѣ воздуха, безъ слѣда; а два послѣдніе были двигателями нашей словесности и заставили своимъ духомъ пѣлые табуны подражателей» (стр. 310)! Посмотрите, сколько вѣрности во взглядѣ и игривости въ выраженіи въ этомъ краткомъ очеркѣ французскаго классицизма: «Зажмурьте глаза, и вы не узнаете, кто говоритъ: Оросманъ или Альзира, китайская сирота, или камеръ юнкеръ Людовика XIV. Малютку природу, которая имѣла несправедливое несчастіе быть дворянкою—по приговору академіи вы проводили за заставу, какъ потаскушку. А здравый смыслъ, точно бѣдный проситель, съ трепетомъ держался за ручку дверей, между тѣмъ, какъ швейцаръ классикъ павалился передъ нимъ своею ливреею и презажно говорилъ ему: приди завтра! И какъ долго не пришло это завтра, а все оттого, что Французы нашли Божій свѣтъ слишкомъ площаднымъ для себя, а живой разговоръ слишкомъ престопаходнымъ, и вздумали украшать природу, облагородить, установить языкъ! И стали нелѣпы оттого, что презчуръ умничали» (стр. 263). Это было сказано и доказано назадъ тому семь лѣтъ, а, между тѣмъ, люди, живущіе заднимъ умомъ, по уставу того времени, когда даже и они слыли за умниковъ, и теперь приходить въ ужасъ отъ выраженія, что Корнель, Расинъ, Буало, Вольтеръ, Кребийльонъ, Дюсисъ и пр.—поэтическіе уроды!... Хотъ бы Марлинскаго-то перечитывали эти почтенные филистеры въ плисовыхъ сапогахъ и вязаныхъ колпакахъ!... Чтобы помочь слабости ихъ памяти и другихъ способностей, выпишемъ для нихъ и еще нѣсколько строкъ изъ этой статьи Марлинскаго: «Домня алтари, Франція не тронула точечныхъ ходулъ классицизма; она отеклась вѣры и осталась вѣрна преданіямъ Баттё, стихами Девиля, танъ

что, когда русскій казакъ сѣлъ на даровое мѣсто въ Одессѣ, въ 1814 году, онъ зѣвалъ отъ тѣхъ же длинныхъ, длинныхъ монологовъ, отъ которыхъ зѣвать извоили Людовикъ XIV, съ тою только разницею, что революціонеръ Тальма осмѣлился не пѣть, а говорить стихи, проглатывать цезуры и ходить по человѣчески, а не гошнымъ шагомъ» (стр. 296.) Сколько вѣрности во взглядѣ и ириности въ выраженіи вотъ и въ этой характеристикѣ одной части русскаго народа. «Матеріальная Европа влинула на Россію, когда Петръ Великій смонялъ отъню; ихъ дѣлившую; но вѣку Петра нѣкогда было заниматься словесностію: его поэзія проявлялась въ подвигахъ, не въ словахъ. Долгое бездѣйствіе пало на Русь съ кончиною его килучей дѣятельности, а въ часъ досуга русскій баринъ любилъ чужестранныя сказки; онъ испони отличался необыкновенною уступчивостію своихъ нравовъ; необыкновенною пріемлемостію чужихъ. Онъ шилъ кумысъ съ ханамъ Золотой Орды; онъ носилъ контушъ при самозванцѣ. За бороду, правда онъ спорилъ долго, будто бѣ она приросла у него къ сердцу; но разъ въ мундирѣ, онъ грудью полѣзъ въ Нѣмцы» (стр. 299—300). Отъ страницы 323 до 335; авторъ, съ неподражаемою оригинальностію, слѣдовательно, и вѣрно, говоритъ о національных элементахъ русскаго романа, о родныхъ стихіяхъ жизни русскаго народа, у котораго, по его словамъ: «каждое слово завиткомъ и послѣдняя попейка ребромъ». При оцѣнкѣ самаго романа, занимающей едва ли десятую часть статьи, критикъ, по всему виднѣ, болѣе руководился личными отношеніями къ автору-пріятелю, чѣмъ истинною, и потому въ этой длинной и скучной повѣсти видятъ мировое, или, говоря его понятіями, романическое проведеніе. Еще не приступая къ оцѣнкѣ романа г. Поговаго, онъ оцѣнилъ его недоноченную «Исторію Русскаго Народа». Какъ рѣдкій образчикъ пріятельской критики, выдѣляемъ эту дливинную оцѣнку: «Поговой издалъ 3 тома своей Исторіи Рус-

скаго Народа». То уже не былъ златопернатый разсказъ Карамзина, но повѣствованіе пернатое свѣтлыми идеями (ужъ подлинно—свѣтлыми: отъ блеска ихъ часто и смысла не видишь!...). Не изъ толпы, и не съ приходской колокольни (а вѣрно съ телеграфской наланчи?...) смотрѣлъ онъ на торжественный ходъ вѣковъ, но съ выси горъ (а!...). Взоръ его проникалъ въ сердце народовъ, обнималъ все ристалище человѣчества» и проч. Но еще не этимъ оканчивается пріятельская критика — послушайте далѣе: «Полевой отвѣчалъ новыми услугами за новыя насмѣшки. Ему впаало на умъ: досказать русскую исторію — повѣстью... Вслѣдствіе этого онъ написалъ сперва повѣсть «Симеонъ Кирдяпа», и теперь— «Клятву при Гробѣ Господнемъ, русскую быль XV вѣка...» Эврика! Эврика! Вотъ открытіе-то! новое, важное открытіе! Въдѣ недоконченная «Исторія Русскаго Народа» г. Полеваго докончена: «Симеонъ Кирдяпа» и «Клятва при Гробѣ Господнемъ» суть не что иное, какъ ея послѣдніе томы,—тѣ самыя, которыя были обещаны публикѣ нашимъ историкомъ, въ числѣ восемнадцати, но которыя, впрочемъ, продавались отдѣльно!... Господа подписчики на восемнадцать томовъ «Исторіи Русскаго Народа», получившіе ея только семь томовъ! купите «Клятву при гробѣ Господнемъ»; выдерите изъ «Телеграфа» «Симеона Кудряпу», да и переплетите ихъ подъ одинъ переплетъ съ семью томами исторіи—вотъ вы и съ концомъ... Не поспкуитесь: «Клятва» стоитъ не дорого—гораздо дешевле «Исторіи Русскаго Народа», за которую вы или отцы ваши заплатили впередъ деньги!...

Но наша оцѣнка Марлинскаго, какъ критика, кончена. Выведемъ итогъ изъ всего сказаннаго нами,—а мы, яны чѣтатели сами могутъ видѣть, говорили не мнѣніями, а фактами; и выставя на видъ ошибки и пристрастія, не скрывали отъ нихъ, а прямо выставяли на видъ и блестящія истинныя стороны разбираемаго нами автора. Оставляя въ сторонѣ ложность или поверхность многихъ мыслей, заключающихся въ

неизбѣжныхъ условіяхъ времени, — мы не будемъ обвинять за нихъ Марлинскаго, тѣмъ болѣе, что ни самъ онъ и никто другой не думалъ выдавать ихъ за непреодолимые; пройдемъ молчаніемъ неудачныя и неумѣстныя претензіи на остроуміе и оригинальность выраженія; но скажемъ, что многія свѣтлыя мысли, часто обнаруживающееся вѣрное чувство изящнаго, и все это, высказанное живо, пламенно, увлекательно, оригинально и остроумно, — составляютъ неотъемлемую и важную заслугу Марлинскаго русской литературѣ и литературному образованію русскаго общества. Не забудемъ также, что онъ былъ первый, сказавшій въ нашей литературѣ много новаго, такъ что, все писавшееся потомъ въ «Телеграфѣ», было повтореніемъ уже сказаннаго имъ въ его литературныхъ обозрѣніяхъ. Лучшимъ доказательствомъ этого служить его примѣчательная и, — не смотря на отсутствіе внутренней связи и послѣдовательности, на неумѣстность толковъ о всякой величинѣ, неидущей къ дѣлу, не смотря на множество софизмовъ и явное пристрастіе, — прекрасная статья о «Вліяніи при гробѣ Господнемъ»: «Телеграфъ» во все время своего существованія, ни на одну ноту не сказалъ больше сказаннаго Марлинскимъ, и только развѣ отсталъ отъ него, обратившись къ устарѣвшимъ мнѣніямъ, которыя прежде самъ преслѣдовалъ. Да, Марлинскій немного дѣйствовалъ, какъ критикъ, но много сдѣлалъ, — его заслуги въ этомъ отношеніи незабвенны и гораздо существеннѣе, чѣмъ достоинство его препрославленныхъ повѣстей, хотя о первыхъ никто не говоритъ, а отъ послѣднихъ всѣ безъ ума. — Перейдемъ же къ этимъ повѣстямъ...

Художественны ли новѣсти Марлинскаго, т. е. принадлежать ли онѣ къ произведеніямъ искусства, или только, къ произведеніямъ литературы? Надобно напередъ сказать, что мы полагаемъ большую разность не только между художественнымъ и литературнымъ произведеніемъ, но и художественнымъ и поэтическимъ: литературное произведеніе мо-

жетъ быть и поэтическимъ, а поэтическое—и художественнымъ; но есть произведенія литературы, которыхъ нельзя назвать ни поэтическими, ни художественными. Въдь и «Танька, разбойница растопившая, или Царскіе Терема» и «Черная Женищина», и разныя «побѣды» и «прогулки», и «Похожденія англичскаго Милорда», и «Похожденія Совѣст-драла большого носа»—все это, безъ всякаго сомнѣнія, принадлежитъ къ литературѣ, но не имѣетъ никакого отношенія къ искусству. Мы не будемъ ни опредѣлять значенія слова «художественность», ни подробно разсматривать его, а въ короткихъ словахъ опишемъ признаки «художественности».

Художественное произведеніе рѣдко поражаетъ душу читателя сильнымъ впечатлѣніемъ съ перваго раза: чаще оно требуетъ, чтобы въ него постепенно вглядывались и вдумывались; оно открывается не вдругъ, такъ-что чѣмъ больше его перечитываешь, тѣмъ дальше углубляешься въ его организацію; уловляешь новыя, незамѣченныя прежде черты, открываешь новыя красоты, и тѣмъ больше ими наслаждаешься. Прогрессу этого разумѣнія и наслажденія нѣтъ предѣловъ, нѣтъ границъ: онъ безконеченъ... Посему, истинно-художественное недоступно массѣ и толпѣ, какъ воѣ, что ей не по плечу: оно доступно только немногимъ, но избраннымъ, — и когда время сдѣлаетъ свое дѣло, утвердительно рѣшивъ вопросъ о великости художника, толпа съ голоса этихъ избранныхъ кричитъ о его гениальности, но понимаетъ его такъ же плохо, какъ и при его появленіи... Кто теперь не убѣжденъ въ громадности генія Шекспира, и много ли людей предпочтутъ его драму какому-нибудь водевилю, или пустой и ничтожной мелодрамѣ, сшитой изъ чувствительныхъ эффектовъ?... Когда Пушкинъ явился въ свѣтъ съ «Русланомъ и Людмилой», «Кавказскимъ Плѣнникомъ», первою главою «Онегина», съ «Андреемъ Шенъе», «Наполеономъ», посланіемъ къ «Овидію», къ «Личицію» и другими дѣйствительно поэтическими, но не художественными произведеніями, — масса публики увидѣла въ

немъ генія первой величины, а когда онъ представилъ ей «Полтаву», «Бориса Годунова» и «Онегина», какъ цѣлое художественное созданіе: а уже не сказку о томъ и о сѣмъ. — масса публики рѣшила, что Пушкинъ палъ... И между первыми его произведеніями, дѣйствительно поэтическими, доставившими ему такой огромный успѣхъ, многіе-ли и теперь еще замѣтили и оцѣнили его истинно-художественныя подражанія древнимъ и Корану?... Все, что нехудожественно, но по намѣренію автора должно относиться къ искусству, съ перваго раза производитъ самое рѣзкое и сильное впечатлѣніе, бросаясь въ глаза и раздражая зрительный нервъ густотою и яркостію красокъ. Такія мнимо-художественныя произведенія скорѣе всего захватываютъ вниманіе массъ, увлекая ихъ своею доступностію, которая возможна даже для ограниченности и невѣжества. Все рѣзкое, блестящее, особенно если оно къ тому же и ново, хотя бы было и странно, и дико-оригинально, имѣетъ, при своемъ началѣ, великій успѣхъ въ толпѣ, и часто увлекаетъ даже и людей съ эстетическимъ чувствомъ, но чувствомъ невозвысившимся чрезъ развитіе, чрезъ изученіе, до эстетическаго вкуса. Однакожъ, рано или поздно—истина всегда беретъ свое: ей помогаетъ время, этотъ великій и непогрѣпительный критикъ. Если у чловека есть хоть нѣсколько эстетическаго чувства — произведеніе, восхищавшее его, при каждомъ повторительномъ чтеніи все болѣе и болѣе теряетъ цѣну въ глазахъ его, и, наконецъ, наскучаетъ ему и дѣлается противно. Сама толпа приглядывается къ нему—и лишь только явится ей другая новость въ этомъ родѣ, она сперва по привычкѣ и по преданію, будетъ еще, зѣвая, превозносить его, а потомъ и совсѣмъ забудетъ, минувшись на новинку. Итакъ, художественное произведеніе открывается не вдругъ, а постепенно: чѣмъ болѣе его читаютъ, тѣмъ понятнѣе оно становится, и тѣмъ больше наслажденія доставляетъ, выигрывая такимъ образомъ съ теченіемъ времени, обновляясь и юнѣя отъ пол-

ноты жить, — между тѣмъ, какъ мнимо-художественныя произведенія, часто ослѣпая своею новостію и приобретаая отъ этого всеобщій громкій успѣхъ, все болѣе и болѣе блѣднѣютъ и тускнѣютъ отъ каждаго новаго чтенія, и, наконецъ, гибнутъ отъ старости, которую обыкновенно называютъ устарѣlostію. Вѣчность выносить на своихъ волнахъ только одно обще-мировое и обще-человѣческое, никогда непреходящее, но дѣчно юное, и топить въ бездонной пропасти своей все частное и ограниченное условіями обстоятельствъ и требованіями мѣстности и современности...

Истинно-художественное произведеніе всегда поражаетъ читателя своею истинною, естественностію, вѣрностію, дѣйствительностію, до того, что, читая его, вы безсознательно, но глубоко убѣждены, что все, рассказываемое или представляемое въ немъ, происходило именно такъ, и совершилось иначе никакъ не могло. Когда вы его окончите — изображенныя въ немъ лица стоятъ передъ вами какъ живыя, во весь ростъ, со всеми малѣйшими своими особенностями — съ лицомъ, съ голосомъ, съ поступкомъ, съ своимъ образомъ мышенія; они навсегда и неизгладимо впечатлѣваются въ вашей памяти, такъ что вы никогда уже не забудете ихъ. Цѣлое пьесы обхватываетъ все существо ваше, пронизываетъ его насквозь, а частности ея памятны и живы для васъ только по отношенію къ цѣлому. И чѣмъ больше читаете вы такое художественное созданіе, тѣмъ глубже, ближе и неразрывнѣе совершается въ васъ внутреннее и душевное освоеніе и сдруженіе съ нимъ. Простота есть необходимое условіе художественнаго произведенія, но своей дущности отрицающее всякое внѣшнее украшеніе, всякую изысканность. Простота есть красота истинны, — и художественныя произведенія сильны ею, тогда какъ мнимо-художественныя часто гибнутъ отъ нея, и потому по необходимости прибѣгаютъ къ изысканности, запутанности и необыкновенности. Оттого-то, когда пылкій юноша прочтетъ художественное произведеніе, — онъ готовъ

спросить себя: «почему онъ не написалъ его? Вѣдь оно такъ просто и обыкновенно: вѣдется, только стоило бы присѣсть да написать», — но минимъ-художественныя произведенія почти всегда, съ перваго раза, возбуждаютъ удивленіе: они кажутся такъ поразительно новы, такъ неподражаемо оригинальны, такъ высоко мудрены, — и юная, неопытная душа не смѣетъ и думать рѣшиться на подвигъ соперничества, и съ суетѣрными благоговѣніемъ смиряется въ сознаніи своего безсилія произвести что-нибудь подобное... Вотъ почему устарѣвшіе юноши, или духовно-малолѣтныя люди, вслѣдствіе бѣдности, мелкости и ограниченности своей натуры, къ тому же еще неразвитой ученіемъ и образованіемъ, видятъ, напримѣръ, въ Гоголѣ «забавнаго писателя, вѣрно описывающаго съ натуры» и какъ будто ставятъ ему это въ униженіе. Добрые люди, — они не понимаютъ, что вѣрно списывать съ дѣйствительности невозможно, но можно вѣрно воспроизводить дѣйствительность силою творческаго духа, а то, что они называютъ на своемъ простонародномъ нарѣчьи — «вѣрно списывать съ натуры», значить вѣрно творить, и есть не недостатокъ, не порокъ, а высочайшее достоинство и необходимое условіе творческой силы въ поэтѣ. Въ искусствѣ, все невѣрное дѣйствительности есть ложь и обличаетъ не талантъ, а бездарность. Искусство есть выраженіе истины, и только одна дѣйствительность есть высочайшая истина, а все внѣ ея, т. е. всякая выдуманная какимъ-нибудь «сочинителемъ» дѣйствительность есть ложь и клевета на истину... Въ истинно-художественномъ произведеніи всѣ образы новы, оригинальны, ни одинъ не повторяетъ другого, но каждый живетъ своею особою жизнью. Какъ бы ни были многочисленны и разнообразны творенія художника, — онъ ни въ одномъ изъ нихъ и ни одною чертою не повторитъ себя.

Рассмотрите новѣсти Марлинскаго на основаніи изложенныхъ нами мыслей о художественности въ искусствѣ: что выйдетъ?...

Основные стихии повестей Марлинского, приписываемых имъ общимъ голосомъ, суть—народность остроуміе и живопись трагическихъ страстей и положеній. Посмотримъ, справедливо ли это, и если справедливо, то до какой степени. Начнемъ съ «Испытанія»—первой повѣсти въ первомъ томѣ, и перелистнемъ ее. Повѣсть начинается описаніемъ гусарской пирушки на именинахъ эскадроннаго начальника Гремина. Разговоръ началъ «томиться», и смѣхъ, «эта клеопатрина жемчужина, растаявъ въ бокалахъ». Изъ гостей, майоръ Стрѣлинскій завтра ѣдетъ въ Петербургъ,—хозяинъ вызываетъ его на тайное объясненіе и дѣлаетъ ему порученіе, по смыслу котораго названа и повѣсть.

„Послушай, Валеріанъ! сказалъ ему Греминъ; ты, я думаю, помнишь ту черноглазую даму, съ золотыми колосьями на головѣ, которая свела съ ума всю молодежь на балѣ у французскаго посланника, три года тому назадъ, когда мы оба служили въ гвардіи.

— Я, скорѣе, забуду, съ которой стороны садиться на лошадь!—вспыхнувъ, отвѣчалъ Стрѣлинскій;—она... но далѣе: ты былъ влюбленъ въ нее?

„Былъ и есть... мнѣ отвѣтали взаимностію, меня ввели въ домъ ея мужа...

— Тамъ она за мужемъ?

— „По несчастію, да. *Расчетливость* родныхъ приковала ее къ живому трупу, къ ветхому надгробію челоуѣческаго и графскаго достоинства. Надо было покориться судьбѣ и *питаться искрами влзлдовъ и дымомъ надежды*. Но между тѣмъ, *мы* въдыхали, семидесяти-лѣтній супругъ *нащипывалъ*—и, наконецъ, врачи *кочевывали* ему ѣхать за границу... Старикъ *взялъ* ее съ собою... При разлукѣ мы были неутѣшны, и помѣнялись, какъ водится, кольцами и объѣмами неизменной вѣрности. Съ первой станціи она писала ко мнѣ дважды; съ третьяго почлега еще одно письмо; съ границы поручила одному встречному знакомцу *инѣ* *наивнаться*, а съ тѣхъ поръ ни отъ ней, ни объ ней *нинакого* извѣстія: словно въ воду канула!

— Ужели жъ ты не писалъ къ ней? Любовь безъ глупостей на письмѣ и на дѣлѣ все равно, что разводъ безъ музыки. Бумага все терпитъ.

— „Да я-то не терплю бумаги. Притомъ, куда бы мнѣ адресовать свои брандсбургельныя посланія? *Витеръ плохой проводникъ для нлзм:*

ности, а лживый романтизм не открывает мнѣ тѣста ея прощанія. Потому иныя заботы по службѣ и своимъ дѣламъ не давали мнѣ досуга заняться сердцемъ. Признаюсь тебѣ, я ужъ сталъ было забывать мою прекрасную Алину. Время залививаетъ даже ядовитыя раны ненависти: мудрено ли жъ ему выдымать фосфорное пламя любви? Но вчерашняя почта охватила вдругъ мою страсть и надежды. Ровесникомъ, съ числѣмъ столичныхъ новостей, пишетъ мнѣ, что Алина возвратилась изъ-за границы въ Петербургъ — мила, какъ сердце, и умна, какъ свѣтъ,—что она сверкаетъ звездой на модномъ горизонтѣ, что уже дамы, не смотря на соперничество, переняли у ней какой-то чудесный манеръ ридикюля, а мужчины выучились пришепetyвать, страхъ какъ приятно...

— Тѣмъ хуже для тебя любимый Николай! Память прежней привязанности никогда не бывала въ числѣ карманныхъ добродѣтелей у баловницъ большого свѣта.

— „Въ этомъ-то все и дѣло, любезнѣйшій! Отлучка полкового командира привязала меня къ службѣ; между тѣмъ, какъ я сію здѣсь сидѣмъ, она, можетъ, измѣняетъ мнѣ. Соживіе для меня тяжелѣе самой неблагопріятной извѣстности. Послушай, Валеріанъ! я тебѣ знаю давно, и люблю тебя такъ же давно, какъ знаю. Коротко и просто: испытай *вѣрность Алины*“.

А, такъ вотъ въ чемъ дѣло, и вотъ что значить — «испытаніе!» Разумѣется, Стрѣлинскій отговаривается; а наконецъ соглашается — и ѣдетъ. Разумѣется, что Стрѣлинскій знакомится съ Алиною Александровною Звѣздичъ, сначала вольчится за нею по порученію друга, потомъ влюбляется въ нее по уши, самую высокою платоническою страстію, равно какъ и она въ него. Разумѣется, Греминъ приходитъ въ бѣшенство, узнавъ о ихъ близкой свадьбѣ, пріѣзжаетъ, объясняется съ нимъ; они говорятъ другъ другу оскорбительныя остроты и условливаются о мѣстѣ рокового поединка. Разумѣется, что Греминъ, пріѣхавъ на объясненіе къ Стрѣлинскому, увидѣлъ его «преlestную» и «невинную» сестру, которой онъ посылалъ съ братомъ поклонъ въ своемъ дружескомъ съ нимъ разговорѣ, невыписанномъ нами до конца, длинноты его ради. Разумѣется, Греминъ влюбился въ нее, а она влюбилась въ него, смекнула о дуэли и, какъ

ангель-примиритель, вовремя явилась на мѣсто поединка, — и повѣсть заключилась двумя свадьбами. Въ произведеніяхъ такого рода по началу можно знать и середину, и конецъ, потому что въ такихъ произведеніяхъ все — общія мѣста и истертые пружины. Итакъ, оставимъ въ сторонѣ подробный разборъ повѣсти, и, вѣсто его, сдѣлаемъ читателю нѣсколько вопросовъ:

Выписанное нами изъ повѣсти мѣсто есть введеніе въ повѣсть: авторъ васъ знакомитъ съ ея дѣйствующими лицами, и ихъ разговоромъ завязываетъ нитку повѣсти. Спрашиваемъ: если Стрѣлинскій былъ задумчивымъ другомъ Грешину, такъ что тотъ почиталъ себя въ правѣ сдѣлать ему такое порученіе, — то зачѣмъ же онъ, въ самую минуту порученія, сталъ рассказывать ему о своей любви? Неужели его другъ не зналъ о ней прежде? Да для того, отвѣчаемъ мы же сами, — чтобы читатели узнали въ чемъ дѣло; только въ художественныхъ созданіяхъ лица знакомятъ себя читателю дѣйствіемъ, а не рассказами о себѣ въ родѣ слѣдующихъ: «характеръ у меня такой-то, отъ рода нѣко столько-то лѣтъ, влюбленъ въ такую-то, и вотъ какъ это случилось». Спрашиваемъ: каково бы ни было чувство мужчины, если только въ немъ человѣческая душа и человѣческое сердце, — во всякомъ случаѣ, не должно ли въ его чувствѣ непременно быть хотя сколько-нибудь этого дѣвственнаго цѣломудрія, вслѣдствіе уваженія и къ себѣ и къ достоинству женщины, этого дѣвственнаго цѣломудрія, которое открываетъ свою задумчивую тайну нехотя, робко, говоритъ о ней не прямо, а какъ бы намеками, не многословно, а отрывисто, не громко, а тихо, какъ бы боясь, чтобы его не подслушали самыя стѣны? Такъ ли объяснялся объ этомъ щекотливомъ предметѣ Грешинъ?... Боже мой, сколько въ его словахъ претензій на остроуміе, которое, отъ этого самаго, такъ натянуто! И это ли языкъ чувства, весь склеенный изъ азбучныхъ афоризмовъ, ходячихъ сентенцій и остротъ, вычитан-

ныхъ изъ плохихъ романовъ! Какая въ разговоръ Грешина безсердечность, холодность! Какое отсутствіе всякой естественности! И что похожего на истину въ самомъ порученіи! Оно гораздо приличнѣе школьникамъ, недавно вышедшимъ изъ пансіона, чѣмъ удалымъ и храбрымъ гусарамъ. Когда вы прочитываете этотъ разговоръ, — западетъ ли вамъ въ душу хотя одно слово изъ него? остается ли въ вашей памяти хотя одна черта этихъ двухъ безличныхъ лицъ и безхарактерныхъ характеровъ?...

А подробности, а краски повѣсти?... У насъ нѣтъ ни мѣста, ни времени, ни охоты выписывать, напримѣръ, остроумное описаніе Сѣнной площади, наканунѣ Рождества, гдѣ «опианные гуси, забывъ капитолійскую гордость славно выглядываютъ изъ вѣзовъ, ожидая покупателя, чтобы у него погрѣться на вертелѣ; цѣлыя племена свиней всѣхъ породъ, на всѣхъ четырехъ ногахъ съ загнутыми хвостиками, впервые послушные дисциплинѣ, стройными рядами ждутъ ключницы и дворецкихъ; чтобы у нихъ на запяткахъ совершить омирный визитъ на поварню; и, кажется, съ гордостію, любясь своею бѣлизною, говорятъ вамъ: «я разительный примѣръ усовершенствованности природы: бывъ до смерти упрямомъ неопрятности, становлюсь эмблемою вкуса и чистоты, заслуживаю лавры на свои окорока, сохраняю платья вашимъ модницамъ и зубы вашимъ красавицамъ» и прочее, и прочее. Все въ такомъ же родѣ — и о простосердечномъ баранѣ — «этой четвероногой идиоткѣ», и объ эгомстахъ телятахъ и т. д.; перечтите сами, и потомъ сами себѣ отдайте отчетъ, до какой степени все это замысловато, игриво, мило и смѣшно. Перечитывать и отдавать себѣ отчетъ въ перечитанномъ очень полезно: это избавляетъ отъ многихъ убѣжденій, составленныхъ по первому впечатлѣнію, рѣдка истинныхъ, и поддерживаемыхъ привычкою, памятью, авторитетомъ, общимъ говоромъ. И потому, советуемъ вамъ и просимъ васъ повнимательнѣе заглянуть въ «Испытаніе» отъ

24 до 46 страницы, чтобы спросить самих себя, до какой степени описанный въ нихъ разговоръ въ маскарадѣ свѣтской женщины съ свѣтскимъ мужчиною, отличается «свѣтскостію», и не выхваченъ ли онъ изъ того кружка общества, котораго свѣтскость, есть болѣе или менѣе неудачное подражаніе «свѣтскости»?...

Конечно, любезность близко граничитъ съ свѣтскостію, но ужъ, вѣроятно, любезность легкая и вдохновенная, какъ импровизация, простая, естественная, какъ салонный разговоръ, а не книжная, не взятая цѣликомъ напрокатъ ихъ общими мѣсть плохого романа. Есть разница между пѣхотнымъ поручикомъ - мечтателемъ, который слыветъ въ извѣстномъ кружку общества за образованнаго и начитаннаго кавалера и говорить барышнямъ любезности, взятые напрокатъ изъ повѣстей Марлинскаго, и между блестящимъ гусаромъ, принадлежащимъ къ высшему кругу общества... А какъ вамъ покажутся подобныя фразы: «разговоръ склонился на летучія новости, которыми всегда испещрена столичная атмосфера»; «амуръ былъ настройщикомъ этого лада»; «между тѣмъ очи обоихъ вели столь сильный перекрестный огонь, что онъ не только имъ, но и постороннимъ могъ казаться потѣшнымъ» (дѣйствительно потѣшенъ); «возвратить улытку разговора на...»

Не знаю, какъ для васъ, — у всякаго свой вкусъ, — но для меня нѣтъ ничего въ мірѣ несноснѣе какъ читать, въ повѣсти или драмѣ, вмѣсто разговора — рѣчи, изъ которыхъ спивались поэтическими уродами классическія трагедіи. Поэтъ берется изображать мнѣ людей не на трибунѣ, не на кафедрѣ, а въ домашнемъ быту ихъ частной жизни, передаетъ мнѣ разговоры, подслушанные имъ у нихъ въ комнатѣ, разговоры, часто оживляемые страстію, которая можетъ измѣнять и самый разговорный языкъ, но которая ни на минуту не должна лишать его разговорности и дѣлать тирадами изъ книгъ, — и я, вмѣсто этого, читаю рѣчи, составленные по

правиламъ старинныхъ риторикъ. Согласитесь, что это просто невыносимо и перечтите въ «Испытаніи» страницы 73 — 74 и 121 — 124: въ первомъ мѣстѣ, молоденькая пансіонерка по книжному разсуждаетъ о Генрихѣ IV, «отцѣ и другѣ своихъ подданныхъ», и о Петрѣ Великомъ, «скромномъ въ счастіи и непоколебимомъ въ бѣдѣ» — только видно, что она еще не успѣла забыть «Всеобщей Исторіи» г. Байданова! а во второмъ, просто является героинею Расиновской трагедіи. Послушайте: «Но знайте, князь Греминъ, если рѣчь правды и природы недоступна душамъ, воспитаннымъ кровавыми предразсудками, — то вы не иначе достигнете до моего брата — какъ сквозъ это сердце: не пожалѣвъ славы — я не пожалѣю жизни!» Скажите, Бога ради, кто, когда и гдѣ говорить такимъ языкомъ? неужели эта натура, дѣйствительность?...

Итакъ: ни характеровъ, ни лицъ, ни образовъ, ни истины положеній, ни правдоподобія въ интригѣ, — а, между тѣмъ, всетаки просвѣчиваетъ какой-то талантъ разсказа, иногда большое умѣнье блеснуть эффектомъ, и сказка, въ первый разъ, читается до конца, хотя и съ пропусками растянутыхъ мѣстъ и неидущихъ къ дѣлу вставокъ. Что жъ? — и то хорошо:

Для сказки и того довольно,
Коль слушаютъ ее безъ скуки, добровольно!

Перейдемъ отъ «Испытанія» къ «Фрегату Надеждѣ» — повѣсти, пользующейся особенно знаменитостію и славою, и написанной гораздо съ большими претензіями на глубину и силу изображенныхъ въ ней страстей. Княгиня Вѣра*** пишетъ письма къ своей родственницѣ въ Москвѣ, письма совершенно пансіонскія, безпрестанно блестящія фразами въ родѣ слѣдующихъ: «Я такъ пышно скучала, такъ разсѣянно грустила, такъ неистово радовалась, что ты бы сочла меня за Отаитянку на парижскомъ балѣ» «вздуť сравненіе до гиперболы»; «вплетать въ гирлянду разсказа кой-какіе вопросы» и пр. Дѣло, какъ извѣстно всему читающему русскому міру, въ

томъ, что Вѣра*** увидѣла на фрегатѣ «Надежда» очень интереснаго капитана, котораго «одно слово, одинъ взглядъ двигали громаду корабля — эту геніальную мысль, одѣтую въ дубъ и желѣзо, окриленную полотномъ», и извѣщаетъ о томъ свою пріятельницу, называя ея милочкою, душечкою и другими пансіонскими лѣзностями. Эта княгиня Вѣра*** не имѣетъ и признака того, что называется въ искусствѣ характеромъ. Она родная сестра всѣмъ женскимъ портретамъ, вышедшимъ изъ подъ однообразнаго пера Марлинскаго. Впрочемъ, эта безхарактерность есть общій характеръ всей многочисленной семьи лицъ, выдуманныхъ Марлинскимъ, и мужчинъ и женщинъ: самъ ихъ сочинитель не могъ бы различить ихъ одно отъ другого даже по именамъ, а угадывалъ бы развѣ только по платью. Едва-едва можете вы догадываться, что хотѣлъ онъ изобразить въ томъ или другомъ лицѣ, а когда догадаетесь по его описаніямъ (а не изображеніямъ), то удивляетесь неглубокости его взгляда на человѣческую природу, который никогда не проникалъ въ ея глубь, но всегда скользилъ по поверхности, зацѣпляясь только за ея неровности и рѣзкости. Во всѣхъ герояхъ и героиняхъ этого плодовитаго пувелиста, только резонерство и чувственность, но ни малѣйшей тѣни чувства. Женщины его совершенно чужды того, что должно составлять идею, сущность, ореолъ, кроткое сіяніе ихъ пола; того, въ чемъ заключается и нѣжность, и мягкость ихъ чувства, при самой его глубокости и энергіи, при самой даже страстности — и прелесть и грація ихъ плѣнительныхъ движеній, соединенныя съ благородствомъ и достоинствомъ, которыя, даже и беззащитныхъ, окружаютъ ихъ хранительнымъ эи-ромъ благоговѣнія, непонятною робостію и смущеніемъ, смиряющимъ самую дерзость и наглость — словомъ, того, почему женщина есть представительница на землѣ любви и красоты, и безъ чего она — не женщина: въ нихъ нѣтъ такъ называемой Нѣмцами женственности (Weiblichkeit). Всѣ мужчины его — какіе-то отвлеченныя и безличныя олицетворенія бѣше-

ныхъ страстей фосфорической натуры, чуждой всякой глубокости, неспособной возвыситься ни до какого чувства... Итакъ, княгиня Вѣра*** ни больше ни меньше, какъ пансіонерка, рано начитавшаяся романовъ и потому фразерка въ поступкахъ и словахъ своихъ. Перечтите ея письма къ родственницѣ и найдите въ нихъ хотя слабый проблескъ чувства, хотя одну черту женскаго ума и характера. Нѣтъ, вмѣсто всего этого, вы увидите сатирическія выходки, натинутыя остроты противъ свѣта, фразы, какъ будто выбравныя изъ ученическихъ упражненій пансіонерки, и ни признака живого трепета юнаго и женственнаго сердца, радостно и весело откликающагося на всякое новое для него явленіе въ прекрасномъ Божіемъ мірѣ. Кавониръ упалъ за бортъ въ море... но не бойтесь: его спасетъ храбрый капитанъ, вдохновенный любовію къ княгинѣ Вѣрѣ***, и онъ, въ самомъ дѣлѣ, бросился и чуть не утонулъ и самъ. Княгиня, какъ и слѣдуетъ героинѣ повѣсти, падаетъ въ обморокъ, и когда открываетъ глаза, передъ нею — онъ... Какая дѣтски-добродушная и, притомъ, устарѣвшая манера завязывать интригу романа и повѣсти! Но вотъ Правиль на вечеръ у княгини. Какъ морякъ, онъ не привыкъ къ свѣту, робокъ и застѣнчивъ: вошедъ въ залу онъ смутился отъ уставленныхъ на него наглыхъ лорнетовъ; но когда — пишетъ онъ къ своему другу — «хозяйка, приставъ съ дивана, такъ одобрительно меня привѣтствовала, что душа моя распрямилась вдругъ... я гордо поднялъ голову, я окинулъ всѣхъ свѣтлымъ окомъ: что значила для меня невзгода (?) всѣхъ пустоцвѣтовъ и пустозвоновъ гостиниой, когда я былъ уже обласканъ тою, чья единственно ласка дорога мнѣ!» Онъ садится подлѣ княгини, окруженной гостями, и начинаетъ съ ней по книжному резонерствовать о постоянствѣ моряковъ и любви къ отечеству, — и всѣ приходятъ отъ него въ восторгъ, какъ будто салонъ допускаетъ и дѣльныя сужденія взрослыхъ людей, не только заученныя наизусть умство-

ванія школьниковъ... Этимъ умнымъ ребенкомъ такъ восхищались, что кто-то называлъ его морскимъ дѣвомъ, а левъ, на свѣтскомъ нарѣчьи, великое титло; но вдругъ одинъ дипломатъ, думая, что «левъ» не знаетъ пофранцузски, тогда какъ тотъ только изъ патриотизма говорить порусски, сказалъ почти вслухъ: «Et cette fois il n'est pas si bête qu'il en a l'air»... Тогда нашъ романическій герой «бросилъ пожирающій взглядъ на наглеца, наклонился къ нему и въ полголоса произнесъ (а не сказалъ—потому что всѣмъ извѣстно: говорить только въ низкомъ слогѣ, а въ высомъ пропозносятся): Si bon vous semble, mr., nous faisons notre assaut d'esprit demain à 10 heures passées. Libre à vous de choisir telle langue qu'il vous plaira — celles de fer et de plomb y comprises. Vous me saurez gré, j'espère, de m'entendre vous dire en cinq langues européennes, que vous êtes un lâche». Итакъ, сперва резонёрство, потомъ ссора, и наконецъ — драка: недоставало только за волоса... Прекрасное общество, истинный салонъ... Разумѣется, дипломатъ оказался на дуэли трусомъ, а Правинъ, порисовавшись и полѣтушничавшись передъ нимъ, оставилъ ему жизнь изъ одного презрѣнія... И вотъ мы уже прочли 73 страницы повѣсти, а повѣсти все еще нѣтъ: это пока только введеніе, растянутое до нельзя неидущими къ дѣлу вставками и разсужденіями. Но главное уже сдѣлано, хотя и слишкомъ поздно: авторъ свелъ своихъ героевъ и поставилъ ихъ на короткую ногу другъ съ другомъ. Правинъ любить, да еще какъ любить! «Океанъ владѣлъ и сохранилъ его дѣвственное сердце, какъ многоцѣнную перлу — и его то, за милый взглядъ, бросилъ онъ, подобно Клеопатрѣ, въ укусъ страсти!» Вслѣдствіе этого, встрѣтившись съ княгинею въ Эрмитажѣ, онъ имѣлъ съ нею разговоръ, столько-же длинный, сколько и страстный, «произнесъ» ей нѣсколько витиеватыхъ «рѣчей», изъ которыхъ въ одной сравниваетъ ее съ Грановитою палатою, и говорить, что онъ будетъ всѣмъ, чѣмъ ни велитъ она

ему быть — и поэтомъ, и музыкантомъ и живописцемъ, и героемъ, а въ послѣднемъ случаѣ, «сожжетъ ея сердце лучами своей славы» (стр. 122). Затѣмъ они поцѣловались и разстались. И все это длинное дѣйствіе, занимающее восемь страницъ (118—126), было разыграно въ Эрмитажѣ!... Слѣдствіемъ этой правдоподобной и превосходной сцены было предлинное разсужденіе автора о любви, обнаруживающее его личный взглядъ на это чувство. Онъ называетъ платонизмъ, (до пошлости изношенное слово!) «милымъ каплуномъ» и «Калліостро», и совѣтуетъ дамамъ и юношамъ не слишкомъ довѣрять ему, чтобъ «не проснуться отъ угара съ измятымъ чепчикомъ и, можетъ быть, съ лишнимъ раскаяніемъ» (стр. 129—136). Далѣе, на нѣсколькихъ страницахъ, слѣдуютъ объясненія автора, почему то и другое, въ его повѣсти, случилось такъ, какъ случилось. Подобныя объясненія всегда бываютъ утомительны и скучны: они—вѣрное ручательство, что повѣсть не создана, а сшита на живую нитку. Въ творчествѣ, дѣйствіе само за себя говорить и не нуждается въ объясненіяхъ поэта. Въ такой повѣсти или драмѣ говорятъ и дѣйствующія лица, но только не съ читателемъ, а другъ съ другомъ, и каждое для самого себя и за самого себя; но тогда-то читатель и понимаетъ ихъ. Прочтите «рѣчь», которую «произнесъ» Правинъ своей Вѣрѣ на цѣлыхъ двухъ страницахъ (148—150), и спросите себя: говорится-ли такъ въ дѣйствительности, и для себя, или для читателя продекламировалъ ее герой повѣсти? И есть-ли въ этой «рѣчи» хотя одно задушевное выраженіе — отголосокъ взволнованнаго чувства, которое говорило-бы чувству? Вотъ нѣсколько строкъ для образчика изъ этой «рѣчи»; «У меня доброе сердце и можетъ-ли быть злобно сердце, полное любовью, любовью къ тебѣ!!.. Зато у меня буйная кровь... у меня кровь — жидкій пламень: она бичуетъ змѣями мое воображеніе, она палитъ молніями умъ!... Я-ли виноватъ въ этомъ? Я-ли создалъ себя? За каждую каплю твоихъ слезъ,

я-бы готовъ отдать послѣднія песчинки моего бытія, послѣднюю перлу моего счастья! Да, нѣтъ мнѣ отнынѣ счастья! На одной вѣткѣ распустились сердца наши—виѣсть должны-бы они цвѣсть; но судьба разрываетъ, рознитъ насъ! Пускай-же океанъ протечетъ между нами—онъ не зальетъ моей любви, лишь-бы ты, ты, сокровище души моей, была невредима отъ этого пожара». Скажите, ради самого Бога: неужели эти красивыя щегольскія фразы, эта блестящая риторическая мишура есть отголосокъ чувства, изліяніе страсти, а не выраженіе затаеннаго желанія рисоваться, кокетничать своимъ чувствомъ, или своею страстію? И добро-бы всѣ эти фразы были въ письмѣ, а то въ разговорѣ, въ монологѣ!...

Правинъ оставилъ передъ бурей свой фрегатъ, чтобы провести ночь въ объятіяхъ любви и наслажденія, а буря страшно разразилась громомъ и молніями и заставила его проговорить такую рѣчь:

„Ты моя! Въра моя! Что жъ мнѣ нужды до всего остального—пускай гибнутъ люди, пускай весь свѣтъ разлетится въдребезги! Я подыму тебя надъ обломками и послѣдній вздохъ мой разрѣшится поцѣлуемъ... О, какъ пылали, какъ жгучи твои уста въ эту минуту, очаровательница!... Знаешь ли, промолвилъ онъ тише, *сверкая и вращая очами, какъ ошаньный* (какая возмущающая душу и оскорбляющая чувство картина!) — ты должна любить меня, поклоняться мнѣ болѣе, чѣмъ когда-нибудь... знаешь ли, что я богаче теперь Родильда, самовластіе англійскаго короля, что я облеченъ въ гибельную силу, какъ судьба?—Да, я могу сорить головами людей по своей прихоти, и за каждый твой поцѣлуй платить сотнею жизней—не жизни враговъ—о, нѣтъ! это можетъ всякій разбойникъ. Это слишкомъ обыкновенно... нѣтъ, говорю тебѣ, я бросаю на вѣтеръ жизнь моихъ товарищей, моихъ друзей и братьевъ — а за нихъ во всякое другое время готовъ бы я *источить кровь на камень, и изрѣзать сердце въ лоскутки* (стр. 189)“.

И эта поэзія, а не риторика?... И это вдохновеніе таланта?... Если хотите, тутъ дѣйствительно есть и поэзія, и талантъ, и вдохновеніе: иначе бы это и не могло такъ нравиться большинству публики: но какая поэзія, какой талантъ,

какое вдохновеніе?—вотъ вопросъ! Это поэзія, но поэзія не мысли, а блестящихъ словъ, не чувства, но лихорадочной страсти; это талантъ, но талантъ чисто внѣшній, не изъ мысли создающій образы, а изъ матеріи выдѣлывающій красивыя вещи; это вдохновеніе, но не то внутреннее вдохновеніе, которое, неожиданное, безъ воли человѣка, озаряетъ его разумъ внезапнымъ откровеніемъ истины, вдохновеніе тихое и кроткое, широкое и глубокое, какъ море въ ясный и безвѣтренный день,—но вдохновеніе насильственное, мятежное, бурливое, раздражительное, возбужденное волею человѣка, какъ бы отъ приѣма опиума. А между этими вдохновеніями большая разница — такая же, какъ между мелодією тихаго чувства и ревущими диссонансами страсти, между гармонією свѣтлаго восторга и нестройнымъ крикомъ буйной вакханаліи, мутнымъ и нечистымъ упоеніемъ сладострастной оргіи... Переполненное чувство безмолствуетъ и даетъ себя чувствовать немногими, но многозначущими словами, которыя подсказываются вдохновеніемъ. Самая буря страстей выражается не «рѣчами», а открытою рѣчью, похожею на рокоть грома,—и ревущій потокъ ея отрывистыхъ рѣчей вытекаетъ изъ вдохновенія. Поэтъ можетъ изображать и страсть, потому что она есть явленіе дѣйствительности; но, изображая страсть, поэтъ не долженъ быть въ страсти: страсть должна быть предметомъ его поэтическаго созерцанія въ минуту творчества, но не имъ самимъ. Истинное вдохновеніе всегда спокойно-созерцательно: но вполне обладаетъ своимъ предметомъ, но не даетъ ему овладѣть собою, хотя и видитъ и чувствуетъ его. Изображаемое поэтомъ, оно, разъ овладѣвъ имъ, увлекаетъ его за собою, изъ свободныхъ творческихъ образовъ становится изложеніемъ его личныхъ чувствъ и мнѣній, до которыхъ никому нѣтъ дѣла. И въ такомъ случаѣ, чѣмъ живѣе и ближе къ натурѣ изображеніе страсти, тѣмъ больше возбуждаетъ оно отвращеніе, вмѣсто того, чтобы восхищать и трогать—и нечисты, грѣшны его впечатлѣнія на душу чита-

теля, если только онъ поддается имъ... Сначала чтеніе такихъ блестящихъ и увлекательныхъ произведеній приводитъ душу въ раздражительное состояніе, многими принимаемое за восторженное; но послѣ на душѣ остается какая-то усталость, какъ бы послѣ безпокойнаго сна, или тяжелой работы. Чтобы прочесть во второй разъ, неостанетъ силъ... Подобныя произведенія не удовлетворяютъ разума, потому что въ нихъ все произвольно, все условно:—вы видите, что это такъ; но видите, что могло бы быть совсѣмъ иначе, и недоумѣваете, почему это представлено такъ, а не иначе. И вотъ откуда происходятъ, въ подобныхъ произведеніяхъ, такое множество отступленій, вставокъ, разглагольствованій и ораторскихъ рѣчей: авторъ говоритъ за свою повѣсть, а не повѣсть говоритъ сама за себя. Тутъ автору полная воля, совершенный просторъ, и потому удивительно ли, если у него мужъ княгини Вѣры***, до 191 страницы только ѣвпій и пившій, какъ безсловесное животное, на 191 страницѣ вдругъ дѣлается и гордъ, и благороденъ, и уменъ, и на полутора страницахъ говоритъ экспромтомъ «рѣчь», сочиненіе которой сдѣлало бы честь самому Правину?... Вообще, если вы зажмурите глаза, слушающая «рѣчи» дѣйствующихъ лицъ во всѣхъ повѣстяхъ Марлинскаго, то, право, никакъ не разгадаете, кто говоритъ—морской офицеръ, дикій Черкесъ, ливонскій рыцарь, русскій князь временъ междоусобія, русскій бояринъ XV или XVI вѣка, мужчина или женщина, старикъ или юноша, Аммалатъ-Бекъ или будочникъ-ораторъ... А между тѣмъ, повторяемъ, не только вдохновляться, но и раздражаться не всякій можетъ. Есть разница между рыбьею натурою много человѣка, который живетъ, какъ дремлетъ, и кипучею, живою, хотя и неглубокою натурою человѣка, котораго жизнь похожа на водоворотъ, не перемѣняющій мѣста, но всегда бурливый и безпокойный. И вѣншій талантъ имѣетъ свое достоинство, потому что не всякій можетъ имѣть и его. Пишутъ многіе и много, но успѣхомъ, даже и въ толпѣ, пользуются очень

немногіе,—и эти пользующіеся всегда цѣлою головою выше тѣхъ, которые имъ удивляются...

Изъ повѣстей Марлинскаго, изображающихъ сильныя страсти, лучшая, безъ всякаго сомнѣнія — «Страшное Гаданіе». Ея идея принадлежитъ не ему: она была уже истерта многими, но, кажется, на Руси узнали о ней изъ «Ночи на Рождество» Цшюкке. Цѣлаго въ «Страшномъ Гаданіи», какъ и во всѣхъ повѣстяхъ Марлинскаго, нѣтъ, но есть мѣста истинно-поэтическія, какъ бы не въ примѣръ всему остальному, написанному тѣмъ же авторомъ, — блестящія признаками неподдѣльнаго дарованія. Поѣздка героя повѣсти, сцена въ крестьянской избѣ, многіе подробности гаданья, все это прекрасно и увлекательно. Даже обращеніе къ лунѣ, начинающееся словами: «Тихая сторона мечтаній» (стр. 226). отзывается чувствомъ. Только характеръ дьявола ужъ слишкомъ носить на себѣ признаки тогдашней моды изображать чертей: теперь онъ не вездѣ страшенъ, и мѣстами смѣшонъ. Но цѣлое повѣсти... Позвольте, начнемъ съ начала.

«...Я былъ тогда влюбленъ, влюбленъ до безумія! О, какъ обманывались тѣ, которые, глядя на мою насмѣшливую улыбку, на мои разсѣянные взоры, на мою небрежность рѣчей въ кругу красавицъ, считали меня равнодушнымъ и хладнокровнымъ. Не видѣли они, что *глубокія чувства* рѣдко проявляются именно потому, что они глубоки, но еслибъ они могли заглянуть въ мою душу и, увидя, понять ее — онѣ бы ужаснулись! *Все, о чемъ такъ любятъ болтать поэты, чѣмъ такъ легкомысленно играютъ женщины, въ чемъ такъ стараются притворяться любовники, во мнѣ кипѣло, какъ расплавленная мѣдь, надъ которою и самые пары, не находя исхода зажигались пламенемъ.* Но мнѣ всегда были смѣшны до жалости притворные вздыхатели съ своими пріячными сердцами, мнѣ были жалки до презрѣнія записные волокиты съ своимъ зининимъ восторгомъ, своими заучеными изъясненіями; и *попасть въ число ихъ для меня казалось всею страшнымъ.*

«Нѣтъ, не таковъ былъ я: въ любви моей бывало много страннаго, чудеснаго, даже дикаго; я могу быть понять, или непонятенъ, но смѣшонъ никогда. *Пыкая, мучная страсть катится, какъ лава:*

она увлекаетъ и жжетъ все вострыное; разрушаясь сама, разрушаетъ въ пепель препоны, и хоть на мигъ, но превращаетъ въ кипучій котелъ даже холодное море“.

Весь этотъ отрывокъ—пародія на одно мѣсто въ «Джяуръ» Байрона. Но Байроновъ джяуръ—сынъ пламеннаго Востока, Азіятецъ душою и тѣломъ, а потому и тигръ, слѣдственно, животное благородное и поэтическое, хоть тѣмъ не менѣе все-таки животное... Онъ говоритъ о своей кипучей крови и знойныхъ страстяхъ совѣтъ не для того, чтобы рисоваться ими, но на смертномъ одрѣ, исповѣдуясь передъ монахомъ, и для того, чтобы неистовствомъ звѣрскихъ страстей своихъ хотя нѣсколько оправдать свои кровавые грѣхи. Этотъ джяулъ былъ христіанинъ, и потому не могъ, хотя на краю могилы, не смотрѣть на свои страсти, какъ на несчастіе. Вообще, сила страстей отнюдь не то же самое, что глубокость души; эта сила скорѣе бываетъ признакомъ мелкости натуры при кипучей крови. Потому, всякая страсть, хотя дикая, не говоритъ о себѣ, не остритъ надъ пріячными сердцами и не боится попасть въ ихъ число... Какъ въ дѣйствительности, такъ и въ искусствѣ, все говоритъ само за себя, т. е. дѣломъ, а не словами и не увѣреніями. Чтò не равно своему идеалу, но силится дотянуться до него,—то необходимо натягивается. Вотъ отчего во многихъ повѣстяхъ такъ много бываетъ натяжекъ. Но обратимся къ повѣсти. Хотя герой ея и божится, что его страсть глубока, какъ море, но мы видимъ въ ней одну чувственность, и больше ничего. Вотъ почему ему видѣлся образъ танцующей Полины, и вотъ почему мучила его мысль, что она слушаетъ ласкательства какого-нибудь счастливица, который вертится съ нею, и можетъ быть, отвѣчаетъ на нихъ (стр. 203): только истинное, высокое чувство чуждо ревности и полно взаимнаго довѣрія. Оно не жжетъ, но грѣетъ; оно не пылаетъ пожаромъ, но теплится кроткимъ свѣтомъ. Въ немъ все одухотворено, и самое желаніе чисто и дѣвственно. Въ немъ нѣтъ громкихъ фразъ, нѣтъ пышнаго

многословія; взглядъ, брошенный украдкой, недоговоренное слово, кроткая улыбка замѣняютъ въ немъ «рѣчи», и если оно заговорить — его рѣчь будетъ полна глубокой, энергической, но, въ то же время, и свѣтлой, тихой, благоуханной поэзіи, гдѣ все — теплота и свѣтъ, но безъ огня, дыма и чада... Повторяемъ, и страсть имѣетъ свою поэзію и можетъ быть предметомъ поэтического изображенія; но только поэтъ долженъ изображать ее, какъ предметъ, видъ его и самъ по себѣ существующій; а не пѣть ей гимны, не выдавать ее, съ божбою и влѣтвами, за высшій цвѣтъ человѣческаго чувства, и не дѣлать изъ нея апотеоза. — Посмотрите, что это такое:

„Не умю описатьъ, что со мною стало, когда, обвивая тоякій станъ ея рукою трепетною отъ наслажденія, я пожималъ другой ея прелестную ручку: казалось, кожа перчатокъ приняла жизнь, передавала бѣшеніе каждой фибры... казалось, *весь составъ Полины прицѣпился искрами!* Когда помчались мы въ бѣшеномъ вальсѣ, ея летающіе душистые локоны касались иногда губъ моихъ; я вдыхалъ ароматный пламень ея дыханія, мои блуждающіе взгляды проникали сквозь дымку — и видѣлъ, какъ бурно вздымались и опадали *блѣднѣющіе помшары* (?...), волнующія мои вздохами, видѣлъ какъ пылали щеки ея моимъ жаромъ, видѣлъ — пѣтъ, я ничего не видалъ... полъ исчезалъ подъ ногами; казалось, я лѣчу по воздуху, съ сладостнымъ зампраніемъ сердца“ (стр. 235).

Чтобы окончательно выразить нашу мысль, сдѣлаемъ въ рендантѣ къ этой выпискѣ другую:

Испытали ли жажду крови? Дай Богъ, чтобы никогда не касалась она сердцахъ вашихъ; но, по несчастію, я зналъ ее во многихъ и самъ извѣдалъ на себѣ. Природа наказала меня неистовыми страстями, которыхъ не могли обуздать ни воспитаніе, ни навѣкъ; огненная кровь текла въ жилахъ моихъ. Долго, немовѣрно долго могъ я хранить хладную умѣренность въ рѣчахъ и поступкахъ при обидѣ, но зато она исчезла мгновенно и бѣшенство овладевало мною. Особоенно видъ проливой крови, вмѣсто того, чтобы угасить ярость, былъ масломъ на огнѣ, и я, съ какою то тигровою жадностію, готовъ былъ источить ее изъ врага капли по каплѣ, подобно тигру, впускавшему ненавистнаго напитка“ (стр. 246).

Истинный романтизмъ, какъ понимали его у насъ назадъ тому лѣтъ. пятнадцать! Читаете, и невольно переноситесь въ лѣса, гдѣ живутъ тигры, медвѣди и волки, съ ихъ неистовыми страстями, съ ненасытимою жаждою крови. Гений Виктора Гюго—сего свирѣпаго архиромантика—уже пускался было на изображеніе медвѣжьихъ чувствъ и мыслей, сдѣлавъ бѣлаго медвѣди героемъ перваго своего романа: его подражатели, не столь смѣлые, ограничились изображеніемъ звѣрей подъ человѣческими именами, съ человѣческими обликами, оставивъ имъ только ихъ животныя страсти, чтобъ выдавать ихъ за глубокія ощущенія глубокихъ, «сатаническихъ» душъ...

Гораздо болѣе былъ въ своей колѣѣ талантъ Марлинскаго въ «Лейтенантъ Бѣлозорѣ»—этомъ живомъ, легкомъ и шутливомъ разсказѣ, безъ особенныхъ претензій. Это настоящій родъ таланта Марлинскаго, и,—не смотря на то, что въ повѣсти нѣтъ ни лицъ, ни характеровъ, хоть сколько-нибудь художественно-очерченныхъ, а слѣдовательно, нѣтъ и признаковъ голландской народности,—ибо купецъ, кетати и не кетати говорящій при каждомъ словѣ «два аршина съ четвертью», еще не Голландецъ, такъ же какъ купчиха, которой вся жизнь сосредоточена на кухнѣ, еще не Голландка (перемѣните ихъ имена, и они будутъ принадлежать къ какой угодно націи); не смотря на то, что любовь героевъ повѣсти ужъ черезчуръ сладковата и слишкомъ походитъ на канареечную, а представитель французской націи, Монтанъ Люсакъ, ужъ черезчуръ и подлъ, и глупъ, и пошлъ; не смотря на ужасную растянутость и множество ненужныхъ вставокъ и разглагольствованій,—веселенькій разсказецъ читается до конца и не безъ удовольствія. Въ немъ много премиленькихъ подробностей; особенно забавны матросскіе разговоры, и вообще въ тонѣ разсказа много добродушія и непритворной шутливости. Къ числу такихъ же удачныхъ разсказовъ, въ этомъ родѣ, должно отнести «Военный Антикварій» и «Мореходъ Никитинъ».

Собственно русскія повѣсти Марлинскаго, содержаніе которыхъ онъ бралъ изъ русской старины, не выдержатъ никакой критики, даже самой снисходительной. Таковы суть: «Наѣзды», «Романъ и Ольга», «Измѣнникъ», и пр. Въ нихъ рѣчь, повидимому, русская, и имена русскія, даже много русскихъ обычаевъ, повѣрій и ссылокъ на исторію; но ни русскаго лица, ни русской души. Это—Расиновскія трагедіи въ формѣ разсказовъ. Снимите съ дѣйствующихъ лицъ ихъ охабни и фаты, выбросьте изъ рѣчей небольшое число русскихъ поговорокъ и пословицъ, и предъ вами ячутся тѣ безличныя образы, которымъ къ лицу всякое платье и всякое имя, и которые столько же Русскіе, сколько и Греки, и Нѣмцы, и Англичане, и Татары. То же должно сказать и о рыцарско-ливонскихъ разсказахъ Марлинскаго: его нѣмецкіе рыцари и дамы ничѣмъ не отличаются отъ новгородскихъ молодцевъ и молодицъ, которые ничѣмъ не отличаются отъ его нѣмецкихъ рыцарей и дамъ. Перечтите «Замокъ Эйзенъ», «Замокъ Нейгаузенъ», «Латника», «Замокъ Венденъ», «Ревельскій Турниръ», и вы увидите въ нихъ поразительную бѣдность изображенія, удивительное однообразие въ манерѣ разсказывать, и чрезвычайное сходство въ дѣйствующихъ лицахъ, особенно въ ихъ «рѣчахъ», изъ которыхъ спиты эти разсказы. Лучшій изъ нихъ «Ревельскій Турниръ»: въ немъ мало сильныхъ страстей, много добродушія и веселости, а потому онъ и читается съ удовольствіемъ, какъ занимательная сказка.

Читатели, можетъ быть, ждутъ отъ насъ подробнаго разбора кавказскихъ повѣстей Марлинскаго, особенно «Аммалатъ-Бека» и «Муллы-Нура»: увы, мы не въ состояніи выполнить ихъ ожиданія! По праву добросовѣтнаго критика, мы хотѣли прочесть эти повѣсти, принимались нѣсколько разъ, но — всякой силѣ есть предѣлы, и мы, послѣ многократныхъ пріемовъ и невѣроятныхъ усилій, принуждены были сознаться въ своемъ безсиліи для совершенія подобнаго под-

вита. Конечно, въ нихъ,—особенно въ «Аммалатъ-Бекъ»—есть удачныя страницы, хотя и въ слишкомъ ограниченномъ числѣ, есть превосходные стихи—переводъ черкесскихъ пѣсень; но цѣлое такъ натянуто, такъ перетянута и въ изобрѣтеніи, и въ изложеніи, что впечатлѣніе производимое на душу читателя, очень походить на давленіе кошмара. Что касается до Муллы-Нура, этого татарскаго Карла Моора, то вотъ онъ вамъ весь—извольте любоваться, сколько душѣ угодно:

„Что на свѣтъ тайнаго кромѣ нашего сердца. Разсвѣтаетъ ночь, крившая злодѣйство; дремучій лѣсъ-находитъ голосъ на обвиненіе; разступается хлябь моря и выдаетъ утопленное хищниками добро. Могила, самая могила не скрываетъ во мракѣ своемъ преступленій, и съ червями зарождаются въ ней мстители. Я видѣлъ: русскіе узнавали по внутренностямъ тѣла прошлое, какъ идолопоклонники предки наши угадывали по нимъ будущее. А когда можно заставить говорить мертвецовъ, кто заставить молчать живыхъ?... Тайное скоро становится явнымъ, и базарная молва нерѣдко трубить о томъ, что было шопотомъ сказано между двоими. — Нѣтъ, моя жизнь не тайна, мои похождения можетъ разсказать тебѣ послѣдній мальчикъ въ Кубѣ. — Онъ убилъ своего дядю и бѣжалъ въ горы! Вотъ вся повѣсть обо мнѣ, и она не ложь, но полна ли она? но справедливо ли осудить меня по этимъ словамъ всякій, кто ихъ услышитъ? На это могу отвѣчать только я. Пусть отрубятъ мнѣ голову, что жъ найдетъ въ этой головѣ судія для объясненія моего преступленія? Пусть вырѣжутъ сердце, какъ отгадаютъ въ немъ пружины, которыя двинули на убійство?... А въ этомъ вся важность для меня! Только это зову я на судъ совѣсти, все остальное дѣло случая, все остальное пусть какъ хотятъ судить въ людскомъ диванѣ. Тяжело мнѣ думать объ этомъ, еще тяжелѣе разсказывать, и между тѣмъ оно меня душитъ!... мучительно вырывать зубчатую стрѣлу изъ раны, но и оставлять въ ней нестерпимо...“

Кто это говоритъ: ливонскій рыцарь, итальянскій разбойникъ, или французскій литераторъ романтической школы?... Нѣтъ, это «рѣчь» кавказскаго Татарина... Умный Татаринъ! ужъ и видно, что наукамъ учился, особенно риторикѣ...

Въ послѣднихъ своихъ произведеніяхъ, Марлинскій довелъ

до крайности основные элементы своего таланта, т. е. изображеніе неистовыхъ страстей и неистовыхъ положеній, изображеніе высшего общества, на которое онъ смотрѣлъ изъ-за Кавказа, русскую народность, остроуміе и изысканность языка. Приведемъ образчики нѣкоторыхъ изъ этихъ элементовъ доведенныхъ до нес plus ultra.

Если хотите имѣть понятіе о высшемъ обществѣ на балѣ у австрійскаго посланника, — прочтите отрывокъ «Местъ»; тутъ вы увидите, какъ «свѣтскій» капитанъ Эмбевъ отпускаетъ лагерныя любезности Надеждѣ Петровнѣ Зоричъ, поминутно называя ее «сударыня», и какъ Надежда Петровна Зоричъ, отвѣчаетъ сему храброму капитану любезностями полковой маркитанки, начитавшейся «свѣтскихъ» романовъ русскаго издѣлія. Въ статьѣ «Новый Русскій Языкъ» вы увидите, какъ говорятъ русскіе купцы; впрочемъ, не трудитесь перечитывать этой «юмористической» статейки; довольно для васъ и этого образчика: «Такъ-съ, виновать-съ, дѣло дорожное-съ! Я вѣдь впрочемъ не для ради чего иного прочаго, а такъ изъ компанства, хотѣлъ только, утрудивъ, побезпокою васъ, просить соблаговоленія, чтобы нашему чайнику возымѣть соединяемое купносообщеніе съ этимъ самоваромъ-съ. По просту такъ сказать-съ, малую толику водичи-съ!» (т. XII, стр. 76). Такимъ языкомъ проситъ на станціи купецъ у офицера воды изъ самовара для чайника: какая наблюдательность, какъ все это вѣрно подслушано и вѣрно передано, безъ всякаго преувеличенія, безъ всякой натяжки!... Для образчика остроумія перечтите статьи: «Исторія серебрянаго рубля» и «Исторія знаковъ препинанія»: увѣряемъ васъ, что самый отчаянный поставщикъ газетнаго мусора позавидовалъ бы, въ своихъ нравоописательныхъ и правдивно-сатирическихъ статьяхъ, ихъ остроумію и затѣйливости... Для выписокъ дикихъ фразъ и натянутого высокаго и страстнаго слога у насъ не достаетъ ни силъ, ни терпѣнія... Потрудитесь сами, а мы и безъ того устали.

Такой конец авторскаго поприща очень естественъ: онъ—необходимое слѣдствіе его начала. Только истинные таланты зрѣютъ и мукаютъ съ лѣтами, только въ ихъ произведеніяхъ исчезаетъ съ годами дымный юношескій пламень и уступаетъ мѣсто ровной теплотѣ, и не ослѣпительному, но лучезарному свѣту—и конецъ ихъ поприща ознаменовывается твореніями глубокими, какъ море, и величественными, какъ звѣздное небо въ тихую и ясную ночь. Вышній талантъ скоро высказывается весь, истощаетъ бѣдный запасъ своего внутренняго содержанія, и скоро доходитъ до необходимости перебиваться собственными крохами, собственною ветошью, обновляя ихъ бѣлилами и румянами изысканной фразеологіи дикаго языка. Почти всегда подвергается онъ горькой участи пережить свою славу, умереть послѣ ея кончины, и видѣть въ числѣ своихъ поклонниковъ только людей, которые являются послѣдними участниками въ пирѣ, доканчивая въ заднихъ апартаментахъ остатки барскаго обѣда... Но, не смотря на все сказанное, такіе вышніе таланты необходимы, полезны, а слѣдовательно, и достойны всякаго уваженія. Только незаслуженная слава и преувеличенныя похвалы вооружаютъ противъ нихъ, потому что свидѣлствуютъ объ испорченности вкуса публики. Но отдавать имъ должное пріятно по чувству человѣческому, и полезно для истины. Для массы общества все вышнее доступнѣе внутренняго, — и она бросается на вышнее, а черезъ это въ ней обращаются идеи и проводится въ нее образованность. Но главная заслуга вышнихъ талантовъ состоитъ въ томъ, что они отрицательнымъ образомъ воспитываютъ и очищаютъ эстетическій вкусъ публики: пресытаясь ихъ произведеніями, многіе обращаются къ истиннымъ произведеніямъ искусства, и научаются цѣнить ихъ. Кто не восхищался романами Радклифъ, Дюкре-дю-Мениля, Августа Лафонтена, г-жъ Жанлисъ и Коттенъ, и даже не предпочиталъ ихъ сначала романамъ Вальтеръ-Скотта и Купера? И эти многіе потому только и поняли впослѣдствіи достоинства

британскаго и американскаго романистовъ, что сперва восхищались романами сихъ господъ и госпожъ, а черезъ Вальтера-Скотта и Купера поняли ихъ истинную цѣну. Что же касается до тѣхъ, которые не пошли далѣе Радклифъ и Дюжреддо-Мениля съ братіею—пусть себѣ читаютъ во здравіе! Что бы ни читать, все лучше чѣмъ играть въ карты или сидѣть ничать. Слуга донашиваетъ платье своего господина: оно и старо и потерто, но все служитъ ему защитой и отъ наготы, и отъ холода...

Мы уже говорили о критическихъ статьяхъ Марлинскаго и указали на нихъ, какъ на важную заслугу русской литературы со стороны ихъ автора; съ такою же похвалою должны мы упомянуть и о его собственно-литературныхъ статьяхъ, каковы: «Отрывки изъ рассказовъ о Сибири», «Шахъ Гуссейнъ», «Письмо къ доктору Эрдману», «Сибирскіе нравы Исыхъ», и пр. Во всѣхъ сихъ статьяхъ видѣнъ необыкновенно умный, блестяще-образованный человѣкъ и талантливый писатель, и почти всѣ онѣ отличаются, въ противоположность повѣстямъ, языкомъ простымъ, живымъ и прекраснымъ безъ изысканности. Марлинскій пробовалъ свой талантъ почти во всѣхъ родахъ литературныхъ упражненій, и потому писалъ и стихи, но, впрочемъ, скоро самъ призналъ въ себѣ отсутствіе положительнаго таланта для этого поприща. Мелкія его стихотворенія рѣдко отличаются даже плавностію стиховъ, а переводы изъ Гёте такъ мало даютъ понятія о достоинствѣ своихъ оригиналовъ, какъ дебелый переводъ Косторова «Иліады», или тяжелый переводъ Мерзлякова Тасова «Освобожденнаго Іерусалима», или разжиженный сахарнымъ сиропомъ переводъ г. Раича того же творенія и поэмы Аріосто. Марлинскій, слѣдуя тогдашнему направлению, написалъ стихами поэму «Андрей Переславскій» — произведеніе, не стоящее критики и отвергнутое самимъ авторомъ, но мѣстами блестящее искрами поэтическаго чувства.

Мы уже говорили о поэтическомъ достоинствѣ черкасскихъ пѣсень, переведенныхъ въ «Амманатъ-Бекъ».

И вотъ мы кончили нашъ разборъ произведеній Марлинскаго: вывести результатъ изъ всего сказаннаго нами о немъ, какъ о писателѣ, предоставляемъ нашимъ читателямъ. Мы говорили откровенно и прямо, *sine ira et studio*; но пояснять больше не будемъ, «чтобъ гусей не раздражить», — а гуси какъ слышно, уже и безъ того на насъ сердятся за то, что мы видимъ Божій свѣтъ не въ одномъ болотѣ, съ муравчатымъ бережкомъ, на которомъ они такъ шумно пасутся всю жизнь свою и добываютъ себѣ обычную пищу.

ПОДАРОКЪ НА НОВЫЙ ГОДЪ. *Детскія сказки Гофмана, для большихъ и маленькихъ дѣтей. Спб. 1840.*
ДѢТСКІЯ СКАЗКИ *отдушки Ирмел. Спб. 1840. Дѣтскія части.*

Самые, повидимому, простые и обыкновенные предметы часто бываютъ, въ своей сущности, самыми важными и великими. Всѣ говорятъ, напримѣръ, о важномъ вліяніи воспитанія на судьбу человѣка, на его отношенія къ государству, къ семейству, къ ближнимъ и къ самому себѣ, но многіе ли понимаютъ то, что говорятъ? Слово еще не есть дѣло; всякая истина, какъ бы ни была она несомнѣнна, но если не осуществляется въ дѣлахъ и поступкахъ произмощихъ ее — есть только слово, пустой звукъ, — та же ложь. Посмотрите внимательнѣе на отношенія родителей къ дѣтямъ, дѣтей къ родителямъ, словомъ, посмотрите внимательнѣе на воспитаніе, и у васъ сердце обольется кровью. Ребенокъ ѣсть что ни попало и сколько хочетъ, — что нужды! говорятъ нѣжные родители, вѣдь онъ еще дитя! Ребенокъ мучить собаку, или колотитъ двороваго мальчишку, — что нужды!

восклицаютъ заботливые родители, вѣдь онъ еще дитя! Дѣти ссорятся, кричать между собою, и если ихъ крикъ, брань и слезы не мѣшаютъ папашкѣ и мамашкѣ соснуть послѣ обѣда, или поговорить съ гостями, — что нужды! вѣдь они дѣти, пусть себѣ ссорятся и кричатъ: вырастутъ велики, не будутъ ссориться и кричать! Перебранившись, а иногда и передравшись другъ съ другомъ, дѣти прибѣгаютъ къ отцу и матери съ жалобой другъ на друга—и, помилуйте! стоитъ ли разбирать дѣтскія ссоры! Если вы стрѣги, дайте всѣмъ по щелчку, или пересѣките всѣхъ розгами, чтобъ никому не было завидно; если вы добры къ дѣтямъ, или воспитываете ихъ на благородную ногу, — дайте имъ игрушекъ или сластей, да, перецѣловавъ ихъ, вышлите отъ себя, чтобы они опять пошли браниться и драться. Ребенокъ не учится, не хочетъ и слышать, чтобъ взять въ руки книгу, — что за нужда, вѣдь онъ еще дитя — подростеть будетъ поумнѣе, такъ станетъ и учиться! Ребенокъ хватается за всякую книгу, какая ему ни попадется, хотя бы то была анатомія съ картинками, или Аретинъ съ гравюрами; — что за нужда, вѣдь онъ еще дитя! благо, что охота къ книгамъ есть — пусть лучше навывазаетъ читать, чѣмъ рѣзвиться! Учитель говорить отцу, что грамматика, которую онъ купилъ для сына, не годится, что она или ужъ устарѣла, или безтолкова, бессмысленна, что ея не понимаетъ самъ авторъ, незнающій ни духа, ни характера языка: это еще что за новости! восклицаетъ опытный и благоразумный родитель, вѣдь онъ дитя — для него всякая книга годится, а за эту я заплатилъ деньгами, стало-быть, хороша!... А, между тѣмъ, заговорите съ «дрожающими родителями» о дѣтяхъ и воспитаніи: сколько общихъ фразъ, сколько ходячихъ истинъ наговорять или нарезонёрствуютъ они вамъ! «Ахъ, дѣти! да! какъ тяжело имѣть дѣтей! сколько заботъ! надо вырастить, да и воспитать! Мы ничего не щадимъ для воспитанія своихъ дѣтей! Изъ послѣднихъ силъ бьемся! Я отдалъ своихъ въ училище, покупаю книги — тѣмъ расхо-

довъ! А мы для своихъ прислали «мадамъ» (или «мамзель» — провинціальныя названія гувернантки), чтобъ они и пофранцузски знали, и на фортопьянахъ играли! Въ добрый часъ, драгоценнѣйшіе родители!..

Но это еще только одна сторона воспитанія, или того, что такъ ложно называютъ воспитаніемъ. Это еще только воспитаніе, какъ обыкновенно говорится, на волю Божию, а въ самомъ-то дѣлѣ, на волю случая, — воспитаніе природное, воспитаніе не въ переносномъ, въ этимологическомъ значеніи этого слова, т. е. вскармливаніе, — воспитаніе простонародное, мѣщанское. Есть еще воспитаніе попечительное, деликатное, строгое, благородное. Въ немъ на все обращено вниманіе, ни одна сторона не забыта. При этомъ воспитаніи дитя бѣсть и во время, и въ мѣру, передъ обѣдомъ непременно ходитъ гулять съ гувернёромъ или гувернанткой, умѣренно рѣзвится, занимается гимнастическими упражненіями на красивыхъ вѣшалкахъ, столбахъ, перекладинахъ, по часамъ учится, въ опредѣленную пору встаетъ и ложится. Физическое воспитаніе въ гармоніи съ нравственнымъ: развитіе здоровья и крѣпости тѣла соотвѣтствуетъ развитію умственныхъ способностей и приобрѣтеніе познаній. А форма — о, это самое нѣящество! При опрятности царствуетъ простота и неизысканность; соединенныя съ благородствомъ, достоинствомъ, хорошимъ вкусомъ и хорошимъ тономъ. И это отражается во всемъ: и въ одеждѣ, и въ манерахъ. Одно то чего стоитъ, что дитя умѣетъ уже скрывать свои чувства, не хвататься жадно за то, чего жадно желаетъ, не обнаруживать удивленія и радости къ тому, что возбуждаетъ въ немъ удивленіе и радость, — словомъ приличію и тону жертвовать всеми своими чувствами, даже самыми святыми, самыми человѣческими!... Коротче: даже китайскіе мандарины, эти высокіе идеалы и образцы природы искаженной и умершей отъ искусственности, даже китайскіе мандарины ничто передъ этими милыми, благовоспитанными дѣтьми... И если жизнь человѣческая есть театраль-

ная сцена или салонъ и если, «казаться» есть цѣль человѣческой жизни, то въ этомъ образѣ воспитанія мы нашли норму воспитанія. Въ самомъ дѣлѣ, что можете быть прекраснѣе и очаровательнѣе, на примѣръ, свѣтской дѣвушки?—Она скорѣе согласится тысячу разъ умереть, нежели одинъ разъ въ жизни, въ глазахъ свѣта, показаться смѣшною, т. е. прийти въ восторгъ отъ созданія искусства, отъ совершенія явленій природы, или отъ разнава о-высокомъ подвигѣ, и всего, отъ чего плачутъ и чѣмъ восхищаются люди дурного тона. Она столько же развѣяна и свободна, сколько и граціозна; ничему не удивляясь, она ничего не испугается и ни отчего не придетъ въ смущеніе. Въ ней всегда такое спокойствіе, такая ровнота духа, все такъ соразмѣрно и прилично... А сколько въ ней талантовъ, которыхъ она не выставляетъ на видъ, какъ какая-нибудь провинціалка, но за которые она часто слышитъ себя «*charmant*»! Ко всему этому, какая у ней чистая душа, какое нравственное сердце: она уже не вѣста,—а кромѣ Бульи и Беркена еще ничего не читала, и произносите при ней имя Шекспира, она съ милой наивностію спроситъ васъ: *mais qu'est ce que c'est?*—а когда вы начнете говорить о Шекспирѣ, она съ такою милою разсѣянностію, съ такимъ достоинствомъ и такъ неожиданно для васъ повернетъ разговоръ на погоду или на послѣдній балъ. Виктора Гюго и Поль-де-Кока она будетъ читать уже послѣ замужества, а пока довольно съ нея Бульи и Беркена. Оно и хорошо: Шиллеръ, Гёте, Байронъ, Гофманъ, Шекспиръ, Вальтеръ-Скоттъ, Пушкинъ—опасны для юнаго дѣвственнаго сердца: чего добраго, они взволнуютъ его какими-то странными желаніями, неясными мечтаніями, пронзедутъ въ дѣвушкѣ экстазъ, энзальтанцію, дадутъ ей какую-то внутреннюю поэтическую жизнь,—и вотъ долго ли до грѣха!—дѣвушка встрѣчаетъ на землѣ какую-то родную душу, безъ копѣйки за душою—

И жизнь могучая дастъ

И пышный цвѣтъ, и сладкій плодъ—

какъ сказать Нушкинъ... Мечтать и любить — предаться человеческой страсти — да что же скажете свѣтъ?... Нѣтъ, не такова благословитѣльная дѣвушка высшего тона: она можетъ выдвигаться изъ толпы, не красотою, если Богъ наградила ея, нарядами, если ея *рара* богаче другихъ, но не душою, не сердцемъ и ни другими жѣзвическими странностями. Она выйдетъ замужъ; — даже если и другіе не хлопочутъ объ этомъ, сама все устроитъ, но это замужество будетъ блестящее, способное возбуждать зависть, а не толки. Вотъ что дѣлаетъ истинное воспитаніе изъ дѣвушекъ! А юноши? — О, объ нихъ я боюсь и говорить: всѣ они и умные, и глупые, и ученые, и невѣжды — всѣ они съ такимъ философскимъ равнодушіемъ смотрятъ на жизнь, въ которой для нихъ нѣтъ ничего ни таинственнаго, ни удивительнаго, ни непостижнаго; всѣ они съ такою «львиною» наглостію наводятъ на васъ своей лорнетъ... прекрасные молодые люди!... А какъ свободно, съ какою небрежностію говорятъ они пофранцузски — словно на родномъ языкѣ, и какъ мило не умѣютъ сказать двухъ русскихъ фразъ, написать русской строки безъ орфографическихъ ошибокъ — педантизма въ нихъ нѣтъ ни тѣни!...

Мы представили двѣ крайности одной и той же стороны; но есть еще середина, которая, какъ всѣ почти середины, часто бываетъ хуже крайностей. Мы говоримъ о воспитаніи того класса общества, которое на низшіе смотритъ съ благороднымъ презрѣніемъ и чувствомъ собственного достоинства, а на высшіе съ благоговѣніемъ. Оно изъ всѣхъ силъ хлопочетъ быть ихъ вѣрною копіею; но на зло себѣ, остается какимъ-то среднимъ пропорціональнымъ членомъ, съ собственною характеристикою, которая состоитъ въ отсутствіи всякаго характера, всякой оригинальности, и которую всего вѣрнѣе можно выразить *мѣшанствомъ во дворянствѣ*. Непринужденность и милая наглость переходить у него въ жеманство и кривлянье; хорошій тонъ — въ обезьянничество. Смѣшно и жалко смотрѣть,

Какъ негодяй ошціантъ
Ломаетъ барина въ передней!

Но это въ сторону: дѣло въ томъ, что въ этомъ кругу общества воспитаніе состоитъ въ томъ, чтобы убить въ дѣтяхъ всякую жизнь и живость, сдѣлать изъ нихъ попугавъ и милыхъ куколъ, о которыхъ бы всѣ говорили: ахъ, какъ хорошо они воспитываются!...

Воспитаніе! Оно вездѣ, куда ни посмотрите, и его нѣтъ нигдѣ, куда ни посмотрите. Конечно, вы его можете увидѣть даже во всѣхъ слояхъ общества, отъ самаго высшаго до самаго низшаго, но какъ рѣдкость, какъ исключеніе изъ общаго правила. Отчего же это? Да оттого, что на свѣтѣ бездна родителей, множество парас ет шамапс, но мало отцовъ и матерей. «Вотъ прекрасно!» — восклицаете вы, «какая же разница между родителями, и отцомъ и матерью?» — Какъ какая? — взгляните лѣтомъ на мухъ: какая бездна родителей, но гдѣ же отцы и матери? Грибоѣдовъ давно уже сказалъ —

Чтобъ имѣть дѣтей,
Кому ума не доставало!

Право рожденія — священное право на священное имя отца и матери, — противъ этого никто и не спросить: но не этимъ еще все оканчивается: тутъ человѣкъ еще выше животнаго; есть высшее право — родительской любви. «Да какой же отецъ или какая мать не любитъ своихъ дѣтей?» — говорите вы. Такъ, но позвольте васъ спросить, что вы называете любовью? какъ вы понимаете любовь! — Вѣдь и овца любитъ своего ягненка: она кормитъ его своимъ молокомъ и облиываетъ языкомъ; но какъ скоро онъ мѣняетъ ея молоко на злакъ полей — ихъ родственныя отношенія оканчиваются. Вѣдь и г-жа Простакова любила своего Митрофанушку: она вешадно била по щекамъ старую Еремѣевну и за то, что дитя много кушало, и за то, что дитя мало кушало; она любила его такъ, что если бы онъ вздумалъ ее бить по щекамъ, она стала бы горько плакать, что милое, ненаглядное дѣтище больно обколотитъ объ нее свои ручонки. И такъ, развѣ чувство овцы, которая

кормить свечей молокомъ агнѣтка, чувство г-жи Простаковой, которая, бывши овцою и коровою, готова еще сдѣлаться и лошадиной, чтобы возить въ колясочкѣ свое двадцатилѣтнее дитя, — развѣ все это не любовь? — Да, любовь, но какая? Любовь чувственная, животная, которая въ овцѣ, какъ въ животномъ, отличающемся и животною фигурою, имѣетъ свою истинную, разумную, прекрасную и восхищающую сторону, но которая въ г-жѣ Простаковой, какъ въ животномъ, отличающемся человѣческою фигурою, въѣсто овечьей, — бессмысленна, безобразна и отвратительна. Далѣе вѣдь и Павелъ Аеонасьевичъ Фамусовъ любитъ свою дочь, Софью Павловну: посмотрите, какъ онъ хлопотеть, чтобы повыгоднѣе сбыть ее съ рукъ, подороже продать... Продать? — какое ужасное слово!... Отецъ продаетъ свою дочь, торгуетъ ею, конечно, не по мелочи; но одинъ разъ навсегда, и не больше, какъ для одного человѣка, который будетъ называться ея мужемъ!... Но вѣдь это онъ дѣлаетъ не для себя, а для ея же счастья? — скажутъ многіе. Прекрасно! Но послѣ этого и разбойникъ, который для приданого дочери зарѣжетъ передъ ея свадьбою нѣсколько человѣкъ, будетъ правъ, потому что сдѣлаетъ это изъ любви къ дочери? Послѣ этого и иная матушка, которая, не желая видѣть въ нищетѣ свою нѣжно-любимую дочь, научить, или принудить ее сдѣлать выгодный промыселъ изъ своей красоты, — тоже будетъ права, потому что поступить такъ изъ любви къ дочери?... И развѣ этого не бываетъ въ самомъ дѣлѣ? Развѣ старый подъячій, закоренѣвшій въ лихоимствѣ и казнокрадствѣ, не поставлялъ первымъ и священнымъ долгомъ своего родительскаго званія, передать свое подлое ремесло нѣжно-любимому сыну? — Мы опять соглашаемся, что источникъ всего этого любовь, но какая — вотъ вопросъ! Откуда она происходитъ, куда она стремится, къ кому обращается? Зачѣмъ звѣрь рветъ и губитъ подобныхъ себѣ, а въ голодѣ пожираетъ собственныхъ дѣтей? — Затѣмъ, что онъ любитъ себя,

а любовь къ себѣ есть условіе вслой индивидуальности, которая, въ свою очередь, есть условіе великаго бытія, основа и законъ жизни. Зачѣмъ собака грызется съ другою изъ-за брошенной кости?—Опять зачѣмъ, что любить себя. И насъ не оскорбляетъ это въ животныхъ; по крайней мѣрѣ, мы не винимъ ихъ за это, и не считаемъ злодѣями и преступниками, потому что они живутъ и дѣйствуютъ подѣ невольнымъ, рабскимъ вліяніемъ животнаго инстинкта, и, кромѣ сохраненія и возрожденія своей индивидуальности, не имѣютъ никакихъ обязанностей. И человекъ, подобно животному, замкнутъ въ своей индивидуальности, и безсознательно слѣдуетъ данному ему природою инстинкту самосохраненія и стремленію къ улучшенію своего положенія; но неужели этимъ все и должно въ немъ оканчиваться?—Нѣтъ, разница человека съ животными именно въ томъ и состоитъ, что онъ только начинается тамъ, гдѣ животные уже оканчиваются. Кромѣ обязанностей къ себѣ, онъ имѣетъ еще обязанности къ ближнимъ; кромѣ инстинкта, который есть у животныхъ, онъ имѣетъ еще чувство, расудокъ и разумъ, которыхъ нѣтъ у животныхъ; будучи существомъ и растительнымъ, и животнымъ, будучи плотскимъ организмомъ, онъ есть еще и духъ — искра и обликъ Духа Божія. Слѣдовательно, и его любовь должна быть вышею ступенью той любви, которую мы видимъ во всей природѣ, — отъ сродства стихій, — отъ ихъ безмольнаго организмованія въ минералъ, заключенный въ нѣдрахъ земли, отъ прозябанія дождевой лозы, возникающей изъ зерна, — до животнаго, которое добровольно лишается жизни, съ яростію защищая своихъ дѣтей. Человекъ есть міръ въ маломъ видѣ: въ его организмѣ всѣ стихіи природы, первосущныя ея силы, вся минеральная природа — металлы и земли; въ жизни его организма всѣ процессы природы — и минеральное сращеніе извѣй, и прозябаемая растительность, и животное развитіе изнутри. Онъ является на свѣтъ животнымъ, которое кричитъ, спитъ, ѣстъ и инстинктивно хватается за грудь, и инстинктивно

вердится, когда его от нея отнимаютъ. Но уже съ того мгновенія, какъ языкъ его, отъ безразличныхъ междометій, начинаетъ постепенно переходить къ членораздѣльнымъ звукамъ и лепетать первыя слова, — въ немъ уже оканчивается животное и начинается человѣкъ; вся жизнь котораго, до поры полного мужества, есть не что иное, какъ непрерывное формированіе, дѣланіе, становленіе (*das Werden*) полнымъ человѣкомъ, для полного наслажденія и обладанія силами своего духа, какъ средствами къ разумному счастью. Еще младенецъ; прижавъ къ источнику любви — къ груди своей матери, онъ останавливается на ней на безмысленный взглядъ молодого животнаго, но горящій свѣтомъ разума, хотя и безсознательнаго; онъ улыбается своей матери, — и въ его улыбкѣ свѣтятся лучи божественной мысли. Во всѣхъ проявленіяхъ его любви пресвѣчиваетъ не простое, инстинктивное, но уже не чуждое смысла и разумности чувство: еще ноги его слабы, онъ не можетъ сдѣлать ими шага для вступленія въ жизнь, но уже любовь его выше любви животной. Такъ неужели, послѣ этого, любовь родителей, — существъ вполне развившихся, должна оставаться при своей естественности и животности, неспособныхъ отдѣлиться отъ самихъ себя и перейти за околдованную черту замкнутой въ себя индивидуальности? Нѣтъ, всякая человѣческая любовь должна быть чувствомъ, просвѣтленнымъ разумною мыслію, чувствомъ одухотвореннымъ. Но что же такое любовь? — Это жизнь, это духъ, свѣтъ луча: безъ нея, все — смерть, при самой жизни, все — матерія, при самомъ органическомъ развитіи, все — мракъ, при самомъ зрѣніи. Любовь есть высшая и единая дѣйствительность, внѣ которой все — призраки, обманывающіе зрѣніе, формы безъ содержанія, пустота въ кажущихся границахъ. Какъ огонь есть вмѣстѣ и свѣтъ, и теплота, — такъ и любовь есть осуществившійся, явленный разумъ, осуществившаяся, явленная истина. Ею все держится и весь міръ — ея явленіе. Въ природѣ она разлита

какъ электричество; въ духѣ является разумною мыслию, въ самой себѣ—носящую силу своего проявленія въ благомъ дѣйствіи. И потому, человекъ, полный ею, сильнѣе Самсона: съ мучениками первыхъ временъ христіанской церкви безтрепетно шелъ къ дикимъ звѣрямъ и, объятый пожирающимъ пламенемъ, пѣлъ гимны Богу живому и безсмертному. Онъ изъ рыбака становился ловцомъ людей. Любовь столь сильна, что творить неслыханное, торжествуетъ надъ вѣчно неизмѣнными условіями пространства и времени, надъ безсильемъ плоти, младенцу даетъ львиную силу. Самъ Богъ есть любовь и источникъ любви, изъ котораго все исходитъ и въ который все возвращается. «Возлюбленные! станемъ любить другъ друга; ибо любовь отъ Бога, и всякій, кто любитъ, рожденъ отъ Бога и знаетъ Бога. Кто не любитъ, тотъ не позналъ Бога; потому что *Богъ есть любовь*—Богъ есть любовь, и пребывающій въ любви, пребываетъ въ Богѣ, и Богъ въ немъ», говоритъ св. апостолъ Іоаннъ (перв. пос. г. IV, стр. 7, 8 и 16). И потому, всякая власть и всякая сила только въ любви. И потому, слово, проникнутое любовью, горитъ огнемъ неотразимаго убѣжденія, и согреваетъ теплотою умиленія сердце услышавшее его, и даетъ ему миръ и счастье; но слово, лишенное любви, и святыя истины дѣлаютъ холоднымъ и мертвымъ правоученіемъ, и потому безсильно надъ умомъ и сердцемъ.

Истина выше человека, какъ личности: чтобъ быть достойнымъ имени человека, онъ долженъ сдѣлаться сосудомъ истины. Но истина не дается человеку вдругъ, какъ его законное обладаніе: онъ долженъ достигать ея трудомъ, борьбою, лишеніями и страданіемъ, — и вся жизнь его должна быть стремленіемъ къ истинѣ. Личность человѣческая есть частность и ограниченность: только истина можетъ сдѣлать ее общимъ и безконечнымъ. Поэтому, первое и основное условіе достиженія истины есть для человека отлученіе отъ самого себя въ пользу истины. Отсюда происходятъ добро-

вольныя лишения, борьба съ желаніями и страстями, неумолимая строгость къ своему самолюбію, готовность къ самообвиненію предъ истинною, самоотверженіе и самопожертвованіе: кто не знаетъ и не констатируетъ въ своей жизни ничего этого, — тотъ не жилъ въ истинѣ, не жилъ въ любви.

Теперь взглянемъ съ этой точки на любовь родительскую.

Отецъ и мать любятъ свое дитя, потому что оно ихъ рожденіе. Родство крови есть первая и, въ то же время, священная основа любви, ея исходный пунктъ, отъ котораго движется ея развитіе. Возставать противъ этого могутъ только или отвлеченныя умы, разсудочные люди, неспособные проникнуть ни въ какую живую, явленную истину, или сердца холодныя, сухія, мертвыя, если не мерочныя и не развратныя. Но, повторяемъ, естественная любовь, основывающаяся на одномъ родствѣ крови, еще далеко не составляетъ того, чѣмъ должна быть человѣческая любовь. Изъ родства крови и плоти должно развиться родство духа, которое одно прочно, крѣпко, одно истинно и дѣйствительно, одно достойно высокой и благородной человѣческой природы. Посмотрите: сколько на свѣтѣ дурныхъ дѣтей, которыя теряютъ къ родителямъ всякую любовь, но оказываютъ къ нимъ только вышнее, формальное уваженіе, какъ скоро избавляются, дѣтами и обезпеченіемъ своего состоянія, отъ ихъ власти и вліянія, и къ тому же не ждуть себѣ никакого наслѣдства послѣ ихъ смерти. Сколько бываетъ въ свѣтѣ ужасныхъ примѣровъ дѣтей, неоказывающихъ родителямъ даже и вышняго уваженія, требуемаго общественными приличіями, — даже дѣтей, оскорбляющихъ своихъ родителей, если тѣ не рѣшаются прибѣгнуть къ гражданскому закону... Страшное, возмущающее душу зрѣлище! Бѣдные родители, несчастныя дѣти! Да, несчастныя, — и, жалѣя о первыхъ, не слѣдуетъ проклинать послѣднихъ, но подумайте о томъ — природа ли создаетъ изверговъ, или воспитаніе и жизнь дѣлаютъ ихъ такими? Мы не отвергаемъ, чтобы природа не производила

людей, склонныхъ къ пороку, но мы, зная съ тѣмъ: ирриво убеждены, что такія явленія возможны какъ исключенія изъ общаго правила; и что нѣтъ столь дурного человѣка, котораго бы хорошее воспитаніе не сдѣлало лучше. Горе дурнымъ дѣтямъ! почему бы они не сдѣлались такими? — отъ дурного ли воспитанія, по винѣ родителей, или отъ случайныхъ обстоятельствъ, — но они несчастны, потому что не знаютъ счастья снновней любви и не могутъ имѣть надежду вкусить счастье любви родительской. Но, тѣмъ не менѣе, должно вникать въ причины ихъ нравственнаго искаженія; если не для оправданія ихъ, то для оправданія истины, которая выше всего, даже родителей; и для поучительнаго примѣра, въ предотвращеніе такихъ возмущающихъ душу явленій. Мы сказали, что отецъ любить свое дитя, потому что оно его рожденіе; но онъ долженъ любить его еще какъ будущаго человѣка, котораго Богъ нарекъ сыномъ своимъ и за спасеніе котораго онъ принялъ на крестѣ страданіе и смерть. При самомъ рожденіи, отецъ долженъ посвятить свое дитя служенію Богу въ духѣ и истинѣ, — и посвященіе это должно состоять не въ отторженіи его отъ живой дѣйствительности, но въ томъ, чтобы вся жизнь и каждое дѣйствіе его въ жизни было выраженіемъ живой, пламенной любви къ истинѣ, въ которой яляется Богъ. Только такая любовь къ дѣтямъ истинна и достойна называться любовію; всякая же другая есть эгоизмъ, холодное самлюбіе. Вся жизнь отца и матери, всякій поступокъ ихъ долженъ быть примѣромъ для дѣтей, и основою взаимныхъ отношеній родителей къ дѣтямъ должна быть любовь къ истинѣ, но не къ себѣ. Есть отцы, которые любятъ дѣтей для самихъ себя, — и въ этой любви есть своя истинная и разумная сторона; есть отцы, которые любятъ своихъ дѣтей для нихъ самихъ, — и эта любовь выше, истиннѣе, разумнѣе; но при этихъ двухъ родахъ любви, есть еще высшая, истиннѣйшая и разумнѣйшая любовь къ дѣтямъ — любовь въ истинѣ, въ Богѣ. Любить ли отецъ своего сына, если заставляетъ

его смотрѣть съ уваженіемъ на свои дурные и безнравственныя поступки, какъ на благородныя и разумныя? Не все ли это равно, что требовать отъ дитяти, чтобы оно, вопреки своему зрѣнію, бѣлое называло чернымъ, а черное бѣлымъ? Тутъ нѣтъ любви, тутъ есть только самолюбіе, которое свою личность ставить выше истины. А, между тѣмъ, у ребенка всегда будетъ столько смысла, чтобы, види какъ его маменька колотить по щекамъ дѣвокъ, или какъ его папенька напивается пьянъ и дерется съ маменькою, понимать, что это дурно. Конечно, приучая къ такимъ сценамъ съ малолѣтства и толкуя, что это хорошо, можно, наконецъ, увѣрить ребенка, что въ семь-то и состоитъ истинная жизнь; но это значитъ развратить, погубить его: гдѣ же тутъ любовь? — тутъ только самолюбіе, которое въ своихъ дѣтахъ хочетъ видѣть собственное безобразіе, чтобы не имѣть въ нихъ себѣ строгихъ, хотя и безмолвныхъ, судей. Вопреки законамъ природы и духа, вопреки условіямъ развивающейся личности; отецъ хочетъ, чтобы его дѣти смотрѣли и видѣли не своими, а его глазами; преслѣдуетъ и убиваетъ въ нихъ всякую самостоятельность ума, всякую самостоятельность воли, какъ нарушеніе сыновняго уваженія, какъ возстаніе противъ родительской власти, — и бѣдныя дѣти не смѣютъ при немъ рта разинуть, въ нихъ убита энергія, воля, характеръ, жизнь, они дѣлаются почтительными статуями, заражаются рабскими пороками — хитростію, лукавствомъ, скрытностію, лгутъ, обманываютъ, вывертываются... Китайцы, поставляющіе красоту женскихъ ногъ въ миниатюрности, зашиваютъ у дѣвочекъ ноги въ сырую воловью шкуру, и снимаютъ ее, когда уже дѣвочки становятся дѣвушками: ножки въ самомъ дѣлѣ крошечныя, только кривы, изогнуты, уродливы, и женщина можетъ ходить только въ комнатѣ, и то опираясь о стѣны и на мебель. Таковы результаты остановленной въ свободномъ развитіи природы! Таковы же бываютъ и результаты остановленного въ естественномъ и самобытномъ раз-

вѣтъ духа! Но что сказать о тѣхъ родителяхъ, которые имѣютъ несчастное убѣжденіе, что, для пользы и счастья своихъ дѣтей, они обязаны управлять тѣми ихъ склонностями, которыя рѣшаютъ счастье или несчастіе цѣлой жизни человѣка? И какъ часто случается, что прекрасная дѣвушка, съ глубокою душою, любящимъ сердцемъ, по какому-нибудь случаю получившая, на свою пагубу, хорошее воспитаніе, созданная украсить, озолотить, осчастливить жизнь избраннаго ею, который бы понималъ ее, выдается силою родительской власти за какое-нибудь глупое животное съ человѣческимъ обликомъ, и гибнетъ безмольною жертвою тайнаго, никѣмъ непонятаго страданія!... Бѣдная, ей даже не на кого и жаловаться: ее погубили изъ любви же къ ней, изъ некрепнаго желанія ей добра и счастья... Горе человѣку, когда его участь въ рукахъ злодѣевъ, и такое же горе ему когда его участь въ рукахъ добрыхъ, но пошлыхъ и глупыхъ людей!... Бѣдныя женщины чаще всего испытываютъ на себѣ несомнѣнность этой горькой истины... Молодой человѣкъ, принужденный избрать чуждую своему призванію дорогу жизни, рано или поздно, хоть съ утратою силъ души, хоть съ обрѣзанными крыльями, но еще вылетаетъ на желанную свободу, а женщины?... Но что сказать о тѣхъ родителяхъ, которые торгуютъ счастьемъ своихъ дѣтей, спекулируютъ или на богатство, на знатность, да еще дѣйствуютъ при этомъ во имя нравственности, любви и своихъ священныхъ родительскихъ обязанностей къ дѣтямъ!... Но оставимъ этотъ ужасный предметъ, отъ котораго возмущается и содрагается человѣческая природа будто при видѣ удава или гремучей змѣи...

Разумная любовь должна быть основою взаимныхъ отношеній между родителями и дѣтьми. Любовь предполагаетъ взаимную довѣренность, — и отецъ долженъ быть столько же отцомъ, сколько и другомъ своего сына. Первое попеченіе должно быть о томъ, чтобы сынъ не скрывалъ отъ него ни малѣйшаго движенія своей души, чтобы къ нему первому

шелъ онъ и съ вѣстью о своей радости или горѣ, и съ признаніемъ въ проступкѣ, въ дурной мысли, въ нечистомъ желаніи, и съ требованіемъ совѣта, участія, сочувствія, утѣшенія. Какъ грубо ошибаются многіе, даже изъ лучшихъ отцовъ, которые почитаютъ необходимымъ раздѣлять себя съ дѣтьми строгостью, суровостью, недоступною важностью! Они думаютъ этимъ возбудить къ себѣ въ дѣтяхъ уваженіе, и въ самомъ дѣлѣ возбуждаютъ его, но уваженіе холодное, боязливое, трепетное, и тѣмъ отвращаютъ ихъ отъ себя и невольно приучаютъ къ скрытности и лживости. Родители должны быть уважаемы дѣтьми, но уваженіе дѣтей должно происходить изъ любви, быть ея результатомъ, какъ свободная дань ихъ превосходству, безъ требованія получаемая. Ничто такъ ужасно не дѣйствуетъ на юную душу, какъ холодность и важность, съ которыми принимается горячее изліяніе ея чувства; ничто не обливаетъ ее такимъ умерщвляющимъ холодомъ, какъ благоразумные совѣты и наставленія тамъ, гдѣ ожидаетъ она сочувствія. Обманутая, такимъ образомъ, въ своемъ стремленіи разъ и другой, она затворяется въ самой себѣ, сознаетъ свое одиночество, свою отдѣльность и особность отъ всего, что такъ любовно и родственно еще недавно окружало ее, и въ ней развивается эгоизмъ, она приучается думать, что жизнь есть борьба эгоистическихъ личностей, азартная игра, въ которой торжествуетъ хитрый и безжалостный, и гибнетъ неловкій или совѣстливый. Открытая душа младенца или юноши—свѣтлый ручей, отражающій въ себѣ чистое и ясное небо; запертая въ самой себѣ, она—мрачная бездна, въ которой гнѣздятся нетопыри и жабы... Если же не это, можетъ случиться другое: индивидуальность человѣческая, по своей природѣ, не терпитъ отчужденія и одиночества, жаждетъ сочувствія и довѣренности подобныхъ себѣ, — и дѣти сдружаются между собою, составляютъ родъ общества, имѣющаго свои тайны, общими и соединенными силами скрываемаго, что никогда до добра не доводитъ. Это

бываетъ еще опаснѣе, когда друзья избираются между чужими, и тѣмъ болѣе, когда избранный другъ старше избравшаго: онъ беретъ надъ нимъ верхъ, приобретаетъ у него авторитетъ и передаетъ ему всѣ свои наклонности и привычки,—что же, если онѣ дурны и порочны?... Нѣтъ! первое условіе разумной родительской любви — владѣть полною довѣренностію дѣтей, и счастливы дѣти, когда для нихъ открыта родительская грудь и объятія, которыя всегда готовы принять ихъ правыхъ и виноватыхъ, и въ которыя они всегда могутъ броситься безъ страха и сомнѣнія!

Юная душа, неиспытавшая еще отчужденія и сомнѣнія, вся открыта наружу; она не умѣетъ любить въ мѣру, но предается предмету своей любви беззавѣтно и безусловно, видитъ въ немъ идеалъ всевозможнаго совершенства, высшій образецъ для своихъ дѣйствій, вѣритъ ему со всѣмъ жаромъ фанатика. И что же, если такая любовь устремлена къ родителямъ, соединяясь съ естественною, кровною любовью къ нимъ! О, для такихъ дѣтей высочайшее счастье какъ можно чаще быть въ присутствіи родителей, наслаждаться ихъ разговорами, сопровождать ихъ въ прогулкѣ, имѣть свидѣтелями своихъ игръ и рѣзвостей, обращаться къ нимъ въ недоразумѣніяхъ, избирать ихъ въ посредники между собою въ своихъ маленькихъ ссорахъ и неудовольствіяхъ! Нужно ли доказывать, что при такомъ воспитаніи, родители одною ласкою могутъ дѣлать изъ своихъ дѣтей все, что имъ угодно; что имъ ничего не стоитъ приучить ихъ съ малолѣтства къ выполненію долга—къ постоянному, систематическому труду въ опредѣленные часы каждаго дня (важная сторона въ воспитаніи: отъ опущенія ея много губится въ человѣкѣ!)? Нужно ли говорить, что такимъ родителямъ очень возможно будетъ обратить трудъ въ привычку, въ наслажденіе для своихъ дѣтей, а свободное отъ труда время—въ высшее счастье и блаженство? Еще менѣе нужно доказывать, что при такомъ воспитаніи совершенно бесполезны всякаго рода унижительныя для человѣческаго достоинства нака-

занія, подавляющія въ дѣтяхъ благородную свободу духа, уваженіе къ самимъ себѣ, и растлѣвающія ихъ сердца подлыми чувствами униженія, страха, скрытности и лукавства. Суровый взглядъ, холодно-вѣжливое обращеніе, косвенный упрекъ, деликатный намекъ, и уже много-много, если отказъ въ прогулкѣ съ собою, въ участіи слушать повѣсть или сказку, которую будетъ читать или рассказывать отецъ или мать, наконецъ, арестъ въ комнатѣ,—вотъ наказанія, которыя, будучи употреблены соразмѣрно съ виною, производятъ и сознаніе, и раскаяніе, и слезы, и исправленіе. Нѣжная душа доступна всякому впечатлѣнію, даже самому легкому; у ней есть тонкій инстинктъ, по которому она сама догадывается о неловкости своего положенія, если подала къ нему поводъ; душа грубая, привыкшая къ сильнымъ наказаніямъ, ожесточается, черствѣетъ, мозолится, дѣлается безстыдно-безсовѣстною,—и ей ужъ скоро ни по чемъ всякое наказаніе. Нужно ли говорить, что такое воспитаніе легко и возможно, но требуетъ всего чловѣка, всего его вниманія, всей его любви? Отцы, которыхъ вся жизнь сосредоточена въ дѣтяхъ, отдана имъ безъ раздѣла—рѣдкія явленія; но для нихъ то и говоримъ мы, къ нимъ и обращаемъ рѣчь нашу,—и дай Богъ, чтобы она принята была ими съ такою же любовію и искренностію, съ какими мы обращаемся къ нимъ!... Всѣ же не такіе могутъ не вѣрить и даже смѣяться надъ нами, если имъ это заблагоразсудится... Въ добрый часъ!...

Воспитаніе—великое дѣло: имъ рѣшается участь чловѣка. Молодые поколѣнія суть гости настоящаго времени и хозяева будущаго, которое есть ихъ настоящее, получаемое ими какъ наслѣдство отъ старѣйшихъ поколѣній. Какъ зародышъ будущаго, которое должно сдѣлаться настоящимъ, каждое изъ нихъ есть новая идея, готовая смѣнить старую идею. Это и есть условіе хода и процесса чловѣчества. «Не вливаютъ вина молодого въ мѣхи старые», сказалъ намъ Божественный Спаситель, и онъ же изрекъ о дѣтяхъ, приведенныхъ къ Нему

для благословенія: «Таковыхъ есть царство небесное». Но новое, чтобъ быть дѣйствительнымъ, должно исторически развиться изъ стараго, — и въ этомъ законѣ заключается важность воспитанія, и имъ же обуславливается важность тѣхъ людей, которые берутъ на себя священную обязанность быть воспитателями дѣтей.

Правительство, неусыпно пекущееся о нашемъ благѣ, ничего не шадить для утвержденія на прочныхъ основаніяхъ общественнаго образованія. Не смотря на безчисленное множество уже существующихъ учебныхъ заведеній, оно не перестаетъ учреждать новыя на лучшихъ основаніяхъ, а старыя преобразовывать, соотвѣтственно потребностямъ времени; употребляетъ на нихъ огромныя суммы, замѣщаетъ вакантныя мѣста молодыми людьми, болѣе старыхъ — способными удовлетворить современнымъ требованіямъ, — и кто вникалъ со вниманіемъ въ эту отрасль администраціи, тотъ не могъ не дивиться быстрымъ перемѣнамъ въ ней къ лучшему, богатыми прекрасными результатами. Но общественное образованіе, преимущественно имѣющее въ виду развитіе умственныхъ способностей и обогащеніе ихъ познаніями, совсѣмъ не то, что воспитаніе домашнее: то и другое равно необходимы, и ни одно другого замѣнить не можетъ. Вотъ что говорятъ объ этомъ великій германскій мыслитель Гегель, въ своей торжественной рѣчи на актѣ Нюрнбергской гимназіи, обязанной его кратковременному управленію теперешнимъ своимъ процвѣтаніемъ: «Въ связи съ этимъ находится еще другой важный предметъ, который ставитъ школу еще въ большую необходимость опираться на домашнія отношенія учениковъ — это дисциплина. Я здѣсь отличаю воспитаніе нравовъ отъ ихъ образованія. Цѣлію учебнаго заведенія можетъ быть не воспитаніе, не дисциплина нравовъ въ собственномъ смыслѣ, а образованіе ихъ и притомъ не со всѣми средствами, къ нему ведущими. Учебное заведеніе должно предполагать добрую нравственность въ своихъ учени-

кахъ. Мы должны требовать, чтобы ученики, вступающіе въ намъ въ школу, уже получили предварительное воспитаніе. По духу нравовъ нашего времени непосредственное воспитаніе не есть, такъ какъ у Спартанцевъ, публичное, государственное; обязанность и забота воспитанія лежитъ на родителяхъ. Другое дѣло—сиротскіе дома или семинаріи и вообще всѣ заведенія, которыя обнимаютъ цѣлое существованіе юноши».

Такъ! на родителяхъ, на однихъ родителяхъ лежитъ священнѣйшая обязанность сдѣлать своихъ дѣтей людьми; обязанность же учебныхъ заведеній — сдѣлать ихъ учеными гражданами, членами государства на всѣхъ его ступеняхъ. Но кто не сдѣлался прежде всего человекомъ, тотъ плохой гражданинъ, плохой слуга государю. Изъ этого видно, какъ важенъ, великъ и священъ санъ воспитателя: въ его рукахъ участь цѣлой жизни человека! Первые впечатлѣнія могущественно дѣйствуютъ на юную душу: все дальнѣйшее ея развитіе совершается подъ ихъ могущественнымъ вліяніемъ. Всякій человекъ, еще не родившись на свѣтъ, въ самомъ себѣ носитъ уже возможность той формы, того опредѣленія, какое ему нужно. Эта возможность заключается въ его организмѣ, отъ котораго зависитъ и его темпераментъ, и его характеръ, и его умственные средства, и его склонность и способность къ тому или другому роду дѣятельности, къ той или другой роли въ общественной драмѣ,—словомъ, вся его индивидуальная личность. По своей природѣ, никто ни выше, ни ниже самого себя: Наполеономъ или Шекспиромъ должно родиться, но нельзя сдѣлаться; хорошій офицеръ часто бываетъ плохимъ генераломъ, а хорошій водевилистъ—дурнымъ трагикомъ. Это уже судьба, передъ которою безсильна и человѣческая воля, и самыя счастливыя обстоятельства. Назначеніе человека—развить лежащее въ его натурѣ зерно духовныхъ средствъ, стать вровень съ самимъ собою, но не въ его волѣ и не въ его силахъ пріобрѣсти

трудоу и усилюеу сверху даннаго ему природоу, сдѣлаться выше самаго себя, равно какъ и быть не тѣмъ, чѣмъ ему назначено быть, какъ напримѣръ, художникомъ, когда онъ родился быть мыслителемъ, и т. д. И вотъ здѣсь воспитаніе получаетъ свое истинное и великое значеніе. Животное, родившись отъ льва и львицы, дѣлается львомъ, безъ всякихъ стараній и усилій съ своей стороны, безъ всякаго вліянія счастливаго стеченія обстоятельствъ; но человекъ, родившись не только львомъ или тигромъ, даже человекомъ, въ полномъ значеніи этого слова, можетъ сдѣлаться и волкомъ, и осломъ, и чѣмъ угодно. Часто, одаренный великими средствами на великое, онъ обнаруживаетъ только дикую силу, которая служитъ ему ни къ чему иному, какъ къ разрушенію всего окружающаго его и даже самаго себя. И если бываютъ такіа богатая и могучія натуры, которыя собственною глубокостію и силою спасаются отъ гибели или искаженія вслѣдствіе ложнаго, неестественнаго развитія и дурнаго воспитанія, — то все-таки нельзя же сомнѣваться въ томъ, что тѣ же самыя натуры, но при нормальномъ развитіи и разумномъ воспитаніи прямѣе дошли бы до своей цѣли, съ силами свѣжими и неистощенными въ тяжелой и бесплодной борьбѣ съ случайными противорѣчіями. Разумное воспитаніе и злого по натурѣ дѣлаетъ или менѣе злымъ, или даже и добрымъ, развиваетъ до извѣстной степени самыя тупыя способности и по возможности очеловѣчиваетъ самую ограниченную и мелкую натуру; такъ дикое, лѣсное растеніе, когда его пересажать въ садъ и подвергнуть уходу садовника, дѣлается и пышнѣе цвѣтомъ, и вкуснѣе плодомъ. Не всѣ рождаются героями, художниками, учеными; геній есть явленіе вѣковое, рѣдкое; сильныя таланты тоже похожи на исключенія изъ общаго правила, — и въ этомъ случаѣ человечество есть армія, въ которой можетъ быть до милліона рядовыхъ солдатъ, но только одинъ фельдмаршалъ, и въ каждомъ полку только одинъ полковникъ, и на сто рядовыхъ одинъ офицеръ. Въ

такой же пропорціи находится къ большинству, или толпѣ, и число людей съ глубокою и безконечною натурою, которыхъ назначеніе — не проявиться въ какомъ-нибудь родѣ дѣятельности, составляющемъ признаніе генія и таланта, но все понимать, всему сочувствовать и все облагораживать и счастливить своимъ непосредственнымъ вліяніемъ. Природа не скупа, но экономна въ своихъ дарахъ,—и, какъ явленіе вѣчнаго разума, она строго соблюдаетъ свой іерархическій порядокъ, свою табель о рангахъ. Но всякое назначеніе природы имѣетъ параллельное себѣ назначеніе въ человѣчествѣ и въ гражданскомъ обществѣ,—почему всякій человѣкъ, съ какими бы то ни было способностями, находитъ свое мѣсто въ томъ и другомъ. Не мѣста людей, но люди мѣста унижаютъ. Самое приличное мѣсто человѣку то, къ которому онъ призванъ, а свидѣтельство призванія—его способности, степень ихъ, наклонность и стремленіе. Кто призванъ на великое въ человѣчествѣ—совершай его: ему честь и слава, ему вѣнецъ генія; кому же назначена тихая и неизвѣстная доля — умѣй найти въ ней свое счастье, умѣй съ пользою дѣйствовать и на маломъ поприщѣ, умѣй быть достойнымъ, почтеннымъ и въ скромной дѣятельности. Всякое желаніе невозможнаго—есть ложное желаніе; всякое стремленіе быть выше себя, выше своихъ средствъ — есть не благородный порывъ сознающей себя силы, а претензія жалкой посредственности и бѣднаго самолюбія украситья вѣшнымъ блескомъ. Цѣль нашихъ стремленій есть удовлетвореніе, и всякій удовлетворяется ни больше, ни меньше, какъ тѣмъ, что ему нужно; а кто нашелъ свое удовлетвореніе на ограниченномъ поприщѣ, тотъ счастливѣе того, кто, обладая большими духовными средствами, не можетъ найти своего удовлетворенія. Честный и, по своему, умный сапожникъ, который въ совершенствѣ обладаетъ своимъ ремесломъ и получаетъ отъ него все, что нужно ему для жизни, выше плохого генерала, хотя бы онъ былъ самъ Меласъ, выше пе-

данта ученаго, выше дурного стихотворца. Главная задача человѣка во всякой сферѣ дѣятельности, на всякой ступени въ лѣстницѣ общественной іерархіи, быть—человѣкомъ. Но, умѣренная на произведеніе великихъ явленій духовнаго міра, природа щедро до безконечности на произведеніе людей и съ душою, и съ способностями, и съ дарованіемъ—словомъ, со всѣмъ, что нужно человѣку, чтобъ быть достойнымъ высокаго званія человѣка. Люди бездарные, ни къ чему неспособные, тупоумные, суть такое же исключеніе изъ общаго правила, какъ уроды, и ихъ такъ же мало, какъ и уродовъ. Множество же ихъ происходитъ отъ двухъ причинъ, въ которыхъ природа нисколько не виновата: отъ дурнаго воспитанія и вообще ложнаго развитія, и еще оттого, что рѣдко случается видѣть человѣка на своей дорогѣ и на своемъ мѣстѣ. Сознаніе своего назначенія — трудное дѣло, и часто, если не натолкнуть человѣка на чуждую ему дорогу жизни, онъ самъ пойдетъ по ней, руководимый или бессознательною, или претензіями. Но еслибы возможно было равное для всѣхъ нормальное воспитаніе, — число обиженныхъ природою такъ ограничилось бы, что дѣйствительно обиженные ею прямо поступали бы въ кунсткамеру въ банки со спиртомъ. И потому воспитаніе по отношенію къ большинству, приобретаетъ еще большую важность: оно все—и жизнь, и смерть, спасеніе и гибель.

Но воспитаніе, чтобы быть жизнію, а не смертію, спасеніемъ, а не гибелью, должно отказаться отъ всякихъ претензій своевольной и искусственной самодѣятельности. Оно должно быть помощникомъ природѣ—не больше. Обыкновенно думаютъ, что душа младенца есть бѣлая доска, на которой можно писать что угодно, забывая, что каждый человѣкъ есть индивидуальная личность, которая можетъ дѣлаться и хуже и лучше—только по своему, индивидуально. Воспитаніе можетъ сдѣлать человѣка только худшимъ, исказить его патуру; лучшимъ оно его не дѣлаетъ, а только помогаетъ дѣ-

латься. Если душа младенца и въ самомъ дѣлѣ есть бѣлая доска, то — качество и смыслъ буквъ, которыя пишетъ на ней жизнь, зависать не только отъ пишущаго и орудія писанія, но и отъ качества самой этой доски. Человѣкъ ничего не можетъ узнать, чего бы не было въ немъ, ибо вся дѣйствительность, доступная его разумѣнію, есть не что иное, какъ осуществившіеся законы его же собственного разума. И потому-то есть такъ называемыя враждебныя идеи, которыя суть непосредственное созерцаніе истины, заключающееся въ таинствѣ человѣческаго организма. Ребенка нельзя увѣрить, что дважды два — пять, а не четыре. А, между тѣмъ, есть истины и повыше этой, которыхъ сѣмя въ душѣ человека, еще и не думавшаго о нихъ!...

Нѣтъ, не бѣлая доска душа младенца, а дерево въ зернѣ, человѣкъ въ возможности! Какъ ни старо сравненіе воспитателя съ садовникомъ, но оно глубоко-вѣрно, и мы не затрудняемся воспользоваться имъ. Да, младенецъ есть молодой, блѣдно-зеленой ростокъ, едва выглянувшій изъ своего зерна, а воспитатель есть садовникъ, который ходитъ за этимъ нѣжнымъ, возникающимъ растеніемъ. Посредствомъ прививки, и дикую лѣсную яблоню можно заставить, вмѣсто кислыхъ и маленькихъ яблокъ, давать яблоки садовые, вкусныя и большія; но тщетны были бы всѣ усилія искусства заставить дубъ приносить яблоки, а яблоню — желуди. А въ этомъ-то именно и заключается, по большей части, ошибка воспитанія: забываютъ о природѣ, дающей ребенку наклонности и способности, и опредѣляющей его значеніе въ жизни, и думаютъ, что было бы только дерево, а то можно заставить его приносить что угодно, хоть арбузы вмѣсто орѣховъ.

Для садовника есть правила, которыми онъ необходимо руководствуется при ходженіи за деревьями. Онъ соображается не только съ индивидуальною природою каждаго растенія, но и со временами года, съ погодою, съ качествомъ почвы. Каждое растеніе имѣетъ для него свои эпохи возрастанія,

сообразно съ которыми онъ и располагаетъ свои съ нимъ дѣйствія: онъ не сдѣлаетъ прививки ни къ стеблю, еще не-сформировавшемуся въ стволъ, ни къ старому дереву, уже готовому засохнуть. Человѣкъ имѣетъ свои эпохи возрастанія, не сообразуясь съ которыми можно затушить въ немъ всякое развитіе.

Орудіемъ и посредникомъ воспитанія должна быть любовь, а цѣлью—человѣчность (*die Humanität*). Мы разумѣемъ здѣсь первоначальное воспитаніе, которое важнѣе всего. Всякое частное или исключительное направленіе, имѣющее опредѣленную цѣль въ какой-нибудь сторонѣ общественности, можетъ имѣть мѣсто только въ дальнѣйшемъ, окончательномъ воспитаніи. Первоначальное же воспитаніе должно видѣть въ дитяти не чиновника, не поэта, не ремесленника, но человека, который могъ бы впослѣдствіи быть тѣмъ или другимъ, не переставая быть человѣкомъ. Подъ человѣчностью мы разумѣемъ живое соединеніе въ одномъ лицѣ тѣхъ общихъ элементовъ духа, которые равно необходимы для всякаго человека, какой бы онъ ни былъ націи, какого бы онъ ни былъ званія, состоянія, въ какомъ бы возрастѣ жизни и при какихъ бы обстоятельствахъ ни находился, — тѣхъ общихъ элементовъ, которые должны составлять его внутреннюю жизнь, его драгоцѣннѣйшее сокровище, и безъ которыхъ онъ не человѣкъ. Подъ этими общими элементами духа мы разумѣемъ—доступность всякому человѣческому чувству, всякой человѣческой мысли, смотря по глубокости натуры и степени образованія каждаго. Человѣкъ есть разумно-сознательная сущность и органъ всего сущаго,—и отсюда получаетъ свое глубокое и высокое значеніе извѣстное выраженіе: «*Номо sum, nihil mihi alienum humani puto*» т. е. «Я человѣкъ—и ничего человѣческаго не считаю чуждымъ мнѣ». Чѣмъ глубже натура и развитіе человека, тѣмъ болѣе онъ человѣкъ и тѣмъ доступнѣе ему все человѣческое. Онъ пойметъ и радостный крикъ дитяти при видѣ пролетѣвшей птички,

и бурное волненіе страстей въ вулканической груди юноши, и спокойное самообладаніе мужа, и созерцательное упоеніе старца, и жгучее отчаяніе, и дикую радость, и безмолвное страданіе, и затаенную грусть, и восторги счастливой любви, и тоску разлуки, и слезы отринутаго чувства, и тѣмную мольбу взоровъ, и высоту самоотверженія, и сладость молитвы, и все, что въ жизни, и въ чемъ есть жизнь. Опытъ и опытность не суть необходимое условіе такой всеобъемлющей доступности: чтобы понять и младенца, и юношу, и мужа, и старца, и женщину, ему не нужно быть вмѣстѣ и тѣмъ, и другимъ, и третьимъ, ему не нужно даже быть въ томъ положеніи, которое интересуетъ его въ каждомъ изъ нихъ, лишь бы представилось ему явленіе, а ужъ его чувство безсознательно откликнется на него и пойметъ его. На все будетъ у него и привѣтъ, и отвѣтъ, и участіе, и утѣшеніе, чистая радость о счастіи ближняго и состраданіе въ его горѣ, и улыбка на полный блаженства взоръ, и слеза на горькія слезы! Ему понятна и возможность не только слабостей и заблужденій, но и самыхъ пороковъ, самыхъ преступленій: презирая слабости и заблужденія, онъ будетъ жалѣть о слабыхъ и заблуждающихся; проклиная пороки и преступления, онъ будетъ сострадать порочнымъ и преступнымъ. Его грудь равно открыта и для задушевной тайны друга, и для робкаго признанія юнаго, страждущаго существа, и для души, томящейся обременительной полнотою блаженства, и для растерзаннаго страданіемъ сердца, и для рыдающаго раскаянія, и для самой ужасной повѣсти страстей и заблужденій. Онъ уважаетъ чувство и друга, и недруга; для него святы и горе, и радость знакомаго и незнакомаго человѣка. Съ нимъ такъ тепло и отрадно и своему, и чужому; онъ во всѣхъ внушаетъ такую довѣрчивость, такую откровенность; въ его душѣ столько теплоты и елейности, въ его словахъ такая кротость и задумчивость, въ его манерахъ столько мягкости и деликатности. Какъ отрадно бываетъ встрѣтить въ старикѣ, который былъ

лишенъ всякаго образованія, проведъ всю жизнь свою въ практической дѣятельности, совершенно чуждой всего идеальнаго, мечтательнаго и поэтическаго, — какъ отраднo встрѣтитъ теплое чувство, неподдавленное бременемъ годовъ и желѣзными заботами жизни, любовь и снисхожденіе къ юности, къ ея вѣтреннымъ забавамъ, ея шумной радости, ея мечтамъ, и грустнымъ и свѣтлымъ, и пламеннымъ и гордымъ! какъ отраднo увидѣть на его устахъ кроткую улыбку удовольствія, чистую слезу умиленія отъ пѣсни, отъ стихотворенія, отъ повѣсти!... О, станьте на колѣни передъ такимъ старикомъ, почтите за честь и счастье его ласковый привѣтъ, его дружеское пожатіе руки: въ немъ есть человѣчность! Онъ въ миллионъ разъ лучше этихъ сомнѣвающихся и разочарованныхъ юношей, которые увяли не расцвѣтши, — этихъ почтенныхъ лысинъ и сѣдинъ, которыя рутинною хотятъ замѣнить умъ и дарованія, холоднымъ резонёрствомъ — теплое чувство, вѣнчимъ и заимствованнымъ блескомъ отличій — внутреннюю пустоту и ничтожность, а важными и строгими разсужденіями о нравственности — сухость и мертвенность своихъ деревянныхъ сердецъ!...

Чтобы не повторять одного и того же, мы перейдемъ теперь къ дѣтскимъ книгамъ — главному предмету нашей статьи, и ихъ характеристикю довершимъ нашу характеристику воспитанія вообще.

На дѣтскія книги обыкновенно обращаютъ еще менѣе вниманія, чѣмъ на самое воспитаніе. Ихъ просто презираютъ, и если покупаютъ, то развѣ для картинокъ. Есть даже люди, которые почитаютъ чтеніе для дѣтей больше вреднымъ, чѣмъ полезнымъ. Это — грубое заблужденіе, варварскій предразсудокъ. Книга есть жизнь нашего времени. Въ ней всѣ нуждаются — и старые, и молодые, и дѣловые, и ничего недѣлающіе; дѣти — также. Все дѣло въ выборѣ книгъ для нихъ, и мы первые согласны, что читать дурно выбранныя книги для нихъ и хуже, и вреднѣе, чѣмъ ничего не читать: первое

зло положительное, второе—только отрицательное. Такъ, на-
примѣръ, въ дѣтяхъ, съ самыхъ раннихъ лѣтъ, должно разви-
вать чувство изящнаго, какъ одинъ изъ первѣйшихъ элемен-
товъ человѣчности; но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы
имъ можно было давать въ руки романы, стихотворенія и
проч. Нѣтъ ничего столь вреднаго и опаснаго, какъ неесте-
ственное и несвоевременное развитіе духа. Дитя должно быть
дитятею, но не юношею, не взрослымъ человѣкомъ. Первые
впечатлѣнія сильны, — и плодомъ неразборчиваго чтенія бу-
детъ преждевременная мечтательность, пустая и ложная иде-
альность, отвращеніе отъ бодрой и здоровой дѣятельности,
наклонность къ такимъ чувствамъ и положеніямъ въ жизни,
которыя несвойственны дѣтскому возрасту. Юноши, перехо-
дящіе въ старость мимо возмужалости—отвратительны, какъ
старички, которые хотятъ казаться юношами. Все хорошо и
прекрасно въ гармоніи, въ соотвѣтственности съ самимъ со-
бою. Всему своя чреда. Неестественно и преждеременно раз-
вившіяся дѣти—нравственные уроды. Всякая преждевремен-
ная зрѣлость похожа на растлѣніе въ дѣтствѣ. Искусство
въ той мѣрѣ дѣйствительно для каждаго, сколько каждый на-
ходитъ въ немъ истолкованіе того, что живетъ въ немъ са-
момъ, какъ чувство,—что знакомо ему, какъ потребность его
души. Когда же онъ этого не находитъ въ искусствѣ, то ви-
дитъ въ немъ фразы, увлекается ими, и изъ простого, доб-
раго человѣка становится высокопарнымъ болтуномъ, пу-
стымъ и докучнымъ фразѣромъ. Что же сказать о дѣтяхъ, ко-
торыя, по своему возрасту, не могутъ найти въ поэзіи отра-
женія внутренняго міра души своей? Разумѣется, они или
увлекаются отвратительнымъ въ ихъ лѣта фразѣрствомъ и
резонѣрствомъ, или перетолковываютъ по-своему недоступ-
ныя для нихъ чувства и превращаютъ ихъ для себя въ
неестественныя и ложныя ощущенія и побужденія. Но въ
пользу дѣтей должно исключить изъ числа недоступныхъ имъ
искусствъ—музыку. Это искусство, невыговаривающее опре-

дѣленно никакой мысли, есть какъ отрѣшившаяся отъ міра гармонія міра, чувство безконечнаго, воплотившееся въ звуки, возбуждающее въ душѣ могучіе порывы и стремленіе къ безконечному, возносящее ее въ ту превыспреннюю, надзвѣздную сферу высокихъ помысловъ и блаженнаго удовлетворенія, которая есть свѣтлая отчизна живущихъ долѣ, и изъ которой слышатся имъ довременные глаголы жизни... Вліяніе музыки на дѣтей благотно, и чѣмъ ранѣе начнутъ они испытывать его на себѣ, тѣмъ лучше для нихъ. Они не переведутъ на свой дѣтскій языкъ ея невыговариваемыхъ глаголовъ, но запечатлѣютъ ихъ въ сердцахъ,—не перетолкуютъ ихъ по своему, не будутъ о ней резонёрствовать; но она наполнитъ гармонією міра ихъ юныя души, разовьетъ въ нихъ предощущеніе таинства жизни, совлеченной отъ случайностей, и дастъ имъ легкія крылья, чтобы отъ низменнаго дола возноситься горѣ — въ свѣтлую отчизну душъ... Не можемъ удержаться, чтобы не выписать здѣсь мѣста изъ статьи одного малочитавашагося журнала, статьи проникнутой мыслию и благороднымъ одушевленіемъ: «Жалко сказать, въ какомъ положеніи находится у насъ музыкальное образованіе. У насъ учатъ музыкѣ не потому что музыка есть великое искусство, которое возвышаетъ, облагораживаетъ душу, развиваетъ въ ней безконечный внутренній міръ, а потому что стыдно же дѣвушкамъ не играть на фортепьяно, не спѣть романса — «это въ жизни хорошо»; какъ не блеснуть въ обществѣ своей игрой, своей музыкальностію *)!»—и у насъ музыка обратилась въ какую-то роскошь воспитанія: па-

*) Въ самомъ дѣлѣ, кому не хочется блеснуть своею музыкальностію?—И вотъ и въ музыку такъ же ввели моду, какъ и въ костюмы и въ свѣтскіе обычаи. Пожалуйте намъ Черни, Герца, Тальберга, Шопена: какъ можно даже говорить о старикахъ—Моцартѣ и Бетховенѣ... Соната Бетховена—fi donec!—какъ это старо!... Въ самомъ дѣлѣ, вы стары, простодушные художники!... Посмотрите на природу, какъ она состарѣлась—вѣдь ужъ сколько тысячъ лѣтъ живетъ она!...

пенька тратится и платитъ деньги музыкальному учителю, считая это ужъ необходимымъ зломъ для своего кармана. По большей части, дѣвушки наши занимаются музыкою только до замужества, а такъ какъ на музыку смотрятъ, какъ на средство сдѣлать выгодную партію, или даже просто — поскорѣе выйти замужъ, — цѣль достигнута, и музыка оставлена, фортепьяно держится въ домѣ, какъ необходимая мебель. Да впрочемъ, извѣстно и то, что благородной дѣвицѣ неприлично наслаждаться какою-то превыспреннею любовію, и находить свое счастье въ природѣ, въ искусствѣ, въ мысли; совсѣмъ нѣтъ; природа, поэзія и умныя сужденія должны быть украшеніями, забавами жизни, а вовсе не сущностью ея. — Пусть бы оставляли музыку для занятій и попеченій материнскихъ (хотя мы думаемъ, напротивъ, что въ долгъ и попеченія матери музыка должна входить первая: она первая должна быть благодатною росой для растительной жизни дитяти, солнечнымъ свѣтомъ для пробуждающейся юной души, она развиваетъ и укрѣпляетъ цвѣтокъ духовной жизни для плода... впечатлѣнія музыки на душу младенца и плоды ихъ неисчислимы); но дамы наши мало думаютъ объ этомъ, и музыка оставляется для другихъ, важнѣйшихъ предметовъ — нарядовъ, выѣздовъ, собраній, свѣтской литературы; но тихой, задумчивой музыкѣ неловко въ такомъ блистательномъ, шумномъ обществѣ — она улетаетъ...» («М. Н.» 1838. стр. 332).

Шекспиру слишкомъ 200 лѣтъ, а Гомеръ даже сдѣлался мною... Да, правда—вы все стары, вы не годитесь теперь, вамъ вовсе нельзя блеснуть въ обществѣ: вы требуете много труда, размысленія, удивленія; а что-жъ вы даете за это?—Какую-нибудь внутреннюю гармонию, одушевленіе, растворяете душу блаженствомъ и жаждою безконечною, намъ совсѣмъ не этого нужно... Но я, право, не знаю, что нужно такимъ артистамъ, и, говоря это, я вовсе не имѣлъ намѣренія говорить о старыхъ германскихъ мастерахъ, и высказалъ это такъ. къ слову, потому что мнѣ всегда очень забавно слышать такіе разговоры въ сферѣ искусства; но Богъ съ ними, съ этими любителями!...

Но что же можно читать дѣтямъ! Изъ сочиненій, писанныхъ для всѣхъ возрастовъ, давайте имъ «Басни» Крылова, въ которыхъ даже практическія, житейскія мысли облечены въ такіе плѣнительные поэтическія образы, и все такъ рѣзко запечатлѣно печатію русскаго ума и русскаго духа; давайте имъ «Юрія Милославскаго» г. Загоскина, въ которомъ столько душевной теплоты, столько патріотическаго чувства, который такъ простъ, такъ наивенъ, такъ чуждъ возмущающихъ душу картинъ, такъ доступенъ дѣтскому воображенію и чувству; давайте «Овсяный Кисель», эту наивную, дышащую младенческою поэзію піесу Гебеля, такъ превосходно переведенную Жуковскимъ: давайте имъ нѣкоторыя изъ народныхъ сказокъ Пушкина, какъ напримѣръ, «О Рыбакѣ и Рыбкѣ», которая, при высокой поэзіи, отличается, по причинѣ своей безконечной народности, доступностію для всѣхъ возрастовъ и сословій, и заключаетъ въ себѣ нравственную идею. Не давая дѣтямъ въ руки самой книги, можно читать имъ отрывки изъ нѣкоторыхъ поэмъ Пушкина, какъ напримѣръ, въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ» изображеніе черкесскихъ нравовъ, въ «Русланѣ и Людмилѣ» эпизоды битвъ, о полѣ, открытомъ мертвыми костями, о богатырской головѣ; въ «Полтавѣ» описаніе битвы, появленіе Петра Великаго; наконецъ, нѣкоторыя изъ мелкихъ стихотвореній Пушкина, каковы: «Пѣснь о Вѣсемъ Олегѣ», «Женихъ», «Ширь Петра Великаго», «Зимній Вечеръ», «Утопленикъ», «Бѣсы»; нѣкоторыя изъ пѣсень западныхъ Славянъ, а для болѣе взрослыхъ — «Клеветникамъ Россіи» и «Бородинскую Годовщину». Не заботьтесь о томъ, что дѣти мало тутъ поймутъ, но именно и старайтесь, чтобы они какъ можно менѣе понимали, но больше чувствовали. Пусть ухо ихъ пріучается къ гармоніи русскаго слова, сердца преисполняются чувствомъ изящнаго; пусть и поэзія дѣйствуетъ на нихъ, какъ и музыка—прямо черезъ сердце, мимо головы, для которой еще настанетъ свое время, свой чередъ. Очень полезно, и даже необходимо зна-

комить дѣтей съ русскими народными пѣснями, читать имъ, съ немногими пропусками, стихотворныя сказки Кирши Данилова. Народность обыкновенно выпускается у насъ изъ плана воспитанія; часто не только юноши, но и дѣти знаютъ наизусть отрывки изъ трагедій Корнеля и Расина, и умѣютъ пересказать десятокъ анекдотовъ о Генрихѣ IV, о Людовикѣ XIV, а, между тѣмъ, не имѣютъ и понятія о сокровищахъ своей народной поэзіи, о русской литературѣ, и развѣ отъ дядекъ и мамокъ узнаютъ, что былъ на Руси великій царь—Петръ I. Давайте дѣтямъ больше и больше созерцаніе общаго, человѣческаго, мірового; но преимущественно старайтесь знакомить ихъ съ этимъ чрезъ родныя и національныя явленія: пусть они сперва узнаютъ не только о Петрѣ Великомъ, но и о Іоаннѣ III, чѣмъ о Генрихахъ, Карлахъ и Наполеонахъ. Общее является только въ частномъ: кто не принадлежитъ своему отечеству, тотъ не принадлежитъ и человѣчеству.

Книги, которыя пишутся собственно для дѣтей, должны входить въ планъ воспитанія, какъ одна изъ важнѣйшихъ его сторонъ. Наша литература особенно бѣдна книгами для воспитанія, въ обширномъ значеніи этого слова, т. е. какъ учебными, такъ и литературными дѣтскими книгами. Но эта бѣдность нашей литературы покуда еще не можетъ быть для нея важнымъ упрекомъ. Посмотрите на богатыя литературы Французовъ, Англичанъ, и даже самихъ Нѣмцевъ: у всѣхъ у нихъ дѣтскихъ книгъ много, но читать дѣтямъ нечего, или, по крайней мѣрѣ, очень мало. У Французовъ, напр., писали для дѣтей Беркенъ, Бульи, г-жа Жанлисъ и прочіе, написали бездну, но дѣти отъ этого нисколько не богаче книгами для своего чтенія. И это очень естественно: должно *родиться*, а не *сдѣлаться* дѣтскимъ писателемъ. Это своего рода призваніе. Тутъ требуется не только талантъ, но и своего рода геній... Да, много, много нужно условій для образованія дѣтскаго писателя: нужны душа благородная, любящая, кроткая, спокойная, младенчески-простодушная, умъ возвышенный, образован-

ный, взглядъ на предметы просвѣтленный, и не только живое воображеніе, но и живая, поэтическая фантазія, способная представить все въ одушевленныхъ, радужныхъ образахъ. Разумѣется, что любовь къ дѣтямъ, глубокое знаніе потребностей, особенностей и оттѣнковъ дѣтскаго возраста есть одно изъ важнѣйшихъ условій.

Цѣлью дѣтскихъ книжекъ должно быть не столько занятіе дѣтей какимъ-нибудь дѣломъ, не столько предохраненіе ихъ отъ дурныхъ привычекъ и дурного направленія, сколько развитіе данныхъ имъ отъ природы элементовъ человѣческаго духа. — развитіе чувства любви и чувства безконечнаго. Прямое и непосредственное дѣйствіе такихъ книжекъ должно быть обращено на чувство дѣтей, а не на ихъ разсудокъ. Чувство предшествуетъ знанію; кто не почувствовалъ истины, тотъ и не понялъ и не узналъ ея. Въ дѣтскомъ возрастѣ чувство и разсудокъ въ рѣшительной противоположности, въ рѣшительной враждѣ, и одно убиваетъ другое: преимущественное развитіе чувства даетъ имъ полноту, гармонію и поэзію жизни; преимущественное развитіе разсудка губитъ въ ихъ сердцахъ пышный цвѣтъ чувства и выращаетъ въ нихъ пырей и бѣлену резонёрства. Дѣтскій умъ, предаваясь отвлеченности, въ живыхъ явленіяхъ природы и жизни видитъ однѣ мертвыя формы, лишеныя духа и сущности, и логическія опредѣленія для него — скорлупа гнилого орѣха, о которую только портятся зубы. Конечно, одновременность вредна и въ воспитаніи, и дѣтскій разсудокъ требуетъ развитія, какъ и чувство; но развитіе разсудка въ дѣтяхъ предоставляется другой сторонѣ воспитанія — ученію, школѣ. Садясь за грамматику, ребенокъ уже вступаетъ въ міръ отвлеченностей и логическихъ построеній и опредѣленій. Всему свое мѣсто, и ни одна сторона духа не должна мѣшать другой: пусть въ классѣ развивается разсудокъ ребенка и приучается постепенно къ строгости логической дисциплины; пусть ребенокъ разсуждаетъ съ учебникомъ въ рукахъ, готовясь къ классу; но лишь затворится за нимъ дверь класса,

пусть онъ входитъ въ поэтическій міръ дѣйствительныхъ, образныхъ явленій жизни, въ «полное славы творенье»! Книга пусть будетъ у него книгою, а жизнь жизнью, и одно да не мѣшаетъ другому! Увы, прійдетъ время—и скроется отъ него этотъ поэтическій образъ жизни, съ розовыми ланитами, съ сіяющими отъ веселья взорами, съ обольстительною улыбкой счастья на устахъ; подозрительный и недовѣрчивый разсудокъ разложитъ его на мускулы, кровь, нервы и кости, и, вмѣсто прежняго плѣнительнаго образа, покажетъ ему отвратительный скелетъ. Въ душѣ раздадутся тревожные вопросы—и какъ, и отчего, и почему, и зачѣмъ? Живыя явленія дѣйствительности превратятся въ отвлеченныя понятія... Поздравимъ его, если онъ съ честію выдержитъ эту внутреннюю борьбу: если изъ порожденныхъ разрывающею силою разсудка противорѣчій снова войдетъ въ новое и высшее прежняго, разумно-сознательное созерцаніе полноты жизни. Пожалѣемъ о немъ, если ему суждено будетъ на вѣкъ остаться въ односторонней ограниченности разсудочнаго созерцанія жизни... Но пока онъ еще дитя, дадимъ ему вполне насладиться первобытнымъ раемъ непосредственной полноты бытія, этою полною жизнью чистой младенческой радости, источникъ которой есть простодушное и цѣломудренное единство съ природою и дѣйствительностію.

Итакъ, если вы хотите писать для дѣтей, не забывайте, что они не могутъ мыслить, но могутъ только разсуждать, или, лучше сказать, резонѣрствовать, а это очень худо! Если несносенъ взрослый человѣкъ, который все великое въ жизни мѣряетъ маленькимъ аршиномъ своего разсудка, и о религіи, искусствѣ и знаніи разсуждаетъ, какъ о посѣвѣ хлѣба, паровыхъ машинахъ, или выгодной партіи, то еще отвратительнѣе ребенокъ-резонѣръ, который «разсуждаетъ», потому что еще не можетъ «мыслить». Резонѣрство иссушаетъ въ дѣтяхъ источники жизни, любви, благодати; оно дѣлаетъ ихъ молоденькими старичками, становить на ходули. Дѣтскія книжки часто развиваютъ въ нихъ эту несчастную способность резо-

нёрства, вмѣсто того, чтобы противодѣйствовать ея возникновенію и развитію. Чѣмъ обыкновенно отличаются, напримѣръ, повѣсти для дѣтей? — дурно скленнымъ разсказомъ, пересыпаннымъ моральными сентенціями. Цѣль такихъ повѣстей — обманывать дѣтей, искажая въ ихъ глазахъ дѣйствительность. Тутъ обыкновенно хлопчатъ изъ всѣхъ силъ, чтобы убить въ дѣтяхъ всякую живость, рѣзвость и шаловливость, которыя составляютъ необходимое условіе юнаго возраста, вмѣсто того, чтобы стараться дать имъ хорошее направленіе и сообщить характеръ доброты, откровенности и граціозности. Потомъ стараются пріучить дѣтей обдумывать и взвѣшивать всякій свой поступокъ — словомъ, сдѣлать ихъ благоразумными резонёрами, которые годятся только для классической комедіи или трагедіи, а не думаютъ о томъ, что все дѣло во внутреннемъ источникѣ духа, что если онъ полонъ любовію и благодатію, то и внѣшность будетъ хороша, и что, наконецъ, нѣтъ ничего отвратительнѣе, какъ мальчишка-резонёръ, свысока разсуждающій о морали, заложивъ руки въ карманъ. А потомъ, что еще? — потомъ стараются увѣрять дѣтей, что всякій проступокъ наказуется, и всякое хорошее дѣйствіе награждается. Истина святая — не споримъ; но объяснять дѣтямъ наказаніе и награжденіе въ буквальному, внѣшнему, а слѣдовательно, и случайному смыслу, значить обманывать ихъ. А по смыслу и разумнію (конечно крайнему) большей части дѣтскихъ книжекъ, награда за добро состоитъ въ долголѣтіи, богатствѣ, выгодной женитьбѣ... Прочтите хоть, напримѣръ, повѣсти Коцебу, написанныя имъ для собственныхъ его дѣтей. Но дѣти только неопытны и простодушны, а отнюдь не глупы — и отъ всей души смѣются надъ своими мудрыми наставниками. И это еще спасеніе для дѣтей, если они не позволяютъ такъ грубо обманывать себя; но горе имъ, если они повѣряютъ: ихъ разувѣрить горькій опытъ и набросить въ ихъ глазахъ темный покровъ на прекрасный Божій міръ. Каждый изъ нихъ

собственнымъ опытомъ узнаеть, что безстыдный лѣнтяй часто получаетъ похвалу насчетъ прилежнаго; что наглый затѣйникъ шалости непризнательностію отдѣливается отъ наказанія, а чистосердечно признавшійся въ шалости нещадно наказывается; что честность и справедливость часто не только не даютъ богатства, но повергаютъ еще въ нищету. Да, къ несчастію, каждый изъ нихъ узнаеть все это; но не каждый изъ нихъ узнаеть, что наказаніе за худое дѣло производится самымъ этимъ дѣломъ и состоитъ въ отсутствіи изъ души благодатной любви, мира и гармоніи—единственныхъ источниковъ истиннаго счастья; что награда за доброе дѣло опять-таки происходитъ отъ самого этого дѣла, которое даетъ человѣку сознаніе своего достоинства, сообщаетъ его душѣ спокойствіе, гармонію, чистую радость, и черезъ то дѣлаеть ее храмомъ Божиимъ, потому что Богъ тамъ, гдѣ безмятежная, чистая радость, гдѣ любовь. А обо всемъ этомъ должны бы дѣтямъ говорить дѣтскія книжки! Онѣ должны внушать имъ, что счастье не во внѣшнихъ и призрачныхъ случайностяхъ, а въ глубинѣ души, — что не блестящій, не богатый, не знатный человѣкъ любимъ Богомъ, но «сокровенный сердца человѣкъ въ нетлѣнномъ украшеніи кроткаго и спокойнаго духа, что драгоцѣнно предъ Богомъ», какъ говоритъ св. апостолъ Петръ. Онѣ должны показать имъ, что міръ и жизнь прекрасны такъ, какъ они суть, но что независимость отъ ихъ случайностей состоитъ не въ коврѣ-самолетѣ, не въ волшебномъ прутикѣ, мановеніе котораго воздвигаетъ дворцы, вызываетъ легіоны хранительныхъ духовъ съ пламенными мечами, готовыхъ наказать злыхъ преслѣдователей и обидчиковъ, но въ свободѣ духа, который силою божественной, христіанской любви торжествуетъ надъ невзгодами жизни и бодро переноситъ ихъ, почерпая силу въ этой любви. Онѣ должны знакомить ихъ съ таинствомъ страданія, показывая его, какъ другую сторону одной и той же любви, какъ блаженство своего рода, и не какъ непріятную слу-

чайность, но какъ необходимое состояніе духа, не извѣдавъ котораго, человекъ не извѣдаетъ и истинной любви, а слѣдовательно, и истиннаго блаженства. Онѣ должны показать имъ, что въ добровольномъ и свободномъ страданіи, вытекающемъ изъ отреченія отъ своей личности и своего эгоизма, заключается твердая опора противъ несправедливости судьбы и высшая награда за нее. И все это дѣтскія книжки должны передавать своимъ маленькимъ читателямъ не въ истертыхъ сентенціяхъ, не въ холодныхъ правоученіяхъ, не въ сухихъ разсказахъ, а въ повѣствованіяхъ и картинахъ полныхъ жизни и движенія, проникнутыхъ одушевленіемъ, согрѣтыхъ теплотою чувства, написанныхъ языкомъ легкимъ, свободнымъ, игривымъ, цвѣтущимъ въ самой простотѣ своей,—и тогда онѣ могутъ служить однимъ изъ самыхъ прочныхъ основаній и самыхъ дѣйствительныхъ средствъ для воспитанія. Пишите, пишите для дѣтей, но только такъ, чтобы вашу книгу съ удовольствіемъ прочелъ и взрослый и, прочтя, перенесся бы легкою мечтою въ свѣтлые годы своего младенчества. Главное дѣло — какъ можно меньше сентенцій, правоученій и резонёрства: ихъ не любятъ и взрослые, а дѣти просто ненавидятъ, какъ и все, наводящее скуку, все сухое и мертвое. Они хотятъ видѣть въ васъ друга, который забывался бы съ ними до того, что самъ становился бы младенцемъ, а не угрюмаго наставника; требуютъ отъ васъ наслажденія, а не скуки, разсказовъ, а не поученій. Дитя веселое, доброе, живое, рѣзвое, жадное до впечатлѣній, страстное къ разсказамъ, не столько чувствительное, сколько чувствующее — такое дитя есть дитя Божіе: въ немъ играетъ юная, благодатная жизнь, и надъ нимъ почиетъ благословеніе Божіе. Пусть дитя шалить и проказить, лишь бы его шалости и проказы не были вредны и не носили на себѣ отпечатка физическаго и нравственнаго цинизма; пусть оно будетъ безразсудно, опрометчиво—лишь бы оно не было глупо у тупо; мертвенность же и безжизненность хуже всего. Но

ребенокъ разсуждающій, ребенокъ благоразумный, ребенокъ резонёръ, ребенокъ, который всегда остороженъ, никогда не сдѣлаетъ шалости, ко всѣмъ ласковъ, вѣжливъ, предупредителенъ,—и все это по расчету... горе вамъ, если вы сдѣлали его такимъ!... Вы убили въ немъ чувство и развили разсудокъ: вы заглушили въ немъ благодатное сѣмя безсознательной любви и возрастили—резонёрство... Бѣдные дѣти, сохрани васъ Богъ отъ оспы, кори и сочиненій Беркена, Жанлисъ и Бульи.

Основу, сущность, элементъ высшей жизни въ человѣкѣ составляетъ его внутреннее чувство безконечнаго, которое, какъ чувство, лежитъ въ его организаціи. Чувство безконечнаго есть искра Божія, зерно любви и благодати, живой проводникъ между человѣкомъ и Богомъ. Степени этого чувства различны въ ладахъ, по глаголу Спасителя: «И далъ одному пять талантовъ, другому два, третьему одинъ, каждому по его силѣ»; но мѣрою глубины этого чувства измѣряется достоинство человѣка и близость его къ источнику жизни—къ Богу. Все человѣческое знаніе должно быть выговариваніемъ, переводеніемъ въ понятія, опредѣленіемъ, короче — сознаніемъ таинственныхъ проявленій этого чувства, безъ котораго, по этому, всѣ наши понятія и опредѣленія суть слова безъ смысла, форма безъ содержанія, сухая, бесплодная и мертвая отвлеченность. Безъ чувства безконечнаго, въ человѣкѣ не можетъ быть и внутренняго, духовнаго созерцанія истины, потому что непосредственное созерцаніе истины, какъ на фундаментѣ, основывается на чувствѣ безконечнаго. Это чувство есть даръ природы, результатъ счастливой организаціи, и потому оно свойственно и дѣтямъ, въ которыхъ лежитъ какъ зародышъ,—и развитія этого-то зародыша требуемъ мы отъ воспитанія и дѣтской литературы.

Мы сказали, что живая поэтическая фантазія есть необходимое условіе въ числѣ другихъ необходимыхъ условій, для образованія писателя для дѣтей: чрезъ нее и посред-

ствомъ ея долженъ онъ дѣйствовать на дѣтей. Въ дѣтствѣ, фантазія есть преобладающая способность и сила души, главный ея дѣятель и первый посредникъ между духомъ ребенка и внѣ его находящимся міромъ дѣйствительности. Дитя не требуетъ діалектическихъ выводовъ и доказательствъ, логической послѣдовательности: ему нужны образы, краски и звуки. Дитя не любитъ отвлеченныхъ идей: ему нужны исторіи, повѣсти, сказки, рассказы, — и посмотрите, какъ сильно у дѣтей стремленіе ко всему фантастическому, какъ жадно слушаютъ они рассказы о мертвецахъ, привидѣніяхъ, волшебствахъ. Что это доказываетъ? — потребность безконечнаго, предположеніе таинства жизни, начало чувства поэзіи, которыя находятъ для себя удовлетвореніе пока еще только въ одномъ чрезвычайномъ, отличающемся неопредѣленностію идеи и яркостію красокъ. Чтобы говорить образами, надо быть если не поэтомъ, то, по крайней мѣрѣ, рассказчикомъ и обладать фантазіею живою, рѣзвою и радужною. Чтобы говорить образами съ дѣтьми, надо знать дѣтей, надо самому быть взрослымъ ребенкомъ, не въ полномъ значеніи этого слова, но родиться съ характеромъ младенчески-простодушнымъ. Есть люди, которые любятъ дѣтское общество и умѣютъ занять его и разговоромъ, и разговоромъ, и даже игрою, принявъ въ ней участіе; дѣти, съ своей стороны, встрѣчаютъ этихъ людей съ шумною радостію, слушаютъ ихъ со вниманіемъ, и смотрятъ на нихъ съ откровенною довѣрчивостію, какъ на своихъ друзей. Про всякаго изъ такихъ у насъ, на Руси, говорятъ: «это дѣтскій праздникъ». Вотъ такихъ-то «дѣтскихъ праздниковъ» нужно и для дѣтской литературы. Да, — много очень много условій! Такіе писатели, подобно поэтамъ, рождаются, а не дѣлаются...

Но резонѣрамъ крайне не нравятся подобныя требованія. Въ самомъ дѣлѣ, кому пріятно выслушивать свой смертный приговоръ, свое исключеніе изъ списка живущихъ? Вѣроятно, по этой же причинѣ, плохіе стихотворцы терпятъ не

могутъ разсужденій о высшихъ требованіяхъ искусства: въ нихъ онъ видитъ свое уничтоженіе. Отнимите у резонёра право пересыпать изъ пустого въ порожнее моральными сентенціями, — что же ему остается дѣлать на бѣломъ свѣтѣ? Въдѣ жизни, любви, одушевленія, таланта не поднимешь съ улицы, не купишь и за деньги, если природа отказала въ нихъ. А резонёрствовать какъ легко: стоитъ только за-пасться бумагою, перомъ и чернилами, да присѣсть—а оно ужъ полетѣтъ само! Какой поклонникъ Бахуса не въ состояніи ораторствовать о пагубномъ вліяніи крѣпкихъ напитковъ на тѣло и душу, и о пользѣ трезвости и воздержности? Какой развратникъ не наговоритъ короба три громкихъ фразъ о нравственности? Какой бездушный и холодный человѣкъ не въ состояніи вкось и вкривь разсуждать о любви, благочестіи, благотворительности, самопожертвованіи и о прочихъ священныхъ чувствахъ, которыхъ у него нѣтъ въ душѣ? Жизнь, теплота, увлекательность и поэзія суть свидѣтельства того, что человѣкъ говоритъ отъ души, отъ убѣжденія, любви и вѣры, и онѣ-то электрически сообщаются другой душѣ. Мертвенность, холодность и скука показываютъ, что человѣкъ говоритъ о томъ, что у него въ головѣ, а не въ сердцѣ, что не составляетъ лучшей части его жизни и чуждо его убѣжденію. Но, повторяемъ — для нѣкоторыхъ людей разсуждать легче, чѣмъ чувствовать, и прѣсная вода резонёрства, которой у нихъ вдоволь, для нихъ лучше и вкуснѣе шипучаго нектара поэзіи, котораго — бѣдняки!—они и не пробовали никогда. И вотъ одинъ хочетъ увѣрить дѣтей, что вставать рано очень полезно, ибо-де одинъ мальчикъ, имѣвшій привычку вставать съ солнцемъ, нашелъ на полѣ кошелекъ съ деньгами; а другой хочетъ увѣрить дѣтей, что надо вставать поздно, ибо-де одна дѣвочка, вставши рано, пошла гулять въ садъ, простудилась, да и умерла. Одинъ говоритъ дѣтямъ — будьте поспѣшны, другой — не торопитесь, третій — будьте откровенны, ничего не скрывайте,

четвертый—не все говорите, что знаете. Кому вѣрить, кому слѣдовать?... Забавнѣе же всего, что всѣ эти глубокія мысли подтверждаются случайными примѣрами, ровно ничего не доказывающими. Нѣтъ, моральныя сентенціи не только отвратительны и безплодны сами по себѣ, но и портятъ даже прекрасныя и полныя жизни сочиненія для дѣтей, если вкрадываются въ нихъ! Вы рассказываете дѣтямъ сказку или повѣсть: спрячьтесь за нее, чтобъ васъ было не видно, пусть все въ ней говоритъ само за себя, непосредственнымъ впечатлѣніемъ. У васъ есть нравственная мысль—прекрасно; не выговаривайте же ея дѣтямъ, но дайте ее почувствовать, не дѣлайте изъ нея вывода въ концѣ вашего разсказа, но дайте имъ самимъ вывести: если разсказъ имъ понравился, или они читаютъ его съ жадностію и наслажденіемъ — вы сдѣлали свое дѣло. Здѣсь мы повторимъ мысль, уже высказанную въ нашемъ журналѣ и возбудившую негодованіе и ужасъ резонѣровъ: «Не нужно никакихъ нагихъ мыслей, и какъ язвы берегитесь нравственныхъ сентенцій. Пусть основная мысль вашего разсказа дѣятельно движется, не давайте ей для ней же самой, пробиваться наружу и выводить дѣтскую душу изъ полноты жизни, изъ борьбы и столкновенія частныхъ, на отвлеченную высоту, гдѣ воздухъ рѣдокъ и удушливъ для слабой груди еще несозрѣвшаго человѣка; пусть мысль кроется во внутренней, недоступной лабораторіи, и тамъ перерабатываетъ свое содержаніе въ жизненные соки, которые неслышно и незамѣтно разольются по вашему разсказу». Не говорите дѣтямъ о томъ, чего они еще не въ состояніи понять своимъ умомъ; дайте имъ простое катехизическое понятіе о Богѣ, по ученію православной церкви, но не пускайтесь съ ними въ діалектическія тонкости философскихъ опредѣленій, а старайтесь больше заставить дѣтей полюбить Бога, который является имъ и въ ясной лазури неба, и въ ослѣпительномъ блескѣ солнца, и въ торжественномъ великолѣпнѣи возстающаго дня, и въ задумчивомъ величіи насту-

пающей ночи, и въ ревѣ бури, и въ раскатахъ грома, и въ цвѣтахъ радуги, и въ зелени лѣсовъ, и въ журчаніи ручья, и въ шумѣ моря, и во всемъ, что есть въ природѣ живого, такъ безмолвно и вмѣстѣ такъ краснорѣчиво говорящаго душѣ юной и свѣжей, — и, наконецъ, во всякомъ благородномъ порывѣ, во всякомъ движеніи ихъ младенческаго сердца. Не разсуждайте съ дѣтьми о томъ только, какое наказаніе полагаетъ Богъ за такой-то грѣхъ; но учите ихъ смотрѣть на Бога, какъ на отца, безконечно любящаго своихъ дѣтей, которыхъ Онъ создалъ для блаженства и которыхъ блаженство Онъ искупилъ мученіемъ и смертію на крестѣ. Внушайте дѣтямъ страхъ Божій, какъ начало премудрости, но дѣлайте такъ, чтобы этотъ страхъ вытекалъ изъ любви же, и чтобы не рабскій ужасъ наказанія, а сыновняя боязнь оскорбить отца благого и любящаго, а не грознаго и мстящаго, производила этотъ страхъ, и чтобы не лишеніе земныхъ благъ, а отвращеніе отъ виновныхъ лица отчаго почитали они наказаніемъ. Обращайте ваше вниманіе не столько на истребленіе недостатковъ и пороковъ въ дѣтяхъ, сколько на наполненіе ихъ животворящею любовію: будетъ любовь — не будетъ пороковъ. Истребленіе дурного безъ наполненія хорошимъ — бесплодно; это производитъ пустоту, а пустота безпрестанно наполняется — пустотою же: выгоните одну, явится другая. Любви, безконечной любви! — все остальное ничтожно! «Богъ есть любовь, и пребывающій въ любви пребываетъ въ Богѣ и Богъ въ немъ». Равнымъ образомъ, не искажайте дѣйствительности ни клеветами на нее, ни украшеніями отъ себя, но показывайте ее такою, какова она есть въ самомъ дѣлѣ, во всемъ ея очарованіи и во всей ея неумолимой суровости, чтобы сердце дѣтей, научаясь ее любить, привыкло бы, въ борьбѣ съ ея случайностями, находить опору въ самомъ себѣ. Въ одной истинѣ и жизнь, и благо: истина не требуетъ помощи у лжи. И потому, конецъ вашей повѣсти можетъ быть и несчастный, въ которомъ добродѣтель страж-

деть, а порокъ торжествуетъ; но вы вполнѣ достигнете вашей нравственной цѣли, если юныя сердца вашихъ маленькихъ читателей станутъ за страждущихъ и не позавидуютъ торжествующимъ, если, на вопросъ— на чьемъ бы хотѣли они быть мѣстъ?—они не колеблясь отвѣтятъ, что на мѣстѣ страждущихъ, но добрыхъ. Не упускайте изъ вида ни одной стороны воспитанія: говорите дѣтямъ и объ опрятности, о внѣшней чистотѣ, о благородствѣ и достоинствѣ манеръ и обращенія съ людьми; но выводите необходимость всего этого изъ общаго и изъ высшаго источника—не изъ условныхъ требованій общественнаго званія, или сословія, но изъ высоты чело-вѣческаго званія, не изъ условныхъ понятій о приличіи, но изъ вѣчныхъ понятій о достоинствѣ чело-вѣческомъ. Внушайте имъ, что внѣшняя чистота и изящество должны быть выраже-ніемъ внутренней чистоты и красоты, что наше тѣло должно быть достойнымъ сосудомъ духа Божія... Уваженіе къ имени чело-вѣческому, безконечная любовь къ чело-вѣку за то только, что онъ чело-вѣкъ, безъ всякихъ отношеній къ своей личности и къ его національности, вѣрѣ или званію, даже личному его достоинству или недостоинству—словомъ, безконечная любовь и безконечное уваженіе къ чело-вѣчеству даже въ лицѣ послѣднѣйшаго изъ его членовъ (die Menschlichkeit) должны быть стихіею, воздухомъ, жизнью чело-вѣка, а высокое выраженіе поэта—

При мысли великой, что я чело-вѣкъ,
Всегда возвышаюсь душою—

девизомъ всей его жизни...

Но повѣсти и рассказы не суть еще единственная и исклю-чительная форма бесѣдъ съ дѣтьми. Вы можете еще и обога-щать ихъ познаніями, расширять кругъ ихъ созерцанія дѣй-ствительности, знакомя ихъ съ безконечнымъ разнообразіемъ явленій прекраснаго Божьяго міра. Но и здѣсь одна цѣль—знакомство не съ фактами, а съ тѣмъ, такъ сказать, букетомъ жизни и духа, который скрывается въ нихъ и составляетъ ихъ

сущность и значеніе. Да, вамъ предстоитъ обширное и богатое поле: не говорю уже объ источникѣ собственной вашей фантазіи, — религія, исторія, географія, естествознаніе — умѣйте только пожинать! Для дѣтей предметы тѣ же, что и для взрослыхъ; только ихъ должно излагать сообразно съ дѣтскимъ понятіемъ, а въ этомъ-то и заключается одна изъ важнѣйшихъ сторонъ этого дѣла! Какіе богатые матеріалы представляетъ одна исторія! Показать душѣ юной, чистой и свѣжей примѣры высокихъ дѣйствій представителей челоѣчества, дѣйствительность добра и призрачность зла — не значить ли возвысить ее?... Провести дѣтей по всѣмъ тремъ царствамъ природы, пройти съ ними по всему земному шару, съ его многочисленнымъ населеніемъ и обширными пустынями, съ его сушею и океанами, показать имъ Божій міръ въ картинѣ челоѣческихъ племенъ и обществъ, съ ихъ правами и обычаями, съ ихъ понятіями и вѣрованіями — не значить ли это показать имъ Творца въ Его твореніи, заставить ихъ возлюбить Его и возблаженствовать этою любовію?... Но для этого надо одушевить для нихъ весь міръ и всю природу, заставить говорить языкомъ любви и жизни и нѣмой камень, и полевою былинку, и журчащій ручей, и тихо вѣющій вѣтеръ, и порхающую по цвѣтамъ бабочку... Надо дать дѣтямъ почувствовать, что все это безконечное разнообразіе имѣетъ единую душу, живетъ одною жизнію, и что жизнь природы является не только подъ тропиками, но и у полюсовъ, не только на землѣ, но и въ нѣдрахъ ея... Вотъ, напримѣръ, это писано для взрослыхъ, но мы увѣрены, что музыка этого языка будетъ доступна и для дѣтей: «Тамъ спѣжная, мертвая пустыня полюсовъ... Безотраднa тамъ жизнь. Но эти пустыни имѣютъ свои музыкальныя вьюги, гуляющія съ серебристою пылью по звонкимъ, чистымъ, необозримымъ льдамъ. Тамъ массивная лава металловъ борется съ могучимъ пламенемъ внутри земли... Она можетъ пугать, но и самый испугъ этотъ великъ для души. Лава реветъ, клокочетъ съ шумомъ

неподражаемой глубокой октавы, и съ изумительнымъ грохотомъ и великолѣпнѣмъ извергается изъ безднъ своего тайнаго жилища. Вотъ глубь океана. Чувствуете ли, что океанъ можно только любить? что душѣ хотѣлось бы его измѣрить, постигнуть и заглянуть въ пропасть морей? душѣ весело, упоительно, что эта глубь воды не лежитъ въ мертвой тишинѣ, что въ ней родина цѣлой половины существъ одушевленныхъ, быстрыхъ, могучихъ; имъ легокъ путь сквозь плотно сліянную массу волнъ; эти волны текутъ, то уходя на безвѣстное дно, то съ плескомъ, слышимымъ нами, лобзая гранитъ береговъ и снова уносясь въ неизмѣримый свой путь шумно и торжественно... Вотъ могущественный, вѣчно свободный вѣтеръ: наблюдайте этотъ вѣтеръ, возметающій прахъ земли! онъ изумляетъ своими музыкальными вихрями, бурю и быстротою самую скорую мысль; волнуетъ вершины лѣсовъ, поднимаетъ горы средь океана, несетъ на своемъ хребтѣ дикія облака, улетаетъ изъ-подъ громовъ съ воемъ и свистомъ и—исчезаетъ».

Самымъ лучшимъ писателемъ для дѣтей, высшимъ идеаломъ писателя для нихъ можетъ быть только поэтъ. И такимъ явился одинъ изъ величайшихъ германскихъ поэтовъ—Гофманъ, въ своихъ двухъ сказкахъ: «Неизвѣстное Дитя» и «Шелкунъ Орѣховъ и Царекъ Мышей», хотя и написанныхъ не для дѣтей собственно и годныхъ для людей всѣхъ возрастовъ. Нисколько не удивительно, что странный, причудливый и фантастическій геній Гофмана ниспустился до сферы дѣтской жизни; въ немъ самомъ такъ много дѣтскаго, младенческаго, простодушнаго, и никто не былъ столько, какъ онъ, способенъ говорить съ дѣтьми языкомъ поэтическимъ и доступнымъ для нихъ! Сверхъ того, Гофманъ есть, по преимуществу, воспитатель людей, поэтъ юношества—почему-жъ ему не быть и поэтомъ дѣтства? Да, съ тѣхъ поръ, какъ дѣти начинаютъ переставать быть дѣтьми и становятся юношами, Гофманъ должнъ быть ихъ поэтомъ по

преимуществу. Гофманъ поэтъ фантастическій, живописецъ невидимаго внутренняго міра, ясновидецъ таинственныхъ силъ природы и духа. Фантастическое есть предчувствіе таинства жизни, противоположный полюсъ пошлой разсудочной ясности и опредѣленности, которая въ жизни видитъ математику, индустріальность, или сытный обѣдъ съ трюфелями и шампанскимъ. Фантастическое есть одинъ изъ необходимѣйшихъ элементовъ богатой натуры, для которой счастье только во внутренней жизни; слѣдовательно, его развитіе необходимо для юной души,—и вотъ почему называемъ мы Гофмана воспитателемъ юношества. Но онъ вмѣстѣ съ тѣмъ бываетъ и губителемъ его, односторонне увлекая его въ сферу призраковъ и мечтаній и отрывая отъ живой и полной дѣйствительности. Чтобы дать юной душѣ равновѣсіе, Гофману не должно противопоставлять пошлую повседневность и ея дюжинныхъ представителей; но молодымъ людямъ должно читать всё безъ исключенія романы Вальтеръ-Скотта и Купера, которые, по свѣтлому и вѣрному взгляду на жизнь, по гениальной глубокости, а вмѣстѣ съ тѣмъ, спокойствію и елейности духа, заслуживаютъ названіе представителей разумной дѣйствительности, поэтически воспроизведенной въ великихъ художественныхъ созданіяхъ, и непременно должны быть воспитателями юношества, хотя равно существуютъ и для возмужалости и для старости.

Мы не будемъ ничего говорить о художественномъ достоинствѣ двухъ дѣтскихъ сказокъ Гофмана, ибо этотъ вопросъ нисколько не относится къ предмету нашей статьи; но взглянемъ на нихъ только какъ на высокіе образцы повѣстей для дѣтскаго чтенія.

Жилъ былъ когда-то г. Тадеусъ Брокель, съ женою и двумя дѣтьми, въ маленькой деревушкѣ, доставшейся ему отъ отца. Повседневною одеждою онъ не отличался отъ своихъ крестьянъ (ровнымъ счетомъ четыре души), но по праздникамъ надевалъ красивый, зеленый кафтанъ и красный жилетъ, обло-

женный золотыми галунами — что, говорить Гофманъ, очень къ нему шло. Домишко его крестьяне называли, изъ вѣжливости, замкомъ. Но послушаемъ немного самого Гофмана, чтобы не опрозить его поэтического языка.

Всякій, конечно, знаетъ, что замокъ есть большое зданіе, со многими окнами и дверьми, часто даже съ башнями и блестящими флюгерами. Но ничего похожего не было видно на холмѣ, гдѣ стояли березы. Тамъ былъ только одинъ низенькій домикъ со многими окошками, такими маленькими, что ихъ нельзя было рассмотреть иначе, какъ подойдя близко къ нимъ. Но если мы остановимся передъ высокими стѣнами большого замка, то холодный вѣтеръ, вырывающійся оттуда, охватываетъ насъ; мрачные взоры чудныхъ фигуръ, прислоненныхъ къ стѣнамъ, какъ бы для охраненія входа, поражаютъ насъ; мы теряемъ охоту войти туда, и предпочитаемъ воротиться. Совершенно противное тому чувствуешь при входѣ въ маленький домикъ г. Тадеуса Брокеля. Еще въ рощѣ, стройныя березы простирали свои зеленныя вѣтви, какъ будто желая обнять васъ, и приветствовали своимъ веселымъ шелестомъ, предъ домомъ же, вамъ казалось, что пріятные голоса приглашали васъ изъ свѣтлыхъ, какъ зеркало, окошекъ; а изъ темной, густой зелени винограда, который покрывалъ стѣны до самой крыши, слышно было: „Войди, войди, милый усталый путешественникъ: все здѣсь хорошо и гостепріимно!“ То же самое подтверждали своимъ веселымъ щебетаніемъ ласточки, то влетая въ свои гнѣзда, то вылетая изъ нихъ, — а старый и важный аистъ, смотря на васъ съ серьезнымъ и умынымъ видомъ съ вершины трубы, кажется, говорилъ: „Давно я живу здѣсь лѣтомъ, но лучшаго мѣста не находилъ нигдѣ, и еслибы я могъ преодолѣть враждебную страсть свою къ путешествіямъ, и еслибы зимою не было здѣсь такъ холодно, а дрова такъ дороги, то я не тронулся бы съ этого мѣста!“ „Такъ хорошо и такъ пріятно было жилище г. Брокеля, хотя оно и не было замкомъ“.

Какая чудесная, роскошная картина! какъ все въ ней просто, наивно и, вмѣстѣ, безконечно! Каждое слово такъ многозначительно, такъ полно жизни: изъ широкихъ воротъ большого замка такъ и вѣетъ на васъ холодомъ и мракомъ, а маленький домикъ, съ его березами и виноградникомъ, такъ и манитъ васъ къ себѣ! Этотъ языкъ для дѣтей еще доступенъ, чѣмъ для взрослыхъ: дайте имъ прочесть, — и клики

ихъ радости покажутъ вамъ, что они поняли все, что нужно понять...

Однажды утромъ, въ домѣ г. Брокеля была большая суматоха: г-жа Брокель пекла пирогъ, г. Брокель чистилъ свое праздничное платье, а дѣти надѣвали свои лучшія платьица. Однако дѣтямъ было какъ-то неловко въ своихъ нарядныхъ платьяхъ, они смотрѣли въ окно съ какимъ-то тоскливымъ стремленіемъ. Но когда Султанъ, большая дворовая собака, съ крикомъ и лаемъ начала прыгать передъ окошкомъ, бѣгать по дорогѣ и назадъ, какъ бы желая сказать Феликсу: «Зачѣмъ не идешь ты въ лѣсъ? Что ты тамъ дѣлаешь въ душной комнатѣ?» — то Феликсъ не выдержалъ и началъ проситься въ лѣсъ. Но г-жа Брокель рѣшительно запретила это дѣтямъ, говоря, что они измараютъ и издерутъ себѣ платье, а дядюшка, котораго они съ часа на часъ ждали, назоветъ ихъ... крестьянскими ребятишками. Феликса это взорвало, и онъ сказалъ матери: «Если нашъ любезный дядюшка называетъ крестьянскихъ дѣтей гадкими, то онъ вѣрно не видалъ ни Петра Фольрада, ни Анны-Лизы Генштель, ни другихъ дѣтей нашей деревни; я не знаю, могутъ ли быть дѣти лучше ихъ». «Конечно», вскричала Кристлиба какъ бы проснувшись, «а Маргарита, дочь деревенскаго судьи, развѣ не хороша, хоть у нея и нѣтъ такихъ чудесныхъ красныхъ бантовъ, какъ у меня?» — Наконецъ «дядюшка» пріѣхалъ въ великолѣпной раззолоченной каретѣ. Онъ былъ высокій и сухой человекъ, жена его толстая и низенькая женщина, и съ ними двое дѣтей. Феликсъ и Кристлиба подошли къ дядюшкѣ и тетускѣ съ заученнымъ привѣтствіемъ, но передъ дѣтьми остановились въ недоумѣніи. Мальчикъ былъ чудесно одѣтъ, на боку у него висѣла сабля, но лицо его было желто, и заспанные глаза какъ-то робко смотрѣли вокругъ. Дѣвочка также была прекрасно одѣта; на верху ея искусно-заплетенныхъ волосъ блестяла маленькая корона. Кристлиба хотѣла взять ее за руку, но та отдернула ее съ кислою миною. Феликсъ хотѣлъ

взять было за саблю своего кузена, чтобы разсмотрѣть ее, но тотъ началъ кричать: «моя сабля, моя сабля!» и спрятался за отца. «Мнѣ не нужно твоей сабли, маленькій глупецъ!» съ досадой сказалъ Феликсъ. Отецъ его смутился отъ этихъ словъ, и то разстегивалъ, то застегивалъ свой кафтанъ. Наконецъ пошли въ комнату: дядюшка подъ руку съ тетушкой, а Германъ и Адельгейда держались за ихъ платья.

«Теперь почнуть пирогъ», шепталъ Феликсъ на ухо сестрѣ. «Ахъ, да, да!» отвѣчала та весело. «А потомъ мы побѣдимъ въ лѣсъ», продолжалъ Феликсъ. «Какое намъ дѣло до этихъ чучелокъ!» прибавила Кристлиба.

И вотъ повѣсть уже завязалась; характеры очерчены предъ вами. Всѣ дѣйствуютъ, а никто не говоритъ. Феликсу и Кристлибѣ не понравились ихъ разодѣтые родственники: на свѣжія и чистыя души пахнуло гниlostью и принужденіемъ. Они весело ѣли пирогъ, котораго нельзя было ѣсть маленькимъ гостямъ, — имъ дали сухарей.

Сухой господинъ, двоюродный братъ г. Тадеуса Брокеля, былъ графъ и носилъ не только на каждомъ своемъ платьѣ, даже на пудромантелѣ, большую серебряную звѣзду. За годъ передъ симъ онъ заѣзжалъ къ г. Брокелю одинъ, безъ жены и дѣтей. «Послушай, любезный дядюшка, ты вѣрно сдѣлался королемъ?» сказалъ Феликсъ, который, въ своей книжкѣ съ картинками, видѣлъ короля съ такою же звѣздою. Дядя очень смѣялся надъ этимъ вопросомъ, и отвѣчалъ: «Нѣтъ, мой милый, я не король, но самый вѣрный слуга короля, и его министръ, который управляетъ многими людьми. Еслибы ты былъ изъ рода графовъ Брокелей, тоже со временемъ могъ бы имѣть такую звѣзду; но ты только простой дворянинъ, который никогда не будетъ знатнымъ человѣкомъ». Феликсъ ничего не понималъ, что говорилъ дядя, а Тадеусъ Брокель и не почиталъ этого важнымъ. Не правда ли, что въ этихъ немногихъ строкахъ очень много сказано: дядя-гофратъ, — и необра-

зованный, но человѣчный, если можно такъ выразиться, Тадеусъ Брокель—оба передъ вами, какъ на ладони. Знатные супруги взапуски кричатъ: «о милая природа! о сельская невинность!» и даютъ дѣтямъ по свертку конфетъ, которые Феликсъ начинаетъ грызть. Дядюшка толкуетъ ему, что ихъ надо держать во рту, пока не растаятъ, а не грызть; но Феликсъ со смѣхомъ отвѣчаетъ ему, что онъ не ребенокъ и что у него не слабые зубы. Отецъ и мать конфузятся, послѣдняя даже сказала Феликсу на ухо: «не скрипи такъ зубами, негодный мальчишка!» Тогда Феликсъ вынулъ изо рта конфетку, положилъ въ бумагу и отдалъ дядѣ назадъ, говоря, что онъ ему не нужны, если онъ не можетъ ихъ ѣсть. Сестра его сдѣлала то же. Брокели извиняются бѣдностію въ невѣжествѣ дѣтей. Сіятельные съ улыбкою самодовольствія говорятъ объ «отличнѣйшемъ» воспитаніи своихъ дѣтей, — и графъ начинаетъ предлагать имъ разные вопросы, на которые они отвѣчаютъ скоро и бойко. Онъ спрашиваетъ ихъ о многихъ городахъ, рѣкахъ и горахъ, которыя находились за нѣсколько тысячъ миль, объ иностранныхъ растеніяхъ, о сраженіяхъ и пр. Адельгунда говорила даже о звѣздахъ, и утверждала, что на небѣ находятся различныя странныя животныя и другія фигуры. Феликсу стало страшно отъ всѣхъ этихъ разсужденій, и онъ лочель ихъ чепухою. Чтобы утѣшить бѣдныхъ родителей, графъ обѣщалъ прислать ученаго чловека, который даромъ будетъ учить ихъ дѣтей. «Любите-ли вы игрушки, топ шер?» спросилъ Германъ у Феликса, ловко кланаясь: «я привезъ вамъ самыхъ лучшихъ». Феликсу было отъ чего-то грустно, и держа машинально ящикъ съ игрушками, онъ бормоталъ, что его зовутъ Феликсомъ, а не топ шер, и что ему говорятъ ты, а не вы. Кристлиба также скорѣе готова была плакать, чѣмъ смѣяться, принимая отъ Адельгунды ящикъ съ конфетами. У дверей прыгалъ и лаялъ Султанъ; Германъ его такъ испугался, что началъ кричать и плакать, и Феликсъ сказалъ ему: «Зачѣмъ такъ кричишь

и плачешь? это просто собака, а ты видалъ самыхъ страшныхъ звѣрей! Да если бы онъ и бросился на тебя, у тебя есть сабля». — Наконецъ гости уѣхали. Г. Брокель тотчасъ скинулъ свое праздничное платье и вскричалъ: «ну, слава Богу, уѣхали!» Дѣти тоже переодѣлись и стали веселы; Феликсъ закричалъ: «въ лѣсъ! въ лѣсъ!» Мать спросила ихъ, развѣ они не хотятъ сперва посмотрѣть игрушки, и Кристлиба сдавалась было на голосъ женскаго любопытства, но Феликсъ не хотѣлъ и слышать, говоря: «Что могъ привезти намъ хорошаго этотъ глупый мальчикъ съ своею сестрою въ лентахъ? Чтò же касается до наукъ, онъ объ нихъ хорошо болтаетъ; онъ толкуетъ о львахъ и медвѣдяхъ, знаетъ какъ ловятъ слоновъ, а самъ боится моего Султана! У него виситъ съ боку сабля, а онъ плачетъ, кричитъ и прячется подъ столъ? Славный же изъ него будетъ егеръ!» Однако Феликсъ сдался на желаніе сестры пересмотрѣть игрушки. Едва упросила его Кристлиба, чтобы онъ не выкидывалъ за окно конфетъ, но онъ бросилъ нѣсколько изъ нихъ Султану, который, понюхавши, отошелъ съ отвращеніемъ; «Видишь ли, Кристлиба», вскричалъ Феликсъ торжествуя, «даже Султанъ не хочетъ ѣсть эту дрянь!» Болѣе всего понравился ему охотникъ, который прицѣливался ружьемъ, когда его дергали за маленькій шнурокъ, спрятанный подъ платьемъ, и стрѣлялъ въ цѣль, придѣланную въ нѣсколькихъ вершкахъ отъ него; потомъ ружье и охотничій ножъ, сдѣланные изъ дерева и высеребренные, и гусарскій килберъ съ шашкою. Забравъ игрушки, дѣти пошли гулять въ лѣсъ. Вдругъ Кристлиба замѣтила Феликсу, что его арфистъ играетъ вовсе не хорошо, и что птицы, выглядывая изъ-за кустовъ, кажется, смѣются надъ дряннымъ музыкантомъ, который хочетъ подражать ихъ пѣнію. Феликсъ отвѣчалъ, что это правда, и что ему стыдно передъ рабочикомъ, который такъ плутовски на него смотреть. Чтобы заставить его пѣть лучше, онъ такъ дернулъ пружину, что

вся игрушка разломалась, и Феликсъ забросилъ музыканта, говоря: «этотъ дуракъ скверно играетъ и дѣлаеть такія гримасы, какъ мой двоюродный братъ Германъ». Потому онъ хотѣлъ заставить своего егеря стрѣлять не въ одно и то же мѣсто, а куда онъ назначить ему,—и егеря постигла та же участь, что и арфиста. «Ага!» вскричалъ Феликсъ, «въ комнатѣ ты хорошо попадаешь въ цѣль, а въ лѣсу, настоящимъ мѣстѣ для егеря, это тебѣ не удастся. Ты вѣрно тоже боишься собакъ, и еслибъ на тебя напала какая-нибудь, то ты убѣжалъ бы съ своимъ ружьемъ, какъ маленькій двоюродный братъ съ своею саблею! Ахъ ты, дрянной егеръ, негодный егеръ!»... Видите ли, для Феликса все мертвое, бездушное и пошлое похоже на двоюроднаго брата, юная душа безъ разсужденій, однимъ непосредственнымъ чувствомъ поняла фальшивую позолоту, блестящую мишуру ложнаго образованія прикрывавшаго собою чинность и отсутствіе жизни. Какъ мальчикъ, онъ ничего такъ не можетъ простить, какъ трусости. Вотъ дѣти подбѣжали, но — о ужасъ! Кристлиба увидѣла, что платье ея прекрасной куклы было изорвано хворостомъ, а хорошенькаго воскового личика какъ не бывало. Она заплакала, но Феликсъ сказалъ ей въ утѣшеніе: «Теперь ты видишь, какія дрянныя вещи привезли намъ эти дѣти. Какая глупая кукла! она не можетъ даже съ нами бѣгать, не изорвавши и не изломавши всего! Поддай-ка ее сюда!»—и кукла полетѣла въ прудъ. Туда же слѣдомъ отправилось и ружье, потому что изъ него нельзя стрѣлять, и охотничій ножъ, за то, что онъ не колетъ и не рѣжетъ. У Феликса своя философія, внушенная ему природою: все поддѣльное, фальшивое, искусственное не нравилось ему; живая природа, лѣсъ и поле, съ своими птичками, букашками и бабочками, громче говорили его сердцу, и онъ лучше понималъ ихъ. Но Кристлиба—дѣвочка, и ей жаль было своей прекрасной куклы, хотя и ея сердцу природа говорила такъ же громко. Гофманъ удивительно вѣрно схватилъ въ дѣтяхъ

мужской и женскій характеръ: Феликсъ не задумывается долго надъ рѣшеніемъ; разрушительный геній, онъ ломаетъ что ему не нравится; но Крестлиба положила бы въ сторону, или спрятала бы свою куклу, еслибъ она ей надоѣла, даже подарила бы другой дѣвочкѣ, но ломать не стала бы.

Когда дѣти возвратились домой печальныя, и Феликсъ откровенно разсказалъ матери о своемъ распоряженіи съ игрушками,—мать начала его бранить, но отецъ, съ примѣтнымъ удовольствіемъ слушавшій разсказъ Феликса, сказалъ: «Пусть дѣти дѣлаютъ, что хотятъ; я таки очень радъ, что они избавились отъ этихъ игрушекъ, которыя только затрудняли ихъ». Ни г-жа Брокель, ни дѣти не поняли, что г. Брокель хотѣлъ этимъ сказать. Мы такъ думаемъ, что г. Брокель и самъ хорошо не зналъ, что онъ хотѣлъ этимъ сказать, но что его добрая, любящая натура очень хорошо дѣйствовала за его неразвитый умъ. Пока сіятельные родственники были съ нимъ, онъ и конфузился, и робѣлъ, но лишь они уѣхали, ему стало и легко, и хорошо, словно онъ избавился отъ давленія кашемара.

На другой день дѣти ранехонько отправились въ лѣсъ, чтобы въ послѣдній разъ наиграться, ибо имъ надо было много читать и писать, чтобъ не стыдно было учителя, котораго скоро ожидали. Вдругъ имъ отчего-то стало скучно, и они приписали это тому, что у нихъ нѣтъ ужъ прекрасныхъ игрушекъ, а свое неужьніе обращаться съ ними—незнанію наукъ. Крестлиба начала плакать, а за нею Феликсъ, восклицая:

«Бѣдныя мы дѣти, мы не знаемъ наукъ!»

Но вдругъ они остановились и спросили другъ друга съ удивленіемъ: „Видишь ли, Крестлиба?“—Слышишь ли Феликсъ?—

Въ самомъ темномъ мѣстѣ густого кустарника, который находился передъ ними, сіялъ чудный свѣтъ, и подобно кроткому лучу мѣсяца скользилъ по трепещущимъ листьямъ; а въ тихомъ шестѣ деревьевъ слышался дивный аккордъ, подобный тому, какъ вѣтеръ пробѣ-

гаетъ по струнамъ аромъ и будить спящія въ ней звуки. Дети почувствовали что-то странное: печаль ихъ исчезла, но на глазахъ появились слезы отъ сладостнаго чувства, котораго они еще не испытывали. Чѣмъ ярче становился свѣтъ въ кустѣ, тѣмъ громче раздавались дивные звуки, и тѣмъ сильнѣе билось у детей сердце. Они глядѣли внимательно на свѣтъ, и увидѣли прелестнѣйшее въ мірѣ дитя, которое ихъ пріятно улыбалось и дѣлало знаки. „О, прійди къ намъ, милое дитя!“ вскричали вмѣстѣ Феликсъ и Кристлиба, вставая и протягивая къ нему свои ручонки съ невыразимымъ чувствомъ. „Иду, иду!“ отвѣчалъ пріятный голосъ изъ куста,—и какъ бы несомое утреннимъ вѣтеркомъ, неизвѣстное дитя спустилось къ Феликсу и его сестрѣ.

За симъ слѣдуетъ цѣлая глава о томъ, какъ неизвѣстное дитя играло съ Феликсомъ и Кристлибою, какъ оно упрекало ихъ въ сожалѣніи о дрянныхъ игрушкахъ и указало имъ на чудныя сокровища, разсыпанныя вокругъ нихъ, какъ тогда Феликсъ и Кристлиба увидѣли, что изъ густой травы какъ бы выглядывали блестящими глазами разные чудные цвѣты, а между ними искрились цвѣтные камни и блестящія раковины, золотые жуки прыгали и тихо распѣвали пѣсенки; какъ послѣ того неизвѣстное дитя стало строить Феликсу и Кристлибѣ дворецъ изъ цвѣтныхъ камней, съ колоннами, крышею и золотымъ куполомъ; какъ потомъ крыша дворца обратилась въ крылья золотыхъ насѣкомыхъ, колонны — въ серебристый ручей, на берегу котораго росли красивые цвѣты, то съ любопытствомъ смотрясь въ воды, то, покачивая своими маленькими головками, слушая невинное журчаніе ручья, какъ потомъ неизвѣстное дитя надѣлало изъ цвѣтовъ живыхъ куколъ, и куклы рѣзвились около Кристлибы, ласково говоря ей: «полюби насъ, добрая Кристлиба!» и егеря загремѣли ружьями, затрубили въ рога и, крича: Галло! галло, на охоту! на охоту! помчались за зайцами, которые повыскакали изъ-за кустовъ и побѣжали; какъ неизвѣстное дитя понесло Феликса и Кристлибу по воздуху — и чудеса, которыя они видѣли въ этомъ воздушномъ путешествіи. Въ

этой главѣ каждое слово, каждая черта — чудная поэзія, блестящая самыми дивными цвѣтами, самыми роскошными красками; это вмѣстѣ и поэзія, и музыка, — и какая глубокая мысль скрывается въ нихъ!... Пропускаемъ главу, гдѣ г. и г-жа Брокель разсуждаютъ о неестественности видѣнія дѣтей, и первый выказываетъ свою прекрасную натуру въ ея грубой корѣ, а вторая — свою добродушную ограниченность. Пропускаемъ также и дальнѣйшія свиданія Феликса и Кристлибы съ неизвѣстнымъ дитятею, и его фантастическій разсказъ о зломъ министрѣ при дворѣ царицы фей: сокращать ихъ невозможно — не подымается рука, а выписывать вполнѣ намъ тоже не хочется, чтобы не испортить впечатлѣнія для тѣхъ, которые, послѣ нашей прозаической статьи, станутъ читать эту поэтическую повѣсть.

Но вотъ наконецъ пріѣхалъ и давно ожидаемый учитель, магистръ Тинте, маленькаго роста, съ четвероугольною головою, безобразнымъ лицомъ, толстымъ брюхомъ на тоненькихъ пауковыхъ ножкахъ — воплощенный педантизмъ и резонёрство. Встрѣча его съ дѣтьми, ихъ къ нему отвращеніе, его съ ними обращеніе, все это у Гофмана — живая, одушевленная картина, полная мысли. Вотъ они сѣли учиться, — и имъ все слышится голосъ неизвѣстнаго дитяти, которое зоветъ ихъ въ лѣсъ, а магистръ бьетъ по столу и кричитъ: «шт, шт, брр, брр... тише! что это такое?» а Феликсъ не выдержалъ и закричалъ: «Убирайтесь вы съ вашими глупостями, г. магистръ; я хочу итти въ лѣсъ. Ступайте съ этимъ къ моему двоюродному брату: онъ любитъ эти вещи!» Дѣти побѣжали, магистръ за ними; но Султанъ, добрая собака, съ перваго раза получившій къ педанту и резонёру неодолимое отвращеніе, схватилъ его за воротникъ. Педантъ поднялъ крикъ, но г. Брокель освободилъ его и упротилъ ходить съ дѣтьми въ лѣсъ. Педанту лѣсъ не понравился, потому что въ немъ не было дорожекъ, и птицы своимъ пискомъ не давали ему слова порядочнаго сказать. «Ага, г. магистръ», сказалъ Феликсъ, «я вижу ты ни-

чего не понимаешь въ ихъ пѣснѣ, и не слышишь даже, какъ утренній вѣтеръ разговариваетъ съ кустами, а старый ручей рассказываетъ прекрасныя сказки!» Кристлиба замѣтила, что вѣрно г. магистръ не любитъ и цвѣтовъ, и магистра отъ этихъ словъ покорило; онъ отвѣчалъ, что любить цвѣты только въ горшкахъ, въ комнатѣ... Пропускаемъ множество самыхъ поэтическихъ подробностей, дышащихъ глубокою мыслию цѣлаго рассказа, и скажемъ, что г. Брокель наконецъ рѣшился его выгнать; но магистръ обратился мухой и началъ летать—насилу успѣли задѣть его хлопущою и прогнать. Дѣти повесѣли, пошли въ лѣсъ, но дитяти тамъ не было. Поломанныя ими куклы оживаютъ, осыпаютъ ихъ упреками и грозятъ магистромъ. Слѣдуетъ чудесное описаніе бури, обморокъ дѣтей, потомъ прекрасное вѣдро. Отецъ самъ пошелъ съ ними въ лѣсъ, и рассказалъ имъ, что и онъ въ дѣтствѣ зналъ неизвѣстное дитя. Вскорѣ послѣ того г. Брокель умеръ, дѣти остались сиротами, и въ ту минуту, когда имъ было особенно тяжело и они горько плакали, имъ явилось неизвѣстное дитя и утѣшило ихъ, и сказало имъ, что пока они будутъ его помнить, имъ нечего бояться злого духа Песнера, мухи-магистра. Дружески принявъ ихъ къ себѣ родственникъ и «все сдѣлалось такъ, какъ предсказало имъ неизвѣстное дитя. Чтò бы Феликсъ и Кристлиба не предпринимали, удавалось вполнѣ: они и мать ихъ сдѣлались веселы и счастливы, и долго въ отрадныхъ мечтахъ играли съ неизвѣстнымъ дитятею, которое показывало имъ чудеса своей родины».

Основная мысль этой чудесной, поэтической повѣсти, этой свѣтлой и роскошной фантазіи, есть та, что первый воспитатель дѣтей — природа и ея благодатныя впечатлѣнія. И первобытное человѣчество воспитывалось природою; и душѣ нашей такъ отраднò читать всѣ преданія о юномъ человечествѣ, ее такъ сладостно убаюкиваютъ и священныя сказанія о пастушеской жизни патріарховъ, и колыбельная пѣсня

старца Гомера о царяхъ пастыряхъ и простодушныхъ герояхъ сѣдой древности... Увы! заботы и суеты жизни, искусственная городская жизнь заслоняють отъ насъ природу, и мы видимъ на небѣ фонари, а на землѣ полезныя и вредныя травы, прибыльные для торговли лѣса, — а многіе ли изъ насъ знаютъ, что природа жива, что вѣтеръ разговариваетъ съ кустами, и старый ручей рассказываетъ прекрасныя сказки?... Неужели же и чистыя младенческія души должны быть глухи къ живому голосу прекрасной природы и не знать «неизвѣстнаго дитяти», которое есть — ихъ же собственный откликъ на зовъ природы, свѣтлая радость и чистое блаженство ихъ же собственныхъ, младенческихъ сердець?...

Если въ «Неизвѣстномъ Дитяти» развита мысль о гармоніи младенческой души съ природою, какъ объ основѣ воспитанія и условіи будущаго счастья дѣтей, то «Щелкунъ и Царекъ Мышей» есть апофеозъ фантастическаго, какъ необходимаго элемента въ духѣ человѣка, и цѣль этой сказки — развитіе въ дѣтяхъ элемента фантастическаго. Когда мы приближаемся къ общему, родовому началу жизни, разлитой въ природѣ, насъ объемлетъ какой-то пріятный страхъ, мы чувствуемъ какое-то сладостное замираніе сердца. Кто не испытывалъ этого при входѣ въ большой темный лѣсъ или на берегу моря? Шумъ листьевъ и колебаніе волнъ говорятъ намъ какимъ-то живымъ языкомъ, котораго значеніе мы уже забыли и тщетно стараемся вспомнить; лѣсъ и море кажутся намъ живыми индивидуальными существами. И вотъ откуда произошли у Грековъ живыя поэтическія олицетворенія явленій природы, ихъ дріады, и наяды, и ихъ черновласый царь Посидаонъ, съ трезубцемъ въ рукѣ —

Сей, обнимающій землю, земли колебатель могучій!

Жизнь есть таинство, ибо причина ея явленія въ ней самой; переходы общей жизни въ частныя индивидуальныя явленія и

потомъ возвращеніе ихъ въ общую жизнь — тоже великое таинство, а впечатлѣніе всякаго таинства — страхъ и ужасъ мистическій. Вотъ почему мионы младенчествующихъ народовъ дышатъ такою фантастическою мрачностію, и всѣ отвлеченныя понятія являются у нихъ въ странныхъ образахъ. Искусство освобождаетъ духъ отъ рабскаго ужаса, просвѣтляя его предметы свѣтомъ мысли и эстетической жизни. Образованный человѣкъ не боится суевѣрныхъ видѣній кладбища, но это нѣмое кладбище, тѣмъ не менѣе, вѣетъ на него таинственною жизнью, отъ которой сладостно волнуется его духъ неопредѣленнымъ чувствомъ пріятнаго страха. Бываетъ состояніе души, когда и обыкновенныя вещи оживотворяются и воскресаются фантастическою жизнью: какъ будто выражаемыя этими вещами понятія, отрѣшаясь отъ своей отвлеченности, принимаютъ на себя живыя образы, начинаютъ мыслить и чувствовать. Духъ нашъ во всемъ предчувствуетъ жизнь и даетъ ей опредѣленные индивидуальные образы. Такъ и въ «Щелкунѣ и Царькѣ Мышей» оживаютъ куклы и ведутъ войну съ мышами, и самъ Щелкунъ дѣлается рыцаремъ мыши и носить ея цвѣтъ. Щелкунъ проводитъ ее въ рукавъ шубы, — и тамъ открывается передъ нею леденцовое поле съ конфетными городами, которые населены конфетными людьми — и въ этихъ городахъ гремитъ музыка, ликуетъ радость, кипитъ жизнь. Мы не будемъ пересказывать содержанія этого чуднаго созданія чуднаго гения — оно непересказываемо, и намъ пришлось бы переписать его все, отъ слова до слова, а подобный разборъ сдѣлалъ бы нашу статью вдвое больше. Скажемъ только, что художественная жизнь образовъ, очевидное присутствіе мысли при совершенномъ отсутствіи всякихъ символовъ, аллегорій и прямо высказанныхъ мыслей или сентенцій, богатство элементовъ — тутъ и сатира, и повѣсть, и драма, удивительная обрисовка характеровъ — противорѣчіе поэзіи съ пошлою повседневностію, нераздѣльная слитность дѣйствительности съ фантастическимъ вымысломъ, — все это представляетъ бога-

тый и роскошный пиръ для дѣтской фантазіи. Заманчивость, увлекательность и очарованіе разсказа невыразимы. Благодарность переводчику, издавшему отдѣльно эти двѣ превосходныя сказки Гофмана — единственныя во всемірной человѣческой литературѣ! Желаетъ, чтобы родители обратили на нихъ все свое вниманіе, чтобы не было ни одного грамотнаго дитяти, который не могъ бы ихъ пересказать почти слово въ слово!

Въ Россіи писать для дѣтей первый началъ Карамзинъ, какъ и много прекраснаго началъ онъ писать первый. Къ «Московскимъ Вѣдомостямъ» прилагались листки его «Дѣтскаго Чтенія», въ которомъ замѣчательна «Переписка отца съ сыномъ о деревенской жизни». Много читателей въ послѣдствіи доставилъ Карамзинъ и себѣ, и другимъ, подготовивъ этимъ «Дѣтскимъ Чтеніемъ». Послѣ онъ издалъ «Дѣтское утѣшеніе», которое и теперь еще не изгладилось у насъ изъ памяти, хотя мы читали его въ дѣтскомъ возрастѣ; а это большая похвала для дѣтской книжки; память хранить съ себѣ только то, что поразило душу сильнымъ впечатлѣніемъ.

Но въ настоящее время русскія дѣти имѣютъ для себя въ Дѣдушкѣ Иринеѣ такого писателя, которому позавидовали бы дѣти всѣхъ націй. Узнавъ его, съ нимъ не разстанутся и взрослые. Мы находимъ въ немъ одинъ недостатокъ, и очень важный: старикъ или очень старъ, и ужъ не въ состояніи держать перо въ рукѣ, или лѣнится на старости лѣтъ, оттого мало пишетъ. А какой чудесный старикъ? какая юная, благодатная душа у него, какою теплотою и жизнію вѣетъ отъ его разсказовъ, и какое необыкновенное искусство у него заманить воображеніе, раздражить любопытство, возбудить вниманіе иногда самымъ, повидимому, простымъ разсказомъ! Советуемъ, любезныя дѣти, получше познакомиться съ дѣдушкою Иринею. Не бойтесь его старости: онъ не принадлежитъ къ тѣмъ брюзгливымъ старикамъ, которые своимъ вор-

чаніемъ и наставленіями отнимають у васъ каждую минуту веселости, отравляютъ всякую вашу радость. О, нѣтъ! это самый милый старикъ, какого только вы можете представить себѣ: онъ такъ добръ, такъ ласковъ, такъ любитъ дѣтей; онъ не смутитъ вашего шумнаго веселья, не помѣшаетъ вамъ играть, но съ такою снисходительностію и любовію приметъ участіе въ вашей веселости, вашихъ играхъ, научитъ васъ играть въ новыя, неизвѣстныя вамъ и прекрасныя игры. Если вы пойдете съ нимъ гулять — васъ ожидаетъ величайшее удовольствіе: вы можете бѣгать, прыгать, шумѣть, а онъ, между тѣмъ, будетъ рассказывать вамъ, какъ называется каждая травка, каждая бабочка, какъ онѣ рождаются, растутъ, и умирая, снова воскресаютъ для новой жизни. Вы заслушаетесь его рассказовъ, вы сами не захотите шумѣть и бѣгать, чтобъ не проронить ни одного слова!

Лучшія піесы въ «Дѣтскихъ Сказкахъ Дѣдушки Ирины» — «Червякъ» и «Городокъ въ Табакеркѣ».

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. Соч. М. Лермонтова. Спб.
1840. Двѣ части.

Отличительный характеръ нашей литературы состоитъ въ рѣзкой противоположности ея явленій. Возьмите любую европейскую литературу, и вы увидите, что ни въ одной изъ нихъ нѣтъ скачковъ отъ величайшихъ созданій до самыхъ пошлыхъ: тѣ и другія связаны лѣстницею со множествомъ ступеней, въ нисходящемъ или восходящемъ порядкѣ, смотря потому, съ котораго конца будете смотрѣть. Подлѣ гениальнаго художественнаго созданія, вы увидите множество созданій, принадлежащихъ сильнымъ художническимъ талантамъ; за ними безконечный рядъ превосходныхъ, примѣчательныхъ, порядочныхъ и т. д. беллетристическихъ произведеній, такъ что

доходите до порожденій дюжиной посредственности не вдругъ, а постепенно и незамѣтно. Самыя посредственныя произведенія иностранной беллетристики носятъ на себѣ отпечатокъ болѣе или менѣе образованности, знанія общества, или, по крайней мѣрѣ, грамотности авторовъ. И потому - то всѣ европейскія литературы такъ плодovitы и богаты, что ни на мигъ не оставляютъ своихъ читателей безъ достаточнаго запаса умственнаго наслажденія. Самая французская литература, бѣдная и ничтожная художественными созданіями, едва ли еще не богаче другихъ беллетрическими произведеніями, благодаря которымъ она и удерживаетъ свое исключительное владычество надъ европейскою читающею публикою. Напротивъ того, наша молодая литература по справедливости можетъ гордиться значительнымъ числомъ великихъ художественныхъ созданій, и до нищеты бѣдна хорошими беллетрическими произведеніями, которыя, естественно, должны бы далеко превосходить первыя въ количествѣ. Въ вѣкъ Екатерины, литература наша имѣла Державина — и никого, кто бы хотя нѣсколько приближался къ нему; полузабытый нынѣ Фонъ - Визинъ, и забытые Хемницеръ и Богдановичъ были единственными примѣчательными беллетристами того времени. Крыловъ, Жуковский и Батюшковъ были поэтическими корифеями вѣка Александра I; Капнистъ, Карамзинъ (говоримъ о немъ не какъ объ историкѣ), Дмитріевъ, Озеровъ и еще немногіе, блестящимъ образомъ поддерживали беллетристику того времени. Съ двадцатыхъ до тридцатыхъ годовъ настоящаго вѣка литература наша оживилась: еще далеко не кончили своего поэтического поприща Крыловъ и Жуковский какъ явился Пушкинъ, первый великій народный русскій поэтъ, вполне художникъ, сопровождаемый и окруженный толпою болѣе или менѣе примѣчательныхъ талантовъ, которыхъ неоспоримымъ достоинствомъ мѣшаетъ только невыгода быть современниками Пушкина. Но за то, пушкинскій періодъ необыкновенно (сравнительно съ предшествовавшими

и послѣдующимъ) былъ богатъ блестящими беллетристическими талантами, изъ которыхъ нѣкоторые въ своихъ произведеніяхъ возвышались до поэзіи, и хотя другіе теперь уже и не читаются, но въ свое время пользовались большимъ вниманіемъ публики и сильно занимали ее своими произведеніями, большею частію мелкими, помѣщавшимися въ журналахъ и альманахахъ. Начало четвертаго десятилѣтія ознаменовалось романтическими и драматическимъ движеніемъ и — несбывшимися яркими надеждами: «Юрій Милославскій» подалъ большія надежды, «Торквато Тассо» тоже подалъ большія надежды... и многіе подавали большія надежды, только теперь оказались совершенно безнадежными... Но и въ этомъ періодѣ надеждъ и безнадежностей блеситъ яркая звѣзда великаго творческаго таланта, — мы говоримъ о Гоголѣ, который, къ сожалѣнію, послѣ смерти Пушкина ничего не печатаетъ, и котораго послѣднія произведенія русская публика прочла въ «Современникѣ» за 1836 годъ, хотя слухи о новыхъ его произведеніяхъ и не умолкаютъ... Тридцатый годъ былъ роковымъ для нашей литературы: журналы начали прекращаться одинъ за другимъ, альманахи наскучили публикѣ и прекратились, и въ 1834 году «Библіотека для Чтенія» соединила въ себѣ труды почти всѣхъ извѣстныхъ и неизвѣстныхъ поэтовъ и литераторовъ, какъ бы нарочно для того, чтобы показать ограниченность ихъ дѣятельности и бѣдность русской литературы... Но обо всемъ этомъ мы скоро поговоримъ въ особой статьѣ; на этотъ разъ прямо выскажемъ нашу главную мысль, что отличительный характеръ русской литературы — внезапные проблески сильныхъ и даже великихъ художническихъ талантовъ и, за немногими исключеніями, вѣчная поговорка читателей: «книгъ много, а читать нечего»... Къ числу такихъ сильныхъ художественныхъ талантовъ, неожиданно являющихся среди окружающей ихъ пустоты, принадлежитъ талантъ г. Лермонтова.

Въ «Библіотекѣ для Чтенія» на 1845 годъ напечатано было нѣсколько (очень немного) стихотвореній Пушкина и Жуковскаго; послѣ того русская поэзія нашла свое убѣжище въ «Современникѣ», гдѣ, кромѣ стихотвореній самого издателя, появлялись нерѣдко и стихотворенія Жуковскаго и немногихъ другихъ, и гдѣ помѣщены: «Капитанская дочка» Пушкина, «Носъ», «Коляска» и «Утро дѣловаго человѣка», сцена изъ комедіи, Гоголя, не говоря уже о нѣсколькихъ замѣчательныхъ беллетрическихъ произведеніяхъ и критическихъ статьяхъ. Хотя этотъ полу-журналъ и полу-альманахъ только годъ издавался Пушкинымъ, но какъ въ немъ долго печатались посмертныя произведенія его основателя, то «Современникъ» и долго еще былъ единственнымъ убѣжищемъ поэзіи, скрывшейся изъ періодическихъ изданій съ началомъ «Библіотеки для Чтенія». Въ 1835 году вышла маленькая книжка стихотвореній Кольцова, послѣ того постоянно печатающаго свои лирическія произведенія въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ до сего времени. Кольцовъ обратилъ на себя общее вниманіе, но не столько достоинствомъ и сущностію своихъ созданій, сколько своимъ качествомъ поэта-самоучки, поэта-прасола. Онъ и доселѣ не понять, не оцѣнить, какъ поэтъ, вѣ его личныхъ обстоятельствъ, и только немногіе сознають всю глубину, обширность и богатырскую мощь его таланта, и видятъ въ немъ не эфемерное, хотя и примѣчательное явленіе періодической литературы, а истиннаго жреца высокаго искусства. Почти въ одно время съ изданіемъ первыхъ стихотвореній Кольцова явился съ своими стихотвореніями и г. Бенедиктовъ. Но его муза гораздо больше произвела въ публикѣ толковъ и восклицаній, нежели обогатила нашу литературу. Стихотворенія г. Бенедиктова—явленіе примѣчательное, интересное и глубоко поучительное: они отрицательно поясняютъ тайну искусства, и въ то же время подтверждаютъ собою ту истину, что всякій виѣшній талантъ, ослѣпляющій глаза виѣшнею

стороною искусства и выходящий не изъ вдохновенія, а изъ легко воспламеняющейся натуры, такъ же тихо и незамѣтно сходить съ арены, какъ шумно и блистательно является на нее. Благодаря странной случайности, вслѣдствіе которой въ «Библіотеку для Чтенія» попали стихи г. Красова и явились въ ней съ именемъ г. Бернета, г. Красовъ, до того времени печатавшій свои произведенія только въ московскихъ изданіяхъ, получилъ общую извѣстность. Въ самомъ дѣлѣ, его лирическія произведенія часто отличаются пламеннымъ, хотя и неглубокимъ чувствомъ, а иногда и художественною формою. Послѣ г. Красова заслуживаютъ вниманіе стихотворенія подъ фирмою—о—; они отличаются чувствомъ скорбнымъ, страдальческимъ, болѣзненнымъ, какою-то однообразною оригинальнію, нерѣдко счастливыми оборотами постоянно господствующей въ нихъ идеи раскаянія и примиренія, иногда плѣнительными поэтическими образами. Знакомые съ состояніемъ духа, которое въ нихъ выражается, никогда не пройдутъ мимо ихъ безъ душевнаго участія; находящіеся въ томъ же самомъ состояніи духа, естественно, преувеличатъ ихъ достоинства; люди же, или незнакомые съ такимъ страданіемъ, или слишкомъ нормальные духомъ, могутъ не отдать имъ должной справедливости: таково вліяніе и такова участь поэтовъ, въ созданіяхъ которыхъ общее слишкомъ заслонено ихъ индивидуальностію. Во всякомъ случаѣ, стихотворенія—о— принадлежатъ къ примѣчательнымъ явленіямъ современной имъ литературы, и ихъ историческое значеніе не подвержено никакому сомнѣнію.

Можетъ быть, многимъ покажется странно, что мы ничего не говоримъ о г. Кукольникѣ, поэтѣ, столь превознесенномъ «Библіотекою для Чтенія». Мы вполне признаемъ его достоинства, которыя неподвержены никакому сомнѣнію, но о которыхъ новаго нечего сказать. Поэтическія мѣста не выкупаютъ ничтожности цѣлаго созданія, точно такъ же, какъ два, три счастливые монолога не составляютъ драмы. Пусть

въ драмѣ, состоящей изъ 3000 стиховъ, наберется до тридцати, или, если хотите, и до пятидесяти хорошихъ лирическихъ стиховъ, но драма оттого не менѣе скучна и утомительна, если въ ней нѣтъ ни дѣйствія, ни характеровъ, ни истины. Многочисленность написанныхъ кѣмъ-либо драмъ также не составляетъ еще достоинства и заслуги, особенно, если всѣ драмы похожи одна на другую, какъ двѣ капли воды. О талантѣ ни слова, пусть онъ будетъ; но степень таланта — вотъ вопросъ! Если талантъ не имѣетъ въ себѣ достаточной силы стать въ уровень съ своими стремленіями и предпріятіями, онъ производитъ только пустоцвѣтъ, когда вы ждете отъ него плодовъ. — Чтобы насъ не подозрѣвали въ пристрастіи, мы, пожалуй, упомянемъ еще и о г. Бернетѣ, во многихъ стихотвореніяхъ котораго иногда проблескивали яркія искорки поэзіи; но ни одно изъ нихъ, какъ изъ большихъ, такъ и изъ маленькихъ, не представляло собою ничего цѣлаго и оконченнаго. Къ тому же, талантъ г. Бернета идетъ сверху внизъ, и послѣднія его стихотворенія послѣдовательно слабѣе первыхъ, такъ что теперь уже перестаютъ говорить и о первыхъ. Можетъ быть, мы пропустили еще нѣсколько стихотворцевъ съ проблескомъ таланта; но стоитъ ли останавливаться надъ однолѣтними растеніями, которыя такъ нерѣдки, такъ обыкновенны, и цвѣтутъ одно мгновеніе! стоитъ ли останавливаться надъ ними, хоть они и цвѣты, а не сухая трава? Нѣтъ!

Спицій въ гробъ, мирно спи.

Жизнью пользуйся живущій!

И потому, обратимся къ живымъ. Но изъ нихъ только одинъ Кольцовъ общаетъ жизнь, которая не боится смерти, ибо его поэзія есть не современно-важное, но безотносительно примѣчательное явленіе. Никого изъ явившихся вмѣстѣ съ нимъ и послѣ него нельзя поставить съ нимъ наряду, и долго стоялъ онъ въ просторномъ отдаленіи отъ всѣхъ другихъ, какъ вдругъ на горизонтѣ нашей поэзіи взошло новое яркое свѣтило и тотъ-

часть оказалось звѣздою первой величины. Мы говоримъ о Лермонтовѣ, который, безъ имени, явился въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду» 1838 года, съ поэмою «Пѣсня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалаго купца Калашникова», а съ 1839 года постоянно продолжаетъ являться въ «Отечественныхъ Запискахъ». Поэма его, не смотря на ея великое художественное достоинство, совершенную оригинальность и самобытность, не обратила на себя особеннаго вниманія всей публики и была замѣчена только немногими; но каждое изъ его мелкихъ произведеній возбуждало общій и сильный восторгъ. Всѣ видѣли въ нихъ что-то совершенно новое, самобытное; всѣхъ поражало могущество вдохновенія, глубина и сила чувства, роскошь фантазіи, полнота жизни и рѣзко ощутительное присутствіе мысли въ художественной формѣ. Пока, оставляя въ сторонѣ сравненія, мы замѣтимъ теперь только то, что, при всей глубинѣ мыслей, энергіи выраженія, разнообразіи содержанія, по которымъ Кольцову едва ли можно бояться чьего либо соперничества, форма его стихотвореній, не смотря на свою художественность, всегда однообразна, всегда одинакова безыскусственна. Кольцовъ не есть только народный поэтъ: нѣтъ, онъ стоитъ выше, ибо если его пѣсни понятны всякому простолюдину, то его думы недоступны никому; но въ то же время, онъ не можетъ назваться и поэтомъ національнымъ, ибо его могучій талантъ не можетъ выйти изъ магическаго круга народной непосредственности. Это гениальный простолюдинъ, въ душѣ котораго возникаютъ вопросы, свойственные только людямъ, развитымъ наукою и образованіемъ, и который высказываетъ эти глубокіе вопросы въ формѣ народной поэзіи. Поэтому онъ непереводимъ ни на какой языкъ, и понятенъ только у себя дома, только своимъ соотечественникамъ. «Пѣсня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалаго купца Калашникова» показываетъ, что Лермонтовъ умѣетъ явленія непосредствен-

ной русской жизни воспроизводить въ народно-поэтической формѣ, единственно свойственной имъ, тогда какъ прочія его произведенія, проникнутыя русскимъ духомъ, являются въ той обще-мировой формѣ, которая свойственна поэзіи, перешедшей изъ естественной въ художественную, и которая, не переставая быть національною, доступна для всякаго вѣка и всякой страны.

Въ то время, какъ какія-нибудь два стихотворенія, помѣщенные въ первыхъ двухъ книжкахъ «Отечественныхъ Записокъ» 1839 года, возбудили къ Лермонтову столько интереса со стороны публики, утвердили за нимъ имя поэта съ большими надеждами, Лермонтовъ вдругъ является съ повѣстью «Бѣла», написанною въ прозѣ. Это тѣмъ пріятнѣе удивило всѣхъ, что еще болѣе обнаружило силу молодого таланта и показало его разнообразіе и многосторонность. Въ повѣсти, Лермонтовъ явился такимъ же творцомъ, какъ и въ своихъ стихотвореніяхъ. Съ перваго раза можно было замѣтить, что эта повѣсть вышла не изъ желанія заинтересовать публику исключительно любимымъ ею родомъ литературы, не изъ слѣпого подражанія дѣлать то, что всѣ дѣлаютъ, но изъ того же источника, изъ котораго вышли его стихотворенія — изъ глубокой творческой природы, чуждой всякихъ побужденій, кромѣ вдохновенія. Лирическая поэзія и повѣсть современной жизни соединились въ одномъ талантѣ. Такое соединеніе, повидимому столь противоположныхъ родовъ поэзіи, не рѣдкость въ наше время. Шиллеръ и Гёте были лириками, романистами и драматургами, хотя лирическій элементъ всегда оставался въ нихъ господствующимъ и преобладающимъ. Самъ «Фаустъ» есть лирическое произведеніе въ драматической формѣ. Поэзія нашего времени, по преимуществу — романъ и драма; но лиризмъ все-таки остается общимъ элементомъ поэзіи, потому что онъ есть общій элементъ человѣческаго духа. Съ лиризма начинается почти каждый поэтъ, такъ же, какъ съ него начинается каждый народъ. Самъ Вальтеръ-Скоттъ перешелъ къ роману

отъ лирическихъ поэмъ. Только литература Сѣверо-американскихъ штатовъ началась романомъ Купера, и это явленіе такъ же странно, какъ и общество, въ которомъ оно произошло. Можетъ быть, это оттого, что сѣверо-американская литература есть продолженіе англійской. Наша литература представляетъ тоже совершенно особенное явленіе: мы вдругъ переживаемъ всѣ моменты европейской жизни, которые на Западѣ развивались послѣдовательно. Только до Пушкина, наша поэзія была, по преимуществу, лирическою. Пушкинъ недолго ограничивался лиризмомъ и скоро перешелъ къ поэмѣ, а отъ нея—къ драмѣ. Какъ полный представитель духа своего времени, онъ также покушался на романъ: въ «Современникѣ» 1837 года помѣщено шесть главъ (съ началомъ седьмой) изъ неоконченнаго романа его подъ названіемъ «Арапъ Петра Великаго», изъ которыхъ четвертая глава была первоначально помѣщена въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» 1829 года. Повѣсти Пушкинъ началъ писать уже въ послѣдніе годы своей недоконченной жизни. Однакожъ, очевидно, что настоящимъ его родомъ былъ лиризмъ, стихотворная повѣсть (поэма) и драма, ибо его прозаическіе опыты далеко не равны стихотворнымъ. Самая лучшая его повѣсть, «Капитанская Дочка», при всѣхъ ея огромныхъ достоинствахъ, не можетъ итти ни въ какое сравненіе съ его поэмами и драмами. Это не больше, какъ превосходное беллетристическое произведеніе съ поэтическими и даже художественными частностями. Другія его повѣсти, особенно «Повѣсти Бѣлкина», принадлежатъ исключительно къ области беллетристики. Можетъ быть, въ этомъ заключается причина того, что и романъ, такъ давно начатый, не былъ конченъ. Лермонтовъ и въ прозѣ является равнымъ себѣ, какъ и въ стихахъ, и мы увѣрены, что, съ большимъ развитіемъ его художнической дѣятельности, онъ не премѣнно дойдетъ до драмы. Наше предположеніе не произвольно: оно основывается сколько на полнотѣ драматическаго движенія, замѣтнаго въ повѣстяхъ Лер-

монта, столько же и на духъ настоящаго времени, особенно благоприятнаго соединенію въ одномъ лицѣ всѣхъ формъ поэзіи. Последнее обстоятельство очень важно, ибо и у искусства всякаго народа есть свое историческое развитіе, вслѣдствіе котораго опредѣляется характеръ и родъ дѣятельности поэта. Можетъ быть, и Пушкинъ былъ бы такимъ же великимъ романистомъ, какъ лирикомъ и драматургомъ, еслибы явился позже, и имѣлъ подобнаго себѣ предшественника.

«Бѣла», заключая въ себѣ интересъ отдѣльной и оконченной повѣсти, въ то же время была только отрывкомъ изъ большаго сочиненія, равно какъ и «Фаталистъ» и «Тамань», впоследствии напечатанные въ «Отечественныхъ же Запискахъ». Теперь они является, вмѣстѣ съ другими, съ «Максимомъ Максимычемъ», «Предисловіемъ къ журналу Печорина» и «Княжною Мери» подъ однимъ общимъ заглавіемъ «Героя нашего времени». Это общее названіе—не прихоть автора; равнымъ образомъ, по названію не должно заключать, чтобы содержащаяся въ этихъ двухъ книжкахъ повѣсти были рассказами какого-нибудь лица, на котораго авторъ навязалъ роль рассказчика. Во всѣхъ повѣстяхъ одна мысль, и эта мысль выражена въ одномъ лицѣ, которое есть герой всѣхъ рассказовъ. Въ «Бѣлѣ» онъ является какимъ-то таинственнымъ лицомъ. Героиня этой повѣсти вся передъ вами, но герой какъ будто бы показывается подъ вымышленнымъ именемъ, чтобы его не узнали. Изъ за отношеній его по Бѣлѣ вы невольно догадываетесь о какой-то другой повѣсти, заманчивой, таинственной и мрачной. И вотъ авторъ тотчасъ показываетъ вамъ его при свиданіи съ Максимомъ Максимычемъ, который рассказывалъ ему повѣсть о Бѣлѣ. Но ваше любопытство не удовлетворено, а только еще болѣе раздражено, и повѣсть о Бѣлѣ все еще остается для васъ загадкою. Наконецъ, въ рукахъ автора журналъ Печорина, въ предисловіи къ которому авторъ дѣлаетъ намекъ на идею романа, но намекъ, который только болѣе возбуждаетъ ваше нетерпѣніе позна-

кожиться съ героями романа. Въ высшей степени поэтическомъ разсказѣ «Тамань», герой романа является автобіографомъ, но загадка отъ этого становится только заманчивѣе, и отгадка еще не тутъ. Наконецъ, вы переходите къ «Княжнѣ Мери», и туманъ разсѣвается, загадка разгадывается, основная идея романа, какъ горькое чувство, мгновенно овладѣвшее всѣмъ существомъ вашимъ, пристаётъ къ вамъ и преслѣдуетъ васъ. Вы читаете, наконецъ, «Фаталиста», и хотя въ этомъ разсказѣ Печоринъ является не героемъ, а только рассказчикомъ случая, котораго онъ былъ свидѣтелемъ; хотя въ немъ вы не находите ни одной новой черты, которая дополнила бы вамъ портретъ «Героя нашего времени», но, странное дѣло! вы еще болѣе понимаете его, болѣе думаете о немъ, и ваше чувство еще грустнѣе... Эта полнота впечатлѣнія, въ которомъ всѣ разнообразныя чувства, волновавшія васъ при чтеніи романа, сливаются въ единое общее чувство, въ которомъ всѣ лица, каждое столько интересное само по себѣ, такъ полно образованное, становятся вокругъ одного лица, составляютъ съ нимъ группу, которой средоточіе есть это одно лицо, — вмѣстѣ съ вами смотреть на него, кто съ любовію, кто съ ненавистію — какая причина этой полноты впечатлѣнія? Она заключается въ единствѣ мысли, которая выразилась въ романѣ, и отъ которой произошла эта гармоническая соотвѣтственность частей съ цѣлымъ, это строго соразмѣрное распредѣленіе ролей для всѣхъ лицъ, наконецъ, эта оконченность, полнота и замкнутость цѣлаго.

Сущность всякаго художественнаго произведенія состоятъ въ органическомъ процессѣ его явленія изъ возможности бытія въ дѣйствительность бытія. Какъ невидимое зерно, западаетъ въ душу художника мысль и, изъ этой благодатной и плодородной почвы, разворачивается и развивается въ опредѣленную форму, въ образы, полные красоты и жизни, и, наконецъ, является совершенно особнымъ, цѣльнымъ и замкну-

тымъ въ самомъ себѣ міромъ, въ которомъ всѣ части со-
размѣрны цѣлому, и каждая, существуя сама по себѣ и сама
собою, составляя замкнутый въ самомъ себѣ образъ, въ
то же время существуетъ для цѣлаго, какъ его необходи-
мая часть, и способствуетъ впечатлѣнію цѣлаго. Такъ точно
живой человѣкъ представляетъ собою также особый и
замкнутый въ самомъ себѣ міръ: его организмъ сложенъ
изъ безчисленнаго множества органовъ, и каждый изъ этихъ
органовъ, представляя собою удивительную цѣлость, окон-
ченность и особность, есть живая часть живого организма,
и всѣ органы образуютъ единый организмъ, единое недѣ-
лимое существо — индивидуумъ. Какъ во всякомъ произве-
деніи природы, отъ ея низшей организаціи — минерала, до
ея высшей организаціи — человѣка, нѣтъ ничего ни недо-
статочнаго, ни лишняго; но всякій органъ, всякая жилка,
даже недоступная невооруженному глазу, необходима и на-
ходится на своемъ мѣстѣ: такъ и въ созданіяхъ искусства
не должно быть ничего ни недоконченнаго, ни недостающаго,
ни излишняго, но всякая черта, всякій образъ и необходимъ,
и на своемъ мѣстѣ. Въ природѣ есть произведенія непол-
ныя, уродливыя, вслѣдствіе несовершенства организаціи; если
они, не смотря на то, живутъ—значить, что получившіе не
нормальное образованіе органы не составляютъ важнѣйшихъ
частей организма, или что ненормальность ихъ неважна для
цѣлаго организма. Такъ и въ художественныхъ созданіяхъ мо-
гутъ быть недостатки, причина которыхъ заключается не въ
совершенно правильномъ ходѣ процесса ихъ явленія, т. е.
въ большемъ или меньшемъ участіи личной воли и разсудка
художника, или въ томъ, что онъ недостаточно выносилъ
въ своей душѣ идею созданія, не далъ ей вполне сформир-
роваться въ опредѣленные и окончательные образы. И такіа
произведенія не лишаются чрезъ подобные недостатки своей
художественной сущности и цѣнности. Но, какъ въ произве-
деніяхъ природы слишкомъ неправильное развитіе органовъ

производить уродовъ, которые, родясь, тотчасъ и умирають, такъ и въ сферѣ искусства есть произведенія, непереживающія минуты своего рожденія. Вотъ такія-то произведенія искусства могутъ быть и передѣлываемы, и приноравляемы къ случаю и къ обстоятельствамъ, и о такихъ-то произведеніяхъ говорится, что въ нихъ есть и красоты, и недостатки. Но истинно-художественныя произведенія не имѣютъ ни красоты, ни недостатковъ: для кого доступная ихъ цѣлость, тому видится одна красота. Только близорукость эстетическаго чувства и вкуса, неспособная объять цѣлое художественнаго произведенія и теряющаяся въ его частяхъ, можетъ въ немъ видѣть красоты и недостатки, приписывая ему собственную свою ограниченность.

Все, что ни есть въ дѣйствительности, есть обособленіе общаго духа жизни въ частномъ явленіи. Всякая организація есть свидѣтельство присутствія духа: гдѣ организація, тамъ и жизнь, а гдѣ жизнь, тамъ и духъ. И потому, какъ всякое произведеніе природы, отъ минерала и былинки до человѣка, есть обособленіе общаго духа жизни въ частномъ жизни, такъ и всякое созданіе искусства есть обособленіе общей міровой идеи въ частный образъ, въ самомъ себѣ замкнутый. Организація есть сущность того процесса, чрезъ который является все живое и нерукотворное, слѣдовательно, и всѣ произведенія природы и искусства. И потому-то тѣ и другія такъ цѣлостны, такъ полны, окончены,—словомъ, замкнуты въ самихъ себѣ.

Но что же такое эта «замкнутость»? спросятъ насъ наконецъ. Отвѣчаемъ: это вещь столько же простая, сколько и мудреная,—и удовлетворительно отвѣтить на этотъ вопросъ столько же легко, сколько и трудно. Что такое духъ? Что такое истина? Что такое жизнь? Какъ часто предлагаются такіе вопросы, и какъ часто дѣлаются на нихъ отвѣты! Вся жизнь человѣческая есть не что иное, какъ подобные вопросы стремящіеся къ разрѣшенію. И что же? — для многихъ ли

рѣшена загадка и найдено слово? Отчего же такъ? Да оттого, что всѣ вопросы и предлагаются, и рѣшаются словомъ, а слово есть или мысль, или пустой звукъ; кто въ самой натурѣ своей, внутри самого себя, въ таинственномъ святилищѣ духа своего носить возможность рѣшенія такихъ вопросовъ, — возможность, которая называется предощущеи́емъ, предчувствіемъ, чувствомъ, внутреннимъ созерца́и́емъ, внутреннимъ ясновидѣ́и́емъ истины, врожденными идеями, и проч., — для того слово есть мысль, и, услышавъ его, онъ принимаетъ въ себя значеніе, заключенное въ этомъ словѣ. Причина такой понятливости заключается въ сродствѣ, или, лучше сказать, въ тождествѣ познающаго съ познани́емъ. Но и самое это тождество требуетъ большого развитія: иначе понятливость тупѣетъ, и вопросы остаются безотвѣтны. Но у кого нѣтъ этого тождества съ предметами его познанія, для того слово — пустой звукъ: ухо его услышитъ слово, но разумъ останется глухъ для него. Вотъ почему вопросы, о которыхъ мы говоримъ, столько же просты, сколько и мудрены, и отвѣчать на нихъ столько же легко, сколько и трудно. Однако-жъ, мы попытаемся здѣсь навести читателей на идею того, что мы называемъ, въ природѣ и искусствѣ, замкнутостію. Посмотрите на цвѣтующее растеніе: вы видите, что оно имѣетъ свою опредѣленную форму, которою отличается оно не только отъ существъ въ другихъ царствахъ природы, но даже и отъ растеній разнаго съ нимъ рода и вида; его листики расположены такъ симметрически, такъ пропорціонально, каждый изъ нихъ такъ тщательно, съ такою заботливостію, съ такимъ безконечнымъ совершенствомъ отдѣленъ и изукрашенъ до малѣйшихъ подробностей... Какъ роскошно прекрасенъ его цвѣтокъ, сколько на немъ жилочекъ, оттѣнковъ; какая нѣжная и яркая пыль... И какое, наконецъ, упонительное благоуханіе?... Но все ли тутъ? О, нѣтъ! Это только внѣшняя форма, выраженіе внутренняго: эти чудныя краски вышли изнутри растенія, этотъ

обаятельный аромат есть его бальзамическое дыханіе... Тамъ, внутри его ствола, цѣлый новый міръ: тамъ самодѣятельная лабораторія жизненности, тамъ, по тончайшимъ сосудцамъ дивно правильной отдѣлки, течетъ влага жизни, струится невидимый эфиръ духа... Гдѣ же начало и причина этого явленія? Въ немъ самомъ: оно было уже, когда еще не было растенія, когда было только зерно. Уже въ этомъ зернѣ заключался и корень, и стволъ, и красивые листочки, и пышный ароматическій цвѣтъ! Видите ли, въ этомъ цвѣтѣ все, что ему нужно: и жизнь, и источникъ жизни, и явленіе, и причина явленія, и растительность, и всѣ орудія, органы и сосуды растительности: а, между тѣмъ, гдѣ вы усмотрите начало или конецъ всего этого? Вы видите, что это растеніе полно и совершенно само въ себѣ, не имѣетъ ничего недостающаго ему и ничего лишняго, что оно живо и индивидуально; но гдѣ же пружина его жизни, исходный пунктъ его индивидуальности? гдѣ? Они замкнуты въ немъ, и потому оно есть совершенно-цѣлое, оконченное—словомъ, замкнутое въ самомъ себѣ органическое существо. Но растеніе связано съ землею, въ которой первоначально развивается и изъ которой получаетъ питаніе, дающее ему матеріалы для развитія и поддержанія его бытія; посмотрите на животное: оно одарено способностію произвольнаго движенія, оно всегда носитъ себя съ самимъ собою: оно есть и растеніе, которое растетъ изъ почвы и на почвѣ, оно есть и почва, изъ которой и на которой растетъ. Смотри на него извнѣ, мы видимъ явленіе; вскрывъ его организмъ, мы видимъ источникъ явленія: тамъ кости связаны сухими жилками, сгибы членовъ смазаны пѣсокомъ, которая заготавливается съ особыхъ желѣзахъ, мускулы протканы нервами... Но и тутъ вы еще не все видите; возьмите микроскопъ, увеличивающій въ миллионъ разъ—и васъ поразитъ благоговѣйнымъ изумленіемъ эта безконечность организаціи: вы увидите, что и тысячи вашихъ жизней недостаточно, чтобы только перечис-

лить эти тончайшія нити, полныя первосущныхъ силъ природы, — и каждая ниточка, каждая фибра необходима для цѣлаго, и не можетъ быть ни исключена, ни замѣнена безъ искаженія цѣлой формы; между малѣйшими органами нѣтъ и такого пустого пространства, гдѣ бы могъ улечься невидимый для простого глаза атомъ; все внутреннее такъ тѣсно и неразрывно слито внѣшнею формою, что одно замыкаетъ въ себѣ другое, а цѣлое есть замкнутое въ самомъ себѣ существо... Человѣкъ представляетъ, въ этомъ отношеніи, несравненно высшее и поразительнѣйшее зрѣлище: сообщенный и слитый со всею природою и тайною жизни природы, — онъ во всемъ, внѣ себя, видитъ осуществившіеся законы собственнаго разума, и великое *все* нашло въ немъ свой органъ, отдѣлившись въ немъ отъ самого себя, чтобы взглянуть на себя и сознать себя. Общее и безразличное стало въ немъ частнымъ и особнымъ, чтобы чрезъ эту частность и особность снова возвратиться къ своей общности, сознавъ ее. Законъ обособленія и замкнутости въ частномъ явленіи общаго есть основной законъ міровой жизни!... И въ искусствѣ онъ открывается съ такимъ же повелѣніемъ, какъ и въ природѣ: въ уразумѣніи тайны закона обособленія заключается разгадка тайны искусства. Творческая мысль, запавъ въ душу художника, организуется въ полное, цѣлостное, оконченное, особое и замкнутое въ себѣ художественное произведеніе. Обратите все ваше вниманіе на слово «организуется»: только органическое развивается изъ самого себя, только развивающееся изъ самого себя является цѣлостнымъ и особнымъ съ частями пропорціонально и живо сочлененными и подчиненными одному общему. Вотъ почему, напр., романъ Вальтеръ-Скотта, наполненный такимъ множествомъ дѣйствующихъ лицъ, нисколько непохожихъ одно на другое, представляющій такое сцѣпленіе разнообразныхъ происшествій, столкновений и случаевъ, поражаетъ васъ однимъ общимъ впечатлѣніемъ, даетъ вамъ созерцаніе чего-то единого — вмѣсто того, чтобы спутать и сбить васъ

этимъ калейдоскопическимъ множествомъ характеровъ и событій. По той же причинѣ и каждое лицо въ романѣ существуетъ для васъ само по себѣ; вы видите его передъ собою во весь ростъ, во всей его характерической особености и никогда уже не забудете его, а если и забудете, то, перечитывая романъ вновь, хотя бы черезъ двадцать лѣтъ, тотчасъ увидите, что это лицо вамъ знакомо, что вы гдѣ-то уже видѣли его. Но цѣлое романа—его колоритъ, его индивидуальная особенность, его «нѣчто», для выраженія котораго нѣтъ слова,—еще памятнѣе вамъ, нежели каждое слово въ особенности: уже и лица всѣхъ романовъ и содержаніе ихъ, изгладилось изъ вашей памяти, но съ словами: «Ламермурская невѣста», «Ивангое», «Шотландскіе Пуритане» и пр., никогда не перестанутъ для васъ соединяться совершенно различныя понятія... Какъ какое-то неясное видѣніе, какъ аккордъ, внезапно въ вышинѣ раздавшійся, какъ благоуханіе, мимо васъ мгновенно пронесшееся, будетъ вамъ, какъ въ туманѣ, представляться индивидуальная общность каждого романа...

Все сказанное нами очень нетрудно приложить къ роману г. Лермонтова. Для этого мы должны прослѣдить въ его содержаніи, уже хорошо извѣстномъ читателямъ, развитіе основной мысли. Романъ начинается описаніемъ перѣзда автора изъ Тифлиса чрезъ Кайшаурскую долину. Не утомляя скучными подробностями, знакомить онъ насъ съ мѣстностію. Очерки его столько же кратки, сколько и рѣзки, а главное—они набросаны какъ будто бы мимоходомъ. Въ то время, какъ его телѣжку тащили въ гору шесть быковъ и нѣсколько Осетинъ, онъ замѣтилъ, что за его телѣжкой двигалась другая, которую тащили четыре быка, а за нею шелъ ея хозяинъ, куря изъ маленькой трубочки. Это былъ офицеръ, лѣтъ пятидесяти, съ смуглымъ лицомъ и преждевременно посѣдѣвшими усами, которые не соответствовали его твердой походкѣ и бодрому виду. Авторъ подошелъ къ нему

и поклонился; тотъ молча отвѣтилъ на его поклонъ, пустивъ огромный клубъ дыма.

— „Мы съ вами попутчики, кажется?

Онъ молча опять поклонился.

— „Вы вѣрно ѣдите въ Ставрополь?

— Такъ-съ точно... съ казенными вещами.

— „Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащатъ шута, а мою пустую шесть скотовъ едва подвигаютъ съ помощію этихъ Осетия?

Онъ лукаво улыбнулся и значительно взглянулъ на меня.

— Вы вѣрно недавно на Кавказъ?

— „Съ годъ“ отвѣчалъ я.

Онъ улыбнулся вторично.

— „А что жъ?

— Да такъ-съ! ужасные бестіи эти Азіаты! Вы думаете, они помогаютъ, что кричать? А чортъ ихъ знаетъ, что они кричать? Быки-то ихъ понимаютъ; запрягите хоть двадцать, такъ коли они крикнутъ по своему, быки все ни съ мѣста... Ужасные плуты! А что жъ съ нихъ возьмешь?... Любятъ деньги драть съ проѣзжающихъ... Избаловали мошенниковъ! увидите, они еще съ васъ возьмутъ на водку. Ужъ я ихъ знаю, меня не проведутъ.

Такимъ образомъ завязалось у автора знакомство съ однимъ изъ интереснѣйшихъ лицъ его романа—съ Максимомъ Максимычемъ, съ этимъ типомъ стараго кавказскаго служака, закаленного въ опасностяхъ, трудахъ и битвахъ, котораго лицо такъ же загорѣло и сурово, какъ манеры простоваты и грубы, но у котораго чудесная душа, золотое сердце. Это типъ чисто русскій, который художественнымъ достоинствомъ созданія напоминаетъ оригинальнѣйшіе изъ характеровъ въ романахъ Вальтеръ-Скотта и Купера, но который, по своей новости, самобытности и чисто русскому духу, не походитъ ни на одинъ изъ нихъ. Искусство поэта должно состоять въ томъ, чтобы развить на дѣлѣ задачу, какъ данный природою характеръ долженъ образоваться при обстоятельствахъ, въ которыя поставить его судьба. Максимъ Максимычъ получилъ отъ природы человѣческую душу, человѣческое сердце,

но эта душа и это сердце отлились въ особую форму, которая такъ и говоритъ намъ о многихъ годахъ тяжелой и трудной службы, о кровавыхъ битвахъ, о затворнической и однообразной жизни въ недоступныхъ горныхъ крѣпостяхъ, гдѣ нѣтъ другихъ человѣческихъ лицъ, кромѣ подчиненныхъ солдатъ да заходящихъ для мѣны Черкесовъ. И все это высказывается въ немъ не въ грубыхъ поговоркахъ, въ родѣ «чертъ возьми», и не въ военныхъ восклицанійхъ, въ родѣ «тысяча бомбъ», безпрестанно повторяемыхъ, не въ попойкахъ и не въ куреніи табака,—а во взглядѣ на вещи, приобрѣтенномъ навыкомъ и родомъ жизни, и въ этой манерѣ поступковъ и выраженія, которые должны быть необходимымъ результатомъ взгляда на вещи и привычки. Умственный кругозоръ Максима Максимыча очень ограниченъ; но причина этой ограниченности не въ его натурѣ, а въ его развитіи. Для него «жить», значить «служить», и служить на Кавказѣ; «Азіаты»—его природные враги: онъ знаетъ по опыту, что всѣ они большіе плуты, и что самая ихъ храбрость есть отчаянная удаля разбойничья, подстрекаемая надеждою грабежа; онъ не дается имъ въ обманъ, и ему смертельно досадно, если они обманутъ новичка и еще выманятъ у него на водку. И это совсѣмъ не потому, чтобы онъ былъ скупъ,—о нѣтъ! онъ только бѣденъ, а не скупъ, и сверхъ того, кажется, и не подозрѣваетъ цѣны деньгамъ; но онъ не можетъ видѣть равнодушно, какъ плуты «Азіаты» обманываютъ честныхъ людей. Вотъ чуть ли не все, что онъ видитъ въ жизни, или, по крайней мѣрѣ, о чемъ чаще всего говоритъ. Но не спѣшите вашимъ заключеніемъ о его характерѣ; познакомьтесь съ нимъ получше, — и вы увидите, какое теплое, благородное, даже нѣжное сердце бьется въ желѣзной груди этого, повидимому, очерствѣвшаго человѣка; вы увидите какъ онъ, какимъ-то инстинктомъ, понимаетъ все человѣческое и принимаетъ въ немъ горячее участіе; какъ, вопреки собственному сознанію, душа его жаждетъ любви и

сочувствія, — и вы отъ души полюбите простого, добраго, грубаго въ своихъ манерахъ, лаконическаго въ словахъ Максима Максимыча.

Опытный штабсъ-капитанъ не ошибся: Осетинцы обступили неопытнаго офицера и громко требовали на водку. Но Максимъ Максимычъ грозно прикрикнулъ на нихъ и заставилъ разбѣжаться. «Вѣдь этакой народъ», сказалъ онъ: «и хлѣба порусски назвать не умѣеть, а выучилъ: офицеръ, дай на водку!... Ужъ татары по мнѣ лучше: тѣ хоть непьюшіе...»

Вотъ, наконецъ, путешественники наши добрались до станціи и взошли въ саклю, переднее отдѣленіе которой было наполнено коровами и овцами, а другое людьми, сидѣвшими возлѣ огня, разложеннаго на землѣ. По полу разстидалася дымъ, обратно вталкиваемый вѣтромъ изъ отверстія въ потолокъ. Наши путники закурили трубки, внимая пріятливому шипѣнію чайника.

— Жалкіе люди!—сказалъ я штабсъ-капитану, указывая на нашихъ грязныхъ хозяевъ, которые молча на насъ смотрѣли въ какомъ-то остопабѣннѣи. — Преглупый народъ! отвѣчалъ онъ. Повѣрите ли, ничего не умѣютъ, неспособны ни къ какому образованію! Ужъ, по крайней мѣрѣ, наши Кабардинцы или Чеченцы, хотя разбойники, голыши, за то отчаянныя башки, а у этихъ и къ оружію никакой охоты нѣтъ: порядочнаго ни на комъ не увидишь. *Ужъ подлинно Осетины!*

— „А вы долго были въ Чечнѣ?“

— Да, я лѣтъ десятокъ стоялъ тамъ въ крѣпости съ ротою, у Каменнаго Брода, знаете?

— „Слыхалъ“.

— Вотъ, батюшка, надѣли намъ эти головорѣзы, нынче, слава Богу, смирише, а бывало, на сто шаговъ отойдешь за валы, ужъ гдѣ-нибудь косматый дьяволъ сидитъ и караулитъ: чуть зазѣвался, того и гляди—либо арканъ на шеѣ, либо пуля въ затылокъ. *А молодымъ!...*

— „А, чай, много съ вами бывало приключеній?“ сказалъ я, подстрекаемый любопытствомъ.

— Какъ не бывать! бывало...

Тутъ онъ началъ щипать лѣвый усъ, повѣсилъ голову и призадумался.

И вотъ, Максимъ Максимычъ весь передъ вами, съ своимъ взглядомъ на вещи, съ своимъ оригинальнымъ способомъ выраженія! Вы еще такъ мало видѣли его, такъ мало познакомились съ нимъ, а уже передъ вами не призракъ, волею или неволею принужденный авторомъ служить связью, или вертѣть колесо его разсказа, а типическое лицо, оригинальный характеръ, живой человѣкъ! Такъ осуществляютъ свои идеалы истинные художники: двѣ, три черты—и передъ вами, какъ живая, словно на-яву, стоитъ такая характеристическая фигура, которой вы уже никогда не забудете... «Тутъ онъ началъ щипать лѣвый усъ, повѣсилъ голову и призадумался»: какъ много сказано въ этихъ немногихъ, простыхъ словахъ, какую рѣзкую черту проводятъ они по физиономіи Максима Максимыча, какъ много обѣщаютъ, какъ сильно разманиваютъ любопытство читателя!... Принявъ поданный ему стаканъ чай, Максимъ Максимычъ отхлебнулъ и сказалъ какъ будто про себя: «да, бываетъ!» Но мы еще должны нѣсколько поговорить словами самого автора:

— „Не хотите ли подбавить рома?—сказалъ я моему собесѣднику,— у меня есть бѣлый изъ Тифлиса: теперь холодно.

— Нѣтъ-съ, благодарствуйте, не пью.

— Что такъ?

— Да такъ. Я далъ себѣ заклятіе. Когда былъ еще подпоручикомъ, разъ, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью съдѣлалась тревога; вотъ мы и вышли передъ фронтомъ на-веселѣ. да ужъ и досталось намъ, когда Алексѣй Петровичъ узналъ: не дай Господи какъ онъ разсердился! Чуть-чуть не отдалъ подъ судъ. Оно и точно: другой разъ цѣлый годъ живешь, никого не видишь, да какъ тутъ еще водка—пропадшій человѣкъ!

Услышавъ это, и почти потерялъ надежду.

— Да вотъ хоть Черкесы, продолжалъ онъ, какъ напьются бузы на свадьбѣ или на похоронахъ, такъ и пошла рубка. Я разъ на силу ноги унесъ, а еще у мирнова князя былъ въ гостяхъ.

— „Какъ же это случилось?“

Вотъ начало поэтической исторіи «Бѣлы» Максимъ Мак-

симычъ разсказывалъ ее по своему, своимъ языкомъ; но отъ этого она не только ничего не потеряла, но бесконечно много выиграла. Добрый Максимъ Максимычъ, самъ того не зная, сдѣлался поэтомъ, такъ что въ каждомъ его словѣ, въ каждомъ выраженіи заключается бесконечный міръ поэзіи. Не знаемъ, чему здѣсь болѣе удивляться: тому ли, что поэтъ, заставивъ Максима Максимыча быть только свидѣтелемъ разсказываемаго имъ событія, такъ тѣсно слилъ его личность съ этимъ событіемъ, какъ будто бы самъ Максимъ Максимычъ былъ его героемъ; или тому, что онъ сумѣлъ такъ поэтически, такъ глубоко взглянуть на событіе глазами Максима Максимыча и разсказать это событіе языкомъ простымъ, грубымъ, но всегда живописнымъ, всегда трогательнымъ и потрясающимъ даже въ самомъ комизмѣ своемъ?...

Когда Максимъ Максимычъ стоялъ въ крѣпости за Теремомъ, къ нему вдругъ явился офицеръ, прикомандированный къ его крѣпости.

— Его звали... Григорьемъ Александровичемъ Печоринымъ; славный былъ малый, смѣю васъ увѣрить; только немножко страненъ. Вѣдь, напримѣръ, въ дождикъ, въ холодъ, цѣлый день на охотѣ; всѣ иззябнутъ, устанутъ, а ему ничего. А другой разъ сидитъ у себя въ комнатѣ: вѣтеръ пахнетъ—увѣряетъ, что простудился; ставнемъ стукнуть, онъ вздрагиваетъ и поблѣднѣетъ; а при мнѣ ходилъ на кабанъ одинъ на одинъ; бывало, по цѣлымъ часамъ слова не добыешься, зато ужъ иногда, какъ начнетъ разсказывать, такъ животики надорвешь со смѣха. Да-съ, съ большими странностями, и должно быть, богатый человекъ; сколько у него было разныхъ дорогихъ вещей!...

— „А долго ли онъ съ вами жилъ?“ спросилъ я опять.

— Да съ годъ. Ну да ужъ зато памятенъ мнѣ этотъ годъ; надѣлалъ онъ много хлопотъ; не тѣмъ будь поминуть! Вѣдь есть, право, такіе люди, у которыхъ на роду написано, что съ ними должны случаться разныя необыкновенныя вещи.

— „Необыкновенны!“ воскликнулъ я, съ видомъ любопытства, подливая ему чая.

А вотъ я вамъ разскажу.

Не далеко отъ крѣпости жилъ мирной князь, сынъ котораго, мальчикъ лѣтъ пятнадцати, повадился ѣздить въ крѣпость. Печоринъ и Максимъ Максимычъ любили и баловали его. Это былъ прототипъ Черкеса, безъ преувеличенія и безъ искаженія. Головорѣзъ, *проворный на все*, по словамъ Максима Максимыча: онъ поднималъ шапку на всемъ скаку, мастерски стрѣлялъ изъ ружья, и былъ ужасно падокъ на деньги. Если его дразнили, глаза его наливались кровью, а рука хваталась за кинжалъ. «Эй, Азамать, — говорилъ ему Максимъ Максимычъ, — не сносить тебѣ головы: ямашъ будетъ твоя башка!» Однажды, старый князь пріѣхалъ въ крѣпость и позвалъ Максима Максимыча и Печорина на свадьбу своей дочери. Когда они пріѣхали въ аулъ, прятавшіяся отъ нихъ женщины не показались красавицами Печорину. «Погодите, сказалъ я, усмѣхаясь (говорилъ Максимъ Максимычъ). У меня было свое на умѣ».

Изъ этого мѣста разсказа Максима Максимыча можно получить самое вѣрное понятіе о нравахъ и обыкновеніяхъ дикихъ Черкесовъ, хотя для ихъ описанія онъ и не дѣлаетъ отступленій. Какъ къ почетному гостю, къ Печорину подошла меньшая дочь хозяина, прекрасная дѣвушка лѣтъ шестнадцати, и пропѣла ему...

— Какъ бы сказать?... въ родѣ комплимента.

— „А что-жъ такое она пропѣла, не помните ли?“

— Да, кажется, вотъ такъ: стройны, *дескать*, наши молодые джигиты, и кафтаны на нихъ серебромъ выложены, а молодой русскій овицеръ стройнѣе ихъ и галуны на немъ золотые. Онъ какъ тополь между ними; только не расти. не цвѣсти ему въ нашемъ саду.

Печоринъ всталъ, приложилъ руку ко лбу и сердцу, а Максимъ Максимычъ перевелъ ей его отвѣтъ, ибо онъ хорошо зналъ по ихнему. «Какова!» шепнулъ онъ Печорину. — Прелесть! А какъ ее зовутъ?— «Бѣлою».

«И точно (говорилъ Максимъ Максимычъ), она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, какъ у горной

серны, такъ и заглядывали вамъ въ душу». Печоринъ въ задумчивости не сводилъ съ нея глазъ, но не одинъ онъ смотрѣлъ на нее. Въ числѣ гостей былъ Черкесъ Казбичъ. Онъ былъ и мирнымъ и немирнымъ, смотря по обстоятельствамъ; подозрѣній было на него множество, хотъ онъ не былъ замѣченъ ни въ какой шалости. Но мы почитаемъ необходимымъ вполне обрисовать это лицо, и именно словами Максима Максимыча. «Говорили про него, что онъ любитъ таскаться за Кубань съ абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечій... А ужъ ловокъ-то, ловокъ-то былъ, какъ бѣсъ! Бешметъ всегда изорванный, въ заплаткахъ, а оружіе въ серебрѣ. А лошадь его славилась въ цѣлой Кабардѣ,—и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаромъ ему завидовали всѣ наѣзники, и не разъ пытались ее украсть, только не удавалось. Какъ теперь гляжу на эту лошадь: вороная, какъ смоль, ноги — струнки, глаза не хуже, чѣмъ у Бѣлы, а какая сила! скачи хотъ на 50 верстъ; а ужъ выѣзжана—какъ собака бѣгаетъ за хозяиномъ; голосъ даже его знала! Бывало, онъ ее никогда и не привязываетъ. Ужъ такая разбойническая лошадь!...»

Въ этотъ вечеръ Казбичъ былъ угрюмѣ обыкновеннаго, и Максимъ Максимычъ, замѣтивъ, что у него подъ бешметомъ надѣта кольчуга, тотчасъ подумалъ, что это не даромъ. Такъ какъ въ саклѣ стало душно, онъ вышелъ освѣжиться, и вздумалъ кстати провѣдать лошадей. Тутъ за заборомъ, онъ подслушалъ разговоръ: Азаматъ похваливалъ лошадь Казбича, на которую давно зарился; а Казбичъ, подстрекнутый этимъ, рассказывалъ о ея достоинствахъ и услугахъ, которыя она ему оказала, не разъ спасая его отъ вѣрной смерти. Это мѣсто повѣсти вполне знакомить читателя съ Черкесами, какъ съ племенемъ, и въ немъ могучею художническою кистію обрисованы характеры Азамата и Казбича, этихъ двухъ рѣзкихъ типовъ черкесской народности. «Еслибъ

у меня былъ табунъ въ тысячу кобылъ, то отдалъ бы весь за твоего карагёза», сказалъ Азамать. — *Иокъ*, не хочу, — равнодушно отвѣчалъ Казбичъ. Азамать лѣстить ему, обѣщаетъ украсть у отца лучшую винтовку или шашку, которая, только приложи руку къ лезвію, сама впивается въ тѣло, кольчугу... Въ его словахъ такъ и дышетъ знойная, мучительная страсть дикаря и разбойника по рожденію, для котораго нѣтъ ничего въ мірѣ дороже оружія или лошади, и для котораго желаніе—медленная пытка на маломъ огнѣ, а для удовлетворенія, жизнь собственная, жизнь отца, матери, брата—ничто. Онъ говорилъ, что съ тѣхъ поръ, какъ въ первый разъ увидѣлъ карагёза, когда онъ кружился и прыгалъ подъ Казбичемъ, раздувая ноздри, и кремни брызгами летѣли изъ-подъ копытъ его, что съ тѣхъ поръ въ его душѣ сдѣлалось что-то непонятное, все ему опостылѣло... Можно подумать, что онъ рассказывалъ о любви или ревности, чувствахъ, которыхъ дѣйствіе часто бываетъ такъ страшно и въ людяхъ образованныхъ, а тѣмъ страшнѣе въ дикаряхъ. «На лучшихъ скакуновъ моего отца смотрѣлъ я съ презрѣніемъ (говорилъ Азамать), стыдно было мнѣ на нихъ показаться, и тоска овладѣла мной; и тоскуя, просиживалъ я на утесѣ цѣлые дни, и ежеминутно мыслямъ моимъ является вороной скакунъ твой съ своей стройной поступью, съ своимъ гладкимъ, прямымъ, какъ стрѣла, хребтомъ; онъ смотрѣлъ мнѣ въ глаза своими бойкими глазами, какъ-будто хотѣлъ слово вымолвить. Я умру, Казбичъ, если ты мнѣ не продашь его!» Проговоривъ это дрожащимъ голосомъ, онъ заплакалъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, показалось Максиму Максимычу, который зналъ Азамата, какъ преупрямаго мальчишку, у котораго ничѣмъ незья было вышибить слезъ, когда онъ былъ и моложе. Но въ отвѣтъ на слезы Азамата послышалось что-то въ родѣ смѣха. «Послушай!» сказалъ твердымъ голосомъ Азамать, — «видишь, я на все рѣшаюсь. Хочешь я украду для тебя мою сестру? Какъ она пляшетъ! какъ поетъ! а вы-

шиваетъ золотомъ — чудо! не бывало такой жены и у турецкаго падишаха... Неужели не стоить Бѣда твоего скакуна?...»

Казбичъ долго молчалъ, и наконецъ, вмѣсто отвѣта, затянулъ вполголоса старинную пѣсню, въ которой коротко и ясно выражена вся философія Черкеса:

Много красавицъ въ аулахъ у насъ,
Звѣзды сіяютъ во мракѣ ихъ глазъ,
Сладко любить ихъ, завидная доля;
Но веселѣй молодецкая воля.
Золото купить четыре жены,
Конь же лихой не имѣетъ цѣны:
Онъ и отъ вихри въ степи не отстанетъ
Онъ не измѣнитъ, онъ не обманетъ.

Напрасно Азамать упрашивалъ, плакалъ, лѣстилъ ему. «Поди прочь, безумный мальчишка! Гдѣ тебѣ ѣздить на моемъ конѣ! На первыхъ трехъ шагахъ онъ тебя сброситъ, и ты разобьешь себѣ затылокъ о камни!» «Меня!» крикнулъ Азамать въ бѣшенствѣ, и желѣзо дѣтскаго кинжала зазвенѣло о кольчугу. Казбичъ оттолкнулъ его такъ, что онъ упалъ и ударился головою о плетень. «Будетъ потѣха!» подумалъ Максимъ Максимычъ, взнуздалъ коней и вывелъ ихъ на задній дворъ. Между тѣмъ, Азамать вбѣжалъ въ саклю въ разорванномъ бешметѣ, говоря, что Казбичъ хотѣлъ его зарѣзать. Поднялся гвалтъ, раздались выстрѣлы, но Казбичъ уже вертѣлся на своемъ конѣ среди улицы, и ускользнулъ.

— «Никогда себѣ не прощу одного: чортъ меня дернулъ, пріѣхавъ въ крѣпость, пересказать Григорію Александровичу все, что я слышалъ, сидя за заборомъ; онъ посмѣялся—такой хитрый! а самъ задумалъ кое-что».

— А что такое? расскажите, пожалуйста.

— «Ну ужъ нечего дѣлать, началъ рассказывать, такъ надо продолжать».

Дня черезъ четыре пріѣхалъ въ крѣпость Азамать. Печоринъ началъ ему расхваливать лошадь Казбича. У Татаръ

ченка засверкали глаза, а Печоринъ будто не замѣчаетъ; Максимъ Максимычъ заговорить о другомъ, а Печоринъ сведетъ разговоръ на лошадь. Это продолжалось недѣли три; Азамать видимо блѣднѣлъ и чахнулъ. Короче: Печоринъ предложилъ ему чужого коня за его родную сестру; Азамать задумался: не жалость къ сестрѣ, а мысль о мщеніи отца потревожила его, но Печоринъ кольнулъ его самолюбіе, назвавъ ребенкомъ (названіе, которымъ всѣ дѣти очень оскорбляются!), а карагѣзъ такая чудная лошадь!... И вотъ однажды, Казбичъ пріѣхалъ въ крѣпость и спрашиваетъ, не надо ли барановъ и меда; Максимъ Максимычъ велѣлъ привести на другой день. «Азамать! сказалъ Печоринъ, завтра карагѣзъ въ моихъ рукахъ; если нынче ночью Бѣла не будетъ здѣсь, не видать тебѣ коня». Хорошо! сказалъ Азамать, поскакалъ въ аулъ, и въ тотъ же вечеръ Печоринъ возвратился въ крѣпость, вмѣстѣ съ Азаматомъ, у котораго, поперекъ сѣдла (какъ видѣлъ часовой), лежала женщина, съ связанными ногами и руками, съ головою, опутанною чардой. На другой день Казбичъ явился въ крѣпости съ своимъ товаромъ; Максимъ Максимычъ попотчевалъ его чаемъ, и потому что (говорилъ онъ), хотя разбойникъ онъ, «а все-таки былъ моимъ кунакомъ». Вдругъ Казбичъ посмотрѣлъ въ окно, вздрогнулъ, поблѣднѣлъ, и съ крикомъ: «моя лошадь! лошадь!» выбѣжалъ вонъ, перескочилъ черезъ ружье, которымъ часовой хотѣлъ загородить ему дорогу. Вдали скакалъ Азамать; Казбичъ выхватилъ изъ чехла ружье, выстрѣлилъ и, увѣрившись, что далъ промахъ, завизжалъ, въ дребезги разбилъ ружье о камень; повалился на землю и зарыдалъ какъ ребенокъ. Такъ продолжалъ онъ до поздней ночи и цѣлую ночь, не дотрогиваясь до денегъ, которыя велѣлъ положить подлѣ него Максимъ Максимычъ за барановъ. На другой день, узнавши отъ часового, что похититель былъ Азамать, онъ засверкалъ глазами и отправился отыскивать его. Отца Бѣлы въ это время не было дома, а возвратившись, онъ не нашелъ ни дочери, ни сына...

Какъ только Максимъ Максимычъ узналъ, что Черкешенка у Печорина, онъ надѣлъ эполеты, шпагу, и пошелъ къ нему.

— „Г. прапорщикъ, вы сдѣлали проступокъ, за который и я могу отвѣчать...“

— И, полноте! что жъ за бѣда? Вѣдь у насъ давно все пополамъ.

— „Что за шутки! пожалуйста вашу шпагу!“

— Митька, шпагу!

Митька принесъ шпагу. Исполнивъ долгъ свой, сѣлъ я къ нему на кровать и сказалъ: „Послушай, Григорій Александровичъ; признайся, что не хорошо?“

— Что не хорошо?

— „Да то, что ты увезъ Бѣлу... Ужъ эта мнѣ бестія Азамать!... Ну, признайся“, сказалъ я ему.

— Да когда она мнѣ нравится?

Ну, что прикажете отвѣчать на это? Я сталъ въ тупикъ. Однакожъ, послѣ нѣкотораго молчанія, я ему сказалъ, что если отецъ станетъ требовать, надо будетъ ее отдать.

— Вовсе не надо.

— „Да онъ узнаетъ что она здѣсь?“

— А какъ онъ узнаетъ?

И опять сталъ въ тупикъ

— Послушайте, Максимъ Максимычъ, сказалъ Печоринъ, приподнявшись.— вѣдь вы добрый человѣкъ, а если отдадимъ дочь этому дикарю онъ ее зарѣжетъ, или продастъ. Дѣло сдѣлано, не надо только охотою портить; оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу...

— „Да покажите мнѣ ее“ сказалъ я.

— Она за этою дверью; только я самъ нынче напрасно хотѣлъ ее видѣть; сидитъ въ углу, закутавшись въ покрывало, не говорить и не смотреть: пуглива, какъ дикая серна. Я нанялъ нашу духаницу, она знаетъ потатарски, будетъ ходить за нею и приучить ее къ мысли, что она моя, потому что она никому не будетъ принадлежать, кромѣ меня“ — прибавляя, онъ ударивъ кулакомъ по столу. Я и въ этомъ согласился... Что же прикажете дѣлать! Есть люди, съ которыми непременно должно согласиться.

Нѣтъ ничего тяжеле и непріятнѣе, какъ излагать содержаніе художественнаго произведенія. Цѣль этого изложенія не состоятъ въ томъ, чтобъ показать лучшія мѣста: какъ бы нибыло хорошо мѣсто сочиненія, оно хорошо по отню-

шенію къ цѣлому, слѣдовательно, изложеніе содержанія должно имѣть цѣлю—прослѣдить идею цѣлаго созданія, чтобы показать, какъ вѣрно она осуществлена поэтомъ. А какъ это сдѣлать? цѣлаго сочиненія переписать нельзя; но каково же выбирать мѣста изъ превосходнаго цѣлаго, пропускать инныя, чтобы выписки не перешли должныхъ границъ? И потомъ, каково связывать выписанныя мѣста своимъ прозаическимъ рассказомъ, оставляя въ книгѣ тѣни и краски, жизнь и душу, и держась одного мертваго скелета? Теперь мы особенно чувствуемъ всю тяжесть и неудобоисполнимость взятой нами на себя обязанности. Мы и до сего мѣста терялись во множествѣ прекрасныхъ частныхъ, а теперь, когда начинается важнѣйшая часть повѣсти, теперь намъ такъ и хотѣлось бы выписать отъ слова до слова весь рассказъ автора, въ которомъ каждое слово такъ бесконечно-значительно, такъ глубоко-знаменательно, дышитъ такою поэтическою жизнію, блеститъ такимъ роскошнымъ богатствомъ красокъ; а, между тѣмъ, мы по прежнему принуждены пересказывать по своему, сколько возможно держась выраженій подлинника и выписывая мѣста.

Холодно смотрѣла Бѣла на подарки, которые каждый день приносилъ ей Печоринъ, и гордо отталкивая ихъ. Долго безуспѣшно ухаживалъ онъ за нею. Между тѣмъ, онъ учился потатарски, а она начинала понимать порусски. Она стала изрѣдка и посматривать на него, но все изъ подлобья, изъ коса, и все грустила, напѣвала свои пѣсни вполголоса, «такъ что (говорилъ Максимъ Максимычъ), бывало и мнѣ становилось грустно, когда слушалъ ее изъ сосѣдней комнаты». Уговаривая ее полюбить себя, Печоринъ спросилъ ее, не любитъ ли она какого-нибудь Чеченца, и прибавилъ, что въ такомъ случаѣ онъ сейчасъ отпустить ее домой. Она вздрогнула едва примѣтно и покачала головой... «Или я тебѣ совершенно ненавистенъ?» Она вздохнула. «Или твоя вѣра запрещаетъ полюбить меня?» она поблѣднѣла и молчала. Потомъ онъ ей ска-

залъ, что Аллахъ одинъ для всѣхъ племенъ, и что если онъ ему позволилъ полюбить ее, то почему же запретить ей полюбить его. Этотъ доводъ, казалось, поразилъ ее, и въ ея глазахъ выразилось желаніе убѣдиться. «Если ты будешь грустить, говорилъ онъ ей, я умру. Скажи, ты будешь веселѣй?» Она призадумалась, не спуская съ него черныхъ глазъ своихъ, потомъ, улыбнулась и кивнула головой въ знакъ согласія. Онъ взялъ ея руку и сталъ ее уговаривать, чтобы она его поцѣловала; она слабо защищалась и только повторяла: *«поджалуста, поджалуста не нада, не нада!»* Какая граціозная и, въ то же время, какая вѣрная натурѣ черта характера! Природа нигдѣ не противорѣчитъ себѣ, и глубокость чувства, достоинство и граціозность непосредственности такъ же иногда поражаютъ и въ дикой Черкешенкѣ, какъ и въ образованной женщинѣ высшаго тона. Есть манеры столь граціозныя, есть слова столь благоухающія, что одного или одной изъ нихъ достаточно, чтобы обрисовать всего человѣка, выказать наружу все, что кроется внутри его. Не правда ли: слыша это милое, простодушное «поджалуста, поджалуста не нада, не нада!» вы видите передъ собою эту очаровательную, чернооую Бѣлу, полудикую дочь вольныхъ ущелій, и вась такъ обаятельно поражаетъ въ ней эта гармонія, эта особенность женственности, которая составляетъ всю прелесть, все очарованіе женщины?... Онъ сталъ настаивать, она задрожала и заплакала. «Я твоя плѣнница, твоя раба», говорила она, «конечно, ты можешь меня принудить» — и опять слезы. «Дьяволъ, а не женщина!» сказалъ онъ Максиму Максимычу; «только я даю вамъ честное слово, что она будетъ моя»...

Однажды, онъ вошелъ къ ней, одѣтый почеркесски и вооруженный, и сказалъ ей, что онъ виноватъ передъ нею, что онъ оставляетъ ее хозяйкой всего, что имѣетъ, даетъ ей волю, и самъ идетъ куда глаза глядятъ, можетъ быть, подь пулю...

Онъ отвернулся и протянулъ ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала. Только, стоя за дверью, и могъ въ щель рассмотреть ея лицо; и мнѣ стало жаль, такая смертельная блѣдность покрыла это милое личико! Не слыша отвѣта, Печоринъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ къ двери, онъ дрожалъ, и сказать ли вамъ? я думаю, онъ въ состояніи былъ исполнить въ самомъ дѣлѣ то, о чемъ говорилъ шутя. Таковъ ужъ былъ человѣкъ, Богъ его знаетъ! Только онъ едва коснулся двери, какъ она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. Повѣрите ли? я, стоя за дверью, также заплакалъ, то-есть, знаете, не то, чтобы заплакалъ, а такъ. глупость!...

Штабсъ-капитанъ замолчалъ.

— Да, признаюсь, сказалъ онъ потомъ, теребя усы. мнѣ стало досадно, что никогда ни одна женщина меня такъ не любила.

Скоро узналъ счастливый Печоринъ, что Бѣла полюбила его съ перваго взгляда. Да, это была одна изъ тѣхъ глубокихъ женскихъ натуръ, которыя любятъ мужчину тотчасъ, какъ увидятъ его, но признаются ему въ любви не тотчасъ, отдадутся не скоро, а отдавшись, уже не могутъ больше принадлежать ни другому, ни самимъ себѣ... Поэтъ не говоритъ объ этомъ ни слова, но потому-то онъ и поэтъ, что, не говоря иного, даетъ знать все... Они были счастливы, но не завидуйте имъ, читатель: кто смѣетъ надѣяться на прочное счастье въ жизни?... Минута ваша, ловите же ее, не надѣясь на будущее... Не долго продолжалось и твое блаженство, бѣдная, милая Бѣла!...

Вскорѣ Печоринъ и Максимъ Максимычъ узнали, что отецъ Бѣлы былъ убитъ Казбичемъ, подозрѣвавшимъ его въ участіи въ похищеніи карагѣза. Отъ Бѣлы долго скрывали это, пока она не привыкла къ своему положенію; когда же ей сказали, она два дня плакала, а потомъ забыла. Четыре мѣсяца все шло хорошо. Печоринъ такъ любилъ Бѣлу, что забылъ для нея охоту, и не выходилъ за крѣпостной валъ. Но вдругъ сталъ онъ задумываться, ходить по комнатѣ, заложивъ руки на спину. Однажды, никому не сказавшись, отправился на охоту и пропадалъ цѣлое утро, потомъ опять, и все чаще и чаще. «Нехорошо (подумалъ Максимъ Макси-

мычъ): вѣрно между ними пробѣжала черная кошка!» Въ одно утро онъ зашелъ къ нимъ, и увидѣлъ Бѣлу такую блѣдненькою, такую печальною, что испугался. Онъ сталъ ее утѣшать. Сообщая ему свои страхи и опасенія, она сказала ему:

— „А нынче мнѣ уже кажется, что онъ меня не любить“.

— Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать! Она заплакала, потомъ съ гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала:

— „Если онъ меня не любить, то кто ему мѣшаетъ отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это такъ будетъ продолжаться, то и сама уйду: я не раба его, я княжеская дочь!...“

Утѣшая ее Максимъ Максимычъ замѣтилъ ей, что если она будетъ грустить, то скорѣе наскучитъ Печорину.

— „Правда, правда, отвѣчала она: я буду весела! И съ хохотомъ схватила свой бубенъ, начала пѣть, плясать и прыгать около меня; только и это не было продолжительно, она упала на постель и закрыла лицо руками.“

— „Что было мнѣ съ нею дѣлать? Я, знаете, никогда съ женщинами не обращался: думалъ, думалъ, чѣмъ ее утѣшить, и ничего не придумалъ; нѣсколько времени мы оба молчали... Пренепріятное положеніе-съ.“

Вышедши съ нею прогуляться за крѣпость, Максимъ Максимычъ увидѣлъ Черкеса, который вдругъ выѣхалъ изъ лѣса и, саженихъ во ста отъ нихъ, началъ какъ бѣшеный кружиться: Бѣла узнала въ немъ Казбича.

Наконецъ, Максимъ Максимычъ объяснился съ Печоринымъ насчетъ его охлажденія къ Бѣлѣ, и Печоринъ сознался въ этомъ. Итакъ, Печоринъ охладѣлъ къ бѣдной Бѣлѣ, которая любила его еще больше. Онъ не знаетъ самъ причины своего охлажденія, хотя и силится найти ее. Да, нѣтъ ничего труднѣе, какъ разбирать языкъ собственныхъ чувствъ, какъ знать самого себя! И объясненія автора для насъ такъ же неудовлетворительны, какъ и для Максима Макси-

мыча, которому онъ ихъ сообщилъ. Можетъ быть, и тутъ та же причина, и въ отношеніи къ автору, и въ отношеніи къ намъ: нѣтъ ничего труднѣе, какъ знать и понимать самихъ себя! .. Но тѣмъ не менѣе, мы предложимъ и наше рѣшеніе, или, лучше сказать, и наше гаданіе объ этомъ столько же общемъ, сколько и грустномъ феноменѣ человеческого сердца, который особенно частъ и поразителенъ въ современномъ обществѣ. Въ числѣ причинъ скорого охлажденія Печорина къ Бэлѣ не было ли причиною его и то, что для безсознательнаго, чисто естественнаго, хотя и глубокаго чувства Черкешенки Печоринъ былъ полнымъ удовлетвореніемъ, далеко превосходящимъ самыя дерзкія ея требованія тогда какъ духъ Печорина не могъ найти своего удовлетворенія въ естественной любви полудикаго существа. Въ тому же, вѣдь одно наслажденіе далеко еще не составляетъ всѣхъ потребностей любви, а что могла дать Печорину любовь, кромѣ наслажденія? О чемъ могъ онъ говорить съ нею? что оставалось для него въ ней неразгаданнаго? Для любви нужно разумное содержаніе, какъ масло для поддержки огня: любовь есть гармоническое сліяніе двухъ родственныхъ натуръ въ чувство безконечнаго. Въ любви Бэлы была сила, но не могло быть безконечности: сидѣть съ глаза на глазъ съ возлюбленнымъ, ласкаться къ нему, принимать его ласки, предугадывать и ловить его желанія, млѣть отъ его лобзаній, замирать въ его объятіяхъ — вотъ все, чего требовала душа Бэлы; при такой жизни и вѣчность показалась бы для нея мгновеніемъ. Но Печорина такая жизнь могла увлечь не больше, какъ на четыре мѣсяца, и еще надо удивляться силѣ его любви къ Бэлѣ, если она была такъ продолжительна. Сильная потребность любви часто принимается за самую любовь, если представится предметъ, на который она можетъ устремиться; препятствія превращаютъ ее въ страсть, а удовлетвореніе уничтожаетъ. Любовь Бэлы была для Печорина полнымъ бокаломъ сладкаго

напитка, который онъ и выпилъ заразъ, не оставивъ въ немъ ни капли; а душа его требовала не бокала, а океана, изъ котораго можно ежеминутно черпать, не уменьшая его...

Однажды, Печоринъ отправился съ Максимъ Максимычемъ на охоту за кабаномъ. Съ раннего утра, часовъ съ десяти, напрасно искали они его; Максимъ Максимычъ уговаривалъ своего товарища воротиться, не тутъ-то было: не смотря ни на зной, ни на усталость, тотъ не хотѣлъ воротиться безъ добычи. «Таковъ ужъ былъ человекъ: что задумаетъ, подавай, видно въ дѣтствѣ былъ маленькій избалованъ». Однакожъ, послѣ полудня, они безъ ничего подъѣзжали къ крѣпости. Вдругъ выстрѣлъ: оба они взглянули другъ на друга и опрометью посккали на выстрѣлъ. Солдаты въ кучку собрались на валу и указывали въ поле, а тамъ летитъ стремглавъ всадникъ и держитъ что-то бѣлое на сѣдлѣ. Это былъ Казбичъ, похитившій неосторожную Бѣлу, которая вышла за крѣпость къ рѣкѣ. Печорину удалось ранить въ ногу его коня. Казбичъ занесъ руку надъ Бѣлою, Максимъ Максимычъ выстрѣлилъ и, кажется, ранилъ его въ плечо; дымъ разсѣлся — на землѣ лежала раненая лошадь, и возлѣ нея Бѣла, а Казбичъ, какъ кошка карабкался на утесъ, и скоро скрылся. Они къ Бѣлѣ—она была ранена, и кровь лилась изъ раны ручьями...

— „И Бѣла умерла?

— Умерла; только долго мучилась, и мы уже съ нею измучились порядкомъ. Около десяти часовъ вечера она пришла въ себя; мы сидѣли у постели; только что она открыла глаза, начала звать Печорина. — Я здѣсь, подлѣ тебя, моя джанечка (то есть, по нашему, душенька), отвѣчалъ онъ, взявъ ее за руку. — „Я умру!“ сказала она. — Мы начали ее утѣшать, говорили, что лѣкарь общалъ ее вытѣчить непременно, — она покачала головой и отвернулася къ стѣнѣ: ей не хотѣлось умирать!...

— Ночью она начала бредить; голова ея горѣла, по всему тѣлу иногда пробѣгала дрожь лихорадки; она говорила несвязныя рѣчи объ отцѣ, братѣ: ей хотѣлось въ горы, домой... Потомъ она также говорила о Печоринѣ, давая ему разные названія, или упрекала его въ томъ, что онъ разлюбилъ свою джанечку.

— Опъ слушалъ ее молча, опустивъ голову на руки; но только я во все время не замѣтилъ ни одной слезы на рѣсницахъ его; въ самомъ ли дѣлѣ онъ не могъ плакать, или владѣть собою — не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не видывалъ:

Передъ смертію хриплымъ голосомъ закричала она: «воды! воды!»

Онъ сдѣлался блѣденъ какъ полотно, схватилъ стаканъ, налилъ и подалъ ей. Я закрылъ глаза руками и сталъ читать молитву, не помню какую... Да, батюшка, видалъ я много, какъ люди умираютъ въ госпиталяхъ и на полѣ сраженія; только все это не то, совсѣмъ не то!... Еще, признаться, меня вотъ что печалитъ: она передъ смертію ни разу не вспомнила обо мнѣ: кажется, я ее любилъ какъ отецъ... Ну да Богъ ее проститъ... И въ правду молвить: что же я такое, чтобы обо мнѣ вспоминать передъ смертію?..

— Только-что она испила воды, какъ ей стало легче, а минуты черезъ три она скончалась. Приложили зеркало къ губамъ—гладко!... Я вывелъ Печорина вонъ изъ комнаты, и мы пошли на крѣпостный валъ; долго мы ходили взадъ и впередъ рядомъ, не говоря ни слова, загнувъ руки на спину, его лицо ничего не выражало особеннаго, и мнѣ стало досадно! Я бы на его жѣсть умеръ съ горя. Наконецъ, онъ сѣлъ на землѣ, въ тѣни, и началъ что-то чертить палочкой на пескѣ. Я, знаете, больше для приличія, хотѣлъ утѣшить его, началъ говорить; онъ поднялъ голову и засмѣялся... У меня морозъ пробѣжалъ по кожѣ отъ этого смѣха. Я пошелъ заказывать гробъ...

— На другой день, рано утромъ, мы ее похоронили за крѣпостью, у вала, гдѣ она въ послѣдній разъ сидѣла; кругомъ ея могилы разрослись кусты бѣлой акаціи и бузины. Я хотѣлъ, было, поставить крестъ, да, знаете, не ловко: все-таки она была не христіанка...

Просимъ извиненія за множество выписокъ, и у автора, и у тѣхъ изъ читателей, которые прочтутъ нашу статью прежде романа: заманчивость перваго чтенія, сила и прелесть перваго впечатлѣнія будутъ для нихъ навсегда потеряны. Впрочемъ, едва ли кто и не читалъ «Бѣлы»; она напечатана въ «Отечественныхъ Запискахъ» еще въ прошедшемъ году, да и самый романъ давно уже вышелъ въ свѣтъ. Что же касается до тѣхъ, которые прочтутъ нашу статью уже послѣ романа, у нихъ черезъ это почти ничего не отнимается; напротивъ, если мы

только хорошо сдѣлали наше дѣло, они вновь перечувствуютъ уже испытанное наслажденіе, и еще съ бѣльшею силою. Во всякомъ случаѣ, намъ не было никакой возможности избѣжать этихъ выписокъ. Мы хотѣли, чтобы въ нашемъ изложеніи содержанія романа видны были и характеры дѣйствующихъ лицъ, и сохранена была внутренняя жизненность разсказа, равно какъ и его колоритъ; а этого невозможно было сдѣлать, показавъ одинъ скелетъ содержанія, или его отвлеченную мысль. Да и въ чемъ содержаніе повѣсти? Русскій офицеръ похитилъ Черкешенку, сперва сильно любилъ ее, но скоро охладѣлъ къ ней; потомъ Черкесь увезъ было ее, но видя себя почти пойманнымъ, бросилъ ее, нанеся ей рану, отъ которой она умерла? вотъ и все тутъ. Не говоря о томъ, что тутъ очень немного, тутъ еще нѣтъ и ничего ни поэтического, ни особеннаго, ни занимательнаго, и все обыкновенно до пошлости, истерто. Но что же необыкновеннаго, или поэтического, напри- мѣръ, и въ содержаніи Шекспирова «Отелло»? Мавръ убилъ страстно любимую имъ жену изъ ревности, которую съ умысломъ возбудилъ въ немъ хитрый злодѣй: развѣ и это тоже не истерто и не обыкновенно до пошлости? Развѣ не было написано тысячи повѣстей, романовъ, драмъ, содержаніе которыхъ — мужъ или любовникъ, убивающій изъ ревности невинную жену или любовницу? Но изъ всей этой тысячи, только одного «Отелло» знаетъ міръ и одному ему удивляется. Значитъ: содержаніе не во внѣшней формѣ, не въ сцѣпленіи случайностей, а въ замыслѣ художника, въ тѣхъ образахъ, въ тѣхъ тѣняхъ и переливахъ красокъ, которыя представлялись ему еще прежде, нежели онъ взялся за перо— словомъ, въ творческой концепціи. Художественное созданіе должно быть вполне готово въ душѣ художника прежде, нежели онъ возьмется за перо: написать, для него—уже второстепенный трудъ. Онъ долженъ сперва видѣть передъ собою лица, изъ взаимныхъ отношеній которыхъ образуется его драма или повѣсть. Онъ не обдумываетъ, не расчисляетъ,

не теряется въ соображеніяхъ: все выходитъ у него само собою, и выходитъ такъ, какъ должно. Событіе разворачивается изъ идеи, какъ растеніе изъ зерна. Потому-то и читатели видятъ въ его лицахъ живыя образы, а не призраки, радуются ихъ радостями, страдаютъ ихъ страданіями, думаютъ, разсуждаютъ и спорятъ между собою о ихъ значеніи, ихъ судьбѣ, какъ будто дѣло идетъ о людяхъ, дѣйствительно существовавшихъ и знакомыхъ имъ. Этого нельзя сдѣлать, сперва придумавши отвлеченное содержаніе, т. е. какую-нибудь завязку и развязку, а потомъ уже придумавши лица и волею или неволею заставивши ихъ играть сообразныя съ сочиненною цѣлю роли. Вотъ почему изложеніе содержанія такъ затруднительно для критика и безъ выписокъ нельзя ему обойтись: надо сдѣлать его кратко и заставить говорить само за себя разбираемое твореніе.

Глубокое впечатлѣніе оставляетъ послѣ себя «Бѣла»: вамъ грустно, но грусть ваша легка, свѣтла и сладостна; вы летите мечтою на могилу прекрасной, но эта могила не страшна: ее освѣщаетъ солнце, омываетъ быстрый ручей, котораго ропотъ, вмѣстѣ съ шелестомъ вѣтра въ листахъ бузины и бѣлой акаціи, говоритъ вамъ о чемъ-то таинственномъ и безконечномъ, и надъ нею, въ свѣтлой вышинѣ, летаетъ и носится какое-то прекрасное видѣніе, съ блѣдными ланитами, съ выраженіемъ укора и прощенія въ черныхъ очахъ, съ грустною улыбкою... Смерть Черкешенки не возмущаетъ васъ безотраднымъ и тяжелымъ чувствомъ, ибо она явилась не страшнымъ скелетомъ по произволу автора, но вслѣдствіе разумной необходимости, которую вы предчувствовали уже, и явилась свѣтлымъ ангеломъ примиренія. Диссонансъ разрѣшился въ гармоническій аккордъ, и вы съ умиленіемъ повторяете простые и трогательныя слова добраго Максима Максимыча: «Нѣтъ, она хорошо сдѣлала, что умерла! ну, чтобы съ ней стало, еслибъ Григорій Александровичъ ее покинулъ? А это бы случилось рано или поздно!»...

И съ какимъ безконечнымъ искусствомъ обрисованъ граціозный образъ плѣнительной Черкешенки! Она говоритъ и дѣйствуетъ такъ мало, а вы живо видите ее передъ глазами во всей опредѣленности живого существа, читаете въ ея сердцѣ, проникаете всѣ изгибы его... А Максимъ Максимычъ, этотъ добрый простакъ, который и не подозрѣваетъ, какъ глубока и богата его натура, какъ высокъ и благороденъ онъ? Онъ, грубый солдатъ, любитъся Бѣлою, какъ прекраснымъ дитятемъ, любить ее, какъ милую дочь—и за что?—спросите его, такъ онъ отвѣтитъ вамъ: «не то, чтобы любить, а такъ — глупость!» Ему досадно, что его ни одна женщина не любила такъ, какъ Бѣла Печорина; ему грустно, что она не вспомнила о немъ передъ смертію, хоть онъ и самъ сознается, что это съ его стороны не совсѣмъ справедливое требованіе... Останавливаться ли на этихъ чертахъ, столь полныхъ безконечностію? Нѣтъ, онѣ говорятъ сами за себя; а тѣ, для кого онѣ нѣмы, тѣ не стоятъ, чтобъ тратить съ ними слова и время. Простая красота, которая есть одна истинная красота, не для всѣхъ доступна: у большей части людей глаза такъ грубы, что на нихъ дѣйствуетъ только пестрота, узорчность и красная краска, густо и ярко намазанная... Характеры Азамата и Казбича—это такіе типы, которые будутъ равно понятны и Англичанину, и Нѣмцу, и Французу, какъ понятны они Русскому. Вотъ что называется рисовать фигуру во весь ростъ, съ національною фізіономією и въ національномъ костюмѣ!...

Обратите еще вниманіе на эту естественность разсказа, такъ свободно развивающагося, безъ всякихъ натяжекъ, такъ плавно текущаго собственною силою, безъ помощи автора. Офицеръ, возвращающійся изъ Тифлиса въ Россію, встрѣчается въ горахъ съ другимъ офицеромъ; одиночество дорожнаго положенія даетъ одному право начать разговоръ съ другимъ и такъ естественно доводитъ ихъ до знакомства. Одинъ предлагаетъ чай съ ромомъ — тотъ отказывается, говоря,

что по одному случаю онъ зарекся пить. Очень естественно, что сидя въ дымной и гадкой скалѣ, путешественникъ заводитъ съ товарищемъ разговоръ объ обитателяхъ скалы: товарищъ этотъ—пожилой офицеръ, много лѣтъ проведеній на Кавказѣ, естественно, очень охотно разговаривалъ объ этомъ предметѣ. Вопросъ молодого офицера: «А что, много съ вами бывало приключеній?»—такъ же естественъ, какъ и отвѣтъ пожилого: «Какъ не бывать! бывало...» Но это не приступъ къ повѣсти, а только еще, какъ и должно, слабая надежда услышать повѣсть: авторъ не погоняетъ обстоятельствъ, какъ лошадей, но даетъ имъ самимъ развиваться. Онъ предлагаетъ Максиму Максимычу чай съ ромомъ: тотъ отказывается отъ рома, говоря что зарекся пить. Вопросъ: «почему?» молодого офицера такъ же не можетъ быть сочтенъ натяжкой, какъ откликъ человѣка, когда его зовутъ. Отвѣтъ Максима Максимыча, въ которомъ онъ говоритъ о случаѣ, заставившемъ его заречься пить вино, уже ожидается самимъ читателемъ. Случай этотъ чисто кавказскій: офицеры пировали, какъ вдругъ сдѣлалась тревога. Но разсужденіе Максима Максимыча, что иногда годъ живи—тревоги нѣтъ «да какъ тутъ еще водка—пропадшій человѣкъ», отнимаетъ всякую надежду на повѣсть; какъ вдругъ онъ обращается къ Черкесамъ, которые, если напьются бузы, такъ и начнутъ рубиться, и очень естественно вспоминаетъ одинъ случай. Онъ и расположенъ его разсказать, но какъ бы не хотеть навязываться съ разсказами. Молодой офицеръ, котораго любопытство давно уже сильно возбуждено, но который умѣетъ умѣрить его приличіемъ, съ притворнымъ равнодушіемъ спрашиваетъ: «какъ же это случилось?»—Вотъ изволите видѣть—и повѣсть началась. Исходный пунктъ ея—страстное желаніе мальчика - Черкеса имѣть лихого коня, и вы помните эту дивную сцену изъ драмы между Азаматомъ и Казбичемъ. Печоринъ человѣкъ рѣшительный, алчущій тревогъ и бурь, готовый riskнуть на все для выполненія даже прихоти

своей, — а здѣсь дѣло шло о чемъ - то гораздо большемъ, чѣмъ прихоть. И такъ все вышло изъ характеровъ дѣйствующихъ лицъ, по законамъ строжайшей необходимости, а не по произволу автора. Но еще повѣсть была простымъ анекдотомъ, и новые знакомые уже пустились въ разсужденія по поводу его, какъ вдругъ Максимъ Максимычъ, у котораго воспоминаніе оживило и потребность сообщить его другому возбудилась, какъ бы говоря съ самимъ собою, прибавилъ: «Никогда себѣ не прошу одного: чертъ дернулъ меня, пріѣхавъ въ крѣпость пересказать Григорію Александровичу все, что я слышалъ, сидя за заборомъ; онъ посмѣялся, — такой хитрый! — а самъ задумалъ кое что». Что можетъ быть естественнѣе, проще всего этого? Такая естественность и простота никогда не могутъ быть дѣломъ расчета и соображенія: онъ — плодъ вдохновенія.

Итакъ, исторія Балы кончилась; но романъ еще только начался, и мы прочли одно вступленіе, которое, впрочемъ, и само по себѣ, отдѣльно взятое, есть художественное произведеніе, хотя и составляетъ только часть цѣлаго. Но пойдемъ далѣе. Въ Владикавказъ, авторъ опять съѣхался съ Максимомъ Максимычемъ. Когда они обѣдали, на дворъ въѣхала щегольская коляска, за которою шелъ человекъ. Не смотря на грубость этого человека, «балованнаго слуги лѣниваго барина», Максимъ Максимычъ допросился у него, что коляска принадлежитъ Печорину. «Что ты? Что ты? Печоринъ?... Ахъ Боже мой!... Да не служилъ-ли онъ на Кавказъ?» Въ глазахъ Максима Максимыча сверкала радость. «Служилъ, кажется, да я у нихъ недавно», отвѣчалъ слуга. «Ну такъ!.. такъ!... Григорій Александровичъ? Такъ вѣдь его зовутъ? Мы съ твоимъ баринкомъ были пріятеля», прибавилъ Максимъ Максимычъ, ударивъ дружески по плечу лакея, такъ что заставилъ его пошатнуться... — Позвольте сударь; вы мнѣ мѣшаете! — сказалъ тотъ, нахмурившись. «Экой ты, братецъ!... Да знаешь ли? Мы съ твоимъ баринкомъ были

друзья закадычные, жили вмѣстѣ... Да гдѣ жъ онъ самъ остался?» Слуга объявилъ, что Печоринъ остался ужинать и ночевать у полковника Н***. «Да не зайдетъ ли онъ вечеромъ сюда?» сказалъ Максимъ Максимычъ; «или ты, зюбезный, не пойдешь ли къ нему за чѣмъ-нибудь?... Коли пойдешь, такъ скажи, что здѣсь Максимъ Максимычъ; такъ и скажи... ужъ онъ знаетъ... Я дамъ тебѣ восьмигривенный на водку...» Лакей сдѣлалъ презрительную мину, слыша такое скромное общаніе, однако, увѣрилъ Максима Максимыча, что исполнить его порученіе. «Вѣдь сейчасъ прибѣжитъ!...» сказалъ мнѣ Максимъ Максимычъ съ торжествующимъ видомъ, «пойду за ворота дожидаться... Эхъ, жалко, что я не знакомъ съ Н***!»

Итакъ, Максимъ Максимычъ ждетъ за воротами. Онъ отказался отъ чашки чая, и наскоро выпивъ одну, по вторичному приглашенію, опять выбѣжалъ за ворота. Въ немъ замѣтно было живѣйшее безпокойство, и явно было, что его огорчало равнодушіе Печорина. Новый его знакомый, отворивъ окно, звалъ его спать: онъ что-то пробормоталъ, а на вторичное приглашеніе ничего не отвѣтилъ. Уже поздно ночью, вошелъ онъ въ комнату, бросилъ трубку на столъ, сталъ ходить, ковырять въ печи, наконецъ, легъ, но долго кашлялъ, плевалъ, ворочался... «Не клопы ли васъ кусаютъ?» спросилъ его новый пріятель. — «Да, клопы...» отвѣчалъ онъ, тяжело вздохнувъ.

На другой день, утромъ, сидѣлъ онъ за воротами. «Мнѣ надо сходить къ коменданту», сказалъ онъ, «такъ пожалуйста, если Печоринъ прійдетъ, пришлите за мной». Но лишь ушелъ онъ, какъ предметъ его безпокойства явился. Съ любопытствомъ смотрѣлъ на него нашъ авторъ, и результатомъ его внимательнаго наблюденія былъ подробный портретъ, къ которому мы возвратимся, когда будемъ говорить о Печоринѣ, а теперь займемся исключительно Максимомъ Максимычемъ. Надо сказать, что когда Печоринъ пришелъ,

лакей доложилъ ему, что сейчасъ будутъ закладывать лошадей. Здѣсь мы снова должны прибѣгнуть къ длинной выпискѣ.

Лошади были уже заложаны; колокольчикъ по временамъ звенѣлъ подъ дугою, и лакей уже два раза подходилъ къ Печорину съ докладомъ, что все готово, а Максимъ Максимычъ еще не являлся. Къ счастью, Печоринъ былъ погруженъ въ задумчивость, глядя на синіе зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился въ дорогу. Я подошелъ къ нему: „если вы захотите еще немного подождать“, сказалъ я, „то будете имѣть удовольствіе увидѣться съ старымъ пріятелемъ“.

— Ахъ, точно! быстро отвѣчалъ онъ: мнѣ вчера говорили, — но гдѣ же онъ? — Я обернулся къ площади и увидѣлъ Максима Максимыча, бѣгущаго что было мочи... Черезъ нѣсколько минутъ онъ былъ уже возлѣ насъ; онъ едва могъ дышать; потъ градомъ катился съ лица его; мокрые клочки сѣдыхъ волосъ вырвались изъ-подъ шапки, прилепились ко лбу его; колѣни его дрожали... онъ хотѣлъ кинуться на шею Печорина, но тотъ довольно холодно, хотя съ пріятливою улыбкой протянулъ ему руку. Штабсъ-капитанъ на минуту остолебнѣлъ, но потомъ жадно схватилъ его руку обѣими руками: онъ еще не могъ говорить.

— Какъ я радъ, дорогой Максимъ Максимычъ. Ну, какъ вы поживаете? сказалъ Печоринъ.

— „А ты... а вы?...“ пробормоталъ со слезами на глазахъ старикъ... „сколько лѣтъ... сколько дней... да куда это?...“

— Ъду въ Персію—и дальше

— „Неужто сейчасъ?... Да подождите дражайшій!... Неужто сейчасъ разстанемся?... Сколько времени не видались...“

— Мнѣ пора, Максимъ Максимычъ,—былъ отвѣтъ.

— „Боже мой, Боже мой! да куда это такъ спѣшите?... Мнѣ столько бы хотѣлось вамъ сказать... столько разспросить... Ну, что? въ отставку?... какъ?... что подѣлывали?...“

— Скучалъ! отвѣчалъ Печоринъ, улыбаясь...

— „А помните наше житье-бытье въ крѣпости?... Славная страна для охотниковъ!... Вѣдь вы были страстный охотникъ стрѣлять... А Бѣла!...“

Печоринъ чуть-чуть поблѣднѣлъ и отвернулся...

— Да, помню! сказалъ онъ почти тотчасъ принужденно зѣвнувъ... Максимъ Максимычъ сталъ его упрашивать остаться съ нимъ еще

часа два. „Мы славно пообедаем“, говорил онъ, „у меня есть два фазана, а кахетинское здѣсь прекрасное... разужьется, не то, что въ Грузіи, однако лучшаго сорта... Мы поговоримъ... вы мнѣ расскажете про свое житіе въ Петербургѣ... А?...“

— Право, мнѣ нечего рассказывать, дорогой Максимъ Максимычъ... Однако прощайте, мнѣ пора... я спѣшу... Благодарю, что не забыли... прибавилъ онъ, взявъ его за руку.

Старикъ нахмурилъ брови... Онъ былъ печаленъ и сердитъ, хотя старался скрыть это. „Забытъ!“—проворчалъ онъ, „я-то не забылъ ничего... Ну, да Богъ съ вами!... Не такъ я думалъ съ вами встрѣтиться...“

— Ну, полно, полно! сказалъ Печоринъ, обнявъ его дружески; неужели не тотъ же?... что дѣлать?... Всякому своя дорога... Удастся ли еще встрѣтиться—Богъ знаетъ!... Говоря это, онъ уже сидѣлъ въ коляскѣ, и ямщикъ уже началъ подбирать возжи.

— „Постой! постой!“ закричалъ вдругъ Максимъ Максимычъ, ухватясь за дверцы коляски, „совсѣмъ было забылъ... У меня остались ваши бумаги, Григорій Александровичъ... я ихъ таскаю съ собой... думалъ найти васъ въ Грузіи, а вотъ гдѣ Богъ далъ свидѣться... что мнѣ съ ними дѣлать?...“

— Что хотите! отвѣчалъ Печоринъ. Прощайте.

— Такъ вы въ Персію?... а когда вернетесь?... кричалъ вслѣдъ Максимъ Максимычъ...

Коляска была уже далеко... Давно уже неслышно было ни звонка колокольчика, ни стука колесъ по кремнистой дорогѣ,—а бѣдный старикъ еще стоялъ на томъ же мѣстѣ въ глубокой задумчивости...

Довольно! не будемъ выписывать длиннаго и безсвязнаго монолога, который говорилъ огорченный старикъ, стараясь принять равнодушный видъ, хотя слеза досады по временамъ и сверкала на его рѣсницахъ. Довольно: Максимъ Максимычъ и такъ ужъ весь передъ вами... Еслибы вы нашли его, познакомились съ нимъ, двадцать лѣтъ прожили съ нимъ въ одной крѣпости, и тогда бы не знали лучше. Но мы больше уже не увидимся съ нимъ, а онъ такъ интересенъ, такъ прекрасенъ, что грустно такъ скоро расстаться съ нимъ, и потому взглянемъ на него еще разъ, уже послѣдній...

— „Максимъ Максимычъ,—сказалъ я, подошедши къ нему,—а что это за бумаги оставилъ вамъ Печоринъ?

— А Богъ его знаетъ! какія-то записки.

— „Что вы изъ нихъ сдѣлаете?

— Что? я велю надѣлать патроновъ.

— „Отдайте ихъ лучше мнѣ.

Онъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ, проворчалъ что-то сквозь зубы, и началъ рыться въ чемоданѣ; вотъ онъ вынулъ одну тетрадку и бросилъ ее съ презрѣніемъ на землю; потомъ другая, третья и десятая имѣли ту же участь: въ его досадѣ было что-то дѣтское; мнѣ стало смѣшно и жалко.

— Вотъ онѣ всѣ, сказалъ онъ, поздравляю васъ съ находкою...

— „И я могу дѣлать съ ними все, что хочу?“

— Хоть въ газетахъ печатайте. Какое мнѣ дѣло?... Что я, развѣ другъ его какой, или родственникъ?... Правда, мы жили долго подъ одной кровлей... Да мало ли съ кѣмъ я не жилъ?...

Схватя и унеся поскорѣе бумаги изъ опасенія, чтобы Максимъ Максимычъ не раскаялся, нашъ авторъ собрался въ дорогу, онъ уже надѣлъ шапку, какъ штабсъ-капитанъ вошелъ. Но нѣтъ, воля наша! а ужъ надо проститься съ Максимомъ Максимычемъ какъ слѣдуетъ, то есть, не прежде, какъ выслушать его послѣднее слово... Что дѣлать? есть такіе люди, съ которыми, разъ познакомившись, вѣкъ бы не разстался...

— „А вы, Максимъ Максимычъ, развѣ не ѣдете?“

— Нѣтъ-съ.

— „А что такъ?

— Да я еще коменданта не видалъ, а мнѣ надо сдать кой какія казенныя вещи.

— „Да вѣдь вы же были у него?“

— Былъ, конечно,—сказалъ онъ заминаясь, да его дома не было... а я не дождался...

Я понялъ его: бѣдный старикъ, въ первый разъ отъ рода, можетъ быть, бросилъ дѣла службы для *собственной надобности*, говоря языкомъ бумажниковъ,—и какъ же онъ былъ награжденъ!

— „Очень жаль“, сказалъ я ему, „очень жаль, Максимъ Максимычъ, что намъ до срока надо разстаться“.

— Гдѣ намъ, необразованнымъ старикамъ, за вами гоняться!... вы молодежь свѣтская, гордая; еще покажѣсь подъ черкесскими пулями,

такъ вы туда-сюда... а послѣ встрѣтитесь, такъ стыдитесь и руку протянуть нашему брату.

— „Я не заслужилъ этихъ упрековъ, Максимъ Максимычъ“.

— Да я, знаете, такъ, къ слову говорю; а впрочемъ желаю вамъ всякаго счастья и веселой дороги.

За симъ они довольно сухо разстались; но вы, любезный читатель, вѣрно не сухо разстались съ этимъ старымъ младенцемъ, столь добрымъ, столь милымъ, столь человѣчнымъ, и столь неопытнымъ во всемъ, что выходило за тѣсный кругозоръ его понятій и опытности? Не правда ли, вы такъ свыклись съ нимъ, такъ полюбили его, что никогда уже не забудете его, и если встрѣтите подъ грубой наружностію, подъ корою зачерствѣлости отъ трудной и скудной жизни — горячее сердце, подъ простою, мѣщанскою рѣчью — теплоту души, то, вѣрно, скажете: «это Максимъ Максимычъ?»... И дай Богъ вамъ побольше встрѣтить, на пути вашей жизни, Максимъ Максимычей!...

И вотъ, мы рассмотрѣли двѣ части романа — «Бѣлу» и «Максима Максимыча»: каждая изъ нихъ имѣетъ свою особенность и замкнутость, почему каждая и оставляетъ въ душѣ читателя такое полное, цѣлостное и глубокое впечатлѣніе. Героевъ той и другой повѣсти мы видѣли въ торжественнѣйшихъ положеніяхъ ихъ жизни и коротко ихъ знаемъ. Первая — повѣсть; вторая — эскизъ характера, и каждая равно полна и удовлетворительна, ибо въ каждой поэтъ умѣлъ исчерпать все ея содержаніе и въ типическихъ чертахъ вывести во внѣ все внутреннее, крившееся въ ней какъ возможность. Что намъ за нужда, что во второй нѣтъ романическаго содержанія, что она представляетъ собою не жизнь, а отрывокъ изъ жизни человѣка? Но если въ этомъ отрывкѣ — весь человѣкъ, то чего же больше. Поэтъ хотѣлъ изобразить характеръ и превосходно успѣлъ въ этомъ: его Максимъ Максимычъ можетъ употребляться не какъ собственное, но какъ нарицательное имя, наравнѣ съ Онѣгными, Ленскими, Загорѣцкими, Иванами

Ивановичами, Никифорами Ивановичами, Афанасіями Ивановичами, Чацкими, Фамусовыми, и пр. Мы познакомились съ нимъ еще въ «Бѣлѣ», и больше уже не увидимся. Но въ обѣихъ этихъ повѣстяхъ мы видѣли еще одно лицо, съ которымъ одна-кожъ незнакомы. Это таинственное лицо не есть герой этихъ повѣстей, но безъ него не было бы этихъ повѣстей: онъ герой романа, котораго эти двѣ повѣсти только части. Теперь пора намъ съ нимъ познакомиться, и уже не чрезъ посредство другихъ лицъ, какъ прежде: они его не понимаютъ, какъ мы уже видѣли; равнымъ образомъ, и не чрезъ поэта, который хоть и одинъ виноватъ въ немъ, но умываетъ въ немъ руки; а чрезъ него же самого: мы готовимся читать его записки. Поэтъ написалъ отъ себя предисловіе только къ запискамъ Печорина. Это предисловіе составляетъ родъ главы романа, какъ его существеннѣйшая часть, но, не смотря на то, мы возвратимся къ нему послѣ, когда будемъ говорить о характерѣ Печорина, а теперь прямо приступимъ къ «запискамъ».

Первое отдѣленіе называется «Тамань» и, подобно первымъ двумъ, есть отдѣльная повѣсть. Хотя оно и представляетъ собою эпизодъ изъ жизни героя романа, но герой по прежнему остается для насъ лицомъ таинственнымъ. Содержаніе этого эпизода слѣдующее: Печоринъ въ Тамани остановился въ скверной хатѣ, на берегу моря, въ которой онъ нашелъ только слѣпного мальчика лѣтъ 14-ти, и потомъ таинственную дѣвушку. Случай открываетъ ему, что эти люди—контрабандисты. Онъ ухаживаетъ за дѣвушкою, и въ шутку грозитъ ей, что донесетъ на нихъ. Вечеромъ въ тотъ же день, она приходитъ къ нему, какъ сирена, обольщаетъ его предложеніемъ своей любви и назначаетъ ему ночное свиданіе на морскомъ берегу. Разумѣется, онъ является, но какъ странность и какая-то таинственность во всѣхъ словахъ и поступкахъ дѣвушки давно уже возбудили въ немъ подозрѣніе, то онъ и запасся пистолетомъ. Таинственная

дѣвушка пригласила его сѣсть въ лодку—онъ было поколебался, но отступать было уже не время. Лодка помчалась, а дѣвушка обвилась вокругъ его шеи, и что-то тяжелое упало въ воду... Онъ хватъ за пистолеть, но его уже не было... Тогда завязалась между ними страшная борьба: наконецъ, мужчина побѣдилъ; посредствомъ осколка весла, онъ добрался кое-какъ до берега и, при лунномъ свѣтѣ, увидѣлъ таинственную ундины, которая, спасшись отъ смерти, отряхалась. Черезъ нѣсколько времени, она удалилась съ Янко, какъ видно, съ своимъ любовникомъ и однимъ изъ главныхъ дѣйствующихъ контрабанды: такъ какъ посторонній узналъ ихъ тайну, имъ опасно было оставаться болѣе въ этомъ мѣстѣ. Слепой тоже пропалъ, укравъ у Печорина пикатилку, пашку съ серебряной оправой и дагестанскій кинжалъ.

Мы не рѣшились дѣлать выписокъ изъ этой повѣсти, потому что она рѣшительно не допускаетъ ихъ; это словно какое-то лирическое стихотвореніе, вся прелесть котораго уничтожается однимъ выпущеннымъ, или измѣненнымъ не рукою самого поэта стихомъ; она вся въ формѣ; если выписывать, то должно бы ее выписать всю отъ слова до слова; пересказываніе ея содержанія дать о ней такое же понятіе, какъ рассказъ, хотя бы и восторженный, о красотѣ женщины, которой вы сами не видѣли. Повѣсть эта отличается какимъ-то особеннымъ колоритомъ: не смотря на прозаическую дѣйствительность ея содержанія, все въ ней таинственно, лица — какія-то фантастическія тѣни, мелькающія въ вечернемъ сумракѣ, при свѣтѣ зари, или мѣсяца. Особенно очаровательна дѣвушка: это какая-то дикая, сверкающая красота, обольстительная, какъ сирена, неуловимая, какъ ундины, страшная, какъ русалка, быстрая, какъ прелестная тѣнь или волна, гибкая, какъ тростникъ. Ее нельзя любить, нельзя и ненавидѣть, но ее можно только и любить и ненавидѣть вмѣстѣ. Какъ чудно-хороша она, когда, на крышѣ своей кровли,

съ распущенными волосами, защитивъ глаза ладонью, пристально всматривается вдаль, и то смѣется и разсуждаетъ сама съ собою, то запѣваетъ полную раздолья и отваги удалую пѣсню.

Что касается до героя романа — онъ и тутъ является тѣмъ же таинственнымъ лоцомъ, какъ и въ первыхъ повѣстяхъ. Вы видите человѣка съ сильною волею, отважнаго, не блѣднѣющаго никакой опасности, напрашивающагося на бури и тревоги, чтобы занять себя чѣмъ-нибудь и наполнить бездонную пустоту своего духа, хотя бы и дѣятельностію безъ всякой цѣли.

Наконецъ, вотъ и «Княжна Мери». Предисловіе нами прочитано, теперь начинается для насъ романъ. Эта повѣсть разнообразнѣе и богаче всѣхъ другихъ своимъ содержаніемъ, но зато далеко уступаетъ имъ въ художественности формы. Характеры ея или очерки, или силуэты, и только развѣ одинъ — портретъ. Но что составляетъ ея недостатокъ, то же самое есть и ея достоинство, и наоборотъ. Подробное разсмотрѣніе ея объяснить нашу мысль.

Начинаемъ съ седьмой страницы. Печоринъ, въ Пятигорскѣ, у Елисаветинскаго источника, сходится съ своимъ знакомымъ — юнкеромъ Грушницкимъ. По художественному выполненію, это лицо стоитъ Максима Максимыча; подобно ему, это типъ, представитель цѣлаго разряда людей, имя нарицательное. Грушницкій — идеальный молодой человѣкъ, который щеголяетъ своей идеальностію, какъ записные франты щеголяютъ моднымъ платьемъ, а «львы» — ослиною глупостію. Онъ носитъ солдатскую шинель изъ толстаго сукна; у него георгіевскій солдатскій крестикъ. Ему очень хочется, чтобы его считали не юнкеромъ, а разжалованнымъ изъ офицеровъ: онъ находитъ это очень эффектнымъ и интереснымъ. Вообще, «производить эффектъ» — его страсть. Онъ говоритъ вычурными фразами — словомъ, это одинъ изъ тѣхъ людей, которые особенно плѣняютъ чувствительныхъ, романическихъ

и романтических провинціальных барышень, одинъ изъ тѣхъ людей, которыхъ, по прекрасному выраженію автора записокъ, «не трогаетъ просто-прекрасное и которые важно драпируются въ необыкновенныя чувства, возвышенныя страсти и исключительныя страданія. — Въ ихъ душѣ» — представляетъ онъ, «часто много добрыхъ свойствъ, но ни на грошъ поэзіи». Но вотъ самая лучшая и полная характеристика такихъ людей, сдѣланная авторомъ же журнала: «подъ старость они дѣлаются либо мирными помѣщиками, либо пьяницами, — иногда тѣмъ и другимъ». Мы къ этому очерку прибавимъ отъ себя только то, что они страхъ какъ любятъ сочиненія Марлинскаго, и чуть зайдетъ рѣчь о предметахъ сколько-нибудь не житейскихъ, стараются говорить фразами изъ его повѣстей. Теперь вы вполне знакомы съ Грушницкимъ. Онъ очень не долюбливаетъ Печорина за то, что тотъ его понималъ. Печоринъ тоже не любитъ Грушницкаго и чувствуетъ, что когда-нибудь они столкнутся, и одному изъ нихъ не сдобровать.

Они встрѣтились какъ знакомые, и у нихъ начался разговоръ. Грушницкій напалъ на общество, съѣхавшееся въ этотъ годъ на воды. «Нынѣшній годъ, — говорилъ онъ, — изъ Москвы только одна княгиня Лиговская съ дочерью; но я съ ними незнакомъ; моя солдатская шинель какъ печать отверженія. Участіе, которое она возбуждаетъ, тяжело, какъ милостыня». Въ это время прошли мимо ихъ къ колодцу двѣ дамы, и Грушницкій сказалъ, что то княгиня Лиговская съ дочерью Мери. Онъ съ ними незнакомъ, потому что «этой гордой знати нѣтъ дѣла, есть ли умъ подъ нумерованной фуражкой, и сердце подъ толстою шинелью!» Звонкою фразою, громко сказанною пофранцузски, онъ обратилъ на себя вниманіе княгини. Печоринъ сказалъ ему: «эта княгиня Мери прехорошенькая. У нея такіе бархатные глаза, — именно бархатные: я тебѣ совѣтую присвоить это выраженіе, говоря о ея глазахъ: — нижнія и верхнія рѣс-

ницы такъ длинны, что лучи солнца не отражаются въ ея зрачкахъ. Я люблю эти глаза—безъ блеска: они такъ мягки, они будто бы тебя глядятъ... Впрочемъ, кажется, въ ея лицѣ только и есть хорошаго... а что у нея зубы бѣлы? Это очень важно! жаль, что она не улыбалась на твою пыщную фразу!» — Ты говоришь о хорошей женщинѣ, какъ объ англійской лошади, сказалъ Грушницкій съ негодованіемъ. Они разошлись.

Возвращаясь мимо того мѣста, Печоринъ, невидимый, былъ свидѣтелемъ слѣдующей сцены. Грушницкій былъ раненъ, или хотѣлъ казаться раненымъ, и потому хромалъ на одну ногу. Уронивъ стаканъ на песокъ, онъ напрасно усиливался поднять его. Легче птички подлетѣла къ нему книжна и, поднявъ стаканъ, подала ему его съ тѣлодвиженіемъ, исполненнымъ невыразимой прелести. Изъ этого выходитъ цѣлый рядъ смѣшныхъ сценъ, худо кончившихся для Грушницкаго. Онъ идеальничаетъ—Печоринъ надъ нимъ тѣшится. Онъ хочетъ ему показать, что въ поступкѣ княгини не видитъ для Грушницкаго никакой причины къ восторгу, или даже просто къ удовольствію. Печоринъ приписываетъ это своей страсти къ противорѣчію, говоря, что присутствіе энтузіазма обладаетъ его крещенскимъ холодомъ, а частыя сношенія съ флегматикомъ могутъ сдѣлать его страстнымъ мечтателемъ. Напрасное обвиненіе! Такое чувство противорѣчія понятно во всякомъ человѣкѣ съ глубокою душою. Дѣтская, а тѣмъ болѣе фальшивая идеальность оскорбляетъ чувство до того, что пріятно увѣрить себя на ту минуту, что совсѣмъ не имѣешь чувства. Въ самомъ дѣлѣ, лучше быть совсѣмъ безъ чувства, нежели съ такимъ чувствомъ. Напротивъ, совершенное отсутствіе жизни въ человѣкѣ возбуждаетъ въ насъ невольное желаніе увѣриться въ собственныхъ глазахъ, что мы непохожи на него, что въ насъ много жизни, и сообщаетъ намъ какую-то восторженность. Указываемъ на эту черту ложнаго самообвиненія въ характерѣ Печорина, какъ

на доказательство его противорѣчія съ самимъ собою вслѣдствіе непониманія самого себя, причины котораго мы объяснимъ ниже.

Теперь выходить на сцену новое лицо—медикъ Вернеръ. Въ беллетристическомъ смыслѣ, это лицо превосходно, но въ художественномъ довольно блѣдно. Мы больше видимъ, что хотѣлъ сдѣлать изъ него поэтъ, нежели что онъ сдѣлалъ изъ него въ самомъ дѣлѣ.

Жалѣемъ, что предѣлы статьи не позволяютъ намъ выписать разговора Печорина съ Вернеромъ: это образецъ граціозной шутовскости и, вмѣстѣ, полнаго мысли остроумія (стр. 28—37). Вернеръ сообщаетъ ему свѣдѣнія о прѣхавшихъ на воды, а главное — о Лиговскихъ. «Что вамъ сказала княгиня Лиговская обо мнѣ?» спросилъ Печоринъ. — Вы очень увѣрены, что это княгиня... а не княжна? — «Совершенно убѣжденъ». — Почему? — «Потому что княжна спрашивала о Грушницкомъ». — У васъ большой даръ соображенія — отвѣчалъ Вернеръ. Затѣмъ, онъ сообщилъ, что княжна почитаетъ Грушницкаго разжалованнымъ въ солдаты за дуэль. «Надѣюсь, вы ее оставили въ этомъ пріятномъ заблужденіи?» — Разумѣется. — «Завязка есть!» закричалъ Печоринъ въ восторгъ, «объ развязкѣ этой комедіи мы похлопочемъ. Явно судьба заботится о томъ, чтобы мнѣ не было скучно». Далѣе, Вернеръ сообщилъ Печорину, что княгиня его знаетъ, потому что встрѣчала въ Петербургѣ, гдѣ его исторія (какая — этого не объясняется въ романѣ) надѣлала много шума. Говоря о ней, княгиня къ свѣтскимъ сплетнямъ приплетала свои, а дочка слушала со вниманіемъ; — въ ея воображеніи Печоринъ (по словамъ Вернера) сдѣлался героемъ романа въ новомъ вкусѣ. Вернеръ вызывается представить его княгинѣ. Печоринъ отвѣчаетъ, что героевъ не представляютъ, и что они не иначе знакомятся, какъ спасая отъ вѣрной смерти свою любезную. Въ шуткахъ его проглядываетъ намѣреніе. Мы скоро узнаемъ о немъ: оно началось

отъ нечего дѣлать, а кончилось... но объ этомъ послѣ. Вернеръ сказалъ о княжнѣ, что она любитъ разсуждать о чувствахъ, о страстяхъ, и пр. Потомъ, на вопросъ Печорина, не видѣлъ ли онъ кого-нибудь у нихъ, онъ говоритъ, что видѣлъ женщину—блондинку, съ чахоточнымъ видомъ лица, съ черною родинкою на правой щекѣ. Примѣты эти видимо взволновали Печорина, и онъ долженъ былъ признаться, что нѣкогда любилъ эту женщину. Затѣмъ, онъ проситъ Вернера не говорить ей о немъ, а если она спроситъ—отнестись о немъ дурно. «Пожалуй!» отвѣчалъ Вернеръ, пожавъ плечами, и ушелъ.

Оставшись наединѣ, Печоринъ думаетъ о предстоящей встрѣчѣ, которая беспокоитъ его. Ясно, что его равнодушіе и иронія— больше свѣтская привычка, нежели черта характера. «Нѣтъ въ мірѣ человѣка (говоритъ онъ), надъ которымъ бы прошедшее пріобрѣтало такую власть, какъ надо мною. Всякое напоминаніе о минувшей печали или радости болѣзненно ударяетъ въ мою душу и извлекаетъ изъ нея все тѣ же звуки... Я глупо созданъ! ничего не забываю—ничего!».

Вечеромъ онъ вышелъ на бульваръ. Сосѣдшись съ двумя знакомыми, онъ началъ имъ разсказывать что-то смѣшное; они такъ громко хохотали, что любопытство переманило на его сторону нѣкоторыхъ изъ окружавшихъ княжну. Онъ, какъ выражается самъ, продолжалъ увлекать публику до захожденія солнца. Княжна нѣсколько разъ проходила мимо его съ матерью,—и ея взглядъ, стараясь выразить равнодушіе, выражалъ одну досаду. Съ этого времени у нихъ началась открытая война: въ глаза и за глаза извили они другъ друга насмѣшками, злыми намеками. Верхъ всего былъ на сторонѣ Печорина, ибо онъ велъ войну съ должнымъ присутствіемъ духа, безъ всякой запальчивости. Его равнодушіе бѣсило княжну и, на зло ей самой, только дѣлало его интереснѣе въ ея глазахъ. Грушницкій слѣдилъ за нею, какъ звѣрь, и

лишь только Печоринъ предрекъ скорое знакомство его съ Лиговскими, какъ онъ въ самомъ дѣлѣ нашелъ случай заговорить съ княгиней и сказать какой-то комплиментъ княжнѣ. Вслѣдствіе этого, онъ началъ докучать Печорину, почему онъ не познакомится съ этимъ домомъ, лучшимъ на водахъ? Печоринъ увѣряетъ идеальнаго шута, что княжна его любитъ; Грушницкій конфузится, говорить: «какой вздоръ!» и самодовольно улыбается. «Другъ мой, Печоринъ», говорилъ онъ, «я тебя не поздравляю; ты у нея на дурномъ замѣчаніи... А, право, жаль! потому что Мери очень мила!...» — Да, она недурна! — сказалъ съ важностію Печоринъ, только берегитесь, Грушницкій! — Тутъ онъ сталъ ему давать совѣты и дѣлать предсказанія съ ученымъ видомъ знатока. Смыслъ ихъ былъ тотъ, что княжна изъ тѣхъ женщинъ, которыя любятъ, чтобы ихъ забавляли; что если съ Грушницкимъ будетъ ей скучно двѣ минуты сряду — онъ погибъ; что, накокетничавшись съ нимъ, она выйдетъ за какого-нибудь урода, изъ покорности къ маменькѣ, а послѣ и станетъ увѣрять себя, что она несчастна, что она одного только человѣка и любила, то-есть Грушницкаго, но что небо не хотѣло соединить ее съ нимъ, потому что на немъ была солдатская шинель, хотя подъ этой толстой сѣрой шинелью билось сердце страстное и благородное... Грушницкій ударилъ по столу кулакомъ и сталъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ. «Я внутренно хохоталъ (слова Печорина), и даже раза два улыбнулся, но онъ, къ счастью, этого не замѣтилъ. Явно, что онъ влюбленъ, потому что еще довѣрчивѣе прежняго; у него даже появилось серебряное кольцо съ чернью, здѣшней работы... Я сталъ его разсматривать, и что же?... мелкими буквами имя Мери было вырѣзано на внутренней сторонѣ, и рядомъ — число того дня, когда она подняла знаменитый стаканъ. Я утаилъ свое открытіе; я не хочу вынуждать у него признаній; я хочу, чтобы онъ самъ выбралъ меня въ свои повѣренные, — и тутъ-то я буду наслаждаться!».

На другой день, гуляя по виноградной аллеѣ, и думая о женщинѣ съ родинкой, онъ въ гротѣ встрѣтился съ нею самою. Но здѣсь мы должны выпискою дать понятіе о ихъ отношеніяхъ.

— „Вѣра!“ вскрикнулъ я невольно.

Она вздрогнула и поблѣднѣла. — Я знала, что вы здѣсь, — сказала она. Я сѣлъ возлѣ нея и взялъ ее за руку. Давно забытый трепетъ пробѣжалъ по моимъ жиламъ при звукѣ этого милаго голоса; она посмотрѣла мнѣ въ глаза своими глубокими и спокойными глазами, — въ нихъ выражалась недовѣрчивость и что-то похожее на упрекъ.

— „Мы давно не видались, сказалъ я.

— Давно, и перемѣнились оба во многомъ.

— „Стало-быть, ужъ ты меня не любишь?...

— Я за мужемъ!... сказала она.

— „Опять? Однако нѣсколько лѣтъ тому назадъ эта причина также существовала, но между тѣмъ...“

Она выдернула свою руку изъ моей, и щеки ея запылали.

— „Можетъ быть, ты любишь своего второго мужа?“

Она не отвѣчала и отвернулась.

— „Или онъ очень ревнивъ?“

Молчаніе.

— „Что жъ! онъ молодъ, хорошъ, особенно вѣрно богатъ, и ты боишься...“ Я взглянулъ на нее и испугался: ея лицо выражало глубокое отчаяніе, на глазахъ сверкали слезы.

— Скажи мнѣ, наконецъ, прошептала она, тебѣ очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидѣть. Съ тѣхъ поръ, какъ мы знаемъ другъ друга, ты ничего мнѣ не далъ кромѣ страданій!... Ея голосъ задрожалъ, она склонилась ко мнѣ и опустила голову на грудь мою.

— „Можетъ быть, подумалъ я. „ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда!...“

Вѣра никакъ не хотѣла, чтобы Печоринъ познакомился съ ея мужемъ; но такъ какъ онъ дальній родственникъ Ляговской и какъ потому Вѣра часто бываетъ у ней, то она и взяла съ него слово познакомиться съ княгиней.

Такъ какъ «Записки» Печорина есть его автобіографія, то и невозможно дать полнаго понятія о немъ, не прибѣгая къ выпискамъ, а выписокъ нельзя дѣлать, не переписавши боль-

шей части повѣсти. Посему, мы принуждены пропускать множество подробностей самыхъ характеристическихъ, и слѣдить только за развитіемъ дѣйствія.

Однажды, гуляя верхомъ, въ черкесскомъ платьѣ, между Пятигорскомъ и Желѣзноводскомъ, Печоринъ спустился въ оврагъ, закрытый кустарникомъ, чтобы напоить коня. Вдругъ онъ видитъ—приближается кавалькада: впереди ѣхалъ Грушницкій съ княжной Мери. Онъ былъ довольно смѣшонъ въ своей сѣрой солдатской шинели, сверхъ которой у него надѣта была шашка и пара пистолетовъ. Причина такого вооруженія та (говоритъ Печоринъ), что дамы на водахъ еще вѣрятъ нападенію Черкесовъ.

— „И вы цѣлую жизнь хотите остаться на Кавказѣ? говорила княжна.

— Что для меня Россія?—отвѣчалъ ей кавалеръ, страна гдѣ тысячи людей, потому что они богаче-меня, будутъ смотрѣть на меня съ презрѣніемъ, тогда какъ здѣсь,—здѣсь эта толстая шинель не помѣшала моему знакомству съ вами...

— „Напротивъ...“ сказала княжна, покраснѣвъ...

Въ это время они поравнялись со мной; я ударилъ плетью по лошади и выѣхалъ изъ-за куста.

— *Mon Dieu, un Circassien!*...—вскрикнула княжна въ ужасѣ.

Чтобы ее совершенно разувѣрить, я отвѣчалъ пофранцузски, слегка наклонясь:

— *Ne craignez rien, madame, je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier.*

Княжна смутилась отъ этого отвѣта. Вечеромъ того же дня, Печоринъ встрѣтился съ Грушницкимъ на бульварѣ.

— „Откуда?“—Отъ княгини Лиговской,—сказалъ онъ очень важно.—Какъ Мери поетъ!—„Знаешь ли что?“ сказалъ я ему, „я пари держу, что она не знаетъ, что ты юнкеръ; она думаетъ что ты разжалованный.

— Быть можетъ! Какое мнѣ дѣло!... сказалъ онъ разсѣянно.

— „Нѣтъ, я только такъ это говорю...“

— А знаешь ли, что ты нынче ужасно ее разсердилъ! Она нашла, что это неслыханная дерзость; я насилу могъ ее увѣрить, что ты не могъ имѣть намѣренія ее оскорбить; она говоритъ, что у тебя наглый взглядъ, что ты вѣрно о себѣ самомъ высокаго мнѣнія.

— „Она не ошибается... А ты не хочешь ли за нее вступиться?

— Мнѣ жаль, что я не имѣю еще этого права...

Ого! думалъ я, у него видно есть уже надежда...

— Впрочемъ, для тебя же хуже, продолжалъ Грушницкій, теперь тебѣ трудно познакомиться съ ними, а жаль! это одинъ изъ самыхъ пріятныхъ домовъ, какіе я только знаю...

Я внутренно улыбнулся. „Самый пріятный домъ для меня теперь мой“, сказалъ я, звывая, и всталъ чтобы идти.

— Однако признайся, ты раскисиваешься?

— „Какой вздоръ! если я захочу, то завтра же вечеромъ буду у княгини...“

— Посмотримъ.

— „Даже, чтобъ тебѣ сдѣлать удовольствіе, стану волочиться за княжной.“

На балѣ, въ рестораціи, Печоринъ слышалъ, какъ одна толстая дама, толкнутая княжною, бранила ее за гордость и изъясляла желаніе, чтобы ее проучили, и какъ одинъ услужливый драгунскій капитанъ, кавалеръ толстой дамы, сказалъ ей, что «за этимъ дѣло не станеть». Печоринъ попросилъ княжну на вальсъ,—и княжна едва могла подавить на устахъ своихъ улыбку торжества. Сдѣлавши съ нею нѣсколько туровъ, онъ завелъ съ нею разговоръ въ тонѣ кающагося преступника. Хохотъ и шушуканье прервало этотъ разговоръ,—Печоринъ обернулся: въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него стояла группа мужчинъ, и, среди ихъ, драгунскій капитанъ потиралъ отъ удовольствія руки. Вдругъ выходитъ на середину пьяная фигура съ усами и красной рожей, невѣрными шагами подходитъ къ княжнѣ, и, заложивъ руки на спину, уставилъ на смущенную дѣвушку мутно-сѣрые глаза, говорить ей хриплымъ дискантомъ: «Пермете... ну, да что тутъ!... просто ангажирую васъ на мазурку...». Матери княжны не было вблизи; положеніе княжны было ужасно, она готова была упасть въ обморокъ. Печоринъ подошелъ къ пьяному господину и попросилъ его удалиться, говоря, что княжна дала уже ему слово танцовать съ нимъ мазурку. Разумѣется, слѣдствіемъ этой исторіи было формальное знакомство Пе-

чорина съ Лиговскими. Впродолженіе мазурки, Печоринъ говорилъ съ княжною, и нашелъ что она очень мило шутила, что разговоръ ея былъ остеръ, безъ притязанія на остроуту, живъ и свободенъ; ея замѣчанія иногда глубоки.

Этотъ разговоръ былъ программой той продолжительной интриги, въ которой Печоринъ игралъ роль соблазнителя отъ нечего дѣлать; княжна, какъ птичка, билась въ сѣтяхъ, разставленныхъ искусною рукою, а Грушницкій по прежнему продолжалъ свою шутовскую роль. Чѣмъ скучнѣе и несноснѣе становился онъ для княжны, тѣмъ смѣлѣе становились его надежды. Вѣра беспокоилась и страдала, замѣчая новыя отношенія Печорина къ Мери; но при малѣйшемъ укорѣ или намекѣ, должна была умолкать, покоряясь его обаятельной власти, которую онъ такъ тиранически употреблялъ надъ нею. Но что же Печоринъ? неужели онъ полюбилъ княжну—нѣтъ. Стало-быть, онъ хочетъ обольстить ее?—нѣтъ. Можетъ быть, жениться?—нѣтъ. Вотъ что онъ самъ говоритъ объ этомъ: «Я часто себя спрашиваю, зачѣмъ я такъ упорно добиваюсь любви молоденькой дѣвочки, которую обольстить я совсѣмъ не хочу, и на которой никогда не женюсь? Къ чему это женское кокетство? Вѣра меня любить больше, чѣмъ княжна Мери будетъ любить когда-нибудь; еслибъ она мнѣ казалась непобѣдимой красавицей, то, можетъ быть, я бы завлекся трудностію предпріятія... Изъ чего же я хлопочу? изъ зависти къ Грушницкому? Бѣдняжка! онъ вовсе ея не заслуживаетъ. Или это слѣдствіе того сквернаго, но непобѣдимаго чувства, которое заставляетъ насъ умножать сладкія заблужденія ближняго, чтобы имѣть мелкое удовольствіе сказать ему, когда онъ въ отчаяніи будетъ спрашивать, чему онъ долженъ вѣрить: Мой другъ, со мной было то же самое и ты видишь однако, я обѣдаю, ужинаю и сплю преспокойно, и надѣюсь, сумѣю умереть безъ крика и слезъ!»

Потомъ онъ продолжаетъ,—и тутъ особенно раскрывается его характеръ:

А вѣдь есть необъятное наслажденіе въ обладаніи молодой, едва распустившейся душой! Она какъ цвѣтокъ, котораго лучшій ароматъ испаряется навстрѣчу первому лучу солнца; его надо сорвать въ ту минуту и, подышавъ имъ досыта, бросить на дорогѣ: авось кто-нибудь подниметъ! Я чувствую въ себѣ ненасытную жадность, поглощающую все, что встрѣчаю на своемъ пути, я смотрю на страданія и радости другихъ только въ отношеніи къ себѣ какъ на пищу, поддерживающую мои душевныя силы. Самъ я больше неспособенъ безумствовать подъ вліяніемъ страсти; честолюбіе у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось въ другомъ видѣ. ибо честолюбіе есть не что иное какъ жажда власти, а первое мое удовольствіе подчинять моей волѣ все, что меня окружаетъ; возбуждать къ себѣ чувство любви, преданности и страха, не есть ли первый признакъ и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданій и радости, не имѣя на то никакого положительнаго права, не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? насыщенная гордость. Еслибъ я почиталъ себя лучше, могущественнѣе всѣхъ на свѣтѣ, я былъ бы счастливъ; еслибъ всѣ меня любили, я въ себѣ нашелъ бы безконечные источники любви. Зло порождаетъ зло; первое страданіе даетъ понятіе объ удовольствіи мучить другого; идея зла не можетъ войти въ голову человѣка безъ того, чтобы онъ не захотѣлъ приложить ее къ дѣйствительности; идея—созданія органическаго—сказалъ кто-то, ихъ рожденіе даетъ уже имъ форму, и эта форма есть дѣйствіе; тотъ, въ чьей головѣ родилось больше идей, тотъ больше другихъ дѣйствуетъ; отъ этого гений, прикованный къ чиновническому столу, долженъ умереть или сойти съ ума, точно такъ же, какъ человѣкъ съ могучимъ тѣлосложеніемъ, при сидячей жизни и скромномъ поведеніи, умираетъ отъ апоплексическаго удара.

Такъ вотъ причины, за которыя бѣдная Мери такъ дорого должна поплатиться!... Какой страшный человѣкъ этотъ Печоринъ! Потому что его безпокойный духъ требуетъ движенія, дѣятельность ищетъ пищи, сердце жаждетъ интересовъ жизни, потому должна страдать бѣдная дѣвушка? «Эгоистъ, злодѣй, извергъ, безнравственный человѣкъ!»... хорошо закричать, можетъ быть, строгіе моралисты. Ваша правда, господа; но вы-то изъ чего хлопчете? за что сердитесь? Право, намъ кажется, вы пришли не въ свое мѣсто, сѣли за столъ, за которымъ вамъ не поставлено прибора... Не

подходите слишком близко къ этому человѣку, не нападайте на него съ такою запальчивою храбростію: онъ на васъ взглянетъ, улыбнется, и вы будете осуждены, и на смущенныхъ лицахъ вашихъ всѣ прочтутъ судъ вашъ. Вы предаете его анаемѣ не за пороки, — въ васъ ихъ больше, и въ васъ они чернѣе и позорнѣе, — но за ту смѣлую свободу, за ту жолчную откровенность, съ которою онъ говоритъ о нихъ. Вы позволяете человѣку дѣлать все, что ему угодно, быть всѣмъ, чѣмъ онъ хочетъ, вы охотно прощаете ему и безуміе, и низость, и развратъ; но, какъ пошлину за право торговли, требуете отъ него моральныхъ сентенцій о томъ, какъ долженъ человѣкъ думать и дѣйствовать, и какъ онъ въ самомъ-то дѣлѣ и не думаетъ, и не дѣйствуетъ... И за то, ваше инквизиторское ауто-да-фѣ готово для всякаго, кто имѣетъ благородную привычку смотрѣть дѣйствительности прямо въ глаза, не опуская своихъ глазъ, называть вещи настоящими ихъ именами, и показывать другимъ себя не въ бальномъ костюмѣ, не въ мундирѣ, а въ халатѣ, въ своей комнатѣ, въ уединенной бесѣдѣ съ самимъ собою, въ домашнемъ расчетѣ съ своею совѣстью... И вы правы: покажитесь передъ людьми хоть разъ въ своемъ позорномъ неглиже, въ своихъ засаленныхъ ночныхъ колпакахъ, въ своихъ оборванныхъ халатахъ, люди съ отвращеніемъ отвернутся отъ васъ и общество извергнетъ васъ изъ себя. Но этому человѣку нечего бояться: въ немъ есть тайное сознаніе, что онъ не то, чѣмъ самому себѣ кажется и что онъ есть только въ настоящую минуту. Да, въ этомъ человѣкѣ есть сила духа и могущество воли, которыхъ въ васъ нѣтъ; въ самыхъ порокахъ его проблескиваетъ что-то великое, какъ молнія въ черныхъ тучахъ, и онъ прекрасенъ, полонъ поэзіи даже и въ тѣ минуты, когда человѣческое чувство возстаетъ на него... Ему другое назначеніе, другой путь, чѣмъ вамъ. Его страсти—бури, очищающія сферу духа; его заблужденія, какъ ни страшны они, острыя болѣзни въ молодомъ тѣлѣ, укрѣпляющія его на долгую и здоровую жизнь. Это

лихорадки и горячки, а не подагра, не ревматизмъ и геморрой, которыми вы, бѣдные, такъ бесплодно страдаете... Пусть онъ клевететь на вѣчные законы разума, поставляя высшее счастье въ насыщенной гордости; пусть онъ клевететь на чело-вѣческую природу, видя въ ней одинъ эгоизмъ; пусть клевететь на самого себя, принимая моменты своего духа за его полное развитіе и смѣшивая юность съ возмужалостію, — пусть... Настанетъ торжественная минута, и противорѣчіе разрѣшится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются въ одинъ гармоническій аккордъ!... Даже и теперь, онъ проговаривается и противорѣчить себѣ, уничтожая одною страницею всѣ предыдущія: такъ глубока его натура, такъ врожденна ему разумность, такъ силенъ у него инстинктъ истины! Послушайте, что говоритъ онъ тотчасъ послѣ того мѣста, которое, вѣроятно, такъ возмущаетъ моралистовъ:

Страсти не что иное, какъ идеи при первомъ своемъ развитіи: онъ принадлежность юности сердца, и глупецъ тотъ, кто думаетъ ими цѣлую жизнь любоваться: многія спокойныя рѣки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачетъ и не пѣнится до самаго моря. *Но это спокойствіе часто признакъ великой, хотя скрытой силы; полнота и глубина чувствъ и мыслей не допускаетъ бышнихъ порывовъ:* душа, страдая и наслаждаясь, даетъ во всемъ себѣ строгій отчетъ и убѣждается въ томъ, что такъ должно; она знаетъ, что безъ грозъ постоянный зной солнца ее изсушитъ, она проникается своей собственной жизнью, дѣлаетъ и наказываетъ себя, какъ любимаго ребенка. *Только въ этомъ высшемъ состояніи самопознанія чело-вѣкъ можетъ оцѣнить правосудіе Божіе.*

Но пока (прибавимъ мы отъ себя), пока чело-вѣкъ не дошелъ до этого высшаго состоянія самопознанія — если ему назначено дойти до него, — онъ долженъ страдать отъ другихъ и заставлять страдать другихъ, возставать и падать, падать и возставать, отъ заблужденія переходить къ заблужденію и отъ истины къ истинѣ. Всѣ эти отступленія суть необходимыя маневры въ сферѣ сознанія; чтобы дойти до мѣста, часто надо дать большой крюкъ, совершить длинный

обходъ, воротаться съ дороги назадъ. Царство истины есть обѣтованная земля, и путь къ ней—аравійская пустыня. Но, скажете вы, за что же другія должны гибнуть отъ такихъ страстей и ошибокъ? А развѣ мы сами не гибнемъ иногда какъ отъ собственныхъ, такъ и отъ чужихъ? Кто вышелъ изъ горнила испытаній чистъ и свѣтелъ какъ золото, натура того—благородный металлъ; кто сгорѣлъ или не очистился, натура того—дерево или желѣзо. И если многія благородныя натуры погибаютъ жертвами случайности, разрѣшеніе на этотъ вопросъ даетъ религія. Для насъ ясно и положительно одно: безъ бурь нѣтъ плодородія, и природа изнываетъ; безъ страстей и противорѣчій нѣтъ жизни, нѣтъ поэзіи. Лишь бы только въ этихъ страстяхъ и противорѣчіяхъ была разумность и человѣчность, и ихъ результаты вели бы человѣка къ его цѣли, — а судъ принадлежитъ не намъ: для каждого человѣка судъ въ его дѣлахъ и ихъ слѣдствіяхъ! Мы должны требовать отъ искусства, чтобы оно показывало намъ дѣйствительность, какъ она есть, ибо какова бы она ни была, эта дѣйствительность, она больше скажетъ намъ, больше научитъ насъ, чѣмъ всѣ выдумки и поученія моралистовъ...

Но, скажутъ, можетъ быть, резонеры — затѣмъ рисовать картины возмутительныхъ страстей, вмѣсто того, чтобы плѣнять воображеніе изображеніемъ кроткихъ чувствованій природы и любви, и трогать сердце и поучать умъ? — Старая пѣсня, господа, такъ же старая, какъ и «Выйду ль я на рѣченьку, посмотрю на быстрю!»... Литература восемнадцатаго вѣка была по преимуществу моральною и разсуждающею, въ ней не было другихъ повѣстей, какъ *contes moraux* и *contes philosophiques*; однакожь эти нравственные и философскія книги никого не исправили, и вѣкъ всетаки былъ по преимуществу безнравственнымъ и развратнымъ. И это противорѣчіе очень понятно. Законы нравственности въ натурѣ человѣка, въ его чувствѣ, и потому они не противорѣчатъ его дѣламъ; а кто чувствуетъ и поступаетъ сообразно съ своимъ чувствомъ,

тотъ мало говоритъ. Разумъ не сочиняетъ, не выдумываетъ законовъ нравственности, но только сознаетъ ихъ, принимая ихъ отъ чувства какъ данныя, какъ факты. И потому чувство и разумъ суть не противорѣчащіе, не враждебные другъ другу, но родственные, или, лучше сказать, тождественные элементы духа человѣческаго. Но когда человѣку или отказано природою въ нравственномъ чувствѣ, или оно испорчено дурнымъ воспитаніемъ, безпорядочною жизнію, — тогда его разсудокъ изобрѣтаетъ свои законы нравственности. Говоримъ: разсудокъ, а не разумъ, ибо разумъ есть сознавшее себя чувство, которое даетъ ему въ себѣ предметъ и содержаніе для мышленія; а разсудокъ, лишенный дѣйствительнаго содержанія, по необходимости прибѣгаетъ къ произвольнымъ построеніямъ. Вотъ происхожденіе морали, и вотъ причина противорѣчій между словами и поступками записныхъ моралистовъ. Для нихъ дѣйствительность ничего не значить: они не обращаютъ никакого вниманія на то, что есть, и не предчувствуютъ его необходимости; они хлопчутъ только о томъ, что и какъ должно быть. Это ложное философское начало породило и ложное искусство еще задолго до XVIII вѣка, искусство, которое изображало какую-то небывалую дѣйствительность, создавало какихъ-то небывалыхъ людей. Въ самомъ дѣлѣ, неужели мѣсто дѣйствія Корнелевскихъ и Расиновскихъ трагедій — земля, а не воздухъ, ихъ дѣйствующія лица — люди, а не маріонетки? Принадлежать ли эти рыцари, герои, наперсники и вѣстники какому-нибудь вѣку, какой-нибудь странѣ? говорилъ ли кто-нибудь отъ созданія міра языкомъ, похожимъ на ихъ языкъ?... Восемнадцатый вѣкъ довелъ это разсудочное искусство до послѣднихъ предѣловъ нелѣпости; онъ только о томъ и хлопоталъ, чтобы искусство шло навыворотъ дѣйствительности, и сдѣлалъ изъ нея мечту, которая и въ нѣкоторыхъ добрыхъ старичкахъ нашего времени еще находится своихъ магическихъ витязей. Тогда думали быть поэтами, воспѣвая Хлой, Филидъ, Дорисъ въ фижахъ и муш-

кахъ, и Меналковъ, Даметовъ, Титировъ, Миконовъ, Мирти-лисовъ и Мелибеевъ въ шитыхъ кафтанахъ; восхваляли мир-ную жизнь подъ соломенною кровлею, у свѣтлаго ручейка Ладона, съ милою подругою, невинною пастушкою, въ то время какъ сами жили въ раззолоченныхъ палатахъ, гуляли въ стриженныхъ аллеяхъ, вмѣсто одной пастушки имѣли по тысячѣ овецъ, и для доставленія себѣ оныхъ благъ готовы были на всяческая...

Нашъ вѣкъ гнушается этимъ лицемерствомъ. Онъ громко говоритъ о своихъ грѣхахъ, но не гордится ими; обнажаетъ свои кровавыя раны, а не прячетъ ихъ подъ нищенскими лохмотьями притворства. Онъ понялъ, что сознаніе своей грѣховности есть первый шагъ къ спасенію. Онъ знаетъ, что дѣйствительное страданіе лучше мнимой радости... Для него польза и нравственность только въ одной истинѣ, а истина—въ сущемъ, т. е. въ томъ, что есть. Потому, и искусство нашего вѣка есть воспроизведеніе разумной дѣйствительности. Задача нашего искусства—не представить событія въ повѣсти, романѣ или драмѣ, сообразно съ предположенною заранѣе цѣлю, но развить ихъ сообразно съ законами разумной необходимости. И въ такомъ случаѣ, каково бы ни было содержаніе поэтическаго произведенія, его впечатлѣніе на душу читателя будетъ благотно, и, слѣдовательно, нравственная цѣль достигнется сама собою. Намъ скажутъ, что безнравственно представлять ненаказаннымъ и торжествующимъ порока: мы противъ этого и не споримъ. Но и въ дѣйствительности порокъ торжествуетъ только внѣшнимъ образомъ: онъ въ самомъ себѣ носитъ свое наказаніе и гордою улыбкою только подавляетъ внутреннее терзаніе. Такъ точно и новѣйшее искусство: оно показываетъ, что судъ человѣка—въ дѣлахъ его; оно, какъ необходимость, допускаетъ въ себя диссонансы, производимые въ гармоніи нравственнаго духа, но для того, чтобы показать, какъ изъ диссонанса снова возникаетъ гармонія,—черезъ то ли, что раззвучная струна снова настрои-

вается, или разрывается вслѣдствіе ея своевольнаго разлада. Это міровой законъ жизни, а слѣдовательно, и искусства. Вотъ другое дѣло, если поэтъ захочетъ, въ своемъ произведеніи, доказать, что результаты добра и зла одинаковы для людей, — оно будетъ безнравственно, но тогда уже оно и не будетъ произведеніемъ искусства, — и, какъ крайности сходятся, то оно, вмѣстѣ съ моральными произведеніями, составитъ одинъ общій разрядъ непозитическихъ произведеній, писанныхъ съ опредѣленною цѣлю. Далѣе мы изъ самаго разбираемаго нами сочиненія докажемъ, что оно не принадлежитъ ни къ тѣмъ, ни къ другимъ, и въ основаніи своемъ глубоконравственно. Но пора намъ обратиться къ нему.

На отлогости Машука, въ верстѣ отъ Пятигорска, есть провалъ. Въ одинъ день тамъ назначено было гулянье и родъ бала подъ открытымъ небомъ. Печоринъ спросилъ Грушницкаго, произведеннаго въ офицеры, идетъ ли онъ къ провалу, и тотъ отвѣчалъ, что ни за что въ свѣтѣ не явится передъ княжною прежде, нежели будетъ готовъ его мундиръ, и просилъ его не предувѣдомлять ея о его производствѣ.

— Скажи мнѣ однако, какъ твои дѣла съ нею?...

Онъ смутился и задумался: ему хотѣлось похвастаться, солгать — и было совѣстно, а вмѣстѣ съ этимъ было стыдно признаться въ истинѣ.

— Какъ ты думаешь, любить ли она тебя?...

„Любить ли? Помилуй, Печоринъ, какія у тебя понятія? какъ можно такъ скоро? Да если даже она и любитъ, то порядочная женщина этого не скажетъ.

— Хорошо! и вѣроятно по твоему порядочный человѣкъ долженъ тоже молчать о своей страсти?...

— „Эхъ братецъ! На все есть манера; многое не говорится, а отгадывается“.

— Это правда... Только любовь, которую мы читаемъ въ глазахъ, ни къ чему женщину не обязываетъ, тогда какъ слова... Берегись Грушницкій, она тебя надуваетъ...

— „Она...“ отвѣчалъ онъ, поднявъ глаза къ небу и самодовольно улыбувшись— „мнѣ жаль тебя, Печоринъ!“

Многочисленное общество отправилось вечеромъ къ провалу. Взираясь на гору, Печоринъ подавъ руку княжнѣ, и она не покидала ея въ продолженіе всей прогулки. Разговоръ ихъ начался злословіемъ. Желчь Печорина взволновалась — и, начавши шутя, онъ кончилъ искреннею злостью. Сперва это забавляло княжну, а потомъ испугало. Она сказала ему, что лучше желала бы попасться подъ ножъ убійцы, чѣмъ ему на языкъ. Онъ на минуту задумался, а потомъ, принявъ на себя глубоко-тронутый видъ, началъ жаловаться на свою участь, которая, по его словамъ, такъ жалка съ самаго его дѣтства:

Всѣ читали на моемъ лицѣ признаки дурныхъ свойствъ, которыхъ не было, но ихъ предполагали — и они родились. Я былъ скромнень — меня обвиняли въ лукавствѣ: я сталъ скрытенъ. Я глубоко чувствовалъ добро и зло; никто меня не ласкалъ, всѣ оскорбляли — я сталъ злопамятенъ; я былъ угрюмъ — другія дѣти были веселы и болтливы; я чувствовалъ себя выше ихъ — меня ставили ниже: я сдѣлался завистливъ. Я былъ готовъ любить весь міръ, — меня никто не понималъ, и я выучился ненавидѣть. Моя безцвѣтная молодость протекла въ борьбѣ съ собой и свѣтомъ; лучшія мои чувства, боясь насмѣшки, я хоронилъ въ глубинѣ сердца; они тамъ и умерли. Я говорилъ правду — мнѣ не вѣрили: я началъ обманывать; узнавъ хорошо свѣтъ и пружины общества, я сталъ искрененъ въ наукѣ жизни, и видѣлъ, какъ другіе безъ искусства счастливы, пользуясь даромъ тѣми выгодами, которыхъ я такъ неутомимо добивался. И тогда въ груди моей родилось отчаяніе, — не то отчаяніе, которое лѣзетъ дуломъ пистолета, — но холодное, безсильное отчаяніе, прикрытое любезностью и добродушною улыбкой, и сдѣлался нравственнымъ калѣкой: одна половина души моей не существовала, она высохла, умерла, я ее отрѣзалъ и бросилъ, тогда какъ другая шевелилась и жила къ услугамъ каждаго, и этого никто не замѣтилъ, потому что никто не зналъ о существованіи погибшей ея половины; но вы теперь во мнѣ разбудили воспоминаніе о ней, и я вамъ прочелъ ея эпитафію. Многимъ всѣ вообще эпитафіи кажутся смѣшными, но мнѣ нѣтъ, особенно когда вспомню, что подъ ними покоится. Впрочемъ, я не прошу васъ раздѣлять мое мнѣніе: если моя выходка вамъ кажется смѣшно — пожалуйста, смѣйтесь — предупреждаю васъ, что это меня не огорчитъ ни мало.

Отъ души ли говорилъ это Печоринъ, или притворялся?— Трудно рѣшить опредѣлительно: кажется, что тутъ было и то и другое. Люди, которые вѣчно находятся въ борьбѣ съ выѣшнимъ міромъ и съ самими собою, всегда недовольны, всегда огорчены и желчны. Огорченіе есть постоянная форма ихъ бытія, и что бы ни попало имъ на глаза, все служить имъ содержаніемъ для этой формы. Мало того, что они хорошо помнятъ свои истинныя страданія, — они еще неистощимы въ выдумываніи небывалыхъ. Вздумайте ихъ утѣшать — они разсердятся; покажите имъ причины ихъ горестей въ настоящемъ ихъ свѣтѣ — они оскорбятся. Помогите имъ бранить самихъ себя, взведите на нихъ небывалыя обиды жизни, отыщите небывалые недостатки и пороки въ ихъ характерѣ — вы польстите имъ и выиграете ихъ расположеніе. Если вы попадете на человѣка недостаточно глубокаго и сильнаго, — будьте осторожны: вы можете или оскорбить его самолюбіе такъ, что возбудите къ себѣ его ненависть, или убить въ немъ всякую увѣренность въ себя и возродить отчаяніе, — и тогда вамъ предстоитъ горькая и мучительно скучная роль утѣшителя и повѣреннаго однѣхъ и тѣхъ же жалобъ. Если же это человѣкъ глубокій и сильный, — не бойтесь слишкомъ далеко зайти въ нападкахъ на него и на жизнь: у него есть лазѣчка изъ этой западни: «я дурень, но вѣдь и всѣ таковы». А вы знаете, что, по пословицѣ, при людяхъ и смерть не страшна, — и какъ бы вы не представлялись себѣ дурны, но если и лучший изъ людей не лучше васъ, — ваше самолюбіе спасено. И вотъ почему такіе люди такъ неистощимы въ самообвиненіи: оно обращается имъ въ привычку. Обманывая другихъ, они прежде всего обманываютъ себя. Истинная или ложная причина ихъ жалобъ, — имъ все равно, и желчная горестъ ихъ равно искренна и непритворна. Мало того: начиная лгать съ сознаніемъ, или начиная шутить — они продолжаютъ и оканчиваютъ искренно. Они сами не знаютъ, когда лгутъ и когда говорятъ правду,

когда слова ихъ—воплъ души, или когда они — фразы. Это дѣлается у нихъ вмѣстѣ и болѣзнію души, и привычкою, и безумствомъ, и кокетничаньемъ. Во всей выходѣ Печорина вы замѣчаете, что у него страждетъ самолюбіе, отчего родилось у него отчаяніе? — Видите ли: онъ узналъ хорошо свѣтъ и пружины общества, сталъ искусенъ въ наукѣ жизни, и видѣлъ, какъ другіе безъ искусства счастливы, пользуясь даромъ тѣми выгодами, которыхъ онъ такъ неутомимо добивался. Какое мелкое самолюбіе! восклицаете вы. Но не торопитесь вашимъ приговоромъ: онъ клевететь на себя; повѣрьте мнѣ, онъ и даромъ бы не взялъ того счастья, которому завидовалъ у этихъ *другихъ* и котораго добивался. Но княжнѣ отъ этого не легче: она все приняла за наличную монету. Печоринъ не ошибся, сказавъ, что въ немъ два человѣка: въ то время, какъ одинъ такъ горько жаловался ни на что, другой наблюдалъ и за нимъ и за княжною, и вотъ что замѣтилъ за послѣднею:

Въ эту минуту я встрѣтилъ ея глаза: въ нихъ бѣгали слезы; рука ея, опираясь на мою, дрожала, щеки пылали: ей было жаль меня!—Состраданіе, чувство, которому покоряются такъ легко всѣ женщины, выпустило свои когти въ ея неопытное сердце. Во все время прогулки, она была разсѣянна, ни съ кѣмъ не кокетничала,—а это великій признакъ!...

Бѣдная Мери! Какъ систематически, съ какою расчитанною точностію ведетъ ее злой духъ по пути погибели! Подошедши къ провалу, всѣ дамы оставили своихъ кавалеровъ, но она не оставляла руку Печорина; остроты тамошнихъ денди не смѣшили ея; крутизна обрыва, у котораго она стояла, не пугала ее, тогда какъ другія барышни пищали и закрывали глаза. На возвратномъ пути она была разсѣянна, грустна. «Любили ли вы?» спросилъ ее Печоринъ; она пристально на него посмотрѣла, покачала головой, и снова задумалась... Казалось что-то хотѣлось сказать, но она не знала съ чего начать; грудь ея волновалась. — «Не правда ли, я была сегодня

очень любезна?—сказала она, при разставаньи, съ принужденною улыбкою. Печоринъ, вмѣсто ея, отвѣтилъ самому себѣ: «Она недовольна собой, она себя обвиняетъ въ холодности... о, это первое, главное торжество! Завтра она захочетъ вознаградить меня. Я все это ужъ знаю наизусть—вотъ что скучно!»—Бѣдная Мери!...

Между тѣмъ, Вѣра мучилась ревностію и мучила ею Печорина. Она взяла съ него слово уѣхать въ Енисловскъ и нанять себѣ квартиру возлѣ того дома, верхъ котораго она займетъ съ мужемъ, а низъ — княгиня Лиговская, которая собирается туда еще черезъ недѣлю. Вечеръ того же дня Печоринъ провелъ у Лиговскихъ, и веселился, замѣчая успѣхи чувства въ княжнѣ. Вѣра все это видѣла и страдала. Чтобы утѣшить ее, онъ разсказалъ вслухъ исторію своей любви съ нею, разумѣется, прикрывъ все вымышленными именами. «Я, говорить онъ — такъ живо изобразилъ мою нѣжность, мои безпокойства, восторги; я въ такомъ выгодномъ свѣтѣ выставилъ ея уступки, характеръ, что она поневолѣ должна была простить мнѣ мое кокетство съ княжною.»

На другой день—балъ въ рестораціи. За полчаса до бала къ Печорину явился Грушницкій въ полномъ сіяніи армейскаго мундира. — Ты, говорятъ, эти дни ужасно волочился за моею княжною? — сказалъ онъ довольно небрежно и не глядя на Печорина. «Гдѣ намъ дуракамъ чай пить!» отвѣчалъ тотъ. Затѣмъ Грушницкій спросилъ у него духовъ; не смотря на замѣчанія Печорина, что отъ него и такъ несетъ розовою помадой, налилъ полстаклянки за галстухъ, въ носовой платокъ и на рукава, и заключилъ опасеніемъ, что ему прійдется начинать съ княжною мазурку, тогда какъ онъ не знаетъ почти ни одной фигуры. На вопросъ Печорина: «А ты звалъ ее на мазурку?» онъ отвѣчалъ, что нѣтъ, и поспѣшилъ дожидаться ея у подъѣзда. Разумѣется, на балу бѣдный Грушницкій разыгралъ, благодаря Печорину, очень смѣшную роль. Княжна очень разсѣяннo его слушала, и отвѣчала насмѣш-

ками на его трагикомическія выходы. «Нѣтъ, говорилъ онъ, — лучше бы мнѣ вѣкъ остаться въ этой презрѣнной солдатской шинели, которой, можетъ быть, я былъ обязанъ вашимъ вниманіемъ...» — Въ самомъ дѣлѣ, вамъ шинель гораздо болѣе къ лицу — отвѣчала княжна и, замѣтивъ подошедшаго къ нимъ Печорина, обратилась къ нему съ вопросомъ о его мнѣніи объ этомъ предметѣ. «Я съ вами несогласенъ», отвѣчалъ Печоринъ, «въ мундирѣ онъ еще моложавѣе». Этотъ злой намѣкъ на лѣта мальчика, который хотѣлъ бы, чтобы на его лицѣ читали слѣды сильныхъ страстей, взбѣсилъ Грушницкаго: онъ топнулъ ногою и отошелъ. Все остальное время онъ преслѣдовалъ княжну: танцевалъ или съ нею, или *vis à vis*, вздыхалъ и надоедалъ ей мольбами и упреками. Послѣ третьей кадрили она ужъ его ненавидѣла.

— „Я этого не ожидалъ отъ тебя“, сказалъ онъ, подойдя ко мнѣ и взявъ меня за руку.

— Чего?

— „Ты съ нею танцуешь мазурку?“ спросилъ онъ торжественнымъ голосомъ. „Она мнѣ призналась...“

— Ну такъ что жъ? а развѣ это секретъ?

— „Разумѣется... Я долженъ былъ этого ожидать отъ дѣвчонки... отъ кокетки... Ужъ я отомщу!“

— Пеняй на свою шинель или на свои эполеты, а зачѣмъ же обвинять ее? Чѣмъ она виновата, что ты ей больше не нравишься?...

— „Зачѣмъ же подавать надежды?“

— Зачѣмъ же ты надѣялся?

Печоринъ достигъ своей цѣли: Грушницкій отошелъ отъ него съ чѣмъ-то въ родѣ угрозы. Это его радовало и забавило, но что же за радость бѣсить добраго, пустого малаго, и для этого играть обдуманную роль, дѣйствовать по обдуманному плану? Что это: слѣдствіе праздности ума, или мелкости души? Вотъ что думалъ объ этомъ онъ самъ, собираясь на балъ:

Я шелъ медленно; мнѣ было грустно... Неужели,— думалъ я, мое единственное назначеніе—разрушать чужія надежды? Съ тѣхъ поръ,

наго-

, ко-

о?...

пред-

жас-

воз-

ивья

оти-

иво-

мся

ить

онз-

въ-

пре-

уть

ебя

на

ив-

чо-

уда

не

ъ,

хъ

и-

а,

о-

и

доволенъ собою». Купанье въ Нарзанѣ сдѣлало его совершенно свѣжимъ и бодрымъ. Возвратясь съ купанья, онъ шелъ у себя Вернера. Они сѣли на лошадей и поѣхали. Тутъ слѣдуетъ мимоходомъ краткое, полное поэзіи описаніе прекраснаго кавказскаго утра.

Они ѣхали молча.

— Написали ли вы свое завѣщаніе?— вдругъ спросилъ Вернеръ.

— „Нѣтъ“.

— А если будете убиты?

— „Наслѣдники отыщутся сами“.

— Неужели у васъ нѣтъ друзей, которымъ бы вы хотѣли послѣднее прости?...

Я покачалъ головой.

— Неужели нѣтъ женщины, которой вы хотѣли бы оставить нибудь на память?...

— „Хотите ли, докторъ“, отвѣчалъ я ему, „чтобъ я раскрылъ мою душу?... Видите ли: я выжилъ изъ тѣхъ лѣтъ, когда умирали произнося ния своей любезной и завѣщая другу клочекъ напомаженныхъ или ненапомаженныхъ волосъ. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю, объ одномъ себѣ; иные не дѣлаютъ изъ этого. Другіе завтра меня забудутъ, или хуже, взведутъ на мой счетъ. Богъ знаетъ какія небылицы; женщины, которыя, обвиняя друг друга, смѣются надо мною, чтобъ не возбудить въ немъ ревности усопшему, Богъ съ ними! Изъ жизненной бури я вынесъ только нѣсколько идей и ни одного чувства. Я давно ужъ живу не сердцемъ и головою. Я завѣшиваю, разбираю свои собственные страсти ступки съ строгимъ любопытствомъ, но безъ участія. Во мнѣ двоятъ: одинъ живетъ въ полномъ смыслѣ этого слова, другой лжетъ и судитъ его; первый, можетъ быть чрезъ часъ проститъ вамъ и міромъ на вѣки, а второй... второй?..."

Это признаніе обнаруживаетъ всего Печорина. Въ нѣтъ фразъ, и каждое слово искренно. Безсознательно вѣрно выговорилъ Печоринъ всего себя. Этотъ человѣкъ пылкій юноша, который гоняется за впечатлѣніями и себя отдаетъ первому изъ нихъ, пока оно не изгладитъ душу не запроситъ новаго. Нѣтъ, онъ вполнѣ пережилъ шескій возрастъ, этотъ періодъ романтическаго взгляда.

тый въ немъ самомъ врагъ уже подсматриваетъ зародышъ анализируетъ его, изслѣдуетъ, вѣрна ли, истинна ли мысль, дѣйствительно ли чувство, законно ли намѣреніе. какая ихъ цѣль, и къ чему они ведутъ, — и благоуханны цвѣтъ чувства блекнетъ, не распустившись, мысль дробитъ въ безконечность, какъ солнечный лучъ въ граненомъ хрусталѣ; рука, подъятая для дѣйствія, какъ внезапно окаменѣлая, останавливается на взмахѣ, и не ударяетъ...

Такъ робкими всегда творить насъ совѣсть.
Такъ яркій въ насъ рѣшимости румянецъ
Подъ тѣнью тускнѣетъ размышленья,
И замысловъ отважные порывы,
Отъ сей препоны уклоняя бѣгъ свой,
Именъ дѣяній не стяжаютъ...

говорить Шекспировъ Гамлетъ, этотъ поэтический апофеозъ рефлексіи. Ужасное состояніе! Даже въ объятіяхъ любви среди блаженнѣйшаго упоенія и полноты жизни, возстае этотъ враждебный внутренній голосъ, чтобы заставить человѣка думать

... въ такое время,
Когда не думаетъ никто.

и, вырвавъ изъ его рукъ очаровательный образъ, замѣнивъ его отвратительнымъ скелетомъ...

Но это состояніе сколько ужасно, столько же необходимо. Это одинъ изъ величайшихъ моментовъ духа. Полнота жизни въ чувствѣ, но чувство не есть еще послѣдняя ступень дуги, дальше которой онъ не можетъ развиваться. При однихъ чувствѣхъ, человѣкъ есть рабъ собственныхъ ощущеній, какъ животное есть рабъ собственнаго инстинкта. Достоинство божественнаго духа человѣческаго заключается въ его разумности, а послѣдній, высшій актъ разумности есть мысль. Мысли независимость и свобода человѣка отъ собственныхъ страстей и темныхъ ощущеній. Когда человѣкъ поднимаетъ въ гнѣвъ руку на врага своего—онъ слѣдуетъ чувству

емъ
зат-
без-
не-
вер-
ую,
еть
отъ
мо-
ько
ел-
ко-
по
ож-
ду-
іе,
зо-
въ
ив-
ь»
ка.
ой
о-
ю
въ
а.
з-
о-
і-
і-
у
-
-

тельность при избыткѣ внутренней жизни. Это противорѣ
превосходно выражено авторомъ разбираемаго нами романа
въ его чудно-поэтической «Думѣ», исполненной благороднаго
негодования, могучей жизни и поразительной вѣрности ид
Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно припомнить изъ і
слѣдующіе четыре стиха, въ которыхъ сказано больше, чѣ
въ двѣнадцати томахъ иного «господина-сочинителя».

И ненавиждимъ мы, и любимъ мы случайно,
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви,
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный.
Когда огонь кипитъ въ крови!...

Печоринъ есть одинъ изъ тѣхъ, къ кому особенно долж
относиться это энергическое воззваніе благороднаго поэта
котораго это самое и заставило назвать героя романа ге
емъ нашего времени. Отсюда происходитъ и недостатокъ
опредѣленности, недостатокъ художественной рельефнос
въ изображеніи этого лица, но отсюда же выходитъ и е
высочайшій поэтический интересъ для всѣхъ, кто принадл
жить къ *нашему времени* не по одному году и числу м
сяца, въ которые родился, и то сильное неотразимо - грус
ное впечатлѣніе, которое онъ на насъ производитъ. Но ъ
еще возвратимся къ этому предмету, когда кончимъ излож
ніе содержанія романа.

Подробности свиданія противниковъ на мѣстѣ роковой ра
дѣлки переданы авторомъ съ ужасающею истиною и поэзіе
Чтобы разстроить безчестныя намѣренія своихъ враговъ
возбудивъ трусость въ Грушницкомъ, Печоринъ предложи
ему стрѣляться на узенькой площадкѣ отвѣсной скалы, с
жень въ тридцать вышины, и съ острыми камнями вниз
«Каждый изъ насъ (говорить онъ Грушницкому), стане
на самомъ краю площадки; такимъ образомъ, даже легка
рана будетъ смертельна: это должно быть согласно съ в
шимъ желаніемъ, потому что вы сами назначали шесть ш
говъ. Тотъ кто будетъ раненъ, полетитъ непременно вниз

инеть. И тогда мось эту скоропостиж-и бросимъ жребій, въ заключеніе, что-й былъ поставленъ-нялось. Теперь ему нанесенною против-ругой стороны, ему-къ, или сдѣлаться лаго замысла. Ка-пожалуй!» и Груш-ю въ знакъ согла-рону и сталъ гово-ринъ видѣлъ, какъ-къ, какъ капитанъ,

отвѣчалъ ему до-нимаешь!»
отца треугольникъ.
у достанется встрѣ-спиною къ пропа-вники должны были
рушницкому доста-зета, Печоринъ ска-ется, то не долженъ
ишникій покраснѣлъ:
алось боролась въ
умыслѣ. Докторъ
кить ихъ умыселъ,
что на свѣтъ, док-его за руку, «вы-шать... какое вамъ
б...» — О! это дру-жалуйтесь... — от-удивленіемъ.

Капитанъ зарядилъ пистолеты и под-кому, шепнувъ ему что-то, а другой выдался впередъ, опершись рукою о ко-чаѣ легкой раны, не полетѣть въ без-блѣднымъ лицомъ, дрожащими колѣнными столетъ, мѣтя въ лобъ; но тутъ сове-обходимо должно было совершиться всѣ-рактера Грушницкаго, неспособнаго ни-добру, ни къ положительному злу: нис-блѣдный какъ смерть, обратившись къ Грушницкій сказалъ глухимъ голосомъ: отвѣчалъ капитанъ, — выстрѣлъ раздался: рапала колѣно Печорина, который не-сколько шаговъ впередъ, чтобы поскорѣ-края. Какая вѣрная черта человѣческой ни порывы самолюбія, ни жизненная си-заглушить инстинкта самосохраненія!...

Теперь настала очередь Печорина. Капи-прощанія съ Грушницкимъ, едва удерж-Можно себѣ представить, какія чувства и-при видѣ соперника, который теперь съ-стію смотрѣлъ на него и, кажется, уде-за минуту хотѣлъ убить его какъ соба-очистки своей совѣсти, онъ предложилъ-него прощенія, но, услышавъ гордый отка-дующія слова съ разстановкою, громко и-износить смертный приговоръ: «Докторъ, роятно второпяхъ, забыли положить пулю-прошу васъ зарядить его снова, — и хоро-старался казаться обиженнымъ, и утверж-правда; но Печоринъ заставилъ его замол-если это такъ, то онъ и съ нимъ буде-тѣхъ же условіяхъ. Грушницкій подалъ ры-въ пользу переряженія пистолета. «Дуракъ

ю, «поплый
слушайся во
акъ муха!...»
признаться въ
о, и даже на-
предстоялъ
льную сцену
заблудшаго
въ и любви-
нической ин-
тоэту самья
ставилъ его
ну, которая
тлю и своею
простотѣ и
глаза за-
презираю,
и васъ за-
демъ нѣтъ

змахъ ху-
каго нѣтъ
ла нѣко-
тъ ни къ
; но тор-
самолюбіе
ю возбу-
и. Само-
гѣ, и въ
идѣтъ въ
ило его
не допу-
ся сво-
орѣ; са-

моллюбіе заставило его выстрѣлить въ безоружна-
то же самое самолюбіе и сосредоточило всю си-
въ такую рѣшительную минуту и заставило пред-
ную смерть вѣрному спасенію чрезъ признаніе.
вѣкъ—апотеозъ мелочнаго самолюбія и слабости
отсюда всѣ его поступки,—и, не смотря на каж-
его послѣдняго поступка, онъ вышелъ прямо и
его характера. Самолюбіе — великій рычагъ въ
вѣка; оно родитъ чудеса! Бываютъ на свѣтѣ лю-
не блѣднѣя, какъ передъ чашкою чая, стоятъ не
своего противника, которые прячутся подъ фу-
сраженія...

Спускаясь по тропинкѣ внизъ, Печоринъ зам-
разсѣлинами скалъ окровавленный трупъ Груши
неволью закрылъ глаза. Возвращаясь въ Кисло-
опустилъ поводья и далъ волю коню. Солнце у-
когда, измученный на измученной лошади, прѣѣ-
мой. Тамъ засталъ онъ двѣ записки—одну отъ
гую отъ Вѣры.

Докторъ увѣдомлялъ его, что тѣло уже не-
что, благодаря ихъ жѣрамъ, заранѣе взятымъ
нѣтъ никакихъ, и что онъ можетъ спать спо-
можетъ...

Долго не рѣшался онъ открыть вторую заш-
предчувствіе мучило его — и оно не обмануло.
Вѣры начинается прощаніемъ навсегда. Мужъ
о ссорѣ Печорина съ Грушницкимъ,—и это та-
взволновало ее, что она не понимала, что от-
только догадывалась, что то было признаніе
ной любви, потому что мужъ оскорбилъ ее
вомъ, и вышелъ изъ комнаты, велѣлъ закла-
Мысль о вѣчной разлукѣ увлекла ее къ объ-
отношеній къ Печорину,—и вотъ примѣчатель-
письма:

увѣренъ, что
на тебѣ всѣ
тебя не мо-
мужинъ, не
юей природѣ
то гордое и
есть власть
быть любви-
ни чей взоръ
чше пользо-
такъ истинно
ется увѣрить

ой увѣрен-
а ней. «По-
я для тебя

зумный по-
и потерять
б — жизни,
ую натуру,
шь ея дре-
на умъ эти

талъ замѣ-
я. Остает-
ы, гдѣ бы
только де-
оринъ хо-

тѣлѣ итти пѣшкомъ, но, изнуренный тревогами
сонницею, онъ упалъ на мокрую траву и на-
заплакалъ... Напряженная гордость, холодная
плодъ сухого отчаянія, софизмы свѣтской фило-
исчезло и умолкло; уже не стало человѣка, во-
стями, потрясаемаго борьбою внутреннихъ
передъ вами бѣдное, безсильное дитя, слеза
грѣхи свои, чуждое, на эту минуту, ложнаго с-
лующееся ни на судьбу, ни на людей, ни на

„И долго лежалъ я неподвижно, и плакалъ гор-
удержать слезъ и рыданій; я думалъ, грудь моя раз-
твердость, все мое хладнокровіе исчезли какъ дымъ, и
разсудокъ замолкъ; и если бъ въ эту минуту кто-
дѣлъ, онъ бы съ презрѣніемъ отвернулся“.

Когда почная роса и горный вѣтеръ освѣжали
голову, онъ разсудилъ, что горькій прощальный
много бы прибавилъ къ его воспоминаніямъ, и
него была бы тяжеле, — и возвратился въ Кис-
часовъ утра, бросился въ постель и проспалъ
до вечера. Тутъ пришелъ къ нему Вернеръ
его что княжна Лиговская больна разслаблен-
начальство догадывается объ истинныхъ при-
Грушницкаго, и что ему должно взять свои
дѣлъ, на другой день утромъ, онъ получилъ
высшаго начальства отправиться въ крѣпость
и свелъ его съ Максимомъ Максимычемъ.

Передъ отъѣздомъ, онъ зашелъ къ кня-
проститься. Она встрѣтила его, какъ чел-
явившагося къ ней, какъ къ матери, съ по-
счесть руки дочери. Тутъ слѣдуетъ превосход-
сцена, гдѣ княгиня, намекая Печорину, что
отношенія къ Мери, даетъ ему знать, что
виться ихъ соединенію, и охотно прощаетъ
его поведенія въ отношеніи къ ея дочери.

вздо-
и по-
вня-

были
хоть

лась
ины
ь ее

на-
что-
лись
какъ

Вы

, и

но-

го-
гу
ро
ня

го
ю

ъ
ъ
ъ
ъ

и

Нужно ли что-нибудь говорить объ этой сценѣ. Мери является въ такомъ безконечно поэтическомъ страданіи отъ обманутаго чувства и оскорбленія любви и достоинства женщины, и гдѣ каждое ея каждый звукъ ея голоса запечатлѣны такою неслыханною прелестью и истинною, а положеніе такъ трогательно будждаетъ такое сильное и горестное участіе?... Но эта сцена не скажетъ всего, тому наши слова не могутъ пояснить...

Черезъ часъ скакалъ онъ на тройкѣ курьерскихъ лошадей, и на дорогѣ увидѣлъ своего коня: събитъ и, вмѣсто него, два ворона сидѣли у него на спине. Онъ вздохнулъ и отвернулся...

И теперь, здѣсь, въ этой скучной крѣпости, и часто. мысля о прошедшемъ, спрашиваю себя, отчего, а не хотѣлъ съйти этотъ путь, открытый мнѣ судьбою, гдѣ меня ожидали тихое и спокойствіе душевное?... Нѣтъ, я бы не ужился съ этою жизнью, рожденный и выросшій на палубѣ разбойничьей, его душа слилась съ бурями и битвами и, выброшенный изъ жизни, онъ скучаетъ и томится, какъ ни мани его тѣнистая роща свѣти ему мирное солнце; онъ ходитъ себѣ цѣлый день по прибрежью, прислушивается къ однообразному ропоту набѣгающихъ и всматривается въ туманную даль: не мелькнетъ ли тамъ, не чертъ, отдѣляющей синюю пучину отъ сѣрыхъ тучекъ, желтый, сначала подобный крылу морской чайки, но мало по малу дѣляющійся отъ пѣны валуновъ и ровнымъ бѣгомъ приближающійся къ пустынной пристани...

Такою лирическою выходкою, полною безконечности и обнаруживающею всю глубину и мощь этого чувства замыкается журналъ Печорина. Теперь это таинственное лицо, такъ сильно волновавшее наше любопытство исторіи Бѣлы, и при свиданіи съ Максимъ Максимычемъ и въ разсказѣ о собственномъ приключеніи въ Талъ теперь оно все передъ нами, во весь ростъ свой. И теперь, когда мы сами познакомились мы со всѣми изгибами его

тъ ни-
себѣ.
е не
какъ
былъ
ержа-
ь об-
змѣ,
пре-
ему
паль
тилъ
летъ
ымъ
ена.
ока-
не-
ред-
гва,
ь...
въ
ый
де-
ак-
ѣе,
гся
на
го
а-
ли
ѣ,
а-
у
о

лица. — Это усиленіе впечатлѣнія особенно закл-
основной идеи разсказа, которая есть — фатали-
въ предопредѣленіе, одно изъ самыхъ мрачныхъ
ній человѣческаго разсудка, которое лишаетъ чело-
ственной свободы, изъ слѣпота случая дѣлая необ-
Предразсудокъ — явно выходящій изъ положенія
который не знаетъ, чему вѣрить, на чемъ опере-
особеннымъ увлеченіемъ хватается за самые мрач-
денія, лишь бы только давали они поэзію его
оправдывали его въ собственныхъ глазахъ.

Что же за человѣкъ этотъ Печоринъ? — Здѣсь мы
обратиться къ «Предисловію», написанному авторомъ
къ журналу Печорина.

Теперь я долженъ нѣсколько объяснить причины, побудив-
передать публикѣ сердечныя тайны человѣка, котораго я
зналъ. Добро бы я былъ еще его другомъ: коварная на-
истиннаго друга понятна каждому, но я видѣлъ его только
моей жизни на большой дорогѣ; слѣдовательно, не могу питать
той неизъяснимой ненависти, которая, таивъ подъ личиною
ожидаетъ только смерти или несчастія любимаго предмета.
разиться надъ головою громомъ упрековъ, совѣтовъ, и с

Не смотря на всю софистическую ложность этихъ
выходки, — самая же жолчность свидѣтельствуешь
въ ней есть своя истинная сторона. Въ самой
дружба, подобно любви, есть роза съ роскошнымъ
упоительнымъ ароматомъ, но и съ колючими шипами
дая индивидуальность, какъ бы по природѣ сво-
дебна другой, и силится пересоздать ее по своему
момъ дѣлѣ, когда сходятся двѣ субъективности,
сказать, чрезъ взаимное треніе другъ о друга
ются и измѣняются, заимствуя одна отъ другой то,
не достаетъ. Отсюда это взаимное цензорство въ
эта страсть раздражаться надъ головою друга градомъ
ковъ, насмѣшекъ и сожалѣній. Самолюбіе тутъ игр

ности,
ность,
свою
шибка
видимо
разу-
енные
ть для
ностей
оръ и
рину,
глядѣ
изъ

внѣ о
да это

мысль
жетъ
тате-
чѣмъ

Вы говорите противъ него, что въ немъ нѣтъ в
красно! но вѣдь это тоже самое, что обвинять
то, что у него нѣтъ золота: онъ бы и радъ
да не дается оно ему. И притомъ, развѣ Печор
своему безвѣрію? развѣ онъ гордится имъ? |
не страдалъ отъ него? развѣ онъ не готовъ цѣ
и счастья купить эту вѣру, для которой еще н
часъ его?... Вы говорите, что онъ эгоистъ?—Но
не презираетъ и не ненавидитъ себя за это? ра
его не жаждетъ любви чистой и безкорыстной?
не эгоизмъ: эгоизмъ не страдаетъ, не обвиняетъ
доволенъ собою, радъ себѣ. Эгоизмъ не знаетъ
страданіе есть удѣлъ одной любви. Душа Печори
менная почва, но засохшая отъ зноя пламени
земля: пусть взрыхлить ее страданіе и оросить бл
дождь,—и она произраститъ изъ себя пышные. |
цвѣты небесной любви... Этому человѣку стало
грустно, что всѣ его не любятъ,—и кто же эти «
стые, ничтожные люди, которые не могутъ прости
превосходства надъ ними. А его готовность за
себѣ ложный стыдъ, голосъ свѣтской чести и оск
самолюбія, когда онъ за признаніе въ клеветѣ го
простить Грушницкому, человѣку, сейчасъ только
шему въ него пулею, и безстыдно ожидавшему
холостого выстрѣла? А его слезы и рыданія въ
степи, у тѣла издохшаго коня?—нѣтъ, все это н
Но его — скажете вы — холодная расчетливость,
ческая расчитанность, съ которою онъ обольщае
дѣвушку, не любя ее, и только для того, чтобы
надъ нею и чѣмъ-нибудь занять свою праздность
но мы и не думаемъ оправдывать его въ таки
кахъ, ни выставлять его образцомъ, высокимъ и
стѣйшей нравственности; мы только хотимъ сказа
человѣкъ должно видѣть человѣка, и что идеалы

ихъ и
Судя
иства
вленъ
щуща-
бога-
астоя-
ль бы-
е тор-
ать въ
какъ
олеса:
сность
и; слѣ-
а. Бы-
изнен-
и слѣд-
утите-
приво-
и тогда
тсѣ не
е соб-
ихъ за-
маемого
онъ съ
рить о
Вамъ
горыхъ
убокой,
и они
ио такъ
ио, или
блеску
его —

непродолжительный, но пронизательный и тяж-
лялъ по себѣ непріятное впечатлѣніе нескром-
и могъ казаться дерзкимъ, еслибъ не былъ с-
душно спокоенъ». — Согласитесь, что какъ эти
и вся сцена свиданія Печорина съ Максимъ I
показываютъ, что если это порокъ, то совѣмъ
ствующій, и надо быть рожденнымъ для добра,
жестокое быть наказану за зло?... Торжество и
духа гораздо поразительнѣе совершается надъ с-
натурами, чѣмъ надъ злодѣями...

А между тѣмъ, этотъ романъ совѣмъ не :
хотя и очень легко можетъ быть принятъ за
одинъ изъ тѣхъ романовъ,

Въ которыхъ отразился вѣкъ,
И современный человѣкъ
Изображенъ довольно вѣрно
Съ его безнравственной душой
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмѣрно,
Съ его озлобленнымъ умомъ,
Кипящемъ въ дѣйствіи пустомъ.

«Хорошъ же современный чѣловѣкъ!» воскли-
нравоописательный «сочинитель», разбирая, или
зая, ругая седьмую главу «Евгенія Онегина». И
читаемъ кстати замѣтить, что всякій современный
въ смыслѣ представителя своего вѣка, какъ бы
дурень, не можетъ быть дурень, потому что и
вѣковъ, и ни одинъ вѣкъ не хуже и не лучше
тому что онъ есть необходимый моментъ въ ра-
вѣчества, или общества.

Пушкинъ спрашивалъ самого себя о своемъ

Чудакъ печальный и опасный,
Созданья ада изъ небесъ.
Сей ангелъ, сей надменный бѣсъ,

нивать Онѣгина съ Печоринымъ. Но какъ выше Очорина въ художественномъ отношеніи, такъ Печорина по идеѣ. Впрочемъ, это преимущество жить нашему времени, а не Лермонтову.

Что такое Онѣгинъ? — Лучшею характеристикой этого лица можетъ служить французскій поэмъ. «Petri de vanité il avait encore plus de d'orgueil pui fait avouer avec la même indifférence comme les mauvaises actions, suite d'un sentiment, peut-être imaginaire». Мы думаемъ, что сходство въ Онѣгинѣ нисколько не было воображаемо, потому что онъ «вчулъ чувства уважалъ» и что въ немъ была и гордость и прямая честь. Онъ является человекомъ, котораго убили воспитаніе и свѣтъ, которому все приглядѣлось, все пріѣлось, все, и котораго вся жизнь состояла въ томъ:

Что онъ равно зѣвалъ
Средь модныхъ и старинныхъ залъ.

Не таковъ Печоринъ. Этотъ человекъ не равнодушно несетъ свое страданіе: бѣшено гонимъ жизнью, ища ея повсюду; горько обвиняетъ себя въ своихъ заблужденіяхъ. Въ немъ неумолчно раздореніе вопросы, тревожатъ его, мучать, и онъ самъ ищетъ ихъ разрѣшенія: подсматриваетъ каждую мысль своего сердца, разсматриваетъ каждую мысль своего лица, изъ себя самый любопытный предметъ своего разсужденія, и стараясь быть какъ можно искреннѣе въ жизни, не только откровенно признается въ своихъ недостаткахъ, но еще и выдумываетъ небывалые истолковываетъ самыя естественныя свои движенія, характеристикъ современнаго человека, сдѣланнымъ, выражается весь Онѣгинъ, такъ Печоринъ этихъ стихахъ Лермонтова:

и на-
сдѣ-
обще-
юэти-
осо-
Пуш-
овилъ
уже
право

эти
вре-
стоя-
мени,
умная
по-
срав-

вредно
ески
кото-

ь ху-
ланта
ь мы
ь не
его.
ь на-
югра-
афія.
оръ и
Фарн-
смот-
Рих-
и что
инного
вѣр-
дныхъ

аворъ-
го ха-
совер-
а него
дно въ
непол-
имъ въ
итель-
един-

ствомъ мысли, и оставляетъ насъ безъ всякой и
которая невольно возникаетъ въ фантазіи читат
чтенія художественнаго произведенія, и въ котор
погружается очарованный взоръ его. Въ этомъ
вительная замкнутость созданія, но не та вып
ственная, которая сообщается созданію чрезъ е
тической идеи, а происходящая отъ единства
ощущенія, которымъ онъ такъ глубоко поражает
читателя. Въ немъ есть что-то неразгаданное, как
говоренное, какъ въ «Вертеръ» Гёте, и потому
тяжелое въ его впечатлѣніи. Но этотъ недостат
то же время и достоинство романа г. Лермон
бываютъ всѣ современные общественные вопрос
аемые въ поэтическихъ произведеніяхъ: это во
нѣ, но вопль, который облегчаетъ страданіе...

Это же единство ощущенія, а не идеи, связы
романъ. Въ «Онегинъ» всѣ части органически соч
въ избранной рамкѣ романа своего Пушкинъ неч
свою идею, и потому въ немъ ни одной части неч
нить, ни замѣнить. «Герой нашего времени» не
собою нѣсколько рамокъ, вложенныхъ въ одну бо
которая состоитъ въ названіи романа и един
Части этого романа расположены сообразно съ
необходимостію; но какъ онѣ суть только отдѣл
изъ жизни хотя и одного и того же человѣка, т
быть замѣнены другими, ибо вмѣсто приключен
сти съ Бэлою, или въ Тамани, могли бы быть и
и въ другихъ мѣстахъ, и съ другими лицами
одною и тою же герою. Но тѣмъ не менѣе, осн
автора даетъ имъ единство, и общность ихъ впе
разительна, не говоря уже о томъ, что «Бэла-
Максимычъ» и «Тамань», отдѣльно взятые, суть
степени художественныя произведенія. И какія
какія дивно-художественныя лица—Бэлы, Азамат

жия

ме-

уш-

ка-

ицо

кен-

тив-

не-

ина.

овы-

астіе

лход-

она

анич-

енію;

бенно

ти и

мѣ-

горыя

осить

разъ

рас-

юрина

бости,

гѣ его

бское.

силь-

сколь-

ачиѣе.

іе нѣ-

й мало

, неп-

зъ тол-

легко

было обольстить ее: стоило только казаться неп-
таинственнымъ, и быть дерзкимъ. Въ ея напра-
нѣчто общее съ Грушницкимъ, хотя она и несправ-
его. Она допустила обмануть себя; но когда у-
обманутою, она, какъ женщина, глубоко почувст-
оскорбленіе и пала его жертвою, безотвѣтною,
страдающею, но безъ униженія,—и сцена ея посл-
данія съ Печоринымъ возбуждаетъ къ ней сильно
обливаетъ ея образъ блескомъ поэзіи. Но не смо-
и въ ней есть что-то какъ будто-бы недосказ-
опять причиною то, что ея тѣбу съ Печоринымъ
третье лицо, какимъ бы долженъ былъ явиться :

Однако, при всемъ этомъ недостаткѣ художестве
повѣсть насквозь проникнута поэзіею, исполнена в-
интереса. Каждое слово въ ней такъ глубоко зна-
самыя парадоксы такъ поучительны, каждое поло-
интересно, такъ живо обрисовано! Слогъ повѣсти-
молніи, то ударъ меча, то рассыпающійся по ба-
чугъ! Основная идея такъ близка сердцу всякаго
лечь и чувствуетъ, что всякій изъ такихъ, какъ
тивоположно было его положеніе положеніямъ, в-
ставленнымъ, увидить въ ней исповѣдь собственн-

Въ «Предисловіи» къ журналу Печорина авто-
прочимъ, говорить:

„Я помѣстилъ въ этой книгѣ только то, что относилос-
ванію Печорина на Кавказѣ. Въ моихъ рукахъ осталас-
тетрадь, гдѣ онъ рассказываетъ всю жизнь свою. Когда-
явится на судъ свѣта, но теперь я не могу взять на себ-
ственность.

Благодаримъ автора за пріятное обѣщаніе, но с-
чтобъ онъ его выполнялъ: мы крѣпко убѣждены
навсегда разстался съ своимъ Печоринъ. Въ этомъ
утверждаетъ насъ признаніе Гёте, который говор-
ихъ запискахъ, что: написавъ «Вертера», бывша-

него, и
смѣшно
ая моло-
ною си-
раничен-
міра, въ
траданіе,
іе звуки
ную ему
и выпол-
дставитъ
уже все
омъ еще
эго намъ
ости, но
морали-
зумность
что это
ужасной
эту раз-
тъ быть
і жизни,
жизни...
е будетъ
твованію
гь, осно-
на бѣд-
икинъ съ
окресила
и, но не
бы нака-
и въ до-

СПИСОКЪ КНИГЪ, ОТЗЫВЫ О КОТОРЫХЪ, ПО НЕ- ТЕЛЬНОСТИ СВОЕЙ, НЕ ВОШЛИ ВЪ ТРЕТЬЮ ЧАСТЬ СОБРАНІЯ.

1839 *Московскій Наблюдатель*. Кн. 1. Искуситель, соч. Заг-
Ледяной дождь и Басурманъ, соч. Лажечникова. — Басни и
И. Дмитриева. — Дурацкій колпакъ. — Стихотворенія А. І.
скаго. — Карманный пѣсенникъ. — Дѣдушка Русскаго флота. —
ріусъ... — Ложа 1-го яруса. — Дядя Симонъ. — Руководство въ
Новая руссiйская грамматика Межорскаго. — Ключъ къ
словъ. — Кн. 2. Утренняя заря на 1838. — Вицдзорекинъ куму
медіи Шекспира. — Проклятое мѣсто, соч. Воскресенскаго. —
въ семнадцать лѣтъ, соч. Поль-де-Кока. — Катерина, комедія,
или двѣ сестры, комедія. — Воскресенье въ Марьиной рощѣ
медіа. — Еще Филатка и Мирошка, интермедія. — Быль и заб-
моего ума и сердца, соч. Башкатова. — Кн. 3. Одесскій альбомъ
1839 г. — Святѣйшій князь Потемкинъ, соч. Н. Надеждина
творенія Д. Сушкова. — Калебъ Вилліамсъ. — Владиміръ и
Дѣвичьи интриги. — Вечерой колоколь, романъ. — Балакирева
собраніе анекдотовъ. — И то и сѣ. — Мечты, комедія-водевиль.
радъ въ лѣтнемъ клубѣ, ни то ни сѣ. — Студентъ, артистъ, хо-
аферистъ. — Разстроенное сватовство. — Кн. 4. Тысяча и од-
арабскія сказки. — Басни и сказки А. Измайлова. — Пѣснь
пер. Гнѣдича. — Приключеніе съ моими знакомыми, соч. И. Ва-
Я рисовалъ очерки. — Пародія, романъ. — Вечерніе разсказы,
скаго. — Повѣсти изъ событій русской старины. — Иванъ Су-
романъ И. Дмитриевскаго. — Невѣста изгнанника, соч. Ев. Фо-
говоры отца съ дѣтьми. — Сказки моей бабушки. — Шесть нов-
вѣстей для дѣтей. — Всеобщій французскій словарь. — *Дополненія*
прибавленія къ Русскому Исламскому. Т. II. № 6. Новѣйшій и
полный астрономическій телескопъ. — Соперники въ любви, по
Повѣсть о томъ, какиимъ образомъ пріѣзжіе купцы познакоми-
приказнымъ. — № 8. Эдмондъ и Констанція, соч. Поль-де-Кока.

О. —
СКЪ,
А. —
ГВЫ,
ИГЪ,
Мо-
ИГЪ,
16.
эсти
го-
рво-
вен-
-Со-
кли-
итъ
ный
рап-
е о
за-
Вдо-
слъ,
и. —

ОГЛАВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ 1839.

МОСКОВСКИЙ НАВЛЮДАТЕЛЬ.

1.

КРИТИКА.

Ледяной домъ и Басурманъ. Два романа И. Лажечникова

2.

БИБЛИОГРАФІЯ.

Калыанъ и Арфа, стихотворенія А. Полежаева
Современникъ. Тома 11-й и 12-й
Страшный балъ, соч. В. Олива
Сердце человѣческое есть или храмъ Божій или жилище
Искусство брать взятка, соч. Серебренникова. — Три б
его же
Дѣйствительное путешествіе въ Воронежъ, соч. Раевича
Сто русскихъ литераторовъ. Т. 1
Мусташъ, соч. Поль-де-Кока
Новогодникъ, изд. Н. Кукольниковъ
Записки Александрова (Дуровой)
Браво или венеціанскій бандитъ, соч. Купера
Русскіе журналы

3.

ТЕАТРЪ.

Театральная хроника

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИВЪВЛЕНІЯ КЪ „РУС ИНВАЛИДУ“.

1.

БИБЛИОГРАФІЯ.

Новѣйшій дѣтскій Робинзонъ
Стихотворенія Владислава Горчакова.
Рѣчи, произнесенныя въ торжественномъ собраніи москв
университета 10 іюня 1839 года.

ЧАСТИ.

АТЕЛЬ.

Стр.

Жечникова

.	31
.	35
.	42
жилище сатаны.	45
— Три безделья	50
Раевича . . .	54
.	56
.	65
.	66
.	76
.	82
.	85

. 121

5 „РУССКОМУ

.	133
.	134
МОСКОВСКОГО	
.	136

1.
9
2
6
1

1

5
1

1
1
3
0



UNIVERSITY OF MICHIGAN

3 9015 06696 6289